Вне игры

А. ЗУБОВ, Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

ТЕЛЕГРАММА

В полночь Бутову позвонил дежурный по управлению.

— Разбудил, наверное?.. Прошу прощения, Виктор Павлович. Только что передали от Михеева: нашли наконец ее. В больнице... Попала в аварию. Врачи говорят, что опасности для жизни нет, даже операции не потребуется, но беседовать с ней пока не разрешают.

Бутов поблагодарил дежурного, сказал, что в комитет приедет пораньше.

Итак, она не сбежала. Но зачем так неожиданно покинула тетку? И кто он, ее спутник? И что за авария? А таинственные игрушки?.. Выявился ряд настораживающих обстоятельств, о которых Михеев хочет доложить лично.

— Какие будут указания, товарищ полковник?

— Сообщите Михееву: часа через полтора я буду в комитете. Жду подробного доклада. И еще одна просьба... Кто из моих оперативных сотрудников сейчас дежурит? Покровский? Отлично. Он в курсе дела. Познакомьте его с последними сообщениями Михеева.

Бутов принял душ, наспех позавтракал и вышел на улицу, тихую, влажную и еще немноголюдную в этот ранний час. Тучи рассеялись, только розовели редкие облака, и после недавнего дождя воздух был свеж и терпок.

Виктор Павлович любил и тонко чувствовал природу. Особенно весной, в пору пробуждения всего живого. Какое это блаженство — ранним утром, на даче, еще до восхода солнца, пойти на речку, как на концерт. Вот где-то засвистал скворец, зачирикали воробьи, потом прилетела зеленовато-желтая иволга... Увы, все его планы на первомайские дни рухнули.

...В канун праздника, когда Бутов уже собирался уходить домой, его задержал генерал.

— Звонили из приемной. Пришла женщина, почтовый работник. Выслушайте ее внимательно. Дело несколько странное и, возможно, выеденного яйца не стоит. Но всякое бывает. К тому же день сегодня необычный, сами знаете. Если что-то серьезное, сообщите.

Бутов хорошо знал строгое правило чекистов — перед праздниками требуется особая настороженность. Многолетний опыт учит: провокации, диверсии и всякие иные акции, вражеские спецслужбы, как правило, приурочивают к той поре, когда советские люди отдыхают, принимают гостей, сами идут в гости. И вот именно сегодня и случилась эта странная история...

...В восемнадцать двадцать пять из Москвы в один из пограничных городов Западной Украины на имя Марии Павловны Денисенко с указанием «для Чижика» была отправлена телеграмма. Девушка, принимавшая ее, несколько раз удивленно перечитала текст и недоуменно посмотрела на молодого человека, стоявшего у окна. Лицо его было бесстрастно, но текст не мог не вызвать удивления и даже тревоги:

«Явки провалены срочно хоронай игрушки огороде лесу Сергей».

Рассказав об этом Бутову, начальница отделения связи несколько смущенно добавила:

— Конечно, частная переписка неприкосновенна. Но случай уж больно странный. И к тому же адрес получателя: сколько там всяких банд орудовало!

Бутов озадаченно потер лоб: «Что за этой телеграммой — розыгрыш, шутка? Но в любом случае связисты молодцы, что насторожились... Известны случаи, когда враг действует удивительно примитивно, в лоб, надеясь откровенной наглостью сбить с толку контрразведку. Даже если это только шутка, небезынтересно познакомиться с человеком, которому подобное приходит в голову.

Вскоре было вынесено постановление об изъятии подлинника телеграммы, получена санкция прокурора. И вот первые вопросы: кто он, Сергей? Кто она, Мария Павловна Денисенко, настоящая ли фамилия? Кто этот Чижик? Что касается Сергея, то, как и следовало ожидать, обратный адрес был липовый: дома № 230 по Ленинградскому проспекту в Москве нет...

Бутов и не очень рассчитывал, что сумеет здесь, в Москве, быстро напасть на след Сергея. Он больше надеялся на ответ работников КГБ той области, куда адресовалась телеграмма. Полковник попросил их подготовить данные о Марии Павловне Денисенко, узнать, не открывая причин поиска, кто такой или кто такая Чижик, а там уж и до Сергея легче будет добраться... Однако первое сообщение, полученное им от коллег, не давало оснований для серьезных подозрений.

Мария Павловна Денисенко — женщина лет под семьдесят, в прошлом учительница. В этот тихий городок переехала из областного центра десять лет назад, после смерти мужа, участника гражданской и Отечественной войн. Местная школа предложила ей работу, домик с огородом, и Денисенко покинула большой, по ее представлениям, шумный город, с которым были связаны тяжкие воспоминания: она не успела эвакуироваться и полной мерой приняла от гитлеровцев все муки, какие только могли выпасть на долю жены комиссара.

У старушки гостит племянница, Ирина, из Москвы. Эта красивая молодая женщина, видимо, и есть тот самый Чижик, которому предназначена телеграмма. Ирина здесь не впервые, и о ней кое-что известно. Родилась в первый год войны. Отец, которого она никогда не видела, работал секретарем райкома партии где-то на северо-западе, недалеко от границы. Район был оккупирован в августе сорок первого. Секретарь успел еще до прихода немцев отправить беременную жену и родственникам в Тулу, а сам ушел в подполье. Когда Анна Павловна уже перебралась в Москву, к брату, пришла горестная весть: муж ее схвачен гестаповцами. А раз такой человек попал в гестапо, считай, что его уже нет в живых. Так он и не объявился.

Ирине было два года, когда мать оставила ее на попечение бабушки и с концертной бригадой — она была пианисткой — отправилась на фронт. Там, в начале сорок пятого, она познакомилась с военврачом Захаром Романовичем Рубиным, и вскоре после окончания войны у Ирины появился отчим. Жили дружно, весело. Захар Романович сначала относился к Ирине, как к родной дочери, и ласково называл Чижиком. Но, когда в пятьдесят девятом Анна Павловна умерла, между Ириной и отчимом возникло отчуждение. Отчуждение это углублялось по мере того, как в доме Захара Романовича — он быстро утешился — часто стали собираться веселые компании: была у него такая слабость — любил, когда о нем говорили: «О, это грандиозный хлебосол!» В его доме за столом, бывало, шумело много людей — не всегда, увы, хорошо знавших друг друга и хозяина.

Первое лето после смерти Анны Павловны девочка провела в гостях у тетки. Мария Павловна хотела и вовсе оставить Ирину у себя, но Рубин категорически воспротивился. В письме его и сестре жены были душевные слова о покойной Анне Павловне, о приемной дочери, ставшей для него самым близким существом. Словом, девочка вернулась в Москву, но ежегодно летние каникулы проводила в живописном украинском городке.

Ирина не попала сразу же после школы на биофак, не хватило одного балла. Было, конечно, обидно, но она не сочла случившееся трагедией — о, сколько ее сверстниц, не попав в вуз, считали, что жизнь кончена! Ирина иронически смотрела на безрассудно слепую любовь к детям тех пап и мам, которые оказывались так неразборчивы в средствах, лишь бы пробить своему дитяти дорогу в вуз. Ей было неприятно наблюдать, когда уважаемые люди становились жалкими просителями. Хотя в ту пору Захар Романович уже не пылал нежной отцовской любовью и в общем-то его не очень опечалили итоги конкурсных экзаменов, тем не менее он тоже собрался ринуться в бой. И вдруг — неожиданный противник. Сама Ирина... «Нет, так поступать в вуз я не хочу. Не надо!» Отчим растерялся.

— Ты с ума спятила! Ведь Иван Иванович обещает помочь... Или иди в медицинский, туда я тебя запросто устрою.

Но Ирина стояла на своем, отказалась от всех предложений отчима и сказала, что уедет на год к тете Маше, будет там работать, а потом снова станет пытать абитуриентское счастье. И не обязательно в Москве. Может быть, там, в тетиных краях, «бросит якорь». Захар Романович в принципе не возражал, но решительно отверг вариант переезда на постоянное жительство к Марии Павловне. Трудно сказать, был ли то голос человека, для которого Ирина действительно оставалась близким существом, занявшим большое место в его жизни: уйдет она, и появится пустота, и ему будет трудно. Но возможно, что возвышенные эмоции прикрывали соображения сугубо практического порядка: судьба отдельной трехкомнатной квартиры, в которой он остался вдвоем с Ириной. Однако, как бы там ни было, Захар Романович настоял на своем. Правда, взаимопонимания в доме не наступило. Более того... Пожалуй, что с этого времени «холодная война» между отчимом и падчерицей стала упорной и длительной.

Окончив биофак, Ирина получила назначение в один из научно-исследовательских институтов и всерьез увлеклась проблемой биологической защиты водоемов. Зимой она работала почти без выходных, и в порядке компенсации ей дали возможность недельку отдохнуть. Отчим рекомендовал Сухуми: «Бог ты мой, какая там весна, все в цвету!» А она полетела к тете Маше — очень уж захотелось побыть возле родного, хорошего человека, согреться его душевным теплом.

...Обо всем этом, правда, более скупо и официально, Бутову на следующий же день утром сообщили коллеги из областного управления. Видимо, помогли работники милиции маленького городка, где, как говорится, все на виду и хорошо знают друг друга. Бутов предложил подключить их к проведению операции: туманную телеграмму надо попытаться расшифровать, не допрашивая получателей. Быть может, о ней осведомлен еще кто-нибудь.

Вскоре от коллег пришло второе сообщение. Во-первых, в городке о телеграмме никто, включая ближайших соседей и друзей Марии Павловны, ничего не знает. Во-вторых, утром Чижик на машине отбыла в неизвестном направлении.

Насторожившийся Бутов распорядился действовать более энергично и, если к полудню Ирина не покажется в городе, поручить участковому деликатно побеседовать со старушкой. Еще через час доложили подробности. Рано утром к домику учительницы подкатила «Волга». Номера не приметили, но обратили внимание, что машина из областного центра. За рулем сидел мужчина лет тридцати. Лица его толком никто не разглядел. Запомнились лишь рыжеватые усики, темные очки и замшевая куртка. И ослепительно нарядная Ирина — красное трикотажное платье, плотно облегавшее фигуру, очень шло к ее черным глазам, к густым, соломенного цвета волосам, свитым на макушке в пышный узел. Ирина уселась рядом с «очкастым», так окрестили его мальчишки, послала тете Маше воздушный поцелуй и, крикнув «До завтра!», укатила.

Вскоре на праздничную улицу вышла и сама учительница — как никогда, хмурая и озабоченная. Ни за кого вопреки обыкновению не «зацепившись» разговором, она проследовала к остановке автобуса, идущего в областной центр.

Итак, неожиданно исчезли из городка и Мария Павловна и Чижик. Куда отбыла «Волга» с «очкастым» за рулем, неизвестно: что это, первомайская прогулка или нечто другое? Кто он, рыжеусый друг Чижика? И где уверенность, что «московская племянница» — это и есть «Чижик»? Быть может, Мария Павловна как раз и отправилась с телеграммой к настоящему «Чижику»?..

Слишком много неизвестных. Бутов вызвал в комитет своего ближайшего помощника.

Михеев не заставил себя долго ждать — о его оперативности и пунктуальности ходили легенды. Как всегда, он был в наимоднейшем костюме. И, как всегда, весел, бодр, что далеко не всякий раз соответствовало обстоятельствам его жизни и работы.

— Слушаю вас, Виктор Павлович.

— Товарищ Михеев! Хоть и праздник, но придется лететь.

— Когда?

— Немедленно...

Ночью Михеев уже докладывал с места событий. Чижик (если Чижик — это Ирина) еще не вернулась. Старушка тоже. Ее видели в областном центре. Видимо, гостит у кого-то. Здесь очень модны автомобильные путешествия в Карпаты — до них рукой подать. О «Волге» и «очкастом» узнать пока ничего не смог. Сведения от постов ГАИ весьма скромны. Проверили несколько машин с водителями в черных

очках и замшевых куртках — не то! Видимо, машина выехала за пределы области.

Утром второго мая Михеев сообщил, что связался с коллегами из соседнего областного управления. Если к полудню от тамошних постов ГАИ никакие наводящие на след сообщения не поступят, он вместе с оперативным сотрудником КГБ и инспектором милиции, знающим Ирину в лицо, сам займется поисками. Возможно, что к этому времени объявятся Чижик и Денисенко.

Но никто не объявился. Никаких вестей с дорог не поступило, и бригада Михеева отправилась в путь. Погода была мерзкой — густой туман. Часто останавливались, расспрашивали водителей — безуспешно. Пошел дождь, и «дворник» лихорадочно маячил по ветровому стеклу. Зажженные среди дня фары выхватывали из желтоватой мути только пять-шесть метров глянцевитого асфальта или пузырящейся глины, которая еще час назад была грунтовой дорогой. А михеевский «газик» все петлял и петлял.

Только под вечер напали на след: в небольшом селе им сказали, что в районную больницу доставили девушку в красном трикотажном платье, по описанию похожую на Ирину. Документов при ней никаких, а спросить, кто она, невозможно: шок! Случилась беда: «Волга» перевернулась и чуть было не грохнулась в реку. Туда же, видимо, полетела сумка с документами. Водитель умер по дороге в больницу.

От села до больницы — километров тридцать. При хорошей погоде это не расстояние. Но вот уже третий час без удержу хлещет дождь. Темень. Дорогу размыло, а дорога — серпантин, обвивающий крутые склоны Карпат. Водитель устал до отупения. Как быть? Снова в путь? Если еще быть уверенным, что это она — мало ли их, девиц в красных трикотажных платьях? Участковый предложил:

— Пусть водитель отдохнет до рассвета. Ночью все равно ничего не предпримешь. А в Москву позвонить можно и рано утром. Как, товарищ Михеев, согласны?

Михеев помедлил с ответом, посмотрел на шофера, который уснул, сидя на стуле, и сказал:

— Он поспит на заднем сиденье, а машину я поведу сам...

Поздней ночью они добрались до больницы.

— Больная чувствует себя лучше. Но шок может продлиться несколько часов. Около нее медсестра, а посторонних увольте! Не могу,— сказал им дежурный врач.

— Вы установили ее имя, фамилию?

— Пока нет. Документы не обнаружены, а спросить... Я уже вам объяснил...

— Ее спутник ничего не успел сказать?..

— Нет. Умер. Не довезли. Лежит в морге. Протокол составлен. Все, что требуется для установления обстоятельств аварии, сделано.

— Что же, приказ ждать до утра? — недовольно спросил Михеев.

Врач молча развел руками: ничем, мол, помочь не могу. И тут Михеев вспомнил про участкового.

— Разрешите товарищу хоть мельком взглянуть на нее. Поймите, доктор, это очень важно. Я вам потом все объясню.

...В четыре часа утра из райцентра в областное управление, а оттуда в Москву ушло сообщение полковнику Бутову: «Ирина найдена. Попала в аварию. Находится в больнице. Шоковое состояние. Беседа состояться не может».

ЧИЖИК

Бутов пришел в свой кабинет задолго до начала рабочего дня. Виктору Павловичу по душе эти ранние часы, когда еще не «закрутилась машина», тебя не тревожат телефонными звонками, запросами, докладами и можно неотрывно прочесть, спокойно обдумать и написать то, что не успел прочесть, обдумать, написать вчера.

Бутов высок и худощав. Узкое лицо с острым подбородком, полуседые волосы гладко зачесаны назад. На работе привыкли к его мягкости, деликатности и неизменному спокойствию. И только самые близкие люди знают, ценой каких усилий ему, по натуре человеку нервному и легковозбудимому, дается это спокойствие. И не удивлялись тому, что порой он «срывался». Иногда казалось, что полковник абсолютно безучастен и даже не слушает собеседника. Но это только видимость: нет более вдумчивого слушателя, чем Бутов.

Полковник открыл сейф, достал папку с документами, настольный календарь. Уже много лет его рабочий день, как бы трудно он ни складывался, начинался с просмотра «Правды» — привычка, сложившаяся еще в те времена, когда Бутов был на партийной работе. Но вот уже газета отложена, полковник откинулся на спинку кресла, закурил, и опять назойливо зажужжали тревожные мысли: Чижик... Очкастый... «Ховай игрушки»... Авария... А главное, Сергей! Молодец Михеев, в общем-то он достаточно быстро восстановил картину событий! Позже, дополненная и уточненная, она выглядела примерно так.

Телеграмма пришла вечером, когда на кухне пахло пирогами и в комнате был наведен тот блеск, без которого праздник не в праздник. Старушка бережно перебирала довоенные фотографии. Еще накануне приезда Ирины она достала этот пухлый альбом, в который не заглядывала много лет. Тетя Маша давно обещала племяннице найти снимок покойного отца, да все было недосуг. И вот: «Батюшки мои, нашла!» Ирина так и впилась взглядом в пожелтевший любительский снимок. Совсем молодая мама, а рядом с ней отец. Обязательный в ту пору полувоенный костюм секретаря райкома партии — гимнастерка, бриджи, сапоги... Отец, который так и не увидел свою дочь. Тихо в комнате. Молча сидят на диване тетя и племянница. Каждая думает о своем. И вдруг стук в дверь.

— Телеграмма!..

Мария Павловна не торопясь надела очки, подошла поближе к свету и развернула телеграфный бланк. Прочла раз, другой... Протянула телеграмму племяннице и вопросительно посмотрела на нее.

— Полагаю, Чижик — это ты, а Сергей — тот самый шалопут. Так, что ли?

Она знала, что дома Ирину звали Чижиком и что есть среди ее друзей некто Сергей, студент. И вроде бы любят друг друга, крепко, по-настоящему, а до свадьбы дело не доходит, чем премного доволен отчим: «Он тебе не пара... этот шалопут».

Ирина прочла телеграмму и молча вернула ее тете. Наступила хрупкая тишина — вот-вот зазвенит, расколется.

— Может, любезная племянница соблаговолит объяснить, что сей бред означает?— спрашивает Мария Павловна, и в голосе ее металл: никогда до сих пор она так не разговаривала с Ириной.

— Не считаю нужным, тетя Маша. Известно же, шалопут...

— Но должен же быть какой-то предел... И потом, кто вас, молодых, нынче разберет!

Ирина барабанит пальцами по столу, потом, закусив губу, начинает ходить из угла в угол.

— Ну что же ты молчишь?..

— Я все сказала.

Молчание кончилось тем, что, упрямо сверкнув глазами, Ирина накинула плащ и хлопнула дверью. Она пошла на почту.

— Можно в течение часа получить Москву?

Телефонистка удивленно посмотрела на нее.

— Да что вы! Люди накануне заказывают...

Ирина вышла на улицу, но вскоре вернулась и заказала телефон в областном центре. Телефонистка, не поднимая глаз, спросила: «Кого-нибудь или определенное лицо?» Ирина ответила: «Глебова, Василия Михайловича».

С Василием Михайловичем Глебовым она познакомилась в Москве, у Владика Веселовского, друга детства Сергея. Владик и Сергей жили когда-то в одном доме, вместе голубей гоняли, дворовую хоккейную команду сколачивали, вместе тайком курить начинали. Учились в одной школе, и хотя Владик шел на три класса впереди, были однолетками: что поделаешь, трудно сложилась жизнь Сергея. А Вася — это уже институтский товарищ Владика. Каждый раз, когда Глебов, работавший на одной из строек Западной Украины, приезжал в Москву, они достойным, по их мнению, образом отмечали встречу.

В тот вечер в квартире гудела молодежь. Среди приглашенных были Ирина и Сергей. Тон задавали Владик и Василий: блистали эрудицией, галантно ухаживали за своими девочками — оба холостяки. Покачиваясь, с неестественным кавказским акцентом Глебов произносил витиеватый и весьма двусмысленный тост за больших и малых руководителей, тост с подтекстом, с явным намерением бросить тень на все дорогое, святое...

Владик и еще кто-то зааплодировали, а Сергей, сидевший рядом с Ириной,— он, как всегда, много выпил — только хмыкнул.

— Что у пьяного на языке, то у трезвого на уме... Это настоящие парни... Они, Иришка, смело судят обо всем...

— Смело — это не значит умно и правильно. Древние говорили: невежество — еще не аргумент...

— Вот так у нас с тобой всегда. Если я скажу, что это белое, ты обязательно: черное. Характерец!— И, поднявшись с места, стал кричать: — Друзья, выпьем за женский характер!

Глебов, наблюдавший за перепалкой влюбленных, чокнулся с Ириной.

— За ваш чудесный характер, Ириночка! На месте Сергея я боготворил бы вас...

Владик решил поддержать друга и тоже стал расточать комплименты. Тогда Сергей резко отодвинул стул и выскочил в соседнюю комнату. Но Владик и Василий сделали вид, что ничего не заметили. Глебов продолжал рассказывать Ирине о стройке, о всяких неурядицах, честил начальство, острил по поводу «незкономичной» экономической реформы, разглагольствовал о настроениях молодежи и полемизировал с какой-то газетной статьей. Он не говорил, а вещал, непререкаемо судил обо всем, будь то литература, искусство, экономика, архитектура. Время от времени Вася эффектным движением головы закидывал назад длинные волосы, неторопливо приглаживал их обеими ладонями и торжествующе оглядывался по сторонам: «Что, каково сказано? Имеете что возразить?» Высокий, широкоплечий, атлетического сложения, круглое лицо с насмешливо улыбающимися глазами — словом, сплав интеллигентности, юмора и обаяния. Он держался этаким «властителем дум», каждое слово которого слушатели обязаны ловить благоговейно.

Когда расходились по домам, Василий и Ирина обменялись телефонами и адресами. И назло насупившемуся Сергею Ирина нарочито громко сказала Глебову:

— Если задержитесь в Москве, заходите. В нашем доме бывают интересные люди. Не так ли, Сережа?

Сережа буркнул в ответ что-то резкое и, не прощаясь, вышел на лестничную площадку.

Через день Веселовский и Глебов «завалились», по выражению Владика, к Ирине. Сергей уже был там. И не один, а с давним, закадычным другом Игорем Крутовым. Он так и отрекомендовал его хозяину дома, пустившись при этом зачем-то в пространное объяснение, словно хотел оправдаться, почему привел незнакомого человека.

— Прошу прощения... Как говорится, гость незваный. Он только вчера прилетел с Севера... И всего на три дня. Можно сказать, силком затащил сюда: «Не пойду,— говорит,— и баста... Отвык от шумного столичного общества...»

— Что же это вы такой бука, Игорь... У нас никто не кусается.— Ирина мило улыбнулась и, не дожидаясь, что скажет гостю Рубин, взяла растерявшегося Крутова под руку, повела его в свою комнату и, подчеркивая давнишнее знакомство с Игорем, спросила:— Как вы там, в тайге? Все характер проявляете?

— Нет! Убеждения...

— Возможно... Я думала, что знаю о вас все. А выходит, что нет. Недавно Сергей рассказывал о вашем несколько странном призыве в армию... Могли бы и дома остаться, но... Как бы это сказать точнее...

— Тут и уточнять нечего. Пришло время, и пошел служить...— не без раздражения заметил Игорь.

— Я, вероятно, не совсем ясно выразила свою мысль.— И она резко повернулась в сторону гостя.— Но вы же поняли меня. Не так ли?

— Предположим...

— У нас был спор с Сергеем: правильно ли вы тогда поступили?

— Что это вы стали ворошить дела минувших дней? Да и стоило ли спорить...

— Вы считаете, что не было повода для спора?

— Каждый строит жизнь, сообразуясь со своими взглядами на нее.

— Вот поэтому и спорили... Вам неприятен этот наш разговор? Ну что же, тогда поговорим о лютых морозах, об оленях...

— Нет, зачем же так... Вы не сердитесь...

Но в этот момент шумно появились Владик Веселовский и Вася Глебов, и казалось, что они сразу заполнили собой всю комнату. Вася весело подмигнул Ирине, галантно поклонился и торжественно объявил:

— Синьорита! Мы у ваших ног...

«Синьорита» столь же галантно ответила, что рада приветствовать «синьоров» в своем «палаццо», и стала знакомить их с Крутовым.

— Северянин... Игорь... Но не тот...

Каламбур был воспринят Крутовым молча и угрюмо. Он явно чувствовал себя здесь не в своей тарелке и в сердцах честил Сергея: зачем тот приволок его сюда?

Когда Сергей с Игорем вышли в кухню покурить, Владик кивнул в сторону «северянина» и спросил Ирину:

— Из какой берлоги притопал сей медведь?

— Из сибирской.

— А кто он есть?

Ирина иронически посмотрела на него, ответила вызывающе:

— Человек... И кажется, из тех, о ком точно сказано — «делать жизнь с кого».

— О Ириночка, он уже успел очаровать вас! — воскликнул Глебов.

— Нет, скорее заинтересовать...

— Чем?..

— Долгий разговор. Как-нибудь в другой раз.— Ей не хотелось посвящать посторонних в историю сложно и трудно сложившихся взаимоотношений Сергея и Игоря. Закадычные друзья успели уже не раз скрестить шпаги на перекрестках жизненных дорог. Она знала об этом от Сергея, когда он, поскользнувшись на одном из таких перекрестков,— в который уже раз!— уверял ее, что больше не повторится. Ирина погрузилась было в тяжкие воспоминания, но из столовой раздался голос отчима:

— Молодежь, прошу к столу!

В большой комнате по обыкновению шло шумное застолье: какая-то актриса пела романсы, завсегдатай этого дома поэт надрывно читал стихи, о которых потом, когда гости разойдутся, Рубин скажет: «Чертовски острые и смелые».

Глебов и Владик подсели поближе к Рубину, и до Ирины, сидевшей рядом с Игорем и Сергеем, донеслись слова, сказанные молодым поэтом: «...согласитесь, Захар Романович, увы, действительность такова. А мы должны знать все. «Свободная Европа» разговаривает сейчас круглые сутки. И все о чехословацких событиях. Мы же слепые котята... Ничего не знаем...»

— Зачем вы говорите «мы», не имея для этого оснований? КТО ЭТО МЫ, позвольте спросить. Я, например, и семейству ваших КОТЯТ себя не причисляю...— Сидевшие за столом недовольно оглянулись в сторону Игоря, нового в этом доме человека. Невысокий, плотный, он поднялся со своего места, словно школьник, который хочет сказать учителю: «Да, это я сказал!» И вот так, стоя, в упор глядя на поэта, с какой-то брезгливостью обронил: — А вы и не похожи на котенка. У вас когти хищника...

— Я попросил бы вас, молодой человек...

Поэт рванулся было к Игорю, но Владик примиряюще встал между ними.

— Дорогие друзья! Битва интеллектов закончилась со счетом один-один. А сейчас выпьем за тех, кто дерзает, кто ищет, кто борется!— И он несколько театрализованно объявил:— Я хочу напомнить вам Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало».

Не все уловили, в чей огород брошен сей «поэтический камешек». Ирина недоуменно пожала плечами. Захар Романович безучастно — видимо, он уже опьянел — кивал головой, Глебов зааплодировал, а поэт обнял Владика и повторял: «Ты лучше голодай, чем что попало есть...» Черт возьми, как это здорово сказано!..

Уже потом Владик подошел к Сергею и тихо спросил: «Ты как полагаешь, старик?»

Сергей уклонился от прямого ответа, но заметил, что в принципе в этом есть, кажется, сермяжная правда.

— А правдолюбец твой понять того не может. Странный товарищ, этот Игорь... Игорь-северянин! Смешно... Я и не знал, что у тебя такой дружок имеется.

КАТАСТРОФА

Растерявшаяся тетя Маша не успела толком уразуметь, что означает этот первомайский сюрприз — а куда же ей девать пироги, борщ украинский, жареное мясо с тушеной фасолью,— как зеленая «Волга» скрылась за поворотом. Мария Павловна тут же приняла решение — «ударом на удар». Ирина вернется домой, а тетки след простыл: она поедет в центр (так здесь все называют областной центр), к родичам мужа. Погостит день-другой да и насчет телеграммы посоветуется. Шалопут он, может, и шалопут, но эта телеграмма... «Ховай игрушки... Явки провалились»... В ее сознании возникли самые неожиданные ассоциации.

Поначалу автопутешествие оказалось очень милым. И спутник, и природа, и приглашения «перекусить» в неприхотливых горных кафе. Сколько раз Ирина гостила у тети Маши, а только сегодня впервые попала в мир живописных полонин. Глебов весело исполнял роль гида: «Посмотрите направо, посмотрите налево... Этот архитектурный памятник...»

В одном из кафе Глебов рискнул в нарушение запретов ГАИ выпить немного сухого вина. За обедом решили добраться до Ужгорода: осталась самая малость, и грешно было бы не завершить вояж в древнем городе.

И вот уже мчится зеленая глебовская «Волга» по крутым дорогам. Мелькают зеленые полонины, задумчиво-прекрасные перелески, пологие холмы, суровые кручи Карпат. А рядом интересный собеседник.

— В праздничные дни,— неторопливо говорит он,— люди должны забывать о работе, о всяких служебных неприятностях, пить, есть, развлекаться и к чертям собачьим выкинуть из головы всякие собрания, политзанятия, хозрасчет, рентабельность... Вам не приходилось бывать где-нибудь на Западе? Нет? Жаль... Я знаю, что там люди живут совсем по-другому. На первом плане дом, быт, семья, отдых, развлечения, путешествия, спорт. А работа где-то там, на заднем плане. Мне запомнились мудрые слова одного московского знакомого, иностранца, с которым я потом случайно встретился за рубежом: «У нас, на Западе, человек живет, чтобы наслаждаться жизнью, а не работой...»

— А вас далеко уносили ветры странствий?

— Увы, нет... Не дальше Праги. Это, конечно, не Лондон, не Париж. И все же было очень интересно. Не только потому, что я впервые оказался за границей... Это было недавно, в начале шестьдесят восьмого... Я мог наблюдать жизнь страны лишь как турист и тем не менее чувствовал... Зреют события... Заря просвещенного социализма...

Ирина спросила:

— А ваш московский знакомый, который хочет жить, чтобы только наслаждаться жизнью, он из числа этих... борцов за просвещенный социализм?

— Нет, он подданный другой страны. Англичанин...

И Глебов рассказал, как в пражском универмаге он встретил господина Дюка, который когда-то учился в аспирантуре в МГУ в порядке обмена иностранными студентами и с которым Вася познакомился на квартире Владика. Оказалось, что они живут в одной гостинице, и господин Дюк любезно пригласил его заглянуть к нему в номер на чашку кофе с коньяком. Поздно вечером он вернулся в гостиницу и спросил у портье: «Господин Дюк из двести двадцатого номера?» Портье ответил, что да, но в этом номере живет не господин Дюк, а господин Вестон. Он, Глебов, очень тогда удивился, достал записную книжку и, убедившись, что Дюк назвал ему номер «220», решил позвонить по телефону.

— Хелло! О, Василь, я очень рад. Жду вас... Да, да, это я. О, то есть маленькое недоразумение... Я не есть богатый человек, но фамилий у меня две сразу: Вестон-Дюк...

— Мы мило провели вечер,— рассказывал Глебов,— пили, впрочем, весьма умеренно, говорили о демократии, и о свободе мнений, и о политической погоде в Европе. Далеко не все, что утверждал Дюк, я принял. Но согласитесь, Ирина, со стороны бывает виднее. Мне сейчас вспомнилась огорчительная история с шофером, который ухаживает за моей «Волгой». На общем собрании автоколонны он резко критиковал начальство. Его поддержали еще двое. И что же... Всех троих уволили... Вот вам и свобода мнений.

— И не восстановили?

— Восстановили, но сколько хлопот было! До райкома дошли...

— Значит, правда восторжествовала? Виновников наказали?

— Меня не это интересует... Важен принцип... Да, совсем было забыл сказать... Я выполнил вашу просьбу. Звонил Сергею, крепко отругал его за дурацкую телеграмму и сообщил, что мы с вами отправляемся на «Волге» в Карпаты.

— А он что?..

— Небрежно обронил: «Старик, ты там не очень-то...» Это, конечно, в шутку. Сергей, кажется, не принадлежит к числу ревнивых. И верит в силу большого чувства...

— А вы?

Глебов многозначительно посмотрел на Ирину и тихо сказал:

— Я многому не верю. И большое чувство отнюдь не исключение. К сожалению, жизнь наша довольно часто дает нам поводы, чтобы не верить... Иллюзии...

— Тут я в какой-то мере могу и поддержать вас. Я не люблю скептиков, но сама не чужда духа критицизма. Говорят, что это болезнь молодых. Возможно... Ну, вот мы опять повели разговор на той же волне. Довольно!

— Ну что же, довольно... Давайте помолчим... А если хотите, почитаем.— И, не ожидая отве-

Владик сказал это вполголоса, но достаточно местно. И пошел объясняться в любви к позту, который все еще зло поглядывал на Крутова. Но Игорь уже ничего и ничего не замечал. Он о чем-то спорил с Ириной, что-то доказывал ей. И Сергею, внимательно следившему за своим другом, послышались его запальчивые слова: «Есть такая философия... Удачливый, предприимчивый, ловкий, значит, правильный?.. Мой дед коллективизацию проводил. Там все было ясно... А сейчас... Сети из слов... Нечастые, но крепкие...»

...Бывая в Москве то в командировке, то в отпуске, то просто так, навестить старушку мать, Глебов нет-нет да и заглядывал к Рубиным. При этом каждый раз напоминал Ирине: «Пользуюсь вашим любезным приглашением». Поэтому это были визиты только к Захару Романовичу, и Сергей с удовлетворением отмечал: «А Ирки-то дома не было». Но в последнее время Глебов стал наведываться в Москву чаще: «Ох, уж это утверждение технического проекта! Мука адова. Только и знаю, что согласовываю, увязываю, хожу от одного начальника к другому,— жаловался он Ирине. И многозначительно добавлял: — Системочка!»

С Захаром Романовичем их связало общее увлечение: картины. Кабинет доктора напоминал картинную галерею, и он усердно старался пополнять ее. Глебов в этом плане оказался человеком весьма полезным. Правда, у него денег поменьше, чем у доктора, но связей с дельцами, промышляющими на ниве искусства, побольше.

Рубин всегда был рад приходу Глебова, и возможно, что для этого имелись основания, связанные не только с картинами: однажды он довольно откровенно сказал Ирине, что ему приятнее видеть ее в обществе Василия Михайловича, а не этого... шалопута.

Об отъезде Ирины и тетки знали не только Сергей, но и Владик. Ирина его недолюбливала, хотя и не могла объяснить, откуда у нее эта антипатия. Весьма современен, энергичен, общителен, в меру увлекается прекрасным полом, предпочитая зрелых дам и притом из «высших сфер» — с женой он развелся три года назад. И тем не менее Ирина не пренебрегала услугами всемогущего Владика: ей захотелось по пути и тетке остановиться в областном центре, побродить по знакомым местам, повидать кое-кого из друзей юности, и Владик легко устроил ей номер в гостинице. В первый же вечер она встретила в холле Глебова, чему немало удивилась. Казалось, что Глебов тоже удивлен.

— Какая приятная неожиданность! Очень рад. Надолго? О, всего лишь? А что собираетесь делать в праздничные дни? В обществе тетки? Не лучший вариант. По праву друга Владика и Сергея считаю себя обязанным...

— Нет, нет... Исключается.

— Ну, а если вдруг появится желание... Мой телефон у вас есть? Потеряли? Боже, до чего бессердечна! Но я великодушен. Записывайте...

Глебов сейчас явно раздражал Ирину, и тем не менее номер телефона она записала. Но от предложения поужинать решительно отказалась. На другой день она уехала к тетке.

Получив телеграмму Сергея, Ирина вспомнила о Глебове. Во-первых, она попросит его позвонить в Москву и от ее имени отхлестать Сергея. Во-вторых, назло тому же Сергею отправится с Васей на машине в Карпаты. Она знает: стоит только ей пожелать, и Глебов примчится. Во время их последней встречи в Москве Глебов был достаточно откровенен. Так вот, пусть скажет Сергею о ее планах на праздники. К тому же и тетушка лишится возможности весь день пилить за телеграмму — время пройдет, и добрая старушка остынет...

С почты Ирина вернулась поздно, когда тетя Маша, расстроенная телеграммой, сочла за благо улечься спать. И вдруг рано утром Ирина будит ее и сообщает, что за ней приехал знакомый.

— Шо це за знакомый?

— Это не имеет значения. Мы едем в горы...

та, он достал из портфеля книгу Кафки.— Вы принимаете этого автора?

— О нем много спорят...

— Вы, вероятно, в числе тех, кто объявил его врачным человеконенавистником. А по-моему, это пламенный гуманист... Ведь тут тоже есть точка и точка зрения... С некоторых пор я стал собирать Кафку.

— Модно?

— Нет... Интересно... Мне открыл глаза на этого писателя человек, с которым случай свел... Нас познакомил Дюк... Вестон-Дюк...

— Кто же он, этот открыватель ваших глаз?..

— А вы не иронизируйте. Очень умный и образованный человек... Побольше таких, и общество прогрессировало бы куда быстрее.

— Я заинтригована. Кто он?

— Когда-то этот человек усиленно занимался германистикой и в связи с этим творчеством Франца Кафки. В шестьдесят третьем был одним из инициаторов созыва симпозиума, посвященного творчеству талантливого писателя... Возможно, что в наши дни вам встречалось его имя и в советской прессе. Профессор Гольдштюкер... Видный политический и литературный деятель сегодняшней Чехословакии. Борец за новую модель социализма. Вы что-нибудь слышали о «Литерарных листах»? Он ее редактор.

— Вася, можно подумать, что вы не инженер, а литературовед...— Рубина удивленно посмотрела на Глебова.— Мне казалось, что вы принадлежите к числу людей, безудержно влюбленных в свою профессию, одержимых работой...

— Увы, Ириночка, мой брак с госпожой техникой — брак не по любви. Я мечтал о филологии, философии. А отец настоял на своем. Но до сих пор я мечтаю о другой жизни. Что же касается Кафки, то я отнюдь не кафковед. Просто случайно познакомился с настоящим знатоком Кафки. Вот и пытаюсь убить вас своей эрудицией... Между прочим, на упомянутом мною симпозиуме был принят любопытный тезис, над которым нельзя не призадуматься: отчуждение личности — явление одинаково характерное и для капитализма и для социализма.

— Позвольте, позвольте, дорогой Вася. Над чем вы хотите задумываться? Это же явно с чужого голоса... Я не очень сильна в социальных науках, в философии, но азы мне известны. Отчуждение личности вытекает из сущности капиталистической эксплуатации. Так, кажется? И вообще... Вы, видимо, решили вконец доконать меня? Я поехала подышать горным воздухом, а вместо этого мой милый спутник решил задавить меня своей эрудицией. Пощадите!.. Давайте любоваться природой и вспоминать стихи. Согласны?

— Согласен. Более того. Предлагаю сделать привал. Есть термос, кое-какие закуски, имеются магнитофон и записи очаровательных французских песен...

И Вася плавно притормозил машину.

Глебов действительно оказался предусмотрительным хозяином. На землю лег пенопластовый коврик, а из багажника был извлечен чемодан. Все было очень мило и вкусно. Но вдруг, прервав бесшабашную песенку, из магнитофона послышалась русская речь. Человек с нерезким иностранным акцентом призывал к поискам «иного пути» в «храм социализма», к «защите человеческих прав хотя бы в масштабах буржуазно-демократической страны». Призывал и угрожал, призывал и поливал грязью страну, построившую социализм.

Когда лента кончилась, Глебов подсел к Ирине.

— Ну как, интересно? Вы просили развлечь вас, вот я постарался это сделать. Хотите еще одну запись?.. Я мог бы дать вам две-три такие катушки.— Он протянул руку к чемодану...

— Не беспокойтесь, Глебов. Не требуется.— И с раздражением отрезала:— А вам не кажется, что вы смешны?

— Ой, как грубо! Но я не обижаюсь. Все равно, если надумаете...

— А вы не боитесь?..

— Как вам сказать?.. Во-первых, надо же, чтобы кто-то и не боялся. А, во-вторых...

Глебов в упор посмотрел на нее и тихо сказал:

— Я вам верю, Ирина. У вас критический ум. Так мне показалось...

— А я не хочу, чтобы вы мне верили, не хочу, чтобы вы дарили мне эти записи. И не зачисляйте, пожалуйста, меня в свою компанию «критически мыслящих личностей».— Ирина уже была не в силах сдерживаться, лицо ее раскраснелось, глаза заблестели, и взгляд стал жестким.

— Зачем же столь строго... Не надо так свирепо... Согласитесь, что критически мыслящие личности — это не худшая часть интеллигенции.

— Я прошу вас немедленно отвезти меня домой... В Ужгород я не поеду.

— Ириночка...— Он придвинулся ближе, взял за руку...

— Отойдите, убирайтесь к черту!— задыхаясь, прокричала она и вскочила.— О какой правде вы говорите? О той, что вы преподнесли мне в музыкальном сопровождении? Если вы сейчас же не отвезете меня...

— Ну что ж, как угодно...

...Сгустились сумерки, поднялся туман, и хлынул дождь. Мутные конусы света фар едва пробивались к асфальту. Глебов, как всегда, уверенно вел машину, но на повороте из белой пелены внезапно вынырнула громада бензовоза. Рывок влево, и «Волга», врезавшись в столб, почти повисла над обрывом...

Продолжение следует.

Вне игры

А. ЗУБОВ, Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Что было потом, Ирина не помнит. Очнулась она уже в больнице. Рядом сидели тетя Маша и незнакомый ей человек в небрежно наброшенном на плечи халате. Догадалась: не доктор. От нее не скрыли — Глебов погиб. Позже она узнала и все остальное. Это «все остальное» было зафиксировано в протоколах. При обыске покойного, его квартиры и машины нашли набор кассет с магнитофонными записями, такими же, какими он «услаждал» слух Ирины. Дома, в тайнике, устроенном в стенном шкафу, было обнаружено несколько библий, микропленка с записью «радиобеседы» «Свободной Европы», два номера журнала «Посев», изданная в Италии антисоветская листовка «За свободу». Над заголовком призыв: «Читай и передай другому». В один из номеров журнала вложена фотокопия письма некоего Соловьева. В письме — подробное изложение целей и задач зарубежного сборища «спасителей России», именующего себя «Народно-трудовым союзом» (НТС), инструкции, как поддерживать с ними связь, приглашение активно сотрудничать, помогать. Найдено было и чье-то недописанное письмо. Сразу же установили — Глебова. Оно адресовано неизвестному москвичу.

«...Дружище! Когда я вернулся из Москвы, был несказанно удивлен, обнаружив в одном из журналов, который ты дал мне перед отъездом, фотокопию письма какого-то господина Соловьева. Если сие чтиво предназначено мне, то заявляю тебе прямо и решительно: нет, дружище, я не приемлю это послание. Мне чуждо и непонятно все, что он там наворотил. Может быть, письмо мне не предназначено и ты случайно оставил его в журнале? Нужно встретиться и поговорить. Есть рубеж, переступать который мы не имеем права... Это письмо вручит тебе мой товарищ — после праздников он полетит в Москву... Я хочу, чтобы ты меня правильно понял... Я не ортодокс, но со многим в письме не согласен...»

На этом письмо обрывалось.

В тайнике лежал также листок с двумя лондонскими адресами. И почтовая открытка с видом Московского университета. На ней нечто неизвестным, во всяком случае, не Глебовым, по-английски был написан адрес получателя. Позднее Бутов проверит: скромная булочная на окраине Лондона. И еще листок. Буквы и цифры «З. Р. Р.» и «И. Р.». Нетрудно догадаться: «Захар Романович Рубин» и «Ирина Рубина». Цифры — номера телефонов. Домашние и служебные.

На столе лежало письмо из Москвы, подписанное инициалами «З. Р.». Автор благодарил за книгу и сообщал, что «общий знакомый» не звонил и обещанных Глебовым катушек не передавал». Теперь Бутову уже известно: З. Р.— это Захар Рубин. И почерк его.

Какая связь между всем найденным у Глебова и тем интересом, который был проявлен покойным к дочери доктора Рубина,— все это для Бутова оставалось пока неизвестным. Не внесли ясность и первые сведения о Глебове: инженер-строитель, беспартийный, холост. В Москве живет его мать. Больше родных нет. Жил на квартире у богобоязненной старушки, владелицы небольшого домика. Любил принимать гостей и ходить в гости. И все.

...Бутов уже собирался идти на доклад к генералу, когда позвонил Покровский.

— В приемной Захар Романович Рубин. Да, да, сам пожаловал. С чем? Не знаю... Понятно... Продолжаю...

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР

Что скажет ему человек в приемной? Не случайное же это совпадение: таинственная телеграмма пока еще неизвестного Сергея, приключение Ирины Рубиной в Карпатах, автомобильная катастрофа, антисоветские магнитофонные записи и прочие дурно пахнущие материалы, найденные в квартире инженера Глебова, и появление в приемной КГБ Рубина, отчима Ирины, человека, видимо, причастного ко всем этим событиям последних дней. Зачем пришел? Внести ясность, помочь? Или наоборот — запутать следы? Спешит выгородить себя, Ирину?

...У него красивое, четко вылепленное, уже немолодое лицо: волевой подбородок, длинный тонкий нос с горбинкой, широкий покатый лоб, прорезанный глубокими морщинами, и совершенно лысая круглая голова. Полковник подошел к нему, сказал:

— Захар Романович? Будем знакомы... Милости прошу...— И, распахнув дверь кабинета, пропустил посетителя вперед.— Садитесь. Видимо, у нас будет долгий разговор? Не так ли?

— Да, мне надо рассказать о многом...— Рубин положил перед собой листок бумаги, испещренный пометками.

На лице Захара Романовича можно было уловить испуг и растерянность, надежду и тревогу. Видимо, противоборство этих чувств мешало ему начать разговор.

— Я, право, не знаю, с чего начать...

— С чего вам будет угодно...

И, не глядя на Бутова, Рубин глухо произнес:

— Я агент иностранной разведки...

— Ни больше ни меньше... Любопытно...

— Да, это так!

«Шизофрения»,— первое, что подумал Бутов. Ему приходилось встречаться и с такими. И он уже приготовился терпеливо слушать бредовую исповедь.

— Я вас слушаю... Вы не волнуйтесь...

— Постараюсь... Страх, кажется, уже остался позади. И теперь никто не сможет свидетельствовать против меня, кроме совести и памяти. Да, поверьте, всю эту долгую и ужасную ночь я почти не спал, давал показания самому суровому суду: совести и памяти...

Несколько успокоившись, Захар Романович заговорил более ровным голосом:

— Я врач, хотя последние годы с головой ушел в науку... А сейчас врач вы. И я перед вами, как это делали когда-то мои пациенты, раздеваюсь донага... Вот все мои болячки — разглядывайте их!

Он на мгновение умолк, потом стал говорить еще более возбужденно, чем прежде.

— Вчера вечером, когда я вернулся домой, Костя — это мой двоюродный брат,— он на день остановился у меня проездом через Москву — сказал: «Тебя кто-то трижды спрашивал по телефону». «Кто?— спросил я его.— Он назвал себя?» «Нет, хотя я и поинтересовался: «Как передать о вас Захару Романовичу?»

Я заметил Косте, что, видимо, звонил человек, лишенный элементарной вежливости. Да и мало ли кто мог звонить? Возможно, кто-то из бывших пациентов. Может, нагрянул кто-нибудь из родных. В общем, я не стал утруждать себя догадками. И вдруг снова телефонный звонок. Это было в десять тридцать. Я запомнил. По радио кончили передавать последние известия. Я взял трубку. Это звонил он...

— Кто он?

— Простите, я забегаю вперед... В голове — полный сумбур. Вы еще его не знаете... Со мной разговаривал по телефону неизвестный. Он переспросил: «У телефона Захар Романович?» «Да. С кем имею честь?» «Добрый вечер. Я могу вас повидать?» «Кто со мной говорит?» «Это несущественно. Я должен буду видеть вас и передавать вам сувенир Андрея Воронцова»,— сказал человек с едва заметным иностранным акцентом. «Какой сувенир?» «Безопасную бритву... Лезвия фирмы «Жилет».

...Андрей Воронцов... Бритва «Жилет»... Все ясно... Страшный отголосок войны! Свершилось то, чего я уже перестал бояться. Даже научился отгонять сами воспоминания о случившемся тогда, там... Между тем неизвестный настаивал: «Я имею возможность видеть вас?» И неожиданно для меня повторил этот вопрос по-немецки. «Мне легче было бы говорить с вами на английском, господин Рубин. Это мой родной язык. Но вы, кажется, предпочли бы немецкий. Так?»

— Я растерялся и сразу...

— Прошу прощения,— прервал Бутов.— Вы говорите по-немецки?

— Да. Мать учила меня этому языку в детстве. Я даже, кажется, первые слова лепетал немецкие... Мама была преподавательницей немецкого языка. Но о маме потом...— И морщины вокруг его глаз как будто стали глубже.

— Итак, бритва «Жилет»... Андрей Воронцов... Я сразу все вспомнил, хотя прошло более двадцати пяти лет. Я догадался, по чьему заданию добивается сейчас встречи со мной этот человек, и резко заявил: «Никакого Воронцова не знаю и знать не хочу. Никаких бритв мне не нужно, никаких сувениров не жду и не имею желания встречаться с незнакомыми людьми». Но мой собеседник все так же спокойно продолжал по-немецки: «Завтра утром я улетаю из Москвы и не располагаю другой возможностью увидеть вас, чтобы передать сувенир Андрея Воронцова». Я молчал. Тогда незнакомец мягко, чуть ли не просительно заговорил по-русски: «Я глубоко уважаю вас, доктор. Поверьте, хочу вам только добра. То есть настоящая правда... Я не буду отнимать у вас много времени. Но мне будет неприятно, если я не выполню просьбу нашего общего друга. Буду убедительно просить вас встретиться сейчас со мной. Жду вас...» Мне не было дано много времени на раздумья. И я согласился. «Приходите ко мне домой,— предложил я.— Мой адрес...» Незнакомец прервал: «Я буду полагать, что нам есть удобнее встретиться на улице...» Я ссылался на недомогание, простуду, но мой собеседник настаивал на своем. Наконец я сдался. «Откуда вы звоните?». «Из телефона-автомата. Недалеко от вашего дома...— И добавил: — Я буду в бежевом плаще, роговых очках и в бежевой шляпе. В руках у меня будет журнал. Впрочем, я вас сам узнаю...» Теперь я совсем растерялся: «Я вас сам узнаю... Я нахожусь недалеко от вашего дома». Кто он, этот человек? О многом я догадывался. Но прошло двадцать пять лет... «Я вас сам узнаю...»

Как условились, мы встретились у кинотеатра «Фируза». Только что окончился последний сеанс, народу было много, но человек в бежевом плаще сразу же отыскал меня в толпе. Он приветливо улыбнулся, протянул руку и сказал: «Будем знакомы, доктор. Меня зовут Курт Ивен». Высокий, поджарый, лет пятидесяти, светлоглазый, с черными усиками и очень длинными руками. Он размахивал ими так, будто маршировал на плацу. Я навидался таких: прямые, откинутые назад плечи, несгибающиеся ноги. Узнал бы я его по фотографии? Пожалуй, что да. У него своеобразное лицо...

От «Фируза» мы пошли к Самотечной площади и там свернули на Цветной бульвар. Я шел, глядя только под ноги — так, вероятно, сапер шагает по минному полю. Ивен непринужденно болтал о погоде, о московских впечатлениях: «Я уже не первый раз в Москве, людям стали заметно лучше одеваться, много хороших товаров в магазине». Потом — о городском шуме, росте автомобильного движения... Иностранец говорил, а я молчал. Я ничего не спрашивал и ничего не сообщал ему о себе, но он, видимо, и не рассчитывал на это. Он сам дал понять, что ему известна моя работа в научном институте... Мы решаем специальные проблемы, имеющие и мирное и военное значение. Смею думать, мирового масштаба. Мы — это физиологи, биохимики, физики, микробиологи, специалисты санитарной гигиены.

— Туманно... Чем же вы все-таки занимаетесь?— спросил Бутов.

Захар Романович молча вынул из бокового кармана пиджака удостоверение, развернул его и подал Бутову. Прочтя его, Бутов вернул документ владельцу и со свойственной ему любезностью обронил:

— Благодарю вас. У вас, видимо, интересная работа... И в весьма перспективном институте.

— Нечто в этом роде, не заглядывая, конечно, в мой документ, заметил и господин Ивен. Он говорил о будущем человечества, о призвании ученых не допустить гибели цивилизации и незаметно перешел к сути своего поручения.

ПАРОЛЬ

— Я турист и приехал в Советский Союз две недели назад. Завтра я буду лететь домой. Меня ждут дела, и я не могу быть задержан до конца срока...— И снова повторил, кажется, в третий раз.— Я имею просьбу друга передать вам подарок Андрея Воронцова... И большой привет... И добрые пожелания...

И тут же протянул мне пакет. Вот он.

Бутов разрезал золотистую ленточку, развернул пакет и, отложив бритву в сторону, начал старательно рисовать на листе бумаги бога Шиву, у которого почему-то оказалось куда больше рук и ног, чем предусмотрено индийской мифологией.

Продолжение. См. «Огонек» № 37.

Захар Романович с недоумением взглянул на Бутова, не зная, продолжать ли ему свой рассказ — может, это совсем неинтересно человеку, сидящему за столом и увлеченно рисующему бога Шиву? Бутов перехватил недоуменно-растерянный взгляд доктора:

— Вы продолжайте, Захар Романович... Я вас внимательно слушаю. Итак, вам вручили сувенир от Андрея Воронцова... И все?

— Нет... Это был только пароль. Вручив бритву, Ивен отчеканил: «Что передать вашим друзьям?» Я спросил: «Какими?» Ивен взял меня под руку: «Не надо так... В нашем сложном и пока еще плохо устроенном мире никогда не угадаешь, выиграл ли ты, отрекаясь от старых друзей, или проиграл. Это лотерея. Если к тому же учесть деликатность обстоятельств, при которых вы расстались с друзьями... Вы умный человек, господин доктор... Организм наш весьма сложен, но жизнь сложнее. Меня попросили напомнить вам об этом. И я тоже имею желание кое-что сказать... Перед поездкой в Москву я имел удовольствие немного посмотреть вашe... Как это у вас говорят? Рабочее дело? Так?

— Какое рабочее дело? — спросил я.

— Я прошу простить... Я ошибался в названии. Личное дело. Да, да... Личное... Но там сказано про ваше рабочее дело. То есть те сообщения, которые вы любезно посылали господину Квальману.

Я чуть было не закричал: «Никаких сообщений я никому не посылал!»

— Это вы ему так сказали,— заметил Бутов.— А мне что скажете?..

— То же самое, что и ему. Утверждаю: никаких сообщений я никому не передавал.

— Будем считать, что так оно и есть. Продолжайте...

— Я с трудом сдержался, чтобы не ударить иностранца. Я заявил ему: «Это шантаж!». А он: «О нет, то есть плохая память. В вашем деле, господин доктор, лежат пятьдесят три страницы. Они сшиты и пронумерованы. В них тоже под номерами — пятнадцать сообщений Сократа господину Квальману. Вы не забыли вашей клички? У вас действительно лоб Сократа, господин доктор. Вы и сейчас чем-то напоминаете великого мудреца». Он с нагловатой ухмылкой посмотрел на меня и неожиданно перешел совсем на другую тему. «Как ваше здоровье? Работа? Дочка? Я слышал, вы очень милый, общительный и гостеприимный человек. Да, так есть?» — вопрос носил риторический характер. «Ваши друзья говорили мне, что вы большой любитель всего красивого — картин, книг, антикварных ценностей и... Говорят, что после смерти жены вы потеряли все свои волосы на подушках красивых женщин? О, то есть настоящий мужчина!»

Бутов улыбнулся, прервал свое рисование и спросил:

— Это было желание блеснуть остроумием или знанием вашей биографии?

Захар Романович покраснел и, запинаясь, пробормотал:

— Видимо, последнее...

— Но откуда господину Ивену известны столь интимные подробности вашего житья-бытья?

— Не знаю...

— Ну, что ж, продолжайте.

— Я никак не реагировал на вопрос Ивена и заметил, что сейчас уже позднее время, я себя плохо чувствую и нам пора расстаться. Господин Ивен не удерживал меня, но, прощаясь, сказал: «Я желаю вам всего доброго. Успехов во всем. Наши общие друзья рады вашей общительности. И просили передать: в будущем, возможно, к вам приедет еще один гость. Оттуда... Он тоже привезет привет и сувенир от Андрея Воронцова. Не откажите в любезности — примите его с русским, как это говорят у вас? Да, то есть... радушием. И если потребуется, я буду просить вас помогать ему выполнить пустяковые поручения...» Я ничего не ответил, ничего не пообещал и пошел к Самотеке. Сделав несколько шагов, я оглянулся. На том месте, где мы только что стояли с Ивеном, уже никого не было.

...Полковник внимательно смотрит на собеседника. Нет, нет, это не шизофрения. За потухшим его взором угадывалась напряженная работа мысли и большая тревога, неуверенность даже в том, уйдет ли он отсюда. Это уж Бутову известно по опыту многих бесед в приемной. Но почему доктор вдруг умолк? Нечего больше сказать или не хочет? Рассказ оборвался на самом важном. А ему, Бутову, нужно знать, есть ли какая-нибудь связь между таинственной телеграммой, полученной два дня назад падчерицей Захара Романовича, и всем тем, что только что сообщил он сам? Телеграмма... Неожиданный отъезд Ирины... Авария... Тайник в квартире Глебова... Знает ли обо всем этом Захар Романович? Возможно, ему еще ничего не сообщили, а возможно, что знает и по каким-то причинам не хочет касаться этих тем. «Подождем, не будем торопить собеседника».

Бутов встал из-за стола и взглянул на часы: «Поздновато. Иностранец, если таковой реально существует, уже улетел». Потом подошел к Рубину.

— Вы к нам из дома или с работы?

Захар Романович помедлил с ответом.

— Я боялся, что кто-то будет следить за мной... В свое время мне предоставили возможность достаточно хорошо изучить методы работы Ивенов... Я долго петлял по Москве, пока не пришел к вам.

Умолк и стал внимательно изучать свою шпаргалку. Бутов улыбнулся:

— Доктор, не старайтесь рассказывать по заученной схеме. Может, так получится несколько растянуто, но нам... Простите, мне спешить некуда. А вам? Ну и отлично. Прошу вас... Воронцов — это реальное лицо? Ах, даже друзьями были, вместе учились в школе, институте, в одном медсанбате служили. Так-так. К чему же тревожиться? Не надо так расстраиваться.— Бутов говорил тепло, доброжелательно, даже сочувственно.— Позволю себе напомнить вам возможность такой ситуации: ваш друг Андрей Воронцов попал в плен, остался на Западе в качестве перемещенного лица и теперь вспомнил о вас. С самыми добрыми намерениями. По долгу службы, как вы догадываетесь, я всегда должен быть начеку и тем не менее позволю себе допустить вариант, исключающий злой умысел. Вы согласны?

— Нет... То есть в принципе да... Но в данном случае такой вариант исключается. Андрей Воронцов погиб в августе сорок четвертого. Его мать получила официальное извещение... «Ваш сын геройски...» и так далее, как положено. Имя Воронцова плюс бритва «Жилет» — это пароль для связи.

— С кем?

— Со мной...— Рубин ответил, виновато понурил голову и в ожидании новых вопросов снова стал заглядывать в шпаргалку.

— Ну, что же, извольте... Если вам не обойтись без записей... Прошу вас... Может, угодно подкрепиться? Боржом, чай? Я понимаю: нервы, проклятые нервы. Итак, я вас слушаю...

ВОЙНА ВНОСИТ КОРРЕКТИВЫ

Рубин родился и учился в Москве. Отец умер, когда мальчику шел лишь второй год. В школе у него было два увлечения — немецкий язык и радио. В первом «повинна» была мама, Аделина Петровна, переводчица с немецкого. Даже не столько она сама, сколько Курт Зенерлих, один из австрийских инженеров, работавших по договору на большом московском заводе. Рубина была прикреплена к этой группе, и случилось так, что с Зенерлихом у нее установились отношения более близкие, чем служебные.

Она жила недалеко от дома иностранных специалистов. Зенерлих, возвращаясь с работы на машине, нередко приглашал «фрау Аделину»: «Нам с вами по пути, поедем вместе». Как-то в субботу она сказала ему: «Если сегодня вечером у вас не будет ничего более интересного, то заходите к нам на пельмени. Я хочу познакомить вас с сыном — он увлекается немецкой литературой».

С тех пор она стала встречаться с Зенерлихом и вне завода. И часто вместе с сыном. Втроем ходили в театр, кино, заводской клуб. Зенерлих охотно приносил Захару немецкие книги. Аделина Петровна была счастлива — ее сын, будущий лингвист, имеет возможность разговаривать с человеком, для которого немецкий язык — родной. В том, что Захар будет лингвистом, Рубина не сомневалась. В этом она окончательно утвердилась после заводского вечера интернациональной дружбы, где Захар читал Гейне на немецком языке. Слушатели бурно аплодировали, а Курт Зенерлих, сидевший рядом с Рубиной, восторженно говорил ей: «Это вундержинд, Аделина Петровна!»

Что касается самого Захара, то он еще не решил: радио или лингвистика. Во всяком случае, мальчик с увлечением занимался в радиокружке, где легко освоил работу на ключе передатчика. Курт Зенерлих одобрительно относился к обоим увлечениям. «Если мальчик успевает и в одной и в другой области,— говорил он Аделине Петровне,— не надо ему мешать». А несколько тщеславный Захар был горд тем, что экзаменовавший его радист первого класса сказал ему: «Молодец... Я бы взял тебя с собой в экспедицию. Хоть на полюс!»

Слова, оброненные радистом, попали на благодатную почву — юноша мечтал о далеком Севере. Захар не стал лингвистом. Его подхватили ветры того неповторимого времени, которое рождало покорителей Северного полюса и строителей Магнитки. И судьбе угодно было, чтобы на одной из зимовок появился только что окончивший десятилетку парнем с незаурядными способностями радиста.

Через два года работы на Севере ему дали отпуск, и он полетел в Сочи.

...Солнце, море, поездки на Рицу, в Гагру. Первый в жизни отпуск на самостоятельно заработанные деньги. И притом немалые. К быстро сложившейся веселой компании прибилась молодая красивая женщина, которой Захар — так ему казалось — был не безразличен. Может, потому, что — бывают же такие совпадения! — она тоже радист-любитель и занималась в радиоклубе Осоавиахима.

Уже на пятый день знакомства Захар знал, что Елена Бухарцева замужем, ее муж — ученый-медик.

До отъезда Елены из Сочи оставалось еще

две недели, когда пришла телеграмма: сослуживцы мужа сообщали, что, находясь в командировке в Сибири, Бухарцев, видимо, утонул во время купания. Тело его так и не нашли. В тот же день Елена вылетела в Москву. Захар поехал на аэродром провожать ее. Он старался сохранить на лице подобие скорбного выражения, но ему это плохо удавалось.

Через неделю Захар получил от Елены телеграмму из Москвы и тут же покинул благословенный край. Бухарцеву он застал в полной растерянности. Она не могла даже исполнить последний свой долг перед мужем: положить цветы на его могилу. Таковой, увы, не существовало. Более того, бывший ученик профессора, явно претендовавший ныне на место шефа, пустил слушок, что-де, мол, время ныне нелетное (шел тридцать седьмой год) и неизвестно, действительно ли с Николаем Павловичем случился разрыв сердца в воде (явление отнюдь не редкое), или же профессор исчез при других обстоятельствах. Рано утром в воскресенье он ушел из гостиницы и больше его не видели. Что произошло в действительности, никто не знал. Но говорили разное: вероятно, утонул, будучи в состоянии крепкого подпития — профессор любил выпить. А может, разрыв сердца в воде?.. А может?.. И сослуживцы многозначительно разводили руками. Так это или не так — разбираться не стали. Но слух был пущен, и все вытекающие отсюда последствия Елена ощутила сразу же. Даже в институте. Резко изменилось отношение к ней и в ректорате и со стороны преподавателей.

В эти тяжелые для Бухарцевой дни Захар твердо решил, что не покинет Елену. Он будет рядом с ней. Радист первого класса, он стал студентом-медиком. Однако «подруге юности» своей — радио — Захар не изменил. Правда, в институтском Осоавиахиме радистов не очень-то жаловали, и под опекой инструктора-общественника оказалось всего лишь пять энтузиастов. Среди них и Елена. Захар пытался было ходить в районный клуб, но времени для этого не оставалось. А тут случилось так, что Елена решила стать парашютисткой. Ну, что же, значит, быть и ему, Рубину, на летном поле.

Захар не скрыл дома своих парашютных увлечений, утаив лишь первопричину. Он знал свою мать, она «запилила» бы его: «Связать свою жизнь с женщиной, которая намного старше тебя, и чему это?» Аделина Петровна и без того была в ужасе: «Ну, хорошо, лингвистом ты не стал, немецким занимаешься лишь постольку-поскольку. Но к чему эти страшные, никому не нужные прыжки?.. Это какой-то психоз у молодежи... Захар, опомнись».

Захар успокаивал маму, подтрунивал над ней, а потом принялся убеждать, что настоящий мужчина не может не быть парашютистом. И в доказательство подсовывал ей полосы газет, звавших молодежь в аэроклубы. Но сам-то он хорошо знал, что только одна сила заставляет его тратить драгоценное студенческое время на парашютный спорт — женщина...

Они недолго занимались теорией, укладкой парашютов, прыжками с вышки. Вскоре началось самое интересное — прыжки с самолета. Захар был несказанно горд, когда на лацкане его пиджака появился значок с цифрой «50». Пятьдесят прыжков — это уже класс! Пятидесятый был выполнен весной сорок первого.

Захару запомнился тот день. Он возвращался из Тушина с таким чувством, словно продолжал парить под шелковым куполом. Шел слепой, пронизанный солнцем теплый дождь, а потом сказочно-ярко вспыхнула радуга, и на лицо его, когда он шел парком, падали тяжелые капли с изумрудной листвы, опьяняюще свежей от недавнего дождя. Захар шел, напевая какую-то модную в ту пору песенку про пилотов, и на душе у него было поистине благостно. Может, еще и потому, что через неделю вместе со своим другом Андреем Воронцовым он уезжал на практику — им оставался всего лишь год учебы. Правда, Захару хотелось задержаться в Москве еще недели на две-три, чтобы окончательно убедиться: Елену, его Елену, оставляют в аспирантуре. Тогда они отпраздновали бы это радостное событие. Но что делать? В институте студентов последнего курса торопили: будущих врачей уже ждали.

Незадолго до отъезда Захар и Елена пошли в зал Чайковского. За билетами Захар гонялся три дня подряд, вставая в пять утра: гастролировала какая-то знаменитость. Когда первые звуки симфонии наполнили зал, Елена судорожно сжала руку сидевшего рядом Захара: так бывало всегда, когда они погружались в мир музыки. А потом всю ночь гуляли по Москве. Над рекой нависло черное небо, в котором одиноко и неверно мерцали редкие звезды. Захар и Елена смотрели на эти мерцающие миры и говорили о том, что и в жизни так: счастье, как звезда, то вспыхнет, то угаснет, то пробьется сквозь туман, то снова скроется. Когда наступил час прощания, Елена осторожно, ласково положила свою руку на руку Захара, слегка сжала ее и тихо сказала:

— Первого сентября в этом же месте, в восемь вечера... Хорошо? Договорились. Посмотри, вон из-за туч выглянула звездочка, наша звездочка.

За несколько дней до отъезда Захар зашел в комитет комсомола. Секретарь был занят, просил подождать в приемной. Дверь в секретарский кабинет была приоткрыта, и Рубин услышал, что разговор идет о Елене Бухарцевой, о ее аспирантуре. Он сразу насторожился. То, что Захар услышал, вызвало в нем сначала возмущение, а потом... Накатило то, в чем он даже сам себе не решался признаться: страх. За кого? Он старался уверить себя, что тревожится за Елену. Но ему это только казалось. Он испугался не за нее, а за себя.

Секретарь комитета комсомола давал кому-то объяснения по поводу биографии Бухарцевой. И снова всплыла давняя версия: обстоятельства гибели Николая Павловича тогда, в тридцать седьмом. И чей-то незнакомый голос произнес: «Тут что-то нечадно. Пожалуй, в аспирантуру зачислять воздержимся. И вообще еще неизвестно, как события будут развиваться. Имя профессора теперь даже стараются не вспоминать. Следовало бы, между прочим, присмотреться и к другу Бухарцевой. Бросил специальность радиста... Пошел за ней... Оба почему-то начали изучать парашютное дело. В этом тоже надо разобраться».

В тот день Захар должен был позвонить Елене: они собирались вместе провести вечер. Но он не позвонил. Ни в тот день, ни на следующий, ни на третий. Решился только в самый канун отъезда. Елена встревоженно спросила его: «Что случилось? Ты болен? Я уже хотела к тебе приехать. Мы с тобой сегодня должны обязательно повидаться. Мне нужно с тобой посоветоваться». Рубин ответил, что сегодня очень занят, а завтра утром уже уезжает и, вероятно, ничего не случится, если они встретятся после его возвращения с практики. Елена еще раз попросила: «Захарушка, милый, ты мне сегодня нужен больше, чем когда бы то ни было! Пойми это. Мне...» И вдруг резко оборвала разговор, словно догадалась о чем-то. «Ну, что же, раз занят, так занят... Будь здоров...»

На практику Захар и Андрей прибыли 10 июня сорок первого. В маленьком живописном городке невдалеке от границы с Латвией их встретили радушно. Первые десять дней пролетели незаметно. Новые знакомства, встречи, беседы. Познакомились и с секретарем райкома партии. Он приезжал в больницу на партсобрание...

Двадцатого июня от Елены пришла телеграмма: «Аспирантуре отказали. Встреча первого сентября отменяется». А двадцать третьего, на второй день войны, Захара и Андрея направили в полевой госпиталь. Дипломов врача у них еще не было, но война уже вносила свои коррективы.

В ТУМАНЕ...

Госпиталь находился в маленькой деревушке неподалеку от городка, куда они приехали на практику. Ночью его быстро развернули, на следующее же утро начала действовать операционная, а в полдень по улице прогрохотали фашистские танки и преследовали дальше, на восток. А еще через полчаса по деревне открыла огонь артиллерия. Чья — разобрать было невозможно. На Захара, зашедшего в соседнюю избу, обрушились бревна и кирпичи...

Очнулся он уже на операционном столе — конец расщепленного бруска распорол левый бок и сломал ребро. У изголовья стоял Андрей. Захар попытался изобразить на лице нечто похожее на улыбку: «Не робей, кроисай!»

В общем, операция прошла удачно, но случилось то, чего хирурги больше всего боятся: сепсис. Если строго придерживаться тех истин, которые Рубин столь усердно постигал в институте, то он, несомненно, должен был отправиться к праотцам: несколько дней молодой военврач был без сознания, метался, бредил, что-то кричал, чего-то требовал, кого-то звал. Кого? Это знал только Андрей: имя Елены ему говорило о многом. В мыслях Воронцов уже простился с другом, но свершилось одно из тех чудес, которые случаются только на войне,— Захар выжил и стал быстро поправляться.

Первое, что он увидел, когда пришел в себя,— это серо-зеленые мундиры немцев, хозяйничавших в палате. Захар все понял. Он с трудом повернул голову в сторону распахнутого окна — тонкий луч света прокрался из лесу, сквозь спутанные ветви. Оттуда, где был свет, доносилась немецкая речь. Выстрелов не было слышно. Значит, линия фронта откатилась на восток и деревушка уже в тылу врага.

Наших медиков и раненых фашисты пока не трогали. Позже Захар понял, что это была не гуманность, а расчет. Захара после выздоровления оставили в госпитале. «Вы будете у нас работать»,— сказал ему главный хирург, толстый рыжеволосый человек с узенькими, хитроватыми глазками, имевшими свойство вдруг нагло впиваться в тебя, надолго и пристально. В палатах — если грязные бараки можно было назвать палатами — лежали только раненые военнопленные. Их лечили, если это можно было назвать лечением. И едва они начинали самостоятельно двигаться, как тут же их сажали в машины и куда-то отправляли. Куда? Захар безуспешно пытался узнать это. В общем, госпиталь оказался довольно странным.

С Воронцовым Рубин теперь виделся редко. Жили они в разных домах. А если и встречались, то в разговор не вступали. Впрочем, они понимали друг друга и без слов: «Что-то надо предпринимать!»

Так тянулись дни, недели, месяцы, полные отчаяния и безнадежности. В немногие свободные часы Захар недвижимо сидел, тупо глядя в землю. Иногда его охватывала ярость, но бессильная...

В один из весенних дней сорок второго года Рубина неожиданно вызвал начальник госпиталя и приказал: «Шнель, шнель...» Надо было быстрее собраться и ехать к какому-то больному немцу. На улице уже ждал «оппель». Немец-шофер доставил Захара в соседнюю деревню. Рубину никогда не приходилось бывать там. Машина подкатила к зданию бывшей школы. У входа стояли часовые. Шофера здесь, видимо, хорошо знали, никто даже не спросил у него пропуска, а доктору предложили не выходить из машины. Минут через десять шофер вернулся и отвез Захара на окраину деревни. На пышной кровати, выдвинутой в середине просторной комнаты, лежал полный мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, с толстой шеей. Майор Квальман говорил гнусавым голосом и жаловался на болезнь печени. Не надо было быть большим специалистом, чтобы сразу установить источник зла: алкоголь. Захар понимал, однако, что высказывать сию бесспорную истину следует достаточно осторожно, и с выражением искреннего сочувствия процедил: «Я надеюсь, что господин...»

— Меня абсолютно не интересует, на что вы надеетесь... Я хотел бы знать, что думает русский доктор по поводу болей, которые лишили меня сна.

Захар туманно высказался насчет злоупотребления шнапсом и с тревогой посмотрел на майора: какова реакция? И вдруг увидел, что майор с подчеркнутым равнодушием, не глядя даже в его сторону, небрежно обронил: «Данке...». И дал понять: «Вы свободны».

Позже Захару стало ясно — майор Квальман с его давно запущенной болезнью печени попросту участники заранее продуманной операции: кто-то, видимо, хотел взглянуть на советского доктора еще до того, как он предстанет перед «светлыми очами» начальства.

Теперь шофер доставил его прямо к дому, где помещался штаб. Ефрейтор предложил следовать за ним, и через несколько минут доктор стоял перед немецким офицером, в котором Рубин сразу же узнал инженера Курта Зенерлиха.

Захар с юношеской наивностью выразил изумление, хотел даже что-то воскликнуть, о чем-то спросить его, но Зенерлих вежливо прервал Рубина. «Не надо быть таким любознательным, доктор». Мягкий, приглушенный, несколько даже проникновенный голос Зенерлиха был ласков и слегка насмешлив. «Я вас знал почти ребенком, а передо мной стоит муж... Воин... Я не спрашиваю, как поживает ваша мутер. По моим данным, она сейчас находится где-то далеко от Москвы: ей, кажется, дорого обошлось недолгое, но близкое знакомство с иностранным специалистом. Я с прискорбием должен сообщить вам об этом. Не стану вас расспрашивать и о вашей подруге — Елене. Как говорят французы: «А ля герр ком а ля герр!»

Курт задавал много вопросов. Родственники? Политические убеждения? Верит ли в победу Красной Армии? Знаком ли с программой национал-социалистов? Захар отвечал по-русски. Но в это время в комнату вошел еще один офицер, и Зенерлих, кивнув в его сторону, сказал:

— Что касается меня, то я не успел забыть ваш русский язык. Но мой коллега, обер-лейтенант Брайткопф, еще плохо знает язык противника. А вы, насколько мне известно, свободно владеете немецким. О, я хорошо помню вечер в клубе. Вы читали Гейне в подлиннике. Битте шен...— И Зенерлих продолжал уже по-немецки: — Мы многое знаем о вас. Больше, чем вы предполагаете. Где ваш значок — пятьдесят парашютных прыжков? Надеюсь, вы не разучились работать на ключе рации?

Захару стало ясно, зачем его вызвали в этот штаб, что ждет его впереди. Парашютные прыжки... Рация... И... Неужели это так — судьба мамы?..

Его отвезли домой, предупредив, что никто не должен знать о беседе с немецкими офицерами. Интуитивно Захар чувствовал, что «смотрины» еще не закончены. Его не оставят в покое. Так возник самый тяжелый в жизни молодого человека вопрос: как быть? Смутные мысли лишили сна. Возникали самые неожиданные решения, но ни одно из них не давало ответа: как быть? Что ответить на предложение, требование, угрозу, которые завтра-послезавтра он услышит в штабе? Плюнуть им в морду и пойти на виселицу? Это проще всего. А если по-другому?..

Первая мысль была простой и ясной, как те идеи, которые он впитал в пионерском отряде, в комсомоле: «Я русский человек, комсомолец, патриот своей Отчизны, за ее счастье и благоденствие готов отдать жизнь». Потом пришла мысль о компромиссе: «Нельзя ли так, чтобы сохранить жизнь...» Липкая эта мысль — о, как он боялся ее!— нет-нет да копошилась где-то в сокровенной глубине души.

В тревожных раздумьях Рубин провел одну ночь, вторую, третью. Его не беспокоили, не вызывали, здесь, видимо, был свой расчет: пусть нервничает. Иногда он просыпался, корчась от ощущения почти физической боли, и сразу трудно было разобраться, что это: позор еще не совершенного, но возможного предательства или страх перед пытками в гестапо? Порой ему казалось, что сопротивление бесполезно.

Но тут же Рубин гневно вопрошал Рубина: «Как ты смел подумать? Нет, нет, ни за что...» И тут же созревало решение: «Утром я обо всем расскажу Андрею, посоветуюсь...» В институте Воронцов слыл светлой головой. Но когда наступало утро и Захар лицом к лицу сталкивался с Андреем, у него не хватало силы воли. Он тут же находил тысячу веских оправданий своей нерешительности, компромисса с совестью: «Андрей неправильно поймет меня».

Так прошла неделя. Все взвесив, обдумав, Захар наконец принял решение: «Попытаюсь перехитрить их... По крайней мере на первом этапе. Там видно будет...»

Наконец его снова вызвал начальник госпиталя. Тот же шофер на том же «оппеле» лихо примчал Рубина в соседнюю деревню. На сей раз русского врача доставили прямо в штаб. Зенерлиха здесь уже не было. С Рубиным беседовал обер-лейтенант Брайткопф. Этот был еще более, чем Зенерлих, любезен и приветлив. И тем не менее Захар изредка улавливал то иронический усешку, то цепко изучающий взгляд. Но это как искра — вспыхнет и угаснет. И снова Брайткопф — само радушие. Немец угощал бутербродами, предлагал кофе,

шнапс, сигареты. Потом стал показывать фотографии — обер-лейтенант запечатлен и в военном, и в штатском, и в строго официальной обстановке, и в весьма легкомысленной — с французскими девушками в Ницце. Обер-лейтенант таратория без умолку о своих похождениях во Франции, в Бельгии, о трудной и в то же время «сладкой жизни» немецкого офицера. Это не мешало ему благоговейно говорить о фрау и киндер, о религии и немецкой философии. Так незаметно беседа переключилась на философию фашизма, национал-социализма, который в общем-то, с точки зрения обер-лейтенанта, и есть настоящий социализм. «Вы не можете не согласиться со мной?» Он сам спрашивал и сам утверждал. Далее разговор пошел более откровенно.

— Ради вашего благополучия, ради вашего личного счастья, ради любимой вами Елены, во имя обновленной России вы должны помочь нашему фюреру быстрее завершить войну. Я взываю к вашему разуму и к вашей гуманности: представляете, скольким людям будет сохранена жизнь, если фюреру удастся закончить войну в намеченные им короткие сроки. Будьте же человечным, господин доктор.

Обер-лейтенант поднялся со стула, подошел поближе к Рубину и глуховато сказал:

— Мне казалось, господин доктор, что я выразил достаточно ясно намерения моего шефа. Если вы хотите существовать, то... надеюсь, мне не потребуется объяснять вам суть альтернативы: или вы будете выполнять задания рейха, и тогда вы сможете жить, и весьма приятно, или же вам придется...

Предложение эсэсовского офицера не застало Захара врасплох.

— Какой же из меня разведчик? Да, я умею прыгать с парашютом, пользоваться рацией. Но ведь всего этого мало? Нужны особые черты характера. Я неуклюж, не умею стрелять.

Он долго перечислял, что он не умеет делать. И наконец — инвалидность, потеря ребра. Обер-лейтенант внимательно выслушал объяснение Захара, а потом стал убеждать русского доктора, сколь почетна будет его миссия, какое высокое доверие оказывает ему господин Генерлих. Захар продолжал возражать. Но постепенно сдавал позиции, правда, все еще сохранял видимость сопротивления.

Обер-лейтенант говорил спокойно, не кричал, не топал ногами. Он изображал готовность понять, вникнуть в доводы русского.

— Мы не торопимся. Впереди у нас много времени и много забот. А насчет того, что вы не умеете стрелять, что вы неуклюжи... Чепуха!.. Вы, вероятно, догадываетесь, господин доктор, что это только в кинофильмах разведчики мчатся на автомобилях в погоне за клю-чом от сейфа, стреляют, убивают, прыгают с моста в реку, спускаются по дымоходу в кабинет, где хранятся секретные материалы, и выпрыгивают на полном ходу из курьерского поезда. Если вы всего этого еще не знаете, то вас просветят. Вас научат, как, будучи инвалидом, можно отличнейшим образом получать секретные разведданные, как, будучи...— Он запнулся...— Я слышал, что у вас, русских, называют таких людей тихой-матюхой. Так вот такой тюха-матюха может составить для нас сводку, от которой сам господин Канарис пальчики оближет. Мы вас научим, как это делать. А пока — прошу вас!

Брайткопф продиктовал текст подписки: Имярек... Возраст. Национальность... Воинское звание... Адрес... «Добровольно беру на себя обязательства секретно сотрудничать с немецкими властями, выполнять их специальные задания, строго хранить доверенную тайну. Знаю, что за невыполнение обязательства или разглашение тайны меня постигнет тяжелая кара...» Затем Брайткопф деловито и несколько назидательно перечислял обязанности нового агента по кличке «Сократ».

ФАНТАСМАГОРИЯ

Через неделю в госпиталь пришел приказ — Захара Рубина временно переводили в район, расположенный в тылу поглубже.

Тот же «оппель». За рулем — тот же нагловатый ефрейтор. Но теперь дорога вела совсем в другую сторону. Что это была за дорога и куда она вела, Захар определить не смог: ехали ночью, с пригашенными фарами и зашторенными боковыми стеклами.

...Конспиративная квартира, ставшая на два месяца местом жилья и занятий Захара, находилась недалеко от аэродрома. Сначала он догадывался об этом по гулу машин на рассвете. А потом всю их группу — Рубин оказался в компании нескольких ему подобных «курсантов» — повезли на аэродром: предстояли практические занятия — парашютные прыжки. С первых же дней «курсант» понял, что готовить его будут солидно: он должен овладеть большим объемом знаний, видимо, рассчитанных на разведчика высокого класса.

Дом, где поселили Захара и других «курсантов», находился в лесу. Называли «курсантов» только по кличкам. Рубин — «Сократ». Теоретическим и практическим занятиям предшествовало медицинское освидетельствование и трудный экзамен — проверка. И совсем в другом месте. Начальник школы — все называли его Тарасом, он был русским — вызвал Захара и себе в кабинет, оглянув взглядом и по-русски сказал: «Так вот что, братец ты мой, поедешь в Мюнхен. На вокзале тебя встретит человек в светло-сером костюме, долговязый, с тростью в правой руке. Подойдешь к нему и скажешь: «Я для вас имею посылку от Тараса». Он скажет: «Благодарю вас». И повезет в кафе гостиницы «Трех львов». Представится: Владимир Михайлович... А дальше он сам распорядится...

Продолжение следует.

Вне игры

П. ЗУБОВ, Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

На вокзале все было так, как предупредил Тарас. Они сидели в кафе. В таком заведении, как это, Захар еще никогда в жизни не бывал. Шла война, лилась кровь, убивали, расстреливали, бомбили, рушились дома, умирали люди, а здесь — кофе с коньяком, джаз, полуголые девушки...

Ночь Захар провел в гостинице, а на рассвете «Владимир Михайлович» повез его за город. Они остановились у железных ворот, за которыми угадывалась казарма. Часовой взглянул на номер машины, козырнул и, не спросив никаких документов, пропустил «Оппель» во двор.

Захара водили из одного кабинета в другой. Проверяли зрение, слух. Потом привели в комнату, стены которой были облицованы мраморными плитами. Все тут поражало сверкающей белизной, как в операционной. У большого окна — письменный стол и стул, посредине комнаты — массивное, необычной формы кресло. Зубной кабинет? Нет, не похоже. И кто эти двое: грузный, с медленными движениями и деланной улыбкой человек лет под пятьдесят, а за ним — молодой, подвижный, полный готовности выполнить приказ старшего...

Захару предложили снять рубашку и усадили в кресло лицом к стене. На грудь и руки наложили металлические пластины. Молодой человек, видимо, ассистент, закрепил их бинтами. От пластин провода уходили к подлокотникам кресла. Что это — пытка электротоком? У Захара пересохло во рту, появилась тошнота.

— Сидите спокойно и не поворачивайте голову,— сказал ассистент и куда-то удалился.

За спиной у Захара — старший. Захар его не видит, но чувствует — там, сзади, что-то происходит. Что?.. Приказано головы не поворачивать!

Да, ему все ясно... Металлические пластины — это датчики, а где-то рядом, в другой комнате, осциллограф выдаст кривые реакций его организма — метод, о котором он слышал еще в институте. В институте?.. Не был ли это лишь сон? Да, и не было, пожалуй, никакого института. И он вовсе не врач. Кто же он? Захару стало дурно, захотелось позвать на помощь, не хватало воздуха. Нет, нет, надо держаться! А толстяк уже начал задавать вопросы, на которые он обязан отвечать лишь одним словом: «Da!», «Nein!», «Da!», «Nein!». Это продолжалось бесконечно долго. Вопросы как боксерские удары. Один за другим. Руки и ноги дрожали, комната, стол, стулья завертелись так, как бывает в момент острого спазма мозговых сосудов. В те доли секунды, когда он переводил дыхание, пытался о чем-то подумать, раздавалось резкое: «Быстрей, быстрей!».

Наконец ремни расстегнуты, и ему разрешено подняться с кресла. Однако сразу он не может этого сделать. Поднялся — и его зачало из стороны в сторону.

В соседней комнате немецкий офицер снял оттиски пальцев. Захар успел заметить, что оттиски эти легли на карту, к углу которой была приклеена его фотография. А под ней фамилия, имя, отчество и чуть ниже кличка: «Сократ». Офицер протянул карту Захару: «Теперь подпишите». Это было то же самое обязательство, которое он однажды уже подписывал.

После проверки Рубина как радиста и парашютиста — он продемонстрировал высокий класс прыжка, приземлившись точно в заданный круг,— его вновь отправили на конспиративную квартиру.

Здесь старшим был давнишний знакомый Захара, его «пациент» майор Квальман. Иногда наведывался сюда Брайткопф, изредка приезжал Зенерлих.

Однажды появился в их школе тип, о котором потом ходили легенды. Фамилия его была Артемов. Рассказывали, что до войны он был аспирантом одного из московских институтов, в сорок первом его призвали в армию. Бежал к немцам, и гестапо направило его в так называемую школу «восточного министерства». Окончив ее, он стал преподавателем курсов, где готовились фашистские агенты-пропагандисты. «Дружок» Захара, слывший в их кругу осведомленным парнем, по секрету рассказал, что гестапо приставило Артемова к руководителям НТС — следить за ними, и что кое-кого из этих руководителей гестапо арестовало не без содействия Артемова. И уж совсем по строгому секрету сообщили Захару, что сей Артемов — гомосексуалист и в большой дружбе с видным деятелем НТС, работающим на немецкую контрразведку, Романовым. В Днепропетровске Романова должны были судить за гомосексуализм, и только война, приход гитлеровцев в этот город спасли его от суда. А на следующий день он пошел на службу в гестапо. Так началась карьера «спасителя» России...

Неведомо было тогда русскому доктору, курсанту фашистской школы разведчиков, что пройдут годы, и Артемов станет одним из главных идеологов НТС и одним из самых ловких мастеров фабрикации так называемых «писем от верных людей из СССР», за каждое из которых хозяева щедро платили ему; что через Романова, после войны, люди НТС станут поддерживать связь с разведкой, работавшей против СССР. Обо всем этом Захар Романович узнает лет через двадцать пять, а сейчас, на конспиративной квартире, он внимательно прислушивается к рассказу о русских «патриотах», помогающих Гитлеру завоевать Россию.

...Наконец теоретические и практические занятия были закончены, и Рубина вызвали для заключительной беседы с обер-лейтенантом Брайткопфом. Он учинил Сократу нечто вроде экзамена и, видимо, остался доволен. Брайткопф сразу перешел к делу — обсуждению плана нелегальной переброски Рубина в Москву.

План достаточно стандартен. Захар получает фиктивные документы, деньги, рацию и прочее необходимое в таких случаях снаряжение. Его сажают в специальный самолет и ночью на парашюте выбрасывают в лесном массиве, где-то между Москвой и Смоленском.

За время обучения в школе Захар уже много раз слышал, что точно в таком, хорошо отработанном варианте на его родную землю было заброшено немало гитлеровских агентов. Но как-то спьяну майор Квальман, продолжавший пользоваться услугами доктора,— печень-то все же пошаливала! — проговорился, что, увы, «предприятие» это — так он называл разведшколу — не очень-то рентабельно: не многие из тех, кого забросили на советскую территорию, оправдали деньги, истраченные на их подготовку. Иных сразу же схватили, другие сами явились с повинной. Командование весьма и весьма встревожено, грозит всякими карами в адрес Зенерлиха и Брайткопфа, требует изменения тактики действий, но, увы, конструктивных предложений пока не поступало. Вероятно, именно поэтому заявление Рубина выслушали с большим вниманием.

— Если господин обер-лейтенант даст мне день-два на обдумывание предстоящей операции, я мог бы попытаться внести некоторые поправки. Прошу прощения, но мне показалось, что предложенный план опасен прежде всего тем, что он стандартен. Нужно придумать что-то новое. Русские по своей натуре патриоты. Вам это хорошо известно, господин обер-лейтенант. Поверьте, это не пропаганда. Каждый житель прифронтового района всегда начеку.

Ему дали сутки на размышление.

На следующий день они вновь встретились в кабинете обер-лейтенанта. Там же находился и Курт Зенерлих. Он дружески похлопал доктора по плечу:

— Вы талантливый ученик. Мы вас будем внимательно слушать.

Захар изложил свой план, обдуманный в деталях уже давно, еще после той первой встречи с Брайткопфом и Зенерлихом, когда доктор понял, куда они метят.

...В госпиталь приходит приказ: в связи с резко возросшим числом раненых — тут Рубин не фантазировал, шла весна сорок третьего — отомандировать в прифронтовой госпиталь четырех пленных советских военврачей. Двое из четырех — Рубин и Воронцов.

— Когда мы окажемся на новом месте, недалеко от линии фронта, я должен буду уговорить своего друга Андрея Воронцова бежать вместе со мной. Я предложу ему хорошо разработанный план такого побега. А вы поможете нам, вы...

— Das ist unmöglich! — воскликнул Зенерлих, иногда переходивший с русского на немецкий.— Это не есть возможно!

— Вы,— продолжал Захар, не обращая внимания на разгневанного Зенерлиха,— дадите нам пропуска для свободного передвижения в прифронтовой полосе и вернете документы, которые были при мне, когда я попал в плен...

— Это есть...— Разгневанный Зенерлих сразу даже не нашел нужных слов.— Где мы вам их найдем, ваши документы?..

— Но они очень нужны. Сфабрикованный документ может вызвать подозрение...— невозмутимо продолжал Захар.

— И вы считаете, что ваш Воронцов согласится бежать? — спросил Зенерлих.

— Я уверен в этом. Русские патриоты — вы должны знать всю правду, господа,— всегда будут пытаться сбежать из плена. Даже если шансы на успех не более пяти процентов... Итак, считайте, что я договорился с Воронцовым и мы вместе с ним тайком ночью бежим из лагеря, к линии фронта, к своим. Нас преследуют, обстреливают, но... не убивают. Я кричу Воронцову: «Андрей! Давай врозь. Беги направо, а я — налево». Между тем вы будете продолжать преследовать беглецов. Но Воронцову удастся скрыться. И он убежит. Один... И пробьется к своим... А я... я вернусь и вам...

— Вы есть сумасброд, господин доктор. То есть бред больного человека. Вы представляете, что делает господин оберштурмфюрер с Зенерлихом, когда он узнает о запланированном побеге русского пленного?

— Терпение, господа. Я не кончил. Я не хочу обижать господина оберштурмфюрера, но иногда примитивный здравый смысл возмещает недостаток широкого взгляда на вещи... Андрей Воронцов при вашем попустительстве вернется к своим, а я вернусь к вам, чтобы полететь через два дня и приземлиться на парашюте в лесу, между Москвой и Смоленском. Без всяких фиктивных документов. Если на советской территории меня задержат как подозрительное лицо, я расскажу историю побега со своим другом Воронцовым. И скажу: «Найдите его и допросите. Он все подтвердит...»

Кажется, именно тогда Захар впервые приметил улыбку на лице господина Зенерлиха.

— Фантасмагория!.. Чудесно!.. Сколько времени требуется вам на подготовку операции?.. Считайте, что завтра утром вы снова будете в госпитале и увидите вашего друга.

— Два-три дня.

Зенерлих задумался, подошел и распахнутому окну.

— Попрошу вас на несколько минут оставить нас вдвоем.— Он кивнул в сторону обер-лейтенанта.— Вы предложили любопытный план. Мы должны посоветоваться...

— Да, да, конечно...— И Рубин вышел из комнаты.

Его позвали минут через десять и объявили, что план одобрен, но в течение двух-трех дней, которые он проведет в госпитале со своим другом Андреем Воронцовым, ему предстоит выполнить еще одно поручение командования.

— Пустяковое дело. В программе той школы, где вы обучались два месяца, предусматривалось важное занятие. Но не хватило времени. Мы восполним этот пробел там, в соседней деревне, где впервые познакомимся с вами. Итак, до скорой встречи.

Утром Захар вернулся в госпиталь. «Легенда» о причине его столь долгого отсутствия была подготовлена заранее: отзывали в другой госпиталь, где заболел хирург. А днем рыжий ефрейтор снова повез Захара к «больному» в соседнюю деревню. На этот раз машина остановилась на окраине села, возле каменного двухэтажного дома с угловой сторожевой вышкой и изгородью из колючей проволоки. У ворот стояли часовые с овчарками. Захар не успел оглянуться, как его ввели в тускло озаренную светом маленького оконца комнату, где за столом сидел незнакомый ему немецкий офицер, толстый, как пивная бочка. Он мучительно выдавил нечто подобное улыбке и подчеркнуто любезно поздоровался.

— Как вам спалось, господин доктор? На нервы не жалуетесь? А я, увы, страдаю... Ночью мучают кошмары... Но кому-то надо и это делать... Допрашивать... Трудная, неблагодарная работа! Однако высокие идеалы моей нации требуют...

Он развел руками с толстыми, как сосиски, пальцами и стал объяснять, что сейчас будет проходить допрос партизана и ему, Рубину, надлежит при сем присутствовать и помогать переводчику. Захар вздрогнул, у него задергался уголок рта,— так вот оно, это последнее испытание!..

Вскоре в комнате появился обер-лейтенант Брайткопф. Полный радушия, словно перед ним лучший его друг, он протянул Захару руку и весело сказал:

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37, 38.

— У вас такая кислая физиономия, господин доктор, будто вы глотнули фумер уксуса. Что с вами? А, догадываюсь! Волнение души русского интеллигента. Не так ли, мой друг? Напрасно... У нас сейчас нет хорошего переводчика, и я попросил господина Крюгера пригласить вас...

У этого негодяя было красивое лицо с кротними синими глазами: один из бесчисленных парадоксов природы. Но теперь Захар впервые увидел Брайтюпфа без маски — кровожадно-хищным.

Абвер готовил Рубина «всерьез и надолго». Для них он не был агентом «массового производства» из числа тех, которых после короткого инструктажа сотнями забрасывали в советский тыл. Сюрприз должен оставаться в игре даже в случае поражения (допускался и такой вариант: шла весна сорок третьего), даже лет через десять — пятнадцать. Но для этого одной «подписки» мало. Требуется узел, который надолго и накрепко свяжет агента с его шефами. Пусть в досье русского доктора сохранятся фотокадры: Захар стоит рядом с толстым Крюгером, подтянутым Брайтюпфом, а перед ними избитый до полусмерти партизан.

«ПОБЕГ»

...Рубин негромко рассказывает о том мучительно тяжком последнем испытании, которому подвергли его в гестапо. И, может, это только показалось Бутову, но именно сейчас, когда речь пошла о допросе партизана, доктор стал говорить сбивчиво, суетливо:

— Потом, уже поздно вечером, меня отвезли в госпиталь. Я едва добрел до постели. Всю ночь одолевали страшные видения — морда толстого Крюгера, «кроткие» глаза Брайтюпфа, окровавленное тело партизана, вспышки магния и щелчки фотокамеры...

Далее события развивались быстро. Четырех пленных советских военврачей отправили в прифронтовой госпиталь. Среди них — Рубин и Воронцов. Воронцов, как и следовало ожидать, сразу же согласился бежать вместе с другом. «Я готов на любой риск!» Захар сообщил разработанный им план побега. План, в частности, предусматривал и такой вариант: «Если с одним из нас случится что-то непредвиденное, другой продолжает побег один».

На очередной встрече с обер-лейтенантом Захар получил нужные документы, пропуска, дающие право свободного передвижения по занятой немцами территории, и подробнейшие инструкции, где и как переходить линию фронта. Кроме того, на бланках советского военного госпиталя было написано удостоверение, подтверждающее, что З. Р. Рубин, военврач Н-ского полевого госпиталя, следует в распоряжение Самуправления Советской Армии. Это уже для передвижения по советской территории. Передавая Воронцову пропуск, Рубин сказал: «Как видишь, Захар — человек слова. Обещал сработать документы и сработал. На, получай... Все в ажуре... Теперь нам с тобой, Андрюшка, только линию фронта пересечь, а там явимся в первый же войсковой штаб».

Воронцов, захлебываясь от восторга, обнял друга.

— Захар, ты гений! Как тебе удалось раздобыть документы?

Рубин ухмыльнулся.

— Мне это стоило пол-литра спирта. А о деталях поговорим потом...

...Стоял знойный июль. В воскресенье после обеда хлынул теплый, пронизанный солнечными лучами дождь. А когда дождь утих, они неторопливо, словно на прогулку, протопали до околицы — это была своеобразная «пристрелка». Пройдет еще восемь — десять часов, наступит ночь, и они убегут...

Кажется, никто не гнался за ними, никто не обращал внимания на них. Они перевели дух, присели, отдохнули и снова бегом.

Дорога круто спускалась к неширокой речушке, к хлипкому бревенчатому мостику, наспех сколоченному немцами. Когда приблизились к ничейной земле, друзья обрадованно обнялись. До густого леса оставался всего с километр пути. И вдруг — выстрелы! Захар припал к траве и глухо застонал. Андрей на мгновение обернулся, а потом побежал к лесу: таков святой уговор! Вдогонку немцы послали еще одну автоматную очередь, потом залаяли собаки. Но Андрей продолжал бежать — петляя, зигзагами. Захар, увидев, как он скрылся в темени леса, чуть приподнялся, оглянулся назад. Стрелявшие никак себя не обнаруживали. И лай собак прекратился. Кругом тихо.

Рубин полежал недолго, потом поднялся и той же дорогой, через речку, отправился назад. Гремел гром, хлестал теплый июльский ливень. Но Захар даже и не почувствовал, что вымок до нитки. Тяжело ступая, обессиленный, он шагал навстречу своим хозяевам. Перед глазами плыл парной туман, поднимавшийся от щедро напоенной, прогретой солнцем земли. В помутненном сознании то вспыхивали, то гасли мысли, чувства, ощущения. На какое-то мгновение в нем пробудилось желание сейчас же, немедленно повернуться и ринуться вслед за Андреем. Но только на мгновение. Он знал, что где-то кто-то следит за ним,— Брайтюпф с группой офицеров абвера тоже прибыл сюда, в район расположения полевого госпиталя. И стоит Рубину сделать лишь несколько шагов к линии фронта — застрочит автомат.

В эту навсегда запомнившуюся ему ночь он предпочел не советоваться с совестью. Он успокаивал себя: «Мне бы только добраться до Москвы. Там видно будет!..»

А пока... Из-за поворота шоссе выскочила автомашина обер-лейтенанта Брайтюпфа. Он сидел рядом с шофером, а позади — два солдата с собаками. Захар молча втиснулся между солдатами, и машина помчалась в ближайшую деревню. Брайтюпф тоже не склонен был разговаривать и только, когда машина остановилась около дома, что стоял на окраине, буркнул: «Здесь вы проведете несколько дней. Выходить на улицу запрещается. Вас тут обслужат... Я сам приду за вами... Будем выполнять вторую часть плана. Вы должны запомнить на всю жизнь следующее: в Москве к вам приедет наш связной, привезет деньги и инструкции. Примите его по паролю: «Андрей Воронцов передает вам привет и сувенир — бритву «Жилет». Хорошо запомните!»

...Через трое суток ночью Захар опустился на парашюте в лесу, в ста пятидесяти километрах от Москвы. Рацию, пистолет, автомат и деньги он завернул в парашют и закопал, а лопату забросил подальше от места «захоронения». В те минуты он не очень задумывался над тем, придется ли ему когда-нибудь вновь откапывать все это, но инстинктивно зрительная память засекла местр: опушка леса, впереди овраг, справа дорога, на другой ее стороне какие-то строения. Теперь уже Рубин одет по-другому. Брайтюпф все предусмотрел, включая погоны. На Захаре шинель, китель, бриджи, сапоги — они в меру поношены, с приметами трудной жизни в полевом госпитале и в меру подчеркивают опрятность военврача. Офицер как офицер, военврач как военврач. И вот уже последний КПП остался позади...

— Так я оказался в Москве...

Рубин вздохнул и умолк: нелегко вновь переступать черту, за которой — тяжкий путь длиной в двадцать пять лет.

— Поверьте, мне очень...— Захар не нашел подходящего слова, запнулся, посмотрел на Бутова и, словно угадав его мысль, спросил: — Вы мне не верите?

Полковник ничего не ответил.

— Я могу продолжать?

— Потрудитесь вернуться назад... Вы предложили обер-лейтенанту Брайтюпфу довольно хитрый план. Почему немец безоговорочно его принял — понятно: отход от стандарта, некоторая гарантия безопасности шпиона. Ну, а вы-то сами, вам для чего потребовалось так усложнять свой побег? Абвер поверил вам. Вас запросто, без всяких дополнительных комбинаций сбросили бы на советскую территорию, а потом уж можно являться с повинной, все рассказывать, как было.— И, подумав, добавил:— Зачем вы придумали такой сложный план?

Кажется, впервые за время их беседы Бутов сформулировал свой вопрос столь пространно. Но он никак не мог короче высказать тревожившую его мысль. А ему сейчас надобно ответить самому себе: что это — фантазия, сочинительство или человек раскрывает душу? План побега — одна из ключевых позиций. Рухнет или удержится она, подкрепленная объяснениями Рубина? Он ждет их, эти объяснения. А Рубин не спешит, обдумывает, будто ему самому не ясно, зачем он так усложнил свой побег. Зачем?

— Вы спрашиваете, зачем? — медленно заговорил он.— Это вопрос и простой и сложный... Вы поймите меня...— Рубин вдруг стал возбужденно жестикулировать и разразился потоком слов: — Я не мог оставить своего лучшего друга в беде. Мой план давал возможность побега нам обоим. Но не это главное. Главное — проблема доверия и безопасности. Я представлял, как явлюсь в НКВД, и человек с хмурым лицом, не глядя на меня, крикнет: «Врешь! Все выдумал! Где доказательства?» И тогда я отвечу: «Вот они: во-первых, зарытое в землю снаряжение; во-вторых, Воронцов. Разыщите его и допросите. Мы вместе бежали. Он подтвердит, что я был контужен и в плен попал, когда уже находился в бессознательном состоянии. Он подтвердит, что я помогал соотечественникам, чем мог, не выдал ни одного комиссара, а их было несколько человек среди раненых, лечившихся в госпитале»... Я предвидел и такой вариант — нас, меня и Воронцова, обвинят в сговоре... И отвечал: «Поговорите с ним в какой угодно форме, и вы убедитесь, что он ничего не знал о господине Брайтюпфе, о попытках немцев завербовать меня. Значит, ему-то вы можете доверить...» Сколько раз я в мыслях вел этот диалог! И в самолете, и в лесу на советской земле, и тогда, когда уже шагал по Москве. Прийти и вам и все рассказать — так я решил после встречи с Зенерлихом. Это был завершающий этап моего плана. И я направился в НКВД, даже не зайдя домой. Я уже поднимался по Кузнецкому и до приемной оставалось каких-нибудь двести-триста метров... Но тут словно кто-то схватил меня и окликнул: «Не торопись, Захар, подумай. А если не поверят?» И тут же зашевелилась мыслишка: «В самом деле, зачем так спешить... Надо оглядеться, освоиться, повидаться с мамой». Всплыли в памяти жестокие слова Зенерлиха о судьбе мамы. О, этот знал, на чем сыграть! Значит, ее нет дома... Все равно, решил я, сперва загляну домой, найду маминых друзей, где-то проживает двоюродная тетка — она всегда слыла женщиной осведомленной. И, чтобы утвердить себя в этой позиции, я продолжал размышлять: «Ну, вот приду к ним... Все рассказывать, как было.— И, подумав, добавил:— Зачем вы придумали такой сложный план?

жу. А смогу ли уйти? Отпустят ли, хотя бы для того, чтобы узнать, где мама, что с ней?» Теперь я понимаю: это был скорее голос инстинкта, чем разума...

Рубин проговорил свой длинный монолог медленно, сквозь зубы. И пристально вглядывался в лицо Бутова, стараясь понять — верят ему или нет? Но лицо полковника оставалось бесстрастным, и Захар продолжал:

— Зенерлих соврал: мама была дома, и никто никуда не отправлял ее. Я не стану описывать встречу с ней. Было много слез. Было много радости. Но все пропало сразу же, как только я рассказал маме, что вместе с Андреем Воронцовым бежал из плена. Сначала я не понял, в чем дело. Ведь почти с того света вернулся домой сын, в котором она души не чаяла. И вдруг нечто подобное скорби. Почему такая реакция? Она, правда, старалась улыбаться, но улыбка эта была такой грустной, что мне показалось, будто мама и не очень мне рада. Потом она все объяснила: к вернувшимся из плена отношение настороженное, подозрительное, до нее доходили слухи о судьбе тех, кто побывал в плену у гитлеровцев. Мама не высказывала своей точки зрения, правильно ли действуют, или это перестраховка. Она лишь констатировала факты, донесенные до нее волной смутных слухов. А факты эти в ее изложении складывались очень мрачно. Как быть? Оставалась еще одна надежда: проверить все на Андрее. Я попросил маму позвонить Воронцовым и узнать о его судьбе — ведь он мог добраться до Москвы на несколько дней раньше меня. Если с Андреем все в порядке, значит, слухи, докатившиеся до мамы, идут из не очень-то достоверных источников. А если... О другом варианте я и думать не хотел. Но всплыл вариант, для меня неожиданный: Андрей еще не дал знать о себе домашним. Мама не сказала Воронцовым, что я вместе с Андреем бежал из плена; так мы условились.

Я мучительно обдумывал сложившуюся ситуацию. Если верить маминым рассказам, то рушатся мои расчеты. И все же рано утром я снова направился сюда, в приемную. И снова переполох тревожных чувств, сомнений: «Поймут ли меня? Как я докажу, что говорю всю правду, ничего не утаиваю?»

Тогда у меня не хватило силы воли. Я вернулся домой и решил, что сперва пойду в военкомат. Здесь не очень-то внимательно слушали меня и с ходу передали на так называемую фильтрацию. Там у меня было достаточно много времени для раздумий. Тем не менее я не решился рассказать всю правду: считал, что не поверят. Ограничился заранее отшлифованной версией: побег совершил вместе с другом Андреем Воронцовым. Нас обстреляли, и мы побежали в разные стороны. До Москвы каждый из нас должен был добираться своим путем. Где сейчас Воронцов, не знаю.

После фильтрации, несмотря на контузию, меня направили в штрафной батальон, а еще через два месяца я опять попал в госпиталь. В сорок пятом демобилизовался. За войну был награжден орденом Красной Звезды... Вот, кажется, и все...

— А Воронцов? Его судьба как сложилась? Вам известно?

— Я с ним так и не встретился. Но из писем матери знал — после плена Андрей прошел тот же путь, что и я. Только финиш другой... Воронцов погиб под Будапештом.

Бутов продолжал пристально смотреть на Рубина, ожидая, что еще он скажет. А Рубин молчал.

— Это все, что вы хотели сообщить нам?

— Пожалуй... Если у вас есть вопросы...

— Да, у меня есть вопросы. Скажите, пожалуйста, какие же задания вы получили от абвера, что должны были делать, когда окажетесь на территории СССР, какие сведения должны были собирать?

— Сейчас, двадцать пять лет спустя, я, вероятно, не смогу вспомнить в деталях все инструкции Брайткопфа. Но все же постараюсь...

Бутов слушает и ничего не записывает: задания достаточно стандартные — сколько раз ему приходилось слышать такие показания агентов, завербованных гитлеровцами в пору войны. Но Рубин добавляет к сказанному:

— Господин Брайткопф, инструктируя меня, трижды напоминал: «Учтите и такой вариант — мы можем напомнить вам о себе и через десять — двадцать лет. Что от вас потребуется тогда — я не знаю. Наш человек вам скажет... Вы будьте готовы к этому».

— Где вы должны были хранить рацию?

— Дома.

— Скажите, пожалуйста, господа из абвера не предусматривали такого варианта: органы госбезопасности разоблачают вас, и вы работаете с абвером по нашему принуждению?

— Да, такой вариант обсуждался. Радиограмма, переданная мною по принуждению, должна была быть подписана тремя буквами — З Р Р.

— Сколько денег вы получили?

— Пятьдесят тысяч.

— Вам не жаль было закопать деньги?

— В какой-то мере...

— А если бы вы сейчас располагали столь же большой суммой, как бы распорядились?

Рубин усмехнулся.

— Вы задали трудный вопрос... Я ни в чем не нуждаюсь... Впрочем, есть одно, на что денег всегда не хватает...

— Что именно?

— Путешествия... Говорят, что это примета старости, говорят, что на Западе более половины туристов — пожилые люди.

— А вам не приходилось совершать вояж в заморские страны? Я имею в виду последнее десятилетие.

— Да, приходилось... В качестве туриста...

— Вы путешествовали один или с женой?

— Один... Жена умерла в пятьдесят девятом.

— У вас есть дети?

— Дочь неродная... Ирина... Двадцати семи лет.— Он тут же счел нужным сообщить ее анкетные данные.

И вдруг неожиданный для Рубина вопрос:

— Где она сейчас? В Москве?

Рубин вздрогнул, но быстро овладел собой.

— В отъезде... Гостит у тети...

— Давно?

— Несколько дней.

И повел разговор о Марии Павловне, о покойнице жене и о многом другом, никак не связанном с событиями, интересующими Бутова. Только вскользь заметил:

— Мне всегда везет на разные неприятности... Ирина поехала со знакомым инженером на прогулку в горы, и с ними приключилась беда... Автомобильная катастрофа. Дочь попала в больницу. Но ничего серьезного...

— А инженер?

— Увы, погиб...

— Вы его знали?

— Да... Инженер Глебов...

— Что вы можете сказать о нем, о его отношении к Ирине?..

Рубин уклонился от прямого ответа, буркнув что-то невнятное о мимолетном знакомстве с Глебовым.

— А молодежь нынче не склонна поверять отцам свои душевные коллизии... К тому же в последнее время мы с Ириной часто, простите, цапались... Перестали понимать друг друга.— Он произнес это сухо и отчужденно.

— Она живет вместе с вами?

— Да. Хотя это и осложняет наше житье. И ее и мое. Что поделаешь, извечная проблема... И вот, изволите видеть, очередной сюрприз.

Захар Романович, не вдаваясь в подробности, сообщил о звонке Марии Павловны, рассказавшей про злополучную телеграмму и карпатские приключения Ирины. В изложении Рубина — в достаточной мере лаконичном — все случившееся следует отнести за счет взбалмошности девчонки. Рубин предполагает, что она же виновница аварии. Вздорная девушка.

— Что вы знаете о человеке, подписавшем телеграмму?

— На мой взгляд, дурной человек. Это один из пунктов наших раздоров с Ириной. Она собирается выйти за него замуж, а я возражаю, хочу объясниться с ней, но она не очень склонна к душевным беседам со мною.

— Кто он — Сергей?

— Студент... Хотя уже давно вышел из студенческого возраста. После школы — вуз. Экономический факультет. А мечтает стать журналистом...

Бутов встал из-за стола.

— Благодарю за ваше сообщение, Захар Романович. Оно побуждает нас незамедлительно принять кое-какие меры. Я, кажется, не ошибся, вы заявили, что гость собирался покинуть Москву в первой половине дня. Не так ли? Надеюсь, что среди тех фотографий, которые мы предъявим вам, вы сможете узнать господина Ивена? Ну, и отлично... Попрошу ваш телефон, адрес... А это мой телефон... Жду вашего звонка. В шесть вечера. Дома изложите письменно все рассказанное, а если сочтете нужным, укажите и дополнительные сведения. Прошу вас...

Захар Романович медленно поднялся, слегка трясущейся рукой взял лежавший у ног свертон, хотел было направиться к двери, но не решился: он готовился совсем к другому «эпилогу». Как понять это «прошу вас», куда и как ему надлежит сейчас следовать? Он уже забыл, что Бутов просил его дома изложить все письменно. И потом, каковы они, в подобных ситуациях, нормы поведения: имеет ли он право подать руку на прощание? Или теперь уже... В нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, доктор медлил, не зная, как быть. Бутову была хорошо знакома эта поза. Он улыбнулся и кивнул на узелок.

— Никак, в баню собрались?

— Почему же в баню? — удивился доктор.— А, вы про узелок?

— По программе инженера Забелина из «Кремлевских курантов»...

Доктор покраснел, перекинул узелок из одной руки в другую и с тоской оглянулся по сторонам, словно кто-то еще должен быть в комнате, тот, кто внесет ясность.

— До Забелина мне далековато. Разное у нас амплуа. А что касается узелка, то угадали.

— Что же это вы? Нельзя так. Меньше прислушивайтесь ко всяким сплетням... Честь имею кланяться. Вечером позвоните.

ЗВЕНЬЯ

Генерал Клементьев внимательно прочел сообщения Михеева и теперь ждал возвращения Бутова из приемной. Воздерживаясь от вызова сотрудников по другим вопросам, коротко отвечая на телефонные звонки, он тем самым как бы выкраивал время пообстоятельнее обдумать случившееся. А случилось не так уж мало: странная, адресованная Ирине телеграмма; автомобильная катастрофа; гибель Глебова; настораживающие показания Ирины; материалы, найденные при обыске комнаты Глебова, и, наконец, визит ее отчима. Звенья, звенья... Составят ли они единую цепь? И есть ли тут вопросы для контрразведывательной службы?

...Из приемной Бутов сразу же направился к Клементьеву. Генерал уже знал, что полковник беседовал с тем самым Рубиным, чья неродная дочь в немалой мере озадачила контрразведку. Он, как и Бутов, был уверен, что разговор с доктором Рубиным внесет какую-то ясность в сообщения Михеева, над каждым из которых стоит несколько генеральских вопросительных знаков. Часть этих вопросов теперь, вероятно, можно будет перечеркнуть. Но, увы, над всем этим запутанным делом, по-видимому, придется поставить один большой вопросительный знак. Во всяком случае, меньше всего генерал ожидал, что Рубин пришел в КГБ не в прямой связи с «Карпатской рапсодией» — так он для себя окрестил историю с телеграммой Сергея. Оказывается, явился совсем по другому и куда более серьезному делу. Впрочем, генерал сразу же заметил Бутову, что ему еще не ясно — «другое» ли это дело, или две операции взаимосвязанные. Сократов лабиринт!..

— Ваши соображения, Виктор Павлович?

Бутов не спешит высказывать их. И ответ его — это скорее неторопливые размышления вслух:

— Я не убежден, что доктор сказал всю правду. Послевоенные годы пока еще остались в тени... Мне показалось, что Рубину не очень-то был по душе интерес и его туристскому вояжу. Так же, как и разговор о Глебове... И еще на одно обстоятельство хотел бы обратить ваше внимание... С господином Ивеном он встречался вчера вечером. Ночь на обдумывание — достаточно. Доктор явился и нам около двенадцати. На работе он сегодня не был,— для ученых такое допустимо. Почему же не пришел с утра? Не решался? Утром он уже знал о телеграмме, об автомобильной катастрофе, о смерти Глебова. Звонила тетя Маша. Это он сам рассказал нам. Нехотя, но рассказал. Не по своей инициативе. Только в порядке ответа на мои вопросы. И весьма лаконично. И потом Глебов... Его уже ни о чем не спросишь. Должны довольствоваться тем, что скажет Ирина,— а тут может и не быть всей правды. Телефоны Захара Романовича и Ирины нашли не в записной книжке Глебова, а на отдельной бумажке. Деталь: записано не «Рубин», а «З. Р. Р.», и не «Ирина», а «И. Р.». Бумажка спрятана вместе с материалами, компрометирующими их владельца. Конспиратор был он, видимо, не из бывалых...

Они не стали принимать никаких решений: еще слишком мало проверенных и бесспорных фактов. А только такие здесь привыкли класть в основу обвинений или оправданий. И Бутов, продолжая размышлять вслух, говорит:

— Пока не смею делать какие-либо выводы, товарищ генерал...

— А сейчас и не надо этого делать. Для нас с вами ясно: возникла ситуация, разобраться в которой надлежит контрразведчикам. И если доктор сказал правду, а нужных доказательств к тому не имеется, то нам с вами требуется их добыть. Кстати, Виктор Павлович, как считаете, здоров ли он психически, доктор Рубин?

— Что ж, лицо у него такое, что можно и об этом подумать. Следы крайнего утомления, нервного потрясения. Немало, видно, поволновался, прежде чем войти сюда. Шел и нам с предосторожностями, может, боялся людей Ивена — такое допустимо. А возможно...

— Что, Виктор Павлович, решили сопоставить два эти совпадающие по времени события — происшествие в Карпатах и приезд Ивена в Москву?.. Надо все же полагать, что берлога не послала бы своего человека к нам, если бы люди там знали о карпатских событиях. Нет, не думаю, чтобы они умышленно так планировали! Но вопрос не снят.— Генерал умолк, задумался.— Да-а-а... Я вижу, тут много такого, что требует глубокого анализа и тщательной проверки... У вас в отделе сейчас достаточно людей? Справитесь или дать подкрепление?

— Пожалуй, обойдусь своими силами.

— Тогда действуйте!— Генерал говорил отрывисто, энергично.— Сформируйте группу, и пусть она больше ничем не занимается. Спать придется мало, выходных не предвидится. Вызывать с докладами буду часто. Всех вместе и по отдельности. Руководство группой за вами... Разработайте возможные варианты тактики Рубина — Ивена. И, конечно, тех, кто стоял и стоит за ними...

Бутов молча делал заметки в блокноте.

— Мы не можем не считаться с тем, что еще ходят по нашей земле бывшие агенты разведывательных органов фашистской Германии. Одни отбыли свой срок наказания, другие обошлись без него... И теперь кое-кто будет пытаться использовать этих людей для разжигания новых очагов войны.

Да, генерал считал необходимым время от времени напоминать своим сотрудникам, что контрразведка — это обеспечение политики партии, это в конечном счете забота о благоденствии народа. И требовал за каждой, пусть на первый взгляд малозначащей акцией вражеской разведки видеть большую политику.

— Надо знать,— продолжал он,— таких деятелей, как хозяева Рубиных... Они ничем не побрезгуют, пойдут на любую провокацию.

— Значит, вы уже зачислили Рубина...

— Я его никуда не зачислял,— глухо проговорил генерал.— Я лишь фиксирую факты. Далеко не к каждому бывшему агенту гитлеровцев пошлют из иностранного разведцентра связного. А к Рубину прислали... Почему именно к нему? Почему вчера, а не пять, десять, пятнадцать лет назад? Мы с вами пока не знаем. Ответ известен Ивену и, возможно, Рубину. Ищите... Надо подобрать опытных людей. Поиск шпионского снаряжения, зарытого доктором, поручите Тропинину. Помнится, он принимал участие в подобных операциях.

— Я тоже имел его в виду, товарищ генерал. Думаю, к завтрашнему дню Тропинин вместе с Рубиным отправится на место.

— Не спешите, Виктор Павлович. В ближайшие дни Рубину нельзя отлучаться из Москвы. Противник может установить за ним наблюдение — и внешнее и по телефону. В таком случае его исчезновение хотя бы на день-два даст повод для подозрений. Это лишит нас инициативы. А через несколько дней, пожалуй, можно уже будет отправить его с Тропининым.

Продолжение следует.

Вне игры

«ТОВАРИЩ ЭВМ»

Прежде всего Бутову надо узнать, улетел ли Ивен из Москвы, если он действительно Ивен. «Предположим, что все будет так — Ивен сегодня отбыл. Конечно, это в какой-то мере подтверждает рассказ доктора. Но, может быть, весь рассказ Захара Романовича — всего лишь легенда?» Потом полковник думает о Глебове, Ирине, Сергее... «Досадно, что сегодня не удастся побеседовать с Сергеем: он уехал по заданию редакции на большую сибирскую стройку. От какой редакции — газеты или журнала, на какую стройку,— пока неизвестно...»

...Капитан Яков Михайлович Тропинин явился точно в назначенное время. Тропинин сегодня ночью дежурил, но Бутов решил все же потревожить его...

— Здравствуйте, товарищ полковник! По вашему вызову...

В плане действий на долю Тропинина выпала едва ли не самая трудная задача: попытаться найти снаряжение Рубина, якобы зарытое им двадцать пять лет назад, когда гитлеровцы забросили его на нашу территорию в качестве своего разведчика.

— Дело трудное, Яков Михайлович. Четверть века... Хочется верить, что Рубин действительно заинтересован в розыске. Если, конечно...— Бутов было задумался, потом продолжил решительно: — Позволю себе напомнить, что все рассказанное доктором Рубиным еще не следует расценивать как факты абсолютно достоверные. Варианты могут быть самые неожиданные. В поездке вам следует быть и психологом и аналитиком. Ищите снаряжение Рубина и одновременно наблюдайте за ним самим. Нам важно уловить, что он при этом будет чувствовать.

— Ясно...

И все.

— Однако же...— улыбнулся Бутов.— Сегодня вы, кажется, превзошли самого себя.

— В чем?

— В лаконизме. Иногда это свидетельствует об отсутствии мыслей...— все с той же улыбкой заметил Бутов.— Нет-нет, к вам это не относится. Не обижайтесь, пожалуйста. Я лично предпочитаю немногословных. Не забываю народную мудрость: пустая бочка громче всех гремит... Приступайте к делу, подберите помощников из наших оперативных сотрудников, договоритесь с командованием спецчасти о группе солдат и через несколько дней вместе с Рубиным отправляйтесь в район его предполагаемого приземления. Ни пуха ни пера вам, товарищ молчальник...

Проводив Тропинина, Бутов бегло просмотрел почту вчерашнего дня, сводку событий за минувшие сутки, запер бумаги и спустился тремя этажами ниже. Здесь царство машин, электронных аппаратов... Рядом с разведчиками, контрразведчиками, порой мучительно призывающими на помощь годами оттренированную память, появился спокойный, неторопливый, деловитый, весьма уверенный в себе «товарищ ЭВМ» — электронно-вычислительная машина. Она способна запомнить, сопоставить и проанализировать самые запутанные комбинации сложных людских отношений, переведенные на специфический язык перфолент.

Бутов запрашивает у «товарища ЭВМ»: проходили когда-либо дела Зенерлиха, Брайткопфа, Квальмана, и если да, то — номера этих архивных дел, а также номера дел с материалами той самой разведшколы, в которой готовили и отправке в СССР военврача Рубина; в этой связи надо посмотреть дела бывших военнопленных Андрея Воронцова и Захара Рубина. Не очень-то рассчитывая на успех, Бутов передает исходные данные и на Глебова и на Крымова: а вдруг ответит! И еще один вопрос — происшествия с нашими туристами за рубежом, ну, хотя бы за последние десять лет...

...В восемнадцать ноль-ноль на стол Бутова лег список иностранных туристов, улетевших сегодня из Москвы в первой половине дня: 93 фамилии. Ивена в списке не оказалось.

Бутов посмотрел на часы. «Почему не звонит доктор? Условились на шесть, а теперь уже шесть тридцать. Почему не пришел? А может быть, это и к лучшему: небезынтересно мне самому побывать у него дома».

...К телефону подошел Рубин. Не ожидая вопроса, упрека, стал объясняться:

— Тысячу извинений... Виноват... Я вам рассказывал о семейных неприятностях. Только сейчас междугородная соединила... Спасибо, Ирина чувствует себя лучше... Нет-нет, ради бога, что вы... Если нужно, то я готов... О, вы очень любезны. Рад буду видеть вас у себя. Тысячу извинений!

НА ОДНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

Рубин встретил Бутова теми же «тысячью извинениями». Он один в квартире, у него сердечный приступ, а ухаживать за ним некому, и если что случится... Бог ты мой, он, Захар Романович, не хочет и думать об этом.

Рубин пригласил гостя в кабинет и снова извинился:

— Я вас оставлю на несколько минут в одиночестве, приведу себя в порядок.

Бутов стал разглядывать большой сумрачный кабинет, напоминавший комиссионный магазин. Тут соседствовали ранняя итальянская бронза и старинные русские канделябры, инкрустированный столик и резной шкаф с потертыми дверцами. И картинная галерея: русская классика, французы-импрессионисты. Вещи, окружавшие Рубина, были подобраны так, словно хозяин старался подчеркнуть: «Вот каков я! Полюбуйтесь!..» Все здесь было напоказ: и книги, и фарфор, и какие-то металлические древности, и чеканный кувшин работы дагестанских мастеров. И, конечно, иконы.

Наконец, появился Захар Романович — в меру франтоватый, с налетом этакого артистизма — и принес на подносе кофе, коньяк, лимон. Уселся в кресло у журнального столика и вновь принялся философствовать о старости, об отцах и детях, преимуществах и недостатках отдельной квартиры, когда тебе за шестьдесят и ты болен, а дети...

— Я вам рассказывал о наших отношениях с Ириной. Как весенняя погода — то дождь, то солнце. Все очень сложно... Нет-нет, что вы, я не жалуюсь...

Виктор Павлович сочувственно кивнул и, извинившись за вторжение в интимный мир, спросил:

— После смерти жены вы сами захотели остаться один или же?..

— Так получилось. Первый год казалось, что нет таких, как она, а потом... Время все исцеляет. Были увлечения, были, но в мои-то годы заново начинать семейную жизнь! К чему связывать себя? Ведь есть свои прелести и в этом, так сказать, свободном образе жизни. В моем доме часто бывают гости. Интересные люди. И все же порой охватывает тоска.— На лицо доктора наползла приличествующая случаю печаль.— Часто вспоминаю Елену. Я вам рассказывал о ней... Единственная и неповторимая...

Доктор выговорился и потянулся за лежащими на столе четками. Бутов уже давно обратил на них внимание, так же как и на прекрасное немецкое издание путеводителей по Анкаре и Стамбулу, красовавшихся за стеклом книжной полки.

— Вы жили на Кавказе?

— Нет. Почему вы так решили? А, четки?.. У турок тоже принято...

— Вы бывали в Турции?

— В качестве туриста. Я, кажется, уже говорил вам об этом. Четки купил там, хотел подарить их близкому другу, родом из Азербайджана. Но мы предполагаем, а бог располагает. Вернулся в Москву и узнал о его смерти.

— Вы остались довольны путешествием? Интересно было?

— Да, очень... Одесса, Пирей, Афины, Александрия, Каир... Калейдоскоп впечатлений.

— Из Одессы прямо в Пирей?

— Нет, конечно.— Доктор смутился и торопливо стал уточнять маршрут.— Из Одессы — в Варну, Констанцу. Потом в Стамбул...

— Понравился этот город?

— Когда-то это была огромная мастерская роскоши... Я выражаюсь языком гида... И бесчисленное количество легенд.

— А в храме Софии были? Чудо из чудес. Не правда ли? А восточный базар... Вам не привелось, случаем, бродить по улицам этого своеобразного города в городе?

Рубин неохотно ответил:

— Да... Но недолго...— И после небольшой паузы добавил:— Притом без особого удовольствия. Очень шумно и очень многолюдно. Толпы народа... Можно отстать от группы...

И переключил разговор на происшествие с Ириной. В рассказе Захара Романовича для полковника не было ничего нового, и Бутов, терпеливо выслушав — в который уже раз!— жалобы Рубина, счел наконец возможным перейти к делу.

С лица Захара Романовича мгновенно исчезло то предупредительно-благодушное выражение, с которым он по долгу хозяина дома вел светскую, как ему казалось, беседу. Теперь на его лице появилось выражение угодливости: «Я уже не хозяин. Хозяин вы, я полон готовности исполнить любое ваше требование».

— Что прикажете?

— Прежде всего сесть на место и не волноваться. Считайте, что наш интересный разговор о легендах Востока продолжается, хотя мы сейчас с вами займемся былью. Прошу вас...

Виктор Павлович достал из портфеля пачку с фотографиями и разложил их на большом, красного дерева письменном столе. На обороте каждой фотографии стоял номер, соответствующий номеру в списке туристов. Рубин сразу же ткнул пальцем в фото под номером 27. Бутов заглянул в список — Егенс.

— Но это не Ивен, Захар Романович. Прошу вас, посмотрите еще раз.

— Он, никаких сомнений... Это он. А насчет фамилии... Мог и ослышаться... Нервы, проклятые нервы...

Они выпили по рюмке коньяку, закусили лимоном, недолго поговорили на любимую доктором тему — о неблагодарности детей — и распрощались.

Итак, иностранец, напомнивший доктору Рубину о его давних обязательствах перед германской разведкой, сегодня действительно отбыл из Москвы. Один из вопросительных знаков можно перечеркнуть. А остальные? Увы, нет еще у полковника уверенности в том, что на Рубина он может положиться.

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

Как и было условлено, Захар Романович пришел к Бутову в комитет на следующий день утром. Он выглядел еще более усталым. Доктор молча протянул полковнику папку, в которой лежали двадцать страниц, исписанных убористым почерком,— заявление в КГБ. Так же молча он подписал протокол опознания. Подписал и положил руки на колени — знакомая Бутову поза: так обычно делают люди, лишенные свободы и уже смирившиеся с этим прискорбным обстоятельством. Доктор робко посмотрел на полковника, затем на Тропинина, оформлявшего протокол, как бы спрашивая их: «Ну, а дальше что? Что теперь ждет меня? Кто я — подсудимый, подследственный?» А Бутов, перехватив этот вопрошающий взгляд, тоже про себя повторил: «Кто он?»

— Так вот, значит, договорились мы с вами, Захар Романович, о следующем...

— Слушаю...

Но Бутов, опершись головою на руку, не спешил.

— Придется на несколько дней оторвать вас от работы, от большой, так сказать, науки.

Доктор совсем сник, по-своему поняв заявление полковника. Виктор Павлович, не повышая голоса, объяснил:

— Ну вот и всполошились... Зря... Сразу дурные мысли. В экспедицию отправитесь вот с этим обаятельным молодым человеком. Знакомьтесь — более красноречивого молчальника, чем он, не встречал. Итак, в путь-дорогу. На поиски зарытого вами снаряжения. Считайте, что сейчас это клад бесценный...

— Да, я понимаю. Драгоценный клад. И я приложу все силы...

— А как же иначе? Решается ваша судьба. Прошу...

Тропинин поднялся с места, подошел к двери и пропустил впереди себя Захара Романовича. В кабинете капитана висела крупномасштабная карта района былого приземления Рубина. Красным кругом была обведена деревня Плетневка — место поиска...

Пока Тропинин готовился к экспедиции, Бутов погрузился в дела давно минувших дней. Вот они лежат перед ним, аккуратно подшитые, пронумерованные, пожелтевшие, тщательно оберегаемые. «Товарищ ЭВМ» уже успел сработать. Бутов листал доставленные из архива дела и одобрительно кивал: «Все пока правильно!»

...Справки на Брайткопфа, Квальмана.

Брайткопф, сын офицера, родился в 1910 году, окончил академию генерального штаба. Жена его — родственница небезызвестного Кальтенбруннера. На фронте возглавлял отдел абвера и был начальником диверсионно-разведывательной школы ЦС 273/В. Считался специалистом по вербовке агентов среди военнопленных. Брайткопфа характеризовали как разведчика умного, хитрого, с хорошей подготовкой. Начальство абвера ставило его в пример и не раз жаловало наградами.

...Помощник обер-лейтенанта Квальман. Невзрачная личность. В диверсионно-разведывательной школе ведал несколькими конспиративными квартирами, где жили и обучались

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—39.

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

будущие агенты разведцентра. Других обязанностей у него не было.

Полковник тщательно изучил и хранившиеся в архиве так называемые фильтрационные материалы на Рубина и Воронцова. Но тут ничего нового. Какие-то малозначащие детали.

В той или иной форме архивные дела косвенно подтвердили многое из того, что еще вчера казалось сомнительным. Но подтвердили только до определенного рубежа: до того часа, когда гитлеровский агент с документами советского военврача Рубина был переброшен на нашу землю. Ну, а дальше — что делал, как вел себя, где был, вступал ли с ним в контакт и почему сразу не явился с повинной, а только сейчас? В какой связи находятся Сергей, Владик, Глебов, злополучная телеграмма и визит Егенса-Иевиа? Случайно ли, что все эти события предшествовали решению Захара Романовича пойти в КГБ? Вопросов таких возникло множество.

А «товарищ ЭВМ», продолжая интересоваться операцией «Сократ», подбросил еще один вопросительный знак. Да еще какой!.. Захар Рубин фигурирует в протоколе допроса «медички» — иностранной студентки, в свое время учившейся в Московском медицинском институте и работавшей по заданию вражеской разведки.

«...— У вас в записной книжке на букву «Р» значится «Зах. Ром. Руб». Его телефон и адрес. Кто это?

— Доктор Захар Романович Рубин.

— Что вы можете сказать о нем?

— Он был в списке двадцати москвичей, на которых я представила шефу соответствующую разработку.

— Что входило в эту разработку? Вы помните?

— Да. Рубин был в плену. Бежал. Снова служил в Советской Армии. На фронте познакомился с будущей женой, актрисой, которая вскоре после войны умерла. Живет в одной квартире с приемной дочерью Ириной, студенткой. Длительное время он достаточно активно занимался частной практикой. Потом бросил. Переквалифицировался. Занялся наукой. Работает в научном институте специального назначения, проявил себя талантливым исследователем. Сейчас медики очень решительно вторгаются в сферу физиков, химиков, космонавтов... Рубин — один из таких медиков. У него большой круг знакомых. Жена ввела в дом актеров, литераторов. Они и после ее смерти — частые гости Рубина. А сам хозяин принадлежит к числу веселых, жизнелюбивых людей, которые, несмотря на свои годы, не потеряли вкуса ко всем земным благам...

— Где вы познакомились с доктором Рубиным?

— На его публичной лекции. Точнее, не с ним самим, а со студентом-медиком, который хорошо знал Ирину и ее близкого друга. Медик познакомил меня с ними... Так я вошла в дом Рубиных».

...Бутов попытался было найти какое-то продолжение линии Рубина в архивах контрразведки, но не нашел. И огорчился: «Жаль, жаль. А, пожалуй, могли бы и заинтересоваться... Впрочем, кто его знает — бывает ведь и так: агенту разведки человек показался заслуживающим внимания, а на поверку — пшик... Зря только тень бросили».

Поводов для огорчения у Бутова предостаточно... Сергей вылетел на сибирскую стройку. На какую, от какой редакции — еще неизвестно. Но странное совпадение: почти одновременно улетел из Москвы Владик. Попросил на работе несколько дней отпуска за свой счет — по семейным обстоятельствам — и улетел. И тоже в неизвестном направлении. Ирина еще у тетки. Тревожные прогнозы врача отпали, но она все еще в таком тяжелом состоянии, что пока не стоило бы с ней беседовать. Глебов мертв! Нити оборвались. Пока приходится довольствоваться докладом Михеева. Есть в нем небезынтересная деталь. Старушка, хозяйка квартиры, где жил Глебов, проявляла повышенный интерес к частной жизни своих квартирантов. Михеева она встретила настороженно, а потом смахнула уголком платка слезу и со свойственной старым женщинам говорливостью стала рассказывать о Глебове всякую всячину. Человек он был общительный, зарабатывал много и деньгам счета не вел. А и деньгам деньги: как-то прилетел из Москвы и объявил, что по лотерейному билету «Волгу» выиграл. В Москву часто летал, мать у него там, старушка. Хотя сынок не очень-то уважительно говорил о ней: «Задержалась... Умирать старушенции моей пора».

О последних днях жизни Глебова она ничего, с ее точки зрения, примечательного сказать не может. Вот разве только звонок из Москвы. В конце апреля вечером, когда Глебова не было дома, звонил из Москвы какой-то Владик. Еще раз он позвонил в тот же вечер часов в одиннадцать. Старушка запомнила слова Глебова: «Не беспокойся. Обязательно встречусь с ней. Все будет, как условились»... Можно ли надеяться на память старушки и есть ли уверенность, что речь шла об Ирине? Ну, а если так, то в чем смысл свидания Рубиной и Глебова и кто кому передавал катушки с антисоветскими записями? Неясно... Глебов — Ирине?.. Вероятный вариант: хотел прощупать ее настроение. Но в таком случае Глебов действовал весьма топорно. Даже не верится.

Бутов ведет диалог с Бутовым, и Бутов напоминает Бутову: «А где же учет обстоятельств того времени — активизация контрреволюции в Чехословакии, ее ставка на молодежь? Противник пустил в ход все средства информации, а скорее дезинформации, его рации круглые сутки передавали «последние известия из Праги».

...В тот вечер генерал Клементьев и полковники Бутов долго обсуждали самые неожиданные и порой исключающие одна другую версии в поисках ответа на вопрос: кто он, доктор Рубин? Человек, который когда-то оступился и ныне честно пришел с повинной, или это враг, сбивающий контрразведку со следа? В любом варианте нити тянутся за рубеж, в штаб-квартиру одного из иностранных разведцентров.

Генерал счел нужным напомнить про английского «туриста», арестованного в Москве в тот самый момент, когда он по заданию иностранной разведки вручал «верному человеку» альбом, в который были запрятаны наборная касса миниатюрной подпольной типографии и письмо, адресованное лично «агенту»: «Вам присвоен персональный радиопозывной номер «УЗУ». Агенту вручили также инструкцию по приему и расшифровке кодированных передач и сам код. И пленку с текстами антисоветских листовок. И антисоветские брошюры. «Все эти брошюры, листовки,— показал на следствии английский «турист»,— предназначались для распространения среди молодежи. Но это только часть дела. Я вручил агенту адреса видных общественных и политических деятелей на Западе с такой инструкцией: проживающие в СССР люди, верные НТС, перепишут эти листовки и перешлют их по указанным адресам за рубеж, чтобы создать там впечатление, будто в СССР существует антисоветское подполье». Генералу Клементьеву, полковнику Бутову, советским контрразведчикам важно сейчас с максимальной достоверностью установить, какое место в этих планах иностранных разведцентров отведено тем, с кем их столкнули будни службы. Может, еще и не все «всплыло»? Может, затевается не только идеологическая диверсия? Ведь Захар Романович причастен к исследованиям весьма секретным...

«ЗРЯ ШУКАЕМ»

Солдаты работали весело, энергично. Знали, что ищут нечто необычное, хотя и не были посвящены в суть дела. Захар Романович указывал все новые и новые ориентиры. Берег реки... Спуск с моста... «Вон под той одинокой плакучей ивой...» Косогор... «Нет, нет, кажется, здесь, на опушке соснового бора...» И все безрезультатно. Тропинина ничем не удивишь, из себя не выведешь. Но и у него уже появлялось желание заставить этого лысого человека копать землю вместе с солдатами: «Заварил кашу, пусть сам и расхлебывает. А то все командует. Здесь ищите, там копайте».

Шел уже десятый час напряженных поисков, когда один из солдат, рывший землю с каким-то остервенением, положил лопату и сказал: «Ушлались, товарищ начальник. Может, отбой?..» Тропинин испытующе-вопросительно посмотрел на доктора: «Что скажете на сей счет?» Но доктор молчал, хотя всем своим видом взывал: «Умоляю вас, давайте еще попытаемся...» Тропинин молча взял в руки лопату и сам стал рыть землю. С точки зрения законов воинского воспитания ответ солдату был не из лучших, но должное впечатление произвел.

На следующий день на рассвете поиски возобновились. Но безуспешно. «Нема,— мрачно буркнул все тот же солдат.— Це и малому хлопцу ясно — зря шукаем...»

И хотя Тропинин, не проронивший за весь день ни слова, отбоя не давал и даже сердито поглядывал на солдата-скептика, Захар Романович окончательно сник. Грузный, усталый обмякший, сидел он на обомшелом пне. Потом сказал: «Значит, все... Конец...— тяжело вздохнул и спросил Тропинина: — Вы тоже считаете бесполезным продолжать работу?»

Смотрел ли Тропинин, как работают солдаты или сам работал вместе с ними, он не переставал наблюдать за доктором. Ему нужно было уловить тончайшие оттенки настроения Захара Романовича, чтобы ответить себе, а потом Бутову на сложный психологический вопрос: действительно ли Рубин потрясен безрезультатностью поиска или же только ловко разыгрывает это потрясение, так как точно знает, что ничего он тут и не закапывал? «Сикисли, Захар Романович?». «Сикис». «Ну и зря!» Доктор неопределенно пожал плечами. «Двадцать пять лет прошло... Четверть века... Поймите же — человеческая память бессильна в поединке со временем. Я надеюсь, что это будет учтено...»

Тропинин ничего не ответил. Сложная психологическая коллизия сложилась на этой опытной весенними дождем земле! Нет, он, Тропинин, не берется дать однозначный ответ при всем своем искусстве в психоанализе. Так он и доложил по возвращении Бутову. Неизвестно, что там на душе у Рубина, о чем думает сейчас, на что надеется, но на лице его — врачность и потрясенье. Потрясение человека, хорошо понимающего, какое это серьезное основание для того, чтобы поставить под сомнение достоверность двадцати исписанных им страниц.

ДРУЖКИ

Не на все запросы Бутова «товарищ ЭВМ» ответила сразу... Инженер, словно извиняясь, заметил, что для оператора слишком скромны ис-

ходные данные. И все же он полагает, что сможет в какой-то мере помочь племяннику.

Когда Бутов уже перестал рассчитывать на ЭВМ, отыскались дела, в которых фигурировал Сергей. Его фамилию — Крымов — и скудные данные о нем Бутов дал инженеру, мало надеясь на успех. Но всякое бывает — вдруг да откликнется!

И вот «товарищ ЭВМ» откликнулся, да еще как!

...Дело Сергея Крымова вел Михаил Петрович Клюев. Бутов хорошо помнил этого одаренного чекиста, увы, рано ушедшего из жизни — тяжелая болезнь почек. Она-то, видимо, и помешала ему до конца проследить за судьбой Сергея. А жаль, очень жаль! Все могло сложиться по-другому. Конечно, сейчас ему, Бутову, легко рассуждать: «Упустили... Не довели до конца... Не уберегли парня...» А Клюеву-то каково было? И в конце концов КГБ не исправительно-трудовая колония, не интернат для трудновоспитуемых. И обстоятельства тяжко сложились. Бутов не уверен, что сумел бы сладить с этими обстоятельствами, окажись он на месте Клюева.

Ох, как все в жизни сложно, чертовски сложно вопреки всем логическим схемам!

...Сигнал тревоги подала Анна Михайловна Семенова, преподавательница английского языка в одном из московских вузов. Сумбурное ее письмо в милицию передали в КГБ, видимо, писалось оно под свежим впечатлением услышанного от сына, сводилось в конечном счете к невероятной истории.

«Сегодня вечером Толик, мой сын, сказал мне, что имеется возможность легко решить проблему дубленки, о которой он мечтает целый год. Я спросила: «Каким образом?» Он ответил, что у его приятеля Сергея есть знакомый, который по сходной цене продает доллары, а на них уж запросто можно купить в соответствующем магазине «люксовую», как выразился Толик, дубленку. Я тут же накинулась на сына: «Ты с ума сошел, как можно даже думать о такой покупке?» Он снисходительно усмехнулся и сказал: «Мамочка, не я первый и не я последний его клиент». Я потребовала от Толика немедленно прекратить всякие связи с этой дурной компанией и припугнула, на ходу выдумав историю с покупкой долларов, печально закончившуюся для ее участников. Потом я стала расспрашивать о Сергее, о молодом человеке, предлагающем доллары. Старалась говорить как можно спокойнее, не держать сына, старалась убедить его в том, что он шагнул на опасную дорожку, напоминала об уверенном отце, кристально честном коммунисте, не признававшем никаких компромиссов с совестью. Но сын дерзко огрызнулся: «Предавать друзей постыдно. Так говорил и отец. Считай, что у нас не было никакого разговора». И, не пожелав далее объясняться, ушел.

Я пишу эти строки, оставшись одна со своими тревожными мыслями. В голове — хаос. На душе — невыразимая тяжесть и страх за сына... Боже мой, что с нами будет?! Не стану скрывать — первое, о чем я подумала: никому не рассказывать об этом разговоре. Но потом, после долгих размышлений, во имя любви к сыну я решила обратиться к вам... Не трогайте Толика, но удержите его от... Даже не знаю, от чего его надо удержать... Спасите Толика, но не трогайте его. Это все, что осталось у меня после смерти мужа... Как спасти и не трогать? Я не знаю... Вы лучше знаете...»

Анатолия «не тронули». Выяснилось, что на вечеринку он попал случайно, с компанией Сергея не был связан. Но с самим Крымовым находился в отношениях дружеских. Однажды на улице, встретив парня в роскошной дубленке, Толя сказал Сергею: «Эх, мне бы такую! Деньги родительница даст». Сергей тут же среагировал: «У меня сегодня народ соберется. Приходи. Познакомлю с одним... По части дубленок — дока... Да и не только дубленок. Зеленеькими балуется». Но, увы, «дока» на вечеринку не пришел. Сергей — он уже изрядно «нагрузился» — стал успокаивать Толика: «Ты не расстраивайся, друг. Готовь эквивалент, а я сам тому деятелю вручу...»

В КГБ Анатолию не сказали, что сигнал получен от матери. «Пришло письмо от одного из участников вечеринки». Беседа была долгой. Парень понял, что к чему, куда катился... Вопрос о Толике вскоре был снят.

С Сергеем все оказалось куда сложнее,— этот, кажется, шагнул уже далековато...

Вызванный в КГБ, студент Сергей Крымов сначала держал себя довольно уверенно, даже несколько дерзко. Отвечал на вопросы коротко: «да», «нет», «не помню», «не знаю». Или же молча пожимал плечами — дескать, понятия не имею. Упрямство он выдавал за характер, и Клюев терпеливо искал тот самый заветный ключик, что помогает чекисту, как и педагогу, проникнуть в душу человека, в мир его противоборствующих чувств, мыслей. Но, увы, «ключик», словно призрак: мелькнет и исчезнет. И тогда Клюев повел разговор на суровой ноте.

— Вы представляете, чем это все может кончиться для вас?

Сергей ухмыльнулся и, не глядя на Клюева, сказал:

— На лекции по истории партии нас знакомили с решениями о ликвидации последствий культа личности. Я полагаю, что эти решения еще никто не отменял...

— Так же, как никто не отменял уголовный кодекс... Пусть это запомнит молодой человек, не очень глубоко разбирающийся в существе решений партии...

Клюев сказал это спокойно, в упор глядя на слегка растерявшегося Сергея.

— Вы поняли смысл сказанного мною?

Сергей молчал.

— Вы не хотите отвечать? Или вам не все ясно? Ну что же, не будем спешить. Дадим вам время на раздумья. Вам придется задержаться здесь...

И Сергея Крымова увели в камеру.

На следующий день в КГБ явился Вячеслав Владимирович Синицын, доктор технических наук, руководитель отдела одного из институтов электронной промышленности.

— Мне сказали, что ваши арестован мой племянник, студент Сергей Крымов.

— Это не совсем так,— ответил Клюев.— Будем более точны... Закон есть закон. Мы вынуждены были задержать Сергея Крымова с санкции прокурора. Однако я надеюсь, что сегодня или завтра он вернется домой. Если вы поможете нам...

Бутов внимательно читает запись беседы Клюева с Синицыным. Человек в летах, Синицын, однако, по долгу службы часто выезжал на специальные объекты. И тогда дома оставался племянник, в чье распоряжение почти бесконтрольно поступала не только квартира, но и дядюшкины деньги — они лежали в секретере, и счет им в этом доме не вели.

Сергей, сын старшего, горячо любимого Синицыным брата, остался сиротой... Брат погиб в самом начале войны, а вскоре умерла и мать Сергея. Четырехлетний мальчик оказался на захваченной гитлеровцами территории один, без родственников. Не пропасть ему не дали, ибо не бывает для русских женщин в такое грозное время «чужих» детей — одна из них и приютила его. Правда, слишком уж многое и тому времени пережил мальчик — он заикался, страдал эпилепсией.

После войны Синицын тоже оказался одиноким и разыскал племянника в интернате. Там он был записан Крымовым. Говорили, что это фамилия женщины, которая приютила мальчика во время оккупации. Так он и остался Крымовым.

Синицын увез Сергея в Москву и поднял на ноги чуть ли не всю медицину. С приступами и заиканием было покончено начисто, но неврозы остались никуда-шиными. В школу мальчик пошел года на три позже обычного, что послужило причиной его больших душевных переживаний. Но в общем-то все обошлось с минимальными потерями.

В школе Сергей учился хорошо. Был редактором стенгазеты, в которой частенько публиковал свои стихи. Увлекался автоделом и в десятом классе получил любительские права. Приняли его в комсомол, стал активным общественником. С детства был он парнем компанейским. Еще в школу не пошел, а уже появился у него приятель — Владик. Дружба эта была пронесена через все школьные годы, хотя, по уже упомянутым причинам, учились они в разных классах.

О Владике Синицын рассказывал Клюеву неохотя да и не очень одобрительно. А вот об Игоре Крутове — горячо и даже чуть-чуть восторженно. В школе он стал закадычным другом Сергея. Комсорг, большой душевной чуткости парень, спортсмен.

Но вот, так сказать, на сцене появляется Зося... Красавица! Правда, старше Игоря. Он школу кончал, а она уже студентка.

— Я все о них знал,— рассказывал Синицын.— Нет, не от Сергея. Племянник не любил говорить о школьных делах. Игорь исповедовался мне... Как на духу. Не знаю, чем был обязан. Так вот, слушаю я душеизлияния Игоря и деликатно напоминаю ему: «Сейчас, братец, не до амуров. Экзамены в вуз — дело нешуточное...» Однако не послушался меня. И провалил. А Сергей поступил. На экономический. Сначала в МГУ на журналистский факультет экзамен держал. Два очка не добрал. Очень переживал — у него, кажется, действительно есть склонность к журналистике... А Игорь не унывал: «Эка беда. После армии снова экзамены держать буду». Провожать Игоря в армию молодежь собралась у нас. Выпили. Игорь подсел ко мне и говорит: «Я, дядя Слава, догоню их... Обязательно догоню. Армия — это знаете, какая школа — во! Демобилизуюсь — и в вуз. Только раньше женюсь. Будешь ждать меня, Зосенька?»

Зося покраснела, потупила зеленые глазки и, ни слова не говоря, ласково провела рукой по голове Игоря. Было уже за полночь, когда молодежь разошлась по домам. Сережа пошел провожать Крутова. Вернулся он домой хмурый, и тогда у меня с ним был первый трудный разговор,— первую, как говорят металлурги, коррозию приметил я...

Синицын умолк, лицо его выражало усталость и подавленность. Он сидел перед Клюевым, полузакрыв глаза, и, видимо, обдумывал, как бы это точнее передать житейский смысл сугубо технического понятия: «Коррозия... Душевная ржавчина...»

...В ту ночь он впервые встревожился: откуда это у Сергея? Озлобленность... Снепсис... И вспомнил где-то прочитанное: «Злобные слова иногда рождают злобные деяния».

Вернувшись домой, Сергей зашел к дяде в кабинет. Тот не спал, ждал племянника. Хотелось поделиться с ним впечатлениями. Дядя очень понравился Игорь и не очень — Зося. Сам не знает почему. Но племянник слушал рассеянно. Ему самому, видимо, нужно было что-то сказать. Он начал издалека. «В наш суровый век такие, как Игорь, или вовсе пропадут, или будут прозябать. «Караси-идеалисты» всегда гибнут. А уж нынче и подавно». Синицын вначале не понял — к чему это? Но вскоре Сергей стал изъясняться более конкретно. Оказывается, отец предложил Игорю вариант, освобождающий его от призыва на действительную службу в армии. Завтра же он определит его к приятелю в специальное КБ, работники которого получают броню. А через месяц, если Игорю не понравится работа, он может уйти и заняться подготовкой в вуз. Сын вместо того, чтобы поблагодарить отца, гневно обрушился на него: «Как же тебе могла прийти такая дикая мысль, папа? Неужели ты воображаешь, что я пойду на сделку со своей совестью?» Отец ответил ему коротко: «Глупец и фанфарон». И больше разговаривать с сыном не стал.

— А ведь он действительно глупец и фанфарон,— возмущался Сергей.— Армия, говорит,— это тоже вуз... Ну, что ты скажешь, дядя?— Сергей ждал поддержки, но Синицын угрюмо молчал. Потом спросил: «А ты, как бы ты поступил?» Сергей усмехнулся и, не задумываясь, ответил: «Меня бы такой вариант устроил». И немало удивился, когда дядя сказал «Жаль. Не ожидал от тебя такого. Отец твой придерживался иных принципов».

Объяснение у них было бурное. Синицыну показалось, что он сумел переубедить племянника: по жизни шагать надо так, как шагает Крутов! Увы, он поздно понял: племянник просто смолчал тогда, не считая нужным спорить еще с одним «карасем-идеалистом».

...Синицын, находясь в командировке, занемог, и в самый разгар испытания новой аппаратуры ему пришлось покинуть комбинат. В Москву он прилетел вечером. Часов в одиннадцать переступил порог своей квартиры и ахнул — пьяная оргия. Никто не услышал, как Вячеслав Владимирович открыл дверь, снял плащ в передней, поставил чемодан. Растерянный, безмолвно стоял он в прихожей, прислушиваясь к тому, что происходит в большой комнате. Полуобнаженная девица, вскарабкавшись на стол, держала в руках бокал с вином и пела дрянным, визгливым голосом. Гости кричали: «Браво, детка!», «Браво, Ксана!» — и скандировали: «Лей вино, пей вино!» Потом послышались голоса двух спорящих о чем-то молодых людей, и Синицыну показалось, что один из них, долговязый, не очень уверенно изъяснялся по-русски. Он что-то витиевато говорил о власти технократии и извечной силе частной инициативы. И о том, что в прочно сложившемся обществе застрельщиком перемен ныне всегда бывает молодежь, что в наши дни студенты во всем мире считают себя ответственными за будущее, жаждут бурной деятельности, занимая при этом позицию «анти»: они — антифашисты, антиимпериалисты и антикоммунисты... И тут же рассказывал о какой-то студенческой банде в Америке, объявившей себя «Третьим мировым фронтом освобождения».

Синицын, человек образованный, разбиравшийся в тонкостях ловко замаскированных теорий антикоммунистов, сразу понял, что рассуждения о студентах — «застрельщиках перемен» только присказка, а сказка впереди. Вячеслав Владимирович хотел тут же, при всех устроить племяннику «баню», но совладал с собой и, войдя в столовую, грозно — шум стоял страшный — объявил: «Я попросил бы молодых людей немедленно удалиться из квартиры, хозяином которой является ваш покорный слуга». И показал рукой на дверь...

С племянником он разговаривать не стал, лишь на ходу бросил: «Протрезвись, проспись... Тогда и объяснимся».

Объяснение состоялось на следующий день... Сергей ершился, отбрыкивался, дерзил, говорил, что он уже вырос из коротких штанишек и волен встречаться с кем хочет, что ему противна сама мысль о подчинении его «я» какими-то условностям, законам общества, в котором подавляется воля индивидуума. Вячеслав Владимирович резко прервал Сергея и спросил:

— Кто тот молодой человек, чью речь о власти технократов я имел удовольствие слушать?

— Слушать или подслушивать?— спросил племянник.

Синицын ответил племяннику звонкой оплеухой.

— Сопляк! Я бы отдал десять лет жизни, чтобы не слышать и не видеть все то, что я слышал и видел вчера вечером... Я снова спрашиваю тебя: кто этот молодой человек?

— Аспирант... Занимается в аспирантуре университета...

— Дальше, дальше... Кто он? Откуда? Что у вас общего?

— Он иностранец. Учится в Московском университете в порядке культурного обмена. На законном основании... Ты против моих встреч с иностранным студентом, так, что ли?

— Или ты прикидываешься дурачком, или ты действительно глупец? Я знаком со многими иностранными специалистами, отношения у меня с ними добрые и деловые. Но этот твой знакомый, ловко выражаясь, скользкий тип. Я слышал, как он разглагольствовал. И вся эта гнусная обстановка...

Вячеслав Владимирович поднялся с кресла и, заложив руки за спину, зашагал по комнате. Потом подошел к Сергею и сказал:

— Ты, вероятно, не очень четко представляешь, насколько несовместимы твои странные знакомства с моим образом жизни. Наконец, характер, место моей работы... Тебе наплевать на все. Так вот что, Сергей... Святой долг перед памятью старшего брата обязывает меня продолжать терпеть твое присутствие в моем доме. Но я категорически запрещаю приводить сюда кого бы то ни было. Ясно? И если еще раз... Я вышвырну тебя вместе с твоими нечистоплотными друзьями на улицу...— Лицо его побагровело и... Многое хотел тогда сказать племяннику Вячеслав Владимирович, но сказать не смог: он задыхался, ему не хватало воздуха, на лбу выступили капли холодного пота.

...Через час его отвезли в больницу с тяжелым приступом стенокардии.

Продолжение следует.

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Вне игры

КТО ОНИ?

Сергей получил разрешение каждый день бывать у дяди и после занятий мчался в больницу. Сидел у постели молча, виновато опустив голову. И лишь недели через две он решился повести разговор о том, что все понял и что ему стыдно за свое поведение. Синицын положил руку на колено племянника, улыбнулся и тихо сказал:

— Не надо, Сережа, об этом. Подведи черту... Итак, все позади. Вот и хорошо...

Он не знал, что пройдет время, и опять у Сергея не хватит сил воспротивиться тем, кто станет нашептывать: «Старик, плюнь да разотри! Предки, они все такие. Давай тряхнем, как бывало... Дюк вернулся с каникул, привез канадское виски».

Сергей не выдержал натиска дружков. Собственно, даже не столько дружков, сколько Дюка. Однажды в присутствии Ксаны, той самой девушки, которая у него дома лихо отплясывала на столе, иностранец повел разговор об «инобоязни» русских:

— О, это всемирно известная русская бдительность! Мой дорогой друг Сергей теперь боится приглашать меня домой. Ему, бедному, здорово попало от дядюшки. Это же так страшно — иностранец на квартире советского ученого!..

Дюк вместе с Ксаной весело смеялись, подтрунивая над Сергеем. И он дрогнул... Будь дядя в Москве, все, возможно, сложилось бы по-иному. Но Синицын улетел в Вену, на симпозиум, и Сергей решил, что один раз — единственный и последний — можно «согрешить». Никто и знать не будет.

В среду Синицын улетел в Вену, а в субботу Круглов, старый друг Синицына и его сосед по лестничной площадке, возвращаясь поздно вечером домой, услышал из распахнутой двери синицынской квартиры визг пьяных девиц и чей-то надрывный голос: «Я подымаю свой бокал...» На лестничной площадке спиной к Круглову стояли два молодых человека. Один из них, долговязый, говорил с заметным иностранным акцентом. То ли оба они были сильно пьяны, то ли увлеклись беседой, но на Круглова не обратили внимания, и он услышал, как долговязый отчитывал собеседника: «Так не поступают джентльмены, Владик. Вы обещали принести сегодня рукопись. Где она? Я, кажется, поспешил отблагодарить вас...»

Вернувшись из Вены, Синицын на следующий день заглянул к Круглову. Сосед, не желая расстраивать друга, пытался перевести разговор на шутливый лад, дескать, сами мы в молодости грешили и нет ничего зазорного, если собралась студенческая компания. Но Синицын сразу уловил — Круглов чего-то недоговаривает. И решительно потребовал рассказать все.

...Сергей вернулся домой поздно вечером. Обнял дядю и торжественно протянул ему газету — в ней был опубликован репортаж, подписанный студентом С. Крымовым. Но дядя даже не заглянул в газету, сухо объявил:

— Все, что происходило здесь в субботу, мне известно. Объясняться не желаю. Могу лишь сообщить тебе, моему дорогому племяннику, что в возможно короткий срок ты должен перебраться в общежитие. Ежемесячно будешь получать от меня сумму, равную стипендии. И ни копейки больше.

Места в общежитии Сергею не дали: он не стал рассказывать декану всю правду, а выдумал нелепую байку о капризном дяде. И Синицын разрешил племяннику остаться в его квартире.

Однако, помимо «дядиной стипендии», у Сергея иногда появлялись шальные деньги. По-прежнему собирались, правда, теперь не столь многолюдные и шумные вечеринки, о которых даже сосед Круглов ничего не знал. А Синицын все так же бывал в разъездах...

И вот беседа работника КГБ с Сергеем в присутствии Синицына... Клюев знает о Сергее и его друзьях уже несколько больше, чем Синицын. Известно, что друзей у него много, но студентов среди них мало. Кто они, эти друзья, чем занимаются, где работают, однокурсникам Сергея неведомо. Крымов не очень разборчив в друзьях... Например, Владик, который только-только окончил строительный институт... Подружился Сергей и с аспирантом МГУ иностранцем Дюком. Дюком интересовались в КГБ в связи с кое-какими его валютными операциями. Кажется, аспирант не столько занят обогащением духовным, сколько материальным: спекулирует долларами. Письмо матери Толика — еще одно тому подтверждение. Видимо, именно его имел в виду Сергей, когда говорил Толину о человеке, который «по части дубленок дока»...

Месяца четыре назад Сергей, как утверждают ребята из его группы, «втрескался по уши» в Ирину Рубину. И, кажется, не без взаимности. Она старше его и уже готовится к защите диплома.

...Что скажет Сергей сейчас? Клюев дает ему понять, что, если потребуется, вызовут и Ирину Рубину. Сергей встрепенулся, заерзал на стуле:

— Зачем? Она не имеет никакого отношения...

— А мы считаем, что имеет... Так как, вызвать ее?

— Не надо... Я очень прошу... Не надо!

И тогда Сергей рассказал всю правду. Правда для Синицына оказалась страшнее, чем это можно было предполагать. Дюк, узнав, что дядя лишил племянника возможности тратить деньги без счета, как-то после нескольких рюмок коньяку доверительно сказал Сергею:

— Я имею честь сделать вам, Серж, заманчивое предложение. Вы имеете прекрасное хобби — журналистика... Я уполномочен одним английским прогрессивным журналом платить вам тридцать долларов за репортаж для этого очень интересного издания. Во время каникул вы поедете за счет журнала чудесным маршрутом: Москва — Одесса — Ялта — Батуми. Три недели будете путешествовать. Одну неделю будете писать отчет. Простите, репортаж... Вы даете вашу работу Дюку, и он платит вам наличными. Если Серж согласен, мы будем уточнять объекты...

После возвращения из вояжа Сергей сказал Дюку, что репортаж написать не сможет. Дюк рассмеялся, заявил, что не ожидал такого ответа от интеллигентного молодого человека. Но Крымов действительно ничего не мог написать, кроме того, что можно прочесть в путеводителях по Черноморскому побережью. Иностранцу не хотелось верить, что Сергей уходит из-под его влияния. Он не знал, что в жизни его «друга» появилась Ирина, что в ее доме Сергея не очень жалуют — «шалопут», «студентишка»,— что Сергей тщательно припрятал все деньги — и доллары и «командировочные» — с надеждой в ближайшем будущем щегольнуть перед Ириным отчимом в качестве солидного «журналиста при гонорарах»...

Ирине о своих переговорах с Дюком Сергей ничего не сказал, а поездку в Батуми объяснил так: каникулы плюс небольшое задание редакции одного журнала, где его уже давно приветили. И вот теперь она все узнает.

— ...Для меня это самое тяжелое наказание. Поверьте. Я многое передумал...

До последнего времени Сергей считал, что живет полнокровной, интересной жизнью. И когда при первой беседе с Клюевым тот спросил его: «Вы-то сами довольны такой жизнью?» — он ответил: «Да, конечно...» И был уверен, что это действительно так. Клюев сказал ему тогда: «Поймите, это только видимость жизни...» Теперь, вспоминая разговор с Клюевым, он впервые задумался о глубоком смысле его слов: «Видимость жизни...»

Кто они, эти парни и девушки, окружавшие его, Сергея? Кто они — с виду интеллигентные, образованные, с претензией на высокие духовные запросы? Блеф, мишура, мыльные пузыри, подонки из того особого мира, в котором принято считать, что деньги всесильны, за деньги можно купить все — дубленку, машину, диплом инженера, красивую девушку, красивую жизнь... И будто стоит сейчас перед ним «златокудрый» Саша Аветисов, валютчик, гастролировавший по Занавказью. Из «гастролей» он возвращался с большими деньгами, приглашал всю компанию в «Арагви» и поражал девочек тем, что посылал на чужой столик малознакомым людям коньяки, шампанское и фрукты... «Вот это да! Вот это дает гастроль!» — вздыхали ошеломленные девочки. И Сергей, «болван из болванов», так он сейчас разговаривал сам с собой, старался перещеголять этого хлыща. За дядюшкин, конечно, счет... Среди вздыхающих была красавица Ксана — девушка, которая могла стать блестящим архитектором, а стала спекулянткой. У нее слюнки текли, когда валютчик Саша шептал ей: «фирмы много» — значит, «к берегу прибило» много иностранцев и надо спешить... В переговоры с иностранцами Ксана вступала вместе со своим любовником Давидом Круглянским. Круглянский специализировался на спекуляции заграничными джазовыми пластинками. Среди клиентов Давида попадались и ошалевшие от сионистской пропаганды люди — они платили бешеные деньги за пластинку с записью молитв главного кантора американской синагоги или за шестиугольную звезду, позолоченную, с клеймом, свидетельствующим, что «сделано в Израиле»...

И Сергей снова хватается за голову: «Боги мой, как я низко пал! И почему я не послушался Бориса?» Однокурсник Сергея Борис тоже одно время был в этом сборище ничтожеств. Но кто-то вытащил его из этого омута. Кто? Для Сергея сейчас это уже не столь важно. Для него, Сергея, теперь важно другое: почему он сам не вырвался, почему не поверил Борису в тот вечер, когда они сидели вдвоем в кафе и один на один вели нелицеприятный разговор? Борис тогда выложил ему все начистоту — о себе, о нем, Сергее, о Саше Аветисове, о красавице Ксане, о Давиде Круглянском, о доягоязом Дюке и даже о Владике, который к их компании вроде бы не был причастен. Борис сказал о нем: «Теневой кабинет... Все видит, все знает, всем управляет». Сергей снова вспоминает гневные, призывные слова Бориса: «Опомнись, Сергей... Ты же отличный парень... Поверь другу... Давай забудем и сожжем все корабли. Согласен?» Сергей уклончиво ответил: «Хорошо». И негромко, почти шепотом добавил: «Надо подумать...» Он слишком долго «думал». И вот расплата... Да, теперь он все понял.

...Клюев тогда поверил в искренность Крымова. Его отпустили домой. Долго он не показывался никому на глаза. Никого не хотел видеть, кроме Ирины. А с ней встречаться страшно. Поймет ли?

...Они встретились на Фрунзенской набережной. Объяснение было трудным. Собственно, это была горькая исповедь молодого человека, который, прожив более двадцати лет, так и не понял, что счастье заключается совсем не в том, чтобы пройти по жизни бездумным гулякой. Он говорил тихо и горестно качал головой. А она молчала.

О чем она думает, что вспоминает — не тот ли вечер, когда он рискнул пригласить ее в ресторан, где его ждали Саша со своей Надей, Давид с Ксенией и Дюк с Владиком?.. За весь тот вечер Ирина не проронила ни слова и только испуганно всматривалась то в Ксению, то в Дюка, то в Сергея... Как и сейчас, Ирина тогда молчала и только у самого дома произнесла гневную фразу: «Мне хочется скорее принять душ... Смыть все это... А тебе?» Сергей ничего не ответил, он понял, что хочет «смыть» Ирина. Потом, глядя ему прямо в глаза, она сказала с тревогой: «Я боюсь за тебя, Сергей». Он попытался переключиться на шутливый тон. Но из этого ничего не вышло. Ирина ушла, грустная, обескураженная. У него не хватило силы воли порвать с дружками — через неделю снова состоялось шумное застолье с его участием. Но без Ирины. Так он жил двойной жизнью. Ирина — это светлый мир прекрасных чувств и мыслей. А вся эта братия...

Теперь он, Сергей, все понял. И обо всем этом честно рассказал сейчас Ирине.

Минуты две они стояли, не глядя друг на друга, словно боясь прочесть в глазах что-то еще недосказанное и куда более страшное, чем то, что уже было сказано.

— Но ты действительно все понял? Надолго ли?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—40.

— Ириночка, не казни. Я... Ты...

Она уже не слушала его. Резко повернулась и, не попрощавшись, ушла.

А «казнь» была еще впереди. Да еще какая! Курсовое собрание студентов... Гневные слова однокурсников хлестали наотмашь, больно, без снисхождения. Ни одного слова в защиту, в оправдание. Говорили о нем и о его друзьях: «Это не товарищество, это объединение сообщников по дурным делам». Осуждая Сергея, осуждали себя: «...Одни из нас были равнодушными, другие не решались сказать правду».

Сергей, мертвенно-бледный, стоял в углу большого зала и слушал. Слушал и думал: все ли он сказал в те двадцать трудных минут, когда держал ответ перед товарищами? Ему хотелось крикнуть: «Перестаньте! Довольно! Нельзя бить лежачего!» Но Сергей понимал, что не имеет права даже на такое снисхождение, боялся оглянуться, боялся поднять глаза: вдруг здесь Ирина?

Сергея исключили из комсомола и института.

Вечером ему позвонил Владик: «Старик, не вешай нос. Ты попал в вагон для некурящих. Это бывает... Но я помогу. Давай завтра встретимся». Сергей ответил коротко: «Не хочу». И повесил трубку. Он ждал звонка Ирины. Она уже все знала. Но телефон молчал. Тогда Сергей позвонил сам.

— Алло!

— Здравствуй, Ириночка...

И все. Больше он ничего не мог произнести. Он не нашел тех слов, которые нужно было сказать ей в эти тяжкие минуты его жизни. Так с телефонной трубкой, прижатой к уху, Сергей молча простоял несколько минут, пока не послышались частые гудки. Все. Конец!.. Теперь он остался один. Даже дяди нет дома — он в длительной командировке. Вот разве только Владик... О нем у Сергея складывалось туманное и несколько противоречивое представление. Но нет, не хотелось видеть и его. Вот если бы сейчас Игорь Крутов оказался рядом...

Синицын приехал на третий день после исключения Сергея из комсомола. «А я тебя ждал только через месяц...» — сказал Сергей. «И что же,— отозвался тот,— огорчен? Недоволен?» Сергей не ответил, молча обнял дядю, похлопал его по широкой спине и убежал в другую комнату. К горлу подкатил непрошеный ком...

Через месяц Сергей сдал экзамены и стал шофером-профессионалом — ему, заядлому автолюбителю, это было нетрудно. И сразу же он был принят на работу в таксомоторный парк.

В тот день, когда Сергей принес домой первую получку, ему позвонил сотрудник КГБ Клюев. Поздравил. Пожелал успеха. Сказал, что приехал бы к нему, но что-то плохо с сердцем...

Сергей был растроган, благодарил и обещал, что непременно позвонит Клюеву. Он и не подозревал, сколь причастен был этот человек и к тому, что дядя досрочно вернулся из командировки, и к тому, что так быстро, сразу же после курсов, на которые он и поступил-то по совету Клюева, определился в таксомоторный парк. И уж, конечно, неведомо было ему тогда — Сергей узнал об этом позже, что имел Клюев долгий разговор с секретарем парторганизации факультета и что при этом был вызван и секретарю Борис, который, как комсорг группы, получил ответственное поручение — установить и поддерживать контакт с Сергеем. «Ты в ответе за этого парня»,— сказали Борису. Придет время, Сергей узнает и о встрече Клюева с Ириной. Сначала чекиста огорчила эта девушка, очень огорчила... Он даже назвал ее «бессердечной», а потом, как человек рассудительный, понял: «Чего, собственно, требовать от нее?» Она ему, Клюеву, честно сказала: «Не могу прийти в себя. Сергей для меня очень дорог. Но я не хочу его сейчас видеть. Пусть пройдет время...»

Но судьбе не угодно было отпустить этой девушке времени, достаточного для проверки чувств. Случилось так, что, забыв обо всех их размолвках, Ирина примчалась к нему...

КЛУБОК

Это произошло поздним августовским вечером на загородном шоссе. Сергей возвращался в Москву. В отличие от некоторых своих коллег он никогда не отказывал пассажиру, желающему ехать за город, никогда не придумывал легенд, не говорил в ответ, что, мол, ему надо возвращаться в парк. Не мог такого позволить себе редактор стенгазеты, организатор рейдов комсомольского «Прожектора».

Ему нравилась и новая работа и новый образ жизни. Все у него складно получалось. Машина в образцовом порядке. План перевыполняет. В комсомоле восстановили. Как это ни странно, инициаторами его восстановления оказалась группа тех самых студентов, которые требовали исключения Крымова из комсомола. И первая скрипка — Борис... Он пришел к нему домой, когда Сергей еще учился на курсах таксистов. Держался Борис так, будто ничего не произошло.

О прошлом теперь напоминал Крымову разве только Владик. Этот по-прежнему настойчиво навязывал свою дружбу, и Сергей не отказывался от нее. Владик был уже не тот: притих, присмирел. Правда, дядя скептически оценивал эту перемену. «Не притих, а притаился. До лучших времен»,— откровенно говорил он племяннику. А Сергей только острил по поводу дядиной сверхподозрительности.

Так, раздумывая о событиях последних месяцев, гнал Сергей свою «Волгу». И вдруг...

Это страшное в жизни автомобилиста «вдруг», за которым следует подчас непоправимое... Именно «вдруг» метрах в пятидесяти из-за газонов вышел на дорогу человек. Реакция была мгновенной: пронзительный сигнал, и рука резко выворачивает руль. Машина едва не перевернулась, оторвавшись парой колес от земли, а человек, с трудом держась на ногах, пошатываясь, невозмутимо продолжал топать и обочине. Сергей затормозил, прижал такси к газону — хотел проскользнуть мимо пьяного пешехода. Но все же чуть-чуть задел его. Скорее от испуга, чем от удара, пьяный упал на асфальт. Пешеход был спасен, а «Волга» влетела в кювет. Сергей вылез из машины и услышал истошный крик: «Помогите!.. Спасите!..» Кричала женщина. Сергей только на какую-то долю секунды задержал свой взгляд на покалеченной машине и ринулся на помощь...

Подвыпившие хулиганы ловили среди деревьев девушку. На земле лежал избитый парнишка, бесстрашно заступившийся за подругу.

...Что было потом, Крымов не помнил — он пришел в себя уже в послеоперационной палате. И первые слова, которые едва слышно произнес, были: «Ириночка... Спасибо!»

Он узнал ее. И это больше всего обрадовало медиков: все идет хорошо! Нянечка с радостной вестью тут же спустилась вниз, в вестибюль, где дежурили Синицын и Борис. Все идет нормально! Синицын помчался к автомату, чтобы позвонить домой больному Клюеву, обрадовать его. К телефону подошла женщина.

— Кто спрашивает? Здравствуйте. Жена Михаила Петровича говорит. Я в курсе дела... За вас рада, а вот Михаила Петровича два часа назад в больницу увезли... Острый приступ...

Первые две недели Ирина приходила в больницу ежедневно, как на работу. И все попытки Бориса подменить ее хотя бы в час трудных ночных дежурств не увенчались успехом.

— И не надо вам пытаться,— полушутя говорил ему врач.— Ее присутствие поможет Крымову быстрее подняться на ноги.

...Была еще одна целительная повязка на тяжкие раны Сергея...

В газете появилась заметка о героическом поступке шофера такси Сергея Крымова. Преступники были задержаны милицией, подоспевшей к месту события, и отданы под суд.

Через два месяца, незадолго до Октябрьских праздников, Крымова выписали из больницы. Когда он, сопровождаемый дядей, Ириной и Борисом, вышел на улицу, то увидел у больничных ворот целую вереницу машин-такси: Сергея по инициативе комсомольцев таксомоторного парка не без участия Бориса встречал эскорт из пяти машин. В нарушение правил водители приветствовали Крымова дружными гудками...

Дома его ждал еще один сюрприз — телеграмма Игоря Крутова. Вылетает в Москву, в отпуск, с нетерпением ждет встречи.

...На восьмое ноября у Сергея был объявлен «большой сбор» старых друзей. Ирина с волнением ждала — кто придет и Сергею, кто окажется в числе «старых»? Неужели и «те»? Собрались настоящие друзья. И по факультету и по таксомоторному парку. Веселые, приятные парни и девушки. И, конечно, Борис и, конечно, особо дорогой для Сергея гость — Игорь Крутов, водитель мощного «БелАЗа» на одной из строек в Сибири. Ирина сияла. И лишь когда узнала, что на «большой сбор» приглашен Владик, нахмурилась: у нее особое отношение к этой давнишней привязанности Сергея. Однако оказалось, что какие-то обстоятельства не позволили Веселовскому пожаловать в гости. Это очень обрадовало Ирину. Ну, а самое главное — Игорь. Встреча закадычных друзей...

Ирине многое было известно о жизни Крутова по рассказам Сергея. Он часто вспоминал друга, бережно хранил его длинные и сумбурные письма, иногда давал читать их Ирине. Сергею не все было понятно в образе жизни, в убеждениях этого «нарася-идеалиста» — так Крымов давно уже окрестил Крутова. Вот и эта его история... Крутов еще до своего приезда в Москву писал:

«Дружище! Ты прав, жизнь чертовски сложна. Но я не силонен мириться со всеми ее сложностями, болячками, стандартной и отнюдь не мудрой «Танова жизнь...» Боюсь, что твое стремление быть «гибким» принесло тебе какие-то беды, о которых умалчиваешь. Я против твоего нравственного кредо. Какой бы дорогой ценою ни пришлось за это платить».

...А платить Игорю за свою непримиримость пришлось действительно дорогой ценой. На общем собрании автоколонны при подведении

итогов соревнования он вдруг заявил, что показатели пробега машин выведены «липовые», ловко приписана тысяча километров и потому премии колонна не заслужила. А что касается рекорда Анатолия Глазова, то и это «липа»... «Так не соревнуются. Ему созданы особо благоприятные условия. За счет других водителей. Это очковтирательство, а не социалистическое соревнование. Вот если бы всем водителям обеспечили такие же условия, как Глазову...»

Игоря обвинили в противопоставлении своего «я» коллективу, в том, что он выступает против принципов социалистического соревнования.

«Что было на этом собрании, мне трудно тебе описать, Сергей. Поносили меня всячески. А еще до этого была такая история... Моя комсомольская группа содействия милиции установила, что начальник автобазы не брезгует дарами «левых» клиентов. Представляешь, как он ухватился за мое выступление, «граничащее,— как он заявил,— с антисоветским». В общем-то вся эта история кончилась для меня благополучно. Назначили комиссию для расследования. Мое заявление подтвердилось. Взяточника этого с должности начальника базы сняли. Но вечером, после танцев, подловили меня дружки бывшего начальника. Спасибо, что ребята из нашей комсомольской группы содействия милиции оказались рядом...»

И вот он здесь, у него дома, этот неугомонный Крутов. Они успели о многом переговорить. Сергей поведал Игорю и о том, чего не было в его письмах...

В тот вечер произносилось много тостов. Самых разных. Всерьез и в шутку. Но один тост был только для посвященных...

Сергей увел Ирину и дядю в соседнюю комнату. На секретере стояли три рюмки с коньяком. Сережа первым взял рюмку и тихо, словно смущаясь чего-то, сказал:

— Давайте выпьем за здоровье Клюева... Я ведь, дядя, все знаю, немало доброго сделал для меня этот человек. Женщины, они народ болтливый, язык за зубами держать не умеют...— И, улыбнувшись, кивнул на Ирину. Но улыбка тут же потухла, лицо Сергея посуровело. Он о чем-то задумался и вдруг взволнованно сказал: — До конца жизни своей буду помнить этого хорошего человека!

Молча, не проронив больше ни слова, все трое выпили за здоровье Клюева. Ведь не могли они знать, что Клюев час назад умер...

Прошло время, и Сергей вновь стал студентом, а Ирина защитила диплом. Любовь их выдержала все испытания. Ирина работала, Сергей учился, и, казалось, что все развивается точно по плану, начертанному этой удивительно волевой девушкой. Но была в том плане одна трудная позиция — возвращение Сергея из рабочего коллектива в студенческий. И сопутствующие тому обстоятельства... Борис окончил вуз и уехал на Урал. Ирина совмещала работу с учебой в заочной аспирантуре, занималась английским языком, и все меньше и меньше времени удавалось ей урвать для Сергея. Вот теперь-то, пожалуй, в пору вспомнить прозорливость дяди, который вновь зачастил в командировки: «Он не притих, твой Владин, он притаился...»

Ирина расстроилась, когда узнала, что Сергей стал опять встречаться с Владином и даже был у него на холостяцкой пирушке. На душе у нее стало горько, досадно: «Неужели все прахом пойдет?» И однажды Ирина твердо решила, что напишет Игорю Крутову, попросит его... О чем? Чем он может помочь, находясь за тысячи километров?

И вдруг приятное известие. Крутов на несколько дней прилетел в Москву. Сегодня вечером Сергей вместе с другом придет и Рубиным. Но застолье, да еще с участием Владина и Глебова, оказалось не лучшим местом для откровенных объяснений. И все-таки от зоркого глаза Игоря Сергей не смог сирыть свою душевную неустроенность. Когда они остались втроем, Игорь вдруг спросил:

— А что это за люди сидели за столом — Владин и Вася? Пыжились что-то...

— Наши друзья,— ответил Сергей.

Ирина пожала плечами, а потом обронила:

— Я бы их к своим друзьям не причислила.

— Почему?

— Спросите у Сергея. Молчишь, Сережа?

...Вот при каких обстоятельствах в запутанное дело доктора Рубина вплелись судьбы Ирины, Сергея, Владина и теперь уже покойного Глебова. В представлении Бутова это один клубок. Так ли? Покажет время...

КОМАНДИРОВКА

— Вам все ясно, Никанор Михайлович? Два задания сразу — Крымов и Строков. Вылет сегодня ночью...

Весь вечер они провели вдвоем — Бутов и Михеев, которому полковник обычно поручал дела наиболее сложные, запутанные и в то же время срочные, требующие быстрых, точных решений. При всей своей кажущейся медлительности Михеев — воплощение оперативности и деловитости. Ни одного лишнего слова, действия, ни одной зря потерянной минуты.

Михеев уже многое знает о Сергее Крымове... Есть у него впечатления и от бесед с Ириной, от ее вскользь оброненных характеристик Крымова, столь же метких, сколь и противоречивых.

...В редакции Крымову давно была обещана командировка в Сибирь. У сотрудников редакции дальний прицел: когда Крымов получит диплом экономиста, забрать его к себе. Экономические знания плюс острое перо — это то, что требуется сейчас журналистскому коллективу. И потому просьба Сергея послать его недели на две в командировку была удовлетворена. Михееву известно, что Сергей отказался от двух предложенных ему на выбор адресов — Рига и Ереван. Он настойчиво добивался поездки в Сибирь, в неприметный еще недавно районный городок, в тишину которого ворвался гул экскаваторов, бульдозеров, «БелАЗов» и звонкие песни молодежи. Сейчас там, среди тайги, уже поднялся первый корпус нефтехимического комбината, к которому тянут нефтепровод.

Бутов и Михеев озадачены: что побудило Сергея Крымова, парня, любившего беспечную жизнь, отказаться от командировки в Ригу и Ереван, поехать в Сибирь? Что это — зов души или нечто другое?.. Чем привлек его комбинат, продукцию которого с нетерпением ждут не только хлеборобы и текстильщики. Нет ли тут тех подводных течений, что дают основание, учитывая все сопутствующие обстоятельства, проявить особую настороженность? Бутов так и нацеливал Михеева:

— Нам небезынтересно знать, почему молодой человек, предложив любимой девушке «хоронить игрушки», сам ринулся туда, где будут делать кое-что причастное к «игрушкам» весьма солидного калибра... И рванулся именно тогда, когда и отцу его любимой заявился этот самый господин Егенс. Разобраться во всем этом нужно. И, конечно, Строков... Кто на самом деле этот человек?

Продолжение следует.

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Вне игры

Самолет взлетел, и Михеев, закрыв глаза, задумался о задании, полученном им от полковника Бутова... Однако теперь, когда путь и человеку по фамилии Строков был известен, вдруг вспомнил он о том, кто указал этот путь оперативным работникам. И каких усилий это ему стоило...

Костя... Константин Викин... Закадычный его друг еще по институту. Их обоих, Никанора и Костю, рекомендовали на работу в КГБ. Викина, знавшего четыре языка, сразу же определили в группу, занимавшуюся поисками военных преступников.

Давно уже Константина Яковлевича Викина называют в Комитете ходячей немецкой энциклопедией. И не только потому, что Константин Яковлевич в совершенстве владеет немецким языком и многими его диалектами... Викин прекрасно знает историю Германии, нравы и обычаи немецкого народа, любит его искусство и литературу. Но знает он также родословную, связи, места жительства, служебную карьеру военных и политических деятелей гитлеровского рейха, продолжение их биографии в наши дни, эти знания — основа его конкретной деятельности в КГБ. Со своими помощниками он находил улики, вещественные доказательства и свидетелей преступлений там, где, казалось, время стерло все следы. Надо было обладать недюжинной волей, блестящей памятью и хорошо организованным справочным материалом, чтобы, ухватившись за тоненькую ниточку-паутинку, напасть на след через 20—25 лет со дня совершения преступлений. Приходилось исследовать огромное количество документов, изучать дома, улицы, площади, поля, леса, где произошли кровавые злодеяния, и снова, снова рыться в архивах, сличать, сверять, проводить замысловатые экспертизы, а иногда и анализ останков жертв фашистских оккупантов. И Константин Викин терпеливо, методично, не опуская рук после целой череды неудач, шел от рубежа к рубежу.

К Викину и обратились они, Бутов и Михеев, за помощью. Были в заявлении доктора Рубина строки, натолкнувшие их на мысль проверить «исповедь» Захара Романовича в несколько ином плане: не остался ли в живых тот самый партизан, на допросе которого Рубин, по его словам, только присутствовал?.. Вскоре в архивах партизанских отрядов, действовавших в том же районе, где орудовала особая группа обер-лейтенанта Брайткопфа, была найдена записка: «Берегитесь, доктор Захар — предатель». Кто этот Захар? Рубин — или случайное совпадение имен? Или это кличка? Что знают бывшие партизаны о судьбе командира отряда, попавшего в фашистский застенок? А может, и Захар Рубин им знаком?

...Сколько картотек, архивных документов было пересмотрено, сколько разных запросов сделал Викин, пока его сотрудник вел поиск в том районе, где орудовал упомянутый Рубиным обер-лейтенант Брайткопф,— все это, как говорят, осталось «за кадром». А «в кадре» — лаконичная справка: в районе действия группы Брайткопфа был схвачен командир партизанского отряда Строков Сергей Николаевич, 1908 года рождения, до войны — секретарь райкома партии. В июле 1941 года ушел по заданию партии в подполье. Есть основание полагать, что жив. Бывший партизан Иван Шутов, участвовавший в налете на автомашину, в которой Строкова, едва живого после допроса, везли в лагерь, здравствует поныне. Автор записки, подававшей тревожный сигнал «Берегитесь, доктор Захар — предатель», видимо, тот же Строков. Предположительно. Слово это Викиным подчеркнуто дважды. В архиве райкома партии сохранились документы, написанные Строковым собственноручно. Почерковедческая экспертиза установила, что несколько букв записки и этих документов идентичны. Возможно, что совпадение случайное, но, может быть, Строков писал записку, стараясь изменить почерк...

Он, Михеев, летал к Шутову... Теперь этот человек уже глубокий старик, однако помнит многое. Рассказал и о налете партизан на тюремную автомашину... В деревянный мостик вбили острыми кверху длинные гвозди. А для полной гарантии доски посыпали битым стеклом. Расчет оказался точным: машина на мосту застряла. Вся операция заняла три минуты. Без единого выстрела: в ход пошли ножи... Строкова партизаны доставили в свой лагерь. Только на вторые сутки он открыл глаза.

...И вот нашли теперь и самого Строкова. Работает он в областном центре заместителем председателя комитета народного контроля. Сейчас находится в длительной командировке на стройке нефтехимического комбината. И адрес сообщили. Дважды перечитывали Бутов и Михеев этот адрес... Да, тот же комбинат, на который поехал Сергей Крымов. Странное совпадение! И вот уже он, Михеев, летит в этот, недавно еще тихий, полусонный городок, разбуженный начавшейся стройкой...

ОТКРОВЕННОСТЬ

На аэродроме Михеева встретил старший оперуполномоченный местного отделения КГБ Шалва Задгенидзе. Со свойственным южанину темпераментом Шалва выдал Михееву несколько длинных «очередей» информации: о ходе стройки комбината, о красотах будущего города, о том, как ультрасовременно будет выглядеть новый аэровокзал. «Почему улыбаешься?.. Не веришь?» — спросил он. А Михеев действительно улыбался, но совсем по другому поводу: ему, конечно, приятно в первые же минуты пребывания на сибирской земле получить информацию о будущем этого города, но он предпочел бы в первую очередь получить информацию о Крымове и Строкове.

Дело в том, что затянувшийся розыск Сергея несколько встревожил и Бутова и Михеева. Установив наконец, какая редакция на какую стройку отправила студента Крымова, они также узнали, что по дороге на комбинат он должен остановиться в одном из сибирских институтов, причастном к рождению гиганта нефтехимии. В течение нескольких дней запрашивали институт о Крымове: «Нет, не был, не знаем такого». Связались с дирекцией, парткомом стройки: «Нет, не приезжал к нам московский журналист Крымов». Тогда решили проследить по спискам пассажиров Аэрофлота. Вроде бы он, Сергей, должен быть на стройке. Аэрофлотовские документы свидетельствуют: пассажир С. Крымов прилетел в областной центр и в тот же день на самолете местной авиалинии прибыл в райцентр. Где же он? Вот Михеев и теребит Задгенидзе. Тот, конечно, знает, почему так настойчив коллега, но старается отшутиться...

— Дорогой друг... Зачем спешить... Завтракать надо, отдохнуть надо. Сколько часов в полете был...

— Желательно не откладывать встречу. И в первую очередь с журналистом. Надеюсь, вам уже известны его координаты?

Ответа не последовало, но по несколько растерянному выражению лица Шалвы Михеев догадался, что с этими «координатами» пока не все в порядке... Но тут же растерянность с его лица словно ветром сдуло. По-прежнему уверенно заговорил Шалва, как бы призывая Михеева отбросить всякие сомнения в его исполнительности, способностях действовать точно и оперативно: «Координаты в данный момент уточняются. Пока гость немного закусит с дороги, наши люди найдут этого журналиста. Он какой-то странный...»

— А именно?..— встрепенулся Михеев.

— Фантомас,— отшутился Шалва.— В гостинице не проживает, в парткоме, завкоме, дирекции, редакции местной газеты не появлялся.

— Может быть, он и не прилетал сюда?

— Зачем так говоришь... Здесь он... Точные сведения.

В это время зазвонил телефон. Шалва взял трубку. И тотчас лицо его нахмурилось...

— Слушай, Петрович, как же так... Скандал! Из-под земли найди мне его... Человек не иголка... Куда уехал? Зачем уехал? Почему глупости говоришь — «врача повез». Он что, шофер?

Вскоре, однако, все прояснилось... Крымов решил лететь прямо на стройку — в Москве он узнал, что группа научных сотрудников из интересующего его института сейчас на комбинате. А приехав на строительную площадку, Сергей позволил себе провести несколько дней в обществе своего друга Игоря Крутова, прославленного здесь водителя самосвалов. Не очень еще искушенный в требованиях «протокола» корреспондентской деятельности, Крымов решил, что дней пять он поживет у Игоря в общежитии — есть свободная койка, сосед по комнате лежит в больнице — и никому не даст о себе знать. А потом уже заявится в дирекцию, партком и перебазируется в гостиницу. Иначе бы он и не настаивал в редакции на командировке в Сибирь, а поехал бы в Ереван: кто откажется встретить весну в горах Армении? Но была притягательная сила, побудившая Сергея отказаться от столь заманчивой поездки — Игорь Крутов и... Он, Сергей, не совсем уверен, что правильно поступил, когда не решился в свое время ехать с Крутовым в Сибирь, не решился «крутануть баранку» на 180 градусов, чтобы пойти по жизни совсем иной дорогой... Ему хотелось разобраться во всем этом здесь, на сибирской земле, все увидеть своими глазами, как оно складывается в жизни, а не в красочных рассказах и письмах Игоря.

Михеев позвонил в общежитие, но Крымова не оказалось там... Ночью на самосвале он отправился в находящийся километров за сто от райцентра крохотный поселок экспедиции геологов. В полночь оттуда поступил по радио сигнал тревоги: срочно требуется хирург. Из дирекции позвонили на автобазу, чтобы послали самосвал, так как машина «Скорой помощи» к поселку геологов не проберется.

Но где взять водителя? Половодье натворило тут много бед. Вторые сутки авралят шоферы. Четверо уже вышли из строя. Начальник колонны Игорь Крутов едва держится на ногах, но не сдается. В общежитие он вернулся часов в одиннадцать вечера, ему разрешили поспать до шести утра, а там снова на вахту. Но в полночь его подняли с постели: «К телефону зовут, говорят — срочная надобность имеется». Когда он вернулся в комнату, Сергей уже не спал...

— Что случилось?

— Водитель на самосвал требуется... Хирурга везти.

...Через полчаса шофер первого класса Сергей Крымов повел в ночной темени самосвал. Рядом с ним в кабине — хирург.

Вернется Крымов в город только поздно вечером. Пока же Михеев решил встретиться со Строковым.

...Второй час длится их беседа. Михеев больше молчит, слушает и только изредка задает вопросы. Строков старается держаться спокойно, но ему это плохо удается,— не может скрыть волнения и некоторой настороженности. Да, он и есть тот самый Строков, бывший секретарь райкома партии, бывший командир партизанского отряда, которого вместе с гитлеровцами допрашивал человек по имени Захар.

— Допрашивал или только присутствовал на допросе? — попросил его уточнить свой рассказ Михеев.

Строков поднял глаза, посмотрел на Михеева и закусил губу.

— Может, не надо вспоминать? — Строков незаметно — так ему казалось — достал из кармана стеклянную трубочку, глотнул сразу две таблетки. На долю минуты Михеев растерялся: как быть? Ему эта трубочка хорошо знакома — нитроглицерин. Он предложил перенести разговор на другое время: пусть собеседник успокоится. Но Строков отрицательно покачал головой:

Продолжение. См. «Огонек» № 37—41.

— Вы не обращайте внимания... Сердце сердцем, а дело делом.

И Строков рассказал обо всем, что пережил в ту пору. И как допрашивал его Захар Рубин и как в лагерном бараке мучительно вспоминал, где встречал он раньше этого негодяя. И как наконец вспомнил... Незадолго до начала войны Строков был на партийном собрании в местной больнице, и ему представили молодых хирургов-практикантов. Одного из них, того, кто потом допрашивал его, в больнице по-дружески называли Захаром. И оттого, что этот Захар оказался предателем, Сергею Николаевичу было особенно тяжко, словно он, секретарь райкома, нес за него ответственность. Нет-нет да и ловил он себя на нелепой мысли: «Наша недоработка... В партийном, комсомольском коллективе жил этот ублюдок». Строкову удалось раздобыть клочок бумаги, на котором он нацарапал: «Берегитесь, доктор Захар — предатель». Фамилию доктора он вспомнить не мог.

Строков еще не нашел способа передать эту записку товарищам, пока же спрятал ее в бараке, когда случилось то, на что уже и не надеялся: налет партизан на тюремную автомашину...

Михеев достал из портфеля фотокопию записки и показал ее Сергею Николаевичу:

— Вы писали?

— Я... Старался изменить почерк, но сейчас вижу, что не сумел...

— Сергей Николаевич, я прошу вас напрячь память и ответить на мой вопрос совершенно точно: да или нет? Рубин сам избивал, пытал вас?

Строков удивленно пожал плечами. Ему, не знавшему всех обстоятельств дела Рубина, сначала показалось не очень-то понятно, какое значение имеет эта, с его точки зрения, малозначащая деталь: предатель есть предатель...

— Так как дело было, Сергей Николаевич?

...Из-под широких седых бровей сверлят колючие глаза. Строков понимает, он обязан быть объективным, даже невзирая на свое презрение к предателю.

— Нет, не бил... Это делали другие...

— И еще один вопрос, Сергей Николаевич: у вас не возникало желание найти этого Захара? Где он, что делает, ходит ли по советской земле?

— Это вопрос или упрек?

— Ну, какой же может быть упрек?.. Нет, нет!.. Ни в какой мере... Но нам важно...

Строков прервал Михеева и тихо, внятно сказал:

— Я понимаю, что это важно... Искал, пытался найти. Вовсе не из желания рассчитаться, а по долгу совести. Предпринимал ряд мер. Безуспешно.

Строков тяжело откинулся к спинке кресла и, не глядя на Михеева, спросил:

— У вас будут еще вопросы?

— Вопросов пока нет. Есть просьба: показать город, стройку. Вы никуда не спешите?

— К вашим услугам.

...Они вышли на окутанную промозглым туманом улицу с ее непролазной грязью и серыми, еще не смытыми дождем сугробами. Строков оказался не таким уж молчаливым. Вспоминал последние мирные дни, пропавшую без вести жену... Тяжело перевел дыхание, долго молчал, поглощенный невеселыми думами.

Беседуя, они не заметили, как оказались на окраине городка, откуда уже и рукой подать до строительной площадки. Лицо Строкова просветлело, когда он заговорил о комбинате.

— Да, кстати, сюда недавно приехал из Москвы молоденький паренек, корреспондент. Занятный, между прочим. Мы с ним даже подружились. Весьма, я бы сказал, самобытен парень... Скромно, неприметно входит в дело. А главное — чертовски наблюдательный. Отлично в тонкостях экономики разбирается. И слушать умеет, с полуслова ухватывает... У него тут друг его детства работает — Игорь Крутов. Так москвич с аэродрома прямо к Игорю в общежитие. Там и поселился...

— А кто вас познакомил с корреспондентом?

— Крутов. Он у нас комсомольский «Прометор»... По одной и той же цели огонь ведем — очистные установки. Москвич, правда, чуть испугался, когда узнал, кто я. «Вы меня,— говорит,— не выдавайте. Хочу тут несколько дней, так сказать, неофициально пожить. Осмотрюсь кругом, а потом и к начальству заявлюсь»...

— Как зовут корреспондента?..

— Тезки мы с ним... Сергей... Сергей Крымов...

— А вы знаете, Сергей Николаевич, что я именно к нему и приехал...

— То есть как?..

— Помните, я говорил, что обстоятельства, к вам не имеющие отношения, привели меня сюда. А заодно уж и вас повидать... У тех обстоятельств есть имя и фамилия — Сергей Крымов.

Михеева никогда не обманывала интуиция, за которую иной раз и попадало ему от начальства («Факты, только факты и никаких телепатий!»). Так вот эта самая интуиция подсказывала, что Строков из числа тех, кому можно доверять. А Михееву важно знать, что думает Строков о Крымове сейчас, после того, как он расскажет ему о жизни этого парня. По-прежнему все так же восторженно будет воспринимать журналиста? Или будут коррективы?..

Выслушав Михеева, Строков задумчиво глядел вдаль, словно для него сейчас куда важнее рассмотреть вон те молодые березки, что стоят на другом берегу реки... Что он может сказать в ответ? Дыма без огня, конечно, не бывает. Не станут чекисты тревожить молодого человека, не имея на то веских оснований. Но ведь и тревожить можно с разными целями. Сдается Строкову, что парень этот все же настоящий, из тех, кто вилять не будет, кто способен все объяснить и на все твои вопросы ответить, не заметая следов. Мысли эти Строков высказывает вслух, будто разговаривает сам с собой. И вдруг вопрос и ему, к Михееву:

— Вы, вероятно, считаете, что все рассказанное вами о Крымове — для меня откровение? Раскрыл, так сказать, глаза человеку: «Смотрите, Строков, каков он, ваш новый знакомый, соратник!»

— Может, и не совсем так, но...

— А я ведь все это знал... Сергей сам мне рассказывал. И о себе, и о дружках, и об Ирине... А потом его друг, Игорь, добавил...

— О телеграмме он вам тоже рассказывал?

— Нет... Вот это действительно откровение для меня. И загадка... «Ховайте игрушки»... Странно... Однако не допускаю мысли...

— Всякое бывает... Полагаю, что завтрашнее утро внесет ясность. Рассчитываю на отмеченную вами черту характера Крымова — «вилять не будет»...

КАК ЭТО БЫЛО...

Он действительно «не вилял». Михеев с удовлетворением отметил это в первые же минуты их беседы. И то, что на прямо поставленный вопрос: «Как понимать вашу телеграмму?» — Сергей не ответил сразу, а стал подробно рассказывать о себе, Дюке, Владике, Глебове, Ирине, не поколебало сложившегося убеждения: Крымов говорит искренно. Но, видимо, почувствовав некую неловкость за то, что его занесло так далеко в сторону, Сергей сказал:

— Простите за длинную преамбулу. Мне кажется, что иначе вам не все будет ясно в истории с этой дурацкой телеграммой. Вы должны понять меня, понять мою обиду... От щедрой дядюшкиной материальной помощи я наконец отказался. Стипендия плюс нерегулярный приработок — гонорар... И все. В глазах Захара Романовича Сергей Крымов «нищий студент», голяк, шалопай... Ирине не пара... То ли дело Глебов — жених первой категории. И Владик ему содействует!.. — Выпалив все это, Крымов умолк.

— Ну и что же дальше? — спрашивает Михеев.

— Дальше? Дальше идут мерзости... Лучше бы сразу объясниться мне с Ириной... А я, как мальчишка, решил досадить ей: снова стал чаще встречаться с Владиком, которого она терпеть не может. Ужасно это глупо, но я потерял контроль над собой. Была у меня даже такая бредовая идея: по душам поговорить с Владиком — друг ты мне или не друг? И попросить его достаточно решительно сказать Глебову то, что говорят в таких случаях порядочные люди... Сейчас я понимаю, как это было наивно... Порядочные люди — и Владик... Но, видимо, я потерял контроль не только над своими чувствами, но и над разумом тоже.

...Владик встретил его с распростертыми объятиями, облобызал и тут же усадил за стол. Выпили... И Крымов хотел повести разговор о Глебове, об этом «денежном женихе». Но Владик заговорил именно о деньгах, о том, как они всесильны. Крымову и сейчас еще не ясно — было ли все это заранее продумано или же, по-своему поняв тогда его озлобленность, Владик решил, что появилась благодатная почва для заготовленных им «семян».

Так или иначе, но Крымов помнит, что хозяин дома на высокой ноте повел речь о том, как тяжко жить в мире, где жестоко подавляется индивидуальность, частная инициатива деловых, умных людей, где нет свободы мысли, где тебе навязывают сомнительную идею о всесилии твоего, именно твоего, а не чужого труда... Правда, уже вскоре с высокой ноты обличителя Владик вдруг переключился на фривольно-шутливую:

— Трудись, старик, трудись! Авось, и сподобишься милости доктора Рубина — выдаст за тебя Ирэн... Да, да, ведь мой друг Крымов — христосик! Его шлепают по одной щеке, он услужливо подставляет другую. Он готов примириться с любой несправедливостью... Квашня! А ведь есть у нас настоящие парни — настоящие дети века...

В разное время и по разным поводам Сергей, вероятно, уже слышал подобное тому, что говорил Владик, но раньше это облекалось в туманные, обтекаемые формулы или в шутливые

реплики. А теперь с открытым забралом! И может быть, именно поэтому Сергея в те минуты охватила злоба против Владика, взыграло желание раздавить его силой своих аргументов. Нет, он не согласен с «деловым дитятей века». «Какой, к черту, из тебя боец, Владик... Тебе это не дано... Тебе нужна не справедливость, не свобода мыслей, а свобода жить припеваючи, свобода загребать деньги. Любым способом. Что, не так?»

В тот вечер Сергей не пощадил ни себя, ни Владика, ни Сашку-валютчика. Было сказано много гневных слов и об образе их жизни, который претит ему, и о том, как он, Сергей Крымов, понимает свободу вообще и свободу мыслей в частности.

Владик прервал его:

— Старик, перестань читать мне уроки политграмоты... Историю партии, диамат, истмат я в свое время сдал на отлично.

— Не перестану... Это уроки не политграмоты, а жизни... В последние годы она многому научила меня.

— Давай, давай, переобувшийся Сережа! Бей, дави, его, Владика, продажного агента империализма! — Он захохотал, а успокоившись, заговорил ровным голосом, без иронии:

— Послушай, старик, пора кончать наши дебаты. Надо находить общий язык.

Сергей ничего не ответил. Говорить ему уже было трудно: он опьянел. Да и не хотелось больше разговаривать. Они молча сидели минуту-другую, потом Владик положил перед Сергеем лист бумаги, авторучку...

— Будем проверять истину самым высшим критерием — практикой. Так, кажется, нас учили на семинарах по диамату. Пиши, старик.

Сергей вопросительно посмотрел на Владика.

— Сейчас объясню... Мы вели с тобой спор о всяких «свободах»... Предлагаю провести эксперимент. Ирина укатила к тетке. Отлично... Сейчас мы сочиним ей загадочно таинственную телеграммку, так сказать, призывающую милых телеграфисток к высокой бдительности. Давай парю держать — пять бутылок коньяка против одной: у тебя не примут эту телеграмму. Вот тебе и вся свобода...

Сергей пьяно ухмыльнулся, налил большую рюмку коньяку и, покачиваясь, подошел к Владику.

— Это можно. Поспорить... Это я всегда готов. Мы не из пугливых... Ставлю пять бутылок против твоей одной. Диктуй!

Но когда Сергей вернулся с почты, Владик накинулся на него чуть ли не с площадной бранью: «Ты с ума спятил?.. Шутон не понимаешь или принял лишнего? Теперь сам расхлебывай. И не вздумай меня впутывать в эту историю». Сергей протрезвел, пришел в себя. Разговаривали они теперь так, будто вот-вот перейдут в рукопашную. Но до этого не дошло. Владик вдруг стал канючить: «Старик, если дело дойдет до всяких расследований, твердо стой на одном: выпил лишнего, был зол на Ирину, хотел испортить ей настроение...» Меня не упоминай. Вдвоем — это уже сговор. Тут всякое припаять могут...» И снова воинственно: «Ты со мной не шути, старик. Я страшен в гневе. И вообще... Откреусь — и вся недолга. Знать ничего не знаю...»

Они вышли на улицу и несколько минут шли молча. Но вдруг Сергей остановился, мрачно посмотрел на него и зло отчеканил: «Экспериментатор!.. Свободолюбец!.. Эх ты, мразь!» И не попрощавшись, свернул за угол.

...Рассказав сейчас обо всем этом, Сергей помолчал, а потом сказал решительно:

— В тот вечер я дал себе слово: «С Владиком все, конец!»

Михеев улыбнулся и не удержался от того, чтобы не заметить собеседнику:

— Поздновато, конечно, товарищ Крымов! Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда... А сам он не пытался больше встретиться с вами?

— Пытался... Третьего мая рано утром Владик позвонил мне и с тревогой в голосе сообщил, что срочно хочет видеть, что есть чрезвычайное обстоятельство, побуждающее к тому. Но я резко оборвал его и сказал, что не желаю встречаться с ним. Через два часа я улетел в Сибирь.

— И вас не заинтриговал звонок Владика?

— Все, что касается Владика, теперь меня не интересует.

— Но ведь чрезвычайные обстоятельства могли касаться и вас. Вы не подумали об этом?

— Нет...

— А ведь обстоятельства действительно чрезвычайные, товарищ Крымов. Глебова-то нет в живых...

И Михеев рассказал обо всем, что случилось после телеграммы Сергея «Чижику». Конечно, он сообщил только факты, не связывая их в одну цепь — Рубин, Владик, Глебов, Ирина. Разговор об этом впереди, и есть у него в этой связи вопросы и Сергею. Но Крымов, кажется, не сможет сейчас отвечать на них... Внимательно всматривался Михеев в Сергея, вслушивался в его дрожащий голос...

— Да нет...— наконец успокоил он его.— Ирина в полном здравии прибыла в Москву, домой. Можно быстро организовать телефонный разговор...

Сергей покачал головой: «Нет, не хочу!»

— Тогда мы продолжим нашу беседу вечером. Вам надо прийти в себя...

— Нет, нет, не будем откладывать.— Крымов сказал глухо, не поднимая головы.— Я вас слушаю... Я готов ответить на все ваши вопросы, на все, что поможет пролить свет...

— Это вы точно заметили. Пролить свет... И вы, пожалуй, можете помочь нам. Скажите, пожалуйста, знал ли Владик об отъезде Ирины и тете?

— Знал, все знал! Он встретил меня на вокзале, когда я провожал Ирину. И будто невзначай стал расспрашивать о ее планах...

— Зачем понадобилось Владику сообщать Глебову о поездке Ирины? У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет?

— Я уже говорил вам о «сводне в штанах»...

— Значит, желание удружить Глебову? Так? Но ведь удар наносился другу детства? Или его душа с двойным дном? Так?

— Не знаю... Не берусь утверждать... Впрочем...

Сергей запнулся, задумался, посмотрел в окно, стал зачем-то протирать глаза и вдруг воскликнул:

— Я не уверен, что это имеет отношение к делу... Судите сами, но сейчас в памяти всплыл один разговор: Владик и Глебов не знали, что я слышу их, а мне ни к чему было давать знать о себе... Дословно я не помню, а суть такова: Владик напоминал Глебову, что от него ждут обещанной информации о докторе Рубине. Так и сказал: «Ее ждут».

— Когда был этот разговор?

— Незадолго до того, как меня исключили...

— Постарайтесь вспомнить: Дюк тогда находился в Москве?

— Да, в Москве. Но его уже выдворяли из страны...

— Владик не говорил вам о своих родственниках, друзьях или подругах, живущих вне Москвы?

— Родственников у него нет. Друзей? Вне Москвы?.. Нет, не знаю. А вот по части подруг... Тут у него богатейшая коллекция. И в разных городах. Как поедет на курорт — в коллекции этой пополнение. Любил он хвастать подобными «победами». Самая последняя — врач из-под Курска. Владик несколько раз ездил к ней в гости.

— Это все, что вам известно о «коллекции»?

— Пожалуй... Нет, еще Рита из Новосибирска. Он знакомил меня с ней в Москве. На ниве снабжения промышляет. В Москву она приезжала в качестве «толкача» от крупного завода.

— Какого?

— Не знаю точно, но завод имеет какое-то отношение к станкостроительной промышленности. Если мне не изменяет память. Но вот что... Товарищ Михеев, я знаю, это не полагается... И все-таки простите меня за любознательность... Ирина в чем-нибудь виновата? И отчим ее? Вы в чем-то подозреваете его? И Ирину тоже?

— Придет время, Сергей, и получите ответ на все вопросы. А пока извольте отвечать... Честно, правдиво. Все, что знаете, что помните.

Они провели вместе весь день. Хотелось Михееву понять Сергея: что думает этот молодой человек о жизни вообще, о любви, товариществе, о стройке, журналистике. Михеев слушал Крымова и думал: «Удивительно, как сконцентрировались в нем столь противоречивые черты — юношеская романтика, одержимость и подспудная, плохо скрываемая жажда всех благ жизни... Всех сразу. И любой ценой»... Разговор зашел о Крутове, и сразу в ход пошли степени превосходные: «Жаль, что еще никто поэмы о нем не написал». И тут же Сергей стал рассказывать, как Игорь познакомил его с удивительно душевным человеком — Сергеем Николаевичем Строковым...

— У него в жизни было много всяких обязанностей. Мелких и крупных, заметных и незаметных. Но есть у него одна обязанность, которую он исполнял и исполняет отличнейшим образом,— быть Человеком среди людей. Знаете, я вас познакомлю с ним.

— А мы уже знакомы.

Крымов удивленно посмотрел на Михеева, но промолчал.

На следующее утро Михеев улетал домой. Его провожали Строков, Крымов и Задгенидзе. Через несколько дней в Москву полетят и Сергей Крымов и Сергей Николаевич Строков. Последний по делам, связанным с проектом очистных сооружений.

Крымова пока удерживает здесь профессиональный журналистский долг. А всеми своими мыслями, душевными тревогами он там, рядом с Ириной. «Что с ней, что думает о нем, как встретит его? Скорей бы...»

РОНА

Туман вокруг таинственной телеграммы рассеялся, но не разгадан еще этот треугольник: «Владик — Глебов — Рубин»... В простом, казалось бы, деле доктора Рубина выявилось несколько обстоятельств, побуждающих контрразведчиков к особой настороженности... И среди них — подозрительно уклончивые ответы Рубина по поводу его зарубежного круиза...

Бутов знал, на каком теплоходе совершал этот круиз Захар Романович. Был известен и порт приписки теплохода. Полковник уже связался с коллегами из областного управления КГБ и попросил поинтересоваться: не было ли каких-то происшествий во время того плавания? Сегодня получен ответ. В стамбульском порту теплоход задержался почти на час. Ждали пассажира, заблудившегося на базаре. Фамилия пассажира — Рубин. Доктор. Москвич. Что же, такое бывает: заблудился, отстал от группы. Серьезного значения случившемуся тогда не придали. В официальных документах об итогах очередного рейса среди всяких коммерческих, технических показателей и прочих итоговых данных происшествию в Стамбуле посвящены лишь две строчки. Но Бутов счел нужным узнать подробнее об обстоятельствах, при которых Рубин не смог вовремя выбраться из торговых рядов стамбульского базара. Виктор Павлович разыскал старосту группы туристов, в составе которой путешествовал Рубин, и сегодня собирался побывать у него: может, вспомнит какие-то на первый взгляд малозначащие обстоятельства, но представляющие интерес для него, Бутова... Есть у него еще кое-какие соображения по части взаимодействия с соседями, работниками другого управления КГБ, но об этом он должен посоветоваться с генералом.

— Садитесь, Виктор Павлович... Есть новости? Дополнения к докладу Михеева не будет? Доклад любопытный. Что Тропинин? Не нашли? Жаль, жаль... Затягивается, значит, поиск...— И, перехватив вопросительный взгляд собеседника, генерал медленно проговорил: — Да, я не считаю поиск завершенным. Возможно, что придется вам лично выехать на место. Но об этом потом. Сейчас меня интересует следующее: вам удалось найти старосту туристской группы? Отлично. Сегодня встречаетесь? Хорошо... Но сегодня объявился более важный источник информации. «Рона» прилетела в Москву. С делегацией каких-то врачей. Встреча с ней поможет нам дальше потянуть ту самую нить... Да, да, я имею в виду протокол допроса медички. Будем надеяться, что «Рона-медичка» сейчас скажет нам о Рубине нечто более важное, чем тогда, на допросе...

И они тут же стали детально обсуждать разные варианты взаимодействия с «Роной». Стамбул — доктор Рубин; Прага — Глебов; Женева — Рубин. Где связующие звенья? Есть ли они? Сложный многоугольник. Чем сможет помочь контрразведке Рона, какие задачи поставить перед ней?

Ольга, или, как потом определили ей условное имя «Рона», в свое время приехала из-за границы и училась в московском медицинском институте в порядке культурных связей с зарубежными странами. По заданию шефа разведцентра, действовавшего на родине Роны, она вошла в семью советской молодежи, чтобы изучить ее настроение, а также чтобы наводить мастеров идеологических диверсий на подходящие «объекты», помогать организации этих диверсий.

Медичку разоблачили и, когда она направлялась домой на каникулы, задержали на границе, в Бресте. Оля чистосердечно во всем призналась, рассказала, как ее, девчонку, позарившуюся на легкую, красивую жизнь, на шальные деньги, завербовали агенты разведцентра, какие давали задания, чем интересовались. Призналась и помогла нашей контрразведке выявить все нити, которые связывали ее с зарубежными хозяевами, с их людьми в Москве. Ольга поняла меру своей вины — и перед Васильевыми — советской семьей, принявшей ее в Москве, как родную дочь, и перед родителями, которые жили когда-то в России: отец — немец, мать — русская. «Они проклянут меня, когда все узнают,— говорила она на следствии.— В нашем доме всегда желанными гостями были антифашисты, люди, близкие к компартии». Ольга не просила снисхождения. Она просила только об одном: «Я понимаю, что трудно искупить свою вину, прошу лишь поверить мне, поверить, что я вам сказала всю правду».

...Когда медичку задержали, и ее родителям, ожидавшим приезда дочки на каникулы, ушла из Москвы телеграмма от имени Ольги: «Задерживаюсь выездом». А позже, из Минска, еще одна телеграмма: «В пути заболела. Сняли с поезда. Все в порядке. Скоро буду дома. Целую. Ольга». И она вернулась домой.

В штаб-квартире зарубежного разведцентра для Ольги уже была подготовлена соответствующая работа: теперь ей сравнительно часто придется выезжать в разные страны...

Через год «Ольга — Рона» оказалась в Женеве и сразу же дала знать о себе Янову, сотруднику КГБ, поддерживавшему с ней связь. На «курорт», так зашифровывался штаб хозяев, приезжал русский человек по имени Георгий и передал координаты какого-то советского инженера, с которым он пытается установить контакт. Есть у этого инженера друг, москвич, время от времени выполняющий задания из-за рубежа. Фамилия инженера и его точные координаты Роне пока неизвестны. И сообщить о нем может немногое: он тоже москвич, но сейчас переехал в Западную Украину, где работает на большой стройке. Рона продолжает сбор дополнительных сведений, но пока еще не располагает для этого необходимыми возможностями.

Попытка генерала Клементьева практически реализовать сообщение Роны в свое время не увенчалась успехом — неизвестно было даже, где устанавливался контакт с инженером: в СССР или за рубежом? Слишком неопределенным был адрес — «Западная Украина», «на какой-то большой стройке». К тому же советской контрразведке известно, как порой иные агенты типа Георгия ловко водят за нос своих хозяев, стараясь подороже продать «товар» весьма сомнительной ценности, выдумывая легенды о диповых «контактах», «письмах», «мешурах», «стенограммах», о своих «встречах с заслуживающими доверия людьми»...

Сравнительно недавно генералу стало известно, что Роне удалось заполучить кое-какие дополнительные ценные материалы, связанные с тем самым неизвестным инженером. Нити потянулись дальше: оказалось, что фигура номер один вовсе не инженер. Шеф Роны направляет в Москву человека с каким-то важным поручением. К нему причастны и инженер и его московский друг. Рона по делам своей официальной службы побывала в Англии, Турции, Чехословакии и выполняла там ряд заданий штаб-квартиры, а сейчас готовится к поездке в Москву и предпочла бы лично передать имеющиеся у нее сведения.

...Вчера Бутов беседовал со старостой туристской группы Рубина, потом в министерстве встретился с капитаном судна, на котором совершал свой вояж Захар Романович, разыскал нескольких его спутников, и вот теперь лежит на его столе еще привезенное Роной сообщение, имеющее прямое отношение к операции «Сонрат-телеграмма». Сообщение это, конечно, потребует дополнительных запросов. Но уже есть возможность воссоздать хотя бы приблизительную картину давно минувших событий...

Продолжение следует.

Вне игры

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА

«НАНДОР И К°»

На рассвете советский лайнер вошел в Галатскую гавань и пришвартовался к причалу стамбульского порта.

На теплоходе уже давно все бодрствовали — таков удел туристов. Вскоре на борт судна поднялись турецкие пограничники, таможенники, представители санитарной и ветеринарной служб.

Но вот наконец все судовые документы оформлены, паспорта получены — и пассажиры спускаются на набережную, занимают свои места в автобусах. Им предстоит отправиться традиционным туристским маршрутом по неширокими, кривым улицам древних кварталов города. Квартал Фенер с подворьем вселенского патриарха — в свое время здесь были дома крупных греческих купцов, банкиров, ростовщиков, а теперь ютится греческая беднота; квартал Эминею, где в эпоху султаната находилась «Блистательная порта»,— здесь правительственные здания, памятники средневековой византийской архитектуры, и самый примечательный среди них — Айя-София, или храм святой Софии, который десять тысяч человек строили пять лет. Туристы слушают гида, всматриваются в пестрые улицы, и никто, конечно, не обращает внимания на изрядно потрепанный «ситроен», примостившийся к туристским автобусам еще на набережной.

За рулем «ситроена» Сабир. Рядом с ним — напарник Керим. У гида — работа. У них тоже... Каждый по-своему зарабатывает на жизнь. Сабир и Керим выезжают на встречу гостей из СССР, как на службу. Для них не имеет значения, кто эти гости: туристы, матросы, специалисты, прибывшие в служебную командировку, или просто родственники местных жителей. Найти среди прибывших «нужных» людей — вот их задача. Механика поиска отработана до автоматизма — найти любой повод, чтобы вступить с гостями в разговор, постараться установить контакт, а если надо, то и слезу пустить: «Такая тоска по родине, по земле отцов и дедов, да благословит ее аллах! По воле судьбы мы вынуждены мыкать горе на чужбине». Затем следует монолог о сохранившейся в их сердцах любви к советской земле, о желании вернуться на родину. Но вот «очевидцы им рассказывают, что...». И тут уже начинается обстрел снарядами, начиненными «доподлинными» свидетельствами «пострадавших», цитатами из какого-то таинственного «манифеста» и т. д. и т. п. Сабир и Керим говорят тихо, вкрадчиво, мягко, осторожно: «Вы многого не знаете. От вас скрывают... Вот возьмите». И суют какие-то брошюрки, листовки, памятки. Это всегда при них. Но все труднее и труднее сбывать «товар». Один швырнет листовку в лицо и отругает, другой шарахнется от них, как от зачумленных. Год от года дела идут все хуже — надежды хозяина на возможность установления в Стамбуле нужных ему контактов с советскими людьми рушатся одна за другой.

Когда Сабир и Керим пускали горькую слезу по поводу тяжкой жизни на чужбине, они не очень были далеки от истины. В сорок втором, в пору напряженных оборонительных боев, Сабир и Керим дезертировали из Советской Армии. Служили в карательных отрядах СД. После разгрома гитлеровской Германии нашли себе новых хозяев... Они прошли полный курс разведшколы и были отправлены в Стамбул для «работы» с иностранцами на всемирно известном стамбульском базаре.

В последнее время господин Нандор, шеф Сабира и Керима, все чаще твердил им:

— Теперь уже нет большой пользы от того, что всучишь кому-то из советских граждан брошюрку или листовку. Надо находить среди них падких на тряпье, магнитофоны, транзисторы или, скажем, на красивые восточные сувениры... Я знаю, таких учуять нелегко,— говорил Нандор.— А за что же вам платят деньги? Если не можете — убирайтесь к чертям собачьим, идите работать в каменоломни...— Хозяин распалялся все больше, переходя уже на крик. Но затем снова спокойно начинал поучать, словно читал лекцию:

— Когда желаемый субъект окажется в поле вашего зрения, вы должны найти достаточно верный повод, пусть даже самый пустяковый, для провокации... Действовать надо молниеносно, чтобы гость не успел прийти в себя. Старайтесь запугать его, создайте такую обстановку, которая показалась бы ему безвыходной. И тут вы появляетесь на сцене в роли друга-спасителя, доброжелателя. «Я тоже советский человек,— восклицаете вы,— хотя и заброшен судьбою на берега Босфора!» Вы считаете своим долгом спасти соотечественника. И совсем за ничтожную плату. Да, да, вы знаете, что у него нет валюты. Ее и не потребуется. Потребуется малозначащая информация, которую вы хотели бы в порядке дружеской помощи передать своему родственнику, работающему над книгой об СССР... Фантазии, больше фантазии, господа! Наша работа — это творчество, высокий полет мысли, это вершина изобретательности и деликатности. Мягко, тонко вы намекаете о возможности конспиративных связей. Каким способом? Пусть это не волнует вашего «друга», вы гарантируете абсолютную безопасность. И, разумеется, солидный гонорар. «Если вам будет угодно,— скажете вы,— мы откроем на ваше имя счет в швейцарском банке...»

Наконец «бульдог» — так между собой называют они своего шефа — черноволосого крепыша с мясистым носом и тяжелыми, поистине бульдожьими челюстями — замолкает и, всматриваясь в почтительных слушателей, требовательно вопрошает:

— Кажется, вы что-то хотели сказать, Сабир?..

Сабир робко заметил, что они работают в поте лица своего, но такова воля аллаха — иноверцы отворачиваются от них...

— А о нас с вами будут судить, господин Сабир, не по тому, сколько трудов мы потратили. Результаты!.. Где результаты — спрашиваю я вас, кого нам удалось завербовать?— И, не ожидая ответа, мрачно объявил:— В ближайшее время к нам прибудет с инспекторской миссией представитель штаб-квартиры господин Егенс. Так что работайте, ищите нужных нам людей. Да, да, ищите: у вас должен быть нюх гончей собаки... Помните, что штаб-квартиру интересуют в первую очередь ученые, люди, имеющие доступ к источникам самой различной информации. И, о чем-то подумав, добавил:— Ну и творческая интеллигенция... Вы меня поняли? Хочу предупредить, в случае еще одной неудачи мы можем оказаться за бортом, а там... Вы не хуже меня знаете, что значит для нас оказаться за бортом...— Плечи «бульдога» вяло опустились, и, не глядя на собеседников, он сказал:

— Спокойной ночи, господа.

...Автобусы подкатили к храму святой Софии. Поблизости, за углом, остановился и «ситроен» Керима и Сабира. Влиться в толпу туристов было довольно легко... Гид, красивая смуглая девушка в ярко-зеленом платье, неплохо владела русским языком и бойко рассказывала об уникальном мраморном поле, о мозаике, о священной, облицованной бронзовыми плитами «колонне желаний». В одном месте колонны бронза протерлась, и в мраморе образовалось небольшое углубление. «Это от прикосновения пальцев,— улыбается девушка.— Легенда гласит: прикоснись — и исполнятся твои желания».

Путешествуя по Стамбулу, экскурсанты вели себя по-разному. Одни держались вместе, внимательно слушали, погружаясь, как говорится, в глубь веков... Другие спешили запечатлеть себя и своих спутников на фоне мечети или крепостной стены и потому отходили иногда довольно далеко. Вот эти «другие» и привлекали внимание «людей Нандора». Сабир сразу нацелился на лысого человека с красивым, энергичным лицом. В руках тот держал кинокамеру, а на шее висел фотоаппарат с телеобъективом. Он присаживался на корточки и, как заправский фотокорреспондент, старался захватить в кадр мечеть Алтын со всеми ее минаретами. Послушав затем минуту-другую гида, он снова отошел от группы и осмотрелся по сторонам... Можно было подумать, что турист кого-то или что-то ищет. Кого, что? Сабир и Керим вспомнили наставления Нандора — выбирать, действовать целенаправленно.

Автобусы прибыли к рынку. Девушка-гид три раза хлопнула в ладоши: «Внимание!»,— затем поднесла к губам микрофон и громко сказала: «Прошу держаться ближе друг к другу. Здесь легко заблудиться и отстать. Сейчас мы с вами осмотрим один из самых знаменитых базаров Востока...»

Шумит, гудит, звенит многоязычный стамбульский базар, переливаясь всеми цветами радуги. Словно магнит, притягивает покупателей этот город в городе. У него свои законы, традиции, обычаи, свой облик «улиц» и их «жителей». Это лавины диковинных фруктов и разноцветных фресок, чеканка по металлу, шитье золотом, изделия мастеров, чье великолепное искусство передается из поколения в поколение. Лысый фотограф на базаре оказался в самом хвосте туристской группы и, пожалуй, чуть дольше, чем его соотечественники, задерживался то у витрины магазина, то у груды товаров, разложенных прямо на земле или на прилавках.

Здесь, в каждом уголке базара, своя манера зазывать покупателя: «Посмотри, дорогой, купи, дорогой!» А эта витрина, пожалуй, выделялась среди других сочетанием европейской строгости, даже некоторой чопорности, с азиатской кричливостью. А может, это все показалось Лысому — так между собой назвали его Керим и Сабир. Просто сам магазин расположен на бойком месте, недалеко от центральных ворот базара. Потому и привлекает. Так или иначе, недолго потоптавшись у входа, турист решительно переступил порог магазина с яркой вывеской: «Нандор и К°». А чуть ниже было написано: «Здесь говорят на английском, немецком и русском языках».

В тот момент, когда иностранный турист, и тому же еще из СССР, появляется в их торговом зале, все причастные к «хозяйству» Нандора люди уже знают, как и что им надлежит делать.

Керим спешит к шефу с черного хода. Кабинет шефа расположен в магазине, имеет два входа: один — из торгового зала, другой — черный, с тыла, почти незаметный. А Сабир остается на улице. Рядом с ним «некто» в ярком мундире, напоминающем форму здешней полиции. Лишь местные жители знают, что это не полицейский, а швейцар. Через стеклянную витрину и настежь открытую дверь Сабир видит, как навстречу Лысому услужливо, чуть склонив голову набок, с улыбкой семенит продавец Яфи. У него удивительно наметанный глаз, у этого Яфи. Он видит и покупателя и Сабира, незаметно подающего сигнал.

Яфи приступает к исполнению своих обязанностей. О, теперь это уже вдохновенный певец, воспевающий красоту заморских тканей, восточных миниатюр и сувениров. Яфи изгибается перед покупателем, жестикулирует и даже, когда его монолог сменяется диалогом и покупатель, выбрав сувенир, считает, что цена слишком высока, продавец сумеет убедить: «Таких низких цен, как у «Нандора и К°», нет на всем стамбульском базаре». Наступает пауза... Продавец и покупатель вопрошающе смотрят друг на друга, и Яфи угадывает то мгновение, когда пора сделать жест, означающий — «хорошо, согласен, берите». Лысый достает из бумажника советский десятирублевый банкнот и начинает новый диалог: согласен ли Яфи принять советские деньги и каково их соотношение с местной валютой? Но вот уже Лысый получает четки, уложенные в обтянутую красным бархатом коробочку, в придачу подарок фирмы — миниатюрный макет храма святой Софии. Сунув все это в карман, турист выходит из лавки, оглядывается по сторонам: где они, его спутники?— и направляется к главному выходу. Но тут же к нему подходят Сабир и нандоровский швейцар, который играет роль полицейского. Сабир вежливо кланяется и говорит по-русски:

— Мы вынуждены задержать вас, господин. Вы украли в магазине...

Лысый с негодованием прерывает Сабира, даже кричит на него, лоб туриста покрывается бисеринками пота. Но Сабир все так же вежливо продолжает:

— Зачем возмущаться, господин? В полиции

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—42.

мы сейчас все выясним... Аллах справедлив и мудр.

...И какими-то задворками, черным ходом они привели Лысого в кабинет господина Мандора. По тому, как тот держался, хозяина кабинета легко было принять за полицейского комиссара — изысканно вежлив, говорит негромко, но с достоинством человека, наделенного властью.

— Садитесь, Сигару? Сигарету?.. Не надо волноваться. Сейчас мы вызовем потерпевшего. Я допускаю, что он напрасно поднял шум.

Мандор набрал номер телефона, сказал несколько слов, и через пять минут в кабинете появился Яфи. Увидев Лысого, продавец стал рассыпаться в любезностях, приносить извинения. Но «полицейский комиссар» гневно закричал на него, когда Яфи показал советский банкнот. Продавец тут же положил этот банкнот на стол «комиссара» и стал темпераментно объяснять:

— Видит аллах, господин русский вовсе не вор. То есть он формально не вор. За купленную вещь уплачено столько, сколько полагается. Но уплачено советскими деньгами, которые... Я не хочу обижать господина русского, но по нашим законам... О, пусть покарает меня аллах, если я не хотел сделать приятное покупателю... Это священный долг продавца. И я не виноват, что господина сейчас привлекают за воровство. Перед мудростью закона все падают ниц.

Яфи говорил, не переводя дыхания, и, вероятно, он еще долго разглагольствовал бы о «священном долге» продавца и строгости закона, если бы его решительно не прервал Мандор. Собственно, можно уже кончать театральное представление: лежавшие на столе сувениры, десять советских рублей, о чем-то спорящие люди, среди которых и он, русский турист,— все это уже снято кинокамерой, записано на диктофон. И теперь Мандор переходит к завершающему этапу операции.

— Что скажете, уважаемый господин?— обратился он к туристу.

А турист сидел подавленный, растерянный...

— У вас есть при себе документы?

Мандор неторопливо перелистал советский паспорт, внимательно посмотрел на фотографию, потом на Лысого. Так повторялось два-три раза — профессиональная манера полицейского.

— Вы свободны!— объявляет шеф. Турист поднимается со стула, протягивает руку за паспортом, хочет поблагодарить «полицейского комиссара» и вдруг — как ушат холодной воды!

— Нет, это не к вам относится, господин.— И окинув строгим взглядом Яфи, Сабира, швейцара, еще двух каких-то типов, неизвестно откуда и когда появившихся в кабинете, Мандор резко, уже тоном приказа, повторяет: «Я, кажется, сказал ясно...» Они исчезли бесшумно и молниеносно, словно их ветром сдуло. В кабинете остались двое, с глазу на глаз — Мандор и Лысый.

...А Керим тем временем наблюдал, как туристы толпились у автобусов, тревожно оглядывались по сторонам. Двое отделились от группы и вновь отправились на базар. Вернулись и беспомощно развели руками. Они еще некоторое время ожидали исчезнувшего товарища, потом сели в автобусы и отправились в порт.

Уже прошел тот час, когда судно по расписанию должно было отчалить, а капитан все не отдавал приказа «Поднять якоря!» — хотя и знал, сколько всяких неприятностей сулит ему опоздание с выходом из порта. И вдруг кто-то из пассажиров, разглядывая набережную в бинокль, радостно воскликнул: «Идет!» Слово «идет» в данном случае не совсем точно выражало способ передвижения этого туриста: запыхавшийся, бледный, на ходу вытирая платком потное лицо и лысину, он бежит из последних сил, и казалось, вот-вот рухнет...

Тяжело дыша, он ступил на палубу, и тут же был поднят трап.

Егенс прибыл в Стамбул вечерним экспрессом. Как было заранее условлено, справа от главного входа на стоянке его ждал «ситроен». За рулем сидел Мандор. Он даже не повернулся, когда гость открыл дверцу машины: строжайшая конспирация, вокзал — не лучшее место для взаимных приветствий, они еще успеют облобызаться...

С вокзала Мандор повез Егенса в отель, где гостю был заказан лучший номер. По дороге они уточнили время встречи.

Когда-то Егенс «работал» в Москве, прикрываясь дипломатическим паспортом советника посольства. Отличнейшая практика. Начальство было им довольно, хотя никаких явственно ощутимых результатов труды господина Егенса не дали. Но он, как это было зафиксировано в аттестационном формуляре, обрел в Москве опыт по установлению контактов, собиранию всяких сведений из вполне легальных источников. Егенс учился покупать — когда за доллары, а когда за бутылку шотландского виски — слухи, сплетни, анекдоты, всякую болтовню, в которой нет-нет да и всплывала нужная информация. Он присматривался к деятельности своих многоопытных коллег, среди которых одни располагали корреспондентскими билетами, а другие — полномочиями какой-нибудь фирмы. Примечал, как иной его коллега, оказавшись в компании москвичей, начинал со скабрезных анекдотов, переходил на политические анекдоты из жизни своей страны — и тут уже не было пощады даже самому премьер-министру. А потом незаметно переходил и разговорам о советской политике. Начинал он с того, что является поклонником таланта русского народа, и тут же вскользь ронял несколько слов о таланте своего собеседника, одаренного инженера, врача, ученого, геолога, физика — смотря кем был этот собеседник.

— Но, увы, в вашей стране талантливых людей не ценят... Я понимаю — плановое хозяйство... Коммунистическая сознательность. Но, согласитесь, нужен стимул. Так, например, за изобретение господина Н. у нас уплатили бы...

И далее следовала сногсшибательная сумма.

Перед отъездом Егенса в Москву шеф нацеливал его на «околотворческую» интеллигенцию — непризнанных «гениев» с болезненным самомнением, завистливых неудачников, в частности из молодых, которые считают хорошим тоном быть обязательно недовольными. Неважно чем — важно как-то выразить свое «особое мнение». «У них есть нечто общее с нашими студенческими бунтарями»,— поучал шеф и даже сунул Егенсу в качестве пособия карманный бестселлер «Студенческие мятежи».

Но на месте, в Москве, все оказалось куда сложнее. Неудача следовала за неудачей. Иногда кое-кто, захмелев, согласно кивал: «Да, вы правы, господин Егенс. Да, над этим стоит призадуматься...» Но чаще всего случалось так, что, выслушав монолог Егенса, собеседник вдруг вставал и, даже не подав ему на прощание руки, уходил.

...Прошли годы, и Егенс уже слыл знатоком Советского Союза. Теперь он действовал с территории разных стран, появляясь в Москве — то с паспортом канадского промышленника, то в качестве представителя какой-то новозеландской торговой фирмы. Шеф требовал: «Вы должны видеть эту страну такой, какая она есть сегодня, вам нельзя отставать от прогресса Советов, иначе легко сбиться на неверную дорогу. Мы с вами, Егенс, должны быть реалистами и всегда держать руку на пульсе... Газетные статьи и выступления по радио наших

антикоммунистов с их анализом советского образа жизни — это не для нас с вами. Мы не пропагандисты. Мы обязаны руководствоваться своим собственным объективным анализом».

И Егенс в какой-то мере оправдывал надежды шефа. Его считали опытным советологом, умеющим трезво, с реалистических позиций оценивать противника. И, не боясь навлечь гнев шефа, он, вернувшись из Москвы, как-то сказал ему: «Не верьте легендам о легионах молодых бунтарей. Мифы! Поверьте, наши отечественные «новые левые» с их проповедью неприкрытости личности и общества, с призывами «Долой авторитеты!» куда взрывоопаснее». Шеф не гневался. Он делал свои выводы: тем важнее находить в России этих одиночек-бунтарей и поддерживать их... Тем важнее создать видимость целого движения.

Егенс не спорил с шефом, но мало верил в успех. По крайней мере до сих пор его разведывательная деятельность против Советов не дала таких результатов, о которых можно было бы говорить всерьез, что, однако, не помешало ему получить хорошую служебную характеристику. И не потому, что хозяева были либерально настроены или принадлежали к числу тех, которые смотрят и не видят. Нет, они все видели, все понимали. Но у людей, которым служил Егенс, существовала своя мера требовательности, свой подход и оценке работников. У Егенса не было провалов — жирный знак плюс. Он ушел вовремя что-то подсказать, посоветовать, назвать подходящего человека, навести на след, тонко препарировать в своем докладе беседы с советскими людьми — и в его досье появлялось еще несколько плюсов.

Конечно, он мечтал о большой, законченной операции с многообещающими результатами. Но, увы, не получалось. Правда, он, Егенс, отнюдь и не испытывал особых угрызений совести по поводу бесплодно затраченных долларов, франков и фунтов стерлингов... Высокие идеологические понятия для Егенса были категориями преходящими, ценность которых определялась им очень утилитарно: самая прогрессивная идеология та, которая дает наибольший дивиденд. Он готов служить черту, дьяволу, сионизму, буддизму, христианству, мусульманству, капитализму — только платите! Сейчас с его, Егенса, точки зрения, ставка на нынешних хозяев, пожалуй, наиболее прибыльная.

...Егенс рассматривает в зеркале свое стареющее лицо и мысленно прикидывает, что даст ему инспекция хозяйства Нандора. Стоит ли учинять разгром или нужно только слегка приструнить, дать понять, что штаб-квартира недовольна «низким коэффициентом полезного действия»,— так выразился шеф. Егенс передаст его слова, выскажет ряд конструктивных соображений, о которых потом можно доложить в штаб-квартире. Пожалуй, так выгоднее. Но что он предложит Нандору? «Низкий коэффициент полезного действия...» Только ли и Нандору применима такая оценка?..

— Я рад вас приветствовать, господин Егенс! Прошу...

— Как идут дела, господин Нандор?

Нандор насторожился.

— Какие, торговые или другие?..

Егенс дружески похлопал Нандора по плечу.

— Куда спешишь, старина? О других мы на ходу говорить не будем...

Осторожно прощупывая в разговоре намерения гостя, хозяин Нандор проводил его в свой уютный, со вкусом обставленный кабинет, где, кажется, каждый звук поглощался дорогими персидскими коврами.

Выпили за встречу, сказаны были все подобающие при этом вежливые слова. И умолкли... Каждый из собеседников что-то обдумывал, предпочитая вступить в игру вторым. Наконец Егенс понял, что начинать придется все же ему...

— Я приехал, чтобы кое о чем сообщить тебе, старина, и кое-что узнать. Сенсационных новостей не жди, но могу сказать следующее: нас систематически знакомят со сводками аналитического управления Ленгяи. Сводки, правда, куцые, однако, судя по ним, все более отчетливо прослеживаются наши известные успехи в получении информации о России с помощью технических средств. Я имею в виду данные радио- и космической разведки, поступающие к нам после обработки материалов искусственных спутников Земли типа «Самос», «Дискаверер», «Геос», «Нибус». Я имею в виду круглосуточные перехваты советских радиоизлучающих средств — на земле, в воздухе и на море. Это позволяет нам получить достаточно обширный фактический материал о потенциальных возможностях русских...

Но тут Егенс видит плохо скрываемую улыбку на лице Нандора и умолкает. «Эту хитрую лису не проведешь. Он почтительно слушает меня, а сам думает: «Не трать зря времени, Егенс. Я все это без тебя знаю. Переходи к делу». Ну что же, изволь,— глотай пилюлю!» И Егенс продолжает все в том же наставительном тоне:

— У нас нет серьезных успехов на главном направлении — агентурное проникновение в Россию через самих русских. Некоторые надежды шеф возлагал на господ из НТС. Иногда им кое-что удается. Но чаще они оказываются большими мастерами пускать мыльные пузыри. Под своих мифических агентов в России, которые якобы ведут большую подпольную работу, под шифрические шифровки этих несуществующих агентов они получают у нас огромные гонорары. А на поверку — пшик. Прости, старина, я не хочу тебя ставить рядом с этими «освободителями России». Но штаб-квартира поручила мне оценить деятельность фирмы «Нандор и К°» именно с этих позиций. Мы много лет с тобой работаем вместе. Однако я не свею во имя дружбы пренебречь... Ты меня понял, Нандор? И не обижайся. Я с добрыми намерениями...

Он поднялся, подошел к Нандору и положил свою красивую руку с длинными тонкими пальцами на широкую, сейчас полусогнутую его спину. Егенс заранее и долго обдумывал, как и что он скажет старому другу. Он старался говорить спокойно, чтобы голос звучал мягко, дружелюбно. Но, кажется, сорвался — не мог скрыть глухое раздражение. Нандор это почувствовал. Он слишком хорошо знал нравы штаб-квартиры, чтобы всерьез принимать слова Егенса о «добрых намерениях». Нандор тоже поднялся и почтительно залаял:

— Я жду ваших указаний, господин Егенс.

— Не надо так... Садись. Нам надлежит вместе с тобой обдумать некоторые позиции. Нужны смелые поиски новых приемов, методов. Любой ценой мы должны организовать в Советском Союзе свою агентуру. На данном этапе это — самое важное. Все остальное — гарнир... Так считает шеф. Его не всегда удовлетворяют те агенты, которых мы внедряем в России извне. Он говорит о них: «зыбкие гастролеры». Конечно, бывают и удачи...

И Егенс, не вдаваясь в детали, рассказал про одного такого агента — «медичку», которая несколько лет жила в Москве в порядке культурного обмена, училась в медицинском институте.

— Но, увы... Я буду с тобой откровенным, Нандор. «Медичка» — одно из немногих приятных исключений из правила. Наши люди стали слишком часто проваливаться в Москве. И я не склонен объяснять это лишь прекрасной работой советской контрразведки.

— А чем же еще?

— Иногда мы бываем необычайно доверчивы. В особенности тогда, когда надеемся на этих сентиментальных «патриотов», которые в разные времена по разным причинам покинули Россию. Ты, конечно, слышал, как провалился наш агент Руби. С ходу — и в лапы контрразведки. А кто клялся всеми святыми: «Можете на него положиться»?

Егенс вздохнул и замолчал, теперь явно давая понять ему, Нандору, что пора отчитываться...

— Так чем ты порадуешь своего шефа?— услышал Нандор.

Чем он порадует шефа? Увы, ничем. Все, что за год сделано его людьми, конечно, не заслуживает внимания штаб-квартиры. Но судьбе угодно было привести в его магазин того лысого туриста, которого он сейчас постарается представить как субъекта «весьма перспективного». Правда, его он припас на «десерт»... А пока вот, извольте, господин Егенс. И, подобострастно склонившись над креслом гостя, он протянул плотную папку...

— Я подготовил для вас письменный отчет о нашей деятельности. Не нам судить о ней. Как, говорится, «тут не многое, но много»...— похвастался и сразу же спохватился: «Перед кем хвастаешься? Он же тебя насквозь видит». И Нандор поспешно добавил:

— Но в отчет не вошла последняя наша операция, на мой взгляд, весьма серьезная. Доклад о ней мы отправили сегодня на ваше имя. К докладу приложено несколько фотографий и кинопленка. Все это вы посмотрите позже. Впрочем, я считаю необходимым сейчас доложить вам суть дела.— И Нандор рассказал об операции, которой он уже успел дать кодовое название «Лысый».

— В посланном вам докладе есть фамилия, имя, отчество туриста из Советского Союза и необходимые установочные данные. Я имею основание полагать, что мы его крепко прихватили. В кармане у него оказалось еще двадцать рублей, и мы воспользовались этим, объявив, что турист обвиняется в контрабандном провозе валюты, спекуляции валютой, в нарушении таможенных законов «страны пребывания». А уж мы-то популярно ему объяснили, что это значит и что за это полагается по нашему закону. Когда было заявлено, что мы его не отпустим, что он должен быть судим, Лысый побледнел, хотел что-то сказать, но так и не смог вымолвить ни одного слова. Нам не стоило большого труда заставить его подписать соответствующий «протокол». Однако на главном направлении мы еще не добились успеха... Турист уклонился от разговора о сотрудничестве, а у нас было мало времени для работы с ним... Вы не хуже меня знаете капитанов советских морских судов, какие они закатывают скандалы, если их пассажира задержат на час-другой. Мы вынуждены были доставить туриста в район порта... У нас не осталось на руках ничего, кроме «протокола», подписанного этим туристом, и соответствующих фото- и кинодокументов. Но есть наблюдения, так сказать, психологического порядка. Я почти уверен, что турист никому не расскажет о своих приключениях на базаре. Я смею заглянуть дальше: составленный наши «протокол», фото- и кинодокументы плюс запись диктофона — капитал, который при соответствующих условиях может дать солидные проценты. Дело в том, что Лысый не произвел впечатления стойкого человека...— И Нандор впервые за весь вечер позволил себе улыбнуться...— Я попросил бы вас, господин Егенс, поручить вашим людям тщательнее проверить этого человека по картотеке централизованного учета. Я понимаю, что шансы на успех ничтожны, но вдруг... Жизнь полна неожиданностей. Он мог оказаться нестойким и при других обстоятельствах...

— Ты прав, Нандор. Мы обязательно проверим.

Продолжение следует.

Вне игры

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Нандор поднял гостю коньяку. Егенс поморщился, но выпил. Потом посмотрел на часы. Было уже далеко за полночь.

— Пора. Я, кажется, несколько отяжелел... Что поделаешь: не те уж годы! Время идет...

Нандор поднял брови, вздохнул и раздумчиво сказал:

— Неправда, Егенс. На Востоке мудрые люди утверждают, что время вечно, оно не уходит. Это мы с вами уходим...

Егенс долго не отвечал, на какой-то миг даже выражение досады мелькнуло на его лице... И тут же он решительно объявил:

— Шеф недоволен твоей поездкой в Карлсбад... Он считает, что ты не добился успеха в главном: тебе не удалось установить нужных контактов с отдыхавшими на этом чешском курорте русскими...

Нандор поморщился, сжал тонкие губы в ожидании новых упреков. Но Егенс поспешил успокоить «старого друга».

— Не расстраивайся, старик. Шеф уже смягчился. Сейчас, кажется, подумывает, не отправить ли господина Нандора еще раз в Чехословакию. Он все же верит в твой опыт... Наша штаб-квартира прогнозирует быстрое развитие обнадеживающих событий. Ожидаются серьезные социальные катаклизмы, в ходе которых восточный коммунистический блок даст глубокие трещины. И, возможно, ты окажешься в кратере вулкана. Тогда уж не зевай!

Егенс долго разглагольствовал о «кратере вулкана» и явно не спешил уходить. Нандор даже почувствовал, что гость порывается сказать о чем-то сугубо интимном, не имеющем отношения к его миссии инспектора, но не решается...

— Старик...— Егенс произнес это тихо и проникновенно,— у меня тут небольшая партия героина. Я попросил бы...— И протянул маленькую полированную шкатулку.

Нандор все понял, и прежде всего — что можно больше не тревожиться: доклад инспектора будет максимально «объективным».

— Сочту за честь, господин Егенс... Реализуем. Восток без героина не Восток...

И полированная шкатулка перекочевала в стальное чрево несгораемого шкафа, замаскированного под стенную панель.

...Через некоторое время Нандор получил телеграмму шефа. Его, Нандора, вызывали в штаб-квартиру. По срочному делу... «Лысый хорошо известен центру». Нандор все понял: значит, его последняя, отнюдь не торговая операция с лысым туристом высоко оценена «вверху»...

РЫЖИЙ ДЬЯВОЛ

— Знакомьтесь, Нандор. Я вам говорил о Медичке.

— Очень рад. Имел удовольствие слышать о вас. Я, кажется, помешал...

— Нет. Мы уже заканчиваем.— И Ольга выразительно кивнула на большой стол, заваленный газетами, журналами, уставленный длинными, узкими ящиками с карточками.

Нандор застал своих коллег погруженными в океан информации. Самой разной. Из самых разных источников. Главным образом из советских газет, журналов, бюллетеней... После тщательного анализа советских научно-технических журналов было высказано предположение, что в СССР ученые активно исследуют проблемы влияния коротких радиоволн на человека и животных. Группе опытных разведчиков было поручено проверить правильность такой гипотезы. Параллельно с этой группой, даже в какой-то мере в помощь ей действовала и та штаб-квартира, на службе у которой находились Егенс, Нандор и Медичка. Егенса особо интересуют «стыки» в работе биологов и физиков. Лысый — он теперь подопечный Егенса — процветает, кажется, на той же ниве... Радиобиология, человек и радиация... Тамова пока еще смутная информация о деятельности завербованного когда-то гитлеровцами агента под кличкой «Сократ», неожиданно оказавшегося в поле зрения штаб-квартиры. Здесь довольно тщательно изучили список всех советских подписчиков на некоторые сугубо специальные иностранные издания, включая американский журнал «Миссайлс энд рокитс» — «Управляемые снаряды и ракеты». Среди подписчиков одного на первый взгляд весьма «безобидного» журнала, интересующего в равной мере физиков и биологов, значится и москвич Захар Романович Рубин. Но, пожалуй, не это обстоятельство, хотя и оно немаловажно, побудило штаб-квартиру поручить Егенсу всерьез заняться московским доктором. Его военное прошлое, все эти сохраненные в досье главной штаб-квартиры страницы его биографии, информация Медички и, наконец, сообщение Нандора — вот что возбудило столь повышенный интерес к доктору Рубину. Шеф предложил Егенсу вызвать Нандора и Медичку, чтобы вчетвером проанализировать все известное им по делу Сократа и решить, как действовать дальше.

...Друга своего Егенс встретил радушно.

— Привет, старина! Дай-ка я посмотрю на тебя. Ты прекрасно выглядишь... Хочешь что-нибудь выпить? Присаживайся. В тринадцать ноль-ноль явится шеф, и мы приступим к делу.

Ему, конечно, очень хочется узнать результаты операции «Героин», но мешает Медичка. К тому же сейчас придет шеф. И Егенс сказал:

— Можешь сверять часы, Нандор. Сию минуту он будет здесь.

Старинные часы пробили один раз — и в то же мгновение распахнулась массивная дверь. Порог перешагнул высокий, сухопарый человек с трубкой в зубах. Он молча кивнул в сторону Егенса и Нандора, поцеловал руку Ольги, небрежно бросил пиджак на стул и занял председательское место за столом. Между собой сотрудники звали его «рыжий дьявол»: настолько огненно-рыжей была его шевелюра... Кому-кому, а уж Егенсу хорошо известно, насколько оправданна и другая половина прозвища хозяина... И потому голос его прозвучал почти подобострастно:

— Разрешите начать, сэр?

— Да, прошу вас.— Попыхивая трубкой, шеф с деланно-рассеянным видом уставился в окно, за которым стояли высоченные сосны.

Собранный, энергичный, требовательный, много знающий и много видевший — тридцать лет службы в разведке!— шеф полон сознания значимости своей роли на этом узком совещании четырех. Доклад Егенса об инспекционной поездке и Нандору заинтересовал штаб-квартиру, и теперь надо решать, кого посылать к московскому доктору с «приветом от Воронцова», с «бритвой «Жилет». И шеф хочет снова выслушать подробный доклад Егенса, поговорить с Ольгой, хорошо знающей Москву, москвичей и мир медиков, в частности посоветоваться с Нандором, человеком, который видел Сократа, беседовал с ним. В общем, все трое должны помочь ему ответить на вопросы: «Как установить контакт с Сократом? С чем идти к нему? Привет «от Воронцова» или «от Нандора»? Или и то и другое...»

Егенс понимает, что пищу для ответов на все эти вопросы должен дать его доклад с предложениями, с откровенно высказанными сомнениями, догадками... И плюс Нандор. И плюс Медичка. Пожалуй, это самые вероятные кандидатуры на поездку к Сократу. Их надо сейчас более основательно вводить в курс дела.

— Итак, господин Нандор,— Егенс ведет теперь разговор с коллегой в сугубо официальном тоне,— я уполномочен сообщить, что анализ вашего доклада о туристе Рубине дает обнадеживающие основания...

Но Егенса прерывают:

— Прежде всего анализ этого доклада дает нам основание сделать отнюдь не лестное заключение о работе господина Нандора.— Это раздраженно говорит шеф.— Да, да, Нандор... Вы оказались в той ситуации не очень-то расторопным. Результаты вашего диалога с господином Рубиным могли быть куда более эффективными. Вы опытный мастер своего дела, Нандор, а тут оплошали.

Нандор беспомощно обвел взглядом присутствующих, он словно искал у них поддержки, и в первую очередь, конечно, у Егенса: ведь операция «Героин» чего-то стоит? Но коллега в эти минуты подобострастно смотрит на шефа, на его лице нетрудно прочесть: «Рассчитывай только на себя». И Нандор делает все, чтобы оправдаться:

— Я смею заметить, что у нас были серьезные основания прервать эту операцию. Допустим, что я, продолжив диалог с Лысым, кое-чего мог и добиться, но это потребовало бы много времени... Из-за туриста отход судна задержался бы надолго, и советская контрразведка наверняка взяла бы Рубина на прицел... Мы не нашли бы и тех обнадеживающих оснований, о которых, видимо, собирается говорить мой коллега.

— Ну, ну... Допустим, что какая-то доза логики присутствует в ваших объяснениях, господин Нандор. Прошу вас, Егенс, продолжайте...— И губы шефа дрогнули в насмешливой улыбке.

— Я позволю снова напомнить,— Егенс продолжал доклад в том же почтительном тоне, все время поглядывая на шефа,— что мы проанализировали доклад господина Нандора и по картотеке Центра проверили данные о Лысом. Там имеется карточка на Рубина по кличке Сократ. Это досье — наш трофей, в свое время перехваченные у гитлеровской разведки.

...Бутов особенно внимательно читает эти строки сообщения Медички. Здесь каждое слово значимо. В основном все совпадает с исповедью Захара Романовича. Почти все эти факты уже известны советской контрразведке. Есть лишь небезынтересные детали, на которые счел нужным обратить свое внимание и Егенс...

— ...Абвер решил перед отправкой Рубина в Россию проверить его на детекторе лжи, хотя, как известно, в ту пору эта аппаратура была еще далека от совершенства, проводились лишь первые эксперименты. Показатели Сократа оказались ниже среднего. На вопрос: «Вернувшись в Москву, вы явитесь в НКВД?» — последовал ответ: «Нет». Однако кривая кровяного давления при этом резко скакнула вверх. Видимо, немцы не придали значения этой кривой... После переброски Сократа в Москву связи с ним оборвались. По крайней мере в досье нет данных, подтверждающих такие связи. Но вопрос этот остается открытым и даже в какой-то мере загадкой, над которой...

— Ваши соображения?..— Рыжий резко оборвал собеседника, поднялся с места, прошелся по комнате и досадливо повернулся.— Егенс, а вам не приходила в голову такая мысль, что где-нибудь имеется еще одно досье, не попавшее в наши руки?

— Да, сэр... Такой вариант возможен. И мы кое-что предприняли в этой связи. Сейчас ведутся розыски господина Брайтнопфа. Если они окажутся успешными, то мы сможем получить ответ на интересующий нас вопрос. Нам, кажется, удалось напасть на след одного из сотрудников абвера, работавшего с Брайтнопфом до весны сорок пятого. Мы надеемся...

— Послушайте, Егенс, вы, кажется, долгое время были нашим резидентом в Провансе. Тогда вам должна быть известна тамошняя пословица: «Надежда, как молюсь: если ее долго хранить, она пронзает...» — Голос Рыжего звучал язвительно: — Пойдите, Егенс, что мы должны исходить лишь из того, что знаем о Рубине, исходить из того, что бесспорно, и не ставить все в зависимость от успеха розыска господина Брайтнопфа.

Рыжий сел на свое место, все с тем же деланно-рассеянным видом уставился в окно и теперь уже не резко, а спокойно, даже несколько любезно повторил:

— Ваши соображения?

— Я попытался проанализировать, почему абвер так и не побеспокоил завербованного агента. Тщательное изучение досье дает основание полагать, что Сократа вербовали с дальним прицелом, на длительное оседание. Это не был агент-скороспелка, которых во время войны немцы забрасывали в тыл русских десятками... И нет оснований считать, что Сократ сам явился в НКВД.

— Почему?

Егенс подошел поближе к Рыжему и склонился над креслом шефа...

— Первое. Русские никогда не доверили бы ему работу в секретном институте, если бы знали все, что произошло с ним в плену. Даже если бы он явился с повинной...

— А вы не думали о другом варианте: Рубин явился с повинной и до сих пор работает по заданиям КГБ.

— Эта версия отпадает: обращаю ваше внимание на запись разговора Рубина и Нандора. Человек, связанный с КГБ, соответствующе про-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37 — 43.

инструктированный, повел бы себя на базаре иначе... Он сам пошел бы на контакт с Кандором. Я посмею сделать вывод: КГБ не знает всех обстоятельств пребывания Сократа в плену.

— Каждый видит то, что хочет видеть...— Обронив эти слова, Рыжий направился к круглому столику. Выпив виски с содовой, помолчал и вдруг задал совершенно неожиданный вопрос: — Послушайте, Егенс, вы же юрист по образованию... Вам, должно быть, знакомо советское уголовное право. Не так ли?

Егенс не ответил, лишь неопределенно мотнул головой.

— Хорошо... Допустим, вы, как юрист, не обязаны знать всех тонкостей советских уголовных законов. Но, как разведчик,— и голос шефа вновь обрел обычную для него жесткость,— вы обязаны знать ту статью советского Уголовного кодекса, которая имеет прямое отношение и нашей работе.

— Я буду благодарен вам, сэр, если вы сочтете возможным напомнить мне ее...

— Извольте.— И Рыжий на память процитировал: — «Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой». За последние годы в КГБ все больше приходят люди с повинной — они знают, что если ими не совершено деяние, преступное с точки зрения советского закона, если они только «оступились», как принято выражаться в советской прессе, то их не отдадут под суд...

— Мне это известно, сэр... И эта статья Уголовного кодекса тоже... Законодатель сформулировал в юридической норме нынешнюю практику деятельности советских карательных органов. В ней произошли большие перемены. К сказанному вами я мог бы многое добавить. Наш человек в Москве сообщает, что недавно их контрразведка напала там на след подпольной группы, занимавшейся распространением антисоветской литературы. Руководители группы были арестованы и судимы. Но двое молодых людей, которых пытались завербовать в эту организацию, остались на свободе. Их не судили. Однако в тот научный институт, где они работали, приехал работник КГБ и, выступив на общем собрании, рассказал о делиших двух молодых научных сотрудников, сидевших в это время в зале. И там их судили. Их же друзья, коллеги... У русских это называется общественный суд, а у чекистов — профилактика. Как видите, сэр, я в курсе новых веяний в практике советских карательных органов.

Рыжий, все время смотревший в окно, резко повернулся в сторону Егенса.

— Так какого же черта вам не придет в голову такая, отнюдь не оригинальная мысль: «наш» московский доктор тоже знает об этих новых веяниях, да, да, тоже знает, что теперь в КГБ человека с повинной встречают не так, как во время войны. А происшествие в лавке Кандора... Господь бог не обделил Захара Романовича Рубина житейской мудростью,— он догадывается, что чекисты могут узнать о случившемся из других источников. И тогда вся эта история обернется для Рубина не лучшим образом. Вот он и мог опередить эти поиски, явиться в КГБ сам. Что вы скажете по этому поводу, господин Кандор? Нам важно знать ваше мнение. По существу...

Кандор польщен, он многозначительно смотрит то на Рыжего, то на Егенса. Вся эта история с лысым туристом, кажется, подняла пошатнувшийся было престиж его фирмы. И сейчас, пожалуй, самый подходящий момент высказать несколько соображений общего порядка об активизации деятельности возглавляемого им филиала штаб-квартиры, о рентабельности затрат. Но Рыжий пристально смотрит на него и настойчиво повторяет: «По существу...» А по существу ему хотелось бы сказать, что психология человека мелкого, слабовольного, охваченного страхом иногда побуждает его действовать вопреки элементарным законам логики, а порой и во вред себе. Он, Кандор, уверен, что турист накрепко схвачен им и потому в КГБ не пойдет. Так что, будьте уверены: со временем он, Кандор, заслужит благодарность — завербовал агента! Конечно, Кандор понимает, что, трезво оценивая ситуацию, нельзя не согласиться с предположением шефа. И потому о своей уверенности в успехе он лишь думает, а вслух.. Он, конечно, поддержит шефа...

— Пожалуй, что и такой вариант не исключается...

Рыжий тут же подхватывает:

— Вот именно. Не исключается... Что нам известно о нынешнем образе жизни доктора Рубина? Что скажете, Егенс?..

— К сожалению, сэр, мы слишком мало знаем о жизни Сократа в наши дни. Хотя в последние годы он вновь проходил по некоторым нашим картотекам. И отнюдь не в связи с обстоятельствами, которые нам уже удалось установить. Источники были разные. Один из них вам знаком, сэр.

— Да, конечно...— И Рыжий, привстав со стула, отвесил поклон в сторону Медички. Она ответила ему приятной улыбкой, спросила:

— Есть ли необходимость в моем подробном докладе?

— Я читал сообщения мисс Ольги из Москвы... Благодарю вас, мисс, за эти сообщения. Но я все же попрошу господина Егенса коротко сформулировать их. Для полноты картины. К тому же Кандор... Он тоже должен знать все детали...

Егенс постарался быть максимально кратким.

— Сократ оказался в списке двадцати москвичей, на которых Медичка...— извините, мисс Ольга,— дала нам свою разработку. Первая же ее информация о Рубине вызвала некоторый интерес штаб-квартиры... Медичка характеризовала его — позволю себе процитировать досье — как «человека гнилого», которого без особого труда можно «сдаить»... Получив эти данные о Рубине, мы стали искать его в картотеке № 15...

Егенс достал из папки листок бумаги и прочел: «Большой круг знакомых. И медиков и актеров. Среди них друзья покойной жены и друзья ее друзей. В доме бывают два литератора, фамилии которых установить не удалось. За гостеприимство они расплачиваются всякими литературными сплетнями»...— Егенс умолк и вопросительно посмотрел на Рыжего.

— У вас есть вопросы?

— Да, вопросы есть, но уже не к вам, Егенс.— Хотелось бы знать, мисс Ольга, вы лично встречались с доктором Рубиным? Как он попал в поле вашего зрения?

— Я была на его публичной лекции. После нее молодежь горячо обсуждала, в какой мере реальна та картина будущего, которую он нарисовал. Среди участников этого оживленного разговора оказался студент, хорошо знавший и доктора Рубина и его дочь Ирину. Мы вместе возвращались домой. Он пригласил меня в кафе-мороженое. Съели мороженое, выпили сухого вина. Мой кавалер чуть охмелел и долго рассказывал сначала об Ирине, потом о ее папе, точнее, об отчиме... Мы потом встречались с ним и как-то в воскресенье оказались у Ирины в гостях. За столом был и доктор Рубин.

— Какое впечатление он произвел на вас?

— Веселый, жизнелюбивый человек, которому, несмотря на его почтенный возраст, многого хочется...

— Совсем из другого источника,— продолжил рассказ Медички Егенс,— мы получили дополнительные данные об образе жизни доктора Рубина, о его настроениях, о людях, близких к нему. В общем-то эти данные подтверждают характеристику, которую дала Сократу мисс Ольга,— «гнилой человек». Смею добавить: перспективный для нас человек. В ходе застолья любит пофилософствовать о жизни на советской земле и от замечаний, касающихся частных недостатков, иногда переходит к довольно широким обобщениям. Я хочу обратить ваше внимание, сэр, на удивительные совпадения: обобщения эти в какой-то мере перекликаются с теми, которые наше пресс-бюро дает радиостанции «Свобода». Зафиксирован его доверительный разговор в узком кругу друзей, резкие суждения по поводу некоторых аспектов советского образа жизни.

— Кто источник информации? Степень достоверности? Степень близости источника к Сократу?

— Степень достоверности? Вы задали сложный вопрос, сэр. Но согласитесь, что мы далеко не всегда можем быть абсолютно уверены в достоверности информации наших людей. Что поделаешь... Кто любит огонь, должен терпеть дым. Это, между прочим, тоже французская пословица...

— Служба во Франции многому научила вас, Егенс... Но вернемся к источнику информации. Кто он?

— Я уже обращал ваше внимание, сэр, на то, как порой перекрещиваются направления наших контактов. Я имею в виду источники, поставляемые нам «свободолюбцами».

— Не очень это рентабельное предприятие,— возразил Рыжий.— Их люди, подготовленные на наши деньги, в последнее время проваливались чаще, чем следовало ожидать. Эти «освободители России» доверчивы, как дети. Кто-то прислал им из Москвы письмо с благодарностью за полученную от них литературу, а они уже подбрасывают его нам как «глубоко законспирированного агента». Ну-ну... Продолжайте, Егенс...

— Я разделяю ваше негодование, сэр. Инспектируя господина Кандора, я тоже счел нужным предостеречь коллегу от неосмотрительных сделок с людьми, принимающими желаемое за действительное. Но я смею заверить вас, сэр, что мы с должной осторожностью отнеслись и рекомендованному нам молодому человеку. Его фамилия Глебов.

— Мы имеем досье на Глебова?

— Да, сэр. Прошу вас...— И Егенс протянул шефу папку.— Здесь немного информации, сэр. Но я мог бы дополнить, прокомментировать...

...Бутов листает фотокопии страниц глебовского досье и вспоминает сообщения Михеева о его первой беседе с Ириной, ее рассказ о Глебове. Бутов прослушивает записи этих бесед, перечитывает материалы, изъятые при обыске автомашины покойного Глебова и его комнаты, анализирует ход событий по времени — именно в то утро, когда доктор Рубин узнал о гибели инженера, он и отправился в КГБ. Случайное совпадение? Возможно. Но теперь Бутову ясно: он не ошибся, когда протянул нить от Глебова к Рубину. Пусть тонкую, сомнительной прочности нить, но нельзя было не включить ее в запутанную схему запутанных связей Захара Ро-

любил доверительно, невзначай обронить: «Читал, братцы, повесть... В рукописи... Ни в одном журнале не приняли... А написано-то как!..»

С Веселовским, однокашником по институту, Глебов встретился случайно, в ресторане, на свадьбе общего знакомого.

— Что строишь, друг? Где промышляешь? — небрежно спросил Вася.

Веселовский сначала «напустил тумана»... Понять, где он работает, было нельзя. Но после четвертой рюмки стал словоохотливее и внес ясность: с дипломом инженера промышлял сначала в каком-то промкомбинате технорумом, а сейчас числится техническим директором комбината, процветающего на рекламном поприще.

После цыплят-табака гости шумно поднялись с мест — потанцевать, размяться... Оказавшись вместе с Владиком Веселовским в кругу молодежи, Глебов по обыкновению вышел на любимую орбиту: «Читал, братцы, повесть...» И пошло... Интереса к «повести» не проявили, и лишь Владик, кажется, по достоинству и весьма высоко оценил его высказывания... Он отвел Глебова в укромный уголок и, оглянувшись по сторонам, шепнул: «Есть о чем потолковать... Я, между прочим, тоже за такую литературу. Вместе пойдем домой... Договорились? О'кэй!». И тут же отошел в сторону, примкнув к шумной компании, обсуждавшей перипетии вчерашнего большого футбола.

Было уже совсем поздно, когда они возвращались со свадьбы. Владик предложил не спешить с поисками такси. Сдержанно, но уже без всяких туманных намеков он поведал свою тайну: интерес к «пикантной», как он выразился, литературе свел его с неким Дюком, иностранцем, аспирантом МГУ...

— Занятный тип. Учится у нас в порядке культурного обмена. Любит весело провести время, имеет деньги и считает, что на грешной планете все можно купить и продать. И то самое чтиво... Говорит, что политика его не интересует. Однако учти: он не такой уж добрый малый. Услуга за услугу.

Расстались они почти на рассвете, договорившись встретиться у Владика дома в ближайшую субботу вечером.

— Приходи, познакомлю с Дюком. Может, что и оторвешь.

Дальше события развивались не очень быстро. Ни Владик, ни Дюк не форсировали их. Обработка новичка велась исподволь, и сначала Глебову казалось, что и Владик и Дюк действуют на чисто коммерческих началах. Он как должное принял, когда однажды ему пришлось уплатить Владику солидную сумму денег за «пикантную рукопись», а что касается «услуги за услугу», то в меру своих возможностей он, конечно, готов ответить. Хотя возможности у него ограниченны. Как-то один из сослуживцев тайком, из рук в руки, с тысячью всяких предупреждений и оговорок, дал ему кое-что почитать на вечер. Но Владик позаботился о технике быстрого размножения рукописи... «Это уж не твоя печаль, старик», — говорил он Васе. Так в руки Владика попали взятые Глебовым «на вечер» рукописные опусы не очень-то известного литератора плюс стенограмма какого-то закрытого диспута. У Глебова и в мыслях не было, что Дюк за все это щедро расплачивается с Владиком дорогими сувенирами. Иногда, правда, у него возникали смутные догадки: фирма «Дюк — Владик», видимо, предприятие не только коммерческое... И хотя он тотчас отмахивался от таких догадок, Владик то и дело возвращал его к ним. Однажды он дал Глебову листок бумаги с двумя адресами: «Подарок от Дюка. Если пожелаешь получить Авторханова, пошли по одному из этих адресов открытку».

— А кто такой Авторханов?

— Вася, как тебе не стыдно?.. Считай, что ты не задавал такого вопроса... Эрудит первого класса, и вдруг — кто такой Авторханов...

Веселовский восторженно говорил о «гениальном теоретике», но в «детали» не вдавался. «Детали» — Авторханов предатель Родины, расстреливавший советских людей, бежавший вместе с эсэсовцами на Запад, — остались «за кадром»...

— Тебе надо обязательно почитать его «Технологию власти». Только не вздумай действовать в открытую. Напиши по этим лондонским адресам, что напоминаешь об обещанном лечебном препарате. И подпишись — Афанасий Крылов. Дальше не твоя печаль, старик. Все будет о'кэй! А листок этот подальше спрячь.

Листок с адресами Глебов спрятал подальше и тогда же решил, что в Лондон писать не будет: «Есть рубеж, переступать который все же не стоит...»

ДЮК ПЕРЕДАЕТ ЭСТАФЕТУ

...Вот уж второй час Рыжий совещается с Егенсом, Нандором, Медичкой, но по-прежнему еще не все им ясно...

— Послушайте, Егенс, перед тем как посылать человека в Москву, я хочу узнать о Рубине то, что до сих пор не знал, или то, что знал, но в другом ракурсе. Операция Дюк — Глебов кое-что внесла новое. И тем не менее...

Операция Дюк — Глебов! Егенс не без чувства профессиональной гордости только что докладывал о ней Рыжему...

— Вы были правы, сэр, когда сетовали по поводу «гнилого товара», который иногда подбрасывают нам здешние «русские патриоты». Но на сей раз «товар» оказался не совсем плохим. Дюк установил контакты с двумя молодыми инженерами. Оба очень перспективны. Один уже, собственно, созрел для дела. Его все знают как Владика. Фамилия — Веселовский. Дюк связал его непосредственно с нами. А другой — Глебов... С этим еще придется работать. Но уже сейчас оба они могут быть использованы нами для активного внедрения в дом доктора Рубина. Оба бывали у него, знакомы с его дочерью Ириной. На ком же остановить выбор? Вот задача... Я решил ее в пользу Глебова. Дюк сообщал, что Ирина хотя и знакома с Веселовским, но мнения о нем плохого и потому всячески старается отвадить от своего дома. Она терпит его общество лишь постольку, поскольку он со школьной скамьи дружит с ее будущим мужем, Сергеем. И мы с Дюком решили поручить Рубина Глебову.

— Есть еще одно важное соображение в пользу Глебова: у Рубина и Глебова общее увлечение — картины... У доктора в кабинете картинная галерея, и он усердно старается пополнять ее. А Глебов в этом отношении человек полезный.

Тогда же была разработана легенда... Дюк, которому Глебов кое-чем обязан, просит его оказать пустячную услугу... В Москву в длительную научную командировку должен приехать дядя Дюка — медик, ученый, который занимается исследованиями в той же области, что и доктор Рубин. Ему будет предоставлено право выбрать руководителя своей длительной научной командировки в СССР. И заочно дядя остановился на Рубине. Так вот, не сможет ли Глебов поближе познакомиться с Захаром Романовичем, чтобы он, Дюк, смог проконсультировать своего дядю: не ошибся ли тот в своем выборе? Речь ведь идет о довольно долгой совместной деятельности двух ученых... Глебов согласился. Операция прошла успешно. К тому же у Глебова и Рубина оказалось нечто общее — пристрастие к той самой литературе, которую Владик деликатно обозначал словом «пикантная». Наконец, было еще одно обстоятельство, в немалой мере облегчавшее задачу Глебова: он, кажется, всерьез увлекся Ириной. И это при явно благосклонном отношении Рубина.

— ...Как видите, — заключает эту часть своего доклада Егенс, — мы получили достаточно подробную справку о жизни и деятельности Сократа... — И Егенс выжидательно всматривается в лицо Рыжего. Да, кажется, шеф доволен. И даже говорит сейчас об этом:

— Неплохо сработано! Вот только... — Шеф делает паузу, желая, видимо, придать особое значение тому, что скажет сейчас. — Послушайте, Егенс, и все же вам не приходит в голову такая мысль: не водит ли Сократ за нос Дюка? Вот именно, за нос... Действует по заданию чекистов. Мы должны с вами принять столь важное решение, что не имеем права игнорировать любое предположение. — И он уставился своими большими глазами в Егенса. — Вы можете передать Дюку в Москву...

— Нет, сэр. Не могу... Дюк вынужден был покинуть Москву при обстоятельствах...

— Провалился?

— Да, сэр. Связался с не очень надежным парнем. Я вам говорил о нем... Сергей Крымов... Молодой человек заинтересовал чекистов, при первом же разговоре со следователем раскис и выложил все начистоту. Дюку дали два дня на сборы. Но он сумел оторваться от чекистского «хвоста» и передать эстафету Владику Веселовскому...

— Глебов знает о случившемся с Дюком?

— Думаю, что нет, сэр. Веселовский предупредил Сергея Крымова: «О Дюке никому ни гугу... Даже Глебову...»

— Откуда у вас эта информация? Ведь Дюка нет в Москве...

— Сразу два источника. Первый — сам Дюк. Глебов в качестве туриста приезжал в Прагу и встречался там с ним. Дюк затащил его и к себе в гостиницу и деликатно «прощупал», что русскому известно о нем. И убедился: Глебов не знает истинных причин отъезда из Москвы иностранца-аспиранта. Полагает, будто тот окончил курс занятий. На прощание Дюк подарил Глебову дорогой сувенир и сказал ему следующее: «Это от моего дяди... В благодарность за любезное внимание. К сожалению, поездка дяди в Москву отсрочена. И тем не менее он будет рад всякой информации, касающейся будущего руководителя его работ». Глебов и Дюк расстались по-дружески, обменялись адресами.

— Это один источник. А другой?

— Веселовский... Через Дюка. С Глебовым Веселовский встречается, когда тот бывает в Москве и приходит к доктору Рубину.

Кажется, все сказано, все выяснено и пора принимать решение. Но Рыжий не спешит. Вытянув длинные ноги, он угрюмо смотрит на носки своих до блеска начищенных ботинок. «Кого же послать в Москву? Нандора? Нет, его, пожалуй, надо приберечь для второго захода. На первый раз рискованно. К тому же так и остался открытым вопрос: как поступил Рубин после истории на стамбульском базаре — сообщил в КГБ или нет? Если сообщил, то Нандору нельзя показываться в Москве. Медичка?.. Эта хорошо знает Москву, москвичей. Но нет ли за ней «хвоста»? Пожалуй...»

— Послушайте, Егенс... А не кажется ли вам, что для установления первого контакта с Рубиным самая подходящая кандидатура — вы. Не приходило вам это в голову?

— Да, сэр... Я готов, сэр...

Рыжий попрощался с коллегами и уже хотел было выйти из комнаты, но в дверях остановился и откашлялся. Егенс знал эту манеру шефа. И, поднявшись с места, почтительно склонил голову: «Да, сэр...».

— Послушайте, Егенс, как, по-вашему, Глебов не догадался, что история с дядей Дюка — блеф?

— Думаю, что нет, сэр... Его перепроверят, сэр...

— Господин Глебов нас интересует, так сказать, в плане более отдаленном. И нам надо знать, в какой мере можно рассчитывать на него в будущем...

— Я предусмотрел этот вариант, сэр. Веселовскому через Дюка поручено держать Глебова в поле зрения...

Продолжение следует.

мановича. И вот фотокопия досье инженера Глебова. И комментарии Егенса...

Что известно противнику о нем, что его связывало с Рубиным и почему он попал в сферу внимания Дюка? А неотправленное письмо к другу? Кто он, его друг?.. Эти и многие другие вопросы возникали у Бутова, пока он листал досье.

...Инженер-строитель Василий Глебов был еще молод, но о нем уже говорили как о специалисте вдумчивом, дерзающем. После вуза направили в проектный институт. Проработал он там недолго и попросился на стройку.

Отец, крупный геолог, большую часть года проводил на Севере, в экспедициях. Сын оставался под опекой матери, потомственной учительницы. В доме Глебовых полный достаток. Отец Василия зарабатывал много, но воспитание сына передоверил супруге. А мать Василия верила в талант сыночка и в те нравственные начала, что были заложены в нем с детства. Увы!.. Она не учла, что и на хорошем фундаменте иногда поднимается убогое здание. Отличный педагог в школе, мать оказалась беспомощной воспитательницей сына... Татьяна Петровна по-матерински снисходительно относилась к болезненному самомнению, самовлюбленности горячо любимого Василька, к тому, что в кругу своих сверстников ее Вася считал себя выше всех...

Ко времени описываемых событий отец умер, а мать стала пенсионеркой и коротала свой век с холостым сыном в богатой трехкомнатной квартире. От отца Василий Глебов унаследовал энергию и трудолюбие, а от матери — интерес ко многому, что лежит за пределами его узкой специальности. Василий оказался не только одаренным инженером... Он писал стихи, хорошо знал современную литературу. Разбирался и в музыке и в живописи... Как и его покойный отец, покупал картины. Любил потолкаться в магазинах, берущих на комиссию картины из частных собраний.

В кругу друзей Глебов слыл человеком увлекающимся, легко поддающимся эмоциям. Молодому жизнелюбцу явно не чужда желание прихвастнуть, блеснуть в обществе особым, идущим вразрез с общепринятым взглядом на какие-то социальные события, явления. Эту «особую» точку зрения он формулировал туманно, но с претензией на многозначительность, подчеркивая свое превосходство над «серой толпой стандартно мыслящих»... В компании Глебов

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Вне игры

«ПО ПРОСЬБЕ ДРУГА»

...Ну вот, кажется, и все, что могла передать Рона. Виктор Павлович аккуратно складывает папки, убирает со стола диктофон, пленки. Рона, пожалуй, сделала максимум того, что можно было сделать. А что касается «перепроверки» Глебова, то и здесь многое проясняется. Сопоставляя рассказы Ирины, хозяйки квартиры, где жил Глебов, материалы, найденные в его комнате, можно хотя бы приблизительно представить все, что произошло с Глебовым...

В конце апреля Глебов приехал в Москву. Он позвонил Ирине с вокзала, сказал, что в столицу прибыл для утверждения проекта, а еще — чтобы увидеть ее, Ирину... Потом заговорил о весне, о том, что его весенние стихи посвящены ей, милой его сердцу москвичке... Ирину вовсе не увлекла эта весенняя взволнованность Глебова, и она тут же дала ему это понять...

В тот день Ирина пришла домой раньше обычного. Захар Романович был у себя в кабинете, ему с утра нездоровилось. Но кто это у него там, с кем он так оживленно беседует? Пока она слышит только голос отчима... Захар Романович говорил о чехословацких событиях... А собеседник лишь поддакивал. Но вот и он подал голос. Глебов! До чего же назойливый этот ухажер! И, полная решимости отчитать его, Ирина распахнула дверь кабинета отчима. Ее поразило: оживленный разговор мгновенно прервался, а Глебов стал лепетать что-то о картинах: «Я принес Захару Романовичу самого Модильяни. Вы представляете, что это такое — альбом работ Модильяни. Днем с огнем не сыщешь».

Ирина ненадолго задержалась в кабинете отчима. Сказала, что не хочет мешать вести деловые разговоры. Глебов попытался переключиться на шутливый тон, стал уверять, что все дела мигом, когда появляется женщина, но Ирина попрощалась и отправилась в свою комнату. Вскоре она услышала, как хлопнула дверь. Глебов ушел.

Через два дня, в воскресенье, в канун возвращения Глебова на стройку, у Владика собрались на вечеринку. Были тут Ирина с Сергеем, Глебов и еще несколько друзей хозяина дома. Часов в одиннадцать гости стали расходиться. Последним уходил Глебов. «Старик, задержись, есть дело»,— негромко сказал ему Владик и протянул какой-то пакет. Пьяный, он не заметил стоявшую рядом Ирину. В то время и она не придала никакого значения его словам.

«Есть дело...» Теперь Бутов догадывается, что это за «дело», что за пакет. Найденное в квартире погибшего Глебова письмо Соловьева, уже известный полковнику «коктейль» из магнитофонных записей, наконец, неотправленное и недописанное письмо другу. Тут, пожалуй, и домысливать нетрудно...

И Бутов вновь вспомнил сообщение Роны: «перепроверить Глебова — один ли действовал?»

И тут его, Бутова, осенило. Это и была перепроверка! Вместе с магнитофонными записями Владик сунул Глебову фотокопию письма нового Соловьева. Для Глебова это новая ступень той скользкой тропы, на которую он уже вступил. Владик сунул письмо и выжидал, как будет реагировать. Обычная проверка... Бутов уже знает, чем она кончилась. Он читал неотправленное письмо Глебова. «Нет, дружище, я не принесу послание Соловьева... Может, ты случайно передал его мне? Случайно ли?.. Надо нам встретиться и о многом поговорить».

Они уже никогда не встретятся... Но ясно, что у Глебова стали действовать сдерживающие центры, что-то начинало происходить в сознании молодого человека, беспомощно барахтавшегося в сетях Дюка и Веселовского. Не Ирина ли тому «виной»? Все может быть. Теперь никто не объяснит...

Позже Веселовский покажет на допросе, как он хотел перепроверить Глебова: да, оказалось, что Бутов не ошибся в своей догадке.

Бутов любил ходить по улицам Москвы рано утром, когда они еще тихи и безлюдны. Потому он и вышел сегодня из дома раньше, чем надо. Должен был за ним заехать на «газике» капитан из стройбата. Им вместе следовать на поиск снаряжения Сократа... Там решено на совещании у генерала, когда Клементьев поставил все тот же вопрос: кто он, доктор Рубин? И в свойственной Клементьеву манере формулировать мысли по пунктам; он там и пометил на белом листке бумаги: 1, 2, 3, 4...

— Что дает нам основание подозревать Сократа в нечестной игре? На месте приземления Рубина снаряжение не найдено — раз. Рубин скрыл от нас свою роль при допросе партизана — два. Не стал рассказывать о стамбульском базаре — три. Линия Веселовский — Глебов — Рубин, контакт с Глебовым по части более чем «пикантной» литературы — четыре. Появление Рубина в приемной КГБ и исчезновение Веселовского — это события одного дня: какая между ними связь? Мда-а-а... Гипотеза. А главное — снаряжение... Нет его. Если не дошел, должны были найти. Не иголка...

— Я думаю, что Тропинин исчерпал все возможности,— заметил Бутов.— Хочу сам выехать на место...

— Что же, одобряю... Действуйте!

По дороге Бутов должен заехать за Рубиным

Веселовского! Труднее было найти некую Марго в Батуми. Но и ее наконец разыскали... Муж в плавании, а сама она третьего мая неожиданно куда-то уехала. Обычно, уезжая, Марго предупреждала соседей, просила поглядывать за квартирой, а на этот раз никому ничего не сказала. Куда, зачем уехала? Неизвестно. Опрос соседей, дворника, управдома, участкового ничего не дал. Фотография Веселовского никому ни о чем не говорила. Поиск Веселовского явно осложнился. А отыскать его надо во что бы то ни стало. От Роны пришло еще одно сообщение, из которого следовало, что именно Веселовскому поручено,— на тот случай, если у Глебова возникнут осложнения,— самому сблизиться с Рубиным. В частности, коллега Веселовского интересуются, как относится Рубин к развитию событий в Чехословакии, каковы его настроения. И, видимо, в этой связи уже что-то предпринято.

Оперативный сотрудник Смогирев, наблюдавший за квартирой Рубина, позавчера сообщил, что неизвестная женщина опустила в почтовый ящик Рубина какой-то пакет. Смогирев не успел проследить ее дальнейший маршрут — она вышла из подъезда и тут же нырнула в подошедшее ее такси. Удалось только записать номер машины. Судя по рассказу таксиста, женщина эта говорила по-русски с акцентом. Машину взяла на стоянке у Пушкинской площади и туда же вернулась...

С разрешения соответствующих органов пакет был изъят из почтового ящика — Ирина в тот день поздно возвращалась с работы и не успела еще открыть ящик. В пакете оказалась магнитофонная пленка и записка, напечатанная на машинке. Неизвестный сообщал, что по просьбе бывшего друга Рубина посылает ему пленку с интересовавшими его записями. Если доктор пожелает и впредь получать подобные

В кабинете генерала состоялась трогательная встреча Строкова с группой соратников по партизанскому отряду: вызванные Бутовым в столицу, они ждали приезда Сергея Николаевича.

Да, это тот самый Строков, что принял столько мук в фашистском застенке и никого не выдал, ни в чем не признался, тот самый, которого допрашивал завербованный абвером Захар Рубин. Судьбе угодно было более четверти века спустя скрестить их дороги — сильного духом Строкова и малодушного Рубина. Еще не совсем ясно, потребуется ли очная ставка или можно ограничиться документально зафиксированными свидетельствами всех, кто сидел за столом. Разве только сам Строков пожелает... Бутов пристально всматривался тогда в лицо этого человека, в его глаза: где-то очень глубоко-глубоко они оставались печальными и добрыми. «Что скажете, Сергей Николаевич, как поступите — лицом к лицу будете разговаривать с ним, с Рубиным, или не станете нервы себе трепать? Сейчас Рубин находится в Подмосковье, неделю пробудет там. Но слово за вами, потребуете — немедленно вызовем...»

Сергей Николаевич вздрогнул, но, быстро овладев собой, тихо спросил: «Надо ли?» Бутов ничего не ответил и перевел разговор на дела стройки.

Когда гости стали уходить, Бутов попросил Строкова ненадолго задержаться. «У меня к вам ряд вопросов. Вы никуда не спешите? Вот и хорошо...» Полковника интересовало все, что сибиряк может сказать о Крымове, все, что его молодой друг рассказывал о себе.

...События развивались и в другом направлении: были предприняты поиски Веселовского. Решили, что он скрылся у одной из своих подруг — их было много у него. И в разных городах: курортные знакомства... Пребывавший в исправительно-трудовом лагере «Саша-валютчик» дал их адреса. «У нас с Владиком,— объяснил он,— были общие дела, валюта, знакомые девушки... Мне они нужны были на периферии. Помощницы...» Оперативные сотрудники Бутова разыскали Риту в Новосибирске, Катю в Курске, Эллу в Баку... Никаких следов самого

в подмосковный дом отдыха: старик сильно сдал, осунулся, стали дрожать руки, сидит на балконе, дома атмосфера гнетущая... Ирина не желает разговаривать с отчимом. Посоветовавшись с генералом, Бутов предложил Рубину недельку провести в Подмосковье: пусть придет в себя немного.

С тех пор минуло несколько дней, отмеченных немаловажными событиями, вокруг которых и вертелись сейчас мысли Бутова, разгуливающего в ожидании «газика» возле дома.

...Из Сибири приехали Крымов и Строков. Строков поселился у Крымова. Они крепко сдружились — эти так непохожие друг на друга люди разных судеб и возрастов...

Пакет был опущен туристкой с Запада, выполнявшей чье-то задание. Впрочем, возможно, что пакет брошен в почтовый ящик Рубина действительно «по просьбе друга». Тогда кто этот друг? Веселовский или Егенс? А что дальше? Какова будет реакция Рубина после того, как прослушает пленки? Сообщит ли Бутову? Вывесит ли объявление?

...Обо всем этом и раздумывал полковник, ожидая «газик».

ПИСЬМО ИРИНЫ

И вот уже хмурый, чем-то расстроенный, Рубин сидит в машине рядом с Бутовым и односложно отвечает на участливые вопросы Виктора Павловича: «Как здоровье? Самочувствие? Хорошо ли в доме отдыха?» И вдруг Рубин встрепенулся... Это когда Бутов поинтересовался здоровьем Ирины: «Надеюсь, никаких серьезных последствий аварии медицина не обнаружила?»

— Есть последствия. Но они вне компетенции медицины,— понурив голову, обронил Рубин.

— Что-нибудь случилось?

— Да! Ирина ушла от меня. Вчера приехал домой и не застал ее. На столе лежала записка...

Рубин достал из бумажника аккуратно сложенный листок бумаги и протянул его Бутову.

— Читайте... У меня нет от вас тайн...

Из не очень пространного, но довольно сумбурного письма Ирины следовало, что отчим уже давно стал для нее чужим человеком. Она не принимает его циничного потребительского взгляда на жизнь; она не может понять, на какой почве могла возникнуть дружба Рубина и Глебова, истинное лицо которого открылось перед ней в день его гибели: «Не понимаю и знать не хочу. Вы старательно долбили в одну точку, каплю за каплей: «Сергей — бездарь, Глебов — талантлив». Вы часто спрашивали меня: за что я полюбила Сергея? Я где-то читала, кажется, в воспоминаниях Андреевой, что жены

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—44.

потому что любят, а не за что-нибудь... Не знаю, поймете ли вы меня: я увидела в нем, вернее, почувствовала близкого мне человека...»

Но самые страшные для Рубина — последние строки: «Я не хотела писать Вам об этом. Но все равно когда-нибудь Вы должны будете узнать. Лучше от меня... Я встретилась с родным отцом. Как это произошло, не имеет значения... Пишу эти строки, раздираемая противоречивыми чувствами — чувством благодарности Вам за все, что Вы сделали для меня и... Нет, не хочу писать обидные слова... Не хочу! Нельзя перечеркнуть столько лет жизни с человеком, который заменил тебе отца. Это сложно...»

Полковник вернул Рубину письмо, не проронив ни слова, не задав ни одного вопроса. Он ожидал, что скажет сейчас Захар Романович. Но тот лишь вздыхал и нервно постукивал пальцами о колено.

Бутов рассеянно смотрел на влажный асфальт, убегавший под колеса машины, на поля, на окутанные молочным туманом деревни и на старые вязы по обочинам дороги.

В полдень они прибыли в район поиска. Моросил холодный мелкий дождь. Захар Романович, поежившись, крякнул, вылез из машины и, поглощенный своими невеселыми думами, отошел в сторону, как бы подчеркивая: не хочу мешать вам, товарищ Бутов. Капитан направился в деревню искать саперов. Они прибыли сюда раньше. Бутов остался около машины, терпеливо ожидая, когда же наконец заговорит Рубин. Ему казалось, что молчание явно тяготит Захара Романовича...

За дни, что прошли после его появления в КГБ, Рубин постарел на несколько лет. И щеки впали, и мешки под глазами стали больше, и бесследно исчезла былая осанка. Теперь во всем его облике чувствовалась какая-то пришибленность. Беспокойно бегающими глазами Рубин оглядывал то опушку леса, то низкий берег реки за мостиком, то новенькие дома на окраине деревни.

Бутов подошел поближе к Рубину и спросил: «Вы, кажется, что-то сказали или я ослышался?» Рубин поднял голову, вопрошающе посмотрел на него и нетвердым голосом ответил: «Нет, я ничего не сказал...» А после небольшой паузы добавил, и притом несколько многозначительно: «Я только хотел сказать...» «Слушаю вас... Может, вы вернетесь в машину. Погода не очень приветлива...» «Да, что-то знобит...» Они сели в машину, и Рубин все тем же нетвердым голосом промолвил:

— Я, право, не знаю, с чего начать. Прежде всего позвольте заверить вас, что я буду откровенен до конца. Я не могу больше... Недоволен... Это как камень на шее. Я показал вам письмо Ирины, полагая, что вы тут же спросите меня...

— Зачем же спрашивать, когда и без того очевидно, что вы не все сказали. Неизвестны только побудительные причины. О них можно лишь догадываться. Итак, я слушаю.

Виктора Павловича не подвел его опыт... Рубина действительно «прорвало». Видимо, слишком тяжел был «камень на шее».

Рубин говорил тихо и несвязно. Дружба с Глебовым... Как возможный и — в его представлении — перспективный зять он сформировался позже. А сначала было иное... Начиналось с покупки картин, с участившихся на этой почве встреч...

— Главным образом у меня дома, чаще с глазу на глаз, иногда в присутствии Ирины, а реже — в ресторане, с участием Веселовского. И тогда мне показалось, что «парадом командует» он, Владик Веселовский, тип весьма неприятный. Глебов оказался интересным собеседником, острым, наблюдательным, со своими взглядами на многие явления жизни. Впрочем, иногда я ловил его на том, что он говорит услышанное несколько дней назад по радио. Я имею в виду западное радио... Рассуждая о жизни вообще, Глебов однажды переключился на злободневную в ту пору тему — события в Чехословакии. И тут же достал из кармана свернутую в трубку машинописную рукопись неизвестного мне автора, которого характеризовал так: «Талант, но, увы, у нас не признан. Причислен к касте очернителей». Прощаясь, Глебов сказал: «Рукопись могу оставить на три дня, но прошу учесть... Надеюсь, вы все понимаете, Захар Романович. Никому не показывать, даже Ирине. А вообще-то, если вас, Захар Романович, такая литература интересует, могу быть полезным, дам магнитофонные записи достану». Так постепенно укреплялись наши контакты... Во время последней встречи в ресторане «Арагви»,— продолжал Рубин,— Глебов уже на улице, прощаясь, шепнул мне: «Если вы получите пакет с такой же пленкой, какую вы с вами недавно прослушивали, не удивляйтесь. Один наш общий знакомый по моей просьбе позаботился и о вас». Только вернувшись домой, я стал осмысливать все то, что сказал Глебов. Был у меня такой порыв — повидаться с ним до его отъезда и потребовать: «Увольте меня от забот нашего общего знакомого». Но сразу я Глебова не разыскал, а через два дня он улетел... Вчера, когда заглянул домой, на столе, рядом с письмом Ирины, лежал адресованный мне пакет. В нем оказалась пленка из той же серии, что и мы с Глебовым прослушивали. Вот и все...

— Все?— переспросил Бутов.

— Видите ли, Виктор Павлович...

Но в этот момент появился капитан, и разговор прервался.

...И снова идет поиск снаряжения разведчика. Новые шурфы, новые надежды. И новые неудачи. После долгих блужданий по неприветливому и топкому лесу Бутов спросил Рубина: «Что будем делать, Захар Романович?» Доктор развел руками.

— Право, не знаю. Могу только просить... Прошу вас верить.

— А доказательства? Вы хотите, чтобы мы вам верили. Но согласитесь, что все как-то складывается не лучшим образом. И не в вашу пользу. Не так ли?

Сейчас можно было бы, конечно, продолжить прерванный разговор. Но Бутов не торопится и не торопит. Пусть Рубин еще на какое-то время останется один на один со своими тревожными мыслями. И пусть самая тревожная среди них — снаряжение до сих пор не найдено! — заставит его наконец решиться на полную откровенность. Ему, Бутову, надо увидеть подлинное лицо этого человека. Виновен или нет? С открытой душой к нам явился или это двойник, который снимает маску лишь в той норе, в какой принуждают его обстоятельства?..

— Так что же будем делать, Захар Романович? — повторяет Бутов свой вопрос.

— Не знаю... Не могу припомнить, где зарыл...

Он еще ниже склонил голову, нащупал в кармане сигареты, закурил и глубоко затянулся.

— Постарайтесь вспомнить хотя бы основное: местность, где вы приземлялись, та самая? Или сомневаетесь?..

— Будто бы та самая,— не совсем, однако, уверенно промолвил Рубин.— Я запомнил ориентиры...

— Что вам бросилось в глаза, когда вы вышли на открытую местность?

— Мост... Извилина дороги...

— И вокруг никого не было?

Захар Романович поводил с ответом, видимо, напрягая память, пытался воссоздать обстановку того утра.

— Кажется... да-да, вспоминаю... Я видел стадо коров.

— Стадо без пастуха? — спросил Бутов. Захар Романович уставился на него глазами, полными отчаяния и смутных надежд.

— Пастух?.. Да, стадо пас мальчик лет двенадцати.

— Встретили мальчика... Это хорошо...— у Бутова свой, профессиональный ход мышления.— Очень хорошо. Теперь... попытайтесь вспомнить, что дальше было.

— Когда я вышел из леса, он заметил меня, пошел навстречу и, поравнявшись, попросил закурить. Я пошутил его, сказал, что такому пареньку курить еще рано, но папиросу все-таки дал.

— Вы спросили, как его звать, этого мальчика?

— Да. Его звать... Дай бог памяти...— Захар Романович потер лоб ладонями, поморщился, застонал и вдруг звонко отчеканил: — Макар! Да, да, Макар! Я его спросил, как тебя звать, и он ответил: Макар. Фамилия?.. Нет, фамилию не спросил.

Бутов хотел задать еще один вопрос, но, взглянув на обессиленного Рубина, понял, что сейчас этот человек уже не способен ни вспоминать, ни разговаривать, ни даже стоять на ногах. Еще минута — и он повалится на землю. Виктор Павлович взял его под руку и молча повел к машине.

ДВЕ ФОТОГРАФИИ

С утра на Бутова обрушился поток всякой информации... Больше всего его взволновало сообщение Михеева: «Строков в больнице! Душевное потрясение!»

...Ирина встретила гостя хорошо, ведь он прибыл от любимой тетки с поручением. Пригласила его и столу. Но Строков решительно от всех угощений отказался и, не глядя на Ирину, тихо сказал: «Вы уж простите меня. Я обманул вас... И вам я не от тетушки поклонился, а от Сергея. Знаю, что в последнее время не очень

то жалуете вы его... Вот и не хотел сразу раскрываться, боялся, что и со мной разговаривать не станете».

Ирина рассердилась, и Строков потратил немало усилий, чтобы успокоить ее: «Вы не сердитесь на него, милая девушка. Поверьте, я лучше вас жизнь знаю, не спешите давать оценку людям. Парень он настоящий, а споткнуться и на пареете можно...» И Строков рассказал, как все произошло с той злополучной телеграммой...

Разумом она все понимает, а сердцем не приемлет, не без злости спрашивает: «Сколько можно спотыкаться?» И, не дождавшись ответа, рассказывает Строкову все то, что он уже давно знает о Сергее.

Но что такое? Почему гость не слушает ее, значит, он знает все? Почему он так пристально смотрит туда, где за стеклом книжной полки стоят две большие фотографии... Сергей Николаевич подходит поближе, пристально рассматривает их...

— Откуда у вас эти фотографии? — Эти слова он почти прокричал.

Ирина испуганно всмотрелась в гостя...

— Что с вами? Дать воды?

— Не надо... Быстрее отвечайте. Откуда у вас эти фотографии?

Ирина подошла к гостю, взяла его под руку, усадила.

— Почему вас так заинтересовали фотографии? Это моя мама с отчимом сразу после войны... А это папа, которого я никогда не видела и не увижу. Он погиб на войне.

...Обо всем,что произошло потом, Ирина уже рассказывать не может, да и помнится ей все это смутно. Как Строков откинулся на спинку кресла, как судорожно затряслись его руки... И все же он нашел в себе силы превозмочься, обнять, расцеловать ее: «Доченька!» Ирина, потрясенная, гладила его седые виски и сквозь слезы восклицала: «Папа!». Потом вспомнила Сергея: «Скорей, скорей приезжай!» — это вместо того, чтобы звонить в «неотложку». Ей кажется, что отцу стало лучше: прошла нитроглицерин, он уже не так тяжело дышал. Сейчас она уложит его, поставит горчичники. Строков протестовал, не хотел оставаться в доме Рубина... Он уговорил Ирину уехать сейчас же, вместе с ним. И навсегда. Куда? Ну, хотя бы к Сергею... А Рубин?.. «Оставь ему письмо... Ты больше не вернешься сюда. Никогда».

Ошеломленная, Ирина не совсем понимала, что стоит за этим категорическим требованием отца. В конце концов отчим ничего плохого ему не сделал. Более того, сберег ему дочь. Почему же не встретиться, не поговорить, не остаться с отчимом в добрых отношениях? В чем дело?..

Не знает Ирина, что среди фотографий, взбудораживших отца,— фотография человека, лицо которого он никогда не забудет... Да и как забыть тот час жизни на грани смерти, тот допрос в фашистском застенке? И этого человека, стоявшего тогда в кругу гестаповцев... Не знает она этой страшной правды и никогда не узнает. Строков даже не заикается о том, кем был ее отчим. И только скажет ей со всей твердостью:

— Не спрашивай меня ни о чем, но ни твой, ни моей ноги в этом доме не должно больше быть.

...Обо всем этом Михеев подробно рассказывает Бутову со слов Ирины. А она говорила бессвязно — говорила и плакала. Сергей был рядом. Они теперь неразлучны. Никуда она отсюда уже не уедет, от своего Сергея. А ночью отцу опять стало плохо, и врач «неотложки» распорядился: немедленно в больницу!

Бутов слушает Михеева и вспоминает вчерашний разговор с Захаром Романовичем, письмо Ирины... Встает перед ним фигура обессиленного, поникшего, принужденного Рубина, который, кажется, не сегодня-завтра может оказаться там, где и Строков. «Ничего не подделаешь, Захар Романович! Надо расплачиваться. И по самому крупному счету — счету совести». Минуту-другую полковник сидит молча, раздумывая о запутанности житейских дорог... Владик... Макар... Да, да, их надо искать. Искать, всюду искать, используя все средства, имеющиеся в распоряжении КГБ. Что же касается Рубина, то пусть он пока отдыхает. И думает. Ему есть о чем подумать...

Они опросили жителей Плотников и сел, примыкавших к району высадки парашютиста Рубина. Устанавливали всех Макаров, которым тогда было десять — тринадцать лет. Набралось семь человек, но только двое из них по-прежнему жили и работали в том же районе. Опрошенные заявили, что никогда пастухами не были, что в места, о которых речь идет, в ту пору, потеряв интерес органы госбезопасности, не заглядывали. Итак, осталась еще та пятерка с именем Макар...

Застучали телетайпы. В сотни адресов были переданы фотографии Рубина военных лет. В те дни Бутова одолевала тревожная мысль: может, и нет никакого «Макара-пастуха»? А есть человек, неплохо разыгрывающий роль раскаявшегося грешника и порой «подбрасывающего» что-то новое о своем прошлом. Ведь вот уже два дня, как Рубин вернулся домой из Подмосковья и не дает знать о себе, не ищет продолжения разговора, начатого тогда, в машине.

НАШЛИ!

...В один и тот же час к Бутову поступило два сообщения от поисковых групп — самой северной и самой южной, из Якутии и Адыгеи... В Якутии отыскался Макар Волков, тот самый пастушок, что повстречался Рубину. Послезавтра его нужно встречать в аэропорту. А завтра утром доставят Веселовского, задержанного недалеко от Батуми, где он скрывался на даче своей Марго.

Волков не заставил чекистов долго ждать себя. Получив телеграмму-вызов, тут же прилетел. Поздно вечером. А на рассвете над Москвой поднялся вертолет, взяв курс на Плетневку. На борту вертолета Бутов, Рубин, Волков. Саперы уже на месте.

...После двух часов поиска на пятом шурфе старший команды саперов радостно восклицнул:

— Нашли!

Рубин внимательно разглядывает коробочки, рацию в сумке, пистолет, пачки денег... Все это было завернуто в парашют и выглядело новехоньким. Он предупрежден — не имеет права даже пальцем прикоснуться к своему бывшему снаряжению — вещественные доказательства.

Бутов спокойно наблюдал, как двое сотрудников КГБ — они прибыли сюда вместе с саперами — в перчатках, осторожно раскладывали на подстилке шпионские средства связи, нападения и обороны. Стрекотала киносъемка. Весеннее солнце светило ярко, и были основания надеяться, что кадры получатся хорошими. Теперь последнее слово за экспертами. Им отвечать на вопрос: было ли все это снаряжение в работе? Если да, то сохранились ли следы, свидетельствующие о причастности доктора Рубина к использованию снаряжения?

К вечеру вернулись в Москву. Всю дорогу Рубин молчал. Он сидел хмурый, бледный, опираясь головой на сплетенные руки. И только когда машина подъехала к его дому, он впервые за последние несколько часов растерянно спросил:

— Какие будут дальнейшие указания, Виктор Павлович?

— Никаких,— сухо ответил Бутов.— Если, конечно, у вас у самого не возникнет необходимости сообщить что-то в дополнение.

Рубин испуганно посмотрел на Бутова.

— В дополнение... Я хочу сказать...

На мгновение — нет, ему, Бутову, это не показалось! — у Рубина, видимо, вспыхнул какой-то порыв, желание что-то сообщить... Вспыхнул и угас.

— Я хочу сказать,— продолжил Рубин после небольшой паузы,— что с нетерпением буду ждать заключения экспертов.

— А разве вы не уверены в этом заключении?

Он испуганно посмотрел на полковника, но на вопрос его не ответил.

...О судьбе Веселовского Ирина и Сергей узнали в КГБ, куда их вызывали в качестве свидетелей, строго предупредив: «Никто не должен знать об аресте Веселовского и о том, что вас вызывали в комитет по его делу».

Первым свидетельствовал Сергей. Разговор был долгий, трудный... Крымову пришлось со всеми подробностями рассказывать о той своей жизни, которую он хотел бы забыть. Тогда же состоялась его очная ставка с Владиком. Глядя в лицо своему бывшему другу, Сергей сказал все, что думал о нем. Слова были гневные, обличительные. Владик слушал его, насупившись, а Сергей исподлобья смотрел на него — о, это уже не «мерзавец», не «хозяин»... Исчезли доск, артистическая осанка, снисходительная улыбка. И только однажды на лице Владика мальчишеское подобие улыбки — но не прежней, наглой, а сдержанной и даже виноватой. Крымов уловил эту тень улыбки и, истолковав ее по-своему, счел нужным заметить: «Все сказанное мною в адрес Веселовского в какой-то мере относится и ко мне самому. Я готов нести ответственность».

...На улице его ждала Ирина. Она ни о чем не спрашивала Сергея. Лишь в глазах его прочла: было тяжело, а сейчас стало легче. Вскоре вызвали и ее...

Ирина не очень поняла вопросы следователя, когда речь зашла о связях Глебова и Веселовского с Рубиным. Что стоит за этими вопросами, при чем тут Захар Романович? Она выжидающе смотрела на следователя — может, этот человек внесет ясность. Но он сам ждал ее ответов на свои вопросы. Вопросы касались встреч, разговоров, давно забытых и в свое время казавшихся малозначащими.

От следователя Ирину провели к Бутову. Она в нерешительности остановилась посреди кабинета — хмурая, встревоженная... О чем будет расспрашивать ее этот человек? Снова о Глебове, Владике? Или об отчиме? Или, оказывается, тоже интересуются здесь — для нее это открытие...

— Что же вы стоите? Присаживайтесь...

Она беспомощно обвела взглядом небольшой кабинет Бутова, села. Приготовилась было к вопросам о Глебове, Веселовском... Но Бутов повел разговор совсем о другом. Его интересуют планы молодых: где собираются жить, не вернулся ли Серемин дядя из зарубежной командировки? Потом стал расспрашивать о дальнейших намерениях Сергея, о ее делах в институте: «Какие проблемы решает, Ирина Захаровна?» Ирина отвечала живо, даже несколько задиристо, она и не заметила, как исчезла тревога и растерянность. «Пытаюсь предотвратить самоистребление человечества, разрушение нашей планеты... Занимаюсь экологией...»

— Значит, с родным отцом одним фронтом действуете? Он, так сказать, по общественной линии, а вы по научной? Надеюсь, Сергей Николаевич рассказывал вам о своих битвах за очистителя?

— Нет, не успел... Я от Сергея об этом слышала. Они ведь друзья.

— А как здоровье папы? Долго ли еще лежать в больнице?

— Ему легче стало. Первые невеселые прогнозы медиков, кажется, не подтвердились. Теперь он бунтует, не хочет в больнице оставаться. Мы его скоро заберем домой...

— Простите, куда вы сказали — домой?

Она сразу уловила суть вопроса:

— Дом Сергея теперь и мой дом. И дом моего отца...

Окончание следует.

А. ЗУБОВ,
Л. ЛЕРОВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Вне игры

«ЗА» И «ПРОТИВ»

Целый час Бутов и Михеев докладывали генералу о ходе операции «Сократ», о найденном шпионском снаряжении, о первых показаниях Веселовского, свидетельствах Сергея, Ирины. И о самом последнем сообщении Роны по поводу одного важного факта, оставшегося невыясненным: действительно ли в досье Сократа пятнадцать донесений, как утверждал Егенс? Теперь все ясно. Рона, сообщая о докладе Егенса Рыжему, приводит его слова: «Я пытался прощупать Сократа, заявив, что в его деле пятнадцать донесений, переданных им Квальману. Но, кажется, ничего не вышло. Рубин искренне негодовал по этому поводу: «Шантаж, провокация». Я полагаю, что он в качестве разведчика не был практически использован абвером...»

Генерал Клементьев любит точно препарировать все факты: это «за», это «против». В графе «за» появилась значимая запись: донесения Квальману — шантаж, снаряжение обнаружено. Правда, нет еще заключения экспертов. И тем не менее найденное снаряжение шпиона весомо легло в графу «за». Но и в графе «против» еще не все перечеркнуто. На первом месте Стамбул... Генерал расценивает эту историю как второе по значимости грехопадение Рубина. Ведь тот не может не знать: Нандор со стамбульского базара по роду своей деятельности родной брат господина Брайтнопфа из гитлеровского абвера.

...У Бутова своя особая манера докладывать о ходе операции: полковник докладывает так, будто никого в комнате нет и он сам с собой ведет диалог...

— Кто же есть Рубин? Имеются ли основания считать, что он нас водит за нос? Их стало меньше, таких оснований, но они еще имеются... По каким-то причинам доктор пока не выкладывает всей правды,— не хочет или не может? Или боится? Начал рассказывать о контактах с Глебовым, показал письмо Ирины и на полуслове остановился... Да, были обстоятельства, прервавшие нашу беседу в Плетневке. Ну, а потом? Сколько было поводов вновь вернуться к этому разговору? Не вернулся. Что это — трусость, страх? Или он сам лишь подсадная утка? Тогда зачем приезжал Егенс? Тактический маневр? А сообщения Роны?..

Генералу нравится эта бутовская манера вести диалог с самим собой. Но вот Бутов уже перестал задавать вопросы Бутову, и теперь генерал спрашивает его:

— Что предлагаете, Виктор Павлович? Выводы? Соображения?

— Склонен думать, что имеем дело с человеком нечестным. Заявление в КГБ и доподнение к нему — не от души, от расчетливого ума и чувства нахлынувшего страха. Но даже и сейчас, охваченный смертельным страхом, кое-чего недоговаривает, на что-то еще надеется.

— Да-а-а... Человек он ничтожный... Ничтожный! И в то же время... Как бы это вам объяснить сложную жизненную коллизию... Мы с вами свидетели трагедии — трагедии человека со слабой волей. Ведь замысел-то его был нацелен на то, чтобы обмануть абвер. Задумано было хорошо, а силы воли не хватило... Да, это человек мелких чувств, среди которых первое место занимает животный страх. Вы, Бутов, точно подметили: смертельный страх. Но я думаю, что не сегодня-завтра вы услышите от него и про Глебова и про Стамбул... Попрошу вас, Виктор Павлович, предусмотреть варианты дальнейшей нашей работы с Сократом... Если, конечно, результаты экспертизы будут благоприятными. Варианты должны быть рассчитаны на различный поворот событий. Вы меня поняли?

— Да, товарищ генерал. Варианты будут подготовлены. Разрешите идти?

— Подождите... Я говорил вам о трагедии... Вот тут, кажется, ее последний акт.

И генерал развернул лежавшую на столе зеленую папку...

— Вчера вечером,— снова заговорил генерал Клементьев,— мне доложили о судебном процессе над предателем Родины. Двадцать пять лет Аким Климов скрывался под чужой фамилией в разных краях страны. До войны жил в Москве, учился с Рубиным в одной группе. Вместе с ним уехал на практику. В одну и ту же область, но в разные города. Когда в город ворвались гитлеровцы, явился в гестапо с доносом на главного врача больницы, не успевшего эвакуироваться: «скрывает комиссаров». Был завербован — и в гестапо приказали ему найти местную подпольную организацию, стать ее членом. Вот его показания... Предатель выдал гитлеровцам фрау Миллер, советскую разведчицу, заброшенную в их тыл. После безрезультатных, хотя и с применением пыток, допросов ее повесили...

Генерал нахмурился, отложил папку в сторону, и в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем стоявших в углу старинных часов.

— Вы не назвали подлинное имя фрау Миллер, товарищ генерал...

— Елена... Та самая Елена, о которой рассказывал вам Рубин, та самая Елена, от которой он трусливо шарахнулся в сторону, как только почуял, что над ее головой сгущаются тучи. Даже встретиться побоялся с ней. А она вон какой оказалась!

Наступила долгая пауза. Бутов ждет, что еще скажет генерал о Елене. Но Клементьев молчит. О чем-то думает, расхаживает по комнате и вдруг резко говорит:

— Трусость всегда была сродни подлости!.. Вот, что еще эксперты скажут? Заключение получено?

— Да. Правдивость заявления Рубина подтверждается. Рация, пистолет, деньги не использовались. Я могу сказать об этом Рубину?

— Можете! Когда намерены с ним встретиться?

Бутов посмотрел на часы.

— Если разрешите, завтра...— Он смущенно улыбнулся и добавил: — Дочка в восьмой перешла. Круглая отличница. Сегодня семейный культпоход на «Пиковую даму». А завтра утром я буду у Рубина. Но мы с вами еще не решили — сообщать ли доктору о Елене?

Генерал провел ладонью по волосам, привстал было из-за стола, снова сел.

— Трудный вопрос! — Да, ему, Клементьеву, известно состояние здоровья Рубина: врачи настаивают на госпитализации. А тут еще один удар. И какой! — Вы-то как считаете, Виктор Павлович?

— Думаю, что тяжко ему будет. Сложное наслоение всяких коллизий... Вспоминаю, как дрожал у него голос, когда он рассказывал про свой отъезд на практику... Побоялся даже встретиться с Еленой. Моя, карьеру испортит... А сейчас узнает! Что ж... пусть узнает: плата за трусость.

ЭХО СТАМБУЛЬСКОГО БАЗАРА

...Потом Рубин точно укажет Бутову время, когда раздался телефонный звонок: в двадцать один пятнадцать.

— Захар Романович?

— Да.

— Мне вас надо увидеть. Всего лишь на несколько минут. В двадцать два ноль пять буду ждать на Самотечной площади. У входа в сквер. Вам знакомо это место?

Наступило минутное замешательство, после чего Рубин почти закричал:

— Позвольте, кто это говорит?

— Ваш старый знакомый. Воронцов просил меня повидаться с вами и передать сувенир. Я звоню из автомата... Тут очередь, торопят. Кончаю разговор. Итак, в двадцать два ноль пять...

Положив трубку, Рубин минуты две простоял в растерянности. Как вдруг снова раздался телефонный звонок.

— Захар Романович?.. Это опять я. Прошу извинить, но мы встретимся на пять минут позже, в двадцать два десять. Иначе я не успею... На том же месте. Вы меня слышите, Захар Романович? Вот и хорошо. До встречи.

Охваченный тревогой, Рубин не потерял все же способности логично мыслить: «Зачем потребовалось неизвестному звонить второй раз? Проверить — свободен ли телефон, не тороплюсь ли кому-то сообщить о таком подозрительном звонке, кого-то предупредить? Или, может, хотел удостовериться, приду ли на встречу?.. Что же предпринять?» Рубин взял платок, стал вытирать потное лицо, поднял телефонную трубку, снова положил. Бросился к секретеру, достал телефонную книжку...

Сначала позвонил Бутову по служебному телефону. Никто не ответил. Позвонил домой — молчание. Тогда набрал номер, против которого было помечено «пож. сл.». Да, сейчас пожарный случай! Там, в КГБ, должны немедленно узнать о его, Рубина, телефонном разговоре с загадочным субъектом.

...Виктор Павлович с женой и дочерью были в это время в театре, сидели в ложе. Шла «Пиковая дама». Уже Германн прокрался в дом графини, уже явилась в свою спальню «опытная» старуха, знающая тайну трех карт, когда над креслом Бутова кто-то склонился и шепнул: «Срочно к телефону». Вызывал дежурный по управлению... «Только что звонил Рубин... Неизвестный требует встречи с ним в двадцать два десять, в сквере на Самотечной площади». Бутов посмотрел на часы — двадцать один тридцать — и усмехнулся: «Знакомый почерк аса разведки — минимум времени в распоряжении того, с кем хочет встретиться. На всякий случай — вдруг вздумает кого-то предупредить. Ну, что ж, попытаемся не опоздать!»

...Жена и дочь уже привыкли к таким вот его сюрпризам... «Прошу прощенья... Покину вас на полчасика». А вернется глубокой ночью.

В двадцать два часа Бутов был в Комитете. От дежурного он сразу прошел к себе в кабинет. Через пять минут позвонил Рубин. Из автомата.

— Я нахожусь на пути к месту встречи...— Рубин рассказывает так взволнованно, сбивчиво, что сначала его трудно понять...

— Не волнуйтесь, Захар Романович. Максимум собранности и наблюдательности...— Бутов говорит ровным, спокойным голосом, будто речь идет о каких-то пустяках.— Действуйте так, как мы с вами однажды условились. Помните? Желаю успеха...— И тут же проверил, выехали ли оперативные сотрудники.

...Нандор встретил Захара Романовича при входе в сквер. Отрекомендовался:

— Меня звать Федор Федорович! Вот видите, пророк прав: гора с горой не сходится...

Он повел себя не как гость, а как добрый, ласковый, но требовательный хозяин, которому Захар Романович будто бы уже не первый год служит верой и правдой. Они вышли на безлюдную аллею, и Нандор продолжил:

— В свое время вы оказали мне честь, посетив в Стамбуле мой магазин. Я был рад этому.

Рубин вздрогнул, побледнел... Стамбул, базар — пестрый, многоголосый, многоязычный. И магазин с яркой вывеской — «Нандор и К°». И вежливый «полицейский комиссар» с металлом в голосе: «Мы вынуждены задержать вас, господин. Вы украли...» Хитрая ловушка, ловко расставленные на берегах Босфора сети... Теперь ему, Рубину, ясно: разговаривал тогда с ним не полицейский комиссар. А кто же? Кто он, этот «Федор Федорович»?

— Что вы хотите от меня? — не сразу, очень тихо спросил Рубин.

— О, совсем немногого. Дружбы и лояльности. И притом во имя наших общих интересов. Подчеркиваю — общих... Не будем сейчас уточнять детали, они носят преимущественно технический характер. Поговорим о главном. Если вам представится возможность, приезжайте к нам на Запад. В любом качестве. Само собой разумеется, что только на время. Там мы сможем более обстоятельно обсудить наши отношения, мы снабдим вас кое-чем. И вы вернетесь домой. Центр нуждается в услугах господина Рубина, когда он есть в Москве. Приезжайте... В какую страну? Это практически не имеет значения. Разумеется, в страну западного содружества. Вам даже не надо заранее уведомлять о выезде. У нас достаточно возможностей узнать день вашего приезда в любую страну Запада. Мы сами позаботимся о нашей встрече. Если вы приедете к нам с группой туристов, то от вас потребуется минимум находчивости: ненадолго избавиться от общества соотечественников. Обо всем остальном мы позаботимся сами. Вам все ясно?.. Если у вас самих ничего не получится с выездом на Запад, мы предпримем другие меры... Кто-нибудь из ваших западных коллег пригласит доктора Рубина персонально на симпозиум... В крайнем случае — для выступления с лекцией перед студенческой аудиторией. Если вы получите такое приглашение, не отказывайтесь, немедленно начинайте оформлять выезд. О средствах на поездку можете не беспокоиться. Денег у вас будет достаточно.

Окончание. См. «Огонек» №№ 37—44, 46.

Рубин пытался заглушить душившую его злость: «Позвольте... О чем вы говорите... Вы представляете, что это сулит...» Кандор прервал его с легкой снисходительностью: «Я много лет провел на Востоке, господин Рубин, и хорошо знаю коран. В нем, между прочим, написано: «Вчерашний день прошел, завтрашний еще не наступил, у тебя есть только сегодня». Вам все ясно?»

И вдруг рядом с ним, словно из-под земли, появился высокий, элегантно одетый, худощавый молодой человек...

— Простите, как отсюда проехать до Киевского вокзала?

Рубин стал объяснять. Молодой человек внимательно слушал и — может, это ему лишь показалось? — пристально рассматривал доктора. Потом поблагодарил и неторопливо зашагал к троллейбусной остановке. И тут Захар Романович обратил внимание на неожиданное совпадение — в руках молодого человека был точно такой же портфель, как у Кандора. Два совершенно одинаковых, стандартных, темно-коричневых портфеля. Кандор, видимо, перехватил недоуменный взгляд Захара Романовича...

— О, вы очень наблюдательный джентльмен,— сказал он.— Я буду докладывать шефу, что вы отлично ориентируетесь в обстановке. В своем докладе я отмечу, что вы всегда быстро принимаете единственно правильное решение. Я заметил это еще тогда, на базаре, в Стамбуле...

СТРАХ

Да, сети действительно расставлены давно! Рубин весь сжался. Ему ясно: эти сети подняли груз и его давних «деяний»... Там... так... «Привет от Воронцова»... «Значит, агенты иностранной разведки нашли досье, заведенное на него еще гитлеровцами». И вот уже Кандор берет его под руку, ласково говорит: «Возьмите этот мой портфель. Здесь две русские книги по биологии. Больше ничего нет. Теперь запомните: завтра утром, в восемь сорок, с этим портфелем вам надлежит быть у Рижского вокзала на остановке автобуса номер девяносто восемь, идущего к центру. В Москве в этот час люди едут на работу и автобусы всегда переполнены. Вы займете очередь. За вами встанет тот самый молодой человек, которому вы только что объяснили, как проехать до Киевского вокзала. Вы будете держать портфель в правой руке, ваш спутник — в левой. В автобусе вы обменяетесь портфелями. Других контактов между вами не должно быть. Вы не знаете друг друга и не должны знать. Получив портфель, можете сходить на любой остановке. И тут же, немедленно отправляйтесь домой. Запомните — домой! Портфель вы откроете дома. Только дома! И, конечно, без свидетелей. В портфеле вы найдете все необходимое для вас.

И, попрощавшись, Кандор широким, энергичным шагом направился к площади.

...Идут минуты, долгие, как годы. Захар Романович сидит в кресле своего домашнего кабинета и ждет Бутова. Только что они договорились по телефону о встрече. Чем она закончится? Как объяснить Бутову, почему до сих пор молчал о Стамбуле, Кандоре?.. Почему до конца не рассказал о последних контактах с Глебовым? Поверит ли? И словно в калейдоскопе проносятся перед ним страшные картины прошлого, о котором он так мучительно старался забыть...

Как всегда, Бутов, поприветствовав хозяина дома, осведомился о его здоровье и настроении. Тот с трудом поднялся навстречу гостю, и Бутов встревожился.

— Вам нездоровится, Захар Романович? Может, отложим наш разговор?

— Нет, нет. Категорически возражаю. Нельзя. Обстоятельства требуют. И потом... Нам надо о многом переговорить. Я не могу больше... Я устал...— Он умоляюще посмотрел на Бутова и уже не сказал, а, задыхаясь, прохрипел: — Я устал от страха!.. Сейчас вы все поймете, Виктор Павлович. Начнем вот с этого.— И он достал из кармана пиджака какую-то крохотную штучку.— Вот ваш милифон. Тут запись моей сегодняшней беседы с иностранцем. Но прежде, чем вы прослушаете ее, я должен сообщить вам нечто такое...— Рубин потер руками лицо, нервно встал из-за стола и тихим, но твердым голосом произнес: — Помните, тогда, в машине, вы сказали: «Нам известно, что Рубин еще не выложил всей правды...» Это так. Сейчас я расскажу все.

И Рубин поведал обо всем, что случилось с ним на базаре в Стамбуле. Ничего не утаил. А потом долго, со всеми подробностями, рассказывал о сегодняшней беседе с Кандором и об охватившем его ощущении собственного бессилия: «Мне показалось, что я никогда не смогу сказать вам всей правды. Так и останусь вечным рабом страха... Но, как видите... сделал».

Виктор Павлович слушал Рубина молча и только, когда был упомянут Владик Веселовский, спросил:

— Когда вы его видели в последний раз?

— В тот день, когда пришел и вам, в КГБ. Утром я отправился на работу и недалеко от дома, лицом к лицу, столкнулся с ним. Мне показалось, что он подстерегал меня. Он был очень встревожен, говорил сумбурно.

...Накануне вечером в аэропорту Владик встретил только что прилетевшего в Москву товарища Глебова по работе, инженера Глухова — они были знакомы. Глухов сообщил об автомобильной катастрофе в Карпатах. Глебов погиб, а его спутница, москвичка, жива... Катастрофой, Глебовым, москвичкой заинтересовалась милиция. А может, и КГБ... Ходят слухи о какой-то таинственной телеграмме, полученной москвичкой в канун катастрофы. На квартире у Глебова был обыск, забрали какие-то письма, книги, пленки... Владик выпалил все это скороговоркой и тут же спросил Рубина:

— Как отдыхает Ирина, она, кажется, поехала в те же края? — Веселовский и вида не подал, что догадывается, кто эта «москвичка». И Рубин, приняв за чистую монету его вопрос, охая и ахая, стал рассказывать, что «москвичка» — это Ирина, что сегодня в шесть утра звонила тетка и сообщила примерно то же, что и Глухов. Владик стал бурно выражать сочувствие, успокаивать, а потом торопливо потащил Рубина в безлюдный переулок и, оглянувшись по сторонам, проговорил:

— Невеселые дела, Захар Романович! Попали в вагон для некурящих. Советую не афишировать наши встречи... Кстати, вы не посылали Глебову письмо? Когда отправили? До востребования?.. А что писали, если не секрет?

Рубин ответил:

— Поблагодарил за книгу, сообщил, что вы мне звонили, но обещанных Глебовым пластинок не передавали.

Содержание письма явно расстроило Владика, хотя он старался держаться бодрячком — ему ведь известно, о каких пластинках шла речь — так между собой называли они магнитофонные записи бесед о «свободе и демократии» по западному образцу.

— Что ж, Захар Романович!..— сказал он.— Ничего страшного тут нет, но, как говорится, береженого бог бережет... Глебов, кажется, помогал вам в приобретении кое-каких картин и книг... Так вот, запомните: ничего этого не было. С Глебовым вы встречались один-два раза... Мимолетное знакомство. Со мной там более...

Веселовский попрощался и быстро ушел.

— Ну, а вы? — спросил Бутов, не выказывая, однако, своего нетерпения.— Как вы поступили?

— Что же я... Не поехал на работу, вернулся домой, растерянный, насмерть перепуганный. Встречи с иностранцем, напомнившим о прошлом, и с Веселовским, взбудоражившим настоящее, спаялись в сознании в один клубок. В голове был полный сумбур. А тут еще в памяти всплыл стамбульский базар... В тот час страх окончательно утвердил меня в решении пойти в КГБ, чтобы сообщить о Егенсе. Пока только о Егенсе. А дальше видно будет. И это была моя ошибка. Но в те минуты мне важно было сбросить с себя груз тайны сорок второго года. Она тяготила меня более двадцати пяти лет. Все остальное — так тогда шарахнулось мне — производное от сорок второго... Я позвонил на работу, сказал, что плохо чувствую себя, и направился к вам. О моей жизни во время войны вы знаете все... Я ничего не утаил. У вас нет оснований не верить... Осталось только получить заключение экспертизы.

— Мы его получили,— сказал Бутов, и ни один мускул не дрогнул на его лице.

— И что же?..— задыхаясь от волнения, спросил Рубин.— Почему вы молчите? Я ведь сна лишился, ожидая.

— Теперь можете спать...— Бутов хотел сказать «спокойно», но воздержался.— Экспертиза установила, что снаряжение не было в работе.

— Виктор Павлович! Мне трудно сейчас сказать нужные слова... Вы поймите... Это же...

Его сбивчивую речь прервал телефонный звонок. Рубин взял трубку, и сразу же лицо его просветлело.

— Нет, нет, я не сплю еще... У меня сейчас отличное настроение. Да, да, есть основания... Спасибо, родная, чувствую себя лучше. Недостает тебя. В доме пусто. А папины как дела? Моя помощь не требуется?

И вдруг помрачнел, насупился...

— Не расстраивайся, Ира. Это все сложно... До свидания. Я терпеливо буду ждать...

Он положил телефонную трубку и тяжело зашагал по комнате.

— Сядьте, пожалуйста,— сказал ему Бутов.— Вам требуется покой. Но если можете, то ответьте: после того письма Ирины это первый ее звонок к вам?

— Нет, не первый. Она приходила сюда. Встретила на улице моего аспиранта и узнала от него, что я болен. У нас было тягостное объяснение. Она сказала, что, так быстро покинув наш дом, поступила как взбалмошная девчонка, но это был взрыв давно накапливавшихся чувств негодования, осуждения, возмущения. А

тут нашелся родной отец... Она все-таки говорила со мной жестко... Нервы не выдержали, я расплакался. Потом рассказал ей все. Все, кроме сорок второго года... Даже будучи в таком состоянии, я не забыл вашего предупреждения. Я впервые, кажется, увидел свою сдержанную Ирину в таком состоянии. Бог ты мой — чего только я не услышал: это очень страшно, когда вдруг узнаешь, что человек, который был близок тебе двадцать пять лет, вовсе не близок...

— А вы не подумали о том, что Ирина, вероятно, испытывает точно такое же чувство? И возможно, в еще более острой форме?

— Но она теперь рядом с отцом, а вокруг меня пустота...

— Кстати, об отце. Она что-нибудь говорила о нем?

— Я о нем почти ничего не знаю. По непонятным причинам Строков с какой-то исступленностью твердит, что не хочет меня видеть. Того же требует и от Ирины... Странно, дико... Но я надеюсь, что мы станем друзьями... Обычная послевоенная ситуация.

— Вы уверены, что ситуация обычная, что вы станете друзьями...— Бутов пристально посмотрел на Рубина и спросил: — Вы смогли бы восстановить в памяти все детали допроса партизана в фашистском застенке?.. Я имею в виду допрос, который абвер в порядке проверки поручил вести вам.

Захар Романович привык к самым неожиданным вопросам Бутова, к его резким переходам от одной темы к другой. Но сейчас ему показалось, что за вопросом Бутова стоит нечто большее, чем манера разговаривать.

...Жестокая человеческая память! Рубин часто думал о том партизане, которого допрашивал по приказу офицера абвера. Иногда по ночам он просыпался в поту: он будто вновь слышал его крики в зловещей камере фашистского застенка. И ему становилось страшно от мысли, что и он, Рубин, может оказаться на одной скамье с военными преступниками. У него не хватило духу написать в своем покаянном письме в КГБ, как все было... Ни писать, ни рассказать. Он старался забыть об этом. Да и стоит ли самому бросать в себя дышие комки грязи? И только в последние дни его стали тревожить сомнения: «Нет, зря я не написал! Ведь в общем-то все самые тяжкие мои прегрешения уже известны КГБ. Надо было сообщить и о допросе партизана...»

Да, он допрашивал его так, как того требовал офицер абвера. Он знал, что это проверка, и не мог поступить по-другому, иначе задуманная им операция лопнет как мыльный пузырь. А операция задумывалась широко, и только его малодушие помешало довести дело до конца. И теперь тоже... Страх водил рукой его, когда он писал в КГБ. Не хватило силы воли написать всю правду. И о Сталбуле... И о допросе партизана... Так и остались висеть на его шее эти камни. И вот неожиданный вопрос Бутова... И эти его слова: «А может, имеются такие основания?» Что он хотел сказать? Затем странное поведение Строкова... Вдруг к Рубину пришла жутная догадка: неужели это он и есть, тот партизан?! И Захар Романович простонал:

— Не терзайте мою душу, Виктор Павлович! Я не могу больше...— Рубин запнулся, а потом твердым голосом сказал: — Хорошо, я постараюсь восстановить в памяти все, как было...

И он со всеми подробностями рассказал, как, выполняя приказ офицера абвера, допрашивал партизана.

— ...Это последний камень, который я сбрасываю со своей шеи. Я виноват. Не только в том, что было в прошлом... Это само собой. Виноват и в том, что сразу не раскрылся. Полностью. Во всем. Вы можете судить, карать меня. Но поймите, я уже пытался вам объяснить... Страх!

Два человека, не глядя друг на друга, сидели молча. Каждый думал о своем. Бутов сейчас вспоминал: такие встречались на его пути... Таких людей один только страх делал подлецами.

— А тот партизан... Бывший партизан Строков...— Бутов заговорил тихо, медленно, пристально вглядываясь в собеседника.— Он не захотел видеть вас, Захар Романович. И дочери своей не сказал, кто такой ее отчим. И Сергею ничего не сказал. «Пусть,— говорит,— молодые не узнают про все мерзости житейского бытия». Что ж, пожалуй, он прав. Но нас все же интересует, почему вы при первой нашей встрече так уклончиво, обтекаемо, скороговоркой говорили об этом вашем деянии.

— Все то же, Виктор Павлович... Страх... Я понимал, что гитлеровцы вовлекали меня в гнусное дело... Даже несмотря на то, что мои руки не оказались обагренными кровью Строкова. Я не пытал, не бил... Гитлеровцев устраивал сам факт моего участия в допросе, и я догадывался, для чего это им нужно... Но ведь вы могли в этой связи подумать обо мне что угодно. А если бы Строков не нашелся? Могли допустить и более страшное. Например: «Не расстреливал ли он соотечественников?» Поймите же меня!..

Рубин тоскливо смотрит на Бутова и после долгой паузы спрашивает:

— Строков знает, как я оказался в абвере, почему вел допрос? И что я пришел к вам?.. Не знает? Вот видите... Зачем же...— И тут же Рубин осекся. Понял: не ему задавать вопросы. Да еще такие...

А Бутов, словно и не было никакого вопроса-упрека, сказал:

— Но я вам еще не все сообщил, Захар Романович. Вы помните Елену?

Рубин вздрогнул и испуганно посмотрел на Бутова.

— «Помню» — это не то слово, Виктор Павлович... Я обожал, боготворил ее и никогда не прощу себе, что уехал, не повидавшись с ней. Это тоже было малодушие.

— Возьмите себя в руки, доктор... Елену казнили гитлеровцы.

ДИПЛОМАТ

В Комитет Бутов приехал в час ночи. Его ждали Михеев с сотрудником из группы контрнаблюдения. К тому, что уже было известно полковнику, они добавили не многое.

В Москву Нандор прибыл в качестве представителя посреднической фирмы химического концерна. Когда он звонил Рубину, у него уже был билет на самолет в Белград — отлет сегодня в восемь двадцать.

Да, действительно, прогуливаясь с Рубиным по парку, Нандор все время держал в правой руке портфель. Потом к ним подошел человек точно с таким же портфелем, как у Нандора. Затем, после каких-то расспросов, он вышел из сквера, обогнул площадь и вернулся в сквер уже с другой стороны. Есть основание полагать, что он вел наблюдение не столько за Нандором и Рубиным, сколько за теми людьми, которые в это время находились в сквере,— нет ли «хвоста»? Во внешности незнакомца нет ничего примечательного — высокий, худощавый, в сером костюме, без головного убора, с длинными, гладко зачесанными назад волосами цвета соломы. Выглядит еще довольно молодо... Он уехал на троллейбусе, но вскоре сошел и долго плутал по Москве, разъезжая то в метро, то на автобусе и такси, снова в автобусе, затем в троллейбусе. И своего достиг — ему удалось уйти из-под наблюдения.

Бутову ничего не оставалось, как выразить по этому поводу свое недовольство...

— Ну что же, подождем до утра. По домам. Напомню — восемь десять, остановка автобуса у Рижского вокзала.

...В восемь сорок на остановке автобуса у Рижского вокзала появились Рубин и тот человек, который подходил к нему вчера в сквере. Бутов сразу узнал «незнакомца»: Рейган, сотрудник одного из иностранных посольств. Как же, встречались... Этот «дипломат» уже давно находился в поле зрения контрразведки. Было известно, что его деятельность в Москве не имела ничего общего с дипломатической службой. У Рубина и Рейгана в руках — портфели-близнецы...

Ожидать автобуса пришлось недолго. Битком набитый, он подкатил в восемь сорок два. Рейган и Рубин протиснулись в машину и, прижатые друг к другу, обменялись портфелями.

Михеев проследовал за Рейганом. «Дипломат» сошел в центре. Пересел на троллейбус. Потом спустился в метро. Вышел у Белорусского вокзала. Куда-то позвонил по телефону-автомату. Снова сел в такси и помчался в международный аэропорт Шереметьево. Там его ждала молоденькая девушка с чемоданом. Рейган взял чемодан, поцеловал девушку и направился к пункту регистрации пассажиров. Через час он вылетел в Вену.

А Бутов уже был на квартире у Рубина и вместе с ним рассматривал нандоровские «сувениры»... В портфеле лежали портативная радиостанция, конверт с советскими деньгами и конверт с инструкциями: «В эфир выходить два раза в месяц, не чаще. Каждая передача должна содержать не более двух страниц машинописного текста». В конце инструкции напоминание: «Действуйте, как вас учили. Придавливую открытку бросьте в любой почтовый ящик через пять дней. Когда вы ее получите, это будет означать, что у вас все в порядке и что между нами установилось взаимопонимание». На открытке адрес дома в Вене и всего лишь несколько слов: «Я здорова, чувствую себя хорошо. Путешествую без приключений. Целую. Герта». Бутов читает инструкцию вслух и улыбается. «Так как же, Захар Романович, помните еще, чему вас учили?» «Не надо так зло шутить, Виктор Павлович...» «Я не шучу... События могут повернуться по-разному...» «Не понимаю...» «Со временем поймете. А пока... Я не прочь выпить кофе с коньячком... Как вы?» «Всегда и ваши услугам». «А самочувствие, настроение? Как спали ночью?» «Не спал... Настроение и самочувствие соответственно событиям... Рано утром звонила Ирина. Вечером она придет не мне с отцом. И с Сергеем...» — Рубин уперся локтями в колени и, закрыв лицо ладонями, стал усиленно протирать пальцами глаза. Так, не проронив ни слова, они сидели друг против друга несколько минут — несостоявшийся разведчик, оказавшийся вне игры Сократ, и контрразведчик Бутов...

ВНЕ ИГРЫ

— Ну, вот, кажется, и все, товарищ генерал... Первая часть операции завершается. Теперь вырисовывается ситуация, при которой Сократ может оказаться полезным для нас человеком.

— Полезным или преданным? По велению обстоятельств или души? Это ведь разные понятия, Виктор Павлович.

— Разные, товарищ генерал... Понимаю... В том, что он может оказаться полезным человеком, не сомневаюсь. А насчет... Я не склонен верить в чудеса, в ошеломляющие своей быстротой «перековки»... Да еще таких, как Рубин. Не уверен, можно ли вводить его в игру? Если подвести итоговую черту...

И Бутов, резко чеканя слова, говорит:

— Состава преступления нет...— Затем, уже раздумчиво: — Разве только вот... Недонесение... А между тем человек этот вызывает...

Полковник ищет подходящего слова, а генерал, угадав его мысль, продолжает:

— Есть еще кодекс не уголовный, а нравственный. В нем тоже статьи имеются. И тем не менее...

Генерал тоже не договорил и стал осторожно стряхивать пепел сигареты в пепельницу, явно затягивая столь простое дело. Ему надо собраться с мыслями. Генерал иногда ловил себя на том, что вынужден оставлять без прямого ответа, казалось бы, самый простой вопрос. И радовался, когда позже становилось очевидным, что вопрос не так уж прост, каким показался с первого взгляда. Вот и тогда...

О том, что случилось в его жизни тогда, много лет назад, сегодня ему напомнил Указ, опубликованный в газете: «крупному ученому в связи с восьмидесятилетием со дня рождения за большие заслуги перед наукой присваивалось звание Героя Социалистического Труда. Газета лежала на столе, и Указ был обведен красным карандашом. Поэтому Бутов сразу обратил на него внимание. Генерал, перехватив его вопрошающий взгляд, негромко, тяжело роняя слова, сказал:

— Когда-нибудь, Бутов, я расскажу вам историю этого человека... Поучительная история... Глубокий след в моей жизни оставила она...— И не стал больше распространяться. В мгновение нахлынуло все пережитое в первые послевоенные годы...

...Клементьеву, начальнику одного из ведущих отделов, в тот день присвоили звание полковника. В кабинет заходили коллеги, поздравляли, в шутку требовали сегодня же «обмыть звездочку», иначе «отлетит». И в шутку же говорили: «Смотри, Клементьев, нос не задирай». Шутки шутной, но в общем-то все поздравлявшие полковника всерьез прочили ему переход на новую, ответственную работу. За плечами у него большой опыт работы в КГБ. Человек он приметный: поразительная энергия, трудолюбие, аналитический склад ума...

Памятный день уже близился к концу, когда на стол полковника легло письмо с резолюцией: «Срочно. Разберитесь. Доложите».

Клементьев бегло пробежал письмо и сразу же обратил внимание на подпись: «Преданный вам А.». И все. Анонимка. В ту трудную пору, увы, анонимщики имели силу, знали, что все равно письму дадут ход. И Клементьев, прежде всего подчеркнув карандашом подпись «преданный вам А.», стал тщательно изучать анонимный донос.

...Начальник Главка союзного министерства, профессор, доктор технических наук, в недавнем прошлом директор большого научно-исследовательского института, обвинялся в тяжком преступлении. Некий «А» с поразительным знанием биографии профессора, обстоятельств его жизни сообщал, что начальник Главка, отправившись в одну из капиталистических стран на конгресс, посвященный техническим проблемам, прихватил с собой пол-листа машинописного текста с секретными данными — некоторые параметры вновь сконструированных машин. «Преданный вам А.» требовал арестовать шпиона.

Под непосредственным руководством Клементьева его ближайший помощник занялся проверкой анонимки. На первый взгляд все было ясно: да, факты, сообщенные в письме, имели место. Да, выезжая за границу на конгресс, да, взял листок бумаги с упомянутыми параметрами. Да, когда-то отец его был репрессирован. Да, по этой причине его не принимали в вуз, пока он сам не поступил на завод рабочим... Но было одно важное обстоятельство, которое автор анонимки обошел молчанием. Когда профессор уезжал за границу, данные о новых машинах уже не представляли собою секрета — они были опубликованы в открытой советской печати. А что касается поведения самого профессора в заграничной командировке, то оно было безупречным. Так и зафиксировали в справке, подписанной Клементьевым: «Данных для привлечения к уголовной ответственности нет. Обвинение в шпионаже лишено всяких оснований».

Эту его справку передали Берия, а через день она вернулась к Клементьеву с резолюцией: «Шпиона арестовать».

Что делать? Слепо выполнять приказ нельзя... Полковник хорошо знал, что может последовать за этим «нет». Оставшись один на один со своей совестью, после бессонной ночи полковник принял решение: «Попытаюсь добиться приема и убедить...» Прием он добился и постарался максимально коротко доложить свои впечатления от встреч и бесед с профессором, сказал, что выводы сделаны из тщательного анализа фактов. Клементьева грубо оборвали: «Все... Можете идти!..»

Клементьев отказался писать и подписывать постановление на арест профессора.

Нетрудно всей мерой оценить мужество и принципиальность человека, решившегося в ту пору на такой шаг... То был приговор самому себе. Клементьев это знал. Но сначала ему пришлось выдержать долгий, трудный разговор с другом-сослуживцем, который затем перестал быть его другом...

Клементьева освободили от работы. Несколько месяцев, по выражению того же «друга», он находился в «подвешенном состоянии»... Наконец с большим понижением в должности его послали работать на Север.

Пройдет несколько лет... Клементьева — а он остался все таким же честным, верящим в силу правды, принципиальным коммунистом — вернут в Москву, и тот самый «друг» будет лобызать его, будет доказывать товарищам, что Клементьев — кристально честный человек. Этого «друга» давно уже нет в семье чекистов, а Клементьев нет-нет да и вспомнит о нем, и сразу же охватывает его ощущение какой-то брезгливости, желание руки вымыть...

И вот сегодня он прочел в газете Указ... Тот самый профессор! Выжил, не погиб. Правда восторжествовала! Годы и судьбы!.. Сегодня вечером он, Клементьев, позвонит ему и поздравит. А пока надо решать дело другого ученого... Аналогичное? Нет, нет, не то! Другое, особенное, куда более сложное при всей кажущейся простоте. Да, состава уголовного преступления нет, но человек этот был в двух шагах от него. Уже барахтался в сетях, заброшенных издалека с помощью Веселовского и Глебова.

...Вот сколько тревожных мыслей может пронестись за какие-то мгновения! А Бутов терпе-

ливо ждет, уловив в последней реплике генерала «тем не менее» какое-то неполное согласие с собственной позицией. Однако, кажется, пора напомнить о себе... И он несколько официальным тоном спрашивает:

— Итак, какие будут указания, товарищ генерал?

— Я полагаю, что следует использовать сложившуюся ситуацию и взять под контроль действия противника. Все обстоятельства — за...

— Использовать? В какой мере? И как тут совместить... Значит, он уже не ответствен за все свои прошлые деяния? Значит, мы оказываем ему доверие? Как он это истолкует? Есть ли у нас основания и право на такое доверие ему? — Полковник несколько запальчиво выпалил все эти вопросы и теперь выжидающе смотрел на генерала... А тот, выпрямившись, устало проговорил:

— Эх, Бутов, Бутов!.. — Потом улыбнулся и продолжил: — Хотите генерала в угол загнать? Ишь, сколько сомнений сразу. «Есть ли основания, право»... Да поймите же, Бутов, что у нас практически нет выбора. Кем вы замените Рубина в игре? А она обязательно должна состояться. Этого требуют интересы государства. Противник, продолжая начатую несколько лет назад операцию, вступил в непосредственный контакт с Рубиным, и мы обязаны вклиниться в эту операцию. Да, Рубин — человек ничтожный... Вы правы. Он заслуживает наказания. Ему надо искупать свою вину...

— Он меньше всего думает о том, как будет искупать свою вину... — сказал Бутов. — Его сегодня интересует лишь судьба собственной персоны. Если бы он мог, то сегодня же скрылся... Поймут ли нас, товарищ генерал. Уж больно грязен этот Рубин...

— Когда речь идет о безопасности государства, нельзя пугаться: что скажут, поймут ли... Не бойтесь — поймут! Люди наши умные. Мы не отпускаем Рубину его грехи. Но он вместе со всеми своими грехами нужен нам сейчас для контрдействий против противника. То есть практически Рубин останется вне игры. Подчеркиваю — вне игры! Да, да, и не требуется его непосредственное участие в ней. Эту работу возьмете на себя вы. Но Рубин — приманка для шакалов. Мы заинтересованы в том, чтобы он пребывал в здравии и даже вел прежний образ жизни. Его хозяева, несомненно, будут интересоваться им, проверять. Значит, и нам нельзя быть в стороне.

Генерал поднялся с места и уже другим тоном, чуть резковато, твердо объявил:

— Действуйте, Бутов! Как условились...

И в той же тональности последовал ответ — короткий, четкий: «Будет сделано». Только где-то про себя Бутов продолжал диалог, подумывая, о том, что у Клементьева всегда вот так, его мало интересует, что скажут, поймут ли. Его надежные ориентиры — закон, безопасность государства, долг коммуниста. По этим ориентирам он и находит единственно правильное решение. Бутов не знал, что так было и тогда, когда Клементьев держал труднейший в жизни экзамен, и обведенная красным кругом заметка в газете имеет к тому экзамену прямое отношение. Вот и сейчас Клементьев взвешивает все «за» и «против»...

Итак, с Сократом все ясно. Теперь надо решать последний и, учитывая предстоящую игру, не менее сложный вопрос: Владик Веселовский... Следствие закончено. Веселовский во всем сознался и дал исчерпывающие показания. Состав преступления налицо, и дело надо передавать в суд. Однако после суда хозяева Владика могут получить сигнал тревоги: советская контрразведка начинает ворошить гнездо, и которому и Сократ в какой-то мере причастен. Значит, операция может сорваться? Если КГБ арестовало Веселовского, то и до Рубина доберутся.

— Что же будем делать, товарищ генерал? Может, и Владика на волю выпустим? Пусть живет, как жил прежде... — И Бутов хитро улыбнулся.

Но генерал не склонен принимать этот шутливый настрой полковника. С Владиком Веселовским не до шуток. Дело труднее, надо что-то придумать.

Веселовского арестовали на пути в Батуми, в вагоне пригородного поезда. Ирина и Сергей предупреждены: «Никто не должен знать о том, что вас вызывали в КГБ». Все это во имя далеко идущего замысла. И вот настала пора ставить точки над «i». Генерал говорит четко, отрывисто:

— Веселовский не из тех, которые спешат оповестить друзей о случившемся... Нет, это не в его правилах, не захочет этот «король» признать себя голым... Владика очень устроит такой вариант, при котором кто-то из его соратников вдруг получит письмо. «Рванул, братцы, на Север, разрабатывать золотую жилу... Вернусь нескоро, но, вероятно, не очень скоро... Пишите, буду рад...» Поймите, Виктор Павлович, как на одном из первых допросов Веселовский просил следователя: нельзя ли сделать так, чтобы о его аресте и о суде не сообщалось в пресса, чтобы в общем-то не афишировать его грехопадение, скрыть от дружков... Пожалуй, есть смысл пойти ему навстречу... Как считаете, Бутов? — улыбнулся генерал. — Вариант, что называется, в унисон с нашим намерением. А детали... Вы их отличнейшим образом отработаете сами. Так?.. — И, не ожидая ответа, приказал: — Дальнейшее оформление возьмете на себя.

...Ровно через пять дней после отъезда Нандора в почтовый ящик была опущена открытка с венским адресом и с видом Красной площади. Бутов вступил в игру.

Эта повесть — продолжение книг «Последняя ошибка резидента» («Огонек», 1965 год, №№ 36—40) и «С открытыми картами» («Огонек», 1967 год, №№ 1—12), которые издательством «Молодая гвардия» выпущены в свет отдельной книгой под названием «Ошибка резидента» и по которым на студии имени Горького поставлены фильмы «Ошибка резидента» и «Судьба резидента».

Для понимания событий, развертывающихся в повести, читателю, незнакомому с «Ошибкой резидента», достаточно знать следующее.

Профессиональный разведчик Михаил Тульев был заслан в Советский Союз на долгое оседание. Русский по происхождению, он стал резидентом иностранного разведцентра. К нему под видом вора-рецидивиста по кличке Бекас вошел в доверие чекист Павел Синицын. Затем Тульева арестовали, а его роль при сеансах радиосвязи с разведцентром начал играть Павел.

Находясь под арестом, Тульев понял всю глубину своих заблуждений и выразил желание в меру сил искупить вину перед Родиной, быть ей полезным. По ходу операции разведцентр оказался вынужденным отозвать Тульева из Советского Союза. В Одессе, обменявшись документами с неким Уткиным, который прибыл на корабле с группой зарубежных туристов как агент того же разведцентра, Тульев благополучно присоединяется к туристской группе и переправляется за границу.

Ему было известно, что отец его, старый разведчик, работавший на иностранных хозяев, скоропостижно скончался. По газетной версии, смерть наступила в результате сердечного приступа.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Возвращение резидента

Глава 1

ЗНАКОМСТВО В УНИВЕРМАГЕ

Весной 1971 года в жизни Светланы Суховой произошло одно в общем-то маловажное событие, которое при обычных обстоятельствах ни к чему плохому привести не могло. Но, как мы увидим несколько позже, в данном случае обстоятельства были необычными и событие это послужило звеном в длинной цепи других, гораздо более серьезных и сложных событий, причин и следствий.

Как-то майским днем к прилавку, за которым стояла в голубом, атласно поблескивающем форменном халате Светлана, в ту редкую минуту, когда не было покупателей, и проигрыватель, на котором пробовались пластинки, молчал,— в эту тихую минуту к прилавку подошел молодой, лет двадцати шести — двадцати восьми, очень смуглый мужчина. Его черные густые волосы были напомажены и причесаны на косой пробор. Черные глаза с поразительно белыми белками смотрели ласково и мягко, был он невысок для мужчины, не выше Светланы, но все в его фигуре выглядело так ладно, что любая прибавка сразу нарушила бы впечатление соразмерности. Светлана уже владела профессиональным умением продавцов с одного взгляда определять категорию покупателя, и ей не нужно было даже вникать в детали костюма подошедшего мужчины, чтобы совершенно точно знать, что перед нею иностранец. Ничего особенного в этом не было: всякие иностранцы — туристы или работавшие на городских предприятиях специалисты — часто покупали в универмаге грампластинки.

— Здравствуйте! — с улыбкой сказал смуглый покупатель.

— Добрый день,— ответила Светлана, стараясь по его акценту определить, какой он национальности.— Что вам угодно?

— Я хотел бы классику, русскую классику.

Это была привычная просьба: все иностранцы требовали записи музыки русских композиторов. Разобравшись в акценте, Светлана уже знала, что говорит с итальянцем.

— Что именно вы хотите?

— Я не все знаю очень хорошо. У меня имеется Мусоргский, Чайковский. Я хотел бы что-нибудь еще.

— Должна вас огорчить. Сегодня ничего предложить не могу. Зайдите как-нибудь в другой день.

Итальянец рассмеялся и сказал не без иронии:

— Это я слышал много дней раньше, много-много раз.

— Извините, но ничем не могу помочь.

Казалось бы, волрос был исчерпан, но итальянец не спешил уходить. Он смотрел на Светлану молча и без прежней мягкой сдержанности. Ей стало неловко, она отвела взгляд и только тут заметила, что они не одни, какой-то мужчина чуть в стороне терпеливо изучал захватанный каталог грамзаписей, повернувшись к ним спиной.

— Слушаю вас.— Она сделала шаг в его сторону.

— Ничего, ничего,— сказал он тихо, не оборачиваясь,— я не тороплюсь.

Итальянец все смотрел на нее, и Светлана безошибочно могла предвидеть, что произойдет через минуту. Ей уже неоднократно за ее короткую службу в универмаге приходилось выслушивать и от иностранцев и от дорогих соотечественников, молодых мужчин и не очень молодых, одну и ту же просьбу: познакомиться и встретиться где-нибудь вне стен магазина. Ее это не обижало и не раздражало, скорее наоборот, но она умела так себя вести в подобных случаях, что просители, даже из самых настойчивых, больше чем на две попытки не отваживались.

Этот оказался терпеливее и настойчивее прочих. Не по летам холодная вежливость, которую усвоила себе Светлана и которая моментально охлаждала других, на итальянца не действовала. Была и еще причина, по которой ему удалось говорить со Светланой гораздо дольше, чем иным.

Она чувствовала, что он с нею вполне искренен и излагает правду. А излагал итальянец вот что.

Приехал он из Италии год назад. Он инженер и работает в фирме, которая заключила с Советским Союзом контракт на поставку и монтаж оборудования для азотно-тукового комбината. Но это не имеет значения. Главное — он послезавтра возвращается на родину и только поэтому решился просить русскую девушку о свидании. Он увидел ее давно, еще месяца три назад, и не за прилавком, а у входа в магазин. Он знает, что ее зовут Светланой. Он не осмеливался раньше заговорить с ней, потому что был уверен, что она не согласится ни на какое свидание. Но теперь, за день до отъезда, он не выдержал и решил рискнуть. Ему очень хочется записать на память ее голос, и если бы она согласилась встретиться с ним где-нибудь в парке или в кафе хоть на полчаса и если бы позволила ему принести с собой маленький японский магнитофон...

Короче, дело кончилось тем, что Светлана спросила:

— Знаете улицу Тургенева?

— Да, конечно! — не веря в успех, воскликнул итальянец.

— Где она выходит на бульвар, есть газетный киоск.

— Да, да, это мне известно.

— Я буду там в половине двенадцатого.

— Завтра?

— Ну, не сегодня же.— Она посмотрела на часы.— Сейчас уже три.

— Спасибо.— Он поклонился.— Я забыл сказать: меня зовут Пьетро Маттинелли. Спасибо. До завтра.

И он ушел, счастливый. Светлана хотела наконец заняться терпеливым покупателем, который все это время изучал чуть в сторонке захватанный каталог грампластинок, но его уже не было...

Тут следует рассказать вкратце историю семьи Суховых.

Муж Веры Сергеевны Суховой погиб пять лет назад. Он был летчиком, работал испытателем на заводе, где делают вертолеты.

Вера Сергеевна не знала подробностей катастрофы и ее причин. Друг мужа, тоже испытатель, пробовал ей объяснить, как это произошло, говорил что-то насчет крайних режимов полета, на которые сознательно пошел Алексей, досадовал, что Алексей не использовал единственную возможность оставить машину, а обязательно хотел ее посадить. Он особенно упирал на то, что возможность была именно единственная, и говорил, что у вертолетчиков таких возможностей гораздо меньше в случае аварии, чем у испытателей обычных самолетов. И в общем, как Вера Сергеевна поняла уже гораздо позже, когда все немного смягчилось, из рассказа этого друга получалась такая картина, что Алексей во всем виноват сам. Ей от этого легче не стало.

Тот первый месяц после похорон она теперь, по прошествии пяти лет, помнила хорошо, во всех подробностях, и виновато удивлялась, как же мелочно отмечала ее память ничего не значащие детали происходившего, когда душа ее, кажется, разрывалась от горя.

Сейчас она могла бы рассказать, что готовила в день гибели Алеши на обед, какого цвета был бант у Светланы в косе, когда она вернулась из школы, и что ей сообщила соседка по поводу самочувствия своего шпица, занемогшего накануне, и как звенела бившаяся о стекло пчела — первая весенняя пчела, залетевшая в окно.

Просто полная ерунда. И почему так стран-

Рисунки
М. ПЕТРОВОЙ

но устроен запоминающий аппарат человеческого мозга? Вера Сергеевна окончила медицинский институт, но это не давало ей никаких преимуществ по сравнению с другими людьми, не имеющими медицинского образования и незнакомыми даже с начатками психологии,— она не могла понять, почему ничтожные, недостойные мелочи впечатались в сознание несмываемыми красками, незаглушаемыми звуками, невыдыхающимися запахами, а самое главное, самое дорогое стерлось, словно бы его и не было никогда. Она не помнила лица мужа, не помнила его выражения.

А может, это защитная реакция? С точки зрения науки о психической деятельности человеческого мозга такое объяснение вполне годится, но ей опять-таки от этого не было легче.

По ночам она иногда мысленно прослеживала шаг за шагом свои поступки в первый месяц после гибели Алексея и без конца казнила себя за деловитость, тоже, как она считала, предельно мелочную и оскорбляющую память погибшего.

Она продала их новенькую «Волгу», списалась с подругой, Ниной Песковой, жившей в городе К., и с ее помощью устроила обмен квартирами, почти не потеряв при этом ни в метраже, ни в коммунальных удобствах. Она позаботилась, чтобы Светлана закончила учебный год хотя бы без троек,— дочь тогда училась в седьмом классе, и до конца занятий оставалось три недели.

Распродав часть вещей, а другую часть, в том числе пианино дочери, отправив багажом, Вера Сергеевна со Светланой в середине июля выехали в город К. Бегство из мест, связанных с самым любимым на земле человеком, совершилось стремительно, подобно эвакуации в военные времена, о которой так много читала в книгах Светлана и которую сама Вера Сергеевна пережила в сорок первом, будучи восьмилетней девочкой.

Приехав в К., она не стала устраиваться на работу. И куда бы она пошла? Получив диплом врача, она не работала ни дня, потому что уже была замужем за Алексеем, а он не хотел, чтобы она работала, а чтобы растила Светку, которой уже сравнялось к тому времени два года. Чтобы теперь стать врачом, ей, пожалуй, впору было снова идти учиться в мединститут. Но главное, она и не смогла бы нигде работать. В какой-то деловой лихорадке сумев быстро и решительно осуществить переезд, она словно впала в летаргический сон.

Долго, очень долго она была отрешена от жизни, как бы даже вовсе не жила. У нее было такое ощущение, что она, сидя одиноко в темном зале, смотрит какой-то длинный и неинтересный ей фильм.

Нина Пескова, которая взяла на себя заботу о ее доме, о покупке продуктов, делала попытки расшевелить подругу, но безуспешно. Вера Сергеевна выходила из дому только для того, чтобы снять очередную порцию денег со сберкнижки. Машинально готовила еду, стирала, прибиралась. И без конца курила — начала она курить в день похорон Алексея.

Так минуло два года. Светлана перешла уже в десятый класс. Как она училась, как переходила, Вера Сергеевна мало интересовалась, хотя в дневник дочери и заглядывала. Ее совсем не огорчило, что Светлана оставила занятия музыкой.

Толчком, выведшим ее из этого состояния, был разговор с Ниной Песковой, когда та, придя однажды осенним вечером, как бы между прочим сообщила, что сию минуту видела Светлану возле дома с двумя парнями гораздо старше ее — Светлана была с сигаретой в руке и, кажется, под хмельком.

Веру Сергеевну будто хлестнули по лицу плеткой. Она только спросила: «Где?» — и, услышав в ответ, что на детской площадке, выбежала из квартиры, не надев пальто.

Светлана стояла в обществе двух самодовольно ухмыляющихся молодых людей и както незнакомо похохатывала.

Не говоря ни слова, Вера Сергеевна налетела на нее, развернула левой рукой за плечо, а правой изо всех сил ударила ее по щеке. Если бы не один из парней, Светлана упала бы. «Марш домой!» — крикнула Вера Сергеевна вмиг протрезвевшей дочери. «Мадам, зачем так форсированно?» — играя поддельным баритоном, сказал пижон, поддерживавший Светлану. «Молчи, щенок!» — осадила его Вера Сергеевна. Она задыхалась от гнева. Но пока поднимались по лестнице на третий этаж, гнев сменился острой жалостью к дочери и презрением к самой себе.

Вера Сергеевна в эти несколько минут будто прозрела, развеялся туман, в котором она жила, и перед нею отчетливо выстроилась длинная череда дней, целиком отданных собственному горю, дней, в которых не было места Светлане, ее родной дочери. Только о своей боли думала она, только вкус собственных слез ощущала и утешалась им. И как она могла назвать все это, если не эгоизмом? Всепоглощающий эгоизм горя — чем он лучше эгоизма счастья? — спрашивала она себя. Нет, ей не найти оправдания в том, что боль от потери была столь же велика, сколь и ее любовь к мужу.

В ясном, трезвом свете представились Вере Сергеевне ее отношения с дочерью — как и на чем они строились с малых лет и вот до этого гадкого момента.

Светлана росла папиной дочкой. Отец любил ее до самозабвения и, конечно, баловал, и она с детской хитростью, иной раз набедокурив, спасалась от материнского возмездия под его надежной защитой. На этой почве между родителями возникали легкие конфликты, как правило, в присутствии провинившейся. Разумеется, с педагогической точки зрения такой метод нельзя считать разумным, но в общем-то, когда Светлана подросла и пошла в школу, выяснилось, что антипедагогическое поведение родителей на ней отразилось мало. Одно было неприятно сознавать Вере Сергеевне по мере того, как Светлана взрослела: у нее к матери вырабатывалось внешне неуловимое, но явственно ощутимое снисходительное сочувствие. Вера Сергеевна понимала, откуда это шло: слишком сильным, подавляющим был в семье авторитет отца, на долю матери не оставалось почти ничего. Но Веру Сергеевну утешало то, что Светлана была очень доброй девочкой, готовой ради других забывать собственные капризы, и это давало надежду, что их отношения в конце концов останутся нормальными...

Поднявшись на третий этаж и войдя в квартиру, Вера Сергеевна совсем успокоилась. В присутствии Нины Песковой произошел долгий разговор, окончившийся тем, что Светлана со слезами на глазах обняла мать и поклялась, что никогда ничего подобного больше не случится. Ей можно было верить: она всегда говорила правду, а если обещала что-нибудь, то непременно исполняла, во всяком случае изо всех сил старалась сдержать слово. Это вложил в нее отец еще с младенчества...

Вскоре после этого чрезвычайного при-

шествия Вера Сергеевна поступила на работу. Так как для должности лечащего врача она считала себя непригодной, пришлось устроиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. На то, чтобы следить за санитарным состоянием различных городских предприятий, ее медицинских познаний еще вполне хватало.

Насчет дочери она окончательно перестала тревожиться, когда узнала, что Светлана подружилась с парнем из их дома Лешей Дмитриевым. Нина Пескова была знакома с семьей Дмитриевых и очень хорошо о ней отзывалась. Сам Дмитриев был инженером, жена его преподавала в школе, а Леша после десятилетки пошел на завод слесарем и учился на вечернем отделении энергетического института. В общем, был, видимо, не из тех, с кем Светлана кейфовала осенним вечером под грибком на детской площадке. Кроме того, Вера Сергеевна видела нечто знаменательное и символическое в том, что симпатии ее дочери отданы человеку, которого зовут так же, как звали ее, Веры Сергеевны, погибшего мужа.

В то же самое время у Светланы завелась еще одна дружба, которую Вера Сергеевна очень одобряла. К ним в гости начала захаживать Галя Нестерова, одноклассница Светланы, вежливая и немногословная девушка. Веру Сергеевну особенно подкупало то, что Галя, судя по всему, не сознавала своей красоты, — это само по себе составляло уже как бы некую ценную черту нравственного облика, говорило в пользу человека, ибо, по наблюдениям Веры Сергеевны, такое безразличие к собственной внешности встречается среди нынешних молодых людей весьма редко. К тому же Галя была дочерью крупного ученого, академика, лауреата Государственной премии, а меж тем одевалась крайне скромно, ничуть не лучше самой Светланы. Это тоже о чем-то говорило. И в довершение всего — Галя была круглой отличницей, хотя и не зубрила и без напряжения шла, как утверждали в школе, на золотую медаль. Кажется, только этим и разнились новоиспеченные подружки: у Светланы пятерок было ровно столько, сколько троек.

Вера Сергеевна радовалась, когда видела вместе свою дочь и Галю. Они были одинаково высокие: сто семьдесят пять сантиметров без каблуков — данные последнего измерения роста Светланы, произведенного Верой Сергеевной в день семнадцатилетия. Обе сероглазые, с густыми светло-каштановыми волосами. Глядя на девушек, Вера Сергеевна с улыбкой, одновременно грустной и счастливой, представляла себе, как молодые люди на улицах, встречая Галю и Свету, приостанавливаются и оборачиваются им вслед, изумленные.

Довольно скоро Вера Сергеевна сумела обнаружить, что главенствует в этом содружестве, как ни странно, ее дочь. Всякий раз, когда нужно было сделать выбор, например, в какое кино пойти или что прочитать в первую очередь,— решающее слово оставалось за Светланой. Это не могло не льстить материнскому самолюбию Веры Сергеевны, и она даже похвасталась однажды Нине Песковой способностью дочери завоевывать авторитет среди таких незаурядных сверстников, как Галя Нестерова. Но в общем-то подобные суетные моменты не мешали Вере Сергеевне трезво оценивать те черты в характере дочери, которые никак не назовешь положительными. При широте натуры и с детства проявлявшейся безграничной доброте Светлана могла порою быть завистливой. Она, скажем, не скрывала своей зависти к девочкам, которые одевались в «заграничное» и могли себе позволить носить перстенек с бриллиантом и золотые сережки в ушах. Но Веру Сергеевну примиряло с этой слабостью дочери хотя бы уж одно то, что Светлана не была подвержена вздорному желанию тянуться за такими девочками при помощи медных колец со стекляшками и серег из анодированного алюминия.

С Лешей Дмитриевым Светлана обращалась, как старшая с младшим, хотя была моложе на два года. Он этого не замечал или не хотел замечать, а вернее всего, просто не мог, потому что был влюблен в нее. Судя по тому, что Вера Сергеевна иногда по воскресеньям видела Лешу с гитарой в руках в компании парней из их двора, не отличавшихся тихим нравом, он не был ни овцой, ни затворником, однако при Светлане вел себя так, словно непечатные шуточки товарищей по двору и цеху никогда не касались его ушей и не слетали с его собственных уст. Легко было догадаться, что Леша с некоторых пор больше всего стремился к тому, чтобы как-нибудь остаться со Светланой наедине, но ему не везло. Если ходили в кино, то третьей обязательно была Галя, да и вообще что означает «наедине» в кинотеатре? Встречи у Светланы всегда происходили в присутствии Веры Сергеевны. Когда Светлана соглашалась пойти к Леше послушать свежие магнитофонные записи — у него имелся мощный «маг»,— дома всегда были или его бабушка, или мама. А целоваться в парадном или под грибком на детской площадке Светлана считала недопустимым с того памятного осеннего вечера, когда мать оглушила ее звонкой пощечиной. Так что Леше оставалось только вздыхать, и надеяться, и ждать лета, когда можно будет ездить на реку, на пляж. У Леши был старый мотоцикл «ИЖ», который он купил на собственные сбережения совершенно разбитым и сам его привел в порядок,— мотоцикл стоял в сарае на пустыре, заставленном железными гаражами автовладельцев. В планах Леши, которые он строил на лето, мотоциклу отводилась первостепенная роль. И еще он наметил купить фотоаппарат «Зенит», чтобы фотографировать Светлану и делать большие портреты...

Так, без особых огорчений и раздоров, текла жизнь осиротевшей семьи Суховых. Сколь ни велика была боль утраты, время сгладило ее. Служебные заботы и необходимость думать о судьбе выросшей дочери все же помогли Вере Сергеевне выпрямиться, воспрянуть духом. Разучившись громко смеяться, она теперь, однако, могла порою улыбнуться. Маленькие радости каждого дня, которых обычно никто из людей не замечает, стали вновь доступны ей. Словом, она сделалась почти той же Верой, какую знал и любил погибший муж, летчик-испытатель Алексей Сухов. Только вот отучиться курить она пока не могла.

Первые огорчения пришли в августе 1970 года.

Светлана мечтала попасть на филологический факультет университета, как и Галя Нестерова. Обе они, окончив школу, подали в университет документы и вместе начали готовиться к экзаменам, вернее, Галя помогала Светлане. Но все старания оказались напрасными: Светлана по конкурсу не прошла. Конкурс был очень большой, а она недобрала до проходного целых два балла. Галя, несмотря на то, что окончила школу с золотой медалью, тоже экзаменовалась, так как среди медалистов тоже существовал свой конкурс, и была зачислена на филфак.

Светлана, конечно, переживала неудачу, но Галя плакала больше, чем она. Вера Сергеевна была расстроена и поначалу не могла себе представить, что же делать дальше. Но, успокоившись и рассудив здраво, они решили, что ничего трагического, собственно, не произошло. Надо поступить на работу, за год как следует подготовиться — с помощью Гали, конечно, которая как студентка будет теперь более опытным репетитором, и в 1971 году повторить попытку.

Светлана из всего разнообразия мест и профессий отдала предпочтение универмагу, а точнее, тому его отделу, где продавались телевизоры, радиоприемники, всякие проигрыватели и то, что на них проигрывается. Она стала продавцом пластинок и магнитофонных лент, потому что порядочно разбиралась в этой области благодаря общению с Лешей.

У Светланы с поступлением на работу появилось много новых знакомых, но единственной подругой оставалась верная ей Галя, а единственным поклонником, которого она признавала достойным себя,— Леша Дмитриев. Втроем они ходили в кино, раз в неделю непременно, а иногда и два, и намного реже — в театр. В одном и том же составе собирались то у Леши, то у Светланы и гораздо реже у Гали, потому что, как объясняла смущенно Галя, ее мама была очень нервной женщиной и с трудом переносила присутствие посторонних в доме, а громкую музыку не переносила совсем. Меж тем главным удовольствием домашних сидений неразлучной троицы служила именно громкая музыка и не менее громкие споры о ней. Отец Гали, которого Светлана и Леша видели всего один раз, да и то мельком, работал в каком-то научно-исследовательском институте и одновременно на каком-то заводе — на каком, Галя не уточняла — и сверх всего преподавал в политехническом институте. Следовательно, он был очень занятой человек и домашний покой ценил превыше всего.

Леша удивлялся, что у Гали нет парня. Он-то замечал, какие взгляды бросают на нее и молодые и пожилые мужчины на улице и в фойе кинотеатров. Однажды он попробовал поострить на этот счет, но получилось довольно неудачно, и Светлана сделала ему выговор, сказав, что напрасно мужчины полагают, будто такие девушки, как Галя, созданы только для того, чтобы всегда идти навстречу их пожеланиям. Больше этот вопрос между ними не обсуждался.

Зима прошла незаметно, потому что к кино и театру прибавились лыжи и коньки. Зима принесла Леше успех: однажды Светлана все же смилостивилась и разрешила ему поцеловать ее в губы,— это случилось при прощании в подъезде, когда они, усталые, пришли с катка, где бегали без перерыва часа два.

Такова предыстория того, что произошло в весенний день 1971 года...

Назавтра, в субботу, у Светланы был выходной.

Вечером по пути домой она позвонила по телефону-автомату Гале Нестеровой и сказала, что их прежде намеченные планы — поехать завтра с Лешей в Кленовую горку — отменяются. Светлана не стала вдаваться в подробности, сказала только, чтобы Галя ждала в одиннадцать у почтамта.

У Светланы шевельнулись угрызения совести оттого, что придется обмануть Лешу, но она тут же подумала, что ничего страшного в этом нет: невелика беда — один раз нарушить обещание. В конце концов между ними всего лишь простая дружба — во всяком случае, ей смешно говорить о любви.

Глава 2

ПРОБА ФОТОАППАРАТА

Вера Сергеевна успела съездить на рынок за редиской и зеленым луком, когда Светлана проснулась.

Накануне они легли спать позже обычного: Светлана пожелала немного переделать свое любимое платье — синее, с черным поясом,— изменить фасон воротника. Но сама она портновским искусством не владела. Как всегда: «Мама, пожалуйста...»

— Вставай, вставай, надо платье гладить! — крикнула из кухни Вера Сергеевна.

— У тебя лучше получится,— отозвалась Светлана.

Иного ответа Вера Сергеевна и не ждала, это было в порядке вещей и не сердило ее. Она с удовольствием делала для дочери все, что могла и умела.

Пока Светлана умывалась и причесывалась, Вера Сергеевна приготовила завтрак.

— Далеко ли собираешься? — спросила она у дочери, когда сели за стол.

— Пойдем с Галей, посидим где-нибудь в летнем кафе, мороженого поедим.

Светлана с недавних пор взяла за правило говорить матери не все. Нет, она не врала впрямую никогда. Она просто недоговаривала. Так ей было удобнее — не возникает лишних вопросов. Она уже решила, что на свидание к итальянцу пойдет и что скорее всего они отправятся в летнее кафе-мороженое,— но зачем сообщать матери, что, кроме Гали, будет иностранец?

— Кажется, ты должна встретиться с Лешей?

— Я уже договорилась с Галей, что в одиннадцать увидимся у почтамта.

Это тоже была и не ложь и не вся правда.

Между прочим, Леша должен зайти к ним именно в одиннадцать, так что следовало поторопиться с глажением платья: чтобы не встретиться с Лешей, ей надо убраться из дому не позже как в половине одиннадцатого.

Светлана быстро проглотила яичницу с колбасой и салат, запила крепким чаем, встала из-за стола и бодро объявила:

— Ма, я к твоим услугам!

— Включи утюг, постели одеяло, достань тряпочку.

В начале одиннадцатого все было готово. Светлана оделась.

— Как я, ма?

Вера Сергеевна закурила — в последнее время она предпочитала «Беломор».

— Повернись... Так... Прекрасно...

— Дай твои часики.

Вера Сергеевна принесла свои золотые часы на золотом браслете — подарок мужа,— сама надела их на руку дочери, и Светлана, поцеловав ее в щеку, курнув разок из ее рук и сказав: «Ты не беспокойся»,— ушла.

А минут через пятнадцать в квартире раздался звонок.

Вера Сергеевна открыла дверь. Перед нею стоял Леша. На груди у него висел фотоаппарат в новеньком чехле, в правой руке — большой белый рулон плотной бумаги. Светлобровое веселое лицо его, как говорится, сияло.

— Здрасте, Вера Сергеевна! Света дома?

— Доброе утро, Алешенька. А она, знаешь, исчезла.

Сияние пропало.

— Давно?

— Да буквально сию минуту.

— Вот те раз! И ничего не сказала?

— Сказала, с Галей встречается. Возле почтамта в одиннадцать. Я про тебя напомнила, она говорила, будто у вас на сегодня назначено, а она словно мимо ушей пропустила. Да ты заходи, что же на пороге?

Леша совсем нахмурился.

— Да нет, я пойду. А она не сказала, куда они с Галей?

— Мороженого захотелось. Наверное, посидят где-нибудь в кафе на открытом воздухе. Погода сегодня прекрасная.

— Как же так? Мы ведь втроем собирались...

— Ну, не расстраивайся, куда она денется?

Леша постучал пальцем по аппарату.

— Вот, вчера купил, хотел ее сфотографировать.

— Еще успеешь, лето только начинается.

— Ну ладно.— Он протянул ей рулон.— Это она просила. Их стенгазета. Я заголовок написал.

Вера Сергеевна испытывала перед Лешей неловкость за Светлану. Чтобы как-то его утешить, она развернула рулон, посмотрела на крупно выведенный красным заголовок: «За культурное обслуживание».

— Как ты хорошо сделал! — сказала она от души.

Но это его мало утешило.

— Ладно, извините, Вера Сергеевна.— И, прыгая через три ступеньки, оставив ее на пороге перед открытой дверью, Леша сбежал по лестнице вниз...

Погода стояла действительно отличная. Все уже были одеты по-летнему, даже детишки. Двор звенел от детских голосов и от щебетания птиц. Небо было голубое. Свежая зелень каштанов, длинным строем стоявших на соседней улице, видной со двора, была усыпана толстыми белыми свечечками. Они светились на ярком солнце.

Но именно от всего этого Леше стало еще хуже. Щурясь, он оглядел ряды скамеек, на которых сидели старушки, играющих в классы девчонок на асфальтовой площадке, а потом остановил взгляд на сбившихся в кучку пацанах, горячо обсуждавших что-то. Среди них он заметил Витьку, мальца-шестиклассника, озорного и шустрого соседа своего по лестничной клетке. Витька, если бы его не отшивать, был бы вечным хвостом Леши, так бы за ним и ходил. Он был предан Леше самозабвенно, и в основном, конечно, не потому, что Леша частенько снабжал его двугривенным на кино, а потому, что проявил к нему колоссальное доверие, взяв в помощники, когда собирал из ничего свой мотоцикл «ИЖ».

Леша сошел со ступенек подъезда и крикнул не очень громко:

— Витек!

Тот услышал мгновенно, хотя другой мог бы и не услышать, и через секунду стоял, запыхавшийся, перед Лешей, глядя на его аппарат.

— Здорово, Леша! Будем сниматься?

— Ты Светку сейчас не видал?

— Не-а! А она тебе нужна?

— Раз спрашиваю, значит, нужна.

Витек сразу угадал настроение своего благодетеля и шагал молча. А Леша раздумывал, где вернее всего искать захитрившую Светку.

Прошлым летом они пять или шесть раз ходили в разные кафе, но больше всего ей понравилось кафе «Над рекой», которое называлось так потому, что находилось в парке на высоком берегу реки, откуда далеко-далеко было видно низкое, все в озерцах и рощах, заречье. Но туда от их дома ехать и ехать, так же как и от почтамта, где, если не соврала, Светка должна встретиться с Галей. Поэтому Леша решил начать от печки — от почтамта — и следовать оттуда в сторону реки.

Если учесть, что до встречи с итальянцем Светлана и Галя имели в своем распоряжении полчаса, а Леше Дмитриеву необходимо было обойти не менее десятка кафе, то он отставал от подруг минут на двадцать.

А меж тем подруги, обсудив вопрос, выбрали для беседы с Пьетро Маттинелли именно кафе «Над рекой», куда от улицы Тургенева, то есть от места встречи с ним, на автобусе всего три остановки.

Таково было положение действующих лиц...

Добравшись до конечного пункта своих поисков, Леша нашел тех, кого искал.

Кафе «Над рекой» было уютное местечко. Посреди большой поляны, по которой в естественном беспорядке раскиданы кусты барбариса и сирени, круглый деревянный павильон под шатровой крышей, с большими разноцветными окнами. Его опоясывает широкая дорожка из белого речного песка, на которой стоят близко друг к другу круглые мраморные столики, а у каждого столика по четыре светлых плетеных кресла. И почти ни одного пустующего. И все это взято в кольцо каштанами и покрыто голубым небом.

На столике, за которым сидели Светлана, Галя и Пьетро, сверкало под лучами солнца стекло — стаканы и бокалы, и маленькие рюмки, бутылка шампанского и графинчик с коньяком, и бутылки с лимонадом. Первая скованность, обычная между малознакомыми людьми, когда они только-только приступают к застолью, уже прошла. Но все же беседа пока состояла из тех стандартных вопросов и ответов, какие на всех континентах, на всех широтах и долготах типичны при общении иностранных туристов с местными жителями. Разница лишь в том, что Пьетро Маттинелли, как он сообщил Светлане еще тогда, в универмаге, был не турист, а приехал в СССР работать.

— Вы впервые в Советском Союзе? — спросила Галя.

— Да, — отвечал Пьетро.

— Нравится вам наш город?

— О, конечно! Очень красивый. Удобно жить.

— А что вам больше всего понравилось, Пьетро? — Это уже Светлана, доевшая свою порцию мороженого — первую порцию.

— Конечно — девушки! — с улыбкой воскликнул он и добавил: — Вы хотели услышать, что я скажу: метро? Нет, оно тоже хорошее, но мне больше нравятся девушки.

Тут последовало отступление от туристского стереотипа.

— У вас было много знакомств? — спросила Светлана с еле уловимой издевочкой, которую, впрочем, Пьетро без труда уловил.

— Очень много,— делая вид, что не понял истинного смысла ее вопроса, сказал он.— Там, где я работал, все были мои друзья.

— А где вы работали?— поинтересовалась Галя.

— Это называется химкомбинат. Он теперь построен. Вы слышали?

— Да, об этом писали в газете, показывали по телевизору.

— Я тоже строил. Монтировал аппаратуру. Один год.

— А что это за комбинат?

— Будет делать разные удобрения для сельского хозяйства.

— Понятно,— сказала Светлана и обратилась к Гале: — Пьетро завтра уезжает. Не так ли, Пьетро?

— Да, к сожалению,— с неподдельной грустью сказал он.— Между прочим, мои коллеги на работе звали меня Петр. Это мне нравится.

— Вы прекрасно научились говорить по-русски,— заметила Галя.

— Старался. Я начал изучать русский язык, еще когда был студентом.

— А где вы учились?

— В Милане. Там я живу.

— У вас большая семья?

— Папа, мама, сестра и я. Но...— Пьетро показал пальцем на стоявший у него под рукой маленький магнитофон.— Ему скучно слушать, он обо мне все уже знает. Давайте поговорим что-нибудь интереснее.

— Например?— спросила Светлана.

— Например, о вас.

— Ну, что тут интересного! Нигде мы не были, ничего не видели.

— Как говорится по-русски, у вас все еще впереди.— Он замялся на секунду, а потом обратился к Светлане: — Ваш голос теперь у меня есть, но если я попрошу ваш автограф?..

— Ну, что вы, Пьетро! — Светлана засмеялась.— Я же не Ирина Роднина.

— Вы могли бы когда-нибудь написать мне открытку.

— Это можно.

Пьетро достал из кармана плоский кожаный бумажник, а из него две визитные карточки.

— Пожалуйста.

Светлана и Галя взяли каждая по карточке и положили их в сумочки.

— Полагается обмен,— сказал Пьетро.

— У нас нет визиток.

— Тогда я запишу ваш домашний адрес.

Светлана и Галя переглянулись, и Светлана сказала:

— Если вы захотите написать, посылайте на универмаг.

— Но я даже не знаю фамилию.— Он был, кажется, задет.

— Сухова. Светлана Алексеевна.

Пьетро показал на магнитофон.

— Он уже записал. А можно мне что-нибудь прислать вам в подарок?

— Что вы, что вы! Зачем?! Лучше приезжайте сами.

— Я все-таки пришлю. Мне нравится сделать вам приятное.

...Вот в этот момент глазастый Витек и увидел из-за кустов Светлану.

— Так вон же твоя Светка,— показал он рукой оглядывавшему столики Леше.— Там не наш какой-то...

Леша не мог измениться в лице по той простой причине, что и так уж был мрачен — дальше некуда. Он расчехлил фотоаппарат.

Прячась за кустами, они с Витьком подобрались к столику Светланы поближе, метров на пятнадцать. Тут Леша приготовил аппарат к съемке — поставил диафрагму на одиннадцать, скорость на сотку, снял с объектива колпачок.

Куст, за которым они стояли, был не очень густой. Леша нашел окошечко в ветках, навел на резкость, но в такой позиции нужный кадр не получался. Ему пришлось выйти из-за куста, чтобы щелкнуть, при этом в кадр попал и соседний столик. Он тут же опять спрятался и стал менять диафрагму и выдержку. Это была проба аппарата и его первая в жизни съемка, хотя руководства по фотографии он и читал. Для верности и самопроверки надо было сделать несколько дублей.

Но повторить съемку не удалось.

Едва все было готово, к ним откуда-то сбоку подошел какой-то невысокий дядя — Леша не успел его толком разглядеть,— показал книжечку-удостоверение и сказал шепотом:

— Здесь нельзя фотографировать.

Леша удивился:

— Это почему же?

— Я вам говорю, молодой человек, здесь снимать нельзя. Засветите пленку!

— Еще чего! — разозлился Леша.

Витек показал дяденьке довольно-таки грязную и потому особенно выразительную фигу, дернул Лешу за рукав, и они, лавируя между кустами, убежали с территории кафе.

— Леш, давай им устроим веселую жизнь,— деловито предложил Витек, когда они вышли на аллею, ведущую к автобусной остановке.

— Да гори она огнем,— застегивая чехол фотоаппарата, сказал Леша.— Айда домой.

Они долго шагали молча, потом Леша произнес непонятные для Витька слова:

— Ну, я ей сделаю стенгазетку... Ха! Культурненько обслуживают!

— Какую стенгазету?— удивился Витек.

— Не вникай.— И Леша дал ему щелчка в макушку...

Галя, Светлана и Пьетро сидели в кафе до

трех часов, потом отправились пешком в центр и пообедали в ресторане, а потом пошли в кино на сеанс 18.30, но до конца не досидели — фильм оказался скучный.

Когда вышли из кинотеатра, возникла проблема: Пьетро во что бы то ни стало хотел проводить девушек по домам — сначала, предлагал он, вместе со Светланой они проводят Галю, а потом он проводит Светлану. Девушки настаивали на том, чтобы они проводили Пьетро в гостиницу «Москва». Спор был решен простым голосованием, и победило большинство.

Так как Пьетро на следующий день действительно улетал в Италию и так как он по-настоящему понравился и Светлане и Гале, прощание было долгим. Обещали не забывать друг друга, писать, а Пьетро несколько раз повторил, что обязательно приедет опять как можно скорее. Все трое были не совсем трезвы, поэтому разговор шел горячий и повышенно громкий,— они стояли в десяти шагах от главного подъезда гостиницы, и на них обращали внимание. В избытке чувств Пьетро порывался надеть Светлане на палец свое кольцо с каким-то неизвестным камнем, и ей стоило больших усилий образумить итальянца.

Наконец, они расстались. Галя поймала такси. Она завезла Светлану — та вышла за квартал от своего дома. Было десять часов.

Светлана шла по двору не спеша, как бы прогуливаясь.

Леша сидел на скамейке с двумя приятелями, ждал ее. Когда она с ними поравнялась, он встал, хотел взять ее за руку, но она отстранилась.

— С иностранными красавчиками гуляем? Сбылись мечты, да? — сказал он.

— Отелло рассвирепело,— насмешливо ответила она.— А тебе-то что?

— Ну смотри, ты у меня догуляешься.

Она скрылась в подъезде. Еще никогда в жизни не испытывал Леша такой тоски.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Возвращение резидента

Глава 3

АГЕНТ-БОЛВАН И БЕКАС

Чтобы избежать кривотолков, надобно сразу объяснить, что слово «болван» употреблено здесь не в смысле дурак, тупой человек. У этого словечка есть еще множество других метафорических, переносных значений. Например, когда вместо чего-то делают его подобие,— это называлось в народе болваном, а теперь зовется макетом.

История шпионажа насчитывает немало случаев, когда секретные службы разведцентров, засылая во вражеский стан какого-нибудь разведчика с важной миссией, одновременно другим путем, по другим каналам отправляли еще одного или даже нескольких своих людей, которые, не ведая про то, в результате незуитских действий своих хозяев привлекали к себе внимание вражеской контрразведки. Она попадалась на удочку и отвлекала силы на борьбу или игру с «подкинутым» ей шпионом, а в это время настоящий разведчик без особых помех делал свое дело. Такие липовые, или, точнее, вспомогательные, шпионы и назывались агентами-болванами.

В нашем случае речь пойдет об агенте-болване, но несколько иного рода. Дело касается человека по имени Владимир Уткин.

Когда разведцентр, вынужденный действиями чекистов, решил отозвать из Советского Союза своего резидента Михаила Тульева, был избран морской способ переправы.

Уткин прибыл в Одессу на лайнере, совершавшем круиз с группой иностранных туристов. Он отдал Тульеву свой контрольный талон, дающий право подняться на борт лайнера, а сам остался. Произошел, так сказать, простой обмен, правда, неравноценный.

Уткин с Тульевым поменялись не только судьбами, но и плащами. В кармане плаща, который надел Уткин, лежал билет на самолет, следующий рейсом до Москвы, а также бумажка с адресом и начерченным чернилами планом городских улиц, на котором крестиком был помечен дом под номером 27. Этот план и адрес относились к городу С.

Туда и отправился, сделав в Москве пересадку, Владимир Петрович Уткин, тридцатилетний человек самой обыкновенной наружности, среднего роста, русоволосый, с голубыми глазами. Документы у него были в полном порядке. Но и в противном случае провал и арест не грозили ему, ибо он с первого шага на советской земле находился под надежным присмотром советских контрразведчиков.

В военном билете Уткина значилось, что он старшина сверхсрочной службы, по специальности связист, уволен из армии в запас. Служил он на Дальнем Востоке, затем полгода прожил там как гражданский, выписался, снялся с воинского учета и подался поближе к центру, к Москве. Он холост и вообще одинок, никого из родных у него нет.

В городе С. первым долгом Уткин пошел на городскую телефонную станцию, в отдел кадров, и справился насчет работы. Известное дело, к тем, кто пришел после службы в армии, отношение особое. Они везде самые желанные люди. К тому же Владимир Петрович Уткин отменно разбирается в слаботочной аппаратуре. Ему тут же предложили должность техника на одном из телефонных узлов. Он тут же и оформился — и справки и фотокарточки у него при себе. Хуже было с жильем — тут Уткину пока и в отдаленном будущем ничего предложить не могли. Но он не огорчился — снимет где-нибудь комнату или угол, как-нибудь перебьется.

Затем он отправился в военкомат и встал на воинский учет.

Тем, кто с ним общался в городе С. в первые дни, Уткин представлялся спокойным, выдержанным человеком. Но казаться таким дорого ему стоило. Нервы его были напряжены до предела: когда он предъявлял документы и разговаривал с советскими официальными лицами, проходила решающую проверку вся его подготовка, его крыша, вершилась, собственно, вся его судьба. И вот он проверку прошел и вздохнул свободно.

Переночевав всего одну ночь в гостинице (не в номере, конечно, а на диване в холле), он на следующий день через гардеробщика гостиничного ресторана узнал адрес одного старичка, жившего на окраине в стареньком доме и пускавшего к себе жильцов. Уткин поехал к нему, и дело сладилось в пять минут. У старичка были две крохотные, метров по восемь, комнаты, кухня с газовой плитой. Запросил он двадцать рублей в месяц, Уткин не торговался. У него наличными имелось три тысячи, да книжка на предъявителя на четыре тысячи,— сберкнижка была московская.

Через неделю Уткин приступил к работе. А до того успел обзавестись новой кроватью, шкафом, постельными принадлежностями и всем, необходимым одинокому человеку. Хозяин, Василий Максимович, охотно согласился взять на себя покупку продуктов для завтраков и ужинов и исполнять обязанности повара.

Описывать повседневную жизнь Владимира Уткина неинтересно, да в этом и нет нужды. Советским контрразведчикам, работавшим под руководством генерала Ивана Алексеевича Сергеева и полковника Владимира Гавриловича Маркова, которые вели всю операцию по делу резидента Надежды, то есть Михаила Тульева, важно было одно — выявить цели и намерения нового агента, засланного на нашу территорию, но, судя по тому, как вел себя Уткин, он собирался пустить в городе С. глубокие корни, а следовательно, ждать от него каких-то активных действий не приходилось.

Лакмусовой бумажкой служила портативная рация, замаскированная под обычный приемник «Спидолу», которая когда-то была доставлена из-за рубежа для Михаила Тульева и которую он спрятал в ящике с песком на чердаке дома № 27 по улице Златоустовской,— этот-то дом и был помечен крестиком на плане, переданном Уткину Михаилом Тульевым.

День шел за днем, неделя за неделей, а Уткин и не думал проведать чердак и хотя бы убедиться, что рация в сохранности.

Значит, пока она ему не нужна. А коли так, значит, и он пока своему разведцентру не нужен. Если агент ведет жизнь обыкновенного советского человека и если ему нет надобности держать связь со своими шефами, следовательно, такой агент поставлен, что называется, на консервацию.

Да, в нашем случае слово «болван» употреблено в другом его значении. Есть такие карточные игры, для которых строго обязательно определенное число игроков. Но когда не хватает одного, играть все-таки можно. На отсутствующего карты сдают и за него делают ходы. Это называется игра с болваном.

Похоже было, что началась какая-то новая игра, и Владимир Уткин исполнял в ней пока роль болвана.

Положение капитана госбезопасности Павла Синицына, который для разведцентра был вором-рецидивистом по кличке Бекас (многовато птичьих фамилий собралось, да что поделаешь? Там дальше еще и Воробьев появится и Орлов), числился агентом, живущим теперь в Советском Союзе под именем Павла Ивановича Потапова, было еще более непонятным и неопределенным, а в некотором отношении и необычным.

Перед отъездом за рубеж Михаил Тульев получил радиограмму, в которой было такое указание: «Обусловьте с Бекасом связь, предложите ему выехать в город Н. на Волге». От этого города поездом до Москвы была ночь езды. Разведцентр еще ранее поставил одно условие, которое Бекас обязывался соблюдать неукоснительно: он ни при каких обстоятельствах не имел права возвращаться к старому способу добывания денег.

Двойственность положения Павла-Бекаса создавала неудобства. С одной стороны, необходимо было всегда иметь в виду, что разведцентр, так и не пожелавший пока облечь Бекаса своим полным доверием, в любой момент может организовать проверку (как это уже бывало в прошлом), живет ли его агент в обусловленном месте. Значит, Бекас обязан был прописаться в городе на Волге. Разумеется, это не составляло проблемы. Он нашел подходящую комнату и прописался. С другой стороны, было бы крайне нерационально сидеть Павлу в этом городе совершенно без всякого дела и ждать связи от разведцентра неизвестно сколько времени. Необычность же гражданского, так сказать, состояния Павла заключалась в том, что по соображениям конспирации он лишен был возможности свободно и открыто общаться со своим начальством

Продолжение. См. «Огонек» № 17.

и даже с родной матерью. Встречи, как и прежде, происходили на загородной даче, куда Павел добирался с необходимыми предосторожностями и где иногда жил по целым неделям.

При совещании с полковником Владимиром Гавриловичем Марковым рассудили так. Если разведцентр поставил Бекасу условие раз в месяц проверять, нет ли для него корреспонденции до востребования, и не требовал ничего другого, значит, местожительство Бекаса рассматривается только как почтовый ящик, а не место его постоянного пребывания. А значит, нечего Павлу торчать в этом городе и проводить время в праздности.

Таким образом, Павел получил возможность принимать участие в повседневной работе отдела, которым руководил полковник Марков, и исполнять поручения по другим операциям.

Ежемесячно в разные дни он отправлялся в город на Волге, но девушка на почте, выдававшая письма до востребования, неизменно отвечала, что на имя Потапова ничего нет. Создавалось впечатление, что разведцентр вычеркнул Бекаса из своих списков действующей агентуры. Единственным напоминанием о его недавних взаимоотношениях с Центром была половинка неровно разорванного рубля, который ему вручили когда-то как пароль.

Признаком того, что состояние летаргии не будет вечным, послужила внезапная активность Уткина: в мае 1971 года (именно в то время, когда Светлана Сухова и ее подруга Галя Нестерова познакомились с итальянским инженером Пьетро Маттинелли, точнее — через две недели после этого) он вдруг отправился на Златоустовскую улицу в дом № 27, на чердаке которого в пожарном ящике с песком была спрятана рация, имевшая вид обыкновенной «Спидолы». Уткин взял ее к себе домой.

Ждали, что он будет налаживать радиосвязь с разведцентром. Но Уткин в эфир не выходил. Вероятно, работал только на прием.

Жил Владимир Уткин скромно, не пил, не шиковал. У него образовались прочные знакомства с несколькими людьми, среди которых была одна миловидная женщина лет тридцати, недавно разошедшаяся с мужем, к ней Уткин питал чувства более чем дружеские и, кажется, пользовался взаимностью.

Вся жизнь Уткина была на виду, все было известно, ибо он находился под наблюдением. Но есть вещи, которые очень трудно, а иногда просто невозможно проконтролировать.

Уткин ходил ремонтировать телефонные аппараты по вызову абонентов. В иной день таких вызовов выпадало на его долю до полутора десятков. Контрразведка нашла способ установить, что посещения Уткиным абонентов никаких побочных целей не имели — явился, починил, получил на лапу полтинник или рубль (а нет — и на том спасибо) и откланялся. Так что в дальнейшем Уткин общался с владельцами телефонных аппаратов бесконтрольно.

Впоследствии обнаружилось, что он употребил эту возможность в интересах дела, ради которого его заслали в Советский Союз. После того, как Уткин изъял рацию из тайника, он начал искать, где бы купить радиоприемник «Спидола». В магазинах их не было и в помине, да если бы они и продавались свободно, Уткин в магазине не стал бы покупать. Тому было две причины: во-первых, ему требовалась подержанная «Спидола», чтобы внешне она походила на ту, в которой была заключена рация, а во-вторых, приобретение приемника должно быть тайным, чтобы никто из посторонних не мог знать, что у Владимира Уткина есть две «Спидолы», по виду одинаковые.

Уткину повезло. Однажды он был послан для починки телефона на квартиру, в которой, как он убедился, едва переступив порог, жил великий любитель транзисторной радиотехники. Комната, где стоял телефон, была начинена самыми разнообразными и притом новейшими приборами для улавливания и воспроизведения звуков. Тут были и немецкие «грюндиги», и голландские «филлипсы», и японские «сони». И среди всего этого эбонитово-хромированного великолепия, скромно притнутая под письменным столом, стояла старенькая «Спидола» в корпусе цвета слоновой кости. Хозяин этой квартиры, принявший Уткина, был человек немолодой, но заметно молодящийся. Уткин быстро исправил аппарат, от рубля, протянутого ему хозяином, отказался и, вроде бы уже уходя, с легкой завистью заметил: «Машинки у вас дай бог всякому». Хозяин был польщен, а следовательно, с готовностью развивал затронутую тему. Через десять минут «Спидола» перешла в собственность Уткина за смехотворно малую сумму — двадцать пять рублей.

Уткин рассовал инструмент и запасные детали по карманам, чтобы освободить в чемоданчике место, уложил «Спидолу», и, расставшись с хозяином, как с лучшим другом, поехал домой.

Эта тайная покупка, как выяснится позже, имела очень важное значение.

Глава 4

«ТИХО СКОНЧАЛСЯ»

Прежде чем приступить к последовательному изложению дальнейшего, необходимо рассказать об одной акции, осуществленной Михаилом Тульевым несколько раньше.

Вскоре по возвращении из Советского Союза в Центр ему дали трехнедельный отпуск, и он отправился во Францию.

...Небольшой городок, куда теплым летним утром приехал Михаил Тульев, взяв напрокат «Ситроен», лежал в местности, располагавшей к отдыху.

Но приехал он в этот городок совсем не для того, чтобы отдыхать. То, чем он занимался, называется частным сыском. Ему хотелось выяснить обстоятельства смерти отца, и он знал, что не успокоится, пока не откроет всю правду.

Михаил и раньше подозревал, что слова в некрологе его отца «тихо скончался» — не более чем благопристойный штамп, призванный скрыть истину. В Москве полковник Марков показывал ему добытый каким-то неведомым путем фотоснимок автомобильной катастрофы, на котором в одной из жертв Михаил узнал своего отца. Тогда был разговор, что катастрофа, безусловно, подстроена. Но позже, уже перед отправкой в Одессу, Михаил попросил Маркова еще раз показать снимок и, хорошенько рассмотрев его, усомнился — отец ли лежит рядом с исковерканным автомобилем... По прибытии Михаила в Центр некий болтливый старый знакомец как-то во время долгого сидения за столиком в ресторане намекнул, что Одуванчик, то есть отец Михаила граф Тульев, умер не своей смертью. Позже, уже в Париже, пообщавшись со знакомыми из древней российской эмиграции, наслушавшись двусмысленных соболезнований, Михаил разыскал человека по прозвищу Дон, которого разведцентр завербовал еще лет двадцать назад, но который по складу души не походил ни на агента, ни на провокатора и который относился к ним обоим, отцу и сыну Тульевым, с большим уважением и даже с поклонением, потому что Тульев-старший однажды заступился за него перед высоким начальством. Этот человек определенно утверждал, что старика убрали. Нет, он не имел никаких доказательств, но за две недели до смерти Тульев заходил к нему в бар, был бодр и как будто бы даже помолодел с тех пор, как ушел в отставку. Выпил две рюмки коньяку, а прощаясь, подмигнул и весело сказал: «А у тебя здесь хорошо. Буду захаживать...»

По официальной версии, Александр Николаевич Тульев скончался от острой сердечной недостаточности. Для человека, которому перевалило за семьдесят — ничего удивительного, но Михаил-то знал, что у отца сердце всегда работало, как хороший мотор, и он помнил не единожды говорившиеся слова: «Нет, сын, если я и умру, то, к сожалению, не от сердца. От печени — может быть, хотя, видит бог, пил я всегда умеренно...»

В Париже ничего толкового добиться было невозможно, поэтому Михаил и отправился в маленький городок, где отец жил последние два года.

Это жилище по-московски можно было бы назвать дачей, скорее даже домиком на пригородном садовом участке.

Дом деревянный, простой, но с изюминкой: три ступеньки крыльца — из белого мрамора. Такое впечатление, что не крыльцо пристраивали к дому, а дом к крыльцу. Михаил с грустью подумал, что, вероятно, эти мраморные ступени напоминали отцу его дом в Петербурге,— ничем иным нельзя было их объяснить.

Дверь была заперта на два внутренних замка, ставни на окнах — как конверты с сургучными печатями: на висячих замках. Михаил обошел дом вокруг, посматривая исподлобья на уже отцветшие яблони. Завязей было совсем мало, и вообще сад производил впечатление заброшенности.

Михаил отправился в мэрию, и там тщедушный старенький чиновник сообщил ему, что дом, принадлежавший мсье Тульеву, по завещанию, составленному покойным, принадлежит его сыну. У Михаила не было при себе документов, свидетельствовавших, что он Тульев-младший, поэтому пришлось прибегнуть к безотказному средству — вульгарной взятке, чтобы получить ключи от дома: ему нестерпимо хотелось взглянуть на последнее прибежище отца...

Он ожидал ощутить дух тлена, но в комнатах и на кухне царил тот особенный порядок, который присущ квартире аккуратного холостяка, привыкшего ухаживать за собой без посторонней помощи. Даже пыли было совсем мало — словно протирали тут всего не более как неделю назад. В маленьком баре под телевизором стояло несколько початых бутылок и фужер на короткой ножке.

Никаких бумаг, кроме оплаченных счетов за электричество и рекламных проспектов, Михаил в доме не нашел. Это было странно: он знал, что отец даже стихи тайком пописывал. Естественно, те, на кого отец столько лет работал, не могли оставить на произвол судьбы его архив, но забрать все до последнего листика — это уж чересчур. Кто-то явно перестраховывался...

Михаил покинул дом, заперев его на оба замка. Странное, дотоле не испытанное чувство владело им: словно человека обокрали, но что именно унесли — он еще никак не сообразит...

Скорее машинально, чем по зрелом размышлении, он отправился искать судебно-медицинского эксперта, который согласно заведенному правилу обязан был составить свидетельство о смерти Александра Тульева. Но прежде надо было прочесть своими глазами это свидетельство, и Михаил обратился за советом к уже знакомому чиновнику мэрии, а тот свел его с чиновником службы записей актов гражданского состояния. Еще сто франков, и в руках у Михаила быстро появилась бумага, в которой было написано, что Александр Тульев, семидесяти четырех лет, умер по причине обширной травмы правой височной области черепа, каковая травма могла явиться результатом падения и удара об острый край мраморной ступеньки крыльца, возле которого обнаружен труп. Отчего произошло падение, в акте сказано не было. Далее следовало пространное доказательство, что конфигурация раны полностью совпадает с конфигурацией закраины нижней ступеньки.

Михаил спросил у чиновника, где можно найти эксперта, подписавшего это свидетельство, и чиновник сказал, что он работает патологоанатомом в городской больнице. Через полчаса, выпив по дороге чашку кофе в маленьком прохладном кафетерии, Михаил пришел в больницу, но там ему сказали, что интересующий его доктор Астье сидит дома, так как работы для него нет — уже неделю в городе никто не умирал, да к тому же у мсье Астье разыгралась аллергия из-за буйного цветения табака. «Видите, сколько у нас цветов»,— прибавила дежурная сестра приемного покоя, протянув руку к окну.

По указанному адресу Михаил без труда нашел квартиру доктора Астье. Патологоанатом открыл ему дверь, держа в левой руке носовой платок,— у него был насморк, глаза слезились, и даже в полутьме прихожей Михаил заметил, какие красные у доктора веки.

Начинать издалека не имело смысла, ибо кому же более чужды всякие покровы, чем патологоанатому, чья специальность — хладнокровно вскрывать человеческое тело и беспристрастно подтверждать или опровергать прижизненный диагноз, поставленный лечившим пациента врачом. Михаил сказал, что он

сын покойного Тульева, и начал задавать вопросы.

Да, ответил доктор Астье осторожно, он помнит то вскрытие. Сердце? Оно было у мсье Тульева, как у сорокалетнего. Мозг? Со стороны сосудистой системы и кровоснабжения все обстояло благополучно. Мог ли мсье Тульев упасть оттого, что вдруг закружилась голова? Гм, гм, это уже из области предположений, в которой весьма уверенно чувствуют себя только лечащие врачи, например, терапевты или психиатры, но для патологической анатомии в этой сфере подвизаться категорически запрещено...

Они сидели в кабинете доктора — хозяин за столом, Михаил в кресле,— и после этого иронического ответа у обоих одновременно возникла потребность встать и либо закончить разговор, либо сделать его еще более откровенным.

— Скажите, доктор,— поднявшись, спросил Михаил,— мог человек получить такую рану, просто упав виском на ступеньку?

— Ваш отец был высокого роста,— уклончиво ответил доктор.— Он выше вас...

Михаил рискнул: вынул из кармана портмоне и положил его на стол.

— Вы можете рассчитывать на мое молчание,— сказал он, глядя прямо в слезящиеся глаза доктора.— И на мой кошелек тоже.

Астье усмехнулся.

— Немедленно уберите это. Или, прошу прощения, уходите сейчас же.

Михаил поспешно спрятал портмоне.

— Извините, дурная привычка.

— Что вас привело ко мне? — отрывисто произнес доктор.— Конкретно!

— Умоляю, скажите: он действительно упал?

— Я не могу этого знать.

— Но характер раны...

— Люди падают, поскользнувшись на банановой кожуре, и расшибаются насмерть...

— Я внимательно прочел свидетельство о смерти,— сказал Михаил, опуская взгляд.— Рана описана очень подробно...

— Вы врач?

— Нет. Но мне сдается, что отец мог упасть и не сам. Он не поскользнулся на банановой кожуре...

Доктор отвернулся к окну и спросил тихо:

— Мой адрес вам дали в больнице?

Михаил почувствовал, что лед сломан.

— Да. Но я повторяю: вы можете быть уверены в моем молчании.

— Ну, все равно... В общем, вашего отца, возможно, кто-то ударил в висок тяжелым предметом. Если удар был нанесен не сзади, то бил левша. Однако насчет конфигурации раны в черепе и конфигурации ступеньки в акте все верно. Большего от меня не ждите.

— Спасибо, доктор!

— Не стоит благодарности. Будьте здоровы, и вы меня не видели.

...Михаил так и не понял, какими мотивами руководствовался доктор Астье, сделав ему это осторожное, но немаловажное признание. Может, просто заговорила совесть? Как бы там ни было, спасибо патологоанатому...

Михаил решил поспрашивать обывателей, и в первую очередь тех, кто жил неподалеку от дома отца. Ничего существенного выудить не удавалось, пока он не поговорил с агентом компании по продаже недвижимости, который жил почти напротив, чуть наискосок. Агент этот вспомнил, что незадолго до смерти старика видел возле его дома какого-то человека лет тридцати — тридцати пяти, одетого в рабочий комбинезон, с чемоданчиком в руке. Мсье Тульев был тогда в отъезде, агент это знал и потому позволил себе войти на усадьбу и поинтересоваться, что нужно пришельцу. Тот ответил, что промышляет ремонтом частного жилья и ищет подходящую клиентуру вот таким простейшим образом — обходит виллы и смотрит, нет ли кандидатов на капитальный или профилактический ремонт. Агент по продаже недвижимости вполне удовлетворился этим объяснением, но посоветовал не искать работу в городе: уж он-то знал, что дома богатых владельцев в ремонте пока не нуждаются, а у владельцев бедных нет на ремонт лишних денег. С тем они и разошлись.

У Михаила после этой встречи возникло предположение, что так называемый ремонтник приходил неспроста: он мог сделать слепок с закраины мраморной ступеньки. Если так, то тут работали наверняка профессионалы высокой марки. Центр своими руками не стал бы убивать отца — это не в их стиле. Им проще нанять убийцу в одном из тайных синдикатов, занимающихся ликвидацией людей по заказу.

Вернувшись в Париж, Михаил вновь обратился за помощью к Дону, рассказав ему обо всем, что удалось узнать. Тот попросил дать срок, потерпеть, и Михаилу ничего не оставалось делать, как поселиться в тихом маленьком отеле и заняться чтением книжных новинок.

К концу второй недели нетерпеливого ожидания Дон позвонил ему по телефону и сообщил, что есть новости, но в баре встречаться нежелательно. Михаил пригласил его к себе в отель.

— Я так и думал,— сказал Дон с порога не то чтобы мрачно, но довольно угрюмо.

— Что именно? — Михаил показал рукой на кресло у столика. Дон сел.— Что ты узнал?

— Ты слыхал о Франсисе Боненане?

Михаил сдвинул брови, припоминая.

— Это что-то связанное с Чомбе?

— Да. Он украл Чомбе и привез его в Алжир.

— И он убил моего отца?

Дон поднял руки и воскликнул:

— Нет! Нет!

— Так при чем здесь Боненан?

— Я встречался с одним типом из его компании, и этот тип рассказал любопытные вещи.

— Например? — Михаила начинала слегка раздражать эта манера ходить вокруг да около.

— Он водил дружбу с человеком по имени Карл Брокман, тоже из их банды, а этот Брокман проболтался ему, что сумел за год заработать семьдесят тысяч долларов чистыми. Помимо работы на Боненана.

— Короче — отца убил Брокман?

— Скорей всего.

— Но при чем здесь Боненан?

— А при том, что это такая гнусная публика — тебе придется очень трудно.

— Значит, Карл Брокман...

— Ну, ты же понимаешь, имена у них у всех весьма условные. Как и у нас.

Михаил закурил сигарету, прошелся от столика к двери и обратно, спросил:

— Как он выглядит?

— Этого мне не рассказывали. Из разговора я только понял, что ему лет тридцать с небольшим.

— Где он сейчас?

— Тот тип сказал, что его дружок месяца три назад отправился в Лиссабон.

— А что там, в Лиссабоне?

— А там есть одно агентство по распространению печати, которое ничего не распространяет, а вербует людей для войны в колониях.

Михаил посмотрел на Дона с восхищением. Большего за такой короткий срок не могла бы разведать даже Интеллидженс сервис. Работа — высший класс, а подать, расписать ее эффектно Дон не умеет. Такие, к сожалению, в жизни не сделают карьеры. Вот когда, наоборот, работы на грош, а краснобайства много, тогда карьера обеспечена...

— Чем мне тебя отблагодарить? — сказал Михаил задумчиво.

— Подожди, еще ругать будешь, когда встретишься с Брокманом на узенькой дорожке.

Михаил улыбнулся.

— Ничего. Как зовут твоего осведомителя?

— Марк Гейзельс. Он бельгиец.

— Прошу тебя, Дон: постарайся уточнить, где Брокман. Сейчас мне до него не добраться, но как-нибудь выкроится время.

— Буду стараться. Вообще-то раз уж человек подался наемником в колонии, это недолго, если не подстрелят, конечно. Так что мне не очень трудно будет его разыскать. У меня, сам знаешь, контактов с этими людишками хватает...

Дон скоро ушел, а Михаил начал собирать чемодан.

Нет, он не забыл, он всегда помнил слова генерала Сергеева: «Месть будет вам плохим попутчиком». Но ничего не мог с собой поделать: он должен найти убийцу отца. Однако его каникулы кончились. Михаил вернулся в Центр.

Глава 5

ПОЛОЖЕНИЕ В РАЗВЕДЦЕНТРЕ

За прошедшие годы в разведцентре многое изменилось. Кто-то ушел на пенсию, появились вместо старичков молодые работники, и это вполне естественно. Но были перемены, которые говорили о ненормальности обстановки.

Дело в том, что между шефом и его главным советником шла необъявленная война. Шеф, которого сотрудники за глаза звали Монахом (прозвища тут давались чаще по принципу от противного), был оскорблен тем непреложным фактом, что его советник Себастьян исполнял при нем обязанности контролера или ревизора и пользовался, так сказать, правом экстерриториальности. Формально он подчинялся шефу, но фактически как бы стоял над ним, ибо отчитывался за свои действия только перед высшим начальством. Монах, конечно, догадывался, что в своих отчетах Себастьян чернил его, но платить той же монетой считал ниже своего достоинства, а в отместку старался при каждом подходящем случае чинить Себастьяну препятствия. В основном это касалось кадровой политики. Если, например, Себастьян намеревался продвинуть кого-то, можно было ставить без риска сто против одного, что Монах не даст хода креатуре своего советника. И наоборот, сотрудник, снискавший чем-нибудь антипатию Себастьяна, автоматически обретал покровительство Монаха. Но бывали исключения, где и Монах вынужден был отступать перед Себастьяном.

Положение Михаила было, мягко говоря, щекотливым. После троекратного откровенного допроса, после многочисленных бесед с различными чинами и специалистами, бесед, которые носили характер завуалированного допроса, Михаил составил подробный письменный отчет о своей деятельности на территории СССР и особенно о характере взаимоотношений с Бекасом. Он честно написал даже о том, что во время пребывания в СССР оформил законный брак с советской гражданкой, что у него есть сын Александр и в скобках — домашний адрес Марии, место ее работы и должность. Жена думает, будто он уехал на заработки в районы Крайнего Севера. Он ни разу не допустил оплошности, в его показаниях даже самый придирчивый глаз не смог бы усмотреть ни единого противоречия. И все же Себастьян, надо отдать ему должное, почувствовал к Михаилу недоверие, о чем прямо сказал Монаху. Тот саркастически заметил, что с такой способностью подозревать все и вся надо бы работать не в разведке, а в сыскной полиции. Себастьян проглотил это молча, но остался при своем мнении. Монах же всячески старался выразить Михаилу свое расположение.

Раньше кадровые вопросы — кого на какую должность поставить, кому какого рода работу поручить — решались единолично шефом. Теперь же, с тех пор, как Себастьян стал советником, он имел право оспаривать решения Монаха, и при возникновении между ними разногласий арбитром выступала высшая инстанция — управление, которому подчинялся разведцентр. Там у Себастьяна были сильные связи, поэтому не считаться с ним Монах не мог. Таким образом получилось, что Михаил невольно сделался виновником нового обострения отношений между шефом и его твердокаменным советником. Монах намеревался поставить Михаила во главе отдела, занимавшегося подготовкой агентуры для Востока. Себастьян резко возражал. В конце концов было принято компромиссное решение, и Михаила назначили консультантом в этот отдел. В его обязанности входила корректировка планов подготовки и засылки агентов в Советский Союз. Себастьян, лично курировавший деятельность отдела, поставил условие, чтобы Михаил не имел прямого контакта с агентами, для которых отрабатывал легенды. Более того, Михаил не всегда мог знать, когда и как используются его советы и используются ли они вообще.

Ему, скажем, сообщались исходные данные — профессия, возраст, штрихи биографии, а он должен был, основываясь на своем знании быта и обычаев, подобно романисту, во всех мельчайших деталях расписать буду-

щую жизнь и линию поведения неизвестного ему персонажа с таким расчетом, чтобы в этой инструкции были предусмотрены все мыслимые ловушки и способы их обхода. Себастьян строго контролировал продукцию Михаила.

Все это означало, что ни о какой активной разведывательной работе Михаилу пока нечего было и думать. Он чувствовал к себе явное недоверие со стороны Себастьяна и вынужден был объясниться с Монахом. Последний посоветовал ему не расстраиваться. «Со временем все образуется»,— сказал Монах, но, как выяснилось, ждать пришлось долго.

Связь с полковником Марковым была налажена надежно, и Михаил регулярно сообщал ему о всех добытых данных, зная, что они очень пригодятся Маркову. На исходе первого года работы Марков уведомил его, что по легенде, которую Михаил разрабатывал для неизвестного ему агента и которую переслал Маркову, этот агент был обнаружен чекистами в большом индустриальном городе. Спустя некоторое время пришло письмо, в котором Марков благодарил Михаила за ценные данные о структуре разведцентра и о его сотрудниках. Особо важными сведениями оказались сообщения о месте предполагаемого советом НАТО строительства подземного хранилища термоядерного и химического оружия стратегического назначения. Значит, старания его не проходили даром, и это давало ему сознание своей полезности, без чего жить в обстановке разведцентра было бы просто невыносимо. А письма от жены, от Марии, давали другое сознание — что ты человек, необходимый двум любимым существам.

Провал агента вызвал у Себастьяна новые подозрения относительно Михаила. Конечно, агенты могут потерпеть неудачу, так сказать, естественным путем, то есть благодаря бдительности советских контрразведчиков или по собственной неосторожности. Но Себастьян не был бы Себастьяном, если бы не связал этот провал с тем обстоятельством, что Михаил Тульев хотя и вслепую, но приложил руку к подготовке разоблаченного агента. По настоянию Себастьяна была назначена специальная комиссия, чтобы расследовать причины провала. В течение трех месяцев анализировала она все имевшиеся в ее распоряжении материалы и пришла к выводу, что агент мог попасть в поле зрения советской контрразведки либо по своей оплошности, либо в результате неточности, допущенной в документах прикрытия. Предательство со стороны сотрудников разведки комиссия исключала.

Такому выводу немало способствовали усилия чекистов. Чтобы отвести подозрения от Михаила, через контролируемый чекистами канал связи агента с Центром была отправлена шифровка, в которой агент сообщал о подозрительной задержке его документов, сданных на прописку, и о заданном ему вопросе: где был получен паспорт?

Тем не менее вскоре Михаил ощутил, что потерял у Себастьяна всякое доверие: его постепенно отстраняли от прежней работы, и он три месяца просидел праздно, а затем предложили перейти в аналитический отдел и поручили самую нудную работу — выуживать из вороха периодических изданий крупицы полезных для разведки сведений и составлять справки. Можно было определенно считать, что его задвинули на самые задворки и дают понять, что пора подумывать о дальнейшей своей судьбе.

Гордыня Михаила не страдала, но смириться с новым своим положением, которое во многом лишало его возможности оставаться полезным для Маркова, было невозможно. Михаил вновь обратился к Монаху с просьбой принять его для серьезного разговора. Монах назло Себастьяну (когда Михаил позвонил по телефону, Себастьян находился в кабинете у шефа) пригласил его к себе домой.

Михаил был вполне искренен, когда жаловался Монаху на свое положение, на столь недвусмысленно выказанное ему недоверие. Монах все понимал, но просил считать перевод в аналитический отдел временным, говорил, что надо немного потерпеть и все станет на свои места. Он намекнул, что в скором времени намечается широкая операция, для которой потребуются опытные люди, вроде него, способные решать сложные задачи в исключительных условиях, и тогда для Михаила найдется работа поинтереснее теперешней. Монах советовал не обращать внимания на выходки этого одержимого кретина Себастьяна и тихо пересидеть еще месяц-другой. Михаил был рад удостовериться в сердечном благорасположении Монаха.

Однако прошло почти полгода, прежде чем обещанная шефом перемена начала осуществляться.

Как-то в феврале Монах позвонил Михаилу и срочно пригласил к себе в кабинет.

Он был не один. В кресле за журнальным столиком сидел солидный господин, который на приветствие вошедшего лишь слегка наклонил голову. Монах не счел нужным представить ему Михаила. Вероятно, он просто показывал этому важному господину кандидатов для предстоящей работы.

Разговор был непродолжительный. Монах спросил, не растерял ли Михаил свое знание языков, в частности, как дела с испанским и португальским. Михаил отвечал, что испанский он не забыл, а с португальским дело обстоит немного хуже. Второй вопрос касался его знакомства с Африкой. Михаил кратко рассказал о своем полугодовом пребывании в Алжире, относившемся еще ко времени второй мировой войны. Больше вопросов не последовало, и Монах отпустил Михаила.

На следующий день его вновь пригласили к шефу, но теперь тот был уже один.

В отличие от Себастьяна Монах справедливо полагал, что агент выполнит свое частное задание тем лучше, чем яснее и полнее ему будет известен общий замысел и цели операции,— в пределах допустимого, разумеется. Поэтому Монах изложил Михаилу задачу, поставленную перед разведцентром. Не называя заказчика, он объяснил, что от них требуется негласно определить истинное положение в португальских колониальных войсках. Насколько сумел понять Михаил, от этого зависели размеры помощи португальскому фашистскому режиму со стороны влиятельных финансовых группировок. Конечно, эти группировки могли послать своих официальных эмиссаров, но эмиссарам обычно показывают то, что выставляет просителей в выгодном свете, и скрывают от них все, что может бросить на просителей тень.

Чтобы увидеть реальное состояние вещей, а не декорации, следует заглянуть за ширму и сделать это тайно от хозяев, иначе они успеют замести мусор в углы. А главное, испытать все на своей собственной шкуре.

Так излагал проблему Монах, и Михаил отлично его понимал.

На подготовку Михаилу отводилось два месяца. За это время он должен подучить португальский язык и составить план проникновения в колониальные войска — тут ему предоставлялась полная свобода выбора. Михаил задал только один вопрос: в какую именно колонию Португалии он должен отправиться? Монах сказал: лучше ехать туда, куда можно попасть быстрее и без помех, так как на выполнение задания у него будет не очень много времени, и он назвал место.

Себастьян против нового назначения Тульева ничего не имел, поскольку это никак не касалось деятельности опекаемого им восточного отдела. Наоборот, обрадовался в надежде на то, что там Михаил может сложить голову.

У Михаила тоже были основания радоваться. Во-первых, он избавлялся от опостылевшей кабинетной работы. Во-вторых, наконец-то появился долгожданный шанс выполнить важное задание Маркова — отыскать следы особо опасного военного преступника Гюнтера Гофмана, которые затерялись на Пиренейском полуострове. В-третьих, ему предоставлялась возможность достигнуть и сугубо личной цели — найти Карла Брокмана, убийцу отца. Был ли при этом риск для него лично, для его жизни? Да, был, и Михаил это понимал.

Еще слушая Монаха при первом разговоре о задании, Михаил вспомнил о сведениях, добытых Доном и касавшихся так называемого агентства по распространению печати в Лиссабоне. Он сразу решил, что можно воспользоваться этим агентством, но перед шефом раскрывать своей осведомленности не стал. Теперь он попросил разрешить ему поездку в Париж на две недели, чтобы нащупать пути проникновения в португальские колониальные войска. Монах санкционировал командировку.

Дон не забывал просьбы Михаила относительно Карла Брокмана и время от времени оповещал о передвижениях этого белого наемника, воевавшего на черном континенте. Дон располагал сведениями, что Брокман находится в колонии, расположенной на западе африканского континента, и что контракт у него нескоро кончается, а там кто его знает...

Прилетев в Париж, Михаил из аэропорта позвонил Дону в его бар, и они условились о встрече.

В течение недели Дон сумел снестись с нужными людьми и получил подтверждение, что Брокман на прежнем месте — в спецподразделении, действующем на территории португальской колонии. Михаилу стали также известны специфические правила, которыми руководствуются службы и учреждения, занимающиеся вербовкой добровольцев для войны в колониях.

Возвращаясь в разведцентр, он был снабжен всеми сведениями, необходимыми для составления хорошо продуманного плана своей поездки в Португалию. План был написан в два дня, положен на стол Монаху и одобрен.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

Возвращение резидента

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 6

ПОД МАЛЬТИЙСКИМ КРЕСТОМ

Сначала необходимо дать место политической хронике, хотя бы несколько строк.

В то время народ одной из последних колоний некогда обширной Португальской колониальной империи вел упорную вооруженную борьбу за свою свободу, за образование независимого государства.

У наследников фашистского салазаровского режима дела обстояли плохо. Насильно зарекрутированные солдаты дезертировали из армии при первой подходящей возможности. Приходилось вербовать наемников.

Наемники были разные — в зависимости от задач, которые перед ними ставились. Плата тоже колебалась, и амплитуда достигала значительных размеров. Являлись рядовые обученные, которым красная цена была в пересчете на доллары двести в месяц. Но были и профессионалы, подобные Карлу Гейнцу Вайсману из Нюрнберга, которым надо платить по тысяче и больше, ибо эти умели не только подчиняться при совершении кровавых акций, но и командовать. И платили всем этим людям не напрасно: там, куда их отправляли, шла война не на жизнь, а на смерть. Тот, кто вербовался в погоне за острыми ощущениями и экзотикой, получал их сполна. Иногда за недостатком современного оружия африканцы стреляли из луков длинными оперенными стрелами с наконечником, несущим кураре — яд, парализующий дыхание.

Когда Михаил Тульев посетил лиссабонское так называемое агентство по распространению печати, там было малолюдно, и к нему поначалу отнеслись с вниманием. Однако человек в светло-сером костюме, к которому его проводили, смотрел на Михаила без всякого интереса.

— Сколько вам лет?— спросил он.

— Сорок,— ответил Михаил и отметил про себя, что ему явно не поверили.

— Национальность?

— Русский.

— Откуда прибыли?

— Из Франции.

— Перемещенный?

— Нет. Мой отец эмигрировал из России в восемнадцатом году.

Светло-серый откинулся на спинку кресла, посмотрел на Михаила как бы издалека.

— Кто вам дал наш адрес?

— Его фамилия Гейзельс. Он из Бельгии.

Светло-серый побарабанил пальцами по столу и спросил:

— Как вы думаете, сколько мне лет?

Михаил решил польстить:

— На вид тридцать.

В ответ он услышал неподдельный хохот. А отсмеявшись, светло-серый сказал:

— Думаю, мы с вами ровесники. Вам ведь под пятьдесят?

Оставалось только удивляться.

— Давно не смотрелся в зеркало,— пожав в смущении плечами, сказал Михаил.— Но я бы вам...

— Оставьте,— перебил его светло-серый.— Я не дама, не надо меня молодить. Чего вы хотите от нас?

— Мне необходимо заработать. А чего бы вы хотели от меня?

— Вы не боитесь червей под кожей, вшей, брюшного тифа и десятка болезней, незнакомых европейской медицине? А также не боитесь ли вы умереть, не разменяв шестой десяток?

— Я хочу заработать. А боишься или не боишься — это зависит от цены.

— Мы не знаем, что вы умеете делать.

— Стрелять, во всяком случае.

— Ну, это могут и мальчишки. А в ваши годы учиться кое-чему другому будет трудновато.

— У меня приличное здоровье,— возразил Михаил.— И потом во время войны мне приходилось не только стрелять.

— Что же еще?

— Я был на Восточном фронте,— соврал Михаил.

— В немецкой армии?

— Да.

— В каких частях?

Михаил рискнул сделать смелый ход не по правилам:

— Эсдэ. Я служил под командой Гюнтера Гофмана. Не слыхали о нем?

Светло-серый опустил глаза и сказал с легкой иронией:

— Кто же не слыхал о человеке, которого по крайней мере в трех странах заочно приговорили к смертной казни?— Он помолчал и добавил: — Но вы, наверное, первый, кто афиширует свою связь с ним.

Михаил подумал, что напрасно затеял эту игру, но решил не отступать.

— Мне и сейчас хотелось бы работать на Гюнтера. Жаль, не знаю, где он.

Это осталось без внимания. Его собеседник вернулся к делу.

— В каком чине вы закончили войну?

— Фельдфебель.

— Сколько рассчитываете получать у нас?

— Если вы положите мне три тысячи западногерманских марок в месяц...

— Это слишком много.

— Две пятьсот...

— Хорошо. Но вы должны будете подписать контракт, который лишит вас права распоряжаться собой минимум на год.

— Именно об одном годе я и думал.

— Хорошо. Приходите сюда послезавтра в это же время, мы все решим.

Михаил был уже у двери, когда хозяин кабинета сказал, не скрывая насмешки:

— Если вы ищете Гофмана, почему же не поинтересовались у Гейзельса? Вас ведь Гейзельс надоумил обратиться к нам, не правда ли?

У Михаила было такое ощущение, что все рухнуло.

— Гейзельс не из тех, кто афиширует свои связи.

— Ладно,— усмехнулся светло-серый,— это не имеет значения...

Выйдя из агентства, Михаил испытывал досаду. Но что сделано, то сделано, оставалось ждать результата. Визит к «распространителю печати» по крайней мере в одном отношении оказался полезным: удалось нащупать нить к Гофману. Гофмана знает Гейзельс. Гейзельса знает Карл Брокман. Ситуация складывалась таким образом, что, разыскав Брокмана, Михаил мог не только выполнить задание, но и достичь личной, страстно желанной цели — найти убийцу отца.

Через день он явился в агентство, и ему дали подписать обязательство, похожее на клятву или на присягу, и осведомились, куда бы он хотел отправиться. Михаил, естественно, выбрал колонию, где воевал Брокман, и через неделю в обществе пятидесяти себе подобных (правда, все были гораздо моложе) высадился с транспортного судна на африканском побережье.

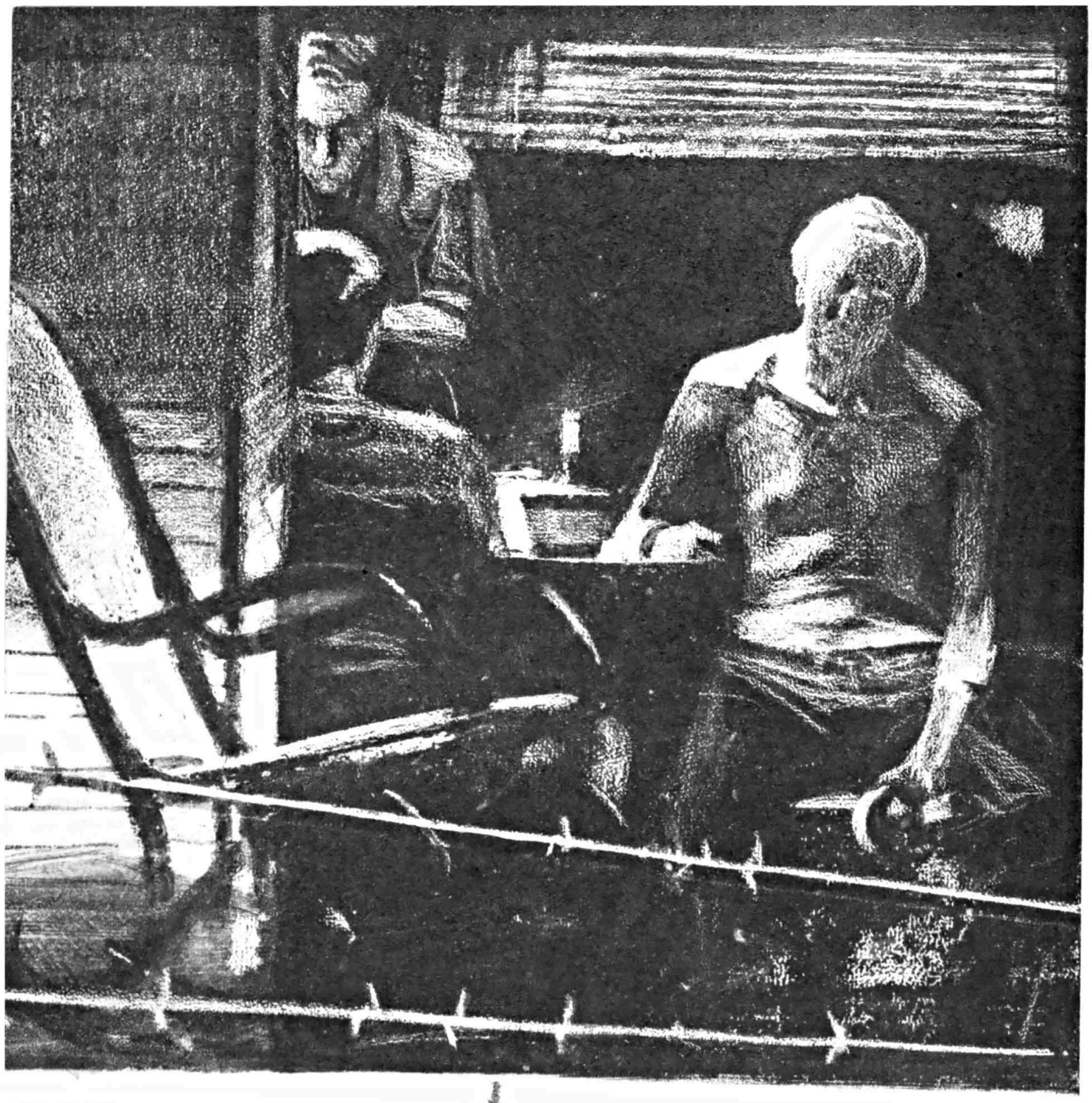
Их поселили в военном лагере, где перед воротами возвышался железный мальтийский крест — символ Лузитании, как называлась когда-то Португалия, разместили в длинном белом бараке по двое в комнате: две кровати с матрацами из морских водорослей, две тумбочки и вешалка, одновременно способная служить пирамидой для карабинов.

Ему относительно повезло: с ним поселился бывший капрал английской армии из гвардейского шотландского батальона, парень лет двадцати пяти. Капрал искал приключений — и денег, разумеется, тоже. Большинство остальных были подонки из уголовников. Капрал Бобби обладал бесценным в общежитии качеством — никогда не заговаривал первым.

На следующий день была произведена сортировка вновь прибывших. Лагерное начальство проверяло новобранцев по двум статьям: интеллектуальной, если можно так выразиться, имея в виду тесты на сообразительность (вроде умения отличать квадрат от треугольника), и физической, имевшей преимущественное значение. Но главным все же считался опыт военных действий. Михаил попал в число шести особо выделенных. Этому следовало порадоваться, ибо таким образом он прошел экзамен на зачисление в категорию существ мыслящих, а не человекоподобных ублюдков. Среди остальных были и карманники, и неудавшиеся сутенеры, и бандиты, скрывавшиеся от суда, и даже один брачный аферист по имени Езар, который, впрочем, выдавал себя за тайного агента какой-то тайной службы (вскоре выяснилось, что он просто шизофреник, но его за это не отчислили).

Они ходили на стрельбище, где проводили два утренних часа, затем с ними занимался инструктор по дзюдо, после обеда специалист по борьбе с партизанами читал им лекции, а после лекций они отрабатывали на местности практические действия. Гоняли так, что к концу дня эти здоровенные парни еле волочили ноги. За две недели каждому пришлось прыгнуть четыре раза с парашютом — дважды ночью, группой, причем оба раза прыгали на лес. Один из новобранцев разорвал себе о сук сонную артерию и умер на руках у капрала Бобби, не дождавшись врачебной помощи. Кое на кого этот случай произвел угнетающее впечатление, но наутро после отпевания, совершенного гарнизонным священником, с новобранцами беседовал самый главный начальник, который вслед за священником произнес высокие слова о благородной миссии цивилизованных народов на земле черной Африки, об опасности распространения коммунистических идей и так далее, а

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17, 18.



самое главное — пообещал всем прибавку жалованья...

Михаилу не трудно было выделиться. Уже к концу первой недели он подружился с инструктором по противопартизанским действиям, к чему, собственно, и стремился. Они были почти одногодки. Инструктор, которого звали Фернанду Рош, сам предложил ему однажды вечером распить бутылочку, а у Михаила имелся привезенный из Франции коньяк. Они его и распили дома у инструктора, занимавшего однокомнатную квартиру в коттедже за пределами лагеря.

Дружба эта способствовала тому, что Михаилу предложили на время заменить одного из инструкторов по стрелковой подготовке, которого отправили в Лиссабон на операцию по поводу гнойного аппендицита.

С того дня Михаил и Фернанду Рош выпивали каждый вечер, благо они стали соседями, так как Михаил занял комнату заболевшего инструктора, а в гарнизонном магазине было все, что душе угодно.

Фернанду Рош оказался не таким уж циником, как думал поначалу Михаил. Он исправно нес свою службу, но расистом не был, а почившего в бозе Салазара и его преемника Каэтану великими деятелями и вождями португальской нации не считал. Он даже обмолвился как-то, что то, чем они тут занимаются, то есть война против законных владельцев африканской земли,— дерьмо, недостойное даже быть темой разговора между двумя нормальными людьми, когда они сидят за столом и попивают неплохое винцо.

— Это портит букет вина,— улыбнувшись, докончил Фернанду свою речь.

Момент был благоприятным для разговора по душам, и Михаил решил им воспользоваться.

— Да мне-то тем более наплевать на вашу политику,— сказал он.

— Зачем же ты сюда приехал? Для любителя экзотики ты в такой упаковке староват... Только деньги?

— Конечно.

— Но ты не похож на всех этих подлецов, которые за три доллара мать родную зарежут.

Михаил вздохнул.

— Что делать? В Европе такому, как я, не прокормиться.

Фернанду подмигнул ему.

— Ничего, старина, пока существуют на свете паршивые политиканы, нам с тобой работы хватит.

— Это верно... Да, вот еще что, Фернанду,— сказал Михаил, не стараясь притвориться, будто это вспомнилось ему между прочим.— Тебе не приходилось встречаться с человеком по фамилии Брокман? Говорят, он где-то здесь.

Фернанду посмотрел на него, прищурившись:

— Ты знаком с этим экземпляром?

— Я — нет. Но по твоему вопросу видно, что ты знаком.

— О да! — с брезгливой миной воскликнул Фернанду.— Даже очень хорошо: я его натаскивал.

— И давно это было?

— Не так давно... Не помню... А к чему ты о нем заговорил?

— Просили передать ему привет.

— Кто же это?

— Есть такой Гейзельс...

Фернанду присвистнул.

— Еще того чище! Так ты знаешь Гейзельса?

Похоже, Михаилу следовало оправдываться за свои знакомства.

— Случайно сошлись в Париже. У меня дела были скверные, он посочувствовал.

— Что, денег дал?

— Денег от первого встречного я не беру. Он шепнул мне адрес лиссабонского агентства по распространению печати.

— Значит, ты ему не очень приглянулся. Могло бы быть и похуже.

Фернанду все больше и больше начинал нравиться Михаилу.

Намек на принадлежность Гейзельса к темному миру был прозрачен, и Михаил спросил:

— По-твоему, я похож на овцу? Куда поведут, туда и пойду?

— Не думаю. Но такие, как Гейзельс...— Фернанду недоговорил.

— А где сейчас Брокман?— спросил Михаил.

— Там, в джунглях.

— С такими же вояками, как наши?

— Э-э, нет. Он по другим делам.

— Секрет?

Фернанду посмотрел на него совершенно трезвыми глазами.

— Знаешь, хотелось бы дать тебе маленький совет.

— Говори.

— Раз уж ты сюда попал, старайся не копаться в чужих делах. Спокойней будет.

— У меня вообще такой привычки нет.

Фернанду продолжил так, словно Михаил не дал ему закончить предыдущее:

— Но о Брокмане я тебе кое-что могу сообщить. Спецкоманда, в которой он работает, охотится за командирами партизан.

Они разошлись после полуночи.

— Все, что мы тут болтали, строго между нами,— сказал Фернанду на прощание.

— Мог бы и не предупреждать...

Улегшись в постель и перебрав в памяти по порядку их застольную беседу, Михаил не мог не подивиться откровенности Фернанду Роша. Ведь они были знакомы всего какие-то три недели, а Фернанду выложил ему столько, что, будь на месте Михаила подосланный провокатор, инструктора по борьбе против партизан поставили бы к стенке без суда и следствия.

Объяснять доверчивость Фернанду тем, что Михаил угощал его, было бы неверно: инструктор, насколько Михаил успел заметить, был не жаден и денег имел достаточно, да к тому же холостяк, копить не для кого. Скорее всего он слишком долго молчал, и вот при первом подходящем случае, сошедшись с человеком, не похожим на тех полулюдей, с которыми приходилось общаться много лет, Фернанду раскрылся, чтобы хоть один вечер отдохнуть душой. Других правдоподобных толкований Михаил не нашел...

У него уже набрались некоторые сведения, на основании которых можно было составить отчет для Монаха, отображающий истинное положение в колониальных войсках.

Дело же с Брокманом сильно усложнялось. По-видимому, встретиться с глазу на глаз им в ближайшее время не суждено, а затягивать пребывание в колонии не имело смысла. Но он еще не придумал, как отсюда выбраться.

Рассуждая о мести, Михаил приходил к вы-

воду, что это действительно низменное чувство, но всякий раз возникал контрдовод: Брокмана необходимо обезвредить хотя бы уже потому, что он не человек, а опасный бешеный волк. Как еще можно назвать выродка, избравшего себе профессией убийство людей? Рассчитаться с убийцей необходимо. И если самосуд карается законом, то совестью своей Михаил его оправдывал. Правда, он не был твердо уверен, что рука его не дрогнет в решительный момент. Главным оставалось встретиться с Брокманом и через него выйти на след Гофмана. Но как это осуществить?

Михаил уже начинал изнывать от нетерпения: когда же наконец вернется оперированный инструктор, которого он подменял? Но тут произошло чрезвычайное событие.

Фернанду, забежав к нему во время дневного перерыва, сообщил, что срочно вылетает в джунгли и что, по всей вероятности, вскоре Михаил будет иметь счастье видеть Брокмана — живого или мертвого.

Михаил привскочил с постели — он сидел, собираясь раздеться и лечь.

— Что произошло?

Но Фернанду выбежал, крикнув через плечо:

— Вертолеты ждут!

Надев белую панаму, Михаил вышел из дому, пересек под палящим полуденным солнцем пустынную, кремнисто твердую площадь, жегшую ноги даже через толстую кожаную подошву, и вошел в здание штаба.

Дежурный, с которым он был знаком, ничего толком объяснить не мог. Сказал, что с материка поступила по радио просьба о срочной помощи — кто-то там попал в беду, а кто именно и где, неизвестно. К радистам на второй этаж Михаил пойти не мог: туда нужен был особый пропуск.

Вернувшись к себе, Михаил лег на кровать, не раздеваясь.

Вертолеты вернулись в 16.00. Михаил, услышав их шум, отправился в казарму, где размещались новобранцы: она была ближе к аэродрому. Те, кто сейчас прилетел из джунглей, обязательно проедут мимо нее, а Михаилу очень хотелось посмотреть на вернувшихся.

Ждать пришлось недолго. Вскоре на бетонке, ведущей от аэродрома, показались два «джипа» с туго натянутыми светло-песочными тентами. Они пронеслись мимо и скрылись в той стороне, где располагался лагерь спецкоманд. Михаил успел заметить, что в «джипах» на задних скамьях сидели какие-то лохматые, бородатые люди в ободранных пятнистых маскировочных униформах. И что-то белое мелькнуло — наверное, бинты, перевязки.

А минут через десять на дороге появились еще несколько «джипов». В переднем рядом с шофером сидел Фернанду. Он помахал Михаилу рукой.

Михаил не спеша зашагал к дому.

Скоро пришел Фернанду и сразу отправился под душ. Через открытую дверь ванной он рассказывал сидевшему у стола Михаилу о том, что произошло.

— Их пятеро было, в том числе твой Брокман... Базу заложили в джунглях недалеко от штаба... В разведку ходили, ловили момент... А момента нет и нет...— Он делал паузы, когда отфыркивался.— Сегодня утром на них набрел какой-то мирный негр с мальчишкой... Старик и мальчишка. Старика они застрелили, а парнишка удрал. Их накрыли. Они дали сигнал по радио сюда. Ну, а дальше все ясно...

— У вас был бой?— спросил Михаил.

Фернанду не расслышал.

— Что?

— Бой был, говорю?

— Ерунда! Так, пугнули малость. Те не ожидали, конечно, что мы так быстро подоспеем, и держали эту бравую команду в осаде малыми силами — человек десять. Там между деревьями чистое место было, мы спокойненько сели, а нас тридцать человек — какой же тут бой?

— А из наших, по-моему, кто-то ранен?

— Трое. И Брокман тоже.

— Тяжело?

— Ерунда, царапина... Касательное в левое предплечье...— Фернанду кончил полоскаться, закрыл краны.— Сказать по чести, будь моя воля — не стал бы я их оттуда вытаскивать...

— Брокмана в госпиталь отправят?

— Тут уж как он сам захочет,— не придав этому вопросу никакого особого значения, с обычным своим добродушием отвечал Фернанду.— Я ему, между прочим, передал от тебя привет.

— Он же меня не знает.

— Верно. Брокман так и сказал: кто еще такой?

— Если можешь, представь нас друг другу.

— Попробуем... Но мне это ничего приятного не доставит...

В тот же вечер Фернанду привел к себе Брокмана, а Михаил ждал их, уставив стол бутылками, джусом и стаканами. Брокман явился голый до пояса, на левой руке чуть ниже локтя — пухлый тампон, приклеенный пластырем. Дон говорил в Париже правду: Брокману на вид было лет тридцать. Волосы светлые. Загорелый не по-курортному, а скорее как дорожный рабочий: лицо ниже бровей, шея, руки до бицепсов — кофейного цвета, а торс и лоб — молочно-белые. Светлые волосы и черное лицо производили впечатление, будто смотришь на негатив. Михаил предполагал узреть нечто гориллоподобное, но перед ним был хорошо сложенный, красивый парень с несколько презрительной гримасой. На собеседника он не глядел.

— Привет,— по-немецки сказал Брокман, усаживаясь.— Меня зовут Карл.

— Привет,— ответил Михаил, радуясь, что этот тип не протянул ему руки.

— Говорят, вы меня знаете.

— Марк Гейзельс просил передать вам поклоны.

— А-а, еще бегает, старый лис! Как он там?

— Мы виделись накоротке. Но можно понять, что он при деньгах.

— Гейзельс всегда при деньгах,— небрежно заметил Брокман.— Мы выпьем или будем смотреть на бутылки?

— Что вы предпочитаете?

— Покрепче...

Михаил взял большую бутылку джина, посмотрел на Фернанду, который стоял, опершись рукой о спинку стула. Фернанду кивнул. Михаил налил в три стакана. Выпили.

— Не сильно?— спросил Михаил, показывая на раненую руку Брокмана.

— Достаточно для того, чтобы смыться отсюда,— сказал Брокман.

— Значит, в Европу?

— Завтра же. Имею право.— Брокман повертел перед глазами пустой стакан.— И страховку получим.

— Вы счастливчик.

— Желаю и вам того же.

— Спать хочется,— сказал Фернанду.

Михаил обернулся к Брокману.

— В таком случае, может, перебазируемся ко мне?

— Благодарю. Надо отдыхать.— Он посмотрел на часы, которые были у него на правой руке.

И Михаил вспомнил слова патологоанатома, выступавшего в качестве судебно-медицинского эксперта: «Если удар был нанесен не сзади, то бил левша».

Брокман меж тем встал. Михаил решил рискнуть, как при разговоре с вербовщиком в лиссабонском агентстве по распространению печати.

— Один вопрос, Карл...

— Да.

— Вам не знакомо имя Гюнтер Гофман?

Казалось, над ухом у Брокмана выстрелили из пистолета: он вздрогнул.

— Почему вас это интересует?

— Видите ли, я когда-то, во время войны, служил с ним. Хотелось бы разыскать. Полагаю, сейчас у него другое имя...

— Правильно полагаете.

— Вам ничего о нем неизвестно?

— Последнее его имя — Алоиз. А фамилией я не интересовался.

— А где он сейчас?

— Был в Америке.— Брокман повернулся к двери.— Пока.

— Пока.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Возвращение резидента

Глава 7

ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОТЕРИ

Леша, когда проявил свою первую в жизни самостоятельно отснятую фотопленку, был очень удивлен: она получилась такой хорошей, будто снимал матерый фотомастер. Скажем кстати, что эта первая пленка была лучше всех последующих на протяжении месяцев трех и только к концу лета Леша научился сознательно добиваться тех прекрасных результатов, которые в самом начале были получены по наитию.

Как было им обещано в присутствии его малолетнего покровительствуемого Витьки, Леша сделал стенгазету. Он дал ей название почти такое же, какое носил стенной орган печати центрального городского универмага, то есть «Культурное обслуживание». Опустив предлог «за», он словно поднялся на ступень выше: та газета только призывает к культурному обслуживанию, а здесь — пожалуйста, уже все готово.

В центре небольшого листа ватманской бумаги, под заголовком, была наклеена фотокарточка размером тринадцать на восемнадцать, изображавшая Светлану, Галю и Пьетро за ресторанным столиком. На заднем плане, чуть не в фокусе, из-за столика привстал плотный мужчина. (Леше показалось, что он как будто похож на человека, приказывавшего ему засветить пленку.) Под снимком Леша поместил подпись, над которой ему пришлось долго думать. Она гласила: «Картинки из светской жизни». По обеим сторонам фотокарточки были наклеены цветные вырезки из рекламных буклетов «Интуриста».

Леша полюбовался с горечью на свое произведение, вздохнул, сложил стенгазету вчетверо и засунул ее под тахту. Он счел замышленное предприятие с вывешиванием газеты недостойным и мальчишеским. Более того, он решил выказать великодушие: он сделал еще два отпечатка форматом девять на двенадцать, чтобы при удобном случае вручить их Светлане,— пусть один возьмет себе, а другой пошлет этому черноволосому иностранцу.

Случай представился скоро. Светлана как-то вечером, возвращаясь с работы, подозвала к себе Лешу, певшего под гитару в кругу ребят с их двора.

— Не отлегло? — спросила она как бы даже с сочувствием.

Это не понравилось Леше. Он сунул ей в руки гитару и сказал небрежной скороговоркой:

— Подожди минутку, я сейчас.— И побежал в свой подъезд.

Вернувшись, он отобрал у нее гитару и вручил фотографии.

— Вот, вышло прилично. Возьми на память.

Светлана сначала не поняла, что изображено на снимках, а когда поняла, то покачала головой.

— Значит, с фотоаппаратом шпионишь?

— Шпионил,— поправил ее Леша.— Больше не буду.

На это Светлана ничего не ответила. Положила карточки в сумочку и пошла домой. Даже спасибо не сказала.

С тех пор, встречаясь во дворе или на улице, они только здоровались. Леша иногда спрашивал себя, правильно ли он поступает. Светка ему все равно нравилась, как и раньше, а может, и еще больше. Ну, ходила в кафе с иностранцем. Иностранцы приезжают и уезжают. Тем более Светка же его сама первая подозвала для разговора... Но нет, не мог Леша простить ей, что-то горькое поднималось в душе, когда вспоминал он про кафе, и у него возникало непонятное чувство, словно Светка знает о тайнах взрослой жизни гораздо больше его, и от этого становилось еще горше и обиднее. И хотелось бы ему заговорить с нею, но ничего он не мог поделать со своей обиженной гордостью.

Вера Сергеевна сумела уловить, что в отношениях Светланы с Лешей произошли важные изменения. Она прямо спросила у дочери, что случилось. Но Светлана отделалась одной фразой: «Да ну его!» И, кажется, ей в самом деле стало совершенно безразлично, есть на земле такой парень — Леша Дмитриев или его и не было никогда. Хотя Гале она признавалась, что ей жалко разбитой дружбы и как-то пусто оттого, что Леша перестал забегать к ней на работу. Ему самому она этого не сказала бы никогда.

Подруги проводили лето по-разному. Светлана по графику отпусков должна была отдыхать в сентябре. Галя на два месяца уехала вместе с матерью в Крым, в Алушту, где у старого друга их семьи, ныне отставного генерала, был собственный дом.

Светлана не очень-то скучала. В свои выходные она с подругами из универмага ездила на городской пляж. Всегда подбиралась веселая компания. Парни были не из хамовитых, а если кто-нибудь и позволял себе вольности со Светланой, то лишь самого невинного свойства.

У нее с некоторых пор все чаще появлялось такое настроение, что она будто бы попала на станцию, где надо делать пересадку. Она была все время в ожидании чего-то, а чего именно — неизвестно. Это состояние впервые возникло на следующий день после того, как она отослала в Милан Пьетро Маттинелли фотокарточку с коротким письмом, в котором объяснялась история ее появления.

Разрешилось это состояние неизвестности весьма прозаическим образом. 29 июля 1971 года под вечер к ее прилавку в универмаге подошел немолодой, небольшого роста и довольно полный мужчина с блестящими и темными, как маслины, глазами. Он поставил на прилавок клетчатую сумку-торбу и, подождав, пока Светлана не кончила разговора с очередным покупателем, спросил:

— Вы есть Светлана Сухова?

— Да. Я вас слушаю.— Она уже догадалась, кто это и откуда.

— Вам привет шлет Пьетро из Милана.— Он выговаривал русские слова с трудом, но очень старательно.

— Спасибо.

— Он также просит дать вам это.— Итальянец положил руку на сумку и улыбнулся.

Светлане на секунду сделалось неловко, но только на секунду. Мелькнул в памяти тот разговор за столиком в кафе — как Пьетро просил разрешения прислать что-нибудь в подарок, как она воспротивилась. Что может быть в этой сумке? Уж, наверное, не на сто рублей? Чего тут зазорного, если принять подарок? Не отказывать же человеку, который тащил клетчатую торбочку из Милана через пол-Европы.

— Спасибо,— сказала Светлана и убрала сумку под прилавок.—Как поживает Пьетро?

— О, ничего, очень хорошо. Очень скучно без вас.

— Вы долго у нас пробудете?

— Сожалею, но всего два дня. После — Тамбов. Там тоже есть нам дело, тоже завод.— Итальянец убрал с лица улыбку.— Но вы можете писать Пьетро через меня. Я могу зайти завтра.

Так они и договорились. Итальянец, по-видимому, спешил, и Светлана его не задерживала. Как только он ушел, она расстегнула «молнии» на сумке. Поверх разноцветных пластиковых пакетов лежал конверт, голубой и продолговатый, с ее именем, написанным крупными заглавными буквами. Такими буквами было составлено и письмо. Пьетро убедительно просил не отвергать его скромный подарок, уверял в своей преданности, жаловался, что скучает по Советскому Союзу и по ней, Светлане, и высказывал надежду, что, может быть, через год приедет снова, хотя бы ненадолго. А в конце сердечный привет Гале и просьба выделить ей что-нибудь из присланного.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—19.

Галя к тому времени уже вернулась из Крыма, и Светлана, закончив работу, сразу позвонила ей из кабинета заведующего отделом, и они условились встретиться в тот же вечер у Светланы дома. У Светланы возникла было мысль, что неудобно будет при матери потрошить посылку, но по всегдашней своей привычке отгонять прочь все неприятное она тут же постаралась об этом не думать. В конце концов они с Галей могут просто закрыться в комнате и сказать матери, что им надо посекретничать...

Галя явилась без опоздания. К ее приходу Светлана успела разобрать посылку.

В сумке-торбе оказались два прекрасных длинных шарфа, связанных из шерсти, один синий, другой малиновый, шерстяная кофта цвета перванш, кашемировый платок, пара черных лаковых туфель и множество косметики — духи, помада, пудра, тени — все в замечательной упаковке. Но главное было не это. Главное лежало в маленькой кожаной красной коробочке: брошь-булавка с синим камнем.

Матери не оказалось дома. Светлана разложила все присланное на своей софе и прикинула, как им поделить: у нее и в мыслях не было дать Гале что-нибудь из мелочи, а остальное взять себе. Пополам, только пополам — так она решила с самого начала. Правда, туфли и брошь не поделишь пополам, но тут тоже можно что-нибудь придумать...

Когда Галя вошла, Светлана, ничего не объясняя на словах, дала ей письмо Пьетро. Прочтя его и поглядев на разложенные вещи, Галя долго молчала.

— Что скажешь? — вывела ее из задумчивости Светлана.

— Кажется, он не бедствует, этот твой Пьетро Маттинелли.

— Наверное, не побирается.— Светлана вынула брошь из коробочки, протянула ее Гале.— Как ты думаешь, это настоящее?

У нее были подозрения, что и металл и камень — подделка, а Галя прилично разбиралась в драгоценностях.

Галя посмотрела камень на свет, повертела в пальцах против света и сказала:

— Аквамарин. Настоящий.

— А булавка?

— Золотая.

— Наверняка не побирается,— весело заключила Светлана.— А ты что сникла?

— Да как-то, знаешь, необычно...

— Что необычно?

— Ну, всего один раз виделись, и вот... все это...— Галя кивнула на софу.

— Значит, как в кино. Ладно, давай распределим.

— Но это же тебе прислано,— возразила Галя не очень твердым тоном.

— Заткнись, а то все выброшу,— серьезно сказала Светлана.

Галя не сомневалась, что Светка может так и сделать, если ее не послушать.

Парфюмерные изделия были разделены без труда. Светлана взяла себе малиновый шарф, следовательно, Гале достался синий. Туфли больше впору были Гале, зато Светлана оставила себе кофту. Кашемировый платок разрезали надвое по диагонали — получились две косынки. Судьбу броши Светлана предложила решить жребием, но тут уж Галя воспротивилась не на шутку.

— Ты с ума сошла!— воскликнула она.— Не командуй, пожалуйста. Я ведь тоже могу...

— Ничего ты не можешь.

Как всегда, Светлана не заботилась о самолюбии подруги, но сейчас сопротивление Гали было ей приятно: Светлане очень хотелось быть обладательницей такой прекрасной броши. Насчет жребия, говоря честно, она сказала лишь для того, чтобы выдержать характер. Она была уверена, что Галя не согласится. Да и несправедливо это чересчур: у Гали много было разных драгоценностей, подаренных родителями и бабушками, хотя она никогда их и не носила с того дня, как познакомилась со Светланой,— потому не носила, что у Светланы драгоценных украшений не имелось, не носила из солидарности.

Великий дележ закончился как раз к приходу Веры Сергеевны. Сколь ни храбрилась Светлана, сколь ни выказывала свое коронное умение ничему не удивляться и ни о чем не жалеть, но Вера Сергеевна все же заметила необычно возбужденное состояние дочери.

— Вы ссоритесь?— спросила она.

Свою часть посылки Галя перед тем положила в сумку, а Светлана свою спрятала в шифоньер, так что Вера Сергеевна вещей и косметики не увидела.

— Спорим,— сказала Светлана и повернулась к Гале.— Идем, провожу немного.

...Таким вот образом разрешился у Светланы кризис ожидания. Если смену человеческих душевных состояний дозволено сравнить с чередованием времен года, то она вступила из февраля в март. Еще и холодно, и снег лежит, но все бесповоротно повернуло на весну. Что бы там ни происходило, но зиме конец. А на самом-то деле, вне этих сравнений, близилась осень. Светлане предстояла повторная сдача экзаменов на филологический факультет — еще одна попытка. Она их сдавать не стала и не только потому, что не подготовилась как следует. Было еще одно серьезное привходящее обстоятельство.

Но, прежде чем заняться им, надо отметить, что Светлана на следующий день после получения посылки отправила с привезшим ее итальянцем письмо к Пьетро Маттинелли с благодарностью и просьбой не повторять ничего подобного впредь, а лучше всего приехать снова в Советский Союз, в прекрасный город К. В конверт была вложена фотокарточка.

А примерно через неделю после этого у Светланы состоялось новое знакомство, которое она не сочла странным и необычным по той простой причине, что все было логично и объяснимо.

Один из покупателей, изучавших каталоги пластинок, интеллигентного вида, пожилой, явно за пятьдесят, но моложаво выглядящий мужчина, плотный, среднего роста, одетый в светло-серый костюм и синюю рубаху без галстука (все это Светлана рассмотрела уже несколько позже), вдруг обратился к ней таким тоном, словно продолжал с нею задушевную дружескую беседу, прерванную нечаянно. Он выбрал момент, когда никого другого у прилавка не было.

— Значит, получили весточку от Пьетро, Светлана Алексеевна?

Она удивилась, но, выдерживая свою манеру ничему не удивляться, ответила так, будто и она всего лишь продолжала беседу:

— Да. Но откуда вам это известно?

Он усмехнулся отечески.

— Видите ли, я знаком с тем человеком... ну, что привез вам посылку из Италии. Я ведь и Пьетро знаю. Он мне рассказывал о вас.

— Вы даже и по отчеству меня знаете,— сказала Светлана.

Он кивнул на дощечку, висевшую на стене позади нее: «Сегодня вас обслуживает продавец...» Она обернулась, поглядела и расхохоталась.

— Ой, правда, тут же написано! Кто я после этого, скажите?

— Вы совершенно очаровательная девушка, и Пьетро Маттинелли можно понять.

Нет, ей определенно начинал нравиться этот пожилой спокойный человек.

— А как зовут вас?

— Виктор Андреевич.

— Вы что, работаете на химзаводе?

— Да, в одной из лабораторий. Мне не так часто приходилось общаться с Пьетро по работе, но мы довольно близко познакомились.

— Он вам нравится?

— По-моему, очень хороший человек.

— Мне кажется, он прямой и открытый. А вы давно здесь живете?

— Приехал сразу после войны.

Она посмотрела на его руки — есть ли обручальное кольцо,— и от него не ускользнул этот взгляд.

— Я одинокий. Жена и дочь погибли в оккупации.

Светлану поразила его догадливость и проницательность. И главное — простота. Никакого шаманства. Это был первый из взрослых людей, кто демонстрировал перед нею свое превосходство столь неназидательно и ненавязчиво. Она мгновенно прониклась к своему новому знакомому уважением.

О том, как развивалось это знакомство, мы расскажем дальше, а теперь надо вспомнить о Леше, потому что у него произошли две пропажи, не такие уж значительные сами по себе, но имеющие прямую связь и с предыдущим и с последующим.

Однажды в воскресенье он затеял генеральную уборку в своей темной комнате, которая с момента покупки фотоаппарата служила ему исключительно как лаборатория. Надо было выбросить ненужный хлам, чтобы стало попросторнее. Закончив черную работу, Леша привинтил к стене широкую полку для химикалий и шкафчик для экспонированных пленок и фотобумаги. Потом стал разбирать пленки, заворачивая каждую в отдельный лист. Их накопилось уже порядочно, штук пятнадцать. Каждую он помнил очень хорошо — где, когда снимал, при каком освещении, с какой диафрагмой и выдержкой. Любимой оставалась та первая, которую он начал кадрами, снятыми в кафе. А ее-то как раз и не оказалось. Он обшарил все ящики стола, все углы — и не отыскал. Потом начал разворачивать уже завернутые пленки и снова просматривать их на свет — все напрасно. Первой пленки не было.

Леша пошел на кухню, где мать с отцом пили чай.

— Ма, ты у меня в чулане не копалась?

— Ты же не велишь туда даже входить.

— Чего взъерошился? — спросил отец.

— Пленка одна пропала.

— Другую купи.

— Да отснятая она,— с досадой объяснил Леша.

— Мне бы твои заботы.

Леша вернулся в лабораторию и еще раз обыскал ее от пола до потолка. И опять напрасно. Пропала пленка. А между тем он отчетливо помнил, что еще недели две назад она как-то попалась ему под руку, и он с удовольствием разглядывал ее, поражаясь, до чего удалась тогда эта самая первая съемка. Прямо-таки эталон. И вот эталон исчез. Было жалко потерять такую память — истинные фотолюбители легко поймут огорчение Леши.

В тот же день, чуть позже, Леша пошел в свой самодельный гараж, где стоял его мотоцикл. К нему заглянул сосед, владелец старого «Москвича».

— Здорово, Леш! Дай на минутку разводной, я свои ключи дома оставил, краны подкручивал, понимаешь.

— Да хоть на неделю,— мрачно сказал Леша, наклоняясь к чемодану с инструментом.

Но сколько он ни гремел этими железяками, разводного гаечного ключа найти не мог.

— Снится, что ли?— пробормотал он растерянно.

— Ты чего, Леш? Заговариваешься?— засмеялся сосед.

— Тут заикаться начнешь, не то что заговариваться.

Сосед ничего не понимал.

— Нету ключа,— сказал Леша, разгибаясь.— Нету. Пропал.

— Может, где валяется?— предположил сосед.

— Давай посмотрим.

Они внимательно осмотрели все закоулочки гаража, но ключа так и не нашли.

— А может, ты тоже его домой занес?— высказал еще одно предположение сосед.

Леша покрутил головой.

— Не заносил. У нас краны не текут.

Сосед исчез, наверное, побежал домой за гаечными ключами, а Леша еще долго стоял в задумчивости над чемоданом для инструмента и старался определить, когда мог пропасть ключ. Последний раз он пользовался им дней десять назад... Пропавшую пленку он держал в руках две недели назад...

Леша не делал сопоставлений, но мысленно отметил, что обе пропажи случились приблизительно в одно и то же время...

Сказав о потерях Леши, вернемся к Светлане.

Кому-то это покажется противоестественным, но вот факт: уже на второй день после знакомства с Виктором Андреевичем Светлана приняла его приглашение посидеть вечером в ресторане. Впрочем, найдется немало людей, которые не усмотрят в этом факте ничего особенного, ничего предосудительного. К тому же Светлана поставила условие, что с нею будет Галя.

Виктор Андреевич не жаловался на тоску одинокой жизни, но и не пытался изобразить из себя молодого сердцем бодрячка. Он просто сказал, что если у Светланы на завтрашний вечер не предвидится ничего лучшего, то не согласится ли она поужинать вместе с ним. Светлана не раздумывала.

Галя по обычаю исполнила волю подруги.

Виктор Андреевич предложил отправиться в ресторан-поплавок на реку. Там у пристани стоял на мертвых швартовых старый пассажирский теплоход, переоборудованный для новой службы.

Они заняли столик в углу, где вместо стульев были удобные узкие диванчики.

— Не стесняйтесь, девушки,— сказал, усаживаясь, Виктор Андреевич.— Деньги у меня есть, сегодня я при деньгах.

— Только сегодня?— спросила Светлана, как бы задавая тон беседе.

— Нет, я вообще солидный, обеспеченный мужчина,— с готовностью поддержал этот шутливый тон Виктор Андреевич.— У меня и автомобиль есть.

— Почему же мы сюда ехали на такси?— спросила Галя.

— Но мы же собираемся чего-нибудь выпить, не так ли?

— Это можно,— сказала Светлана.— Мы уже пробовали.

— С Пьетро?

— Не только.

— Это он подарил?— спросил Виктор Андреевич, показывая глазами на брошь, которой у Светланы был заколот шарф.

— Он,— сказала Светлана.

Тут подошел официант.

Виктор Андреевич сделал большой заказ, а когда довольный официант ушел, задумчиво поглядел на подруг и сказал с легкой печалью:

— Кто со стороны посмотрит, скажет: отец дочек угощает.

— А может, внучек? — не упустила случая поострить Светлана.

— Да, так будет вернее,— еще более печально согласился Виктор Андреевич.

— Не обращайте внимания,— поспешила успокоить его Галя. Она любила успокаивать.

— Ладно, мы вас не будем называть дедушкой,— сказала Светлана.

— И на том спасибо.— Виктор Андреевич произнес это уже с такой неподдельной горечью, что Светлане всерьез стало его жалко.

— Перевернем пластинку.

— Да, поговорим лучше о Пьетро,— сказал Виктор Андреевич.

Поговорили о Пьетро Маттинелли, подруги рассказали о нем все, что знали. Светлана показала Виктору Андреевичу фотокарточку и письмо, которые носила в сумочке. Потом Виктор Андреевич поведал кое-что об итальянце, который привозил посылку. Но все это было лишь присказкой к дальнейшему.

Ресторан скоро заполнился целиком. На эстраду вышли музыканты, начались танцы. К тому времени Светлана и Галя выпили с Виктором Андреевичем по две рюмки коньяку и по бокалу шампанского. Глаза у них блестели, щеки пылали. Было жарко.

Едва Виктор Андреевич вновь налил рюмки, оркестр заиграл новый танец, и перед их столиком появились двое молодых людей. Поклонившись, один из них обратился к Виктору Андреевичу:

— Вы разрешите пригласить ваших девушек?

— Я не против,— сказал он,— но хотят ли они танцевать?

Светлана посмотрела на молодых людей, на Галю и сказала:

— Разок можно.

Они вчетвером отошли от столика.

Виктор Андреевич подвинул к себе лежавшую на диванчике сумочку Светланы, не торопясь, одной рукой открыл ее, пошарил, нащупал письмо от Пьетро и фотокарточку, положил их во внутренний карман пиджака и закрыл сумочку. Все это он проделал как бы нехотя, лениво.

Танец кончился, молодые люди довели девушек до места, раскланялись и исчезли. Больше Светлана и Галя не танцевали, хотя к ним несколько раз подходили с приглашением. «Слишком жарко»,— объясняла отказ Светлана.

Зато от коньяка они не отказывались, чему Виктор Андреевич был искренне рад. Однако наступил момент, когда Галя спросила вдруг Светлану:

— Выйдем?

Та кивнула.

— Мы вас бросим на минутку, Виктор Петрович.

— Андреевич, с вашего позволения,— поправил он.

В туалете, стоя перед зеркалом и поправляя прическу, Галя сказала шепотом:

— Светка, что мы делаем!

— А что?

— Мы же пьяные... И какой-то старый мужик... Ужас объял греков!

— Не вникай, как говорит мой бывший друг Леша.

— Правда, пьяные.

— Ничего, еще по рюмочке, и айда отсюда. Сколько на твоих?

— Без четверти одиннадцать.

В одиннадцать они покинули ресторан. Было ветрено. Шумела листва. До стоянки такси они шли по асфальту, положенному на траву,— Светлана об руку с Галей впереди, Виктор Андреевич с их сумочками в руке сзади. Когда подходили к стоянке, где ждали пассажиров два такси, он открыл сумочку Светланы и так открытой и подал ей, когда девушки сели в машину на задний диван, а он поместился рядом с шофером. Светлана буркнула:

— Замок сломался, что ли? — Защелкнула, попробовала разъять металлические планки, но замок держал крепко, и она успокоилась.

Виктор Андреевич развез подруг по домам, сначала завезли Галю. Он записал номер домашнего телефона Светланы, а своего не дал, сказав, что у него телефона нет. А напоследок Виктор Андреевич сообщил о самом главном:

— Да, вы знаете, Света, вполне возможно, я не сегодня-завтра поеду в Италию.

— Правда?

— Есть такой вариант.

— Счастливчик,— устало сказала Светлана.

Машина остановилась напротив ее дома.

— Не выходите,— сказала она Виктору Андреевичу.— Когда поедете, скажите мне, я что-нибудь пошлю Пьетро.

— Разумеется. Но мы еще не раз увидимся. Я буду заходить в универмаг.— Он замялся, помолчал и добавил: — Не осмеливаюсь приглашать вас к себе в гости...

— Правильно делаете.— Светлана открыла дверцу.— Ну, звоните, заходите.

...Поднимаясь по лестнице, она сняла с кофты брошь, открыла сумочку, чтобы положить ее на дно, и тут обнаружила, что фотокарточка, которую дал ей Леша, и письмо от Пьетро пропали. Она остановилась, припомнила, как Виктор Андреевич передал ей сумочку открытою, и решила, что, наверное, письмо и карточка выпали где-то по пути к стоянке такси. О том, что их мог взять Виктор Андреевич, у нее и мысли не было...

Открыв дверь, она поняла, что мать не спит: в кухне горел свет. Не было смысла ходить на цыпочках — она громко протопала к себе в комнату. Тут же вошла Вера Сергеевна, зажгла люстру.

— Ты опять пила?

— Можно подумать, что ты никогда не пила.

— Прекрати этот тон!— вспылила Вера Сергеевна.— У тебя экзамены послезавтра.

— Не будет никаких экзаменов,— вяло протянула Светлана.— Не хочу я никаких филфаков, никаких английских языков, и вообще...

— Что это значит?!— Вера Сергеевна сжала кулаки.

Но у Светланы был звериный нюх на опасность. Сбросив туфли, она босиком подбежала к матери, обняла ее и поцеловала.

— Мамочка, родная, не волнуйся. Давай сядем, давай обсудим.— Она тихонько подталкивала мать к креслу. Вера Сергеевна, растерявшись, села и спросила:

— С кем ты была?

— С Галей.

— Вдвоем?

— Представь себе.

— Но это же еще хуже — пить вдвоем!— возмутилась Вера Сергеевна.

Светлана опустилась перед нею на колени, взяла ее за руки.

— Да не пьяная я, клянусь тебе. Все выветрилось. Давай поговорим.

— Ты сказала, что не будешь сдавать экзамены?

— Ну на черта мне этот университет, скажи? Чтобы потом всю жизнь долбить одно и то же? Уроки, уроки, уроки! И получите сто тридцать в месяц.

— Что же, будешь всю жизнь продавцом?

— А почему бы и нет? Но я учиться пойду. Только не в университет.

— Куда же?

— Ну хотя бы в торгово-экономический техникум. После можно сделать прекрасную карьеру. Вон у нас завотделом техникум окончила, сейчас живет — будь спокойна!

— Ты же готовилась!

— Как я там готовилась! Нахватаю троек. Остался день, перед смертью не надышишься. А завтра еще голова болеть будет.

— А говоришь — трезвая.

— Мало ли что я могу сказать.— Светлана поднялась, снова обняла мать.— Ма, давай договор заключим: больше об университете ни слова. Подумаешь — диплом! Проживем и так.

Вера Сергеевна в душе была согласна с дочерью, но она все же тяжко вздохнула:

— Смотри, дорогая, не будешь ли потом жалеть...

— Никогда! Давай-ка спать.

Со следующего дня у Светланы начинался отпуск для сдачи вступительных экзаменов, но она после этого разговора решила все поломать и выйти на работу.

Может быть, не пригласи ее Виктор Андреевич в ресторан, решение было бы иным. Таким уж характером наделила ее природа: она умела управлять другими по своему желанию, но не умела управлять собственными желаниями. Они, эти желания, порою зависели от сущих пустяков...

В то время как происходил разговор между матерью и дочерью, Виктор Андреевич у себя дома, в однокомнатной квартире, облачившись в пижаму, сидел за столом и с удовольствием разглядывал фотографию, взятую, вернее, украденную из сумочки Светланы. Он не опасался обвинений в краже, рассчитывая на то, что девушкам не придет в голову его подозревать (и он не ошибся в своих расчетах). Но даже если бы у него и возникали такие опасения, он бы все равно карточку эту взял, потому что на ней в позе человека, приподнявшегося со стула, был изображен именно он, Виктор Андреевич Кутепов. Светлана и Галя его не узнали, что немудрено, в натуре, так сказать, они видели его впервые, а фотография маленькая, к тому же лицо его получилось немного не в фокусе. Вот если выкадрировать это лицо, увеличить и сравнить с другими его фотопортретами, тогда сходство установить проще простого.

Наглядевшись, Виктор Андреевич пошел в кухню, зажег газ и спалил карточку. Потом выключил газ, открыл окно, чтобы проветрилось, и лег спать.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 8

ХРОНИКА СЕМЬИ НЕСТЕРОВЫХ

Специалисты, занимающиеся проблемами семьи и брака, установили, что, например, в Соединенных Штатах Америки в последние годы заметно возросло число разводов среди супругов, которым перевалило за сорок пять. Понятно, что виновниками, или, если хотите, инициаторами, при этом являются мужчины — по крайней мере в подавляющем большинстве случаев, ибо редко можно наблюдать, чтобы женщина в этом возрасте желала оставить мужа. Мужчины — дело другое.

Почему так происходит? Коллизии, разумеется, у каждой пары свои, неповторимые. Но схема, по которой происходит развал семьи, почти у всех одинакова. Для среднеобеспеченных прослоек населения она выглядит следующим образом.

В двадцать два — двадцать три года выпускник университета или колледжа, полный радужных надежд и энтузиазма, с помощью родственных связей по протекции поступает на службу в процветающую компанию. Он работает, не считаясь со временем и не жалея сил, так как жаждет сделать карьеру. Начальство замечает рвение новичка и продвигает его на должность, которая оплачивается столь хорошо, что молодой человек уже может себе позволить мысль о женитьбе. Он делает предложение девушке, за которой ухаживал целых три года или три месяца, получает ее согласие, а также согласие ее родителей и благословение собственных, и жених и невеста идут под венец. Вернувшись из свадебного путешествия (впрочем, оно становится все менее обязательным), молодые, не теряя времени, начинают заниматься накопительством или влезают в кредитную яму. Куплены квартира, мебель, телевизор, холодильник и прочее. Куплена новая машина. Через год на свет появляется ребенок. Жена оставляет свою компанию, где она работала секретарем, и посвящает себя дому и воспитанию. У отца семейства прибавилось забот: денег нужно все больше и больше. Он не щадит себя на работе, и усердие вновь вознаграждается — его делают заведующим отделом. Затем рождается второй ребенок — это требует дополнительных затрат. Значит, необходимо зарабатывать еще больше. Глава семьи не имеет возможности хотя бы посидеть вечером перед телевизором или поболтать с детьми. Он все время на работе, он не видит ничего вокруг себя. Только дело, одно дело.

Год катится за годом, и вот бывший молодой человек уже вице-президент компании. У него большая, в пять комнат, квартира, дети выросли и учатся в колледже. В банке у него лежит энная сумма на черный день. Кажется, можно немного вздохнуть. В одно прекрасное утро он входит в свой офис и словно впервые видит в приемной собственного секретаря-машинистку, которая, между прочим, работает у него уже два года. Но он действительно по-настоящему видит ее впервые — прежде она была лишь винтиком в его отлично отлаженном служебном механизме. И констатирует, что она чертовски хороша собой, просто-таки идеал женской красоты. Он мысленно ставит ее рядом с поблекшей в домашних заботах женой и делает далеко идущие выводы. Ведь он, в сущности, совсем не видел жизни, он тянул из себя жилы ради этого проклятого благополучия и истэблишмента. Он обокрал себя. Но хватит, довольно! Он еще не старик, черт побери! Жене будет оставлено достаточно, детей он тоже обеспечит. Надо пожить, пока не поздно, пожить наконец в свое удовольствие.

Словом, спустя полгода, пройдя через все адовы круги бракоразводного процесса и раздела имущества, он обручается с молоденькой секретаршей и начинает новую жизнь, которая новой бывает в общем-то только на первых порах...

Николай Николаевич Нестеров, ныне академик, лауреат Государственных премий, почетный член одной иностранной Академии наук, родился и вырос не за границей, но история его первой и второй женитьбы укладывается в вышеописанный стереотип, правда, с некоторыми существенными отклонениями от него.

По окончании университета Николай Николаевич был принят ассистентом к крупному советскому ученому, работавшему в области физической химии. Он не делал карьеру, потому что, во-первых, не принадлежал к числу карьеристов, а во-вторых, в этом не было необходимости. Но он трудился как одержимый, очень много экспериментировал в поисках опытного подтверждения идей, выдвигаемых его маститым руководителем. Сама собой сложилась кандидатская диссертация, которая при защите была признана достойной докторского ранга. В двадцать семь лет он женился на выпускнице того факультета, где когда-то учился сам и где читал небольшой курс лекций. Родился сын, через год — второй. Николай Николаевич получил самостоятельную работу, в его распоряжение была выделена целая лаборатория. Он обладал, как выяснилось еще в студенческую пору, талантом ученого-теоретика и способностями тонкого, остроумного экспериментатора — сочетание не столь частое.

В общем, он так ушел в науку, что не замечал ничего и никого вокруг себя, и поднял голову, и огляделся только в сорок пять лет. Тут-то известный ученый Нестеров и увидел по-настоящему свою двадцатилетнюю лаборантку Олю и тотчас в нее влюбился со всем пылом, как говорится, нерастраченной души.

Сыновья его были, можно считать, взрослыми: старший заканчивал школу, младший учился в девятом классе. Николай Николаевич не собирался их лишать отеческой заботы и попечения. Он положил себе законом обеспечить до последнего дня и прежнюю супругу, которую, как выяснилось, он вовсе не любил. Разрыв получился болезненным — разумеется, больше для его супруги,— но что тут поделаешь? Любовь сорокапятилетнего к двадцатилетней — явление такого несокрушимого порядка, что ни жалобами в партком и завком, ни вызовом на ковер пред начальнические очи, ни угрозами покинутой жены отравиться ее не истребить, не погасить. Ее может постепенно низвести на заурядный уровень только будущая совместная жизнь.

К моменту излагаемых событий Николаю Николаевичу исполнилось шестьдесят шесть лет. Ольге Михайловне — сорок один. Ник, как звала его на людях Ольга Михайловна, давно уже был дедушкой трех внуков. Он их ни разу не видел, но не очень-то из-за этого страдал. Он и с сыновьями встречался не каждый год, однако в помощи никогда им не отказывал. Если он и любил кого-нибудь глубоко и преданно, так только свою дочь, Галю, родившуюся уже в городе К., куда Николай Николаевич переехал из Москвы сразу после развода. Здесь ему дали под начало большой научно-исследовательский институт, но, поруководив три года, он понял, что эта должность не по нему, и попросил дать ему возможность заняться чистой наукой. Просьбу, конечно, уважили, так как проблемы, интересовавшие академика Нестерова, имели в перспективе огромное прикладное значение. Для отдохновения души, для разрядки Николай Николаевич читал иногда лекции студентам.

Ольга Михайловна обладала, как сказали бы встарь, натурой нервического склада. Это особенно проявилось после родов и выразилось довольно оригинальным образом. Молодая, цветущая женщина вдруг возомнила себя бесповоротно чахнущим существом, обреченным на быстрое угасание. Конечно же, муж всячески старался уверить ее в обратном, оберегал от всего, что могло бы причинить вред чувствительной нервной системе его юной жены. Конечно же, была найдена и нанята нянька к ребенку, который вскармливался не грудью — грудь Ольга Михайловна не хотела портить,— а на искусственном питании. Не проходило недели, чтобы она не вызывала на дом врача, пока, наконец, по прошествии какого-то времени Ольга Михайловна не разуверилась и в аллопатии и в гомеопатии. После этого началось лечение травами, а от каких болезней — неизвестно, потому что никакого точного диагноза никто из врачевавших Ольгу Михайловну поставить не мог.

До школы Галя почти не знала свою маму. Хорошо, если она видела ее хотя бы раз в день. Азбуке Галю научила няня, а счету — папа. Но когда она пошла в школу, Ольга Михайловна решительно взяла дело дальнейшего воспитания дочери в собственные руки. Няне оставлена была кухня, стиральная доска и пылесос.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—20.

Возвращение резидента

Девочка, естественно, была устроена в специализированную английскую школу и одновременно в музыкальную. Ольга Михайловна хотела, чтобы Галя посещала также гимнастическую секцию Дворца пионеров, но способностей к гимнастике у ребенка не нашли.

Тернистыми были школьные годы Гали. Воспитательный порыв ее мамы, все еще молодой, но с истерзанными нервами, оказался затяжным. К тому же Ольга Михайловна, сама выросшая в рабочей семье, выйдя замуж за академика, каким-то чудесным образом усвоила особую манеру общения с людьми, которую она считала в высшей степени аристократической. Она говорила так тихо, что муж часто вынужден был переспрашивать и иногда начинал задумываться, не глохнет ли он; всем прочим переспрашивать не разрешалось. Приказания няньке, которая превратилась в домработницу, она отдавала одним каким-нибудь словом: «белье» — это значило, что надо сменить постельное белье; «мясо» — значит, надо готовить мясной обед; «холодно» — следовало закрыть окно и т. д. и т. п. Манера эта распространилась на дочь, так что Гале с малых лет пришлось учиться нелегкому искусству понимать с полуслова. Это невредно в жизни, но маленького человечка держит в страшном напряжении. Пока-то он научится...

Николай Николаевич, обретя счастье и покой в новой семье, ощутил прилив творческой энергии и занялся разработкой сложнейшей научной проблемы, волновавшей тогда физиков всего мира. Как в лучшие свои молодые годы, он с головой ушел в дело, однако в отличие от прошлых лет находил время возиться с доченькой, что доставляло ему неведомую дотоле радость. Зная, что жена придерживается спартанского метода воспитания, он потихоньку от нее скрашивал суровое существование Гали подарочками и подарками и таким образом способствовал некоему раздвоению личности у своей любимой доченьки: мать требовала от нее полной правдивости и откровенности, а подарки надо было прятать. В педагогике родители были несильны, особенно отец, поэтому ничего удивительного, что Галя росла одновременно и скрытным и стеснительно открытым ребенком. С годами папины подарки становились все дороже, а это заставляло Галю быть изощреннее в их сокрытии, пока не произошел взрыв. Действуя в совершенном противоречии со своими аристократическими замашками, Ольга Михайловна устроила однажды тотальную ревизию всего Галиного имущества, то есть попросту обыскала ее комнату. Найдя в шкафу и в ящиках письменного стола целый склад безделушек, в том числе несколько драгоценных, Ольга Михайловна учинила дочери допрос, а узнав об источнике этих богатств, устроила мужу скандал шепотом. Безделушки она оставила их владелице, но постановила, чтобы впредь подарки делались только с ее ведома.

Родительский разнобой в методах воспитания, кроме двойственности характера, выработал в Гале еще одно качество скорее положительного, чем отрицательного свойства: она научилась разбираться в самоцветах, в драгоценных камнях и полюбила их — не из тяги к приобретательству, а чисто эстетически. Отец продолжал поощрять ее в этом направлении новыми подарками, которые она стала прятать у него в кабинете.

Самое же существенное, к чему привела всеподавляющая родительская власть Ольги Михайловны, заключалось в том, что из Гали сформировался человек, совершенно лишенный какой-либо самоуверенности. Это хорошо только до известного предела — когда про такого человека все-таки можно сказать, что он не лишен уверенности в себе. К сожалению, о Гале этого сказать было нельзя.

Николай Николаевич обожал свою дочь. В нем было столько нежности к ней, что это до известной степени компенсировало расчетливую сдержанность и даже холодность матери. Он узнавал себя в Гале не только по чертам лица, но и по мельчайшим проявлениям нрава. И когда в редкие минуты удрученного духа ему хотелось излить перед кем-нибудь свои думы и сомнения, он выбирал наперсницей дочь, хотя она не понимала и половины из того, что он говорил. Обычно это касалось его взаимоотношений с сыновьями и бывшей

женой или его размолвок с теперешней женой, матерью Гали.

Эти размолвки Николай Николаевич подавал в шутливых тонах, словно с целью показать дочери, из-за каких пустяков могут близкие люди отравлять друг другу жизнь и как это в общем-то глупо.

Тем не менее на него эти пустяки постепенно оказывали все большее влияние, и он, чтобы свести до минимума время семейных бесед, при которых и возникали недоразумения и стычки, начал понемногу работать дома. Не отличаясь педантизмом и аккуратностью в чисто бытовом плане, Николай Николаевич все же, как правило, делал свои вычисления, писал длиннейшие формулы в особом блокноте и, окончив работу, обязательно прятал его в портфель. Но иной раз он забывал этот блокнот в институте и в таких случаях писал дома в ученических тетрадях или на отдельных листках. Утром он листки собирал со стола и прятал в секретер — старинный, из цельного красного дерева, в который был вделан маленький несгораемый ящик (наподобие того, как в холодильник вделана морозильная камера). То, над чем он трудился, разглашению не подлежало.

При малейших признаках, что нервы матери натянуты, а следовательно, атмосфера в доме сгущается, Галя уходила к себе, ложилась в постель и читала.

До знакомства со Светланой Суховой подруг у нее, в сущности, не было,— отчасти потому, что она не отличалась общительностью, отчасти в силу того, что мама постоянно твердила ей о необходимости быть разборчивой в знакомствах, хотя, честно говоря, в чем это должно заключаться, Ольга Михайловна не умела объяснить.

Дружба со Светланой основывалась на резкой разнице темпераментов.

Вспыльчивая и отходчивая, едкая и добродушная, но всегда упрямая и настойчивая Светлана поразила воображение тихой, ровной, привыкшей к раздумью Гали. Они быстро сошлись, и само собой установилось, что во всем, кроме учебы, первой была Светлана, она верховодила и наставляла. Казалось бы, Галю, испытавшую полной мерой тяжесть родительского гнета, не должно устраивать такое положение, однако ей, наоборот, нравилось подчиняться Светлане. Вероятно, сказывалась привычка быть все время руководимой кем-то. И потом, как говорит современная наука, в каждом коллективе, даже если он состоит всего из двух человек, непременно кто-то должен быть лидером, а кто-то ведомым. Гале роль лидера никак не подходила.

Светлана многому научила подругу, в том числе умению рассказывать матери не всю правду о своих делах. Это особенно пригодилось Гале, когда она принесла домой вещи, присланные Пьетро Маттинелли. Галя объяснила, что все это привез из Италии и продал Светлане какой-то итальянец, работающий на монтаже оборудования на химкомбинате. Ему понадобились деньги для покупки сувениров родным и друзьям, так как он уезжает в Италию. Деньги же у нее скопились за полгода, и вообще покупка недорогая, каких-то шестьдесят рублей.

Ольга Михайловна еще три года назад пожелала лично побеседовать с новоявленной подругой дочери. Галя привела к себе Светлану, и последняя была принята Ольгой Михайловной в столовой комнате за вечерним чаем. «Шумна немножко, но, кажется, девочка незлая»,— сказала Ольга Михайловна, когда Светлана ушла. Выбор Гали был одобрен. А Светлана сказала Гале так: «Важная у тебя мамуля, только, по-моему, близорукая...»

Даже при кратком жизнеописании семьи Нестеровых было бы упущением не сказать о том, как ставился и понимался родителями вопрос о замужестве Гали.

Ей шел двадцать первый год. Как раз в этом возрасте сама Ольга Михайловна вышла замуж за Николая Николаевича... Что касается дочери, то Ольга Михайловна категорически определила: Галя выйдет замуж не прежде, чем окончит университет и устроится на работу. Второе непременное условие: ее муж должен быть ей ровесником; если старше, то не более как на пять лет.

Отсюда можно сделать заключение, что Ольга Михайловна считала собственный брак весьма далеким от идеала.

Николай Николаевич данной проблемой не интересовался. Он сформулировал свою точку зрения следующим образом: «Пусть будет, как будет». Это была несколько перефразированная цитата из гашековского «Бравого солдата Швейка».

Глава 9

БРОКМАН НАШЕЛСЯ

Дальнейшее пребывание в Африке становилось бессмысленным. Михаил собрал достаточно сведений, чтобы представить Центру объективный доклад о положении португальской колонии, в которой он находился. Брокман улетел в Европу, следовательно, и личных интересов Михаил в Африке больше не имел.

Срок контракта кончался только через восемь месяцев, но он считал, что выданный ему аванс отработал, а вторую половину договорного жалованья, которую переводят на счет в банке, ему не получать.

Уехать — вернее, бежать — оказалось делом сложным, рассказ об этом занял бы слишком много места, но так или иначе, а однажды осенним днем Михаил добрался до Танжера. Оттуда попасть в Европу уже нетрудно.

Первым долгом он отправился в Париж, чтобы повидаться с Доном.

Михаил не собирался останавливаться здесь даже на сутки — надо зайти к Дону попросить о продолжении поисков Брокмана и в Центр. Но ему пришлось изменить планы.

Прямо с вокзала он приехал на такси в бар Дона, и едва они друг друга увидели, Михаил сразу понял, что у его друга есть важные новости. Дон высоко приподнял свои рыжие брови, поздоровался с ним очень церемонно и жестом пригласил пройти в дверь за стойкой. А за дверью был коридорчик, ведущий в контору Дона. Ждал Михаил недолго.

Дон явился и заговорил в несвойственном ему стиле — с порога начал задавать вопросы.

— Оттуда?

— Да.

— Видел его?

— Видел.

— Газеты читал?

— Английских и французских — нет.

— А какие-нибудь особенные акции у вас были?

— Какая-то операция в джунглях.

— Брокман в ней участвовал?

— Да. Ранен.

— В руку?

— Да. А откуда тебе это известно? — в свою очередь, задал вопрос Михаил.

— Надо читать газеты. Его из джунглей на вертолете вывозили?

— В том числе и его.

— Ну вот, значит, все сходится. Но надо еще проверить.

— Ради бога, что сходится, что проверить?

— Руководители повстанцев дали интервью журналистам. Газеты писали, что на этих руководителей готовилось покушение.

— Какое же покушение, если там идет настоящая война?

— Ну, называть можно по-разному. Пусть будет диверсия.

— Но при чем здесь Брокман? — Кажется, точно такой же вопрос Михаил задавал Дону еще при первых разговорах о Брокмане.

— Газеты писали, что группа диверсантов состояла из профессиональных наемных убийц. Публиковали даже два портрета, но не Брокмана. Он был в этой группе.

— А что надо проверить?

— Писали, будто все эти парни работают на ту же контору, что и мы с тобой.

— Вот как...

— Это лишь предположение.

— А как же можно проверить?

Дон прижал левую ладонь к сердцу.

— Разреши, пожалуйста, не все тебе рассказывать.

— В нашем с тобой деле чем меньше знаешь, тем лучше,— сказал Михаил.

— Не всегда, но в данном случае ты прав.

— И долго надо проверять?

— Дай мне хотя бы неделю.

— Мне не к спеху.

— Ты, между прочим, в конторе и сам после можешь проверить,— как бы оправдываясь, сказал Дон.

— Меня на кухню не пускают.— Михаил погасил сигарету в пепельнице и встал.

— Выпить не хочешь?

— Нет. Пойду в отель потише, возьму номер потеплее и залягу спать. Я тебе позвоню.

...Через четыре дня Дон сообщил, что Брокман (под другой фамилией, разумеется) входил в группу, которая действовала по заданию Центра. Более того, Дон узнал, что Брокман из Парижа улетел в город, поблизости от которого находилась главная квартира Центра. Михаил отправился туда же.

Спустя сутки он предстал перед Монахом, перед своим начальником, с устным докладом. Но Монах выслушал только вступление, а потом прервал его:

— Вы напишите все на бумаге. В подробности не вдавайтесь. Набросайте общую картину того, что видели.

Михаил составил письменный доклад. Монах прочел и сказал:

— Хорошо. Возвращайтесь к своим прежним занятиям, а там посмотрим.

Как Михаил и предполагал, его опять загрузили самой скучной для разведчика работой, которая носила даже не аналитический, а скорее статистический характер. Приходилось по восемь часов в день корпеть над малоинтересными, раздутыми и беллетризованными донесениями обширной агентуры Центра, выуживая из вороха словесной соломы редкие зерна полезной информации. Утешало лишь соображение, что эти зерна истины сослужат службу не только здешним.

Положение в Центре оставалось неспокойным, и Монах, видя в Себастьяне приставленного к нему контролера, становился раздражительным. Их плохо скрываемое взаимное недоброжелательство превратилось в почти открытую вражду. Они терпели друг друга лишь в силу служебной необходимости.

Совсем недавно произошло несчастье с агентом, на которого Центр возложил миссию особой важности в одной из стран социалистического содружества. Это произошло по вине Себастьяна, который снабдил агента явками, засвеченными еще за год перед тем. Монах предвидел это и предостерегал, но Себастьян настоял на засылке, и в результате Центр имел огромные неприятности. После того случая Себастьян решил во что бы то ни стало себя реабилитировать, а так как по натуре он был злобным и в общем-то мелкотравчатым субъектом, он избрал для этого способ, который наиболее полно отвечал его натуре: Себастьян начал рассчитанную на длительный срок кампанию проверки сотрудников Центра — всех поголовно, невзирая на лица. Однажды в порыве служебного рвения он сказал Монаху, что кое-кто из сотрудников ведет двойную игру и что он, Монах, явно недооценивает опасности такого положения. Монах тогда язвительно ему заметил: «Может, вы и меня подозреваете тоже?» Себастьян затаил обиду и спустя некоторое время написал рапорт высшему начальству, где резко осуждал шефа за потерю бдительности. Но начальство усмотрело в рапорте совсем иное. Их обоих, его и Монаха, вызвали на ковер и задали Себастьяну вопрос в лоб: уж не хочет ли он занять место шефа? А кончилось тем, что им предложили поддерживать между собой рабочие отношения. Однако идею Себастьяна о дополнительной проверке лояльности сотрудников одобрили. (Об этом Монах однажды за коньяком рассказывал Михаилу.)

Себастьян разработал целый комплекс соответствующих мероприятий и приступил к его осуществлению. Относительно Михаила Тульева у него имелся особый метод. Например, однажды он вызвал Михаила к себе в кабинет и положил перед ним фотографию: перед подъездом здания КГБ на площади Дзержинского стоит Бекас — Павел Синицын.

— Узнаете своего друга? — спросил Себастьян бодрым тоном.

Михаил взял карточку, посмотрел внимательно и спокойно сказал:

— Это Бекас.

— А дом вам тоже знаком?

— Наверное. Комитет госбезопасности в Москве.

— Как же насчет Бекаса?

Если бы Михаил и не знал о блестящих монтажных способностях главного фотомастера Центра Теодора Шмидта, то он все равно не поддался бы на провокацию. Фотомонтаж был хороший, но Себастьян не учел одной детали: Павел — Бекас на карточке одет в ту куртку и те брюки, которые носил во время своего пребывания здесь, в Центре. И потом это же крайне грубая работа: с какой стати советский контрразведчик Павел Синицын, он же Бекас, будет фотографироваться или позволит кому-нибудь сфотографировать себя на фоне здания КГБ?

— Хотите откровенно? — спросил Михаил, наклоняясь к Себастьяну.

Тот отстранился.

— Это серьезнее, чем вы думаете. Я и раньше говорил и теперь говорю: Бекас нам подставлен.

Правильно рассуждал Себастьян, но беда его заключалась в том, что он сам и верил и не верил этому. У него не было определенности.

Михаил решил промолчать, и Себастьян вынужден был повторить свой вопрос:

— Так что вы скажете по поводу этого снимка?

— Теодор Шмидт — прекрасный мастер, больше тут ничего не скажешь.

Себастьяна передернуло. Он быстро взял карточку, положил ее в карман.

— Не считайте других глупее себя, — важно сказал он.

— Но вы посмотрите на снимок как следует. Обратите внимание, как одет Бекас.

Себастьян смотреть не стал. На этом беседа закончилась.

Другой способ проверки Михаила Тульева должен был осуществиться на территории Советского Союза, но об этом он узнал гораздо позже...

Медленно тянулось для него время. С привычной осторожностью он упорно искал след Брокмана. Почти во всех отделах у Михаила были хорошие знакомые, но наводить о ком бы то ни было справки окольными вопросами, а тем более открытым текстом в разведцентре и раньше не разрешалось, а при теперешней атмосфере и подавно.

Потом произошло событие, приятное для большинства сотрудников Центра: Себастьяна вызывали за океан, и, как поговаривали, надолго. Высказывалось предположение, что он поехал в ЦРУ повышать квалификацию. Так или не так, но почти все были рады, особенно Монах. И его легко понять.

Для Михаила отъезд Себастьяна обернулся наилучшим образом.

На следующий день его позвал Монах — не в служебный кабинет, а домой.

Против ожиданий, Монах не предложил коньяку и сам был трезв как стеклышко.

Показав Михаилу на кресло, он сел напротив, закурил и спросил:

— Между прочим, помните того парня, с которым вас разменяли?

— Конечно, — сказал Михаил.

— Его зовут Владимир Уткин. Он до сих пор там. Надежная легенда оказалась.

К чему это было сказано, Михаил не успел сообразить, потому что Монах задал новый вопрос:

— Этот ваш Бекас может убрать человека?

Чтобы выгадать время и замаскировать свое удивление, Михаил немного помолчал.

— Я уж про него забыл, — произнес он наконец раздумчиво. — Давно было.

— Но все-таки... — настаивал Монах.

— Если вы помните его историю...

— Помню, — живо перебил Монах.

— Он убил часового, когда бежал из колонии. Но вообще-то Бекас принципиально против мокрых дел. Он профессиональный вор. Тогда это было по необходимости.

— Думаете, не согласится?

— Скорее всего, нет.

— Можно пригрозить.

— Выдать его милиции за то убийство? — удивленно спросил Михаил.

— Да.

— Этот шантаж я уже однажды использовал.

— Можно повторить.

Нельзя было рассчитывать, что Монах возьмет и вот так сразу и выложит все подробности задуманного или задумываемого им. Однако Михаил попробовал:

— Смотря по обстоятельствам. Бекас — личность непростая, действует с разбором.

— Речь идет о рядовом убийстве.

— Нужен стимул.

— Деньги он получит.

— С них и надо начинать.

— Хорошо, мы еще к этому вернемся, — подвел черту Монах.—Я вас звал не за этим.

Он встал, прошелся по толстому пушистому синему ковру из угла в угол и сказал:

— Завтра я вас познакомлю с одним нашим сотрудником. Он родился в России, но пятилетним мальчиком попал в Германию и потом остался на Западе. — Он выдержал небольшую паузу и затем снова заговорил: — Вы проверите, насколько хорошо он владеет русским языком. Если есть недостатки, вы определите, как их исправить, чтобы он говорил на современном русском. Это раз. Два: вы будете на протяжении двух месяцев учить его советскому образу жизни и советскому образу мысли. — Тут Михаил слегка усмехнулся, и Монах тотчас это заметил: — Не улыбайтесь... А впрочем, вы правы. И мы сделаем вот что. Учение будет гораздо эффективнее, если вы с ним станете жить вместе. Да, да, именно так. Вы не против, надеюсь?

Еще бы ему быть против!

— С большой охотой.

Монах сказал:

— Вы немножко прокисать начинаете на своей работе. Ничего, теперь будет веселее.

На той же неделе Монах снова вызвал Михаила, и опять к себе домой. Это всегда много значило: в домашней обстановке Монах вершил самые важные дела Центра, так у него было заведено. При этом неукоснительно соблюдалось одно правило: приглашенный обязан проникать на виллу Монаха тайно, чтобы никто не видел его входящим в дверь. Похоже на игру, но определенный смысл в этом все же был. По меньшей мере Монах таким образом ограждал себя и своих исполнителей от всевидящего ока Себастьяна, чего в служебном кабинете не избежать.

Декабрьский вечер был темный и холодный. Шел дождь пополам со снегом.

На вилле Монаха, стоявшей в окружении голых деревьев поодаль от других вилл, не светилось ни одно окно.

Михаил кружным путем вышел к вилле со стороны сада, перелез через двухметровую железную ограду, по раскисшей дорожке прошагал к двери, которая вела на кухню, нащупал за косяком кнопку звонка. Открыл ему сам Монах: слуга, вероятно, был отпущен на этот вечер.

Войдя следом за хозяином в гостиную, Михаил не сразу заметил сидевшего в кресле человека, а когда тот поднялся и шагнул в круг света, падавшего на ковер из-под огромного, как зонт, абажура, Михаил невольно приостановился. Перед ним стоял Карл Брокман.

По установившейся традиции, сотрудники разведцентра, если они познакомились ранее на какой-то нейтральной почве, не имели права показывать этого никому, особенно же начальству. Михаилу эта традиция была известна, Брокману, судя по всему, тоже — стало быть, или он уже давно работает здесь, или его кто-то научил, предупредил. Михаил видел, что Брокман тоже его узнал и что он удивлен не менее.

Монах ничего не заметил. Он представил их друг другу:

— Михаил Мишле. — И, показав рукой на Брокмана: — Прохоров Владимир. Прошу любить и жаловать.

Монах произнес это по-русски, пользуясь случаем проверить свои знания в чужом языке. Мишле — одна из фамилий, под которыми Михаил работал в Европе.

Брокман протянул Михаилу руку, Михаил пожал ее.

— Садитесь, — пригласил Монах. — Можете курить.

Он подвинул кресло к круглому столику, сел. Они тоже сели.

— Итак, — сказал Монах по-немецки, обращаясь к Михаилу,—выслушайте мою длинную речь, а потом будете задавать вопросы... Ваш подопечный Владимир Прохоров владеет русским, но не имеет никакого представления о бытовой стороне жизни в Советском Союзе... Впрочем, об этом я уже говорил... Как общаются между собой люди на работе, на улице, в кино? Как нужно относиться к сослуживцам, к начальству? Как знакомятся с женщинами? Все это и многое другое для него пока за семью печатями. Вы должны научить его... И заметьте себе: тут нет мелочей, которыми можно пренебречь... Я рассказывал вам, на чем однажды засветился один разведчик?

Михаил слышал от Монаха эту историю, но, чтобы подыграть ему, сказал:

— Не знаю, что вы имеете в виду. Интересно послушать.

— Его, этого опытного разведчика, выдали шнурки на ботинках. Да, да. Он приехал в страну, где должен был осесть надолго. Шнурки были завязаны у него бантиком и болтались на виду. Там мужчины имеют обычай прятать концы шнурков внутрь. А он с первого шага выдавал себя за коренного жителя... Ну и, конечно, нашелся дотошный человек, который на эти шнурки обратил пристальное внимание. И — провал. Понимаете, что значат мелочи? — Монах обернулся к Брокману. — Вы еще молоды, а ваш наставник кое-что повидал. Слушайте его. Старших полезно слушать. А теперь вопросы.

— Мы по-прежнему будем жить здесь? — спросил Михаил.

— Нет, тут никто не должен видеть вас вместе. Поезжайте в Швейцарию, выберите курорт, какой хотите, и живите тихо. В Цюрихе и Женеве показываться не рекомендую. Что еще?

— Когда приступать?

— Чем скорее, тем лучше. Документы и деньги завтра у меня.

Брокман вопросов не задавал, и Михаил подумал про себя, что этот наемный убийца, а ныне кандидат в разведчики обладает, должно быть, спокойным характером. Или туп как пень. Одно из двух...

— Надо сразу условиться о месте встречи,— сказал Михаил.

— Вы знаете Берн? — спросил Монах.

— Плохо.

— Сонный городишко. То, что вам надо. Там на Цейхгаузштрассе есть отель «Метрополь». В нем вы и встретитесь. А жить я посоветовал бы в Гштаде. Прелестный курорт.

Михаил уехал через день. В Берне он поселился в отеле, указанном Монахом. Вечером позвонил в один из отелей Гштаада — выбор был сделан по рекомендации хозяина бернского отеля — и легко договорился о двух номерах. До весеннего лыжного сезона было еще далеко.

Утром в номер постучали. Это был Брокман. Они поздоровались уже как давно знакомые.

В чинной швейцарской столице задерживаться им не хотелось, поэтому решили после завтрака отправиться на вокзал.

От Берна до Гштаада по железной дороге километров около ста. Неторопливый поезд доставил их к отрогам Бернских Альп. Сразу за крошечным зданием вокзала — асфальтированная узкая улица, по которой они пошли вправо, на подъем. Через пять минут Брокман первым вошел в отель, с хозяином которого Михаил говорил по телефону.

Номера им дали соседние, на втором этаже. Оставив чемоданы, они отправились прогуляться.

Выйдя из отеля и глубоко вздохнув, Михаил почему-то вдруг вспомнил далекий отсюда город, где живут два любимых его существа — жена Мария и сын Сашка, и тот ясный январский денек, когда он в воскресенье лежал в постели, в теплой комнате, а Мария внесла с улицы заледенелое, залубеневшее белье, громыхавшее жестяно и льдисто, и комната наполнилась чистым свежим запахом мороза. Михаил поднял голову, поглядел на недалекие снежные горы и понял, откуда это внезапное воспоминание: пахло снегом.

Но он тут же представил себе отца, рухнувшего от удара в висок, Брокмана с железкой, отлитой по слепку с мраморной ступеньки, на мгновение склонившегося над распростертым недвижно телом, и видение далеких лет, закрепленное в памяти запахом чистого, внесенного с мороза белья, развеялось.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки М. Петровой

ПОВЕСТЬ

Возвращение резидента

Глава 10

ВТОРАЯ ПОСЫЛКА И ПЕРСТЕНЬ С ИЗУМРУДОМ

Галя Нестерова вечером лежа читала книгу, когда зазвонил телефон. Сняв трубку, она услышала голос Светланы, звучавший необычно взволнованно.

— Галка, ты одна? Мать из Москвы еще не вернулась?

— Нет.

Ольга Михайловна была в это время в Москве, куда поехала за консультацией к какому-то профессору по поводу своих болезней, Николай Николаевич был у себя в институте.

— Слушай,— продолжала Светлана,— вернулся Виктор Андреевич. Прямо не знаю, что делать. Кошмар какой-то.

Виктор Андреевич за две недели до этого сказал им, что едет в Италию.

— В чем кошмар?— спросила Галя.

— Колоссальную посылку привез. Мне ее домой нести нельзя. Мать на стенку полезет.

— Может, приедешь ко мне?— нерешительно предложила Галя.— Только поскорее.

— Об том и прошу. А почему поскорее?

— Папа должён прийти.

— Ну, это ничего. Я сейчас.

Светлана появилась взволнованная, румяная не то от мороза, не то от спешки.

— Вот, еле дотащила,— сказала она, ставя на стол большой кожаный чемодан.

Она разделась, бросила пальто и шапочку на Галину постель, и они принялись разбирать содержимое чемодана. Тут были замшевые юбки и куртки, шерстяные кофты, кожаные сумки, колготки различных цветов в глянцево блестевшей упаковке и масса различных мелочей. Была и жевательная резинка. А из своей сумочки Светлана достала золотое кольцо. На сей раз она уже не высказывала сомнений, настоящее это или подделка.

Впервые Галя видела подругу такой взвинченной. Да у нее и у самой разбегались глаза.

Начали примеривать вещи, и тут выяснилось, что почти все прислано в двух экземплярах.

— Он просто непонятный человек,— сказала Галя.— Тут и на меня рассчитано, что ли?

Светлана вынула из сумочки конверт.

— Прочти.

Буквами, какими пишут в школах первоклассники, Пьетро составил настоящее любовное послание. Он уверял, что жить без Светланы не может. А в постскриптуме было сказано: «Я знаю, вы не желаете принимать подарки. Чтобы это вам легче сделать, посылаю также Гале»,— вот почему все, кроме кольца, было в двух экземплярах.

— Сколько же это может стоить?— сказала Галя.

Стали подсчитывать, оставляя в стороне мелочи. Итог привел подруг в замешательство: получилось что-то около четырех тысяч рублей.

— Я все-таки не понимаю...— растерянно заговорила Галя.

— А может, это любовь?— перебила Светлана словами песенки, но в голосе ее не было всегдашней самоуверенности.

Галя задумалась, глядя на себя в зеркало: как сидит на ней синий замшевый костюм, присланный Пьетро! Светлана примеряла кольцо. Оно точно пришлось на безымянный палец.

— Куда же все это девать?— сказала Галя.

— Не отсылать же обратно.— Светлана уже вполне владела собой.

— Матерям что скажем?

— Ерунда. Давай спрячем у тебя, тут места много. А обновлять потихонечку, сначала одно, потом другое. У тебя накопления бывают, а я своей буду говорить: в кредит покупаю. Главное — постепенно. Девиз умеренных и благонравных.

— У меня тоже ненадежно. Мама ревизии устраивает, ты же знаешь.

— А давай в кабинет к отцу. Ты ведь этим приемом успешно пользовалась.

— Это, конечно, лучше. Но что делать с чемоданом?

— Продадим. В комиссионный. На черта нам такой? Слишком шикарно.

Кабинет Николая Николаевича представлял собой большую, не менее тридцати квадратных метров комнату в два окна. Письменный стол стоял боком к окну в дальнем от двери углу. Две стены были сплошь в книжных стеллажах, от пола до потолка. Старый, вытертый кожаный диван, накрытый пледом, занимал темный угол у двери. Еще здесь было два низких широких шкафа и старинный секретер. В шкафы, как знала Галя, отец не заглядывал, потому что там лежали его студенческие учебники и рукописи давних работ. Они ему не были нужны, но выбрасывать их он не разрешал. В шкафах и в секретере нашлось достаточно места, чтобы рассовать вещи. Правда, все основательно пропылится, но это поправимо.

Светлана на первый раз взяла домой присланную Пьетро кожаную сумку с тисненым орнаментом,— ее старая уже поролась по швам. Кольцо легко спрятать дома.

— Да, чуть не забыла,— сказала она на прощание.— Виктор Андреевич хочет нас видеть завтра вечером. Ты никуда не скрывайся...

Надо заметить, что к тому времени у Виктора Андреевича установились с подругами отношения, приятные для обеих сторон. Он удачно исполнял роль доброго, умудренного житейским опытом дядюшки. В их присутствии он, так сказать, отогревался сердцем, и потому встречи с ними происходили довольно часто и всегда по его инициативе. Признавшись как-то, что имеет слабость к вину, Виктор Андреевич при каждой встрече старался угостить Светлану и Галю. Таким образом, скоро в городе не осталось ресторана, где бы они не побывали. В некоторых ресторанах их принимали с почетом, как постоянных клиентов.

Виктор Андреевич по мере сил прививал подругам довольно пошлый взгляд на вещи, часто повторяя, что жить надо проще, смотреть на жизнь легко, не делать из всякого пустяка проблему и не задумываться о будущем. Когда Светлана говорила, что для этого необходимо иметь много денег, Виктор Андреевич возражал: женщинам их иметь не обязательно, они должны быть у мужчин. Надо только уметь найти того, кто готов тратить ради прекрасных женских глаз. Как, например, итальянец Пьетро Маттинелли.

Все это излагалось полушутя-полусерьезно, но что-то, вероятно, оседало в неокрепших душах подруг, по крайней мере это не исключается.

В иные встречи, когда не ходили в ресторан, Виктор Андреевич катал Светлану и Галю на своей машине, они совершали поездки за город. Эти автопрогулки не прекратились и с наступлением зимы.

Мать Светланы, кажется, не замечала, что образ жизни ее дочери в последние полгода заметно изменился. Светлана возвращалась после встреч с Виктором Андреевичем поздно,— как правило, Вера Сергеевна уже спала. Галя вообще была свободна от всякого надзора, так как Ольга Михайловна снова вступила в полосу длительного лечения нервов.

Светлана повзрослела за прошедшие полгода в общении с Виктором Андреевичем, и совсем недавняя дружба с Лешей представлялась ей какой-то детской глупостью.

Совершенно особняком стоял для нее вопрос о Пьетро Маттинелли. Сказать, что ее самолюбию льстило чувство, которое она возбудила в молодом интересном итальянце,— значит сказать лишь половину. Первую посылку она расценила просто как знак внимания. Вторая укрепила в ней сознание своей власти над людьми, особенно над мужчинами. И вместе с тем, получив вторую посылку, она впервые ощутила готовность подчиниться мужской воле. Она испытывала к Пьетро самые нежные чувства.

Неизвестно, что бы она испытывала, будь присланные вещи не столь дорогие и не в таком количестве, но тому, кто позволил бы себе намекнуть ей о покупных чувствах, она бы, не задумываясь, дала пощечину. По прискорбному обычаю, распространенному на всем земном шаре, Светлана не хотела видеть неприглядную оборотную сторону медали. Большинство из нас в хорошие минуты склонно рассуждать так: да, в жизни случается много плохого, но это—с другими, а со мной никогда случиться не может.

Словом, Светлана, по ее разумению, поступала не лучше и не хуже других. Но оставим это моралистам и вернемся к нашему повествованию.

...Виктор Андреевич заехал за Светланой в универмаг в восемь вечера. Там уже была и Галя. Он сказал, что будет ждать их в своей машине, и спустился вниз. «В своей машине» означало, что сегодня они в ресторан не пойдут.

Светлана села на переднее сиденье, рядом с Виктором Андреевичем, Галя сзади.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—21.

Виктор Андреевич поехал по центральной улице, потом свернул в сторону московского шоссе.

— Ну, как, угодил? — спросил он, имея в виду присланные вещи.

— Не то слово,— сказала Светлана.— Но все-таки мы с Галей все думаем: с чего такая щедрость?

— Нравитесь вы ему, Светланочка.

Виктор Андреевич посмотрел на Галю.

— Мама еще не вернулась?

— Нет.

— А папа все работает?

— Работает.

— Не поехать ли к вам домой?

— А что там делать? — сказала Светлана.

— Посидим. Галя чаю даст. Вы как, Галя?

Она колебалась. Что сказать отцу, если он вдруг увидит в доме незнакомого пожилого мужчину? Галя попыталась в полутьме машины разглядеть на своих часах, сколько времени.

— Сейчас половина девятого,— подсказал Виктор Андреевич.

— Отец приходит в начале одиннадцатого,— прикинула Галя.— Вообще-то на часок можно.

Виктор Андреевич развернул машину. Без десяти девять они были у Гали. Закрыв за собой дверь, Галя бросила ключи на подзеркальный столик.

Галя предложила им не чаю, а кофе. Они с отцом пили его, только когда Ольги Михайловны не было дома, потому что ее сильно раздражал кофейный запах.

Пока Галя была на кухне, Виктор Андреевич завел со Светланой доверительный разговор.

— Хочу с вами посоветоваться,— сказал он тихо.— Щекотливое дело.

— Мы друзья.

— Вы думаете, я бесплатно катаю вас на автомобиле? — кисло пошутил Виктор Андреевич.

— А вы ближе к делу,— предложила она.

— Видите ли, Светлана, я в последнее время несколько поиздержался.— Он замахал руками, предвосхищая ее возможную реплику.— Нет, нет, наши невинные сидения в ресторанах здесь ни при чем. Были другие причины.

— Чем я могу помочь? — серьезно спросила она.— У меня, правда, сберкнижки нет.

Виктор Андреевич быстро сунул руку в кармашек жилета и показал Светлане серебряно блеснувший перстень с большим зеленым камнем и спросил:

— Как вы думаете, сколько стоит?

— Понятия не имею. Это надо у Галины спросить, она специалистка, она знает.

— Я тоже знаю. Это стоит не менее тысячи рублей. Но мне нужно семьсот. Кажется, у меня опять будет командировка.

— Вы хотите его продать?

— Да. Но там, где эти вещи покупают, мне появляться очень бы не хотелось. Я езжу за границу... Ну и вообще...

— Понимаю,— сказала Светлана.— Вы хотите, чтобы я его сдала?

— Буду вечно благодарен.

— Меня могут надуть. Мы это сделаем вместе с Галиной.

— Спасибо.— Виктор Андреевич протянул ей перстень. Она положила его в сумку.

Потом Виктор Андреевич встал, прошелся по гостиной и заметил с одобрением:

— Уютный дом.

— Стараниями Ольги Михайловны,— усмехнулась Светлана.

— Галина мама вам не нравится?

— Родителей не выбирают — так, кажется, говорится? Но я бы от нее сбежала.

— Почему же?

— Она Галку с пеленок муштрует. Забитого человека сделала.

— Неужели? Я как-то не замечал.

— Это уж она отошла немножко. А посмотрели бы вы на нее годика три назад.

— А что же папа?

— А что он может сделать? Подслащивает Галкину жизнь подарочками. А вы, значит, опять за границу?

— Не сейчас, чуть позже.

— И снова в Италию?

— По всей вероятности.

— Везет же людям.

— Не хотите написать ему? — спросил Виктор Андреевич.

— Конечно, напишу.

Светлана сбегала в комнату Гали, вернулась с бумагой и ручкой, присела к столику.

Письмо получилось короткое, но энергичное:

«Дорогой Пьетро! Огромное спасибо за все — от меня и от Гали. Зачем такие дорогие подарки? Очень прошу — не тратьте лиры, лучше приезжайте сами. Ждем Вас — чем быстрее, тем лучше.

Светлана.

Привет от Гали».

Виктор Андреевич сложил листок, убрал в портмоне и сказал:

— Между прочим, вы помните первый наш разговор о Пьетро?

— Ну, конечно.

— Вы тогда сказали, он прямой и открытый человек.

— А разве не так?

— Не совсем. Он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я имел случай в этом убедиться.

Светлана хотела что-то спросить, но Виктор Андреевич, увидев входящую Галю, быстро сказал:

— Впрочем, это чепуха.

Галя появилась с серебряным подносом (недавнее нововведение Ольги Михайловны), на котором стояли чашки с кофе и сахарница.

— Виктор Андреевич опять в Италию собрался,— сказала Светлана.— Я записочку написала. От тебя привет.

— Хорошо,— отозвалась Галя.

Виктор Андреевич встал ей навстречу, взял поднос и сказал:

— Я говорю Светлане, у вас прекрасная квартира. Никогда не видел, как живут академики.

— Хотите посмотреть?

— Но прежде выпьем кофе.

Выпив кофе, Виктор Андреевич начал новый разговор.

— Я должен сделать вам одно признание, милые девушки. Не могу умолчать.

— Это всегда интересно, особенно если кто-нибудь признается, что он нехороший человек. Правда, Галка? — сказала Светлана, иронически глядя на Виктора Андреевича.

— У вас ядовитый язык, я, кажется, уже сообщал вам об этом, но вы очень проницательны.— Виктор Андреевич поглядел на нее искоса и добавил: — Я, может быть, и скажу нечто нелестное в свой адрес.

— Просим, просим.

Он посмотрел на Галю.

— Я ведь неспроста напросился к вам в гости. За рулем толком не побеседуешь.

— Не томите, Виктор Андреевич,— сказала Светлана.

— Разрешите один нескромный вопрос?

— Пожалуйста.

— Мы знакомы уже довольно давно, и я убедился, что у вас, Галя, нет молодого человека. Почему? Вы красивая девушка. Это неестественно.

Вместо Гали ответила Светлана:

— Один юноша уже задавал Гале такой вопрос. И с тех пор зарекся.

Виктор Андреевич понял, что поступил опрометчиво, но продолжал развивать тему:

— Я спрашиваю с определенной целью, а не из праздного любопытства.

— Становится все интереснее,— сказала Светлана.

— Нет, правда! — искренне воскликнул Виктор Андреевич.— Я не сват и не сводня, но письмо племянника навело меня на мысль... подтолкнуло...

— У вас есть племянник?

— Да, живет в Москве. Ему тридцать пять. В прошлом году развелся и сейчас одинок.

— А он кто? — Это все спрашивала Светлана. Галя молчала.

— Летчик. Служит в гражданской авиации.

— Слышишь, Галя?

Галя спросила:

— Налить еще?

— Я не хочу больше,—отказалась Светлана.

Разговор о племяннике кончился ничем...

Виктор Андреевич взглянул на часы.

— Без четверти десять. Скоро придет ваш папа, а мы еще не посмотрели квартиру.

Галя повела их из гостиной на кухню, из кухни в свою комнату, затем в комнату матери и, наконец, в кабинет отца. У раскрытого секретера Виктор Андреевич задержался на несколько секунд. Он, между прочим, все время одобрительно причмокивал и хвалил обстановку, чем заставил Галю поглядывать на него с недоумением: его поведение не соответствовало тому образу, который сложился у нее. Восторги были явно преувеличены.

Наконец Виктор Андреевич сказал, когда они пришли в переднюю:

— Пожалуй, пора и честь знать.

— Подождите, мы сейчас,— попросила Светлана, и подруги оставили его одного: Светлане нужно было взять кое-что из вещей, хранящихся в кабинете Николая Николаевича.

Виктор Андреевич моментально преобразился. От солидной неторопливости, округлости жестов не осталось и следа. Он шагнул к столику, где лежали оставленные Галей ключи, вынул из кармана тяжелый, как хоккейная шайба, кусок серого пластилина и быстро, один за другим, сделал на нем оттиски двух ключей — каждый ключ с двух сторон...

Прощаясь с Галей, Виктор Андреевич сказал:

— А насчет племянника моего вы подумайте. Вдруг понравится.

— Чего же думать? Приедет — познакомьте,— снова ответила за подругу Светлана.

— Непременно.

По дороге к дому Светланы в машине Виктор Андреевич мягко напомнил о своей просьбе относительно перстня:

— Вы сумеете выкроить время, чтобы не очень оттягивать? Бедствует человек.

— О чем речь, Виктор Андреевич? — Светлана говорила на этот раз вполне серьезно.— Мы вам так обязаны...

Они не оттягивали. Во время обеденного перерыва Галя зашла к Светлане в универмаг, и они отправились в магазин Ювелирторга — единственный в городе, где у граждан покупают драгоценности.

Оценщик, старик в потертом черном пиджаке и не первой свежести белой рубахе, с плохо повязанным галстуком, сунул себе в глаз окуляр, какими пользуются в часовых мастерских, посмотрел камень, повертел перстень в пальцах и сказал:

— Вам дадут около двух тысяч. Только за камень, не считая платины.

— Спасибо,— поблагодарила Светлана и дернула Галю за рукав шубы. Они покинули магазин.

Когда вышли, Светлана сказала:

— Я думала, это серебро.

— Нет, платина. Это сразу видно.

— Жалко сдавать.

— Да, камень очень хороший.— Галя вздохнула.— А он думает получить всего семьсот?

— Ему столько нужно.

— Странно.

— Ты хочешь сказать, Виктор Андреевич знает этой штучке настоящую цену?

— Он же не маленький, а здесь ребенку ясно. Что-то я не понимаю...

— Может, он нас испытывает? — сказала Светлана.

— Для чего?

— А черт его разберет. Мужик ничего, во всяком случае, не сквалыга, а что еще мы про него знаем?

Они свернули в переулок, ведущий к универмагу, немного прошли молча.

— Тебе очень нравится? — спросила Светлана.

Галя кивнула.

— Тогда нечего рассуждать. Возьми себе.

— Откуда у меня такие деньги?

— Отец даст.

— Не могу я у него столько просить... Вот если бы мамочка моя...

— Лешка говорит: если бы у быка было вымя, он бы был коровой.

— Ты не поняла... Я думаю, может, матери предложить? Она разбирается.

Светлана до этих пор никак не выдавала своего раздражения, но тут не выдержала:

— Эх, мямля ты! Была бы у меня хоть какая-то возможность, я бы не упустила.

Галя пожала плечами.

— Но что же делать?.. Придется сдать...

Светлана протянула Гале перстень.

— У меня рука не поднимется. Лучше уж предложи мамочке.

Галя взяла перстень, хотела положить в сумку, но Светлана сказала:

— Надень на палец, а то потеряешь.

Галя сняла перчатки, попробовала на один палец, на другой.

— Видишь, он мне и велик.

Светлана засмеялась:

— А ты надень на большой. Введешь новую моду.

Серьезный разговор выродился в пустую болтовню, и, подойдя к универмагу, они почти позабыли, по какому немаловажному поводу он начался.

А вскоре приехала Ольга Михайловна. Галя показала маме перстень, сочинив при этом благовидную историю, будто у одной из ее сокурсниц тяжело заболели родители, срочно нужны деньги для лечения.

Разглядев хорошенько перстень, Ольга Михайловна спросила:

— Сколько он стоит?

— Я показывала оценщику. Больше двух тысяч.

— А она просит семьсот?

— Да.

— Дурочка. Хорошо, я возьму, но отдай ей девятьсот.

Ольга Михайловна в тот же день сняла со сберкнижки девятьсот рублей.

Вечером Светлана вручила семьсот рублей Виктору Андреевичу, который остался очень доволен.

Глава 11

ИСПОВЕДЬ НАЕМНОГО УБИЙЦЫ

I

Курортный городок Гштаад постепенно засыпáло снегом. Шла та единственная пора года, когда местных жителей здесь бывает больше, чем приезжих,— во все другие сезоны число отдыхающих значительно превышает число горожан.

Михаил и Брокман вели размеренный образ жизни. Вставали со светом, то есть в девятом часу, принимали душ, брились, завтракали, гуляли (однажды на прогулке Михаил незаметно сфотографировал Брокмана), обедали, играли в карты по маленькой, ужинали и ложились спать. На людях они говорили меж собой по-немецки, а когда оставались одни — только по-русски. Брокман обладал достаточным запасом слов, потому что, как он рассказал, ему приходилось регулярно общаться с выходцами из России, да и как-никак его родным языком был все же русский, он пользовался им до десятилетнего возраста, пока жива была мать. В его выговоре слышался южнорусский акцент, но это ничего не портило.

Специальных лекций о нравах и быте в Советском Союзе Михаил Брокману не читал. Они устраивали, так сказать, вечера типа «спрашивай — отвечаем». У Брокмана имелся заготовленный заранее вопросник, составленный, по всей вероятности, Монахом. Михаил отвечал на вопросы.

Пили они мало, но раз в неделю посещали очень дорогой ресторан, расположенный на одной из вершин, окружающих Гштаад. Это был большой, рубленный из толстых бревен дом, где внутри, в центральном зале, горел, потрескивая сухими поленьями, камин, где ветчину развозили по столикам на горячей жаровне, под которой краснели крупные угли, и официант откидывал медово лоснящуюся шкуру с окорока, как плащ, и клал на тарелку тонко нарезанные душистые ломти нежнейшего розового мяса. Поднимались в ресторан и спускались вниз в обтекаемых кабинах подвесной дороги, за что брали тоже довольно дорого.

Прислушиваясь к себе, Михаил обнаруживал, что недавняя твердая решимость покатиться с Брокманом за отца словно бы размягчается по мере того, как ползут эти однообразные дни.

Однажды, уже в начале марта, он сделал неприятное открытие: за ними следили. Когда они возвращались в отель после посещения ресторана на вершине, Михаил обратил внимание на высокого худощавого человека лет тридцати, поджидавшего кого-то у нижней станции канатной дороги. Этот человек бросил на них лишь мимолетный взгляд, но что-то в его взгляде не понравилось Михаилу. Брокман ничего не заметил.

Остановившись у входа в отель и оглянувшись, Михаил опять увидел сухощавого — он повернулся к витрине галантерейного магазинчика. Повернулся как раз в то мгновение, когда Михаил оглядывался. Не очень-то ловкий малый, если ему дано задание следить...

Брокману Михаил о своем открытии сообщать не стал.

Необходимо было срочно установить, действительно ли это хвост, а если да, то за кем следят.

Наутро Михаил, поглядев в щель между плотными шторами на улицу, увидел идущего со стороны вокзала вчерашнего провожатого. Тот, не останавливаясь, поглядел на его окно, перевел взгляд на окно соседнего номера, где жил Брокман,— значит, успел установить, где обитает объект слежки. Но кто именно — объект?

После завтрака Михаил предложил Брокману прогуляться. Не успели они миновать миниатюрное здание вокзала, как он засек сухощавого. Вот, значит, какая система: этот доморощенный шпик центром своей паутины сделал вокзал. Что ж, правильно. Если люди приехали в Гштаад не на машинах, а на поезде, скорей всего они и уедут так же.

Теперь надо выяснить, к кому же шпик приставлен.

Михаил похлопал себя по карманам.

— Черт, сигареты забыл.

— Кури мои,— сказал Брокман.

— Терпеть не могу, трава.

Брокман курил американские «Кент». Михаил предпочитал крепкие французские «Голуаз».

— Купим по дороге.

— Здесь «Голуаза» нет, а у меня еще два блока в чемодане. Иди, я тебя догоню.

Михаил вернулся в отель, поднялся в номер и вправду взял из чемодана пачку сигарет. Для верности посидел минут пять, а когда снова вышел, шпика не заметил. Он его увидел, когда догонял Брокмана. Сухощавый, услышав за спиной торопливые шаги, шмыгнул в стоявший при дороге продуктовый магазин.

Так, значит, Брокманом кто-то сильно интересуется. Этот факт мог придать всему дальнейшему самую неожиданную окраску...

Они не успели уйти далеко—начался дождь, пришлось вернуться в отель. Сухощавый шпик проводил их, будучи, вероятно, уверен, что хорошо исполняет свою роль. Странно, что Брокман все еще не замечал слежки. Михаил не собирался раскрывать ему глаза...

Погода сильно испортилась, и, кажется, надолго. Погода не благоприятствовала горнолыжникам, начинавшим понемногу стягиваться в Гштаад: облака скрывали снежные вершины Бернских Альп, в долинах шли дожди вперемежку со снегом, часто туманы спускались с гор вниз, и днем в отеле зажигали свет.

Вот в такой пасмурный, туманный день и настал момент, которого терпеливо ждал Михаил Тульев. Вероятно, все же не от скуки развязался у Брокмана язык. Надо полагать, даже у самого ожесточившегося, органически неспособного на раскаяние, верящего только самому себе человека хотя бы раз в жизни возникает потребность излить душу. Верующие делают это на исповедях перед священником. Но Брокман, разумеется, в бога не верил, так же как и в дьявола,— он предпочитал верить своим хорошо тренированным мышцам, великолепной реакции и безотказному, содержащемуся в образцовом порядке оружию. Может быть, смутные воспоминания о матери, которая была очень набожна и во время воздушных налетов, когда они прятались в подвале — это было в Дюссельдорфе,— становилась на колени, шептала молитвы и каялась в каких-то своих смертных грехах, может быть, толчком для внезапно прорвавшейся откровенности послужили именно эти полустершиеся детские впечатления, связанные с материнскими покаяниями и всплывшие в безмятежно спокойной обстановке швейцарского курорта. Как бы там ни было, Брокман, лишь совсем чуть-чуть подталкиваемый к этому Михаилом, разоткровенничался.

Исповедь состоялась в уютном, теплом номере Брокмана, где они пообедали. Накануне вечером, возвращаясь после прогулки, Брокман поскользнулся на мокром, осклизлом камне, подвернул ногу и слегка потянул связки. Вызванный хозяином отеля врач сделал ему массаж, растер больное место мазью «гирудоид» и наложил тугую повязку, велев дня два полежать в постели и гарантировав полное заживление. Поэтому и обедали в номере.

Брокман лежал в белом шерстяном свитере и серых лыжных брюках на кровати поверх одеяла. К кровати был придвинут столик, на котором стояли вино и ваза с жареным миндалем. Михаил сидел в кресле по другую сторону столика. Он курил и подправлял пилкой ногти.

— Давно хотел тебе сказать: что-то ты не очень похож на француза,—заявил вдруг Брокман вне всякой связи с предыдущим разговором, который касался различных травм, полученных собеседниками в прошлом.

— Видишь ли,— отвечал Михаил,— я француз только наполовину. Мать у меня русская.

Это и было толчком.

Брокман заложил руки за голову, полежал так, глядя в потолок, а потом начал свой рассказ, прерывая его лишь для того, чтобы отхлебнуть вина или прикурить.

— Да-а, а у меня сам черт не разберется, кто я такой в смысле национальности. Коктейль! Смотри сам: дед по отцу был, правда, чистокровный немец, а женился на шведке. Значит, отец стал шведский немец или немецкий швед, да? Мать была наполовину русская, а наполовину молдаванка. Кто же, выходит, я? Не понимаю почему, но мать мне, сколько помню, все время твердила: ты русский.

Родился я в тридцать шестом году в городе Бердянске, на Азовском море. Там была небольшая колония немцев. Виноград разводили. Отец работал механиком, чинил трактора, где именно — сейчас уже не помню. Мать ухаживала за виноградником и растила меня.

Когда Гитлер захватил Украину, отец пошел служить в вермахт, а нас отправил к каким-то своим дальним родственникам в Германию.

Его приняли с помпой, мать рассказывала: в газете писали, что вот, мол, у фюрера везде есть верные друзья, готовые пожертвовать собой ради его святого дела, и вот вам пример — Иоганн Брокман, славный сын великого германского народа. И так далее — галиматья несусветная...

Отец попросился в танковые части и скоро дослужился до гауптмана.

Убили его в сорок третьем на Курской дуге... Вот тебе и дуга! Всем офицерским вдовам трупы прислали — мы тогда уже в Дюссельдорфе жили, а моей матери — никаких героических останков, сгорел отец в своем «тигре», как в крематории. Я потом видел, как может гореть железо, а в детстве не верил...

Плохо помню, всего ведь семь лет было, но как мать голосила и причитала — это запомнилось.

И еще бомбежки. Союзнички долбали с воздуха старательно. Я после, как вырос, про войну читал, историческое. Про налеты на мирных жителей в книгах ничего не упоминалось, но я-то помню, как один раз завалило нас с матерью в каком-то подвале. Потом долго на зубах кирпичная пыль скрипела. А всех отцовых родственников убило...

Причитала мать — с ума сойдешь! Она в сорок пятом умерла, от рака легких, курила слишком много. И вот, представляешь, с сорок третьего, как отец в России накрылся, и до самой смерти долбила она мне: «Твоего папу убили большевики, помни об этом». Для чего ей это нужно было, не знаю.

И в школе учитель, грустный такой дядя, все в платок посмаркивался, тоже о красных толковал, о том, как сгубили русские лучших сынов германского народа. Тихо так плакался, как бы по секрету, и все вздыхал, руками разводил. Но хочешь — верь, хочешь — нет, а на меня и тогда уже никакая агитация не действовала. Я был парень самостоятельный.

Когда мать умерла, я продал старьевщику наше барахло, купил пачку жевательной резинки и американские сигареты и поехал в Гамбург. Какая была у меня цель, не помню. За три года после смерти матери всю Германию исколесил, и милостыню просил, и где-то на ферме коров пас, и почтальоном работал в каком-то городишке. А потом попал в монастырский приют для сирот. Учили там понемногу и работать заставляли, табуретки делали, а жрать в столовую—строем. Год мучился, а потом сбежал. Год по Рейну на барже-самоходке плавал, приютил меня старенький

шкипер. Гравий возили, песок, цемент — в общем, что попыльнее, но все же тот год хороший был, много чего я повидал. И главное, все время в дороге, сегодня здесь, завтра там. Хотел меня шкипер усыновить, но тут надоела мне баржа, списался на берег, и правильно сделал. Не надо было шкипера обижать, конечно, да что поделаешь — взял я у него сто марок на разжив. Украл, значит. Думал, после отдам, беру взаймы, хоть и без спросу. А вспомнил про должок видишь когда — только здесь, в этом шикарном Гштаадe, чтоб его туманы съели. Шкипер, небось, давно помер.

На реке сильно я вырос и крепкий стал. Как-никак, все время на воздухе, пища простая, здоровая, работы хватало.

Шкипер по-английски свободно разговаривал, меня поднатаскал. И на мандолине учил играть, но это ни к чему.

И вот, значит, заявляюсь я с сотней в кармане в Мюнхен. Дело было летом, в августе, кажется.

Ясно, одичал на реке, первым долгом в кино. Какой-то американский боевик крутили. А после кино зашел перекусить в соседний бар. Пива взял. До того я ни разу ни пива, ничего другого не пробовал. А тут выпил две кружки... И так себя прекрасно почувствовал, прямо в рыло кому-нибудь дать захотелось.

И подкатывает ко мне такой обтянутый типчик и румяный, как яблочко на витрине. Поюлил возле моего столика, присел и начинает разговорчики: кто, откуда, здешний, нездешний. А потом говорит: «Видите вон того господина за столиком у окна?» Правда, сидит такой гладкий, глазки заплыли, только что не мурлыкает. На столе трость и шляпа. «Вижу,— отвечаю,— но мне до него дела нет». Этот тип решил, наверно, что я деревенщина какой-нибудь, нечего особо церемониться, и объявляет без подготовки: «Вы ему очень нравитесь, он хочет с вами познакомиться». Я тогда еще плохо разбирался кое в каких делах, но сразу смекнул, куда он клонит, и врезал ему между глаз оч-чень плотно. И ноги в руки.

Удрал я классно, да недолго радовался... Повезло мне с тем типом — дальше некуда. Их там много оказалось, у этого, с тростью. Целая банда. Надо было мне сразу смыться из Мюнхена куда подальше, а я еще два дня околачивался. Ну и нашли они меня. Думаю, не специально разыскивали, а просто случай. Отделали на улице. А после затащили в дом, дали еще как следует, а потом две недели лечили — самим дороже. И девчонку приставили — ухаживала, после у нас любовь была.

Этот, с тростью, заворачивал большими делами. Кокаин, морфий и проститутки. В банде человек сто, причем многие по-людски жили— где-то там на службе числились, жены, дети, счет в банке.

Приставать ко мне больше не приставали, но отлепиться от них не удалось. Да, по правде сказать, и понравилась новая жизнь. Отвезешь в другой город пакетики, запрятанные в специальные ботинки на два номера больше. Вернешься — пей, гуляй. Сам я к наркотикам не привык, хотя и пробовал. Да и не поощрялось это в нашем братстве — так шефы свою банду называли. Оно и понятно: наркоманы — народ ненадежный...

Братство, конечно, звучит красиво, но я скоро увидел, что законы в нем те же самые, как и у банкиров и у больших дельцов, которые легально зарабатывают. Шефу — тысячу марок, мне — десять. Я попадусь — мне тюрьма с долголетней гарантией, а он по-прежнему будет себе тросточкой помахивать. Но я не в подворотне родился, мне тоже в «ягуаре» поездить хотелось. А уж если ставить на карту свободу, то по крайней мере против хорошего куша, а не по полсотни марок за поездку. В общем, попробовал я сработать на себя.

Раз как-то получил очередную партию кокаина — полкило в двух пакетах, место назначения — Кельн. В аптеке купил десять пачек аспирина, растолок таблетки, отсыпал из пакетов кокаин, а в пакеты, понятно, аспиринчик добавил, а в Кельне пятьдесят граммов продал от себя одному жучку-одиночке. Сошло, никто ничего не узнал. А я на банковский счет десять тысяч марок положил, там же, в Кельне. Еще, помню, клерк в банке все на меня глаза пялил — наверное, хотелось спросить, откуда у такого молокососа столько денег. Но и уважение чувствовалось: самостоятельный молокосос.

Потом я таким же образом отвез партию кокаина в Штутгарт, и тоже благополучно. И пошло как по маслу.

К началу пятьдесят девятого у меня в банке семьдесят тысяч лежало. До сих пор не пойму, как это мне сходило с рук. Скорей всего на пути от оптового поставщика до потребителя не один я химичил.

Но за шкуру свою я дрожал, признаюсь. Потому что за такие штучки у братства была одна расправа — нож под лопатку.

Может, удалось бы мне по-настоящему разбогатеть, если бы не одна глупость. Вернее, нахальным я стал, бдительность потерял.

А дело было так.

Жил я в двухкомнатной квартире вдвоем с напарником. За квартиру платил шеф. Такую он завел систему, чтобы холостые члены банды жили попарно: следить друг за другом удобнее, всегда на виду.

Комната моя запиралась, но какой замок нельзя открыть? Я знал, что напарник у меня пошаривает, проверяет.

Но я, говорю, немного обнаглел и один раз нарушил свое собственное правило — чтобы дома никаких следов.

В очередную поездку мой кельнский жучок-одиночка предложил в уплату за товар часть деньгами, а часть — золотом. Кольцо у него было, с черепом черненым, очень мне понравилось. Теперь-то я знаю, что нет ничего лучше счета в швейцарском банке, а тогда польстился на золото и был наказан. Мне бы продать кольцо, даже выбросить — и то лучше...

Короче, через неделю мой напарник устроил у меня тайный шмон и нашел кольцо — я его в белье держал.

В тот же вечер ко мне пришли двое личных исполнителей шефа — пожалуйте на беседу.

В машину и за город — там у них усадьба была, со старинным домом, с парком и озером, как в кино.

Это в феврале было, погода промозглая, а они мне даже плаща не дали надеть, торопились.

Вводят в большую комнату. Поставили меня перед шефом, он руку в карман, потом кулак разжимает — на ладони мое кольцо. Спрашивает: «Откуда?» Говорю, на улице нашел, а меня сзади по уху — раз!

Поднялся, в черепушке колокольный звон, а он мне из газеты вырванный кусок под нос сует: «Читай!»

Оказывается, в Кельне ограбили какую-то старуху-баронессу, обчистили родовое гнездо до перышка, и в числе ценностей мое кольцо упоминается. Шеф спрашивает: «Так где ты нашел эту штучку?» Опять отвечаю: на улице. И по второму уху — трах! Но тут я уже устоял. Думаю, надо как-то выкручиваться, иначе крышка. Каюсь ему: в гостинице, мол, украл. Увидел случайно, когда по коридору шел, что

в номере дверь не закрыта, зашел, в ванной комнате на зеркале кольцо лежит, ну и соблазнился. Брешу, а сам вижу, не верят ни одному слову.

Приговор шефа был не очень строгий: держать меня под домашним арестом до выяснения дела. Кольцо он оставил себе.

Думаю, докопались бы они до моего счета в банке, если бы не убежал я в тот же день.

Не помню, сколько раз дал напарнику по роже и под ребра, но улегся он на пол как миленький и до пистолета в тумбочке добраться не успел. Выскочил я из квартиры, поднялся на лифте на верхний этаж, там по коридору пробежал на пожарную лестницу, ссыпался по ступенькам к выходу во двор. Постоял, подышал и придумал, что делать дальше.

Недаром говорю: голова у меня работала.

Через пять минут я был на призывном пункте, а спустя часа три уже значился рядовым бундесвера и ждал отправки в казарму.

Здоровьем меня бог не обидел, медицинская комиссия предложила любой род войск— на выбор. Я решил податься в десантные части. И надо сказать — не прогадал. На земле оно, может, и спокойней, но шагистику я с детства ненавижу, и потом у десантника — на всю жизнь закалка, только не ленись учиться и не бойся потеть.

Про службу рассказывать долго не стоит — однообразно... Скажу лишь, что родитель мой дослужился у Гитлера до гауптмана, до капитанского чина, а я — до гаупт-ефрейтора, но с меня и этого довольно, и к тому же я свою голову за фатерланд не сложил.

В шестьдесят первом уволился я из армии. Сначала было желание остаться по контракту, потому что побаивался я старых дружков. Ведь в штатской жизни одному плавать надо, никакой защиты. Но дошли до меня сведения, что полиция накрыла шефа и с ним многих его главных помощников, осталась на воле мелкая сошка. Этих я не боялся.

Семьдесят заветных тысяч лежали целенькие, да еще и проценты наросли, так что на первое время с голоду я не мог умереть, а потом, думаю, посмотрим. Можно собственное дело открыть.

Но не вывернулось мне честное счастье. Замахнулся на автомастерскую — видно, в жилах это сидело, от отца, уж и присмотрел подходящую, а цена оказалась не по зубам: восемьдесят тысяч.

Пока разъезжал, денежки растаяли. Да еще спутался я с одной красоткой, покутили месяц — на меня обязательно раз в год накатывает, хоть связывай. И в одно распрекрасное утро проснулся я с похмелья в Копенгагене — ни красотки Маргариты, ни бумажки в кармане.

Вот и получилось, что в двадцать пять лет остался я такой же голый и непристроенный, как в девять, когда умерла мать. Правда, в многому был научен, но не тому, что дает человеку честный кусок хлеба.

Побросал я в кофр костюмы и белье, собрал с полу мелочь, посчитал — на завтрак с пивом хватит. Но я уже отвык медяками расплачиваться, а главное — что же дальше? Воровать? Но на это тоже умение нужно. Грабеж я презираю. Можно, конечно, наняться подметать улицы, собирать с асфальта совочком собачье дерьмо. Но это совсем не по мне, лучше уж удавиться.

Спустился я с кофром вниз. Портье глазам не верит: прибыл постоялец, как миллионер, а сейчас сам свой кожаный сундук тащит. Этот портье был замечательный человек, я его на всю жизнь запомнил.

Корчить из себя аристократа я не стал, вывалил все как есть, и портье не удивился.

Думал он ровно столько, сколько горит спичка, и попросил коротко рассказать, что я делал, как жил раньше. О братстве я умолчал, сказал, что учился в школе, а потом служил в десантных войсках. «В таком случае я дам вам совет,— говорит портье.— Поезжайте в Париж. На улице Мюрилло найдете контору мсье Тринкье. Там для вас найдется подходящая работа». Я объяснил, что у меня даже на дорогу нет. Но он решил вопрос просто: я оставил ему кофр с вещами, он дал мне денег.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

Возвращение резидента

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 11

ИСПОВЕДЬ НАЕМНОГО УБИЙЦЫ

II

Прибыл я в Париж, нашел улицу Мюрилло, нашел контору, только это была не контора, а вербовочный пункт, а мсье Тринкье оказался полковником в отставке. А набирали они людей для войны в Катанге по заданию Моиза Чомбе. Этот черномазый проходимец собирался заграбастать все Конго, ему нужны были хорошие солдаты. Своих он не имел, приходилось нанимать за деньги.

Я им подошел по всем статьям. Условия для меня были самые великолепные: две тысячи долларов в месяц плюс страховка на случай ранения шесть тысяч.

Меня включили в отряд, которым командовал Боб Денар, и скоро я увидел, что это командир лучше не надо.

Вообще ребята подобрались крепкие, большинство — бывшие служаки вроде меня, но я был самый молодой.

Боб Денар Африку знал — он когда-то был комиссаром колониальной полиции в Марокко, так что нам, кто попал под его начало, можно сказать, повезло. А после я познакомился и подружился еще с одним славным человеком — Марком Госсенсом... Мы с ним много чего сотворили в этом чертовом Конго. Жаль, он потом погиб в Биафре... Да и не он один. Большие деньги даром не даются, за них кровь требуется...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—22.

пожалуйста. Зарплата в банк регулярно поступает.

Но потом за Чомбе взялись всерьез.

Первый раз стрелял я по живым людям, когда Моиз Чомбе перебрался, чтобы не попасть в плен, в маленький городок, где были медные рудники. Нас окружили, и приказ от Боба Денара был — отстреливаться до последнего. Чомбе ждал транспорта, чтобы смыться, а мы держали оборону.

Спасибо Денару, он сумел нас, оставшихся в живых, вывести из кольца — оно в одном месте разомкнуто было.

Чомбе улизнул в неизвестном направлении, а мы, разбившись на группы, целый месяц продирались сквозь джунгли, через реки...

Когда в лесу разделялись на группы, Денар сказал, что всякий, кто вернется в Европу, сможет разыскать его, если понадобится, в Париже, в ночном кабаре «Черный кот».

Мы с Госсенсом в конце концов добрались до Дакара, а потом он — в Бельгию, я — в Париж.

Слова Денара насчет кабаре «Черный кот» я всегда помнил и изредка туда наведывался.

Однажды мы там встретились, и он шепнул, что наклевывается крупное дело — на сей раз, кажется, все будет обставлено намного солиднее и протянется дольше. База и заказчик тот же — Моиз Чомбе. Я просил Денара иметь меня в виду.

Повидался и еще с одним из наших. Тот приглашал с собой в Мадрид, к Майку Хору, который формировал свою команду, но я отказался, потому что о Майке я слышал, и он мне не нравился. Хор — полковник из Южно-Африканской Республики. Он тоже на Чомбе работал, но под его началом мне служить не хотелось. Его недаром в Африке называли «бешеным Майком». Он из идейных, хотя денежки любит не меньше всех. Он считал себя главным борцом против коммунизма, а меня от этих одержимых тошнит. Они от крови пьянеют, а у меня характер другой. Люблю чистую работу. Если кто-нибудь хочет, чтобы я подставил свою грудь под пулю или стрелял вместо него — пусть платит чистоганом, а идеи оставит при себе, гарнир из лозунгов я не ем...

В общем, завербовался я к Денару, ему можно было верить и служить, а про идеи он не распространялся.

Насколько понимаю, обстановка в Конго была тогда для Чомбе очень выгодная. Там раздоры шли, а он обещал установить твердую власть. Во всяком случае, нам, наемному войску, он жалованье платил действительно твердое, и ставки были выше, чем год назад. И набралось нас, белых, гораздо больше.

В Мадрид мне все-таки пришлось попасть, потому что там назначили пункт сбора. Из Испании в Конго переброска велась самолетами. Организовано все было четко, как по расписанию. Чьи были самолеты — не интересовался.

Наш транспорт сел на столичном аэродроме сразу вслед за личным самолетом Чомбе. Моизу там устроили пышный прием.

Разместили нас кого по казармам, кого по частным домам, и началась гульба.

Народец подобрался пестрый, были и уголовники, даже знаменитые, например, Карл Шмидт по кличке Мини-Шмидт. В нем росту всего сантиметров сто пятьдесят пять, но мал, да удал. Про него легенды ходили. Он сумел на пару с помощником угнать из-под носа у охраны два грузовика с оружием и патронами, и не где-нибудь, а в Западной Германии, и потом кому-то продал эти грузовики вместе с содержимым. Говорили, заработал колоссальные деньги. Полиция выписала ордер на его арест по-немецки, по-английски, по-французски и по-испански, а он от всех полиций улизнул. Его черта с два и найдешь — маленький очень...

За полтора года много чего навертелось. На войну это мало было похоже. Скорее — на облаву. То они нас, то мы их.

Но, видно, Моиз Чомбе не очень-то умел вперед глядеть. Да и откуда ему? Мелкая сошка.

В октябре шестьдесят пятого опять пришлось нам драпать из Конго.

Против Чомбе все время шла борьба, но несогласованно, и к тому же он имел сильную поддержку от тех, кому было выгодно его у власти держать.

Наконец нашелся генерал, который собрался с духом и сверг Чомбе. Это был генерал Мобуту. Слава аллаху, в шестьдесят пятом через джунгли пробираться не пришлось. Организованно отбыли на самолетах в Испанию. И командиры сказали людям, чтобы те, кто захочет снова вернуться в Конго под знаменем Чомбе, держали связь с вербовочными пунктами, которые будут открыты во многих городах: в Риме, Париже, Брюсселе, Льеже, Женеве, Бордо, ну и, конечно, в Мадриде и Лиссабоне. А кто окажется в Родезии или ЮАР, то и там найдет вербовщика, когда пожелает. Бешеный Майк на пенсию пока не собирается.

Месяца два я жил в Мадриде тихо-спокойно. Компанию водил исключительно с нашими, из командос. У всех такое настроение, что не сегодня-завтра нас опять позовут, поэтому держались дружно. Тогда я и познакомился с Гейзельсом и Франсисом Боненаном. Эти были не нам чета — таких под пули в джунгли не погонишь. Кому как, а мне они не понравились. Но Гейзельсу, врать не буду, должен сказать спасибо. Он мне сильно помог, пристроил к делу.

Пройдоха Боненан втерся к Моизу в доверие и знал все его планы. Незадолго до рождества сошлись мы большой компанией в номере у Гейзельса — обсудить положение. И Гейзельс сообщил, что в ближайшее время, то есть в шестьдесят шестом году, нам на работу в Африке рассчитывать нечего. Так ему сказал Боненан, а тому можно было верить.

Приуныли мы. Год, конечно, можно и пересидеть, но денежки текут, а за простой никто не платит.

Когда расходились, Гейзельс меня задержал. Чем я ему понравился, трудно было понять, но он без всякой корысти выразил желание мне помочь. А может, его корысть со-

стояла в том, что ему был сделан заказ на парня вроде меня, и он получал за это комиссионные. Точно утверждать не буду, но Гейзельс не из тех, кто упустит возможность заработать. Короче, он дал мне адрес и записку к человеку по имени Алоиз и объяснил, что у него на службе я при известном старании смогу обеспечить себе приличную жизнь. После я понял, почему Гейзельс выбрал именно меня. Я успел приобрести репутацию самого меткого стрелка и никогда не терял спокойствия. А это у нашей бражки ценилось.

Все бы хорошо, да только адрес у этого самого Алоиза был не очень подходящий — Нью-Йорк.

Зайцем туда не полетишь, не поплывешь, платить надо. И неизвестно, может, зря протрясешься.

Засомневался я, опять пошел к Гейзельсу через неделю, а он меня увидел и говорит: «Ты еще здесь?» И объяснил, какой я дурень, что до сих пор торчу без дела в Мадриде. Умеет он убедить, ему в рекламном бизнесе ворочать.

Мы, правда, упустили из виду, что для поездки в Штаты на длительный срок нужна специальная виза, но Гейзельс взялся все устроить. И действительно в феврале у меня было разрешение на въезд в Штаты с правом пребывания на полгода и с последующей возможностью продлить срок, если я пожелаю.

В марте я прилетел в Нью-Йорк. По адресу, который дал мне Гейзельс, нашел небоскреб на Манхэттене, весь набитый офисами и бюро. Алоиз оказался солидным человеком лет пятидесяти. Он сидел в кабинете за двойными дверьми. На двери табличка: «Адвокат». В кабинете стол и два кресла и больше ничего. На столе телефон.

Алоиз прочел записку Гейзельса, там по-английски было написано, что ее предъявитель — тот самый парень, который нужен получателю, то есть Алоизу. Так мне еще в Мадриде сам Гейзельс объяснил, потому что читать по-английски я не умею. Разговор немного понимаю — шкипер все-таки целый год меня учил, а читать и немецкие-то газеты особенно некогда было.

Но проблема с языком сразу отпала, потому что Алоиз прекрасно говорил по-немецки.

Ни о чем не спрашивая, он дал мне ключ от квартиры, написал на листке из блокнота адрес и растолковал, как туда проехать. Предупредил, что больше я никогда не должен появляться в его офисе, сказал, чтобы я поселился в этой квартире, обжился, а он скоро меня навестит. Потом вырвал из блокнота лист, посадил меня в свое кресло, дал авторучку и попросил написать расписку, что я получил сто долларов. Пока я писал, он отсчитал сотню пятидолларовыми бумажками. Не нравилась мне эта процедура с распиской, но капризничать не приходилось — ведь я к нему пришел, а не наоборот. Ему не понравилось, что загар африканский с меня еще не сошел. «Впрочем,— сказал Алоиз,— ты можешь выдавать себя за фермера с юга. У них, говорят, тоже вот такие физиономии — лоб белый, а остальное — как у мексиканцев». Мы в Африке пробковые каски от солнца носили, поэтому у меня действительно половина рожи как сметана, а половина черномазая. Шляпу в городе снимешь — глядят, как на клоуна.

Я к тому о загаре распространяюсь, что из-за него-то едва и не влип на первом же деле.

Подробности жизни в Нью-Йорке рассказывать неинтересно, скажу только, что поместил меня Алоиз в однокомнатной квартире с холодильником, с телефоном. На третьем этаже огромного старого дома.

Через день он заехал ненадолго вечером, на груди у него висел фотоаппарат. Спросил, умею ли я водить машину. Это я умел. Он сказал, что в моем распоряжении будет «форд», не новый, но вполне на ходу. Только одно условие: к дому я на машине никогда не должен подъезжать. Чтобы жильцы не видели меня в машине. Значит, я должен ее парковать где-нибудь подальше, лучше на западной окраине.

Алоиз снабдил меня схемой нью-йоркских улиц и загородных автострад, чтобы я как следует ее изучил. Прежде чем уйти, он меня сфотографировал несколько раз, поставив к голой стене.

Неделю я осваивался с машиной и с уличным движением. По указанию Алоиза съездил в одно местечко, километрах в двухстах от города. Там лес большой, по опушке идет дорога, а за лесом перед речкой — большой овраг. В тот день, когда я туда ездил, уже после возвращения, Алоиз пришел ко мне и принес в чемоданчике тяжелый длинноствольный пистолет с глушителем. Я таких раньше в руках не держал. Алоиз предупредил, чтобы я брал его только в перчатках.

Тут у нас впервые зашла речь о моих обязанностях и о его обязательствах. Он не юлил, выложил все как есть.

Я должен отправить на тот свет незнакомого мне господина — Алоиз обязуется уплатить три тысячи долларов. Просто и ясно, как апельсин. Все, что называется подводом, то есть необходимые сведения об этом господине, Алоиз брал на себя. Пока мне полезно съездить в тот овраг и пристрелять пистолет. Алоиз сказал, что эта пушка способна пробить человеческий череп с трехсот метров. Он дал мне, опять-таки под расписку, еще двести долларов и сказал, что они в мой гонорар не входят. Вроде дополнительной платы за вредность профессии...

Ну, смотался я в овраг, нацепил на куст бумажку и расстрелял две обоймы по девять патронов. Бой у пистолета оказался отличный.

Вскоре Алоиз показал мне моего клиента. Мы сидели в машине, а он вышел из какого-то административного здания, облепленного вывесками и табличками. Его сопровождал чернявый парень моих лет, по виду боксер. Алоиз сказал, что это шофер и телохранитель. Клиента я хорошо запомнил. Он сел в свою машину на заднее сиденье, телохранитель — за баранку...

Алоиз дал мне адрес любовницы клиента, где он бывает раз в неделю, по четвергам.

Перед тем как сделать дело, мне надо провести тщательную рекогносцировку, наметить удобную позицию и пути отхода. Все это по моему собственному выбору, но одно условие нужно соблюсти обязательно: я брошу свою машину недалеко от места происшествия и оставлю в ней водительские права на имя Ричарда Смита. Права эти, совсем новенькие, как и мои, которые Алоиз вручил мне накануне, он сунул в карман на тыльной стороне спинки моего сиденья. Алоиз, между прочим, когда являлся ко мне, всегда был в перчатках. А я по его требованию без перчаток не садился за руль... Да, пистолет я тоже должен был оставить в машине...

Гонорар Алоиз обещал принести наутро после исполнения.

Ты спрашиваешь, не боялся ли я идти на убийство? Не мучился? Совесть и прочее?

Смотря что считать боязнью... Неприятно было влипнуть, это ясно. Но бояться нужно было больше этому господину, которого я не знал даже как зовут и про которого Алоиз, для того, кстати, чтобы моя совесть не слишком страдала, сказал, что он очень, очень плохой человек, по нем даже не вздохнет никто, а все будут рады увидеть его в гробу. Вот я заодно и насчет совести объяснил, но если этого тебе мало, скажу еще вот что. Убивать одних по просьбе других — это же моя профессия, я к тому времени уже три года только тем и зарабатывал. Получается, что совесть здесь ни при чем. А три тысячи долларов на дороге не валяются. В Африке за такие деньги надо два месяца потеть. А тут один выстрел... Нет, про совесть не будем рассуждать. Банкиры же спокойно спят, правда? А чем они лучше меня? Сами стрелять не умеют? Так за них стреляем мы. Вся разница... О совести пусть пекутся попы и монахини, а нам жить надо. В общем, поехали дальше. Или тебе надоело? Не надоело? Тогда попивай винцо и слушай. Первый раз в своем прошлом копаюсь, даже самому занятно...

Поехал я на рекогносцировку. Картинка такая: дом, где жила милая моего клиента, стоит на тихой улице, ширина проезжей части метров пятнадцать, да тротуары с двух сторон — метров шесть. Напротив — точно такой же десятиэтажный дом во весь квартал. Эту улицу пересекает широкая авеню, на которой движение оживленное. До угла — сто метров. На углу — закусочная в полуподвальном помещении. Парковаться можно на платной стоянке чуть дальше закусочной по авеню.

В первый же четверг я установил, что клиент паркуется на этой стоянке. Телохранитель проводил его до подъезда, а сам пошел в закусочную. Это было в семнадцать ноль-ноль. Ровно в девятнадцать телохранитель был у подъезда, и прямо тут же ему навстречу появился из парадного клиент. Видно, очень деловой человек, все расписано по секундам — когда ковать деньги, когда любить. С таким не соскучишься...

Все я вроде рассчитал, как по нотам, оставалось дождаться следующего четверга, потому что тянуть я не люблю. И все бы гладко и сошло, если бы не мой африканский загар, вернее, если бы я о нем не забыл. И главное, Алоиз меня предупреждал. Да и не ошибка это, а просто штука в том, что когда идешь на такое дело, надо глядеть не на неделю вперед, а немного дальше.

Никаких правил я не нарушил, а просто два раза зашел в закусочную на углу поесть. Ничего там не пил, только пожевал. Но когда жевал, то шляпу снимал. А без шляпы я приметный.

Каждому известно: заставьте трех разных свидетелей рассказать об одном и том же происшествии — такой винегрет получится, что сам папа римский не разберется. Но мою клоунскую рожу семь человек одинаково запомнили и описали, а все из-за проклятого загара.

Настал тот день, тот четверг. Без четверти пять я притопал пешком на угол, зашел в закусочную, взял чашку молока, сел к окну. Точно в семнадцать прошел клиент с телохранителем. Я допил молоко и отправился за машиной — далеко ее оставил, минут сорок ходьбы. Надел перчатки, сел за руль, покурил, достал из чемоданчика пушку, дослал патрон в патронник и предохранитель спустил, чтобы не забыть в последнюю секунду — знаешь, как иногда фотографы забывают снять крышечку с объектива. И поехал кататься вокруг по довольно пустынным в этом районе стритам.

К углу, где закусочная, я прибыл без двух минут семь. Притормозил, вижу: телохранитель наискосок переходит улицу. Дал ему пройти метров тридцать и тихо так ползу следом. Стекло правой дверцы было у меня опущено.

Все произошло по расписанию. Стрелял я метров с пяти, целил в грудь. Клиент упал на тротуар, как переломился, сторож его ничего не понял, растерялся, потому что выстрела не слышал — у моей пушки такой тихий звук был, похоже, как будто камешек в воду бросили — тиньк...

Второй раз стрелять не стал, нажал на акселератор, рванул вперед до следующего угла, завернул, тут же — стоп, машину запер и резвым шагом до подземки — там недалеко было. Пистолет я оставил под сиденьем, на полу.

Через час я сидел дома.

Алоиз пришел, когда стемнело.

Сначала ничего не говорил, кинул на стол в кухне конверт с деньгами, посидел, пока я считал, а потом достал из-под плаща сложенный лист, вырванный из газеты, расстелил его, ткнул пальцем в фото, на котором была знакомая мне сцена: на тротуаре клиент лежит, над ним стоит телохранитель. Только странно мне показалось, что он в аппарат смотрит, а рукой в живот своему хозяину тычет. Не сразу дошло, что это он уже после полицейским, наверное, показывал, как все случилось.

Все правильно, говорю я Алоизу, так оно и было. А он говорит: «Читай, дурак!» Я объясняю, что читать по-английски не умею. Тогда он сам прочел. Под фото были написаны неприятные вещи. Крупным шрифтом выделялись слова насчет того, что за два часа до убийства в закусочной видели человека со странным лицом: лоб белый, остальная часть очень темная. Пятеро постоянных посетителей закусочной, кассирша и раздатчица молочных продуктов утверждают, что человек этот вызывал неопределенные подозрения своим поведением, но чем именно — не сообщалось. Раздатчица и кассирша сообщили также, что подозрительный субъект посещал закусочную несколько раз в последние две недели перед трагическим происшествием — это они не врали. Непонятно мне было только, чем я мог вызвать подозрения, кроме загара.

Я спросил у Алоиза, что там сказано про убитого. Он разозлился, потому что мне не о том думать теперь надо, но все же сказал, что пострадавший содержал какую-то посредническую контору, в прошлом привлекался к суду по делу нелегальных игорных домов, но за недоказанностью обвинения оправдан.

Да, Алоиз был, как всегда, прав: мне нужно было думать о собственной безопасности. Водительскими правами и машиной, а может, и пистолетом он пустил полицию по следам неизвестного мне Ричарда Смита, но куда я сунусь со своей приметной рожей? Еще слава аллаху, что перед соседями никогда шляпу не снимал...

Дело обернулось так, что Алоиз видел один выход: я должен исчезнуть из Нью-Йорка и вообще из Штатов. На следующий день он принес два флакончика — в одном белая жидкость, густая, как сливки, в другом голубоватая.

Черт его знает, что это были за снадобья, во всяком случае, пахли приятно. Втирал я их по три раза на день, морду щипало, думал, протру шкуру до дыр. И представь, через неделю посмотрелся утром в зеркало — розовенький такой бутончик, поросеночек из-под свинки. Чудеса косметики!

Двадцать шестого марта я улетел в Мадрид. Алоиз, конечно, меня не провожал. Мы простились, когда он привез мне билет. Расстались большими друзьями, он признался в своем великом уважении ко мне, а я признался в уважении к нему.

Алоиз высказал надежду, что наши отношения на этом не прервутся, а, наоборот, будут крепнуть. Просил меня завести в Мадриде личный почтовый ящик, чтобы он мог в случае необходимости послать мне депешу. У него были предчувствия, что мои услуги могут понадобиться еще неоднократно.

Ну, я-то всегда готов, я солдат, завербованный его величеством долларом, а также ее величеством маркой, а также его превосходительством фунтом, и избавь нас господь от ее преподобия — итальянской лиры, ибо считать до миллиона не умею, а приземлись я не в Мадриде, а в Риме и обменяй доллары на лиры — сразу стал бы миллионером. А итальянским миллионером я быть не хочу.

Дружки мои в Мадриде лапу еще не сосали, но порядком поистрясли и потому с нетерпением ждали трубного гласа.

Я кое-кого угостил, расспросил. Гейзельса тогда не нашел, но там другие были, вхожие к Моизу Чомбе, вернее, к Боненану, и хорошо осведомленные. Ходили слухи, что катангский коммерсант обязательно хочет стать премьер-министром Конго, будто уже и планы подробные составлены. И этому можно было верить, так как Чомбе по дурости ли или потому, что был порядочный нахал, свои ближайшие намерения в секрете не держал. Но дни шли, а по тревоге нас никто не поднимал.

Я начинал уже подумывать, где бы найти новую работенку, когда получил письмо от Алоиза. Это было в начале мая, уже наступала жара, и очень кстати оказалось его письмо.

Задание было такое же — убрать человека. Алоиз сам назначил более высокую плату, чем в первый раз,— пять тысяч долларов. Он показал мне портрет пожилого человека.

Чтобы не тянуть резину, скажу сразу: застрелил я клиента у него дома.

Алоиз рассчитался честь честью. О происшествии он уже знал, а откуда — неизвестно.

За три месяца я заработал восемь тысяч долларов. Служба у Чомбе казалась мне теперь напрасной тратой времени.

До мая шестьдесят седьмого года я получил от Алоиза еще несколько заданий. Одно пришлось выполнять без пистолета, можно сказать, голыми руками, а мне это противно. Да чего-то и перемудрил, по-моему, Алоиз в тот раз. Ему обязательно требовалось так обставить дело, чтобы клиент вроде бы сам упал и ударился о ступеньку крыльца. Пришлось гипсовый слепок ступеньки делать, потом Алоиз доставил мне железный уголок, и вот этим уголком ударил я старика в висок... Было это недалеко от Парижа... Нет, лучше без таких штучек работать. Мне после старик целый месяц снился, хоть иди свечку ставь. Но прошло. Все проходит...

Да-а... А потом мы с Алоизом разошлись. Это целая история, и я до сих пор не разберусь, правильно сделал или поспешил, прогадал или выгадал. Может, и прогадал, но очень уж соблазнительная подвернулась комбинация...

В мае шестьдесят седьмого, когда у нас в Мадриде уже точно было известно, что вот-вот начнется отправка в Конго — уже мы и зарплату за месяц получили,— приходит мне вызов от Алоиза. Я уже привык, что если он приглашает, значит, уже все подготовлено, больше двух недель не задержусь. Отправка раньше июня вряд ли начнется — это мне удалось разузнать. Лечу в Нью-Йорк.

Опять, как всегда, квартирка в доме, где половина жильцов — эмигранты. И без дела не высовываться. Алоиз сам приходит, дает инструкции, а тебе остается только ждать сигнала.

Ну вот, настает день, Алоиз показывает мне живого клиента, которого я обязан сделать мертвым, сообщает его расписание жизни, маршруты езды и прочее, снабжает оружием. И назначает крайний срок.

А на следующее утро — я как раз брился в ванной — раздается звонок: кто-то просится в квартиру. Кто бы это? — думаю. У Алоиза есть ключи, да и не в его правилах ходить по утрам. Решил не открывать. Снова звонок, длинный, настойчивый. Мне чего-то так страшно стало, что я затаился и даже не дышу. Пошел открывать.

В первый момент, когда распахнулась дверь, я решил: все, тут тебе и крышка. Глупое положение: стою с намыленной рожей, в руке безопасная бритва, а передо мной — кто бы ты думал? Не угадаешь... Телохранитель того первого клиента, брюнет с нахмуренными бровями. И вместо того, чтобы получить пулю в лоб, слышу вежливый такой голос: «Извините, можно к вам на минутку?» И так я от неожиданности поглупел, что говорю: «Пожалуйста, прошу вас». Мог бы и поостеречься — может, он при открытых дверях не желал со мной кончать, при закрытых же безопаснее. Но он прошел в комнату первый, я сзади. И начинается такой разговор.

— Меня зовут Мортимер,— сообщает гость.— Я имею дела с тем же человеком, что и вы.

Я думаю: за кого он меня принимает? Если сам псих, то я-то пока в своем уме.

— Какого человека вы имеете в виду? — спрашиваю.

— Алоиза,— спокойно отвечает он.

Кто хочешь удивился бы, но я приучил себя никогда рот не разевать.

— Ну и что дальше? — интересуюсь.

— Мне известно, что вы должны организовать для Алоиза,— объявляет он все так же спокойненько.

Что прикажете делать, когда вам говорят такие вещи? Предложил ему сесть и закурить.

— Так расскажите, что же я должен организовать? — прошу его.

Мортимер вежливо и совершенно правильно излагает задание Алоиза.

— Кто же вы такой? — спрашиваю.

— Я тоже работаю на Алоиза,— отвечает Мортимер.— Этим все сказано.

Но у меня одно с другим как-то не вяжется. Он ведь был телохранителем того убитого клиента. Если он работал на Алоиза, зачем было Алоизу нанимать меня и устраивать целый спектакль? Продолжаю выяснять:

— А вы давно на него работаете?

— Нет, всего полгода.

Ага, думаю, значит, просто сменил хозяина. Спрашиваю дальше:

— А до него вы у кого работали?

Мортимер мог бы и не отвечать или наврать чего-нибудь, но он, видно, пришел не комедии разыгрывать, а по делу. Очень был серьезный и смотрел из-под бровей.

— Раньше я тоже ходил по частному найму,— объясняет,— но немножко другой профиль.

— А именно?

— Я был охранником, телохранителем. Моего хозяина убили. У меня на глазах. Кто же после этого будет меня нанимать?

Это он справедливо рассуждал. И мне понятно стало, что после того случая Алоиз прибрал Мортимера к рукам и заставил служить себе. Все, как полагается, как у порядочных людей. Для интереса оставалось только узнать, кем же был его прежний хозяин,— из этого можно было построить догадку насчет того, что за тип Алоиз, какого калибра. Если знать масть того клиента, можно и масть Алоиза определить. Тут уже получается целый расклад.

— Если не секрет,— говорю,— чем занимался ваш несчастный прежний работодатель?

— Всем понемногу,— отвечает Мортимер.

— Почему же его убили?

— Он мог сделаться конкурентом.

— Кому?

— Алоизу.

— А в чем?

Мортимер посмотрел на меня с сомнением — не валяю ли я дурака. Но мне, правда, ничего не было известно.

— Он хотел заняться тем же делом, каким занимается Алоиз.

— Адвокатом работать?

Теперь я действительно немножко балдой прикидывался. Мортимер пошел в открытую.

— Алоиз принимает заказы на убийство,— сказал он,— а такие, как мы с вами, их исполняют.

— Понятно,— говорю,— продолжайте.

И тут он меня ошарашил — положил на стол ключ. Я спрашиваю:

— Что это?

— От вашей квартиры. Можете убедиться.

Чем дальше, тем чудней. Пока я раздумывал, что бы такое сказать, Мортимер решил все объяснить.

— Если я ошибусь, то есть если мы с вами не сговоримся и вы осведомите Алоиза об этом разговоре, мне будет плохо. Но я думаю, вы все-таки согласитесь на мое предложение.

— А что вы хотите предложить?

У Мортимера тоже голова не соломой набита была. По виду боксер, а соображает, как профессор. Вот какую комбинацию он разработал.

— Я знаю человека, которого вы должны убрать,— сказал Мортимер.— У него много денег, и ему еще нет пятидесяти. Алоиз заплатит вам семь тысяч и мне пять...

— А вам за что? — задал я идиотский вопрос.

— За вас.

Вот тут я уже рот разинул.

— Как это за меня?

Мортимер подбросил ключ на ладони.

— Я должен спрятаться у вас в квартире. После того, как исполните поручение. И убить вас. Пистолет у меня есть. Точно такой же, как ваш.

Видно, я не очень-то обрадовался, потому что Мортимер посчитал нужным меня успокоить.

— Так всегда бывает... Вы не американец, и вы не знаете таких типов, как Алоиз. Сколько поручений вы уже выполнили?

— Семь,— отвечаю.

Он говорит:

— Вот видите. Это очень много. Вы становитесь слишком опасны для Алоиза. Даже если он вас любит, все равно ему необходимо от вас избавиться. Сразу восемь концов в воду.

— Считая и этого? — уточняю я.

— Да.

Он понятно все объяснил, только еще не добрался до главного. Я прошу:

— Выкладывайте ваше предложение.

Мортимер простенько так объяснил:

— Мы предложим этому человеку жизнь и возьмем с него... ну, скажем, двести тысяч. Он уедет куда-нибудь подальше, потому что это не шутки, и он все понимает.

— А что будет с нами?

— Мы тоже уедем.

Откровенно говоря, я не мог вот так сразу, в одну минуту, все взвесить. Я думал.

— Сто тысяч на брата,— говорит Мортимер.— Посчитайте, сколько от вас потребуется трупов, чтобы заработать такую сумму.

Деление и умножение я помнил. Но это тоже не шутка — надуть Алоиза.

— А если Алоиз захочет нам отомстить? — говорю я.

Мортимер опять объясняет:

— Человек, которого вы должны убрать, не конкурент ему. Это простой заказ со стороны. Те, кому он мешает, заказчики, будут довольны его исчезновением. Алоиз потеряет на этом сколько-то тысяч. Вы вернетесь в Ев-

ропу, я тоже найду себе место потише. На нас тратить деньги Алоиз не станет, а сам он стрелять не умеет.

— А вы уверены, что этот человек не пошлет нас к чертям собачьим? — говорю я.

— Думаю, не пошлет.

Словом, убедил меня Мортимер, и мы, не откладывая, в тот же день посетили клиента у него дома. Он был один, если не считать прислуги, старой негритянки. Я думал, он примет нас за обыкновенных шантажистов, но когда Мортимер рассказал ему честно, как обстоит дело, клиент скис и поверил, что мы не только себе добра желаем. Наверно, ждал уже чего-то такого. Он даже захотел убраться из Штатов сию минуту. И хочешь верь, хочешь нет, попросил, чтобы один из нас не покидал его. Дело упиралось в деньги — наличных двухсот тысяч у него при себе, конечно, не имелось, поэтому договорились так: он делает необходимые распоряжения банку, чтобы можно было получить деньги в Европе, Мортимер заказывает три билета на ночной самолет, и мы обеспечиваем клиенту безопасность на все время, пока он с нами...

Вот такие дела... Расплатился клиент в Роттердаме. Он отправился в Биарриц, где отдыхала его семья — жена и дети. Мортимер подался куда-то не то в Англию, не то в Шотландию, а я вернулся в Мадрид. И как раз успел к отправке. Меня зачислили в отряд полковника Денара, и мы улетели на транспорте в Кисангани.

Это была последняя попытка Моиза Чомбе заполучить Конго. Но вышла полная ерунда.

Самолет Моиза захватил его дружок Бонеман и вместо Конго посадил его в Алжире. Кто ему за это заплатил, не знаю, но он наверняка крупно заработал.

Пятого июля мы все же выступили, хотя Чомбе и не прибыл.

Шло у нас так, как бывает, когда играешь в карты с шулером: сначала все хорошо-хорошо, а потом все плохо-плохо.

Там действовал, кроме нас, еще отряд полковника Шрамма. Он и поднял мятеж. А мы его поддерживали.

Но что-то в механизме было разлажено. Никакой неожиданности не получилось, солдаты национальной армии встретили нас и дали по всем правилам. Денара ранило, его отправили в Родезию, а нас передали под команду Шрамма. Восемь дней мы дрались в Кисангани, но сделать ничего не смогли.

Потом отошли на Букаву, два дня вели бой за город, наконец, заняли его, и стало вроде полегче.

Жировали мы до октября, а потом Мобуту начал наступать. Если в день десятерых хоронили, это считалось малыми потерями. Второго ноября все было кончено.

Мне опять повезло — убежал я с тремя из нашего отряда. Хотя и был ранен осколком снаряда в плечо. Осколок мне ребята выдернули, джином рану промыли — и ничего, обошлось...

Зиму провел я в Ницце. Лечился, отдыхал, в Монако наезжал. Рулетка меня, слава аллаху, не затянула, хотя я с первой ставки выиграл, поставил весь выигрыш на седьмой номер — и шарик на нем и остановился. Выдача была большая, но я сумел перебороть себя, уехал. После несколько раз пробовал играть, но безуспешно. Проиграл мелочишку и плюнул на это дело.

Мог бы я купить какие-нибудь акции или открыть, скажем, магазин, но нет у меня доверия к дельцам и коммерсантам. Лучше уж, думаю, пусть лежат мои денежки в банке, наращивают проценты. Но чтоб они лежали нетронутые, надо на жизнь зарабатывать.

Скоро встретил я старого коллегу по Конго, он нацеливался в Португалию — там наемные солдаты требовались. По правде говоря, надоела мне Африка. Если бы куда-нибудь в Южную Америку, было бы интереснее. Но там ничего не наклевывалось. Пришлось соглашаться на Португалию.

Там мы, конголезцы, ценились высоко. Побывал я и в Мозамбике, и в Анголе, и в Гвинее-Бисау. Ты меня в Африке своими глазами видел.

Ну и все. Разболтался я, сам не знаю с чего. Хватит. Дай прикурить».

О том, что он уже два года работает на Центр, Брокман умолчал.

Михаил встал, подошел к окну. Уже наступили сумерки, а света в номере они не зажигали. Улица из окна хорошо просматривалась в оба конца. Михаил увидел, как мимо отеля прошел сухощавый человек — шпик, приставленный к Брокману.

Шевельнулась мысль, что, может быть, это посланец Алоиза бродит, как гиена, дожидаясь удобного момента, чтобы куснуть Брокмана за горло.

— Ты так и не поинтересовался фамилией Алоиза? — спросил Михаил.

— Настоящую его фамилию ты ведь знаешь,— напомнил Брокман.— Сам говорил: с Гофманом вы были дружками.

Значит, там, в Африке, Брокман ему не врал. Значит, Алоиз — это Гюнтер Гофман. А присутствие здесь его агента — если только шпик действительно послан Алоизом — давало Михаилу прямую нить.

— Ну, какими дружками? — возразил Михаил.— Он был моим командиром. Не уверен, запомнил ли меня Гофман вообще.

— Не хочешь ли с ним встретиться? — усмехнулся Брокман.— За мою голову он бы тебе хорошо заплатил.

Михаил повернулся к нему.

— Зачем же ты тут целых два часа душу передо мной выворачивал, если допускаешь, что продам?

— Пожалуй, не продашь. Алоиза тебе не найти.

«Твоя голова уже на мушке, дурак» — подумал Михаил. Он смутно чувствовал, что из возникшей ситуации можно извлечь пользу для дела, но еще не знал, как этого добиться.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Возвращение резидента

Глава 12

СЛЕД ГОФМАНА

Десятилетиями выработанное правило не позволяло Михаилу делать окончательные выводы, чего бы это ни касалось, на такой зыбкой основе, как однократно поставленный опыт или тем более первое впечатление.

Один раз он уже видел, что худощавый субъект, которого Михаил считал шпиком, выслеживает как будто бы не его, а Брокмана. Чтобы окончательно в этом убедиться, надо перепроверить еще самое малое дважды.

После обеда, посмотрев в окно и заметив среди прохожих шпика, Михаил сказал Брокману:

— Пойду разомнусь немного.

— Купи немецкие газеты,— попросил Брокман.

Сегодня они не покупали газет, потому что не спускались вниз.

Михаил зашел к себе в номер, надел теплую куртку и шерстяную лыжную шапочку, купленные им здесь, в Гштааде.

Выйдя из отеля на улицу, он не торопился уходить, так как необходимо было попасться на глаза шпику. Михаил закурил и стоял у подъезда с видом человека, прикидывающего, то ли пойти погулять, то ли вернуться, ибо погода была неприятная, сырая, хотя дождь и снег прекратились еще в полдень и небо очистилось.

Наконец шпик медленно проследовал (по противоположной стороне, и Михаил заметил, как он метнул на него мимолетный взгляд. Его даже сомнения взяли: неужели это и впрямь шпик? Неужели кто-то мог послать в качестве соглядатая столь неумелого человека? Торчит весь день перед отелем, мозолит глаза.

Правда, по этой улице ходит весь наличный людской состав Гштаада, как местные жители, так и приезжие, но, право, нельзя же с таким прямолинейным усердием топтаться на самом виду.

Михаил демонстративно быстрым, широким шагом пересек мостовую и ступил на тротуар в тот момент, когда шпик повернулся, чтобы следовать в обратном направлении. Они чуть не столкнулись. Шпик посмотрел Михаилу в лицо и отвел глазки. Михаил пошел за ним, обогнал и зашагал к вокзалу.

Чуть ниже отеля улица изгибалась. Михаил миновал этот изгиб и остановился. Шпик за ним не шел.

Купив газеты и пройдясь за вокзал, он вернулся и опять увидел худощавого...

На следующее утро нога у Брокмана перестала болеть, и он намеревался выйти подышать свежим воздухом. Михаил отказался, сославшись на то, что плохо спал ночью и хочет полежать. Брокман пошел один.

Из окна своего номера Михаил наблюдал, как шпик, увидев Брокмана на улице, быстро вошел в их отель,— это было совсем непонятно... Что за вольт? Ведь он должен следовать за своим объектом, то есть за Брокманом...

Но через несколько секунд все разъяснилось: худощавый появился из отеля в сопровождении широкоплечего, крупно вышагивавшего человека в замшевом сером полупальто и зеленоватой шляпе. Они направились вправо, туда, где скрылся Брокман. Скорее всего, второй коротал время внизу, за стойкой бара, куда ведет коридор с витражами, очень нравившимися Михаилу. Из бара, как узнал Михаил, другой коридор ведет в подсобные помещения отеля, в кухню и к выходу во двор.

Вот оно, оказывается, какое дело... Шпик-то не один... Вероятно, второй прибыл вчера или сегодня утром и не знает Брокмана в лицо. Сейчас худощавый покажет его своему напарнику...

Михаилу вспомнилось то место из исповеди Брокмана, где шла речь о первом его деле в Штатах и о том, как Алоиз заготовил для полиции ложный след — права на имя какого-то Ричарда Смита, брошенный автомобиль, пистолет, который Брокман брал только в перчатках и на рукоятке которого, так же как и на баранке машины, могли быть ранее оставлены отпечатки пальцев этого самого Смита...

Если и тут работает Алоиз, можно ожидать чего угодно. Людям, замыслившим убрать Брокмана, не составит труда разыграть все таким образом, чтобы натравить полицию на его постоянного спутника последних дней. Например, отправится Брокман с Михаилом в горы, там с Брокманом произойдет что-нибудь — под подозрением, естественно, окажется его товарищ. И прислуга в отеле и многие в городке при необходимости подтвердят, что ни с кем, кроме своего неразлучного спутника, Брокман не общался, нигде не появлялся без него.

Все повернулось на сто восемьдесят градусов: человека, которого Михаил собирался покарать за смерть отца, он теперь должен оберегать и ради собственной безопасности и ради дела.

Было ясно, что Монах готовит Брокмана к засылке в Советский Союз. Сопоставив исповедь Брокмана и зондаж Монаха насчет Павла-Бекаса — способен ли он убить человека,— нетрудно было сделать вывод, что Брокман посылается ради какого-то очень важного дела. Можно предполагать, что Монах собирается использовать богатый опыт Брокмана как профессионального убийцы. Значит, Брокман не должен пострадать здесь. Он будет на виду у полковника Маркова. Если тут его уберут, туда пошлют другого, кого он, Михаил, знать не будет. А это уже гораздо хуже...

Он не упрекал себя в непоследовательности, чувствуя, что жажда мести испарилась. И причина была в том, что он больше не испытывал к Брокману ненависти, а лишь глубокое чувство жалости и презрения одновременно. Он понимал, что это неуместно по отношению к типам, подобным Брокману. Но таково было воздействие покаянного рассказа Брокмана о той страшной жизни, которая выпала на его долю. Может быть, по разумению иного, это выглядело противоестественно, но Михаил относился к нему после его исповеди даже с сочувствием и не как к человеку, а как к зверю—собаке или кошке. Ведь если хозяин приучил своего пса со щенячьего возраста кидаться на всякого, кто переступает порог дома, и если пес кого-нибудь в конце концов серьезно покусает, разве винить надо пса? Разве можно зверя привлекать к человеческому суду?

Мир, в котором вырос Брокман, сделал его таким, каков он есть. В этом мире каждый добывает себе пропитание тем способом, какой ему доступен. Брокман добывал убийством, и это так же в порядке вещей, как биржевые операции или священное право частной собственности. В сущности, Брокман не грешил даже против своей совести, если, конечно, она у него была, ибо действовал по законам общества, в котором имел счастье жить.

Да, по разумению иного, резкая перемена в отношении Михаила к убийце отца могла показаться неожиданной. Но Михаил и сам мог бы пройти по тем же кругам, которые завертели Брокмана, он достаточно долго и близко наблюдал среду, в которой формируются человекоподобные создания, похожие на Брокмана, он на себе ощутил ее растлевающую силу, и потому ему было доступно милосердие к тем, кто по слабости ли характера или по фатальному стечению обстоятельств дал себя сделать слепым орудием злой воли. В сущности, Брокман лишь возвращал миру то, что получил от него. Сказано же: и воздастся тебе... Церковные истины, как палки,— всегда о двух концах... Ханжи-моралисты, мнящие себя выразителями и хранителями духа свободнейшего, христианнейшего, благолепнейшего на земле общества, восстанут против такой трактовки, но Михаил хорошо знал настоящую цену проповедям апостолов, которые оплачиваются по той же графе, где числятся расходы на рекламу. Он знал, что прав...

Михаил, стоя у окна, увидел возвращающегося Брокмана. Он чуть прихрамывал. Через

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—23.

минуту в дверь постучали, Брокман вошел, сказал, присаживаясь:

— Рано выполз, нога болит.

— Иди-ка ложись, с этим шутки плохи. Вылежи денька три,— посоветовал Михаил.

— Пожалуй... У тебя какие планы?

Михаил, прежде чем ответить, посмотрел в окно. Один из шпиков, худощавый, был тут как тут.

— Надо бы в Берн съездить, отношения с банком выяснить.

— Бросаешь меня, значит? — уныло сказал Брокман.

— К вечеру вернусь. А ты, чтобы не скучать, позови доктора. Он, кажется, обожает коньяк. И в картишки перекинетесь.

— Спасибо за совет. Так и сделаю.

— Только на улицу больше не выходи...

Проводив Брокмана в его номер, Михаил оделся и вышел из отеля. Шпик его видел, но следом не пошел...

Эта поездка в Берн послужила ему не только средством проверки. Он на всякий случай снял со счета в банке остаток своего вклада и таким образом порвал, выражаясь красиво, последние узы, связывавшие его со Швейцарией.

Переночевав в отеле на Цейхгаузштрассе, Михаил следующим утром вернулся в Гштаад.

Возле их отеля дежурил мордастый тип в сером замшевом полупальто.

У портье, который вручил Михаилу ключ, он спросил:

— Двадцатый у себя?

Портье поглядел на соты полки, где хранились ключи.

— Да, у себя.

Михаил поднялся на второй этаж, стукнул в дверь Брокмана для приличия и, как делал всегда, тут же толкнул ее, но дверь была заперта.

— Кто? — услышал он раздраженный голос Брокмана и подумал: «Наверно, с девчонкой».

— Это я. Извини.

Ключ в двери повернулся, щелкнул язычок замка.

— Входи.

Михаил отказывался верить факту: Брокман, будучи один, средь бела дня сидел в запертом номере!

— Что так долго? Где был? — спросил Брокман таким тоном, словно Михаил обязан был отчитываться в каждом своем шаге.

— Дела задержали. Ты что взаперти сидишь? — Михаил старался скрыть, что прекрасно видит необычное выражение лица Брокмана, нервозность, сквозящую в его взгляде и жестах.

Брокман подошел на цыпочках (!) к окну, но стал не прямо против него, а сбоку, у тяжело свисавшей, собранной в крупную складку плотной шторы. Затем, посмотрев в щель между шторой и обрезом оконного проема, поманил Михаила пальцем.

— Иди сюда.

Михаил подошел, стал рядом.

— Смотри,— сказал Брокман, уступая ему позицию.

На противоположном тротуаре прогуливался мордастый.

— Ничего особенного не вижу,— сказал Михаил.— Что ты хочешь мне показать?

— Этого, в сером, видишь? — спросил Брокман.

— Ну и что же?

— Ты раньше ничего не замечал?

— Как-то в голову не приходило...

Брокман сел на кровать.

— Этот парень со вчерашнего дня здесь маячит.

Михаил тоже отошел от окна, закурил сигарету.

— А тебе-то что?

— Неспроста он маячит,— зло сказал Брокман.

— Считаешь, тобой интересуется?

— Все может быть...

— Тогда выйди сейчас же и выясни отношения.

— Черта с два! Если это ко мне, с ними не сговоришься.— Брокман посмотрел на часы.

— У тебя есть оружие? — спросил Михаил.

— Есть, но что от него толку? Я-то знаю, как это делается.

Не было смысла разубеждать и успокаивать Брокмана.

В голове у Михаила зрела одна идея.

— Вот что,— сказал Брокман обычным своим тоном.— Я говорил с хозяином отеля, он обещал посодействовать. Тут недалеко, километров десять или пятнадцать, есть небольшой аэродром. Оттуда можно улететь в Женеву или Цюрих. Если он договорится, поможешь мне?

Михаил глядел в стену и молчал. Брокман говорил правильно: из окна поезда Михаил видел недалеко от Гштаада посадочную площадку и на ней спортивный самолет.

— Посмотрим,— рассеянно отвечал Михаил.

— Значит, боишься? — Брокман покачал головой.— Правильно делаешь.

Михаил молчал.

— Надо было мне панцирем обзавестись, да все думал — не понадобится,— сказал Брокман.

— Да, с панцирем спокойнее,— согласился Михаил.

— Пистолет и панцирь — надежные друзья. Самые верные.— В голосе Брокмана звучала горечь.— Вернее всех живых друзей.

«Поздно же ты спохватился»,— подумал Михаил, но сказал совсем иное:

— Стальная каска и бронированный автомобиль — тоже надежные друзья. А также коньяк... Не выпить ли нам?

— Нет, не хочу.

Михаил встал.

— Пойду в бар.

Он вышел. Шагая по толстому пружинящему ковру, услышал щелчок замка — Брокман запер за ним дверь.

Но сначала он пошел не в бар. Он отправился к хозяину отеля, в его рабочий кабинет. Дождавшись, когда тот отпустил какого-то своего служащего, Михаил спросил, не может ли он получить в свое распоряжение автомобиль, чтобы уехать на нем в Берн. Хозяин подумал и сказал, что это можно устроить — он даст свою машину. Тогда Михаил попросил разрешения оставить машину в Берне,— где ее найти, будут знать в отеле на Цейхгаузштрассе. Он, разумеется, готов заплатить, сколько потребуется. Хозяин поглядел в потолок, помолчал и назвал сумму. Михаил выложил деньги.

— Очень прошу,— сказал он,— пусть машина через четверть часа стоит во дворе.

— Хорошо. А в Берн за нею я пошлю Жоржа.

Михаилу было все равно, кого пошлют в Берн. Он распрощался с хозяином.

Спустившись в бар, Михаил увидел у стойки худощавого шпика — он расплачивался за сигареты — и отметил про себя: значит, тут организована прочная блокада. Судя по всему, Брокману ее не прорвать.

Он выпил рюмку дорогого коньяку. Бармен относился к Михаилу с большим почтением, ибо клиент, пьющий такой коньяк, достоин всяческого почтения. Михаил не смотрел на шпика, но чувствовал на себе его взгляд. По идее, которая уже окончательно созрела у Михаила, ему надо было вступить в контакт со шпиками, но чутье подсказывало не торопить событий. Они могли сами проявить инициативу, это было бы лучше...

В коридоре с витражами, которые так нравились Михаилу, он услышал за спиной частые шаги, но не обернулся.

Шпик догнал его у входа в холл.

— Простите, на два слова.— Шпик говорил по-французски, голосок у него был тонкий, нежный.

— В чем дело? — Михаил остановился.

— Вы друг Карла Брокмана? — Он перешел на шепот, но Михаил не собирался с ним перешептываться и сказал громко:

— Мы вместе сюда приехали.

— Это я знаю,— прошептал шпик.— Говорите, пожалуйста, тише, там портье.

Михаил понизил голос, но ответил грубо:

— Не о чем мне с вами разговаривать.

Худощавый, который был ниже Михаила на полголовы, тронул его мизинцем за плечо.

— Еще два слова.

Михаил брезгливо дернул плечом, отступил на шаг.

— Поменьше болтайте. Мне некогда.

— Я вам советую: не сопровождайте Брокмана. Пусть он гуляет один.

Михаил смерил его презрительным взглядом, но стоявший перед ним субъект не обращал внимания на такие мелочи.

— Я передам ваши слова Брокману,— пообещал Михаил.

— Это меня не волнует,— быстро прошептал шпик.

Михаил отметил, что у шпика есть свое достоинство.

— А если я позвоню сейчас в полицию?

Шпик ответил, не раздумывая:

— Не советую. Зачем вам ввязываться не в свое дело? Лишние хлопоты.

Спасибо хоть за то, что они не собираются сваливать вину за готовящееся убийство на него, Михаила. Он спросил:

— Что вы мне еще посоветуете?

— Если серьезно, то лучше отсюда уехать. На что он вам? Вы же не друзья.

— Откуда вы все так хорошо знаете?

— Мы много чего знаем.

Момент был подходящий, и Михаил приступил к выполнению своего плана.

— Услуга за услугу,— сказал он уже миролюбиво.— У меня к вам будет одна просьба. Но давайте пройдем в бар, если вы не против.

Худощавый улыбнулся.

— Такой разговор мне нравится больше.

В совершенно безлюдном зале они сели за столик в углу.

— Закажем чего-нибудь? — предложил Михаил.

— Нет, я на работе не пью.

— Правильно делаете. Познакомимся?

— Друзья зовут меня Чарли.

— Я Мишель.

— Очень приятно. Так о чем мы будем говорить?

— Вы сказали, что находитесь сейчас на работе.

— Так оно и есть.

— Но вы ведь не государственный служащий.

Все это произносилось так, будто двое приятелей перебрасывались репликами от нечего делать, только чтобы скоротать время. При последнем замечании Михаила Чарли хихикнул.

— Это уж точно — не государственный.

— Значит, вы работаете на частное лицо.

— Вы как по бумажке читаете.

Михаил давно усвоил, что простота и убедительность подобных построений действуют на большинство людей располагающе. Разглядев своего собеседника поближе, он понял, что тот умом не блещет. Можно было брать вожжи в свои руки.

— В этой бумажке есть имя вашего хозяина.

Против ожидания, Чарли не удивился. Он, оказывается, тоже умел рассуждать просто, на что и надеялся Михаил, пуская свой пробный шар. Чарли сказал:

— Ясно, Брокман трепался.

Михаил пошел в открытую:

— Где сейчас Алоиз?

— А вам-то что?

Михаил сделался серьезным.

— Как вы думаете, Чарли, для чего я торчу тут с Брокманом?

— Это не мое дело.

— Мне нужно найти Алоиза, а Брокман не знает даже его теперешней фамилии.

Чарли немного растерялся от такого неожиданного поворота.

— Что-то не пойму... Вы знакомы с Алоизом?

— Был знаком лет двадцать пять назад, а потом потерял из виду.

На лице Чарли растерянность сменилась выражением, которое можно было прочитать так: «А что мы будем с этого иметь?» Но он хранил молчание, и Михаил открыл все свои карты.

— Скажите мне фамилию Алоиза и где его сейчас можно найти. Я дам вам за это пятьсот долларов и обещаю никому ни слова. Со своим приятелем, который сию минуту дежурит на улице, вам, наверно, лучше не делиться ни деньгами, ни...

— Стоп,— шепотом прервал его Чарли.— Деньги при вас?

— В номере. Сейчас принесу.

— Вы уедете сегодня же?

— Немедленно. Но с одним условием: не трогайте Брокмана в ближайшие сутки, чтобы я был вне подозрений.

— А мы его и не собираемся убирать. Он нам пока нужен живой.

— Это лучше.

Делая вид, что не торопится, Михаил закурил и не спеша отправился на второй этаж. Шпик остался сидеть за столиком.

На стук Брокман ответил не сразу. Пришлось постучать дважды.

— Кто?

— Я.

Войдя, Михаил отрывисто сказал:

— Собирайся.

— Куда?

— Во дворе стоит машина хозяина. Светлый «ситроен». Ляжешь сзади на пол.

— Что ты затеял?

— Надо исчезать отсюда. Пойдешь через бар, потом через служебный ход во двор.

— Сколько у нас времени?

— Ноль. Одевайся. Вещи не бери.

К Брокману сразу вернулась уверенность в себе. Он спросил деловым тоном:

— Ты все продумал?

— Сейчас увидим. Буду сидеть в баре с одним из этих топтунов. Второй на улице. Спускайся быстрее.

У себя в номере Михаил наскоро уложил чемодан, надел куртку, вышел, запер дверь и спустился в бар. Чарли сидел за столиком лицом к входу. Следовало его пересадить, чтобы он не увидел Брокмана.

Поставив чемодан у стойки, Михаил попросил бармена получить деньги за выпитое и прибавить еще два коньяка. Бармен стал считать на бумажке. Чарли вопросительно глядел в их сторону. Михаил поманил его пальцем. Когда он подошел, Михаил спросил, не против ли он выпить на прощание. Тот был не против.

Михаил рассчитался, взял рюмки и пошел к столику первым. Он сел на место Чарли, так что Чарли должен был сесть спиной к входу в бар и к двери, ведущей во двор.

Почти тут же появился Брокман. В этот момент Михаил вынул из кармана бумажник и начал медленно отсчитывать купюры по пятьдесят долларов. Потом, накрыв их салфеткой, пододвинул к Чарли.

— Запомните,— сказал тот, пряча деньги,— Алоиз живет в Париже, в отеле «Савой», под фамилией Гриффитс.

Выпили. Михаил встал.

— Благодарю.

— Пожалуйста.

— Пойду рассчитаюсь за отель,— сказал Михаил,— посмотрите уж заодно и за моим чемоданом.

На этот раз улыбка Чарли не казалась Михаилу противной.

Михаил рассчитался только за себя, подумав при этом, что хозяину придется терпеть убытки из-за Брокмана.

Потом он попрощался с Чарли и вышел во двор, к машине.

...Все сошло отлично. Оставив автомобиль у хозяина отеля в Берне, Михаил и Брокман расстались в цюрихском аэропорту. Брокман тем же вечером улетел в Дюссельдорф. Михаил ночевал в Цюрихе. Им не велено было появляться в Центре вместе. К тому же у Михаила оставался еще невыполненным последний пункт его плана.

...В семь часов вечера на следующий день Михаил спускался по трапу из самолета в парижском аэропорту Орли, а без четверти восемь звонил из кафе в городе Дону, своему рыжеволосому другу, владельцу бара и мастеру на все руки.

Дон явился тут же. Понимая, что Тульев не стал бы вызывать его так срочно по пустякам, он обошелся без вступительных вопросов о здоровье и прямо спросил:

— Что нужно сделать?

— Сколько тут пешком до «Савоя»?

— Минут десять.

— Пожалуйста, сходи и узнай, живет ли еще у них мистер Гриффитс.

Говорить Дону, что это надо сделать осторожно, не было необходимости.

Вернулся он через полчаса.

— На месте. Номер семнадцать, второй этаж. У него сейчас в гостях небольшая компания.

Михаил сказал с облегчением:

— Та-ак.— Помолчал и, облокотясь на стол, посмотрел Дону в глаза.— То, о чем я тебя хочу попросить, со стороны может показаться бесчестным.

— Но я смотрю не со стороны,— возразил Дон.— Лучше не теряй времени.

— Ты знаешь, как позвонить в Интерпол?

— Узнаю.

— Вот что надо им сообщить: человек, выдающий себя за Гриффитса, на самом деле Гюнтер Гофман, давно разыскиваемый преступник. Они сразу сообразят.

— И это все? — удивился Дон.

— Все.

— А ты меня пугал.

— Как ни говори, анонимный звонок.

— Во благо, во благо,— сказал Дон.— Посиди, я схожу позвоню.

Не успел Михаил выкурить сигарету, как Дон вновь появился в кафе.

— Порядок? — спросил Михаил.

— Страшно благодарили.

Михаил через стол хлопнул Дона по плечу.

— Спасибо.

Дон поморщился — мол, велика важность, нашел за что благодарить.

— Я тебе больше не нужен?

— Ты мне всегда нужен,— очень серьезно сказал Михаил.

В таких случаях Дон испытывал смущение.

— Ну, ладно, я пошел, в баре сейчас самое горячее время.

Они попрощались. Михаил смотрел вслед Дону, пока за ним не захлопнулась дверь. Посидев еще минут двадцать, он отправился к «Савою» и успел как раз в самую пору: у подъезда остановились два полицейских автомобиля. Из них высыпала целая толпа: трое скрылись в подъезде отеля, трое остались на тротуаре у входа.

Михаил прохаживался по противоположной стороне улицы. Ждать пришлось недолго. Вскоре из отеля вышел плотный человек среднего роста, державший ладони сложенными на уровне лица: он был в наручниках. Его сопровождал один полицейский. Двое других, надо полагать, остались в номере делать обыск.

Михаил имел право похвалить себя: военный преступник Гофман все-таки попался. Но Гофман — прошлое, а для будущего и для себя Михаил считал главным то, что он сумел вызволить Брокмана.

Гофмана сунули в машину и увезли.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. Петровой

Возвращение резидента

Глава 13

СЛЕДСТВИЕ В МАЕ 1972 ГОДА

Водитель троллейбуса гражданин Д. в ночь с 21 на 22 мая, с воскресенья на понедельник, возвращался из своего парка после работы в два часа. Недалеко от частных гаражей он увидел сбоку от узенькой асфальтовой пешеходной дорожки лежащего на траве человека. Приблизившись, он наклонился и разглядел, что это девушка из соседнего дома, которую он не раз встречал. Гражданин Д. в недоумении тронул ее за плечо — она лежала на боку — и понял, что дело неладно: девушка не подавала признаков жизни. Трава вокруг ее головы слиплась от крови. Д. пошел на улицу, из будки автомата позвонил в милицию.

Через десять минут на двух машинах прибыла оперативная группа, дежурившая в эту ночь в городском управлении внутренних дел,— инспектор угрозыска, следователь прокуратуры, врач, эксперт НТО, проводник с овчаркой. Д. рассказал, как он обнаружил пострадавшую. Зажглись фары автомобилей, и на пустыре возник широкий светлый круг, где было видно как днем, и в центре этого круга лежало на земле недвижное тело молодой девушки.

Сильнее света фар несколько раз сверкнула вспышка блица — эксперт НТО сфотографировал с разных точек место происшествия.

Женщина-врач, судебно-медицинский эксперт, осмотрела пострадавшую, выслушала через фонендоскоп ее сердце и со вздохом сказала следователю, нетерпеливо ждавшему результата:

— Она жива. Проникающее ранение черепа. Ударили тяжелым тупым предметом.

Послышалась сирена «Скорой». Она въехала в светлый круг, санитары положили девушку на носилки, вдвинули в кузов автомобиля, и «Скорая» умчалась.

Следователь поднял с земли лежавшую под телом пострадавшей сумку из тисненой кожи, открыл ее, перебрал пальцами ее содержимое и извлек удостоверение центрального городского универмага. Заглянув в него и положив обратно, он принялся тщательно осматривать место происшествия, делая пометки в блокноте. Он ходил кругами, все более расширяя их, пока не добрался до забора по правую сторону дорожки, если стать лицом к гаражам. Ничего существенного при осмотре он не обнаружил — лишь несколько окурков, явно не этой ночью брошенных, разные щепочки, осколки стекла.

Следователь перелез через забор, зажег карманный фонарик и стал шарить лучом по земле. Но и там ничего не нашел.

В то время как он вел свои поиски, проводник с собакой терпеливо разбирались в путанице следов, пока, наконец, совершенно изнервничавшийся пес не сел на траву с отчаявшимся видом, давая тем самым понять, что он тут бессилен.

Затем был составлен протокол осмотра места происшествия, а тот участок земли, где лежала пострадавшая, огражден колышками, на которые натянули шнур. Оставив на пустыре одного из милиционеров, оперативная группа села по машинам и вернулась в городское управление внутренних дел.

Дежурный следователь, справившись в реанимационном отделении нейрохирургической клиники о состоянии потерпевшей и узнав, что оно очень тяжелое, записал последние данные и позвонил начальнику отдела, занимающемуся расследованием наиболее тяжких преступлений. Тот из дому поднял телефонным звонком следователя по особо важным делам Орлова:

— Михаил Петрович, приезжай сейчас же в управление. Буду тебя ждать.

Подполковник милиции Михаил Петрович Орлов, через чьи руки за восемнадцать лет следственной работы прошло достаточно много сложных уголовных преступлений, принял дело и начал расследование.

Подполковник отправился на место происшествия и внимательно его осмотрел. Потом по записанному для него на листке календаря адресу нашел квартиру Суховых. На другом листке он сам записал адрес нейрохирургической клиники, куда поместили Светлану Сухову,— для ее матери.

Когда Вера Сергеевна, открыв дверь, увидела перед собой высокого мужчину лет сорока пяти с косым шрамом на виске, с успевшим загореть лицом, она не испугалась и не встревожилась, а скорее наоборот,— как бы вздохнула, освобождаясь от чрезмерного напряжения. Она тревожилась всю ночь и всю ночь не ложилась спать, потому что ждала Светлану. Впервые в жизни ее дочь не пришла ночевать домой. Появление подполковника Орлова в столь ранний час — не было еще и семи — автоматически связалось у нее с отсутствием Светланы, и она встретила нежданного гостя взглядом, полным нетерпения.

Михаил Петрович в кратких словах изложил все, что знал сам, а затем задал Вере Сергеевне несколько вопросов. С кем дружила Светлана? Не замечала ли Вера Сергеевна чего-нибудь необычного в поведении дочери за последнее время? Не ссорилась ли Светлана с кем-нибудь? Нет ли у нее каких-то недоброжелателей?

Орлов объяснил, что преступник напал на Светлану не с целью ограбления: ни кольцо, ни деньги взяты не были.

Вера Сергеевна рассказала все, что знала, и прибавила то, о чем догадывалась. Таким образом в блокноте Орлова появилось два имени: Галина Нестерова и Алексей Дмитриев и под знаком вопроса — неизвестный пожилой мужчина. Вера Сергеевна поведала о своих сомнениях по поводу увлечения дочери новомодными нарядами, которые появляются из какого-то непонятного источника, о прежней дружбе Светланы с Лешей, о их затянувшейся размолвке, о неудачах с поступлением в университет.

Затем Орлов разыскал дружка Алексея Дмитриева — одного из тех, что сидели с ним вместе на скамейке, когда Леша ждал Светлану. Дружок, говорливый парень, между прочим сообщил, что у Леши было две пропажи — фотопленка и гаечный ключ — и что Леша грозился проучить Светлану. После этого Орлов вернулся в управление.

Одному из своих помощников он поручил установить, кто видел Светлану Сухову последним, точнее, предпоследним, ибо жертву преступления последним всегда видит преступник. Это была одна из самых трудных задач. Другой оперативный работник получил задание заняться выяснением личности Галины Нестеровой и Алексея Дмитриева. Третий должен был собрать сведения о Светлане по месту ее работы — в универмаге.

К сожалению, этот день был не субботним и не воскресным. К сожалению потому, что наиболее естественным и логичным следственным действием, с которого надо начинать в данном случае, Орлов считал встречу с владельцами гаражей, возле которых было совершено нападение на Светлану Сухову. Туда он и отправился.

Несмотря на будний день, в этом гаражном городке, как и во всяком другом, жизнь не замирала. Кто-то из автовладельцев пришел с ночной смены, кто-то, напротив, должен заступать в вечернюю, а у кого-то отпуск, и надобно подготовить «телегу» в дальний путь.

Орлов подошел к гаражу, в котором крутился возле «Москвича» юркий, низенький человек лет пятидесяти, с тряпкой в руке.

— Можно вас на минутку?

— Всегда пожалуйста,— охотно откликнулся автовладелец.— Чем могу служить?

— Я из уголовного розыска. Вы знаете Алексея Дмитриева?

— Вон его конура, через две от меня. Только он сейчас на работе.

— Не слыхали, не пропадало у него чего-нибудь?

— А что у него красть? — Автовладелец даже рассмеялся.

— Ну, например, гаечный ключ... А о ночном происшествии слыхали?

— Как же! Жаль девчонку. И родительницу ее жалко. А вы по этому делу? Как она, Светка-то?

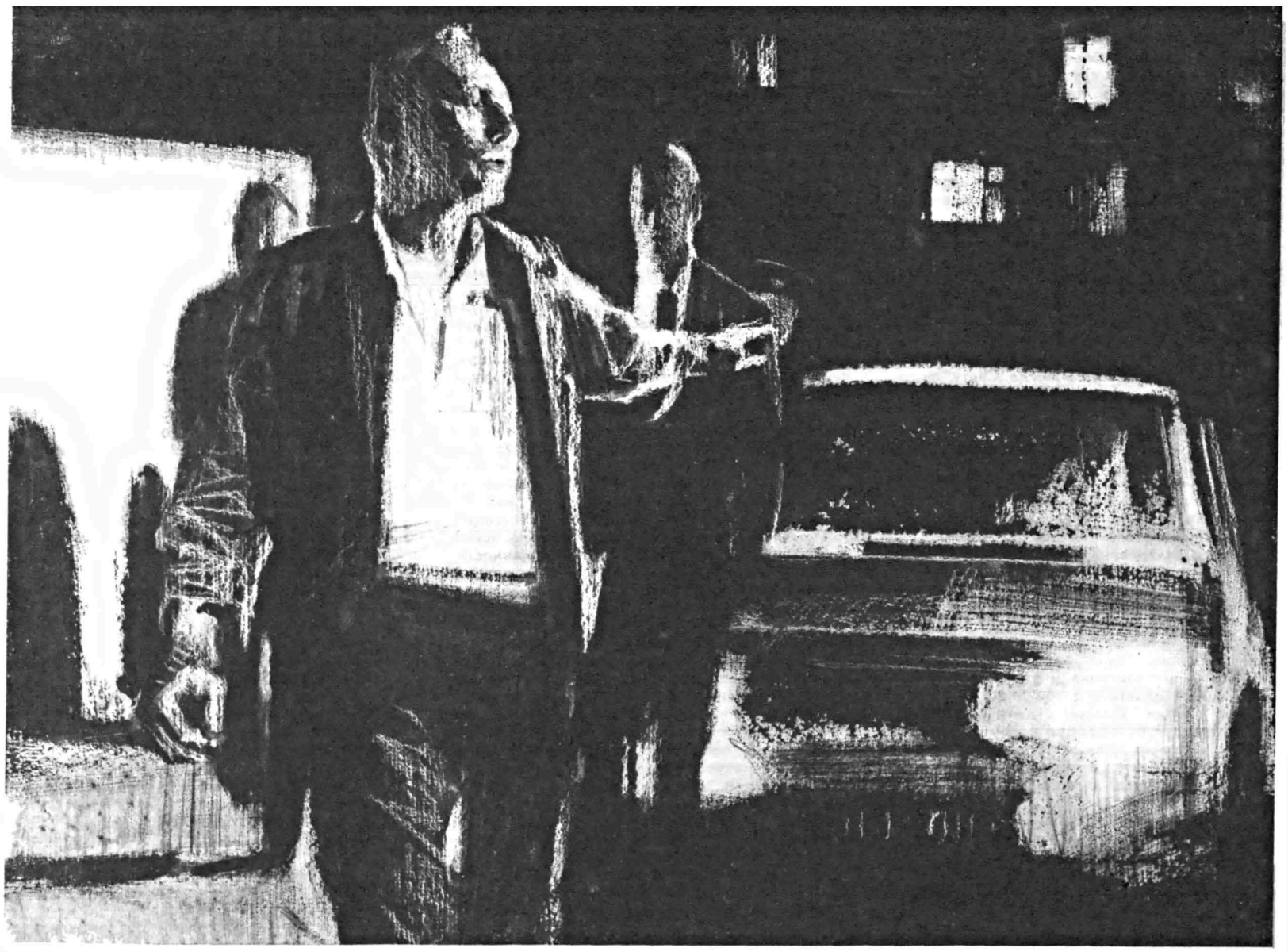
— Жить будет. А я по этому делу.

— И ключик, о котором спрашивали, значит... так сказать, тоже участвовал? — деликатно полюбопытствовал автовладелец.

— Скорей всего.— Орлов увидел, как при этих словах у его собеседника побледнело лицо.

Можно было ожидать, что автовладелец сейчас сделает какое-то умозаключение. На

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—24.



глазах у Орлова происходила работа мысли, процесс сопоставлений.

— Не может быть,— наконец произнес автовладелец.

— Простите, как вас зовут?—спросил Орлов.

— Николай Петрович.

— А что не может быть, Николай Петрович?

— Я говорю, не мог Леша этого сделать. Тут кто-нибудь другой, обязательно другой.

— А я вам и не говорил, что это он.

— Вы же про ключ спрашивали,— с недоумением сказал Николай Петрович.

— Ключ может оказаться в любых руках. А почему же все-таки вы за Лешу так уверены?

Николай Петрович пожал плечами.

— Не тот он парень... Ну, правильный парень, понимаете?

— Давно его знаете?

— Да как в этот дом вселились. Пятнадцать лет. Он еще и в школу, по-моему, не ходил.

— Спасибо, Николай Петрович, за информацию. А фамилия ваша как?

— Косицын.

— Адрес на всякий случай я запишу. Можно?

Николай Петрович назвал номер своего дома и квартиры, и Орлов уехал на ждавшей его машине.

...В тот день Леша до конца своей смены не доработал: в одиннадцать вызвали в отдел кадров, где его ждал подполковник Орлов. С ним Леша приехал в городское управление внутренних дел. Орлов сразу спросил:

— У вас гаечный ключ пропал?

— Да. Разводной.

— Когда?

— С год назад.

Строго говоря, Орлов действовал несколько против принятых правил, с первого шага открывая Леше то, что известно следствию, тем более что по логике вещей Лешу, как владельца гаечного ключа, возможно, послужившего орудием преступления, пока нельзя было совершенно освободить от подозрения. Но у Орлова была своя тактика расследований, и он верил собственной интуиции.

— Кто-нибудь может это подтвердить?

Леша задумался ненадолго и наконец вспомнил:

— Сосед по гаражу у меня его попросил, я поискал — нету. Тогда и хватился.

— Замок на гараже не срывали?

— Нет.

— А кто этот сосед?

— Парфентьев Сергей Степаныч, из девяносто восьмой квартиры.

— Где он работает?

— На электроламповом, мастером цеха.

Орлов по телефону вызвал одного из своих помощников, дал ему листок с записью.

— Поезжай сейчас на электроламповый, найди этого человека, привези сюда.

Леша понял, что хотя этот симпатичный следователь относится к нему вроде неплохо, но на веру его слова все же не принимает, и Лешу это немножко задело, ему хотелось доказать, что такому человеку, как он, можно доверять и без проверки. Но что пока он мог сделать?

— У вас со Светланой Суховой дружба? — спросил Орлов совсем из другой области.

— Была, да вся вышла,— хмуро ответил Леша.

— Почему?

Леше неудобно было отвечать на такой вопрос, трогать Светкины дела.

— Это, наверно, не влияет значения,— сказал он, привычно переиначивая ходячее выражение.

— Для следствия все имеет значение. Вы когда рассорились-то?

— Не ссорились. Просто не встречаемся. Уже с год.

— Не собирались ли вы ее проучить?

— Чего ее учить? Она сама ученая.

Орлов чувствовал и верил, что Алексей Дмитриев говорит правду. Он не мог подозревать этого парня в покушении на убийство.

— А все же почему не встречаетесь больше? — спросил Орлов.

— Так получилось.

— Не был ли причиной кто-нибудь третий?

Врать Леша не мог. Признаваться, что ревновал к итальянцу, тоже не мог.

— Был один человечек, но это тут ни при чем,— сказал он по-прежнему хмуро.

Однако они говорили о разных людях: Леша имел в виду Пьетро Маттинелли, имени которого он не знал, а Орлов — неизвестного пожилого мужчину, о котором Светлана говорила матери в сочиненной ею истории относительно источника заграничных вещей.

— Почему был? — спросил Орлов.

— Он уехал... Улетел...

— Далеко?

— За границу.

— Откуда вы знаете?

— Витек проследил.

— А кто такой Витек?

— Пацан с нашего двора. Ему двенадцать лет.

— И когда же это было?

— Тоже год назад.

— Расскажите об этом подробнее... Минутку, я, с вашего разрешения, включу магнитофон.

Орлов не ожидал появления в следственном деле какого-то иностранца. Вопрос о пожилом поклоннике Светланы Суховой он оставил пока

в стороне, а сейчас внимательно слушал Алексея. Выяснялись любопытные детали.

Заканчивая свой рассказ о том, как они с Витьком разыскали Светлану в кафе, Леша вспомнил и странный случай с человеком, потребовавшим засветить пленку.

— Что это был за человек? — спросил Орлов.

— Немолодой уже, постарше вас намного. Лица я не запомнил.

— Но он как-нибудь вам представился?

— Книжечкой помахал, удостоверением.

— Что за удостоверение?

— Красная книжечка такая. Мы в нее не заглядывали.

Наступило молчание. Орлов выключил магнитофон и закурил.

Леша, словно нащупывая ускользавшую мысль, задумчиво произнес:

— Да, тут еще вот что, товарищ...

— Меня зовут Михаил Петрович.

— Михаил Петрович, я когда Свету фотографировал, по-моему, этот тип за соседним столиком сидел, он в кадр попал.

— Пленка у вас цела?

— В том-то и дело, что нет.

— Тоже пропала?

— Да. Не знаю как.

— Когда обнаружили пропажу?

— Приблизительно тогда же. Как ключ исчез. Прошлым летом. Кажется, в июле.

— Только эта пленка и пропала?

— В том-то и дело.

— А замки в квартире целы?

— Один раз мать жаловалась, что ключ заедает. А потом — ничего...

Орлов почувствовал, что здесь завязывается какой-то узелок.

— Хоть одна карточка у вас осталась? Вы же, наверное, печатали с той пленки.

— Две штуки Светке отдал, а одну...— Леша закусил губу и вдруг вспомнил: — Точно, одна карточка должна остаться. Я стенгазету хотел вывесить, а потом не стал... Если мать не выбросила, она под тахтой должна лежать.

Орлов не пожелал уточнять, о какой стенгазете речь. Он взял трубку телефона, набрал номер:

— Машину мне.— И, положив трубку, сказал Леше: — Поезжайте домой, привезите вашу стенгазету.

...Пока Леша ездил за газетой, помощник Орлова привез с электролампового завода Сергея Степановича Парфентьева.

— Вы можете подтвердить, что у Алексея Дмитриева пропал гаечный ключ?— спросил Орлов.

— Да. Пользовался им. А потом он пропал.

— Вспомните, пожалуйста, когда именно вы спрашивали ключ у Дмитриева в последний раз?

— Точно не помню, а было это прошлым летом, в июле, а может, в августе.

Составив протокол и дав подписать его Парфентьеву, Орлов сказал:

— Спасибо. Всего доброго.

Едва Парфентьев покинул кабинет, вернулся Леша. В руке он держал сложенный вчетверо лист ватмана. На ходу развернув его, Леша положил лист на стол перед Орловым.

— Вот. Хорошо, на сгиб не попала,— сказал Леша, ткнув пальцем в фотокарточку.

— Который он? — спросил Орлов.

Леша снова ткнул пальцем.

— А вот, со стула поднимается.

Орлов недолго разглядывал лица на снимке, потом позвал помощника.

— Отправь это в фотолабораторию, пусть выкадрируют крупно человека на заднем плане. Скажи — срочно.

Помощник взял ватман и ушел.

— Садитесь, продолжим,— сказал Орлов Леше.— Теперь такой вопрос. Не встречали ли вы Светлану Сухову с пожилым мужчиной? Или приходилось?

— Я не видел, а Витек встречал.

— Не тот ли это, что на снимке?

— Трудно сказать... Мы про снимок, честно говорю, давно забыли... Год прошел...

— Ну, а как, на ваш взгляд, сильно изменилась Светлана за этот год? Или не замечали?

— Прибарахлилась, конечно.

— И больше ничего?

— А что же еще?

Орлов попросил Лешу в ближайшие дни никуда из города не уезжать и попрощался с ним.

После обеда у Михаила Петровича состоялось маленькое совещание с помощниками.

Из того, что удалось узнать о Галине Нестеровой, существенным для дела представлялся лишь один момент: она, как и Светлана Сухова, за прошедший год обновила все свои туалеты. Ничего предосудительного никто за нею не замечал.

Что касается универмага, то сведения оттуда были интереснее: две продавщицы заявили, что могли бы узнать в лицо пожилого человека, который довольно регулярно наведывался к Светлане — то ли как обыкновенный покупатель, то ли специально ради самой Светланы.

Выяснилось также, что Светлана покинула универмаг в двадцать часов пятнадцать минут. Последней, кто видел ее в универмаге, была заведующая сектором. По всей вероятности, она и была тем «предпоследним», кого искал Орлов. Но следствию это ничего не дало.

Наметив план дальнейших действий, Орлов отпустил своих сотрудников и позвонил — четвертый раз за день — в нейрохирургическую клинику. Оказалось, что уже собирался консилиум. Прогноз неутешителен: травма черепа нарушила функции жизненно важных центров, и выздоровления, если оно придет, надо ждать нескоро — не ранее нем через три-четыре месяца. Парализованы конечности. Светлана не видит, не слышит и не может говорить. Когда восстановятся зрение, слух и речь, пока невозможно предсказать.

Значит, из первоисточника следствию добыть ничего не удастся...

К трем часам пополудни принесли из фотолаборатории выкадрированный из фотокарточки и увеличенный портрет неизвестного пожилого мужчины,— снято было не в фокусе, а при увеличении нерезкость еще усугубилась, но все же черты лица вырисовывались достаточно отчетливо, портрет годился для идентификации. Взяв из фототеки портреты трех других мужчин, сходных по типу, Орлов отправился в универмаг.

Продавщиц, которые знали в лицо того человека, который навещал Светлану Сухову, вызвали в кабинет директора. Орлов предъявил им четыре фотопортрета, и обе без колебаний указали на кадр, снятый Алексеем.

Теперь требовалось установить, был ли этот человек знаком со Светланой к тому времени, когда делался снимок, то есть в конце мая — начале июня. Светлана говорить не могла — значит, надо спрашивать Галину Нестерову.

...Скорее всего Орлов, если бы он знал о состоянии, в котором Галина пребывала с тех пор, как Вера Сергеевна по телефону, заливаясь слезами, рассказала ей о случившемся,— скорее всего он отложил бы встречу с ней по крайней мере на завтра. Единственная подруга потерпевшей должна болезненно переживать несчастье — это понятно всякому. Но то, с чем столкнулся Орлов, граничило чуть ли не с катастрофой. Галина Нестерова с утра, после телефонного разговора с матерью Светланы, не пошла в университет, не стала завтракать, не отвечала матери, которая после двух безуспешных попыток разговорить дочь оставила ее в ее комнате и удалилась в свою спальню. Галина сидела в низком кресле, уперев локти в колени и спрятав лицо в ладонях. Ольга Михайловна, позавтракав, поехала в парикмахерскую, вернулась, пообедала, а Галина все сидела, не меняя позы. Часы пробили шесть вечера — она все сидела. Немудрено, что она не могла сразу встать, когда за нею приехал посланный Орловым оперативный работник. Она самостоятельно и вниз спуститься не сумела бы — так затекли у нее ноги. Помощник Орлова принял это за минутную слабость, иначе он не настаивал бы на немедленной явке в управление.

Увидев ее входящей в кабинет и встав ей навстречу, Орлов спросил:

— Вы плохо себя чувствуете?

Галя не ответила. Орлов взял кресло, поставил его поближе к своему столу.

— Садитесь, пожалуйста.

Она послушно села. Орлов спросил:

— Вы в состоянии ответить на несколько вопросов? Мы можем и отложить.

— Прошу вас,— сказала Галина.

Орлов решил действовать по несколько сокращенной программе — выяснять только самое необходимое.

— Посмотрите на эти фотоснимки. Кто-нибудь из них вам знаком?

Галина перебрала одну за другой четыре протянутые ей карточки.

Портрет из Лешиного кадра задержался в ее руке. Она узнала Виктора Андреевича.

— Этот,— без всякого выражения, вяло вымолвила она.

— Как его зовут?

— Виктор Андреевич.

— Вы давно с ним познакомились?

— В прошлом году.

— При каких обстоятельствах?

— Он сам пришел к Светлане.

— Ухаживал за ней?

— Нет, что вы...

— Его фамилия?

— Мы не знаем.

— Вы хотите сказать — Светлана тоже не знает?

— Да.

Орлову стало ясно, что, хотя Алексей отдал фотоснимок Светлане еще год назад, у подруг никогда не возникало мысли, что человек на снимке и некий Виктор Андреевич — одно и то же лицо.

— Где он работает?

— На химкомбинате. В лаборатории.

— А кто сидит с вами за столиком?

— Пьетро... Итальянец...

— Как его фамилия?

Гале стоило труда вспомнить. Наконец она вспомнила:

— Маттинелли.

— Турист?

— Он работал на химкомбинате. Инженер.

— Вы часто виделись?

— Он уехал на следующий день.

Галина не выходила в своих ответах за рамки вопросов — это ей было не по силам.

— Он больше не приезжал?

— Нет.

— И писем не присылал?

— Присылал. Светлане.

— Она вам их показывала?

— Да.

— Что он писал в последний раз?

— Собирается приехать.

— Когда?

— Кажется, послезавтра.

— Когда вы в последний раз виделись с Виктором Андреевичем?

— Недели три назад.

— Он знает итальянца?

— Да.

— Спасибо. Поезжайте домой. Вас отвезут.

Орлов вызвал себе другую машину и поехал к Вере Сергеевне Суховой — ему не терпелось выяснить, сохранилась ли у Светланы фотокарточка, подаренная Лешей. Вера Сергеевна перерыла все и в комнате дочери и у себя. Карточки не было.

Вернувшись в управление, Орлов заперся в своем кабинете и дважды прослушал записанный магнитофоном разговор, а потом позвонил своему начальнику генерал-майору Ганину. Генерал был занят, просил прийти через час. Чтобы не терять времени, Орлов связался с отделом кадров химкомбината и попросил выяснить, в какой из лабораторий работает инженер по имени Виктор Андреевич. Через сорок минут ему позвонили из отдела кадров и сказали, что ни в одной лаборатории человек, которого зовут Виктор Андреевич, не числится.

Тогда Орлов попросил проверить весь личный состав комбината. Это требовало времени, но Орлов предчувствовал, что и среди более чем трех тысяч работников химкомбината Виктора Андреевича не обнаружится. Возможно, найдется его двойной тезка — и по имени и по отчеству, но им окажется не тот, кого он ищет. И вообще, надо полагать, у человека с Лешиного снимка настоящее имя совсем другое.

...Наконец генерал принял Орлова. Им не было необходимости разжевывать друг другу догадки, возникавшие по ходу доклада. А вывод они сделали независимо друг от друга, но совершенно одинаковый: специфика этого дела требовала немедленно связаться с управлением Комитета госбезопасности.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Возвращение резидента

Глава 14

УТКИН ПРОСНУЛСЯ

После длительного бездействия Владимир Уткин наконец проявил активность — это произошло весной 1972 года. Прежде он проводил свой отпуск дома, хотя ему местком предлагал путевки на юг. Теплому морю он предпочитал местную реку и рыбалку на ней.

На этот раз он изменил правилу и отправился к морю, но не на юг, а на север, на Балтику, и не на взморье, а в большой город, и именно в тот город, где жила Мария, жена Михаила Тульева. Если принять во внимание все поведение Уткина, за прошедшие годы ни разу не покидавшего места своего жительства, выбор этот не был случайным. С чего бы вдруг Уткина потянуло не куда-нибудь еще, а туда, где базировался бывший резидент разведцентра Тульев, где остались люди, знавшие и помнившие его?..

— Твоя Спящая Красавица, кажется, проснулась,— сказал полковник Марков Павлу Синицыну, вызвав его по этому поводу на дачу, где они обычно встречались.

Прозвище «Спящая Красавица» было кодовым именем Владимира Уткина, которое ему присвоили по предложению Павла.

— Пора бы,— сказал Павел.— И как это выглядит?

— Едет в Прибалтику.

— Марией интересуются?

— Не исключено.

— У Михаила что-нибудь не в порядке?

— Там время от времени трясет. Проверки...

— Но она-то им зачем?

— Кто знает? Во всяком случае, надо предупредить Марию, а то перепугается.

— Когда отправляться?

— Сейчас, буквально сию минуту. Он уже в поезде.

Павел встал.

— Оружие возьми,— сказал Марков.— Далеко его от себя не отпускай. Черт их знает, что там задумано.

— Не собирается же он Сашку украсть.

— Красть, может, не будет, но ты их все-таки подстрахуй...

Павел прилетел в город за восемь часов до прихода поезда, в котором ехал Уткин. Из аэропорта он позвонил Марии по телефону, а в половине двенадцатого ночи был у нее дома.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—25.

Мария не удивилась неожиданному появлению Павла. Он навещал ее не часто, но довольно регулярно. Во всяком случае, достаточно регулярно для того, чтобы сын Сашка считал дядю Пашу своим человеком и даже другом, и не потому, что дядя Паша обязательно привозил какие-нибудь подарки. Сама Мария относилась к Павлу по-родственному, словно он был братом ее мужа, Михаила Тульева.

Вообще с Москвой у нее связь поддерживалась прочная. Владимир Гаврилович Марков раз в месяц звонил, в дни рождения — ее собственный и Сашкин—и перед всеми праздниками непременно присылал поздравления.

Мария по-прежнему работала диспетчером в таксомоторном парке, и все у нее было по-старому. То новое и радостное, что происходило в ее жизни, было связано только с сыном. Вот теперь, например, Сашка заканчивает уже второй класс.

Материально она не нуждалась, хотя оклад у нее был небольшой: ежемесячно на ее лицевой счет приходил денежный перевод из Москвы — часть зарплаты Михаила...

Закрыв за собою дверь, Павел кивнул на комнату Сашки:

— Спит? Поговорим на кухне.

— Чаю или кофе? — спросила Мария в кухне.— Ты почему не снимаешь плащ?

— Я на минуту. У тебя все в порядке?

— Да. Ты проездом?

— Нет, специально к тебе.

— Тогда куда же торопиться?

— Еще надо устроиться в гостиницу и выспаться, завтра мне рано вставать. Слушай дело.

Мария поняла, что Павел на этот раз приехал не просто ради того, чтобы навестить их, и слегка нахмурилась.

— Да ты не напрягайся,— сказал Павел, усаживаясь за стол напротив нее.— Ничего особенного. Завтра приезжает один человек, думаю, захочет тебя увидеть.

— Связано с Мишей?

— Наверняка.

— А чего он хочет?

— Это ты мне потом расскажешь.

— Что его может интересовать?

— Понятия не имею. Но если спросит о Михаиле, говорить надо одно: уехал куда-то на Крайний Север, ты о нем ничего не знаешь, писем не пишет.

— С Мишей в порядке?

— Все нормально. Ты, Мария, не беспокойся насчет этого гостя, мы рядом будем. Скажи мне вот что: Сашок в школу сам ходит?

— Туда я его провожаю, а обратно — сам. Тут недалеко, даже через дорогу не надо. А почему ты спрашиваешь?

Видно было, что вопрос встревожил, и Павел выругал себя.

— Да так, не подумав, спросил...

— Не хитри, Паша.

— Ну, ошибся, прости. За Сашкой мы присмотрим, и забудь об этом.

— Легко сказать!

— Запомни: никогда ни один волос не упадет с Сашкиной головы.

— Ладно, забыла.

— Во сколько вы из дому выходите?

— В восемь.

— Я пошел. Извини, Сашке ничего не привез, торопился, купить не успел. Но ты ему, между прочим, не говори, что я заходил.

— Ладно. Когда появишься?

— Трудно сказать. Смотря по обстоятельствам. Но если не я, то кто-нибудь из наших к тебе заглянет.

— Ну, счастливо.

— Будь здорова, Мария. Последняя просьба: на улице головой не крути, ходи без оглядки.

— Хорошо.

От нее Павел отправился в городской отдел КГБ. Предупрежденный по телефону Марковым, начальник отдела ждал его. Условились таким образом: в распоряжение Павла выделяется местный сотрудник, они встречают гостя на вокзале, а потом будут действовать в зависимости от поведения Уткина.

Номер в гостинице был Павлу заказан. Полковник завез его по пути на своей машине. Поезд приходит в семь утра. У Павла оставалось пять часов — вполне достаточно, чтобы как следует выспаться.

Сотрудник из отдела КГБ заехал за ним в половине седьмого. По дороге к вокзалу они договорились о распределении ролей.

Встречающих на перроне оказалось не так много, и Павел решил остаться в зале ожидания, наблюдать через окно: попадаться на глаза Уткину ни в коем случае нельзя, потому что его, Павла, он может знать в лицо — наверное, Уткину перед засылкой показывали его портреты. Но если это и не так, все равно надо оставаться невидимым для Уткина.

Павлу было известно, что Уткин едет в восьмом вагоне, однако появиться он должен, по всем правилам, из вагона под другим номером,— если, конечно, он не полный растяпа и если инстинкт самосохранения заглох в нем не окончательно.

Действительно, Уткин с небольшим чемоданчиком в руке и со «Спидолой» на ремешке через плечо сошел на перрон из вагона № 6. Но предосторожности на этом и кончились. Осмотревшись по сторонам при выходе на вокзальную площадь, Уткин больше уже ни разу не оглядывался, не проверялся.

На стоянке такси он дождался своей очереди, и без четверти восемь они — Уткин, Павел и его помощник — были на улице, где жила Мария. Павел остался в машине, велев шоферу заехать во двор большого нового дома, а помощник вышел и отправился по другой стороне улицы следом за Уткиным, который, отпустив такси, тихо подвигался вперед и искоса поглядывал на номера домов. У № 34 он еще замедлил шаги, а потом совсем остановился, закурил. Павел проверял, не следит ли кто, в свою очередь, за его помощником,— это было нелишне. Но все оказалось чисто.

Без пяти восемь из подъезда дома № 36 вышла Мария с сыном. Сашка размахивал портфелем и, задрав голову, щурясь на утреннем солнышке, что-то рассказывал. Они достигли перекрестка и повернули за угол. Следом — Уткин, за ним помощник Павла, а чуть дальше — сам Павел.

У школы Мария поцеловала сына в щеку, он помахал рукой и тут же громко закричал

кому-то из мальчишек, шедших к школе по другой дорожке.

Уткин догнал Марию. Павел и его помощник видели, как она приостановилась на секунду, увидев рядом с собой незнакомого мужчину. По всему видно, он знал Марию в лицо.

Помощник остался дежурить в районе школы, а Павел следовал за Марией и ее спутником. Не выпуская их из виду, он размышлял о действиях Уткина и не мог не прийти к выводу, что этот законсервированный агент получил для своей первой акции исчерпывающие исходные данные: кроме адреса, еще и внешность объекта, и даже точное время, когда объект выходит из дому. Неужели кто-то тайком составлял хронометраж рабочего дня Марии? Впрочем, все это, как и адрес, мог сообщить сам Михаил. Скорей всего, так оно и было.

У трамвайной остановки Мария и Уткин ненадолго задержались, коротко поговорили и пошли дальше,— должно быть, Мария по просьбе Уткина решила на сей раз добираться до таксомоторного парка пешком. Судя издали, разговор их не отличался оживленностью, но продолжался он целых полчаса. Что было главным в этом разговоре, Мария рассказала Павлу после, когда Уткин уехал.

Представившись как давний друг Михаила, но не сообщив своего имени, Уткин спросил:

— Не могли бы вы дать мне его адрес?

— Я сама не знаю,— сухо сказала она.

— Как же так? Вы жена...

— Очень просто.

— Он что же, не пишет?

— Представьте, ни строчки.— Ей самой этот факт как будто впервые показался удивительным и нелепым.

— Сбежал?

— Да вроде того... А откуда же, между прочим, вы узнали мой адрес, если сейчас спрашиваете адрес Миши?

— Я ведь здесь жил... До того как он уехал. Знал, куда ночевать ходит.

— Ага, понятно,— сказала Мария скучным голосом, едва сумев скрыть, как ей неловко сделалось из-за того, что собеседник врет столь неуклюже: ведь она переехала в эту двухкомнатную квартиру совсем недавно.

Минуты две они шли молча, потом Уткин сказал сочувственно:

— Простите за нескромный вопрос... И вы по-прежнему считаете его мужем?

— А что же делать? — сказала Мария.

— И он вам не помогает?

— Абсолютно.

Снова помолчав, Уткин сказал:

— Я сочиняю, я никогда не жил в вашем городе.

Мария удивилась:

— Не понимаю вас... Вам не кажется, что все это странно? Остановили на улице... Незнакомый человек...

— Михаил просил меня повидать вас, сказать, чтобы не беспокоились... Он сказал — вы знаете, где он...

Она остановилась, посмотрела ему в лицо.

— Прошу вас, прекратим это. Я ничего не хочу слушать.

— Вы можете передать ему через меня...

— Всего хорошего,— сказала Мария и перебежала на другую сторону улицы.

Уткин тем же вечером уехал из города поездом домой, через Москву.

Свой доклад Владимиру Гавриловичу Маркову в Москве Павел начал с такого заявления:

— Как хотите, а понять зарубежных хозяев Михаила невозможно.

— Почему?

— Смотрите, что получается. Уткин ездил к Марии для того, чтобы как-то и что-то там проверить, да?

— Предположим.

— Следовательно, они с самого начала, то есть с момента возвращения Михаила, не верят ему?

— Скажем, не до конца доверяют.

— Хорошо. Заметим это. Дальше: Уткин настолько уверен, что за ним никакого хвоста быть не может, что почти не проверялся. Что это значит? Как, по-вашему, Владимир Гаврилович?

— Они считают его надежно законспирированным.

— Как же так? — с подначкой спросил Павел.— Первый человек, которого увидал Уткин на нашей земле, был Михаил — подозреваемый Михаил. Значит, с первого шага Уткин должен быть на крючке. Или я неправильно рассуждаю?

— Вроде все на месте.

— Тогда где же логика?

— Действительно, не вяжется,— согласился Марков.

— Дальше. Я могу построить еще одно рассуждение — и опять получится совершенно кособокая вещь.

— Например?

— Примем как данное, что они считают Уткина засвеченным. Значит, легко сообразить, что мы Марию предупредили о его визите. К чему тогда вся эта петрушка?

— А ты не допускаешь...

— Простите, Владимир Гаврилович, я знаю, что вы хотите сказать. Все проверено: Уткин приехал один, за нами хвоста не было.

— Стало быть, остается признать, что Уткин ездил с честными намерениями? — поддразнивая Павла, спросил Марков.

— В таком случае я вообще отказываюсь понимать высокий полет мысли тех гениев, которые велели Уткину съездить к Марии. Набор вопросов был примитивный.

Когда Павел переходил на столь изящный слог, это значило, что обсуждаемый вопрос в силу своей абсурдности перестал его волновать. Сообразуясь с этим, Марков предложил:

— А теперь все-таки начнем сначала. Расскажи по порядку.

— Я записал для точности.

Павел вынул из кармана вчетверо сложенный листок, где был зафиксирован разговор Уткина с Марией,— дословно, с ремарками, сделанными Марией.

В ответ Марков дал Павлу прочесть одно из писем Михаила Тульева, в котором тот сообщал о подозрениях Себастьяна относительно него, о проверках на лояльность и о глухой борьбе между Себастьяном и Монахом.

— Может быть, ты прав насчет того, что Себастьян немного не в ладах со здравым смыслом,— сказал Марков в заключение беседы.— Что касается примитива, тут я затрудняюсь... Во-первых, в таких делах до сих пор действует старое правило: чем проще, тем вернее. Во-вторых, мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии — только предлог, а главная задача совсем в другом. Мы знаем не все.

— Вы, Владимир Гаврилович, себе противоречите,— не без ехидства заметил Павел.— Говорите: чем проще, тем лучше, и тут же сами все усложняете.

Марков усмехнулся.

— Так мы же не догматики. Мы живые люди.

...Беседа эта происходила 27 апреля 1972 года. 28-го Уткин вернулся к себе домой. 29-го было получено обширное сообщение от Михаила Тульева, и тот день положил конец спокойствию, царившему в старом, начавшемся еще десять лет назад деле. Все пришло в движение.

Михаил уведомлял Маркова, что в скором времени, не позже середины мая, в Советский Союз будет переброшен агент с серьезными задачами, которого он, Михаил, имел честь готовить к засылке и который ему был представлен под именем Владимира Прохорова, а на самом деле это Карл Брокман. Далее следовал подробный словесный портрет и жизнеописание Брокмана. Прилагались три фотокадра, на которых Брокман был снят Михаилом анфас и в профиль. Способ заброски Михаилу не известен.

Михаил особо подчеркивал, что Брокман в недалеком прошлом профессиональный наемный убийца. И строчкой ниже, по ассоциации, напоминал о своем предыдущем сообщении, в котором он рассказывал о разговоре с Монахом, когда Монах интересовался, сможет ли Павел ликвидировать человека.

В бесстрастном деловом изложении Михаила все это выглядело так буднично, так обыкновенно — «профессиональный убийца», «ликвидировать», что стороннему человеку стало бы не по себе. Подобные вещи не удивительны в ночных кошмарах, в фантасмагориях больного ума, а тут — служебное донесение. Но они — реальность, и никуда от этого не денешься. Даже самое древнее средство тайной войны — яды — пока не списано за ненадобностью в сверхнаучном двадцатом веке...

Марков в тот же день доложил о сообщении Михаила Тульева генералу и собрал на совещание всех своих работников, причастных к операции «Резидент». Сообща наметили круг мероприятий, необходимых для того, чтобы как полагается встретить появление Брокмана, каким бы ни оказался способ его переправы. В остальном оставалось только ждать.

После праздников, 4 мая, Марков получил еще одно важное сообщение: Уткин подал на работе заявление с просьбой освободить его от должности по собственному желанию. 2 мая Уткин выходил в эфир первый раз за все время пребывания в Советском Союзе. Его радиограмма очень коротка, передача длилась несколько секунд. Работал на незнакомом шифре. Дешифровка может доставить затруднения.

8 мая на почтамте в приволжском городе на имя Потапова, то есть Павла Синицына, была получена открытка. В ней его безымянный «Друг» (так была подписана открытка) извещал, что скоро приедет в Москву и что очень хочет повидаться. А о дне приезда еще сообщит, поэтому пусть Павел заглядывает на почтамт каждый день.

Уткин не хотел ждать, когда пройдут положенные две недели со дня подачи заявления, и добился расчета 6 мая. Начальник телефонного узла отпускал его с большой неохотой.

Уткин получил все свои документы — паспорт с отметкой о выписке, военный билет со штампом о снятии с учета, трудовую книжку, профсоюзный билет и разные справки, попрощался с товарищами по работе, угостив женщин десертным вином и шоколадом, а мужчинам выставив три бутылки коньяка, и 9-го отбыл в Москву. Выстояв на Курском вокзале длиннейшую очередь, он взял билет на поезд Москва — Батуми.

Обращало на себя внимание то обстоятельство, что ехал Уткин налегке, как в санаторий. За несколько лет оседлой жизни он успел обрасти вещами, но с собой взял только то, что влезло в стандартный чемодан средних размеров. Все остальное — телевизор, два пальто, одеяла, подушки, постельное белье и прочее оставил хозяину дома, сказав, что, может быть, вернется за барахлом, когда обоснуется на новом местожительстве.

«Спидолу» он нес на ремешке, перекинутом через плечо.

В Батуми Уткин по совету милиционера, к которому обратился на вокзале, отправился в бюро, ведавшее сдачей жилья неорганизованным курортникам, и так как сезон только начинался, ему тотчас предложили на выбор пяток различных вариантов. Он выбрал комнату в большом новом доме недалеко от порта, на очень оживленной улице.

Хозяевами двухкомнатной квартиры оказались пожилые супруги, пенсионеры. Уткину квартира понравилась. Он заплатил за месяц.

Глава 15

«МЫ ЗНАЕМ НЕ ВСЕ...»

Сопоставление действий Уткина и сообщения Михаила Тульева о переброске Брокмана напрашивалось само собой.

Первым долгом полковник Марков запросил сведения о прибытии в черноморские порты круизных лайнеров: тот факт, что в свое время Уткин прибыл именно на таком лайнере и, оставшись на берегу, отдал Михаилу свой контрольный талон для возвращения на борт, давал основания предположить, что история может повториться, тем более что тогда все сошло по видимости благополучно. Выяснилось, что греческий теплоход «Олимпик» прибывает в Батуми (с тем, чтобы затем отправиться в Одессу с заходом в Сочи и Ялту) 17 мая. Он везет двести пятьдесят туристов из различных стран Европы и Америки.

Элементарная эта догадка, если она окажется правильной, не противоречила всему остальному. Если Уткин встретит Брокмана и уйдет на «Олимпике» вместо него — получит объяснение и оправдание его многолетняя беспо-

рочная жизнь в Советском Союзе, обретет смысл казавшееся бессмысленным существование агента-болвана.

И все бы получилось как нельзя лучше, если бы не одно непредвиденное обстоятельство.

Полковник Марков сам же сказал: «Мы еще не знаем, с какими целями посылали Уткина к Марии. Может, проверка Марии — только предлог, а главная задача совсем в другом»,— следовательно, он допускал возможность возникновения каких-то неожиданных ситуаций. Собственно, то, что произошло, трудно назвать ошибкой. Просто приходится признать, что в данном конкретном эпизоде разведцентр оказался хитроумнее, чем полагали.

Был момент, который подтверждал правильность действий контрразведчиков: вечером того дня, когда Уткин прибыл в Батуми, в эфир выходил какой-то радиопередатчик, работавший в черте города. Этот факт, естественно, увязали с прибытием Уткина. Передача была очень короткой, почти мгновенной. Вероятно, послано сообщение: «Прибыл» или «Я на месте». А может быть, адрес.

Обратила на себя внимание резкая перемена в поведении Уткина. Если при поездке к Марии он не таился, не проверялся, то в Батуми сделался отшельником. Только раз он вышел из дому, чтобы посмотреть пассажирский морской вокзал. А потом — никуда. Старикам-хозяевам он сказал, что неважно себя чувствует, еще не акклиматизировался. Они ходили на базар за продуктами для него.

Так продолжалось до 17 мая.

Чтобы правильно понять и оценить то, что произошло 17-го, необходимо протокольно точное описание. Для вящей точности мы прибегнем к необычному, но вполне законному приему: без скобок дано то, что не надо было скрывать, в скобках — то, что действующие лица стремились сохранить в тайне.

«Олимпик» должен был ошвартоваться в Батуми в 10 часов.

Уткин проснулся в шесть. Побрился, умылся.

(Прежде всего он разложил посреди комнаты чемодан, достал из него синюю пластиковую сумку и положил в эту сумку кое-что из своего белья — рубашки, майки, все неношеное, затем «Спидолу» — ту, что была радиопередатчиком. На нее — все свои документы, пачки денег, а сверху еще кое-что из белья. Задернув «молнию», он сунул сумку в шкаф, закрыл чемодан и поставил его рядом с сумкой.) Вторую «Спидолу» он повесил на плечо,— вот когда начала работать на дело тайная покупка второй «Спидолы», которая в отличие от первой была обычным радиоприемником.

Затем постучал к хозяевам. Вышедшей в коридор старушке он сказал:

— Нателла Георгиевна, на почту надо, домой позвонить.

— Поправились? Ну, сегодня денек хороший.

— Хочу вас предупредить. Ко мне должен заехать друг, зовут Володя... Пусть тут распоряжается... Он ненадолго.

— Да хоть бы и надолго. Нам не тесно.

Комнату Уткин не запер...

До порта было пятнадцать минут ходьбы.

«Олимпик» встречали только автобусы «Интуриста», гиды и предприимчивые продавщицы цветов. Уткин на причал не вышел, ждал внутри вокзала, у входа.

Когда носовые и кормовые швартовы были закреплены на кнехтах, спустили трап, и на борту тут же началась несложная процедура, предшествующая переходу туристов с корабля на берег. Пограничники — офицер и два сержанта, которые для ускорения дела поднялись на «Олимпик» с катера еще в море, расположились у трапа, сержанты держали в руках длинные полированные ящички. Сходили группами по двадцать пять человек. Старший группы отдавал офицеру паспорта и предъявлял список туристов. Офицер передавал паспорта сержанту, а тот складывал их в ящичек. Затем туристы по одному подходили к трапу, пограничники вручали каждому пропуск, а контрольный талон, оторванный от него, оставляли у себя.

Первая группа минуты через три была уже на твердой земле. Пассажиров окружили цветочницы. Гиды стояли чуть поодаль, готовые приступить к своим обязанностям. Щелкали затворы фотоаппаратов, шипели кинокамеры, ярко светило солнце и ярко зеленела зелень. Все как полагается.

Всякому, кто наблюдал бы, как сходила эта группа, нетрудно было выделить в ней одного человека — мужчину лет тридцати пяти, который еще с борта искал кого-то глазами на берегу. Если бы к тому же наблюдающий знал в лицо Карла Брокмана, он бы нашел, что этот турист очень на него похож.

К группе подошла девушка-гид, поговорила со старшим, и тот по-немецки объявил номер автобуса, который их ждал. Группа двинулась нестройными рядами к автобусам, но не вся: озабоченный турист отделился и направился к зданию морского вокзала, из дверей которого показался Уткин со «Спидолой» на ремешке.

Тут с ним опять произошла перемена. Уткин отдал «Спидолу» туристу, и тот повесил ее себе на плечо. Пожав друг другу руки, они не спеша зашагали в город. Они мирно беседовали по-немецки, и вид у них был беспечный, словно у двух добрых приятелей, собравшихся в субботний день на футбол. Уткин то и дело смеялся.

Они приобрели в галантерейном ларьке холщовую сумку с изображением ковбоя в жеваной шляпе, синего, с перекошенным как от зубной боли лицом, затем прошлись по магазинам, и сумка наполнилась марочными винами.

(Между тем в третьей группе туристов на берег сошел Карл Брокман, числившийся в списке под чужой фамилией,— его уже никто не встречал, никто не приметил, так как все наше внимание отдано Уткину и его спутнику. Одет он был почти как Уткин, только рубаха была не голубая, а темно-синяя. В одной руке он нес кофр, какими пользуются фотокорреспонденты, в другой держал пиджак.

Покинув свою группу, отправившуюся к автобусам, Брокман, не теряя времени, сел в обычный рейсовый автобус и проехал пять или шесть остановок. Потом сошел.

Без четверти одиннадцать он вошел в дом, где остановился Уткин,— адрес, сообщенный в разведцентр радиограммой, он запомнил, уходя в последний раз из виллы Монаха.)

— Добрый день,— сказал Брокман открывшей дверь Нателле Георгиевне.— Если не ошибаюсь, у вас остановился Владимир Уткин.

— Да, да, проходите, пожалуйста,— ласково пригласила она.— Вас ведь тоже Володей зовут? Будьте как дома, вот его комната. Он сказал, на почту пошел, позвонить.

— У меня кое-какие дела. Ничего, если туда-сюда ходить буду?

— О, пожалуйста,— поспешила успокоить его Нателла Георгиевна.— А хотите, я дам вам ключ от квартирной двери? У нас есть запасной.

— Не надо.

— Ну, располагайтесь.— И она ушла к себе.

(Брокман оглядел комнату Уткина, заглянул в шкаф, достал сумку.

Затем вынул из кармана плотную, как картон, карточку,— это был пропуск на «Олимпик». Брокман сунул его в карман висевшей на спинке стула коричневой замшевой куртки Владимира Уткина.

Оставалось лишь переложить в сумку содержимое кофра. Сделав это и оставив кофр в комнате, Брокман взял сумку, выглянул в коридор, убедился, что там никого нет, и покинул квартиру.

На поиски машины, которая шла на Тбилиси, ему потребовалось всего несколько минут.)

В то время, как Брокман выехал из Батуми в столицу Грузии, поразительно похожий на Брокмана турист и Уткин, нагрузившись покупками, пришли к Уткину домой.

Нателла Георгиевна сообщила, что приятель заходил, но тут же куда-то исчез. Уткин сказал:

— У каждого свои заботы.

В комнате он первым делом проверил карманы куртки и, найдя пропуск на корабль, положил его себе в карман брюк.

— На паспорте фотокарточка твоя,— сказал турист.

— Знакомая история.

Говоря так, Уткин имел в виду историю своей засылки в Советский Союз. Тогда он сходил на берег и уступал свое место Михаилу Тульеву, и на его паспорте, который сдавался пограничникам, было наклеено фото Тульева.

Они посидели немного, покурили и покинули квартиру, оставив все вещи и не простившись с хозяевами.

Непредсказуемо вели себя Уткин и турист, особенно последний. По всем правилам, он бы должен был остаться, раз уж ему в этой ситуации отвели роль Брокмана. А он вместе с Уткиным, дождавшись, когда к трапу подошла большая компания вернувшихся с экскурсии пассажиров «Олимпика», присоединился к ним и поднялся на борт. Никаких недоразумений не произошло.

В том, что произошло, полковник Марков видел собственную ошибку, о чем он прямо сказал Павлу, когда они встретились ночью на загородной даче.

— Грубой ошибки вроде нет,— попробовал смягчить выводы Павел, впрочем, без всякой убежденности.

— Мы могли бы предусмотреть незатейливый фокус с этим третьим,— возразил Марков.

Павел упорствовал:

— А может, это не третий? Может, Брокмана и не было?

В другое время Марков, наверное, употребил бы здесь ядовитую шуточку, но сейчас не считал это уместным.

— Для чего же, объясни, Уткин делал все так демонстративно? Буквально лез на рожон... И не рано ли мы ослабили наблюдение за квартирой, где он остановился?

Павел пожал плечами и ничего не ответил.

— Молчишь? — сказал Марков и посмотрел на часы.— Насчет того, третий это или не третий, узнаем утром. Одно могу сказать тебе совершенно точно: перед Иваном Алексеевичем мне было бы вот как стыдно. Наш с тобой новый начальник по первости еще с нами деликатничает, а мы достойны... достойны...

Упоминание об их прежнем начальнике — генерале Иване Алексеевиче Сергееве, при котором Павел поступил в управление, который вел их столько лет и вдруг скончался от инфаркта минувшей зимой в свои неполные пятьдесят семь лет, сделало настроение еще более печальным. Стараясь стряхнуть его, Павел начал размышлять вслух:

— Ну, допустим: Уткин с этим типом выставляли себя напоказ, чтобы отвести внимание от Брокмана. А тот, конечно, не терялся...

Марков смотрел на него, не перебивая. Павел продолжал:

— Если так — плохи наши дела. Значит, Уткин и вправду ездил к Марии, чтобы проверяться. Пора подавать рапорт по собственному желанию. Срисовал меня Уткин, а я-то сам себя нахваливал: мол, чистенько сделано, Уткину даже ни разу не померещилось.

— Ты не один был,— напомнил Марков.

— Что об этом толковать? Теперь надо дальше глядеть, а мне, если честно, и заглядывать тошно.

— Расплакался,— проворчал Марков.

— Но ведь все летит к черту! — не выдержал Павел.

— Почему же?

Павел выставил растопыренную пятерню и начал загибать пальцы:

— Брокман ушел — раз. Уткин меня раскрыл — два. Что с Михаилом будет — три.

Эта вспышка словно придала Маркову спокойствия.

— Тебя он мог и не видеть.

— Раз он ездил ради проверки, значит, они раньше подозревали. Одним узлом все связано.

— К тебе они никогда особого доверия не питали.

— Я-то ладно. Что будет с Михаилом?..

— Посмотрим. Возможно, придется отзывать. Ему и здесь дела хватит. А Брокман, что ж... Мы не с пустыми руками... Давай-ка спать, подъем — ни свет ни заря...

Они разошлись по спальням и улеглись.

Полковник Марков говорил верно — у них в руках кое-что имелось. Главное — фотографии Брокмана, сделанные Михаилом Тульевым. Были также известны некоторые привычки Брокмана. Правда, судя по всему, надежду на то, что Брокман будет жить по документам Владимира Уткина и использовать тщательно подготовленную им легенду, придется оставить. Какой же нелегал станет скрываться под крышей, которую знают в контрразведке и которую видно за тысячу километров?

Но, во-первых, разыскивали людей и при менее определенных приметах, а во-вторых, все значительно ускорится и облегчится, когда Брокман начнет действовать. Можно было рассчитывать, что он прибыл в страну не для того, чтобы, подобно Уткину, зарыться в нору и тихо сидеть месяцами и годами...

Как и обещал, Марков разбудил Павла рано — не было еще и шести. Утро выдалось солнечное, на голубом небе — ни облака. И настроение у них немного поправилось.

Пока Павел делал на поляне зарядку, Марков звонил в Москву. Но весть из Батуми пришла только через час, когда они уже позавтракали. Худшие предположения подтвердились: Нателла Георгиевна, хозяйка квартиры, где останавливался Уткин, рассказала навестившему ее сотруднику КГБ, как приходил накануне друг ее жильца Володя. По ее довольно подробным описаниям это был подлинный Брокман, хотя не все особенности внешности точно совпадали.

Продолжение следует.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 16

ВЫЗОВ В МОСКВУ

Не прошло еще и двадцати четырех часов с того момента, как на пустыре была обнаружена лежавшая без сознания, с пробитой головой Светлана Сухова, а предполагаемого преступника уже разыскивали по словесному портрету Москва и Ленинград и еще более чем в двухстах больших городах, которые через Москву получили по телетайпу необходимые сведения. Несколько позже все вовлеченные в розыск получат и фотопортрет преступника — это упростит задачу.

Но для тех, кто ищет, пожалуй, еще важнее установить личность разыскиваемого: ФИО, где живет, где и кем работает и т. д. Этим в первую очередь и озабочен подполковник милиции Михаил Петрович Орлов. Как положено, дело приняла к производству прокуратура, и ее следователь тоже начал работу.

Учитывая то немаловажное обстоятельство, что человек, которого звали Виктором Андреевичем, имел какие-то причины бояться фотообъектива (это явствовало из рассказа Алексея Дмитриева), был предпринят поиск и в другом направлении — в прошлое. Сделали запрос в картотеки, где зарегистрированы люди, судившиеся и отбывавшие наказание за уголовные преступления. Оставалось только немного подождать, чтобы выяснилось, не преступал ли ныне подозреваемый советские законы в прежние годы.

При коротком совещании с майором Семеновым из КГБ, с которым Орлова связал начальник городского управления МВД, они договорились о взаимодействии, о разграничении сфер и специально о линии поведения по отношению к прибывающему в город итальянцу Пьетро Маттинелли. Майор первым долгом отправил фотопортрет Виктора Андреевича по своим каналам, чтобы установить, не числится ли он среди разыскиваемых государственных преступников.

Машина заработала. Но самым неотложным пока оставалось одно: установить личность того, кто звался Виктором Андреевичем. Это удалось сделать на второй день. В жилищно-эксплуатационной конторе № 4 паспортистка узнала на фотографии одного из жильцов кооперативного дома, выстроенного на территории этого жэка. Паспортистка, между прочим, сказала, что у него есть автомобиль «Жигули».

Дальше не составило труда выяснить, что Виктор Андреевич Кутепов, ныне пенсионер, до 1971 года работал адвокатом в юридической консультации Центрального района, состоит членом городской коллегии адвокатов. Из личного дела пенсионера Кутепова, лежащего в райсобесе, явствовало, что он окончил в 1935 году Харьковский университет, до войны был следователем в Донбассе, а во время войны, призванный в армию, работал в военной прокуратуре; после сорок пятого года — здесь, в городе. Холост, одинок. Беспартийный. Был записан и домашний телефон.

Сказать, что в юридической консультации хорошо помнили Кутепова,— значит употребить неподходящее выражение. Хоть он официально и числился на пенсии, с родным коллективом, как говорится, не разлучился. Часто бывал в конторе, по просьбе коллег подменял их на дежурстве. Иногда брался вести защиту по гражданским делам. Отзывались о нем самым наилучшим образом.

Прежде чем отправиться по местожительству Виктора Андреевича, Орлов позвонил ему на квартиру. Телефон не отвечал. Квартира была заперта на два замка. Домоуправ, по просьбе Орлова говоривший с соседями Кутепова, сказал, что никто его не видел уже дня два или три. Гараж Кутепова, который показал ему тот же домоуправ, был пуст.

Орлов испросил и получил у прокурора санкцию на вскрытие квартиры и гаража. Кутепова ни живого, ни мертвого ни там, ни здесь не было. Следов поспешного бегства квартира не носила.

Утром 24 мая, в среду, Орлов позвонил в КГБ майору Семенову, сообщил добытые сведения. Поблагодарив, Семенов сказал:

— Сеть заброшена, посмотрим, что будет. Теперь самое время с Нестеровой поговорить. Как думаешь?

Они сразу, с первой встречи, перешли на «ты» — отчасти потому, что были примерно одного возраста, отчасти по некоторому сходству профессий, но больше, пожалуй, по взаимной симпатии.

— Ты сам хочешь? Или мне заняться? — уточнил Орлов.

— Этот итальянец может прибыть рейсом в четырнадцать двадцать или на вечернем. Если ты ее сейчас разыщешь и к себе доставишь, я бы тоже приехал.

— Попробую.

Галину Нестерову застали дома. В половине десятого она была в кабинете Орлова. Пятью минутами позже пришел Семенов.

По предложению Орлова все сели за приставной стол — Орлов с Галей по одну сторону, Семенов — напротив. Орлов сказал:

— Просим вас, Галина Николаевна: не считайте это формальным допросом. Нам необходимо знать как можно больше об отношениях вашей подруги с Виктором Андреевичем.

Состояние оглушенности, в которое повергла Галю весть о несчастье со Светланой, еще не прошло окончательно — это было заметно и по испуганному взгляду и по вялости движений, но все же сейчас она выглядела не такой бледной и убитой.

— Как чувствует себя Светлана?— робко спросила она.

Орлов сказал правду:

— Пока неважно.

— Вы с нею разговаривали?

Для человека, хотя и вызванного не ради формального допроса, но причастного к расследованию тяжкого преступления, ответ на этот вопрос имел первостепенное значение: легче отвечать самому на вопросы следователя. Но надобно быть крайне наивным, чтобы вот так, ничтоже сумняшеся, выведывать тайны следствия. Именно поэтому Орлов, как и Семенов, понял, что Нестерова задала свой вопрос без всякой задней мысли.

— Нет,— сказал Орлов.— Она не может говорить. Она без сознания.

Галя опустила голову. Выдержав небольшую паузу, Орлов спросил:

— Вы давно дружите?

— Со школы, с восьмого класса.

— И маму знаете?

— Конечно.

— А Виктор Андреевич когда появился?

— В прошлом году.

— На какой почве Светлана познакомилась с Виктором Андреевичем?

Галя ответила не сразу, словно хотела вспомнить подробности.

— Он знал Пьетро.

— И Пьетро познакомил вас с Виктором Андреевичем?

— Нет. Виктор Андреевич привез Свете посылку.

— Какую посылку?

— Он ездил в Италию, Пьетро с ним передал.

Семенов поглядел на Орлова, сделал, прочертив рукой в воздухе, какой-то знак, непонятный Гале, но Орлов прекрасно его понял, поднялся, подошел к своему столу, достал из ящика фотокарточку, дал ее Семенову, а тот положил карточку перед Галей и сказал:

— Вы говорите, Виктор Андреевич знал Пьетро. Посмотрите на этот снимок внимательно...

Галя с удивлением посмотрела на знакомую фотокарточку и перевела взгляд на Семенова.

— Это мы в кафе «Над рекой».

— А кто, по-вашему, за соседним столиком? Видите — встает с кресла...

Она снова посмотрела на снимок и сказала неуверенно, полувопросительно:

— Похож на Виктора Андреевича.

Когда Орлов позавчера показывал Галине Нестеровой крупно выкадрированное из этого снимка лицо Виктора Андреевича, она четко, без колебаний узнала его, а сейчас заколебалась. Объяснить это нетрудно, но лишь при одном условии — если в момент съемки подруги еще не были знакомы с ним.

Орлов спросил:

— Тогда вы уже знали Виктора Андреевича?

— Нет... нет... К Светлане он позже пришел, гораздо позже,— на секунду оживившись, ответила Галя.

— А тут он был отдельно?— спросил Семенов.

— Во всяком случае, не с нами...

— И не заговаривал?

— Нет.

— Что же получается? Ведь вы утверждаете, что они с Пьетро знакомы...

— Не понимаю,— виновато призналась Галя.

Орлов и Семенов посмотрели друг на друга. Одно из двух: или Виктор Андреевич и Пьетро Маттинелли действительно хорошо знали друг друга еще до момента съемки, и тогда надо предположить какой-то непонятный сговор между ними, или они вообще не знакомы, и в таком случае ко всему последующему имеет отношение один Виктор Андреевич.

— Хорошо,— сказал Семенов.— Виктор Андреевич передал посылку от Пьетро... Что же в ней было?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—26.

Галя слегка пожала плечами. Вопрос был ей явно неприятен.

— Разные вещи... Косметика...

— Дорогая посылка?

— Да... Довольно дорогая,— неохотно ответила Галя.

— И вещи итальянские?

— Не только.

— На вашу долю тоже что-то было?— продолжал Семенов.

— В тот раз...— Она замялась.— Простите, я должна сообразить...

— А был разве и другой раз?— не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос, спросил Семенов.

Галя кивнула.

— И опять через Виктора Андреевича?

— Да.

— И сколько же посылок получено?

— Три,— сказала совсем тихим голосом Галя.

Помолчали. Потом вновь вступил в разговор Орлов:

— И что же? Как все это мотивировалось?

— Виктор Андреевич говорил: Пьетро любит Светлану.

Орлов не объяснил, что он имеет в виду, но Галя мгновенно разобралась в умолчаниях. Это многое проясняло для Орлова и Семенова: стало быть, вопрос попал, если можно так выразиться, на готовую почву — стало быть, этим вопросом уже задавались. И ответ не разумелся сам собой.

— А лично для себя Виктор Андреевич никаких выгод не искал?

Галя начинала, вероятно, уставать от этого разговора. Слишком велико для нее было напряжение последних двух дней. Она вздохнула глубоко и протяжно и сказала еще более тихо:

— Наоборот.

— Как это понимать? — спросил Семенов.

— Он нас еще и угощал.

— Дома у него бывали?

— Нет.

— А он у вас?

— Как-то заезжали ко мне на часок. Втроем...

Семенов сказал:

— Ну, что ж... Пожалуй, на сегодня все. Спасибо вам, Галина Николаевна.

Она встала. Встали и они.

— Я вам еще понадоблюсь?— спросила она.

— Не исключено,— сказал Орлов.— Вас это беспокоит?

— Понимаете, мама хочет, чтобы я уехала отдыхать.

— Далеко?

— В Крым.

— Но у вас, если не ошибаюсь, в институте сессия начинается.

— Зачеты я уже сдала, а экзамены можно потом.

— Ну, это — дело хозяйское,— сказал Семенов.— Вы только адрес нам оставьте и можете ехать.

Орлов дал ей лист бумаги со своего стола, вынул из кармана шариковую ручку. Она написала адрес того друга их семьи, отставного генерала, у которого они с матерью отдыхали вот уже несколько лет подряд: Крым, Алушта...

Отпустив Галину Нестерову, Орлов и Семенов расстались. У каждого из них были свои дела.

Орлов вызвал Алексея Дмитриева и отправился с ним вместе сначала к нему домой, а потом в гараж. Орлова интересовали замки, но сам он мало в них разбирался, и, осмотрев дверные запоры квартиры и гаража, он позвонил от Леши на вагоноремонтный завод, где работал старик слесарь, великий знаток замков, к знаниям которого угрозыск прибегал для экспертиз и консультаций, и послал за ним машину. В ожидании слесаря Орлов и Леша толковали на отвлеченные темы и пили квас, сваренный отцом Леши еще к Первому мая. Когда слесарь приехал, Орлов объявил Леше, что замки входной квартирной двери и гаража придется изъять, а на их место поставить новые. Слесарю Орлов сказал, чтобы он тут же съездил в магазин, и дал свои деньги на приобретение замков. В старых замках Орлова интересовали те их части, которые при запирании и отпирании вступают в контакт с ключами. Слесарю надлежало разобрать замки и отвезти упомянутые части в оперативно-технический отдел УВД. Но прежде дядя Веня должен вставить купленные замки взамен старых.

Отдав эти распоряжения, несложные для века научно-технической революции, но жизненно необходимые не только для сохранности имущества квартиры Дмитриевых, а и для следствия по делу, Орлов удалился.

Несравнимо сложнее была задача, поставленная Орловым перед специалистами оперативно-технического отдела. Им предстояло ответить на вопрос: открывались ли когда-нибудь замки, изъятые из квартиры и гаража Дмитриевых, каким-либо из предъявленных Орловым одиннадцати ключей. Эти ключи он в присутствии понятых обнаружил порознь в ящиках и ящичках в квартире и гараже Виктора Андреевича Кутепова.

Задача трудная, особенно если учесть время, которое всегда работает на руку преступникам и против тех, кто их ищет. Тот, кто причастен к пропажам в семье Дмитриевых, открывал замки почти год назад. Сколько раз после этого открывались и закрывались они... Разве удержится в замке хоть какой-то след постороннего ключа на протяжении года?

Архитрудная задача у лабораторных экспертов-криминалистов ОТО, но в практике Орлова уже были случаи, позволявшие ему теперь верить даже в невозможное. Например, то недавнее дело об убийстве коллекционера Ю. Разных версий, одинаково правдоподобных, было там чуть не два десятка, и каждая довольно убедительно обосновывалась. А Орлов остановился на самой неправдоподобной. У человека, которого он заподозрил, имелось крепкое алиби. И ни одной, хотя бы самой косвенной, улики. Главное, подозреваемый утверждал, что никогда не бывал в квартире убитого и даже не знал его адреса, а Ю. убили именно дома.

Как раз в то время оперативно-технический отдел получил новый прибор — лазерный микроанализатор, и начальник ОТО Лузгин устроил короткую лекцию для инспекторов угрозыска и следователей прокуратуры — рассказал о широких возможностях этого прибора, призвал всех собравшихся не забывать о нем в повседневной работе.

Орлов, кажется, первым решил прибегнуть к помощи лазерного микроанализатора. Эксперты ОТО взяли образцы тканей с кресел в квартире Ю. и костюмов подозреваемого. Спектроанализ зафиксировал в тканях одного из кресел наличие неопровержимо присутствующих ворсинок материала, из которого был сшит один из костюмов. И когда Орлов сказал подозреваемому, в каком он был костюме на квартире у Ю. и в каком кресле сидел, тот раскололся, как орех под чугунным утюгом,— с первого удара всмятку.

Так что, если какой-нибудь ключ из связки, отданной Орловым в лабораторию, ковырялся в замках Дмитриевых, криминалисты найдут его следы, а нет... Ну, что ж, в таком случае он, Орлов, завяжет свою инициативу вместе с индукцией и дедукцией в тряпочку и пойдет в ученики к стажеру Удовицкому, который работает у них в управлении уже три месяца и все делает строго по учебникам и по наставлениям теоретических светил юриспруденции. Нет, он, Орлов, выпускник МГУ, тоже категорически за науку, но, видно, не умеет он применять на практике новейшие научные достижения. Если окажется, что Кутепов тут вообще ни при чем, значит, он, Орлов, пытался ignotum per ignotus[1].

У майора госбезопасности Евгения Михайловича Семенова заботы были более деликатного свойства. Предстояло установить, какова во всем, что теперь выяснилось, роль итальянца Пьетро Маттинелли. Когда дело касается иностранных подданных, права следователя регламентируются не только законом. Тут он вступает в область, где сверх обычных норм действуют правила протокола.

Семенов провел пять часов на химкомбинате, где Маттинелли вместе с другими итальянскими специалистами и советскими инженерами и рабочими монтировали прибывшее из Италии оборудование для азотно-тукового комплекса. Майор разговаривал с несколькими работниками химкомбината, в том числе с инженером, который имел право называть Пьетро Маттинелли своим другом (они переписывались, инженер давал Семенову читать письма Пьетро). Из людских отзывов, которые всегда вернее любой писаной характеристики, складывался удивительно симпатичный образ цельного, открытого, прямого человека, умеющего пошутить и не обижающегося на шутку, по-русски отходчивого. Он не прилагал усилий, чтобы завоевать авторитет, не заискивал, не подлаживался, а между тем к нему скоро стали прислушиваться. Вся жизнь его была на виду. Даже семейные дела Пьетро становились известны чуть ли не всему комбинату в тот же день, как он получал письмо из Милана (приводился в пример тот случай, когда мать Пьетро жаловалась ему на его младшую сестру, исчезнувшую из дома на три дня). Пьетро участвовал в самодеятельности — разумеется, как певец. Выступал за сборную баскетбольную команду химкомбината. (Не для печати было сказано, что он также считался лучшим среди ИТР игроком в покер.) Работал же Пьетро в отличие от некоторых своих соотечественников не «от» и «до», а столько, сколько требовалось по ходу дела, как привыкли при авральных монтажах советские инженеры, то есть под самую завязку, до ряби в глазах. В общем, он заслужил на комбинате не очень-то легко дающуюся репутацию своего парня.

Все это имело немаловажное значение для характеристики личности Пьетро Маттинелли. Но еще большее значение придавал майор Семенов тому, как поведет он себя в этот приезд.

Пьетро должен пробыть в городе всего четыре дня. Цель его командировки — окончательно урегулировать вопрос о мелких несоответствиях с первоначальным проектом, которые выявились за истекший год. Но итальянская фирма, заботясь о своей высокой марке, настояла на скрупулезно точном исполнении заказа, и вот именно ради этого и прибывает инженер Маттинелли.

Он прилетел из Москвы рейсом в четырнадцать двадцать. Встретил его тот самый инженер, с которым они подружились и которому Пьетро писал письма. Они обнялись и похлопали друг друга по спине. Потом, оживленно разговаривая, дождались выдачи багажа, взяли каждый по чемодану и вышли на площадку, где их ждала комбинатская машина.

Для Пьетро был заказан номер в той же гостинице «Москва», где он прожил целый год, этажом ниже. Товарищ думал, что он захочет сразу устроиться и отдохнуть, но Пьетро попросил прежде всего подвезти его к универмагу. Оставив в машине недоумевающего провожатого, Пьетро скрылся за вращающимися дверями.

По лестнице он взбежал, прыгая через две ступеньки. Но порыв его иссяк, едва он увидел за прилавком секции грампластинок не ту, которую жаждал увидеть.

— Скажите, пожалуйста, Светлана Сухова...— начал он растерянно, и девушка, уменьшив звук поворотом ручки на проигрывателе, крутившем «Лайлу» в исполнении Тома Джонса, не дала ему договорить:

— Она не работает.

— Простите, только сегодня или...

— Пройдите к директору. Я не в курсе.

Она двумя движениями руки — сначала вниз, потом вправо — показала, как пройти к директору. Пьетро сбежал по лестнице.

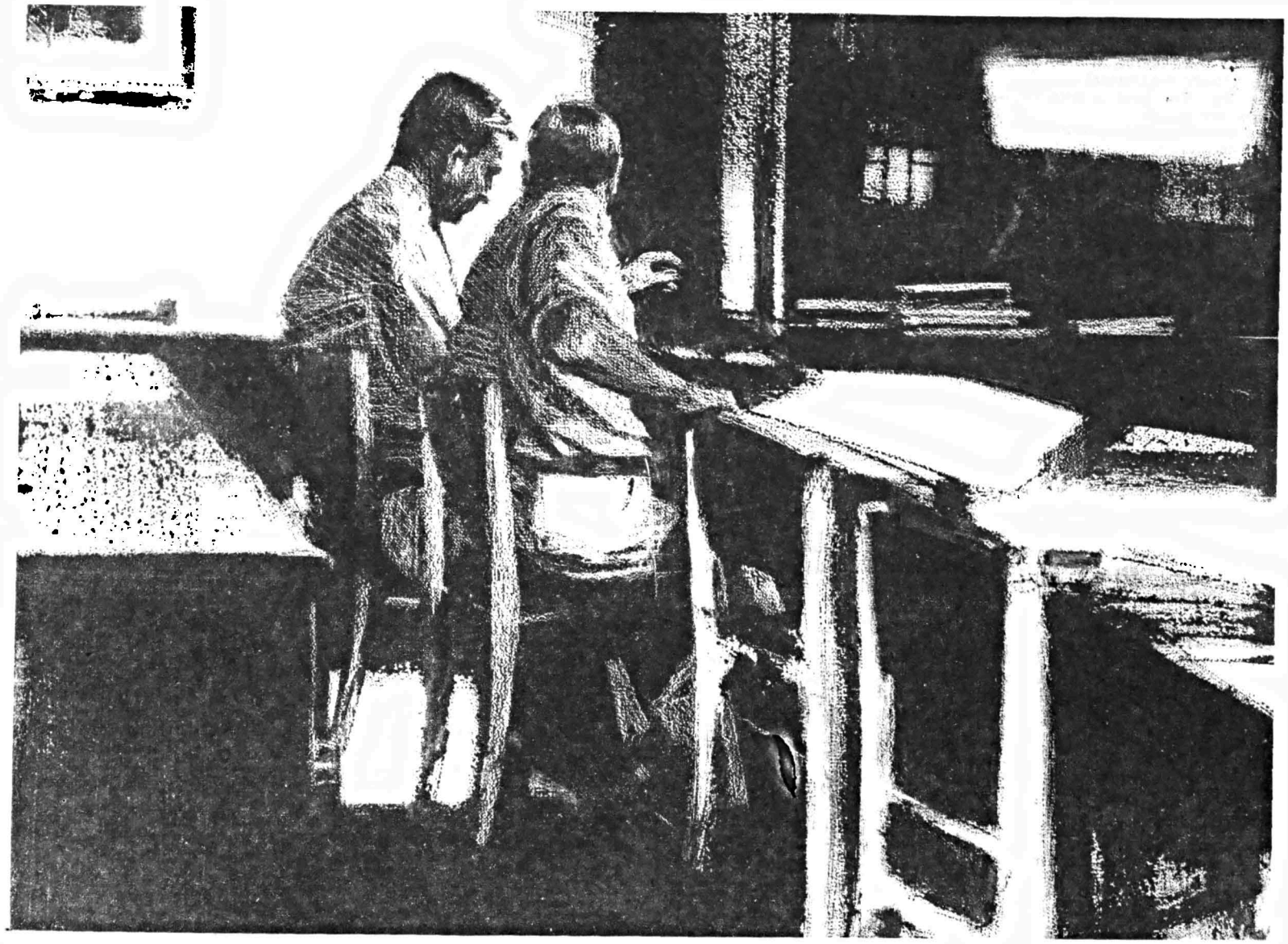
Директор, необъятно полная женщина с миловидным лицом и мужским голосом, сначала пожелала узнать, кто таков Пьетро, а уж потом сказала, что Сухова сильно больна и лежит в больнице. Ни адреса больницы, ни домашнего адреса Светланы она ему не дала.

Из универмага в машину Пьетро вернулся, как с похорон. Друг не понимал, откуда взялись эти тучи на челе веселого еще десять минут назад итальянца, возбужденно вопрошавшего: «А помнишь?..» — и звонко хохотавшего по всякому поводу. Догадаться, правда, было нетрудно, однако друг тактично не заметил ничего. Донеся чемоданы до номера, он простился с Пьетро, сказав, что на комбинате ждут его завтра утром. Машина будет в девять у подъезда.

По пути в гостиницу «Москва» майору Семенову вспомнилось прочитанное у Юрия Олеши выражение — оскомина души. Сначала он недоумевал: почему бы вдруг? Но скоро по-

---

[1] Объяснять неизвестное при помощи еще более неизвестного.



нял: выражение это как нельзя более точно определяло его собственное состояние. Память тут же уточнила, что у Олеши сказано не про душу, а про пальцы. Может, и про оскомину души кто-нибудь тоже писал, но Семенов не помнил. Он перефразировал непроизвольно: именно какая-то противная оскомина души появлялась у него всякий раз, как он думал о неизбежном визите к Пьетро Маттинелли. Он как будто чувствовал себя виноватым. И знал, что оскомина не пройдет, пока он не покончит с этим неприятным делом.

Однако настраивать себя на такой лад было бы просто непрофессионально. Поэтому, поднявшись в лифте на этаж, где жил Пьетро Маттинелли, майор Семенов постарался успокоиться.

Итальянец все еще был мрачен, но встретил Семенова приветливо. Выслушав искренние сожаления по поводу того, что его вынуждены побеспокоить, и поглядев в раскрытое Семеновым служебное удостоверение, он не поднял брови вверх и не оскорбился.

Сели к журнальному столику. Закурили. Семенов сказал:

— Я вижу вас впервые, но мне известно многое о вашей жизни у нас.

— Чем могу быть полезен?— вежливо спросил Пьетро.

— Мне необходимо услышать кое-что от вас лично. Но вам не интересно узнать, почему и откуда я собирал сведения?

— Это все равно,— без всякой наигранности, безразлично заметил Пьетро.

— В таком случае несколько вопросов. Вы знакомы с продавщицей универмага Светланой Суховой?

— Да, конечно.— По лицу Пьетро можно было заметить, что ему хочется задать встречный вопрос, но он сдержался.

— Вы посылали ей из Италии посылки?

— Посылку... Да, посылал.

— Вы меня поправили. Я не ослышался?

— Да, одну посылку.

— Когда это было?

— О, еще в прошлом году... Да, в конце июля... Джованни ездил тогда к вам.

— И письма писали?

— Два раза.

— Когда вы познакомились со Светланой?

— Сегодня познакомился, завтра уехал.

— А она вам писала?

— Джованни привез от нее маленькое письмо.

Семенов раскрыл свой плоский чемоданчик, вынул из конверта фотокарточку — кадр, сделанный Лешей Дмитриевым в кафе «Над рекой».

— О, у меня дома есть такая же,— обрадовался Пьетро.— Стоит на моем столе.

— От Светланы?

— Да, была в конверте.

— Поглядите внимательно — вы всех узнаете на снимке?

Вопрос был поставлен умышленно расплывчато.

— Это Светлана, это Галина, это я.— Ноготь Пьетро миновал на карточке лицо Виктора Андреевича, помещавшегося между лицами Светланы и Пьетро и чуть повыше.

Семенов положил карточку в чемоданчик и спросил:

— Есть среди здешних ваших знакомых человек по имени Виктор Андреевич?

Пьетро немного подумал.

— Есть Виктор Дыбенко... Виктор Сазонов... Виктора Андреевича нет.

Семенов поднялся со стула. Пьетро тоже встал.

— Еще раз прошу прощения за беспокойство,— сказал Семенов.

— Можно мне спросить у вас?

— Пожалуйста.

— Я о Светлане... Что с ней?

— Она внезапно заболела.

— Ее нельзя видеть?

— Врачи запретили.

— И это надолго?

— Боюсь, что да.

— Это... как назвать?.. Не слишком серьезно?

— Достаточно неприятно. Но несмертельно.

— Но какая же у нее болезнь? Может быть, надо лекарство?

— Лекарства у нее есть.

Пьетро в сердцах ударил кулаком правой руки по раскрытой ладони левой:

— Черт! Зачем так есть?!— В волнении он словно растерял в один миг весь свой прекрасный русский язык.

Семенов счел неуместными утешительные слова.

Придя к себе на работу, он позвонил Орлову. Услышав в трубке его голос, сказал:

— У тебя нет такого ощущения, что наша машина буксует?

— Почему это?— спросил Орлов.

— Мой клиент твоего не знает.

— Уверен?

— Все за то. Не верить нет причин, хотя всякое бывает.

— Если ты прав...

— Лучше заезжай.

— Можно. Только мне надо к спецам заглянуть.

Чтобы правильно описать настроение Орлова, лучше всего позаимствовать сравнение из быта хлебосольных домашних хозяек. Как чувствует себя справная хозяйка в ожидании многочисленных гостей, когда в самой большой комнате на длинном столе, на толстой скатерти, раскрылившейся по углам от тугого крахмала, в овальных, круглых, квадратных блюдах мягкими холмами высятся салаты пяти различных систем, а на плоских тарелках неизбитые — патент дома!— орнаменты рыбных и мясных закусок, когда в духовке дотамливается дородная румяная индейка, а на балконе в ведерной обливной кастрюле ждут своего часа моченые яблоки? Однако не будем продолжать в том же направлении, ибо сравне-

ния кухонно-гастрономического порядка здесь совсем неподходящи и могут даже не понравиться Орлову, хотя он достаточно ироничен, чтобы не обижаться и на менее лестные параллели. Они неподходящи в особенности потому, что Орлов сейчас лишен семейных радостей — с тех пор, как его молодая жена, архитектор, уехала на Дальний Восток сдавать заказчикам свой проект. Скажем короче: Орлов чувствовал себя замечательно, когда шел по длинным коридорам управления в другое крыло, туда, где размещались лаборатории оперативно-технического отдела. Ему надо было получить официальное, отстуканное на машинке, подписанное и скрепленное печатью свидетельство того, что он часом раньше видел собственными глазами в лаборатории, где установлен лазерный микроанализатор.

В замке, вынутом из дверей гаража Алексея Дмитриева, следов постороннего ключа не нашли. Зато в квартирном замке эти следы были так явственны, что не оставляли места для сомнений. Старший эксперт, производивший анализы, объяснил стоявшему у него за плечом Орлову, что посторонний ключ не совсем точно укладывался в пазы и вырезы замка и оставил заглубленные метки, а хозяйские ключи, притертые идеально точно, не стерли их.

Старший эксперт сделал соответствующую запись на одном из одиннадцати пронумерованных конвертов — по числу ключей, представленных на экспертизу. Потом замок собрали и попробовали его закрыть и открыть ключом, взятым из отмеченного конверта. Замок с некоторой натугой, но работал.

Орлов от всего сердца поблагодарил экспертов, забрал замки и ключи и отнес их к себе, спрятал в сейф, где хранил обычно вещественные доказательства.

У него было замечательное настроение, потому что он хорошо подготовился к будущей — как он надеялся, недалекой — встрече с Кутеповым. Другой вопрос — придется ли ему лично с ним встретиться. Но это в конце концов не так уж важно...

Сказав секретарю отдела, где его искать в экстренном случае, Орлов отправился к Семенову.

— Если ты прав,— входя в кабинет, повторил он собственные слова, на которых Семенов перебил его,— если твой клиент незнаком с моим, то цена Кутепову сильно повышается. Вот читай.

Семенов пробежал глазами заключение экспертизы и сказал:

— Везет милиции.

— Оно, конечно,— не без удовольствия признал Орлов,— только боюсь, перейдет мой Кутепов в твои руки. Ты смотри, как он популярности боится: фотографироваться не хотел, а потом ради этого кадра в чужую квартиру забрался. Непростой гусь.

— Будто среди уголовных не бывает...

— Не уголовник он. Тут что-то другое.

— А я вот гадаю, чего он вдруг так переполошился из-за какой-то карточки?— сказал Семенов, неумело изображая наивность.— Он же и паспорт получал и на работе удостоверение. И в личном деле — фото. Скажите, катастрофа какая — щелкнул его кто-то...

Орлов ждал таких соображений.

— В личное дело я смотрел — там фото нет. Удостоверение человек носит при себе. А в паспортном столе милиции кому придет в голову карточки смотреть? Не-ет, он именно бесконтрольной фоторекламы опасается. Лежит где-нибудь в анналах его физия, обязательно лежит...— Орлов посмотрел на Семенова, прищурившись.— Слушай, брось на мне эксперименты ставить. Ты сам как думаешь?

Семенов улыбнулся.

— Я думаю, знаешь, что?

— Ну-ка?

— Может, он сумасшедший, твой Кутепов?

— Фантазируй дальше.

Семенов откинулся на спинку стула и начал наставительно:

— У вас на лице красноречивый шрам, товарищ сыщик. Можно догадаться, он добыт при исполнении служебного долга. Не правда ли?

— Допустим.

— Любопытно было бы послушать — где и когда?

— Как-нибудь расскажу.

— Хорошо, не будем отвлекаться... Кроме шрама, у вас еще есть довольно густая седина — и, надо думать, ею вы тоже обязаны службе. Не так ли?

— А также длинным очередям за квасом в жаркие дни.— Орлов еще при первом знакомстве с Семеновым отметил его манеру делать вот такие вступления к серьезному разговору. Манера эта ему нравилась, и он с удовольствием подыгрывал.

— Так где же ваш опыт, товарищ сыщик?— продолжал Семенов.— Какой нормальный человек станет лазить по квартирам из-за одного-единственного кадра, да еще, может, кадр этот делался при закрытом объективе? Почему он три раза привозил молодой прекрасной девушке посылки с дорогими вещами, а потом вдруг решил ее убить? Молчите?— Семенов встал, приоткрыл окно.

— Да,— согласился Орлов,— с мотивами плохо.

— В том-то и штука, Миша,— обычным своим тоном сказал Семенов.— Ты, конечно, прав, Кутепов в стандартные рамки не укладывается. Субъект не городских масштабов.

— Полагаешь, Москва возьмет дело к себе?

— Хорошо бы вместе с нами.

— Мне-то, собственно, при таком раскладе больше делать нечего.

Потом Семенов рассказал Орлову о своем посещении Пьетро Маттинелли. Им было интересно сравнить ответы Пьетро с тем, что они узнали от Галины Нестеровой. Какой-либо сговор между ним и ею был невозможен, а если так — их слова заслуживали доверия. Может быть, они знали больше, чем говорили, но их о большем и не спрашивали...

Беседу прервал внутренний телефон — Семенова вызывал начальник.

— Если понадоблюсь — я на работе,— сказал ему Орлов уже в коридоре.

— Шел бы ты к жене,— наставительно заметил Семенов, закрывая кабинет.

— Далеко идти.

— Что так?

— Она в районе озера Байкал.

— Ну, извини...

У лестницы они разошлись.

А через полчаса последовало продолжение и завершение прерванного разговора. Семенов сказал по телефону:

— Ты, Миша, авгур.

— Авгуры по птичьим потрохам гадали.

— Значит, ты маг и волшебник.

— Москва, что ли? Говори прямо.

— Меня ждут.

— Нашли что-нибудь?

— Да. Подробности на месте.

— Успеваешь на рейс двадцать один пятнадцать.

— Да.

— Ну, счастливо.

В половине первого ночи дома у Орлова, когда он уже собрался ложиться спать, зазвонил телефон. Говорил дежурный по городу:

— Михаил Петрович, сразу две телефонограммы из Москвы. Генерал приказал сообщить срочно вам.

— Автомобиль можете прислать?

— Попробуем.

...Поднявшись в дежурную часть, Орлов прошел в телеграфный зал. Оператор телетайпа дал ему телефонограммы, уже наклеенные на бланки. Одна была циркулярная, для всех городов, и извещала о прекращении розыска Кутепова. Во второй, только для их УВД, сообщалось, что Кутепов обнаружен в Москве, живет в гостинице «Минск». До прибытия инспектора, занятого по делу, взят под наблюдение ГУВД города Москвы.

Орлов соединился с генералом. Тот приказал вылететь первым утренним рейсом.

— Мне нужна прокурорская санкция на арест Кутепова,— сказал Орлов.

— Так кто тебе мешает?— сердито пробасил генерал.

— Я же чем свет улечу.

— Хорошо, пришлем дневным рейсом, кто-нибудь к тебе прилетит. Сообщи адрес.

Но это было еще не все. Пока Орлов говорил с генералом, телетайп принял новую телефонограмму: «Подполковника Орлова просит майор Семенов сообщите время вылета вас будут встречать».

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. Петровой

Возвращение резидента

Глава 17

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Всем известно: если в электрической цепи стоит плохой предохранитель, при коротком замыкании цепь может сгореть.

В схеме, составленной разведцентром, предусмотрено несколько предохранителей. Один из них сослужил важную службу — это случилось, когда Уткин поехал к Марии. Предохранитель сгорел, и его изъяли из цепи, но цепь не пострадала.

Роль другого предохранителя должен был сыграть на определенном этапе Виктор Андреевич Кутепов, и он ее сыграл, но не совсем так, как этого хотелось разведцентру. Сам он в этом виноват лишь отчасти. Он сделал все возможное и невозможное, чтобы уцелеть (нам еще придется вспомнить, например, как не хотел он попасть в кадр незнакомому фотографу). Но те, кто действовал на противоположном полюсе, тоже не сидели сложа руки. И произошло именно то, чего так опасался Кутепов.

После несложной, но правильно проведенной разведцентром комбинации, закончившейся в Батуми благополучным исчезновением Брокмана, полковник Владимир Гаврилович Марков, скажем прямо, чувствовал себя не лучшим образом. Он не сомневался, что при наличных данных, касающихся Брокмана, последний непременно будет найден. Но тут особый смысл приобретали сроки. Исчерпывающая характеристика Брокмана, полученная от Михаила Тульева, обязывала помнить, что этот агент не чета Уткину. Такие не бывают марафонцами, бегунами на длинные дистанции. Такие не засылаются на долгое оседание. Они предназначены для рывка, для одного удара. Следовательно, время тут имеет особенно острое значение. Промедление с розыском Брокмана было бы крайне опасно.

Вот почему полковник Марков с повышенным вниманием следил за всем, что могло хотя бы косвенно, отраженно бросить свет на то подспудное, втайне происходящее движение, которому, несомненно, должно было дать толчок появление Брокмана.

Об истории, случившейся в городе К., к которой имел какое-то отношение итальянский инженер и расследованием которой занялся майор Семенов, полковнику Маркову стало известно на второй день, 23 мая, так же, как и о том, что Семенов счел необходимым установить, не числится ли подозреваемый в покушении на убийство среди государственных преступников. Сообщению об этом полковник, конечно, не придал первостепенной важности, но оно осталось в поле его внимания, где-то на периферии. Однако уже 24 мая положение изменилось.

Быстро проведенными мероприятиями было установлено, что Виктор Андреевич Кутепов и занесенный в картотеку государственных преступников, подлежащих суду за злодеяния против советского народа во время Великой Отечественной войны, Виктор Андреевич Гуров — одно и то же лицо. Сам по себе этот факт ничего чрезвычайного не представлял. Немало уже было случаев, когда вот так же, распутывая сегодняшнее уголовное дело, следователь добирался до корней, зарытых в далеком, но до сих пор кровоточащем прошлом. Но была одна деталь, которая сразу притянула к себе полковника Маркова и перевела дело Кутепова с периферии прямо в центр следствия. Кутепов-Гуров по картотеке государственных преступников значился в том же гнезде, что и Дембович. У полковника появилось такое ощущение, словно он после плутаний без ориентиров по затянутой туманом местности наконец попал на знакомую, хорошо протоптанную тропу.

Ян Евгеньевич Дембович, чей дом служил когда-то базой резиденту разведцентра Михаилу Тульеву, тот Дембович, который был завербован еще фашистами и передан по наследству новоявленным хозяевам, тот Дембович, чей труп сгорел в пожаре, устроенном заметавшим следы резидентом и чья смерть осталась поэтому неразгаданной, теперь, по прошествии лет, возник из небытия, чтобы стать для полковника ориентиром, к которому нетрудно привязать разбросанные в пространстве и времени объекты и события.

Виктор Андреевич Гуров, чья настоящая фамилия Кутепов, служил в 1942—1945 годах у гитлеровцев в СД — в контрразведке — и дослужился до звания гауптмана—капитана. А Дембович был заурядным переводчиком и носил нашивки фельдфебеля. Он находился в подчинении у гауптмана Гурова. На счету Гурова-Кутепова, в отличие от Дембовича, числились и провокации, кончавшиеся гибелью партизан, и допросы военнопленных. Это только подкрепляло напрашивавшийся вывод: если судьба связала Дембовича и Кутепова одной веревочкой еще на войне, то и дальнейший их путь она определила одинаково. Дембовича заставили работать на разведцентр. Какие же иные пути могли привести его бывшего начальника по СД к участию в деле, ныне расследуемом? Полковник Марков иных путей не видел. Поэтому он срочно вызвал Семенова в Москву. Ему нужно было знать о теперешнем Кутепове все. Он был уверен почти на сто процентов, что на продолжении линии Дембович — Кутепов где-то дальше может оказаться еще кто-нибудь. Потому что, по всему видно, чертила эту линию одна рука...

Виктор Андреевич Кутепов поселился в гостинице «Минск» — как ему это удалось, уму непостижимо, потому что в новой гостинице свободных мест не бывало со дня ее открытия. Последние сутки никуда из здания он не отлучался, да и номер свой покидал только раз. Вероятно, ждал телефонного звонка...

Вечерний самолет из города К. прибывал во Внуково в двадцать два тридцать. Распорядившись выслать в аэропорт машину, Владимир Гаврилович поехал домой, поужинал, прочел газеты и в двадцать два часа вернулся на площадь Дзержинского.

Когда Семенов вошел к нему в кабинет, Владимир Гаврилович машинально отметил про себя, что этот незнакомый ему контрразведчик чем-то неуловимо похож на Павла Синицына: может быть, из-за одинаковой светлой масти, а может, потому, что у Семенова, как и у Павла, брови были сдвинуты серьезно, даже хмуро, а во взгляде чуялась неистребимая насмешливость. Да и в летах, наверное, у них разницы не было. Правда, Семенов выгодно отличался от своих столичных товарищей загаром.

Семенов представился официально, Марков протянул ему руку, назвал себя и, предложив сесть к столу, попросил изложить все, что имело отношение к Кутепову. Семенов рассказал, специально выделив те моменты, которые свидетельствовали о боязни Кутепова быть сфотографированным и оставить свое изображение в чужих руках. Подробно описал, каким образом старший инспектор угрозыска подполковник милиции Орлов получил вещественные доказательства, изобличающие Кутепова.

— Эпизод с фотографированием в кафе — это еще в прошлом году было? — спросил Марков, когда Семенов кончил свой доклад.

— Да, в конце мая — начале июня.

— И в квартиру к этому молодому человеку Кутепов действительно только ради пленки и наведывался?

— Больше ничего не пропало.

— Карточек у девушек не осталось?

— Ни одной.

Марков помолчал. Рассказ Семенова, особенно эта история с фотографированием, укреплял Владимира Гавриловича в уверенности, что он не ошибается в расчетах, что Кутепов приведет их на какой-то след. Он достал из сейфа тонкую папку, раскрыл ее, полистал лежавшие в ней желтовато-серые пересохшие бумаги и, выбрав одну, протянул Семенову:

— Вот, познакомьтесь.

Это был формуляр СД на гауптмана Гурова с приклеенной фотографией. Когда Семенов прочел его, Марков дал ему заключение экспертизы, идентифицировавшей портрет Гурова с формуляра и портрет Кутепова, выкадрированный из снимка, который сделал Леша Дмитриев в кафе «Над рекой» и который прислал в Москву он сам, майор Семенов.

Наблюдая за выражением лица майора Семенова, пока тот читал заключение экспертизы, Марков невольно ухмыльнулся: куда-то вдруг исчезла всякая насмешливость и остался один жадный интерес.

Семенов вернул листки как бы с неохотой.

Марков сказал, складывая их в папку:

— Пожалуй, его можно назвать дальновидным и предусмотрительным, как, по-вашему?

— Вы имеете в виду возню с той карточкой? Определенно предусмотрительный. А как его фамилия звучит теперь, товарищ полковник?

— Кутепов.

— Тогда он очень даже дальновидный.

— Почему «тогда»?

— Обычно такие у немцев под своей фамилией ходили, а скрываться надо под чужой, своя замарана. А этот наоборот.

— Какая разница?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—27.

— Ну как же! Жить удобнее под своей. Знаете, вдруг окликнет кто из старых знакомых — не надо вздрагивать.

— И то верно,— сказал Марков.— Как думаете, инспектор угрозыска здесь понадобится?

— Орлов? Он может оказаться очень полезным.

Марков про себя уже решил, что Орлова надо пригласить, но он, как всегда в подобных делах, считал необходимым узнать мнение сотрудника, с которым предстояло вместе действовать дальше.

— Значит, Орлова будем вызывать,— сказал Марков.— Утром соберемся, как он прилетит.

— Разрешите встретить, товарищ полковник?

— Пожалуйста. Но выспаться вам надо.

Таково происхождение телеграммы, полученной Орловым ночью из МВД СССР.

Утром Семенов встретил Орлова, они вместе пришли к полковнику Маркову. Полковника интересовали детали, известные только Орлову. Потом Марков сказал, чтобы Орлов устроился в гостинице и сообщил свой телефон. Когда потребуется — его вызовут. А затем Марков обратился к Семенову:

— Вот что, Евгений Михайлович... Вам, наверное, придется еще долго побыть в Москве. Гардероб весь на вас?

— Это поправимо — жена доставит.

— Организуйте, пожалуйста. Думаю, для вас тут найдется дело.

Марков вызвал Семенова в субботу 27 мая и вот что рассказал ему.

...Сегодня в половине девятого утра к дежурному администратору гостиницы «Минск» обратился мужчина средних лет — он спрашивал, в каком номере живет Кутепов Виктор Андреевич. Мужчина говорил по-русски, как москвич. Никому и в голову не придет, что он иностранец.

Узнав номер Кутепова, мужчина поднялся на четвертый этаж, постучал в дверь — без всяких условных знаков. Кутепов открыл тотчас — явно ждал. Гость пробыл в номере полчаса и ушел, как пришел — с пустыми руками. Кутепов остался у себя. Из гостиницы гость пошел направо, на площади Маяковского спустился в метро, доехал до Охотного ряда, поднялся, пошел по улице Горького к Пушкинской площади. Он все время проверял, не следует ли кто за ним. На углу Пушкинской площади пересек улицу Горького и пошел по Большой Бронной, по правой стороне. Он не торопился — как будто бы гулял. Пройдя метров пятьдесят — шестьдесят, повернул обратно, прошелся вдоль фасада старого дома и скрылся в подъезде. Пробыл он там буквально несколько секунд. За это время нельзя подняться даже на второй этаж. Подвала в подъезде нет.

Снова появившись на улице, мужчина зашагал в обратном направлении, к Пушкинской площади. У троллейбусной остановки остановил черную учрежденческую «Волгу», сел в нее и уехал.

Закончил Марков так:

— В подъезде на косяке двери найдены три ключа, два от дверных замков и третий — от автомобиля. Они завернуты в бумажку — какая-то записка. Если это тайник, то им давно не пользовались. Пыль тронута только сегодня. Куда он поехал, мы скоро узнаем.

Семенов заметил:

— Целая эпопея с ключами. Орлов порядочное ожерелье привез. И здесь еще три.

— Чьи они, по-вашему?

— Кутепов дал.

— Это ясно. Я говорю: от чьих дверей?

— Трудно сказать.

— А надо.

В кабинет заглянул помощник Маркова.

— Владимир Гаврилович, зовут.

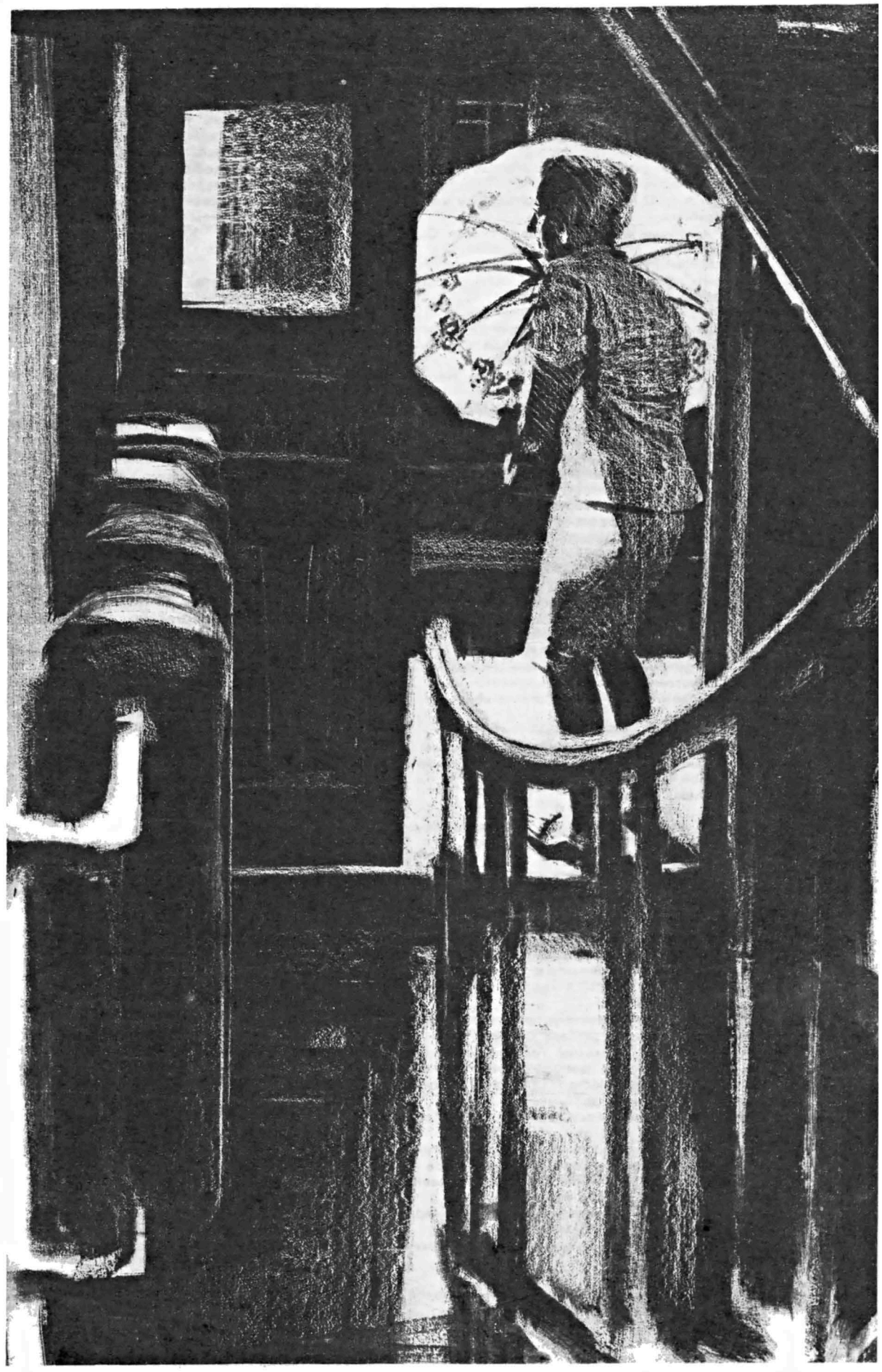
Марков попросил помощника остаться в кабинете у телефонов, а сам ушел. Вернувшись, он сказал Семенову:

— Человек, оставивший ключи, приехал в гостиницу «Россия». Он, оказывается, из иностранной туристической группы. Послезавтра уезжает домой. Орлов, вы говорите, ключи с собой привез?

— Целую связку.

— Дубликаты тех, что оставлены на Большой Бронной, будут скоро готовы. Орлов где сейчас?

— Наверное, у себя в гостинице.



Марков нажал кнопку на телефонном столике. Вошел помощник.

— Вызовите подполковника Орлова.

Помощник вышел. Зазвонил один из телефонов на столике.

— Алло, Владимир Гаврилович? — Это был Павел Синицын.

— Я. Покороче.

— Мне назначено свидание. Сегодня в девятнадцать. В кассе кино «Ударник».

— Иди.

— А если мне захочется вас увидеть?

— Как всегда.

«Как всегда» означало загородную дачу, где Марков встречался обычно с Павлом Синицыным.

Орлову понадобилось совсем немного времени, чтобы добраться до здания на площади Дзержинского. В кабинет он явился с черным блестящим чемоданчиком.

Пятью минутами раньше Маркову принесли фотокопию записки и три ключа — дубликаты, о которых он говорил. Два ключа, от дверных замков, он положил перед Орловым, когда тот сел.

— Вы, говорят, большой специалист по этой части. Посмотрите, сравните с теми, что у вас в чемодане. Нет ли чего похожего?

Достав из чемодана связку из девяти ключей и два ключа, лежавшие в отдельном конверте, Орлов начал сравнивать. Но ничего похожего и близко не было.

— А этот чей? — Марков дал Орлову ключ от автомобиля.

— У Кутепова есть «Жигули»,— сказал Орлов.— В городе его машину не нашли.

— Как вы думаете, если эти два ключика из вашего города, можно установить, от чьей они квартиры?

Орлов уже разобрался в ситуации.

— Очень мало адресов приходит на ум при виде этих ключей.— Он поглядел на Семенова. Тот спросил:

— Ты хочешь сказать — Суховы и Нестеровы?

— Да,— сказал Орлов.— Ключи Дмитриевых здесь — они не подходят.

— Нужно проверить эти два адреса,— сказал Марков.— А кто такие Нестеровы?

— Галина Нестерова — подруга пострадавшей Суховой,— объяснил Семенов.

— Как же насчет проверки?

Орлов прикинул время.

— Раньше завтрашнего вечера не получится.

— Хорошо. Этим и займитесь.

— Сегодня будет товарищ из нашего управления,— сказал Орлов,— привезет санкцию на арест Кутепова. Через него устроим.

— Санкция не мешает, а с арестом Кутепова торопиться не будем.— Марков встал, пожал Орлову руку.— Спасибо вам. Проверяйте ключи, а потом жду вас к себе.

Орлов уложил ключи по разным конвертам, закрыл чемодан.

Проводив его, Марков сказал:

— Новая фамилия появилась — Нестеровы.

— Я вам говорил, что беседовал с Галиной Нестеровой,— напомнил Семенов.

— Большая семья?

— Отец, мать.

— О Суховых мы знаем. А кто Нестеровы? Есть ученый Нестеров.

— Это он.

— Физик?

— Точнее, физическая химия.

— Может он заинтересовать кого-нибудь «там»?

— Не было времени разобраться, товарищ полковник, еще и четырех суток не прошло,— сознавая, что это не может быть оправданием, сказал Семенов.— А вообще его работы широко известны.

— Но Нестеровы как будто здесь ни при чем. Пострадала-то Светлана Сухова.

— Вот именно, Владимир Гаврилович,— сказал Семенов,— если допустить, что все это нагорожено ради Нестерова, значит, кто-то достает левое ухо правой рукой. Зачем?

— И так бывает. Подождем, что нам Орлов принесет. Теперь посмотрим записку.

Это была фотокопия письма, которое когда-то Светлана Сухова написала на квартире у Гали Нестеровой и вручила Виктору Андреевичу для передачи Пьетро Маттинелли.

— Это тоже очень интересно,— сказал Марков, передавая письмо Семенову.

— Для шантажа? — прочитав, сказал Семенов.

— Вероятно.

Марков сказал Семенову, что он свободен до восемнадцати часов, а потом они поедут на дачу с ночевкой.

Созвонившись с Орловым, Семенов отправился к нему в гостиницу и от него вызвал по междугородному жену. Орлов с минуты на минуту ждал посыльного из управления с прокурорской санкцией. И когда тот прибыл, они все вместе составили несложный план, как проверить ключи. Неловко будет с квартирой Нестеровых — супругам, и без того нервничающим, эта проверка не принесет успокоения, но ничего не поделаешь.

А полковник Марков меж тем вызвал к себе сотрудника отдела, капитана, и попросил срочно навести справку о научной деятельности Нестерова и о характере его последних работ.

Без пяти семь вечера 27 мая Павел Синицын был у кинотеатра «Ударник». За день асфальт так раскалился, что жег ноги через подошву туфель. И даже тут, у кинотеатра, где с двух сторон речная текучая вода, не веяло свежестью.

В помещении касс дышалось немного легче, никакой очереди не было, и Павел, скинув пиджак и повесив его на руку, остановился между входом и окошками кассирш, уловив какое-то слабое подобие сквозняка.

Ждать пришлось недолго. С улицы появился высокий человек в светлом костюме, голубой рубахе и красно-синем галстуке — тот самый, кто навещал утром Кутепова,— и, улыбчиво глядя на Павла, без церемоний обратился к нему:

— Вы кого-то ждете, молодой человек?

— Может, я жду ночной прохлады,— мрачно сказал Павел. Он давно не выступал в роли Бекаса, бывшего поездного вора, но старался сразу попасть в нужный тон.

— Вы получили открытку? — не смущаясь, спросил улыбчивый гражданин.— Вы Потапов?

— Если вы знаете все на свете, зачем спрашиваете? Вот я, например, не пристаю с ножом к горлу: как это вам в галстуке не жарко?

Незнакомец стал серьезнее.

— Нужно выйти отсюда. Я живу в гостинице «Россия». Проводите меня.

Он говорил, не понижая голоса, совершенно не заботился о конспирации, и это слегка озадачило Павла. Не такой представлялась ему явка, назначенная впервые за несколько лет. В этой непринужденности было что-то неестественное. Но ему не полагалось сейчас заниматься психологическими рассуждениями.

Вышли. Незнакомец собирался пересечь дорогу прямо перед кинотеатром, что правилами запрещалось. Павел остановил его:

— Вы, наверное, богатый человек. Здесь штрафуют.

Пока делали крюк через мост, этот человек болтал на отвлеченные темы — о встречных девушках, о благах, доставляемых кондиционерами воздуха, о низких качествах теплого московского пива и прочем. Когда достигли набережной и пошли вдоль реки, он вынул из кармана блокнот, а из блокнота половинку разорванного рубля и показал ее Павлу:

— У вас есть вторая половина?

— Не трясите огрызками дензнаков, люди смотрят,— осадил беспечного партнера Павел, выдернув у него из пальцев этот вещественный пароль, другая половина которого хранилась Павлом с того момента, как он стал Потаповым.— Притормозите.

Они укоротили шаг. Павел, пошарив в кармане пиджака, извлек из бумажника свою часть рубля, сложил на ладони обе половинки и сунул руку в карман брюк.

— А не лучше ли выбросить? — заметил партнер.

Павел взглянул на него презрительно.

— Стены моей прихожей не оклеены сотенными бумажками, а целковый можно склеить. Приступим к делу. Кстати, как вас зовут?

— Ваня.

— В «России» живете... Вы что, командированный?

— Можно считать и так. Завтра уезжаю.

— Далеко?

Ваня рассмеялся.

— Домой, за границу.

— Хорош Ваня! Ну, выкладывайте.

Ваня вынул из блокнота еще одну половинку рубля, неровно оторванную.

— Вот, это новый пароль. Не перепутайте. Потому и говорю, лучше те половинки выбросить.

— А этот к чему?

— Вы должны будете познакомиться с одним товарищем.

— Кто такой?

— Его фамилия Кутепов. Виктор Андреевич Кутепов. Запомнили?

— Что значит — познакомиться? А дальше что?

— Слушайте по порядку. Ровно через месяц, двадцать седьмого июня, вы должны быть в Тбилиси. Там есть гостиница «Руставели». В вестибюле вы и встретитесь. Он вас узнает. И будет вас слушаться.

— Туфта какая-то! Я ему приказывать должен, что ли? Эй, ты, стой там, иди сюда!

— А вы имейте терпение, не перебивайте. Кутепов исполнит все, что вы скажете. То есть поедет с вами куда угодно.

— А зачем куда-то ехать?

— Кутепов должен исчезнуть.

— Что значит — исчезнуть? Разложиться, что ли?

— Если вы такой химик, это было бы очень хорошо,— заражаясь стилем собеседника, сказал Ваня.

Павел отлично понял, о чем идет речь, но ему не хотелось верить ушам. Нелепо и фальшиво звучал их разговор в ясный жаркий майский вечер на берегу Москвы-реки, под кремлевской стеной. Дешевенький шпионский фарс какой-то, и больше ничего. Возникала потребность убедиться, что это не сон.

— Короче, его нужно убрать? — зло спросил Павел.

— Желательно.

— И мне подкинут? — Павел сделал пальцами международный жест, которым обозначаются деньги.

— Очень много.

— И потом за диез с двумя бемолями? — Павел сложил косую клетку из указательных и средних пальцев.

— А бемоли — это что значит?

— Тюремные замки... Мне понятно, что мы не на профсоюзном собрании — голосования не будет. Но я хочу выступить в прениях. Или нельзя?

— Давайте.

— А если я навру? Скажу — убрал, а не уберу...

— У Кутепова золотые коронки. Вы их должны представить.

— Кому?

— Это вам дополнительно сообщат.

— Вы давно в зоопарке не были? — задал неожиданный вопрос Павел.

— Бросьте шутить.

— Я серьезно. Давно?

— Не помню.

— Ну так сходите. Сейчас я, кажется, дам в зубы вам, а когда пойдете в зоопарк, то подергайте за хвост зебру. Вам будет интересно сравнить, кто больней дерется.

Ваня не обиделся.

— Значит, вы не согласны? — спокойно спросил он.

— А вы бы согласились?

— У меня другая работа.

— Вы подумайте, что мне предлагают. Они там думают, все происходит в безвоздушном пространстве.

— Почему же? — удивился Ваня.— Ничего сверхъестественного вам не предлагают.

— Хорошенький сюжет — убить человека... Больно быстрые.

— Не могу ли я понять ваши слова таким образом, что вам надо немножко подумать?

— Вы же сами сказали — завтра уезжаете.

— Да, но сутки — большой срок.

Они были уже недалеко от западного входа в гостиницу. Ваня остановился.

— Запишите мой телефон. Вдруг все-таки надумаете...

Павел записал на клочке вынутой из пиджака бумажки. И спросил:

— А что будет, если я откажусь?

— Рассчитывайте сами. Вы же не частное лицо, вы все-таки имеете обязательства.

У Павла, пока он ехал в электричке на дачу и перебирал свой разговор с этим липовым Ваней, сложилось убеждение, что вся его игра была впустую. По крайней мере она, кажется, не произвела на Ваню никакого впечатления. Как будто каждый из них говорил, что ему положено по роли, не вникая в речь собеседника.

С этого и начал он рассказ, когда, напившись артезианской воды из ведра, стоявшего на веранде, сел перед Владимиром Гавриловичем Марковым за стол в беседке. Семенов сидел чуть в стороне и слушал, стараясь не слишком явно разглядывать человека, с которым полковник только что познакомил его.

Передав разговор с Ваней, Павел сказал:

— И вообще этот Ваня — как у себя в квартире. Ничего не боится. Пароль на глазах у всей Москвы предъявляет, меня с места встречи прямо к своей гостинице ведет.

— Когда уходил от Кутепова, совсем другой был,— сказал Марков.

— Неужели вы допускаете, Владимир Гаврилович, что они всерьез с этим убийством?

— А чему удивляться? По мировым стандартам, так сказать, это нормально. Другое дело — именно тебе предложено. Мы ведь должны исходить из того, что ты раскрыт.

— Своими руками выдавать Кутепова — с чего вдруг? Зачем?

— Этот Ваня не все скрывал от тебя. Не соврал, когда уезжает. Верно?

— Не знаю.

— Верно. Это уже проверено. Однако еще утром он вел себя совершенно иначе. Небо и земля.

— Им больше не нужен Кутепов?— сказал Павел.

— Через месяц не будет нужен.

— Но почему? Что случилось?

Марков вкратце описал, что произошло утром, объяснил Павлу, кто такой Кутепов, и добавил:

— Что Кутепов уже выработан и стал бесполезен, а может, и вреден, понять нетрудно. Почему — пока неизвестно. Он купил билет на поезд до Сочи. Надо его в пути арестовать. Кое-что мы, конечно, услышим, но, боюсь, не очень много.

— Набитого информацией не отдавали бы,— заметил Павел.

Марков взглянул на Семенова.

— Свяжитесь с Орловым, Евгений Михайлович. Пусть уж он доведет до конца по своей линии. Надо допросить Кутепова. Надо его сразу поставить перед доказанным фактом. Пусть объяснит, зачем проникал в квартиру Дмитриевых. На первый раз речь должна идти только о покушении на убийство. А затем посмотрим.

— Для пользы дела лучше говорить об убийстве,— сказал Семенов.

— А как это будет выглядеть, так сказать, с морально-этической стороны? Сухова-то жива.

— Такая тактика допускается,— возразил Семенов.— Во-вторых, она жива осталась по чистому случаю, да и неизвестно, чем еще кончится.

— Разве что во-вторых,— сказал Марков.— А впрочем, решайте по ходу дела.

— Турист Ваня ждет моего звонка,— напомнил Павел.

— Завтра позвонишь и скажешь — согласен.

Ключи, завернутые в записку, взяла с Большой Бронной в воскресенье 28 мая в одиннадцать утра высокая пожилая женщина, одетая в светлый костюм английского покроя. Выйдя из парадного, она натянула на руки черные кружевные перчатки, поглядела в одну сторону улицы, в другую, как бы раздумывая, куда отправиться, раскрыла от солнца цветастый зонтик и медленно пошла к Пушкинской площади.

Она держалась очень прямо и была выше большинства женщин, попадавшихся навстречу. Лицо ее под цветным зонтиком казалось очень свежим, и легко можно было представить, как миловидна она была в молодости.

Она зашла в магазин «Армения», купила халвы. Потом направилась в Елисеевский и пробыла там не меньше часа, а когда покинула гастроном, ее большая хозяйственная сумка была полна так, что не закрывалась.

На стоянке такси против кинотеатра «Россия» она, дождавшись очереди, села в такси и поехала на Курский вокзал.

До города, куда направлялась эта женщина, электричка шла без малого два часа. От вокзала она тоже поехала на такси. Рассчиталась на тихой улице недалеко от центра, возле одноэтажного бревенчатого дома, на крыше которого высоко торчали две телевизионные антенны — дом был на две семьи с общим приусадебным участком.

Минут через десять она появилась из двери, уже переодетая в легкое ситцевое платье, с белой панамой на голове, и пошла в булочную на соседней улице.

Вскоре из той же двери в сад вышел молодой мужчина. Он сел на скамейку, врытую под старой сиренью, и закурил сигарету.

Это был Брокман.

Ни с кем, кроме одного человека, хозяйки этого дома, не имел он прямых контактов, и все-таки цепь замкнулась накоротко.

Продолжение следует.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 18

О КЛЮЧАХ

Орлов допрашивал Кутепова в Бутырской тюрьме поздним вечером в понедельник 29 мая.

Если арест и произвел на Кутепова какое-то действие, то выражалось это лишь в заторможенности. Он отвечал на вопросы охотно, но с замедлением, каждый раз переспрашивая. Это можно было расценить и как обычную уловку человека, старающегося выгадать время на обдумывание.

На привинченном к полу столе лежали вещи, обнаруженные у Кутепова при обыске: портфель с бритвенными принадлежностями и носовыми платками, документы, деньги — восемьсот рублей, аккредитивы на десять тысяч, блокнот, авторучка и прочие карманные мелочи. В бумажнике, в отдельном кармашке, нашли половинку разорванного пополам рубля, уже бывшего в обращении, не нового.

Свой чемоданчик с вещественными доказательствами Орлов поставил под стол. Начал он с обычного:

— Где вы были в ночь с двадцать первого на двадцать второе мая?

— Я?.. Я ехал в поезде... сюда, в Москву... Тут,— Кутепов показал на стол,— тут должен быть мой билет.

Орлов уже видел билет в блокноте и нашел его быстро.

— Компостером не пробит.

— Сейчас билеты в поездах иногда не отмечают,— помог Кутепову Семенов.

Орлов удовлетворился объяснением.

— Вы знакомы со Светланой Суховой, гражданин Кутепов?

— Со Светланой Алексеевной? Которая работает в универмаге? Да, знаком.

— Когда вы видели ее последний раз?

— Я?.. Недели две, пожалуй... нет, недели три назад.

— Знакомы ли вы с Алексеем Дмитриевым?

— С Дмитриевым? Первый раз слышу эту фамилию.

— Я хотел спросить, знаете ли вы, где живет Алексей Дмитриев, но ваш ответ делает это излишним. Не правда ли?

— Совершенно верно.

Орлов взял с пола свой чемоданчик, раскрыл его на коленях, извлек связку ключей на веревочке и два конверта, в которых лежало по ключу. Все это он показал Кутепову.

— Это ваши ключи? Вы узнаете их?

— Возможно, мои, а возможно, и нет.

Орлов дал ему прочесть акт изъятия ключей из квартиры и гаража Кутепова, подписанный понятыми, и спросил:

— Что вы скажете теперь? Ваши ключи?

— Я должен верить акту.

— Отвечайте прямо — ваши или нет?

— Мои.

Орлов достал из чемоданчика замок, вынутый из двери квартиры Дмитриевых, и вместе с ключом дал его в руки Кутепову.

— Попробуйте, подходит ли ключ к замку.

У Кутепова на лице появилось обиженное выражение: мол, простите, за кого вы меня принимаете и что это за детские игрушки? Но истинные его чувства были, понятно, иными. В подобных случаях принято говорить, что человек был объят острым беспокойством и предчувствием надвигающейся катастрофы. Кутепов пощелкал замком.

— Подходит.

Орлов дал ему прочесть заключение экспертизы и сказал:

— Ключ принадлежит вам. Замок изъят из двери квартиры, где живет Алексей Дмитриев, которого вы якобы не знаете. Как вы это объясните?

Кутепов словно бы смертельно устал и не имел сил ответить.

Затем та же процедура была проделана с висячим замком от гаража, и снова на вопрос «Как вы это объясните?» Кутепов не ответил.

Орлов забивал гвоздь по самую шляпку — он показал Кутепову план пустыря с обозначением забора и частных гаражей. Затем сказал:

— Сухову ударили разводным гаечным ключом.

— Я такими ключами не пользуюсь,— хмуро и уже неохотно отвечал Кутепов.

— У Алексея Дмитриева пропал такой ключ.

— Возможно, все так и есть. Но какое это ко мне имеет отношение?

— Вы адвокат и прекрасно понимаете, к чему я веду. Вы не всегда отвечаете, но я на этом не настаиваю. Будем считать этот допрос предварительным знакомством. Моя задача — показать вам, чем располагает следствие. Убежден, что вы, как юрист, оцените положение правильно. Еще несколько вопросов, и мы закончим. Вы по-прежнему утверждаете, что в ночь с двадцать первого на двадцать второе ехали в поезде, направлявшемся в Москву? Прошу: только да или нет.

— Да.

— Вы брали из гаража Дмитриева гаечный ключ?

— Нет.

— Вы проникали в квартиру Дмитриевых летом прошлого года?

— Нет.

— Отлично. Теперь прочтите и подпишите протокол, если в нем нет искажений.

Кутепов внимательно прочел и потом подписал каждый лист протокола. Орлов сказал в заключение:

— Вы несколько затрудняете мою работу, вынуждая опровергать ваше мнимое алиби. Я найду проводников того вагона, в который был куплен ваш билет. Вы должны понимать, что память им за давностью времени не откажет. Если вы летели в самолете, я найду корешок билета.

Когда Кутепов уходил, сопровождаемый конвоиром, у него был вид человека, которому обещали интересное зрелище, а потом вывели на самом интересном месте. Ему хотелось продолжать, он был разочарован краткостью допроса. На это и рассчитывали Орлов с Семеновым.

Они не торопились уходить. Орлов закурил, открыл форточку в зарешеченном окне.

— Ты ему жгучие темы для размышлений подкинул,— сказал Семенов.

— Подумать-то ему, конечно, есть над чем. Первое — жива ли Сухова?

— Как, по-твоему, что для него лучше?

— Попробуем влезть в его шкуру. Как он сейчас рассуждает? Главное для него — точно определить, чем мы еще располагаем.

— Неопровержимых доказательств его покушения на Сухову у тебя нет.

— Верно. К тому же мотивов покушения мы не знаем, а это большой пробел. Если Сухова заговорит, у него не будет выхода. Она скажет, кто ее ударил и почему.

— Следовательно, ему лучше, если Сухова не жива.

— Да. Но тут есть неразрешимое противоречие. Ты бы назвал его жгучим.— Орлов слегка пошутил, однако Семенов не обратил на это внимания.— Кутепов подлежит розыску как государственный преступник. Остальное мне неведомо, но и этого достаточно. Как только он поймет, что ему не уйти и от этого обвинения, он пожалеет о Суховой. Зачем брать еще один тяжкий грех на душу?

— Но он может мерить по-другому. Семь бед — один ответ.

— Вряд ли. Не забывай: он адвокат.

— В таком случае нужно прямо объявить, что Сухова жива.

— Скрывать это ни к чему. Я должен уличить его во лжи насчет поезда. Тогда ему легче будет признаться. И больше мне здесь делать нечего.

Поездная бригада, которую искал Орлов, в понедельник 29 мая вернулась из Москвы в город К. Ей полагался трехсуточный отдых, но он был прерван. Бригадир и два проводника того вагона, в котором якобы ехал Кутепов, были вызваны в городское управление милиции, где дали письменные показания.

Помощник Орлова разыскал в Аэрофлоте корешок билета с фамилией Кутепова и переслал его подполковнику.

Проводники утверждали, что отлично помнят свою смену за 21—23 мая. Одиннадцатое место оказалось незанятым, и они сообщили об этом, как положено, бригадиру. Бригадир по радиотелефону дал сводку о свободных местах на следующую станцию, где скорый поезд имеет трехминутную остановку. На этой станции место номер одиннадцать занял молодой мужчина. Контроля в ту поездку не было.

Собранных данных вполне хватило, чтобы опровергнуть алиби Кутепова.

Семенов в понедельник получил из города К. важное известие: посланные туда ключи подошли к замкам квартиры Нестеровых. Он доложил об этом Маркову.

Во вторник, 30 мая, Орлов и Семенов вновь приехали в Бутырскую тюрьму.

На этот раз Орлов начал не с вопросов. Он дал прочесть Кутепову показания железнодорожников и предъявил корешок авиабилета.

Кутепов читал, казалось, как-то нехотя. И на корешок поглядел безразлично. Подумав, он сам неожиданно задал вопрос, обращаясь к одному Орлову и избегая взгляда Семенова:

— Вы ведь из угрозыска?

— Да.

— В таком случае я хочу сделать заявление. Прошу дать бумаги.

Орлов положил на стол пачку зеленых разлинованных листков и шариковую ручку.

— Прошу.— Он поднялся из-за стола и жестом пригласил Кутепова.

Тот встал с привинченной к полу табуретки и пересел на место Орлова.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—28.

Вероятно, у Кутепова заранее было продумано каждое слово. Писал он не отрываясь и без единой помарки.

Заявление было короткое:

«Ввиду того, что я располагаю важными сведениями, касающимися интересов государственной безопасности, прошу предоставить мне возможность дать показания следователю КГБ. Прошу также при решении моей дальнейшей участи принять во внимание, что это заявление сделано мною добровольно и по собственной инициативе».

Кутепов сел на свое прежнее место. За какие-нибудь две-три минуты он преобразился. Теперь он был торжественно спокоен.

— Я не настаиваю, но не хотите ли вы здесь же закрыть эпизод с покушением на Сухову?— спросил Орлов.

— Это не эпизод,— сказал Кутепов печальным тоном.— Это узел. Я все расскажу, но не сейчас.

— Ну, что ж, пока идите.

Орлов вызвал конвоира. Кутепова увели в камеру.

— Нет, ты не даром ешь хлеб,— сказал Семенов.

— Стараемся.— Орлов подмигнул ему.— Потому мы и вернемся в родной город намного раньше вас. А вы, молодой человек, учитесь у стариков.

Но радоваться было еще рано.

Орлов действительно в тот же день уехал в К., оставив Семенову папку с собранными по делу материалами и все вещественные доказательства.

Второй раз Кутепова допрашивали в кабинете Маркова. Кроме полковника, были еще Павел Синицын и Семенов.

Начал Марков.

— В своем заявлении вы пишете, что имеете важные сведения. Что это за сведения и откуда они у вас?

— Мне кажется, я принимал участие во враждебной нашему государству акции. Ответить кратко на ваш вопрос мне затруднительно.

— Хорошо. Разобьем его на части. Каким образом вы стали участником этой акции?

— Меня вовлек некто Маттинелли, он работал инженером на химическом комбинате в нашем городе. Я действовал по его поручению.

Семенову показалось, что он ослышался.

Последовало долгое молчание. Потом Марков сказал так, словно Кутепова тут не было:

— Как это понимать, Евгений Михайлович?

— Разрешите я разъясню гражданину Кутепову, что он избрал ложный путь?

— Сделайте одолжение.

Семенову пришлось сдерживать себя, когда он обратился к Кутепову.

— Послушайте, вы ведь не настолько наивны, чтобы считать наивными нас. Если хотите узнать, как выглядит ваша позиция со стороны, пожалуйста, можно рассказать. Вы стремитесь затянуть разбирательство, осложнить задачу следствия. Когда стало ясно, что от обвинения в покушении на убийство уйти невозможно, вы сделали свое заявление. Если удастся вовлечь в дело итальянского инженера Маттинелли, следствию понадобится время, чтобы отмести эту версию. Все это слишком примитивно для вас.

Кутепов слушал, разглядывая ногти на руках.

Марков перекидывал листки настольного календаря. Когда Семенов умолк, он сказал Кутепову:

— Будьте благоразумны. Вы настаиваете относительно Маттинелли?

Кутепов поднял голову.

— Решительно настаиваю.

— Вы усугубляете свою вину,— с сожалением сказал Марков и, секунду подумав, добавил: — Учтите, вам еще предстоит объяснить следствию очень многое. Например, в каких отношениях вы состояли с оберштурмфюрером СС Карлом Шлегелем. А вы стараетесь навлечь на себя и дополнительные неприятности. Несолидно для человека ваших лет и вашей профессии.

Кутепов не мог скрыть, что упоминания о Шлегеле он не ожидал, а если ожидал, то боялся. Спокойно-безразличное выражение лица, которое он тут же вернул себе, не могло обмануть наблюдавших за ним Маркова и Семенова.

Марков надавил кнопку на телефонном столике и сказал Кутепову:

— Обдумайте свое положение. Когда решите говорить честно, попросите, чтобы вас вызвал полковник Марков.

Кутепова вывели из кабинета. У него был точно такой же вид, как тогда, после первого допроса. Ему хотелось продолжения...

Павел сказал:

— Даже не верится.

— Чему?— спросил Марков.

— Неужели они весь расчет строят на итальянце?

— Раз Кутепов именно тот человек, с которым велено встретиться Павлу Синицыну, значит, все правильно. Они же знают, что Павел убивать Кутепова не будет. Кутепова арестуют.

— Но это же несерьезно. На Кутепове столько навешано.

— На то и рассчитывают. Не станет он сразу во всем признаваться. Сначала назовет Маттинелли — это Кутепову выгодно: уводит от его старых дел, и следствию работы хватит. Хоть и временная, но все же путаница возникнет.

Зазвонил телефон.

— Марков слушает. Да. Хорошо, жду вас.

Положив трубку, он сказал:

— Спасибо Орлову. Они, конечно, не думали, что Кутепова так быстро найдут. Во всяком случае, не раньше, чем к нему придет этот турист Ваня. Тут они плохо рассчитали. Зато все предыдущее мы не оценили по достоинству.— Загородившись рукой от света, Марков посмотрел на часы.— Сейчас придет один товарищ, расскажет нам о профессоре Нестерове, о его работе. А после мы с вами кое-что уточним.

Капитан, которому Марков поручил составить справку о научной деятельности Николая Николаевича Нестерова, сам эту справку и

прочел вслух, потому что у Маркова разболелись глаза,— с ним это в последнее время случалось все чаще, и его утешало единственно то, что глаукомы врачи не обнаружили, хотя точного диагноза поставить все еще не смогли.

Выслушав, Марков спросил:

— Можно ли считать последние изыскания Нестерова принципиально новыми?

— Строго говоря, нет,— сказал капитан.— Проблема, которой он занят, стоит перед физиками уже не первый год. Но он получил некоторые промежуточные частные результаты, открывающие доступ к проблеме в целом.

— Решение проблемы имеет прикладное значение?

— Безусловно.

— Чем же наиболее интересна работа Нестерова?

— Когда общая задача известна, остается только найти верное направление поиска. Нестеров его нашел.

— Каким образом можно установить это направление? Что для этого надо узнать?

— Специалисту достаточно получить две-три готовые формулы. Разумеется, если они в совокупности составляют ряд, показывающий развитие мысли.

— А если без формул?

— Идею профессора можно описать и словами, но это будет более громоздко.

— Благодарю вас. Больше вопросов не имею.

Глава 19

ДОМ ЛИНДЫ НИКОЛАЕВНЫ

Из всего, чему учился Брокман у многочисленных инструкторов разведцентра, в том числе и у Михаила Тульева, наиболее полезными оказались для него сведения о порядках, обычаях и нравах, царящих на советских железных и автомобильных дорогах. И это понятно, потому что первой его заботой по прибытии было как можно быстрее добраться из Батуми в подмосковный город, где жила Линда Николаевна Стачевская. И все его дальнейшее пребывание здесь теснейшим образом было связано со средствами передвижения, ибо ему предстояло выполнить два задания: одно — вдали от маленького подмосковного города, другое — совсем неподалеку.

Первая заповедь всякого агента и разведчика — не выделяться среди окружающих — вначале казалась ему самой трудноисполнимой, так как в последние годы он упорно делал как раз обратное, все силы клал, лишь бы не быть похожим на толпу. Теперь он жалел об этом, но надеялся на свою наблюдательность, и она его не подвела.

Он добрался до дома Линды Николаевны, как до собственного, ни у кого нигде не спросив дороги. Никто никогда не посмотрел на него, как на белую ворону.

Его предупреждали, что сообщенный ему пароль уже справил свое двадцатилетие, но Линда Николаевна, оказывается, пароль не забыла.

Он видел Линду Николаевну только на портретах, где она была красивой женщиной лет двадцати пяти — двадцати шести, но тотчас ее узнал, едва она открыла ему дверь.

Ему было известно, что перед войной, в сороковом году, она стала машинисткой германского посольства в Москве и вскоре сделалась доверенным лицом и любовницей военно-морского атташе. Он ее и завербовал. Во время войны ее увезли в Берлин, где она за год сменила нескольких шефов, имевших отношение к той или иной разведке. В конце концов она очутилась у власовцев, сумела от них уйти перед самым концом войны, а что произошло дальше, Брокману не говорили.

Прошлое богатое, но все это было так давно, что ручаться за нынешнюю пригодность и готовность Линды Николаевны к тайному сотрудничеству никто не мог. Однако опасения Брокмана оказались напрасными.

Линда Николаевна помнила не только пароль. В ней были живы и воспоминания о нежных отношениях с людьми, которых она считала высшими существами, и их наставления. Она так долго томилась в ожидании какого-нибудь пришельца, который бы принес ей магический знак из молодых лет, из далекого далека, что уже устала ждать. А год назад, выйдя на пенсию (она работала машинисткой в одном из московских издательств), специально ходила в церковь, чтобы помолиться за упокой души своих обожаемых друзей и господ, а заодно перед ликом божьим проститься окончательно с тем вторым существом, алчущим недоступного и вечно недовольным существом, которое обитало в ее бренной телесной оболочке.

Можно себе представить, как обрадовало ее появление гостя «оттуда». Это, можно сказать, было для нее не появление, а явление.

Когда Линда Николаевна как следует разглядела Брокмана и сравнила его с хранимыми в душе образами, он показался ей мужланом. Зато от него веяло энергией, той особой аурой, которой обладают только люди, привычные к опасности, и которая была ей знакома со времен войны, и это помирило ее с недостатками.

Линда Николаевна, будучи одинокой и имея возможность заработать на машинке столько, сколько необходимо (она и сейчас подрабатывала), не нуждалась в деньгах. Дом ее был обставлен хорошей мебелью и содержался в образцовом порядке. Принадлежащую ей половину сада обрабатывал за соответствующее вознаграждение сосед, мастер текстильной фабрики. Его жена убирала в трех комнатах Линды Николаевны, за что получала отдельно. А их дети, мальчик и девочка, школьники, приходили иногда смотреть к ней по телевизору цветные передачи, а в благодарность с великой охотой бегали по поручению тети Линды за хлебом в булочную и за творогом в молочный магазин.

Линда Николаевна могла оплатить любые услуги, если не хотела делать чего-то собственноручно, денег у нее хватало. Тем не менее она была обрадована, увидев положенные Брокманом на стол красные червонцы, довольно пухлую пачечку. Эти деньги восстанавливали ее в ее прежнем качестве и потому были неизмеримо дороже их номинальной стоимости. Это были для нее не банковские билеты, а волшебные грамотки, удостоверяющие ее возрождение в ранге особо доверенного лица могущественных сил, облеченных тайной властью. Это было именно так, хотя Брокман прозаически заявил, что триста рублей дает на первый случай, как задаток за жилье. Он даже не подозревал, что она готова служить даром, это было недоступно его пониманию...

Вечером за чаем — от коньяка и водки Брокман отказался — они обсудили план ближайших дней и, так сказать, гражданский статус Брокмана.

У него были безупречно сделанные документы на имя Ивана Ивановича Никитина—паспорт, военный билет, профсоюзная книжка, трудовая и даже водительские права. Во всех графах всех документов, за исключением графы «Ф. и. о.», в точности повторялись данные, относящиеся к Владимиру Уткину. Последнее место работы — техник телефонного узла в городе С., откуда уволился Уткин. Сам Брокман этого не знал, но он по первоначальному замыслу должен был унаследовать и фамилию Уткина, а не только его биографию, если бы в последний момент начальство разведцентра не внесло поправок.

Брокмана беспокоило прежде всего его положение в доме Линды Николаевны. С какой стати он у нее поселился? Кем он ей приходится? Соседи могут этого и не спросить, а участковый вправе заинтересоваться. И обязательно ли ему прописываться?

Линда Николаевна сказала, что еще в не столь давние времена сдавала одну из комнат одиноким мужчинам на разные сроки — от недели до полугода. Как правило, это были командированные, приезжавшие на предприятия или на какие-нибудь курсы. Стало быть, ничего из ряда вон выходящего никто не усмотрит, если она пустит к себе человека, приехавшего в поисках нового места работы и нового местожительства. Где и как они познакомились? В электричке. Разговорились, и Линда Николаевна сама ему предложила остановиться у нее.

Что касается прописки, то тут все зависит от сроков. Если он думает прожить несколько месяцев, можно будет прописать его временно.

Брокман не собирался жить у Линды Николаевны так долго, и вопрос с пропиской отпал. Если же возникнут нежелательные коллизии, Линда Николаевна бралась их уладить.

Брокман, понятно, не рассказал ей, для чего приехал в Советский Союз, да она и не позволила себе интересоваться. Ее лишь волновало, какое участие она примет в будущих делах — что они обязательно будут, сомневаться не приходилось. Она жаждала деятельности, и Брокман заверил, что ей представится отличный случай проявить себя.

Линда Николаевна отвела ему угловую комнату с двумя окнами — одно смотрело в глубину сада, из другого между кустами сирени была видна улица.

Брокман приехал с чемоданом, в котором лежали белье, полотенце, бритвенные принадлежности, транзисторный радиоприемник «Спидола» и коробка батареек к нему. И больше ничего.

После чая он пошел в комнату, осмотрелся, покурил перед открытым в сад окном, а потом освободил чемодан. Белье убрал в шкаф, коробку с батарейками сунул в нижний ящик письменного стола, а «Спидолу» поставил на стол.

Линда Николаевна, пришедшая обсудить продовольственный вопрос, обратила внимание на скудость багажа и сделала по этому поводу замечание, что, мол, всякому солидному человеку положено иметь немного больше вещей, даже если он не обременен семьей и ведет кочевой образ жизни. Брокман согласился, достал еще пачку денег и просил купить для него в Москве рубахи (размер сорок два), костюм получше (размер пятьдесят два, рост третий), плащ, демисезонное пальто и что там еще сочтет необходимым Линда Николаевна.

Ей, наверное, интересно было бы узнать, насколько хорошо он был оснащен для выполнения той, безусловно, опасной миссии, которая на него возложена. Не увидев при нем никакого реквизита, который во всеобщем представлении непременно должен сопровождать шпиона, Линда Николаевна была слегка уязвлена. Но она не ведала, во-первых, о подлинном назначении «Спидолы», во-вторых, о начинке батареек, в-третьих, о маленьком фотоаппарате и маленьком пистолете, лежащем у Брокмана в кармашке на «молнии», вделанном в большой брючный карман. Десятизарядная обойма этого пистолета снаряжена патронами, в которых вместо обычных пуль были короткие оперенные стрелки диаметром в обыкновенную швейную иглу.

Они решили, что питаться Брокман будет только дома — никаких столовых и ресторанов. Линда Николаевна сказала, что еще не разучилась готовить мясные блюда по рецептам одного незабвенного друга, любившего и умевшего поесть.

Так начался непродолжительный карантин Брокмана — Никитина в доме Линды Николаевны Стачевской.

За пределы сада он не выходил. Так как хозяйка сказала, что в его выговоре чувствуется легкий акцент, он решил с посторонними не беседовать. Ему хотелось бы не знакомиться ни с кем, но это было трудно, потому что сад, как сказано, принадлежал на равных правах двум хозяевам и не имел перегородки, а соседи, жившие за стеной, были людьми общительными. Правда, Линда Николаевна устроила так, что дети не донимали нового жильца расспросами и даже перестали ходить на цветные передачи.

По вечерам Брокман слушал радио. Он брал приемник, ложился на кушетку и вставлял в ухо маленький наушник, чтобы не мешать Линде Николаевне, которая в гостиной смотрела телевизор.

За завтраком, обедом и ужином они разговаривали. Линда Николаевна рассказывала кое-что из своей богатой событиями жизни или отвечала Брокману, который расспрашивал ее о пустяках, касавшихся повседневного быта.

Раз он заговорил об окрестностях города, так сказать, о памятных местах и достопримечательностях. Но ничего примечательного в ближней округе не имелось, и тогда Брокман поинтересовался, куда горожане ездят в выходные гулять. Линда Николаевна рассказала о селе Пашине на берегу Клязьмы. Там на много километров тянется глухой лес, а за лесом лежат обширные плоские, как бильярдный стол, поля — это бывшие торфяные разработки, ныне заросшие кустарником, а за ними дорога, а потом опять лес. До Пашина километров семь или восемь, ходит туда автобус от рыночной площади.

И вот на следующий день, во вторник, 23 мая, Брокман решил совершить первую вылазку — чтобы размяться, как он сказал.

Продолжение в № 31.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Линда Николаевна завернула в вощеную бумагу половину сваренной курицы, сделала несколько бутербродов и налила в термос крепкого чаю. Она хотела положить все это в свой старый кожаный портфель, но Брокман сказал, что с портфелем неудобно, и она дала вместительную клеенчатую сумку.

Брокман взял с собой тяжелый железный секач, который Линда Николаевна употребляла для разделки мяса, а пока она ходила на кухню, он вынул из нижнего ящика стола коробку с батарейками и положил ее на дно сумки. «Спидолу» он тоже взял.

Полдень застал Брокмана в районе села Пашина, на опушке густого леса, километрах в полутора от шоссе.

Секачом он снял верхний слой земли в развилке между корнями стоявшего особняком дуба, вырыл глубокую ямку и положил в нее коробку с батарейками. Потом засыпал, уложил дернину на место, оставшуюся землю собрал на газету, отнес в сторону и разбросал.

Сколько он ни смотрел, разыскивая им самим только что заложенный тайник, никаких следов обнаружить не смог. Он сфотографировал несколько раз дуб и подходы к нему.

Отойдя от дуба подальше, он сел в тени, съел курицу, запил чаем из термоса и пошел к шоссе. Двухчасовой автобус привез его в город.

Больше Брокман ни разу не покидал дом Линды Николаевны. По-прежнему они вечерами занимались каждый своим любимым делом — она смотрела телевизор, он слушал радио, а за завтраком, обедом и ужином разговаривали о том о сем.

Однажды зашла речь о городе К., и Брокман спросил, нет ли там у Линды Николаевны родственников или друзей. Нет, таковых не оказалось. У нее нигде не было родственников, все давно умерли, а друзей она не заводила.

Тогда Брокман попросил объяснить, как можно на два-три дня устроиться с жильем в городе К., если человек не хочет идти в гостиницу. Линда Николаевна не была специалистом по этой части, но высказала предположение, что лучше всего потолкаться возле какой-нибудь гостиницы, там наверняка бывают люди из местных жителей, сдающих комнаты приезжим, так как в гостиницах любого города во все времена года постоянно висит табличка «мест нет», и это служит газетным фельетонистам дежурной темой.

Из разговора Линда Николаевна поняла, что ее Иван (у нее, между прочим, язык не поворачивался называть Брокмана Иваном, и она утешала себя тем, что это, без сомнения, не его настоящее имя) не будет вечно сидеть в четырех стенах.

Движение наметилось в субботу, 27 мая.

Вечером, как всегда, Брокман через наушник слушал радио, а Линда Николаевна смотрела телепередачу. По окончании программы «Время» она выключила телевизор и пошла в кухню — ей захотелось чаю. Тут же к ней присоединился и Брокман.

Электричества они не зажигали — еще горели над городом малиновые отсветы заката. Лицо Линды Николаевны в этом мягком, рассеянном, не дающем теней свете выглядело молодым, и Брокман вспомнил ее портреты, которые ему показывал Монах.

Он попросил ее прикрыть окно. Потом сказал:

— Завтра вам придется съездить в Москву.

— С удовольствием,— согласилась Линда Николаевна. По тону Брокмана она чувствовала, что начинается нечто серьезное, и обрадовалась.

— Вы знаете Большую Бронную улицу?

— Конечно.

Он назвал номер дома и продолжал:

— Войдете в подъезд. Там внутри над дверью, на уступе, будут лежать ключи. Возьмете их.

— И все?— весело удивилась Линда Николаевна. Она и в самом деле готова была к чему-то трудному, даже отчаянному.

Брокман не разделял ее повышенного настроения.

— Надо очень осторожно,— сказал он.— Возьмите сначала такси, покатайтесь. Оглядываться не обязательно, но проверьте, чтобы никто за вами не шел.

— Вряд ли будут за мной следить. Я четверть века сижу в норке тихо-тихо.

— Я говорю про обратный путь тоже. Чтобы от дома на Большой Бронной за вами никто не пошел.

— Понимаю.

Вот таким образом Линда Николаевна послужила дополнительным предохранителем в цепи, так старательно оберегаемой от короткого замыкания.

Она привезла Брокману три ключа, завернутых в какую-то записку. Это было в воскресенье. А в понедельник, 29 мая, он велел ей отправиться в Москву и купить для него билет на поезд до города К. Линда Николаевна сказала, что можно взять и на самолет, хотя там тоже придется постоять в очереди, но Брокман настаивал на поезде, не объясняя при этом, что услугами «Аэрофлота», который своих пассажиров обязательно регистрирует по паспорту, ему пользоваться нельзя.

Сезон летних отпусков уже набрал силу, и в железнодорожных кассах столицы было вавилонское столпотворение. Линда Николаевна уехала в девять утра, а вернулась в девять вечера с билетом на скорый поезд на 4 июня.

Она нашла Брокмана встревоженным и недовольным. Оказывается, без нее приходил какой-то человек.

Брокман был в своей комнате, когда услышал, как хлопнула калитка. Он знал, что у соседей в это время пусто — взрослые на работе, дети с утра убегают на речку, потому что стоит сушь и жара, а в пионерлагерь они уедут в июне.

Мужской голос негромко позвал: «Линда Николаевна! Линда Николаевна!» А потом, не дождавшись ответа, этот человек пошел в обход дома и по пути заглядывал в окна. Увидев, наконец, Брокмана, он поздоровался и извинился за вторжение. Вижу, говорит, все окна настежь, а никто не откликается. Поэтому решил посмотреть, не в саду ли хозяева. Когда Брокман сказал, что Линда Николаевна уехала по делам в Москву, человек просил передать, что приходили из редакции городской газеты. Одна машинистка у них в отпуске, другая заболела,— так они хотели узнать, не выручит ли Линда Николаевна.

Ничего необычного в этом не было. К ней обращались с подобными просьбами не первый раз и не только из редакции — нехватка машинисток в последние годы сделалась хронической.

Но этот довод не убедил Брокмана. Ему показалось, что посланец редакции был излишне любопытен — совал нос со двора во все комнаты, будто что искал.

Это тоже было естественно — ведь он искал ее,— но Линда Николаевна попросила описать внешность приходившего. Приметы не совпадали ни с кем из тех, кого она знала в редакции.

Вот почему эту ночь оба они, хозяйка и жилец, спали плохо. А наутро, не помыв даже посуду после вялого завтрака, Линда Николаевна отправилась в редакцию.

Ответственный секретарь встретил ее как избавительницу. Да, да, они посылали к ней с нижайшей просьбой помочь и надеются, что она, как всегда, выручит их в трудную минуту. «А я думаю, кто же это приходил,— между прочим заметила она,— как будто незнакомый кто-то». Да нет же, это их старый заведующий хозяйством, которого Линда Николаевна прекрасно знает. Просто он два месяца как бросил курить и вот поправился, растолстел так, что ни одна одежка не лезет, весь гардероб менять надо.

Линда Николаевна взяла кипу рукописей и ушла, обещав отстучать все к завтрашнему утру.

Ее рассказ о походе в редакцию успокоил Брокмана.

Линда Николаевна, прибравшись в кухне, села за свою бесшумную электрическую машинку с широкой кареткой.

На следующий день им предстояло расстаться ненадолго — на три-четыре дня, как уверял Брокман. Поезд отправлялся из Москвы в 21.40.

Линда Николаевна прикинула, что успеет, не торопясь, приготовить ему на дорогу кое-какую закуску.

...В воскресенье, 4 июня, Брокман выехал в город К. Он взял старый кожаный портфель Линды Николаевны, в который положил «Спидолу».

Глава 20

ТРИ ЛИСТА ИЗ УЧЕНИЧЕСКОЙ ТЕТРАДИ

Последние полгода Николай Николаевич Нестеров был занят тем, что он называл своим основным фондом, то есть чисто научной работой. Ради этого он даже отошел на время от преподавательской деятельности, которую очень любил, и попросил на целый семестр освободить его от лекций. Проблема, которая не давала ему покоя вот уже лет десять и за решение которой он то брался вплотную, то, почувствовав тщету очередной попытки, откладывал до лучших времен,— эта проблема наконец-то начала ему раскрываться, и он,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—29.

с головой захваченный поиском наиболее экономных решений, ведущих к цели кратчайшим путем, работал почти как в лучшие свои годы, вновь ощущая прежнюю одержимость. Его мысль и дух жили самой полной жизнью. Естественно, все это было глубоко внутри, в герметично упакованном вместилище мысли. И так же естественно, что, целиком поглощенный этой внутренней работой, Николай Николаевич совершенно не вникал в происходящее вокруг. Он не всегда внимал даже голосу жены, приглашавшей к обеду.

Тем не менее, когда Ольга Михайловна рассказала мужу, что произошло с подругой их дочери, Николай Николаевич испугался.

— Боже, какое несчастье,— сказал он кротко.— Но почему это случилось именно с ней? Такая славная девочка...

— Все они славные,— отрезала Ольга Михайловна.— Лучше посмотри-ка сюда.— Она жестом разгневанных античных героинь показала на середину комнаты, где на полу аккуратно были разложены кофты, юбки, платья, шарфы и прочие предметы женского туалета.

Разговор происходил в комнате Галины, которая в данный момент отсутствовала, вызванная в милицию. А перед тем Ольга Михайловна произвела генеральный осмотр всей квартиры, в том числе и кабинета Николая Николаевича, чего он и не заметил, и извлекла из шкафов, столов и секретера вещи, спрятанные дочерью от ее глаз.

Николай Николаевич, поправив очки, посмотрел, следуя указующему персту жены.

— Прости, моя дорогая... Это какие-то образцы.

Тут Николай Николаевич наконец уразумел, что жена по-настоящему взволнована, она даже перестала контролировать мимику своего лица.

— Глупец! Это наряды твоей обожаемой дочери.

— Ну и что же? Она хочет их выбросить?

— Кажется, это я их выброшу.

— Не понимаю, дорогая... Какая связь?

Ольга Михайловна сделала глубокий вдох и спросила более спокойно:

— Не ты ли покупал ей эти дорогие тряпки?

— Помилуй, ты же знаешь, я совсем не разбираюсь в дамском конфекционе.

— Ну да, ты просто даешь ей деньги. Тайком от меня. И вот результат.

— Если девочке нравится одеваться получше... гм-гм... поразнообразнее, что ли... по-моему, нет ничего предосудительного... Ты сама...

— Не обо мне речь,— остановила его Ольга Михайловна.— Ты слепец.

— Почему ты так сердишься?

— Почти все это я нашла у тебя в кабинете. Она прятала от меня. Тебе это нравится?

— Но сделай одолжение, объясни, пожалуйста... Ведь ты говорила об этой бедняжке... Как соотнести одно с другим?

— Скажи честно, ты знал об этом складе у тебя в кабинете?

— Впервые вижу.

— Значит, она скрывала и от тебя.— Ольга Михайловна прикусила губу и задумалась. Потом продолжала упавшим голосом: — Значит, все это еще хуже, чем я думала.

— Но что хуже и что ты думала? — искренне озабоченный, спросил Николай Николаевич.

— Когда все чисто, человеку нечего скрывать. Я давно подозревала, эта Светлана затянула нашу дочь в какие-то свои темные делишки. Она же торговый работник. Вот и доторговалась.— Ольга Михайловна встала, нервно хрустнула пальцами и прошлась вдоль стены.— А наша-то растяпа! Телка несчастная! Скотина безрогая!

— Помилуй, Оля, зачем же ты так? — Николай Николаевич всегда смущался, если его супруга в сильном расстройстве вдруг забывалась и помимо воли употребляла лексикон своих молодых лет, когда она еще не обручилась с ним, академиком Нестеровым.

— Ты все сюсюкаешь, а тебе бы выпороть ее вожжами — был бы прок.

— Но у нас в доме нет вожжей,— стараясь вернуть ее из сферы несбыточных пожеланий на рельсы реального, мягко сказал Николай Николаевич.— Ты считаешь, тут какая-то криминальная история?

— Наше счастье, если не так. Галина сама ни на что такое не способна, но откуда нам знать, чего там натворила эта Светлана? Я только уверена — эти проклятые вещички скомбинировала она.

Ольга Михайловна, будучи не совсем справедливой по отношению к Светлане Суховой, и не подозревала, насколько в общем-то была близка к истине, ставя в связь лежавшие на полу дорогие наряды и несчастье, случившееся со Светланой, несчастье, поставившее семью Нестеровых в совершенно неподобающее положение — вплоть до того, что их дочери оказывает специальное внимание уголовный розыск. А если бы ей был известен подлинный источник всех этих модных тряпок, у нее, вероятно, разыгралась бы мигрень, от которой мог бы расколоться земной шар, не говоря уже о ее слабой, многострадальной голове.

— Ты намерена их выбросить? — высказал догадку Николай Николаевич, кивнув на вещи.

— Хочу облегчить работу милиции.

— Неужели дело зашло столь далеко?

— Во всяком случае, пока мы тут рассуждаем, наша тихоня дает показания в угрозыске. Могут и с обыском прийти.

Видя, что муж взялся рукой за сердце, Ольга Михайловна побежала в спальню и принесла из своей замечательно богатой аптечки баллончик с валидолом. Отвинчивая крышечку, она мимоходом (мысленно) похвалила себя за то, что благоразумно не сообщила мужу о перстне, принесенном однажды Галиной и купленном за смехотворно недорогую цену. Этот перстень она швырнула сегодня дочери под ноги, приказав отдать прежней владелице «за так», без возврата денег, чтобы и духу его в доме не было.

Николай Николаевич от валидола отказался. Справившись с минутной слабостью, он спросил:

— В чем ее обвиняют?

— Ни в чем, не волнуйся,— поспешила успокоить Ольга Михайловна.— Им же надо побеседовать с Галиной. Как-никак лучшая подруга. Сделать тебе кофе?

— Да, пожалуйста. Но ты уверена?..

— Она скоро вернется. Этот следователь, что звонил, сказал: на час, не больше. Не будем терзать себя напрасно. Придет — расскажет. Не она же ударила Светлану.

— Но, может быть, нам надо поговорить с милицией? Раскрыть им облик нашей дочери...

— Посмотрим, чего они хотят. Если начнутся глупые придирки, тебе придется вмешаться. А вообще нам надо немедленно уехать.

Николай Николаевич виновато развел руками.

— Но это так некстати... У меня много начато...

— Я говорю о нас с Галиной. Ты можешь не ехать.

— Ты имеешь в виду Алушту?

— Конечно.

Возвращение Галины после ее беседы с Орловым и Семеновым уже само по себе возымело успокаивающее действие на встревоженных до крайности родителей. А сообщение о том, что милиция вовсе не против ее отъезда в Крым, вернуло им душевное равновесие — если не в полной мере, то в значительной.

Вопрос с отъездом был решен немедля. Надо было кое-что сделать, кое-что купить, поэтому отъезд назначили на субботу, 3 июня. Николай Николаевич позвонил своему секретарю и попросил устроить два билета на самолет. Ольга Михайловна велела Галине уложить валявшиеся на полу вещи в старый чемодан и поставить его в темную комнату-кладовку (окончательную их судьбу она собиралась определить и объявить после), а сама сходила к Васе — так они звали Василису Петровну, старую няню Галины и домработницу,— которая по случаю приезда к ней в гости собственного сына с семьей из Смоленска взяла себе отпуск. Добрая Вася согласилась дважды в неделю захаживать на квартиру для готовки и уборки, чтобы Николай Николаевич не одичал на холостяцком раздолье.

В субботу, 3 июня, Ольга Михайловна с дочерью улетели в Крым утренним симферопольским самолетом.

Николай Николаевич, с плохо скрываемым удовольствием проводив их, эгоистически предвкушал, как продуктивно сумеет он использовать свое благословенное домашнее одиночество. Но все его виды на покой рухнули в тот момент, когда он, приехав из аэропорта, клал в свой маленький несгораемый ящик, встроенный в секретер, незаметно переданный ему дочерью перстень. Галина ничего ему не смогла объяснить в присутствии повышенно бдительной матери, шепнула только: «Спрячь, пожалуйста». И он считал себя обязанным свято исполнить просьбу, не вдаваясь в причины, побуждавшие его дочь отдать ему на хранение драгоценную безделушку. Ему доверена тайна — дело его чести блюсти ее. Он бы презирал себя, если бы мог рассуждать иначе.

Он не успел закрыть ящик, когда зазвонил телефон.

Очень вежливый голос сказал:

— Это Николай Николаевич?

— Да, слушаю.

— Извините, что беспокою. Меня зовут Павел Синицын. Я работаю в Комитете госбезопасности.

Николай Николаевич хотел сказать «очень приятно», но счел это вычурным, не подходящим случаю. Он сказал:

— Чем могу быть полезен?

— Мне нужно с вами встретиться. Вы сейчас свободны?

— В данный момент да.

— Разрешите мне прийти?

— Конечно, прошу вас.

— Я буду через пятнадцать минут.

Положив трубку, Николай Николаевич подумал, что отменная вежливость этого молодого, судя по голосу, человека не мешает ему быть настойчивым. Потом он подумал, что этот звонок непременно имеет какое-то отношение к печальной истории, о которой он узнал от жены.

Когда Николай Николаевич открыл дверь и увидел перед собой действительно молодого человека, глядевшего на него внимательными голубыми глазами и ждавшего приглашения войти, приготовленный им официозный тон как-то не получился. Он сказал просто, по-домашнему:

— Вы ведь Павел Синицын? Прошу, прошу.

Павел улыбнулся, вошел, сам прикрыл дверь и сказал:

— А вы открываете настежь и даже не спрашиваете, кто?

— Но я ждал вас,— возразил Николай Николаевич.— Идемте сюда.

Павел следом за хозяином прошел в гостиную, спросил на ходу:

— Квартира у вас не заблокирована?

— Что? — не понял Николай Николаевич.

— Я говорю, к автоматической сигнализации не подсоединена?

— А-а... Нет, представьте себе. Всегда кто-нибудь дома.

— Ну и хорошо,— отметил Павел.

Николай Николаевич показал на кресла у низенького столика в углу. Но, прежде чем сесть, Павел протянул ему свое служебное удостоверение.

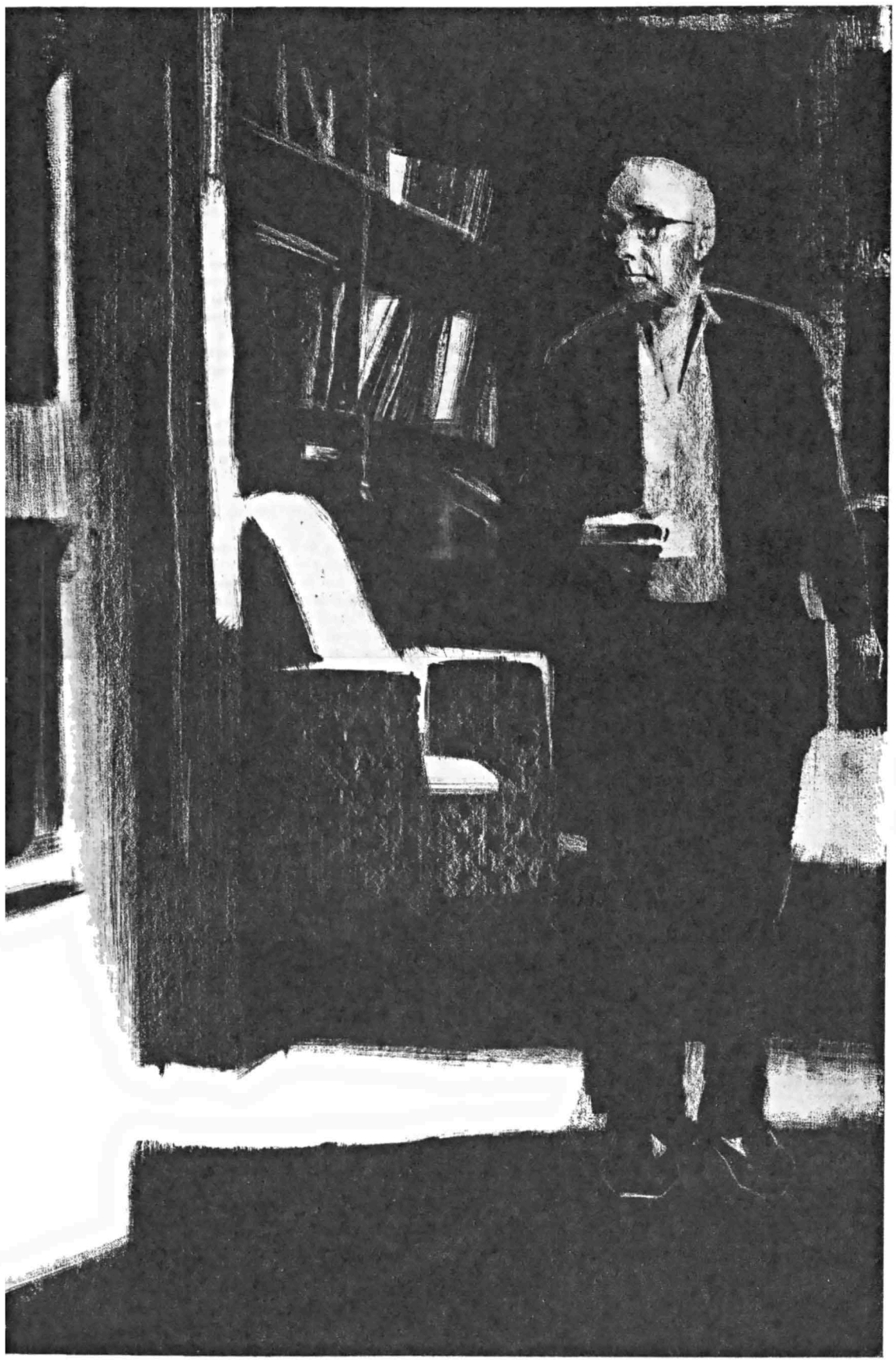
— Хоть вы и не спрашиваете у меня документов, но все-таки поинтересуйтесь.

— Ну что ж, из чистого любопытства, так сказать...— Николай Николаевич подержал книжечку в руках и вернул Павлу.— Никогда не видал ваших удостоверений.

Следуя примеру хозяина, Павел сел и весело сказал:

— Знаете, Николай Николаевич, можно смело утверждать: если бы существовало всесоюзное общество беспечности, вы могли бы в нем занимать пост президента. Ну, на худой конец — вице.

Оценив шутку, Николай Николаевич рассмеялся, но он понимал, что сказано это не из одного желания пошутить. Он всегда с глубоким уважением относился ко всем без исключения людям, исполняющим свой профессиональный долг, о какой бы профессии ни шла речь, и никогда не позволял себе ни малейшего пренебрежения к вещам, в которых сам был дилетантом. Он вообще не делил людей по признаку образования или занятий, не видел никакого принципиального различия между, скажем, физиком-теоретиком и человеком, делающим табуретки. И тот и другой может быть настоящим работником или шарлатаном. Шарлатанов Николай Николаевич не считал нужным даже презирать, они для него были пустым местом, дыркой от бублика, он называл их сокращенно РВД, что значило «рыцари вечного двигателя».



Сейчас Николай Николаевич чувствовал, что разговаривает с человеком, относящимся к своему делу серьезно. Поэтому он счел всякие околичности неуместными.

— Итак, чем я могу быть вам полезен?

— Нам с вами надо многое обсудить. Разрешите покороче?

— Чем короче, тем лучше.

— Но сначала я все же сделаю общее заявление,—снова улыбнувшись, сказал Павел.— Необходимо, чтобы вы знали: мы действуем в наших общих интересах.

— Не сомневаюсь.

— В таком случае я буду предельно откровенен, но если вам покажется, что я о чем-то умалчиваю, не осуждайте.

— Я все пойму, не беспокойтесь.

— Я знаю, ваша жена и дочь улетели сегодня в Крым. Но ведь у вас есть домработница?

— Вася? Она взяла отпуск. Оля условилась, Вася будет приходить дважды в неделю.

— Желательно это отменить. Вы можете ей сказать, чтобы она не приходила?

— Могу, конечно, но она меня не послушает,— убежденно заявил Николай Николаевич.

— Хорошо, можно, я сам поговорю с ней? Где она живет?

Николай Николаевич сходил в спальню, принес записную книжку жены, отыскал адрес Василисы Петровны. Павел переписал его и продолжал:

— Теперь два главных дела. Вы сможете уехать из города, Николай Николаевич? Как вы на это смотрите?

— Не хотелось бы,— признался Николай Николаевич.

— Я думаю, это ненадолго. Вам ведь для работы никаких приборов не требуется?

— Кроме головы,— проворчал Николай Николаевич.— А далеко ли ехать?

Павел, поняв, что с этим щекотливым делом все в порядке, обрадовался.

— Тут рядом, километров пятьдесят. Там прекрасные условия. Никто не помешает вам работать.

— И когда же?

— Прямо сегодня. Крайний срок — завтра. Но лучше сегодня.

Николай Николаевич покачал головой.

— Однако!

— Хорошо, можно завтра. Вы уж простите. Но это совершенно необходимо, уверяю вас,— горячо произнес Павел.— Мы не стали бы вас так настойчиво беспокоить, если бы имели другую возможность.

— Понимаю. Но мне надо собраться...

— Лишнего не берите. Как в короткую командировку.

— Когда вы перешагнете за шестьдесят, ни одна командировка не покажется вам короткой,— меланхолически заметил Николай Николаевич.— Но как все это организуется? Что будет с квартирой? Меня же супруга подвергнет жесточайшему остракизму. Тут все мхом зарастет...

— Не беспокойтесь. Вася после постарается. Супруга ваша еще не скоро, наверное, вернется. А за квартирой будет хороший надзор, замков никто не взломает.

— Надеюсь. А как мне ехать?

— Вас отвезут и привезут. И я действительно уверен — это совсем ненадолго. Может быть, на несколько дней.

— Уговорили. Что еще?

Павел вздохнул. Была у него такая неконтролируемая привычка, или, лучше сказать, условный рефлекс: приступая к трудному вопросу, он набирал полную грудь воздуха, словно готовился к глубокому погружению. Сейчас был именно такой ответственный момент.

— Скажите, Николай Николаевич, работа, которой вы сейчас занимаетесь, еще далека от завершения или ее можно считать в основном готовой?

— Вы знакомы с физикой, с математикой?

— Только в пределах школы.

— Тогда вы ничего не поймете.

— Но в общих чертах — на каком вы этапе?

— На всех сразу.— Николай Николаевич, когда дело касалось его работы, даже с коллегами не любил рассуждать «в общих чертах». Он не считал нужным смягчать тон, если сознавал бесполезность разговора.

Однако Павел был к этому готов. Он объяснил:

— Нам известно, что вы нашли важные решения. Но их еще недостаточно, чтобы решить проблему в целом. Вам еще много остается?

— Вопрос наивный. Даже и не дилетантский. Не вдавайтесь в существо моих занятий. Лучше скажите, что от меня требуется. Начните с другого конца.

Павлу не оставалось ничего иного, как признать свою оплошность. Сам же хотел говорить покороче...

— Вы правы. Извините, дальше постараюсь без предисловий, но одно сказать должен: вашей работой интересуется одна из иностранных разведок. Настолько, что к вашей квартире подобрали ключи.

— Поэтому я и могу быть абсолютно за нее спокоен? — в свою очередь, пошутил Николай Николаевич.

— Во всяком случае, замки останутся в целости, это большое благо.

— Так что же дальше?

— Мы должны снабдить их материалами, которые они хотят получить.

— То есть?

— Несколько формул, написанных вашей рукой. Вы ведь и дома работаете?

— И дома и на улице. Везде. Но я не оставляю записей вне института.— Насчет записей он был не совсем точен, но не придавал этому особого значения.

— Можно и оставить,— сказал Павел.

Николай Николаевич нахмурился и, подумав немного, спросил:

— Ложные?

— Да. Но нельзя, чтобы это выглядело грубо. Необходимо сделать в формулах ошибку, которую трудно обнаружить. Она должна выглядеть естественно. Во всяком случае, допустимо. Знаете, как иногда встречаются в газете ошибки в шахматных нотациях? Смотришь партию — на тридцать восьмом ходу она кончается, черные сдались ввиду неизбежного мата. Начинаешь разбирать на доске, делаешь ходы аккуратно, как написано в нотации, а никакого матового положения нет. Оказывается, на тридцать пятом ходу конь белых с эф—четыре должен делать ход жэ—шесть, а не е—шесть, как указано в газете. Опечатка. Но в принципе-то конь может и так и этак ходить. Понимаете?

— Мастер быстро найдет ошибку,— скептически заметил Николай Николаевич.

— Наверное, я взял неудачный пример. В ваших разработках можно ошибиться тоньше.

— Это не так-то легко, если задано правильное направление.

— Но все-таки возможно?

Николай Николаевич, вероятно, уже прикидывал, как это сделать. Он смотрел мимо Павла и, кажется, не слышал его последних слов.

Подождав, Павел повторил:

— Вы считаете, это возможно?

Николай Николаевич сердито взглянул на него.

— А вы умеете ездить на велосипеде?

— Вообще да.

— А если бы вам предложили изобразить неумеющего, что бы вы стали делать?

— Не знаю. Скорей всего упал бы.

— Вот то-то. И это было бы ненатурально. Только клоуны умеют падать натурально. Это такое же настоящее искусство, как умение плясать на проволоке.

— Вы хотите сказать...

— Я говорю, притвориться заблуждающимся, когда знаешь истину, совсем не просто. Сделать то, что вы предлагаете, можно. Но это потребует времени.

— Но суток довольно?

— Не знаю. Надо постараться.

— Надо, Николай Николаевич.

— Если у вас ко мне все, давайте условимся, как вы меня завтра увезете, и я бы занялся делом.

— Но это еще не все, Николай Николаевич. У вас в квартире есть какой-нибудь тайничок? Ваш личный?

— В секретере есть несгораемый ящик. Но это не тайничок.

— Разрешите взглянуть?

Они пошли в кабинет. Николай Николаевич открыл ящик. Там лежали две ученические тетрадки. Он покашлял в кулак, вспомнив собственные слова относительно рабочих записей. Но Павел сделал вид, что не догадывается, чем вызвано это застенчивое покашливание. На перстень он вроде не обратил внимания.

— Вы всегда пользуетесь такими тетрадками? — спросил Павел.

— Давняя привычка.

— Эти тетради, наверное, лучше отсюда забрать.

— Да, пожалуй.

— Но то, что мы завтра сюда положим, должно быть с гарниром. Иначе ненатурально получится.— Павел покосился на Николая Николаевича.— Извините, пользуюсь вашей терминологией.

— У меня в институте найдутся безобидные черновики.

— Хорошо бы их взять.

— Вот видите, опять время...

— Ухожу, Николай Николаевич, ухожу,— заторопился Павел. Буду у вас завтра в три, то есть в пятнадцать ноль-ноль.

Провожая его до дверей, Николай Николаевич словно вдруг вспомнил невзначай:

— Да, что я хочу вам сказать...

Павел, уже взявшись за дверную ручку, обернулся.

— Слушаю, Николай Николаевич.

— Возможно, мне только показалось... Когда вы говорили о беспечности, вы ведь вкладывали более широкий смысл, чем следует, так сказать, из вашего контекста?

Павел уже забыл, когда и по какому поводу он говорил о беспечности, потому что прошедший час был посвящен конкретному делу, слишком для него важному, чтобы помнить о каких-то привходящих моментах. Но по лицу хозяина квартиры он видел, что для него это не второстепенно.

— А какой был контекст? — спросил Павел, уже догадываясь, что имеет в виду Николай Николаевич, отец Галины Нестеровой, подруги Светланы Суховой.

— Вы упрекнули меня, что я не потребовал у вас документа.

— Это чисто нервное, Николай Николаевич. Я когда шел к вам, очень волновался... Сомнения разные одолевали... Неуверенность... Ну, хотелось как-то самоутвердиться. А человек лучше всего как самоутверждается? Когда других уму-разуму учит. Правда?

Павел опять облек все в шутливую форму, однако Николай Николаевич и на этот раз ощутил скрытый укор себе. Он сказал:

— Я ценю ваш такт. Не хотите читать мне мораль в моем собственном доме. Но не притворяйтесь и не убеждайте, будто вы не считаете меня старой размазней.— Он замахал руками, видя, что Павел хочет что-то возразить.— Да, да, так оно и есть. Кормлю, одеваю, балую, а чем дышит родная дочь — не ведаю. И самое постыдное — ведать не хочу, потому что хлопотно. Мешает. Недосуг.

Этот взрыв самоуничижения не удивил Павла.

— Не расстраивайтесь,— сказал он.— Что случилось — случилось. Дочь ваша — человек неиспорченный. А уроки всем пригодятся.— И, искренне желая поправить Николаю Николаевичу настроение, весело добавил: — Ничего, жизнь идет! А я, честное слово, о беспечности просто так сказал, ни на что не намекал.

— Вы когда-нибудь расскажете мне всю правду? — серьезно спросил Николай Николаевич.

— Обязательно! Не думайте сейчас об этом. Вам работать надо.

— Работа, работа... Что работа?! Глупец я, как скажет моя жена...

На следующий день, в воскресенье, 4 июня, Павел приехал, как говорил, в три часа.

— А я, знаете, совсем не готов,— объявил Николай Николаевич, едва они поздоровались.

Павел испугался:

— Не написали?

— Я не про это. Надо же собраться.

— Ох, Николай Николаевич, хорошо у меня сердце здоровое, а то ведь, не ровен час... Где ваша тетрадка?

— Может, у вас уже и руки дрожат? — иронически осведомился Николай Николаевич.— Вы, молодой человек, теряете свое достоинство.

— Совершенно верно. Но исправлюсь. Разрешите посмотреть тетрадку.

Николай Николаевич повел его в кабинет. Ученическая тетрадь в серенькой обложке лежала на столе. Павел взял ее. Тетрадь была в линейку. Три первые страницы усеяны цифрами и математическими знаками. Кое-где строчки зачеркнуты и перечеркнуты. Есть даже две кляксы.

— Это получилось очень натурально,— сказал Павел, показав на кляксу.

Николай Николаевич поморщился.

— Вы меня переоцениваете. Это неумышленно, просто плохие чернила. Я ведь работаю по старинке, перышком.

На столе действительно стоял прибор с двумя мраморными чернильницами, и в них были налиты фиолетовые чернила. Прибор был весь в медно отсвечивавших засохших пятнах.

— Все равно хорошо,— сказал Павел.—Теперь сделаем так... Дайте ключ.

Николай Николаевич подал ему свои ключи на железном колечке. Ключ от несгораемого ящика выделялся в этой компании тем, что был латунный и фигуристый. Павел снял его с колечка и сказал:

— Вы ведь не хотите, чтобы сейф взломали?

— Ну какой же это сейф...

— Все-таки жалко. Значит, делаем так...— Павел открыл ящик. Там лежали отдельные листки, вырванные из тетради в линейку. Вчерашних тетрадей уже не было. Показав на листки, Павел спросил:

— А гарнир подходит к основному блюду?

— Вполне.

— И ничего ценного?

— Обыкновенные расчеты.

Павел положил тетрадку поверх листов, запер несгораемый ящик и поднял крышку секретера.

— А ключик спрячем сюда.— Он открыл средний ящик стола, в котором были старые блокноты, футляры от очков, карандаши, сломанные брелоки и прочая не подлежащая учету мелочь, и положил ключ в правый дальний угол. Потом задвинул ящик и сказал с сомнением:

— А если не найдет?

— По-моему, эту железную шкатулку в секретере можно открыть зубочисткой,— сказал Николай Николаевич.— Я бы только крышку у секретера все же не закрывал.

— Вы правы,— согласился Павел и открыл крышку.— Но будем надеяться, что ключик все-таки найдут. Стол не запирается?

— Как видите.

Покончив с этим делом, Павел помог Николаю Николаевичу собрать в чемодан все необходимое, и они спустились к ожидавшей их машине. Павел сказал, что менее чем через час они будут на месте.

В понедельник, 5 июня, Брокман приехал в город К.

Поезд прибыл без четверти девять. Проспав до восьми, Брокман все же успел и побриться и выпить стакан предложенного проводницей чаю. Вагон он покинул последним.

На привокзальной площади он сел в троллейбус, шедший до центра, и через двадцать минут сошел на остановке, что напротив почтамта.

Потом постоял в очереди на такси. Взяв такси, попросил шофера ехать на вокзал, а с вокзала вернулся на троллейбусе в центр. Он проверял, нет ли за ним слежки, и ничего подозрительного не обнаружил.

У него был разработан подробный план, но сначала нужно было как следует поесть, а между тем кафе и рестораны, мимо которых он проходил, еще не открылись.

Тогда он решил заняться телефонной частью плана и отыскал на тихой улочке уютно стоящую в тени старого отцветшего каштана будку автомата.

Линда Николаевна снабдила его горстью двухкопеечных монет, и когда автомат проглотил безвозмездно три монеты, на первой же цифре включив сигналы «занято», Брокман пошел дальше и нашел другую телефонную будку.

Сначала он набрал номер домашнего телефона Николая Николаевича Нестерова. Никто не ответил. Он повторил звонок — с тем же результатом.

Следующим был институтский телефон Нестерова. Женский голос сказал:

— Алло, вас слушают.

— Пожалуйста, Николая Николаевича.

— Его нет, он в отпуске. Кто его спрашивает?

— Я по личному делу. Скажите, Николай Николаевич уехал? Или он в городе?

— Уехал.

— А семья?

— На такие вопросы мы не отвечаем. Извините.

План Брокмана предусматривал и это.

Оставив телефонную будку, он отправился в кафе, присмотренное раньше,— оно уже открылось. Брокман позавтракал плотно, с таким расчетом, чтобы до вечера не думать о еде. Правда, в портфеле у него был пакет с холодной курицей, бутербродами и свежими огурчиками, положенный Линдой Николаевной. Брокман всегда отводил пище одно из самых важных мест в своей рискованной жизни.

Теперь, хорошо поев, можно было приступить к делу.

Свернув с главной улицы, он пошел по переулку, потом повернул в улицу, ведущую к реке, и, отсчитав три перекрестка, на четвертом взял вправо,— он передвигался точно по чертежу, который выучил наизусть еще перед посадкой на лайнер «Олимпик», так же как и номер автомобиля, за баранку которого он собирался сесть.

Продолжение следует.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Автомобиль «Жигули» с номером КИЖ 37—64 должен стоять на площадке перед зданием, в котором располагается трест «Оргтехстрой», а здание это находится в переулке, по которому шагал сейчас Брокман. Между прочим, запомнить название треста ему оказалось гораздо труднее, чем номер машины.

Переулок сделал крутой изгиб, и Брокман увидел слева за невысокой железной оградой с широким незакрывающимся проемом трехэтажное серое здание. Перед ним была прямоугольная асфальтированная площадка, а на ней — разноцветные автомобили. Брокман сосчитал — семь штук. Синие «Жигули» с номером 37—64 стояли в дальнем правом углу. И выезду другие машины не мешали.

Брокман сначала вошел в дверь, по обеим сторонам которой массивные вывески извещали золотом по черному, что именно здесь располагается «Оргтехстрой». В вестибюле несколько человек стояли у открытого окна и курили, разговаривая вполголоса. Они не обратили на него внимания. Вдохнув кисловатый запах почтенного учреждения, Брокман тут же повернул обратно, подошел к автомобилю с готовым ключом в руке, открыл дверцу, положил портфель на заднее сиденье и сел за руль.

Пошарив пальцами позади себя в щели между спинкой и сиденьем, нашел ключ зажигания, завел мотор, посмотрел на приборную панель. Бензина был полный бак.

Ветровое стекло сильно запылилось. Брокман достал из ящичка на панели (который, как учил его Михаил Тульев, называется у советских автовладельцев бардачком) доверенность на вождение автомобиля, а потом взял кусок старой замши, вышел, протер стекло. Потом нашел в машине щетки дворников, поставил их. И только после этого выехал с площадки в переулок. Он по справедливости считал себя первоклассным водителем. Ему приходилось ездить на машинах самых разных марок (к «Жигулям» он три дня приноравливался в разведцентре перед поездкой сюда). Но он давно усвоил правило, что в незнакомом городе каждый человек за рулем должен вести себя как новичок, строго соблюдать правила дорожного движения, а главное — ни в коем случае не превышать скорость.

Брокман поехал сначала к реке, потом повернул в центр, съездил к вокзалу, потом к рынку, опять в центр и, наконец, к дому академика Нестерова. Не выходя из машины, он оглядел все подъезды к дому, все подходы. И поехал на другой конец города.

Остановившись у телефона-автомата, он позвонил на квартиру Нестеровых. Трубку не поднимали.

Брокман сел за руль, закурил и тихо покатил по длинной улице, выводящей за город.

Была половина второго, солнце только-только начало склоняться на запад и пекло очень сильно. Хотелось в тень, и Брокман решил поискать на окраине что-нибудь вроде парка или рощи.

Улица привела его к реке, и он увидел вдали висящий над водой мост, по которому двигались люди и автомобили. Противоположный берег был лесистым, а за грядой округлых крон поблескивали на солнце раскиданные по широкому полю маленькие озерца.

Брокман направился к мосту, переехал по нему, свернул на узкий асфальтовый отвилок и минут через пять очутился в прекрасной дубраве. Вековые деревья стояли редко, а между ними на свежей изумрудной траве отдыхали люди. Было много детей.

Проехав дальше, Брокман увидел на пологого спускающемся к воде берегу густые заросли орешника, а в нем тут и там — туго растянутые палатки и автомашины с распахнутыми дверцами. В одном месте дымил костерок и возле него, отмахиваясь от дыма, сидела на корточках женщина в купальнике, помешивая ложкой в закопченном котелке. В стороне над кустами взлетал и опускался волейбольный мяч.

Брокман съехал с дорожки и выключил мотор.

С пляжа слышались веселые крики, плеск воды. Негромко играла музыка — у кого-то в машине был включен приемник.

Вид палаток навел Брокмана на счастливую мысль. Ему придется ночевать в этом городе, а воспользоваться советом Линды Николаевны — насчет того, чтобы потолкаться возле одной из гостиниц и найти кого-нибудь из местных жителей, сдающих комнаты командированным — он считал нежелательным, во всяком случае, лучше бы обойтись без этого. А вот если бы у него была палатка, он мог бы устроиться в этом туристском городке, не прибегая ни к чьему посредничеству. Правда, можно и в машине переночевать, заехав куда-нибудь поглуше. Но палатка казалась предпочтительнее.

Брокману не пришло в голову, что дотошный наблюдатель, увидев в этом междугородном стане автомобиль с номером города К., может удивиться: почему вдруг местный житель решил ночевать по-цыгански? Да, в общем, эта непредусмотрительность особой опасности в себе не таила, потому что лагерь автотуристов раскинулся километра на полтора, и кому придет охота вникать в номера машин, если их тут не менее пятисот.

Одобрив собственную идею, Брокман поехал в город с целью купить в магазине спортивных принадлежностей небольшую туристскую палатку.

Палаток в магазине не оказалось — ни больших, ни маленьких. И продавец, флегматичный молодой человек, лениво заверил Брокмана, что он не найдет никаких палаток и в других магазинах. Взамен продавец посоветовал купить брезентовые чехлы для лодок — два последних, оставшихся еще не проданными. Из них при известном терпении можно сшить одиночную палатку, правда, без пола.

Брокман шить палатку не собирался, поэтому купил один чехол, рассудив, что он может послужить ему матрацем, а на случай дождя — крышей.

В три часа он пообедал в тихом, малолюдном ресторане. А потом позвонил на квартиру Нестерова. По-прежнему никто не отвечал, и Брокман подумал, что он избавил бы себя от многих дополнительных хлопот, если бы осуществил намеченное сегодня же, не откладывая дальше. Однако благоразумие требовало осторожности. Пока что прошло всего пять или шесть часов с тех пор, как он первый раз звонил на квартиру, в которую должен проникнуть. Хозяева могут уехать на один день, а к вечеру вернуться. Надо выждать хотя бы сутки — так будет надежнее.

Начав рассуждать о предстоящем деле, Брокман испытывал нетерпение, а это в его положении никуда не годится. Нетерпеливый — значит торопящийся, а когда человек торопится, он действует непременно с ошибками. Ему, Брокману, следует настраивать себя таким образом, что, может быть, придется провести в этом городе не один день и даже не одну неделю. Все зависит от того, что обнаружит он в квартире Нестерова.

Тихо катался он по окрестностям города. Медленно тянулось время. Чтобы оно не терялось даром, он старался заниматься наблюдениями над дневной жизнью горожан, но это, во-первых, могло послужить ему, как говорится, только для общего развития, практической же цены не имело, а, во-вторых, он находился не в том состоянии, чтобы какие-то ничтожные подробности чужого быта могли отвлечь его от мыслей о предстоящем серьезном деле. Единственное, что немного развлекало его, это причудливые порядки содержания автотранспорта в черте города. Машины парковались, занимая половину проезжей части улиц. Никакой платы за стоянку, никакого контроля. А когда он пытался понять, каким образом машина, за рулем которой он сидел, могла безнаказанно, не привлекая ничьего внимания, неделями стоять на площадке перед государственным учреждением (а стояла она, наверное, не менее двух недель),— это оказалось выше его сил. Если бы даже ему растолковали, что в тресте «Оргтехстрой» владелец машины Кутепов не так давно работал внештатным юрисконсультом, это ничего бы ему не объяснило.

В восемь вечера он позвонил Нестеровым — телефон молчал.

Брокман поехал через мост в автотуристский лагерь, еще не затихший к тому времени.

Поставив машину в облюбованном раньше месте — там, где он видел взлетающий над кустами волейбольный мяч,— он вышел и потянулся так, что хрустнуло в затекших плечах, и с удовольствием вдохнул свежий реч-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—29, 31.

ной воздух. И вновь услышал удары по мячу и увидел сам мяч. Такое впечатление, что эти отчаянные любители весь день только тем и занимались, что играли без сетки вперекидочку.

Вынув из портфеля припасы Линды Николаевны и разложив их на траве, он увидел, что мяч, сильно ударенный, летит по косой траектории в его сторону. Упал мяч в траву прямо у его ног и, отскочив, ударился о заднюю дверцу машины. Тут же из кустов выбежала тоненькая блондинка в ярко-красном купальнике. Когда она приблизилась, Брокман разглядел ее. Лет двадцати пяти, хорошенькая, глаза серые с голубым отливом.

— Здравствуйте,— сказала блондинка.

— Добрый вечер,— ответил Брокман.

Она поглядела на разложенную еду и спросила, подняв с земли мяч:

— Вы тут новенький?

— Да вот, только что прибыл.

— Всухомятку, значит?

— Вон, полна река воды.

— Это опасно в наше время. Мы сейчас самоварчик поставили, у нас тут целая компания. Хотите — присоединяйтесь.

И, пританцовывая на ходу, она ушла туда, откуда прилетел мяч. Фигурка у нее была точеная.

Чай был кстати — Брокману хотелось пить. И девушка была очень симпатичная и простая. Нет, никаких таких мыслей у него не возникло, хотя он давно тосковал по женской ласке, по женскому телу. Это все будет потом, потом... Но он не видел причин отказываться от предложения, сделанного так непринужденно и непосредственно.

Уложив еду в портфель, Брокман пошел по следам девушки. На небольшой поляне среди кустов стояла серая «Волга», около нее — белая палатка, маленькая, на одного человека, а перед палаткой на траве сидели вокруг попыхивающего самовара четверо — блондинка в красном купальнике, а с нею трое молодых людей, все по виду спортсмены, уже успевшие порядочно загореть.

Поздоровались, познакомились. Имена мужчин Брокман не запомнил. Девушку звали Нина.

Он присоединил свои запасы к их закускам. У них была и водка, но Брокман выпить отказался, сославшись на то, что завтра ему надо иметь ясную голову. Ему налили в большую фаянсовую кружку кипятку из самовара, а Нина предложила взять из жестяной банки пакетик для разовой заварки. Она распечатала опоясанную бумажной лентой коробку с мармеладом.

Молодые люди выпили водки и с аппетитом начали есть. Брокман от них не отставал, хотя водки и не пил.

Поглядев на «Волгу», он спросил у Нины:

— Это ваша?

— Да.

— Вы издалека?

— Ленинград.

Первой буквой номера на машине была «Л».

Закусив, все стали пить чай. И все, как и Брокман, брали пакетики для заварки и мармелад из коробки.

Начинало темнеть, когда Брокман взял свой портфель и поднялся.

— Ну, мне спать пора. Рано вставать. Спасибо вам большое.

— На здоровье,— сказала Нина.— Завтра приходите, опять чайку попьем.

Вернувшись к машине, Брокман расстелил брезент на траве, но тут же передумал. Он беспокоился за «Спидолу». Если лечь под открытым небом, а рацию оставить в машине — это рискованно: машину легко открыть, а мелкие воришки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, есть в любой стране. Положить «Спидолу» под брезент и спать на ней, как на подушке,— это тоже ненадежно. Поэтому Брокман решил спать в машине.

Чтобы утром не иметь вид бездомного английского нищего, ночующего на скамье в Гайд-парке, он разделся до трусов, приспустил стекла, откинул спинку переднего сиденья, положил портфель со «Спидолой» под голову, укрылся лодочным чехлом и уснул под тихий плеск воды, доносившийся с пляжа.

Проснулся он от птичьего гомона в половине пятого. И первое, что обнаружил,— портфеля со «Спидолой» под головой у него не было. Пропала рация.

Знакомый ветерок опасности дунул ему в лицо. На плохой сон он никогда не жаловался, но спать так крепко, чтобы не услышать, как у тебя из-под головы вынимают подушку,— на это он способен не был.

Неужели та сероглазая дала ему в мармеладе снотворное? Значит, он давно на крючке? И ему таким способом дают понять, что его намерения относительно квартиры Нестерова известны?

Чепуха какая-то. В это он не мог верить.

Брокман пошел на полянку, где они вчера пили чай. Машина и палатка стояли на месте. На кусте орешника были развешаны красный купальник и лифчики сероглазой блондинки. Полог палатки был застегнут, но Брокман, заглянув в щелку, увидел спящую Нину.

Он выбрался из кустов на берег.

Река и пляж были еще пустынны, только какой-то поджарый старик делал зарядку метрах в ста от него.

Брокман искупался. Вода была холодная, как раз такая, какую он любил, и в какой ему давно не приходилось плавать. Выйдя на берег и обсохнув, он почувствовал облегчение. И ясно осознал, что надо доводить дело до конца, независимо от того, кто взял у него «Спидолу» — контрразведчики или случайный воришка. Он не допускал, что это контрразведка,— зачем так грубо работать на полпути?

Когда плавки высохли, он оделся и поехал в город. В начале шестого позвонил Нестеровым из автомата неподалеку от их дома. Телефон по-прежнему молчал. И Брокман, повесив мерно сигналившую трубку, отбросил последние сомнения. Пришло время действовать.

Машину, как было намечено вчера, он оставил у первого подъезда, ближнего к въезду со двора. Квартира № 57 была в третьем подъезде на третьем этаже.

Брокман поднялся по лестнице не торопясь. Открыл один замок, другой — вполне спокойно, как будто уже не в первый раз приходил в эту квартиру. Тревоги он не боялся — ему было сказано, что никакой оградительной сигнализации тут нет. Войдя, запер оба замка и накинул цепочку.

В квартире было душно. Он обошел комнаты, заглянул в кухню. По всем приметам, хозяева уехали недавно, но уехали не на один день: в двух комнатах кровати, шкафы и кресла были наглухо укрыты линялыми покрывалами явно не парадного назначения. Настенные часы в гостиной стояли.

В кабинете Брокман снял пиджак, повесил на стул и приступил к тщательному осмотру.

Прежде всего, конечно, стол и секретер. В секретере должен быть несгораемый ящик — вот он. Ключа от него заполучить не удалось, но его можно открыть легко, как консервную банку.

Однако нужно все-таки поискать ключ.

Брокман хорошо был обучен делать обыски незнакомых помещений, не оставляя собственных следов.

Минут через десять он нашел ключ от ящика.

Прежде чем сфотографировать лежавшие в нем бумаги, он сделал два снимка самого ящика — с закрытой дверцей и открытой. Вроде того как во время войны летчики для документальности фотографировали сначала сброшенные ими бомбы, летящие на цель, а затем эту цель уже после бомбежки.

Он работал, можно сказать, без всякого волнения. Даже полюбовался обнаруженным в ящике перстнем и примерил его — он был в самый раз на его мизинец.

На каждый отдельный листок он сделал по два дубля, а на три листа в ученической тетрадке — по четыре. Эти три листа показались ему наиболее важными именно потому, что не были вырванными из тетради, а значит, содержали что-то цельное.

Уложив все строго в первоначальном порядке, Брокман надел пиджак и посмотрел на свои часы. Было шесть часов. Дом еще не проснулся. Брокман вышел из квартиры, запер оба замка. На лестнице ему никто не встретился.

Через двадцать минут он припарковал машину там, где взял,— на площадке перед «Оргтехстроем», еще пустой в это время. Он оставлял ее в полном порядке, даже щетки дворников положил точно на то место, где они лежали до него. Лишь бензина сильно поубавилось, но до первой заправочной колонки добраться хватит.

На вокзал он шел пешком — не хотелось потеть в троллейбусе или автобусе, которые все были переполнены.

Что касается задания, он как будто мог быть доволен сделанным, но, перебирая все по порядку, не испытывал особенной радости. Осуществленный вариант не был решающим — он не сумел добраться до самого академика Нестерова, а лишь заполучил какие-то обрывки его рукописей. Теперь надо переправить пленку, спецы проверят, что он наснимал, и если этого окажется мало, то ему еще придется пожить у Линды Николаевны неизвестно сколько. Получается, в общем, что это не лучший вариант...

На вокзале Брокман первым долгом отправился за билетом. В кассовом зале было полно — к каждому окошку длиннейшая очередь. Выбрав одну из них, он стал в хвост и приказал себе не злиться ни на советский пассажирский железнодорожный транспорт, ни на инструкцию, запрещавшую ему пользоваться услугами «Аэрофлота» на том основании, что разведчику не следует лишний раз предъявлять паспорт кому бы то ни было, а тем более в официальном учреждении, хотя бы и таком, как агентство «Аэрофлот». Впрочем, Линда Николаевна говорила, что для покупки билета на самолет надо потратить гораздо больше времени, чем потом будешь лететь.

Выстояв часа четыре, Брокман, наконец, оказался перед окошком. В спальный вагон билетов уже не было. И в купированный тоже. «Берите, что дают»,— раздраженно сказал кто-то из стоявших сзади мужчин, и Брокман получил плацкартное место в общем вагоне.

Поезд отправлялся точно так же, как из Москвы сюда,— в 21.40. Выполняя установления инструкции, требовавшей не маячить на вокзалах, Брокман поехал в город и скоротал время в знакомстве с предприятиями общественного питания. Аппетит у него был, как всегда, отличный.

Он вошел в вагон за пять минут до отхода. По дороге он подбил итоги поездки. До логова академика Нестерова ему добраться удалось — это плюс. Но был и большой минус: он остался без рации, и теперь у него единственный способ связи — расписанные по дням и часам разовые подвижные тайники. Плохо, очень плохо. Но делать нечего...

Имея в виду возможность того, что сероглазая подкатила к нему неспроста, он решил провериться так тщательно, как если бы от этого зависела его жизнь.

В Москву поезд прибывал, как и в город К., без четверти девять. Брокман колесил по столице до темноты, а потом сел в электричку. Но по пути дважды выходил на маленьких станциях и уезжал на следующей электричке. Хвоста за ним не было. Линда Николаевна открыла ему дверь в половине первого ночи.

Глава 21

КУТЕПОВ ДАЕТ ПОКАЗАНИЯ

Давно известно: когда человек сидит в тюрьме под следствием, для него неизвестность хуже любой определенности, даже самой страшной. Ожидание суда мучительнее самого суда, а приговор, даже самый строгий, снимает с души невыносимую тяжесть неопределенности.

Угадать состояние Кутепова после первых коротких допросов было нетрудно. Он лихорадочно старался определить, что именно и в каких пределах известно следствию, в чем его могут уличить неопровержимо и что пока находится в области предположений.

Как адвокат, он понимал и видел, что в той части, которая относится к Светлане Суховой, его алиби, подготовленное им не лучшим образом, ничего не стоит и, как он и опасался, было легко опровергнуто. Сейчас коренным был вопрос: жива ли Светлана? Если она даст показания, все остальные доказательства его вины обретут силу неопровержимых.

Но, несмотря ни на что, он страстно желал, чтобы она осталась жива. Он наизусть помнил статьи уголовного кодекса и знал, что за покушение на убийство с целью сокрытия дру-

гого преступления его осудят не мягче, чем за совершенное убийство. Однако тут вступало в действие другое грозное обстоятельство.

Марков упомянул Карла Шлегеля, оберштурмфюрера СС. Это значит, что контрразведчикам известно его, Кутепова, военное прошлое, ради сокрытия которого он был готов на что угодно, и, как вырисовывается теперь, совершенно зря. История с этим проклятым негативом, из-за которого он проник в квартиру Дмитриевых, только навредила ему. Зачем же еще смерть? Светлана должна жить, пусть живет!

Слова полковника Маркова, что Кутепов усугубляет свою вину, не говоря чистосердечно всю правду, пытаясь запутать и затянуть следствие, постепенно становились для Кутепова той истиной, не признавать которую может лишь безумец или тупой дебил.

Двое суток он не спал и ничего не ел, только пил воду. На третьи сутки попросил тюремное начальство сообщить полковнику Маркову, что Кутепов намерен дать показания...

У Маркова в кабинете были Павел и Семенов.

На двух круглых столиках у стены Кутепов, войдя, заметил разложенные ключи и замки, которые проходят по делу как вещественные доказательства, и то, что было взято у него при аресте.

Увидев Павла, Кутепов приостановился и несколько секунд смотрел на него в глубокой задумчивости.

— Вы решили говорить? — спросил Марков, когда Кутепов после повторного приглашения сел на указанный ему стул.

— Да. Я расскажу все с полной откровенностью. Я готов помочь следствию всем, что в моих силах.

— От вас требуется только правда.

— Разрешите мне задать один вопрос? — совсем несвойственным ему тоном, умоляюще сказал Кутепов.

— Пожалуйста.

— Сухова жива?

— Да.

Кутепов как бы весь обмяк.

— С чего же мы начнем? — сказал Марков.— Давайте-ка с самого начала. На кого вы работали и как все это произошло?

— В пятьдесят третьем году, осенью, я имел несчастье согласиться на сотрудничество с одним человеком, дал обещание оказывать ему кое-какие услуги. Он работал тогда в каком-то посольстве в Москве. До прошлого года меня не тревожили, а в январе я получил привет от того человека, и мне поручили вот это дело, которое теперь столь печально кончилось.— Справившись с первым волнением, Кутепов обрел дар свободно льющейся, складной речи.

Марков, вероятно, счел это угрожающим симптомом и остановил поток:

— Прошу вас быть конкретным. Что это за человек? Имя?

— Он представился как Арнольд.

— Каким образом вы познакомились? Почему он вам представился?

— Он знал меня.

— Откуда?

— У нас были общие знакомые.

— С войны?

— Понимаете, какая вещь...

— Мы облегчим вашу задачу.— Марков вынул из папки служебный формуляр бывшего гауптмана.

Кутепов вскользь бросил взгляд на желтый лист и заговорил быстро, как будто только и ждал, чтобы ему сделали напоминание.

— Да-да, идет оттуда. Обстоятельства, к сожалению, сложились столь неблагоприятно...

— Об этом вы расскажете в другое время,— опять остановил его Марков.— Чьим преемником был Арнольд?

— Я служил под командованием оберштурмфюрера СС Карла Шлегеля, вы о нем упоминали в прошлый раз. А у него был друг Хайнц Вессель, из разведки. Он приезжал из Берлина.

— Вессель вас завербовал?

— Если это так называется...

— Хорошо. Кто передал вам привет от Арнольда? И как?

— Он не назвал себя. Только пароль. Мы говорили какой-нибудь час... Он прекрасно знает русский.

— О чем шла речь?

— Он сказал, что мне надо завязать дружеские отношения с двумя подругами — Светланой Суховой и Галиной Нестеровой. Дал их адреса.

— Для чего познакомиться?

— О конечной цели не упоминалось. Он сказал, я буду время от времени получать инструкции. Так оно и было.

— Каким же образом мыслилось завязать дружбу?

— Это зависело от моей предприимчивости. Вы понимаете, при колоссальной разнице в возрасте мне не приходилось рассчитывать на что-то такое... В общем, надо было проявлять изобретательность.

— Во имя бескорыстной дружбы?

— Я должен был расположить их к себе, сделаться, так сказать, духовным наставником. Чтобы они чувствовали необходимость во мне.

— В каком направлении вы должны были их наставлять?

— Не хочу себя выгораживать, я говорю вам все абсолютно откровенно, но этот человек был очень циничен. Он сказал, надо искать в людях червоточинку, а если ее нет — постараться, чтобы она завелась.

— Как же вы приступили к исполнению задания?

— Сначала наблюдал за ними. У меня образовалось много свободного времени, когда вышел на пенсию.

— Что значит — наблюдали?

— Часто заходил в универмаг, где работала Сухова. Иногда сопровождал их по улицам.

— Они могли насторожиться.

— Какие подозрения может вызвать безобидный старик? И потом — они беспечны.

— В чем состоял ваш план?

— Познакомиться, а потом использовать маленькие человеческие слабости. Все ведь любят получше одеться, особенно молодые женщины.

— Вы делали подарки?

— Да.

— От имени итальянского инженера?

Здесь Кутепов впервые ответил с задержкой: ему потребовалось время, чтобы по достоинству оценить степень осведомленности людей, ведущих следствие. Наконец он сказал:

— Этот итальянец появился случайно. Он прислал посылку Светлане, и тогда у меня возникла идея использовать, так сказать, сам факт его существования. Я подал идею, ее одобрили и даже развили. Я, видите ли, вошел во вкус, мне нравилось, я словно ставил психологический опыт. Но он мог провалиться в самом начале.

— Почему?

— Я попал в объектив фотоаппарата другу Суховой, молодому человеку по фамилии Дмитриев.

— Подруги видели вас на карточке?

— Да, но не обратили внимания на сходство. Карточка небольшая, я там был немного не в фокусе. Я говорю — они очень беспечны. По-моему, Светлана даже не заметила пропажу этой карточки и письма от итальянца.

— Вы их украли?

— Если угодно так квалифицировать.

— Вы так боялись этих фотокарточек, что не побоялись проникнуть в квартиру Дмитриевых. Чтобы идти на такой риск, нужны серьезные причины. Они только в прошлом?

— Не совсем. И в настоящем тоже. Нельзя оставлять собственный портрет на руках у людей, против которых злоумышляешь.

— Вы что же, с первого шага знали, что кончится уголовным преступлением?

— Нет, нет, упаси бог! — воскликнул Кутепов.— Я вообще не предполагал, к чему все это приведет. Но в июне ко мне опять приехал из Москвы этот человек, я изложил ему в подробностях все, что узнал сам,— ну, взаимоотношения между молодыми людьми, немножко об их характерах. Сказал и об итальянце и что можно скомбинировать с его помощью, отдал ему письмо итальянца. Тогда-то он мне и посоветовал обязательно заручиться каким-нибудь предметом, принадлежащим Дмитриеву.

— Вам так и сказали — предмет должен годиться для совершения убийства?

Кутепов замахал руками.

— Нет, нет! Просто с появлением итальянца возникали определенные коллизии. Знаете — треугольник... Дмитриев — юноша горячий... Если что произойдет — могут заподозрить и его...

— Это ваши собственные соображения?

— Я только описывал ситуацию. Решения принимал этот человек.

— Он так и не сказал своего имени?

— Нет. И мы больше не виделись.

— Дальше вы действовали самостоятельно?

— Я регулярно получал инструкции.

— Кто их передавал?

— Делалось довольно просто. Мне звонили по телефону. Голос был всегда один и тот же, но кто говорил, я не знаю. Только не тот. Называлось несколько цифр, и я знал, что они означают. Я ехал на железнодорожный вокзал, находил нужный бокс в автоматических камерах хранения, набирал нужный номер и брал оставленную для меня сумку или чемодан. Чаще — сумку. Обычно было и письмо.

— Шифрованное?

— Употреблялась тайнопись.

— Это и были так называемые посылки из Италии?

— Да.

— Сколько их было?

— Три. Но, кроме посылок, был еще довольно дорогой перстень.

— Для кого?

— Просили устроить так, чтобы он попал к матери Галины Нестеровой. Она обожает драгоценности. Я устроил.

— Подарили?

— Нет. Но она уплатила за него до смешного мало.

— Сам Пьетро Маттинелли больше посылок не присылал?

— Если бы присылал, я бы знал. Сухова от меня ничего не скрывала.

— Скажите, кто же был главным объектом — Сухова или Нестерова?

— Сейчас я могу заявить совершенно определенно: Нестерова. Вернее, ее отец.

— Почему вы так уверены?

— Все шло в этом направлении. Я понял, в чем дело, когда получил приказ сделать слепки ключей квартиры Нестеровых и выяснить, есть ли у него сейф. Академика в городе всякий знает, но я постарался вникнуть поглубже и выяснил, что главная его работа не подлежит широкой огласке, это нанесло бы ущерб государству.

— Что вы имеете в виду?

— Вообще. Его научные работы. Ничего конкретного я, поверьте, не узнал. Это невозможно.

— Вы достали слепки?

— Да. И мне велено было сделать по ним ключи.

— А от несгораемого ящика?

— Этого мне не удалось.

— Что с ключами?

— Я останавливался в гостинице «Минск». Двадцать седьмого мая пришел в номер человек от них, назвался, представьте, Ваней. У него был ко мне пароль. Он потребовал ключи, я их отдал.

— И от своей машины?

— Я все делал, как приказывали.

— И письмо Светланы к Маттинелли?

— Да. Так было велено.

— Хорошо, скажите теперь вот что. Вы, насколько можно понять, воздействовали больше на Сухову. Почему?

— Посылки можно было привозить только ей, ведь именно за ней ухаживал итальянец. К тому же я очень скоро заметил, что в этой паре Светлана — Галя верховодит Светлана.

— Как же вы решились на убийство?

— Я пытался привлечь ее к работе от имени Маттинелли. Все делалось под маркой Маттинелли.

— Ну и что же?

— Я в ней ошибся. Она отказалась. Но главное — все испортил приезд итальянца. Видно, его не ожидали. Мне пришлось спешить, а когда торопишься — сами знаете... Она бы увиделась с итальянцем, и всему конец.

— Для чего вам понадобилось письмо Светланы.

— Это, вероятно, приберегалось для другого раза. Его велели хранить. Я передал его вместе с ключами.

— Вам советовали держать в руках Светлану, чтобы воздействовать на Галину Нестерову. По-вашему, это достаточно мощный рычаг?

— Светлана действительно имела на подругу очень большое влияние. Но было не только это. Вероятно, намечалось что-то еще. Во всяком случае, меня просили сказать подругам, что у меня есть племянник и что он скоро приедет. Предполагалось подружить его с Галей.

— Он не приехал?

— Не успел, как видно.

— А кто он такой?

— Я же его не видел.

Марков встал, подошел к столику, где было сложено то, что обнаружили при задержании у Кутепова. В паузе задал вопрос Семенов:

— Вам не говорили, для кого понадобится ваш автомобиль?

— Для племянника.

— Стоянку сами подбирали?

— Я долго работал юрисконсультом в тресте «Оргтехстрой», меня там все знают. И после я тоже часто пользовался их стоянкой, так что искать не пришлось. Самое подходящее место.

— На машине, между прочим, номера вы сменили. Для чего — понятно. Чтобы милиция не нашла. А откуда новые?

— Взял у знакомого.

— Как так?

— Он в больнице, пролежит долго, да и не известно, поднимется ли, подозревают рак. Просил присмотреть за его машиной. У него хороший гараж.

— С его согласия взяли?

— Нет, он не знает.

— Это что же, все экспромтом делалось?

— Я же говорю — делал, как приказывали.

— Вы себя все-таки непоследовательно ведете, Виктор Андреевич,— жестко заметил Павел.— Начали с того, что, мол, буду откровенным, готов помочь следствию и так далее. А из вас приходится по капле выжимать.

Кутепов испуганно взглянул на него.

— Извините, я не умышленно. Какие-то детали ускользают.

— Может, вспомните еще что-нибудь из деталей?

Виктор Андреевич действительно вспомнил.

— Ну, например, меня просили сделать доверенность на мою машину.

— На чье имя?

— Если не ошибаюсь — Никитин.

— Уже с новым номером?

— Да.

— Вы заранее все рассчитали.

— Это было нетрудно. Мною руководили.

— Куда вы девали гаечный ключ?

— Бросил в реку.

— Значит, рассчитывали, что все равно подозревать станут Дмитриева?

— Я только выполнял инструкции.

Марков вернулся на свое место. В руке он держал половинку рубля.

— Откуда это у вас и для чего?

— Это пароль. Мне дал его так называемый Ваня. Тогда, в гостинице.

— Пароль к кому?

— Двадцать седьмого июня я должен был приехать в Тбилиси, пойти в гостиницу «Руставели» и там встретить одного человека. У него вторая половина рубля.

— Что за человек? Как бы вы друг друга нашли?

— Ваня показывал мне фотографию. Даже две. Фас и в профиль.

— У вас хорошая память на лица?

— Благодаря профессии.— Кутепов повернулся к Павлу.— По-моему, мне показывали ваш портрет.

Сказанное Кутеповым составлялось с тем, что сказал Павлу так называемый Ваня, подобно двум половинкам рубля.

— Похож? — спросил Марков.

— Сразу можно узнать,— подтвердил Кутепов.

Марков обратился к Павлу:

— Объясни гражданину Кутепову, для чего вас хотели познакомить.

— Простите за бесцеремонность, у вас, кажется, золотые зубы? — спросил Павел, наклоняясь к Кутепову.— Ваня просил меня взять их у вас.

— Довольно мрачная шутка,— печально сказал Кутепов.

Маркову не понравилась форма, в которую Павел облек свое объяснение.

— Шутка действительно сомнительная, но Ваня предложил ликвидировать вас,— сказал Марков.— Сегодня разговор пока закончим. Вам дадут бумагу. Напишите все подробно, всю свою жизнь.

Продолжение следует.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 22

ЧТО ЗНАЧИТ ЖИТЬ БЕЗ РАЦИИ

Линда Николаевна, конечно же, нисколько не пожалела о пропаже старого кожаного портфеля — невелика потеря. Но она видела, что ее жилец совершенно иначе отнесся к исчезновению «Спидолы». А так как она была достаточно проницательна, чтобы отличать подлинные причины чужого недовольства от мнимых, она не поверила Брокману, что «Спидола» безумно дорога была ему просто как отличный приемник. Отсюда напрашивался вывод: «Спидола» служила ему для связи, недаром же он ни на минуту не расставался с нею.

О своих наблюдениях Линда Николаевна Брокману, разумеется, не сообщала. Она терпеливо ждала, что же будет дальше, с удовольствием предвидя, что пропажа средства связи заставит ее жильца чаще прибегать к ее помощи. Линда Николаевна, как известно, жаждала более активной деятельности.

Восьмого и девятого июня Брокман отдыхал, то есть ел и спал, а когда не спал, то все равно лежал на кровати поверх одеяла, заложив руки за голову, смотрел в потолок.

Много раз он прокручивал в уме всю свою поездку в город К., минута за минутой, шаг за шагом, не упуская ни малейшей детали. Ему припоминались даже такие дурацкие мелочи, как нацарапанная в одной из телефонных будок, из которых он звонил, надпись «Сонька дура» или валявшийся на обочине оранжевый абажур, который он увидел по дороге к мосту через реку.

Он помнил все свои маршруты и мог бы повторить каждый поворот с того момента, как выехал со стоянки треста «Оргтехстрой», до возвращения на нее. Он был уверен, что слежки за ним не велось — он бы ее обязательно заметил.

Но он не имел права так же уверенно считать кражу «Спидолы» делом случая. Украли не у кого-нибудь, а у него...

Что получается, если принять такую раскладку: эта сероглазая все подстроила специально, а потом угостила его мармеладом со снотворным? Ерунда получается.

Если сероглазая была к нему приставлена, значит, он с самого первого шага был на крючке. Значит, за ним следили, но сначала делали это так аккуратно, что он ничего не смог обнаружить, хотя проверялся предельно строго, а потом вдруг ни с того ни с сего решили ему прямо сказать: мы за тобой не только следим, но и все про тебя знаем. Иначе эту кражу расценивать было невозможно. Зачем же так грубо разрушать собственную постройку? Такой вариант представлялся Брокману чистой фантазией.

Он обдумывал вопрос и с другой стороны. Предположим, все это затеяно с целью лишить его рации. Но никто, кроме Линды, не знает, что у него была «Спидола». Недаром с этим приемником ему Монах столько морочил голову, объясняя, как тщательно он обязан скрывать факт его существования. Правда, тот тип из редакции видел «Спидолу», но Линде Николаевне верить можно: он давно работает в газете завхозом и никакого отношения к контрразведчикам не имеет.

И, наконец, был третий вариант, основанный, как и оба первых, на допущении, что контрразведка расшифровала его до поездки в город К. Ему позволили проникнуть в квартиру Нестерова, найти там все, что нужно,— может быть, подсунув липу, но опять-таки специально устроили кражу, чтобы он обо всем знал. Тут уж налицо полная нелепость. Он бы перестал себя уважать, если бы считал такие обороты возможными.

Размышления кончились тем, что Брокман нашел у себя легкие признаки неврастении и постановил считать возникшие сомнения и опасения вредными для его здоровья, а следовательно, и для дела. Больше, чем неврастеников, он презирал только гомосексуалистов.

В сумерки девятого июня Брокман пригласил Линду Николаевну в свою комнату для важного разговора — что он будет важным, она поняла, увидев окна закрытыми и зашторенными, несмотря на чудесный теплый вечер.

— Вы знаете в Москве Первую Брестскую улицу? — спросил он.

— Она идет от площади Маяковского к Белорусскому вокзалу, параллельно улице Горького.

— Так... Я сам ее, правда, не знаю, но там на левой стороне, если идти от площади Маяковского, и ближе к ней, а не к вокзалу должен быть кирпичный дом, из которого выселили жильцов, а рядом с ним пустырь от сломанного дома, пустая площадка. Запоминайте все точно.

— Да-да, я слушаю внимательно.

— Вы возьмете вот это.— Брокман показал пустую картонную коробочку от сигарет «Столичные» с оторванной крышкой. С первого дня своего пребывания у Линды Николаевны он курил «Столичные».— В ней ничего нет, как видите, но, пожалуйста, не сомните ее в сумочке.

— Хорошо.

— Дальше. Вот два телефона.— Он показал клочок газеты, где на полях были записаны номера.— На память надеяться не надо, поэтому возьмите, но ни в коем случае не потеряйте. Вернете мне.

— Не беспокойтесь.

— Приедете на площадь Маяковского и из автомата позвоните по первому телефону. Вам ответит мужской голос. Вы скажете: «Я набрала два — девять один — сорок три — тринадцать?» Это второй телефон, который здесь записан. Вам ответят: «Нет, последние цифры — тридцать один». Если ответ будет другой, позвоните еще раз. Но это вряд ли. Запоминаете?

— Да-да, продолжайте.

— Звонить вы должны ровно в двенадцать... Ну, плюс-минус две-три минуты...

— Понятно.

— Дальше. Погуляйте полчаса, а потом идите на Первую Брестскую. Пройдите через пустырь и на нем выбросьте эту коробочку. Лучше поближе к середине. И незаметно.

— Понимаю.

— Потом походите по этой улице. Пустую пачку с оторванной крышкой вряд ли кто-нибудь возьмет, но вы все-таки последите... Ветром может унести, а этого быть не должно.

— Но вдруг будет дождь? — сказала Линда Николаевна.— Она размокнет.

— Это не страшно. Слушайте дальше. Между половиной первого и часом дня где-то недалеко остановится машина. На ней будет дипломатический номер. Выйдет мужчина с собакой. Когда он пойдет на пустырь прогуляться, исчезайте оттуда и сразу домой.

Линда Николаевна испытывала такое чувство, словно всю эту сцену — как они сидят вдвоем в сумерках при зашторенных окнах и ведут тайный разговор — видела со стороны, и будто она молода, как этот бесстрашный мужественный красавец, посылающий свою верную помощницу в путь, полный опасностей и коварных ловушек. Ах, как она ждала этого возвышающего душу мгновения!

Но Брокман продолжал прозаически:

— Вы одеваетесь очень... как бы это сказать... шикарно.— Он имел в виду не по летам, но это было несправедливо. Линда Николаевна одевалась со вкусом; к тому же она знала, что выглядит моложе своих шестидесяти, и точно соблюдала меру, не впадая ни в ту, ни в другую крайность. Зачем старить себя еще и платьем?

— Хорошо, я надену один свой старенький костюм,— покорно согласилась она, но при этом посмотрела так, словно хотела сказать: «Какая разница, в чем я буду?»

В субботу, 10 июня, Линда Николаевна приехала в Москву и все сделала так, как велел ее повелитель. И все получилось так, как он описывал, кроме одного. Она ожидала увидеть дипломата с каким-нибудь холеным большим псом вроде дога или доберман-пинчера, а он вышел из машины с таксой на руках. Правда, такса была холеная, ее гладкая, черная, блестящая шерстка даже пускала зайчики, но когда дипломат поставил ее на тротуар и пошел к пустырю, это выглядело немножко несолидно. Но зато очень естественно для дела, которое тут совершалось: заботливый хозяин прогуливает свою собачку,— никто ничего плохого не подумает.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—29, 31, 32.

Дипломат поднял с земли оставленную Линдой Николаевной пустую сигаретную коробку, погулял с таксой на поводке по пустырю минуты три. Линда Николаевна издалека наблюдала за ним, пока он не сел в машину, и тем нарушила данную ей инструкцию, но это было пустячное нарушение.

Вернувшись домой, она отчиталась перед Брокманом и, отдавая бумажку с телефонами, сказала:

— Между прочим, я их прекрасно запомнила.

— Тем лучше,— сказал Брокман.—Постарайтесь не забыть, они вам еще пригодятся.

Прошла неделя, и в следующую субботу Линда Николаевна снова поехала в Москву, но не для того, чтобы оставить или взять какое-то послание, а лишь позвонить по тому же телефону. На сей раз была небольшая вариация. Раньше она спрашивала: «Я набрала два — девять один — сорок три—тринадцать?» Ей ответил мужской голос: «Нет, последние цифры — тридцать один». Сейчас ее последними цифрами пароля были тридцать один, а ответной — тринадцать. А дальше Брокман велел сказать: «Извините, пожалуйста» — и запомнить слово в слово, что будет сказано ей в ответ.

Она услышала в трубке уже знакомый голос, обладатель которого после обмена паролями сказал: «Ничего, со всяким бывает».

Когда Линда Николаевна передала Брокману эти слова, он заметно повеселел. Это, в свою очередь, обрадовало ее, потому что со дня возвращения из города К. ее обожаемый жилец выглядел весьма сурово, что создавало в доме неуютную атмосферу.

Через три дня Линда Николаевна снова отправилась в Москву звонить по тому же телефону. Условия оставались те же, что в первый раз, с одной разницей: на ее вопрос о набранном телефоне ей должны ответить не «тридцать один» и не «тринадцать», а назвать совсем другие цифры. Какие именно — Брокман не знал. Он сказал, что могут сказать любое число, даже трехзначное.

— Учтите,— прибавил он,— за этими цифрами вы теперь едете. Зарубите их себе на носу. Не расслышите — переспросите. И больше никаких разговоров.

По поводу «зарубите на носу» она бы смертельно обиделась на кого угодно, а на своего жильца обижаться не могла.

Она съездила в Москву и привезла для Брокмана цифры 67. Это было в среду, 21 июня. А в пятницу — новое задание.

Утром за завтраком Брокман спросил:

— Сколько в Москве почтовых отделений, как по-вашему?

— Понятия не имею. Может, триста, может, пятьсот.— Она не понимала, почему это его интересует, но тут же все объяснилось.

— А где находится шестьдесят седьмое?

— Я же не в Москве живу. Да и никто из москвичей, кроме почтовых работников, таких вещей тоже не знает.

— Ну, это неважно. Спросите в справочном бюро.

Линда Николаевна, конечно, сразу связала это почтовое отделение с цифрами, привезенными ею из Москвы, и ждала, что будет дальше.

Брокман допил свой кофе и сказал:

— Завтра поедете в Москву. В шестьдесят седьмом почтовом отделении на ваше имя до востребования будет письмо или открытка. Надо получить. Для этого требуется документ?

— Конечно.

Почтовое отделение № 67 оказалось близко от Курского вокзала — в доме № 29 по улице Чкалова. Действительно, на имя Л. Н. Стачевской там лежала открытка. В ней было написано: «Дорогая Л. Н.! Буду в столице проездом 1 июля всего на два дня. Мне нужен коричневый плащ или зонт (желательно японский, автоматический), а времени для покупок не будет. Если нетрудно, купите для меня. Сообщите, когда можно встретиться. Заранее благодарен. Ваш Н. А. Воробьев».

(Тут авторы считают своим долгом напомнить читателям о сделанном в самом начале предупреждении насчет того, что среди участников этой истории очень много людей с птичьими фамилиями. Вот и еще одна, но это уже последняя.)

Вполне безобидная открытка, и содержание самое банальное. Но Линда Николаевна понимала, что в ней заключены важные сведения, имеющие прямое отношение к какой-то операции, в которой она сама пока участвует в качестве простого курьера. Это слегка ущемляло ее самолюбие, ей хотелось большего.

Вероятно, Брокман каким-то образом сумел почувствовать ее недовольство и счел, что злоупотребляет своей властью, так часто используя старого человека на побегушках, поэтому, прочитав открытку, он сказал:

— Вы извините, Линда Николаевна. Вам из-за меня приходится по жаре мотаться...

— Не переживайте, не развалюсь. Мне это на пользу...

До 30 июня Линда Николаевна сидела дома, а в тот день Брокман продиктовал открытку, которую просил бросить в почтовый ящик, но не здесь, а опять-таки в Москве. Она заложила открытку в книгу, которую взяла на дорогу.

Открытка содержала такой текст:

«Дорогой Н. А.! Вашу открытку получила. Просимых вещей не покупала, купим вместе, я вам помогу. Встретимся в час дня». И подпись Л. С.

Адрес на открытке: «Москва, 167-е почтовое отделение, до востребования, Воробьеву Н. А.».

Линда Николаевна порадовалась собственной сообразительности, когда поняла, что услышанное ею по телефону число 67 сообщило ее жильцу не только номер почтового отделения, где следует получить корреспонденцию, но и номер того отделения, куда надо послать ответную открытку. Простым добавлением единицы количество информации удваивается. Интересно, как расшифровываются другие числа и слова открытки? Линда Николаевна надеялась, что и это ей со временем станет ясно.

Открытку она бросила в почтовый ящик на площади у Курского вокзала.

4 июля 1972 года, во вторник, в почтовое отделение № 167, находящееся в доме № 56 на Ленинградском проспекте, зашел утром мужчина лет сорока, среднего роста, неприметной наружности. Предъявив в окно выдачи корреспонденции паспорт на имя Воробьева, он получил открытку и направился к станции метро «Аэропорт», но уехать на метро ему было не суждено: у дома № 60 его остановил, козырнув, молодой человек в милицейской форме с лейтенантскими погонами.

— Прошу предъявить документы.

Воробьев этого не ожидал и на минуту растерялся. Машинально достал паспорт, в который была вложена открытка, протянул его лейтенанту, но в последнее мгновение выдернул открытку.

Лейтенант долго рассматривал паспорт. Наконец спокойно сказал:

— Карточка переклеена, гражданин Воробьев.

— Ерунда какая-то...— Воробьев ненатурально усмехнулся.

— Это ваш паспорт?— спросил лейтенант.

— Конечно, мой.

— Тогда придется вас немного задержать. Прошу.— Лейтенант показал рукой на желтую милицейскую «Волгу», стоявшую у тротуара.

Он ключом открыл правую дверцу, распахнул ее для Воробьева. Затем обошел машину, сел за руль.

Воробьев в это время хотел незаметно выбросить открытку в окно, для чего чуть приспустил стекло. Но лейтенант заметил, вышел, подобрал открытку, ничего при этом не сказав, снова сел за руль, и они поехали.

— Куда вы меня везете?

— В отделение...

В отделении милиции разыгралась такая сценка.

Лейтенант привел Воробьева к заместителю начальника по уголовному розыску, отдал ему паспорт и доложил:

— Товарищ майор! Гражданин Воробьев задержан мною у станции метро «Аэропорт». Есть схожесть с рецидивистом, объявленным во всесоюзный розыск. При задержании пытался выбросить вот это.— Лейтенант положил на стол открытку.

Майор тоже долго разглядывал паспорт, потом самого Воробьева, потом читал открытку. А после этого сказал:

— Карточка заменена. Как вы это объясните?

Воробьев произнес слова, которых ни тот, ни другой милиционер не ожидали.

— Это все ерунда. Вы не имеете права меня задерживать. Я иностранный подданный. Турист. Живу в гостинице «Украина». Можете проверить. А паспорт этот не мой.

— Понятно, что не ваш, мы тоже так думаем,— сказал майор.— Поэтому объясните нам, как он у вас оказался.

— У меня его не было. Впервые вижу. Лейтенант все подстроил.

— Вот это да! — в восхищении сказал лейтенант.

Майор позвонил кому-то по телефону, объяснил ситуацию и сказал напоследок: «Хорошо, жду»,— положил трубку и обратился к Воробьеву:

— Мы вас задержим. До выяснения.

— Я требую соединить меня с посольством. Вы не имеете права меня арестовывать.

— Не волнуйтесь, ваши права не пострадают, все будет по закону. Присядьте.— Майор показал на стул у окна.

Но Воробьев садиться не захотел. Он начал ходить перед столом от стены к стене. Майор и лейтенант разговаривали о чем-то, не обращая на него внимания.

Через полчаса приехал Семенов. Он увез Воробьева.

Глава 23

РЕШЕНИЕ

Новый начальник отдела генерал Петр Иванович Лукин, сменивший генерала Сергеева, своего давнего товарища и соратника, в общих чертах знал операцию «Резидент», начавшуюся много лет назад и теперь достигшую той степени развития, когда требовалось принять решение: либо продолжать ее, либо свернуть.

Генерал условился с полковником Марковым, что Марков сам определит срок подробного доклада, чтобы окончательно все обсудить и выработать линию дальнейшего поведения. 3 июля Марков попросил генерала назначить доклад на следующий день. 4 июля в кабинете Лукина собрались в 11 часов Марков и Синицын. Они захватили с собой комнатный кинопроектор, небольшой экран, коробку с кинопленкой. Марков принес две толстые папки с бумагами. Был еще чемоданчик, который они не открывали.

Павел повесил экран на стену поверх висевшей там географической карты, напротив поставил на столе проектор и рядом с ним положил коробку с узкой кинопленкой.

Лукин пригласил всех садиться и сказал:

— Начнем.

Марков напомнил историю дела и, закончив введение, предложил:

— Я думаю, Петр Иванович, для краткости остановимся только на узловых моментах и не будем трогать, так сказать, соединительную ткань.

— Для краткости, но не в ущерб?

— Конечно,— заверил Марков.— Кое-что мы вам и покажем. Но эпизоды на разных пленках, кусочками, так что будут частые перерывы.

— Ничего. Кто у нас за киномеханика?

— Синицын.

— Ну, мы ему «сапожника» кричать не будем. Но сначала, Владимир Гаврилович, помогите мне, пожалуйста, от навязчивых дум избавиться. Никак не могу одну загадку решить.

— С удовольствием, Петр Иванович, если это в моих силах.

— Я, конечно, не так глубоко в этом деле сижу, могу кое-чего не понимать, но не кажется ли вам, что выдача Кутепова Бекасу выглядит странно?

— Тут надо учитывать два обстоятельства,— сказал Марков.— Во-первых, Кутепов никого не может выдать. У него была односторонняя связь, он даже толком не может объяснить, кто давал ему приказания. Все, что от него требовалось, он сделал,— его можно убрать.

— Вы думаете, они всерьез полагают, что Бекас может его убить?

— Это уже второе обстоятельство. Они с самого начала не до конца доверяли Бекасу.

Но и полной уверенности, что Бекас — это контрразведчик Синицын, тоже нет. Выдать Кутепова — значит развязать сразу два узла. Им важно, чтобы Кутепов был выключен из действия, а вместе с ним и Бекас. А как это произойдет, не имеет значения.

— Но Кутепов все-таки знает довольно много. И через него же идет нитка к академику Нестерову.

— Обратите внимание: Кутепов должен встретиться с Бекасом через месяц. За этот месяц, вероятно, рассчитывали сделать все, что нужно. Во всяком случае, основную часть.

— Если так, то все понятно.

— Между прочим,— добавил Марков,—этот точно определенный срок — месяц — заставляет предполагать, что Брокман заслан тоже на определенный срок. На короткий.

— Ну, хорошо,— сказал Лукин.— Показывайте ваше кино.

Марков дал знак, Павел зарядил проектор пленкой.

— Движение после долгой спячки возобновилось с того дня, как Уткин взял расчет на работе,— начал Марков.— До этого мы знали из донесения Михаила Тульева, что разведцентр готовит к засылке серьезного агента, даже опасного, судя по его прошлому. Совпадение во времени давало основания полагать, что активность Уткина, несколько лет жившего абсолютно спокойно, связана с этим агентом. Уткин неожиданно для нас поехал к жене Тульева. А так как Тульев имел отношение к подготовке агента, мы должны были предположить, что поездка Уткина нужна им для проверки. Во-первых, лишний раз проверить Тульева, который так и не освободился от подозрений со стороны Себастьяна. Во-вторых, установить, не ведется ли за Уткиным наблюдение. Синицын, покажите первую пленку.— При генерале Марков называл Павла на «вы».

Павел включил проектор. На полотне замелькали кадры, запечатлевшие поездку Уткина к Марии. Когда эпизод окончился, Марков продолжал:

— Обратите внимание — у него «Спидола» и чемоданчик. Видите, он держится так, словно специально подставляется, чтобы его обязательно заметили. При этом мы не можем быть на сто процентов уверены, что он не обнаружил наблюдения. Даже один процент сомнения обязывал считать допустимым, что Уткин расшифровал Синицына или его помощника. А если не сам Уткин, то кто-то другой, контролировавший его поездку. Мы так и считали. Но потом учли еще одно обстоятельство: коль скоро разведцентр в лице Себастьяна не доверяет Тульеву, значит, его жену считают способной сообщить нам о визите Уткина. Из этого следовал вывод: Уткина действительно могут нам подставлять специально. В таком случае главное для них — не проверка Тульева, а что-то другое. Но может быть, они таким образом проверяли и надежность легенды Уткина. Он жил много лет в полном бездействии, зарабатывая стаж и репутацию. Для кого и для чего? Теперь ясно, что не для себя. Скорее всего для Брокмана. Но в конце концов разведцентр предпочел, вероятно, перестраховаться и не использовать нажитое Уткиным доброе имя,— нового Уткина нет, мы бы его нашли очень быстро. Из этого видно, какое значение они придают задаче Брокмана.

Марков посмотрел на Павла, тот сменил пленку в проекторе.

— Дальнейшее поведение Уткина подтверждает, что в его задачу совершенно не входило действовать скрытно. Сейчас вы увидите это, Петр Иванович. И опять обратите внимание на радиоприемник.

Павел снова включил аппарат. Эта пленка была длиннее. Она показывала Уткина в Москве на вокзале, входящим в вагон, выходящим из вагона. На экране двигался здоровый, довольный жизнью человек, кажется, не помышлявший ни о чем, кроме предстоящего отдыха. С ним всегда была «Спидола» — или в руке, или на ремешке через плечо.

Марков комментировал:

— Уткин приехал в Батуми двенадцатого мая. Нам было известно, что семнадцатого туда прибывает круизный теплоход «Олимпик».

На экране шли кадры, снятые у дома, где жил Уткин.

— Остановите,— сказал Марков Павлу. Кадр показывал парадное, куда входил Уткин, сидящих на скамейке стариков и кусок тротуара, по которому шли прохожие — их было много.— Дом большой, стоит на бойком месте,— продолжал Марков.— Говорю не в оправдание, Петр Иванович, но это существенно.

— А в чем вы должны оправдываться? — спросил Лукин.

— Скоро поймете. Синицын, зарядите пленку за семнадцатое мая.

Павел еще плохо освоил киноаппаратуру, поэтому сменял пленку довольно долго. Марков объяснял:

— Мы, конечно, считали, что Уткин ждет «Олимпика», чтобы встретить кого-то. Исходя из того, что он демонстративно пренебрегает элементарной конспирацией, следовало предположить, что тот, кого он встретит, будет лишь фигурой для отвода глаз. Иначе вся эта игра в открытую не имеет никакого смысла. Но именно на этом мы и просчитались. Началось с того, что Уткин безвыходно засел дома. Он только раз посетил порт, чтобы посмотреть, где швартуются пассажирские суда. Такая резкая перемена в поведении сбивала с толку и заставляла усомниться в правильности прежних выводов. Может быть, мы напрасно считали, что Уткин умышленно все делает напоказ? — Марков обернулся к Павлу: — У вас готово?

— Да.

— Впрочем, погодите.— Марков протянул генералу фотокарточки, на которых был изображен Брокман.— Прислал Михаил Тульев, снимки сделаны в Швейцарии, на курорте Гштаад. Это Брокман — агент, которого с участием Тульева готовили к засылке.

Дав генералу разглядеть снимки, Марков сказал Павлу:

— Пускайте.

Минут пять они смотрели, как Уткин вышел из дому, пришел на морской вокзал, как с трапа сходят туристы. Затем в кадре появился Брокман, затем Уткин и Брокман встретились, и Уткин передал Брокману «Спидолу».

— Стоп,— сказал Марков на крупном плане и обратился к генералу: — Скажите, Петр Иванович, этот турист похож на Брокмана?

— Безусловно похож,— сказал Лукин.

— Но это не Брокман.

— Это уже в оправдание? — с ехидцей спросил Лукин.

— Я должен обратить ваше внимание, что разведцентр в этой операции все построил на отвлекающих маневрах. Итальянец, Алексей Дмитриев, Уткин — все это для того, чтобы увести нас в другую сторону. Наконец, подмена Брокмана. Не менее важна «Спидола». Эти два отвлекающих фактора сработали, как магнит, притянули к себе. Ведь мы знали о Брокмане, ждали именно его. Человек, которого они подобрали, не абсолютный двойник Брокмана, но это быстро разберешь, если поставишь рядышком живых или их портреты, а идентифицировать живого человека, которого прежде не видел, по фотопортрету — дело не такое простое, как кажется. Ну и «Спидола», конечно, сильно все осложнила. Уткину все-таки удалось сыграть отвлекающую роль.

— Вы в третий раз говорите о «Спидоле»,— сказал Лукин.

— Сейчас объясню. Это рация, и она лежала в тайнике за Златоустовской улицей в доме номер двадцать семь, в том городе, где жил Уткин. Он взял ее оттуда, но выходил в эфир только один раз, незадолго до поездки к жене Тульева. И больше не расставался с нею. «Спидола» была особой его приметой, яркой меткой. К тому же Уткин и в Батуми выходил в эфир. Вы только что видели пленку — «Спидолу» Уткин передал человеку, которого мы принимали за Брокмана. У нас не было сомнений, что это именно та «Спидола». Уткин много лет прожил на виду, и никто не видел, чтобы он покупал какой-нибудь радиоприемник, а уж «Спидолу»-то обязательно бы заметили.

— А она тоже подменена?

— Да.

— Полагаю, с настоящей «Спидолой» ушел настоящий Брокман,— сказал Лукин.

— Вот именно. На то, чтобы добраться до морского вокзала и потом вернуться с мнимым Брокманом домой, Уткину потребовалось час с небольшим. За это время в его комнате успел побывать настоящий Брокман. Он и взял рацию. За домом велось наблюдение. За этот же час в парадное и из парадного вошло и вышло более двадцати человек. Брокман изменил внешность, на свою фотографию был не похож. Стрижка совсем другая. Приклеил бороду и усы. Все происходило слишком скоротечно. С «Олимпика» сходили группами. Брокман был в третьей.

— Когда же обнаружились подмены? — спросил Лукин.

Вместо ответа Марков попросил Павла пустить пленку. Это был момент возвращения мнимого Брокмана и Уткина на теплоход. Они подошли к трапу, предъявили пограничникам пропуска и поднялись по трапу. У квази-Брокмана на ремешке через плечо висела «Спидола».

— Когда они ушли с квартиры, был разговор с хозяйкой,— сказал Марков.— Она сообщила, что в отсутствие квартиранта заходил его друг Володя, но пробыл всего несколько минут. В комнате Уткина осталось кое-что из его вещей.

— А настоящий Брокман так и ушел?

— Да. Но мы нашли его след. До Тбилиси он ехал сначала на попутной легковой, потом на грузовике. Оба водителя опознали своего пассажира по фотоснимкам. Далее, мы нашли проводницу вагона, в котором ехал Брокман. Он приехал в Москву. Активный розыск был начат с восемнадцатого мая, но в Москве, конечно, он проскочить успел. Правда, мы знали, что из Москвы на дальних поездах и на самолетах Брокман не уезжал. Автомобильный транспорт тоже был под контролем. Обнаружен он двадцать восьмого мая. Как вы знаете, это произошло в связи с делом Кутепова, о котором я вам докладывал. Выход на Брокмана сделан, так сказать, с другого конца, и это ускорило поиск.

— Значит, у нас все-таки есть одно белое пятно,— подытоживая изложенное Марковым, сказал Лукин.

— Да, десять дней, которые прожил Брокман бесконтрольно в доме Стачевской.

— И эта пресловутая «Спидола» у него? — спросил Лукин.

Впервые подал голос Павел Синицын:

— Нет, Петр Иванович, она уже у нас.— Он открыл чемоданчик, вынул рацию.

— Конфисковали, значит?

— Изъяли, Петр Иванович, — сказал Марков.— Иного выхода не было. Требовалось лишить его радиосвязи, чтобы действовал контактным способом. Радиокод они сменили, расшифровать пока не удалось.

— А как удалось со «Спидолой»?

— Мы попросили завхоза редакции, в которой подрабатывает Стачевская, навестить ее дом, и он сказал, что видел «Спидолу». После этого решено было рацию изъять. А потом лейтенант Ковалева и старший лейтенант Жаров организовали все довольно удачно.

— Рискованно,— подумав, сказал Лукин.— У него наверняка зародились подозрения. Доложит в центр, там сообразят, что бумаги Нестерова — бутафория.

— Не могут они поверить, что мы сначала столько усилий положили ради этой бутафории, а потом одним вопиюще неуклюжим ходом испортили себе всю комбинацию.

— Грубовато, конечно, но, пожалуй, в этом-то и соль, а?

— Должно сработать,— убежденно сказал Марков.

— Будем надеяться. Мне вот что не совсем ясно, Владимир Гаврилович. Зачем Кутепов эту девушку убить хотел?

— Ну, во-первых, он ее боялся. Вербовал — отказалась. Приезжает итальянец — все раскрывается. Во-вторых, ее смерть должна была произвести весьма сильное впечатление на Галину Нестерову. Цепочка понятная. Нестеров очень любит свою дочь. Представьте, если отцу скажут: или помогайте нам, или с вашей дочкой случится то же, что и с ее подругой.

— Вы полагаете, Нестерова в покое не оставят?

— Одной поездкой Брокмана дело может и не ограничиться. Кутепов на допросе, например, заявил, что ему велели подготовить

подруг к встрече с каким-то его племянником. Наверное, имелся в виду Брокман. Мамочка Галины Нестеровой тоже оскоромилась — ей дорогой перстень Кутепов продал за бесценок.

— У Брокмана, считаете, других задач нет?

— Мы не все знаем, Петр Иванович,— ответил Марков совершенно теми же словами, которые произнес однажды в разговоре с Павлом.— Пока не все.— Он посмотрел на часы.— Но буквально в эти самые минуты может выясниться одно дело... Появился ходок из-за рубежа.

— К Брокману?

— Да. Но разрешите, Петр Иванович, покончить сначала с тем, что уже есть. Сейчас мы покажем вам, к кому обратился Брокман, когда остался без «Спидолы».

Павел успел освоиться с проектором и теперь исполнял обязанности киномеханика хорошо.

На экране возникла площадь Маяковского. Затем в кадр вошла Линда Николаевна. Вот она набирает номер в будке телефона-автомата. Вот идет по Первой Брестской. Достает из сумочки сигаретную коробку, роняет ее на землю посреди пустыря. А вот и автомобиль с дипломатическим номером. Мужчина приятной наружности с таксой на руках поднимается из-за руля, гуляет с таксой по пустырю, наклоняется, подбирает коробочку. И уезжает.

— Старый лис,— сказал Марков.— Сотрудник известного вам посольства.

— Знаете его? — спросил Лукин.

— В шестьдесят шестом работал в Чехословакии, потом недолго в Польше, потом куда-то исчез, а с шестьдесят девятого — в Москве.

— У нас за ним что-нибудь числится?

— Одна нитка определенно к нему вела, да оборвалась. Это еще два года назад было. Косвенных данных уже порядочно набралось. Но он осторожный. Тут вот впервые попался. Скорей всего Брокман передал ему микропленку с нестеровскими формулами... Посмотрим дальше.

На экране — вход в почтовое отделение № 67. Появляется Линда Николаевна.

— До этого она звонила по тому же телефону. Вероятно, тут Брокман работает уже по пожарному варианту—«Спидолы»-то нет. Стачевская получила открытку. А тридцатого июня сама отправила открытку. Ей писал некто Воробьев, и она послала открытку Воробьеву.

— Это и есть ходок к Брокману?

— Да. Приехал в туристской группе. С ним работает майор Семенов — земляк Кутепова.— Марков опять посмотрел на часы.

— Воробьева задержали? — спросил Лукин.

— Да.

— Пугаете вы их, Владимир Гаврилович.

— Ничего. Все обставлено незатейливо, но правдоподобно. Сказано, что похож на разыскиваемого рецидивиста. А паспорт оказался с изъяном. Судя по открыткам, тут какое-то спешное дело. Группа Воробьева послезавтра улетает. Значит, сегодня он открытку получил, а само дело назначено на завтра. У Брокмана связи нет, до него не успеет дойти.

В кабинет вошел секретарь генерала.

— Владимир Гаврилович, вас спрашивает майор Семенов,— обратился он к Маркову.— Говорит, вы велели звонить сюда, если срочно.

Марков взял трубку белого аппарата.

— Семенов? Слушаю вас... Где вы?.. Везите сюда.— И, закончив разговор, Марков сказал генералу: — Сейчас Семенов привезет Воробьева. Мы с ним потолкуем у меня, а потом я вам доложу. Там что-то непростое.

— Хорошо,— сказал Лукин.— Жду вас.

Воробьев, который в группе и по своему иностранному паспорту значился как Блиндер, ни в чем не стал запираться. Семенов рассказал, что Воробьев сделался податливым с того мгновения, когда из его чемодана извлекли четыре разноцветных длинных тюбика, в каких продается зубная паста. Надписи на них были немецкие и действительно сообщали, что тюбики содержат зубную пасту. Семенов хотел отвернуть колпачок на одном и выдавить для пробы себе на ладонь его содержимое. Тюбики оказались запаянными, но Воробьев закричал так, словно его пырнули ножом. Несколько раз повторил: «Нельзя! Нельзя!» и заявил: пусть его отвезут к ответственному работнику КГБ, он все расскажет.

И вот он сидит перед Марковым. А на столе между ними четыре разноцветных тюбика.

— Почему вы так перепугались? — спросил Марков.

— Мне строго приказано: ни при каких обстоятельствах они не должны быть вскрыты.

— А что в них, по-вашему?

— Не знаю.

Марков вызвал помощника. Тюбики отправили в химическую лабораторию.

— Кому вы это привезли? — спросил Марков.

— Я должен встретиться с женщиной, ее зовут Линда Николаевна.

— Где? Когда?

— Завтра в час дня на сквере у памятника Пушкина.

— Вы писали ей открытку?

— Нет. Только получил от нее.

— Знакомы?

— Нет.

— Она сама должна к вам подойти?

— Да. У меня должен быть коричневый плащ.

— И что же, вы должны отдать тюбики ей?

— Нет. Она должна сказать: «Поедемте ко мне домой» и привести к человеку, которому это послано. Мне приказано отдать только ему, из рук в руки.

— И все?

— Говорили, что он может тоже что-нибудь мне передать.

— А его вы знаете?

— Нет.

— Как фамилия вашего шефа?

— Самого главного? — спросил Воробьев.

— Да.

— Не знаю. Я там недавно. Между собой его зовут Манк — по-английски значит Монах.

— А тот, кому предназначены тюбики, знает вас?

— Не могу ничего сказать.

Марков поднял телефонную трубку, набрал номер.

— Подготовьте сообщение в МИД, что господин Блиндер до выяснения задержан нами за нарушение паспортного режима.

Марков, видя, что Воробьев-Блиндер при его последних словах явно воспрянул духом, сказал ему, кладя трубку на место:

— Сейчас я имею право пообещать вашему посольству: мы еще не знаем, что содержится в тюбиках.— И после паузы добавил:— Но вы, пожалуй, отпущены не будете.

Совещание у генерала Лукина возобновилось в три часа дня. Марков захватил с собой магнитофон с лентой, на которой был записан допрос Воробьева. Прослушав запись и посмотрев паспорт Воробьева, Лукин сказал:

— Если я вас правильно понимаю, мы сейчас пришли к развилке, Владимир Гаврилович?

— Совершенно верно.

— А когда химики дадут анализ?

— Зависит от сложности вещества.

— Но сегодня по крайней мере?

— Обещают.

— Ладно. Какие же мысли?

— По-моему, настал момент решить вопрос принципиально: продолжать или кончать операцию «Резидент»,— сказал Марков.

— Если продолжать — что будет?

— Без всяких анализов ясно, что Воробьев привез для Брокмана не зубную пасту. Можно заменить содержимое тюбиков. Воробьев согласится до конца исполнить свою миссию под нашим контролем — в этом сомнений нет. Потом посмотреть, что сделает с тюбиками Брокман. Но вообще Брокмана нам надо обезвредить. Его связи выявлены, больше через него ничего не получишь.

— Значит, предпочтительно другое решение — кончать?

— Да,— твердо ответил Марков.

— Тогда формулы академика Нестерова будут выброшены в корзину?

— Не обязательно. Формулы Брокман добыл до приезда Воробьева. Мы потеряли Брокмана из виду на десять дней, с семнадцатого до двадцать восьмого мая. Он ездил к Нестерову пятого июня. Они вполне реально рассчитывают, что раньше двадцать седьмого июня, когда назначена встреча Кутепова и Бекаса, мы о Нестерове ничего знать не могли. Так что все естественно.

— Хорошо,— сказал Лукин.— Сворачиваем операцию. Что это влечет за собой?

— Провал Брокмана автоматически бьет по Михаилу Тульеву. За предыдущие годы мы взяли несколько агентов разведцентра по данным, которые сообщил Тульев. Себастьян уже давно пытается по этим данным и по этим провалам, так сказать, высчитать Тульева. С Брокманом же Тульев связан прямо. Тут у Себастьяна сомнений уже не останется.

— А как же с белым пятном? Что делал Брокман в те десять, даже двенадцать дней, пока был бесконтролен? Мы этого можем не узнать, если даже и возьмем его.

— Да, лишнего на себя наговаривать никто не будет.

— Он, видно, с характером,— сказал Лукин.

— И с биографией,— добавил Марков.— Можно попытаться, конечно...

— Что — попытаться?

— Послать кого-нибудь вместо Воробьева.

Павел, во все продолжение беседы скромно помалкивавший, покашлял при последних словах в кулак.

— Нет, тебе нельзя,— не глядя на него и забыв свое официальное «вы», сказал Марков.— О твоем существовании Брокман наверняка знает. И потом ты с Кутеповым завязан.

— Судя по всему, Воробьев никаких полномочий не имеет,— сказал Лукин.

— Да,— согласился Марков,— но заманчиво и поблефовать немножко. Брокман может что-нибудь передать Воробьеву.

— Опасно,— сказал Лукин.

— Опасность, конечно, есть. Очень странный пароль для встречи. Как в детской игре. Коричневый плащ, и больше ничего. Коричневые плащи не в одном экземпляре шьются.

— Есть еще что-то,— вставил Синицын,— какая-нибудь примета, которую знает Брокман.

— Вероятно. И еще известно, что эта Линда должна сказать: «Поедемте ко мне домой».

— Если решаем сворачивать, то послать кого-нибудь к Брокману не помешает,— сказал Лукин.— Но человек должен быть решительный.

— Майор Семенов управится. Как ваше мнение, майор Синицын? — Марков опять обращался к Павлу на «вы».

— Вообще-то подходит,— сказал Павел с несколько ревнивой интонацией.

Лукин ее уловил.

— А в частности?

За Павла ответил Марков:

— Майор Синицын хочет сказать, что он сделал бы это лучше.

Лукин и Марков посмеялись немного, но Павел остался при своем мнении.

— Его надо подстраховать,— сказал он серьезно.

— Не помешает,— сказал Лукин.— А где Семенов, Владимир Гаврилович?

— Позвать?

— Надо познакомиться.

Марков попросил секретаря генерала вызвать майора Семенова. Когда он явился, Марков представил его Лукину. Садясь в кресло, Лукин сказал:

— По руке вижу — сила есть. А если стрелять?

— Обучен, товарищ генерал,— быстро проговорил Семенов.

— Меня зовут Петр Иванович,— заметил Лукин.— Мы все обучены, хотя мне, по правде сказать, кроме как в тире, стрелять не приходилось. И вряд ли придется. И вообще не наше это дело. А тут, представьте, невероятный случай — дело может дойти до стрельбы.

— Если надо, не промахнусь,— сказал Семенов.

— Тут не в тире, не на стрельбище,— сказал Марков.— С Брокманом состязаться будете. Важно, кто быстрее. А он был профессиональным убийцей, зарабатывал этим на жизнь.

— На реакцию никогда не жаловался, Владимир Гаврилович. Я и с парашютом прыгал.

— С парашютом и Брокман прыгал, но не стоит сейчас о технике говорить. У вас будут такие патрончики — Синицын объяснит их действие. Потом все уточним.

— Мы, кажется, слегка забежали вперед, Владимир Гаврилович,— сказал Лукин.

— Да, надо получить результаты анализа.—

Марков посмотрел на Павла, на Семенова и сказал им: — Вы пока свободны. Идите ко мне, прикиньте насчет завтрашнего дня. И заберите все это.— Он показал на проектор и на прочее принесенное ими в кабинет Лукина.

Когда Павел и Семенов ушли, Марков сказал генералу:

— Не с легкой душой, Петр Иванович, говорил я о Тульеве.

— Насчет отзыва?

— Да. Столько сил потрачено. И место у него — не каждому дано, не в любой день устроишься. Конечно, все давно окупилось, но терять жаль.

— А провал Брокмана обязательно означает провал Тульева?

— Я сказал — автоматически. Может быть, это не совсем так. Но риск для него увеличится сильно.

— А он согласен рискнуть? Вы с ним эту тему не обсуждали?

— Он-то согласен. Но пока Себастьян на месте, Тульев все время будет ходить по острию ножа. Правда, уже не первый год у них толкуют, что Себастьяна уберут, а он все не убирается.

Лукин встал, прошелся по кабинету, снова сел.

— Владимир Гаврилович, ну, а если положа руку на сердце?

— Все-таки я бы отозвал. Он и приедет не пустой. И здесь будет очень полезен.

— Тогда нечего колебаться. Кончаем «Резидента».

Марков, казалось, хотел больше для себя, чем для Лукина, сделать собственные выводы еще доказательнее.

— К тому же вот какое соображение, Петр Иванович: ему уже пятьдесят лет, для шефов разведцентра он прежней ценности уже не имеет — не на все годится. А по цене и место за столом.

— А нельзя ли устроить так, чтобы он не все узы с ними рвал? Чтобы из штата, как говорится, ушел, а нештатно остался? При условии, конечно, что его не совсем лишат доверия.

— Мы по этому вопросу тоже с ним обменивались. Тут трудно что-нибудь предвидеть. Во всяком случае, если мы сейчас окончательно решим его отзывать, то он там попросит не отставку, а длительный отпуск. Так сказать, за свой счет. А оставаться после пожара с Брокманом все-таки слишком рискованно. Под горячую руку Себастьяну попадет — и прощайте...

— У вас с ним связь быстрая?

— Относительно.

— А с переправой как?

— Это он сам все обеспечивает. Нам надо знать только точку и время.

— Ладно. Через час доложим по начальству. Думаю, наше решение одобрят.

— Хорошо, Петр Иванович.

Около шести часов вечера Марков получил результаты анализов вещества, заключенного в тюбиках из-под зубной пасты. При всем своем научно-объективном бесстрастии они имели, мягко выражаясь, страшноватый смысл: содержимое тюбиков, само по себе безвредное, в сочетании с определенными химическими соединениями дает отравляющие вещества широкого спектра действия, обладающие исключительной силой даже в водных растворах ничтожной концентрации и длительное время не подвергающиеся распаду.

В кабинете у генерала Лукина вновь собрались на совещание Марков, Синицын и Семенов. В качестве консультанта присутствовал в самом начале сотрудник химической лаборатории, который ушел, сделав подробные комментарии к результатам анализа.

Было ясно: если содержимое тюбиков может служить одной из составных частей отравляющего вещества, то вторая часть находится у Брокмана.

Никто, разумеется, не рассчитывал, что эту вторую часть удастся у Брокмана найти и отобрать, что он по доброй воле вдруг возьмет и все расскажет, но подмена Воробьева Семеновым была окончательно решена. Брокмана все равно надо арестовать в ближайшее время. Нелишне поэтому сделать попытку общения с ним еще на воле: вдруг выяснятся какие-то детали, которые могут оказаться полезными в будущем.

На паспорт Воробьева (он, кстати, был не фальшивым; как установили, подлинный владелец, будучи пьяным, годом раньше потерял свой паспорт) наклеили карточку Семенова. Павел объяснил Семенову действие патронов с газом, обездвиживающим человека на полчаса, и показал, как пользоваться оружием.

— Но учти,— сказал при этом Павел,— у Брокмана тоже есть что-нибудь такое или еще почище. Между прочим, это на Западе приобретено. Насчет прихлопнуть человека там, знаешь, стандарт высокий. Так что все дело в быстроте — кто первый, тот и пан.

У Воробьева-Блиндера был позаимствован его коричневый плащ. В карманы плаща положили тюбики, которые теперь содержали настоящую зубную пасту, но не заграничную, а производства московской фабрики «Свобода».

Марков, Синицын и Семенов втроем составили план — каким образом Синицын должен завтра страховать Семенова. Они отлично сознавали, что план этот, в сущности, абстрактен, так как в нем невозможно учесть главнейший фактор — то, что предпочтет делать сам Брокман. По этому поводу Павел сказал: «План — не догма: перевыполнишь — ругать не будут».

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

Возвращение

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 24

ДОМОЙ!

В его переписке с Марковым эта тема — возвращение в Советский Союз — возникала и раньше. Михаил покривил бы душой, если бы стал уверять, что у него нет желания вернуться и что при этом личные интересы не имеют для него ровно никакого значения. Жена и сын, которых он любил и которых не видел восемь лет, были его единственными на свете родными людьми, как у них единственным родным был он. При таком положении хуже, чем он, мог бы чувствовать себя лишь его сын Сашка, оставленный им еще в пеленках, а теперь ходящий в школу. Но он, к счастью, пока достаточно мал, чтобы не задумываться о пагубном действии долгой разлуки. Марии тоже плохо, но с нею Сашка. Как ни поверни, а им все же легче. Они живут вдвоем, они дома...

Оценивая объективно свое положение в разведцентре, Михаил не мог назвать его блестящим. Монах, разумеется, не посвящал его и в сотую долю своих разработок, более того, порою в силу профессиональной привычки как бы невзначай подбрасывал ему заведомо ложные сведения, но при этом Монах не лишал его своего чисто человеческого благорасположения. Себастьян же, отсутствовавший более полугода, вернувшись, не замедлил показать Тульеву, что по-прежнему не доверяет ему. Михаила вскоре отстранили от участия в подготовке агентуры и вновь посадили в аналитический отдел — копаться в агентурных донесениях, провинциальных газетах и записях радиоперехвата. И ближайшая перспектива не обещала улучшений.

Короче говоря, Михаил Тульев созрел для отзыва. Особенно остро он начал испытывать потребность вернуться с тех пор, как перестал встречать Карла Брокмана. Ему, конечно, никто не докладывал, когда и куда исчез из центра Брокман, но это и так было понятно.

Слишком много нервов стоила Михаилу вся эта эпопея с Брокманом, чтобы он мог со спокойной душой рисовать в воображении, что способен натворить в Советском Союзе хладнокровный наемный убийца, убийца его собственного отца.

Он помнил, как Монах в прошлогодней беседе ни с того ни с сего упомянул Владимира Уткина и сказал, что у того надежная легенда. Если Уткин насиживал место для Брокмана, если Брокман использует его легенду — тогда все в порядке; у Владимира Гавриловича не будет затруднений, и Брокману не позволят показать свое умение убивать. Но может быть и иначе. Себастьян — организатор опытный, знает, что в их деле наиболее очевидное—не наиболее надежное. Ни один подчиненный не рискнет побиться об заклад, что сумеет угадать истинные намерения Себастьяна, хотя бы в самом нехитром и маловажном предприятии. А тут дело вполне серьезное. Если Брокмана оставить без присмотра— это даром не пройдет.

Михаил сделал все, что было в его силах и возможностях, чтобы облегчить Маркову обнаружение Брокмана,— даже фотопортреты его переслал. Но сознание этого не могло подавить и обезболить сознания собственного бессилия в момент, когда его присутствие на месте событий могло бы, вероятно, оказаться решающим.

Будучи именно в таком, далеком от уравновешенности состоянии духа, встретил Михаил в воскресенье, 21 мая, Владимира Уткина, с которым виделся в первый и единственный раз восемь лет назад в Одессе, точнее, в одесском аэропорту.

И вот он, Уткин, стоит на обочине шоссе, наверное, ждет попутную машину, чтобы съездить в город, откуда возвращается Михаил. Значит, не успел еще получить в банке заработанное за восемь лет, иначе уже обзавелся бы собственным автомобилем. Михаил с разрешения Монаха пользовался для своих редких поездок его старым «мерседесом». Сегодня с утра он отправился в город, чтобы проверить, нет ли в условленной точке того обычного знака, которым его извещали, что для него получена корреспонденция «оттуда». Знака не было, и Михаил сидел за баранкой с таким видом, с каким, наверное, возвращается после многодневных тысячекилометровых автогонок несчастливый спортсмен, хотя от города до их резиденции было по спидометру всего двадцать семь километров...

Уткин стоял на шоссе, недалеко от съезда к усадьбе центра. Михаил притормозил перед поворотом, Уткин, глядевший в противоположную сторону, обернулся на него, и тутто Михаил его и узнал — по глазам, по носу, по веснушкам. Не то что машиной обзавестись, он еще и одежду новую не успел купить. У Михаила даже сердце екнуло: совсем свежий человек «оттуда», еще, должно быть, пыль на ботинках российская, а в карманах — табачные крошки от папирос. Михаил отлично помнил, как там, в одесском аэропорту, когда менялся с Уткиным плащами, оставил ему початую коробку «Казбека». Может, Уткин после так и привык к папиросам?..

Михаил остановился перед отвилком, вышел из машины, достал сигарету и закурил, глядя из-под бровей на Уткина. Между ними было метров десять. Уткин тоже смотрел на него, и, кажется, воспоминание наконец шевельнулось в нем.

Они были одни на дороге. По этому шоссе и вообще никогда оживленного движения не происходило, а сегодня к тому же воскресенье — ни единой машины.

— Трудно здесь? — спросил Михаил вполголоса.

— Узна́ешь сам,— широко улыбнувшись, ответил Уткин.

Это был фрагмент их разговора, происходившего в Одессе. Только в тот раз вопрос задал Уткин, а Тульев ему ответил так: «Узнаешь сам. Зачем тебя заранее пугать или, наоборот, успокаивать? Прыгнул в воду — плыви, а то утонешь...»

Они сошлись, пожали друг другу руку.

— Давно? — спросил Михаил.

— Вчера.

— Рад тебя видеть, Уткин.— Улыбка Михаила была непритворной.

Он действительно испытывал в этот миг настоящую радость. Но все же в нем работала и тайная мысль. Сотрудникам центра категорически запрещалось откровенничать между собой, но чем черт не шутит... Тут как-никак имелись сближающие обстоятельства.

— Я тоже очень рад,— сказал Уткин.

— В город собрался?

— Не мешало бы.

— Сегодня все закрыто — воскресенье. Ты, наверное, в магазин хочешь?

— Да так, вообще... Не грех и по баночке...

— Я с удовольствием. Садись.

В машине Уткин спросил:

— Это твоя?

— Нет, Монаха. Беру, когда надо. У него другая есть, новая.

— Ты, значит, с начальством на равных?

Разуверять Уткина было бы неразумно. Михаил сказал с достаточной небрежностью:

— Не целуемся, конечно, но жить можно.

Михаил развернулся и быстро набрал скорость.

— Куда думаешь? — спросил Уткин.

— Куда хочешь. Можем в «Континенталь». Бывал там?

— Уже не помню... Мне, понимаешь, пока шляться не велели.

— Тогда надо где потише. Сегодня наших в городе много.

Михаил показал на приборную панель, приложил палец к губам. Уткин понял, покрутил в воздухе пальцем: мол, записывать могут? Михаил кивнул, и до города, минут десять, они промолчали.

Свернув на кольцевую дорогу, Михаил обогнул город и на тихой окраинной улице, застроенной трехэтажными кирпичными домами, остановился недалеко от маленького пансионата «Луиза», в ресторане которого он изредка обедал, когда слишком приедались кушанья их казенной столовой. Как он и ожидал, в крошечном, на шесть столиков, зале не было ни души. Хозяин, с которым Михаил был знаком, пожилой вдовец, сказал, что сам обслужит их. Но есть они пока не хотели.

Сели за столик у задернутого гардиной окна, и Михаил сказал:

— Что будем? Покрепче?

— Нет, давай винца,— сказал Уткин.— Мозельского. Не очень кислого.

Хозяин пошел за вином.

— Водка надоела? — усмехнувшись, спросил Михаил.

— Я там не злоупотреблял.

— Примерный труженик?

— А что? На доске почета висел.

— Долго же ты куковал.

— Без малого восемь лет... Лучший техник районного телефонного узла...

— Вообще-то работенка не пыльная, — сказал Михаил.

— Это верно.

— А отсюда не дергали? — Это был первый вопрос по существу, и Михаил с надеждой ждал, что Уткин не уклонится от прямого ответа.

— Только раз. Под самый конец,— без всякого колебания откликнулся Уткин.

Михаил понял, что правил разведцентра Уткин придерживаться не будет. Восемь лет постоянной бдительности чего-нибудь стоят. Должен же человек когда-нибудь расслабиться. Однако, чтобы не насторожить Уткина, Михаил торопить события не стал.

Хозяин принес вино, фрукты и жареный миндаль в вазочке.

Они выпили вина. Михаил пожевал миндаля, слушая, как он повизгивает на зубах.

Полковник Марков в одном из своих писем рассказал Михаилу, что Уткин посещал его

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—29, 31—33.

жену Марию, и сейчас Михаила подмывало спросить, как она выглядит, какое впечатление произвела. Но этого, конечно, делать было нельзя. Оставалось надеяться, что Уткин сам заведет разговор — не под влиянием алкоголя (от этого легкого вина человек, знакомый с водкой, особенно не опьянеет), а просто поддавшись благодушному настроению.

— Кто там не был, нас не поймет,— тихо сказал Михаил.

— Точно.

Еще помолчали. И снова первым заговорил Михаил:

— Да-а... Восемь лет — не восемь дней.

— Вообще-то я думал, хуже будет,— сказал Уткин.— А оно ничего страшного. Тягомотина, конечно.

— Ну, это ты немножко забыл, наверно,— добродушно возразил Михаил.— Я тебя тогда в Одессе увидал, думаю: парень, как бычок на веревочке, на бойню ведут.

— Это верно, дрожь в коленках была. Но недолго. А потом жил — не думал. Если б не эти чертовы «Спидолы», вообще забыть можно, кто я такой.

— Почему «Спидолы»? Я тебе одну оставлял.

Уткин и думать не хотел ни о каких секретах и запретах. Говорил просто, все как есть. Да и какие особенные секреты своего восьмилетнего бездействия мог он выдать человеку, который все это время прожил в штабе центра и который настолько близок к начальству, что пользуется его автомобилем, как своим собственным?

— Их у меня две было. Вторую велели достать потихоньку, купил у одного психа. А потом твою прятал, а вторую напоказ таскал.

— Для чего?

— А черт его знает. Режиссеры здесь сидели, я их не спрашивал.

Еще попили винца. Михаил сказал:

— Ты меня не бойся — не из болтливых.

— А какие у нас тайны?—удивился Уткин.— Я там сидел, как пень. Только в Батуми и шевелился, да и то все по расписанию. Никакой самодеятельности.

— Менялись так же, как тогда?

— Не совсем. Кто-то сошел, я вместо него на корабль, а кто — в глаза не видел. Вообще там какая-то игра была. Но я — пешка.

— Все мы пешки,— вздохнул Михаил.— Может, коньяку выпьем? — Ему и вправду захотелось рюмку чего-нибудь покрепче.

— Давай.

Они просидели еще часа полтора, но оставались трезвыми. Уткин рассказал подробности батумской переправы, а под конец добавил, что купленную им «Спидолу» привез с собой, и она стоит у него в комнате, но, кажется, он ее сегодня выбросит — так она ему надоела.

О своей поездке к Марии он не обмолвился ни словом — значит, это было под специальным запретом. Себастьянова рука...

Когда решили уходить, Михаил подозвал хозяина. Уткин протянул Михаилу деньги, но Михаил сжал его руку вместе с бумажками и убрал ее со стола, расплатился своими.

Рассудив, что во избежание нареканий Уткину лучше не появляться на виду в обществе Тульева, они расстались на шоссе — Михаил высадил его недалеко от поворота к их резиденции.

Михаил больше не искал встречи с Уткиным — ничего существенного узнать от него он уже не рассчитывал. Однако в среду, 24 мая, Монах позвал Михаила вечером к себе, и там он увидел Уткина.

— Думаю, вам будет приятно друг на друга поглядеть,— сказал Монах, когда они поздоровались.

Потом Уткин рассказывал Монаху то, что Михаил от него слышал в воскресенье. Из этого можно было заключить, что по возвращении он докладывал не Монаху, а Себастьяну. А это, в свою очередь, лишь подтверждало неутешительный для Михаила факт: Себастьян снова взял вожжи в свои руки.

Для чего Монаху потребовалось слушать отчет Уткина при нем, Михаиле, понять было трудно. Быть может, Монах хотел таким образом показать, что партия Уткина сыграна от начала до конца на глазах у Михаила? А может быть, Монаху просто скучно было сидеть целый вечер с Уткиным наедине?..

Возвращение Уткина, все, что Михаил от него услышал, делало бесспорным один вывод: сейчас там, в Советском Союзе, совершается серьезная акция. Иначе восьмилетнее прозябание Уткина надо признать абсолютно бесцельным.

Думая об этом, Михаил начинал нервничать, так как был уверен, что все происходящее обязательно должно отразиться и на нем.

Каждый день он брал из гаража «мерседес» Монаха и ездил в город, но знака о прибытии корреспонденции из Москвы все не было.

Так прошло полтора месяца. И наконец он увидел знак, а вскоре получил послание Маркова, которое было длиннее прежних. Но самое главное, самое радостное для Михаила содержалось уже в первой строчке — его отзывали.

На следующий день он попросил Себастьяна принять его по личному вопросу: кадрами центрального аппарата Себастьян ведал теперь на единовластных началах, освобождая шефа, как он выражался, от стирки грязного белья. Он не любил старых сотрудников, которые в силу долголетнего знакомства с Монахом могли при необходимости обращаться непосредственно к нему. Тульевых, и отца и сына, как знали все сотрудники, Себастьян не просто не любил — он их ненавидел. Соблюдая субординацию в первый раз со времени воцарения Себастьяна, Михаил рассчитывал польстить его самолюбию и тем облегчить свою задачу. Но расчет не оправдался.

Себастьян встретил его вежливо, поинтересовался здоровьем, а когда услышал, что Тульеву надоело работать в аналитическом отделе, сухо заявил:

— Но у нас нет для вас другого места.

— В таком случае прошу разрешить долгосрочный отпуск,— сказал Михаил.

— Вы совсем недавно были в отпуске, и даже весьма долго,— возразил Себастьян.

С Брокманом в Швейцарию Михаил ездил по личному распоряжению Монаха, и Себастьяну истинная сторона дела не была известна, но он все же сказал:

— Это нельзя считать отпуском.

— Почему же?

— Я работал.

— Не знаю. Официально вы числились в отпуске.

— Я устал. Может человек получить отдых, если настоятельно в нем нуждается?

Себастьян, почувствовав чужое раздражение, сам сделался спокойнее.

— Сколько вы хотите?

— Хотя бы полгода.

— Это слишком много.

— На оплату я не претендую.

Себастьян усмехнулся:

— Еще бы! Полгода с оплатой — это, знаете ли...

— Благодарю вас,— сказал Михаил с облегчением.— Я хотел бы уехать через два дня.

— Где вы намереваетесь остановиться?

— Пока в Париже.

— Сообщите мне оттуда свой адрес. И весь последующий ваш маршрут я должен знать.

— Хорошо.

Себастьян не стал лицемерно желать ему приятного отдыха и тем самым заставил Михаила испытать к нему уважение — единственный раз за всю историю их взаимоотношений.

Михаил знал, что парижский адрес и липовый маршрут его воображаемого отпускного путешествия не обманут Себастьяна. Он все проверит и убедится в обмане. Но тут ничего нельзя было поделать. Его ждали в Москве с таким же нетерпением, с каким он туда стремился.

14 июля Михаил приехал в Париж, в город, где всякому, кто желает раствориться и замести следы, сделать это не составляет особого труда. А 16 июля он исчез из Парижа.

резидента

Глава 25

СВИДАНИЕ С БРОКМАНОМ

Любой мало-мальски проницательный наблюдатель, если бы он задался праздной целью классифицировать Линду Николаевну Стачевскую по типу характера, должен был бы признать, что она принадлежит к тому редкому в наше время, уже давно вымершему племени людей, которых называют авантюристами высокого полета,— племени, яркими представителями которого были, скажем, Григорий Отрепьев и подобные прочие самозванцы — его предтечи и его эпигоны, от раба Клемента, выдававшего себя за своего умерщвленного хозяина Агриппу Постума и пытавшегося отобрать власть у римского императора Тиберия, до корнета Савина, чуть не севшего на болгарский трон. Из женщин можно назвать хотя бы так называемую княжну Тараканову и столь же злополучную Мата Хари.

История не сохранила данных относительно того, делали или не делали две вышеупомянутые прекрасные дамы утреннюю зарядку. Зато мы точно знаем, что Линда Николаевна ее делала регулярно на протяжении трех времен года — осени, зимы и весны. Летом же физзарядку она заменяла работой в саду и цветниках.

Всякая регулярность, за исключением немногих особых случаев,— признак педантизма, а педантизм, согласитесь, не гармонирует с авантюризмом. Тем не менее в Линде Николаевне эти несочетаемые качества все-таки сочетались, и, может быть, именно потому она в отличие от своих знаменитых предшественниц сумела благополучно дожить до преклонных лет.

5 июля 1972 года Линда Николаевна, встав в половине шестого утра, в шесть занималась своим обычным делом—работала в саду. День обещал быть очень жарким. Небо с утра уже потеряло голубизну и стало сизо-стальным. Обильно политые с вечера грядки, на которых росли пионы, флоксы, настурции и гладиолусы, несмотря на ранний час, уже успели высохнуть, и земля сделалась серой.

Линда Николаевна, выдергивая из грядок появившиеся за ночь стрелки чужеродной травы, думала о том, что цветам придется трудно нынешним летом. Но вскоре думы о судьбе цветов сменились другими, более важными. Она вновь и вновь, как делала это все последнее время, повторяла мысленно маршруты и действия, предпринятые ею по заданию ее обожаемого жильца, оценивала их значение, сопоставляла их и пыталась вывести прогноз на ближайшее будущее. Главной исходной позицией и доминантой этих вычислений было, о чем нетрудно догадаться, ее собственное участие в предстоящих событиях. Как известно, Линда Николаевна жаждала активной деятельности, не ограниченной примитивными курьерскими обязанностями. Обостренная сознанием опасности восприимчивость позволяла ей читать в душе и мыслях жильца, как в открытой книге. И она давно

уже высчитала, что близится срок, когда он доверит ей настоящее дело. Оставалось только чуть потерпеть, неизбежное произойдет. Оно может прийти в любой день...

Вот почему в то безветренное солнечное утро 5 июля Линда Николаевна не была удивлена, увидев вышедшего к ней в сад Брокмана, хотя часы показывали всего лишь начало седьмого. Никогда не просыпавшийся ранее семи, сейчас Брокман был уже выбрит, умыт и свеж. Впрочем, Линда Николаевна, окинув его одобрительным взглядом, успела заметить в выражении его лица нетерпение и озабоченность. К тому же в углу рта у него была дымящаяся сигарета, и это говорило о беспокойном состоянии духа, ибо прежде он никогда не курил до завтрака.

Поглядев на сизое безоблачное небо, на припылившиеся листья яблонь и, наконец, на Линду Николаевну, Брокман сказал:

— Градусов на тридцать денек будет.

— Если не больше,— откликнулась Линда Николаевна.— Вы куда-нибудь собираетесь?

— Я — нет. А вам придется съездить в Москву.

Линда Николаевна развязала на пояснице тесемки клеенчатого фартука и сняла его. Она помнила наизусть содержание открытки, которую писала под диктовку неведомому ей Воробьеву. Поэтому спросила как о само собой разумеющемся:

— В час надо быть на Пушкинской площади?

— Да.

— Тогда лучше не терять времени. Я приготовлю завтрак.

— Идемте на минутку ко мне.

В своей комнате Брокман достал из пиджака, висевшего в шкафу, бумажник, а из бумажника — фотокарточку. Дал ее Линде Николаевне.

— Запомните его.

Это был портрет уже известного нам Воробьева-Блиндера. Ничем не примечательное лицо.

— Он довольно высокого роста, немного выше вас,— сказал Брокман, убирая возвращенную Линдой Николаевной карточку.— У него с собой коричневый плащ. Сразу заметите, даже в толпе... Сегодня дождя не предвидится, вряд ли все будут с плащами.

— В сквере у Пушкина обычно толпы не бывает.

— Еще лучше...

— И никакого пароля? — спросила Линда Николаевна.

— Какой же еще пароль, если вы видели портрет?

— А если это окажется не он?

— Не забегайте вперед, все объясню,— сказал Брокман.— Значит, так. Видите, что ждет этот человек, подходите и без всяких паролей говорите: «Поедемте ко мне домой». Привезете его ко мне, но не сюда, а к рынку, на автобусную станцию. Я буду там. Во сколько вы можете приехать?

— Нужно посмотреть расписание.

Линда Николаевна принесла расписание пригородных поездов, и они вместе его посмотрели. Получалось, что Линда Николаевна с Воробьевым могут прибыть на электричке в 15.53.

— До рынка десять минут пешком,— сказала Линда Николаевна.

— Буду ждать с четырех. Приведете его к автобусной станции и уходите. Меня не увидите — не волнуйтесь, я его сам увижу.

Брокман закурил новую сигарету.

— А теперь насчет другого варианта. Может прийти и не этот человек, но фамилия у него должна быть такая же. Подойдите и спросите: «Вы товарищ Воробьев?» Он скажет: «Да». Вы спрашиваете: «Давно меня ждете?» Он должен ответить: «Ровно семнадцать минут». Это и есть пароль.

— Все понятно,— сказала Линда Николаевна.— Но если он, этот другой Воробьев, скажет мне совсем не такие слова?

Брокман загасил сигарету в пепельнице и улыбнулся.

— Тогда — прошу прощения. Это будет очень плохо.

Линда Николаевна не нуждалась в уточнениях, почему это плохо и кто пострадает в первую очередь. Она думала не о себе, она беспокоилась о нем.

— А вдруг меня все-таки привезут сюда? Куда мне их вести? Домой?

— В доме — как в ловушке,— сказал он.— Лучше на автостанцию.

— Как я дам знать, что это чужой?

Он подумал немного, потом спросил:

— Вы возьмете с собой какую-нибудь сумочку?

— Обязательно.

— Если вас все-таки привезут сюда, давайте условимся так: держите сумочку в правой руке. Если все нормально — в левой, а нет — в правой.

— Хорошо.

— Ждать я буду до половины пятого.

— Это непредусмотрительно,— возразила Линда Николаевна.— Электричка может и опоздать.

Брокман и раньше имел возможность убедиться в преданности и исполнительности Линды Николаевны. Сейчас она ему показывала, что умеет быть хладнокровной и расчетливой.

— Верно,— согласился он.— Давайте установим крайний срок — пять часов.

Потом Линда Николаевна приготовила завтрак, они поели, она помыла посуду — все, как в обычный день. И до самого ее ухода они больше ни словом не обмолвились о предстоящем. Необычным было лишь его напутствие.

— С богом,— сказал Брокман, пожав ей руку.

— Лучше с сумочкой в левой руке,— сказала она и открыла дверь.

Семенов пришел на сквер Пушкинской площади без десяти час. Он был в светлом костюме из тонкой летней ткани, в синей рубахе без галстука. Через руку переброшен коричневый плащ Воробьева-Блиндера, в карманах которого, в каждом по два, лежали тюбики с зубной пастой.

Он волновался. Он знал, что издали за ним наблюдают двое верных товарищей, которые скорее погибнут сами, чем дадут погибнуть ему, но от этого волновался еще больше. Во-первых, никакая опасность здесь, в центре Москвы, в ясный летний день ему не угрожала. Во-вторых, он и сам может за себя постоять. И таким образом получалось, что невидимое присутствие товарищей его только смущало — он чувствовал себя неловко, словно новичок-любитель на сцене. Если бы своих не было, он бы не испытывал стеснения. Все иные, случайные свидетели того, что должно было здесь разыграться — не в счет, так как они не имели о происходящем никакого понятия.

Семенов прохаживался на площадке за спиной у Пушкина. В такую жару на самом солнцепеке это мог делать лишь человек, пришедший на свидание. Но, странная вещь, с ним вместе тут прохаживалось множество людей, мужчин и женщин. И вообще весь сквер, почти лишенный тени, был многолюден в этот час, на скамейках не видно свободных мест.

Линду Николаевну он знал по кадрам, снятым скрытой кинокамерой, и мог бы заметить ее издалека, но Семенов умышленно не смотрел по сторонам, чтобы нечаянно ей себя не выдать неосторожным взглядом. Поэтому ее появление действительно было для него в какой-то мере неожиданным. Однако он отметил, что подошла она не ровно в час, а в пять минут второго. Он не знал, что перед тем она его внимательно разглядывала.

Подойдя, Линда Николаевна сказала:

— Извините, вы товарищ Воробьев?

Он сказал:

— Да.

Она сделала паузу и спросила:

— Давно меня ждете?

Он смущенно пожал плечами.

— Да как вам сказать?.. Минут десять — пятнадцать.

Линда Николаевна, до этого глядевшая ему в глаза, посмотрела как-то вбок.

— Извините, я, кажется, ошиблась.

И пошла своей величественной походкой в сторону Моссовета.

Она не произнесла слов, предназначенных настоящему Воробьеву: «Поедемте ко мне домой». Как сказал бы Павел Синицын, тут и ежу было понятно, что Линда Николаевна без труда расшифровала подмену. Каким образом она это сделала, гадать было не время. На такой случай у Семенова имелся план действий, предоставлявший ему довольно широкую инициативу. Семенов пригладил волосы рукой — это был знак тем, кто наблюдал за встречей: «Я раскрыт».

Линду Николаевну он догнал у Елисеевского магазина. Увидев его рядом с собой, она замедлила шаг, как будто ожидая, что он ее обгонит и уйдет вперед, но Семенов сказал:

— Нам надо поторопиться, Линда Николаевна... Может, вернемся на площадь, попробуем взять такси?

Линда Николаевна, ничего не отвечая, остановилась, повернулась и так же величественно зашагала в обратную сторону.

Семенов, обретший было свою обычную уверенность, опять почувствовал некоторое стеснение, но уже иного рода. Спокойствие и высокомерие этой пожилой женщины были так подчеркнуты, что он начинал испытывать раздражение. Будь она помоложе, он бы сумел быстро сбить с нее спесь, но из почтения к возрасту приходилось соблюдать ритуал, выглядевший в сложившейся ситуации насилием над здравым смыслом.

Так рассуждал Семенов, пока они шли к стоянке такси, расположенной напротив кинотеатра «Россия». К сожалению, он не мог знать, что творилось в голове и душе Линды Николаевны. Его вводила в заблуждение личина невозмутимости, а меж тем под нею вовсе не было спокойствия. И не отвечала Линда Николаевна на его попытку начать разговор не из одного только высокомерия, скопированного ею с лучших берлинских образцов 1941—1942 годов. Растерявшись неожиданно для себя, она старалась собраться с мыслями.

Хотя она сама, первая, при обсуждении с Брокманом этой поездки допускала именно такой, наихудший для нее вариант и рассматривала его последствия с неподдельным хладнокровием, но то было у нее дома, с глазу на глаз с ее боготворимым жильцом. Одно дело — представить себе собственные действия умозрительно, и совсем другое — действовать в реальной обстановке.

Словом, Линда Николаевна была выбита из колеи и старалась поскорее вернуть себе присутствие духа. Семенов искал верный тон, чтобы побыстрее снять собственную напряженность и взяться за самое существо дела, которое свело его с этой спесивой особой.

На улице в потоке людей не очень-то удобно вести конфиденциальный разговор, но кое-что все же сказать можно.

— Я знаю расписание ваших электричек,— миролюбиво сказал Семенов, когда они подошли к стоянке, где человек пять-шесть ожидали такси.

Линда Николаевна и на этот раз промолчала. Семенов иного и не ожидал.

— Нам нужно успеть на тринадцать пятьдесят восемь,— сказал он уже вполне благодушно.

Она молчала. Тогда он спросил строго:

— Нас ждут к определенному часу? Или как придется?

— Это все равно,— изрекла наконец Линда Николаевна, и Семенов тотчас понял, что она врет, и сразу ей об этом сказал:

— Неправда.

— Если вы все знаете, зачем спрашивать?

— Я знаю много, но не все. И вам и мне будет лучше, если вы станете говорить правду.

Со стороны они, наверно, были похожи на тетку с племянником, обсуждающих какую-то семейную неприятность.

— Я даже не знаю, с кем имею честь...— Она сказала это слишком громко, так, что могли слышать стоявшие рядом.

Семенов наклонился к ней.

— Говорите, пожалуйста, тише. Я покажу вам документы, только чуть позже.

Ему вдруг пришла в голову мысль, что Линда Николаевна, если пожелает, может устроить вот тут, на стоянке, истерику, выйдет публичный скандал, и тогда все задуманное полетит к чертям. Но, к счастью, она органически не была способна на истерику, даже деланную.

Подошла их очередь. Оба поместились на заднее сиденье.

— Курский вокзал,— сказал Семенов шоферу.

Потом он показал Линде Николаевне свое служебное удостоверение. До вокзала, куда приехали без десяти два, они молчали.

Семенов купил себе билет (Линда Николаевна сказала, что у нее билет есть, но забыла сказать, что она ради экономии времени купила, отправляясь в Москву, билет и для Воробьева).

Едва вошли в электричку — она тронулась. Вагоны были полупустые, и они сели в третьем от хвоста, у окна на теневой стороне, друг против друга.

— Мы пойдем к вам домой? — спросил Семенов, возобновляя прерванный разговор.

— Дома у меня делать нечего, там никого нет.

— Я ведь серьезно, Линда Николаевна. Мы же с вами вроде договорились.

Вот теперь Линда Николаевна была спокойна уже по-настоящему. Словно что-то для себя окончательно решила и не испытывала колебаний. Но и Семенов обрел то ровное настроение, которое сам он называл рабочим.

— Я тоже не шучу,— сказала она.

— Где должна произойти встреча?

— У рынка. На автобусной станции.

— Во сколько?

— От четырех до пяти.

Линда Николаевна говорила чистую правду, и ей было хорошо и покойно.

— Чтобы не задавать лишних вопросов, может, вы сами объясните, как все это должно произойти? — сказал Семенов.

— Ничего особенного. Я вас приведу к станции и уйду. А он вас сам увидит и подойдет.

— И больше никаких паролей?

— Нет, представьте.

Про сумочку она говорить не собиралась.

— С вокзала мы на чем поедем? — поинтересовался он.

— Там рядом.

Она откровенно его разглядывала, а это всякому неприятно.

— На мне что-нибудь написано? — спросил Семенов.

— Да нет,— отвернувшись к окну, сказала она.— Рядовой труженик.

— Кстати, как это вы определили, что я не тот, кого вы ждали?

— Не так отвечали.

— А как нужно?

— Многого хотите.

— Но это не имеет значения, раз уж мы едем вместе.

— Как знать...

Она смотрела в окно, и Семенов тоже позволил себе разглядеть ее хорошенько. Моложавость облика все же не могла обмануть— перед ним сидела старая женщина. Но держалась и выглядела она великолепно. Светло-лиловый костюм из плотного крученого шелка, дымчатая кружевная кофта со стоячим воротником, скрывающим шею. На голове серая шляпа из рисовой соломки с круглыми полями и с пучком лиловых цветков... Серая кожаная сумочка лежала у Линды Николаевны на коленях, поддерживаемая обеими руками...

Рассматривал он Линду Николаевну не из пустого любопытства. Детали одежды, как известно даже школьникам, тоже могут служить условными знаками для посвященного. Простейшее рассуждение: если она ведет на свидание к Брокману его, контрразведчика, то у них должен быть какой-то знак, которым она даст Брокману сигнал об опасности. Но какой? Может, у нее есть миниатюрный передатчик для работы на близком расстоянии?

— Разрешите, я посмотрю вашу сумочку,— сказал Семенов.

Не меняя позы, она отдала сумочку.

Ничего похожего на радиоаппаратуру он не обнаружил. Говорить больше было не о чем. Оставшиеся полтора часа в жарком вагоне показались бы в другое время невыносимо скучными. Но у каждого из них было о чем подумать, и два десятка станций мелькнули быстро, словно электричка шла без остановок.

В 15.53 они приехали. От вокзала Линда Николаевна повела Семенова по прямой тихой улице, обсаженной по бокам старыми липами и застроенной невысокими, в большинстве двухэтажными, домами дореволюционной архитектуры. Потом повернули на улицу с оживленным автомобильным движением, и еще метров за сто Семенов увидел деревянную арку с выцветшими красными буквами: «Колхозный рынок». Слева от арки— полукруглая площадь, заставленная автобусами, и в глубине ее — белый павильон автостанции.

— Где он будет? — спросил Семенов.

— Не знаю. Я вам уже объясняла.

Семенов все еще безуспешно ломал голову над вопросом: каким образом Линда Николаевна сообщит Брокману, что ведет чужого? Платочек, что ли, достанет из сумочки? Или шляпу снимет?

Строя предположения, Семенов тут же их и отвергал, ругая себя нехорошими словами. Если у них условлен знак, то непременно такой, чтобы не был заметен постороннему. Семенов ни на секунду не сомневался, что знак есть, но не мог его найти.

Он шагал рядом с Линдой Николаевной, искоса на нее поглядывая. До рынка оставалось каких-нибудь полсотни метров, когда ему пришла мысль, что единственной вещью, которая может служить сигналом, нужно считать сумочку. Ничего другого нет.

Линда Николаевна держала ее в правой руке — от самого вокзала. Семенов решил так: если она, придя на рыночную площадь, переймет сумочку из правой руки в левую, он прикажет этого не делать. И наоборот: если Линда Николаевна не станет этого делать, он прикажет взять сумочку в левую руку.

Дошли до рыночной арки, которая была на той стороне улицы, и остановились, чтобы пропустить машины. И тут Семенов сказал:

— Возьмите сумку в левую руку.

Линда Николаевна как бы не расслышала, следя за потоком транспорта.

— Я говорю: возьмите вашу сумочку в левую руку,— повторил Семенов.

— Что это вы нервный такой? — сказала Линда Николаевна.

— Прошу вас,— уже сквозь зубы сказал Семенов.

Она взяла сумочку в левую руку.

Поток машин прервался. Они пересекли улицу и пошли мимо арки, потом краем площади по ее широкой дуге — справа магазинчики и мастерские, слева заставленная автобусами, пышущая масляно-бензинным смрадом асфальтовая жаровня.

— Где мы с вами должны расстаться? — тихо спросил Семенов.

— Вон там, на автовокзале.

— Вы отсюда идите прямо к себе домой. Так будет лучше.

— Неужели одну отпускаете? — Вопрос Линды Николаевны был полон иронии.

— Не беспокойтесь, у вас будет подходящая компания. Только очень прошу: когда мы расстанемся, сумочку из руки в руку не перекладывайте.

Она ничего не ответила.

У здания автовокзала Семенов остановился — в тени широкого козырька над входом,— а Линда Николаевна продолжала путь по дугообразному тротуару, окаймлявшему площадь. Вслед за ней пошел один из товарищей Семенова. Отойдя метров на двадцать, она все-таки взяла сумочку в правую руку. Семенов провожал ее злым взглядом, пока она не достигла улицы и не скрылась за угловым домом. Он переглянулся с другим своим товарищем. Тот дал знак, что понял.

Тут же он услышал за спиной спокойный голос:

— Товарищ Воробьев?

Обернувшись, он увидел перед собой Брокмана и спросил:

— Вы Никитин?

Вместо ответа Брокман сам задал вопрос:

— Привезли для меня что-нибудь?

Семенов похлопал по карману переброшенного через руку плаща.

— Четыре тюбика. И кое-что на словах. Где бы нам поговорить?

— Отойдем.

Брокман повел его за автовокзал. Семенов, следуя в двух шагах сзади, обратил внимание, что Брокман был налегке. В руке свернутая трубкой клетчатая сумка, но не совсем пустая, что-то в нее было завернуто.

Обогнув здание, они очутились на маленькой посыпанной песком площадке, окруженной чахлыми молоденькими тополями, не дававшими тени.

— Отдать? — спросил Семенов.

— Подожди, не здесь. Что такое ты хочешь передать на словах?

Семенов опять похлопал по карманам плаща.

— С этим надо обращаться осторожно.

— Хорошо. Что еще?

— Там волнуются — от тебя нет сообщений.

— Кто волнуется?

— Монах.

— Та-а-ак... Все?

— Сказано: ты должен что-то передать.

— Что именно?

В интонациях Брокмана слышалась двусмысленность. Не поймешь, то ли он принимает этот разговор всерьез, то ли просто не мешает валять дурака. Но дело начато — надо пробовать дальше.

— Какие-то расчеты ждут,— сказал Семенов.— А о чем речь, не знаю.

Брокман задумчиво поглядел на него.

— Так-так-так... Вот что, Воробьев, прокатимся за город.

Минут через десять они ехали в пропыленном, душном, скрипящем и стонущем автобусе по шоссе к селу Пашину, недалеко от которого Брокман в мае заложил под дубом тайник.

Сошли на той же остановке и зашагали к лесу. Брокман шел сзади.

— Мы далеко? — спросил Семенов, когда до леса оставалось совсем ничего.

— Иди, иди.

— У меня, знаешь, времени в обрез.

— Пошли дальше,— сказал Брокман и показал рукой, чтобы Семенов, как и прежде, следовал впереди. Семенов заметил: сумки в руке у него уже нет, вероятно, бросил по дороге, но рука не пустая, что-то зажато в кулаке.

— Ты что, конвоируешь меня? — пошутил Семенов.

— Давай-давай.

Надо было кончать. Продолжение не имело смысла. Брокман вел его в лес не для того, чтобы делиться секретами. Семенов дал сигнал своему товарищу, а сам, резко швырнув свернутый плащ в лицо Брокману, чтобы ослепить, приемом дзюдо свалил его на землю. Подоспевший товарищ помог обезоружить Брокмана и скрутить ему руки.

Продолжение следует.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

Глава 26

ОЧНАЯ СТАВКА

Как и следовало ожидать, на допросах Брокман признавался только в том, чему имелись убедительные доказательства. Происходило это постепенно, от меньшего к большему. Причем полковник Марков с самого начала придерживался такой тактики: задавая вопросы, он как бы исходил из того, что допрашиваемый обязательно должен ото всего отказываться, а на каждый отрицательный ответ тут же предлагал ему совместно разобраться, почему ответ неверен и в чем заключается слабость позиции допрашиваемого. Подобная система требует много времени и терпения, зато не оставляет места недомолвкам и неясностям.

В основе тактики, избранной Марковым, лежало преднамеренное самоограничение: допрашивая Брокмана, он не использовал для его изобличения никаких сведений, полученных ранее от Михаила Тульева. Это ставило обе стороны в равные условия, и таким образом каждое добытое признание было результатом открытой борьбы и потому имело особую доказательную силу.

Если бы Маркову сказали, что одним из мотивов, побудивших его избрать именно такой образ действий, послужило желание показать самому себе, что он по-прежнему предпочитает идти по линии не наименьшего, а наибольшего сопротивления и тем самым успокоить свое профессиональное самолюбие, задетое батумским эпизодом,— если бы кто-то высказал такое мнение, Марков, положа руку на сердце, наверное, не стал бы его опровергать. Но все-таки главным мотивом его действий было совсем другое, гораздо более важное соображение: предвидя поведение Брокмана, он берег факты, собранные Михаилом Тульевым, для последнего удара. Пусть Брокман пропитается иллюзией, будто следствию известен только маленький отрезок его жизни — с 28 мая по 5 июля 1972 года. Тем сильнее он почувствует шаткость своего положения, когда перед ним выложат всю его жизнь и когда сам Тульев поглядит ему в глаза.

А пока следствие развивалось таким порядком.

Для начала Брокман заявил, что послан в Советский Союз с единственным заданием — дождаться и встретить человека по фамилии Воробьев, который должен передать ему нечто, а он, Брокман, это нечто должен спрятать в укромном месте, например, закопать в землю. О содержимом тюбиков он не имеет никакого понятия. Допускает ли, что это «нечто» может быть химическим или биологическим средством войны? Об этом он не задумывался.

При Брокмане найден пистолет, стреляющий оперенными иглами, острия которых несут смертельный яд. Для чего ему нужен был пистолет? Для самообороны. А микрофотоаппарат? Так, на всякий случай. А домашний секач, завернутый в клетчатую сумку? Для того, чтобы с его помощью сделать ямку в земле и закопать посылку,— это был правдивый ответ.

Когда Брокману показали «Спидолу», он заявил, что впервые ее видит. На вопрос, считает ли он неопровержимыми данные дактилоскопической экспертизы, Брокман ответил утвердительно. Марков спросил: «Держали вы когда-нибудь этот приемник в руках?» Брокман сказал: «Нет». Тогда у него взяли отпечатки пальцев и ладоней и в его присутствии проявили на корпусе «Спидолы» оставленные на ней следы, которых было очень много. Затем на экране совместили отпечатки со «Спидолы» и отпечатки Брокмана. Они совпали так точно, что Брокман, перебив эксперта, начавшего давать технические объяснения, признал, что «Спидола» с 17 мая по 6 июня находилась у него.

После такого водевильного пролога Марков показал Брокману документальный фильм о его поездке в город К. и посещении квартиры академика Нестерова. Брокман признал, что у него было не одно, а два задания.

Затем Марков показал ему кадры, на которых была запечатлена Линда Николаевна Стачевская и дипломат с таксой. Брокман заявил, что ничего по этому поводу сказать не может, так как не имеет к этому никакого отношения. Ему совершенно непонятен смысл действий его хозяйки и назначение пустой сигаретной коробки. На вопрос, куда девалась пленка, отснятая в квартире Нестерова, Брокман заявил, что она засветилась, и он ее выбросил.

На этом первый сеанс с Брокманом кончился.

Линда Николаевна вела себя несколько иначе. На первом допросе она заявила, что является принципиальным противником Советской власти, которую считает незаконной, и готова нести за это любую ответственность, но никаких практических действий, наносящих ущерб государству, не совершала. На вопрос о Брокмане сказала, что познакомилась с ним случайно, а впоследствии, проникшись к нему симпатией, исполняла кое-какие мелкие его поручения. Сознавала ли она, что эти поручения связаны с его нелегальной деятельностью? Нет. Они, эти поручения, не заключали в себе ничего преступного. Получала ли она плату за свои услуги? Нет. Только за квартиру.

Марков сказал, что контрразведке известно прошлое Линды Николаевны, и подтвердил это документами. Она от прошлого не отказывалась, но сделала оговорку, что и во время войны не совершила ни одного поступка, который мог бы служить основанием для суда над нею. Свое поведение она не считала изменой Родине — опять-таки по той причине, что не признавала Советскую власть законной. Марков сказал, что это экстравагантное объяснение служит великолепным доказательством того, что у нескольких управляемых на расстоянии маленьких диктаторов, управляющих маленькими государствами и не признающих Советский Союз, имеется в лице Линды Николаевны Стачевской верный союзник, но что ему, Маркову, это ровным счетом ничего не говорит.

Для Линды Николаевны тоже был организован документальный киносеанс. Однако это ее не разубедило: она продолжала утверждать, что исполняла поручения своего жильца, не усматривая в них ничего криминального.

Чтобы избавить себя от лишней траты времени, Марков устроил Брокману и Линде Николаевне очную ставку и сделался свидетелем малоприятной сцены. Нет, он не обольщался относительно моральных качеств тех людей, против которых боролся по долгу чести и службы, по убеждению, но наблюдать вблизи неприкрытую человеческую скверну ему было противно.

Линда Николаевна, увидев в кабинете Маркова своего жильца, постаралась не показать удивления, но огорчения не скрывала. Вероятно, у нее до последнего момента все-таки теплилась надежда, что ее сигнал тревоги (сумочка, переложенная в правую руку) был замечен и помог ему избежать встречи с мнимым Воробьевым, то есть с чекистами.

Прежде всего Марков, которому помогали Семенов и Павел Синицын, уточнил и закрепил показания, касавшиеся встречи с Воробьевым. Тут Брокман и Линда Николаевна друг другу не противоречили и подробно изложили все детали, в том числе и о пароле, которого не знал Семенов.

Затем Марков сказал, обращаясь к Брокману:

— Итак, вы по-прежнему утверждаете, что Стачевская ездила в Москву и звонила в посольство по своей собственной инициативе?

— Да,— отвечал Брокман.

— Номер телефона вы ей не давали?

— Нет.

— Пустую сигаретную коробку, которую она бросила на Первой Брестской улице, вы ей не давали?

— Нет.

— Следовательно, эти действия Стачевская предприняла без всякого вашего вмешательства? Вы о них ничего не знали?

— Да, это так.

Линда Николаевна сидела на стуле очень прямо, в струнку, глядя перед собой лихорадочно блестящими немигающими глазами. Но при последних словах Брокмана вся как бы оплыла. Плечи опустились, спина ссутулилась.

— А что скажете на это вы, Линда Николаевна? — спросил Марков.

— Все это ложь и пошлость,— голосом, полным брезгливости, отвечала она.

— Такие формулировки хороши для романа, а мы пишем протокол очной ставки,— сказал Марков.— Ответьте на вопросы. Первый: почему вы звонили в посольство?

— Меня просил этот гражданин. Но я не знала, куда и кому звоню.

Вот так, в один миг, изменилось ее отношение к обожаемому жильцу, которого она именовала теперь «этот гражданин».

— Кто сообщил вам телефон?

— Он, конечно.

— Вам ваш жилец известен под фамилией Никитин. Так его и называйте,— сказал Марков.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 17—29, 31—34.

— Хорошо. Номер телефона мне дал Никитин.

— Где вы взяли пустую сигаретную коробку?

— Мне дал ее Никитин.

— Благодарю вас.— Марков вызвал конвойного, и Линда Николаевна покинула кабинет. Она даже не взглянула на своего бывшего повелителя. Она его презирала...

Юридически эти показания Линды Николаевны на очной ставке в данный момент не имели такой силы, чтобы сбить Брокмана с его позиции в части, касавшейся эпизода с дипломатом. Свои задания Линде Николаевне он давал наедине, без свидетелей, и утверждения Стачевской весили ровно столько же, сколько и утверждения Брокмана. А он категорически отрицал свою причастность к истории с сигаретной коробкой. Но впоследствии, когда дело Брокмана обретет контуры законченного строения, эта очная ставка ляжет в него необходимым кирпичиком.

Сейчас Марков хотел побеседовать с Брокманом об эпизоде, которого Брокман не отрицал,— о посещении квартиры Нестерова. Тут были моменты, не вязавшиеся с представлениями Маркова о квалификации тех заочно знакомых ему деятелей разведцентра, которые разрабатывали операции против Советского Союза, и о методах, применяемых их агентами в повседневной практике. Откровенно говоря, Марков был до случая с Нестеровым более высокого мнения о разведцентре и его агентуре. Полезно было разобраться в деталях, чтобы понять, чем объясняются неувязки и сбои, которые он обнаружил в действиях Брокмана.

— Скажите, Никитин, как вы сами считаете: в эпизоде с академиком Нестеровым у вас не было ошибок? — спросил Марков.

Брокман еще не избавился от раздражения, вызванного свиданием с Линдой Николаевной, поэтому не мог сразу переключиться совсем на иную тему и иной тон.

— Моя ошибка — что я сижу здесь,— сказал он довольно резко.

— Это лирика. Такие слова более подходят Линде Николаевне, а вы мужчина,— заметил Марков.— Будем разговаривать конкретно. О поездке к Нестерову.

— Я все делал по обстановке.

— Но вы действовали, мягко говоря, очень опрометчиво. Позвонили несколько раз по телефону, никто не отвечает — вы решили, что квартира пуста, можно идти. Но телефон мог быть просто неисправен. Вы даже не проверили на телефонной станции. А что касается звонка на работу — сами понимаете...

— Да, это глупо.

— И вообще как же проникать в квартиру, не имея точных сведений, где ее хозяева?

— С телефоном моя ошибка, но в остальном я все делал по инструкции.

— В незнакомом городе без всякого помощника — как же так?

— Я работал по аварийной схеме. Мне был приготовлен помощник, но он выпал. Почему — не знаю.

— Фамилия помощника?

— Кутепов.

— Когда вы получили приказ работать по аварийной схеме?

— Число не помню. Это было дня через три после того, как у меня оказались ключи.

— Ключи Линда Николаевна доставила вам двадцать восьмого мая. А кто и как передал приказ?

— По радио.

Вероятно, квалификация разработчиков из разведцентра все-таки не понизилась. Аварийный вариант применяли вынужденно. Маркову было известно то, чего не знал Брокман: неожиданный приезд в город К. Пьетро Маттинелли заставил Кутепова спешить, и в спешке он совершил непоправимые ошибки. И выпал из операции, в которой должен был помогать Брокману. Кончики сходились.

— Теперь скажите, Никитин, как вы должны были действовать не по аварийной схеме? Какая ставилась задача?

— Задача одна — получить рукописи Нестерова,— сказал Брокман и замолчал.

— Вы не ответили на первый вопрос,— напомнил Марков.

— Ну, если бы все шло нормально, я разыгрывал бы из себя племянника Кутепова. Ухаживал бы за дочерью Нестерова. Подходы как будто были готовы.

У Маркова опять возникло ощущение, что план разведцентра выглядит несолидно, если все расчеты строились на «племяннике».

— Послушайте, Никитин,— сказал Марков,— вы отмежевываетесь от дипломата — я вам не мешаю. Но будьте же последовательны там, где вы сильно наследили. Вы о многом умалчиваете. Племянник, ухаживания — это, знаете ли, молочный кисель.

Брокман усмехнулся.

— Ладно, скажу. Племянник — тоже правда, но потом я и Кутепов должны были действовать по поручению иностранного разведчика. Он итальянец, девчонки его знают. И обе уже замазаны...

— Вместе с ключами вам передали письмо Светланы Суховой. Для чего?

— Обычный шантаж. Это никогда не мешает.

— Вы надеялись получить рукописи Нестерова. А если бы он отказал?

— Я мог применить силу.

— Что это значит?

— Ликвидировать.

— Подождите, мы это запишем подробно,— сказал Марков и встал, чтобы взять из шкафа свежую кассету для магнитофона.

А потом он услышал от Брокмана то, что уже слышал от Кутепова. И все концы этой истории окончательно сошлись...

Казалось бы, после совершенно открытого разговора о Нестерове от Брокмана можно было ожидать большей открытости и во всем остальном. Но Марков на это не рассчитывал и был прав.

На седьмой день после ареста Брокмана при очередном допросе Марков, наконец, тронул стержневую, самую страшную для Брокмана тему. Сказав, что для прояснения некоторых моментов необходимо вернуться к эпизоду с Воробьевым, Марков спросил:

— Вы не подозревали, что в тюбиках может содержаться что-нибудь ядовитое?

— Подозревать можно что угодно.

— Спросим прямее: вы знали?

— Нет.

— Лабораторный анализ показал, что содержимое тюбиков — составная часть сильнодействующего стойкого отравляющего вещества. Так сказать, одна из его половин. Наши химики знают приблизительный состав второй половины. Обе они сами по себе, отдельно друг от друга, почти абсолютно безвредны и обладают высокой инертностью. Только соединившись, они становятся страшными.

— Я не химик, но охотно верю всему этому.

— Тюбики Воробьев вез вам. Мы имеем право думать, что вторая половина была у вас.

— Это вы на меня не нацепите,— решительно заявил Брокман.— Не знаю никаких половин. Ничего ни от кого не получал. Воробьев до меня не доехал.

Дав ему выговориться, Марков продолжал:

— Стачевская показала, что с девятнадцатого мая, то есть со дня вашего приезда к ней, и до четвертого июня, то есть до поездки к Нестерову, вы ни разу не отлучались из ее дома. Это верно?

— Верно.

— Стачевская добавила, что где-то между девятнадцатым и двадцать восьмым мая вы все-таки уходили из дому как-то днем и отсутствовали несколько часов. Это тоже верно?

Брокман впервые ответил не сразу, а после короткой паузы:

— Не помню.

— А вы вспомните. Она еще снабдила вас закуской. Вы и секач с собой брали.

— Не помню,— повторил Брокман.

— Но вы по крайней мере помните свои слова по поводу того, почему при задержании у вас оказался этот секач?

— Помню.

— Повторите, пожалуйста. Я забыл их.

— Чтобы зарыть то, что привез Воробьев. Если бы привез.

Он прочно окопался за этими «если бы». И ничего тут не сделаешь...

— А в тот, первый, раз — для другой цели? Дров нарубить?

— Не было того раза. Не ловите меня, гражданин начальник.

Никогда Марков не позволял прорываться наружу чувствам, которые он испытывал по отношению к своим противникам. Он остался спокоен и сейчас.

— Кто вас научил такому обращению — гражданин начальник?

— У меня были хорошие инструкторы.

— Прошу не употреблять этого выражения. Ваши начальники остались там. А насчет «того раза» мы еще побеседуем.

...Это было 12 июля. Вызванный на допрос 14-го, Брокман заявил, что больше никаких показаний давать не будет, так как все ему известное уже сообщил.

Марков оставил Брокмана в покое. Он ждал Михаила Тульева, который вот-вот должен был вернуться после долгой жизни за рубежом.

Не тревожимый привычными вызовами в кабинет полковника, Брокман начал проявлять нервозность.

Глава 27

С ПОЛИЧНЫМ

Психологи и социологи, занимающиеся изучением различных пенитенциарных систем, принятых в разных странах и в разные времена, расходятся — порою очень сильно — в оценке того или иного типа тюрем, установленного в них режима и эффективности разнообразных методов перевоспитания правонарушителей. Но все исследователи согласны в частном вопросе, касающемся одиночного заключения. Признавая его самым тяжким видом наказания и констатируя, что не все одинаково его переносят, специалисты установили прямую взаимосвязь между уровнем интеллекта заключенного и степенью приспособляемости к одиночному заключению. Чем ниже интеллект узника, тем быстрее и разрушительнее действует на его психику одиночка. Приученный к размышлению ум, удовлетворяющийся самопознанием дух несравненно более стойко переносят полное отсутствие контактов с людьми.

Брокман не обладал высоким интеллектом. Выражаясь изящным слогом, сады его воображения заросли дремучим чертополохом и не плодоносили, а в темные заводи его души не проникал животворный солнечный свет. И хотя камера, где он содержался, скорее напоминала обыкновенную комнату — ничего лишнего, но все необходимое есть — и имела площадь не менее двенадцати квадратных метров, и несмотря на то, что предыдущая жизнь сделала из него законченного индивидуалиста, Брокман, запертый в четырех стенах впервые за тридцать семь лет своего существования, испытывал такое чувство, словно его телу тесно в собственной оболочке, и ощущал острую потребность хотя бы молчаливого общения с живым существом.

Уже не с каждым днем, а буквально с каждым часом все нетерпеливее он ждал, что его позовут на допрос. Но его не звали. Он начинал злиться, но тут же говорил себе: сам виноват, не надо было заявлять, что отказываешься давать дальше какие-нибудь показания. Он жалел, что, решив отращивать бороду, отказался от парикмахера, а менять решение считал малодушием.

Он пробовал отвлечься, вызывая в памяти картинки из прежней жизни. Но картинки невозможно было остановить и разглядеть, они мелькали, наползали друг на друга и сливались в серое пятно. Он стал просыпаться по ночам по пять-шесть раз. Наконец — чего уж он никак не предполагал—от него ушел аппетит. Тут он понял, что может стать одним из тех неврастеников, которых, как сказано выше, презирал. Всегда тщательно заботившийся о своем здоровье, ибо хорошее здоровье при его профессии было первейшей необходимостью, Брокман с нараставшим беспокойством отмечал, что день ото дня все больше худеет. С ним произошла еще одна странность: ему противен стал дым табака, и он бросил курить.

Он отмечал сутки царапинами на стене. С 14 июля таких царапин уже накопилось одиннадцать. 26 июля в неурочный час — между обедом и ужином, когда Брокман лежал на койке, закинув руки за голову,— в двери камеры неожиданно загремел ключ. Именно загремел, хотя в обычное время, когда приносили еду, звук открываемого замка, который был хорошо смазан, воспринимался совсем не громким.

Брокман рывком вскочил на ноги и застыл, вытянув руки по швам и сжав кулаки. В его позе не было воинственности — одно напряжение.

Дверь отворилась. В камеру вошел Михаил Тульев...

Что испытал Брокман при этом появлении, словами передать невозможно. Михаил видел, как гладкий сухой лоб Брокмана вдруг покрылся крупными каплями пота, капли слились, и пот побежал вниз, на глаза, а Брокман смотрел не мигая, и его неподвижный взгляд был пуст.

Михаил прикрыл за собою дверь и стал перед Брокманом в трех шагах. Так они стояли долго, не менее минуты. Наверное, если бы в это время раздался взрыв или к лицу Брокмана поднесли бы горящую спичку, он ничего бы не почувствовал, не услышал. Он был в столбняке.

— Здравствуй,— сказал Михаил.

Брокман молчал. Михаил обошел его, сел на табуретку к столу. Брокман повернулся к нему, как манекен, и лицо у него было, как у манекена.

— Ты меня узнаешь? — спросил Михаил.

— Мишле,— тусклым, совершенно без всякого выражения голосом сказал наконец Брокман. Он вспомнил фамилию, под которой Монах представил Михаила при их официальном знакомстве перед отъездом в Швейцарию. Настоящей фамилии Брокман, должно быть, так и не узнал.

— Садись, поговорим,— сказал Михаил.

Брокман послушно сел на койку, не сводя с него немигающих глаз. Михаил вынул из кармана сигареты — французские «Голуаз», крепкие, их он всегда предпочитал другим. Это была последняя пачка из привезенных им.

— Кури.

— Почему?..—явно не услышав его, спросил Брокман. Понятно, что он хотел сказать: «Почему ты здесь?»

Михаил сказал:

— Я приехал домой.

Брокман наконец вышел из шока.

— Кто ты, Мишле? — спросил он почему-то шепотом.

— Советский контрразведчик.

— Ты работал на них?

— Говори нормально,— сказал Михаил.— Успокойся. Что-то ты сдавать начал.

— Ты советский? — Брокман никак не мог уложить это в своей голове.

— Я уже сказал: ты плохо соображаешь.

— Ох, кретины, какие кретины.— Облокотившись о колени, Брокман обхватил голову руками и застонал.

— Ты сейчас, как в Гштаадe,— сказал Михаил.— Помнишь, когда увидел тех типов, от Алоиза?

Это подействовало на Брокмана так, словно ему дали понюхать нашатыря.

— Зачем тебя ко мне прислали? — подняв лицо, спросил он совсем другим тоном, уже готовый к сопротивлению.

Михаил посмотрел на него, не скрывая презрения.

— По делу. Но я и сам бы тебя навестил.

— По-дружески? — усмехнулся Брокман.

— Ты, оказывается, еще и свинья,— сказал Михаил.— Память у тебя хорошая, а Гштаад забыл?

— Спасибо хочешь услышать?

— Тебя бы уже давно черви съели, но я не об этом.— Михаил прикурил сигарету от зажигалки, затянулся раз, другой. Он хотел быть поспокойнее. Оторвал от пачки кусок плотной обертки, свернул на пальце кулечек— для пепла. И сказал: — Помнишь, ты рассказывал в Гштаадe, как людей на тот свет спроваживал?

— Я врал, фантазировал,— зло ответил Брокман.

— Может, и так. Но про старика, которого железкой в висок,— это ты не врал. Фамилию его не помнишь?

Брокман не понимал, почему вдруг речь зашла о каком-то старике, которого он когда-то убрал между делом и давно забыл о нем и думать и фамилию которого действительно не мог вспомнить. А когда Брокман чего-нибудь не понимал, он сразу терял почву под ногами. Он не знал, что говорить этому Мишле, который оказался совсем не Мишле.

— Я тебе напомню,— сказал Михаил.— Фамилия старика была Тульев, Александр Тульев. Это мой отец.

Брокман помолчал, соображая, и снова сник.

— Но это чистая случайность... я же не знал...

— Скотина.

Последнее слово Михаил произнес тихо, как будто не для Брокмана, а для себя. И он совсем не ждал того, что произошло дальше.

Брокман вдруг повалился на койку, закрыл лицо руками и заплакал. Он всхлипывал, плечи его вздрагивали.

Михаил встал и начал ходить между столом и дверью, время от времени взглядывая на Брокмана, на его вздрагивающие плечи. Он был взволнован. Когда плачут такие, как Брокман,— это не пустяк, это не всякому дано увидеть. Не потому он лил слезы, что ему напомнили о давнем преступлении. Что для него какой-то старик, хотя бы и оказавшийся отцом человека, спасшего ему жизнь? Так, частный случай. Над всей своей изломанной, страшной жизнью плакал Брокман. И как тогда, в курортном городке Гштаадe, Михаил почувствовал к нему странную, смешанную с презрением, горькую жалость. И вновь, как тогда, подумал, что сам мог бы попасть в такое положение, не окажись к нему судьба чуть милостивее. Михаил остановился перед койкой. Брокман теперь не всхлипывал, он только тяжело дышал.

— Не раскисай,— сказал Михаил.

Брокман повернулся и лег лицом в подушку.

— Я не квитаться с тобой пришел,— сказал Михаил.— Дело есть.

— Говори,— совершенно спокойно, без всякого надрыва, отозвался Брокман.

— Ты напрасно молчал на допросах.

— Я не молчал.

— Но главного не говорил.

— Не знаю, что главное.

— Врешь.

— Чего ты хочешь? — Брокман сел. Лицо его было очень усталым.

— Имей в виду: если человек добровольно сознается во всем на следствии, суд это учитывает.

— При чем здесь суд... Тебя послал тот, который меня допрашивал?

— Да.

— Ему нужен мой тайник, понимаю.

— Не только.

— Ладно. Пусть вызовет.

Брокман в присутствии Павла Синицына рассказал Маркову все, о чем умалчивал раньше,— и о тайнике, заложенном в лесу, и о том, что передал дипломату в сигаретной коробке пленку со снимками, сделанными в квартире академика Нестерова и в районе села Пашина, и со схемой местности, на которой помечен тайник.

В конце его долгого рассказа Марков задал Брокману несколько вопросов.

— То, что вез Воробьев, нужно было там же спрятать или в другом тайнике?

— Где-нибудь недалеко. Но ни в коем случае не вместе. Я выбрал там подходящую точку. На схеме она тоже отмечена.

— Дипломат понадобился, потому что вы лишились рации?

— Пленку я все равно обязан был передать. У меня остался дубликат.

— Где он?

— Дома у Стачевской. Надо показать, сами не найдете. Там и письмо Суховой.

— Дипломат вам нужен был только для этого?

— Нет. Когда пропала рация, оставалась связь только через него. Было бы радио — не было бы открыток и всех этих телефонных переговоров.

— Если бы все сошло благополучно с Воробьевым — что дальше?

— Шестого июля Стачевская позвонила бы по телефону.

— Дипломат и так знал, что Воробьев взят. У Воробьева был билет на самолет, его группа улетела пятого ночным рейсом.

— Звонок был обязателен в любом случае. Раз не позвонила — значит, взяли и ее.

— Стало быть, и вас?

— Мой контрольный срок — десятое июля.

— Тоже звонок?

— Да.

— А потом?

— Потом меня списали.

— Видите, что вы наделали своим молчанием.

— Виноват.

Марков посмотрел на часы — было без четверти девять. Начинало смеркаться.

— Найдете тайник ночью?

— Могу,— сказал Брокман.

Марков отправил его в камеру, предупредив, что скоро за ним придут.

— Да-а, Владимир Гаврилович, если б этот подлец сразу все выложил, шестого июля можно было сочинить хороший сюжет,— сказал Павел.

— Ты-то уж, пожалуйста, без «если бы».— Не скрывая досады, Марков бросил на стол карандаш, который вертел в пальцах.— Сколько езды до Пашина?

— Тогда мы добрались за час с небольшим.

— Семенов еще здесь?

— Домой вернулся.

— Захвати кого-нибудь. Поезжай с Брокманом. Проверь. Если тайник цел — не нарушайте. Отбери одну батарейку. Завтра с утра организуй там наблюдение.

— Слушаюсь, Владимир Гаврилович.

— На обратном пути заедете к Стачевской, возьмете пленку.

— Понял, Владимир Гаврилович. Может, Михаила пригласить?

— Ты же Марию вызвал.

— Они с Сашкой еще не приехали. Завтра утром.

— Ну, как знаешь... Только захочет ли он...

— Захочет, Владимир Гаврилович.

Тайник Брокмана оказался в целости. Павел убедился в этом и оставил все, как было, взяв только одну батарейку — для анализа.

У Маркова не было уверенности, что кто-то обязательно явится за спрятанными батарейками. Но он надеялся на это.

Что давало надежду? Он рассуждал просто. Главное: со стороны тех, кто все это организовал, было бы неразумно оставлять содержимое тайника на произвол судьбы.

Однако изъятие батареек связано с риском: можно попасть в засаду.

Ставя себя на место противника, Марков пытался определить, какие соображения перевесят. И получалась такая картина. Во-первых, раз они послали Воробьева, значит, считали, что до пятого июля Брокман не был известен советской контрразведке. Во-вторых, арестованный Брокман не станет сообщать о тайнике — это равносильно самоубийству. Никаким иным путем о существовании тайника чекисты узнать не могут.

В общем, исходя из этого, надежду свою Марков не считал беспочвенной.

Господин с симпатичной таксой до 2 августа никуда из пределов Москвы не выезжал. 2-го он отправился за город, но совсем не в том направлении, где его ждали,— по Минскому шоссе. С ним в машине, кроме таксы, была молодая женщина. Километрах в пятидесяти от города они съехали на проселок, оставили машину и немного погуляли. А потом вернулись в Москву.

3 августа черный «мерседес» с тем же экипажем в девять часов утра свернул с кольцевой дороги на горьковское шоссе, в десять миновал городок, где до недавнего времени жила Линда Николаевна, а в четверть одиннадцатого машина была в районе села Пашина. Дипломат поставил ее на лугу в тени большой скирды сена.

Женщина взяла таксу на поводок и вышла из машины. Дипломат открыл лежавшую на сиденье большую спортивную сумку с наплечным ремнем, достал несколько фотографий — это были изображения местности, лежавшей перед его глазами: луг, окаймленный лесом. На одной из фотографий — опушка леса и высокий дуб, стоящий особняком. Потом он сличил местность с чертежом, лежавшим между карточками.

Посмотрев снимки и чертеж, дипломат взял сумку и пошел следом за женщиной. Песик, в котором, вероятно, проснулся подавленный городским существованием охотничий инстинкт, тянул поводок так сильно, что женщине стоило труда идти шагом, а не бежать.

До леса было не больше километра, но прежде чем дипломат увидел дерево, отмеченное на чертеже крестиком, им пришлось гулять долго.

Павел Синицын связался с консульским

управлением Министерства иностранных дел в начале десятого — сразу, как только стало ясно, что дипломат направился к тайнику. Чтобы соблюсти все правила, регламентирующие действия официальных представителей властей страны пребывания по отношению к лицам, обладающим дипломатическим иммунитетом, потребовалось время, но в половине одиннадцатого из Москвы по маршруту черного «мерседеса» уже выехали два автомобиля. В одном из них сидел Павел Синицын, в другом — сотрудник консульского управления и сотрудник посольства, соотечественник дипломата с собачкой.

Отыскав дерево, под которым был тайник, дипломат велел женщине прогуляться в сторону шоссе, а сам, достав из сумки литой железный туристский топорик, приступил к делу. Дерн над ямкой, в которой покоились батарейки, был уложен так искусно, что он не скоро определил это место, дважды начиная копать не там, где нужно, но в конце концов нашел.

Когда, откинув рыхлую, не успевшую слежаться землю, он увидел коробку, за спиной у него кто-то деликатно кашлянул. Дипломат, не поднимаясь с колен, оглянулся. Над ним стояли двое молодых людей, рослые, плотные. Они смотрели на него и молчали.

Он положил топорик в сумку и хотел ее закрыть, но один из молодых людей сказал:

— Просим вас, оставьте все, как есть.

— Вы не имеете права ни задерживать меня, ни тем более обыскивать,— сказал он, вставая.

— Мы знаем,— скромно согласился молодой человек.— Мы только убедительно просим вас оставаться на месте. Скоро сюда приедут другие люди, вы с ними и поговорите.

Вид вежливых молодых людей не оставлял сомнений, что бросить все и уйти они ему не позволят, и дипломат, рассеянно поглядев в сторону шоссе, где на лугу гуляла женщина с таксой, сказал:

— Мне нужно поговорить с женой.

— Пожалуйста.

Один из них сходил за его женой. Дипломат сказал ей, чтобы она шла к машине и ждала его там. Она была испугана, но старалась этого не показывать.

Жена дипломата еще не успела достигнуть скирды, в тени которой стоял «мерседес», когда на шоссе появились две машины, шедшие на одинаковой скорости со стороны Москвы. Они свернули на луг прямо через кювет.

Всю дорогу Марии не давала покоя мысль: как-то встретятся сын с отцом? Саша знал отца по единственной фотографии, которую еще лет семь назад привез Марии по ее просьбе Павел. Мария карточку увеличила, отдала в ретушь и повесила портрет на стене в комнате сына. А получил ли Михаил карточку Саши, которую она передавала через Павла, и можно ли ему иметь ее при себе, Мария не знала.

Долгие годы она по необходимости должна была скрывать от Саши правду об отце, придумывала всякие романтические истории о полной опасностей работе на Севере, но по мере того, как сын рос, делать это ей становилось все труднее. И все больше росло чувство невольной вины перед сыном. Особенно больно было, когда однажды Саша пришел со двора заплаканный и убитый и рассказал, что мальчишки, его дружки, не верят ему, говорят, что пусть он не сочиняет сказки про Север, что все это враки, и никакого законного отца у него не было и нет. Мария старалась объяснить ему, что эти недобрые мальчики только повторяют слова каких-то недобрых взрослых и не стоит обращать на них внимания. Она уверяла, что настанет день, и Саша обязательно увидит своего отца, и отец обнимет и поцелует его.

И вот этот день настал, пришла эта долгожданная минута. Поезд щелкал колесами по стрелкам на подходе к Рижскому вокзалу.

Саша, взявшись за поручень, привстал на приступке у окна, Мария стояла рядом, обняв его за плечи.

Встречающих на перроне было мало.

Мария увидела Михаила прежде, чем он увидел ее. Сердце у нее стучало часто-часто, она слышала этот стук. Во взгляде мужа, перебегающем от окна к окну, ей почудилась неуверенность и тревога — наверное, он боялся, что они не приедут или задержатся.

Потом и Михаил увидел их, замахал рукой, улыбнулся и зашагал вровень с окном. И тогда Саша вдруг закричал:

— Папа! Папа!

И так плотно прижался к стеклу, что нос его сплюснулся и побелел.

Поезд стал. Мария, опередив неторопливых соседей по вагону, следом за Сашей быстро пробралась к выходу.

Михаил схватил правой рукой Сашу, левой перенял у Марии чемодан.

Она обняла Михаила и сына. Они стояли и все трое плакали.

Пассажиры, проходившие мимо, поглядывали на них с неким снисходительным пониманием. Но пассажиры не могли их понять, потому что не знали, какой длинный путь был пройден, прежде чем обнялись эти родные друг другу люди.

Окончание следует.

Глава 28

РАССКАЗ СВЕТЛАНЫ СУХОВОЙ

Нейрохирург, сделавший Светлане Суховой операцию на черепе и затем лечивший ее, был опытным врачом. Вначале он остерегался обнадеживать Веру Сергеевну скорым и полным выздоровлением ее дочери, потому что и сам не был в нем уверен. У него имелись основания сомневаться в возможности полного восстановления некоторых функций травмированного мозга. Правда, он рассчитывал на мощные компенсационные ресурсы молодого организма, но многое представлялось ему проблематичным. Однако на третьем месяце лечения стало ясно, что окончательной поправки ждать совсем недолго, о чем он и сообщил с великим удовольствием Вере Сергеевне.

В первых числах августа к Светлане вернулись зрение и слух. Через неделю она стала говорить. До неузнаваемости исхудавшая за полтора месяца, в течение которых ее питали через вены, она быстро начала набирать вес. В конце августа ей позволили встать с постели. В середине сентября Вера Сергеевна взяла дочь из клиники. Домой они дошли пешком — так захотела Светлана...

Для завершения дела Кутепова недоставало лишь показаний самой потерпевшей.

Майор Семенов поговорил с врачом — тот заверил, что она готова давать показания, ее здоровью это не повредит. Пригласив подполковника Орлова к себе, Семенов послал за Светланой машину.

Они не знали, как выглядела Светлана до случившегося, но сейчас увидели высокую, стройную девушку, может быть, излишне полную для своих лет. Смотрела она уверенно. Физическая травма явно не нанесла ей травмы психической.

Беседа была долгой. Светлана рассказывала, Семенов и Орлов слушали, изредка вставляя вопросы.

Вот основная часть рассказа Светланы.

«Весну семьдесят второго мы с Галей Нестеровой ждали с таким нетерпением, прямо дни считали, когда станет тепло. У нас уже много отличных вещей было. Конечно, можно и зимой носить, но одно дело, когда ты идешь в замшевом костюме, а поверх надето зимнее пальто, и совсем другое, когда без пальто. Тут и аксессуары играют, а их у нас тоже хватало,— Пьетро все выбирал со вкусом и в самых разных стилях.

Виктор Андреевич за зиму еще три раза ездил в Италию и навез нам столько — не знали, куда девать, где прятать. Пришлось мне подключить Таню Балашову, нашу, из универмага. Она одна живет, без родителей, у нее и оставить можно и переодеться. Конечно, когда прятать приходится—это сплошное дерганье, но что делать? Продавать вещи жалко было. Мы же не спекулянтки, правда?

Все-таки наши мамочки что-то почуяли. Я своей врала, честно сознаюсь. Ну, она сначала верила, что я в долги влезаю, а потом сообразила: сколько же у меня должно накопиться долгов? И кто это такой добрый нашелся — тысячами дает, а когда получать будет, неизвестно. В конце концов я сочинила историю про пожилого поклонника. Предлагает пожениться. Все подарки от него.

В общем, ничего, обошлось у меня с мамочкой, она у меня добрая, а вредной так и никогда не была, не то что Галкина маман. Но, оказалось, мы с Галкой зря на Ольгу Михайловну грешили, она в данном случае вела себя с большим понятием. Мы думали, объяснять ей насчет моего поклонника и почему он подарки из-за границы присылает — все равно что лапшу на уши вешать, как Леша выражается, то есть абсолютно бесполезно, не поймет. А она все прекрасно поняла, когда Галка ей мою историю рассказала.

Да, я забыла про тот перстень. Галка наплела матери, что у одной ее знакомой студентки тяжело больны родители, надо ехать лечиться на целый год, а денег нет, и вот они решили продать перстень. Ольга Михайловна за семьсот рублей покупать не хотела, говорила, это с ее стороны будет просто грабеж. Она очень хорошо в таких вещах разбирается, почти как настоящий ювелир. Но почему-то не пришло ей в голову спросить: чего ж эти бедные родители в скупку колечко не сдадут? А вообще-то она со странностями, могла об этом просто не подумать. В общем, она сказала, честнее будет предложить хотя бы девятьсот рублей. Галке спорить ни к чему, она взяла девятьсот, Виктору Андреевичу отдали семьсот — сколько просил. Две сотни оставили себе.

У нас с Лешей тогда, между прочим, опять дружба начала налаживаться, хотя он, как увидит меня в заграничном, обязательно начнет подковыривать. Я этого не люблю. Сама умею. Но у него занятно получается, ему простить можно. Ну вот, я его пригласила погулять — на те деньги, конечно,— а он мне чуть по роже не съездил. И с тех пор опять разъехались. Если по-честному, то мне тоже, как и Галке, стыдно было из-за тех двух сотен, но только пока их в сумке таскала, а когда потратила — забыла и про перстень и про эти несчастные рубли. Ну, думаю, никого же мы не обманывали. Виктор Андреевич сам семьсот запросил, Ольга Михайловна сама на девятьсот напросилась, разницу мы оприходовали — с кого спрашивать? Не выбрасывать же, когда тебе дают. Может, я не права, не знаю, но тогда над этим не рассуждала. Меня больше другое задевало. Сейчас скажу.

Вот представьте себе. Живет девушка как девушка, не хуже других. И вдруг подходит к ней красивый молодой человек, иностранец, признается в любви и на следующий день уезжает. Он ей в общем-то до лампочки, несмотря на красоту, но он вдруг начинает посылки присылать в доказательство своей любви, а в письмах пишет, что просто умирает от тоски.

И вот представьте, я тоже понемногу в него влюбилась. Выходит, за тряпки и за колечки? Никуда не денешься — значит, за тряпки. Я вам честно признаюсь — так оно и было, но вы можете верить, что я себя за это презирала. Я себя иногда спрашивала: сколько же ты стоишь? А когда человека можно оценить в рублях — неважно, в тысячах или там в миллионах — это уже не человек, а так, предмет для продажи.

Я никому о своих мыслях не говорила. Галка, знаю, тоже так думала, но тоже молчала. Так иногда буркнет что-нибудь, поворчит неопределенно, а вещи брала одинаково со мной. Тут мы обе хороши, ничего не попишешь.

Но Виктор Андреевич меня всегда удивлял. Как будто у него такой аппарат был — для чтения мыслей. Он, например, все время нас уверял, что от любящего человека подарки принимать не грех и что вообще в большинстве случаев мужскую любовь можно измерить подарками. Если одни слова, а раскошелиться рука дрожит — значит, никакой любви нет. Грубо, конечно, но мне казалось, что доля правды в этом есть. А это успокаивало. Вот так побесишься, побесишься, а потом посидишь с Виктором Андреевичем за рюмочкой — и успокоишься.

Только один раз подозрение у меня появилось. В конце апреля я получила от Пьетро письмо по почте, на универмаг, потому что домашнего адреса я ему не давала. Письмо брошено в Москве. Это было уже после пятой посылки. Читаю и ничего не пойму. Разговор такой, будто ничего между нами нет и не было. Просто вежливое послание девушке. Даже спрашивает, не совсем ли я его забыла. И про Виктора Андреевича ни гу-гу. А он же вроде специального курьера между нами. И, пожалуйста, о нем ни звука, даже и привет не передает. А почерк тот же... Хотя какой почерк? Так, наверное, все первоклашки пишут. А в самом конце маленькими буквами написано, что он приедет в Советский Союз и не позже двадцать третьего мая будет в нашем городе.

Я сдуру показала это письмо Виктору Андреевичу. И вы знаете, первый раз тогда видела его расстроенным. Еще подумала: вот как можно обидеть человека.

Мы тогда сидели и разговаривали в «Пирожковой», знаете, там столики прямо около тротуара стоят, на открытом воздухе. Виктор Андреевич мне бутылку «Байкала» взял, а себе минеральной, ничего спиртного там не продают, мне просто пить захотелось. А у меня как раз чулок поехал — о стул зацепила. Чтобы петля дальше не спустилась, надо прижечь, а Виктор Андреевич не курит. Я тоже давно бросила. Ну, я его и попросила у кого-нибудь стрельнуть. Он сходил через дорогу в ларек, принес пачку сигарет и спички. Я закурила, прижгла чулок и машинально раз-другой затянулась, даже тошно стало.

Окончание. См. «Огонек» №№ 17—29, 31—35.

Возвращение резидента

Олег ШМЕЛЕВ
Владимир ВОСТОКОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки М. ПЕТРОВОЙ

И надо же, тут мимо проходил Витек, парнишка из нашего двора, Лешин адъютант. Ну и, конечно, увидел меня. А он не только глазастый, но и вредный иногда бывает. Рассказал моей матери. Та в слезы, у нее глаза на мокром месте. «Опять пьешь, опять куришь, не доведут тебя до добра такие знакомства» — и так далее...

В общем, после той встречи мы с Виктором Андреевичем долго не виделись. Правда, звонил и мне и Галке, но, по-моему, он и сам встречаться не очень хотел. Вроде отпуск себе взял и нам тоже дал отдохнуть.

В это время я пыталась с Лешей поговорить... Нет, конечно, чтобы наладить все как раньше — об этом смешно говорить. Он сильно обиделся на меня, я знала. А у меня в голове один Пьетро... Но я думала: почему мы с ним должны быть врагами? Он славный. И мы же по-настоящему дружили... В общем, я к нему первая подошла, он с ребятами около нашего парадного стоял, а я с работы возвращалась. Позвала его в сторонку, чтобы не при всех говорить, а он: «Что, Светлана Алексеевна, старички уже надоели?» А ребята ржут, довольны.

Да-а, такие дела... Ну, а потом — это после майских праздников было — Виктор Андреевич опять пожелал нас видеть, катал на машине и про племянника рассказывал, о котором раньше говорил. Сказал, что скоро сюда приедет дней на пять повидать дядю. Очень он его Галке нахваливал, прямо сватал.

Двадцатого мая Виктор Андреевич позвонил мне вечером домой и попросил разрешения повидать меня завтра, но без Галины, одну. Сказал, есть деловой разговор. Я подумала: опять едет в Италию.

Мы встретились в половине девятого, еще светло было. Он ждал меня в своей машине на улице Тургенева, возле сквера. Поехали по Московскому шоссе, он сказал, посидим, если я захочу, в ресторане «Лесной», это километров двадцать от города, вы, наверно, знаете. Но в ресторан мы не попали... Мы до «Лесного» не доехали. Виктор Андреевич свернул на какое-то другое шоссе, потом на проселок и предложил выйти погулять. Ни о каких делах до той минуты он не заикался. Вообще всю дорогу непривычно как-то молчал.

И вдруг... Чего угодно ждала, только не этого. Он говорит:

— Должен вам сообщить, Светланочка, мы попали в очень неприятную историю.

Спрашиваю:

— Кто это мы?

— Вы и я,— отвечает,— и отчасти Галя и ее мама тоже. Но в основном вы и я.

— Объясните,— прошу его, а у самой все внутри дрожит, нехорошо даже.

Ну, он объяснил.

— Как вы считаете, — говорит, — кто такой Пьетро Маттинелли? Он работал здесь в качестве инженера. Это верно, он и есть инженер. Но не только. Главная его работа носит секретный характер, понимаете? Вы удивлены? Я тоже был удивлен, но несколько раньше. И был так же напуган, как напуганы сейчас вы, моя дорогая.

— Чего вы от меня хотите? — спрашиваю.— Зачем я вам нужна?

— Не мне вы нужны,— сказал он.— Я только исполняю волю других.

— Но при чем здесь я?

Он в тот момент совсем на себя не был похож. Буквально незнакомый человек со мной разговаривал, как будто первый раз его видела. Глаза злые, усмешечка такая и даже голос другой. Говорит:

— Нет, дорогая девушка, сейчас я буду вопросы задавать. Вы сколько посылок получили? Если на деньги перевести — какую сумму это составит? Не считали или все-таки считали? А тот перстенек с изумрудом — он разве семьсот рублей стоит? И почему же вы его в скупку не сдали? Себе оставили или кому-нибудь уступили? Уж не почтенной ли Ольге Михайловне?

Я молчала, потому что ответ на каждый свой вопрос он сам заранее знал, это ясно. А что я могла добавить? У меня просто язык отнялся. Он дальше:

— Вы девушка умная, поэтому я обращаюсь к вашему разуму и прошу понять меня правильно. Ничего страшного не произойдет, если вы будете строго следовать моим наставлениям и хранить наши новые отношения в глубокой тайне.

— Какие же у нас будут отношения? — спрашиваю.

Он словно облегчение почувствовал, даже рассмеялся. И объясняет:

— Все останется по-прежнему, не беспокойтесь. Но вы, как только мы с вами договоримся, будете не просто девушкой Светланой, которая очень нравится Пьетро Маттинелли, но его ценной сотрудницей. А руководить вами он будет через меня. Повторяю, все это не столь трагично, как может показаться на первый взгляд.

— Но что я должна делать? — спрашиваю.

— Ничего особенного. Это даже нельзя назвать делом. Вы имеете большое влияние на людей, которые вас знают. Вот это мы и будем использовать.

До этого момента я была как оглушенная. Что-то спрашивала его, а в голове ничего не оставалось. Чувствую, творится что-то гадкое, подлое, а умом понять не могу. Но наконец-то до меня дошло. И злая я стала. И страшно сделалось. Даже подумала: может, все это просто шутка? Вот сейчас он кашлянет в кулак — он всегда так делал, когда собирался поострить, — и скажет, что разыгрывает меня. А он говорит:

— Вы, Светланочка, скоро увидите: все прежние подарки — мелочь по сравнению с тем, что вы сможете иметь, если будете меня слушаться.

Мне захотелось поскорее в город, домой, к маме. Так тошно, прямо сил нет.

— Едем отсюда,— прошу его. Между прочим, уже давно стемнело, и жутковатым мне показалось то место.

Он говорит:

— Еще минуту, мы не закончили нашу беседу. Вы должны сказать либо да, либо нет. Но во всех случаях я теперь вынужден заручиться вашим обязательством никому ни о чем не рассказывать.

— Расписку вам давать, что ли? — спрашиваю.

— Это ненадежно,— сказал он.— Мы придумаем более верные гарантии. А сейчас я должен вас предупредить: о нашем разговоре вы не имеете права сообщать даже Пьетро. Сам он об этом спрашивать вас, разумеется, не будет.

Тут только я подумала, какую же комедию целый год разыгрывал со мной этот Пьетро. И какой же надо быть сволочью и как нас с Галкой купили. Ненавидела я себя в ту минуту лютой ненавистью, как гадину последнюю. Губы себе все искусала до крови, чтобы не разреветься.

— Поедемте отсюда,— прошу его. Но он не торопится. Решил ковать железо, пока горячо. Говорит с издевочкой:

— Я понимаю, у вас незавидное положение и чувствуете вы себя скверно, но что же поделаешь? Уверяю вас, дорогая Светланочка, уже завтра вам станет значительно легче, а через неделю вы поймете, что ровным счетом ничего не произошло. Ну какая из вас шпионка? Вы же еще, в сущности, ребенок, а те маленькие услуги, о которых я вас буду просить, они же безобидны, как детский поцелуй.

Я застонала от тоски, и тут он добавил:

— Но если вы кому-нибудь проговоритесь — знайте: это будет стоить жизни и вам, и вашей матери, и тому, кто узнает нашу тайну.

До чего же ты докатилась, думаю. Если этот старый подонок не побоялся тебе в открытую говорить такие вещи — за кого же он тебя считает? Значит, уверен, что и ты гадина, которую за красивую тряпку можно с потрохами купить. Было бы что под руками, честное слово, я бы его убила.

— Мы уедем отсюда в конце концов? Или я уйду! — кричу ему.

Он мне руки больно сжал и говорит:

— Потише. Я вам все сказал. И не сомневайтесь, все так и случится, если вы не пожелаете держать язык за зубами.

Было уже, наверное, половина двенадцатого, когда мы приехали в город. Я хотела выйти из машины у первой трамвайной остановки, но он сказал: «Подвезу к дому». Ладно, думаю, все равно. Я уже решила, что надо делать. Приду, позвоню Лешке, попрошу зайти за мной, и вместе пойдем в КГБ, от нас десять минут пешком. Успокоилась, хотя очень курить захотелось.

Мы ехали к моему дому со стороны гаражей. Там и у Леши есть гараж для мотоцикла — он называет стойло. И вот, не доезжая до этого места, машина вдруг заглохла. Он сказал, кончился бензин. Я вышла, он тоже и говорит: «Я вас провожу». Я говорю, не надо, а он меня догнал и идет сбоку. Там узенький асфальт положен, вдоль забора тянется. Он спрашивает тихим голосом:

— Так мы договорились?

Я молчу.

— Светлана, вам же хуже будет, подумайте.

Не выдержала я, говорю:

— Сволочь проклятая, тебе в тюрьме место. Тут, наверное, он меня и ударил...».

Отправив Светлану домой, Орлов и Семенов еще посидели в кабинете.

Двойственное чувство вызвал у них ее рассказ. Им не понравилась манера изложения, но дело было не в лексиконе.

— Вот и спрашивай после этого: осознала или не осознала? — сказал Семенов.

— Неистребимая молодость,— иронически заметил Орлов.— Ты обратил внимание: она таким тоном говорит, как будто вообще ничего особенного не произошло... Ну, подумаешь, шла по дорожке, о камушек споткнулась, нос разбила...

— Тут ты немножко не прав,— возразил Семенов.— Она же не колебалась, что ей делать. Сразу решила заявить, куда надо. Поняла, что дело серьезное.

— Верно. Но она и до этого тоже не колебалась — брать или не брать все эти подарочки. Брала спокойно. И ничего не понимала. А скажи ей об этом — она бы посмеялась: отсталые взгляды и так далее. Оттрепать с самого начала как следует — все бы отлично поняла.

— Ты слишком суров. Это непедагогично,— сказал Семенов.

— Согласен, педагогической жилки у меня нет. Но нам с тобой еще придется с ней беседовать на эту тему. Как ты ее собираешься вразумлять? Такие, как она, журавля в небе не признают, голым призывом их не проймешь. На них действует только то, что можно пощупать руками.

Семенов видел, что Орлов по-настоящему расстроен рассказом Светланы Суховой. Он и сам в основном был с ним согласен. Но у них так уж повелось чуть ли не с момента знакомства, что всякий разговор превращался в дискуссию, в которой один был оппонентом другого.

— Я бы прежде всего показал ей, где именно и на чем она споткнулась,— сказал Семенов.

— А где? На чем? Как ты разложишь все это по полочкам?

— Ну, разных полочек тут хватает.

— Хорошо. Ты ей скажешь: все началось с легкомысленного знакомства. А она тебе скажет: знакомиться можно где угодно и с кем угодно, в том числе и с иностранцем. Так?

— Так и не так.

— Дальше. Ходила в рестораны и выпивала. А разве это запрещено совершеннолетнему человеку?

— Нет. Но надо знать меру.

— Она тебе ответит: а кто эту меру установил? И потом они же ходили с солидным человеком. Дальше. Принимала дорогие подарки от малознакомого мужчины. А почему не принять?

— Нужно иметь чувство собственного достоинства,— скажу ей я.

Орлов усмехнулся.

— Собственное достоинство руками не пощупаешь. А красивые вещи можно надеть. Ты ее — отвлеченным понятием, а она тебя — тряпкой, и семь — ноль в ее пользу.

— Подожди, Михаил Петрович,— возразил Семенов.— Ты ее совсем уж отпетой считаешь, непробиваемой.

— Не ее. Я тебе просто воспроизвожу возможный вариант душеспасительной беседы. Сухова — не пропащий человек, возможно, я на нее грешу. Я про то, что есть люди — ничем не удивишь, ничем не проймешь, хоть кол на голове теши. Знаешь, сейчас много таких бывалых развелось. Ты ему говоришь: у меня в ванне крокодил живет, вчера напился виски, уснул с горящей сигаретой, пожар устроил, пожарные приехали — он дверь не открыл, послал их подальше. А бывалый тебе: ну и что?

— На то он и бывалый,— сказал Семенов.

— Правильно, и черт бы с ним. Но бывалые — они же еще и широкие натуры. Не в смысле попировать, хотя за чужой счет и это могут. У них, видите ли, широкие взгляды. Терпимость и снисходительность.

— А чем это плохо — терпимость и снисходительность?

— Тоже правильно, прекрасные вещи. Но только не за чужой счет. Ты попробуй проверить их собственную терпимость. Наступи на любимую мозоль. Ого-го! Крику не оберешься.

— Тебе не кажется, что мы немного отклонились от темы? — спросил Семенов скорее риторически.

— Нисколько.

— Но все-таки нельзя во всем винить одну Сухову и ее подругу. Они живут не в безвоздушном пространстве.

— Ты хочешь сказать: куда смотрел коллектив и родители?

— Да. Обычно именно этот вопрос встает в подобных случаях.

— Видишь ли, мы с тобой уподобились резонерам. Мне это не нравится, я закрываю диспут.

ЭПИЛОГ

Остается сказать несколько слов в заключение.

Истории, аналогичные той, в которой принимали участие Брокман и руководивший его действиями на территории Советского Союза сотрудник разведки, прикрывавшийся дипломатическим паспортом, к сожалению, не единичны. О некоторых сообщалось на пресс-конференциях и в периодической печати.

Цели иностранных разведывательных ведомств остаются неизменными — методы меняются. Советские контрразведчики, свято хранящие высокие чекистские традиции, вскрывают тайные враждебные акции во всеоружии профессиональных знаний и опыта. И как бы ни изощрялась агентура зарубежных разведцентров, все тайное неизбежно становится явным. Так было, есть и будет.

Что касается личных судеб агентов, прошедших перед читателем, то каждому воздалось по делам его. Был суд, и их приговорили к различным срокам лишения свободы.

Копия обвинительного заключения и копия приговора были подшиты в последний том дела, в котором хранились документы, относящиеся к операции «Резидент». И на этом операция закончилась.

Роман

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

ГЛАВА I

...Алексей Дедушкин грустно смотрел на меня бархатными черными глазами.

— Мне стыдно за вас...— сказал он своим глубоким мягким баритоном.

Вот так. Ему было стыдно за нас. Или, может быть, только за меня, а за Сашку Савельева не очень? Нет, скорее всего за нас обоих, потому что беседовали мы втроем, и Савельеву он был обязан нашей встречей даже больше, чем мне.

И хотя мне тоже было стыдно за свое поведение, а уж про Сашку-то и говорить нечего, я спросил Дедушкина:

— Все-таки расскажи мне, Дедушкин, за что же тебя наградили этим орденом?

Дедушкин достал из кармана белый платок, промокнул быстрым движением глаза. Платок отвел от лица, развернул за уголки и внимательно посмотрел в него, как фокусник во время представления. Но, к моему удивлению, из платка не вылетел голубь и не полезли бумажные цветы. Он просто снова сложил платок и спрятал его в карман.

— Прошу прощения, но предмет разговора мне пока неясен. Впрочем, я попытаюсь удовлетворить ваше любопытство и...

И начал в пятый раз излагать какую-то фантастическую историю о болгарском друге, с которым он познакомился несколько лет назад в Крыму, как однажды купались в штормовую погоду, и болгарин стал тонуть. И вот тогда, мол, Дедушкин, рискуя жизнью, вынес его из пенных волн. Придя в себя, спасенный снял с пиджака орден, которым его наградили во время войны за героизм, и подарил своему спасителю.

— ...И, уж извините меня, храню его, как память,— закончил он свое прочувствованное выступление.

Почти в каждое предложение Дедушкин вставлял «прошу прощения», «уж извините», но его полный сдержанных модуляций голос дрожал от обиды, и если ты не потерял совесть, то должен был понять, что извиняться, конечно, надо тебе самому. И у Саши Савельева был вид человека, уже осознавшего себя прохвостом и примирившегося с этим навек. Поэтому он робко спросил Дедушкина:

— А что, старый или молодой был болгарин?

Дедушкин высокомерно усмехнулся:

— Почему же это «был»? Он еще совсем не старый человек...

Изобличенный в невежестве, Сашка совсем сник и горестно заначал головой:

— Ай-яй-яй! Вот ведь беда какая! Теперь все совсем запуталось...

— Простите, я не пойму, почему? — с достоинством спросил Дедушкин.

Сашка быстро взглянул на меня, усмехнулся:

— Да, по нашим расчетам, получается, что вашему болгарскому другу, гражданин Дедушкин, должно быть сейчас лет эдак сто двадцать.

— Извините меня, но я не совсем...

Я взял со стола золотой крест с бриллиантами на муаровой ленточке и показал Дедушкину:

— Это орден времен русско-турецкой войны. Вот здесь, на обратной стороне, написано...

Дедушкин взглянул мне в глаза, и море стыда за все человечество затопило меня. Теперь Дедушкин стыдился не только за нас с Сашкой, но и за своего, неведомого нам болгарского друга:

— Значит, он обманул меня...

— Ага,— сказал радостно Сашка.— Я-то все волновался, что это вы нам не говорите правды, а оказалось, что наврал этот прохвост. Слава богу! Теперь надо узнать, как к вам попал этот роскошный чемодан, набитый заграничными вещами,— и наше маленькое недоразумение будет улажено.

— А он, наверное, спас иностранца во время авиационной катастрофы,— невинно предположил я и повернулся к Дедушкину.— И за это иностранец наградил тебя своим чемоданом. Нет?

Старый поездной вор Алеха Дедушкин по кличке Батон достал из кармана свой замечательный батистовый платок и проделал с ним полный цикл фокуснических манипуляций. Потом грустно сказал мне или нам обоим:

— Вы дурно воспитаны...

Леха Дедушкин, опытный вор-«майданщик» — специалист по кражам на вокзалах и в поездах, был моим старым знакомым. И, услышав это скорбно-интеллигентное — «вы дурно воспитаны»,— я просто захохотал, поскольку с этих слов началось наше с ним знакомство восемь лет назад. Тогда он совершил непростительную для профессионала ошибку — оставил у себя редкой красоты краденые часы. Он носил их в верхнем кармане пиджака на плоской платиновой цепочке, закрепленной изящной запонкой в петлице на лацкане. По этой-то цепочке я его и высмотрел, довольно бесцеремонно вытащил ее вместе с часами из кармана, и часы повисли на лацкане, как военная медаль. Тогда-то он мне и сказал: «Вы дурно воспитаны». И весь он — седеющий, очень элегантный, с часами-медалью на груди — изображал такую скорбь по поводу моей невоспитанности, что я растерялся и с развязностью пристыженного мальчишки сказал ему, чтобы он лучше о себе подумал, что воровать в его возрасте стыдно, и что... и что... В общем, доставляя Батона в дежурную часть, я рассказал ему много всяких пламенных глупостей, и он слушал меня, не перебивая. Потом сказал с усмешкой:

— Да-а, пижонство вора погубило...— и с неожиданной злобой добавил: — Ненавижу я вас, сопляков из уголовки. Работать вы еще не умеете, но усердия и страсти на десятерых. Ты бы взглянул на себя — у тебя от возбуждения сейчас температура. Под сорок... Щенок.

Дело прошлое, но сейчас-то я могу честно сказать, что еще много лет не мог забыть и простить Батону «сопляка», которым он меня наградил при знакомстве. Я даже заранее придумал несколько остроумных и ехидных шуток, которые я скажу ему, если доведется когда-нибудь его снова задержать. Но жизнь мало заботится об удовлетворении нашего копеечного тщеславия. Медленно, но неустанно трясет она нас в своем жестком сите, и постепенно опадает всякая труха, забываются глупости и мелочи, исчезают вздорные иллюзии, пока не остается твое человеческое ядро. Правда, мне доводилось видеть, как человек целиком превращается в шелуху, или, может быть, и не было у него ядра, только посмотришь на такого и с ужасом обнаруживаешь, что рядом с тобой человек целиком ушел в отходы. Да, но я не об этом. Я к тому, что много лет мне понадобилось, чтобы понять: ничего, во-первых, нет радостного в том, что я снова поймал Батона. Во-вторых, никаких слов мне не надо, чтобы доказывать ему свое нравственное и физическое превосходство, поскольку он проиграл свою партию еще до свистка. Ведь дело не в том даже, кто из нас умнее, наблюдательнее или быстрее бегает, а в самом характере наших взаимоотношений: я всегда преследую его, я всегда в атаке. Батон всегда должен скрываться, всегда бежать. Ну, и, в-третьих, я только сейчас сообразил, что Батон был прав, назвав меня щенком тогда. И неожиданно мне стало жаль этих своих безвозвратно ушедших лет, того душного вечера на товарном дворе Киевского вокзала, где остро пахло свежими сосновыми досками, угольной гарью, вишнями, и все всплыло в моей памяти, будто я просматривал ролик цветной кинопленты, на которой было не только изображение, но и звуки, и запахи, и все мои волнения. Я видел нас обоих, будто не было восьми лет, и мы все еще стоим во дворе Киевского вокзала — спокойный, прекрасно одетый Батон с часами-медалью на груди, и я — злой, тощий, с модненькой в то время прической ежиком и торчащими рубиновыми ушами, в скверном, все время мнущемся, несмотря на мои ухищрения, костюмчике, старающийся выглядеть уверенным и спокойным и от этого еще более взволнованный и неловкий. Я помню даже тополиные пушинки, которые Батон сбил с рукава точным и легким щелчком, и его злобно-презрительное — «щенок». Но в тот момент я еще не мог вспомнить слов, что сразу всплыли в памяти сейчас, через восемь лет, и которые он произнес за несколько минут до «щенка». Он сказал тогда: «Вы дурно воспитаны». И когда он сейчас это сказал, я почувствовал себя полностью отмщенным за того давнего «сопляка» и «щенка»...

— Да, не сильно ты вырос за это время, Батон,— сказал я весело.— За восемь-то лет мог бы придумать что-нибудь поновее...

Батон, не глядя на меня, ответил с большим достоинством:

— Последние восемь лет я был занят обдумыванием своего тяжелого прошлого и пришел к твердому решению жить по закону. А ваши выходки, гражданин Тихонов, оскорбляют мое человеческое достоинство и, надеюсь, станут предметом принципиального разговора у руководства московской милиции.

Ага, даже по фамилии помнит. Я сказал:

— Что и говорить, Батон, ты человек с трудной судьбой. Между прочим, ты что, полагаешь, что каждая кража чемодана становится предметом обсуждения у руководства, да еще принципиального?

— Я ваших порядков не знаю, но ни к какой краже отношения не имею.

— Это ясно,— кивнул я.— Правда, я не понимаю, зачем тебе вся комедия. Через час в сводку попадет заявление гражданина, у которого украден этот чемодан, и твоя очередная легенда получит неожиданное завершение. Как в рассказах О'Генри.

Батон пожал плечами, показывая, что все мои домыслы не имеют к нему никакого отношения. Если бы это происходило не сейчас, а восемь лет назад, я бы, наверное, испытывал немалое злорадство, представляя, как с минуты на минуту явится потерпевший и расскажет, при каких обстоятельствах Батон украл у него чемодан. Но сейчас я не испытывал никакого злорадства, потому что прошло восемь лет, и я был уже не щенок, и хорошо знал, что Батон и при опознании, и на следствии, и в суде будет выступать оскорбленным праведником, так и уйдет в тюрьму. И никакого удовольствия от того, что Батон не считает меня больше сопляком, я тоже не испытывал. И это было правильно, потому что первый раунд Батон выиграл у меня и в этот раз. Пускай случайно, а выиграл. Но узнал я об этом немного спустя.

— Что еще есть в вашем чемодане? — спросил Савельев, и я от неожиданности вздрогнул, потому что он так долго сидел молча, а я так погрузился в свои воспоминания, что совсем забыл о нем. Сашка держал в руках дорогой японский фотоаппарат марки «Никон».

— Да всякая чепуха.— Батон посмотрел на Савельева, потом внимательный взгляд его ощупал роскошную камеру. Немного помолчав, он небрежно махнул рукой: — Фотоаппарат, например...

Я сказал Сашке назидательно:

— Учитесь, товарищ капитан. Вот прекрасный образец бессребреничества и душевной широты: гражданин Дедушкин считает чепухой аппарат, который стоит больше, чем он заработал за всю свою долгую трудовую жизнь.

Но Батона такими пустяками не выведешь из равновесия. Он четко гнул раз и навсегда выбранную линию. Он смотрел на меня своими грустными умными глазами, точно такими, как на старых иконах или у актера Миши Козакова, и говорил снисходительно-вежливо:

— Ну, зачем же вы со мной так, гражданин Тихонов? Помимо того, что вы еще ничего не доказали насчет этого чемоданчика, вы хоть с возрастом моим считайтесь: я ведь почти вдвое вас старше...

Ах, молодец, ах, и нахал! Ведь прекрасно знает, что я сам раскапывал его «биографию» и доказал тогда, что ему на пятнадцать лет меньше, чем он приписывает себе, и в этом

году ему исполнится только сорок четыре года, но все равно — прет, как танк. Ладно, мы ведь не на товарном дворе Киевского вокзала, и я, к сожалению, уже не щенок. Так, во всяком случае, я думаю.

— Вдвое, значит?

— Вдвое. Почти вдвое,— кивнул Батон.

— А я, значит, дурно воспитан и поэтому неуважительно разговариваю с тобой?

— Точно,— подтвердил Батон.— А я разговариваю с вами уважительно... Между прочим, на «вы»...

— Так оно и должно быть,— подтвердил я.— Если рассматривать тебя с точки зрения социальной, ты обязан называть меня дядя Стас.

Савельев не удержался и хихикнул, а Батон на мгновение сбросил рубище страждущего святого и с интересом спросил:

— Это еще почему?

— Пожалуйста, объясню. Ты же знаешь, Батон, у нас в МУРе точность, как в бухгалтерии.

Я придвинул к себе неведомо как попавшие сюда счеты и стал бросать на них костяшки.

— Значит, ты всем рассказываешь, что тебе пятьдесят девять лет. Но ведь мы-то с тобой точно знаем, что отмаялся ты на этом грешном свете пока что сорок четыре. До пенсии тебе еще далеко, да и платить ее тебе не за что. Итак, сойдемся на сорока четырех.

— Допустим,— осторожно согласился Батон.

— Прекрасно. Из этой достаточно почтенной цифры вычтем семнадцать. Это годы, когда ты перевоспитывался исправительно-трудовым способом, или, иначе говоря, пребывал в местах заключения. Остается двадцать семь. Между арестами у тебя имеются «окна» общей протяженностью в двенадцать лет. За этот срок ты напряженно трудился в течение семи месяцев. Чтобы ты не говорил, будто я стараюсь тебя ошельмовать, гляди, я заношу эти семь месяцев в твой социальный актив. Честно?

— Честно! — подтвердил Батон. Видимо, его самого заинтересовала придуманная мной игра.

— Восемь лет, проведенных в средней школе, уж извини, я не могу тебе никак засчитать...

— То есть как это не можете? — возмутился Батон.

— А очень просто! Не могу, и баста! Ты эти годы был на иждивении у государства и родителей! Ты эти годы должен был еще отработать, а вместо этого шатался по тюрьмам. Поэтому я их вычитаю из первых младенческих семи лет, когда с тебя еще спроса никакого не было. Прибавляем семь месяцев твоего рабочего стажа и получаем весьма неутешительное сальдо: с общественной точки зрения тебе на сегодняшний день минус пять месяцев. Поэтому я отменяю свое разрешение называть меня дядя Стас — ты ведь еще даже говорить не научился. Так что обращайся ко мне просто: «гражданин инспектор Тихонов».

Я стряхнул все костяшки на счетах и строго спросил:

— Все понятно?

Батон равнодушно пожал плечами. Он так увлекся нашими подсчетами, что совсем не подготовился к Сашкиному вопросу:

— А пленка в аппарате есть?

Батон резко повернулся к нему:

— Не знаю. То есть не помню... Я очень давно фотографировал...— Потом обернулся ко мне, и глаза у него уже были не грустные и совсем не такие, как на старой иконе, и у Миши Козакова я никогда не видел таких палящих злобой глаз.— Разговоры со мной разговариваете, гражданин старший инспектор? Вот вы сначала докажите, что я чемодан увел, а потом разговаривать будем...

— Докажем, Дедушкин, докажем. Ты об этом не беспокойся,— весело сказал я. Но было мне в этот момент не особенно весело, и в глубине души нарастало беспокойство, потому что не было никаких сигналов от потерпевшего, а без хозяина чемодана мы ровным счетом ничего не сможем доказать, и тогда надо будет Батона отпустить, предварительно извинившись. И пока я вел все эти изнурительные для меня, непринужденные разговоры с Батоном, не покидало предчувствие, что здесь не все ладно, и я с нетерпением ждал известий о хозяине чемодана. Мне еще было невдомек, что владелец чемодана заявить о пропаже не может...

ГЛАВА 2

Сонный милиционер сказал Батону:

— Ну, пошли, что ли?

Тот встал, чинно поклонился нам, перекинул на руку плащ и гордо понес к дверям красивую седеющую голову. Глядя на Батона, я подумал, что все его коренастое, корявое туловище — только приспособление для ношения головы, значительной, крупной, вознесенной вверх, как у деревянной статуи на носу парусного фрегата. Милиционер посторонился в дверях, пропуская его, и Батон снисходительно кивнул. Посторонний человек, наблюдая их, наверняка бы решил, что это ненароком заглянул сюда какой-то министр и сейчас в сопровождении милиционера обходит наши скромные апартаменты.

— Крупная сволочь этот твой старый друг Дедушкин,— задушевно сказал Савельев.

— Да-а? — удивился я.— Не совсем так. Это определение не для него.

— А какое же для него? — насмешливо глянул на меня Сашка.

— Враг. Стал бы я с ним четыре часа разводить тары-бары, если бы он был просто сволочь. Но он нам враг и требует серьезного отношения.

— И что будем делать?

— Если Батон сообразит, что у нас нет потерпевшего, дело швах. Но я и сам не могу понять, почему до сих пор от него не поступило заявления.

Сашка уверенно сказал:

— Ничего страшного. Хозяин за эти четыре часа мог еще не хватиться чемодана, а сейчас, пожалуй, уже спит. Утром обнаружит пропажу и заявит...

— Да-а? Ты так думаешь? — переспросил я с надеждой.— Я тоже хочу так думать.

— И что?..

— Не могу.— Я говорил с ним нарочно снисходительным тоном, чтобы позлить его, тихо посклочничать, немного встряхнуться.— Ты ведь мыслишь, как все лирические поэты, категориями благоприятной надежды, а я человек прозаический: смотрю на вещи трезво, а потому скучно.

Ага, глаза у Сашки сухо заблестели, это уже кое-что значит.

— Ты даже не прозаический. Твой жанр — на уровне инструкций и формуляров. Но все равно соблаговоли поведать, чего ты там придумал. У тебя же на лице написано страстное желание пообъяснять.

Я лениво потянулся, спросил:

— Так что с чемоданом?

— А я сам не знаю. Я ведь и не говорил, что у меня есть какие-то предположения. Просто я не верю в рассеянность этого потерпевшего.

Сашка сердито уставился на меня. Я встал, обнял его за плечи, засмеялся:

— Брось, старикан. Ничего мы сейчас с тобой не придумаем: это задачка по линии математического бреда. А трехмерные упражнения мы с тобой в уме решать не умеем. Так что все равно ничего не получится.

— Да перестань ты выкаблучиваться! — прорвало наконец Сашку.— Надо сесть и подумать, в каком направлении искать...

— Вот именно: в каком направлении искать,— обрадовался я.— Хорошо, что мы с тобой сидим сейчас на Киевском вокзале и точно знаем: поезда отсюда уходят только в юго-западном направлении СССР, где расположена четверть советских городов и населения. Поэтому остальные три четверти мы можем не проверять...

Савельев сделал протестующий жест, но я успел договорить:

— Это при условии, что ты прав и пассажир еще едет в поезде. А если он ехал в Москву?

— Ну и что! Надо построить несколько рабочих версий и...

— Давай. Тем более что из всех известных мне видов строительства это самый дешевый и неутомительный...

Мне уже самому надоело балаганить, да и Сашке тоже, и игра потеряла интерес. Конечно, вся эта история не представлялась мне тогда ни сложной, ни интересной. Просто меня удивляло, что не появляется пассажир, у которого Батон украл чемодан. А может быть, меня это и не удивляло, и придумал я это все потом, тем более что сильно удивляться или волноваться не было оснований: ведь прошло всего несколько часов после кражи. Но, во всяком случае, тогда я отнесся ко всей этой истории довольно спокойно, иначе я бы не стал дожидаться утра. Правда, Сашка Савельев потом доказывал мне, что при всем желании мы бы не могли разыскать потерпевшего в эту ночь, и даже если бы мы его нашли, то только все испортили. Но, честно говоря, я до сих пор не верю, будто самый верный путь к истине обязательно идет через ошибки. Во всяком случае, Батон выиграл у меня и в этот раз, так как мне было известно, что я уже не щенок и не сопляк. И я знал это точно, а потому был уверен, что никуда он от меня не денется. За это пришлось потом дорого заплатить. Но я уже привык к мысли, что процесс нашего возмужания — это вроде вступления в какое-то труднодоступное общество, и, чтобы вступить в этот «Клуб опытных людей», надо много и дорого платить — годами жизни, огромными разочарованиями, иногда болью и кровью. За это получаешь опыт, или, как говорили раньше, житейскую мудрость. Штука необходимая, избавляющая, в частности, от унизительного сознания, что ты щенок. И как только избавился — тут тебе и крышка. Обязательно садишься в лужу, потому что в каких-то вещах мы до смерти остаемся щенками и, когда уходит это понимание, теряем готовность к встрече с неожиданностью, которая берет за шиворот и начинает тыкать носом в нашу замечательную житейскую мудрость: «Ты же ведь больше не щенок? Ты же член «Клуба опытных людей»? Давай, давай, реши-ка, реши мои задачки!» Короче, я допустил ошибку. Или мы с Сашкой ее допустили. Но виноват в ней больше был я, потому что я был опытнее, потому что я был меньше щенок. И много, очень много дней и ночей, недель и месяцев я исправлял свою ошибку, чтобы, поняв и исправив ее, решить всю проблему в целом и этим заплатить за гордое сознание, что я уже не щенок.

Я сказал Сашке:

— Хорошо, давай подождем до завтра. Если пассажир завтра не объявится...

— Да куда он денется? — резонно возразил Сашка.— Кроме того, завтра можно будет связаться с линейными отделами милиции. Кого ты сейчас вечером, да еще в субботу, найдешь там?

— Завтра, между прочим, тоже нерабочий день — воскресенье,— напомнил я.

— Но ведь это будет день. День, понимаешь? Дежурные там и в воскресенье есть наверняка! А сейчас ночь на дворе!

— Слушай, у нас с тобой разговор, как у ненормальных: то ты меня убеждаешь поработать над версиями, то предлагаешь спокойно подождать до завтра,— сказал я.

— А это зависит от того, кто из нас прав. Если ты — надо думать, а если я — идти по домам,— засмеялся Сашка.

— Ладно, все равно мы с тобой за день сильно устали, ничего путного не придумаем. Оставь дежурному домашний телефон — на случай, если новости будут, и поедем спать.

На том и порешили.

Мы вышли из метро на Комсомольской. Эта площадь похожа на огромное сердце, которое мощно и ритмично выпускает и принимает через три вокзала бессчетное количество пассажиров, заполняющих ее до предела, и я иногда с испугом думаю о том, как было бы страшно, если бы случилось что-то фантастическое и все пассажиры уехали, а поезда больше не пришли бы к платформам, и вся эта суета утихла, исчезло веселое напряжение перед дорогой, опустели перроны, залы ожидания и переходы. И хотя я понимаю, что это чушь, чепуха, остаток какого-то вздорного сна, я все равно пугаюсь, потому что пустой вокзал и заколоченный дом для меня всегда были символами смерти. Оттого, наверное, я и люблю эту площадь.

Из дверей метро слышался ровный утробный гул и толчками выходил теплый плотный воздух, пахнувший горячей резиной, и даже здесь был ощутим запах весны, который преследовал меня сегодня с утра и совсем исчез в прокуренном помещении милиции. Пахло землей, прошлогодней травой, тающим снегом, хвоей...

— Поехали ко мне? — предложил Сашка.— Поужинаем вместе, потолкуем, а захочешь — останешься ночевать.

Я покачал головой:

— Спасибо, не могу. У меня еще сегодня свидание. Вернее, визит в гости.

— Куда ты в одиннадцать часов поедешь? Знаю я твои визиты,— засмеялся Сашка.— Плюнь, завтра поедешь.

— Не могу,— упирался я,— тем более что мне и не ехать, а идти. Тут рядом, пять минут. Я точно обещал...

Я смотрел Сашке вслед, на его прямую твердую спину в узеньком коротком пальто — крепкий, спортивный мальчишка — и испытывал чувство обиды и досады, как ребенок, дважды отказавшийся за столом от любимого блюда, а теперь блюдо уже унесли на кухню, и нельзя сказать: я передумал, дайте мне тоже кусочек,— потому что предлагали-то от всего сердца, и никому не объяснишь, из-за чего находит на тебя застенчивое упрямство, заставляющее говорить и делать глупости. Хотя в глубине души я и сам понимал, что от того блюда, которого мне сейчас больше всего хотелось, которое мне было нужно позарез, не отрежешь куска на долю гостя.

А хотелось мне совсем немногого, ну хотя бы капельку обычного обывательского покоя. Того самого, которого принято стыдиться, который презрительно называют «мещанским уютом», которого благополучные люди никогда не прощают житейским нескладехам. Того покоя, семейного счастья, что приходит вместе с жизненным становлением, незаметно сопутствует успехам, окружает удобной мебелью в своей квартире, предлагает вкусный ужин вместо докторской колбасы и еще — позволяет иметь тапочки. Есть такие тапочки, мягкие, войлочные, цена четыре рубля, которые стоят под диваном и являются для меня символом жизненного спокойствия, благополучия и устроенности.

В общем, когда тебе тридцать лет и у тебя масса нерешенных жизненных и бытовых проблем, весна вызывает болезненно-острое чувство грусти и активное отвращение к запущенной холостяцкой комнате в многолюдной коммунальной квартире, где я живу вместе с удивительно некрасивым рыжим котенком Масей. Черт знает, зачем я его подобрал, но тогда еще стояли сильные морозы, и он трясся от холода на лестнице и даже не мяукал, будто понимал, что такого урода никто не возьмет в приличный дом. Коту и у меня живется несладко, потому что кормлю я его один раз в день — утром, уходя на работу, выливаю ему в тарелку бутылку молока. Но Мася не только урод — он жаден и глуп, как петух, и сжирает все сразу, отчего первую половину дня мучится от обжорства, а вторую — от голода.

Короче говоря, в этот весенний прохладный вечер или ночь, уж не знаю, как правильнее надо считать одиннадцать часов, охватило меня томительное чувство неприкаянности, пустоты и абсолютной ненужности никому на свете, и, пока я шагал через площадь, раздумывая, где бы поужинать, мне становилось все досаднее, что я отказался от Сашкиного приглашения, и в душе росло какое-то несправедливое ожесточение против ничего не подозревающих людей, сумевших устроить свою жизнь бесхлопотно и красиво, и я понимал неправедность своего гнева и вздорность своих глупых претензий и от этого злился больше всего на себя самого.

По путепроводу окружной железной дороги, мягко погромыхивая, катился поезд Ленинград — Сухуми. В окнах, освещенных абажурчиками настольных ламп, были видны пассажиры в пижамах, папильотках, и все эти желтые, розовые и голубые купе — отсюда, с мокрого тротуара,— выглядели прекрасными микромирами уюта, благополучия и душевного спокойствия. Я поднял воротник плаща и пошел к подъезду гостиницы «Ленинградская».

Народу в ресторане было немного, и я уселся у окна, рядом с огромной, просто ужасающей своими размерами вазой, вознесенной на подоконник, по-видимому, подъемным краном. Официанта не было, и я пока занялся разглядыванием посетителей. Молодые люди ласково журчали с девушками о чем-то неповторимом, уныло разжевывали свои шницели командировочные, веселилась на всю катушку компания иностранцев.

Пришел официант. Быстро записал заказ и спросил:

— Что пить будем?

В глазах у него была твердая решимость, как у опытных медсестер, которые уже привыкли к постоянным отказам больных пить совершенно необходимый для них рыбий жир, и сколько бы они сейчас ни откручивались, на этот раз номер не пройдет: выпьют как миленькие! Я понял, что и мне не миновать сегодня этой чаши — в прямом смысле, и сказал трусливо:

— Да коньяка граммчиков двести, пожалуй,— хотя пить совсем не хотелось.

Я смотрел на иностранцев и раздумывал, почему же не появился с заявлением о пропаже владелец чемодана. Интересно было бы знать, что он делает сейчас. Едет куда-то из Москвы в поезде. Или, наоборот, приехал и, может быть, даже живет в этой гостинице и сидит, пьет себе пиво вместе с этой компанией. Только вряд ли. Если бы он приехал, то уж обязательно хватился б чемодана. Жалко, что Сашка задержал Батона перед вечером — даже позвонить было некуда... Очень есть хочется. Я вдруг подумал, что Батон тоже голодный: его доставили в камеру предварительного заключения уже после раздачи ужина. И ощутил от этого некоторое злорадство. Нечего было воровать, а надо было заниматься каким-нибудь тихим, почтенным трудом, иметь семью и диетическое питание: у него от бурно прожитой жизни наверняка больные печень и желудок. Вот если бы Батон был не вором, а приличным человеком, то у него — я это точно знаю — под диваном обязательно стояли бы войлочные тапки за четыре рубля. Но у Батона нет тапок, потому что он вор и ему надо все время ездить, бегать, скрываться, и тапки для такого дела совсем неподходящая обувь. А вот почему, интересно знать, у меня нет войлочных тапок?

Я, наверное, еще долго размышлял бы над всей этой ерундой, но официант принес еду. Он меня явно не уважал и не старался скрыть этого: воспитанный человек не станет в двенадцатом часу есть борщ. Но, во-первых, я вообще люблю борщ, а во-вторых, я точно знаю, что человек за обедом должен есть одно горячее жидкое блюдо. Это я прочитал в каком-то журнале, в разделе «Полезные советы».

Кто-то негромко сказал:

— Стас, а Стас?..

Не оборачиваясь, я уже знал, кто это стоит у меня за спиной и ласково смотрит в мой лопоухий затылок, и борщ стал горьким, а может, кислым или сладким, не знаю, не помню, просто он исчез, я забыл о нем, как забыл про некормленого Батона и неведомого мне владельца чемодана, потому что этот хрипловатый, низкий голос и ласково-неуверенное «А, Стас?» могли принадлежать только одному человеку на свете. Человеку, с которым мне совсем и никогда не нужен уют и обывательское спокойствие и не нужна квартира с мягким диваном, под которым стояли бы войлочные тапки, потому что, когда мы вместе, мне просто некогда думать обо всех этих глупостях, потому что до сих пор это единственный человек на всей земле, с которым я бы хотел быть всегда вместе, и ни годы, ни боль, ни множество других встреченных мной людей ничего не могут изменить и исправить. Так уж получилось, и, видно, ничего и никогда тут не изменить и не исправить.

Не оборачиваясь, я кивнул, проглотил ложку безвкусного, как горячая дистиллированная вода, борща и сказал негромко и бесцветно:

— Конечно, я. Кто же еще? Садись...

И даже не удивился исключительной глупости своего ответа — будто мы каждую ночь обязательно встречаемся в ресторане гостиницы «Ленинградская» и последний раз виделись как раз вчера. Нет, не удивился: эта женщина обладала редкой способностью заставлять меня вести себя так, как я никогда и ни с кем себя не веду.

Продолжение следует.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Она села на стул, положив удобно ногу на ногу, и со своим обычным ласковым и чуть плутоватым выражением заглянула мне в лицо:

— Ты устал? Или расстроен? А, Стас?

Я отодвинул тарелку с опостылевшим борщом и, не глядя на нее, сказал:

— Нет. Я очень люблю по ночам есть борщ. Обычно это занятие поглощает меня полностью.

Она положила мне на руку ладонь, и я подумал, что в жизни могу подготовиться к встрече с тысячью Батонов, и все меньше на свете людей, для которых я щенок, но вот есть же человек, живущий от меня в двадцати минутах езды, с ним в любой момент можно созвониться по телефону, и раз-два в год мы видимся и перед которым я всегда щенок, никогда не готовый к встрече. Потому что, когда она кладет ладонь мне на руку, меня охватывает какое-то сладкое чувство, и я забываю, что сто раз давал себе клятву не уважать ее, не любить, не помнить, и мне хочется бесконечно продлить это мгновение, когда она сидит рядом со мной, ласково улыбается и держит меня за руку...

Я осторожно высвободил руку из-под ее ладони и понял, что получилось это смешно и некрасиво.

— Ты с работы?— спросила она.

— Ну что ты! Сегодня же суббота, я не работаю,— неуклюже соврал я, лихорадочно придумывая, где бы это я мог быть вечером в субботу, откуда ушел в ресторан есть борщ. Дело в том, что мне ужасно не хотелось выглядеть в ее глазах несчастным и голодным: ведь каждый голодный человек выглядит немного несчастным, тем более мне очень не нравится выглядеть несчастным, особенно перед ней.

Но придумывать ничего не пришлось, потому что она наклонилась ко мне и быстро провела рукой по пиджаку, нащупала пистолет в полукобуре на поясе и засмеялась.

— Эй, ты, врунишка! Я тебе тысячу раз говорила, что ты не умеешь врать, лучше уж и не учись. А кстати, как же ты на работе-то? Ведь тебе, наверное, надо уметь ловко обманывать своих жуликов...

— Нет, они мне и так верят,— усмехнулся я.

— Но если им говорить всю правду, то ты ведь и не докажешь, что они жулики,— удивилась она.

— Я могу просто не говорить им всю правду,— пожал я плечами,— могу о чем-то просто не говорить.

— Правильно,— весело сказала она.— О чем-то не говорить всегда лучше.

— Угу,— кивнул я,— мне это уже давно понятно. Давай выпьем.

— Давай.

Мы чокнулись, и я первый раз взглянул ей в лицо, и, как всегда, во все эти долгие годы, екнуло сердце. Не виделись мы больше года, но она совсем не изменилась, как в общем-то не изменялась за те десять лет, которые я знал ее. Может быть, я совсем не способен оценивать ее объективно, но кажется, будто и сейчас ей нельзя дать больше двадцати — двадцати двух лет, хотя мы ровесники.

— А за что мы будем пить?— спросила она.

— За что хочешь. Это не имеет значения. Вообще все это не имеет значения.

— Нет, имеет. Это вроде знака уважения или воздания небольших почестей. Давай выпьем за тебя...

— Ты же знаешь, я не люблю всякие знаки. Но если тебе нравится, давай выпьем за меня.

— Я тебе желаю счастья.

— Спасибо. Но это неважно.

Конечно, мне бы хотелось в этот момент выглядеть поуверенней и «поблагополучнее», но даже под ее гипнозом я понимал, что все удобства и блага мира без нее не существуют, и прикидываться, изображая самодовольного жуира и баловня судьбы, просто глупо. Потому что, если честно говорить, для счастья в жизни мне не хватало только ее, и было бессмысленно пытаться обманывать ее в этом, хотя бы из-за того, что мы все равно никогда не будем вместе. Ведь если хоть один человек на всем свете знает тайну другого и пускай никогда и никому не говорит о ней, то это уже все равно не тайна, поскольку они оба знают о ней, и она или соединяет их, или разделяет навсегда. А она знала мою тайну, мою любовь, муку, мое счастливое страдание.

И еще она умела читать мои мысли. Она сказала:

— Мы ведь все забыли?

Я повернулся к ней.

— Нет! Даже ты не забыла. А я забывать не хочу и ничего не забуду. Когда я был моложе и глупее, я старался позабыть. Ты ведь не предложишь мне сейчас «остаться друзьями»?

— Стас, дорогой мой, но ведь это не может быть вечно! Тебе надо тоже устроить как-то свою жизнь. Нельзя же до старости жить вот так и ходить ночью в ресторан есть борщ! А нам, кстати говоря, ничего не мешает быть друзьями...

— Мешает. Если между любовью и дружбой лежит расставание, значит, и не было никакой любви или разлюбили совсем и все позабыли. А я ничего не забыл и забывать не хочу. Это раз. А что касается необходимости устраивать свою жизнь, то она и так прекрасно устроена. Вот только куплю тапки, и все в порядке...

— Какие тапки?— удивилась она.

Я засмеялся.

— Есть такие замечательные тапки. Да это неважно. И давай не говорить обо всем этом. Лучше выпьем за тебя, ты расскажешь, как живешь, и все будет отлично.

Я почувствовал, что от голода, волнения и усталости начал пьянеть: это от двух рюмок коньяка! В зале пригасили огни, ее лицо расплывалось в полумраке, и на мгновение мне даже показалось, что я просто задремал, дожидаясь официанта, и все это приснилось: она не приходила и весь наш разговор — продолжение сегодняшних воспоминаний, которые вызвал Батон. Но она сидела совсем рядом, бесконечно далекая, и я не мог преодолеть это расстояние, как нельзя перепрыгнуть через пропасть в два приема.

— Тебя, наверное, очень боится жулье,— сказала она.— В тебе есть какое-то неистовство. Ты никогда не сможешь быть счастлив, потому что ты не воспринимаешь жизнь, какой она есть, и если тебе что-то надо, то ты вцепляешься мертвой хваткой, пока не возьмешь своего...

Я понял, что отвечать не надо: она не разговаривала со мной, а просто думала вслух.

— И мера затрат тебя тоже не интересует. Важно только выиграть, а какой ценой это достанется — плевать.

Я усмехнулся:

— Не надо делать из меня человека, горящего на работе...

Она строго сказала:

— Не дурачься. Ты отлично понимаешь, о чем говорю. Ты был таким же, еще когда учился, и я тебя — безусого еще — просто побаивалась. Тебе, пожалуй, надо было стать спортсменом — вышел бы пожизненный чемпион по боксу...

— Так не бывает. Пожизненных чемпионов нет: человек обязательно когда-то проигрывает.

— Вот я об этом и говорю. Такие альтруисты, как ты,— тираны. Они верят в свою правоту и стремятся подчинить всех окружающих своей идее, своим страстям.

— А если окружающие несогласны?

— Тогда ты с ними воюешь, даже если для этого приходится мучиться и любить. Но людей вокруг много, Стас, и страстей твоих много, а тебя самого мало. Поэтому ты проиграешь. Жизнь коротка, и тебя самого мало...

— Может быть. Раз жизнь коротка, то скоро она все покажет.

Как хорошо было бы, если бы она вышла замуж за какого-нибудь дипломата и уехала с ним в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро, и я бы точно знал, что между нами полсвета, и нельзя позвонить, и невозможно приехать на троллейбусе, и нигде меня не подстерегают эти случайные встречи, от которых остается чувство горечи и тоски!.. Может быть, тогда я бы примирился с мыслью, что ее больше нет, нет, почти физически нет, раз между нами есть муж, дети, таможни, границы, тысячи километров. Но пока она рядом и пока существуют рестораны, куда в двенадцатом часу я хожу есть борщ и случайно встречаю ее,— все это становится нереальным.

— Лера, мне тридцать лет, я человек с минимальными достоинствами и бесчисленными недостатками, самый обычный в общем. Когда-нибудь я встречу женщину, которую ищу, которая мне нужна, и все проблемы решатся сами по себе...

— Но скорее всего она окажется похожей на меня. Тогда что?

— Не знаю, но думаю, что все будет нормально. Если бы мы встретились с тобой сейчас, а не десять лет назад, все было бы по-другому...

— Да, наверное.

Мы посидели молча, потом я спросил, как она попала сюда.

— Иностранную делегацию принимаем. Это издатели и переводчики из Финляндии,— сказала она.— Наше издательство заключило с ними какой-то договор. Я редактирую одну прелестную книгу про средневековых пиратов.

— Это, наверное, действительно интересно.— Я подумал, как великолепно было бы ступить сейчас на палубу пиратского галиона, и грохнул бы залп из медных жерл, взвились вымпелы на реях, и как не было бы горестей, тревог и забот, а только удаль и красота боя...— Слушай, а почему про нас, сыщиков, следователей, не пишут хороших книг?

— Трудно. Чтобы книга была про сыщика, а не про фельдшера, надо написать о сыщике в работе. А масштаб интереса к его работе обычно поглощает интерес к его личности. Так и появляются книжки про всякие уголовные чудеса, которые раскрывают совершенно одинаковые герои в синих шинелях.

— В серых. Теперь форма новая.

— Герои-то от этого не изменятся.

Я вспомнил, что в книжечке стихов Славина, вышедшей в этом году, есть строчки, которые я раньше не очень хорошо понимал:

Трудное писать нетрудно,
Легкое слагать трудней...

По-видимому, это относится не только к писанию стихов.

— Ну что ж, до встречи?

Пройдет несколько месяцев, и я снова — в метро, или на улице, или, как было однажды, на пляже в Адлере,— снова увижу ее, услышу вопросительно-ласковое «А, Стас?», и снова, срываясь с ритма, застучит, забарабанит сердце, и она вновь положит мне ладонь на руку, и я буду тонуть в радостной муке и смешном неуважении ко всем устроенным, благополучным людям, потому что она здесь, рядом, на другом краю пропасти, которую не перепрыгнуть в два приема...

ГЛАВА 3

Мотоцикл «Индиана» загрохотал часто и сильно, как сдвоенный зенитный автомат: чтобы глушители не забирали мощность, их не ставят на гоночные машины. Гога Иванов сел в седло, дал форсаж и сказал мне:

— Садись передо мной, на бак. Потом я сдвинусь назад, и ты поведешь сам...

— Упадем, наверное?

— Нет. Мы никогда с тобой не упадем. Падать нельзя: убьемся...

— Я ведь не умею.

— Неважно. Жизнь коротка, и тебя самого мало. Надо узнать все...

Мы стояли внутри огромной, высотой с двухэтажный дом «бочки», где на самом верху была сделана галерейка для зрителей аттракциона «Езда по вертикальной стене». Но сейчас почему-то зрителей не было, и я жалел об этом, поскольку с ними было бы легче: если номер удастся — приятно насладиться триумфом, а если грохнемся — то лучше, когда рядом люди. А мотоцикл гремел и вырывался у Гоги из рук, и он говорил мне грустно, но твердо:

— Садись, надо ехать. И зрителей не будет: когда человек решается ехать по стене, он делает это один...

— А ты?

— Я не в счет. Это моя жизнь, моя работа. Людям необходимо, чтобы кто-нибудь мог в любой момент проехать по стене...

— Но ведь это бессмысленно! Это же ничего людям не приносит!

— А что ты приносишь людям? Ты ведь даже не можешь возместить причиненный им вред.

— Но это необходимо человеческой справедливости, спокойствию и уверенности остальных людей!

— Правильно. Людям нужен не только хлеб. Им нужна уверенность. Каждый хотел бы проехать по стене хоть раз в жизни, но не всем удается. Я езжу изо дня в день, чтобы напоминать людям: это можно, просто надо не забывать о необходимости хоть раз проехать по стене...

Я сел перед ним и слышал сквозь тягостный грохот мощного двигателя его ровное, спокойное дыхание.

— Поехали?..

Горячий бензиновый дым, дрожит от рева круглая деревянная стена «бочки», которая отгораживает нас от всего мира, от триумфа и позора, от смеха и сочувствия, оставляя один на один с собою, стена дрожит от нетерпения проверить: можешь ли ты хоть раз в жизни проехать по ней?

— Поехали.

Захлопнулась дверь, через которую мы вошли — последняя возможность выйти и жить, как жил раньше, и не мчаться по стене, а купить лучше войлочные тапки, стать серьезным

Продолжение. См. «Огонек» № 43.

человеком, достойно и красиво устроить свою жизнь. Но тогда я никогда не смогу больше прийти сюда, на галерейку,— ни с любимой, ни с друзьями, ни со своими детьми,— потому что каждый раз, когда Гога Иванов будет в реве и дыме стартовать снизу, стремительными спиралями поднимаясь вверх по стене, вместе с ним со дна «бочки» будет подниматься мой страх, победивший меня в игре один на один. И сколько бы впредь ни представилось случаев проехать по стене, страх всегда будет победителем...

Дрогнул ребристый каучук переднего колеса, мелькнули, скручиваясь в сияющий диск, спицы, тяжелый мотоцикл покатился по круглому манежу, застонали досочки пола, ближе к краю, рядом стена, первый круг пройден, все мелькает в глазах, мотоцикл нагибается внутрь манежа, откос у стены, сейчас мотоцикл развалится от напряжения, толчок, толчок, толчок, небо рухнуло на плечи и вжало, вбило меня в машину, а перед нами — узенькая дорожка, отвесно поднимающаяся вверх, но мотоцикл почему-то не падает, а все время с рокотом взлетает, и дорога загибается за нами, и я с ужасом вижу, что вишу вниз головой, и только тут соображаю: мы мчимся по стене! По стене!

Дорожка — это и есть стена. Но больше она никогда не будет возноситься надо мной, ее вертикаль бессильна — я проехал, прошел, промчался по второму измерению, по страху... Значит, меня не так мало! Пусть еще строят стены...

Так я и проснулся с ощущением какого-то удивительного счастья, огромной победы и долго не мог поверить, что ничего этого не было, не хотел верить, что все приснилось, и хоть я знал, что Гога лечит в санатории сломанную руку, мотоцикл «Индиана» стоит тихий, забытый в сером, пустынном сумраке гаража, а сейчас апрель, и аттракцион не работает, но все равно я не хотел и не мог поверить, что сегодня ночью, сейчас, только что я не ездил по стене. Мне очень надо было знать, что я могу проехать по стене. Потому что в тридцать лет человек должен знать о себе все, а поскольку мы так или иначе не можем узнать о себе все, то надо знать по крайней мере, готов ли ты проехать по стене.

Звонил телефон, пронзительно и долго, а я лежал, не открывая глаз, и ощущение радости и силы оставалось, будто все произошло на самом деле, и я верил, я точно знал, что на самом деле было бы все так же.

И в этой дреме, пролегшей узким мостком между сном и явью, как часть дороги по стене — из мечты в реальность,— я протянул руку и снял трубку, в которой бушевал голос Савельева. Вначале он меня ругал, кажется, за лень и тунеядство, потом сказал четко и раздельно:

— А потерпевший не объявился...— И в голосе его я услышал растерянность и удивление.

Если бы он кричал, ругался или смеялся и шутил, я бы, наверное, и не отделил этих слов от всего словесного потока, который извергал Сашка. Но растерянность и удивление — состояния, столь же несвойственные ему, как хождение на руках, подействовали на меня сигналом боевой тревоги, и я окончательно проснулся. Сашка в это время сказал:

— Стас, ты что, спишь еще?

Я перекинул трубку в другую руку и бодро спросил:

— Мысли есть? Излагай...

Савельев сказал, что он уже обзвонил все линейные отделения — заявления о пропаже чемодана не поступало, и еще что-то долго и путано объяснял, и говорил он все время как-то бубниво-монотонно, будто чувствовал за собой какую-то вину. Наконец мне надоело.

— Не пора ли что-нибудь сказать о деле? И потом — распорядись доставить Батона, я через полчаса буду в управлении...

Глотая обжигающий чай, я лихорадочно обдумывал линию разговора с Батоном. Кроме абсолютной уверенности, что чемодан ворованный, я не располагал никакими уличающими Батона фактами. А обвинений, построенных на одной уверенности, не существует. Шестнадцать часов сидит Батон, задержанный по подозрению в краже, а потерпевшего нет. Ситуация! Впрочем, один шанс есть...

Когда я вошел в кабинет, Савельев оживленно беседовал с Батоном, который заканчивал историю о том, как родители одного его знакомого из глупого тщеславия назвали сына заграничным именем Дебора, и какие, мол, мытарства претерпел из-за этого его друг с заграничным женским именем.

— А вы говорите — импортный чемодан!— резюмировал он нравоучительно.

Молодец Батон! И не думает сдаваться. Ну что ж, помимо поражения и чистой победы, есть выигрыш по очкам. Я повесил плащ в шкаф, пригладил волосы и сел к столу. Батон выглядел веселее и оживленнее, чем вчера, но я ощутил в этой приподнятости звенящее напряжение ожидания. Ведь долгие годы Батон изучал юриспруденцию с другой стороны моего стола и хорошо знал, что если мы сейчас не введем в кабинет хозяина чемодана, значит, потерпевший не объявился, значит, доказать его юридическую вину почти невозможно, и тогда он еще с нами потягается.

— Как вы себя чувствуете, гражданин старший инспектор?— неожиданно спросил он.— Вы что-то очень плохо выглядите...

Он смотрел на меня с сочувствующей, доброй улыбкой, за которой где-то очень далеко блуждал испуг и томление ожидания.

— Спасибо за внимание, друг мой Дедушкин. Я действительно чувствую себя неважно. Наверное, от недосыпания.

— Ай-я-яй!— сокрушенно покачал головой Батон.— Бессонница?

— Если бы!— вздохнул я.— К сожалению, не выспался я из-за вас...

— Господи, я-то как мог вам помешать отдохнуть?— изобразил безграничное удивление Батон, и по его лицу впервые откровенно скользнула тень беспокойства.

Я улыбнулся загадочным смешком — есть у меня такой смешок специального назначения— мол, много знаем, да не все скажем. И спросил:

— Скажите, Дедушкин, у вас есть войлочные домашние тапки?

Это было одно мгновение, неуловимое, как солнечный блик на окуляре бинокля в неприятельском окне. Но я его заметил, а может быть, скорее почувствовал. Батон спружинил и сразу же радостно расслабился, уверенный, что мы вышли на чужой след.

— Тапочки?— переспросил он задумчиво.

— Ага, тапочки,— подтвердил я невозмутимо.

— Войлочные?

— Ну да, войлочные.

— Нет. Искренне сожалею, но у меня нет войлочных тапок...

— Вот и прекрасно,— сказал я довольно.— Я был уверен, что у тебя нет таких тапок. Я вот полночи думал о тебе, о себе и об этих тапках.

— Да-а?— неуверенно протянул Батон. Он не знал, куда я веду, и на всякий случай решил воздержаться от рассуждений.— И что?

— А ничего. Вот у меня их тоже нет. Ты не усматриваешь в этом связи?

Батон пожал плечами:

— Не понимаю...

— Я это к тому говорю, что есть такой диалектический закон — единства и борьбы противоположностей. А мы с тобой противополюсы.

— В процессуальном смысле?— живо осведомился Батон.

— Да. И в человеческом тоже.

— Что?! А-а... Ну, да...— усмехнулся Батон.— Но это же не основание брать меня под стражу!

— Ну это ты брось! Твою свободу мы... ммм... ограничили... по другой причине. Но мы с тобой... как бы это сказать... особая форма общественных отношений — «полицейские и воры»...

Батон весело рассмеялся:

— Все понял. Хотите сказать, что мы, мол, скованы одной цепью?

— Не совсем так. Но из-за формулировок я с тобой спорить не стану. Я хочу сказать, что пока я сыщик, у тебя войлочных тапок не будет.

— Но ведь их у вас тоже нет?— напомнил Батон.

— Нет,— кивнул я,— хотя они мне нужны. Ты-то мне и мешаешь иметь тапки.

— Да почему я?— искренне возмутился Батон.— На мне, что ли, свет клином сошелся? Тоже нашли короля преступного мира! Кроме меня, не воруют?!

— Воруют. Но ведь это ты мне сказал — «сплям»...

— Значит, мстите?— прищурился Батон.— Фэ. Некрасиво, боже мой, как некрасиво...

Я покачал головой:

— Эх, Батон, совсем ты, значит, ничего не понял за эти восемь лет.

— Чего же тут не понять! Побитое самолюбие, как старая рана, и через двадцать лет саднит.

— Ну какое же самолюбие? Это я только тогда на тебя обиделся. За «щенка». Теперь-то я понимаю, что и был настоящим сопливым щенком. А ты и сейчас не хочешь смириться, что хоть и щенок, а тебя, старого волка, я все-таки поймал.

— Ну и что?

— А то, что пока ты вор, а я сыщик, у нас с тобой тапочек не будет. Тем более прошло восемь лет, и я уже не щенок, а ты-то стал уже совсем пожилым, ну, просто дряхлым волком...

— Поживем — увидим,— зло блеснул золотой коронкой Батон.— Возможно, за все это еще придется извиняться...

— Нет,— решительно мотнул головой я,— мне перед тобой извиняться не придется. Я докажу, что чемодан ты украл.

— Это без потерпевшего-то?— откровенно улыбнулся Батон.

— Почему же без потерпевшего? Я его найду, это я тебе точно обещаю.

— И что это вы так со мной надрываетесь?

— Потому что у нас с тобой отношения принципиальные. Помнишь, когда я был щенком, я тебе сказал, что воровать нехорошо, а ты смеялся надо мной? Помнишь?

— Допустим...

— Вот я и сейчас считаю, что воровать нехорошо. Совсем плохо. Просто отвратительно. И все нормальные люди так считают. Но тебе и на меня, и на всех нормальных людей, и на все, что мы считаем, наплевать. Поэтому я обязан тебе доказать, что воровать нельзя. Понимаешь, н е л ь з я. И каждый раз, как ты украдешь, буду являться я, ловить тебя и сажать в тюрьму. И это будет до тех пор, пока тебе вся эта жизнь смертельно не надоест и позарез понадобятся войлочные тапки. Вот тогда вместе и купим их.

— А не наоборот?— хитро прищурился Батон.— То есть вам смертельно надоест, а не мне? А? И вы в отставку... А я спокойно куплю тапки...

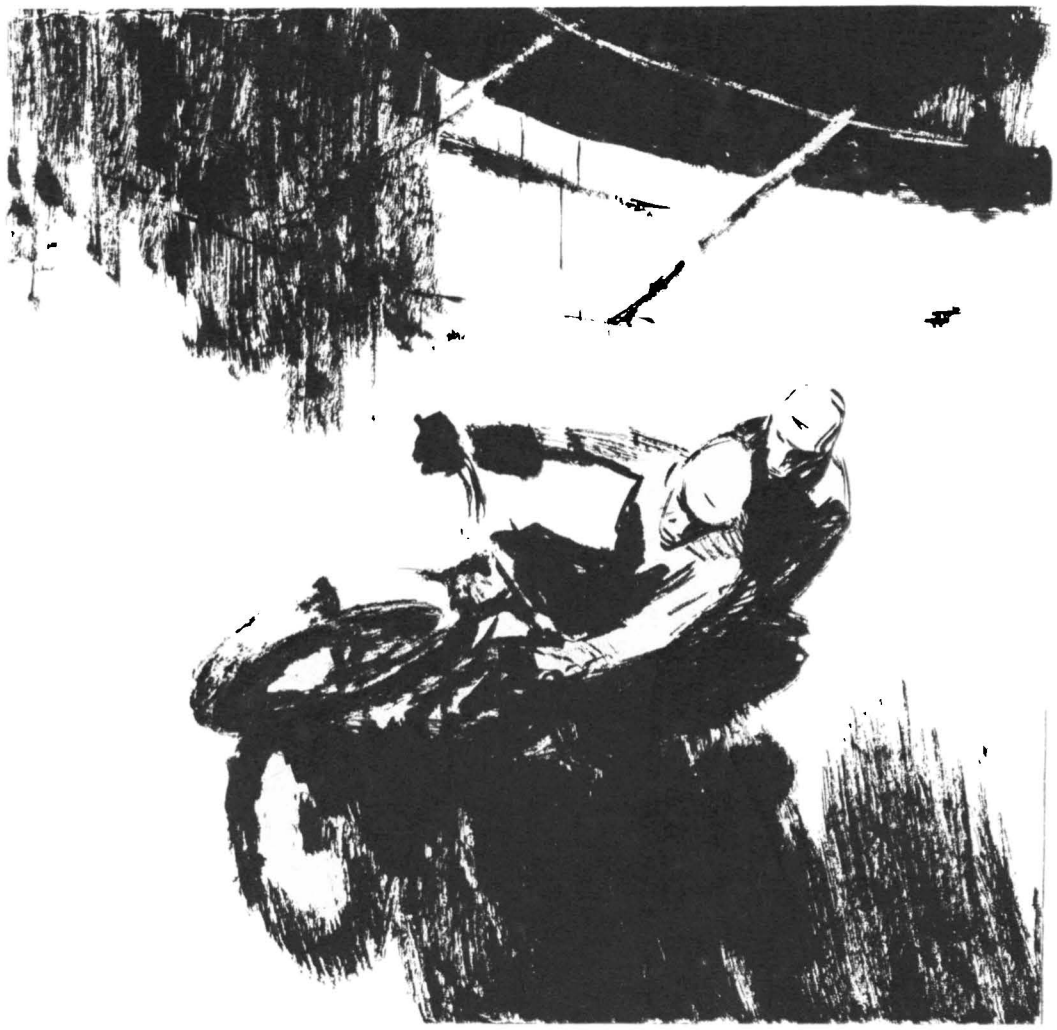
— На мое место тогда другой придет,— успокоил я Батона.

— Ну и что? На мое тоже... когда я решу только в тапках ходить. Идиллия... А пока мне только одно непонятно: какое это имеет отношение ко мне сейчас? Это ведь мой чемодан...

— Тогда объясню,— сказал я спокойно.— Я внимательно изучал еще в прошлый раз все ваши уголовные розыскные и следственные дела и пришел к интересному наблюдению. Во всех совершенных вами кражах имеется устойчивость привычек и метода исполнения. Иначе говоря, характерный преступный почерк.

— Любопытно,— сказал Батон.

— Конечно, потому что сейчас вы узнаете, как я найду потерпевшего. На ваших глазах будет создана свидетельская база обвинения.



— Интересно,— оживился Батон.— Обычно мой дедушка перед тем, как мне всыпать, тоже посылал меня проверить, хорошо ли вымокла лоза... Так что же насчет почерка?

— А почерк заключается в том, что вы никогда не хватаете в вагоне первый попавшийся чемодан. Вы намечаете себе жертву и «пасете» ее, дожидаясь нужного момента. Этот нужный момент определяется, конечно, и фартом, «воровским счастьем», но в первую очередь расчетом. А расчет заключается в следующем: по пути следования есть несколько станций, где одновременно останавливаются встречные поезда, или они проходят через несколько минут после отправления вашего поезда. Поэтому вы воруете только на этих станциях. Таких остановок на пути несколько, и здесь уж фарт просто необходим: если на первой станции обстановка для кражи неблагоприятная, вы дожидаетесь следующей, иногда третьей, а иногда и весь прогон бывает холостым. Но как только подворачивается момент, вы берете чужой чемодан и тотчас же пересаживаетесь во встречный поезд. И удаляетесь от потерпевшего удвоенной поездной скоростью. Пока человек хватится, пока доедет до следующей остановки, заявит в милицию, пока передадут по линии, вы уже вместе с толпой пассажиров сходите на платформу в Москве, садитесь в такси и отправляетесь восвояси. Если, конечно, вас не останавливает на привокзальной площади инспектор Савельев, знающий вас по фотографиям в лицо и интересующийся содержимым вашего чемодана. Как вам нравится мой рассказ?

— Довольно занимательно. А с потерпевшим-то что? Без него это только детективный этюд... Увлекательный... Как вы любите говорить, доказательственной силы в суде не имеет.

— Точно, нужен потерпевший. Ты, Батон, человек умный, опытный и правильно догадался, что потерпевшего у нас нет. Поэтому мы займемся сейчас его вычислением. А ты, может быть, если ошибемся, подскажешь...

—Ну, это уж увольте. Я в уголовном розыске зарплату не получаю, чтобы вместе с вами самого себя ловить.

— Да что вы все: «деньги» да «зарплата»!— удивился Сашка.— Ведь есть же интерес академический, бескорыстное творчество.

— Как же, как же! Мне за творческое удовлетворение пятерик сунут, а вам — по медали. Ничего себе премии на вашем конкурсе!

— За вас, Дедушкин, медаль не дадут,— сказал Сашка.

— А в суде больше за сообразительность дают,— огорчился Батон.

— Так у вас сообразительность, Дедушкин, вредная, за это и дают много,— вежливо объяснил Сашка.

— Ну-ну, посмотрим, у вас какая сообразительность,— сказал Батон,— может быть, вам правильно медалей не дают.

— Может быть,— согласился я.— Итак, начнем сеанс материализации духов. Во сколько ты его задержал, Саша?

— Половина седьмого было. Он шел с кишиневского поезда —18.25. Экспресс «Молдова» называется поезд.

— Отлично.— Я взял расписание и стал выписывать на отдельный лист все остановки.— Позвони, пожалуйста, в справочную, узнай, не было ли опозданий, остановок и задержек вне расписания.

Пока Сашка трудолюбиво накручивал телефонный диск, я выписал перпендикулярно к графику движения экспресса «Молдова» расписания всех поездов, отправившихся из Москвы от Киевского вокзала за вчерашние сутки.

Кишиневский скорый останавливался девять раз: Котовск —0.13, Вапнярка —1.49, Жмеринка —3.03, Винница —3.47, Казатин —4.52, Киев —7.08, Конотоп —9.29, Брянск —13.47, Сухиничи —15.20 и в 18.25— Москва. Получились своеобразные оси ординат, где кривая движения лежала между временем и направлением. Поэтому один из московских поездов должен был обязательно пересечь какую-то из девяти временных точек движения кишиневского поезда.

— Экспресс «Молдова» из расписания ни разу не выходил,— меланхолично сообщил Сашка, аккуратно укладывая на рычаг трубку.

Я поднял голову и взглянул на Батона. Он задумчиво смотрел на меня и, по-моему, первый раз за все время смотрел как обычный человек — без своих юродивых ужимок. Смотрел просто задумчиво, с некоторым удивлением и грустью.

— Что, Дедушкин, может быть, поможете? Я ведь не математик, мне эти подсчеты мучительны...

Он отрицательно покачал головой:

— Вы, как мальчик, все время хотите заглянуть в конец задачника и узнать ответ. Не лишайте себя радости чистой победы...

Линию пересек в Конотопе «Дунай-экспресс», который прибыл туда в 9.10 и отправился далее в Софию — Стамбул через девять минут. Где-то на ближних семафорах он встретился с подходящей к станции «Молдовой», на которой через семь минут Батон отбыл в Москву. С чемоданом своего попутчика из «Дунай-экспресса».

Ознакомив Батона с результатами своих подсчетов, я спросил:

— Будем теперь всерьез говорить?

— Нет. Вы же знаете, Тихонов, что я не люблю «чистосердечных признаний». Кроме того, я хочу проверить вашу угрозу. Ну, что вы мне докажете, будто воровать нельзя.— Батон ненадолго задумался и добавил:— Между прочим, вы учли только московские поезда... А с «Молдовой» могли встречаться и другие...

— Не-е, нас другие не интересуют.

— То есть? — поднял брови Батон.

— То есть ваши домочадцы любезно сообщили инспектору Савельеву, что позавчера вы еще были дома. И выехали, следовательно, из Москвы...

— Редкий случай, когда алиби сильно мешает,— засмеялся Сашка.

— Ладно,— сказал я и повернулся к Сашке:— Садись за машинку, я тебе продиктую парочку телеграмм.

Сашка долго устраивался на стуле, прилаживался к машинке, потом сказал неестественным голосом, каким возглашают на опустевших платформах машинисты метро:

— Го-т-оов!

— Записывай, диктую: «Фототелеграмма. Контрольно-пропускной пункт Унгены. Прошу срочно предъявить поездной бригаде «Дунай-экспресса» № 13 настоящую фотографию для опознания. В положительном случае выяснить, до какой станции имел билет опознанный, где и при каких обстоятельствах он сошел с поезда...»

Батон, отвернувшись от нас, смотрел в окно, на улицу, залитую холодным весенним светом, расчерченную квадратами оконной решетки, и голова его больше не была похожа на носовое украшение фрегата. Он как будто сильно устал от всего нашего разговора.

Сашка спросил:

— Все, что ли?

— Подожди. Я ведь обещал доказать.— Снял трубку и позвонил дежурному.— Пришлите конвой.

Батон, не оборачиваясь, смотрел в окно.

— Пиши, Саша, следующую. «Кишинев, отдел уголовного розыска жел. дор. Прошу произвести по прилагаемой фотографии опознание поездной бригадой пассажира».

Я перехватил Сашкин недоуменный взгляд:

— Они ведь из Москвы уже отправились обратно. И последняя — в Конотоп. «Линейный отдел ст. Конотоп-пасс. Прошу допросить кассира, работавшего вчера с 9.00...»

Батон шумно вздохнул, откинулся на стуле и взглянул на нас будто откуда-то издалека, желая рассмотреть попристальнее:

— А что теперь?

Сашка пожал плечами:

— Теперь мы вас сфотографируем и по фототелеграфу направим снимки в Унгены, Кишинев и Конотоп. Там ваши снимки предъявят. В Унгенах вас опознают проводники, с которыми вы ехали до Конотопа, в Кишиневе — бригада, с которой вы ехали до Москвы, а в Конотопе вас наверняка вспомнит кассир, продавший билет. Билет-то, наверное, в мягкий вагон взяли?

Батон, не отвечая, засмеялся каким-то своим мыслям, немного погодя сказал:

— Замечательный город Конотоп. Войдет в историю тем, что в нем из-за сапог убили Хулио Хуренито и из-за чемодана сгорел Леха Дедушкин по кличке Батон.— Он провел по лицу руками, будто смывая с него смех.— Это все прекрасно, но вот насчет потерпевшего что?

— Саша, сдай это на телеграф,— протянул я бланки и ответил Батону:— Найдем, я же обещал.

— Тогда поторопитесь,— сказал серьезно Батон.— У вас времени совсем мало. Часов пятьдесят осталось...

Это он точно сказал. По закону задержанного подозреваемого можно содержать под стражей не больше трех суток. После этого ни один прокурор без солидных доказательств, на одних подозрениях санкцию на арест не даст.

— Ничего, я думаю, успеем,— ответил я ему тоже серьезно.— Я вообще человек неленивый, а уж для тебя, видит бог, постараюсь от души. Понимаешь, мне в последнее время сильно понадобились тапки войлочные.

В дверь постучали, вошли конвойные. Сашка сказал:

— Все. Гражданин Дедушкин, вам придется пока поскучать, дожидаясь результатов. Если надумаете рассказать чего-нибудь — милости просим, будем рады. Мое самолюбие не пострадает и без проверки сообразительности, и мы останемся довольны вашим добровольным признанием. Так называемым чистосердечным. Вам же лучше: меньше дадут.

— Вот это уж дудки! Я ведь и так могу подтвердить весь этот ваш кроссворд, потому что мой маршрут, который вы здесь так ловко рассчитали, еще не доказывает моей юридической вины. Потерпевший вам нужен.

— Ага,— сказал я.— Очень нужен. Я уж постараюсь. А что касается подтверждения маршрута, то это уже после ответа на наши телеграммы. Тогда будет видно, что ты сам, по своей воле ни слова правды не сказал, все пришлось делать нам. Суду это будет интересно...

Батон бессознательно заложил руки за спину — на мгновение ослабло внимание, сработал рефлекс, приобретенный многими годами хождения под стражей,— и шагнул к дверям. На полпути остановился, взглянул мне в глаза и сказал:

— Помните, в «Празднике святого Йоргена» Миназль Коркис говорит: «Главное в профессии вора — вовремя смыться»?

— Да, помню.

— А я считаю, что главное в профессии всех фартовых — не расковыривать запечатанных бутылок.

— Почему?

— Никогда не знаешь, из какой выпустишь джина. Вот я нарушил это правило.— Он повернулся к конвойному:— Ну?..

Захлопнулась дверь, и мы с Сашкой еще минуту молчали, пока он не спросил:

— Ты как его понял: он сейчас выпустил джина или восемь лет назад?

— Не знаю. Я тоже не понял...

Продолжение следует.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА 4

— Загрузи работой: начальник должен держать аппарат в напряжении,— сказал, ухмыляясь, Сашка. — У тебя случайно в столе сигарета не завалялась? Все выкурил...

Зная, что я не курю, ребята специально кладут в нижний ящик недокуренные пачки и прибегают ко мне в тяжкие минуты. Я пошарил в столе и нашел красную квадратную коробочку с изображением собачьей морды. Сашка покрутил пачку, положил обратно на стол:

— «Друг». Замечательные сигареты... Я такие даже посреди ночи не курю.

— Уж больно ты разборчив,— сказал я сварливо.— Шел сегодня на работу и видел велосипедиста: едет себе и курит трубку!

— Проживет до ста лет — огромный запас душевного спокойствия,— невозмутимо прокомментировал Сашка.— Вот Батон до ста лет не проживет. Очень нервная жизнь у него.

— Никто ничего не знает. Может быть, у меня на панихиде выступит от группы перевоспитавшихся товарищей.

Сашка ехидно посмотрел на меня:

— Я вижу, ты свою панихиду мыслишь порежиссерски: от благодарных граждан, от руководства, от коллектива, от перевоспитавшихся. Драматическая мистерия памяти капитана Тихонова.

Я махнул рукой:

— Профессор Авдеев считает смерть естественным, необходимым завершением жизни. Читай учебник судебной медицины.

— Тоже мне утешение нашел! Мне не нравится эта естественная и необходимая концовка. Я бы предпочел что-нибудь менее необходимое.

— Можешь обжаловать в надзорную инстанцию. Как раз завтра к прокурору пойдем.

Сашка почесал затылок и сказал:

— Знаешь, неудобно как-то сразу с двумя просьбами. Решил бы он нам вопрос с Батоном, и ладно. А с бессмертием — в следующий раз.

— Ну и чудненько. Раз с бессмертием вопрос отложен, займемся нашими бренными делишками. Ты будешь и дальше отрабатывать всю линию с железнодорожными перевозками Батона. Завтра утром мы уже получим ответы из Конотопа и Кишинева. Поездная бригада «Дунай-экспресса» обратным рейсом вернется в Унгены через двое суток на рассвете...

— Встречные перевозки — главный транспортный бич,— вставил Сашка.— И мы...

— Молодец, Александр,— сказал я строго,— но не отвлекайся. У нас остаются еще два канала информации — орден и фотоаппарат, найденные в чемодане. Орденом займусь я, а ты сдай аппарат в научно-технический отдел и, если в нем есть пленка, поставь перед экспертизой два вопроса: что за пленка в фотоаппарате, страну-производитель пусть установят, и второе — пусть определят профессиональный уровень снимавшего. Кадры с пленки, коли она там есть, пусть отпечатают крупноформатные.

— Указание получено. А с орденом что ты собираешься делать?

— Думаю отвезти его в исторический музей, показать. Очень уж он меня развлекает, этот орден.

— Чего так?

— Скорее всего это старинный русский орден. Видишь, тут славянской вязью выписано: «Св. Александра Невскаго...» Эта вязь, наверное, и сбила Батона с толка — решил, что болгарская... Непонятны две вещи: зачем такую драгоценность возят с собой в чемодане и кто же тот человек, которому он принадлежит.

— Когда будешь?

— К вечеру, наверное. И брось, пожалуйста, свою привычку отвечать на любой телефонный звонок, что я буду через двадцать три с половиной минуты.

Сашка недоуменно поднял брови:

— Для твоего же блага. Я воспитываю в людях уважение к твоей точности, не зависящей от занятости.

— Но меня же не бывает через двадцать три с половиной минуты?

— Вот это уже не имеет значения. Первое впечатление всегда самое сильное. Кроме того, если такой точный человек задержался, значит, произошло что-то чрезвычайное, наверняка оправдывающее и извиняющее его. Люди очень расстраиваются почему-то, когда им про нужного человека говорят «неизвестно, будет ли» или «сегодня не будет».

Когда меня не бывает на месте, Сашка выдает такие ответы, что людей на другом конце провода бросает в дрожь. Всем женщинам он говорит коротко, но внушительно: «На операции...»,— хотя знает, что я поехал на вещевой склад за новой шинелью или в судебный архив за справкой. У него на этот счет есть даже теория, которая сводится к тому, что служащему или производственнику трудно поверить, будто работа может состоять в целодневном болтании по городу, и очень часто совсем безуспешном. Или просто — в долгих бесплодных поисках какого-нибудь пустякового свидетеля, а то и вовсе в стрельбе в тире или борьбе самбо. Если ты сыщик или следователь, то давай целый день допрашивай преступников, а ночью сиди в засаде или проводи обыски и задержания. Поэтому, мол, в век специализации не надо разрушать иллюзий о характере нашей работы, вносить новые сомнения в подмытую романтику нашей профессии. Впрочем, у него на каждый случай жизни есть или своя теория, или это ему напоминает историю, как...

Я вышел на улицу, солнечный свет был такой яркий, плотный, холодный, что хотелось плыть по нему. Тени ложились на асфальт синие, точные, и не было полутонов, а голые деревья, впечатанные в тротуар железными решетками, казались нелепыми конструкциями, расставленными вдоль улиц, как абстрактные украшения в современном интерьере. И в этом яростном неистовстве света, отбрасывающего от каждого препятствия четкую злую тень, где добела желтый цвет уничтожил все остальные, оставив лишь черно-синий, была какая-то прямолинейная непримиримость, крикливая незавершенность природы. В такие дни, когда тебя еще не разморила радость начала весны, пока не охватило бессмысленное блаженство от одного ощущения, что ты живешь в этом прекрасном мире голубых рассветов, клейкой молодой листвы, прозрачных снеговых луж, я думаю, что жизнь все-таки складывается не так, как бы хотелось. В такие дни этот нестерпимый свет высвечивает тебя насквозь, лучше всякого рентгена, потому что лучи старого умного немца не могут показать душевные рубцы, проявить незажившие душевные раны, не зафиксируют очаги жизненной неудовлетворенности. Да и вообще он утверждает, что нет такого органа у человека — душа. Легкие есть, мозг, сердце есть, а души нет. Он был большим утешителем людей, настоящим лириком, мудрый физик Рентген, лучи которого снова подтвердили, что никакой души у человека нет, а потому и болеть нечему. И если все-таки пожалуешься на душевную боль, то тебя пошлют к кардиологу или психиатру. А ты не пойдешь, потому что в карточке — запись последней диспансеризации: «Отклонений от нормы не имеется». И тогда тебя на улице будет ждать апрельский свет, холодный, яростный, непримиримый, не знающий, что у тебя нет души, и высвечивающий все ее закоулки. Он разбудит память, как дремлющего зверя, и бросит его на тебя, когда ты с ним не хочешь и не можешь бороться, когда ты уже понял, что не может быть мира между мечтой и буднями, и согласен провести в душе хотя бы линию прекращения огня. Но апрельский свет не знает компромиссов, ты его не уговоришь, потому что он — это ты, а себя не обманешь. И не выключишь его, потому что это острота необломанных углов, свет твоей молодости, нешлифованной опытом нетерпимости.

От этого, наверное, охватывает меня в такие дни мучительное волнение, стремление что-то сделать, все изменить, куда-то бежать или промчаться по стене. А по ночам снятся цветные сны растворившегося в годах детства, когда ты счастлив в ощущении своей вечности и нужности людям, когда нет времени дня, а существуют лишь времена года, и никогда не возникает вопрос: «Зачем ты живешь на земле?»

Я где-то читал, что каждые семь лет в человеке происходит полная замена всех клеток. Вроде бы заново появился человек. Значит, я должен был уже четырежды обновиться, и, если бы это случилось, все было бы наверняка нормально. Но мне кажется, что когда-то — в семь, а может, в четырнадцать лет — что-то сломалось в моем человеческом механизме, и больше ничего не изменялось, и я рос только количественно, унося в страну взрослости маленький прямолинейный мир детства. И с годами моя память, пробивающаяся сквозь сумрак времени лучами игрушечного проектора-аллоскопа, превратилась в мучительный апрельский свет, проходящий сквозь всю мою жизнь и никогда не дающий ей развалиться на отдельные бессвязные куски, обративший меня на пожизненный моральный дальтонизм, ибо я не различаю полутонов, а из всех цветов для меня существуют только белый и черный.

Но, кроме того, когда бушует на улице апрельский свет, я всегда думаю о Лере. Он не позволяет мне забыть ничего, и тогда я снова жалею, что клетки во мне замерли и не хотят сменяться новыми, потому что за это время я бы успел полностью переродиться и сбросить себя, прежнего, как змея сбрасывает старую, прошлогоднюю кожу, и, став совсем, стопроцентно, новым, смог бы навсегда все позабыть. Но оттого, что клетки не меняются, я и сам остаюсь таким, как был, и не хочу ничего забывать, и в этом вихре ослепительного света часами бесцельно вспоминаю все, и думаю о Лере, о себе, о нас, о том, как могло быть, и ничего не получилось, и, наверное, оттого, что клетки не меняются, они устают, и тоска моя перешла в ровную грусть, которую почти не беспокоит этот неистовый свет, если только накануне мы не встречаемся ночью в ресторане, куда я прихожу есть борщ.

Я шел по улице Горького, через этот нестерпимый свет, будто плыл в нем, зная, что человек освобожден от бессмертия, потому что ему очень трудно ответить на вопрос, зачем он вообще живет. А во внутреннем кармане пиджака лежал тяжелый драгоценный крест, волнующий своей непонятностью, как таинственный знак кабалы, определяющий судьбу.

ГЛАВА 5

За дверью моего кабинета был слышен голос Сашки:

— Э, Дедушкин, бросьте, это не довод. Лет двадцать назад моя бабушка с большим трудом устроила меня в ближайшую к нашему дому школу, чтобы я сам не переходил дорогу. А потом искренне хвасталась, что я первый в школе ученик. Правда, школа была для недоразвитых. Понимаете, все относительно...

Ответа Батона я не расслышал и вошел в комнату. Задушевная беседа была в разгаре, но

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44.

каких-либо сдвигов явно не произошло. Я хорошо знаю Сашкины беседы и, признаться, несколько завидую его дару толковать обо всем и ни о чем, четко придерживаясь русла интересующих его вопросов. Когда я со стороны слушаю, как он разговаривает с людьми, у меня возникает перед глазами картина: кладоискатель чутко и осторожно простукивает стенку, выискивая пустоты и полости, внимательно прислушиваясь к отраженному стуку.

Сейчас перед ним были, как в пасьянсе, разложены цветные фотоснимки, и я сообразил, что это — содержимое пленки из аппарата.

— Тринадцать снимков. Чертова дюжина. Я сразу сказал Дедушкину, что это не к добру,— сокрушенно развел руками Сашка.— Мой знакомый фоторепортер по фамилии Занудько специально пропускает тринадцатый кадр, чтобы не испортить всю пленку.

— Это действительно плохо,— согласился Батон.— Но ведь вы тоже проявляете интерес к этой пленочке. Может быть, это для вас дурной знак? Мол, отцепитесь, граждане начальники, и пока от прокурора не нагорело, отпустите товарища Дедушкина с его вещичками. А я, принимая во внимание старое знакомство с Тихоновым, даже жаловаться за незаконный арест не стану. Ошиблись, дело житейское, перестарались несколько, так сказать...

— Во-первых, мы вас пока еще не арестовали, а только задержали,— сказал я, усаживаясь за стол.

— Вы говорите так значительно, как будто, во-вторых, сейчас достанете из кармана потерпевшего,— нагло перебил Батон.

Не спеша рассматривая фотографии, я продолжил:

— А во-вторых, мы атеисты, и на нас действие примет не распространяется. Арестуем же мы вас незамедлительно, как только обнаружим хозяина чемодана.

Батон, видимо, уже начал нервничать, потому что неожиданно громко крикнул:

— Наши разговоры похожи на сказку про попа и его собаку! Хозяин чемодана я, и, пока вы не докажете другого, мое содержание под стражей — форменное беззаконие!

Не повышая голоса, так же спокойно я сказал:

— Что касается хозяина чемодана, то не исключено, что я достану его как раз из кармана.— С этими словами я вытащил крест и легонько поболтал им перед глазами Батона.— Изволите иметь друзей — высших сановников Российской империи?

— Что-что? — не понял Батон.

— Друг, говорю, был у вас чрезвычайно высокопоставленной персоной. Он, видимо, из скромности этого вам не сообщил. А орден этот не болгарский, как вы ошибочно полагали, а русский. Третий по значению орден Российской империи — «Святого благоверного великого князя Александра Невского». Слышали, наверное, про такого?

— Псов-рыцарей разбил,— услужливо пояснил Сашка.— Кино даже есть такое. Вы пока подумайте про орден, чего-нибудь стоящее, глядишь, придет в голову, а мы в это время разберемся с фотографиями.

Снимки были интересные. Очень красивая девушка, мужчина лет тридцати пяти и мужчина лет пятидесяти были героями ленты. На шести карточках сняты девушка и пожилой, на трех — девушка и молодой, на двух — девушка позировала одна, на одной — оба мужчины, и, наконец, на последней — только пожилой. Сашка передавал мне их именно в этой последовательности, и я понял, что у него есть на сей счет какие-то соображения.

Фотографировались на улицах, на фоне каких-то памятников — видны были только фрагменты, один снимок был сделан скорее всего в гостиничном номере. На этой фотографии девушка сидела на коленях у пожилого гражданина, нежно обнимая его за толстую шею. Фигура у девушки была великолепная, и она это знала наверняка и позировала так, чтобы лучше можно было рассмотреть острые холмики груди, а ноги — длинные-длинные, стройные, с круглыми коленями и розовыми пятками — расчерчивали снимок пополам.

— Ваше лихоимство, Дедушкин, вынуждает нас быть нескромными и рассматривать картинки из интимной жизни посторонних людей,— с тяжелым вздохом сказал Сашка.

— А вы поберегите свое целомудрие,— посоветовал Батон и пояснил: — Не смотрите.

— Не могу: служба обязывает меня рассматривать все это очень внимательно,— сказал Сашка серьезно. — А вы так и не вспомнили, кто эти люди и где вы их фотографировали?

— Нет, не вспомнил. На курорте, наверное, в прошлом году. Лица-то вроде знакомые, а вот точно не припомню.

— Ну-ну, допустим,— сказал я.— А чего же вы себя не запечатлели в этом теплом коллективе?

— А я еще более суеверен, чем знакомый фоторепортер гражданина Савельева. Я не только пропускаю тринадцатый кадр, но на первых тринадцати вообще не снимаюсь. Я как раз на следующем хотел сфотографироваться, да не успел, наверное.

— Такая предусмотрительность греет мое сердце,— сказал Сашка.— А где пленочку цветную достаете? Это же дефицит сейчас!

— В магазине на улице Горького была.

Сашка записал ответ, дал Батону расписаться, потом поцокал языком и достал из ящика бланк.

— Никак, эксперты наши ошиблись? Пишут-то чего: «Извлеченная из аппарата пленка производится в ФРГ компанией «Коллер»; цветная, обратимая, светочувств. 17 дин, в СССР не импортируется...»

Я засмеялся и сказал:

— Дедушкин, сейчас самая пора схватиться за голову и заявить что-нибудь вроде «Эх, старость — не радость, склероз проклятый» и вспомнить, что аппарат вы давно купили вместе с пленкой у какого-то поиздержавшегося иностранца... Врать, так с размахом.

Батон посмотрел на меня, хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул:

— Эх, старость — не радость! Склероз проклятый! Вспомнил! Я ведь давно купил этот аппарат вместе с пленкой у одного поиздержавшегося иностранца! Говорить правду, так с размахом, всю до конца! Чистосердечно, с искренним раскаянием!

У Сашки в глазах полыхнул нехороший огонек, но он сдержал себя, сказал невозмутимо:

— Слушай, Стас, у Дедушкина, как у моей соседки Агнессы Петровны Корх, гипертрофированное чувство юмора. Правда, она работает конферансье. Так вот, ее муж не вынес всех этих шуток и накануне серебряной свадьбы ушел к эквилибристке...

— Тихонов-то меня не покинет,— уверенно заявил Батон.

— Это точно,— кивнул я.— Кроме того, я не страдаю забывчивостью и прекрасно помню, что обещал вам найти потерпевшего.

Я посмотрел на Сашку. Он наклонил голову, дескать, все правильно, давай попробуем. Он только сказал, вроде бы ни к кому не обращаясь:

— Курс — по количественному убыванию...

Батон оглянулся на Сашку. Он чувствовал, что мы ему приготовили какую-то пилюлю, но никак не мог сообразить, как ее подадут, не мог занять оборонительную стойку, и вообще его сильно нервировало, что мы с Сашкой будто играем в невидимый волейбол, и этот опасный шар стремительно носится над его головой, а он никак не может разглядеть, у кого сейчас подача и кто будет гасить.

— Давайте, Дедушкин, поразмышляем вместе над этими фотографиями,— сказал я спокойно.

— А чего там размышлять? Разлагается буржуазия, как хочет, и все там,— сказал он вроде с юмором, но раздражение просвечивало все заметнее.

— Э, нет,— не согласился я.— Джины, вырвавшись на свободу, одержимы жаждой осмысления происходящих вокруг событий.

— Да-а? — осторожно спросил Батон.

— Несомненно,— заверил я.— И могущество их не от бога, а от дьявола и заключается в знании, которое они добывают трудом и любознательностью. Итак, мы располагаем тринадцатью фотоснимками...

Я взял фотоснимки, сложил их в одну пачку и перетасовал вроде карточной колоды.

— Чтобы осмыслить их содержание... Что нам надо, Саша, чтобы осмыслить их содержание?

— Система,— бойко отрапортовал Сашка.— Кроме камерного снимка с полуобнаженной девицей, где формы исчерпали содержание.

— Нужна система, все правильно. Теперь надо решить, что нам взять за основу для классификации. Дедушкин, есть соображения?

— Я свои соображения для другого применю,— категорически отказался от соавторства Батон.

Надо сказать, что все эти шуточки и болтовня давались мне нелегко, ведь ставка была сделана на то, чтобы расчахать Батона на моральных перегрузках, и если я сделаю ошибку в расчетах у него на глазах, тогда дело будет швах. Мы ведь не случайно вели все эти разговоры в его присутствии: весьма вероятен был шанс, что Батон не выдержит «психической атаки» и сдастся. Дело, наверное, в том, что следователя и преступника всегда разделяет изоляция тайны. Чем толще этот спасительный для преступника пояс, тем он чувствует себя увереннее. Если расследующий располагает какими-то серьезными доказательствами, то взламывать защитную броню лучше всего неожиданно, чтобы преступник вдруг увидел, как от всех бастионов его тайны остается шлак и прах,— тогда он психологически не готов к дальнейшей борьбе и, бывает, сразу сдается. С Батоном это было особенно важно. Какой бы он ни был матерый ворище, от этого он не перестает быть человеком со всеми человеческими слабостями. И когда мы впотьмах шарили в омутах его тайны, все ближе подбираясь к ней, сердце у Батона не могло не сжиматься в тревожном предчувствии, даже скорее предвидении: сейчас нащупают, ухватят — и тогда все запирательство становилось бессмысленным, и, как он говаривал: «...опять передо мной — решетка, вышка, часовой...» Поэтому все маневры мы проводили у него на глазах, неизбежно выводя его из равновесия. Только бы не ошибиться. Мне очень важно было доказать Батону, что воровать н е л ь з я...

— Раз Дедушкин не хочет думать вместе с нами, разрешите мне внести предложение,— сказал Сашка.

— Давай.

— Снимки нужно классифицировать по группам изображенных на них лиц,— охотно поделился соображениями Сашка.

— Принято за основу. Против нет? За — двое, воздержавшийся — Дедушкин. Принцип подбора групп? Какие предложения?

— Чего ж тут думать? Везде, где девка,— в одну группу, все остальные — в другую,— неожиданно сказал Батон.

Сашка чуть не подпрыгнул от радости:

— Гражданин Дедушкин будет участвовать в прениях только по второму вопросу! Председатель, внесите в протокол заседания. Предложение Дедушкина принимается?

— Проголосуем,— сказал я флегматично.— Я против.

— И я против,— огорченно сказал Сашка.— Вы, Дедушкин, условия задачи, наверное, не поняли. Девулька-то, красавица, нас пока не интересует. В чемоданчике вещи мужские были. Эти трое на снимках — все равно как уравнение X + У = 5. Нас пять не интересует — пять, оно ведь и есть пять. Нам надо узнать, кто такие X и У.

Я усмехнулся:

— А для этого отложим первый фиш — девица с пожилым. Я тебя правильно понял, Саша?

— Абсолютно. Шесть карточек — основа нашего пасьянса. Выведем за скобки два кадра, там, где дева одна, они нам не нужны сейчас. Под ними три снимка с дамой и молодым джентльменом. Сюда кладем фото обоих мужчин, а вниз — пожилого. Итого?

Пальцем для верности я пересчитал их:

— Девица на одиннадцати, пожилой на восьми снимках, и молодой — на четырех. А все трио вместе — ни разу. Выводы?

Батон понял, что мы вышли на цель точно, и мрачно молчал.

Сашка эпически поведал:

— Вот видите, Дедушкин, оказывается, Тихонов выполнил свое обещание.

Батон затряс головой:

— Не шейте, чего не было, не знаю я тут никого...

— Как же не знаете,— разозлился Сашка.— Мы для вас здесь все, как на блюдечке, разложили, а вы: «Не знаю, не знаю...» Давайте еще раз повторю. На снимках три человека в разных сочетаниях, но нигде их нет втроем. Поскольку это памятные снимки на фоне достопримечательностей и теде и тепе, значит, их было только трое, иначе они все вместе снялись бы. Вот два совершенно одинаковых фото, снятых почти с одной точки: старик с девкой около какой-то пушки — это кадр номер восемь, и то же самое на кадре номер девять, но место старика занял молодой. Трое их было, понимаете, трое!

— Ну, а если трое, так что? — спросил Батон.

— А то, что нам нужно, чтобы их не было четверо,— сказал я.

— Почему? — продолжал прикидываться дураком Батон.

— Потому что тогда мы точно определили бы хозяина чемодана,— терпеливо сказал Сашка.— Фотоаппарата, во всяком случае.

— И кто же это?

— А вот этот молодой,— ответил я спокойно и очень уверенно.

Ни один мускул, ни один нерв на лице Батона не дрогнул. Так же тупо и настойчиво он сказал:

— Почему вы так думаете?

— Саша, объясни.

Сашка покорно наклонил голову и монотонно стал объяснять:

— Из двадцати трех объектов съемки молодой зафиксирован только четыре раза. Трижды его фотографировал пожилой и один раз девица. Это уже достаточно реальное основание предположить, что хозяином аппарата является он. Во-вторых, экспертиза дала заключение, что эти четыре снимка сделаны гораздо менее опытными людьми: выбор ракурса, панорамы, а один кадр немного смазан. Это дополнительно подкрепило наше предположение, что хозяин аппарата — молодой. Ясно?

— И еще одна милая моему сердцу деталь,— подключился я.— Давайте, Дедушкин, внимательно посмотрим вместе, что делают на этом снимке. Девица курит, а рядом улыбается молодой человек. Видите, какую красивую струйку дыма она выпускает. Присмотритесь внимательно к ее сигарете...

Не глядя, Батон сказал:

— Чего я там не видел. Сигарета как сигарета. Обычная...

— Верно, обычная. Но это не окурок, это только что прикуренная сигарета, видите, какая она длинная. И вот такую струю дыма курильщики выпускают со смаком обычно после первой затяжки, знаете, так, от души.

— Ну и что?

— А теперь скажите, откуда она достала пачку? Знаете, есть такая детская рисовальная игра: найди охотника и девять зайцев. Взгляните, у нее ничего нет в руках, а на платье нет карманов...

Сашка подошел, встал у меня за спиной и через плечо стал внимательно рассматривать фотографию.

— Видите, в руках у парня какая-то плоская коробочка,— усмехнулся он.— Ручаться трудно, но скорее всего это тот золотой портсигар, что мы нашли у вас. Как, Дедушкин, перед фотографическим лицом потерпевшего, может быть, начнем рассказывать правду?

— Я так полагаю, что вы обойдетесь,— грубовато сказал Батон.

— Эх, Дедушкин, с вами не в МУРе, а в священной инквизиции разговаривать,— сказал с сердцем Сашка.

Я сказал:

— Мне, честно говоря, тоже надоели эти разговоры. Поэтому в дальнейшем доказывании вашей вины я постараюсь обойтись без вас. Обещаю вам работать по делу добросовестно и энергично.

Батона увели, а мы еще долго разглядывали фотографии, пытаясь извлечь из них какую-то дополнительную информацию. Но ничего наводящего на предметные размышления найти не смогли. Правда, на четырех снимках был виден бирюзовый мерседес, причем на один попал даже кусок номера — «392»... Остальные знаки загораживала фигура девушки. Она была сфотографирована, по-видимому, около кинотеатра, потому что прямо над ее головой висел афишный щит, на котором два молодца выясняли отношения — один совал в нос другому пистолет. В рамку кадра влезли три светящиеся буквы названия кинотеатра — «...СКВ...».

— Что будем делать? — спросил я Сашку.

— Давай пошлем в Унгены фотографию хозяина чемодана. Если поездная бригада его тоже опознает, то вместе с пограничниками установят его личность.

— Это программа-максимум: поездная бригада вернется в Унгены через сорок часов. А через сорок шесть часов надо решать вопрос с Батоном. Ты не забывай, мы ведь могли и ошибиться. Представляешь наши физиономии тогда?

— Да, это будет малопривлекательное зрелище. Но почему он все-таки не заявил о пропаже чемодана?

— Вот я об этом и думаю все время. И орден этот непонятно как попал к нему...

— Кстати, что с орденом?

Я в двух словах рассказал суть дела.

— М-м-да,— промычал Сашка.— Слушай, а тебе не приходило в голову, что мы, может быть, несправедливы к Батону?

— То есть как это? — удивился я.

— А вдруг он действительно не воровал у него чемодана? Вдруг это была какая-то совсем другая операция — фарцовка, укрывательство или что-то еще в этом роде?

Я подумал и отрицательно покачал головой:

— Не думаю. Чемоданом с грязным бельем обычно не фарцуют. Но мне кажется, что независимо от Батона надо плотнее заняться этим человеком. Давай попробуем оценить по-настоящему наши «вещдоки». Я буду по-прежнему ковыряться с орденом. А ты, раз уж так пошло удачно, продолжай заниматься фотопленкой.

— А что с нее еще возьмешь?

— Надо попробовать выяснить, где они фотографировали. Тут возникает два «если». Первое: если его опознает поездная бригада, и второе: если мы установим, где они фотографировались, тогда это открывает для нас дальнейшую перспективу.

Сашка, не вдаваясь в обсуждения, сразу кивнул:

— Надо произвести архитектурную и скульптурную экспертизы — специалисты, возможно, по памятникам определят, где они установлены...

— И еще одно дело надо будет завтра же организовать. Внешнеторговая организация «Экспортфильм» должна, по-видимому, получать проспекты всех зарубежных фильмов. Там наверняка должна быть какая-нибудь просмотровая комиссия.— Я протянул Сашке снимок с девицей на фоне киноафиши.

ГЛАВА 6

Заканчивался еще один день. Сашка ушел, и я долго сидел один в кабинете. Верхний свет я погасил, настольная лампа вырывала из темноты сплющенный желтый круг, из коридора доносились звуки шагов и обрывки разговоров уходивших домой сотрудников. Потом все стихло, и кабинет затопила густая, вязкая, как нефть, тишина. На работе мне было нечего делать, впрочем, как и спешить куда-то, поэтому я и сидел в этой теплой сонной тишине, лениво передвигая по желтому сплющенному кругу тяжелый золотой портсигар. Наверное, многое нужно иметь или многого достигнуть, чтобы позволить себе таскать такую дорогую, такую неудобную штуку. Подобного портсигара я еще никогда не видел — вся нижняя крышка была покрыта гравировкой нотной партитуры. На лицевой стороне монограмма — «П. В.». Будь я хозяином такой дорогой вещи, вместо никому не понятных нот и таинственных инициалов я бы гравировал свой почтовый адрес — для сохранности. Долго сидел я так, и мысли текли неспешно, тягучие, как этот пустой весенний вечер, когда не к кому пойти, да и идти неохота. Потом набрал телефонный номер. Трубку сняли мгновенно, будто дожидались моего звонка, и я услышал:

— Нет, милочка моя, вам с сольфеджио еще надо повременить, извините, я только отвечу. Аллеу! У телефона...

— Здравствуй, мама. Это я.

— Стас, мальчик мой! Здравствуй, родной! Ты совсем меня забросил! — началось обычное телефонное представление. Я мог побиться об заклад, что мать сейчас стоит, облокотившись на рояль, прижимая ухом трубку к плечу, и прикуривает новую сигарету, пока другая дымится в пепельнице на столике, а глазами, бровями, губами, всей своей богатой и пластичной мимикой поясняет очередной дурынде-ученице, что вот он, тот самый, тот мифический, легендарный, таинственный сын-нелюдим! В ее рассказах я выгляжу дьявольски похожим на лорда Байрона, и я ужасно доволен, что от меня не требуется сломать ногу, чтобы придать этой легенде окончательную достоверность. Мать раскуривает сигарету, усаживается в кресло, подтягивает ближе к себе телефон на длинном проводе. Телефон у нее почему-то всегда стоит под роялем, наверное, ей кажется, что так элегантнее, хотя меня это ужасно раздражает. Может быть, я этого не понимаю, но мне кажется, что телефон должен стоять на столе, висеть на стене, где угодно, и я никогда не поверю, будто правильнее после каждого звонка нырять под рояль. Конечно, дело не в том, где стоит аппарат, но я перестал спорить с ней на эту тему, когда понял, что мать больше не ждет никаких важных вестей по телефону, и из средства первой необходимости он превратился для нее в часть обстановки с чисто эстетической нагрузкой...

— Стас, никаких перестрелок больше не было?..

— Мама, о чем ты говоришь? Какие перестрелки! Их со времен нэпа нет. Можно подумать, будто по Москве разгуливают банды вооруженных гангстеров...

— Все секретничаешь. А у Ксении Андреевны на работе из профкома украли марки. Ты ничего об этом не знаешь? Может быть, их уже поймали?

— Какие марки?

— Не прикидывайся, будто тебе ничего не известно. Настоящие профсоюзные марки. Для взносов.

— Как это ни странно, но я действительно ничего не слышал про марки. Я и не мог и не должен был слышать про эти марки, и вообще их, наверное, не воровали, а скорее всего потеряли...

— Ах, Стас, чтобы успокоить меня, ты что угодно наговоришь.

— Мама, я не успокаиваю тебя, потому что тут и волноваться не из-за чего. В жизни есть многое, из-за чего стоило бы поволноваться.

— К сожалению, вы, дети, никак не можете понять, что большинство наших волнений из-за вас.

— Но я ведь, мама, доставляю тебе очень мало волнений. Я даже не курю.

— Ах, Стас, ты еще совсем маленький и глупый мальчишка. Я даже не понимаю, почему ты такой.

— От своей праведности.

Мать вздохнула:

— Беатрисса Уэбб писала про Уэллса, что у него был редкий дар переводить теоретические дискуссии в личные ссоры.

— Спасибо. Правда, я ни о чем личном и не говорил.

— Ты говоришь со мной, будто я желаю тебе зла,— сказала растерянно мать.— А я ведь тебе только добра хочу...

— Я это знаю, мамочка. И я себе добра хочу. Но, честно говоря, я даже не очень-то понимаю, какого. Поэтому я ищу...

— Но тебе ведь уже тридцать! В восемнадцать ищут!

— В восемнадцать, мама, человек обязан идти в институт или в армию, как в семь идут в школу, а в шестьдесят — на пенсию. Я говорю не об этом.

— Но так ты можешь и не найти ничего никогда!

— Возможно. Но я оптимист. Кроме того, живи мы в Италии, то мы бы с тобой разорились: там повременная оплата телефонных разговоров. Я к тебе лучше заеду попозже, и мы обо всем поговорим...

Продолжение следует.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

На троллейбусной остановке было много народу, и я пошел пешком. На скамейках бульваров уже сидели молодые люди. С голых черных веток падали капли, с фырканьем отъезжали от АПН легковые машины, а радуга мчавшихся по крыше «Известий» букв извещала, что транспортное агентство быстро и дешево решит все наши проблемы. С Тверского бульвара были видны сияющие айсберги Нового Арбата — опробовали первомайскую иллюминацию. Праздник был совсем рядом.

Я помню, как мучительно медленно тянулось раньше от праздника к празднику время, а сейчас оно будто перешло на какой-то новый счет, побежало, помчалось, не успеваешь оглядываться. А может, это не время, а я сам быстрее побежал через него? Ушли, остались за спиной вчера, и позавчера, и год, но они не пропали, не растворились в сумерках времени, а замерли, как плиты туннеля, через который я иду к станции счастья. Я думаю, что время постоянно и существует все целиком, как мир, как вселенная. Люди для своего удобства разделили время на доли, как кинопленку на кадры. А потом забыли об этом и стали поклоняться не времени, а долям, загнав себя в клетку циферблата, в лабиринт перекидных календарей, где вчера предшествует сегодня, которое идет всегда перед завтра. Но ведь всего два дня назад твое вчера должно было стать завтра! И из-за того, что я часто думаю об этих чудесах, мне непонятны люди, легко и охотно забывающие свое вчера, живущие только сегодня и плюющие в завтра, потому что я свято верю: время не разделить на эти крошечные ломтики, и завтра — это кусок моего вчера. Ведь в движении кинопленка времени может свернуться, и вчера опередит завтра. Кто его знает, какое для этого нужно движение, и, возможно, световая скорость для этого не нужна, а достаточно раз в жизни промчаться по стене. Но смотреть в завтра страшно из-за того, что для этого надо проехать по стене. Мы никогда не могли договориться с матерью, возможно, потому, что она терпеть не может смотреть в завтра. Для нее будущее — ближайшие десять минут, и когда она говорит со мной о моем будущем, это тоже разговор о сегодня. И мне бесполезно говорить с ней о том, что время можно свернуть и посмотреть в свое завтра — оно для нее непостижимо. Я ни за что не осуждаю ее: нельзя требовать от молодой и неприспособленной женщины с маленьким ребенком на руках, когда муж пропал без вести, выполняя задание в тылу врага, чтобы у нее достало сил совершить бросок по стене и рассмотреть свернутую в движении ленту времени. Просто она сказала мне: «Стас, я еще молодая женщина, ведь и мне надо устроить свою жизнь». Я этого не понял и не принял. Тогда я не понимал этого, потому что знал: устраиваются на работу, устраиваются на «спецжиры», наконец, устраивают в школе вечер. Но как можно устроить жизнь, я не понимал. Впрочем, и потом я так и не усвоил для себя второго, глубинного смысла этого слова.

Отца я совсем не помню, потому что он ушел на фронт, когда мне было три года. В эвакуации у нас пропали все вещи, и не осталось даже его фотографии, и было у меня лишь полустершееся воспоминание, как незадолго до войны отец принес домой радиоприемник, включил его, и из загадочного ящика ударил бравурный марш, а я от неожиданности напугался и заревел благим матом, и отец таскал меня на плечах, распевая:

Испугался мальчик Стас —
В дом явился Карабас.
Ну-ка, свяжем ему руки,
Ну-ка, снимем с него брюки,
Ну-ка, всыплем мы ему,
Чтобы помнил Карабас —
Не боится мальчик Стас...

Мне очень нравилось, что мы снимем с грозного Карабаса брюки и всыплем ему, чтобы он не пугал маленьких детей. И больше я ничего не помнил, все растворилось, утекло, исчезло. Иногда я просыпался по ночам и долго бормотал: «Испугался мальчик Стас...»,— пытаясь этими словами вызвать в памяти облик отца, потому что еще мгновение назад он разговаривал со мной во сне, большой, веселый, сильный, но лица у него не было, и это мучило меня, как боль.

Мать вышла замуж за преподавателя немецкого языка с той же кафедры, где работал отец. Это был добрый, рыхлый, очень флегматичный и чрезвычайно трудолюбивый человек. Мы переехали к нему и прожили вместе одиннадцать лет, до тех пор, пока я не поступил в институт. Тогда я вернулся к нам на старую квартиру, где живу до сих пор. Вскоре мой отчим умер. И хотя мы прожили много лет вместе, я редко вспоминаю о нем, будто это случайно встреченный на улице прохожий. Я совсем не узнал его за все годы, так он и остался в моей памяти каким-то молчаливым, серым пятном. Наверное, это получилось из-за того, что я сам был ему совсем неинтересен, и он всегда был со мною безразлично ласков, как с соседской кошкой. Вежливый, спокойный, скромный, как пожилой театральный статист. Ведь никто не приходит в театр рассматривать игру статистов, а он был прирожденный статист, и, когда он ушел со сцены, похоже, что никто этого и не заметил.

Когда он умер, мне было восемнадцать лет, а матери тридцать девять, и она была еще очень красивой женщиной, и я был уверен, что она как-либо будет устраивать свою жизнь. Мы часто ссорились с матерью, и она, сердясь и грустя, говорила мне: «Папочка! Вылитый папа!»

А потом она вышла замуж за молодящегося полковника в отставке.

Полковник Хрулев оказался веселым, хорошим мужиком, и я был доволен за мать, потому что с ним она чувствовала себя в жизни уверенно и твердо, а он действительно помолодел на двадцать лет, и они оба вроде устроили свою жизнь и были счастливы, радостны и удовлетворены. И оттого, что они оба были уже немолоды и встретились после долгих жизненных мытарств, они как-то недоверчиво относились к прочности своего благополучия, неся его, как переполненную чашу, на вытянутых руках, всецело поглощенные охраной своей непрочно устроенной жизни, никогда не заглядывая в завтра и напрочь зачеркнув вчера, потому что время существовало для них только в форме сегодня, и если бы они могли, то наверняка остановили бы солнце, лишь бы оттянуть, задержать закат, после которого должно прийти совсем неизвестное завтра. В этой их погруженности в свои проблемы мне не было места, и я снова все чаще и чаще вспоминал отца, потому что у меня накопилось уже много вопросов, которые я не мог решить сам и обсуждать ни с кем не хотел.

Но посоветоваться, поговорить было просто не с кем: лицо моего отца забылось, как будто его совсем не было, и от этого меня охватывало чувство горечи, обиды на мать, словно она была виновата в том, что у нас пропали все вещи, а с ними все фотоснимки. И тогда отец стал защитником всех моих сумасбродных и странных поступков, потому что я поверил: будь он жив, мы бы смогли с ним о многом договориться, он бы многое понял, чего мать не понимает и не желает понимать. Он стал для меня пробным камнем, символом отрицания того, что делает и говорит мать.

Но оттого, что у него в моих воспоминаниях не было лица, объемности, из-за того, что я не мог с ним никогда поговорить, я начал постепенно с тоской думать, что, может быть, его не было совсем, моего отца, и никто не таскал меня на плечах, распевая «испугался мальчик Стас», никто больше не уверит, что «не боится мальчик Стас», и не с кем будет повязать разных карабасов моей жизни.

Уже поступив в милицию, я пошел в университет и там в архиве разыскал личное дело отца. И когда трясущимися руками я перевернул обложку пожелтевшей, выцветшей папки, меня точно в сердце ударило: с первой страницы анкеты на меня смотрело мое лицо. Короткие жесткие волосы, сердитый взгляд, уши торчком. Тихонов Павел Михайлович, 1916 года рождения.

Конечно, это биологическая случайность — я мог быть похож на мать или не походить ни на кого из родителей. Но в двадцать два года случайностей не бывает: мир предопределен и заранее продуман, как схема телевизора. Именно тогда я впервые подумал, что время едино и человек может возвращаться в свое вчера и заглядывать в завтра. Я хотел незаметно от секретарши вырвать из папки фотографию, а потом раздумал, сложил пожелтевшие корочки и ушел. Мне больше не нужна была фотография, потому что показывать ее было некому, а моя память навсегда перенесла ее в завтра.

Я не могу сказать, что любил отца. Наверное, это называется как-то по-другому, потому что люблю я, несмотря ни на что, мать. А с отцом все по-другому. Это какое-то эгоистическое чувство нашей с ним неразделимости. Когда я увидел его фотографию, у меня будто щелкнуло что-то в мозгу, открылся клапан, и понеслись одна за другой картины былого или придуманного, где нам было три года или тридцать, он нес меня на плечах по Красной площади на демонстрации, а я подавал ему вторым номером патроны у пулемета; потом он стоял в хоккейной маске в воротах, и я бросал ему нижнюю, «резаную» шайбу, и он стыдил меня из-за того, что я горько плакал, когда меня бросила Лера, или, может быть, это я утешал его, что мать вышла замуж за Хрулева, но все это кружилось в бешеном круговороте, и я не мог нас разделить, где он и где я, потому что мы встретились впервые, когда он уже погиб, и для этого я пришел из его завтра в свое вчера.

Тогда-то я понял, почему у нас с матерью такие неважные отношения. Я остро, болезненно ревновал ее к рыхлому, флегматичному преподавателю немецкого и полнокровному, веселому Хрулеву, которые должны были устраивать с ней жизнь после отца. А он был со мной неразделим, он был я, и я не мог допустить, что мы с отцом убиты уже, а они заняли наше место, и, значит, она их больше любит, чем меня, отца. И я люто, бессознательно ненавидел карточки на хлеб, вещи, очереди, человеческое одиночество, всю войну вообще, из-за которой у людей возникает необходимость устраивать жизнь, зачеркивать вчера и отворачиваться от своего завтра.

А мать я любил и ненавидел, как можно любить и ненавидеть самого счастливого из всех несчастных людей, потому что она не смогла в труднейший момент своей жизни проехать, пройти по второму измерению, чтобы свернулась лента времени; она не захотела и не сумела сделать вчера своим завтра, а только надеялась устроить свою и мою жизнь, не понимая, что жизнь нельзя устроить для себя: время едино, и завтра — всегда часть твоего вчера, а вчера еще был наш отец, но она поверила, что он мертв, когда он еще мог быть жив, а жизнь нам таких вещей никогда не прощает.

Годы шли, шли, шли, пока я понял, что моя любовь и ревность к матери — это половина памяти отца, а ненависть — это бремя верности этой памяти, которое я хотел возложить на нее, а она не могла его снести, потому что была обыкновенной слабой женщиной, и я не вправе требовать от нее умения чувствовать единство времени, где память есть любовь, а завтра — только часть твоего вчера.

Я поднялся по лестнице на второй этаж большого дома, старого, очень помпезного, удобного, какие строили в Москве в начале века.

Мать открыла мне дверь, сказав:

— Я и не думала, что ты будешь так скоро.— Она подставила мне щеку для поцелуя, и я почему-то подумал, что мать никогда меня не целует, наверное, чтобы не испачкать помадой.

В прихожей стояла миловидная девушка в пальто — она, по-видимому, прощалась, когда я пришел. Мать сказала: «Познакомьтесь, пожалуйста...» Началась ненавистная мне процедура знакомства. У меня есть мерзкая привычка не слушать, когда незнакомый человек называет свое имя, из-за чего уже через две минуты я попадаю в дурацкое положение: вместо того, чтобы называть его по имени, приходится выдумывать всякие безличные обращения вроде «видите ли» или «понимаете ли». Кроме того, знакомясь с неинтересным тебе человеком, нужно непременно говорить пустые, ничего не обозначающие слова. «Очень рад». Поче-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46.

му это я очень рад?.. В общем, пробормотал я что-то там вежливенькое, да и девушка, видно, была разочарована несоответствием моей весьма заурядной внешности с той легендой, что была тщательно создана матерью. На том, слава богу, и расстались. Мать проводила ее и доверительно сообщила мне:

— Очень способна...

Я не удержался от ехидства:

— Наверное, уже выучили «Жаворонка»?

Мать взглянула на меня и весело засмеялась:

— За этого «Жаворонка» можно было бы купить жар-птицу!

Ах, как я люблю смотреть на мать, когда она смеется! Исчезают морщинки, незаметна легкая желтизна кожи, а глаза, голубые, выпуклые, как озера весной, светятся добром и весельем. Она смеется совершенно беззвучно, и только радостно полыхают ее глаза.

Я покачал головой:

— Не понимаю тогда, зачем ты с ними занимаешься.

Мать пожала плечами:

— Техника все больше машинизирует людей, им не хватает эстетического воспитания, понимания красоты искусства...

— При такой широте подхода надо это делать бесплатно,— предложил я.

— Но ведь мне и для себя необходимо создать видимость необходимости людям,— сказала она, и я не понял, шутит она или всерьез.— Ты так погружен в эту проблему, что и я стала над ней задумываться всерьез.— И мать снова засмеялась.

Потом она, как всегда, без малейшего перехода сказала:

— Стас, дорогой мой, мы с тобой стали совсем чужие. Ты так отдалился!

— Что делать, мама,— развел я руками,— у меня очень мало свободного времени...

— А разве в этом дело? Я ведь совсем не знаю, как ты живешь, и меня это очень пугает. Я, наверное, стала уже старая, и все время думаю о тебе, и очень боюсь за тебя...

— Чего ты боишься? — искренне удивился я.

— Стас, я совсем ничего не знаю о тебе. Не знаю, с кем ты дружишь, с кем сталкиваешься по работе, что ты делал сегодня и год назад...

— Мама, мы с тобой уже говорили об этом. Мир, в котором я обращаюсь, тебе непонятен и неинтересен. И жизнь моя не меняется: и восемь лет назад и сегодня я разбирался с одним и тем же вором по кличке Батон. Вряд ли ты горишь желанием познакомиться с ним лично.

— Я говорю не о том! Вчера ко мне приходил Вадик Петриченко...

— Знаю, знаю! — перебил я.— Вадик — твой любимый ученик, мой ровесник и уже лауреат международного конкурса! Но я, мама, не хотел и не мог стать пианистом: у меня слуха нет. В этом-то хоть я не виноват?

— Ты так гордишься отсутствием слуха, будто за это диплом выдают. Но ты напрасно меня перебил, я еще не такая бессмысленная старуха, какой ты меня всегда представляешь. Вадик мне рассказал страшную вещь. Ты помнишь Лю Ши-куня?

Я кивнул:

— Пианист, ему хунвэйбины камнями раздробили руки.

— Так ты знаешь об этом?

— Я читаю газеты.

— И говоришь об этом так спокойно?!

— Мама, я не говорю об этом спокойно. Но что можно сделать? То, что происходит там,— как чума, как градобой...

— Но ведь это сделали люди, а не микробы и не град!

— Да. Но я-то что могу сделать? Я-то здесь при чем?

— Ах, Стас, ты не видел, какие у него были руки! Он маленький, худенький, как тростиночка, а руки будто выточенные из бамбука — тонкие, нервные, сильные, как птицы. И по ним били камнями. Камнями! Ты понимаешь, как это страшно!

Мать замолчала, нервно раскуривая сигарету. Две недокуренные дымились в пепельнице. Я аккуратно погасил их.

— Я почему об этом с тобой говорю,— сказала мать, судорожно вздохнув,— твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов. Я боюсь за тебя, боюсь, что вся твоя жизнь уйдет ни на что. Ну, ответь мне по-человечески, чтобы я поняла, если я действительно такой отсталый человек, почему именно ты должен ловить жуликов? Каждый творческий человек выбирает себе работу по призванию. Разве твое призвание — ловить жуликов? Разве вообще есть такое призвание?

Я сидел молча, раздумывая над ее словами. Как же мне ответить ей?

— Ну почему ты молчишь?

Да, действительно, разве бывает такое призвание? Так я и сидел молча и рассматривал комнату матери — другой мир, в который мне не было доступа, потому что у меня с детства не было слуха, а главное, желания проникнуть в этот мир, и интересовали меня совсем другие вещи, а мать была занята устранением жизни и воспитанием будущего лауреата Вадика Петриченко, который, по-моему, уже лет в семь точно знал свое призвание и был действительно хороший парень — вежливый, скромный и трудолюбивый и с абсолютным слухом. Так что я медленно и неуклонно открывал футляр своего мира: задымленные милицейские дежурки, неистребимый запах пота и капусты в тюрьмах, тревожная сонливость засад, витиеватая матерщина задержанных хулиганов, всегда пугающий холод уже остывшего трупа...

Интересно было бы перевесить с этой стены в мой служебный кабинет портрет Стравинского. Нельзя. И нельзя перенести фотографию Рахманинова, и неуместен там маленький бюст Бетховена, все эти кашалотовы зубы, бронзовые подсвечники, раздерганные пожелтевшие ноты. Нельзя. Я и сам был уверен, что наши миры разделены прочно, навсегда. А оказывается, что жизнь их связывает, как подземные реки.

«...Твоя жизнь уходит на то, чтобы ловить воров и хулиганов...» Но ведь где-то таких же хулиганов приучают разбивать камнями руки? Как же объяснить матери, что мое призвание не только в том, чтобы ловить жуликов, а и в том, чтобы не позволить хулигану раздробить пальцы лауреату Вадику Петриченко? Ведь дело не в одном лауреате и не в одном хулигане. Господи, как же называется мое призвание?

— Мама, ничего я не могу тебе сказать. Тут словами ничего не скажешь, это надо чувствовать, как я это чувствую в себе...

— Все разумное, осмысленное можно сказать словами,— сказала мать.

— Нет,— покачал я головой.— Не все. А может быть, это во мне еще неосмысленное. Я никогда тебе не рассказывал про стеклянный ключ?

— Что за ключ?

— Стеклянный. Может быть, я его придумал или приснился он мне, но для меня он все равно существует. Это ключ, который вручили человеку жители прекрасной земли добра и счастья. Только этим ключом можно открыть замок в воротах их земли. Мудрый старик у ворот пропускает в этот край всех хороших людей. А если придут плохие, то, даже убив привратника, они не смогут войти...

— Почему? — спросила мать.— Они возьмут его ключ и войдут.

— Нет. Ключ стеклянный. И от злой радости, от сознания, что в страну счастья можно войти через зло и насилие, у них будут трястись руки, и ключ в замке сломается. Потому что пользоваться им может только человек с твердыми руками и добрым сердцем...

— И что? — спросила мать, и я увидел, как глаза ее наливаются слезами.

— Мама, я хочу быть человеком с ключом.

— Стас, но тебя на это никто не уполномочивал,— сказала мать и заплакала.

— Это правда,— грустно кивнул я.— Но ведь хотеть-то я могу...

— Ты просто инфантилен. У тебя остался детский ум!

Да, это, наверное, правда. Но это не имеет значения. Так что я сказал:

— Ладно, мама, не будем больше говорить об этом. Здесь нам с тобой ничего не изменить...

Зазвонил телефон. Быстрым точным движением мать провела платочком по лицу, не размазав ни одного косметического штриха, достала из-под рояля трубку и сказала: «Аллеу».

...Через мгновение она с увлечением обсуждала со своей приятельницей новую прекрасную программу Михновского, чем-то возмущалась, огорчалась, радовалась, восхищалась чьими-то шведскими замшевыми сапогами, и я пожалел, что рассказал про стеклянный ключ. Не надо, конечно, было говорить о ключе, о нем ведь знаю только я, и, когда я сказал о нем вслух, что-то изменилось. Но мне так хотелось, чтобы она поняла.

Я достал из кармана портсигар и держал его наготове, чтобы сразу вклиниться между отбоем и подробным пересказом — для меня — всех деталей этого разговора.

— Ой, какая прелесть! Откуда у тебя такая вещица?

— Это изъятый «вещдок». Я не могу разобрать...

— Твое призвание не пострадало, если бы ты держал свой ключ в таком футляре? Заработанном или наградном...

Я посмотрел на мать и вновь пожалел, что рассказал про ключ. Глупо было об этом рассказывать. Ну просто глупо. Я сказал:

— Хорошо, я подумаю. Посмотри, пожалуйста, что это за ноты на нижней крышке.

Мать, прищурясь, рассматривала нотные знаки этого необычного золотого клавира и длинным тонким пальцем отстукивала на полированной крышке стола ритм, а я мучительно старался не смотреть на этот тонкий нервный палец, потому что точно такие сухие тонкие пальцы, совсем не мужские, трепетные и хрупкие, были у Вадика Петриченко, и уж, наверное, ничем, разве что цветом, не отличались они от рук Лю Ши-куня, которого я никогда не видел.

— Это токката Панчо Велкова...

— Что, что? — переспросил я.

— Есть прелестный болгарский композитор,— начала подробно объяснять мать...

Продолжение следует.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА 7

В это утро наконец вышел на службу Шарапов. Я шел по нашим длинным унылым коридорам и думал, что с пятницы собираюсь позвонить ему и никак не выберусь — забываю. А около его кабинета вдруг уловил за дверью запах кофе. Я без стука толкнул дверь и увидел его за столом. Шарапов наливал в хрустальный фужер кипяток, и кофейный аромат поднимался горькими нежными клубами.

Этот нелепый фужер с отбитым краем я помню столько лет, сколько знаю Шарапова. Когда-то давно, в те поры, когда у нас еще не было растворимого кофе, он варил натуральный на электрической плитке в маленьком кофейничке. Из-за этой плитки постоянно скандалили комендант и пожарник, которые в своих письменных и устных рапортах называли ее только «пожароопасным электронагревательным прибором». Спор решил начальник МУРа. Раскрываемость преступности в отделе Шарапова, видимо, волновала его больше, чем вероятность небольшого пожара. А поскольку и то и другое было, очевидно, связано с плиткой, то он сказал, чтобы Шарапова оставили в покое.

К плитке привыкли, и спустя несколько лет почти никто не заметил, что она уже не нужна Шарапову: кипяток для растворимого кофе можно было согревать в электрическом кофейнике, ни в коей мере не являющемся «пожароопасным электронагревательным прибором». Но я-то знал, что Шарапов не любит обескофеиненный коричневый порошок, в разговорах со мной он называл его только «эрзацем» — смешным словечком, уже почти забытым со времен войны. А пил он его потому, что натуральный кофе пить уже было совсем нельзя: здоровье не позволяло. Так плитка с кофейником, ставшим просто кипятильником, превратилась в маленькую достопримечательность, лишенную содержания традиционную форму, как пирамида, из-под которой уже давно выкрали фараона. Но Шарапов с каменным спокойствием пирамиды хранил от посторонних свою тайну, отшучивался, говоря, что растворимый кофе — его уступка прогрессу, и только я догадывался, как болезненно-нервно он боится за свою былую репутацию «железного» Шарапова, выпивающего за ночь дюжину фужеров кофе — «чтоб спокойно работалось...».

Он дождался, пока в фужере поднялась желто-коричневая пена, и сказал:

— Ну, здорово...

— Здравствуй, Владимир Иваныч. Я третий день тебе собираюсь позвонить.

Шарапов глянул на меня, усмехнулся:

— Но-о? Третий день?.. Ладно. Допустим. Кофе попьешь?

Я кивнул. Он достал из стола белую эмалированную кружечку и стал насыпать в нее из банки кофе. Окна кабинета выходили на Петровку, к саду «Эрмитаж», и комната была залита ярким утренним солнцем. И оттого, что было очень светло, я вдруг увидел, что Шарапов больше не белобрысый блондин, а седой. Волосы у него были не мочально-белые, а седые, как мельхиоровые вилки. Лицо ватное, припухлое, белое, и я почему-то подумал, что Шарапова, наверное, и в молодости не любили женщины. Интересно знать, как он до женитьбы ухаживал за своей Варварой? Думаю, что никак не ухаживал. В немногие свободные вечера ходил с ней в кино «Колизей», молча приносил свиную тушенку из своего пайка и, отдавая, говорил своим невыразительным, тихим голосом: «Возьми, мне и так много дают...», — хотя пайка хватало еле-еле, жили впроголодь. Потом, наверное, сказал однажды, что ему дали комнату и им надо бы зарегистрироваться. Пошли и записались, тогда ведь не надо было ждать три месяца очереди во Дворец бракосочетаний... Скорее всего, именно так все и происходило. А может быть, и не так, кто его знает...

Шарапов, увлеченный приготовлением кофе, метнул в меня быстрый взгляд:

— Я вижу, не порадовал тебя мой видок-то.

Я пожал плечами:

— Ты же с бюллетеня, а не с курорта.

Он сказал задумчиво:

— У человека есть порожек, до которого его спрашивают люди: «Вы почему сегодня так плохо выглядите?» После, как перевалил, вроде радуются: «А сегодня вы замечательно выглядите!» Закон — чего необходимо, и чего — достаточно.

Я настороженно спросил:

— Ты что хочешь этим сказать?

Он добродушно улыбнулся:

— Вот ты, оказывается, тоже подвержен этим приличиям: проявляешь культурную непонятливость в таком вопросе... ясном, как репа.

— А все-таки?

— Все-таки? — переспросил Шарапов. — Ну, то, что для всех обыкновенно, нормально, мне уже дается с трудом. Я ведь, Стас, уже того... с ярмарки... Да-а...

Я помолчал. Дело-то, значит, у него серьезно, иначе он даже со мной не стал бы говорить на такие темы.

— Тебе сколько лет, Владимир Иваныч?

— Пятьдесят два. Это еще немного. — Он был почти весел. — В таких случаях еще пишут: «...в расцвете творческих сил...»

Я вспомнил вчерашний разговор об этом с Сашкой, все эти шуточки, и мне вдруг стало ясно, какое расстояние, сколько лет разделяют наши с Шараповым шутки и как время меняет их содержание. Не давая мне сказать, Шарапов продолжил, как будто отвечая моим мыслям:

— Я шучу, конечно. Дело не в годах, не в том, что их осталось мало. Дело в том, что они, которые остались, для меня стали слишком быстрые, короткие слишком...

Он прихлебнул коричневую дымящуюся жидкость и, отвернувшись от меня, стал смотреть в окно, где бушевала весна. По-прежнему глядя в окно, он сказал:

— Я во время болезни прочитал записки Филиппа Блайберга. Это человек, которому пересадили сердце...

— И что?

— Меня там одно удивило — я это будто своими глазами увидал: он пишет, что согласился на операцию потому, что знал — его сердце до конца изношено. Вместе со всей этой... сердечной сумкой. Да-а. Вот я тоже попытался представить, как мое сердце выглядит...

Я недаром восемь лет был под началом Шарапова. И был у него способным учеником. Поэтому и бровью не повел. А насчет того, что я не свободен от приличествующих условностей, он поторопился.

— Да-а, дела-а, — сказал я, копируя шараповскую манеру. — У нас с тобой, Владимир Иваныч, серьезно. Вот один вопрос только имеется: ты бы на пересадку сердца согласился?

Еще мгновение он смотрел в окно, потом повернулся ко мне и выключил весну на улице, как экран телевизора. И засмеялся:

— Ты змей, Стас. Нет, я бы не согласился.

— А почему?

— Не знаю. Я это понимаю, только объяснить мне трудно. Я ведь плохо говорю...

— А все-таки?

— Ну, мне же не пересадят насосик. И не возьмут такую истертую тряпку, как у меня. Значит, пришьют мне сердце какого-то совсем молодого человека, которому жить бы да жить, а он вдруг взял и под машину попал. Это уже несправедливо — раз, если и я буду жить с его сердцем, я чего-то добавлю к этой несправедливости. Да-а. Понимаешь, каждому отпущено только одно сердце. Свое. Хорошее или плохое. Вот с ним он должен жить, с ним надо и умереть.

Я почесал в затылке.

— Это уж какое-то язычество... Впрочем, насколько я тебя знаю, ты со мной неспроста завел эти погребальные разговоры. Чего-то ты от меня хочешь.

Он встал, не спеша прошелся по кабинету, будто раздумывая, говорить дальше или не надо. И всем своим видом давал понять, что шутки моей не принял. Потом подошел к сейфу, отпер, достал из нижнего ящика с отдельным замком толстую тетрадь в ледериновой серой обложке, сел за стол, аккуратно положил тетрадь перед собой, водрузив на нее свои огромные кулаки.

— Да, — сказал он. — Мне нужно от тебя. Важное дело. Ты сейчас чем занимаешься?

Я рассказал ему про Батона, чемодан, крест, портсигар. Рассказал, что завтра кончается срок задержания, что мы ждем сообщения из Унген. Шарапов хорошо знал Батона, и мой рассказ его развеселил.

— Да-а. Батон вовсе не роза, которую мечтаешь прижать к груди. Это на прошлом суде его же защитник выразился.

Я кивнул:

— Работенки он нам подкинул по горло.

— Пора привыкнуть, — сказал Шарапов. — У нас ведь, как у дворников: сколько снегу выпадет, столько и убирать. Ну, о движении по делу докладывай мне каждый день. А теперь давай закончим наш разговор...

Я открыл рот, но он сказал:

— Ты слушай меня и не перебивай. И отвечать не торопись, подумай. Это все штука серьезная. Лично для меня, например. Да и вообще... Я с тобой разговор о своем сердце не случайно завел, и в последний раз. О том, чтобы не болтал, не предупреждаю, сам понимаешь...

Он снял кулаки с тетради, взял ее в руки, бегло полистал и снова закрыл.

— Осенью будет очередная аттестация и, конечно, медкомиссия. Если какого-нибудь чуда не случится — а чудеса, знаешь, если и случаются, то сквозные... да-а... то медкомиссия поставит на мне крест. Это тебе понятно...

Я невольно сделал протестующий жест, но он спокойно продолжил:

— Цыц! Не перебивай! Сейчас я подбиваю бабки. И вот из-за этой тетрадочки я спокойно уйти не могу. Это — мое первое дело, и возрасту ему сейчас двадцать три года. Когда все это случилось, ты поступил в школу. А я пришел работать в милицию. «Дело по обвинению профессора Минаева в убийстве жены».

Мне показалось, будто я что-то слышал об этом деле, но фамилия Минаев проползла в памяти, как трал по ровному дну, и ни за что не зацепилась.

— Неделю назад я прочитал в газете, что Минаев скоропостижно скончался. Он ведь немолодой человек уже, наверное, инфаркт. Устало сердце. И я к этому свою руку тоже приложил.

Я сидел не шевелясь, понимая, что сейчас Шарапову нельзя задавать никаких вопросов — все, что нужно, расскажет сам.

— Когда-нибудь, постарше будешь — поймешь, даже, вернее, почувствуешь, что есть для каждого человека высшая судебная инстанция — суд его совести. Это суд суровый, потому что он не рассматривает смягчающих или отягчающих обстоятельств, а выносит решение одно — прав или виноват. Можно обмануть, переубедить, доказать любому суду, а сам себе никогда не скажешь — «виноват, но дело в том, что...». Да-а.

Теперь в двух словах дело, обстояло оно так: очень серьезные улики против Минаева были, просто страшные, а мне очень хотелось показать, что я хоть и молодой, да ранний. Очень я хотел, чтобы все наши подозрения были чистой правдой, я верил, прямо точно знал, что он убил, и старался изо всех сил, и если что-то не влезало в нашу версию, то я просто не обращал на это внимания: вполне достаточно было улик. И арестовал я его. Да, арестовал. Я в последнее время уже позабывать было стал, но вот снова все вспомнилось. Господи, как он страшно кричал тогда: «Это вы убийца, а не я!» Я просто тогда не понимал, что он имеет в виду, — я ведь его не убивал, сажая в тюрьму...

Шарапов помолчал, осторожно поглаживая ладонью обложку тетради, коротко взглянул на меня, криво улыбнулся:

— Ты не гляди на меня волком. Все было тогда гораздо сложнее... А было бы просто — не просил бы я тебя сейчас ни о чем...

ГЛАВА 8

Отправляясь на свидание к незнакомому человеку, я стараюсь обычно угадать заранее его внешность. Иногда это мне удается, и тогда я радуюсь необыкновенно, пытаясь объяснить свою удачу наличием в себе парапсихических свойств. Но поскольку никакой системы угадывания вывести мне не удалось, то при каждой следующей ошибке я уныло соглашаюсь с тем, что за меня просто сыграл случай. Это же подтвердила Людмила Михайловна Рознина, которую я представил себе после телефон-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46, 47.

ного разговора серенькой канцелярской мышкой.

Людмила Михайловна обещала разобраться с крестом и дать справку, кому он принадлежал. Я приехал в архив около двенадцати и, вышагивая по коридору, раздумывал о том, как она выглядит. В общем-то мне это было безразлично, и занимался я этим просто так: вроде бы гимнастика зачаточных парапсихических свойств. Прикинув несколько вариантов, остановился все-таки на серенькой мышке. Постучал в дверь.

— Ап! — раздался цирковой возглас из-за двери. Вот это да! Что-то слишком сильно для мышки. Я вошел, девушка за столом удивленно посмотрела на меня.— Ой, простите, я не думала, что вы так скоро будете. Вы Тихонов?

— Да. Здравствуйте. К сожалению, после вашей команды я не могу подпрыгнуть и сделать сальто — положение обязывает...

Она с сомнением посмотрела на мою длинную несладную фигуру: только, мол, из-за положения?

Я ухмыльнулся.

— Ну, и отчасти из-за того, что я не пробовал делать сальто. А это, как говорит наш эксперт Ной Маркович, не скрипка — взял в руки и уже играешь. Сальто — это надо уметь...

Людмила Михайловна засмеялась, и я снова убедился, что по части парапсихологии у меня сильные перебои: серая мышка оказалась очень элегантной и смешливой девушкой, и, конечно, называть ее Людмилой Михайловной было просто необходимой уступкой служебному этикету — она была просто Люда, Людочка, а еще лучше Мила.

Она спросила серьезно:

— Товарищ Тихонов, а вы действительно настоящий сыщик?

— А как же! Вот мое удостоверение и запрос к вам насчет ордена.

— Да нет, я не об этом,— сказала она разочарованно.

— А-а! — протянул я.— Понятно. Но я еще не волшебник, я только учусь. Кроме того, могу сообщить, что хоккеист Борис Майоров стрижется всегда у одного и того же парикмахера...

Люда-Людочка-Мила недоуменно пожала плечами:

— Он что, пижон?

— Не-ет, ни в коей мере. Просто парикмахер равнодушен к этой мужественной игре, и поэтому он единственный из всех людей, кто не разговаривает с Майоровым о хоккее.

Она усмехнулась и невинно спросила:

— Но Майоров среди хоккеистов самый знаменитый. А вы?

— Среди хоккеистов — пожалуй...

— Нет, среди сыщиков?..

— Вряд ли,— ответил я.— А если подумать, то наверняка не самый...

— А хочется?

— Быть «самым»?

— Ну да. Самым знаменитым сыщиком?..

— Хочется,— кивнул я покорно.— Вот вы мне поможете, и, может быть, стану. Тогда мое тщеславие будет удовлетворено вдвойне.

— Почему вдвойне?

— Потому что я стану первым живым знаменитым сыщиком. Дело в том, что живых знаменитых сыщиков не бывает. Я вот, например, не слышал.

— Да-а? — недоверчиво протянула Люда-Людочка-Мила.

— Да,— подтвердил я сокрушенно.— Вы слышали про знаменитых убийц — извозчика Комарова и Ионесяна по кличке «Мосгаз»?

— Слышала.

— И все остальные про них слышали. Но ведь редко кому приходит в голову, что они стали знаменитыми после того, как их выследили и поймали совсем незнаменитые сыщики. Про Ионесяна вы слышали много, в газетах даже читали, а о том, что его поймал, вместе с другими, конечно, вовсе не известный вам подполковник Шарапов, вы и понятия не имели. Точно?

— Но ведь это, наверное, несправедливо? — сказала девушка с досадой.

— Нет.— Я перестал дурачиться и засмеялся.— Все справедливо. Люди должны знать актеров и спортсменов, и это правильно. А если сыщика прохожие стали бы узнавать на улице, как кинозвезду,— толку от него стало бы как от козла молока. У нас работа такая, что чем меньше людей знает нас в лицо, тем лучше.

— Ладно, не набивайте цену, а то мне становится обидно, потому что вы-то сумели найти себе оправдание, а мне и придумать нечего. Я-то как раз хотела бы, чтобы меня узнавали на улице, но ведь знаменитых архивистов тем более не бывает...

— Зачем вам слава? Слава — тлен! По-настоящему оценил меру счастья только тот лебедь, что вырос из гадкого утенка.

— Вы ехидный человек. И если бы вы не пришли с официальным запросом, я бы не дала вам справку.

— А что... уже?— спросил я с надеждой.

Люда важно кивнула и достала из стола напечатанную на бланке справку.

— Вот это темпы! — восхищенно пробормотал я. Мгновенно прочитал и вновь повторил концовку: «...Его превосходительство генерал-майора кавалерии барона Николая Августовича фон Дитца, командира 307-й Тернопольской дивизии орденом Святого благоверного великого князя Александра Невского со звездой и мечами 13 октября 1916 года от Р. Х.».

— Значит, Людмила Михайловна, другом Батона был его превосходительство генерал-майор кавалерии барон Дитц?

Она искоса взглянула на меня и сказала:

— Я не знаю, о каком Батоне вы говорите, но этот барон уже много лет ничьим другом быть не может. В 1946 году генерала Дитца, сподвижника атамана Семенова, по приговору Военной коллегии Верховного Суда повесили...

— Какого Семенова? — не сообразил я сразу.

Она осуждающе покачала головой:

— Ай-яй-яй! Стыдно не помнить. Атаман Семенов, белогвардейский генерал, в конце гражданской войны отступил в Маньчжурию, где и чинил всякие антисоветские козни, пока его в 1945 году после разгрома Японии не взяли в плен. Потом судили и вместе с четырьмя другими заправилами повесили. Вот и все, что я знаю.

— А что есть еще про Дитца?

— Ничего. Я уже посмотрела. Вам надо поинтересоваться в архиве Верховного Суда. Я не помогла вам стать самым знаменитым?

— Трудно сказать. Пока не знаю. Посмотрим, какие следы еще оставил его превосходительство...

Эх, Люда-Людочка-Мила! Я вдруг подумал, что хорошо было бы жениться на ней. Она красивая, веселая и хочет вырасти лебедем. И, может быть, ее бы не так угнетало бремя альтруистической тирании. Но я наверняка опоздал к ней на свидание. На несколько лет. В пять часов она торопливо накинет свое светлое демисезонное пальто, которое пока еще терпеливо висит в углу на гвоздике, прогремит легкой дробью наблучков по бетонным лестницам, выбежит на Пироговскую улицу, жадно вдохнет студеный вечерний воздух апреля, сядет на пятнадцатый троллейбус и в сутолоке часов «пик» будет мчаться по бульварам к центру, не замечая толкотни и препирательств пассажиров, и через запотевшее стекло будет разглядывать, как сквозь волшебную линзу, людей на тротуарах, раздумывая о далеких белых лебедях и тупых жирных утках, нисколько не заботясь о том, что какой-нибудь парень увидит ее задумчивое, грустно-улыбчивое лицо в желтой рамке окна, и толстобокий гудящий троллейбус сразу превратится в голубую мечту, быстро исчезающую в сторону Пушкинской площади, и этого парня, что кольнула она нечаянно в сердце, и не заметит — мечта цепко держится за поводья электрических проводов и мчится в жестком графике вечернего маршрута. А на конечной остановке Люду-Людочку-Милу будет ждать молодой человек, для которого надо вырасти лебедем, потому что и он еще твердо уверен, что быть по-настоящему счастливым можно, только став самым знаменитым. Его еще нельзя безнаказанно назвать щенком — можно выпустить джина из бутылки, и в связи с этим ему совсем не нужны войлочные тапки. Жизнь еще не призвала его проехать по стене, и он не знает, что вряд ли он будет когда-либо счастливее, чем сейчас, когда к нему мчится через весь город Люда-Людочка-Мила, оставляя на одно мгновение несчастным того парня на тротуаре, что увидел ее лицо в желтой рамке мечты, курсирующей до Лужников. Я опоздал на свидание, поэтому ее будет встречать молодой человек, который еще не знает, что самые знаменитые никогда не бывают счастливы. И опоздал я довольно давно, и по-настоящему ждет меня сейчас только один человек на земле — вор Леха Дедушкин, по кличке Батон, которому осталось сидеть под стражей еще несколько часов...

Я задумчиво смотрел на Людмилу Михайловну, а она взяла у меня из рук бланк, аккуратно сложила его пополам, еще раз, засунула в конверт и протянула мне:

— Вот и все. Его превосходительство... Смешное слово. У нас уже забыли о таких формах обращения и титулования. Жаль только, новых не придумали...

— Например? — спросил я.

Она развела руками:

— Не знаю. Но я бы хотела дожить до времен, когда к людям будут обращаться по их человеческим добродетелям: «ваша справедливость» или «ваша гениальность». Или вот здорово — «ваша милосердность»! Нравится?

— Нет. Мы бы ведь с вами могли снова не попасть в число самых-самых... Я бы просто хотел дожить...

— До чего?

— До счастья...

ГЛАВА 9

У дежурного для меня лежало несколько телеграмм. Я даже не очень волновался, читая их,— настолько не сомневался в правильности наших расчетов. Телеграммы были отправлены почти в одно время из Конотопа, Кишинева и Унген. Поездные бригады и кассир в Конотопе безоговорочно опознавали Батона. Проводники шестого мягкого вагона «Дунай-экспресса», два таможенника и пограничник КПП — Унгены опознали молодого человека по фотоснимкам и сообщили его имя — Фаусто Кастелли.

Фаусто Кастелли, Фаусто Кастелли... Что же это ты, Фаусто, не заявил, что Батон спер у тебя чемоданчик? А, Фаусто? Почему же это ты так поскромничал? Не нравятся мне такие тихие ребята... Такой ты богач, что не хотел себе из-за чемодана голову морочить? Это вряд ли. По опыту я знаю: чем состоятельнее человек, тем бережнее он относится к своим вещам. Нет, из-за этого молчать ты не стал бы, по крайней мере заявил бы проводнику. А ты, Фаусто, друг мой ситный, ни гугу никому. И в декларацию внес только один чемодан, а про тот, что Батон прихватил с собой в Конотопе, ни слова. И как же это крест повешенного генерал-майора фон Дитца, белогвардейца и военного преступника, оказался у тебя в чемодане? Ну, скажи на милость, зачем тебе орден святого князя Александра понадобился? Как он к тебе попал?

Билет у Фаусто Кастелли был до Софии. Проводники показывают, что туда он и приехал благополучно. В Софию, в Софию... Черт те что! Ничего не понятно. Не хотел привлекать к себе внимания? Почему? Почему же ты, голубчик Фаусто, не хотел привлекать к себе внимания уголовного розыска? Слушай, Фаусто, а может быть, ты шпион? А, Фаусто, что скажешь? Нет, говоришь, не шпион? Это, пожалуй, ты говоришь правду. Шпион не повезет с собой открыто вещи, которые при первом же досмотре обязательно привлекут внимание. Так кто же ты, Фаусто? Жулик? Или просто болезненно застенчивый человек, боящийся нас оскорбить намеком, что в великой социалистической стране еще не перевелись воры? Не знаю, не знаю, что-то я не верю в твою гипертрофированную деликатность. Ладно, займемся тобой вплотную.

Как говорит в таких случаях Савельев, объявляется день повышенной дóбычи. Я влез на подоконник и растворил верхнюю фрамугу. По Петровке гонял апрельский ветер, прозрачно парили лужицы на асфальте, а в саду «Эрмитаж» на газонах еще лежали иссеченные солнцем глыбы грязного снега. Рабочие обухами топоров разбивали фанерные колпаки над цветочными вазонами, и этот густой толстый звук — тох! тох! — перекрывал уличный гам. В воде на мостовой купались растрепанные сизари, похожие на опустившихся ворон. Весна. И завтра Батон уже сможет насладиться ею на свободе. Я не смог ему доказать, что воровать нельзя, н е л ь з я. Не смог. Какой-то сумасшедший калейдоскоп фактов, не имеющих между собой никакой осязаемой связи: Батон в КПЗ, Фаусто в Софии, генерал фон Дитц на том свете. Всех их связывает крест. Нет, с этим крестом не все ладно. Я не могу пока еще понять его значение, но какая-то роль ему отведена, и, возможно, далеко не второстепенная...

Надо сосредоточиться, понять, что и куда ведет. Так, во-первых, выяснить все о Кастелли. Второе — прочитать дело Дитца. Третье — с Батоном. А что с Батоном? При всей унизительности моего положения Батона придется выпустить. Юридических оснований для дальнейшего содержания под стражей не имеется...

Почему-то в этот день меня никто не дергал, и даже телефоны не звонили, будто мои бесчисленные абоненты почувствовали, что меня не надо сегодня отвлекать. А я сидел за своим маленьким неудобным столом и писал запросы, планы расследования, рисовал оперативную схему и раздумывал о том, что не должна вот так закончиться наша нынешняя встреча с Батоном. Это будет неправильно, ну просто вредно для нас обоих.

Уже совсем стемнело, когда позвонил Савельев. Я рассказал ему о своих изысках, про Дитца, Фаусто Кастелли и про Люду-Людочку-Милу.

— Говоришь, жениться на ней захотел? — с интересом спросил Сашка.

— Ага,— простодушно подтвердил я.

— Красивая, наверное? — допытывался Сашка.

— Как тебе сказать, наверное, красивая,— сказал я.

— Ищи моральные ценности в женщинах и обрящешь подругу себе,— мрачно заключил Сашка.

Я вспомнил Сашкиных знакомых девушек и захохотал.

— Слушай, моралист, а ты сам где сейчас обретаешься?

— Так что в Библиотеке Ленина...

— Что? — удивился я.— Ты как попал туда?

— Истово выполняю ваши поручения, гражданин начальник...

— Ну-ну, давай, давай!

— Значит, подробностями я тебя обременять не стану, сообщу сразу результат: пленочка вся или почти вся отснята в Болгарии.

— Тебе бы хорошо сохранить эту лаконичность для всех остальных случаев, а сейчас уж, будь друг, обремени меня подробностями...

— Хозяин — барин, пожалуйста. В «Экспортфильме» сделали очень неуверенное предположение, что на афише изображен кадр из болгарского кинофильма «Опасный полет». Но, во-первых, утверждать этого категорически они не могли, а во-вторых, болгарский кинофильм мог идти где угодно — хоть в Уругвае.

— Понятно, понятно, дальше...

— Не гони! Сам же просил подробностей. Тогда я в Союз архитекторов. Естественно, запрос наш там еще никто и не смотрел. Ну, поторопил я их...

— Да-а? — протянул я зловеще.

— Не, не, все очень вежливо. Дальше едешь — тише будешь. Ласково все им объяснил, но со слезой в голосе. Ну, отыскали они мне в два счета какого-то дедка в ермолке, вот он сразу и точно заявил, что все красоты на снимках — фрагменты памятников, установленных в Софии и Плевене. Облобызал я деда в бороду и помчался в библиотеку...

— А в библиотеку-то зачем?

— Не понимаешь? — сочувственно спросил Сашка и поцокал языком.— Прав твой друг Батон — не полагается еще тебе медаль за сообразительность.

— Думаешь? — спросил я серьезно.

— Почти уверен. Я деду-эксперту доверяю, но проверяю. Потому как я еще не академик архитектуры, а просто сыщик. Он ведь и ошибется — научный просчет, а мне шею намылят. Вот и взял я тут вечернюю софийскую газету, чтобы ознакомиться с репертуаром местных кинотеатров...

— А что ты по-болгарски понимаешь?

— Все,— спокойно заявил Сашка.— У них язык точно как у нас, только на старославянский смахивает. У нас — я, у них — аз, мы говорим — был, а они — бяше. Я уж подумал, что в одной люльке наши прадеды качались...

— Да, ты у меня крупный исследователь,— согласился я.— Так что с кинофильмом?

— Помнишь, на фото просматривались три буквы названия кинотеатра «СКВ»? Оказывается, в Софии есть кинотеатр, который называется «Мо-СКВ-а»! И с 28 марта по 3 апреля в нем шел кинофильм «Опасный полет». Возражения имеются?

— Порядок. Можешь возвращаться на базу. Выполнял поручение действительно истово.

— Это у меня от неистового отношения к работе,— засмеялся Сашка.— Через полчаса буду у тебя...

— Приходи прямо к Шарапову...

Я сел к машинке и настучал постановление об освобождении Батона из-под стражи, и когда я дошел до слов «...из-под стражи — освободить...», настроение у меня совсем испортилось, потому что обозначали они мой полный провал. Потом спрятал бланк в папку и отправился к шефу. Вошел в его кабинет и, как смог твердо, сказал:

— Полагаю, что Дедушкина ни в коем случае отпускать нельзя!

Как расхвастався и неожиданно уличенный мальчишка, я надеялся, что еще может произойти какое-то чудо, которое спасет меня от провала, хотя отлично знал — ничего не может сейчас случиться и Батона надо будет выпустить.

Шарапов поднял взгляд от бумаг и как будто взвесил меня — чего я стою, усмехнулся и снова опустил глаза, дочитывая абзац. При этом он пальцем придерживал строку, будто она соскочит со страницы. Потом подчеркнул что-то карандашом, поставил на поле жирную галку и отложил документ в сторону. Снял очки, положил на стол. Очки он стал носить совсем недавно, и, помнится, когда увидел я их впервые, удивился и расстроился совсем так же, как сегодня, когда понял, что Шарапов больше не белобрысый, а просто седой. Так невероятно было считать его старым...

Шарапов помолчал немного, потом спокойно сказал:

— Судя по твоему тону, все законные основания для содержания Батона под стражей исчерпаны. Да-а...

Это было его излюбленное словечко — да-а. Он говорил его не спеша, врастяг. И в зависимости от интонации оно могло обозначать крайнее неодобрение и восхищение. Незаметно мы все — и Савельев, и Дрыга, и Карагезов... стали говорить «да-а».

— Да-а-а,— повторил он.

Я кивнул:

— Да, почти исчерпаны. Но существует еще арест в порядке статьи девяностой — до десяти суток без предъявления обвинения.

Шарапов усмехнулся:

— Да-а... Я слышал об этом где-то... Там аккурат речь шла об исключительных случаях... Предположим, что мы продержим Батона еще неделю. Но что ты можешь гарантировать? Нет гарантии — извиняться перед Дедушкиным все-таки придется.

— Я, между прочим, не пылесосы выпускаю. И не электробритвы. И никаких гарантий давать заранее не могу. Но... но...

— После такого «но» должно последовать серьезное отирование...

— Этого не обещаю. Но я предлагаю идти в глубь вопроса...

Шарапов поднял белесую бровь. Я разложил на столе оперативную схему и развернутый план по делу.

— Дальнейшая разработка и допросы Батона представляются мне бесперспективными. Откровенничать он не станет. Но мне не дает покоя крест. Странный он, этот крест. Поэтому я хочу исследовать в архиве Верховного Суда дело атамана Семенова. Это раз. А затем самое главное: надо связаться с болгарским уголовным розыском... запросить их о Фаусто Кастелли. Вчера он приехал в Софию. Если он вполне респектабельный человек, надо попросить болгарских коллег порасспросить его о чемодане.

Шарапов зачем-то надел очки и посмотрел на меня исподлобья сквозь дымчатые стекла. В это время постучал в дверь Савельев:

— Разрешите присутствовать, товарищ подполковник?

— Садись. — Шарапов снова снял очки и стал раскручивать их вокруг пальца.— А не торопимся мы, Стас? Может, повременить?

— Ох, до чего же вы, начальство, народ осторожный! Погодим, повременим, подумаем... Тьфу!

Савельев, удобно устроившись на диване, заявил:

— А я вот, например, думаю так...

— А ты пока посиди, отдохни,— сказал я сердито. Савельев пожал плечами, Шарапов усмехнулся:

— Табак наши дела с тобой, Савельев. Тихонов у нас строг: для него каждый работник на пять лет старше — консерватор, а на два года моложе — сосунок. Представляешь этого титана лет через двадцать?

Сашка обрадовался возможности безнаказанно потоптаться на мне и смиренно сказал:

— Так о чем разговор! Наш Тихонов как гусеница из детского стишка: «то сама себя длинней, то сама себя короче...»

Шарапов засмеялся.

— Ты уж меня за перестраховку прости, Стас, но если бы я не «раздумывал» и не «временил», то уже давно бы на углу галоши клеил. Да-а. А вариант твой я не отвергаю, просто меня настораживает резкая смена направления розыска. Помнишь, была такая чемпионка по конькам — Мария Исакова? Вот однажды, много лет назад, я видел, как во время соревнований она на повороте упала. Лед, инерция, закругление — сильно очень закрутило ее. Наконец, она затормозила, вскочила и... побежала в другую сторону...

— Я не бегу в другую сторону,— упрямо сказал я.

— А я этого и не утверждаю. Я,— как это ты любишь говорить,— мобилизую твое внимание.

— Давайте еще раз с Батоном поговорим,— предложил я.

— Бесполезно,— сказал Сашка.— Это же не человек — это кладбище улик.

Но Шарапов уже снял телефонную трубку и коротко приказал:

— Дедушкина ко мне,— положил трубку на рычаг и сказал нам: — Поговорим и, по-видимому, отпустим... Да-а.

Сашка, который не слышал начала нашего разговора, вскочил с дивана:

— То есть как это отпустим? В каком смысле?

— В прямом,— спокойно сказал Шарапов.— Тем более что Батон не иголка, фигура всесоюзно известная и в случае чего никуда от нас не денется.— Он быстро взглянул на меня и снова повернулся к Савельеву.— Я думаю, что у Тихонова уже лежит в папочке постановление о его освобождении. А, Стас?

— Допустим, что лежит,— сказал я зло.

Сашка посмотрел на меня, будто я предал его в тяжелую минуту. Он спросил растерянно:

— Как же это можно? Он ведь вор... Он же отъявленный ворюга...

— Да, он вор. Но мы не доказали этого,— сказал Шарапов грустно. И я подумал, что, когда он нас хвалит, он говорит: вы это хорошо сделали, а когда мы в провале, он говорит: мы этого не смогли сделать.

Сашка обернулся ко мне, будто ища моей поддержки:

— Ну, ты-то что молчишь? Для чего же я его поймал? Ведь его нельзя выпускать. Он представляет собой постоянную общественную опасность! Он ведь завтра снова чего-нибудь украдет...

Шарапов положил очки на стол и сказал задумчиво:

— Да, сынок, ты прав. Он представляет собой общественную опасность. Но содержать в тюрьме человека без достаточных доказательств — еще большая опасность обществу. Ты кое-чего, к счастью, не помнишь...

— Но ведь Батон — преступник, и смысл, содержание закона на нашей стороне,— почти выкрикнул Савельев.

Шарапов твердо сказал:

— Закон — это тебе не абстрактная картина, и смысл его четко выражен в форме. Саша, запомни, пожалуйста, что, когда причастные к закону люди начинают толковать его смысл, а соблюдением формы себя не утруждают, закон очень быстро превращается в беззаконие. Незадолго до моей болезни у нас с Тихоновым был разговор на эту тему. Ты как сказал тогда, Стас? А?

Да, я сказал это тогда, а сейчас я проиграл, и надо признать поражение.

— У нас не бывает побед по очкам...

— А дальше?

— За нами признают только чистые победы.

— Вот именно. И, пожалуйста, правила игры под свой размер не подгоняйте. Кроме того, у меня сложилось впечатление, что вы не поняли меня... Судя по вашим стонам, вы оба решили, что раз Кастелли в Софии, а Батона надо отпустить, то делу будет позволено догнивать на корню. Должен вас разочаровать — я с вас шкуру спущу, если вы его до конца не доведете. Это считайте как приказ, если нормальных человеческих слов не понимаете...

— Перспектив мало в этом случае,— буркнул Сашка.

— Мало? — сердито посмотрел Шарапов.— Может быть, и мало. Но это твоя вина. Потому что нераскрываемых преступлений не существует. Есть сыщики, которым это не удается.

Савельев, пожав плечами, изобразил возмущение — мол, давайте уж, валите все сразу.

— И мимические жесты свои мне не показывай, для девушек прибереги. Я ведь слышал, как ты в клубе выступал — «единоборство между милиционером и преступником», «поединок закона и преступления». Чушь это все и враки! Да!

— То есть как это? — удивился я.

— А так! Нет никакого единоборства и поединка, поскольку смысл в этих словах — это соревнование один на один. Взять хотя бы, к примеру, твое первое серьезное дело, Савельев. С бандитом Валетиком. Ты как думаешь, взял бы ты его один на один?

— Трудно сказать.

— Тебе трудно, а мне легко. Никогда бы ты его не отработал. И Тихонов бы ничего не сделал. И я то же самое. Он ведь каждого из нас не глупее был. И хоть тебя я, Саша, люблю, но смог ли ты бы спуститься по водосточной трубе с одиннадцатого этажа,— не знаю. А Валетик спустился...

— И что? — все еще задиристо спросил Сашка.

— Ничего. Валетик-то против тебя действительно один, у него весь расчет, как у волка, только на себя. А мы тут против него впятером думали. Но и не это самое главное. Когда ты выходил за Валетиком, у тебя в одном кармане лежал «Макаров», а в другом красная книжечка. Там написано, что ты инспектор МУРа. И эта маленькая картоночка давала тебе силу, ну, просто исключительную! Полномочие от всех людей. Ты был их представитель и, может быть, об этом не думал, но уверен был, что, кому бы ты ни закричал или приказал, попросил, поручил, все будут доброхотно тебе помогать.

— Что ж, значит, я ничего и не сделал? — обиженно сказал Сашка. Я разделял его обиду, потому что дело-то действительно было блестящее.

— Как не сделал? — удивился Шарапов.— Ты прекрасно поработал. Но успех вовсе не от этого твоего «поединка» взялся, и не от храбрости, и теде и тепе... Добросовестность. Понимаешь? Добросовестность в работе. Ты думал тогда хорошо — тяжело, трудно. Как пахал, как лес рубил, с потом, с кровью, больно думал. Оттого и победил...

— Да вы же себе сами противоречите, Владимир Иваныч!— сказал Сашка.

— Нет. Если бы не было тебя, это дело отработал бы Тихонов, или Дрыга, или я. Но никто из нас в одиночку его бы не сделал, разве что случай помог. Да какая надежда на случай — ты сам знаешь. Ты вел это дело, как вожак упряжку. Но тяжелые сани один вожак с места не тронет...

— Теория винтиков?..

Шарапов усмехнулся:

— Давай, чтоб тебе не было обидно, я назову ее теорией компасов. Ты наш компас. Хорошо? Но ты компас на нашем корабле...

В дверь постучали, вошел конвойный милиционер:

— Товарищ подполковник, задержанный доставлен.

Продолжение следует.

Батон был очень бледен, спокойно-медлителен, и его огромные черные глаза как будто попали случайно на чужое лицо — как в прорезях алебастровой маски они метались тревожно и живо. Батон понимал, что сейчас его или отпустят, или отправят в тюрьму. Он узнал Шарапова и сказал:

— Мое почтение, гражданин начальник. Как говорится в старой пьесе, «друзья встречаются вновь». Вы уж извините...

— Здравствуй, Дедушкин. Не могу тебе сказать, чтобы я уж чересчур был рад нашей встрече...

— А я, ей-богу, рад. Недоразумение уже, наверное, выяснилось, а с умными людьми пообщаться всегда приятно...

— Точно,— сказал Шарапов.— Тем более что умные люди уже выяснили, у кого ты увел чемоданчик.

— Серьезно? — озабоченно спросил Батон.— Значит, недоразумение все еще длится и теплого, душевного разговора не получится. Кстати, а кого вы подозреваете?

Мы все засмеялись. Батон понял, что переиграл, и сразу выехал на новые рельсы:

— Я имею в виду, кого вы подозреваете, что у него украли чемодан...

А глаза у него метались в маске лица, и мне совсем некстати стало жалко Батона — такой умный, сильный человек посвятил свою жизнь уничтожению самого себя.

Шарапов негромко сказал:

— Прекрати, Дедушкин, волынку. Мы с тобой сейчас не играем. Чемодан ты украл тринадцатого апреля около девяти часов утра в «Дунай-экспрессе» у итальянского гражданина Фаусто Кастелли.

— Да-да, помнится, какой-то господинчик, ехавший в моем купе, показался мне итальянцем... Правда, багажом его я не интересовался.

Савельев сказал:

— Ты бы нас хоть перед иностранцами не позорил. Стыдно.

Батон усмехнулся и сказал с нотой нравоучения:

— Гражданин Шарапов, у вас служат аморальные люди. Даже если бы вы доказали, что я у этого итальяшки махнул чемодан, то разве с точки зрения общественной нравственности это хуже, чем обворовать нашего советского честного труженика? Он ведь, наверное, буржуй и живет скорее всего, как и я, на нетрудовые доходы. Где-то его даже можно причислить к лику агентов империализма. Простые итальянские трудящиеся не катаются по заграницам люкстуром, а заняты классовыми боями.

Вот сволочь-то, еще издевается над нами! А Батон продолжал:

— Судя по задушевности нашей беседы, этот самый Фаусто еще не заявил своих гражданских претензий и имущественных прав. Все, что вы мне говорите, обычные предположения, которые вы любите называть версиями. Я бы хотел более серьезных доказательств моей вины. Ведь я тоже не по своей охоте законы выучил.

— Ну, а вещички в чемодане? — спросил Шарапов. Он говорил спокойно, с каким-то ленивым интересом, будто все происходящее здесь его совсем мало волновало.

— Вещички? — пожал плечами Батон.— Их нельзя считать доказательствами.

— Это почему же? — полюбопытствовал Шарапов.

— Потому что я могу выбрать для себя две линии защиты. Первая: заявляю вам категорически, что чемодан купил целиком у какого-то неизвестного мне гражданина — все, точка. Вторая: открываем широкую дискуссию по презумпции невиновности — я-то ведь не должен вам доказывать, что я не виноват, это вы должны доказать мою виновность. Поэтому речь может идти только об оценке доказательств, а это всегда штука субъективная. Например, старый пожарник, прослуживший всю жизнь в консерватории, на вопрос, чем отличается виолончель от скрипки, объяснил, что виолончель дольше горит. Понятно?

— Да-а, понятно,— кивнул Шарапов.— Ну, что ж, ты меня окончательно убедил: парень ты серьезный. Поэтому посадим мы тебя обязательно...

— Нынешний эпизод, простите, не годится,— покачал головой Батон.— Товар калина, дерьма в нем половина.

— Ладно, посмотрим,— так же легко, без всякой угрозы сказал Шарапов.— Ты бы, Дедушкин, поведал мне лучше что-нибудь про итальянца. Нет настроения?

Батон не спеша осмотрел нас всех, задумался на мгновение.

— Сдается мне: этот Фаусто интересует вас больше, чем я? А, гражданин начальник?

Шарапов кивнул.

— Допустим. Так что?

Батон думал, мы его не торопили. Потом спросил:

— Что — «что»? Ничего!

— Не будем говорить?

— Конечно, не будем.

— Почему?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46, 47, 48.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

— Слушайте, Шарапов, вы же умный человек. Неужели вы не понимаете, что такой враг, как этот Фаусто, мне-то гораздо ближе, чем такой земляк, как вы? Его я не знаю и знать не хочу. А вас я знаю так же хорошо, как то, что вы хотите меня посадить в тюрьму. Надо мной не тяготеет моральное бремя патриотизма, поэтому помогать вам ловить кого-то я не стану. И вы в этом тоже виноваты.

— Почему? — по-прежнему невозмутимо задавал вопросы Шарапов.

Батон посмотрел на него прищурясь, будто решал, говорить или не надо. Потом решил:

— Тихонов считает, что мы с ним уже старинные знакомые. Не знаю, говорили ли вы ему, что мы с вами познакомились, когда он в кармане еще не пистолет, а рогатку таскал. И я вас хорошо изучил за эти годы. Вы совсем маленький, заурядный человек. Вами даже жена дома наверняка командует. Таких людей идет ровно двенадцать на дюжину — ни пороков, ни достоинств. И так — каждый день, круглый год минус время на сон. Но те десять—двенадцать часов, которые вы проводите в этом кресле — вы же наверняка перерабатываете,— делают вас фигурой, личностью, значительным и сильным человеком. Ответственность за людей, власть над ними, постоянный риск, азарт игры и поиска делают вашу мысль острой, а жизнь интересной. Поэтому вы не просто любите свою работу, а вы живете ею, у вас ничего нет, кроме нее, и как бессмысленно человеку обманывать самого себя, так вы никогда не пойдете на сделку со своей профессиональной честностью. Она ведь превратилась в основу вашего существования. Это оплот вашей веры, и вы лучше получите строгача или служебное несоответствие, чем предложите мне: «Давай, Дедушкин, помоги нам найти итальяшку, а мы уж дело с чемоданом замнем». Я вас за это не осуждаю, но, честно говоря, очень не люблю. И думаю, что этот разговор в присутствии ваших мальчиков вы мне никогда не забудете...

Шарапов долго молчал, покручивая в руках очки, потом надел их и внимательно осмотрел Батона.

— Разговор у нас был хороший. Я ведь в жизни всегда боюсь только неизвестного и непонятного. А с тобой просто: ты нам очень даже понятен...

— Грозитесь? — усмехнулся Батон.

— Нет,— сказал немного грустно Шарапов.— Ты очень опасный человек. Я и сам не больно чувствительный, но тебе прямо удивляюсь: отсутствуют у тебя человеческие чувства. Да-а-а... В общем, разговор закончен.

Да, разговор был закончен. Я достал из папки бланк и сказал:

— Гражданин Дедушкин, мы считаем дальнейшее содержание вас под стражей нецелесообразным...

— Незаконным! — перебил он меня.

— ...нецелесообразным,— продолжал я,— в связи с чем вы освобождаетесь. Распишитесь вот здесь на постановлении...

Дедушкин встал, не спеша подошел к столу, достал из стакана на столе у Шарапова ручку, аккуратно обмакнул ее в чернильницу, внимательно осмотрел кончик пера, взял в руки бланк, прочитал.

— Здесь расписаться?

— Здесь,— сказал я негромко, и ярость, тяжелая, черная, как кипящий вар, переполняла меня, и очень хотелось дать ему в морду.

Батон быстро наклонился к листу бумаги, будто клюнул его, поставил короткую, корявую закорючку. Но и в этот короткий миг я разглядел, как сильно тряслись у него руки. И промокать пресс-папье его подпись я не стал, потому что он бы увидел, как трясутся руки и у меня. Просто я взял листок бумаги и небрежным таким движением помахал им в воздухе — вроде бы закончили неприятную процедуру и слава богу. Я положил бланк в папочку и сказал:

— За задержание приношу свои официальные извинения.— И сказал я это как-то весело, со смешком, будто в дурака проиграл, и наплевать мне и на проигрыш, и на Батона, и на извинения все эти пустяковые. И почувствовал, что если снажу еще одно слово, то запла́чу. Ну, не зарыдаю, конечно, но вот бывает такое состояние, когда от злости, бессильной ярости сжимает спазма горло и в любой момент из глаз могут покатиться слезы досады и отчаяния.

А Батон засмеялся и сказал:

— Да ну, ерунда какая! Бог простит.— И не удержался, добавил: — Я же ведь говорил вам, Тихонов, что извиняться еще придется. А вы посмеивались. Правда, должен признать...— он сделал паузу, посмотрел на меня с насмешкой и врубил: — ...вы уже совсем не тот щенок, которого я знал. Совсем не тот. Другой, другой. Кстати говоря, а как с вещами?

Не знаю почему, но этим ударом он как-то снял с меня напряжение, будто из шока вывел. Плюнул я на все эти игры со спокойствием и «позиционной борьбой» и сказал попросту:

— Рано радуешься. Дело-то продолжается. Я ведь тебе извинения о ф и ц и а л ь н ы е принес, как должностное лицо. А я сам, Тихонов, перед тобой не извиняюсь, потому что ты вор и к тому же не самый толковый. Поэтому в присутствии своих товарищей клятву даю: я тебе докажу, что воровать н е л ь з я. И если я этого не сделаю, то я лучше из МУРа уйду. Но я тебе докажу, что из МУРа мне уходить еще рано.

— Красиво звучит. Прямо как клятва Гиппократа. Так что с вещами? С чемоданом моим что?

— Вот с чемодана и начнем. Чемодан не твой: он ворованный и как вещественное доказательство будет приобщен к делу до конца следствия. Уведомление об этом тебе вручу в собственные руки. Гражданин Дедушкин, вы свободны. Можете идти...

Батон дошел до дверей, и шаг у него был какой-то неуверенный, заплетающийся, как у пьяного. Может быть, потому, что в ботинках не было шнурков, не знаю. Но он все-таки обернулся и сказал с кривой ухмылкой:

— Прощайте...

Мы с Шараповым промолчали, а Сашка крикнул вслед:

— До свидания! До скорого!

ГЛАВА 10

Я вошел к себе в комнату и увидел, что вечерний сумрак стелется в углах, как туман. Закат над городом догорел, и ушедшее солнце разогревало снизу облака, сиреневые, синие, легкие, отраженный свет окрашивал все в полутемной комнате размытой акварелью, и от этого не видно было беспорядка, пыли, продравшейся обивки на кресле, и только необычный дымящийся полусвет плавал в ней, стирая грани, все неприятное и некрасивое, и в короткое это мгновение комната была похожа на аквариум, заполненный гаснущим серебристым свечением и прозрачной тишиной. Тишина была замкнутой, не сообщающейся с миром, как воздушный колокол под водой, потому что за окном, напротив, в Гнесинском училище, тонко выбивал кто-то на рояле гаммы, и эти дрожащие ноты бились о стенки моей тишины, не в силах проникнуть в нее, поколебать, нарушить, и поэтому они сразу же поднимались вверх, к сиреневым легким облакам, и улетали с ними далеко, за горизонт, навсегда...

Не раздеваясь, я уселся на стул, бросил на стол пачку пельменей, пакет с «домашними» котлетами и вспомнил, что забыл купить хлеба; от этого стало досадно, потому что, сколько я себя помню, у меня дома никогда не бывало свежего хлеба, я всегда забываю его покупать. Да и есть мне почему-то расхотелось. А настроение было преотвратительное. Я лег на диван, но никак не мог заснуть, мне казалось, что партию с Батоном проиграл окончательно, потому что она была мной проиграна еще до начала игры, а я просто не знал этого. Мне вспомнились когда-то давно прочитанные и почти совсем позабытые стихи Рильке о пантере, выросшей в клетке. Она не знала свободы и поэтому полагала, что ограниченный пятачок ее вольеры — это и есть свобода, а вся земля за решеткой — неволя. Неужели свобода Батона — за решеткой? Но он ведь не хотел в тюрьму и бился до последнего!

Зазвонил телефон. Аппарат стоял на столике рядом с диваном, я хорошо видел его в темноте: маленький, горбатый, сердитый, он звенел настойчиво и пронзительно, пока мне это не надоело и я снял трубку.

— Стас? А, Стас? Здравствуй!

Звонила Лера. Давно я не слышал ее голоса по телефону и не мог сообразить, зачем она разыскала меня сейчас. Она сказала, что звонила моей матери, которая объяснила, что если я не на службе, то должен быть здесь. Лера сказала, что мать на меня обижена за недостаток внимания.

— Это, конечно, не мое дело, но, по-моему, ты неправ.

— Я, конечно, неправ, но, по-моему, это не твое дело,— ответил я.

Мне все надоело. Нельзя учить жизни взрослых людей, коль неохота делить с ними бремя альтруистической тирании. Люда-Людочка-Мила не стала бы этого делать. Но я ведь любил Леру, и она об этом знала. И меня не любила, поэтому могла и поучить. А на улице догорел апрельский вечер, Батон, наверное, весело пировал дома, рассказывая, какой я щенок и сопляк, крест повешенного генерала лежал на полочке в сейфе...

А я раздумывал о свободе, стиснутой клеткой вольеры. Мне так хотелось, чтобы она вдруг, ни с того ни с сего, сказала мне какие-то слова, от которых можно было бы почувствовать себя мчащимся по стене, а тоска по войлочным тапкам растворилась, как детская печаль о съеденном леденцовом петушке на палочке. Наверное, все выпущенные из бутылки джины одиноки и нуждаются в любви и поддержке чаще, чем кто-либо. Слабодушные они существа, джины, оттого, что душа у них — пар. А может быть, и слова бы не помогли...

Лера сказала:

— Ну, не сердись, Стас. Тем более что у меня к тебе просьба.

Я внимательно вслушивался в ее слова, но соображал совсем плохо, наверное, из-за того, что все время думал еще о чем-то. Какой-то художник из их издательства напился в компании, поссорился на улице, подрался, попал в милицию.

— И что?

— Теперь ему из милиции пришлют письмо на работу, у него будут неприятности. Не мог бы ты поговорить там, чтобы не присылали письма? Ведь ничего страшного не произошло, дело-то житейское. А парень он хороший...

Дело житейское... А парень он хороший... И я тоже парень хороший. И люблю ее. Ничего страшного не произошло, можно и позвонить мне через несколько лет после всего и попросить о такой пустяковой услуге. Ведь я же могу поговорить там, в милиции, чтобы не присылали письма. Они меня наверняка уважают, потому что я не напиваюсь и не дерусь на улице. И настроение как раз подходящее для выполнения таких просьб, а если нет настроения, то это тоже не очень важно, потому что масштаб интереса к моим делам всегда больше интереса к моей личности скромного героя в серой или синей шинели.

Ее низкий, глуховатый голос ласково и чуть просительно гудел в трубке, а я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть в темноте расплывчатый горбатый силуэт телефонного аппарата, из которого шел ко мне ее голос, долго лежал и думал, что этот звонок — последний унизительный эпизод сегодняшнего тяжелого дня, а голос ее трепетал, как ночная бабочка, и я не понимал ни одного слова, кроме того, что ей просто позарез надо помочь этому отличному парню, и сделать это могу только я, а она знает, что я ей никогда не отказывал, и боль становилась невыносимой. Я отодвинул трубку от уха, но ее голос был отчетливо слышен в тишине, слышен все время, пока я медленно нес трубку к аппарату, и оборвался внезапно, когда трубка легла на рычаг. «Тины! Тины!» — звякнул аппарат.

Через мгновение телефон зазвонил снова, еще раз, еще, он был зол, он гремел, он требовал, чтобы я снял трубку и узнал, что приличные люди себя так не ведут. А я вдруг увидел, что лежу на диване в плаще, который забыл снять, и очень болит бок от вмявшегося пистолета. Я встал, сбросил на стул плащ, снял кобуру и положил пистолет под подушку, а телефон звенел, а я раздевался и бормотал, что я тоже хороший парень и хочу, чтобы кто-нибудь просил за меня не посылать писем о том, как я напиваюсь и дерусь на улице. Трещал телефон, я разделся, не зажигая света, нашел в буфете две таблетки снотворного и запил их стоялой водой из графина, улегся. И телефон смолк...

Я очнулся, будто вынырнул из затхлого, черного омута, и долго, глубоко дышал, не в силах утихомирить тяжелый, неровный бой сердца.

Комната была залита дымным лунным светом, и лучистые блики вырывали из темноты на стене часть Лериной картины — подсолнухи, желто-зеленые, громадные, прекрасные, как тропические пальмы. От снотворного глухо шумело в голове, пересохло во рту. Хотелось есть. Я понял, что заснуть больше не удастся, полежал еще немного. Посмотрел на часы. Было половина третьего. Я встал, оделся, подержал в руках кобуру, соображая, брать или оставить дома, засунул ее под подушку, на цыпочках прошел по коридору и неслышно притворил за собой входную дверь.

На улице было светло и зябко. Я поднял ворот плаща, засунул руки глубоко в карманы и по тихим кривым арбатским переулочкам пошел в сторону Калининского проспекта. Сиреневые ртутные фонари отражались в огромных стеклах витрин, и казалось, что множество маленьких дун остались ночевать в пустых магазинах и кафе. По чистому белому плиточному тротуару я торопливо прошел к Садовому коль-

цу, вниз по Новинскому спуску к Москве-реке, через Дорогомиловку к Киевскому вокзалу, где было много людей, сновали такси, плавал обычный дорожный гам. В буфете я сел за стол к какому-то небритому дюжему дядьке. Дядька был очень благодушен и под хмельком.

— Ты, парень, есть хочешь,— уверенно заявил он.

— А как вы угадали? — удивился я.

— По глазам,— засмеялся он.— Иди возьми пивка, а я уж тебя угощу кой-чем.

Пузырилось пиво в кружках, пухла пена, дядька достал из мешка под столом толстый ломоть розового сала, завернутого в газету, две луковицы и общипанную буханку ржаного хлеба.

— Разве дадут тебе бутенброды такие в буфете? — спрашивал он меня и сам себе отвечал: — Ни в жисть!

Потом хитро прищурился на меня.

— А ведь поднесу — то и выпьешь?

Я сказал:

— Под такую закусну грех отказываться. Только нельзя, я думаю. Увидит милиционер.

— А что милиционер? Он ведь к тем пристает, кто бузит или хулиганничает. А мы с тобой мирно, тихо...

— Тогда наверняка не пристанет,— сказал я серьезно.

Он достал початую бутылку водки и разлил по стаканам.

— За что выпьем? — спросил я.

— Да какая разница? Было б настроение...

— Э, нет,— сказал я.— Это вроде знака уважения. Давайте выпьем за вас...

Дядька от смеха даже головой закрутил.

— Эк, ты чудно́ сказал. Ну, да ладно, ты человек, видать, ученый, тебе виднее. Давай за меня...

Мы ели душистый хлеб с розовым салом, хрустели луком, окуная в блюдце с солью целую головку, а пиво было вкусное, свежее, и вокруг было много людей, не было ночи, одиночества, а дядька, смешно ёкая, объяснял мне, как «нынче с шифером трудно, а про железо-то кровельное и не говори, потому как все в новых домах жить хотят...», и был мне этот человек невероятно дорог, я записывал ему на бумажке свой телефон и адрес и требовал, чтобы он в следующий приезд в Москву обязательно поселился у меня, и во всем мы с ним сходились во мнениях — хвалили раков, твердо решили не жениться, были очень довольны тем, что у него сыновья, а не дочери, и вся жизнь была легкой и приятной; потом мы с ним расцеловались, и я шел домой по занимающемуся рассвету, и меня качало от выпитой водки и пришедшего наконец ощущения свободы и пустоты, от твердого сознания, что Батона, по словам моего нового друга, я еще «уконтектую», а бабы не стоят того, чтобы из-за них жизнь свою заедать, и, когда я пришел к себе на улицу Воровского, вставало солнце.

В комнате у меня было светло, и необычайные подсолнухи-пальмы на Лериной картине пригасли. Я сбросил с себя плащ, быстро разделся, лег в постель и закрыл глаза.

Проснулся я от настойчивого телефонного звонка. Снял трубку и услышал Сашкин голос:

— Слушай, Стас, в каком слове есть семь букв «о»?

— Что-что? — оторопело спросил я.

— Семь «о», спрашиваю, не знаешь, в каком слове есть?

— Семь «о»? Не знаю. А что случилось?

— Ничего,— невозмутимо сказал Сашка.— Слово есть такое красивое — обороноспособность.

— Ну и что? Ты к чему все это? Про семь «о»?

— А ты посчитай. Получается?

Я по слогам, загибая пальцы, пересчитал, получилось точно — семь «о».

— Получается. А тебе это зачем?

— Мне? — удивился Сашка.— Совершенно незачем. Я это и раньше знал. Я тебя включал в мыслительную деятельность, а то ты просыпаешься очень медленно...

— Скверный вы человек, Александр, должен вам заметить,— сказал я и засмеялся.— Типичный мелкий пакостник.

— Это точно,— охотно согласился Сашка.— Поэтому с особой радостью сообщаю, что ты опоздал на службу уже на двенадцать минут, совершив тем самым нарушение трудовой и производственной дисциплины.

— У меня восемнадцать неиспользованных дней-отгулов...

— Отгулы предоставляются с ведома и согласия администрации,— заликовал Сашка.— Так что в порядке утренней гимнастики садись и пиши объяснительную начальству. Подумай о спасении души.

— Хорошо. У меня есть оправдывающие обстоятельства: я ночью не спал.

— В суде будешь оправдываться.

— Гулял по улицам, на Киевский вокзал ходил...

Сашка засмеялся:

— Товарищи обыватели правы в своих представлениях о том, что злодея всегда тянет на место преступления. Шарапов спрашивал, не знаю ли я, где ты находишься.

— А ты?

— Сказал, что знаю.

— И где же я нахожусь?

— В архиве Верховного Суда и никак не можешь ему дозвониться, пока он бродит от своего кабинета до нашего. Вот сейчас как раз ты ему снова телефонируешь.

— А у него занято. Придется перезвонить через минуту. Привет...

— Привет. Я все время на месте, жду от тебя вестей.

— Сашок, есть дело. Пока я буду читать все производство по атаману Семенову, составь справку по нашим приключениям...

Сашка помолчал, потом спросил:

— Все-таки думаешь посылать в Болгарию?

— Не знаю еще. Посмотрим. Но другого пути я пока не вижу.

— Ну, привет...

— Привет.

Я набрал номер телефона, и в трубке плеснулся густой, тягучий голос:

— Шарапов у телефона.

— Добрый день, Владимир Иваныч, это я.

— Здорово. Ты что, дома еще, что ли? Мне Савельев наврал, что ты с утра в архиве ковыряешься...

Я озадаченно помолчал и почувствовал, что Шарапов усмехнулся. Он сказал:

— Ты вчера забыл у меня на столе листочек со всеми вопросами по делу, так что без них тебе в архиве делать нечего...

— Я в двух экземплярах листочек напечатал,— сказал я неуверенно и спросил: — Владимир Иваныч, а ты сейчас в своих очках?

— В очках? — переспросил он удивленно.— Да. А что?

— Нет, ничего. А Батона, Владимир Иваныч, мы еще уконтектуем!

— Словечки у тебя всегда какие-то дикие.

— Владимир Иваныч, в них смысл большой!

— Уж куда как! Я вот посмотрю на этот смысл! Ты сюда явишься? За листочками?

— Владимир Иваныч, у меня, ей-богу, есть второй экземпляр. И через десять минут я ныряю в архивные катакомбы.

— Давай звони оттуда.— И, помолчав, добавил: — Все-таки я тебя девятый год на работе только по недосмотру терплю...

Продолжение следует.

ГЛАВА 11

На задней обложке папки последнего тома дела был приклеен конверт, в который вкладывались документы осужденных. Я сложил в него все эти полуистлевшие бумажки и закрыл досье. Вот и все. Замолкли вновь голоса людей, умерших почти четверть века назад и оживших для меня ненадолго, чтобы рассказать о том, что происходило с ними за последние полвека. Лежали на столе молчаливые папки, коричневые толстые тома с пугающей надписью «ХРАНИТЬ ВЕЧНО!».

Вечно... Разве что-то вечно на земле? Господи, как все это давно было! Когда судейский секретарь поставил на обложке папки штамп с красным коротким грифом «В. М. Н.» — «высшая мера наказания», я пошел во второй класс, мать вышла замуж за учителя немецкого, Батон совершил первую кражу, Шарапов поступил на работу в МУР, стали поговаривать об отмене карточек, Савельева не приняли в детский сад «по недостижению установленного возраста», Черчилль просматривал перед выступлением фултонскую речь о «холодной войне», в кинотеатрах повторно стали показывать «Остров сокровищ», а килограмм масла стоил несколько сотен рублей.

Много злого совершили семеновцы, пока злодейство не получило протокольной записи, прежде чем хрустнули позвонки в пеньковой удавке и в стремительно уходящем сознании мелькнула последняя мысль: зачем же это надо было все?

Долго, долго — в один миг — промчалась четверть века, не так уж много осталось в живых и людей, которые судили злодеев, изжелтели бумаги, протерлись на сгибах, обтрепались на краях, побледнели чернила, выцвел машинописный текст. А вечность хранения? Что же вечно? Может быть, установленный десятилетиями протокол правосудия не это имел в виду? Может быть, он взывал к вечности нашей памяти, которой человеку отпущено на один короткий век, а всем вместе — на всю человеческую историю? Может быть, вечной-то должна быть наша память, а не стареющие, выцветшие бумаги?

«Иначе права будет мать, и вся моя работа никому не нужна»,— сказал я неожиданно для себя вслух и вздрогнул, потому что в то же мгновение раздался телефонный звонок. Я снял трубку — звонил Сашка.

— У вас там Тихонова из МУРа нигде поблизости не видать?

— Видать,— сказал я и посмотрел в окно. Через дорогу к подъезду Гнесинского училища степенно вышагивали хорошо одетые дети со скрипками в руках. Это были правильно воспитанные дети: переходя дорогу, они не вырывались у родителей из рук, а на середине мостовой акуратно смотрели направо. Скрипка здорово дисциплинирует людей.

— А-а, это ты...— протянул Сашка.— Ну и закопался ты в своих катакомбах — еле разыскал. Работаешь?

— Помаленьку.

— Молодец! Не препятствовать!

— Слушай, Сашок, а ты никогда не хотел жениться?

Сашка подумал недолго, отрапортовал:

— Хотел. Девушка о-очень красивая была. Но со мной разговаривала только так: «ты растоптал большое и чистое, ты осквернил святое...» Так ничего и не вышло...

Я засмеялся и спросил:

— И все?

— Почему все? — серьезно сказал Сашка.— Еще один раз хотел. Но невеста отказала мне, объяснив, что не может выйти замуж за человека, у которого никогда не будет отчества: «Сашка да Сашка — что такое?..» Так и бросила.

— Ты бы ей сказал, что зато у тебя есть имя. Доброе имя.

— Я ее уже к этому времени разлюбил.

Я вновь посмотрел за окно на детей, спешащих к началу занятий в училище, и спросил:

— Слушай, Сашк, а ты своих детей станешь учить музыке?

— Никогда,— твердо ответил Сашка,— сейчас патефоны дешевые.

— Это ты отстал — патефоны за редкостью вновь стали дорогими. Радиолы дешевые.

— Мне все равно. У меня слуха нет. Вот как у тебя.

— А почерк? С почерком как у тебя?

— С почерком? А-а, это ты насчет справки по делу! Почерк плохой, я на машинке печатаю.

— Между прочим, ты на машинке тоже не ай-яй-ай как печатаешь...

— А я медленно. Знаешь ведь — дальше едешь, тише будешь. Завтра справку закончу.

— Слушай, Сашок, запиши — дашь запрос в справочную картотеку: Сытников Аристарх Евграфович, 1894 года рождения, осужден в 1946-м по делу атамана Семенова.

— Записал. Слушай, Стас, а как его в детстве ребята во дворе называли — Арик? Или Ристик? А может быть, Стархуня?

— Вы босяк, Александр. Аристарх Сытников во дворе с ребятами не играл: он воспитывался в пажеском корпусе.

— Два мира — две судьбы,— обрадовался Сашка.— Я тоже воспитывался в ремесленном училище № 163. Ребята из зависти называли меня малопривлекательной кличкой «Ржавый». Кстати, а почему тебя заинтересовал этот ископаемый паж?

— Он не паж, он штабс-капитан. И единственный оставшийся живой человек из всей этой компании. Ну, все? Вопросов больше нет? Тогда я пойду домой.

— А сюда не придешь?

— Тогда купи мне раскладушку, я и ночевать буду на Петровке. Пока, до завтра...

— Подожди, подожди! Тебе тут девушка звонила.

— Какая? Лера?!

— Подожди, посмотрю, у меня записано. Вот, нашел — Рознина...

— Рознина?

— Людмила Михайловна Рознина. И телефон свой на всякий случай оставила.

Люда-Людочка-Мила. Зачем я ей? Может быть, нашла еще чего-нибудь?

— Не нужно. У меня есть ее телефон.

— Тогда привет. Я сказал, что ты позвонишь попозже.

— Большой привет...

Я взглянул на часы. Стрелки замерли на четырех часах — механизм давно остановился. За окном темнело. Сколько сейчас времени? Наверняка она уже давно ушла с работы, промчалась по бульварам пятнадцатым маршрутом, встретилась со своим молодым человеком, и сейчас они сидят где-нибудь в кино или в кафе, а может быть, отправились к нему домой... Вот балбес этот Сашка, не мог меня разыскать раньше! Правда, я сам обещал ему звонить, да позабыл. Опаздываю, всегда опаздываю. Ах, черт, досада какая! Ведь у нее могли быть какие-то интересные сведения!

И вдруг поймал себя на том, что я стараюсь обмануть себя, и мне совершенно наплевать на все сведения, которые она мне может сообщить, что все вместе они не интересуют меня совершенно, да и ничего нового узнать она для меня не может, и единственное, что меня интересует,— услышать ее голос, веселый и в то же время чуть грустный, задумчиво-грустный, озабоченный необходимостью дожить до времени, когда люди будут называть друг друга «ваша человечность», и, размышляя в растерянности обо всем об этом, я набирал номер телефона, наверняка зная, что ее не может быть на работе. Тягуче пронудил гудок в трубке, и я очнулся, поняв бессмысленность этих звонков в пустой комнате архива, откуда она ушла навстречу мальчику, собирающемуся стать «самым-самым». И все это вместилось в несколько коротких секунд, которые отделяют один гудок от другого, потому что когда я уже почти положил трубку на рычаг — после первого гудка,— мне послышался в ней какой-то звук.

И от неожиданности вместо того, чтобы снова поднести трубку к уху и проверить, показалось мне, или в ней действительно был звук, я вскочил и согнулся над столом, прижимая ухо к уже почти положенной на рычаг трубке.

— Алло, алло!— заорал я истошно в микрофон и услышал голос Люды-Людочки-Милы:

— Да-да, я слушаю...

Я опустился на стул и неуверенно сказал:

— Мила, это я вас беспокою, Тихонов. Который приходил к вам насчет креста генерала Дитца.

— Я вам звонила сегодня...

— Людмила Михайловна, мне товарищ поздно передал об этом. А почему вы так засиделись на работе?

— Он сказал, что вы позвоните попозже. Вот я и ждала...

Я вдруг представил себе, что Сашка не разыскал меня, и я бы даже и не вспомнил о ней и, конечно, не позвонил, а она бы сидела одна в пустой белой комнате архива, все, все уже ушли по домам, а она одна дожидается моего звонка, потому что точно знает: если было обещано, значит, будет выполнено, ведь по-другому не бывает у людей, называющих друг друга «ваша милосердность», и погас бы вечер, тосковал бы на остановке знакомого маршрута «самый-самый» мальчик, наступила бы ночь, залив пустую белую комнату дымным лунным светом, а она бы сидела и ждала, когда я позвоню, ждала долго, не зная, что Сашка меня не нашел и не сказал, что я обещал позвонить ей позже, и от этого она еще долго будет одна, наедине с законсервированным в папках временем и твердой уверенностью — память и обещания надо хранить вечно.

Мне захотелось сказать ей: «Спасибо, спасибо за то, что вы долго ждали меня, одна, в пустой комнате...» — но постеснялся и не знал, что же мне ей сказать, и долго молчал, а она меня не торопила, и это длинное наше молчание было легким, как дружеское объятие.

Потом она сказала:

— Меня все называют Людой. Только мама меня зовет Милой...

— А я бы вас называл «ваша доброта»...

Она мгновение подумала.

— Я бы хотела, чтобы меня так называли в старости. С годами это труднее. А вы меня называйте Милой.

— Мила, а вас никто сегодня не ждал на Трубной? На остановке троллейбуса?

— На Трубной? — удивилась она.— Нет. Я вообще там редко бываю. Я и себе в Измайлово на метро езжу...

— Милочка, это же прекрасно! Это так замечательно, что вы там редко бываете!

— Почему? — засмеялась она.

— Почему? — задумался я.— Почему — так сразу мне трудно объяснить. Я просто подумал, что, может быть, я не всегда и всюду опаздываю. Мила, давайте увидимся сегодня.

И она сразу, без раздумий и колебаний, сказала:

— Давайте. Где?

— Вам нетрудно будет приехать на Трубную? Я буду ждать сколько вам только понадобится...

— Но ведь вы были рады, что я там редко бываю?

— Э, нет, Милочка, это совсем другое дело. Я очень люблю материализовать миражи.

— Да-а? — уважительно сказала она, и «да-а» получилось у нее точно, как у Шарапова.— Пожалуйста, как хотите. А вам что — так ближе?

— Нет, нет, дальше. Но приятнее. Значит, я пошел?

— Хорошо.

Я сложил стопу томов уголовного дела, перевязал их веревочной, взглянул в последний раз на надпись «Хранить вечно!» и вызвал дежурного.

Люда-Людочка-Мила сошла с подножки троллейбуса и спросила:

— Как обстоит с материализацией миражей?

— Изумительно,— пробормотал я.— Мне очень нравится.

— И часто это вам удается?

Я пожал плечами.

— Как когда. Но иногда получается.

— У вас это, как говорят французы, профессион манке — пренебреженное призвание. Надо больше тренироваться.

— Я этим на службе регулярно занимаюсь. Время от времени возникают кошмарные миражи...

Она засмеялась и взяла меня под руку. И это было приятно, будто мне не тридцать лет, а по крайней мере вдвое меньше.

— Куда пойдем? — спросила Люда-Людочка-Мила.

— Куда? — задумался я, перебирая в уме, куда бы можно было направиться нам вдвоем.— А вы есть не хотите?

— Хочу,— сказала она.— И вы, по-моему, тоже хотите есть.

Я вспомнил дядьку, с которым мы пировали сегодня ночью, как он рассмотрел голодное выражение у меня на лице, и удивился, что это было меньше суток назад.

В ресторане «Арагви» было на удивление малолюдно, прохладно и пахло шашлыком и зеленью. В мраморном овальном зале на хорах гремел оркестр, играли музыканты что-то маловразумительное. Мила, усаживаясь за стол, сказала:

— Один мой приятель говорил, что ему очень нравится здесь оркестр, потому что он никак не может определить момент, когда они кончают настраивать инструменты и начинают играть...

Я принужденно засмеялся, подумав ревниво, что так, наверное, говорил «самый-самый» мальчик.

— А мне здесь нравится,— сказал я.

Мила удивленно взглянула на меня.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46—49.

— И мне здесь нравится. В этом ресторане очень вкусно готовят. Это не общепитовское учреждение, а гастрономический оазис...

Она огляделась, долго с улыбкой рассматривала стенную роспись Тондзе.

— Мне даже картинки эти нравятся...

— Картинки серьезные. Даже улыбнуться совестно.

— Только не вздумайте сказать, что вам нравится Шагал,— погрозила пальцем Мила.

— Я его вещей не видел,— сказал я неуверенно.

Она посмотрела мне внимательно в лицо и улыбнулась.

— Слава богу. А то нынешние кавалеры считают обязательным беседовать с девушками о Камю, Шагале и Антониони. Малый искусствоведческий набор.

— А вам не нравится то, что они делают?

— Я не люблю, когда об этом пространно рассуждают. И вообще я больше всего люблю сказки...

Тут я посмотрел на нее во все глаза. Она серьезно сказала:

— В сказках добро всегда сильнее мудрости.

— А разве это соперничающие силы?

Мила задумчиво провела ладонью по лицу.

— Не знаю. Человеческая мудрость сильно выросла. А добро?

— Я думаю, рост культуры смягчает и нравы.

— Возможно,— кивнула Мила и спросила неожиданно: — Как вы думаете, сколько людей было замучено в застенках инквизиции? Учтите, что длилась она четыре века...

— Миллион? — спросил я наугад.— Или два?

Мила покачала головой.

— Более тридцати тысяч. А в Освенциме за четыре года фашисты уничтожили более четырех миллионов человек. А потом атомная бомба в одно мгновение испепелила двести сорок тысяч человек в Хиросиме.

— Люда-Людочка-Мила! Это же не то совсем! Ведь люди не могут и не должны забыть свою накопленную в муках мудрость.

— Так и я не об этом. С развитием мудрости все обстоит прекрасно. Вот с добром сильные перебои. А мудрость без добра обязательно вырастает в злодейство.

— Но ведь любому искусству противно злодейство? — сказал я негромко, возвращая разговор к не понятому мной началу.

— Конечно,— легко согласилась Мила.— Только новое искусство острее чувствует неравновесие добра и мудрости. Поэтому оно тяготеет к разрушению. А разрушение не может создать новые сказки...

В это время музыканты сделали перерыв. И официант принес вино и закуски, и я очень обрадовался этому — я плохо понимал, о чем говорит Мила, что-то меня не устраивало в ее рассуждениях, но возражения не приходили в голову, и от этого я чувствовал себя совершенным дураком.

Я разлил в бокалы вино и сказал:

— Милочка, давайте выпьем за «самых-самых» архивистов.

— Таких не бывает,— усмехнулась Мила.

— Да, не бывает. Потому что они все «самые-самые». Пройдут годы, много-много лет, придут на земле в равновесие добро и мудрость, и тогда обязательно найдутся люди, и будет их много, этих людей, которые захотят узнать, как же все это происходило. И тогда выяснится, что вы сохранили для них время, уберегли память о всех событиях и о всех людях, живших в трудные времена соревнования добра с мудростью, потому что и на ваших папках, наверное, стоят печати «Хранить вечно!», а вечность — это, видимо, очень долго...

Люда-Людочка-Мила посмотрела ласково на меня, и провела своей ладонью по моей руке, и у меня защемило сердце, потому что совсем недавно точно так же гладила мою руку Лера, и я пожалел, что постеснялся сейчас заказать себе борщ — ведь в сказках он много уместнее, чем кофе с коньяком, даже если ты его заказываешь в кавказском ресторане.

— Давайте выпьем за них,— кивнула Мила.— И еще давайте выпьем за Калинина, Бурденюка и Скоробогатого. Благодаря им я не бросила свою работу.

— А кто они? Ваши учителя?

Мила покачала головой.

Они умерли задолго до того, как я родилась. А узнала я о них, когда уже пришла работать в архив. Честно говоря, работу я свою ненавидела, казалась она мне кротовой, унылой, никому не нужной. Но однажды я услышала радиопередачу о подвиге Николая Гастелло: «...и тогда командир бомбардировщика направил свою машину в середину вражеской колонны...». Я слышала и читала об этом много раз, но в тот день что-то остановило мое внимание, хотя я и не могла никак сообразить, что именно. И вдруг поняла: бомбардировщик! Ведь бомбардировщик — многоместная машина, ее экипаж состоит из нескольких человек. Но я всегда слышала только про Гастелло. Я строила всевозможные догадки и предположения: может быть, экипаж выпрыгнул на парашютах, или, возможно, они уже погибли к тому времени, когда Гастелло принял свое решение? Или они тоже приняли решение погибнуть вместе с командиром? Тогда почему о них нигде и ничего я никогда не слышала? И эти мысли не давали мне покоя, мучили, как наваждение. Я стала наводить справки и вскоре получила ответ: решение пикировать на танковую колонну было принято всем экипажем: Гастелло, Калининым, Бурденюком и Скоробогатым. И вместе погибли. Люди должны помнить и о них тоже...

Мы чокнулись, и я подумал, что слава — порождение мудрости и пути ее прихотливы, а скорбь и память — от добра и потому вечны.

ГЛАВА 12

Савельев сидел, склонив набок рыжую голову, а короткие толстые пальчики переплел на животе. Он дождался, пока я дочитал справку до конца, кротко спросил:

— Прекрасно написано?

— Сойдет,— махнул я рукой и добавил: — Хорошо, что мы не получаем за свои справки гонорары, а то бы ты меня обвинил в соавторских домогательствах.

— Ничего, ничего, ответственность за неправильно составленный документ раскладывается пропорционально количеству подписавшихся...

В кабинет вошел Шарапов. Очки он держал в руке. Лицо у него было хмурое, бледное. Неважно он выглядел.

— Как дела, орлы?

— У нас разве дела, Владимир Иваныч? — оживился Савельев.— Так, делишки...

— Ну и плохо. С молоду большие дела надо делать.

— Да, конечно...— развел Сашка руками.— Каждый человек — кузен своему счастью.

Я засмеялся. Шарапов хотел что-то сказать Савельеву, но передумал, пояснив мне:

— Это он, наверное, на меня намекает. Смотри, Савельев, маленькие начальники никогда не прощают, если им предрекают, что они уже не станут большими.

Сашка вскочил, прижал руки к груди:

— Владимир Иваныч! Так я разве что говорю? Вы для меня единственный и самый главный начальник. Больше вас начальство я только на парадном смотре и видел...

Шарапов покачал головой:

— Эх, Савельев, Савельев! Опасные и вздорные иллюзии у тебя, а избавлять сейчас от них будут Тихонова.

Я поднял голову:

— Это почему?

Шарапов положил мне руку на плечо:

— К начальнику МУРа сейчас идем оправдываться. Батон на тебя жалобу написал...

Шарапов был раздосадован. Сашка замер. Я сидел молча и бессознательно перебирал на столе бумажки, раскладывал их в папки одна к другой. И от этого мне стало досадно: я просто испугался... Тихо было в комнате.

— Хороша жалобка? — спросил я.

— Хороша. Толково написано. Адресована в МК партии, копии — прокурору города и начальнику управления. А ты чего скис? Боишься?

— Что значит «боюсь»...

Я никак не мог понять, чего испугался. Наказывать меня не за что — действовал правильно и, если бы довелось, то же самое сделал снова. Тогда почему же все-таки?.. Или можно бояться и без вины? Чего?

Сашка крикнул:

— Ну, это уж просто хулиганство!..

— Не кричи, Саша.— Шарапов поморщился.— Тебе надо будет, Стас, обдумать ответы. Батон утверждает, что ты применял к нему незаконные методы допроса — грозился, запугивал, уговаривал признаться — тогда, мол, ты бы его отпустил до суда...

— Батя, а ты считаешь, что это все серьезно? — спросил я.

— Не считаю. Но существует порядок...

— Порядок! — вмешался Савельев.— Владимир Иваныч, но я действительно в толк не могу взять, почему Тихонов должен оправдываться перед этим...

Шарапов повернулся к нему всем корпусом:

— Тихонову надо объяснить прокурорскому надзору и высшему начальству истинное положение вещей. Они спросить имеют право, ты как думаешь?

— Имеют. Но ведь это же безразлично, как называть — оправдываться или объяснять, важен смысл. А смысл в том, что Тихонову надо будет доказывать, что он не применял запрещенных методов допроса. Вот я и спрашиваю: почему Тихонов должен доказывать, что он не верблюд, если это утверждает Батон? Вор, гадина, рецидивист!

Шарапов сел на стул, водрузил на нос очки, провел рукой по своим белесым волосам, потом спросил:

— Саша, у тебя сигарета есть?

— Не дам я вам сигарету — вы уже год как не курите!

Шарапов усмехнулся и сказал совершенно спокойно:

— То, что ты заботишься о моем здоровье,— это хорошо. Но младшие по званию должны не только уважать свое начальство, но и подчиняться ему. С этим у тебя как раз похуже. А теперь давай сигарету и слушай меня внимательно...

Сашка нехотя протянул пачку. Шарапов не спеша размял сигарету, прикурил, глубоко, со вкусом затянулся.

— Лет двадцать тому назад был у нас один работник — Третьяков. Следователь был он незаурядный и результаты получал фантастические. У него не бывало «нерасколовшихся» преступников — гремел! И довольно долго. Пока однажды мы с Ильей Ляндресом не взяли на одной малине Фомку-Крысу. Был такой бандит — осторожный, злой, как настоящая крыса. Стали мы с ним работать, а допрашивал, надо сказать, Илья отлично, ну, короче говоря, рассказал Фомка об убийстве в Банковском переулке. Подняли мы материалы — преступление было совершено три года назад — и обомлели. Преступление раскрыто, убийца найден, осужден и отбывает двадцатилетнее наказание. Мы вызываем дело к себе, читаем. Сначала обвиняемый категорически отказывался, довольно долго, а потом признался — сам Третьяков расследовал. Возобновляем дело по вновь открывшимся обстоятельствам и начинаем над ним сидеть дни и ночи. И доказываем, что убийство совершил Фомка-Крыса, а осужденный никакого отношения к нему не имеет...

— А зачем же он признавался? — спросил Савельев.

— А его Третьяков уговорил: улики, мол, неопровержимые, человек ты с подмоченной репутацией, единственный шанс не получить «вышку» — чистосердечное признание, хоть жить будешь. Тот согласился. После этого произвели ревизию всех дел Третьякова, и выяснилось, что такие вот приемы он не один раз применял...

— А какое это отношение имеет к Стасу?

— А такое, что у человека на лбу не написано — честный он работник или негодяй. Поэтому Батону, коли мы не доказали, что он вор, предоставлены все гражданские права для защиты. Да и если бы доказали, все одно. Это, знаешь ли, гарантия того, чтобы с людьми не вытворяли третьяковских штучек.

Я сказал Шарапову:

— Если вдуматься, то выходит, что у Батона сейчас этих прав даже больше, чем у меня...

— Конечно, а почему бы нет? Вы не доказали, что Батон — вор. Это мы, можно сказать, для себя знаем. Но пока не оформили установленным законом способом, он обычный советский гражданин. А у всякого гражданина прав не меньше, чем у тебя. Это ведь ты служишь обществу, а не оно тебе.

— Ой, батя, не говори казенными словами!

— Ну, казенными или домашними, суть не меняется. Ты знаешь, что я говорю правду. А вообще-то все правильно...

— Что правильно?

— Наша работа жестокая, и ни одного промаха не прощается.

Секретарша в приемной сказала:

— Одну минуточку, комиссар говорит по телефону.

Я шепнул Шарапову на ухо:

— Надеюсь, что это еще не обо мне...

Шарапов усмехнулся:

— Пока что невелика ты птица в перьях. А со временем еще сам будешь начальником. Ты ведь хочешь быть комиссаром?

Я подумал и сказал:

— Хочу.

На секретарском пульте вспыхнула зеленая лампочка. Секретарша сняла трубку:

— Да, да, товарищ комиссар. Сейчас всех вызову. Павел Антонович, к вам Шарапов...

Она положила трубку и сказала:

— Товарищ подполковник, вас просят...

Меня рассмешило, что эта миловидная девчонка, всегда строящая мне глазки, когда мы с

ней встречаемся в коридорах, сейчас была важная и меня просто не замечала.

— Садитесь,— сказал комиссар, набирая номер телефона.

Мы с Шараповым уселись сбоку от длинного стола для совещаний. Комиссару, видимо, ответили, потому что он быстро сказал:

— Это Лебедев докладывает. К сожалению, новых данных не поступило. Но ведь это же не от нас зависит, Александр Васильевич. Мы бросили на реализацию и так лучшие силы. Что?! Да, у меня там люди в засаде сидят неделю без смены. Вот возьмем, и успокоится общественность... Есть, есть, слушаюсь. В семнадцать часов снова буду докладывать.

Он положил трубку и усталым движением провел ладонью по шее. Я понял, о чем он говорил: на прошлой неделе наши ребята наконец вышли на след человека, убившего в Энергетическом институте двух девушек, но взять его пока не могли.

Комиссар рассеянно и сердито посмотрел на нас и сказал:

— Что у вас?

Шарапов, привыкший к начальству больше меня, спокойно ответил:

— Вызывали, товарищ комиссар. Насчет жалобы.

Комиссар внимательно смотрел на меня, наверное, вспоминал, о какой жалобе идет речь, постукивал пальцем по столу.

— Жалоба на тебя, Тихонов, поступила... Удивляюсь...

Тут я понял, что до этого мгновения он нас вообще не замечал, а продолжал разговор со своим телефонным собеседником.

— Я думаю, что если бы от вора-рецидивиста Дедушкина на меня поступила благодарность, вы бы еще больше удивились,— выпалил я обиженно, и мне показалось странным, что молчит Шарапов, он же ведь все знает...

Комиссар перестал стучать пальцем, прищурился:

— Всякое бывает. И благодарности приходят.

— От Дедушкина я не дождусь,— пробормотал я, а Шарапов все молчал.

— А ты что, действительно грозился?

Я почувствовал, как раздражение охватывает меня.

— Можно и так сказать. В тюрьму обещал посадить.

Шарапов молчал.

— Ну-у! — удивился комиссар.— А чего это ты так расходился?

Я посмотрел на него, комиссар вроде повеселел, взял карандаш и стал быстро делать пометки на кипе лежащих перед ним листов. Стало досадно, что такой важный для меня разговор — всего лишь пустячный эпизод в заполненном событиями и разговорами рабочем дне моего шефа. Что объяснить ему? И Шарапов помалкивает. Я встал и, уже начав говорить, понял, что голос у меня предательски дрожит:

— Товарищ комиссар, разрешите быть свободным? Все обстоятельства дела изложу в рапорте на ваше имя...

Комиссар, не отвечая, дописал что-то на листочке, сказал Шарапову:

— Владимир Иваныч, у тебя в отделе с дисциплиной плоховато. Если капитан со мной так разговаривает, что же он себе с Дедушкиным позволял?

— У Тихонова другое: деликатничает с обвиняемыми, а потом дерзит начальству...

— Так ты, Тихонов, на меня обиделся, что ли? — спросил комиссар.

Я пожал плечами: чего, мол, мне обижаться?

— Ты сядь, сядь, не стой, а то не дай бог войдет кто, прямо живую картину увидит: начальник-самодур терзает беззащитного, но гордого подчиненного. А ведь я же тебя не терзаю, спрашиваю только...

Комиссар помолчал, побарабанил пальцами, потом сказал:

— Мне тут Владимир Иваныч уже поведал все или почти все. Должен сказать, ругать тебя надо не за то, что ты обещал Батона в тюрьму посадить, а за то, что своего слова не выполнил. Если не можешь — не обещай, а то срам один получается. Жулик моих оперативников помоями поливает, я должен прокурору объяснения писать про ваши с Дедушкиным счеты, а ты помолол языком — и в кусты...

— Да почему в кусты?..

— Помолчи! Не перебивай меня! Я бы тебе показал, где раки зимуют, если бы не одно обстоятельство...

Комиссар закурил.

— Ты когда с Батоном имел дело последний раз?

— Восемь лет назад. Приговорили к пяти годам.

— Так,— сказал комиссар и снова стал листать бумаги. Мы молчали. Потом комиссар поднял голову и спросил: — Ты как думаешь, он зачем на тебя жалобу прислал?

— Не знаю. Мстит, наверное. Я ведь с ним действительно пристрастно работал...

Комиссар сломал в пепельнице сигарету и сказал:

— Ты, Стас, хороший оперативник. Но до Шарапова тебе еще далеко.

Я усмехнулся:

— Кто бы спорить стал...

Комиссар, не слушая меня, спросил:

— Кто с Батоном работал?

— Я и Савельев, руководил Шарапов. Задержание произвел Савельев.

— А ты не подумал, почему задержанный именно на тебя жалобу написал?

— Трудно сказать. Счеты-то у нас с ним старые...

— Эх, ты! Между прочим у Шарапова тоже с ним счеты не новые. Но вот он сразу понял. Батон т е б я боится. Именно тебя и потому в жалобе пережал, настаивая на отстранении Тихонова от расследования. Тем более, что ты предоставил такую возможность, не доказав его вины. Вот за то, что вор тебя боится, я и не наказываю тебя. Но смотри, Стас, если выяснится в конце концов, что боялся он зря... Справку по делу подготовили?

— Так точно.

— Оставь мне. Она еще для прокурора понадобится. Все понял?

— Все.

— Ты свободен, а ты, Владимир Иваныч, задержись на минутку.

Затрещал звонок, и из селектора раздался голос:

— Товарищ комиссар, в Бескудникове совершено разбойное нападение на магазин...

Я вышел и неслышно притворил за собой дверь.

В приемной беседовал с секретаршей Савельев. Когда я появился, он говорил: «И тогда я закричал: руки вверх!»

— А вот и Тихонов! — сказал он тем же тоном, будто поднимать руки должен был я.— Томочка, я вам все это потом дорасскажу...

Мы вышли в коридор.

— Ну как, отбился? — спросил Сашка.

— Порядок.

ГЛАВА 13

Я закончил перепечатывать выписки из дела атамана Семенова, снял закладку с каретки, разложил листы по экземплярам — один в дело, второй — в «наблюдательное производство», третий — для сведения начальству и сказал Савельеву:

— Слушай, а чем я буду заниматься, если меня из МУРа выставят? Я ведь и делать-то ничего не умею. Вот разве на машинке стучать. Но такой мужской специальности не существует, даже названия нет.

— Есть. Ремингтонист называется.

— Ну, слава богу, пойду в ремингтонисты.

Наконец пришел от комиссара Шарапов. Он добродушно ухмылялся, и было заметно, что настроение его явно улучшилось.

— Ну, что, готовы к смерти или к бессмертной славе?

— Владимир Иваныч, пора подумать о спасении души,— тут же вставил Сашка.

— Что, Стас, как чувствуешь себя?

— Противно. Я вот сколько раз допрашивал людей и не догадывался, что это очень неприятно — оправдываться.

Шарапов засмеялся:

— Собаки от удовольствия крутят хвостами. Это, правда, не значит, что если им крутить хвосты, они получат удовольствие. Ну, ладно, что собираетесь делать теперь?

— Из адресного бюро сообщили, что Сытников проживает в Зареченске, это маленький городок в Тульской области. Савельев отправил телеграфный запрос в горотдел милиции — пусть сообщат, что он за человек, чем занимается. А сейчас мы поедем в гостиницу «Украина», попробуем что-нибудь разузнать про Фаусто Кастелли. Мало ли что бывает — может быть, он персоналу чем-то запомнился.

Шарапов подумал.

— Больше никаких выходов на Кастелли мы не имеем. Конечно, надежда на гостиничную информацию невелика — там люди, как на вокзале, снуют. Вот что, Стас, мне помнится, горничные убирают ежедневно, но у каждой из них есть «свои» номера, за которые они отвечают персонально. Поговорите с горничной, за которой закреплен номер Кастелли...

— Не может быть, чтобы не запомнили чего-нибудь интересного,— категорически заявил Савельев.

— Почему ты уверен? — спросил я.

— Ну, этого просто быть не может!

В гостинице «Украина» царила предпраздничная суета. В вестибюле стоял разноязыкий гул. Индусы с бесценными перстнями на пальцах, чрезвычайно авантажные шведские клерки, сухоногие негритянки с лилейно-белыми переводчицами, юркие французские коммерсанты, солидные, весьма респектабельные голландские докеры из профсоюзной делегации, длинноволосые американские студентки, беседующие с маленьким вьетнамцем в военной форме...

Горничная Клавдия Васильевна Анохина сказала, что Кастелли ей не понравился.

— Ну, как же, у нас работает комиссия общественная — по чистоте номеров, соревнуемся за звание лучшего этажа,— а он целый день из номера не выходит. А когда генеральную уборку делать? Хоть после работы оставайся, да он ведь и вечером никуда. Еду из ресторана заказывал в номер, ему даже спуститься лень было. А так плохого ничего не скажу, вежливый он был, конечно. Или чтобы это... в номер кого водить — ни-ни. Бутылок только много вытащила после него, красивые такие бутылки, здоровые, дай бог память, как называется... А-а, вспомнила — «Синцано»!

— «Чинзано»,— подсказал Сашка.

— Может, и так,— равнодушно сказала горничная.— Да нет, помнится, там написано было русскими буквами «Синцано». А там бог его знает, может быть, не приглядывалась я. По мне хоть век его не будет — винища-то. И еще — самогонку пил, мно-ого...

— Чего, чего? — удивился Сашка.— Какую еще самогонку?

— Ну, эту, американскую, что ли, бутылки треугольные, а на картинке мужик в юбке пляшет. Забыла, как называется. Но денег бо-о-льших стоит!..

— Клавдия Васильевна, а бутылочки вы куда дели? — спросил с надеждой Савельев.

Она удивленно взглянула на него:

— Как куда? Выкинула! А на что они? Ведь все одно пустые, а обратно их не принимают...

— Да нам-то они не для того, чтобы допивать. Нам сами бутылки посмотреть охота...

Она заинтересованно протянула:

— Во-она! Чудно.— И от души засмеялась.— Мужчины всегда полными бутылками интересуются, а вам подавай пустые. Нет, выкинула.

Савельев быстро спросил:

— А что, Клавдия Васильевна, вы бутылки из номера по мере осушения выносили или после отъезда — все разом?

— После отъезда, конечно, а то как можно? Вдруг они ему понадобятся?

— Так что же, вынесли вы, значит, все бутылки и — куда их?..

— В мусоропровод. Ой, батюшки мои, напомнили вы мне! Я же ведь Зине с двенадцатого этажа обещала для каустика две бутылки оставить!

— Так, так, так! И где они?

— Да если не выкинули, в дежурке стоять должны. За шкафом. Они ведь удобные — пробка с винтом, вот Зина у меня и попросила. А сама заболела, до сих пор на больничном...

Бутылки стояли за шкафом, припудренные пылью, две литровые бутылки из-под аперитива «Чинзано-Бьянки» и шотландского виски «Маккинли», две бутылки с винтовыми пробками, оставленные Фаусто Кастелли.

— Я их вам сейчас в момент оботру,— сказала Клавдия Васильевна.— Тряпочкой мокрой.

Мы засмеялись, а Савельев сказал:

— Спасибо, Клавдия Васильевна. Нет ли у вас резиновых перчаток?

Удивленная горничная протянула перчатку. Савельев ловко натянул ее и осторожно выудил из-за шкафа обе бутылки.

— Клавдия Васильевна, кроме вас, никто эти бутылки не трогал? — спросил я.

Женщина недоуменно пожала плечами:

— А бес их знает. Я, помню, все бутылки вытащила на лестничную клетку к мусоропроводу, а эти принесла сюда. Вроде на том же месте и стоят...

— Мы вас попросим после работы заехать к нам на Петровку, 38. Буквально на десять минут — мы должны снять у вас отпечатки пальцев.

— Не было печали,— с досадой сказала горничная.— Перед праздником в дому хлопот полон рот, а тут на тебе!

— Клавдия Васильевна, голубушка вы моя нежная,— проникновенно сказал Сашка,— а вы думаете, у меня это развлечение такое — перед праздником по гостиницам ходить и собирать бутылки?

— Ну, раз надо...— вздохнула женщина.— Раз дело...

— В том-то и дело, что дело,— сказал серьезно Савельев.— А что, Клавдия Васильевна, не замечали вы, часто напивался этот ваш жилец?

— Так как вам сказать — по нему не поймешь. Когда к нему в номер ни зайду, лежит на кровати одемшись и курит. Сигарету за сигаретой, я ведь за ним выносила каждый день чуть не полную урну окурков да пустых пачек. А на столике рядом с кроватью бутылки и стакан. Лежит и цедит, лежит и цедит. А сам вроде ни в одном глазу. Раз только напился: утром рано куда-то умотал, явился к ночи, а часа через два из соседнего номера — тридцать шестого — звонят и просят унять его, а то, мол, покоя нет — песни во всю глотку горланит...

— К нему приходил кто-нибудь? — спросил я.

— Ни разу не видела. Да и сам он вот только в тот раз отлучался, а то все время сидел в номере.

— Вообще-то он по-русски говорил? — спросил я.

— Так себе — с пятого на десятое. Но понять можно.

— Для всякого толкового расследования необходима какая-то единая линия, канва, тема,— сказал я Шарапову.— А здесь — ничего. Клочья, обрывки. Все смешалось: времена, события, люди, вещи. Из-за этого я не могу отработать никакой системы, отобрать нужные факты, принять, наконец, какие-то решения...

Шарапов, не моргая, смотрел на лампу, затененную зеленым плафоном, покусывал кончик карандаша, а из открытого окна доносился сюда тихий вечерний шум.

— Не в этом дело,— сказал наконец Шарапов.— Решения и так принять можно. Для выбора решений всегда есть правила. Вот жалко, нет правил для выбора этих правил...

Долго сидели молча, потом я сказал:

— Ну, есть у нас теперь отпечатки пальцев этого Кастелли. А дальше что?

— Завтра комиссар будет в министерстве докладывать справку по делу. Я предложил направить ее в Болгарию...

— Слушай, Владимир Иваныч, а зачем он в сервис-бюро узнавал про Ясную Поляну?

— Не знаю. Правда, Ясная Поляна находится в двадцати двух километрах от Зареченска. А там проживает твой единственный живой семеновец — Сытников. Это тоже только предположение...

В дверь постучали.

— Войдите! — сказал Шарапов.

Вошел Савельев.

— Телеграмма пришла из Зареченска насчет Сытникова. Он тоже умер...

— Когда? — одновременно спросили мы с Шараповым и переглянулись.

— Семь недель назад — шестнадцатого марта,— сказал Сашка и почесал головой.— Кастелли прибыл в Москву третьего апреля...

Продолжение следует.

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА 14

Утро было пасмурное, серое, и оттого, что снег уже сталл с полей, а деревья стояли в лесу голые, грязно-черные, залитые тусклыми свинцовыми лужами, не верилось, будто кончается апрель, что до мая осталось три дня, и придет настоящая весна. Казалось, природа замерла, как это бывает в ноябре перед первым снегом.

До Зареченска оставалось еще минут двадцать езды. Косые следы дождя затекли на грязных стеклах, в электричке было холодно. Деревенские женщины с мешками аппетитно уписывали большие фиолетовые бруски мороженого с белым хлебом, неспешно, достойно обсуждали, что телевизор «Темп» надо покупать самый большой, потому как он хоть и подороже, но зато и в кино можно не ходить — экран больше, чем на передвижке. Они везли к празднику полные авоськи оранжевых, светящихся солнцем апельсинов. Женщины были в черных плисовых коротких пальто, которые они почему-то называют «плюшками», шерстяные платки скинуты на плечи, в тяжелых руках был покой, ощущение хорошо выполненного дела. Скоро эти женщины сойдут на станции и еще довольно долго будут добираться к себе в деревню на автобусах и попутных машинах, войдут в дом и сразу включатся в привычный, годами отработанный ритм — будут доить коров, запарят корм свиньям, перекопают огород, поставят в печь обед — в общем, будут делать многое, о чем я и понятия не имею, а вечером сядут пить чай и смотреть большой, как кино, телевизор, искренне сопереживая героям демонстрируемых передач, которые они воспринимают только как сказки, потому что им и в голову не приходит, что существуют на свете международные гангстеры и живые шпионы, что только совсем недавно умер их сосед — отъявленный белогвардеец, который всю свою жизнь положил на то, чтобы они не смотрели большой, как кино, телевизор и не возили в авоськах апельсины. Они заняты тем, что просто кормят всех людей. Ну, а мы, раз уж мы никого не кормим, должны обеспечить им возможность спокойно по вечерам смотреть большой телевизор и привозить домой целые авоськи нежно и остро пахнущих апельсинов, а по дороге неторопливо есть фиолетовые бруски мороженого с белым хлебом и вести неспешные разговоры...

— Видите ли, выморочное имущество подлежит обращению в госдоходы. Но в таких случаях у нас много всяной мороки. Имущество по большей части хлам, рухлядь всякая, никому оно не нужно. Поэтому мы отбираем наиболее ценное, а остальное разрешаем взять соседям...

— И всю мебель сожгли?

— Да какая там мебель? — искренне удивилась инспектор Зареченского горсовета, немолодая близорукая женщина.— Я сама участвовала в составлении описи. Кушетка продавленная, хромой стол, два ломаных стула, шкафчик какой-то нелепый. Ни одного родственника на это наследство так и не появилось, вот и выкинули все, ограничившись изъятием ценностей.

— Но ведь вы в этом шкафчике нашли четыреста долларов, неужели ни у кого не хватило любопытства тщательнее осмотреть остальное?

— Да уж чего говорить теперь? Дело прошлое. Кроме того, там же ваши товарищи из милиции были, они, в общем, тщательно смотрели. А я ведь не специалист в этих вопросах...

В том-то и дело. Там были наши товарищи, и поработали они неважно. А она не специалист. Обычная немолодая женщина, у которых своих забот хватает, помимо наследства какого-то одинокого старика. У нее тоже праздник на носу — на подоконнике кабинетика лежали свиные ножки для холодца и пакеты с продуктами. И мне тоже захотелось плюнуть на все это и поехать в Москву, купить свиные ножки для праздничного холодца.

Я полистал тощую серую папочку — «...по факту смерти гр-на Сытникова...».

Так... Протокол осмотра «...окно закрыто... на столе — остатки пищи в тарелке... бутылка с томатным соком... шкаф небольшой... Тело... на кушетке... признаков насильственной смерти не обнаружено... в морг для патанатомического исследования...» Ясно, дальше. Так, справки, счета, личные документы... Ага, вот медицинское заключение: «...значительные болезненные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы... распространенный артериосклероз... Указанные резкие изменения протекали со слабо выраженными симптомами... обусловили смерть гр-на Сытникова... насильственная... исключается...» Ну, что ж, я так и думал, царствие небесное, как говорится... А вот и опись имущества.

В описи было тридцать шесть пунктов: брюки диагоналевые б/у, полупальто бобриковое б/у, шляпа соломенная (поношенная), стул — два, кушетка — одна, вилки — три, сберегательная книжка с вкладом в сто тридцать четыре руб. 87 коп., четыреста долларов — по однодолларовой купюре, брошь женская бриллиантовая...

Сберкнижка, доллары и брошь — вот и все ценности, оставленные Сытниковым. В деле была справка о том, что доллары и брошь обращены в доход государства и переданы соответственно в местное отделение Госбанка и в отдел хранения ценностей областного финуправления.

— А что со вкладом в сберкассу? — спросил я у инспектора.

Она наморщила лоб, тщательно припоминая, наконец, сказала:

— Мне помнится, в книжке была сделана запись с просьбой перевести эти деньги в местную церковь для погребения по православному обычаю...

Несмотря на пасмурный день, на улицах было оживленно. Дворники развешивали на домах флаги, повсюду алели призывы и транспаранты. Какие-то ребята, укрепив на столбе репродуктор, опробовали его, гоняя во всю мощь модный твист или шейк — что-то в этом роде. Мелодия эта, постепенно угасая, провожала меня до самого дома, где жил одиноко и в одиночестве умер Аристарх Сытников. В его комнату был вселен технолог с мясо-молочного завода Куреев — человек маленького росточка, с длинной, как дыня, головой и могучим раскатистым басом. Художественные, большого диапазона модуляции его прекрасного голоса гипнотизировали меня, и я никак не мог втиснуться в поток его рассказов хоть с каким-то пустяковым вопросом. Он рассказывал мне о перспективах индустриальной обработки мяса, о том, как уместно он получил сейчас комнату, о внедрении НОТ в приготовлении колбас по новой технологии, о разводе с женой, оказавшейся неспособной к высокому пониманию счастья, о получении второй премии на республиканском конкурсе рационализаторов, о новой женитьбе на простой, но очень достойной женщине, о предстоящем приглашении работать в Москве и о том, что у него, по существу, будет отмечаться сразу три праздника — свадьба, новоселье, Первомай, и я, конечно, буду дорогим гостем на этом торжестве.

Вот только о Сытникове он ничего не знал...

— ...Ведь когда я пришел со смотровым ордером, здесь уже ничего не было. Месяц, как его похоронили,— гремел голос Куреева.— И никто вам ничего толкового не скажет — здесь мало соседи контактуют из-за того, что у каждого, по существу, свой выход и отдельные блага индивидуального пользования...

В комнату вошла молодая худенькая женщина, из тех, кто доставляет нам самые большие хлопоты при опознании,— их лица невозможно вспомнить, расставшись пять минут назад.

— Машуня, нежность моя дорогая! — дал оглушительный залп Куреев.— У нас замечательный гость из Москвы! Он, правда, приехал по делу! Но это не имеет значения! Знакомься, счастье мое!

Он так и говорил все время, завершая каждое предложение восклицанием. Машуня, счастье его, видимо, не считала столь необходимым афишировать их духовный союз и покраснела. Она протянула мне руку и торопливо стала снимать плащ, негромко бормоча что-то насчет не готового еще обеда.

Я сказал, чтобы она не беспокоилась, потому что у меня все равно нет времени и я должен уезжать.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46—50.

— Ни в коем случае! — бабахнул над моей головой Куреев. Я сидел, а он непрерывно ходил по комнате, и от этого создавалось впечатление, будто его голос звучит из заоблачных высот.— Ни в коем случае! Машуня — прелестный кулинар! И так редко случается поговорить с человеком из столицы!

— Так до столицы езды всего два часа,— заметил я.

— Не говорите так! Для некоторых людей эти два часа растягиваются на целую жизнь!

Я пожал плечами, предпочитая промолчать, ибо почувствовал, что дискуссия на любую тему может увести нас слишком далеко.

— Нет, вы меня можете не так понять! Мы с Машуней и здесь счастливы! Ведь я нашел в ней тот идеал моих представлений! О достойном спутнике жизни! С которым я хотел пройти оставшийся недолгий путь!

Мне было непонятно, почему Куреев считает оставшийся ему путь недолгим — по виду он должен был еще меня пережить. А я собираюсь прожить немало.

— Я хочу предъявить вашим соседям фотографии двух мужчин — не видели ли они их когда-либо у Сытникова,— сказал я Курееву, достал из кармана снимки Батона и Фаусто Кастелли и положил их на стол.

— Это можно! — бодро рокотнул Куреев.— Но бесполезно! Как я вам уже докладывал, входы в комнаты изолированы, и потому низка коммуникабельность! И это между людьми, проживающими за одной стеной!

Как я понял, общительность Куреева была сильнее терпимости соседей.

— Я разговаривала с этим человеком,— вдруг сказала за моей спиной Машуня. Я обернулся и увидел, что она через мое плечо рассматривает фотографии на столе. Первый раз я отчетливо услышал ее тихий, невыразительный голос. Даже Куреев от неожиданности замолк.

Я повернулся к Маше.

— Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете...

Маша еще сильнее покраснела, и в этот миг душевного напряжения она перестала быть безликой, незаметной, неразличимой. Может быть, Куреев понял свое счастье именно в такое мгновение?

— Недели две назад — я в тот день работала во вторую смену,— часов в десять утра, раздался звонок в дверь,— сказала Маша, поглаживая от волнения ладонью фотографию Фаусто Кастелли.— Я открыла и увидела вот этого человека. Он плохо говорил по-русски, и я еще подумала, что он или иностранец, или из Прибалтики. Он спросил, может ли он видеть Аристарха Сытникова. Ну, я ему объяснила, что Сытников умер и нас вселили в его комнату. Он тогда попрощался и ушел...

— Больше он ничего не сказал?

— Ничего не говорил он. Только вид у него был очень расстроенный...

— Чего же радоваться! — не удержался Куреев.— Человек умер все-таки!..

Я строго посмотрел на него и спросил у Маши:

— Вы не знаете, у соседей случайно какого-нибудь имущества Сытникова не осталось?

Она покачала головой:

— Кому же сейчас такое барахло нужно? Все выкинули...— Она подумала и добавила: — Вот только столик маленький еще стоит у нас в прихожей. Может, кому и пригодится...

Это был не столик, а ветхие, облезшие остатки некогда красивого подзеркальника трюмо, с гнутыми расколовшимися ножками и развалившимися ящичками. Фурнитура от ящичков была потеряна, и выдвигались ящички только если просунуть с обратной стороны руку. В ящичках — пыль, дохлые мухи, крошки. Я пошарил рукой у задней стенки за обшивкой фанерной и нащупал какую-то бумагу — завалившуюся туда случайно из ящика или спрятанную специально. Легонько потянул и вытащил узкую ленту плотной бумаги. А Куреев объяснял мне пока что секреты семейного счастья: «Мы никогда не ссоримся с Машуней — все спорные вопросы относим на субботу, в конец рабочей недели, и решаем их в организованном порядке за два часа. Так сказать, НОТ в семейном быту...»

Я внимательно рассмотрел ленту. В нескольких местах она была перегнута, а где-то в середине фиолетовыми чернилами написано: «500 по одн. Снято 100. К выд.— 400». И неразборчивая подпись. Бумага плотная, в типографских разводах, как на недоделанных деньгах. Я осторожно сложил ленту по сгибам — получилась объемная решеточка — типа банковской обертки — бандероли...

Уже подходя к церкви, я вспомнил, как Куреев ни за что не хотел отпускать меня, и вырвался я, только показав расписание поездов на Москву — почему-то это его убедило. Я все еще ухмылялся, когда, подергав ручку церковных ворот, убедился, что в церкви работа закончена и служители культа отправились отдыхать. И очень жаль мне стало, что они так поторопились в этот вечер: все-таки поговорить с ними не мешало. Я еще раз дернул ручку на всякий случай и собрался уходить, но в садике за воротами послышался глуховатый голос:

— Кто там?

Я уж открыл было рот, но вдруг понял, что не знаю, как назвать себя. Действительно, что надо сказать, когда тебя спрашивают из-за церковных дверей: кто ты? Из уголовного розыска? Довольно неуместно, тем более что и визит у меня не совсем официальный. Тихонов? А кто такой Тихонов? И не прихожанин я даже. Подумал немного и сказал:

— Так... Человек просто...

Скрипнул засов, из калитки вышел молодой человек моего возраста в светлом макинтоше и элегантно примятой шляпе.

— Чем могу быть полезен? — спросил он.

— Я хотел видеть местного священника,— сказал я.

— Здравствуйте. Я здешний иерей Александров, отец Николай. Вы хотите пройти со мной в храм?

— Нет, ни в коем случае,— заторопился я.— Если вы идете домой, я бы мог вас проводить, и заодно поговорили бы...

— Пожалуйста. Что привело вас ко мне?

На улице совсем стемнело, острый ветерок раскачивал голые ветки. Черный силуэт креста над куполом чертил еще не угасший серый небосвод. Я раздумывал, как бы мне потактичнее поговорить с отцом Николаем: он же священник, а не участковый уполномоченный! Кроме того, затрудняло то, что не знаю, как называть его: батюшкой или отцом Николаем — нелепо, он ведь мне ровесник, отчества я не знал...

— Видите ли, мне хочется посоветоваться с вами. Дело в том, что я работник уголовного розыска...

— Уголовного розыска? — удивленно проговорил священник.— Н-да, забавно.

Он достал из кармана пачку сигарет «Краснопресненские», протянул мне: курите, пожалуйста. Я отказался, он чиркнул старенькой зажигалкой, глубоко затянулся, передернул плечами. И я снова подумал о том, какой он молодой.

— Мне нужен даже не столько ваш совет, сколько мнение о человеке. Если вы сочтете для себя возможным быть искренним со мной, вы мне сможете помочь больше, чем кто-либо.

— Искренность является моим пастырским долгом. А захочу ли я с вами быть откровенным — зависит от содержания вашей просьбы. Таким образом, моя откровенность прямо связана с в а ш е й искренностью.— Священник говорил сухо.

Я почувствовал, что человек он, по-видимому, умный, и сказал:

— Честно говоря, вначале я не хотел посвящать вас в детали своей миссии, полагая, что они вам неинтересны. Это с одной стороны. А с другой — я и при желании не обо всем могу говорить — вы сами понимаете...

— Можно подумать, что я совращаю вас к нарушению служебного долга,— усмехнулся отец Николай.— Я не имею этой цели.

— Но вы единственный человек, который может мне помочь, поскольку смысл вашего призвания — проникновение в души человеческие. Мне нужно узнать о вашем прихожанине, человеке, уже умершем.

— Я вас слушаю.

— Семь недель назад скончался ваш прихожанин Аристарх Сытников. Мне не приходит в голову ни одна из заповедей, которую бы не нарушил за свою долгую греховную жизнь Сытников. А теперь, уже после смерти, он снова попал в наше поле зрения. Его зачем-то разыскивал один итальянец, который сам по себе вызывает серьезные подозрения. Вот я и хотел спросить у вас: что представлял собой Сытников в конце жизни?

— Вряд ли я смогу вам чем-то помочь, ибо в душу Сытникова я не проник. Зато мы можем, если хотите, поговорить о нем. Конечно, греховно говорить недоброе о людях, уже призванных господом, но я думаю, мне простится, ибо говорю это без осуждения, но со скорбью душевной...

Он остановился, подумал и продолжал решительно:

— Вы правильно сказали, Сытников прожил греховную жизнь, исполненную заблуждений, плотских и низменных соблазнов. И в старости своей, пройдя путь тяжких духовных и физических испытаний, он не пришел к раскаянию и смирению. Три года я знал его и понять был не в силах. В старости своей он был совсем немощен плотью, болезнен, худ и согбен, но дух в нем клокотал злой и неукротимый, как...

Священник замолчал и неожиданно перекрестился.

... — Сытников неизменно поражал меня тем, что, являясь на исповедь, говорил в святом храме неправду. Меня это всегда удивляло: ведь никто же не принуждал его ходить на исповедь. А он ходил. Ходил регулярно и всегда говорил неправду. Мне казалось иногда, что ему доставляет удовольствие вносить в мою душу смятение своей очевидной ложью в святом обряде душевного откровения перед господом. Но человек он был незаурядный, и я помногу, подолгу разговаривал с ним, я все-таки не терял надежды хоть что-нибудь сдвинуть в этой закаменевшей в грехах и заблуждениях душе. Я, наверное, недостойный пастырь, потому что однажды утратил надежду, ибо понял: душа его совсем чужда добру. И произошло это при неожиданных обстоятельствах. Он пришел ко мне как-то вечером поговорить, попить чаю, сыграть в шахматы. Я ведь тоже одиноко живу. Сытников включил телевизор — там передавали цирковую программу. Он увлекся и долго смотрел клоунскую драку, потом сказал мне, и в голосе его была радость: «А ведь какие они неумельцы, клоуны, им ведь от этих ударов наверняка больно. Я просто уверен, что им тоже очень больно. Да, да, им больно!» Я с ужасом смотрел на него и видел: он радуется тому, что им больно.

Потом как-то он заболел и попросил меня прийти. Я смотрел на него с грустью, зная, что проживет он недолго, и явится на Суд в скверне и грехах, так и не раскаявшись. Он будто прочитал мои мысли и сказал: «Отец Николай, никакое раскаяние не искупит содеянного мной. Людской суд милостивее божьего, и то пятнадцать лет на севере барабанил. Я ведь к богу от малодушия кинулся, потому что всю жизнь плутовал, хитрил, ловчил, обманывал. Вот и сейчас, в минуты слабости душевной, припаду к образу святому, может, хоть что-то простится мне. А потом отпустит меня, и понимаю: торгуюсь я с богом, смягчающие обстоятельства себе зарабатываю. Нет, мирской я человек, весь среди людей, а исповедники мои не в храме служат, а в НКВД. Так вот, деньги я хочу на приход наш пожертвовать». Удивился я тогда очень, потому что знал: беден Сытников до крайности, неоткуда ему честных денег взять. А он засмеялся: «Думаете, батюшка, украл Сытников? Нет, я свое отворовал. Есть люди еще хуже Сытникова, да перед смертью, видать, страх начинает мучить, из своего неправедного мне часть уделили. Да вы берите, не сомневайтесь, деньги, они все одинаковые — важно, на что употребить». И протягивает мне пачку каких-то иностранных денег. Положил я деньги на стол, а он вскоре заснул, и я ушел тихо. А Сытников через неделю умер....

Отец Николай замолчал, наблюки наши четко цокали в тишине по брусчатке, на станции отчаянно заревел электровоз, и откуда-то издалека, наверное, с того самого столба, доносился все тот же знакомый, еле слышный мотив. Модная мелодия, так не вязавшаяся с этим старинным маленьким городком, на сонных улицах которого молодой священник рассказывал мне историю своей неудачной борьбы за душу старого грешника — злодея, жулика, предателя.

Я посмотрел на часы — было без четверти одиннадцать. Отец Николай сказал:

— Если вы намерены здесь побыть еще, вы бы могли переночевать у меня.

— Спасибо. Но все мои дела здесь закончены, а через двадцать минут будет электричка на Москву.

Мы попрощались, и иерей Александров, отец Николай, ушел. Я стоял и долго смотрел ему вслед, и почему-то мне было жалко его, молодого доброго одинокого человека...

Я поднялся на пешеходный мост, повисший над железнодорожной станцией. Ни одного человека не было видно вокруг, и только жестяной голос громкоговорителя на сортировочной горке хрипло распоряжался: «Давай, еще два пульмана накатывай, цистерны готовьте. Да не туда, не туда, на четвертые подавайте...» Сонно пыхтел маневровый тепловоз, и безгласно перемигивались сигнальные огни на путях — фиолетовые, красные, синие. Тихо было вокруг, и только ветер порывами громыхал проволочными ограждениями на мосту, трепал мне волосы, заползал в рукава и за шиворот, а я стоял наверху, пока вдалеке не показалось белое зарево прожектора, сужающееся постепенно в белый узкий сноп света, и электричка вылетела из мрака яростно и бесшумно, как циклоп. Я сбежал с лестницы, вошел в вагон, зашипели пневматические двери, поезд мягко качнуло, и, уже погружаясь в сон, я вспомнил, когда последний раз видел так же бесшумно вынырнувшую из мрака электричку...

...Много лет прошло с той зимы. Лера, всегда выдумывавшая что-то необычное, предложила отметить Новый год вдвоем на даче. Тридцать первого декабря стоял солнечный морозный день. Ветер с заснеженных голубеющих полей поднимал облака серебряной пыли. На платформе станции Хотьково было совершенно пусто. Электричка загудела и, взвихривая снег у колес, унеслась в Загорск. Мы с Лерой спустились по обледенелым ступенькам. Мимо закрытого магазинчика, через какие-то задворки вы-

ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ

РОМАН

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

шли на дорогу. Разговаривать было трудно: лицо жег холодный ветер. Мы шли по накатанной дороге, держась за руки. Потом началось поле.

Я помог Лере надеть лыжи — ее «ротафелы» никак не застегивались. Я стоял перед ней на колене, металл креплений обжигал руки. Потом скоба щелкнула, я поднял голову, и она провела ладонью по моему лицу.

— Спасибо! — И побежала по искрящейся холодной целине.

Когда я закрепил свои лыжи, она была уже далеко. И бежала Лера очень легко. Ее голубой лыжный костюм и желтый длинный шарф выделялись на поле большим ярким цветком, и я подумал, что если помедлю еще немного, то она дойдет до края горизонта и растворится в сиреневом дымящемся мареве. И все-таки я медлил. Мне хотелось еще долго стоять так и смотреть на Леру.

Потом я разом воткнул палки в снег, с силой оттолкнулся и закричал на все поле, на все снега, на весь мир:

— Лера-а! Ого-го-го! Лера-а!..

Догнал я ее, наверное, не меньше чем километра через два.

Мы повернули к лесу и долго бегали среди заиндевевших толстых стволов. Потом нашли какие-то игрушечные горочки, и носились с одной на другую, и прятались за ними друг от друга, бросаясь на жесткий, скрипящий снег.

Я лежал на снегу и слушал, как Лера кричит, разыскивая меня:

— Стас! А, Стас! А-у!

Над головой зависло блеклое зимнее небо, облокотившееся на верхушки прозрачно-желтых сосен. Сосны чуть слышно поскрипывали на ветру, и тогда вниз сыпались рыжие иголки. Лера уже давно искала меня, но мне не хотелось вставать. Я бы с удовольствием даже заснул здесь.

Неожиданно она выехала из-за пригорка и увидела меня. Прежде чем я успел вскочить, она подлетела ко мне и бросила в лицо ком снега:

— У меня ноги замерзли. Поехали на дачу...

Мы снова пересекли лесок, вышли на дорогу, и Лера показала мне чей-то недавний след:

— А я думала, что, кроме нас, никто не поедет кататься в Новый год на лыжах.

Мы проехали через весь маленький дачный поселок, пока не добрались до ее дома. Лера отворила калитку, и мы на лыжах подкатили к террасе. Снег еще не сровнял клумб и гряд на участке, и повсюду торчали из него колышки с привязанными бирками: «Роза аквитанская», «Гладиолусы голландские»...

Лера сказала:

— У нас очень красивый сад. Летом тут столько цветов! — Помолчала и добавила: — Только я все равно не люблю его. Здесь не ступи, туда не ходи, обязательно помнешь что-нибудь. Я поле люблю, лес...

Мы поставили лыжи на террасе, сбили с них снег, и Лера дала мне ключ.

— Ну-ка, отопри это ржавое чудовище.

Я отворил дверь. Окна в комнате заиндевели, и поэтому здесь было темнее, чем на террасе. И холоднее. В углу стояла большая русская печь. Лера сказала:

— Иди, Стас, в сарай за дровами, а я пока попробую растопить печь.

Она стала запихивать в топку бумажки, газеты, обломки старого стула, а я пошел в сарай. Поленьев там не оказалось, но я нашел несколько толстых березовых чурбанов и тупой топор. Я выкатил чурбаки на улицу и стал колоть их. Дерево раскалывалось с тихим треском. А тишина стояла вокруг такая бездонная, что мне казалось, будто на тысячу верст вокруг ничего живого не было. На террасу выбежала Лера:

— Стас, руби скорее, а то вся моя растопка сгорит.

Я насовал в печь сосновых сучьев, щепок, огонь взметнулся, и мы бросили туда несколько поленьев. Лера грустно кивнула на замерзшую в ведре воду:

— Придется тебе, Стас, бежать за водой на колодец.

Пронзительно скрипел в морозной сухой тишине ворот, бадейка лениво плескалась на дне колодца. Когда я поднимал ее вверх, капли срывались и с тонким долгим звоном летели вниз.

Солнце уже садилось в клубящиеся оранжевые облака за лесом, разбрасывая вокруг мягкие фиолетовые тени. Мороз щипал уши и щеки.

У нас были с собой две банки консервов, буханка хлеба и бутылка шампанского. Где-то в шкафу Лера нашла целую бутыль с вишневой, и мы размешивали ее с шампанским. Странный получился напиток, но от него кружилась голова, все тихо звенело вокруг.

Мы сидели с Лерой на медвежьей шкуре перед открытой дверцей печки, протянув ноги к теплу, и смотрели на пламя. Свой необыкновенный коктейль мы пили из больших глиняных кружек, и я, размахивая кочергой, рассказывал Лере какие-то небылицы — о том, что было, и о том, что будет, а вернее, чего не было, а впоследствии не стало.

Лера сказала тогда:

— Ну, закончишь ты юридический, будешь ловить хулиганов и убийц. А какой смысл? Какой смысл ловить одного убийцу, когда в мире каждый день легально убивают сотни людей? Когда дня не проходит в мире, чтобы не воевали?..

Не помню, что я тогда возразил, но что-то я говорил — убежденно и страстно, наверняка бестолково и несвязно, потому что передо мной светило ее лицо — круглое, чуть скуластое, с острым сломом бровей, а от черных прямых волос пахло дымом и подснежниками...

Лера погладила меня ладонью по лицу — она часто гладила меня тогда ладонью по лицу — и сказала:

— Ты ведь бестолковый, Стас, а? Я тебя очень люблю. Ты всю жизнь будешь наивным злым воителем за добро. Ты всю жизнь будешь мальчишкой...

Я встал и подошел к окну. По стеклу шуршала мягкими черными лапами ночь. Оглушительно стрельнуло в печи полено. Лера от неожиданности вздрогнула и засмеялась. Провела рукой по волосам.

— Здесь зимой всегда такая тишина, что мне немного боязно. Хотя я знаю, что здесь никого нет. И мне кажется, что кто-то тихо разговаривает.

Она гибко потянулась, встала и подошла ко мне.

— Смотри,— взяла с подоконника альбом,— соседская девочка собирала летом гербарий и позабыла его здесь. Давай посмотрим?

К плотным страницам альбома были аккуратно приклеены листы, травинки, усохшие цветы. Непонятно почему, мне стало грустно от этого свидания с летом. Может быть, оно имело слишком засушенный вид. Я положил Лере на плечо руку:

— Пройдет несколько месяцев, и снова будет полно солнца, леса, яблок. Будет белый песок на пляже, лодки, сладкий дым над полем. Я бы хотел быть с тобой летом...

Лера пожала мне слегка руку и сказала:

— А разве сейчас плохо?

— Мне никогда еще не было так хорошо. А тогда будет еще лучше.

Я наклонился к ней. Ее глаза были рядом. В огромных тяжеленных ресницах. И губы. И снова ее волосы пахли подснежниками.

— Стас, любимый мой, не надо было нам встречаться, мы ведь никогда не будем счастливы...

— Почему? Я счастлив сейчас.

— Нет, это я счастлива сейчас. А ты уже мчишься в завтра, тебе нужно завтрашнее счастье, ты всегда мечтаешь жить в будущем времени. А я вся в сегодня. Мне ведь совсем мало надо.

Я твердо сказал:

— Мы обязательно будем счастливы. Я без тебя не могу — ни сегодня, ни завтра...

Как же я мог сказать ей, что без нее нет никакого завтра? Ведь и тогда я знал это наверняка, как совершенно точно знал, что мы будем счастливы.

Она провела ладонями по моему лицу:

— Ты веришь в себя?

— Я верю в себя, в тебя, в нас.

Лера покачала головой:

— Как же быть, если я не могу верить в себя, если я не люблю завтра, а у меня есть только сегодня?..

Она поцеловала меня...

Не помню, был ли это сон или причудливо сместившаяся явь, потому что все кружилось, плыло вокруг в красных сполохах пламени печки, и я крепко держал Леру, боясь открыть глаза, чтобы все не растаяло, не исчезло, не рассыпалось в прах.

Она гладила меня по лицу и говорила:

— Стас, а Стас! Сколько времени? Новый год уже наступил?

— Не знаю, ты же не велела брать сюда часы,— шептал я, не открывая глаз.

— Это хорошо, Стас. Я не хочу, чтобы двигалось время, я не люблю завтра. Я тебя сегодня люблю. Тебя в сегодня, тебя в сегодня,— повторяла она в полусне.

И я тонул в ней, радостно, как в светлом омуте, и весь мир, бесконечный, бездонный, замыкался в ней, и счастье становилось невыносимым, как боль, потому что я уже знал: завтра наступило, и никогда, никогда, сколько бы я ни прожил, я не смогу снова войти в этот безмерный омут.

— Стас, а Стас! Давай уедем отсюда...

— Когда? — спросил я в полузабытьи.

— Сейчас.

Я приподнял голову и увидел, что она плачет.

— Я не хочу, чтобы завтра приходило сюда,— сказала она.— Я хочу, чтобы все это навсегда осталось у меня в сегодня...

— Почему? — спросил я испуганно.

— Я хочу, чтобы через много лет, когда бы я тебя ни встретила, эта ночь была бы со мной. Чтобы она не стала вчера. Чтобы она оставалась сегодня...

На террасе я хотел взять лыжи, но Лера сказала:

— Не бери лыжи. Пусть они здесь остаются. Пойдем пешком.— Потом добавила: — Я хочу, чтобы ты только со мной ездил кататься на лыжах...

С юга дул ветер и гнал по звездному, искрящемуся небу рваные облака. Они шли так низко, что, казалось, шуршали в занозистых пиках елей. Стало теплей, и мы с Лерой по старой лыжне быстро дошли до станции, вбежали на платформу по скользким деревянным ступеням. Над кассой хрипло задребезжала тарелка громкоговорителя: «Поезд Загорск — Москва прибывает на второй путь». Вылетела из мглы электричка, проглотила нас, и через мгновение в окнах замелькали сонные, мутные огоньки дремлющих в снегах домов.

В Москве, на вокзале, стояли гам и толчея, суетились на площади носильщики и таксисты. Над головой летели облака удивительного красного цвета, и было от них светло, и лица людей были похожи на камни в костре...

ГЛАВА 15

Я очень не люблю, когда меня будит будильник. По своему складу я человек ночной, медленно, трудно засыпаю, и самый крепкий сон приходит ко мне утром. Поэтому, когда в тишине раздается оглушительный звон будильника, я пугаюсь, будто меня хватили палкой по голове. Но, проснувшись за несколько минут до звонка, я испытываю злорадное чувство, как если бы мне удалось перехитрить его. С мстительным удовольствием нажимаю я кнопку стопора, запирая бодрствующий дух часов еще на сутки.

Я открыл глаза и сразу же торопливо нажал кнопку звонка, поднялся с дивана и стал лениво слоняться по комнате, залитой мягким утренним солнцем. Потом взял полотенце, халат и пошел в душ. Открыл горячую воду и, когда кожа привыкла, начал потихоньку выводить кран с надписью «Гор». Вода остывала медленно, наливалась холодом, потом ледяные струйки стали плотными, как резина. Десятки злых, острых лоз стегали, щипали кожу, били в глаза, и я вспомнил, как мы с Шараповым мокли под холодным ливнем в Останкине перед дверью старухи Ларионихи, где скрывался беглый бандит Крот. Меня контузило тогда выстрелом, но, помню, больше всего я переживал из-за порванного в свалке нового костюма. Смешно! Но факт — было это. Пять лет назад. И было мне тогда столько лет, сколько Сашке Савельеву сейчас. В ту ночь мы с ним и познакомились.

Ощущение нестерпимого холода прошло, и я почувствовал, как тело наливается силой и бодростью. Подумалось, что я еще молодой. Я еще совсем молодой, тридцать — это не так уж и много! Нет, немного!

Поставив на плиту кофейник, я снова завалился на диван и, лежа, стал тереть щеки электробритвой. Было всего начало восьмого, и впереди был огромный день, полный всяких хороших и интересных событий, и все почему-то казалось мне прекрасным.

Продолжение следует.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43, 44, 46—51.

Надел свежую сорочку, аккуратно завязал галстук и чинно уселся пить кофе. От упорядоченности этого утра я казался себе человеком ну просто замечательным. В буфете нашел довольно съедобную булочку и плавленый сырок, так что и завтрак получился прекрасный. Я отпил два глотка, встал и вынул из внутреннего кармана пиджака бумажную ленту. В кармане она, конечно, помялась несколько, но прежние старые сгибы были отчетливо видны. Прихлебывая горячий кофе, я вновь свернул ленту по сгибам — крест-накрест и еще раз крест-накрест, получилась обертка-бандероль, какими опечатывают в банках пачки денег. Лента была мне интересна и непонятна.

Откуда у старика могли появиться доллары? Отцу Николаю он сказал, что какие-то люди, еще хуже его самого, испугавшись смерти, выделили ему часть своих денег. Фаусто Кастелли разыскивал Сытникова и приходил к нему домой. Конечно, соблазнительно связать доллары с появлением Кастелли, но итальянец приходил, когда Сытников уже был мертв, а разговор о долларах возник за несколько недель до этого. Но в чемодане у Кастелли лежал крест сподвижника, начальника и друга Сытникова — генерала фон-Дитца. Никаким случайным стечением обстоятельств это объяснено быть не может. Значит, они виделись раньше. Когда? Отдел виз и регистрации сообщил, что Кастелли в Советский Союз приезжал впервые. Сытников с момента ареста осенью 1945 года находился сначала в заключении, а затем безвыездно в Зареченске. Непонятно. Очень меня смущала обертка-бандероль. Такой лентой перевязывают деньги в банках. Если ею перевязывались советские деньги — рубли, например, они вполне по размеру подходят,— тогда по-прежнему все неясно. А если в ней были доллары? В банковской-то обертке?.. Тем более что на ней написано фиолетовыми чернилами: «500 по одн. Снято 100. К выд.— 400»,— а долларов у старика нашли именно четыреста...

Я встал из-за стола и похвалил себя за правильно прожитое утро. Потом выглянул в окно — тепло на улице совсем было, перекинул через руку плащ и отправился на Петровку.

Савельева в кабинете не было. Я достал свои вчерашние записки, разложил их на столе, внимательно перечитал, достал из сейфа оперативное дело и подшил в него листки. Хлопнул папкой по столу и положил ее в сейф, запер тяжелую стальную дверцу и отправился на четвертый этаж — в первый отдел.

В кабинете у инспектора Красулина сидели наши ребята. Здесь же, верхом на стуле, устроился Сашка. На лице его было томление — он наверняка хотел что-то рассказать, но все слушали в этот момент Красулина.

...— Мы уже плюнули на все это дело и собрались уходить. Такая меня досада разбирает — ведь знаю же точно, что должна быть здесь валюта, а найти не можем, хоть убейся. И кот проклятый за окном орет все время — на нервы действует. Я говорю Сухорукову: выйди на балкон, глянь, чего он там надрывается. А сам думаю: придется уходить не солоно хлебавши. Тут меня Сухоруков зовет. Вышел я на балкон, а Михаил говорит: ты посмотри на нижний балкон, он почему так прыгает? Перегнулся я вниз, вижу: котище с наглой такой мордой прыгает и орет. А чего прыгает — непонятно, ничего привлекательного на нашем балконе нет для него. Мишка говорит: погоди, я вниз спущусь, гляну. Тут наш деятель подпольных финансов сник и говорит: не надо спускаться, я сам. Берет удочку с крючком на конце, перегибается через перила и выуживает подвешенный на леске пакет. Ветер, говорит, подвел меня, стал он трепать пакет у кота под носом... вот котище проклятый и сбесился...

Ребята засмеялись, а Сашка сказал:

— Такая же штука у нас в прошлом году произошла с Тихоновым...

— Погоди, погоди,— остановил я его.— В следующий раз обменяешься производственным опытом. У меня времени в обрез...

— Вчера я в газете прочитал, что есть наука деонтология — о правилах поведения врачей между собой и с больными,— сказал обиженно Сашка.— Хорошо бы расширить ее границы еще на некоторые специальности.

— Брось, Сашка, не до шуток!

Красулин спросил:

— Ты чего, Стас?

— У тебя сейчас наличные доллары есть?

Сашка подскочил от счастья:

— Разменяйте Тихонову сорок миллионов!..

— Нет, мне нужен как раз один доллар. Единой бумажкой.

— Есть. — Красулин встал и отпер сейф. — Хорошему человеку не жалко. Надеюсь, с возвратом? Госбанк еще на них виды имеет.

— С возвратом. Даже без выноса из твоей комнаты.

Красулин протянул мне пачку валюты, среди купюр — несколько однодолларовых ассигнаций. Я вновь сложил по сгибам свою обертку-бандероль. Стасовал в пачечку доллары и осторожно вложил ее в крестовидное гнездо обертки. Купюры легли точно под сгибы...

— Эврика! По-моему, именно эту свеженькую шутку произнес Архимед в аналогичной ситуации? — спросил я у ребят, с интересом следивших за моими манипуляциями.

— Он сказал: «О жалкий жребий мой»,— завистливо пробурчал Сашка.— Тысячу рублей я бы взял и без упаковки.

— Не надо зариться на чужие,— мстительно сказал я.— Свои надо зарабатывать.

Я вернул Красулину доллары:

— Возвращаю ссуду без процентов, я сегодня всю мелочь дома оставил. Пошли, Савельев, загружу тебя работой. Ты же ведь говоришь, что аппарат надо держать в напряжении.

В глазах у Красулина замерло любопытство: валюта — его специализация, но задавать вопросы у нас не принято. Если можешь или хочешь — расскажешь сам. В дверях я задержался.

— Слушай, Красулин, какие банки у нас производят внутренние платежи в иностранной валюте?

— В основном Внешторгбанк СССР. А что? Я подмигнул:

— Если все получится, приду и расскажу. Пошли, Сашок...

Мы шли по Страстному бульвару во Внешторгбанк, и я объяснял Савельеву сложившуюся ситуацию:

— Здесь возможны три варианта: деньги официально получил Сытников, и это дает нам очень много, но вариант почти невероятен. Второе: кассир опознает свою обертку-бандероль и вспомнит, кому он ее выдавал. Этот вариант вероятнее, хотя информация наша будет беднее. Третье: в банке не смогут ничего вспомнить об этой операции, и, к сожалению, данный вариант ближе всего. Но отработать этот канал мы обязаны....

— А что еще осталось от Сытникова? — спросил Сашка.

— Какая-то бриллиантовая брошка. Да и она уже ушла в госфонды. Иди ищи ее теперь.

Сашка подобрал с земли тополиную ветку, потер смолистые, клейкие почки между пальцами и, глядя на желтые душистые капли, сказал:

— Как выглядела брошка? Ее видел кто-нибудь у старика? Описание ее в протоколе осмотра имеется?

— Не знаю. В протоколе написано: брошь бриллиантовая, женская. И все.

— Неправильно это,— серьезно сказал Сашка.— Я бы, например, охотно посмотрел на нее.

— Теперь уж поздно говорить об этом.

— Трудно сказать...— неопределенно пробормотал Сашка.

Четыреста долларов однодолларовыми купюрами получил во Внешторгбанке 28 февраля сего года Аристарх Сытников. Это было довольно невероятно, но факт: контролер-оператор показала нам журнал. «Получил — Сытников, 1894 г. р., паспорт серия, номер, проживает — Зареченск, ул. Прибрежная, д. 7, кв. 12. Деньги переведены на основании платежного поручения из Инюрколлегии, приходный ордер...» — в общем, все честь по чести. Вот это да! Мы этого никак не ожидали.

— Что будем делать, Стас?— спросил, очарованно глядя в журнал, Сашка.

— Я думаю — в Инюрколлегию? А?

— Стас, у меня есть маленькая идейка. Что, если я сегодня займусь ее реализацией, а ты — в Инюрколлегию? Нам ведь там вдвоем все равно делать нечего...

— Принято. Привет.

— Большой привет.

В Инюрколлегии я договорился, что там снимут для передачи нам копии со всего наследственного дела Аристарха Сытникова — каждый документ был настолько интересен, что подлежал приобщению к делу. Поэтому Шарапову я все объяснил на словах, изредка заглядывая в записную книжку, где отметил наиболее удивившие меня моменты.

— Наследство было завещано Сытникову баронессой Анной-Лизой Густавой фон-Дитц, вдовой генерала фон-Дитца, урожденной Шмальбах, гражданкой Соединенных Штатов Америки, бывшей подданной Российской империи. Баронесса скончалась в ноябре прошлого года в городе Теннесси-Порт, штат Индиана, графство Окридж...

Фирма Уитуотерсгалл Бразерс
Соединенные Штаты
Индиана
графство Окридж, Теннесси-Порт.

Дело: трестфонд баронессы фон-Дитц.

Уважаемые господа, благодарим за Ваше письмо от 20 сентября с/г, содержание которого принимаем к сведению.

Сообщаем, что смерть баронессы Анны-Лизы Густавы фон-Дитц, урожденной Шмальбах, вдовы генерала барона фон-Дитца, гражданки Соединенных Штатов, бывшей подданной Российской империи, согласно решению окружного суда считается имевшей место.

Тем же решением единственным бенефициаром семьи фон-Дитц объявлен двоюродный брат покойной полковник Шмальбах.

Неоспариваемым завещанием баронессы фон-Дитц бывшему адъютанту ее покойного супруга Аристарху Евграфовичу Сытникову выделено наследство в сумме 400 (четыреста) долларов США.

...Мы считаем, что клиент Аристарх Евграфович Сытников, проживающий в СССР, в городе Зареченске, имеет разумные виды выиграть в своей претензии, поскольку его личность исчерпывающе идентифицирована представленными документами...

ДОВЕРЕННОСТЬ.

Да будет настоящим всем, кого это касается, известно, что я, нижеподписавшийся, Сытников Аристарх Евграфович, принимаю завещанное мне баронессой фон-Дитц не обремененное долгами наследство, назначаю и уполномочиваю адвокатов фирмы Уитуотерсгалл Бразерс, имеющих контору в городе Теннесси-Порт, штат Индиана, США, порознь и совместно быть моими полномочными и законными поверенными.

А. Е. Сытников.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Чейз Манхэттен банк переводит согласно поручению фирмы Уитуотерсгалл Бразерс в Инюрколлегию, СССР, для вручения Сытникову Аристарху Евграфовичу 400 (четыреста) долларов США.

Я уже собрался уходить домой, когда позвонил Савельев.

— Стас, моя идейка провалилась вроде.— Голос у него был усталый.

— Какая идейка? — удивился я, успев за этот долгий день позабыть о нашем утреннем разговоре.

— Да насчет броши. Я ведь целый день провел в отделе хранения ценностей. Ух, зажиточная организация! — с воскресшим энтузиазмом сказал Сашка.

— Ничего не перепало? — полюбопытствовал я.

— Кое-что. Недоразумение у тебя получилось,— невинно сказал он.

— Какое еще недоразумение?

— Тут разночтения возникли. У тебя в описи — брошь женская бриллиантовая, а здесь опись поквалифицированнее, так они ее называли по-другому... — Сашка помолчал, и я ощутил, как острое предчувствие кольнуло сердце.

— Ну?

— «Брошь, украшение декоративное из бриллиантов, на основе белого металла (платина), в форме восьмиконечной звезды».

— Звезду видел?..

— Я же говорю: провалилась идея. Звезду направили две недели назад для реализации в московский комиссионный магазин номер пятьдесят три...

— А в комиссионке был?

— Опоздал,— тяжело вздохнул Сашка.

— Продали? — крикнул я.

— Нет, поздно уже было в комиссионку ехать: закрылся магазин.

— Уф!— облегченно вздохнул я.—С тобой говорить, что суп дырявой ложкой хлебать.

— А какая разница — за две-то недели, наверное, продали звезду,— сказал уныло Савельев.

— Саня, она же ведь дорогая,— с надеждой сказал я.— Может, граждане и не бросились на нее сразу, это же не холодильник, не первой необходимости все-таки вещь, может, повременят, а, Саня?

— Может, и повременят. Я, знаешь ли, не каждый день себе бриллиантовые броши покупаю. Так что сведения на этот счет у меня самые общие...

— Ну, ладно, значит, к открытию магазина — мы уже там. Есть?

— Есть. Большой привет.

Я положил трубку. Звезда восьмиугольной формы. Я отчетливо представил цветные репродукции, которые мне показывал орденовед в музее. Крест с перевязью и звезда, звезда восьмиугольной формы!

Конец первой книги.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. Ушакова.

I

Следователь Всехсвятский смотрел на посетительницу и сердился: какому хулигану понадобилось запугивать эту семью?

В том, что действовал хулиган, у Всехсвятского почти не было сомнений. Преступники даже в романах нечасто предупреждают жертву, а в жизни — и того реже.

Предположить, что действует шайка и кто-то из ее членов имеет по этому поводу свое особое мнение? Неизвестный доброжелатель? Пожелал предупредить, не выдавая никого?

Но тут никто не предупреждал, тут именно запугивали.

— Повторите еще раз, что именно вам говорили,— сказал он.— И держитесь поближе к тексту, пожалуйста.

— Я и так держалась довольно близко к тексту,— сказала посетительница.— За исключением ругательств. Или их тоже необходимо повторить?

— Да нет, необязательно,— сказал Всехсвятский, думая, что мужчину он заставил бы повторить все дословно.

— Вот вам текст,— сказала она.— «Это квартира Соколовского?— Да!— А это кто — его жена?— Нет, его дочь.—Ах, дочь! Так вот, знайте: этому гаду, вашему папаше, недолго осталось гулять на свете. Отжил он.— То есть как?—А так. Отжил он, не жить ему больше: пусть считает дни». Дальше ругательства. Я повесила трубку.

— А во второй раз?

— Во второй раз: а, это опять вы! Ну, мы вашего папашу скоро прикончим. Убьем и фамилии не спросим. И еще один раз... Примерно то же самое.

— Да,— сказал Всехсвятский.— Голос вам незнаком, конечно?

— Незнаком, конечно.

— Может, мальчишки забавлялись? Начитались детективов...

— Они бы ржали. И голоса были бы разные, а тут все время один.

— Да,— сказал Всехсвятский.— Скорее всего хулиганство. Вы сказали отцу?

— Ни ему, ни маме. Зачем я буду их пугать?

— Да-а,— протянул Всехсвятский рассеянно.— Конечно, зачем их пугать?

Они помолчали. Потом он спросил, на всякий случай, потому что так полагалось:

— А нет ли у вас лично персональных каких-нибудь догадок... Ну, скажем, кто-нибудь что-нибудь имеет против отца или против вас...

— Насчет врагов?— она усмехнулась, выговорив это слово. —У меня врагов нет. Слишком я ничтожная величина!

Она вызывающе вздернула голову.

— А у отца... Конечно, могут быть люди, которые на него обижены. Он главный бухгалтер. Но врагов, думаю, у него нет.

Она опять усмехнулась.

— Друзей, впрочем, тоже. Он, знаете, очень замкнутый человек.

— И дома тоже?— спросил Всехсвятский.

— И дома тоже. С тех пор... Ну, после этих звонков, я стала заходить за ним на работу. На всякий случай. Мало ли что? Парадная у нас темная, все время перегорают лампочки, то на одном этаже, то на другом. Мы живем на четвертом.

— А по вечерам он не уходит?

— Нет, читает газеты, смотрит телевизор. По вечерам я практически спокойна. Только уйти никуда не могу из-за этого телефона. Все время кидаюсь на звонки. Родители уже думают невесть что.

Всехсвятский взглянул на ее правую руку, без кольца,— она поймала его взгляд.

— Я разведена. Так вот, я тоже думаю, вообще говоря, что это — телефонное хулиганство. Дайте совет, что сделать, чтобы его прекратить. Если оно еще повторится.

— Обязательно,— сказал Всехсвятский.— А кто вам посоветовал обратиться сюда?

— Никто. Я сама.

— Да. Ну так вот, в следующий раз, если, конечно, будет следующий раз, вы не вешайте трубку. Вы меня поняли?

— Поняла.

— А сами бегите к соседям, у них есть телефон? И звоните вот по этому номеру...

Он написал номер на чистой библиотечной карточке и протянул ей.

— Скажете, что вас беспокоят хулиганы. Потом позвоните мне сюда. Или домой. Вы меня поняли?

— Поняла. Вы их найдете?

— Вероятно.

— И скажете мне, кто звонил?

— Не исключено.

Всехсвятский замолчал. Она поняла, что разговор окончен, поднялась, положила на стол свой пропуск. Всехсвятский сказал:

— Минуточку. Значит, звонили вам три раза. С каким промежутком между звонками примерно?

— Ну... Это продолжается недели три... Первый раз еще в октябре. Я тогда... не то, что не придала значения, но не думала, что это может повториться. Но примерно через неделю был второй звонок. И три дня назад... нет, четыре — в четверг это было — третий.

— И вы никому не говорили про эти звонки?

Она подумала.

— Нет, практически никому.

— Практически,— сказал Всехсвятский.— А фактически?

Она посмотрела на него искоса, чуть исподлобья:

— Фактически — вот, вам рассказала.

«Не только мне ты рассказала, конечно,— подумал Всехсвятский, когда дверь за ней закрылась.— Кто-то ждет тебя, наверное, внизу, или в бюро пропусков, или на улице. Хотя на улице холодно. Наверное, он же и посоветовал тебе сюда обратиться. В общем, мне дела до этого нет».

Он поглядел на свою запись разговора. Там стояло: Соколовская Алла Никодимовна, г. р. 1946, геолог, прож. ул. Мартыновская, дом..., квартира..., телефон... и внизу, мелким почерком: «Телефонное хулиганство».

Зазвонил телефон. Он прижал трубку плечом («Всехсвятский слушает!») и стал тщательно, фигурно зачеркивать последнюю строчку. Звонили из Киева, до делу артиста Ковалева, у которого таинственно исчезла жена. Николай Иванович Грищенко, старый товарищ, еще фронтовой, сообщал, что был или не был Ковалев в Киеве,— самолетом он оттуда не улетал. По крайней мере билета на свое имя не брал. Всехсвятский сказал:

— Был у тебя, был. Информация плохо поставлена у тебя, чтот-ты!

Грищенко стал возмущенно оправдываться. Всехсвятский сказал:

— Конечно, мог и поездом вернуться. Факт тот, что уехал с чемоданом, а вернулся без. Понял? Вот то-то... Да и я так думаю... Ничего не находили? А он мог и в Святошино податься или в Ирпень... Мы на лодочке катались, знаешь?.. Да, пусть пошуруют, пусть. Нюхом чую, что где-то там у вас есть хвост, а поймать — никак! Так ты хоть поддержи морально...

Вернулись с обеда сотрудники, Щавинский и Никулин. Всехсвятский поговорил с ними о деле Ковалева. Потом Щавинский спросил:

— Это что за деловая дама к тебе приходила? Интересный кадр, между прочим. Так что у нее?

— Ерунда,— сказал Всехсвятский.— Кто-то попугать их хочет, звонит по телефону, грозится убить.

— Ее убить?

— Нет, отца.

— А кто отец?

Всехсвятский рассказал. Витя Никулин, погрузившийся в изучение плана местности вокруг склада, где произошло на днях вооруженное ограбление, поднял глаза и фыркнул возмущенно:

— И с такой ерундой сюда ходить? Кто ее надоумил, интересно?

— У дамочек всегда есть кому надоумить,— заметил Щавинский.

— Она не дамочка, она геолог,— сказал Всехсвятский.

— Ишь ты! Сразу видно — деловая. Что ж она в городе сидит, не ищет алмазы в Якутии или что там...

— Зима же!— сказал Всехсвятский.— Зимой они в конторе свои данные обрабатывают.

Вечером дома Всехсвятский думал о «деле об исчезновении жены артиста Ковалева». Туфельки, туфельки, тридцать пятый номер, импортные, английские, новенькие,— откуда они в этой квартире? Жена Ковалева носила тридцать седьмой. Если кто-нибудь из ее подруг их оставил — почему не забирает? А они стоят и стоят, и молчат, и ничего не рассказывают. Надо было, может быть, взять их как вещественное доказательство. Вещественное доказательство — чего?

А Ковалев, между прочим, летал-таки в Киев на один день. Это установлено. Объясняет, что у него идут переговоры со студией Довженко — правильно, они проверили, идут у него переговоры... Только почему раньше он этого не говорил? И зачем брал с собой большой чемодан, если ехал всего на один день? Соседи видели его с большим чемоданом. А в доме у него большого чемодана нет. Нет и нет! Обленился Грищенко, и ребята у него стали какие-то нерасторопные, ничего не находят.

А при чем тут туфельки?

Это Витя Никулин обратил его внимание на туфельки. Говорит: «Гень Иваныч, у меня интуиция». Правильно, бывает интуиция. Интуиция — дело индивидуальное. Вырастает из опыта. У него, Всехсвятского,— из опыта. Шестнадцать лет работы, если считать после перерыва только. А Витя Никулин — новый работник. Однако интуиция есть. Из чего выросла? Из книжек? Из желания выдвинуться? В общем, если эти туфельки что-нибудь значат, надо уходить на преподавательскую работу. Вот так.

Сейчас самое бы время, чтобы постучали в дверь: дорогой, иди ужинать.

Тоска об умершей жене, загнанная в тайники сознания, задавленная повседневностью, мыслями о работе, смутными мечтаниями, вдруг вырывалась в форме вот таких безобидных жалоб; надо же, и ужинать никто не позовет!

Два года прошло с ее нелепой смерти. Около года она болела, потом умерла, и сделать ничего нельзя было. При нынешнем состоянии науки — ничего.

Три года назад они ездили в Грузию. Объездили всю республику, даже в Сванетии побывали... И, наконец, обосновались в Сухуми. В белой гостинице над морем. На моторках плавали в Новый Афон. Не моторки то были, а эти... на подводных крыльях, как они называются... Склероз. Счастливый то был отпуск. На следующий год они решили — в Армению.

При нынешнем состоянии науки ничего нельзя было сделать. И все-таки, когда она стала жаловаться, надо было сразу ее показать этому знаменитому, как его... а не бояться. Чего боялись? И потом она хотела в филармонию, а он ее не повел, боялся, что ей станет там плохо. А она говорила — положительные эмоции... Да не сосчитать всех случаев, когда он должен был или мог бы, но ничего не сделал.

Он привык быть один. Привык, что сын не звонит — у него своя жизнь. То есть как это не звонит? Звонит иногда. И в гости зовет. И периодически советует перейти на преподавательскую работу.

— Охота тебе, папа, болтаться в житейской грязи? Уже пришла пора обобщать опыт. Двигать теорию.

Еще бы! Давно уже пришла пора. Вот только закончит он дело Ковалева и передаст лиру Никулину. Тем более он такой способный. Она у него есть-таки, интуиция.

Вообще же идеи насчет преподавательской работы не Женькины, наверняка. Это Машенька. Это ей надо. Кто ваш свекор? Он в университете преподает... И все. А то — следователь! Старый человек — следователь. Не звучит. А ей надо, чтобы звучало. Без этого ей нет счастья.

Счастье, счастье... Если ты нужен кому-то, кто и тебе нужен,— вот оно, счастье. А все прочее чтоб звучало. Все-то мы приукрашиваем, все-то нам недостаточно красиво. Все утешаем себя, утешаем...

II

Что же это такое? Неужели опять все начнется сначала?

Он шел с ней рядом и говорил:

— Я ведь могу стать другим. Если ты поверишь мне, в самый последний раз, я все могу. И ты знаешь, тебе никого не надо, кроме меня. Ты только мне поверь в самый последний раз.

Год назад — еще только год назад!— она в ответ ему взрывалась словами. Она объясняла ему, что только сейчас поняла, что ей не надо ничего, кроме покоя, что она все забыла, простила, и хочет только, чтобы и он простил и забыл, потому что оба они друг перед другом виноваты, и она понимает, что когда двое расходятся, то не только тот виноват, кто всем кажется виноватым, что и она вины с себя не снимает, что она понимает, что главное было — ее ошибка, нечего было выходить за него замуж, слишком они разные люди, конечно, ребенок, но ведь она разрешает ему видеть Лодьку, и в детский садик он за ним заходит, и только два раза было, что Лодьку ему не отдали: но сам посуди, в каком ты был виде, ты оба раза не спорил даже, и пусть он не думает, что у нее не болит, у нее до сих пор болит, и когда он лежал в больнице, она каждый день узнавала, а не заходила — ты сам понимаешь, почему не могла я тебя тогда видеть, а теперь все прошло, но только не надо больше нам обоим всей этой ерунды, потому что это все чушь, ты сам говорил, и родители только сейчас наконец вздохнули свободно, их тоже надо пожалеть, все-таки они с нами, с тобой сколько возились, если бы не они...

Но это все было год назад, и теперь она уже не испытывала страстной жалости к себе, и во рту у нее не сохло, как раньше, когда она неожиданно встречала его.

— Брось, Алик,— ответила она невпопад,— хватит, Алик! Отчего ты здесь торчал, что у тебя, своих никаких дел нет, что ли?

— Какие у меня могут быть дела!— сказал он горько.

— Ты же говорил — на работу устроился.

— Работа — не бей лежачего. Для кого мне сейчас работать?

Она только плечами пожала. Сколько уже об этом было говорено-переговорено, и с плачем, и с криками, и с клятвами.

— Ты не думай,— сказал он,— я работаю. В багетной мастерской.

— Ты же там летом работал, потом ушел...

— А теперь опять работаю,— сказал он упрямо.— А потом такелажником пойду в Эрмитаж. Или в охрану...

Она прибавила шагу — ей надо было поспеть на автобус. Он шел рядом. Такой высокий, такой красивый. Прохожие, наверное, думают: какая пара! Если у них есть время думать, у прохожих! Она сказала:

— Не провожай. Я за отцом еду на службу.

— Привет передай Никодиму Ефимовичу,— сказал он.— И скажи ему: когда будет известно, кто по телефону хулиганит, я...

— Ты что?— Она даже остановилась.— Откуда ты про это знаешь? Неужели это ты...

— ...Звонил? Ты, значит, думала, что это я?— Он усмехнулся невесело.— Вот до чего, значит, дошло!

— Не думала я этого!— сказала Алла горячо.— Все-таки не настолько ты... И голос твой я бы узнала. Как бы я могла думать?

— Но мне не сказала. Мне не сказала, а Кириллу сказала. Что тебе Кирилл?

— Ах, так это Кирилл тебя поставил в известность?

— А что, он не имел права?

— В общем, не имел. Я ему не поручала.

— Это он, тебя защищая, сказал. Чтобы я к тебе не приставал... Я тебе звонить хотел, а он мне сказал: не приставай к ней сейчас, у нее сейчас такое... и рассказал мне. Слушай, но какая это сволочь звонит вам?

— Не знаю. Вот выясню — скажу тебе.

— Ох, и пересчитаю я ему ребра! Так давно хочется пересчитать кому-нибудь ребра! За тебя, за себя, за все...

— Все виноваты, да?

— Приятнее ведь думать, что все виноваты!

— Может быть.

Подошел автобус, она побежала, он держался с ней рядом, почти не прибавляя шагу. Уже с подножки автобуса она бросила ему:

— Так ты не трепись про это все, помни!

Он поднял руку успокоительно. Таким он и остался на остановке с поднятой рукой: «Не волнуйся, все будет в полном порядке».

Ее тревожило, зачем она рассказала Кириллу про телефонные звонки. Даже не это — ну, рассказала и рассказала!— а то, что этот факт от следователя скрыла. Значит, чувствовала, что сделала неправильно, и на ходу постаралась исправить. Что же она хотела исправить? Ведь

делу-то уже не поможешь. Впечатление о себе она хотела — не исправить, а не испортить вот. Впечатление о себе, о деловитой, спокойной женщине, с ровным характером.

У следователя лицо спокойное, добродушное. Довольный такой, толстый. Моложе отца, но, наверное, тоже был на войне. «Белорусский вокзал». В общем, даже неловко, что она полезла к нему с такой ерундой. И вид у него был такой, что она отнимает у него время.

У всех такой вид. У врача в поликлинике, у продавщицы, у официантки. У научного руководителя. У собственного ее мужа, когда он был ее собственным мужем и она пыталась говорить с ним серьезно.

У нее самой такой вид — когда пристает Лодька, когда мама заводит хозяйственные разговоры, когда научный руководитель допытывается о ходе работы над диссертацией, когда бывший муж, вот как сегодня...

Теперь это носят. Незаинтересованное выражение лица.

Можно подумать, что, помучившись над никому не нужным разговором, все эти люди — и она тоже! — кинутся к каким-то своим страшно интересным делам. Врач — к загадочной истории болезни, продавщица — на склад, куда привезли что-то сверхимпортное, официантка — в местком, где ей обещали однокомнатную квартиру, ученый — к образчикам лунной пыли.

А она сама куда кинется?

Ах, она — на любовное свидание. Куда еще кинуться молодой, разведенной, сравнительно хорошо оплачиваемой?

Никто никуда не кидается. Или это ей кажется, оттого что ей лично ничего не интересно?

Ей интересно: кто это все-таки к ним звонит? Скоро она узнает. Если толстяк займется этим.

В конторе отца уже не было. Бухгалтерша Леонтина Михайловна сказала, что он часа два как ушел — собирался зайти в банк, а оттуда домой. Ему позвонили, он собрался и пошел...

— Аллочка, вы что, он вам был срочно нужен? У вас такое лицо...

— Нет, просто я думала, что его здесь застану. Нет, ничего срочного, просто люблю заходить за ним.

— Традиция,— кивнула Леонтина Михайловна.

Алла приехала домой на такси и по лестнице бежала, не переводя дыхания; на площадке из-за запертой двери услышала, отец говорил:

— ... И все это глупости, дурацкие глупости.

Она открыла дверь и вошла в переднюю.

— ... и нечего, совершенно нечего волноваться.

Наверное, звонил опять этот... Опоздала! Ах, черт!

Но она не опоздала. Просто оказалось, что мать стояла в очереди за индийскими махровыми полотенцами, ей не досталось, и она донесла до дому свое нерастраченное негодование и вылила его с ходу на отца, который пришел раньше, а теперь роли переменились, и негодовал отец.

— Махровые полотенца! Чем плохи вафельные? Это удивительно, как люди сами себе усложняют жизнь. Если хочешь знать, то после бани даже полагается растереться вафельным полотенцем, этому с детства учат. Даже полагается!

— Я же не для себя хотела,— оправдывалась мать, слабея.— Я для Лодиньки.

— Для Лодиньки! — фыркнул отец.— Лодька — мужчина, его надо приучать к холодным обтираниям. То-то он и сидит у тебя дома по неделям. Разве так воспитывают мальчика?!

— Ну, папа! — сказала Алла.

— Ты только посмотри на нее!— сказал отец.— Ноги больные, сердце больное, а она стоит два часа за какой-то тряпкой. И так всю жизнь. Как где что дают — она там. Как будто за самым необходимым кидается. Это предметы роскоши, ясно?

— Роскошь тоже необходима,— сказала мать и подмигнула Алле.

Потом отец, затихая, долго еще бормотал свое обычное: из-за тряпок жизни не видят! ...Ограничивать себя надо. Ограничивать... Есть вещи поважнее... Алла думала о том, что пора идти за Лодькой в детский сад, а как же она пойдет, когда отец дома. Тут как раз и позвонит тот хулиган, а мать тоже не пошлешь после драматического переживания с полотенцами. Все трудно, все сложно. Она сказала:

— Папа, если ты не ложишься отдыхать, может, сходим вместе за Лодькой?

— Сам схожу!— буркнул он ворчливо.— Ты присмотри, чтоб у нее сердечного приступа не было!— Он кивнул в сторону матери и пошел в переднюю. Алла пошла за ним и сказала, что у матери и правда будет приступ, если он так на нее будет накидываться; она и так дома устает больше, чем когда работала в школе, а еще на нее если кричать... Говоря это, она чистила отцу пальто щеткой, искала рожок для обуви, подавала меховую шапку, так что слова ее были необидны, и потом вышла за ним на площадку и смотрела ему вслед, пока он спустился, видела его сутулую спину и думала, что у него никаких радостей в жизни — только семья, а много ли радости от семьи: дочь развелась, внук растет безотцовщиной. Шаги отца еще были слышны на лестнице, когда зазвонил телефон и она кинулась в комнату.

Так и есть.

— Вы не думайте, если ваш папаша еще ходит по нашей земле, что так всегда и будет. Мы с ним... мы ему... он еще у нас...

— Ну, подожди! — сказала она.

Она положила трубку и на минуту задумалась. Мать лежала на диване и смотрела на нее; поймав ее взгляд, она сразу отвернулась с незаинтересованным видом. Трубка лежала на столе и что-то произносила невнятное, но угрожающее. Она подошла совсем близко к дивану.

— Я сейчас пойду к Гольдштейнам, от них позвоню!— сказала она.— Это по работе звонят, пьяный прораб, но по делу. Ты только не клади трубку, ладно?

Она пошла через площадку, думая, что мать может и удивиться ее подробным объяснениям и что-нибудь заподозрить. У Гольдштейнов, к счастью, дома был только мальчишка — он впустил ее и помчался в другую комнату, где работал телевизор. Она набрала номер — ей сразу ответил женский голос. Она сказала:

— Хулиганы звонят, мне велели обратиться к вам.

— У вас трубка снята? Не вешайте, пока мы вам не позвоним.

И все. Отбой. Она еще зачем-то потопталась у телефона, потом крикнула гольдштейнскому мальчишке, что уходит, не получила ответа и вышла. Дома все было по-прежнему — мать лежала на диване, трубка на столе. Мать спросила:

— Ну, что же ты? Вдруг кто-нибудь позвонит, а ты трубку не вешаешь.

Она объяснила, что нельзя еще вешать, потому что тройная связь.

Что она имела в виду под этим странным термином, мать не спросила.

И тут Алле вдруг пришло в голову, что, может быть, и у матери были такие же телефонные разговоры, и она скрывает, и не знает, что делать. Алла бросила на нее испытующий взгляд, и та вдруг забеспокоилась:

— Ты что? Какие-нибудь неприятности по работе?

Нет, не знает ничего, иначе не заговорила бы про неприятности по работе. Довольно странно, между прочим: почему этот человек всегда попадает на нее? Или это не случайно происходит? Она что-то такое читала — преступник наблюдал за своей жертвой из окна. Жил в том же доме, вернее, в том же комплексе домов. И мог наблюдать. За ними, между прочим, тоже можно наблюдать из какой-нибудь квартиры дома 35. Она подошла к окну. Дом 35 «б», розово-желтая стена с окнами, пять этажей. Комнаты второго этажа просматривались довольно хорошо — по всей ближней части фасада, третьего хуже, четвертый параллельный, почти не просматривался в глубину, только пространство у окон. А что? Очень может быть, что сейчас за одним из окон сидит или ходит по комнате человек, который только что звонил сюда. Может быть, он сейчас пытается звонить кому-нибудь другому и удивляется, что его собственная трубка издает короткие гудки: занято, занято, занято... За одним из окон пятого этажа. Человек этот должен быть один. Он приходит домой тогда же, когда она. Он смотрит в их окна — может быть, у него даже есть бинокль. Или подзорная труба. И вся их жизнь в этой комнате для него, как немое кино. Во всяком случае, с той минуты, когда зажигается свет. А шторы всегда задергивает она — это ее обязанность с тех самых пор, как переехали в эту квартиру.

Они так радовались, когда разменялись. Район, конечно... да подумаешь, район! Отдельная квартира, две комнаты, кухня, ванная — и в ванной горячая вода. Две комнаты для их маленькой семьи. Две совершенно изолированные комнаты. Потом из одной семьи стало две — она вышла замуж за Алика. Потом опять одна, но побольше — ушел Алик, родился Лодька. Может, одна радость и была в этой квартире — Лодька. Потому что с Аликом сразу стало...

Трубка на столе сухо затрещала — без звонка.

— Да, я слушаю!

— Все в порядке,— сообщил равнодушный женский голос.— Мы все выяснили, больше вас не будут беспокоить.

— Но... но я хотела бы знать, кто...

— А это мы не сообщаем.

Короткие гудки. Алла набрала служебный номер Всехсвятского, ни на что не рассчитывая: было уже поздно. Но Всехсвятский был на месте.

— Это говорит Соколовская, Алла Соколовская.

Всехсвятский подождал несколько секунд, потом спросил:

— Вы говорите из дому?

— Да.

— Понятно. Значит, звонок повторился?

— Да. И я...

— И вы сделали то, что я вам сказал. Все в порядке?

— Да, но я хотела бы знать...

— Понимаю вас. Думаю, что через некоторое время это можно будет сделать.

Он замолчал, и она сказала:

— Понятно. Спасибо. До свиданья.

Мать была уже на кухне — занялась ужином. Отец с Лодькой вот-вот должны были прийти. Алла вышла на площадку, посмотрела, работает ли лифт. Лампочки горели на всех этажах, кроме третьего. Но это уже не имело значения, лифт подъехал: отец с Лодькой вышли, и Лодька громко считал шаги:

— Семь! Восемь! Девять! Десять!

Почему-то потом, когда Алла вспоминала этот вечер, он казался ей последним. Между тем он вовсе не был последним — было еще несколько таких же вечеров: семья за столом в кухне; мать спрашивает у Лодика, что было в детском саду, и он удивленно отвечает: ничего! А потом начинает рассказывать, что у машин бывает бампер... Каждый вечер они узнают много нового и интересного: марки машин, части машин, правила уличного движения и слова, которые принято считать неприличными. Известен первоисточник всех этих разнообразных сведений — Костя Молодцов, синеокий, ангелоподобный, с высоким, переливчатым голоском.

Бабушка раньше при каждом новом знаке обогащения Лодькиного словаря ахала и всплескивала руками; еле удалось ее от этого отучить. Теперь она только нервно вздрагивает. Но все равно Лодька это замечает и, когда имеет сообщить что-нибудь новое, заранее нацеливается глазами на бабушку. Бабушка напрягается, стискивает пальцы, но Лодька дает залп, и ее передергивает.

В этот вечер все было сравнительно благополучно, и Алле не надо было владеть собой. До чего же ей надоело владеть собой, кто бы знал! С тех пор, как Алика выгнали из дому — так это между ними называлось, и так оно и было,— они всегда ее раздражали: и когда были внимательны к ней, как к больной, и когда делали вид, что ничего не случилось, и когда в самом деле стали считать, что все идет, как должно — Лодька им остался, чужеродный элемент выдворен, дочь опять стала дочерью, а не несчастной женой опустившегося бездельника... А как они вытравляли из Лодьки черты отца — да нет, даже не черты, просто всякое подобие. Ее тоже сходство мальчика с отцом пугало, даже красивое его личико не радовало, но они не должны были говорить при каждой его дурацкой шалости: гены! Не должны каждый раз качать головами с озабоченным видом. Да-да, она, конечно, виновата, она ввела в их дом этого чужого человека, который оказался пьяницей и дебоши-

ром, но в других семьях бывают истории куда хуже, и в конце концов, если бы она жила отдельно, может, она бы и не выгнала мужа, не оставила ребенка без отца, еще поборолась бы, может, что-нибудь бы и получилось. Может, и пить он стал оттого, что попал к ним, в чужую семью, где он был ни при чем, так, приймак, не хозяин, не хозяйский сын. Или не она сама это придумала, а он ей так говорил?

Хулиганские звонки дали ей что-то вроде тайного морального преимущества: вот, я вас ограждаю, а вы и не догадываетесь. Была сладкая горечь сознания: вы не знаете, вы никогда не узнаете, что я для вас делаю, что сделала... И это было вроде бальзама, вроде масла на непросыхающие, незаживающие царапины, ссадины, струпы от подавленных и неподавленных приступов раздражения, от домашних стычек, слов, словечек, взглядов и вздохов. Родители, которые были Папой и Мамой, Властью, всегда направлявшие ее жизнь, которые были иногда Подмогой, чаще Препятствием и олицетворяли незыблемость мира, вдруг стали Тайной Заботой. И это было ново и соответствовало не привычному, но истинному положению вещей; она молода и сильна, они старятся и, пожалуй, больше нуждаются в ней, чем она в них.

В тот вечер это чувство было особенно сильно, а может быть, она впервые сказала себе все это словами, впервые дала название всему сложившемуся. Ей было хорошо дома, на кухне, за чайным столом, как давно уже не бывало хорошо. И когда позвонил Кирилл, сказал, что достал билеты на «Все на продажу», ей даже не захотелось пойти — так уютно было дома. И она даже как бы спросила разрешения: меня зовут в кино... А на что? На «Все на продажу». И мама сказала, что надо идти непременно, что она сама уложит Лодиньку, и папа кивнул головой и хмыкнул что-то утвердительно-разрешающе-советующее. Они уже видели этот фильм и что-то о нем говорили, то есть, как всегда, отец высказал суждение, а мать согласилась. Мать всегда с ним соглашалась, потому в доме и был лад. Алла давно поняла, что соглашается она только для виду, а сама думает и делает по-своему. В этом ей виделось лицемерие: только для того, чтобы был этот самый «лад», видимость покоя и согласия, помалкивать, скрываться и таить... Иногда Алле казалось, что у них в доме все наоборот: всюду матери ворчат, или пилят, или срываются, а отцы, которым не до мелочей, прячутся за газетой, или у телевизора, или идут «на уголок» и остаются там надолго. У них же отец входил во все тонкости, и ему хватало для этого времени, и словесным «воспитанием» занимался он: он и Алика старался воспитывать...

Да, и вот она выходит из дому, идет по лестнице, идет по улице на свидание с Кириллом. Это не любовное свидание, но это свидание, и она это понимает. В кино Кирилл не будет держать ее руку, не будет заглядывать в лицо и прижиматься, а после кино как бы из вежливости предложит: зайдем ко мне? Раза два она соглашалась, но ничего интересного из этого не вышло.

Между тем он не отстает и ухаживает за ней как-то странно — видимо, у него свой метод, бессловесный; и она заходила к нему в первый раз из равнодушного любопытства, второй — чтобы не обидеть. То, что было между ними, не вызвало в ней чувства благодарной признательности, на которое, может быть, было рассчитано. И он это понял и все-таки не отстал и сохранил лицо.

Ну хорошо, а зачем, однако, она идет с ним в кино? Как зачем? Да потому, что не с кем больше пойти, что никто больше ее не зовет, и он ей в конце концов не противен, с ним даже весело, а что он ничего не говорит чувствительного, так это, может быть, лучше всего. Она наслушалась слов, хватит с нее!

Он ничего не расспрашивает об ее отношениях с Аликом, хотя все знает, даже домой его отвозил. Это было уже после их развода, когда она ходила к Иванчихиным, и Алик туда тоже приходил, чтобы доказать, что они остались приятелями и не боятся встреч, что они расстались, как приличные люди. Это отец так говорил: надо расстаться, как приличные люди. И там Алик напился до изумления, и Кирилл отвез его домой. На такси.

Но это было в прошлом году, и наутро она уже была у Алика — удрала с работы, тогда была хорошая шефиня, можно было удрать! — и он клялся и уверял, что если она поверит в самый последний раз, то для них еще возможны и жизнь, и слезы, и любовь, Алик!

Нет, с нее довольно слов, и Кирилл, который не златоуст, — как раз то, что ей сейчас нужно. Он не будет настаивать, он просто отведет ее после кино домой и по дороге будет рассказывать смешные анекдоты. Правда, в парадной он постоит молча, как бы ожидая чего. Чтобы она кинулась ему на шею, не совладав с собой? Как-то он говорил: теперь первый шаг делают женщины!

Да, не слишком тонок. Но если бы не он, она не пошла бы к этому Всехсвятскому и сегодняшний звонок был бы не последним; он умеет помочь — советом, делом, а не анализировать. Это Алик умел анализировать!

Кирилл ждал на автобусной остановке. В дом к себе после развода она не допускала никого — родители бы сразу насторожились.

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

Рисунки И. УШАКОВА.

ПОВЕСТЬ

III

С детства Алик считал, что его ожидает слава. Какая — он еще не знал. Может быть, полководческая, а может быть, артистическая, а может быть, он сделает такое открытие, которое сразу поставит его в один ряд с... нет, вне рядов. На самое первое, даже на одинокое место. И когда он об этом мечтал, спине и лбу его становилось холодно от разреженного воздуха неслыханной высоты, на которую его возносила судьба.

Читать он научился рано. Дома книг было немного — он прочел их все: однотомник Пушкина, «Три мушкетера», несколько романов, получивших премию, еще две-три книги, которые в то время можно было найти на каждой книжной полке. Потом он стал получать книги в подарок — на именины, на праздники. Все детские книги: Осееву, Воронкову, Гайдара... Потом в доме стали появляться подписные издания. К тому времени он уже учился в школе, поражая учительницу Тамару Ивановну ранним развитием. Потом умер его отец — нелепо умер, от аппендицита.

Алик уже знал, что мечты о славе, о величии, о пустынной, холодной высоте — мальчишеское, возрастное. Узнал он это не из книжек, а от отца. Собственно, дело было так: Алик прочел «Детство» и «Отрочество», не без труда преодолев скучное начало, и удивился Николенькиным мечтаниям — так странно они были похожи на его собственные. Значит, каждый великий человек в детстве мечтает о будущей славе. И не так, как это объяснялось в школе, где им говорили, что человек должен мечтать, даже обязательно должен, и они мечтали по программе, вслух, а иногда письменно, под заголовком «домашнее задание».

Разговоры с отцом у них были не частые и не длинные, однако Алик подозревал, что отец видит его насквозь и не понимает. Отец всегда знал, когда Алик врал или фантазировал, но не понимал, какое будущее ему предстоит... И однажды Алик сказал ему:

— А Толстой тоже, когда был маленький, фантазировал.

— То Толстой! — сказал отец.— Что тут сравнивать? Он был великий человек.

— А что? — сказал Алик.— Много похожего.

— Думаешь, ты фантазируешь и он фантазировал, так ты тоже станешь великим человеком? Все мальчишки фантазируют.

— И ты тоже, когда был мальчишкой?

— И я тоже, ясное дело. Как все.

Будущее было разрушено. Одним махом. Мечтать о нем, однако, не возбранялось. И Алик мечтал, с книжкой или без книжки, засунув за щеку кусок сахару или конфету. Иногда он рассказывал ребятам удивительные случаи из своей жизни, и пока он рассказывал, ему верили. Его даже выбрали представителем от шестых классов в общешкольную редколлегию. Он был польщен. Он обещал в кратчайший срок собрать пятнадцать заметок. И тут же выбросил это из головы. Таня Комзина из восьмого класса приставала: принес заметки? Он врал, что забыл. И так он забывал месяца два, а потом сказал, что потерял, и его уже хотели разбирать на совете отряда, но как раз в это время умер отец, а потом наступило лето, а потом мама вышла замуж и они переехали в другой район. В новой школе он растратил деньги, двенадцать рублей, которые собирали на подарок учительнице к Восьмому марта. Скандала не было, потому что он их вернул потом: стащил у отчима — тот даже не заметил.

С отчимом отношения были нормальные: тот не вникал, дома бывал мало. Он работал в ресторане и мать устроил около себя. Жилось Алику в то время вольготно: в восьмом классе он совсем перестал ходить в школу, и если не читал, то бродил по улицам, заходил в свой прежний район, в прежнюю школу — ему там радовались. Зимой ходить по улицам стало не так интересно. Алик захаживал на каток, в бассейн, в Дом пионеров. Отчим без труда его повсюду записывал. Алик начинал заниматься в тот год то рисованием, то плаванием, то фигурным катанием: вначале все это у него шло довольно легко, всюду заводились друзья, всем он рассказывал о себе, что хотел, и некоторые верили. Да он и сам часто верил. Он очень вырос, взрослые девушки на него поглядывали.

Вольное житье кончилось, когда отчим оставил мать. Алик перешел в вечернюю школу, потом бросил, поступил в техникум, бросил, стал работать. Места работ менял часто: кормил зверей в зоологическом саду, читал вслух парализованному академику, сторожил стоянку для машин... Впереди была армия.

Но в армию его не взяли. Он получил срок за хищение продуктов из продуктового ларька.

В сущности, то было не хищение, а пьяный дебош: их было трое, они познакомились и объединились только в этот вечер, Алик в то время не слишком любил выпить, но был, что называется, компанейским парнем. Его пригласили третьим молодые ребята, симпатичные, он согласился. Выпили, согрели душу, разговорились, потом понадобилось добавить, добавили; потом все было закрыто, а ребята настаивали, чтобы еще добавить, и кому-то пришла мысль разбить окно в ларьке... В общем, это была скорее глупая, чем уголовная история, и всех троих нашли утром, тут же, в парке, около ларька, где они заснули. Алик показался суду главным во всем деле: он и окно разбивал, и бутылки таскал, и определенного места работы не имел. И с ним поступили по всей строгости.

В колонии он вел себя хорошо, выполнял норму, не имел нарушений, участвовал в самодеятельности, под конец даже был «художни-

---

Продолжение. См. «Огонек» № 40.

ком» — писал плакаты, рисовал щиты наглядной агитации. Его освободили досрочно. Он твердо решил взяться за ум, поступить на работу, окончить школу, институт... И для начала уехал в геологическую партию, в поле. Там он и познакомился с Аллой.

Они вернулись в Ленинград мужем и женой.

Обычно в таких случаях говорится: сначала все было хорошо. Но тут с самого начала все пошло плохо. С первого обеда в семье, на который не позвали посторонних. Никодим Ефимович знакомился с зятем. Зять распускал хвост и рассказывал о своих планах. Планы были широкие. Десятилетку он собирался кончить в один год, потом — институт, литературный или кинематографический; он теперь знает жизнь, сюжетов у него дополна, учиться он, конечно, будет заочно, потому что надо работать. Ну, работу найти в Ленинграде нетрудно. Опять пойдет чтецом к академику, тот о нем уже спрашивал. И все-таки это деньги. Очень хочется, чтобы были деньги. Хотя много ли им с Аллой нужно? Но вообще-то он почему-то уверен, что будет время, когда у него будет много денег.

— Откуда, интересно? — спросил Никодим Ефимович.

Алик простодушно улыбнулся и сказал:

— Не знаю. Просто вот так мне кажется.

Никодим Ефимович сказал жене:

— Пустозвон и лоботряс.

Он это сказал сразу, в первый же день, и мнения не изменил.

Правда, он пытался воспитывать Алика и вел с ним разговоры, из-за которых Алик вспоминал отца. Однажды он сказал Никодиму Ефимовичу:

— Вот вы думаете, вы меня знаете. И верно, вы меня знаете. Но вы не все знаете, а думаете, что все.

Никодим Ефимович подумал и сказал:

— Больше-то знать нет охоты.

После этого воспитательные беседы прервались. Алла родила Лодьку. Пыталась наладить дом, хотела, чтобы все было нормально. Он тоже не сидел сложа руки. Академик принял его обратно: ему нравился Аликов голос. Алику тоже собственный голос нравился — спокойный и какой-то умный. Правда, таким он был, когда Алик читал. А в компании, особенно если было выпито некоторое количество, все менялось — и голос и сам Алик, наверное. Однажды он услышал магнитофонную запись: кто-то у Иванчихиных включил магнитофон, когда все были выпивши,— наверное, Кирилл придумал, в нем есть это ехидство. Алик услышал, кто-то взвизгивает, по-бабьи почти что: нет, ребя, вы меня послушайте, нет, вы только меня послушайте... Этот голос всех перекрикивал, всех перевизгивал, хотя его все равно никто не слушал — да там и никто никого не слышал, наверное, все вопили разноголосицу. Если б ему сказали: вот твой голос! — ни за что бы он не поверил! Но никто не сказал, он сам догадался, а может, и узнал по обертонам каким-то. Двух отпечатков пальцев одинаковых не бывает, и двух голосов одинаковых тоже, как ни притворяйся, ни меняй... Когда он звонил по телефону Алле, и менял голос, и все делал для маскировки, она все равно его узнавала. Но это было уже потом, когда они перестали жить вместе.

Она его понимала. Она одна его понимала. Она понимала и то, что в нем есть, и то, чего в нем нет, и он у нее получался очень ценный человек, по-настоящему ценный человек, и она умела это сказать. Она понимала, почему он пьет: потому что хочет любить всех, потому что люди лучше становятся за столом, пусть не надолго, не окончательно, но на минуточку — лучше, открытее, любовнее друг к другу, заботливее. Потом уже, когда ум помрачается, хорошего, конечно, мало. Но он-то, он-то только эти первые минуты и любит, хорошие минуты, радостные... Это, конечно, анекдот — «Ты меня уважаешь? Я тебя уважаю...»,— но тут правда есть, минута правды. И она это понимала, хотя плакала и говорила...

Как хорошо она плакала, как хорошо говорила!

Да, и он ходил к своему академику и читал ему. И получал за это сто шестьдесят рублей — много больше, чем Алла. И очень уставал. Ему-то ни к чему было столько денег: в одиночку он не пил, а в компанию всегда пригласят, а джинсы Алла починит, если что, кожаную заплатку — и опять модно... Ел он мало, даже теща удивлялась — такой большой парень, а такая малоежка. Может, потому, что пить он тогда стал больше? В компании, только в компании...

Да, и он приносил деньги от своего академика, но Никодим Ефимович все равно был недоволен. Для его уважения надо было на настоящую работу идти или в самом деле в институт поступать. Школу-то он действительно закончил в первый год заочно и на аттестат зрелости сдал. Не без Алкиной помощи, конечно, она хорошо разбиралась в программе десятого класса, даже в вуз готовила по математике... Она бы и его подготовила, но в кинематографический не математика нужна, а нужно знакомство, а знакомств-то у него и нет.

Никто его не понимал так, как Алка. Даже сам он себя не так понимал до нее. Ему казалось, что он любит выпить потому, что он сам тут кажется себе главным и его все любят. А она поняла и тайное, его самое тайное, бессознательное: что он других любить хочет.

А потом и она устала. И он ее за это не может винить: слишком тяжело ей было с ним в своей семье. Конечно, если бы они жили отдельно...

Никодим Ефимович — вот кто был во всем виноват. Потому что мог он, мог им помочь. Когда представился тот случай с кооперативом, если бы он хотел сохранить их семью, только от него и требовалось: помочь материально. С отдачей, конечно. Они бы с Алкой выложились, но отдали. В три, в два года бы отдали. Неужели не мог он? Мог, мог ведь, но не захотел. Проповедь прочел про бескорыстие: «Мы сами были бескорыстные, и дети наши должны быть такие, вот так».

Как будто корысть только денежная бывает.

Что за странная это порода людей, которая все знает. Знает, что хорошо, что плохо, что кому нужно, что полезно, что вредно. А оборачивается это самым черным эгоизмом. О себе думал Никодим Ефимович, только о себе, а не о них с Алкой. Потому что они тогда были одно целое, а старик этого не хотел и делал вид, что не понимает.

Он это все ему и выложил. Не сразу, конечно. Тогда смолчал. Провалилось дело с кооперативом. Тогда он и от академика своего ушел. Лодька маленький был. Алла в отпуске за свой счет, они все на шее сидели у стариков. Он-то меньше всех, ему не много надо. Но все равно. И так шло это и шло, пока не случился тот скандал. Он и сам его не помнит, люди рассказывали... С милицией, соседи вызвали. Он якобы старика по всей квартире гонял. Может, и правда. И кричал ему старинное слово «филистер». Филистер!.. Из книжек, что он академику читал, это слово у него застряло. Вообще-то про себя он его называл чурка с глазами. И так и рисовал его: чурка, а на чурке глазки, маленькие-маленькие. Получалось похоже.

Вот тогда и разошлись они, хотя Алка еще не раз прибегала, и любили они друг друга тогда еще горше.

Потом стало откипать. И у него и у нее. Или так только кажется? Черт знает, какие штуки страсть с человеком иногда выкидывает. Даже равнодушием притворится: раз равнодушен — почему же не встретиться? И встречаешься. А встречаешься — и все по новой, упрашиваешь, винишься, колешься и все такое.

Что он ей говорил, что он говорил своей Алке тогда, и потом, и совсем недавно — даже стыдно вспоминать. Вот этим своим голосом, который сам любил слушать, как будто академику читал. Говорил стыдные слова, странные слова — и не стыдился, не удивлялся. Он говорил: но можно мне надеяться? Это ведь из какой-то прежней, чужой жизни слова или, может быть, не из жизни даже, а просто из книжек, писатели придумали, а люди никогда не говорили. И, как маленький, обещал: я больше не буду! И клялся: только еще в этот раз поверь — и я стану другой, вот увидишь, я стану, я буду... Что же, ты думаешь, у меня силы воли нет? Если я захочу...

И она верила. Много раз. И он начинал ей рассказывать о том, что он напишет, как будет писать, и какая жизнь у них будет, когда он поступит на сценарный — снимет комнату в Москве, она к нему переедет, потом и Лодьку заберут...

Бывало так: она уходила, и он, счастливый, умиротворенный, садился за старый свой, еще школьный, письменный стол и пытался записать то, что сейчас он ей рассказывал — свои выдумки вперемешку с тем, что было на самом деле, что он знал, что слышал от других... Иногда ему даже удавалось написать целую страницу. Он перечитывал эту страницу, и ему становилось так плохо, что только одно оставалось: бежать скорее от этой страницы, от письменного стола, от комнаты, где только что был праздник. Потому что слова были не те, и разговор не тот, и никак не доходило до бумаги то, что в нем было и в его рассказах было — ведь было же, если ей нравилось и ему нравилось, пока он рассказывал. Почему же все улетучивалось, возгонялось, высыхало, когда он это фиксировал? И он решал — завтра будет доводить эту страницу, нельзя продолжать, пока не доведено, главное — удар дать с самого начала, он доведет, у него зазвучит, он вызовет в себе то, что было, когда он был маленький... Ведь тогда бывало именно то самое — вдохновение. Главное — поймать эту штуку, чтобы не высыхало, пока фиксируешь, чтобы воздух оставался влажным, потому что без влаги нет жизни, жизнь из влаги, из моря вышла когда-то, и воздух творчества должен быть влажный, влажный... Он понял главное: как должно быть. Завтра, завтра...

И он уходил от этого своего стола, за который сядет завтра, потому что уже понял, и шел к Иванчихиным, к Тошке, к Кириллу, к Надьке-Кобре — да мало ли мест есть, куда может пойти человек? Если были деньги, он приносил бутылку, если не было, то там всегда скидывались, или приходил кто-нибудь другой с бутылкой, и потом добавляли... Потом он вызванивал Алку, и она тоже туда приходила. Ведь это были в основном ее знакомые, он пришел к ней почти одинокий... Почему-то он скорее доходил до восторга, чем другие, хотя пили все одинаково, наверное, потому, что меньше ел. И, в общем, бывало, что кончалось скандалом, потому что кончалось любование друг другом у всех, и шло что-то темное: как раньше все были вместе, так все становились отдельно, а он хотел вернуть прежнее, чтобы все вместе, чтобы любовались,— ведь такие, в общем, отличные ребята. И после скандалов Алка не приходила, конечно, и уж о том, чтобы переделывать страницу, речи не было... И так все шло.

Она просила его, чтобы он лег в больницу, лечился бы антабусом или гипнозом. Но он не хотел. Не потому, что боялся, что не проживет без восторгов этих,— хотя немного и боялся, но с этим он бы справился. Нет, он хотел сам, без медицины, без посторонних, иначе все равно толку не будет.

Ладно, сейчас все это позади. Сейчас Алка уходит, уходит, и, может быть, даже невольно, что всего страшнее.

Потому что когда по своей воле, то человек борется с собой, с природой своей, и пусть даже одерживает победы, но истина остается и всегда еще может вспыхнуть. А тут — он ей говорит, а чувствует, что ей уже неинтересно его слушать, и она только из вежливости делает вид, что ей тяжел их разговор. На самом деле ей не тяжело — ей скучно с ним.

Женщины любят удачливых. Они могут пожалеть, если ты несчастлив, могут взять на себя твою тяжесть, могут даже тащить ее вместо тебя — иные до самого конца. И возиться могут с тобой, если ты болен. И по голове гладить, пожалуйста. Но любят они удачливых, что бы там ни говорили. Потому что женщина должна снизу вверх смотреть, или чтобы все остальные, или хоть кто-нибудь снизу вверх смотрел; тогда она и сама себя больше уважает: вот, мол, какому человеку я нужна.

И Алка такая. Она и смотрела на него снизу вверх, пока могла. В буквальном и переносном смысле — снизу вверх. Потому что тогда она его понимала так, как он сам себя понимал, даже лучше. А теперь стала его понимать, как все.

Это понимание... Сколько на свете людей, столько и пониманий. Человека мерят делами его, справедливо ли это? А вот у Марка Твена в раю Шекспир — один из писателей просто, а величайший драматург всех времен и народов — какой-то портной или сапожник.

Понимание, понимание... Она теперь смот-

рит на него и видит то, что все видят, а раньше... Она говорит: раньше я видела свою мечту о тебе, свое воображение. Неправда! Вот раньше-то она его и видела по-настоящему, и какая разница, стал бы он, не стал бы писателем... Это уже все для других. Может, и стал бы, если бы они жили вдвоем или втроем, с Лодькой. А может, и нет. Ну и что? Он-то все равно ее видел как никто, и она от этого была счастлива. Он один видел, что она красавица, он движение ее мысли ловил и угадывал, потому что все это и есть любовь, а когда нет любви, то видишь то, что прохожие на улицах видят, то, что он в поле увидел. Сейчас он уже не может увидеть ее такой, как в первый раз тогда, утром, под Индигиркой... Не может, потому что не хочет, потому что знает — это все роба, рабочая роба, а под ней красавица: зачем же ему разглядывать робу, если он нашел красавицу? А она видит робу и думает, что это он.

Вероятно, если бы не было старика, все пошло бы иначе. Он мешает людям, вредный старик. Не только им с Аллой, с Лодькой. Он всем мешает. Жене своей испортил жизнь нудным своим, мелочным характером, на работе тоже...

У него главная идея: вы теперь всё хотите сразу! Что всё? Одного только они хотели сразу: жилья. Потому что оба понимали инстинктом: без этого не сохраниться им. А он сказал: всё хотите сразу. Ну, и вот результат.

Будем откровенны: пить-то он начал еще до того, как все решилось. Может, он этим и насторожил старика. Но нет, он все равно не дал бы денег, не расстался бы со своей драгоценностью.

Алка за старика заступалась. Она тогда говорила: они же нам не обязаны, в конце концов и так можно, все же у нас своя комната... Да, да, он знает, она права, они очень приличные люди, но эту самую психологическую несовместимость сейчас даже официально учитывают...

Вот так все идет. Он тоже идет, вернее, катится. Куда он катится? Да не все ли равно? Катится, закатывается. Закатиться бы сейчас куда-нибудь, хоть к Иванчихиным. Они славные ребята. Иванчихины летом возьмут его опять в поле, уже обещали. До лета уже всего ничего: осень кончается, зима мелькнет... Он опять пойдет в гастроном рабочим. Подними да брось. И всегда угостят, Марья Николаевна угостит, хороший человек Марья Николаевна, хоть и живет с этим, с директором. Он ей както сказал: мне всех женщин жалко, а вас, Марья Николаевна, больше всех. Она подняла бровки, удивилась, потом, видно, что-то поняла по-своему. Красивая, милая женщина Марья Николаевна. Рассказывают, раньше она все просила мужа обратно в деревню уехать. Не нравилась ей работа ее, и люди не нравились. А потом, видно, привыкла. Ко всему привыкнуть можно, и все-таки — город, удобства. Наверное, и к директору привыкла, хоть и старик, внуков имеет. А муж пьет, в милицию попадает, с работы выгнали. Не раз он его видел по вечерам у гастронома: кричит, бушует... И приятелям хвалится: у меня жена — красавица. И правда, красавица, милое такое лицо...

Городские удобства. А ему они ни к чему. Только многолюдье городское ему нравится. Не умеет он быть один. Вот и весь комфорт его — чтобы было многолюдство. Люди теперь платят за уединение, за чистый воздух, за тишину и еще за скорость. А ему ничего этого не надо, только многолюдство, а за это в городе, слава богу, платить не надо. Если нельзя вдвоем быть, то всего лучше в толпе. Там можно и все получить: и одиночество и единение. Потому он и в колонии мог жить. Потому что — люди.

И сейчас он пойдет к людям, к Иванчихиным или еще куда-нибудь, а перед этим зайдет к Кириллу, давно не видел его, а Кирилл все-таки товарищ. Интересно, как он сам себя видит, Кирилл. А может, не оглядывается. Скорее всего не оглядывается, ему не это важно.

Он пойдет к Кириллу, не заходя домой пойдет, потому что домой неохота — мать. Он всех женщин жалеет, это правда, за одним исключением. Мать он не жалеет. Все ему это говорят, и она говорит, и это правда: нет у него к ней жалости, и ничего нет. А почему? Да не за что ее жалеть, всем она довольна. Только сыном не очень, да и то...

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

IV

Алла думала о Лодьке: он отбился от рук и вытворяет, что хочет. Притом номера его все какие-то злые, и родителей это уже пугает: на днях изо всех сил бросил кеглю в окно, и стекло треснуло. Хорошо, теперь кегли легкие, а то бы разбил. На расспросы отвечал, что кегля ему надоела и он хотел ее выбросить. Бабушка говорит: стоит запретить что-нибудь, как он сразу начинает. И поджимает губы, и Алла знает, хотя она уже не говорит: гены!

А иногда сидит подолгу неподвижно, не играет, молчит и не отвечает, когда к нему обращаются.

В детском саду им довольны. Там он ведет себя, по словам воспитательницы, нормально. Она сказала: бывает так — дети в саду ведут себя нормально, а дома начинают выкидывать фокусы. Ничего, это потом пройдет, вы не беспокойтесь, мамаша.

Легко сказать — не беспокойтесь! От всех своих беспокойств она зачастила в кино, а мальчишку забросила. Может, он по ней скучает, а может, и по Алику. Объяснить не умеет, до ума не доходит, а скучает. В конце концов в кино можно было бы ходить и днем, когда он в садике. В библиотечные дни, например,— сейчас на работе стало проще, вот весной опять пойдут строгости.

В общем, пришлось разрешить Алику и его маме взять его на субботний день. Старуха сама звонила.

— Что же, он — лишенный отцовства, что ли? Вы не хотите — можете не видеться, я сама утром за ним приду. Я ведь тоже бабка как-никак.

Мама сказала:

— Ну, зачем же? Мы сами отведем.

Скоро все встанут и отведут Лодьку. К отцу и к той бабушке. Они собирались сводить его в зоосад.

Она бы и сама могла отвести, но суббота, субботея. Можно спать, можно лежать так, ни о чем не думать... Или думать такое, необязательное...

Легкий человек Кирилл, ничего объяснять не надо — скажешь ему, он ведет себя соответственно. Объяснения давно уже надоели, с Аликом это было вечно...

Говорят, это женское — выяснять отношения. Не женское это — детское. Только дети надеются узнать все до самого конца и верят, что тогда будет ясно, не останется ничего неясного. А чуть ступишь в юность — и знаешь: никогда не бывает до конца ясно, если хоть что-то есть. Раз ясно — значит, пусто и можно переходить к очередным делам.

И если так — то с Аликом наконец все ясно.

Он пришел к Кириллу, когда она там была. Можно было не открывать ему: они оба узнали его звонок, волнистый такой, словно рука дрожит,— но почему, вообще говоря, не открывать? Они просто сидели, слушали пластинки, ждали Колю Докторова. Алла кивнула в ответ на вопросительный взгляд Кирилла. Вот это она в нем и ценила, что не надо разговаривать, со взгляда поймет.

В общем, Алик вошел, не зная, что она здесь, видно, Кирилл не предупредил. И что-то с ним сделалось: у него изменилось лицо, потом он стал улыбаться как-то неуместно, словно не придумав, какое выражение лица приспособить к этому случаю, она никогда раньше не видела, чтобы он ее ревновал. Именно не видела, потому что, оказывается, это можно видеть, и это тягостно. Он, вероятно, пришел с какой-то идеей — куда-нибудь идти с Кириллом вместе, или просто посидеть вдвоем,— хотя, пожалуй, вдвоем им делать нечего, но тут потерялся, не знал, что говорить. Они ему велели сесть и слушать, и он сел, но пластинка почти сразу кончилась, и он — он! — не попросил повторить снова.

Но потом пришел Коля Докторов, и все успокоилось, и только дома Алла вспомнила вопросительный взгляд Кирилла, когда Алик позвонил, и за этот взгляд она была ему благодарна.

Коля Докторов принес малахитовые серьги. Эти художники все словно с ума посходили: ездят в Петергоф, копают, вырубают из-под земли камень. В общем, открыли месторождение... Кирилл сказал: надень-ка, тебе вроде пойдет. И правда, оказалось хорошо, глаза вдруг стали зеленые. Коля сказал: Хозяйка медной горы. Она протянула руку, нащупала серьги на тумбочке: проволочки простые, а малахит красивый, гладкий. У Коли этого с Кириллом вроде художественной артели: добыча, обработка, сбыт. Она спросила: сколько я должна? Кирилл сказал: десятку, как для вас! Она тут же расплатилась, на Алика не посмотрела...

Алик когда-то сказал ей: ты, как природа.

Она не поняла, и он долго и красиво объяснял, что имел в виду, но в простых словах, если бы он сумел изложить дело в простых словах, это означало, что ей нужен пахарь и сеятель, без них она — ничто. Ей стало смешно. Это он хотел, чтобы она была такая. Удивительно, как люди видят нас. Ни такими, какими мы себя видим, ни такими, какие мы есть на самом деле, люди нас не видят. Они видят только свое представление о нас, если влюблены.

Кирилл смотрит на нее исподтишка, подолгу. Интересно, что он видит? Его об этом можно не спрашивать, он и вопроса не поймет. Он практик. «Десятку, как для вас». И правильно. Что он — подарки ей делать должен? Зачем? Она сама, сама...

Они идут с отцом, отец рассуждает по поводу Лодьки, а она плывет рядом по реке, хорошо, отец не требует реплик. Он именно так представляет себе беседу — один говорит, другой поддакивает. Она плывет и плывет и иногда поворачивает голову — там берег и на берегу отец... Хотя и его берег какой-то нестойкий, дрейфующий, и вот тоже отдаляется, отдаляется, как льдина... И еще льдины, и они звенят все громче, нет, не они, а звонок. Телефонный звонок.

— Здравствуйте, Алла Никодимовна. Говорит Всехсвятский.

— Слушаю вас,— сказала Алла деловито.

— Я закажу вам пропуск,— сказал Всехсвятский.— На сегодня, на двенадцать часов. Вас устраивает?

— Устраивает,— сказала Алла. И подумала, что, значит, у них суббота не выходной. Хотя суббота для человека, а не человек для субботы. Они там, наверное, придерживаются этого правила, не зная его. Но значит, они нашли того, кто звонил?

Десять часов. Будильник сегодня не был поставлен, но она проснулась в семь, как всегда; вставать не нужно было, и она лежала в постели, и думала, и вот заснула, поплыла, черт знает сколько она спала, даже не помнит, где был сон, а где мысли, она просто устала, очень устала, с утра она встает усталая, а теперь только осень — далеко до лета. Пожалуй, этим летом она не поедет в поле, останется в городе или даже в отпуск уедет одна на Черное море, дикарем...

Да, а Лодьку-то мама уже увела, как же она даже не слышала, когда он проснулся? Раньше она всегда слышала, как он дышит: изменится дыхание — она просыпается. Вот, значит, как она устала... И отец, видно, с ним пошел. Тихо так собрались все, чтобы ее не будить.

Субботнее утро. Тихо, пусто, и серый туман за окном.

— Да, это мой телефон,— согласилась пожилая женщина кавказского типа.— Мой телефон. Но я не понимаю... Я даже понять не могу... Я никогда хулиганством не занимаюсь.

— Из кого состоит ваша семья? — спросил Всехсвятский.

— Никого у меня нет. Я одна, одна...

— Детей нет?

— Нет. То есть есть... Сын... Но он живет отдельно, он давно уже живет отдельно...

— А разве он вас не посещает?

— Я одна, одна, совсем одна...

В глазах ее была тревога — даже не тревога, а страх. Чего она боится, эта женщина? Лицо ее казалось Алле смутно знакомым. Где она могла ее видеть, интересно?

Всехсвятский сидел спокойный и на обеих поглядывал озадаченно, но как-то доброжелательно. Алла все ждала, когда же он начнет уличать эту женщину, которая явно боится, что-то прячет такое, о чем не должна знать милиция. Кто-то, наверное, живет у нее не прописанный, наверное, сын этот самый. Или какой-нибудь сожитель — завела на старости лет. Сожитель пьет, вымогает деньги, издевается, соседи снизу жалуются... А тут милиция. Сожитель этот, наверное, и звонит.

— А ключ от вашей квартиры? — мягко спросил Всехсвятский.

— Ключ? Какой ключ?

Теперь в глазах у нее был самый настоящий ужас. Они стали какие-то четырехугольные. И рот она сжимала изо всех сил, чтобы не заплакать или не закричать.

— Ключ от вашей квартиры у кого еще есть? — спросил Всехсвятский еще мягче.

— Ни у кого! — воскликнула она пылко и приложила руку к груди.— Товарищ следователь, я даже не понимаю, зачем вы меня об этом спрашиваете. Я живу одна, можете соседей спросить; если кто-нибудь заходит, то это просто так, по работе или навестить, если я бюллетеню. Но чтобы жить у меня...

— А родственники у вас есть на Кавказе? — поинтересовался Всехсвятский.

— Нет у меня... То есть есть... Но это приличные люди. Гриша, племянник мой, доцент... И Элефтер. Но их уже месяц как не было, кого хотите спросите.

— Хорошо, спросим! — обещал Всехсвятский.— А теперь скажите: вы эту девушку знаете?

Он указал на Аллу.

— В первый раз вижу! — вскричала женщина радостно. Перемена темы была ей, видимо, приятна. Потом она стала всматриваться в Аллу и нерешительно добавила: — Хотя, может

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40, 41.

быть, где-нибудь случайно... Ленинград — такой большой город, все встречаются.— Она посмотрела на Аллу вопросительно.

И Алла ее вспомнила. На рынке, на Кузнечном рынке, она видела это лицо, обмотанное черным платком.

— Когда, значит, приезжали ваши родственники последний раз?

— Товарищ следователь! Перед октябрьскими уехали. Ну вот кого хотите спросите...

— Хорошо! — сказал Всехсвятский.— Я вам подписываю пропуск. Все, что вы тут говорили, мы проверим...

— Товарищ следователь. Мои племянники — приличные люди! Никто не может пожаловаться. Никогда никаких скандалов, никакого шума. Они очень порядочные люди. Это ошибка какая-то. Конечно, они могут женщине что-нибудь сказать на лестнице — какая она красивая или что, но у наших мужчин такой обычай, ничего плохого в этом нет, нельзя за это на них обижаться. Но чтобы они скандалили или обидели кого-нибудь...

Видимо, у нее свалился с души камень. Всехсвятский подал ей пропуск, она рассыпалась в благодарностях.

— Минуточку! А в течение этого месяца — ну, скажем по поручению этих родственников, к вам никто не заходил?

— Никто!— сказала она. Опять глаза ее насторожились.— Ну, соседка зайдет, луку одолжить... Ну, с работы приятельница... А так больше никто, можете всех соседей спросить. Мужчины у меня вообще не бывают. Только у племянников, когда они здесь, так, знакомые молодые люди. А у меня лично — никогда.

Когда она ушла, почти успокоенная, Всехсвятский сказал:

— Похоже, тут таится обыкновенная торговля цитрусовыми.

— Хурмой!— сказала Алла.— Я ее видела на рынке, она хурму продавала.

— Хурмой,— повторил Всехсвятский, думая о чем-то другом.— Да, значит, хурмой.— Он набрал какой-то номер.— Проверка. Номер вашей квартиры? Ясно. Повесьте трубочку.

Он посмотрел на Аллу, снял очки, протер.

— Пора, пора на пенсию,— сказал он смущенно.— Не проверил, сразу вызвал... Как же это я мог не проверить!

Алла смотрела на него и думала, что он ведет себя неуместно, несоответственно. Хорош врач, который, поставив диагноз, высказывает пациенту сомнения. Я хочу уверенности, а он мне сует свои ошибки. В конце концов это бестактно — втаскивать клиента в свою кухню.

— Так в чем дело? — спросила она не слишком приветливо.

Он успел надеть очки, и сконфуженный взгляд исчез, будто затворился за стеклами.

— Телефон-то, оказывается, спаренный. Значит, это сосед ее забавляется. Ну, я сейчас вас отпущу часа на два. Не возражаете?

— Возражаю,— сказала Алла.— У меня сегодня выходной, я должна побыть с сыном. Я и так уже потеряла сколько времени!

Она не сказала «по вашей вине». Но Всехсвятский это, без сомнения, расслышал и опустил повинную голову.

— Ну, тогда в понедельник! — сказал он.— Вы сможете уйти с работы ненадолго? Ну, скажем, на час?

«Наш отечественный Мегрэ,— думала Алла.— Уже, небось, поставил птичку, что раскрыл».

— Смогу,— сказала она.

Вместо того чтобы идти домой, Алла заехала на Колокольную, к Кириллу. С самого утра ей хотелось в кино, еще в полусне. Кирилл сидел, колдовал над какими-то крошечными часиками. Он сразу же ушел в ванную переодеваться. В кино так в кино. В комнате было жарко: Алла сняла куртку, повесила на спинку стула... Аккуратист Кирилл: все у него на своем месте, куртка ее несчастная на спинке стула разрушает симметрию. И домашние брюки его и рубашка — такое все чистое, отглаженное. Куда до него девушкам! Что называется, следит за собой. Ну, конечно, ему заботиться не о ком, вот он и заботится о себе, о своей однокомнатной квартире. Холостяк!

Похоже, что у него и правда никого нет. Интересно, почему? Может, в самом деле из-за нее? Неужели влюбился? Непохоже. Скорее охотится. Это хищники так терпеливо охотятся: просто ждут, ждут с незаинтересованным видом. Война нервов: кому раньше надоест ждать.

Он тоже этой кошачьей породы. Даже не предложил ей снять куртку, чтобы она «не подумала». В кино так в кино.

И все-таки нет, непохоже. Просто она себе вообразила. По привычке все объяснять именно так. Это Алик ее научил. Он вообще многому ее научил. Или это просто ее особенность — она любит учиться, у всех учится: у соседок — печь пироги, у сослуживцев — оформлять работы, у мужчин — вести себя с ними. Меньше всего она училась у своих официальных учителей — в школе и в институте. Почему так?

Вероятно, человек научается только тому, чему хочет научиться. Кажется, это тоже одна из Аликовых любимых мыслей.

Вообще мыслей у него много. Еще бы, он ничем больше не занят. Иногда он будил ее, чтобы рассказать что-то пришедшее в голову. Как она сердилась! А, бывало, она сама смотрела на него спящего: казалось, и во сне он не находит покоя, лицо дергается, брови движутся, то улыбнется, как Лодька, то вдруг искривит рот мучительно... Но он не сердился, если она его будила, он опять начинал ей рассказывать — тут же, на ухо, какие-то свои сны, он говорил: бреды... Он не хотел замыкаться от нее даже в сон, он все время распахивался, распахивался и весь выговаривался. Утром он спал, а она уходила на работу, невыспавшаяся, злая...

Он однажды сказал ей: ты в быту буржуазна. Почему буржуазна? Разве это не естественно: хотеть, чтобы муж ходил на работу, чтобы вносил в семью деньги, чтобы по ночам спать, а не говорить, говорить без конца...

Может, и правда обществу нужны и такие люди, которые по видимости ничего не делают, как он однажды заявил? Что не слишком хорошо мы знаем законы и что каждый закон предполагает еще и беззаконие, что благодаря этому все движется...

Ох, как он умел оправдывать свое безделье! Как хорошо, что это кончилось наконец! Если бы еще отстал от нее, пусть бы завел себе кого-нибудь, потому что иначе она все равно не чувствует себя свободной.

Кирилл появился, а она даже забыла, что сидит в его комнате. Она оглядела его с удовольствием: свежайшая рубашка в полоску, широкий галстук в каких-то заграничных огурцах, серый костюм. И дубленка, мечта пижона, вот умеет он доставать вещи; ну, у них там, в Доме быта, со всеми связи, конечно... Интересно, какой он на работе?

На улице она его спросила:

— Ты с детства такой аккуратный был или потом приучился?

Ее тревожило, что Лодька всегда расхристанный — как отец. Рубашка торчит из штанов, башмаки сбиты... Чистенький, розовый, вымытый, а с одежками вечный беспорядок, и руководительница в детском саду замечает тоже.

— Всегда такой был,— коротко сказал Кирилл и посмотрел на нее пристально. Он, наверное, даже удивился ее вопросу. Она сказала:

— И работаешь ты, наверное, не... Ну, когда надо — умеешь работать, не разучился? Не шаляй-валяй?

— С часами шаляй-валяй не получится,— сказал Кирилл.— А ты что, чего добиваешься? Чтобы я тебе свой механизм раскрыл? Так тебе же неинтересно дальше будет.

Он улыбнулся. Но она была озабочена, хмурилась.

— Следователь этот — туфта, а не следователь. Знаешь, что он мне сегодня устроил?

Она рассказала. Кирилл слушал ее сочувственно, кивал, возмущался.

— Племянники! Видели уже таких племянников! Миллионеры, машинами торгуют у себя там. А она, видно, в комнату их пускает, они ей десятку отвалят — она счастлива... Ну он, конечно, тоже гусь!

— Гусь! — подтвердила Алла убежденно.— Ведь это настоящий брак в работе, верно? Сколько времени он отнял у этой несчастной бабки, у меня, у себя, наконец! Не считая того, сколько она натерпелась.

Она говорила, говорила, довольная, что есть кому излиться, что Кирилл ее не перебивает. В вагоне метро, продолжая говорить, она глянула искоса и увидела, что Кирилл ее не слушает больше: уставился перед собой какими-то остановившимися глазами и не слушает. Еще несколько раз она поглядывала на него — он так ушел в свои мысли, что ничего не замечал. Только выходя из метро, он, словно вдруг вернувшись, спросил: «Хочешь мороженого?» «Нет, спасибо». И они опять замолчали.

Пока он брал в кассе билеты, она стояла, ни о чем не думая, словно прислушивалась к какой-то неясной тревоге. Ей уже не хотелось в кино, хотя она, когда шла к Кириллу, радовалась, что наконец посмотрит «Мертвый сезон», который когда-то пропустила, да так и пропускала все время, даже по телевизору. Что, собственно, ее тревожило? Ничего, просто какое-то смутное недовольство собой. Зачем она тут, с этим чужим парнем, которому до нее нет никакого дела? Лодьку увели, а она и довольна, пошла развлекаться...

Когда Кирилл подошел с билетами, она уже хотела отказаться. Но подумала, что он не так поймет, не так истолкует, и в конце концов в чем дело? Ничего ведь не случилось. Подумаешь — молчали! Что-то она себе вообразила от самомнения, а теперь пришла в себя и разочаровалась. Подумаешь, делов!

И она пошла в кино, и сидела рядом с Кириллом, и смотрела на Баниониса, и Кирилл даже руку ее не взял, а тревога не проходила. И после конца первой серии, смущаясь и удивляясь себе, она торопливо сказала: «Я больше не могу сидеть, я думала — одна серия... Мне за Лодькой зайти надо... Нет, ты оставайся, я одна...»

И она заторопилась к выходу, хорошо, места с краю, не надо протискиваться между чужих колен, а вот уже и свет погас, скорее, скорее, а Кирилл так и остался на месте, вот и хорошо. И автобус подходит, ах, хорошо! И сейчас кончится все это наваждение. Алик с Лодькой собирались сегодня в зоосад, но это ничего, теперь они уже дома. Они уже все дома, сидят, пьют чай с той бабушкой, матерью Алика, она выставила на стол какие-нибудь дефицитные птифуры, а себе «Черные глаза» или что там она любит... И Лодьку, наверное, угощают этими «Черными глазами», и он доволен, ах, негодяи, ах, мерзкие люди, и она не думала раньше, только сейчас ей в голову пришло...

Ничего этого не было — ни бабушки, ни птифуров, ни Алика. Был Лодька вдвоем с какой-то страшноватой девицей с испитым лицом; они сидели в комнате по обеим сторонам журнального столика и играли в шахматы. Когда Алла вошла, Лодька взвизгнул: «Мама!» — и повис на ней, облепил, сцепил ноги у нее за спиной. Девица встала, она была худая, длинная, нелепо длинная, и длиннейшие руки болтались, и по ее виду можно было понять, что ей бы хотелось спрятаться, исчезнуть, как-то истребиться... Алла не смотрела на нее, но чувствовала это ее желание с каким-то даже злорадством. Где это Алик откопал такое чудо, интересно? И ребенка не побоялся с ней оставить, вот молодец... Она поставила Лодьку на пол. Девушка стала тыкаться в углы комнаты, словно что-то отыскивая, говоря при этом:

— Ну вот, Лоденька, мама пришла, я уж пойду...

— Нет, зачем же?— сказала Алла.— Это мы сейчас уйдем, а вы оставайтесь, дождитесь хозяина.

— Ему кто-то позвонил,— объясняла девица,— и он...

— Тетя Надя,— озабоченно спросил Лодька,— так как будет считаться, кто выиграл?

— Ты выиграл, ты, конечно.

Алла одевала мальчика, наклонялась к нему, упорно поворачиваясь спиной к змееподобной девушке. Да, да, была какая-то «Надька-Кобра» — это она, конечно. Ничего не скажешь, прозвище подходит. А он-то за выпивкой, наверное, кинулся — не мог дождаться, когда мальчика не будет. От злости у нее дрожали руки, она никак не могла застегнуть пуговицы на Лодькиной куртке, наконец справилась и потащила мальчика за собой. Лодька в коридоре упрекнул ее:

— Что же ты не попрощалась с тетей Надей?

— Ничего,— сказала Алла,— она не обидится. Давно папа ушел?

— Давно! — сказал Лодька.— Мама, а я у тети Нади все партии выигрываю. И у бабушки тоже.

— А бабушка куда ушла? Ведь мы тебя к бабушке отпустили!

Ничего умнее не придумала, как ему это говорить!

— Бабушка в магазине, она сказала: скоро конец месяца! А папа сказал: ты посиди с тетей Надей, я скоро приду.

— Что же ты мне раньше не рассказывал про тетю Надю ничего?

Лодька не ответил, видно, не счел вопрос достойным ответа. Оба шли, думая каждый о своем, и Лодька что-то бормотал себе под нос. Алла прислушалась. Он считал:

— Сто два, сто три...

— Ты что считаешь? — спросила она.

— Ничего. Шаги.

— Какие шаги?

— Шаги. От нас до папиного дома.

— Так мы же на автобусе...

— Автобус я не считаю.

V

Когда они сошли с автобуса, Лодька опять начал считать шаги: сто шестьдесят восемь... сто шестьдесят девять — и не увидел отца, потому что смотрел себе под ноги. Но она его увидела в свете фонарей, и увидела, что он готов уже, приложился где-то; у него заплыл левый глаз и скула была разбита, шапки на нем не было никакой... Он смотрел в сторону и вид сделал такой, будто сосредоточен и спешит, спешит безумно куда-то... Она поняла, что он узнал их и стыдится, значит, не так уж пьян, и поняла, что не надо его останавливать, ради Лодьки. И так они прошли друг мимо друга, чуть не столкнувшись, она даже почувствовала, как потянуло спиртным, вечным запахом, ненавистным... Шел он прямо и быстро, но это ничего не значило, он сам про себя говорил: мозжечок у меня какой-то деревянный, хоть в центрифуге крути.

Лодька считал уже вторую сотню, когда она обернулась. Ее муж, отец ее сына, стоял у гастронома в известной всему микрорайону компании пропойц как свой, как завсегдатай, как равноправный член этого клуба... Лодьку забыл, оставил его, а сам сюда... И понадобилось же именно сюда, в наш район, чтобы потом мне говорили, отцу говорили... А у него сидит эта... Кобра.

— Триста семь! — сказал Лодька, когда они дошли до парадной.— Лифт я тоже не считаю.

Они поднялись на лифте сквозь темную парадную. Наверное, опять перегорели лампочки — и никому не нужно, раз лифт.

Она открыла дверь ключом. В передней стояла мать.

— Бабушка! — Лодька кинулся к ней. Он возвращался домой после долгой разлуки — целый день, целый выходной. Выходные дни для Лодьки были не короче прочих.

— Соскучился по бабушке! Ах ты, моя капелька!

— А где папа? — спросила Алла с удивлением.

— Сказал — сейчас вернется. С полчаса, как ушел. А почему ты сама мальчика привела, а не та бабушка?..

— Той бабушки и в помине нет. Прихожу туда — ни бабки, ни отца. Лодька один...

— Баба Оля пошла в магазин, потому что скоро конец месяца,— напомнил Лодька.— А я с тетей Надей в шахматы играл. Я бы опять у нее выиграл, да ты забрала.

Лодька нахмурился, высвободился от бабушки и пошел в комнаты.

— А где мои солдатики? — крикнул он оттуда.— Дед, где мои солдатики?

— Дедушки нету. Скоро он придет, ужинать будем.

— На место надо класть,— строго сказала Алла.

Она отыскала Лодьке его солдатиков, их у него было семь штук, разнокалиберных.

Лодька занялся ими, что-то бормоча недовольно. Он не любил, когда не все бывали дома к его приходу. К тому же солдатики — это было их с дедом занятие. Он отложил их

и начал слоняться, однако помалкивал, потому что знал — мать не любит, когда он заводит унылое: мне скучно!

Но Алла его понимала, она и сама не любила, когда дома идет не по-размеренному. Она и вообще-то не любила сюрпризов, хватало их ей с Аликом, вот с кем ничего наперед сказать нельзя было... Но сегодня уж день какой-то такой, все не так, как рассчитываешь. Вызов в управление неожиданный, и отец вдруг ушел — никогда не уходит по субботам! И потом эта история в кино — куда, спрашивается, заторопилась?

— Мама,— затянул Лодька.

— Ну? — спросила она грозно.

— Я не про то... Я хочу спросить: когда дедушка придет?

— Пойди бабушку спроси.

Он пошел на кухню, через минуту вернулся и остановился, видя, что мать читает. Она подняла глаза:

— Ну?

— Бабушка сказала, что дедушка скоро придет...

— Ну, вот видишь. Ты пока расставь солдат своих.

— Да-а-а, без дедушки...

В дверь позвонили. Он кинулся к дверям, и Алла за ним, думая, почему это отец звонит, у него же ключ.

Потом, когда она вспомнила, как бежала в переднюю, ей казалось, она уже знала. Иначе зачем бы она так бежала? И Лодьку оттолкнула на бегу...

Это был сосед с третьего этажа, Алла знала его в лицо: молодой отец, он носил в ясли ребенка, Алла встречала их утром, когда бежала к автобусу. У него было растерянное лицо. Он сказал: «Там, на нашей площадке, ваш папа...»

Она кинулась вниз по лестнице, он за ней вслед, и все говорил: «А мы гостей провожали... увидели, подумали... может, выпивши... Но за ним ведь не водится...»

Отец сидел прямо на цементном полу, в самом углу, вытянув перед собой ноги, опустив голову, с которой почти сползла на лицо меховая ушанка. Руки ушли в рукава пальто, как от холода. Словно и человека не было, только одежда, еще сохранявшая форму. Алла стала на колени: преодолевая страх, дотронулась до шапки, сдвинула ее с лица — на нее глянули выпученные, остановившиеся глаза. Она не закричала, не опустила руку, так и осталась на коленях перед этим взглядом, ничего не чувствуя, не думая.

— «Неотложку» надо звать,— сказал женский голос.

Ее подняли. Она все еще не могла отвести взгляда от неподвижных глаз, но что-то в ней ожило, и мысли теснились, которые она не пускала в сознание, и она услышала про «неотложку», возразила: «Не «неотложку», а «скорую».

Вокруг были какие-то люди: соседи, их гости и еще другие люди с этой же площадки. Электричество уже горело на лестнице. Она вспоминала, что когда они с Лодькой поднимались в лифте, лестница была не освещена, и он, наверное, уже сидел тут... Маме не надо пока говорить...

Но кто-то уже сбегал за ней, и она спускалась по лестнице в своих домашних туфлях без задников; она не могла бежать, и каблучки туфель мерно щелкали по ступенькам; она бормотала:

— Сердце, сердце... Он сердечник...

Мать не боялась дотронуться — она сразу

кинулась, расстегнула пальто и воротник, сунула руку под спину, когда он стал оседать, и все бормотала:

— Холодный какой, холодный... Укол ему сейчас надо... «Скорую» вызвать...

— Уже вызвали,— отозвались ей.

— Алла,— сказала она,— что же ты, Алла! Воды неси! Он застыл уж совсем, пока тут сидел. В комнату его надо. Или лучше не беспокоить?

Народу на площадке стало меньше — наверное, гости ушли, не стали дожидаться приезда «скорой». Сосед сказал Алле:

— Может, правда его в комнату к нам перенести?

Алла покачала головой. Ей казалось, что его нельзя трогать, что ему можно этим повредить. Сосед посмотрел на нее с сомнением, но ничего не сказал. Она опять опустилась на колени около матери; та тихонько окликала:

— Никоша, Никошенька...

Лязгнул лифт — появился высокий человек в белом халате и шапочке, две женщины вытащили из лифта носилки. Он сказал:

— Ну-ка, где тут больной?

Подошел, как-то отодвинул и мать и Аллу, нагнулся, приподнял голову отца, ощупал ее и словно удивился чему-то.

— Милицию надо вызвать,— сказал он.— Отойдите все в сторону, нечего тут смотреть.

Все отступили. Пронесся легкий шум. Мать растерянно спросила:

— Зачем милицию? Его же нельзя так оставлять, он...

Врач поискал глазами и нашел Аллу.

— Вы дочь? — спросил он.

— Да.

— Пройдемте со мной. Где тут телефон?

— У нас, пожалуйста,— сказал молодой сосед, который с самого начала чувствовал себя здесь главным.— Вот здесь, пройдемте, в коридоре у нас.

Он прошел вперед, зажег свет, указал телефон. Врач посмотрел на него — он опять вышел на площадку.

— Смотрите, чтобы они там ничего не трогали!— крикнул врач ему вслед. Потом снял трубку и сказал, не глядя на Аллу.— Э-э-ммм... Так дело в том, что... Вы поняли, нет?

— Все очень плохо? — спросила она.

— Э-э-эммм... Вы мать должны приготовить или увести.

— Он умер?

— Его убили,— сказал врач, просто и четко.— Ударили чем-то по голове. Надо вызвать милицию, мы тут уже ничего не можем сделать. Вы поняли? Вы должны приготовить мать. Вы поняли?

— Я поняла,— сказала Алла наконец.

Но она не уходила, стояла рядом, врач говорил:

— Милиция? Говорит врач «неотложной» помощи Валентенок. Ва-лен-те-нок. На Мартыновской, дом три, в подъезде убит человек... Да... да...

Приготовлять никого не понадобилось — на площадке все уже знали. Откуда-то появилась табуретка, на которую усадили мать; вокруг нее суетились женщины; они расступились, и Алла увидела, что одна из сестер, прибывших с врачом, делала матери укол в руку... Мать молчала, глаза у нее были закрыты. Кругом говорили: «Тихий такой... столько лет его знаем... Хулиганы, наверное... распустили на свою голову... никогда, чтобы пьяный... хороший такой человек...» Мать открыла глаза, и Алла сразу придвинулась, обняла ее и почувствовала, что та плачет, а у нее самой слез не было, только обрывки мыслей неслись, как сухие листья: не сумела... не спасла... Всехсвятский... армянка... Лодька, с кем он, кто же с ним остался...

Это все были названные мысли, а неназванная была одна: Алик, который прошел мимо нее отчаянно-торопливо и сделал вид, что ее не заметил.

И в ответ на эту неназванную мысль Алла думала: чепуха, совпадение, ведь звонил-то не он, его голос я бы все равно узнала, нельзя изменить голос.

— Мамочка,— сказала она,— я только на минуту... Возьмите ее, поддержите. Мне надо позвонить...

Но мать не слушала и только прижималась к ней, вдавливала лицо в ее плечо. Алла поняла, что ей не уйти. Она сказала врачу:

— По этому телефону... Попросите Всехсвятского... Скажите ему, что убит Никодим Ефимович Соколовский.

— Значит, вы подтверждаете, что четыре раза звонили по телефону Никодима Ефимовича Соколовского и угрожали убить его в разговорах с его дочерью?

— Разве четыре? Пару раз звонил, верно. Просто шутка это была. Глупая, конечно, шутка. Если бы я знал...

— Я спрашиваю вас, подтверждаете ли вы, что четыре раза звонили...

— Ну, может, и четыре. Я не считал. Вам лучше знать. Но только я никогда всерьез не собирался... Так, попугать хотел, товарищ следователь. Очень зол на него был. Но если бы я знал, что так будет...

Алла смотрела на этого человека. Это был стареющий человек, который не хотел стареть: длинный клок рыжеватых от хны волос был у него затейливо начесан на лысину, так, чтобы она не была видна. Лицо гладкое, выбритое, тщательно напудренное. И от него на всю комнату пахло одеколоном. Хочет казаться молодым! Убил человека — и хочет казаться молодым. И голос у него сейчас вкрадчивый. Непохож на тот, что по телефону...

— Расскажите, Яковлев, в каких отношениях вы были с убитым.

— Да никаких отношений не было, товарищ следователь. Мы с ним и знакомы почти не были. Только он стал под меня копать. Чем-то я ему не понравился, наверное. Или, может, хотел на мое место своего человека поставить — бывает так, знаете. В общем, я у них в организации агентом по снабжению работал. Работа, сами понимаете, какая...

Он подождал знака взаимопонимания. Не дождавшись, продолжал:

— Ну, лес я доставал для ихней организации. Не лес, собственно говоря, доски. Ну, сами знаете, дефицитная вещь. А один товарищ как раз дачу строил в Сосновке... Нет, нет, не мой товарищ, это я просто так говорю — один товарищ. Из этого же учреждения начальник, не самый большой, но все же... В общем, меня покойник на скамью подсудимых за эти доски. Я вам все это сейчас рассказываю, чтобы вы поняли.

Он опять подождал.

— Вот такое, значит, пришили мне дело. На коллективку тянули, стали уже вешать на меня всех собак. Хорошо, адвокат умный попался, заставил разобраться, статью мне переменили, так что срок вышел вроде бы детский — пять лет. Ну, хорошее поведение, то, другое — я вышел раньше.

И что толку?— Он вздохнул.— Сын без меня вырос. Жена со мной развелась, нового мужа пустила в мою отдельную квартиру. Все, что наживал... В общем, ладно, не в этом соль. Это я, чтобы вы поняли, какое зло у меня было... на покойника. Если бы еще я хоть что-нибудь имел с этих досок! Но принципиальность! Закон! А под закон каждого можно подвести. Под статью.

— Между прочим, ваши телефонные развлечения тоже под статью подходят,— вскользь сказал Всехсвятский.

— Не спорю,— с достоинством сказал Яковлев.— Тут я своей вины не отрицаю. Но поверьте, гражданин следователь, если бы я знал, что так получится, то не звонил бы. Заглотал бы свою обиду, но не звонил бы.

— Этот адрес, по которому вы сейчас проживаете,— спросил Всехсвятский,— вы жили там и прежде, кажется?

— Жил, потом не жил, теперь опять там прописался,— охотно объяснил Яковлев.— Первая жена моя там оставалась, когда расторгли брак. Ну, а потом, когда я узнал, что вторая жена неэтично со мной поступила, я написал той, первой. Все-таки, товарищ следователь, старый друг лучше новых двух. Хоть она у меня пожилая, старше меня, но мы с ней оставались хорошими друзьями. Сын у нас, это со счета не скинешь.

Алла смотрела на Яковлева. Голову он склонил набок, губы подобрал, в глаза и в голос пустил некую простодушную доверчивость. Он смотрел на следователя, но иногда оглядывался на Аллу, словно и к ней обращаясь со своим доверием, со своей убедительностью. «Какой гад! — думала Алла с удивлением.— Какую линию защиты повел! Ах, какой гад!»

— Скажите, Яковлев, как вы провели субботу девятнадцатого ноября? Если можно, поподробнее.

— Пожалуйста! — отозвался Яковлев с радостной готовностью.— Весь день у знакомых был. Соседи могут подтвердить. У Инны Васильевны Стрельченко, Южная, шесть, квартира два.

— С самого утра у знакомой? — осведомился Всехсвятский.

— Собственно говоря,— Яковлев придал своему лицу скромное выражение,— не с утра, а с вечера пятницы. Соседи могут подтвердить. Они меня знают. Знакомая моя — женщина самостоятельная, зубной врач, я бы с ней расписался, если бы был свободен. Но я такой подлости для своей жены сделать не могу, товарищ следователь!

«Уважает себя, гад,— подумала Алла.— За благородство уважает».

— Так и просидели всю субботу дома у знакомой, никуда не выходили?

— Нет, никуда не выходил. Свежего воздуха мне и через форточку хватает. Можете проверить, товарищ следователь.

— Проверим,— обещал Всехсвятский.— А к вам туда никто не заходил?

Яковлев пожал плечами.

— Товарищ один заходил, посидел недолго и ушел.

— Что за товарищ?

— По прежней работе,— сказал Яковлев неохотно.— Встретил его на улице, пригласил заходить; сдуру не домой позвал, а к знакомой... Умный, говорят, хвастает отцом-матерью, глупый — молодой женой. Хотя, конечно, она не жена мне.

— Фамилия, имя, адрес этого товарища?

— Винников, Сергей Петрович: адреса не знаю, никогда у него не был, телефона тоже не знаю. Да уж вы его разыщете, если захотите, вам легче, чем мне, в Ленинграде человека найти.

Он вежливо, негромко посмеялся и посмотрел по сторонам, приглашая оценить остроумие реплики.

— Прочтите протокол и подпишите,— сказал Всехсвятский.

— Всегда пожалуйста!

Яковлев надел очки, внимательно прочел протокол, вытащил многоцветную шариковую ручку, расписался и сказал:

— Все правильно!

Он встал.

— Мне можно пропуск, гражданин следователь? Я свободен?

— Пока да,— сказал Всехсвятский.

— Ну, что ж! — сказал Яковлев.— Все справедливо. Понимаю, что своим необдуманным поведением...

Он подписал. Потом торжественно обратился к Алле:

— Разрешите мне принести вам свои извинения за свой неэтичный поступок.

Алла не ответила, не поглядела. Он постоял и пошел к выходу, оставляя за собой запах одеколона. Надушенный самец! Движения у него были молодцеватые, быстрые. Он торопился, ему было куда торопиться, он спешил, он жил... Почему земля носит такую пакость? И почему пакости такой хорошо и легко живется на земле?

Всехсвятский — тот не торопился вовсе, будто только и дела у него было, что Алла. Он теперь позволял ей сидеть молча, думать, плакать. Правда, плакала она здесь только один раз — после похорон отца.

Похороны были неожиданно многолюдные, хотя происходили в будний день. Мать беспокоилась — зачем заказано три автобуса, неудобно; она опасалась, что автобусы пойдут порожняком: это ей казалось стыдно. Но, кроме сослуживцев, которые явились в полном составе, включая начальника треста, кроме соседей по дому, родственников, Аллиных товарищей по работе, пришли еще какие-то люди: одних Алла знала, других нет. Все они подходили, пожимали руки матери и Алле, что-то говорили, потом группировались отдельно от родственников, соседей и сослуживцев. То были фронтовые друзья и сослуживцы старых, еще довоенных лет.

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

Был и Кирилл: он не поехал на кладбище, это было бы странно, но он пришел к выносу, и Алла это отметила.

Все стояли во дворе, пожимаясь от сырости: с неба сыпалась какая-то мокрая крупа. Алла раскаивалась, что не захотела гражданской панихиды на работе у отца. Им предлагали, они отказались. Тогда женщина из месткома осторожно спросила: может, вы по обряду хоронить хотите? Алла не сразу поняла, про какой обряд та говорит. Потом сказала: нет, не хотим.

В общем, вынос происходил прямо из морга, но все равно гражданская панихида состоялась — на кладбище. И тут Алла услышала столько хороших слов об отце, что стала плакать. Потом еще несколько дней, когда она вспоминала речи на кладбище, слезы начинали литься сами собой. Хорошо, что эти слова были сказаны; эх, если бы хоть половину их он услышал при жизни! Но все было как надо, он был бы доволен.

В этих мыслях они с матерью признались друг другу, и мать сказала:

— Я все время хочу пойти и сказать ему: а знаешь, даже Леша Гриневич пришел.

Алика на похоронах не было: ему не сообщили.

Алла не рассказала матери про звонки. Иногда она спрашивала себя, правильно ли поступила. В конце концов мать имела право знать больше, чем кто-нибудь, имела право, во всяком случае, больше, чем Кирилл или Алик. Но Алла знала, что это придавит ее совсем, слишком уж это страшно. Она начнет мучить себя, доискиваться: кто, почему, за что? Нет, лучше пусть думает, что случайно, что какой-нибудь пьяный хулиган...

— Наверное, шапку хотел снять,— сказала соседка.— Шапка такая богатая.

Пыжиковая шапка, мать достала ее когда-то через сватью.

«Нелепая случайность вырвала из наших рядов...» — говорили в речах сослуживцы. Алла думала: не случайность, а хладнокровное, обдуманное убийство.

Может быть, и следовало, чтобы на работе знали. Может, именно там могли бы подсказать что-нибудь... Этого Яковлева там, наверное, помнили, кто-нибудь мог бы догадаться, что это он звонит. И его бы обезвредили раньше.

Но Всехсвятский! Ведь он-то должен был понять, сообразить! А теперь расследует преступление...

Предотвратить надо было! Предотвратить!

— Алла Никодимовна,— сказал Всехсвятский после молчания.— Теперь мне приходится возвратиться к вопросу, который я задавал вам при первой нашей встрече. Кто знал про звонки?

— На работе у отца никто не знал,— ответила Алла, продолжая ход своей мысли.— И, наверное, зря — они бы могли подсказать еще тогда.

— Возможно, вы и правы. Но сами вы кому-нибудь об этих звонках говорили?

— Говорила,— сказала Алла.— Только одному человеку!..

— Кому?

— Одному приятелю — просто поделилась с самого начала. Но это теперь не имеет значения. Все равно это он... Яковлев... Через дружков. Ведь это типичный уголовник.

— Может быть,— сказал Всехсвятский задумчиво.— Может быть, и правда — через дружков.

— Ведь если бы случайные хулиганы какие-нибудь... Что-нибудь они взяли бы. Хоть ту же шапку, у папы была дорогая, пыжиковая. Или кошелек. Но ведь ничего!

— Похоже, что так,— согласился Всехсвятский.— Похоже на сведение счетов. Так как зовут вашего приятеля?

— Кирилл Андреевич Жуков. С отцом моим не был знаком. Дома у меня не бывал. Работает в Доме быта нашего района, часовщиком. Проживает...

Всехсвятский все записал и посмотрел на нее:

— У вас с ним дружеские отношения?

— Да. То есть я не знаю, что вы имеете в виду. У меня с ним нормальные отношения, приятельские. Я ему рассказала раньше всех, он мне и посоветовал обратиться к вам.

— Он женат?

— Нет. Живет один.

— Ухаживает за вами?

Алла чуть усмехнулась.

— Я и этого слова не понимаю. В кино меня водит иногда. Иногда по неделям не видимся. В день... в тот день мы как раз были с ним в кино, смотрели «Мертвый сезон». Я ушла после первой серии, он остался досматривать.

— Телефон у него есть? Можно ему позвонить домой?

— Есть, конечно.

Всехсвятский записал телефон. Алла перевела дух и сказала:

— Еще один человек знал, мой бывший муж. Но не от меня. Ему Кирилл сказал.

— Так. Зачем?

— Ну, просто, наверное, Кирилл хотел, чтобы он не дергал меня. Чтобы понял, что мне и без него хватает.

— Они с вашим мужем дружны?

— Ну, как сказать — дружны? Встречаются... Мы все встречаемся... Дружбы там особой нет.

— А у мужа вашего какие были отношения с вашим отцом?

— Это не он,— сказала Алла.

— Я ведь не говорю, что он. Но вы мне ответьте на вопрос.

— Пожалуйста. Пока мы жили вместе, отношения были плохими. А теперь он раскаивается. Когда он узнал про эти звонки, он был страшно возмущен. Все кричал, что ребра пересчитает тому, кто звонит. Да что я объясняю! В тот день он как раз с сыном моим... нашим был, провел всю субботу.

— Все-таки мы должны его вызвать,— терпеливо сказал Всехсвятский.— Скажите, пожалуйста, как нам его найти.

— Пожалуйста. Костурич Александр Николаевич, проживает...

Алла сказала адрес. Всехсвятский записывал.

— Работает?..

Алла невесело усмехнулась:

— Нигде он, кажется, сейчас не работает.

— И давно так?

— Да порядочно.

— Поэт? Или художник? — спросил Всехсвятский с пониманием.

— Ни то, ни другое.

И вдруг, рассердившись, она сказала:

— Вы ведь его увидите. Вот и спросите. Я уже давно не спрашиваю.

Когда Алла ушла, Всехсвятский сказал Вите Никулину:

— Вот тебе и ерунда! «Для детектива не существует мелочей». Что думает по этому поводу товарищ Никулин, у которого есть интуиция?

— Вы смеетесь, Гень Иваныч, а между прочим, у меня мыслишка есть,— сказал Никулин.

— Хочешь, угадаю? — спросил Всехсвятский.

— Значит, и вам она в голову пришла,— сказал Никулин убежденно.— Это уж что-то значит, если двоим в голову пришла одна и та же мысль.

— Между прочим, Ильф и Петров...

— Все верно, они такую мысль отбрасывали. Но они делали это только в начале своего творческого пути.

— А мы с тобой? Я в конце, ты в начале. Если выводить среднее — значит, мы с тобой детектив в расцвете сил.

— Вы еще не в конце, Гень Иваныч,— вежливо сказал Никулин.

— Ладно! А мысль твоя ясна. Бывший зять?

— Зять? — удивился Никулин.— Ах, ну да, бывший муж дочери. Но, конечно, это так — рыба. Просто есть смысл проверить.

— А как тебе Яковлев?

— Яковлев... Не похоже что-то. Слишком бескорыстно.

— А что звонил — похоже?

— Глупо для него,— сказал Никулин, подумав.

— Тайны психологии,— сказал Всехсвятский.— Загадки, кроссворды и ребусы.

VI

Где? Когда? Чем? Для чего? Или почему? И, наконец, кто?

Большое уравнение со многими неизвестными. Но есть и известные. Например, где. В том подъезде, в котором он жил. И пыль на пальто, та самая пыль, что густо лежит на асфальте двора и на бетоне ступенек: полная химических и угольных частиц пыль заводского района, который еще не начал воевать за охрану окружающей среды.

Там, на площадке третьего этажа, около пяти часов вечера Соколовский в последний раз увидел свет. Свет шел снизу, со второго этажа, где лампочка не перегорела.

Своего убийцу он, вероятно, не увидел: удар был нанесен сзади. Чем-то тяжелым, не оставляющим следов. Похоже на мешок с песком. Какие-то песчинки даже оказались на пальто убитого. Несовременное орудие убийства. Даже средневековьем отдает. Он не забыл курса Александра Александровича Смирнова, он, Всехсвятский, совершенно случайно не состоявшийся филолог: он помнит, что в итальянской новелле Дездемону убивал не Отелло, а Яго и орудием убийства был чулок с песком.

Ну, а для чего или почему? В данном случае они могли бы помочь разрешению последнего вопроса, самого главного: КТО?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—42.

По-видимому, ограбления не предполагалось. Часы, кошелек с семью рублями — вот и все, что было при убитом. Ни обручального кольца даже... Впрочем, это поколение не носило обручальных колец. И пыжиковая шапка! Тоже ценность. Но и на нее не польстились.

Он видел все эти ценности: и шапку, и кошелек, и часы. Часы карманные, немецкие, луковицей, похоже, что память военных лет. Но товарной ценности не представляют никакой, даже в наши дни, когда антиквариат так вздорожал.

А даже если бы представляли? Все равно они на месте.

Значит, не с целью ограбления. Не для чего.

Стало быть, почему? Или, может быть, за что? Месть? Вендетта? Сведение личных счетов? Или случайный хулиган?

Случайного хулигана сбрасывать со счетов нельзя, хотя это и противоречит никулинской интуиции. Уже почти термин — никулинская интуиция. В ковалевском деле туфельки учуял правильно. Нашлась хозяйка туфелек — и дело раскрылось, как тюльпан. Убил-таки Ковалев жену. Привел к себе знакомую артистку миманса, думал, жена на даче. Тут она и выйди из ванной к ним в переднюю. И знакомая, только успевшая скинуть туфли, так босиком и спасалась из негостеприимного дома. А в доме произошло убийство.

Не просто было разыскать ту знакомую, но разыскали все же. У Никулина на лице с тех пор одна скромность. Щавинский его называет «наш Аввакум Захов».

Нет, пора, пора на преподавательскую работу. Только раскрыть дело Соколовского. Вопрос чести.

Тут, кстати, никулинская интуиция подвела. Все возмущался Витя, что с такой ерундой к ним обращаются.

Как говорится, не подошли с достаточной серьезностью. А расплачиваться пришлось другим.

В общем, за такие случаи полагалось бы взыскивать. Брак в работе.

Сбрасывать хулигана со счетов нельзя, но маловероятно. Мешки с песком хулиганы редко захватывают из дому на всякий случай. А главное — вызов по телефону. Кто звонил? Если звонил преступник — вопрос о неизвестном хулигане отпадает сам собой. Соколовский спустился только до третьего этажа, тут его и убили. Если бы его ждали внизу, то потом он бы поднялся на лифте. Лифт работал. Значит, убийца ждал его на третьем этаже. Похоже, что так, похоже, что так. Похоже, что звонил преступник, заранее все обдумавший, действовавший хладнокровно...

Действовавший хладнокровно, знавший уклад семьи, изучивший плацдарм, на котором будут разворачиваться события. Он знал, как работает лифт — только поднимает вверх; знал, что на третьем этаже нет лампочки; в общем, знал много и уж, конечно, знал Соколовского. Кто все это знал про лифт и прочее?

Всехсвятский записал в блокноте:

Костурич А. И. (жил в семье больше года).

Кто мог узнать, если захочет?

Да кто угодно. Ну, хоть Яковлев или кто-нибудь по его поручению. Кто-то неизвестный? Кто-то из прошлого? Старый враг? Бывает, конечно. Но преступление связано с яковлевскими телефонными звонками прямо или косвенно. Совпадение тут маловероятно. А кто знал о яковлевских звонках?

1. Яковлев. Возможно, плюс кто-то посвященный с его стороны.
2. Костурич.
3. Жуков.

Итак, самая крупная часть — на Яковлеве. Яковлев сам по себе пятьдесят процентов, потому что звонил. И плюс этот самый возможный посвященный. То есть вероятность Яковлев плюс «п» — процентов семьдесят пять.

Двадцать пять на оставшихся двоих — на Костурича и Жукова.

Костурич жил в доме, знал Соколовского и не любил его. Отношения, по словам Аллы, давно стали плохими. Вероятно, старик не хотел терпеть в семье тунеядца, что понять нетрудно.

Жуков. Не знал Соколовского, не имел к нему никакого отношения. Путает то, что он один из троих, наверняка знавших про яковлевские звонки. Но поводов у него нет.

Жуков — процентов пять. Чтобы не снимать со счетов никаких мелочей. Внимание к мелочам! Была когда-то такая газетная рубрика: «Внимание к мелочам!» Придется посмотреть этого Жукова. Надо поговорить с Соколовской-старшей — вероятно, с ней уже можно говорить. Она может знать что-нибудь, чего не знает Алла.

А Костурич исчез из дому. С той субботы не ночевал дома. Мать ничуть не беспокоится: там, видимо, полная независимость. У нее своя жизнь, она даже удивилась, когда ее спросили, где может быть ее сын. Откуда ей знать, он взрослый.

Докладывавший оперативник сказал с неудовольствием:

— В комнату боялась меня впустить. Видно, у него приятели такие — в комнату впустить опасно.

Оперативник был молодой, самолюбивый.

— И сама такая... Глаза подведены. Старая, а глаза подведены какой-то синькой.

Ладно, далеко Костурич не уйдет. Все равно не миновать им встретиться.

Нехорошо все это, думал Всехсвятский, ни возбуждения умственного, которое вызывали в нем некоторые запутанные дела, ни охотничьего напряжения. Вялость и чувство вины. Плохое начало.

И, кроме чувства вины, что-то еще. Самолюбие задето, вот что. Кто-то провел его, как маленького, обвел вокруг пальца. Кто-то сейчас в своем углу посмеивается. Телефонные звонки эти. «Мелкое хулиганство». Вот тебе и мелкое хулиганство! Мелочи жизни!

Это Таня так говорила, еще в школьные годы: не расстраивайся, все это мелочи жизни.

Вот тебе и мелочи! И нет Тани, чтобы ей это рассказать.

Всехсвятский застал Полину Федоровну Соколовскую одну. Он смотрел на нее и думал, что дочь гораздо жестче, грубее. У матери в лице было много округлостей: щеки, брови, подбородок. Доброе, веселое лицо: гримаса плача была ему непривычна. Приятная, молодая женщина — его ровесница, между прочим, он мог сидеть с ней за одной партой. И он представил ее себе восьмиклассницей: длинная стрижка, длинная юбка, коричневый загар, белые с голубым тапочки и берет набок... Так ходили девочки в его городе в тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Он сказал ей, как сказал бы девочке из своего класса:

— Не ручаюсь, что мы этого мерзавца найдем, но ручаюсь, что сделаем все, что можем. А вы помогите нам. Главное — вспомните все подробности. Поймите, незначительных подробностей в таком деле не бывает. Вспомните, что вы делали, когда раздался телефонный звонок; что говорил ваш муж — дословно; что...

— Давайте я вам сразу скажу: ничего я не слышала! — сказала она решительно. — Я была, извините, в уборной, когда телефон зазвонил. Выхожу, а муж уже стоит в коридоре, одевается. Я говорю: ты куда? А он мне: опять по поводу идиота этого! Ну, тут я уже больше ничего не спрашивала. Когда он в таком состоянии, я никогда сразу не спрашиваю: жду, пока он отойдет, тогда сам расскажет. Особенно когда дело касалось... бывшего нашего зятя. Он все себя винил, что не сумел воспитать дочь как следует.

— То есть?

— То есть встретила красивого подонка и не разобралась, что он собой представляет, сошлась, родила... Я-то, признаться, считаю, что это моя вина. В конце концов мать ближе к дочери, чем отец. Но ведь нельзя предвидеть все. Она была такая... Понимаете, у нас в семье всегда были хорошие отношения, чистая атмосфера, — она, видимо, инстинктивно решила, что жизнь такова. И выросла какая-то... слишком доверчивая. Теперь она изменилась, но до замужества это был совершенный ребенок. Институт окончила, а с виду ребенок и внутренне какая-то... Инфантильность! Ох, эта инфантильность! Вот я учительница, тридцать лет проработала в школе и скажу вам: мы, наверное, идем к неслыханному удлинению человеческой жизни. Если теперь тридцатилетние еще дети...

У нее покривилось лицо, из глаз выжатились две быстрые слезы, она размазала их пальцами по щекам и сказала:

— Я во всем себя виню, во всем. Если бы я с самого начала не разрешила этого брака, то Никодим Ефимович был бы жив.

— Но почему? Вам кажется, что существует прямая связь?

— А вам не видно? Никодима Ефимовича почему вызвали из дома? Из-за этого подонка! Я даже не знаю, откуда вызывали — из милиции, наверное; нашего бывшего зятя часто около нашего гастронома видят: у него тут дружки остались, никак он без них не может. И я вам даже больше скажу. Я теперь думаю, что тот хулиган, который... который Никодима Ефимовича... сзади, предательски так...

Опять у нее набежали слезы, но она упрямо смахнула их и закончила:

— ...что очень возможно, это и был один из тех самых дружков. Знаете как: встретился на лестнице, попросил на опохмелку, Никодим Ефимович не дал, он и...

Теперь она не смахивала слезы, они лились ливмя, но она их не замечала.

Всехсвятский думал, что это удивительно, сколько горя и зла заурядный подонок может внести в хорошую семью; что в этой семье все любили и щадили друг друга и потому о многом умалчивали; что сильно же изменилась Алла — или она только своей матери казалась такой когда-то; наконец, что Алла по-прежнему не все говорит.

— Между прочим, ни из милиции, ни из жэка Никодиму Ефимовичу не звонили. А ваша дочь мне не рассказала, что...

— Да она и не знает. Я не стала ей говорить. Ведь этот мальчишка для нее рана, рана. Конечно, я не думаю, чтобы она его еще любила, но...

Всехсвятский на некоторое время отключился, потом спросил:

— Вещи Никодима Ефимовича вы получили? Не заметили, все при нем было, ничего не пропало?

— Да нет, ничего. Часы, кошелек... Все, что было. В кошельке деньги, семь рублей...

— То есть ясно, что ограбления не было.

Она даже усмехнулась.

— Кому придет в голову? Вы же видите, как мы живем. Шапка пыжиковая — вот и всех ценностей. Часы серебряные... Да нет, это только и мог быть пьяный хулиган, со злости. Из приятелей нашего зятька.

— А может быть, личные счеты?

— У Никодима Ефимовича?

Всехсвятский промолчал. Она взглянула удивленно, подождала, потом жалобно спросила:

— Вам что-нибудь известно такое... чего я не знала?

— Вы имеете право все знать, — сказал Всехсвятский. — Тут есть еще одно обстоятельство.

Он рассказал ей про телефонные звонки, про Аллино заявление, про Яковлева — словом, все, что знал сам. Он для себя отметил, что в начале его рассказа лицо ее словно распалось, разложилось от страха ожидания. Потом, когда он дошел до Яковлева, оно окрепло, успокоилось. Чего она ждала с таким ужасом? Вдруг он сообразил: рассказа про измену, про вторую семью, про двойную жизнь — вот чего она страшилась, бедняга... Ведь ей за пятьдесят, она много чего повидала...

— И вы не арестовали этого Яковлева? — изумилась она. — Отпустили его просто так? Ведь это же... гитлер какой-то!

— Он не отрицает, что звонил, но...

— Вы ждете, что он вам скажет: да, я убил человека?

— Он в то время, когда было совершено преступление, действительно сидел у своей знакомой. Тут все проверено — так оно и было.

— Ну, не знаю. Если уж у него такое зло было против Никодима Ефимовича, то он и подговорить... подкупить кого-нибудь мог. Ведь это уголовник! Это у нас, у таких, как мы, денег нет, а у него наверняка есть!

И тут ее мысль приняла другое направление.

— Но Алла... Алла! Ведь она ничего мне не сказала! Я понимаю, отца она не хотела тревожить. Но мне!

— Она не думала, что это серьезно. Да и никто так не думал, даже у нас. Мы полагали, что это простое телефонное хулиганство. Тут мы заблуждались.

— Она не любит говорить про свои непри-

ятности, — пробормотала Полина Федоровна. — И отец ее такой... был. (Она еще не привыкла говорить о муже в прошедшем времени.) Но разве это ее неприятности? Или, может быть...

Она посмотрела на Всехсвятского, словно хотела внушить ему какую-то мысль. Он догадывался, какую.

— Гитлер этот ваш... Ну, пусть даже не он. Но... если это не хулиган какой-нибудь уличный и не ваш Яковлев... Может быть, просто совпадение? Кому мешал Никодим Ефимович?

Зазвонил телефон. Полина Федоровна сняла трубку, послушала и сказала:

— Сейчас! — И, обратившись к Всехсвятскому: — Это вас, с работы, наверное.

— Ну, что слышно? — спросил Всехсвятский в трубку.

— Ваш Костурич отбывает пятнадцать суток! — сказал оживленный голос Никулина. — С 20 часов того самого дня. Вернее, того самого вечера.

— Интересно!

— Я тоже думаю, что интересно, Гень-Ванч!

Он повесил трубку. Соколовская смотрела на него с ожиданием: пока он во всем этом не разберется, все будут на него смотреть с ожиданием. В общем, все начинает выстраиваться, но уж очень ясно направление. Он не любил, когда направление с самого начала так ясно.

— Я вам очень благодарен! — сказал он с чувством.

Всехсвятский и в самом деле был благодарен Полине Федоровне. Кроме того, нечасто ведь встречаешь сверстницу, которую хочется представить пятнадцатилетней. Хорошая женщина. Такое горе, а в квартире убрано, цветы политы.

Предстояла встреча с Костуричем. Он уже знал о нем все, что было отражено в протоколах и в давнем судебном деле, знал и то, что о нем говорили в семье жены. Из всех этих сведений вставал человек вполне ничтожный. Бездельник. Всехсвятский считал всех бездельников потенциально опасными, тут он был согласен с Никулиным. Он распорядился привезти Костурича в управление: пускай Никулин тоже его посмотрит.

Костурич уже ждал в коридоре вместе с милиционером, который его доставил. Когда появился Всехсвятский, оба встали. Всехсвятский заметил, что Костурич выше милиционера на полголовы и держится очень прямо, развернув плечи по-спортивному. Шапку он снял; остриженная под машинку голова была небольшая, хорошей формы. Всехсвятский вошел к себе. Никулин был на месте, Щавинский собирал портфель и одновременно говорил по телефону, прижимая трубку плечом. Всехсвятский сказал:

— Ну вот, посмотрите сейчас на этого... бывшего зятя.

Никулин кивнул. Он всегда понимал с полуслова, ему не надо было перестраиваться, чем бы он ни был занят.

— Волевое лицо, что называется. И вообще такой супермен.

Никулин спросил:

— Вам как лучше, Гень-Ванч, чтобы я потом ушел, или как?

— Ты мне не помешаешь, — сказал Всехсвятский. — То есть, конечно, если у тебя ничего срочного.

— Срочного! — Никулин пожал плечами. — В Сестрорецке парня порезали, в больнице лежит. Знает, кто сделал, и не хочет говорить. Темнит что-то, то ли боится, то ли рассчитывает сам счеты свести. А между прочим, ранение проникающее, вряд ли выкарабкается. Что в таких случаях делать?

Они поговорили немного о том, что делать в таких случаях, а потом Всехсвятский сказал:

— Ну-ка, пригласи сюда Костурича!

Костурич вошел, все так же прямо неся голову. В дверях он на мгновение остановился, поздоровался и неожиданно для Всехсвятского улыбнулся жалкой улыбкой. Впрочем, улыбка, такая неуместная в его положении, увяла сразу, но Всехсвятский долго еще ее вспоминал. Она не вязалась с внешностью Костурича, с его твердыми чертами, свободными движениями; в ней было несоответствие, приспособление, то есть фальшь. «Ищет манеру, — подумал Всехсвятский. — Знаком с местами заключения и будет называть меня «гражданин начальник». Или «начальничек», чего доброго».

Щавинский сказал:

— Так я пошел, товарищи. Привет!

— До свидания, — сказал Костурич и вдруг покраснел и закусил угол губы.

Щавинский посмотрел на него с интересом, усмехнулся и вышел. Всехсвятский сказал:

— Скажите, Костурич, вы знаете, почему мы вас вызвали?

Костурич нахмурился и коротко сказал:

— Нет!

Под его худыми щеками выступили желваки, и он стиснул руки.

— И не предполагаете? — спросил Всехсвятский.

— Нет!

— Хорошо, — сказал Всехсвятский. — Тогда начнем по порядку. По протоколу, так сказать.

Пошли обычные вопросы: имя, отчество, фамилия, адрес... Всехсвятский быстро отстукивал протокол на машинке. Когда дошло до места работы, Костурич сказал:

— Вы же все знаете. Постоянного места работы нет у меня.

— С какого времени?

— Месяца два.

— А точнее?

— Летом я работал в багетной мастерской. Сбивал рамы.

— Почему уволились?

— По собственному желанию, — сказал Костурич.

— В каком месяце это было?

— Не помню. Кажется, в августе.

— Таким образом, выходит не два месяца, а несколько больше.

— Я еще работал чернорабочим в гастрономе.

— Сколько времени?

— Две недели.

— Почему уволились?

— По собственному желанию. Это было в прошлом месяце.

— Вам не нужен постоянный заработок? — поинтересовался Всехсвятский.

— Почему же? Нужен. Я и работаю.

— Сколько вы зарабатываете!

— Мне хватает.

— Вы ведь, кажется, выпиваете?

— Кажется, — подтвердил Костурич очень серьезно.

Всехсвятский пропустил мимо ушей возможную иронию.

— И вам хватает ваших заработков и на это?

— На это они почти целиком и уходят. Я, как видите, не пижон.

Он подбородком указал на оборванный лацкан своего вытертого пальто.

— Женаты?

— Разведен, есть сын.

— Алиментов не платите?

— Когда работаю — плачу. Но от моих алиментов проку немного.

Всехсвятский сказал:

— Гордиться тут нечем.

— А я и не горжусь.

Они помолчали.

— Какие у вас отношения с вашей бывшей женой? — спросил Всехсвятский.

— А вот это к делу не относится, — быстро ответил Костурич, словно давно уже ждал этого вопроса.

— Думаю, вы ошибаетесь. Так я повторяю вопрос: какие у вас отношения с бывшей женой?

— Решили, значит, заняться моим моральным обликом! — сказал Костурич.— Нормальные отношения, какие и должны быть.

— Вы встречаетесь?

— Иногда.

— Вы бываете у нее дома?

— Нет.

— Почему?

— Не очень-то меня там любят! — усмехнулся Костурич.

— Кого вы имеете в виду?

— Обоих стариков.

— Особенно тестя?

— Нет, пожалуй, обоих в равной мере.

— Вы с ними встречались с тех пор, как оттуда выехали?

— Нет.

— И по телефону не звонили?

Костурич насторожился, потом у него сделалось такое выражение, будто он что-то наконец понял.

— Если вы имеете в виду... Нет, я не звонил им по телефону. И не угрожал никогда, если вы это имеете в виду.

— Нет, не это.

— Тогда что же?

— В свое время узнаете. А теперь ответьте: что вы делали в субботу 19 ноября?

— В тот день, когда попал в вытрезвитель? Это вас интересует?

— Да, это нас интересует.

— Пожалуйста. Это уже ближе к делу. Утром был с сыном в зоологическом саду. Старики его привели.

— Продолжайте.

— Значит, утром был в зоологическом саду. Кстати, чтобы вы не думали, что я неточен: стариков я и в тот день не видел. Им открыла мать, а я к ним не выходил.

— Понятно, продолжайте.

— Никак я с этого зоологического сада съехать не могу. Ну, после этого мы с сыном вернулись ко мне домой, пообедали.

— Минуточку. В зоологическом саду вы были вдвоем?

— Да. Мать была дома, обедом занималась. Ну, после обеда ребенка положили спать, — у них в детском саду расписание, мы его соблюдаем.

— Вы никуда не выходили?

— Нет, я дома был. Мать ушла, я не мог мальчика оставить одного. Потом к нам зашла одна девушка, она над нами живет...

Костурич внезапно замолчал, и лицо у него потемнело.

— Ну, вот тут я и ушел. Не собирался пить, да у меня и денег не было, но так сложилось. Встретил старых знакомых, то да се. И вот кончилось всеми этими сутками.

Всехсвятский быстро отстукивал рассказ Костурича на машинке. Потом поднял голову:

— Дома выпили перед уходом?

— Нет.

— Ясно. Значит, сына оставили с посторонней женщиной, а сами ушли из дому, встретили собутыльников...

— Можете и так это расценивать. Но женщина эта — соседка наша, она всегда просит ее звать, когда Лодька у нас. Я спокойно могу на нее оставить ребенка. Тем более, мать должна была скоро вернуться.

— Все-таки почему вы ушли из дому?

— Это к делу не относится,— сказал Костурич упрямо.

— Сейчас все относится к делу. Ну? Почему вы ушли из дому? Куда вы пошли?

Костурич помолчал и сказал нехотя:

— Я хотел пойти в кино.

— Значит, сын был у вас, а вы вдруг решили отправиться в кино?

— Именно так!

— На какую картину?

Костурич поднял глаза, вспоминая. Потом покачал головой:

— Не помню.

— Подумайте. Я вас не тороплю.

Костурич, помолчав, сказал:

— Нет, не вспомню. Память стала... «Осыпает мозги алкоголь».

— Что?

— Это цитата. Есенин. «Черный человек».

— Хорошо. Значит, вы пошли в кино. Или поехали?

— Поехал, если это важно.

— И куда приехали?

— Кино на углу Мартыновской и Петровской знаете?

— Это рядом с домом, где живет ваша бывшая жена?

— Напротив, наискосок.

— В котором часу это было?

— Часов в пять, вероятно. Или в шесть.

— А точнее?

— Точнее не могу. Я человек счастливый, часов не наблюдаю.

— Интересно,— сказал Всехсвятский.

Он взглянул на Никулина. Тот смотрел только на Костурича. Всехсвятскому показалось, что он даже не дышит.

— Попробуйте вспомнить все-таки. Пять часов было или шесть?

Костурич помотал головой.

— Никак. В магазине уже было полно народу, это могу сказать с уверенностью. Вечер субботний, сами понимаете!

— А при чем тут магазин? Вы ведь ехали в кино?

— Не попал я в кино,— сказал Костурич.— Встретил знакомых, ну, и началось тут... Вот, влетел на пятнадцать суток.

— Вы помните, за что получили пятнадцать суток?

— Я-то сам не помню... Мне потом крепко напомнили. Будто бы я по морде кому-то съездил... Какому-то Фомину. Ничего не помню. Наверное, так и было.

Он посмотрел на Всехсвятского очень пристально.

— Вот тут начинается то, ради чего вы меня позвали. Верно? Что, это какой-нибудь крупный гусь, этот Фомин?

Всехсвятский промолчал.

— Может, он расхворался после нашей дружеской беседы?

— А вы как думаете? — спросил Всехсвятский. — Может человек расхвораться после такой вот дружеской беседы с вами?

— Не та во мне сила,— сказал Костурич.

— Ну, если иметь в руках что-нибудь тяжелое...

— Вы что, серьезно? — спросил Костурич с изумлением.— Неужели я в самом деле... Но чем? Бутылкой?

— Вам лучше знать,— сказал Всехсвятский.

Костурич осел, сгорбился, словно обвис... Потом прокашлялся и наконец сказал:

— Вот, значит, что.

Всехсвятский продолжал:

— Вы мне, однако, не досказали. Расскажите все, что вы помните. Когда вы решили не идти в кино, кого вы встретили...

— Да уж какая теперь разница,— сказал Костурич разбитым голосом.— Хотел я одного человека встретить... Жену, собственно говоря... Ну, иду, а у гастронома знакомые... Володька, Толич, Марьи Николаевны муж — заведующая там Марья Николаевна. Ну, я их знаю, они меня знают... Они говорят: уехала твоя жена, мы видели. Они же всегда там на углу всех видят. Ну и пошло: давай с нами, муж Марьи Николаевны вот при деньгах, угощает! Одним словом, вот так... Ну, я теперь быстро готов делаюсь. Мне много не надо. Но откуда этот Фомин взялся, с чего он пришел на свою шею приключений искать? Ладно! В общем, так мне и надо!

— Да,— сказал Всехсвятский.— Вам тоже что за нужда была непременно в этот день в кино ездить?

— Судьба,— сказал Костурич.

— Судьба-то судьба, но почему вы ее около своего бывшего дома нашли? Что вас туда повлекло?

— Именно повлекло,— усмехнулся Костурич.— Что вы еще стараетесь выяснить? Я ведь не отказываюсь... Фомин так Фомин. Дальше солнышка не пошлют, две лопаты в руки не дадут. Ведь он жив? — И сам себе ответил: — Да жив, наверное... Если бы не был жив, вы бы не так со мной разговаривали.

Всехсвятский сказал:

— Фомин жив, вы правы. А Никодим Ефимович умер.

— Как... Никодим Ефимович?!

Его потрясение было неподдельным. Или до того хорошо разыгранным, что казалось неподдельным.

Продолжение следует.

Рисунки И. УШАКОВА.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

VII

Гулять в Ленинграде под ноябрьским снегом — дурацкое занятие. Особенно если на вас куртка из кожзаменителя, а на голове — промокший берет. Никулин согласился с женой, которая не скрыла от него свое мнение по этому поводу, однако сам этого не думал. Во всяком случае, во время этой прогулки. Он только морщился иногда, если мерзлая крупа сыпалась ему за воротник.

Он, честно говоря, очень любил эти прогулки. А жене объяснял это тем, что они ему профессионально полезны. Давно миновало то время, когда он смотрел с некоторого столичного высока на благодушного, толстеющего, так и не приобретшего военной выправки одессита. Миновало то время, когда «словечки», манеры, интонация, которые вдруг пускал в ход Всехсвятский, заставляли его поднимать брови в некотором недоумении. И миновало то время, когда он любовался элегантным красавцем Щавинским и бессознательно ему подражал.

Когда в прошлом году начальник следственного отдела вышел на пенсию и прошел слух, что кандидат на эту должность — Всехсвятский, Никулин удивился: настолько неподходящим казался он ему. Конечно, выслуга лет, опыт, военные заслуги, звание подполковника... Но Щавинский, когда Никулин заикнулся об этом, только рукой махнул:

— Опять откажется — пришлют нам варяга. И ведь не уговорить его.

— А разве уже предлагали? Бывало?

— Бывало. Он хочет не руководить, а расследовать. Он, видишь ли, любит эту работу.

Никулин и сам начинал любить именно эту работу, а не свое студенческое о ней представление. И ощутил нечто вроде симпатии к Всехсвятскому, а ощутив, стал к нему присматриваться да прислушиваться, что о нем говорят. Говорили часто, но мало, только намеками: ну, это дело похоже на то, что Гень-Ванч вел... Пойти, Гень-Ванчу рассказать... Тот свистит, заливает — заслушаешься, а Гень-Ванч его так спокойно обрезал, знаешь, как он умеет...

А что за дела, какие ответы — неясно. Все всё и так знали и заранее смеялись дружно, как люди понимающие.

— Слыхали? Этот, новый, спрашивает: «Гень-Ванч, отчего вы на Утесова похожи?» «Разве? — говорит.— По-моему, Утесов похож на меня».

И опять все смеются. А острота, ох, не блеск!

Когда Никулину поручили его первое дело, начальник предупредил:

— Вы с Гень-Ванчем советуйтесь, на всякий случай.

Никулин не хотел советоваться, но допросы вел в присутствии Всехсвятского, и однажды тот сказал ему, как бы между прочим, что одного из свидетелей есть смысл вызвать повторно,— похоже, он знает больше, чем говорит. И оказался прав.

Все это было давно — больше двух лет назад. С тех пор было многое, и в частности это недавнее Ковалевское дело. Они все посмеивались: «никулинская интуиция»! Как будто нужна интуиция, чтобы заметить в квартире женские туфли чужого размера! Но посмеивались или нет, а туфли помогли. Конечно, это еще не бог весть что, но все-таки... Конечно, он только обратил внимание на туфли, а все остальное неторопливо распутал Гень-Ванч, но все-таки, когда говорят про это дело, не одного Гень-Ванча поминают. Конечно, он понимает, что... И все-таки человеку нужны удачи — они подстегивают рост. Такое наблюдение сделал Гень-Ванч и сказал еще, что уда-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—43.

чу надо уметь приманить, но этому научаешься постепенно.

Может, он и шаманил немного, как всякий настоящий мастер, и в кухню свою не впускал, но вообще-то не скрывал ничего и дела вел открыто. Щавинский как-то сказал:

— Секреты ремесла! Анекдот есть: один человек на глаз точно определял, сколько в стаде баранов. Его спросили, в чем секрет. Он признался: «Я не баранов считаю, а ноги, и потом делю на четыре». Вот и пользуйся таким секретом!

Пока что Никулин изучил если не производственные секреты Всехсвятского, то его привычки, повадку, манеру, эту самую ленивую манеру, которая вводила в заблуждение новых людей. Он знал, что в начале расследования Всехсвятский ведет всевозможные посторонние разговоры и о деле вроде бы и не думает; что на какой-то стадии он вдруг выпадает из сферы общения, замыкается и заметно грустнеет; потом он и вовсе день-два не показывается в управлении. А потом все закипает: вызываются свидетели, трещат телефоны, выписываются командировки, и обвинительное заключение наполняется фактами, тяжелыми и убедительными, как щуки в неводе.

Никулин ходил с Всехсвятским и в столовую обедать и к метро «Площадь Восстания», хотя ему можно было добираться домой на трамвае, и даже в «Север» пить кофе, потому что ничего крепче кофе Всехсвятский не пил. Он звал Всехсвятского в гости, но тот никак не мог собраться: все то, да се. А какое то и какое се, не объяснял. Но гулять с ним любил и иногда приглашал: пошли пофилософствуем. Узнав, что Никулин — ровесник его сына, Всехсвятский стал говорить ему «ты», и обоим это «ты» было приятно. Никулин подозревал, что большой близости с сыном у Всехсвятского не было. Сын-инженер работал, имел свою семью, вероятно, они с отцом виделись нечасто.

Всехсвятский предложил дойти до площади Восстания. Никулин согласился. Они шагали рядом в дружелюбном молчании. Никулин думал о допросе Костурича, у него была некая концепция, но он помалкивал, ждал, что скажет Всехсвятский.

— Слушай, ты часто бываешь на похоронах?

Никулин украдкой посмотрел на Евгения Ивановича: куда тот гнет? Увидел не выражение лица, а лицо — полнеющее лицо с сеткой багровых прожилок на скулах, с ожиревшим подбородком, с седоватой растительностью, пробивающейся из ушей.

— Да нет, не очень.

— А все-таки?

— Ну... В этом году несколько раз. Двое из нашего управления. И моих родителей друзья. В общем, раз пять.

— Только в этом году раз пять? Такой молодой человек?

— Так я же не сверстников провожал, Гень-Ваныч.

Никулин сказал и смутился. Он опять сбоку взглянул на своего спутника, на этот раз не увидел ничего: ветер с колючим снегом хлестнул его по векам.

— А я в твоем возрасте никогда не бывал на похоронах,— сказал Всехсвятский задумчиво.— Тебе сколько? Двадцать два? Двадцать три?

— Мне уже двадцать пять, Гень-Ваныч.

— Двадцать пять? Мне было двадцать пять в сорок третьем году.

— Сталинград! — сказал Никулин.

— Сталинград, Орел, Белгород, все, что ты учил, проходил, сдавал. Может, ты думаешь, мы не знали, что потом про нас будут учить и заучивать? Как-нибудь, мы знали! Только немножко сомневались, что доживем. Но не о том речь. Так вот, мне сейчас кажется, что, когда я был молодой, люди не умирали.

Никулин спросил осторожно:

— Вы имеете в виду бессмертие, Гень-Ваныч?

— Я ему серьезно, а он мне из газеты! Я про смерть говорю. Люди погибали — это да. Или пропадали без вести — знаешь, что это значит? Но похороны... Какие похороны, откуда? Когда я был молодой, их не было. Понимаешь, что я хочу сказать?

— Не совсем,— признался Никулин.

— Не понимаешь. Ладно, объясняю. Похороны — это примета мирного времени. Устоявшегося мирного времени. Как свадьбы во Дворце бракосочетания. Понимаешь? Это все значит — мирное время.

— Смертей лучше бы поменьше.

— Что ты! Конечно, лучше поменьше и попозже. Тут мы с тобой полностью одного мнения. Но уж если умирать, то в постели. В мирное время человек имеет право умереть в постели. «Насытившись днями». В библии есть такие прекрасные слова, полновесные. Ты библию читал?

— Читал,— сказал Никулин.

— Молодец! — сказал Всехсвятский.— Понравилось?

— Я не все читал,— честно сказал Никулин.

— Ну, ты еще имеешь время. Так вот — «насытившись днями». И вот, когда я вижу, что человек, мой ровесник, все прошел, все времена, когда люди погибали и без вести пропадали, и жив остался — и вдруг его на лестнице какая-то сволочь...

Никулин сказал:

— Вы полагаете?..

Всехсвятский словно не услышал и продолжал:

— Это ж подумать надо! На лестнице, на собственной лестнице... Это дочь его говорит: лампочка не горела. Сто тысяч составляющих — лифт вниз не везет, лампочка не горит, пожилой дяденька из управления долдонит: мелкое телефонное хулиганство... Вот когда Ив Монтан приезжал, в пятьдесят шестом... Ты слушал Ива Монтана?

— Кажется,— неуверенно сказал Никулин.

— Мгм. Ну, ясно, вы, молодые, только своих рапсодов знаете! Так вот. У него песня такая была, у Монтана: шахтеры добывают уголь, литейщики льют металл, землекопы делают насыпи — и все для того, чтобы ты могла приехать ко мне сегодня. Ну, там не точно так, но в этом роде. Так вот, для того, чтобы человек погиб, теперь, в мирное время, на своей лестнице, тоже должно слиться вместе: лампочка, лифт, телефонный звонок, лопоухий дядька из управления и еще куча каких-то обстоятельств, которых мы не знаем... Которых мы еще не знаем...

Он замолчал.

— Которых мы не знаем по собственной глупости, мягкотелости, беспечности, слюнтяйству и ротозейству. Вот какие слова я знаю, и каждый мой ровесник их знает. А вы уже знаете другое. Ну там иностранные детективы, долгоиграющие битлы, долговязые девицы...

— Длинноволосые юнцы,— подсказал Никулин.

— Что? Да, и длинноволосые юнцы, если хочешь. Наверное, этот Костурич тоже был длинноволосый, пока не остригли.

— Какое у вас впечатление, Гень-Ваныч?

— Впечатление! Это ты у нас впечатлительный... Ну, и как, понравился он тебе?

— Что ж тут может понравиться?

— Ну, все-таки сверстник. Красивый, неглупый. Ты мне не слова, ты мне мысли давай. Есть у тебя теперь мысли?

— Кое-что есть.

— Ну?

Никулин задумался. Потом сказал:

— Он очень слабый человек. А слабые люди...

— Погоди. Что значит слабый?

— Воля слабая. Жизнь свою разбил из-за пьянства, жену свою потерял, ребенка... Но, как известно, слабые люди способны бывают на преступление... Иногда скорее, чем сильные. Они таким образом самоутверждаются.

— Конечно, конечно! — согласился Всехсвятский.— Ладно, хватит нам говорить о делах, тем более все еще неясно... Давай просто мозги проветривать и языки... Расскажи-ка мне, видел ты эту «Мольбу»? Все кричали, кричали... Ты видел?

— Да.

— Ну и как?

— Понравилось.

— Вот где проходит водораздел поколений. Почему понравилось?

— Поэтично.

— Здравствуйте, пожалуйста, поэтично! Непонятно — это да. А я люблю понимать. Вот Киплинг, например... Не скажешь ведь, что непоэтично! Почему вы все так любите не понимать? Какому тайному... какой тайной потребности в вас это отвечает?

— Вы... серьезно, Гень-Ваныч?

— Я всегда очень серьезно, что ты! Ну?

— Ну... Сидите вы в зале, двести человек. И в другом зале еще двести. И показывают вам картину, скажем, идет теперь американская: «Если невиновен — отпусти». И вы сидите, двести человек, и сочувствуете красивому невиновному, а сочувствие ваше уже заложено в картину, запрограммировано. И назавтра вы встречаете, скажем Щавинского. Смотрел «Если невиновен»? Смотрел. И что? О чем вам говорить, взрослым людям? Вы получили вчера запрограммированную одинаковую пищу да еще сильно разжеванную.

— Так. Интересно. Ну, а вы что получили на «Мольбе»?

— Не только мы, но и вы. Толчок. Для мыслей, для чувств. Самое главное, для чего и существует искусство. Каждый получил толчок для себя.

— Искусство для некоммуникабельных,— сказал Всехсвятский.

— Искусство для взрослых.

— Для стариков?

— Для молодежи. Молодежь сейчас взрослее стариков.

Никулин замолчал, и лицо его выразило скромность, как всегда, когда он бывал собой доволен.

— Вы, значит, взрослые. А одна учительница только сегодня мне говорила — поколение инфантильных.

— Какая учительница?

— Соколовская. Ну, вдова этого... убитого.

— По поводу Костурича, наверное?

— Сработала твоя интуиция, ничего не скажешь. Ну, а возвращаясь к вашему искусству для взрослых... Стало быть, идем к бессловесному искусству? Простому, как мычание? Или сложному, как мычание?

— Мысль дороже слова,— важно сказал Никулин.

— Я с тобой не согласен по географическому признаку. В моем городе если что ценят бескорыстно, так это слово.

— В вашей солнечной Одессе,— сказал Никулин.

— В моей Одессе. На моей улице — на Гулевой-Карагозовой, Льва Толстого улице. В доме восемь.

— Любите вы Одессу? — спросил Никулин задушевно.

— Видно, недостаточно люблю, если уехал. Вот товарищи мои, которые там остались, те любят. У них на любой вечеринке первый тост: «За Одессу!» Как у запорожцев: «За Сечь».

— А отчего вы оттуда уехали, Гень-Ваныч?

— Филфака не было в тот год. А я без филфака не мыслил жизни. А ты, между прочим, где родился?

— Я в Ленинграде. И отец тоже. Мама у нас, правда, москвичка.

— А дед?

— Дед — не знаю где. Он профессором был в политехническом.

— Значит, горожане, во всяком случае. И я горожанин. До того горожанин, что на природе даже плохо себя чувствую. Петухи, собаки лают... Ну, а ты, наверное, с природой дружен. Турист или охотник?

— Скорее рыбак.

— Да ну? И подледный?

— И подледный. Вот станет зима — привезу вам свежей рыбы.

— И что же ты ловишь подо льдом, интересно?

— Смотря где, смотря когда. Ну, корюшку, например. Любите свежую корюшку?

Всехсвятский глядел на него, как на чудо. Никулин принял скромный вид и сказал значительно:

— Корюшка, между прочим, на себя клюет.

— Как это — на себя?

— Куски корюшки на крючок насаживаешь — тогда клюет. Самоедка.

— Ну,— сказал Всехсвятский,— она же не знает... Она просто видит — мясо. А если целую рыбину на крючок насадить, клевать не станет?

— Не знаю, не пробовал.

— Не станет. Закон сохранения вида. Внутри вида друг друга не едят.

— Не едят, но бьются на смерть. Тетерева, олени...

— Дались вам всем эти тетерева и олени!

Такого, чтобы одно стадо оленей шло на другое,— такого в природе не бывает.

— А муравьи? А пчелы?

— С целью грабежа. С целью грабежа — это по-звериному понятно.

— Вы все думаете о Костуриче, Гень-Ваныч?

— Ничего подобного. Я проветриваю голову. Погода как раз подходящая. Скажи, а когда утром ты просыпаешься, ты сразу знаешь, где ты, с кем ты?

— Конечно.

— И я раньше так. А теперь, уже несколько лет, просыпаюсь и долго еще плаваю. Пока выплыву — все круги жизни своей пройду. Начну с детства — и старею постепенно. Раньше мне самые лучшие мысли в эту пору приходили. Тебе как, приходят?

— Как когда. Иногда ночью приходят, иногда действительно, когда просыпаюсь.

— Ну вот. А я должен, перед тем как проснусь, еще такое путешествие проделать. В пятьдесят лет длиной, шутка ли? Ну, все — вот и метро. Ты на трамвай?

Никулин понял, что Всехсвятский хочет остаться один, и сказал:

— Да.

Всехсвятский отложил ручку и задумался.

Он думал о корюшке. Такая с виду ничем не примечательная рыбка, а, оказывается, хищница. Хищный тип. Тоже классификация не хуже всякой другой — хищный тип. Полная противоположность слабому. Слабый вечно в обороне: отступает, прячется, жалеет себя и жертвует ради себя другими. К тому же расчищает почву для хищника, отступая, уступая, расслабляя...

А хищный не в обороне, хищный в нападении. Не всегда в открытую. Хитрость ему тоже ведома, не просто хитрость — коварство. И собой он тоже дорожит. И тоже может выглядеть этакой безобидной корюшкой: не обязательно это лев, который рычит и трясет головой. Шакал — тоже хищник. И крыса. Подпольная крыса, злая, осторожная, запасливая.

Кто из них приятнее? Пусть решает, кто хочет. Кто опаснее для общества? Пусть решает, кто может. Вероятно, и тот и другой — каждый в свое время.

Слабые тоже совершают преступления. Для самоутверждения, Никулин прав. Или в порыве отчаяния, в состоянии аффекта, как говаривали в суде когда-то. И даже оправдывали тех, кто в состоянии аффекта. И кое-кто из коварных наверняка этим воспользовался. Прикинувшись слабым.

Может ли хищник прикинуться слабым? Может ли волк прикинуться... не овцой, а, скажем, бабочкой-капустницей?

Волк не может, а человек?

И все-таки... Добродушный болтун, рубаха-парень, уязвленный и униженный, опустившийся и разложившийся алкоголик Костурич — никак не хищный тип.

Мог бы он убить? Сильно напившись, разъярившись, забывшись? Когда человек теряет, как говорится, человеческий облик? Собственный облик теряет, собственный характер, и лезет из человека черная, старинная злоба.

Ведь не помнил же он, что сделал с Фоминым. Даже допускал, что мог убить.

Допускал, но в действительности-то этого не было! Полез на Фомина с кулаками, и тот кликнул милиционера. Вот и все дело. И все пятнадцать суток. Да сам еще неподдельно тревожился, не нанес ли Фомину какого увечья.

Неподдельно?

А не проще ли, не мудрствуя лукаво, допустить, что этой самой нелепой дракой неопытный преступник хотел перекрыть серьезное преступление? Пока будут искать того, кто убил Соколовского на лестнице, он отсидится в ДПЗ и сможет предъявить свои пятнадцать суток как оправдание: да, был я там, но не тем был занят.

Не годится. На биографию, на психику парня не накладывается.

Если это он,— стало быть, преступление давно задумано и подогнано к телефонным звонкам.

Что звонил не он, установлено.

Предположить, что действовал в сговоре с Яковлевым. Маловероятно. Разные возрастные группы, разные сферы общения. Но все равно надо проверить такое допущение.

Тогда, стало быть, Соколовского на лестницу он вызвал тоже с помощью сообщника, потому что его-то голос Соколовский знал. Значит, уже второй сообщник.

И из дому отправился, оставив дома ребенка с соседкой, захватив с собой орудие убийства. Тот самый мешок или чулок с песком.

Мстил, стало быть, обдуманно мстил за свою разрушенную семейную жизнь?

И как все аккуратно подгоняется. О телефонных звонках знал, с Соколовским отношения были плохие, в самое подозрительное время оказался в районе преступления и даже не пьяный: по собственному утверждению, дома перед уходом не пил ничего. Так аккуратно к нему, к Костуричу, стягиваются все петли. Будто кто-то их заботливо стянул.

Яковлев?

Тут тоже есть мотив. Все тот же античный мотив: мщение. По-современному — сведение счетов.

Может, не он орудие в руках Костурича, а Костурич — орудие в его руках?

Но тогда для чего бы он, Яковлев, развлекался телефонными угрозами? Разве он позволил бы себе эту невинную шутку, если бы действительно собирался убить? Пожалуй, и тут убийство не по профилю.

Телефонные звонки эти... Все путают телефонные звонки. Мальчишество, несерьезность, непохоже все это на Яковлева, продувного мошенника, умеющего пожить. Доски, наряды, начес, молодая знакомая на Южной — и месть, и убийство, и телефонные звонки с предупреждениями! Какой-то собор Парижской богоматери!

Всехсвятский достал из кармана пиджака записную книжку, нашел номер телефона и набрал его.

Ему ответил молодой мужской голос. Яковлева не было дома.

— А что передать? — поинтересовался голос.

— Ничего,— сказал Всехсвятский.— Я еще позвоню. Скажите, что звонил Евгений Иванович.

Видимо, сын. Студент, вероятно.

...Костурич не подходит, Яковлев не подходит. О звонках Яковлева знал от Аллы еще ее приятель Жуков.

Что такое Жуков?

Год рождения — сорок седьмой. Второй послевоенный год, осень. Карточки отменены, толкучки кончают свое существование, в магазинах опять все есть. В домах восстановили паровое отопление. Газа, кажется, еще нет, на коммунальных кухнях горят керосинки. И керогазы. У них с Таней не было керогаза — был примус. И в комнате тайком — электроплитка. Они только что поженились, и у них была комната. У них была ее комната. Он кончал юридический, после войны он не вернулся на филфак, а пошел на юридический. Решил, что это важнее. Для них это был счастливый год.

Костурич, кажется, тоже родился в том году. И Никулин. В общем, все они ровесники. Хотя Костурич, кажется, на год-два постарше.

Странное это ощущение — ровесники. В детстве очень острое, потом оно притупляется, а где-то после сорока возвращается опять, то с плюсом, то с минусом. Генерал, герой, член правительства, а мои ровесники. Или вот: Всехсвятский помнил, как один майор, политработник, в сорок третьем году, после Тегеранской конференции, когда все рассуждали о возрасте, сказал: мне-то совсем стыдуха — мне Гитлер полный ровесник. В один день мы с ним родились, можете себе представить!

И Всехсвятский понял это ощущение: как же, мол, я допустил, чтобы мой ровесник натворил таких дел!

Как же он сам допустил, чтобы его ровесника убили!

Может быть, если бы он вызвал Соколовского, поговорил с ним, тот был бы теперь жив. Он мог знать то, чего не знала его дочь, его жена. Человек этого возраста не очень-то делится с домашними своими служебными тревогами,— хватает с него и домашних. Брак дочери, развод дочери...

Думать об этом теперь поздно. Итак, Жуков, Кирилл Андреевич, 1947 года рождения. Родился в Ленинграде, родители служащие, разошлись, окончил в Ленинграде восемь классов, окончил ПТУ, работал на часовом заводе, отслужил в армии, вернулся, учился на курсах повышения квалификации, работает в отделе ремонта часов в Доме быта, благодарности, премии поквартальные... Не женат, в быту скромен...

Что могло связать Жукова и Аллу? Жукова и Костурича?

Правда, теперь молодые компании не слишком замкнуты по профсоюзному принципу. У них разнообразные интересы. Музыка там, литература, искусство. Хотя литература, кажется, не в моде. Музыка на гребне. Джазы, джазисты, джазмены.

Джаз сейчас — дело серьезное, он требует всего человека. Бывает, человек даже бросает работу и становится джазменом.

Нет, тут не джаз, не музыка: тут что-нибудь другое. Да и мало ли что может найтись общего у молодых людей, сверстников! Тут и вообще может быть детская дружба. Может, жили когда-то в одном доме или в школе учились...

Инфантильное поколение, лишенное чувства долга...

Кто только не ругает это поколение! Потому что видно то, что сверху, а сверху — Костурич у каждого пивного ларька. Умницу, интеллигента, одаренного работягу Никулина не видно. Не выпало ему Сталинграда к двадцатипятилетию. Так хорошо же! Так о чем беспокоиться? Разве он хуже, чем был, скажем, Горя Полянский, студент, погибший в ополчении в сорок первом? Он знает больше, он одет и вымыт лучше, он больше прочел книг, повидал кинокартин, побывал за рубежом. Проще говоря, он счастливее,— проходит испытание не войной, а мирной жизнью. В конце концов живем-то мы не для войны, а для жизни. Мир шире войны. Даже само слово русское такое: «мир», то есть вселенная, весь мир — то есть все. И вечность прихватывает.

Никулин ясен, не ясен Костурич.

И чего это они все поперлись в кино? Алла со своим Жуковым — и Костурич. Ну, Алла с Жуковым — ладно. Но Костуричу-то зачем понадобилось?

Назавтра вызвана соседка Костурича Надя; потом Яковлев, потом «муж Марьи Николаевны» и еще кто-то из той же компании. Длинный, нелегкий день. Может, и даст что-нибудь. Потом Жуков. Про этого пока только известно, что ему не за что было мстить Соколовскому.

И вообще — что могло быть общего между Жуковым и Соколовским?

Запутала все эта девица — впутала и приятеля и мужа в это дело.

...Костурич — человек, лишенный чувства долга. Как ощущает жизнь человек без чувства долга? Мы вечные должники, такими родились, такими состарились, нам не понять.

VIII

Куда деваться? Куда деваться от себя?

Если бы кто-нибудь обвинял! Пусть бы кто-нибудь обвинял! Лучше всего по суду. Если бы была такая статья! Тогда можно было бы оправдываться.

Ну, пусть бы не по суду. Пусть бы соседи, знакомые, товарищи по работе обвиняли, нападали бы все гуртом, сколько их есть,— она бы выстояла и объяснила бы, убедила.

Пусть бы мама сказала. Вот именно, пусть бы сказала. Потому что она так думает. Она все время думает это, хотя никогда ни за что никому не скажет. Может быть, даже себе не говорит. Она из тех людей, которые думают, что вещь не существует, пока не названа. Чувство не существует, поступок не существует... Она не называет это даже про себя — и этого как бы нет. И все-таки:

— Почему же ты мне не рассказала, Алла? — И, предваряя ответ: — Почему ты боялась меня потревожить?

И сразу утешать:

— Нет, я тебя понимаю. Я и сама бы, наверное, не стала говорить. Нет, ты все сделала, как надо...

А ведь она не все знает. Всехсвятский, спасибо, не доложил ей, что она рассказала Кириллу, а тот зачем-то Алику...

Господи, если бы не только Алику! Если бы еще кому-нибудь! Еще двум, еще трем. Почему он не мог бы этого сделать? Ведь когда

она ему рассказывала, они не знали, что так будет.

Но это Яковлев. Что бы там ни думал Всехсвятский, на что бы он ни намекал, это Яковлев. Пусть не сам, но это Яковлев.

Кирилл не звонил ей, и она ему не звонила; после похорон она его не видела. Ей это не казалось странным, их отношения вдруг проявились во всей своей неистинности. Смерть отца — это была истина; мать, Лодька — это была истина, и Алик...

Об Алике думать не надо. Но до чего же, оказывается, он ей нужен. Со всеми своими разговорами и выяснениями, со своей странной наивностью, которую он дотащил до такого возраста. Он не всегда понимал, но всегда мог все объяснить — по-своему, и ему бы она могла все сказать про вину, и он, может быть, стал бы на нее нападать, а она бы защищалась, и все стало бы на место.

И он бы объяснил ей, хоть как-нибудь, почему он прошел мимо нее, не глядя.

Он объяснил бы, что он делал у них на углу тогда, как он туда попал, неужели мало гастрономов в городе, в его собственном районе? Он бы объяснил, потому что этому есть, конечно, объяснение. И не то, которое...

Но он тянет эти пятнадцать суток, и его не увидеть, и нет и не будет ей покоя, пока она его не увидит.

Всехсвятский, конечно, уже знает про пятнадцать суток. Он ее не трогает, не вызывает, не звонит. Он делает свое дело — ищет концы, чтобы связать из них петлю. Кому-нибудь эта петля придется по мерке, по шее: кому-нибудь, у кого не будет этого самого алиби. У Яковлева, уж конечно, будет алиби.

Если бы Всехсвятский спросил ее прямо, она бы сумела ему объяснить. Нет, не объяснить — она бы просто поклялась ему здоровьем сына или чем бы там он захотел, что это не Алик. Она присягнула бы, что это не Алик, если бы была у нас такая присяга. Она не верит... Нет, она именно верит. Верит, что это не он. Верит, хотя никто ее об этом не спрашивает.

Ее спрашивают о другом:

— В каких отношениях ваш муж был с вашим отцом?

Работа не очень спасает. Если бы поле... Но какое может быть поле в декабре! Надо ехать в контору. Автобус, потом метро, потом трамвай... Какой-нибудь час с лишним в плотном пчелином рое... Но потом — наконец-то! — несколько десятков метров пешком: по улице, по воздуху, по асфальту, еще не присыпанному, застекленевшему за ночь... Тут уже думаешь о работе: кто там, что там... И комната отдела: девять женщин, пять мужчин. Геология тоже становится женской профессией.

Девять баб, девять петрографинь, сидят, рассматривают шлифы под микроскопом, смотрят в бинокуляры, раскапывают зернышки на фракции. Мужики анализируют свои разрезы по канавам. Потом шефиня напишет блистательный отчет... Ладно, сочтемся славой!

Нет, не надо грешить, все-таки на работе легче. Уже потому легче, что здесь своя жизнь. И милая Галя — новая девочка, только что институт окончила: вчера, в разгар рабочего дня, на глазах начальства перегнулась к ней через стол и таинственно:

— Слушай, как ты думаешь, если мы все сейчас начнем гудеть?

— Зачем гудеть?

— Ну как зачем? Просто гудеть!

И хорошенькое ее личико выражает недоумение: неужели Алла не понимает, как весело это было бы: гудеть, не разжимая рта, на глазах у строгой шефини.

И когда она так на нее смотрит, Алла начинает понимать, что это и впрямь будет очень интересно.

На работе все ясно, четко, и самые неожиданности, в сущности, ни для кого не бывают особенно неожиданными. Развелись супруги Мелковские, Логинов защитил диссертацию и позвал на банкет только нужных людей, Корытов оказался-таки сволочью, когда дело пошло о том, кому ехать в экспедицию... Все известно, все предсказуемо. Новичков тут мало, и новички довольно скоро становятся понятны. Она сама еще не ветеран, но и новичком считаться не может — пять лет!

Очень емкие оказались эти пять лет. В личном плане. Сколько в них вместилось — целая жизнь. Целая супружеская жизнь, начатая и законченная. А на работе и не чувствуешь, что столько лет прошло. Текучести кадров тут нет, и поэтому никто не стареет. По-прежнему зовут друг друга: девочки, пошли обедать! И выглядят все девочками, как и пять лет назад: следят за собой. Шефиня — та даже моложе стала: красит волосы «гаммой», седины не видно, худая, энергичная, быстрая. В прошлом году сама в поле выезжала.

Ей-то, Алле, в этом году в поле не выехать: нельзя будет мать оставить одну. Лодька с детским садом на дачу отправится, и мать окажется совсем одна в квартире...

Нет, все-таки работа лечит. На работе — труд, а место это, институт, отдел, где, как бы там ни было, все свои.

Толя Иванчихин в экспедиции, Наташа одна справляется на работе, дома с ребятами... Даже бюллетенит редко. Правда, они у нее уже школьники. Близнецы, тоже Толя и Наташка. Оба на продленке. Вечером укладываются спать сами, если мать куда-нибудь уходит. Сознательные ребята. А когда к ним приходят гости, никогда не вылезают, не пристают. Отлично их воспитали. Лодька не такой. Правда, у них семья в полном комплекте: и отец и мать.

Есть же такие образцовые семьи!

И Толя защитил диссертацию, и Наташа тоже защитит через год. А ей вот о диссертации и думать нечего.

Ей Наташа скомандовала:

— Слушай сюда. Тебе надо мириться с Аликом, брать его в дом, устраивать к нам на работу — ну, хоть истопником, хоть механиком. Поскольку ты все равно его любишь.

Наташа всегда была такая: не чересчур логичная. Разве это любовь — то, что у нее к Алику?

Наташа не может забыть, как у них все было вначале.

Но это когда было! Разве могла она тогда подумать, во что это выльется? Чем закончится?

И все-таки нет, не может быть того, на что намекает Всехсвятский. Ему надо было бы объяснить другое, может, он тогда понял бы, что Алик просто ребенок. Очень большой, очень нелепый и с недостатками, даже пороками взрослых, но все-таки ребенок. А главное — добрый. А Всехсвятский этого никогда не увидит, потому что, если он будет допрашивать Алика, Алик наверняка начнет выдрючиваться.

Любовь! Для того, чтобы назвать то, что у нее к Алику, нужно было бы выдумать совсем какое-то новое слово. Пока что этого одного слова нет, никто не придумал. И хорошо, что не придумал. Не названо — значит, и нету ничего. Мама права.

Она поехала к Кириллу на работу.

Все кончилось — в тот самый день кончилось, когда они смотрели «Мертвый сезон». Когда она вдруг почувствовала, что ей тут не место, что она должна уйти.

Что это такое было? И он вроде бы не удивился нисколько. Что это было? Сидели рядом — и как будто за тысячу километров друг от друга. Отчего это случилось и почему одновременно у обоих?

Она приехала в Дом быта, где он работал, поднялась на второй этаж и сразу увидела его.

Он ее не увидел. Он разговаривал со статной девушкой в голубом рабочем халате. У нее было яркое лицо и короткие седые волосы. Она смеялась: закидывала голову, показывала белое горло, выпячивала грудь. А он смотрел на нее так, что каждому было ясно: это близкие люди. Женщины проходили мимо них в парикмахерскую, в маникюрный зал, в косметический кабинет, поглядывали — и сразу же отводили глаза: так все было ясно, что неприлично было глядеть.

И Алле тоже надо было бы отвернуться, но она стояла и смотрела.

Наконец, он ее заметил. Его оживленное лицо сразу остановилось и застыло. Потом он улыбнулся, что-то сказал женщине и подошел:

— Какими судьбами?

— Да вот, пришла...

— Я думал, совсем меня забыла. Не звонишь, не появляешься нигде...

— И ты ведь не звонишь,— сказала она, и это, помимо ее воли, прозвучало упреком.

Он сказал очень серьезно.

— Мне было неудобно.

— Я понимаю,— сказала она.

Она и правда понимала. Ей самой было неудобно: неудобно, что она пришла сюда, что зачем-то разговаривает с ним тут в холле, у всех на виду. Девушка с седыми волосами осторожно осмотрела ее, потом, видимо, успокоилась и ушла. Но молодая кассирша лукаво поглядывала на них со своего высокого табурета, и хорошенькие парикмахерши в голубых коротких халатиках то и дело шмыгали мимо. Она посмотрела на него, надеясь, что он поймет, как ей неловко тут стоять, что-нибудь скажет, уведет — ну, хоть в сторожку куда-нибудь. Но глаза его словно стеклянной пленкой покрылись — он ничего не хотел ни видеть, ни понимать, он, наверное, думал: зачем она пришла? Небось, выяснять отношения! Господи, неужели им всем делать нечего, этим парикмахершам, снуют, как муравьи!

— Мне надо спросить тебя...

— Да?

Вежливо, с легкой улыбкой.

— Зачем ты... Нет, я не то хотела сказать. Ты только Алику рассказал про звонки? Ну, про те звонки, помнишь...

— Только! — сказал он, пожав плечами.— А что, разве еще кто-нибудь знал? Понимаешь, меня этот твой следователь тоже спрашивал: не рассказывал ли я еще кому-нибудь? Зачем бы я стал рассказывать?

— Но ведь Алику-то ты зачем-то сказал!

И опять это прозвучало упреком. Что за странность, она вовсе не собиралась его упрекать ни в чем. Но на него это произвело неожиданное действие: стеклянная пленка растаяла, он посмотрел на нее очень серьезно:

— Но ведь я это ради тебя... Ты вспомни!

Она и так помнила. Но уж очень ей хотелось, чтобы он сказал: а, да, при этом было еще пять человек.

— А он влетел на пятнадцать суток! — сказал Кирилл сочувственно.— Бедняга. Там ведь и передач нельзя!

— А тебя вызывали? — спросила Алла.— Зачем?

— Зачем! Для галочки! Машина должна работать. Их ведь тоже, наверное, прижимает начальство: план давай, план. Как раз конец месяца был, самый аврал.

Алла махнула рукой.

— Все бесполезно. Совершенно ясно, кто это, но они ничего ему не сделают. Ах, да ты же не знаешь.

Она в двух словах рассказала ему про Яковлева.

— Значит, нашли-таки! — сказал Кирилл.— Хоть с опозданием, но нашли! А я и не спросил. Хотел спросить, но не спросил.

— Скажи,— спросила Алла — как ты думаешь: это Яковлев сделал?

— А кто же? Больше некому!

— А этот Всехсвятский думает, что...

Она остановилась. Даже Кириллу не надо было говорить об Алике.

Но Кирилл понял.

— Думаешь, тянет на Алика?

— Не то, чтобы определенно на него, но... В общем, он все время о нем расспрашивает.

— А! Он обо всех расспрашивает. Всех обо всех. Меня о тебе расспрашивал, о наших отношениях, давно ли знакомы.

Алла думала о своем.

— Знаешь, он ведь невыдержанный, Алик. Наверное, он ведет себя там как-нибудь вызывающе... Сказать бы ему!

— А как скажешь? Нет, у Алика все же есть голова на плечах, ты не переживай. Хватит с тебя переживаний.

И потрепал ее по плечу.

— Тут все дело в том,— сказала она, и ей трудно было это выговорить,— что Алик как раз в это время был недалеко от моего дома. Ну, с компанией этой, у гастронома...

— Этого я не знал,— сказал Кирилл.— В это самое время?

— Примерно. Его все видели у этого гастронома — знаешь, у нас на углу? Напротив кино, наискосок.

— Странно,— сказал Кирилл.— Ведь ты говорила, он ребенка взял на субботу?

— Вот так нелепо складывается,— сказала Алла.

И подумала, что ни к чему было сюда приходить.

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

ПОВЕСТЬ

Руфь ЗЕРНОВА

Рисунки И. УШАКОВА.

Дома все было, как обычно — как теперь стало обычно. Мать привела Лодика из детского сада и кормила ужином — он ел неохотно, она его уговаривала. Но иногда она замолкала, глаза у нее пустели, она поднимала руку к затылку, и гримаса боли появлялась на ее лице. Этот жест появился у нее вскоре после похорон. Алла понимала, что это значит: мать снова и снова вместе с отцом спускалась по лестнице и каждый раз принимала на себя тяжелый удар в затылок — тот самый удар, который прекратил его жизнь. Жест этот повторялся у нее почти механически, а даже Лодя это заметил. Но он нашел средство: он прижимался головой к бабушкиному плечу и спрашивал ласково:

— Опять головка заболела?

И она возвращалась на его голос, и на некоторое время все проходило.

Надо было жить дальше. Надо было снести в комиссионный магазин отцовские вещи: два костюма, два пальто и плащ, все немодное, недорогое, дадут копейки,— но надо было, чтобы эти вещи ушли из шкафа. Рубашки, белье, обувь отдали уборщице из «Невских зорь», которая вымыла окна. И когда уйдут носильные вещи — какой материальный след останется от человека, который был в этом доме самым главным несколько десятков лет?

Мать сказала в один из первых дней:

— Ты переходи в нашу комнату. Расставляй все как-нибудь по-новому. Стол отцовский занимай. А я с Лодиком буду.

Алла сперва не соглашалась — родительская комната была больше, угловая, с двумя окнами. Но мать сказала:

— Тяжело мне тут!

Подняла руку к затылку, лицо ее исказилось, и Алла поняла, что спорить нельзя. Но, убирая, переставляя мебель, вешая на старые, еще отцом вбитые гвозди окантованные фотографии из своей комнаты — двухлетний Лодька в белом костюмчике с ведерком, бородатый Хемингуэй и лошадиная голова,— она думала, что все это полумеры, что надо менять квартиру...

Ящики отцовского стола были пусты, кроме одного. Во всех остальных прежде лежали их общие с мамой вещи, письма, фотографии, общесемейные документы. Она их унесла — переложила к себе. Но один ящик, отцовский, всегда запиравшийся на ключ, она не тронула. Там были ордена — Красной Звезды и «Знак Почета», медали, документы к ним и тетрадка, старая школьная тетрадка тридцатых годов с Вещим Олегом на обложке. Между ее страницами лежали справки с мест работы. Их было немного — одна довоенная и две послевоенные; отец всюду работал подолгу. Теперь тут же лежали его часы и запонки. Мать сказала Алле: это Лодику, когда вырастет.

Часы были карманные, серебряные, луковицей — ни у кого таких не было. В детстве Алла удивлялась: отчего отец не сменит часы, не носит такие, как у всех,— браслеты. Отец строго возражал: память. Память военных лет. Посмеиваясь, вспоминал: в сорок пятом году, в первые дни после Победы, ехал он на лошади в штаб, навстречу — казак, тоже конный. «Слушай, есть у тебя часы?» «Есть!» «Махнемся?» «Махнемся!» И махнулись. Казаку достались отцовские, наручные, фирмы «Мозер». А отцу — вот эти.

— Молодые были! И радость такая была в те дни сумасшедшая!

— Папа, а разве ты умеешь ездить на лошади?

— Умею — не умею... Если надо, человек все умеет, ты это запомни.

Когда Алле впервые пришлось сесть на лошадь, она здорово боялась. Но вспоминала: человек все умеет, когда надо. Ничего, научилась. Фотография этой лошади теперь висела у нее в комнате — Алик ее сделал в то первое лето. То есть тогда он только фотографировал, а напечатал потом, когда они уже были мужем и женой.

Отец ведь тоже не получил высшего образования — почему же он так настаивал, чтобы Алик поступал в институт? Наверное, именно поэтому.

Алла держала в руке тяжелые часы, и они согревались, словно оживая. Но не шли. Никто их не заводил с того самого дня... Они были тогда в кармане отцовского пиджака. Отец говорил: к этим часам жилетку надо, цепочку и брюхо. Ничего этого у него не было, однако часы носил.

В который уж раз Алла открывала крышку этих часов, тяжелую двойную крышку; смотрела на полированную поверхность и старалась ни о чем не думать. Ужас сколько стало вещей, о которых нельзя думать. О которых надо молчать... ради того, чтобы не пострадал невинный.

Отец — какой он был тогда? Молодой, веселый, счастливый... Скачет на лошади — или не скачет, едет трусцой; если бы срочное дело, наверное, на машине бы поехал... Едет по этой странной Германии, и казак навстречу, как из фильма или из Пушкина... «Махнемся не глядя?» «Махнемся...» Май, зеленый май, знакомство родителей, начало их любви... Все это на самом деле было, не только в книгах и в фильмах...

Отец говорил: память. Главное — это память. Человек из-за памяти и стал человеком.

Он говорил это, когда Алик стал пить, разрушать свою память. Он ведь хотел, чтобы все было хорошо, хотел, чтобы Алик одумался...

И все-таки: кто же это сделал?

IX

Когда Алла ушла, Кирилл отыскал Риту не сразу. На месте ее не было: клиентки, ожидавшие в красных креслах-раковинах, волновались: а где второй мастер?

И маникюрша Света, Ритина напарница, огрызалась:

— Вы что, думаете, мастер не человек? Выйти на минутку не может?

Рита стояла на площадке внутренней лестницы и курила, и, как всегда, вокруг нее было несколько мужчин. Сколько есть мужчин на этаже — все вокруг Риты.

Она бросила на Кирилла рассеянный взгляд сквозь дым и продолжала разговаривать с дамским мастером Юрой, который так и раздувался от Ритиного внимания.

— Эту седину надо уметь делать. Мне ее парикмахер из «Европейской» делает, по знакомству.

— Хм! У них в «Европейской» и материалы другие.

— Нет, Юрочка, не материалы. Ты, Юрочка, мастер молодой, ты, Юрочка, еще не знаешь: главное — это руки.

«Юрочка», «Юрочка»... Это она ему за Аллу, конечно.

Он усмехнулся и сказал:

— Клиентки уже скандал подняли, а у мастеров перекур?

— Подумаешь!— пробурчал Юра.

Рита отставила в сторону длинную руку с сигаретой и смотрела на кольцо с малахитовой розой, Кириллов подарок. Кирилл подошел, взял под локоток:

— Разрешите вас проводить на ваше рабочее место?

Ее плечо послушно поддалось, прижалось, а лицо было спокойное, как всегда. Это ему в ней нравилось — постоянное спокойствие лица, что бы с ней ни делалось. Она серьезно ухаживала за своим лицом. Она даже глаза не подводила — от этого морщины делаются, как-нибудь и без теней для век она обойдется. Она говорила: «Самое главное — это сохранить лицо, я в одной книге прочла». Она сохраняла; оно светилось ровным светом холеной кожи, тугой, плотной, розовеющей там, где нужно. А все потому, что она не держала себя впроголодь и не позволяла себе переживать и расстраиваться.

В первое же утро она пожарила ему яичницу-глазунью, как он любил. Оказалось — умеет: желтые глазки под белой пленкой, соли как раз, кофе тоже сделала так, как нужно: ложка на чашку. И все с тем же спокойствием, обычностью, как будто век тут жила. Он ее похвалил, а она сказала без удивления:

— Ты что же, думал, что я в жены не гожусь? Из меня жена хорошая, я все умею делать. Современная женщина должна все уметь. Вот в выходной я тебе обед приготовлю.

Он посадил ее к себе на колени. Она спросила:

— Так как, хочешь, чтобы я к тебе переехала?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—44.

Свой кукольный театр... Знакомство с авиацией начинается с заводского детского сада.

И, так как он медлил с ответом, рассудительно сказала:

— Удобней, пожалуй, так было бы. И тебе спокойнее.

— Ишь ты! — Он засмеялся.— Обо мне заботишься!

— А как же? Заботясь о своем муже, женщина заботится о себе.

— Так я же тебе не муж!

— А это все равно,— сказала она и встала с его колен, чтобы подлить горячего кофе в его чашку. Налила и себе, села напротив и стала пить, тихонько глотая. Кирилл спросил:

— Ты сколько раз замужем была?

— Не так и много,— сказала она.— Два раза. Мне ведь уже двадцать пять. А ты почему не женатый до сих пор? По себе не находил?

— Пожалуй,— сказал он.

— А я по тебе?

— А ты как думаешь?

— Думаю, да.

— Может, ты и права.

Так оно и продолжалось. О переезде разговора больше не было. Он не звал, она спокойно ждала.

Когда он увел ее с лестничной площадки, она спросила:

— Это кто же была? Моя соперница?

— Да нет, какая соперница. Алла это, помнишь, я тебе говорил, геологиня, а муж — алкаш...

Рита сказала:

— Она сама неинтересная. Но некоторые мужики таких любят.

— Каких таких?

— Ну, вот таких. Нервных. Она, наверное, жутко нервная. По лицу видно. Да разве мужиков поймешь!

Разговор со следователем был непродолжительный; следователь, похоже, стеснялся, что его вызвал. Спросил, давно ли Кирилл знаком с Аллой и Костуричем; видел ли когда-нибудь Аллиного отца; слышал ли от Костурича угрозы по его адресу.

На этот вопрос Кирилл ответил:

— В трезвом виде не слышал никогда. В трезвом виде Алик... Костурич — очень мягкий человек.

— А в пьяном?

— Кто же может за себя отвечать в пьяном виде? Тем более что Костурич скорее всего уже болен алкоголизмом.

— Так, значит, в пьяном виде он угрожал Соколовскому?

— Да он всему свету угрожал в пьяном виде. И мне и жене своей. Перед пьяным все на свете виноваты.

— А какие именно он произносил угрозы — не помните?

— Да знаете, это даже разобрать было трудно. Я не прислушивался. Болтал спьяну что-то, всех поминал... Но таких уж совсем прямых угроз я не помню. Это ведь бред, товарищ следователь, понимаете, пьяный бред. Говорю я вам об этом просто потому, что вспомнилось.

— А вы часто видели его пьяным?

— Приходилось.

— Соколовская говорит, что вы даже иногда его домой отвозили.

— Было.

— А скажите, зачем вы ему рассказали про телефонные звонки? У вас была при этом какая-нибудь мысль?

Кирилл посмотрел на Всехсвятского. Круглое лицо, круглые очки. Не взрослое какое-то лицо, мягкое, хоть и в морщинах, и сосуды полопались на скулах. Кирилл сказал:

— Я не понимаю вопроса.

— Ну, я хотел спросить: может, вы предполагали, что это Костурич звонил?

Кирилл подумал и покачал головой.

— Нет, мне это в голову не приходило. Да и Алла узнала бы голос, верно?

— Так зачем же вы ему об этом рассказали?

— Да просто сказал, к слову пришлось. Он стал мне про жену говорить, я и сказал: брось ты, ей сейчас и без тебя хватает. И рассказал.

— А больше вы никому не рассказывали? Точно?

— Никому, совершенно точно.

— Понятно,— сказал Всехсвятский.— А скажите, у вас с Соколовской какие отношения?

— Нормальные.

— Нормальные, значит, обыкновенные?

— Ну да, обыкновенные.

— Но, видимо, вы были друзьями, если она только вам одному рассказала об этих телефонных звонках?

— Видите,— сказал Кирилл, помолчав,— она мне доверяла, Алла. Особых друзей-мужчин у нее не было. Она еще не отошла, понимаете? Ну, а я действительно с Аликом... с Костуричем... возился. Ну, домой его отвозил иногда. Вот с тех пор, наверное, она и... мы стали ближе. Только это не то, что вы думаете. В общем, я... у нас были спокойные товарищеские отношения.

Всехсвятский кивнул.

— А теперь вы часто встречаетесь?

— Теперь? Нет. Последнее время не вижу ее. Она мне не звонит, я ей не звоню. Она в переживаниях... И потом, как раз это все случилось, когда мы с ней в кино были. Я думаю, это на нее психологически подействовало.

— Она ведь тогда, кажется, не досидела до конца?

— Да, она ушла раньше. Я, между прочим, так до сих пор в толк не возьму: отчего она вдруг затревожилась, как раз в это время... Удивительное все-таки дело. Не захочешь — поверишь в телепатию.

— Скажите...

Кириллу показалось, что Всехсвятский смутился и ищет слов. Он ободряюще подался вперед — давайте, не стесняйтесь, спрашивайте. Этот следователь удивительно непохож был на следователя, Алла верно заметила.

— Вот вы с Соколовской встречались часто, в кино ходили, она вас посещала... У вас нет девушки?

Кирилл улыбнулся:

— Есть!

— Вы их не знакомили?

— Нет. Не пришлось познакомить. Но они, так сказать, в разных плоскостях. Очень разные.

Кирилл подумал, что Всехсвятский охотно бы расспросил подробнее, но стесняется, тем более что к делу это уж никакого отношения не имеет. Хочет знать, как сейчас бывает у молодежи в смысле сексуальной революции. Кирилл чуть не усмехнулся, когда об этом подумал.

Всехсвятский спросил о другом — не решился, видно, развивать скользкую тему.

— Скажите, а как вы познакомились с ними? С Костуричем, с Соколовской?

— То есть что между нами было общего? Понимаю вас. Я часовщик, Соколовская — геолог, разные вроде люди, разная среда... Ну, во-первых, у нас общие приятели есть, художники. Молодые художники, не очень известные еще, но, по-моему, способные ребята. Прикладники. Камушки обрабатывают. И я этим иногда занимаюсь. В плане хобби.

— Дорогие камушки?— спросил Всехсвятский.

— Не очень. Ну, янтарь, бывает, привезут из Прибалтики. Или яшма. Вообще-то хотелось бы, конечно, с настоящими камушками поупражняться, пока они есть. А то даже малахита не стало.

— А откуда у вас это умение — с камушками?

— Настоящего умения, к сожалению, нет. Присматривался когда-то. У меня дядя был ювелир, из последних могикан. Он не хотел меня приучать к делу, я сам приглядывался. Он хотел, чтобы я по какой-нибудь крупной специальности пошел. Я и пошел — поступил в строительный. Не мое оказалось дело, я довольно быстро разобрался.

— Я тоже сперва поступил на филологический,— сказал Всехсвятский.

— Ну, так вы знаете, каково это — сидеть на лекциях и знать, что только теряешь время. Я и не стал терять. Ушел в ПТУ. Не для меня оказалась крупная специальность. Ну, если бы был талант — пошел бы в художники. Но без таланта — лучше так, как я. Не буду врать, некоторые поделки делаю дома, на жизнь хватает, не жалуюсь.

— Вы могли поступить в объединение. Ну, скажем, в «Русский самоцвет».

— Мог бы, конечно. Меня даже звали туда. Но я не захотел. Не стоит превращать хобби в службу.

— А свою основную работу вы любите?— смущенно спросил Всехсвятский.

Жуков пожал плечами:

— А зачем ее любить? Она в этом не нуждается. Работа как работа. Дает возможность жить, дает возможность заниматься другим делом, более для меня интересным. Пойди я, как вы советуете, в «Русский самоцвет», я бы делал там более интересное дело. Но не всегда то, которое хочу делать. У себя дома я сам себе хозяин. Хочу — работаю, не хочу — не работаю. Иногда делаю интересные вещички из материала заказчика, по рекомендации. В прошлом году в Прибалтику ездил, там коечему научился. А вообще у нас сейчас ювелиры, как мамонты. Найти невозможно. Пора уже устраивать заповедники — пусть там они шлифуют, гранят, филируют, взвешивают караты; пусть это будет художественный промысел, охраняемый государством, тогда, может, и я пойду в ювелиры.

— Понятно,— сказал Всехсвятский.

Он вел этот разговор, ничего не записывая, протокол допроса он давно уже закончил. В дверь постучали, появился милиционер. Всехсвятский кивнул ему:

— Привели, товарищ Игнатенко? Пусть подождет минутку, мы сейчас кончаем. Я вызову.

— Подпишите.— Он передал Кириллу два листка бумаги, на которых уместились его показания.

Кирилл перечитал их внимательно: познакомился с Соколовской у геологов Иванчихиных два года назад; тогда же там же познакомился с Костуричем; с родителями Соколовской не был знаком; дома у нее не бывал; о телефонных звонках узнал от Соколовской; рассказал о них только Костуричу; в день убийства Соколовского Н. Е. был в кино с Соколовской А. Н.; Соколовская ушла после первой серии, он остался досматривать; из кино вернулся домой...

Тут он поднял глаза и встретился взглядом с Всехсвятским.

— Я еще позвонил из кино по автомату и пригласил к себе мою знакомую,— сказал он.

— Хорошо, внесем это в протокол.

...О смерти Соколовского Н. Е. узнал от Натальи Иванчихиной. Соколовскую А. Н. с тех пор видел только на выносе; не имеет представления, кто мог убить Соколовского; слышал, как пьяный Костурич грозил расправиться с тестем...

— Я этого не говорил,— сказал Кирилл, откладывая протокол.

— Читайте, читайте,— сказал Всехсвятский добродушно.

— Нет, позвольте. Я ведь не так говорил, как вы записали. Я говорил...

— Вы до точки дочитали или до запятой?

— До...— Жуков взял в руки отложенный листок, посмотрел.— До запятой.

— Ну, так дочитайте до точки.

...грозил расправиться с тестем, но в состоянии алкогольного опьянения Костурич агрессивен и угрожает всему свету.

— Вы считаете, что ваша мысль выражена неточно?

— Да нет, просто я это говорил не для протокола.

— Что ж, у вас одни мысли для протокола, а другие для себя?

— Нет, просто вы так повернули, что... тень падает на Костурича, а я этого не хотел.

— Но это имело место в действительности?

— Ну, я, во всяком случае, этого не выдумал.

— Ну, значит, подписывайте.

Кирилл вздохнул и подписал оба листка.

Потом он поднял глаза и спросил:

— Вы собираетесь меня как свидетеля вызывать?

— Не знаю еще,— сказал Всехсвятский.— А что, вы имеете что-нибудь против?

— Не то что против. Но я оформился в туристскую поездку. Если все будет нормально — через неделю уеду. В капстрану.

— Надолго?

— Девять дней.

Всехсвятский на минуту задумался, потом сказал:

— Я вам сообщу. Думаю, что все будет в порядке, но на всякий случай... В общем, я дам вам знать.

Когда он вышел из кабинета, он увидел в полумгле коридора давешнего милиционера и Алика. Они сидели рядом в унылом молчании. Алик его не заметил: он сидел нахохлившись и смотрел себе под ноги; казалось, его стриженной под ноль голове холодно с непривычки, и он потому втягивает ее в плечи. Кирилл подумал, что не узнал бы его, если бы не был готов к этой встрече. Укатали сивку.

Он не прошел мимо — он пошел в другую сторону. Спустился по другой лестнице. Он шел по длинному коридору и думал, что надо позвонить Рите, хоть завтра и рабочий день. Она обрадуется. Он представил ее себе и усмехнулся.

О том, что только что было в кабинете Всехсвятского, он думать не хотел. Он умел отключать лишнее и ценил это в себе. Для отключения Рита тоже была хороша: заботлива, немногословна, послушна.

Об Алле он не вспомнил — она тоже была отключена.

X

Всехсвятский просмотрел протоколы всех сегодняшних допросов, потом записал на библиотечной карточке:

1. Яковлев. К. не знает.
2. Надя Углова.
   а) К. знает.
   б) Знает его знакомых.
   в) Я. не знает.
   г) Говорит про тел. зв.
3. Баскаков. Не знает Я., не знает про тел. зв.

Он повертел в руках карточку, потом позвонил, чтобы привели Костурича, и стал наводить порядок у себя на столе.

Надя Углова знала про Костурича все и обо всем судила весьма неожиданно. По ее мнению, в незадачливой судьбе Костурича виновата только одна женщина: его собственная жена. До женитьбы все было, как надо. А тут человек попал в чуждое окружение, не смог приладиться и в результате спился.

— Семья Соколовских — такая, знаете, буржуазно-порядочная семья. А он не может ужиться с такими людьми. Он, правда, свою мать не очень ценит — может быть, он и прав, но не в этом дело! — но все-таки, по-моему, ему ближе даже такой уклад, как у его матери... Он особенная натура, Алик, его надо понимать, а кто мог его понять у Соколовских? Эта Алла! Ей только одно и нужно было — чтобы он деньги зарабатывал! Она его эксплуатировала!

Всехсвятский слушал Углову с интересом.

— Но ведь он попал в заключение за эту историю с ларьком еще до своей женитьбы?

— Вы что, думаете, он тогда был огорчен? Плохо вы понимаете нынешнюю молодежь! Он считал, что он школу жизни проходит. Он... ему главное самим собой оставаться, Алику. И среди кого угодно он останется самим собой, а к Соколовским ему надо было подлаживаться, и он не выдержал. Я знала, знала, что так и будет!

Во все время допроса она курила трубку — занятие, которое требует вдумчивости и неторопливости: между тем все ее движения, мимика, фразы резались какими-то молниеобразными зигзагами.

— Почему Костурич тогда ушел, оставив ребенка, не вспомните ли? — спросил Всехсвятский осторожно. Он так и думал, что этот вопрос ее обидит. Она взметнулась, как восклицательный знак: она не видит в этом ничего удивительного, ребенок к ней привык, они старые друзья, что ж он, пришит к сыну, что ли?.. Куда он пошел? Откуда ей знать, она не привыкла спрашивать у людей отчета, мало ли куда ему могло понадобиться, ушел и ушел; это самое отвратительное, когда человека все время спрашивают: куда, зачем? За ним никто не заходил, ему не звонили? А если звонили? Да, кажется, звонили — ну и что? Мало ли какие могли быть причины, ведь мы все-таки взрослые люди... Не знаете ли, кто звонил, по какому по... Не знает она, она не подслушивает телефонных разговоров, она считает, что если человек отворачивается и понижает голос по телефону, то это делается не для того, чтобы его лучше расслышали те, кто в комнате. А Алик сперва спрашивал: это кто, это кто? — а потом понял, видно, и тогда стал тихо говорить, а потом сказал: «Я сейчас сам приеду!» — это уже громко сказал и повторил: «Еду! Еду!»

Конечно, она не знает, кто это мог быть, хотя она и знает всех Аликовых знакомых, потому что она ему действительно близкий человек — нет, пусть он не смотрит с таким выражением, близость может быть и не такая, как он думает; нет, этих людей она никогда не видела (он предъявил ей три фотографии, среди которых была и яковлевская), она не ошибается, у нее память на лица — она художник-шрифтовик, на худкомбинате много зарабатывает, а Алик был гораздо способнее, чем она, но связался с этой геологией, а потом читал какому-то старому дураку... Нет, сам он никому не звонил... Ее попросил позвонить Жукову перед самым уходом, но Жукова не было дома. Да, Жукова она знает — ну, у этого деньги есть, он ведь все поделки, что ребята делают, среди своей клиентуры сбывает. Вот это мужчина для Соколовских — порядочный, приличный, с заработком. Нет, сам Жуков не работает с камнем — это ведь дело засасывающее, и потом все-таки кое-что нужно для этого, кроме старательности... В стерильной атмосфере искусство не зарождается...

Всехсвятский думал, что мог бы ее зарисовать — комбинация из углов до сорока пяти градусов, очень нетрудно и очень современно. А если пририсовать шляпку — получится иллюстрация к Диккенсу.

Яковлев не был многословен. Он не опознал никого на трех предъявленных фотографиях (одна — Костурича), он никому не рассказывал про свои телефонные звонки — и зачем бы? — он готов ответить по всей строгости... Всехсвятскому он показался не таким хлопотливым, как в прошлый раз, но более озабоченным. И опять подивился Всехсвятский, что этот человек в трезвом уме и твердой памяти звонил и угрожал.

Допрос Баскакова, «мужа Марьи Николаевны», не дал никаких видимых результатов. Он был трезв, уныл и, казалось Всехсвятскому, внутренне примерялся: а не попросить ли у следователя на маленькую? И понимал, что нельзя, но бредовая эта мысль вилась вокруг него во все время допроса. Был он похож на общипанного петушка, который все еще хорохорится; тщедушное тело, посиневшее, в кулачок сжавшееся лицо, свалявшиеся вокруг плеши волосы, по виду и цвету похожие на войлок, но голову он еще вскидывал. Кроме идеи — а не попросить ли? .. — у него была еще одна: моя Марья Николаевна... Произносил он это имя с гордостью и горечью: моя Марья Николаевна этого бы не позволила... моя Марья Николаевна жалеет всех, она дает заработать...

Конечно, он не звонил Соколовскому, он и не знал даже, кто такой Соколовский. Знал, что у Алика есть тесть, но кто таков — не знал, ему и ни к чему было, он лично никогда под судом и следствием не был, даже свидетелем никогда не был, и если бы не вино, то, может, он бы и теперь работал, ведь раньше он ка-

кой работник был — наладчик! И за него самая хорошая девушка пошла в его деревне — вот Марья Николаевна его. И она первое время все просила: уедем, говорит, обратно в деревню, там у нас хорошо — а там у нас и правда хорошо. А я, дурак такой, все за этот город держался — а зачем, спрашивается, держался? А потом я говорю: ну, Мария, давай, что ли, в деревню? — а она говорит: нет уж, говорит, чего я теперь там делать буду, тут я завотделом гастронома, а там в сельмаге, что ли, буду торговать? А он знает, почему она не едет, и все пошло у них наперекосяк. Да нет, этих вроде он никогда не видал (опять три фотографии с Яковлевым в середине), нет, и по телефону он не звонил Алику в тот день, хотя Алик тоже его спрашивал: это ты мне звонил? А чего он будет ему звонить, народу у гастронома и так хватает: есть кого угостить! Ну, уж когда его встретили — другое дело, раньше Алик угощал, когда был при деньгах, а тогда у него самого деньги были — он его и позвал, забыл, что он такой невыдержанный. Другой человек выпьет, ну, пошумит немного, а потом уберется куда-нибудь, а этот уйдет — и вернется, уйдет — и вернется, и все ему мало, и еще руками размахается. Вот и домахался до драки — уж он и не помнит, как эта драка получилась. Может, и тот полез спьяну — вроде все выпивши были уже.

Всехсвятский собрал все протоколы и пошел в машбюро:

— Анечка, любчик, напечатайте мне вот это. Четыре экземпляра.

Анечка, новая машинистка, хихикнула и сказала:

— Как вы смешно говорите!

— Я одессит, Анечка, а это значит... Медея Перикловна, подтвердите этой гражданочке, что я одессит.

Медея Перикловна сказала серьезно:

— Товарищ Всехсвятский в самом деле одессит.

Анечка сложила руки на столе и сказала:

— Товарищ Всехсвятский! Не смешите меня, пожалуйста! А то я наделаю ошибок.

— Ошибок вы и так наделаете. Анечка, чем вы мажете свои веснушки? «Метаморфозой»?

— Я ничем не мажу, что вы!..

— Мажете, конечно. А зачем? Будет вам сорок лет, захотите вы, чтобы они были, а их не будет. Это весна, молодость. К веснушкам, знаете, что идет? Фиалки. Анечка, постарайтесь, чтобы веселое настроение не отразилось на качестве машинописи. Мы не должны допускать брака в работе.

Он ушел, напевая про фиалки. Анечка развела руками и сказала:

— Смешной он у вас — сил нет.

Медея Перикловна сказала:

— Ему нужна разрядка. Ведь он каких только подонков не допрашивает! Вот зайдет сюда, посмотрит на ваши веснушки и развеется.

— Дались вам мои веснушки! — сказала Анечка с досадой.— «Метаморфоза»! Кто теперь мажет «Метаморфозой»? Есть крем импортный...

Всехсвятский прошел мимо своей двери, заглянул за поворот коридора и увидел Костурича. Сгорбленный, обмякший, он был похож на надувную куклу, из которой выпустили воздух. Почувствовав, что кто-то остановился рядом, он поднял глаза, узнал Всехсвятского и приосанился.

— Заходите, Костурич,— сказал Всехсвятский.— А вы, товарищ Литошко, пойдите в столовую, пообедайте.

— Да я обедал уже, товарищ подполковник...

— Ну, поужинайте. В общем, на шестьдесят минут вы свободны.

В кабинете никого не было.

— И наконец мы вновь наедине! — сказал Всехсвятский.— Садитесь, Костурич. Давайте поговорим.

— Поговорим по душам! — сказал Костурич.— В журнале «Юность» была когда-то такая рубрика. Там статьи о воспитании печатались. Я в детстве читал.

— Мда! — сказал Всехсвятский.— Не хочется придираться к слову, но вы, видимо, сделали из своего детского чтения не совсем правильные выводы.

— Ну что вы! — вежливо не согласился Костурич.— Я на свое детское чтение не в обиде. Тогда главные споры о стилягах шли. Некоторые передовые авторы допускали, что стиляги тоже люди.

— Было,— согласился Всехсвятский.— Потом пошла романтика странствий, «Звездный билет»...

— «Апельсины из Марокко»,— продолжал Костурич.— Товарищ Всехсвятский, я знаю, что тут вопросы задаете вы, а мое дело — утолить вашу любознательность. Но все-таки разрешите мне задать вам вопрос? В виде исключения.

— Разрешаю.

— Вот вы меня вызываете, сокращаете мой рабочий день... Я понимаю, мой вопрос наивен. Но... неужели вы думаете, что... Ну, скажем так: неужели вы думаете, что это я звонил? Ну, пугал по телефону?

Всехсвятский молча смотрел на него, склонив голову к плечу, как бы размышляя...

— Ведь это же несерьезно. Алла узнала бы мой голос. Я это потому, что... зря вы на меня тратите время. Это не я звонил. И мне ни к чему это было. Конечно, я перед Никодимом Ефимовичем... перед покойным Никодимом Ефимовичем... я перед ним не без вины виноват. Я просто виноват. Ну, наверное, Алла вам рассказывала. Может, я и кричал черт знает что, и грозил ему, и все такое. Но я не звонил.

Всехсвятский сказал:

— Я вам на ваш вопрос отвечу. Нет, я не думаю, что вы звонили. Больше того: я знаю, что звонили не вы.

— И знаете, кто звонил?

— И знаем, кто звонил.

— Ну, слава богу! — сказал Костурич.— То есть я не то хотел сказать. Это все, конечно, ужасно. Но я... Я, признаться, думал, точнее говоря, не думал, а прикидывал... Уж после того, что вы меня вызывали. Я ведь, когда вы меня вызвали, другого испугался.

Всехсвятский поднял брови:

— Чего же вы испугались?

— Я думал, что-нибудь случилось с этим... с Фоминым. Я ведь во хмелю себя не помню, жуткое что-то происходит со мной, я и сам не рад. Ну, а когда оказалось, что дело не в Фомине, я и стал прикидывать. Ведь отношения с тестем... с бывшим тестем у меня, как говорится, не заладились. Правда, не с самого начала. Это уж он потом говорил, что с самого начала меня раскусил. Что он там мог раскусить, когда... А впрочем, может, и правда. Он все меня воспитывал, а я, правда, жутко не любил, когда меня воспитывают.

— С какого же времени у вас испортились отношения?

— Не сразу. Такого резкого переломного момента, пожалуй, не было. Но, наверное, это все пошло под откос, когда мы захотели отделиться. Была возможность записаться в кооператив — у Аллы на работе.

— И вам не позволили?

— Тут не только позволение надо было. Из одного позволения квартиру не выстроишь!

— Деньги?

Костурич кивнул и покраснел.

— Вы не думайте, что я считал, что они обязаны...

— Не считали, что обязаны, но на них рассчитывали.

Костурич снова кивнул.

— Ну, и они отказали?

— Не они. Я к Полине Федоровне и не обращался. Я с Никодимом Ефимовичем говорил. У Полины Федоровны не было возможности.

— А у Никодима Ефимовича, значит, была?

— Была, да не про мою честь. Примерно так он мне и сказал. Он не хотел, чтобы Алла со мной еще крепче связалась. Он все ждал, когда мы разойдемся. Он мне говорил: человека судят по его делам, а не по разговорам. Конечно, он был прав — по-своему. Но, в общем, после этого я и закрутился. Съехал от них, и с Аллой все так пошло...

Опять он сидел поникший — пустая, грустная кукла, без мускулов, без воли.

— Пить надо бросить,— сказал Всехсвятский.— Вот уж сколько дней живете без выпивки — и ничего!

— Ничего, только выпить охота,— улыбнулся Костурич.

— Тяжелое положение! Значит, вы считаете, Соколовский виноват в том, что у вас разрушилась семейная жизнь?

— Я его не виню, да и не винил никогда. Я же говорю вам: он был по-своему прав. И вроде вся моя дальнейшая жизнь показала, что он был прав. Может, если бы я был на его месте, я бы тоже не поверил. Если бы я был на его месте и был бы такой же, как он. Но и то мне кажется, что деньги бы я дал. Не поверил бы, а все-таки дал бы.

— Да,— вздохнул Всехсвятский,— не так легко человеку поставить себя на место другого.

Значит, у Соколовского были деньги на книжке? Вдова ничего такого не говорила. Видно, такие небольшие деньги, что и говорить не о чем. А этот вымогал... Если только вымогал. Если не пытался ограбить.

Костурич себя закапывает. С завидным усердием. Что ни слово, то целая лопата. Играет в простодушие?

— Вы мне в прошлый раз так и не сказали, зачем ни с того ни с сего поехали в кино.

— Не сказал,— подтвердил Костурич.— Я никак не мог понять, куда вы гнете, зачем вам знать, по какой причине я решился посетить кинотеатр. Личная тут была причина. Позвонили мне — даже не знаю, кто в точности: Алка твоя тут в кино пошла с хмырем в дубленке, мы им морды начистим. Я говорю: да бросьте, ребята, да кто это? Они бряк трубку. Я и поехал. Есть у меня такой приятель, действительно в дубленке ходит. Я его, между прочим, просил от Аллы отстать.

Жуков ничего об этом не говорил, помнится. Вероятно, считал, что это не идет к делу.

— ...Но я так понял, что ничего у них нет; а тут звонок этот. Кто-то из ребят, наверное. В общем, я поехал. Мало ли что! Могли действительно на них накинуться, морду ему набить. В общем, поехал я. Со мной их бы уже никто не тронул.

— Вы, значит, собирались ждать конца сеанса?

— Видите, у меня там контролерша знакомая, еще с тех пор, как я там жил. Она бы меня в зал пропустила, она нас с Аллой всегда пропускала, если мы опаздывали. Но мне не понадобилось: я сразу ребят встретил, которые звонили. Как сошел с троллейбуса — сразу их встретил.

— Кто же из них вам звонил?

— Не знаю. Наверно, муж Марьи Николаевны, хотя он и отрицает.

— Почему вы так думаете?

— Ну, он такой... он сам такой... Жена у него с другим... Скорее всего он.

— Значит, после звонка вы сразу уехали?

— Нет, еще позвонил одному.

— Кому?

— Тому самому, в дубленке.

— Как его зовут?

— Кирилл. Кирилл Жуков.

— Но ведь, если я правильно понял, вам сообщили, что он в кино. Почему же вы стали ему звонить?

— На всякий случай. Мало ли что! Но его не было, а ребята мне сказали, что Алла одна уехала. Они видели. Я думал уйти, но тут угостить меня захотели... А потом я уже совсем ушел — и ее встретил. Она с Лодькой домой шла и смотреть на меня не захотела. И я опять вернулся. А потом... нашелся этот Фомин на мою голову.

— Получается, вы были в районе кино примерно около восемнадцати часов,— сказал Всехсвятский.

— Возможно,— сказал Костурич равнодушно.

Всехсвятский все смотрел на него, и рутина допроса вдруг показалась ему лишней.

— В это самое время неизвестный убил Соколовского в его собственной парадной,— медленно сказал он.

Костурич побледнел: он понял.

— Выходит, я сам себя закопал? — спросил он, помолчав.

Всехсвятский сказал:

— Расскажите подробно, что вы делали после того, как встретили этих своих... друзей. Все ли время вы были вместе или вы уходили?

Костурич махнул рукой:

— Лишнее все это, лишнее!

И опять обмяк на своем стуле.

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Рисунки И. УШАКОВА.

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

В тот вечер Всехсвятский устроил себе праздник — выпил три двойных кофе с пирожными в кафетерии на углу. Когда-то ему это не разрешалось. Кофе не позволяло давление, против пирожных категорически возражала жена. Она вообще держала его в строгости и не позволяла того, что он больше всего любил: пельменей и вареников.

А теперь Тани нет, и некому запрещать — сын запрещать не смеет, только иногда спрашивает по телефону, как он себя чувствует, из вежливости. Для сына он всегда здоров, а для нее всегда был «подвержен» — всему, всяким опасностям и болезням, и она его оберегала... Никто больше ничего ему не запрещает.

Другой бы запил, а он стал заедать свое горе. Оказывается, и такое бывает. Растолстел безобразно, обрюзг. Анечка начинает смеяться от одного его вида — дедушка Крылов!

Ощущая в желудке сладкую тяжесть, он поехал домой, думая о том, что сахар необходим человеку для работы мозга. Ни над какими другими проблемами его мозг работать не хотел. Он и не подстегивал его. Что-то варилось в самом подвальном котле сознания, и оттуда на поверхность пузырьками поднимались пока вопросики. Пока только вопросики, на которые можно и нужно было собирать ответы. «Знание о действиях предполагает знание причины действий и включает его» — так, кажется, сказал Спиноза. Откуда в нем сидит эта фраза? Сдавал когда-то историю философии, но непохоже, чтобы оттуда. Где-то он прочел ее недавно как цитату. Знание причин действий — вот какое дело.

Ну, что ж, у Костурича сколько угодно причин. Очень-очень много!

Вечер предстоял длинный, да еще кофе не даст заснуть... Он позвонил Алле и попросил ее прийти завтра в управление.

Она пришла. На ней было черное платье — то самое, в котором она приходила в первый раз, и выражение лица было такое же — неприветливое, хмурое. Она спросила с какой-то враждебной интонацией:

— Вы что-нибудь выяснили?

— Пока немного,— сказал он.— И трудно выяснить много, если даже вы не сообщаете всего, что вам известно.

Она пожала плечами и ничего не ответила.

— Почему вы не сказали мне, что видели вашего бывшего мужа на вашей улице в тот самый день?

— Значит, это был он? Я мельком его заметила, но не была уверена. Ну и что? Какое это имеет значение?

— Вы думаете, что это не имеет значения?

— Никакого. Откровенно говоря, даже если бы я его увидела у нас на лестнице в тот самый день и час, все равно это не имело бы значения. Вообще он ведь и наговорить на себя может. Его следовало бы в присутствии адвоката допрашивать. Он говорит все, что есть, а вы как будто нарочно отбираете самое худшее.

— Между прочим, говорит о себе: я во хмелю страшен.

— Все равно,— сказала она.— Вы не по тому следу идете.

— Слушайте,— терпеливо сказал Всехсвятский.— Костурич, по его собственным показаниям, появился вблизи вашего дома около восемнадцати часов — время, когда закончился сеанс в кино. Ваша мать говорит, что телефонный звонок был примерно в половине седьмого. Вы вернулись около семи — вы встретили его.

— Ну и что из этого?

— Костурич был зол на вашего отца. Он считает, что из-за него разрушился ваш брак. Кстати, что это за история с кооперативной квартирой, на которую ваш отец отказался дать деньги?

Алла подняла плечи, потом оттянула рукой платье у шеи, словно оно душило ее.

— Это он вам рассказал?

— Он.

— Это давняя история, не понимаю, зачем вы ее выкопали. У нас стали строить кооператив, на работе у меня. Еще до того, как мы с Аликом... как я вышла замуж. Я, конечно, не подавала заявления. Потом, когда уже родился Лодька, вдруг оказалось, что есть несколько трехкомнатных квартир свободных — две или три. Уж не помню, почему так получилось. В общем, мне предложили, потому что ребенок. Ну, и мы думали, что родители помогут, а они не смогли.

— Ваш муж говорит, что он обратился не к обоим родителям, а именно к вашему отцу.

— Да, верно. Я думаю, он считал, что у папы есть такие знакомые, у которых можно занять. То есть папа мог бы занять. Ну, в общем, он бы не стал нам одалживать, мне это было совершенно ясно. И я Алику тоже это говорила.

— А он не соглашался с вами?

— Он говорил: не в этом дело. У меня было такое впечатление, что они оба, как говорится, на принцип пошли — и он и папа.

Опустив голову, она старательно разглаживала пальцами платье на колене. Всехсвятский вытянул шею, чтобы слышать, что она говорит.

— Конечно, вы скажете — вымогательство, какое мы имели право, мы сами уже взрослые. Все правильно. Но нам действительно очень нужно было отделиться. И, я думаю, Алик очень на это надеялся. Понимаете, у папы была такая идея: теперь молодежь женится, а сами себя обеспечить не могут. А вдруг да матери придется просить, чтобы дочь ей помогала?

— Простите, а разве ваша мать не получает пенсии?

— Получает, но у нее пенсия маленькая: сорок пять рублей. Она по болезни на пенсию вышла раньше, она сердечница, школа ее очень утомляла... Ну, в общем, отец настоял. Она учительница была младших классов, мама моя.

— Значит, теперь у вас ваша зарплата и ее пенсия?

Алла махнула рукой.

— Да нас никогда особенно деньги не интересовали. Вот только история с кооперативом... Но мы после этого вскоре разошлись с Аликом. Он стал пить, ну, в общем, жить вместе стало невозможно. То есть я бы, может, и могла, но родителей было жалко... Да нет, и я уже не могла больше.

Она вдруг вскинула голову и посмотрела Всехсвятскому прямо в глаза.

— Понимаете, я уже и в самом деле перестала его считать своим мужем. У меня такое чувство было, что я освободилась от него, навсегда освободилась. А теперь вот, из-за вас...

Всехсвятский безмерно удивился:

— Из-за нас? Как это из-за нас?

— Из-за вас, вас лично! Потому что вы его подозреваете... Потому что вы все к нему подбираетесь — что же вы думаете, я не понимаю? Вы так все подводите, что он у вас получается уже и убийца и все. А я знаю, что это не он. Вот вы ко мне: почему не сказала, что видела его в тот день на нашей улице? Потому не сказала, чтобы его не топить, вот почему! «Костурич был зол на вашего отца...» Да не был он зол, в нем вообще никакой злости нету. Он, может, и плохой человек, слабый, но он добрый, понимаете? Добрый! И он вовсе не вымогал, ему-то самому ничего никогда не нужно, это он для нас хотел, для нас вместе и для Лодика. А вы меня всеми этими домыслами вашими и ловушками опять к нему привязали, неужели не понимаете? Ведь он же теперь в беде, в лихой беде, что ж я, мужа в беде должна бросить, по-вашему?

— Я так не думаю,— тихо сказал Всехсвятский.— Но почему вы не хотите помочь нам выяснить правду?

XI

Никулин вернулся из командировки неожиданно, в обеденный перерыв, и Всехсвятский обрадовался, увидев его на месте. День ничего не сулил: следствие зашло в тупик. В видимый тупик. Между тем Всехсвятскому казалось, что хоть и в потемках и на ощупь, но сам он пробирается куда-то. Следствие стоит, как поезд в тупике, а он ходит по вагонам и чувствует: горячее, горячее. В этих самых вагонах, которые никуда не бегут.

Всехсвятский позвонил, чтобы привезли Костурича, и стал рассказывать Никулину о том, как подвигается дело.

— Значит, Соколовская говорит — не он?

— Утверждает, что он не мог бы. Но не это главное. Боится она говорить. Чувствую, что есть у нее еще материал, что она знает, но не говорит, за мужа боится.

— Они же в разводе! — недоуменно сказал Никулин.

— В разводе-то в разводе,— сказал Всехсвятский.— Видел бы ты, как она на меня вчера накинулась. Как тигрица.

Никулин сказал:

— Может, она, как я, не верит в развод?

— Интересно,— сказал Щавинский.— Прямо по анекдоту: тетя Маня не верила в клептоманию. «Почему,— говорит,— нет такой болезни — принести другому? А взять у другого есть болезнь? Не верю!» Так и не верила до конца жизни. А ты, значит, не веришь в развод?

— Я не так выразился,— сказал Никулин, смутившись.

Пятнадцать суток Костурича перевалили за половину; в сущности, пора было обращаться к прокурору по поводу меры пресечения. Но Всехсвятский медлил, а Никулин, как назло, словно забыл про это, ничего не спрашивал. Между тем Всехсвятскому хотелось бы поговорить и о мере пресечения — может, чтобы самому себе уяснить свою позицию. Еще не точку зрения — только позицию на подступе к этой самой точке.

Уже Костурич входил в комнату, а Всехсвят-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—44.

ский все еще не видел линии предстоящего допроса.

Костурич выглядел так же, как вчера, словно все, что произошло с ним, его размозжило. Он сидел на стуле так, будто у него не было костей, и лицо его не выражало ничего, кроме равнодушной усталости. Он ответил на первые вопросы Всехсвятского ровным, бесцветным голосом, глядя куда-то вбок и вниз, словно даже поднять веки было для него непосильным трудом. Всехсвятский предложил ему сигарету — он взял, размял в пальцах, но когда Всехсвятский поднес ему зажигалку, только мотнул головой.

— Потом. Сейчас неохота.

Всехсвятский посмотрел на него сердито.

— У меня сегодня была ваша жена,— сказал он.

Костурич поднял глаза. Всехсвятскому даже показалось, что он чуть-чуть улыбнулся. «Понравилось, что я сказал — жена, а не бывшая жена»,— догадался он.

— Скандал мне за вас устроила,— сказал Всехсвятский.

— За меня? При чем тут вы?

— Она недовольна, что мы вас тревожим, расспрашиваем, не даем вам спокойно проходить трудовое воспитание.

Костурич усмехнулся.

— Термин вы нашли удачный. «Трудовое воспитание».

— Она очень на нас сердилась, что мы вас допрашиваем без адвоката.

— Это ведь, кажется, еще не делается? Да все равно. Все для меня так складывается, будто кто-то специально подстроил.

— А вы думаете, что кто-то мог специально подстроить?

— Да нет,— сказал Костурич устало.— Кому до меня дело? Кому я мешаю? То есть, конечно, я вполне готов для витрины «Они мешают нам жить». Но это по другой линии.

— Еще ваша жена выражала удивление... В общем, она говорит, что не понимает, почему вы рассчитывали, что ее отец вам поможет.

— Она права,— сказал Костурич.— Я и тогда понимал: не обязан он был нам помогать.

Всехсвятский помолчал, побарабанил пальцами по столу. И тогда Никулин сказал:

— Ведь у него была материальная возможность это сделать? Не обязан, мы понимаем. Но возможность-то он имел?

— Ну, а как же! — сказал Костурич, не задумываясь.— Марочка! Ведь марочка-то его каких денег стоит! Видели вы в его часах марочку?

Всехсвятский не посмотрел на Никулина. Он опустил глаза и видел перед собой стол да собственные короткие пальцы, которые отстукивали частую, еле слышную дробь. Он стиснул пальцы ног, чтобы лицо оставалось ненапряженным, и сказал:

— Вы-то когда ее в последний раз видели?

— Ну, когда! — сказал Костурич.— Когда еще жил там, конечно. Все ведь, в общем, из-за нее и вышло! Алла вам не рассказывала?

— Ммм...— сказал Всехсвятский.— Нет, этого она нам не рассказывала.

— Могу рассказать, если вас интересует. Теперь-то это уже не секрет. Это давно было, когда мы только поженились. Сидим мы как-то втроем за столом — Полина Федоровна по магазинам двинулась, дело к ноябрьским шло, в общем, праздники впереди, у всех настроение такое благодушное... Алла говорит: «Папа, расскажи Алику про свои часы». А у него часы такие необычные, в старину это называлось «луковица», карманные, да вы же видели. Он — говорю вам, настроение было праздничное — вынул часы, показал, рассказал, откуда они у него: после победы он, оказывается, с каким-то казаком махнулся, не глядя, ну, вы знаете, как тогда это делалось.

Всехсвятский кивнул. Еще бы ему не знать! И вдруг на минуту ударило по всем его чувствам воспоминание о том мае: свет, тепло, запах луга и солдатской кухни, беспорядочная стрельба и новенький орден Красной Звезды, который он все нащупывал украдкой...

— Ну, Никодим Ефимович вынул часы, положил на стол; я взял, повертел, открыл крышку — у них двойная крышка была. Смотрю — между крышками марка, синенькая, в прозрачном конвертике, гашеная... Я говорю: «И марка там лежала?» Он немного нахмурился — рассердился, верно, что я крышку открыл без спросу... Но ответил: «Представь себе — была». Вынул я марку, стал через прозрачную оболочку рассматривать... Понимаете, я некоторое время марки собирал, ну, как все мальчишки собирают. Потом это у меня прошло, но все-таки я кое-что читал, помнил. Смотрю — глазам не верю: «Голубой Маврикий»! Пост офис! Я говорю ему: вы знаете, что это за марка? Вообразите: он не знал!!!

— Розовая Гвиана и синий Маврикий,— сказал Никулин мечтательно.— У нас в шестом классе вдруг все с ума посходили... В общем, кино!

— Настоящее кино. Я потом спрашивал: «Никодим Ефимович, неужели вы и правда не знали?» Уверял, что не знал. В общем, я его еле умолил на экспертизу эту марку отправить. Уговорил.

— Она?

— Она. Но он это в секрете держал. Даже Полине Федоровне не сказал и нам запретил: пусть, говорит, это будет ей сюрпризом. А потом сказал: «Пусть будет нам резервом на старость». Мы, ясное дело, не возражали — его марка, его дело. Только вот когда началось это с квартирой...

Костурич опустил голову.

— Понимаете, он не хотел ее продавать в частные руки. Тут он прав был, по-моему. Это штука для государственной коллекции. Ну, ладно, сейчас уж решать Полине Федоровне, а не нам с вами. Верно?

— Верно-то верно,— сказал Всехсвятский.— Теперь Полина Федоровна — хозяйка. Но неужели она раньше не знала?

— Мы ей, во всяком случае, не говорили.

— И даже когда ссоры все эти происходили насчет кооператива?

— А ссор не было,— сказал Костурич.— Это только один разговор был, и довольно короткий. Он отказал — мы приставать не стали. Полина Федоровна, я думаю, и не знала, на что мы рассчитывали. То есть она эту марку, наверное, сто раз видела, но ей и в голову не приходило.

— И так он ее и носил — в часах?

— Так и носил. Там, где вы ее и обнаружили.

Всехсвятский вздохнул.

— В том-то и дело...— сказал он медленно.— В том-то и дело, Александр Дмитриевич, в том-то и дело, глупый вы человек, что ничего мы в тех часах не обнаружили.

— Нет?!

— Нет.

Всехсвятский покачал головою сокрушенно:

— Балда вы, Костурич. Кошмарная, всесветная, небывалая, бесподобная балда. Давайте говорите, кому вы про эту марку еще рассказывали? Только без вранья, ясно?

Костурич смотрел на него, оглушенный и слегка ободренный.

— Думайте, ясно? Вспомните, кто еще знал про эту марку. Ну, люди из экспертизы. А еще кто? Частный эксперт какой-нибудь? Из приятелей к т о? Есть у вас приятели-филателисты?

Костурич покачал головой.

— Давайте вспоминайте. Потому что вывод знаете какой?

— Какой? — спросил Костурич.

— А такой вывод: только вы и ваша жена знали, что у покойного Соколовского за крышкой часов, как говорится в романах,— целое состояние. Фу ты, господи, какие-то парижские тайны. Сплошной Бальзак. Или не Бальзак? Никулин, кто написал «Парижские тайны»? Не знаешь? Эжен Сю, вот кто написал. Между прочим, это надо знать, их сам Маркс разбирал. Костурич, вы тоже не знаете? Ну, ладно, вам Эжен Сю не подмога. Так поняли, какой вывод?

— Понял, наверное,— сказал Костурич.— Я же говорю: получается, как будто кто-то нарочно подстроил. Да понял, понял я! — ответил он на нетерпеливое движение Всехсвятского.— Раз об этом, об этой марке знали только мы с Аллой, значит, один из нас ее и взял. Алла отпадает — значит, я.

— Притом что вы еще и болтались в тот день около их дома. Что вас понесло, не могли, что ли, с сыном посидеть в этот день. Ну, пошла она в кино с этим Жуковым... Да знаю, знаю. Звонили вам. То-то и есть — звонили. Кстати, Жукову вы не могли сказать о марке?

— Да нет! — отмахнулся Костурич.— Никому я о ней не говорил.

— А спьяну проболтаться не могли? Вы же себя не помните, когда пьяны. Этого Фомина чуть не покалечили.

— Не знаю... Не думаю. Нет, не думаю. Когда эта история с маркой была, мы еще с Аллой вместе были.

— Что ж, вы никуда не ходили без нее?

Костурич взглянул растерянно:

— Вы знаете, практически нет. В общем, до рождения Лодьки — нет. Это потом уже, когда Лодька родился. Они, между прочим, всё нам говорили, что мы с ребенком поспешили.

— Кто они? Соколовские?

— Ну да, они. Я теперь думаю: может, и правда мы поспешили? Ну, ладно, это к делу не относится. Так вот, при Алле — не мог, в тот первый год. И тогда я еще не так... набирался... Еще себя как-то держал. Ну, а потом-то я уже о ней и не думал, о марке. С чего бы я стал про нее рассказывать? У меня хватало своего.

Всехсвятский опять забарабанил по столу.

— Ладно, Костурич,— сказал он наконец.— Добирайте свои пятнадцать суток спокойно — больше я вас сюда вызывать не буду. И прослушайте маленькую лекцию — экстракт из чужого опыта. Из моего личного, а также из опыта всего человечества.

— Пьянство — зло,— сказал Костурич.

— В двух словах — верно. Но слабо. Пьянство — преступление. Где пьянство, там преступление. Вы все равно убийца, поняли, Костурич? Вы подготовили это убийство — вашим образом жизни, вашей расхлябанностью, вашим разложением как личности. Вы давно уже дышите воздухом преступления, вдыхаете и выдыхаете воздух преступления и перестали это замечать. И за вами, по следам вашим идут трезвые, хитрые негодяи, которые осуществляют то, что вы сеете. Поняли вы, Костурич? Все это вещи немудреные. Но теперь давайте думать. Не о своем будущем — тут надо будет в больницу, лечиться, это все ладно. Сейчас вы про другое думайте. Утром думайте, днем думайте, перед сном думайте. Вы должны вспомнить, кому вы могли сболтнуть про эту марку. Ищите, как хлеба ищут. Вы возьмите в толк: от этого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. И не объясняйте мне про алкоголь, что он вам осыпает мозги,— такого объяснения не приму. Все! Отбудете пятнадцать суток — приходите сюда. Вам будет внизу пропуск. Все! И не вздумайте отпраздновать свое освобождение у первого же ларька! Рано еще праздновать! Все!

Он позвонил милиционеру, и Костурича увели. Еще не закрылась дверь за Костуричем, как он стал набирать на телефонном диске номер Аллиной работы. Когда она наконец подошла, сказал, что просит ее явиться в управление немедленно, очень срочно. Положил трубку и посмотрел на Никулина с нежностью.

— Ай, умница! — сказал он.— Ай, молодец! Сумел задать вопрос!

Никулин глядел скромно.

Всехсвятский пригорюнился и сказал:

— Я тебе портрет свой подарю. Увеличенный, чтобы ты мог его на стену повесить. И напишу: победителю-ученику от побежденного учителя. А сам уйду на преподавательскую работу.

— Пошли выпьем, Гень-Ваньч,— сказал Никулин.

— Мысль!—согласился Всехсвятский.—Тройного кофе! А когда закончим это дело, пойдем в «Север». Будем пить шампанское и кушать пирожные. За мой счет, чтот-ты! Сколько ты можешь съесть пирожных?

— Я, в общем, не очень к сладкому...— признался Никулин.

— Больше на горькую нажимаешь? Между прочим, напрасно. Вот смотрю я на этого Костурича и прямо болею душой. Когда я уйду на преподавательскую работу, я первым делом организую на кафедре общество трезвости.

— Тут я вам не помощник,— сказал Никулин.

Когда они вернулись, Алла уже ждала в коридоре.

— Проходите, Алла Никодимовна,— пригласил Всехсвятский. Он пропустил ее в дверь, подождал, пока она сядет, сел сам и посмотрел на нее. Она была скована, напряжена и покусывала губы, чтобы скрыть тревогу.

Он спросил:

— Кому вы рассказывали о том, что у вашего отца обнаружился «Голубой Маврикий»?

Алла вздохнула и сказала:

— Не помню. Могла кому-нибудь рассказать, конечно. На работе или еще где-нибудь. Просто сейчас не помню.

Всехсвятский покачал головой укоризненно.

— Кончайте эти глупости, Алла Никодимовна. Дело серьезное. Мы знаем теперь, из-за чего был убит ваш отец. Мы еще не знаем, кто его убил, но...

Он поднял палец:

— Но! Мы знаем, кто этого н е — понимаете? — н е сделал. Ваш муж этого не сделал, ясно?

Тут он в первый раз увидел у Аллы улыбку и диву дался, как эта несложная игра продольных и поперечных мускулов может преобразить женское лицо. Потом, когда они говорили об этом явлении с Никулиным, Всехсвятский сказал:

— Я ведь все-таки помню литературу: Лев Толстой, например. Но чтот-ты! Это ж видеть надо! А я все понять не мог, что этот парень в ней нашел.

Он тоже улыбнулся ей. И она спросила доверчиво:

— Это он вам рассказал про марку?

— Ну, а кто же еще? Вот я вас и спрашиваю: кто мог еще о ней знать? Вы кому говорили? Давайте без дураков!

— Без дураков — никому. Отец просил не рассказывать.

— А когда вы ее видели в последний раз?

— В последний раз? Дайте подумаю.

Алла нахмурилась.

— Нет, в тот день не видела. Я ведь в тот день вообще... Я в тот день вообще отца живым не видела.— Она резким движением провела рукой по лицу, словно стирая что-то.— Но накануне видела. И перед тем каждый день. Видите, у отца выработалась привычка: сперва посмотрит на часы, потом открывает заднюю крышку. За столом я с ним рядом сижу... сидела, так что невольно тоже поглядывала. Была марка там, была, до последнего дня была.

Следовало бы сказать этой женщине, что из-за ее дурацкого поведения затянулось следствие, что если б с самого начала было известно об исчезновении такой ценности, ход дела был бы другой; следовало хорошенько пробрать ее, отвести душу. Но он ничего этого не сделал. Он молча ждал. И она сказала:

— Простите, я, наверное, очень виновата. Но я боялась... Уж очень все складывалось так...

— Вы, значит, все-таки допускали, что это может быть...

— Нет, нет! Что вы! Нет, я не допускала... не думала... Но понимаете, как получилось: все, что я могла сказать, непременно обращалось против него. Я-то знала, что это не он, а вы ведь не обязаны знать. А как вы поняли?

— У нас есть свои маленькие профессиональные тайны,— сказал Всехсвятский важно.

Потом он говорил Никулину:

— Профессиональная тайна — это то, что я сделал грубую ошибку. Я дал понять этому дураку Костуричу, что жена за него, что она его покрывает. Таких вещей не делают, это тебе любой районный уполномоченный скажет. А я, старый филин, сделал такую промашку!

Он качал головой и делал вид, что расстроен.

— Такая грубая промашка вышла! На преподавательскую работу! Какая там преподавательская работа! В секретари суда я бы не взял такого работничка!

Он прошелся по комнате слегка пританцовывающей походкой, поглядывая искоса на Никулина, причмокивая языком и поводя плечами.

— Ц-ц-ц, надо же, такая промашка!

Он был страшно доволен, Никулин это видел. И понимал, что никакая это не промашка, что сделал это Всехсвятский по моментальному вдохновению, вполне сознательно и вот празднует первую победу. Имеет право. «На мой характер,— думал Никулин,— я бы еще не праздновал, он сам говорит, рано праздновать, но...»

— У вас есть концепция, Евгений Иваныч? — спросил он.

— Фактики, фактики нам нужны, а не концепция,— сказал Всехсвятский и крепко потер руки.— Фактиков у нас маловато, чтот-ты! Но кое-что... кое-что уже есть. Вот такая марочка. Сколько все-таки она может стоить?

— Десятки тысяч. На валюту.

— Ниччего, ниччего! Вполне достаточно, чтобы... Ай, какая получается удивительная история! Хоть в «Известия» посылай! Ладно, товарищ Никулин. Вы отдадите Анечке протоколы, а я пойду проветрюсь.

Он поехал в районное отделение, где содержался Костурич, и получил там его увеличенную фотографию, предназначавшуюся для районной витрины нарушителей общественного спокойствия. Всехсвятский взял фотографию и поехал в тот самый злополучный кинотеатр. Там он походил, погулял по фойе, позвонил по телефону Никулину, зашел в буфет, поговорил с кассиршей и с билетершей. Оказалось, что билетерша в театре новая, буквально на этой неделе появилась — замещает прежнюю, которая бюллетенит. Всехсвятский поинтересовался адресом прежней, получил его — оказалось, что она живет в этом же микрорайоне,— и пошел навестить больную.

Больная билетерша была тучная, сырая женщина, с шумом переводившая дух после каждой фразы. Всехсвятский показал ей фотографию Костурича, она его узнала и соболезнующе спросила:

— Опять что-нибудь натворил?

Всехсвятский пробыл у нее около получаса, от нее снова вернулся в кино и опять поговорил там с кассиршей. Потом зашел в парикмахерскую в Дом быта — ему давно нужно было постричься. Потом поехал в клуб филателистов, но в этот день клуб был закрыт. Он поехал в их правление — там тоже было закрыто. Он помянул недобрым словом сотрудников, которые дали ему адрес и не выяснили, в какие дни эти почтенные учреждения работают. У него оставался еще сад Карла Маркса, где летом филателисты встречаются на свежем воздухе, но он рассудил, что время осеннее, и поехал домой.

XII

В следующие два дня Всехсвятский словно забыл о деле Соколовского: помогал Никулину оформлять его отчет по командировке, комментировал статьи из журнала «Человек и закон», обсуждал с Щавинским его впечатления от поездки в Москву. В конце недели он сам туда собирался, хотел выяснить, что надо смотреть в театрах. Никулин недоумевал:

— Можно подумать, что вы в Новозыбкове живете, Гень-Ванович. Тут у нас и Большой драматический, и Ленком на подъеме, и Мюзик-холл... Хоть бы раз сходили! Нашу Малеванную москвичи смотреть ездят, а вы...

— Ты мне еще должен за это спасибо сказать! — возражал Всехсвятский.— Если бы не я, ты бы был таким театралом? Кому приносит Медея Перикловна билеты? Всехсвятскому приносит, любимому начальнику. А кто ходит? Никулин с супругой ходит. И потом еще недоволен.

У Медеи Перикловны зять был театральным администратором.

В разговор включался Щавинский и принимал сторону Никулина. Сам он тоже в театр не ходил, потому что всем зрелищам предпочитал футбол, но Никулина поддерживал самокритикой:

— Называется, живем в Ленинграде. А на самом деле живем около телевизора. Знаете анекдот про телезрителя, который...

— Мало ты по Ленинграду ездишь? — недоумевал Всехсвятский.

— То я по работе езжу. А в Эрмитаж пойти со школьных лет времени не нахожу. И так во всем. Уйду на пенсию — уеду в Камышин. Телевизоры и там есть.

— Почему в Камышин? Ты ж там никогда не жил!

— Вот потому и в Камышин, что никогда там не жил. Буду в Волге рыбу ловить. Если останется там рыба.

— Никулина в гости пригласи! — сказал Всехсвятский.— Он подледным ловом увлекается. Он мне даже такую интересную деталь рассказал: корюшка на себя клюет.

— Кто ж этого не знает! — сказал Щавинский.

Всехсвятский не знал. Он смотрел на свои пухлые, короткопалые руки и с неудовольствием думал, что даже с таким простейшим мужским занятием, как рыбная ловля, они незнакомы. Не умеют, не приспособлены. Вот та пращурка, поповна, от которой достались Всехсвятскому в наследство эти коротенькие кисти, наверное, очень ими гордилась! Эх, был бы на дворе девятнадцатый век — пошел бы он в гусары! Чтобы быть красивым!

Жизнь шла неторопливо — два дня выдались на редкость спокойные. Погода установилась— толстый снег лежал на улицах, и порой даже солнцу удавалось посмотреть на принарядившийся по-зимнему город. Всехсвятский любил первые зимние дни и радовался снегу, как южанин,— до сих пор не привык к этому феномену природы.

Дома он рисовал на бумаге какие-то схемы из кружочков и палочек в разных сочетаниях. И некому было помешать ему в его уединенных занятиях, а как он сердился когда-то, если его отрывали! Потом жена поняла и не стала ему мешать. Она знала, что когда он вот так запирается и что-то чертит несуразное — ей на глаза не раз попадались эти листки,— то через несколько дней он скажет ей:

— Помнишь, я тебе рассказывал...

Жена всегда отвечала, что помнит.

— Так вот, распутали мы это дело.

Иногда он добавлял какие-нибудь подробности, иногда ограничивался таким кратким сообщением. И тогда они шли в театр или в гости, и по дороге домой он говорил ей, что это его последнее дело и теперь он обязательно уйдет на преподавательскую работу.

В его воспоминаниях жизнь с Таней становилась все идилличнее и прекраснее, хотя не так все безоблачно было в этой жизни — ведь почти серебряный срок вместе прожит. Кто это сказал? Экзюпери, кажется: любовь — это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одну сторону. И это у них было: они смотрели в одну сторону. И если случалось ему засматриваться на кого-нибудь другого — это не мешало.

Хотя... В те трудные годы... те семь лет, когда он ушел из следственного отдела, не поладив с начальством, и работал юрисконсультом на заводе... Пожалуй, тогда они не только смотрели в одну сторону — они смотрели друг на друга. Тогда смотреть друг на друга для них и означало смотреть в одну сторону. И он не зевал по сторонам.

Но когда заболела Таня, он смотрел только на нее и видел, как обтягивается, усыхает ее лицо, и не мог это остановить.

Продолжение следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

Два дня прошли в оформлении бумаг. На третий в управление, к Всехсвятскому явился Яковлев, вызванный накануне.

— Ну, Яковлев,— сказал Всехсвятский,— так что мы будем делать, Яковлев?

Яковлев покачал головой:

— И как я себя до этого допустил, понять не могу, товарищ следователь.

— Я не про то, Яковлев,— сказал Всехсвятский.— Я про другое. Что ж вы следствие в заблуждение вводите, вот вы мне что объясните, пожалуйста. Почему обманываете?

Яковлев растерялся:

— То есть как это обманываю? Почему обманываю?

— Вот и я хотел бы знать, почему.

Яковлев помолчал, потом сказал:

— Не понимаю, товарищ следователь, что вы имеете в виду.

— А то я имею в виду,— сказал Всехсвятский.— То я имею в виду, Яковлев, что в середине ноября вы ездили в командировку в город Переславль-Залесский. Предъявить вам выписку из приказа или сами вспомните?

— Зачем же,— сказал Яковлев недоумевающе.— Я и сам помню. Ездил. Хороший городок, между прочим. Для пенсионеров. И туристов в это время не так уж много.

— Сколько ж вы пробыли там, не помните?

— Почему не помню? Два дня пробыл. Мне там особо задерживаться ни к чему было. Сделал дело — и обратно.

— Через Москву?

— Через Москву. И в Москве особо не задерживался. Ночным — сразу в Ленинград.

— Правильно, все верно. Что ж вы, однако, не рассказали об этом в прошлый раз?

— А что тут рассказывать?

— Ну, все-таки... Вы, наверное, помните, в какие числа были в Переславле?

Яковлев вытащил из кармана платок, промокнул им лоб, потом тщательно вытер руки. Запахло одеколоном.

— Жарко у нас,— сочувственно сказал Всехсвятский.— Зимы еще нет настоящей, а топят, будьте здоровы, как в мороз.

— Жарко, жарко,— одышливо бормотал Яковлев.— Может, форточку бы открыть, товарищ следователь, дышать совсем нечем. У меня давление, знаете...

Он оттянул рукав и показал браслет из металлических пластинок — от давления. Всехсвятский кивнул понимающе, встал, снял с карниза длинную палку с крючком на конце и с ее помощью открыл обе форточки. Яковлев расстегнул ворот и крепко вытер платком всю голову; под искусным зачесом проступила неправильной формы плешь.

— Легче стало? — поинтересовался Всехсвятский.— Все-таки движение воздуха. Может, врача позвать?

— Извините за беспокойство,— сказал Яковлев.— Нет, зачем врача. Я уже... оклемался.

Он спрятал платок, положил ногу на ногу и склонил голову набок, готовый слушать.

— Тогда продолжим,— сказал Всехсвятский.— Вы помните, в какие числа вы были в Переславле?

— Вроде, пятнадцатого-шестнадцатого?

— Правильно,— согласился Всехсвятский.— Я даже могу уточнить: вы были там с вечера пятнадцатого и до обеда семнадцатого ноября. Пятнадцатого ноября утром вы были в Москве, а восемнадцатого утром уже в Ленинграде. Правильно?

— Да уж наверное правильно, раз вы говорите. Вы, небось, все проверили, а я ведь так, по памяти. Мог и ошибиться.

— Ну, конечно, с кем не бывает! — согласился Всехсвятский.— Но все-таки следовало это нам сказать. Потому что у нас сразу недоразумение может возникнуть: что же это такое, один из звонков ваших к Соколовским как раз был, как тут по бумагам значится, шестнадцатого ноября. Неужели же вы по междугородному телефону звонили?

Яковлев опять заволновался.

— Да не могло этого быть, товарищ следователь! — забормотал он.— Стану я с междугородной по такому делу звонить! Это Соколовская что-то перепутала, наверное. Никак этого быть не могло, ну просто никак.

Всехсвятский смотрел на него с сомнением.

— Думаете, значит, ошибка?

— Наверняка ошибка! — обрадовался Яковлев.— Посудите сами: зачем я с междугородной буду по такому делу звонить?

— Ну, а может, кто-нибудь другой за вас позвонил?

— За меня? Кто ж за меня звонить будет? Я никому... а впрочем... Бог его знает, может, и мог я позвонить из Москвы по автомату. С вокзала, если...

— Возможно, возможно,— сказал Всехсвятский.— Слушайте, Яковлев, сколько лет вашему сыну?

— Мой сын тут при чем? — жалобно сказал Яковлев.— Товарищ следователь, я ведь не отказываюсь, не отрицаю. Я виноват, я звонил, я и отвечу по всей строгости. Что уж тут!

— Так сколько, значит, лет вашему сыну?

Всехсвятский ждал ответа, положив руки на клавиши машинки.

Яковлев поежился и сказал:

— Пятнадцать ему, пятнадцать, еще мальчишка совсем. Школьник он, товарищ следователь, в восьмом классе учится.

— Хорошо учится?

— Эту четверть не так хорошо закончил — тройки были. А раньше без троек учился, товарищ следователь. И в самодеятельности участвовал. Артистом хочет быть, понимаете ли. Говорят, способный парнишка. Я ничего, я не запрещаю. Ну, сейчас у него, что называется, переходный возраст, трудный, и, конечно, он несколько лет был без отца... Мы с женой ему сознаем, товарищ следователь. Надо сознавать парнишке, все-таки это трудное дело — пятнадцать лет, я и про себя...

Он внезапно замолчал и вытер пот. Всехсвятский смотрел на него по-прежнему сочувственно:

— Зачем же, Яковлев, вы сказали, что это вы звонили Соколовским? Ведь не вы это звонили, а сын ваш... развлекался.

— Сын... Да нет, товарищ следователь, почему же... Это я звонил. Зачем бы сын...

— Эх, Яковлев, Яковлев!

— Ничего вы, товарищ следователь, не докажете. Только вот тот звонок, шестнадцатого — так, может, я и позвонил, просто забыл потом...

— Эх, Яковлев!

— Да и зачем я стал бы его выгораживать, посудите сами! Мне вы срок дать можете — я уголовный кодекс смотрел, до двух лет можете дать, по статье... забыл сейчас, какая статья...

— Эх, Яковлев!

— И вообще, товарищ следователь...

Они оба замолчали. Потом Всехсвятский спросил:

— А почему он это сделал? Вы, что ли, ему поручили?

Яковлев дернулся, потом обмяк:

— Пусть будет я.

— А может, это его инициатива?

— Знаете что, товарищ следователь,— сказал Яковлев.— Вы что-то себе выдумали, не пойму зачем. Вы так и знайте: звонил я. И на суде так буду говорить. И готов ответить по всей строгости. А насчет шестнадцатого числа — не знаю. И я мог позвонить спьяну — в командировке чего не бывает! — и Соколовская могла ошибиться по календарю. Так что вы напрасно это... насчет кого-нибудь другого.

— Не будет вам суда,— задумчиво сказал Всехсвятский.— Потому что не вы звонили, а мальчишка ваш звонил, и вы об этом не знали ничего, пока к вам не позвонили с телефонной станции. И вот вы решили парня своего спасать, или жена вас попросила... Что, у него с детской комнатой милиции все в порядке?

— Никогда за ним ничего такого не было, товарищ следователь. Мы и не знаем, где это детская комната милиции.

— Проверим.

— Проверяйте. Ничего у него такого не было. Я и не знал, что он такое затеял. Я вам расскажу, товарищ следователь, как получилось. Конечно, моя тут вина. Кому охота перед своим сыном вором выглядеть? Я и сказал ему, что безвинно пострадал, что всему виной бухгалтер, оклеветал меня. А он вот что надумал... Книжек начитался, что ли, отомстить решил. Только вы не подумайте! — Яковлев опять заторопился, забормотал.— Не подумайте, что он и в самом деле... Болтовня все, трепался, больше ничего. Ну, а когда выяснилось... Тут мы, конечно... Жена плачет... Ладно, говорю, из-за меня получилось, я и отвечу. Пойду, говорю, все объясню, извинения принесу. Сейчас к молодежи так строго — что ж он из-за меня страдать должен? Вот так, товарищ следователь. Я вам все рассказал, получили вы мое чистосердечное признание, но только я вам так скажу: если до суда дойдет, то я скажу, что моих рук это дело. Может, я и нарушитель и маленький человек, но тут мне вера будет.

Всехсвятский встал, прошелся по комнате.

— А где он был в ту субботу, не знаете?

— В школе он был, в школе, я уж ходил, проверял.

Всехсвятский сел за стол, перелистал протокол и сказал:

— Подпишите протокол и можете идти.

Яковлев подошел как-то бочком, загребая ногой, избычившись, а какой был в первый раз молодцеватый! Подписывая протокол, он спросил:

— Вы его будете вызывать? Не стоит, товарищ следователь, я с ним уже поговорил. И мать поговорила. Он сознает.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40—46.

— Все-таки придется вызвать, вероятно,— сказал Всехсвятский.— Да, кстати, он у вас марки не собирает?

Яковлев нахмурился и потер переносицу — не понимал, где тут подвох.

— Не знаю,— ответил он неуверенно.— Вроде нет.

— А вы сами никогда не собирали?

Яковлев прищурился и сказал:

— Чтоб серьезно собирать — деньги нужны большие.

И, остро взглянув на Всехсвятского, спросил:

— А вы этим увлекаетесь?

— Увлекался когда-то,— сказал Всехсвятский.— В мальчишеские годы.

Когда Яковлев ушел, Всехсвятский узнал по телефону адрес школы, где учился Яковлев-младший. Затем позвонил на работу Жукову и сказал ему, что не имеет возражений против его туристской поездки.

Жуков сказал:

— Большое вам спасибо, товарищ Всехсвятский.

— Ну, что вы! — сказал Всехсвятский.— Я ведь сказал, что постараюсь все уладить. Когда отъезд?

— Да послезавтра. В Москву, то есть, к послезавтра. И вроде отъезд в тот же день. Надо же, так все совпало.

Помедлив немного, Жуков спросил:

— А как? Могу ли я спросить, как вы нашли?

— Пока еще ничего не могу вам сказать,— сказал Всехсвятский.— Но похоже, к вашему возвращению все выяснится. Ну, желаю вам!

Всехсвятский повесил трубку, и пошел в машбюро.

— Медея Перикловна,— сказал он грустно,— вы забыли подписать меня на «Вокруг света». Мне теперь хоть съезжай с квартиры! Сын соседа просил.

Медея Перикловна всполошилась.

— Как же так? Я по вашему списку... Сейчас проверю.

— Посмотрите ваши талмуды, Медея Перикловна,— сказал Всехсвятский еще печальнее.— И заодно подумайте: не сдает ли кто комнату одинокому старику? Мне то есть.

Анечка хихикнула.

— Смеетесь, Анечка! — укоризненно сказал он.

— Вот! — торжествующе заявила Медея Перикловна.— Вот ваш списочек. Тут нет «Вокруг света»!

— Тем хуже! — вздохнул Всехсвятский.— Значит, я один кругом виноват, даже свалить вину не на кого. Так вы подумаете насчет комнаты?

— Я подумаю, как поправить дело,— с достоинством сказала Медея Перикловна.— Поговорю на почте, может быть, они войдут в положение.

— Вот, Анечка,— сказал Всехсвятский.— Посмотрите на эту женщину. Она спасает человека, и делает это как бы между прочим.

— Но я же еще ничего не сделала! — возразила Медея Перикловна.

— Сделаете! — сказал Всехсвятский уверенно.— Не в первый раз!

Он вышел, но успел услышать, как Анечка сказала: «Прямо цирк!»

Было около двух. Он решил, что пообедает потом, а сейчас поедет в школу. Все шло как по маслу: он попал в школу перед последней переменой. В учительской болтали две учительницы, у которых, по-видимому, было «окно». Он осведомился, в каком из восьмых Гена Яковлев. Одна из учительниц спросила:

— А вы, собственно, по какому делу, товарищ?

— Я из дома народного творчества,— сказал Всехсвятский.

— А! — сказала учительница уважительно.— Так он сейчас на уроке, Гена, там, по-моему, математика. Вы подождете, товарищ, или вам его вызвать?

— Я подожду,— сказал Всехсвятский.

Он пошел к двери. Учительница сказала ему вслед, что кабинет математики этажом выше, комната 89.

Зазвенел звонок, захлопали двери, раздался топот бегущих ног; из кабинета математики вылетел и стремглав понесся коротенький круглоголовый мальчишка, за ним посыпались остальные. Всехсвятский перехватил одного:

— Гену Яковлева, будь так добр!

— Так вот же он! — парень обернулся назад.— Генка, тебя!

В дверях появился рослый одутловатый мальчик, с глубоко всаженной в плечи головой. На лице его не было оживления, в движениях не было свободы; он не шел, а пробирался, словно опасаясь, что его затолкают в дверях. Он захватил Всехсвятского рассеянным бледным взглядом, озираясь, ища, кому это он понадобился. Всехсвятский подошел к нему и спросил:

— Какой у вас следующий урок?

— Физкультура,— ответил он не глядя и хотел пойти дальше, но Всехсвятский удержал его.

— А ты от физкультуры освобожден, кажется?

— Освобожден,— буркнул тот. Он повернул голову, посмотрел на Всехсвятского сверху вниз, но исподлобья.

— Ну, тогда пойдем, поговорим,— сказал Всехсвятский.— Я, собственно, к тебе пришел.

И тут на лицо мальчика выполз страх и завладел им бесконтрольно. У него задергался рот, забегали глаза. Всехсвятский взял его за руку повыше локтя.

— Спокойно,— сказал он.— Мы пойдем сейчас с тобой в скверик, там погуляем.

Молча они оделись в раздевалке, молча вышли из школы. Гена не смотрел на своего спутника, не оглядывался по сторонам; он брел рядом, поматывая головой в такт каким-то своим мыслям и на лице его был уже не страх, а тупая покорность. Наконец Всехсвятский сказал:

— Ну, говори.

— А что мне говорить,— отозвался тот.— Вы мне даже не сказали, кто вы, что вам нужно.

Он, видимо, успел взять себя в руки, а может быть, ему пришло в голову, что он зря испугался, что это совсем не то, чего он с таким страхом ждал все эти дни. Этот угрюмый подросток прочитывался легко, как знакомая книжка. Всехсвятский не дал ему отсрочки. Он сказал:

— Я следователь Управления внутренних дел. Моя фамилия Всехсвятский. Я тебя слушаю, Геннадий.

Снег скрипел у них под подошвами, младшие школьники обгоняли их и оглядывались с недолгим любопытством. Они шли рядом, как бы вместе, словно связь между ними была простая, обычная человеческая связь двух равных, без разделяющего стола, без неподвижности кабинетных вещей. Глаза их не встречались; Всехсвятский смотрел прямо перед собой и слышал справа от себя неровное дыхание своего спутника. Наконец Геннадий сказал:

— Вы... Вы мне даже домой не позволите зайти?

— Почему? Поговорим — и пойдешь домой. Я ведь не арестовывать тебя пришел. Ну, например, скажи мне, где ты был в субботу двадцать третьего ноября? С утра в школе. А потом?

Геннадий сказал:

— Я не был в школе. Я прогулял.

— Так,— сказал Всехсвятский.— Родители знали, что ты прогуливаешь?

— Я их в известность не ставил. Ну, а когда я пришел — знали.

Он ссутулился еще больше и пробормотал невнятно:

— Тогда уж все сразу вылезло. И телефон, и все.

— Так где же ты все-таки был?

— Прогулял! — сказал Геннадий упрямо.

— Один прогуливал?

— Один.

— И когда же ты пришел домой?

— Не помню точно. Часов в восемь, наверное. Или в полдевятого. Примерно так.

— Что же ты делал весь день?

— А что я буду говорить? — сказал Геннадий с тяжелым отчаянием.— Вы все равно не поверите.

— А все-таки?

— Они не поверили, и вы не поверите. В кино ходил. Потом просто ходил по улицам. Домой не хотелось.

— Что смотрел в кино?

— «Мертвый сезон».

— «Мертвый сезон»? На Мартыновской?

— На Мартыновской. Больше нигде не шло. Я раньше только по телевизору видел. Хотелось посмотреть на большом экране.

— На каком сеансе ты был?

— В двенадцать часов. В десять у них что-то для малышей было — я не пошел.

— А потом почему домой не пошел?

— Я еще один фильм хотел посмотреть. «Погоня». На восьмичасовом сеансе. Я решил, раз уж я здесь, то посмотрю. Ну, пошел, в парке погулял, по набережной. Зашел в универмаг.

Всехсвятский думал: голос у него какой низкий, глубокий. Отец говорил — в самодеятельности участвует. В драмкружке, наверное, Фамусова играет, городничего...

— Марки собираешь? — спросил он.

— Нет.

— А скажи мне теперь вот что, Геннадий...

За несколько минут в скверике многое изменилось. Исчезли малыши, появились парочки — высокие девушки и юноши с полудетскими лицами. Они мельком поглядывали на Всехсвятского, на Геннадия, но им было не до них — они были заняты друг другом.

— Скажи мне вот что: в том кино есть телефон-автомат?

— Есть. Но я в тот день не звонил.

— Точно?

— Точно. Хотел позвонить, не буду врать. Но не позвонил.

— А почему?

Геннадий пожал плечами. Потом сказал:

— Какой-то хмырь там звонил. Я теперь понимаю — ваш кадр. Но я и тогда подумал. Все зыркал, зыркал глазами... А потом позвал к телефону Никодима Ефимовича.

(Когда потом Всехсвятский говорил об этом с Никулиным, Никулин сказал:

— Вот это вы и называете — приманить удачу, да? Тычешься во все двери, даже проби-

ваешь новые, а потом она вроде сама дается в руки.

— Чтот-ты! — сказал Всехсвятский.— Разве я приманивал? Тут и манить почти не пришлось. Бывает, семь пар железных сапог сносишь, пока эту самую птичку выманишь, удачу! А тут — сама в руки, когда и не ждал.)

Всехсвятский спросил:

— А какой он из себя был, этот...

— Да ну! Вы же сами знаете!

— Ну, и что же дальше было?

— А ничего. Я и в кино не пошел. Поехал к Гриньке Бондаревскому, а потом домой.

— Так,— сказал Всехсвятский.— В котором же часу ты попал к этому... к Бондаревскому, не помнишь?

— Помню. В семь. Я так и рассчитал, чтобы к этому времени. Потому что он в бассейн ходит по субботам, с четырех до шести. Ну, я рассчитал, к семи он как раз приедет, покушает....

— А где он живет?

— За два дома от меня. На кольце двадцатки, потом пройти. А бассейн...

— Погоди. Сколько ехать из кино до кольца?

— Ехать минут двадцать, наверное. Да пока дойдешь, к троллейбусу, от троллейбуса...

— В общем, получается — ты в кино зашел примерно в половине седьмого или немного раньше?

— По моим часам — в восемнадцать двадцать, по ихним — в восемнадцать тридцать. Но они по своим часам живут. Да хмырь ваш может вам подтвердить, вы проверьте. Он тоже — на свои часы смотрел, да на ихние. Все сравнивал.

— Как он был одет?

Геннадий фыркнул пренебрежительно:

— Вам лучше знать. Я на такие вещи внимания не обращаю.

— А почему же ты решил, что он наш кадр?

— Я ж вам сказал. Все время на меня так... зыркал. И все норовил стать спиной. В общем, с той самой минуты я уже знал, что вы за мной ходите. И мне стало, знаете, все до лампочки... А, думаю, позвоню, пускай меня он прямо отсюда и берет. Но в это время он сам позвонил — чтобы меня завести, наверное. Зовет Никодима этого, а сам на меня смотрит... И мне так противно стало, я и ушел.

— Интересно! — сказал Всехсвятский задумчиво.

— И очень! — согласился Геннадий.— Ведь если бы вы меня так усердно не ловили, поймали бы настоящего преступника.

— Мгм!

— А то! Агент, если б не за мной следил, а за парадной той самой... Где убийство произошло... А тут — погнался за зайцем, а слона не приметил.

— Вон, значит, как ты рассуждаешь!

— А то! И так всегда из-за крохоборства.

— Эх, Яковлев! — сказал Всехсвятский.— И до чего же ты, Яковлев, масштабно мыслишь! И до чего же у тебя, Яковлев, широкий взгляд на вещи!

— Если вам охота издеваться...

— Ну, зачем же издеваться! Я только вслух сказал то, что ты сам о себе думаешь. Разве нет?

— Не знаю... Нет....

— Да ну, не прибедняйся. Просто, когда другой это говорит, то у тебя является сомнение. А вот что я хотел тебя спросить: приходило тебе в голову, что эта твоя шутка далеко может завести?

— Это была не шутка,— сухо сказал Геннадий.

— То есть ты собирался убить и честно предупреждал?

— Нет, и не это. Да вы не поймете!

— Объясни — попробую понять! — попросил Всехсвятский.

— Вот тон у вас иронический, и не хотите, а иронический. Я хотел, чтобы... В общем, я... Он сволочь был, вы знаете это, нет? Хотя и говорят — о мертвых ничего плохого, но об этом я все-таки скажу. Вы знаете, что из-за него мой отец пострадал? И знаете, как? Ну, хорошо, допустим вы знаете, но вы-то думаете, может быть, что отец был в чем-нибудь виноват? А я-то его знаю, и как мы живем, знаю, и что тратим, а у нас обыск делали и искали какие-то суммы, или, может, золото, шут его знает... И уже тогда — я, конечно, пацан был, ничего не понимал, но я уже тогда подумал: ну, если бы знать, кто во всем этом виноват. А потом, когда отец вернулся, и я узнал... Ну, я решил психологически... Я им всем хотел... Чтобы они все знали... Я про себя решил: я всю жизнь буду так им звонить. Как голос совести, понимаете? Раз уж у них совести нет...

— Знаешь, что? — сказал Всехсвятский, внезапно останавливаясь.— Одно тебе скажу: виной всему, что получилось с твоим отцом, был вовсе не Соколовский. Можешь не пялить на меня глаза, я знаю, что говорю. Я знаю, кто был во всем виноват, но тебе не скажу, и не рассчитывай, потому что рано тебе еще брать на себя... ну, то, что ты берешь.

— Вот все так говорят: рано, рано,— пробормотал Геннадий.— А потом оказывается уже поздно.

— Бывает,— согласился Всехсвятский.— Мы с тобой об этом еще поговорим. Так все-таки, как был одет тот, кто за тобой следил?

— А никак. Пальто, шапка... Как все...

— Узнал бы его, если бы пришлось?

— А зачем вам? Может, и узнал бы. Сперва-то мы с ним все друг от друга прятались. А потом я уж захотел посмотреть, какие у нас теперь шерлокхолмсы.

— Ну, и как? Понравился?

— Ничего, по виду не скажешь.

— Вот автомат,— сказал Всехсвятский.— Звони домой. Скажи, что ты задержишься, чтоб не беспокоились.

Геннадий посмотрел на него и покачал головой.

— Мне у них веры нет,— сказал он.— Звоните сами.

Всехсвятский позвонил и сказал слабому, надтреснутому голосу, который ему ответил, все что следовало. Голос, прерываясь, спросил: нельзя ли отпустить мальчика домой пообедать. Всехсвятский обещал, что сам накормит парня и заверил, что все в порядке, Геннадий к вечеру будет дома.

Они постояли на остановке, ожидая такси — ждать пришлось недолго. И в такси Всехсвятский вдруг обнаружил, что не знает, куда, собственно, везти парня обедать. Не в ресторан же! И не в самообслужку с пельменями.

— В «Север»,— сказал он шоферу.— Не возражаешь? — обратился он к Гене.

Тот крутанул головой: мне, мол, все равно.

Но в «Севере», за блинным пирогом и сбитыми сливками он несколько оттаял и спросил:

— А до чего, по-вашему, я еще не дорос? То есть, я понимаю общий смысл. Но вы хотели сказать какое-то слово и не сказали. Вы сказали, что я много на себя беру, в общем, в этом смысле.

— Понял. Ну, что ж, я хотел сказать, что ты берешь на себя роль правосудия. Этакий юный мститель. А сейчас время для этого неподходящее. Для правосудия знаешь, что прежде всего нужно?

— Наверное, знаю, но, наверное, это не то, что знаете вы.

— Ладно, я скажу первый. Информация нужна, ясно? Полная, всесторонняя информация...

— И все?

— Не все, но это — обязательное условие. А когда не располагаешь такой информацией, то рискуешь...

— Рискуешь попасть в непонятное. Так мой отец говорит.

— Рискуешь чужой жизнью, вот как в твоем случае вышло. Ты что, не понимаешь? Конечно, это спокойнее, чем рисковать своей. Сиди, сиди, дуэли у нас отменены, ты лучше слушай.

— Вам кажется, что вы можете меня оскорблять. А вы ведь ничего обо мне не знаете. Вы тоже, как все: вот вам все дано... чего же вам еще? А главное, вы нам не верите.

— Кто — вы? Кому — нам?

— Даже родители не верят. Они знаете, что думают? Они думают, что это я... Ах, да ладно! Я когда узнал, что так все случилось, сам хотел к вам идти.

— Что же не пришел?

— Отец не велел... Он сказал, что вы со мной и разговаривать не станете, потому что я еще дэшэ. Ну, дэшэ — до шестнадцати. Что в управление идти — паспорт надо, а у меня еще паспорта нет. Ну, а вы его за меня, видно, отвалтузили, что не умел воспитать. Он-то ничего мне не говорит, но я уж понимаю.

Всехсвятский смотрел на него, ничего не говорил, постукивал по столу пальцами. Потом сказал:

— Предмет у вас ввести надо. Хоть факультативно надо ввести. Понятие о советском праве. Ты, например, знаешь ли, что ты правонарушитель? Не говоря ни о чем другом прочем, только за твои телефонные звонки? Ведь это статья. Статья уголовного кодекса. Не знал?

— Не знал.

— Вот то-то. И все от юридической безграмотности. Р-романтика! Монте-Кристо!

— Почему Монте-Кристо!

— Обдумал все, решил лично покарать виновных. И занялся телефонным хулиганством. А преступник этим хулиганством воспользовался. И вот убит человек. Ленинградец, год рождения — незабываемый девятьсот девятнадцатый. Все, что положено было в жизни этому призыву,— все пережил. Ты когда-нибудь почитай историю, да сообрази, что на его долю досталось. И вот из-за тебя убили его. Ладно, не отвечай мне. Ты сейчас не то что нужно ответишь. Ты потом будешь отвечать, когда я тебя вызову. А теперь я пойду по телефону звонить, а ты пей кофе.

Всехсвятский набрал номер Никулина и сказал, что просит подать к «Северу» легковушку, немедленно.

— Водителя отпущу. Пусть только подаст машину, так и передай. Кто у нас сегодня, Ивинский, нет? Вот так и передай Ивинскому. Надо предпринять одно оперативное действие.

Вернувшись, он сказал Геннадию.

— Я виноват, аппетит тебе испортил. Даже кофе не выпил.

— Ничего,— сказал Геннадий.— Так даже лучше.

— Тогда пошли. Больше я с тобой душеспасительных разговоров вести не буду. Мы с тобой лучше покатаемся по городу.

Они вышли. Всехсвятский подошел к бежевой «Волге» и сел на водительское место. Геннадий полез в машину, ни о чем не спрашивая. Они ехали молча, Геннадий смотрел в окно: под белым, улегшимся снегом четко обрисовывались контуры мостов и зданий. Он спросил:

— Вы меня сегодня посадите?

— Я тебя в одно место везу,— отозвался Всехсвятский, словно не расслышав.— Мы должны подождать одного человека.

Всехсвятский подогнал машину к самому тротуару, впритирку, откинулся на спинку сиденья и сказал:

— Нам надо захватить того парня, который... Ну, в общем, с которым вы тогда в кино в прятки играли. Он должен из этого дома выйти. Сядь на мое место. Когда увидишь его, толкнешь меня. А я покуда подремлю.

Он вышел из одной дверцы, вошел в другую, сел и тотчас же закрыл глаза, погрузился в послеобеденную дремоту.

Прошло минут пять. Геннадий, ни к кому не обращаясь, сказал:

— А если я его не узнаю?

— Узнаешь,— сказал Всехсвятский, не открывая глаз.

Он вовсе не был в этом так уверен. Но все-таки....

Еще несколько минут прошло, длинных, полных всеми своими секундами, как стручки горошинами. Всехсвятский ощутил робкое прикосновение к своему локтю, открыл глаза, посмотрел на тротуар и сказал:

— Ничего не выйдет. Пропусти-ка, я пролезу на свое место.

— Отчего вы? Разве это не он был, с девушкой?

— Он,— сказал Всехсвятский, включая скорость.— Он, конечно. Но, как ты правильно подметил, он с девушкой, а мне его одного надо. А теперь я тебя доставлю домой. И скажи своим родителям: сажать мы тебя не будем, хотя стоило бы. Но тут я беру на себя все, потому что имею право. Ответа не нужно. Отвечать будешь в управлении, когда я тебя вызову, чтобы прочистить мозги.

Окончание следует.

ДЕЛО О ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКАХ

Рисунки И. УШАКОВА.

Руфь ЗЕРНОВА

ПОВЕСТЬ

XIII

Рита предложила Кириллу проводить его в Москву.

— Возьму за свой счет на один день. Вообще-то говоря, мне отгул причитается, да могут не дать — знаешь, как у нас. Так лучше я за свой счет. Не обеднею как-нибудь без этих трех рублей. А не дать Варвара не посмеет — моментально в другую точку уйду.

Кирилл сказал:

— Подумаю.

— Чего думать-то! — Рита пожала плечом, не изменяя спокойного и рассудительного выражения лица.

И Кирилл сказал:

— Ладно. Потешимся напоследок.

Что он имел в виду, Рита поняла, когда оказалось, что Кирилл взял мягкую «Стрелу» — двухместное купе.

— Надо же! — сказала Рита.— Как господа. Никогда так не ездила. Умеешь ты!

— В буфет пойдем или здесь закусим? — спросил Кирилл.

— А ты как хочешь?

— Сегодня ты королева. Как скажешь — так и будет.

— Тогда здесь,— решила Рита.— Неохота мне сегодня смотреть на пьяные морды. Так нам с тобой здесь... как будто это наш дом.

Когда по вагонам стали разносить напитки и закуски, Кирилл купил бутылку коньяка и плитку шоколада. Рита попросила его выйти, она хотела переодеться. Когда он вошел, она сидела в цветастом нейлоновом халатике и смотрела на него необычно блестящими глазами.

— И правда, как будто дом наш. И не видно, что едем. Просто закрыли двери. Ну, обними меня.

Под утро она сказала:

— Не спутаешься с кем-нибудь там? Смотри у меня!

— Где там спутываться! — сказал Кирилл.— За экскурсоводом будем ходить, как цыплята.

Она помолчала и сказала:

— Привыкла я к тебе.

— Приеду — поженимся,— сказал Кирилл.— Я тебя с работы сниму, ребенка заведем...

— Вот видишь,— сказала она.— Я же говорила тебе, что лучше меня не найдешь. А дело прошлое — я тебя ревновала к этой... ну, у которой отца убили. Сейчас мужики пошли ненормальные — им такие нравятся...

— Я очень нормальный,— сказал Кирилл.

— Ты-то нормальный. Подожди, ты послушай. А она не переживает из-за тебя? Как ты думаешь?

— Не знаю, не интересуюсь. Я ж говорю, я нормальный.

— Не интересуешься? А почему у тебя ее фотография?

Рита почувствовала, что Кирилл отодвинулся и словно застыл. Она села на постели, обняла руками колени и сказала:

— Так вот оно что!

— Ты о чем? — спросил Кирилл.

— Очень хорошо знаешь, о чем. За неимением гербовых пишут на простых, да?

— Темная ты, Ритка,— сказал Кирилл со вздохом.

— Скажи уж прямо, серая. Только имей в виду, что гордость у меня тоже имеется.

— Кто у тебя ее отнимает, гордость твою! Что ты болтаешь, подумай сама. Ты в зеркало хоть смотришься когда? Ну сравни себя и ее.

— А фото? — спросила Рита, не убежденная.

— Что фото?

— Зачем ты с собой ее фотку везешь?

— Вез бы твою, если б у меня была.

— Ты ж у меня не просил никогда.

— Я и у нее не просил, сама подарила.

Рита несколько минут лежала молча, размышляя. Потом сказала:

— И чего это со мной? Никогда такого не было. Видно, сильно я к тебе привыкла.

Кирилл привлек ее к себе, она положила голову ему на плечо. Он спросил:

— Ты когда ее увидела, фотографию эту самую? Когда я за коньяк расплачивался?

— Ага. Увидела, что какая-то фотка... А потом ты вышел — я достала бумажник, посмотрела. Даже на картон наклеена! Слушай, порви ты ее, чтобы я была спокойна.

— Ох, и ревнивая у меня жена будет! — сказал Кирилл.

Они помирились.

Целый день потом они гуляли по зимней Москве. Рита несколько раз возвращалась к разговору о фотографии. Кирилл отшучивался. Наконец он сказал:

— Была бы у меня твоя фотография...

Рита открыла сумочку и сказала:

— На!

Это была открытка девять на двенадцать. Рита была снята в три четверти оборота, с опущенными глазами.

— Ну, настырная! — удивился Кирилл.— Ладно, обрежу аккуратно и наклею поверх той. Устраивает тебя? Без картона в бумажнике помнется, а картона такого мне сейчас уже не купить. Отдирать тоже будет неаккуратно. И закроешь ты мне ее, как оно и в жизни случилось.

Они купили в писчебумажном магазине клею. Тут же на столике он закапал клеем Аллино лицо и осторожно залепил его Ритиным.

— А теперь надпиши сверху,— сказал он.— «Моему мужу».

Она аккуратно надписала на картоне под фотографией: «Моему мужу Кириллу от его жены Риты». Поставила число. Потом сказала:

— Вот теперь мы как будто с тобой обручились. Слушай, мы с тобой не договорились, что ты мне привезешь. Кофточек этих не надо — у меня их и так навалом. Ты привези мне такую сковородку, на которой без масла жарить можно. Чтоб не толстеть.

Кирилл стал смеяться. Рита смотрела на него растерянно — она не понимала, что его так веселит. Потом сказала:

— Сейчас даже у кого хорошая фигура, не смотрятся, если полные.

— Я не потому смеюсь,— сказал Кирилл, успокоившись.— Я просто думаю, как со сковородкой по Европам буду ездить.

— Я тут пока на мебель запишусь,— сказала Рита.

Поезд на Брест отходил в 19.20. Они приехали на Белорусский вокзал в половине седьмого — перед этим они пообедали в ресторане «Пекин». Десятка два будущих спутников Кирилла — мужчин и женщин — с провожатыми группировались вокруг толстого очкастого старосты. Кирилл подвел к нему Риту:

— Моя невеста.

Тот оглядел ее одобрительно и сказал:

— Не боитесь оставлять на целых десять дней?

И засмеялся. Рита была шокирована такой несерьезностью. Она сухо сказала:

— Некоторые мужчины думают, что над всем можно шутить.

И отвернулась. Староста опешил, а Кирилл рассердился:

— Рита, ты что — шуток не понимаешь?

Староста сказал:

— Нет, я, конечно, неудачно пошутил, приношу свои извинения.

Рита милостиво кивнула головой.

— Только я... Вы как-то сразу отшибли мне память. Ведь вы Жуков, Кирилл... Андреевич, кажется?

— Я,— сказал Кирилл.

— Вас просили зайти к начальнику вокзала. Что-то с паспортом вашим... Кажется, забыли дату рождения проставить, год есть, а месяца и числа нету.

Рита посмотрела на Кирилла, и ей показалось, что у него что-то сделалось с лицом. Он как-то механически кивнул, словно думал о другом. Потом он отдал Рите свой чемоданчик, который они успели взять из камеры хранения:

— Постереги!

И пошел в сторону кабинета начальника. Но

Окончание. См. «Огонек» №№ 40—47.

с полдороги вернулся, вытащил из бумажника Ритину фотографию и сказал:

— Вот, покажи нашему старосте, какой подарок ты мне сделала перед отъездом!

И пошел. Рита, желая загладить свою недавнюю резкость, ласково сказала:

— Посмотрите, правда, я здесь ничего получилась?

Староста взял фотографию, посмотрел, одобрил. В это время кто-то тронул Риту за локоть. Она обернулась. Высокий молодой человек стоял у нее за спиной:

— Кирилл Андреевич просил принести его вещи в кабинет начальника вокзала.

Рита с недоумением посмотрела на молодого человека, потом на старосту. Тот, похоже, был озадачен. Наконец он сказал:

— Я вам помогу.

— Да зачем,— сказала Рита.— Я и сама донесу, чемодан-то не тяжелый.

— Фотографию свою не забудьте,— напомнил молодой человек. Он не стал отнимать у Риты чемодан, кивнул старосте, взял у него фотографию, мельком взглянул и спросил:

— Вы давно поженились?

— Мы еще не расписаны,— сказала Рита.

Она хотела добавить, что они распишутся сразу, как только Кирилл вернется, но промолчала. Почему-то ей стало неуютно, и она почувствовала себя одинокой на многолюдном вокзале, рядом с этим вежливым молодым человеком, который на нее не смотрел.

У дверей кабинета начальника он остановился и сказал Рите:

— Вы зайдите!

Рите показалось — голос его сорвался нетерпеливо. Она чуть повела плечом и открыла дверь.

Слева от двери был большой письменный стол; по одну его сторону сидел кто-то незнакомый, по другую — Кирилл, который сразу обернулся к двери. Он смотрел не на нее, он, щурясь, смотрел поверх ее головы. Рита обернулась и увидела, что молодой человек, сопровождавший ее, держит ее фотографию в поднятой руке.

Рите хотелось окликнуть Кирилла, спросить его, отчего его позвали, но она не могла этого сделать, потому что тут происходило что-то важное, непонятное, но очень важное, раз у Кирилла такое застывшее лицо, а у других — тут она увидела, что в кабинете находилось еще несколько мужчин,— лица странно оживленные и как будто нетерпеливые, словно все они ждут того, что сейчас начнется. Будто все это — и кабинет этот, и все люди, и Кирилл, и она, и ее фотография, которую так торжественно держит молодой человек,— еще не начало, а вот сейчас, когда все собрались, будет начало.

И только на одном лице не было этого нетерпения. Пожилой такой дяденька, а лицо круглое, как у маленького мальчика, и глаза круглые и обращены на Риту, и в них — сочувствие и понимание. Все были обращены к этому человеку — даже тот, кто сидел на главном месте, за столом, а он смотрел на Риту и, видно, знал, что будет сейчас что-то для нее очень плохое, а что же может быть такое плохое для нее — только Кирилл, но на Кирилла смотреть страшно, лучше она будет на этого круглого, а он от всех дел отрывается, ему что-то тихо говорят, а он отрывается, поддерживает ее взглядом, хороший, самостоятельный человек. И не встает, и не ходит, и за столом сидит кто-то другой, а понятно, что он тут если не самый главный, то все равно очень важный... И он кивнул головой, и тогда тот за столом спросил Кирилла: «Разрешаете? Я осторожно, не попорчу».— И Кирилл хмыкнул,— мол, чего уж спрашивать, и тот человек за столом каким-то тоненьким длинным ножичком стал осторожно отпарывать от картона Ритину фотографию, а потом спросил: «Там еще что-то?» — и Кирилл сказал, что там еще одна фотография для прочности, и тут Рита подумала страшное слово, с самого детства самое страшное слово — про Кирилла, но подумала, что этого, во всяком случае, не может быть, а человек за столом отпорол, наконец, ее фотографию с картона и сказал: «Ну вот, полюбуйтесь». И все вытянули шеи, чтобы посмотреть, а он протягивал этот картон только маленькому круглолицему, но тот только мельком взглянул, и опять на Риту посмотрел, и покачал ей головой,— вот, дескать, как все получается, а мы не виноваты. И Рита тоже вытянула шею, но ничего особенного не увидела, только увидела приклеенную к картону обыкновенную почтовую марку на черном фоне, под прозрачной полиэтиленовой пленочкой. Она посмотрела с недоумением вокруг — отчего все радуются, потому что все чему-то радовались, и тут Кирилл сказал:

— Я ее давно уже купил у жучка одного. В парке Ленина.

Он тоже смотрел прямо на круглолицего, а тот кивнул, вроде бы согласился, потом сказал:

— То, что вы первым делом об этом заявляете, тоже свидетельствует против вас, Жуков. Но теперь этим уже займется прокуратура. Я могу вам порекомендовать только одно: полную откровенность.

Молодой человек, что привел Риту сюда, быстро вышел. А круглолицый посмотрел на того, кто сидел за столом, и тот сказал милиционерам:

— Уведите!

Они подошли к Кириллу, и он встал и только тут посмотрел на Риту, и она охнула, качнулась к нему, и кто-то стал ее удерживать, а другой, наверное, тот самый, круглолицый, сказал: пусть попрощается, и она беспрепятственно обняла Кирилла, но уже это вроде и не он был под ее руками, все так переменилось, и все смотрят, и он только по слине ее потрепал, и тогда она отпустила его, отступила и спросила:

— Хоть скажи мне... хоть скажи!..

— Марку я хотел провезти,— сказал Кирилл.— Марку. Чтоб тебе на эти деньги шмутки привезти.

— Господи!

Неужели все это — ее страх, и это нетерпение у всех, и оцепенение, и тяжесть воздуха в этой комнате — все было из-за этой ерунды? Но тогда не надо ей переживать, и это страшное слово — зря она его, не ко времени вспомнила, чуть что не вообразила, что Кирилл шпион какой-нибудь, резидент, как в телефильме. И она сказала:

— Ничего, Кирюша, не тушуйся. Я тебя буду ждать.

Она и сама не знала, как сказались эти последние слова.

Всехсвятский рассказывал:

— Он сказал этой... девушке своей, что хотел всё марку за границей продать и ей на эти деньги шмотки привезти. Обещал, что запишется, когда вернется. А между прочим, перед отъездом распродал свои вещи какие поценнее: магнитофон, приемник, инструментарий свой ювелирный. Я и говорю Маргарите Ивановне: «Не думаю я, что он собирался к

вам вернуться. Не думаю, что он вообще собирался вернуться...» Куда там! Не верит. «Он сказал, что с тобой запишемся, ребеночка заведем! Он же ничего еще не сделал. Он же только хотел марку вывезти. Но не вывез. Вы ведь предотвратили!»

— Выходит, она ничего не знала? — спросил Никулин.

— Не знала, конечно. Зачем бы он стал ее в это посвящать? Пособники ему не нужны были. Очень он хитро это все обделал. И подозрение на Костурича направил — осторожненько так, без нажима. Обстоятельный человек. А она ему оч-чень преданна. Говорит, раз уж так сошлось в жизни, то все равно считает себя его женой и будет его ждать и передачи носить будет.

— Это пока она не знает, что он еще и убийца.

— Может быть. Вообще-то она девушка неплохая, в сущности. Все мне кольцо свое показывала. Красивое кольцо с малахитовой розой. Вот, мол, Жуков это кольцо ей сделал. У него такое умение в руках!.. А на самом деле ничего он сам не делал. Только сбывал. А делали другие. У него целая бригада художников была. Иногда даже дома у него работали его инструментом.

— Гень Ванч,— спросил Никулин,— а когда вам стало ясно, что убийца Жуков?

— Когда стало ясно? Когда марку у него увидел, тогда и стало ясно!

XIV

Алла сказала:

— Значит, все-таки я виновата.

— А что вы думаете? — сказал Всехсвятский.— Когда судят преступника, за ним всегда куча виноватых. Виноватых, но неподсудных. Закона против вины нет. И даже частным определением тут не поможешь. Вы смотрите, сколько человек, сами того не зная, подготовили преступление: Яковлев, его сын, вы, Костурич. А перед судом встанет Жуков — сознательный преступник. Который всем воспользовался: трусостью Яковлева-старшего, который не посмел сказать правду сыну, истерическим хулиганством Яковлева-младшего, вашей болтливостью, пьяным дебошем Костурича. И ведь я вижу только одну цель, а не вижу второй, которая биографически вела Жукова к преступлению. Но этим займется уже следователь прокуратуры.

Алла сидела, поникшая, подавленная. Всехсвятскому стало ее жаль.

— А теперь посчитайте, сколько человек стало рядом — сознательно и бессознательно,— чтобы помочь отыскать преступника. Вы, Костурич, Иванчихин...

— А что Иванчихин? При чем тут Иванчихин?

— А он показал на следствии, что Костурич у него дома кричал про какую-то марку. В тот вечер, когда напился и его Жуков домой отвозил. Иванчихин-то на этот разговор не обратил внимания, и жена его не обратила, а Жуков обратил. Он был вообще внимателен к людям, Жуков. И по дороге осторожно расспрашивал и дома расспрашивал. А Костурич на следующий день все забыл.

Алла мерно, будто в такт чему-то, кивала головой.

Всехсвятскому показалось, что она слушает не его, а собственные мысли. Но она вдруг встряхнулась.

— Наверное, наверное, именно тогда это и было! Я не захотела оставаться, убежала домой, а тут он раскричался. А я еще специально потом благодарила Кирилла... Жукова за это. И да, да, с этого самого времени он както замаячил...

— Кто замаячил? Жуков?

— Ну да, он, так настойчиво, и я не очень понимала, что тут, собственно говоря, такое; не похоже, чтобы я его волновала... как женщина. И все-таки меня тревожило любопытство, вроде любопытства. Но почему он не стал бывать у нас дома, например, ведь тогда не надо было бы убивать?

— Я думаю, он не хотел привлекать к себе внимания. Если бы он бывал у вас дома и произошла бы, скажем, кража — похищение этой марки — кстати, ваша мать ее получит непременно после суда,— так вот, если б случилась кража, он механически был бы в числе подозреваемых. А этого он хотел избежать. Он хотел обделать все чисто. Прокурор говорит, что у него философия четкая: раз стукнешь, а потом всю жизнь живешь безбедно и безгрешно. Этакий рыцарь первоначального накопления. Так вот, значит, как я уже сказал вам,— Иванчихин. Потом билетерша в кино. Да, да, в вашем придворном кино, где вы Баниониса смотрели. Она ведь вас в лицо знает и Костурича знает.

— Это такая толстая?

— Ну да, она. Так вот она говорит — всегда ими любовалась, такая пара красивая была. Потом долго их не было, я их порознь встрела, он стал выпивать, дебоширить, к нам в буфет пару раз рвался... Ну, я, говорит, поняла, что они разошлись,— не захотела она терпеть пьяницу. Очень вас за это хвалила. И Жукова она сразу приметила,— такой, говорит, самостоятельный, хорошо одетый, в дубленке.

Алла кивнула.

— И вот она-то мне и сказала самое главное. Видно, говорит, они в кино поссорились. Сперва она ушла, да такая расстроенная, а потом он. Я говорю: как же он, он же до конца фильма досидел, а она после первой серии. Она даже на меня обиделась: как же, говорит, до конца, когда я подумала, что он если очень поторопится, то ее догонит, и они помирятся. Я, говорит, даже с места сошла, не поленилась, в дверь посмотрела. И вижу — он в такси садится. Около самого кино — в такси. Ну, думаю, на машине уж он ее нагонит!

— Значит, он...

— Погодите. Вот тут у меня началась неувязка. У меня какая получалась картина? Он пошел, позвонил, вызвал вашего отца под предлогом разговора о Костуриче, вероятно; ну, тут произошло все это. Но, понимаете, не сходилось во времени. Вы ушли еще до шести, а отцу вашему, по словам Полины Федоровны, звонили примерно в половине седьмого. Зачем он домой поехал на такси, это понятно: скорее всего, за орудием преступления. Вряд ли он его с собой таскал, когда с девушками гулял, правда ведь? Но ведь если он был дома и из дома позвонил, то Никодиму Ефимовичу сразу выходить для встречи с ним не надо было, верно? Из дому он мог Костуричу позвонить, чтобы он на месте преступления показался в нужное время. Вероятно, это было у него давно запланировано. Но вот откуда же он звонил, чтобы Никодима Ефимовича вызвать? Около вашего дома, кроме этого автомата, еще один — в гастрономе. Но туда он не мог пойти — рисковал напороться на костуричевых приятелей, которые его, и правда, могли знать в лицо. Значит, в то же кино вернулся? И тут этот парнишка, Яковлев, рассказывает... Спрашиваю: как одет был тот, кто звонил? Говорит, обыкновенно. Где же дубленка? Дубленки-то у нас все замечают. Едем к Дому быта; выходит Жуков — не в дубленке, а в пальто.

— Он на работу дубленку не носит, она у него выходная.

— Ну, вот. И я тут, как вы выражаетесь, усек, что, значит, он из кино на такси домой смотался, переоделся и, видно, на том же такси вернулся... Ну, таксера найти у нас — пара пустяков. Тут опергруппа поработала. Нашли. Действительно, возил один такого — переоделся и обратно в тот же район, только чуть раньше вышел, не у самого кино. В общем, водевиль с переодеванием. Довольно чистая работа. Очень твердо он все рассчитал. Стал неприметным, пошел и Никодиму Ефимовичу позвонил. Тут его как раз этот мальчишка Яковлев и засек. В общем, все сошлось. Остальное он уже сам делал. Марку он почти что по собственной инициативе нам вручил — это когда его позвали в кабинет начальника вокзала, а он вдруг вернулся и фотографию своей девушке отдал. Да это я вам уже рассказывал. Да, а знаете, что под этой фотографией была еще другая, ваша?

Алла усмехнулась.

— Я ему когда-то давала увеличить, у него был фотограф — частник, очень здорово делал портреты. Забыла даже, зачем мне понадобилось. Кажется, на доску почета. Давно это было. Там я еще до Лодьки снята.

— У него были фотографы, были жучки, были мальчики, которые для него ему камни резали.

— Геологи?

— Какие геологи? Художники! Ездили в Старый Петергоф и там резали. Есть теперь такой промысел. Новое месторождение — Старый Петергоф. После войны. От взрывов, от высоких температур здесь сплавились все эти малахиты или как их там зовут. И нынче ходят художники, рубят себе камешки. Жуков-то сам не рубил — это мальчики делали. А потом уже делали продажные вещи по его указаниям, иногда хорошие, а больше — на рыночный, непритязательный вкус. Перстенечки, кулончики.

— Серьги! — сказала Алла и подняла руки к ушам. — Вот эти самые! Я у него купила. Их Коля Докторов делал, он их при мне принес. Но ведь он и сам мог, он мне говорил... У него даже инструменты были, станочек, чтобы камень шлифовать...

— На этом станочке он сам когда-нибудь при вас работал? Нет? То-то. Его это не заботило. Он зарабатывал, и немало зарабатывал. А потом, вероятно, появилась мысль о желтом металле да о настоящих камушках. Может, что у него и было даже, но вряд ли много. И вдруг вот этот разговор про марку. Крошечный кусочек бумаги, а столько денег. Тут он начал свою туристскую поездку готовить. Я думаю, что он не один план отверг, прежде чем...

— Прежде чем я ему рассказала про эти телефонные звонки. Понимаете, он мне казался таким практическим человеком, как никто. Я ведь тоже не думала, что это серьезно — эти звонки, я просто хотела от них избавиться.

— Ладно, не мучьте себя. Все равно он уже готов был убить, только ему надо было подозрение направить на Костурича. Его просто случай подтолкнул,— он ведь не мог думать, что вы не досидите в кино до конца. И тут он ускорил исполнение плана. Съездил домой, переоделся, позвонил Костуричу, захватил инструмент убийства. Видимо, чулок с песком. Успокойтесь, Алла Никодимовна, не нужно.

Алла плакала.

— Маму жалко безумно. Я ей все рассказала. Вы ей позвоните!

— Уже звонил. Она мне сказала: ну, хорошо, нашли. Но Никодима Ефимовича ведь это мне не вернет!.. Вы с ней побольше Лодика оставляйте! Кстати, завтра Костурича выпускают, вы знаете?

— Знаю,— всхлипнула Алла.— Вы что, советуете мне?

— Ничего я вам не советую, не мое это дело. Вы сами все должны решить. Но лучше, если вы ему обо всем расскажете. Он ведь еще ничего не знает.

— Если бы он согласился лечиться...

— Может, согласится?

— Он хороший человек. Но слабый. И гены... Мама всегда говорит, гены...

— Гены, гены... Когда Жуков задумал его подвести, он сыграл не на чем-нибудь, он на благородстве его сыграл. И чуть не выиграл. А вы говорите — гены. Там разное заложено.

— Трудно как все! — сказала Алла. — Почему все так трудно? Даже любовь — трудно!

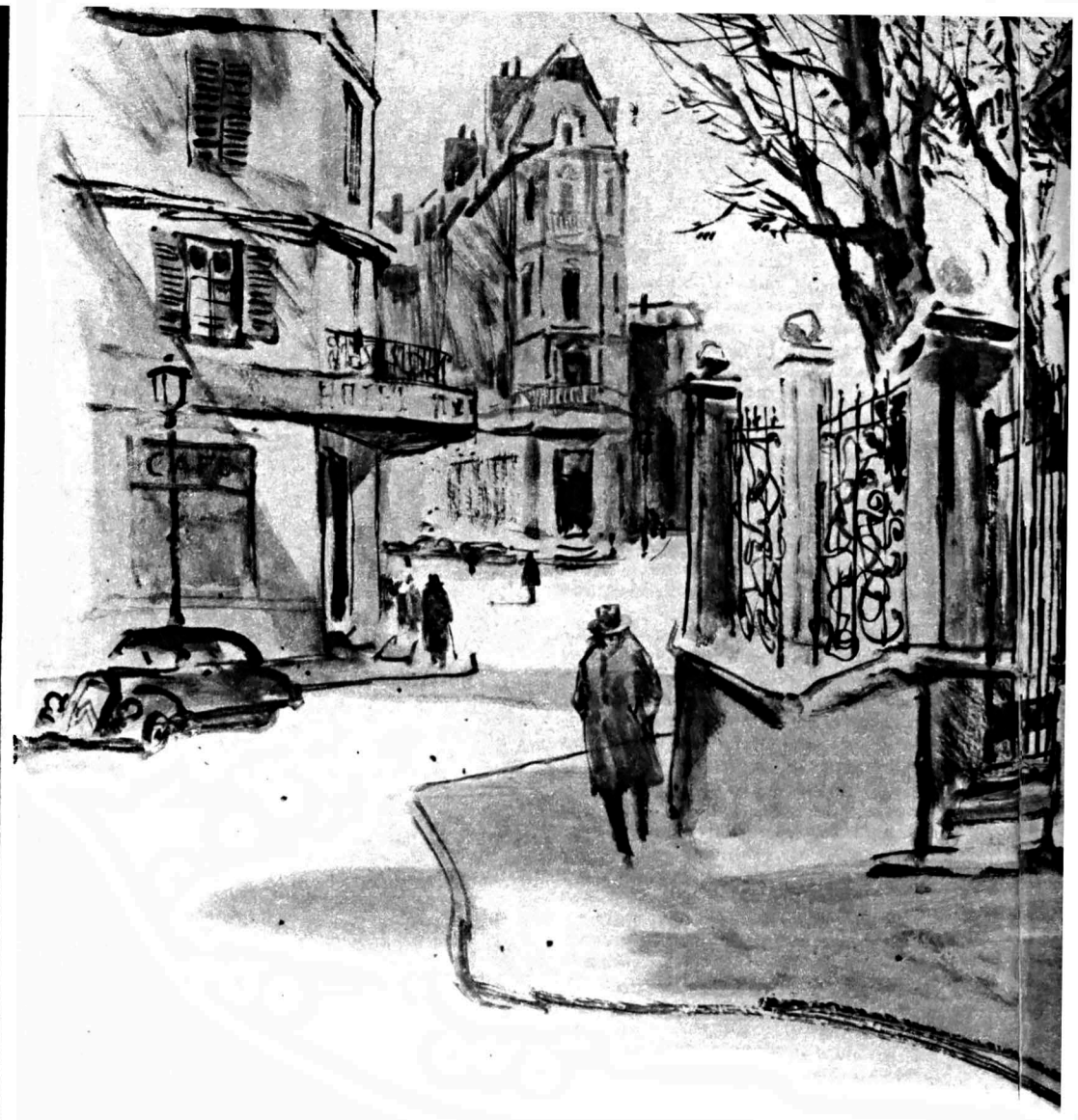
— Вот тебе на! — вздохнул Всехсвятский. — У женщины любовь, а она жалуется!

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.



1. ИЮЛЬ, 1942. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24

Лето в Париже не самая лучшая пора. Жарко, пыльно, и каштаны на Больших Бульварах кажутся серыми. Вода в Сене к вечеру начинает пахнуть псиной — это гниют городские отбросы. Жак-Анри не любит жару, но что поделать: уехать он не может. Паспорт со швейцарской визой лежит в столе, однако дела — их так много, что паспорту придется подождать.

Жалюзи в конторе опущены, но солнце пронизывает их, пробивает насквозь, и стакан с содовой водой нагревается меньше чем за полминуты. Жак-Анри отпивает глоток, костяной ложечкой перемешивает лед. Улыбается изнывающему в своем мундире полковнику.

— Еще содовой? Или, может быть, виши?

Полковник — из организации Тодта. Он плотен, моложав, сидит прямо, ремень туго охватывает не по годам узкую талию, наводя на мысль о корсете. Если бы не мундир, то его можно было бы принять за француза — черные волосы, узкий, с горбинкой нос. Дипломированный инженер, доктор. Жака-Анри он немного презирает, хотя и старается быть корректным. Для него Жак-Анри в данном случае младший деловой партнер, а вообще человек второго сорта, делец из тех, кто рано или поздно кончит концлагерем или тюрьмой Сантэ. Поэтому он не торопится подписывать контракт, хотя Жак-Анри не без намека поигрывает золотым пером, ловит им тоненький солнечный луч.

— Итак?

— Видите ли, господин Легран...

— Я весь внимание, полковник!

— Вы ручаетесь за сроки?

Речь идет о строительстве двадцати бараков на побережье, а можно подумать, что о второй Эйфелевой башне! Через неделю бараки должны быть заселены рабочими Тодта, и полковник напрасно тянет время: так или иначе контракт придется подписать. Фирма «Эпок» не первый день сотрудничает с вермахтом, в определенных кругах ее считают коллаборационистской, однако Жак-Анри не придает этому значения. Господа патриоты, тайком слушающие лондонское радио и полагающие, что этим самым они участвуют в Сопротивлении, всего лишь неопасные болтуны: бранить оккупантов и прославлять Жиро и де Голля — хороший тон, не больше. Во всем остальном эти господа, как и Жак-Анри, реалисты, и взгляды нисколько не мешают им вести дела с Берлином и Виши. И если имперские органы предпочитают «Эпок», то не потому, что уверены в преданности его владельца третьему райху. Для них он всегда есть и будет лицом ненадежным и подозреваемым: Жаку-Анри известно, что гестапо наводило справки о нем и его служащих. Здесь, в Париже, немцы не верят никому — даже в солидных дельцах им мнятся замаскированные франтиреры. Но «Эпок» работает добросовестно, быстро и за сравнительно небольшой гонорар — это привлекает немцев. Жак-Анри делает все, чтобы репутация фирмы была безупречной. Среди его служащих нет никого, кто имел бы в свое время хоть малейшее касательство к Народному фронту, зато немало последователей полковника де ля Рокка.

Перо в руке немца напоминает жало.

— И еще, господин Легран! Я хочу, чтобы вы знали: лично я был против передачи подряда вам.

— Но почему, полковник?

— Вы слышали о де Барте? Он строил участок шоссе на побережье. Сейчас им занимается гестапо, и, полагаю, он будет расстрелян.

Жак-Анри возмущен, но сдерживается:

— «Эпок» не имеет ничего общего с де Бартом!

— Знаю, и тем не менее я был против вашей фирмы.

— Против французов вообще?

— Вот именно, мой дорогой господин Легран!

Жак-Анри молча пожимает плечами. После сказанного не может быть и речи о конверте — том самом, что лежит в бюро. В конверте — рейхсмарки, гонорар полковника. Хорошо бы выглядел он, Жак-Анри, если бы поторопился с этим делом. Как знать, не донес ли бы на него в гестапо господин представитель Тодта!.. И так каждый раз: не знаешь, когда и как передать деньги. Маленький куртаж стал большой проблемой, но не давать нельзя: подрядов меньше, чем претендентов на них. Придется поручить полковника Жюлю.

Жак-Анри делает вид, что перечитывает контракт и думает — теперь уже о де Барте. Что он там натворил? Ходили слухи, что де Барт связан с Лондоном. Передал сведения? Но какие? Участок шоссе вел к Атлантическому побережью, к укреплениям вала. Неужели англичан может интересовать такая мелочь, как описание отдельного участка? Надо сказать Жюлю, чтобы рабочие не вздумали расспрашивать о чем-нибудь немцев, когда будут передавать им бараки. Атлантический вал — в известной мере секрет Полишинеля; многое о нем можно узнать, не покидая Парижа.

Подпись полковника на контракте заканчивается длинным когтем. Жак-Анри готов поручиться, что, вернувшись к себе, полковник позвонит в абвер или службу безопасности и попросит еще раз присмотреться к «Эпок»... Будем надеяться, что после этого он успокоится: сегодня контрразведка не осведомлена ни о ПТХ, ни о «Геомонд». Эти связи не находят своего отражения в деловой переписке фирмы и ее банковских счетах.

Жак-Анри с достоинством распрямляет плечи. Перстень на мизинце левой руки бьет снопиком брызг ослепительной голубизны. Бриллиант чист и прозрачен, как слеза,— скромно, солидно и чрезвычайно дорого.

— Благодарю за откровенность, полковник. Еще сигару?

— О нет... Хайль Гитлер!

Он уходит — походка двадцатилетнего или спортсмена. Узкая спина. Недосягаемо высокомерный прусский военный образца тысяча девятьсот сорок второго года. Конверт с гонораром остается в бюро и будет ждать часа, когда все-таки исчезнет в кармане полковничьего мундира. Час этот не за горами: в практике Жака-Анри не встречались немцы, отвергающие куртаж. Весь вопрос только, где, сколько и в какой форме. Жак-Анри почтительно кланяется у дверей.

— Рад был познакомиться, полковник.

И — Жюлю, сидящему в приемной:

— Зайдите!

У Жюля от жары размок воротничок. Толстый нос лоснится. Он и сам толст и неповоротлив, как слон. И еще у него больные почки, поэтому под глазами у него мешки, а кожа серая, нездоровая. Жюль, войдя, первым делом отыскивает бутылку виши и пьет прямо из горлышка. Сколько раз ему уже попадало за эту проделку! Но сегодня у Жака-Анри хорошее настроение, и он ограничивается шуткой:

— Ты меня разоришь!

Не отрывая бутылки от губ, Жюль роется в кармане, достает кредитку и бросает на стол. Затыкает горлышко пальцем и бормочет:

— Семь франков сдачи, господин Легран.

Консультант — генерал-майор Иг. МИХАЙЛОВ.

— А за утреннюю?

Жак-Анри улыбается: после полковника разговор с Жюлем — сущая прелесть! Даже отвратительный провансальский акцент вызывает симпатию. Интересно, где он его подцепил, этот акцент? Жюль приехал из Виши и сразу же вошел в дела, словно работал в «Эпок» со дня основания фирмы. На нем — переписка, организация встреч, множество других дел, связанных с Брюсселем, Берлином, Гаагой, неоккупированной Францией. В отсутствие Жака-Анри он почти директор и самостоятельно решает многое. Жак-Анри держит его в курсе замыслов — в пределах возможного, разумеется. Что же касается собственно «Эпок», то здесь для Жюля нет тайн: даже существование пружины в горке с фарфором для него не секрет. Жак-Анри смотрит на горку, и скулы его твердеют. Чашки, тонкие, как лепесток, голубые, прозрачные, блюдца изумительной белизны — вещи, рецепты изготовления которых ушли в небытие вместе с их создателями,— где будет все это через год, через месяц, завтра? При обыске у них немного шансов уцелеть. Может быть, лучше отдать их, пока не поздно, какому-нибудь коллекционеру? Хотя бы эти две чашки с гербами Марии-Антуанетты и кофейный сервиз с вензелями наполеоновского маршала Даву... Впрочем, разве что-нибудь угрожает?

Жюль клетчатым платком вытирает губы. Вкладывает контракт в кожаный бювар. Он действительно хороший секретарь и мог бы служить не в «Эпок», а в первоклассной фирме. Кроме всего прочего, у него прекрасные аттестации от банкирского дома барона Ротшильда и крупного пайщика концерна Шнейдер — Крезо. Жаль только, что проверить их можно лишь в Лондоне: именно там живут сейчас господа, подписавшие Жюлю рекомендации на бумаге «верже» с золотым обрезом.

Думая об этом и улыбаясь одними глазами, Жак-Анри нажимает на пружину в горке и ждет, пока откроется безупречно замаскированная дверь.

За официальным кабинетом — второй, поменьше. Стол, чайный столик, два стула. Только два: посетителям в этой комнате нечего делать. Жаку-Анри вряд ли понравится, если кто-нибудь, кроме него и Жюля, станет разглядывать карту на стене или вертеть ручки приемника в нише — большого, в отличном деревянном ящике, самой последней модели. И тем более он будет не в восторге, заинтересуйся посторонний разноцветными булавками, воткнутыми в карту. Деловые тайны!

Жюль никогда не начинает разговора первым, и Жак-Анри спрашивает:

— Есть что-нибудь из Лилля?

Жюль вытирает платком пальцы, каждый в отдельности.

— Это не гестапо.

— Абвер?

— Похоже на то... Дом был оцеплен солдатами.

— Значит?..

— Хозяйка на свободе. Ей сказали, что вызовут, но не сказали куда. Она видела, как солдаты выносили железный ящик. С ней разговаривал штатский, он называл ее мадам и был вежлив.

— Уголовная полиция? Француз?

— Немец...

— Значит, все-таки абвер.

— Один из тех троих, кажется, застрелился.

Чашки... Сколько им еще стоять в горке? Жак-Анри вспомнил узкую спину полковника, похожий на коготь росчерк. Интеллигентный немец, он не пошел работать в гестапо, где, впрочем, вполне достаточно интеллигентных немцев. Вековая культура не мешает им применять при беседах электроток, иголки и испанские сапоги. Фарфор тверд, но хрупок. Человеческая воля тоже. Пуля в сердце — более легкий исход, чем допросы на Принц-Альбрехтштрассе. Но для него, Жака-Анри, это исключено — пуля...

Сейчас лучше побыть одному.

— Хорошо, Жюль, поговорим вечером.

Лилль на карте — крохотная точка. Три красные булавки. Холодными пальцами Жак-Анри дотрагивается до стеклянных головок. Он купил их, эти шляпные булавки, весной в лавочке мадам Перрье.

Мадам пошутила:

— Ваша подружка любит терять? Плохая примета: вместе с булавкой теряют друга! Скажите ей об этом, господин Легран.

А у него и не было подружки, только товарищи, большую часть из которых он никогда не знал лично и не видел даже на фотографиях.

Сейчас сигарета не поможет: от нее только першит в горле. Лиллъский филиал «Эпок» — его больше нет. Как это произошло? За домом не следили: тихий квартал, у каждой виллы свой садик с несколькими выходами. Чужие бросились бы в глаза. Парусиновая палатка у телефонного колодца? Что-то было о ней в письме. Ну же, Жак-Анри, вспомни!.. Пьер в конце июня писал, что палатка стояла у перекрестка; трое рабочих чинили кабель. Как он выглядит, этот перекресток, и видна ли с него вилла? Слияние рю Рипаблик и рю де Грас. Рю Рипаблик изогнута, как буква «С». Перекресток в верхнем ее конце, вилла — в нижнем. Нет, из палатки ее не видно. Совпадение?

Жак-Анри на миг закрывает глаза. Нет больше жаркого парижского дня — ночь окутывает его, черная, теплая и чуть душноватая. Еще немного, и можно представить себе парк, скамейку со своим именем, вырезанным на спинке перочинным ножом. Это его маленькая слабость — бросить изредка мимолетный взгляд в прошлое. Один миг, не больше. Если задержаться, то на скамейке появится девушка, а от нее нелегко уйти, и цепь воспоминаний протянется туда, куда ему, Жаку-Анри, даже мысленно нельзя вторгаться... Он вовремя открывает глаза — лампочка в нише над дверью мигает, торопит: у Жюля в приемной посетитель. На часах — два без нескольких минут. Следовательно, это Рене. О господи, еще один нацист, на этот раз — французский!

Горка за спиной Жака-Анри мягко ползет на свое место. Палец упирается в звонок. Сгоревшая наполовину сигарета дымится в пепельнице, бювар открыт: в два часа господин Легран всегда работает. Это известно всем. Дверца в задней стене — сталь и обшивка, оклеенная обоями,— снабжена электрозащитой. Жак-Анри слегка привстает навстречу Рене. Лицо его серьезно: мысленно он переводит марки в валюту и боится напутать в расчетах.

— Хайль Гитлер!

— Хайль... Рене, как стоит сейчас швейцарский франк?

— В долларах?

— В рейхсмарках, конечно!

Рене морщит лоб, а Жак-Анри не торопясь выходит из-за стола. Дверца, закрывшаяся минуту назад, точно посредине разделила отпечаток ботинка: в этой комнате на полу каблук и часть подошвы; носок и другая часть — в той. Пока Рене считает, Жак-Анри незаметно стирает отпечаток и присаживается на край стола.

— Если через банк,— говорит Рене,— то надо брать в расчет и учетный процент. Большая сумма?

Жак-Анри смотрит на него в упор.

— Тысяч тридцать. И вот еще что: я не хотел бы иметь дело с банком. Понимаете, мой милый Рене?

Он умолкает, давая возможность собеседнику принять намек к сведению. Только намек. Остальное — зачем нужна валюта и кому она предназначена — Рене не должен знать. В конце концов какое дело спекулянту с черной биржи до картографического издательства «Геомонд», расположенного в нейтральной стране и испытывающего в настоящее время недостаток свободных средств?

— Сто марок с тысячи! — говорит Рене. Он все обдумал.

— Тридцать.

— А риск?

На миг Жак-Анри перестает улыбаться.

— Ну это уж ваше дело, мой милый. Каждый в наши дни рискует, чем может... Впрочем, я не настаиваю.

А между тем «Геомонд» до зарезу нуждается в деньгах. И Жак-Анри должен получить свою валюту любой ценой. Будь эти деньги его собственными, он согласился бы на условия Рене. Но дело в том, что деньги не его. И фирма «Эпок» тоже не его. И сам он, Жак-Анри Легран, если говорить откровенно, по сути, не принадлежит себе. Поэтому он торгуется, вгоняя Рене в пот, за каждый пфенниг и соглашается только тогда, когда Рене заявляет, что больше не уступит даже родному брату. Жак-Анри, скрепляя сделку, угощает его рюмочкой коньяку. Наливает и себе, пьет, смакуя каждую каплю и думая при этом, что «Геомонду» придется сократить расходы: переправлять деньги через границу становится все труднее и труднее. На этот раз с ними придется ехать самому.

2. ИЮЛЬ, 1942. ЖЕНЕВА, РЮ ЛОЗАНН, 113

Дижон — это уже почти довоенная Франция. В окне вокзала портреты — маршал Петен и Лаваль. Полицейские в черных крылатках, словно символ юрисдикции правительства Виши. Попутчики Жака-Анри вполголоса обсуждают возможность обстрела поезда со стороны маки. Сходятся на том, что маки, хотя и бандиты, но не пойдут на такое свинство. Вот если бы в вагонах были немцы... Бедная, бедная Франция!

Жак-Анри, задумавшись, обжигает пальцы сигаретой. О-ля-ля, это было бы печально — оказаться подстреленным пулей франтирера. Под Дижоном — зона маки. Правительство Виши бессильно помешать им, рассылает грозные приказы, которые здесь никто не хочет исполнять. Попутчикам Жака-Анри это не нравится; особенно недовольна единственная в купе дама с алансонскими кружевами на шее и с землистым от хронического несварения лицом. Даме так хочется покоя и тишины, а эти противные маки... Неужели маршал не может их прогнать?

Спутник дамы, юнец с поношенным личиком, успокаивает ее:

— Вам вредно волноваться, Мари! В конце концов...

— Но, Мишель! Видеть, как экстремисты разрушают Францию?!

— И все-таки... прошу вас, на нас смотрят.— И к Жаку-Анри: — У всех нервы. Бурное время, не правда ли, мосье?

Жак-Анри с трудом подавляет зевоту. Сегодня он спал меньше трех часов. Рене принес деньги только вечером и все мелкими купюрами, которые не уместились во втором дне чемодана. Жак-Анри и Жюль до самого утра шили жилет с карманами на груди и спине. Надетый под рубашку, он сковывал тело, как броня.

Жюль сказал:

— Не обижайтесь, господин Легран, но сейчас вы похожи на сутенера. Кто еще стал бы носить корсет в вашем возрасте?

Жак-Анри ответил:

— Для этого я недостаточно красив, старина!

Они шутили до самого отхода поезда. Жюль делал вид, что ничего особенного не происходит, и Жаку-Анри от этого становилось не по себе. Жюль слишком умен и хладнокровен, чтобы нервничать из-за пустяков, и если поездка вызывает у него беспокойство, то, следовательно, степень риска превосходит обычную. Жаку-Анри и самому не нравилось все это: быть арестованным на границе за незаконный провоз валюты значило оказаться в уголовной тюрьме — швейцарской или французской — и выйти из игры в лучшем случае до конца войны. Но «Геомонд» задыхается без средств, обычные пути получения кредитов для него закрыты, и у Жака-Анри просто нет выхода...

Поезд медленно втягивается в туннель, купе погружается в темноту, и до Жака-Анри доносится звук поцелуя.

Для мадам, как видно, любовь превыше всего! Война, оккупация, немцы в Париже волнуют ее не больше, чем утренний дождь. Все события мира не стоят ни сантима в сравнении с тем, как стареет кожа, белеют волосы, теряет упругость тело. Через год или два Мишель уже не полюбит ее ни за какие деньги, и надо торопиться. Сейчас она везет его в Давос или Сен-Мориц, в какое-нибудь маленькое шале, где днем она будет отлеживаться после ночи, а вечером устраивать ему сцены ревности при свечах, в желтом свете которых морщины делаются почти незаметными...

Жак-Анри думает об этом и борется с дремотой. Тема его нисколько не занимает, но он не позволяет себе отвлечься от нее и в конце концов ухитряется до самой границы забыть о Жюле, чемодане и жилете. И даже когда замок чемодана уже щелкает под пальцами таможенника, Жак-Анри все еще вспоминает свою попутчицу.

Таможенник перебирает рубашки, белье. На дне находит плоскую коробку, оклеенную лоснящейся шелковистой кожей. Нерешительно вертит ее в руках.

— Что здесь?

Жак-Анри слегка смущен.

— О, пустячок... Маленький подарок.

— Откройте.

В коробке на белом атласе — хрустальные флаконы. «Лориган-котн» с золотыми притертыми пробками, лучший образец довоенной продукции фирмы. Предмет самой изысканной роскоши, подлежащий, вне сомнения, обложению пошлиной. Таможенник доволен — золото, дорогие духи, за них придется заплатить! Жак-Анри читает его мысли, как свои собственные. «В то время как Франция экономит каждый су и платит бошам такие репарации, находятся некоторые...»

Кроме рубашек, галстуков и злополучной коробки, в чемодане только носки и белье. Все от хороших поставщиков. К самому чемодану таможенник интереса не проявляет, злорадно

ждет, пока Жак-Анри отсчитывает кредитки. На лице его написано: «Дорого же обойдется тебе, дружок, подарок для твоей курочки!»

А у Жака-Анри спина мокра от пота.

До самой Женевы он сидит, полуприкрыв глаза, и слушает свое сердце. Оно, как видно, начинает сдавать, да и мудрено ли: сначала Испания, потом концлагерь, и вот почти три года в Париже...

В Женеве дождь. На ступеньках вокзала Корнавен Жак-Анри поднимает воротники пиджака и медленно оглядывается. Спешить некуда. По мосту через Рону он идет к Старому городу, ощущая за спиной пустоту. Женева не Париж, новый Вавилон, кипящий страстями. Париж и при немцах сохранил себя: ровно в полдень мидинетки разбегаются по кафе, пестрые и щебечущие колибри. Под зонтиками уличных бистро тянут из длинных бокалов разбавленный водой — дань войне! — вяжущий нёбо оранжад и договариваются о встрече с поклонниками. Тротуары становятся тесными, и к запаху асфальта примешивается крепкий аромат кремов и дешевой пудры.

Женева в полдень пуста. Жак-Анри бредет через мост и слышит стук своих каблуков. В туалетной комнате на вокзале он избавился от жилета, уложил его в чемодан и теперь чувствует себя, как никогда, легко. В камере хранения ему выдали взамен чемодана квитанцию на имя Лео Шредера, и он уплатил за неделю вперед.

Он идет и отдыхает — в первый раз за много месяцев...

...Ровно в три Жак-Анри сидит в кафе и ждет заказанный бульон с бриошами. Кафе не кажется процветающим — маленькая стойка, полдюжины столиков с бумажными скатертями. В таких по вечерам любят собираться шахматисты. Жак-Анри, будь его воля, предпочел бы ресторан «Вехтер» на Вокзальной площади в Берне, где столики укрыты в глубоких нишах и где кухня, пожалуй, одна из лучших в Швейцарии. В прошлом году его встречали именно там, но сейчас у него нет времени на поездку в Берн. Жаль: в «Вехтере» такие изумительные сыры, что даже Жюль вспоминает их с удовольствием.

Роз, как всегда, точна. Жак-Анри целует ее в щеку и предлагает, точно они виделись утром:

— Кофе? Или чай со сливками?

У Роз на щеках ямочки. Волосы падают на лоб, и она то и дело поправляет их тонкой рукой. Лак на ногтях у нее ярок, как кровь,— под цвет губ.

— Ты давно ждешь?

— Не очень... Так как же — кофе или чай?

— Ни то, ни другое. Я договорилась с Мадленой. Ты меня проводишь?

— Разумеется.

Жак-Анри оставляет на столе монету и делает это не без сожаления: он не так богат, чтобы платить за несъеденный бульон с бриошами. Кроме того, он по-настоящему голоден, но Роз, похоже, действительно спешит. Они выходят, прижавшись друг к другу, и рука Роз лежит на сгибе его руки.

На улице Роз шепчет:

— Почему вы?!

— Так случилось.

— Но нам сообщили...

— Какая разница?

Роз не полагается знать, что Жак-Анри приехал не только из-за денег. Для всех них спокойнее, если каждому известно как можно меньше, помимо того, что входит в круг прямых обязанностей. Не Жак-Анри ввел это правило, и, конечно же, не он будет его отменять! Он даже говорит с ней по-немецки — на родном языке коммерсанта Лео Шредера, уроженца Гамбурга, торговая фирма «Лео Шредер и Карл Баумгольц»... По дороге он поддразнивает Роз:

— Вам не скучно одной?

— Вы о чем?

— Не кокетничайте, Роз!

Не поворачиваясь, искоса он ловит взглядом выражение ее лица и с удивлением замечает, что она краснеет. Вот как! Уж не появился ли у Роз приятель? А что, собственно, в этом странного: девятнадцать лет и недурна собой.

Роз уже оправилась и болтает как ни в чем не бывало. Война докатилась и до Женевы: выросли цены на жиры, и исчезла хорошая парфюмерия. В Швейцарии полно беженцев — ухитряются добраться сюда даже из Брюсселя и Копенгагена. На днях она познакомилась с одной семьей из Бельгии... Жака-Анри подмывает сказать, что на месте Роз он не стал бы вступать с беженцами в контакт, но Лео Шредер не вправе делать предостережения малознакомым девушкам. И уж совсем странно было бы, если б он вдруг вздумал выложить все, что знает относительно того, какие последствия могут иметь знакомства с политическими эмигрантами. В качестве коммерсанта, доставляющего для «Геомонда» валюту, он, разумеется, должен быть осведомлен об уловках криминальной полиции разных стран, но вовсе не о методах разведок и контрразведок. О том, что среди беженцев полным-полно агентов гестапо, абвера, итальянской «ОВРА» и даже Второго отдела Венгерского генштаба, пусть думают те, кого это касается!

Жак-Анри вспоминает о Лилле и с тревогой смотрит на Роз: до чего же она молода! Не дай бог, если и с ней что-нибудь случится!

С этой мыслью он и переступает порог дома на рю Лозанн. Об этом же думает и входя в кабинет Ширвиндта.

Ширвиндт изумлен не меньше Роз, и Жак-Анри торопится успокоить его:

— Все в порядке, Вальтер, просто я решил немного отдохнуть.

— А я уже...

— Да нет, если не считать Лилля, все более или менее благополучно. Даже почки у Жюля.

— Привез?

— Не так уж много. Постарайся растянуть деньги хотя бы на три месяца. Получишь после моего отъезда на вокзале. Кстати, там духи — можешь подарить их Роз.

— Какие духи?

— Для таможни. Контролер прицепился к ним, а не к чемодану.

— Ты просто сумасшедший — поехал сам!

— Какая разница кто? Риск от этого не делается меньше... И давай не тратить времени. Я еду ночным, так что у нас всего несколько часов. Попроси, чтобы Роз сварила кофе, а пока расскажи мне о Камбо. Кто он?

Ширвиндт тяжело оседает в кресле. Рассеянно вертит в пальцах карандаш. Роз, возникшая в кабинете, как тень, ставит на стол кофейник и чашки и уходит, постукивая высокими каблуками. Роз для Ширвиндта — то же, что Жюль для Жака-Анри: нечто большее, чем секретарь. Она друг, первый помощник, поверенный в делах и домоправитель. Словом, настоящий товарищ, которому не надо напоминать о его обязанностях. Жак-Анри и без просьбы получил бы свой кофе...

Ширвиндт наполняет чашки и в упор смотрит на Жака-Анри.

— А если я отвечу, что не знаю, кто такой Камбо?

— Ты шутишь?

— Официально он свободный журналист. Сотрудничает в местной прессе. По паспорту немец и живет здесь около года.

— С кем он связан?

— Спроси его сам!

— А ты?

— Он ответил мне, что если я хочу и впредь получать материалы, то не должен настаивать и копаться в его прошлом. Кстати, он сам себе придумал псевдоним, и знаешь, что он означает? Ка-м-бо, по начальным буквам — канцелярия Мартина Бормана! И вот что: не поручусь, что он не оттуда черпает информацию.

— Но это невероятно!

— Почему же? Ты что, не допускаешь и мысли об оппозиции Гитлеру?

— Только не в этом месте!

— Но информация Камбо точна.

— Пока да... Ты не задумывался о ловушке? Представь: до какого-то момента мы получаем первоклассные сведения, а потом... В один прекрасный день Камбо подсовывает нам нечто такое важное и срочное, что на проверку нет ни часа. И тогда катастрофа.

Ширвиндт отставляет нетронутую чашку. Край крахмальной манжеты с костяным стуком задевает блюдечко. Серебряная ложечка кажется спичкой в крупных, сильных пальцах. Рука Ширвиндта — рука рабочего, сына и внука рабочих, и ни костюм, ни манеры не подходят к ней. Ширвиндт знает это и при посторонних не снимает тесных черных перчаток.

— Понимаешь,— говорит он спокойно.— Я и сам думал об этом. И я рад, что ты здесь.

— Только до ночи.

— Я бы хотел, чтобы ты задержался!..

— Из-за Камбо?

— Не только.

— Тогда из-за Роз?.. У нее появился друг, не так ли? Ты это хотел сказать? И еще ты хотел спросить, откуда мне это известно? Ах, Вальтер, все так просто: посмотри на Роз и увидишь сам.

— Ее друг — бельгиец. Инженер из Брюсселя.

— Вот как? Они часто видятся?

— По-моему, каждый день.

— Любовь?

— Ты мог бы не спрашивать.

— Да, конечно... Он бывает у нее дома?

— Пока нет.

Голос Жака-Анри звучит жестко, куда жестче, чем ему бы хотелось:

— Он не должен там бывать!

— А ты не хотел бы взглянуть на парня?

— Пожалуй...

— Это нетрудно устроить. Я скажу Роз, чтобы она привела его на площадь, и ты посмотришь на него из кафе. Роз говорит, что он жил и в Париже.

— Это можно проверить.

— Так остаешься?

Дождь за окном продолжает моросить. Глаза у Жака-Анри слипаются. Он не спал уже больше суток... Голос Ширвиндта доносится до него, словно с другого полушария. Роз, Камбо, беженец из Бельгии... И еще провал в Лилле... Слишком много всего для одного человека. Пять с половиной лет жизни, включая Испанию. Три чужих языка вместо одного родного и имена, нисколько не напоминающие полученное от матери и отца. Альварец, Педро де Эстебано, Марель, Де-Лонг, Лео Шредер и, наконец, Жак-Анри Легран... Вот кончится война, и тогда...

— Что ты решил?

— Хорошо. Скажи Роз, что завтра в девять утра. Вечером слишком плохо видно. А сейчас, извини, я пойду в отель. Дай знать Жюлю, что я задержусь в Женеве. У тебя найдется чемодан?

— Разумеется. И пижама тоже.

— Тем лучше. Тогда до утра...

Дождь все кропит и кропит на брусчатку. Жака-Анри пронизывает простудная дрожь. На ходу он достает облатку аспирина и, морщась от отвращения, проглатывает ее. Вот будет славно, если он заболеет! Денег в кармане ровно столько, чтобы прожить в Женеве сутки; на валюту, привезенную Ширвиндту, не приходится рассчитывать: она вся до сантима нужна для дела.

С озера дует не по-летнему холодный и резкий ветер...

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

3. ИЮЛЬ, 1942. БРЮССЕЛЬ, РЮ ДЕ НАМЮР, 12.

Топить камин летним вечером, когда город задыхается от духоты, может только больной или сумасшедший. Тем не менее человек, сидящий на корточках и тяжелыми, чугунными щипцами разбивающий комки кокса, совершенно здоров. Кокс раскален добела; язычки пламени, острые, как зубья бороны, рвут на клочки и превращают в пепел, в ничто длинные полоски бумаги. Комната наполняется сладким чадом, и запах этот сквозь щель под дверью проникает на лестницу.

На лестнице — трое. Здесь темно и тихо. Старые деревянные ступени, издающие обычно при любом прикосновении длинные скрипы, пребывают в полном покое. И это, несмотря на то, что каждый из троих весит чуть поменьше центнера.

Они стоят уже минут пятнадцать. Парадная дверь легко поддалась отмычке; хозяйку дома заперли в спальне на первом этаже; и даже ступени пока не подвели: впрочем, все трое знали, как следует себя вести на скрипучих лестницах старых деревянных домов.

Сейчас их очень беспокоит запах.

— Что он там жжет? — шепчет один.— Может быть, войдем?

— Тише, Отто!..

Покрытые фосфором стрелки ручных часов показывают 22.05. Тот, кого зовут Отто, беззвучно открывает маленький чемоданчик, прямо поверх пилотки надевает зажим с наушниками.

— Он начинает!..

— ПТХ?

— Сейчас передаст... Да, ПТХ.

Полевой приемник в чемоданчике настроен на волну с идеальной точностью. Частота 10363 килогерца. Все идет прекрасно...

«Все идет прекрасно!» — думает человек в комнате и мягким нажатием пальцев приводит в действие радиоключ. За окном в палисаднике перешептываются листья. Вечер еще не перешел в ночь, он сине-сер и чист, и только небо наливается чернотой. «Я приду к тебе, Мими, тру-ля-ля, тру-ля-ля...» Песенка не мешает работе. Он уже давно научился механически выстукивать текст и думать о своем. В двадцать один год у каждого есть девушка, мысли о которой приходят даже во время сна. Если бы не война, они бы поженились... Если бы не война!

На лестнице Отто изнывает от нетерпения. Под его пальцами — плечо старшего из троих, холодный и шершавый капитанский погон. Если все пойдет хорошо, то не позднее осени такие же погоны получит и Отто. Что скажет тогда фон Модель? Будет ли по-прежнему видеть в нем выскочку из СС или начнет относиться как к равному? Эти господа в армии считают офицеров, перешедших из РСХА [1], вторым сортом и совершенно не понимают, что и те не в восторге от своего перемещения. Если бы не директива рейхсфюрера и не война, то Отто и пальцем бы не пошевелил для смены декораций... Если бы не директива и не война!

У капитана фон Моделя свои заботы. Когда они проезжали площадь перед рю де Намюр, палатка все еще стояла над телефонным колодцем. Она казалась такой неуместной рядом с собором, что Модель забеспокоился. Жильцы особнячка под номером 12 могли присмотреться к ней и заподозрить неладное. Как раз в этот миг из палатки, пятясь, выбрался фельдфебель Родэ в куцей курточке почтового служащего и за откинутым пологом промелькнула квадратная рамка пеленгатора... Если гнездо окажется пустым, то Родэ пойдет в штрафную роту!

Зеленая стрелка на часах накрывает цифру «15». В наушниках у Отто Мейснера тишина. Рука надавливает на погон, и Модель нежнейшим движением вставляет в замок отмычку. Плавный поворот, но дверь не поддается; похоже, она закрыта изнутри на задвижку. Модель наваливается на нее плечом и слышит за спиной сопение комиссара Гаузнера. Трухлявое дерево трещит под ударами двух сильных мужчин, каждый из которых думает, что это очень глупо — лезть под пули.

Но из-за двери не стреляют.

Гаузнер, качнувшись, обрушивается на нее всем телом, срывая с петель. Опережая Моделя, врывается в комнату. Пистолет в его руке угрожающе нацелен прямо в грудь тому, кто

Продолжение. См. «Огонек» № 18.

[1] Имперское главное управление безопасности.

несколько минут назад пел песенку про Мими. Сейчас он не поет. Пальцы его все еще лежат на ключе, и Гаузнер приказывает:

— Руки!..

Лицо радиста кажется розовым, но только с той стороны, которая обращена к камину, другая — бела до голубизны. Он выпускает ключ и даже не делает попыток встать со стула, и Модель понимает, что этот человек — еще живой! — уже мертв. Страх убил его. Модель оглядывает комнату, стол с передатчиком, антенну, конец которой убегает за окно. Примерно то, что он себе и представлял, когда готовился к поездке сюда. Гаузнер доказывал, что радист будет не один и окажет сопротивление, Мейснер поддерживал его, и Модель остался в меньшинстве со своим убеждением, что в особнячке на улице Намюр они не застанут никого, кроме этого парня и хозяйки. Так было в Лилле: два человека, рация, полуобгоревшая бумажка. Никаких намеков на таблицы с шифром. Только в Лилле еще двое прикрывали дом с улицы и, когда их попытались взять, начали стрельбу...

У стены — кресло, и Модель садится, аккуратно подобрав полы плаща. Гаузнер, обогнув застывшего радиста, подходит к окну и сигналит фонариком своим людям на улице. Мейснер ставит на пол чемодан, обшаривает стол. Модель разглядывает его стриженый белесый затылок и молчит. После страха за жизнь, перенесенного на темной лестнице, наступает минута расслабленности и покоя.

Гаузнер ощупывает карманы радиста, ищет оружие. Не найдя, резко встряхивает парня за воротник.

— Вставай, малыш, нам пора...

— Не спешите,— говорит Модель.

Так всегда: СД торопится урвать свой кусок. Но на этот раз Гаузнеру придется подождать: ПТХ и всем с ним связанным занимается абвер. Радист попадет в гестапо не раньше, чем Модель убедится, что компромисс невозможен.

На какое-то мгновение они все, включая Мейснера, поглощенного обыском, забывают, что и у радиста есть свое мнение о происходящем. И как раз мгновения достаточно, чтобы Гаузнер, получив удар головой в живот, очутился на полу, а Модель вдруг ослеп и оглох...

Обморок чем-то похож на сон, и в этом сне Моделя поят расплавленным свинцом. У свинца кислый вкус крови — попади кастет в висок, а не в челюсть, вскользь,— и Моделю не суждено было бы пробудиться. Он сплевывает кровь и ждет, когда растает туман перед глазами. В тумане и радист и Мейснер, прижавший его к полу, кажутся ускользающими тенями. Реальность — боль и стук, отдающийся в ушах. Они отделены друг от друга: боль принадлежит Моделю, а стук порожден Мейснером — рукоятью пистолета он бьет радиста по голове, по залитой багровым макушке...

Модель окончательно приходит в себя.

Радист тоненько вскрикивает и затихает. Мейснер поднимается с колен, пляшущими пальцами заталкивает пистолет в кобуру. Рукава его мундира запачканы мастикой.

— Хотел бежать,— говорит Мейснер, и голос его срывается.

Модель языком ощупывает рот. Боль покидает его, но кровь из рассеченных губ продолжает идти. В палисаднике, всполошенная в кустах, не к месту и не ко времени начинает петь какая-то птица. Радист, держась за голову, садится на полу и, словно Будда, качается из стороны в сторону. Глаза его полны слез; слезы текут на разорванную рубашку, скатываются с нее на паркет.

Модель ищет взглядом Гаузнера и, найдя, не может удержаться от усмешки: комиссар все еще ловит воздух широко открытым ртом. Зная его нрав, Модель поспешно встает и занимает позицию между ним и радистом: если парню суждено умереть, то не сегодня.

— Ну, ну,— говорит Модель радисту.— А ты, оказывается, шутник! Где это ты выучился так здорово фокусничать?.. Только вот что: не вздумай повторить. Так будет лучше для тебя.

Радист на миг перестает качаться. Французский язык его ужасен — Модель с трудом понимает сказанное. Что он ответил? Кажется, «мне все равно»?

— Где его документы?

Мейснер показывает на стол; удостоверение личности, отобранное при обыске, лежит возле рации. Модель листает его: Эмиль Гро, национальность — француз, подданство — бельгийское, родился в Ницце 18 октября 1921 года. Какая-то чепуха — француз, и такой акцент с чуждыми для слуха твердыми согласными. Из-за плеча Моделя Гаузнер тянет к документу толстый палец с обгрызенным ногтем.

— Фото переклеено...

— Вот как? — говорит Модель.— Возможно... Если у вас нет здесь других дел, комиссар, может быть, вы допросите хозяйку?

— Я бы хотел...

— Узнайте у нее все, что удастся, о квартиранте. Время появления, кто рекомендовал, связи и так далее. И помните, что женщины во всех случаях предпочитают ласку кулаку.

— А я? — спрашивает Мейснер.

— Оставайтесь... Или нет, лучше спуститесь вниз и помогите комиссару... Дайте-ка мне браслеты.

Наручники защелкнуты на запястьях радиста. Не слушая недовольного ворчания Гаузнера, Модель поворачивается к нему спиной и делает знак Мейснеру задержаться. И хотя Гаузнер уже успел выйти на лестницу, говорит шепотом и в самое ухо:

— Присмотрите за ним, чтобы не перегнул палку. Это не в наших интересах, Отто!

И радисту:

— Можешь не вставать, дружок! Мы немножко побеседуем для начала, а потом ты поедешь с нами. Ты понимаешь меня?

Радист молчит. У него продолговатое лицо северянина, тонкий нос и резко очерченный подбородок. Классический тип представителя нордической расы с характерными голубыми глазами. При чем тут Франция? Модель садится верхом на перевернутое кресло и, задумавшись, разминает сигарету. Спрашивает:

— Не будете отвечать?

Радист не спеша, словно нехотя, расцепляет слипшиеся губы.

— Мне все равно.

— Вы немец?

— Нет.

— Фламандец?

— Француз.

— С таким акцентом?

— Неважно...

— Что же важно? Жизнь? Пока никто не намерен ее у вас отнимать... Давайте проясним позиции, Гро. Я не гестапо, я абвер, военная контрразведка. Вам это что-нибудь говорит?

Радист смотрит в окно, и Модель прослеживает его взгляд. Он идет поверх крон и упирается вон в ту дальнюю звезду. Что ж, на его месте Модель тоже постарался бы отвлечься и думать о чем угодно, но не о том, что произошло.

— Все начинают с этого,— говорит Модель.

— С чего?

— Сначала молчат, потом отрицают и, наконец, признаются. Один раньше, другой позже. Зависит от ума и степени культуры.

— Считайте меня кретином.

— О нет! Ваша профессия не для дураков!

Радист все так же нехотя шевелит губами:

— Тем более!

— Не будете говорить? Даже в том случае, если я предложу вам свободу? Свободу без признаний, показаний, без угрызений совести за предательство... Откажетесь?

— Я уже ответил: считайте меня кретином.

Нет, он не француз, этот Гро. И не немец. Его «р» просто юшмарно. Дерет барабанные перепонки, словно рашпиль. Но кто бы он ни был, он прежде всего человек — вместилище слабостей и страха. Равнодушные и бесстрашные не ищут взглядом далеких звезд, их мысль устремлена навстречу несчастьям, страданиям и смерти.

— Это не деловой разговор, Гро. Вы не столь наивны, чтобы не понять, как все складывается для вас. Вы шпион. Вас взяли сразу после передачи. Рация и шифровка налицо. Мы могли арестовать вас и до сеанса, но тогда нам пришлось бы считаться с тем, что КЛМ насторожится. Пришлось бы выдумывать правдоподобную причину для вашего отсутствия в эфире. Лишняя работа!..

— Как и все остальное.

— Не скажите! Следующий сеанс утром, в пять десять. Так? Бездна времени, чтобы все обдумать и согласиться со мной.

— У вас просто дар уговаривать!..

Сколько иронии! Может быть, он все-таки немец? Советский немец? Модель закуривает сигарету, стараясь не прикусывать ее качающимися зубами.

— О да,— говорит он холодно.— У меня есть дар, но он ничто в сравнении со способностями комиссара Гаузнера. А если и таланта комиссара онажется недостаточно, то в гестапо немало специалистов по допросам третьей степени. Голодная диета, лишение сна, физическая боль... Правда, после этого абверу вы будете не нужны, но зато расскажете все.

— Даже чего не знаю?

— Не верите? Перед смертью вы вспомните тех, кого выдали, и последние ваши часы будут ужасными... Повторяю: хотите этого избежать? Или абвер, или тюрьма гестапо в Леопольдказерн.

Камин почти угас. Прогоревший кокс подернут пеплом. У древних была неглупая пословица: «Все проходит». Стирается из памяти воспоминание о голосе матери, ласках любимой, позоре бесчестья. Жизнь так коротка! Модель смотрит на радиста и думает, что исход предрешен. Так или иначе, но ему придется заговорить. Что же он расскажет, Эмиль Гро? Вряд ли ему известны шифр и имена связных. Та, из Лилля, была только радисткой, «музыкантом». Вероятно, и Гро использовали в том же амплуа. Две недели наблюдения за домом не дали ничего. Приходила молочница, хозяйка молилась в соборе. Гро лишь однажды, вчера, ездил на вокзал. В ресторане к нему подсела девушка. Гро пил кофе, девушка — холодный яблочный сок. Костистое, малопривлекательное лицо, но рот прелестный. Она уехала из Брюсселя поездом 15.40, и не удалось проследить, получил ли Гро от нее что-нибудь. В Льеже ее приняли в толпе сотрудники гестапо и умудрились потерять где-то возле рынка... Пепел на золе.

Модель встает, задергивает штору. Зажигает свет. Возвращаясь, невольно косится на затылок радиста. Слипшиеся волосы сбились в пропитанный кровью ком. Через пять часов радиосеанс. Надо спешить. Если Гро не сдастся, придется примириться с еще одной неудачей.

Разговор зашел в тупик. Сказано и о КЛМ и о начале очередного сеанса, но Гро даже бровью не повел. Остаются девушка и Лилль. Сущие пустяки... А скольких трудов стоило добраться до особнячка на рю де Намюр!

Размышляя, Модель без особого интереса разглядывает содержимое бумажника Гро. Сколько-то франков, полдесятка монет, продовольственные карточки. Билет... билет трамвая в Марселе... Марсель?.. Не может быть! Ведь это же неслыханная удача! Неужели Гро именно тот, кому удалось бежать в декабре сорок первого? Блондин, голубые глаза, рост сто семьдесят два — сто семьдесят пять... Но тот был не просто радистом.

— Гро!

В голосе у Моделя металл.

— Я слишком тороплюсь, Гро, чтобы тратить время на болтовню. Ваша связная из Льежа пока на свободе. Через нее мы рано или поздно доберемся до остальных. Сейчас меня интересует другое: где Марель?

— Марель?

— Не притворяйтесь! Именно Марель, или, если хотите, Де-Лонг. И он же Альварец... Дело обстоит так: в прошлом октябре вам повезло, и на вокзале Прадо вы исчезли. Впрочем, не стоит удивляться: в Марселе вас ловили не мы, а полиция Виши. Тогда вас звали Жоржем Фланденом, не так ли? И жили вы у мадам Бельфор.

Вот когда он по-настоящему испугался. Просто не верится, что человек может так бледнеть.

— Продолжать?

— Но если...

— Без если, Фланден! По радионоду вы Жорж. Не сомневаюсь, что и в отправленной сегодня радиограмме та же подпись. В марсельской группе вы дублировали Де-Лонга, а здесь вас пока использовали как радиста. Система связей старая — через посредников к Де-Лонгу, а от него к источникам. Как в Марселе и Лилле... Итак, где Де-Лонг?

— Не знаю.

— Он здесь?

— Сейчас нет.

— Когда вы виделись?

— Давно.

— Точнее? Ну же, напрягите память! Или мне позвать Гаузнера?

— В январе.

— Где?

— В соборе.

— Хорошо... Как часто к вам приходила связная? Где остальные радиограммы? Только не уверяйте, что вы успели передать все до одной. Ну?

— Я их действительно передал.

— А если мы взломаем все полы на вилле? Все стены? Вы и тогда повторите свою ложь?

— Ищите.

— И поищем! Пока вы будете сидеть у нас, оригиналы радиограмм обязательно найдутся. В Марселе их прятали в выдолбленном подоконнике, в Лилле — под половицей. В этой комнате как раз паркет. Очень удобно для устройства тайника... Не лучше ли все-таки договориться, Гро?

— О чем?

— Ого, вот это уже дело! О чем? О вашем спасении, мой мальчик. Не более не менее. Что, трудно поверить? И все же это так. У вас есть шанс.

— Какой?

— В пять десять вы передадите радиограмму. Но не из тех, которые хранятся где-то здесь и которые я получу от вас, а другую — ее текст составим мы. Она будет зашифрована с помощью «Мадам Бовари». Старый шифр? Ничего, вы легко объясните это своим: сведения получены лично вами, и у вас не было времени пересылать их Де-Лонгу для шифровки новым способом...

— Вы предлагаете предательство!

— Предпочитаете смерть?

— Да!

— Только после гестапо. Третья степень, мой дорогой. А небо — это уже потом.

— Комиссар Гаузнер?

— Ну что вы, он же известный гуманист! В Берлине, на Принц-Альбрехтштрассе, он считается провинциальным идеалистом. Старая школа!

Модель делает паузу. На часах — двенадцать с минутами.

— Словом, поступим так. Пока вы поедете к нам. Я дам вам два, даже два с половиной часа. Передатчик останется здесь и все остальное тоже. В три вы сообщите мне о вашем решении.

— Я откажусь...

— Не думаю. А сейчас вставайте, дружок!

Они выходят из особняка гуськом. Модель впереди, за ним Мейснер с радистом и Гаузнер. Ночь окутывает их темнотой и свежими запахами. Модель на ходу срывает в палисаднике цветок и трет его в пальцах. Нюхает и вздрагивает: из всех цветов он больше всего ненавидит махровую гвоздику, и надо же, чтобы подвернулась именно она!

В «хорьх» они садятся втроем. Гаузнер задерживается: за оставшееся до рассвета время он должен перетряхнуть весь дом. Около десятка его подчиненных уже рыщут по нижнему этажу, но здесь пока ничего не удалось найти.

Моделя томит предчувствие удачи... Тьфу, тьфу, не дай бог спугнуть ее! Несуеверный, он все-таки мысленно трижды плюет через левое плечо.

Арестованный сидит между Моделем и Мейснером. Модель плечом ощущает, как тело парня передергивают короткие судороги. Он, бесспорно, сильный человек, но и самые сильные не бессмертны! Моделю кажется, что он читает мысли Фландена: «Хочу жить, не хочу умирать...»

Он ошибается: Фланден думает о другом. Когда ломали дверь, он успел передать аварийный сигнал. Одна буква — «дайбл-ю», повторенная трижды. Большего он не смог сделать... Приняли ли сигнал те, кому он адресован, или оператор успел уйти из эфира?

Странно, но Модель именно в этот миг, без всяной связи с предыдущим, думает о том же. Вспоминает и никак не может вспомнить: в комнате или на лестнице снял наушники Мейснер? Кажется, в комнате.. А если все-таки нет?

Мейснер дремлет, откинувшись на подушки. По ночам он спит, а не ломает себе голову. Его удел — действие. Если понадобится, он без колебаний расстреляет этого радиста. В его семье все мужчины стреляют отлично, а дед по материнской линии даже брал призы на конкурсе вольных охотников в Гессене.

«А если все-таки нет?» — думает Модель.

4. ИЮЛЬ, 1942. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

По пути в контору Жак-Анри, как всегда, задерживается у табачной лавочки на углу рю Корнель и Сен-Батист. Здесь, оседлав перевернутую урну, подставляет солнцу облупленный нос маленький Люсьен.

— Здравствуй, Лю,— говорит Жак-Анри и трогает его за вихор.— Что ты нагадаешь мне сегодня?

— Удачу! — без запинки отвечает Люсьен и получает монетку в двадцать су и сигарету.

Глаза Люсьена закрыты большими черными очками. Он слеп — глаза ему выжгло огнеметом, когда немцы выкуривали из казематов последних защитников «линии Мажино.» Вдобавок Люсьена контузило; с тех пор он немного не в себе, и весь квартал считает его полуидиотом. Жак-Анри подозревает, что это не так, и относится к нему серьезно: сигарета и монета — дань этому отношению. Они иногда болтают, если у Жака-Анри есть свободная минута, и Люсьен далеко не всегда говорит глупости.

— А завтра? — спрашивает Жак-Анри.— Тоже удача?

Люсьен до ушей растягивает лягушачий рот:

— А будет ли вообще завтра?

— Ты редкий оптимист!

Жак-Анри задерживается еще немного, чтобы дать слепому прикурить, закуривает сам и торопится уйти — Жюль еще не знает, что он вернулся, и скорее всего ломает себе голову над сообщением из Женевы.

В приемной тихо и прохладно. Жалюзи опущены; тени, чередуясь со светом, превращают Жюля в зебру. Не поднимая головы от бумаг, он жестом показывает Жаку-Анри на диван и скучающе цедит:

— Соблаговолите присесть...

Он просто великолепен в роли секретаря! На столе, безбрежном, как океан, ни соринки. Набриолиненный пробор вытянут в ниточку; толстая роговая оправа на носу, безукоризненно белые воротничок и манжеты создают необходимую дистанцию между Жюлем и случайным посетителем.

— Браво! — говорит Жак-Анри.— С понедельника я повышаю вам жалованье...

— Патрон!

На лице Жюля столько неприкрытой радости, что Жак-Анри смущен.

— Ну, ну, не так восторженно, старина!.. Образцовый секретарь должен ненавидеть своего хозяина.

В кабинете Жак-Анри с размаху бросает портфель на стол и сам присаживается на краешек. С треском распечатывает пачку швейцарских сигарет — дорогих, с золотым ободком. Жюль осторожно выуживает одну и, преувеличенно закатив глаза, нюхает, словно цветок.

— О!

— Забирай все,— говорит Жак-Анри.— У меня есть еще: Ширвиндт буквально засыпал меня подарками.

— И новостями?

— Разумеется.

— О Камбо?

— И о нем тоже...

Роняя пепел на пиджак, Жак-Анри рассказывает о поездке. О встрече с Роз. О ее новом друге.

Роз привела его в кафе, и Жак-Анри из-за портьеры рассмотрел его. Высокий светловолосый парень с на редкость непринужденными манерами. Он сошел бы за киноартиста, будь его костюм поэлегантнее, а обувь менее груба. Именно обувь и привлекла внимание Жака-Анри — ботинки из малиновой кожи с крутыми полукруглыми носами. Таких не делают ни во Франции, ни тем более в Бельгии. Жак-Анри знал и этот фасон и австрийскую фирму «Элефант», единственную, кто предлагал его на обувном рынке. Друг Роз никогда не говорил ей, что бывал в Австрии.

Эти ботинки своей безвкусицей раздражали Жака-Анри. И вообще в тот день ему все не нравилось: слишком яркие горы за окном, слишком счастливая улыбка Роз, которая целиком и полностью предназначалась ее спутнику, сам спутник со своими удивительно правильными чертами лица. Это лицо было красивым и незапоминающимся одновременно... У Жака-Анри гудела голова и ныла поясница. Утром в отеле он померил температуру; еще держа во рту градусник, уловчился высмотреть, что ртуть забралась далеко за красный поясок. Так и есть, он все-таки простудился вчера на ветру! Жак-Анри отказался от завтрака и послал горничную за аспирином.

В кафе он ограничился чашкой жидкого чая и булочной. Булочка оказалась черствой...

Кто он, этот друг Роз? Эмигрант из Бельгии, один из многих, кого нацизм загнал сюда без документов и средств к существованию? Роз, несомненно, любит его; она сказала об этом Ширвиндту, и тот беспомощно развел руками. При всей своей решительности Ширвиндт податлив и мягок во всем, что касается особенностей женской души. Роз, если бы хотела, могла из него веревки вить — холостой и без-

детный, он буквально терялся в ее присутствии. Жак-Анри уже и прежде подумывал, что Роз надо отозвать во Францию. И если бы обстоятельства не складывались так, как сейчас, когда Роз просто некем заменить, он предпочел бы видеть ее в Марселе, а не в Женеве.

Две загадки — бельгиец и Камбо. Находясь в Париже, Жак-Анри был почти бессилен их распутать. Оставалось полагаться на опыт и проницательность Ширвиндта и его профессиональную осторожность. Единственное, что может сделать Жак-Анри,— навести справки в кафе Монмартра, завсегдатаем которых, по словам Роз, ее друг был до оккупации Франции. На это уйдет не меньше недели.

Что же касается Камбо и его таинственных источников информации, то здесь только два выхода: или сотрудничать с ним, или прервать все сношения. В первом случае это значит доверие без гарантий. Во втором — отказ от действительно первоклассных материалов, достоверность которых — по крайней мере пока — подтверждена практикой.

Как быть?

Их здесь так мало — Ширвиндт, Жюль, Жак-Анри, еще один человек в Брюсселе. Были товарищи в Марселе и Лилле, но их взяло гестапо. Лиллъский провал особенно трагичен — радистка ждала ребенка и донашивала последние недели... Жаку-Анри, его помощникам и тем добровольцам из движения Сопротивления и антифашистского подполья, которые осуществляли связь, противостоит сложная и мощная машина контрразведки. Абвер, полиция безопасности и СД, гестапо, политические полиции нескольких стран, полевая жандармерия, контрразведывательные службы имперских ВВС и ВМС, вспомогательная полиция Виши...

Это не суеверие, когда Жак-Анри спрашивает Люсьена: «Что ты нагадаешь мне сегодня?» — и радуется, услышав: «Удачу!» Им действительно очень нужна удача — ему и его товарищам.

— Что же вы с Вальтером решили? — говорит Жюль.

— С Камбо не будем торопиться. Рано или поздно появится какая-нибудь зацепка для разговора о связях. Может быть, он последний из тех, кто был в берлинской группе и уцелел.

— Тех уже нет в живых...

— Мы не все о них знаем.

— Достаточно, чтобы обнажить головы...

— Я не о том... У берлинцев были люди в окружении Геринга и Ламмерса из имперской канцелярии. Кроме того, они нашли антифашистов даже на Бендлерштрассе. Сведения Камбо — почти ручаюсь! — идут из тех же источников.

— А не из ведомств Гиммлера?

— Ширвиндт считает, что нет.

— А ты?

— Слишком важные вещи он дает. Едва ли наци станут так крупно рисковать.

— Ну а бельгиец?

— Его зовут Жан Дюрок. Им займешься ты. Монмартр, к счастью, не так уж велик.

— Хорошо.

— Что Лилль?

— По-прежнему. Связной умер на операционном столе, остальных увезли. С радисткой ясности нет. Немцы ведут из Лилля «лисью игру». Со вчерашнего дня.

— Ты уверен?

— Я сам слышал радиообмен. Лилль вышел в эфир и вызвал КЛМ. Назвал себя и стал передавать.

— Старым шифром?

— Новым.

— А почерк?

— Это могла быть она... Радиограмма была маленькая, не больше пятнадцати групп, но кое-что я успел записать.

Они умолкают. Курят. Новость слишком потрясающа, чтобы говорить о ней, не продумав всего. Рухнула последняя надежда, что радистка в Лилле успела уничтожить шифр. Теперь радио-абвер, если только он пеленгует Ширвиндта и остальных, без труда прочтет перехваченные за эти месяцы радиограммы. В Марселе контрразведка добралась до второго издания «Мадам Бовари», сейчас она располагает редким экземпляром «Чуда профессора Ферамона» издания 1910 года. Кодом служит вторая половина, начиная с сотой страницы.

— Вчера перешли на новый шифр,— говорит Жюль и ищет взглядом пепельницу. Не найдя, придавливает сигарету о каблук и прячет окурок в карман.

— Третий по счету!

— Да. «Буря над домом», издательство Эберс, четыреста семьдесят первая страница. Жаклин придется опять съездить в Брюссель.

— Она виделась с нашим другом?

— На вокзале. Ему нельзя много ходить: с таким акцентом его сцапает первый же полицейский.

— В Марселе ему было еще труднее!

— А где легко?

— Ты прав, старина...

Жак-Анри закусывает губу. Жюль высказал вслух то, о чем они обычно избегают говорить. Мотогонщик по вертикальной стене, горноспасатель, солдат в окопе — никто не любит, чтобы ему напоминали об опасностях его дела. Смерть — само собой разумеющийся компонент бытия, и что толку жить, беспрерывно оглядываясь на нее?

Жак-Анри легко спрыгивает со стола, подходит к полке и снимает с нее томик в неприметно сереньком бумажном переплете. «Буря над домом». Интересно, о чем это? И выстоял ли в конечном счете дом, на который по воле автора обрушилась буря?..

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

5. ИЮЛЬ, 1942. БЕРЛИН, МАТЕЙКИРХПЛАЦ.

Здание абвера на Тирпицуфер, 74, славится запутанностью своих переходов. Его перестраивали по меньшей мере десять раз, и каждый архитектор привносил что-то свое: в результате коридоры сплелись в хитроумный лабиринт, давший повод острякам из окружения адмирала Канариса окрестить резиденцию абвера «лисьей норой».

Обер-лейтенант Шустер, бывая на Тирпицуфер по делам службы, всякий раз долго плутает по этажам, прежде чем добирается до нужной комнаты. Время, затрачиваемое на это, он считает бездарно потерянным и поэтому покидает штаб-квартиру, как правило, в состоянии крайнего раздражения. Но сегодня он настолько взволнован, что находит дорогу к выходу почти механически и садится в свой маленький «оппель-кадет» в состоянии, близком к прострации. К себе, на Матейкирхплац, он едет раз и навсегда заведенным путем — через Бендлерштрассе, но не потому, что так ближе, а единственно, чтобы бросить взгляд на изъеденный временем красный фасад бывшего военного министерства. В этом здании служили его дед, отец и двоюродный брат. В этом здании служил бы и сам Шустер, не попади в опалу генерал-фельдмаршал фон Бломберг, покровитель его семьи. Единственное, что старый полководец успел сделать для Шустера, прежде чем покинуть в 1938 году по требованию фюрера пост военного министра, это порекомендовать его лично адмиралу Фридриху Вильгельму Канарису, и с тех пор обер-лейтенант тянет лямку в отделении «Восток» радиоабвера на Матейкирхплац. В нынешнем году ему, кажется, наконец улыбнулась удача: начальник отделения убыл с повышением в центральный аппарат, и Шустер занял его место. Серьезное назначение для офицера в двадцать шесть лет!

Радио-абвер — организация особая. В распоряжении Шустера все средства радиоперехвата, стационарные и передвижные пеленгаторы, дешифровальная группа и специально приданное подразделение — два взвода 621-й роты радионадзора. Другие два подчинены капитану фон Моделю, начальнику отделения «Запад».

До недавних пор именно Модель занимался ПТХ. Точнее, он занимается ими и сейчас, но с нынешнего дня будет действовать в тесном контакте с Шустером. Так распорядился сам адмирал. Шустер, вызванный на Тирпицуфер, меньше всего думал о ПТХ. Его операторам приходилось, конечно, натыкаться в эфире на передатчики с этими позывными, но, поскольку работали они из Бельгии и Франции, материалы перехвата Шустер, не занимаясь расшифровкой, передавал по принадлежности фон Моделю. Абвер именно потому действовал четко и точно, что каждый его сотрудник интересовался только тем, что входило в круг его прямых обязанностей. Не более.

На Бендлерштрассе шофер сбавляет ход и оглядывается: иногда Шустер приказывает ненадолго затормозить перед зданием. Но сегодня приказа нет, и «оппель» опять набирает скорость.

Черная кожаная папка, лежащая на коленях обер-лейтенанта, весит немного, но Шустеру кажется, что она отлита из чугуна. В ней два десятка листков тонкой глянцевитой бумаги, помеченных черным штампом: «Совершенно секретно! Государственной важности. Только по принадлежности. Абвер-III». Материалы такого рода Шустеру прежде не приходилось видеть. Они поступали к тому, кому были адресованы,— начальнику Третьего управления абвера генерал-лейтенанту Францу фон Бентивеньи, и им же лично переданы сегодня Шустеру в кабинете адмирала Канариса.

— Надеюсь,— сказал адмирал,— у вас крепкие нервы, обер-лейтенант. Из того, что вам станет ясно через несколько часов, не следует делать вывода, что мы беспомощны. О нет! Противник, бесспорно, опасен, он проник в некоторые области, достаточно запретные, но тем не менее это не значит, что он знает все...

Фон Бентивеньи в своем кабинете был откровеннее.

Тяжело опираясь подбородком на сцепленные пальцы, он говорил с беспощадной прямотой, не оставлявшей у Шустера надежд на то, что в случае неудачи ему удастся не слишком испортить карьеру.

— Похоже, что информаторы ПТХ сидят в штабах и в окружении фюрера. Дешифрована часть радиограмм, но и этого достаточно, чтобы ужаснуться. Именно так, Шустер,— ужаснуться и отложить в сторону все менее важное, чем ПТХ... Хотите что-то сказать?

— Если господин генерал позволит, я хотел бы знать, где находится корреспондирующая станция.

Фон Бентивеньи пожевал бледными губами.

— В Москве. Ее позывные — КЛМ и КЛК. В папке это есть...

Он встал и вяло выбросил вперед руку.

— Хайль Гитлер...

— Хайль!

Шустер вышел из кабинета, всей спиной ощущая на себе тяжелый взгляд генерала. Это противное ощущение преследовало его и в машине и у себя, на Матейкирхплац, где он несколько минут неподвижно просидел за столом, не решаясь открыть папку.

Наконец решился.

Первый листок — расшифрованная радиограмма.

«КЛК от ПТХ 2606, 3 часа 30 минут, сопр. 32, № 210. 8 сентября 1941 года. Профессору. Зенитные пушки калибром 20 миллиметров типа SS-404 патент Биркигт. Длина ствола 80 калибров. 600—700 выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда...»

И это все? Заурядная военная информация, доступная рядовому разведчику. Неужели из-за подобных радиограмм могли волноваться адмирал и фон Бентивеньи? Идет война, и русские, естественно, забрасывают в германский тыл своих людей, и те, что тоже естественно, добывают кое-какие сведения об армии и вооружении. Шустер без особого интереса заглядывает в конец, ищет подпись. «Марат».

Еще один листок.

«КЛК от ПТХ... Новое наступление на Москву не является следствием стратегического решения, а результатом царящего в германской армии плохого настроения, вызванного тем, что не достигнуты поставленные 22 июня цели. Вследствие сопротивления советских войск от плана I «Урал», плана 2 «Архангельск — Астрахань», плана 3 «Кавказ» пришлось отказаться... «Марат».

Еще листок.

«КЛК от ПТХ... 10 декабря 1941 года... Германская авиация насчитывает сейчас 22 тысячи машин первой и второй линии, кроме того — 6 000 — 6 500 транспортных самолетов «юнкерс-52». В настоящее время в Германии ежедневно выпускается 10—15 пикирующих бомбардировщиков. Соединения бомбардировочной авиации, которые до сих пор базировались на острове Крит, отправлены на Восточный фронт, часть — в Крым. Потери Германии на Восточном фронте с 22 июня до конца сентября — 45 самолетов в день. Новый истребитель «мессершмитт» имеет две пушки и два пулемета. Все установлены в крыльях. Скорость 600 км/час. «Марат».

«...12 декабря... К началу ноября на период зимы фронт германской армии запланировано установить по линии Ростов — Смоленск — Вязьма — Ленинград. Немцы бросили в бои против Москвы и в Крыму всю технику, какая имелась. Учебные полигоны и казармы в Германии почти совсем пусты. «Марат».

Мистификация?.. Шустер не последняя пешка в абвере, но он ни в малейшей степени не бывает посвящен в планы ОКВ[1], еще меньше он осведомлен о потерях Германии и о мощности ее авиапромышленности. Во всей стране только несколько человек имеют доступ ко всему комплексу информации, связанной с войной. Фон Бентивеньи прав — «Марат» находится где-то в центре, в одном из самых высших штабов.. А может быть, в рейхсканцелярии?

Плотные скользкие листы легко отделяются друг от друга. Шустер словно завороженный читает текст за текстом. Он ловит себя на мысли, что из радиограмм «Марата» узнал за один час больше, чем за последние месяцы в разговорах с сослуживцами и отпускниками с фронта. Чего стоит, например, такая информация:

«...Серьезные разногласия в ОКВ по поводу операций на юге Восточного фронта. Господствует мнение, что наступление в направлении Сталинграда бесполезно. Ставится под вопрос успех кавказской операции. Гитлер требует наступления на Сталинград, его поддерживает Геринг».

Кто мог присутствовать при разговоре Гитлера с Герингом? Или с кем из доверенных лиц поделились замыслами фюрер империи и ее рейхсмаршал? Шустер закрывает глаза, и ему становится страшно. Где-то рядом — враг! Он подслушивает мысли, он читает их. Черный человек с плаката министерства пропаганды, и подпись под плакатом: «Тс-с-с!»

На схеме, приложенной к текстам, красные кружки и надписи: «Марсель», «Лилль», «Брюссель»... Все это — ПТХ. По-видимому, целая система передатчиков, неведомым образом связанных между собой. Под последней расшифрованной радиограммой номер, близкий к четырехзначному. Расшифровано же не более четырех десятков. Что содержалось в остальных?

Только теперь Шустер начинает понимать, какими последствиями грозит неудача с поисками ПТХ. Для Германии и лично для него. Для него в особенности. Надо немедленно связаться с Моделем и выяснить, какими данными тот располагает. Но Модель во Франции,— так сказал генерал. Подавать ли рапорт о командировке?

Шустер прячет папку в сейф и раздергивает шторки на стенной план-карте. Радиопеленгаторы отмечены на ней синими значками. Вильгельмсгафен, Ганновер, Лангевартен, Кранц, Гессен и Пульенитц. Здесь стационарные установки. В экстренных случаях разрешается опираться на сеть пеленгаторов ВВС в Коббельбурге возле Кенигсберга, в силезском Штригау, Будапеште и Констанце. Несколько установок имеют и военно-морские силы.

Чего сумел добиться Модель?

Шустер немного романтик и фантаст в духе старика Гоффмана. Система ПТХ представляется ему в виде дома без адреса и входа. И без ключа. Так нагляднее. И все-таки адмирал тысячу раз прав: не надо преувеличивать силы противника и преуменьшать свои. Рано или поздно Шустер проникнет в этот дом без ключа, ибо сказано в писании: «Толцыте да отверзется!»

Заперев сейф и аккуратно задернув шторки, Шустер садится за стол и почерком первого ученика пишет рапорт начальнику абвера-III с просьбой о командировке. О соблазнах, ждущих его в Париже — дорогих отелях и девочках,— он старается совсем не думать.

6. АВГУСТ, 1942. БРЮССЕЛЬ, ЛЕОПОЛЬДКАЗЕРН.

— Национальность?

— Француз.

— Ложь! Где родился?

— В Ницце.

— Еще одна ложь! Вы были в испанских интербригадах?

— Не приходилось.

— Снова ложь, Гро! И как вам не надоест?

Модель, прищурившись, смотрит на радиста. После недельного пребывания в ведомстве комиссара Гаузнера Гро, как ни странно, выглядит сравнительно бодро. Правда, нос у него перебит и левая рука в бинтах, но глаза полны жизни, и он не отказался от рюмки коньяку. Выпил быстро, словно бросая Моделю вызов: смотри, я сохранил себя и даже не потерял вкуса к хорошей выпивке.

Гаузнер вызвал Моделя телефонным звонком. Это было удивительно некстати — в кабинете сидел Шустер, прибывший из Берлина с полномочиями, подписанными Канарисом и бригадефюрером Шелленбергом из Управления заграничной разведки РСХА. Моделю совсем не улыбалось начинать совместную работу с обер-лейтенантом с показа своих неудач, но

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18, 19.

[1] Оберкоммандо дер вермахт (ОКВ) — штаб оперативного руководства вооруженными силами фашистской Германии.

Шустер был клеен, как липучка, и пришлось его везти с собой в гестапо.

У Гаузнера, державшегося в Леополькдназерн, словно божок, их ждал приятный сюрприз. Из Виши, Марселя и от испанской секретной службы пришли ответы на запросы, и Модель на этот раз без внутреннего сопротивления согласился с Гаузнером, что да, гестапо работает быстро и продуктивно. Гаузнер чувствовал себя триумфатором и предложил Моделю самому вести допрос, оставив за собой обязанности протоколиста.

Он и сейчас сидит за машинкой, делая вид, что все происходящее его нисколько не касается. Отсутствующий взгляд его бродит по потолку, по стенам, надолго задерживается на портрете Гиммлера в полевой форме рейхсфюрера СС.

Модель фаберовским карандашиком постукивает по пустой рюмке.

— Еще коньяк, Гро?

— Не откажусь.

— Смотрите не опьянейте.

Гро с трудом улыбается одной половиной лица.

— Мне нечего терять, господа!

— Хорошо... Начнем сначала еще раз. Итак, вы француз?

— Я уже ответил — да.

— Уроженец Ниццы, сын Луи Сердака-Гро и Софи-Луизы Шуккерт?

— Это записано в документах.

— Только в тех, что нашли при вас,— любезно уточняет Гаузнер и вновь упирается взглядом в мундир рейхсфюрера.

— А как вас звали в Марселе? — спрашивает Модель.— Жорж Фланден?.. Ну, а в Испании?

— Я не был в Испании.

— Были, Гро!

— Это важно?

— Скажем — существенно. Если окажется, что лейтенант Люк из Мадрида, Жорж Фланден из Марселя и житель Брюсселя Гро — одно лицо, это значительно приблизит нас к истине. Тогда я, может быть, назову четвертое имя, и оно окажется тоже вашим.

— Какое же?

— Михаил Родин из советской военной разведки. Или это еще один псевдоним?

— Не знаю такого!

— И Профессора? И в Москве на Знаменке, 19, вы, само собой, никогда не бывали?.. Не упрямьтесь, Гро!

— Опять третья степень?

— А разве к вам ее применяли? Разве комиссар...

— Ерунда...— лениво произносит Гаузнер и останавливает на Моделе сонный взгляд.— Считайте, что мы еще и не начинали!

Модель коротко кивает.

— Вот видите, Гро, как вы ошиблись... Но если абвер отступится и вы лишитесь его покровительства, то ничто не убережет вас от дороги на Голгофу.

— Христос терпел...

— Позвольте мне? — скрипуче вмешивается Шустер.— Какое звание в РККА вы носили: капитан, майор, полковник?

— Я француз.

— В Испании вас считали англичанином, в Марселе — бельгийцем, в Бельгии — французом. Это, конечно, удобно. Но вы были и есть русский, и это единственно верно. Я не жду ни подтверждения, ни отрицания. В конечном счете мы обойдемся и без ваших показаний, хотя — не скрою! — они нам очень пригодились бы сейчас. В системе ПТХ вы были не простым радистом, и ваше руководство направило Михаила Родина в Брюссель не для того, чтобы он сидел у рации в своей норе. Организация группы — вот ваши функции. И вы бы ее создали, не поспеши мой коллега с арестом. В Марселе вам это удалось, удалось бы и здесь...

— Ну, и?..

— Не торопитесь, господин Родин. Всему свое время!.. В отличие от своих коллег я не очень огорчен вашим запирательством. Большевистский фанатизм знаком мне по Восточному фронту, и я, хотя и нахожу его непривлекательным, научился извлекать из него пользу...

Скрипучий голос Шустера напоминает Моделю о годах, проведенных в школе. Учитель истории, старый Жираф, точно так же усыплял весь класс, когда излагал урок. Даже об открытии экзотической Тасмании он ухитрялся говорить с такой интонацией, что казалось, будто в Тасмании с тех пор прекратилась всякая жизнь... Арестованный вертит в пальцах рюмку, грани ее вспыхивают голубыми искрами. «Хотел бы я знать,— думает Модель,— какую еще пользу из этого можно извлечь?»

Очевидно, и арестованный подумал о том же; он отставляет рюмку и в первый раз за все время спрашивает с неприкрытым интересом:

— Вот как?

Шустер холодно улыбается.

— В Москве на Знаменке вы заучили легенду. Там же вы усвоили и другое, параграф вашего устава: «Сам погибай, а товарища выручай». Но в том-то и дело, что вы никого не выручили, Родин. На вашем месте я поступил бы умнее. Согласился бы на сотрудничество, для виду, разумеется, и постарался бы тянуть время, путать нас, мешать нам. Вначале вы так и собирались действовать, когда вступали в «лисью игру». Вы передали радиограмму и сделали первый шаг если и не к доверию, то по крайней мере к некоторому взаимопониманию. Но дальше — дальше вы испортили все. Радиограмма ушла, и вы сочли себя ренегатом. Решили выйти из игры и молчать. И в результате потеряли единственный реальный шанс помочь вашим друзьям: сократили до минимума время, отпущенное вам на тактический маневр. Вы скверный тактик, милейший господин Родин!.. Не согласны? Извольте, я поясню свою мысль. Предположим, вы «честно» продолжаете передачу наших радиограмм. С каждым разом наше взаимопонимание растет и укрепляется. Мы даже верим вам, когда вы лжете, что связной придет на вокзал в ближайшую пятницу или субботу. Связной, конечно, не является, и вы скорбите вместе с нами. Вы так искренни, что мы соглашаемся с вашим утверждением: произошла обычная заминка, связной приедет через неделю... А время идет! Москва, где тоже сидят специалисты, вполне возможно, догадывается, что ее кормят дезинформацией, и, в свою очередь, начинает «лисью игру» с нами. Дни бегут, мы ждем и надеемся, а ваши друзья за этот срок успевают перестроить всю систему, и в результате эти глупые боши — то есть мы! — остаются в накладе. Вы умираете как герой, а капитан Модель и я попадаем в гестапо. В раю или аду мы догоняем вас и, сняв шляпы, поздравляем с успехом.

Нет, Шустер, конечно, не Жираф! Перспектива, нарисованная им, выглядит настолько реальной, что у Моделя холодеет спина. Ведь так все могло и произойти!

Шустер уже не улыбается.

— Поэтому я и говорю: спасибо вам, мой дорогой господин Родин! Вы избавили всех нас от неприятностей. Неделя, потерянная нами, вполне окупится за счет опыта, приобретенного при общении с вами, и вдвойне окупится при анализе урока. На прощание я даже посвящу вас в некоторые специальные соображения. Все три точки — в Марселе, Лилле и ваша — работали примерно по одной схеме: изолированный радист, связник, некто главный и от него — связник и источник. Все передатчики имеют единый позывной и отличаются друг от друга только расписанием сеансов. Неглупо, ибо путает нас и заставляет думать о блуждающих станциях, но и не так умно, как предполагаете вы.

Шустер делает паузу и доверительно, почти дружески кладет руку на колено арестованного.

— Утверждают, что мы, немцы, мыслим по шаблону. Но и вы в своей системе не оригинальны. За что говорит наличие многих ПТХ? За существование лица с функциями координатора. А если так, то провалы отдельных радистов практически не оказывают влияния на работу всей сети. Связной, если он не арестован, бесследно исчезает, радист знает только то, что входит в его сферу, и до координатора добраться не удается. Но даже когда связной у нас, то — так было в Лилле и Марселе — выясняется, что он получает материалы от посредника, а тот, после ареста связного, словно проваливается сквозь землю.

Модель внимательно наблюдает за арестованным и готов поручиться, что в глазах Родина мелькает торжество. Неужели все обстоит так безнадежно, как кажется Шустеру? Ведь это значит, что им никогда не добраться до того, кто стоит во главе дела. Гаузнер кошачьими шагами подходит к Моделю, наклоняется и шепчет в самое ухо: «Что он болтает?!»

Шустер всем корпусом торжественно разворачивается к Гаузнеру и Моделю. Узкие плечи его распрямляются в линию, тяжелый подбородок выставлен вперед.

— Господа! Позвольте мне от вашего имени поблагодарить милейшего Родина за отличный совет. Он дал его нам не совсем по своей воле, но ценность совета тем не менее от этого нисколько не проигрывает.

— Какой совет? — раздельно спрашивает Гаузнер.

— Радистов — не трогать! Связников — не трогать! Посредников — тоже. Пеленговать и брать под наблюдение. Каждого человека и каждый шаг. Идти от периферии к центральной фигуре. И уже тогда — всех до единого, одним разом!

Вздох Моделя сотрясает тишину, как хорал. Шустер устало присаживается на подоконник и, оперевшись плечом о решетку, ловко забрасывает в рот леденец из маленькой плоской коробочки. Этими леденцами он угощал Моделя сегодня утром, пояснив, что по совету отца бросил курить.

— А этого? — говорит Гаузнер.

— Нам он не нужен,— нехотя отвечает Шустер, даже взглядом не испросив мнения Моделя.

— Особое обращение?

— Если он не заговорит... Впрочем, это ваша компетенция, комиссар.

Модель торопится вмешаться:

— Внутренние дела гестапо не касаются абвера.

Этими словами он сполна расплачивается с Гаузнером за только что пережитые минуты. Офицеры армейской контрразведки не желают иметь ничего общего ни с методами СД, ни с их терминологией. «Особое обращение» — термин из практики эйнзацкоманд, а не абвера, и Модель — родственник прославленного фельдмаршала — считает недостойным даже косвенное причастие и профессиональным обязанностям Гаузнера. Половина Брюсселя только о том и говорит, что комиссар собственноручно пытает и расстреливает тех, кого СД привозит в «Черных Мариях» в Леопольдназерн.

Осторожным движением Родин ставит рюмку на самый краешек стола. Встает навстречу конвою. Шустер, оттопырив щеку леденцом, окликает его:

— Минутку... Когда останетесь один, поразмыслите над тем, стоило ли молчать. Вы уже погибли, но никого не спасли... Страшный конец, не так ли, мой милый?

Назад они едут уже в сумерках. Серые тени лежат на соборе, и чистенькие брюссельские улицы вздрагивают от воя сирены. Шофер сигналит без всякого повода, просто так, чтобы лишний раз досадить укрывшимся за стенами домов обывателям. Красный имперский флажок бьется над черным крылом «хорьха».

В отеле Модель достает из чемодана бутылку настоящего «Камю».

— Поздравляю!

Они пьют за удачу, за общих друзей, фюрера, Берлин и берлинцев, адмирала Канариса, мудрого фельдмаршала фон Моделя — одного из лучших полководцев империи...

В ушах Моделя шумит от жары и коньяка, и телефонное сообщение Гаузнера, позвонившего после полуночи, доходит до него не сразу. Гаузнеру дважды приходится повторить, что Гро повесился в камере. Пока Модель выясняет, как это случилось, Шустер в одиночестве приканчивает бутылку.

— Повесился на бинте? — переспрашивает Модель.

За окном в бездонно черном небе вспыхивает и гаснет звезда. На патефонном диске крутится пластинка с «Маршем богов», и музыка так величественна, что Модель ощущает себя гигантом, которому подвластно все — люди и смерть, земля и небо.

7. АВГУСТ, 1942. МАРСЕЛЬ, РЮ ЖАРДЕН, 17.

Если бы в Париже был Канебьер, то Париж был бы маленьким Марселем. Так утверждают марсельцы, и это, разумеется, несколько преувеличено. Однако Канебьер, соединяющий старый порт с центром, действительно красив, особенно у точки слияния с аллеей Леона Гамбетты. Это юг, живой и пестрый, со всей своей нескромностью: у домов открыты окна, у дам — плечи и спина. Белые фасады, японские зонтики с цветами; цветы у тротуаров, в стенных алебастровых нишпо, в плетеных корзинках продавщиц. Жан-Анри покупает влажную гвоздику и вставляет ее в петлицу. Цветок — алое пятнышко — походит на розетку ордена Почетного легиона.

На остановке у церкви Сен-Винсент де Поль Жан-Анри дожидается трамвая и едет в полупустом прохладном вагоне. Он не садится: не хочет мять отутюженный белый костюм из тонкой шерсти; впрочем, ему и ехать недалеко — до рю Жарден. В пансионе мадам Бельфор его ждет Пьер.

Это не очень осторожно — навещать пансион, но Жак-Анри уверен, что полиция сняла наблюдение. Фланден покинул Марсель больше года назад, обыск в доме № 17 закончился безрезультатно, а мадам Бельфор закатила в префектуре истерику. За нее немедленно поручились отставной генерал и бывший министр, имевший солидные связи в кругах Виши. Полиция принесла извинения и только осмелилась просить мадам дать ей знать, если коммерсант из Латинской Америки сеньор Альварец решит еще раз снять комнату в пансионе.

— Я не доносчица! — возразила мадам.— И кроме того, иностранцы регистрируются в полиции.

Инспектор двусмысленно улыбнулся.

— Не все.

— У меня — все! — отрезала мадам.

После этого месяца три — три с половиной она замечала, что за домом наблюдают, но это ее не волновало. Передатчик, спрятанный в подвале под слоем угля, до поры до времени должен был молчать. Мадам постепенно рассчитала старую прислугу и наняла новую, предусмотрительно не отказав и старшей горничной-эльзаске, о которой знала, что та — полицейский осведомитель.

Все же Жак-Анри предпочел выждать еще, прежде чем заняться восстановлением радиогруппы. Пьер только две недели назад перебрался в Марсель из Нима. В его багаже старого холостяка не было ничего предосудительного, и он дал возможность эльзаске сколько угодно рыться в нем в свое отсутствие. Он даже не рассердился, когда она рассыпала в чемодане его пилюли от кашля.

С вокзала Жак-Анри позвонил мадам и передал ей привет от школьной подруги из Парижа. Он назвался Лео Шредером и был приглашен на три часа...

Пьер, сухой и желтый, как мумия, с угасшими больными глазами — кто бы мог вообразить его в роли подпольщика? Туберкулезные прожилки на щеках и руки, словно вылепленные из стеарина, не оставляют сомнения в том, что судьба отпустила этому человеку не слишком много времени на все и вся. Откашливаясь, он сплевывает зеленую мокроту в стеклянную баночку, и Жак-Анри с грустью отмечает, что со дня их последней встречи баночка стала побольше и наполняется она быстрее. Процесс прогрессирует, и нет средств его остановить...

В комнате Пьера хаос. Холсты стоят один на другом, лепятся к стенам и стопкой лежат на платяном шкафу. На мольберте — этюд, накрытый куском старого шелка. Картон с женской головкой прислонен к подушке. Пьер редко рисует пастелью, он любит краски яркие и сочные, как сам юг. Его картины выставлялись в салонах; их и сейчас охотно покупают, и Пьер не испытывает недостатка в деньгах. Художники считают его явлением не меньшим, чем Пикассо.

— Это так... мелочь,— говорит Пьер и торопливо убирает картон.

— Сюзанна?

— Какого черта?!.

— О прости, Пьер!

С того дня, как Сюзанна ушла, Пьер не выносит ее имени. Но женские головки, рисуемые им с трудным постоянством, запечатлевают черты Сюзанны. Закончив, Пьер рвет картоны и тут же берется за новые.

После неловкого молчания Жак-Анри не сразу находит слова.

— Тебе привет от Жюля.
— Спасибо. Как он там?
— Пытается согнать вес.
— Жарко в Париже?
— Терпимо...
— Подмазываешься к бошам?
— Еще бы! «Эпок» скоро станет бранным словом!
— Меня тоже ругают, пишут в газетах, что я ухожу от действительности в трудный для Франции час. Мои картины, видите ли, не отражают страданий родины. А я сам — богемствующий эстет. По случаю и без случая приплетают ко всему моих аристократических предков и намекают, что прадед предал Наполеона.
— Хорошо, что не называют коммунистом!
— Это был бы уже донос. А у нас, слава богу, все-таки маршал и, следовательно, хотя бы внешне соблюдается респектабельность.
— Надолго ли!
— Прости?..
— Нет, так, ничего...

Жак-Анри уходит от прямого ответа, хотя знает, что дни правительства Виши сочтены. В германских штабах уже разработан план молниеносной оккупации Южной Франции. Гитлера, как магнит, притягивает стоящий в Тулоне и Марселе французский военный флот. Англичане практически нейтрализовали блокаду островов, а на Северном море имперские ВМС бессильны приостановить продвижение конвоев, идущих в Мурманск. «Тирпиц» и «Блюхер», спасаясь от советской авиации, вынуждены сидеть в фьордах... У итальянцев в Средиземноморье дела не лучше. Их легкие крейсеры словно наперегонки уходят на дно. В Тулоне же, оставленные Франции после перемирия, бездействуют линкор «Ришелье», тяжелые крейсеры, эсминцы и подводные лодки. Это та сила, получив которую гроссадмирал Редер обещает сокрушить союзников на море... Впрочем, верховное командование вермахта не меньше заинтересовано и в другом. Ему нужен прочный тыл, а вишисты не могут справиться с маки. Отряды возникают быстрее, чем петеновская жандармерия успевает ликвидировать хотя бы один из них. Такой тыл грозит осложнениями в период, когда операции на Восточном фронте приближаются к кульминации... Информация, полученная Жаком-Анри, не оставляет лазейки сомнениям: участь Южной Франции предрешена.

Жак-Анри наклоняется к лацкану и нюхает гвоздику.

— Когда начинать работу? — спрашивает Пьер и с отвращением сплевывает в баночку.— Я еще не осматривал аппаратуру.

— Пятнадцатого. Я привез расписание и шифр: «Буря над домом», четыреста семьдесят первая страница. Кодовое слово для перекрытия «конструктивизм», с отброшенным «м», разумеется. Письма будешь получать до востребования.

— Куда и на чье имя?

— Решай сам. Нужно пять адресов и столько же имен.

— Позывные — ПТХ?

— Теперь нет. Ты будешь совершенно самостоятелен. Адрес — КЛС, рация — РТИкс, подпишешься АР 50379.

Пьер смотрит на Жака-Анри с обостренной проницательностью смертельно больного человека.

— Кто-то провалился?

— Не скрою — да.

— Я не спрашиваю — кто, но можно узнать — как?

— Если бы я знал сам! Известно одно: и в этом случае рядом с домом стояла палатка телефонистов.

— Переносные пеленгаторы?

— Да, и даже скорее всего не направленные на волну, а другие — скверные штучки, регистрирующие наличие магнитного поля.

— А есть такие?

— Теперь есть. Фирма «Радио-Вольф» из Берлина. В свое время нам почти на год удалось отсрочить их изготовление, а потом... Кстати, здесь может появиться Фланден.

— Значит, провалился он? Мне-то ты можешь сказать!..

Жак-Анри рассеянно щурится на солнце.

— Если Фланден все-таки приедет, скажешь, что я жду его. Пусть к числу букв своей настоящей фамилии прибавит восемь — это будет дата встречи; к тому же числу прибавит четыре — это будет время, а если прибавить еще десять — получится номер трамвайной линии, на конечной остановке которой его подождут. Ты запомнил?

— Восемь, четыре и десять?

— Каждый месяц. А до тех пор пусть отдыхает.

— Хорошо. Ты думаешь, он приедет?

— Надеюсь... В случае чего можешь вполне рассчитывать на садовника. Он славный парень. Передашь привет от Профессора, и он не откажется тебе помогать...

Переждав жару, они выходят в сад, в царство стриженой жимолости и истертых газонов. Сад — сразу за домом, и там, где жимолость сплетается с боярышником, Жак-Анри отыскивает неприметную калитку в стене. Она не заперта, и ничто не мешает ему и Пьеру проникнуть в смежный сад, почти целиком состоящий из нестриженых акаций. Колючки длиной с ладонь превращают его в ловушку, из которой постороннему нелегко выбраться.

— Ты будешь работать отсюда,— говорит Жак-Анри, когда они доходят до лужайки, примыкающей к особняку.— Точнее, из этого дома.

— А владелец?

— Это мадам Бельфор. Здесь тоже пансион, и тебе отведена мансарда. Мадам покажет остальное... Не забудь только запирать за собой калитку, Пьер,— считается, что у домов разные владельцы.

— Сад так и просится на полотно!
— Да, но рисовать здесь не придется.
— Жаль.
— Что поделаешь, старина...

Они садятся в выцветшие полосатые шезлонги, и Жак-Анри качается, закинув руки за голову. Небо над ним безмятежно-сине, и солнце слепит прищуренные глаза. В детстве Жана-Анри, о котором он не хочет вспоминать, и в юности, о которой старается не думать, был такой же полосатый, нагретый лучами шезлонг, и стоял он на опушке соснового леса. Жак-Анри качался в нем, и слушал птиц, и сам подсвистывал им. Он умел разговаривать с кукушкой и синицей, и кукушка однажды напророчила ему сто лет. Это было за неделю до отъезда в Испанию.

Жак-Анри плотнее смыкает ресницы и ждет, когда на их кончиках появятся радужные круги. В детстве он умел это делать. Голос Пьера врывается в полусон и возвращает его в Марсель.

— Прости? — переспрашивает Жак-Анри.
— Ты дашь мне тексты?
— Да, сейчас. Запиши.

Пьер достает изящный альбом с золотым обрезом. Ищет свободную от рисунков страницу.

— Диктуй.
— Первая... Номер я скажу потом. Итак, первая: германские дивизии на Восточном фронте в связи с потерями частично укомплектованы людьми, прошедшими четырехмесячное ускоренное обучение. Из того же материала пополняется командный состав. Ведущие генералы в ОКВ рассчитывают на продолжительность войны порядка тридцати месяцев. После этого, по их мнению, возможен сепаратный мир... Успеваешь?

Пьер кивает и разражается нашлем. Кончик его карандаша ломается, прочерчивая на слоновой бумаге ломаный след. Баночка осталась в комнате, и Пьер торопливо сплевывает в платок.

— Не отвлекайся, пожалуйста! — говорит он сердито.— Что там дальше?
— На конец прошлого месяца немцы имели 400 дивизий всех родов, кроме того, полтора миллиона человек в организации Тодта и миллион различных резервов ВВС, включая пилотов и наземные команды. Во Франции сейчас находится до двадцати двух дивизий, большей частью ландштурм. Личный состав очень неустойчив, имеются случаи дезертирства... Конец.
— И это не срочно?!
— Срочные не ждали бы до пятнадцатого, Пьер. Записывай вторую. Прежние шифровальные книги раскрыты. Возможна компрометация линии связи с Вальтером, хотя я и не тревожу его заранее. Моя связь с вами в полном порядке. Никаких признаков наблюдения. Как теперь связываться с Вальтером?.. Конец.
— Это все?
— Еще одна. Будь внимателен, здесь много трудных слов. Начинаю: новыми немецкими отравляющими веществами являются: формихлоридоксим, формула... впрочем, формулы я продиктую отдельно... значит, формихлоридоксим, цианформихлоридоксим, дихлорформилоксим, какодилисоцианид, теллурдиаэтил, нитросильфлуорид и хлорированный этилумин.
— Как подписать?
— Марат. И поставишь еще свою подпись.
— Клянусь, это отличная информация!
— Не преувеличивай, Пьер.
— Нет, правда; сначала я решил, что ты дружишь только с самим Кейтелем, а теперь вижу тебя в числе основных пайщиков ИГ-Фарбениндустри.
— Газы вырабатывает не одна ИГ-Фарбен. Оставим это.
— Тебе неприятно?

Против воли голос Жака-Анри звучит резко:

— А что приятного думать о том, что газы могут быть пущены в ход где-нибудь на Волге?
— Ужас!

Жак-Анри встает. У него тоже есть и душа и сердце, и они не защищены броней. То, что для Пьера укладывается в короткое восклицание, для него — боль, бессонница и порой почти непреодолимое желание нарушить приказ и любым путем добраться туда, где каждая пядь выжжена огнем и пропитана кровью.

Жак-Анри очищает брюки от соринок и поправляет канотье из золотистой итальянской соломки. Гвоздика совсем завяла, и он, поколебавшись, забрасывает ее в кусты. Протягивает Пьеру ключ.

— На обратном пути не забудь запереть калитку. Тысяча поцелуев мадам Бельфор!

Пьер, суетясь, заталкивает в карман альбомчик.

Жак-Анри смотрит ему вслед, пока сутулая спина не скрывается в зарослях акации. Подождав, выбирается через лаз на дорожку, посыпанную желтыми толчеными ракушками. Неторопливый и уверенный, он доходит до ограды, толкает бронзовую решетчатую дверь и ступает на размякший под солнцем тротуар рю де Хёффер.

Здесь шумно и пахнет йодом.

Жак-Анри идет на этот запах к морю, спускается с набережной, набрав по дороге полные карманы плоских, облизанных волнами камешков. На мостках мальчишки ловят удочками рыбу. Жак-Анри присаживается в отдалении и, стараясь им не мешать, ловко запускает в мягкую зеленую воду почти невесомый «блин». Камешек подпрыгивает раз-другой, и Жак-Анри считает круги. Мальчишки замечают его и, воздев удочки к небу, восторженно орут, когда броски удачны. Кричат:

— Идите к нам, месье!

И он идет на их зов.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

8. АВГУСТ. 1942. ЖЕНЕВА, УЛИЦА МЮЛЛЕР БРЮН.

Роз хандрит с самого утра. С ней иногда это бывает. Вообще-то она оптимистка, но жизнь в Женеве постепенно угнетает ее. Здесь так чинно, тихо и пусто; даже знаменитое озеро прилизано и послушно, словно пансионерка. В Давосе и Сен-Морице — там веселее. Роз раз в неделю ездит на курорты, проводит несколько часов в компании отпускников из Германии. Герои Крита и Эль-Аламейна залечивают раны, а точнее, волочатся за всеми юбками без разбора и щеголяют друг перед другом на лыжных трассах. Среди них попадаются и штабные сердцееды, и Роз стóит немалых усилий держать их на дистанции. Белокурые бестии, такие надменные у себя дома, здесь словно расстегивают все пуговицы на мундирах и готовы вовлечь любого в орбиту развлечений. Роз строга, и это раззадоривает их, но отпуск — он так короток! Офицеры разъезжаются по своим частям, ничего не добившись, и пишут Роз письма, где сентиментальные признания перемежаются описаниями побед. Из этих писем Вальтер довольно легко выбирает то, что ему нужно.

Комната Роз на улице Мюллер Брюн обставлена по-спартански. Единственная по-настоящему дорогая вещь — хороший радиоприемник, принесенный Вальтером. Есть еще несколько старинных гравюр, купленных Роз у букиниста. Вальтер платит ей ровно столько, сколько хватает на скромную жизнь. Роз сердито шутит, что в других фирмах секретари получают прибавки и премии, но на Ширвиндта ее слова не оказывают действия. Весной Роз за счет жесточайшей экономии купила себе маленький венецианский трельяж в раме из темного дерева, ей до смерти надоело причесываться перед зеркальцем для бритья. А волосы у нее пышные, и с ними у Роз немало возни!

Роз сидит у зеркала и с отвращением рассматривает свое отражение. Она себе не нравится. Вздернутый нос крупноват, щеки впалы, рот слишком ярок, только брови и глаза хороши. Роз запудривает тени и щеткой пытается уложить волосы как надо. Пряди лезут на лоб, и ничего не получается.

А Роз так хочется быть красивой! Не для себя — для Жана. Совсем ни к чему, чтобы он по ее лицу догадывался о неприятностях. Роз сама решила свою судьбу, и переживания касаются только ее. Вчера она еще раз сказала Ширвиндту, что любит Жана. Ширвиндт пожал плечами.

— Любишь? А что ты знаешь о нем?

— Все! — отрезала Роз.

— За два месяца?

— Если рассуждать по-твоему, я должна ждать до глубокой старости.

— Мы все ждем.

— Ты мужчина, Вальтер.

— Для дела это не важно.

— А чем помешает делу любовь?

— Не передергивай, Роз... И потом — разве тебя не предупреждали? Мне очень не хочется напоминать тебе об этом, но я вынужден. Никто не требовал от тебя согласия. Ты вызвалась сама, и тебе честно сказали все без утайки... В одном ты права: наше дело для мужчин, но уж коль ты убедила Центр, что справишься, не проси себе женских привилегий.

— Добавь: и надень брюки, Роз!.. Тебе хочется, чтобы я была несчастна? И это, по-твоему, долг?

Никогда раньше Роз не позволяла себе говорить с Вальтером так. Но слишком уж накипело. Все нельзя — то, это; каждый шаг обдумываешь и взвешиваешь, словно готовишься к полету на полюс. Хочется вечером повеселиться и потанцевать, но — нельзя. «Ты не должна выделяться, Роз!» Обзаводишься приятельницами — и Ширвиндт против: «Кто они такие? Будь осторожна!» Родилась любовь — и нет, нет, нет: даже чувства оказываются под запретом! «Идет война. Мы не принадлежим себе». А кому? Родине? Но родина — это тоже «мы», и дома Роз учили другому: «Человек создан для счастья, как птица для полета!» И в присяге ни слова не сказано, что от нее требуется обет безбрачия... Два месяца... Мало? Шестьдесят дней, когда каждое утро думаешь о встрече, вспоминаешь жесты, походку, голос. Узнаёшь не только прошлое, но и мысли человека и, говоря с ним, не напрягаешься, стараясь угадать скрытую опасность. Опасаться — кого? Жана? Что ж, она и ему поверила не сразу. Но он не требовал от нее ничего — ни рассказов о себе, ни доверия, ни любви. В своем одиночестве он искал в ней просто друга и давал больше, чем брал. Они встречались только в саду. Жан покупал пакетик голубиного корма, и голуби знали его, подкатывались к самым ногам и клевали с ладони... К себе он стеснялся приглашать, и Роз, глядя на его поношенный костюм, понимала, почему. Среди эмигрантов не все были богачами, а Жан не вывез из Брюсселя ничего, кроме рук. Первое время Роз думала, что Дюрок — вымышленная фамилия: в Швейцарии каждый мог зарегистрироваться под тем именем, какое хотел взять. Беженцы, как правило, слишком хорошо помнили о гестапо, и мало кто пользовался старыми документами. Но Жан или не боялся гестапо, или пренебрегал возможностью оккупации немцами Швейцарии,— во всяком случае, на письмах, получаемых им из Брюсселя от матери, стояло «Анриетта Дюрок». Роз видела ее фотографию — совсем седая старушка, лицом, до мелочей повторяющим лицо сына. Жан сказал: «О Роз, если б вы слышали, как она поет! Вторая Патти!» Совсем случайно Роз узнала, что Жан прекрасный инженер. Один из информаторов группы, конструктор-немец, бежавший в Лозанну сразу же после прихода наци к власти, упомянул, что в новой работе намерен воспользоваться идеей, запатентованной Жаном Дюроком, и что идея эта превосходна. Роз сообщила об этом Ширвиндту, добавив, что для абвера или гестапо было бы, пожалуй, недопустимой роскошью использовать в качестве осведомителя того, чей технический талант был бы полезен третьему райху. «Я знаю здесь двух ученых,— ответил Ширвиндт,— оба — физики; один работает на немцев, другой — на американцев. Это тебя удивляет?» «Но Жан не похож на разведчика!» «Быть похожим — это большой минус для профессионала».

Как ни сопротивлялась Роз, она не могла не признать, что Ширвиндт говорит правду. Швейцария и до войны кишела агентами, среди которых встречались и двойники и даже тройники. Не составляло особой тайны, что кафе возле здания кантонального правительства служит излюбленным местом встреч представителей многочисленных секретных служб. Один и тот же секрет в иные вечера становился достоянием и англичан, и американцев, и сотрудников полковника Пасси из Сражающейся Франции: все зависело от ловкости продавца. Швейцарская полиция не трогала завсегдатаев кафе, предпочитая молчаливо наблюдать за ними и сообщать подробности в люцернское «Бюро Пилатус» — контрразведку Генерального штаба. Об этом группа узнавала через одного капитана, ненавидевшего Гитлера и нацизм и располагавшего неопровержимыми данными о том, что гестапо в Швейцарии завербовало в Генштабе немало сторонников. На рапорт капитана командующему о нацистском засилье последовало указание о переводе его из контрразведки в разведывательное отделение — подальше от дел, связанных с расследованием нацистских комбинаций. Передавая преемнику досье, капитан по просьбе Ширвиндта успел навести справки о Дюроке и не обнаружил ничего компрометирующего. Роз торжествовала...

На какое-то время Ширвиндт словно бы забыл о Жане, и Роз думала, что он примирился, но после приезда Шредера произошел крупный разговор, а несколько дней спустя второй. И наконец вчера Ширвиндт поставил все точки над i.

Роз слушала его с оледеневшим сердцем.

Она не узнавала Ширвиндта. Куда девалась его мягкость и та особая деликатность во всем, что касалось ее? Роз прежде только однажды видела его таким — в Москве на Знаменке, когда она еще не думала, что будет работать именно с ним, и он был для нее просто человеком с ромбом в петлицах. Третий участник разговора, сухощавый штатский с невыразительным лицом, позволил себе слегка улыбнуться, слыша ее категорическое: «Даже если потребуется умереть!» — и спокойно вмешался: «Это самый нежелательный вариант — смерть». Выслушав обоих, Ширвиндт с минуту молчал, разглядывая ногти на широких руках, потом сказал: «Предусматривать надо все, так будет лучше!» И голос его был сух, как отсчет метронома.

Эти же сухие ноты Роз уловила и вчера, и они породили протест. В конце концов чем она провинилась, чтобы с ней говорили так? Она только и делает, что ограничивает себя во всем. Нет минуты, которую она посвятила бы себе целиком: поездки, возня с шифрами, работа на ключе передатчика, постоянное ощущение свинцовых глаз соглядатаев на спине и затылке. Вот уже полгода, как она засыпает только с помощью веронала. А замены нет. Когда Ширвиндт сказал ей, что придется остаться еще, разве она протестовала? Вздохнула и промолчала, хотя мысленно уже видела себя поднимающейся на четвертый этаж кирпичного дома в переулке, где над парадной дверью прикреплен алебастровый значок Осоавиахима, означающий, что все жильцы являются членами общества. В этом доме ждут ее, перечитывают редкие письма.

— Ты уедешь в Давос,— сказал Ширвиндт вчера.

— Надолго?

— Да.

— А контора?

— Я возьму секретаря по объявлению. В конторе нет ничего, что не относилось бы только к географии и изданию карт. Придется лишь избегать некоторых встреч. Если секретаря подставят — тем лучше: пусть убеждаются, что мы просто мелкое издательство, балансирующее на грани разорения...

Роз поднесла ладони к щекам.

— Так нужно,— сказал Ширвиндт.— Да ты и сама понимаешь...

— Еще бы! — горько сказала Роз.

— Завтра передашь Шекспиру и Камбо, что они получат по открытке. Пусть проявят ее в марганцовке и лимонной кислоте, две части на одну,— там будет пароль и псевдоним связиста.

— Вальтер!..

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—20.

— С Дюроком, конечно, попрощайся. Скажешь, что получила отпуск, едешь в Сен-Мориц... Об остальном поговорим завтра...

Прощай, Женева! Прощай, все!.. Роз думает об этом и улыбается своему отражению в зеркале самой веселой из всех своих улыбок. Сегодня она не должна выглядеть грустной, пусть Жан запомнит ее улыбающейся, а не скорбной. Она уже почти решила, что если Жан захочет прийти к ней сегодня вечером, она не скажет «нельзя»...

Под пудрой исчезают тени у глаз и скрадывается тоненькая морщинка на лбу. Роз красит губы и кончиком платка убирает с уголков рта лишнюю помаду.

На улице прохладно, и Роз идет, подставляя ветру лицо. Знакомый полицейский на перекрестке приветствует ее, подбросив к козырьку два пальца в белой нитяной перчатке. Роз кивает ему, а он провожает ее взглядом, не удостоив внимания господина в сером котелке, идущего по другой стороне улицы в том же направлении, что и Роз. Этот господин целое утро околачивается на Мюллер Брюн — присматривает комнату подешевле и безобразно торгуется с хозяйками.

Шекспир живет на улице Каруж, 26. Прозвище ему дала Роз за пристрастие к театру. Он владелец радиомагазина и все свое свободное время тратит на поиски редких экземпляров пьес у букинистов и изготовление усовершенствованных передатчиков. Рации, на которых работают товарищи Роз в Швейцарии и за границей, сконструированы Симоном Бушем, подписывающимся под сообщениями Центру фамилией гениального драматурга.

По привычке Роз сначала смотрит на электрочасы, укрепленные над дверью, и только потом берется за ручку. Часы с секретом — они автоматически останавливаются, если Шекспир включает передатчик. После сеанса хозяин пускает их снова, скорректировав время. Сейчас секундная стрелка скачет с деления на деление, и Роз открывает дверь. В глубине помещения тренькает серебряный звоночек, оповещая Буша о покупателе. Он спешит из жилых комнат, стряхивает с усов прилипшие за завтраком крошки.

— О, это вы! Так рано?

Роз морщит нос.

— Перебои с покупателями, Симон?

— Напротив — всем нужны в наши дни недорогие приемники. Кто слушает известия, а кто — музыку. Война и мир!

— Вам просили передать, что придет открытка с альпийской фиалкой. Марка в десять сантимов.

— Уже получил. Что с ней делать?

Роз объясняет и достает из кассеты на прилавке пластинку с собачкой и граммофоном на лакированном пакете.

— Это хорошая запись?

— Обычная. «Хис мастерс войс», качество звучания на высоте, чего не скажешь о музыке.

— Все равно: у меня же нет патефона.

— Двести франков...

— И двухсот франков тоже.

— Я подарю вам патефон на день рождения. Когда приготовить?

— О, не скоро, Симон, да я и не люблю музыку. Во всяком случае, такую... А сейчас что бы мне выбрать?

— Из мелочи?

— Конечно, Симон...

Буш в затруднении щелкает пальцами.

— Может быть, ночник?

— Это дорого?

— Со скидкой сущие пустяки.

Лампа изящна и нравится Роз — три цветка, соединенные на тонком качающемся стебле. Буш заворачивает ее в гофрированную бумагу и пробивает в кассе талон. Серебристый, украшенный пуговками «Универсаль», позванивая, выбрасывает в окошечко цифры. Поворачивая ручку кассы, Буш случайно заглядывает в стеклянную витрину и натыкается на взгляд мужчины в сером котелке, стоящего у магазина на тротуаре.

— Минуту, Роз... Не поворачивайтесь!

— В чем дело?

— Там один тип, хочу, чтобы он прошел.

— Вы знаете его?

— Он заходил на днях, выбирал приемник. Немец из Брауншвейга, так он отрекомендовался.

— Ну и что? В Швейцарии, по-моему, каждый третий — немец. Да и вы тоже.

— Все-таки пусть он пройдет.

— С вашей мнительностью...

— Вот-вот,— подхватывает Буш,— с моей мнительностью я не хочу быть похищенным гестапо и увезенным в Берлин. С меня по горло хватит встреч со штурмовиками в тридцать четвертом. Вам приходилось слышать о «Коричневом доме» в Мюнхене?

— А есть такой?

— Я провел там две недели и каждое утро жалел, что когда-то появился на свет... Ну вот, прошел. Вы еще заглянете ко мне, Роз?

— Надеюсь...

Роз выходит, слегка взволнованная. Пройдя несколько шагов, останавливается у витрины и рассматривает выставленные там шляпки. Улица пуста: серый котелок исчез.

На всякий случай Роз не сразу едет в такси к вокзалу, где за столиком ресторана сидит, читая свой «Дер Бунд», терпеливый Камбо.

За столик она садится, как чужая, заказывает чай, пирожное с цукатами и сбитые сливки с корицей. Пока официант достает из горки посуду, Роз разминает в пальцах тоненькую румынскую пахитоску. Камбо с неодобрительным выражением чиркает спичкой.

— Позволите?

— О, благодарю!

— Сигареты натощак?

— А разве это плохо?

Со стороны все выглядит, как завязка флирта. Обычная сценка для ресторана, особенно с начала войны, когда спрос на мужчин резко возрос. Официант равнодушно звенит посудой, нимало не интересуясь разговором. Он хотя и сотрудничает с полицией, но в политическом отделе, а не в комиссариате по надзору за нравственностью.

Камбо складывает газету по сгибам и мелкими глотками пьет кофе. Его лицо словно связано из морщин. Узкий рот старчески пришептывает:

— В коробке... очень важные новости... Возьмите, когда я уйду.

— О чем?

— Увидите сами... Сталинград...— И громче:— У мадемуазель, конечно, есть телефон?

Роз смеется.

— Мой друг ревнив!

— Весьма сожалею... Гарсон!

С педантичностью скупца Камбо отсчитывает мелочь, не дав ни монетки на чай. Тем не менее официант не обижен: он привык к скупости богатых господ. Свой франк он получит от этой утренней пташки.

Роз продолжает улыбаться в спину Камбо. Этот человек ей неприятен. Как все загадочное, он вызывает если не страх, то инстинктивное предубеждение. За время знакомства он не сказал о себе и пяти слов. Несомненно только, что он немец и бывший социал-демократ. Несомненно и то, что связи у него поистине гигантские. В самом начале он предупредил Вальтера через Роз, что их сотрудничество продолжится до окончания войны и ни на час дольше. И без церемоний пояснил, что не является поклонником большевизма.

— Если вы удовлетворитесь этим, то все будет хорошо.

Роз возразила:

— Но мы должны знать, с кем имеем дело.

— Мои убеждения? Антифашист.

— Довольно расплывчато.

— Что поделать... Я один из тех, кто прозевал превращение человека с усиками в фюрера империи. Я и мои друзья. Чтобы помочь ему попасть в ад, я войду в любой блок. Кроме того, мне нужны деньги.

Роз поежилась.

— Это не цинизм, мое дитя, а опыт. Так и скажите вашим. И еще скажите, что при первой же попытке проникнуть в мое прошлое я прерву связь...

С тех пор сведения от Камбо идут как с конвейера, но Вальтер — Роз это чувствует! — держится настороже. Правда, пока не было поводов усомниться в их точности, однако кто может поручиться за будущее? Центр тоже предупреждает о бдительности... В глубине души Роз довольна, что видится с этим человеком в последний раз.

Официант, получив свой франк, склоняет реденький пробор. Роз прячет спички в сумочку и, нацепив пакетик с покупкой на палец, мило благодарит швейцара, распахивающего дверь. Через третий перрон она, обогнув вокзал, возвращается в город. За ней никто не следит...

Ширвиндт вместо приветствия ласково встряхивает Роз за плечи.

— Устала?

— Не слишком.

— Ты едешь сегодня. Вот билет.

— Хорошо,— говорит Роз ровным голосом.

— Ну, ну, не надо вешать носа!..

— Загляни в коробок.

— Камбо?

— Да, он... У него физиономия Квазимодо. В его присутствии мне не по себе — ничего не могу с собой поделать...

— Да,— говорит Ширвиндт рассеянно и разглядывает записку.— Но то, что мы получаем, чертовски интересно.

Роз закуривает и пускает дым через ноздри. Даже находясь в отдалении, Камбо заставляет ее нервничать.

— Знаешь,— говорит она,— мне кажется, что он работает еще на кого-то...

— На кого же?

— На американцев... А может быть, на гестапо.

— Я думал об этом.

— И все-таки?

— Согласен, риск есть. Но пока он помогает нам, и нельзя плевать в колодец. Будем осторожны с ним, насколько возможно.

— Когда ехать?

— Ночным. Последним сеансом передашь данные Камбо. Рацию оставишь в тайнике, за ней придут.

Косым, торопливым почерком Ширвиндт переписывает текст с бумажки на листок из бювара, кладет его в конверт.

— Возьми. Зашифруй поаккуратнее и передай дважды. Выйдешь из эфира, только когда получишь квитанцию. Приема не веди и предупреди об этом заранее.

...До вечера Роз возится в конторе, собирает дела, подшивает письма, счета из типографии, запросы поставщиков. Ее преемник найдет канцелярию в полном порядке. Среди почты Роз обнаруживает повестку из налогового управления и кладет ее в корзиночку для спешных бумаг. Будь она в другом настроении, она бы заинтересовалась повесткой, пришедшей почему-то задолго до конца года, но сейчас ей не до того: мысль о встрече с Дюроком поглощает ее до конца.

Ровно в четыре Роз уже в саду. Жан кормит голубей, жирных до отвращения. Роз впервые замечает, что голуби так непристойно толсты и прожорливы.

Жан робко смотрит на нее.

— Ты не хочешь посидеть?

— Нет, Жан, давай пойдем.

— В кино?

Он вопросительно вздергивает подбородок и звенит мелочью в кармане.

— Что-то не хочется...

— Но куда же,— спрашивает Дюрок. И тут же догадывается: — К тебе?! Это правда, Роз?

— Да,— говорит она, боясь передумать.

Жан обнимает ее, и они идут, тесно прижавшись друг к другу. Роз чувствует, что начинает дрожать, но храбро ступает на порог своего дома. Лестница безлюдна, но даже окажись на ней кто-нибудь, Роз не изменила бы решения. «Завтра меня здесь не будет»,— думает она и вставляет ключ в замок.

Жан тоже растерян. Оказавшись в комнате, он замирает в кресле и сидит — большой, немного неуклюжий, с беспомощными, добрыми глазами. Роз с гордостью смотрит на него: такой красивый и умный, он полюбил ее, а не другую девушку, хотя любая была бы счастлива с ним.

— Иди ко мне,— шепотом говорит Жан, и Роз повинуется.

«О господи, как я люблю его!» — думает она, позволяя ему целовать себя и расстегивать блузку. Остается только одна пуговичка у самого ворота, и тут Роз внезапно делается страшно опытности рук Жана. Она открывает глаза и отодвигается. «Только не сейчас!..»

— Не сейчас,— говорит она.

— Но почему?

— Завтра...

Она рассматривает его руки, сильные пальцы с крепкими суставами, серебряный перстень с монограммой. «Но я же действительно ничего не знаю о тебе, Жан!» Сердце ее бьется все чаще и чаще.

— О Жан... не сердись... это не так просто...

— Не надо,— ласково говорит Жан.— Я все понимаю.

Она присаживается на кровать, достает из сумочки помаду и медленно, гораздо медленнее обычного красит губы. Под руку попадается конверт из плотной бумаги, и она кладет его на подушку. Жан молчит.

— Я заварю чай,— говорит Роз, избегая поднимать глаза.

— Если можно, кофе.

— О, конечно!

Только бы не оставаться наедине! Роз необходимо хоть минуту побыть одной. То, что она хотела сделать, оказалось свыше ее сил. И не Ширвиндт тому виной. Роз и сейчас верит Жану, но только вот эта опытность его рук... Кто, какие женщины заполняли его прошлое? Они не говорили о них, но женщины были, теперь она знает точно... А что еще было в его прошлом?

В крохотной кухне Роз, едва не плача, варит кофе по-турецки, бросает в кофейник для крепости щепотку соли и возвращается в комнату. Жан по-прежнему сидит в кресле, и лицо его тонет в полумраке. До отъезда остается всего несколько часов. «Прости меня, Жан!»

Роз разливает кофе по чашечкам и хочет поставить свою на приемник. Ищет, что бы подложить под влажное донышко, натыкается взглядом на конверт и, не сдержавшись, расплескивает кофе. Как он попал на подушку?!

Взгляд на открытую сумочку, еще один — на конверт, и Роз мгновенно вспоминает все. Отряхивая брызги с юбки, она пытается сообразить, сколько времени пробыла в кухне. Минут семь, не меньше. Вставал ли Жан с кресла и трогал ли пакет? Он мог подумать, что письмо от мужчины... А если он прочел его?

— Почему ты не пьешь? — спрашивает Роз, чтобы что-нибудь сказать.

— Жду тебя. Можно включить свет? Ничего не видно...

«Ничего не видно? — Роз нажимает пуговку выключателя.— Зачем он это сказал?..»

— Достаточно крепко?

— Да... Просто замечательно.

У него такой же твердый подбородок, как у тех белокурых бестий, с которыми Роз знакомится на курортах. И белые волосы. В Бельгии тоже встречаются альбиносы или нет?

Жан поднимается.

— Тебе лучше побыть одной.

Голос его звучит грустно.

— Ты прав, Жано...

— До завтра?

— До послезавтра... Я позвоню тебе в пансион...

После его ухода Роз долго стоит у окна, прижавшись лбом к стеклу. Надо все рассказать Ширвиндту... Но где его найти? В эти часы контора закрыта, а дома Вальтер бывает за полночь. Позвонить из Давоса? Странно, Жан ушел, навсегда исчез из ее жизни и судьбы, а она не может думать сейчас о нем. Только о конверте и Ширвиндте. Верно говорила мама когда-то, что одна беда гонит прочь другую.

...В 22.25 рация Роз выходит в эфир. Слышимость отличная, и Роз передает: КЛМ от ПТХ... КЛМ от ПТХ... КЛМ от ПТХ... Пятизначные цифры бусами тянутся одна за другой. Роз дважды повторяет текст и прячет передатчик в тайник на антресолях. До поезда остается меньше трех часов, а ей еще многое предстоит сделать. Роз вытаскивает из шкафа чемодан и принимается собирать вещи. На дно, под белье, она кладет кодовую книгу и маленькую, с ноготь величиною, фотокарточку тех, кто дома ждет ее возвращения из длительной служебной командировки.

9. АВГУСТ, 1942. БРЮССЕЛЬ, ЛЕОПОЛЬДКАЗЕРН — БЕРЛИН, ПРИНЦ-АЛЬБРЕХТШТРАССЕ, РСХА.

Третий час ночи, а комиссар Фридрих Гаузнер не собирается ложиться. Он может не спать сутками, и это не достоинство, а недостаток — результат длительного перенапряжения нервной системы. С того дня, когда его в числе наиболее опытных работников политической по-

лиции — зипо — включили в состав гестапо, прошло семь лет, и все эти годы Гаузнер живет с дамокловым мечом над головой. В его руках страшная власть, и он может покарать почти любого за проступок или ошибку, но у людей, стоящих над ним, власть еще страшнее, и если они захотят покарать его самого, то старший правительственный советник Гаузнер обратится в горсть смердящего праха. В биографии Гаузнера есть одно сомнительное место, о котором в управлении кадров до поры до времени как бы забыли: в двадцать третьем он разыскал и арестовал в Берлине двух баннфюреров СА — согласно приказу, разумеется, поскольку национал-социалистская партия и ее формирования были тогда объявлены вне закона. Этот деликатный штрих похоронен в досье, но он может всплыть, если Гаузнер поскользнется.

Сегодня Гаузнер ощущает легкое колебание почвы под ногами. Это еще не землетрясение, но ведь и лавина начинается с крохотного снежка. Поэтому Гаузнер не спит, сидит в кабинете, затянутый в мундир, и, прищурившись, вглядывается в лицо задержанной, стараясь отыскать на нем нечто большее, чем страх и страдание.

Две пятисотваттные лампы в рефлекторах направлены на это подергивающееся лицо. Пот и слезы, смешиваясь, стекают по щекам на дряблую шею и орошают блузку с камеей у ворота. Дорогая камея в старинной оправе служит комиссару напоминанием о сдержанности — владелица ее состоит в родстве с крупными промышленниками, связанными с концерном «Герман Геринг». Гаузнер старается, чтобы в его голосе звучали теплые, почти дружеские нотки.

— Ах, мадам,— говорит он.— И почему вы позвонили нам так поздно?

С ресниц задержанной буквально струится черная тушь.

— Если бы я знала!..

— Но мы же договаривались. Помните: я предупредил вас сразу — звоните сюда, кто бы ни пришел. Мы простили вам укрывательство Гро, постарались поверить, что он обвел вас вокруг пальца... Теперь я думаю: а не слишком ли гуманны мы были тогда?

— Заклинаю вас!..

— С вашим весом в обществе, состоянием, в вашем возрасте, наконец, я бы не флиртовал с врагами империи. Для Бельгии и бельгийцев будет лучше, если они прекратят салонную игру в сопротивление и осознают, что отныне их судьба связана с судьбой Германии. Рабочий агитатор, красный фанатик — такой еще может упорствовать и затягивать на себе петлю, но вы, интеллигенция, элита,— что ищете вы? Извините, не понимаю!

— Это — роковое недоразумение!

— Согласен, роковое... Вы заверяли меня, что дружески относитесь к нам. Не так ли? Но могу ли я считать другом того, кто забывает о своем долге? Почему вы не позвонили сразу?

— Я думала... Эта женщина сказала, что служит в полиции.

— В германской полиции нет женщин!

— Откуда мне было знать?

— Вы, конечно, поинтересовались ее документами?

— Я так растерялась.

— Это не оправдание...

Гаузнер поворачивается к протоколисту.

— Приготовьтесь, Эрик. Диктую перевод. Начали... Семнадцатого августа сорок второго. Подозреваемая — Анжелика Ван-ден-Беер, пятьдесят три года, католичка, вдова предпринимателя, проживает — 12, рю де Намюр, Брюссель. Допрос ведет старший правительственный советник Фридрих Гаузнер, отделение IV-E2-2 Главного управления полиции безопасности и СД. Подозреваемая говорит, что шестнадцатого августа поздно вечером ее посетила молодая женщина, назвавшаяся членом гестапо. Не предъявив удостоверения, опознавательного жетона или иных документов, подтверждающих ее права, она предложила госпоже Ван-ден-Беер выдать некоторые вещи арестованного ранее по этому адресу государственного преступника Гро. Подозреваемая говорит далее, что это требование она выполнила, передав неизвестной несколько книг из библиотеки, якобы принадлежащих лично Гро. Подозреваемая утверждает, что никаких иных предметов, кроме книг, передано не было. Подозреваемая примерно в двадцать три часа сорок минут сообщила об этом по телефону комиссару Гаузнеру, а затем повторила то же самое в показаниях на допросе... Пока все.

Гаузнер заботливо поправляет рефлектор так, чтобы свет падал на все лицо задержанной, и говорит гораздо строже, чем раньше:

— А теперь повторите еще раз с самого начала. И поподробнее, госпожа Ван-ден-Беер. Меня очень интересуют подробности.

Он слушает, не перебивая, и грызет резинку на карандаше. Протоколист разглядывает в карманное зеркальце белоголовый прыщ возле уха. Он не понимает ни слова на том языке, который госпожа Ван-ден-Беер и комиссар считают французским и который убийственно далек от языка Мопассана, Флобера и Гюго.

Гаузнер — самоучка. В сорок лет он черт знает какой ценой выучился кое-как говорить по-английски и по-французски. Этих знаний ему хватает, чтобы вести допросы без переводчика, а на большее он и не претендует...

Лицо задержанной меняется на глазах. Нестерпимые свет и жара, исходящие от пятисотваттных ламп, постепенно делают свое дело. Гаузнер щелкает выключателем.

— Какие же книги она взяла?

— Я не знаю... не помню...

— Вы стояли рядом?

Задержанная защищается изо всех сил:

— Я старалась не смотреть... клянусь вам!

— Опять клятвы? Не лучше ли вспомнить?

— Я постараюсь...

— Хорошо, я подожду.

— Там была книга в зеленом переплете. Я вспомнила: «Оды и баллады» Виктора Гюго!..

— Вот видите! Еще?.. Не волнуйтесь, выпейте-ка воды...

— Спасибо... Потом томин Жорж Санд, кажется, «Чертова лужа» и «Вороны» Анри Бека.

— Вот как? Странный вкус.

— И «Чудо профессора Ферамона».

— Вы читали эти книги?

— Да... Но «Чудо» только урывками, господин Гро очень любил ее и почти всегда перелистывал.

Гаузнер старается казаться равнодушным, но пульс у него начинает биться чаще. Он чувствует, как напряженно вздрагивает жилка на виске. Похоже, удача сама идет в руки.

— И в тот вечер, когда мы навестили его, он тоже читал?

— Он был в библиотеке часов до семи.

— Читал? Что именно?

— Как раз «Чудо»... и делал выписки.

— Вы назвали все книги?

— Были еще две или три...

Очевидно, в голосе Гаузнера прорывается то, что он так хочет скрыть, ибо задержанная с ужасом смотрит на него и начинает икать. Это икота от страха, которую трудно остановить, но у Гаузнера есть в запасе средство. Не наклоняясь, он с размаху бьет по дряблым нарумяненным щекам, звуком пощечин отрывая протоколиста от созерцания созревшего прыща.

— Хватит! Какие книги? Ну! Я спрашиваю: какие книги?

Новая пощечина.

— О-оо,— тихо стонет мадам.— Бить женщину...

Но Гаузнер уже попал в привычное русло и даже не пытается себя остановить. Теперь все равно. Если задержанная скажет правду, никому не будет дела до того, как удалось ее получить; если же нет, то жалоба родственников госпожи Ван-ден-Беер мало что прибавит к тем неприятностям, которые свалятся на голову Гаузнера. С вмешательством рейхсмаршала или без него комиссар отправится в лучшем случае в штрафную роту на Восток. Гаузнер явственно слышит негромкий голос обергруппенфюрера Мюллера, говорящего в обычной для себя небрежной манере: «Все эти подробности, голубчик, вы обязаны были выяснить при аресте Гро. При, а не две недели спустя... Две или три книги? Да, разумеется, просто пустяк! Ну, а если именно одна из них использовалась для шифра?!»

— Слушай,— тихо говорит Гаузнер, отделяя каждое слово.— Слушай, ты, старая подзаборная шлюха! Ты не выйдешь отсюда, пока не вспомнишь. Я выколочу из тебя даже то, в чем не признаются и на исповеди. Понимаешь?

Каждую фразу он сопровождает пощечиной, стараясь, чтобы удары приходились по щекам и переносице — это больнее. Руки задержанной, поднесенные к лицу, не мешают ему; как ни старается она закрыться, удары попадают в цель. Протоколист, в свою очередь, помогает ему длинной металлической линейкой.

Женщина начинает кричать.

Гаузнер, отдуваясь, складывает руки на груди и ждет. Он знает, что теперь придется подождать. Так уж устроен человек, что побои не вдруг проясняют память. Протоколист вздергивает брови, спрашивает:

— Господин советник прикажет позвонить в комендатуру?

— Не сейчас... Она все расскажет и так. Немного терпения...

Через полчаса Гаузнер диктует протокол:

— Подозреваемая говорит, что неизвестной изъяты следующие книги: Жорж Санд «Чертова лужа», издание девятисотого года; «Оды и баллады» Гюго, издание двадцать второго года; «Вороны» Анри Бека, издание тридцать пятого года; «Чудо профессора Ферамона», издание десятого года; сочинения Оноре де Бальзака, тома второй и девятый; «Буря над домом», издание Эберса...

Протоколист, прикусив от старания кончик языка, печатает на машинке и почтительно посматривает на Гаузнера.

— Конец?.. Если господин советник позволит, это просто волшебство!

— Не льстите, Эрик. Пишите. Со слов подозреваемой. Составлен комиссаром Гаузнером. Словесный портрет. Лет — двадцать два — двадцать пять, рост — до ста шестидесяти, телосложение — хрупкое. Блондинка, лицо овальное, щеки худые, лоб высокий, нос прямой, острый, глаза серые. Разыскивается за совершение государственного преступления — шпионаж в пользу Советского Союза. Говорит по-французски и по-немецки без акцента. Шестнадцатого августа была одета в шелковый клетчатый плащ, клетка серая, фон серебристый. Особая примета — левая бровь асимметрична и несколько короче правой... Абзац... В июле сорок второго дважды замечена в Брюсселе, но потеряна агентами наблюдения в Льеже. Не исключено, что вооружена и окажет при аресте сопротивление. В случае ареста немедленно известить Управление гестапо в Берлине через офицера. Содержать в наручниках, не допрашивать... Написали?

— Да.

— Адресовано: высшим руководителям полиции безопасности и СД в Париже, Брюсселе, Гааге и приграничных гау Германской империи. Для исполнения — гестапо. Подлинный подписал — Гаузнер, старший правительственный советник. Брюссель.

У задержанной лицо опухло от слез и пощечин.

— Я вспомнила все... Вы отпустите меня? Ведь, правда, я смогу уйти?

«Только через кремационную трубу»,— думает Гаузнер и говорит с самым любезным видом:

— Разумеется, вас сейчас проводят.

Когда конвой забирает арестованную, комиссар звонит вниз, в комендатуру, отдает нужные распоряжения и, не медля, вызывает полевой аэродром. Материал слишком важен, чтобы доверить его фельдсвязи. В таких случаях лучше всего лететь самому.

В самолете Гаузнер спит. Он сделал свое дело и имеет право отдохнуть, тем более что по опыту ему известно, как трудно получить приличный номер в общежитии РСХА. Здесь всегда переполнено.

Берлин встречает его серым от дождя рассветом. В аэропорту Гаузнер не меньше часа созванивается с Главным управлением безопасности и ждет обещанную машину. За ним присылают не «хорьх», а потрепанный БМВ с молчаливым громилой за рулем. По дороге Гаузнер спрашивает его о прогнозе погоды, но ответа не получает. Широкий затылок громилы багров, как окорок. Гаузнер брезгливо рассматривает его, и настроение у него падает. Здесь, в Берлине, он только шестеренка громадного аппарата. Неизвестно, как еще расценят его самовольный прилет.

На Принц-Альбрехтштрассе громила равнодушно распахивает дверцу и, даже не откозыряв, возвращается за руль и отъезжает. Маленький человек, сидящий в комиссаре Гаузнере и расправивший было плечи в Брюсселе, опять начинает в полном объеме сознавать свое ничтожество.

Тем более неожиданным оказывается для Гаузнера прием, оказанный ему штандартенфюрером Рейнике. Выслушав доклад, Рейнике связывается с кем-то по телефону, просит принять их двоих и ведет Гаузнера на этаж, где, как помнит комиссар, располагаются кабинеты руководителей РСХА.

— Поправьте пояс,— вполголоса говорит штандартенфюрер, и они входят в просторную приемную.

Ждать им приходится совсем недолго, не больше минуты. Адъютант, словно восковая кукла, замерший за столиком, вскакивает на сигнал зуммера и приоткрывает отделанную полированным орехом дверь.

Гаузнер, подобравшись, переступает порог. Вскидывает руку:

— Хайль Гитлер!

— Входите, господа...

Гаузнер упирается взглядом в верхнюю пуговицу мундира хозяина кабинета, затем осторожно скашивает глаз на его правое плечо с погоном бригадефюрера. На сердце у него становится легко; он уже знает, с кем имеет дело — с Вальтером Шелленбергом, и радуется, ибо отсюда опасность пока не грозит. Но вот вопрос: что нужно начальнику Управления-VI от чиновника гестало? Зарубежную разведку и тайную полицию разделяет служебная стена... Если бригадефюрер станет спрашивать, надо ли отвечать?

Шелленберг выходит из-за стола.

— Присаживайтесь, господа... Что нового в Мюнхене, дорогой Рейнике? Когда вы вернулись?

— Только вчера, бригадефюрер.

— Со щитом?

— Скорее, на щите!

— Вы слишком многого хотите сразу, мой милый. Терпение, и они заговорят.

— Благодарю, бригадефюрер!.. Я как раз потому и позвонил вам, что комиссар Гаузнер имеет к этому отношение.

«К чему? — Гаузнер обращается в слух.— Осторожно, Фридрих,— говорит он себе.— Ни слова лишнего!»

Шелленберг приветливо улыбается.

— Я помню трио — Модель, Шустер, Гаузнер. Чем вы хотите порадовать нас, комиссар?

— Простите, бригадефюрер... в каком смысле?

— В отношении ПТХ.

— Бригадефюрер извинит меня, но я... Не лучше ли выяснить все через обергруппенфюрера?

— Через Мюллера?

Шелленберг уже не улыбается.

— Предпочитаю информацию из первых рук. Что вас смущает, Гаузнер? Не прикажете ли тянуть вас за язык?

Гаузнер мгновение борется с собой. Решается. Голос его звучит твердо.

— Обергруппенфюрер будет недоволен.

— О, пустяки!.. Я хочу сказать, что его неудовольствие может показаться вам пустяками в сравнении с неудовольствием рейхсфюрера!.. Слушайте, Гаузнер, и запоминайте: ПТХ занимаюсь я! Я, а не гестапо и абвер.

— Мне это неизвестно.

— Это так, Фридрих,— вмешивается Рейнике.

— Вы слышали?

Гаузнер чувствует себя колоском, попавшим между жерновами. Шелленберг способен растереть его в пыль. К тому же, кто знает, вполне вероятно, что Шелленбергу действительно поручено дело с передатчиками.

Шелленберг кладет ему руку на плечо.

— Садитесь, Гаузнер. Можете курить, если хотите. Покурите и расскажете мне все.

— Бригадефюрер берет на себя ответственность?

Гаузнер прекрасно понимает, что выхода нет. Шелленберг добьется своего. Этот всегда улыбающийся «теневой Гиммлер», по слухам, подкопался под всех — Мюллера, Кальтенбруннера и почти всесильного Канариса. Эту сплетню передают из уха в ухо, и Гаузнер не сомневается в ее достоверности.

— Ну вот и прекрасно,— говорит Шелленберг, выслушав доклад.— Что же предложил Шустер — от периферии к центру? Мысль недурна. Канарис знает о ней?

— Не думаю,— говорит Гаузнер.— Модель собирался в Берлин не раньше октября.

— Вам нравится Брюссель?

— Отличный город, бригадефюрер!

— Ровно не хуже...

— Ровно?

— Это на Украине,— вмешивается Рейнике.

Шелленберг отрывается от бумаг, переданных Гаузнером, бумаг, которые заключают в себе подробности по делу брюссельской радиогруппы. Улыбка Шелленберга становится почти нежной.

— Самый центр плодородия.

— Я поеду туда? — догадывается Гаузнер.

— Вот именно!

— Но за что?

— Это — повышение, комиссар, награда за заслуги.

Гаузнер находит в себе силы протестовать.

— Я должен буду подать рапорт.

— Не стоит, Фридрих,— говорит Рейнике.— Те два баннфюрера, к сожалению, живы. Один из них — важная шишка в ведомстве рейхслейтера Розенберга, в другой служит в штабе СС. Я знаком с ними обоими и берусь утверждать, что они очень злопамятны.

— А жизнь так прекрасна,— добавляет Шелленберг.— Не стоит ее осложнять... Итак, не смею задерживать вас, комиссар. Подождите в приемной...

Выходя, Гаузнер уже не слышит фразы Шелленберга, подводящей итог его многолетней карьере:

— Согласитесь, Рейнике, для Брюсселя ваш протеже не был находкой!

Гаузнер принимает безразличный вид и усаживается в кресло. Сейчас остается одно — подождать.

Дверь плотно закрыта, и адъютант караулит ее с настороженностью болонки. За ней в эти минуты решается нечто большее, чем карьера комиссара Гаузнера. Речь идет о тайнах, недоступных даже для ответственных чиновников гестапо.

— Поймите меня правильно, Рейнике,— говорит Шелленберг без тени обычной улыбки.— Суть не в лаврах Канариса. Я озабочен делом. Мы попусту дробим силы, и рейхсфюрер согласен со мной в этой части. Когда речь идет о передатчиках «Интеллидженс сервис» во Франции и Голландии, я готов оставить их для абвера. Англичане слишком умны, чтобы рисковать своими асами, они подставляют под обух скороспелую агентуру из самих французов или голландцев... С русскими иначе. Их разведка не тотальна, но работает блестяще. Помните берлинскую группу? Где они только не имели людей — в министерстве авиации, в самом абвере, на Бендлерштрассе, в промышленности. Канарис в конце концов добрался до ядра, но только до него, а не до филиалов!

— Ну, ну, а Мюнхен?

— А сколько осталось? И что известно о них абверу и гестапо?

— При чем здесь гестапо?

— Вот это мило! Ну, а Гаага? Ею занимались вы сами. Чего достиг там ваш Мюллер? Радиогруппа разгромлена, но источники, посредники и руководитель — где они?.. А Марсель, Лилль, Антверпен?

Рейнике спокойно перебивает:

— Добавьте Женеву, бригадефюрер. Ею, кажется, занимаетесь вы?

— И вы тоже!

— Естественно...

— Не будем считаться, Рейнике. Радисты, арестованные в Мюнхене, молчат, и даже вам самому не многое удалось от них получить.

— Что же вы предлагаете?

— Совместную работу.

— А Канарис?

— Ему придется нам помочь. Ничего не поделаешь, об этом ему скажет сам Борман.

— Вы все продумали, бригадефюрер?

— Многое решится на совещании. Я созову всех, кто заинтересован, завтра. Пойдет на это Мюллер?

— Думаю, что да... Но как быть с Гаузнером? Его нельзя так просто взять и передвинуть в Ровно. Что я скажу Мюллеру?

— Это ваша забота. Чтобы заниматься ПТХ, нужен гибкий и умный человек.

— Кого вы имеете в виду? Уж не меня ли?

— Вас. Оставьте за собой отдел и поезжайте. Добейтесь от Мюллера, чтобы он подчинил вам кого следует во Франции и Швейцарии. Мои люди будут вам помогать. Вы займете исключительное положение!

«Да, в случае удачи,— прикидывает Рейнике.— Тогда лавры пополам. А в случае неудачи?..»

— Я подумаю,— говорит он уклончиво.

— Только до завтра; позвоните мне утром. И, кстати, распорядитесь, чтобы нашли книги по списку Гаузнера; ваш аппарат получит их быстрее. Посмотрим, что обнаружат специалисты по шифрам.

— Хорошо! — говорит Рейнике.— Хайль Гитлер!

Он коротко кивает Шелленбергу и выходит в приемную, где вскочивший с кресла Гаузнер смотрит на него с надеждой и нетерпением.

Рейнике похлопывает его по спине.

— Не раскисайте, Фридрих! Больше мужества... Мне удалось отстоять вас. Вы поедете не под Ровно, а в Париж. Правда, не на прежнюю роль, но с вполне самостоятельным заданием.

Гаузнер благодарно склоняет лысую голову.

— Я этого не забуду, штандартенфюрер!

— Вот и чудесно. Скоро мы встретимся, и я надеюсь, что вы будете держать меня в курсе всех своих шагов. Пойдемте. У меня вы напишете рапорт о переводе, и на целые сутки Берлин — ваш!

Они покидают приемную, а адъютант выключает микрофон, точнее, сразу два: первый подведен к воспроизводящему запись устройству в кабинете Шелленберга, а второй — к аналогичному приспособлению у обергруппенфюрера Мюллера.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

10. СЕНТЯБРЬ, 1942. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Девушка в плаще серебристого цвета идет по бульвару. Ее зовут Жаклин, и она связная между Парижем и Брюсселем. Левая бровь у нее действительно немного короче правой, но не настолько, чтобы это портило лицо. Жаклин торопится: у нее деловое свидание. Крохотный пистолетик—дамская хлопушка калибра 6,35,— поставленный на боевой взвод, спрятан под свитером и при каждом шаге холодит бок. Жаклин незнакома с тем, кто будет ждать ее у кафе «Империаль» в пассаже Лидо. Он подойдет к ней сам, и Жаклин томится от любопытства: как он узнает ее?

В пассаже легче потерять, чем найти. Здесь полно немцев, глазеющих на витрины, покупающих парфюмерную мелочь и предлагающих свое общество одиноким женщинам. Немало и французов, из тех, кому нет дела до оккупации. Жаклин становится неуютно, и она спешит в кафе. Оглядывается. За столиками почти сплошь старички — по виду отставные чиновники и холостяки, стригущие купоны. Газеты, прикрепленные к древкам, они держат торжественно, как священные хоругви.

— Не опоздал?

Жаклин оборачивается.

— А сколько на ваших?

— Час по Гринвичу.

— Париж — не Гринвич.

Жаклин без церемонии разглядывает собеседника. Он молод, но волосы пересыпаны сединой, и две глубокие залысины обнажают лоб у висков. Живые темные глаза и резко очерченный рот. Худощав, хотя хрупким его не назовешь; в повороте головы чувствуется скрытая, уверенная сила. Жюль предупредил, что слова этого человека — приказ.

Жаклин берет его под руку, и они идут вдоль витрин, задерживаясь и разглядывая выставленные в них образцы.

— В Брюсселе засвечено,— говорит Жаклин.

— Откуда вы знаете? Это точно?

— Наш друг уехал в Леопольдказерн пятнадцать дней назад.

Пристально рассматривая в витрине меха, фантастически высокая цена которых в марках и франках жирно означена на этикетке, она рассказывает о поездке. Старается, чтобы история с посещением особняка Ван-ден-Бееров выглядела не слишком драматической. Старуха и не додумалась проверить документы; впрочем, Жаклин сумела бы выпутаться.

— Кто поручал вам взять книги?

— Никто, но я решила, что это важно, раз Жюль специально посылал их Фландену. Кроме тех двух, я взяла еще... Я сделала что-нибудь не то? Но, поверьте, хозяйка ничего не заподозрила.

— А если за домом наблюдали?

— Я не вчера родилась!

Звучит задорно и уверенно, но Жаклин не убеждена, что собеседник согласен с ней. Его рука делается каменной под ее ладонью.

— Считайте, что и вы засветились,— говорит он.— Где книги?

— У меня дома.

— Избавьтесь от них... всех до единой.

— Это нетрудно.

— И, пожалуй, будет правильно, если вы уедете из Парижа. Например, в Марсель, в свободную зону. И чем быстрее, тем лучше...

— В Марсель? А пропуск?.. А мои старики?.. И на что я там буду жить?

— Пропуск и работу я беру на себя. Родители переедут к вам при первой возможности.

— Едва ли они захотят. Может быть, мне все-таки остаться?

— Слишком опасно.

— Когда ехать?

— Жюль известит вас и передаст на вокзале деньги и документы. В Марселе по ним получите на главном почтамте открытку до востребования, там будет адрес одного человека... Постараемся, чтобы вы уехали самое позднее завтра... Ну и задали вы мне задачу! Будь я вашим отцом...

— Что тогда?

Жаклин поднимает голову и ждет ответа. Она не сердится на этого человека, хотя он вмешался в ее жизнь и за какие-то пять минут все изменил. Даже не зная ничего, она догадывается — о женская интуиция! — что при иных обстоятельствах он не проявил бы такой настойчивости. Интересно, стал бы этот человек ухаживать за ней, познакомься они где-нибудь в кино? Жаклин было бы приятно его внимание.

— Что тогда? — повторяет она, но не получает ответа.

Они выходят из пассажа и на углу расстаются. Жаклин ныряет в подошедший автобус, а Жак-Анри, задумавшись, пешком направляется в контору. Он озабочен необходимостью срочно добыть новые документы для связной. Это труднее, чем кажется. Если бы речь шла о фальшивке, то на черной бирже сколько угодно паспортов, хоть уругвайских. Но для легализации в Марселе нужен настоящий документ, полученный и зарегистрированный в префектуре. Придется дать «комиссионные».

В контору Жак-Анри поднимается по слабо освещенной резервной лестнице и сразу звонит знакомому чиновнику в районный комиссариат. Голос его весел, когда он болтает о погоде и театральных новостях: ходят слухи, что приезжает венская оперетка...

— Кстати,— говорит он как можно небрежнее,— моя племянница, малютка Лили... Лили Мартен — вы помните ее? — собирается в Виши. Вы могли бы это устроить?

Чиновник не знает никакой Лили, но зато отлично понимает эзопов язык.

— Врач прописал ей воды?

— Да, и к тому же подходит зима, а у нее слабые легкие.

— Как ее полностью зовут?

— Лили-Симона, дочь Ги и Агат Мартен, урожденной Лепелье, оба из Бузонвилля. Двадцать три года, католичка, крещена в церкви Сент-Антуан второго февраля. Адрес в Париже — отель «Ферран».

— Отлично! — говорит чиновник и смеется.— Надеюсь, она не блондинка? А то мои коллеги из политического отдела ищут знакомства с блондинкой того же возраста. Ее очень ждут в брюссельском гестапо. Не понимаю, как можно в таком возрасте заниматься политикой? Франция вполне обойдется без новой Жанны д'Арк!

Жак-Анри не меняет тона:

— Лили — брюнетка, вы же помните... А эта ваша Жанна д'Арк — она хорошенькая? Как она выглядит на фото?

— У нас только ее описание.

— Так вы поможете?

— Посмотрю, что можно будет сделать.

— Все необходимое и деньги на гербовые марки я пришлю. Скажем, в три. Не поздно?

— В самый раз. Когда она думает ехать?

— Лили сидит на чемоданах и картонках для шляп...

— Не забудьте о гербовом сборе!..

Жак-Анри кладет трубку на рычаг. Придется поторопиться. Жаклин должна уехать немедленно. Есть ли деньги в кассе? Вызывая Жюля, Жак-Анри слегка прижимает кнопку звонка.

При своем весе Жюль умеет быть бесшумным. У него походка охотника, и Жак-Анри вздрагивает, услышав кашель над ухом.

— Напугал?

— Садись,— говорит Жак-Анри.— Сколько у нас денег?

— Здесь или на счету?

— При себе.

— Несколько тысяч, но можно достать еще...

— Пошли в комиссариат, как обычно. Жаклин поедет в Марсель. Позвони ей и скажи, чтобы покрасила волосы и сразу же уходила из дому. Ее ищет гестапо. Звони из кафе.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—21.

— Дела так плохи?

— Да, с Брюсселем кончено. И к тому же Жаклин наделала глупостей.

Жак-Анри встает и резко отодвигает кресло. В который раз все приходится менять на ходу! Товарищи гибнут, уходят, безмолвные и безымянные, оставляя живым незавершенные дела. Их так мало, и они не Геракпы, а просто люди, с нормальными мышцами, мозгом и нервами. И тем не менее они не сетуют на трудности, не ропщут и даже не просят себе того, на что каждый солдат имеет неотъемлемое право,— боевого оружия, чтобы перед смертью самому убить хотя бы одного врага.

— Пьер уже начал работу?— спрашивает Жюль.

— С пятнадцатого. Марсельская группа будет запасной. Итого четыре, не считая групп Вальтера.

— Есть предложение.

— По системе?

— Да. Мне кажется, надо отказаться от общих позывных.

— У Пьера свой.

— Дадим и остальным. И сменим код... По-моему, немцы выделили нас в общей массе подпольных передатчиков и будут пеленговать вовсю.

— Ну, а Центр? Мы сменим все, я согласен; но корреспондирующая станция останется все той же.

— Изменит расписание и частоты.

— Полная ломка? Слишком сложно.

— Я бы не откладывал.

— Значит, месяц бездействия... Не выйдет, Жюль.

— Где же выход?

— Я уже ломал голову и кое-что придумал. Если забыть о Пьере, у нас три действующие рации. Но на ключе могут работать десять человек, включая тебя и меня. Мы образуем три секции: в Нанте, Антверпене и Париже.

— Что это даст?

— Я не кончил... У каждой секции будет три передатчика. Пусть работают синхронно. Не уловил?

Жюль пожимает толстыми плечами.

— Но это же просто. Возьми, к примеру, Париж. Один передатчик останется там, где есть. Другой разместим на Монмартре, третий — в Версале. В эфир они выйдут одновременно на одной волне, слушая друг друга. Первый передаст десять групп и умолкнет; следующие десять групп передаст другой, еще десять — третий. Комбинацию можно менять, и пеленг станет непрерывно произвольно смещаться. Поставь-ка себя на место оператора и попробуй определить, откуда идет передача, если рация словно не раздвоилась даже, а разделилась на три части и из разных мест, без перерывов, передает одну радиограмму?

— Это идея!

— Только часть идеи... У каждой рации должно быть по меньшей мере три квартиры. Радисты станут кочевать, как бедуины по пустыне. Пусть немцы запеленгуют, если смогут!

— А связные?

— Группы перейдут на автономию... В Антверпене открываем филиал, фирма «Монд», строительные материалы. Я войду в дело — через третьих лиц, разумеется. Сними деньги со счетов, с каждого не слишком много, и Рене за хороший куртаж уладит все.

— Я займусь квартирами.

— Решено!

На столе, скрытая в чернильном приборе, загорается и мигает крохотная лампочка: кто-то вошел в приемную и не садится. Жюль, подхватив на ходу с бюро кожаную папку, устремляется к двери. Приоткрывает и, словно продолжая деловой разговор, почтительно роняет в кабинет:

— Понимаю, господин Легран; я немедленно звоню генералу и сообщаю, что вы согласны на условия Тодта.

И посетителю в приемной:

— Господин Легран занят. Соблаговолите ждать, я доложу о вас.

Жак-Анри остается один. В ушах, как наваждение, возникает и начинает звучать, повторяясь, одна и та же строка: «Белеет парус одинокий...» Она назойлива и мешает Жаку-Анри думать о другом — о делах, заставляющих его идти на реорганизацию фирмы «Эпок».

11. ОКТЯБРЬ, 1942. ПАРИЖ, ОТЕЛЬ «ЛЮТЕЦИЯ».

Сегодня Шустер доволен солдатами радиороты: они работают как одержимые, не отвлекаясь ни на что постороннее.

— Десять — семь — пятнадцать, господин капитан!

— Настройка десять — семь — пятнадцать!

— Алло, иксы примите: десять — семь — пятнадцать!

Все силы парижской группы радио-абвера брошены на охоту. Шустер, не отрываясь от планшета, видит, что каждый из шести операторов, дежурящих с ним сегодня, буквально слился с приемником на своем столе. Сейчас начнут поступать данные от стационарных и передвижных пеленгаторов — «иксов».

— Икс первый докладывает: сто два градуса!

— Икс-два: сорок пять!..

— Икс-три: сто шестьдесят шесть...

Маленькая заминка, и наконец:

— Икс-четыре: сто тридцать два!

Рация, работающая на частоте 10715 килогерц, засечена. Шустер протягивает по карте нити пеленгов, в месте скрещения возникает крохотный треугольник. Может быть, сегодня все будет как надо?

— Фельдфебель! Запросите иксы еще раз!

Родэ с ошалелыми от напряжения глазами кричит операторам:

— Дать дубль!

Шустер приготавливает булавки.

— Икс первый: сорок семь!

— Икс-два: сто семьдесят три!

— Икс-три: пять — ноль!

— Икс-четыре: сто пятнадцать!

Булавки воткнуты, и к ним с периферии карты протянуты крашеные шелковинки. Шустер закусывает губу: все то же самое. Передатчик, поработав две с половиной минуты, переместился в другой район Парижа. Еще через две с половиной минуты он удерет в новое место, прокукует десять групп и умолкнет, чтобы выйти на очередную связь откуда угодно, но не оттуда, где был раньше. В этих бросках нет закономерности системы, хотя Шустер убежден в ее наличии.

— Отбой, господин капитан!

— Хорошо. Отбой для всех, кроме контрольных раций!

За шестью столами возникает шевеление, шепот, кто-то поминает черта; операторы, гремя стульями, разминают затекшие мышцы. За километры отсюда стряхивают напряжение те, кто в течение целого часа был рабом пеленгующих устройств. Теперь они свободны до вечера: рация, сменив частоту 10715 килогерц на 11850, выйдет в эфир в 21.10.

Родэ, не стесняясь присутствия капитана, затевает игру в чехарду. Его рыхлый бабий зад, туго обтянутый вылинявшими штанами, бесстыдно маячит перед глазами Шустера. Не будь Родэ незаменимым специалистом, Шустер давно уже сплавил бы его из группы, но Модель держится за этого выродка и таскает его с собой по всей Европе. Сплюснутые уши Родэ и его череп неандертальца вызывают у капитана чувство брезгливой неприязни. При всей своей видимой тупости фельдфебель хитер и успешно совмещает обязанности старшего унтер-офицера полуроты и осведомителя СД. За крохотным лобиком гнездятся бог весть какие мыслишки, и капитан Шустер старается не догадываться, что именно думает о нем фельдфебель Генрин Родэ из 621-го подразделения радиосвязи.

Шустер, пачкая в пыли сапоги, прогуливается по плацу и отдыхает. Уже осень, почти зима, а в Париже по-летнему тепло и каштаны еще не уронили листву. Несмотря на служебные трудности, Шустер чувствует себя хорошо. Погоны капитана, только неделю назад обмытые в компании Моделя, помогают ему сохранить внутреннее равновесие. Даже Родэ временами кажется не таким противным, тем более что это он, а не кто-либо иной, подал в свое время идею использовать палатки телефонистов для маскировки передвижных пеленгаторов. Идея оправдала себя в Марселе, Лилле и Брюсселе и принесла Моделю крест «За заслуги», а Шустеру — внеочередное повышение в чине.

У столов возникает суматоха. Кто-то из операторов оседлал Родэ, и фельдфебель, не устояв на ногах, кубарем катится в пыль. Шустер вынужден вмешаться.

— Родэ!

Напяливая на ходу пилотку, фельдфебель кривоногим крабом подкатывается к капитану.

— Отряхнитесь,— говорит Шустер.— И ведите себя прилично!

— Да, господин капитан!.. Но люди устали.

— Вы хотели сказать — солдаты?

— Да, господин капитан!

Шустер чувствует враждебность тона Родэ, но делает вид, что не замечает: он не намерен ссориться. В радиороте собраны лучшие специалисты со всей Германии, и Родэ — настоящий самородок. Туп он только в общежитейском смысле.

Шустер внимательно рассматривает шов на перчатке.

— Мне говорили: у вас есть идея? Какая?

Родэ мнется:

— Это, собственно, не идея... Так, грубая схема...

— Ну, ну, Родэ, не скромничайте!

— Господин капитан позволят?

Шустер поощрительно кивает, и Родэ принимается излагать свои мысли. Руки его, словно клещи, загребают воздух, в складках лобика блестят капли пота.

— У нас девять групп, и у каждой — пеленгатор и приемная станция. Они разбиты на четверки, а одна контрольная.

— Ну и что?

— Нужна новая организация, более гибкая. Господин капитан могли бы приказать объединить все девять радиогрупп в единую сеть, и тогда мы здесь имели бы девять точек координат.

— Что это даст, если станции ПТХ передвигаются?

— Само по себе ничего, если, конечно, прыгать вслед за ними с места на место. Но можно и не прыгать! Не захотят ли господин капитан дать указание, чтобы пеленгаторы, расположившись по кольцу, засекали только одну станцию? Только ее, а не дублеров. Скажем, для начала ту, что передает откуда-то из Версаля.

— Но она может включиться не первой, а третьей или второй?

— Дело не в порядке. Главное — сосредоточиться на конкретном пункте и идти к нему. После каждого перехваченного сеанса пеленгаторы передвинутся по пеленгу насколько можно и останутся ждать снова сутки или больше, пока не засекут ее.

— А потом?

— Опять подвинутся к ней!

Шустер прикидывает: идея хороша, но нуждается в дополнении. Сосредоточивать девять групп на одном передатчике — заманчиво с точки зрения точности, но бессмысленно, учитывая количество раций ПТХ. Пусть будет, как и есть, четыре и четыре. Каждая четверка возьмет под контроль свой участок, пядь за пядью приближаясь к передатчикам. В конечном счете рано или поздно они сузят поле поисков до мизерной величины, и тогда очередь за гониометрами, нацеленными на обнаружение магнитосилового поля.

— У вас все, Родэ?

— Господин капитан извинят меня: я предупреждал, что идея не продумана, только схема...

— К сожалению!

Родэ продолжает идти рядом.

— Что-нибудь еще?

— Да...— Родэ понижает голос: — Обер-ефрейтор Мильман связался с француженкой, господин капитан. Я видел сам, как они выходили из отеля. Такой маленький отельчик на Монпарнасе, специально приспособленный для определенных встреч.

— Вас беспокоит чистота крови, Родэ?

— Я национал-социалист! К тому же девица может быть связана с маки, а мы не обычная часть.

— И вы, конечно, уже написали рапорт?

Шустер, прищурившись, ждет ответа. История грозит обернуться расследованием. Если Мильман переспал с проститутной, СД начнет копаться в делах роты, и у коллеги Мейснера появится возможность подставить ножку разом и Шустеру и Моделю. В последнее время Мейснер превосходно спелся с комиссаром Гаузнером, неведомо почему оказавшимся в Париже на посту уполномоченного по связи между СД и армией... Хотя Гаузнер и не показывается в «Лютеции», где квартирует абвер, и живет в штаб-квартире гестапо возле Булонского леса, Шустеру то и дело приходится встречаться с ним по делу ПТХ. Похоже, что Главное управление безопасности не прочь прибрать к рукам всю операцию по ликвидации передатчиков. Коллегу Мейснера, правда, удалось спровадить в Марсель, но ни одна командировка не бывает, к сожалению, вечной...

— Ну, Родэ,— говорит Шустер,— где же ваш рапорт?

— Я пока не писал... Я думаю, господин капитан могли бы сами расспросить Мильмана, неофициально.

Крючок слишком толст, и Шустер, разумеется, его не заглатывает: «Шалишь, мой милый; на этот раз я не дам тебе повода доносить на меня Гаузнеру».

— Здесь армия, фельдфебель, а не хоровое общество! Извольте действовать по уставу!.. «Неофициально»! Хорошенький пример для подчиненных.

Родэ покорно выслушивает выговор. Дело сорвалось, но напрасно господин капитан думает, что перехитрил гестапо. Комиссар Гаузнер верно говорит: дворянчики ненадежны; фюрер только тогда будет в безопасности, когда уберет из армии старых генералов и их бесчисленную родню. Эти типы устали воевать, и к тому же каждый из них сам хотел бы сделаться фюрером великой германской империи...

В отель «Лютеция» Шустер едет приятно взволнованный. Во-первых, удалось поставить на свое место Родэ, во-вторых, кажется, нащупан правильный путь к радиоточкам ПТХ. Сегодня же вечером он составит докладную в Берлин на имя генерала фон Бентивеньи, а тот скорее всего доложит о проекте адмиралу Канарису.

Кабинет Шустера расположен на четвертом этаже. Капитан одним махом взлетает по лестнице. Не присаживаясь, звонит Моделю:

— Здесь Шустер... Это вы?.. Пока без изменений... До вечера.

Докладная пишется как бы сама собой. Мысль Родэ, ставшая мыслью Шустера, получает четкое оформление. Не доверяя машинистке, Шустер сам перепечатывает текст и, поминутно сверяясь с таблицами, шифрует его с особой тщательностью.

Остаток дня Шустер проводит в тире, оборудованном для офицеров абвера в подвале отеля. Твердой рукой он посылает пули в сердце фанерного красноармейца. Мишень трещит, дырочки наползают одна на одну. Расстреляв три обоймы, Шустер подсчитывает: восемнадцать попаданий! Жаль, что мишень слишком велика, чтобы взять ее на память.

До 21.10 Шустер свободен. Ужин ему приносят в кабинет, и, запивая паштет молоком, он не торопясь просматривает бумаги. Берлин подхлестывает, понукает, требует активности. Специалисты из абвера с помощью полученного наконец ключа расшифровали не меньше пятидесяти радиограмм, отправленных до сентября в Центр и из Центра. Некоторые из них генерал фон Бентивеньи цитирует в письме с приказом усилить темп поисков ПТХ. Шустер с профессиональным интересом прочитывает их. «Марату от Профессора. Проверьте: действительно ли Гудериан находится на Восточном фронте, подчинены ли ему 2-я и 3-я армии? Преобразовывается ли 4-я танковая армия в армейскую группу под командованием Моделя? Входят ли в состав этой группы другие армии? Какие армии предполагается ввести в ее состав? Конец. № 921». Паштет попадает в дупло, и зуб мгновенно начинает ныть. Шустер ковыряет в дупле спичкой, но не отрывает взгляда от письма. «Марату от Профессора. Соответствует ли действительности, что 7-я танковая дивизия ушла из Франции? Куда? Когда прибыл в Шербур штаб новой дивизии? Ее номер? Конец. № 922». Третья радиограмма совсем коротная: «Срочно доложите все о формируемой во Франции 26-й танковой дивизии». Русский Генштаб запрашивает своих людей так, будто держит под надзором все дела ОКВ. В конце письма фон Бентивеньи содержится прямой намек, что о ПТХ стало известно ставке фюрера. Неужели Канарис был так неосторожен, что доложил Кейтелю?

Зуб ноет уже не на шутку. Шустер полощет его теплым молоком, кончиком спички заталкивает в дупло крошку аспирина. Единственное,

чего ему сейчас не хватает, так это флюса! Лаская вздувающуюся щеку, Шустер звонит Моделю и рассказывает ему о Мильмане. Модель настроен легкомысленно.

— Мы не монахи, и наши солдаты тоже!

Шустер перебивает:

— Не забывайте о СД!

— Что вы предлагаете?

Тон Моделя теперь официален до предела.

— Откомандировать Мильмана.

— Я подумаю.

— Тогда все...

Для страховки Шустер записывает разговор в служебный дневник. Этим самым он в известной мере снимает с себя ответственность за последствия. К сожалению, у него нет дяди-фельдмаршала, и приходится самому заботиться о своем будущем.

12. ОКТЯБРЬ, 1942. ДАВОС, «ЛАКФИОЛЬ».

Осень изматывающе тягостна, и Роз чувствует себя одинокой и беззащитной в пансионе «Лакфиоль», где плохо топят и в столовой царит ледяная скука. Почти два месяца Роз живет среди почтенных старушек, коротающих дни за вязанием и разговорами о недугах. Люди помоложе предпочитают отели с горячей водой и баром, но комната в отеле Роз не по карману.

Первую неделю было еще ничего. Роз даже радовалась одиночеству и тишине. Никто не вторгался в ее быт, не донимал расспросами; старушки, сойдясь в столовой на завтрак или обед, называли ее «милочкой» и не пытались вовлечь в беседу о подагре и атеросклерозе. Роз думала о Жане, об обещанной Вальтером рации и приглядывалась, подыскивая место, где могла бы прятать передатчик. О том, чтобы держать его в пансионе, не шло и речи: в нищенски обставленных комнатах негде было оборудовать тайник. Роз на всякий случай осмотрела кухню и кладовую, тесные, как почтовые ящики, и отбросила мысль об их использовании. В конце концов она нашла то, что нужно: в соседнем пансионе почти за бесценок сдавалась студия, и Роз сняла ее, уплатив за полгода вперед. После этого она написала в Цюрих и обратной почтой получила краски, угли и холст. Этюдник, оставленный предшественником, ей уступила по сходной цене владелица студии.

Рисовать Роз не умела, эскизы ее были дики и фантастичны по беспомощности, но здесь никто ничему не удивлялся. К счастью, Роз не стала копировать картинки из журналов, что разоблачило бы ее; она вольничала с натурой, а владелица студии за долгие годы общения с художниками смирилась с их манерой превращать реальные вещи черт знает во что и скорее удивилась бы, нарисуй Роз горы такими, какие они есть.

Знакомых немцев в Давосе уже не было; попытки заговаривать с ней во время прогулок Роз пресекала; день тянулся за днем, отличаясь от других только погодой и обеденным меню. В отеле был телефон, и Роз едва сдерживалась, чтобы не позвонить Жану. Однажды она заменяла пригоршню мелочи и вызвала Женеву, но, услышав голос телефонистки, бросила трубку.

В студии было сколько угодно укромных местечек — ниш, антресолей, стенных шкафчиков; Роз очистила от пыли нишу за кафельной печью и замаскировала ее как могла.

В конце первой недели на прогулке ее остановил угрюмый маленький господин в потерявшей форму тирольской шляпе и назвал пароль. Говорил он с сильным немецким акцентом и был немногословен.

— Приказано передать, что посылку и письма вы получите от меня.

— А что в посылке?— спросила Роз.

— Не интересуюсь,— отрезал связной.— Она большая, и я принесу ее по частям. В следующий раз захватите рюкзак: здесь многие собирают образцы камней.

Роз поглядела на него сверху вниз: связной показался ей забавным в своем стремлении соблюдать полную конспирацию. Они были двое на тропе, и их никто не мог подслушать.

В посылке, как и следовало ожидать, оказались части рации. Роз перенесла их в студию, а связной прекратил встречи ровно на тот срок, который требовался для сбора передатчика. Из осторожности Роз паяла понемногу: запах горелой канифоли мог привлечь внимание хозяйки.

Первый сеанс Роз провела через две недели после приезда в Давос. Слышимость была неважная, и Роз дольше обычного просидела на ключе. Центр подтвердил «квитанцией» прием, но сам ничего не передал, дав повод Роз подумать, что Вальтер, по всей видимости, намерен использовать ее только на односторонней связи. К слову, и сообщение, доставленное связным, было уже зашифровано — и не тем шифром, которым она пользовалась в Женеве.

При встрече Роз не сдержалась и спросила связного:

— Мне не доверяют?

Связной сделал удивленное лицо.

— Простите, фрейлейн, о чем вы?

Но Роз и сама поняла, что заговорила зря. Что мог знать этот человек о намерениях Ширвиндта?

— Забудьте о моем вопросе.

— Забыл! — сказал связной.

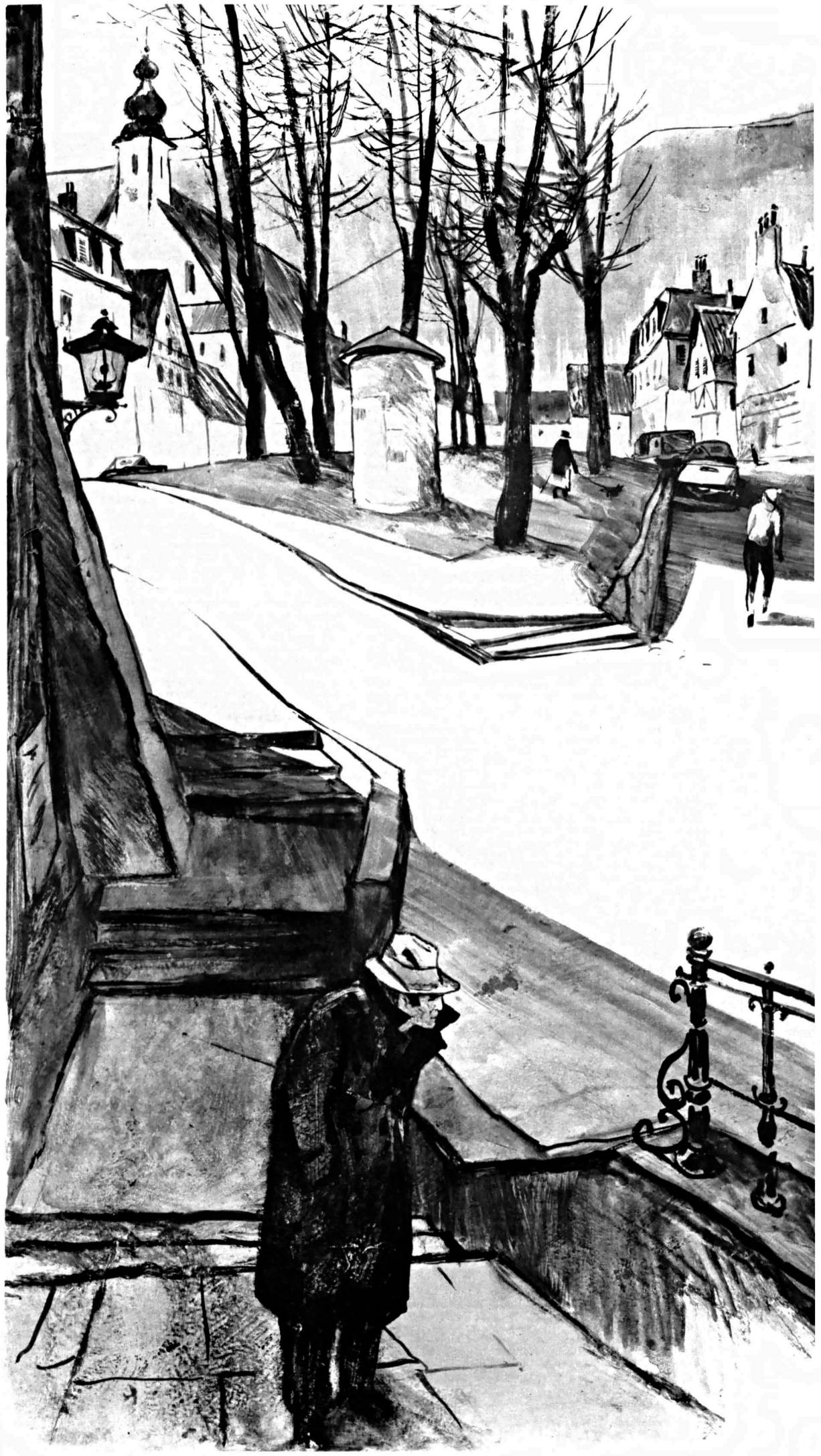
Он вообще не отличался разговорчивостью. Не назвал даже своего имени.

— Какая разница, фрейлейн, Шварц или Вейсс?

— Или Грюн?— в тон сказала Роз.— Вы правы, никакой разницы. Я буду звать вас Грюн. Подойдет?

— Все равно...

Обдумывая этот разговор, Роз еще острее почувствовала свое одиночество. Грюн — единственный, кто связывает ее с друзьями, и связь



эта кажется почти призрачной: Грюн исчезает и появляется, когда хочет, не условливаясь о новой встрече,— он только просит ее не менять маршрут утренних прогулок.

У старушек Роз выучилась вязанию. Это успокаивает, и она вяжет даже в студии, сделала себе шапочку и лыжный свитер из белой шерсти. Днем она ходит на почту за газетами, а вечером читает — Дюма, Дос-Пасоса, Кафку, Тургенева, все, что попадается под руку. В комнате прочно угнездилась горная сырость, и Роз засыпает на влажных простынях.

Жильцы в пансионе почти не меняются. Загнанные сюда безденежьем и войной, они живут как в лепрозории, отгороженные горами от всего мира. Хозяйка разводит кошек, и те заполняют весь дом, кричат по ночам страшными голосами, будя Роз и заставляя ее вздрагивать.

Роз послала Ширвиндту письмо и получила ответ со связным. Ширвиндт просил ее потерпеть и постараться привыкнуть. «Я бы хотел,— было в письме,— чтобы ты почаще думала о Сталинграде. Мне кажется, это будет хорошим лекарством от неподходящих мыслей и чувств». Роз купила маленький приемник, ловила Берлин и Рим. Одно и то же! Дикторы называют Сталинград последней твердыней большевизма и считают дни, оставшиеся до полного военного и политического разгрома России. Возносят до небес героев — генералов из группы армий «Б» Манштейна, Роске, Штреккера и — чаще других — фон Паулюса.

Роз живет предчувствиями перемен.

Так было уже однажды, год назад, когда берлинские комментаторы заполняли эфир рассказами о панике в Москве и танках, стоящих у самых окраин. Можно было ему не верить, но Роз вдруг обнаружила, что не слышит Центра. Это не были обычные атмосферные помехи, характерные для осени; просто в октябре Центр перестал выходить на связь. Сначала слышимость еще сохранялась, очень слабая, перемежаемая провалами; потом провалов стало больше, а голос операторов Центра едва доходил, как из бездны. И наконец он пропал совсем.

В те дни Роз перестала спать. Ширвиндт нянчился с ней, водил ее в кино на старые ленты с Рудольфо Валентино и Чаплином; на несколько дней отправил в Сен-Мориц, дав уйму денег и наказ тратить их, не стесняясь. Берлинский «радиооракул» Фриче предвещал падение Москвы, и Роз возненавидела его до глубины души.

И вот — все повторяется вновь спустя год...

Женевские газеты приходят на почту после полудня. Роз спускается за ними с постоянством человека, дорожащего привычками. Но это больше, чем привычка,— без газет со словом «Сталинград» на первой странице Роз не смогла бы жить.

На почте служащий аккуратно откладывает для нее женевские, бернские и цюрихские издания. Он не прочь завязать разговор, но Роз ограничивается «нет» и «да» и ни к чему не обязывающей улыбкой. У чиновника на щеках склеротические жилки и узелки, под глазами серые мешочки. Он вежлив и не ленится выйти из-за стойки, чтобы открыть перед Роз дверь. Когда она уходит, он не сразу возвращается к своим ящичкам для писем, а смотрит ей вслед... Будь Роз наблюдательнее, она перед отъездом из Женевы обратила бы внимание на господина в сером котелке и сейчас без труда признала бы его в служащем почты. Кстати, и в Давосе чиновник появился дня через три-четыре после ее приезда.

Роз стоит на крыльце и думает, куда пойти. Возвращаться в пансион к обеду она не торопится — мало радости промолчать полчаса в обществе старушек. Решено: сегодня она обедает в отеле.

По шоссе Роз спускается вниз. Ботинки на толстой, тяжелой подошве заставляют ее укорачивать шаг. В свитере и брюках Роз рискует вызвать неудовольствие метрдотеля, но ей лень возвращаться в пансион и переодеваться. Да и не столь уж редкая одежда для этих мест — лыжный костюм. Ничего, сойдет.

Сегодня день необычно солнечный, и Роз радуется теплу. На ходу она просматривает газеты, ищет телеграммы Рейтера. Не потому, что корреспонденты этого агентства объективнее остальных,— просто Роз неприятно читать сообщения немцев, когда речь идет о Сталинграде. Хватит того, что она видит немцев в Давосе — крепких, надменных, с манерами повелителей.

Телеграммы Рейтера сдержанны. Трудно понять, что творится под Сталинградом. Часто мелькает: «позиционная война, лишенная элементов маневра». Но кто обороняется, а кто наступает?..

Роз забрасывает газеты в кусты, нимало не интересуясь колонками мод и светской хроники. Хорошо это или плохо — позиционная война? Будь здесь Ширвиндт, он внес бы успокоение...

Связной не приходит уже три дня. Обычно он дожидается Роз на полпути к почте и передает конверт. Маленький рост не мешает ему говорить низким баритоном, и, слушая его, Роз вспоминает голос Жана. В конверте вместе с шифровками иногда бывают записки от Ширвиндта. Вальтер шлет ей приветы и желает бодрости; в последней написал: «Перевал близок, и мы его одолеем». Так хочется верить в это!..

Кусты у обочины шевелятся и хрустят.

— Алло!

Роз останавливается и едва не хватается за сердце.

— О боже, Грюн, как вы меня напугали! Откуда вы взялись?

— Жду вас.

— Но почему здесь? Я почти никогда не пользуюсь шоссе.

— К сожалению, я не могу приходить в обычное место... Это и раньше было нелегко, а сейчас я имею особые затруднения.

— Надеюсь...

— Нет, нет, не то!.. Просто я повысился по службе.

— Секрет?

— Пожалуй, нет. Я был рассыльный в отеле, где вы иногда обедаете.

— Я и сейчас иду туда.

— О, значит, я хорошо угадал! Уже пять дней я портье, и вы могли узнать меня, окликнуть... Было бы плохо...

— Поздравляю!

— Благодарю. Постарайтесь меня не узнавать, фрейлейн, когда навещаете отель... Я и вчера ждал вас и позавчера. Вам есть известие.

— Где оно?

— В моем бумажнике. Возьмите, фрейлейн.

Роз прячет конверт под свитером и спрашивает:

— Где же нам видеться?

— Здесь и в это же время.

— А в отеле?

— Там я не имею чести знать вас.

Связной улыбается и приподнимает шляпу. Шаг в сторону, и кусты смыкаются за его спиной. Роз остается на шоссе одна. Кусты хрустят, осыпают пожухлую листву.

Остаток пути Роз проходит быстрее обычного. Письмо и свидание придают ей энергии. Развеялась тайна Грюна, и исчезло чувство одиночества. Знать, что рядом есть человек, которого можно найти в трудную минуту,— это уже много, вполне достаточно, чтобы не думать о себе как о песчинке в горах. Дело, приносящее пользу, умная книга и хороший товарищ — что еще нужно человеку для счастья?

Со звоном провернув стеклянную мельницу турникета, Роз попадает в холл отеля. И, как всегда, робеет. Горный костюм кажется неуместным среди плюшевой роскоши и длинных зеркал, в которых ты видишь себя всю от кончиков дешевых ботинок до помпона шапочки. Брюки пузырями вздулись на коленях, а толстые носки, выпущенные поверх брюк, хороши для лазанья по скалам, но не в отеле, где швейцар носит лакированную обувь. Стараясь не замечать двух долговязых англичан, высокомерно скучающих в холле и, словно по команде, повернувших головы в ее сторону, Роз направляется в ресторан, утешая себя надеждой, что какой-нибудь из боковых столиков окажется свободным.

Ей везет; метрдотель с отчужденным лицом провожает ее в затемненный угол и жестом посла, вручающего ноту, подает кожаную папку с меню. Роз краснеет; общение со старушками в пансионе «Лакфиоль» подорвало у нее веру в свое право поступать как заблагорассудится и пренебрегать этикетом.

Метрдотель отходит, неслышно скользит по паркету в своих мягких туфлях из превосходного черного шевро. Движением пальцев, уловленным Роз, он дает официанту знак не особенно спешить. И тот не спешит. Жаль, что здесь нет Ширвиндта. Он обладает даром ставить на место кого угодно; в ресторанах его обслуживают, как лорда, даже если он заказывает только чай без сахара.

Цены здесь высокие, и Роз, помня об этом, благоразумно ограничивает обед жюльеном, порцией спаржи, запеченными яйцами и куском дурно пахнущего, но прелестного на вкус камамбьера с чашечкой кофе. Сливки к кофе в ресторане подают бесплатно... Когда-нибудь дома она, если спросят, расскажет родным об этих одиноких обедах, об отелях, куда съезжаются со всего света те, чей багаж заполняет не один десяток кожаных кофров... Или нет,— стоит ли рассказывать об этом? И как объяснит она свои познания из жизни Давоса, если и маме и отцу известно, что она командирована в Заполярье радисткой на зимовку?

Роз доедает сыр и принимается за кофе. За соседним столиком говорят о Сталинграде. Она прислушивается, стараясь не пропустить ни слова. Один из говорящих известен всему Давосу, его называют генералом, и в газете Роз видела его портрет в форме и с бриллиантовым Рыцарским крестом под воротничком. В Давосе генерал лечится от астмы.

Говорят по-немецки, негромко, с пристойной корректностью жестов. Генерал помешивает ложечкой молоко со взбитыми яйцами. Седой бобрик его блестит, соперничая с белизной сорочки.

— Все может быть,— слышит Роз.— Но Сталинград не просто символ, господа. И мой прогноз печален.

— Однако в Берлине, экселенц...

— Отложим тему до возвращения к себе.

Роз открывает сумочку и ищет губную помаду. Приблизив зеркальце к лицу, слегка подкрашивает рот и поднимает глаза только тогда, когда кто-то, подошедший к столу, говорит до странности знакомым голосом:

— Роз, дорогая, да оторвитесь же наконец и взгляните сюда...

— Жано!— вскрикивает Роз и роняет помаду.

Дюрок, улыбаясь во весь рот, смотрит на нее.

— Жано,— повторяет она.— Не может быть!.. О господи, откуда вы здесь взялись?

— С луны,— отвечает он почти серьезно и садится.— Слава богу, наконец-то я нашел вас! Что это за бегство из Женевы, дорогая? И ваше письмо...

Роз задыхается от счастья. Это просто чудо — Жан в Давосе!

— Я сама себе не верю,— говорит она тихо; и покорно подставляет Дюрону губы, когда он наклоняется ее поцеловать.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

13. НОЯБРЬ, 1942. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Время меняет человека, но еще больше меняют его заботы. Жак-Анри, вежливо позевывая и прикрывая рот платком, бегло и невнимательно осматривает полковника из организации Тодта, сидящего против него. Они не виделись с середины или конца июля, и за этот срок господин полковник похудел еще больше, странно усох, словно подточенный болезнью. От былой спортивности не осталось и следа.

Впрочем, для человека, нажившего фатальные неприятности, полковник держится неплохо. Щеки его выбриты и мягко лоснятся от питательного крема; пуговицы на мундире начищены; рубашка только что из прачечной. Если бы не траурные каемки под ногтями — о них полковник позабыл второпях,— то легко можно было бы поверить, что никакие заботы не волнуют представителя организации Тодта. Жак-Анри готов утверждать, что ни один мошенник, виденный им дотоле, не держался с таким достоинством и не выторговывал себе помилование так элегантно.

Жак-Анри прячет платок в нагрудный карман, расправляет концы, придавая им вид заячьего уха. Это занятие поглощает его целиком. По крайней мере полковник должен быть уверен, что это так. Покончив с платком и полюбовавшись им, он говорит:

— Все, что вы рассказали, превосходно! Но почему вы обратились именно ко мне?

— Он ваш служащий!

— Только до четырех пополудни, после чего мой секретарь превращается в частное лицо.

— Я мог бы, конечно, обратиться в полицию... даже в гестапо...

Жак-Анри не без труда изображает живейший интерес и сочувствие.

— Разумная мысль! Почему бы вам ее не осуществить?

Полковник молчит, а Жак-Анри, выдержав паузу, повторяет вопрос:

— Так почему же?

Он не ждет откровенности и поэтому продолжает сам:

— Грязная история, полковник! Не так ли?

Плечи полковника привычно распрямляются. Подбородок выдвигается вперед.

— Вы!..

— Продолжайте! Договаривайте: вы мерзкая французская свинья... Или что у вас там в запасе?.. Но при этом помните, что вы сами пришли к французской свинье и просите у нее помощи.

Полковник вяло машет рукой.

— Вы правы, Легран. Извините. К чему нам ссориться?

— Это не ссора, полковник. Хуже.

— Мы могли бы договориться.

— Сомневаюсь. Сколько вы должны моему секретарю?

— Тридцать тысяч пятьсот.

— Франков?

— Рейхсмарок.

— Для Парижа немного, жизнь здесь дорога и развлечения недешевы. Но в вашем возрасте люди обычно сами устанавливают разумный предел своим потребностям.

— Увы, я был неразумен! Вы парижанин, дорогой Легран!

— Допустим. Но зачем вы заменили цемент?

— Не понимаю...

— На казематах вала полагалось использовать портландский цемент; вы приказали брать местные марки — они менее прочны, но более дешевы...

— Абсурд!

— Отнюдь нет! Любая комиссия без труда установит этот факт.

— Берлин в курсе всего.

— Позвольте усомниться, полковник... Берлин уверен, что цемент именно портландский, вы сами подписали отчеты о закупках. Не угодно ли посмотреть копию?

— Откуда она у вас?

Жак-Анри пожимает плечами и отводит взгляд к окну. Ему становится скучно. То, что полковник вермахта оказался мошенником, набившим карман, нисколько его не радует. Общение с подлецами разъедает душу, как ржавчина. Временами нестерпимо хочется оказаться в обществе людей, не думающих о наживе, живущих в мире иных понятий и категорий.

— Мы уклонились от темы,— говорит Жак-Анри и устало трет переносицу.— Гестапо и французская полиция вам не помогут, так что оставим их в покое. За операцию с цементом в военное время полагается расстрел. Маленькие комбинации, заемные расписки, пьянство и разврат дадут следователям гестапо неплохой фон для главного обвинения. Сожалею, полковник...

— Господин Легран...

«Господин»? Что ж, это сдвиг! События развиваются достаточно банально. Кто хочет умирать в расцвете сил и в предвкушении дубовых листьев на петлицах?

— Предположим,— говорит Жак-Анри,— мой секретарь согласится забыть о займах. Предположим далее, что я умолчу о ваших похождениях с девицами. Ну, а цемент? О нем известно не только мне, но и строителям.

Полковник с надеждой выпрямляется в кресле.

— Ах, эти? Ну, с ними просто, есть много доступных средств...

— СД?.. Послушайте, полковник! Я коммерсант и, следовательно, не привык церемониться с деловыми конкурентами. Я торгуюсь за подряды, сбиваю цены, доказываю, что работаю лучше других. Словом, стремлюсь выжить за счет противников... Вы в данную минуту — тоже! Но какой ценой?.. О господи! Двести французских рабочих сложат головы, чтобы уцелела ваша голова, вот как обстоит дело? Поистине великолепный цинизм!

Так бывает: человек скручивает нервы в пружину; пружина сжимается все туже и туже, пока наконец не сорвется со стопора, приведя в действие неподвижные дотоле шестерни механизма. Нечто похожее происходит с Жаком-Анри. Он и в начале разговора не испытывал к полковнику особой жалости, был скорее равнодушен, считая, что с делом надо покончить, и как можно скорее. И только. Но теперь он едва владеет собой. Черт с ним, с возможным сотрудничеством, не лучше ли просто переслать документы в СД, и пусть гестапо само выбирает судьбу полковнику — расстрел или плаху по приговору «народного» трибунала.

— Мы не договоримся,— жестко говорит Жак-Анри и встает.

— Господин Легран!..

— Я уже сказал... Только не надо упоминать о жене и детях! Не думаю, чтобы вам удалось меня растрогать.

Губы полковника значительно бледнее лица — две тонкие выцветшие линии. Был человек — и нет человека. «Такова жизнь!» — говорят французы.

— Мой пост... Мое положение... Не спешите решать, господин Легран...

Лицо полковника двоится, троится в прищуренных глазах Жака-Анри. Десять, сто, легион полковников, идущих во главе своих частей. Дивизия за дивизией катится в пространство — может быть, на Восток, к Волге, к Кавказским предгорьям. Сгинет один, заменят новым из запаса, резерва, из многолюдной офицерской массы, ведущей своих солдат к самому сердцу России... Жак-Анри встряхивает головой, отгоняя видение.

— Ваше положение? Не представляю, что вы имеете в виду.

— Подряды,— говорит полковник.— И не только здесь! В Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии... Выгодные контракты!

— Я не так жаден.

— Речь идет о миллионах!

— Бог с ними.

— Но вы сами говорили о конкурентах! Я помогу вам обойти всех.

Жак-Анри делает вид, что колеблется.

— Не знаю... То, что вы предлагаете, возможно лишь в одном случае: если моя фирма будет располагать точной предварительной информацией о строительных сделках. И не только в Голландии или Норвегии, но и в Германии, России, везде, где действует Тодт. Иначе какой прок? Мне надо знать наверняка, где подряд окажется выгодным, а где нет... Сомневаюсь, чтобы вы могли так много!

Полковник пренебрежительно подергивает плечом.

— С моими связями! Что бы вас могло особенно заинтересовать?

— Россия.

— Мы мало что строим там.

— Сейчас!.. Дело идет к тому, что со временем Тодту найдется широкое применение. Не поверю, чтобы в штабах не принимали в расчет военную фортуну.

— Но почему Россия?

— Дешевые руки, минимум накладных расходов. Не мне вам объяснять.

— Вы просто Калиостро, господин Легран!

— Я что-нибудь угадал?

— Кое-что. Завтра я ознакомлю вас с одним проектом. Если он вам подойдет... На первых порах это будут опять бараки для саперов. Там, где вы их поставите, позднее возможны оборонительные сооружения. Размах будет колоссальным! Что вы на это скажете?

— Надо посмотреть. И, кстати, ваш процент?

— По-деловому? «Фифти-фифти».

— А мои французы?

— Это намек?

— Да, полковник. Где гарантии, что вы не отправите меня самого в гестапо?

— Я рискую большим: документы совершенно секретные.

— Слова... Если я решусь, то только тогда, когда заключу с вами письменное соглашение, где черным по белому будет сказано: вы по-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—22.

ставляете информацию, я плачу вам пятьдесят процентов с каждой успешной сделки.

Теперь колеблется полковник, но недолго — соблазн слишком велик.

— Хорошо,— говорит он и пытается изобразить улыбку.— Надеюсь, цемент забыт?

— Разумеется...

Не подавая руки, Жак-Анри провожает полковника до двери и, вернувшись, присаживается на подоконник. Это его любимая поза, привычная с детства. Несколько минут он сидит, бездумно вычерчивая на стекле длинный лошадиный профиль. Потом зовет Жюля.

— Что ты ему сказал? — с порога спрашивает Жюль.— На нем лица не было.

— Вот как? Очень жаль, у нашего нового компаньона должно быть всегда приличное лицо!

— Значит, плакали тридцать тысяч!

— Нисколько, они пошли на дело.

— Ты за этим меня звал?

— Нет, старина, конечно, нет... Это правда, что Рейнике в Париже?

— К сожалению.

— Хотел бы я знать, что ему нужно здесь?

— Попробуем выяснить. Тот наш парень на телефонной станции может иногда подключаться к линии и слушать домашние телефоны гестапо. Он знает немецкий.

— Рейнике живет в Булонском лесу?

— Пока не установил. А твой полковник не поможет нам?

— Он пригодится для другого.

Жюль щелкает пальцами.

— О-ля-ля, большие замыслы?

— Очень большие. Кажется, немцы проектируют на Востоке оборонительные рубежи. Это что-то новое... Завтра узнаю подробности.

— Полковник?

— Привыкай говорить: наш компаньон.

— Звучит многообещающе!

Смех Жюля заразителен — это смех человека, который ничего не делает наполовину; все — и горе, и радость, и тревогу — он принимает как свое личное, даже если они касаются другого. Без его дружбы Жаку-Анри было бы втрое трудней. Сейчас особенно. Абвер вовсю ведет охоту. 621-я рота радионаблюдения почти полностью перебралась в Париж, и в довершение всего как снег на голову из Берлина свалился штандартенфюрер Рейнике. Жак-Анри получил предупреждение о его приезде, но в известии нет ни слова о том, с какими планами прибыл штандартенфюрер и каковы его полномочия.

Жак-Анри жирно заштриховывает профиль на стекле.

— Не нравится мне все это.

— Почему?

— Интуиция, Жюль.

— Ты просто устал.

— Не то... Пора подумать о резервных группах. На всякий случай... Запроси Центр, может он дать нам трех-четырех радистов?

— Хорошо.

— И еще, передай Пьеру, чтобы был осторожен. Мне кажется, что немцы недолго будут церемониться с Петэном.

— У них все в порядке — у Пьера и Жаклин.

— В свое время мы с тобой считали, что и в Брюсселе все нормально.

— Я предупрежу.

— Десятого я еду в Марсель,— говорит Жак-Анри.

— Ты видел газеты?

— Да... Сталинград?..

— Центр просил нас...

— Знаю, Жюль. Мы делаем все, что можем.

— Почему мы не там?!

Жюль не ждет ответа. Тяжело ступая, идет к двери. Останавливается и поднимает к плечу крепко сжатый кулак.

— Но пасаран!

— Но пасаран! — откликается Жак-Анри и тоже сжимает кулак. Старый воинский сигнал, похожий на клятву и близкий обоим со времен Мадрида. Они иногда обмениваются им, прощаясь, если оба уверены, что их не подслушивают.

14. НОЯБРЬ, 1942. МАРСЕЛЬ, РЮ ЖАРДЕН, 17—21.

Все небо уже неделю будто налито свинцом, но дождей нет. Мейснер с утра надевает плащ, чтобы в середине дня снять его и таскать в портфеле. У него пониженное давление, и он чутко реагирует на погоду. Вчера пришлось израсходовать пятьдесят франков на врача — Мейснеру показалось, что сердце начинает пошаливать. Врач осмотрел его и ослушал, приложив ухо к мохнатой груди, и вместо рецепта посоветовал не злоупотреблять коньяком. Мейснер рассвирепел: он и раньше пил умеренно, а в Марселе не пропустил и рюмки. Француз, очевидно, угадал в нем по акценту немца и не упустил случая поиздеваться. Эта шуточка дорого ему обойдется: Мейснер пометил в блокноте адрес врача и сообщил его ребятам из казарм Дуан. Ребята обещали не забыть и пожаловались, что Марсель кишмя кишит красными. Даже супрефект полиции ненадежен и при попустительстве бездельника префекта делает все что заблагорассудится. Казармы Дуан, где гестапо имеет филиал под вывеской группы Комиссии по перемирию, буквально лихорадит из-за отсутствия контакта с местной полицией.

Мейснер и сам невысокого мнения о полиции и старается иметь дело с жандармерией, куда Гаузнер дал ему рекомендательное письмо с подписями своей и штандартенфюрера Рейнике. В этом письме ни слова не говорится о сути миссии Мейснера и только содержится просьба оказывать ему содействие, но жандармский полковник оказался догадлив и в своей готовности услужить превзошел все мыслимые пределы. Он даже выдал Мейснеру три номерных знака на машины, не спросив, кому и зачем они нужны. Теперь автобусы с пеленгаторами, пришедшие в октябре своим ходом из Парижа, ползают по улицам Марселя, не привлекая внимания. Сам Мейснер ездит в маленьком «пежо» с брезентовым верхом. «Пежо» юрок и быстр и обладает одним недостатком: прежний владелец окрасил его в желтый цвет, и машина, где бы она ни появилась, тут же становится объектом любознательности зевак.

В удостоверении Мейснера сказано, что он является уполномоченным Комиссии по перемирию, и оно, словно сезам, открывает любые волшебные двери. В казармах Дуан его снабдили талонами на бензин, и Мейснер разъезжает, сколько требуется; в иные дни спидометр «пежо» наматывает до трехсот километров. Переговоры, которые Мейснер ведет с самыми различными людьми, требуют дипломатической гибкости и мобильности. Легче всего договариваться со старыми осведомителями политической полиции, чьи адреса даны все тем же предупредительным полковником. С ними Мейснер не церемонится, зная, что все дело в цене. Франков ему не жаль.

Операторы пеленгоавтобусов живут в казарме, в служебном помещении группы. Мейснер одно время квартировал там же, пока обстоятельства не заставили его перебраться в частный пансион на рю Жарден. Собственно, Рейнике с самого начала предусмотрел такой вариант, и Мейснер жалеет, что воспользовался им только сейчас.

Они разработали план в Париже — в общих чертах, конечно, но уже тогда штандартенфюрер считал, что Мейснеру рано или поздно придется заинтересоваться пансионом мадам Бельфор. Так же думал и Гаузнер, копавшийся в архивных материалах по делу Фландена-Родина. Гаузнер столько часов проводил среди досье, что его мундир пропитался пылью и кислятиной, а кончики пальцев посерели от постоянного перелистывания бумаг. Лишь однажды Рейнике привлек его к живому делу, когда пограничная стража передала СД старого контрабандиста по кличке Коко, взятого при нелегальном переходе линии перемирия. Коко пробирался в Марсель, и у него на дне мешочка с дефицитным кофе обнаружили письмо, адресованное некоей Лили-Симоне Мартен и подписанное «твои папа и мама». Настораживал обратный адрес в Париже, хорошо известный гестапо и французской полиции: по нему проживали родители той самой девицы, которая обвела Гаузнера вокруг пальца в Брюсселе. В сентябре гестапо опоздало с арестом: девица — ее звали Жаклин — скрылась, и родители якобы ничего не знали о месте ее пребывания. Рейнике поручил Гаузнеру допросить Коко, и Гаузнер вылез из своего архива и взялся за дело.

Допрос длился девять часов без перерыва. Коко дважды терял сознание, но клялся, что не имеет отношения к подполью. Он профессиональный контрабандист и далек от политики.

— А письмо? — спросил Рейнике.

Коко, рыдая, давился кровью — Гаузнер проломил ему переносицу.

— О пресвятая дева!.. Мне заплатили, и я понес.

— Кто?

— Он нашел меня в кабачке... Сам нашел, клянусь! Пообещал двести франков, если я передам.

— Это первое письмо?

Коко заколебался, и Гаузнер взялся за него вновь. Им пришлось из-за этого сделать маленький перерыв: врач не сразу привел Коко в чувство. Рейнике, морщась, посоветовал Гаузнеру не усердствовать. Гаузнер недовольно пожал плечами и спросил Коко:

— Сколько было писем?

— Два. Клянусь детьми, только два! Это второе...

— А где первое?

— Я передал его мадемуазель.

— Опиши ее!

Коко втянул голову в плечи.

— Она не из маки... Такие в маки не идут...

— Нам лучше знать,— сказал Гаузнер и двумя пальцами приподнял подбородок Коко.— Поторопись, малыш!

Описание Коко совпадало с приметами Жаклин, разница была только в цвете волос, но у Рейнике не мелькало и тени сомнения в том, что они вышли на след. Отец Жаклин, связавшись с Коко, оказал тем самым СД неоценимую услугу.

— Вот что значат родительские чувства,— сказал Рейнике.— Стадность присуща всем неполноценным расам. Пример перед вами, Мейснер. Делайте выводы.

Мейснер деликатно склонил пробор.

— Понимаю, штандартенфюрер!

— Мы, немцы, тем и сильны, что свободны от предрассудков. Фюрер требует от нас одной любви и одной преданности — национал-социализму. Помните об этом, Мейснер, и вы никогда не ошибетесь!

Коко отправили в тюрьму Сантэ. Гаузнер на прощанье влепил ему пару крепких затрещин и вернулся в архив. Рейнике распорядился ни в коем случае не арестовывать родителей Жаклин и установить за их домом наблюдение. Девица, по всей видимости, укрывалась в Марселе, адреса ее Коко не знал, утверждал, что она сама встречала его в прошлый раз на вокзале. Странным казалось, что письмо не было отправлено обычной почтой, но Рейнике нашел этому правдоподобное объяснение: скорее всего Жаклин и ее родители действовали на свой страх и риск, без ведома тех, кому Жаклин подчинялась. Может быть даже, они не хотели, чтобы эти люди знали об их переписке. В практике не встречались случаи, когда бы русская разведка прибегала к услугам контрабандистов.

Думая о русских, Мейснер всегда отчетливо ощущает запах пота и сивухи, реально возникающий вместе с образом бородатого мужика... Россия... Если отбросить миф о загадочной славянской душе, то что остается? Орда, захватившая громадное жизненное пространство, безграмотная и некультурная, фанатически приверженная постыдной идее стадного благополучия. За эту идею они, по слухам, ложатся под танки у себя в России, пытаясь остановить продвижение самой культурной и самой великой армии в мире. Эта же идея заставляет русских разведчиков умирать где-то во Франции или Бельгии и с верой дикарей считать, что они хоть на минуту замедлят продвижение тех, кому фюрером и историей предопределено властвовать на планете. Именно дикарские, низменные начала, по мнению Мейснера, оказывают русским дурную услугу. Этому народу определено было стать народом-слугой при германской расе; он предпочитает вымирание на полях войны и тем помогает немцам: жизненное пространство будет полностью очищено от людского навоза, и завтрашние поколения германцев получат его свободным. Усилия русской разведки здесь, в Западной Европе, Мейснер тоже относит за счет неполноценности славянской души и интеллекта. Цивилизованный человек давно бы разоружился и приспособился к обстановке. В конечном счете, договорись русские разведчики с победителями, их охотно использовали бы против англичан. Это сохранило бы им право на жизнь во всемирном Третьем райхе... Вместо этого что они делают? Обреченные, отрезанные от своего племени, пытаются отсрочить час победы германского оружия. Что ж, «каждому — свое» — так, кажется, написано над вратами Дахау?

В Марселе Мейснер чувствует себя великолепно. Денег у него достаточно, а Рейнике из Парижа не в силах следить за каждым шагом и словом, чтобы поминутно одергивать и назидать. Радиооператоры, подчиненные Мейснеру, трепещут при любом его взгляде: он очень быстро сумел внушить им мысль, что только он, а не оставшиеся в Париже Модель или Шустер играет первую скрипку.

В полной мере смену власти испытал на себе любимчик Моделя штаб-ефрейтор, кичившийся своим университетским образованием. Мейснер нашел, что он недостаточно почтителен, и передал его ребятам из казармы Дуан. После беседы с ними штаб-ефрейтор сделался шелковым и по собственной инициативе целую неделю чистил туфли Мейснера, когда тот еще жил в казарме. Мейснер оценил его рвение и приблизил к себе, назначив шофером на «пежо» и освободив от работы на пеленгаторе. Выбор оказался удачным: штаб-ефрейтор бегло болтает по-французски, не без изящества носит штатское платье и чувствует себя как рыба в воде среди марсельских красоток. Сам Мейснер с трудом привыкает к гражданскому костюму; все время так и тянет посмотреть на плечо, где был серебряный погон, а брюки навыпуск непривычно удлиняют ноги, и Мейснеру кажется, что он похож на жирафа. Поэтому он горбится, стараясь уменьшить рост, и сходство с жирафом, как ни странно, увеличивается...

Рабочий день Мейснера уплотнен до предела. Три его пеленгатора, не останавливаясь без надобности ни на час, ползут по городу, слушая волну 19,2. На ней еще в Париже удалось засечь передатчик с позывными РТИкс — тогда только было неясно, на Марселе ли заканчиваются нити пеленга, или их надо протянуть куда-нибудь дальше. РТИкс выходит в эфир четыре раза в день и остается в нем не дольше пяти минут. За этот промежуток операторы едва успевают продвинуть автобусы на какую-нибудь сотню метров в направлении пеленга, и Мейснер бессилен ускорить их движение. Выговоры, раздаваемые направо и налево, подхлестывают операторов: при виде подъезжающего к автобусам «пежо» они усердствуют вовсю...

Мейснер и теперь был бы далек от цели, если б не вспомнил о предположении Рейнике, что пансион мадам Бельфор может оказаться как раз тем самым местом, где прячется РТИкс. Была ли это интуиция или дар предвидения,— Мейснер сейчас не задумывается над этим. Достаточно того, что штандартенфюрер оказался прав, а он, Мейснер, выглядит глупцом со своими возражениями. Мейснер старается не вспоминать, с какой горячностью доказывал в Париже Гаузнеру, что после бегства Фландена только маньяк рискнет вторично обосноваться под кровлей пансиона на рю Жарден. Гаузнер тогда высмеял его при Рейнике, сказав:

— Вы слишком европеец, Отто, чтобы разбираться в азиатских хитростях. Это не комплимент. О нет!

Рейнике с трудом помирил их, ибо Мейснер не упустил случая напомнить о визите Жаклин на виллу в Брюсселе, а Гаузнер зло посмеялся над контрразведчиком, забывающим, что в конце передачи радист пользуется аварийным сигналом, если ему грозит арест. С этой минуты Гаузнер нажил себе в лице Мейснера смертельного врага.

Сейчас Мейснер, к сожалению, вынужден признаться: Рейнике и Гаузнер были правы.

Комнату в пансионе Мейснер получил без труда. Мадам позвонили из казармы Дуан — и сотрудник комиссии по перемирию занял отделанную, как бонбоньерка, спальню на втором этаже. Мейснер, поцеловав мадам руку, разразился длинным комплиментом и выслушал в ответ учтивую фразу о том, что человек, прибывший в Марсель с благородной целью дать мир измученной Франции,— желанный гость под любым кровом. Это не помешало мадам, не моргнув, запросить за комнату столько, сколько в Париже Мейснер уплатил бы за целый этаж в отеле. Сотрудники гестапо из казармы Дуан не ошибались: в Марселе никто не пылал любовью к немцам, даже если они не носили формы.

Дом на рю Жарден, 21, был точкой в преде-

лах треугольника, построенного на карте города по данным пеленгаторов. Обосновываясь здесь, Мейснер думал о нем не больше, чем о любой иной точке, и не испытывал трепета, включая в первый вечер прибор для обнаружения магнитосилового поля. Было бы сверхъестественной удачей, если б оказалось, что передатчик работает именно отсюда. Гониометр, замаскированный в чемоданчике, был чувствителен, как компас, и Мейснер, обнаружив всплеск на экране, посчитал его сначала следом от чего угодно, но не от рации; однако всплеск был слишком ярок и постоянен, и, глядя на него, Мейснер постепенно поверил, что родился в чепчике и сорочке. Рация находилась здесь, совсем рядом, может быть, в нескольких шагах! Держа чемоданчик в руках, Мейснер на цыпочках выглянул в коридор. Всплеск на экране дрогнул, увеличился в размерах: РТИкс заявлял о себе в полный голос.

Передатчик был в комнате напротив.

У Мейснера хватило выдержки не вломиться в чужой номер и вернуться к себе. В 21.37 всплеск угас. Он возник на следующее утро и появлялся еще трижды, как раз в те часы и минуты, которыми пользовался обычно РТИкс. Но между вечером и утром была ночь, и в продолжение ее Мейснер метался по своей комнате. Будь он в Париже, радист уже сидел бы в гестапо и давал показания. Проклятая «свободная зона»! Трижды проклятые порядки, действующие на ней вопреки интересам великой Германии! Почему фюрер допускает существование дурацкого правительства в Виши, хотя и находящегося под германским контролем, но играющего в самостоятельность?! Рейнике предостерегал, чтобы Мейснер не лез на рожон. Виши-де поддерживает дипломатические отношения с доброй половиной стран мира и ревниво относится к своему «суверенитету». Мейснеру с высокого дерева плевать и на весь мир и на суверенитет, но приказ Рейнике равносилен закону... Лежа на шикарной кровати под балдахином, Мейснер с удовлетворением пачкал ботинками стеганое атласное одеяло — это было крохотной данью чувствам, которые он испытывал в ту ночь.

За завтраком Мейснер приглядывался к жильцам, ища того, кто жил напротив, и напрасно — господин Пьер (так назвала его горничная), художник из Нима, появился только к обеду. Завтракать он предпочел у себя. Мейснер отметил, что у него серое лицо и глаза с неестественным блеском. Вместе с господином Пьером место за столом заняла рослая девушка, довольно хорошенькая, чуть полноватая, лицо которой показалось Мейснеру знакомым. Этот прямой подбородок, укороченная бровь — где он их видел?

Передавая девушке соусник, Мейснер еще раз скользнул взглядом по ее лицу. Нет, они не встречались, это точно; но откуда и как он знает ее?

Не дожидаясь десерта, господин Пьер встал. Пергаментной рукой взялся за спинку стула девушки.

— Не спешите, Лили, я подожду у себя.

Мейснер напрягся: Лили?! Комиссар Гаузнер мог бы торжествовать в Париже: составленный им со слов мадам Ван-ден-Беер словесный портрет не расходился с оригиналом. Лили Мартен, она же Жаклин, связная между Парижем и Брюсселем, сидела с Мейснером за одним столом! Воистину это был дар судьбы...

За два последующих дня Мейснер поднял на ноги пол-Марселя. Свой триумф он готовил тщательно, с расчетливостью человека, бросившего на карту все. Агенты, приставленные им к Жаклин, были опытными, сотрудничали с политической полицией с довоенных времен. Гонорар, предложенный Мейснером, утроил их рвение, и Жаклин ни на миг не оставалась на улицах одна. О письмах, полученных ею в пяти различных почтовых отделениях, Мейснер узнал через полчаса, а еще полчаса спустя из окна аптеки любовался профилем Жаклин, входящей в пансион мадам Бельфор. Желтый «пежо» в это время ждал его у казармы Дуан: утром Мейснер предупредил мадам, что не вернется к обеду и что посыльные господина префекта найдут его в помещениях группы... Никто, даже операторы пеленгаторов, не были посвящены в дело. Мейснер не такой простак, чтобы другие воспользовались плодами его трудов и приписали заслуги себе. Штандартенфюрер Рейнике получит отчет только после ареста господина Пьера и Жаклин. До этой поры его соглядатаи будут продолжать ему доносить, что пеленгаторы ведут наблюдение за РТИксом и медленно двигаются в направлении передатчика.

Вдосталь полюбовавшись из окна аптеки на Жаклин и оценив все достоинства и недостатки ее фигуры, Мейснер на трамвае доехал до казармы и позвонил в Париж. Пожаловался Гаузнеру на дурную погоду и бессонницу. Гаузнер фыркнул что-то о детских нервах и дал отбой.

Плохая погода — единственное, что мешает полному счастью Мейснера. Гаузнер волен фыркать, у него нет гипотонии и связанного с ней отвратительного состояния разбитости. Интересно, как переносит осень господин Пьер со своим туберкулезом?.. Впрочем, болезни недолго будут обременять его: Мейснер позаботится, чтобы путь на небо для господина Пьера оказался как можно короче. Перед этим ему только придется рассказать о своих знакомствах — все до последней мелочи.

Сегодня с утра Мейснер договорился в полиции о приеме. Приходится соблюдать этикет и обусловливать время встреч по телефону. Сам префект полиции избегает общения под любыми предлогами, излюбленный из которых — совещания с портовыми, военными и иными властями. Всеми делами заправляет тот самый супрефект, чьи симпатии, по мнению ребят из казармы Дуан, отданы красным. Основанием для выводов послужило кратковременное участие супрефекта в администрации Народного фронта, и Мейснер не очень уверен в правоте коллег. Французский либерализм поверхностен и в основе своей не менее враждебен коммунизму, нежели былая германская социал-демократия. Отец Мейснера до тридцать второго года был исправным социал-демократом; сейчас во всем Эссене не сыщешь наци более твердого в убеждениях, чем он. Именно отец настоял, чтобы Отто, пройдя школу гитлерюгенд и Трудового фронта, вступил в СС и постарался попасть в СД. За вечерними беседами никто лучше отца не умел объяснить, почему каждый тельмановец заслуживает физического уничтожения. «Социал-демократы первыми вырыли могилу Тельману» — вот его слова.

Чиновник для поручений встречает Мейснера у подножия лестницы. На этот раз Мейснер с благодарностью думает о цвете своего «пежо»: из окна канцелярии его не спутаешь с другим.

— Супрефект счастлив видеть вас,— говорит чиновник за спиной Мейснера.— Он специально отложил поездку в порт...

По дороге в приемную он расхваливает Марсель словами аукциониста. Город, основанный греческими выходцами из Фокеи за 600 лет до рождества Христова, в описании чиновника представляется Мейснеру вещью, которую он тут же, не сходя с места, может приобрести за сходную цену. «Что ни говори, но каждый француз — проститутка,— думает Мейснер, входя в кабинет.— Ни капли гордости!»

Под впечатлением болтовни чиновника Мейснер начинает беседу с супрефектом жестче, чем следовало бы. Тон его категоричен и не соответствует установившимся отношениям. Получается, что Мейснер чуть ли не приказывает марсельским властям арестовать радиста, ссылаясь на интересы Комиссии по перемирию.

Супрефект — сама любезность. Он только просит предъявить соответствующие полномочия. Но их у Мейснера нет.

— Весьма сожалею...

Губы супрефекта складываются грустным сердечком.

Мейснер встает, нависая над столом.

— Как прикажете понимать вас, месье?

— Мы во Франции, мой друг. Здесь французские законы и юрисдикция правительства Виши.

— Но интересы общие!

— Бесспорно... Однако методы... Я не хочу бросить тень на германское правосудие, о нет! Но прошу понять меня: французское уголовное право не принимает технические средства и их продукт как доказательство. Ваш прибор, по всей видимости, превосходен, но он нем. Ни вы, ни я не сумеем заставить его свидетельствовать о вине подозреваемого. Не так ли?

— Обыщите комнату, и вы найдете передатчик!

— Для этого нужен ордер.

— Выдайте его!

— А основание, мой друг? Где основание? Кто видел подозреваемого за запретным с точки зрения закона занятием?

— Я! И могу присягнуть!

Голос Мейснера тверд, когда он лжет.

— Сожалею, но полицейский суд учитывает только незаинтересованные свидетельства. Согласно праву, вы обвиняющая сторона... Другое дело, если бы я имел приказ Виши!

— Свяжитесь с ним!

— Непременно. Сегодня же курьером я отправлю запрос министру и в Комиссию по перемирию, и, как только ответ придет, полиция полностью предоставит себя в ваше распоряжение... Рюмочку коньяку? Вы позволите?..

Мейснер вертит в руках пресс-папье. Он с удовольствием проломил бы им супрефекту голову, но вместо этого спрашивает:

— Когда придет ответ?

— Через пять — семь дней, учитывая экстраординарность дела... О, почему вы не обратились ко мне раньше? Ордер был бы уже в ваших руках!

«Еще бы,— думает Мейснер.— А господин Пьер той порой улетучился бы из Марселя вместе с красоткой Жаклин... Ордер я получу сегодня, не будь я Мейснер!.. В крайнем случае обойдусь и без него: жандармерия окажет помощь...»

Супрефект придвигает тонкую хрустальную рюмку к краю стола, посыпает сахаром дольки лимона. Не поднимая головы, говорит:

— Кстати, мой друг, во избежание скандала я буду вынужден дать указание жандармам держаться в стороне. Подозреваемый — известный художник, среди его друзей есть члены правительства. Я не могу рисковать. Вы понимаете мое положение? Вы сочувствуете мне?

Мейснер залпом выпивает рюмку. Это все, что он может сделать сейчас, чтобы француз не заметил, как глубоко ранено и унижено его достоинство офицера германской разведки. Коньяк мягко обжигает горло, и у Мейснера перехватывает дух.

— Пансион будет взят под наблюдение,— заверяет супрефект.— Еще одну рюмочку?

Мейснер отказывается. Поддерживая его под локоть, супрефект спускается к подъезду, заставляя Мейснера пережить унижение вторично: рядом с блестящим громадным «рено», ждущим кого-то у обочины тротуара, желтый «пежо» кажется особенно жалким... Из казармы Мейснер звонит на всякий случай в жандармерию, но чуда не происходит: полковник ссылается на только что полученный приказ.

— Я вас очень огорчил? — спрашивает он.

— Это я вас огорчу! И очень скоро! — говорит Мейснер и швыряет трубку на рычаг.

«На фонары! Всех на фонары! — думает он, шагая по кабинету.— Русских, французов — всех, всех...»

В пансион он возвращается поздней ночью, проделав безрезультатную попытку договориться по телефону с представителем гестапо при Комиссии по перемирию. В Виши, как видно, не понимают серьезности положения или чиновник, с которым связался Мейснер, оказался слишком глуп, но ответ был один: ждать, сколько надо.

— Сколько? День, год, столетие?!

Чиновник уклончив:

— Всему свое время.

— Я доложу штандартенфюреру Рейнике!

— А я обергруппенфюреру Мюллеру! — парирует чиновник.— Назовите вашу фамилию по буквам.

Только этого не хватает — нажить неприятности в гестапо. Там не любят назойливых. Мейснер вынужден извиниться и выслушать еще раз предложение ждать. До самой ночи, все еще не остыв, он инструктирует агентов, вызывая их по одному в свой кабинет. Агенты должны обложить оба пансиона мадам Бельфор так, чтобы в щель между ними не протиснулся и червяк. Во всяком случае, господин Пьер не должен ускользнуть.

Кровать под балдахином безбрежна, как океан. Мейснер барахтается на ней, пачкая ботинками одеяло. Это уже второе одеяло, которое мадам Бельфор запишет ему в счет. Раздеться и снять ботинки у него нет ни сил, ни желания. Засыпает он под странный шум, идущий с окраин, и просыпается от него же, усиленного в десятки раз. Приподнявшись на локте, прислушивается, различая знакомый по Парижу лязг танковых гусениц. Мысль о высаженном англичанами десанте срывает его с постели и бросает к окну. Прижавшись к портьере и не зажигая огня, он всматривается в громыхающую темноту... Танки идут один за другим, устремляясь к морю, а не от него. Мейснер до предела напрягает зрение и различает на башне и борту замыкающего колонну танка смутные очертания имперского креста в белой рамке... Происходит то, на что намекал чиновник гестапо, предлагая ждать, сколько надо, и чего Мейснер, естественно, не имел возможности предусмотреть: в 24.00 одиннадцатого ноября германские войска начали операцию по оккупации «Зоны Виши». Эту новость привозит ликующий штаб-ефрейтор вместе с приказом Мейснеру немедленно явиться в казармы Дуан.

По улицам стелется серый рассвет. Мейснер приспускает в машине стекло и с наслаждением втягивает ноздрями терпкий запах перегоревшего дизельного топлива. Он свеж и бодр, и гипотония не дает знать о себе обычной вялостью.

В казармах, приняв поздравления коллег из гестапо и переодевшись в форму, Мейснер согласовывает с майором из фельджандармерии детали предстоящего ареста господина Пьера. Они возьмут его ровно в десять пятьдесят, по окончании утреннего радиосеанса.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

15. НОЯБРЬ, 1942. ДАВОС — ТИФЕНКАСТЕЛЬ — МАРТИНСБРУК.

Оказывается, и от отдыха хочется иногда отдохнуть! Роз до смерти наскучили вязание и прогулки в окрестностях Давоса. В перерывах между сеансами связи, встречами с Жаном и сном она связала шарф Жану и ему же варежки и две пары толстых горных носков. В Давосе царит осенняя чинная скука, прерываемая лишь приходом газет с военными телеграммами и экстравагантными выходками бывшей кинозвезды, со скандальной поспешностью пытающейся женить на себе впавшего в маразм старшего отпрыска божественного Хирохито. По утрам идет снег, к середине дня он тает, а в сумерках покрывается пленкой льда. Роз постоянно знобит, но она держится бодро и не докучает Жану жалобами.

Жан поселился в городке. В отеле нашлась недорогая комната, на самом верху, с окнами во двор. Жан, что-то прикинув про себя, сказал, что поживет дня три-четыре; Роз проявила догадливость и настояла, чтобы он взял у нее взаймы. До лучших времен. Не вечно же они будут беднягами. Жан, мучительно краснея, спрятал в бумажник кредитки и был особенно молчалив в тот день. Этих денег не хватит надолго, но их выручил перевод — гонорар за чертежные работы для «Лонжина», выполненные Жаном в Женеве. С тысячей франков в кармане Дюрок посчитал себя Крезом и пригласил Роз съездить на денек в Тифенкастель, где на маленькой сцене выступает гастролирующее кабаре. Роз согласилась: Грюн опять исчез, предупредив, что встретится с ней не раньше чем через неделю, а начатый для Жана пуловер может подождать.

Их отношения развиваются странно. После первой радости, испытанной Роз при встрече, она словно застыла, испугавшись предстоящего, и Жан почувствовал это. Здесь, в горах, никто не может помешать им любить друг друга; но Ширвиндт даже из далекой Женевы ухитряется невидимо влиять на Роз, и она все время помнит об их разговоре.

Роз изо всех сил стремится не подавать вида, что ей трудно. Хорошо, что Жан не настаивает ни на чем и держит себя в руках. Лишь однажды на тропе, огибающей пустое шале над скалой, он не выдержал и обнял ее так, что у Роз остановилось сердце. Она с трудом высвободилась и присела на камень.

— Ради бога, Жано!..

Жан, отвернувшись, рассматривал скалу. Плечи у него были мокрые от растаявшего снега. Горы плыли перед глазами Роз...

— Я больше не буду,— по-детски сказал Жан.

Роз улыбнулась ему сквозь слезы, и они пошли вниз...

Кабаре в Тифенкастеле оказалось отвратительным. Гастролерши, пухлые баварские провинциалочки, пели и плясали, как заведенные, и с кукольным равнодушием обнажались под оркестр. Это было типичное германское «канблик» — зрелище, не столько непристойное, сколько скучное,— и Роз с Жаном не досидели до конца. Какие ветры занесли труппу в Швейцарию? И почему не возвращаются в рейх,— война?

Прижавшись к плечу Жана, Роз думает об этом, и озноб, покинувший было ее в теплом зале, появляется вновь. Пальто у Роз нет, а тонкий шерстяной плащ слишком легок для ноября. Тифенкастель засыпает: в маленьких городках, где будни похожи на траур, а праздники — на будни, спать ложатся рано. Черепичные крыши черны, ставни опущены. Над крышами скрипят под порывами ветра жестяные кораблики и петухи, вечные труженики этих ветреных мест. До поезда еще не меньше двух часов, и Роз, ведомая Жаном, медленно идет к ратуше. Она запрокидывает голову и видит облака, нависшие над шпилем, белесые промоины меж облаками, звезду, похожую на стекляшку из «тэтовской» броши: для настоящего бриллианта звезде не хватает чистоты и глубины блеска.

Жан, отвернув рукав, смотрит на часы. «Спешить некуда»,— думает Роз и уютно припадает к его плечу. Ей хочется щекой почувствовать тепло Жана, но щека, как подушку, легко приминает подбитое ватой холодное плечо пиджака. Озноб усиливается.

Жан тихо насвистывает, и Роз узнаёт мотив. «Ах мой милый Августин... Августин... Августин...» — песня из старой детской сказки. Они с Жаном — Сандрильона и Принц, и ратуша — замок, где живет добрая близорукая фея Осени. Во всем мире у детей одни и те же сказки.

Состояние Роз близко к полной отрешенности, и автомобиль, притормозивший в нескольких шагах от них, она готова принять за карету волшебницы. Черный и почти бесшумный, он пофыркивает мотором, и звук этот похож на всхрапывание коней, ждущих Сандрильону, чтобы везти ее на бал.

Хлопает дверца, и кто-то большой, неповоротливый преграждает им дорогу. Вспыхивает карманный фонарик и шарит лучом по лицу Жана.

— Господин Дюрок?

Жан отстраняется от Роз и делает шаг вперед.

— Да, я. В чем дело?..

— Полиция кантона. Следуйте за мной!

— Это недоразумение...

Роз, приходя в себя, становится рядом с Жаном и берет его за рукав. Губы ее пересыхают.

— Дама с вами?

— Да!— резко говорит Роз.— Но объясните же, в чем дело?!

Из машины вылезает второй и не спеша подходит к ним.

— Я требую...— начинает Жан, но его перебивают:

— Все требования вы заявите в комиссариате.— И к Роз: — Будьте так добры предъявить документы.

Роз открывает сумочку, роется в ней — пудреница, платок, оправленный в серебро флаконч ик с духами... мелкие монеты... Все не то! «Боже мой, что произошло?.. Зачем полиции нужен Жан?!» Тревога за Жана заставляет ее спешить, монеты падают на тротуар.

— Мое имя Роз Марешаль. Я подданная Франции.

— Очень хорошо,— говорит полицейский.— Вам придется удостоверить свою личность в комиссариате. Простая формальность.

— Это недоразумение, Роз! — с силой восклицает Жан.— Какая-то чертовщина!

— Конечно, Жано...

Чиновники пропускают их к автомобилю. Один садится рядом с шофером, второй распахивает заднюю дверцу.

— Сначала вы, потом мадам,— говорит он.

Его немецкий язык сухо рокочет в ушах Роз. В темном салоне машины Роз находит руку Жана и вкладывает в нее свою.

— Все будет хорошо,— шепчет она.

Жан молчит.

Машина за пять минут покрывает расстояние от ратуши до шоссе и, набирая скорость, несется в ночь. По ровному гулу мотора Роз догадывается о его мощи — настоящий «супер». Не убирая левой руки с ладони Жана, правой она нащупывает в кармане плаща полупустую пачку сигарет и зажигалку. Спрашивает:

— Я могу курить?

— Курите,— говорит чиновник.

Роз держит зажигалку горящей чуть дольше, чем требуется, чтобы зажечь сигарету. Прямо перед ней в спинке сиденья на подвеске покачивается хрустальная пепельница; лицо чиновника, освещенное снизу, кажется вырезанным из серой пемзы. Кожаная бордовая подушка сиденья мягко пружинит при движениях Роз. За плечом шофера, там, впереди, фосфоресцирует длинный щиток со множеством циферблатов... Она не сразу вбирает детали в сознание, но, вобрав, уже не может отрешиться от ощущения несоответствия этой роскоши с обычной дозой автомобильных удобств. Эта машина шикарна, как кокотка; она недопустимо дорога для ограниченной в средствах швейцарской полиции.

— Это «форд»?— быстро спрашивает Роз чиновника.

— Что?.. Нет, «испано-сюиза»,— отвечает тот и спохватывается: — Какое вам, собственно, дело до этого?

Роз встряхивает руку Жана.

— Жано!.. Приди в себя, Жано!.. По-моему, это не полиция!

Чиновник начинает странно дрожать, и Роз не сразу понимает, что он смеется — мелко и совершенно беззвучно.

Второй, рядом с шофером, нехотя оборачивается.

— Заткнитесь!

Это слово, сказанное с ленивой злобой, объясняет Роз все. Горящей сигаретой она тычет в лицо того, кто сидит справа от нее, и сквозь сноп искр перебрасывается к дверце, пытаясь нащупать ручку. Пальцы ее успевают почувствовать холодный металл, но это ощущение, опережаемое нестерпимой болью в затылке, оказывается последним, испытанным ею перед тем, как потерять сознание...

...Немецкая речь врывается в небытие и разрушает его.

Машина продолжает мчаться по темному шоссе, не замедляя движения на поворотах. Роз пытается вскарабкаться с пола на сиденье, но руки подламываются в локтях.

— Ну, что? — слышит Роз.

— Как бы она не стала орать!

— Так успокой же ее, Рольф!

— Ты прав!

Вместе с этой фразой боль вторично вспыхивает в затылке. Роз падает в пропасть, успев понять, что удар нанесен Жаном.

Новый обморок длится дольше первого. Роз поднимают на подушки, встряхивают, тычут носом во флакон с чем-то вонючим. Запах пробуждает сознание, а вместе с ним боль и страх. Роз ничего не может поделать с собой. Ее колотит истерика, и Рольф держит ее за шиворот.

— Ты... ты...

Роз пытается связать слова, но они рассеиваются, как бисер.

— Ты — Рольф?.. Гестапо?..

— СД!— коротко говорит тот, кого она привыкла звать Жаном.— Примиритесь с этим, Роз, и ведите себя спокойно.

Помолчав он добавляет:

— Если вы проявите благоразумие, все сложится не так уж плохо.

Жан. Гестапо. Рация. Грюн... Вальтер в Женеве... Москва... Роз продолжает плакать с сухими глазами. То, что случилось, непоправимо. То, что произойдет, страшно... Горный воздух за окном непроницаемо черен. Водитель включает фары, и взгляд Роз наталкивается на придорожную табличку. Еще на одну. Они проносятся, сменяя друг друга, и она, словно по складам, читает: «Замаден». Потом: «Цернец». У Цернеца магистраль растечется по двум руслам. Роз это знает. Левое русло — через Зюс и Шульс — выводит к австрийской границе. «Остеррейх» — теперь это тоже Германия... Мамочка дорогая, помоги мне!..

Рольф встряхивает ее за воротник.

— Вы слышите меня?

— Скажи ей,— вмешивается водитель,— что я сам влеплю ей в лоб пулю, если она зашумит на границе.

— Она не будет шуметь.

— Пусть пеняет на себя.

— Не отвлекайся, а то еще врежешься.

— Будь спокоен, Рольф! Я ненавижу больницы.

Эти двое говорят обычными голосами. Их интонации спокойно приглушены, как у людей, отдыхающих после работы и коротающих время за необязательным разговором о быте. Так болтают в ожидании поезда на перроне вокзала. Горло Роз перехватывает спазм.

Спящие Цернец, Зюс и Шульс — каждый в отдельности — на несколько минут сменяют черноту ночи за стеклами светлой краской своих домов. И опять тянется мрак.

— Скоро Мартинсбрукский пост,— предупреждает шофер.

— Когда?

— Минут через сорок.

— Отлично! Приготовь паспорта... Здесь всегда досматривают?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—23.

— Когда как. А где паспорт этой птички?

— Вместе с нашими... Может быть, внизу?

— Ладно... Пусть только не поет. Скажи ей об этом еще раз!

— В крайнем случае стреляй.

— В нее?

— В пограничников.

— Хорошо, Рольф, я понял.

«Попробую,— думает Роз.— Должен же быть досмотр!.. А если нет? Крикну... Пусть стреляют, это все-таки лучше...» Она сжимается в комочек, всем своим видом доказывая этим четверым, что от страха потеряла и голос, и слух, и силы для сопротивления. Когда к ней обращаются, она вздрагивает и старается сделаться еще меньше, уподобиться улитке, ушедшей в раковину — последнюю защиту от бури.

— Приготовьтесь,— негромко говорит шофер.— Мартинсбрук!..

Машина въезжает на освещенную площадку и тычется радиатором в полосатый шлагбаум. Шофер протягивает в приоткрытую дверцу паспорта.

— Четверо мужчин и дама.

— Багаж?

— Один момент!..

Пограничники — их двое — стоят у подножки.

Роз с силой отталкивается от сиденья, кричит:

— Бандиты!.. Это банда, задержите их!

— Черт!

Машина срывается с места, и Роз валится на пол: съезжая с шоссе, шофер круто взял назад и вправо. Надрывно воет сирена у шлагбаума и в третий раз рождается боль в разбитом затылке Роз. Остальное — выстрелы, крики, ругань, движение — проходит мимо нее. Высаженное пулей заднее стекло сыплется на волосы и плечи, ранит шею. С тонким всхлипом дергается и замирает гестаповец на переднем сиденье. Машина с трудом выбирается из кювета на шоссе и на спущенных баллонах дотягивает до конца нейтральной полосы. А для Роз все это — только адская боль и грохочущие в ушах колокола.

16. НОЯБРЬ, 1942. ПАРИЖ, ОТЕЛЬ «ЛЮТЕЦИЯ».

С самого утра штаб-квартира ходит ходуном: ночью, без предварительного уведомления, прилетел генерал фон Бентивеньи и через высшего руководителя СС и полиции в Париже пригласил к себе на 8.30 штандартенфюрера Рейнике и старшего правительственного советника Гаузнера вместе с десятком других чинов гестапо. Модель и Шустер тоже включены в число приглашенных — со стороны абвера. Адъютант генерала отказался сообщить подробности, сославшись на незнание. Шустер приехал в «Лютецию», едва успев побриться и сменить белье: всю ночь он провел в Версале, где посты радио-абвера вплотную подобрались к одному из передатчиков. Шустер и Родэ нашли места для палаток, но потом выяснилось, что стоят они неудачно, и места пришлось менять, приноравливаясь к планировке улиц. Только на рассвете они добились желаемого, и квартал, откуда работает передатчик, оказался взятым в клещи.

В ожидании совещания Шустер дремлет в глубоком кресле у двери кабинета. О чем бы ни говорил генерал, в адрес Шустера он не бросит упрека: радио-абвер в Париже делает все, что требуется. Остальное же капитана касается постольку поскольку, и он заранее отводит себе на совещании удобную роль созерцателя. Совсем иначе себя чувствует Рейнике. Он даже не дает себе труда скрыть неудовольствие приглашением. СД ни в малейшей степени не зависит от абвера, и фон Бентивеньи злоупотребил положением, вызывая его к себе, да еще через посредство генерала полиции Кнохена и военного губернатора Парижа генерала Боккельберга. Интересно, что скажет Кальтенбруннер, получив сообщение о совещании?.. Рейнике нетерпеливо подрагивает коленкой; свет тускло отражается на кончике его сапога. Штандартенфюрер зевает и громко спрашивает адъютанта:

— В абвере всегда так точны?

На его часах 8.31. Адъютант молча показывает на электрическую «омегу», висящую в простенке,— 8.29.

— В «Лютеции» все не как в империи,— язвит Рейнике.

Адъютант нем. В Берлине он прошел хорошую штабную школу и знает, что ни с кем не стоит портить отношений. Судьба коварна: этот штандартенфюрер с манерами выскочки может нежданно-негаданно оказаться со временем твоим собственным начальством.

В кабинет фон Бентивеньи Рейнике входит, вполне созрев для скандала. Нужен только повод, и он, как всегда, находится удивительно кстати. С первых же слов генерала у штандартенфюрера возникает желание наговорить ему колкостей.

— Господа,— начинает фон Бентивеньи.— Адмирал нами недоволен.

— Кем? — с нажимом спрашивает Рейнике.

— Теми, кому поручены ПТХ.

— И СД? И гестапо?

— Я сказал: всеми.

— Впервые слышу, чтобы адмирала Канариса назначили преемником Кальтенбруннера!

— Что за тон, штандартенфюрер?

— Надоело!— говорит Рейнике и с шумом встает.— Надоело, что все, кому не лень, мешают работе. В то время, как СД вкладывает в расследование максимум усилий, абвер слизывает сливки! Чем занят ваш радио-абвер? Туман, таинственность, планы, о которых мы не знаем ничего, кроме того, что они лежат в ваших сейфах! Какие-то палатки с почтальонами или черт еще с кем там, о существовании коих я узнаю самым последним, грандиозные проекты, вырабатываемые, по всей видимости, в борделях, и куча грязного белья, брошенного нам для стирки! Если надо кого-нибудь допросить, о, тогда, конечно, армия вспоминает о службе безопасности и с превеликим наслаждением спихивает ей все то дерьмо, о которое не желает пачкаться сама! Молчит радист? Загибается Коко? Отрицают все шпионы в Лилле? Вот тогда ваши люди бегут к нам! Не без задней мысли, разумеется! Что бы в дальнейшем ни произошло, но после передачи арестованных СД абвер рапортует: мы нашли и задержали врагов рейха, а эти младенцы из ведомства Кальтенбруннера, как обычно, испортили все. В результате ваши люди пожинают лавры, а мои выглядят в глазах фюрера обделавшимися щенками!

Кое-кто из гестаповцев встает. Гаузнер, на лысине которого пляшет отблеск люстры, трясет головой:

— Да, да, да...

Фон Бентивеньи, мягко ступая, выходит из-за стола.

— Благодарю, штандартенфюрер! Вы предвосхитили мои мысли!

Рейнике от изумления не успевает закрыть рот.

— Господа,— продолжает фон Бентивеньи.— Штандартенфюрер прав: пора! Пора объединить усилия. Адмирал Канарис дал мне полномочия самому решить, что и как следует сделать, чтобы выправить положение. Бригадефюрер Шелленберг, со своей стороны, обязуется оказать нам разумную помощь. Это тем более необходимо сейчас, когда под Сталинградом решается судьба империи. Надо ли говорить о весе и значении информации, получаемой русскими от ПТХ? Если я упомяну для примера, что русская разведка оказалась в курсе не только передвижений войск, но и кадровых перемещений в штабах и соединениях, вы, профессионалы, легко оцените, что это значит!

Шустер во все глаза глядит на генерала. Бентивеньи откровенен сверх принятого в абвере предела. Во всяком случае, сообщения, подобные этому, не принято делать в широком кругу, да еще и в присутствии СД. Уж не сдает ли позиции старый адмирал Канарис?

— Сошлюсь еще на один пример.

Фон Бентивеньи делает паузу.

— Факт, достойный сожаления... Три месяца мои люди вели разработку радиогруппы русских в Швейцарии. С терпением трапперов они шли по пятам за некоей Роз Марешаль, выясняя ее роль и связи! И что ж? Ваши сотрудники, штандартенфюрер, организовывают похищение Марешаль — похищение, сработанное на редкость бездарно! Результат? Марешаль у нас и молчит, один из чинов службы безопасности убит, швейцарцы протестуют...

— Плевать мне на протесты! — говорит Рейнике.

Он ошеломлен: гестапо не имеет ни малейшего отношения к этой истории. Однако не в его интересах разубеждать фон Бентивеньи. Пусть думает, что хочет. Рейнике только досадно — Шелленберг опять обошел всех: и Канариса, и Мюллера, и Кальтенбруннера. Вот уж с кем ни в коем случае нельзя играть, как с джентльменом!

Фон Бентивеньи сухо кивает. У него тон и манеры бухгалтера банка, отказывающего банкроту в ссуде.

— Рейхсминистр Риббентроп был вынужден обратиться к фюреру, и фюрер выразил неудовольствие. Сейчас не сороковой год, штандартенфюрер!

— Но я...

— К счастью, это были как раз не вы. Акцию осуществили подчиненные Шелленберга. Они наказаны.

Лучшего способа показать свою осведомленность фон Бентивеньи, пожалуй, не мог бы найти. Рейнике остается проглотить пилюлю. Он так и делает, мысленно пообещав генералу расплатиться за эту сцену. Публично уличить его, начальника отдела гестапо, в попытке присвоить себе чужой выигрыш!.. Или проигрыш? Последняя мысль хоть немного утешает Рейнике.

— К чему эти примеры, генерал? — говорит он небрежно и садится.

Фон Бентивеньи возится с замком портфеля. Замок тугой, и генерал не сразу справляется с ним и достает из внутреннего отделения голубой прошитый пакет.

— Директива имперской канцелярии, господа! Прошу ничего не записывать.

Сердце Шустера преисполнено гордости. Он будет присутствовать при оглашении документа особой важности! Он и Модель здесь самые младшие в чине, среди гестаповцев нет ни одного, чей ранг был бы ниже оберштурмбанфюрера.

Документ короток. Фон Бентивеньи складывает его и запирает портфель. С сердечной улыбкой смотрит на Рейнике.

— Примите мои поздравления, бригадефюрер!

Рейнике холодной рукой отвечает на пожатие. Кто, как и когда успел сговориться в Берлине за его спиной? Чин бригадефюрера, присвоенный декретом Гиммлера столь внезапно, не окупает забот, которые Канарис и остальные в один миг переложили на плечи Рейнике. Назначить его ответственным руководителем по проведению всех операций против ПТХ! Ловкий ход, за которым угадывается иезуитский ум старого адмирала. А Шелленберг? Разве комбинация могла обойтись без его участия?

— Прошу...

Фон Бентивеньи указывает на свое кресло, как на эшафот. Рейнике деревянным шагом обходит стол и садится.

— Господа... Я счастлив... Доверие фюрера...

Фон Бентивеньи аплодирует кончиками пальцев. Это так похоже на издевательство, что Рейнике свирепеет.

— Здесь уже говорилось о нашей ответственности перед историей! Да, это так! И мы, солдаты империи, сознаем свой долг. В час, когда под Сталинградом решается, быть или не быть миру национал-социалистским, я не потерплю от своих сотрудников беспечности и лени. Наш противник страшен. По его вине гибнут тысячи героев, отвоевывающих жизненное пространство у большевистских недочеловеков. Русская разведка здесь — форпост их линии обороны. Обрушимся же на нее всей мощью и обеспечим победу гению фюрера! Зиг-хайль, господа!

Зал вздрагивает от приветствия, повторенного трижды. Подвески хрустальной люстры сталкиваются со звоном, напоминающим Шустеру малиновую перекличку бубенцов. Она врезалась ему в память по поездке в Россию в декабре сорок первого, когда путь от аэродрома до Можайска он проделал на крестьянских санях, именуемых дровнями,— присланный за ним из штаба «оппель» засел в сугробе с замерзшим радиатором... О господи, в каких условиях приходится воевать лучшему в мире германскому солдату!

Рейнике переводит дух, пьет воду. Кадык его бегает по шее, как мышонок. Подвески продолжают звенеть.

— К делу, господа,— говорит Рейнике и сжимает в кулаке пустой стакан.— Комиссар Гаузнер немедленно отправится в Берлин и займется радисткой. О ходе допроса докладывать мне дважды в сутки.

Гаузнер делает ленивую попытку привстать.

— Да, бригадефюрер!

— Модель поедет в Марсель. Вдвоем с Шустером вам здесь тесновато, а у Мейснера горячая голова... Кстати, как ваши палатки, Шустер?

Шустер взглядом испрашивает у фон Бентивеньи разрешения говорить, но генерал преувеличенно озабочен чернильным пятнышком на ногте мизинца и полирует ноготь платком. Отвечать или не отвечать? Вправе ли Рейнике быть посвященным в технические тонкости радио-абвера?

— Я жду!— говорит Рейнике.

— В Версале мы нащупали кое-что.

— Конкретнее?

— Бригадефюрер разрешит мне доложить ему позже?

— Здесь все свои!

— Я плохо выразился или дурно понят — для доклада требуется точность: адреса, данные координат. Боюсь, что на память я не смогу привести их.

Фон Бентивеньи прячет платок в задний карман брюк.

— Задержитесь, Шустер, и мы поговорим.

Шустер щелкает каблуками.

— Вечером я улетаю,— говорит фон Бентивеньи.— В Берлине мне зададут вопрос: когда? Когда, к какому сроку история с ПТХ станет достоянием архивов? Что мне ответить, бригадефюрер?

— Мне нужно...

— Месяц?— подсказывает фон Бентивеньи. И продолжает:— Я так и думал. Тридцати дней должно хватить на проведение операции. Вы свободны, господа...

Рейнике ждет, что генерал попросит его не спешить, им есть о чем поговорить, но фон Бентивеньи со старомодной галантностью провожает его до двери, и Рейнике только и остается, что откланяться, щеголяя выправкой.

— Хайль Гитлер!

— Хайль,— негромко откликается фон Бентивеньи и интимно добавляет: — Искренне завидую вам, бригадефюрер. Рейхсфюрер Гиммлер так настаивал на вашей кандидатуре, что даже у адмирала не нашлось желания возражать. Но это между нами, маленький военный секрет, не так ли?

К себе, в Булонский лес, Рейнике едет один. По дороге он приказывает шоферу свернуть в сторону от площади Согласия и ехать к набережной. Здесь, на третьем этаже доходного дома, живет мадам д'Юфрэ, знаменитая гадалка. Ее гороскопы отличаются точностью.

На лестнице пахнет кошками. Рейнике прижимает к носу платок и борется с тошнотой. У него очень нежное обоняние.

К мадам он входит без доклада, как свой человек... Карты и таблицы складываются в магические системы. Кости, брошенные поверх карт, своими цифрами предопределяют страницы книги пророчеств Каббалы. Звезда Рейнике — Марс. Мадам нараспев читает из книги, заставляет Рейнике трепетать.

— На что мне надеяться?

— На Успех,— говорит мадам торжественно.— На полный Успех всего задуманного, мой победитель!

Черный кот у нее на коленях сладострастно изгибается и мяукает, словно подтверждает пророчество. У него желтые глаза и профиль Мефистофеля. За это его и терпят.

17. НОЯБРЬ, 1942. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

После отъезда Жака-Анри прошло всего несколько часов, а Жюль уже скучает. Они не просто привыкли друг к другу, но словно стали одним человеком с общими мыслями, чувствами и ощущениями. Кроме того, Жюль для Жака-Анри что-то вроде няньки, этакой пушкинской Арины Родионовны, и попечение о друге для него не обязанность, а скорее приятная необходимость. Аккуратный и точный в делах, Жак-Анри удивительно беспечен и непрактичен во всем, что касается его самого. Ему ничего не стоит уехать без платков или теплой пары белья, и Жюль прекрасно помнит, как в Испании под Пинелем Жак-Анри отдал ему всю воду из фляжки и на вторые сутки выяснилось, что он на грани жестокого обморока от жажды. Это произошло в те дни, когда термометр в тени редко опускался ниже отметки 30°...

Поболтав на углу со слепым Люсьеном о погоде и сунув ему в карман сигарету — традиция, введенная Жаком-Анри!— Жюль идет в контору. На вокзале все обошлось благополучно. Жюль издали наблюдал за посадкой и не отметил признаков слежки. Жак-Анри стоял у окна вагона с развернутой газетой, и это означало, что в купе нет подозрительных попутчиков. Патрули на перроне держались спокойно, гестаповцы в серых плащах с плюшевыми воротничками тоже не проявляли прыти, следя за посадкой; фельджандармы, подталкивая в спину, провели подвыпившего штаб-фельдфебеля; французский полицейский в крылатке спорил о чем-то с пожилым железнодорожником в измятой рубашке без галстука... Обычные для вокзала сцены. Скорый на Марсель отошел по расписанию.

«Три дня пролетят быстро,— думает Жюль, возвращаясь в контору.— Оглянешься, и нет их». Во втором кабинете он достает из тайника под подоконником расписание связи и, сверившись с ним, намечает программу на сегодня. Курьер из Берлина приедет вечером; от аэропорта Орли до «Эпон» он доберется часа за полтора, если повезет с машиной. С полковником из организации Тодта можно будет повидаться в полдень или чуть позже за аперитивом в баре. Там же назначена встреча со связным, осуществляющим контакт между «Эпон» и одним товарищем, внедренным в окружение Геринга. Товарищ этот не имеет ни имени, ни кодового псевдонима. Его сообщения связной берет из «почтового ящика», оборудованного в гараже разведки имперских ВВС. Знали бы фельдмаршал Мильх и генерал-полковник Йешоннек, кому они доверительно пересказывают новости!

Жюль — кадровый командир РККА и воюет там, где это необходимо. Но вот товарищ из министерства авиации Геринга — он немец. Один из курьеров эльзасец, еще один — француз. Их помощь России — чем она продиктована? Жюль проездом через Берлин встретился на несколько часов с тем товарищем. Это было в сорок первом, на третий или четвертый день войны. Жюль в упор посмотрел на полковничьи крылышки в петлицах мундира, на лицо собеседника и, не выдержав, отвернулся: самолеты люфтваффе уже бомбили Москву. Товарищ понял его взгляд.

— Да,— сказал он твердо, и скулы его напряглись.— Ты думаешь о том, что и я повинен в этом? Киев, Минск, теперь Москва...

В чужом произношении названия городов звучали незнакомо.

— Извини,— сказал Жюль.

— Можешь не подавать мне руки — операции разработаны в моем отделе.

— Тобой?

— И мной тоже.

— Ты мог бы уклониться! — беспощадно сказал Жюль.

— Разумеется. Но их все-таки разработали бы... Не думай, что я лишился сна от сознания вины за одно это. Я не сплю давно, с самого тридцать третьего.

— И служишь у наци?

— Не упрощай, товарищ! Постарайся понять: ненавидеть Гитлера и пассивно сопротивляться — не для меня. Концлагеря переполнены теми, кто думал тихим неприятием нацизма остановить его продвижение в стране. Католики, пацифисты, социал-демократы, тысячи и тысячи избирателей, полагавших, что с помощью бюллетеней они преградили Гитлеру дорогу в рейхстаг,— где они?.. Хорошо, не хочу больше об этом! Подумай лучше о другом, товарищ,— завтра русская авиация перехватит германские самолеты на подступах к своим городам, ибо время налетов она узнает от меня. Погибнут немцы. Для тебя они только фашисты, враги, а для меня — люди одной крови. Некоторых из тех, кого собьют, я знаю лично: с тем — учился, с этим — ухаживал за девушкой...

— Извини,— сказал Жюль.

— Ничего.

— Я все понимаю.

— Не все! Ты не спрашиваешь: «А зачем?»,— но я все-таки отвечу. Потому, что эти жертвы — ничто в сравнении с теми, каких потребует Гитлер в уплату за планы мирового господства. Чем быстрее покончат с Гитлером, тем меньше крови прольется, в том числе и немецкой. Вот в чем суть!..

Почему именно этот разговор вспомнился сейчас? Жюль перебирает бумаги и думает о товарище из Берлина. После той встречи он ни разу не видел его — не было ни повода, ни возможности. О том, что тот жив и работает, Жюль мог узнавать только из коротких писем, привозимых курьером, писем, где не было ни строчки о нем самом.

Звонок телефона возвращает Жюля из Берлина в Париж.

— Это кафе «Дижон»? Я хотел бы заказать столик!

— Это зоосад! — шутит Жюль и вешает трубку.

Новый звонок раздастся примерно через полминуты: пароль убедил абонента — техника со станции,— что в конторе нет посторонних. Жюль откладывает бумаги и ждет вызова.

Телефон не запаздывает.

— Алло?

— У меня дежурство, старина, и очень удачное.

— Я так и подумал. Как мой номер?

— Не прослушивается, я проверял... Старина, мне удалось зацепиться за одну линию. Помнишь, она тебя интересовала?

— Неужели Рейнике?

— Он самый. Живет в Булонском лесу, но не в гестапо, а на частной квартире, его телефон обслуживается обычным коммутатором.

— Не может быть!

— Представь себе! Сейчас я как раз поймал такое, что выходит из ряда вон! Счастье, что я вовремя подключился... Завтра немцы — ты слышишь! — оккупируют свободную зону! У меня голова идет кругом, старина!

— Завтра?— говорит Жюль.— Это точно?!

«А Жак-Анри поехал в Марсель. Предупредить его и Пьера? Но как?» Жюль подносит губы к самому микрофону, словно боясь, что их услышат.

— Ты мог бы вызвать Марсель? От себя?

— Нет, конечно!

— Никак?

— Говорю тебе, нет.

— Попытайся!

— На междугородной работают немецкие телефонисты... Кстати, ты мне напомнил... Рейнике говорил что-то о телефонных палатках в Версале. И о каком-то капитане Шустере. Похоже, боши собираются разместиться там — какая-нибудь часть или штаб. А?

— Мало ли их в Версале!.. Постой! Ты говоришь — палатки?

— Рейнике беспокоится, что телефонистам станут мешать. Предупредил полицию и жандармов, чтобы не совали в палатки нос.

— Можешь соединить меня с номером?

— С каким угодно! Хоть с телефоном Штюльпнагеля!

— И сам выключишься.

— Идет. Называй номер...

Жюль называет и успевает спросить:

— А линия не прослушивается?

— Говорю тебе, свободна! Соединять?

— Я готов...

Далекий мужской голос отвечает на вызов.

— Выгляни в окно,— говорил Жюль.

— Это еще зачем?

— Не спрашивай! Выгляни и скажи, что ты видишь?

— Почтальона... Пьяного старика Жиго... Патруль прошел... Старик Жиго ретировался в подворотню...

— Ищи палатку.

— Вижу. В конце улицы. Ну и что?

— Немедленно уходи!

— Зачем?

— Уходи как можно скорее и брось все.

— И чемодан?

— Да, рацию получишь другую. Ты понял меня?

— Понял. Но я не одет.

— Исчезни из Версаля и больше никогда там не появляйся. Вечером будь в пассаже Лидо, я подойду к тебе... Вечером, в пассаже Лидо...

— Я понял...

Жюль вешает трубку и встает. Надо ехать в Версаль. Немедленно. Убедиться самому, что радисту удалось уйти... Но пока он поедет, пройдет уйма времени. Как быть?.. Это просто счастье еще, что Жак-Анри разгадал гестаповский трюк с палатками, а техник на редкость кстати нашел телефон Рейнике... А не пригодится ли полковник из организации Тодта? Он будет в полдень в баре.

До бара Жюль добирается на старом, отслужившем свой срок автобусе. В «Эпок» все телефоны переключены на старшую конторщицу, которой дан наказ отвечать, что господин Легран в отъезде, а Жюль, захворав, отправился к врачу и сегодня не вернется... Автобус плетется, приседая на перекрестках. Подолгу стоит на остановках, и Жюль, стиснутый на площадке двумя толстыми бретонками, печально вспоминает московский троллейбус, такой быстрый и удобный. Доведется ли ему еще поездить на нем? Перед самой войной по улице Горького до «Динамо» стали ходить двухэтажные машины; наверх с задней площадки вела лестница, похожая на корабельный трап, и кондукторши, стоя у нижней ступеньки, веселыми голосами кричали: «Которые на чердаке, все платили за проезд?» Жюль сажал на колени пятилетнюю дочь и показывал ей в окно Петровский парк и новый дом на площади Пушкина и сам с не меньшим любопытством, задирая голову, разглядывал скульптуру женщины на крыше этого углового дома, появившегося за месяцы одной из его командировок. Сам он с семьей жил в старом здании, с коридорной системой, где майоры и комбриги по утрам здоровались в очереди в ванную и где жены привыкли не удивляться долгим отлучкам мужей. На дверях ванной, помнится, висело суровое объявление, написанное женоргом: «Соблюдая личную гигиену, помни о гигиене товарища!» И командиры, моясь, побивали все рекорды по части быстроты.

У площади Пигаль Жюль, проскользнув меж бретонками, спрыгивает с подножки. Поправляет смявшийся пиджак и с самым беспечным видом входит в бар. Полковник уже за стойкой, тянет через соломинку из высокого бокала свой аперитив.

— Господин полковник! Какая встреча!

— Присаживайтесь,— прохладно отвечает полковник.

Жюль с польщенным видом пристраивается на самом краешке соседнего табурета.

— Один оранжад!

— Не разоритесь? — насмешливо спрашивает полковник.

— Что поделаешь, вся Франция зиждется на экономии.

— Скажите лучше: на скупости!

«Ну ты-то нам недешево обошелся!» — думает Жюль и мочит кончик языка в апельсиновом соке.

— Вы на машине? — спрашивает он полковника.

— Подвезти?

— Сочту за честь просить вас.

Полковник сам водит малолитражку. На свидания с Жюлем и Жаком-Анри он предпочитает приезжать в ДКВ и без шофера. Просто удивительно, как быстро он овладел правилами конспирации — правилами, которые никто ему не преподавал. Свой процент от сделок он хочет иметь без помех, не компрометируя себя связями с «Эпок». Совесть, как замечает Жюль, уже не тревожит его: очевидно, коммерческие выгоды заставили ее умолкнуть.

— Где ваш шеф? — спрашивает полковник, включая скорость.

— На водах.

— Печень?

— Что-то вроде.

— А мои бумаги? Он взял их с собой?!

— Они в сейфе,— говорит Жюль.— Да успокойтесь же! Вашим бумагам ничего не грозит.

— Я бы хотел получить их завтра же. Могут хватиться.

— Получите. И куртаж тоже! Или он вас не волнует?

Полковник рывком переключает скорость.

— Знаете что?..

— Догадываюсь,— кротко говорит Жюль.— Вы не очарованы нашим сотрудничеством. Я тоже. Боюсь, что при известных обстоятельствах вы постараетесь отправить меня в гестапо.

— Что за мысль?!

— Увы, вполне здравая...

— Вздор!.. Куда мы едем?

— В Версаль. Этой дороги хватит, чтобы поговорить обо всем...

«Успел или нет? — думает Жюль.— Чертовы палатки — с них начались провалы в Лилле и Брюсселе... Опять абвер. Он просто из кожи вон лезет!»

Первую палатку Жюль обнаруживает в начале тупика у площади, вторая стоит на перекрестке и третья — закупоривает выезд из улицы. Возле нее — дорожный знак. Если мысленно проложить линии, получится геометрически правильный треугольник, в центре которого — дом с ампирной лепкой по фасаду. В одной из квартир этого дома работал радист. Жюль отыскивает окно — второе слева на последнем этаже. Шторы задернуты. Кажется, обошлось...

— Минутку,— говорит он полковнику.— Остановитесь-ка здесь!

Возле дома с ампирной лепкой — общественный туалет. Жюль занимает крайнюю кабинку, ищет на кафельной плитке крестик... Все в порядке: крестик на месте и цифра тоже! «1110». Одиннадцать часов утра, десятое ноября. Жюль клочком бумаги стирает надпись. Выйдя на дневной свет улицы, щурится и старается не глядеть в сторону палатки. Теперь она может торчать здесь сколько угодно, хоть до второго пришествия.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

18. НОЯБРЬ. 1942. ЖЕНЕВА, РЮ ЛОЗАНН, 113.

На берегу Женевского озера в любую погоду гуляют дети. С боннами, гувернантками, сами по себе, они благовоспитанно вышагивают вдоль парапета и, совсем как взрослые, невыразительно глядят прямо перед собой. Маленькие мадам и месье выполняют важную обязанность — поглощают кислород, освобождая легкие от нечистого воздуха школьных классов. Так же чинно они кормят голубей и играют в «решеточку» на расчерченном цветными мелками асфальте. Белые банты и разглаженные щеткой проборы склоняются над квадратом, в который попала брошенная монетка, и деловито совещаются: кажется, монета легла на черту — разрешают ли правила перебросить?

Возвращаясь со свидания с Камбо, Ширвиндт ненадолго задерживается возле детей. Старый холостяк, он любит понаблюдать за ними, и у него есть здесь знакомые. Беленькая, с мышиным носиком Рут делает ему книксен и получает пакетик голубиного корма. Ширвиндт, покряхтывая, опускается на корточки, посвистывает, но голуби, переваливаясь с боку на бок, обходят его и, толкаясь, спешат к Рут.

— Я слишком стар для них,— говорит Ширвиндт и встает.— Как ты думаешь, Рут?

Рут рассудительна:

— О, что вы! Просто корм у меня, и они это понимают. Вы придете завтра?

— Возможно,— говорит Ширвиндт.

Рут приседает в книксене с грацией первой придворной дамы. Со временем она станет превосходной служащей и примерной женой: к этим двум профессиям ее готовят с пеленок.

Сворачивая к площади, а от нее к Школе изящных искусств, Ширвиндт еще несколько мгновений думает об этом, но мысль о будущем Рут слишком незначительна, чтобы захватить его целиком и заставить забыть о той, чье имя тоже начинается с буквы «р»... Роз... Как он предостерегал ее! Сколько говорил об осторожности и о волчьих ямах, которыми изрыта тернистая тропа разведчика... Говорил и все-таки не уберег!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—24.

Связной сообщил об исчезновении Роз в понедельник, и Ширвиндт сразу же кинулся к знакомому капитану. Сказал, что беспокоится о судьбе своей секретарши, попросил навести справки. Капитан склонил голову.

— Мужайтесь, мой друг... Если бы вы не пришли, я позвонил бы сам.

— Что вам известно? — спросил Ширвиндт.

— Посмотрите-ка вот это... Копия донесения пограничной стражи. Я снял ее для вас...

В тот же вечер связной привез рацию Роз и книгу шифра. Он влез в ателье через окно и с трудом обнаружил тайник возле печи. Остальные вещи Роз — чемоданчик с бельем, письма, безделушки — остались в пансионе. Полиция обыскала ателье через час после ухода связного — он видел машину, прибывшую из Давоса.

Ширвиндт послал сообщение Центру и из ответа узнал, что в Париже создан штаб по координации деятельности германской контрразведки во главе с бригадефюрером Рейнике. Центр указывал: «В случае непосредственной опасности для вас, наших друзей здесь и в других местах, постарайтесь перебраться в Барселону, Калье де Мадрид, 17, сеньор Хуан Хусте. Пароль: «Я пришел от Профессора после операции аппендицита». Хотя в Париж и послано сообщение об этом, со своей стороны, свяжитесь с нашими друзьями там и подтвердите наш приказ». Ширвиндт дал радиограмму Жюлю с полученным адресом и сжег шифровку, не стараясь запомнить координаты сеньора Хуана Хусте. Все равно он не сумеет воспользоваться ими: в Женеве нет человека, который его заменил бы, и он останется здесь до самого конца. Такое же предупреждение восемь месяцев назад (только адрес был иным) он передал товарищам из группы «берлинцев», но никто из них не уехал, группа работала, хотя гестапо стояло где-то у самого порога конспиративных квартир; зато о весеннем наступлении немцев Генеральный штаб РККА узнал достаточно, чтобы принять контрмеры...

Утром Буш прислал жену, а с ней еще одну радиограмму. Ширвиндт прочел ее и днем заглянул в магазинчик Буша. Симон хлопотал у плиты — с блаженным лицом вдыхал аромат крепчайшего кофе. О беде он не знал, был весел, и Ширвиндт постарался не огорчать его, тем более что в радиограмме речь шла как раз о Буше.

Симон разлил кофе по фаянсовым кружкам.

— Мой собственный рецепт! Пальчики оближешь!

Ширвиндту показалось, что он глотнул концентрированного раствора хины. С трудом протолкнув в горло горячую жидкость, он отвел руку Буша с кофейником.

— С меня хватит, Симон. К тому же я по делу.

— Говори.

— Ты мог бы оставить магазин на жену?

— Конечно. Хоть на месяц!

— Ты не понял: я имел в виду — надолго оставить. До конца войны...

Центр просил дать парижанам хотя бы двух радистов. Одного из них Ширвиндт выделил безболезненно: рация числилась запасной, товарищ сидел без дела в Берне и давно уже просился куда угодно, только бы не торчать с утра до ночи в меблирашках, вдали от настоящих событий. Вторым мог бы стать Буш с его подлинным паспортом швейцарского гражданина. Но захочет ли он?

— Могу я посоветоваться с женой? — спросил Буш.

— Конечно, Симон.

— Завтра я отвечу.

— Обдумай все, дружище, и не торопись.

— Будь спокоен!

— Серый котелок не показывался?

— К счастью, нет. Ложная тревога, Вальтер!

— Возможно, что и так...

Ширвиндт никогда не был склонен преувеличивать степень той относительной безопасности, которую им обеспечивал сомнительный нейтралитет Швейцарии. С первых дней мировой войны ответственные чиновники в Берне повели себя двусмысленно. Многочисленные разведки Германии действовали почти в открытую, не хватало только вывесок на их люцернских, цюрихских и женевских филиалах. Советский Союз не имел в Швейцарии дипломатического представительства, и не по своей вине: прогерманские позиции конфедеративного МИДа не составляли секрета ни для кого, в том числе и для Наркомата иностранных дел в Москве. Но при всем том во Франции, куда должен был переехать Буш, было еще опаснее. Ширвиндт так и сказал Бушу перед прощанием и добавил, что не будет в претензии, если тот откажется.

— Ясно,— недовольно сказал Буш.— Не нужно повторяться, Вальтер. Кланяйся при случае малютке Роз. Как она там, в Сен-Морице?

— Катается на лыжах,— ответил Ширвиндт и поторопился уйти.

...С тяжелым сердцем Ширвиндт едет в этнографический музей. И до войны его залы не ломились от публики, а сейчас он так безлюден, что шаги Вальтера будят эхо под потолком. Из трех женевских музеев — есть еще естествознания и искусств — Камбо облюбовал для рандеву именно этот. Ширвиндт боится, что они уже примелькались смотрителям. Встречи возле стендов с тотемами индейских племен лучше прекратить, перенеся их хотя бы в Ботанический сад...

Безразлично разглядывая забавных божков из Бирмы и африканские маски с багровыми, вздувшимися губами, Ширвиндт передвигается от коллекции к коллекции и таким образом оказывается вплотную к Камбо, пристально изучающему удивительно непристойную фигурку Шивы.

— Изумительно,— говорит Камбо, не поворачивая головы.— Какая естественность!

Ширвиндт снимает и протирает очки.

— Нам надо поговорить.

— К вашим услугам.

— Отлично. С услуг я и начну. Боюсь, что придется от них отказаться.

— Почему? Разве я не точен?

— Напротив.

— Дело в цене?

— Нет. В ваших источниках. Если бы мы здесь играли в заговорщиков, таинственность была бы хороша и уместна. Но и тогда вопрос о том, где и как вы получаете информацию, оказался бы не лишним.

— Мы, кажется, договорились...

— Времена меняются!

— И мы вместе с ними?.. Эта латинская пропись слишком диалектична. И потом: что вам не нравится? Я ведь не спрашиваю вас, кого вы представляете: «Интеллидженс сервис», американцев или русский Генеральный штаб? Согласитесь, это предел лояльности с моей стороны.

— А чем вы рискуете?

— А вы?

— Всем!

— Сильное выражение.

— И точное, Камбо... Словом, или откровенность, или конец всему.

— Тогда конец.

— Сожалею...

Ширвиндт делает шаг, чтобы уйти, но Камбо дотрагивается до его локтя. Сморщенное лицо его сжимается в кулачок.

— Не горячитесь, мой друг...

— Что еще?

— Давайте рассуждать логично. Допустим, в Германии есть группа лиц, стоящих в оппозиции Гитлеру. Допустим далее, что эта группа готова сотрудничать с кем угодно, чтобы свалить обожаемого фюрера в помойную яму. Неужели вы откажетесь от услуг этих людей только потому, что они предпочитают не афишировать свои имена?

— Безусловно!

— Политика белых перчаток?

— Вам больше нечего сказать, Камбо? Тогда прощайте!

— Подождите! Может быть, вас заинтересует последующее? Я еще не кончил.

— Договаривайте.

— Эти лица занимают большие посты в империи. Поставьте себя на их место и решите, как поступить.

Ширвиндт разочарованно пожимает плечами.

— Слишком много слов.

— Вы настаиваете на своем?

— Самым решительным образом.

— Хорошо же! Вас успокоит, если я скажу, что в числе моих друзей два генерал-фельдмаршала, бывший обер-бургомистр и некоторые члены ставки?

— Их имена?

— Не все сразу. Сначала я спрошу моих друзей, хотят ли они лишиться инкогнито, а пока ограничусь изложением нашей платформы. Вам интересно?

Ширвиндт еще раз пожимает плечами.

— Мы — антинацисты. Общо? Но, увы, другого термина нет. Политические нюансы, оттенки, разногласия в данный момент нас не волнуют. Не скрою, некоторые из нас считают себя людьми вне политики, и их оппозиция фюреру носит сугубо личный характер. Что касается меня, то я сторонник парламентской Германии, но с сильным лидером во главе правительства. Наци номер один — просто необузданный психопат, его придется заменить. Ради этого я иду на контакт с вами. Поражения на фронте подтачивают авторитет и власть господина с усиками и создают почву для переворота. Колокол на ратуше должен будет зазвонить рано и поздно.

— Звучит красиво. Но при чем здесь мы?

— Все мы у веревки колокола!

— Вы так считаете?

— Почему бы и нет?

Ширвиндт холодно смотрит на собеседника.

— Авантюры с заговорами? Здесь нам не по дороге, Камбо.

— А я и не зову вас в путь. Как-нибудь обойдемся! Для меня главное, что наша информация помогает одной из держав в ее войне и тем самым уподобляется зубцу на пиле, которая подрезает сук под Гитлером. Мое сотрудничество с вами продлится до того часа, когда в кресло рейхсканцлера сядет наш человек.

— Кто же он?

— Может быть, тот самый бывший обер-бургомистр, а может быть, и один из членов нынешнего правительства.

Из музея Ширвиндт уходит озабоченный. Разговор с Камбо имеет первостепенное значение. Оппозиция и заговор — об этом сообщали «берлинцы» незадолго до провала. Называли имена фельдмаршалов фон Бока и Рунштедта, но точно определить их роли и степень участия в оппозиции «берлинцы» не могли. Что касается «обер-бургомистра», то это может быть Герделер, старый интриган, ненавидящий Гитлера по соображениям личного свойства,— его имя тоже упоминалось в сообщениях. Обо всем этом следует немедленно доложить Центру. Если Камбо не лжет, то надо, во-первых, резко отгородиться от возможных попыток использовать себя в узких интересах заговорщиков и, во-вторых, получить от них все, что удастся. О «белых перчатках» нет и речи, когда враг топчет твою землю!

На обратном пути и происходит встреча с Рут — встреча, остро напоминающая Ширвинду о Роз. Бедная девочка, каково ей сейчас?

Ширвиндт звонит из конторы капитану: нет ли новостей? Полиция ведет расследование? Ах, полиция!.. Что же она узнала?

— В последний раз нашу знакомую видели в Тифенкастеле в обществе одного господина. Кстати, он в тот же вечер покинул отель в Давосе, где жил свыше недели. По документам он значится Дюроком. Это вам что-нибудь говорит?

У Ширвиндта мертвеют губы.

— Так, кое-что,— отвечает он.— Продолжайте, пожалуйста...

— В газетах не появится ни строчки. Полиция считает, что здесь замешано гестапо.

— Кто же еще! — говорит Ширвиндт с горечью.

— Наш МИД, очевидно, заявит формальный протест, но не будет добиваться возврата похищенной. Обычная практика. Помните историю в Голландии? Тогда речь шла о двух помощниках английского военного атташе, официальных лицах! Немцы вывезли их среди бела дня, и голландцы промолчали. Что же вы хотите от Берна?

Ширвиндт стискивает зубы и закрывает глаза. Тьма окутывает его, тьма, из которой улыбается Роз. Нет, не Роз — Аня Мальцева.

19. НОЯБРЬ, 1942. МАРСЕЛЬ, РЮ ЖАРДЕН, 17-21.

О продвижении немцев на юг Франции Жак-Анри узнает еще в пути. Поезд давно выбился из расписания, плетется, простаивая в Оранже, Авиньоне и Арле дольше положенного. Почти на каждой остановке солдаты в стальных шлемах проверяют документы и кого-нибудь ссаживают; полевые жандармы с бляхами на мундирах подозрительно вглядываются в лица пассажиров, словно они по меньшей мере замаскированные «коммандос». Пропуск Жака-Анри подписан высшим руководителем полиции безопасности и СД генералом Кнохеном, но и он не вызывает у патрулей особенного почтения. Требуют удостоверение личности, сверяют фотографию с оригиналом и только тогда неохотно возвращают бумаги.

— Можете следовать!

Под утро экспресс наконец минует Арль, где проверка особенно тщательна, и вместе с бледным рассветом вползает в Марсель. На вокзале гестапо уже оборудовало фильтрационный пункт, и Жак-Анри становится в хвост длинной очереди, голова которой уперлась в стол перед турникетом. Здесь несколько штатских, пока почти корректных, сортируют людей и документы.

— Проходите!

— Проходите!

— В сторону!

— Но, мой бог, за что?!

— Не задерживайте! В сторону! Вахмистр, да утихомирьте же его!.. Следующий! Пропуск?

Мужчина в светлом пальто из верблюжьей шерсти цыпленком бьется в руках вахмистра и солдат. Вахмистр заводит ему руки за спину и вталкивает в двери вокзала. Женщина, стоящая в очереди возле Жака-Анри, бледнеет и начинает медленно оседать. Жак-Анри едва успевает поддержать ее.

— Вам плохо?

— О нет, ничего. Благодарю, месье...

Женщина пытается улыбаться. Еле держится на ногах, но все-таки пудрит нос, подкрашивает губы — красота кажется ей самой надежной защитой от гестапо. Старший из чиновников повелительно протягивает руку. Не поднимая головы от стола, торопит.

— Документы. Быстрее!

— Я еду к мужу.

— Что она говорит? — спрашивает второй гестаповец — юный Зигфрид с зелеными глазами кошки.— Ты понял ее?

— Она едет к...— переводит старший, заменяя слово «муж» непристойным словечком. И продолжает по-французски: — В сторону!

— Я еду к мужу,— настаивает женщина; ее хорошенькое личико становится белее пудры.— Я не могу опаздывать...

— Что она говорит? — допытывается зеленоглазый.

Старший коротко смеется:

— Франция недоплатила нам по репарациям.

— Натурой?

Старший кивает.

— В сторону!

— Стыдитесь, господа!

Из-за спины Жака-Анри, с бессильной яростью слушающего этот диалог, выдвигается рослый шатен в темном, очень респектабельном плаще и толстых дорожных перчатках. Не снимая перчаток, достает из кармана бумажник, а из него — необычного вида документ в виде карточки, вложенной в прозрачный пакет из целлулоида. Гестаповец смущен.

— Это была шутка...— начинает он.

— Фамилия? Чин?

Металлические интонации заставляют подобраться не только старшего, но и остальных. Зеленоглазый потихоньку отодвигается от стола.

— Криминаль-секретарь Ленц! СС-унтерштурмфюрер!.. Это была шутка, господин...

— Капитан фон Модель, штаб бригадефюрера Рейнике! Кто научил вас так неуместно шутить, унтерштурмфюрер Ленц?

Жак-Анри настораживается. Из штаба Рейнике?.. Француженка роняет сумочку прямо к ногам капитана, и тот с галантной улыбкой возвращает ее владелице. Слегка наклоняет голову.

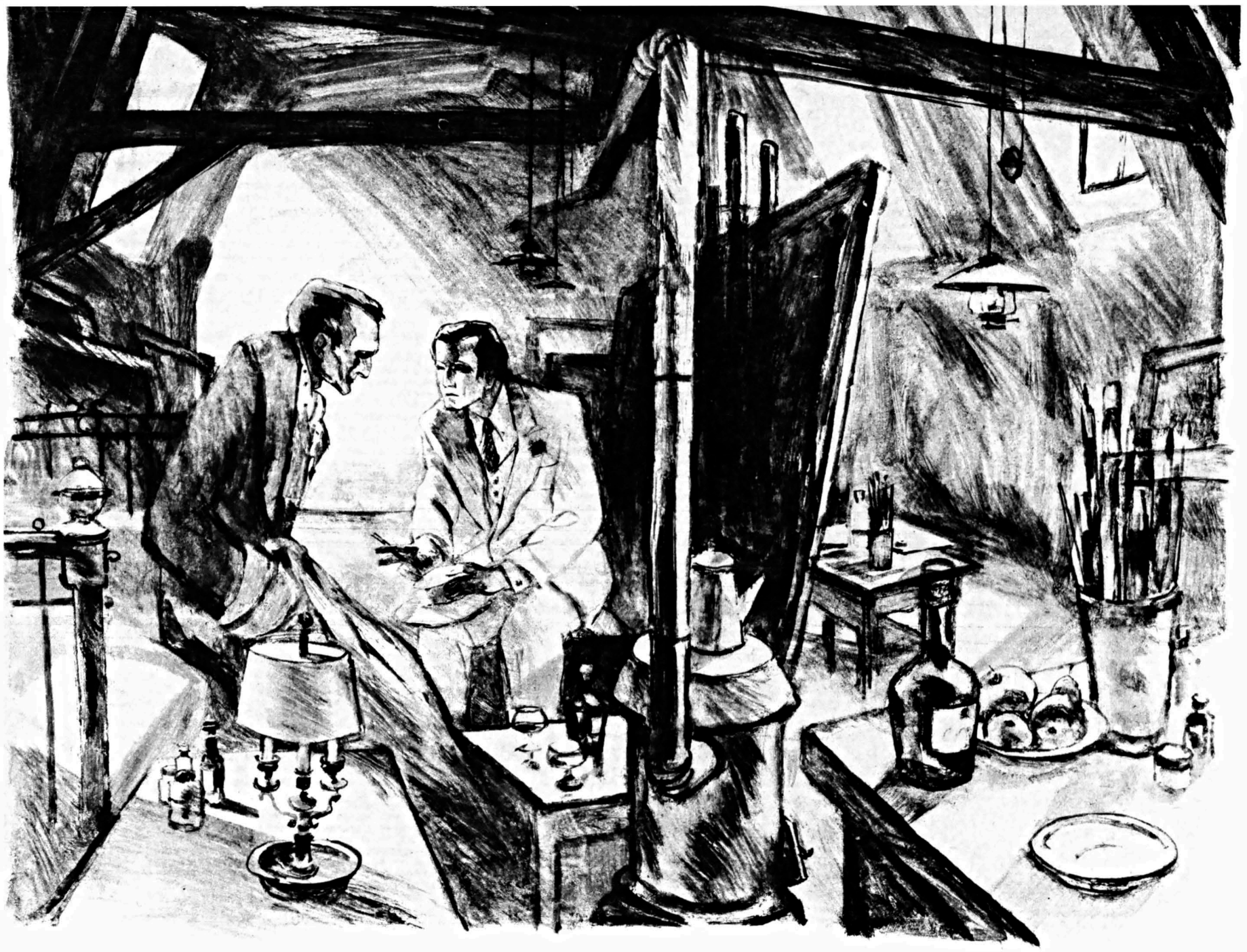
— Германская армия не воюет с населением, мадам. Господин офицер ошибся... Что поделать, у всех нервы!

— Я так благодарна!—лепечет француженка.

— Мадам позволит проводить ее?..

Жак-Анри достает свой пропуск... «Армия не воюет с населением!» Сколько раз он слышал эту фразу! О да, вермахт, разумеется, не воюет с женщинами и детьми! И приказы о взятии и казни заложников подписывает не военный комендант Парижа. И деревни на Украине и в Белоруссии сожжены не армейскими частями. И массовые расстрелы по всей Европе проводятся не ими!..

Получив документы назад, Жак-Анри выходит на привокзальную площадь следом за немцем,



назвавшимся фон Моделем. Тот ведет свою спутницу к серому «оппель-адмиралу», за рулем которого сидит штатский. Женщина с признательностью улыбается своему спасителю. Еще одна Красная Шапочка, обманутая господином Волком. За доверчивость она расплатится где-нибудь в отеле, куда не посмеет отказаться зайти... Но что ему нужно здесь, в Марселе, этому фон Моделю?

Трамваи еще не ходят, да и неизвестно, пойдут ли они сегодня, и Жак-Анри добирается пешком до пансиона мадам Бельфор. Он проникает в дом со стороны улицы Хеффер: лучше, если прислуга не увидит его. Пьер, заспанный, в стеганом халате, стоит у окна. Глаза его полны тоски.

— Это катастрофа,— говорит он.— Франция погибла. Слышишь: в Тулоне взрывают флот!

— Ты уверен, Пьер?

— Адмирал предупреждал меня.

— А марсельская бригада эсминцев?

— Ее уже нет...

На глазах Пьера слезы, и он их не стыдится. Всякий француз, кто бы он ни был, с детства влюбляется во флот. Корабли под трехцветным национальным флагом — предмет гордости от Наварры до Иль-де-Франса. Сильный флот — сильная Франция, так считал еще Наполеон... Теперь флота нет. Корабли уходят на дно, подняв сигналы «Погибаю, но не сдаюсь!». Разгром республики, начавшийся в тридцать девятом, завершается в эти минуты. Чем может Жак-Анри утешить Пьера?

— Где рация? — спрашивает Жак-Анри.

— Не здесь...

— Связная придет?

— Если доберется.

Жак-Анри кивает: это хорошо. В такой час лучше быть всем вместе. Надо хорошенько подумать, как работать дальше в новых условиях... Продолжая осматриваться, он находит взглядом свежий картон с контурами головки. Профиль едва намечен, нет ни шеи, ни затылка, волосы только означены, но все равно это Жаклин, как живая.

— Ты неосторожен,— с упреком говорит Жак-Анри.

— Она моя натурщица, так ее знают в пансионе.

— Я не подумал об этом.

— В иное никто бы не поверил. Я слишком древний гриб для нее.

— Не наговаривай на себя, Пьер! Ты выглядишь хоть куда!

На восковом лице Пьера мелькает улыбка. Сердце Жака-Анри сжимается от жалости: Пьер так худ и прозрачен, что становится больно за него. Карман халата оттопырен баночкой.

— Я еще побываю на твоей выставке в Салоне. После войны все мы приедем на твой вернисаж, и ты подаришь мне этот картон. Идет?

— Отвернись,— краснея, говорит Пьер.

Жак-Анри отворачивается к стене и ждет, пока он переоденется. Пиджак болтается на худых плечах Пьера, словно под ним нет тела. Воротник рубашки способен вместить еще одну шею... Пьер перекладывает баночку в карман брюк.

— Я готов... А что касается рисунка — он твой, и ты можешь взять его сейчас. Хоть какая-нибудь память... Я ведь не такой оптимист, мой дорогой!

Говоря, Пьер извлекает из-под подушки изящный браунинг с перламутровыми накладками на рукоятке и заталкивает его за пояс. Щелкает согнутым пальцем по обойме.

— Как видишь, я все-таки дорожу жизнью. Ты не верь, когда я говорю, что мне все равно. Старики любят пококетничать... Пойдем?

По черной лестнице они спускаются в сад, огибают заросли акации и, приминая пожухлый газон, доходят до калитки.

— Мой моцион,— говорит Пьер.— Считается, что я живу в двадцать первом номере, и это вынуждает меня бегать сюда по утрам.

— Зачем?

— Спроси у мадам Бельфор, это ее идея. Впрочем, сейчас все увидишь.

Они пересекают сад и по поляне идут к дому. Стена кустов укрывает их от нескромных глаз. Пьер минует черный ход и останавливается у лестницы, ведущей в подвал. В углу подвала дверь, завешанная пришедшим в негодность, истертым ковром. Пьер вставляет ключ в скважину, и замок издает мышиный писк.

— Старый ход для прислуги,— говорит Пьер, когда они входят в каморку с винтовой лестницей у стены.— Пещера Аладина, из которой можно попасть на второй этаж в угловую комнату. Ты помнишь, кто там жил?

— Кажется, горничная?

— Ну и память!.. Я-то знаю об этом от мадам Бельфор. Она все еще вздыхает по тем временам, когда горничные были на всех этажах.

— Я думал, ты работаешь отсюда.

— Цени мадам! Она мудра, как Талейран... Та комната наверху соединена с двумя следующими, а через них — с моей спальней. То есть сплю я, конечно, в номере семнадцать, в мастерской, а сюда прихожу по утрам, чтобы дать возможность прислуге удостовериться в моем наличии. Неплохо придумано?

— Пока не знаю...

Пьер огорчен.

— Что тебе не нравится?

— Слишком сложно все это, ну да ладно, тебе-то удобно так?

Впрочем, оказавшись в спальне, Жак-Анри смягчается: ход в нее с обеих сторон замаскирован под стенной шкаф, и убежище кажется надежным. Тем более, что Пьер работает отсюда уже полтора месяца или около того.

— Связная придет днем? — спрашивает он, устраиваясь в кресле.

— После сеанса.

— А прислуга?

— Не раньше двенадцати. Я ведь старик с причудами и встаю поздно.

— Тем лучше. Сколько еще до сеанса?

— Минут двадцать,— говорит Пьер.— Хочешь отдохнуть?

— Нет, напишу кое-что. Где код?

— Там же, где и рация!

Глаза Пьера блестят торжеством.

— Не ищи, все равно не найдешь!

Кажется, Жаку-Анри известны наперечет все мыслимые места для устройства тайников, но выдумка Пьера приводит его в восхищение. Никто до него не додумался спрятать рацию в испорченной газовой колонке ванной. При обыске в первую голову обычно вскрывают пол, обстукивают стены, потрошат мягкую мебель. Крохотная ванная комната, примыкающая к

спальне, с бездействующими кранами и закопченной колонкой, меньше всего способна вызвать подозрения.

Пьер доволен и даже не скрывает этого. Художник, человек, далекий от политики и смешивающий Жиро с Дарланом, он поразительно быстро приобрел навыки конспиратора. Люди, рекомендовавшие его, не ошиблись в выборе, хотя Жак-Анри на первых порах немало колебался. Скорее всего, он все-таки постарался бы обойтись без Пьера, если бы Пьер сам не потребовал дела, пригрозив уходом в маки в случае отказа.

— Искусство, ну и что? — желчно сказал он, выслушав возражения Жака-Анри.— В Испании я, между прочим, занимался тем, что воевал за него. И на линии Мажино — тоже.

Жак-Анри уступил и сейчас нисколько не жалеет об этом.

— О чем ты думаешь? — спрашивает Пьер и возится с колонкой.— Код я держу под вытяжным колпаком, а антенну пропускаю вдоль трубы. Нравится?

Он, как ребенок, гордится своей изобретательностью, и Жаку-Анри опять становится грустно. Картины Пьера чудесны, хотя и не всегда понятны. В Испании Пьер однажды нарисовал комиссара бригады, и комиссар потом долго дулся, считая, что Пьер его разыграл. Зеленые линии, странно переплетенные с синими пятнами и черными кляксами, трудно было признать за лицо человека. Где нос? Где рот и губы?

— Я этого не заслужил,— сказал комиссар и тем, в свою очередь, обидел Пьера.

— Есть люди,— ответил Пьер,— с врожденными недостатками. Ты из их числа... И вообще — нельзя же все рассматривать с помощью Маркса! Левое искусство опередило века.

Спор окончился тем, что Пьер, позлившись, изобразил комиссара на листке из блокнота — в традиционной манере и даже с прыщом возле носа. Это их примирило.

— Возьми свою фотографию,— сказал Пьер величественно.— И можешь ею любоваться.

Той же ночью комиссара зарезал марокканец, а оглушенного Пьера интербригадовцы едва успели вытащить из окопа. Жак-Анри долго нес его на спине — республиканские части покидали позиции. Где это было? Под Картахеной?

— Помнишь комиссара? — говорит Жак-Анри.

— Маленького Ганса? Еще бы! Почему ты спросил?

— Сам не знаю.

Жак-Анри встает и подходит к окну. Улица словно вымерла. Одинокий забулдыга плетется из подворотни на пансион. Воистину для пьяницы все безразлично: свой стаканчик он пропустит и в разгар землетрясения. Жак-Анри собирается вернуться в кресло, но задерживается — из перекрестка на улицу въезжает маленький «пежо», яркий, как яичный желток, а следом за ним подкатывает длинный «оппель-адмирал». На глазах Жака-Анри пьяница трезвеет и стремглав летит навстречу штатскому, вылезающему из передней машины.

— Пьер,— зовет Жак-Анри.— Поди-ка сюда.

Пьер недоволен: он как раз колдует над кодом.

— Что случилось?

— Смотри.

— Вижу. Это Мейснер из Комиссии по перемирию. Он живет здесь, напротив. Мадам Бельфор ненавидит его за испачканные одеяла... Ого, притащил целый шлейф друзей. Победители празднуют взятие Марселя! В бою, с развернутыми знаменами! За это, конечно, следует выпить, и, будь спокоен, к вечеру они надерутся как свиньи!

— Не слишком ли их много? Мне они не нравятся! И этот штатский...

— Полицейская охрана высокой особы. Дежурят здесь не первый день. Не прикажешь ли его прогнать?

— Не шути...

— Какие уж шутки, когда через две минуты сеанс? Извини, мне пора к рации. Можешь подремать полчаса.

Успокоенный Жак-Анри отходит от окна как раз в тот момент, когда Модель, задержавшийся в машине, выбирается на тротуар и разминает ноги. Жак-Анри садится в кресло и вслушивается в баюкающее шуршание, которое доносится из ванной. «Слава богу,— думает Жак-Анри,— в Марселе нет пеленгаторов. Но завтра они могут появиться, и тогда...»

Как ни слаб шорох у двери, Жак-Анри улавливает его и успевает вскочить. На цыпочках подходит, прикладывает ухо к филенке. Он не обманулся: в коридоре кто-то пытается повернуть ручку. Бронзовая змея с зелеными фарфоровыми глазками скользит вниз, доходя до упора. Жак-Анри кладет на нее руку, словно пытаясь остановить движение, и тут же заставляет себя сделать шаг назад. Змея возвращается на место...

— Пьер! — шепчет Жак-Анри, забывая, что с прижатыми к голове наушниками Пьер ничего не может услышать.

Сообразив это, Жак-Анри по-прежнему на цыпочках бежит к ванной, рывком поворачивает Пьера за плечо. Прикладывает палец к губам.

— Тс!.. Скорее!

Пьер сдергивает наушники и изумленно смотрит на Жака-Анри.

— Что с тобой? — говорит он громко, и в этот же миг в дверь стучат.

— Скорее! — шепчет Жак-Анри, обрывая провод антенны и заталкивая за пояс брюк кодовую книгу.

— Я сам...— говорит Пьер все так же громко.

— К черту рацию!

— Сейчас...

Дверь начинает ходить ходуном под ударами.

— Откройте! Германская полиция! Сопротивление бесполезно!

По лицу Пьера блуждает растерянная улыбка. Он пятится к стенному шкафу, одной рукой подталкивая Жака-Анри, а другой высвобождая зацепившийся за подтяжки браунинг. Жак-Анри не успевает помешать ему.

— Я сам...— бормочет Пьер и стреляет в дверь.

В ответ сухо и отчетливо отзывается автомат. Пули пробивают филенку и со свистом впиваются в простенок. С потолка на плечи Жака-Анри сыплется алебастровая мука.

— Я сам... сам...— повторяет Пьер, продолжая стрелять.— Я сам...

Кроме этих слов, он не произносит ничего. Улыбка, как приклеенная, дрожит на его лице. Жак-Анри хватает его за руку, и в тот же миг Пьер валится на него, роняя пистолет. Рубашка тлеет у него на груди в тех местах, куда попали пули. Жак-Анри едва не падает: мертвый Пьер нестерпимо тяжел... Голова Пьера глухо ударяется о паркет, ноги вздрагивают и вытягиваются...

Словно смерч подхватывает Жака-Анри, пронося его через три комнаты и по винтовой лестнице. Внизу он обнаруживает, что сжимает в кулаке браунинг, но не может вспомнить, как и когда подобрал его. Он отбрасывает браунинг и прижимается к ковру, прислушиваясь. В подвале тихо. Неужели немцы не оцепили сад? Так бывает только в сказках!.. Но сказка это или нет, а сад пуст. Убедившись в этом, Жак-Анри, пригнув голову, пробирается к калитке, открывает ее и оказывается в спасительной чаще акаций. Отсюда есть ход, известный только ему и мадам Бельфор,— он выводит к пустому гаражу, а через него — на улицу Хеффер. Остается решить: выждать немного или немедленно воспользоваться этим путем.

Жак-Анри переводит дух, смотрит на часы. Ровно одиннадцать. Дай бог, чтобы Жаклин где-нибудь задержалась. Откуда она входит в пансион? Если бы только знать наверняка!..

Платком Жак-Анри стряхивает с плеч алебастр и ныряет в гараж. Тусклое стекло в окошке едва пропускает свет. Жак-Анри принимает к нему, всматриваясь в улицу, и тут же слабеет, ощутив тупое прикосновение металла к спине.

— Руки! Не оборачиваться!

Жак-Анри не видит говорящего. Ствол пистолета вдавливается все сильнее в ложбинку между лопатками.

— Стой спокойно!

Жак-Анри замирает.

— Хорошо,— говорит Жак-Анри и, присев, захватывает в горсть лацкан пиджака того, кому придется умереть среди хлама в заброшенном гараже. Агент слишком близко придвинулся, чтобы не воспользоваться этой его оплошностью...

Жак-Анри поднимается с коленей лишь тогда, когда пальцы его, перехватившие сонную артерию на потной шее, начинают неметь. Несколько мгновений он разглядывает мертвеца: немолодое, плохо выбритое лицо. Возле уха, зарывшись в пыль, лежит то, что Жак-Анри принял за пистолет и что оказывается большим медным портсигаром. Шпик был не трус и очень хотел заработать свои франки...

Улица Хеффер оцеплена. Солдаты и несколько штатских стоят у подворотен; перекресток закрыт громадным «майбахом» с прутиком рации над кабиной. Среди немцев нет никого, чье лицо было бы знакомо Жаку-Анри, и он открывает ворота виллы и идет прямо на людей.

За несколько шагов до гестаповцев, следящих за ним с недружелюбным интересом, Жак-Анри достает из кармана металлический жетон с литерами и номером.

— В чем дело, господа? Что за выстрелы?

— Документы!

— Служба безопасности!

Гестаповец с недоверием разглядывает жетон.

— Что вы здесь делаете?

— А вы? — спрашивает Жак-Анри.

— Ваше удостоверение!

Жак-Анри лезет в карман, извлекает карточку. Сердце его ёкает: карточка выписана еще в тридцать восьмом, и на ней подпись Отто Абеца, бывшего в те дни эмиссаром гестапо в Париже. Ныне Абец — «посол» при Петэне. Действительна ли карточка сейчас? Жаку-Анри ни разу пока не доводилось ею воспользоваться.

Гестаповец недоволен:

— Почему вы здесь?

— Дела службы,— коротко говорит Жак-Анри.

— Я запишу ваш номер.

Гестаповец открывает блокнот и бисерным почерком переписывает в него реквизиты с документов Жака-Анри. Козыряет.

— Прошу, штурмбанфюрер! Не задерживайтесь!

Знали бы товарищи, погибшие в Берлине, от какой беды убережет Жака-Анри документ, выкраденный ими из личной канцелярии Отто Абеца! Но они никогда не узнают и не услышат слов благодарности, сказанных мысленно Жаком-Анри,— мертвые глухи...

Не ускоряя шага, Жак-Анри сворачивает за угол и лицом к лицу сталкивается с Жаклин. Серебристый плащ ее светится под стать улыбке.

— Вы-ы? — говорит она протяжно.

— Назад! — командует Жак-Анри.— Берите меня под руку и ни слова.

Они идут к морю и молчат. Взрывы все еще гремят — глухие, похожие на дальний гром. Рука Жаклин тяжело давит на локоть Жака-Анри. Волосы растрепались.

По улице с ревом проносится полицейский автомобиль.

— Куда мы идем? — тихо спрашивает Жаклин.

— Еще не знаю,— говорит Жак-Анри.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

20. ЯНВАРЬ, 1943. БЕРЛИН,

МОАБИТ — ПРИНЦ-АЛЬБРЕХТШТРАССЕ.

В Берлине идет снег.

«Черная Мария» с медлительностью катафалка движется к Принц-Альбрехтштрассе раз и навсегда установленным путем: по Альт Моабит и Фюрст-Бисмариштрассе. Не доезжая до Унтер-ден-Линден, она круто возьмет вправо по Вильгельмштрассе, а там уже и рукой подать до Главного управления имперской безопасности, где комиссар Гаузнер встретит Роз обычной своей шуточкой:

— Наконец-то! А мы так соскучились без вас! — И очень мирным жестом потрет лысую голову.

Это произойдет примерно через полчаса. А пока машина, по расчетам Роз, не добралась даже до Рейхстагштрассе, и Роз борется с дрожью, не забывая баюкать в кармане дневную порцию хлеба. Порция — квадратик — бережно зажата в кулаке, иначе от толчков она обратится в крошки. Роз надеется довезти ее в целости и сберечь на вечер. Вернувшись в камеру, она съест хлеб вместе с воскресным ломтиком свекольного мармелада. Зубов у нее почти не осталось, каждую крошку приходится перетирать деснами, царапая о мякину свежие шрамы.

В заднее, единственное, окошко «Черной Марии» видны убегающие стены домов, а дальше, в перспективе,— сами дома, тротуары, люди. Город разворачивается перед Роз, как кинофильм, и она безучастно смотрит его и борется с желанием съесть хоть немного хлеба немедленно. Голод, как и боль, давно уже стал для нее чувством привычным, неотъемлемой частью существования, но перед допросами он почему-то обостряется, становится непереносимым, и Роз не всегда удерживается, съедает кусочек и потом жалеет об этом.

В Моабит Роз перевели незадолго до рождества. У Гаузнера в кабинете стояла елка, увитая бумажными цепями. Эти цепи делали елку похожей на заключенного, прикованного к углу камеры. Роз выслушала приказ о переводе и ответила, что ей плевать. Тогда у нее было больше зубов и она еще могла отчетливо выговаривать слова.

— Ну, ну,— сказал Гаузнер тоном доброго Санта-Клауса.— Прежде, чем оценить вкус лакомства, надо его отведать, моя милая.

Очень скоро Роз поняла, что Гаузнер знал, о чем говорил. Камеры в гестапо были ужасны, но все же не шли ни в какое сравнение с ледяными пещерами Моабита. Темные и узкие, они почти не отапливались, и иней оседал под потолком и на койке, собранной из водопроводных труб. Если на Принц-Альбрехтштрассе Роз не могла спать от криков, то здесь ее лишало сна отсутствие любых звуков; тишина была такой полной, что Роз казалось, будто она одна во всем громадном здании. Она пыталась бороться с тишиной, пела, разговаривала с собой и была наказана: в первый раз дело ограничилось строгими наручниками, а за новое нарушение надзиратель отвел ее в карцер... Роз вышла из карцера на третий день и упала у порога. На Принц-Альбрехтштрассе Гаузнер долго втолковывал ей, что больше не станет выручать ее и просить начальника тюрьмы отменить взыскание и что за очередную провинность Роз отсидит полную неделю. Роз слушала и не могла понять ни слова: два дня, проведенные полусидя в железном шкафу, довели ее до прострации. Гаузнер отправил ее назад и целую неделю не вызывал на допрос.

Больше Роз не пела.

В Моабите ее посетил представитель швейцарского Красного Креста. Вместе с ним пришел благообразный толстячок с уютным животиком. Толстячок назвался заместителем начальника тюрьмы и спросил Роз, есть ли у нее жалобы. Роз не сразу раскусила, с кем имеет дело, и разрыдалась на плече у швейцарца. Задыхаясь от слез, перечислила: пытки, побои, голод, доводящая до умопомрачения тишина... Швейцарец, записывая в блокнот, возмущенно кивал головой:

— Да, да, да... бедное дитя!.. Оставьте нас одних, советник!

— Но правила Моабита... Вы настаиваете?

— Самым решительным образом!

Толстячок неохотно ушел, и Роз, успокаиваясь, более или менее связно рассказала швейцарцу о том, что проделывали с ней Гаузнер и чины гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Описала «бетенсуппе» [1]: через трубки, вставленные в рот или в нос, в тебя вливают целое ведро соляного раствора; стыдясь наготы и прикусывая губу, показала левую грудь с сожженным соском — к нему прикладывали электрод при пытке электричеством. Швейцарец, не отводя взгляда от груди, продолжал кивать.

— Чудовищно! Я просто боюсь верить!

— Чему? — спросила Роз.— И этому тоже?

Она поднесла к его лицу левую руку со вздувшимися и искривленными пальцами. Вспомнила о тисках, в которые зажимали эти пальцы, и привычно задрожала, словно Гаузнер и его помощники были где-то рядом.

Швейцарец осторожно присел на край койки.

— В чем вас обвиняют?

— В шпионаже,— сказала Роз.

— Это, конечно, недоразумение? За вас хлопочут.

— Кто?

— Ваши друзья... Но сначала я хотел убедиться, что вы это именно вы. Надеюсь, фрейлейн понимает, что я имею в виду?.. Итак, кого вы знаете в Женеве, Лозанне и Цюрихе, кто мог бы хлопотать о вас?

Не будь Роз так слаба, она ударила бы его. Можно подделать бернский характерный акцент, можно прикинуться сочувствующим, но нельзя избежать одного — совпадения вопросов с теми, которые интересуют Гаузнера. Женевскими связями Роз гестапо занимается в первую голову... Плевок Роз попал на лацкан пиджака... Пока толстячок старательно бил ее по щекам, гестаповец платком оттирал слюну. Уши его горели. Толстячок, устав, массировал вспухшую ладонь... Они ушли, оставив в камере запах чистого белья и крепких сигарет. Роз попыталась прилечь, но надзиратель поднял ее с койки, пригрозив карцером. Хлеба в этот день ей не дали, а порция супа оказалась уменьшенной наполовину. Ночью Роз приснился отец, и ей было так хорошо и весело, что она проснулась с улыбкой и не сразу поняла, что находится в камере, а не дома...

«Съесть или нет? — думает Роз, осторожно проводя пальцами по корочке.— Раньше ночи назад не повезут... Лучше оставить... Или все-таки съесть?» Вчера, когда помощники Гаузнера «беседовали» с ней, хлеб выпал, и она не сумела его подобрать. Поэтому, поколебавшись, она отщипывает крошку и кладет ее в рот, сосет, стараясь продлить удовольствие от еды. Кусочек маленький, но его хватает на дорогу до Вильгельмштрассе; остаток Роз прячет на груди. В заднем окошечке машины мелькает сквер, на подстриженных кустах лежит снег; мальчик в форме гитлерюгенд метлой расчищает дорожку. Роз успевает заметить, что мальчик разгибается и смотрит вслед машине с неподдельным интересом — рот его полуоткрыт, а метла не скользит по земле.

Роз доедает хлеб.

На Принц-Альбрехтштрассе конвой сдает ее под расписку сумрачному эсэсовцу, и тот, небрежно обыскав, толкает ее в плечо:

— Идти не оборачиваясь и не останавливаясь! Ясно?

— Да,— говорит Роз, пытаясь отрешиться от ощущения чужих рук на теле.

— Тогда пошли.

Перед кабинетом Гаузнера эсэсовец обыскивает ее вторично, гораздо тщательнее. Роз видит, что эта процедура доставляет ему удовольствие. Опережая его руки, она достает из-за выреза платья тряпочку, заменяющую носовой платок, но он делает вид, что не видит этого, и доводит обыск до конца. Проходящий по коридору щеголеватый офицер, улыбаясь, оглядывает Роз с ног до головы и подмигивает ей.

Лицо Гаузнера сумрачно. Лысина блестит, будто смазанная маслом. Он еще не поднял руки, а у Роз уже дергается щека и на глаза наползают слезы.

— Садись,— говорит Гаузнер.— Ты подумала?

— Да,— говорит Роз.

— Решила?

— Да.

— Что же именно?

— Нет,— говорит Роз.

Когда ее не пытают, она старается не произносить других слов, кроме этих двух. Боль исторгает из нее другие; Роз просит: «Не надо!», зовет: «Мама! Мамочка!..», кричит: «Да убейте же!» — и сама не слышит себя. Но что бы с ней ни делали, показаний она не дает. Скажи ей кто-нибудь в самом начале, что она сумеет выдержать, она бы не поверила. Первое время Гаузнер не трогал ее, приглядывался; на один из допросов эсэсовцы приволокли странного человека — седого, полубезумного. Человек сел на корточки в углу и, загребая с пола пыль, стал набивать ею рот, торопливо жевать и чавкать.

— Знаешь, кто это? — спросил Гаузнер.— Бывший полковник, военно-воздушный атташе. Его вина меньше твоей: он просто разбалтывал кое-кому служебные секреты... Теперь, как видишь, он очень раскаивается.

Роз почувствовала дурноту.

— Ты раскаиваешься, Риттер? — спросил Гаузнер.— Ты больше никогда не будешь болтать всякую всячину красным шпионам?

Бывший полковник посмотрел на него с ужасом и еще быстрее заработал руками. Челюсть его затряслась.

В другой раз на очную ставку с Роз доставили молодого человека с руками, изуродованными до такой степени, что у Роз при взгляде на них одеревенели губы. На молодом человеке была изодранная в клочки форма без знаков различия. Наручников с него не сняли. Гаузнер двумя пальцами больно прищемил шею Роз, повернул лицом к арестованному.

— Гляди! Не смей закрывать глаза! Знаешь его?

— Нет,— сказала Роз.

Она и вправду впервые видела этого человека.

— А вы?

Арестованный посмотрел куда-то поверх Гаузнера.

— Мы не знакомы.

— Вы лжете! Эта девка бывала в Берлине!

Роз не знала, надо ли ей говорить, что в Берлине она никогда не бывала, и поэтому промолчала. Позже она вспоминала, что связная Ширвиндта недолгое время поддерживала с группой «берлинцев» прямую связь, пока те не нашли более простых каналов.

Молодой человек с досадой пожал плечами.

— Прежде всего не орите, комиссар! Этим вы ничего не добьетесь... А во-вторых, я действительно вижу фрейлейн в первый раз, и не пробуйте убедить меня в обратном.

— Вам что, очень понравилось у нас внизу?

— Внизу ли, наверху — ваши люди везде работают одинаково.

— Риттер думает иначе!

— Он такой же нацист, как и вы, и никогда сознательно не сотрудничал со мной. Его показания ложны, и вы это знаете... Не бойтесь, фрейлейн; здесь в свинью обращают того, кто и раньше был ей сродни. С людьми эти господа ничего не могут поделать...

Роз не знает, кто был этот человек. Его больше никогда не приводили на очные ставки. Один из «берлинцев»? Скорее всего. Но кто именно? Гаузнер, передавая его конвою, издевательски улыбнулся и пожелал счастливого пути, назвав при этом «господином человеком». Он, кажется, считал себя большим шутником, комиссар Гаузнер, и на первых порах показался Роз тупым и самодовольным чиновником, не больше. Позднее она отказалась от этого мнения: Гаузнер не так прост, как прикидывается.

Сейчас он не шутит...

Свет бьет в глаза Роз, заставляя ее щуриться. Гаузнер сидит где-то там, за стеной света, и голос его звучит глухо...

— Не понимаю,— слышит Роз.— Какой смысл все отрицать? Даже то, что Ширвиндт спал с тобой. Смотрите-ка, какая застенчивость!

«Ничего,— думает Роз.— Пусть говорит... По крайней мере не бьет... Но все же какая скотина!.. Только грязь на уме...»

— Он твой любовник?

— Нет,— говорит Роз.

— Резидент?

— Он картограф...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—25.

[1] «Бетенсуппе» (н е м.) — борщ.

— А Буш?

— Торговец.

Все те же вопросы. Обычная серия. Когда она кончится, в дело вступят эсэсовцы; в угловой камере на первом этаже скамья пропиталась кровью Роз. Раны на спине не успевают как следует зажить. Кто и зачем дал Роз такую выносливость? Лучше, если б она оказалась слабее и умерла под пытками.

Гаузнер зажигает вторую лампу, и Роз почти слепнет. Голос Гаузнера звучит совсем приглушенно:

— Смотри сюда и не отворачивайся!.. У меня есть новость, которая тебя порадует, и мне очень хочется увидеть выражение благодарности на твоем лице... С этого дня — запомни! — не трудись врать, что ты родилась и выросла во Франции! Слышишь?! Роз Марешаль никогда не появлялась на свет в Безьере, на прекрасном французском юге. Твои документы — фальшивка. Это установлено. Где ты их взяла?

Роз безучастно смотрит на лампы. Рано или поздно гестапо должно было получить справку из Безьера, и новость Гаузнера ничего не меняет. Она чувствует, что допросы подходят к концу. Надо еще немного продержаться, и ее отправят в «народный трибунал». Другого приговора, кроме смертного, она не ждет...

— Хорошо,— говорит Гаузнер.

Щелчок, и свет гаснет. Роз слепо упирается глазами в темноту. Сегодня все завершилось необычно рано.

— Хорошо,— повторяет Гаузнер, мутно маяча перед глазами Роз.— Хочешь воды?

Роз молчит. Однажды ее уже напоили водой, соленой до невозможности.

— Хорошая вода, без обмана,— настаивает Гаузнер.— Не глупи...

— Нет,— говорит Роз.

— Зря...

Туман постепенно рассеивается, и Гаузнер возникает во весь рост. Прислонившись к сейфу, он стоит против Роз и внимательно смотрит на нее. Кожа на лбу собрана жирными, тяжелыми складками.

— А ведь ты могла бы жить,— говорит Гаузнер задумчиво и трет лоб.— Разве это плохо — жить? Ты хорошо держалась, признаю, но чего ты добилась? Смерти на плахе в вонючем подвале Моабита? Наверное, ты думаешь, что удостоишься ордена или памятника. Так?.. Разочарую: ничего не будет. Твои даже не узнают, как и где ты подохла. Трупы все безымянны — ты понимаешь это?

Гаузнер грузно опускается в кресло.

— Ты русская?

— Нет,— говорит Роз.

— Не трудись врать. Сначала я тоже, как и некоторые коллеги, думал, что ты француженка и случайно затесалась в эту женевскую банду русских. Можешь гордиться, что провела меня... Впрочем, сейчас это уже неважно...

— Что же важно?

— Хочешь знать?

— Нет.

— Хочешь! Иначе бы не спросила!.. Так вот, не стану скрывать: самое важное заключается в том, что ты не просто умрешь, а бесследно исчезнешь. Ни твои родители, ни твои друзья никогда не узнают, где ты похоронена и что сказала перед смертью... Если уж кто и обманут тобой, так это ты сама!

...По дороге в Моабит «Черная Мария» делает крюк, заезжая куда-то. Роз сидит на скамеечке за железной решеткой, упираясь лбом в засов. Гаузнер на прощание отправил ее в нижнюю камеру, и теперь Роз не может разогнуться. Несколько ударов резиновой дубинкой пришлось на поясницу, и сознание вернулось лишь тогда, когда конвойные тащили Роз в тюремную карету.

Гаузнер говорит: конец.

Конец ли?

Сколько может выдержать человек?

Ширвиндт в Москве предупреждал: «Может настать такой момент, когда страх возьмет верх над всеми остальными чувствами. Как быть?.. Вы думаете, я сейчас открою вам какой-нибудь секрет, найду панацею?.. Так вот: рецепта нет. Нет и не будет... Но только помните и никогда не забывайте, что поддаться страху и предать — понятия однозначные...»

Ширвиндта нет рядом. И Москва бесконечно далеко. А страх — он сидит в Роз, в каждой клеточке, напоминая о смерти. Завтра или послезавтра будет подвал, обещанный Гаузнером, где разом кончится все... Мамочка моя дорогая... Это не Роз говорит, это я, ваша дочь Аня, Нюта, Нюточка. Ты называла меня так, мама, и папа тоже называл... Вы меня не ждите, пожалуйста, и не сердитесь, когда узнаете, что я не на зимовке. Я не хотела вас обманывать, просто военная тайна. Так надо... Мне сейчас страшно, но это ничего... Это совсем пустяки, дорогие мама и папа. Главное не поддаться страху...

Хрипло прогудев перед воротами тюрьмы, «Черная Мария» въезжает во двор, и Роз не успевает додумать мысль до конца. Надзиратель снимает с нее наручники и ведет в камеру.

С холодным лязгом закрывается дверь.

Тишина.

Роз ложится на бок и смотрит на потолок. В детстве она любила лежать так, всматриваться в трещины, угадывая в их очертаниях то зайца, то профиль старухи. Две-три линии — и воображение легко дорисовывало остальное. Но сейчас Роз не до картинок. Она лежит и прислушивается к тупой боли в пояснице. В двери через равные промежутки возникает и исчезает пятнышко света — это надзиратель, проходя, на миг открывает глазок.

Сна нет.

Роз закрывает глаза и силится представить себе лицо матери, но не может. «Это я устала,— думает Роз.— Полежу и вспомню...» Сумерки вползают в камеру, оседая по углам.

Роз шарит под матрацем и находит канцелярскую скрепку. Скрепка украдена из кабинета Гаузнера на прошлой неделе. Следя за глазком в двери, Роз мельчайшими буковками выводит на кирпиче: «Аня. 1943 г. Я ничего не сказала». Что бы ни пророчил Гаузнер, товарищи после победы все равно узнают правду. Думая об этом, она дописывает еще три буквы: «КЛЦ» — позывные своего передатчика. Кому надо, тот поймет, что это значит. Все, все поймет и вернет ее имя людям...

21. ЯНВАРЬ, 1943. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Немолодой господин — по виду типичный провинциал — стынет на ветру, разглядывая Триумфальную арку. Старомодный зонтик перекинут через локоть, кашне в два слоя обмотано вокруг жилистой шеи. Жак-Анри щурится на него издалека. Он или не он? Если это Шекспир, то куда он дел желтые перчатки? Снял и спрятал в карман? Жак-Анри пересекает площадь, задерживается возле господина с зонтиком. Так и есть — перчатки торчат из кармана.

Улыбаясь во весь рот, Жак-Анри восклицает:

— О-ля-ля, какая встреча! Луи! Я не ошибся?

— Луи Блаз, выпуск Эколь Нормаль двадцать второго года...

— Этьен, двадцать четвертый год!

Жана-Анри подмывает спросить, какого черта Шекспир убрал перчатки, ведь так они могли бы разминуться и встретиться только через неделю. Но роль обязывает, и Жак-Анри берет радиста под руку.

— Не позавтракать ли нам, старина?

— Отличная идея! — подхватывает Шекспир.

В ресторане Жак-Анри все-таки сердито спрашивает:

— Вас что, не предупреждали о перчатках? Зачем вы их спрятали?

— Забыл,— говорит Шекспир с такой чистосердечностью, что у Жака-Анри мгновенно пропадает охота читать ему нотацию.

— Через час придете на бульвар Осман, 24. Угловой дом, фирма «Эпок», там есть вывеска. Найдете?

— Постараюсь...

— Вот, вот, постарайтесь, пожалуйста...

Шекспир проглатывает иронию Жака-Анри вместе с ложкой супа и невозмутимо отправляет в рот темный бриош. Челюсти его работают с равномерностью автомата.

— Назоветесь секретарю,— продолжает Жак-Анри, не дождавшись ответа.— Кстати, как вас зовут?

— Симон Буш.

— Немец?

— А вы?

Оценив намек на свою бестактность, Жак-Анри умолкает и принимается за суп. Он дьявольски голоден. Сегодня позавтракать было некогда. С самого утра пришлось через весь город ехать домой к Рене, улаживать последние мелочи с покупкой мастерских для господина Шекспира. Дело в Антверпене сорвалось — владельцы предприятия запросили такого отступного, что Жак-Анри чуть не ахнул. Положение складывалось неприятное, но Рене вовремя вспомнил, что один из довоенных клиентов ищет надежного человека в Гаагу. Это было не совсем то, что хотелось, но Жаку-Анри выбирать не приходилось: новую радиогруппу нужно было разместить вне Франции. Через подставных лиц он приобрел четвертую часть паев авторемонтных мастерских на имя Фрица фон Белова, и остановка теперь была только за самим Шекспиром.

Растолковав Шекспиру, как ему добираться до «Эпок», Жак-Анри расстается с ним, чтобы ненадолго заглянуть в банк и снять со счета небольшую сумму для Рене. Кассир, отсчитывая бумажки, развлекает его рассказом о подагре господина директора; будь счет крупнее, Жак-Анри услышал бы подробности о последней интрижке президента банка — пикантное повествование, предназначенное для ушей наиболее солидных клиентов.

...Шекспир не заставляет себя ждать.

Отбросив церемонии, Жак-Анри ведет деловой разговор: документы будут готовы завтра, сможет ли Шекспир уехать не позднее субботы?

— Я буду один? — спрашивает Буш.

— Пока да. Месяца через полтора-два, когда осмотритесь, постарайтесь внедрить в какую-нибудь германскую организацию человека, которого мы пришлем. У вас будут две радиоточки и самостоятельная связь, идущая минуя нас. Справитесь?

— Признаться, я думал, что буду просто радистом.

— Так сложилось...

— Понимаю... Сделаю все.

Жак-Анри весело улыбается, стараясь хоть этим смягчить то, что ему предстоит сейчас сказать, а Шекспиру — услышать.

— Об обстановке в Гааге мы знаем очень мало. Почти ничего. Кое-что о режиме, комендантском часе и так далее. Есть довольно глухие сообщения, что в городе действуют группы Сопротивления. Какие и сколько, остается только гадать. Вы поедете как немец, с немецкими документами и, конечно, заинтересуете местное гестапо. Страшного ничего нет, документы прекрасные, но с передачами не спешите. Запас времени есть.

— А мой швейцарский паспорт?

— Паспорт?

Жак-Анри, все еще улыбаясь, смотрит на Буша. Стоит ли его пугать?

— Боюсь, что он засвечен...

— Вы шутите!

— Роз... Она у немцев!

Буш роняет зонтик.

— У немцев,— повторяет Жак-Анри и звякает крышкой чернильницы.— Вы не знали?

— Я думал, она в Давосе,— бормочет Буш; глаза его темнеют.— Когда это случилось?

— Когда... как... Не сердитесь, но я не отвечу... Поговорим о вас. Где вы остановились?

— В отеле.

— Больше туда не ходите. Мой секретарь устроит вас на ночлег... Мы встретимся завтра в это же время. Я сам найду вас.

Буш нагибается, поднимает зонтик. Долго, гораздо дольше, чем надо, стряхивает с него пыль.

— Дрянь вещь, а жалко,— говорит он потерянно.— Вечно его где-нибудь забываю и потом ищу. Привык.

Зонтик совсем новый, только из магазина, но Жак-Анри торопится согласиться:

— К старым вещам привыкаешь, как к друзьям.

— Вот именно.

Буш поднимается.

— Я пойду?

— До завтра...

Жак-Анри тянется через стол, поправляет на чернильнице крышку... Криво... Он сдвигает ее еще на миллиметр, подравнивает, добиваясь полной симметрии. Вот теперь хорошо... Может быть, не стоило говорить Бушу о Роз?.. Нет, Буш — товарищ и имеет право знать. Несчастье, постигшее Роз, могло произойти с любым из них. С самим Жаком-Анри. Стоит только вспомнить поездку в Марсель! Когда они с Жаклин шли к морю, Жак-Анри все время ждал свистка, оклика, пули в спину. Гестаповец мог и не поверить старым документам с подписью Абеца... Ночью патруль прошел в метре от старого баркаса, под которым Жак-Анри и Жаклин дрогли на сыром песке. Жак-Анри простудился, легкие раздирало нашлем; слава богу, что ракушки под сапогами патрульных хрустели так, что было слышно чуть не за лье. Сдерживая кашель, Жак-Анри считал мгновения, боясь, что вот-вот задохнется. Ладонь Жаклин лежала у него на губах; в правой руке — пистолетик. Пропустив патруль и отдышавшись, Жак-Анри отобрал у нее оружие. Спросил: «Откуда?» Жаклин вцепилась ногтями в его ладонь: «Отдайте!» Жак-Анри легко разжал ее руку и забросил пистолетик подальше в море. Несколько часов назад такая же металлическая дрянь, украшенная перламутром, погубила Пьера. Не начни он стрелять, они бы выбрались запасным ходом... Оружие — опасный для жизни разведчика предмет. С ним он становится слишком самоуверенным... Редкий случай, если удается отстреляться, уйти; чаще исход предрешен уже в тот момент, когда рука передергивает затвор, досылая патрон в ствол. На это уходит то самое решающее мгновение, которого впоследствии не хватит, чтобы скрыться... Старое, банальное правило: «Оружие разведчика — ум». Но как ни банальны слова, смысл их точен и верен...

Жак-Анри достает из тайничка под крышкой стола папиросную бумажку и роговым ножичком расправляет ее на бюваре. В сильную лупу буквы кажутся мохнатыми. Жак-Анри кончиком ножа подчеркивает строчки: «Марату. Проверьте и немедленно сообщите: кто командует 18-й армией, Линдеман или Шмидт? Имеется ли в составе Северной группы IX армейский корпус и какие дивизии входят в него? Образована ли группа Моделя? Кто в нее входит, участок фронта и дислокация штаба? Реорганизуется ли группа Клюге, в каком составе она теперь действует? Где находится штаб 3-й танковой армии, кто в нее входит и кто ею командует? Профессор». На первые четыре вопроса можно ответить сегодня же: товарищ из Берлина вовремя прислал отчет, да и здешние информаторы Жака-Анри не сидят сложа руки. Остальное надо вечером передать через Жюля связникам...

Буквы кое-где расплылись, и Жак-Анри зажигает настольную лампу, силясь разобрать каждое слово. «Марату. Где находятся укрепления немцев на линии юго-западнее Сталинграда и вдоль Дона? Где оборонительные позиции на участках Сталинград — Клетская и Сталинград — Калач? Их характеристика. Характер оборонительных работ, проведенных на линии Буденновск — Дивное — Верхнечирская — Калач — Качалинская — Клетская — Днепр — Березина. Профессор».

Это как раз по части господина полковника из организации Тодта. Точнее, господина генерала: Жак-Анри еще неделю назад поздравил своего «компаньона» с повышением и преподнес серебряный портсигар с совой на крышке. Это не было намеком на известного рода слепоту, просто Жюль не сумел купить на черном рынке другого, и Жак-Анри, посмеявшись, решил, что ничего, сойдет и такой.

Вспоминая об этом, Жак-Анри склоняется над третьей радиограммой и хмурится. «Марату. Сколько всего резервных дивизий образовано на 1 января? Срочный ответ. Профессор». Еще несколько месяцев назад ответ был бы дан на третий, самое позднее на четвертый день. «Берлинцы» работали исключительно быстро и не жаловались на обстановку... Гестапо... Полтора года оно шло по их следам, от одного товарища к другому; аресты суживали круг, и теперь остались две маленькие группы, тщательно законспирированные и тем не менее балансирующие на самом острие ножа. Жак-Анри старается прибегать к их помощи как можно реже, боясь подставить под удар... И вот... Сейчас без них никак не обойтись.

Не вставая, Жак-Анри нащупывает пружину в горке и звонком вызывает из приемной Жюля.

— Ты мне нужен, старина.

Они проходят во второй кабинет, и Жюль первым делом кидается к карте — переставлять булавки. Глаза его сияют.

— Читал сводку?

— Еще утром,— говорит Жак-Анри, поправляя цветы в вазочке на приемнике.— Бошей бьют...

Цветы свежие. Жюль меняет их ежедневно и подливает воду. Это не входит в его обязанности, как, скажем, перестановка булавок, но Жюль добросовестен в любой мелочи.

— Я тут надумал кое-что,— говорит Жак-Анри.— Смотри...

Жестом заправского игрока он подбрасывает и ловит извлеченные из кармана покерные кости.

— Сколько у нас квартир для радистов? Двенадцать?

Жюль кивает — в зубах у него зажаты булавки. Выплюнув их в горсть, он озадаченно рассматривает кости.

— Что ты задумал?

— Маленький сюрприз для штаба Рейнике.

— С помощью этого?

— Ты угадал... Наши радисты меняют квартиры и работают по определенной системе. Она не так уж сложна, чтобы немцы не раскусили ее рано или поздно. В Версале они дали нам урок.

Жюль собирает булавки в аккуратный пучок. Говорит:

— Что же ты предлагаешь? Еще одну систему?

— Небольшой парадокс: систему без системы. Ты играл когда-нибудь в кости?

— Я уж и забыл, когда... Была такая настольная дребедень, детская. Выбрасываешь очки и двигаешь фишки. И обязательно попадешь в «огонь» или «яму». Мне здорово не везло.

— Мне тоже. Нужно выбросить шесть, а выбрасываешь единицу — и твоя фишка в «огне». В этом весь и фокус!

— В чем?

— Что не можешь угадать... На этих костях максимальная сумма — двенадцать, минимальная — два... Каждый радист получит по две кости и список квартир, пронумерованных от двух до двенадцати. Утром, перед начальным сеансом, каждый в отдельности бросит свою пару и получит какое-то число. К примеру, у меня будет пять, у тебя — семь, у кого-то — одиннадцать. Это значит, что сегодня работать придется из квартир под этими номерами.

— Не вижу преимущества.

— Как смотреть, старина. Ты не допускаешь мысли, что немцы против системы применили свою? Я бы на их месте не распылялся, а, запеленговав одну рацию, ждал бы нового ее появления, сколько требуется. Через три недели стало бы ясно, что она, скажем, по четвергам работает с северо-запада. Вот я и двигался бы на северо-запад каждый четверг. Медленно, но точно.

— Долгий путь.

— Но, к несчастью, верный. А что если за три месяца специалисты Рейнике составили график?

— Перейдем на запасные квартиры.

— Это я и имел в виду. Но работать с новых квартир будем иначе.

— Косточки?

— Да. Запеленговав рации, немцы будут ждать их следующего появления с прежней закономерностью: на четвертый день для каждой точки. Пеленгаторы будут настроены на примерный градус, а рация выскочит совсем не там, где ее ждут. Пока операторы развернут рамки, пока суд да дело, сеанс окончится. Париж велик...

— А парни в Нанте?

— Добавь: и радиогруппа в Гааге.

— Центр знает?

— Я хотел посоветоваться с тобой вначале и уже потом доложить.

— Нужны поздравления? — интересуется Жюль.

— Готов принять, старина!

Жюль снимает несуществующую шляпу и склоняется в глубоком поклоне. Зажатые в пальцах флажки сверкают, как павлиньи перышко. Разогнувшись, Жюль хватается за поясницу и серьезно спрашивает:

— А деньги на квартиры?

— Как-нибудь извернемся. Центр навряд ли сможет дать хотя бы франк. Ты и сам это знаешь.

— То-то и оно,— говорит Жюль.— А «Геомонд»?

Жак-Анри, задумавшись, подбрасывает кости. Финансовые дела Ширвиндта просто плачевны. Кому нужны карты полушарий в дни, когда пограничные столбы сметены артиллерийским огнем? Вальтер не требует ничего, но и Центр и Жак-Анри прекрасно понимают, что ему нелегко. Надо что-то придумать, и чем скорее, тем лучше.

— Завтра я спрошу Шекспира,— говорит Жак-Анри.— В Женеве у него магазин. Может быть, он продаст его?

— Магазин его собственный?

— Да.

— Послушай... такая жертва!

— Он пожертвовал большим в Германии, когда бежал от наци. Вальтер пишет, что на него можно положиться во всем.

— И все-таки я не хотел бы...

— Я тоже,— говорит Жак-Анри.— Но где выход?

Подбрасывая кости, он думает о завтрашнем разговоре. Что скажет Буш?

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

22. ЯНВАРЬ, 1943. ПАРИЖ, ОТЕЛЬ «ЛЮТЕЦИЯ».

Еще со дня приезда в Париж Шустер приучил подчиненных к мысли, что по нему можно сверять часы. Точность во всем он относит к числу тех выдающихся качеств, которые отличают кадрового офицера от штафирки. Среди других качеств, менее выдающихся, числятся воля, настойчивость и умение соблюдать дистанцию как с высшими, так и с низшими. Кроме того, офицер — германский офицер! — должен быть предан фюреру и фатерланду. Жить в Париже, по мнению Шустера, все равно, что жить в Содоме, и тем не менее он ни разу не дал повода кривоногому Родэ написать донос в штаб Рейнике. Более того, Шустеру удалось самому уличить фельдфебеля в пристрастии к маленьким девочкам, и теперь Родэ ходит перед ним на цыпочках.

— Я строг, но справедлив,— сказал ему Шустер в конце беседы с глазу на глаз.— И я очень ценю солдат, помнящих, что непосредственный начальник есть лицо, облеченное доверием фюрера.

После скандальной неудачи в Марселе последовал приказ Рейнике об отстранении фон Моделя и передаче в подчинение Шустеру всех сил радио-абвера во Франции, в том числе и 621-й радиороты. От ярости бригадефюрера Моделя спас фон Бентивеньи, срочно отозвавший его в Берлин под предлогом доклада Канарису. Унтерштурмфюрер, упустивший на рю Хеффер незнакомца с просроченным удостоверением, был предан дисциплинарному суду и направлен на передовую. Описание незнакомца Рейнике сличил с картотекой гестапо и, не найдя в ней данных, решил было, что штурмбанфюрер попросту растяпа, не позаботившийся своевременно продлить документы, и сделал о нем представление в канцелярию гаулейтера Абеца. Ответ, полученный с обратной почтой, привел Рейнике в неистовство: заместитель Абеца решительно утверждал, что ни в 1938 году, ни в другое время офицер, интересующий бригадефюрера Рейнике, не входил в состав французского отдела Заграничного бюро НСДАП. Рейнике приказал арестовать проштрафившегося унтерштурмфюрера и вернуть его для допроса в Париж, но приказ выполнить не удалось: офицер был убит чуть ли не через час после прибытия на передовую... Легче всех, как ни странно, отделался Мейснер. Спасла ли его былая причастность к СД, или где-то в Берлине у лейтенанта оказалась крепкая рука, в нужный момент вытащившая его из ямы,— так или иначе, к удивлению Шустера, Мейснер получил только выговор и был прикомандирован без должности к штабу Рейнике. Встречаясь с ним в казино, Шустер всякий раз уподобляется Янусу. Один на один он преисполнен понимания и сочувствия; в присутствии коллег холоден и вежлив в той степени, которая свидетельствует, как низко пал Мейснер в его глазах после своей оплошности. В глубине души Шустер чуть-чуть злорадствует: когда бригадефюрер поручил операцию в Марселе Моделю и Мейснеру, Шустер чувствовал себя обойденным; теперь судьба сама восстановила справедливость.

«Мы идем,— напевает Шустер,— пыль Европы у нас под ногами...» Оттопырив языком щеку, он нежно натягивает кожу на подбородке и проводит по ней бритвой. Мыльная пена, тихо шипя, волнисто оседает над верхней губой. Утреннее бритье доставляет Шустеру неизъяснимое удовольствие. В зеркальце он видит собственное отражение — мужественное лицо солдата с мощным носом и хорошо посаженным подбородком. Щеки отливают заналенной сталью в тех местах, где золингеновская бритва сняла размягченную мылом щетину. Шустер подравнивает виски и выглядывает в окно. Оно выходит во двор, плиты которого отсюда, сверху, кажутся детской мозаикой. В углу двора, у распахнутой двери гаража, черным лакирован-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—26.

ным жучком уткнулся в стену ДКВ. Возле переднего колеса на корточках выпячивает свой необъятный зад Родэ. Мельком глянув на часы и отметив, что до шести не хватает трех минут, Шустер тщательно растирает лицо кельнской водой и запудривает крохотный порез у надыма. Трех минут должно хватить на то, чтобы одолеть пять маршей лестницы, проверить, все ли пуговицы застегнуты, и выйти во двор походной человека, точно знающего цену своему времени.

День начинается хорошо. Дежурный разбудил Шустера ровно в пять, а Родэ явился в половине шестого, хотя и не обязан был этого делать. Шустер не приказывал ему вчера, а только намекнул, что ему было бы приятно рвение фельдфебеля, и вот результат: Родэ, этот завзятый соня, пожертвовал утренним отдыхом и галопом прискакал через весь Париж. Что ни говори, но настоящий офицер должен знать маленькие тайны подчиненных и обращать их на пользу службе.

— Вольно,— говорит Шустер, пересекая двор, и снисходительно машет взметнувшемуся Родэ.— Как аппаратура?

Ноздри Шустера раздуваются. Утро приятно пахнет влагой, бензином и кельнской водой. Шелковое белье холодит не остывшее от сна тело. Часовой у ворот при виде Шустера подбирается и делает каменное лицо.

Родэ сдвигает пилотку на затылок. Показывает редкие крупные зубы.

— Господин капитан опробуют приборы сами?

— Ты осматривал их?

— Гониометр как часы... Я настраивался на Эйфелеву башню и брал разные режимы. Чудо что за штучка!

Крошка ДКВ до отказа набит радиоаппаратурой. Рамка пеленгатора, переделанная по чертежам Родэ, вмонтирована в пол салона; заднее сиденье снято, и вместо него на консолях подвешены приемные устройства фирмы «Радио-Вольф». С ними было немало возни. Шустер, наученный горьким опытом сорок первого года, собственноручно проверил монтаж и доброкачественность самой схемы, а после него это же сделал Родэ. Два года назад новенькие автопеленгаторы радио-абвера, только что выкатившиеся за пределы заводского двора, все как один оказались лжецами. Расхождение данных пеленга с истинными координатами составляло от 3 до 5 градусов; если поверить пеленгаторам, то передатчик, расположенный, к примеру на крыше Нотр-Дам, пришлось бы искать где-нибудь возле Пантеона. Гестапо пришлось изрядно потрудиться, прежде чем «Радио-Вольф» был очищен от замаскировавшихся красных, но у Шустера с той поры сохранилось стойкое предубеждение против фирмы и ее продукции. На этот раз, однако, аппаратура работает превосходно, и Шустер рискнул пригласить бригадефюрера на первый сеанс. Если все пройдет гладко, полтора десятка ДКВ, весьма безобидных на вид, превратятся в передвижные радиоловушки. Трюк с палатками изжил себя. Шустер, разумеется, не стал докладывать бригадефюреру подробности неудачной охоты в Версале, но про себя решил, что скорее всего именно палатки насторожили русского радиста и заставили его улизнуть... ДКВ, застрявший у тротуара, никому не бросится в глаза. Он может стоять хоть сутки, не наводя на дурные мысли: в представлении любого радиста пеленгатор никак не должен разместиться в микролитражке. Серийные пеленгаторы перевозятся на «майбахах». О своем новшестве Шустер тактично доложил и бригадефюреру и в Берлин, умолчав, что идея принадлежит Родэ.

В качестве первой жертвы Шустер избирает передатчик, окопавшийся в районе госпиталя Сан-Луи. По понедельникам он вылезает в эфир именно оттуда и начинает работу в 6.50. Волну он использует не дольше десяти минут, и это сильно мешает Шустеру. За такой промежуток трудно надежно скорректировать пеленг из неподвижной палатки и еще труднее бывает выбрать для нее новое место. А сколько хлопот с перетаскиванием аппаратуры и ее установкой!

Мобильность ДКВ — залог успеха. За десять минут он сможет не меньше чем на километр подобраться к корреспондирующей станции, корректируя пеленг на ходу.

Шустер любовно поглаживает машину по блестящему крылу. ДКВ выглядит именинником: стекла промыты и протерты замшей, сиденье вычищено, коврик выбит. Родэ чистой ветошью шлифует колпаки на скатах; его физиономия, отражаясь в выпуклой хромированной стали, напоминает лягушачью морду. Шустер нисколько не удивился бы, услышав кваканье.

— Хватит,— говорит он, оглаживая крыло.— Живо в гараж и приведи себя в порядок. И запомни: ни слова! О чем бы ни спросили, отвечать буду я. Ты хорошо понял?

Вздохнув, Родэ разгибается и ныряет в гараж.

«Мы идем,— напевает Шустер.— Трепещите, евреи и красные террористы, идут истинные немцы...» Изумительная все-таки вещь — песня Хорста Весселя! Сила! Ритм! Каждое слово полирует кровь! «СА марширует... тара-бум-бум...» Трубы, барабаны и литавры. Никаких скрипочек.

Родэ выбирается из гаража, как из пещеры, как раз тогда, когда Рейнике появляется на ступенях подъезда. Шустер застывает, вскидывает руку:

— Хайль Гитлер!

Тонкая ладонь бригадефюрера, обтянутая серой замшей, плавает где-то на уровне живота; сонное лицо почти неподвижно.

— Хайль...

Команды «вольно» нет, и Шустер продолжает торчать столбом. Из-за плеча Рейнике высовывается физиономия Мейснера. Ну, конечно, и здесь без него не обошлось! Таскается за бригадефюрером как приклеенный... В руках у Мейснера большой желтый портфель; острая мордочка увенчана фуражкой. Другие офицеры стараются держаться в почтительном отдалении, но для Мейснера, по-видимому, нет правил поведения; он, точно адъютант, позволяет себе идти почти рядом с бригадефюрером, гордо неся его портфель. Странная роль — «прикомандированный без должности». Странная и опасная для других. На всякий случай Шустер, дав Рейнике пройти, улыбается Мейснеру.

— Ну? — спрашивает Рейнике и нетерпеливо поводит плечом.— Где ваше чудо, капитан? Когда мы его увидим?

— Все готово, бригадефюрер. На машину назначен фельдфебель Родэ, лучший специалист роты.

— И самая толстая задница в Париже,— добавляет Мейснер, вызывая усмешку Рейнике.

— Разрешите начать? — спрашивает Шустер и, уловив кивок, поворачивается к фельдфебелю: — Приступайте!

Родэ забирается в машину. На часах Шустера 6.49. Рамка пеленгатора поскрипывает из глубины салона ДКВ.

— Включаю,— бубнит Родэ.

— Направление?

— Сто два!

Шустер отодвигается, давая возможность бригадефюреру заглянуть в глубь кузова. Наклоняется сам, ощущая, как к прежнему запаху воды и кельнского одеколона примешивается сильный аромат лаванды.

— Контакт?

— Контакта нет! — отзывается Родэ.

— Направление?

— Сто два точно, но контакта нет, господин капитан!

Шустер ужом проскальзывает мимо Рейнике в дверцу и едва не падает на экран. Осциллограф светится тусклой зеленью. Всплесков нет. Родэ механическим приводом разворачивает рамку, работает верньерами. Экран фосфоресцирующей гнилушкой раздражает глаза. Голова Родэ, оседланная наушниками, качается перед носом Шустера. Родэ оборачивается.

— Приема нет.

На шкале волн — 16,1. Все правильно: понедельник, 6.52, волна шестнадцать и одна, направление сто два градуса. Все на месте, кроме главного — рация пропала...

Шустер выбирается из машины совершенно раздавленный. Родэ все еще копается в аппаратуре, разворачивает рамку. Рейнике подергивает коленом.

— Есть! — кричит Родэ.

Шустер переводит дух.

— Направление девяносто пять...

— Проверь!

— Девяносто пять точно... Его почерк...

— Что случилось? — спрашивает Рейнике.

— Сменили место...

— Только место?

— Пока не знаю, бригадефюрер. По расписанию эта рация должна работать в зоне госпиталя... Что-то изменилось... надо разобраться...

— Разберитесь! — ледяным тоном говорит Рейнике и подтягивает перчатку.— Желаю удачи, капитан!

Мейснер, прищурившись, мечтательно рассматривает воробьев, скачущих по крыше гаража. Глядя на него, Шустер наливается тихой злобой. Нет сомнения, что на обратном пути лейтенант растолкует Рейнике смысл происшедшего. На прошлой неделе Шустер докладывал, что систему русских можно считать в общих чертах расшифрованной. И вот... Хорошо, если сменились только квартиры, а график выхода в эфир остался прежним. Даже в этом случае понадобятся недели, чтобы подобраться к передатчикам; если же и график пересмотрен, то все придется начать сначала... Черт его принес сюда, этого Мейснера!..

А между тем Мейснер как раз весьма далек сейчас от мысли подставить ножку Шустеру. И желтый портфель принадлежит не Рейнике, а ему самому. На дне этого портфеля лежит один-единственный листок бумаги, ради которого лейтенанта ни свет ни заря поднял с постели курьер из французской политической полиции. Получив листок, Мейснер помчался в «Лютецию» и перехватил бригадефюрера у самого порога, немало удивив его своим появлением. Бумажка стоит того, чтобы явиться незваным, и Мейснер надеется встретить понимание. Следя сейчас за воробьями, он думает о своем, нисколько не интересуясь смыслом доклада Шустера. Новость, принесенная им, неизмеримо важнее данных всех пеленгаторов, вместе взятых: Мейснер нашел связную из Марселя! Да, именно так!.. Какая удача, что, покидая Марсель, он не поленился притащить в Париж тех троих секретных агентов распущенной в сороковом «Сюртэ женераль», которые были приставлены им к пансиону на рю Жарден! Он прихватил их сюда без крайней надобности, хотя в данную минуту готов утверждать, что уже тогда не сомневался в успехе и глубоко продумал план действий. Шансов за то, что связная объявится в Париже, практически не было, и Мейснер подкармливал свою троицу во имя бога Случая. И Случай помог! Вчера вечером один из агентов, болтавшийся без дела в пассаже Лидо, увидел связную, сидящей за столиком кафе. Пока агент звонил по телефону в ближайший комиссариат, связная удрала из пассажа... По дурацкому совпадению Мейснер весь день проторчал в штабе генерала Штюльпнагеля, улаживая вопрос о новом своем назначении, и агент не сумел дозвониться ему на квартиру. Вечер Мейснер провел в офицерском кабаре, а большую часть ночи — у одной забавной толстушки, зовущей его «Пуппи».

Рискуя вызвать неудовольствие и даже разнос Рейнике, Мейснер ни на шаг не отстает от него до самой машины, оттирая плечом офицеров охраны. Шустер плетется в хвосте процессии и, кажется, только и ждет, когда все наконец уедут. Мейснер распахивает дверцу и, плотнее прижав к боку драгоценный портфель, набирается смелости.

— Бригадефюрер... Очень важное сообщение!

Рейнике убирает ногу с подножки. Ему, очевидно, понравилась шутка в адрес Родэ, и сейчас он смотрит на Мейснера не слишком холодно.

— Вот как? Настолько важное, чтобы докладывать на улице?

— О нет, бригадефюрер!

— Садитесь!

Миг торжества. Красные кожаные подушки беззвучно оседают под Мейснером. С легким шелестом «оппель-адмирал» срывается с места, оставив на тротуаре возле отеля раздосадованного Шустера, едва успевшего вытянуть руку в прощальном жесте. Мейснер сидит, придерживая портфель на коленях, и ждет вопросов.

Рейнике щелкает портсигаром, закуривает.

— Так в чем же дело?

Мейснер извлекает рапорт со дна портфеля с таким видом, словно там у него сколько угодно подобных документов. В штабе Штюльпнагеля и в аппарате Рейнике он приобрел некоторые навыки, могущие поспособствовать карьере.

Рейнике, держа листок на отлете, приставляет к глазам очки. Он дальнозорок, но старается не пользоваться стеклами на людях; очки его безобразят. Мейснер, волнуясь, открывает и закрывает замок портфеля. Губы его сохнут.

Рейнике жует золоченый мундштук сигареты.

— Вы правы, это важно... Ваш человек не мог ошибиться?

— Уверен, что нет.

— Фотография девицы у нас есть?

— Целое досье. Изъяты при обыске у родителей. Кроме того, комиссар Гаузнер составил ее словесный портрет — еще в Брюсселе.

— Где ваш человек?

— Отдыхает.

Рейнике роняет пепел на мундир.

— Скажите ему, что в следующий раз, если он упустит объект, я отправлю его в Сантэ. Нет, не в Сантэ, а в Дахау!.. Дайте ему пятьсот марок, и пусть ищет! Остальные тоже!.. Он что, спугнул ее?

— Не думаю. Скорее всего девица пообедала и ушла.

— Займитесь пассажем. Узнайте у хозяина кафе все, что надо.

Мейснер, сидя, щелкает каблуками.

— Да, бригадефюрер!

Рейнике странно улыбается.

— А вы ловкая шельма, Мейснер! Маленькие секреты от начальства и утренние сюрпризы. Кто научил вас всему этому?

Тон его ласков, но у Мейснера на висках выступает пот. Говорят, что рейхсфюрер Гиммлер всегда бывает особенно нежен с теми, кого готовится спровадить в пропасть. Как знать, не взял ли Рейнике себе за образец господина рейхсфюрера? Размышлений об этом Мейснеру вполне хватает на всю дорогу от «Лютеции» до Булонского леса.

23. ЯНВАРЬ, 1943. ЖЕНЕВА, РЮ ЛОЗАНН, 113.

Если настенный электрохронометр «Докса» полтора часа подряд показывает 9.21, то смело можно считать, что он испортился. Но если тот же хронометр подсоединен к передатчику и выключается на время сеанса, а сам сеанс никак не должен длиться так долго, правильнее будет полагать, что у Бушей не все в порядке... Ширвиндт, не задерживаясь, переходит на противоположный тротуар, останавливается и завязывает шнурок на ботинке, пытаясь одновременно разглядеть сигнал опасности в левом верхнем окне. В случае всяких осложнений Буши выставляют в нем фарфоровую танцовщицу в пачке. Жалюзи спущены, дверь магазина закрыта, и Ширвиндт, так ничего и не решив, возится со шнурком. «Докса» над дверью магазина продолжает показывать 9.21. Входить нельзя!

Ширвиндт вывязывает симметричный бантик и притоптывает каблуком, словно проверяя, все ли в порядке. Дольше задерживаться не стоит. Жена Буша, Минна, позвонит, очевидно, в контору, и все разъяснится. Вчера она дала знать, что ждет в одиннадцать часов: речь шла о какой-то сумме, которую Минна собиралась вручить «Геомонд» для принятия на банковский счет. Ширвиндт толком не понял, откуда получены деньги и почему они оказались у Бушей, возможно, их прислал Жак-Анри? Связной тоже ничего не мог объяснить: его обязанности ограничивались передачей записки.

Поправив штанину, Вальтер делает первый шаг, чтобы уйти, но останавливается: дверь магазина открывается, и одновременно в глубине помещения звонко и весело звенит колокольчик. Это не Минна. И не покупатель. Господин в сером котелке, перешагивающий порог, не обременен покупками. Ширвиндт делает несколько шагов, понимая, что уже поздно...

— Господин Ширвиндт?

Вальтер оборачивается.

— Признаться, я так и думал, что вы придете сюда...

— С кем имею честь?

Серый котелок повисает в воздухе.

— Шриттмейер... Если вы не спешите, мы могли бы побеседовать.

Ширвиндт мысленно обшаривает свои карманы. Бумажник, ключ, носовой платок. Ничего компрометирующего. А в конторе?.. Идет ли там обыск?

— Я вас не знаю!— говорит он резко.

Шриттмейер осторожно, почти робко прикасается к его руке.

— Я из полиции. Показать документы?

— Это официальный разговор?

— О нет...

Продолжая идти, Ширвиндт роняет:

— У меня нет дел с полицией. Тем более частных.

— Вы не поняли,— тихо говорит Шриттмейер.— Это, конечно, не допрос, но и не частная беседа. Мне кажется, нам лучше продолжить у вас в конторе. Сегодня как раз воскресенье, и нас не будут отвлекать.

— Хорошо, пойдемте!

Больше не о чем пока говорить, и они идут молча. Шриттмейер с достоинством несет свой котелок на яйцеобразной голове. Кажется, что она сидит не на шее, а на пьедестале. У подъезда «Геомонд» к ним присоединяется широкоплечий здоровяк в макинтоше, вышедший из подворотни.

— Я не один,— словно извиняясь, говорит Шриттмейер.— Он нам не помешает.

— Это уже слишком, инспектор!

— Комиссар, если позволите.

— Тем более! Вторжение в частное владение?.. Я немедленно звоню адвокату!..

Шриттмейер смущен.

— О, прошу вас... не надо лишних слов. Ордер подписан генеральным прокурором конфедерации. Разве я рискнул бы нарушить закон?

Ордер в порядке. Ширвиндт убеждается в этом, прочитав документ от заголовка до подписи. Не заполнена только графа: «По подозрению или обвинению в...» Там стоит прочерк.

Войдя в кабинет, Ширвиндт бросает бумагу на письменный стол.

— Ищите!

— Сначала, если позволите, несколько вопросов.

Шриттмейер деликатно присаживается у стены, кладет котелок на колени. У него вид просителя, а не полицейской ищейки. «Черт бы побрал все эти фокусы!— думает Ширвиндт.—Когда взяли Минну?.. Неужели за передатчиком?..»

— Вы знали Роз? — спрашивает Шриттмейер.— Роз Марешаль.

— Она служила у меня.

— Долго?

— Это допрос?

— Я не веду протокола... Марешаль долго работала с вами?

— В «Геомонд»?

— Где же еще!

— Я не стану отвечать.

Шриттмейер огорченно вздыхает.

— Напрасно, господин Ширвиндт. Вы один из немногих, кто мог бы пролить свет на ее исчезновение.

— С чего вы взяли?

— Мне так кажется... Вам известны ее привычки, увлечения, черты характера?

— В какой-то мере да.

— Вот видите! — Голос Шриттмейера все так же тих.— В ее студии в Давосе не нашлось ничего, что позволило бы нам выдвинуть обоснованную версию, в пансионе тоже... За исключением вот этого. Угодно взглянуть?

На ладони Шриттмейера лежит радиолампа. Ширвиндт, не сдержавшись, проглатывает слюну. К этому он не был готов. Как и почему лампа осталась в студии? Почему связной не нашел ее и не унес?

— Ну и что? — говорит он довольно спокойно.

— Ничего. Просто лампа.

Ширвиндт воинственно надвигается на комиссара.

— Лампа!.. Марешаль!.. Студия!.. Вы только что вышли из радиомагазина, господин Шриттмейер! Почем мне знать, не там ли вы ее прихватили? Уверен, что на прилавках магазина полным-полно подобного добра!

Шриттмейер держит лампу двумя пальцами. Огорчение, написанное на его лице, достигает наивысшей точки. Он буквально переполнен душевной болью за Ширвиндта, не понимающего самых простых вещей. Вальтер ждет, что комедия вот-вот кончится и будет то, что и должно быть: крик, угрозы, наручники, протокол...

— Вы не правы,— еще тише говорит Шриттмейер.— Это не совсем обычная лампа. Таких в продаже нет. Будь вы радистом, она сразу же показалась бы вам подозрительной. Но вы же не радист?

— Говорите прямо: что вам надо?

— Позвольте повесить котелок?

Вальтер кивает на вешалку и ждет продолжения. Странный разговор начинает его интересовать. Этот Шриттмейер удивительно откровенен.

— Я не радист,— говорит Ширвиндт.

— А Марешаль?

— Откуда мне знать?

Шриттмейер всем своим видом выражает согласие.

— Действительно, откуда? Будь я приватно связан с английской или немецкой разведкой, я бы, разумеется, не стал информировать об этом фирму, в которой служу. Если допустить мысль, что Марешаль была человеком «Интеллидженс сервис», то зачем бы она призналась вам?

— Вы говорите — англичане? А почему не немцы?

— На немцев Марешаль не работала. Нелогично было бы для СД или абвера похищать собственного агента. Ведь так?

Дверь открывается, и на лице Шриттмейера мелькает досада. Полицейский заглядывает в кабинет.

— В чем дело?

— Уже двенадцать, комиссар.

— Ах да... Начинайте, но поаккуратнее! Постарайтесь ничего не порвать и не разбить... Он нам не помешает, господин Ширвиндт...

Полицейский неслышно закрывает дверь, и тут же за стеной кабинета что-то со звоном падает на пол. «Саксонские часы!— догадывается Ширвиндт.— Хорошее начало!» Шриттмейер поджимает губы и беспомощно разводит руками.

— Прошу вас,— двусмысленно говорит Ширвиндт и любезно улыбается.— Продолжайте, пожалуйста. Все так интересно...

Почти восточная дипломатия! Каждый старается «не потерять лицо», и если так пойдет дальше, то дело кончится заверениями во взаимной дружбе... Несмотря на серьезность положения, Ширвиндт посмеивается про себя. Голова его работает холодно и трезво. Он уже успел отметить, что Шриттмейер говорит с акцентом, характерным для уроженца северо-западных кантонов, где преобладает немецкое население и немецкая речь. Отметил он и то, что комиссар без всякой надобности преждевременно выкладывает на стол доказательства, словно давая возможность подготовиться и опровергнуть их там, где пойдет настоящий допрос.

— Нас отвлекли,— говорит Шриттмейер, выдержав вежливую паузу.— Роз Марешаль — француженка, но дружила с семьей Бушей, немцев, имеющих швейцарское подданство. Буш — торговец радиотоварами. Я готов был бы предположить, что лампа — подарок господина Буша, невинный сувенир, если бы не то, что госпожу Буш застали сегодня за работой на передатчике... Видите ли, господин Ширвиндт, в июле или августе в мой отдел пришла анонимка. Я собирался было забыть о ней, но делопроизводитель уже внес ее в реестр. Мой бог, если б вы знали, сколько доносов получаем мы каждый день! Судя по ним, все иностранцы, получившие убежище в Швейцарии, занимаются шпионажем. Шпиономания и война всегда сопутствуют друг другу... Так вот, анонимку передали мне, а я был слишком занят, чтобы уделить ей должное внимание. Тем более что мадемуазель Марешаль обвиняли в связи с одной из разведок, не приводя ровным счетом никаких доказательств... Вы следите за моей мыслью?

— Да,— говорит Ширвиндт и садится напротив.— Продолжайте.

— Швейцария — маленькая страна. Очень маленькая, господин Ширвиндт. Ей не по силам воевать. Помните, в сороковом, когда носились слухи об оккупации — германо-итальянской, естественно!— что творилось здесь, в Женеве? Банки готовились приостановить платежи, а часовые фирмы намечали свернуть производство! Что сталось бы со Швейцарией, будь она оккупирована? Взгляните на Францию, мощную и цветущую Францию! Ей в пору стать у порога с протянутой рукой!.. Этот господин Гитлер — вы не находите, что он опасен?

— Опасен?

— Даже больше! Моя жена называет его «господин Обжора»... Впрочем, вы ведь немец?

— Как и вы...

— Я — нет. Я швейцарец, хотя и предпочитаю говорить по-немецки: что поделаешь, каждому близок и дорог язык, выученный с детства. Но вы немец? И, конечно, антифашист?

Ширвиндт поеживается. Ощущение, словно ходишь по скользкому льду: никак не угадаешь, где упадешь. Достав сигареты, Ширвиндт медлит, закуривает. Дает спичке догореть до конца. Гасит, следя за черной нитью дымка. Рассеивая, дует на него и глубоко затягивается сигаретой.

— В чем обвиняли Марешаль? Это секрет?

Шриттмейер достает из пиджака трубку. Вертит ее в пальцах.

— В том, что она хочет разгрома Германии и способствует ему!

— Ни больше ни меньше?! Выдающаяся роль! Что-нибудь подтвердилось?

— В известной мере да. Похищение, лампа, передатчик у госпожи Буш...

— Это ее профессия, комиссар!

— Чья — госпожи Буш?

— Разумеется. Магазин торгует радиотоварами, следовательно, и передающими устройствами тоже.

Шриттмейер нюхает спичку в трубке.

— Да, да,— говорит он спокойно.— Ее никто и не обвиняет. Особенно, если принять во внимание солидность ее аргументов. В Швейцарии не запрещено торговать передатчиками и тем более не запрещено проверять их качество перед продажей. Вот если бы у госпожи Буш нашли шифры, записи, секретные документы!..

Дверь скрипит, и агент опять возникает на пороге.

— Я осмотрел низ, комиссар.

— Поищите наверху. Что вы там уронили?

— Колпак от часов.

— Я же просил — осторожнее!

Полицейский агент прикрывает дверь. Шриттмейер провожает его взглядом и толстыми пальцами приминает табак в трубке... Котелок... Трубка... Дома он скорее всего ходит в мягких шлепанцах без задников и по вечерам на кухне читает иллюстрированную газету. С женой он сух и неоткровенен, а дети боятся его, как епископа... А в сущности, он просто заурядный чиновник, живущий от повышения к повышению и откладывающий франки про черный день. Вот и все.

— Я плохо знаю семью Бушей,— осторожно говорит Ширвиндт.— Только как покупатель, не больше.

— Тем лучше... Господин Буш в отъезде, а Минна Буш, надеюсь, покинет Швейцарию. Так будет полезнее для нее. Не сомневаюсь, что лица, перечисленные в доносе, подвергаются реальной опасности. Да и что она теряет здесь? Магазин продан, родственники в Германии. Почему бы ей не перебраться подальше от нашей коричневой Европы? Некоторые латиноамериканские страны объявили о нейтралитете, а гестапо труднее проникнуть в Новый свет, чем в Женеву!

— Не берусь судить.

— Я говорю гипотетически. Это только частный совет, данный мною госпоже Буш. Она сама должна решить, как поступить... О господи, опять вы?

Полицейский мнется на пороге.

— Вы кончили?

— Остался кабинет...

— Хорошо. Начинайте, мы тоже побудем здесь.

«Минна продала магазин? — думает Ширвиндт.— Так вот откуда деньги для «Геомонд»!.. Если Минну не арестуют, ей придется уехать. Но, черт возьми, как все смахивает на провокацию!»

Агент делает свое дело молча. Сдвигает стулья, перебирает бумаги на столе. С особенным пристрастием разглядывает пробные оттиски карт. Ломая ногти, пытается открыть шкатулку для бумаг. Ширвиндт нажимает на боковую планочку — и крышка отскакивает. Вальтер спокоен: в шкатулке одни векселя.

«Пусть ищут»,— думает он, отходя и усаживаясь на козетке.

Агент, словно фигурка на рулетке, движется по ходу часовой стрелки. Быстрыми и точными движениями ощупывает каждую плитку паркета, листает конторские книги, передвигает, обстукав мебель. На лице у него ни усталости, ни разочарования. Шриттмейер сосет незажженную трубку и молчит. Ноги его в толстых, грубых ботинках удобно вытянуты, видны клетчатые шелковые носки. Где и когда Ширвиндт видел такие ботинки? На ком?

Воспоминание приходит не сразу... Дюрок!

Выигрывая время, Ширвиндт лезет за платком и, рассеянно улыбаясь, вытирает углы рта. Догадка может оказаться ошибочной, и тогда придется расплатиться дорогой ценой... «Решайся, Вальтер!..» Момент подходящий: Шриттмейер занят трубкой, а его помощник пытается отодвинуть книжный шкаф. Ширвиндт одним движением опускает руки в карманы брюк и негромко произносит:

— Не шевелиться! Стреляю!

Карманы его пусты. Вытянутые указательные пальцы оттопыривают материю... Что будет, если кто-нибудь все-таки шевельнется?!

Агент замирает у шкафа. Ширвиндт пятится к двери, не сводя взгляда с него и Шриттмейера, сидящего у стены. Руки Шриттмейера лежат на коленях.

— Так... Хорошо...— говорит Ширвиндт.— Полиция будет здесь минут через пять. И как вы не догадались, что к плинтусу подведена сигнализация?

Шриттмейер дергает щекой.

— Послушайте...

— Сидеть!— кричит Ширвиндт.— Впрочем, нет... Встань и иди к стене! Руки на затылок. Быстрее!

Медлить нельзя. Шок от внезапности не бывает длительным. Держа правую руку в кармане, Ширвиндт обыскивает Шриттмейера.

— Очень хорошо,— говорит он, доставая из пиджака комиссара пистолет.— Вы просто гениальный актер, Шриттмейер! Такая искренность! Попробуйте с той же дозой убедительности доказать полиции, что вы жулик, а не агент гестапо, и, может быть, отделаетесь полугодом тюрьмы.

В эту минуту Ширвиндт больше всего жалеет, что сигнализация, якобы подведенная к плинтусу, выдумана им, а не существует на самом деле: оставаться в комнате наедине с гестаповцами ему не улыбается. Но и уйти нельзя. Положение почти безвыходное.

— Стоять!— говорит он, отходя к двери и держа руку с пистолетом у бедра.— У нас мало времени, и мне нужна правда. Что с Минной Буш?

Шриттмейер тихо смеется:

— Ничего. Мы действительно из полиции, господин Ширвиндт. На вашем месте я все-таки взглянул бы на мое удостоверение. Оно в нагрудном кармане.

«А вдруг ошибка?! Но ботинки?.. Извечный немецкий стандарт...»

Ширвиндт не убирает пальца с гашетки.

— Вы покажете его инспектору. Не спешите, Шриттмейер.

— Я и не тороплюсь.

— Кто вас послал?

— Генеральный прокурор. Мы приехали из Берна. Здесь нас не знают.

— Даже главный комиссар Женевы?

— Даже он. Позвоните в Берн.

Помощник Шриттмейера не вмешивается в разговор. С руками на затылке стоит у шкафа. Настоящий полицейский вел бы себя иначе и попытался бы что-нибудь предпринять.

— Позвоните в Берн,— настаивает Шриттмейер.

— И не подумаю.

Не спуская глаз с немцев, Ширвиндт снимает трубку телефона и вызывает радиомагазин. Голос Минны возникает в мембране почти сразу же вслед за гудком.

— Говорит Ширвиндт!

— Вальтер?.. Слава богу!..

— Что у вас?

— Был обыск...

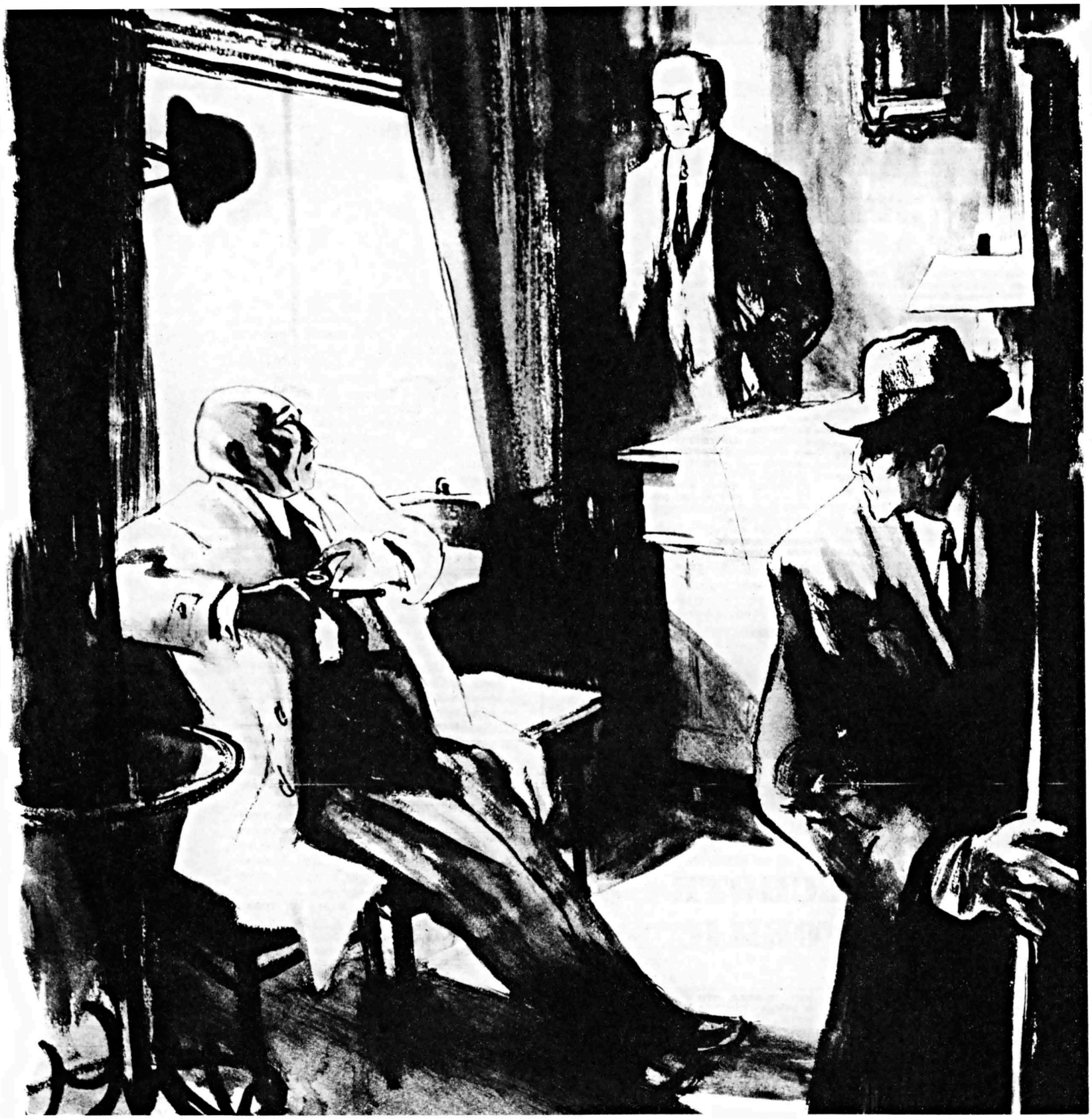
— Знаю. Где они?

— Один ушел часа два назад, а второй — только что. Что мне делать, Вальтер?

— Закройте магазин. Я скоро позвоню.

Ширвиндт опускает трубку на рычаг и задумывается. Ну и ситуация! Двое немцев и он один! Вызвать уголовную полицию? Нет, не стоит; показания немцев могут обернуться против «Геомонд». Они, пожалуй, достаточно разнюхали о его контактах с Роз и радиомагазином.

«Хорошо поставлено!— думает Ширвиндт.— И расчет недурен: запугать и заставить надолго прекратить работу. По логике Шриттмейера, что я должен делать? Конечно же, немедленно покинуть республику Гельвецию. На это и вся ставка! Не думал же он всерьез, что я забуду проверить в комиссариате личность некоего



Шриттмейера, перевернувшего вверх дном мою контору?»

Ширвиндт перекатывает сигарету из угла в угол рта. Свободной рукой трет подбородок. Невесело улыбается про себя. «Да, вышло бы, с точки зрения гестапо, очень забавно!.. Я звоню, мне отвечают, что комиссара с таким именем не существует, а ордер на обыск подложный, и Центр, учитывая положение, приказывает мне бросить все — связи, радистов, почтовые ящики — и бежать из Швейцарии... О нас в РСХА судят по своим собственным зарубежным резидентурам. Их человек на моем месте вышел бы из игры. Не потому ли Шриттмейер и не оказал сопротивления, что считает план выполненным? Пусть не по схеме, пусть с поправками на обстоятельства, но в целом — доведенным до логического завершения?..»

Ширвиндт делает вид, что колеблется.

— И все же не верится, что вы из полиции, господа.

У Шриттмейера дергается щека.

— Глупости. Позвоните в Берн.

— Будь мы из гестапо,— подает голос агент,— я размозжил бы вам голову. Нас все-таки двое, не забывайте об этом!

— К сожалению, помню.

— Он прав,— вмешивается Шриттмейер.— Если вы связаны с Марешаль, а мы гестапо, то почему бы нам не прикончить вас? Мы могли бы сделать это и раньше. Скажем, вчера. Где-нибудь на улице, вечером.

Ширвиндт чуть опускает ствол пистолета. Пусть считают, что он вконец озадачен... По сути, Шриттмейер сейчас играет ему на руку.

— При чем здесь Марешаль? Я думал, что вы грабители, пока вы сами не стали нести околесицу о шпионаже.

— Мы из полиции,— твердо повторяет Шриттмейер и осторожно косится на Ширвиндта.— Справьтесь в Берне. Мы из отдела Л-семь, главного комиссариата.

— Подождем инспектора.

— Ваш сигнал не сработал, иначе инспектор был бы уже здесь... Нам всем повезло, господин Ширвиндт: признаться, мне было бы не слишком приятно предстать перед коллегами в подобном виде. Да и вам трудно было бы объяснить, зачем вы все это проделали. Верните оружие, господин Ширвиндт, и позвоните в Берн.

Ширвиндт как можно убедительнее изображает человека, обуреваемого сомнениями. Лоб его наморщен.

— Ну нет... Вернуть оружие — это уж слишком! Я не хочу рисковать. Если вы из полиции, то вечером придете за ним вместе с представителем местных властей. Согласны?

— Но это нелепо!..

— Другого я не предложу!.. А теперь вон отсюда!

С пистолетом наготове Ширвиндт провожает немцев до самого выхода на улицу. Запирает дверь и сдвигает заслонку глазка. Шриттмейер торопится уйти, агент спешит за ним. Сердце Ширвиндта, точно кувалда, проламывает себе дорогу в грудной клетке: ему тесно там, внутри, стиснутому обручами ребер. Ширвиндт смотрит в глазок, пока Шриттмейер и его подручный не скрываются из виду. Ощущая тяжесть в ногах, поднимается наверх. Садится.

Что же теперь?

Прежде всего выбросить пистолет. За ним не придут. Затем позвонить Минне Буш. Пусть готовится к отъезду. Власти не станут чинить ей препятствий: она швейцарская гражданка и вольна ехать, куда хочет. Адрес в Испании отпадает; Мадрид и Барселона — самые неподходящие места для человека, преследуемого нацистами. Остается Италия. Там ее не станут искать. Сегодня же ночью Минна Буш должна пересечь границу... Ну, а он сам? А «Геомонд»?

Ширвиндт обжигает пальцы о сигарету. Для него отъезд равносилен бегству капитана с мостика во время шторма. Он остается. При известных мерах предосторожности работу можно и нужно продолжать. Связи, конечно, следует изменить, от встреч с информаторами полностью отказаться, перейдя на аварийную схему контактов. И немедленно известить Центр.

На столе поблескивает стеклянным колпачком забытая Шриттмейером радиолампа. Ширвиндт двумя пальцами берет ее и подносит к глазам. Роз ли оставила ее в студии, или Шриттмейер взял в магазине — сейчас это не имеет значения... Ширвиндт прячет ее в шкатулку с векселями. Всякий раз, когда лампа попадется на глаза, она будет напоминать ему об осторожности. Заперев шкатулку, он снимает с полки книгу и, сверяясь с шифром, пишет короткое сообщение Центру. Ни слова лишнего. Только суть и итог: «Перехожу на аварийный вариант. Прошу утвердить. Работу продолжаю...»

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

24. ФЕВРАЛЬ, 1943. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Сталинград!..

Жак-Анри обнимает Жюля. Приемник, настроенный на Берлин, передает траурные марши. Они звучат панихидой над могилами солдат из двадцати двух окруженных и разгромленных дивизий вермахта. Правительственный комментатор имперского радио Фриче цитирует последнее высказывание фюрера: «Пусть наши враги знают: если в прошлую войну Германия сложила оружие без четверти двенадцать, я принципиально сдаюсь не раньше, чем пять минут первого!»

Жюль обшарил всю контору сверху донизу и нашел неполную бутылку перно. Сталинград следовало бы отметить по крайней мере шампанским, но где его взять?.. Жюль, морщась, выпивает рюмку, наливает вторую.

— За сталинградцев! За солдат!

Жак-Анри чокается с ним.

— За нас! — предлагает Жюль, разглядывая на свет остатки перно.

— За нас! За победу! За Москву, старина!

Жюль, задохнувшись, переводит дух.

— Пять минут первого... А?! Как тебе нравится?

— До полной капитуляции далеко,— тихо говорит Жак-Анри.— Это только начало.

— Да, но какое!.. За начало!

Жюль переворачивает бутылку, выжимая последние капли. Он не любит и не умеет пить, но сейчас глотает перно, как воду. Жак-Анри настраивает приемник. В Берлине, во Дворце спорта, выступает Геббельс. Через каждые пять минут зал ревет: «Хох!.. Хох!!. Хох!!» Голос Геббельса срывается: «Народ, поднимись, и буря, разразись!..» Ого, пришлось вспомнить и о народе?! А как же с формулой гениальнейшего фюрера: «Я сам и есть Германия»?

Жаку-Анри и весело и грустно. Сталинград, мысль о нем наполняет его ликованием, но к радости примешивается горечь от сознания, что завтра Жюля не будет в Париже. Так решено: Буш и Жюль организовывают отдельную группу в Голландии. Центр подтвердил решение, и Жак-Анри согласен с ним. Напрасно Жюль надеется повлиять на него и заставить отсрочить отъезд. Ночью за ним придет связной.

— За твой отъезд! — предлагает Жак-Анри.— За благополучное начало в Гааге и вообще за все такое...

Жюль отливает в его стакан половину своей доли.

— Нельзя ли отложить?

— Я бы рад, но это зависит не от меня. Ты и сам понимаешь. Ширвиндту сейчас страшно трудно, и ты хотя бы частично заменишь его у себя в Гааге. Буш — прекрасный товарищ, и тебе будет легко с ним. Поверь мне...

— Это так, но все же...

— Оставим, Жюль! Подумай лучше о Вальтере. Он вправе рассчитывать на нас...

— Да, конечно.

— Жаклин поможет мне.

— Ты твердо решил?

— Она умная девочка. Полностью тебя ей, конечно, не заменить, но в конторе я передам ей переписку и некоторые связи. Я проверял: в полиции никто не занимается ее розыском. Сейчас у немцев хватает дел... Немного грима, и с приличными документами Жаклин может растаять в Париже...

Жюль, не присаживаясь ни на миг, ходит по комнате. За один день он постарел и осунулся. Доброе лицо перерезано морщинами. Раньше Жак-Анри как-то не замечал возраста друга; сейчас годы, прожитые Жюлем, все до последнего дня отпечатались у него на лице. Нелегкие годы. Дни и месяцы, когда человек просыпается с мыслью об опасности и засыпает с нею же. Не каждому дано, живя так, сохранить способность любить, шутить, смеяться. Жак-Анри знает товарищей, которые надолго замыкались в себе и трудно перебарывали свою угрюмость. Один из них был его начальником, готовил и в Испанию и в Париж. Он пытался и не мог улыбаться, и, глядя на его сомкнутые губы, Жак-Анри сказал однажды: «Осенний ты человек, Василий Васильевич! Пройдешь — и листья падают». Товарищ не обиделся, неловко отвел взгляд: «Сам вижу, что так... Не проходит...»

А Жюль никогда не скупится на смех.

— Связь по нечетным дням,— напоминает Жак-Анри.— Через машиниста экспресса. Обратная — по четным через буфетчика. Пользуйся ею сам, не подключая Буша. Сведения из Берлина целиком пойдут в Гаагу. Договорились?

— Минна в Италии? Что сказать Шекспиру?

— Она останется там.

Жак-Анри открывает стенной шкаф. В нем длинные и узкие ящички с тысячами вырезок из французских и германских газет. На адреса некоторых немцев Жак-Анри выписывает «Фолькишер беобахтер», эсэсовскую «Дас шварце корп» и даже погромный антисемитский листок Гуго Штрейхера «Дас Штюрмер». Иногда в них мелькают любопытные сообщения, из которых удается извлечь чисто военные данные. Пустяковая на первый взгляд информация о полковом празднике помогает установить местонахождение и полка и дивизии, в которую он входит. До вчерашнего дня картотекой занимался Жюль, теперь Жаку-Анри предстоит самому разбираться в потоке водянистых статей нацистских обозревателей и военных корреспондентов... Москва просила уточнить, где находится Рунштедт и не покинул ли он Францию. Жак-Анри просматривает парижскую информацию, отыскивает позавчерашнее газетное сообщение: «...на перроне статс-секретаря провожали генерал-фельдмаршал фон Рунштедт, генерал пехоты фон Штюльпнагель, генерал...» Позавчера? Сведения могли устареть.

— Я встречаюсь со своим писарем,— говорит Жюль.— Спросить о Рунштедте?.. Кстати, писарю удалось достать копии телефонограмм за две недели, не всех, к сожалению...

— Дай ему новый пароль.

— Для Жаклин?

— Нет. Я свожу с ним техника.

Они разговаривают спокойно, словно ничего не происходит. Каждый показывает товарищу, что по горло поглощен делами и меньше всего думает о расставании.

— Позвонить? — спрашивает Жюль.

— Он вызовет нас сам, когда линия будет чистой. Тебе что-нибудь говорит фамилия Бергер?

— Бергеров пруд пруди!

— А кличка Тэдди?

— Из РСХА?

— Не знаю. Техник подслушал разговор Рейнике. Какой-то Бергер, он же Тэдди, из Швейцарии едет в Париж. Чертовски знакомый псевдоним!

— Скоро узнаешь.

— Да, конечно. Понимаешь, старина, мне все чудится, что этот Тэдди где-то попадался мне... И потом — странно, правда? — не могу отделаться от мысли, что он имеет какое-то отношение к налету на «Геомонд».

— Это от лукавого!

Жюль улыбается. Морщины на его лице исчезают.

— Займись-ка лучше фельдмаршалом.

Жак-Анри с грохотом задвигает ящичек.

— Не могу!.. Погуляем, старина?

...Они идут по набережным Сены, минуя пляс де ля Конкорд, и по Кэ де Лувр добираются до начала Ситэ. С набережной хорошо виден громадный Дворец юстиции, расползшийся на треть острова. и Жюль словно заново рассматривает его... До свидания, Париж!..

На углу патруль проверяет документы. Сворачивать поздно, и Жак-Анри, не ускоряя шага, идет ему навстречу. Вахмистр из полевой полиции, шевеля губами, долго рассматривает удостоверения, переводит взгляд с фотографий на лица Жака-Анри и Жюля и опять на фотографии. Неохотно сует бумаги назад.

— Проходите.

Ничего особенного. Жаку-Анри десятки раз в день приходится лезть в бумажник за удостоверением личности или пропуском. Оккупационный режим в Париже свирепеет со сказочной быстротой. Стены домов заляпаны объявлениями о заложниках, приказами военного коменданта, афишками с портретами разыскиваемых... Теперь, после Сталинграда, немцы еще больше закрутят гайки пресса. Вахмистр на углу явно искал предлог придраться и был чрезвычайно разочарован, найдя, что бумаги Жюля и Жака-Анри в полнейшем порядке.

У моста Арколь — новый патруль. Жюль переглядывается с Жаком-Анри. Ну и припекло же немцев! На этот раз документы проверяют офицеры с черными ромбами на рукавах. В ромбах серебром вышито «СД». Жак-Анри на миг теряет самообладание. СД частенько, вот так, средь бела дня, задерживает прохожих и отправляет их во Фрэн или Сантэ, как заложников... До отъезда Жюля остались считанные часы, и Жак-Анри никогда не простит себе, если с другом что-нибудь случится сейчас...

Пожилой гауптштурмфюрер из руки в руку перекладывает удостоверение Жюля, его ночной пропуск и справку канцелярии коменданта Парижа, что Жюль является сотрудником немецкой администрации.

— Куда вы идете?

— Нас ждет клиент.

— Кого вас?

Жак-Анри выдвигается вперед. Его немецкий язык безупречен.

— Фирма «Эпок», господин офицер. Я ее владелец. Мы строим для вермахта!

— Заткнитесь! Документы?

Жак-Анри протягивает удостоверение. Вежливо поясняет:

— Наш клиент — генерал-майор Пиккеринг. Организация Тодта.

Гауптштурмфюрер повышает голос:

— Заткнитесь!

— Хорошо,— говорит Жак-Анри.

Привлеченный объяснением, к ним направляется штатский. Из-за плеча офицера заглядывает в бумаги Жака-Анри и что-то шепчет. Офицер молча передает ему документы.

Штатский согнутым пальцем подзывает Жака-Анри к себе. Смотрит на Жюля.

— И вы тоже... Пойдемте-ка со мной.

Они входят в подъезд, и штатский спрашивает:

— Кто из вас знаком с генералом?

— Я,— говорит Жак-Анри.

— Его телефон?

— Только служебный...

— Номер?

Жак-Анри достает записную книжку. Открывает на листке с буквой «П». Штатский следит за его пальцем, отчеркивающим строку.

— Пиккеринг?

— Да, да...

Не скрывая сожаления, немец возвращает документы.

— Убирайтесь немедленно! Оба!

Жюль прижимает руку к сердцу.

— Тысяча благодарностей.

Штатский бешено поворачивается к нему.

— Еще одно слово, и я арестую тебя! Вон отсюда, скотина!

...Обратный путь обходится без происшествий. Жюль через каждые два шага ругает немцев. Когда французские ругательства кажутся ему слишком слабыми, он пользуется итальянскими и испанскими. Жаку-Анри становится смешно.

— Прекрати, старина...

— Такой день,— негодует Жюль.— И так испортить!.. Называется, попрощался с Парижем.

25. ФЕВРАЛЬ, 1943. БЕРЛИН, ТИРПИЦУФЕР, 74.

Генерал-лейтенант и кавалер Рыцарского железного креста Франц фон Бентивеньи, несмотря на высокое официальное положение, занимаемое в абвере, далеко не каждый день имеет честь видеться с адмиралом Фридрихом Вильгельмом Канарисом. Он не так близок к нему, как генералы Ганс Остер и Эрвин Лахузен. Третье управление абвера — заграничная разведка и контрразведка,— возглавляемое Бентивеньи, не блещет успехами. В кабинет Канариса генерала приглашают, как правило, по неприятным и обидным поводам. Поэтому, усаживаясь в кресло против стола и стараясь не слишком скрипеть сапогами, Бентивеньи заранее настраивается на очередной выговор. Канарис, маленький, с гладко прилизанными седыми волосами, недобро щурится, слушая Остера, держащего на весу раскрытую папку с документами. Кивок адмирала, адресованный фон Бентивеньи, более чем прохладен.

— Прошу извинить... У вас все, Остер?

— Да, экселенц!

— Задержитесь, и поговорим втроем.

Остер слывет в абвере «теневым адмиралом». Его считают наперсником Канариса и поверенным всех его тайн. Он на чин ниже Бентивеньи и держится в его присутствии подчеркнуто скромно, как младший товарищ, которому предстоит многое перенять у старшего. Это, конечно, не значит, что он так и думает; напротив, у фон Бентивеньи есть основания полагать, что Остер невысокого мнения о его способностях разведчика. Но в абвере все следуют примеру Канариса, который тем лучше отзывается о человеке, чем большим ослом его считает. Эта его манера, в частности, доводит до белого каления обергруппенфюрера Генриха Мюллера, коему Канарис к месту и не к месту поет дифирамбы. Всемогущий начальник гестапо прямо-таки бесится, слыша похвалы

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—27.

своему уму и своей проницательности, исходящие из кабинета шефа абвера. На месте Канариса фон Бентивеньи поостерегся бы играть с огнем, особенно сейчас, когда положение адмирала значительно пошатнулось. Фюрер настойчиво ищет в своем окружении виновников катастрофических неудач на Восточном фронте. Мюллер и Гиммлер, разумеется, не преминули намекнуть ему, что военная разведка провалилась со своими прогнозами потенциальных возможностей Советского Союза...

Фон Бентивеньи, задумавшись, не мигая целится взглядом в высокий, залысый лоб адмирала. Плоские бледные уши Канариса пронизаны склеротическими прожилками; глубокие носогубные складки словно высечены резцом. Старый умный доберман-пинчер. Лучший сторож и лучшая ищейка империи! Неужели Мюллеру удастся свалить его? Сколько врагов у Канариса — Кальтенбруннер, Шелленберг, Мюллер, Гиммлер... Пальцев не хватит, чтобы пересчитать! Был еще Гейдрих, особенно ненавидевший адмирала, но его, слава богу, убрали с пути чешские диверсанты в мае сорок второго... Врагов породила зависть к удачливости и выдающемуся положению в государстве. Умножило их число иное: желание спихнуть ответственность за собственные просчеты на чьи-нибудь достаточно широкие плечи. Канарис — удобная для ударов фигура. Он единолично руководит всей зарубежной агентурой рейха и только один в полном объеме имеет представление о сумме разведывательных данных. Недаром Мюллер пустил слух, что данные эти, выйдя из кабинета Канариса, попадают на стол фюрера в кастрированном и искаженном виде... Жуткий слух, и не дай господь, чтобы фюрер поверил ему!

— Господа,— говорит Канарис, и в глазах его появляется живой блеск,— я только что приехал от Кейтеля. Фельдмаршал информировал меня о заседании Тайного совета и словах фюрера. Не беру на себя смелости цитировать их, но основную мысль хочу довести до вашего сведения... Садитесь, Остер, это надолго...

Остер, цепляясь носками сапог за ковер, огибает стол и занимает место напротив Бентивеньи. Постное лицо его с пасторским благолепием обращено к адмиралу.

Канарис откидывается в кресле и прячет голову в плечи. Золотое шитье на рукавах его мундира тепло мерцает в свете настольной лампы. Обычно адмирал ходит в штатском, форму он надевает лишь тогда, когда его приглашают в ОКВ или ставку фюрера. За последние месяцы он делает это все реже и реже. Словно угадав мысли Бентивеньи, Канарис тонко улыбается, подбирая пухлую нижнюю губу.

— Разговор надолго не всегда означает о плохом, генерал. Сегодня я скорее добрый вестник, чем герольд беды... Зато мой друг Кальтенбруннер изрядно поворочается ночью. Фюрер спросил его, что предпринято штабом Рейнике для ликвидации европейских групп русских. Кальтенбруннер сослался на Шелленберга и заверения Рейнике об окончании операции в месячный срок. «Прошло четыре месяца! — сказал фюрер.— Ваш Рейнике — один из тех, кто помог русским под Сталинградом!»... Вы знаете, что у фюрера исключительная память, господа. На заседании он блестяще доказал ее феноменальные возможности. Кальтенбруннер, по словам фельдмаршала, был раздавлен, когда фюрер перечислил, сколько радиотелеграмм получил русский генштаб от своей агентуры, и отметил при этом, что перехватить и расшифровать удалось не более пяти процентов от общего количества... Как раз здесь — и вполне уместно — фельдмаршал воспользовался паузой и доложил, что мы, то есть абвер, вывели из игры швейцарскую резидентуру русской разведки и добились того, что в будущем она не оправится от разгрома.

— О!

Как ни выдержан фон Бентивеньи, восклицание срывается с его губ. Канарис мягко смотрит на него.

— Не обижайтесь, генерал. Так было надо. Бергера в Швейцарию послал я сам, минуя всех, и он отлично справился с поручением. Там, где РСХА прибегло бы к очередному фарсу со стрельбой, Бергер проявил редкую сообразительность и обошелся без шума. Несколько недель он наблюдал за Марешаль — той самой, которую Шелленберг перетащил в Берлин,— и через нее вышел на некоего Буша. От Буша нить потянулась к издательской фирме «Геомонд» и ее владельцу Вальтеру Ширвиндту. Бергер начал с простого: его человек в налоговом управлении проверил книги фирмы и установил, что расходы всегда превышают доходы. Если верить им, то «Геомонд» работала в убыток... К сожалению, наблюдение за Ширвиндтом ни к чему не привело. Бергеру не удалось выявить его связи, почти ни одной... Не имея прямых улик, Бергер предпочел обойтись без услуг швейцарской полиции и сам — всего на несколько часов — превратился в полицию, прокуратуру и суд. Ему, признаться, здорово помогли чиновники архивов СД, разыскавшие фото Ширвиндта, сделанное еще в Испании. Там его звали иначе; он русский и до тридцать девятого носил чин комбрига... Что скажете, господа?

Остер округло поводит рукой, словно предоставляя Бентивеньи право и честь высказаться первым.

— Блестяще! — говорит Бентивеньи, едва сдерживая досаду.— Но почему я, экселенц, узнаю об этом последним? Чем подал я повод для недоверия?

Глаза Канариса делаются стеклянными.

— Ничем! Но я полагал, что не подотчетен своим подчиненным!.. Надобно ли повторяться, что в разведке все построено на исключениях, а не на правилах? Бергер — исключение, поскольку посылал его я и действиями его руководил я же. У вас, генерал, было широчайшее поле для приложения сил — половина континентальной Европы. Неужто вы столь жадны, что не в состоянии подарить мне одну-единственную Швейцарию? Она так мала и так второстепенна!..

Когда Канарис шутит, ни за что не предугадаешь, чем все кончится. Бентивеньи от юмора адмирала хочется поежиться. Он спешит спасти положение.

— А Германия? Она очищена от агентуры вами!

— Вы имеете в виду группу Шульце-Бойзена? Увы, это сделало гестапо.

— А Харнака... и этой — Альты?

— Да, Альты — Ильзы Штебе... Такие имена надо помнить, генерал. Хорошо, что вы сказали о них. Я долго думал над их делами... Да, да, представьте, мне все казалось, что мы не до конца разобрались и не извлекли всей пользы от следственного и розыскного материала. Так оно и оказалось.

Остер деликатно покашливает.

— Но группы обезврежены, экселенц. Что же еще?

— Система, Остер... Шелленберг всех и вся валит в одну кучу. Он и Кальтенбруннер докладывают фюреру, что вся Европа покрыта сетью русских разведывательных организаций. Они утверждают, что группы связаны между собой и представляют единое целое... Когда подобное заблуждение используется в пропагандистских целях, я готов оставить его на совести авторов и не опровергать. Одними плакатами со словечком «Тс!» не мобилизуешь бдительность немца. Пусть думает, что враг везде, и держит язык за зубами... Но в интересах контрразведки как таковой не раздувать миф о гигантской сети, а трезво смотреть в глаза жестокой правде.

Остер открывает рот и тут же сжимает губы.

— Вы что-то хотели добавить?

— Нет, экселенц.

— Хорошо... Так сколько же групп действует? Много или мало?..— Канарис выдерживает паузу.— Очень мало, господа. Я имею в виду профессионально обученные кадры, а не случайных лиц, используемых как источники и для связи. Вспомните Берлин. Три-четыре активных разведчика и сколько-то помощников, не всегда осведомленных о том, кому они дают сведения. Знал ли, скажем, Шульце-Бойзен о других берлинских группах? Ровным счетом ничего! Ограниченная численность, изолированность и полная конспирация — таков принцип русских.

Бентивеньи решается возразить:

— Но во Франции, экселенц...

— То же самое, генерал. С некоторыми отклонениями, разумеется. Вы ищете там могущественные резидентуры с налаженным аппаратом и сотнями идейных и платных информаторов. Вам мерещатся фантастические по количеству работников группы. А на самом деле русские держат там полдесятка кадровых работников, надежно изолированных друг от друга и вступающих в контакт через посредников и в случае надобности.

У Остера ползет вверх бровь.

— Дом без ключа...

— Что вы сказали?

— Дом без ключа, экселенц. Так назвал эту систему один из чинов гестапо, некто Гаузнер. Довольно метко.

— Не нахожу. Ко всякому дому можно подобрать ключ. А если мы этого не в состоянии сделать, то значит — к черту, на свалку, в крематорий! Ни один охотник не станет держать собак, утерявших нюх!

— Да, экселенц!

«Уж не я ли такая собака?» — думает Бентивеньи и задерживает дыхание.

У Канариса просто дьявольское чутье! Бентивеньи еще не успевает додумать мысль до конца, как адмирал дружески замечает:

— Я не о присутствующих, господа. Вами я доволен... Но вернемся к Франции. Рейнике в Париже ведет свои дела с помощью гадалки. Кофейная гуща и карты вряд ли предскажут ему правду. Докладывая в Берлин, он врет и Мюллеру и Шелленбергу, а те врут Кальтенбруннеру и Гиммлеру. Что касается последних, то их доклады фюреру соответствуют исходному материалу. Все эти господа изображают из себя хоровое общество и, помня о выдуманной ими но-лос-саль-ной сети, поют в унисон, что стоит им только зацепиться хоть за край, как они доберутся и до середины. Сколько же «краев» им надо?! Брюссель, Марсель, снова Марсель, Лилль, похищенная Марешаль, какой-то контрабандист... И что там еще?.. Любая сеть разлезлась бы, как паутинка, если бы она была и покрывала всю Францию! А итог? Он жалок, господа. Выпадает одно звено, возникает новое. Нащупываем его, появляется третье. Организатор сидит где-то вдали от зоны поисков и хладнокровно наблюдает за нашими усилиями. Больше того, пожалуйте: пеленгаторы нащупали новые передатчики, в Голландии. Что, и эти тоже работают под эгидой Парижа?!

Фон Бентивеньи, забывшись, растерянно моргает. Его опять обошли. Радио-абвер доложил непосредственно адмиралу, миновав 3-е управление.

— Этого не было в сводке.

Канарис сдвигает брови к переносице.

— И не будет! Я приказал не включать в сводку ни строчки. Ее читают слишком многие. В том числе и те, кто настроен против абвера. Это секрет, господа.

Остер торопливо кивает. Канарис еще глубже уходит в кресло. Он точно сник. Складки устало наползают друг на друга, на виске вспухает и начинает отчетливо пульсировать венозная жилка.

— Нас здесь трое, господа. По крайней мере двое — я имею в виду вас, а не себя,— лучшие разведчики Германии. Это не лесть... Займитесь Парижем сами. Часть информаторов, по-моему, сидит в Берлине, но их пусть ищет гестапо. Выведите из строя основного фигуранта, как это сделал Бергер в Женеве, и задача будет решена. Я подброшу вам зацепку. Гаузнер, упомянутый вами, Бентивеньи, упустил в Брюсселе одну девицу. Ее же выследили в Марселе, и вновь она ушла. Наконец в Париже один из сыщиков покойной «Сюртэ» обнаружил ее в третий раз. И опять она улизнула. Может быть, это всего-навсего ловкая связная, а возможно, что и фигура покрупнее. Слишком часто она почему-то оказывается там, где горячо. Присмотритесь к ней и не спрашивайте, откуда я знаю о ее третьем появлении и наблюдателе из «Сюртэ». Это мой маленький секрет. Но помните: ключ к этой истории лежит в кармане лейтенанта Мейснера. Я незнаком с ним, но считаю, что ни по возрасту, ни по чину он не заслуживает того, чтобы столь драгоценный предмет становился его собственностью. Отберите у него и ключ и все остальное, Бентивеньи. И завтра же!

— Да, экселенц... Я это сделаю, но Мейснер уже не у нас. Он в штабе Рейнике.

— Верните его в абвер.

— Нужен ваш приказ.

— Я подпишу его... Если девица будет найдена, Мейснер получит Железный крест и назначение на фронт. Пусть делает карьеру в бою.

Остер ногтем почесывает висок. У него холеные руки аристократа. И речь аристократически изысканна и чем-то напоминает Бентивеньи скрипичные пассажи.

— Я бы позволил себе, экселенц, вынести на ваше суждение один проект, возникший экспромтом. Вы удостоили похвалы майора Бергера, которого я имею счастье немного знать по совместным мероприятиям; так не согласились ли бы вы, экселенц, временно — о, на самый небольшой период! — прикомандировать его к нашему отделу в Париже?

Канарис одобрительно наклоняет голову.

— Он уже в Париже, Остер. Еще что-нибудь?

— Пожалуй, все. Я почти не в курсе дел, экселенц, и не смею вторгаться в область, где прерогативы начальнинка Третьего управления заслуживают уважения и приоритета...

— Это разумно... Ваше мнение, Бентивеньи?

— Я должен ехать в Париж?

— Не стоит. Этим вы поможете Рейнике вывернуться — он обернет себе на пользу ваш приезд и все свои грехи спишет по счетам абвера. Оставайтесь в Берлине; пусть Бергер выступает в качестве посла и ответственного уполномоченного.

— Официально?

— Нет, конечно! Никаких верительных грамот и письменных полномочий. Считается, что он отдыхает после Швейцарии. Шустера и парижский абвер — кого следует — предупредите персонально, что они должны оказывать содействие Бергеру, если он в порядке инициативы надумает предложить им свою помощь. В этом случае его распоряжения будут обязательными для точного исполнения во всех инстанциях разведки или контрразведки. Все... Вы свободны, господа.

Вялой рукой Канарис некрепко жмет руку Бентивеньи и снова ныряет в глубину кресла. Стоя, генерал может видеть на коленях у начальника абвера свернувшуюся уютным клубочком таксу. У таксы взгляд человека, обремененного тысячами забот. Это любимица адмирала — Зеппль-2. Зеппль-1 скончалась еще до вступления Канариса в должность начальника абвера; портрет таксы висит у него над книжным шкафом, напоминая о бренности всего земного и о том, что адмирал живет в мире, где собаки лучше людей.

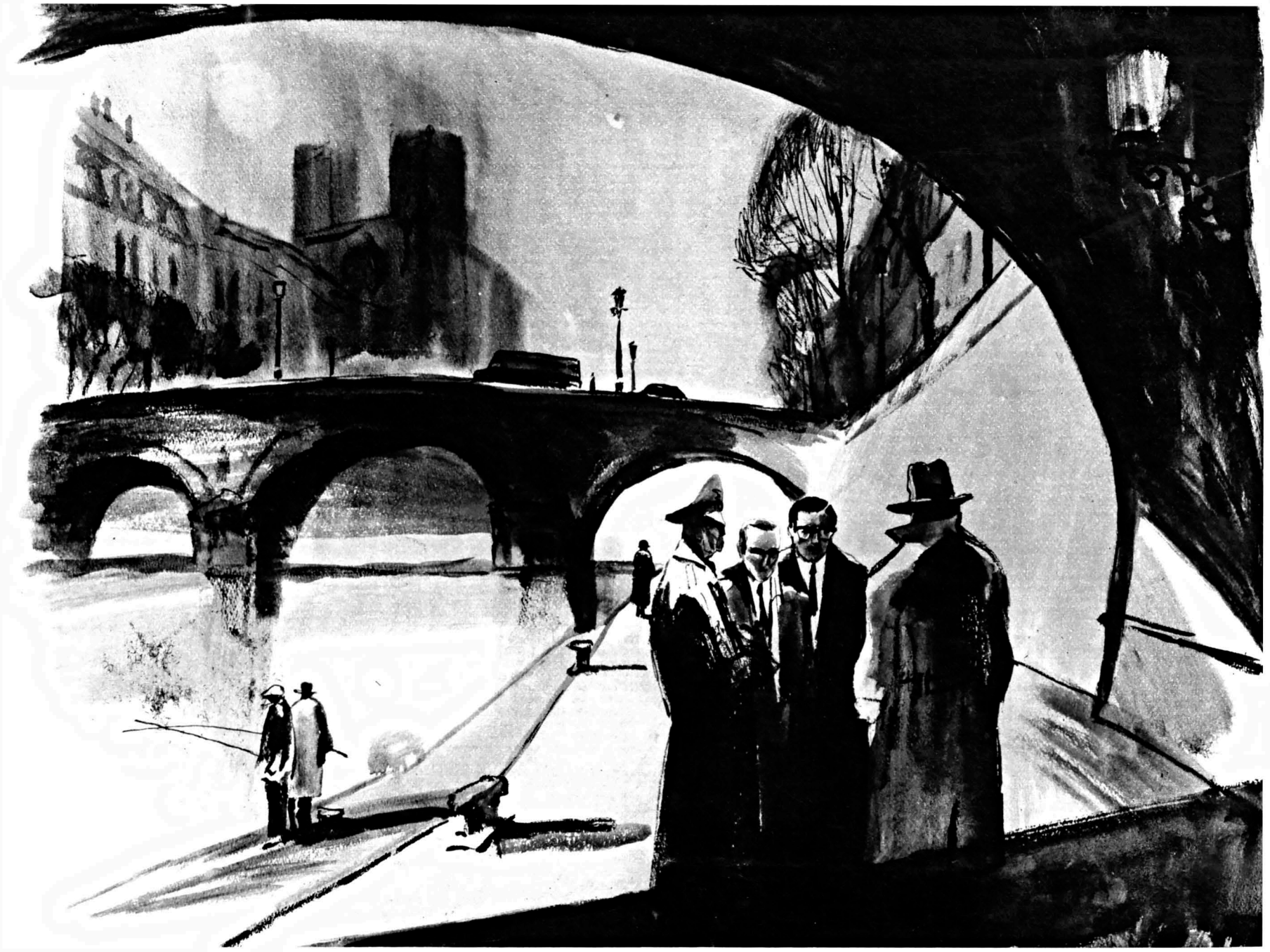
Фон Бентивеньи позволяет себе улыбнуться таксе.

— Как твой животик, Зеппль?

— У нее глистики,— говорит Канарис.— Бедное существо... У вас нет на примете знающего врача, генерал? Тот, что лечит Зеппль, просто шарлатан. Она так страдает.

Бледные уши Канариса розовеют. Послушать, так ничто в мире не волнует его сейчас сильнее недугов таксы! Канарис не был бы Канарисом, если бы позволил хоть одному человеку на свете заглянуть в свою душу. Даже Кальтенбруннер, хвастающий своей осведомленностью о всех и каждом, когда речь заходит об адмирале, только морщится и называет его великим мистификатором. Никто не знает точно вкусов и привязанностей адмирала. Страсть к гладношерстным таксам на поверку легко может обернуться холодным расчетом человека, прекрасно помнящего, что Гитлер считает себя выдающимся знатоком кинологии, а Эрнст Кальтенбруннер весь досуг посвящает возне с «королевскими» догами. На этой почве между адмиралом и начальником РСХА завязались странные отношения, внешне похожие на дружбу: выпадают вечера, когда они проводят часы за беседой о собачьих статях и «угрюмый Эрнст» с живейшим интересом прислушивается к мнению Канариса. Общность увлечений не препятствует обоим ненавидеть друг друга так, как это способны делать только люди, смертельно боящиеся один другого.

«У Зеппль глистики,— повторяет про себя Бентивеньи, выходя из кабинета.— Боже мой, куда катится Германия? Глисты паршивой собачонки заботят нас больше проигрыша сталинградского сражения!.. К черту абвер, буду просить у фюрера дивизию — и на фронт!»



Он трижды повторяет про себя эти слова — «на фронт!» — отчетливо понимая, что никогда не подаст рапорта о переводе. Как ни пошатнулось положение Канариса, он еще силен, значительно сильнее, чем хотелось бы Кальтенбруннеру. Удача в Женеве повысила его акции в ОКВ, а успех в Париже поможет крепко усесться в седле. Только сумасшедший покинет его сейчас, чтобы погибнуть, командуя уставшими от войны солдатами. Адмирал справится и с Кальтенбруннером и с Гиммлером и по заслугам воздаст тем из соратников, которые остались ему верны...

26. МАРТ, 1943. ПАРИЖ, БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Вторую неделю Жаклин работает в «Эпок» секретарем Жака-Анри. Обязанности ее многообразны. Почта, телефон, предварительные беседы с посетителями, каждому из которых нужно словно между прочим задать вопрос о погоде в Дьемме. «Не знаете ли, тепло там сейчас?» Если отвечают, что нет, в Дьемме холодно и осадки, то такой посетитель в отсутствие Жака-Анри должен оставить для него конверт с запиской. Помимо двух параллельных телефонов, соединяющих кабинет с приемной, у Жака-Анри есть отдельный аппарат; когда он работает, на табло у Жаклин мерцает зеленый глазок. В такие минуты к Жаку-Анри нельзя никого допускать.

Почты поступает много. Большинство конвертов — с клишированными названиями фирм, но встречаются и частные письма и открытки, и боже упаси хоть ненадолго задержать их у себя! Попав к Жаку-Анри, послания эти словно испаряются — Жаклин не находит их ни в папках, ни в урне для бумаг, которую обязана очищать в конце рабочего дня... Особенно много хлопот с телефоном. Кого нужно соединить с господином Леграном немедленно, а кто вполне может подождать? Ну, с немцами, положим, все ясно: Жаклин строго-настрого приказано переключать аппараты на кабинет, как только она услышит первую же фразу. Не спрашивать ни о чем, а сказать любезно: «Минутку, месье!» — и перевести рычажок коммутатора. А как быть с французами? Особенно с теми из них, которые простецки зовут господина Легран «месье Жаком» и не прочь с места в карьер назначить свидание самой Жаклин в любом из загородных ресторанов? Это маленькие дельцы, коммерческие посредники и вышибленные из игры биржевые зайцы — народ настойчивый и льстивый. Являясь в контору, они приносят Жаклин бонбоньерки и цветы. И опять Жаклин не знает, как быть: надо ли принимать подношения или отвергать их, блюдя престиж секретаря шефа фирмы. Жак-Анри посмеивается и вполне серьезным тоном советует брать только фиалки. «Они подходят под цвет ваших глаз, дорогая». Сам он занят с утра до вечера и не в состоянии уделить разговорам с Жаклин ни одной лишней минуты. Совещания со строителями, поездки к префекту, деловые разговоры с глазу на глаз, приемы для немецких офицеров... письма, звонки, рукопожатия, вежливые улыбки, сопровождаемые поклонами и многозначительными намеками, смысла которых Жаклин не в состоянии постичь... Калейдоскоп лиц, имен и голосов.

В понедельник Жак-Анри уехал в Нант и вернется не раньше среды. Жаклин должна отвечать, что он гостит у знакомого промышленника в Фонтенбло и просит всех, кому он нужен, позвонить или зайти в среду до полудня. Во второй половине дня у него назначена встреча с военными приемщиками из Тодта, подполковником и майором, в чьем обществе Жак-Анри отчаянно кутил всю прошлую пятницу. Они начали с утра выпивкой в кабинете, потом немцы отвезли Жака-Анри на машине к «Максиму», и дело кончилось коньяком опять-таки в кабинете, причем Жаклин вынуждена была варить им кофе и терпеливо сносить ласковые щипки, которыми подполковник выказывал ей свое расположение. Майора рвало, и поэтому женщины его не интересовали. Жаклин с трудом отделалась от подполковника, всерьез вознамерившегося проводить ее домой, и в понедельник собралась пожаловаться Жаку-Анри, но не успела: он позвонил по телефону и предупредил, что едет в Нант. Жаклин привезла ему на вокзал письма, пришедшие в субботу и воскресенье. Жак-Анри ждал ее на перроне и выглядел отвратительно. Глаза его запали, а лицо было зеленым. Жаклин стало жаль его, и она поцеловала Жака-Анри в щеку, хотя и была сердита.

— Пройдет,— сказал Жак-Анри и погладил ее по волосам.— Будьте умницей и ведите себя хорошо.

— Я не девочка! — обиделась Жаклин.— И не хлещу коньяк с немцами!

— Вам не нравится мой образ жизни?

— А вам?

— Честно говоря, не очень! Но что поделать, дорогая?

— Разве пьянствовать необходимо?

— Оставим это... Мне пора.

— В среду?

— Да, и не ошибитесь, где я! Запомнили? Я в Фонтенбло у барона д'Ашьера. Если позвонит мужчина и с акцентом спросит уважаемого сеньора Переза, не вешайте трубку. Он не ошибся и спрашивает меня. Ответьте ему, что в среду не позднее часа я буду в районе Ситэ, возле дома с числом, совпадающим с числом его лет. Запомнили?

— Еще бы!

— Вы умница, моя дорогая, и я рад, что мы работаем вместе.

Жаклин покраснела. После Марселя она была готова вот-вот влюбиться в Жака-Анри. По утрам подолгу сидела перед зеркалом, рассматривая себя, и страдала. Слишком крупные скулы, а глаза невелики. И брови — одна выше другой. Пинцетиком она выщипала брови, вытянула их в ниточку с помощью карандаша и стала похожей на одну из тех, кого парижане называют «швабским наматрасником». Накрашенные губы делали ее вызывающе яркой. Перед поступлением в контору Жак-Анри повел ее в салон и купил два платья, очень простых по фасону и очень дорогих. В подчеркнутой скромности линий было скрыто что-то привлекательное, и на Жаклин стали оглядываться, когда она завтракала в кафе. Перчатки, сумочка и туфли из кожи одного оттенка и качества, часики на золотом браслете и голубые камеш-

ки в ушах яснее ясного говорили, что Жаклин повезло и она пользуется расположением владельца фирмы. Слова Жака-Анри, что «так надо», ее мало утешали. Придя в контору в первый день, она с раздражением бросила сумочку на стол и сорвала перчатку.

— Меня принимают за содержанку! Это уже слишком, слышите!

Жак-Анри успокаивающе погладил ее по плечу.

— Казаться содержанкой и быть ею — понятия разные.

— Что ж, по-вашему, мне надо повесить вывеску на лоб: «Я не такая...»?

...Новые документы, новая одежда, новые грим и прическа... Казалось бы, и мать прошла бы мимо, встретив Жаклин на улице. И все-таки нашелся человек, который, кажется, узнал ее. Она сидела в кафе, в пассаже Лидо, том самом, где в первый раз встретилась с Жаком-Анри, и думала о нем, о той встрече и о том, что это судьба. Пристальный взгляд из-за витрины лег на ее лоб, заставив поднять голову от чашки с жиденьким супом. Худощавый брюнет в оперном реглане был знаком. Жаклин определенно встречала его, но где и когда, не могла вспомнить. Взгляды их встретились, и брюнет улыбнулся, отходя... Жаклин покопалась в памяти, но не нашла никого, кто был бы похож на этого брюнета. И все-таки они где-то встречались! Жаклин была достаточно опытна, чтобы отличить улыбку, которой как бы приветствуют малознакомых, но все-таки узнанных людей, от улыбки, знаменующей начало уличного флирта. Она готова была поручиться, что брюнет в реглане не собирался с ней заигрывать.

До самой конторы Жаклин ломала голову, пока ей не показалось, что брюнет и пассаж Лидо чем-то связаны между собой. Не здесь ли она видела его? Когда?.. Ну конечно, начало или середина февраля, завтрак из овощей, запотевшее окно кафе. Брюнет вошел и тут же вышел; тогда на нем был плащ... О мадонна, еще один воздыхатель!.. Жаклин засмеялась, представив себе его длиннейший гасконский нос. Жак-Анри, если бы хотел поухаживать за Жаклин, мог не опасаться такого соперника!

До самого вечера в Жаклин боролись два желания: подразнить Жака-Анри рассказом о поклоннике и умолчать о нем, подождав новой встречи. Назавтра она пошла в Лидо и, конечно же, брюнета не оказалось... Господи, что за дура! Кому придет в голову влюбиться в такую страшилу, как она?.. Думая об этом, Жаклин жалела себя, пока ей не почудилось, что воспоминания о брюнете не замыкаются на одном кафе. Черт возьми, а не появлялся ли он раньше? Она напрягала память, но так и не связала лицо брюнета и его гасконский нос с Парижем или Марселем.

Жак-Анри, с которым Жаклин, промучившись два дня, решила наконец поделиться сомнениями, был настроен гораздо серьезнее, чем она могла ожидать. Он запретил ей показываться в пассаже и посоветовал в тот же день переехать на новую квартиру, о которой тут же по телефону договорился с посредником из бюро найма.

Жаклин переехала.

Квартирка оказалась маленькой и удобной, на последнем этаже, под самой крышей. Консьержка без особого любопытства расспросила ее о привычках, сказала, что дверь внизу запирается, как и везде, в час ночи, и, получив от Жаклин пять франков, вручила ей ключи...

Дом совсем рядом с конторой. Это и плохо и хорошо. Славно, что можно поспать подольше за счет времени, уходившего прежде на дорогу; зато Жаклин меньше приходится ходить пешком и дышать воздухом. Окна в конторе всегда плотно закрыты: Жак-Анри еще в самом начале объяснил, что это сигнал, означающий «все в порядке». При опасности надо изловчиться опрокинуть на стекло бронзовую Терпсихору и постараться выбить его. В крайнем случае надо высадить его просто кулаком — даже если тебя застрелят за это на месте. С тех пор Жаклин старается, чтобы Терпсихора всегда стояла где надо,— уборщица иногда снимает ее с подставки и забывает водрузить на место.

Сегодня с самого утра телефон работает с полной нагрузкой. Уже звонили из банка; битый час нес галантную галиматью Рене; дважды или трижды вызывал инженер из Бордо, ведущий по заказу немцев строительство на побережье; допытывался, где именно отдыхает Жак-Анри, страховой агент. Адъютант генерала Пиккеринга предупредил, что его начальник будет в Париже завтра и завтра же хочет видеть господина Леграна; некто, назвавшийся «техником», попросил внимательно отнестись к открытке с видом на Нотр-Дам, подчеркнув, что марка не имеет значения.

«Надо ли это записать?» — думает Жаклин. Она боится забыть что-нибудь и вызвать неудовольствие Жака-Анри. И почему только он так сдержан и суров с нею?

Жаклин открывает бювар и заносит в него: «Нотр-Дам. Марка?» И тут же начинает опять трезвонить телефон.

— Приемная месье Леграна. У аппарата — секретарь.

Жаклин выучилась произносить эти фразы профессиональной скороговоркой, экономящей время и терпение клиента.

— Господин Легран у себя?

— Он отдыхает в Фонтенбло.

— Жаль. Когда он будет?

— В среду.

— Это точно?

— Разумеется! В среду вечером у него ответственная встреча. Как доложить о вас, когда он вернется?

— Я позвоню в среду.

Французский язык говорящего холодно-правилен. В нем нет беглой небрежности, отличающей речь настоящего француза от школьных оборотов иностранца. Жаклин вспоминает о человеке, который должен вызвать сеньора Переза, и ждет продолжения, но в трубке уже звучат сигналы отбоя.

В полдень Жаклин идет обедать. На углу за ней увязывается шпик. Жаклин нисколько не встревожена. Шпиков на парижских улицах столько, что скоро горожане растворятся среди них, как капли масла в супе. Политический и уголовный отделы полиции конкурируют с немецкими контрразведками, и частенько их сотрудники прикленваются к людям просто так, на всякий случай. В каждом французе призывного возраста им чудится террорист, а в девушках — связные маки. По ночам все чаще патрули находят офицеров и солдат с перерезанными глотками, а стены домов приходится перекрашивать, уничтожая лозунги, выписанные деголлистами... Случается, что шпики, пристроившись к прохожим, удивительнейшим образом выходят на верный след; Жаклин так и не может понять, что именно здесь приходит им на помощь — интуиция или удача? Или решающим оказывается то обстоятельство, что бо́льшая часть молодежи действительно так или иначе связана с подпольем и выполняет задания маки или эмиссаров Лондона?.. Проводив Жаклин до кафе, шпик, не очень-то и скрываясь, ныряет в телефонную будку. Жаклин заказывает обед. Если бы полицейский заподозрил что-нибудь серьезное, он давным-давно остановил бы ее и проверил документы. Сейчас он скорее всего звонит в комиссариат и пытается навести справку по картотеке описаний. Ее портрета там нет. Точнее, там отсутствует словесная характеристика ее «нового лица», совсем не похожего на старое... Жаклин ест луковый суп и размышляет о тех юношах и девушках, которые именуют себя «солдатами Свободной Франции». Подростки, почти дети, они оказались втянутыми в войну и ведут ее наравне со взрослыми. Мальчики со стэн-ганами под полами пиджаков и девочки, носящие в сумочках не любовные записочки, а пластиковые бомбы,— они не доживут до победы. За что они воюют? За Францию? За какую?.. Господа, присылающие из Лондона оружие, конечно, тоже патриоты, но их патриотизм как небо от земли отличается от того, который побудил на борьбу Пьера или старых товарищей Жаклин по отряду полковника Бло — отличного парня, в мирной жизни профсоюзного организатора заводов «Рено»...

Жаклин выходит на улицу и осматривается. Шпика нет и в помине. За кем он потопал сейчас? Дай ему бог сломать себе ногу!

Телефоны в конторе надрываются.

— Господин Легран будет в среду...

— Будет в среду...

— В среду...

И опять:

— Господин Легран отдыхает! Что прикажете передать?

Ровно в четыре приходит рассыльный из отеля «Пикнарди». Жаклин отдает ему два письма и открытку с марками, на которых изображен зеленый баобаб. Кому предназначены письма и как рассыльный доставит их по назначению, Жак-Анри не говорил. Не то что он не доверяет Жаклин, но так уж заведено в «Эпок» — каждый делает свое. Вряд ли и мальчуган — вылитый Гаврош! — догадывается об осведомленности Жаклин. Наверное, считает ее намалеванной дурой, не посвященной в подлинное значение писем и открытки. Жаклин протягивает ему двадцать су и выпроваживает из конторы, отказав в просьбе ссудить сигареткой.

— Рано куришь, малыш!

— Подумаешь! — морщит нос Гаврош.— Копишь деньги на чулки?

Жаклин шлепает его по заду, и парнишка вылетает в коридор. Рука у Жаклин тяжелая, недаром отец ее за долгую жизнь вспахал и засеял бог весть сколько гектаров земли в Бретони. Земля была чужой, и Жаклин, помогая отцу, как и он, мечтала о собственной.

Телефон звонит опять.

— Приемная господина Леграна?

— Да. Здесь секретарь месье Леграна.

— Передайте ему, что в Дьемме холодно и сплошные осадки.

— Неужели? А у нас были сведения, что там тепло.

В трубке пауза. Потом мужской голос, торопясь, доканчивает:

— Интересующий Леграна вопрос удалось разрешить. Тот человек уехал на Восток и живет теперь в Синельникове. Вы поняли меня? В Синельникове. Это на Украине.

— Да,— говорит Жаклин.

Она уже настолько в курсе дела, что может догадаться, что «тот человек», по всей видимости, какой-нибудь генерал вермахта, а штаб его дислоцируется в Синельникове.

— Я передам,— говорит она.

— Скажете, что звонил Шарль.

Такие вещи записывать нельзя. Жаклин повторяет про себя сообщение несколько раз, утрамбовывая его в памяти. Жак-Анри, вернувшись в среду, будет доволен ею.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

27. МАРТ, 1943. ПАРИЖ. БУЛОНСКИЙ ЛЕС.

«Личный штаб» — это звучит громко, но не отражает сути дела. Личный штаб бригадефюрера Рейнике составляют два десятка сотрудников в звании не выше штурмбанфюрера, прикомандированных к нему из разных ведомств для особых поручений. Известная часть из них является членами гестапо и СД, среди остальных, наряду с разного рода специалистами из общих СС,— чины криминаль-полиции и полевой жандармерии. В Булонском лесу они занимают небольшой особняк, примыкающий к зданиям гестапо и служивший прежде для технических нужд. В штабе нет строгого разделения на отделы, каждый выполняет отдельные задания и подотчетен только бригадефюреру. Это довольно удобно для Рейнике; по крайней мере он может быть спокоен, что о его планах знают немногие и утечка сведений исключается почти на сто процентов.

До войны Булонский лес пользовался популярностью у парижан, но с тех пор, как гестапо избрало его для своей резиденции, французы, не сговариваясь, стали избегать этого района. Элегантные ландо и шарабаны — дань аристократической моде — уступили место на дорожках «оппелям» и «мерседесам», а праздные пары — усиленным патрулям в стальных шлемах. Солдаты из ваффен-СС останавливают каждого, кто приближается к гестапо, и проверяют документы: приказ обязывает их не верить никому и никого не узнавать в лицо.

И все-таки временами Рейнике кажется, что режим секретности недостаточно жесток. Своих людей он обязал деловые разговоры вести только в служебных помещениях штаба, а со вчерашнего дня запретил пользоваться городскими линиями телефона. Это распоряжение больно ударило по Мейснеру, привыкшему по нескольку раз на день болтать со своей толстушкой, проверяя, так ли уж она скучает без него в действительности, как утверждает, когда они остаются наедине. Увы, военная линия связи, обслуживаемая специалистами технического подразделения СС, недоступна для той, которая называет его «Пуппи».

В своем кабинете на втором этаже Мейснер ругает Рейнике. Мысленно, разумеется... Толстушка — это еще полбеды. Но вот Бергер,— если не позвонить ему, то дело кончится скандалом. Майор, несмотря на тихий голос и вежливые манеры, наводит на офицеров абвера страх не меньший, чем Скорцени на эсэсовцев. Бергер не занимает официальной должности в абвере, числясь приписанным к секретариату адмирала Канариса, но ни Остер, ни Лахузен, ни Пикенброк, не говоря уже о руководителях более низкого ранга, не удостаиваются так часто похвалы Канариса и доверительных бесед с ним при закрытых дверях. Поговаривают, что Бергер в «ночь длинных ножей» помог отправиться на тот свет начальнику штаба берлинских СА Карлу Эрнсту, а в 1939-м приложил руку к организации инцидента в Глейвице, давшего Гитлеру формальный повод объявить войну Польше. Никто не знает наверняка, было это или не было, но вот то, что Бергер по заданию Канариса руководит «контрразведкой внутри контрразведки», не вызывает сомнений. Майор беспрепятственно получает доступ к любым документам и оказывается в курсе множества служебных и личных тайн...

Разговор с Бергером, состоявшийся в «Лютеции», выбил Мейснера из колеи. Бергер не требовал, не угрожал, говорил вежливо и мягко, но Мейснера не покидало ощущение, что его душили шелковым шнурком. Во всяком случае, он и не подумал скрыть от майора имя своего французского осведомителя и без колебаний дал обязательство немедленно связаться с «Лютецией», если в штабе Рейнике возникнут конкретные соображения по поводу «девицы из Марселя». Проверяя его лояльность, Бергер звонит в самое неподходящее время и требует отчетов. Он и сегодня может позвонить с минуты на минуту, и Мейснер почти в отчаянии: он убежден, что Рейнике дал указание прослушивать городской коммутатор. Самый невинный разговор с «Лютецией» вызовет его подозрение, и вместо обещанного железного креста лейтенант, грубо говоря, рискует заработать крест из другого, менее долговечного материала. В СД существует свое понимание термина «охрана секретности».

Но пока телефон молчит, и Мейснер, нервничая, без дела перекладывает бумаги. Их немного. Отработанные агентурные донесения, несколько рапортов постов наружного наблюдения, записи специалистов из секции телефонного перехвата. Дом на бульваре Осман, 24, обложен; как медвежья берлога. Сейчас уже нет сомнений, что здесь под вывеской «Эпок» действует основной филиал русского Центра во Франции. Осведомитель «Сюртэ» не подвел. Днюя и чуть ли не ночуя в пассаже Лидо и вертясь возле кафе, он наткнулся-таки на ту, кого гестапо и абвер знали под тремя разными именами. Жаклин Перро, она же Лили-Симона Мартен, она же Жаклин Леруа. Если под первыми двумя ее искали как связную между источниками и радистами ПТХ, то третья ипостась оказалась написанной не без помощи владельца «Эпок» Жака-Анри Леграна. Не составляло труда выяснить, что документы Лили-Симоны были выданы комиссариатом полиции за взятку, данную все тем же Жаком-Анри чиновнику паспортного отделения. Рейнике приказал не трогать чиновника до поры до времени и, кроме того, не прикасаться пальцем ни к одному из посетителей «Эпок». Даже получив уведомление об отъезде Леграна в Нант, бригадефюрер не стал торопиться и отклонил предложение Мейснера взять русского разведчика где-нибудь на полдороге.

— А зачем? — спросил он с обычной ленивой улыбкой.— Что мы выгадываем? Пусть походит еще немного по земле.

Мейснер попытался настоять на своем. С некоторых пор Рейнике дарит его своим расположением, и ему, кажется, нравится, что лейтенант иногда позволяет себе иметь собственное мнение.

— Я боюсь, что наблюдатели в Нанте могут спугнуть его,— заметил Мейснер.— Не все наши сотрудники достаточно ловки.

— Снимем наблюдение.

— Совсем?!

— А почему бы и нет? Чем мы рискуем?.. Мы держим под контролем все щели, ведущие в «Эпок», прослушиваем вторые сутки разговоры по телефону, не спускаем глаз с Жаклин Леруа. И все-таки узнали пока ничтожно мало. По правилам требуются месяцы, чтобы выявить хотя бы часть связей Леграна и убедиться, кто есть кто. Этих месяцев у нас в запасе нет. Допустим, что в Нанте Легран посетит сотню мест. Что же, прикажете арестовать всех, с кем он встречался, а потом до второго пришествия путаться в протоколах, адресах, покаяниях и оправданиях? На эту сотню только один-два адреса представляют для нас интерес, и легче всего будет узнать о них у самого Леграна, на Принц-Альбрехтштрассе. Для того же, чтобы он скорее развязал язык, требуется, чтоб арест свалился на него, как пепел на Помпею. Чаще всего человек бывает раздавлен внезапностью и уже не помышляет о сопротивлении... Что же касается Нанта, то он ценен для нас тем, что пеленгаторы радиополиции прослушивают идущие оттуда передачи. Сам факт пребывания Леграна в Нанте, преподнесенный на допросе под определенным соусом, способен заставить его заговорить и быть откровенным с нами до конца.

— Он пробудет в Нанте до среды.

— Вы проверяли?

— Я звонил в контору, и, кроме того, у Леграна действительно назначена встреча с представителями Тодта.

— Не вздумайте трогать их, Мейснер! И вообще — не трогать никого. Даже, если люди Леграна расположатся с передатчиками под окнами гестапо, мы обязаны ослепнуть и не заметить их. Я договорился, чтобы гестапо убрало своих наблюдателей с бульвара Осман и до четверга не предпринимало в этом районе акций против населения. Врагов нужно оберегать, Мейснер, если хочешь собственноручно перерезать им глотку.

Бергер, которому Мейснер в деталях изложил свой разговор, не выразил ни порицания, ни одобрения тактике, избранной бригадефюрером. Он сидел, разглаживая складки на коленях брюк, и только спросил:

— Это все? Вы ничего не запамятовали, Мейснер?

При этом плохо выбритая щека его дернулась и побледнела. Сидя боком к лейтенанту, Бергер, казалось, готов был задремать от скуки, и, если б не тик, Мейснер решил бы, что так оно и есть.

— Я стараюсь быть точным,— заметил он осторожно.

— Вы всегда ходите с портфелем?

— По большей части.

— И у Рейнике бываете с ним?

— Если бумаг много, то да.

— Он просто создан для диктофона! Странно, почему эта мысль не посетила вашу голову? Или вы предпочитаете быть не до конца откровенным со мной, Мейснер? Это ведь очень удобно — взять и забыть что-нибудь, а потом сослаться на скверную память. А?

«А что, если Рейнике заметит аппарат?» — подумал Мейснер, но отказаться не посмел. Диктофон, переданный ему Бергером, еле уместился в заднем отделении портфеля, и Мейснер замаскировал его сверху пустой папкой. Войдя с ним в кабинет бригадефюрера в первый раз и ставя портфель возле тумбы стола, лейтенант испытал сильнейшее желание немедленно рассказать Рейнике все, но вовремя вспомнил тихий голос Бергера и его невыразительное лицо профессионального убийцы и прикусил язык. В эту минуту он был сам себе противен...

С приездом Бергера в Париж весь местный абвер подтянулся, как солдат нестроевой роты при виде генерала. Ни во что прямо не вмешиваясь и не уставая повторять, что он числится в отпуске, майор исподтишка прибрал к рукам и оперативную секцию, и радиороту, и лучшую агентуру. Шеф абвера делал вид, что это его не касается, и Бергер, приезжая в «Лютецию» — как правило, ночью,— вызывал к себе кого угодно и, не повышая тона, отдавал распоряжения, которые исполнялись чуть ли не молниеносно. Неведомым образом в «Лютецию» проник слух о его швейцарских похождениях,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 18—28.

и за глаза майора называли Шриттмейером; в этой простонародной фамилии было что-то уничижительное[1]. Скорее всего о женевской эпопее проболтался телохранитель Бергера, медлительный баварец, следовавший за ним, как тень. Он ходил за майором всю первую неделю, а в начале второй был отправлен в Берлин, и шеф парижского абвера под великим секретом сообщил своему заместителю, что из Берлина телохранитель проследовал прямо в дисциплинарную роту. После этого уже никто не решается даже за глаза именовать майора Шриттмейером, а капитан Шустер по поводу и без повода лезет к нему с докладами о своих ДКВ. Мейснер замечает все это и делает выводы, чтобы при случае поделиться ими в РСХА — он не очень верит в прочность своего вторичного назначения в абвер.

Звонка все нет, и Мейснер поудобнее пристраивает в портфеле диктофон. Поправляет чашечку микрофона, высвобождая ее из-под бумаг. Вчера Бергер недобро улыбнулся, прослушав запись, и сказал, что ему не нравится звук. Такое впечатление, будто Мейснер прятал микрофон в желудке. Лейтенант извинился: не всегда удается ставить портфель рядом с Рейнике, надо заботиться, чтобы он не лез в глаза.

Кабинетик Мейснера расположен прямо под кабинетом бригадефюрера. По шагам над головой лейтенант научился угадывать настроение Рейнике. Их хорошо слышно, когда он в добром расположении духа; если же Рейнике в гневе, то шаги напоминают легчайшее шуршание — у разъяренного Рейнике походка напоминает танец на пуантах.

Тихий шелест над головой извещает лейтенанта о готовящейся грозе. Он возник еще ранним утром и упорно не желает перерасти в четкое постукивание каблуков.

«Что там стряслось?» — гадает Мейснер, прислушиваясь к шагам и к телефону.

Причина гнева Рейнике — телеграмма. Ответ комиссара Гаузнера на запрос-молнию, посланный шифровкой, через голову обергруппенфюрера Мюллера. Бригадефюрера интересовало одно: нельзя ли вытряхнуть из Роз Марешаль хоть какие-нибудь данные об «Эпок»? Из старых сводок, истребованных Рейнике в ведомстве Шелленберга, выползло на свет божий имя Лео Шредера, коммерсанта из Парижа, приезжавшего в Женеву в прошлом году. Рольф, превосходно сыгравший роль Дюрока, запомнил это имя и включил в свой отчет. Время приезда Шредера в Женеву совпало с периодом отсутствия Леграна, имевшего постоянный паспорт со швейцарской визой. Человек Рейнике, работавший в консульском отделе швейцарского МИДа, сумел навести соответствующую справку... Бедняга Рольф! Он поплатился за свое рвение. После доклада Канариса Кейтелю Шелленбергу понадобился козел отпущения, и он пожертвовал Рольфом, спровадив его в Россию... Бергер явился в Женеву на готовенькое, прошелся по следам агентуры РСХА и, как и она, добрался до Ширвиндта. Сейчас майор в Париже и пытается своим поведением убедить Рейнике, что занят чем угодно, но не разведкой. Он еще не знает, что вхолостую проделал свой женевский вояж. Кальтенбруннер позвонил Рейнике по линии имперской связи и поделился новостью: Ширвиндт возобновил работу раций и продолжает жить в Женеве, словно ничего не произошло. Теперь будет трудно вытащить его из норы и уничтожить. Кальтенбруннер спросил Рейнике, считает ли он Скорцени подходящим человеком для физической ликвидации Ширвиндта. Старая дружба, связывавшая бригадефюрера и начальника РСХА, обязывала к откровенности, и Рейнике, скрепя сердце, ответил, что нет, в данном случае Отто ничего не добьется. Он привык действовать, как налетчик, а Ширвиндта надо тихо и бесследно спровадить в озеро или дать ему погибнуть в автокатастрофе. Ликвидация Ширвиндта будет самой ловкой подножкой Канарису, убежденному в несравненных достоинствах своего Бергера. «Я подумаю»,— сказал Кальтенбруннер и пожелал Рейнике успеха с «Эпок».

Рейнике подышал в трубку. Спросил:

— Мюллер и Шелленберг в курсе?

— Вряд ли,— сказал Кальтенбруннер.— Но все же постарайся застраховаться. У них есть свои люди в твоем штабе.

— Догадываюсь,— сказал Рейнике.— А как быть с Бергером? Он засунул в портфель Мейснера диктофон и пишет мои разговоры.

— Как ты узнал?

— О, есть места, куда не принято ходить с портфелем!

— Пусть пишет! Сейчас не так важно, кто конкретно арестует Леграна. Пусть это будет Бергер, а не мы, не возражаю. Право выявления Леграна у тебя никто не отнимет; но нельзя поручиться, будет ли он откровенен на следствии. Учти это!

— Ты считаешь?..

— Я ничего не считаю, мой дорогой! Как погода в Париже?

— Холодно,— сказал Рейнике, и на этом разговор закончился...

В шифровальный отдел ответ Гаузнера на запрос поступил ночью, но доложили его Рейнике только утром. Оседлав очками горбатый нос, Рейнике вновь перечитывает его. «4. III. 43. в 0. 20. Роз Марешаль казнена по указу рейхсфюрера СС. Смерть ее удостоверена врачом СС — оберштурмбанфюрером д-ром Лизеке, помощником начальника тюрьмы криминаль-ассистентом Гольцем и мною. Казнь, путем отчленения головы на плахе, была произведена в соответствии с Имперским декретом об охране государства от 20. XII. 34. Старший правительственный советник Гаузнер. Берлин. Подписано лично. Один экземпляр. Только бригадефюреру Рейнике. Подлежит уничтожению».

Рейнике аккуратно разглаживает телеграмму.

Боже мой, какие ослы! Всегда и во всем спешат, словно их припекло! После ареста Леграна Марешаль могла бы и не запираться. Сколько всего ей было известно о швейцарских группах и каналах информации!..

Завтра среда.

Остаются сутки до того момента, когда Рейнике будет иметь удовольствие поговорить с господином Леграном. Надо ли подготовиться к нему или следует воспользоваться намеком Кальтенбруннера и предоставить «право первой ночи» Бергеру?

Решения нет.

С самого утра Рейнике прикидывает все «про» и «контра» и то склоняется к мысли услать Мейснера подальше от Булонского леса, то отказывается от нее, помня, что Легран может и не заговорить. Звонить Кальтенбруннеру и просить совета бессмысленно: Эрнст не захочет брать на себя ответственность за исход акции.

Утром Рейнике был у мадам д'Юферье. Гадали по черепу гильотинированного и на картах. Бубновый туз выпал из колоды и потянул за собой три других. Удача и исполнение желаний. Но для того, чтобы они исполнились, эти желания, надо сначала твердо решить, каковы они! А Рейнике ни в чем не уверен...

Но из лабиринта должен быть выход. Почему бы и не счесть, что намек Кальтенбруннера как раз и есть искомая нить Ариадны? При неудаче акции и расследовании Бергеру придется выложить пленку Мейснера на стол. Пока Мейснер жив, абвер побоится уничтожить запись. Она-то и явится лучшим из свидетельств в пользу Рейнике, сделавшего буквально все, чтобы обеспечить успех.

Рейнике нажимает кнопку звонка.

— Пригласите всех по этому списку. И господина Мейснера; он хотя и не внесен, но должен присутствовать.

Адъютант на цыпочках выходит.

Рейнике не любитель широких совещаний, и поэтому список краток. Пять офицеров СД, наиболее толковых в его штабе. Один из них наверняка является осведомителем Мюллера. Человека Шелленберга Рейнике до сих пор выявить не сумел.

Офицеры рассаживаются, и Рейнике, покосившись на желтый портфель Мейснера, поднимается с места.

— Завтра утром Легран приезжает из Нанта. Завтра же он будет арестован. Сделаем это тихо, в помещении «Эпок». До ночи никто не должен выйти из конторы — ни мы, ни тем более арестованные. Вывезем их под утро так, чтобы это не бросилось в глаза. «Эпок» пригодится в качестве мышеловки, и кому-нибудь из нас придется побыть в конторе несколько суток. Мы потом решим, кто останется в засаде... А сейчас обсудим, как вести себя, когда Легран выйдет из вагона. Мне кажется, лучше всего будет, если на вокзале его встретит Мейснер. И тут же позвонит мне. Наблюдать за Лег-

[1] Игра слов: schritt — шагающий; meier — фермер.

раном в пути следования запрещаю. Любая мелочь может насторожить его в самый последний миг и свести на нет наши усилия... Слышите, Мейснер, никаких самостоятельных шагов! То же касается и вас, господа. Группа, которая проникнет в «Эпок», выводит из игры Жаклин Леруа и людей в приемной. Легран не должен ничего заподозрить, пока не пройдет в кабинет. Там его примет один из вас и тут же наденет на него наручники... Наблюдателей с бульвара убрать сегодня же, всех до одного: и наших, если они остались, и агентуру абвера. Это я беру на себя. Чинов гестапо к акции допускать не следует, здесь нужен не топор, а бритва... Есть другие предложения, господа? Прошу не стесняться...

Не садясь, Рейнике исподлобья смотрит на присутствующих. Каждое слово произнесено им с расчетом на запись, в том числе и фраза в адрес гестапо: у Кальтенбруннера давние счеты с Мюллером, постоянно ищущим повода досадить начальнику РСХА. Эрнст будет доволен оценкой Рейнике.

Никто не спешит воспользоваться приглашением и не просит слова. Рейнике постукивает карандашом по крышке стола.

— Не слышу ваших предложений, господа! С кого начнем опрос? С вас, Мейснер?

Вставая, Мейснер едва не опрокидывает ногой портфель. Лицо его белеет, но Рейнике, сломавший кончик карандаша, занят тем, что выбирает другой, достаточно хорошо заточенный. Достав из вазочки подходящий, он поощряюще постукивает им по ладони, приглашая Мейснера начать.

— Бригадефюрер,— начинает Мейснер,— план великолепен, и я бы не осмелился возражать, если бы не одно «но».

— Но? Отлично, продолжайте, пожалуйста.

— Наши люди, если я правильно понял, должны занять контору до прихода Леграна.

— Это так.

— Мне кажется, что войти надо позже, вслед за ним. Легран может поехать к себе не сразу, и никто не поручится, что Леруа не сумеет подать ему знак об опасности. Какой-нибудь злополучный цветок в окне, хорошо видный с улицы, спугнет Леграна, и все придется менять на ходу.

— Но в кабинете Легран окажет сопротивление.

— Исключено! Он привык к визитам тодтовцев. Надо подставить ему людей в форме инженерных войск и предварительно известить Леруа об их визите. Я бы позвонил ей сейчас и попросил предупредить Леграна, что завтра в час дня к нему для переговоров прибудет группа экспертов Строительного управления министерства авиации. Что-нибудь, связанное с офицерскими казино на наших аэродромах во Франции. В такую легенду трудно не поверить.

Рейнике слушает, не сводя с Мейснера внимательных глаз. Дельно и разом убивает двух зайцев. Нет никаких сомнений, что Бергер, прослушав пленку, воспользуется вариантом самого Рейнике и опередит его людей. Что ж, пусть действует... Главное — Мейснер достаточно обосновал свое предложение, и, если Рейнике примет его, никто не назовет поступок бригадефюрера неразумным.

— Хорошо,— говорит Рейнике.— Последний пункт, господа. Все вы переходите на казарменное положение. Никто не покинет служебных помещений до завтра. Пользование телефонами, даже военными, исключено. Только это дает надежную гарантию секретности. Поймите меня правильно и не обижайтесь... Для вас, Мейснер, я вынужден сделать исключение. В вашем распоряжении час — за это время убедите свое начальство в «Лютеции», что едете на сутки в Фонтенбло. Я вовсе не хочу, чтобы шеф абвера оборвал все телефоны у нас, разыскивая своего офицера по связи. В пятнадцать ноль-ноль доложите мне о прибытии. У меня все, господа!.. Хайль Гитлер!

Мейснер первым покидает кабинет, неся под мышкой свой возмутительно пухлый портфель.

Внизу дежурный офицер без возражений дает ему мотоцикл. Обычно эта процедура походит на унизительное выклянчивание, но сейчас, очевидно, дежурного предупредил сам Рейнике.

— Только на час,— говорит молоденький и преисполненный важности унтерштурмфюрер.— Я запишу время.

Мейснер высокомерно выпрямляет спину и деревянным шагом спускается с крыльца. Желтый портфель больно бьет его по бедру.

При выезде из Булонского леса, у ипподрома, Мейснер вынужден затормозить. Серый «хорьх» с номерным знаком вермахта обгоняет его и прижимает к обочине. Мейснер останавливается и слезает с седла. Стекло в дверце «хорьха» ползет вниз, открывая взгляду лейтенанта небритое лицо Бергера.

— Пересаживайтесь,— предлагает майор.— Я решил не звонить вам сегодня, а подождать на улице. Вы чем-то огорчены?

— Нисколько,— говорит Мейснер.

— У нас есть время?

— Полчаса.

— Прокатимся немного, а Курт постережет мотоцикл.

— Пусть лучше проедется до «Лютеции» и обратно,— мрачно замечает Мейснер.— Дежурный все равно спишет показания спидометра, а километраж до «Лютеции» известен всем в штабе.

Бергер присвистывает.

— Дело дошло до этого? Ну, ну... Садитесь.

Мейснер лезет в «хорьх», а тощий ефрейтор, сидевший до той поры с Бергером, оседлывает мотоцикл. В зеркальце, укрепленном на переднем крыле машины, отражается перспектива пустой улицы, и Мейснер, нервно зевая, отодвигается в угол.

Окончание следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

ДОМ БЕЗ КЛЮЧА

РОМАН

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

28. МАРТ, 1943. ПАРИЖ, ОТЕЛЬ «ЛЮТЕЦИЯ» — БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

Из десятка галстуков, висящих на спинке стула, Бергер выбирает синий, холодного оттенка, с тонкой белой полоской и, прикусив кончик языка, вывязывает его плотным треугольным узлом. Галстук скромен, и только этикетка «Дом Диора» указывает на то, что его стоимость равна двухнедельному жалованью пехотного лейтенанта. Такие галстуки — в единственном экземпляре! — шьются для настоящих знатоков моды. Во Франции Бергер может позволить себе носить костюм «от Пакэна», обувь, сшитую на заказ, и тончайшие рубашки из леннобатиста. Проблемы цен для него не существует. Победитель в стане поверженных, он берет все, платя за это реквизированной при разгроме Франции валютой. Бергер был среди тех, кто первыми, в составе батальона «Бранденбург», вышел за линию Мажино. Абвер торопился наложить руку на частные коллекции, собрания картин в старых родовых замках и еврейские вклады в банках. Эти ценности предназначались на разведку, и даже у РСХА не хватило духу оспаривать право Канариса на владение ими. Сам лично Бергер не присвоил ни франка, но зато оклад его содержания был повышен адмиралом до ставки французского министра. В расходовании секретных сумм Бергер подотчетен только ему, и никому другому. Что же касается Канариса, он не экономит на мелочах. Бергер помнит, что когда Остер намекнул было на несоразмерность оклада с невысоким чином майора, Канарис с улыбкой отпарировал: «Это французские деньги, Остер! Не вижу оснований их жалеть. Рейхсмаршал Геринг дал нам образец. Вот его слова: «Раньше мне все же казалось — дело сравнительно проще. Тогда это называли разбоем. Это соответствовало формуле отнимать то, что завоевано. Теперь формы стали гуманнее. Несмотря на это, я намереваюсь грабить, и грабить эффективно»... Впрочем, не надо ссылаться на Геринга публично. Забудьте об этой фразе, Остер. И вы, Бергер, тоже».

Галстук — всего лишь частица той дани, которую Франция, а со временем и весь мир уплатят Германии... Подтянув узел, Бергер с сожалением проводит ладонью по небритым щекам. Ничего не поделаешь, придется потерпеть. После встречи с Ширвиндтом у него возникла экзема, розовая дрянь, от которой щеки покалывает миллионами тончайших иголочек. Врач в госпитале прописал успокоительные мази и сказал, что у Бергера расшатана нервная система. Бергер возразил: «Что вы, доктор, я живу растительной жизнью, никаких волнений...» — и откланялся. Впрочем, от бравады экзема не вылечивается, и Бергер последовал совету врача и перестал бриться. А на ночь втирает мазь в кожу, но розовые пятна, исчезнув в одном месте, появляются в другом, и зуд преследует Бергера круглые сутки.

Проглотив болеутоляющую таблетку, Бергер делает приседания перед открытым окном. Десять, пятнадцать раз. Пока дыхание не начинает клокотать... «Двадцать два... Очень хорошо, я в норме!» Разведчик всегда должен быть в форме. Как боксер или артист. Бергер по секундомеру проверяет пульс и, отряхнув с воротника пиджака пылинки, поворачивает ключ в замке кабинета. Восемь тридцать утра, и, пожалуй, пора начинать...

Офицеры, выделенные абвером в помощь Бергеру, сходятся по одному. Майор встречает их у двери, пожимает руки, шутит, подтрунивает над ними, усаживает пришедших и ни на секунду не прекращает при этом думать о поездке на бульвар Осман. Опередить Рейнике — дело чести офицера! Канарис жестко спросит за промедление. Русский разведчик — законная добыча Бергера и сильнейший аргумент в споре адмирала с Гиммлером. Если Канарис не выстоит, СД в тот же час сплавит майора в концлагерь: он слишком часто брал на себя смелость переступать дорогу службе безопасности...

— Последняя просьба, господа,— понизив голос, говорит Бергер.— Будьте предельно внимательны!.. Я вхожу первым и занимаю место в приемной. Через пять минут войдете вы и вы тоже...— Два лейтенанта привстают со стульев.— Сидите, пожалуйста!.. Секретаршу надо отрезать от стола и окна. Наручники — сразу же... Я пригласил Марту, она поедет с нами и будет отвечать по телефону. С вокзала нас известят о прибытии Леграна. Никто не должен медлить, когда он переступит порог. Дай бог нам всем удачи!

Марта уже сидит в машине. Бергер познакомился с нею в канцелярии шефа абвера и сразу же оценил ее силу и умение бегло говорить по-французски. Марта была обижена на шефа, переставшего спать с нею, и искала выхода своей досаде. Предложение перейти на оперативную работу пришлось кстати, и Марта даже поделилась с Бергером мечтой о зачислении в СС — начальницей лагеря или хотя бы надзирательницей. Майору ничего не стоило пообещать ей свою помощь и таким образом приобрести человека, докладывающего ему о каждом шаге шефа.

Бульвар Осман не короче берлинской Унтерден-Линден, хотя и не так прям. Он тянется, слегка изогнутый, от рю де Фобург, пересекая улицу Курсель и площадь св. Августина, до слияния с бульваром Монтен. Галерея, Гранд Опера, памятник Лафайетту... Бергер оглядывается в заднее окошечко. Черный ДКВ следует за его «хорьхом», как на буксире. Капитан Шустер со своей аппаратурой должен занять пост квартала за два до конторы «Эпок» и взять под контроль эфир. Не исключено, что Леруа сумеет выкинуть какой-нибудь фокус с рацией и подать аварийный сигнал. Шустер обязан во что бы то ни стало заглушить его, используя всю мощь передатчика.

Все предусмотрено. Все до мелочей.

Бергер кладет руку на плечо водителя. Слегка прижимает его.

— Здесь.

Сотня шагов отделяет его от подъезда, и он проделывает их не торопясь, стараясь не ступать в грязные лужи на тротуаре. Носки его лакированных туфель идеально чисты, даже влажный воздух не замутнил их. Постукивая тростью по серым мраморным ступеням, майор поднимается на четвертый этаж. Стеклянная дверь конторы и золотые буквы на ней — «Эпок». Заранее сняв шляпу, Бергер нажимает начищенную бронзовую ручку и входит.

Приемная почти пуста.

— Мадам?

Жаклин смотрит на него с вопросительной полуулыбкой.

— Я из Швейцарии, мадам...

— Мадемуазель,— поправляет Жаклин.

— Ах, так... Тысяча извинений, ну конечно же... Месье Леграна?..

— Он вам назначил?

— Я звонил вчера.

— Ваше имя?

— Я не назвался... Луи Реске, строительные материалы...

Жаклин морщит носик, вспоминая.

— Так это были вы? Такое правильное произношение, сразу чувствуется иностранец... Боюсь, что огорчу вас, господин Реске,— месье Легран принимает только тех, кто записан. Кроме того, в час к нему прибудут представители авиации, они предупредили заранее... Может быть, вечером? Или завтра?

Единственный посетитель — слепой,— прислушиваясь к разговору, дымит сигаретой. Он молод, широкоплеч и очень плохо одет. Бергер никак не рассчитывал обнаружить в приемной такого оборванца. Не может быть, чтобы связные компрометировали Леграна своим видом. Но кто он тогда?

А Люсьенн, помогающий Жаклин коротать одиночество, вслушивается в едва заметный немецкий акцент говорящего и с неудовольствием думает о странных знакомствах Жаклин Анри. С одной стороны, Легран превосходный парень, с которым можно быть откровенным; с другой, ведет дела — и небезвыгодные! — с нацистами. Как его понимать? Жаклин в восторге от него, говорит, что он настоящий патриот. Но она в «Эпок» без году неделя, сменила Жюля, расплевавшегося, по всей видимости, с Легранom именно из-за этих проклятых связей с бошами... Жаклин — хорошая девушка: будь у Люсьенна глаза, он постарался бы с ней сдружиться. Мужчина в его возрасте не должен жить без подруги... А что если Жаклин и такого не оттолкнет его? Это было бы счастье! Хорошо, что Жак-Анри познакомил их, а угощение сигаретами — отличный повод для долгих бесед по утрам, когда контора пустует. Добрый разговор сближает людей, и Люсьенн уверен, что у них с Жаклин есть немало общего. Оба из бедных семей и вдосталь хлебнули горечи и войны...

Жаклин, ожидая ответа, открывает бювар.

Бергер медлит.

С минуты на минуту войдут офицеры, а девушка сидит за столом, и нет никакой возможности выманить ее из-за него. Как быть? Вполне возможно, что в столе спрятана кнопка сигнализации. Нажатие — и за квартал отсюда зажжется какая-нибудь лампочка в подъезде и уже не погаснет, оповещая Леграна, что ему надо бежать... Выигрывая время, Бергер достает из кармана визитную карточку. На ней совсем другое имя, но это неважно; главное — успеть оценить обстановку. Парень не в счет. Он не притворяется слепым, глазницы его пусты. Служащие в соседней комнате отделены от приемной толстой капитальной стеной. Окна, ведущие на улицу, закрыты. То, что поближе к столу, наполовину затенено бархатной малиновой шторой. За шторой что-то стоит, какая-то тумба или подставка... Любезно улыбаясь, Бергер огибает стол и, держа карточку наготове, склоняется к Жаклин. Миг — и руки ее оказываются в его руках. Бергер одним движением выхватывает ее из кресла и валит на пол.

— Ни звука!

Слепой вздрагивает... Офицеры оказываются в комнате очень вовремя и успевают перехватить слепого, пытающегося встать.

— Тихо! Сидеть! Вы арестованы!

Бергер произносит это почти шепотом. Жаклин извивается в его руках.

— Наручники!..

Один из офицеров быстро захлестывает браслеты на запястьях Жаклин. Поднимает ее, как мешок, и бросает в кресло у стены. Опередив крик, затыкает рот платком.

— Вот и хорошо,— говорит Бергер.— Будьте умницей.

Толстая Марта загораживает дверь. Бергер манит ее пальцем, указывая на стол.

— Сядьте сюда.

Марта, хихикая, трясет плечами. Проходя мимо Жаклин, слегка задевает ее бедром, но этого прикосновения оказывается достаточно, чтобы и Жаклин и стул ударились о стену. Бергер осуждающе покачивает головой.

— Сядьте, Марта. И не устраивайте цирк. Мы на службе!

Марта, продолжая хихикать, усаживается, и кресло издает треск. Второй офицер надевает наручники на Люсьенна... Прошло всего минуты три, не больше...

Телефонный звонок врывается в комнату, как окрик.

На столе два телефона. Белый и красный. Марта снимает трубку белого. Не тот. Тянется к красному.

— Приемная господина Леграна... О, Отто!.. Сейчас передам.

Она кладет трубку и торжественно произносит одно слово:

— Едет...

Это как раз то слово, которого Бергер ждет. Его хватает, чтобы забыть о зуде, раздирающем щеки. Поглаживая щетину, Бергер смотрит на арестованных. Девушка, кажется, близка к тому, чтобы грохнуться в обморок, а мужчина сидит прямо, и сгоревшая до конца сигарета обжигает ему губы. Шок? Очень хорошо!.. Надо удалить их отсюда. Бергер приоткрывает дверь кабинета Леграна, прикидывая, стоит ли вести их сюда или лучше отправить вниз... Пожалуй, выводить рано. Легран быстрее поймет, что проиграл, если увидит Жаклин Леруа в наручниках. Машинально поправив свой уникальный галстук, Бергер подходит к арестованным. Похлопывает Жаклин по щеке.

— Ну, ну... Очнитесь же... Это не так страшно. Я не людоед. Нам нужны не вы, а господин Легран. Он так упорно уклонялся от встречи с нами, что пришлось, как видите, прибегнуть к маленькому насилию. Через час я освобожу вас, и вы пойдете на все четыре стороны. А пока ведите себя тихо и скромно. Договорились?

Хотя руки Жаклин и перехвачены сталью, Бергер старается держаться подальше от нее. Случай в Женеве слишком свеж, чтобы пренебречь опытом. Ничего ужасного, конечно, не произошло, Бергер при любом повороте событий не стал бы стрелять, но дать себя обезоружить — это не входило в его намерения. И зачем только он вообще брал с собой пистолет... Ведь знал же, что не пустит его в ход. После убийства Ширвиндта нелегко было бы скрыться; Рольф своим похищением наделал шуму, и швейцарские власти усилили охрану границ... Золотое правило шпионажа: «Имеешь оружие — стреляй!»... Бергер нарушил его и лишился отличного «вальтера», подаренного генералом Лахузеном после налета на радиостанцию Глейвице... Их там, в Женеве, было двое против одного, но телохранитель растерялся. Досадный случай, и пусть он послужит уроком!

— Ну, а вы? — Бергер поворачивается к Люсьенну.— Вы здесь вообще ни при чем, да? Ошибка, недоразумение и так далее?.. Офицер? Воевал против нас? Где?

Окончание. См. «Огонек» №№ 18—29.

Люсьенн выплевывает окурок.

— Там, где тебя не было, скотина! Гестапо всегда околачивается в тылу. Тебе ли спрашивать?

— Вы невежливы... И потом — зачем злиться? Вы-то здесь случайно?

— Нет! — отрезает Люсьенн и поднимает голову.

О!.. Кто бы мог ожидать от слепца такого проворства? Бергер едва успевает отскочить. Удар, нацеленный Люсьенном в пах, свалил бы майора замертво. Оба офицера, выпустив Жаклин, наваливаются на Люсьенна. Он рычит и кусает одного в плечо. Бергер, опомнившись, ребром ладони бьет Люсьенна по шее, в то место, где проходит сонная артерия. Особой силы здесь не требуется; совсем ни к чему будет, если в абвер привезут остывающий труп.

Марта с горящими глазами наблюдает за происходящим. Соломенные волосы ее рассыпаны на плечах.

— Дайте ему в..., майор!

Люсьенн сползает со стула.

— Тащите его,— говорит Бергер.— У нас нет ни минуты... Тащите в кабинет и привяжите его, что ли. У кого-нибудь есть веревка?

Офицеры пытаются сдвинуть мычащего от боли Люсьенна с места, но он так уперся, что вдвоем они едва отрывают его от пола. Бергер нагибается, чтобы им помочь, и тут происходит то, о чем он думал все время, чего боялся и что все-таки произошло вопреки всем предосторожностям... Стекло в окне с мелким звоном разлетается на куски, а Жаклин, запутавшись в портьере, валится вместе с бронзовой Терпсихорой на раму.

Марта издает звук, похожий на вой.

Бергер срывается с места и — летит на пол. Ноги Люсьенна замыкаются ниже его колен, тянут, мешают встать. Лежа, Бергер с отчаянием видит, как Жаклин медленно выпрямляется, ускользая от протянутой руки Марты.

— Держите же ее!.. О сволочь! — кричит он и, вывернувшись, каблуком проламывает Люсьенну висок. Тонкая кость противно хрустит, и тут же другой хруст, гораздо более сильный, заставляет Бергера совершить немыслимый при его комплекции прыжок к окну.

Поздно...

Рама, выбитая телом Жаклин, выскакивает из пазов.

Бергер высовывается и видит сухие ветви деревьев на бульваре, блестящий от воды асфальт, прохожих, задравших головы, и груду красных тряпок, ворочающуюся на тротуаре. Четыре этажа — не слишком высоко, чтобы сразу разбиться насмерть.

Когда Бергер, словно в полусне преодолев коридор, лестницу, вестибюль и два метра тротуара, наклоняется над Жаклин, она еще жива.

— Какое несчастье,— шепчет Бергер.

29. МАРТ, 1943. ПАРИЖ, ВОКЗАЛ ШАМП-ДЕ-МАР — БУЛЬВАР ОСМАН, 24.

На вокзале Жак-Анри долго ждет у выхода. Чиновники не спешат, проверяя пропуска. Пассажиры с двух поездов — нантского и экспресса из Тура — терпеливо выстраиваются в затылок перед турникетом. Саквояжи, чемоданы, портфели. Все это досматривается, как в былые времена на таможне. Чиновник негромко покрикивает:

— Порядок! Порядок!

Ordnung!.. Это словечко раздражает Жака-Анри. В Париже его слышишь сравнительно редко, в провинции — на каждом шагу. Оно сопутствует немцам, как смерть — эпидемии. Везде — Ordnung, Ordnung, Ordnung! В Нанте Жак-Анри ходил и не узнавал города. Нет, он не стал грязнее с приходом нацистов. Скорее напротив — никогда прежде его улицы не были так кладбищенски чисты. Вылизанные тротуары, деревья, подстриженные под прусский ранжир. Ordnung! Но вместе с пылью, нанесенной прохожими, и дико растущими ветками исчез Нант со всей присущей ему прежде французской безалаберной привлекательностью... Если Гитлеру удастся продлить оккупацию хотя бы на три года, то и Франция, пожалуй, перестанет быть Францией, превратившись мало-помалу в одну из швабских гау, где портреты фюрера заменят скульптуры Лафайетта и Орлеанской девы, а гестапо — этот садовник смерти — топором отрубит каждую ветвь, рискнувшую выбиться из общего ранжира.

Предъявив паспорт и продемонстрировав содержимое портфеля, Жак-Анри выходит на площадь. Еще недавно его встретил бы Жюль. Но он в Гааге. Два передатчика уже работают, третий Жюль держит в резерве. Он и Буш сравнительно быстро приспособились к обстановке, и Жак-Анри с легким сердцем переключил на них некоторые источники.

Три года.

Скоро будет нечто вроде юбилея. Без тостов и речей. Без того, что в Москве он назвал бы подведением итогов... Как это звучало в праздничных речах: «Подводя итоги, хочу отметить, товарищи...» Здесь, в Париже, эта формула кажется странной, Жак-Анри отвык от нее, как отвык, к примеру, думать по-русски. Даже тени в его снах говорят на французском языке с легкой примесью настоящего парижского арго. Иного и быть не может: Жак-Анри Легран родился в Тулузе, учился в Эколь Нормаль, живет — за редкими выездами — в Париже...

Жак-Анри заходит в аптеку, не заметив Мейснера, в отдалении наблюдающего за ним. Откуда ему знать, что Мейснер полчаса назад позвонил в «Эпок» и сейчас, когда Жак-Анри сделает то же самое, трубку в конторе возьмет не Жаклин, а толстая Марта, из предосторожности загораживающая микрофон ладонью?.. И о засаде на бульваре Осман трудно догадаться, глядя сквозь цветной витраж в окне аптеки на плывущие по небу облака. Стекла окрашивают мир в веселые тона — желтые, оранжевые, красные. Облака словно подсвечены солнцем, и день — прекрасен.

Жак-Анри вешает трубку и медлит выйти. Жаклин так странно ответила ему. Он хотел предупредить, что немного запаздывает, но Жаклин, едва он спросил, кто у аппарата, пробормотала: «Контора месье Леграна» — и, добавив, что «месье Леграна не будет сегодня», дала отбой. И голос ее при этом был чужим, незнакомым, с резкими интонациями.

Неясное предчувствие беды охватывает Жака-Анри. Проверяя себя, он вновь вызывает контору.

— Жаклин?

— Да, я.

— Говорит Легран.

— О! Так кстати!.. Вас ждут, приезжайте скорей.

— Кто ждет?

— Господа из министерства авиации.

— Еду. Скажите им, что я прошу извинить меня.

Чужой голос. Это не Жаклин. Телефон работает плохо, звук доносится словно из-под земли, но Жак-Анри знает каждую нотку в голосе Жаклин.

Мейснер, сидящий за рулем «оппеля», тоже взволнован. Кому звонил Легран? Зачем? Приказано не трогать его и дать возможность беспрепятственно добраться до «Эпок»; ну, а если он звонил именно туда? Сумеет ли Марта обмануть его? Перегнувшись через спинку сиденья, Мейснер включает стоящую на полу полевую рацию и связывается с Рейнике. Своевременный доклад бригадефюреру не помешает.

Рейнике слушает, не перебивая. Уточняет:

— Когда звонил?

— Только что.

— Почему это вас волнует?

Мейснер запинается. Сказать, что Бергер опередил бригадефюрера и ему, Мейснеру, известно об этом? Худшего ответа нельзя и придумать! В наушнике тихое шуршание — дыхание ждущего Рейнике.

— Алло, Мейснер!..

— Да, бригадефюрер!.. Я просто... Мало ли что ему взбредет в голову?

— Хорошо. Езжайте сюда и больше не заботьтесь о Легране. Он не останется безнадзорным.

У аптеки возится с зонтиком случайный прохожий. Зонтик никак не раскроется. Черный гриб с треском расправляет шляпку как раз тогда, когда Жак-Анри появляется на пороге. Старый зевака на другом конце площади бросает взгляд на зонт и, лениво потягиваясь, встает со скамейки. Напрасно Мейснер был дурного мнения о предусмотрительности бригадефюрера Рейнике... Впрочем, и бригадефюрер, в свой черед, далеко не всеведущ! Жак-Анри никого не предупреждает — а тем более СД — о своих намерениях. Сегодня его встречает Рене. Не здесь, конечно, а через три квартала. Старенькая микролитражка Рене должна стоять против табачной лавки.

Жак-Анри, человек с зонтиком и зевака в порыжелой шляпе движутся, словно корабли на маневрах, параллельными курсами. В какой-то точке они должны сойтись...

— Привет, Рене! Не соскучились?

— Как поездка, Легран?

Рене сияет, показывая все тридцать запломбированных зубов и две золотые коронки. Дверца машины раскрыта, и Жак-Анри бросает тело на сиденье.

— Вперед, Рене! Докажите, что старушка еще не разучилась бегать!

— В «Эпок»?

— На Большие бульвары.

Рене с привычной лихостью выжимает сцепление и, заставив машину взвыть, набирает скорость. Мейснер в своем «оппеле» как раз выкатывается из-за угла на набережную Кэ д'Орсэ. До микролитражки метров полтораста, и Мейснер, подумав, решается двинуться следом. Где-нибудь на середине пути он отстанет, а пока почему бы и не проводить Леграна немного, так, на всякий случай? «Оппель-капитан» достаточно мощен, чтобы не упустить «ситроен».

Разворачиваясь, Мейснер видит, как человек с зонтиком бежит к аптеке, и в тот же миг, обгоняя «оппель», со стороны переулка на Кэ д'Орсэ выплывает, точно дредноут, длинный «мерседес» с людьми в штатском.

Набережная тянется на несколько километров. Сена серой лентой разворачивается слева, а справа, за Эйфелевой башней, вот-вот откроется поворот на авеню де ля Бордоннэ. Жак-Анри оглядывается через плечо. Черный «мерседес», не прибавляя скорости, идет за ними, прижимаясь к тротуару. Свернуть или не сворачивать? Рене, смеясь, рассказывает о своих успехах в ночных кабаках. «Ситроен» проскакивает перекресток, а «мерседес» сворачивает вправо, чтобы уступить место могучему «хорьху» с брезентовым верхом. «Хорьх», украшенный радиоантенной над ветровиком, нарушает все правила движения, пересекая авеню де ля Бордоннэ на запретительный сигнал. Сомнений нет: микролитражку «ведут»...

Жак-Анри тяжело откидывается на сиденье.

Филеры на вокзале показались ему случайностью. В интонациях Жаклин он мог и не разобраться. Но смена преследующих машин произошла настолько откровенно, что не оставила места колебаниям. Это провал. Изношенный мотор «ситроена» не в состоянии, конечно, соперничать с восьмицилиндровым двигателем «хорьха», да и парижские улицы не трек, где можно состязаться в скоростях. На любом перекрестке магистраль перекроют мотоциклисты, и тогда конец.

Кажется, и Рене заметил неладное. Оглядывается.

— Что за черт!
— А? — Жак-Анри беспечно подмигивает ему.— Кого вы увидели? Девицу?
— «Хорьх» прилип...
— Ну и что?
— А если полиция?
— Не понимаю... Вам-то что?
— У меня с собой две тысячи долларов! Представляете, что будет, если нас сцапают?

Жак-Анри присвистывает.

— Поздравляю...

Рене переключает скорость.

— Сейчас я ему покажу.. Тут есть один забавный поворотик... Держитесь за щиток, Легран. Сворачиваю!

Шины воют, как раздавленная собака. Жака-Анри бросает на дверцу, и «ситроен» вылетает в проулок, узкий, как ущелье. «Хорьху» сюда не въехать — слишком он широк...

Еще один поворот.

— Ну вот,— говорит Рене.— То, что и надо... Покрутимся немного и поедем на бульвар Гарибальди. И — по кольцу. Вас устраивает?

Он неловко улыбается, словно хочет доказать Жану-Анри, что нисколько не виноват в происшествии. Похоже, он не сомневается, что слежку организовала французская полиция и именно за ним, надеясь взять его с поличным при передаче валюты. Жак-Анри не намерен разбивать его иллюзии. Самое лучшее будет изобразить негодование. Так он и делает.

— Остановите, Рене!
— Здесь? Зачем?
— Я пойду пешком... Не обижайтесь, но у меня нет желания сидеть из-за вас...
— Но, месье Легран...
— Ни слова, Рене! Иначе мы больше незнакомы. Позвоните мне завтра.

Щеки Рене пылают. Резко затормозив, он перегибается и открывает дверцу.

— Очень сожалею,— говорит Жак-Анри.— До завтра, Рене.

«Ситроен» упархивает, чтобы через минуту оказаться в обществе полицейских мотоциклов, а Жак-Анри, через двор, быстро идет в глубь квартала. Двор непроходной. Он оканчивается у глухого брандмауэра и напоминает мешок с горловиной в виде арки. Оставаться здесь нельзя, но и идти некуда. Жак-Анри заходит за мусорные бачки и быстро обшаривает свои карманы. Рвет все бумажки, какие там есть. Все до одной. Бросает в бачок документы... При аресте у него ничего не должны взять. Достаточно того, что в конторе осталась картотека вырезок, аварийная рация, библиотека, среди книг которой два экземпляра нового кода... Пусть так суждено — попасть в гестапо, но больше никто не должен пострадать. Он и Жаклин примут удар на себя. Жюль в Гааге, Ширвиндт в Женеве и товарищи в Нанте продолжат работу. Если даже за ним, Жаком-Анри, наблюдали в Нанте, то ни к радистам, ни к источникам цепь не выведет. Связной не знает адресов — только «почтовые ящики»... Три года... Что ж, он сделал все, что мог. И в дни обороны Москвы, и в разгар весеннего наступления немцев, и в недели битвы под Сталинградом Центр получал радиограммы. Сотни радиограмм с военной информацией. И каждая стоила фашистам недешево.

Все они: Жак-Анри, Жюль, Пьер, Жаклин, Роз, Гро, радисты и связники, русские и французы, немцы, бельгийцы, голландцы, коммунисты и антифашисты, разведчики и их помощники — все они сделали все, что могли. И еще многое сверх того, что может сделать человек...

«Эпок» разгромлена. Люди в Париже и Нанте остаются без средств. Ширвиндт — тоже. Арест Жака-Анри приведет к нарушению связей. Все рассыплется... до поры до времени. Война еще не окончена. На смену Жаку-Анри придет другой товарищ и скует воедино звенья цепи. И опять за дело. Пока не смолкнут выстрелы. Пока не рухнет, поверженная в прах, «тысячелетняя империя» Адольфа Гитлера... Такая работа...

А мир — он все равно не умрет, придушенный германским сапогом.

Свет и тень... Двор словно поделен ими. Тень от брандмауэра лежит на влажных каменных плитах. Жак-Анри идет по ним, глядя перед собой.

Чем встретит его улица? Даст ли ему счастливую возможность продолжить движение вперед или остановит окриком и пулей?

Шаг. Еще один. И еще...

Тень и свет. Арка кажется черным провалом, ведущим в неизвестность. Сколько раз вот так же делал Жак-Анри тот самый шаг, с которого начиналась новая жизнь? Закрывая за собой дверь московского дома и уходя туда, откуда не приходят письма, он отрешался от имени своего, от мыслей своих, от чувств своих и уже принадлежал не дому, не семье и даже не себе самому, а долгу. Вне обычного права. Вне обычного закона. Сдав служебное удостоверение и партийный билет, отвинтив ордена, расставался он, подполковник военной разведки, с самим собой, становясь де Лонгом, Шредером, Леграном... Только руки и голова. Да сердце, в котором нет страха. Да товарищи, жизнь которых зависит от тебя... Ни один солдат не имеет права погибнуть зря.

Шаги Жака-Анри гулко отдаются в пустом пространстве двора. Тень, резко отчеркнутая по кривой, остается за плечами. Арка расширяется перед ним, и в конце прохода — начало улицы.

Жак-Анри ступает под арку.

Улица перед ним.

И он делает первый шаг...

Конец первой книги.

Дом без ключа

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки И. УШАКОВА

Первая книга романа А. Азарова и В. Кудрявцева «Дом без ключа» напечатана в нашем журнале в 1971 году (№№ 18—30). Во второй книге этого романа, как и в первой, рассказывается о работе советских разведчиков во время Отечественной войны на территории западноевропейских стран, оккупированных гитлеровской Германией. Сюжет романа «Дом без ключа» основан на действительных событиях, однако ни один из его персонажей не имеет в жизни точного прототипа.

I. НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИМИ ЛИЦАМИ НЕНЕМЕЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ ПРОТИВ ИМПЕРИИ ИЛИ ОККУПАЦИОННЫХ ВЛАСТЕЙ И ПОДРЫВАЮЩИЕ ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ БОЕСПОСОБНОСТЬ, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО ЦЕЛЕСООБРАЗНА...

IV. КОМАНДУЮЩИЕ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И СУДЕБНЫЕ НАЧАЛЬНИКИ В РАМКАХ СВОЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ НЕСУТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТОГО ПРИКАЗА.

Из директивы «Мрак и туман».

1. Июль. 1943. Париж, рю Марбёф, 6.

По утрам, ровно секунду, Жак-Анри чувствует себя счастливым и спокойным. Секунда эта составляет промежуток между сном и бодрствованием — двумя половинами бытия, исполненными тревог.

От дома до конторы на рю Марбёф можно дойти за несколько минут, но Жак-Анри не спешит. Получасовая прогулка по узким улочкам и сквозным дворам — дань не только привычке, но и подсознательному стремлению оттянуть момент, когда стеклянная дверь с матовыми буквами АВС отрежет его от внешнего мира.

Кабинет мрачен и холоден. Стены, облицованные фальшивым лабрадором, и зачехленная люстра на бронзовых цепях; громадный темный стол на возвышении; кресло со спинкой, уходящей к карнизу; камин, забитый золой; и в довершение всего старомодный сейф на львиных лапах, этакий символ солидности и процветания.

За день глаз привыкает и к сейфу и черному лабрадору, но к одиночеству привыкнуть невозможно, и Жак-Анри ненавидит свой кабинет. Телефон и селектор, два канала для связи с миром, тоже не примиряют его с действительностью. Голоса, возникающие в них, принадлежат по большей части людям, которых Жак-Анри Дюран, директор АВС, не числит среди друзей, но с которыми тем не менее приходится быть на короткой ноге. Секрет в том, что старая АВС, несмотря на внешнюю респектабельность, всего лишь посредническое бюро, и клиентуру ее составляет мелкая сошка, связанная с немцами и черным рынком.

Сегодняшнее утро ничем особым не отличается от всех других, если не считать встречи с протеже бухгалтера Гранжана, намеченной на 10.30. Гранжан так хлопочет, что можно подумать, будто речь идет не о провинциальном юристе, а о кандидате в премьеры.

До назначенного времени остается чуть больше минуты, но Жак-Анри не торопится позвонить в колокольчик, хотя и знает, что Гранжан и Дюпле ждут в приемной. Порядок прежде всего.

Жак-Анри выкладывает на стол утренние газеты и невнимательно разглядывает иллюстрации, не забывая при этом следить за стрелкой ручных часов... Пора... Он прижимает кнопку селектора.

— Пригласите господ.

Спокойное лицо. Холодный, незаинтересованный взгляд. Руки, сложенные на коленях. Жак-Анри Дюран, генеральный директор АВС, готов начать переговоры.

— Добрый день, патрон!

— Входите, Гранжан. Я слушаю, господа.

Сесть не на что, и Гранжан, прикрывая спиной Дюпле, стынет у дверей. Долгая пауза, прерываемая лишь сопением Гранжана. У него, безусловно, полипы в носу, думает Жак-Анри, пытаясь скрыть зевоту.

Гранжан делает шажок, выпуская Дюпле из-за спины.

— Вот тот человек, о котором я говорил, патрон. Он из Оверни.

— Я юрист, господин директор,— тихо вставляет Дюпле, и Жак-Анри едва не вздрагивает.

Консультант — генерал-майор Иг. Михайлов.

— Хорошо, Гранжан, идите. А вы останьтесь.

Жак-Анри наклоняется к газетам, успевая заметить, как Гранжан, выходя, ободряюще треплет Дюпле по плечу. На первой странице «Виктуар» красуется улыбающийся Лаваль...

«Невероятно!» — думает Жак-Анри и произносит:

— Ну, здравствуй же, Жюль!

— Добрый день, старина!

— Вот так сюрприз! Ты давно в Париже?

Поддернув брюки, Жюль присаживается на край подоконника. Выуживает из нагрудного карманчика сигарету и, прикурив, пожимает толстыми плечами.

— Не слишком... А ты неплохо устроился. Кабинет, вывеска—все, как в покойной «Эпок». Кстати, что с ней сейчас?

— Там немцы.

— Ну, а АВС — когда ты вошел в дело?

— В апреле,— говорит Жак-Анри.— Послушай, Жюль, что это — проверка?

— С чего ты взял?

— Не так уж трудно сопоставить. Центр не выходит на связь, никто не является, и вдруг ты, и с таким видом, словно собрался меня экзаменовать.

Жюль перекатывает сигарету в угол рта.

— Не преувеличивай, старина.

— Пусть так!.. Что вас интересует, господин Дюпле? Имена, факты, даты? Извольте! — Скомканная газета с Лавалем летит в камин, а Жак-Анри вскакивает с кресла.— Какого черта ты, старый друг, неделю крутишься вокруг АВС и ищешь ловушку! Говори прямо.

Жюль, не отвечая, трет лоб, а Жак-Анри крупными шагами мерит комнату, машинально смотрит на часы. До вечера и партии в белот у мадам де Тур еще далеко. Кто там будет сегодня? Сама мадам, какие-то немцы из оккупационной администрации, друзья хозяина дома. Муж мадам, Бернгардт Лютце, имперский немец и важная шишка в «Арбейтсайнзац». После разгрома «Эпок» Жак-Анри первые недели жил у них и был в безопасности; мадам никогда ни о чем не спрашивала и делала вид, что пребывание Жака-Анри в ее доме необременительно. Семья де Тур не имела прямого отношения к Сопротивлению, но хозяйка дома доводилась кузиной Жаннет Бельфор, в пансионе которой в Марселе когда-то располагалась радиогруппа Поля. Арест Жаннет и ее смерть в концлагере потрясли Аннет де Тур, и она едва не выставила своего Бернгардта. Мужу пришлось поклясться, что Франция — вторая родина — для него дороже фатерланда, и только тогда ему разрешили остаться.

Жак-Анри и сейчас продолжал бы пользоваться гостеприимством в Сен-Жермен де Прэ, если бы не затея мадам, после которой крыша особняка перестала казаться надежной. Аннет раздобыла где-то несколько граммов цианистого калия и посвятила Жака-Анри в план: на приеме у командующего войсками во Франции генерала Штюльпнагеля она подсыплет яд в шампанское. Экзальтированность могла и впрямь толкнуть мадам де Тур на путь террора, и Жак-Анри, убедив ее, что затея требует тщательной подготовки, сутки спустя съехал с квартиры... С той поры он лишь эпизодически бывает в Сен-Жермен де Прэ, хотя Аннет и отказалась от затеи... Сегодня среда, «карточный день», а без Жака-Анри белот не белот,— он, как утверждает мадам, незаменимый партнер, умеющий, помимо прочего, с достоинством платить любые проигрыши...

Жак-Анри возвращается к столу и включает селектор.

— Два кофе, Сюзи!

Горячий эрзац в фаянсовых чашках не становится вкуснее оттого, что секретарша подсластила его сахарином. Жак-Анри возится с чашкой, выгадывая время, чтобы взять себя в руки.

Сейчас главное — спокойствие.

Жюль гасит сигарету в кофейной гуще и осторожно ставит чашку на подоконник. Мизинцем трогает коротко подстриженные усики. Эти усики и крашеные волосы изменили его, но не настолько, чтобы сделать неузнаваемым. Новое лицо Жака-Анри — бородка «Генрих Четвертый» и полубаки — удачнее: понадобился месяц, чтобы Жак-Анри привык к нему и перестал относиться, как к чужому.

— Центр получил мой отчет?

— Да, в апреле.

Жак-Анри писал, что снял деньги со счетов и через посредников ведет переговоры с АВС. Просил расписание связи и шифр. Центр вышел из эфира и на некоторое время замолчал...

Жюль спрыгивает с подоконника, грузный, приземистый, со знакомой улыбкой на отечном лице. Руки в карманах, шляпа на затылке.

— Не торопись. Начнем с другого: что с Жаклин?

— Она умерла.

— А Рене?

— Расстрелян. Немцы решили, что он из маки, и расклеили оповещение о казни... Потому я и связался с АВС, что Рене уже нет.

— Леграна знал не только он.

— Леграна — да, но не Дюрана. И потом разве ты окликнул бы меня на улице?

Жюль пожимает плечами.

— Нет, пожалуй. Но в АВС я не войду. Пусть Гранжан еще похлопочет. У тебя есть вакансия?

— В том-то и дело, что нет. И Гранжану это известно. Не понимаю, почему он так настойчив? Он что, из Сопротивления?

— Он кагуляр. А ты и не догадывался? Будь осторожнее с ним, старина, у него подозрительные знакомства.

— Мы еще встретимся?

— Разумеется. Подготовь радистов и скажи Технику, чтобы проверил телефон — норд — семнадцать — семнадцать.

— А ответ? Ты привез ответ?

Жюль не спеша достает из карманчика сигарету. Кладет на край стола и щелкает пальцами.

— Как всегда, лимонный сок и марганцовка, две части на одну. Надеюсь, ты не думаешь, что я торчу в Париже полмесяца и прихожу сюда для того, чтобы сообщить Дюрану о недоверии?

Руки в карманах, шляпа на затылке; Жюль доходит до двери и ухмыляется.

— А знаете, господин директор, вам очень к лицу бородка. Только почему Дюран? Мефистофель — и звучно и больше соответствует внешности.

— Добавь, и характеру,— бормочет Жак-Анри, пряча сигарету.— Все шутите, дорогой Дюпле?

— Шучу! — говорит Жюль серьезно.— Запомни адрес: рю ль'Ординер, три. Антикварная лавочка. Я там что-то вроде эксперта по бронзе, о чем господин Гранжан, разумеется, не догадывается. Ты можешь завтра?

— Конечно!.. До свидания, месье Дюпле!

Жак-Анри кивает небрежно, почти высокомерно. Жюль поторопился открыть дверь, а Сюзи, как все секретарши, любопытна и любит подсматривать. Помня об этом, Жак-Анри склоняется над газетами и не торопясь допивает кофе.

2. Июль. 1943. Штутгарт. Адлерштрассе, 11.

По утрам на почте почти не бывает посетителей, и служащие коротают время за разговорами и чтением. Не в открытую, конечно; газеты и книги прячутся в выдвижных ящиках столов и исчезают при появлении начальства. Зомбах знаком с правилами игры и, перешагнув порог, покашливает, рассеянно ощупывает карманы, давая девушкам время скрыть улики.

— Доброе утро, фрейлейн! Есть что-нибудь для меня?

Очень юная девушка, почти подросток, медленно, словно просыпаясь, отрывается от книги. Только что она была Брунгильдой, и рыцарский турнир еще не окончился: белокурые гиганты, обагряя кровью ристалище, ломали о сталь мечи, и искры падали к ногам принцесс...

— Итак, фрейлейн?

— Да, да, ищу... Пожалуйста, господин Зомбах...

Улыбаясь, Зомбах покидает почту, а девушка еще на несколько минут расстается с грезами. В юнгфольке ее приучили к дисциплине, и, кроме того, у нее отец — штаммфюрер, и это обязывает. Книга исчезает в ящике, а мечтательница устремляется к кабинету начальника.

— Хайль Гитлер! Он был и взял письмо!

— Хайль... Закройте дверь. Что за привычка говорить с порога? Вы бы еще вздумали болтать об этом на площади или в зале...

Тем временем Зомбах в трех кварталах от почты дочитывает письмо. В нем нет ничего особенного: короткая информация, что предложение принято и встреча с представителем берлинской фирмы состоится сегодня в 10.00 на Адлерштрассе, в доме одиннадцать.

Зомбах прячет бумажку и пожимает плечами: хотел бы он знать, где эта Адлерштрассе?

На углу скучает шупо, и Зомбах справляется у него. Шупо оглядывается.

— Эй, Ганси, поди-ка сюда!

Зомбах не успевает отказаться, и Ганси, подвернувшийся удивительно кстати, изъявляет желание показать ему кратчайшую дорогу. Он худ и голоног; на коричневой рубашке погончики юнгфолька. Тоже какой-то фюрер лет двенадцати от роду.

Номер одиннадцать. Позолоченные орлы на решетке и начищенная табличка: «Гердт фон Стауниц, коммерции советник»; старинный звонок — разъяренный лев, кусающий кольцо... Хозяин виллы — маленький и полный, в пиджаке из серого твида — держится с простотой давнего знакомого, хотя до этого никогда не виделся с Зомбахом.

— Позвольте шляпу? Сегодня я один за всех — прислуга на собрании у блоклейтера. Что поделаешь, быт связан с некоторыми затруднениями.

— Да, да,— говорит Зомбах и щурится.— Прелестный вид. И какая тишина!

Вид действительно прелестный, но Зомбах не успевает им полюбоваться — двое мужчин выходят из комнат на террасу, и Стауниц испаряется, исчезает, будто его и не было.

— Мы заставили вас ждать?

— Нет, точно десять. Мне кажется, мы можем не представляться?

Голос Зомбаха звучит уверенно. В Берне, в БЮПО[1], он ознакомился с фотографиями в альбоме полковника Лусто и сейчас знает, с кем имеет дело: бригадефюрер Вальтер Шелленберг и его адъютант штурмбанфюрер Эггген.

— Отличная погода,— говорит Шелленберг и улыбается Зомбаху.— Сигару?

— Нет, благодарю. Но вы курите, я люблю запах дыма.

Улыбка Шелленберга становится простодушной.

— Хороший солдат следует примеру начальника. Не так ли? Помнится, тот, кто прислал вас,— враг никотина.

— Он курит трубку.

— Вы правы... Но бог с ней, время дорого, а для бывшего вице-консула Меркеля в тюрьме каждый час — вечность.

— В чем его обвиняют? Или это тайна следствия?

— Никакой тайны нет. Тем более от вас. Меркель занимался шпионажем, и это доказано... Быть взятым на явке, с кучей документов в руках и в обществе офицеров вермахта — в подобной ситуации швейцарское гражданство не служит гарантией от расстрела... Впрочем, вы и сами многое знаете.

— Не так уж много... Я действую по поручению консульства.

Из сада тянет прохладой; лужайка перед балюстрадой словно шахматная доска: темный газон перемежается светлым, низко подстриженным, и у Зомбаха рябит в глазах.

— Значит, консульства? — повторяет Шелленберг.— Я сейчас назову одно имя, и, может быть, оно поможет нам договориться. Вам знакома фамилия Шварценбах?

— Впервые слышу.

— Фирма «Варенфертриб Гмб. Х.»[2]. Контрольный пакет акций и должность распорядительного директора. Наряду с другой должностью — старшего офицера 5-го отдела Генштаба Конфедерации; но там его знают как капитана Майера.

Зомбах не трус, но ему делается не по себе.

— Это вы? — уточняет Шелленберг без признаков улыбки.— Ну, ну, не хмурьтесь... Мы оба разведчики, капитан, и можем найти общий язык не только по поводу Меркеля. Но для этого надо быть уверенным, что мои слова дойдут до бригадного полковника Лусто.

---

[1] БЮПО — контрразведка Швейцарской конфедерации.

[2] Гмб. Х. (нем. — Гезельшафт мит бешренктер хафтунг) — компания с ограниченной ответственностью.

— Не могу поручиться...

— Жаль. Всего одну фразу и надо передать: некто в Берлине хочет переговорить с полковником лично. С глазу на глаз. И, как знать, не вернется ли Меркель в родную семью... Вы могли бы это устроить?

Шелленберг покачивается в шезлонге. Кончик ботинка мячиком скачет над полом: вверх-вниз, раз-два...

— А если Лусто откажется? — говорит Зомбах.

— Тогда Меркеля расстреляют. И, конечно же, газеты не останутся в стороне. Кроме того, боюсь, что история со Швартенбахом тоже попадет в прессу, и, судя по всему, фюрер получит долгожданный предлог для репрессивных мер в отношении Конфедерации. Швейцарское вице-консульство в Штутгарте — резидентура 5-го отдела! Международный скандал!..

Шелленберг встает — невысокий, плотный, в отлично сидящем костюме.

— Ну, а начальник гестапо Мюллер? — спрашивает Зомбах.

— При чем здесь он?

— Раз Швартенбах известен вам, то где гарантия, что гестапо ослепнет?.. Это вы позаботились о полицейском на углу Мекленбург-штрассе?

Недоумение Шелленберга совершенно искренне, и Зомбах мрачнеет.

— На этом углу никогда не было поста,— говорит он медленно.— Я две недели гуляю по улице, полицейский появился только сегодня. И еще — мальчишка... Он проводил меня сюда...

— Займитесь-ка ими, Эгген. Кстати, кто выдал письмо на почте?

Выслушав ответ, Шелленберг берет Зомбаха под руку, и этот жест придает капитану уверенность. Он означает подписание и ратификацию договора. Джентльмены, как известно, понимают друг друга без слов.

3. Июль. 1943. Женева, рю Лозанн, 113.

— Ах, Шарлотта, это убийственно скверно! Ты что, не слушаешь?

— Я поняла, но постарайся успокоиться. Возьми себя в руки, Проспер.

Вот так всегда: Шарлотта оживляется только при виде тряпок; огорчения и неприятности мужа ее не волнуют, и Просперу приходится выкручиваться одному.

Присев на ручку кресла, Проспер грызет ноготь и косится на постель, где полулежит двадцатилетнее существо, которое он перед богом и людьми обязался любить до конца дней своих.

Постель и тряпки. Тряпки и постель. А ему скоро сорок пять, и сердце по утрам пошаливает, и текущий счет огорчительно мал. И этот визит из БЮПО, внезапный, пугающий... Что же делать?

Шарлотта натягивает одеяло повыше и присаживается. Похоже, Проспер выбит из колеи. За первой сигаретой следует вторая и тает от глубоких затяжек. Бедный Проспер!.. Чего же все-таки хочет от него БЮПО?

Легкие слезы пощипывают глаза. Их еще немного, и Шарлотта колеблется — сдержаться или дать им волю. Ей так жаль мужа и себя! Еще бы, жить с неудачником и сохранять верность ему совсем не просто. Шарлотта изменила бы, но страх перед новым удерживает ее, и вот уже несколько месяцев она не переступает границ в отношениях с мужчинами. Немножко кокетства и только... Впрочем, так ли это? А Ширвиндт?.. Ох, и дура же она была!.. Ширвиндт выставил ее из конторы — достаточно деликатно, но решительно. Шарлотта дважды в жизни проявляла инициативу; Проспер не колебался и стал ее мужем, а Вальтер Ширвиндт отправил за дверь.

Три порции мартини перед сном и мечты — вот и все, чем осталось утешаться.

— Возьми себя в руки, Проспер. И перестань курить!

Шарлотта покашливает, демонстрируя отвращение к табаку. Слезы высохли, на сердце легко, и Шарлотта соображает, как заставить мужа вернуться к главному — БЮПО и Ширвиндту.

Проспер бросает окурок в вазу с гортензией. Запахивает халат. Шарлотта наблюдает за ним и ждет продолжения.

— Я, пожалуй, соглашусь,— говорит Проспер, и глаза его светлеют.— Другого выхода нет.

— О чем ты?

— О «Геомонд», разумеется. Подумай сама, Лота, а что мне остается? Я не хочу ссориться с полицией. Правда, микрофоны в стене — это незаконно, но, черт возьми, не лезть же на рожон?

— Ширвиндт знает? — говорит Шарлотта.— Ты рассказал ему?

— Нет, конечно.

— Ты трус, мой милый, вот в чем дело. Я полчаса слушаю тебя и думаю, почему ты не указал им на дверь. Это же произвол: микрофоны в конторе и все такое. И потом, откуда ты взял, что они из БЮПО? А если это конкуренты Ширвиндта, сующие нос в его дела? Что будет тогда?

— Ты думаешь?..

— Вот, вот! Конкуренты, гестапо, мало ли кто!

Проспер бледнеет.

— Черт возьми, я поеду в комиссариат!

— И попадешь впросак. Послушай, Проспер. Они еще придут?.. Не говори с ними без меня. Хорошо?

— Как хочешь.

— Ширвиндт—солидный делец, и представь себе, что он найдет микрофоны и пригласит в контору газетчиков. Тебе нравится быть героем скандала? Даже если это БЮПО, в дураках останешься только ты!

Шарлотте почти жаль своего неудачника Проспера.

— Успокойся,— говорит она как можно мягче.— Ничего пока не произошло. Предоставь этих господ мне, и я все улажу.

— Пусть так... Подвинься, дорогая.

Глядя в потолок, Шарлотта обнимает мужа и думает о том, кого хотела бы видеть сейчас на месте Проспера. Это тем более не трудно, что у спальни Шарлотты и кабинета Вальтера Ширвиндта общая стена.

А Ширвиндт в эти минуты не рядом, не за стеной. Служебный кабинет пуст, в спальне убрано, а секретарша, Элен Бертье, роется в личных бумагах шефа. Ей приказано отвечать посетителям, что господин Ширвиндт будет после полудня.

Причины неожиданного ухода владельца «Геомонд» Элен не известны, и она не подозревает, что они прямо связаны с проспектом «Лонжина», пришедшим со вчерашней почтой. Этот проспект валяется в мусорной корзине, которую Элен забыла опорожнить.

Элен в конторе, Шарлотта в спальне и Ширвиндт, спешащий к кинотеатру «Космополитен»,— все трое озабочены — каждый своим — в этот июльский день.

...Рекламный проспект «Лонжина» пришел неожиданно, и, хотя Вальтер перерыл всю вечернюю почту, он не нашел главного — письма, без которого роскошное издание не стоило ни гроша. Можно было век ломать голову, на какой модели задержать внимание, и так и не угадать. Десятки образцов и на каждой фотографии стрелки часов застыли по-разному: двенадцать ноль-ноль, без пяти три, половина девятого... Хорошо еще, что фильмы в «Космополитене» демонстрируют без перерыва!

С этой мыслью Ширвиндт покупает билет. Пересчитывает сдачу и минует турникет. Билетер, подсвечивая фонариком, ведет его на свободное место...

Из конторы Ширвиндт ушел внезапно, с таким расчетом, чтобы у Элен не было времени созвониться с кем следует. В том, что Элен позвонит, Вальтер не сомневался: весь последний месяц БЮПО держит контору под наблюдением. После того, как он принял Элен, наружных наблюдателей убрали.

Устроившись поудобнее, Ширвиндт вытягивает ноги и готовится ждать. Сколько и кого? Кто знает!.. Может быть, пройдет час, а может, целый день. Проспект не дал ответа.

Человек в канотье возникает возле Ширвиндта часа через полтора, когда Вальтер, устав от комедийных страстей, борется с дремой. Ширвиндт осторожно скашивает глаза. Нет, лицо ему незнакомо. Тем не менее Вальтер щелкает зажигалкой, когда сосед достает сигарету.

— Позвольте моей, она совсем новая.

— Вы так любезны...

Совсем не те слова. И вдруг:

— Вам привет от Профессора и Марата.

В подставленную ладонь Ширвиндта падает бумажный шарик. Вальтер встает и, одергивая пиджак, идет к выходу. Лоб его в испарине... После разгрома «Эпок» Центр предупредил, что Жак-Анри скорее всего провалился. А тут — курьер из Парижа...

Турникет подталкивает Ширвиндта в спину, выпуская на улицу. Вальтер надевает шляпу, расправляет поля. Если посмотреть на него со стороны, то легко поверить, что шляпа и только она — предмет его забот. Впрочем, какие осложнения могут быть у владельца картографической фирмы «Геомонд»?

4. Июль, 1943. Париж — Сен-Дени — Кранц

Полдня Бергер бродит по магазинам и ищет желтого игрушечного зайца. Эмми взбрело в голову, что бывают такие, и в последнем письме она поспешила довести свое открытие до сведения отца — огромными каракулями. Расшифровав их, Бергер подумал, что Лизель, очевидно, все еще носится с идеей сделать из дочери художницу — иначе Эмми удовольствовалась бы зайцем нормального цвета.

У площади Этуаль Бергер сворачивает в переулок и заходит в первую же попавшуюся лавку. Сам не зная почему, он уверен, что именно здесь его ждет удача.

И точно. Желтый заяц красуется на самом виду; точнее, парит в воздухе, и Бергер, слегка ошеломленный, не сразу находит взглядом нитку. Это как волшебство — заяц, парящий под потолком. А если не волшебство, то слепой дурацкий случай, помогающий Бергеру в тысячный раз находить то, чего нет.

Оберегая сверток с покупкой, Бергер едет в «Лютецию» на такси. Считанные часы отдыха кончились, и через несколько минут все вернется на круги своя.

Автоматчики у входа знают Бергера в лицо и вытягиваются, но он все еще слишком занят мыслями о доме, чтобы обратить на них внимание.

— Мне звонили, дежурный?

— Да, из Сен-Дени!

— Кто и по какому вопросу?

— Некто Шмидт... Просил вас быть в Сен-Дени не позднее девятнадцати.

В кабинете Бергер снимает пиджак и прячет сверток в сейф; мелкими глотками выцеживает стакан теплой воды и снимает трубку полевого телефона.

— Алло, Меркурий? Дайте Марс.

Далекий Марс откликается не сразу. Бог войны, как и положено богу, соблюдает дистанцию между собой и смертными. Бергер ждет, невесело разглядывая пятно на обоях.

— Здесь Бергер. Меня разыскивали?

— Машина будет ждать вас в семнадцать тридцать. Запомните: площадь Карусель, возле Лувра, у третьего подъезда. Серый «хорьх» с двойкой в номере. Вы поняли?

— Да,— говорит Бергер и кладет трубку.

В назначенное время Бергер слоняется у Лувра в ожидании серого «хорьха» с двойкой в номере. Машина въезжает со стороны Риволи и затормаживает всего на миг — так, что Бергер едва успевает втиснуться в распахнутую шофером дверцу...

Ранние сумерки встречают Бергера при въезде в Сен-Дени. После парижской суматохи, патрулей, жары, запахов бензина и железа двухэтажные домики городка, цветы вдоль асфальта и улицы без машин кажутся заповедником покоя, существующим вне времени и пространства.

Несколько минут «хорьх» петляет по улочкам, но не останавливается и, забрав влево, выезжает на Суассонское шоссе.

— У вас есть оружие? — спрашивает водитель, не поворачивая головы.

— Да,— говорит Бергер.

— Сдайте мне... Так. Я стану на развилке и буду ждать. Дальше пойдете пешком...

Бергер кивает и молодо выпрыгивает на шоссе, едва «хорьх» тормозит; впереди, метрах в пятидесяти запыленный «мерседес», охраняемый полдюжиной мотоциклистов.

Окна «мерседеса» зашторены. В салоне темно, однако не настолько, чтобы ошибиться и не понять, кто сидит в глубине, удобно облокотившись на кожаную подушку... «Некто Шмидт!»

— Садитесь, Юстус...

— Экселенц!

— Ну, ну! Не делайте вид, что потрясены. Слышишь, Зеппль, нам пытаются морочить голову. Каково?

Маленькая такса, ворча, копошится на коленях Канариса.

— Вот что, Юстус, меня здесь нет и вы меня не видели. Я не еду в Париж, следовательно, коллегам из СД нет смысла отрываться от государственных дел и беспокоить вас вопросами о моем самочувствии. Да и, кстати, оно не таково, чтобы превращать машину в кабинет на колесах. Мы с Зеппль старики и любим покой и комфорт.

— Экселенц остановится в Сен-Дени?

— Нет.

— Прикажет сопровождать его?

— Тоже нет, Юстус. Не ходите вокруг да около. Через четверть часа мы с Зеппль улетаем. Вы что, не заметили самолет? Он рядом, в поле.

Адмирал тихо посмеивается, а Зеппль возится у него на коленях, пытаясь укусить себя за хвост.

— Да, Юстус, через четверть часа. Их как раз хватит, чтобы дать вам два полезных совета.

— Я весь внимание, экселенц!

— Так вот. Первый: наладьте отношения с Рейнике, когда он приедет в Париж. Это может случиться завтра, но допускаю, что он прибудет уже сегодня. Второй: получив приказ помогать ему, работайте так, словно абвер и СД родные братья... Хотите что-нибудь спросить?

— Если экселенц позволит... Что произошло?

— Русские опять радируют из Парижа. Еще вопросы?

— Да, экселенц!.. Откуда СД знает о рациях? Пеленгаторы принадлежат нам, я сам читаю суточные сводки, и в них нет ни слова о перехвате.

— Что вы имеете в виду? 621-ю радиороту?

— И прочую технику Шустера.

— Капитан Шустер здесь ни при чем. Рации запеленгованы.

Канарис умолкает, поглаживая таксу; рука в серой перчатке осторожно скользит вдоль шерсти, сопровождаемая легким треском. Бергеру становится грустно. В его неуютной жизни вот уже несколько лет нет места даже для собаки.

— Поезжайте в Кранц,— говорит Канарис и переносит руку со спины таксы на колено Бергера.— Приказ о новом сформировании штаба Рейнике в Париже придет не позднее завтрашнего вечера. К этому сроку вам надо знать все подробности, все детали, каждую мелочь...

— Да, экселенц!

— Прощайте, полковник Бергер! Хайль Гитлер!

В «хорьхе» молчаливый водитель возвращает Бергеру пистолет и, услышав короткое: «В Кранц!» — включает скорость.

За Лаоном Бергер перелезает на заднее сиденье; укрывается пиджаком и старается задремать. Впереди длинная ночь, а ему по опыту известно, что ночью да еще в дороге редко удается придумать что-нибудь стоящее.

В Кранц они приезжают на заре, и Бергер, не дослушав рапорта начальника поста, торопится пройти в кабинет.

— Хорошо, капитан. Вам известно, зачем я здесь?

— Мне звонили из Берлина.

Кабинет — стеклянная будка на антресолях огромного зала. Прозрачный куб, позволяющий увидеть длинные ряды столов и операторов, приникших к аппаратуре. Головы склонены к таблицам; левые руки — на верньерах, в правых — карандаши.

Не предлагая начальнику поста присесть, Бергер листает бумаги. Их немного. Первая передача из Парижа перехвачена позавчера, и позавчера же, в 21.10, отмечено появление еще двух раций. Прием, известный Бергеру по делу «Эпож».

— Удалось расшифровать?

— Прошу прощения... Телеграммы очень коротки, и, позволю заметить, криптографам еще предстоит помучиться с ними.

— Понимаю,— говорит Бергер и с досадой захлопывает папку.— Подготовьте копии, я заберу их с собой.

Ничего существенного! Не установлен принцип шифрования. Ясно лишь, что новая группа работает по тому же методу, которым пользовались в свое время люди Леграна...

С копиями радиограмм Бергер спускается в зал. Начальник поста, отстав на полшага, следует за ним.

— Кто из операторов взял Париж?

— Ефрейтор Мильман. Стенд семнадцать.

Начальник говорит полушепотом, почти касаясь губами уха Бергера.

— После смены передайте ему, что он получит награду. Я пошлю представление в Берлин.

— Да, господин полковник! Но боюсь, что представление будет отклонено. Он недавно у нас... Какая-то история с девкой в Париже. Хороший специалист, но откомандирован из 621-й радиороты за безнравственность.

Бергер напрягает память: Мильман... Мильман... Нет, фамилия ему неизвестна.

— Еще что?

— Больше ничего. Первоклассный оператор и служит без замечаний.

Бергер издали бросает взгляд в сторону семнадцатого стенда... Мильман... Почему бы и нет? В 621-й радиороте у Бергера нет своего человека, а этот ефрейтор, нащупавший парижские рации, может оказать услуги. Сейчас он должен быть зол на тех, кто запер его в Кранце на казарменном положении...

— Снимите его с дежурства!

Начальник поста достает полевую книжку.

— Что-нибудь не так? Я должен записать.

— Запишите, что я забираю его с собой. Сейчас же. Подготовьте приказ и проездные документы.

Приятно быть сильным и творить добро. Бергер думает об этом и еще о желтом зайце, купленном для Эмми.

Продолжение следует.

АЛ. АЗАРОВ,
ВЛ. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Дом без ключа

5. Август, 1943. Париж, Орли — Булонский лес.

Для Рейнике ночь давно уже превратилась в день, а вечер ничем не отличается от утра. Поэтому бригадефюрер более или менее бодр, когда под утро прилетает в Орли. Ночные рейсы самолетов «Люфтганзы» строжайше запрещены, но правило не действует, если пассажирами являются чины гестапо. Начальник Управления IV обергруппенфюрер Мюллер не стал долго уговаривать дежурного по министерству авиации, сказал только: «После приземления в Париже информируйте мою канцелярию!» — и повесил трубку.

В Орли Рейнике задерживается. Охрана аэродрома по учебной тревоге отрабатывает отражение авиации противника, и полковник — комендант базы отказывается выпустить бригадефюрера из штабного бункера.

Приходится сидеть и ждать, а ждать Рейнике не любит. Из бункера он звонит Бергеру в «Лютецию», но полковника там нет. Нет в штабе абвера и командира радиороты капитана Шустера. Дежурный пробует отыскать обоих на улице Курсель, где квартирует 621-я радиорота, однако через несколько минут выясняется, что оба они — в Булонском лесу.

— Я скоро буду,— говорит Рейнике дежурному.— Предупредите господ об этом и пригласите ко мне. Но не вместе. Первым — полковника Бергера.

«Интересно, как воспримет Бергер мой сюрприз?»— думает Рейнике час спустя, сидя в машине. Эта же мысль занимает его и тогда, когда он поднимается по лестнице штабного особняка в Булонском лесу.

В кабинете чисто и прохладно. Шторы задернуты. Рейнике мельком оглядывает стол — по инструкции на нем не должно быть ни клочка бумаги.

— С прибытием, бригадефюрер!

Бергер, выбритый и выспавшийся, в два шага доходит до середины комнаты. Он в штатском и на зависть элегантен. Белоснежная рубашка подпирает шею жестким от крахмала воротничком; манжеты выглядывают из рукавов ровно на сантиметр, не больше...

— Юстус? Я искал тебя в «Лютеции». Почему ты оказался здесь?

— Работа,— говорит Бергер.— Ну, как Берлин?

— Бранденбургские ворота все еще на месте...

— Я так и думал,— серьезно говорит Бергер и достает трубку.

— Да, да, кури. Шустер в приемной?

— Прикажешь позвать?

— Позже, сейчас я тебя кое-чем обрадую: скоро прибудет Гаузнер.

— Вот как? Насколько я знаю, он сидел в Гамбурге и благодарил Мюллера за забывчивость.

— Я отозвал его в свой штаб. Гаузнер умница, а опыта ему не занимать. Он начинал заниматься Леграном и парижскими передатчиками раньше нас с тобой.

— Рад слышать. Но это не все?

Рейнике выдерживает паузу.

— Ты угадал. В Штутгарте организовывается новая контора — «Алеманише Арбейтскрайс». Канарис и Мюллер договорились, что она станет филиалом штаба и полностью нацелится на Женеву. Недавно там был Шелленберг.

— В Женеве?

— В Штутгарте. Он виделся со Шварценбахом из швейцарской разведки и совещался с ним на вилле фон Стауница.

— О чем они говорили?

— Спроси что-нибудь полегче. Скорее всего новая комбинация Управления VI в отношении «Геомонд».

— Против «Геомонд»?

— Да. С этой группой надо кончать. Быстро и без следов.

Рейнике с треском припечатывает карандаш к полированной доске стола. Пальцем давит открошившийся грифель.

— Штутгартскую контору подчинили тебе.

— Надо благодарить?

— Не я решал, Юстус. Ты остаешься моим заместителем по штабу. Я сам, как тебе известно, раздваиваюсь между Берлином и Францией... Мне приказано спросить тебя: ты согласен?

Бергер, посасывая трубку, разглядывает кончик ботинка. Губа его брюзгливо выпячивается, в глазах — равнодушие.

— Если все решено, не будем обсуждать. Ты не хочешь пригласить Шустера? Он ждет.

— Со щитом?

— Рации опять исчезли,— невыразительно говорит Бергер и спичкой помешивает табак в трубке.— Где мой «кепстен»?

— Привез,— успокаивает Рейнике, склоняясь над телефоном.— Скажите Шустеру: пусть войдет.

Бергер встает и отходит к окну. Широкая спина его, обтянутая пиджаком, вздыблена буграми мышц. Он силен, как борец, и Рейнике видел однажды, как Бергер на пари двумя пальцами легко свернул штопором толстую мельхиоровую ложку.

Дверь отлично смазана и открывается беззвучно, впуская Шустера. Слушая рапорт, Рейнике невольно следит за каждым движением Бергера, медлительно ворочающего широкими плечами.

— Сводка при вас, капитан?

Почувствовав грозу, Шустер оправдывается:

— Мои операторы сделали все, что могли, бригадефюрер!

— Где рации?— тихо спрашивает Рейнике.— Где рации, капитан?

— Я объясню,— вмешивается Бергер.

— Нет! Говорите вы, Шустер! Я жду!

— Передатчики сменили частоты.

— Я объясню,— настойчиво повторяет Бергер.— Бригадефюреру следует прочесть сводки за последние два дня. То, что рации не пеленгуются, только полдела.

— Это так,— подтверждает Шустер.— В последний раз их засекли тридцать шесть часов назад. Они выходили из районов Каре дю Норд, госпиталя Бедных Детей и Сен-Лазара.

— Сколько в роте машин?

— Всего пятнадцать, но шесть ремонтируются.

— Я объясню,— в третий раз говорит Бергер.— Машины — это не так важно.

— Что же важно, черт возьми?

Рейнике машет рукой. Неожиданная вялость валится на него, придавливает, заставляет сесть.

— Побудьте в приемной, Шустер,— говорит Бергер и ждет, когда дверь захлопнется за капитаном.— Теперь понимаешь, Вилли?

— Далеко не все...

Некоторые факты наводят на мысль, что месье Легран в Париже.

Рейнике недоверчиво пожимает плечами.

— Три рации, расположенные в разных концах,— настаивает Бергер,— и каждая из них эстафетой передает десять цифрогрупп. Кольцо, в котором пеленгаторы мечутся, не зная, за кем гнаться... Это Легран, Вилли!

Рейнике поднимает голову.

— Все мы будем хороши, если это так. И я, и ты, и Гаузнер... В Берлине вынут из архива наши доклады и спросят: когда вы лгали? В марте, подписываясь под сообщением, что Легран бежал и сидит в Москве, или сейчас, утверждая, что он в Париже? Что ты ответишь?

Бергер прикусывает мундштук трубки и тяжело поводит плечами.

— Отвечу, что мы его возьмем. Ты не согласен, Вилли?

6. Август, 1943. Женева, рю Лозанн — Люцерн, Капельдаге, 5.

Грюн — один из очень немногих, с кем Ширвиндт встречается в Женеве. Он опытен и обставляет свидания сотней предосторожностей, ни одна из которых, впрочем, не является лишней. Грюн, Камбо, новый источник — Макс из Люцерна и еще — курьеры, обеспечивающие контакты с радистами; вот и вся группа. Система связей и «почтовых ящиков», отработанная Вальтером, пока не подводила, но это не означает, что ее следует сохранять навечно: любая шарада когда-нибудь разгадывается, если поломать голову. Оттягивая разгадку и отвлекая внимание БЮПО, Ширвиндт с помощью Грюна заваливает «Геомонд» письмами с самым невинным содержанием, посланными с разных концов Конфедерации. Некоторые из них не доходят до него, исчезают, осев, по всей видимости, в сумочке прилежной Элен. Ширвиндт ведет таким письмам учет и установил, что Элен выбирает те, где текст занимает мало места: очевидно, специалисты объяснили ей, какое значение имеют широкие поля при использовании тайнописи.

— БЮПО старается!— сказал Вальтер Грюну.

— А если это немцы?— усомнился Грюн.— Они не станут долго ждать, повозятся немного

Продолжение. См. Огонек № 24.

и — готт мит унс! [1]— шлепнут вас в ближайший теплый вечерок. А?

Ширвиндт беззвучно засмеялся: так не вязалось «теплый вечерок» и «шлепнут». Сказал:

— Не вижу смысла. Я для них — сущая находка. Дешифрованный, торчу на виду и, судя по корреспонденции, не сворачиваю работу.

— Потому-то они вас и уберут!

— Или, напротив, станут оберегать. Рассудите сами. С'кем и каким образом я связан — не установлено. Какова моя информация — неизвестно. И вообще — сплошные «как», «почему», «кто» и «каким образом». И такая глупость: моя смерть; похороны, плюмажики на катафалке и секреты, ушедшие безвозвратно. Пока то да се, пока на мраморной досочке высекают мое фальшивое имя, где-то возникает кто-то, немцам абсолютно неизвестный, и, переняв группу, продолжает начатое...

Грюн покачал головой.

— Вы меня не убедили. В нашем деле формальная логика способна подвести под катастрофу. Не рассчитывайте, что немцы мыслят шаблонно. Стейниц был немец, и фантазии Гофмана питали германский дух.

— Вы боитесь?

— Да, за вас.

— Ладно,— сказал Вальтер.— Лучше позаботьтесь, чтобы моя Элен не сидела без работы.

— Так она из БЮПО или от немцев?

Элен и Макс — две загадки, и каждая на свой лад.

Люцерн, Капельдаге, 5. Издательство «Нептун» — буклеты, проспекты, открытки с видами. Годовой оборот в пределах двадцати — двадцати двух тысяч франков. Владелец — политэмигрант, основал «Нептун» в 1935 году, холост, не пьет, не курит, не поддерживает отношений с местной немецкой колонией... Макс отмалчивается, когда Вальтер пытается поговорить по душам, не отрицая лишь одного — делового знакомства с бригадным полковником Лусто из 5-го отдела генштаба.

Как в свое время Камбо, он поставил условие: никаких попыток проникнуть в частную жизнь и регулярная оплата в швейцарской валюте.

— Сколько?— спросил Ширвиндт.

— Тысяча франков в месяц,— сказал Макс.— Остальное доплатит Лусто.

Это была первая и последняя его откровенность, и она обезоружила Ширвиндта. Двойники, как правило, не признаются ни в чем; Макс представлял исключение, редкое, как зеленый алмаз... Вальтер пожал плечами.

— Ну знаете ли!.. У вас странная манера добиваться доверия. Откуда вы знаете Лусто?

— Долгая история. Если я расскажу, вы вряд ли поверите, так что лучше не касаться ее, но к гестапо я не имею отношения. Неубедительно?

— Не очень,— сказал Ширвиндт.— Да вы это и сами понимаете.

...Поезд на Люцерн — в 13.05, и Вальтер гуляет по Старому городу, стуком трости распугивая ленивых голубей. Элен получила-таки долгожданный случай основательно похозяйничать в конторе. Ширвиндт предупредил ее, что вернется вечером, и дал возможность присутствовать при расчетах с рассыльным, принесшим билет. Туман и разговоры тет-а-тет всегда разжигают любопытство, будничная откровенность гасит его.

На улице жарко и расслабляюще душно. Ветер не несет прохлады: он слишком легок и вял. Дети, как всегда, играют на набережной, но маленькой Рут среди них нет, и Ширвиндт в одиночестве скармливает голубям корм из пакетика, купленного у разносчика.

На углу в киоске, торгующем газетами и мелкой всячиной — до лезвий «жилетт» и открыток включительно,— Вальтер выбирает «Трибюн де Лозанн» — дорожное чтиво, позволяющее забыть о прошлом и не слишком подробно информирующее о настоящем. «Трибюн де Лозанн» считается солидной, но и она часть колонок отводит под светские сплетни и сенсации... Ширвиндт расстегивает портфель и укладывает газету рядом со свежими оттисками карт и папкой с контрактами. Поездка в Люцерн сугубо деловая. Одна из тех, после которых в «Геомонд» наступают дни оживления: заказы редакторов провинциальных газет на схемы боевых действий — основной источник дохода фирмы; другой источник — карты-вклейки, покупаемые издательствами, такими, как «Нептун».

В вагоне, найдя место у окна, Вальтер разворачивает газету. Широкая, как театральный занавес, она укрывает его от взоров соседей. Бегло просматривая колонки, Вальтер думает о том, что визит в «Нептун» должен стать последним. Заказы заказами, но в 5-м отделе рано или поздно могут заинтересоваться, одни ли карты получает издательство от «Геомонд». Решено: впредь деньги будет отвозить связник Грюна, страховой агент.

Деньги, тысяча франков мелкими купюрами, вложены между листами роскошного атласа — бристольский картон, глубокая печать, кожаный переплет. Выдающийся образец продукции «Геомонда», отпечатанный тиражом сто экземпляров и презентуемый крупным заказчикам.

Поезд, изогнувшись дугой, несется вдоль озера. Ширвиндт, коротая время, поглядывает в окно. Вода, зеленая у берега и темная, с ртутными потеками вдали, успокоительно чиста и первозданна. Сменятся поколения, рухнут источенные водами мостки, уйдет и Ширвиндт, а она останется и будет в вечности.

Ширвиндт, поежившись, отодвигается от окна. Озеро исчезает, отторгнутое занавесом из газеты... Курьер Центра привез расписание радиосвязи и шифры; в том же письме настоятельно рекомендовано выяснить, откуда Макс черпает информацию. Это приказ...

Трижды или четырежды перечитав газету, досыта насмотревшись в окно, вздремнув и все-таки устав от дороги, Ширвиндт наконец выходит в Люцерне. Долгая тряска в вагоне вызвала приступ сердцебиения; пережидая его, Вальтер приникает к фонарному столбу и стоит, массируя сердце.

В таком состоянии трудно вести переговоры, но Вальтер, весь покрытый потом, добрых полтора часа торгуется с редактором местного «Герольда», а уломав его и подписав контракт, еще столько же тратит на беседу с заведующим фотоотделом еженедельного «Вестника».

От «Вестника» до Капельдаге — три квартала. Издательство занимает узкий двухэтажный отсек серого дома в улочке, похожей на горную расселину. Вертикальная вывеска, застекленная дверь, железная штора на окне и полдесятка книг в витрине, сквозь которую просматриваются стеллажи внутри помещения. Мельком глянув в нее и убедившись, что покупателей нет, Ширвиндт носком ботинка толкает дверь и входит, сопровождаемый слабым перезвоном колокольчика.

«Что скажет Макс?— думает Ширвиндт, прислушиваясь к боли в груди.— Центр прав, требуя выяснить, где источники. Грюн пытался было поговорить с ним начистоту, но ничего не вышло. Как это ответил Макс? Сказал: пусть приедет сам. Или что-то в этом роде... Скажет ли он правду?»

...Ложь или правда?

Этот вопрос возникает перед Ширвиндтом полчаса спустя, когда он покидает «Нептун». Разговор с Максом с почти стенографической точностью записан в памяти... Ну и ну!.. Десять генералов, лояльных во всем с виду и сплотившихся в основанную на ненависти к нацизму коалицию — о таком услышишь не каждый день! Почему десять? А не пять? Или сто один?.. Но и не это основное!.. Связь: передачи, идущие в Люцерн через... пост радиоабвера в Кранце!.. Ширвиндт только что видел своими глазами приемник армейского образца с клеймом вермахта на откидной крышке.

— Я получил его от н и х, — сказал Макс.— Вместе с позывными — РАХС.

— И принимаете дома?

— Я же ничего не передаю! Только принимаю.

Приемник стоял на тумбочке в открытую: вещественное доказательство, что Ширвиндту не снится все это — Макс, разговор о генералах и радиоабвере.

— Полиции я не боюсь,— сказал Макс.— Лусто охраняет мой «Нептун».

— Ну знаете ли!..

— Я не настаиваю ни на чем. Верить или нет — ваше право или право тех, кто вас сюда послал. Сообщите им просто факты и пусть решают.

...Колеса вздрагивают, стучат, клацают на стыках. Вечерний поезд уносится прочь от Люцерна, пересекая границы кантонов. День окончился, и впереди — ночь, длинная и одинокая, которую не скоротаешь за разговором с самим собой и которая при всей своей кажущейся длине слишком коротка, чтобы один человек мог продумать все.

7. Август, 1943. Париж, рю Летелье, 29 — рю ль' Ординер, 3.

— Кончено, Луи!

— Угу... Помогите мне, шеф.

Жак-Анри, путаясь в длинном проводе, сматывает антенну. Луи захлопывает переднюю крышку передатчика и, кряхтя, тащит его в угол — там, за полкой с книгами, ниша... Секундомер все еще работает, и Жак-Анри, закидывая антенну в тайник, успевает глянуть на циферблат: ровно шесть минут и тридцать секунд.

Они выходят на цыпочках, хотя оба знают, что в квартире никого нет и их не услышат. Двухкомнатная гарсоньерка, арендованная на днях, снаружи заперта на висячий замок: Луи, проделавший это, влез в квартиру через окно в кухню, пробравшись по бордюру.

Луи осторожно выглядывает во двор.

— Дуйте вперед, шеф. Я прикрою...

В свободной руке у него граната — зеленое металлическое яйцо. Жак-Анри толкает Луи в спину и повелительно шепчет в ухо:

— Сейчас же спрячь!

«И этот — туда же! Где они достают оружие, эти мальчишки? Луи никогда не давал повода упрекнуть себя в недисциплинированности и вот — на тебе!»

— Береги уши! — сердито говорит Жак-Анри, спускаясь по лестнице.

Он молчит, пока они, распластавшись, пробираются по бордюру шириной не больше ладони; однако, ступив на первую же перекладину лестницы и отдышавшись, он уже не может побороть искушения высказать Луи все, что думает о нем.

—Где ты взял это дерьмо?

— Нашел на улице.

Луи задирает голову и улыбается.

— Мы еще поговорим! — обещает Жак-Анри.

Добравшись до земли, они пересекают двор; через незапертую камеру мусоросброса проникают в подвал, а оттуда в котельную гостиницы, фасадом выходящей на рю Фондари. Котельная пуста — летом в Париже не сыщешь филантропа, который тратил бы драгоценный уголь на такие пустяки, как горячая вода для постояльцев. Зимой — другое дело: тогда поневоле приходится топить. Благословляя скупость владельца отеля и стараясь не прикасаться к трубам, укутанным в паклю и слоистую, похожую на вату пыль, Жак-Анри следует за Луи.

— Сними куртку,— говорит он у двери.— В таком виде тебя не пустят ни в один дом. Разве что в Сантэ[2].

На рю Фондари облавы нет. Луи убеждается в этом, выглянув на улицу; Жак-Анри ждет его. Солнце и акварельно-белесое небо слепят его, когда они ступают на тротуар.

— Поторопимся, шеф?— спрашивает Луи и осторожно дергает его за рукав.— Мне надо поспеть в лавку за мясом. Флора оторвет мне голову, если я не выхвачу у Гастона кусочек на жиго и костей для бульона.

— Нужны талоны? У меня есть немного лишних.

— Живем, мерси! — говорит Луи и прячет талоны в бумажник.— Между нами, Гастон — порядочная сволочь. Мясо ему привозят из провинции — один хороший парень, бьющий скот не по приказу немцев. Парень получает гроши, хотя и рискует всем, а Гастон снимает пенки и запрашивает столько, что ого-го!

У Луи — приступ словоохотливости. Обычное состояние, известное тем, кому случалось пережить страх, и Жак-Анри вытирает платком лоб и руки.

— А может, не стоит связываться?

— О-ля-ля! Но зато какое мясо! До завтра, шеф?

[1] С нами — бог! (Немецкий военный девиз.)

[2] Тюрьма в Париже (прим. ред.).

— До завтра, Луи! Напомни-ка мне адрес Жермона.

— Рю Пастурей, дом с двумя подъездами. Спросите хозяина кафе и скажите, что от Луи. Только, уверяю вас, шеф, Жермон ушел в кусты. Вам ни за что не уговорить его, вот увидите!

— Ладно, давай расходиться.

Луи перебрасывает куртку через руку и бегом устремляется к остановке, куда только что подкатил переполненный автобус с уродливыми колонками газогенераторов. Жак-Анри машет рукой, но не ему, а водителю такси, выглянувшему в окошечко в надежде поймать клиента.

— На Пастурей, через бульвар Сен-Жермен и Остров.

Не доезжая до кафе, Жак-Анри расплачивается и выходит.

Кафе набито битком; ни одного свободного столика; у стойки бородатые парни в беретах и черных рубашках спорят о Дарнане. До вечера далеко, а они уже на взводе: перед каждым рюмка с недопитым перно и куча картонных тарелочек. Сторонники Дорио не лучше немцев. Из таких сформирован «летучий отряд» парижской префектуры, обосновавшийся во Дворце правосудия в комнатах криминальной полиции.

Хозяин — за стойкой. Рукава рубашки закатаны, лицо багрово от духоты и вина. В душу Жака-Анри закрадывается сомнение, а вместе с ним холодок: с кем связался Жермон? Парни в черных беретах громко стучат кулаками о стойку; тянут хором: «Франция — ты прекрасна, как страна обетованная...» Жак-Анри обходит их и бросает на цинк кредитку:

— Луи сказал мне, что вы запаслись виши.

— Он всегда болтает лишнее, этот Луи!

— Продадите ящик?

— Пошли...

Хозяин пропускает Жака-Анри за стойку и, тяжело тесня жирной грудью, выталкивает его в заднее помещение.

— Что вы там болтали о Луи?

— Жермон у вас?

— Допустим.

— Мне нужно его видеть.

— Почем я знаю, захочет ли он видеть вас!.. Ладно, ждите здесь, я скажу Жермону.

Жак-Анри оглядывается. Комната набита спиртным. Бутылки, всех форм и размеров, теснятся на полке. К простенку пришпилена олеография — маршал при всех регалиях. Маскировка или же символ чувств?

Хозяин возвращается мрачнее, чем прежде. Один.

— Жермон не хочет.

— Так...

— Что — так?.. Не вздумай угрожать! Слышишь, парень?

Жак-Анри не отвечает. Все ясно, на Жермона можно не рассчитывать. Остается узнать, где он спрятал рацию...

Хозяин достает из кармана крохотный клочок бумаги.

— Здесь адресок. Его дал Жермон и сказал, чтобы вы забрали там свой инструмент. Вы что, из джаза?

— Я дирижер,— отвечает Жак-Анри и улыбается про себя: ответ, родившийся сам собой, довольно точен.

До рю ль' Ординер Жак-Анри добирается на автобусе; две пересадки с маршрута на маршрут и тряска, от которой селезенка подпирает горло.

Тесное помещение магазинчика битком набито редкостями — поддельными и настоящими, разобраться в которых способен только знаток. Жак-Анри с глубокомысленным видом изучает японскую вазу, покрытую серой патиной.

— Хорошая бронза, месье,— говорит Жюль отчужденно.— Девятнадцатый век и вполне умеренная цена.

— Я хотел бы глянуть на что-нибудь еще.

— Извольте, месье,— говорит Жюль.— Прошу пройти сюда.

Жак-Анри ныряет за прилавок и по маленькой деревянной лестнице поднимается на второй этаж, где в конце коридора находится комната Жюля.

Жюль ногой придвигает стул. Садится.

— Есть новости, старина?

— Рейнике вызвали в Париж,— говорит Жак-Анри.— Техник подслушал междугородную:

для Рейнике готовят старую квартиру... На этот раз на Принц-Альбрехтштрассе спохватились, на удивление, быстро!

— А ты ждал иного? Странно было бы, если бы пеленгаторы не засекли твою тройку. Технику удалось еще что-нибудь разузнать?

— Почти ничего. Штаб Рейнике формируется заново, Бергер из абвера — заместитель. Вот и все... Нам понадобятся новые радисты, Жюль.

— А где их взять? Может, объявятся двое из старой твоей пятерки? Хотя бы тот же Жермон...

— Он в маки...

— О-ля-ля!.. А как с сеансом?

— Сначала чашку кофе,— говорит Жак-Анри.

Жюль наливает кофе. Садится.

— Немцы быстро нащупали вас?

— Быстрее, чем хотелось бы. Надо бояться этих кочующих радиокоманд. Нас пеленговали чуть ли не под окнами...

— Всего бояться,— медленно говорит Жюль.— Тебе не надоело это слово — «бояться»?

— Что с тобой, старина?

— Со мной — ничего... Ничего особенного. И не гляди так — надеюсь, ты не считаешь меня рефлектирующим интеллигентом?

— Я так сказал?

— Нет. Но подумал... А ты подумал о другом: что я уже которую ночь вижу во сне свой дом? Ну да, дом, что тут особенного! И лестницу, и каждый раз, под утро, поднимаюсь по ней, ступенька за ступенькой.

Жак-Анри шарит по карманам, отыскивая сигареты. Жюлю снятся ступени дома. А ему самому, Жаку-Анри?.. Для него ночь — черный провал, куда он падает, чтобы утром выкарабкаться и начать новый день; жизнь на пределе, о котором не предупредит ни один врач.

— Ладно, до встречи!

— До встречи, старина,— тихо говорит Жюль.

На улице Жак-Анри поудобнее перехватывает покупку — сомнительной древности вазу, обошедшуюся в четыреста франков, и, ни секунды не задерживаясь на рю ль' Ординер, направляется в центр, к кафе «Де грас». Здесь его ждет Техник.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА.

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

8. Сентябрь, 1943.
Кастанненбаум,
бюро «Пилатус».

— Еще рюмочку мозельского, Макс? Вы позволите?

— Никогда не пью больше двух.

— И после этого вы будете утверждать, что немцы не рационалисты?

— А вы романтик, мой полковник?

— Конечно! Я родился в горах и впитал их дух.

Осень в горах прекрасна и печальна. Бригадный полковник Лусто отодвигает тарелку с остатками бифштекса и любуется видом. Зелень на склонах еще не начала мертветь, но желтизна вплелась в листву и травы, а кое-где деревья тронул багрянец — предвестник увядания.

С тех пор они видятся часто, и бригадный полковник уже не удивляется объему и точности сведений Макса. После знакомства с Максом Лусто не без оснований считает себя одним из избранных, имеющих возможность, не покидая Берна, переноситься на ковре-самолете в имперские учреждения Берлина.

Вилла Штуц, укрытая в горах, служит 5-му отделению посадочной площадкой ковра-самолета. Лусто приобрел ее и переоборудовал специально для встреч с Максом, закодировав в списках разведки как бюро «Пилатус».

Лусто разглаживает салфетку на коленях и принимается за остуженные сливки. Густые, они с трудом проходят сквозь соломинку, и Лусто делает вид, что полностью занят ими.

В прошлую среду бригадный полковник виделся с Шелленбергом. Это была третья их встреча за годы войны, организованная капитаном Майером-Швартенбахом, и все три состоялись по неприятным поводам. Сначала лейтенант Моергелли, а затем его преемник в Штутгарте Меркель провалились, и гестапо упрятало их в Моабит. За освобождение Моергелли Шелленберг попросил двух своих агентов, арестованных генеральным адвокатом, и журналиста из эмигрантов, чем-то досадившего Гиммлеру. Лусто торговался, но Шелленберг был тверд, и журналиста пришлось отдать. Швейцарский конвой доложил, что на том берегу Рейна его на глазах у всех били сапогами.

— Очень остроумно! — едко сказал Лусто Шелленбергу за обедом в прошедшую среду.— Отныне граждане Конфедерации не будут гадать, что делают в Берлине с теми, кого считают политическими противниками.

Шелленберг выглядел расстроенным.

— Журналиста перехватило гестапо, мои сотрудники опоздали.

— Хорошо,— сказал Лусто.— Я понял вас так, что за Меркеля требуется плата? Какая?

— Ничего нового: дайте Ширвиндта, и Меркель — ваш.

— Боюсь, что это нереально... Ширвиндт — делец, а не писака. Это пахнет запросами в Федеральном собрании и расследованием... Нет, нет, похищение, увоз, мешки на голову — забудьте об этом, генерал! Пограничная стража подчинена не мне и получила приказ стрелять в каждого, кто нарушит контрольный режим.

— Я предложил бы не похищение, а законную высылку в Германию. Судебным путем.

— Ни один суд не вынесет решения без фактов. А где они? Не ссылайтесь на данные имперских служб, я бессилен пустить их в ход.

— Понимаю... Соберите свои! Основу мы вам дали.

Лусто устало посмотрел на Шелленберга.

— Не так все просто... Хотите без обиняков? Так вот... У нас не тоталитарный режим, при котором оправдываются любые действия полиции, лишь бы нашелся кто-то ответственный, кто скажет: «Это — во благо государства». Контрразведка не пользуется правом ареста, ордера дает не полиция, а генеральный адвокат. Что можем мы? Наблюдать, регистрировать, сопоставлять и передавать свои материалы юристам. Они и решают. Но и это не все. Ширвиндт — резидент? Положим, меня вы убедите. Но чем сумею убедить я генерального адвоката? Скажу: встречается с тем-то и с тем-то? Мне ответят: а разве это запрещено? Представлю доказательства, что у него подозрительные связи? Мне возразят: связи сами по себе не преступление... Где рации, явки, «почтовые ящики»? Что я отвечу? Что у меня нет за душой ничего?

— Их можно найти.

— Хорошо, найдем. Но и тогда будет мало улик. Нужно доказывать не то, что у Ширвиндта есть рация или две, а то, что он систематически собирает сведения, направленные против безопасности Швейцарии, и передает их определенной державе. Поймите же, генерал, без прямых улик я бессилен.

Они расстались, не договорившись, и Лусто предложил Жакийяру в первую голову заняться «Геомондом»... Несколько суток спустя подчиненные Жакийяра дали бригадному полковнику справку, из которой он, помимо прочего, извлек и то, что Ширвиндт д в а ж д ы побывал в издательстве «Нептун».

Дважды...

Об этих визитах Лусто и намерен поговорить, но Макс не проявляет желания идти на откровенность. И надо же было Жакийяру так грубо поставить слежку!

Дом без ключа

— Так что же все-таки случилось, Макс?

— Это ваши люди, мой полковник?

— Сколько их было?

— До понедельника двое, теперь — трое. Они торчат под окнами «Нептуна» с утра до ночи... А может быть, и ночью.

— Вам не будут мешать, Макс.

— О!

Жестокая ирония, звучащая в восклицании, заставляет Лусто беззвучно вздохнуть. Три года этот человек диктует полковнику условия, не желая считаться ни с какими возражениями.

Макс появился в сороковом, пришел в приемную военного департамента и попросил свидания с кем-нибудь из разведки. Адъютант начальника указал ему на дверь, и Макс ушел, чтобы появиться назавтра со все той же нелепой просьбой. Он был так настойчив, что адъютант позвонил помощнику Лусто, полковнику Жакийяру.

В приемной Жакийяра Макса продержали положенные полчаса, дав ему возможность оставить отпечатки пальцев на деревянной коробке для сигар, обработанной алюминиевой пастой. Скрытые камеры сфотографировали его в профиль и фас, а техническая лаборатория изготовила позитивы.

Меры предосторожности были соблюдены, и Жакийяр принял Макса.

Еще полчаса спустя его принял Лусто...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24, 25.

— Вы запомнили тех троих? — говорит Лусто невинным тоном.— Как они одеты?

— По-разному... Шляпы, плащи, что еще?..

Отблеск горного заката падает на лицо Макса; узкий, запавший рот едва шевелится, выталкивая слова.

Лусто, отбросив соломинку, допивает сливки через край бокала. Высушивает губы салфеткой и достает трубку.

— Согласен: все это неприятно,— говорит он покладисто и приминает табак металлической ложечкой.— Но вот какое дело. В «Нептун» приходят разные люди, и я не хочу, чтобы в одно прекрасное утро вам перерезали горло.

— Охрана — одно, слежка — другое...

— В Люцерне есть агенты СД.

— И это говорите вы?!

Спички в коробке Лусто все как на подбор нехороши. У одной открошена сера, у третьей, десятой и двадцать пятой плохо провощены палочки. Бригадный полковник перебирает их, пока Макс, устав ждать, не достает зажигалку.

— Прошу вас, полковник!

— Спасибо, мой друг. О чем мы говорили?

— О гестапо.

— Да, верно... У него длинные руки. Банальное выражение, но точное. Поэтому я и стараюсь, чтобы среди тех, кто бывает в «Нептуне», не оказался субъект, связанный с Принц-Альбрехт-штрассе.

— В сороковом я пришел к вам и сказал: нацисты расстреляли моего отца и умертвили в концлагере сестру. Швейцарии угрожает оккупация, и я, немец, хочу помочь ей в борьбе за спасение. Тогда вы ничего не вынюхивали. Вы боялись — за эти горы или за себя самого — и приняли помощь, как дар небес. А сейчас?

— О чем вы, Макс? Разве вам не верят? Другой вопрос — ваши корреспонденты, друзья в Германии. Почему они все-таки пошли на это?

— У них свои цели, мой полковник... Однако вернемся к нашим баранам. За кем вы следите?

— Ни за кем конкретно.

— Не хотите говорить? Тогда я сам отвечу... Я долго ломал голову, пока не вспомнил наш давний разговор. Когда-то я рассказал вам о своих попытках предложить информацию англичанам. Вы сделали вид, что вам все равно, но — сознайтесь! — были довольны отказом англичан!

— Макс! — говорит Лусто, и лицо его становится жестким.— Скажите прямо: кто ваши новые друзья?

— Контрвопрос: я нужен вам, мой полковник?

— Я не давал повода...

— Надеюсь, и не дадите. Если новые друзья, о которых мы говорим, пострадают, между издательством «Нептун» и бюро «Пилатус» ляжет пропасть.

Лусто аккуратно укладывает нож на подставку.

— Прошу вас, Макс, не угрожайте. Я не из тех, кто поддается нажиму,— такая уж у меня профессия. К тому же вы неправы. Я не буду охранять никого, кроме вас. Из какого бы лагеря ни были ваши любимцы, они и Швейцария, доверившая мне свою безопасность, отнюдь не идут в одной упряжке. У моей страны своя судьба, и я пекусь о ней, только о ней, Макс!..

— Будьте нейтральны. Этого достаточно.

Лусто чуть-чуть раздвигает губы — ровно настолько, чтобы означить улыбку, но не дать ей появиться.

— Я высоко ценю нашу дружбу.

— Спасибо,— говорит Макс.— Право, полковник, хорошо, когда находится день вроде сегодняшнего, полностью свободный от дел. Не так ли?

9. Сентябрь. 1943. Париж, рю Марбёф — Аустерлицкий мост.

«Марату... Сообщите, можете ли срочно приобрести любые две из перечисляемых книг: Золя «Нана» издания 1922, Мопассан «Монт Ориоль» издания 1935, Морис Ренар «Ошибка Ришара Сегюра» издания 1927. Сименон «Досье агентства «О» издания 1937 и Дюма «Жозеф де Бальзамо» издания 1916 или 1931. Нам представляется необходимым сменить шифры, и, получив от вас сообщение о покупке, немедленно передадим, как эти книги использовать. Ваше предложение по связи — мы имеем в виду расписание передач и частоты — кажется нам приемлемым, хотя и достаточно сложным в техническом отношении, требующим от нас круглосуточного дежурства в эфире. Все же мы готовы начать работать по новому расписанию спустя 72 часа после получения от вас известия о приобретении книг. Мы убеждены, что использование конторы для прикрытия может при определенных условиях привести к провалу. Настоятельно советуем ликвидировать АВС. До решения всех вопросов время передач сократите до 15 минут трижды в сутки. Передавайте только то, что не терпит отлагательства... Профессор».

Бумажка, сложенная колпачком, медленно тает, чернеет, оседая на дно пепельницы невесомыми серыми хлопьями. Жак-Анри ссыпает пепел в конверт, платком вытирает пепельницу

и, дав запаху гари улетучиться в приоткрытое окно, достает из стола портфель. До вечера и карт у мадам де Тур много времени и есть возможность переговорить с Жюлем.

Номер Жюля занят, и, пережидая, Жак-Анри кончиком карандаша поворачивает диск. Набирает первую попавшуюся комбинацию... Гудки и голосок:

— Алло?

— Алло...— говорит Жак-Анри, улыбаясь.

— Лилу, это ты?

— Я ошибся... Извините.

— Я тоже. Думала, это Лилу.

— Еще раз извините.

— Какой разговор!

Короткие гудочки отбоя. Держа трубку на отлете и улыбаясь, Жак-Анри рисует в воображении портрет собеседницы. Судя по голосу, она молода, вряд ли старше двадцати. Еще что? Влюблена, сидит дома в полдень и ждет своего Лилу; за секунду голос точно сломался — был радостным и звонким, когда спрашивала, и тут же потускнел...

Жак-Анри прижимает вилку телефона, отпускает и, услышав гудок, набирает номер.

— Месье Дюпле? У меня есть неплохая бронза. Могу я ее предложить?

— Приносите после двух.

Кабинет наполнен свежим воздухом. Пепельница чиста. Жак-Анри запихивает в сумку складную коротенькую удочку, термос и плоскую коробку с бутербродами. Выходя, бросает секретарше:

— Я здесь, но не принимаю.

— Хорошо, господин Дюран! Месье Гранжан...

— Завтра!

Месье Гранжан подождет. Чеки, счета, дела с акцептами и векселями — все это терпит. Не так уж велик оборот АВС, чтобы бухгалтер стонал от обилия работы. Сделки мельчают: все, что представляет хоть какую-нибудь ценность, скуплено немцами; на долю французских комиссионеров остаются крохи.

Дряхлое такси везет Жака-Анри к Аустерлицкому мосту и освобождает его из травленных пылью недр в нескольких шагах от набережной. У лодочника находится складной стульчик — пять су в час — и баночка мотыля — три франка; он помогает Жаку-Анри

свинтить удочку и, получив плату вперед, советует:

— Не оборвите леску, дружище. Здесь щуки, как акулы.

— А плотва?

— Смылась в Биарриц на бархатный сезон.

Жак-Анри и сам знает, что в сентябре нет клева, но это его не смущает. На пустой набережной под сводами моста никто не помешает им с Жюлем поговорить о делах. Ближе к вечеру появятся влюбленные, и придется уйти.

Раздвинув стульчик, Жак-Анри усаживается и, обстоятельно исследовав содержимое коробки, выбирает мотыля. Шельмец лодочник подсунул завалявшийся товар — на такую полудохлую мелочь плотва не пойдет даже с отчаяния. Жак-Анри насаживает червяка на крючок и дует на него. Поплевать на червя нельзя — так делают где-нибудь на Клязьме, но не в Париже.

— Месье позволит?

Раздвижной стульчик едва не расползается под тяжестью Жюля.

— Опаздываешь,— говорит Жак-Анри.

— Как назло, принесли фарфор для оценки. Что-нибудь поймал?

— Нет. Сколько он с тебя содрал за червей?

— Хотел три, но согласился на франк.

— Ты всегда был практичнее,— говорит Жак-Анри с легкой завистью.

Жюль забрасывает крючок и — надо же!— почти тотчас тащит его обратно: на конце лески бьется плотвичка. Минуту или две она поглощает все внимание Жака-Анри: брошенная в банку с водой, рыбешка описывает круги, тычется в прозрачные стенки. Целая армия котов, дремавших дотоле где-то в сухих уголках, берет Жака-Анри и Жюля в плотное, мяукающее кольцо. Это коты-рыболовы, они здесь живут и сейчас возмущены: двое в плащах — скупердяи или новички, не знающие, что по обычаю первая рыба полагается им, котам.

— Отдадим? — предлагает Жак-Анри.

— Этим? Нет, старина. Их слишком много, и они хищники... Ненавижу хищников — так уж я устроен.

Жак-Анри оглядывается — коты смотрят на банку жадными глазами. Бока их впалы, хвосты нервно подметают гранит. Жак-Анри крошит бутерброды и бросает куски котам. Чем они виноваты, что сейчас не сезон, а у Жюля слишком доброе сердце?

— Есть ответ? — спрашивает Жюль.

— Пришел ночью. Потому я тебя и вызвал.

— И, конечно, экстра и, конечно же, весьма срочно.

— Ты угадал,— говорит Жак-Анри.— Предлагают ликвидировать АВС или выйти из дела.

— А есть ли смысл?

— Думаю, есть. Пока рации молчали, боши были уверены, что меня нет в Париже. Но с августа специалисты Шустера должны были разубедить их: радисты имеют известный им почерк, а что касается системы, то она в основном сходна с той, что применялась нами в «Эпоке». Если бы ты оказался на месте Рейнике, где бы ты искал Леграна в первую очередь?

— Только не в комиссионных фирмах. После «Эпок»...

— Ой ли? Такова или примерно такова была первая мысль Рейнике. Потому до известной поры гестапо, абвер и дарнановская агентура обходили АВС... Но вот мысль вторая: а почему бы и нет? Ты Рейнике, и ты говоришь себе: «Легран и его люди работают не по шаблону и уверены, что я это принимаю в расчет. Как раз поэтому они делают ход «шаблонный»: вновь прикрываются комиссионной конторой».

Жюль едва не роняет удочку.

— Черт побери!

— Реально?

— Боюсь, что да. Жаль АВС!

— Нужны покупатели, Жюль. Ты сможешь найти — осторожно, не впутываясь в переговоры?

— Попробую... Недели хватит?

Дождь усиливается, но коты, подобрав все крошки, терпеливо мокнут, карауля банку. Плотвичка мечется по кругу — ищет выход и не находит. Жак-Анри вытряхивает из коробки прилипшие ко дну волокна ветчины и манит ближайшего кота — полосатого, длинноногого, с впалыми боками:

— Тц-цц-ц...

Кот лапой цапает ветчину и удирает — хвост трубой. Жюль грозит ему вслед кулаком.

— Он голоден, бедняга,— говорит Жак-Анри и ежится, вода с поднятого воротника плаща скатывается за шиворот, растекаясь по спине.— У тебя есть календарь?

— Есть,— говорит Жюль с недоумением.— Даже два — стенной и карманный.

— Нужен стенной. Ты заметил, там для каждого дня указано время восхода и захода солнца?

— Ну и что?

— Профессор и я договорились о новой схеме связи. Радисты опять получат по пять квартир в разных концах города — слава богу, что плату мы внесли еще год назад. Передатчики у нас есть, и дело не за ними,— трудно со сменой частот.

— Время восхода?..

— Браво, Жюль! Все довольно просто: суммируем время восхода и захода и получаем цифру, которую прибавляем к основной частоте — 10 400 килогерц. Для каждого дня будет иная, совершенно новая.

— Неплохо,— говорит Жюль без особого энтузиазма.— Но ответь мне: смена частот при постоянных часах выхода в эфир — тот ли это лабиринт, в котором блуждают бесконечно? Радиоабвер набил руку на таких вещах!

— Не спорю, но календарь — кладезь премудростей. Там есть не только время Парижа, но и данные по Токио и Берлину.

Жюль оживляется. Намокшие волосы лезут ему в глаза, и он отбрасывает их со лба.

— Один день — по парижским часам, другой — по берлинским, третий — по Токио!

— Прохладно, Жюль!

— Какая-нибудь задача со сложением и вычитанием?

— Теплее.

— Послушай, старина, оставь ты это «холодно-горячо».

— Это тебе за жадность... Ладно! Ты угадал: каждый день действительно будет начинаться для радистов не в ноль по парижскому времени, а по Токио — по четным или Берлину — по нечетным числам. Но этого мало. Время восхода и захода — но не солнца, а луны — будет тоже приниматься в расчет, прибавляясь к часам и минутам, обусловленным расписанием передач. Получится настоящий хаос. Вчера, скажем, наши передатчики работали с юго-востока, юго-запада и севера и начинали сеанс в 9.43, а завтра они выходят на совершенно иной частоте и отстукивают свое в 17.51 с северо-востока, северо-северо-запада и юго-юго-запада... И вот что, Жюль, я думал о радистах.

Жак-Анри нагибается над банкой и пальцем подгоняет приткнувшуюся к стенке рыбу. Плотвичка скользит вокруг пальца, извивается, пытаясь найти дорогу на волю.

— Оставь ее,— говорит Жюль.— Что о радистах?..

— Их надо прикрывать. Работать они могут не дольше четверти часа, и с улицы — с обеих сторон — должны быть наши люди. Лучше всего, если поблизости окажутся телефоны,— о появлении немцев радисты должны узнавать как можно раньше.

— Придется использовать для прикрытия твоего Техника, связных и помочь самому.

— Договорились.

Жюль одним махом выплескивает воду из банки; плотвичка исчезает в Сене, и Жак-Анри выбирает удочку.

— Еще что? — говорит Жюль и стряхивает воду с воротника плаща.

— Нет ли местечка в вашей лавке? После АВС мне хотелось бы подыскать работу, связанную с разъездами.

— Это просто. В провинции полно желающих продать фарфор, картины, стекло...

— Тогда через неделю? — говорит Жак-Анри.— Возьми на себя документы. Карточки я достаю без труда... Как твоя дружба с Гранжаном?

— Водой не разольешь.

— Он очень понадобится. Если Рейнике выйдет на АВС, Гранжан окажется первым, кто почует запах гари: кагуляры его предупредят.

Дождь все идет — колкий и частый. Жак-Анри укладывает удочку в разбухшую от влаги сумку и думает, что за разговором о передатчиках, телеграмме и прочих делах забыл сказать Жюлю, что у него, Жака-Анри, сегодня день рождения. Впрочем, так ли это важно? День как день — ничем не лучше в веренице других.

10. Сентябрь, 1943.
Шамбери — Париж, рю ль'Ординер.

Местный поезд Шамбери — Лион, составленный из случайных вагонов, плетется со скоростью травяной улитки, и Жак-Анри из окна с сочувствием поглядывает на задыхающийся паровоз.

Еда — тема номер один в купе, и только двое не принимают участия в беседе: Жак-Анри и худенькая девчонка с белесыми волосами. Они сидят рядом, и Жак-Анри заметил, что свою плетеную корзину, перетянутую поцарапанным поясным ремешком, она постаралась затолкать как можно глубже под диванчик.

— Крестьяне обнаглели: за платье из маркизета мне дали кусочек масла не больше кукиша величиной.

— Оставьте! Они и сами ничего не имеют! В Ляжоли я видела, что́ они едят — луковый суп без масла!

— Это так. Проклятая жизнь...

— Эй вы, тихо!

Из-за спин любопытных, заглядывающих в купе из коридора, протискиваются трое. Немолодой полицейский, солдат и штатский. Это он крикнул: «Тихо!» — на хорошем французском, почти без признаков акцента.

— Документы, вещи, пропуска! Прошу соблюдать спокойствие. Начнем с вас...

Пожилой усач, сидящий у дверей, принимается торопливо шарить за пазухой.

— Прошу, господин офицер.

— В порядке! Ваши?

Жак-Анри держит наготове удостоверение личности, подтверждающее, что он служит разъездным оценщиком в антикварном магазине.

— Мадемуазель?

Пока немец изучает документы, полицейский роется в корзине. Жак-Анри, не поворачивая головы, следит за его пальцами. Белый плоский сверток высовывается из-под пожитков. «Аван...» — успевает прочесть Жак-Анри, и сердце его екает. «Авангард». Нелегальная газета объединения франтиреров и партизан!.. Полицейский разгибается и говорит:

— В порядке, по-моему.

— Разве?

Штатский отодвигает плечом ажана и пальцами левой руки берет девушку за подбородок; в правой у него веером развернуты фотографии. Полицейский отводит глаза.

— Ваше имя?

— Софи Соланж... Что-нибудь не так?

На лбу у девушки пот, но голос не дрожит.

— Софи?.. А не Камилла? Какое сходство!.. Встать! Где твои вещи? Корзина — и все?.. Пойдешь с нами!

Он очень чисто говорит по-французски — этот гестаповец. Жак-Анри с трудом различает разницу в «р» — оно чуть более картаво, чем надо. Девушка держится молодцом; полицейский помогает ей поднять корзину, и они идут к выходу, провожаемые подавленной тишиной. В дверях ажан спотыкается, толкает гестаповца в спину, и секунды замешательства как раз хватает, чтобы сверток ухитрился выскользнуть из корзины и шлепнуться к ногам усача. Тот вскакивает.

— Мадемуазель! Вы уронили!..

Лучше б никогда не видеть! Это не лицо — маска, белая и безжизненная. Жак-Анри, не шевелясь, смотрит, как девушка, присев, подбирает сверток, и белая маска не дергается, не дрожит...

До самого Лиона Жак-Анри не может прийти в себя. И позднее — после пересадки — сцена, разыгравшаяся в пути, вновь и вновь, настойчиво повторяясь, возникает перед глазами. Полицейский, «не заметивший» газеты. Штатский с его пробором и правильным французским языком.

Роковые мелочи — им несть числа. Никак не угадать, какая именно погубит тебя самого...

В Париж поезд приходит в полночь с минутами, и Жак-Анри до рассвета сидит на вокзале. Задремать не удается: каждый час патрули проверяют пропуска и удостоверения. Контрольный режим усиливается не по дням, а по часам. За несколько суток комендатура могла провести очередную перерегистрацию, пометив документы штампами, но все обходится — и при первой проверке и при последней.

Такси нет, и на рю ль'Ординер Жак-Анри едет в метро с двумя пересадками. Саквояж с образцами он держит на коленях. Статуэтки, фигурки из фарфора и бронзы — наглядное оправдание целесообразности поездки в глазах владельца антикварного магазина.

Как и положено разъездному агенту, Жак-Анри входит в магазин не через улицу, а со двора. Винтовая железная лестница ведет наверх. Цепляясь за ступени тяжелыми носами ботинок, Жак-Анри медленно поднимается; на часах — десять без нескольких минут, и Жюль должен быть у себя.

После встречи у Аустерлицкого моста и разговора Жюль ожил. Жак-Анри при всей своей опытности вряд ли сумел бы так быстро и без потерь продать АВС, если б не Жюль, нашедший в сонме посредников единственного, кто имел на примете готового покупателя. При этом Жюль сманеврировал так, что остался в стороне — человеком без имени и адреса, и Жак-Анри тоже не участвовал в переговорах с господами, выкупившими пай. Даже Гранжан, страж финансов фирмы, узнал о сделке в самый последний миг и пожаловался Жюлю, что господин Дюран, уходя, мог бы выплатить ему тантьему — этакий скупердяй! «А где он сейчас?» — вскользь поинтересовался Жюль. «Говорят, в провинции и неплохо устроился».

Перед поездкой за антикварнатом Жак-Анри свел Жюля с Техником, поручив им прикрыть Луи во время сеансов. Техник перевелся в ночную смену, отдав телефон Рейнике под надзор надежному парню: тот и раньше помогал Технику, и Жюль считал, что он справится.

Из вояжа Жак-Анри везет Жюлю подарок: домашние туфли с ручной вышивкой. Таких в провинции хоть завались, зато в Париже не сыщешь ни за какие деньги.

Предвкушая удовольствие, Жак-Анри заранее улыбается.

Жюль один в комнате — сидит у окна и, оттопырив щеку языком, бреется. Мыло — серый эрзац — редкими хлопьями покрывает щетину; у виска — бумажка, наклеенная на свежий порез.

— Последний лоск? — говорит Жак-Анри и хохочет, любуясь, как Жюль от неожиданности роняет помазок. — Поздно встаешь, старина.

Жюль молча нагибается и поднимает помазок. Серое мыло стекает по шее, капает на воротник. Жак-Анри умолкает: так не встречают друзей, если все в порядке.

Поставив саквояж, Жак-Анри присаживается в кресло. Спрашивает:

— Ну?

— Луи,— коротко и быстро отвечает Жюль.— Позавчера.

— На радиоквартире?

— На улице. Была большая облава: немцы, дарнановцы, мобильная гвардия,— хватали всех подряд... У него была граната.

— Он бросил ее?

— Нет... Его увезли в грузовике. Вместе с другими.

— Дай сигарету...

Что известно Луи? Адреса пяти радиоквартир, явка у метро — что еще? Ах, да — Жермен и явка в кабачке.

Жюль платком вытирает недобритые щеки.

— Я думаю, вдруг все-таки обойдется и его отпустят? У него броня от авиазавода. Он же сборщик... Если он избавился от гранаты, то вряд ли засветится.

— Да, да,— говорит Жак-Анри невпопад, думая о своем.

— Не понял?

— Может быть, и обойдется. Будем надеяться, старина.

Продолжение следует.

АЛ. АЗАРОВ,
ВЛ. КУДРЯВЦЕВ

Дом без ключа

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки И. УШАКОВА.

11. Сентябрь, 1943. Штутгарт, Адлерштрассе, 11 («Алеманишер Арбайтскрайс»).

Вилла на Адлерштрассе, 11, не частное владение, а один из филиалов команды АА [1], подчиненной Бергеру. Поселившись здесь, Бергер распорядился на два дня отключить все телефоны, никого не пускать, ни о чем не докладывать. Пользуясь покоем, он написал адмиралу доклад о положении в Париже и своих планах в отношении «Геомонда».

В подвале виллы — отлично оборудованный тир. Бергер пристрелял несколько пистолетов, в том числе и плоский легкий браунинг — штучное изделие заводов «Лепажа» в Льеже. Браунинг был удобным, по руке, бил кучно; «вальтеры» нравились Бергеру меньше: тяжелая рукоять и жесткий спуск. Впрочем, из них он тоже стрелял недурно и выиграл пари у одного из старших офицеров — пари не на шампанское, а на седьмой патрон. Офицер, проиграв, с затуманенными глазами разрядил обойму своего пистолета. Бергер бросил в перевернутую фуражку шесть учебных патронов и один боевой, перемешал и выключил свет.

— Зарядите сами.

В темной, щемящей тишине звуки были преувеличенно громкими. Бергер вслушивался в щелчки: третий... пятый... седьмой... Восьмой щелчок — выше тоном — означал, что обойма вогнана в гнездо рукояти. Бергер включил свет и лениво кивнул:

— Прошу, майор!

Голова майора, выбритая догола, жирно блестела под желтой лампой. Словно завороженный, майор поднес пистолет к виску и, зажмурившись, придавил гашетку. Бергер придержал его руку, отвел вниз.

— Составьте на всякий случай завещание. Не обязательно по форме: война позволяет нам некоторые вольности.

Майор осел, и Бергер едва успел поддержать его и посадить на стул.

— Ну, ну!.. Не распускайтесь! Это же просто!

Нервно посмеиваясь, Бергер приставил пистолет к виску майора. Не торопясь, нажал гашетку и, услышав сухой щелчок, сказал с удивлением:

— Вам повезло!

Майор всхлипнул, глаза его стали закатываться.

— Следующий мой,— сказал Бергер и передернул затвор.

Стук бойка показался ему громом. Все еще посмеиваясь и не думая ни о чем, Бергер отвел ствол в сторону и нажал на спуск пять раз подряд. Боевой патрон оказался седьмым...

На следующее утро Бергер подписал майору направление в резерв абвера и позабыл о нем и о пари — вычеркнул их из памяти, по опыту зная, что умение быстро забывать — достоинство, а не недостаток.

Ширвиндт и «Геомонд» — вот что интересует его, а отнюдь не моральное состояние сотрудников «Алеманишер Арбайтскрайс». Агентура в Женеве и Берне, подчиняющаяся атташе германской миссии барону фон Бибра, определенно не подходит для работы с «Геомондом». Бергер едва добился от нее достоверной информации о количестве комнат в конторе и квартире Ширвиндта, наличии запасных ходов, числе окон на всех этажах здания и иных пустяках. Фон Бибра не спешил с ответом и тогда, когда Бергеру понадобился план второго и третьего этажей дома 113 по рю Лозанн. Только через декаду барон соизволил позвонить и объясниться. Оказалось, его люди никак не могут проникнуть дальше коридоров и приемной. Бергер вспылил, растолковывая господину атташе, что прибегать к услугам агентов нет нужды. Надо отыскать контору архитектора, проектировавшего дом, или подрядчика, строившего его, и под любым предлогом приобрести кальки.

Фон Бибра пообещал, и кальки вскоре прибыли — как Бергер предполагал, их удалось купить у архитектурной фирмы без малейших затруднений. С той же диппочтой в АА пришла посылка: три костюма из женевского магазина стандартного платья, галстуки, рубашки, обувь и нижнее белье. Все вещи были недорогие, соответствующие заработкам среднего служащего...

Уладив дела с одеждой, Бергер занялся изучением «окон» на границе. Если приказ на переход будет получен, он возьмет с собой двоих, не больше. Телохранителя и оператора. Одного из прежней своей команды и Мильмана, переведенного из Кранца в Париж...

По ночам, лежа на спине и закинув руки за голову, Бергер — в сотый раз! — проверяет, отрабатывает, оттачивает свой маршрут. Железнодорожная ветка от французского Дивона до швейцарского Нойсса на пограничном участке проходит в тоннеле. Машинист на несколько секунд замедлит ход, и Бергер, одетый железнодорожником, впрыгнет на площадку вагона-контейнера. Настоящий железнодорожник — им должен быть немец! — спрячется внутри. Вагон — возвратный, с вечерним маршрутом он везет молоко. В Нойссе Бергер сойдет у автострелки и переоденется в бетонном бункере — пограничная стража им не пользуется как устарелым...

Сегодня ночь особенно длинна и, кажется, никогда не кончится. Бергер заставляет себя не дотрагиваться до сигарет: если закурить, сон уйдет окончательно... Получила ли Эмми желтого зайца? Лизель ничего не пишет об этом... И не попросить ли у Канариса отпуск? Все может статься, и не исключено, что свидание с Лизель окажется последним перед долгой разлукой. С Ширвиндтом не покончишь за день. И не ясно до конца, какую конкретную задачу поставят перед Бергером на Трипиц-Уфер. Три пути: выслеживание, перевербовка, физическое уничтожение. Первый и третий, пожалуй, не сулят успеха. Следить можно долго, бесконечно долго; легче и проще, конечно, пулю в живот или толчок под колеса. Но и это не выход. Что, если у Ширвиндта есть заместитель или, что еще хуже, он сам — всего лишь прикрытие для настоящего резидента? Уйдут месяцы, пока нападешь на новый след... Значит, перевербовка?.. На какой основе?

Бергер сбрасывает одеяло и включает свет. Сигарета крошится в пальцах, спички не хотят гореть... Предложить достойную сумму в валюте, золоте или драгоценностях. Сколько запросит. Перевербовать и пропустить через рации резидентуры поток дезинформации.

План, как дом, складывается из кирпичей. Бергер укладывает их в ряды, возводя стены постройки. Кажется, Гаузнер называл русскую группу домом без ключа? А нужен ли ключ?.. Нет! Просто следует выселить старых хозяев и стать новыми — более щедрыми.

Утро застает Бергера на ногах. Проветрив комнату, он снимает пижаму и делает зарядку. Обычный комплекс по Мюллеру: бег на месте, прыжки, приседания.

Растеревшись махровым полотенцем, Бергер включает приемник и ловит Париж — легкую музыку. Набирает в фаянсовый тазик холодной воды и массирует кожу рукавицей из шинельного сукна. Тело горит. Следом за певицей Бергер повторяет слова песенки: «Он был простым капралом, всего лишь капралом. Он был отличным малым и славно воевал!..»

Он не знает, когда прикажут действовать. Но быть готовым к действию постоянно — это правило полковник абвера Бергер возвел в принцип и никогда от него не отступает.

12. Сентябрь, 1943. Париж.

Комиссар гестапо старший правительственный советник Гаузнер меньше суток находится в Париже, куда его вызвал Рейнике. Однако бригаденфюрер с места в карьер загрузил его делами и вдобавок подсунул помощника — старого знакомца Мейснера, как всегда, околачивающегося при штабе без определенной должности.

— Для начала проконтролируйте Шустера,— сказал Рейнике, выслушав рапорт Гаузнера о прибытии.— Прихватите Мейснера и проверьте, как идут дела в радиороте. Что-то в последние дни они не дарят нас сенсационными новостями. Ехать рекомендую с утра.

В 7.00 Гаузнер и Мейснер — на улице Курсель.

Гаузнер зевает: не выспался. Хорошо Шустеру и Мейснеру, они молоды и занимались спортом. Попробовали бы полжизни просидеть за столом в полицейских участках и еще изрядную часть ее проторчать в проспиртованном воздухе притонов и злачных мест... Впрочем, в участках воздух не лучше — сплошная карболка...

Автоматчики у ворот долго и придирчиво рассматривают удостоверения комиссара и Мейснера. Здесь абвер и свои порядки. Документы, выданные гестапо, оказываются бессильными заменить клочки бумаги с бледным

Продолжение. См. «Огонек» № 24-26.

[1] «Алеманишер Арбайтскрайс» («Немецкий кружок труда») — одно из подразделений РСХА.

штампом — пропуска, которые дежурный после разговора по внутреннему телефону выносит и вручает гостям.

Шустер при встрече не проявляет энтузиазма. В конце августа он стал майором и, вознесясь в армейские сферы, доступные тем, кто обладает «гусеницами» на плечах, приобрел привычку говорить сдержанно и веско. Советник Гаузнер для него штафирка, а Мейснер — армейская мелюзга. И только.

— Хайль Гитлер! Чем обязан, господа?

Гаузнер нисколько не огорошен приемом. В каждом монастыре — свой устав. Чинов РСХА, невзирая на ранги, связывает единство крови, духа, идей и общность, присущая членам особого ордена. В абвере не так. Здесь господина майора от господина капитана отделяет не шажок вверх и не разница в погонах, а принадлежность к двум кланам — тому, где офицер вместе с солдатами б е ж и т в атаку, и тому, из которого посылают других б е ж а т ь в атаку.

— Хотите покататься?— спрашивает Шустер, поводя подбитыми ватой плечами.— Фельдфебель Родэ! Ефрейтор Мильман!

Из строя, вытянутого вдоль боксов гаража, выступают двое. Гаузнер заранее улыбается при виде кривоногого Родэ. Толстый краб в необъятных штанах. Мильман, будто в противовес, тощ и высок. На унылом носу очки.

— Лучший экипаж,— вполголоса говорит Шустер и почти шепотом добавляет:— Родэ когда-то донес на Мильмана, и они ненавидят друг друга. Но в работе оба выше похвал!— И громко:— Слушай задачу! Выходим на Большие Бульвары с интервалом один километр и слушаем друг друга. Пеленгуемые частоты в пределах тысячи трехсот восьмидесяти — тысячи пятисот. Время передачи неизвестно, районы неизвестны, частоты сменяемые. Повторить!

Шустер отворачивается, и Гаузнер видит, как Родэ едва заметно показывает язык. Однако фельдфебель слово в слово повторяет приказ — и с таким усердием, что комиссар начинает сомневаться: не померещилось ли?

Шустер пальцем манит Родэ.

— Эти господа и я пойдем с вами.

— Да, господин майор!

— И если ты хоть раз испортишь воздух, я сам выкину тебя вон!

— Господин майор разрешит? Это был не я.

— Так вонять может только фельдфебель. Марш к машине!

Родэ козыряет и стремглав летит к гаражу. Через минуту из бокса, воя дизелем, выбирается длинный серебристый рефрижератор. За рулем — парень в комбинезоне и берете; по борту надпись: «Трансперевозки СИМАК. Тел. Клиши-05-19».

— Этот подойдет,— говорит Шустер нерешительно.— В других тесновато. Господа простят меня, пеленгатор не купе люкс... Дежурный! Три подушки!

По идеально выметенному плацу, сбрызнутому водой из садового шланга, Гаузнер, Шустер и Мейснер идут к боксу, возле которого с включенным мотором стоит пеленгатор. На гофрированных бортах кузова возникают три серые растущие тени: большая, толстая — Гаузнера, узкая и длинная — Шустера и маленькая — Мейснера.

В кузове тесно и душно. Пахнет краской и нагретым металлом. Зеленые шкалы приборов фосфоресцируют, медузами плавая в полумраке. Родэ захлопывает дверь и включает слабую лампочку под потолком...

— Включить местную связь!— громко говорит Шустер.— Пошли!

— Да, господин майор!

Мильман поворачивает ручки, и в кабине, сливаясь с гулом мотора, начинают звучать голоса, музыка, писки, треск, снова музыка, и снова писки и треск...

Гаузнер, держась за сиденье, с трудом удерживается на узеньком железном стульчике. Тонкая волосяная подушка не спасает его от ушиба, когда фургон вдруг тормозит и, дернувшись, набирает скорость. У ног комиссара, скрипя, поворачивается «рамка», и Гаузнер подтягивает колени к самому животу. Ему становится скучно: путешествие в пеленгаторе, очевидно, не сулит ничего, кроме синяков.

Проходит полчаса, и скука усиливается, гнетет комиссара, вызывая зевоту; ноги начинают ныть, и Гаузнер с досадой ругает Рейнике: напшел поручение! Шустер сидит напротив; пятно вместо лица и режущие слух команды:

— Проверить тысячу четыреста — тысячу четыреста пятьдесят. Чисто?..

— Не пеленгуете?— догадывается Гаузнер.

— Пока да.

— Надеетесь поймать?

— Вы, полагаю, читали сводки?

— Разумеется,— ласково говорит Гаузнер.— Не далее как нынешней ночью и хорошо помню: в них всего два или три раза были доклады об удачах, подписанные вами.

— Эфир не Елисейские поля! От нас ждут чудес, а мы только люди, господин комиссар. Решите-ка задачу, не зная ни одного числа! Складываем нечто с чем-то, делим на что-нибудь, вычитаем что-то и получаем... Что, по-вашему, мы получаем?

— Кукиш?

— Не совсем,— говорит Шустер.— Все-таки мы их пеленгуем. Рации выходят в разные часы, на неповторяющихся частотах, и вдобавок каждая проводит в эфире ровно пятнадцать минут. На три штуки — меньше часа... Впрочем, в последний раз их было две.

— В последний?

— Да. Это был четвертый случай за три месяца, когда мы взяли уверенный пеленг.

«Рамка» скрипит и скрипит, бесконечно вращаясь вокруг оси. Мильман и Родэ ни на миг не отрываются от аппаратуры. Динамик под потолком извергает потоки шумов.

— Поймали?— спрашивает Гаузнер.

— Мы все время кого-нибудь слышим. Париж нашпигован нелегальными передатчиками — английскими и голлистов. Ими занимаются другие.

— И вы их различаете?— спрашивает Гаузнер с невольным уважением.

— Как вы соседей. Большинство зарегистрировано в нашем каталоге, а новых нетрудно распознать по почерку...

Машина продолжает бег по кольцу Больших Бульваров, а пятеро в кузове, страдая от духоты, думают — каждый о своем. Мейснер мечтает о том, что судьба даст ему генеральские погоны и тогда он заставит всех поползать на брюхе. Родэ обдумывает дилемму, связанную с присутствием нежелательных ему лиц в машине. Как-никак работа радиоабвера — секрет, который следует всячески оберегать от всех. Очевидно, следует донести сегодня или завтра... Шустер, свежеиспеченный майор, размышляет, какие льготы и преимущества дает новое звание.

Ефрейтор Мильман слушает эфир и жалеет самого себя. Он считает, что ему не везет. Когда-то Родэ доносом, сам не ведая того, оказал ему услугу. Вместо изматывающих вахт в пеленгоавтобусах — спокойное местечко в Кранце, где его скоро выделили, дали понять, что повышение не за горами. Начальник радиопоста доложил в Берлин, что ефрейтор поймал русский передатчик в Париже, и перевел Мильмана на связь с агентурными рациями резидентов абвера за рубежом. Это был прямой

путь к погонам унтер-офицера, тем более что вскоре Кранц посетил важный господин в штатском и долго говорил с Мильманом наедине. Ефрейтору дали подписать документ, на котором стояло: «Тайна государства»,— и попросили, ничего не утаивая, рассказать о себе. Мильман, услышавший, что начальник поста назвал штатского «господином генералом», выложил все как есть. Об отце — рабочем из Франкфурта, не занимавшемся политикой; о себе, перенесшем из-за доноса Родэ множество неприятностей... Господин в штатском успокоил его: «Вы настоящий немец, Мильман! Работайте и держите язык за зубами!.. Один из старых операторов заболел, вы замените его. Будете держать связь с нашей рацией в Женеве. Позывные — РСХА. Тут есть тонкость — вам не ответят. РСХА будет только слушать в определенные часы. Радист там не очень опытный, так что передавайте медленно и бог вас сохрани — не сбейтесь и не напутайте!.. И последнее: текст будете получать непосредственно от начальника поста и в его же присутствии уничтожать... Это — важное дело, Мильман! Кто бы и когда бы вас не стал расспрашивать — забудьте все и откусите себе язык».

Под документом с грифом «Тайна государства» Мильман уверенной рукой вывел подпись: обязательство хранить секрет было векселем, гарантировавшим, что вопрос об угольниках унтер-офицера решится в короткий срок... И вдруг — конец всему! Приезжает Бергер, приказ в зубы — и марш-марш назад, в Париж! Мало радости вновь встретиться с Родэ!

Мильман действительно неудачник. Но совсем по иным причинам. Одна из них — привычка к дисциплине и повиновению. Нарушь Мильман клятву молчания о РСХА и, как знать, не стал ли бы он сразу лейтенантом. Если не в армии, то в СС наверняка! Рейхсфюрер СС Гиммлер не пожалел бы для Мильмана отличия за один намек о существовании РСХА и краткий рассказ о господине в штатском — одном из десяти корреспондентов издателя Макса, Люцерн, улица Капельдаге, 5.

13. Октябрь, 1943. Женева, рю Лозанн, 113.

Очевидно, БЮПО всерьез взялось за «Геомонд». Два молодых человека с незапоминающимися лицами, не особенно скрываясь, ходят за Вальтером по пятам. Если он ускользает от них, молодые люди возвращаются к конторе и ждут: один коротает время в аптеке напротив, а другой устраивается где-нибудь неподалеку — в подъезде или подворотне. Провожая Ширвиндта, они соблюдают вежливую дистанцию. Вальтер примирился с их существованием, как мирятся люди с дождем, градом, ветром — явлениями, лежащими вне их воли. Такой надзор, как правило, не предваряет ареста. Цель у БЮПО другая — напугать, заставить суетиться и совершать ошибки. Очевидно и то, что знакомства Ширвиндта пока не разрабатываются: во всяком случае, наружные наблюдатели не особенно интересуются, кому Вальтер пожимает руки в ресторане, на бирже или в концерте.

Вальтер нашел способ через Грюна поставить в известность связников и радистов, что материалы отныне пойдут исключительно по цепочкам через тайники, и продолжает жить, как прежде — работа в конторе, обед в ресторане, отдых вечером — в кино или позднем кабаре. Тайники расположены так, что Ширвиндт почти без труда изымает из них бумажные шарики с информацией от Макса и других источников и, в свою очередь, закладывает короткие сообщения Центру, шифровать которые приходится по ночам. Все «почтовые ящики» оборудованы в подходящих местах — телефонных будках, туалетных комнатах, на скверах. Каждую неделю их приходится менять, и Вальтер проявляет немало изобретательности.

Однако всего не предусмотришь!

Вот почему Ширвиндт сейчас сердит. Даже не сердит — он по-настоящему взбешен. Что за удивительный человек Камбо: в спокойные времена настаивал на строжайшей конспирации, а теперь звонит в контору и требует свидания! И где — в холле «Отель де Женев»!

Думая об этом, Вальтер рывками натягивает тесные перчатки. Поправляет галстук и зовет Элен:

— Я просил такси, мадемуазель Бертье.

Элен, прежде чем ответить, захлопывает блокнот и вкладывает в него карандаш — в Высшей школе ее учили, что секретарша, входя в кабинет, обязана захватить с собой нейтральную улыбку, носовой платок и все для стенографии.

— Вы вызвали такси? — повторяет Вальтер нетерпеливо.— Где авто?

— Шофер ждет, у него на счетчике три франка двадцать.

— Я уеду на два часа. Или на три. Позвоните в «Курьер» — они могут прислать за заказом. Пусть срочно переведут на наш счет все сполна за вычетом аванса.

— Утренняя почта...

— Потом, Элен. Отошлите то, что я продиктовал вчера, и проследите, чтобы письма не затерялись.

Вальтер разглаживает перчатку и двумя руками водружает шляпу, стараясь, чтобы она сидела прямо, без легкомысленного крена на бочок. Темная шляпа, темный костюм, коричневые ботинки без лоска и галстук в два цвета — солидно и не выбьется из общего стиля «Отель де Женев»...

...Камбо ждет в глубине холла. Вальтер находит его за живой изгородью из тропических кустов, усеянных розово-белыми цветами. Камбо кормит маленькими миндальными пирожными ярких попугайчиков — единственных бесплатных жильцов в оазисе гостиничной роскоши. Поднос с лакомством держит бой в круглой шапочке с тонким галуном, удостоверяющим его принадлежность к низшему разряду персонала.

— Добрый день,— говорит Ширвиндт достаточно сердито, чтобы Камбо почувствовал его настроение.— Надеюсь, вы не соскучились, ожидая меня?

— Представьте, нет!

Камбо словно пережевывает слова, и от этого они теряют окраску. Тем же тоном он отпускает боя:

— Вы не нужны мне, голубчик.— И добавляет, адресуясь Ширвиндту:— Не хотите ли присесть?

Вальтер опускается в кресло и, оглядевшись, достает сигареты. Говорить с Камбо надо спокойно — холл отеля не та сцена, на которой разыгрывают драмы со страстями.

— Ого, «Честерфилд»!— говорит Камбо, глядя на пачку.— Почему американские? Мне всегда казалось, что вы такой патриот, что готовы из любви к своей земле обетованной курить отечественные табаки. Или нет?

— Я бы не хотел...

— Понимаю!— примирительно говорит Камбо.— Скажите: вы при деньгах?

— Ах, вот что!

— Не спешите думать плохо... Во время оно, заключая наш союз, я решил про себя, что отнесусь к вам так же, как вы ко мне. Вы оказались щедры и достаточно деликатны и, не стану таить, пробудили во мне чувство признательности. Поэтому я позволил себе пригласить вас сюда и объясниться, как заведено между людьми порядочными и уважающими друг друга...

— Что же дальше?

— Времена меняются, мой друг, и мы меняемся с ними. У истоков нашей дружбы стояли Марс и Гермес — бог войны и бог торговли. Они и осенили ее своим благословением. Я продавал, вы воевали. Не так ли?

— Что случилось, Камбо? Испугались?

Узелки из морщин на лице Камбо разглаживаются. Губы растягиваются, приоткрывая ровную полоску фарфоровых зубов такой белизны и красоты, какую создает не мать-природа, а дантисты.

— Рассуждая логически, я совершаю ошибку, говоря с вами. Мы ничем не связаны, и для меня проще исчезнуть, не напоминая о себе,— был дух Эола, и нет его. Но, повторяю, вы зародили во мне теплое чувство, и — редкий случай!— мне жаль терять нашу дружбу... Однако... Помните, я предупреждал: мы будем держаться за веревку колокола, пока он не начнет отзванивать панихиду господину с усиками?

— Ну и?..— говорит Ширвиндт нетерпеливо.

— Каждый из нас понимает, что панихиду вот-вот начнут. Германия овдовеет и захочет вступить в новый брак. С кем — вот вопрос. С мускулистым пролетарием, предлагающим ей не руку и сердце, а серп и молот, или же с джентльменом из хорошей семьи, способным обеспечить привычные блага.

— А сама Германия? Вы спросили ее?

— Спор заведет нас далеко... Скажите: я не подводил вас? Вы не имеете повода попенять мне, что те... ну, допустим, рассказы, которые я писал для вас, были не точны?

— Нет!— говорит Ширвиндт без колебаний.

— Тогда прошу вас, будьте человеком чести и дайте слово, что ни сейчас, ни впредь меня никто не потревожит и не напомнит о вас. Вы понимаете?

Вальтер ногой подвигает фарфоровую плевательницу — цветок на бронзовом стебле — и бросает окурок. Отгоняет рукой дым.

То, что Камбо рано или поздно уйдет, к этому Вальтер был готов. Можно скорее удивиться, что он так долго соблюдал союзническую верность. Германия на грани поражения, и даже газетные обозреватели, «воюющие» по карте, сходятся на том, что Красная Армия после Сталинграда наращивает мощь наступления. Гадают только о сроках — оптимисты предсказывают капитуляцию весной будущего года, осторожные считают, что Гитлер способен продержаться значительно дольше.

Камбо щелкает пальцами, подзывая скользящего мимо боя.

— Две водки! Две большие русские водки!

— Мне перно.

— Большую рюмку русской и перно. Принесете сюда!

Бой отходит, и Ширвиндт достает новую сигарету.

— Вы часто курите.

— Привык.

— Я могу верить вашему обещанию?

Ширвиндт, не отвечая, берет с подносика перно, принесенный боем.

— За что мы пьем?

— Так, ни за что...

Вальтер медленно выцеживает рюмку. Бросает на поднос монеты и, дождавшись, когда бой отойдет, протягивает руку.

— Прощайте, Камбо. Гонорар получите завтра же... Еще раз: прощайте.

Не ожидая ответа, он поворачивается на каблуках и идет к выходу, расстроенный и озадаченный... С Камбо все кончено! Жаль! Чертовски жаль! Обозреватели спешат со своими прогнозами разгрома, и сейчас информация не менее нужна, чем два года назад. Правда, Макс — превосходный источник, но сведения его до сих пор перепроверялись именно данными Камбо...

Молодые люди — две тихие «тени» — дают Вальтеру отойти от подъезда отеля и, не укорачивая дистанции, провожают его. Ширвиндт тащит их через Новый город, до моста, через мост, по набережной, к Библиотеке — прогулка нужна ему, чтобы без помех обдумать все... Разрыв весьма несвоевременен. Ах, Камбо, Камбо!..

Ширвиндт огибает угол и укорачивает шаг: Шарлотта в нарядном плаще, задумчивая и смущенная, окликает его, выходя из подъезда «Геомонда».

Вальтер снимает шляпу.

— О! Вы!— лепечет Шарлотта и краснеет.

Вальтер вежливо улыбается и уступает дорогу, но Шарлотта отнюдь не склонна расстаться так быстро. Щекотливая ситуация: в Женеве не принято заговаривать на улице с женами квартирохозяев. Проклиная судьбу, Ширвиндт медлит со шляпой в руках.

— Вы к себе?— говорит Шарлотта.

— Да, мадам.

— Догадываюсь — дела? У мужчин всегда дела!

Глаза Шарлотты блестят. Она смотрит на Вальтера в упор, словно внушая что-то, и он вдруг угадывает, что встреча не так уж случайна и что скорее всего Шарлотта ждала его.

— Простите, Вальтер,— быстро говорит Шарлотта.— Мне нужно поговорить с вами, но не сегодня... как-нибудь в другой раз.

— К вашим услугам.

Ширвиндт кланяется вторично и надевает шляпу. Что было в глазах Шарлотты? Беспокойство? Угроза? Вальтер поднимается к себе с тягостным чувством — такое бывает, когда только что совершишь ошибку.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки И. УШАКОВА.

Дом без ключа

14. Октября, 1943.
Париж, рю ль'Ординер, 3,— рю Монсени

Полиция!.. Жак-Анри прижимает к окну, напряженно следя за тем, как из черного «рено» выбираются два ажана и немец в форме лейтенанта.

— Мсье Дюпле! Мсье Дюран!

Это хозяин. Жак-Анри выходит на площадку и перегибается через перила. Внизу, у подножия лестницы, рядом с хозяином уже маячит ажан.

— Вы Дюпле?

— Жак Дюран, с вашего разрешения.

— Спускайтесь-ка, милейший, и прихватите Дюпле.

— А в чем дело?

— Спускайтесь, вам говорят!

Жюль совсем некстати выглядывает на площадку, не замечая предостерегающего жеста Жака-Анри.

— Ну, долго мне еще вас уговаривать?

— Сейчас,— говорит Жак-Анри и делает шаг назад.

Там, внизу, к полицейскому присоединился немец, и Жюль с Жаком-Анри, стоящие на освещенной площадке, представляют хорошую мишень.

— Но надо же нам одеться! — протестует Жюль и незаметно тянет Жака-Анри за полу пиджака.

Поздно! Немец что-то говорит ажану, и тот поднимается по лестнице. Кобура пистолета у него расстегнута. Жак-Анри прикидывает, что произойдет, если удастся сбросить его вниз, на лейтенанта, но появление второго полицейского, вышедшего из магазина и застывшего за спиной немца, превращает его план в иллюзию. Жюль наваливается на Жака-Анри плечом, шепчет: «Похоже, влипли!»

— Мы идем, господин сержант.

— Я не поеду в пиджаке! — твердо заявляет Жюль.

— В машине тепло.

Жак-Анри — руки в карманы — заносит ногу над ступенькой. Препираться бессмысленно. Трое вооруженных людей все равно заставят двоих безоружных повиноваться... Но как нелепо, неправдоподобно легкомысленно обставлен арест! Так хватают спекулянтов с черной биржи, а не «врагов империи»: не окружив дома, с пистолетами в кобурах... А хозяин? Почему он не подал сигнала?.. Может быть, конкуренты донесли в префектуру, что господа Дюпле и Дюран сбывают иностранцам предметы искусства, запрещенные к вывозу? Ложный донос, конечно, удастся опровергнуть — в крайнем случае инспектора и комиссар получат достаточный куртаж... А если не донос? Тогда что: неточность в документах, какая-нибудь крохотная ошибочка, замеченная секретарем префектуры 18-го района при перерегистрации?

Жюль, возмущенно сопя, спускается за Жаком-Анри. Второй полицейский становится у двери черного хода, а немец жестом указывает на дверь магазина.

— Живее!

— Но все-таки в чем дело? — спрашивает Жак-Анри.

— Поменьше болтайте.

— Не понял?

— Господин лейтенант приказывает тебе прикусить язык! — переводит полицейский.

Они проходят через торговый зал мимо застывших посетителей и хозяина, незаметно подмигивающего Жаку-Анри. Жюль неловкими движениями пытается достать из пачки сигарету и роняет ее на пол. Жак-Анри с замершим сердцем ждет, что кто-нибудь из конвоиров нагнется, но сигарета, выпачканная грязью, так и остается лежать у прилавка, и можно надеяться, что хозяин подберет ее и спрячет.

Семиместный «рено» специально оборудован для полицейских нужд — ручки на внутренней стороне дверей отсутствуют, диванчик водителя и переднего седока отделен от остальной части кабины проволочной сеткой. Это печально знаменитый «собачий ящик», за последние годы ставший в парижском быту такой же неотъемлемой частью, как Нотр-Дам или статуя Лафайета.

Жюль перекатывает из угла в угол рта незажженную сигарету. Немец и полицейские молчат: ажаны — у левой и правой дверец, лейтенант — впереди. Жак-Анри видит его подбритый затылок и красную каемку на шее — след от тесного воротника. Жюль тихо толкает его локтем; подбадривая, улыбается краешками губ. Толстый нос его покрыт капельками пота.

В дежурной части префектуры за проволочным ограждением, на скамейках и прямо на полу, жмутся друг к другу люди — много людей... Гомон и тяжелая вонь, заплеванный пол, лампа под потолком в плоском эмалированном абажуре. За барьером — сержант, уткнувшийся в юмористический журнал... Все это Жак-Анри успевает вобрать взглядом, пока их проводят через комнату в полутемный коридор и усаживают на скамью возле обшитой железом двери. Немец ныряет в нее, а полицейские вытягиваются по концам скамьи.

— Весело у вас тут,— говорит Жюль, осматриваясь.

— Еще прослезишься! — обещает полицейский — тот, что был за переводчика.

— Жаль. Я как раз забыл платок.

Второй полицейский прыскает и на миг превращается из истукана в завсегдатая Винного рынка — любителя молодого «красного и анекдотов. Жак-Анри смотрит на него и мысленно ощупывает свои карманы: кажется, ничего лишнего. А у Жюля? Ту ли сигарету он выбросил?..

Дверь открывается, высвечивая на полу широкий треугольник...

— Пусть войдет Дюран!

— Дюран! — повторяет любитель анекдотов.

Жак-Анри быстро пожимает руку Жюля и встает.

— Можешь войти.

Зарешеченное окно — стрельчатое, застекленное поверху разноцветными осколками, забранными в медную оправу. Стол, покрытый газетами. Несколько стульев — у стен и возле стола. И два немца — уже знакомый лейтенант и щуплый, узкогрудый капитан.

— Документы при вас? — спрашивает капитан на ломаном французском и обращается по-немецки к лейтенанту: — Вы говорили с ним?

— Нет.

— Это правильно, Курт.

Жак-Анри достает удостоверение личности. Капитан сосредоточенно листает, шевеля губами.

— Дюран... Эксперт по фарфору? Это так?

— Там написано.

— Хорошо. Надеюсь, вы умеете отличить старый мейсенский фарфор от подделки?

— Конечно,— говорит Жак-Анри, ему становится весело и легко.— Фарфор здесь?

— Вот он. Хорош?

Капитан сдергивает газету, складывает ее по сгибам. На зеленом сукне стола два сервиза и несколько бронзовых ваз.

— Нужно иметь лупу? Пожалуйста!

— Нет,— говорит Жак-Анри.

Фарфор новый, не старше пятидесяти лет. Это видно по рисунку: слишком много золота. Жак-Анри берет одну из чашек, дышит на нее; туманное пятно быстро сжимается, сходит на нет. Будь это старый фарфор, микроскопические капельки воды задержались бы в невидимых глазу трещинках, иссекших поверхность глазури.

— Конец девятнадцатого века,— говорит Жак-Анри и ставит чашку на стол.

— Вы не ошиблись?

Капитан, задав вопрос, повторяет по-немецки: «Конец девятнадцатого»,— и многозначительно смотрит на лейтенанта.

— Сколько он имеет цены?

— Рыночная цена — полторы-две тысячи франков. С аукциона можно получить и больше, если найдется любитель.

Капитан слово в слово переводит фразу, и Жак-Анри видит, как у лейтенанта бешено вспыхивают глаза.

— О черт!

— Спокойнее, Курт!

— Нет, но какая грязная свинья!

— Он пожалеет!.. Спросим о бронзе...

Жак-Анри вслушивается в диалог, догадываясь, в чем дело. Капитан указывает на вазу.

— А это?

— Бронзой занимается мсье Дюпле.

— Хорошо, присядьте... Вот там... И не надо вмешиваться, поняли?

Капитан идет к двери, открыв, зовет: «Дюпле!» — и возвращается к столу.

Жюлю требуется не больше минуты, чтобы понять все.

— Патину нанесли недавно. Может быть, купали в марганцовке, а может, использовали хромистое серебро... Но работа отличная, и чеканка — хоть на выставку!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24 — 27.

Капитан переводит.

— Скотина! — мрачно изрекает лейтенант.— Вонючий ублюдок! Он врал, что вещи из Версаля!

— В лагере его отучат...

— А наши деньги?

— Это я беру на себя... Сядьте рядом с Дюраном, Дюпле!

Жюль тяжело плюхается на стул. Шепчет: «Ты понял?» Жак-Анри прищуривает глаз: молчи!.. Большие жулики уличили маленького, пытавшегося надуть их; сейчас, очевидно, последует возмездие.

Капитан выпячивает щуплую грудь. Достает бумажник, а из него — две бумажки по сто франков. Спрашивает:

— Кто из вас разбирается в живописи? Вы или вы?

— Сожалею,— говорит Жак-Анри.

— Мое дело бронза,— ворчит Жюль.

— Хорошо. Получите и можете идти.

Полицейских в коридоре нет, и Жюль дает выход возмущению.

— Хоть бы извинились!

— Уймись, старина!..

Жюль умолкает — они как раз входят в дежурку, на минуту погружаясь, как в омут, в плотную вонь и шум. Сержант за загородкой отрывается от журнала и бурчит ажану у дверей:

— Пропустите, капрал.

Жак-Анри ногой толкает дверь и выходит на лестницу... Жизнь... Очень хочется жить. Дышать воздухом, ходить по улицам, пить кофе или вино, разговаривать с друзьями, спать, просыпаться, работать, петь, молчать... Нет, только не молчать. Нельзя быть угрюмым.

Жак-Анри ускоряет шаг и думает сразу о многом. Почему хозяин не предупредил? Раньше их с Жюлем разобрался что к чему? Возможно... Но все-таки надо раз и навсегда договориться, что сигнал об опасности будет звучать при появлении полицейских или немцев... В любом случае... Не всегда представится возможность безнаказанно избавиться от сигареты с запиской. И еще: надо пореже бывать в магазине всем вместе.

— Ты что, старина? — спрашивает Жюль.— Разговариваешь вслух. Что «решено»?

Жак-Анри объясняет.

— Мне это тоже не по душе,— говорит Жюль.— Общая крыша хороша для любовников, но не для нас с тобой.

— Лучшей не предвидится.

— Я, пожалуй, уйду из магазина.

— Новые документы и новая легенда — легче сказать, чем сделать!

У автобусной остановки Жюль прощается. В 13.30 — сеанс радиосвязи, а до бульвара дю Шато еще ехать и ехать: там нет станции метрополитена. Техник должен к этому времени взять из «почтового ящика» вчерашние шифровки и передать их радисту... А у Жака-Анри — свободные тридцать минут. На полдень назначено свидание с информатором — сотрудником штаба Штюльпнагеля.

15.Октябрь, 1943. Париж, Булонский лес.

Двухэтажный особнячок в Булонском лесу, занятый Рейнике под штаб, постепенно обретает обжитой вид. В кабинет бригаденфюрера поставили мягкую мебель, в комнаты офицеров — светлые шведские бюро и кресла. Каждое утро в вазах меняют цветы. Гаузнер осыпает их сигарным пеплом и топит в воде окурки — по рассеянности. Рейнике пробовал ему выговаривать, убеждал, что цветы — это прекрасно, комиссар соглашался и делал по-своему, и в конце концов все с этим примирились. Но не Мейснер! Злая шутка лейтенанта о козле, путающем розы с капустой, вышла за пределы особнячка, растеклась по всем отделам гестапо и, обогащенная, вернулась, достигнув ушей Гаузнера. В наказание комиссар засадил лейтенанта за канцелярскую работу — поручил ему переписку с концлагерями. Мейснер при удобном случае пожаловался Рейнике, подчеркнув, что числится в штабе офицером по связи с абвером, но сочувствия не встретил. Бригаденфюрер поставил его «смирно» и, заключая разнос, добавил, что если служебная необходимость и интересы рейха потребуют, то он пошлет Мейснера возить золото — не ювелирное, разумеется.

Все же разнос Рейнике был менее обиден, чем обязанности, возложенные на лейтенанта комиссаром Гаузнером. Составить запросы по списку, проследить за их отправкой, получить ответы, подшить, зарегистрировать, завести на каждую бумагу учетную карточку... Гаузнер передал ему список — двести сорок три фамилии людей, задержанных в облавах и по разным причинам оказавшихся в концентрационных лагерях. Предупредил:

— На каждом запросе поставьте «Срочно!» и, если в течение недели ответа не будет, докладывайте мне.

— На это нужен год!

— Через пятнадцать суток извольте все закончить.

Скрипучий голос комиссара пилил перепонки, как ножовка. Мейснер со злостью подумал, что на две недели будет оторван от всего, в том числе и от той, кто называет его «Пуппи» и превозносит его мужские достоинства.

Однако постепенно все наладилось, и Мейснер по вечерам находит часок-другой, чтобы навестить свою толстушку и, облачившись в пижаму, отдохнуть от папок с бумагами. Толстушка считает его ужасно важной персоной и довольствуется даже не рейхсмарками, а франками и бельем. После часов, проведенных у нее, глаза у лейтенанта слипаются.

Сейчас он тоже почти спит, балансирует на хрупкой жердочке, соединяющей бодрствование и сон. Совещание у Рейнике только что началось и продлится долго. Мейснер предусмотрительно забрался в уголок, за широкую спину Шустера и укрылся за ней.

Рейнике не Цицерон, но говорить любит. Сначала — общие задачи, потом — узкие, поставленные конкретно перед штабом... Как минимум полчаса, которые Мейснер может использовать для отдыха.

— Прошу внимания!..

Мейснер давится зевотой и выпрямляется.

— Комиссар Гаузнер, майор Шустер, кто доложит о ПТЦ?

— Только не я! — говорит Гаузнер.

— Послушаем вас, майор?

Шустер встает и пальцами, заложенными за ремень, расправляет складки мундира. Китель сидит на нем, как на манекене, и Мейснер прикидывает, во сколько обойдется работа, если обратиться к портному с улицы Вожирар. Пожалуй, нет смысла: сдерет больше, чем стоит материал.

— Русская ПТЦ запеленгована в среду между 17.08 и 18.13,— говорит Шустер и достает из планшета лист бумаги.— Не скрою, мы взяли ее случайно: икс-два «чистил» диапазон и наткнулся на нее в самом начале сеанса.

Рейнике стучит карандашом.

— Кто на икс-два?

— Фельдфебель Родэ и ефрейтор Мильман.

— Хороший экипаж,— подает голос Гаузнер.

— Тем лучше! — Рейнике снова стучит карандашом, словно оттеняя слова комиссара.— Прошу продолжать, майор!

— Да, бригаденфюрер... Икс-два патрулировал в районе Пантеона, а ПТЦ вела передачу в квадрате рю Сен-Жак — рю дез'Эколь — Суффло — Пантеон. Это, признаться, нас смутило: в кварталах почти нет частных владений, сплошь школы и лицеи — Коллеж де Франс, лицей Луи...

— Добавьте: библиотека святой Женевьевы,— вмешивается Гаузнер.

— Кто-нибудь один! — говорит Рейнике.— Что вас смутило?

— Нелегальная рация в служебном здании — это что-то исключительное.

— Но ПТЦ не в служебном?

— Нет, бригаденфюрер. Я имел честь доложить вам, где мы ее засекли: отдельный павильон возле библиотеки, раньше там жил какой-то еврей, а теперь его снимает адвокат из Орлеана — квартира для парижских любовниц.

— Об этом доложит комиссар Гаузнер! Продолжайте, майор, мы слушаем вас.

— Рация работала ровно пятнадцать минут, и икс-два слышал ее отлично. Я распорядился не лезть к павильону и после сеанса покинуть район.

— Был один сеанс?

— Да, бригаденфюрер. У них какая-то система, по которой рации хаотически выходят в эфир. Наткнуться на ПТЦ вновь можно через год или через день — как повезет. Позволю отметить другое — важно, что павильон используется под радиоквартиру и радист придет туда рано или поздно.

Мейснер уже не дремлет. Оказывается, пока он прел за бумажками и утешался у толстушки, Шустер добрался до русских. Мимолетный шанс, обходивший Мейснера, кажется, теперь сам падает в руки — надо только подставить их и не растопыривать пальцы. Офицер по связи с абвером имеет преимущество перед любым иным членом штаба и вправе требовать, чтобы его включили в группу, занимающуюся ПТЦ.

Шустер с хрустом раскрывает планшет.

— Бригаденфюрер позволит?

— Прошу,— говорит Рейнике и карандашом грозит Гаузнеру, гулко вздыхающему из глубины кресла.

— Мильман и Родэ с ранцевыми гониометрами будут посменно нести дежурство у павильона. Комиссар Гаузнер обещал так их одеть и перекрасить, что не узнает и родня. Словом, мы беремся поймать ПТЦ за работой.

— У вас все?.. Отлично! Ваше мнение, комиссар?

Гаузнер с шумом затягивается сигаретой. Не поднимаясь и собрав складки на лбу, говорит, адресуясь к собственному ботинку, и заставляет Мейснера напрягать слух до предела.

— Была мысль взяться за адвоката и заставить его выложить все начистоту. Очень дельная мысль, принадлежащая бригаденфюреру. Однако осуществить ее оказалось не просто: законник еще летом удрал в Испанию.

— А павильон? — вмешивается Мейснер, подметив, как сдвинулись морщины на лбу Рейнике.

— Арендная плата внесена по январь сорок шестого, и сделка оформлена у нотариуса. Через представителей, конечно, поскольку еврей, в свою очередь, улизнул еще до падения Мажино... Наблюдение за павильоном установлено, но я не беру на себя смелость утверждать, что через оцепление нельзя проскочить. Там есть садик, и он как раз связывает павильон и библиотеку: днем, смешавшись с толпой, радист, пожалуй, без помех доберется до места и его не отличишь от гуляющих. Другое дело — дорога назад: тут ему крышка!

Мейснер едва глотает вопрос, вертящийся у него на языке: известно ли о ПТЦ Бергеру? Неужели Рейнике не позвонил в Штутгарт, как не позвонил шефу абвера полковнику Райле, полноправно представляющему в Париже самого Канариса! Не слишком ли много берет на себя бригаденфюрер?

Гаузнер, закончив, выпускает широкое кольцо дыма, опрятно стряхивает пепел с лоснящихся от долгой носки форменных брюк.

— Будем брать радиста? — негромко говорит Рейнике и опускает карандаш.— Или нет? Что скажет абвер?

Мейснер на лету схватывает все — желаемый ответ, настроение Рейнике, личные перспективы.

— Радиста надо брать! Взяв его, получим шифр и явки. В крайнем случае «почтовые ящики». На первый взгляд мало, но прикинем иначе и убедимся — достаточно, чтобы на известный срок если не парализовать резидентуру, то нарушить ее звенья и связи. Кроме того, на допросе удастся, по-моему, добыть данные, наводящие на резидента...

— Прошу вас информировать полковника Райле.

— И Бергера? — осторожно подсказывает Мейснер.

Рейнике пренебрежительно машет рукой.

— Всему свое время... Господа, предвидя возможные трудности, я доложил о ПТЦ обергруппенфюреру Кальтенбруннеру. Все без утайки. Мне поручено сообщить вам, что в РСХА придают поимке радиста принципиальное значение. Хочет или нет комиссар Гаузнер, но ему придется на этот раз развязать радисту язык. Хочет или нет майор Шустер, но ему не удастся сослаться на случайность, если гониометры почему-либо не засекут рацию. И, наконец, хочет или нет полковник Райле, но весь аппарат абвера будет работать в тесном единстве с СД!

Голос Рейнике напрягается, становится резким.

— Боевой приказ, господа! Прошу встать! Зачитываю: операцию по аресту радиста возглавляет старший правительственный советник Гаузнер, которому надлежит в суточный срок представить бригаденфюреру Рейнике свои соображения по этому поводу. Второе: майор Шустер обеспечивает выполнение задания средствами радиоабвера. Третье: лейтенант Мейснер осуществляет связь абвера и штаба бригаденфюреру Рейнике и состоит при последнем для особых поручений... Поздравляю с началом операции, господа!

Рейнике складывает пополам лист плотной бумаги и прячет его в нагрудный карман. Говорит значительно мягче, с обыденной интонацией:

— Хочу надеяться, коллеги, что вы не дадите мне повода разочароваться в ваших способностях. Это и к вам относится, коллега Гаузнер. Чем вы, собственно, занимаетесь последние дни?

— Все тем же.

Гаузнер недовольно попыхивает заметно укоротившейся сигарой. Кончиком языка подклеивает отошедший листик табака. Он так занят этим, что не поднимает глаз на бригаденфюрера.

— Фридрих! — повышает голос Рейнике.— Да бросьте же сигару, черт возьми! Чем бы вы ни занимались, отложите все и переключитесь на радиста.

— Я уже слышал, бригаденфюрер.

— Радист за вами!

— Почему не два?

— Два?

Гаузнер тяжело прищуривает глаз.

— Второго я, кажется, скоро вам подарю. Это будет моим презентом рейхсфюреру Гиммлеру. Я обожаю сюрпризы, бригаденфюрер!

16. Ноябрь, 1943.
Берлин, Мангеймерштрассе-Викингенуфер, 4.

Однодневный отпуск — дар небес и адмирала Фридриха Вильгельма Канариса. Еще в Штутгарте Бергер кроил и перекраивал планы, продумывая, как ими распорядиться. Эмми и Лизель вызваны в Берлин, и, значит, два часа уйдут на зоосад — Эмми обязательно захочет покормить бурых медведей и посмотреть на жирафа.

Фон Бентивеньи, сообщая об отпуске, сказал, что являться на Тирпицуфер не надо, служебных разговоров не будет, но в конце, как бы между прочим, порекомендовал остановиться не в отеле, а в офицерской гостинице на Мангеймерштрассе.

Эмми и Лизель обосновались в гостинице на сутки раньше Бергера. Номер им дали маленький, скромно обставленный, но кормили отлично, без карточек, и Лизель пожаловалась, что Эмми за обедом объелась тушеными овощами со свининой. Бергер слушал и блаженствовал. Эмми сидела у него на колене и сосала шоколад. Она выросла и стала серьезной; Лизель обрядила ее в зеленую рубашку и юбочку, похожие на форму юнгфольк, и Бергер подумал, что с женой надо будет поговорить: станет ли дочь художницей — это, конечно, вопрос, но совершенно незачем так рано приучать ее к казарменным нарядам. Желтый заяц ребенку нужнее, чем погоны...

Бергер приехал поздним вечером, и Лизель еле оторвала от него Эмми, возбужденную встречей и шоколадом.

— Ты будешь умненькой, а утром пойдем в зоосад, хочешь? — утешал Бергер дочь, когда Лизель уводила ее из номера Бергера.

— А ты не уедешь в Африку? И тебя не съест крокодил?

Эмми заснула с трудом, и Лизель только после полуночи пришла к Бергеру. И лишь через несколько часов, уже утром, вспомнила эти слова дочери:

— Эмми нафантазировала, что ты в Африке и охотишься на тигров.

— Так оно и есть. Только тигры не водятся в Африке — надо ей объяснить... Кстати, Лизель, зачем ты наряжаешь ее, как солдата?

— Ну знаешь!.. Не ждала от тебя, именно от тебя! Полковник Бергер разочаровался в форме?

— Не то! Лизель, у детей в наши дни почти нет детства. Я разучился говорить на такие темы, но ты постарайся понять. Куда ни глянешь — погоны, мундиры, кинжалы. Напра-во, нале-во! Ну ладно, мальчики — куда ни шло. Но девочки?

— Юстус! И это говоришь ты? Рейхсминистр Геббельс пишет, что мы растим новый тип женщин-воительниц, не боящихся боли и крови.

Ссора получилась затяжной, и они опоздали к завтраку...

Лизель выводит Эмми в коротком шерстяном платьице и с белым бантом в волосах. «Ах ты, мартышка!..— думает Бергер.— Ничего, скоро все кончится, и я сам займусь твоим воспитанием. Будем ходить в зоосад, в лес, купаться, играть. Ты у меня богатая невеста, Эмми, я позаботился о тебе: сегодня подарю свои двухлетние накопления.

— Господин полковник Бергер?

— Да,— говорит Бергер и смотрит на лакея.

— Господина полковника просят к телефону.

Лизель, оттопырив мизинец, ставит чашку на стол. Тонкие подведенные брови изгибаются в дугу.

— Кто-нибудь из друзей,— спокойно говорит Бергер и, расправив салфетку, вкладывает ее в мельхиоровое кольцо.— Жираф нас ждет, Эмми!

Собственно, он так и думал: однодневный отпуск и свидание с семьей — всего лишь «крыша», понадобившаяся фон Бентивеньи, чтобы без помех поговорить в Берлине. Черт бы его побрал, господина генерала Бентивеньи! Мало отца — в игру включают дочь и жену!..

Бергер вынимает салфетку из кольца. Заправляет угол за воротник и говорит лакею холодно и жестко:

— Меня нет!

— Как будет угодно господину полковнику.

Лакей быстро, на негнущихся ногах идет к двери — старый служака, фельдфебель или вахмистр, привыкший повиноваться приказу. В этой гостинице все имеют отношение к армии, даже горничные числятся во вспомогательных частях.

Доев яичницу, Бергер встает. Лизель подставляет ему лоб для поцелуя, а Эмми скачет на одной ноге.

— Спасибо, дорогая,— говорит Бергер, как будто они завтракали дома.— Эмми, иди одевайся!

— Ах, Юстус! — вздыхает Лизель и смотрит на него снизу вверх.

«Все-таки она любит меня,— думает Бергер,— не так, как прежде, но любит».

Кончиком трости Бергер касается дверной ручки, и в этот миг в дверь стучат — судьба как будто рассчитала, когда он оденется и будет совершенно готов. Не удивляясь, Бергер открывает лакею и, выслушав его, говорит:

— Вы не могли бы не застать меня?

— Я ответил, что господин полковник у себя.

— Хорошо. Повторите адрес.

— Калишерштрассе. С задней стороны крематория.

— Зайдите к моим и скажите, чтобы жена повела Эмми в зоосад. Я постараюсь приехать туда позже.

Как есть — в пальто и шляпе — Бергер садится на кровать. Легко вообразить, что будет с Эмми, когда вместо отца явился лакей в белом пиджаке и отвисших на заднице портках... Может быть, жираф утешит ее... Но кто утешит Бергера?.. Проклятая работа!

Знакомый майор из абвера-III ждет, как и передал лакей, возле машины на Калишерштрассе.

— С приездом, господин полковник. Позвольте сказать, что вы хорошо выглядите.

— Кому я понадобился?

— Понятия не имею.

— Ах, так! — говорит Бергер с любезной улыбкой.

У абвера в Берлине немало конспиративных квартир. Та, куда майор привозит Бергера, ему незнакома. Большой, угрюмый дом на Викингенуфер — в том месте, где Шпрее начинает загибать полупетлю. Второй этаж дома украшен выступающими фонарями; на лестнице, продетая под бронзовые прутья, положена дорожка с белыми полосами по краям. Внизу швейцар принимает у Бергера шляпу, перчатки и трость, а другой, с выправкой младшего офицера, помогает снять пальто.

— Вам назначено?

— Да, я звонил, и хирург пригласил меня на десять десять.

Сейчас на часах 10.50, и пароль звучит довольно нелепо, но ни Бергер, ни офицеры не улыбаются.

Перед дверью квартиры Бергер оправляет пиджак. Нажимает кнопку и говорит горничной:

— Доложите, что Тэдди просит принять.

Он ждет не дольше минуты: горничная возвращается и ведет его — вправо, затем налево, через две просторные, светлые комнаты в третью, тоже светлую, квадратную,— навстречу протянутой руке генерала фон Бентивеньи.

Бергер официально вытягивается. Пусть генерал почувствует, что поступил некорректно, прикрывая деловой вызов свиданием с семьей.

— Сигару, вино, кофе?

— Ни то, ни другое, ни третье, господин генерал. Сутки отпуска — всего лишь сутки, жаль каждую минуту.

Бентивеньи близоруко щурится.

— Это не моя идея.

— Чья бы ни была, но все-таки можно было вспомнить, что за последние три года я провел с семьей не больше недели.

Бентивеньи проглатывает упрек. В абвере он славится умением ладить со всеми, в том числе и с нижестоящими, за что заработал прозвище «Санта-Клаус»... Бергер демонстративно смотрит на часы.

— Я бы хотел, господин генерал, успеть к семье!

— Благодарите за этот вызов Рейнике!

— Опять донес на меня?

— Не то. Он запеленговал в Париже радиста и известил Кальтенбруннера. Никогда бы не подумал, что его доклад получит такой резонанс, но...

— Я должен ехать в Париж? — говорит Бергер.

Фон Бентивеньи поднимает руку.

— Нет. Это было бы некстати. Пусть Рейнике сам ест свое варево. Мы проанализировали материалы и считаем, что в Париже работает все-таки Легран. Райле сейчас проверяет комиссионные фирмы — собственными силами, без СД. Может, нащупает что-нибудь, а может быть, и нет — я лично не думаю, чтобы Легран использовал один и тот же метод дважды...

— Почему? Есть правило парадоксов.

— В теории — да... Но мы — о радисте. Пусть Рейнике ищет его, пусть раздувает свои успехи — это нам на руку. В тот день и час, когда он вынужден будет признать, что не сумел через радиста выйти на резидента, вы, полковник Бергер, прибудете в Берлин и доложите руководству абвера, что женевская операция доведена до благополучного завершения. Адмирал принял ваше предложение: любую сумму Ширвиндту в любой валюте. Счета — в Лозанне, Женеве и Цюрихе.

— Или?..

— Или ликвидация Ширвиндта. Аккуратно, без шума и следов.

Бергеру не надо и минуты, чтобы обдумать и взвесить. Про себя он давно уже все решил, и Бентивеньи сейчас не предложил ничего нового.

— Я готов, генерал!

— Спасибо, Юстус!

— За что же, генерал? За то, что я выполню долг?

— Не понимаю,— с легкой досадой говорит Бентивеньи.— Зачем вы бравируете?

Бергер с ледяным выражением вытягивается, как в строю.

— Господин генерал назвал меня Юстусом и тем самым дал возможность и право пренебречь субординацией. Итак, Франц, отвечу: я не бравирую, а служу империи и идее! Поэтому извольте или извиниться, или же я напомню вам о правиле, по которому офицер, оскорбивший офицера, несет ответственность за свои слова.

Тишина повисает в комнате.

— Да,— говорит Бентивеньи и медленно протягивает руку.— Я не прав. Извините, полковник, и — забудем?

Он пожимает руку Бергера — долго, с чувством: Санта-Клаус, раздавший подарки и преисполненный умиления от собственного благородства... Бергер, перескакивая через ступеньки, сбегает вниз. Выхватывает из рук швейцара пальто, кашне, шляпу. На его часах — без нескольких минут одиннадцать, и если не задерживаться, то он успеет полюбоваться жирафом.

Продолжение следует.

Дом без [3] к

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА.

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

17. Декабрь, 1943. Женева, рю Лозанн, 113.

Зимой, когда ветер с Роны подметает панели, Женева — ее улицы, набережные, площади — не располагает к прогулкам. Вальтер плотнее запахивает пальто и натягивает шарф на подбородок. В голове у него гудит — от ветра, холода и усталости. Два часа таскать за собой филеров, каждый из которых вдвое моложе и крепче тебя, и ни разу не присесть при этом — задача, больше подходящая для марафонца, чем для мужчины средних лет. Ширвиндт приучил соглядатаев к ежедневным променадам — длинным, по разнообразным, не повторяющимся маршрутам, начинающимся у конторы «Геомонд» и кончающимся у ее дверей. Обычно за этот срок — два часа — он успевает незаметно опорожнить «почтовые ящики» и вложить в них шифровки. Кроме того, покупая в киосках какие-нибудь мелочи или приценяясь к ним, Ширвиндт ухитряется приклеить к тыльной стороне прилавка обычную почтовую марку стоимостью в два сантима. Даже если марку найдут и подвергнут исследованию с пристрастием, то вряд ли удастся проявить невидимый текст, нанесенный на нее. Впрочем, Вальтер пользуется не только «почтовыми ящиками» — часть сообщений уходит прямо из конторы, заботливо перепечатанная руками Элен и адресованная до востребования, в абонированные ящики, в рекламный отдел одной из крупных газет, где Грюн — через посредника — забирает письма и передает их по назначению.

С некоторых пор, правда, Вальтер подготавливает новую систему связи, замыкающуюся на конспиративных квартирах. У него такое предчувствие, что с «Геомондом» скоро придется расстаться, перейдя на нелегальное положение. Швейцарская полиция редко нарушает законы, но у Ширвиндта нет оснований не верить Шарлотте и ее рассказу о микрофонах. Шарлотта пришла во вторник утром — лицо без кровинки и вид такой, словно решила топиться.

— Господин Ширвиндт, нам надо поговорить!

Вальтер усадил ее в единственное кресло, предложил чаю. Шарлотта отпила глоток и отставила чашку.

— Спасибо, Вальтер! Думаете, будет сцена? О нет, мой дорогой. Что не удалось, то уж не удалось — не судьба.

Ширвиндт подошел к двери, резко открыл. Сказал не успевшей выпрямиться Элен:

— Я оплачиваю вашу работу, но не любопытство, моя милая! Поезжайте в «Трибюн» и разберитесь, будут ли они наконец платить. Пять франков на такси впишите в счет редакции.

Шарлотта успела немного оправиться и допила чай.

— Поссорились с Проспером? — спросил Вальтер.

— Вы же знаете: мы не ссоримся. Она уже ушла?

— Да,— сказал Ширвиндт, следя в окно за удаляющейся Элен.— Любопытство, если верить писанию, погубило Еву.

— Адама,— поправила Шарлотта.— Вами интересуется полиция, Вальтер... Скажите, микрофоны в стене — это законно?

— Насколько мне известно, нет.

— А Проспер согласился!.. Сегодня... В первый раз я отговорила его и он отказал, а теперь они пришли опять и настояли на своем.

— Кто?

— Вальтер, не думайте, что я круглая дура! Вы антифашист? Вы же немец, Вальтер, и не дружите с вашим землячеством. Так? Значит, вы против Гитлера.

— Я географ, Шарлотта.

— Бог с вами... Может быть, вы действительно только географ и я все себе придумала о вас, но я француженка, господин Ширвиндт, и, между прочим, родилась в Париже — в том самом, где сегодня маршируют наци...

Маленькая женщина сидела перед Ширвиндтом, готовая выкинуть что угодно — расплакаться, разбить чашку, наговорить кучу дерзостей или объясниться в любви. Вальтер, спасая положение, протянул ей сигарету.

— Трубку мира, Шарлотта?

— Не надо... Я сейчас уйду... Запомните, что я сказала о микрофонах. Проспера запугали, и он верит, что вы заговорщик, замышляющий ужасные вещи. Мне-то плевать, но он согласился, и сегодня вечером придут рабочие... Поцелуйте меня, Вальтер, или я зареву как корова!...

Это было во вторник.

Микрофоны, конечно, уже работают. «Геомонд» с каждым днем обкладывают все плотнее и плотнее — так, кажется, травят медведя, укрывающегося в своей берлоге.

За три дня Ширвиндт мало что успел: аварийные квартиры нельзя подыскивать самому. Приходится перепоручать это товарищам, заранее считаясь с тем, что кто-то будет знать адреса. После отхода Камбо число крупных и постоянных источников сократилось до двух. Макс — третий. Следовательно, нужны три новые цепочки для связи с ними и какое-то количество аварийных.

Во вчерашней почте как нарочно пришел проспект «Лонжина». На этот раз вместе с деловым письмом, помеченным регистрационным шифром фирмы «Планкетт» — 0016. Под этим номером в проспекте была фотография дамских часиков; стрелки стояли ровно на 11.00. Ширвиндт без видимого интереса перекинул несколько страниц, сказал Элен:

— Если «Лонжин» или «Докса» пришлют еще буклеты, отправляйте прямо в корзину. То же относится, само собой, и к «Омеге», «Патеку» и всем прочим. Или вам нужны часы?

— Мне — нет.

— Даже эти, с бриллиантами? Смотрите, какая красота!

— Семьсот два доллара. Это сколько на франки?

— Четыреста тридцать два франка за сто — по курсу дня. Считайте сами. Дороговато?

Элен сделала гримаску и унесла проспект, укрепив Ширвиндта в решении отказаться от

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24—27, 29.

ЛЮЧА

«Лонжина», как средства оповещения. Если не сама Элен, то сотрудники БЮПО могли засечь, что часовые фирмы посылают дорогостоящие рекламные издания конторе, далекой от сбыта хронометров.

Итак, «Космополитен», 11.00.

Все происходит быстро и просто: пароль, подставленная шляпа и беззвучно падающий в нее комочек папиросной бумаги, который Ширвиндт тут же закладывает под язык. Курьер, однако, на этот раз, пренебрегая правилом, шепчет — рука с сигаретой у рта:

— За вами следят.

— Знаю. Двое.

— Трое. Легко узнать: очень худой, в синем плащ-пальто.

Ширвиндт внимательно смотрит хронику. Собачья выставка в венском «Шпортхалле» — кукольные, дрожащие левретки, чау-чау с мордочками-хризантемами, карликовые пинчеры и терьеры, черные пудели, умещающиеся в муфтах, болонки, мини-борзые, фоксы...

В туалете кинотеатра Вальтер, закрывшись в кабинке, разглаживает влажную бумажку. «Дорогой друг! Ваши дела, очевидно, вполне позволяют передать их в надежные руки и уехать. Нам хотелось бы, чтобы вы не откладывали решения и не медлили. Возьмите посылку. Желаем бодрости и здоровья. 3.08.1943».

Ширвиндт бросает бумажку в фаянсовый клозет, нажимает педаль, спуская воду. Мгновение — и шифровка исчезает в водовороте — патентованная «Ниагара» способна унести даже булыжник.

308 — это не дата, а номер автоматического сейфа на вокзале Корнавен. 1943 — номер шифра, позволяющего открыть сейф. Ширвиндт перед зеркалом поправляет шарф, закутывая горло: еще утром оно начало саднить, предвещая, что вечером температура подскочит. Простуда, дрянная штука, вынуждающая глотать пилюли и средства от головной боли.

Кто же все-таки этот третий в синем плащ-пальто? Контрразведка или немец? Да, пора кончать с «Геомондом». Не сейчас, конечно; надо еще продержаться недели три-четыре...

18. Декабрь, 1943. Париж, Пантеон.

«...Старый дуралей, тебе захотелось — чего? Тебе захотелось риска, опасности, мчащейся на всех парах, как экспресс. Успеешь ли соскочить с полотна вовремя и не угодить под колеса?.. Этого тебе надо?.. Ах ты, романтик,— действие тебе подавай, и такое, чтобы дух захватило? Просто смешно! Я-то ведь точно знаю, что ты не такой, и в детстве был не такой, и в юности. Марки ты любил собирать — тихое занятие. Обломов бы из тебя вышел — вот кто; халат на вате, трубка с чубуком на фунт табака... Вот и избавляешься от самого себя. Просто, оказывается, открывается ларчик. Ничего загадочного. Устал... Нет, не так: больше не можешь заниматься всем этим — организовывать, думать, копить и собирать. Разведка — дело незаметное, бухгалтерское: сатиновые нарукавнички и арифмометр. Лучше всех работает тот, кто умеет быстро подсчитать и сравнить — раз костяшка, два костяшка. Вводные, проверка, перепроверка, сальдо, дебит, кредит... Только бы не ошибиться в сумме! Тройная бухгалтерия. Романтики в ней ни на ноготь, а страха хоть отбавляй — куда больше, чем сейчас, когда стоишь ты, милостивый государь, на углу — рука в кармане — и прикрываешь радиста. С пистолетом проще... Жак-Анри все понимает: и почему ты напросился на это и что устал, отработался, начал бояться замкнутого пространства, стола, арифметической ошибки...»

Через три минуты конец сеанса. Жюль переминается с ноги на ногу, дует в горсть — пальцы совсем одеревенели. Собираясь, он забыл перчатки, а здесь, у Пантеона, согреться негде. Днем еще можно несколько минут переждать в вестибюле Школы и то недолго — служители не любят посторонних; вечером же совсем плохо — голые кусты не задерживают ветра. Почему это возле деревьев всегда холоднее? Какой-то фокус природы — о нем, наверно, можно где-нибудь прочесть...

Парабеллум оттягивает внутренний карман пальто. Оружие приносит и уносит Техник — таскает его в сумке с инструментами. Там же держит и бутерброды, пропитанные запахом машинного масла.

Еще две с половиной минуты и — конец передачи.

Из-за кустов Жюлю виден задний вход в павильон. Света в окнах нет: они занавешены плотными шторами. Радист работает внизу, в гостиной, откуда в случае чего легко услышать выстрел. В павильоне есть телефон, но в том секторе, где дежурит Жюль, будки отсутствуют. В принципе третий прикрывающий был бы здесь не лишним — у павильона три двери и к тому же он торцами выходит на разные улицы. Технику приходится дефилировать вдоль фасада, стоять то у круглой тумбы для афиш, то под уличным фонарем. Он пришел с букетиком поздних, прибитых морозом астр — изображает влюбленного.

Цветы — неплохой пропуск, если подвернется патруль. Ни у Жюля, ни у Техника нет с собой документов. Они оставлены в укромном месте, за три квартала от Пантеона. По ним Жюль — рантье, недавно приехавший в Париж из провинции и живущий в меблированных комнатах на Мулино, комиссариат района Отей. Две недели назад Жюль по всем правилам оформил прописку и заплатил хозяйке аванс за три месяца. Комната подвернулась неплохая, с приличными мебелью и бельем, и район оказался спокойным.

Две минуты до последних нажатий ключа. Недаром говорят, что мысль быстрее полета. Кажется, столько всего передумал, а прошло несколько секунд... Тишина, и даже ветки не хрустят. Когда радист отстукает точку, он приоткроет занавеси — свет в щелке, как сигнал маяка: все в порядке, можно плыть.

Жюль, отвлекаясь, растирает пальцы. Мизинец от холода прямо скрючило, прижало к ладони — вот что значит ходить без перчаток. Жак-Анри — тот вечно забывает перчатки или кашне. За ним нужен глаз да глаз. Он всегда сердится, если Жюль напоминает, что надо поесть, отдохнуть, взять платок. Для него и платок и обед — мелочи, не заслуживающие внимания. Педант он только в делах. Жюль, познакомившись с ним, поначалу решил, что он сухарь, черствая корка, ходячий арифмометр. Да и в Центре многие думают так же... А он просто добряк.

Согрев пальцы, Жюль смотрит на часы. Стрелки «Ромера» как будто прилипли, не хотят передвигаться.

«Не люблю я зиму»,— думает Жюль.

«Скорее бы весна»,— другая мысль.

«Скорей бы конец войне!» — мысль третья. О том, что война скоро кончится, Жюль думает часто. Прикидывает так и эдак, высчитывает сроки, по карте измеряет, куда откатились немцы. По ночам, прикрыв приемник подушкой, ловит «Последние известия». «Внимание, говорит Москва! Радиостанция имени «Коминтерна». Немцы с Эйфелевой башни военными передатчиками глушат сводки Совинформбюро — включают марши и шпарят без передышки. Жюль наловчился отслаивать их, балансировать на самом острие диапазона... «Читали Рощина и Левитан. Спокойной ночи, дорогие радиослушатели...» Техник обещает достать «Телефункен» — на черном рынке есть все, даже приемники. Весь Париж слушает Москву или Лондон. «Говорит Москва! РВ-64».

Жюль, держась поближе к кустам, медленно идет к павильону. Неудачное место — этот павильон: слишком открыт. Жак-Анри долго не решался пользоваться им, заменял, если выпадал черед, другими радиоквартирами. Если бы не история с Луи, заставившая бросить пять радиоквартир, то от павильона надо было бы отказаться... Бедняга Луи! Так и сгинул в облаве. Жюль использовал связи в префектуре, но толком ничего не узнал — какое-то время задержанных содержали в форте Роменвиль, а затем отправили в Германию.

Кусты — или тишина? — начинают звенеть, и звон этот, пронзительный, рожденный ветром или воображением, устремляется к небу — туда, где в черных промоинах мерцают зимние звезды. Жюль задирает голову и отыскивает Большую Медведицу. Скашивает глаза, но Малая Медведица скрыта облаками — отбилась от мамаши. При желании можно придумать целую историю о малышке, спрятавшейся за кустами, и о дородной родительнице в косматой шубе, аукающей на весь звездный лес.

«Мне бы такую шубу,— думает Жюль.— И Жаку-Анри — шубу. И Технику. А то ходит в чем — сито, а не пальтишко, сиротское какое-то. Мерзнет, но не жалуется,— у меня, дескать, кровь молодая, того и гляди допрыгается до воспаления легких».

Жюль складывает губы дудочкой и тихонько высвистывает: «Много дней, веря в чудеса, Сюзанна ждет; у ней синие глаза и алый рот». Слуха у него нет, и мелодия звучит фальшиво, но ничего — Техник, если услышит, поймет, что через минуту пора уходить.

Кусты, как камертон, подхватывают звук — тянут его, колеблют тишину. Окна павильона все еще черны; радист явно не уложился в срок.

Жюль сует руку за пазуху, нащупывая предохранитель парабеллума, и падает, вмятый, вбитый, втоптанный в мерзлую, колючую землю. От удара, от боли в вывернутом плече он кричит и тут же давится — тяжелая рука, пахнущая табаком и кожей, сдавливает ему щеки, винтом выкручивает подбородок.

— Молчать!

Жюль пытается встать на четвереньки, барахтается под телами и, распластанный, замирает от нового удара.

— Тихо, ты!..

— Вы держите его?

— Сильный, ч-черт!

— Тихо! Не упустите его... Родэ! Быстро к павильону!

Рука у рта разжимается, и Жюль, приподняв голову, сквозь розовую муть, расплывающуюся перед глазами, видит несколько фигур — тени, подбегающие к павильону. Розовые тени, на розовой дорожке возле розовой стены дома.

— Мильман? Что у вас?

— Рация работает.

— Ладно. Если кончит, не проморгайте!

— Да, господин комиссар...

— Мейснер! Идите туда... И чтобы никто не стрелял!

— Я лежу на нем.

— Встаньте же. Эй вы, смените лейтенанта... Быстрее, Мейснер!

«Конец,— думает Жюль, отвлеченно, словно все происходящее касается кого-то другого.— Сейчас или будет поздно... Я свистел и не слышал... Ничего... Жак-Анри, старина, я не подведу...»

Груз на спине — одна из глыб — сползает, уступая место другой — полегче. Жюль складывает ноги, поджимает под себя и рывком поворачивается на бок. Он хотел бы на спину, но не удалось. Ничего, сойдет! Рука — все еще за пазухой, перед глазами — уже не туман, а красный дождь, но боль не мешает нажимать на спусковой крючок... Глыба отваливается, воет, бьет чем-то жестким — каблуки? — по спине, и Жюль новым рывком — на пределе сил — отталкивается от нее.

...Горячо и жарко — в самом низу живота.

...Это хорошо! Это оттого жарко, что Жюль вскакивает и бежит, разогреваясь в движении. Павильон стремительно растет, тени валятся в стороны, уступая дорогу. Ступеньки и дверь... «Я не подведу, старина!» — кричит Жюль, вбегая, врываясь, вплывая в темный нижний коридор, и волна несет его, не давая касаться земли... «Беги, парень!..» Голос, как трубы Иери-

хона, а комната пуста... Радист ушел, спасся, и Жюль, охваченный счастьем, совершает прыжок — через темноту — вперед, к набегающей спасительной волне...

...Ноги Жюля дергаются, скребут землю — вторым выстрелом, через карман, он пробил себе живот, а третьим — левое легкое.

— Не хочу...— громко и отчетливо говорит Жюль, опережая подступившую к горлу кровь.

Гаузнер хватает за плечо шатающегося Мейснера.

— Вы что-нибудь поняли?

— Я ранен,— слабо говорит Мейснер.

Он садится на землю и ощупывает мокрое бедро. Ему нет дела до чьих-то слов. Кроме того, он не понимает по-русски, а Жюль, умирая, впервые за все эти годы подумал вслух на родном языке... «Не хочу умирать!» — была его мысль, но смерть оказалась быстрее мысли.

19. Февраль, 1944. Женева, рю Лозанн, 113.

Никто не учил Мильмана мимикрии, но у парня оказался божий дар, и Бергер рад, что не ошибся в выборе. Всего неделю провел Мильман — по паспорту Штейнер — в скальном лагере, но повадки заправского «альпи» вошли в плоть его и кровь — все изменилось: облик, манеры, речь. Жаргонные словечки скалолазов так и сыплются из уст Штейнера, а горные ботинки на толстой подошве и вязаная шапочка с гарусным помпоном способны хоть кого убедить, что в Женеву Штейнера загнали февральские бураны, свирепствующие на перевалах, и что при улучшении погоды он с радостью удерет назад, в свои обожаемые горы.

За сутки Бергер научил Мильмана кое-как справляться со взятым напрокат «фордом»: в нем ефрейтор провел сегодня ночь, поставив машину неподалеку от конторы «Геомонд». Ближе к утру Бергер заехал на рю Лозанн и убедился, что «форд» стоит, где положено, у дома 109, ранец с гониометром — на переднем сиденье, а сам Мильман не спит. На ветровике машины белел талончик; следовательно, полиция примирилась с тем, что «форд» расположился вне стоянки, и ограничилась штрафом.

Бергер прошелся по рю Лозанн, поймал такси и уехал в гостиницу.

Можно было отдохнуть, но сон не шел. Укрыв ноги пледом, Бергер проштудировал железнодорожное расписание; убивая время, подпилил ногти; достал библию, полистал. Подчеркнул строку: «И сказал господь Моисею: иди и осмотри землю Ханаанскую...» В соседнем номере, за тонкой стеной приглушенно храпел Кунц — телохранитель, взятый Бергером по настоянию фон Бентивеньи.

В Берлине было решено, что Бергер только в крайнем случае свяжется с местной агентурой барона фон Бибра. Все было обставлено так, чтобы у СД сложилось впечатление, что Бергер отдыхает; в приказе по абверу Канарис написал: «Убыть в очередной отпуск».

Заезжая за Мильманом в Париж, Бергер около суток провел в обществе Рейнике и Гаузнера и вел себя как отпускник — много пил и не интересовался делами.

Рейнике был в отличном настроении. Разгром радиоквартиры у Пантеона принес ему и комиссару благодарность Кальтенбруннера, а Мейснеру — прощение прежних грехов и железный крест второго класса. Гаузнер в свежем мундире с серебряным шитьем выглядел именинником. Проверяя по архивным досье личности убитых — радиста и прикрывающего — он установил, что Жюль из «Эпок» и прикрывающий, застрелившийся у павильона,— одно лицо.

— Живой он был бы полезнее,— лениво сказал Бергер.

Рейнике поднял бокал, ложечкой снял соринку со льда.

— Как знать, Юстус!

— Слишком тонко для моего солдатского ума.

— Скажем ему, Гаузнер?.. Так и быть!.. О смерти мсье Жюля известно нам, но не тем, кто руководит резидентурой русских. Для них мы пустили слух, что при перестрелке у павильона взято двое раненых, коих мы и содержим в Булонском лесу.

— Думаешь, слух дойдет?

— Почему бы и нет?

— Допустим, так... Русские перестроятся, и только.

— А фактор времени? — спросил Гаузнер.

— Да, время, конечно, у них уйдет.

Бергер отпил глоток, подумал: «Гестапо довольствуется паллиативами. Но как ловко они преподносятся!» Шампанское было терпким и пахло старыми дрожжами.

— Радист тоже русский? — спросил Бергер.

— Француз,— угрюмо сказал Гаузнер.— Лягушатник неудачно стрелялся: хотел в висок, но рука, видно, дрогнула и взял правее. Жил часов шесть...

— Еще раз за тебя, Юстус! — сказал Рейнике и наполнил бокал; пена хлынула через край.— За твой отпуск в Баден-Бадене! Поезжай отдыхать, а к твоему возвращению мы доконаем русскую группу. Мсье Жюль опять-таки поможет нам. Гаузнер отрабатывает его биографию — фотоснимки и ориентировка ушли во все комиссариаты и наши отделения в Париже: прорва работы, зато не вхолостую. Здесь штришочек, там крючок...

— Прозит!

Бергер расплатился и, приехав в «Лютецию», принял ледяную ванну. Он был абсолютно трезв, когда читал рапорт Мейснера о ликвидации радиоквартиры и мер, предпринятых Рейнике и Гаузнером для поисков резидента... Что ж, приходилось признать, что на этот раз гестапо обошло абвер по всем статьям. Добрая половина сотрудников парижской контрразведки только и занимается штатами фирм, близких «Эпок» по роду деятельности; с такой же тщательностью проверяется все, что имеет хоть малейшее отношение к личностям Жюля и радиста; негласные сотрудники получили задание предъявить фотографию мсье Жюля консьержкам, содержателям кафе, кабачков и трактирчиков, служащим парижских вокзалов и владельцам отелей, пансионов и меблирашек. Если мыслить образами, штаб Рейнике выращивает древо и готовится собрать свой урожай плодов...

Бергер отправил рапорт в Берлин с фельдкурьером и посоветовал начальнику Абверштелле в Париже полковнику Райле связаться с лидерами кагуляров. Сказал убежденно:

— Они хотя и в подполье, но агентура у них не хуже, чем у гестапо.

— Кагуляры запросят компенсацию.

— Я бы посулил выпустить из концлагеря кое-кого из их «вождей», взятых в сороковом [1].

Это был последний разговор, проведенный Бергером перед отъездом, и он оставил грустный осадок: успехи Рейнике и пассивность парижского Абверштелле при сложившихся обстоятельствах играли на руку Гиммлеру.

Единственная радость — Мильман. Бергер по приезде в Женеву поручил ему проверить, нет ли в «Геомонде» передатчика, и отправил с ним на рю Лозанн опытного Кунца... Они вернулись поздно вечером, порознь, и Кунц, докладывая, был в восторге.

— Это надо было видеть! Он висел, как обезьяна, и, сдается мне, ни черта не боялся!

— Вас не заметили?

— Головой ручаюсь — нет!

— Считайте, что вам повезло.

Честно говоря, Бергер и сам не знал, как реагировать на трюк, выкинутый изобретательным ефрейтором. Сам бы он, конечно, никогда не рискнул засесть на пожарной лестнице и, развернув гониометр, пеленговать «Геомонд». Кунц, правда, утверждал, что лестница, втиснутая в углубление стены, не просматривается со двора, но Бергер предпочел для ночно-

[1] После оккупации Франции деятельность кагуляров формально была запрещена, однако гестапо втайне поощряло ее.

го дежурства использовать способ попроще — дал Мильману «форд» и отметил на плане место для стоянки — дом № 109.

Предосторожность оказалась не лишней: спустя несколько часов Кунц обнаружил, что за «Геомондом» наблюдают; сначала на глаза ему попались двое молодых людей, не слишком-то и маскирующихся, а вечером совершенно случайно он выявил третьего — блондинчика, дежурившего в газетном киоске. Мильман в своем «форде» уже устроился у дома № 109, и Кунц не решился к нему подойти.

Бергер выслушал Кунца и отправил его спать, сказав:

— Пусть все остается, как есть. На середине реки коней не меняют.

— Сдается мне, это БЮПО,— заметил Кунц.

— Хоть сам Лусто! «Форд» на улице и дремлющий пассажир — эка невидаль для Женевы!

Наблюдатели у «Геомонда», чьи б они ни были, Бергера не особенно волновали. Конспиративные квартиры, подобранные из Штутгарта, обеспечивают группе укрытие, а пограничное «окно» — путь для отхода. Физическое же устранение Ширвиндта — крайний и нежелательный случай! — совершат агенты фон Бибра, не припутывая к нему ни Бергера, ни его людей... Впрочем, ради убийства не стоило бы приезжать...

Бергер звонит вниз — портье.

— Номер четырнадцать. Есть что-нибудь для меня?

Отсутствие письма означает, что Мильман не засек рацию в «Геомонде» и ближайшим поездом уедет из Женевы в горы.

— Момент!.. Нет, ничего не поступало.

— Хорошо. Пусть пришлют завтрак — что-нибудь легкое. Кофе не крепкий. Совсем не крепкий.

— Газеты, мсье?

— Да, английские...

Позавтракав, Бергер негромко стучит в стену: четырежды, с разными интервалами. Кунц, выбритый, с прозрачными после сна глазами, приходит через минуту. Пиджак на груди вздут буграми — хотя Кунц и носит костюмы свободного покроя, но арсенал, рассованный по внутренним карманам, так громоздок, что остается пожалеть о древнеримских тогах, не нашедших местечка в современной моде.

— Прикажете вас сопровождать?

— Нет, Зепп... Сегодня мы с вами попробуем сварить похлебку, как выражаются повара: за вкус не ручаюсь, но горячо будет!

— Надеюсь, мне не придется лезть в котел?

— А полезли бы?

Кунц меланхолически кивает, и Бергер, глядя на него, вспоминает, как Рейнике при последнем свидании в Париже желал ему хорошего отдыха.

— Ладно,— говорит Бергер и достает из кармана конверт.— Котел будет в другой раз. А сейчас вы поедете на рю Лозанн и отдадите это в конторе. Самому или секретарю — не имеет значения.

— Меня засветят.

— Правильно. Больше того, за вами постараются проследить, и вы хорошо поступите, Зепп, если утащите шпиков подальше от «Геомонда». Только не трогайте их.

— Как прикажете!

— О Зепп! Мне не нужен слепой исполнитель. Я хочу, чтобы вы усвоили: то, что поручено вам, не менее важно, чем моя часть или работа с гониометром. Кстати, Штейнер сделал свое дело и выяснил, что «Геомонд» не используется как радиоквартира.

— Можно вопрос?

— Разумеется.

— Это имеет значение?

— О да! После вашего визита на рю Лозанн Ширвиндт или проглотит наживку, или же передаст по цепочке радистам депешу для Центра о моем письме. Думаю, остальное можно не объяснять?

Кунц поправляет галстук и протягивает руку за конвертом.

— Минутку, Зепп. Чтобы все стало на места, сначала прочтите.

— Но...

— Я же предупредил: слепое исполнение не годится! Хорошо, я сам прочту... «Дорогой господин Ширвиндт. Когда-то нам не удалось довести до конца диспут по взаимоинтересному поводу. Ресторан на вокзале Корнавен кажется мне тем местом, где мы сможем решить все к обоюдному удовлетворению. Надеюсь, час пополудни — не слишком рано для совместного обеда? Наш общий знакомый мсье Жюль заверял меня, что это как раз то время, когда вы бываете более или менее свободны. С совершенным почтением — Шриттмейер»... Как видите, Зепп, никаких намеков на шантаж, и у Ширвиндта нет оснований хватать вас за шиворот и вызывать полицию.

— В чем же моя задача?

— Во-первых, уведете хотя бы одного шпика с рю Лозанн и отделаетесь от него к двенадцати часам. Во-вторых, как мне представляется, своим появлением в «Геомонде» вы внесете в эту милую обитель смуту и тревогу, за которой последуют маленькая паника и всякие там визиты к курьерам и радистам. И, наконец, в-третьих, в час дня вы будете в ресторане и, если Ширвиндт придет не один, займетесь его спутниками. Надеюсь, вы не скажете, что этого вам мало?

— Я сделаю,— коротко говорит Кунц и прячет письмо.

...Пять часов — чертова уйма времени, которую Бергер щедро тратит на несколько длинных телефонных разговоров — из будок, конечно,— сеанс в кино и три поездки в такси — без адреса, просто для того, чтобы запутать филеров, если они есть. Слежка не может ему помешать, ибо у фон Бибра есть «рука» в БЮПО — в отделе по надзору за иностранцами,— и на худой конец рапорты агентов обойдутся германской миссии в определенное количество франков... Впрочем, откуда ей взяться — слежке? Не топает же БЮПО за каждым ночным прохожим, имевшим несчастье появиться на рю Лозанн?..

«Чушь какая-то!» — говорит себе Бергер и покупает билет на пригородный поезд.

Вторая платформа, головной вагон. Из него отлично виден вход в ресторан: точнее, два — тот, что с площади, и другой — с перрона. Бергер покупает у разносчика пакет со слоеными пирожками и удобно устраивается у окна. Поезд отойдет в 13.18 — восемнадцать минут «отложены» Бергером про запас на тот случай, если Ширвиндт задержится.

Бергер ест пирожки, не чувствуя вкуса. Придет или нет? Если придет, то первую часть плана можно считать полностью удавшейся. Сам факт появления после записки, подписанной Шриттмейером,— почти гарантия, что Ширвиндт пойдет на перевербовку. Поторгуется, набьет себе цену, но согласится...

Ну, а если не придет?

«Повторим приглашение»,— думает Бергер, дожевывая пирожок и отмечая, что Кунц уже стоит, покуривает у двери ресторана — той, что выходит на площадь... 13.04...

Медленный и тихий кружит снег. Ложится на черную платформу и тут же тает, стекает ручьями по желобам. Бергер доедает пирожок и заталкивает пустой пакет под сиденье. Ему хочется курить, но в купе висит табличка с запретом — на трех языках. Может быть, перейти в другое купе? Но тогда на минуту дверь ресторана останется без надзора. Нет, лучше потерпеть...

Кунц, как часовой, стоит у двери.

Никто не входит в ресторан и не выходит из него... Короткий толчок и еще один; перрон откатывается, отбегает, и Бергер машинально смотрит на часы — 13.18.

Под тряску вагона приступ зуда истязает Бергера. Будь она неладна, эта экзема! Он достает флакончик с болеутоляющим и, вытряхнув на ладонь сразу несколько таблеток, отправляет их в рот. Через какое-то время наступит облегчение. Надолго ли?..

«Не состоялось! — думает Бергер, массируя щеки.— Изволите играть на нервах, господин Ширвиндт? Мудрые римляне говорили: живущий в доме из хрусталя не должен бросать камни в окна соседей... А вы не камни даже, булыжники... Завтра попробую опять — корректно, как коллега коллегу».

Зуд оставляет Бергера в самом конце пути. Разминая затекшие ноги, он спускается на перрон пригородной станции и замирает, пораженный — снежные горы, совсем близкие, ослепительно красивы и спокойны. Бергер смотрит на них и забывает обо всем — несостоявшемся свидании, экземе, планах на завтра и конторе «Геомонд» на рю Лозанн, 113.

Продолжение следует.

Дом без ключа

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА.

РОМАН

ВТОРАЯ КНИГА

20. Февраль, 1944. Париж, площадь Бастилии.

Жак-Анри назначил Технику свидание на площади Бастилии, у спуска в метро. Здесь, на скрещении 1-й, 5-й и 8-й линий, всегда многолюдно. Парижане стекаются сюда, словно призываемые боевым рожком, стоят на площади, молча смотрят на темный булыжный квадрат, выложенный там, где некогда нависала над каштанами разрушенная тюрьма...

Парижане не любят ездить. У каждого района свой центр, своя жизнь и свои интересы. Но площадь Бастилии привлекает к себе даже жителей Исси-ле-Мулино, Клиши и Невиля... Что зовет их? Тоска или страсть? Тоска по дням, когда форт Роменвиль был символом победы, а не полигоном смерти и под сводами Национального собрания звучали речи Манделя и Эррио, а не команды офицеров Штюльпнагеля?.. Но только ли память ведет на площадь Бастилии? Или страсть тоже?.. Завтра многие из тех, кто сегодня стоит здесь, вбирая в себя и этот воздух, словно бы пахнущий порохом 14 июля, и темный булыжник на месте взорванной тюрьмы, и каштаны, посаженные, быть может, еще коммунарами,— з а в т р а они лишатся неповторимой возможности дышать, видеть, ощущать... Площадь Бастилии — площадь прощания и размышлений. Сюда приходят и те, кто будет клеить листовки, стрелять в патрулей, сидеть за подпольными передатчиками...

— Слушай, дружище,— говорит Техник тихо и доверчиво смотрит на Жака-Анри.— Пойдем отсюда, или я черт знает что натворю!.. Подумать только: мы руками разнесли по кусочку Бастилию, первыми — слышишь, первыми! — вот такими буквищами написали «Свобода. Равенство. Братство», и все для чего? Чтобы Даладье зарезал республику, а дегенерат с черной соплей под носом превратил Францию в бордель для солдатни?

— Не так...

— А как?.. Ладно, не надо. Я и сам не знаю, что на меня нашло. Извини, дружище.

Не сговариваясь, они идут к Венсенской заставе, вдоль серых домов с потеками копоти, тянущимися от карнизов. Это дома бедноты, угрюмые и нищие, истлевающие на глазах. Здесь и в довоенные годы было безлюдно, а сейчас улица, точно канал на Марсе,— жизнь покинула ее, забилась в камеры, недоступные пришельцам.

— Я был на вокзале у Гастона,— говорит Техник.— Он привез кое-что из Берлина, от тех... В последний раз.

— Он нашел замену?

— Есть один паренек, он, кажется, мог бы, но в паре с ним ездит настоящая сволочь. Гастон уверен, что он стучит в полицию.

— Когда Гастона переведут?

— Со следующей недели. Женевский экспресс — это встало ему в копеечку!

— На таких вещах не экономят.

— Знаю, дружище, но все-таки противно думать, что наши деньги идут подлецам. Гастон говорил, что у того типа из службы движения хватило наглости дважды пересчитать бумажки: все боялся, что ему недодадут.

— Как вы условились?

— Встречаться не будем. Все, что привезет из Женевы, будет оставлять на вокзале, в цоколе третьего фонаря.

— Ты мудрый муж,— говорит Жак-Анри серьезно, улыбаясь одними глазами.— Придет день, и ты станешь советником или даже мэром и будешь носить трехцветный шарф...

— По пузу? Ну нет! Я не тщеславен!

С Техником не соскучишься. Он никогда не унывает и быстр, как Фигаро. Одна беда: настоящая выпивка начинается у него там, где у большинства стоит предельная отметка. Жак-Анри воюет с ним из-за этого, и довольно успешно: с самого лета Техник не заглядывает в бутылку... Был, правда, день, когда Жак-Анри едва привел его в себя,— день смерти Жюля...

Техник вызвал Жака-Анри на явку ночью. Они заперлись в задней комнате кабачка, и все казалось, что перно не крепче воды. Техник говорил, и слова не оставляли надежд. Жак-Анри смотрел на бутылку и видел павильон, кусты, Жюля и перевесившегося через высокий порог радиста... Техник плакал.

— Какой был парень! Ах, какой был парень!..

— Перестань,— крикнул Жак-Анри.

Он не умел кричать, и вышло странно для него самого. На голос прибежал хозяин, приложил ладонь к губам: «Тише! На улицах — патрули...»

— А мне н..! — бешено сказал Техник.— Хочешь, я выйду и перестреляю их всех? Говори, хочешь?!

Техник пытался встать и рвал из кармана зацепившийся за подкладку пистолет. Жак-Анри ударил его по руке, отобрал маузер. Налил еще.

— Не хочу! — сказал Техник.— Пусти меня, я их всех, всех...

Жак-Анри уложил его на антресолях, спустился вниз, отыскал бутылку. Плакать он не мог — наверно, разучился. Он знал, что его считают сухарем, счетоводом от разведки, и сам думал о себе, что, видимо, где-то утратил многое из того, что получил от матери и отца при рождении. С ума сойти можно: перед глазами — лицо Жюля, а мозг, точно арифмометр, рассчитывает последствия и дает оценки!

Пустота одиночества пришла позднее — утром, когда Жак-Анри мысленно перечеркнул квартиру на рю ль'Ординер, подобрал подходящее аварийное помещение, прикинул, какую работу подыщет, уйдя из антикварной лавки. Тогда-то и пришло ощущение потери, совершенно невозместимой. В бутылке было достаточно перно, но Жак-Анри попросил кофе и пил его, помогая сердцу перебороть очередной приступ.

После этой ночи и приступа ноги Жака-Анри ослабели, и он завел трость, но к врачу не пошел. Он предвидел диагноз и применил к себе правила бухгалтерии, которыми пользовался в работе. В итоге вышло, что Центр на три месяца, как минимум, выбьется из режима, подыскивая человека для Парижа, а это так нерентабельно, что дальше некуда!

Хлопот было много, и Жак-Анри ушел в них — наладил по-новому связи, переехал подальше от 18-го района, на деловой основе организовал взаимоотношения с мужем мадам де Тур — словоохотливым Бернгардтом.

Копии радиограмм Центру, в вводной части которых Бернгардт упоминался как «источник», произвели на того потрясающее впечатление. Они поладили, договорившись, где и как Бернгардт будет оставлять информацию.

Жак-Анри останавливается и присаживается на рукоять трости.

— Ты слишком быстр для меня, старина! Пока мы одни, давай-ка сигареты...

В пачке — три помятых «галуаз»: три радиограммы от Центра, полученные с утренним радиообменом. Жак-Анри заменяет их тремя другими и возвращает Технику пачку.

— Тебе не трудно развозить?

— Я не инвалид.

— Но надо же и спать иногда. Сколько тебе лет?

— Скоро тридцать. Совсем старик!

«А мне скоро... Стоп! Сколько же мне будет?» Жак-Анри про себя посмеивается: трудно ли забыть, когда ты родился, если в каждом новом паспорте стоит иная дата?

— Извини,— говорит Жак-Анри.— Я прослушал...

— Мой сменщик наколол штаб Рейнике.

— Это интересно.

— Да нет, ничего важного. Гаузнер звонил по городскому на Кэ д'Орфевр и устроил префекту головомойку из-за справки на какого-то Луи Андрэ.

Жак-Анри едва не роняет трость.

— Ты уверен — Луи Андрэ?

— Запоминается легче, чем Навуходоносор. Ты его знаешь?

— Нет,— говорит Жак-Анри.

Техник разочарован.

— Больше ничего нового... Там редко пользуются городским. Слышал последний анекдот? Стоят двое в Булонском лесу и видят, как из ворот выводят верблюда. «Посмотри, Жак,— говорит один другому.— Бедная лошадь, что с ней сделали в гестапо». Здорово смешно!

— До слез,— сухо говорит Жак-Анри.

Луи Андрэ — это радист, арестованный в облаве. Зачем Гаузнеру понадобились сведения о нем? Неужели гестапо опять нащупало что-нибудь? Радиоквартиры Луи давно заморожены, но он, к несчастью, знает о том, что представляла собой АВС...

— Давай прощаться, старина,— говорит Жак-Анри.— Мне налево.

— Значит, мне направо. Для Гастона нет поручений?

— Пусть сначала поездит и осмотрится. Попроси его запомнить все, что относится к пограничному и таможенному контролю.

Жак-Анри поворачивается и идет назад — мимо все тех же серых домов, изуродованных потеками копоти. Еще рано, но ставни на окнах закрыты; подъезды заперты; над улицей, щекоча ноздри, стелется едкий запах чадящих коксовых брикетов. Здешние обитатели слишком бедны, чтобы покупать дефицитный

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24—27, 29—30.

Они родились в Яване.
Отсюда приходит вода в долину.
Яванский хлопок.
Разлив стали на ремонтно-механическом заводе.
У дюкера Иш-Масай.

рурский антрацит. Оттого улица засеяна скрипящей под подошвами бурой крупой — ее вместе с нагретым воздухом и дымом выбрасывают узкие трубы; вот и хрустишь, как по снегу,— скрип-скрип, скрип-скрип...

Площадь Бастилии... Жак-Анри задерживается на ней прежде, чем спуститься в шахту метро. Невидимый боевой рожок трубит у него в ушах.

21. Февраль, 1944. Париж, Булонский лес.

— Три часа мы с вами толкуем об одном и том же. Три часа вы пичкаете меня сказками и думаете, что это остроумно! Ну, ладно. Значит, вы гуляли, дышали воздухом и вдруг увидели ее. И сразу же очаровались?

— Она лежала на газоне. На старом газоне — там был такой стожок.

— Вы бросились к ней и прижали к груди... А час спустя угодили в облаву. Все правильно?

— Меньше чем через час...

— Ну это детали. Вы знакомы с этой штукой?.. Идите-ка ближе и посмотрите на нее. Вам она знакома, не правда ли?

— Где-то видел... Ах да, в школе. На уроках физики.

— Это ключ Морзе, господин Андрэ!

Их пятеро в комнате — Рейнике, Гаузнер, Шустер, Мейснер и Луи Андрэ — единственный, кому не надо напрягаться, подыскивая слова. Французский язык Гаузнера — ограниченный запас и школьная лексика; каждую остроту он сначала мысленно переводит с немецкого, и уже устал, и жалеет, что отказался от переводчика.

Скомканным платком Гаузнер вытирает лысину и, шевеля губами, выстраивает новый вопрос. Как это будет по-французски «чистосердечие»: «бонне фуа» или иначе?.. Да, «бонне фуа».

— На чистосердечие не надо рассчитывать, господин Андрэ?

— Но я же не вру!

— Хорошо. Что касается гранаты, то бог с ней, согласен, что вы нашли ее на газоне, хотя в траве уместнее быть цветам. А с ключом Морзе вам не доводилось обращаться?

— В первый раз...

— Подумайте, Андрэ! — нехотя вставляет Рейнике, раскатывая в ладонях сигару.

Обритая голова Андрэ — вся в буграх и ложбинах — непрерывно дергается: лагерный уполномоченный СД перестарался и раньше времени пропустил радиста через третью степень. Для контраста в Булонском лесу Луи Андрэ переодели, отмыли в ванне и поместили в камеру с большим окном и чистым бельем на койке.

Рейнике вставляет сигару в костяной мундштук и, шелестя манжетой, встряхивает коробок со спичками. Мейснер щелкает зажигалкой, заставив бригаденфюрера вспомнить пословицу о пострелe, который везде поспевает.

— Вы же не курите,— говорит Рейнике и добавляет, адресуясь к Шустеру: — Курите, майор! Боюсь, дело затянется. Этот упрямец явно не понимает, что гестапо не стало бы тратить три месяца на его поиски по концлагерям, если бы не имело оснований видеть в нем серьезного фигуранта.

Он говорит по-французски, щеголяя произношением,— учитель мэтр Трюдо недаром берет свои триста франков в час. Это дорого даже для Парижа, где цены взвинчены до небес, но Рейнике для двух случаев делает исключение — мэтр Трюдо и гадалка мадам д'Юферье... Вчера он вернулся от мадам расстроенный и смятенный. Астрологические книги сулили беду. Прорицательница рылась в изъязвленных плесенью томах, переплетенных в кожу; бронзовые застежки с головами грифонов мерцали в полутьме таинственно и жутко. Черный кот Мефистофель ленивой лапой трогал грифонов.

Ночью Рейнике приснились кот с цветными глазами и раскаленные, изрыгающие пламя пасти. Утро — свет и тепло — вернули ему самообладание, а ранний звонок шефа абвера Райле создал равновесие, словно бы лег на чашечку весов и поднял стрелку настроения. «Итак, я привезу вам своего нового знакомого,— сказал, заканчивая, Райле.— Во второй половине дня удобно?»

...Сигара никак не хочет раскуриваться, и Рейнике, отложив ее в пепельницу, повторяет:

— Подумайте, Андрэ!

— Смелее! — говорит Гаузнер и поощряюще улыбается.— Искренность никогда не вредила. Посмотри-ка на эту фотографию. Знаешь его?

— Н-нет... А кто это?

— Это же твой друг Жюль! Позвать его?

— Не знаю Жюля...

— Ну вот, не знаешь, а рука дрожит. Зря ты это затеял, дружок. Нас тебе не переиграть.

— С чего вы взяли?!

— Не петушись. Тон, осанка, глаза — не хватает дыма из ноздрей и пламени изо рта! Смотри сюда. Это иголки. Лучшие в мире иголки из Золингена. Вообще-то они предназначены для шитья, но кое-кто в этом доме уверен, что их следует загонять под ногти. Ты, конечно, об этом слышал, но слышать — одно, а попробовать — совсем другое. Протяни руку!

— Не надо...

— Быстро! Не эту... правую. Ты имел дело с ключом Морзе?

— Да нет же...

— Нет? А этот сплющенный большой палец? А мозоль на указательном? Знаешь, откуда она взялась?.. Слушай, Луи Андрэ! Я все нервы себе перепортил, пока отыскал тебя в концлагере. Ты был радистом и знаком не только с Жюлем. Ты влип в скверную историю, паренек! В такую скверную, что и кошмары Гофмана в сравнении с ней — тьфу, ничто!

«Мадам предвещала беду»,— не к месту вспоминает Рейнике и складывает пальцы щепотью... У Луи Андрэ мальчишеский лоб и серые, словно пеплом присыпанные виски; кожа его еще не приобрела той пергаментной желтизны, которая бывает у старых лагерников, она почти нормального цвета, хотя и одрябла на шее. Врач без труда определил бы, что он находится в начальной стадии дистрофии.

— Можно добавить? — произносит Шустер и достает записную книжечку.— Мне кажется, здесь пошел открытый разговор, и я думаю, что будет не лишним освежить в памяти месье Андрэ позывные станций, с которыми он работал. КЛС, КЛМ, КЛЦ. Верно?

— Что скажешь, Андрэ? — подыгрывает Гаузнер.

— Меня оговорили. Я знаю, кто это сделал — Филипп-Удильщик! Он стырил пайку у Зулуса, а свалил на меня! Не верьте Удильщику, он за сантим родную сестру пошлет на панель... Я не радист, дорогие господа, светлым небом и завтрашним днем клянусь вам — я не радист...

Рейнике достает из маленького карманчика новую сигару и разминает ее над ухом — мягкий треск говорит ему, что сигара хорошо просушена. Месяца два назад он дорого бы дал за то, чтобы радист развязал язык, но сейчас показания не имеют особой цены. Гаузнер опоздал со своим подарком.

— Смешно, господа! — говорит Рейнике и встает.— Четыре человека тратят часы, уговаривая паршивца спасти свою жизнь. Мейснер! Засеките время — если через три минуты он не изменит поведения, отправьте его в камеру и проследите, чтоб это была настоящая одиночка, а не спальня с голландскими простынями.

— Ты слышал, Андрэ?

Гаузнер перегибается через стол и карандашом приподнимает подбородок радиста; Шустер с брезгливым видом отворачивается, словно говоря: «Без меня, господа, только без меня». Мейснер снимает с руки браслет с часами. Кладет на стол.

— Смотри сюда, Андрэ! Пятнадцать секунд уже прошло... Двадцать... Двадцать пять...

«Все то же самое,— скучая, думает Рейнике.— Гаузнер-то потеет всерьез, ему кажется, что, расколов радиста, мы приобретем невесть что! А что он может дать? Устаревшие данные о связи? Какие-нибудь адреса... Резидента он наверняка не знает. Никто из радистов не знает — такой уж принцип в этой группе... Но Райле-то, Райле! Принес яичко и — ко Христову дню. Не пожалел. А почему, собственно, не пожалел? Что-то пронюхал или так, на всякий случай?»

— Минута тридцать,— говорит Гаузнер.

Рейнике, стоя у окна, рассматривает часового у входа в особняк — сверху его каска кажется перевернутой ночной вазой, не хватает только ручек.

Не оглядываясь и не повышая голоса, Рейнике произносит, словно для самого себя:

— Дюпле... Дюран... АВС...

— Минута пятнадцать,— вторит Гаузнер.— Ты, кажется, решился, Андрэ? Браво!

«Поздновато»,— думает Рейнике и вычерчивает на запотевшем стекле крест. Поворачивается... Человек — пустотелый волчок; крутится, жужжит, скользит на ровном, пока не споткнется о бугорок, не запнется, чтобы упасть и умолкнуть. Андрэ споткнулся об АВС — никак не ждал, что и это известно! Дюпле — Дюран — АВС. Легран и есть Дюран? Господи, как примитивно и как трудно было, однако, дойти до этой простой мысли.

— Дать тебе бумагу, Андрэ? — говорит Гаузнер.— И что же ты напишешь?

— Что ты свинья и сын свиньи! Что я плюю на тебя! Что... Ох!

Надо сознаться — Мейснер умеет бить. Один удар, и рот Андрэ словно провалился. «Чертовски скучно,— думает Рейнике и смазывает ладонью крест на стекле.— Одно и то же. Всегда одно и то же».

Мейснер по команде Гаузнера выволакивает радиста за дверь. Рейнике щелчком вгоняет в рукав высунувшийся манжет. Говорит:

— Бедновато, Фридрих. Плохие актеры и бездарные декорации. Зрители вроде нас были здесь явно ни к чему. Согласен?

— Не все сразу!

— Верно, не все. Значит, надеешься на завтра? А не отдохнуть ли нам, господа?

— Не понял...

— Сейчас поймешь.

Хорошо, что Гаузнер спокоен. Старая школа — плевки арестованных и ругань отлетают от него, как пуля от танковой брони. Значит, можно говорить коротко, не разжевывая, дав комиссару простор для выводов и догадок.

— Возьми сигару, Фридрих, и слушай. Сейчас сюда приедет Райле. Не один. Он привезет господина по имени Гранжан и по профессии бухгалтера.

— Осведомитель абвера?

— Что ты, Фридрих! Кагуляр!.. Очень идейный господин и истинный патриот — такой искренний, что на тайных собраниях сидит не иначе как во фригийском колпаке!.. Мсье Жюль был его другом, а резидент Центра — шефом по АВС. Фантастические связи, не так ли?

— Чертовщина какая-то!

— В ней надо разобраться. Райле нашел его и дает нам. Пока я знаю одно: Легран из «Эпок» был владельцем конторы АВС и носил имя Дюран, а Жюль представился Гранжану как Дюпле.

— Дадим запросы?

— Разумеется. Ты ими и займешься. Дюпле где-то жил, ел, спал. Дюран — тоже.

— Там, где он был, его уже нет.

— Есть следы. Мне ли тебя учить?

Иногда это нужно — дать своим сотрудникам тихую встрясочку, на полутонах, без грубости. Гаузнер, выйдя на Андрэ, кажется, решил, что сорвал банк, потому и пригласил на допрос бригаденфюрера и готовился, как бурш перед экзаменом: ключ Морзе, фотография Дюпле, даже о мозолях не забыл... Райле, в свою очередь, тоже лезет в фавориты. Гранжан — его «джокер», пятый туз в колоде, а мы чем ударим? Оп: Луи Андрэ — вот наш ход. Уж Шустер — будьте уверены! — доложит в абвере, что радист у нас. Молчит? Не беда. Сегодня заключенный плюет следователю в лицо, а завтра лижет пятки... Словом, выходит, мы квиты, полковник,— Андрэ на Гранжана, ход на ход...

Шустер большими пальцами разглаживает складки под поясом.

— Я откланяюсь, бригаденфюрер? У меня в ремонте три пеленгомашины. Моторы изношены, и аппаратура шалит — слишком много трески.

«Торопишься к Райле?» — соображает Рейнике, но не находит предлога, под которым можно было бы удержать майора.

— Свободны. Хайль Гитлер!

Шустер по-гусиному вытягивает шею и выходит; шаги его гулко разносятся по пустому коридору — в том крыле, где сидит Гаузнер, нет дорожки. Рейнике прислушивается и, дождавшись тишины, с дружеским укором говорит Гаузнеру, грызущему ноготь:

— Зачем ты вызвал его, Фридрих? Мало нам Мейснера?

— Мало.

— Тогда будь спокоен — Райле сегодня же отрапортует в Берлин, что ты оскандалился с допросом.

— Чего же лучше?

— Дурно шутишь, Фридрих.

— В делах нет места шуткам, бригаденфюрер. Пусть Райле докладывает, а Мейснер дудит с ним в унисон. Этого я и добиваюсь. Помните павильон, бригаденфюрер? Я имею в виду — помните, что мы взяли в нем?

— Ничего особенного.

— Ничего, кроме настенного календаря! Чистенького, без отметок и именно потому показавшегося всем случайной находкой, не связанной с делом. Все тогда сошлись на этом, в том числе и я. А потом я пораскинул мозгами и спросил себя: зачем? Зачем нужно держать в радиоквартире календарь?.. Сейчас он уже не чистенький, а скорее черненький — так долго я его мусолил. И он — будь я проклят! — заговорил. Время восхода и время захода — школьная арифметика, а в итоге — частоты для каждого дня...

— Что? Ты уверен?

Рейнике невольно оглядывается на дверь.

— Уверен,— говорит Гаузнер.— И не только в этом, но еще и в том, что календарь рассказал не все. Надо с ним помудрить. Где частоты, там может оказаться и расписание сеансов... Мало материала, бригаденфюрер; два десятка случайных радиограмм, разрозненных и часто неполных.

— Когда ты прочел календарь?

— Сегодня утром... Совпадение?

— Удача, Фридрих!.. Одно неясно: зачем тебе Шустер?

Складки на лбу Гаузнера тяжело нависают над бровями.

— Факты можно толковать по-разному. Вы поздравили меня с удачей, а Канарис, если передернет, обвинит в государственном преступлении. Что стоит ему изложить историю так: некто Гаузнер и некто Рейнике, люди, близкие Кальтенбруннеру, сводя счеты с абвером, умышленно умолчали о назначении календаря. Два месяца молчали! Беретесь вы, бригаденфюрер, доказать, что решение найдено только сегодня, а не вчера или неделю назад?

— Да, неприятно.

— Куда уж! Сегодня днем я пошлю программу частот на улицу Курсель. Шустер видел радиста и решит, что тот заговорил. Разве не изящно?

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА.

Дом без ключа

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

22. Февраль, 1944. Женева, рю Лозанн — рю Альберт Бертран.

Когда держат четыре руки, трудно сопротивляться. Бергер пробует стряхнуть того, что справа, но схватили цепко — до хруста в вывернутых костях. И Кунца нет! Кунц в отеле, дежурит у телефона.

На всякий случай Бергер, задыхаясь от боли, произносит положенные в таких случаях слова:

— В чем дело, господа?

— Садитесь в машину.

— Я протес...

Все происходит столь быстро, что неоконченная фраза повисает в воздухе, а дверца уже защелкнулась, и плоский, окрашенный в темное бордо «шевроле» на глазах у случайных прохожих уносит трех пассажиров, так внезапно и без видимых причин поскандаливших на тихой рю Лозанн.

Сразу и не поймешь, что случилось... Бергер пришел на рю Лозанн с намерением перехватить, если удастся, Ширвиндта на улице. После того как Ширвиндт не ответил на второе письмо, а секретарша отказалась соединить с ним по телефону, Бергер выждал два дня. За это время люди, подобранные им еще в Штутгарте, установили за «Геомондом» наблюдение и, к удивлению Бергера, донесли, что охрана конторы исчезла — не только те двое в плащах, но и киоскер-газетчик. Вместо него в киоске сидела старуха со вставными зубами, жители улицы утверждали, что она работает тут с незапамятных времен — белобрысый мужчина заменял ее из-за болезни, что ли... Бергер вышел из такси и, придерживая шляпу, посмотрел на окна второго этажа, пытаясь понять, есть ли свет в комнатах, и тут все и произошло — и так ловко, что он не успел сообразить, откуда и каким образом появились двое верзил.

Похищение или арест? Русские или же политическая полиция? А может быть, 5-й отдел? Говорили по-немецки, но не так, как, скажем, в Баварии, Мекленбурге, Саксонии или Берлине. Совсем другая манера тянуть гласные. А может быть, англичане? «Я Хесус-Альфонсо де Хуарес, гражданин Перу, коммерсант из Лимы... Адрес фирмы — Соледад, 111. Запоминается просто: три единицы».

— Поторопитесь, мсье.

— Еще и торопиться? Я категорически протестую...

Бергер говорит, но его не слушают: едва машина затормозила на рю Альберт Бертран, как конвоиры чуть не на руках внесли его в подъезд.

Лестница узкая, с дешевой дорожкой. Настенные бра в виде чаш из алебастра — серые и скорее поглощающие свет, чем рассеивающие его. Средней руки доходный дом.

Сколько раз Бергер сам организовывал и осуществлял такие вот штуки. Однажды в Нотингеме убрал двойника — вечером, в толпе: подошел сзади и аккуратно, одним движением вогнал в поясницу стилет... Похожее было и в Мадриде, только без крови, элегантнее: Бергер подменил сотрудника республиканской «Сегуридад» и пришел на явку к крупному работнику агентурного отделения. Без оружия пришел, хотя знал наверняка, что у контрразведчика с собой есть все, что надо... А теперь вот...

— Прошу сюда, мсье.

— Хоть свет зажгите!

— Ничего... Сюда. Эй, эй! Не дергайте руками, пожалуйста.

На парадной двери Бергер засек табличку: «Б. Кенгиссер, художник». Квартира, как пещера: темно и гулко, сразу ясно — никто не живет, да и табличка слишком новая, не окислилась. Конспиративная квартира. Чья? 5-го отдела? Но до чего же темно в коридоре! Экономят, что ли?

А в комнате светло. Свет из окон и еще люстра — стеклярус, белый с зеленым. На стенах обои в светленький цветочек; несколько кресел на гнутых ножках, ломберный стол, козетка, еще один стол — низкий, курительный, платяной шкаф с зеркалом — случайная мебель, купленная по дешевке.

Двое господ: полный, с пухлым подбородком, и узкоплечий, в помятом костюме из букле — Паташон и Пат.

— Здравствуйте. Извините...

— Слава богу, догадались! Что у вас здесь? Цирк?

— Не совсем.

Толстяк отвечает по-немецки, показывая, что хотя и знаком с испанским, но не собирается использовать его при переговорах.

— Объясните, в чем дело, наконец! — сердито говорит Бергер.

Это не больше чем дежурная фраза, ритуальный словооборот, произносимый провалившимися профессионалами: толстяк может не представляться и не предъявлять документов, ибо Бергер знаком с ним заочно. Бригадный полковник Лусто. А тощий Пат — полковник Жакийяр из контрразведки.

Бергер насмешливо цокает языком и садится в кресло, спиной к окну.

— С кем все-таки имею честь?

Лусто полупривстает.

— Бригадный полковник Анри Лусто, начальник военной разведки Швейцарской конфедерации. А это полковник Жакийяр, мой заместитель по контрразведывательному отделению. И капитан Майер...

Ах, так есть и третий? Он невидим и неслышим, стоит за спиной, закрывая подходы к двери. Майер, он же Швартенбах, фирма «Варенфертриб ГмбХ» — коммерческое прикрытие филиала 5-го отдела. Бергер снова переходит на испанский.

— Хесус де Хуарес. Это провокация?

— Говорите и сами не верите.

— Тогда что же?

— Господин Хуарес, — неожиданным фальцетом вмешивается Жакийяр. — Не делайте хорошей мины при плохой игре.

— Позвоните в посольство!

— В какое? Посольства Перу в Берне нет. Значит, в германское?

— Не пикируйтесь, господа, — мирно говорит Лусто. — Полковник Жакийяр и вы, полковник, сделаете правильно, если отнесетесь друг к другу со взаимным уважением. Распорядитесь о кофе, капитан, три большие чашки. Вам с ромом, полковник?

— Бред сумасшедшего! — вызывающе говорит Бергер и достает портсигар. — Вы полковник, он полковник, я полковник — странная мания.

— Идите, Майер. Значит, три с ромом.

— Мне без, — добавляет Жакийяр. — Но со сливками.

«Все отрицать, — быстро думает Бергер. — Джентльменские варианты отпадают... А там посмотрим».

— Свой кофе я выпью не здесь, — говорит он, доставая сигарету. — Чем, собственно, обязан?

Лусто терпеливо ждет, дает ему закурить и только тогда отвечает с мягким упреком:

— Зачем же так несерьезно? Ну пусть досада, пусть вам не понравилось, как вас пригласили, но зачем же эта чепуха: «Хуарес» и «В чем дело»? Вы полковник Юстус Карл-Амалия Бергер из центрального аппарата абвера, преступно нарушивший границу и проживающий нелегально по подложным документам. Приехали, насколько я понимаю, не на альпийский сезон, иначе не брали бы с собой господина Кунца и милого юношу в очках с его оригинальной штучкой в ранце. Вы, конечно, знаете обоих?

— Конечно, нет, — вежливо говорит Бергер и пускает тонкую струйку дыма.

Кончиком языка он легонько касается левого резца и припухшей у корня десны. Ощущение такое, будто облизываешь шарик, но не металлический, а живой — теплый и влажный.

— Сейчас придет Майер, — продолжает Лусто, — и вам покажут снимки. Юноша в очках на пожарной лестнице дома 113 и Кунц, входящий в подъезд этого дома. Как по-вашему, что бы они могли там делать?

— Вы просили: без чепухи.

— А, Майер!.. Очень мило.

— Где мои сливки? — спрашивает Жакийяр. — Куда вы их поставили?..

Но ищет он не молочник, а бумаги в папке, поданной Швартенбахом вместе с подносом.

— Это вы писали?

— Не я! — говорит Бергер.

— Как можно отвечать, не зная, о чем спросили?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24 — 27, 29 — 31.

— Мне все равно. В любом случае: нет, не знаю, не я.

Лусто огорченно склоняет голову.

— Все-таки послушайте. Прочтите нам, Жакийяр.

— «Дорогой господин Ширвиндт. Вы не ответили на мое приглашение, и я повторяю его. Сегодня и там же. В ваших интересах, Шриттмейер».

«У них свой человек в конторе, — соображает Бергер.— Или играют заодно? А если взяли Ширвиндта и вышли на меня? Может быть, и взяли: филеров-то уже не было...»

— Не трудитесь, господа, — говорит Бергер, с сожалением гася сигарету в чашке с кофе.— Я не Бергер, письма не мои, в конторе не был.

— Письма?

— Ну письмо...

— Вы сказали: письма. Так и есть. Два приглашения от Шриттмейера. И оба безответные... Я заранее извиняюсь: то, что вы сейчас услышите, заденет ваше самолюбие. Так вот: второй раз вы писали напрасно. «Геомонд» осиротел.

— Да, — говорит Жакийяр. — И заметьте, в тот самый день, когда вы послали первое приглашение.

— Спасибо, Жакийяр, это очень существенно.

— Мне кажется, что полковник начинает понимать, что к чему. Допустим, что он, как и решил, будет отвечать: «нет», «не знаю», «не я». С этим он и пойдет в трибунал, где государственный адвокат, предъявив подложные документы Хуареса, фотоснимки, записки, показания секретаря «Геомонда» и другие улики, задаст ему вопрос: куда вы дели труп? К этому моменту Кунц, конечно, разговорится и объяснит, зачем он ходил в контору, хозяин отеля, где полковник Бергер остановился под чужим именем, спасая репутацию и свободу, выложит все, цепочка потянется к фон Бибра и его террористам, и труп — ненайденный — станет реальностью. — Фальцет Жакийяра фальшив, как и его улыбка. Губами, белыми от сливок, он выбрасывает слова, добивая Бергера.

— Ваш адвокат, конечно, попробует доказать, что вы не смогли бы покинуть «Геомонд» незамеченным, но ему будет нелегко это сделать. Домовладельцы дадут убийственные показания. У хозяина пропало черное плащ-пальто в тот самый день, и, кроме того, он слышал шаги на своей лестнице — у них отдельный ход, на соседнюю улицу. Эти же шаги слышала и его жена — ее зовут Шарлотта,— и она же указала, что человек, похитивший плащ-пальто, мог пробраться в их квартиру из «Геомонда» по пожарной лестнице.

Бергер продолжает ощупывать зуб. «Так он и ушел, этот Ширвиндт. Кто-то из тех двоих помог ему, дал пальто и проводил. Но была же слежка! Не засекла?.. Соседняя улица, там недосмотрели».

— Ну вот,— удовлетворенно говорит Лусто.— Дорисуйте картину сами. У вас есть машина, Кунц подогнал ее к подъезду; труп, завернутый в пальто — вы же крепкий мужчина!— вынесли и сунули в багажник; на улице хоть глаз выколи, и путь к озеру открыт... Военное время — смертная казнь. Почти гарантия.

Бергер, не докурив, гасит сигарету.

— Других ответов не будет, господа.

— Жаль,— говорит Лусто, и голос его звучит искренне.

— Фонографы пишут?

— Разумеется!

— Я так и думал.

— Мы очень заботились о вас, полковник. Вы обратили внимание, когда выбрались из тайника в контейнере, что стражник смотрел на водокачку. Он видел ее тысячу раз и все-таки смотрел.

— Понимаю. Но это был не я.

— Есть фотография.

— Фальшивка! Монтаж. При нынешней технике — не улика.

— Примите комплимент,— говорит Жакийяр.— Сплошное удовольствие вас слушать.

— Хотите вариант?— живо вставляет Лусто.— Вы офицер, следовательно, пленный, и мы вас обменяем.

— На кого же?

— Меркель. Приемлемо?

— Меркель? Я что-то читал...

— В газетах, издаваемых в Лиме?

— Жакийяр!.. Минутку, полковник. Не обращайте внимания. Меркеля собираются судить и могут обезглавить. Мне его жаль, честно говорю — жаль. Не бойтесь фонографов, ответьте, пойдет ли ваш новый начальник на обмен? Я говорю о Шелленберге. Пойдет?

— Не провоцируйте!

Другой бы не угадал, но Лусто из той породы, которая умеет улавливать оттенки и вышелушивать смысл, как орех из скорлупы.

— Майер, принесите, пожалуйста, газеты. Пошлите за английскими, пусть купят все, какие сумеют. И германские —«Фёлькишер беобахтер» и «Франкфуртер рундшау»... Вы действительно не знаете, полковник, что Канарис вчера смещен?.. Нашим сводкам вы не поверите, подумаете — фальсификат, специально для вас. Или поверите? В газетах-то ведь слишком общо: смещен, и ни слова о преемнике... Я все-таки прикажу дать вам сводки. Канарис переведен в ОКВ. Ваш хозяин — Вальтер Шелленберг.

Лусто позвякивает ложечкой в чашке. Спрашивает, поднося кофе ко рту:

— Мне очень интересно услышать ваше мнение и о самом Шелленберге и о возможностях обмена. Право, Меркель не должен быть убит!

— Не знаю... Не хочу!..— говорит Бергер. Облизав губы и набрав воздуха, он повторяет: — Не хочу ничего обсуждать. Все, господа!

— Вам не хочется вернуться?

Бергер достает новую сигарету и, не закуривая, вертит ее в пальцах. Это «Реемтсма» с черным, как деготь, табаком и резким вкусом. Обычно Бергер не выкуривает больше двух подряд.

— Будьте добры, Майер, дайте огня полковнику. И сходите за газетами. В Буа-Мермет скажете, что я разрешил.

«Тюрьма?— думает Бергер и рассматривает стену с обоями в цветочек.— Какой пустяк... Все пустяк, если нет Канариса. Нет и не будет Канариса, есть Шелленберг. Дома меня повесят. И не просто повесят, а сначала намотают кишки на барабан... До процесса обменяют или после, или же без всякого процесса — все одно. Лучше бы у Эмми был другой отец... Маленький ты мой цыпленок, с ума я схожу... Что с тобой будет?.. Мне нельзя назад! Мне ни за что нельзя назад!»

— Я бы просил отправить меня в камеру.

В твердом голосе Бергера — трещинка, тончайшая, с волосок.

— Ну что вы,— говорит Лусто.— Не в камеру, в помещение. Вы будете интернированы, полковник... Пока...

— А идите вы!..

— Я очень вам сочувствую,— говорит Лусто.— Когда захотите встретиться, дайте знать через капитана Майера. И учтите, пожалуйста,

что я сочту себя вашим должником, если найдете возможным поделиться с нами — конфиденциально, разумеется!— соображениями о том, куда и как мог уйти Ширвиндт. Это-то ведь вас ни к чему не обяжет? Ведь так?

— Прощайте, господа.

— До свидания, полковник. Только до свидания...

Швартенбах-Майер и двое контрразведчиков через темную переднюю и пустую лестницу ведут Бергера в машину — не «шевроле», а другую, черный, громоздкий «линкольн» с хрустальными стеклами.

Бергер садится; справа — Швартенбах с ворохом газет на коленях, слева — охранник; второй, как положено, рядом с шофером. Машинально отмечая все это, Бергер давит кончиком языка на бугорок у корня резца. Ему никак нельзя возвращаться в Берлин, и пересадочная станция в Буа-Мермет — лишняя остановка в дороге... Для Эмми Бергер все зайцы желтые, а отец — малознакомый взрослый, возникающий без зова и исчезающий в пространстве, раньше чем детское сердце успеет наполниться привязанностью... Кальтенбруннер не щадит никого. Даже детей...

Бергер закуривает и медленно, с наслаждением втягивает дым. Он почему-то уверен, что все будет быстро и не больно. Еще немножко надавить, потом — сразу, с силой — прижать нижним зубом, разбивая ампулу...

— Че-пу-ха!— раздельно произносит Бергер и надолго замолкает — так надолго, что Швартенбах решает, что он уснул с открытыми глазами.

Лишь при выезде на шоссе капитан, роняя на пол газеты, суетливо начинает делать то, что и при обмороке не приносит особой пользы,— расстегивать на Бергере рубашку, развязывать галстук, тереть ему виски. Однако яд действует безотказно, и Швартенбах приказывает шоферу развернуться и ехать в Женеву.

23. Февраль, 1944. Париж, рю Пастурей — рю Вандом.

Где взять радистов? Где их найти? Париж огромен, в нем живут миллионы, и миллионы эти заняты разным трудом — представители любой профессии сыщутся в избытке, только дай объявление. Безработицы официально не существует; с приходом нацистов все закреплены за предприятиями, конторами, лавками, муниципальными учреждениями, транспортными организациями, строительством, государственными органами и бюро, за мелкими и крупными фабриками, заводами, электростанциями, а те, кому не нашлось там места, посланы на принудительные работы или обслуживают вермахт. И все-таки это фикция. Тысячи и тысячи ухитряются маркировать, доставать справки о несуществующих болезнях, скрываться — лишь бы не работать на бошей. Любой из них с восторгом предложит Жаку-Анри руки и жизнь, скажи он, зачем и во имя чего они необходимы. Они даже не попросят оружия. Печь хлебы для маки — хорошо! Стирать белье франтирерам — что же лучше! О-ля-ля! Все хорошо для Франции и свободы!

А радистов нет. Есть радиолюбители, прилично, или хорошо, или даже превосходно владеющие ключом, патриоты Франции. Во-первых, как их отыскать? Во-вторых, как проверить их честность, мужество, верность слову, скромность, точность, молчаливость?

Три радиста. И еще два из резервной группы в Нанте — новички, плохо знакомые с условиями в Париже,— их еще учить и учить. Жермен, согласись он вернуться, принесет больше пользы. Надо попробовать!

Хозяин кабачка на рю Пастурей упорно отказывается узнать Жака-Анри. Старый пароль — «Есть ли у вас виши?»— вероятно, уже не действует, и переговоры грозят закончиться безрезультатно.

— Мне нужен целый ящик,— настаивает Жак-Анри.— Вспомните, в августе вы получили партию, я был тогда у вас.

Никакой реакции. Хозяин полотняным полотенцем с петухами самоуглубленно вытирает стаканы.

— Ящичек виши для больного Жермена!— просит, втолковывает, уговаривает Жак-Анри.— Луи клялся, что у вас есть.

— Ладно,— сдается хозяин и тычет пальцем через плечо.— Подожди-ка там, я сейчас.

Жак-Анри только однажды был в этой задней комнате, но готов поручиться, что в ней ничего не изменилось. Длинные полки все так же уставлены бутылками — по большей части пустыми; связки лука висят по стенам; низки сушеных грибов, олеография в простенке, нераспечатанная картонная коробка с кружками...

— Любуетесь?— говорит хозяин, входя.

— Здорово же пьют! Сколько пустых.

— Это коллекция.

Жак-Анри наклоняется к полке, разглядывает бутылки.

— Здорово,— говорит Жак-Анри.— Настоящий музей! Но я предпочитаю виши. Понимаете?

— Все верно, только я вас не узнаю.

— Я был в августе.

— Не разыгрывайте меня! Что я — слепой?

— У меня была бородка,— напоминает Жак-Анри.

— Генрих Четвертый?

— Да, и баки.

— Фу ты черт! Ну и здорово же вы изменились! Станьте-ка к свету... Так... Да, глаза ваши.

— Чьи же еще?— смеется Жак-Анри, не скрывая облегчения.

В другое время он объяснил бы хозяину, как и какими способами изменяют внешность — в общих чертах, не посвящая, конечно, в тонкую технику, очень специфичную и далекую от той, которой владеют театральные гримеры. Однако сейчас его больше интересует Жермен.

— Свяжите меня с ним,— просит Жак-Анри.

— Это невозможно.

— Почему? Он вне Парижа?

— Он далеко. Вы нашли тогда посылку?

— Спасибо. Можете передать Жермену, что он мне нужен позарез?

— Попробую,— говорит хозяин с сомнением.— Это не так-то легко. Вы из Лондона? Как там наш Шарль?

— Уверяю вас, я не от де Голля.

— Ладно, дело ваше. Наведайтесь в начале марта. Желаю удачи, старина. И не сердитесь на прием — виши продано еще в прошлом году. Вы поняли?

Автобус, а потом метро уносят Жака-Анри с рю Пастурей, долгим путем перемещая к площади Вандом и пасмурной боковой улочке с тем же названием. Здесь запасная квартира, которой теперь предстоит стать основной. Жак-Анри ею не пользовался, берег — одна из последних.

Консьерж встречает его немногим дружелюбнее хозяина кабачка. Судя по прокуренным усам — желтым снизу,— он из отставных военных, а почтенная плешь и седина точно указывают, что воевал он во времена Вердена. Жак-Анри на всякий случай протягивает ему пачку «галуаз».

Консьерж презрительно сплевывает.

— Морская капуста!

— Зуав?

— Третьего кирасирского!

— Славные дела, не так ли?

После такого начала консьерж значительно добреет. Шевеля подкрашенными никотином усами, он благожелательно поглядывает на Жака-Анри, и тому приходится круто менять тему — ветераны, дай им волю, готовы часами повествовать о днях минувших: ходячий эпос, изнывающий без слушателей.

— У меня найдется пачка кепстена для вашей трубки.

— Как вы угадали?

— Угадывать — обязанность хорошего журналиста.

— Ах, вот оно что! Надолго в Париж, господин редактор?

— Посмотрим. В Тулузе так неспокойно, что я истосковался по тишине.

— Ваша квартира на третьем, господин редактор. А где вещи?

— На вокзале. Простите?

— Антуан Бланшар, господин редактор.

— Порядок прежде всего, мсье Бланшар? Не так ли?

Усы, как водопад, стекают на губы. Консьерж пытается придать себе значительный вид и официальную строгость.

— Это как водится,— говорит он и снова сплевывает.

— Вот бумаги, мсье Бланшар: паспорт, карточки, пропуск...

— Комиссариат рядом,— говорит консьерж, и губы его совершенно исчезают за водопадом усов.— Положено относить лично.

— Жаль. Кстати, мой отец был при Седане. Зуав.

— Хм, зуав... Ладно, давайте бумаги, у меня там есть землячок, а господь учит помогать ближнему.

— Возьмите на свечки.

Жак-Анри дает ровно столько, сколько положено за такие услуги.

...Ну вот и один. Наконец-то один!.. Жак-Анри слоняется по пустой квартире, тесной, но чистой и теплой, рассчитанной на семью. А у него нет семьи... И любимой тоже нет. Жаклин, кажется, любила или так казалось. Он сделал все, чтобы отдалить ее: был сух и строго выговаривал за промахи.... Жаклин мертва. И Жюль мертв.

Жак-Анри ходит из угла в угол и вспоминает — уже не о Жаклин; хозяин кабачка перед прощанием рассказал, что к нему приходила полиция, показывали фотографию немолодого полного мужчины, допытывались, не бывал ли он на рю Пастурей. Он памятлив и наблюдателен, хозяин. Описал Жаку-Анри того, кто был изображен на снимке... Сомнений нет: Жюль!.. Сфотографировали мертвого? Скорее всего. Теперь ищут тех, кто знал, видел его, разговаривал с ним. Отныне антикварная лавка под запретом. Туда нельзя. На старые квартиры тоже лучше не ходить... Плохо.

И с радистами плохо. Трое, система скомкана и уже не страхует от пеленгации. Нужен четвертый, а где взять? Вся надежда на Жермена...

Жак-Анри дергает за шнур, поднимает камышовую шторку. Если смотреть наискосок, видна площадь Вандом, Колонна, машины, идущие по кругу — осторожно и медленно, ибо мостовая мокра.

Гастон уже неделю ездит в Женеву. Привозит сообщения какого-то Макса. С Гастоном все хорошо. В первую ездку к нему никто не подошел, а во вторую возле вагона объявился маленький человечек, почти карлик, с грустными библейскими глазами и, назвав пароль, без объяснений — кому и от кого — сунул мешочек с орехами. Гастон довез посылку до Парижа, а Жак-Анри в одном из орехов — пустом — нашел записку... О Ширвиндте там не было ни слова; несколько информаций, подписанных Максом, и указание передать их в первую очередь. Жак-Анри попросил у Центра дополнительный сеанс.

Жак-Анри ходит и ходит — безостановочно, как заведенный. Новая биография — биография журналиста из Тулузы — еще не стала его собственной, и вовсе нелишне повторить ее про себя, затверживая точнее, чем таблицу умножения.

Жюль Дюваль — так его будут звать. Репортер Дюваль, сотрудничавший в листках, ни один из которых ныне не существует. Настоящий Дюваль сейчас где-нибудь в Танжере; родни и близких друзей у него не было.

— С новосельем вас, мсье Дюваль!— громко говорит Жак-Анри и шутливо кланяется своему двойнику в зеркале.— С вас, как положено, причитается, а? Банкет а-ля фуршетт для избранных гостей, легкая закуска.

Квартира на третьем этаже, но слышно все, что делается на нижнем: акустика здесь неплохая. Жак-Анри, не напрягая слух, улавливает отчетливо звонок в привратницкой. В общем-то это неплохо: всегда можно знать, есть ли кто-нибудь на лестнице... Да, жить можно. Центр, относительная тишина, и в спальне висит премилое «ню» в золоченой рамке. Жак-Анри подходит к картине и разглядывает подпись. И отшатывается. Мелкими, но разборчивыми буквами — коричневой краской — выписана фамилия Поля.

Жак-Анри садится на кровать и молча смотрит.

Поль убит, ушел навсегда, а картина — его овеществленная мысль — висит, осталась, чтобы напомнить живому о том, что было. Жюль, Поль, Жаклин...

Жак-Анри сидит и слушает тишину.

Продолжение следует.

Ал. АЗАРОВ, Вл. КУДРЯВЦЕВ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Рисунки И. УШАКОВА.

Дом без ключа

24. Февраль, 1944. Берлин, Шлахтензее.

Елочка-карлица в фарфоровом горшочке — подарок японских коллег — неправдоподобно мала: каждая иголка не длиннее реснички. Стволик причудливо искривлен, веточки, словно под напором ветра, сбились в одну сторону.

— Да, господин адмирал, это искусство,— признает Шелленберг.

— И какое!— подхватывает Канарис.— Терпение, труд, изобретательность и чертовское знание механизма роста. Вся Япония в этой елочке, дорогой генерал. Характер людей проявляется в вещах.

Зеппль, слушая разговор, стучит хвостом по полу, требует к себе внимания, однако Канарис против обыкновения не нагибается, чтобы почесать ее за ухом. Зеппль отползает и сворачивается клубком, положив голову на искривленные передние лапы. Темные с красноватым отливом глаза ее неотрывно следят за каждым движением адмирала.

Шелленберг не слишком редкий гость на вилле Канариса, и Зеппль привыкла к нему, не лает, считая своим. Он никогда не забывает привезти грильяж в шоколаде — любимые конфеты таксы. И вообще он очень, очень приветлив и внимателен!

— Кто назначен вместо меня? — внезапно спрашивает Канарис.— Кто-нибудь из СС?

— Я позволил себе порекомендовать фюреру полковника Ганзена.

— Но он же из так называемых м о и х?

— Именно потому,— тихо говорит Шелленберг.— Простите, адмирал, вы напрасно не бываете в ОКВ.

— Я болен... Отдел превосходно справляется и без меня.

Канарис ежится и запахивает халат. Выглядит он действительно неважно, и Шелленберг склонен думать, что адмирал заболел — на этот раз всерьез. После отставки из абвера, внезапной и оскорбительной, Канарис уединился на вилле, появляясь в отделе экономической войны только для того, чтобы выслушать рапорт заместителя. Ни одной бумаги он не подписывает и ни с кем не остается наедине.

— Жаль, что вы приехали поздно,— с рассеянной улыбкой говорит Канарис.— Вы еще не забыли, как сидят в седле?

— Без вас верховые прогулки теряют прелесть.

— Не льстите, Вальтер. Это вам не к лицу.

Шелленберг отворачивается. Это невежливо, но ничего не поделаешь. Канарис читает по лицам, как по книге, и бригаденфюрер боится этого его свойства, пользоваться которым Канарис умеет в любом состоянии. Он, конечно, повержен, но не до конца. Шелленберг недаром выдержал бурю у Гиммлера и настоял на кандидатуре Ганзена вместо тех, из СС, которых, словно валетов из колоды, вытягивал рейхсфюрер,— этот или этот, а почему не этот? Приказы Ганзена старые кадры будут исполнять, тогда как человек СС разбил бы свой корабль о подводные камни скрытого офицерского саботажа. Не станешь же менять поголовно всех сколько-нибудь ответственных работников в бывшем абвере, превращенном в часть твоего аппарата, и давать Мюллеру лишний повод для ареста уволенных «врагов» и подкопов под тебя самого? Не добившись толку у Гиммлера, Шелленберг обратился к фюреру и принес с собой заранее составленный документ.

У Гитлера дергалось веко, когда он читал проект приказа, но вопросов он не задал — подписал и внезапно обнял Шелленберга:

— Только ты, Вальтер... Тебе верю! — В глазах фюрера светилась жуткая, острая мысль.— Канарис прислал меморандум... Я прочел. Умно. Но... поздно. Я верил ему, но ошибся... Поручаю тебе...

Шелленберг отгоняет воспоминание и тихонько, боясь уколоться, притрагивается к японской причудливой елке. Решается:

— Я знаю, господин адмирал, что в Шлахтензее не принято вести служебные разговоры, но прошу об исключении.

— Заткни уши, Зеппль!

Такса, услышав свое имя, коротко лает — восторг и преданность.

— Микрофонов здесь нет,— с легкой насмешкой говорит Канарис.— Пока нет. Я слушаю, Вальтер. Вопрос будет частный или общий?

— И то и другое, господин адмирал.

— Общий — это Ганзен?

— Он и члены руководства.

— Не продолжайте! Я поговорю с кем надо, и они будут служить вам по совести.

На левом мизинце Шелленберга крупный солитер. Бригаденфюрер дышит на него, привычно протирает платком. Камень — подарок Ирен в день свадьбы, на счастье... Неробкий от природы, Шелленберг медлит, набирается духа.

— Господин адмирал! Вам известно, что Бергер исчез?

Эмми отдана в воспитательный дом. Он совещался с Гиммлером и клянется, что Бергер дал себя перевербовать Ширвиндту, а затем, извлекая двойной барыш,— Лусто.

— Обвинение в измене?

— Оно касается вас... и меня.

— Вас — нет. Успокойтесь, Вальтер. Кальтенбруннер не сказал ничего нового. У него все, кто имел несчастье выпить в моем обществе хотя бы стакан водопроводной воды, государственные преступники, а сам я изменник, враг, лакей англичан и американцев... Бергер — образец офицера, исполняющего долг по кодексу чести!

— Господин адмирал! Дайте адреса. Дайте — мы выйдем на Бергера, и подозрения рухнут.

Канарис выразительно разводит руками, и Шелленберг понимает — это правда: адресов нет. На всякий случай он повторяет:

— Мы оба заинтересованы,— но в голосе его нет ни веры, ни надежды.

— Прискорбно, но я бессилен,— говорит Канарис.— Другого на вашем месте я заподозрил бы в стремлении прибрать подешевле к рукам то, что является личным достоянием начальника абвера и его страховым полисом на черный день. Однако вам мне хочется верить, Вальтер; и тем не менее я вынужден ответить: нет. Бергер всегда готовился сам... Вальтер! Вы можете помочь его семье? Вы поможете ей?

— Да! — уверенно говорит Шелленберг, принимая решение не вмешиваться ни во что.— Ширвиндта поручили мне, и, следовательно, я имею повод...

— А Париж? Вам подчинили Рейнике?

— К счастью.

— Вы с ума сошли!..

— Да. И он и его люди. Есть основания думать, что полковник Бергер решил отсидеться в Швейцарии до лучших дней.

— Абсолютная чушь!

Канарис прикрывает ладонью глаза, и Шелленберг замолкает.

— Чушь! — раздельно повторяет Канарис.— Кто так считает?

— Кальтенбруннер. Скажу больше: за день до Бергера скрылся Ширвиндт. Обергруппенфюрер связывает эти события, полагая, что полковник столковался с русскими... Господин адмирал, поймите меня правильно, я не посмел бы... это не допрос, но дело чести вашей и моей...

— Я вас не узнаю. Вы запинаетесь?

— Прошу вас — мне нужны адреса. Все адреса явок Бергера в Женеве, его почтовые ящики, личные шифры — словом, все.

— А если их нет? — медленно говорит Канарис.

— Тогда Кальтенбруннер поднимет вой. Эрнст уже арестовал его жену, а маленькая

— К несчастью, Вальтер!

Канарис жует губами, словно разделывается с невидимым перепелиным крылышком.

— Хотите совет друга, Вальтер? Отзовите Рейнике, и без колебаний! Он слишком близок к Кальтенбруннеру, чтобы хорошо служить вам. Впрочем, мне все равно. Я очень болен, Вальтер,— по утрам лежу в ознобе, никак не согрею ноги... Сердце и старость, да?.. И знаете, Вальтер,— хотите верьте, хотите нет — я убежден, что Юстус Бергер, как скороход, опередил меня и сейчас стучит в ворота святого Петра, предупреждая о скором моем приходе. Что вы делаете?

— Стучу по дереву, господин адмирал. Дай бог, чтобы не сбылось.

В шинели, накинутой поверх халата, Канарис провожает Шелленберга до шоссе. Зеппль семенит рядом. Старик с собакой — оба умные, одинокие и настороженные.

Канарис вскидывает руку в приветствии; шинель сползает у него с плеча, обнажая острую ключицу.

— Да, Вальтер... Забыл. Последняя просьба.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 24—27, 29—32.

Сегодня я решительно злоупотребляю вашей добротой, но, боюсь, другого случая у меня не будет. Так вот, если Мюллер решится арестовать меня, любым способом добейтесь, чтобы послали вас. Пусть это будете вы!.. Хайль Гитлер!

...Ровно пять месяцев спустя Шелленберг вспомнит этот разговор. 23 июля обергруппенфюрер Мюллер, назначенный Гитлером председателем Особой комиссии по делу о покушении, пришлет его на виллу с приказом об аресте. Канарис встретит его в дверях.

— Я был уверен, что это будете вы! — скажет он с хладнокровной улыбкой.— Спасибо, мой молодой друг.

25. Март, 1944. Парюк, Сен-Жермен де Прэ.

Особнячок мадам де Тур в предместье Сен-Жермен де Прэ не принадлежит к числу наследственных владений, и это создает вокруг него маленький вакуум, заставляя мадам страдать втихомолку. На вежливые приглашения, посланные Аннет де Тур, аристократы отвечают отказами, тем более пренебрежительными, что даются они в самой безупречной форме. Лютце практичнее жены и предпочел бесплодным попыткам сблизиться с титулованными соседями знакомства с чинами германской администрации, и скоро особняк де Тур стал чем-то вроде клуба, где бывают военный комендант Парижа генерал Боккельберг, генерал полиции Кнохен из СД, а иногда, если есть время отдохнуть, заезжают военный губернатор Северной Франции и Бельгии Александр Фалькенхаузен и Генрих Штюльпнагель — командующий 17-й армией и оккупационными войсками. Впрочем, все эти господа обременены заботами и собираются под крышей особняка нечасто; обычно на вечерние приемы сюда стекаются чиновники комендатуры, эмиссары Риббентропа и сослуживцы Лютце по «Арбайтсайнзатц».

Бывает и Жак-Анри — редко, когда убежден, что не увидит знакомых.

Бернгардт Лютце после подписки как-то сразу примирился с новым своим положением информатора секретной службы и, считая, что имеет дело с англичанами, хлопочет об одном — чтобы в случае чего Жак-Анри переправил его и Аннет через Ла-Манш. Мадам с ним не согласна:

— Лучше в Швейцарию. Англосаксы такие чопорные, на все пуговицы...

Метаморфозы с внешностью Жака-Анри больше не вызывают у Аннет повышенного любопытства, она и Лютце с некоторым трудом, но привыкли называть его мсье Дювалем, и Жак-Анри приходит, держится скромно, играет в карты и слушает...

Вечер едва начался, когда Жак-Анри вылезает из наемного экипажа и, дав кучеру мелочь «на овес», горбясь и подволакивая ногу, входит в гостиную.

Аннет де Тур протягивает пальчики для поцелуя, а Бернгардт, взяв под локоть, ведет его к гостям. Их двое — штатские немцы, только что приехавшие из Берлина, о чем Лютце шепотом сообщает еще в дверях.

— Редактор Дюваль.

Немцы скованно отвешивают поклоны.

— Гаммерштейн.

— Цоллер.

— Финансы и промышленность,— комментирует Лютце.— Господин Гаммерштейн работает у Функа, в рейхсбанке, а господин Цоллер представляет концерн Круппа.

Немцы молчат, и Жак-Анри молчит, лишь Аннет пытается организовать общую беседу, рассказывает о последних новостях, о ценах на антиквариат и предметы искусства, однако гости не выказывают интереса ни к новостям, ни к ценам. В их памяти еще свежи инструкции службы безопасности о поведении граждан империи на оккупированной территории.

— Расскажите нам о Тулузе, мсье Дюваль,— просит Аннет.

— С охотой,— говорит Жак-Анри, соображая, что приехал напрасно.— Но о чем именно?

Бернгардт, пытаясь спасти вечер, разливает вино.

— Шамбертен, господа? Или покрепче?

— А нельзя ли...— Цоллер щелкает пальцами, вспоминая название.— Ах, да, анисовая!

— Это что? — интересуется Гаммерштейн.

— Водка.

— Самая дешевая и скверная,— добавляет Жак-Анри, заставляя Цоллера покраснеть.

Надо изобрести предлог и распрощаться. Оба гостя не в том состоянии, когда от них можно ждать рассказов: весь вечер проболтают о выпивке, осторожно посмеются над геморроем министра Функа, съедят все, что Лютце предложит, и разъедутся, чтобы по возвращении в Берлин развлекать домочадцев историей о том, как французская дворянка из известной фамилии прислуживала им за столом...

— Может быть, экзэртэ, господа? — предлагает Лютце.

Гаммерштейн откликается стандартным вопросом:

— Это что?

— Коммерческая игра,— успокаивает Лютце.— Вполне солидная. Но вы не играете?

— Только в покер и шмен-де-фер.

— Да, думать там не надо! — говорит Жак-Анри с таким благожелательством, что Гаммерштейну трудно распознать издевку.— Машинка все делает за тебя: нажал, выбросила карту и сама решила, что дать — очки или «баккара». Главное — не прикупать к девятке.

— Остроумно,— бормочет Гаммерштейн.— В таком случае я за покер.

— А вы, господин Цоллер?

— Я, пожалуй, пойду. После дороги я дурно чувствую себя, господа. Надеюсь, хозяева меня извинят?

Что же, не всегда день дает нужных собеседников. Информация не течет в руки, ее ищут, ищут по крохам. Жак-Анри голоден и поэтому задерживается. У мадам за игрой подают бутерброды с пфальцской ветчиной и руанскими колбасами.

— Аннет, вы составите нам компанию? — спрашивает проводивший гостя Лютце.

— Я должна распорядиться. И потом, я обещала редактору показать картину в малой гостиной — мне все же кажется, это не Матисс.

— Хорошо, Аннет, но возвращайтесь поскорее. Мы с Вильгельмом выкурим по сигаре.

В малой гостиной улыбка покидает лицо мадам. Оно становится тусклым и жалким.

— Дюваль, дорогой, Бернгардт так волнуется... Он извел меня разговорами о Швейцарии. Ускорьте наш отъезд.

— Что за срочность?

— Не будьте жестоки — мы оба не выдержим. Вчера приезжал Кнохен, и Бернгардт стал пить с ним и напился. Он боится, он всего боится.

— А вы?

— Я тоже. Может быть, даже больше Бернгардта. Но я француженка!

— Ваша кузина была храбрее. Не обижайтесь, Аннет. За Францию надо бороться.

— Бельфор? О да! Она была храбра. Потому ее и расстреляли. В память о ней я и помогаю вам!

Жак-Анри наклоняется и, едва касаясь пальцев губами, целует руку мадам де Тур.

— Такой вы мне больше нравитесь, Аннет — сердитой. Можете потерпеть еще немного? Ради Франции. Вам ничто не угрожает.

— Но Бернгардт...

— Поговорите с ним еще раз. Скажите в конце концов, что под списками «иностранных рабочих» слишком часто стояла его подпись. Тысячи из них погибли, а выжившие могут спросить после победы: почему этот человек жив?

Мадам подносит к глазам платок.

— Мне страшно.

«А мне? — думает Жак-Анри.— Если б она догадывалась... Да я уже и забыл, когда жил без страха — сплю с ним, хожу с ним, ем, говорю, работаю — все с ним... Сюда ехал — разве не боялся? Ну, честно, самому себе: боялся! Все кажется: а вдруг... А по улицам ходить? Кто-то знает меня по «Эпок», другие — по АВС, сотни бывали в антикварной лавке — я их всех и в лицо-то не помню! Иду и жду, что окликнут и — в гестапо!..»

— Я обещал,— повторяет он и пожимает руку Аннет.— Гаммерштейн истолкует наше отсутствие на свой лад, и Бернгардту это не понравится. Пойдемте?

— Да, да,— говорит мадам, отвечая на пожатие.— Возьмите это.

— Опять записываете, Аннет! Сколько раз...

— Мы боимся перепутать. Бернгардт достал вам данные в штабе Боккельберга.

— Только о пехоте?

— Нет, там в конце и об аэропланах.

— Пусть полежит в вазе внизу. Я возьму, когда буду уходить. Скажите, пожалуйста, Бернгардту, что мне хотелось бы получить все, что удастся, о планах летней кампании.

Они еще стоят несколько минут перед картиной Матисса — отчужденные, занятые своими мыслями. Мадам де Тур держится прямо; Жак-Анри горбится: ноги у него болят, и он жалеет, что оставил внизу трость.

— Останетесь на игру? — говорит мадам и поднимает на Жака-Анри уже прозрачные, совершенно беспечальные глаза.

— Без четвертого?..

— Немного позднее приедет мой дальний родственник — очень дальний, я даже и не помню, в каком мы родстве.

— Я знаю его?

— Нет. Он у нас почти не бывает. Он финансист или что-то вроде этого, а мой Лютце уважает или соотечественников, или тех, кто носит титул.

— Тогда я откланяюсь, надо проститься...

В гостиной, где горят бра и большая люстра из горного хрусталя, гораздо светлее, чем в коридоре, освещенном старинными рожками, и Жак-Анри, пропуская вперед Аннет, на какое-то мгновение мешкает, задерживается у кромки узорчатого паркета.

Две молнии — два взгляда.

Лютце, Гаммерштейн и третий — Гранжан... Жак-Анри кланяется с порога и говорит, покашливая в платок, будто сам собой скользнувший в руку из внутреннего кармана:

— Господа нас извинят?.. Мадам?

Слова — первые, что пришли на ум.

За спиной Аннет Жак-Анри поворачивается и идет по коридору, на площадку, к лестнице, ведущей в вестибюль. Ноги сами несут его... Так уже было — в раннем детстве, когда яблоки, сорванные в соседнем саду, холодили тело за пазухой, а бег кончался головокружением, после которого качаешься как дурной... Все возвращается, повторяясь: страх и тяжесть в ногах. Но в детстве все иначе, и после наказания яблоки не кажутся кислее... Жак-Анри останавливается и поджидает Аннет.

— Гранжан — ваш родственник?

— Вы знакомы?

— Да, и боюсь, что он узнал меня. Послушайте, Аннет! Придумайте что угодно, объясните мой уход вызовом по телефону или чем-нибудь еще, но держитесь настороже. Ваш Гранжан — кагуляр. Не знали? Он может плюнуть на родство и вызвать сюда гестапо.

Мадам де Тур подносит руку к губам.

— Гестапо?

— Где записи Бернгардта? Быстрее, Аннет. Постарайтесь не подпускать Гранжана к телефону. Может быть, он и не узнал меня... будем надеяться... Завтра приходите в кафе... Или нет. Я найду способ с вами связаться.

На улице Жак-Анри никак не может надышаться воздухом. Гранжан — родственник мадам де Тур! Ну и переплет! Что было бы, узнай он в редакторе Дювале генерального директора АВС мсье Дюрана?

Весенний остренький мороз подернул тротуар пленкой непрочного льда. Ноги Жака-Анри скользят, трость высекает кристаллы, крупные, как фальшивые бриллианты. Ни такси, ни ландо, как назло... Лютце, ни о чем не предупрежденный, мог назвать Гранжану имя гостя — Дюваль... Что тогда?..

Жак-Анри солидно, с достоинством постукивает по плитам тростью. Сен-Жермен де Прэ — самое аристократическое место в Париже. Ходить по его тротуарам с неприличной поспешностью — все равно, что резать за столом рыбу ножом или чистить спаржу. Ажаны — а они на всех углах — охраняют ночной покой предместья, и Жак-Анри нащупывает бумажник с пропуском.

26. Март, 1944. Париж. Булонский лес.

План Парижа, циркуль, флажки на подставочках... Мейснер с деловым видом изучает свое хозяйство, не забывая время от времени строго поглядывать на Родэ.

— Фельдфебель! Вы что, спите?

— Никак нет, господин лейтенант.

— Запросите обстановку на рю ль'Ординер.

Родэ — голова в наушниках — дует в микрофон рации дивизионной связи, переключает тумблер и монотонно бубнит:

— Я Родэ, я Родэ... Закс, лейтенант запрашивает обстановку... Ну? У нас тоже дождь.

Щелчок. Сопение. Ответ:

— Без изменений, господин лейтенант.

Третьи сутки — и «без изменений». Скрытые посты гестапо и полиции, ведущие наблюдение за АВС, антикварным магазином, особняком де Тур в Сен-Жермен де Прэ и подъездами домов на рю Боссэ и рю д'Альжери, не радуют новостями. А сколько было надежд! Мейснер, получая приказ Рейнике об организации слежки, продумал, казалось бы, все. Райле выделил ему нужное количество раций, Шустер откомандировал Родэ, а бригаденфюрер лично обеспечил группы достаточным количеством легковых машин.

...Все началось с Гранжана. Райле привез его в Булонский лес, предварительно выдав чек на аппетитную сумму. Рейнике, выслушав рассказ, добавил свой — на вдвое большую. Сказал:

— Помогите найти Дюрана.

Гранжан независимо закинул ногу на ногу — стены гестапо, где многие съеживались и вели себя скромнее скромного, не произвели на него впечатления.

— Все, что мне известно, я изложил, господа. Я бухгалтер, а не детектив.

Гаузнер поморщился.

— Когда вы видели Жюля Дюпле в последний раз? Постарайтесь быть точным.

— Давно... Нет, не вспомню. Может быть, потом... Я мельком видел его в антикварной лавке.

— Адрес помните?

— Где-то на улице Ординер. Право же, господа, вы многого от меня хотите!

Рейнике вложил чек в конверт, протянул Гранжану.

— Вы себя недооцениваете, милейший. У вас большое будущее.

— Не понял!

— Полковник Райле взял у вас подписку?

— Вы оскорбляете меня!

Мейснер, сидя за шведским бюро Гаузнера, подумал, что Гранжан похож на крокетный мяч. Рейнике и не таких загонял в «ворота». В принципе он мог бы обойтись и без чека: субъекты, подобные Гранжану, чаще идут на вербовку по «идейным» соображениям.

— Милейший Гранжан,— сказал Рейнике и стал снимать с рукава пушинку.— Вы, по-моему, не из тех, у кого слова опережают мысль. Быть нашим союзником — разве это плохо? Марксизм одинаково противен вашим воззрениям и нашим политическим принципам, выходит, мы где-то смыкаемся, ведь так?

— О, не во всем! — быстро сказал Гранжан.

— Вы считаете Дюрана врагом Франции?

— Безусловно!

— Мы тоже. Что же вам мешает?

...Из штаба Гранжан вышел с двумя чеками и псевдонимом, и Гаузнер, внося его в агентурный реестр, посоветовал звонить почаще в Булонский лес.

Гранжан позвонил в первых числах марта, ночью:

— Я его видел.

— Кого? — не понял сонный дежурный.

Гранжан объяснил, сказал, что дело срочное, но дежурный гауптштурмфюрер ограничился тем, что сделал запись в журнале и предложил позвонить еще разок — утром.

Мейснер давно уже не видел, чтобы Рейнике бушевал так долго. Гаузнер отправил гауптштурмфюрера на гарнизонную гауптвахту СС и вызвал взвод фельджандармерии, чтобы ехать в Сен-Жермен де Прэ.

— Они у меня заговорят...

— Информируйте уполномоченного СД в «Арбайтсайнзатц»,— сказал Рейнике.— Пусть понаблюдает за Лютце.

— Вы против ареста, бригаденфюрер?

— Только этого не хватало! Позовите Гранжана, Мейснер.

Мейснер выглянул в коридор, крикнул:

— Зайдите!

— Простите, Гранжан, что пришлось ждать. У нас мало времени, и я прошу вас коротко — очень коротко — ответить: вы не обознались?

— Нет... Лицо как будто чужое, но это он!

— Аннет де Тур — ваша родственница? Близкая?

— Очень дальняя.

— Ее взгляды, убеждения? Могла она знать, кто такой Дюран?

— Теперь он не Дюран, а Дюваль, редактор из Тулузы. Что же касается Аннет, то она, насколько я помню, всегда была вне политики.

К середине дня с Кэ д'Орфевр поступили данные, что редактор Дюваль проживает на рю Вандом. Мейснер с нарядом ринулся туда, но квартира была пуста — Дюваль не ночевал. Наряд засел в квартире и привратницкой, предварительно отправив консьержа в Булонский лес. Гаузнер предложил информировать Берлин, но Рейнике так посмотрел на него, что комиссар осекся.

День выдался бурный. В сумерках приехал расстроенный Шустер: его пеленгаторы вышли на рации Леграна сразу по двум адресам — на улицах Боссэ и д'Альжери. Команды СС обыскали здания от подвалов до чердаков; наткнулись на запертые квартиры и, выломав двери, обнаружили брошенные передатчики. Радисты ушли одинаковыми путями — по водосточным трубам и крышам. Кто-то их, несомненно, предупредил по телефону.

Шустер выпил две большие чашки кофе и, расстегнув мундир, прилег на диванчик в комнате Мейснера. Лейтенант принес ему подушку, спросил:

— Господин майор подремлет?

— Нет,— сказал Шустер, зевая, и тут же тоненько засопел.

Мейснер накрыл его своей шинелью, осторожно поправил плоскую подушку, взятую во взводе охраны. Шустер чмокал во сне губами и дергал рукой; на рукаве мундира вермахта чернел винкель с серебряным шитьем СД: майор пришил его в первые же часы после прихода приказа о слиянии абвера с Управлением-VI РСХА. «Ловко,— подумал Мейснер.— Пора и мне брать свое».

Сколько лет он жил надеждами? Не сосчитать. Другие делали карьеру, становились май-

орами и штурмбанфюрерами, а он, Мейснер? Железный крест второго класса и лейтенантский чин?.. Сейчас или никогда!

Где-то близко к полночи его вызвал Рейнике. Мейснер попросил пять минут, получил их и за это время успел побриться, протереть лицо, шею и уши одеколоном. Смочив расческу водой, гладко уложил волосы.

— Завидую,— сказал ему Рейнике.— Вот что значит молодость. Все успевает. Нам бы такую энергию, Гаузнер, а?

— Пусть применит ее на деле,— сказал Гаузнер.— Вы молоды, лейтенант, и выносливы. И, по-моему, у вас есть здоровое стремление сделать карьеру.

— Бригаденфюрер не ошибется во мне, если поручит...

— Да, Мейснер. Я понимаю. Объясните ему, Фридрих.

Гаузнер выплюнул в цветочный горшок кончик изжеванной сигары.

— Придется не поспать, мой милый. Может быть, неделю, а может, и больше. Понимаю, это не очень приятно, но тем не менее необходимо. И полезно для служебного продвижения. Уловили, Мейснер?

— Не совсем.

— Совсем и не требуется... А в общих чертах будет так. У всех домов, где может появиться Легран, поставим закрытые посты; где-нибудь поблизости сунем машины с рациями, а вы и сменные операторы сядете на связь с ними. О любом сигнале тут же доложите бригаденфюреру или мне. Но тут же, а не через пять минут!.. Ну вот. А теперь можете, если хотите, произнести речь, что не подведете и оправдаете высокое доверие.

...Сигналов пока нет. Скрытые посты каждые тридцать минут в строгой очередности вызывают Булонский лес, но не дают лейтенанту повода снять трубку внутреннего телефона. Иногда он и сам запрашивает обстановку, с особым пристрастием относясь ко всему, что исходит из Сен-Жермен де Прэ, однако старшие постов отвечают стереотипной фразой: «Без изменений».

Сколько еще ждать? Неделю? Век? А если этот Легран-Дюваль не придет вообще?.. Мало-помалу Мейснеру начинает казаться, что он — в который раз! — промахнулся, оказавшись вне главных событий. Думая об этом, лейтенант переставляет флажки и промеряет расстояния циркулем.

— Фельдфебель! Запросите Сен-Жермен де Прэ!

— Да, господин лейтенант. Сен-Жермен де Прэ... Виноват, они сами вызывают нас. Я Родэ, я Родэ! Здесь господин лейтенант Мейснер. Повторите, пожалуйста.

Мейснер, забывшись, держит флажок в кулаке.

— Принято,— бубнит Родэ, сдвигая наушники.— Хозяйка вызвала по телефону такси и едет на Северный.

Мейснер берется за трубку, стучит по рычагу, подгоняя телефониста на коммутаторе.

— Гаузнера!.. Господин комиссар, Сен-Жермен де Прэ сообщает, что де Тур заказала такси, чтобы ехать на вокзал. На Северный вокзал.

Гаузнер долго молчит, спрашивает:

— Когда?

— Я не уточнял. Связаться с ними?

— Нет. Ваше дело сидеть и слушать!

Мейснер опускает трубку на вилку и тут же поднимает ее — звонок, но это не Гаузнер и не Рейнике: оберштурмфюрер Нельте, дежурный по штабу и единственный приятель Мейснера.

— Да,— говорит Мейснер разочарованно.

— Ты один? Слушай, Отто, не повторяй вслух то, что я скажу. Потрясающая новость! Несколько минут назад прилетел Шелленберг. Мне позвонили с аэродрома и затребовали охрану для него. Цени мою дружбу, Отто, и держи глаза открытыми!

— Спасибо,— говорит Мейснер с чувством и машинально оправляет мундир.

Старая сплетня о распрях Шелленберга и Рейнике приходит ему на ум, и лейтенант неожиданно для самого себя подмигивает изумленному Родэ. «Боже, будь милостив и дай мне случай!» — думает взволнованный Мейснер.

Окончание следует.

Дом без ключа

Ал. АЗАРОВ,
Вл. КУДРЯВЦЕВ

Рисунки И. УШАКОВА.

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

27. Март, 1944. Париж, Булонский лес — отель «Лютеция».

Гороскоп предвещал беду, и она, кажется, стряслась. Рейнике, закрывшись на ключ, тяжело, с усилием обдумывает разговор. Шелленберг пробыл в Булонском лесу не дольше получаса и сразу же уехал в «Лютецию», приказав чинам штаба прибыть туда же в 15.15.

Рейнике ощупывает небритые щеки и помазком взбивает мыльную пену в фаянсовой мисочке. На мисочке — бордюр из цветов и готическая надпись: «Не спеши — порежешься!» Как в берлинском трамвае: «Не дергай дверь — сломает руку». Пустые, запоздалые предостережения, бросающиеся в глаза тогда, когда поздно что-либо поправить.

Скоро ничего не будет — ни особняка в Булонском лесу с коринфским ордером на колоннах, ни фаянсовой мисочки с бордюром — в новом месте больше пригодится металлическая. Надо купить перед отъездом, и хорошо бы достать дюжину шелкового белья.

С намыленной щекой Рейнике идет к телефону.

— Дежурный? Здесь Рейнике. В четырнадцать сорок пять подадите к подъезду машину. И вызовите мотоциклистов для охраны.

Все будет торжественно — похороны по первому разряду, с эскортом и проникновенными речами. Но как же так — почему не вступился Кальтенбруннер? Эрнст не бросает друзей в беде, и власти у него достаточно, чтобы отстоять своих где угодно, включая канцелярию рейхсфюрера СС. Частное письмо Эрнста, переданное Шелленбергом, ничего не объясняет: светские слова и пожелание беззаботно отдохнуть перед работой на новом поприще.

Бритва, тихо шипя, снимает пену и волоски. Рейнике сильными движениями пальцев разминает лицо, словно пытается вылепить другое, веселое.

Вылив в ладонь одеколон из квадратного флакона, Рейнике массирует щеки, сушит их ломкой от крахмала салфеткой. Снизу, от подъезда, доносятся слова команды — дежурный вывел солдат на развод; сапоги так согласованно и дружно стучат по асфальту, что вспоминаются нюрнбергские парады: Рейнике маршировал тогда впереди своего «бана» — молодой, легконогий, с аксельбантами у правого плеча.

Сколько воды утекло с тех пор!..

«Я должен улыбаться,— думает Рейнике.— Шелленберг не заслужил удовольствия видеть меня растерянным или мрачным. Да и он ли виноват?»

Утром разговор не занял и получаса, отмеренного Шелленбергом на визит.

— Кто меня спихнул? — в лоб спросил Рейнике, прочитав письмо Кальтенбруннера и вложив его в конверт.

— Это называется перемещением,— поправил Шелленберг.

— Здесь нет третьего!

— И все равно — перемещение. В генерал-губернаторстве[1] сейчас, как никогда, нужна сильная рука и ваша непреклонная воля, Рейнике.

— О, я так и понял! Польша... Только не добавляйте, пожалуйста, что варшавянки милы.

— Для галантных бесед у меня нет времени,— отстраненно сказал Шелленберг.— Мы не на балу в Версале, и вы не моя дама... Чего вы, собственно, ждали, Рейнике? Оваций? Два года целый штаб возится с резидентурой Леграна, заверяет РСХА и самого фюрера, что вот-вот разгромит ее — не на этой неделе, так на следующей, и после этого вы думаете, что я привезу вам рыцарский крест?

— А если я попрошу именно неделю?

— У вас ее нет и не будет.

— Но пять адресов и Луи Андрэ — разве не перспективы?

— Как посмотреть...

В Рейнике заговорило упрямство.

— Бригаденфюрер! Я боюсь, что угадаю, назвав сейчас настоящую причину. Вы получили абвер и оказались в роли человека, унаследовавшего тигра. Вермахт не очень-то любит СС — так? Вот вы и стараетесь задобрить своего зверя, суете ему меня. На, миленький, жри, хрусти косточками, только служи мне и не скаль клыки. Не потому ли вы покрыли Бергера?

Шелленберг достал платок и, подышав на перстень, стал протирать камень.

— Ну, ну... Продолжайте.

— Бергер бежал в Швецарию уже при вас!

— Бежал? С чего вы взяли?.. Вы отстали от событий, Рейнике. Бригадный полковник Лусто вернул Мильмана и Кунца — телохранителя Бергера. Рейхсминистр фон Риббентроп распорядился немедленно через статс-секретаря снестись с правительством Конфедерации и, принеся извинения, обеспечить отъезд швейцарского гражданина лейтенанта Меркеля на родину. Отъезд, а не выдворение!

— Браво! А где же все-таки Бергер? И как поживает «Геомонд»? И чем вы объясните, бригаденфюрер, тот факт, что дешифровальная служба обнаружила в телеграммах Леграна ссылку на нового информатора «Макс через Вальтера»? Вальтер — это Ширвиндт, а кто Макс?.. Пять телеграмм с крупной информацией, вполне достоверной и очень быстро проделавшей путь из Берлина в Женеву, а оттуда через Париж в Москву.

— Только пять?

— Легран опять все изменил, и Шустер пока бессилен.

Шелленберг на миг оторвался от перстня.

— Точное слово — бессилен. И он, и вы, и Гаузнер. Не камуфлируйте, Рейнике, вы же не художник. Пусть живописцы приукрашивают мир и из уродов делают херувимов. Телеграммы, пять ваших адресов, Лютце, Луи Андрэ — со всем этим надо работать. Ответьте положа руку на сердце: не бьется ли оно сейчас облегченно при мысли, что для вас все позади?

— Нет, бригаденфюрер. И еще раз — нет! Мой преемник придет на все готовенькое: засада на рю Вандом, наблюдение за Лютце и де Тур, радист, который не сегодня-завтра будет давать показания. Он прихлопнет Леграна, и вы, разумеется, тут же забудете, что все это подготовил я! Я!

— Два года готовили?

Шелленберг произнес это почти шепотом, и Рейнике с некоторым испугом увидел, как толстая, пульсирующая жила вспухла на его лбу.

— Два года... Пять телеграмм... Рейнике, вы хорошо спите? Вас не мучают кошмары, когда вы подсчитываете, сколько вообще телеграмм ушло в Центр от Леграна?.. И после всего этого вы еще смеете что-то лепетать о подготовленных вами победах. Фюрер, если узнает всю правду, прикажет расстрелять вас как врага рейха! Вы это понимаете?.. Видит бог, я не хотел острых углов. Вы сами вынудили меня говорить правду...

Жила на лбу Шелленберга шевелилась, как гусеница, толстые бока ее вздувались и опадали — гусеница задыхалась от всосанной крови.

— Я могу заехать в Берлин? — спросил Рейнике.

— Конечно.

Шелленберг встал — молодо и быстро. Лоб его разгладился.

— Рейнике... Старый товарищ, ты не должен обижаться! Не говори ничего и слушай. Легран сидит как бельмо на глазу у всех. Ты, очевидно, не знаешь, что фюрер и среди ночи звонит Кальтенбруннеру, и Эрнст не пожертвовал тобой, а спас тебя. Польша не самое худшее; я знавал бригаденфюреров, получивших полки в дивизиях СС и благодаривших Гиммлера, что он не поставил их на роты. Наши ранги — условность, не больше; реальны только победы. Дай мне Леграна, и ты в седле. Дашь?

— Кто будет вместо меня?

— Временно Гаузнер.

— Жертвенный бычок?

— Следующая неделя покажет. Если де Тур, Лютце и Андрэ выведут на Леграна, я повторю Гиммлеру твою фразу о том, кто пришел на готовенькое. Если же нет, то за провал подготовленной бригаденфюрером Рейнике операции кому-то придется ответить сполна... Когда ты едешь?

— Если позволите, сегодня.

— Отлично!.. Жди в три пятнадцать, в «Лютеции»!

...В отеле мало что изменилось — разве что охрана: внизу дежурят солдаты СС во главе с молоденьким и строгим шарфюрером. Он, словно впервые видя Рейнике, долго проверяет его документы, переводит взгляд с лица на фотографию и, жизнерадостный, готовый сменить серьезность улыбкой, вскидывает пальцы к козырьку:

— В порядке, бригаденфюрер!

— Хорошо служите,— говорит Рейнике и стеком касается пряжки на его поясе.— Чуть туже ремень, шарфюрер!

Мотоциклисты, спешившись, толпятся в вестибюле. Рейнике оборачивается и бросает через плечо, царапая подбородок о шершавый погон:

Окончание. См. «Огонек» №№ 24 — 27, 29 — 33.

[1] Так гитлеровцы именовали оккупированную Польшу.

— Свободны!

В приемную перед кабинетом Райле, занятым Шелленбергом, Рейнике входит за несколько минут до срока. Здесь тоже все как было — «омега» в простенке, зачехленная люстра, адъютант, слившийся со столом. Рейнике пожимает руки собравшимся и ищет Гаузнера. Где комиссар, в кабинете?

15.15.

Рейнике вспоминает, что прежде часы всегда врали; сверяет со своим «Лонжином» — точно. Адъютант встает и неслышно идет к двери: толстая дорожка скрадывает его шаги, но даже без нее он, как любой штабист, умеет передвигаться, словно летать — мотылек в погонах.

— Бригаденфюрер просит господ войти!

Кроме Шелленберга, в кабинете ни души, и Рейнике, ожидавший увидеть Гаузнера, озадачен. Впрочем, он и виду не подает, сердечно жмет руку Шелленбергу и по его молчаливому сигналу садится первым — справа у стола. Несколько секунд шарканье и скрип сливаются в тот особый, трепетный шумок, который свойствен похоронным церемониалам и приемам у высоких особ; потом все стихает, и Шелленберг без предисловий открывает совещание энергичной, рассчитанной на полное внимание фразой:

— Положение очень тяжелое, господа!

Тишина и новая фраза, туго связанная с другими:

— В ином месте и при ином составе слушателей я формулировал бы иначе. Но с вами я буду откровенен. Военная обстановка сложилась не в нашу пользу, и фюрер неоднократно требовал от всех нас максимального напряжения усилий. Дело идет о жизни и смерти национал-социалистского государства, о жизни и смерти наших идей... О чисто военной обстановке нам позднее доложит генерал фон Арвид из штаба генерала Штюльпнагеля, я же буду говорить о том, что непосредственно касается сидящих здесь и связано с выполнением ими своего долга перед фюрером, нацией и империей. Начну с того, что в тяжелый для родины час рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер принял ответственное решение укрепить тылы армий в генерал-губернаторстве и направляет туда своего верного соратника, старого члена партии бригаденфюрера Рейнике. Позже, господа, вы будете иметь возможность принести ему свои горячие поздравления по этому поводу. А сейчас — о положении здесь, господа. Оно из рук вон плохое. Рейхсфюрер Гиммлер аттестовал его как преступно плохое, я же добавлю к этой оценке справедливые и объективные слова обергруппенфюрера Кальтенбруннера, назвавшего беспрецедентную историю с поисками Леграна профессиональным, политическим и моральным крахом тех, кому этот поиск был доверен. Что случилось, господа офицеры? Я повторяю вопрос, адресую его вам, стражам интересов рейха: что с вами случилось и почему вы утратили страстность, боевитость, нюх? Кто повинен?.. Я знаю, кое-кто из вас сейчас мысленно подсчитывает, что сделано: суммирует число арестованных, вспоминает полученные показания и так далее. Самообман это, господа! Где Легран? Где источники? Где рация, наконец?! Вы два года возитесь с ними, добиваясь частных удач, а при неудачах обвиняя друг друга, объективные условия, небо и плохую погоду. И что же? Легран оказался сильнее вас всех, сильнее могущественного аппарата! Я говорю: любой, кто не чувствует себя способным к работе, должен немедленно подать рапорт и будет смещен! Обещаю, что смещением и ограничится строгость наказания. Но горе тем, кто не найдет в себе мужества признаться в слабости и замедлит в будущем наш марш к цели. Пусть стреляется сам, не ожидая суда, ибо другого приговора, кроме смертного, не последует... Курите, Рейнике. Можете курить и вы, господа.

Переход так внезапен, что Рейнике вздрагивает. После барабана — флейта, и звуки вносят в мелодию совещания почти болезненный диссонанс. Шелленберг протягивает ему портсигар, и Рейнике, выбрав сигарету, тихо спрашивает:

— Где Гаузнер?

— В Булонском лесу. С ним я поговорю позже.

— Де Тур нельзя трогать.

— Ему это известно.

Пользуясь паузой, офицеры шушукаются, но некоторые молчат, курят или читают бумаги. Мейснер тянется к Шустеру, что-то говорит на ухо; бывшие абверовцы сидят тесной группкой в конце стола и перебрасываются короткими фразами. Серые мундиры отутюжены, как на парад, и Рейнике догадывается, что каждый из этой группы ждет себе приговора.

Шелленберг ногтем мизинца изящно стряхивает пепел в бронзовый бочонок. Встает.

— Несколько практических вопросов, господа. Служба радиоперехвата, начнем с вас. Что может сказать майор Шустер о рациях? Сидите!

— Рации не пеленгуются. С начала марта, бригаденфюрер.

— Молчат или работают с ухищрениями? Я жду честного ответа.

— Легран всегда был изобретателен.

— Спасибо, Шустер. Служба криптографии... Или нет. Я спрошу вас позднее. Сначала сделаем так: вам, господа, раздадут бюллетень о положении дел на сегодня — там суммировано все, что мы имеем. На полчаса прервемся, и каждый из вас представит мне письменные соображения по тем проблемам, которые касаются его подразделения. Работать будете здесь.

Пожилой, совершенно седой подполковник, точно школьник, поднимает руку.

— Ответ будет поверхностным, бригаденфюрер.

— Зависит от вас.

— Зачем? — шепотом спрашивает Рейнике.— Они мало что успеют.

— По векселям платят,— так же тихо отвечает Шелленберг.— Я их заставлю работать, черт подери!

Рейнике глубоко затягивается и, сложив губы дудочкой, выпускает дым. Струйка уносится к потолку, к золоченым плафонам и люстре. Высокий потолок... Белые стены, длинные спинки кресел, безбрежный стол... Здесь, в этом зале, год назад генерал фон Бентивеньи неожиданно зачитал декрет, которым Рейнике присваивался ранг бригаденфюрера. Здесь его поздравляли, пророча стремительный взлет...

«Вечером уеду,— думает Рейнике и, веселея, оглядывает склоненные головы офицеров.— Скрипите перьями, мои милые. Торопитесь — ваш поезд тоже стоит у платформы. Только куда поедете вы?»

Шелленберг подвигает ему бочоночек.

— Стряхни пепел. Ты слишком задумался. О чем?

— О польках,— холодно говорит Рейнике.— Если верить молве, они сказочно милы.

— Странно,— с загадочной усмешкой откликается Шелленберг.— Ты говорил о женщинах, и я вдруг вспомнил жену Бергера Лизель. Ты знал ее?

— Нет.

— Кальтенбруннер отправил ее в лагерь. Она умерла. Знаешь, Рейнике, никак не могу отделаться от ощущения, что мертвые готовятся схватить нас, живых.

«Что он имеет в виду?» — думает Рейнике и проносит сигарету мимо рта...

28. Апрель, 1944. Париж, рю Пастурей — вокзал д'Остерлиц.

...А в Париже весна! Уличный воздух пахнет горько и пьяно — почками, нагретыми тротуарами, сохнущей краской отсыревших за зиму стен. Кое-где продают фиалки, крохотные, еще бледные, не вобравшие в себя солнца. И все же они хороши, одинаково хороши в руках девчонки и старухи и стоят недорого — всего несколько су. Жак-Анри покупает букетик: не для конспирации или сигнала — для себя.

«Букет цветов из Ниццы, та-та-там-та...» Это из какого-то романса, всплывшего в памяти. Жак-Анри встряхивает фиалки, поднося к лицу.

— Из Иври, мадам?

— Нет, Курбевуа.

Северо-западная окраина, где живут в основном бедняки; до войны там селились апаши. В маленькие подпольные кабачки привозили богатых туристов. «Только для вас, мсье! Настоящий притон!» В кабачке апаши в белых рубахах с отложными воротничками пили анисовую и обнимали подруг. Туристы разглядывали их, как диковинку, им было жутковато. Апаши бранились, задирались, сверкали ножи, визжали женщины. Хозяин гасил свет и по темным переходам уводил гостей, рассовывая по карманам гонорар. «Скорее, господа! Сейчас прибудет полиция. Мерси, мадам; о, вы так щедры, мсье!..» В кабачке зажигали свет, и усталые участники спектакля смывали краску — актеры, металлисты, девчонки с фабрик, оставшиеся без работы из-за кризиса, они добывали франки не на перно, а на хлеб. Настоящие апаши жили незаметно, снимали целые этажи и быстро приращивали текущие счета во время предвыборных кампаний — после них они, как правило, переезжали в более солидные кварталы.

Курбевуа отдало свою молодежь маки.

— Доброго здоровья, мадам!

— И вам, мсье.

— Совсем весна.

— Дожить бы до лета, а?

Жак-Анри с фиалками у лица, стараясь не припадать на правую, ноющую ногу, бредет по широкой рю дез Архив, невыразительно застроенной и отличающейся лишь тем, что справа, если глядеть от Сены, целый квартал занимают здания Национального архива.

Последние часы в Париже. Техник принес шифровки, короткие. «Марату. Берлин, Далем, Шварцен — Мюзаус-штрассе, 27, 2-й этаж, справа, один длинный, короткий, два длинных. Доктор Эберт. Вам привет от Профессора. Ответят: почему нет писем. Профессор». И вторая: «Марату. Встреча четным указанном вами месте, между часом и двумя. После этого уезжайте. Все мы желаем вам удачи. Профессор».

Замена!.. Техник приведет товарища, встретив его у бокового входа в Нотр-Дам де Пари и узнав по коричневому портфелю с незастегнутой правой пряжкой. Связной принесет на вокзал билет — вечером, прямо на перрон... А в Париже — весна. И кора каштанов посветлела, и люди заулыбались, словно с весной исчезло то, что угнетало их, пригибало, лишало веры в себя и будущее... Итак, Берлин, Далем. Господин доктор Эберт, который скорее всего и не доктор и, конечно же, не Эберт и тоже, как Жак-Анри, долго ждал замены.

Жак-Анри минует Архив и идет вдоль многоэтажных домов с узкими застекленными подъездами. Консьержи и консьержки на складных стульчиках греются под солнцем; из открытых дверей на улицу тяжело выливается влажный, чуть кисловатый воздух лестниц.

Вчера немцы выпустили Бланшара. Бедный старикан попал как кур в ощип. Связной прогулялся туда-сюда по рю Вандом, с девушкой под руку, заметил Бланшара в подъезде и дал знать Жаку-Анри. Вполне возможно, гестапо использует старика как приманку, а дом превратило в ловушку. Еще один капкан поставлен СД в антикварной лавке, где уже больше недели торчит засада. Следят и за мадам де Тур, но пока не трогают ни ее, ни Бернгардта Лютце. Жак-Анри с помощью товарищей уговорил молочницу, постоянно снабжающую особняк сливками, передать записочку мадам. Молочница, у которой оба брата погибли в маки, подклеила полученной полоской папиросной бумаги рваный банкнот в десять франков и, давая мадам сдачу, шепнула, что надо. Мадам на следующий день поехала на Северный вокзал и привела за собой очень аккуратных хвостов, державшихся так скромно, что товарищи еле распознали их в толпе. Гастон немедленно занялся переговорами с коллегами по бригаде проводников — тем было не впервой переправлять людей через границу. Сколько-то дней гестаповцы не тронут Аннет де Тур, а Гастон обещал сделать дело не позднее воскресенья. Новый руководитель начнет не с простой задачи!

Жак-Анри перекидывает через руку темный редингот. Одежда явно не по сезону, но у него сильно ломит спину и ноги ноют — похоже, началось какое-то осложнение, сильно смахивающее на ревматизм.

С фиалками в правой руке и с рединготом на левой, в широкополой шляпе Жак-Анри — ленточка в петлице — похож на отставного военного, каких много. В его документах сказано: старший сержант в отставке, пенсия по

выслуге лет, уволен в 1938-м по болезни, от мобилизации был освобожден. Вечером взамен этих документов в бумажнике появятся другие, имперские, с распластанным орлом на обложке и пометками парижской комендатуры. Не фальшивка, а подлинник, полученный еще во время «Эпок» и с тех пор ждавший своего часа.

«Букет цветов из Ниццы...» — насвистывает Жак-Анри, ловя себя на том, что ему грустно — так грустно, что хоть плачь.

Терять и уезжать всегда тяжело. Это неверно, что где живешь, там и дом. Так не бывает. Из Москвы уезжал, знал, что иначе нельзя, совершенно необходимо, а все одно — было тяжко. Еле оторвался от вагонного окна, до самой границы слонялся по коридорчику, не находя покоя... Париж не родина, но город, где навсегда остались Жаклин и Жюль и товарищи, которых нет теперь... И у кошки должен быть дом! Даже у кошки... Жак-Анри теребит букетик и думает, что будет тосковать по разноцветным Большим Бульварам, по аллеям Венсена с плохо убранной прелой листвой, набережным у Острова, пахнущим рыбой и керосином, домам под черепицей, углам, тумбам с чугунными шляпками на этих углах — по всему тому, что оказалось так прочно и болезненно связанным с памятью и сердцем...

Жак-Анри сворачивает с рю дез Архив на рю Пастурей. В кабачке, на первом полуподвальном окне, белеет бумажка: «Распродажа: 5 франков за литр». Можно входить. Не оглядываясь, Жак-Анри ступает под своды подворотни и, задевая рединготом за битые ящики, по кирпичным ступеням спускается к фанерной двери, ведущей в задние комнаты кабачка.

Хозяин открывает на троекратный стук.

— О-ля-ля! И, конечно, пешком? Сумасшедший!

Жак-Анри смущенно стряхивает с костюма пыль.

— Ничего...

— А твоя нога?

— Ей легче в тепле. Он здесь?

— Пьет вино в моей комнате.

— Спасибо тебе за все. Если что...

— Какие могут быть разговоры, дружище! Мы с Жерменом любим тебя, и ты должен это знать!.. Я пришлю вам наверх бутылочку шатонефа... Он поживет у меня?

— Договоримся.

— Можешь рассчитывать,— говорит хозяин и вздыхает.— Думаешь, весело сидеть и ждать, сложив руки на пузе? Вам с Жерменом хорошо!

Он вытирает руки о фартук и, толстый, громадный, бочком втискивается в чулан, а Жак-Анри по узенькой железной лестничке поднимается наверх. Удивительно, как это хозяин ухитряется по ней пролезать — при его комплекции лестницу надо бы расширить по крайней мере вдвое. Жак-Анри бросает на перила редингот и осторожно, чтобы не помять цветы, стучит в низкую дверь.

— Войдите!

Чертовски знакомый голос... Эта мысль мелькает в голове Жака-Анри и тут же сливается с радостью — такой сильной и полной, какой он давно не испытывал.

— Вальтер!..

— Старина!

Ширвиндт — пенсне, седые височки — первым со всего размаха хлопает Жака-Анри по плечу. Они стоят друг против друга, молчат, и только пенсне Ширвиндта трясется.

— Ты не знал?

— Откуда? Центр ничего не сообщил.

— Черт!.. О чем мы?.. Как ты, дружище?

— Может быть, сядем?

— Да, да, конечно...

...Сидеть в обществе друга и пить старое, тягучее и очень сладкое вино — о таком можно только мечтать. Цветной сон наяву! Жак-Анри наполняет рюмки.

— Есть правда на свете!

— Еще бы! Вдвоем мы развернемся. Ведь так?

Жак-Анри льет вино через край.

— Я должен уехать... Плохой из меня хозяин, да?

Вальтер отставляет рюмку. Жак-Анри видит в стеклах его пенсне себя — маленького и карикатурно нелепого.

— Так,— говорит Ширвиндт.— Дома сейчас хорошо.

— Да,— говорит Жак-Анри.

— На Красную площадь зайди.

— Да,— говорит Жак-Анри.— Тут у тебя славные ребята, особенно Техник и Жермен. Он недавно вернулся в группу из маки. Можешь с ними подписаться на все.

— Кто на связи?

— Будут двое. На самый крайний случай рассчитывай на этот кабачок.

— Кто меня встречал?

— Техник. Он кое в чем заменил Жюля.

— А... Так ты сходи на Красную площадь,— повторяет Вальтер.— К Мавзолею сходи.

— Конечно, старина. Ты почему не пьешь?

Жак-Анри, стараясь сделать это незаметно, смотрит на ручные часы. Скоро идти — гораздо скорее, чем хотелось бы. До вечера надо найти подходящий чемодан — не новый, но хороший — и запастись сувенирами, без которых ни один уважающий себя немец не возвратится в обожаемый фатерланд.

— На Варшавской площади есть сад,— говорит Жак-Анри.— Запоминай: третья скамейка от входа, в нише у ограды. На спинке вырезано «любовь» — весна, понимаешь... У урны два дна. Вечером там мало народа, одни влюбленные, заберешь пакетик от мятных лепешек.

— Надо проявлять?

— Да, как всегда. Там адреса и все такое прочее. Что тебя смущает?

— Копаться в урне...

— Извини... Копаться не надо, она сдвигается по оси. И не носи здесь пенсне — парижане любят злословить!

— По паспорту я из белогвардейцев. Как твой канал с Максом? Не подведет?

Очень деловой разговор, такой сухой, что хочется рюмку разбить, крикнуть, встряхнуть друга, сказать: разве это наша с тобой вина, что только увиделись — и расстаемся? И не домой я еду...

Жак-Анри медленно цедит густое, обволакивающее язык вино. Оно слишком приторное — шатонеф из личных запасов хозяина.

— Кстати, о Максе. Он хорошо осведомлен. Ты уверен в нем, Вальтер?

— Сейчас да. Но то, что он мне рассказал о себе, похоже на Шахразаду. И вдобавок он связан со швейцарской разведкой. Лусто памятник ему должен поставить за информацию о «Танненбауме» — Макс больше сделал для швейцарского нейтралитета, чем все военные атташе Конфедерации!.. Я вижу, ты спешишь?

— Несколько минут найдутся.

— Значит, Варшавская площадь, сад, третья скамейка в нише.

— Точно.

— Есть что-нибудь неотложное?

— Да,— говорит Жак-Анри и против воли опять смотрит на часы.— Двоих информаторов надо срочно вывести из-под наблюдения. Он и она: француженка и немец. У меня есть человек, он берется это сделать. Присмотри за этим, ладно?

Если говорить обо всем, не хватит жизни, а о делах — достаточно и ста слов. Чем меньше, тем лучше. Одному уезжать, другому пере-

нять работу, подхватить, как винтовку, и только проверить, есть ли патроны в магазине... Жак-Анри через силу улыбается, встает.

— До встречи, Вальтер!

Пиджак Ширвиндта пахнет теплом и дымом. Грубая шерсть щекочет ладонь, и Жак-Анри мнет ее, сжимает в кулаке, притягивая Вальтера к себе.

— До встречи, Вальтер!

— Москве поклонись...

...Улица шелестит, шуршит, стучит каблуками прохожих. Жак-Анри останавливается и отряхивает редингот. Заходит в первую попавшуюся лавочку и, не торгуясь, покупает дешевые безделушки, рыночное дрянцо — сувениры завоевателя. Вечером они лягут на самое дно чемодана — и прощай, Париж!

«Букет цветов из Ниццы...»

«Москве поклонись...»

«Далем. Шварцен — Мюзаус-штрассе...»

Фразы, путаясь, наползая друг на друга, возникают в голове Жака-Анри, порождая сложное чувство, от которого ему не удается избавиться до самого вечера, и с ним он садится в вагон — стоит у окна, глядя, как связной уходит, не оглядываясь, не остановленный никем. Толпа на перроне поглощает его.

Чемодан желтой кожи, брюки-гольф в клетку, кепи с большим козырьком. Толстая, очень крепкая сигара.

Серебряный перстень с монограммой на мизинце Жака-Анри — намек, что более ценные вещи из золота он патриотично, повинуясь имперскому декрету, сдал на военные нужды рейха. Партийный значок — тоже из серебра, защемивший галстук, сделан на заказ: такие по специальному разрешению гауляйтера Большого Берлина изготовляет маленькими партиями ювелир Плотценберг с Фридрих-штрассе.

— Хайль Гитлер!

Это сосед по купе — немолодой, в дорожном костюме. По виду не шпик, хотя кто его знает! Шпиков везде достаточно. И у них есть описание Жака-Анри, точнее, несколько описаний, в принципе далеких от его теперешней внешности, но в то же время достаточных, чтобы при большом опыте и сноровке заразиться подозрениями и предложить пройти в комендатуру для проверки.

Легче жить в Париже, чем выехать из него.

— Хайль Гитлер! — отгоняя клуб дыма, говорит Жак-Анри.— Домой?

— Да. Честь имею: Таубе, «И. Г. Фарбен».

— Вильгельм Блитц!

«Таубе» — голубь... Электрический колокол вот-вот отзвонит отход, и экспресс отойдет от перрона. Жак-Анри заботливо послюнявленным мизинцем смачивает сигару, чтобы не сгорала слишком быстро, и в то же время заставляет себя не смотреть на перрон, где вдруг появляется непомерно много штатских в традиционных черных плащах с бархатными воротниками.

— Вы и ночью курите?

— Что вы! Сплю как сурок.

А в голове — совсем другое. «Что это — облава? Вот уж некстати!.. Доеду ли?.. Надо доехать — обязан доехать — не могу не доехать — права не имею...»

— Прошу документы.

Трое — в черных плащах... Жак-Анри солидно шуршит бумажником из эрфуртской кожи. Рука излишне напряжена, и он приказывает ей расслабиться. Вот так. Теперь чуть повернемся — пусть господа не утруждаются при сверке фотографии и лица. Электрическая лампа в плафоне экономно тускла. Но у них фонарики.

Таубе достает паспорт.

И Жак-Анри достает. Луч фонарика бьет по плечам, руке с перстнем, подбородку, галстуку с партийным значком. Первая проверка; если пронесет, то сколько еще будет других?.. Очень многое можно передумать за одну секунду: вспомнить мать, Родину, друзей, слова Вальтера: «Красной площади поклонись!..»

— В порядке!

...Только секунда прошла. Только!.. Одна секунда из жизни человека, носящего чужое имя Жака-Анри. Мимолетный миг — не из ряда вон, не подвиг — частичка будней в общих буднях войны.

— Ну вот и поехали!..

Зона

Леонид ТАМАЕВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

1

Маясов не узнавал Ченска. Чем больше он ездил и ходил по его улицам, тем больше нравился ему город. Собственно, стало два Ченска. Новый, выросший за послевоенные годы, прижал старый город к реке, и тот выглядел теперь как-то по-деревенски.

Когда Маясов высказал удивление по этому поводу, шофер Тюменцев обернулся к нему, сдвинул на висок кубанку:

— Ченск сейчас самый отменный город в области!..

Маясов и лейтенант Зубков весело переглянулись: словечко «отменный» было у Тюменцева любимым. Маясов позволил себе усомниться:

— Так уж и самый?

Тюменцев нимало не смутился:

— Конечно, Владимир Петрович, и на солнце есть пятна...

Они ехали на завод, где Маясов должен был прочесть лекцию о подрывной работе иностранных разведок. Вид города и разговор с шофером на несколько минут отвлекли его. Но вот Ченск остался позади, и майором вновь овладели мысли, которые неотвязно преследовали его последнее время.

Началось это почти два месяца назад. А если говорить точнее,— двадцатого сентября. В тот день он явился к начальнику областного управления, который вызвал его телеграммой из Ялты, где Маясов отдыхал. Генерал Винокуров предложил ему новое назначение: в Ченский отдел КГБ, начальником.

Маясов был в недоумении: неужели нельзя было подождать, к чему такая спешка?

Винокуров улыбнулся, молча достал из папки несколько отпечатанных на машинке листов, протянул их майору.

Это были присланные два дня назад из Москвы выписки из протокола допроса недавно арестованного на Урале агента американской разведки Лазаревича. Прежде чем прочитать выписки по порядку, Маясов невольно пробежал глазами строчки, кем-то жирно подчеркнутые синими чернилами. И ему сразу стало понятно главное: американцы забросили своего разведчика в Ченский район.

Майор на мгновение поднял голову от бумаг. И тут же Винокуров сказал:

— Вот так, заброшен еще весной. К сожалению, Владимир Петрович, о нем вы больше ничего существенного в протоколах не найдете...

Генерал взял со стола перочинный ножик, начал затачивать над пепельницей карандаш. Ждал, когда Маясов закончит чтение.

— В Ченском районе,— сказал он потом,— есть несколько важных оборонных объектов. Особый интерес представляет экспериментальный химический завод. К нему-то, видимо, и присматриваются американцы.

Генерал поднялся из-за стола — плотный, широкоплечий,— подошел к висевшей на стене географической карте.

— Завод в двадцати километрах от Ченска, вот здесь... В урочище Кленовый Яр.

— Кленовый Яр? — удивленно переспросил Маясов и тоже подошел к карте.

Областная карта была крупномасштабная, почти вся изумрудно-зеленая. Маясов присел у ее нижнего обреза, стал искать знакомые названия поселков и деревень... А вот и урочище Кленовый Яр, на запад от которого болотистые ченские леса тянулись за пределы области, до самой Белоруссии.

— В этих местах я партизанил, товарищ генерал...

— Что ж, Владимир Петрович, знакомство с Ченским районом вам не помешает.— Заложив руки за спину, Винокуров прошелся по кабинету.— Но мы учитывали не только это. Думаю, и ваш старый гражданский опыт инженера-химика тут тоже пригодится.

— Что вы имеете в виду?

— Уязвимость завода «Кленовый Яр» в диверсионном отношении,— сказал Винокуров. И, помолчав, добавил:— Арестованный Лазаревич, как вы могли заметить из протокольных выписок, готовился не только в качестве разведчика, но и как диверсант. В каком амплуа заслан американский агент вместо него, пока неизвестно. Поэтому вы должны быть готовы ко всяким сюрпризам...

...Вспомнив этот разговор теперь, Маясов подумал, что он во многом, пожалуй, и определил контрразведывательную тактику ченского отдела: всеми мерами обезопасить кленовоярский завод от вражеских диверсий.

«Но правильно ли это — преднамеренно ограничивать возможную сферу действий американского разведчика в столь обширном районе рамками одного завода? — спросил себя Маясов.— Ведь это же серьезный риск». И тут же мысленно ответил: да, безусловно, риск есть. Но это неизбежно, потому что бить надо кулаком...

Подняв воротник пальто, майор закрыл глаза.

— На горизонте завод «Кленовый Яр»! — громко сказал Тюменцев, думая, что майор заснул.

2

С вечера над Ченском разгулялась вьюга. Ветер трепал голые ветки старых лип, завывал в проводах. По тротуарам мела поземка...

Алексей долго стоял у окна. Взгляд его был угрюм. Потом он задернул занавеску, включил свет, посмотрел на часы.

Докуривая сигарету, он вышел в полутемный коридор. Немного постоял там, прислушиваясь. В соседних квартирах было тихо — все уже легли спать.

Алексей вернулся к себе. Часы показывали ровно двенадцать. Он подошел к этажерке, на которой стоял небольшой радиоприемник, покрутил ручку настройки.

Голос диктора, говорившего по-английски, звучал негромко, но четко. Алексей запер на ключ дверь и, как только чеканный дикторский баритон сменился вальсом «Амурские волны», сел за стол, положил перед собой карандаш и бумагу.

Тихо играла музыка. Но вот, как это бывает, когда перехлестываются радиоволны, в эфире появились другие звуки: приглушенный женский голос называл четырехзначные числа: 3431, 2708, 2543, 3309, 7865, 3917...

Взяв карандаш, Алексей стал быстро записывать. Твердый графит рвал бумагу. Перемежаемые короткими паузами шифрогруппы следовали одна за другой.

Минуты через три женский голос умолк. Алексей перевел дыхание, вытер вспотевший лоб. Достав с этажерки толстый том «Политического словаря», иглой извлек из корешка шелковую шифроленту с нанесенными на ней мелкими знаками....

Когда дешифровка была закончена, Алексей прочитал радиограмму, машинально подчеркивая каждое слово. Всего их оказалось сорок семь. Не так уж много... Однако вполне достаточно, чтобы заставить человека помрачнеть...

Алексей с ненавистью поглядел на лежавший перед ним текст шифровки и стал поглаживать, растирать пальцы на левой руке. Из пяти болели четыре — те, что побывали под прессом... С этого все и началось. Его уволили с завода. На другую работу устроиться не мог: в Мюнхене хватало парней со здоровыми руками. Он прожился до последней рубахи.

Однажды осенью, под вечер, Алексей зашел в магазин погреться. Его мутило от голода. За стеклом витрины аппетитно лоснились колбасы. Он решил украсть круг «гамбургской». И украл, спрятал под засаленную рубашку... С того дня воровство стало его профессией.

После одной из краж Алексея поймали. Глядя на светлое небо за окном, перехваченным тюремной решеткой, он думал о возвращении домой, на родину. Эта мысль являлась ему и прежде. Но он отгонял ее: западные газеты и радио утверждали, что возвращающихся ссылают в Сибирь или расстреливают...

Потом снова скитальческая жизнь. В поисках работы он исколесил половину Германии, побывал в Италии, приехал во Францию. В Париже, наконец, ему удалось устроиться чернорабочим в гараж. Но зарабатывал мало, жизнь была нищенская.

Однажды в гараже появился некто в сером костюме. Когда подошло обеденное время, он пригласил Алексея в соседнее бистро.

Угощение было подходящим, спиртного вволю. Они сидели за столиком в углу, разговор велся вполголоса.

— Я не обманываю, Михайленко: если решитесь, вас ожидает интересная жизнь. Можете стать богатым человеком.

Алексей решился:

— Один черт! Терять мне нечего...

Через неделю вербовщик привез Алексея в Западный Берлин, где в небогатом полупустом отеле с рук на руки сдал долговязому молчаливому Хьюзу.

Прошла еще неделя. В понедельник вечером Хьюз посадил Алексея в порядком потрепанный «шевроле» и примчал к какому-то большому дому. В просторной неуютной квартире на втором этаже их уже ждали. Хьюз познакомил Алексея с маленьким, быстрым человеком, который отрекомендовался Лаутом.

Налив в рюмки коньяку, Лаут угостил Алексея дорогой сигарой (сам он не курил), стал дотошно расспрашивать о его прошлой жизни.

На прощание сказал:

— Мы с вами еще встретимся...

Вторая встреча состоялась на той же квартире примерно через месяц. Вместе с Лаутом была молодая желтоволосая женщина с ярким, красивым ртом. И на этот раз Лаут расспрашивал Алексея о его жизни, а на прощание сказал:

— Вы нам подходите! — И протянул лист бумаги с текстом, отпечатанным на машинке,— подписку о сотрудничестве с американской разведкой, которую представлял Лаут в Западном Берлине.

Алексей расписался, Лаут сложил бумагу, спрятал в боковой карман.

— А теперь Хьюз отвезет вас на медицинский осмотр.

— Но меня уже осматривали...— сказал Алексей.

— Это вторичный осмотр.— Лаут строго посмотрел на него.— Так у нас принято.

«Медицинский осмотр» оказался обыкновенной проверкой на полиграфе, который в обиходе принято называть детектором лжи. Хозяева хотели установить, не является ли Алексей советским разведчиком.

Разведшкола располагалась в пригороде западногерманского города Фюссена, неподалеку от озера Алатзее. Алексею, который теперь значился под фамилией Романов, отвели отдельную комнату. Программа обучения была обширная: радиодело, тайнопись, шифрование, секретное фотографирование, прыжки с парашютом.

Много практиковались в рекогносцировке «важных объектов». Их вывозили к аэродромам, в районы расквартирования воинских частей, к военным заводам. После каждого такого урока Алексей подробно, в мельчайших деталях докладывал инструктору о том, что видел,— так шлифовались наблюдательность и зрительная память...

Ровно через девять месяцев в школе появился Хьюз. С ним вместе приехал пухлощекий верзила Ванджей, развязный и шумный.

Он хлопнул Алексея по плечу:

— Старик Лаут шлет тебе привет!

На другое утро начальник школы пригласил Алексея к себе. Хмуро, будто на панихиде, поздравил с успешным окончанием учебы. Здесь же сидел Ванджей, ободряюще подмигивал. Весь этот день и потом еще два они сообща отрабатывали задание Алексея. Он получил теперь новую фамилию — Никольчук.

На прощание Ванджей сказал ему:

— Лаут просил передать: будете хорошо работать, сколотите солидный капитал. А если забалуете — пеняйте на себя...

С этим напутствием, которое звучало в его ушах по сей день, Никольчук, он же Михайленко, он же Романов, покинул Фюссен. Все тот же Хьюз доставил его на аэродром. Через несколько минут самолет поднялся в воздух и взял курс на восток.

Чтобы не так волноваться, Алексей беспрестанно курил, то и дело глядел на часы. Когда на светящемся циферблате обе стрелки сошлись на двенадцати, к нему подошел Хьюз:

— Пора!..

...Со стола, задетый локтем, вдруг упал карандаш. Никольчук вздрогнул, вскочил на ноги, ударом башмака отбросил карандаш, зашагал по комнате.

Когда надоело ходить, опять опустился на табурет у стола. Еще раз перечитал подписанную Лаутом радиограмму: «Двадцать седьмого ноября быть в Москве...»

Не дочитав до конца, скомкал бумагу. Чрезвычайная явка — только этого не хватало!.. Он выругался. Над чайным блюдцем, заменявшим пепельницу, смежил листки с расшифровкой, пепел растер пальцем.

СНОЙ

ahn

3

Элен Файн остановилась в гостинице «Националь». Приехав с аэродрома, она приняла ванну, потом спустилась в ресторан, пообедала и теперь отдыхала у себя в номере, перелистывая свежие московские журналы.

Ее чтение прервал деликатный стук в дверь.

— Войдите,— сказала она по-немецки.

На пороге появилась девушка в темном строгом костюме.

— Госпожа Барбара Хольме?

— Слушаю вас.— Файн поправила прическу

— Я из «Интуриста»... Извините за беспокойство. Вам нужен переводчик?

— Спасибо. Я достаточно понимаю и говорю по-русски.

— А какой вы предпочитаете транспорт?

— О, не беспокойтесь,— сказала Файн,— мне, пожалуй, придется больше ходить, чем ездить... Я работаю под руководством профессора Шермана — это известный немецкий искусствовед. Помогаю ему иллюстрировать книгу о церковном зодчестве... В вашей стране меня будут интересовать храмы и соборы Москвы и Загорска. И еще хотелось бы увидеть и заснять знаменитые церкви в Коломенском и Ченске...

Девушка из «Интуриста», простившись, ушла. А Файн тут же оделась и отправилась в Кремль.

Файн была здесь не впервые, и ее не очень занимали прекрасные белые храмы с их горящими в лучах вечернего солнца золотыми куполами. Но она делала вид, что эта старина ее по-настоящему захватила: останавливалась подле каждого собора и добросовестно щелкала затвором «лейки», висевшей у нее на груди.

И все время, пока ходила по аккуратно расчищенным от снега кремлевским дорожкам, она настороженно всматривалась в окружающих, выискивая тех, кто, по ее мнению, мог вести за ней наблюдение и кого она должна была с первого же дня пребывания в Москве сбить с толку, дезориентировать и вообще всем своим поведением показать, что в Советском Союзе ее интересует лишь то, о чем она официально заявила по приезде, то есть памятники церковного зодчества.

Но, как ни изощрялась помощница полковника Лаута, никакого наблюдения за собой она не обнаружила. Это ее успокоило и воодушевило: значит, свое настоящее дело она сможет делать без помех...

Это «настоящее дело», ради которого Файн прилетела из Берлина в Москву, началось для нее в воскресенье утром.

Гостиницу она покинула в одиннадцать часов. День был солнечный. Деревья вдоль кремлевской стены искрились инеем. Накануне вечером Файн наведалась в ГУМ, чтобы провести рекогносцировку. Там она ознакомилась с местом у фонтана, куда должен был сегодня ровно в двенадцать явиться вызванный из Ченска Алексей Никольчук. Она облюбовала уголок, где ей удобно будет стоять и где Никольчук сможет сразу заметить ее по обусловленной в радиограмме примете...

Время в магазине тянулось нестерпимо медленно. Было душно, шумно. Файн посмотрела на свои часики: без девяти двенадцать. И ей вдруг почему-то подумалось, что Никольчук не придет. Она пыталась отогнать эту мысль, как вздорную, ничем не обоснованную, но ничего не могла поделать...

Часы показывали уже двадцать пять минут первого. Файн еще и еще раз обвела взглядом площадку у фонтана. Значит, дурное предчувствие сбылось, к сожалению...

И все-таки отчаиваться пока не стоило. Ведь назавтра предусмотрена вторая, запасная явка... Эта мысль несколько приободрила Файн. Перед тем как покинуть ГУМ, она наскоро перекусила в кафетерии. Остаток дня провела в московских меховых магазинах: ей хотелось приобрести хорошую шубу. Спать в эту ночь она легла с легким сердцем и упрочившейся надеждой, что завтрашний день принесет ей удачу.

Но надежды не оправдались: Никольчук не вышел и на запасную явку.

Файн напрасно бродила по кассовому залу Ярославского вокзала, где была намечена встреча с агентом. Устав от бесплодного ожидания, она прислонилась плечом к массивной колонне. Куда же теперь? В Загорск, как было задумано, или спуститься в метро и вернуться в гостиницу?.. Нет, в Загорский монастырь она не поедет. С таким настроением у нее нет охоты играть интеллигентную дуру, влюбленную в отретушированные голубями церковные камни...

Весь остаток дня и вечер Файн просидела у себя в номере. Курила сигарету за сигаретой, перебирала в памяти события последнего времени, готовясь к завершающему, самому трудному этапу своей московской миссии.

Как никогда прежде, она боялась оступиться, сделать непоправимый шаг. И это не было только привычной, профессиональной осторожностью. Кодовое дело «444», по которому использовался Никольчук, в западноберлинском филиале считалось очень важным. Оно было связано с «проблемой номер один», стоявшей перед всеми подразделениями американской разведки: охотой за секретной информацией о новом ракетном топливе русских.

При всем этом практическое развитие дела «444» оставляло желать лучшего: ченский агент не проявлял пока ожидаемой от него активности. Причины некоторое время оставались неясными. Понять их в какой-то степени помог лишь недавний случай.

Девятого сентября 1960 года потерпел провал заброшенный полтора месяца назад в Приуралье разведчик западноберлинского филиала Лазаревич. Судя по условному сигналу, который он успел передать, чекисты взяли его в момент очередного сеанса радиосвязи с центром.

В тот же день, раздраженный случившимся, полковник Лаут вызвал Файн к себе.

— Надо, пока не поздно, спасать ченское дело!

Она непонимающе посмотрела на шефа. Маленький, сухонький Лаут возбужденно ходил по кабинету из угла в угол. Перехватив взгляд Файн, он желчно заметил:

— Что вы смотрите, будто с луны свалились?!

И она сразу вспомнила: вначале по делу «444» готовился Лазаревич, но потом он внезапно и надолго заболел.

— Мог ли Лазаревич знать, кто был заброшен в Ченск вместо него? — спросил полковник.

— Это исключено.

— Все равно надо что-то срочно предпринимать, потому что о нашей заинтересованности Ченским районом Лазаревич выболтает русским на первом же допросе.

В тот день разговор на этом и кончился: у Лаута еще не было готовой идеи, как поправить неожиданно осложнившееся дело. Решили на первых порах ограничиться дополнительной проверкой агента «444» — Никольчука.

И тут вдруг открылся один неприятный факт. Оказывается, незадолго перед отъездом на задание Никольчук был в баре в Фюссене. И там, подвыпив, настойчиво расспрашивал приятеля по разведшколе: правда ли, что в СССР введен новый закон о неподсудности тех, кто добровольно заявляет властям о своей связи с иностранной разведкой?..

— Над этим стоит задуматься,— сказал Лаут своей помощнице, когда она доложила ему о результатах проверки.— Что это было: пустая болтовня спьяну или зондирование с мыслью о предательстве?

Прошло несколько дней, и полковник сообщил Файн свое окончательное решение:

— Будем вводить в ченское дело нового человека.— Он пристукнул костяшками согнутых пальцев по краю стола.— И учтите: нам нужен не агент-дилетант, а опытный, надежный разведчик...

Задача, поставленная перед Файн, была не из легких. К ее решению, с благословения шефа, она подключила добрую треть сотрудников филиала. Работали, что называется, не покладая рук, не считаясь со временем. Но все пока было впустую. На еженедельные доклады к полковнику Файн являлась мрачная, злая, молча клала на стол справки из оперативных архивов.

— Все это мусор! — недовольно кривил губы Лаут, пробежав глазами листок за листком.— Мне начинает надоедать ваша медлительность...

Так в безрезультатных поисках шла неделя за неделей. Но всему, как известно, приходит конец. И вот однажды обрадованная Файн сама позвонила шефу:

— Я, кажется, зацепила то, что нужно.

Лаут тотчас потребовал ее к себе.

— Кто же он? — спросил нетерпеливо, как только помощница появилась на пороге кабинета.

— Фамилия Букреев. Кличка «Барсун». Бывший агент абвера.

— Подробнее...

— В войну активно использовался немцами в карательных операциях против русских партизан. За участие в одной из них близ Ченска был награжден железным крестом второго класса.

— Вот как! — Лаут сразу оживился, протянул руку через стол.— Дайте досье.

Открыв картонную крышку, он стал внимательно читать пожелтевшие от давности бумаги. Когда перевернул последний лист, надолго задумался. Потом поднял свою седую, гладко причесанную голову.

— Что ж, будем пока считать этот вариант запасным. Но вообще над ним стоит подумать...

— Простите, шеф,— сказала Файн.— А вы не могли бы сразу определить в вашем новом плане место и роль Никольчука?

— Никольчук нам пригодится при любом из вариантов... Но сначала нужно проверить, собирается ли он работать как надо. Для этого, мне кажется, будет полезно выехать на место и окончательно во всем разобраться.

4

Широко расставив локти, Алексей Никольчук сидел за столом, застланным тусклой клеенкой, манал в горчицу колбасу, прикидывал, что купить на завтрак. В столовой он только обедал. Так делали все одиноко живущие, подобно ему, сослуживцы. Он ничем не хотел выделяться, не нарушал первую заповедь нелегала: «Маскировка разведчика чем проще, тем надежнее. Не давай окружающим повода обращать на себя внимание...»

В коридоре вдруг послышались шаги, в дверь постучали.

— Да,— сказал Алексей.

В комнату вошла и нерешительно остановилась у порога женщина в коричневом пальто и белом пуховом платке, низко надвинутом на лоб.

— Мне нужно товарища Никольчука,— проговорила она, пристально всматриваясь в Алексея: в комнате было полутемно.

— Я Никольчук...— Он встал, включил свет.

Женщина прошла к столу, села на подвинутую ей табуретку.

— Я к вам от брата,— вдруг сказала она совсем другим тоном, сухо.

Голос показался Никольчуку знакомым. Смысл ее слов дошел до него не сразу. А между тем они составляли первую фразу пароля.

— От какого брата? У меня их много...— с трудом, будто нехотя произнес он ответную фразу.

— От Серафима.

— А чем вы подтвердите?

Никольчук, в упор смотревший на женщину в платке, наконец узнал ее. Это она на берлинской квартире, где с ним разговаривал Лаут, сидела у окна. Узнал, и, несмотря на это, в его душе еще теплилась какая-то глупая надежда, что завязавшийся обусловленный разговор окажется случайным совпадением, а сама женщина — не имеющей никакого отношения к американской разведке.

— Я вас слушаю...

— Это я вас буду слушать! — строго сказала Файн, сбрасывая с головы платок, поправляя прическу.— Заприте дверь, занавесьте окно!

Никольчук торопливо исполнил ее приказание. Она кивнула на тарелку с остатками еды.

— Я вам помешала?

— Ужинать? Нет...

— Ну, а вообще? — Файн в упор посмотрела на него, нехорошо усмехнулась.

Этот ее дерзкий, вызывающий вопрос, а главное — нахальный взгляд вернули Алексею самообладание.

— А вообще да! — твердо сказал он и смело глянул ей в лицо.

— Значит, помешала?

— Значит, помешали...— в тон ей ответил Никольчук и улыбнулся от пришедшей вдруг на ум дикой мысли: взять вот сейчас эту рыжеволосую красотку под локоток да и доставить прямехонько в КГБ — займитесь, мол, заграничной путешественницей...

— Чему вы улыбаетесь?

— А что мне не улыбаться? — с вызовом сказал Алексей.— Я у себя дома.

— Дома ли?! — Она усмехнулась и опять пристально посмотрела в его глубоко посаженные глаза, словно желая понять, совершил ли он уже то, что задумал, или нет. Если совершил,— значит, будет вести себя смело, не робея...

Никольчук не выдержал ее взгляда, что-то дрогнуло у него в лице. Он поспешно протянул руку за сигаретами, лежавшими на другом конце стола. Файн облегченно вздохнула («уверенности в нем не заметно, это хорошо») и тоже закурила из его пачки.

— Шеф считает, что период вашей акклиматизации в Ченском районе слишком затянулся.

— Шеф и все вы там плохо представляете здешнюю обстановку,— сказал Алексей.— Очень трудно работать...

— А я считаю, вы просто струсили, товарищ Никольчук,— оборвала его Файн, делая ироническое ударение на слове «товарищ».

— «Товарищ...» — Алексей грустно улыбнулся.— Да, к сожалению, «товарищ» надо брать в навычки. И так будет всегда... Впрочем, вам не понять этого.

— Давайте, Никольчук, без лирики. Вы слишком дорого обошлись, чтобы мы от вас отступились. Мы ни о чем не забыли...

— Не грозите,— глухо проговорил Никольчук.— Я людей не убивал. Таких, как я, могут и помиловать...

— Вы в этом уверены?

«Если бы я был уверен...» — хотел сказать Алексей. Но промолчал.

— Поговорим о деле.— Файн встала, прошлась по комнате.— Через несколько дней кончается срок моей путевки. Что я должна передать шефу? Думаете вы работать с нами?..

5

— Я смекаю так...— неторопливо говорил старик Смолин, шагая рядом с Маясовым.— Уж больно не подходяще выбрано место для перевалочной базы. Какая-то несуразность получается: мы привозим с завода на автомашинах спецгруз, складываем его на этой шепелевской базе, и он лежит там, можно сказать, на виду, пока по железной дороге не пригонят порожняк. А груз этот, кроме всего прочего, огнеопасный.

— Но разве нельзя сделать, чтобы порожняк подавали точно к прибытию автомашин? — спросил Маясов.

— Пытались, Владимир Петрович, да не получается. Ведь тут как две державы: мы — по себе, а железнодорожники — по себе...

Не впервые идет по огромному двору Кленовоярского завода майор Маясов. Его высокую фигуру в черном осеннем пальто издалека узнают многие рабочие. Здороваются. А со Смолиным Маясов встретился еще тогда, когда приезжал сюда читать свою первую лекцию. Встретился и долго тряс его руку, обрадованно глядя в знакомые, теперь уже стариковские глаза. «Партизанили вместе»,— сказал Маясов в ответ на недоумевающий взгляд стоявшего рядом лейтенанта Зубкова.

Смолин, по-волжски окая, уточнил: «В ченских лесах в одном отряде горе мыкали. Где я потом ни воевал, до самого Берлина дошел, а такого, что пришлось нам, Владимир Петрович, хлебнуть здесь, в этом самом урочище Кленовый Яр, не доводилось переживать». «Да-а,— тяжело вздохнул Маясов.— Предательство Букреева дорого обошлось отряду»...

Расставаясь со Смолиным в заводском поселке, майор сказал старику:

— Насчет перевалочной базы вы правы. Что-то надо придумать.

Когда Смолин скрылся в своем подъезде, Маясов, захлопнув дверцу автомашины, предложил Зубкову:

— Давайте-ка сейчас, не откладывая, проедем в это самое Шепелево...

Там, на шепелевской перевалочной базе, они пробыли целый час. Излазили ее вдоль и поперек. Потом вместе с охранником забрались на обледеневшую по краям деревянную платформу. Сквозняк там гулял вовсю, обвевая со свистом столбы, подпиравшие крышу. Неподалеку от платформы тянулось расчищенное от снега широкое шоссе, с его бесконечным потоком автомашин: дорога начиналась на границе страны и, пересекая область с запада на восток, вела к Москве. По тропе, проложенной меж сугробов, поблизости от торцевой стороны платформы, не переставая, сновали пешеходы: и местные жители и приезжие, из тех, кому требовалось забежать в закусочную.

— Ну, как?..— спросил Маясов Зубкова.

— По-моему, товарищ майор, старик Смолин прав: место для перевалочной базы надо искать другое.

— А мне кажется, никакой базы вовсе не нужно,— сказал Маясов.

— Почему? — не понял лейтенант.

— Очень просто... От Кленового Яра до Шепелева всего пять километров?

— Пять.

— Так вот, если проложить здесь железнодорожную ветку, то спецгрузы с завода будут следовать без перевала до места назначения.— Маясов немного помолчал и заключил: — Завтра же поеду к директору. Думаю, Андронов нас поддержит...

6

В слякотный мартовский день, под вечер, Тюменцев и его приятель Арсений Павлович Рубцов шли к автобусной остановке: им надо было доехать до Дворца спорта. Не обходя луж, размахивая чемоданчиком, Тюменцев на ходу оживленно рассказывал:

— ...Он меня раза три на канаты бросал. И все-таки на мой крюк справа нарвался. И тут уж, конечно, амба: отменный нокаут!

Тюменцев от избытка чувств даже крякнул.

— А после боя, когда я вышел из душа, подкатывает ко мне его тренер. «Ты,— говорит,— победил чемпиона области, но чтобы стать первой перчаткой в своем весе, надо еще много работать. Однако,— говорит,— игра стоит свеч». И тут же предлагает мне перейти к нему тренироваться... Ты чуешь, Арсений Павлович?!

Замедлив шаг, Тюменцев посмотрел на своего рослого сухопарого приятеля. Он ждал совета, Рубцов был намного старше его и опытнее. Впрочем, разница в возрасте не мешала им дружить по-настоящему, на равных правах. Наверное, сказывалось совпадение увлечений: оба любили спорт, были заядлыми охотниками и рыбаками. А может, причина их прочной дружбы крылась в исключительности ее завязки: четыре года назад при переправе через бурную Чену Рубцов спас Тюменцева от верной гибели.

Но как бы там ни обстояло дело в прошлом, теперь это была пара, что называется, водой не разольешь. И поэтому Тюменцев по-братски надеялся на разумную подсказку Арсения Павловича в непредвиденно возникшей ситуации: заманчивая своими перспективами работа с новым тренером требовала от боксера переезда в областной центр.

Заморосил дождь. Подняв воротник пальто, Рубцов неторопливо заговорил:

— «Первая перчатка»... Это, конечно, звучит. Только, Петь, тут надо все обмозговать, чтобы...

Не закончив фразы, он вдруг остановился и замер.

Тюменцев проследил за его взглядом, не обнаружил ничего достойного внимания и с подковыркой спросил:

— На кого это ты, Павлыч, стойку сделал?

— Минуточку, Петя! — Глаза у Рубцова сузились, стали строгими, он неотрывно смотрел на подъезд углового дома.

Там, на мокрых каменных ступенях, ведущих в парикмахерскую, у зеркальной витрины, стоял приземистый плечистый человек в черном грубом плаще. Прикрыв ладонями пламя спички, он закуривал. Потом спустился с крылечка и пошел наискосок через улицу.

Рубцов резко шлепнул Тюменцева по плечу.

— Подожди меня здесь!— И, обгоняя прохожих, ринулся за примеченным человеком.

Вскоре он вернулся, сказал, тяжело дыша:

— Оставил его в магазине, в очереди...

Тюменцев был в полном недоумении:

— Кто это? И на кой ляд он тебе сдался?

— Если не ошибаюсь, это Алексей Михайленко! — взволнованно пояснил Рубцов.— В оккупацию служил на Украине в немецкой комендатуре.

— Да ну?

— Он. Точно.

— Что же делать? — Тюменцев взглянул на часы.

— Бросать его нельзя,— сказал Рубцов.— Ты поезжай.

— А может, наплевать на эти соревнования?

— Нет, не годится. Ты не бойся, управлюсь...

Тюменцеву было неловко оставлять приятеля одного, он еще несколько минут тащился за ним следом, пока не увидел свой автобус, который как раз подкатывал к остановке.

Рубцов на прощание помахал Петру рукой. Через минуту он был у «Гастронома».

Дождь все моросил. Опускались промозглые сумерки, быстро темнело.

Михайленко вышел из магазина. В руке — небольшой бумажный свертон. Постояв немного, он зашагал вниз по улице.

Выждав, Рубцов двинулся следом. Не упуская своего подопечного из виду и стараясь не попасть ему на глаза, когда он время от времени оборачивал назад свое скуластое лицо, Арсений Павлович неотступно сопровождал его квартала четыре — до Большой Болотной улицы.

Возле трехэтажного кирпичного дома со светящимся номером «33» над зелеными воротами Михайленко остановился. Прежде чем открыть калитку, внимательно осмотрелся по сторонам и только после этого скрылся во дворе.

Дождь пошел сильнее. Рубцову пришлось искать убежища в ближайшем подъезде. Однако он тут же изменил свое намерение, оставил подъезд и быстро зашагал под дождем, не разбирая дороги...

Когда Арсений Павлович постучался в двери городского отдела госбезопасности, на нем не было сухой нитки.

— Мне срочно нужен ваш начальник,— нетерпеливо сказал он лейтенанту Зубкову, дежурившему в тот вечер.

— По какому вопросу?

— Я хотел бы переговорить лично...

Лейтенант молча подал взбудораженному посетителю стул, пошел доложить Маясову. Скоро вернулся.

— Заходите.

— Прошу прощения. Время позднее...— сказал Арсений Павлович, переступая порог. Стараясь не наследить грязными башмаками, он прошел к столу, осторожно опустился на краешек мягкого кресла.— Меня, товарищ майор, привели к вам, так сказать, чрезвычайные обстоятельства... Разрешите напиться?

Маясов налил из графина воды.

— Благодарю вас.— Рубцов в два глотка опорожнил стакан.— Я только что на улице случайно встретил человека, которым, мне кажется, не могут не заинтересоваться органы государственной безопасности...

Кабинет Маясова Рубцов покинул часа через полтора. Маясов шел рядом, заботливо поддерживая его под локоть.

— Большое вам спасибо, Арсений Павлович.

— Да за что же? — пожал плечами Рубцов.— Каждый бы на моем месте...

Продолжение следует.

За льдом

Леонид ТАМАЕВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

7

Проводив Рубцова до самого вестибюля, майор вернулся к себе, зашагал по комнате.

Большая Болотная, 33... Этот адрес был отделу знаком. Еще зимой, как-то в начале декабря, позвонил генерал Винокуров. Он сказал Маясову:

— К вам в Ченск из Москвы прибывает самолетом группа немецких туристов. В их числе некая Барбара Хольме. По имеющимся данным, эта особа интересуется не только соборами и церквами, из-за которых она к нам пожаловала. Короче говоря, понаблюдайте за ней...

К туристам в Ченске давно привыкли. Особенно много их бывает летом. Иностранцев манят соборы Старочеренского монастыря и уникальная деревянная церковь, сооруженная без единого гвоздя крепостными зодчими в семнадцатом веке...

Барбара Хольме, которая провела в Ченске три дня, на первый взгляд мало чем отличалась от других туристов. Разве только больше остальных щелкала фотоаппаратом перед монастырскими колокольнями; над обработкой ее негативов достаточно пришлось потрудиться местному фотоателье.

Но, кроме этого, было установлено, что Барбара Хольме вместе с другой туристкой посетила в городе одну старушку. Эта старушка — немка Дитрих — жила на Большой Болотной улице, дом 33, квартира 9. Барбара Хольме привезла ей письмо от родственников из Мюнхена.

Если пользоваться обычными представлениями, то в этом посещении не было ничего особенного: в туристских общениях подобное не редкость. Однако Барбару Хольме нельзя было считать обычной туристкой. Поэтому все, что имело отношение к ее визиту на квартиру Дитрих, не миновало проверки.

К сожалению, эта проверка до сих пор не была закончена: старуха немка второй месяц тяжело болела... И вдруг это заявление Рубцова об Алексее Михайленко: опять тот же дом 33 по Большой Болотной. Странное совпадение!

Кстати, а в какой квартире обитает сам Михайленко?

Ответ на этот вопрос получить было нетрудно. Маясов позвонил в адресное бюро, попросил срочную справку. Через несколько минут ему сообщили:

— В доме тридцать три по Большой Болотной улице Алексей Михайленко не прописан...

Вот как! Значит, Михайленко живет там без прописки... А может, у него теперь другая фамилия? Для бывшего сотрудника оккупационной полиции это не удивительно.

Маясов раздавил в пепельнице потухшую сигарету.

А что, если Михайленко вообще не живет в доме 33? Ведь Рубцов только видел, как он вошел в дом. Мог просто к кому-нибудь в гости заглянуть. В таком случае надо не потерять его...

Маясов приоткрыл дверь в дежурку и приказал Зубкову:

— Немедленно вызовите капитана Дубравина, и оба — ко мне...

8

Ирина лежала на диване, держала в руках тетрадку, негромко читала вслух стихи. Зевнув, закрыла дерматиновый переплет.

— Декадентщина какая-то...— Поднялась с дивана, одернула платье.— Ты эти свои вирши показывал кому-нибудь?

— Ребята читали...

Савелов сидел за стареньким, расстроенным пианино, неумело бренчал что-то.

Ирина подошла сзади, положила ладони ему на плечи.

— Злой ты, Игорь... И злой оттого, что усложняешь все.

Савелов обернулся.

— А ты давно стала такой простенькой?

— У меня другое... Тебе надо смотреть на вещи шире.

— Прозрела! Ну, а я все еще хожу в тэмных.

Ирина невесело улыбнулась, отошла к окну. Отведя рукой занавеску, стала смотреть на улицу. Апрельское солнце светило очень ярко.

Игорь взглянул на нее, как на чужую. Тоже нашлась проповедница! Лезет в чужую душу, будто у самой все гладко.

Ирина стояла молча, словно совсем забыла о его существовании.

Ее отношения с Савеловым, говоря откровенно, уже давно перестали доставлять ей одну только радость. Приходилось все время таиться, ягать, изворачиваться. Вначале это было незаметно...

Месяца полтора назад, уезжая с мужем на гастроли, Ирина надеялась, что эта вынужденная разлука с Игорем поможет ей начать новую, нормальную жизнь: чтобы было спокойно на душе и чистой оставалась совесть. Но часть труппы вернулась в Ченск раньше, Ирина приехала тоже и как-то неожиданно для самой себя в тот же вечер позвонила Савелову, пригласила к себе на квартиру. Она не могла иначе, хотела только одного: скорее увидеть Игоря, услышать его голос. «И пусть это будет в последний раз!» — сказала она себе.

Но потом безрассудная настойчивость Игоря снова и снова обезоруживала ее. В прошлую среду, под вечер, он пришел к ней тихий, странный, вынул из кармана помятый букетик фиалок... И вот все эти дни после работы он приходит к ней, и все остается между ними, как прежде...

В комнате вдруг стало тихо. Игорь наконец дал передышку расстроенному инструменту. И тут же Ирина услышала за спиной обидчивый басок:

— Так тебе, говоришь, не по вкусу мои стишата?

— Видишь ли...— Она не хотела испытывать его самолюбие.— Я где-то читала... Всех людей по их отношению к жизни можно разделить на четыре категории: одни делают жизнь и улыбаются, вторые делают, но не улыбаются, третьи только и делают, что улыбаются, четвертые и не делают и не улыбаются...

— А! Ерунда!— сказал Игорь.— Меня ты относишь, конечно, к четвертой категории? К бесполезным пессимистам?

— Нет.— Ирина повернулась к нему.— При всем твоем скепсисе ты в жизни активный. Делаешь много, но...

— Без улыбки?

— Хотя бы...

— Не всякий умеет улыбаться во что бы то ни стало... А, в общем, к черту философию!

Игорь подошел к столу, налил в рюмку вина, выпил, вернулся к Ирине.

Поглаживая ее руку, он вдруг заметил, что на безымянном пальце нет знакомого золотого перстня с зеленым камнем. Осталась только кольцевая белая вмятина.

Игорь посмотрел на Ирину. Она отвела взгляд.

— Когда приезжает твой муж?

— Должен завтра, к вечеру...

Савелов рассеянно прошелся по комнате. Потом, взглянув на черную коробку стенных часов, вдруг сказал:

— Я скоро вернусь!

...На улице было ветрено. В зыбких лужицах, дробясь, слепяще отражалось солнце. Савелов не замечал, как переменилась погода. Он спешил. И, только подойдя к деревянному мосту через Чену, где кончалась Заречная сторона, на минуту остановился. Опершись рукой о потемневшие от сырости перила, внимательно оглядел улицу, начинавшуюся впереди за рекой.

По этой улице он не пошел. Повернув от моста влево, к ближайшему домику с голой рамкой перед окнами, он взобрался на кучу битого кирпича, перелез через тесовый забор. Здесь начинались приреченские огороды. Меж мокрых куч прошлогодней картофельной ботвы по влажной, не вскопанной еще земле вилась едва приметная тропинка. Она привела Савелова на просторный школьный двор с волейбольной площадкой.

Двор был проходной. Не выходя на улицу, Игорь через калитку с железным кольцом вышел на соседний двор, залитый асфальтом. Противоположная сторона асфальтового прямо-

---

Продолжение. См. «Огонек» № 1.

Варианты

угольника соприкасалась с тротуаром уже другой улицы — Большой Болотной.

Торопливо прошагав по этому тротуару один квартал, Савелов подошел к трехэтажному кирпичному дому с зелеными воротами. Одна половина ворот была открыта, тягуче поскрипывала, раскачиваемая ветром. Игорь вспрыгнул на низкое чугунное крылечко, скрылся в подъезде...

Минут через пять он вновь появился на крыльце. Постоял в задумчивости, достал из плаща сигарету, закурил.

Из дверей дома вышел Никольчук. На нем было пальто внакидку. Лицо помятое, как после сна.

Посмотрев на небо, он лениво проговорил:

— Похоже, погодка разгуливается.

— Вроде к тому дело,— откликнулся Савелов.

9

Когда лейтенанта Зубкова спрашивали, играет ли он в шахматы, он отвечал: «Балуюсь немного...» Это звучало излишне скромно. По мнению Тюменцева, познавшего древнюю игру три месяца назад, лейтенант был отменным шахматистом, которому недалеко до гроссмейстера. Но тут он малость преувеличивал. Если быть точным, Зубков солидно тянул на первый разряд.

Во всяком случае, ченские пенсионеры, с которыми вот уже несколько дней подряд на правах отпускника Зубков воевал за шахматной доской в городском саду на Большой Болотной улице, имели случай убедиться в его квалификации...

Щелканье костяшек домино не прекращалось в голых, безлиственных по весне аллеях до позднего вечера. В другой части сада, у терновых кустов, склонившись над столиками, сидели шахматисты, по преимуществу старики. Курили, сосали валидол, глотали пирамидон — кому что требовалось. Общеобязательным здесь было лишь одно условие: соблюдение тишины.

Зубков, которого пенсионеры знали только по имени — Виктор, или просто Витя,— придерживался одного важного для себя и неизвестного для других правила: он всегда садился лицом к железной решетке сада. Отсюда, находясь в тени высоких кустов, он мог хорошо видеть противоположную сторону Большой Болотной улицы, особенно дом № 33 с раскрытыми зелеными воротами, часть его двора и даже окно Никольчука на втором этаже.

...Зубков развивал королевский гамбит в партии с одним щуплым упорным старичком в пенсне, когда к черноволосому ладному парню в светлом плаще, стоявшему во дворе дома № 33 на низком крылечке, подошел Никольчук. Улица была неширокая, но все равно разговора на крыльце лейтенант слышать не мог. Поэтому для него имела значение каждая мелочь в поведении Никольчука и парня, каждый жест и кивок головы.

По тому, как оживленно они беседовали, Зубков заключил, что эти два человека, видимо, знакомы давно и, уж во всяком случае, встретились не впервые. А если это так, то их встреча имела несомненный интерес для дела.

Что происходило в этот момент на шахматной доске, Зубков сказать бы не мог. Фигуры он передвигал кое-как. Только робость партнера, успевшего за неделю проникнуться уважением и сильному шахматисту и сейчас думавшего, что тот умышленно мутит воду, готовя наверняка удар, спасала Виктора от немедленного мата. И все-таки мат последовал.

Виктору трудно было противиться такому исходу партии. Он в этот момент увидел, как Никольчук вынул из кармана портмоне, раскрыл его на ладони, послюнявил пальцы и отсчитал несколько бумажек. Взяв деньги, черноволосый парень благодарно потряс Никольчуку руку...

— Может, еще партийку?— самоуверенно предложил старичок победитель.

Зубков встал из-за стола, застегнул пальто.

— Как-нибудь в другой раз...

— Дело молодое! На свиданье, небось?— В душе старичок рад был отказу опасного партнера.

— Небось!— Зубков подмигнул старику.

До железной решетчатой калитки он шагал степенно, не торопясь. А миновав ее, сразу же ускорил шаг, быстро прошел по тротуару к большому соседнему дому. И, как только завернул за угол, побежал к стоявшей в переулке «Волге».

...Игорь Савелов возвращался к Ирине с Большой Болотной тем же путем — проходными дворами, огородами, зареченским мостом. Минут через пятнадцать он уже стоял перед знакомой дверью.

Когда Ирина открыла ему, он в возбуждении прошел к столу, молча выложил деньги.

— Где ты достал?— удивленно спросила она.

— Не имеет значения,— сказал Савелов.— Завтра ты должна выкупить свой перстень.

10

Игорь сел на кровати, надавил пальцем кнопку звонившего будильника. В наступившей тишине слышалось только щебетание птиц на ветках тополя за посветлевшим окном. Он никак не мог прийти в себя, снова повалился на постель.

Вдруг, вспомнив что-то, начал торопливо собираться. Надел поверх рубашки старую телогрейку, достал из тумбочки блокнот, запихнул его в карман, направился к выходу.

Приоткрыв дверь, он почувствовал знакомый запах валерьянки и каких-то отдающих яблоками капель, которые пила мать, когда с сердцем у нее было плохо... Нет, через ее комнату идти не стоит. Наверное, не спит. Начнутся вопросы: куда да зачем идешь спозаранку?..

Он тихо закрыл дверь. Потом, стараясь не греметь шпингалетами, растворил окно, проворно спустился на землю. Жухлая, прошлогодняя трава под тополями была мокрая от росы. Отворотив рукав ватника, Игорь посмотрел на часы и быстро зашагал вниз по улице к реке, откуда тянуло свежей сыростью.

На пристани он отвязал лодку, сел в нее, стал выгонять на чистую воду. Через несколько минут хорошего хода Игорь причалил и разлапистой иве, начавшей выпускать на обвислых ветках зеленые листочки.

Лодку слегка покачивало набегавшей со стремнины волной. Вода вокруг была сине-розовая, под цвет высокого утреннего неба. С противоположного берега, чуть подернутого понизу туманом, из-за темной громады Зеленой горы дул теплый ветер.

Повернувшись назад, Игорь еще раз внимательно оглядел пологий спуск к реке. Никольчука все не было. Назначенное время давно уж прошло...

Игорь опять стал смотреть на крутой правый берег. Зеленая гора! Сколько воспоминаний с ней связано!

...Особенно запомнился один день. Быть может, последний из самых счастливых в его жизни. Это было почти четыре года назад. В конце июля, перед отъездом в областной художественный институт на вступительные экзамены. Они в тот день сидели на самом высоком обрыве Зеленой горы: Ирина, Сашка Ласточкин и он, Игорь. Внизу, за Ченой, расстилались залитые солнцем скошенные луга, над далеким горизонтом струилось марево.

Они тогда мечтали о счастье.

— А в чем оно? — спросил Саша.

— По-моему,— сказала Ирина,— счастье — это слава!.. И я больше всего на свете желаю славы...

Она вдруг смутилась от собственной откровенности.

— А Игорь все пишет...

— Старик! — крикнул Ласточкин.— Топай к нам!

Савелов, стоявший на коленях перед раскрытым этюдником, махнул рукой.

— Игорь!— позвала Ирина.

Он покорно отложил на траву палитру.

— Скажи, как ты понимаешь счастье?

Игорь подошел озабоченный: не ладилось с этюдом.

— Я считаю: творчество без счастья приемлемо, но счастья без творчества не бывает...

Ровно в полдень друзья торжественно расселись вокруг спортивной сумки Ласточкина. В ней нашлось кое-что для маленького сабантуя. Через некоторое время, слегка захмелевший от вермута, Игорь поднялся со стаканом в руке, патетически произнес:

— Леди и джентльмены! Поклянемся же искать свое счастье на великом, священном поприще, где уже подвизается одна из нас (поклон Ирине) и на которое завтра берут старт еще двое будущих гениев!

— Аминь!..

Они пасынничали, чтобы не выглядеть сентиментальными, но каждый думал про себя всерьез: для избранников, наделенных талантом, настоящая жизнь только в мире искусства.

«Настоящая жизнь»... Она совсем, оказывается, не такая, как представляется из туманного абитуриентского далека. Столкновение с нею разочаровывает в собственных надеждах. И тогда начинается мучительная переоценка ценностей...

Погруженный в воспоминания, Савелов не слышал, как Никольчук подошел к лодке.

— Хозяйка забыла разбудить, старая ведьма...— Он сел за весла и сильными, умелыми ударами погнал лодку от берега. Савелов, наладив руль, положил на колени блокнот, нашарил в кармане карандаш...

11

Дело Никольчука Маясов вел сам. Ему помогали капитан Дубравин и лейтенант Зубков. Этот выбор помощников, людей столь разных, был для Маясова неслучаен. Он хотел, чтобы молодой сотрудник практически перенимал все полезное у своего старшего товарища, более опытного чекиста. В конце каждой недели они втроем подводили итоги по делу, анализировали обстановку.

Сегодня сделать сообщение Маясов поручил Зубкову. И тут же предупредил:

— Только покороче! Времени у нас в обрез.

Педантичный лейтенант встал (хотя докладывать разрешалось и сидя), поправил и без того аккуратный узел галстука и, стараясь не заглядывать в лежавшие перед ним бумаги, начал говорить:

— Полученные нами за последнее время материалы дают основание предполагать, что Алексей Никольчук, он же Михайленко, не только бывший пособник гитлеровских оккупантов, но и агент иностранной разведки...

Слушая Зубкова, Маясов глядел в свою раскрытую тетрадь, на чернильный чертежик. То был схематический поэтажный план дома № 33 по Большой Болотной улице. Никольчук снимал здесь комнату в квартире № 16 на втором этаже. Там же находилось еще семь квартир (в доме была коридорная система), и в том числе квартира № 9, где жила старушка Дитрих. Обе квартиры (№ 9 и № 16) Маясов обвел кружочками, кружочки соединил кривой линией, а линию оседлал большим вопросительным знаком.

А что, если Барбара Хольме была в девятой квартире лишь ради маскировки? Зашла на несколько минут к старухе, передала ей письмо из Мюнхена и, не выходя на улицу, по внутреннему коридору прошла в другую, нужную ей квартиру?

Маясов закрыл тетрадь, снова стал внимательно слушать Зубкова, перешедшего ко второй части своего доклада.

— Из связей Никольчука, представляющих интерес для отдела, установлен Игорь Савелов — лаборант оборонного завода «Кленовый Яр», имеющий доступ к секретным материалам... Сведения, которыми мы располагаем, являются, на мой взгляд, серьезными уликами против Савелова... Прежде всего это две подозрительные встречи с Никольчуком. При этом считаю нужным подчеркнуть, что Савелов оба раза вел себя нервозно, настороженно. В частности, после первой встречи он уходил от Никольчука проходными дворами и огородами, в малолюдном месте перелез через забор. Идя на вторую встречу в воскресенье рано утром, Савелов вылез из своего дома через окно. Полдня провел вместе с Никольчуком в лодке на реке. Никольчук удил, а Савелов что-то чертил или писал в блокноте... Не имея пока возможности сделать окончательный вывод о характере этих двух встреч, о содержании бесед между Никольчуком и Савеловым, думаю, что сами обстоятельства, в которых происходили эти встречи, несомненно, представляют оперативный интерес.

Зубков, помедлив немного, припечатал сложенным платочком выступивший на порозовевшем лбу пот и, преодолевая волнение (ведь всего второй раз ему приходится анализировать серьезное дело), продолжал:

— Говоря о моральном облике самого Савелова, надо отметить его нездоровые, если не сказать, антисоветские настроения. Какая-то озлобленность на все и вся. Об этом, в частности, свидетельствуют его стихи, которые он читал своим товарищам. Это же подтверждается и руководством завода, точнее, директором Алексеем Ивановичем Андроновым. Человек с подобными настроениями может оказаться подходящей добычей вражеской разведки... Для характеристики Савелова небезынтересным является и его сожительство с артисткой городского драмтеатра Ириной Булавиной. Муж Булавиной, режиссер Сахаров, работает там же. У них есть ребенок, который воспитывается у матери Сахарова, в другом городе. Короче говоря, Савелов разбивает здоровую советскую семью...

«Ох, и витиеват же ты, Зубков!»— подумал Маясов. Он опять раскрыл свою тетрадь, начал чертить в ней квадратики: от одного большого, в середине листа, разбегались по сторонам маленькие, связанные с ним стрелками... Если представить себе взаимоотношения шпиона с теми, кого он использует, как отношения центра с периферией, то изучать эти взаимоотношения надо, наблюдая не только за центром, но и за периферией.

Центром здесь был Никольчук, а его предполагаемый сообщник Савелов — периферией.

Трудность заключалась в том, что Савелова плохо знали на Кленовоярском заводе, так как работал он там всего несколько месяцев. Чтобы познакомиться с жизнью парня, приходилось искать другие пути.

Вчера капитан Дубравин доложил, что ему удалось найти сразу двух человек, близко знающих Савелова. Это были помощник художественного руководителя Ченского Дома культуры Ласточкин и приехавший из областного центра в гости к старику Смолину техник Антон Чубатов.

Сейчас, расставляя квадратики в своей тетради, Владимир Петрович решил, что Ласточкина пока тревожить не стоит: рискованно, поскольку он близкий приятель Савелова. С Чубатовым же придется поговорить не откладывая, так как он послезавтра уедет домой.

12

Федор Гаврилович Смолин жил на дальнем конце поселка «Кленовый Яр». В большой квартире зятя-инженера он занимал комнатку с окном, выходящим в сосновый мачтовый лес.

Маясова старый слесарь встретил радушно, угостил чаем. Узнав о причине неожиданного визита, сказал:

— Между прочим, брат Чубатова тоже воевал в нашем партизанском отряде...

Владимиру Петровичу было сейчас не до воспоминаний. Однако пришлось некоторое время поддерживать разговор. И, только уловив подходящий момент, майор повернул беседу в желательном направлении — начал расспрашивать сидевшего с ними за столом Антона Чубатова о Савелове, который раньше работал в его бригаде.

Чубатов на вопросы отвечал охотно и обстоятельно, и в результате еще один этап биографии парня для Маясова перестал быть белым пятном.

...В то лето Игорь Савелов не выдержал экзамены в областной художественный институт. Домой вернулся с ощущением полной катастрофы. Казалось, солнце померкло, кончилась жизнь.

Мать, строгая, властная женщина, сказала ему:

— Надо взять себя в руки и попытать счастья еще раз.

— Это бесполезно.

Она тяжело вздохнула.

— Где же ты теперь думаешь учиться?

— Пока нигде.

— А что намерен делать?

— Еще не знаю... Один парень зовет к себе на завод.

— Метаморфоза, достойная восхищения: из художника в слесари! — гневно сказала мать.— Пойдешь в педагогический.

— В педагогический я не пойду!— отрезал Игорь.

Наступила тягостная пауза. Мать и сын сидели в разных углах комнаты, каждый по-своему переживая случившееся.

И тут Игорь, деревенея от пришедшего в голову подозрения, сказал чуть слышно:

— Неужели мне второй раз закрывают двери в институт из-за отца?..

Недели через две после этого разговора Саве-

лов уехал из родного города в областной центр, где в театральной студии учились его ченские друзья — Ирина Булавина и Сашка Ласточкин. Он поступил учеником на механический завод.

Непросто было Игорю заставить себя встать за слесарные тиски. А дело началось именно с них и с обыкновенного слесарного зубила. Только через три месяца его допустили к первому станку.

Но и тогда Игорь не проявил особого рвения и радости...

Однажды бригада собирала отремонтированный токарный станок. Руководил сборкой помощник Чубатова — насмешливый и грубоватый парень Козырь. Работали весело, только Игорь по обыкновению хандрил.

Козырю, у которого инструмент так и играл в руках, не нравилось настроение Савелова, и он все время подначивал.

Когда Савелов хотел было сам закрепить маховичок, Козырь небрежно отстранил его:

— Это тебе не мясточной мазать, здесь нужно кумекать железно!..

В обед Игорь не ушел из цеха вместе со всеми. Засунув руки в карманы, несколько минут стоял возле почти уже собранного станка. И вдруг подумал: а что, если показать этому типу Козырю, что и он, Игорь, не лыком шит и, если захочет, сможет работать не хуже других? «Подумаешь, кибернетика — собрать токарный станок!»

И Савелов решительно приступил к делу.

Он спешил изо всех сил, чтобы уложиться до конца перерыва, он взмок, задыхался... И вот наконец станок собран!

Сейчас он включит его и позовет ребят. И пусть они позеленеют от удивления...

Игорь нажал кнопку пускателя. Раздался страшный скрежет, треск, запахло горелым маслом. Со всех сторон к Савелову кинулись люди.

— Доигрался!

— О себе много понимает!

Едва завидев показавшегося в пролете бригадира, Игорь бросился вон из цеха...

И все-таки разговора с бригадиром избежать не удалось. Через два дня Антон Чубатов сам пришел к нему,— Савелов жил вместе с Ласточкиным у его тетки.

Игорь был убежден: бригадир явился, чтобы сообщить о вычете из его зарплаты за поврежденный станок. Но Чубатов вдруг сказал:

— Бригада решила отремонтировать станок в воскресенье.

— Мне вашей благотворительности не нужно! — заносчиво сказал Игорь.

— Это не благотворительность, а товарищи из беды тебя выручают,— строго заметил Антон.— В общем, в воскресенье ждем.

— А если я не приду?— спросил Игорь. И снисходительно добавил:— Рад был узнать, что в нашей... то есть в вашей бригаде имеются не только Козыри...

— Что ж, Козырь позубоскалить любит... Но технику понимает...— сказал бригадир.— Кстати, это Козырь и предложил отремонтировать в выходной день загубленный тобой станок.

— Козырь? Поражен.

— Вот так, парень...

Делая себе пометки в записной книжке, Маясов спросил:

— Интересно, все же получился из Савелова ремонтник или так себе?..

Владимир Петрович задал этот вопрос как бы между прочим. Но ответ на него хотел получить самый обстоятельный: ему нужно было понять, почему Савелов, уже имея специальность слесаря-ремонтника, поступил потом простым лаборантом на завод, до которого от дому ездить очень далеко. Да и тому же в лаборатории ему и платили меньше.

Если всем этим Савелов пренебрег, значит, что-то другое руководило им, когда он вернулся в Ченси и устроился на оборонный завод. Значит, «Кленовый Яр» представлял для этого парня какой-то особый интерес?

На вопрос Маясова Антон Чубатов ответил не сразу и весьма неопределенно:

— Игорь — малый недурной, смекалистый...

— А как, по-вашему, зачем он из области в Ченси вернулся?

Чубатов пожал плечами.

Еще в первые дни после того, как Савелов попал в поле зрения чекистов, Маясов, изучая материалы на него, обратил внимание, что возвращение парня в Ченси примерно совпадает с появлением в городе Никольчука. До этого, как выяснилось, Никольчук тоже жил в областном центре: около двух месяцев он там работал в парикмахерской. Возможно, что совпадение случайное. Но могло быть и по-другому...

Идя сегодня к Смолину, Владимир Петрович рассчитывал, что его гость поможет ему хотя бы немного приблизиться к решению этого вопроса. К сожалению, надежды не оправдались. Но делать было нечего, приходилось довольствоваться тем, что удалось получить. Да и часы показывали уже четверть первого — людям давно спать пора.

13

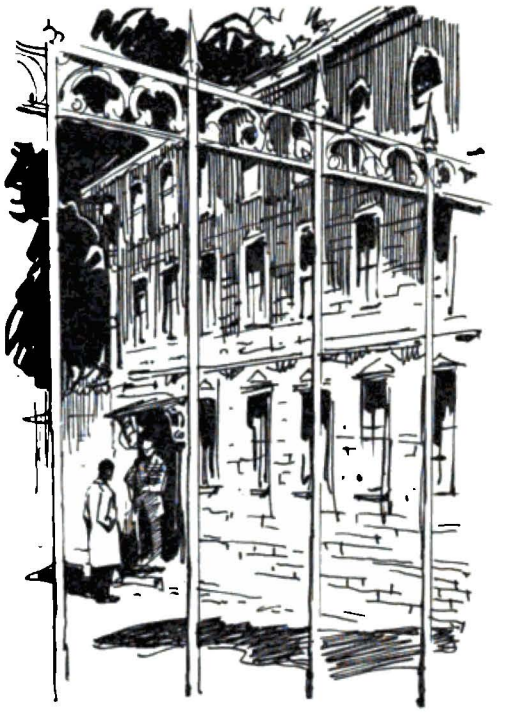
Уезжая ночью от Смолина, Маясов решил завтра же командировать в областной центр капитана Дубравина, чтобы разыскать там тетку Ласточкина, у которой квартировал Савелов.

Но утром неожиданно позвонили из Управления КГБ: Маясова вызывали в областной город на совещание. Нужда в командировке Дубравина отпала.

После совещания у генерала Винокурова Маясов задержался в городе еще на два дня и сам нашел нужных ему по делу Савелова людей. Он даже успел зайти в художественный институт, где Игорь провалился на экзаменах.

Чужая жизнь становилась все яснее и понятнее.

Вернувшись в Ченск, Маясов сразу же засел



за обработку материалов, полученных в поездке. Он начал со своей записной книжки. Эта довольно пухлая книжка едва ли не вся была заполнена пометками о Савелове. Но не только о нем самом. Среди имен слесарей, с которыми работал Игорь, данных о его отце и матери, о его друзьях упорно повторялось, мелькало чаще других одно имя: Ирина Булавина.

...С Ириной Булавиной Савелов вместе учился в школе. Оба мечтали о творчестве и славе. Бежало время. Школьная дружба незаметно перерастала в нечто большее. И это, пожалуй, объясняло, почему Игорь после неудачи с поступлением в художественный институт оказался в том же городе, где училась Ирина.

...Савелов на механическом заводе. Не менее двух десятков страниц, исписанных угловатым маясовским почерком.

После неприятного случая со станком Игорь, смирив гордыню, все-таки вернулся в бригаду. Вернуться вернулся, однако завод, цех, бригада долго еще оставались для него чужими.

И все же дело как будто понемногу налаживалось. Игорь наконец сумел найти общий язык с ребятами. Получил разряд. Участвует в установке первой автоматической линии на заводе. И вдруг неожиданно для всех берет расчет и уезжает в Ченск!

...В записной книжке снова начинаются страницы о Булавиной. Что же делала в это время Ирина?

Она вышла замуж за Константина Николаевича Сахарова.

Об этом Маясову рассказала тетка Ласточкина. Она была у них на свадьбе, и ей запомнился такой разговор гостей:

— А у Сахарова губа не дура.

— Девица тоже не промах: муж — режиссер, дядя мужа — главный режиссер.

— Театральная семейка...

Семейка оказалась непрочной.

Однажды Ласточкина спросила Ирину:

— С тобой, землячка, я замечаю, происходит что-то неладное.

Ирина подавленно молчала.

— Если не ошибаюсь, дело в Игоре?

Ирина вдруг разревелась.

— Что мне делать? Скажите, что делать?..

Выплакавшись, она сбивчиво заговорила:

— Еще давно у кого-то из великих актрис я прочитала о тщеславии, с которым она боролась. Но только теперь я по-настоящему поняла, как губительна эта черта характера. Постоянное нездоровое внимание к своему «я» и к тому, как люди оценивают тебя, заставляет все время думать о самой себе, сравнивать себя с другими, порождает недоброжелательность ко всем людям, которые тебя чем-то превосходят...

— Не взвинчивай себя, Ирина!

— Нет, нет, не перебивайте... Я хотела первенствовать, быть лучше всех. Я и замуж-то вышла...— Она не договорила, махнула рукой и опять заплакала.

Неделю спустя Ирина вдруг объявила мужу, что предстоящий отпуск решила провести в Ченске...

Маясов продолжал листать свою записную книжку. Непросмотренных страниц оставалось немного.

...В одну из июльских ночей в Ченск неожиданно приехал Сахаров. Ирина была у себя в комнате (она жила в квартире Ласточкиных), читала книгу.

Константин Николаевич, как всегда, был чисто выбрит, безукоризненно одет. Он горячо обнял жену, сел рядом на софу.

Ирина избегала смотреть мужу в глаза.

— Что нового в театре, дома?

От этого вопроса Сахаров сразу как-то обмяк.

— Надоело мне работать по указкам дяди,— сказал он.

— Что же ты намерен предпринять?

— Если обстановка в областном театре сложится неблагоприятно, мы переберемся сюда, в Ченск...

Маясов закрыл записную книжку. Долго сидел в задумчивости. Потом достал из стола бумагу, начал писать отчет о своей поездке.

14

В закусочной было чадно, душно, пахло пригорелым луком. За соседним столиком шел разговор о футболе. Арсений Павлович Рубцов не удержался, вставил несколько дельных замечаний — беседа стала общей. А когда официантка принесла полдюжины «Жигулевского» и тарелку с красными раками, Рубцов пригласил соседей-болельщиков разделить с ним трапезу. Оба охотно согласились. Один из них, буйнокудрявый, с тонким голосом, сразу же заказал штофик водки.

Народу в закусочной по случаю дня получки было много. Дверь на тяжелом блоке то и дело хлопала, впуская все новых посетителей. Многих из них Арсений Павлович знал в лицо, с некоторыми был коротко знаком. С той поры, как он стал внештатным фотокорреспондентом областной газеты, ему часто приходилось наведываться в эти места: поселок Шепелево с прилегающими к нему населенными пунктами входил в его «репортерский куст».

К столу подошел высокий шофер в распахнутой телогрейке, попросил официантку побыстрее обслужить его.

— Куда это ты, Ваня, торопишься?— полюбопытствовал кудрявый сосед Рубцова. Он уже порядком захмелел.

— Одного парня надо подбросить до Ченска.

— Кому так приспичило?

— Савелов, из главной лаборатории.

— Постой, это какой Савелов?— Кудряш посмотрел в окно во двор, где стоял Иванов грузовик. И вдруг тоненько захихикал:— Тю! Это же хахаль Булавиной, артистки, она моя соседка была...

— Я извиняюсь,— вмешался в разговор Рубцов,— эту Булавину случайно не Ириной Александровной звать?

— Точно!— И кудрявый тут же принялся выкладывать Арсению Павловичу все, что знал об отношениях Савелова с Булавиной. А знал он, этот словоохотливый человек, оказывается, немало.

Из пьяного бормотания Рубцов понял, что Савелов работает на Кленовоярском заводе, а живет в Ченске вместе с матерью, бывшей учительницей, недавно вышедшей на пенсию. Отец Савелова был летчиком, однако перед Отечественной войной с ним произошла какая-то темная история...

Рубцов слушал, попыхивая в открытое окно папиросой, в памяти его всплывали давние события, связанные с фамилией Булавиной.

Заинтересовался он не случайно, он знал не только Ирину Булавину, но и ее отца и мать. В свое время, перед войной, отец Ирины, Александр Букреев, работал в Донбассе начальником цеха на коксохимическом заводе, а он, техник Рубцов, в том же цехе был мастером. Когда началась война, их призвали вместе. На фронт они уезжали в одном вагоне. Букреева провожала жена, звали ее Валентина. Фамилию она носила девичью — Булавина.

Второй раз в жизни Арсений Павлович встретился с нею уже после войны, в жаркое лето сорок шестого года. Они неожиданно столкнулись в Ченске, на пыльной Болотной улице. И Булавина страшно смутилась. Причину понять было нетрудно: рядом с ней стоял представительный, полный блондин — ее новый муж. С ними была красивая девочка, дочка Александра Букреева.

Новый муж Булавиной деликатно оставил их одних, они присели на лавочку у тесового забора, и Рубцов, как ни тяжело это было, стал рассказывать Валентине все, что знал о своем фронтовом товарище, до того самого дня, когда Букреев не вернулся из последней разведки.

После его печального рассказа долго молчали. Девочка заплакала. Чтобы как-то отвлечь мать и дочь, Рубцов достал из бумажника пожелтевшую любительскую фотографию: на фоне полуразрушенной темной громады берлинского рейхстага стояли рука в руку высокий, сухопарый лейтенант и полногрудая женщина с погонами капитана медицинской службы.

— Я и моя жена,— объяснил Рубцов.— Познакомился с ней в сорок четвертом году. А после войны затащила меня вот сюда, на свою родину...

Когда Булавины уходили потом по длинной улице, Арсений Павлович долго смотрел им вслед, думая, как похожи мать и девочка...

И вот теперь эта девочка выросла в красивую женщину. Стала актрисой. Вышла замуж. Сама сделалась матерью. Полюбила другого, связь с которым скрывает от людей. Но люди, оказывается, все знают. А теперь знает об этом и он, Рубцов, товарищ ее отца. И не его ли право (если не обязанность!) поинтересоваться нынешней жизнью молодой женщины и, главное, тем человеком, которого люди называют ее любовником.

Будучи натурой деятельной, Арсений Павлович не стал откладывать в долгий ящик своего только что возникшего намерения — поближе присмотреться и этому парню, ехавшему из «Кленового Яра» в Ченск. Когда шофер Иван отобедал и вышел на крыльцо, Рубцов попросил и его подбросить до города.

— Пожалуйста. Места в машине хватит.

Арсений Павлович открыл дверцу кабины, приветливо поздоровался с сидевшим там Савеловым. Мощный «ЯЗ» тронулся со двора на улицу.

Продолжение следует.

Леонид ТАМАЕВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА

Запасной вариант

15.

Капли дождя, дробясь о подоконник, брызгали на голое плечо Игоря. Но он ничего не чувствовал. Он целиком ушел в свои записи в тетради, которую держал на коленях. Это был забытый в последние месяцы дневник.

Дождь, дождь... Сама жизнь казалась ему пасмурной, как нынешнее утро. За эти двое суток он даже стал как-то привыкать к мысли о неотвратимости того страшного, что должно с ним случиться. Поэтому теперь его больше занимало другое: степень возмездия, которое суждено нести. Если судьба ему улыбнется, он может рассчитывать на снисхождение. Если же не улыбнется...

Нет, лучше не гадать на кофейной гуще. Лучше за эти оставшиеся часы привести в порядок свои бумаги: выбросить, сжечь все, что может осложнить его положение.

Собственно, для того он и отпросился вчера с работы пораньше. И как только Иван Сердюк на своем грузовике привез его домой,— сразу же полез в нишу над входной дверью в прихожей. Там он отыскал связку перевязанных шпагатом толстых тетрадей, притащил в свою комнату. Потом сказал матери, что болит голова, и заперся на ключ. Но мать ему помешала: принесла аспирин и пирамидон, заставила лечь в постель. Пришлось подчиниться, чтобы оставила в покое. Но лежа даже удобнее и читать и, где нужно, вырывать из дневника листы, складывая их в тумбочку.

Этим делом он занимался до полуночи. И теперь, проснувшись на заре, не вставая, снова читал. Как раз пошли записи об Ирине — наспех, карандашом, который он нащупывал нетерпеливо на подоконнике, освещенном луной, после их свиданий.

«...Неожиданная встреча в парке! Приехала в Ченск. (Зачем приехала — без мужа,— я так и не понял.) Но дело не в этом. Увидев меня, она сказала всего два слова. «Здравствуй, Игорь...» Но как сказала! Придя домой, я достал спрятанную в чемодане ее фотографию, поставил перед собой на тумбочку и смотрел, смотрел...»

«...После концерта ждал Ирину. Простоял у столба 26 минут. И вот она вышла из переулка. Шагает ко мне, стуча каблучками, подняв голову. Гуляли по парку под луной, говорили о разных пустяках. А говорить-то мне и не хотелось. Хотелось просто смотреть на нее».

«...Сегодня, когда я уходил на работу, мать вдруг спросила:

— Игорь, а что у тебя с Ириной?

Я сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал:

— Я люблю ее.

Мать осуждающе посмотрела на меня.

— Она замужняя женщина.

Тогда я повторил:

— Я люблю ее... Мы поженимся...»

«...Да, мы решили пожениться. Это решение было твердым, по крайней мере с моей стороны... И вдруг записка, принесенная соседским мальчишкой в день ее внезапного отъезда с мужем из Ченска: «Мы должны разлучиться... Возможно, я не права. Но по-другому не могу: оставить мужа в трудную для него минуту было бы подлостью».

«Я не выдержал. Когда до отхода ее поезда оставалось пятнадцать минут, я бегом побежал на вокзал... Вот где мне пригодилось знакомство с проходными дворами Заречной стороны! Благодаря этому я сумел сократить расстояние вдвое. Но тут, на площади, случилось непредвиденное: поскользнувшись на мокрой мостовой, я упал и угодил под автомашину. Рубчатые, пахнущие жженой резиной колеса проехали по моей правой ладони».

Чтение прервал тихий стук в дверь. В комнату вошла мать с хозяйственной сумкой в руке.

— Почему ты не завтракал?.. Или совсем разболелся?

— Нет, я здоров,— сказал он, пряча в тумбочку дневник.

— Здоров?..— Мать удивленно посмотрела на него.— Почему же тогда не на работе?

Игорь встал, молча начал одеваться. Мать снова спросила, что с ним. Но Игорь, сосредоточенно распутывая шнурок на ботинке, опять ничего не сказал.

Мать не стала больше расспрашивать. Она только обвела пристальным взглядом маленькую комнату сына, словно надеясь найти разгадку непонятного его поведения. И пошла на кухню.

Завтракали они по обыкновению молча. Но необычным было само молчание: Игорь все время чувствовал на себе изучающий взгляд матери. И ждал ее вопроса. В третий раз. После этого уже нельзя будет отмалчиваться, придется все рассказать... И он, торопливо допивая чай, внутренне готовился к неприятному разговору, обдумывая, как лучше все это преподнести матери, чтобы меньше расстраивать ее...

Но мать так ни о чем и не спросила. Она стала убирать со стола, мыть посуду. Потом ей понадобилась вода, а в ведрах, прикрытых фанерными кружками, было пусто.

— Давай я схожу,— сказал Игорь и усмехнулся: — Может, в последний раз...

Когда он возвратился, мать с нескрываемым беспокойством спросила:

— Что с тобой, Игорь?

— Суши, мама, сухари.— Он хотел отшутиться. Но шутка вышла невеселая.— Меня вызывают в КГБ...

Мать тяжело опустилась на стул, положила руку на сердце.

— Зачем?

— Для задушевных бесед туда не приглашают...

Лицо матери сделалось желтым, как воск.

Игорь вдруг сник, присел на валик дивана. Но тут же спохватился. Словно устыдившись своего минутного малодушия, бодро поднялся, засунув руки в карманы, с бесшабашной усмешкой сказал:

— Вот так, наверное, и отца: вызвали... пошел... и больше не вернулся...

Мать строго посмотрела на него.

— Не кощунствуй! Этим не шутят.— Помолчав, добавила: — Отца взяли ночью.

16.

Маясов отвел взгляд от окна, повторил свой вопрос.

Потирая ладони, Савелов отвечал как-то скороговоркой, с дерзкой усмешкой:

— По-моему, я вам русским языком сказал: деньги мне были нужны, поэтому я и пошел к Сашке...

— Кто он, этот Сашка?

— Будто не знаете? Ну, хорошо, могу напомнить: Александр Витальевич Ласточкин, из семьи советских интеллигентов, холост, жениться пока не собирается, проходит режиссерскую практику в Ченском доме культуры, проживает на Большой Болотной улице, дом номер тридцать три, квартира номер четыре... Этого достаточно?

— Вполне,— тихо сказал Маясов.

Ему было неприятно и в то же время немножко смешно видеть кривляние юнца, умышленно не желавшего разговаривать в предложенном ему доброжелательном тоне. Маясов понимал, что амбиция Савелова дутая, что он прикрывает ею растерянность и, может быть, страх. И поэтому, не выдавая своего раздражения, продолжал невозмутимо задавать вопрос за вопросом, стараясь втянуть его в разговор по душам.

— Ну, а дальше?..

— Ах, дальше? — Савелов опять усмехнулся.— Извольте. Когда я пришел к Ласточкину, его не оказалось дома. Я спустился во двор, раздумывая, где бы мне достать денег. И тут на крыльцо вышел этот самый парикмахер Никольчук...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1, 2.

— И что же было потом?

— Никольчук сказал, что неплохо бы рвануть на рыбалку, да лодки нет. А я ему говорю: лодка и вся снасть будут, если подбросите мне зимою сумму взаймы: горю, как швед...

Маясов с минуту молчаливо походил по кабинету и вдруг спросил:

— Каким карандашом вы делали наброски, когда рыбачили с Никольчуком?

— Что? — Савелов настороженно сузил глаза.— Разве это имеет отношение к делу?

— Просто интересуюсь, потому что сам этим балуюсь.

— Рисуете или пишете красками?

— В основном пишу маслом.

— А меня больше тянет к акварели.

Игорь достал из кармана сигареты. Сигареты были дешевые. От предложенных еще в начале разговора хороших, в целлофановой пачке демонстративно отказался: «Не на такого напали!» Все эти криминалистические фигли-мигли ему известны: читал о них не раз. Угостят пахучей папиросочкой, погладят по шерстке, расслабят твой мозг и нервы, а потом внезапно — бац, какой-нибудь коварный вопрос... Дудки! Он не дастся, чтобы его заклевали, он постоит за себя...

— Так, значит, больше увлекаетесь акварелью? — спросил Маясов после недолгой паузы.— По-моему, акварелью трудней работать.

Он подошел к книжному шкафу, достал дешевенький картонный альбом, подал Савелову.

Игорь сперва рассматривал рисунки небрежно, не задерживая ни на одном из них взгляда. И только где-то в середине альбома остановился. Прижмурив глаза, долго всматривался в один этюд. Потом недоверчиво спросил:

— Сами делали?

— Зачем бы я стал чужое показывать?

— Кто вас знает...— Савелов пожал плечами.— Искусство — и ваша служба... В общем, не знаю... А у меня вот...

Он немного помолчал и вдруг заговорил возбужденно. Но не об акварелях Маясова. А о себе, о своих картинах и этюдах — о их слабом месте: непроработанности рисунка. Он понял это, и сожалению, слишком поздно: после второго провала на экзаменах. Несмотря на то, что по живописи и по композиции он получил четверки, слабость рисунка сказалась на итоговом балле. В результате он засыпался... Правда, не исключено, что, кроме этой, была и другая причина...

— Это какая же? — спросил Маясов.

Савелов ответил не сразу. Он заглянул в пачку и смял ее в кулаке: сигарет больше не было. Маясов подвинул ему свои. Закурив, Игорь начал издалека:

— Отца своего я не помню. Его арестовали в тридцать девятом году, вскоре после моего рождения. Но я помню другое... Как от нас отвернулись знакомые, даже те, которых мать и отец до этого считали самыми близкими. Они обходили наш дом, будто там жили прокаженные. Остались два-три человека. Но и эти старались никогда не говорить об отце, по крайней мере при мне. И настоящую правду о нем я узнал только в пятьдесят четвертом году...

Савелов говорил долго, взволнованно, почти без пауз, как бы на одном дыхании. Маясов не перебивал его, хотя временами ему хотелось остановить парня, показать, где он путается, хватает через край.

Когда Игорь кончил свой рассказ, майор спросил:

— И вы убеждены, что с институтом это из-за отца?

— Не знаю. Вообще-то его полностью реабилитировали в пятьдесят четвертом. Но...

— Что «но»?

— Может, я ошибаюсь, но мне кажется, недоверие иногда действует по инерции...

— Говорите точнее.

— Оно настолько живуче, что дает о себе знать, когда уже и причины исчезли.

— И вы считаете, что эта «инерция недоверия» сработала и против вас?

— Точно не могу сказать. Я только хочу заметить, что в жизни так может быть.

Савелов помолчал, что-то припоминая, потом заговорил, уже не горячась, тщательно подбирая слова, видимо, остерегаясь сказать что-нибудь «лишнее».

— Вы, товарищ майор, наверное, читали недавно в газете статью «Небо и тучи». Я ее раза три читал. Дело в том, что летчик, о котором там написано, до войны служил в авиационном полку, которым командовал мой отец... Этот человек такой же герой был, как Гастелло, Талалихин, Покрышкин, Кожедуб. Он дважды на таран ходил. А потом его сбили, он в плен попал. Бежал из плена, опять стал летать. Однако ничто его не спасло. Оклеветали, обвинили в измене, придумали, будто он сам сдался. По личному приказу Берия его арестовали, посадили в тюрьму... Теперь этот человек полностью реабилитирован. Однако «инерция недоверия» продолжает делать свое дело: его до сего дня не восстановили в партии, потому что не удалось разыскать партийные документы. Ему предлагают вступать заново. Но разве все это время он не был коммунистом? Почему человек должен начинать все сначала, или он не заслужил?..

Маясов внимательно слушал Савелова. Эту статью он тоже читал. Но она, оказывается, вызвала у него совсем другие мысли. И как только Игорь умолк, он сказал:

— Когда я читал эту статью, я подумал: могла ли она появиться несколько лет назад? Нет, не могла! Весна шестьдесят первого года — это не весна, скажем, пятьдесят второго. Не так уж много времени, да? А как все изменилось. Вот о чем надо думать...

Немного помолчав, Маясов вдруг переменил тему:

— Вот вы переживаете, что не удалось поступить в художественный институт... А ведь бывает и так: человек учится год, другой, а потом сам подает заявление об отчислении.

— При чем здесь я? Меня же не приняли...

— Вы хотели впрячь себя в такой воз, который, по-моему, вам явно не по силам,— сказал Маясов.— Сейчас вас предостерегают от худшего, а вы разыгрываете трагедию, впадаете в мировую скорбь.

— Я ничего не разыгрываю.— Савелов сразу нахмурился.

— Не будем придираться к словам... Вы не разыгрывали трагедию: вы ее сами создали и поверили в нее. И, к сожалению, слишком искренне.

— Никакой трагедии я не создавал...

— А что скажете о стихах? Вы думаете, я не понимаю, на каких дрожжах бродит ваша поэзия?

— Пишу, как умею...

— Вы напрасно обижаетесь: я говорю не о форме, а по существу. Можете писать, как хотите. Но не распространяйте вирши с антисоветским душком...

— Я их не распространял.

— Но знакомым читали?

— Это было.

Маясов увидел, как сразу побледнело смуглое лицо парня.

— Меня будут за стихи судить? — спросил он глухим голосом.

— Передавать ваше дело в суд мы не будем.

Савелов тревожно взглянул на майора:

— Это что же, без суда?..

— Без суда никого не осуждают,— сказал Маясов.— Что касается вас, то будет полезнее, если с вами поговорят ваши товарищи...

17.

«...Мне исполнилось девятнадцать лет, когда к нам на Украину пришла война.— Голос Никольчука, записанный на магнитофон, звучал глуховато. Откинувшись в кресле, Маясов внимательно вслушивался в этот голос, и казалось, в комнате незримо присутствует еще один человек.— За год перед этим я окончил школу, работал в редакции газеты... Я любил Украину, но по-своему. И когда заговорили националисты,— поверил им, начал сотрудничать в их газете, которая издавалась на средства оккупантов... За этой ошибкой последовала другая. Я поступил на службу в немецкую комендатуру: там больше платили...»

Маясов остановил магнитофон, достал из сейфа папку с ответами на запросы в несколько районов Украины, где в годы немецкой оккупации служил в полиции Алексей Михайленко. Пролистав несколько бумаг, майор снова включил аппарат, с помощью которого он решил сегодня проанализировать ход следствия по делу Никольчука.

«...Когда немцев погнали с Украины, куда мне было деваться? Я ушел с ними... Второго апреля, в сорок пятом, меня в Будапеште арестовали и осудили военным трибуналом. Дали десять лет лагерей... В камере предварительного заключения со мной сидели два дезертира, они подбили меня на побег. Нам это удалось. Но они пошли на восток, на Родину, а я подался в обратную сторону. Боялся... Вскоре оказался на территории Западной Германии, стал одним из тех, кого называют «перемещенные лица»... А потом попал на крючок американской разведке. После обучения в специальной школе, как я уже вам рассказывал, в марте шестидесятого года меня посадили на самолет и ночью выбросили с парашютом в приграничной полосе.

Выполняя задание центра, я должен был приехать в Чепск, изучить на месте обстановку и организовать сбор секретной информации о технологии производства и о продукции завода «Кленовый Яр». Добытые сведения мне приказали сообщать тайнописью в письмах бытового характера, которые я должен был направлять в подставные частные адреса Берлина и Мюнхена... Но никакие напутствия полковника Лаута и его помощников мне не пригодились. Когда я вступил на родную землю, я почувствовал себя другим человеком. Во мне все более зрела мысль не работать на американскую разведку. Об этом я начал думать еще в разведшколе.

Однажды мне попалась в газете статья «Явка с повинной». Из нее я окончательно понял, что только честный труд поможет мне стать человеком. И я твердо решил объявить себя органам госбезопасности. Почему я этого не сделал? Я колебался, боялся ответственности, пока вы не упредили, случайно не натянулись на меня... Ну, может, и не случайно, я не знаю, поскольку, вы говорите, вам помогает народ. Не стану отрицать. Я говорю в том смысле, что если бы вы не взяли, не арестовали меня, я все равно бы к вам пришел. Рано или поздно. Это был лишь вопрос времени...»

Маясов сделал несколько коротких записей в своей рабочей тетради. А глуховатый голос между тем продолжал:

«...Как я уже сообщил на первом допросе, после моей неявки на встречу со связником — в московском ГУМе — этот связник — женщина, назвавшаяся Барбарой Хольме,— разыскал меня в Чепске. Чтобы избежать их мести за прямой отказ от сотрудничества с ними, я тогда сказал Хольме, что согласен работать. Но про себя думал: работать не буду. Хольме же мне изменила задание, сказала, что с некоторого времени завод «Кленовый Яр» их больше не интересует, а надо организовать добычу информации о продукции химкомбината в Зеленогорске. Я сказал, что готов приступить к выполнению этого задания, но мне нужны деньги, так как предстоят новые крупные расходы. Я так сказал, чтобы побольше выжать из них денег, но про себя окончательно решил с разведкой Лаута порвать...»

Маясов остановил аппарат. Потом, перемотав ролик, запустил последнюю часть снова... Выходило, что агент должен был переехать из Чепска в Зеленогорск, после того как получит запрошенные им деньги. Но еще на первом допросе Никольчук сообщил, что денег, обещанных Барбарой Хольме, ему не доставили. Почему? Или связник с деньгами не добрался до него, или сам Никольчук не признался в получении этих денег, или вообще он выдумал всю эту историю о добавочном субсидировании? Но зачем ему лишнее выдумывать?

Этот вопрос очень интересовал Маясова, как и другой, с ним непосредственно связанный: о самом характере нового задания агенту. Было похоже, что Лаут переключается на новый объект. Не сумев пробраться к секретам в одном месте, американцы, видимо, решили сделать попытку в другом: Зеленогорский химкомбинат выпускает продукт «Б», представляющий разновидность того же ракетного топлива, которое вырабатывает завод «Кленовый Яр».

Но все-таки считать это точно установленным фактом еще рано. И Маясов крупно написал в своей тетради: «Почему агенту, получившему новое важное задание, центр не доставил обещанных денег? Странно!»

18.

Ирина Булавина отпросилась у режиссера с репетиции. Дома она решила наскоро переодеться и тотчас уйти. Это выглядело смешно, но она действительно стала бояться одиночества и тишины в квартире. Тишина пугала ее, настораживала, заставляла прислушиваться, не стучит ли кто в дверь...

Отыскивая в сумочке губную помаду, Ирина снова увидела там письмо. Она получила его позавчера. Письмо было в зеленом конверте, точно таком, как и первое, которое пришло из Москвы две недели назад. Только на этом штемпель стоял не московский: письмо было отправлено с почтамта областного центра.

Возможно, отец находился в области проездом. Между делами забежал на почту, чтобы написать ей несколько слов. А может, он надолго или даже навсегда обосновался здесь, чтобы быть поближе к ней, Ирине, своей единственной дочери.

Впрочем, все это странно и непонятно. Уйти из дому в сорок первом году и вновь объявиться ровно через двадцать лет. Двадцать лет молчания — это не укладывалось в голове...

До писем в зеленых конвертах она и мысли не могла допустить о причастности отца к каким-то темным делам. Только прочитав второе письмо, еще более туманное, чем первое, она подумала, что с ее отцом, которого она считала пропавшим без вести, а вернее, погибшим на фронте, произошло что-то неладное, нехорошее. И еще она поняла из этого короткого письма, написанного характерным бисерным отцовским почерком, что он приехал «оттуда» и приехал не как Александр Андреевич Бунреев, а под чужим именем...

Когда он уходил на фронт, ей едва исполнилось пять лет. Но она навсегда запомнила то июньское утро. Отец нагнулся, потом присел перед ней на корточки, поскрипывая ремнями новой портупеи. Он не плакал, как мать, он улыбался. Подняв ее на руки, он сказал:

— До свидания, Ири.— И при этом смешно пошевелил черными усами. Он всегда так делал, когда уходил на работу. И всегда называл «Ири»: так, как она себя называла.

И вот теперь, через двадцать лет, в обоих письмах она прочла: «Моя дорогая Ири...»

Ирина подошла к шкафу, взглянула на себя в зеркало: лицо бледное, под глазами тени. Отпрыв дверцу, она достала вишневое платье. Любимое платье Игоря... Впрочем, и мужа — тоже. К сожалению, ни тот, ни другой ей не могут сейчас помочь. Единственный человек, с кем бы она могла поделиться своей тревогой, была мать. Но мать с отчимом далеко от Чепска: в заграничной командировке, в Африке...

Торопливо переодевшись, Ирина вышла из дому. На малолюдной улице было тихо. И от этой вечерней тишины, от мягкого света заходящего солнца у Ирины как-то сразу стало спокойнее на душе. Она вдруг решила, что все уладится, что человек, к которому она идет, непременно ей поможет, и она наконец сумеет выбраться из тупика, в котором неожиданно оказалась.

Человек этот был Арсений Павлович Рубцов, друг их семьи, знавший ее отца, как никто другой: вместе работал с ним, вместе воевал. Ирина позвонила ему сегодня утром, и он, как всегда, радостно и приветливо говорил с ней...

Рубцов уже ждал ее в своем маленьком кабинете в фотоателье на Советской улице — он работал здесь заместителем директора. И как только она появилась в дверях, встал навстречу, приветливо улыбаясь.

— Я к вам, Арсений Павлович, за советом...— сказала Ирина, как только села за круглый столик, накрытый тяжелым плюшем.

Когда она закончила свой рассказ и показала оба отцовских письма, Рубцов долго молчал, потом тихо попросил:

— Разрешите я закурю?

— Да, пожалуйста.— Ирина видела, как сильно он взволнован. Но почему молчит? Она, признаться, ждала, что он рассмеется и скажет: мол, все это не так серьезно, как ей кажется, и не надо расстраиваться. Или что-то в этом роде.

Но вышло не так. Рубцов в упор посмотрел

на Ирину, и ей стало не по себе от его врачебного взгляда.

— Дело-то не простое.— Он тяжело вздохнул.— Хотя должен вам, Ирина Александровна, признаться, что я, если хотите, не особенно далеко удивлен...

— Я не понимаю вас, Арсений Павлович.

Он опять замолчал, глядя в одну точку, и Ирина подумала, что та правда, которую он, видимо, знает об ее отце, настолько горька и нехороша, что ему даже трудно сказать о ней...

— Умоляю вас, расскажите, что вам известно...

— Хорошо, я расскажу...— Рубцов потер ладонью лоб, как бы соображая, с чего начать.— Вы считаете, что ваш отец пропал без вести? Это ложь! В свое время я мог бы перед вами и вашей матерью эту ложь рассеять. Но у меня тогда, в первую нашу послевоенную встречу, не хватило духу. Я решил, что для вашей матери лучше быть вдовой пропавшего без вести фронтовика, чем женой изменника Родины...

— Изменника? — прошептала Ирина.

— Да, изменника...— Рубцов говорил негромко, но его слова входили в сознание Ирины, как острые гвозди.— Ваш отец добровольно сдался в плен... Он ушел к немцам ночью, убив часового. И ушел не с пустыми руками. Будучи командиром роты, которая охраняла армейский штаб, он сумел выкрасть две оперативные секретные карты...

Арсений Павлович, видя, что Ирине плохо, подал ей стакан воды и затем, с трудом преодолевая волнение, продолжал свой рассказ:

— Наша дивизия вскоре после этого попала в окружение и была разбита. Для вышестоящих штабов она прекратила свое существование, как и все те, кто в ней служил. Только этим я и объясняю, что Букреева включили в списки пропавших без вести... Не понимаете?.. Ну, если бы дивизия целиком не попала в окружение, то Букреев не оказался бы в списках, а ваша мать не получила бы сообщения, что он пропал без вести.

Рубцов говорил не так уж долго, но Ирине казалось, что с начала их беседы прошла вечность.

Когда Арсений Павлович стал делать предположения, как и зачем вернулся Букреев, в каком «амплуа» мог теперь оказаться, Ирина подумала, что их выводы совпадают: с добрыми намерениями такие путешествия оттуда не возвращаются...

19.

В начале июня у Маясова тяжело заболела жена. Врачи вынесли заключение: отдаленное последствие фронтовой контузии — и дали направление в Москву, в нейрохирургический институт. Маясову пришлось сопровождать жену, устраивать на лечение.

Накануне своего отъезда Владимир Петрович поручил лейтенанту Зубкову съездить на завод «Кленовый Яр» и рассказать директору о деле Савелова: все, что требовалось сделать чекистам, они сделали,— теперь пусть хорошенько возьмутся за парня администрация и комсомол...

В первый же день по возвращении из Москвы Маясов спросил лейтенанта, как он выполнил его задание.

Зубков, как всегда, подтянутый, с тщательно завязанным галстуком и с тем уверенно-победоносным видом, который появился у него с тех пор, как был арестован Никольчук, начал докладывать о своем разговоре с директором Андроновым. Педантичность и обстоятельность вообще были свойственны лейтенанту, сейчас же он особенно старался «изложить дело в деталях», так, как оно происходило в отсутствие начальника, перед которым ему хотелось выглядеть вполне самостоятельным оперативным работником.

Маясов слушал его внимательно, изредка кивая головой в знак одобрения. И вдруг удивленно вскинул брови:

— Что вы сказали?

— Андронов считает, что Савелова надо уволить с завода,— повторил Зубков.

— Как это уволить?

— Обыкновенно... По сокращению штатов.

— Здорово! Ну, а вы?

— Я сказал, что это его дело, директорское...

— Так и сказали? — Маясов не выдержал, встал из-за стола.— Это же черт знает что! Вы не должны были так говорить.

— Я считал, что директор завода имеет право...

— Имеет право! — жестко повторил Маясов.— Неужели вам не понятно, что речь идет не о лаборанте Савелове, а о человеке, о его судьбе... Садитесь!

Когда Зубков сел, Владимир Петрович, уже поостыв, продолжал:

— Начнем с главного вывода по делу. Каков он? Никольчук после его заброски к нам шпионской деятельности не проводил. Установили мы это или нет?

— Так точно.

— Второй вывод по делу: связь Никольчука с Савеловым носит случайный характер. Убеждены мы в этом?

— Да, убеждены.

— Следовательно, у нас нет оснований не доверять Савелову. Так?

— Совершенно верно.

— А раз так, мы не можем оставаться нейтральными...— Маясов немного помолчал и вдруг сказал: — Вызовите машину! Поедете со мной...

В заводской конторе директора они не застали. Секретарша сказала, что Андронов уехал на строительство Шепелевской железнодорожной ветки.

— Как, уже начали строить? — спросил Владимир Петрович.

— Да, со вчерашнего дня.

Маясов решил не докладывать Андронова в конторе, а ехать прямо в Шепелево: ему захотелось посмотреть своими глазами на то дело, которое, по сути, было результатом его собственной инициативы.

Неподалеку от платформы перевалочной базы Маясов вышел из машины и сразу увидел Андронова.

Алексей Иванович разговаривал с инженерами-путейцами. Заметив подходившего Маясова, он помахал ему рукой и некоторое время еще продолжал разговор с железнодорожниками.

Когда наконец они остались вдвоем, Маясов сказал о причине своего непредусмотренного визита.

— Стоило ли из-за этого так спешить? — улыбнулся Андронов, ступая остроносыми ботинками по запыленной траве.— По-моему, у нас с вами нет расхождения в оценке: Савелов — фрукт с гнильцой, настроения у него, мягко выражаясь, нездоровые, поведение в жизни явно аморальное...

— Все это, Алексей Иванович, так и в то же время не так.— Маясов шагал рядом, заложив руки за спину.— Вот вы говорите: нездоровые настроения. Но давайте вдумаемся, что это? Злобствование махрового антисоветчика? Нет же! Юношеская обида на всех и вся в связи с собственными неудачами. Дальше. Вы говорите, аморальное поведение... Интрига с замужней женщиной... Не те слова! Можете поверить, дело здесь гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Это не пошлая связь, не флирт, а любовь — глубокая, настоящая. По крайней мере с его стороны...

Маясов немного поводил и закончил:

— Короче говоря, у вас, Алексей Иванович, нет оснований увольнять парня. Особенно если учесть, что в лаборатории, кажется, штатных сокращений не намечается.

— Ну, это позвольте мне знать! — возразил Андронов.— Если нет штатных сокращений в лаборатории, то они есть на других участках. И я не считаю правильным увольнять хороших работников, честных советских людей, а таких, как Савелов, оставлять на заводе.

— Почему, разрешите уточнить?

— Да потому, что этот стихоплет не внушает никакого доверия.— Андронов вдруг остановился, взял Маясова за пуговицу пиджака.— Логики не вижу в ваших рассуждениях, дорогуша...

— Что вы хотите этим сказать?

— Вспомните, когда мы с вами зимой, у меня в кабинете, толковали по поводу ликвидации шепелевской перевалочной базы и строительства этой ветки, вы мне рьяно доказывали, как необходима широкая предупредительная, так сказать, профилактическая работа на режимных предприятиях, подобных моему заводу. А прошло каких-нибудь пять-шесть месяцев, и вы берете под защиту человека, скомпрометировавшего себя, считаете, что он может работать на важном оборонном объекте.

— Стреляете мимо цели, Алексей Иванович: бдительность и огульная подозрительность — вещи разные... Если говорить без обиняков, вы хотите перестраховаться: а вдруг что случится? С меня, мол, спросят, с директора.

Андронов перестал улыбаться.

— Да, я директор и не хочу рисковать репутацией доверенного мне завода... К тому же я не могу взять в толк вашу амбицию: Савелова не репрессируют, не наказывают, вы его просто увольняете по сокращению штатов. Что же в этом страшного?

— Страшно то, что это произвол! — резко сказал Маясов.— Кстати, стоило бы вам знать, что из-за контрактуры пальцев правой руки парень не может работать по своей специальности, слесарем-ремонтником.

— Пусть идет в парикмахеры,— улыбнулся Андронов.

«У нас уже один уходил в парикмахеры»,— хотел сказать Маясов, имея в виду Никольчука, но вместо этого спросил:

— Это — ваше окончательное решение?

— Приказ об увольнении уже подписан.

— Что ж... В таком случае можно считать нашу приятную беседу законченной... Но имейте в виду, Алексей Иванович, я буду ставить этот вопрос в партийном порядке.

— Это — ваше право,— сказал Андронов.

Говорить им было больше не о чем. И они, сухо попрощавшись, разошлись каждый к своей машине.

20.

Андрей Чубатова застал на улице дождь. Настоящий ливень. Мальчишка спрятался под карниз дома. Там он стоял долго. А дождь все лил и лил.

От нечего делать Андрей оглядывал по-утреннему малолюдную площадь. К соседнему дому подъехал большой желтолобый автобус. Едва он остановился, из дверей дома с веселым шумом начали выскакивать люди. Они бежали под дождем наперегонки, стараясь поскорее попасть в сухое, теплое нутро машины.

Во время толчеи у дверей из кармана у одного человека вдруг вывалилось что-то блестящее и, мягко звякнув, упало на мокрую шоссейную, рядом с колесом автобуса. Андрей крикнул: «Эй, дядя!» Но дверцы уже захлопнулись, и автобус тронулся.

Прикрыв голову от дождя продуктовой сумкой, Андрей быстро подбежал к блестящему предмету, схватил его и тут же вернулся под карниз. Это оказался обыкновенный портсигар. Андрей стал открывать его, но ничего не получилось. Наверное, замок сломался...

Дождь перестал сразу, как будто кто обрезал его ножницами. Андрей сбегал в магазин, купил колбасы и сыру, как велела мать, и вернулся домой.

Мать была на кухне, а отец и его гость, усатый пожилой дяденька, говоривший на «о», как Максим Горький (Андрей слышал голос Горького по радио), сидели в столовой и разговаривали.

Андрей коротко рассказал о находке. Отец взял портсигар, повертел его, пытаясь открыть, но безрезультатно. Портсигар перешел в руки к усатому гостю.

— Добрая вещица,— сказал он, взвесив его на ладони.— Серебряный.

И, надев очки, стал внимательно рассматривать выпуклое изображение орла на крышке. Потом вдруг надавил пальцем на орлиный глаз, и, к удивлению Андрея, портсигар открылся.

— Эге! — сказал отец.— Штучка-то с секретом.

Он хотел взять портсигар, чтобы разглядеть замятный замочек, но старик рассеянно отвел его руку, не отрывая взгляда от серебряной крышки.

— Обожди, Антон, обожди...

Андрей подумал, что, наверно, усатый обнаружил в портсигаре какие-то необыкновенные папиросы или сигареты, и, пренебрегая приличиями, шмыгнул к гостю за спину, засопел у него над ухом.

Однако ничего особенного он не увидел. Туго прижатые ажурной сеткой, в портсигаре лежали четыре простые сигареты. Впрочем, старик и не смотрел на них. Они его, кажется, совсем не интересовали. Проследив за его взглядом, Андрей определил, что гость разглядывает гравировку в левом углу внутренней стороны крышки — две заглавные прописные буквы «АБ».

Наконец усатый захлопнул портсигар.

— Интересная находка,— сказал отец.

— Еще какая, Антоша...— пробурчал старик.— Пойдем-ка лучше покурим.

— Сперва чаю напьемся.

— Ты пей, а я пойду покурю...

Андрей увидел: когда усатый отодвигал стакан с чаем, его пальцы слегка дрожали. Отец тоже заметил. Он не стал пить чай и вышел вслед за ним в смежную комнату.

После завтрака Андрей начал собираться на занятия авиамодельного кружка в областной Дом пионеров. И тут отец позвал его.

— Припомни, сынок, как выглядел человек, который уронил портсигар?

Андрей пожал плечами:

— Лица я не заметил.

— Ну, а как он был одет?

— Ну, как... В плаще... И на плечах эти, как их...

— Погончики?

— Да. Только не военные.

— Понимаю... А цвет плаща?

— Серый... Немножко зеленоватый...

Отец нахмурился и сказал:

— Ты вот что... Собирайся, с нами пойдешь.

— Куда?

— Покажешь, где нашел.

— Мне же некогда.

— «Некогда, некогда...» — в сердцах передразнил отец.— Ты знаешь, чей портсигар нашел? — Он хотел что-то добавить, но передумал, шлепнул Андрея легонько по плечу.— Одним словом, пошли.

Старик посмотрел на Андрея ласково.

— Мне, малец, тоже недосуг, я ведь приехал к вам сюда на денек, могилку старухи своей оправить. А вот видишь, приходится отложить пока.

— Да я ничего,— сдался Андрей.— Пошли...

У подъезда гостиницы «Восток», на том месте, где Андрей поднял портсигар, они постояли немного.

— А ну-ка зайдем,— сказал отец.

В просторном гостиничном вестибюле пол был выложен кафельными плитками. Антон Чубатов крупно прошагал по ним к столику дежурного администратора.

— Будьте добры, в каком номере остановился Букреев?

Полная блондинка лениво заглянула в список:

— Такой не значится.

— Как не значится? — с досадой переспросил Антон.— Ну, а проживал он в гостинице, скажем, вчера или на прошлой неделе?

Дежурная покопалась в бумагах.

— Нет, не значится.

— Спасибо,— разочарованно пробасил Чубатов и подошел к старику.— С этой древесной каши не сваришь! Пойду я, пожалуй, к самому директору...

Минут через десять он вернулся. И сразу же все трое вышли на улицу. Только там Чубатов заговорил:

— В общем, Букреев в гостинице не проживал.— Разминая в пальцах папиросу, он закурил.— Хотя почему этот проходимец должен писаться Букреевым? Почему он не может скрываться под чужой фамилией?

— Полный резон,— согласился старик.

— Но это еще не все,— продолжал Чубатов.— К гостинице утром подъезжали два автобуса. С интервалом в пятнадцать минут.

— Кто же на них поехал? И куда?

— В обоих были участники художественной самодеятельности. Приезжали сюда на областной смотр. Один автобус пошел до станции Узловая, а другой — в Чепси.

— Дело осложняется,— проворчал старик.— Похоже, одним нам тут не разобраться.

Продолжение следует.

Зона сна

Леонид ТАМАЕВ — ПОВЕСТЬ — Рисунки И. УШАКОВА.

21.

Во вторник утром Маясов вызвал лейтенанта Зубнова.

— Для вас есть новое задание...

И объяснил, что вчера в отдел приходил слесарь завода «Кленовый Яр» Федор Гаврилович Смолин — принес найденный на улице областного центра уникальный портсигар, который когда-то принадлежал изменнику Родины, гитлеровскому карателю Букрееву. Надо выяснить все обстоятельства и начать розыски Букреева.

Лейтенант внимательно выслушал начальника и ничего не сказал.

— Вам понятно, что от нас требуется?

— Так точно, товарищ майор...

Маясов уловил, что это привычное «так точно» было произнесено без всякого энтузиазма. Ответ не понравился Маясову. Он подумал, что лейтенант, видимо, чувствуя вину за недавнюю оплошность в разговоре с директором завода о Савелове, воспринял новое задание как некую воспитательную меру со стороны начальства. Для настоящего контрразведчика (которым в душе не мог не считать себя лейтенант) куда интереснее было заниматься действующими шпионами, чем ворошить архивы, искать очевидцев преступлений, совершенных много лет назад.

Маясов приучал своих сотрудников к тому, что нет дел мелких или неинтересных, что в чекистской работе все важно и все серьезно. Поэтому он решил несколько расшевелить воображение лейтенанта и рассказать ему, со слов Смолина, предысторию подозрительной находки.

Предыстория эта была такова.

Впервые букреевский портсигар Федор Гаврилович Смолин увидел в партизанском лагере. Отряд готовил этот лагерь на зиму в районе урочища Кленовый Яр.

В тот погожий октябрьский день они копали траншею. Пошли на перекур. Смолин с цигаркой в зубах лежал под кустом, следил за полетом переливчатых паутинок в прозрачном воздухе. Внезапно знакомый голос вывел его из ленивого оцепенения:

— Федор, поди-ко!

Смолин поднялся, застегнул телогрейку и, прошуршав сапогами по белесой траве, подошел к своему младшему брату. Рядом на глинистом бруствере сидел бородатый партизан из второй роты Букреев. Смолин немного знал его: на прошлой неделе вместе рубили в лесу слеги для землянок.

— Гляди-ко.— Братишка подал Федору мягко блеснувший на солнце тяжелый серебряный портсигар.— С секретом, и воды никакой не боится!— И тут же с досадой посетовал: — Торгую вот у него, а он упирается.

Букреев сказал:

— Говорю тебе, вещь фашильная, не для продажи...

На том разговор и кончился.

Еще раз судьба свела Федора Гавриловича с хозяином редкостного портсигара при обстоятельствах исключительных — во время боя с карателями, напавшими на отрядный лагерь.

Это случилось на рассвете. Смолин проснулся от взрыва мины. Рвануло где-то поблизости у землянки. С потолка посыпалась сухая глина. Висевшие на стене ходики упали.

Федор Гаврилович выбежал наверх. Партизаны, кое-как одетые, а кто и просто в одном исподнем и босиком, отбивались от немцев, которые уже ворвались в окопы и траншеи, опоясывающие высоту. Выстрелы раздавались редко: в ход были пущены штыки, приклады и кулаки. В сизом воздухе слышалась грубая брань, тяжелое дыхание, звуки ударов железа о железо, вскрикивания и стоны.

Бой был неравный... Партизаны начали отступать. Смолин с братом прикрывали отход отряда, перебегая со своим «максимом» от одной позиции к другой, расстреливая наседавших гитлеровцев короткими очередями.

После одной из перебежек, упав в неглубокую воронку от мины, Федор Гаврилович установил пулемет, привычно протянул руку за лентой. Но брат замешкался: патронная коробка не открывалась.

Смолин хотел закричать на брата, но не закричал — страх сдавил сердце и лишил голоса: справа, из кустов, вдруг выметнулась группа немцев и устремилась к замолкшему пулемету.

Не спуская с них напряженного взгляда, Федор Гаврилович онемело лежал с протянутой к брату рукой. Брат, плача и матерясь, обдирая пальцы и обламывая до крови ногти, пытался открыть патронную коробку. Уже различимы стали лица солдат, одетых в темно-зеленые шинели, с оловянными пряжками ремней. Впереди, потрясая пистолетом, бежал сухопарый, длинный унтер. Его лицо, небольшая бородка, характерный наклон головы показались Смолину страшно знакомыми...

Когда брату наконец удалось сбить наблюдком барашек запора у патронной коробки и Смолин продернул ленту в приемник, немецких солдат, возглавляемых унтером, достать из пулемета было уже трудно: они залегли на скате высоты, в мертвом пространстве.

Первым приподнял голову над белой от инея травой унтер. И Смолин еще лучше, чем прежде, увидел его лицо. Увидел и не поверил своим глазам: в пятнадцати шагах, за серым валуном, одетый в немецкий мундир, лежал партизан второй роты Букреев...

Раздумывать над этим было некогда. Брошенная унтером граната, описав крутую дугу, упала в трех метрах от воронки. Взрывом перевернуло пулемет. Братья снова поставили его на катки, но он уже не работал. Вынув из пулемета замок, Федор Гаврилович стал отползать вслед за братом к оврагу...

Через несколько дней небольшая группа партизан пробралась в свой разгромленный лагерь. Они пришли, чтобы предать земле тела погибших товарищей. И тут Смолин опять услышал фамилию Букреева. Услышал, чтобы уж никогда не забыть ее! То, что раньше было лишь смутным подозрением, теперь не вызывало сомнений: произошло подлое предательство.

На развилке лесных дорог, где находился один из сторожевых постов отряда, обнаружили труп партизана первой роты Сухова. Он был убит сзади ударом ножа в шею. А в трех метрах от убитого, в густой траве, нашли маленькие ножны с металлическим наконечником.

— А ведь это, ребята, букреевская вещица!— сказал рябоватый снайпер Тюрин.

— Узнал отца в тесте! — недоверчиво усмехнулся кто-то.— Букреев за три дня до налета ушел с Медведевым и Орленко в разведку. Откуда взяться тут его финке, если из разведки никто не вернулся?

Смолин сразу вспомнил бородатого унтера, взял у Тюрина ножны.

— Дойдем к комиссару!..

Федору Гавриловичу очень хотелось выяснить эту темную историю. Но так, к сожалению, и не удалось. Вскоре начались бои, стало не до Букреева. Потом эта история постепенно забылась.

Но вот теперь, когда старик увидел знакомый портсигар, она неожиданно воскресла. Конечно, может статься, что владелец у этой вещи уже другой. Но что, если предатель и убийца жив? Что, если он топчет советскую землю и, быть может, даже живет в одном городе с теми, кого предал девятнадцать лет назад?..

Когда Маясов рассказал обо всем этом Зубнову, тот спросил:

— Вы, товарищ майор, кажется, тоже воевали в этих местах?

— Да,— сказал Маясов.— Эта история мне знакома не только со слов Смолина...

И он отошел к раскрытому окну.

Пока лейтенант с любопытством разглядывал букреевский портсигар, изучая секрет его замка, Владимир Петрович курил, глядя на синюю кромку леса, видневшуюся над крышами домов... Это там, в Ченских лесах, в партизанском краю, начиналась его боевая жизнь.

Он попал туда прямо со спецкурсов, на которые был направлен по комсомольской путевке как спортсмен-лыжник. В отряде — от рядового бойца до командира взвода — вдоволь хлебнул партизанского лиха. Вместе со Смолиным пришлось ему пережить горечь и унижение разгрома в урочище Кленовый Яр осенью сорок второго года. В том же бою тяжело контузило жену Маясова — радистку отряда.

Потом служба в действующей армии. Особый отдел дивизии, а затем корпуса. Ранение на Одере. После лечения в госпитале Маясов демобилизовался и пошел в химический институт доучиваться.

Став инженером, он около шести лет проработал на химкомбинате, а оттуда в 1954 году его направили в КГБ. Пришлось сесть за парту. Время было трудное, напряженное: полным ходом шла перестройка деятельности органов государственной безопасности...

И вот снова Ченск. Город, в котором началась его боевая биография. И, быть может, поэтому стал он для него таким дорогим и близким.

22.

В Западном Берлине есть две большие шумные площади. Их соединяет не менее шумная улица, широкая, многолюдная. А неподалеку, почти параллельно, протянулась другая улица — узкая и тихая, с потемневшими от времени островерхими домами в тени старых каштанов.

В конце этой улицы за высоким забором из гофрированного железа стоит двухэтажный каменный особняк. На заборе, справа от калитки,— небольшая медная дощечка. Судя по надписи, в доме разместилась контора частной американской фирмы, ведущей торговые дела с СССР.

Здесь действительно занимаются делами, имеющими отношение к Советскому Союзу. Но только не торговыми...

В этом можно убедиться, если, открыв калитку, пройти асфальтированным дворником мимо гаража и зеленых кустов сирени, потом подняться по мраморной лестнице на второй этаж. Алая ковровая дорожка приведет и двойным дубовым дверям — за ними большой кабинет с дорогой старинной мебелью и высокими готическими окнами.

В один из жарких июньских дней сюда вошла, почти вбежала энергичная Файн.

— Вы позволите?..

Полковник Лаут сидел за столом без пиджака, в белой рубашке, с распущенным галстуком. Он недовольно поднял от бумаг седую, гладко причесанную голову. Ему не нравилось, когда его отрывали от работы в неположенное время. Каждый сотрудник должен знать свой час приема и не мозолить глаза начальнику без особой необходимости. Порядок есть порядок. К тому же Файн нарушила ход его мыслей, оторвала от важной работы.

Работа эта была не только важная, но и срочная. На прошлой неделе Лауту позвонили по спецтелефону из Франкфурта-на-Майне,— там в здании бывшего химического концерна «И. Г. Фарбениндустри» находилась теперь европейская штаб-квартира ЦРУ, официально именуемая «Управлением специальных армейских подразделений». Оттуда сообщили: руководители всех филиалов ЦРУ, размещенных на территории Западной Германии и Западного Берлина, приглашаются на совещание по координации плана готовности к «Э-фалль». Совещание состоится в Берлине — Целендорф, Клейаллее, 170.

В тот же день, после обеда, Лаут поехал на Клейаллее. Дом 170 занимал аппарат «Группы региональной поддержки американской армии», или, говоря по-иному, главный филиал ЦРУ в Западном Берлине — самый крупный разведывательный орган США в Европе. Начальник этого филиала Дейв Мерфи ознакомил Лаута с тезисами основного докладчика — директора ЦРУ и уточнил те вопросы, которые должен был осветить в своем двадцатиминутном выступлении Лаут.

На другое утро Лаут уже засел за составление своего доклада. Присутствие на совещании главного шефа во многом обязывало. Правда, вопрос о степени готовности к «Эрнст-фалль» — «серьезному случаю», а говоря точнее — к войне, для Лаута был не нов. Собственно, вся деятельность возглавляемого им филиала в последние годы была подчинена этой задаче. И не только его филиала. Это была «задача задач» всех секретных служб и агентурных организаций Западного Берлина, как определил ее однажды сам директор ЦРУ в своем специальном циркуляре.

Основным в докладе Лаута на предстоящем совещании должен быть вопрос о решающих принципах создания агентурной сети в канун превентивной войны. Вчерне эту работу он уже закончил. И результатами ее был доволен. Ему удалось сухую теоретическую проблему оживить новейшим опытом практики,— разумеется, практики возглавляемого им филиала. И, кажется, перед директором ЦРУ краснеть не придется... Но работы оставалось еще немало.

Бросив на стол карандаш, Лаут отрывисто спросил:

— В чем дело?

— Могу вас наконец обрадовать, шеф: у Никольчука оказался толковый преемник...— Файн положила на стол перед полковником несколько листков, сцепленных прозрачным пластиковым зажимом.— Судя по этому сообщению, Барсук активно включился в работу...

Слегка подавшись вперед из глубокого кресла, Файн наблюдала за выражением лица полковника. Он читал долгожданную шифровку из Ченска, которая достоверно подтверждала, что работа по вводу нового агента в Кленовоярское дело наконец завершена, а само дело вступило в решающую фазу... Замысел Лаута — спутать чекистам карты,— по-видимому, удался...

Кончив читать донесение, полковник сказал:

— Что ж, пока неплохо...— Он встал из-за стола, маленький, сухонький. Подошел к круглому инкрустированному столику в углу кабинета, нацедил из сифона стакан содовой.— Учтите, Файн: информация по «Кленовому Яру» не должна залеживаться у Барсука ни одного лишнего часа!.. Необходимо найти более эффективный способ связи с ним. Заграничные подставные адреса нас теперь не устроят — слишком длинный путь. К тому же было бы неплохо, если бы вообще работа агента направлялась нашим человеком непосредственно из России...

Немного помолчав, Лаут вдруг предложил:

— А что, если мы передадим Барсука на связь капитану Ванджею?

— Я не совсем понимаю вас...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—3.

Варианты

— Все довольно просто. Ванджей давно просился на дипломатическую работу...

— Ясно...— Файн улыбнулась, но эта новость ее не обрадовала. Вот, оказывается, о какой «небольшой командировочке» трепался толстый Гарри месяца четыре назад. Что ж, скатертью дорога, как говорят русские...

Ванджей, конечно, смелый и опытный разведчик. Но она всегда терпеть его не могла. Хотя бы за то, что он сын богатейшего заводчика, а ее родители всего лишь простые клерки. Гарри никогда не испытывал нужды в деньгах и поэтому ни в чем себе не отказывал. Ему делали карьеру связи его семейства, а она, Файн, поднималась по служебной лестнице своими силами... Вот и теперь: чистая, безопасная работа под дипломатической крышей, интересная, новая жизнь в чужой стране, деньги, комфорт — чего еще желать! Везет жирному борову...

— И последнее,— прервал ее мысли Лаут.— Учитывая срочность задания, передайте Барсуку, чтобы в средствах он не стеснялся...

23.

В воскресенье Маясов с семилетним сыном Вовкой собирались поехать на целый день в лес, на озеро. Однако заманчивый план пришлось поломать: утром из пионерского лагеря пришло письмо от Гали, дочери Владимира Петровича. Она просила отца купить и поскорее привезти ей («к дню отрядных соревнований») кеды и спортивные шаровары.

Мужчины посовещались за завтраком и великодушно решили исполнить эту просьбу. А на озеро поехать потом, в другой раз.

Напившись чаю, они быстро собрались и вышли из дому. Походили по магазинам на своей улице — ничего подходящего не нашли. Решили ехать в центр, сели в троллейбус, доехали до «Детского мира».

Возле остановки, рядом с баней, был ларек. Тут продавали мыло, мочалки, веники. У окошечка стояло несколько человек. И среди них — лейтенант Зубков. Он только что купил березовый веник, плоский, слежавшийся, и потряхивал им, чтобы расправить.

— Виктор!— позвал Маясов.

Зубков обернулся и вдруг смутился, увидев своего начальника.

— Попариться захотел?

— Да вот, после дороги...

— Дело стоящее,— сказал Маясов.— Вы когда приехали?

— Сегодня утром.

— Ну и как?..

Лейтенант отвел Маясова на несколько шагов от ларька и, пока Вовка управлялся с мороженым и глазел на мочалки и веники, вкратце доложил о своей пятидневной командировке.

— В общем, подозрения по Узловой начисто отпадают,— сказал он под конец.

— Значит, поездка ничего не дала?

— Не сказал бы! — Лейтенант улыбнулся.— Был еще второй автобус, ченский.

— Ну, ну, выкладывайте.

— Человек в плаще с погончиками, которого мы ищем, по всей видимости, Александр Ласточкин.

— Ласточкин?

— Да, помощник художественного руководителя Ченского Дома культуры... Как удалось выяснить, он ездил с самодеятельностью на областной смотр и потерял серебряный портсигар.

— Интересно...— задумчиво сказал Маясов.— Что ж, завтра потолкуем об этом.

И они распрощались. Зубков пошел к бане, а Маясов с Вовкой отправились в магазин. Только теперь Владимир Петрович уже не чувствовал в себе того душевного подъема, с которым вышел из дому. Сообщение лейтенанта его озадачило.

«Каким образом оказался у Ласточкина этот букреевский портсигар? Да и букреевский ли он? — тут же спросил себя Маясов.— И вообще, не ошибся ли старик Смолин? Разве не может быть двух абсолютно похожих вещей? Правда, этот портсигар, по всему видно, делался на заказ. Вещь действительно уникальная. Оригинальная инкрустация, замок с секретом, вензель на крышке — «АБ», что надо, вероятно, понимать как «Александр Букреев»... Нет, едва ли портсигар делался для Ласточкина. Что-то здесь не то...»

На другой день Маясов и Зубков вместе разработали план действий по делу Букреева.

Прошло еще четыре дня, и лейтенант снова пришел к начальнику отдела:

— Я хотел бы доложить о ходе розыска...

Маясов взглянул на часы. Времени было в обрез: его ожидали дела более срочные и важные, чем розыск бывшего карателя.

— Чтобы не комкать вашего доклада, давайте встретимся завтра с утра, ровно в девять,— предложил Владимир Петрович.— Идет?

— Нет, товарищ майор! — сказал Зубков.

Маясов удивленно посмотрел на лейтенанта.

— Что-нибудь стряслось?

— Пока ничего не стряслось. Но...— Зубков помедлил.— Дело в том, что, хотя портсигар потеряй действительно Ласточкин, хозяин у этой вещи совсем другой...

— Кто же?

— Портсигар принадлежит Савелову...

— Что?!

— Да, товарищ майор. Как выяснилось, к Ласточкину он попал случайно. Перед отъездом в область взял его у своего приятеля Игоря Савелова. Ну, просто, чтобы пофорсить...

Обстоятельно расспросив лейтенанта, как ему удалось все это узнать, Маясов встал и, мрачный, принялся шагать по кабинету.

То, что рассказал Зубков, не укладывалось у него в голове. При самой необузданной фантазии нельзя было предположить такого оборота дела... Если сведения лейтенанта верны, надо немедленно выяснять, каким путем портсигар попал к Савелову. Промедление недопустимо. Потому что одно дело, когда вещь, ранее принадлежавшая изменнику, оказалась вдруг у какого-то нейтрального лица, и совсем другая картина, если к этой вещи имеет отношение Савелов. С одной стороны, преступник военных лет, пока неизвестно, где и на кого работающий, а с другой — лаборант оборонного завода, которого подозревали в пособничестве агенту иностранной разведки Никольчуку.

Маясов понимал, что самое простое в создавшемся положении — поговорить с самим Савеловым. Парня можно вызвать в отдел повесткой или встретиться с ним где-нибудь в другом месте — как ему удобнее — и обо всем расспросить. И тогда окажутся излишними хитроумные окольные тропинки и истине. Вместо сложных и дорогостоящих оперативных комбинаций простой разговор по душам поможет сразу, без зигзагов выйти в розыске на прямую магистраль. И не исключено, что скоро приведет к определенным, ощутимым результатам... Но только к каким результатам? Вдруг окажется, вопреки прежним выводам о Савелове, что он не такой, каким чекисты «открыли» его? Ну, не то чтобы вовсе не «такой», а хотя бы частично? Что Савелов не враг — это вне всяких сомнений. Но могли ведь его запутать?..

Игнорируя пока предположение, что букреевский портсигар попал к Савелову случайно, оставалось допустить, что этот парень к разыскиваемому преступнику имеет какое-то косвенное отношение. Но даже и в этом, «лучшем» случае прямая беседа с Савеловым чревата серьезными последствиями, так как нет гарантии, что содержание беседы не просочится куда не следует.

«А почему бы, собственно, такой гарантии не быть? — спросил себя Маясов.— Разве у меня нет веры в парня?»

— Вот что,— сказал он лейтенанту.— Напишите-ка Савелову повестку на завтра, с утра...

Когда Зубков ушел, Владимир Петрович опустился в кресло, закрыл глаза, долго сидел так. Потом стал просматривать бумаги, принесенные секретаршей еще утром. Сложил их в папку, убрал в сейф. Взглянул на часы: рабочий день давно уже кончился.

Но Маясов все не уходил из отдела, он ждал звонка от Зубкова... И наконец без четверти восемь дождался. Лейтенант сказал по телефону всего два слова:

— Повестку вручил...

Маясов вздохнул с облегчением: он преодолел минутную слабость, поборол собственное предубеждение против человека, которому раньше поверил прочно и до конца...

Устав за необыкновенно трудный день, Владимир Петрович спал в эту ночь, как никогда, крепко. И поэтому не сразу услышал зазвонивший рано утром телефон. Когда проснулся — протянул руку к стоящему у кровати, снял трубку. Кто бы это мог быть?

В телефонной трубке неожиданно для себя Маясов услышал взволнованный, торопливый голос директора Кленовоярского завода. Самоуверенный Андронов никогда не разговаривал таким тоном. Спросонок Маясов не вдруг понял, чего от него хотят. И только потом, когда директор повторил свои слова, до майора дошел наконец смысл сказанного:

— Сегодня ночью убит Савелов...

24.

Чтобы побороть дремоту, Тюменцев вылез из машины, начал ходить туда-сюда по мягкому асфальту. Солнце пекло нещадно. «При такой тропической погодке много не натопаешь»,— сказал он себе и снова забрался под брезентовый тент «газика». Сел, закрыл глаза, натянул кепку до переносицы — и мгновенно уснул, будто в теплую воду опустили.

Минут через тридцать, проснувшись, Тюменцев поглядел на часы и удивленно присвистнул: с того момента, как он подвез к дому милиции майора Маясова и лейтенанта Зубкова, прошло почти полдня. И неизвестно было, сколько еще придется торчать на этом пятачке под безжалостно горячим солнцем.

Какие-то сумасшедшие были эти дни. Вчера утром, например, он по обыкновению подъехал к дому, где жил Маясов, и вдруг из окна услышал голос его тещи:

— А Владимир Петрович давно ушел...

Тюменцеву как-то не по себе стало: уж не ошибся ли он, вовремя ли подал машину? Не получилось ли, как в прошлый понедельник, когда он опоздал на целых десять минут, и майор ушел пешком?..

В то утро они с Арсением Павловичем Рубцовым были на рыбалке. И понадничали, засидевшись с удочками. А потом, на обратном пути, их еще задержало одно происшествие возле Дома культуры. Там у входа стояла толпа, и когда они спросили, что случилось, какая-то бабка им ответила:

— Кассу ограбили. Да еще, говорят, музыкальные струменты из кладовой утащили...

Приятели увлеклись, смотрели, как работают сотрудники уголовного розыска с собаками. Ну и опоздал Тюменцев.

Зато после этого неприятного случая он старался во всем быть на высоте. Машина у него сияла, пол в гараже был посыпан песочком. Сам меньше зубоскалил и даже бросил курить, решительно разорвал на глазах у майора почти полную пачку сигарет. Правда, истинные причины этой самоотреченности Маясову были неведомы: Тюменцев всего лишь выполнял приказ своего тренера.

И вдруг вчера, что называется нежданно-негаданно, опять опоздание. Обругав себя разиней, Тюменцев повернул машину от дома Маясова, погнал ее обратно к отделу. И сразу же побежал наверх, к секретарше Нине. Эта Нина, между прочим, была влюблена в брата Тюменцева — Николая. И потому Тюменцев позволял себе обращаться с ней запросто.

— У себя? — спросил он, кивнув на дверь кабинета.

— У воспитанных людей принято здороваться,— сказала Нина.

— Ты лучше скажи: Маясов давно приехал?

— Это мне нравится: ты его шофер, а меня спрашиваешь. У него сейчас Дубравин и Зубков. И вообще он сегодня, по-моему, не в духе.

Тюменцев решил, что лучше пока воздержаться от объяснений с начальником. И направился было к двери, но Нина вдруг спросила:

— Говорят, Николай жениться собрался?

— Говорят.

Нина перестала стучать на машинке.

— И скоро свадьба?

— Скоро. Как в новую квартиру въедет, так и сыграют... Да ты не расстраивайся, на свадьбу позовем.

— Дурак ты!— И Нина снова застучала по клавишам.

Довольный, что подкусил задиристую Нинку, Тюменцев пошел к себе в гараж — читать «Пособие для тренировок боксера». Но вскоре прибежал лейтенант Зубков, велел подавать машину.

Маясов уже был на улице, беспокойно ходил по тротуару. Он показался Тюменцеву небритым. Это удивило шофера... И вдруг в одно мгновение он все понял: Маясов утром так спешил куда-то, что не успел ни побриться, ни даже повязать галстук.

Тюменцев привычно распахнул дверцу. Не поздоровавшись, майор хмуро приказал:

— В уголовный розыск.

Это было вчера. А сегодня Маясов и Зубков как засели почти с утра в кабинете у следователя, так невылазно и сидят.

...Только в седьмом часу вечера они вышли из милиции. У обоих были потемневшие, осунувшиеся лица. Молча сели в машину. За всю дорогу не проронили ни слова. И лишь возле отдела, выходя из машины, Маясов сказал лейтенанту:

— Завтра утром еду в управление... Все другие дела отложите и займитесь еще раз протоколами допросов...

25.

Дождь провожал скорый поезд от самого Ченска. И, казалось, ему не будет конца.

Устало привалившись к стенке купе, Маясов снова и снова перебирал события последних дней.

В то памятное утро Андронов ему сказал:

— В милиции считают, что Савелов убит своими же приятелями по шайке: что-то не сумели поделить... Я говорил: этот парень хорошо не кончит...

Маясов тут же позвонил в милицию. Ему ответили, что к месту ночного происшествия как раз выезжают начальник угрозыска Шестаков и эксперт. Маясов попросил, чтобы заехали за ним, и через десять минут в синей милицейской машине уже мчался к месту убийства.

Это произошло неподалеку от дома, где жил Савелов,— в глухом переулке старого Ченска. Преступник, по всей видимости, настиг парня сзади, внезапно выйдя с ножом из-за угла двухэтажного дома.

При убитом нашли записку. Написанная на листке из тетради карандашом, печатными буквами, она начиналась словами: «Падло, делить надо по-божески...»

Экспертиза установила: отпечатков пальцев на бумаге нет. Нет их ни на одежде убитого, ни на каком-либо другом предмете возле него. Место на тротуаре, где было совершено нападение, преступник густо посыпал табаком. Все это говорило о его опытности.

И все-таки следы остались: та самая записка, которую обнаружили в кармане Савелова. Именно ее Маясов считал самой существенной из улик.

Разумеется, эта записка заинтересовала не только Маясова. На нее прежде всего обратили внимание работники уголовного розыска, которые вели дело. По их предположениям, убийство было совершено из мести. Особенный интерес в записке представляла одна фраза: «Замеченные инструментики твои плакали». Эти слова навели на мысль: не связано ли убийство Савелова с недавним ограблением кассы и кладовой музыкальных инструментов городского Дома культуры? А тут вплелись в дело еще два факта. Первый: за четыре дня до трагического происшествия Савелова видели в пивной вместе с Петькой Косачом — известным вором-рецидивистом. Второй факт: из допроса работника Дома культуры Александра Ласточкина выяснилось, что между ним и Савеловым однажды был разговор насчет денежных сборов кассы Дома культуры. При этом, как показал Ласточкин, Савелов очень удивился, что за билеты выручают такие значительные суммы...

Все это и легло в основу версии уголовного розыска. Маясову эта версия вначале показалась стройной. Даже чрезмерно стройной. Но, поразмыслив, он отверг ее. Отверг потому, что знал о Савелове больше, чем коллеги из милиции. Вероятно, и они бы задумались над чрезмерной стройностью своей версии, если бы знали, например, об истории с букреевским портсигаром или о причастности Савелова к делу Никольчука.

Самое трудное состояло в том, чтобы вопреки очевидной правоте уголовного розыска доказать правильность своей версии, которая со стороны выглядела далеко не так безукоризненно. При доказательстве ее Маясов не имел права свободно оперировать известными ему фактами. Свои предположения он аргументировал лишь соображениями общего порядка, настолько общего, что они могли показаться интуитивными, хотя в основе их лежала жизнь человека. Жизнь, которую он порядком изучил... Но ведь жизнь — это не отдельный факт, момент, эпизод, что-то конкретно доказывающий, подтверждающий или отрицающий. Жизнь — это нечто многообъемное, неопределенное, трудно укладывающееся в рамки созданной версии. И к тому же она неудобоварима для следствия: в дело ее не подошьешь — она в него не влезет.

Как трудно ему придется, Маясов понял, когда попытался поделиться своими сомнениями с начальником уголовного розыска, сказав ему, что, кроме их выводов, исходящих из анализа записки, могут быть сделаны и другие...

Шестаков внимательно выслушал Маясова, покрутил бритой головой и сказал:

— Что-то мудришь ты, Владимир Петрович... Мы уж будем вести следствие так, как начали...

Маясов не стал спорить. Он понимал, что Шестаков не мог действовать иначе. Не мог потому, что опять-таки не знал жизни Савелова. Рассказать же ему все Маясов не считал себя вправе, поскольку подобные вещи не входили в компетенцию органов милиции.

26.

Доказательство своей правоты равнозначно доказательству неправоты кого-то другого. Для Маясова докладывать начальнику управления о своей версии означало отрицать, критиковать, подвергать сомнению версию Ченского уголовного розыска. Резюмировал он так:

— В милиции считают, что Савелов, по всей вероятности, убит соучастниками ограбления Дома культуры. Основанием для этих подозрений, как я уже доложил, служит записка, обнаруженная в кармане убитого. Несмотря на шаткость улик...

— Какая же шаткость? — перебил его Винокуров.

В этом вопросе, вернее, в тоне, которым он был задан, Маясов уловил явное недовольство: видимо, генералу не нравилось, что Маясов так резко не согласен с уголовным розыском. И майор вдруг не то чтобы оробел, но на какой-то миг усомнился сам в себе, замешкался с ответом. И поэтому ответ его прозвучал не особенно убедительно:

— Савелов, мне кажется, не мог стать грабителем...

Генерал с чуть иронической улыбкой посмотрел на Маясова, потом перевел взгляд на своего заместителя — высокого, худощавого полковника Демина, который курил, сидя на подоконнике.

— Разумеется, мое мнение не аксиома,— тут же сказал Маясов.— Но мне казалось, что я понимал этого парня.

— И каковы же ваши выводы? — спросил Винокуров.

— Если предположить, что Савелов не участвовал в ограблении, значит, он убит не грабителями, а кем-то другим. Но записка почти прямо наталкивает на мысль о его причастности к этому ограблению... Тогда возникает вопрос: может быть, тот, кто писал эту записку, хотел толкнуть следствие именно на этот путь?..

Маясов помедлил, преодолевая волнение, и продолжал:

— В таком случае напрашивается вывод: записка подкинута специально. А если это липа, то можно ли строить на ее основе следственную версию?.. Дальше. Савелов и Косач пили за одним столом в баре. Разве не могло это быть случайным совпадением? Что касается разговора Ласточкина с Савеловым о денежных сборах кассы, то стоит внимательно прочитать протокол допроса Ласточкина, чтобы увидеть: они говорили об этом просто так, между прочим.

— Допустим,— сказал генерал.— И что же из всего этого следует?

— Поскольку версия убийства по уголовным мотивам отпадает, логично предположить, что оно вызвано какими-то иными причинами.

— Ну-ну, конкретнее...

— У меня сложилось два предположения. Первое: убийство Савелова, может быть, имеет какое-то отношение к истории с букреевским портсигаром...— сказал Маясов. И замолчал.

— Так... Ну, а второе?

Маясов ответил не сразу:

— Возможно, товарищ генерал, что убийство Савелова каким-то образом связано с делом Никольчука...

— Вы понимаете, что говорите?! — Генерал встал из-за стола, подошел к Демину, попросил у него сигарету. Неловко, как все некурящие люди, зажал ее между пальцев, стал прикуривать.

— Убийство темное...— глухо заговорил Маясов.— Мне тяжело думать, что оно может иметь касательство к «Кленовому Яру». И все-таки я бы снова обратился к этому делу...

— С какой целью? — спросил Винокуров.

— Оно может натолкнуть на правильный путь при расследовании. И потом возврат к делу Никольчука означает...

— Это означает,— гневно сказал генерал,— что работа по кленовоярскому делу была проведена вами не так, как нужно!.. Это вы хотели сказать?

— Я этого не хотел сказать,— побледнев, ответил Маясов.

Генерал продолжал ходить по кабинету, нагнув крупную голову, заложив руки за спину. Потом остановился перед Деминым:

— А ты, Николай Михайлович, что скажешь?

— Мне кажется, игнорировать версию милиции, как это делает товарищ Маясов, еще рано...

— Не верю я в это! — сказал Маясов.— Я предлагаю, товарищ генерал, дело Савелова из милиции взять... Я сам готов его вести.

Винокуров ничего не ответил. Бросил в пепельницу сигарету, брезгливо понюхал пальцы. Сел за стол, взял в руки перочинный ножик и стал оттачивать толстый карандаш.

— Нет, Владимир Петрович, вашу просьбу я удовлетворить не могу.— Генерал говорил уже по-обычному неторопливо, тщательно подбирая слова.— Преступление совершено не на объекте, где работал Савелов, а в городе. Значит, и расследование должна вести городская милиция. Это во-первых. А во-вторых, вы сами по профилю работы не следователь, и такое запутанное дело может оказаться вам не по плечу. Я прямо говорю, прошу не обижаться на меня.

— Дело не в обиде...

— Тем лучше... Теперь к главному. Предлагая возвратиться к делу шпиона Никольчука, вы сами-то представляете, что лично для вас это означает?

— Вполне,— мрачно сказал Маясов.— Я вел дело Никольчука и Савелова, и если в конце концов окажется, что вел его плохо, ответственность несу я один... Разрешите закурить, товарищ генерал?

Винокуров кивнул. Пока Маясов делал первые жадные затяжки, генерал молча продолжал строгать карандаш. Наконец сказал:

— Давайте сделаем так. Вы сейчас поезжайте к себе в Ченск и постарайтесь пока переключиться на другое. Да. А завтра к вам приедет Николай Михайлович Демин. Он следователь по профессии. С его помощью, я думаю, мы сумеем разобраться в этом деле...

Маясов опять побледнел.

— Так, понятно... Мне не доверяете?.. Меня в сторону?..— Он рывком поднялся со стула и быстро пошел к двери.

Демин хотел было вернуть майора, крикнул вслед:

— Что за выходка, Маясов?!

— Не надо, Николай Михайлович,— остановил его генерал.— Пускай остынет, приведет мысли в порядок...

В комнате наступила неловкая тишина. Демин отвернулся к окну, генерал рассеянно вертел в руках карандаш.

— Мне кажется,— первым нарушил молчание Демин,— Маясов горячку порет, как всегда. Версия угрозыска достаточно обоснованна.

— Не будем пока делать выводов,— сказал Винокуров.— Приедешь в Ченск — на месте виднее...

Продолжение следует.

Леонид ТАМАЕВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

Запасной вариант

Вагон, в котором Маясову пришлось ехать домой, был переполнен. Он вышел покурить в тамбур и больше уже не возвращался.

И то ли от холодного предутреннего воздуха или потому, что с каждым часом пути все более отдалялись дневные неприятности, мысли его постепенно делались менее хаотичными. Он опять подумал о милицейской версии. Еще раз попытался рассмотреть ее без предубеждения. Каковы их доводы?

Главный — записка. Написана печатными буквами. Следы пальцев отсутствуют. Ее стиль, обороты, блатные словечки — все говорит за то, что убийца из уголовного мира или хорошо знаком с ним... Петька Косач судился за воровство два раза. Для него в «мокром деле» лучше обойтись без отпечатков пальцев, потому что Петькины отпечатки хранятся в картотеке уголовного розыска, где ему уже дважды приходилось «играть на рояле». Играть в третий раз Петьке нет резону...

Довод второй. За несколько дней до ночного налета на Дом культуры Косача видели вместе с Савеловым. Они сидели в баре за одним столиком. Петька наливал Савелову пиво. Тот что-то говорил Косачу, хмуро кивал. Из бара они вышли вместе. Возле дверей Петька засмеялся и похлопал Савелова по плечу. Так вести себя случайно познакомившиеся люди едва ли могут...

И, наконец, довод третий. Разговор Савелова с Ласточкиным. Они сидели в служебной комнате Ласточкина в Доме культуры, в комнату зашла молоденькая кассирша. Она положила на стол газетный сверток, перевязанный шпагатом, сказала, что сейчас вернется, только на минутку забежит к бухгалтеру. На недоуменный взгляд приятеля Ласточкин объяснил, что кассирша сделала из него инкассатора: «Возим с Люсей деньги в банк». Савелов поинтересовался: помногу ли приходится возить и вообще большие ли сборы делает клубная касса? Ласточкин кивнул на сверток, предложил: «Угадай!» Савелов подержал сверток на ладони, сказал: «Смотря какие купюры». Ласточкин назвал приблизительную сумму. «Ого! — улыбнулся Савелов.— Как раз бы мне на мотоцикл, да еще с коляской...» Потом разговор у них пошел о мотоцикле, который Савелов хотел купить, чтобы ездить на работу. Он уже начал копить деньги...

«Неужели деньги?» — вдруг спросил себя Маясов. Ради денег некоторые способны на все, теряют голову.

Если угрозыск прав, если тут замешаны деньги, нет больше веры, которая давала силы бороться, отстаивать свою правоту. Значит, нет и не было того человека, в которого Маясов поверил.

...На третий день после приезда полковника Демина в Ченск Маясов заболел и пролежал дома целую неделю.

Когда он вернулся в отдел, на него хлынула целая лавина вопросов. Демин почти не закрывал своего блокнота. Их разговор продолжался с небольшими перерывами три дня. За это время Маясов смог убедиться, какой деловой хваткой обладает этот болезненный на вид, седоволосый полковник, какая необыкновенная у него работоспособность. Ставя перед Маясовым вопрос за вопросом, Демин старался дойти до самого дна, не оставлял для себя ни малейших белых пятен в деле. Эта тщательность нравилась Маясову, так как он сам презирал дилетантство в любых его проявлениях и умел ценить по-настоящему добросовестный труд.

В один из вечеров Демин сидел в кабинете Маясова над раскрытым блокнотом. Но не писал, а только задумчиво глядел на бумажный лист. Ему припомнился разговор с начальником управления после дерзкой вспышки и внезапного ухода Маясова из генеральского кабинета.

— ...Я понимаю Маясова и, откровенно говоря, не завидую ему,— сказал тогда Винокуров.— Ведь за Савелова ему пришлось выдержать настоящий бой. Маясов уверовал в его порядочность, и вдруг оказывается, что он вор и грабитель. Такое не сразу укладывается в голове. Но убийство — факт, а моральный, так сказать, облик Савелова — мистика, и вот рождается предположение о связи между делом об убийстве и прежним делом, кленовоярским. Какая тут может быть связь?.. Если допустить, что Савелов действительно был сообщником Никольчука, шпионскую деятельность которого не сумели вскрыть, то для предположений есть широкие возможности. Логично считать, например, что Савелов убит теми, на кого он работал. Почему убит? Здесь уже труднее быть конкретным. Возможно, он стал больше не нужен своим хозяевам. Или слишком много знал о них. Или они заподозрили его в предательстве, потому что Савелов трижды вызывался в Ченский отдел КГБ... Но каковы бы ни были причины убийства, суть версии Маясова неизменна: при расследовании надо отталкиваться от прежнего, кленовоярского дела...— Генерал остановился посредине кабинета.— А что это означает? Для Маясова это значит рубить сук, на котором сидишь. И Маясов его рубит: своей версией по делу об убийстве он допускает несостоятельность собственных прежних выводов по делу о шпионаже...

— Но это же явное неверие в себя,— сказал Демин.

— Неверие в себя? — переспросил Винокуров.— Однако не всякий на это пойдет. Нужна смелость. Ведь Маясова за язык никто не тянул...— Генерал помедлил.— Но главное не в этом. Какая бы из версий — милицейская или маясовская — ни оправдалась, Маясов все равно остается в проигрыше. И он сам это понимает... Сейчас Маясов ратует за свою версию. Что ж, его право. Но беда в том, что его аргументация исходит только из того, что Савелов де по своей натуре не мог стать вором. Короче говоря, Маясов руководствуется больше своими чувствами, чем логикой фактов. А это для контрразведчика опасно... Может помешать добраться до истины...

Припомнив эти слова теперь, Демин подумал, что его командировка в Ченск оказалась полезной во многих отношениях. Он на месте изучил оперативную обстановку, без чего нельзя было определить, правильно ли велось кленовоярское дело.

Но Демин не смог закончить свою работу. Однажды утром его неожиданно вызвал к телефону генерал Винокуров. Разговор был короткий. Положив трубку, полковник спросил:

— Когда ближайший самолет?

Маясов заглянул в расписание, лежавшее на столе под стеклом.

— Ровно в одиннадцать.

Демин быстро собрал со стола бумаги, сложил их в сейф. Ключ от сейфа отдал Маясову.

— Поговорим, когда вернусь... Направление работы остается пока прежнее...

И он уехал. И не возвращался в отдел вот уже пятый день. Все это время Маясов чувствовал себя связанным по рукам и ногам. «Направление работы остается прежнее...» Это надо было понимать, видимо, так: расследование по делу Савелова продолжают органы милиции, а он, Маясов, и его сотрудники по-прежнему выжидают, стоят в стороне, занимаются другими вопросами. Но ведь «другие вопросы» не идут ни в какое сравнение с делом Савелова. К тому же это дело приобрело для него, Маясова, принципиальное значение.

Но самое главное — с каждым днем уходило дорогое время...

На шестые сутки Маясов не выдержал: решил действовать. Для этого у него все уже было обдумано и подготовлено.

В половине двенадцатого он приказал Тюменцеву подать машину и поехал в уголовный розыск. За эти дни к подполковнику Шестакову он наведывался часто, интересовался, нет ли чего «новенького». Сегодня Владимир Петрович приехал к нему с просьбой: дать отделу провести некоторые оперативные мероприятия параллельно с мероприятиями уголовного розыска. Без этого разрешения Маясов действовать не хотел, опасаясь помешать сотрудникам милиции. Шестаков не возражал. Он только сказал, чтобы Маясов информировал его обо всем, что будет представлять интерес для уголовного розыска.

Выйдя из милиции, Маясов отпустил Тюменцева на машине обедать, а сам пошел в отдел пешком: после болезни у него временами еще побаливала голова. День был жаркий, и он свернул на бульвар, в тенистую аллею. И пока шел по ней, все время думал об одном — о своих предположениях, реальность которых решился доказать. Собственно, на это его вызвала сама обстановка. Но как бы там ни было, отступать он теперь уже не мог. И не потому, что нуждался в реабилитации, а потому, что не считал себя вправе отступать в начатых поисках истины. Только этим он и руководствовался.

Почему он не приемлет милицейской версии? Потому ли только, что Савелов, по его соображениям, вообще не мог стать вором?

Маясов знал, что дела о шпионаже, кроме всего прочего, характерны одной особенностью: про многие из них никогда нельзя сказать: «Все сделано». Такое утверждение невозможно даже в том случае, если дело уже сдано в архив, а его объект — шпион — получил по заслугам.

В кленовоярском деле среди не выясненных до конца обстоятельств было одно, вызывавшее особенно серьезные подозрения. Как показал Никольчук, Барбара Хольме, связник западноберлинского разведцентра, от имени полковника Лаута дала ему зимой новые установки. А именно: переключить свое внимание с завода «Кленовый Яр» на Зеленогорский химический комбинат.

Для организации работы на новом месте Никольчук попросил у нее денег. Барбара Хольме сказала, что нужная сумма уже предусмотрена шефом. И тут же сообщила о тайнике, из

Продолжение. См. «Огонек» №№ 1—4.

которого в назначенный день Никольчук может взять деньги. Тайник находился якобы на Староченском кладбище под мраморной плитой крайней могилы девятого ряда.

Однако этих денег Никольчук не получил. Более того, отправившись на кладбище, он убедился, что в том месте, о котором сказала Хольме, едва ли вообще можно было устроить тайник.

В поисках разгадки, почему агенту не были доставлены обещанные деньги, Маясов и его помощники перебрали не одну версию, пока не пришли к такому выводу: деньги Никольчуку не принесли, видимо, потому, что с переменой устремлений лаутовской разведки с «Кленового Яра» на Зеленогорск роль Никольчука навязана кому-то другому, находящемуся, по всей вероятности, в Зеленогорске. При подобных обстоятельствах разведцентр счел излишним посылать крупную сумму в Ченск, Никольчуку.

Когда Маясов докладывал свои соображения по этому поводу начальнику управления, тот в общем одобрил их. Однако тут же предостерег майора, чтобы он не слишком увлекался созданной версией:

— У противника, конечно, свои планы. Не исключено, что, не добившись желаемого в «Кленовом Яру», решили попытать счастья в Зеленогорске... Но имейте в виду, Владимир Петрович, зеленогорский продукт «В» хоть и разновидность кленоварского топлива, однако во многом ему уступает. Поэтому вашей главной задачей было и остается обеспечение безопасности «Кленового Яра»... Что касается Зеленогорского химкомбината, то тут мы с вами обязаны принять некоторые дополнительные меры...

Маясов сразу же освободил от всяких других обязанностей капитана Дубравина и поручил ему заниматься только тем, что так или иначе помогло бы выйти на след возможного преемника Никольчука в Зеленогорске.

Никто не мог сказать, чем бы закончилась эта работа, сколько времени пришлось бы действовать в новом направлении, если бы не вспышка чрезвычайных событий. Сперва вдруг выяснилось, что принадлежавший изменнику родины уникальный портсигар оказался у лаборанта оборонного завода. А потом лаборант был кем-то зверски убит.

Маясов понимал: там, где Демин, может быть, колебался из-за недостаточного знания всех обстоятельств дела, для него самого, для Маясова, сомнений не было. Отчасти поэтому он теперь и решился на активные действия до возвращения заместителя начальника управления в Ченск.

В новом оперативном плане Маясов в числе прочего наметил провести два беседы: с Ласточкиным и Булавиной, людьми, наиболее близко знавшими Савелова.

К артистке отправился капитан Дубравин, а сам Маясов поехал в Дом культуры — к Ласточкину...

Через три часа Владимир Петрович вернулся в отдел. К сожалению, его разговор с Ласточкиным не много прибавил к тому, что уже было известно.

Вскоре вернулся и Дубравин. Прямо с порога капитан сказал густым басом:

— Или эта кареглазая что-то темнит, или я ни шута не понимаю в людях!

То, что капитан сумел вызвать из беседы с Булавиной, заинтересовало Владимира Петровича новизной кое-каких деталей, которые могли повернуть дело совсем в другом направлении.

Когда Дубравин закончил свой рассказ, Владимир Петрович спросил:

— Так, говоришь, портсигарчик смутил ее?

— В этом вся соль...

28

На другое утро, прямо из дому, Владимир Петрович поехал в милицию. Шестаков был у себя.

— Нового ничего нет? — привычно поинтересовался Маясов.

Шестаков мрачно усмехнулся.

— Ты что, думаешь, если к нам будешь через день ходить, то расследование ускорится?

— А кто же вас подталкивать должен, как не я? — шутливо сказал Маясов.

Но Шестаков не принял шутки.

— Я тебе, Владимир Петрович, уже говорил: пока Петьку Косача не разыщем, едва ли распутаем этот клубок.

— Ладно,— сказал Маясов.— Я к тебе сейчас не за тем приехал.

И он коротко рассказал все, что удалось узнать за последнее время о любовнице Савелова — Булавиной.

— В общем, ведет она себя как-то неестественно и в высшей степени нервозно...— заключил Маясов.

— Для нас это не новость,— сказал Шестаков.— В ее положении спокойной быть нельзя.

— Отчасти правильно... Но можно и по-иному на это взглянуть. Если ее горе искренне, то за ним стоит что-то еще, какой-то непонятный страх... И другое припомни: ее показания — из допроса в допрос одно и то же, как заводная...

— И что же ты предлагаешь?

— Мы к этой артистке не первый день присматриваемся. А теперь я пришел к выводу, что прежний план действий надо поломать и все повернуть по-другому...

— Давай точнее.

— Предлагаю вызвать Булавину к нам, в КГБ, допросить ее официально, а потом посмотреть, как она на это станет реагировать. Это будет началом...

— Обожди! — Шестаков протестующе поднял широкую ладонь.— У нас с Деминым договоренность: мы ведем следствие и вас информируем. Что касается твоей затеи, я не вижу в ней необходимости: в милиции ли допрашивать Булавину или в КГБ, какая разница?

— Есть разница, и большая! — горячо сказал Маясов.— К допросам в милиции Булавина, если хочешь, привыкла. Вызов же в КГБ заставит ее взглянуть на происходящее с иных позиций: почему вдруг органы госбезопасности заинтересовались этим, так сказать, сугубо уголовным делом? Короче говоря, новая обстановка должна вызвать у нее новую реакцию...

Шестаков задумчиво погладил бритую голову, сказал:

— Нет, Владимир Петрович, на это я не могу пойти.

По приезде к себе в отдел Маясов долго раздумывал над сложившейся обстановкой. В конце концов начальник областного управления КГБ рано или поздно должен узнать о его самовольно начатых действиях...

Если отбросить все чисто психологическое и потому в какой-то степени субъективное, быть может, отклоняющееся от истины, то фактически полученное капитаном Дубравиным из беседы с Булавиной сводилось к тому, что она действительно видела у Савелова серебряный портсигар с орлом на крышке.

С этого фактического, точно установленного и начали допрос Демин и Маясов.

Ирина Булавина в белой нарядной кофточке сидела у столика, приставленного к большому письменному столу, за которым устроились Демин и Маясов — оба в офицерской форме, с орденскими колодками на кителях. Отвечая на вопросы, Булавина то и дело прикладывала кружевной платочек к своему пряменькому носу, пила воду из стоявшего перед ней стакана. Однако, несмотря на свое явное беспокойство и неуверенность, она долго ничего не хотела прибавить к прежним показаниям, данным ею в милиции. А между тем и Демину и Маясову было ясно, что эта молодая красивая женщина с карими блестящими глазами что-то не договаривает. И, похоже, не договаривает умышленно...

Прошло, наверное, более часа, прежде чем в допросе наметился перелом. Уличив Булавиную в противоречивости ответов, Демин заставил ее взглянуть на обстоятельства дела как бы другими глазами. И она, видимо, поняла, что держаться той линии, которой она держалась до этого, попросту неразумно.

Допив воду в стакане, Булавина потупила взгляд и вдруг сказала, что серебряный портсигар Савелов получил в подарок от нее.

Маясов и Демин удовлетворенно переглянулись: их предположения подтверждались.

— А как это получилось? — спросил полковник.

— Игорь однажды увидел его у меня, и портсигар ему понравился...

Черкнув несколько слов на бумажке полковнику, Маясов спросил:

— А как этот портсигар, Ирина Александровна, очутился у вас?

Булавина смутилась, хрустнула пальцами, на лице ее выступили розовые пятна. Было заметно, что она не знает, как ответить на этот простой вопрос. Замялась длительной и

Маясов снял трубку с белого телефона, набрал номер. Поздоровавшись с генералом, стал с помощью переговорного кода докладывать о том новом, что выявилось по делу Савелова в последние дни. Закончил он просьбой о разрешении на допрос Булавиной.

Виноградов помолчал, потом сказал:

— Не возражаю. Но все же посоветуйтесь на месте с Деминым. Он сегодня вылетел к вам...

Булавина смутилась, хрустнула пальцами, на лице ее выступили розовые пятна. Было заметно, что она не знает, как ответить на этот простой вопрос. Замялась длительной и полковник.

— Игорь однажды увидел его у меня, и портсигар ему понравился...

Черкнув несколько слов на бумажке полковнику, Маясов спросил:

— А как этот портсигар, Ирина Александровна, очутился у вас?

Булавина смутилась, хрустнула пальцами, на лице ее выступили розовые пятна. Было заметно, что она не знает, как ответить на этот простой вопрос. Замялась длительной и паузу, невнятно проговорила, что это портсигар ее мужа.

— В таком случае странно, что эту вещь вы подарили своему знакомому. Вы не находите? — спросил Маясов.

Булавина подавленно молчала.

— Хорошо,— сказал Демин,— это портсигар вашего мужа. Тогда вы, наверное, знаете, что означает вензель «АБ»... вот здесь на крышке.— Полковник протянул Булавиной раскрытый портсигар.

Она взяла его. Ее маленькая рука заметно дрожала.

— Я никогда этим не интересовалась...

На все последующие вопросы она отвечала еще более неопределенно и туманно: «Этого я не знаю», «Затрудняюсь что-либо сказать». Или просто пожимала плечами.

Было ясно: артистка не желает говорить полную правду. И Демин решил прекратить эту бесперспективную карусель.

— Ладно,— сказал полковник,— видимо, о портсигаре нам следует расспросить его хозяина...

Булавина подняла настороженный взгляд.

— Ваш муж дома? — спросил Демин, делая вид, что не замечает ее беспокойства.

— Он сейчас в театре.

— Очень хорошо. Допрос пока прерывается. До свидания.

— До свидания...— растерянно проговорила Булавина.

Когда дверь закрылась за артисткой, Маясов спросил:

— А не рано вы ее отпустили?

— В самый раз,— уверенно сказал Демин.

— Сама дозреет?

— Вполне возможно...— Полковник вставил сигарету в янтарный мундштучок.— Теперь у нее в голове сильнейшая сумятица. Но она ни за что на свете не допустит, чтобы эту историю узнал ее муж.

29

Ирине было нестерпимо обидно. Почему она должна страдать, таиться, фальшивить? Она давно уже не знает ни минуты покоя. День и ночь настороже. Стала рассеянной, и уже не одно замечание от режиссера получила из-за этого. Сколько ей пришлось пережить, переплакать втихомолку. Но кому она может открыться?

Стоит лишь заикнуться, кем оказался ее отец, и все полетит кувырком. Ее сразу же уволят из театра. Знакомые отшатнутся, станут обходить стороной. Окончательно развалится семья. И она останется одна, с беспомощным сыном на руках, без средств к существованию...

Конечно, времена изменились, это всякий знает. Однако где гарантия, что лично ей ничего не будет, что ее не тронут, пощадят, оставят в покое?..

«А что, если пощадят? — вдруг спросила себя Ирина.— Если во всем откровенно признаться, могут ведь и пощадить?..» Но она тут же отогнала эту мысль. Нет. Что угодно, любая ложь, но только не быть растоптанной!..

Сцепив на коленях пальцы, Ирина стала вспоминать, как и с чего началась эта измучившая ее до предела история.

...Летом сорок шестого года, в жаркий полдень, они с матерью и отчимом шли по пыльной Болотной улице. И там, возле дома с тесовым заборчиком, повстречали Рубцова. Когда отчим ушел в парикмахерскую, они втроем присели на теплую от солнца скамеечку у забора, и мать сказала Ирине, что Арсений Павлович до войны был товарищем ее отца.

— Почему же до войны? — заулыбался Рубцов.— И в войну вместе горе хлебали.

— Простите,— сказала мать и тут же попросила его рассказать об всем, что ему было известно об Александре Букрееве.

Рубцов стал рассказывать, от волнения беспрестанно поправлял закатанные рукава гимнастерки на загорелых жилистых руках. Он хотел закурить — вынул из кармана портсигар, достал из него папиросу. И тут увидел глаза матери, смотревшие на этот портсигар. Арсений Павлович смутился.

— Да, да, это Сашин портсигар...— сказал он.— Однажды, уходя в разведку, мы решили обменяться чем-нибудь на память...— Рубцов помедлил.— Но теперь, Валентина Петровна, эта вещь по праву должна перейти к вам...

Булавина подержала портсигар в ладонях, потом молча передала дочери. Ирина попыталась его открыть, но не смогла.

— Он с секретом,— сказала ей мать.— Надо нажать на орлиный глаз.

Положив портсигар на колени, Ирина изо всей силы надавила пальцем на черное зернышко орлиного глаза. Послышался четкий щелчок. Раскрыв портсигар, как книгу, девочка увидела на золотистой внутренней стороне крышки тонкую паутинку гравировки вокруг букв «АБ»...

Мать взяла у девочки портсигар и протянула его Рубцову. Но Арсений Павлович протестующе поднял руки.

— Нет, нет,— строго сказала Валентина Петровна.— Саша подарил портсигар вам, и вам он должен принадлежать. Как память о нем.

— Память о нем — самое дорогое для меня,— промолвил Рубцов и, нагнувшись, признательно поцеловал Булавиной руку...

Так Ирина впервые узнала о существовании отцовского портсигара. Тогда, в сорок шестом году, она, разумеется, и не предполагала, что эта красивая серебряная коробка еще сыграет в ее жизни какую-то роль. Она попросту забыла о ней. Однако через пятнадцать лет отцовский портсигар снова попал к ней в руки. Его отдал ей все тот же Рубцов, когда она пришла к нему за советом после того, как получила от отца перепугавшие ее письма. Возмущенный до глубины души, Арсений Павлович бросил на стол злосчастный портсигар и заставил Ирину взять его, сказав, что не хочет хранить память о предателе...

Ирина встала со скамейки и пошла по аллее, ведущей с бульвара на улицу.

Подходя к своему дому, она замедлила шаг. А потом и вовсе остановилась. Здесь на углу, возле магазина, прижавшись друг к другу стеклянными боками, стояли три телефонные будки.

Ирина раскрыла сумочку и стала искать двухкопеечную монету. Она искала долго, медленно — оттягивала время, напряженно думала: позвонить — попросить совета, или не делать этого, потому что, быть может, совсем с другого конца надо начинать?

И все же наконец решилась. Вошла в будку, плотно притворила дверь. Номер она знает на память: 2-37-35. Палец потянул диск вправо и вниз: один раз, второй, третий, четвертый... И вдруг нерешительно замер на последней цифре «5». Как будто его приморозило... Прошло, наверное, не меньше минуты. Рука, застывшая на диске, делалась все тяжелей. И тут Ирине показалось, что она услышала произнесенную вслух собственную мысль: «А что, если все-таки пощадят?..»

Рука сорвалась с телефона. Ирина повесила трубку, привалилась затылком к стеклянной стенке...

30

В пятом часу вечера Маясову позвонил лейтенант Зубков.

— Артистка пришла домой,— торопливо доложил он.— Прошу записать номер, по которому она пыталась с кем-то связаться по телефону.

— Почему «пыталась»?— не понял Маясов.

Зубков коротко рассказал, как вела себя Булавина в телефонной будке. И опять попросил скорее записать номер. Видимо, времени для обстоятельного доклада у него не было.

Маясов записал цифры и сказал:

— Это же неполный номер?

— Последнюю цифру, товарищ майор, точно установить не удалось.

— Продолжайте наблюдение...

Маясов вызвал капитана Дубравина и приказал выяснить номер абонента, которому хотела звонить Булавина.

Дубравин ушел, а Маясов опять стал ждать. Ровно в пять вернулся из столовой Демин. Они просидели вдвоем до девяти. И все напрасно. Артистка не возвращалась. Кажется, их предположения оказались слишком оптимистичными...

Не пришла Булавина и на другой день.

И на третий, в субботу, она тоже не явилась... Впрочем, в субботу о ней почти не вспоминали. Потому что с утра произошли два события, которые не могли не взволновать всех, кто работал по делу Савелова, и особенно самого Маясова.

В половине десятого позвонил начальник уголовного розыска Шестаков. Он сообщил, что прошедшей ночью удалось арестовать Петьку Косача.

— Если есть время, приезжайте,— пригласил подполковник.

Демин сказал, что поедет в милицию сам. Маясову оставалось лишь молчаливо согласиться. Как ни хотелось ему поговорить с этим вором, поехать на допрос он не мог: его уже ждал Дубравин.

Сразу же, как только Демин уехал, Маясов пригласил капитана к себе.

— Работу мы закончили,— доложил Дубравин.— Результат получился, я бы сказал, несколько неожиданный...

— Ну, ну!

— Удалось установить, что из всего списка вероятных абонентов Булавина знакома лишь с одним.

— С кем?

— Это наш старый знакомый...

— Давайте без загадок,— нетерпеливо сказал Маясов.

— Рубцов Арсений Павлович.

— Какой Рубцов?.. Фотограф?

— Да, тот, что сообщил нам весной о Никольчуке...

Когда вернулся Демин, настала его очередь удивляться.

— Это тот самый Рубцов?..— переспросил он.— Действительно интересное совпадение... Это надо немедленно проверить!

31

Оправдавшиеся прогнозы не могут не вселять в человека гордость за свое умение предвидеть.

Однако Маясов не ощущал ничего подобного. Наоборот, ему казалось, будто он потерял что-то. Это странное ощущение не покидало его с той самой минуты, как Демин рассказал о допросе Петьки Косача. После этого допроса уже ни у кого не могло оставаться сомнения, что Савелов в ограблении Дома культуры не участвовал и вообще не имел никакого отношения к воровской братии. Таким образом само собой снималось подозрение в убийстве его соучастниками-грабителями. А предположение Маясова, что это убийство, видимо, имеет какое-то отношение к кленовоярскому делу, кажется, начинало оправдываться...

Какое же место в преступной шпионской цепи, первым звеном которой был Никольчук, мог занимать Савелов? — спрашивал себя Маясов. И тут же вместо ответа на вопрос задал себе другой: но почему Савелов обязательно должен занимать место в этой цепи? Отчего, скажем, не предположить обыкновенного стечения обстоятельств? Если бы так! К сожалению, дело, по-видимому, обстоит хуже. Значительно хуже...

Эти сомнения разъедали когда-то прочную веру в собственную правоту, как кислота разъедает металл. И Маясову временами казалось, что сомнения вот-вот одолеют его, заставят капитулировать — признать, что он как оперативный работник оказался не на высоте, допустил непоправимую ошибку в оценке личности погибшего парня.

Становилось ясно, что без артистки им клубка быстро не распутать.

Маясов уже собирался отдать приказ, чтобы Ирину Булавину пригласили в Ченский отдел КГБ, но повестку писать не пришлось. Булавина пришла сама.

Это произошло в понедельник, в десятом часу утра. Маясов вышел из-за стола, поздоровался с ней за руку, подвинул ей стул.

— Одну минуту, Ирина Александровна...— Майор позвонил по телефону Демину — тот сидел у Дубравина,— сообщил о приходе гостьи.

Ожидая полковника, Маясов завел речь о ближайших театральных премьерах, о последних ролях Булавиной. Она отвечала рассеянно, односложно. За прошедшие четверо суток ее будто подменили: лицо осунулось, под глазами лежали тени.

Когда наконец пришел Демин, Маясов сказал:

— Что ж, Ирина Александровна, рассказывайте, с чем пожаловали...

У нее был такой вид, что она вот-вот заплачет. Маясов подал ей воды.

— Благодарю.— Булавина отпила глоток, вздохнула.— Я пришла, чтобы сказать вам всю правду об этом портсигаре...

32

В большом светлом кабинете генерала Винокурова были раскрыты все окна. Не переставая, мягко жужжали два настольных вентилятора в никелированных решетках. И все равно было жарко, душно...

Прилетевшие из Ченска Демин и Маясов молчаливо ожидали генеральского «да» или «нет» своему замыслу, венчавшему трудную многомесячную работу.

Винокуров читал их доклад... Протянув руку к деревянному стакану, он вынул красный карандаш и поставил им жирный восклицательный знак на полях. Маясов увидел, что это было то место, где подводились итоги второго допроса Булавиной...

Ему припомнился разговор с Деминым после этого допроса.

— Как хотите,— сказал тогда полковник,— а что-то не нравится мне эта возня Рубцова с букреевским портсигаром... В самом деле, смотрите, что происходит: встревоженная тайными письмами отца, Булавина решается открыться его старому товарищу. Она приходит к нему за утешением и советом. И ничего этого не находит. Наоборот, друг семьи безжалостно растравляет ее рану. Да еще швыряет ей портсигар отца... Это ультрапатриотическое негодование можно было бы понять, если бы Рубцов впервые услышал, кем оказался его бывший друг. Но ведь о предательстве Букреева он, выходит, знал и раньше. Об этом он сам рассказал Булавиной. Так почему же девятнадцать — двадцать лет он преспокойно носил портсигар в своем кармане, носил и не возмущался, не выбросил его на помойку? А стоило ему увидеть букреевские письма, как он вдруг вознегодовал: эта вещь, видите ли, жжет ему руки!

Демин внезапно умолк, потом сказал:

— Надо попытаться разыскать материалы о довоенной жизни Букреева. И все, что касается его службы в Красной Армии.

Первый «заход» по архивам мало прибавил к тому, что уже было известно о Букрееве и Рубцове со слов Булавиной. Удалось узнать номер части, в которой служили Букреев и Рубцов, и фамилию ее командира. А дальше уже просто повезло: скоро стало известно, что этот бывший командир части живет в Москве, на Зубовском бульваре. К нему немедленно вылетел Дубравин.

Полковник в отставке Яблоков рассказал, что старший лейтенант Букреев, которого он помнил как ротного командира, был вместе с ним в лагере военнопленных вблизи поселка Борисина до тех пор, пока Яблокова не перевели в другой лагерь. Но суть не в том.

Осенью сорок первого года в Борисинском лагере находился и Рубцов — об этом он сам написал в анкете, когда устраивался на службу в ченское фотоателье. К тому же Яблоков, хотя и не помнил Рубцова, сказал, что все оставшиеся в живых люди его полка могли оказаться только в Борисинском лагере — самом ближнем от места последнего боя части.

Таким образом, выходило, что Букреев и Рубцов попали в плен в одно и то же время. Однако это никак не вязалось с версией Рубцова: Ирине Булавиной он рассказал, что Букреев переметнулся к немцам еще до того, как их часть попала в окружение.

Но зачем было Рубцову столь безбожно искажать факты? Не мог же он забыть, как на самом деле все произошло?..

Когда возникли эти вопросы, оказалось, что к ним сам по себе тяготеет еще один — его высказал Демин:

— Чем объяснить явно демонстративную возню Рубцова с букреевским портсигаром?

С этого момента, можно считать, в развитии кленовоярского дела начался новый этап. Занимаясь всесторонним изучением личности Рубцова, Маясов пришел к переоценке некоторых фактов из биографии этого скромного служащего фотоателье. И прежде всего одного его поступка, который чекистами до этого квалифицировался не иначе, как патриотический. В высшей степени патриотический! Да по-другому и быть не могло: с помощью Рубцова удалось обезвредить агента американской разведки — Никольчука. За это Рубцов был удостоен тогда благодарности и награжден ценным подарком.

Теперь же, с получением новых данных, этот «патриотический поступок» впервые представился Маясову не с блестящей фасадной его стороны, а как бы с черного хода. Все, что было связано с заявлением Рубцова на Никольчука в органы госбезопасности, показалось уже в ином свете. «Сообщил или выдал?» — вот как стоял теперь вопрос...

Когда Маясов о своих предположениях рассказал Демину, тот понял все с полуслова и заметил:

— В делах, связанных с убийствами, работать по одной версии рискованно. Вы можете сказать, что и разбрасываться неразумно. Это, конечно, так. И все же целесообразнее действовать одновременно в нескольких направлениях...

Таких направлений было два. Первое составляло цепь Никольчук — Рубцов — Булавина — Савелов. Второе — Никольчук — Букреев — Бу-

лавина — Савелов. Главной считалась «рубцовская» версия.

...Генерал прочел доклад, закрыл папку, посмотрел на Демина, потом на Маясова.

— Что ж, интересно... Похоже, перед нами крупная фигура,— сказал Винокуров.— Здесь надо бить наверняка...

33

Вот и настал день свадьбы старшего брата Тюменцева — Николая. Долго оттягивали и переносили его, ждали, когда получат квартиру, но справлять свадьбу пришлось все-таки не у себя: слишком много набралось гостей.

Неожиданно выручил майор Маясов. Когда Петр Тюменцев рассказал ему о возникшем затруднении, майор договорился со своими знакомыми, у которых была четырехкомнатная квартира на Проспекте химиков, и они с удовольствием предоставили ее в распоряжение молодоженов.

В день свадьбы, ровно в пять, все приглашенные сидели за двумя длинными столами, составленными буквой «Т» в самой большой комнате.

Неразлучные друзья, Рубцов и Тюменцев, пристроились с краю стола, за которым сидели жених и невеста, откуда всех хорошо было видно. Арсений Павлович был без жены: она уехала в командировку. И все время весело намекал Петру, что сегодня никто не помешает им разгуляться: «Хочешь пей, хочешь пой, хочешь барыню пляши!..»

Когда выпили за здоровье молодых и начался общий шумный, бестолковый застольный разговор, Арсений Павлович, любопытный, как всегда, стал расспрашивать Тюменцева о тех, кого не знал за столом. Положив широкую ладонь ему на плечо, Петр охотно рассказывал обо всех по очереди:

— ...А вот тот, лобастый, в стильном костюмчике, тоже родня невесты — Аркадий. Хват парень! Работает в Москве, в Торговой палате, все время по заграницам ездит. Говорят, квартира у него — антикварный магазин...— Тюменцев понизил голос, подмигнул весело: — А рядом с ним Нинка сидит — видишь, крепенькая, как репка? Подруга невесты... Аркашка не столько из-за свадьбы, сколько из-за нее приехал. Только Нинка что-то все волынит. Или не любит его, или все по нашему Кольке, по жениху вот этому, сохнет... Кто их, девок, разберет!..— Тюменцев махнул рукой, наполнил коньяком рюмку Арсения Павловича.

— А себе? — спросил Рубцов.— Ты и так меньше меня выпил.

— Мне же режиссировать надо, Павлыч... «Первая перчатка области» — это на тарелочке не поднесут.

Рубцов вдруг брезгливо сморщил губы:

— Коньяк-то, братцы, горький!..

— Горько! Горько!— закричали вокруг.

Жених и невеста встали, смущенно поцеловались. Все шло своим чередом...

— Слушай, а кто это сидит вон там, черный, как грач? — шепотом спросил Арсений Павлович.— Что-то знакомая физия.

— Так это же Кузьмич... Бывший председатель Хребтовского колхоза.

— А, точно!.. За что же его вытряхнули?

— Сам попросился... Там теперь нужен председатель с агрономическим образованием,— почти сердито сказал Тюменцев.

Рубцов часто в последнее время вот так насмешничал. И вообще стал какой-то неуравновешенный: то веселый, то мрачный, нелюдимый. Причину таких зигзагов Петр связывал с недавней женитьбой Арсения Павловича: «Три года вдовствовал и, пожалуйте, влип! От этого, наверное, и выпивать стал чаще...» Впрочем, эти «капризы натуры», как называл их сам Рубцов, не мешали им дружить по-прежнему. Тюменцев великодушно прощал их Арсению Павловичу за его отходчивость: пошипит, пошипит и опять человеком станет...

Вот и сейчас, видя, что разговор неприятен другу, Рубцов мирно сказал:

— Ну, ладно, не хмурь свои пшеничные брови... Давай-ка по маленькой!

И Тюменцев сразу оттаял. Что ни говори, все-таки мировой он, простецкий мужик, Арсений Павлович...

Гуляние было в полном разгаре, когда к столу, где сидел Тюменцев, подошел улыбающийся Аркадий.

— А не пора ли, Петя, показать свое искусство?..

— Это можно,— сказал Тюменцев и пошел в сутолоке искать куда-то отлучившегося Рубцова.

Он нашел его в прихожей. На предложение Тюменцева «малость размяться» Арсений Павлович весело, по-пионерски отсалютовал:

— Всегда готов, Петруша! — И, слегка покачиваясь, зашагал вслед за Тюменцевым в комнату.

Там было шумно, поставили пластинку на радиолу, кто-то уже плясал, слышался дробный перестук каблуков по паркету... Выждав, когда плясавшая пара выдохлась и отступила в сторону, Рубцов с Тюменцевым переглянулись, попросили поставить пластинку снова и, растолкав кольцо гостей, вышли в круг.

Они плясали недолго, не больше трех минут. Но уж это была пляска! За их ногами невозможно было уследить. Дребезжали стекла книжного шкафа, дрожал пол, и все вокруг были в ладоши. Волосы у плясунов растрепались, лица стали красными. Шел неистовый спор: кто кого?..

Этой сумасшедшей пляске научил Петра Арсений Павлович. Называлась она «Нашенская»: тот, кто переплясывал партнера, обычно выкрикивал: «Нашенская взяла!»

Сейчас эти слова прокричал Тюменцев: его приятель сдался — выбежал из круга прямо к раскрытому окну, плюхнулся на подоконник.

А через несколько минут тут уже образовался мужской кружок. Рубцов рассказывал веселые анекдоты. Москвич Аркадий, успевший порядком захмелеть, угощал всех настоящими гаванскими сигарами.

Арсений Павлович понюхал сигару с видом знатока и заметил:

— Такую курить не здесь, в толкучке, а где-нибудь в тишине, в мягком кресле, с кофейком...

— Есть тут такой уголок,— сказал Тюменцев. И тоже понюхал свою сигару.

В это время девушки налетели на мужскую компанию, начались танцы... Лавируя между парами, Тюменцев и Рубцов одни пошли в дальнюю комнату, отведенную для отдыха гостей.

Там никого не было. Через раскрытое окно падал тусклый свет уличного фонаря.

Рубцов устало опустился на диван. Достав перочинный ножик, крепким ногтем распрыл миниатюрные ножницы, обрезал кончик сигары, закурил. Комната наполнилась душистым дымом.

— Для полного удовольствия действительно только чашки кофе не хватает,— сказал он, блаженно закрыв глаза.

— Попытаюсь организовать,— откликнулся Тюменцев и исчез за дверью.

Рубцов распустил галстук, вытянул ноги. Голова слегка кружилась, клонило в сон...

Должно быть, он задремал на несколько минут, потому что не помнил, как в комнате очутились Нина и Аркадий, о которых Тюменцев рассказывал за столом.

Освещенные светом фонаря, они сидели на подоконнике. Точнее, сидела она, а он, взлохмаченный, в расстегнутом пиджаке, стоял рядом и пьяно, горячо бормотал что-то о ее недальновидности.

Мысленно чертыхнувшись, что потревожили его покой, Рубцов собрался было встать и уйти. Но вставать не хотелось, глаза слипались сами собой. Лучше сидеть как сидел. Все равно здесь, за шифоньером, его в полумраке не видно.

А невнятное бормотание у окна продолжалось:

— Ты, Нинка, пойми: не могу я больше без тебя!.. Уверяю, не пожалеешь, если станешь моей женой...— Аркадий полез к девушке целоваться. Но она оттолкнула его:

— Здравствуйте!

Видимо, отпор разозлил незадачливого жениха.

— Можешь здорово просчитаться! — грубо сказал он.— Через десять дней еду в командировку в Берлин... И ты узнаешь, что имеешь дело с богатым человеком...

Нина громко засмеялась.

— Зря смеешься! — обиделся Аркадий.— Я, если хочешь знать, ждал этой командировки пятнадцать лет.— Он вытащил из кармана бумажник, а из него — какой-то листок, повертел, им перед лицом Нины.— Вот смотри!.. Впрочем, что мне бумажка, я все и так помню, разбуди хоть ночью — пожалуйста: Дрезденштрассе, дом пять, во дворе, под средней колонной...

Нина равнодушно спросила:

— И что же там, под этой твоей средней колонной?

— Драгоценностей на четыреста пятьдесят тысяч, вот что! — понизив голос, сказал Аркадий.

Нина захохотала.

— Это что же, наследство твоей тамбовской тетушки? Но почему оно оказалось в Берлине?

— Дура! — не выдержал Аркадий. И, убрав бумажник в карман, спокойно объяснил:— Один пленный немец, Герман,— пусть, как говорят, земля ему будет пухом,— за одну услугу рассказал мне, что эти драгоценности в свое время принадлежали крупному фашисту. Он попал в немилость к фюреру, ну и припрятал камешки. Герман сам их замуровывал...

Нина перестала смеяться. Они помолчали немного, потом она попросила у Аркадия заветную бумажку и, повернувшись к свету, прочитала вслух:

— Дрезденштрассе, пять, во дворе, под средней колонной...

34

Над Берлином стояла душная, сырая ночь. Улицы в этот поздний час были малолюдны, пустынны — можно свободно мчаться по ним, и это движение доставляло полковнику Лауту удовольствие: он всегда любил быструю езду...

Вспыхнул красный зрачок светофора. Полковник резко затормозил. Высунувшись из кабины, осмотрелся. Фридрихштрассе... Здесь начинался демократический сектор. Невидимая граница двух миров. Полковник еще не знал, что вскоре здесь поднимется стена, но торопился так, будто предчувствовал это.

Через минуту грузовик уже снова мчался, набирая скорость. По обеим сторонам от мостовой потянулись громады домов в светлой облицовке — новые постройки на месте послевоенных руин и пепелищ...

На перекрестке Лаут крутнул руль вправо. Грузовик свернул на неширокую безлюдную улицу с высокими каштанами вдоль тротуаров. Дрезденштрассе.

У трехэтажного дома со светящимся номером «5» Лаут притормозил машину и осторожно, стараясь не задеть бортами кирпичные стены, въехал под невысокую, узкую арку. Во дворе с разбитым посредине цветником, окаймленным асфальтовой дорожкой, было пустынно. В центре цветника, как бы вырастая из клумбы, стоял фонарь. Его желтоватый свет бликами отражался в лужицах, образовавшихся в неровностях асфальта.

Лаут вылез из кабины, тихо прикрыл дверцу.

— Приехали,— сказал он, натягивая на голову капюшон черного плаща.

Из кузова выпрыгнули двое в таких же плащах, только мокрых и блестевших от дождя. Лаут что-то приказал им коротко и негромко. И они, открыв боковой и задний борта, сноровисто и бесшумно стали вытаскивать из грузовика деревянные щиты и расставлять их один возле другого.

Через несколько минут рабочий коридор был готов. Он замыкал пространство от чугунной крышки канализационного люка до средней из трех колонн, которые поддерживали портик террасы, ведущей из старинного особняка во двор.

Один из помощников Лаута бросился в конец «коридора» и, поддев железным крюком тяжелый чугунный диск, открыл темный спуск в канализационный колодец. Потом принес из машины и пристроил на внешней стороне углового щита железный трафарет: «Осторожно! Ремонт канализации».

Теперь как будто все готово, можно начинать. По команде Лаута его помощники подтащили к колонне инструменты. Ломом сняли асфальтовый слой, облегавший массивный цоколь. Под асфальтом грунт оказался сравнительно мягким. В дело пошли лопаты. Помощники сбросили плащи — копали в одних рубашках.

На первом этаже особняка, справа от террасы, вдруг ярко вспыхнул в окне электрический свет. Через несколько минут во двор вышел человек в пальто с поднятым воротником.

— Доброй ночи,— сказал он.— Как лицо официальное, хотел бы знать, чем товарищи намерены заниматься в нашем дворе?

— А вы что, не видите? — пробурчал Лаут, показывая, что не намерен вступать в подробные объяснения.

— На производство канализационных работ необходимо разрешение городских властей,— сказал человек в пальто, поглаживая пальцами седые усы.

Лаут вынул из кармана бумажку, молча протянул усатому. Разрешение на производство ремонтных работ было хотя и липовое, но исполненное на подлинном, неподдельном бланке и с настоящей печатью соответствующего отдела городских властей демократического Берлина.

Возвратив Лауту бумажку, старик развел руками:

— Извините, долг службы...— И медленно побрел к подъезду.

Проводив его взглядом, Лаут подошел к работавшим у колонны парням, нетерпеливо спросил:

— Ну как?

— Пока ничего похожего,— ответил голос из ямы.— Попробуем еще с полметра снять.

— Не с полметра, а столько, сколько понадобится!— сказал Лаут.

Он опустился на корточки у края ямы. Вынув карманный фонарь, направил белый луч на обнажившийся кирпичный фундамент колонны. Грунт вокруг кладки был вперемешку с крупным щебнем и кусками битого кирпича. И Лаут то и дело освещал эти камни и комья земли: ему начинало казаться, что под ними вот-вот откроется заветный ящичек, или железная банка, или какая-то другая посудина, доверху наполненная изящными безделушками, каждая из которых стоит кучу бумажных денег.

Парни копали, не разгибая спины. Теперь Лаут следил за каждым движением их лопат: он опасался, что вместе с землей они выбросят и сам драгоценный клад. Наконец снизу донеслось:

— Стоп! Кажется, докопались...

Лаут отрывисто приказал:

— Наверх!..

И как только они, тяжело дыша от усталости, вскарабкались на земляную насыпь, он спрыгнул вниз, на их место.

То, что Лаут затем увидел под лучом своего фонаря, заставило его выругаться сквозь зубы. С минуту он стоял неподвижно. В фундаменте была небольшая ниша — в объем вынутого из кладки кирпича. Именно вынутого, а не случайно выпавшего: ровные, гладкие внутренние стенки ниши, следы аккуратной наружной заделки — все говорило, что это — дело рук человеческих. Драгоценности могли быть замурованы только здесь. Но их уже нет. Кто-то сумел опередить...

Через два дня после ночной поездки Лаута в Восточный Берлин Маясов прилетел в областной центр: его срочно вызвал Винокуров.

Как только он появился в кабинете и закрыл за собой дверь, генерал сказал весело:

— Есть интересные новости!.. Наши друзья из ГДР сообщили, что позавчера дом номер пять на Дрезденштрассе посетили американские гости...— Генерал вынул из папки несколько фотоснимков.— Вот, полюбуйтесь: ночную операцию возглавлял сам шеф русского филиала полковник Лаут...

Когда Маясов, просмотрев снимки, положил их на стол, Винокуров сказал:

— С Рубцова теперь глаз не спускать! Используйте, Владимир Петрович, все средства...

Окончание следует.

За сной вариант

Леонид ТАМАЕВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. УШАКОВА.

35

Странное ощущение возвращалось вновь и вновь: ему казалось, что за ним все время кто-то следит. Какой-то чужой глаз, пристальный и неотступный. И самое главное состояло в том, что он ни разу не видел «наблюдателя». Он только все время ощущал его взгляд на себе и потому стал нервничать.

А ведь так складно все шло до недавнего времени!

Зимой он женился на Ларисе. Она служила бухгалтером-ревизором. Эта ее должность весьма устраивала Рубцова: частые командировки жены создавали все условия, чтобы он, пребывая в роли добропорядочного мужа, хорошего семьянина, мог распоряжаться собой и своим временем, как ему нужно. К тому же у Ларисы была большая комната, которая в соединении с его комнатой дала возможность получить в обмен отдельную квартиру, так необходимую ему для конспирации дела, которым он теперь занимался...

Вспомнив сейчас об этом деле, Рубцов посмотрел на часы и поспешил покончить с завтраком. В полосатой пижаме и ночных туфлях он прошел из кухни в маленькую комнату и закрылся там. Собственно, на железную задвижку можно бы и не запираться, так как в квартире он один: жену еще с вечера удалось выпроводить к матери, в деревню. Но он уже привык работать взаперти.

Когда-то эти меры предосторожности Рубцов считал для себя ненужными. Сейчас не то!.. Арсений Павлович достал со шкафа черную шкатулку, где хранились бритвенные принадлежности. Выложил их на стол. Потом поддел шилом дно шкатулки и вытащил стопочку исписанных условными знаками бумажных листков, начал разбирать их.

Часа через полтора Рубцов пробежал глазами готовое донесение:

«На днях мне удалось побывать в некоторых интересных местах нашего района. При этом возле Осокина, направо от железной дороги, я видел военный аэродром, на котором насчитал 46 истребителей... На станции Березкино с поезда сошли два подполковника авиации. Когда поезд ушел, у переезда я заметил еще двух офицеров ВВС, они шли по дороге, ведущей в лес.

Будучи в облцентре, от водителя такси услышал, что на местном автозаводе находится в производстве машина специзначения грузоподъемностью более 50 тонн...»

Далее шло в том же духе: что видел сам, что удалось подслушать. Все это не имело отношения к основному заданию, являлось результатом, так сказать, личной инициативы. Однако пренебрегать подобной информацией не следовало: за нее платили деньги...

Рубцов оттянул пальцами плинтус под столом, достал из тайника шифровальный блокнот. Прежде чем приступить к зашифровке, он еще раз прочел донесение и задумался, вспомнив недавний наказ непосредственного его «хозяина» — Ванджея: «Главное, чтобы нас никогда впредь не видели вместе. Шифрованные сообщения, исполненные тайнописью, вы должны маскировать строками невинного открытого текста, который по своему содержанию мог бы навести на мысль о мальчишеской игре, если магнитный пенал, куда вы вложите свою информацию, случайно попадет в чужие руки...»

Чешский поезд подошел к вокзалу областного центра. И как только, зашипев тормозами, остановился, из вагонов хлынул шумный поток пассажиров. Наблюдая это пестрое шествие, Рубцов не спешил покидать купе.

С вокзальной площади он направился на троллейбусную остановку, но не прямым, ближним путем, а окольным — пустынными переулками.

На троллейбусе Арсений Павлович проехал всего две остановки, потом вышел, взял такси и велел шоферу ехать к Большому бульвару...

Когда Арсений Павлович начал прохаживаться по липовым аллеям, над городом уже опускались сумерки. Большой бульвар был излюбленным местом вечерних прогулок. И Рубцов тоже с видом праздного человека вышагивал по его дорожкам, протянувшимся на добрых два километра.

Возле кустов желтой акации, откуда начинались каменные ступени длинной лестницы, которая вела с бульвара на улицу, он замедлил шаг, вынул из кармана и зажал в руке маленький металлический пенал. Спустившись по лестнице, Рубцов как бы невзначай дотронулся до железной ограды. Этого неуловимого движения было достаточно, чтобы всунуть магнитный пенал в железное дупло: полый столбик ограды был проломан.

Пересилив желание поскорее уйти от тайника, Рубцов заложил руки за спину и медленно двинулся в сторону вокзала. До поезда оставался еще целый час...

И ровно через час, когда Рубцов уже сидел в купе, на центральной аллее Большого бульвара среди гуляющей публики появился новый человек. Был он высок ростом, с покатыми крепкими плечами. Распахнув свой темно-зеленый короткий пиджак, заложив руки в карманы, человек ходил по дорожке и беспечно что-то мурлыкал себе под нос, какой-то веселый мотивчик.

На этого человека обратил внимание светловолосый юноша, сидевший со своей подружкой на одной из бульварных скамеек.

— Тебе не кажется, что он болтается здесь неспроста?— спросил юноша у своей подруги. До этого она без умолку тараторила, смеялась, теперь подвинулась ближе, тихо сказала:

— Да, я тоже об этом подумала...

— Гляди! Опять идет сюда,— шепнул парень.— Обними меня крепче... Да не бойся, не укушу.

— Может, еще захочешь, чтобы поцеловала?

— Не возражаю. Для дела не противопоказано.

— Сойдет и так.— Она повернулась, обняла его рукой за шею.— Если бы знать, что за тип!..

Но этого не знал даже тот, кто посадил их на бульварную скамейку, кто организовал засаду у тайника. Никто из чекистов не ведал, что за человек может прийти к тому месту у кустов желтой акации, где недавно побывал Рубцов. Знали только одно: за шпионским сообщением обязательно придут.

Пришел капитан Гарри Ванджей. Именно он и мотался теперь по дорожкам Большого бульвара, выбирая удобный момент, чтобы подойти к тайнику.

Наконец Ванджей уловил такой момент. Бульвар пересекала группа парней, они пели под гитару. И Ванджей пристроился сзади, как только понял, что ребята пойдут на улицу по каменным ступеням мимо кустов. Он смело шел за веселой ватагой, не рисуя быть замеченным со стороны улицы. По бокам его надежно маскировали густые заросли акации. Незащищенным оставался только тыл, но там ничего подозрительного не замечалось — гуляющих поблизости нет, а парочки, сидевшие поодаль на скамейках, вообще не в счет: на таком расстоянии, при скудном свете фонарей, едва ли можно разглядеть, что делает человек, задержавшийся на секунду у решетки бульвара...

Но юноша-блондин видел все, что делал Ванджей. И то, что видел, шепотом передавал своей подруге, невольно заражая ее волнением, которое испытывал сейчас сам.

Ванджей, приотстав от шумной компании, решительно шагнул к железной решетке ограды. Вынув из кармана стержень длиною чуть побольше карандаша, он запустил его в «дупло» полого металлического столбика, плавно потянул вверх и извлек пенал, заложенный Рубцовым.

Молодой человек рванулся со скамьи, следом за ним побежала девушка.

Ванджей успел сделать лишь несколько шагов, когда они, появившись на аллее из темноты, встали перед ним.

— Что вам надо?!— в недоумении спросил Ванджей.

Не ожидая ответа, он быстро повернулся, чтобы уйти. И тут же отпрянул назад: наперерез ему из кустов акации вышел коренастый милиционер с сержантскими нашивками на погонах. Это был сотрудник Демина — капитан Исаев. Недавно на свадьбе у Тюменцева в роли пьяного болтуна Аркашки ему пришлось вместе с Ниной Грицевец обрабатывать Рубцова, а теперь вот посчастливилось встретиться с его непосредственным хозяином.

— Минуточку,— спокойно сказал милиционер, преграждая Ванджею дорогу.— Торопиться не надо...

36

Машина свернула в узкий, плохо освещенный переулок и бесшумно остановилась.

— Заяорил, где приказано,— тихо доложил Тюменцев.

— Во двор подадите, когда увидите свет в его окнах,— сказал Маясов.

— Ясно, товарищ майор.

Маясов вылез, осторожно прикрыл дверцу. Вслед за ним выбрались из машины Дубравин и Зубков. Подошли к майору, начали о чем-то тихо разговаривать.

Постояв с минуту, Маясов и Зубков пошли к дому, где жил Рубцов. Немного погодя туда же зашагал Дубравин. Скоро его могучая фигура скрылась в полумраке.

Тюменцев остался один. Прислушиваясь, поднял голову. Небо над крышами было черное, вокруг стояла тишина, только чуть слышны были звуки шагов: это Дубравин прохаживался перед домом...

Как только в одном из окон квартиры Рубцова вспыхнул яркий свет, Тюменцев вырулил на середину мостовой, набрал скорость и с ходу сделал лихой разворот во двор. Он мог бы сделать это с закрытыми глазами: сколько раз заезжал за Рубцовым, знает тут каждый уголок.

К сожалению, низкий заборчик из штакетника, огораживающий клумбу, не дает подогнать машину прямо к подъезду. Придется держать ее немного поодаль. Это не совсем удобно, однако ничего не поделаешь. И потом место заранее согласовано с майором...

Но Тюменцев напрасно беспокоился: ему не довелось исполнить до конца свои прямые шоферские обязанности.

Все произошло в какие-нибудь три-четыре минуты. Когда Маясов и Зубков вывели Рубцова из квартиры на лестничную площадку, никто бы не мог предположить, что мирно протекавшая операция может вдруг резко осложниться. По лестнице во двор они спускались в таком порядке: впереди Зубков, за ним, понуро опустив голову, заложив за спину руки, шел Рубцов и позади него Маясов с двумя дворниками-понятыми. На повороте лестницы между вторым и первым этажами в полуметре над полом чернело давно не мытыми стеклами окно. Рамы его были плотно закрыты. Но, как оказалось, не заперты. И Рубцов этим воспользовался. Когда Зубков повернул на нижний пролет лестницы, Рубцов ударом ноги распахнул раму и спрыгнул вниз.

Ему повезло: он упал на мягкую землю цветника. Мгновенно вскочил и бросился через двор, по клумбам...

Зубков выбежал из подъезда первым, выхватил пистолет. Но подоспевший сзади Маясов не дал ему даже прицелиться:

— Не смей! Надо взять живым...

Маясов уже понял, что Рубцову не убежать: и забору, в левый дальний угол двора, куда мчался Рубцов, наперерез ему бежал Тюменцев. Через высокий тесовый забор Рубцову сразу не перелезть. Тюменцев неизбежно настигнет его.

Однако сам Тюменцев, бежавший изо всех сил, знал, что Рубцову перелезать через забор и не нужно: достаточно отвести в сторону широкую доску, державшуюся лишь на верхнем гвозде, и нырнуть в лаз, который ведет в густые заросли городского парка. Рубцов, как и Тюменцев, прекрасно знал этот ход, проделанный мальчишками. Они сами вдвоем не раз пользовались им: перед рыбалкой ходили в парк копать червей.

Тюменцеву удалось добежать до лаза первым. Тяжело дыша, он встал к забору спиной, для устойчивости широко расставил ноги.

Здесь, за домом, в углу, у выкрашенного бурым суриком забора, было темнее, чем во дворе. Но Рубцов сразу узнал Тюменцева.

— Петя!— глухо вскрикнул он.— Пропусти!.. Я ж тебя спас, Петя!

От этих слов Тюменцев на какое-то мгновение растерялся. Перед ним стоял не враг, не преступник, а Павлыч, приятель... И тут же удар в челюсть бросил Тюменцева на землю. Рубцов рванулся к забору, стал лихорадочно нашаривать в темноте доску, прикрывающую лаз. Наконец нашел, рванул, и она, скрипнув, сорвалась с гвоздя, упала.

Но протиснуться в дыру Рубцов не успел. Поднявшийся с земли Тюменцев схватил его за ворот пиджака и отбросил назад. Рубцов остервенело выругался и, растопырив длинные руки, бросился на Тюменцева. Завязалась борьба. Для Тюменцева такая схватка, грудь с

Окончание. См. «Огонек» №№ 1—5.

грудью, была невыгодна: он не мог применить ни один из своих ударов. А Рубцов, изловчившись, захватил его правую кисть, подставил плечо, рванул сдавленную намертво руку вниз. От страшной боли Тюменцев закричал и упал без сознания.

Рубцов бросился к лазу. Но было поздно. С двух сторон повисли на нем подбежавшие Маясов и Зубков.

37

Приступая к допросу Рубцова, полковник Демин располагал значительными уликами против него. И все-таки Рубцов упорно не хотел признаваться в предъявленном ему обвинении.

Не предвещавший скорого завершения разговор с подследственным происходил в кабинете Маясова. В том самом кабинете, куда дождливым весенним днем явился Рубцов, чтобы сообщить чекистам о якобы случайной встрече с Никольчуком.

С уточнения этого факта Демин и начал допрос. Вначале Рубцов пытался разыгрывать «честного советского патриота». Но скоро пришлось перестраиваться: полковник выложил на стол вещицы, найденные при обыске у Рубцова на квартире. Здесь были портативный радиопередатчик, два фотоаппарата «минокс», четыре шифровальных блокнота, несколько листов бумаги для тайнописи.

— Зачем понадобились эти предметы честному советскому гражданину? — спросил Демин.

Рубцов ничего не ответил, только с откровенной злобой посмотрел на него. Он впервые так смотрел на следователя. А до этого юлил с мягкой улыбочной человека, по ошибке арестованного чекистами, всем своим видом показывал, что готов терпеливо дожидаться, пока в этой ошибке полностью разберутся...

Но как ни врал, ни изворачивался Рубцов, он вынужден был под давлением неопровержимых улик постепенно сдавать свои позиции. На девятый день допроса полковник Демин решил подвести первые итоги следствия:

— Итак, мы установили: разоблачив Никольчука, вы должны были зарекомендовать себя патриотом, войти в доверие органов государственной безопасности?

Рубцов наклонил голову.

— Так требовалось по плану.

— А что это за план?

— Никольчуку дали новое задание. Расчет был на то, что он, зарабатывая себе судебное снисхождение, неизбежно расскажет об этом задании. А оно спутает вам карты, уведет от главного...

— В чем же заключалось главное?

— Главное было в том, чтобы внушить вам мысль, будто завод «Кленовый Яр» с некоторых пор больше не интересует Лаута, что его агент Никольчук переключается на другой объект — Зеленогорский химический комбинат, выпускающий похожую продукцию...

Глядя на медленно вращающийся диск магнитофона, Рубцов помолчал немного и потом продолжал:

— Все это должно было на какое-то время ослабить внимание вашей контрразведки к Кленовоярскому заводу и в конечном итоге облегчить проникновение к его секретам с нового направления.

— Облегчить проникновение кому?

— Новому агенту американской разведки.

— Зачем же так отвлеченно? — улыбнулся Демин.— Какому агенту?

— Барсуку.

— То есть вам?

Рубцов промолчал.

— Этим и исчерпывалось ваше задание?

— Нет... Рассчитывали, что после сдачи Никольчука вы заинтересуетесь мною. Сочтете в высшей степени бдительным патриотом, готовым активно помогать вам в контрразведывательной работе. И это, разумеется, не являлось самоцелью...

— Какова же была конечная цель?

— Чтобы создать благоприятные предпосылки для моего внедрения в органы госбезопасности...— Рубцов потер небритый подбородок.— При всем этом еще раз прошу принять во внимание, что ни по первому, ни по второму заданию я ничего не делал.

— Все учтем, Рубцов, не беспокойтесь,— сказал Демин и дал знак Маясову, сидевшему рядом с ним за столом, выключить магнитофон.— Что ж, перейдем к другому вопросу... Может, сегодня, на свежую голову, вы все-таки припомните, что означает та комбинация цифр, о которой мы вчера говорили?

— Я вам уже сказал, что забыл... Возможно, это номера облигаций или пометки о расходах.

Демин достал из сейфа записную книжку Рубцова.

— Ну, что ж, тогда придется мне вам напомнить.— Он раскрыл книжку на ладони.— Это не простые цифры. Это радиопароль, по которому вы, Рубцов, при необходимости могли вызывать из Москвы известного вам Гарри Ванджея из не менее известного вам посольства.

— Никакого Ванджея я не знаю...— Рубцов криво усмехнулся, пожал плечами.— И цифры в записной книжке не доказательство.

— Напрасно упорствуете. У нас имеются более веские доказательства,— сказал Демин, раскрывая папку, лежавшую на столе.— Ванджей был задержан в областном центре, на Большом бульваре, когда доставал из тайника ваше донесение... Вот, полюбуйтесь на составленный по этому поводу акт. Кстати, вот фотографии. Тут есть и вы.

Рубцов взял протянутый полковником лист, пробежал глазами по строчкам. Потом перетасовал подвинутую к нему пачку фотографий.

Он испытывал злобу. Оказывается, след к нему идет от Ванджея, по милости которого он и попал в руки чекистов. Выходит, он клюнул на следовательский крючок, поверил, будто веревочка вьется с другой стороны — от Никольчука. Поверил, как простак, седому и наболтал такого, о чем, быть может, он только догадывался...

Вся его тактика, которой он придерживался на допросе, летела к чертям собачьим, оказывалась несостоятельной. Надо было немедленно перестраиваться. И, решив так, Рубцов вдруг тяжело вздохнул, прижал растопыренную ладонь к груди.

— У меня, гражданин следователь, что-то плохо с сердцем...

Демин внимательно посмотрел на него, потом сказал, что он может прилечь на диван или пересесть поближе к форточке.

Арсений Павлович подвинулся со стулом к окну. Пока Демин и Маясов, склонившись над бумагами, вполголоса разговаривали, он, стиснув между колен тяжелые кулаки, думал...

Но думалось плохо. Перед глазами мельчали события последних месяцев. И ярче других — тот первый день...

Было холодно, мела метель. Красивая баба в коричневом пальто появилась у него в фотоателье под вечер внезапно. Отряхнула с рыжей челки снег, сбросила пуховый платок, потом молча подошла к двери и опустила предохранитель на замке.

— Что вам нужно? — поразился Арсений Павлович.

— Мне нужны вы, Рубцов! — Она бесцеремонно села в кресло, закурила.— А если говорить точнее, нас интересует Барсук, бывший агент абвера...

Эти слова были сказаны ею просто и даже дружелюбно. Но они будто пригвоздили Рубцова к стулу. А она между тем говорила, и он понял из ее быстрой, отрывистой речи, что ему предлагают сотрудничество с американской разведкой.

— Я ничего не знаю, вы ошиблись...— Он пытался увильнуть от прямого ответа.

— Прекратите, Рубцов, словоблудие! — оборвала его она.— И запомните: если вы откажетесь помогать нам, то завтра же чекистам станет известно о вашем прошлом.

Испытывая одновременно страх и ярость, Рубцов подумал: «Нынче ночью я убью эту бабу!»

Но она словно прочитала его мысли:

— Мне нужно вернуться в Берлин. Не вздумайте помешать.— И от этих слов ярость Арсения Павловича испарилась. А страх остался и с той поры постоянно жил в нем...

В первые дни после ареста он умышленно путал в показаниях, оттягивал время, чтобы сориентироваться, выявить причины своего провала. Он терялся в догадках. И даже, грешным делом, подумал, не удружил ли ему Петька Тюменцев, который, возможно, что-то пронюхал о его участившихся поездках по району.

Однако потом Рубцов понял, что Тюменцев к его провалу не причастен. Когда же полковник выложил перед ним фотоаппараты, и шифры, и все то, что нашли у него дома, он понял и другое: петлянье и запирательство бесполезны, надо менять тактику.

И он резко изменил ее: стал давать показания о своей связи с американской разведкой, о вербовщице Барбаре Хольме, о задании, которое она ему дала. Все это для того, чтобы вызвать сочувствие следователя своим видимым раскаянием, а главное — выставить себя агентом, которого хотя и завербовали, но который ничего для разведки не делал.

И вдруг как ушат холодной воды на голову: Гарри Ванджей, его непосредственный хозяин, пойман с поличным!..

В этом месте мысль Арсения Павловича вдруг споткнулась. А не он ли сам виновник своего провала?.. Вместо того, чтобы постепенно, шаг за шагом идти к главной цели, он, обезумев от страха, из-за алчности стал разменяться на мелочи. Он отправлял свои донесения слишком часто, тем самым увеличив вероятность их перехвата. И, видимо, где-то, в каком-то звене пересылки, его выследили...

Рубцов скосил глаза на часы полковника, лежавшие на столе. «Сердечное недомогание» слишком затянулось. Арсений Павлович придал своему лицу постное выражение и слабым, болезненным голосом попросил отложить допрос.

38

Следствие по кленовоярскому делу продолжалось. Постепенно вскрывались все новые обстоятельства преступления Арсения Рубцова, этого «простака», «рубахи-парня», «своего в доску», который всех знал и со всеми умел поладить, в подходящий момент рассказать веселую байку, выпить крепко и гульнуть во всю ивановскую. В таком обличье ему легко было делать свое дело: вползать в душу к доверчивым людям, выуживать по крупицам нужную информацию у простаков и болтливых, запугивать и держать в страхе робких и слабовольных. К последним можно было отнести Ирину Булавину. Женщина предельно впечатлительная, она легко подпала под влияние Рубцова и в полной мере испытала на себе его хватку. Страх, который сумел вселить в ее душу этот беспощадный человек, был так силен, что Ирина не могла освободиться от него даже тогда, когда ей сказали об аресте Рубцова.

Это была какая-то инерция страха, его затянувшаяся реакция. У Маясова даже возникло опасение, не повлияла ли вся эта «психическая атака» Рубцова на душевное здоровье женщины. Поэтому они с Деминым решились на ее последний допрос только после консультации с психиатром.

Но когда начался этот допрос, у Маясова вновь возникли опасения за Булавину. До нее не всегда сразу доходил смысл того, что ей говорили. Когда зашла речь об ее отце, она без конца повторяла автоматически одну и ту же фразу:

— Я не должна отвечать за отца... Это несправедливо, я не должна отвечать за отца...— Голос у нее дрожал, левое веко подергивалось.

Маясов старался ее успокоить:

— Я вам, Ирина Александровна, еще раз повторяю, выслушайте меня внимательно. За отца вам отвечать не нужно. Более того, вы можете гордиться своим отцом...

До нее наконец дошел смысл этих слов. Она удивленно посмотрела на майора.

— Ваш отец, Александр Букреев, был замучен в Борисинском лагере военнопленных,— сказал Маясов.— Он умер как настоящий солдат.

— Я не понимаю...— прошептала Ирина.

— Это установлено точно.

Она была совсем растеряна.

— Но как же отцовы письма? Его обещание приехать?

— Все это неправда, фальшивка.

— Но ведь письма написаны его рукой, я знаю...

— По заключению графической экспертизы, все письма, которые вы получили, подделаны. Они сфабрикованы в разведцентре, по заданию которого действовал Рубцов.

— Мне трудно это представить,— сказала Ирина.— Разве можно подделать стиль письма, отцовские слова? Например, Ири... Только он звал меня так...

— К сожалению, Ирина Александровна, и это возможно: Рубцов знал вашего отца несколько лет, работали вместе, вместе пошли на фронт... Что касается оригинала, с которого были сделаны фальшивки, у Рубцова сохранилось письмо Александра Букреева к жене, вашей матери. Письмо было написано за несколько дней до того, как полк, в котором он служил, попал в окружение.

— А портсигар? — вдруг спросила Ирина.— Портсигар, выходит, тоже поддельный?

— Нет, вот портсигар не поддельный,— сказал Маясов.— Все, что принадлежало при жизни вашему отцу, в том числе письмо и портсигар, после смерти Букреева присвоил себе его «друг»...

— Рубцов?

— Да, Рубцов, по доносу которого в Борисинском лагере и был повешен коммунист Букреев...— Маясов помедлил, потом негромко продолжал: — Через девятнадцать лет и письмо и портсигар, принадлежавшие ему, были пущены в ход против вас. Надеюсь, вы теперь, Ирина Александровна, понимаете, для чего все это Рубцову понадобилось?

— Да, кажется...

— И письмо и портсигар он пустил в дело для того, чтобы запугать вас, держать в постоянном страхе возможного разоблачения...

— Но какая ему от меня польза? — в полном недоумении спросила Ирина.

В разговор вступил Демин.

— Он знал о ваших отношениях с Игорем Савеловым. Знал, что Игорь очень любит вас. С вашей помощью он хотел обработать Игоря и завербовать.

— Подлец, боже, какой подлец...— шептала Ирина и не могла остановить слез.

— Возьмите себя в руки, Ирина Александровна. Что же делать?.. Игоря не вернешь, но в наших силах очистить от грязи его память. Вы должны рассказать нам о вашей последней встрече.

В тот день Игорь пришел к ней поздно, под вечер.

— Я ненадолго,— сказал он.— Мне через два часа на вокзал, мать приезжает.

Она усмехнулась.

— Ты как будто оправдываешься... Что с тобой? Ты избегаешь меня в последнее время...

Он ответил не сразу. Раскурил сигарету, потом вдруг взял Ирину за руки:

— Нам нельзя, как прежде, пойми! Надо что-то придумать. Упорядочить отношения...

— Словечко-то какое — «упорядочить».— Ирина громко засмеялась.

— Перестань! — крикнул Игорь.— Мне надоело прятаться... Вот так урывками, тайно...

Ирина сказала ласково:

— Ведь ты же, дурачок, знаешь: сына я не оставлю. Что мы будем делать, как жить?

После короткой паузы она вдруг спросила:

— Я слышала, тебя хотели уволить?

— Хотели... Только руки оказались коротки у одного ретивого.

— Кто это?

— Наш директор... Как бы сам скоро не загремел.

— Ну, а ты, значит, отделался легким испугом?

— Не сказал бы, что легким.— Игорь неожиданно улыбнулся.— На собрании стружку с меня снимали здорово.

Не дослушав его, Ирина поинтересовалась:

— Ты собирался купить мотоцикл... Денег достал?

— Немного...

— Где?

— Продал одному парню, Петьке Косачу, ружье.

— А знаешь, я могла бы тебе помочь.

— И много?..

— Сколько тебе понадобится.

— Ну и ну! — Игорь засмеялся.— То у меня просила, а теперь сама предлагаешь. Меценат нашелся?

— Не меценат. Арсений Павлович.

— И за что же он так к тебе благоволит?

— Не говори глупостей. Рубцов мне в отцы годится.

— Ну, в отцы он, положим, молод.

— Можешь думать, как угодно,— отмахнулась Ирина.— Но это серьезно: стоит тебе захотеть, и ты получишь от него сразу на весь мотоцикл с коляской.

— С какой радости?

— Хочет помочь, сам сказал мне.— Ирина взглянула на свои круглые часики.— Кстати, он вот-вот должен быть.

— Зачем это?

— Чтобы с тобой поближе познакомиться...

Когда появился Рубцов, у Ирины уже был накрыт стол. Выпили, закусили. Арсений Павлович рассказывал свежие анекдоты. Потом Ирина поставила на радиолу пластинку, они с Игорем танцевали.

Игорь уже собирался на вокзал, когда Рубцов дал Ирине знак, чтобы она оставила их одних.

Ирина пошла в другую комнату, включила телевизор. Она не помнит, сколько ей пришлось так просидеть — время перед телевизором бежало незаметно: шел старый веселый фильм. И вдруг там, в большой комнате, послышался шум, какая-то возня, звон разбитой посуды.

Ирина распахнула дверь и увидела: Рубцов и Савелов стоят по ту сторону стола, друг против друга. Лица у обоих злые, Игорь побледнел. Рубцов торопливо запихивает что-то в карман, какие-то бумажонки. На полу — осколки разбитой тарелки, кусочки сыра.

— Что здесь происходит?

— О, не волнуйтесь, ничего особенного.— Рубцов заулыбался.— Малость потренировались в приемах самбо... Вот только, извините, тарелочка...

Он вылил из бутылки себе в стакан остатки коньяка и выпил его со словами: «Посошок на дорожку». Потом сказал, что спешит домой, к жене, извинился и ушел.

Игорь, как-то странно глядя на Ирину, сказал:

— Ты знаешь, что предложил мне этот друг твоего папаши?

— Понятия не имею.

— Доходную работенку! — Он сел, распустил галстук, давивший шею.— А когда я сказал ему, что он сволочь,— выложил какие-то твои денежные расписки.

— Не связывайся с ним, прошу тебя...

— Ну и гад! — Игорь вскочил, заходил по комнате.— Нет, этого мецената надо «пристроить»!

— Ты с ума сошел! Он ужасный человек, я боюсь...— Она обняла Игоря и продолжала какой-то жалкой скороговоркой: — Давай уедем отсюда. Бросим все и уедем, а? Игорь, милый...

Этого он не ожидал.

— Ты уйдешь от мужа? Ирка! Уйдешь?

— При одном условии: мы должны уехать из Ченска.

— Я готов! Хоть сейчас!

— Но ты не должен связываться с Рубцовым. Мы уедем тихо, чтобы никто...

С лица Игоря пропала радостная улыбка.

— Да он совсем тебя запугал. Что с тобой?

— Рубцова трогать нельзя,— опять сказала Ирина.

— Ты не права! Его просто надо вывести на чистую воду, узнать, что за тип...

— Нет, нет!..— твердила Ирина.— Если Рубцова заберут, я погибла: ему известны нехорошие вещи о моем отце. И потом эти мои денежные расписки, которые ты видел... Мне же в КГБ никто не поверит, что я ни в чем не виновата...

— Ира, брось! — сказал Савелов.— Я знаю, что там за люди.

Он привлек ее к себе, провел рукой по волосам. Потом взглянул на часы:

— Извини, мне пора, скоро поезд...

И убежал.

Больше она его не видела.

Показания Булавиной полностью подтверждали вывод следствия о том, что Рубцов начал ее «обрабатывать» уже после того, как возникло кленовоярское дело и был арестован Никольчук. Таким образом, Савелов, на которого пало тяжкое подозрение в пособничестве шпиону, в то время не имел никакой связи с Рубцовым.

Это был очень важный вывод. Он снимал все сомнения следствия насчет роли Савелова в кленовоярском деле и окончательно реабилитировал тех, кто прежде вел это дело, и в частности начальника Ченского отдела госбезопасности.

Демин поднялся из-за стола, подошел к Маясову.

— Как гора с плеч... С чем тебя, Владимир Петрович, и поздравляю.

— Спасибо,— ответил Маясов.— Хотя утешение маленькое: парня-то в живых нет...

— Да-а... И, похоже, настоящего парня.

39

В воскресенье с утра Маясов и капитан Дубравин поехали в больницу к Тюменцеву. Дело шло на поправку. Раньше, навещая его, они видели лишь зеленые глаза на забинтованном лице да закованные в гипс плечо и руку. Теперь бинты сняли. Тюменцев был гладко выбрит, без конца шутил по поводу «боевого крещения», которое устроил ему Рубцов. Дубравин, поправляя на своих широченных плечах белый халат, весело пробасил:

— Никогда бы не подумал, что ты, первая перчатка Ченска, можешь так опростоволоситься.

— Так он же самбист! — Тюменцев перестал смеяться.— Но дело, конечно, не в этом. Когда там, у забора, он попросил пропустить его, мне сделалось как-то... неважнецки. И он, гад, этим воспользовался...

Маясов осторожно положил ладонь на руку Тюменцева, вытянутую поверх одеяла.

— Ничего, еще чемпионом станешь.

— С боксом покончено, Владимир Петрович, это я точно знаю...— Тюменцев поморщился и вновь заговорил о том, что не давало ему покоя: — Я, понимаете, должен был отпустить его, потому что он когда-то вытащил меня из реки... Уж лучше бы сразу в челюсть дал — не так обидно. А то ведь переговоры начал. Значит, рассчитывал на что-то. Значит...

— Ерунду ты говоришь,— грубовато перебил его Маясов.

Тюменцев посмотрел на него.

— Если ерунда, то вот я хочу спросить вас, Владимир Петрович...

— Ну, ну...

— Помните, на свадьбе у брата был Аркадий? Вы мне объяснили, что он из уголовного розыска. Попросили свести его в одной комнате с Рубцовым. Научили, как надо Аркадия рекомендовать... Теперь я понял, из какого он уголовного розыска и какое уголовное дело их с Нинкой интересовало... Значит, вы мне не доверяли?

Маясов улыбнулся.

— Чудак! Ну, конечно, мы тебе доверяем. Но ты же был приятель Рубцова. Представь: сказали бы тебе все — как бы ты себя чувствовал? У тебя же все на лице написано, сыграть бы ты не сумел, а так получилось вполне естественно. Понимаешь?

— А что же с тем парнем, с Савеловым? — вдруг переменил тему Тюменцев.

— Его убил Рубцов,— сказал Маясов мрачно.

40

Следствие приближалось к концу. То, что удалось установить через свидетелей, с помощью различных косвенных улик и архивных материалов, неопровержимо доказывало, что к сотрудничеству с иностранной разведкой Рубцов пришел не случайно. Страх перед разоблачением прошлого и жадность к деньгам были не единственными мотивами, толкнувшими его в объятия врагов нашей страны. Рубцов торговал секретами Родины еще и потому, что всю свою сознательную жизнь ненавидел Советскую власть.

...Арсений Рубцов (а по-настоящему Рукавишников) родился в семье екатеринодарского богатого мучного торговца. Отец его встретил Октябрьскую революцию враждебно и в гражданскую войну оказался в стане белогвардейцев. В годы нэпа он вынырнул в Орловской губернии под фамилией Рубцова, опять было начал вставать на ноги — открыл лавку, купил две паровые мельницы. Но его разоблачили, судили и выслали в Сибирь.

Когда Арсению исполнилось семнадцать лет, он уехал из дому «искать счастья». В Донбассе устроился работать конторщиком на химическом заводе. Через год, не бросая работы, поступил учиться в техникум. Жизнь была нелегкая, не о такой мечтал единственный наследник купца первой гильдии...

Бежало время, и он с горечью убеждался: прошлой жизни не вернуть, надо приспосабливаться к той, что есть. Так приспособленчество стало его второй натурой. Потом началась война. Осенью сорок первого года поля, где он служил, попал в окружение. И Рубцов (его перевели к тому времени в писаря) добровольно сдался в плен, принес с собой выкраденный в штабе секретный код.

В Борисинском лагере военнопленных судьба Арсения Рубцова определилась окончательно: он приглянулся сотруднику абвер-команды Карлу Кёлеру, который завербовал его и под кличкой «Барсук» пустил в дело как агента-провокатора. Там, в лагере, Александр Букреев, на свою беду, и встретился с ним. И был уничтожен ради того, чтобы Барсук мог действовать под его именем. После Борисинского лагеря пошли другие лагеря. Но задача была везде одна: «выявлять врагов великой Германии — коммунистов, комиссаров и евреев». И Рубцов из кожи лез вон, стараясь заслужить внимание и милость своих хозяев.

Усердие не осталось незамеченным. Барсука похвалили и ввели в «настоящее дело»: подрывать боеспособность партизанских отрядов, действуя внутри них.

В разное время ему удалось поставить под удар карательных войск три партизанских отряда: один в Ченских лесах и два в Белоруссии. Успех был исключительный, и Барсук удостоился высокой награды: ему дали железный крест 2-го класса. Перед ним раскрывалась желанная карьера офицера «великой германской армии»— так по крайней мере обещали ему абверовцы.

Но этому не суждено было осуществиться. И не потому, что сама «великая германская армия» потерпела полный крах. Карьера удачливого агента-провокатора оборвалась еще раньше, и весьма неожиданно. В марте сорок четвертого года Барсук со специальным заданием был помещен в лагерь пленных советских офицеров. Но задание он выполнить не успел. Советские войска внезапно перешли на этом участке фронта в наступление, освободили пленных. И в их числе «лейтенанта Рубцова», как значился он в лагерных списках.

Начался новый этап в его жизни. Рубцова мобилизовали в действующую армию. В качестве командира комендантского взвода при фронтовом госпитале он дошел с наступающими войсками до Берлина. За это время сумел покорить сердце хирурга Глафиры Басмановой. Женился на ней и, демобилизовавшись, вместе с молодой супругой приехал в Ченск, на ее родину.

У Глафиры был двоюродный брат, заведующий фотоателье. Он сказал Рубцову: «Приобщайся! Выгодное дело, не то что твоя химия». И Рубцов приобщился...

Шли годы. После смерти Глафиры Арсений Павлович женился во второй раз, жизнь его постепенно приобрела устойчивые формы. Необременительная служба, достаток в доме, по вечерам «пулька» в кругу приятелей, а по воскресеньям охота или рыбалка. Маленькие радости человека, вынужденного навсегда распроститься с честолюбивыми мечтами прошлого...

И вдруг сразу все поломалось! У Барсука объявились новые хозяева. Взяли за горло, прижали к стенке: или — или!.. И снова надежда на какую-то фантастически-ослепительную жизнь...

Но вот финал — полная катастрофа: четыре стены следовательского кабинета, стол с черным ящиком магнитофона, за столом чекисты, постепенно сужающие кольцо неопровержимых улик.

Но он, Рубцов, не хочет, чтобы кольцо сужалось. Он противится этому изо всех сил — мутит воду, стараясь запутать следствие... Так было на первых допросах и так продолжается теперь. Только он избрал другую тактику: давать правдивые показания по мелочам и всячески уклоняться от предъявленных ему больших, тяжких обвинений.

К этой тактике он прибег, когда начали выяснять, что Рубцов делал в войну. Следствие тянулось несколько дней без заметных успехов. Наконец полковник Демин не выдержал:

— Давайте, Рубцов, договоримся: или вы будете рассказывать всю правду, или прямо скажите, что не желаете давать показания. В общем, подумайте!..

И с этими словами Демин вышел из кабинета, оставив арестованного вдвоем с охранником, стоявшим у двери.

Не повернув головы, Рубцов проводил полковника косым взглядом. «Ждешь, чтобы я подписал себе смертный приговор? Нашел дурака!.. О том, что произошло в урочище Кленовый Яр осенью сорок второго года, не знает никто. А сам себе я не враг, чтобы рассказывать об этом...»

...Лес. Суровый, хмурый, окутанный утренним туманом.

На широкой поляне, защищенной со всех сторон дремучим бором, спит партизанский лагерь... И только часовые, которых пробирает свежий октябрьский утренник, не спят, вслушиваются в ночные шорохи.

Один из них, совсем молодой парень, лежит на пригорке, под развесистым желто-багряным кленом, у тропы. И хотя в легкой стеганке зябко, все-таки клонит в сон. Чтобы прогнать дремоту, он высыпает на ладонь из расшитого алыми маками кисета остатки махорки. И огорчительно вздыхает: даже на пол козьей ножки не набирается...

Но что это? Впереди слышен треск сухих веток. Часовой берет автомат наизготовку, вглядывается в туманную чащу. На изгибе тропинки появляется человек.

— Стой! Кто идет?..

— Свои.

— Пропуск?

— Стебель.

— Пароль правильный!..— Дозорный улыбается и, поднявшись из-за укрытия, идет навстречу рослому человеку в брезентовом плаще с капюшоном, надвинутым на самые глаза.— Ты, если не ошибаюсь, из второй роты?

— Вторая рота, первый взвод, Букреев,— отвечает тот, приглаживая округло подстриженную бороду.

— То-то, я гляжу, знакомый вроде.

— И я тебя знаю: Сухов из первой роты?

— Верно!— подтверждает парень.— А ты, похоже, из разведки возвращаешься?

— Точно.

— А где же ребята?.. На разводе говорили, трое вас тут должно пройти.

— У ручья задержались, сапоги жмут...— Бородач протягивает Сухову портсигар:— Курить будешь?

— С толстым удовольствием!— Парень обрадовался, начал открывать серебряную коробку.— Эге, штуковина-то, оказывается, с секретом!

— Надави на орлиный глаз...

И когда Сухов наклоняет голову над портсигаром, бородач заходит сзади и, выхватив из кармана нож, вдруг бьет парня пониже затылка.

Потом он сбрасывает с себя брезентовый плащ (под плащом надет мундир немецкого унтер-офицера), берет в рот свисток — раздаются звуки, напоминающие пение лесной птахи. Через несколько минут на эти звуки из леса, справа и слева от тропы, густо валят солдаты в темно-зеленых шинелях с автоматами наготове — они крадутся к спящему партизанскому лагерю...

— Ну как, Рубцов, надумали?— Полковник Демин вошел в кабинет вместе с Маясовым.

Рубцов от неожиданности вздрогнул. Провел ладонью по лицу, как бы смахивая страшное видение, только что его посетившее. Окончательно вернувшись к действительности, он говорит:

— Напрасно ждете... Больше я ничего не знаю.

Демин сел за стол.

— Итак, вы продолжаете настаивать на своих прежних показаниях? Фамилию Букреева себе не присваивали и под этой фамилией в Ченском партизанском отряде никогда не были?

— Да ну, что вы, ей-богу!..— Рубцов с видом обиженного развел руками.

— Хорошо,— сказал Демин и, открыв ящик стола, вынул из него серебряный портсигар.

— Вам знакома эта вещь?

Длинные пальцы Рубцова чуть заметно дрогнули, когда он взял тусклю блеснувшую коробку с орлом на крышке. Но он тут же овладел собой и твердо сказал:

— Да. Этот портсигар принадлежал моему приятелю Александру Букрееву.

— Очень хорошо,— согласился Демин и, сняв телефонную трубку, попросил: — Пригласите Федора Гавриловича...

В короткие напряженные минуты перед появлением еще какого-то нового свидетеля Рубцов лихорадочно думал. Так ли он ответил?.. Ведь портсигар мог попасть к чекистам только от Ирины Булавиной. А ей он в свое время сам сказал, что получил портсигар от ее отца на память, значит, этого и надо теперь держаться...

И вот в кабинет вошел высокий сутуловатый старик с прокуренными желтыми усами. И Рубцов вдруг понял, куда гнет следователь, вытащив на свет божий красивую коробку из литого серебра.

Когда старик, поздоровавшись и одернув коротковатый ему пиджачишко, сел у стола, Демин спросил:

— Товарищ Смолин, вам знаком этот портсигар?

Старый слесарь положил раскрытый портсигар на свою широкую ладонь, поглядел на него.

— Да, знаком... Эту вещицу по осени сорок второго года я вместе со своим братаном торговал у бойца нашего партизанского отряда Букреева.

— А личность этого человека вам никого не напоминает? — Полковник перевел взгляд на побледневшего Рубцова.

Смолин не спеша надел очки в белой металлической оправе, стал внимательно вглядываться в небритое лицо человека с тонкими стиснутыми губами. И вдруг привстал.

— Букреев!.. Это ж он, Букреев! Только тогда, конечно, похудощавее был, помоложе и бороду носил...

Демин положил руку ему на плечо.

— Спасибо. Пока можете идти...

Как только старик вышел из комнаты, полковник еще раз снял с телефона трубку:

— Попросите ко мне товарища Тюрина...

Когда в дверях показалась круглая рябоватая физиономия бывшего отрядного снайпера (его разыскали в Смоленске), Рубцов понял, что пришел конец: с Тюриным они были в одном отделении, рядом спали в землянке.

Ему сразу сделалось нестерпимо душно. И наступило тупое безразличие ко всему. Он опустил между колен длинные руки и, тяжело вздохнув, сказал:

— Ладно, ваша взяла! Записывайте...

О трагедии, постигшей партизанский отряд в урочище Кленовый Яр, Рубцов рассказывал около двух часов. Потом вялым голосом попросил сделать перерыв...

Когда охранник увел арестованного, полковник Демин поднялся из-за стола:

— Да-а, Кленовый Яр...— Снял очки, устало потер переносицу.— На одном месте два преступления...

Маясов внимательно посмотрел на него и ничего не сказал. Он лишь подумал: два ли их, преступления? Ведь хотя Рубцову в разное время платили разными деньгами, он, по сути, был орудием одной силы, служил одному хозяину.

Лев ОВАЛОВ

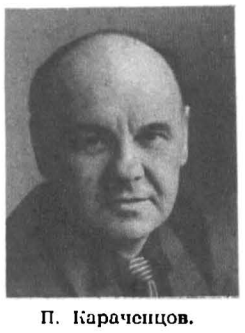
Медная пуговица

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Лев Овалов.



П. Караченцов.

Рисунки П. Караченцова.

Несколько слов от автора

О своем друге Иване Николаевиче Пронине, работнике органов государственной безопасности, я написал в свое время книжку рассказов («Приключения майора Пронина»), тому минуло почти два десятка лет.

Вскоре после опубликования этих рассказов началась Великая Отечественная война.

Она разлучила меня с Прониным, мы оба очутились в таких обстоятельствах, что не только были лишены возможности поддерживать какую-либо связь, но просто потеряли друг друга из виду.

Наступили события столь грандиозные и величественные, что судьбы отдельных людей невольно отодвинулись в тень.

Но вот война окончилась, страна перешла к мирному строительству, люди начали находить друг друга, и спустя большой, я бы сказал, очень большой промежуток времени жизнь снова столкнула меня с Прониным.

Естественно, посыпались вопросы: кто где был, чем занимался, что пережил...

Пронин никогда не любил распространяться о себе.

— Что я делал и чем занимался, рассказывать еще не пришло время, да и не обо всем вправе я говорить,— сказал он.— Но есть у меня записки одного офицера, с которым мне пришлось столкнуться в первые годы войны. Дам я их тебе, почитай. В них ты почерпнешь и некоторые сведения обо мне. Писал он их не для печати, но если они покажутся тебе любопытными, можешь опубликовать. Разумеется, в этом случае подлинные имена надо заменить вымышленными.

Прочел я эти записки и решил, что напечатать их стоит.

Править рукопись мне почти не пришлось: может быть, кое-где я чуть-чуть прибавил деталей и заменил собственные имена, но ничто существенное в ней не изменено.

1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Медная пуговица, простая медная пуговица — это все, что осталось мне на память о тех необыкновенных и трагических событиях, свидетелем и участником которых мне случилось быть...

Вот я выдвигаю ящик своего письменного стола, беру в руку эту медяшку, и передо мной возникает облик женщины,— таких не часто приходится встречать в жизни.

Множество загадочных обстоятельств сопутствовало моему знакомству с такой странной и необычной женщиной, какой была Софья Викентьевна Янковская.

Она не была красива, особенно в общепринятом понимании: черты лица ее были неправильны, фигура далеко не безупречна. И, тем не менее, она нравилась мужчинам, во всяком случае многие из них шли на всякие компромиссы ради сохранения ее благосклонности...

Представьте себе женщину несколько выше среднего роста, темную шатенку, так что в сумерках волосы ее казались даже черными, с продолговатым лицом, с высоким, почти мужским лбом и с глазами какого-то монгольского рисунка, они имели неопределенный серый цвет, но иногда, особенно в минуты волнения, явственно зеленели, и при всем этом их всегда отличал неизменно холодный блеск. И если в верхней половине ее лица было что-то мужское, вся нижняя часть лица была совершенно женская. Нос ее, мало гармонировавший с продолговатым овалом лица, назвать курносым было бы слишком сильно, но сказать только, что он вздернутый, было явно недостаточно; небольшой ее подбородок был невелик и имел совершенно мягкие девические очертания. Но всего удивительнее выглядели на ее лице губы, то чувственные, по-детски пухлые и ярко-красные, чуть ли не пунцовые, а то вдруг делавшиеся злыми, узкими и бледневшими почти до белизны. Уши у нее были больше, чем следовало бы иметь женщине, но они свидетельствовали о ее музыкальности. Румянец на ее щеках появлялся только временами, гладкие волосы лишь немного вились на висках; небольшие руки казались удивительно хрупкими, зато ноги были хорошо развиты и заметно мускулисты, как у хорошо тренированных профессиональных спортсменок.

Впрочем, вполне возможно, что многие нашли бы внешность этой женщины вполне заурядной, но, повторяю, обстоятельства нашего знакомства были столь исключительны, что мне стало казаться, будто и наружностью участница описываемых событий чем-то отличается от обычных людей... Но пока что остановлюсь. Полагаю, что по ходу действия постепенно обрисуется и внешний портрет и духовный облик этой странной и, я бы сказал, не опасаясь упреков в пристрастии к романтической терминологии, зловещей женщины.

Единственное, что мне хочется еще подчеркнуть в ее наружности, это какую-то неуловимую асимметричность в лице и фигуре.

Когда во время разговора она одним ухом слушала своего собеседника, другим ухом она, казалось, прислушивалась к какой-то неслышной и ей одной доступной музыке сфер; если один глаз ее был внимательно устремлен на собеседника, другим она точно просверливала пустоту за его спиною; и если правой рукой поглаживала своего собеседника по руке, левая ее рука, возможно, нащупывала в это время в сумочке или муфте крохотный, но отличного качества пистолет для того, чтобы через минуту пристрелить этого же собеседника.

Однако начну по порядку.

Впрочем, для полной ясности надо еще предварительно сказать несколько слов о себе.

Сам я офицер, штабной работник; за несколько месяцев до начала войны мне пришлось выехать в один старинный большой город, находившийся как раз на условной границе между Западной и Восточной Европой, не без злого умысла выдуманной досужими европейскими политиками.

Командировка моя в этот город имела сугубо секретный характер. Возможность возникновения войны никем и никогда не исключалась, и, не распространяясь подробнее, скажу только, что целью моей командировки бы-

ло изучение возможного театра военных действий и разработка дислокации некоторых специальных войсковых подразделений на случай возникновения войны и вторжения противника на северо-западные территории нашей страны.

Город, который на некоторое время стал моей резиденцией, был шумным и оживленным, с многочисленным и пестрым населением. Старинные кварталы перемежались в нем с кварталами многоэтажных доходных домов. Мне то и дело приходилось сталкиваться с не изжитыми еще контрастами богатства и бедности, и многое в нем было мне одновременно и любопытно и чуждо.

Впрочем, теперь уже нет нужды скрывать название города — это была Рига, столица Латвии, которая тогда лишь недавно провозгласила себя Советской республикой.

Жил я по ряду деловых соображений на частной квартире, в семье рабочего крупного механического завода, старого коммуниста, партийные качества которого были проверены еще в годы тяжелого революционного подполья. В этой квартире я занимал отдельную комнату, у меня были ключи и от общего входа и от своей комнаты, и хозяев я стеснял мало. Здесь, на отлете, я находился и как бы в тени, чего трудно было добиться в какой-либо гостинице, и в то же время среди своих людей и мог не опасаться ни случайных посетителей, ни контроля со стороны слишком любознательной прислуги...

Впрочем, рассказ этот ведется не обо мне.

Начну по порядку, с первой моей встречи с Софьей Викентьевной Янковской.

Помню, как сейчас, поздним вечером я возвращался домой от своего начальника, которого время от времени мне приходилось посещать с докладами о ходе своей работы. Июнь шел к концу. Стояла отличная сухая погода. Выйдя из большого и ярко освещенного здания, занимаемого нашим военным ведомством, в узкий и слабо освещенный переулок, я свернул вниз и через несколько минут очутился на просторной и очень нравившейся мне набережной Даугавы.

Лето в Прибалтике отличается удивительной мягкостью, оно обволакивает вас своей теплой истомой как бы исподволь; переход от весны к лету совершается столь постепенно, что вы вместе с природой познаете всю прелесть ее расцвета, нисколько не страдая от жестокого изобилия солнца, которое так тяжело обычно ощущается нами на юге, а летняя ночь в Прибалтике является как бы естественным завершением светлого радостного дня.

На улице я словно окунулся в волну нежных запахов, поднимающихся от реки и влажных деревьев...

Было поздно и поэтому очень пустынно. Одет я был в штатское, на мне было темно-серое пальто и такая же шляпа; в темноте я должен был сливаться с гранитными стенами тянувшихся вдоль набережной тяжелых домов.

Неожиданный порыв ветра донес до меня острый речной холодок, я вздрогнул от внезапного озноба, у меня даже появилось желание поднять воротник пальто, как вдруг я услышал за своей спиной негромкий возглас:

— Послушайте, вы!

В первое мгновение у меня было мелькнула мысль, что это какая-нибудь ночная фея хочет завербовать себе случайно подвернувшегося прохожего, но тут же я решительно отверг эту мысль: в голосе, который я только что услышал, звучали такие властные и капризные нотки, какие никак не могли быть свойственны нетребовательной уличной девице.

Я обернулся. Позади меня посреди широкого тротуара стояла неизвестно откуда появившаяся дама. Она была в легком светлом пальто, руки ее были засунуты в карманы, левым локтем она прижимала к себе большую, по тогдашней моде, дамскую сумку, на голове у нее была простая и совсем немодная шляпа с небольшими полями, и с первого же взгляда на незнакомку можно было поручиться, что это очень порядочная и приличная дама.

— Простите, что я вас остановила, — сказала она, и хотя говорила она по-русски сравнительно правильно, в ее речи звучал мягкий чужеземный акцент. — У меня к вам большая просьба... Надеюсь, вы не откажете...

Вместо ответа я молча ей поклонился.

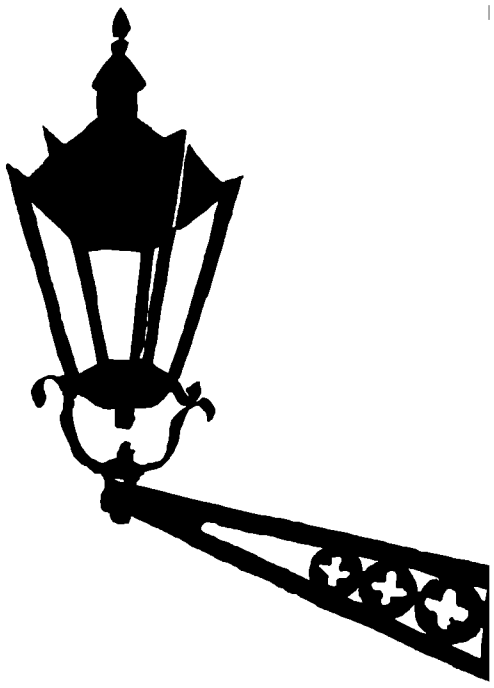
— Я вас очень прошу, проводите меня до конца набережной,— продолжала она.— Это не так уж трудно, хотя...

Мне действительно показалось не столь уж трудным проводить ее до конца набережной, а что значило ее «хотя», я понял только в конце нашей десятиминутной прогулки.

Дама не производила впечатления неразумной трусихи, но мало ли какие фантазии приходят в голову дамам, и, так подумав, я молча предложил ей свою руку, не придав серьезного значения ее просьбе.

Мы пошли вдоль безмолвных домов, почему-то вдруг показавшимися мне суровыми и холодными. Моя спутница молчала, а у меня и подавно не было никакого намерения докучать ей своими расспросами. Нигде не было заметно ни одного прохожего. В отдалении поблескивала река. В небе тускло мерцали звезды. Еще дальше, за рекой, переливались неясные огни разбросанных на другом берегу улиц.

Внезапно тишина наполнилась шелестом скользящих по камням автомобильных шин. Я оглянулся. Издалека по направлению к нам мчался автомобиль. Должно быть, это была машина очень хорошей марки, потому что приближалась она столь стремительно и бесшумно, что не прошло и мгновения, как ее фары совершенно ослепили меня.



Но не успел я еще прийти в себя, как моя странная спутница резким рывком повернула меня к себе так, что я стал спиною к мостовой, прижалась ко мне, притянула к своему лицу мою голову — меня обдало запахом каких-то слабых и пряных духов — и прильнула своими губами к моим губам.

В эти секунды, когда она меня целовала, я услышал, как машина, поравнявшись с нами, замедлила ход, как на ходу дверца ее приоткрылась и тут же захлопнулась, а когда я отстранился от этой странной женщины, машина была уже далеко впереди и только красная лампочка, светившаяся позади кузова, мелькнула перед моими глазами, как сигнал о только что грозившей и исчезнувшей опасности.

Вероятно, я не смог скрыть удивления, с каким посмотрел на свою спутницу, потому что она коротко и мягко рассмеялась и погладила меня по рукаву.

— Вы милый, я могла бы вас полюбить,— кокетливо сказала она и торопливо добавила: — Не смущайтесь, это совершенно невозможно, я вас никогда не полюблю.

Но едва мы сделали еще несколько шагов, как полную смутных шорохов и неясных звуков тишину летней городской ночи прорезал тонкий и пронзительный и, я бы сказал, даже мелодичный и словно предупреждающий свист.

Оглянуться я не успел.

Моя спутница рванула меня за руку, толкнула к стене и по-мужски сильной рукой пригнула мою голову...

Во мне мгновенно возникло какое-то совершенно инстинктивное ощущение, что в меня сейчас выстрелят...

Но нет, выстрела я не услышал.

И, однако, я явственно ощутил какое-то движение воздуха, точно незримая птица стремительно пронеслась надо мной, почти коснувшись меня своим крылом...

Свист оборвался, выстрела не последовало, и, тем не менее, у меня не проходило ощущение того, что в силу каких-то загадочных обстоятельств я превратился в дичь, за которой охотятся какие-то незримые охотники.

Лишь спустя несколько секунд, когда моя спутница отвела от меня свою руку, я обернулся назад, вглядываясь в неясный сумрак, окутывавший пустынную набережную.

Мне показалось, будто вдалеке на фоне темного, свинцового неба обрисовалась какая-то тень, очертания какой-то человеческой фигуры, но видение это длилось всего один миг, тень эта тотчас исчезла, как бы растаяв среди других бесформенных ночных теней...

Я тут же подумал, что этот призрак был нарисован лишь собственным моим воображением, возбужденным всей той таинственностью, которая сопутствовала моей неожиданной спутнице.

Я никогда не имел склонности фантазировать и всегда твердо ощущал под собой реальную почву, занимался вполне прозаическими и суровыми делами и вдруг именно здесь, под свинцовым небом Прибалтики, летом 1941 года, неожиданно для самого себя,

стал участником происшествий, о которых раньше читал только в авантюрных романах!

Однако моя спутница как ни в чем не бывало равнодушно смотрела на меня.

Я не мог скрыть своего раздражения.

— Однако! — невольно вырвалось у меня, и я не без язвительности спросил: — Как вы думаете, это долго еще будет продолжаться?

— Что именно? — переспросила она, усмехнулась и тут же сама ответила: — Ах, это... Нет, не думаю. Скорее всего на этом все кончилось.

— А вы не объясните мне, что все это значит? — спросил я, доискиваясь до истинного смысла всего происходящего.

— Нет, не объясню,— сухо ответила моя спутница, но тут же любезно добавила: — Во всяком случае, благодаря вам я избежала серьезных неприятностей, и мне приятно, что мой выбор был сделан правильно.

— Ну, сделать его было не так уж трудно,— угрюмо отозвался я.— Как будто я был единственным, кто попался вам на дороге.

— Напрасно вы так думаете,— возразила моя спутница, крепко опираясь на мою руку.— Я очень хорошо знала, с кем имею дело, прежде чем обратилась к вам.

— Неужели? — насмешливо произнес я.— Мужчина лет тридцати, высокого роста, прилично одетый...

— О, нет! — прервала меня незнакомка.— Я знаю больше, нежели вы думаете. — Она насмешливо посмотрела на меня снизу вверх.— Хотите, я скажу, кто вы такой?

Я покровительственно посмотрел на нее сверху вниз.

— А ну, попробуйте!

Она ответила не задумываясь:

— Вы советский офицер, майор Макаров.

Мне опять пришлось удивиться.

— Однако!..

— Вы были сейчас на докладе у своего начальника, а занимаетесь здесь...— Она помолчала и опять усмехнулась.— Ну, это неважно, чем вы занимаетесь.

— А все-таки? — спросил я, желая до конца знать все, что известно обо мне этой женщине.

— Это не так важно,— по-прежнему уклонилась она от ответа и ускорила шаг.

Я шел рядом с ней и напряженно думал, что все это могло значить.

— Вот мы и пришли,— сказала она, подняв кверху подбородок и как бы указывая им вперед.— Помните: от угла наши дороги расходятся.

Мы остановились на углу — набережная шла вниз, а в сторону от набережной начиналась линия бульваров, освещенная разноцветными огнями расположенных по обеим сторонам магазинов и ресторанов.

— А все-таки кто же вы такая? — спросил я незнакомку.

Она засмеялась.

— Вы же русский,— сказала она.— А у русских есть хорошая поговорка: «Много будешь знать, скоро состаришься». А скоро состаришься — значит, скоро умрешь. А смерти я вам не желаю.

Но я не хотел ее отпустить, не разгадав ее загадок.

— Все же как вас зовут?

— Зося, — сказала она. — И все. Прощайте.

Она отпустила мою руку, но я попытался ее удержать и потянул было к себе ее сумку. Она сразу же грубо и больно ударила меня по руке, и сумка упала к ее ногам. Я наклонился, но, едва взялся за плетеный кожаный ремешок, ощутил под своими пальцами движение воздуха, и сумка повисла на оборванном ремешке.

Моя спутница выхватила ее из моей руки, а когда я, невольно посмотрев по сторонам, вновь перевел взгляд на странную незнакомку, ее уже не было, и я с досадой увидел только ее светлое пальто, мелькавшее за деревьями на довольно значительном расстоянии.

Это загадочное происшествие выбило меня из размеренной колеи моей жизни...

Стало банальным говорить, что подлинные происшествия бывают подчас удивительнее самых изощренных выдумок. В моей памяти невольно мелькнули запутанные фабулы детективных романов знаменитого Уоллеса, но то, что только что произошло со мною, превосходило фантазию Уоллеса.

Нельзя было упустить эту женщину из виду!

Ее пальто мелькало за деревьями, она быстро удалялась...

Я прибавил шагу.

За темными купами деревьев, над крышей «Рима», самого фешенебельного рижского отеля, сияли зеленые огни ресторана.

Незнакомка свернула к отелю.

Следовало догнать ее и выяснить все, что можно.

Я торопливо пересек бульвар и улицу и подошел к ярко освещенным дверям; швейцар предупредительно распахнул их передо мною.

Войдя в просторный и нарядный вестибюль ресторана, я понял, что свободное место в нем отыскать не так-то легко: весь гардероб был завешан верхней одеждой. Все же я разделся и по широкой мраморной лестнице поднялся в громадный зал, украшенный бесчисленными зеркалами в позолоченных рамах и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками, которые переливались всеми цветами радуги.

Зал был действительно полон, все столики были заняты. Далеко не вся буржуазная публика покинула советскую Ригу, кое-кто не успел выбраться, кое-кто чего-то выжидал, и по вечерам многие из тех, кому было не по нутру все то новое, что неожиданно ворвалось в жизнь старой Риги, коротали время в ночных ресторанах, которые еще продолжали жить своей мнимо красивой жизнью. Мужчины были преимущественно в смокингах и визитках, женщины — в вечерних туалетах; на невысокой эстраде салонный оркестрик тянул какую-то заунывную мелодию, под звуки которой редкие пары лениво шаркали по паркету несгибающимися ногами.

Я было хотел попросить разрешения присесть к чьему-либо столу, но мне повезло, и я как-то сразу наткнулся на только что освободившийся столик. Расторопный официант не заставил себя ждать, быстро принял от меня заказ, и уже через пять минут передо мной пыхтел мельхиоровый кофейник и поблескивала золотистыми искорками бутылка отличного Мартеля.

Я пригубил рюмку с коньяком, отхлебнул кофе и принялся разглядывать публику...

Я скользил взором от столика к столику, от лица к лицу...

Да, я пришел сюда не зря! Я увидел свою недавнюю спутницу...

Она сидела через несколько столиков от меня.

Была она в строгом черном бархатном платье, низкий вырез подчеркивал белизну ее шеи и скрывал недостатки худощавой груди, и единственным украшением на ней был небольшой агатовый крестик, висевший на тонкой золотой цепочке... Нет, ошибиться я не мог!

Взгляд ее был обращен куда-то в пространство, она смотрела точно поверх всех голов и, казалось, никого не замечала.

Вместе с нею за столом сидели дама постарше в лиловом шелковом платье и мужчина неопределенных лет, весьма тщательно одетый, но с таким невыразительным и скучным лицом, что о нем ничего нельзя было сказать, кроме разве того, что он являлся обладателем коротко подстриженных рыжеватых усиков и тщательно прилизанной шевелюры, цветом своим напоминавшей отсыревшую пеньку.

Я принялся рассматривать свою недавнюю спутницу, и она, должно быть, почувствовав мой взгляд, перевела свои устремленные в потолок глаза на меня.

Я не знал, стоило ли мне здесь, в этом ресторане, на виду у десятков людей обнаруживать, что я ее знаю, и я ограничился легким полупоклоном, который свидетельствовал о моем внимании к ней и одновременно не мог быть замечен окружающими.

Но она равнодушно отвела от меня безразличные свои глаза и ни одним движением ресниц не ответила на мое приветствие, точно видела меня впервые в жизни.

Я подозвал официанта.

— Скажите,— спросил я его, кивая в сторону своей ночной спутницы, — эта дама часто бывает здесь?

— Я не знаю этой дамы,— с вежливым равнодушием ответил официант.— Но если желаете, я могу познакомить вас с другой дамой, несколько наискось, настоящая блондинка и очень любит высоких мужчин.

Я его поблагодарил...

Тем временем моя незнакомка и ее спутники поднялись и пошли к выходу.

Они прошли мимо моего столика, и на меня снова пахнуло слабым и пряным ароматом незнакомых духов...

Очевидно, она отнюдь не мечтала о продолжении нашего знакомства.

Выждав минуту, чтобы не дать никому заметить, за кем я следую, я бросил на стол несколько бумажек и пошел из зала.

В вестибюле никого уже не было. Я вышел на улицу, но и на улице не было никого, кроме редких прохожих, которых отнюдь нельзя было спутать с интересующими меня людьми.

Я обернулся к швейцару.

— Вы не заметили дамы... в светлом пальто?..

Швейцар вежливо и даже чуть соболезнующе улыбнулся.

— Они только что уехали в машине, втроем: две дамы и один господин...

Мне не оставалось ничего другого, как пойти домой с тем, чтобы с утра поставить в известность обо всем происшедшем тех, кому следовало об этом знать.

Приняв это благоразумное решение, я сунул швейцару чаевые, спустился со ступенек на тротуар и не спеша отошел от ресторана.

Я спокойно шел по улицам сонной Риги, редким прохожим было до меня столько же дела, сколько мне до них, дошел до дома, в котором жили Цеплисы — такова была фамилия моих хозяев,— постоял у парадного, оглянулся по сторонам, открыл дверь, вошел в дом, запер дверь с внутренней стороны и с облегчением подумал, что теперь-то все странные происшествия этого вечера кончились наверняка и ничто не нарушит покоя этого большого дома, населенного простыми, трудолюбивыми людьми.

Я не спеша поднимался по лестнице, и вдруг у меня опять появилось ощущение тревоги, мне почудилось, что я на лестнице не один, что кто-то притаился в окружающем меня мраке, что меня кто-то ждет и вот-вот схватит невидимыми руками...

Я замедлил шаг, потом остановился, напряженно вслушиваясь в тишину.

Внезапно вспыхнул свет, выхватив из тьмы ступеньки лестницы, серую стену...

Почти мгновенно я сообразил, что кто-то засветил надо мной электрический карманный фонарь...

Вверху, на лестничной площадке, стояла все та же незнакомка, которую я сопровождал по набережной Даугавы и не более как час назад видел в зале ночного ресторана.

Она стояла прямо передо мной, в своем светлом пальто, под которым виднелось черное бархатное платье, руки ее были заложены в карманы, а прищуренные зеленоватые глаза устремлены на меня.

Я не успел ее о чем-либо спросить; она неторопливо вытянула из кармана правую руку, подняла, и я увидел направленное на меня дуло небольшого пистолета.

— Однако...— сказал я, и прежде чем она выстрелила — это запомнилось мне совершенно отчетливо, — услышал приближающийся издалека грохот и... потерял сознание.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

2. ДЕРЖИТЕ СЕБЯ В РУКАХ

Первое, что я увидел, когда пришел в себя, это лицо женщины, стрелявшей в меня из пистолета...

Я ощущал невероятную слабость, сковывающую все мое тело. Голову я не мог поднять...

Вокруг было бело и светло, и прямо над моим лицом виднелось слегка улыбающееся и скорее недоброе, чем равнодушное, лицо таинственной незнакомки.

Я пошевелил губами:

— Что это... Что со мной?

— Молчите, молчите,— прошептала она повелительно и, пожалуй, даже ласково.— Ни слова по-русски. Если хотите жить, молчите. Позже я объясню...

Но мне и самому не хотелось говорить: так я был слаб. Голова закружилась опять, и я закрыл глаза, а когда открыл снова, незнакомки уже не было.

Я стал медленно приходить в себя и всматриваться в то, что меня окружало.

Бело и светло. Я находился в больничной палате. Да, несомненно, я находился в больнице. Белые стены, белые столики, никелированные кровати. Два больших окна, из которых льется ослепительный золотистый летний свет. В палате всего три койки. На одной из них, у окна, лежу я, на другой, в стороне от меня, у дверей, еще какой-то больной, третья, у противоположной стены, пустая...

И вдруг я сразу вспоминаю все,— наконец-то я совершенно очнулся!— весь этот странный вечер, непонятные события и недосказанные фразы и точку, поставленную пулей, направленной в мое сердце...

Я с трудом поднял руку, непослушную, слабую и как будто не принадлежащую мне, и провел ладонью по груди...

Да, грудь забинтована, в меня действительно стреляли.

Сколько времени лежу я в этой больнице и почему здесь находится эта женщина?

— Товарищ... — позвал я больного, лежащего возле дверей, но он мне не ответил, даже не пошевелился. Позже я узнал, что он, к моему счастью, просто не слышал, не мог слышать мой зов.

В это время послышались голоса, двери распахнулись, и в палату вошло много людей, все они были в белых халатах и в белых шапочках, и я сообразил, что это врачебный обход.

Вошедшие были в хорошем настроении, смеялись и обменивались шутками, но почему-то все говорили по-немецки.

Прежде всего они подошли к больному, который лежал около дверей.

Один из вошедших, молодой приземистый толстяк, быстро-быстро заговорил, я с трудом разбирал его речь. Видимо, он докладывал о состоянии больного, и тут сразу выделился другой человек, долговязый и какой-то очень сухой, почти старик, с надменной, высоко поднятой птичьей головкой; он был центром группы, все остальные по отношению к нему были подчиненными существами.

— Господин профессор, господин профессор, — то и дело титуловал старика толстяк, обращаясь к нему и что-то рассказывая о больном.

— Очень хорошо, — сердито произнес старик и, внезапно оборвав толстяка, поднял вверх худую, жилистую руку, показал своим спутникам четыре длинных растопыренных пальца и деловито перечислил: — Один, два, три, четыре... Все!

Только спустя четыре дня я понял, что хотел сказать этим старик, и преисполнился к нему уважением.

Затем старик повернулся в мою сторону, и все подошли ко мне.

На этот раз заговорил не толстяк, а та самая таинственная женщина, которая была виновницей моего пребывания в этой палате и все с большей и большей очевидностью начинала играть какую-то роль в моей судьбе.

Она, как и другие, была в белом халате, и голова ее была повязана белой косынкой. Не знаю уж, в качестве кого выступала она здесь, но вела она себя среди всех этих медиков совершенно свободно.

Она указала на меня.

— Это, господин профессор,— ваше достижение...

Она отлично говорила по-немецки, и я хорошо ее понимал.

Старик, которого все называли профессором, снисходительно улыбнулся — не знаю, тому ли, что он действительно чего-то достиг, или просто женщине, одарившей его таким комплиментом.

— Да, в этом случае,— как бы отщелкал своим сухим языком профессор,— все идет отлично.

— Он очнулся сегодня утром,— продолжала незнакомка.— Пытался разговаривать, но я остановила, он еще слаб, и будет лучше...

— О, вы отличная сиделка! — похвалил ее профессор с любезной улыбкой, с какой не обращался ни к кому из присутствующих.— Будем надеяться, что под вашим наблюдением ничто не помешает господину... господину...

Профессор запнулся.

— Господину Августу Берзиню, — торопливо подсказала незнакомка.— Вы же знаете...

— Господину Августу Берзиню... — аккуратно повторил профессор и многозначительно ей кивнул.— Никакие силы не помешают ему скоро стать на ноги.

Он склонился ко мне, оттянул мои нижние веки и посмотрел мне в глаза.

— Молодость! — добавил он с добродушной снисходительностью.— Будь у него явления склероза, я бы не дал за его жизнь и пфеннига.

С некоторой даже доброжелательностью он притронулся к моему плечу своими длинными осторожными пальцами.

— Вы — я это читаю в ваших глазах — и не собирались умирать, — неожиданно произнес он по-английски и вдруг процитировал Шекспира:

Cowards dies many times, before their deaths,
The valiant never taste of death but once.

(Трусы умирают в своей жизни много раз, а храбрый человек умирает только однажды.)

Это была похвала, я не понял, почему он отнес ее ко мне, но в данную минуту меня гораздо больше интересовало, что происходит со мной и где я нахожусь.

Затем профессор повернулся и журавлиной походкой, не сгибая ног в коленях, пошел прочь из палаты.

Все, в том числе и моя незнакомка, гуськом потянулись за ним.

Я опять остался один. Остался один и подумал: не брежу ли я? Почему меня, Андрея Семеновича Макарова, называют Августом Берзинем? Каким это образом я превратился в латыша? Почему меня лечат врачи, говоря-

---

Продолжение. См. «Огонек» № 20.

щие на немецком языке? Где я нахожусь? Почему за мной ухаживает женщина, которая пыталась меня убить?

Все эти и еще десятки других вопросов возникали в моем сознании, но я не находил на них ответа.

Я ломал себе голову, и наконец меня осенило: я похищен!

Да, такое предположение было весьма вероятно...

Офицер моего положения знает, конечно, очень много: сведения, которыми я обладал, не могут не интересовать генеральные штабы иностранных держав; чья-нибудь отчаянно смелая и безрассудная разведка могла пойти на подобную авантюру. Смелая потому, что похищение советского офицера в его собственной стране сопряжено с отчаянным риском, а безрассудная потому, что нельзя же мерить советских людей на свой, капиталистический аршин...

И, несмотря на всю невероятность такого случая, я почти утвердился в подобном предположении. Да, меня похитили, говорил я себе; эта женщина не намеревалась меня убить, она только хотела лишить меня возможности сопротивляться... И затем я сам себя спрашивал: где же я нахожусь? У немцев? Да, вероятнее всего, что у немцев. Но на что они рассчитывают? Никогда и ничего они от меня не узнают, в этом я не сомневался.

Но почему, в таком случае, я Август Берзинь? Если им нужно было меня похитить, так именно потому, что я майор Макаров, штабной советский офицер, а не неизвестный мне самому какой-то господин Берзинь! И почему мне нельзя говорить по-русски? Почему эта женщина ведет себя так, точно пытается меня от кого-то или от чего-то укрыть? Наконец, на что намекает этот долговязый немецкий профессор своими английскими фразами?

Я решительно терялся в своих предположениях.

Во всяком случае, ясно было одно: я нахожусь не в своем, не в советском госпитале.

В течение дня в палату не раз заходили санитары и медицинские сестры, оказывали мне разные услуги, приносили еду, интересовались, не нужно ли мне чего...

Большинство из них обращалось ко мне по-немецки, некоторые говорили по-латышски.

Но я, памятуя данный мне утром совет, отвечал на все вопросы только легкими движениями головы.

Под вечер ко мне зашла моя незнакомка.

Она села возле койки, слегка улыбнулась и погладила мою руку.

Она заговорила со мной по-английски и шепотом, так что, если за дверью и подслушивали, никто ничего бы не разобрал.

— Терпение, прежде всего терпение, и вы все узнаете, — мягко, но настойчиво сказала она. — Пока что вы Август Берзинь, вы говорите по-немецки, по-английски, по-латышски, и только по-русски вам не следует говорить, вы вообще должны забыть о том, что вы русский. Позже я вам все объясню.

Я принялся ее расспрашивать, но мало что узнал из ее ответов.

— Где я?

— В немецком госпитале.

— А что все это значит?

— Узнаете.

— А сами вы кто?

Она усмехнулась.

— Не помните? Я уже вам говорила. — Подумала и добавила: — Полностью меня зовут Софья Викентьевна Янковская, и мы давно с вами знакомы, это вы должны помнить. — Она встала и заговорщически приложила палец к своим губам. — Поправляйтесь, помните мои советы, и все будет хорошо.

Она ушла и не показывалась целых два дня, в течение которых меня мучили всякого рода догадки и предположения, пока, наконец, прислушиваясь к разговорам окружающих и тщательно взвешивая каждое услышанное слово, я не догадался о том, что произошло.

Постепенно я набрался сил, смог поглядеть в окно, и версия о похищении отпала: я по-прежнему находился в Риге, улица, на которую выходили окна госпиталя, была мне хорошо знакома.

За те дни, что я лежал без сознания, произошло нечто гораздо более страшное, чем если бы я был похищен какими-нибудь дерзкими разведчиками...

Гитлеровская Германия напала на Советский Союз, а я находился в Риге, да, все в той же самой Риге, но оккупированной немецкими войсками.

Немцы заняли город в первые же дни своего наступления и являлись теперь в нем хозяевами.

На койке у дверей лежал какой-то их ас, подбитый нашими летчиками; он неудачно приземлился где-то в предместьях Риги и теперь умирал в госпитале.

Надо отдать немцам справедливость, ухаживали они за своим асом с большой заботливостью, всячески стараясь облегчить ему последние минуты.

Но почему они так же внимательно ухаживают за пленным русским офицером — ведь фактически я находился у них в плену, — этого я понять не мог.

Впрочем, я тут же вспоминал, что я — это не я, что меня теперь почему-то называют Августом Берзинем, и опять переставал что-либо понимать.

Приходилось выжидать, выжидать того времени, когда я оправлюсь, все узнаю и смогу что-либо предпринять.

На третий день после того, как я пришел в сознание, в коридоре возникла какая-то суета, в палату внесли носилки с новым больным и положили его на свободную третью койку.

Я чувствовал себя уже много лучше и принялся с интересом рассматривать нового соседа.

Это был пожилой мужчина с забинтованной грудью, по всей видимости, тяжелораненый.

Вначале он произвел на меня благоприятное впечатление. Добродушное лицо, умные серые глаза, седые виски, суховатые губы; на вид ему можно было дать лет сорок пять; человек, в общем, как человек...

Но как же я его вскоре возненавидел!

Через несколько часов после появления этого больного в палату пришли два немецких офицера в черных гестаповских мундирах, поверх которых были небрежно накинуты белые медицинские халаты; один из них был майор, другой лейтенант.

Офицеры искоса поглядели на меня и остановились перед новым больным.

— Хайль Гитлер! — приветствовал майор больного.

— Хайль,— отозвался тот слабым голосом, однако заметно стараясь говорить как можно бодрее.

Санитары внесли два стула и небольшой столик с письменными принадлежностями, и офицеры тотчас приступили к допросу.

— Как вас зовут? — быстро спросил больного офицер в чине майора.

— Фридрих Иоганн Гашке, — так же быстро и по-солдатски четко ответил больной.

Лейтенант записал ответ.

— Вас так и звали в России? — осведомился майор.

Больной усмехнулся.

— Нет, в паспорте было написано Федор Иванович.

— Федор Иванович Гашке? — переспросил майор.

— Так точно,— подтвердил Гашке.

— Я рад, что вы выполнили свой долг перед фюрером и Германией,— сказал майор.— Вам трудно говорить?

— Нет, у меня достаточно сил,— негромко, но четко ответил Гашке.— Я готов...

Допрос длился часа два, майор спрашивал, лейтенант без устали писал.

Гашке оказался перебежчиком. Поволжский немец из-под Сарепты, он окончил педагогический техникум и учительствовал в Саратове; призванный в Советскую Армию, он в первые же дни войны попал на фронт и сразу на-

чал готовиться к тому, чтобы перебежать к немцам. Как только полк, в котором он находился, вошел в соприкосновение с противником, Гашке, воспользовавшись минутным затишьем, вырвался вперед и, бросив оружие, побежал в сторону немецких позиций.

С советской стороны по перебежчику немедленно открыли огонь, немцы не стреляли, они сразу догадались, в чем дело; Гашке получил тяжелое ранение, но успел добежать до немецких позиций и только там упал. Прибежал он к немцам не с пустыми руками: перед бегством он проник в штаб полка, застрелил начальника штаба и похитил какие-то важные документы.

Как только в полевом госпитале выяснилась ценность перебежчика, было дано указание немедленно переправить его в Ригу...

Гашке, по-видимому, хорошо понимал, что словами завоевать расположение немцев нельзя, только точные и важные данные о Советской Армии могли определить истинную цену перебежчику.

И, действительно, Гашке не говорил лишних слов, но он заметил все, что следовало заметить, запомнил все, что следовало запомнить, и теперь с чувством внутреннего удовлетворения выкладывал все свои сведения и наблюдения сидевшим перед ним гестаповцам, и я, я сам, был свидетелем этого предательства.

Но гестаповцы почему-то мало обращали на меня внимания, мое присутствие их не смущало, наоборот, они даже как будто были довольны тем, что я слышу их разговор с перебежчиком, и это тоже было мне не совсем понятно.

Гашке был умным человеком, и сведения, которые он принес, представляли несомненную ценность, но разговор с ним полностью разоблачал его в моих глазах...

Ох, как он стал мне противен!

Часа через два гестаповцы ушли, пожелав Гашке скорейшего выздоровления.

Нам принесли ужин, очень приличный ужин: мясо, капусту, ягоды и даже по стакану какого-то кисленького винца.

Было совершенно очевидно, что мы находились в привилегированном положении.

Гашке с аппетитом поел; я тоже пока еще не собирался умирать, мне хотелось поскорее выздороветь и предпринять что-либо для того, чтобы вырваться на родину; одному асу было уже не до еды.

На другой день гестаповцы явились опять. По-видимому, немцы каким-то образом сумели проверить показание Гашке об убийстве начальника штаба, а документы действительно оказались очень важными, потому что майор обещал представить Гашке к награде.

Гашке выкладывал все, что знал. Он был очень наблюдателен, этот Гашке! Он запомнил, где какие стояли артиллерийские дивизионы, какие проходили мимо него полки, мимо каких проходил он сам, где находились ближайшие аэродромы...

Его следовало бы пристрелить тут же, на месте, без промедления, чтобы лишить возможности передавать эти сведения, но у меня под рукой не было даже деревянного ножа для бумаги...

Гестаповцы принесли для Гашке газеты, и он любезно предложил их мне. Это были страшные газеты. В них сообщалось о безудержном продвижении гитлеровских полчищ на восток, о скором взятии Москвы, о расстрелах советских людей.

Я не верил напечатанному, а Гашке, наоборот, только усмехался, точно сведения эти доставляли ему удовольствие.

К концу четвертого дня ас умер, и я понял, что означали четыре профессорских пальца: профессор отпустил асу четыре дня жизни, и приговоренный к смерти ас послушно скончался в назначенный ему срок.

Мы с Гашке остались вдвоем. Это не значило, что мы все время находились наедине, в посетителях недостатка не было. Каждое утро во время обхода заходил старший врач, нам делали перевязки, приносили пищу, сестры забегали осведомиться, как мы себя чувствуем, заглядывали санитары... Но все же большую часть времени мы проводили вдвоем.

Гашке пытался со мной разговаривать, но я отмалчивался, делая вид, что еще слаб и мне трудно говорить, хотя на самом деле с каждым днем чувствовал себя все лучше и ощущал в себе достаточно сил для того, чтобы убить этого изменника.

Гестаповцы посещали Гашке ежедневно и каждый раз выуживали из него что-нибудь новое...

Наконец, он исчерпался, лейтенанту приходилось писать все меньше и меньше, Гашке выложил все, что смог заметить и запомнить, но мне казалось, что у гестаповцев и у Гашке имеются еще какие-то виды друг на друга.

Однажды вечером в палате снова появилась госпожа Янковская.

Я так и не мог понять, в качестве кого фигурирует она в госпитале. Она ходила, конечно, в обычном белом халате, но медицинской практикой, по-видимому, не занималась. Иногда она отсутствовала по нескольку дней, а иногда толклась в палате без всякого дела, но опасаясь, что ее безделье будет замечено.

Вообще она держалась как-то особняком от всех остальных немцев, работавших в госпитале.

Она молча села возле меня и, по своему обыкновению, принялась смотреть куда-то сквозь стену.

В палату доносился уличный шум. Гашке как будто дремал. Я рассматривал Янковскую.

Было в ней что-то неуловимое и необъяснимое, чего я не встречал и не замечал в других женщинах, у меня было такое ощущение, точно она, подобно осьминогу, все время водила вокруг себя незримыми щупальцами.

— Вы знали когда-нибудь настоящую любовь? — внезапно спросила она меня по-английски. Здесь, в госпитале, она предпочитала разговаривать со мной на английском языке.

— Конечно, — сказал я. — Какой же мужчина в мои годы... Мне тридцать лет, меня ждет невеста...

— Нет, я говорю не о добропорядочной, обычной любви, — настойчиво перебила меня Янковская. — Любили ли вы когда-нибудь женщину так, чтобы забыть разум, честь, совесть...

Мне подумалось, что она затевает со мной игру, в которой я неминуемо должен пасть ее жертвой...

Однако ее не следовало разочаровывать.

— Не знаю, — неуверенно произнес я. — Вероятно, нет, я еще не встречал такой женщины...

Я подумал: нельзя ли будет бежать с ее помощью...

— А вы могли бы меня полюбить? — шепотом спросила она вдруг с неожиданной откровенностью. — Забыть все, если бы и я согласилась для вас...

Я повернул голову в сторону Гашке.

Он сопел, должно быть, он спал.

— Он спит, — небрежно сказала Янковская. — Да он и не понимает...

— Как знать, — недоверчиво ответил я и,

желая выгадать время, добавил: — Мы еще поговорим...

— Настоящие мужчины не раздумывают, когда женщины задают им такие вопросы, — недовольно произнесла Янковская.

— У меня еще не прошла лихорадка,— тихо ответил я. — Кроме того, здесь темно, и я не вижу, не смеетесь ли вы...

— Вы правы, — сказала Янковская. — Сумерки сродни лихорадке.

Она встала, подошла к двери и зажгла свет.

— Вы спите? — громко спросила она по-немецки, обращаясь к Гашке.

— Нет, — отозвался тот. — Мы еще не ужинали.

Янковская усмехнулась, достала из кармана халата плитку шоколада, разломила ее и дала каждому из нас по половинке.

— Спасибо, — поблагодарил Гашке и тут же принялся за шоколад.

— А что же вы? — спросила меня Янковская.

Я покачал головой.

— Мне не хочется сладкого.

Янковская внимательно посмотрела мне в глаза.

— Ничего, вам захочется еще сладкого, — сказала она и кивнула нам обоим. — Поправляйтесь...

И, не прощаясь, ушла из палаты.

— Такие бабы, — одобрительно сказал Гашке, — вкуснее всякого шоколада.

Утром гестаповский майор пришел к Гашке без своего помощника: записывать было уже нечего.

Майор сел против Гашке.

— Как вы себя чувствуете? — спросил майор.

— Отлично, — сказал Гашке.

— Вы счастливо отделались, — сказал майор.

— Меня сохранили бог и фюрер,— ответил Гашке.

— А что вы собираетесь делать дальше? — спросил майор.

— Все, что мне прикажут фюрер и вы, господин майор,— ответил Гашке.

Майор помолчал.

— Вот что, — сказал он затем. — Мы подумали о вас, мы дадим вам возможность проявить себя настоящим немцем...

Он нарисовал перед Гашке блестящие перспективы. Хотя Гашке родился и вырос в России, он проявил себя сознательным немцем. Гестапо ему доверяет. Его решили оставить в Риге в качестве переводчика при гестапо. Для начала он получит звание ефрейтора, остальное зависит от него самого.

Я тут же подумал: стоит Гашке попасть в гестапо, он себя там проявит!

— Что вы скажете на мое предложение? — спросил майор. — Мы вас не торопим, можете подумать...

— Мне не о чем думать, господин майор,— твердо сказал Гашке. — Я благодарю за доверие и сумею его оправдать.

Майор улыбнулся и покровительственно похлопал Гашке по плечу.

— Я в вас не сомневался. Как только вас выпишут из госпиталя, вы явитесь в гестапо.

Гашке проводил своего будущего начальника и немедленно завалился спать, а я...

Я думал и час, и два, и три. Гашке безмятежно спал, а я все думал и думал...

Что мне делать?

Бежать! Разумеется, бежать. Пробраться к своим. Это, конечно, не так просто, но это единственный выход из положения. Выйти из госпиталя, набраться сил и бежать. Умирать я не собирался, но если придется, решил отдать свою жизнь подороже...

Потом в поле моих размышлений попал Гашке. Этого надлежало уничтожить. Он уже достоин казни за свое предательство, а в гестапо он будет стараться выслужиться...

Но как его убить? Я вспомнил какую-то книгу, где описывалось, как в концентрационных лагерях расправлялись с провокаторами. Набрасывали на голову подушку и держали до тех пор, пока провокатор не задохнется. Силы у меня хватит...

Я приговорил Гашке к смерти и успокоился.

Вскоре он проснулся. Так как я разговаривал с ним неохотно, он принялся напевать... «Катюшу»! Перебежчик напевал нашу добрую советскую песню... Это было столь цинично, что я охотно заткнул бы ему глотку!

Однако приходилось терпеть...

Наступил вечер. Принесли ужин, мы поели, посуду унесли, и мы остались одни.

Гашке вздохнул.

— Интересно, что делается сейчас там? — туманно выразился он, обращаясь куда-то в пространство.

«Завтра ты уж ничем не будешь интересоваться», — мысленно ответил я ему, но вслух не произнес ничего.

Потом он стал укладываться, он вообще много спал, и я тоже отвернулся к стенке, делая вид, будто засыпаю.

Наступила ночь.

— Что-то хочется пить, — громко сказал я: если бы Гашке не спал, он обязательно бы отозвался.

Гашке не отозвался.

Тогда я встал и выключил свет, чтобы кто-нибудь, проходя мимо палаты, случайно не заметил, что в ней происходит.

Подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Потом подошел к Гашке.

Он мирно дышал, не подозревая, что наступили последние минуты его жизни.

Я вернулся к своей койке, взял в руки подушку, прижал к себе и опять приблизился к Гашке...

Он лежал на боку.

Хорошо, если бы он повернулся на спину...

Он повернулся.

Я хорошо видел его лицо...

Сейчас накрою его подушкой, подумал я, и не сниму до тех пор...

Но что это?

Гашке открыл глаза — я ясно видел его внимательные серые глаза — и, не вскакивая, не поднимаясь, не делая ни одного движения, негромко и отчетливо, с холодной сдержанностью, по-русски произнес:

— Не валяйте-ка, Берзинь, дурака, не поддавайтесь настроению и не совершайте неосмотрительных поступков. Идите на свое место и держите себя в руках.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

3. ПОД СЕНЬЮ ДЕВУШЕК В ЦВЕТУ

Приходится сознаться, услышав призыв Гашке держать себя в руках, я растерялся...

Да, растерялся и замер как вкопанный у кровати Гашке, обхватив руками свою подушку. Выглядел я, вероятно, в тот момент достаточно смешно.

А Гашке тем временем повернулся опять на бок и заснул.

Поручиться, конечно, за то, что он спал, я не могу; спал он или не спал, не знаю, но, во всяком случае, лежал на боку с закрытыми глазами, и ровное его дыхание должно было свидетельствовать, что он спит.

Я постоял-постоял возле него, пошел обратно к своей кровати, сел и задумался.

Чего угодно мог ждать я от Гашке, но только не этого! Я бы меньше удивился, если бы он внезапно выстрелил в меня из пистолета. Гашке, Гашке... А может быть, это вовсе и не Гашке? И даже наверняка не Гашке. Но тогда кто же?..

Я не выдержал, опять подошел к нему, на этот раз, разумеется, без подушки.

— Послушайте! — позвал я его.— Господин Гашке... Или как вас там?.. Товарищ Гашке!

Но он не отозвался.

Я опять вернулся к своей кровати. Следовало лечь, но спать я не мог.

Если Гашке меня остановил вместо того, чтобы тут же, на месте, выдать гестаповцам, значит, он не их человек. Но все его поведение противоречило тому, что он наш...

Я решил на следующий день как следует прощупать его...

Но с утра события начали разворачиваться с кинематографической быстротой.

Не успели мы проснуться, умыться и выпить утренний кофе, как за Гашке пришел гестаповский лейтенант, который в предыдущие дни сопровождал гестаповского майора.

— Хайль!

— Хайль!

— Я за вами, господин Гашке. Мы нуждаемся в вас...

Я внимательно рассматривал господина Гашке, можно сказать, изучал его, пытаясь разглядеть, что скрывается за его внешней оболочкой, но сам господин Гашке не замечал моих взглядов, он даже ни разу не посмотрел в мою сторону.

— Я весь в вашем распоряжении, господин офицер, — ответил Гашке лейтенанту. — Надеюсь, я сумею оказаться достойным сыном нашего великого отечества...

Он прямо-таки декламировал, этот господин Гашке!

Пришел санитар и по-солдатски вытянулся перед лейтенантом.

— Все готово, господин лейтенант, — отрапортовал он. — Господин больной может идти переодеваться.

— Пошли, — сказал лейтенант.

— Мгновение. Я соберу газеты.

Гашке принялся доставать из тумбочки полученную им за время лечения всякую фашистскую макулатуру.

Он был в отличном настроении и даже принялся напевать какую-то скабрезную немецкую песенку:

Коль через реку переплыть
Желательно красотке,
Ей полюбезней надо быть,
Быть, быть с владельцем лодки...

Он собирал фашистское чтиво и со смаком пел свои куплеты:

Пообещай отдать букет,
Отдать букет и чувства,
А выполнить обет иль нет —
Зависит от искусства...

С легкой насмешливостью посмотрел он на меня и громко, с большим увлечением пропел рефрен:

Тра-ля-ля, тра-ля-ля...
От твоего искусства!

Не было ничего удивительного в том, что перебежчик, которому удался его побег и которого вдобавок брали еще на работу в гестапо, пребывал в отличном настроении и распевал песни, но мне, не знаю почему, показалось, что эта песенка предназначалась для меня.

Как-то слишком многозначительно взглянул на меня Гашке, слишком подчеркнуто пел он свои куплеты, в которых говорилось о том, что тому, кто хочет переплыть реку, надо быть полюбезнее с теми, кому принадлежат в данный момент средства передвижения, и что можно все обещать за то, чтобы перебраться, а выполнить обещание или нет, зависит от самого себя...

Трудно было сказать, добрый это совет или нет, но какой-то намек в песенке содержался.

Почему Гашке остановил меня ночью? Почему он меня не выдал и в то же время не сказал ничего более определенного? Или, соглашаясь на все, он и мне советовал поступить так же? Вообразил, что мы одного поля ягода?..

Я еще долго размышлял бы о поведении Гашке, но вскоре в палате появилась Янковская и заявила, что меня тоже выписывают из госпиталя.

— Я привезла ваши вещи, — сказала она. — Сейчас принесут чемодан, одевайтесь, а я подожду вас внизу.

Чемодан принесли, нарядный, дорогой чемодан из свиной кожи, но это был не мой чемодан. Я открыл его: в нем лежали белье, костюм, ботинки; все эти предметы мужского туалета отличались той изысканной простотой, которая стоит очень больших денег. Эти вещи не были моими, но выбора у меня не оставалось. Я оделся, все было по мне и не по мне, точно портной и сапожник обузили меня, все следовало сделать чуть пошире, но в общем выглядел я, должно быть, неплохо, потому что дежурная сестра, пришедшая меня проводить, воскликнула не без восхищения:

— О, господин Берзинь!..

Янковская ждала меня в вестибюле. Мы вышли на крыльцо.

Часовой в черной эсэсовской форме, стоявший у двери, отдал честь.

У подъезда стоял длинный сигарообразный автомобиль кофейного цвета — немецкая гоночная машина.

Шофера в машине не было.

— Садитесь, — пригласила меня Янковская.

Все, что сейчас происходило, плохо укладывалось в моем сознании: советский офицер находится в оккупированной фашистами Риге, и вот вместо того, чтобы быть расстрелянным или брошенным в какой-либо застенок, я находился в немецком госпитале на положении привилегированного лица, эсэсовцы отдавали мне честь, меня приглашали сесть в машину...

Я сел. Янковская заняла место за рулем, и мы двинулись в путь.

Мы ехали по улицам Риги — они были все такими же просторными и красивыми и чем-то неуловимо другими. Так же шли прохожие, но это были другие прохожие, так же мчались по улицам машины, но это были другие машины, так же сияло над нами небо, но это было другое небо...

Я испытующе посмотрел на Янковскую.

Маленькая шляпка блеклого сиреневого цвета. На лоб спускалась нежная розоватая вуалетка, придавая лицу задорное выражение, глаза искрились...

Она азартно вела машину с недозволенной быстротой.

— Куда вы меня везете? — спросил я.

— Домой, — деловито отозвалась она.

— К вам?

— Нет, — ответила она чуть ли не с насмешкой. — К вам!

Я решил потерпеть: в конце концов все эти загадки должны были разъясниться.

Мы ехали вдоль бульваров.

— Не глядите на деревья, — коротко бросила мне Янковская.

Но я ей не подчинился.

На деревьях висели люди, это были повешенные... Вот что д р у г о е было на улицах Риги.

Я положил свою руку на руку Янковской.

— Не торопитесь...

Она укоризненно посмотрела на меня и замедлила ход.

Прямо против меня висело двое мужчин, мне показалось, двое пожилых мужчин, хотя я мог ошибиться, глядя на их отсутствующие, серые лица. На груди одного из них висел обрывок картона с краткой надписью: «Повешен за шпионаж...»

Янковская испытующе смотрела на меня.

— Вас это очень... удручает?

Я промолчал. Что я мог ей ответить! И она опять повела машину с прежней скоростью.

— Подальше от этих... — серьезно сказала она, задумалась и добавила: — Подальше от этих деревьев.

Она свернула в какой-то переулок, еще раз свернула и еще раз, и мы выехали на одну из самых спокойных и фешенебельных улиц Риги.

Она остановилась перед большим, светлым четырехэтажным домом.

— Вот мы и приехали, — сказала она.

— Куда вы меня привезли?

— Пойдемте в дом, — произнесла она вместо ответа. — Не могу же я объясняться с вами на улице.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20,21.

Мы вошли в подъезд, навстречу нам поднялась привратница.

— Добрый день, господин Берзинь! — Она приветливо поклонилась.

Я не был Берзинем, но привратница назвала меня этим именем.

Мы поднялись на второй этаж. Янковская достала из сумочки ключ, открыла английский замок, и мы очутились в просторной передней.

Навстречу нам вышла немолодая светловолосая женщина в темном платье, с кружевной белой наколкой на голове.

— Здравствуйте, Марта, — поздоровалась с ней Янковская. — Вот и господин Берзинь!

Та, кого Янковская назвала Мартой, приветливо улыбнулась, и вдруг я заметил, что улыбка ее сменилась какой-то растерянностью.

— Здравствуйте, господин... — неуверенно произнесла Марта; она как-то запнулась и с напряжением добавила: — Господин Берзинь.

— Ничего, ничего, Марта, — поощрительно сказала Янковская. — Можете идти на кухню, сегодня господин Берзинь будет обедать дома, а мы пройдем в кабинет.

Мы прошли через небольшую столовую, и Янковская ввела меня в кабинет. Обе комнаты были обставлены современной мебелью, очень модной и очень удобной, доступной только состоятельным людям. В кабинете стояли гладкий полированный письменный стол, легкие кресла и шкафы с книгами. Стены украшало множество однообразных акварелей, выполненных в какой-то условно-небрежной манере.

Мы остановились посреди комнаты.

— Надеюсь, — начал было я, — теперь вы объясните...

Но Янковская не дала мне договорить.

— Вы могли бы быть более любезным хозяином, — упрекнула она меня. — Прежде чем задавать вопросы, следовало бы предложить мне сесть.

Я пожал плечами.

— Хозяином? Я хочу знать, где я нахожусь!

— Вы находитесь у себя дома. Это квартира Августа Берзиня, а вы, я уже вам говорила, вы и есть этот самый господин Берзинь.

Надо было запастись терпением, чтобы разобраться во всем происходящем.

Однако я попытался прикрикнуть на Янковскую.

— Хватит! — воскликнул я, повышая голос. — Вы долго намерены играть со мной в прятки? Извольте объясниться, или я немедленно покину этот дом...

— И сразу очутитесь в гестапо, — насмешливо перебила меня Янковская. — Учтите, в Риге нелегко скрыться...— Она села в кресло и кивком головы указала мне на другое. — Сядьте и давайте поговорим спокойно. Кстати, я хочу вас спросить: умеете ли вы рисовать?

Мой окрик не имел успеха, она была не из тех, на кого можно было воздействовать криком, спокойствие импонировало ей больше.

Все-таки худой мир был, по-видимому, лучше доброй ссоры...

— Рисую, — мрачно ответил я. — Мои картинки не вызовут больших восторгов у ценителей живописи, но во время занятий топографией я набрасывал иногда пейзажи.

— Это превосходно, — сказала тогда Янковская. — Вы даже превзошли мои ожидания. Дело в том, что вы художник, господин Берзинь, вы рисовали пейзажи, которые вам удавалось иногда продавать, хотя вы не слишком нуждались в деньгах... — Плавным жестом она указала на стены: — Ведь это ваши рисунки, господин Берзинь!

Я еще раз раздраженно взглянул на акварели, украшавшие кабинет.

— Так рисовать я умею! — вызывающе сказал я.— Пятна и полоски! На топографических картах так изображаются кусты и ручьи.

— Вот вы и запомните, что вы художник, — сказала Янковская. — В Риге вас знают, и вы кое-кого знаете...

— Но ведь я не Берзинь, — запротестовал я. — Вам это отлично известно...

Она подошла ко мне, небрежно села на ручку моего кресла.

— Вы милый и глупый, вы находитесь в плену представлений, которые владели вами три месяца назад,— произнесла она, и в ее голосе прозвучала театральная грусть. — В потоке времени столетия подобны мгновениям, а за истекший месяц человечество пережило столько, сколько в иные времена не переживает в течение целого столетия. Месяц назад Рига была советской, а теперь она немецкая, Москва накануне падения, и солнце восходит с запада, а не с востока. Макаров умер и никогда не воскреснет, а если вы попытаетесь его воскресить, его придется похоронить вторично.

Она встала и прошлась по комнате.

— Не стоит хоронить себя дважды, — мягко произнесла она, пытаясь примирить меня с чем-то, что еще оставалось для меня тайной.— В жизни людей происходят иногда такие повороты, что было бы просто неразумно сопротивляться судьбе. — Она остановилась передо мной, как учительница перед школьником. — Запомните: вы Август Берзинь, художник, — сказала она. — Ваши родители умерли несколько лет назад. Вы учились в Париже, не женаты и ведете несколько легкомысленный образ жизни. Марта — ее фамилия Круминьш — ваша экономка, кухарка и горничная, она живет у вас третий год, и вы очень ею довольны. Как будто все... — Она подумала. — Да, — вспомнила она, — вы не поклонник гитлеровцев, но считаете их меньшим злом по сравнению с коммунистами...

Она посмотрела в окно и как будто кому-то кивнула.

— Я пойду, — сказала она. — А вы осваивайтесь, осмотрите квартиру, проверьте, все ли у вас в порядке, и, если к вам будут заходить, не прячьтесь от своих знакомых. Вечером я вас навещу...

Она ушла, оставив в комнате запах каких-то странных, нежных и раздражающих духов.

Я остался один... Однако я не был уверен в том, что за мной не наблюдают...

Надо было выбираться из этого города, но я ощущал себя в каких-то тенетах, которыми меня оплели неизвестно кто и неизвестно зачем.

Во всяком случае, следовало соблюдать и осторожность и предусмотрительность.

Пока что я решил осмотреть свою квартиру.

Кабинет, столовая, гостиная, спальня, ванная...

Для одного человека, пожалуй, больше, чем надо!

Все комнаты были обставлены с большим вкусом.

В ванной я мельком посмотрел в зеркало и... не узнал самого себя: это был я и не я. Правильнее сказать, это был, разумеется, я, но в моей внешности произошла разительная перемена: всегда, сколько я себя помню, я был темным шатеном, на меня же из зеркала глядел рыжеватый блондин...

Да, рыжеватый блондин!

Я зашел в кухню...

Марта стояла у плиты, поглощенная какими-то кулинарными таинствами.

Я молча смотрел на Марту, и она, в свою очередь, испытующе посматривала на меня.

— Извините меня, господин Берзинь, — внезапно спросила она. — Ведь вы, извините, не господин Берзинь?

Я не знал, что ей ответить.

— А почему бы мне не быть господином Берзинем? — неуверенно возразил я. — Это такая распространенная фамилия...

Я вернулся в кабинет и принялся знакомиться с его хозяином, то есть с самим собой, поскольку я теперь был Августом Берзинем, хотя в этом и сомневалась моя экономка.

Как я уже сказал, в живописи господин Берзинь всем художникам предпочитал, по-видимому, самого себя, а что касается книг, их было много и подобраны они были весьма тщательно. Господин Берзинь, судя по книгам, интересовался тремя предметами: искусством древнего Рима, политической историей Прибалтики, особенно новейшей ее историей, и современной французской литературой. Впрочем, подбор французских авторов свидетельствовал, что господин Берзинь — большой эстет и, я бы даже сказал, сноб: в его библиотеке были отлично представлены Поль Валери, Анри де Ренье, Жюль Ромен, Марсель Пруст, Жан Жироду; из более ранних поэтов находились Малларме, Бодлер, Верлен и Рембо, а что касается старины, то из всех старых поэтов в библиотеке Берзиня нашлось место только для одного Вийона.

На столе Берзиня, или, правильнее сказать, на моем столе, лежал томик знаменитой эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», тот самый роман этой эпопеи, который называется «Под сенью девушек в цвету».

В этот момент я и представить себе не мог, как символично было это название и для жизни господина Берзиня и для моей последующей жизни в его доме!

Вся жизнь господина Берзиня в Риге, и того, который существовал в этой квартире до моего появления, и того, который появился здесь в моем лице, протекала, так сказать, именно под сенью девушек в цвету.

Но в первый день моего присутствия в этой квартире никакие девушки в ней не появлялись.

Вечером, как она и пообещала, пришла Янковская.

Я сидел в кабинете и перелистывал Пруста, неотступно раздумывая о том, как мне организовать свое бегство из Риги.

Янковская появилась неожиданно — я уже говорил, что у нее был ключ от этой квартиры.

— Сидите и мечтаете о побеге? — спросила она меня с иронией.

— Вы догадливы, — ответил я.

— Напрасные мечты! Что ушло, уже не вернется, — задушевно произнесла она. — Но вы не тревожьтесь, все будет хорошо.— Она взяла из моих рук книгу и отложила ее в сторону.— Я хочу кофе. Позвоните Марте и распорядитесь...

Она сама нажала звонок, скрытый в бронзовой гирлянде, украшающей настольную лампу.

Мы перешли в столовую, и надо сказать, что кофе, приготовленный Мартой, был превосходен.

— А вы не пробовали пить кофе с обыкновенной русской водкой? — спросила меня Янковская, сама достала из буфета бутылку и налила себе водки.

Но мне было не до водки.

С какой-то мучительной остротой ощущал я всю неестественность такого времяпрепровождения в эти грозные дни.

— У меня к вам много вопросов, — сказал я своей собеседнице. — И думаю, что пришло время на них ответить.

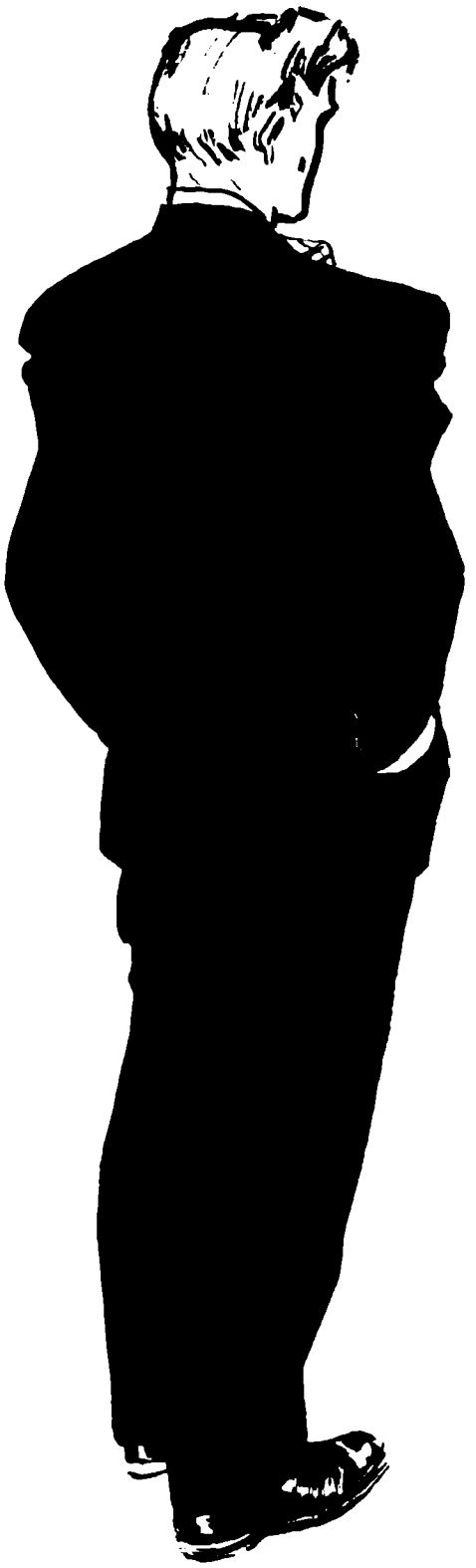
— Позвольте мне их перечислить? — не без лукавства произнесла Янковская. — Во-первых, вас интересуют обстоятельства того странного вечера, когда состоялось наше знакомство; во-вторых, вам хочется знать, почему я в вас стреляла и затем, без всякой последовательности, спасла и ухаживала за вами в госпитале; в-третьих, каким образом вы превратились в Августа Берзиня...

Она улыбнулась.

Я тоже невольно улыбнулся.

— Правда, — сказал я. — И я надеюсь...

— Постепенно вы все узнаете, — снисходительно сказала Янковская. — В тот вечер ваше присутствие избавило меня от большой опасности, стрелять в вас меня вынудили обстоятельства, которые были сильнее меня, а спасла вас моя находчивость, и это взаимовыгодно для нас обоих...



Так ответила она, не разъяснив ни одной из загадок.

— Но, может быть, вы объясните, каким образом я превратился в блондина? — спросил я.

— Очень просто. С помощью перекиси водорода. Это — испытанное средство. Так поступают многие женщины, страстно желающие стать блондинками. Возможно, вам это не нравится, но вы должны меня извинить. Я вынуждена была вас обесцветить, потому что во всем остальном вы очень похожи на Августа Берзиня. Смелее вживайтесь в образ, как принято говорить у актеров, и ни у кого не появится подозрений в том, что вы не тот, за кого вам приходится себя выдавать.

— Как сказать! — возразил я, усмехаясь. — Марта, например, совсем не уверена в том, что я являюсь ее хозяином...

И я передал Янковской слова Марты, сказанные ею сегодня мне в кухне.

Янковская сразу посерьезнела, а минуту спустя я увидел, как она выпустила свои коготки.

— Марта! — резко крикнула она.

Она сразу забыла о плюшевой обезьянке, висевшей на шелковом шнурке над обеденным столом, под хвостом которой находился электрический звонок.

Марта неторопливо вошла в столовую.

— Сядьте, госпожа Круминьш, — приказала Янковская Марте, и было совершенно очевидно, что лучше всего с ней не спорить.

Марта села спокойно, не спеша, в ней было какое-то внутреннее спокойствие простой рабочей женщины.

Янковская кивнула в мою сторону.

— Вы, кажется, не узнали сегодня господина Берзиня?

Марта смутилась.

— Я человек религиозный, — нерешительно сказала она.— Но я не могу поверить в воскрешение мертвых, госпожа Янковская...

Янковская усмехнулась.

— Вам придется поверить, — ответила она Марте. — Потому что если вы умрете от моей пули, вы уж наверняка не воскреснете. — Она еще раз кивнула в мою сторону и многозначительно посмотрела на Марту: — Так кто это такой, Марта?

— Я думаю... Я думаю, что это господин Берзинь,— неуверенно произнесла Марта.

— Кто, кто, повторите еще раз! — скомандовала Янковская.

— Это господин Берзинь,— гораздо тверже повторила Марта.

— Да, это господин Берзинь,— подтвердила Янковская, властно глядя на Марту.— В этом нет никаких сомнений, и в этом вы не будете сомневаться не только в разговорах с господином Берзинем, но даже в мысленном разговоре с самим господом-богом...

Марта молчала.

— Что же вы молчите? — спросила Янковская.

— Я вас понимаю,— тихо ответила Марта.

— Надо что-нибудь добавить? — спросила Янковская.

— Нет, — ответила Марта.

— Но я добавлю, — сказала Янковская. — Ваш сын и ваш брат, отправленные на работу в Германию, никогда не вернутся домой, если вы даже во сне пророните хотя бы одну неосторожную фразу...

И вдруг в руке, которая только что держала изящную голубоватую чашечку с кофе, я увидел пистолет, тоже очень изящный и небольшой, но который, однако, отнюдь не был дамской безделушкой. Он лежал на ее ладони и точно дышал, потому что она слегка шевелила своими пальцами,— этот пистолет появился на ее ладони так, как будто Янковская была профессиональной фокусницей.

— Вы верите, что я могу вас убить? — небрежным тоном задала она вопрос Марте.

— Да,— тихо ответила та.

— Очень хорошо,— удовлетворенно сказала Янковская.— Если мне не понравится ваше поведение, я вас застрелю...— Неожиданно она улыбнулась и добавила уже совсем шутливо: — Я вас застрелю и в том случае, если господин Берзинь будет недоволен вашей стряпней...— Она улыбнулась еще приветливее и милостиво отпустила Марту.— Идите и ложитесь спать.

Но как только Марта ушла, Янковская тоже собралась уходить.

— Я устала,— сказала она.— Завтра я зайду. Хочу вас только предупредить. К вам будут приходить разные девушки. Учтите, это так и должно быть. Не оставляйте их без внимания.

Действительно, девушки стали ко мне наведываться чуть ли не ежедневно.

Сперва я было не понял истинной цели этих посещений.

На следующий день после обеда Марта доложила:

— К вам какая-то девушка, господин Берзинь...

В гостиную впорхнула, именно впорхнула, хорошенькая и даже очень хорошенькая девушка.

На ней был синий костюм, шляпка, сумочка... Все как полагается.

— Ах, Август, я так давно тебя не видела! — воскликнула она и бесцеремонно потрепала меня по щеке.

Но как только Марта вышла из комнаты, девушка сразу посерьезнела.

— Пройдем в кабинет? — деловито предложила она.

В кабинете она совсем перестала нежничать.

Она порылась в сумочке и достала помятый листок бумаги.

— Гестаповцы стали бывать в «Эспланаде» реже, и, мне кажется, коммунисты устроили у нас явку,— сказала она.— Тут записаны имена офицеров, которые у нас бывают и которые мне удалось услышать. Кроме того, здесь два адреса, одного гауптштурмфюрера и начальника одной из эскадрилий...

Как я понял из разговора, девушка работала кельнершей в ресторане «Эспланада» и одновременно являлась осведомительницей...

Кого? Господина Берзиня, несомненно! Но на кого работал я, этого я не знал!

Девушки приходили иногда даже по две в день. Это были кельнерши, маникюрши, массажистки, большей частью хорошенькие, всегда входили с какой-нибудь нежной фразой, но стоило нам уединиться, как сразу делались серьезнее и вручали мне записочки с именами и адресами, которые им удалось узнать, с фразами, которые им удалось услышать и чем-то показавшимися им многозначительными...

Да, это была агентура!

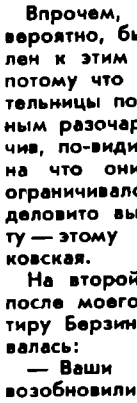
Конечно, она не делала чести разведывательным талантам господина Берзиня: его агентурная сеть была организована весьма примитивно. Любая контрразведка без особых затруднений могла обнаружить и взять под свое наблюдение и всех этих девиц и самого господина Берзиня...

И хотя я сам не был работником разведки и только соприкасался с ней по роду своей деятельности, думаю, что, будь я на месте господина Берзиня, я бы организовал и законспирировал агентурную сеть более тщательно.

Сведения, которые приносили девушки, не имели большого значения, но хороший разведчик, разумеется, не пренебрегает ничем, поэтому даже такая поверхностная и безответственная агентура имела свою ценность.

Во всяком случае, с помощью моих посетительниц я довольно хорошо представлял себе, как проводят время немецкие офицеры и всякие бесчисленные гитлеровские администраторы, чем занимаются, где бывают, с кем встречаются и отчасти даже чем они практически интересуются.

Девушки эти, конечно, не были профессиональными агентами, служба у господина Берзиня была для них приработком. Но, как говорится, курица по зернышку клюет да сыта живет; множество мелких фактов и фактиков создавали в общем достаточно ясное представление о жизни тех слоев общества, которые могли интересовать господина Берзиня.



Вначале, правда, меня несколько удивляло, почему агентура Берзиня состояла из одних девушек — как на подбор, все эти кельнерши, маникюрши и массажистки были миловидны и молоды,— но потом я сообразил, что это был неплохой способ маскировки подлинных взаимоотношений Берзиня и его сотрудниц; нравственные качества Берзиня могли вызывать осуждение, но зато истинные его занятия не вызывали никаких подозрений.

Впрочем, господин Берзинь, вероятно, был более внимателен к этим девушкам, чем я, потому что некоторые посетительницы покидали меня с явным разочарованием, не получив, по-видимому, всего того, на что они рассчитывали; я ограничивался лишь тем, что деловито выдавал им зарплату — этому научила меня Янковская.

На второй или третий день после моего вселения в квартиру Берзиня она поинтересовалась:

— Ваши посетительницы возобновили свои посещения?

— Да, заходят,— сказал я.— Но мне опять непонятно...

— Ничего, ничего,— оборвала она меня.— Скоро все станет на свое место. Их сведения не представляют особой ценности, но будет хуже, если они перестанут заходить. Их надо поощрять.

Она достала из моего стола, поскольку стол Берзиня считался теперь моим, связку ключей и открыла небольшой стенной сейф, скрытый за одной из акварелей; в нем хранились деньги и, как оказалось, золотые безделушки.

Запас валюты был не слишком велик, но все же в сейфе хранились и доллары, и марки, и фунты стерлингов, а всяких колечек, сережек и брошек было как в небольшом ювелирном магазине.

Я взял несколько безделушек. Зеленоватые, розовые, лиловые камешки насмешливо поблескивали на моей ладони...

Заглянул в сейф: у задней стенки лежал голубой конверт, в нем находились какие-то фотографии. Я высыпал их из конверта. Это были те непристойные, гривуазные картинки, которые в газетных объявлениях туманно называются «фотографиями парижского жанра». Мне стало даже как-то неудобно оттого, что их могла увидеть Янковская...

Но они не произвели на нее никакого впечатления.

Я сунул снимки обратно в конверт и пошел было из комнаты.

— Куда это вы? — остановила меня Янковская.

— Выбросить!

— Эти... картинки? Напрасно. Господин Берзинь держал их, как я думаю, для того, чтобы развлекать своих девушек...

Я пожал плечами.

— Знаете ли...

Янковская поджала накрашенные губы.

— Допустим, что вы... ну, что вы не такой, как ваш предшественник! Однако я не советую их выбрасывать. В нашей работе годится решительно все. Нельзя предвидеть всех положений, в которых можно очутиться.

Я колебался, но в таких делах она, несомненно, была опытнее меня.

— Да, да, иногда самые неожиданные вещи приносят неоценимую пользу,— добавила она.— Поэтому положите эти карточки обратно, места они не пролежат... — Она взяла у меня конверт и сама положила его на прежнее место.— Теперь пересчитайте валюту, ее надо беречь, — деловито посоветовала Янковская. — А сережки и кольца предназначены специально для вознаграждения девушек.

И я дарил приходившим ко мне девушкам то недорогой перстенек, то брошку...

Подарки они принимали охотно, но, вероятно, не возражали бы и против более нежного внимания к их особам.

Во всяком случае, Янковская, которая, должно быть, все время держала меня в поле своего зрения, как-то спросила:

— Скажите, Август, это трусость или принципиальность?

Я не понял ее.

— Вы это о чем?

— Тот, другой, на которого вы так похожи, был менее скромен, — сказала она. — Девушки на вас обижаются. Не все, но...

Меня заинтересовали ее слова, но совсем не в том смысле, какой она им придавала.

— А вы их видите?

— Не всех, — уклончиво ответила она. — Август посвящал меня не во все свои тайны...

— Но почему немцы так снисходительны к этому таинственному Августу? — спросил я ее тогда.— Контрразведка работает у них неплохо, и как это они при всей своей подозрительности не замечают этих довольно частых и, я бы сказал, весьма сомнительных посещений? Почему не обращают внимания на странное поведение Берзиня? Почему оставляют его в покое? Почему проявляют в отношении ко мне такое странное равнодушие?

— А почему вы думаете, что они к вам равнодушны? — не без усмешки вопросом на вопрос ответила мне Янковская.— Просто-напросто они отлично знают, что вы не Август Берзинь, а Дэвис Блейк.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

4. ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦАМ

«Час от часу не легче, — подумал я. — Из Андрея Семеновича Макарова я внезапно превратился в Августа Берзиня. И не успел выяснить, каким образом и для чего это превращение произошло, как мне сообщают, что я уже не Август Берзинь, а Дэвис Блейк!»

Было от чего прийти в недоумение...

Я, конечно, понимал, что участвую в какой-то игре, но что это за игра и для чего она ведется, мне было неясно, а особа, пытавшаяся двигать мною, как пешкой в шахматной игре, не хотела мне это объяснить.

В эти дни я ставил перед собой лишь одну цель: добраться как-нибудь до своих. Я понимал, что сделать это непросто: я находился в городе, захваченном врагом; весь распорядок жизни в Риге был строго регламентирован, и вряд ли кто мог оказаться за пределами наблюдения придирчивой немецкой администрации.

Августа Берзиня почему-то щадили, во всяком случае, оставляли в покое, но если Август Берзинь вздумает перебраться через линию фронта, навряд ли его пощадят, да и добраться до линии фронта было не так-то легко...

Для того, чтобы действовать увереннее, следовало разгадать тайну Августа Берзиня, присматриваться, выжидать, узнать все, что можно узнать. И лишь тогда...

Но внезапно тайна Августа Берзиня превратилась в тайну Дэвиса Блейка.

Жизнь, как всегда, была сложнее и запутаннее любого авантюрного романа. Герой романа, особенно романа авантюрного, принялся бы сопоставлять факты, делать всяческие предположения, строить различные гипотезы и посредством остроумных предположений в конце концов разгадал бы тайну; но я не владел методом индукции и дедукции столь совершенно, как детективы из криминальных романов, да и терпение мое, правду сказать, тоже истощалось...

Вчера Янковская сказала, что меня зовут Августом Берзинем, сегодня говорит, что я Дэвис Блейк, а завтра объявит Рабиндранатом Тагором...

Я решил заставить ее заговорить!

— Дэвис Блейк? — повторил я, и добавил: — Это вы мне тоже не объясните?

— Объясню, но несколько позже, — ответила она, как обычно. — Вам надо слушаться — и все будет хорошо.

Я сделал вид, что подчинился; я позволил нашему разговору уклониться в сторону, и мы заговорили о неизвестном мне Берзине, которого Янковская знала, по-видимому, довольно хорошо. Я принялся иронизировать над его условными белесыми акварелями, наш разговор перешел на живопись вообще, Янковская сказала, что ей больше всего нравятся пуантилисты, всем художникам она предпочитала Синьяка, умеющего составлять видимый нами мир из мельчайших отдельных мазков...

Внезапно я схватил ее за руки и вывернул их назад, совсем так, как это делают мальчишки.

Янковская закричала:

— Вы с ума сошли!

Было немножко неудобно обращаться так с женщиной, но меня вынуждали обстоятельства.

— Марта! — сдавленным голосом крикнула Янковская, но я бесцеремонно прикрыл ей рот ладонью.

Перевязью с портьеры я прикрутил ей руки к туловищу и насильно усадил в кресло.

По-видимому, она подумала, что я пьян, и решила подчиниться.

— Не нужно, — глухо пробормотала она. — Не нужно...

Но я уже понимал, с кем мне приходится иметь дело.

Без всяких церемоний я осмотрел ее; свой пистолет она обычно носила в сумочке или в кармане пальто, но никакая предосторожность не была с ней лишней.

Сдернутой со стола скатертью обвязал ей ноги и сел в кресло напротив.

— Поймите меня, Софья Викентьевна, — сказал я, — на этот раз вы в моих руках и будете мне отвечать. Даю слово, что в таком положении вы будете находиться до тех пор, пока не начнете говорить, а если так и не надумаете заговорить, я вас застрелю, а сам постараюсь добраться до своих, даже рискуя попасть в руки гестаповцев...

И Янковская, еще минуту назад растерянная, подавленная, готовая во всем мне подчиниться, вдруг ожила, подняла голову и пристально посмотрела на меня своими зелеными в это мгновение, как у кошки, глазами.

— Ах, вам угодно разговаривать? — насмешливо спросила она. — Извольте!

— Кто вы такая? — спросил я ее. — Говорите.

— Вы не оригинальны, — сказала она. — Так начинают все следователи. Софья Викентьевна Янковская. Я уже говорила.

— Вы знаете, о чем я вас спрашиваю, — сказал я. — Кто вы и чем вы занимаетесь?

— А что, если я скажу, что работаю в подпольной коммунистической организации? — спросила она. — Что мне поручено вас спасти?

— Сначала убить, а потом спасти?

Продолжение. См. «Огонек» № 20, 21, 22.

— Ну, хорошо, оставим эту версию, — согласилась она.— Я, разумеется, не коммунистка и не партизанка... — Она пошевелила руками. — Мне очень неудобно, — сказала она. — Вы можете меня развязать?

— Нет, — твердо ответил я. — Вы будете находиться в таком положении до тех пор, пока я не узнаю от вас все.

— Как хотите, — покорно сказала Янковская. — Я буду отвечать, если вы так настаиваете.

— Так кто же вы? — спросил я.— Хватит нам играть в прятки!

— Я? — Янковская прищурилась. — Шпионка, — сказала она так, точно назвалась портнихой или буфетчицей.

Впервые я сталкивался с женщиной, которая так вот просто называла себя шпионкой.

— На какую же разведку вы работаете? — спросил я.

Янковская пожала плечами.

— Предположим, что на английскую.

— А не на немецкую? — спросил я.

— Если бы я работала на немецкую, — резонно возразила Янковская, — вы находились бы не здесь, а в каком-нибудь лагере для комиссаров, евреев и коммунистов.

— Допустим, — согласился я. — Ну, а кто ваш начальник? Он здесь?

— Да, он здесь, — многозначительно сказала Янковская.

— Кто же он? — спросил я.

— Вы, — сказала Янковская.

— Обойдемся без шуток, — сказал я. — Отвечайте серьезно.

— А я серьезно, — сказала Янковская. — Мой непосредственный начальник именно вы, вы и никто другой.

Она действительно говорила вполне серьезно.

— Объяснитесь, — попросил я ее. — Я не понимаю вас.

— О! — снисходительно воскликнула она. — В моих объяснениях нет ничего сложного. Будь у вас в таких делах опыт, вы бы сами обо всем догадались...

Она строго посмотрела на меня, на мгновение в ее серых глазах сверкнули искорки не то насмешки, не то гнева, но она тотчас подавила вспышку своего обиженного самолюбия, и на ее лице опять появилось выражение равнодушия и усталости.

— Я хотела исподволь подготовить вас к вашей новой роли, — спокойно и негромко сказала Янковская. — Но раз вы торопитесь, пусть будет по-вашему...

И она заговорила, наконец, о том, что интересовало меня не из пустого любопытства, потому что игра, в которой мне пришлось принимать участие, велась на человеческие жизни; заговорила, хотя ей не очень-то хотелось говорить.

— Для того, чтобы проникнуть в самую суть вещей, надо понять меня, — произнесла она с вызывающей самоуверенностью, но таким тихим голосом, что человек, не сталкивавшийся с ней при таких обстоятельствах, как я, обязательно принял бы ее самоуверенность за искренность. — Но так как понять меня вы и не сможете и не захотите, постараемся касаться меня поменьше...

Она усмехнулась и сразу перешла к тому, что сочла нужным довести до моего сведения.

— Дэвис Блейк появился в Риге лет пять или шесть назад, сама я приехала в Ригу позже. Назывался он Августом Берзинем. Существовал ли на свете подлинный Август Берзинь, я не знаю. Сын состоятельных родителей, художник, получивший специальное образование в Париже, он не возбуждал подозрений. Возможно, что подлинный Август Берзинь действительно существовал, действительно был художником и действительно отправился в свое время заканчивать образование в Париж. Возможно. Но из Парижа в Латвию вернулся уже другой Берзинь. Не знаю, куда делся подлинный Август Берзинь. Может быть, остался в Париже, может быть, уехал в Южную Америку, может быть, погиб при автомобильной катастрофе... Родители Августа Берзиня к тому времени умерли, и уличить Дэвиса Блейка в подлоге было некому. А если некоторым старым знакомым казалось, что Август не совсем похож на себя, этому находилось объяснение: годы отсутствия меняют многих людей, да еще годы, проведенные в таком городе, как Париж! Вам, конечно, понятен смысл этого маскарада? Дэвис Блейк, сотрудник Интеллидженс сервис, был назначен резидентом в Прибалтике. Местом своего пребывания он избрал Ригу. Этот город недаром называли ярмаркой шпионов. Географическое и политическое положение Риги сделало ее скопищем различных авантюристов, именно здесь скрещивались и расходились пути многих разведывательных служб. Блейк делал свое дело, связи его расширялись. Меня командировали на помощь Блейку...

— И вы, позавидовав его лаврам, — вмешался я, — решили его устранить и занять освободившееся место?

Моя собеседница подарила меня взглядом, выражавшим одновременно и сострадание и презрение: с ее точки зрения я обнаруживал чрезмерную наивность, рассуждая о делах секретной службы.

— Вы глубоко заблуждаетесь, — снисходительно возразила она. — Было бы слишком нерасчетливо убирать с дороги тех, кто вместе с вами идет к одной цели... — Она несколько оживилась. — Мы жили достаточно дружно, — продолжила она свой рассказ. — Но чем сложнее события, тем труднее работа разведчика. Захват немцами Польши, оккупация Франции, провозглашение советской власти в прибалтийских республиках... Жизнь движется с калейдоскопической быстротой, и разведчик, никому неведомый и почти беззащитный агент секретной службы, нередко призван то ускорять, то замедлять движение истории...

— Вы неплохо поэтизируете профессию шпиона, — прервал я свою собеседницу. — Но это теория...

— Правильно, практика грубее и страшнее, — согласилась Янковская. — В тот вечер, когда вы познакомились со мной, Блейка застрелили...

— Кто? — перебил я Янковскую.

— Это не установлено, — уклончиво ответила она. — Застрелили Блейка и...

— Застрелили меня, — договорил я. — Можно догадаться, почему застрелили Блейка, но для чего было убивать меня?..

— Ах, без причины не делается ничего, — сказала Янковская. — Вы стали свидетелем происшествий, которые не должны иметь свидетелей...

— По вашей милости, — сказал я. — Я не навязывался вам в попутчики...

— Это неважно...— Она точно отмахнулась от моего упрека. — Но вы оказались счастливее Дэвиса...

— По причине вашего неумения стрелять?— спросил я.

— Нет, стрелять я умею, — возразила она.— Но в момент, когда я в вас целилась, мне пришла мысль сохранить вас и подменить вами Блейка...

— Убитого немецкой разведкой? — спросил я. — Мне ведь нужно знать, кем убит Блейк.

— Я же сказала вам, что это не установлено, — повторила Янковская. — С таким же успехом это могла сделать и советская разведка.

Я не хотел с ней спорить.

— Но для чего нужен вам я? — спросил я.

— О, это очень важно, — охотно пояснила Янковская. — Важно, чтобы англичане и немцы думали, что Блейк жив. Если Интеллидженс сервис узнает, что Блейк погиб, сюда пришлют другого резидента, и кто знает, как я еще с ним сработаюсь. А немцы, кроме того, имеют на Блейка свои виды, и в ваших интересах их не разочаровывать. Думаю, что они попытаются вас завербовать, и вам придется делать вид, что вы работаете и на англичан и на немцев.

— А если я не буду делать вид, что на кого-то работаю? — поинтересовался я. — Что тогда?

— Тогда вы отправитесь вслед за бедным Дэвисом, — просто сказала Янковская. — В этой игре никто никому не дает форы.

— А если я все же не соглашусь? — повторил я. — Какие у вас гарантии, что я не воспользуюсь первым представившимся мне случаем и не убегу к своим?

— Привязанность к жизни, — уверенно возразила Янковская. — Вы нормальный человек и хотите жить, а в Советской России вас ждет расстрел.

— Расстрел? — удивился я. — За что?

— Не так уж сложно вызвать подозрение к человеку, — сказала Янковская. — Не большой труд дать русским понять, что вас завербовали и перебросили обратно для шпионажа. Вы уже достаточно скомпрометированы связью со мной...

Я действительно хотел жить. Но смерть я предпочел бы бесчестию. Как бы меня ни пытались скомпрометировать, все равно я решил бежать к своим. Но сделать это надо было умно, и поэтому на какое-то время приходилось вступить в игру, которую предлагала Янковская.

— Чего же вы от меня хотите? — спросил я.

— Прежде всего, чтобы вы меня развязали, у меня затекли руки и ноги, — ответила она. — А затем, чтобы вы были Дэвисом Блейком, для начала этого достаточно.

Я развязал ее; убивать меня ей не было расчета, а убивать ее я не собирался, тем более что без предварительной подготовки бежать из Риги просто было невозможно.

— Но вы так и не объяснили мне всей этой истории с поцелуем, — сказал я. — Кто же все-таки находился тогда ночью в машине, и почему вы очутились на лестнице?

— Ах, это все частности! — небрежно сказала она. — Как-нибудь узнаете, не в этом суть.

— А в чем же?

— В завтрашнем дне. Надо действовать, а не оглядываться назад.

— Что же мне надо делать?

— Быть Дэвисом Блейком, я уже сказала. — Для начала этого достаточно.

— А вы не думаете, что Блейк, которого вы предлагаете мне изображать, может быть изобличен? — возразил я.

— О, нет, это предусмотрено, — объяснила она. — У Берзиня был свой круг знакомых, но те, кто кренил вправо, бежали из Риги в первые дни ее советизации, а те, кто кренил влево, эвакуировались вместе с советскими учреждениями, и, наконец, если ваша личность не вызывает никаких сомнений ни у вашей кухарки, ни у вашей любовницы, кто еще посмеет усомниться в том, что вы не Август Берзинь?

— Кто моя кухарка и что она думает, я уже знаю. Но что касается любовницы, дело обстоит несколько хуже: я не знаю, кто она.

— А вы не догадались? — насмешливо спросила Янковская, расправляя затекшие руки. — В противном случае вряд ли я была бы так хорошо посвящена в дела Блейка!

Янковская прошлась по комнате.

— Вот что, Август, — деловито сказала она. — Я пойду в ванную и приведу себя в порядок, а вы переоденьтесь, и мы проверим, действительно ли вы так похожи на Берзиня, как это кажется мне.

И я послушался ее, потому что мне не оставалось ничего другого.

Мы спустились вниз, знакомый автомобиль стоял у подъезда.

— Это чья машина? — спросил я.— Ваша или моя?

— Ваша, — ответила Янковская. — Но я не хочу, чтобы она находилась сейчас в вашем распоряжении.

Это было понятно.

Она опять села за руль, машину она водила хорошо.

— Куда мы едем? — спросил я. — Это не секрет?

— Нет, — ответила она. — К профессору Гренеру, кому вы в значительной степени обязаны своим выздоровлением.

— К тому самому аисту, которого мне довелось видеть в госпитале? — догадался я. — Под каким же именем я буду ему представлен?

— Он знает вас под именем Августа Берзиня. Но подозревает, что вы Дэвис Блейк.

— Не без вашей помощи? — спросил я.

— Нет,— ответила она.— Немцы и без меня знали, что под именем Августа Берзиня скрывается Дэвис Блейк.

— Но если они знают, что я английский шпион, почему бы им меня не арестовать? — поинтересовался я. — Англия находится с Германией в состоянии войны!

— Не будьте наивны, — снисходительно сказала Янковская. — Они имеют на вас далеко идущие виды. Неужели вы думаете, что они

стали бы так старательно лечить какого-то там латыша?

— Так вот почему этот профессор цитировал мне Шекспира!

— Конечно, немцы уверены, что вы стали жертвой советской разведки.

— А что представляет из себя этот ваш Гренер?

— О, Гренер! Вам следует с ним подружиться. В Риге он представляет не только медицинскую службу, он влиятельная фигура в гитлеровской администрации. Видный профессор, он вступил в нацистскую партию еще до прихода Гитлера к власти. С ним лично знаком Геббельс, у него большие международные связи, и он даже выполнял какие-то специальные поручения гитлеровцев за границей...

— Аттестация что надо, — сказал я. — Только я не верю, что он хороший врач; хороший врач не пойдет на службу к этим выродкам...

— Вы опять рассуждаете по-детски, — возразила Янковская. — Неужели вы думаете, что среди гитлеровцев нет способных людей? Они бы тогда не продержались и месяца! А что касается Гренера, многие коллеги по партии даже упрекают его в излишней гуманности. Во всяком случае, именно такие люди, как Гренер, представляют в гитлеровской партии сдерживающее начало...

На одном из перекрестков нас задержало скопление машин и пешеходов. Янковская нетерпеливо выглянула из машины, и шуцман, — полицейские появились на улицах Риги чуть ли не на другой же день после занятия города немцами, — точно отодвинув своим жезлом все прочие машины в сторону, любезно кивнул, предлагая Янковской ехать...

Она умела обвораживать даже полицейских!

— А каким образом вы сами очутились в госпитале? — поинтересовался я. — Что вы там делали?

— Ухаживала за вами, — объяснила Янковская. — Мне разрешили ухаживать за вами. Немцы знали, кто вы такой, и понимали мои опасения. Мало ли о чем вы могли проболтаться, лежа без сознания. Поэтому всегда хорошо, когда около такого больного находится осведомленный человек...

Мы остановились у дома, который занимал профессор Гренер.

Судя по тому, что немецкая администрация отвела генералу Гренеру целый этаж в большом трехэтажном доме, он считался генералом не из последних.

Перед домом стояло несколько машин, у подъезда, разумеется, дежурил эсэсовец.

Однако он не остановил нас, когда мы подошли к двери, — или он знал Янковскую, или у него вообще был наметанный глаз.

Мы поднялись по лестнице, устланной ковром, и очутились в квартире профессора.

Все выглядело так, точно Гренер жил в этой квартире десятки лет. Во всем чувствовался немецкий порядок. Мебель была аккуратно расставлена, ковры тщательно вычищены, рамы картин сверкали позолотой.

Мы вошли в гостиную. У Гренера происходило что-то вроде небольшого приема. Трудно было допустить, что все эти спокойно разговаривающие друг с другом люди находились в чужом, завоеванном и враждебном городе.

Гренер сразу увидел Янковскую и пошел к ней навстречу. В генеральском мундире он казался еще более долговязым и худым, чем в белом халате. Его грудь украшал железный крест. Он оживленно закивал своей птичьей головкой, щелкнул каблуками и поднес к губам руку гостьи.

— Вы забываете меня, — упрекнул он Янковскую.— А старики обидчивы!

— Господин Берзинь, — назвала меня Янковская. — Он хотел лично поблагодарить вас.

— О, мы уже знакомы, и надеюсь, что подружимся! — приветливо воскликнул Гренер и выразительно посмотрел на Янковскую. — Хотя...

Он не отказал себе в удовольствии еще раз блеснуть передо мной цитатой из Шекспира:

Friendship is constant in all other things,
Save in the office and affairs of love.

Янковская холодно взглянула на Гренера.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она его.

— Дружба тверда во всем, но только не в делах любви, — перевел я.

— Это я поняла, — сказала Янковская и посмотрела на Гренера. — Но у вас не должно быть оснований меня ревновать.

— О, если бы я знал, что вы будете уделять столько времени господину Берзиню, — пошутил Гренер, — я бы запретил его лечить...

Янковская очень свободно, так, точно она была здесь хозяйкой, познакомила меня с гостями профессора.

Преимущественно это были офицеры, составлявшие ядро гитлеровской военной администрации в Риге, было несколько полуштатских, полувоенных чиновников, двое из них с женами, было несколько женщин без мужей и среди них какая-то артистка; женщины были в вечерних платьях, многих украшали драгоценности.

Наше появление отвлекло гостей Гренера от разговоров. На меня посматривали с интересом; вероятно, люди, находившиеся в этой аккуратной гостиной, слышали что-то обо мне. Но еще больше внимания вызывала Янковская. Ее здесь знали, и если женщины смотрели на нее с каким-то завистливым подобострастием, то многие мужчины поглядывали с откровенным вожделением.

Гренер подвел меня к какому-то мрачному субъекту в черной эсэсовской форме; на его лице смешно выделялись маленькие черные

усики, такие же, как у Гитлера, и явно крашенные, потому что волосы на голове этого субъекта были рыжими, как лисий хвост.

Субъект этот почему-то сидел в кресле, хотя возле него стояла дама, и молча созерцал окружающее его общество.

— Позвольте вас познакомить, — сказал Гренер. — Господин обергруппенфюрер Эдингер и его супруга... — И, в свою очередь, назвал меня.— А это господин Берзинь...— Он сделал паузу и многозначительно добавил: — Тот самый!

Я поклонился толстой бесцветной госпоже Эдингер, но господин обергруппенфюрер не дал нам как следует поздороваться.

— Сядь, Лотта, — строго сказал он жене, поднимаясь с кресла, и своими цепкими пальцами обхватил мою руку повыше кисти так энергично, будто сдавил ее наручником. — Пойдемте, господин Берзинь, — очень отчетливо сказал он. — Мы должны познакомиться.

Он повел меня в столовую, где несколько офицеров, стоя у стола, пили вино.

Обергруппенфюрер бесцеремонно раздвинул бутылки и поднял графин с бесцветной жидкостью.

— Мы в России и должны пить русский шнапс, — категорично сказал он, наполнил две большие рюмки и протянул одну мне. — Прозит!

Мы выпили.

— Сейчас будет музыка, — сказал обергруппенфюрер так, точно отдавал команду. — Поэтому надо наслаждаться музыкой. Идите к своей даме.

Действительно, в гостиной высокая красивая дама в розовом платье, которую называли артисткой, стояла у рояля и собиралась петь.

Я подошел к Янковской.

— Что это за тип? — спросил я ее шепотом, поведя глазами в сторону своего нового знакомого.

— Начальник гестапо Эдингер, — почти неслышно ответила Янковская. — Будьте с ним полюбезнее.

Я только вздохнул...

Мог ли я еще недавно вообразить, что мне придется очутиться в такой компании!

Тем временем дама в розовом платье запела. Она исполняла романсы Шумана. Это действительно была настоящая артистка, и успех ей был обеспечен в любой аудитории.

Она исполнила несколько романсов, ей аплодировали, негромко и недолго, как принято в светском обществе, и вдруг после Шумана, после мечтательного, мелодичного Шумана она запела «Хорста Весселя», любимую песню штурмовиков, песню гитлеровских головорезов...

Она пела со смущенным видом, отдавая дань обществу, в котором находилась, как будто конфузясь, точно делала что-то неприличное...

Да, это был не Шуман!

Лица слушателей побагровели, многие встали, кто-то начал даже подпевать...

Мне показалось, кликни кто-нибудь сейчас клич— и все устремятся на улицу грабить, жечь, резать...

После певицы, не ожидая приглашений, почти по-военному, к роялю подошел сам Гренер и сел на черный полированный табурет...

Если правильно говорят, что музыка выявляет душу людей, я бы сказал, что у Гренера совсем не было души. Играл он хорошо знакомые ему произведения, потому что почти не заглядывал в ноты, каждую музыкальную фразу проигрывал очень тщательно, но никогда в жизни я еще не слышал такой с у х о й игры. Сначала я удивился этой необычной сухости, но потом заметил, что Гренер почти не пользуется педалью. Ударит по клавише и оборвет звук,— звук не растет, не плывет, не вступает в общение с другими. Никогда раньше я не мог себе представить, что рояль можно превратить в барабан.

Гренер сыграл увертюру к «Мейстерзингерам», две прелюдии Баха и затем «Приглашение к танцу» Вебера...

Легкое, изящное «Приглашение»... Во что он его превратил!

Клавиши защелкали под его пальцами, точно кастаньеты, гостиная наполнилась треском...

И вот в то время, когда этот интеллектуальный нацист играл Вебера, я услышал за своей спиной хриплый шепот:

— Господин Берзинь, нам с вами надо встретиться.

Я обернулся. За моей спиной стоял обергруппенфюрер Эдингер.

— Зайдите ко мне в канцелярию, — продолжал Эдингер. — Я буду ждать вас в ближайшие дни.

«Тоже «приглашение к танцам», — подумал я, — приглашение, отказаться от которого в данный момент было для меня невозможно...»

Так я втягивался в игру, которая вряд ли могла окончиться чем-нибудь для меня хорошим!

После музыки нас пригласили ужинать. За столом прислуживали два денщика, выдрессированные, как хорошие лакеи. Легкий ужин, не слишком обильный, но очень изысканный: омары, сардины, паштет из дичи, потом отличные бисквиты и фрукты и очень много выпивки. Сначала пили и закусывали, потом пили без закуски, потом пили кофе и запивали его коньяком, потом пили без кофе...

Мне показалось, что не пил один Гренер, недаром Янковская назвала его сдерживающим началом.

Этот старый сухой человек подчеркнуто ухаживал за моей спутницей; она точно гальванизировала его, наполняя это холодное, надменное существо какими-то человеческими эмоциями.

Янковская, кажется, была единственной гостьей, которую Гренер вышел проводить в переднюю.

Она и отвезла меня домой.

Мы поднялись в м о ю квартиру. Марты не было видно: должно быть, она спала.

Нервы мои были взбудоражены, спать не хотелось. Я прошел в кабинет взять какую-нибудь книжку.

Когда я заглянул в спальню, Янковская сидела на моей кровати. У нее был какой-то понурый вид, точно она ожидала побоев.

Я вопросительно взглянул на нее, не понимая, почему она не уходит.

— Хотите, я останусь у вас? — спросила она.— Вы можете стать преемником Блейка во всех отношениях.

Я покачал головой.

— Неужели я вам не нравлюсь? — удивленно спросила она.

— Нравитесь. — Я старался говорить как можно искреннее. — Но еще не пришло время...

Я не хотел ее отталкивать, не следовало вооружать ее против себя; мне приходилось быть очень осторожным.

— Вы волевой человек, — насмешливо сказала Янковская. — Вы даже начинаете мне нравиться.

— Я вас не совсем понимаю, — сказал я. — Вероятно, вас связывало с Блейком какое-то чувство, как же вы можете искать близости с человеком, товарищи которого убили вашего любовника?

— Каких товарищей имеете вы в виду? — спросила она меня таким глухим голосом, точно разговаривала со мной откуда-то очень издалека.

— Я имею в виду советскую разведку, — сказал я. — Ведь вы говорили, что Блейка убила советская разведка?

— Ах, да при чем тут советская разведка!— устало произнесла Янковская. — Уж если на то пошло, Блейка убила я сама.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

5. НА СОБСТВЕННОЙ МОГИЛЕ

Пусть не посетуют на меня за то, что я почти ничего не говорю о тех грозных событиях, которые потрясали тогда весь мир. Я хочу описать всего лишь один эпизод в цепи многих событий того времени, описать так, как он сохранился в моей памяти.

Проводив Янковскую после того, как она призналась мне в убийстве Блейка, я долго раздумывал о причинах, побудивших ее убить своего любовника...

Почему она его застрелила?

Десятки раз задавал я себе этот вопрос, каждый раз отвечая на него по-другому и каждый раз тут же отвергая свое предложение.

Ревность? Ревность такой женщины, как Янковская, была бы, несомненно, жестоким и опасным чувством. Но я не допускал мысли, что кто-нибудь способен возбудить ее ревность, для этого она была слишком холодна и расчетлива...

Возмездие?.. Кому и за что? Янковская была слишком беспринципна, чтобы карать за измену каким-либо принципам, и достаточно цинична, чтобы не изображать из себя Немезиду...

Расчет? Но какой был ей расчет убивать Блейка, если даже пришлось прибегнуть к моей помощи, чтобы создать иллюзию того, что он жив?..

Я создавал гипотезу за гипотезой и столь же решительно их отвергал...

Наступило утро. Еще одно невыносимое для меня утро. Вынужденное безделье, тягостное ожидание...

Надо представить себе человека в моем положении, чтобы понять, как сложно оно было!

Я очутился в тылу врага. Придя в себя после болезни, вызванной опасным и тяжелым ранением, я вынужден был играть роль английского разведчика, навязанную мне особой, которая одновременно являлась и моим убийцей и спасительницей. Эта особа выдавала меня за убитого ею резидента английской разведки, и немцы поэтому оставляли меня в покое. Мне же приходилось играть эту роль потому, что немцы незамедлительно меня уничтожили бы, узнай они, кем я являюсь на самом деле.

Однако главное заключалось не в сохранении жизни, а в том, чтобы принять участие в происходящей борьбе и принести наибольшую пользу родине. С одной стороны, я очутился в очень выгодном положении, находясь среди врагов и принимаемый ими не за того, кем я был в действительности. С другой стороны, я был один, а в одиночестве бороться, как известно, неизмеримо труднее. Что же делать в этих условиях? Целесообразнее всего связаться с нашей разведкой, но это просто невозможно. Хорошо связаться с коммунистическим подпольем, в Риге наверняка действовали незримые народные силы, но они тоже для меня недоступны. Проще всего попытаться перебежать к своим, перейти линию фронта, но и для этого требовались величайшая предусмотрительность и осторожность. Можно не сомневаться, что хотя меня и оставляют в покое, но из виду, конечно, не теряют.

В поисках возможностей установить какие-либо связи и определить свое место в происходящей борьбе я пошел даже на безрассудный шаг и отправился на свою старую квартиру. Цеплис не мог не быть связан с антифашистским подпольем, такие люди никогда не уклонялись от выполнения своего долга. Безрассудным мое намерение было потому, что я мог привлечь внимание к нам обоим. Но желание найти в оккупированной Риге хоть одного верного человека было столь велико, что я пошел на этот риск.

Опыта в конспирации у меня никакого не было. Как обманывают бдительность сыщиков, я знал только по книгам о революционном подполье: руководствуясь ими, я долго кружил по улицам, наблюдал за прохожими и, внезапно сворачивая в переулки, напряженно ждал появления каких-либо любопытствующих личностей...

Лишь после такой подготовки я нырнул в ворота дома, в котором еще недавно обитал. Во дворе остановился, помедлил. Никто вслед за мной не появился. Через черный ход прошел на парадную лестницу и опять подождал. Все было спокойно. Тогда я поднялся на самый верх. Тишина! Спустился ниже, остановился перед своей бывшей квартирой и, не рискуя воспользоваться собственным ключом, с замиранием сердца позвонил... При гитлеровцах здесь вполне можно было нарваться на засаду!

Мне открыла дверь незнакомая, прилично одетая женщина с тонкими поджатыми губами.

— Простите, — сказал я.— Тут, кажется, жили Цеплисы...

— Цеплисы? — переспросила она и покачала головой.— Не знаю... Я не знаю никаких Цеплисов,— холодно повторила она, подозрительно посмотрев на меня, и вдруг чуточку смягчилась:— Впрочем, я живу здесь недавно... Если это жильцы, которые жили тут до прихода немцев, так вам лучше всего осведомиться о них в полиции,— решительно посоветовала она и, чуть помедлив, добавила: — Их, кажется, забрали в полицию...

Мне показалось, что она меньше всего хочет вступать со мной в разговор, потому что еще раз покачала головой и торопливо захлопнула передо мной дверь.

Однако, по существу, она сказала все, что требовалось узнать.

Я оглянулся — на лестнице не было никого — и тем же путем вернулся на улицу.

Рухнула единственная надежда!..

Впрочем, этого следовало ожидать. Трудно было предположить, что оккупанты оставят Цеплисов в покое, тем более, что агенты гестапо, заслан ные в Прибалтику еще задолго до войны, к приходу гитлеровских войск, несомненно, составили проскрипционные списки всех местных жителей, подлежавших обезвреживанию и уничтожению.

Милый, скромный, молчаливый Мартын Карлович Цеплис!..

Можно было только догадываться, что с ним случилось.

Во всяком случае, надежда на помощь с его стороны рухнула...

Оставалась только одна возможность — стать, так сказать, мстителем-одиночкой, мстить оккупантам сколько возможно и подороже продать свою жизнь. Вполне вероятно, что я вступил бы на этот путь, если бы...

Я понимал, что действовать в одиночку следовало только в крайнем случае, лишь окончательно убедясь, что отрезаны все другие пути. Поэтому некоторое время следовало выжидать, пытаться использовать для установления связи каждый случай, а до тех пор получше ориентироваться в окружающей обстановке, узнать как можно больше секретов и, в частности, попытаться использовать Янковскую в целях, которые отнюдь не совпадали с целями самой Янковской.

Наступило еще одно мое обычное и одновременно странное утро.

Я встал, побрился, умылся, равнодушно проглотил кашу и яйца, приготовленные для меня заботливой Мартой, прошел в кабинет, взял попавшийся мне под руку том Моммзена, полистал его... Нет, римская история мало интересовала меня в моем положении!

Так я сидел, решая задачу со многими неизвестными, и ожидал появления одной из унаследованных мною девушек. Пожалуй,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—23.

только посещения блейковских девиц и разнообразили мою жизнь.

Однако вместо какой-нибудь официантки или массажистки около одиннадцати часов появилась сама Янковская, свежая, бодрая и оживленная.

На ней был элегантный коричневый костюм, черная бархатная шляпа и такая же лента на шее. Она небрежно играла черными шелковыми перчатками и ни словом не упомянула о нашем вчерашнем разговоре. Впрочем, следует сказать, что больше она никогда уже не предпринимала попыток перейти границу установившихся между нами корректных и внешне даже приятельских отношений.

— All right? — спросила она. — Все в порядке?

— Если вы считаете мое безделье порядком, то в порядке.

— Как раз его-то я и хочу нарушить.— Она села поближе к письменному столу и испытующе посмотрела на меня. — Может быть, поработаем? — предложила она.

— Мне неизвестно, что вы называете работой,— нелюбезно отозвался я.

— То же, что и все, — примирительно сказала она и поинтересовалась: — Вы сегодня ждете кого-нибудь из девушек?

— Возможно, — сказал я. — Я не назначаю им времени для посещений, они приходят, когда им вздумается.

— Вы ошибаетесь, — возразила Янковская.— У каждой из них есть определенные дни и даже часы.— Она насмешливо посмотрела на меня.— Где их список?

Я удивился:

— Список?

— Ну да, не воображаете же вы, что они не состояли у Блейка на учете. Он был педантичный человек. Где ваша телефонная книжка?

Она сама нашла ее в пачке старых газет. Это была обычная узкая тетрадь в коленкоровом переплете для записи адресов и телефонов. В ней значилось много фамилий, по-видимому, друзей и знакомых, с которыми Блейк поддерживал отношения.

Янковская указала мне на эти списки:

— Вот и ваши девушки.

Их легко было выделить среди прочих адресов: около каждой из фамилий стояло прозвище или кличка: Пчелка, Лиза, Роза, Эрна, Яблочко — и уже затем адрес и место работы.

Законы конспирации были сведены здесь как будто на нет. Любой мало-мальски сообразительный человек, интересующийся деятельностью Августа Берзиня, без особого труда обнаружил бы его миловидных агентов. Но именно потому, что Блейк вербовал в число своих агентов только молодых и преимущественно хорошеньких женщин, перечень их естественнее было принять за донжуанский список художника Берзиня, чем за реестр секретных сотрудников резидента Блейка.

И все же мистер Блейк оригинальностью не отличался. Тот, кто мог догадываться об истинных занятиях Берзиня, легко догадался бы и о том, что и список и особы, в нем перечисленные, заведены лишь в целях дезинформации. Хотя я сам не был профессиональным разведчиком, я бы сказал, что это была грубая работа, рассчитанная на наивных людей.

Что касалось подлинной, более серьезной и более действенной агентуры, наличие которой следовало предположить, я не мог обнаружить ее следов, как не могла их обнаружить даже непосредственная сотрудница Блейка Янковская, но об этом я узнал позже.

Пока что она пыталась приспособить меня к деятельности, которой занималась сама.

— Кто из девушек ходит к вам наиболее часто? — спросила меня Янковская.

Я задумался.

— Кажется... кажется, такая полная блондинка, — неуверенно сказал я. — Если не ошибаюсь, она служит в парикмахерской..

— Ну, а теперь вспомните, когда она к вам приходила?

Я опять наморщил лоб.

— Мне кажется, она приходит раза два в неделю... Да, два раза в неделю, по утрам! По-моему, ее зовут Эрна...

— Следует быть более наблюдательным, — упрекнула меня Янковская. — Эти посещения надо как-то учитывать и отмечать получаемое девушками вознаграждение...

С наивной насмешливостью посмотрел я на своего ментора.

— Нанять бухгалтера?

— Нет, этого не нужно, — спокойно возразила Янковская. — Но ни один резидент не положится в таких делах на свою память...

Я вздохнул.

На самом деле я вел очень точный учет своим посетительницам. В спальне у меня имелось несколько коробок с пуговицами; голубая пуговка означала, например, Эрну, таких пуговок находилось в коробке семь, по числу ее посещений, а пять мелких черных брючных пуговиц свидетельствовали о том, что Инга из гостиницы «Савой» являлась всего лишь пять раз. Нет, я вел учет, который зачем-нибудь да мог пригодиться, но не хотел сообщать об этом Янковской.

— А, кроме девушек, к вам никто больше не приходил? — спросила она меня затем как бы невзначай.

— Приходил, — сказал я. — Владелец какого-то дровяного склада.

— И чего он от вас хотел?

— Чтобы я приобрел у него дрова на тот случай, если в нашем доме перестанет действовать паровое отопление.

Янковская испытующе посмотрела на меня.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Этот посетитель и в самом деле ни о чем больше со мной не разговаривал и только в течение всего нашего разговора держал в руке почтовую открытку, на которой были изображены какие-то цветы...

Но хотя я не собирался в каждом посетителе видеть секретного агента или шпиона, визит этого торговца показался мне странным, он явно чего-то ждал от меня, это чувствовалось. Вполне логично было предположить, что он произнес какой-то пароль и что я мог вступить с ним в общение, которое помогло бы мне ближе познакомиться с практической деятельностью Блейка, но я не знал ни пароля, ни отзыва и, можно сказать, мучился от сознания своего бессилия. Однако и об этом я тоже не нашел нужным говорить Янковской.

— Вы все-таки записывайте всех, кто к вам заходит, — попросила Янковская. — Дела любят порядок, и если вы начнете ими заниматься, ваша жизнь сразу станет интереснее.— Она переменила тему разговора: — О чем вчера говорил с вами Эдингер?

— Звал в гости.

— Серьезно?

— Сказал, что нам надо встретиться, и пригласил заехать к нему в канцелярию.

— Когда же вы к нему собираетесь?

— Я не спешу.

— Напрасно. Не откладывайте этого свидания: в сегодняшней Риге это один из могущественнейших людей. Добрые отношения с ним гарантируют безопасность...

Она настаивала на том, чтобы я поехал к Эдингеру в тот же день, да я и сам понимал, что не стоит откладывать посещения.

Гестапо занимало многоквартирный шестиэтажный дом, и в комендатуре было полно штурмовиков, они пренебрежительно оглядели меня, точно я зашел туда по ошибке.

Я подошел к окошечку, где выдавались пропуска.

— Мне нужно к господину Эдингеру, — сказал я и протянул паспорт.

— Обергруппенфюрер не принимает латышей, — грубо ответил мне какой-то надменный юнец. — Проваливайте!

Это было необычно для немцев: с теми, кто был им нужен, они обращались вежливо, по-видимому, комендатура не была предупреждена обо мне.

Мне с неохотой позволили позвонить по телефону. Я попросил соединить меня с Эдингером, и его секретарь, как только я себя назвал, ответил, что все будет немедленно сделано.

Действительно, не прошло нескольких минут, как тот же самый юнец, который предложил мне убираться, выскочил из-за перегородки с пропуском, отдал мне честь и предложил проводить до кабинета обергруппенфюрера.

Мы поднялись в лифте, и когда я со своим провожатым шел по коридору, навстречу мне попались два эсэсовских офицера в сопровождении человека без знаков различия, но тоже в черном мундире, рукав которого украшала устрашающая эмблема смерти — череп и две скрещенные кости.

Человек показался мне знакомым; потом я решил, что ошибся; я посмотрел внимательно и узнал Гашке, того самого Гашке, вместе с которым лежал в госпитале.

Он шел позади офицеров, с коричневой папкой под мышкой, важный, сосредоточенный, ни на что не обращающий внимания, настоящий самодовольный гитлеровский чиновник.

Я пристально смотрел на Гашке, меня интересовало, узнает ли он меня, но он кинул на меня равнодушный взгляд и прошел мимо с таким видом, точно мы никогда с ним до этого не встречались.

Мы вошли в приемную, мой провожатый откозырял секретарю, и меня без промедления попросили зайти к обергруппенфюреру.

Эдингер со своими рыжими прилизанными волосами и черными усиками выглядел все так же смешно, как и на вечере у профессора Гренера, в нем не было решительно ничего страшного, хотя в городе о нем рассказывали всякие ужасы, говорили, что он пытает людей на допросах и собственноручно «обезвреживает» коммунистов, что на языке гитлеровцев было синонимом слова «убивать».

Эдингер был воплощенной любезностью.

— Прошу вас... — Он указал мне на кресло. — Перед вашим приходом я читал нашего дорогого фюрера, — торжественно сообщил он.— Какая книга!

Я было подумал, что он паясничает, но на его столе действительно лежала гитлеровская «Моя борьба», и пухлое лицо Эдингера выражало самое подлинное умиление.

В течение некоторого времени он вел себя, как базарный агитатор: выражал восторги по адресу фюрера, говорил о заслугах национал-социалистской партии, восхищался будущим Германии...

Но, воздав богу богово, он сразу перешел на фамильярно-деловой тон:

— Вы позволите...—Он на мгновение замялся.— Вы позволите не играть с вами в прятки?

— Прошу вас, — ответил я ему в тон. — Я сам стремлюсь к полной откровенности.

Эдингер просиял.

— О господин Блейк! — воскликнул он. — Для германской разведки не существует тайн

Я сделал вид, что поражен его словами; человек менее самовлюбленный, чем Эдингер возможно, заметил бы, что я даже переигрывал.

— Ничего, ничего, не огорчайтесь, — добродушно промолвил Эдингер и похлопал меня по плечу. — Мы умеем смотреть даже сквозь землю!

Я вежливо улыбнулся.

— Что ж, это делает честь германской разведке.

— Да, милейший Блейк, — самодовольно продолжал Эдингер. — Мы знали о вас в те дни, когда Латвией управлял Ульманис, наблюдали за вами, когда Латвия стала советской, и, как видите, нашли, когда сделали Латвию своей провинцией. Еще никому не удалось от нас скрыться.

На этот раз я не улыбнулся, напротив, я старался смотреть на своего собеседника возможно холоднее.

— Что вы хотите всем этим сказать? — спросил я.— Допустим, вам известно, кто я, что же дальше?

— Только то, что вы в наших руках, — произнес Эдингер менее уверенным тоном. — Когда солдат попадает в плен, это на всех языках называется поражением.

— Неудача отдельного офицера не есть поражение нации, — возразил я с холодной вежливостью. — Не забывайте, что я разведчик, а разведчик всегда готов к смерти. Такова наша профессия: поражать и, увы, всегда быть готовым к тому, что могут поразить и тебя самого.

Я понимал, что все, что я говорил, было в известной степени декламацией, но я также понимал, что декламация производит впечатление не только на сцене.

— Мне приятно, что вы это понимаете, — удовлетворенно сказал Эдингер. — В таком случае поговорим о стоимости выкупа.

Я выпрямился в своем кресле.

— Я еще не продан и не куплен, господин Эдингер!

— Неужели вы не боитесь смерти? — вкрадчиво спросил меня мой собеседник. — Поверьте, смерть — это небольшое удовольствие!

— Английский офицер боится только бога и своего короля, — ответил я с достоинством. — А с вами мы, господин Эдингер, только коллеги.

— Вот именно, вот именно! — воскликнул Эдингер. — Именно потому, что я считаю вас своим коллегой, я хочу не только сохранить вам жизнь, но и позволить вам продолжать свою деятельность!

Я настороженно прищурился.

— А что вы от меня за это потребуете?

Эдингер серьезно посмотрел на меня.

— Стать нашим агентом.

Конечно, я понимал, каково будет предложение Эдингера... Другого не могло быть! Разоблаченный разведчик либо перевербовывается, либо умирает... Понимал это и мой собеседник, а говорил со мной потому, что заранее был уверен в ответе. Речь шла только о цене Эдингер мерил Блейка на свой аршин; думаю, что сам Эдингер в подобных обстоятельствах предпочел бы измену смерти.

Что ж, мне приходилось поступиться честью мистера Блейка, хотя позу, принятую в этом разговоре, следовало сохранить!

— Вы должны меня понять, господин Эдингер, — сдержанно произнес я. — Я не могу действовать во вред своему отечеству...

— От вас этого и не требуют, — примирительно сказал Эдингер. — Нам просто нужны сознательные английские офицеры, которые понимают, что Англии не по пути с евреями и большевиками. Мы сумеем переправить вас в Лондон, хотя там должны думать, что вы самостоятельно и вопреки нам героически преодолели все препятствия. Вы будете продолжать свою службу и снабжать нас информацией.

Это было необыкновенно благоприятное стечение обстоятельств: советского офицера принимали за агента английской секретной службы и предлагали поступить на службу в немецкую разведку; я мог оказаться очень полезен нашему командованию, но это благоприятное стечение обстоятельств сводилось на нет тем, что у меня не было еще возможностей связаться со своими...

Пока что оставалось одно: до поры до времени изображать из себя Берзиня, Блейка и кого только угодно, заставить окружающих меня людей думать, будто я одержим всякими колебаниями, дождаться удобного момента, пойти на любую мистификацию и перебраться через линию фронта...

— Господин Блейк, я жду, — внушительно сказал Эдингер. — Не заставляйте меня повторять лестное предложение, о котором известно даже рейхслейтеру Гиммлеру.

— Но это так неожиданно, — неуверенно произнес я. — Я должен подумать...

— Не стоит выбирать между дворцом и тюрьмой, — перебил меня Эдингер.

— Все же я должен подумать, — твердо возразил я. «Пусть Эдингер,— иронически подумал я, — не воображает, что так просто купить английского офицера!»

Эдингер испытующе смотрел на меня своими оловянными глазами.

— Ну, а что будет иметь в результате всего этого ваш покорный слуга? — деловито осведомился я. — Для того, чтобы жить, надо еще кое-что иметь. Что мне даст эта... переориентировка?

— Нас никто еще не упрекал в скупости, — гордо сказал Эдингер.— Ваши расходы по сбору информации будут регулярно оплачиваться.

— В какой валюте? — цинично спросил я.

— В рейхсмарках, конечно, — заявил Эдингер. — Это не так плохо!

— Но и не так хорошо, — пренебрежительно возразил я. — Марка обесценена...

— Пусть в фунтах или в долларах, — сразу согласился Эдингер и поспешил добавить: — А после окончания войны назначенное нами английское правительство предоставит вам высокий пост.

Он говорил вполне серьезно, этот ограниченный человек, и, как мне кажется, верил в то, что говорил, и не сомневался в моем согласии.

Но я подумал, что мне выгодно затянуть торговлю: в глазах немцев это укрепит позиции Блейка, а майора Макарова сделает еще недосягаемее.

— Все же я настоятельно прошу вас, господин обергруппенфюрер, — сказал я, — дать мне какое-то время.

Эдингер встал.

— Хорошо, я даю вам неделю, — высокопарно произнес он. — Но не забывайте: мы без вас обойдемся, а вам без нас уже не обойтись.

Я не сомневался, что этот рыжий обергруппенфюрер с удовольствием запрятал бы меня в концлагерь, но уж слишком было заманчиво завербовать на свою сторону офицера секретной службы противника, и поэтому этот эсэсовец не только сдерживал себя, но даже любезно проводил до дверей своего кабинета.

Янковская дожидалась моего возвращения у меня дома, она придавала встрече с Эдингером большое значение.

— Ну что? — спросила она, как только я вернулся.

— Предложил стать агентом германской разведки и обещал перебросить в Лондон.

— А вы? — нервно спросила Янковская.

— Попросил неделю срока.

— Надо соглашаться, — нетерпеливо сказала она.

— И ехать в Лондон? — насмешливо спросил я. — Для мистера Блейка там не найдется места!

— Вы сможете остаться здесь, — продолжала уговаривать меня Янковская. — Немцы пойдут на это.

— А какая им польза от меня здесь? Истреблять латышей они сумеют и без меня.

— Они оставят вас для того, чтобы выявить вашу агентуру.

— Этих девчонок? — удивился я.

— Ах, да не в девчонках дело! — с досадой промолвила Янковская.— Как вы не понимаете, что все эти девицы существуют лишь для отвода глаз? Эти девушки — ширма, они годятся только для дезинформации. Настоящую агентурную сеть — вот что им нужно! Настоящих агентов Интеллидженс сервис, которые, как всегда, законспирированы так, что до них не добраться ни богу, ни черту! Вот из-за чего идет игра, как вы не понимаете!

— А кто же подлинные агенты? — спросил я.

— Например, я! — откровенно воскликнула Янковская. — Но есть и другие, представляющие немалую ценность.

— Кто же это?

— Если бы я знала! Этого Дэвис мне не говорил. Не забывайте, он был работником Интеллидженс сервис! Без помощи Блейка, настоящего или поддельного, их невозможно найти!

О том, что у Блейка имелась особая агентурная сеть, существовавшая специально для того, чтобы скрывать подлинную агентуру, догадаться было нетрудно: в отличие от немецкой или японской разведок, которые всегда стремились иметь широко разветвленную агентуру, английская секретная служба предпочитала иметь агентов немногочисленных, но проверенных, серьезных и тщательно засекреченных. Тем не менее все, что говорила Янковская, было очень важно; она не только подтверждала мои догадки, но и в какой-то мере могла помочь выявить английскую агентуру в Прибалтике. Нечего и говорить, как это было бы ценно. Правда, эти сведения надо еще будет передать, но я надеялся, что к тому времени, когда я узнаю какие-либо достоверные факты, я налажу необходимые связи...

Однако, судя по поведению Янковской, она и мысли не допускала, что я свяжусь с советской разведкой, и меня интересовало, на чем основана эта ее уверенность. Самое лучшее было не играть с ней в этом вопросе в прятки, поэтому я прямо, в лоб и задал ей свой вопрос:

— А почему вы думаете, что, выявив агентуру Интеллидженс сервис, я не передам эти сведения советской разведке?

— А потому, что вы хотите жить, — уверенно ответила Янковская. — Вы не успеете открыть у своих рта, как будете расстреляны.

— Почему? — спросил я, недоумевая. — За такие сведения людей не расстреливают...

— Но вы уже умерли, — нетерпеливо перебила она меня. — Неужели вы не понимаете?

— Нет, не понимаю. Меня не требуется щипнуть за ухо для доказательства того, что я не сплю.

— Но я ущипну вас, — сказала она. — Поедемте.

Со свойственной ей стремительностью она повлекла меня за собой. Мы спустились вниз, сели в машину. Она привезла меня на кладбище.

Тот, кто бывал в Риге и не посетил городского кладбища, может считать это своим упущением. Оно великолепно и похоже на музей. Монументальные гробницы и статуи производят большое впечатление. Много человеческих поколений нашло здесь приют и каждое оставило свой след...

Янковская взяла меня за руку и повлекла по аллеям. Она шла быстро, ни на что не обращая внимания, все дальше и дальше, мимо гранитных плит и чугунных крестов, сворачивая с дорожки на дорожку.

Она привела меня в ту часть кладбища, где находили успокоение наши современники. Здесь было больше песка и меньше зелени, и памятники здесь были гораздо скромнее: современные люди как-то меньше вступают в спор с быстротекущим временем.

Она подвела меня к какой-то могиле.

— Смотрите! — холодно сказала Янковская.

Я равнодушно посмотрел на могильный холм, обложенный дерном, на небольшую доску из красного гранита, на анютины глазки, росшие у подножия, и пожал плечами.

— А, да какой же вы бестолковый! — с досадой воскликнула Янковская. — Читайте!

Я склонился к доске.

«Майор Андрей Семенович Макаров. 23.1.1912—22.VI.1941».

Да, это было странно... Странно было стоять на собственной могиле...

Потом что-то кольнуло меня в сердце.

Тревожные июньские дни 1941 года! Первые дни войны! И вот, в т а к и е д н и мои товарищи нашли время поставить на моей могиле памятник! Поставили надолго, чтобы меня можно было найти, чтобы ко мне можно было прийти...

— Теперь вы убедились, что с майором Макаровым все покончено? — оторвала меня от моих мыслей Янковская. — Игрок выбыл из команды, за честь которой сражался. Но так как игрок все же существует, приходится искать новую команду. В мире существует не Макаров, а Блейк, и вам придется с этим примириться.

— А если Блейк захочет опять стать Макаровым? — спросил я.

— Тогда его похоронят вторично, — непререкаемо произнесла Янковская. — Как только вы очутитесь на советской стороне, мы дадим понять, что вы Блейк, а не Макаров. Мы дадим понять, что Макарова для того и убили, чтобы Блейк мог выступить в его роли. Мы постараемся внушить вашим судьям, что Макаров на самом деле всегда был Блейком. И вы знаете, во время войны долго не разбираются...

Да, во всем том, что говорила и делала Янковская, во всем том, что делали разведки всех империалистических государств, было много логики и правильного расчета, они не учитывали только одного: они не знали людей, против которых обрушивали свои козни...

Но, с другой стороны, мы были такими же людьми, как и они, со всеми их недостатками и пороками, мы умели хитрить, притворяться, мстить, и я решил, что в данном случае мне тоже надо и хитрить, и притворяться, и мстить...

Я молча пошел от «своей» могилы, и Янковская, не говоря ни слова, догадываясь, какие чувства разрывают мне грудь, и понимая их, конечно, по-своему, неслышно последовала за мной.

Она довезла меня до дому, остановила машину и положила свою руку на мою.

— Ничего, Август, ничего, — шепнула она.— Жизнь вышибла вас из седла, но вы сильный человек и найдете еще свое место в жизни.

Она была уверена, что вышибла меня из седла, и думала, что я подавлен, а я не хотел ее разочаровывать.

— Оставьте меня в покое, — с нарочитой грубостью ответил я. — Дайте мне побыть одному.

— Конечно,—немедленно согласилась она.— Я заеду к вам вечером.

Она уехала, а я поднялся к себе.

Мне действительно надо было побыть одному. Следовало продумать все свое поведение. Пора уже было действовать, и я мучительно ломал себе голову над тем, как установить необходимые связи.

Но как это всегда бывает, пока я раздумывал, как, находясь среди чужих, отыскать своих, с в о и искали меня и по каким-то непонятным признакам признали во мне своего.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

6. БИДОНЫ ИЗ-ПОД МОЛОКА

Вскоре после моего возвращения в комнату зашла Марта и сказала, что меня спрашивает какой-то мужчина.

Я вышел в переднюю. Там стоял незнакомый человек.

«Это еще что за птица?» — подумал я, глядя на посетителя.

Это был сравнительно молодой человек с открытым и добрым лицом — в глазах его, я бы сказал, светилась даже излишняя мягкость,— примерно тех же лет, что и я, может быть, чуть старше, одетый в очень дорогой костюм и в отличной фетровой шляпе персикового оттенка.

Незнакомец скорее понравился мне, чем не понравился, хотя сразу возбудил мои подозрения. Чем-то он вызывал к себе чувство симпатии, и в то же время во всем его облике было что-то деланное.

Я вопросительно смотрел на посетителя.

— Вы господин Берзинь? — Он обратился ко мне по-латышски, но языком этим он владел далеко не безупречно.

— Допустим,— сказал я.— Чего вы хотите?

Он оглянулся, но Марта уже ушла, она была хорошо вышколена Блейком.

— Может быть, мы выйдем из дома? — попросил он меня и откровенно добавил: — Так будет лучше...

Все последнее время я жил в обстановке такого нагромождения тайн, что никакая новая тайна не могла уже меня удивить: всякую тайну я воспринимал лишь как естественное звено в цепи дальнейших событий.

— Хорошо,— согласился я и взял шляпу.— Погуляем.

Мы пошли по улице, как два фланирующих бездельника.

— Может быть, перейдем на английский язык? — предложил мой спутник и тут же заговорил на хорошем английском языке.— Я рад, что нашел вас.

— Кто вы и что вам от меня надо? — строго перебил я его.

— Приятно находить то, что ищешь,— продолжал мой спутник, уклоняясь от прямого ответа на вопрос.

— Кто вы? — повторил я.— Что вам от меня надо?

— Не нужен ли вам шофер? — спросил тогда незнакомец.— Сейчас трудно найти хорошего шофера, почти все шоферы мобилизованы.

Основываясь на том, что мой собеседник хорошо говорит по-английски, я подумал, что он-то как раз и принадлежит к числу тех полноценных секретных агентов, которыми Блейк руководил в Прибалтике. В словах, с которыми он обращался ко мне, содержался, несомненно, пароль, но я не знал его, как не знал и отзыва. Я шел и гадал, какая фраза является паролем: «Приятно находить то, что ищешь» или «Не нужен ли вам шофер?»

А мой собеседник продолжал тем временем разговор.

— Мне просто повезло,— говорил он.— У меня плоская стопа, и я освобожден от военной службы...

Мы дошли до бульвара.

— Сядем? — предложил мой спутник.

Мы сели. Он осмотрелся по сторонам. Поблизости не было никого.

— Теперь познакомимся,— сказал незнакомец по-русски.— Капитан Железнов.

Такой прием для провокатора был слишком наивен, но я должен был заподозрить в нем провокатора; кто знал, какие подозрения вызывал я у немцев и кого могли они ко мне подослать!

—Я не понимаю вас,— ответил я по-английски.— На каком языке вы говорите?

— Да бросьте, нас никто не слышит,— просто и задушевно произнес незнакомец, назвавшийся капитаном Железновым.— Я знаю, что вы майор Макаров, и потому я к вам и пришел.

— Я вас не понимаю,— опять повторил я по-английски.— Чего вы от меня хотите?

— Да вы не опасайтесь, товарищ Макаров,— взмолился незнакомец, продолжая говорить по-русски.— Здесь нас никто не услышит.

Не могу передать, как мне было приятно слышать родную речь, да и поведение моего свалившегося точно с неба собеседника было слишком наивно для провокатора, но, как говорится, береженого бог бережет, а я вовсе не хотел рисковать понапрасну своей головой.

— Прекратите эту нелепую сцену,— сухо сказал я, не изменяя английскому языку.— Вы мне просто подозрительны, и вас следовало бы передать в руки сотрудников гестапо.

Но он был настойчив, этот человек, появившийся неизвестно откуда.

— Товарищ Макаров, я же все про вас знаю,— умоляюще произнес он.— Вас зовут Андрей Семенович, вы работник нашего генштаба; здесь, в Риге, вас пытались убить и даже сочли убитым... Я к вам от полковника Жернова...

Все это было верно, только не было у меня уверенности в моем собеседнике. Иностранные разведки тоже не лыком шиты, и если меня сумели убить, почему бы им не попытаться меня обмануть?

— Или вы будете говорить со мной на языке, который я понимаю,— строго сказал я,— или я позову полицейского!

Мой себеседник с досадой посмотрел на меня.

— Вы чересчур осторожны или вы не тот, к кому меня направили,— заговорил он наконец по-английски.— Полковник Жернов будет очень огорчен.

— А кто это полковник Жернов?

Теперь, когда мой собеседник опять заговорил по-английски, Блейку было уместно заинтересоваться полковником Жерновым.

— Вы такого не знаете? — с явным огорчением задал мне вопрос незнакомец.

— Во всяком случае, не помню,— отозвался я.— Возможно, мы и встречались. Это какой-нибудь русский офицер?

— Да, — подтвердил незнакомец.— И у меня от него к вам письмо.

— Написанное по-русски?

— Да,— подтвердил незнакомец.

— В таком случае мне оно ни к чему. Я сказал вам, что не знаю этого языка.

— Что же мне передать полковнику?— сердито спросил незнакомец.

Я улыбнулся.

— Привет, если мы с ним когда-нибудь встречались, только привет и наилучшие пожелания!

Незнакомец задумался.

— Не хотите ли вы с ним... встретиться? — не совсем уверенно спросил он.

— А разве этот самый... как его... полковник Жернов здесь? — удивился я.

— Ну, это неважно,— неопределенно ответил незнакомец.— Я вас спрашиваю: хотите вы с ним встретиться?

— А почему бы и нет? Если мы действительно встречались, мне приятно будет возобновить наше знакомство.

— Хорошо,— решительно сказал незнакомец.

Минуты две или три он молчал, что-то соображая, потом передернул плечами и отчетливо проговорил:

— Хорошо, вы с ним встретитесь. Завтра вечером я за вами зайду. Только никому об этом не говорите. Будет хорошо, если вы достанете машину. Шофер не нужен, я вас отвезу и привезу, но в крайнем случае можно

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—24.

обойтись без машины. Скажем, часов около девяти. Что вы на это скажете?

— Хорошо,— сказал я.— Это несколько таинственно, но я люблю приключения.

В конце концов мне нечего было терять. Если это провокация, решил я, мне легко будет отговориться. Немцы знали, кто такой Блейк, и вполне естественно, что Блейк мог пытаться установить связь с русскими. Блейк мог даже заявить, что собирался выдать русских шпионов немцам, начать свою службу у них, так сказать, не с пустыми руками. Все это можно было сделать в том случае, если это провокация. «Ну, а вдруг я на самом деле увижу Жернова? — подумал я.— Может быть, именно он осуществляет связь с рижским подпольем или руководит партизанами и координирует их действия? Все может быть. Тогда было бы непростительно отказаться от этой встречи. Жернов перебросит меня к своим, и я снова окажусь в рядах армии...»

— Значит, завтра вечером,— повторил незнакомец. Он доверительно придвинулся ко мне.— Надо полагать, что за вами тщательно наблюдают,— негромко сказал он.— Я постараюсь увильнуть от слежки, а вы придумайте что-нибудь, чтобы оправдать свое отсутствие. Нельзя предвидеть все случайности. Мы можем задержаться за городом до утра, и не надо, чтобы ваше отсутствие привлекло внимание...

— Хорошо, я постараюсь,— согласился я.

Незнакомец испытующе посмотрел на меня и встал.

— Я могу на вас положиться?

— Да. Вечером, один, с машиной и полное молчание.

Всю ночь раздумывал я о предстоящей встрече.

Хотя она казалась маловероятной, тем не менее мысль о свидании с полковником Жерновым волновала меня...

Жернов являлся моим непосредственным начальником. Это был типичный офицер-академик. Человек большого образования и высокой культуры, он почти весь свой век провел в стенах военных академий и штабных кабинетов. Молодой офицер царской армии, он оказался в числе тех русских офицеров, которые сразу же после Октябрьской революции перешли на сторону Советской власти. Некоторое время он воевал на фронте—сперва на Восточном, потом на Южном,— потом попал в штаб и здесь обрел свое призвание. Из штаба армии его перевели в штаб фронта, из штаба фронта — в генеральный штаб. Вступил в партию, окончил академию, остался в академии преподавателем, стал профессором и лишь за несколько лет до войны вернулся на штабную работу. В генштабе он занимал ответственный пост и, помимо своей основной работы, много помогал нам, молодым офицерам...

Но представить себе Жернова в полевых условиях и тем более в условиях партизанской войны я не мог. Да и возраст его был уже не таков, чтобы находиться на переднем крае...

Однако случиться могло все!

Хотя, конечно, не исключена была и возможность провокации. Имя Жернова вполне могли использовать в качестве приманки, на которую можно было меня взять...

Да, всю ночь раздумывал я, действительно ли мне доведется встретиться с полковником Жерновым или это всего-навсего провокация и мне, если я не погибну, придется выкручиваться, изворачиваться и доказывать, что я согласился встретиться с русским полковником Жерновым только для того, чтобы выдать его немцам...

Однако вряд ли незнакомец стал бы предупреждать меня о слежке и советовать найти объяснение для своего отсутствия, если бы он был провокатором...

Это было бы ему просто не нужно, хотя он мог это сказать с целью вызвать к себе больше доверия.

Так или иначе, но, принимая предложение незнакомца, я должен был обезопасить себя со стороны Янковской и Эдингера, вернее, со стороны ищеек возглавляемого им учреждения.

Свой маневр я решил начать с начальника гестапо. В случае, если против меня затевалась провокация, он себя как-нибудь да выдаст, когда я предупрежу его о своем отсутствии, думал я. У меня составилось впечатление, что это был характер театральный, склонный к эффектам. Эдингер, рисующийся своей проницательностью, мог бы играть благородных отцов в старинных мелодрамах. Стоит мне соврать, думал я, как он не удержится от удовольствия вывести меня на чистую воду...

Начать следовало с Эдингера, и, если мой незнакомец не подослан гестапо, я надеялся до чего-нибудь договориться и даже сослаться затем на Эдингера, чтобы оправдать свое отсутствие в глазах Янковской.

Я с утра созвонился с Эдингером по телефону, и на этот раз мне не пришлось заходить в комендатуру: меня ждали у подъезда и тотчас проводили к нему — очевидно, мистер Блейк серьезно интересовал немцев.

— Господин обергруппенфюрер, я много думал над вашим предложением,— заявил я ему с места в карьер.

— Отлично,— одобрил Эдингер.

— Я думаю, мне следует активизироваться,— продолжал я.

— Это тоже правильно,— согласился Эдингер.

— Поэтому я хотел бы иметь немного больше свободы.

Эдингер испытующе посмотрел мне в глаза.

— Выскажитесь,— попросил он.— Я не совсем понимаю, чего вы хотите.

— Не скажете же вы, что я предоставлен самому себе? Вы ведете за мной очень тщательное наблюдение.

— Нет, не скажу,— согласился Эдингер и, подумав, откровенно признался: — Мы изучаем вас, но я не сказал бы, что очень тщательно. Некоторые из ваших девушек работают у нас, но...— Он провел рукой по столу, как бы смахивая невидимые крошки.— Но все это не то.— На его лице появилось мечтательное выражение.— Девушки!.. Я не знаю, чем вы там с ними занимаетесь, но не думаю, что ради них вы провели в Прибалтике несколько лет.— Он повел усиками, точно таракан.— Вы хороший конспиратор, господин Блейк. Я должен признаться, мы не знаем о вас ничего существенного, поэтому мы и решили установить с вами контакт.

Я мысленно поблагодарил своих посетительниц; надо полагать, они добросовестно информировали немцев о наших свиданиях, и так как, по существу, им было нечего обо мне сказать, немцы считали, что я хорошо скрываю от них свою истинную деятельность.

— Так о какой свободе вы говорите, господин Блейк? — поинтересовался Эдингер.

— В данном случае о свободе передвижения,— сказал я.— Я буду откровенен с вами, господин обергруппенфюрер. Вы буквально блокировали меня в Риге, а мне необходимо связаться с Лондоном.

— Кто же вам мешает? — любезно осведомился Эдингер.— Вы так ловко устраиваете свои дела...

— Вот поэтому-то я и не могу выполнить свое намерение,— с досадой подчеркнул я.— Не считайте меня мальчиком. Если бы я держал рацию у себя дома, вы давно бы меня запеленговали. В том-то и дело, что моя рация заморожена.

— Ваша рация в Риге? — поинтересовался он.

— В окрестностях Риги. Я хочу снестись с Лондоном, возникнуть, так сказать, как феникс из пепла. Возможно, там меня даже похоронили. А потом... потом мы продолжим наш разговор...

Эдингер снова пошевелил своими усиками.

— Вы толковый парень, Блейк, но вам не удастся меня провести,— самодовольно произнес он.— Я знаю, о чем вы будете говорить с Лондоном. Вы скажете, что вас вербует немецкая разведка.— Он хитро посмотрел на меня, желая знать, какое впечатление произвели на меня его слова.— Но мы... мы не возражаем против этого.— Легкий смешок вырвался у него.— В этом есть своя логика. Запрашивайте, запрашивайте инструкции. Вам посоветуют согласиться. Пусть английская служба знает, что вы связаны с немецкой разведкой, это обеспечит вашу безопасность со стороны англичан, а работать вы будете на нас: умные люди всегда работают на победителя.

Я молчал, как бы пораженный проницательностью своего будущего шефа.

— Поэтому отправляйтесь и размораживайте свою рацию,— продолжал Эдингер.— С моей стороны помех не будет.

— Но я не хотел бы, чтобы меня сопровождали невидимые спутники. Доверие за доверие, господин обергруппенфюрер. Или вы доверяете мне, или вряд ли мы с вами договоримся.

Эдингер добродушно засмеялся.

— Вы все хитрите, Блейк, вы боитесь, что я воспользуюсь вашей рацией помимо вас. Но я действительно считаю вас своим коллегой и окажу вам доверие: мы освободим вас от наблюдения.

Разумеется, он мне нисколько не верил и с удовольствием упек бы меня в какой-нибудь лагерь смерти, но уж слишком заманчиво было для немцев завербовать английского разведчика.

— Итак, вы можете ехать куда хотите,— согласился Эдингер и предусмотрительно добавил:— В радиусе... в радиусе... ну, скажем, сорока — пятидесяти километров...— Он опять посмотрел на меня со всем возможным добродушием.— Надеюсь, вы не захотите бежать? — И сам тут же ответил:— Нет, вы достаточно благоразумны. Во-первых, вам не прорваться, во-вторых, в этом нет смысла...

Он был убежден, что разведчик такой квалификации, как Блейк, не захочет выйти из игры.

— Я попрошу вас еще об одной любезности,— небрежно сказал я.— Я скажу госпоже Янковской, что уезжаю из Риги вместе с вами.

Эдингер ответил вопросом:

— Побаиваетесь ее?

Я пожал плечами.

— Не слишком, но не хочу посвящать ее во все дела.

— Вы умница, Блейк,— похвалил меня Эдингер.— Вы понимаете, что никто в Риге не осмелится интересоваться мною.— И доверительно добавил: — Эта дама малосимпатична, и я бы давно прибрал ее к рукам, но у нее сильные покровители...

Подробнее он не высказался.

— И еще одна деталь, господин обергруппенфюрер,— обратился я к Эдингеру, пользуясь его хорошим настроением.— Какой-нибудь документ, пропуск, который я смогу предъявить, если мною кто-нибудь заинтересуется.

— О, это не представляет трудностей! Я выдам вам корреспондентский билет. Вы будете художником местной газеты...

Он отдал распоряжение приготовить для меня удостоверение, и я, не заходя ни в какие редакции, получил его тут же, в канцелярии.

Удача моих переговоров объяснялась тем, что у Эдингера не возникало ни малейшего сомнения в подлинности Блейка!

Встретившись с Янковской, я сказал, что ненадолго уезжаю из города.

— Мне понадобится машина. Я буду признателен вам, если вы отдадите ее сегодня в мое распоряжение.

— Что ж, машина ваша, вы вправе ею распоряжаться. Но куда это вы собрались?

— Недалеко, — лаконично ответил я.— Хочу немного проветриться на лоне природы.

Янковская испытующе посмотрела на меня.

— А я не могла бы вас сопровождать?

— Нет, — решительно возразил я.— Ведь вы сами говорили, что мистер Блейк посвящал вас не во все свои тайны.

Она посмотрела на меня еще настороженнее.

— Это тайна? — многозначительно спросила она.

— Как вам сказать?..— замялся я.— Я не вижу в этом особого секрета, но меня просили не посвящать вас.

По-видимому, Янковскую осенила какая-то догадка, она внезапно села за обеденный стол — мы разговаривали в столовой,— подперла голову ладонями и задумчиво посмотрела на меня.

— Послушайте...— нерешительно сказала она. Я видел, что она колеблется, не знает, как меня назвать.— Послушайте... Андрей Семенович... Вы... я не хочу вам зла... Вы... вы собираетесь бежать?

Я снисходительно на нее посмотрел.

— Видите ли, Софья Викентьевна, вы впервые задаете мне неумный вопрос. Если бы я собирался бежать, я бы поостерегся ставить вас об этом в известность...— Я усмехнулся.— Вас слишком терзает женское любопытство, и, пожалуй, лучше его удовлетворить. Я собираюсь прогуляться за город не с кем иным, как с начальником гестапо господином Эдингером!

— Но зачем же вам тогда нужна машина? — быстро спросила Янковская.

— Если мне не изменяет сообразительность, господин Эдингер намеревается устроить встречу Блейка с кем-то, кого он считает одним из моих сотрудников,— тут же нашелся я.— Как мне кажется, я играю до некоторой степени роль приманки, поэтому я и должен ехать на своей машине. Эдингер будет лишь сопровождать меня...

Янковская бросила на меня быстрый подозрительный взгляд.

— А что, если я сейчас позвоню Эдингеру? — вызывающе спросила она.— Что вы на это скажете?

— Прошу вас,— небрежно сказал я, хотя мне совсем не хотелось, чтобы она разговаривала с Эдингером: кто знает, какие между ними были отношения и что мог он ответить ей.

Она решительно прошла в кабинет и позвонила Эдингеру.

— Господин обергруппенфюрер, у меня к вам просьба,— обратилась она к нему капризным тоном избалованной женщины.— Я приглашаю господина Берзиня провести сегодня вечер в ресторане, но он говорит, что должен сопутствовать вам в какой-то поездке. Не могли бы вы его освободить?

Я беспечно посматривал на Янковскую, хотя на самом деле чувствовал себя очень тревожно: я не знал, что ответит Эдингер, и не был уверен, что он меня не подведет. Но,

должно быть, уж очень ему хотелось завоевать Блейка!

Янковская опустила трубку.

— Нет, вы не обманули меня,— удовлетворенно произнесла она и вдруг со свойственной ей быстрой сменой настроений раздраженно выкрикнула: — Только он напрасно пытается выключить меня из игры! — Она помолчала и как-то угрожающе, с явной целью произвести на меня впечатление, добавила: — Этот Эдингер излишне самостоятелен... Что ж, посмотрим...— Она задумчиво покачала головой.— Смотрите, Андрей Семенович, не переигрывайте, послушайте моего дружеского совета. Может быть, вы и впрямь входите во вкус этой игры, но Эдингер не та лошадь, на которую ставят опытные игроки.

Больше Янковская не сказала ничего, но я видел, что она встревожена моей намечающейся близостью с Эдингером. Она сохранила мне жизнь отнюдь не для того, чтобы я вырвался из-под ее влияния.

Когда она ушла, я выглянул в окно: машину она оставила у подъезда.

Вечером я сел у окна. Мой вчерашний посетитель появился на улице около девяти часов; он шел настолько уверенно и непринужденно, что мои подозрения вспыхнули с прежней силой. Идти так, как шел этот незнакомец, могут только люди, абсолютно убежденные в том, что за ними не следят, что за ними некому и не из-за чего следить.

Неужели Эдингер разговаривал со мной для отвода глаз, а на самом деле немцы ведут на меня облаву и загоняют в приготовленный капкан?

Тем временем вчерашний посетитель приблизился к дому и скрылся в подъезде.

Предупреждая его звонок, я сам пошел открыть дверь: мне не хотелось, чтобы его видела Марта. Но, как нарочно, Марта находилась в передней, она чистила коврик, постеленный перед входной дверью.

Раздался звонок, и Марта открыла дверь.

— Заходите, пожалуйста,— вежливо сказала она и посторонилась, уступая гостю дорогу.

Мы поздоровались.

— Все в порядке? — весело спросил незнакомец.

— Как будто,— неопределенно ответил я.

— Поехали? — спросил он.

Я кивнул и обернулся к Марте:

— Если завтра заедет госпожа Янковская, передайте, я вернусь поздно.

— Хорошо,— отчужденно произнесла Марта, сняла с вешалки мое пальто и, подавая его мне, сказала уже другим, более приветливым тоном: — Добрый путь вам, добрый путь, господин Берзинь.

У нас с Мартой установились ровные и, я бы сказал, спокойные отношения. Она делала свое дело, я жил своей жизнью, мы не мешали друг другу. Она производила хорошее впечатление,— занятая всегда какой-нибудь работой, она не обнаруживала интереса к моим занятиям, но...

Кто мог поручиться, что Марта не приставлена ко мне, кто мог поручиться, что немцы или англичане не платят ей деньги за то, чтобы она держала мистера Блейка под соответствующим надзором?

— А если я экстренно для чего-нибудь понадоблюсь, мы будем в ресторане «Эспланада»,— сказал я на всякий случай.— Хотя госпоже Янковской лучше об этом не говорить.

Пистолет Блейка был у меня в одном кармане, кастет, который я стал носить по совету Янковской,— в другом.

— Поехали,— сказал я.

Мы спустились вниз.

Незнакомец кивнул на машину.

— Поведу я?

Я открыл дверцу.

— Садитесь, я сам поведу машину.

Мы сели, двинулись, и в этот момент, когда я, по существу, отдался в руки своему спутнику, мне почему-то почувствовалось, что никакой он не провокатор, не враг и не шпион, а действительно капитан Железнов...

Нельзя, конечно, руководствоваться в жизни одной интуицией, она может (да и как еще!) подвести в самый решительный момент, но нельзя и полностью ею пренебрегать: нередко необъяснимое чувство симпатии или антипатии способно направить наши шаги в нужном направлении.

Подумав о том, что мой спутник на самом деле советский офицер, я как-то успокоился и вместо того, чтобы предаваться всяким тревожным мыслям и колебаниям, сразу сосредоточился на внешних впечатлениях, что особенно важно для того, кто ведет машину по улицам большого, многолюдного города.

Наступал вечер, улицы редели, все спешили разойтись по домам, неторопливо шагали лишь немецкие офицеры; на каком-то углу стоял патруль и проверял у прохожих документы; из окон кафе доносились звуки музыки и какие-то выкрики...

Словом, жизнь в оккупированной Риге шла своим чередом.

Я вел машину не торопясь: в Риге не торопились только победители, и чем медленнее вел я свою машину, тем меньше подозрений мог возбудить.

Со своим спутником я почти не разговаривал; говорить по-английски не хотелось, говорить по-русски было опасно.

— Куда ехать? — коротко спросил я его.

— В сторону Межапарка.

Этот громадный парк, больше напоминающий тщательно ухоженный лес, составлял гордость рижан и был излюбленным местом прогулок, пикников и спортивных состязаний. Но в этот военный вечер в парке не было никого, лишь где-то в глубине, в самой чаще, стояли, если верить сведениям посещавших меня девушек, орудия противовоздушной обороны.

Миновали Межапарк.

— А теперь? — спросил я.

— Теперь мы поменяемся местами.— Мой спутник заговорил по-русски.— Дальше машину поведу я.

Он напрасно пытался поймать меня, я решил соблюдать осторожность до конца.

— Я вас не понимаю,— упрямо повторил я по-английски.— Напрасно вы считаете меня русским.

— Ну и выдержка у вас! — одобрительно пробормотал он по-русски и перешел на английский язык.— Дайте мне руль, придется петлять, я доберусь быстрее.

— А если я не дам?

— У вас просто ничего не получится,— ответил он спокойно.— Вы не сможете здесь ориентироваться...— Он улыбнулся и доверительно опять сказал по-русски: — Положитесь на меня.

Я пожал плечами, и мы поменялись местами.

— Теперь держитесь,— сказал мой спутник.— Поиграем немножко в прятки...

Он начал кружить по дорогам, мы ехали то в одну, то в другую сторону, быстро проезжали мимо одних хуторов и медленно мимо других; потом он резким рывком свернул с дороги и остановился за каким-то домом.

Было тихо, мой спутник выглянул на дорогу — нигде не было никого.

Поехали дальше.

Так он проделывал несколько раз, сворачивал с дороги, останавливал машину и ждал. Но мы ни разу не заметили, чтобы нас кто-нибудь преследовал.

Потом он опять начал петлять; помчались по одной дороге, свернули на другую, приблизились к какому-то хутору, подъехали к какой-то мызе и неожиданно въехали в раскрытые ворота.

— Вылезайте,— быстро сказал мой спутник.

Я вылез. Он загнал машину в раскрытый сарай, вышел во двор и закрыл распахнутые двери. Во дворе было пусто.

— Приехали? — спросил я.

— Нет, нет. Будем ждать.

Но долго нам ждать не пришлось.

Вскоре во двор въехала грузовая машина. Шофер выглянул из кабинки, увидел нас. Рядом с шофером сидела какая-то женщина, они оба по-латышски поздоровались с моим спутником.

— Быстро, быстро! — крикнул шофер.

Мой спутник указал мне на кузов.

— Залезайте скорее,— пригласил он меня.— Не подводите людей.

Мы залезли в кузов, он был заставлен бидонами из-под молока. Раздвинув бидоны, мы опустились и незаметно устроились между ними.

Не успели мы сесть, как машина выехала обратно, обогнула хутор, понеслась по дороге.

Мы никуда и нигде уже больше не сворачивали.

— Что это за машина? — спросил я.

— На ней возят молоко в офицерскую столовую в Риге,— с усмешкой ответил мой спутник.— Машина проверенная.

Внезапно, как и все, что происходило этой ночью, шофер затормозил, и машина остановилась у обочины дороги.

— Прыгайте,— сказал мой спутник.

Мы спрыгнули в дорожный кювет, прямо в непросохшую грязь.

— Спасибо! — негромко крикнул мой спутник.— Все в порядке.

И машина тотчас помчалась дальше.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

7. В СОСНОВОМ ЛЕСУ

Неподалеку от дороги темнела опушка леса.

Было уже совсем поздно и почти темно, ночь вступала в свои права, и, как всегда, когда ждешь опасности, тишина казалась особенно немой.

Мы добежали до кустов можжевельника, постояли, прислушались, вошли в лес.

Мой спутник свистнул.

Откуда-то из тьмы, совсем как в театре, выступили темные фигуры.

— Порядок,— сказал им мой спутник.— Я привез товарища...

Он не назвал меня.

На этот раз мой спутник заговорил по-латышски.

Люди, которые нас окружили, отвечали ему тоже по-латышски.

— Пусть кто-нибудь останется у дороги,— распорядился мой спутник.— А мы не будем терять времени.— Он взял меня за руку.— Придется завязать вам глаза. Я бы не стал, но тут мы в гостях, а у хозяев свои законы.

Я не спорил. В конце концов, если Блейк ввязался в эту авантюру, я мог сказать, что он хотел довести ее до конца, а если меня намеревались убить, для этого завязывать глаза было не обязательно.

Меня повели по лесу. Сначала мы шли по какой-то тропке, потом по траве... Шли с полчаса, не больше.

С меня сдернули повязку. Мне показалось, что в лесу развиднелось. Деревья тонули в сером сумраке. Мы стояли возле какого-то шалаша.

Мой спутник заглянул в шалаш и что-то спросил.

— Заходите,— сказал он и уже мне в спину не без насмешки добавил: — Теперь-то уж вам придется заговорить по-русски!

Я приоткрыл дверцу и нырнул внутрь.

В шалаше горела всего-навсего небольшая керосиновая лампа, но после лесного мрака ее свет казался необычайно ярким. Само помещение напоминало внутренность обычной землянки: небольшой, грубо сколоченный дощатый стол, скамейки по стенам, на столе лампа, термос, кружка...

Но самым удивительным было увидеть человека, который сидел за дощатым столом и которого я считал погибшим в гитлеровских застенках...

Это был не кто иной, как Мартын Карлович Цеплис!

Да, это был мой квартирный хозяин, у которого так спокойно и хорошо мне жилось вплоть до того самого дня, когда судьба столкнула меня с Янковской.

Коренной рижский рабочий, старый коммунист, проверенный в самых сложных и тяжелых обстоятельствах, этот человек был и будет своим до конца. В этом у меня не было никаких сомнений!

Я взволнованно протянул ему руку:

— Мартын Карлович!

Но сам Цеплис не отличался экзальтированностью. Он слегка улыбнулся и спокойно пожал протянутую ему руку, так, как если бы мы расстались с ним только вчера.

— Здравствуйте, товарищ Макаров, очень приятно...

Но он не договорил: мало приятного произошло с тех пор, как мы виделись с ним в последний раз.

— А ведь я искал вас, Мартын Карлович! — воскликнул я с некоторым даже упреком.— Но какая-то особа, увы, посоветовала мне обратиться ни больше, ни меньше, как в полицию!

— Да, я слыхал, что вы меня искали,— подтвердил Цеплис.— Но у меня не было возможности вас уведомить...

— Значит, эта женщина...

— Да, это свой товарищ,— подтвердил Цеплис.— Но вас она не могла признать за своего. У нее не было для этого данных, а в настоящее время требуется проявлять особую осторожность. Но она поступила очень разумно. Если вы свой, она предупредила вас о том, что надо опасаться полиции, а если бы оказались чужим, к ней нельзя было бы придраться: она направила вас именно в полицию.

— Я не рассчитывал встретить вас здесь,— признался я.

— Партии лучше знать, где кому находиться,— уклончиво возразил Цеплис.

— А семья? — поинтересовался я.— Успели эвакуировать?

— Жена и сын в деревне, у родственников,— пояснил Цеплис.— Я расстался с ними на второй день войны, но от товарищей знаю, что они пока в безопасности.

— А Рита?

У Цеплиса было двое детей: сын Артур, сдержанный и очень похожий на отца тринадцатилетний мальчик, и девятнадцатилетняя Рита, миловидная, умная, порывистая девушка, комсомолка и студентка педагогического института.

Цеплис нахмурился.

— Риты нет,— негромко объяснил он, не уклоняясь от ответа, точно речь шла о ком-то постороннем.— Риту оставили в городе, и немцы схватили ее чуть ли не на следующий день после занятия Риги, когда она вместе с другими комсомольцами пыталась вывести из строя городскую электростанцию...

У меня сжалось сердце... Я потянулся к Цеплису.

— Мартын Карлович!..

Но он мягко отвел мою руку и на секунду опустил веки.

— Не надо...

Он принудил себя слегка улыбнуться, как бы давая понять, что сейчас не время ни грустить, ни бередить душевные раны, и шагнул к двери.

— Ну, а теперь я вас познакомлю...

Он вышел, оставив меня одного, но вскоре вернулся обратно вместе с человеком, доставившим меня в расположение партизан.

— Капитан Железнов,— сказал Цеплис, представляя мне моего спутника.

— Я уже знаю, что это капитан Железнов,— сказал я.— Мы познакомились еще вчера.

— «Знаю» не то слово,— возразил Цеплис.— Если бы знали, вам не пришлось бы ехать сюда.

— Извините меня,— сказал я, протягивая Железнову руку.— Но ведь в моем положении легко заподозрить что угодно.

— А я не в претензии,— ответил мне Железнов.— Дело законное, на вашем месте я тоже задумался бы...

Я не выпускал его руки из своей.

— Слушаю вас, капитан... товарищ Железнов!

Железнов улыбнулся своей мягкой, застенчивой улыбкой.

— Может быть, и письмо Жернова возьмете теперь, хотя сейчас оно и не очень нужно?

— Почему не нужно?

— Потому что теперь я в рекомендациях для вас уже не нуждаюсь.

Он дружелюбно посмотрел на Цеплиса.

— Да,— подтвердил Цеплис,— товарищ Железнов — это наш товарищ.

— Что ж, поговорим? — предложил Железнов, переходя на деловой тон, и сел на скамейку, приглашая тем самым садиться своих собеседников.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—25.

Но Цеплис, не столько в силу врожденной деликатности, сколько руководствуясь опытом старого подпольщика, накопленного им за годы ульманисовской военной диктатуры, направился к выходу; он хорошо усвоил правило не интересоваться тем, что не имело прямого отношения к его непосредственной деятельности.

— Разговаривайте,— сказал он.— А у меня тут своих дел...

Он оставил меня наедине с Железновым.

— Вам понятно, по чьему поручению я действую? — спросил он меня.

Я согласно наклонил голову.

— Поэтому вам придется рассказать о себе,— сказал он.— Но предварительно поинтересуйтесь...

Он все же протянул мне привезенное письмо.

Конверт был заклеен, и пока я его вскрывал и читал записку Жернова, Железнов молча наблюдал за мной.

Я хорошо знал и почерк своего начальника и его манеру выражаться. Записка отличалась обычным его лаконизмом. В ней Жернов передавал мне привет и совершенно официально, в тоне приказа, предлагал полностью довериться подателю письма.

Да, все в записке было сухо и лаконично, но — это даже трудно объяснить — какая-то теплота, сдержанная стариковская ласка сквозила меж скупых строк...

«Вам трудно и будет трудно,— писал мне Евгений Осипович Жернов, в годы моего пребывания в академии мой профессор, а затем непосредственный начальник по службе.— Но вы не один, и, как бы вам ни было трудно, Родина всегда с нами. Податель этого письма действует по поручению нашего командования...»

Я было спросил:

— А где...

И тут же замолчал: вопрос был неуместен.

Однако капитан Железнов угадал мою мысль.

— Нет, отчего же,— ответил он.— Вы вправе поинтересоваться. Полковнику Жернову дело нашлось бы и в Москве, но он боевой офицер и настойчиво стремился на фронт. Он в штабе армии. Там полагали, что его письмо не может вызвать у вас сомнений...

— Но не так просто было его мне вручить!

Я улыбнулся, еще раз взглянул на записку, перегнул листок и сунул было его обратно в конверт.

— Нет, нет,— остановил меня Железнов.— Прочли, убедились, а теперь спичечку...— Он тут же протянул мне коробок.— Никаких документов, ничего,— объяснил он.— В вашем положении...

Я зажег спичку и послушно приблизил ее к листку. Синее пламя лизнуло конверт. Я положил его на краешек стола. Вспыхнул на минуту желтый огонек, и письмо полковника Жернова превратилось в горстку серого пепла.

Железнов перегнулся через стол и сдул пепел на землю.

— Так-то лучше,— заметил он.— Все здесь и ничего здесь! — Он похлопал себя сперва по голове и затем по карману.— А теперь давайте поговорим. Хотя времени у нас в обрез. Докладывайте обо всем, что произошло с вами.

Мне было понятно его требование, но не так-то просто было рассказать о себе.

— Знаете, товарищ Железнов, я и сам хорошо не понимаю, что произошло со мной,— признался я с некоторым даже замешательством.— Меня убили, то есть пытались убить. В тот же вечер в Риге был убит некий Август Берзинь, и он же Дэвис Блейк, как мне потом стало известно, резидент Интеллидженс сервис в Прибалтике. Воспользовавшись тем, что между нами имелось некоторое сходство, наши тела, если можно так выразиться, поменяли. Меня перенесли на место Блейка, а Блейка — на мое. Затем его похоронили под именем Макарова, а я под именем Берзиня был помещен в больницу и впоследствии очутился в немецком госпитале...

Железнов сочувственно мне кивнул.

— Это примерно совпадает со сведениями, которые удалось собрать о вас товарищам,— согласился он.— Вас пытались убить и действительно сочли убитым. Покушение на вас совпало с первой бомбежкой Риги, и, возможно, это обстоятельство и помогло инициаторам покушения совершить этот мрачный маскарад. Во всяком случае, ваш труп... то есть, как это выяснилось потом, труп человека, принятый за ваш, был найден поутру в изуродованном виде под обломками какого-то здания, однако одежда и документы позволили опознать в нем майора Макарова. Поскольку вы сидите сейчас передо мной, несомненно, что похоронен был кто-то другой. Известно, что вы лежали в немецком госпитале. Потом стало известно, что вы живете в Риге под именем Августа Берзиня. Это было странно, но... Держались вы странно, но немцы почему-то вас не трогали. На изменника вы не походили, те ведут себя иначе. У нас были некоторые возможности к вам присмотреться, и с вами решили установить связь...

— Но я вправе был заподозрить провокацию? — перебил я Железнова, пытаясь еще раз объяснить свою недоверчивость.— Когда в городе, занятом фашистами, приходит человек, называет себя советским офицером...

— Но ведь я знал, кому себя называл? — возразил Железнов.

— Ну, а если бы я вас все-таки выдал?

Железнов улыбнулся.

— Я думаю, что вы не успели бы...— Он опять перешел на деловой тон.— Лучше скажите, чем вы были заняты в Риге?

— Выжидал,— объяснил я.— Собирался бежать на родину и выжидал, когда это можно будет осуществить. В мою жизнь впуталась какая-то авантюристка, Софья Викентьевна Янковская. Во всяком случае, так она себя назвала. Это именно она и стреляла в меня, но, по ее словам, она же меня и спасла. Выдала за Августа Берзиня, хотя на самом деле я Дэвис Блейк. То есть я Блейк, который жил в Риге под именем Берзиня. Немцы, по-видимому, уверены, что я действительно Блейк, и пытаются меня перевербовать, а Янковская советует согласиться. На кого на самом деле работает она сама — на немцев или на англичан,— мне неясно. У Блейка в Риге имелась сеть осведомителей, вернее, осведомительниц — несколько десятков девушек, работающих в различных местах, где бывает много посетителей. Сеть эта сохранилась до сих пор. Обыватели могли думать, что Блейк — просто отчаянный ловелас, но осведомленным людям нетрудно было догадаться об истинном характере связей Блейка. Эта агентура была законспирирована весьма примитивно, не так, как это обычно делает Интеллидженс сервис, и заведена была, по-видимому, специально в целях дезинформации. Теперь выясняется, что под руководством Блейка имеется еще группа агентов, законспирированных столь тщательно, что они, по словам Янковской, неизвестны даже ей...

— Ладно, об этом вы доложите... не мне! — оборвал меня Железнов.— А что делали вы сами?

— Выжидал, я уже докладывал, выжидал благоприятного момента, чтобы бежать от немцев...— Я улыбнулся.— И, как видно, дождался...

— Почему? — сухо осведомился Железнов.

— Да потому, что меня теперь, надеюсь, перебросят на нашу сторону,— сказал я уверенным тоном.— Я полагаю...

— Что? — насмешливо спросил Железнов.

— Полагаю, что нахожусь в штабе одного из партизанских соединений и что при первой же оказии меня перебросят...

Железнов приподнял термос и сердито переставил его на другое место.

— Вот что, товарищ майор,— заговорил он вдруг совершенно официальным тоном.— Вас никто и никуда не будет перебрасывать. Вы останетесь в Риге и будете выполнять все, что вам прикажут. Вы получите явку, найдете человека, установите с ним связь. Было бы просто неразумно не воспользоваться обстоятельствами, в которых вы очутились.

— А что же я буду делать в Риге? — удивился я.

— Все, что прикажет вам этот человек,— строго сказал Железнов.

Он задал мне еще несколько придирчивых вопросов, поинтересовался моими отношениями с Янковской, повторил, что было бы грешно не воспользоваться сложившимися обстоятельствами, и сказал, что, по всей вероятности, мне придется установить связь и с английской и с немецкой разведками и хорошо вникнуть в их деятельность. Затем он сказал, что нашей разведкой в Ригу заслан очень опытный и сильный работник, старый чекист, работающий в органах государственной безопасности еще со времен Дзержинского, что я должен буду с ним связаться и вся моя работа в Риге будет проходить под руководством этого товарища. Затем пояснил, что ему было поручено установить со мной связь, но так как он не вызвал у меня доверия, он решил доставить меня, как это и было заранее предусмотрено, в штаб одного из партизанских соединений, где хорошо известный мне Цеплис должен был устранить любые мои сомнения...

А в общем, весь наш разговор чем-то напоминал допрос; по всей видимости, Железнову было поручено основательно меня прощупать, прежде чем связать с кем-то еще.

После всего, что я услышал, я, разумеется, и заикнуться не посмел о том, что мне хотелось бы оказаться в рядах действующей армии. Поручение, которое мне давалось, было и важно и опасно, и я не мог от него отказаться.

В конце разговора Железнов поинтересовался, не будет ли у меня какой-либо просьбы или пожелания, которые он мог бы исполнить.

— Будет,— сказал я.— В Москве есть девушка... Вероятно, до нее дошло, что я умер. Нельзя ли поставить ее в известность...

— Нет, нельзя,— решительно возразил Железнов.— Вы, по-видимому, не представляете себе, как вы должны быть засекречены. О том, что вы живы, могут знать только считанные единицы...

И он еще раз объяснил, как мне найти человека, который отныне будет моим прямым начальником.

— А теперь возвращаться,— закончил Железнов разговор.— Чем меньше вы будете отсутствовать в городе, тем лучше.

Мы вышли и очутились в полном мраке. На земле властвовала ночь. Лишь совсем вблизи выступали из тьмы голые стволы сосен, терявшиеся где-то в высоте. Было очень тихо. Только издалека доносился какой-то невнятный шелест...

— Мы вернемся другой дорогой,— негромко предупредил меня Железнов.— Так безопаснее, да и...

Он недоговорил, приостановился и тихо свистнул. Если бы мы не стояли рядом, я подумал бы, что какая-то птица зовет к себе спросонок другую.

К нам тотчас же кто-то подошел, точно этот человек скрывался за деревьями и ждал нашего зова.

Железнов шепотом что-то сказал — я не разобрал его слов,— и подошедший, ничего не промолвив в ответ, пошел вперед легкими, неслышными шагами.

Мы устремились вслед, и тут я начал замечать, что все в этой тьме полно разумного деятельного движения: доносятся какие-то отрывистые слова, слышны какие-то шепоты, перемещаются какие-то тени и посвистывают какие-то птицы, которые на самом деле, вероятно, никакие не птицы; мне даже послышалось попискивание морзянки, хотя это могло мне только почудиться: в этом ночном, наполненном тайнами лесу действительность и воображение не могли не сопутствовать друг другу.

— Мы еще увидим товарища Цеплиса? — спросил я.

Мне очень хотелось побыть еще хоть немного вместе с Цеплисом; он был мне здесь как-то роднее всех.

Но этому желанию не суждено было осуществиться.

— Нет,— ответил мне Железнов.— Товарищ Цеплис сейчас уже далеко отсюда, его специально вызывали для того, чтобы рассеять ваши подозрения.

Постепенно я освоился в темноте.

Нет, это была совсем не такая безлюдная и безмолвная ночь, какой она мне показалась вначале.

Мы шли в густом сосновом лесу. Высокие сосны лишь кое-где перемежались разлапистыми елями, да понизу росли пушистые кусты можжевельника. Похрустывал под ногами валежник. Иногда в просветах над деревьями поблескивали звезды...

Но время от времени из-за черных елей выступали какие-то тени и преграждали нам путь. Наш провожатый бросал им несколько слов, и они вновь исчезали во мраке.

Можно было только удивляться, как легко наш провожатый ориентировался в темноте; мы, и уж во всяком случае я, с трудом поспевали за ним.

Наконец деревья стали редеть, и мы опять вышли на опушку. Перед нами смутно расстилался обширный луг, а может быть, и поле, вдалеке темнел не то лес, не то какие-то строения.

И вдруг я услышал знакомое ровное тарахтение...

И почти в то же мгновение на лугу вспыхнули костры — один, другой, третий.

— Что это? — удивился я.

— Связь,— объяснил Железнов.— Связь с Большой землей.

Да, на расстилавшийся перед нами луг приземлялся самолет...

Это был самый обыкновенный, скромный учебный самолет «У-2», та самая милая, незабвенная «Уточка», которая никогда, никогда не будет забыта ни одним советским летчиком, куда бы и как бы ни ушла вперед наша авиация!

Все было очень привычно, очень знакомо, и все же я, достаточно опытный офицер, не мог не удивиться...

Линия фронта проходила сравнительно далеко, мотор нельзя было заглушить, щупальца прожекторов то и дело шныряли в небе, везде находились зенитные орудия... А пилот летел себе и летел!

Я притронулся к Железнову.

— Но как же это ему удается?

Железнов объяснил мне его тактику.

Пилот вел самолет над самыми полями, над самыми лесами и только что не тащился по земле; немцы искали его, конечно, гораздо выше, они не могли себе представить, что невидимый самолет движется почти над самыми их головами, всего лишь в десятках метров от земли...

Только советский летчик способен совершить такой перелет!

Нельзя было не восхищаться дерзким бесстрашием этого человека. А ведь он был далеко не исключение!..

Борьба не прекращалась ни на мгновение; даже в тылу, в самом глубоком немецком тылу, шла борьба с гитлеровцами, и тысячи, десятки тысяч бесстрашных людей самоотверженно участвовали в ней. И теперь мне тоже предстояло занять в ней свое место.

— Однако нам с вами лучше быть отсюда подальше,— рассудительно заметил Железнов.— Поторопимся!

Он подозвал нашего провожатого.

— Дальше мы выберемся одни,— сказал он.— Передавайте привет товарищу Цеплису!

Наш провожатый послушно отстал.

Вскоре мы вышли на дорогу, пошли по обочине. Примерно через километр я увидел машину. Мне опять пришлось удивиться. Это была моя машина, машина Блейка. Несмотря на темноту, я сразу узнал ее.

Железнов сел за баранку.

— Скорее, скорее! — поторопил он меня.

Я сел рядом, и мы поехали.

На каком-то хуторе, в тени больших черных вязов, мы остановились, дождались рассвета и снова тронулись в путь. Перед самым въездом в город нам повстречался эсэсовский патруль. Я показал свои документы и сказал, что Железнов — мой шофер. Мы не вызвали у эсэсовцев подозрения. Нас тут же отпустили, и мы как ни в чем не бывало часов в десять утра вернулись обратно в Ригу.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

8. ПОИСКИ «ФАУСТА»

Несколько часов, проведенных мною вместе с Железновым за время обратной дороги в Ригу, сблизили нас больше, чем сближает иной раз совместное проживание в течение целого года.

Мы коротко рассказали друг другу о себе, поделились удачами и огорчениями, причем выяснилось, что одно из самых серьезных огорчений доставил ему я своей чрезмерной предусмотрительностью.

Мы долго говорили по-русски, пока Железнов не спохватился:

— Не лучше ли перейти на английский? Чтобы как-нибудь случайно не проговориться, есть смысл на какое-то время отказаться от своего языка.

Мы перешли на английский, которым я владел неплохо, а Железнов, пожалуй, даже безукоризненно.

И когда в ответ на какой-то его вопрос я не нашел нужного слова и опять перешел на русский язык, Железнов засмеялся:

— Уговор дороже денег! Позавчера вы изводили меня, отказываясь понимать по-русски, а сегодня я не хочу понимать вас.

Подъезжая к городу, я припомнил, как при первом своем посещении Железнов обратился ко мне с предложением нанять его в качестве шофера.

— Вы останетесь в Риге? — спросил я его.

— Не знаю,— ответил он.— По соображениям конспирации, я не имею права это сказать. Но я и на самом деле не знаю.

Тогда я спросил, нельзя ли жить ему в Риге под видом моего шофера, и сказал, что было бы очень здорово находиться друг возле друга.

На это Железнов ответил, что так, на ходу, решить этот вопрос нельзя и что принимать решение будет тот, в чье распоряжение поступил я и в чьем распоряжении находится сам Железнов.

Мы остановились перед моим домом и вышли из машины.

— Прощайте,— сказал Железнов.— Пойду.

— Куда? — несколько наивно спросил я.

Железнов улыбнулся.

— Этого я сказать не могу.

— А когда мы увидимся? — спросил я.

— Может быть, никогда.

— Как это вы не боитесь? — сказал я ему.— Я наблюдал за вами третьего дня. Уж больно вы смело ходите. Кругом шпики...

— А кто вам сказал, что не боюсь? — возразил Железнов и пошел по улице с таким независимым видом, как ходят только очень уверенные в себе люди.

Когда я вернулся домой, Марта не спросила меня, где я пропадал, и, вероятно, не только потому, что была приучена к таким исчезновениям Блейка, но и вследствие природной сдержанности, вообще присущей латышам. Она только поинтересовалась, надо ли подавать завтрак, и осталась, кажется, довольна, когда я не отказался от ее услуг.

Часа через два в квартире появилась Янковская.

Я слышал, как она еще при входе, в передней, осведомилась у Марты, вернулся ли я, стремительнее, чем обычно, вошла в кабинет и, как мне показалось, с облегчением вздохнула при виде меня.

— Наконец-то! — капризно произнесла она.— Знаете, кажется, я начинаю к вам привыкать.— Я молча ей поклонился.— Ну, как? — спросила она, опускаясь в кресло.— Как вам удалось справиться?

Я не понял ее.

— С чем справиться?

Янковская рассмеялась.

— С немцами!

Я вопросительно на нее посмотрел.

— Нет, серьезно, куда это вы запропали?..— Она рассмеялась.— Я уж не знаю, как вас и называть: Андрей, Август или Дэвис... Пожалуй, лучше всего Август... Где вы пропадали, Август?

Она плохо скрывала свое любопытство; было очевидно, что она ждет от меня подробного рассказа о поездке.

— Где был, там уже нет,— ответил я, как бы поддразнивая ее, а на самом деле обдумывая, что ей сказать.— Ездил с господином Эдингером к морю, он хотел решить с моей помощью одну задачу...

— Ах, не лгите! — воскликнула Янковская с раздражением.— Я звонила к Эдингеру, он никуда не уезжал из Риги!

Оказывается, она проверяла меня на каждом шагу и не находила нужным это скрывать!

Было очень важно узнать, о чем она спрашивала Эдингера и что он ей ответил.

— Да, он не мог мне сопутствовать, — сказал я.— Он остался в Риге.

— А где вы были? — быстро спросила Янковская.

— У советских партизан,— ответил я с усмешкой.— Ведь вам известно обо мне все!

— Мне не до шуток, Август,— перебила Янковская.— Если бы Эдингер не знал, где вы находитесь, он немедленно принялся бы вас искать.

— А вы спрашивали его обо мне? — спросил я, в свою очередь.

— Конечно, — вызывающе ответила Янковская.— Вдруг вы на самом деле вздумали бы перебежать к партизанам?

Эта дамочка не раз говорила, что желает мне всяческого благополучия, но, как и следовало ожидать, не пощадила бы меня, вздумай я нарушить ее игру.

— Что же вы сказали обергруппенфюреру?

— А что он сказал вам? — ответила мне вопросом на вопрос Янковская.

— Вот я и хочу знать, скажете вы мне правду или нет,— сказал я с вызовом.— Я жду.

— Вы, кажется, всерьез входите в роль Блейка,— одобрительно заметила Янковская.— Я ничего не выдумывала и лишь повторила то, что сказали вы сами. Сказала, что вас нет, что вы мне срочно нужны и что Эдингер, по вашим словам, осведомлен о месте вашего пребывания.

Это был донос. Хорошо, что я попросил у Эдингера разрешения сослаться на него, иначе она могла основательно меня подвести. Она согласна была, чтобы я полностью перевоплотился в Блейка, но помешала бы мне снова стать Макаровым... Да, это был самый настоящий донос, и в данном случае вещи следовало называть своим именем.

— Но ведь это донос! — воскликнул я.— Что же ответил вам Эдингер?

Узнать ответ Эдингера было сейчас важнее всего!

— Он засмеялся и сказал, что это не столько его тайна, сколько ваша,— ответила Янковская.— Во всяком случае, дал мне понять, что здесь не замешана женщина.

Я с облегчением вздохнул. Немцы покупали меня! Блейк был тонкая штучка... Они отлично понимали, что Блейка не так просто провести, он не мог не видеть, ведется за ним наружное наблюдение или нет, и они сняли с него наблюдение. К такому заключению пришел во время нашей поездки не только я, но и Железнов, а он был опытней меня. Возможно, Эдингер даже решил, что Янковская звонит по моему поручению, и захотел оказаться в моих глазах человеком слова. Он отдавал себе отчет, что у Блейка нет иного выхода, как пойти на службу к немцам, но понимал, что Блейк не заурядный шпион, и отношения с ним надо строить, так сказать, на базе «честного слова»... Все, все в этом мире, в котором я так внезапно очутился, все использовалось в игре... И я с облегчением подумал, что в этот раз Эдингер меня не подвел!

— Но ведь это донос! — повторил я.— Вы вели себя нелояльно, Софья Викентьевна.

Продолжение. «Огонек» №№ 20—26.

Представьте себе, что я сказал вам неправду. Вы погубили бы меня. Эдингер сразу бросился бы по моим следам...

— И на этот раз вас некому было бы спасти, потому что обратного пути у вас нет,— цинично согласилась Янковская.— Я не советую вам пренебрегать мною, вы еще слишком неопытны, а немцев обмануть нелегко. Это-то меня и тревожило, поэтому я и спросила, как вы справились...— Она подошла ко мне и провела рукой по моим волосам.— Будьте умницей, нам невыгодно ссориться,— примирительно сказала она.— Чего хотел от вас Эдингер?

Черт знает, какие у нее были связи и возможности! С ней не стоило ссориться, и я бы не поручился, что она не могла узнать о моем разговоре с Эдингером от кого-нибудь из его окружения, поэтому я не собирался сильно отклоняться от истины.

— Он просил показать рацию, при помощи которой Блейк сносился с Лондоном,— признался я с таким видом, точно Янковская вырвала это признание против моей воли.

— Рацию?! — воскликнула Янковская. — Но ведь это же блеф!

— То есть как блеф? — спросил я. — Разве у Блейка не было рации?

Янковская пожала плечами.

— Я лично никогда не слыхала ни о какой рации. Конечно, могла быть, и каким-нибудь путем немцы могли о ней пронюхать. Но вытo... Это рискованный путь — блефовать с немцами! Вы о рации не знаете ничего, а играть с ними комедию долго не удастся, вы рискуете головой.

Я насмешливо посмотрел на Янковскую.

— Ну, а если я обнаружил рацию?

— Вы?! — На этот раз она удивилась вполне искренне.— Каким образом?

— Я нашел в этом кабинете кое-какие координаты, которые помогли мне...

Я сказал это так, точно это было самое повседневное дело — находить тайные передатчики, посредством которых резиденты английской секретной службы осуществляют свою связь.

Янковская широко раскрыла глаза.

— Вы это серьезно?

— Вполне.

— И вы нашли указание на местонахождение рации в этом кабинете?

— Вот именно.

— Но каким образом?

— Это мой секрет.

— И знаете позывные и код?

— Приблизительно.

— И преподнесли этот подарок Эдингеру?

— Почти.

— Ну, знаете ли...— В ее глазах блеснуло даже восхищение.— Вы далеко пойдете!

На несколько мгновений она утратила обычную выдержку и превратилась просто в женщину, восхищающуюся сильным мужчиной.

— Я рада, что не ошиблась в вас.— Она опустилась в кресло и закурила папиросу.— Кажется, вы способны завоевать мое сердце!

Но я остерегался близости с этой женщиной. Кто знает, какие причины на самом деле побудили ее погубить Блейка!

— Мне трудно в это поверить,— меланхолично произнес я, отходя к окну.— Вряд ли вы способны полюбить кого-нибудь, кроме себя.

Янковская не ответила, она только нервно потушила папиросу, долго сидела молча, потом поднялась и тихо, не прощаясь, ушла.

Наступила пятница.

А мне было сказано: вторник или пятница, от пяти до семи, книжная лавка на площади против Домской церкви...

Эта церковь, построенная еще в тринадцатом веке,— один из красивейших архитектурных памятников Риги, пережила все бомбардировки и превратности войны, уцелела до наших дней и посейчас украшает старинную Домскую площадь.

Все мне нравилось в этом районе: и древняя церковь, и прилегающие к ней узкие улочки и переулки, нравились выстроенные в готическом стиле дома, и вымощенные булыжником мостовые...

Все здесь дышало стариной, все давало почувствовать полет времени.

Я шел по Известковой улице, улице бесчисленных магазинов и магазинчиков, посреди оживленно снующих прохожих...

Тот, кто никогда не был здесь прежде, не заметил бы ничего особенного: множество магазинов и множество прохожих. Но я-то бывал на этой улице и раньше, всего несколько месяцев назад, я-то замечал: вот магазин, как магазин, а рядом пустое помещение, запертые двери, голые витрины, и опять пустое помещение и запертые двери...

И все же, чем дальше шел я по Известковой улице, тем больше улучшалось мое настроение: все дальше уходил я от того, кто был Дэвисом Блейком, уходил от его «цветов зла» и от «Цветов» Бодлэра, и от изящных томиков Марселя Пруста, от чужой просторной квартиры и от чужих, доставшихся мне в наследство вещей, от нехитрых девушек и двуличной Янковской, от ее угроз и заигрываний, от всего непривычного и чуждого, уходил и все больше становился самим собой...

Вот и Домская площадь, церковь и против нее букинистический магазин. Большое окно, в котором выставлены книги. Низкая, наполовину застекленная дверь...

Я открыл ее. Зазвенел колокольчик, прикрепленный к двери. Должно быть, хозяин не всегда сидел в своей лавке и отлучался в помещение, расположенное позади магазинчика.

На этот раз хозяин находился у прилавка. Угрюмый, небритый латыш. Седая щетина покрывала синеватые склеротические щеки, разрисованные багровыми жилками.

Хозяин был не один: еще через дверное стекло я заметил, что над прилавком склонился какой-то покупатель.

Я вошел и невольно сделал шаг обратно, неприятно пораженный встречей...

Я увидел Гашке! Да, того самого Гашке, с которым лежал в госпитале и которого мельком видел в канцелярии гестапо.

Он небрежно на меня покосился, сделал вид, что не узнал, а может быть, и в самом деле забыл, и опять склонился над прилавком. Усилием воли я принудил себя приблизиться к прилавку. Перед господином Гашке в изобилии лежали открытки с изображением обнаженных красавиц в весьма нескромных позах.

— Чем могу служить? — по-немецки обратился ко мне хозяин магазина.

Секунду я колебался, но пароль, полученный мною, звучал столь невинно, что я решил не обращать на Гашке внимания.

— Я разыскиваю первое издание «Фауста». Первое издание, вышедшее в 1808 году.

— Вы хотите слишком многого,— ответил мне продавец.

— Я не пожалею никаких денег,— настойчиво сказал я.

— Откуда в моем скромном магазине может быть такая редкость? Но я могу предложить вам одно из позднейших изданий, с отличными иллюстрациями.

— Нет, мне нужно издание 1808 года,— настойчиво повторил я.

— И я бы взял с вас не слишком дорого,— настаивал на своем предложении продавец.

— Нет,— твердо сказал я.— Мне нужно первое издание, если вы не можете его достать, мне придется уйти.

Сказано было все, что следовало сказать для того, чтобы тебя признали своим в этом тесном и темном магазинчике, но почему-то я не был уверен в ответе. Меня смущало присутствие господина Гашке.

Однако продавец не стал медлить и толкнул дверь в помещение, примыкавшее к магазину,— маленькую комнату с убогой железной койкой, с голым, ничем не покрытым столом и с табуреткой, на которой стояло ведро с чистой водой. Похоже, что хозяин жил в этой комнатке, напоминавшей тюремную камеру.

— Прошу вас,— произнес продавец.— Пройдите.

Сам он остался на месте, пропустил меня, и не успел я оглядеться, как в комнату вошел Гашке.

Дверь затворилась.

Гашке держал в руках открытки. Одним движением он сложил их, как карточную колоду, и небрежно положил на край стола.

— Садитесь, товарищ Макаров, Андрей Семенович,— сказал он по-русски.— Я уже давно жду вас.— Он указал на койку и сам сел на нее.

Я не мог еще прийти в себя оттого, что именно Гашке является человеком, которому я должен предоставить всего себя.

— Мне приказано поступить в ваше распоряжение,— неуверенно произнес я.— Вот я и пришел.

— Зачем так официально? — сказал Гашке.— Нас связывают не формальные узы...— Этот человек точно высвобождал меня из каких-то тенет, которыми я был опутан за время моей жизни под чужим именем.— Давайте знакомиться,— просто сказал он.— Меня зовут Иван Николаевич Пронин. Майор Пронин. В прошлом году мне пришлось заниматься делами, связанными с Прибалтикой. Вот начальство и направило меня сюда...

Все это говорилось без всякой многозначительности, с той простотой и естественностью, которая есть непременное свойство мужественных душ.

— Я ничем не должен отличаться от тех, чье доверие поручено мне завоевать,— продолжал Пронин.— Обер Гашке — я теперь уже не унтер, а обер — не только не хочет отставать от своих офицеров, а кое в чем хочет их даже превосходить. Все в гестапо знают, что ни у кого нет лучших картинок определенного содержания, чем у обера Гашке. Это создает мне популярность. Под этим предлогом мне удобно заходить к букинистам. Обер Гашке пополняет свою коллекцию!

Пронин прислушался к какому-то шуму за стеной, помолчал, — по-видимому, это была ложная тревога — и опять обратился ко мне:

— Нам с вами надо обстоятельно поговорить, Андрей Семенович. Сейчас у нас мало времени, да и место для этого неподходящее. Я не должен оставаться здесь подолгу: это могло бы навлечь подозрения на нашего хозяина. А он еще пригодится Латвии. Я предложу следующее...

Он думал всего несколько секунд.

— Завтра... Скажем, завтра, между двенадцатью и часом, обер Гашке отправится со своей девицей в Межапарк. В гестапо самая горячка ночью, поэтому днем позволено и вздремнуть и отдохнуть...

Он достал блокнот, сделанный со всей немецкой тщательностью, вырвал из него листок и быстро начертил нечто вроде плана.

— Вот дорога, вот поворот, здесь развилина, направо дорожный знак... Скажем, у следующего дорожного знака. Вы можете приехать на машине? У этого дорожного знака и будет прохлаждаться обер Гашке с дамой своего сердца. С вашей машиной что-нибудь стрясется, скажем, заглохнет мотор. Вам не останется ничего другого, как обратиться за помощью к благодушествующему оберу...

Все было совершенно ясно.

— Я пойду, а вы выходите минут десять спустя и возвращайтесь другой дорогой,— распорядился Пронин.— Кстати, у вас есть с собой деньги?

— Не слишком много,— сказал я.— Я не знал...

— Много и не надо. Будете уходить, купите на всякий случай у нашего хозяина две — три книжки...

Пронин забрал картинки и вышел, я услышал дребезжание колокольчика на двери и вернулся в магазин. Хозяин равнодушно на меня посмотрел. Я купил у него несколько немецких журналов, вышел на площадь и окольным путем отправился домой.

Вечером я предупредил Янковскую:

— Завтра с утра мне понадобится машина.

Она усмехнулась:

— Ого, как вы стали разговаривать!

— Но ведь машина-то моя?

— Если вы действительно решили стать преемником Блейка, несомненно.— Она подумала и спросила:— Куда же вы собираетесь на этот раз?

— На свидание,— смело ответил я.— С одним из оперативных работников гестапо.

— Это в плане ваших разговоров с Эдингером? — Янковская испытующе посмотрела на меня.

— Да,— твердо сказал я.— Думаю, мне стоит с ним сблизиться.

В ее глазах почти неуловимо — в этой женщине все было неуловимо — сверкнула искорка радости.

— Что стоит вам делать, я объясню несколько позже,— сказала она дружелюбно.— А что касается машины, я загоню ее во двор, и утром вы можете ехать в ней хоть до Берлина.

Утром Марта накормила меня жареной камбалой — у нее были какие-то особые хозяйственные связи с рыбаками и огородниками из-под Риги,— затем я вывел машину, пожалел, что рядом нет капитана Железнова, и поехал за город.

Военному, как правило, достаточно лишь намека на карту для того, чтобы отыскать требуемую географическую точку, а Пронин вычертил путь к своему сегодняшнему местопребыванию достаточно тщательно. Я доехал до развилины, нашел дорожный знак и неподалеку от второго знака в тени деревьев увидел расположившегося на траве обера Гашке.

Сухая теплая осень пришла на смену мягкому прибалтийскому лету. Желтые и оранжевые краски окрасили листву. Бронзовые листья нет-нет да и слетали с ветвей и, медленно кружась, точно умирающие бабочки, опускались на дорогу. Трава обвяла, сделалась суше, жестче, лежать на ней было не так уж приятно, как весной...

Но обер Гашке чувствовал себя, по всей видимости, превосходно. На траве перед ним был расстелен лист синей оберточной бумаги, на бумаге лежали холодные сосиски и бутерброды с колбасой и сыром, около бумаги прямо на траве стояла початая бутылка с водкой, и возле нее валялись два бумажных стаканчика; все это было куплено, конечно, в магазине, обслуживавшем только немецких офицеров,— таких специальных магазинов в Риге было достаточно.

Но главную прелесть подобного времяпрепровождения представляла, конечно, молодая девушка, сидевшая против Гашке.

Эта белокурая красотка, с правильными чертами лица, голубоглазая, крупная и высокогрудая, могла бы покорить не только скромного обера!

Как и было условлено, моя машина остановилась прямо против отдыхающей парочки.

Я соскочил, поднял капот машины, поковырялся в моторе...

— Эй, обер! — крикнул я.— Желаю вашей девушке хорошего мужа! Вы понимаете что-нибудь в моторах?

Обер встал, усмехнулся.

— Откуда вас только принесло?..

Он что-то сказал девушке, та кивнула, сорвала веточку лилового вереска, прикусила стебелек зубами, еще раз кивнула и пошла к повороту.

Пронин подошел ко мне.

— Давайте ваши инструменты!

Я достал сумку с ключами и отвертками, Пронин разбросал их перед машиной, а мы сами отошли к обочине и сели лицом к дороге.

— Где это вы отыскали такую красавицу? — не удержался я от вопроса.

— Хороша? — горделиво спросил Пронин.

— Маргарита не Маргарита, валькирия не валькирия...— подтвердил я.— Обидно, что такая девушка снисходит до немецкого обера.

— А она не снисходит,— насмешливо пояснил Пронин.— Работница с кондитерской фабрики и комсомолка, она знает, кто я такой. Она делает свое дело, и если направится обратно в нашу сторону, учтите, это будет значить, что появились ненужные свидетели, и нам придется заняться мотором.

Но они так и не появились за время нашего разговора.

Здесь мне следует оговориться и сказать, что масштабы деятельности Пронина в оккупированной гитлеровцами Риге были очень велики, в своем рассказе я не пытаюсь даже хоть сколько-нибудь изобразить эту деятельность. Я рассказываю только о событиях, непосредственным свидетелем и участником которых был я сам, и поскольку Пронин принимал в них участие, рассказываю о нем лишь в связи с этими событиями, хотя, повторяю, в общей деятельности Пронина они занимали очень скромное место.

— Прежде всего опишите день за днем, шаг за шагом все, что произошло с вами, начиная с момента вашего приезда в Ригу,— попросил он меня.— Буквально все. Что делали, как жили, с кем встречались...

И я обстоятельно передал ему все, о чем уже рассказывал Железнову.

Пронин задумчиво пошевелил сухие травинки попавшейся ему под руку веточкой.

— Ну, что ж, проанализируем, как говорится, эту шахматную партию в отложенной позиции. Начнем с памятного вечера. Ваша Янковская встретилась с вами, конечно, не случайно, для чего-то вы были нужны. В каких целях воспользовалась она вами, еще не совсем ясно. Разумно предположить, что не в личных, а в интересах чьей-то разведки. Чьей — тоже пока неясно. После всего, что произошло, и особенно после того, как вы нашли ее в ресторане, естественно было предположить, что обо всем увиденном вы сообщите соответствующим органам. В целях профилактики вас решили убить. И все же не убили! Отсюда начинаются загадки...

Пронин посмотрел в сторону своей спутницы. Она безучастно прохаживалась у поворота. Разговор можно было продолжать.

— Все, что произошло с вами,— продолжал он,— свидетельствует о том, что у Янковской, фигурально выражаясь, дрогнула рука. Почему? Вряд ли здесь имели место какие-либо сентименты. Однако несомненно, что в последнюю минуту Янковская приняла новое решение и сохранила вам жизнь, решила подменить вами Блейка, а бомбардировка Риги помогла ей выполнить это намерение.

Я предполагал, что все, что касалось Блейка, Пронину стало известно от меня, но оказалось, что я ошибся.

— Наши органы знали, что под именем Берзиня скрывается английский резидент,— объяснил Пронин.— Однако, понимая, что в войне с Гитлером Англия будет нашим союзником, и держа Берзиня под некоторым контролем, мы не считали нужным его трогать...— Пронин нахмурился.— И, как мне теперь думается, Блейк нас переиграл. Вся эта его агентура, рассеянная по кабакам и парикмахерским, все эти официантки, кассирши и массажистки оказались сплошным блефом. Немцы это отлично поняли. Сам по себе Блейк им малоинтересен, ничего не стоило бы его обезвредить, но немцев интересует его агентурная сеть, из-за нее они и возятся с ним. Никто не хочет иметь в своем тылу запрятанное врагом оружие. Немцы хотят или разминировать его, или взять себе на вооружение.

— Но Эдингер ничего не говорил об агентурной сети,— возразил я.— Наоборот, он говорил, что им нужен именно я...

— Не будьте наивны,— прервал меня Пронин.— Сперва они хотят завербовать Блейка, а когда он бесповоротно с ними свяжется, потребуют передать агентуру...

— Но ведь мне-то она неизвестна? И я не воображаю, что мне удастся долго водить их за нос.

— В том-то и дело, что она должна стать известной,— очень серьезно заявил Пронин.— Ваше положение дает много возможностей проникнуть в тайну Блейка. Вы обязаны это сделать, и, разумеется, не для немцев, а для нас самих. Нас не может не интересовать агентурная сеть Интеллидженс сервис. Это и есть то большое дело, которое вы призваны осуществить. Почти все советские люди работают сейчас на войну, обеспечивают победу; вам предстоит работать и ради завтрашнего дня, ради предотвращения войны в будущем.

Он стал давать мне советы, как практически себя вести и действовать, напомнил о выдержке и терпении, о смелости и осторожности...

— Вы плохо умеете держать себя в руках,— упрекнул он меня.— Вы излишне эмоциональны, а для разведчика это большой порок. Вспомните госпиталь...

— Но вы тоже выдали там себя! — воскликнул я.

— Чем? — удивился Пронин.

— Мое намерение было совершенно недвусмысленно, а вы отпустили меня...

— Для того, чтобы утром отдать в руки гестаповцев.

— Вы заговорили по-русски!

— Гашке родился и вырос в России...— Пронин хитро прищурился.— А вот тем, что вы поняли русский язык, вы сразу обнаружили, что вы не тот, за кого себя выдаете.

— Но как вы узнали, что я Макаров?

— Не сразу, конечно...— Пронин улыбнулся.— Я интересовался всеми привилегированными больными, находившимися в госпитале, и вы не могли не привлечь моего внимания. Кроме того, повторяю, вы вели себя слишком эмоционально. Блейк по тем или иным соображениям мог убить Гашке, поводы для убийства бывают самые разнообразные, так что ваше намерение не могло вызвать особых подозрений, но то, что вы так хорошо

отреагировали на мою русскую речь, выдало вас и вызвало с моей стороны по отношению к вам чувство симпатии. Я взял вас на заметку. Выйдя из госпиталя, я поручил кое-кому навести о господине Берзине справки...

— И узнали, что Берзинь — на самом деле Макаров?

— Да,— сказал Пронин.— Я уже говорил вам, что в последние годы занимался делами, связанными с Прибалтикой. Некоторые обстоятельства вашей гибели внушали кое-какие подозрения. Ими следовало заинтересоваться. Конечно, я не предполагал, что вы живы. Но многому помешала война. В начале июля немцы оккупировали Ригу. Все дела отодвинулись на задний план, а многие канули в небытие. Однако моя поездка в Ригу не отпала, хотя поехал я уже сюда по другим делам. И вот когда у меня возникло сомнение в том, что вы Берзинь, я начал думать, кто же вы в действительности. Ваша фотография имелась в деле, а память у меня, надо сказать, профессиональная. При виде вас у меня появилось ощущение, что я где-то вас видел.

Пронин посмотрел на меня с удивительным дружелюбием.

— Я не знал обстоятельств, сопровождавших ваше появление под именем Берзиня,— продолжал он.— Можно было подумать самое худшее, но о вас навели справки в Москве и здесь, в Риге. Вели вы себя не так, как обычно ведут себя изменники. Я кое с кем посоветовался, и было решено с вами связаться...

За все время своего одиночества я был так уверен в себе, что не мог даже подумать, что обо мне может где-то создаться превратное представление. Только сейчас, после слов Пронина, я уяснил себе трагизм положения, в котором очутился. Недаром Янковская так упорно утверждала, что у меня нет обратного пути.

— Знаете, пожалуй, только сейчас я ощутил всю двусмысленность своего положения,— с горечью признался я скорее самому себе, чем своему собеседнику.— Не так уж трудно было счесть меня перебежчиком...

— К счастью, вы не дали к этому повода,— согласился Пронин.— Трагические ошибки возможны, но прежде, чем сказать о человеке, что он отрезанный ломоть, к нему надо семь раз примериться, и, как видите, проверка показала, что мы не ошиблись.

Много добрых мыслей мелькнуло у меня в этот момент в отношении самого Пронина, но изливаться в чувствах было не время и не место, да и вообще что могли значить слова в той обстановке, в которой мы находились, важно было делом оправдать оказанное мне доверие.

Поэтому вместо того, чтобы заниматься сентиментальной болтовней, я коротко сказал:

— Слушаю вас, товарищ Пронин, приказывайте.

— Мне кажется, главное уже сказано. Ваша задача — выявить агентурную сеть секретной службы, созданную в Прибалтике Блейком. Другого дела у вас нет. Это не так просто, но вы в силу сложившихся обстоятельств имеете наилучшие возможности для решения этой задачи. Используйте Янковскую, вытрясите из нее все, что возможно, но будьте с ней очень осторожны: если она заметит, что из вашего перевоспитания ничего не получается, вторично она уже не промахнется. Заигрывайте с немцами, пока у них не прошло головокружение от успехов, но их тоже не следует недооценивать. Фашистская исступленность огрубляет методы их работы, но не забывайте, что немецкая государственная машина, на которую опираются нацисты, всегда работала неплохо, а разведка стояла на большой высоте. Они вербуют вас, понимая, что у разведчика, пойманного с поличным, нет другого способа сохранить себе жизнь, как перевербоваться. Этим следует воспользоваться. Черт с ними, соглашайтесь стать их сотрудником — репутация английских разведчиков не наша забота! В конце концов они простят вам некоторую пассивность, немцам выгоднее иметь в Риге демаскированного шпиона, нежели идти на риск получить другого, неизвестного им резидента. Можно ведь не сомневаться, что в случае ареста Блейка Интеллидженс сервис направит кого-нибудь в Прибалтику...

Пронин говорил со мной так спокойно, точно речь шла о самом повседневном поручении, какое он мог бы дать своему сотруднику у себя дома в доброе мирное время, и хотя он неоднократно подчеркивал необходимость соблюдать крайнюю осторожность, его деловой и уверенный тон действовал на меня так, что я думал не столько об опасности поручения, сколько о необходимости выполнить его во что бы то ни стало.

Позже, когда я познакомился с Иваном Николаевичем гораздо ближе, я понял, что таким Пронин оставался всегда: он меньше всего думал о себе, весь отдавался делу и своим отношением к нему как-то очень хорошо умел заражать всех своих сотрудников.

— А теперь два слова о связи,— заключил Пронин.— Кажется, всех нас осенила одна и та же идея. Она возникла у Железнова, встретила ответный отклик у вас и нашла мое одобрение. Это идея устроить Железнова в качестве вашего шофера...

Пронин не мог не заметить моего оживления, хотя я и старался быть очень сдержанным,— уж очень было приятно сознавать, что возле меня будет находиться верный товарищ, свой, близкий, родной человек.

— Это, конечно, сопряжено со значительным риском и для него и для вас, но уж очень большие перспективы для его действий открывает положение вашего шофера,— объяснил Пронин.— Дело в том, что одна из функций Железнова — связь с латышскими партизанами, а шоферу Блейка, как вы понимаете, необходимо бывать в самых различных местах. Поэтому мы пойдем на такой риск. К вам явится сын небогатого русского фабриканта, бежавшего после Октябрьской революции из Ленинграда в Эстонию. Типичный представитель второго поколения русских эмигрантов, обнищавший неудачник, пробирающийся на Запад, подальше от большевиков. Документы у него будут в порядке. Виктор Петрович Чарушин. Он явится к вам, и вы наймете его. Будет неплохо, если его заподозрят в том, что он англичанин: Железнов говорит по-английски безукоризненно. Пусть предполагают, что он тоже агент английской секретной службы. Этим, кстати, будет объясняться и ваше расположение к нему. Ну, а в случае, если каким-нибудь образом Железнов провалится, вы сделаете большие глаза. Не вздумайте в таком случае открыто взять его под защиту, наоборот, чтобы не провалить себя, сразу же проявите беспокойство — не подослан ли он к вам; заботу о Железнове возьмут на себя другие. Покуда Железнов будет возле вас, связь с вами поддерживается через него. А в крайнем случае, если что случится, то же место и тот же пароль. С хозяином лавки о делах ни слова. Вы как-то встретились у него с господином Гашке, и тот обещал достать вам какие-то пикантные французские книжки...

Пронин протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием, которое было многозначительнее и красноречивее всяких слов.

— Все,— сказал он.— Желаю успеха. Поезжайте. Оберу Гашке тоже пора в город.

Мы еще раз пожали друг другу руки, я сел в машину, и как только отъехал, девушка тотчас направилась к Пронину.

Я кивнул ей, проезжая мимо, но она мне не ответила.

Когда я подъехал к дому, я увидел в воротах Марту, и не успел я вылезти из машины, как она подошла ко мне.

— Господин Берзинь,— торопливо сказала она,— уезжайте отсюда поскорее. Вскоре после того, как вы уехали, к нам явилось двое эсэсовцев. Они спросили вас. Я сказала, что вы вернетесь нескоро. Они ответили, что будут вас ждать, и сидят сейчас в гостиной. Уезжайте, прошу вас, пока не поздно. Я думаю, они пришли за вами.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

9. ПОД БЕЖЕВЫМ АБАЖУРОМ

Нелепо было убегать от эсэсовцев: Ригу я знал недостаточно хорошо да и вообще почти никого не знал в городе, а тех немногих, кому я был известен, только поставил бы под удар своим появлением; в постоянной охоте на людей, проводимой нацистами в оккупированных местностях, редко кто мог уйти от этих охотников за черепами; и, наконец, у меня не было твердой уверенности в том, что эсэсовцы пришли за моей головой...

Меня заинтересовало, как Марта могла выйти из дома, если там сидели эсэсовцы, и я спросил ее об этом.

— Они сидят в гостиной и курят сигареты,— объяснила Марта.— В кухню они не заглядывали. Поэтому я решила выйти во двор и дождаться вас...

Марта знала, что я не господин Берзинь, и все-таки почему-то жалела меня...

Однако об этом некогда было раздумывать.

— Возвращайтесь к себе и не волнуйтесь, — сказал я Марте. — Не так страшен черт, как его малюют.

Я вошел в парадный подъезд, поднялся по лестнице, отпер дверь своим ключом и прямо прошел в гостиную.

— Хелло! — сказал я.— Здравствуйте, ребята!

Два молодых парня с отупевшими от своей работы лицами сидели в креслах и попыхивали сигаретами.

При виде меня они вскочили.

— Хайль! Хайлитль!

«Хайлитль» значило то же, что «хайль Гитлер», это была жаргонная скороговорка.

Нет, не похоже было на то, что они готовились забирать меня в тюрьму.

— Очень хорошо, — сказал я. — Вы зашли отдохнуть или у вас есть ко мне дела?

Один из них осклабился, другой остался серьезен.

— Господин Август Берзинь? — осведомился тот, который оставался серьезным.— Нам приказано доставить вас в гестапо!

— Может быть, доедем на моей машине? — предложил я.

— Отлично,— согласился тот, который оставался серьезным, и царственным жестом пригласил меня идти вперед: — Прошу!

Нет, т а к эсэсовцы не арестовывали...

Когда мы подъехали к гестапо, спесь сразу сползла с моих провожатых; тот, что оставался серьезным, выскочил, козырнул и остался у машины, а тот, который улыбался, повел меня к Эдингеру.

Я опять очутился в знакомом уже мне кабинете перед руководителем рижского гестапо.

— Садитесь,— предложил он и для внушительности на минуту задумался.— Садитесь, капитан Блейк. У меня к вам два дела...

Увы, Эдингер придерживался не столь уж выгодной политики кнута и пряника; если при первом свидании он манил меня пряником, на этот раз он пытался меня припугнуть.

— Я хочу вас информировать. Получен приказ рейхслейтера Гиммлера,— торжественно произнес он.— Всех иностранных офицеров я обязан интернировать в лагеря особого назначения. Однако это относится только к офицерам, захваченным в форме, с оружием в руках...

Он многозначительно посмотрел на меня своими бесцветными глазами.

— Это не относится к шпионам, скрывающимся среди мирного населения,— принялся он перечислять.— Не относится к личностям, представляющим особую опасность для государства. Не относится к лицам, злоумышляющим против фюрера и германского народа. Не относится к задержанным, пытающимся бежать...

Его крашеные усики зашевелились, как у таракана. Он ничего не добавил, но я отлично понял, что он хотел сказать. Я легко мог стать и скрывающимся шпионом, и личностью, представляющей особую опасность, и лицом злоумышляющим, и, наконец, меня просто могли пристрелить при попытке к бегству.

Это-то я понял, но еще не вполне понимал, чего домогался Эдингер, а ему, разумеется, что-то было от меня нужно.

— Вам не надо забывать, кому вы обязаны жизнью,— торжественно заявил Эдингер.— Когда рука советского агента настигла вас в собственной вашей квартире, мы сделали все, чтобы вырвать вас из объятий смерти.

Эта версия происшедших событий, придуманная, вероятно, Янковской, мало соответствовала действительности, но мне следовало ее принять.

Со всей прямолинейностью и самоуверенностью, которые особенно сильно проявлялись у немецких чиновников в ту пору, он не замедлил поставить передо мной категорический вопрос:

— Вы умеете быть благодарным? Наш вы или не наш?

Теперь, после полученных мною указаний, я мог пренебречь тем, что может подумать обергруппенфюрер Эдингер об английских офицерах, которых, по его мнению, я представлял сейчас перед ним.

— Вы ставите меня в безвыходное положение,— ответил я с достаточной долей высокомерности, которая, впрочем, не могла не импонировать такому субъекту, как Эдингер.— Интересы Великобритании вынуждают меня разоружиться и вручить вам свою шпагу.

— Хайль Гитлер! — в ответ на это крикнул Эдингер.

Я не знал, ждет ли он от меня подобного вопля, но промолчал, считая, что английскому офицеру даже в таких обстоятельствах нельзя уподобляться гитлеровскому штурмовику.

— Я рад, что мы нашли общий язык,— сказал Эдингер.— Потому что ваш выживший из ума Черчилль ничего не понимает в политике...

Он вылил на голову Черчилля такой поток ругательств, который, по-моему, не мог бы понравиться даже противнику Черчилля, будь тот английским офицером; однако я дисциплинированно молчал, и это понравилось Эдингеру.

— Вы не пожалеете о сегодняшнем дне! — патетически воскликнул Эдингер. — Германия позаботится о будущей Великобритании.

Может показаться, что, изображая Эдингера, я рисую его слишком ходульным, слишком напыщенным, не таким, каким бывают люди в обыденной жизни, но я хочу здесь подчеркнуть, что Эдингер был именно таким.

Затем он сразу перевел разговор на рельсы сугубого практицизма.

— Я хочу вас обрадовать, капитан Блейк,— произнес он со снисходительной улыбкой.— Как только вы передадите нам свои дела в Риге, мы перебросим вас в Лондон. У нас есть соответствующие возможности. Вы сделаете вид, что вам грозил арест и вы бежали. Вы начнете работать на нас в Англии.

— Но я не собираюсь в Лондон,— сказал я.— Мне полезнее находиться здесь.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—27.

— Не хотите рисковать? — иронически спросил Эдингер.— Спокойнее оставаться с победителями?

— Думаю, что здесь я буду полезнее,— уклончиво ответил я.— На мое место пришлют кого-нибудь другого, и еще неизвестно, захочет ли он сотрудничать с вами.

— Хорошо,— великодушно́ сказал Эдингер.— Мы вернемся к этой проблеме, когда получим доказательства вашей лояльности.

— Каких доказательств вы хотите? — настороженно спросил я.— Я уже обещал свое сотрудничество...

— Вот мы и хотим доказательств этого сотрудничества!— воскликнул Эдингер.— Связи и агентура, агентура и связи — вот что нужно от вас! Только это можем мы принять от вас в уплату за вашу жизнь и наше доверие.

И здесь я совершил ошибку, посчитав Эдингера глупее, чем был он на самом деле: я пообещал познакомить гестапо со всеми своими агентами, имея в виду своих девиц, тем более, что немцы имели о них, как я безошибочно предполагал, очень хорошее представление.

— Когда? — строго спросил Эдингер.— Когда мы получим вашу сеть?

Я мог составить список своих девиц за полчаса, но решил придать этой работе солидный характер.

— Я дам список своих агентов... через три... нет, скажем, через четыре дня.

— Хорошо, я буду ждать,— серьезно сказал Эдингер.— С этого дня двери моего дома открыты для вас. Сегодня двенадцатое... Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого.. шестнадцатого я жду вас у себя.

Эдингер нажал кнопку звонка.

— Мюллера с документами, — приказал он появившемуся и тут же исчезнувшему адъютанту.

Затем Эдингер загадочно посмотрел на меня.

— Я хочу показать вам, что значит работать в германской разведке,— внушительно сказал он.— Нет людей великодушнее немцев!

Мюллер не замедлил появиться.

Это был весьма солидный господин с белесыми волосами, напомаженными бриллиантином, в роговых золотистых очках и в черном мундире, плотно облегавшем его упитанную фигуру и еле сходившемся на выпиравшем животе.

— Господин Мюллер, наш главный кассир,— представил его Эдингер.

Господина Мюллера сопровождал еще какой-то чиновник, но его господин Эдингер не нашел нужным представлять.

— Вы принесли? — осведомился Эдингер, ласково взглянув на Мюллера.

— О да, господин обергруппенфюрер,— почтительно ответил Мюллер.— Все, как было указано.

— Мы хотим выплатить вам некоторую сумму,— сказал Эдингер, посматривая то на меня, то на Мюллера.— Мы умеем ценить людей, господин Блейк!

Я сделал какое-то движение, которое Эдингер истолковал в двойном смысле.

— Не смущайтесь, господин Блейк, мы верим, что вы оправдаете вложенные в вас средства,— убежденно произнес он.— И не смущайтесь, что я так открыто называю вас перед господином Мюллером. Тот, кто платит деньги, должен знать, кому он их платит.

Господин Мюллер раскрыл принесенную с собой папку и подал мне деньги — тут были и рейхсмарки и фунты стерлингов.

— Мы даем вам и марки и фунты,— пояснил Эдингер.— Марки на текущие расходы, фунты в копилку.

Мюллер подобострастно рассмеялся.

По-видимому, отказываться от этих денег не следовало.

Я взял бумажки и со светской небрежностью, свойственной, как мне думалось, английскому аристократу, не считая, сунул их в карман.

— Нет, нет, так не годится,— строго поправил меня Эдингер.— Прошу вас пересчитать деньги, обязательно пересчитать и, увы, написать расписку: денежные расчеты требуют самого неуклонного педантизма.

Чиновник, пришедший с Мюллером, засуетился, пододвинул ко мне лампу, указал на стол.

Мне пришлось подчиниться, я достал деньги, пересчитал, написал расписку, передал Мюллеру.

— Все готово? — спросил Эдингер, но почему-то не Мюллера, а его спутника.

— О да! — сказал тот, и Эдингер кивком головы отпустил обоих своих чиновников.

Затем он встал...

Я полагал, что со мной все закончено, но оказалось, что Эдингер не мог отказать себе в удовольствии еще раз выступить передо мной в своем репертуаре.

На прощание он произнес целую речь:

«Раса господ, германский дух, карающий меч...»

Это надо было послушать!

«Новая империя должна следовать путями, проторенными рыцарями Тевтонского ордена. Германский плуг вонзится в русскую землю при помощи германского меча. Даже самый плохой германский рабочий в биологическом отношении и с расовой точки зрения в тысячу раз лучше русских, поляков, латышей и прочего сброда. Все они будут использованы для победы германского оружия. Местное население должно работать, работать и работать. Не обязательно его кормить. Оно вообще годно только на удобрение. В борьбе с большевизмом неуместны рыцарство и военная честь. Более сильная раса вытеснит более слабые и сломает нелепые барьеры гуманности. Карающим мечом уничтожим мы силы, пытающиеся воспрепятствовать нашему движению, будь то сегодня, через десять лет или через столетие...»

Это был набор фраз из Гитлера, Гиммлера и Розенберга.

Эдингер декламировал передо мной так, точно находился на многолюдном митинге...

На следующий день появился, как и было условлено, Железнов.

На этот раз он пришел с черного хода.

— Вас спрашивает человек, с которым вы на днях куда-то ездили,— сообщила Марта.

Железнов явился с документами на имя Виктора Петровича Чарушина. Это были отличные документы, возможно, даже подлинные, хотя все опознавательные данные Чарушина соответствовали внешним приметам Железнова.

Я позвал Марту и сообщил, что нанял шофера; меня интересовало, как она к этому отнесется.

— Ночевать он будет у нас,— распорядился я.— Стелить постель будете ему в коридоре.

Коридор мы с Железновым избрали для ночевки потому, что тогда в его распоряжении находились бы оба выхода из квартиры.

Марта не отличалась общительностью, но к появлению нового жильца отнеслась довольно благосклонно.

— Слушаю, господин Берзинь,— сказала она.— Для господина Чарушина мы вынесем из гостиной маленький диванчик, если вы разрешите.

— Он вас не стеснит? — полюбопытствовал я.

— Напротив, господин Берзинь,— сказала она.— Мне приятно ухаживать за таким симпатичным человеком...

Она ушла, а я вопросительно посмотрел на Железнова.

— Как это вам удалось завоевать ее сердце?

— Она кое о чем догадывается,— признался Железнов.— Марта самая обыкновенная женщина, но она сильно пострадала от фашистов. Многие ее родственники отправлены в Германию, а один из братьев повешен. Марту хорошо знают товарищи ее брата, и это они посоветовали справиться у нее о вашем поведении. Она отзывается о вас неплохо, говорит, что вы порядочный человек. Ей понравилось, что вы не стали амурничать ни с Янковской, ни с кем-либо из прочих ваших посетительниц. А когда мы условились о поездке за город, она должна была предупредить меня на случай возможной засады.

Железнов открывал мне глаза на Марту с такой стороны, с какой я ее еще не видел.

А я-то подозревал, что она приставлена ко мне немцами!

Еще больше меня интересовало, как отнесется к появлению Железнова Янковская.

Она приехала под вечер, прошла в столовую, села у стола, закурила.

— Вас можно поздравить,— сказала она.— Эдингер доволен вами.

— А вы уже осведомлены об этом? — спросил я.

— Я обо всем осведомлена,— сказала она.— Особенно, если это в какой-то степени касается меня.

— У меня тоже есть для вас новость,— сообщил я.— Я нанял себе шофера.

— Для чего? — резко сказала она.— Это лишнее!

— Не могу же я постоянно злоупотреблять вашей любезностью,— спокойно возразил я. — Кроме того, он уже здесь.

— А кто он такой? — поинтересовалась Янковская.

— Русский эмигрант из Таллина,— объяснил я.— Виктор Петрович Чарушин.

— Ах, Август, Август! — укоризненно заметила Янковская.— Вас еще легко обвести вокруг пальца.

Я, разумеется, не согласился.

— Вы преувеличиваете мою наивность.

— Документы его вы по крайней мере видели? — осведомилась Янковская.— Вы можете их мне показать?

— Разумеется,— сказал я и принес документы из кабинета.

Она внимательно их пересмотрела.

— К сожалению, ни к чему нельзя придраться,— недовольно сказала она.

— Почему «к сожалению»? — удивленно спросил я.

— Потому что всегда лучше, чтобы документы были чуточку не в порядке,— заметила она, поджимая губы.— У людей, которые выдают себя не за тех, кем они являются в действительности, всегда бывают слишком хорошие документы.

Мы помолчали.

— Может быть, он подослан немцами? — высказала она предположение.— Хотя с таким же успехом может оказаться и русским партизаном. Не исключено даже, что вы сами предложили ему убежище.— Она прищурила свои хитрые глаза.— Смотрите, Август, не вздумайте вести двойную игру,— предупредила она меня.— Во второй раз я уже не промахнусь.

— У вас слишком развита профессиональная недоверчивость, — развязно сказал я.— Я во всем следую вашим советам, а что касается шофера, по-моему, этот шофер всего-навсего только шофер.

— Он здесь? — спросила Янковская.

Я нажал звонок, вызвал Марту.

— Если Виктор здесь, попросите его зайти,— сказал я.

Железнов немедленно появился в столовой, очень вежливый, спокойный, независимый.

Янковская долго, чересчур долго рассматривала Железнова, но он не проявил никакого нетерпения.

— Как ваша настоящая фамилия? — внезапно спросила она.

— Чарушин, — невозмутимо ответил Железнов.

— Откуда вы сюда попали?

— Из Таллина,— все так же безмятежно ответил он.

Он говорил по-русски, но в его голосе звучало что-то чужеземное: у него были актерские способности.

— Мне не нравятся ваши документы,— сказала она.

Железнов только пожал плечами.

Она отпустила его.

— Мне он и сам не нравится,— сказала она, когда Железнов вышел.— Фальшивые люди умеют казаться симпатичными.

— На его счет у меня другие соображения,— сказал я.— Вы заметили, как он говорит по-русски? По-английски он говорит гораздо лучше, без какого бы то ни было акцента.

Янковская упрямо покачала головой.

— Если бы Интеллидженс сервис понадобилось, чтобы он был русским, он бы не акцентировал,— уверенно возразила она.— Кстати, вы сами неплохо говорите по-английски.

Она ушла и не показывалась два дня, она сердилась на меня за проявленную мною самостоятельность и хотела дать мне это почувствовать.

Шестнадцатого днем ко мне заехал какой-то гауптштурмфюрер.

— Господин обергруппенфюрер просил напомнить, что он ждет вас сегодня вечером у себя,— с изысканной вежливостью предупредил меня посланец.

Я тут же взял свою телефонную книжку и за полчаса выписал для Эдингера имена всех сотрудниц покойного Блейка.

Вечером Железнов отвез меня к Эдингеру.

Начальник гестапо занимал просторный особняк.

В подъезде дома дежурил эсэсовец, дверь открыл мне тоже эсэсовец.

Навстречу вышел сам Эдингер и ввел меня в гостиную.

Просторная комната казалась удивительно тесной,— так она была заставлена мебелью. Тут были и столы, и столики, и этажерки, всякие горки и полочки, стулья, кресла, пуфы, везде было полно всякой посуды, хрусталя и фарфора, ваз и статуэток; все эти предметы были, несомненно, накрадены здесь же, в Риге, или, как выражались сами немцы, реквизированы.

Но если мебель, посуда и безделушки были позаимствованы Эдингером в Риге, то великое множество салфеточек, накидочек и дорожек, по всей вероятности, были привезены из Дортмунда, где жил Эдингер до начала своей политической карьеры.

Вышитые гладью красные и коричневые буквы старомодного готического шрифта сплетались в назидательные надписи и украшали диван, стены и этажерки: «У того хороший дом, Кто все добыл своим трудом», «Того, кем труд не позабыт, Господь всегда вознаградит», «Если женушка верна, То спокойно спит она»...

На диване, загораживая широкой спиной одну из таких надписей, сидела та самая дама, которую я видел вместе с Эдингером у профессора Гренера.

Эдингер подвел меня к ней.

— Позволь, Лотта, представить тебе...— он на секунду задумался: — пока что господина Августа Берзиня. Вероятно, ты его помнишь, он бывает у доктора Гренера.

Она церемонно поздоровалась и устремила свой тусклый взгляд на круглый столик перед искусственным камином, явно привезенным сюда тоже из какого-то другого помещения.

Столик был сервирован для кофе. На нем стояли крохотные кофейные чашечки, рюмки, вишневый ликер, печенье и бисквитный пирог. Перед столиком стояли обитые золотистым шелком низкие пуфы; и столик и пуфы освещал торшер с тусклым желтовато-бежевым абажуром, украшенным каким-то неясным синеватым рисунком.

— Пригласи господина Берзиня выпить чашку кофе,— отдал Эдингер команду своей супруге.

Она смущенно улыбнулась.

— Господин Берзинь...

Мы сели за стол, эсэсовец, открывший мне наружную дверь и исполнявший здесь обязанности горничной, принес дымящийся кофейник, госпожа Эдингер разлила по чашкам кофе, а сам хозяин налил мне и себе ликеру.

— Прозит!

Эдингер бросил на жену снисходительный взгляд.

— Что же ты не похвастаешься, Лотта? — сказал он.— Похвались перед господином Берзинем своей обновкой!

Лотта немедленно перевела свой взгляд на абажур.

— Так трудно угнаться за модой,— послушно сказала она.— Я с большим трудом достала этот абажур.

Я мельком посмотрел на торшер, абажур не привлек моего внимания, но госпожа Эдингер, кажется, сочла, что я разделяю ее восхищение.

— Если бы вы знали, чего он мне стоил! — продолжала она.— Такие абажуры хотят иметь все! Взамен мне пришлось отдать свой лучший чайный сервиз, вывезенный Генрихом еще из Франции...

Госпожа Эдингер вела обычный салонный разговор, которому я не придавал значения...

От второй чашки я отказался.

— Я не пью много кофе на ночь, господин обергруппенфюрер.

— В таком случае займемся делами,— сказал Эдингер и кивнул жене.— Лотта, ты можешь идти спать.

Мы раскланялись.

— Давайте, господин Блейк, вашу сеть,— нетерпеливо произнес Эдингер, когда мы остались вдвоем.— Удовлетворите мое нетерпение.

Я подал свой список.

Он цепко схватил листок, просмотрел его, и я увидел, как багровеет его лицо и шевелятся его усики.

— Что это? — спросил он меня зловещим шепотом.— Что это такое?

— Моя агентура,— небрежно, но не без гордости объяснил я.— Мною охвачены все кафе, многие магазины и парикмахерские. Здесь указано, где кто работает...

Но Эдингер не слушал меня.

— Вы смеетесь надо мной? — прохрипел он.— На что мне нужны ваши девки? — Впрочем, он выразился хуже.— Мы их давно знаем! Они обслуживают и вас, и нас, и всех, кто только этого пожелает! Вы считаете меня идиотом? Мне нужна настоящая агентура!

По-видимому, он говорил о той самой агентуре, которую имел в виду Пронин, но я-то, увы, не знал никого, кроме этих девушек!

— Господин обергруппенфюрер...—сказал я, понимая, что переборщил...

— Не валяйте со мной дурака! — закричал Эдингер.— Вы прячете свою агентуру, свою рацию, пытаетесь обвести нас вокруг пальца и воображаете, что вам это удастся! Капитан Блейк! Или вы разоружитесь, или мы сделаем абажур из вашей собственной кожи!

В этот момент я его не понял, я думал, что это просто гипербола.

Он впал в неистовство...

Нужно было, как говорится, перестроиться на ходу; следовало осторожно спустить Эдингера на тормозах.

— Господин обергруппенфюрер, не стоит меня пугать,— произнес я с чувством собственного достоинства.— Все-таки я британский офицер, а британский офицер боится лишь бога и своего короля...

Эдингер на минуту замолчал, выпучил на меня свои оловянные глаза и неожиданно разразился смехом.

— Интересно, что скажет ваш король, когда увидит вот это!

Он торопливо полез в карман своего френча и выбросил на стол несколько фотографий. Несомненно, они заранее были приготовлены для меня.

— Любуйтесь! — хрипло выкрикнул он.— Это будет отличный сюрприз королю!

Я взял эти фотографии в руки. Собственно говоря, это была одна фотография. На ней был снят я собственной своей персоной, я сидел у стола Эдингера и пересчитывал полученные мною банкноты, позади меня виднелся Эдингер, и не требовалось большого труда, чтобы разобраться в смысле этого снимка. Самый настоящий уличающий документ, который мог скомпрометировать кого угодно...

Теперь мне стало понятно присутствие чиновника, сопровождавшего щедрого господина Мюллера! Будь снят подлинный капитан Блейк и получи Интеллидженс сервис такой снимок, карьера Блейка быстро закончилась бы!

— Что еще нужно для того, чтобы держать вас в руках? — вызывающе спросил Эдингер.

Было необходимо как-то обезоружить этого господина...

Я задумался, затем понурил голову и, пользуясь самыми мрачными гамлетовскими интонациями, уныло произнес:

— Да, вы победили, господин Эдингер, я у вас в руках. Но я знаю, что теперь делать. Пуля в лоб — это единственное, что остается офицеру в моих обстоятельствах. Надеюсь, вы подарите мне эту ночь для того, чтобы я мог написать письма своим близким...

И, представьте себе, мой трагический тон подействовал на этого гестаповца!

Эдингер испугался, что я покончу с собой, сразу увял, переборол себя и еще раз показал, как важно было немцам заполучить агентурную сеть английской секретной службы.

— Хорошо, господин Блейк,— сказал Эдингер, понижая голос.— На этот раз я прощаю вам вашу шутку. Но помните, второй раз подшутить над собой я не позволю. Если вы хотите любоваться луной, покажите мне свои звезды.

— Вы их увидите, господин обергруппенфюрер,— меланхолично произнес я.— Но вы должны понимать, что агентов, которых вы хотите иметь, нельзя просто перечислить из одного ведомства в другое, их надо подготовить и предупредить, если вы хотите иметь от них какую-либо пользу. Одно дело — хористы и совсем другое — солисты, имеющие каждый свою неповторимую индивидуальность. Никто не может продать меня, кроме меня самого!

— Ну, хорошо, Блейк, хорошо,— сказал Эдингер, уже окончательно смягчась.— Мы верим вам и подождем, но только бросьте свою английскую фанаберию и не считайте нас детьми.

Эдингер отступал, и я мог сейчас что-нибудь от него потребовать.

— Наоборот, господин обергруппенфюрер, я буду вполне откровенен,— с готовностью произнес я.— Я даже буду просить вас о помощи. Я знаком не со всеми своими агентами, некоторые из них перешли ко мне еще от моего предшественника. Мне нужно лично проверить всю сеть, предстоят поездки, нужен подходящий шофер...

Эдингер благосклонно улыбнулся.

— Мы найдем вам...

— О, нет, благодарю вас,— поспешил я отказаться от его любезности.— Шофер у меня есть, нужно только ваше указание оформить без излишних придирок необходимые документы.

— А кто он? — поинтересовался Эдингер.

— Эмигрант из Эстонии,— сказал я.— Некто Виктор Петрович Чарушин.

— Русский? — подозрительно спросил Эдингер.

— Я вам скажу правду,— сказал я с таким видом, точно Эдингер принудил меня к признанию.— Это как раз один из тех агентов, которыми вы интересуетесь, он работал у нас по связи и принесет немало пользы, если будет находиться при мне.

— Англичанин? — быстро спросил Эдингер.

— Да, англичанин,— подтвердил я.— Но я не хотел бы...

— Я вас понимаю,— благосклонно согласился Эдингер.— В этом случае я могу пойти вам навстречу...

Он пообещал на следующий же день дать распоряжение без всяких проволочек оформить для моего шофера документы, и мы расстались, довольные друг другом.

На другой день я рассказал Янковской о своем визите.

Она интересовалась моим посещением Эдингеров во всех подробностях, и я, делясь с ней своими впечатлениями, с шутливой иронией отозвался между прочим и о показной роскоши хозяев и о самой госпоже Эдингер.

— Мещанство в самой махровой его разновидности!

— Как сказать! — зло возразила Янковская.— Чего стоит один их абажур!

— А что в нем особенного? — спросил я с недоумением.— По-моему, абажур как абажур, хотя, действительно, госпожа Эдингер очень им хвасталась!

— Да ведь он из человеческой кожи! — воскликнула Янковская.— Их изготовляют в каком-то из лагерей, и за ними сейчас в Германии гоняются все модницы из самого лучшего общества!

Я не сразу поверил...

— Да-да! — выразительно сказала Янковская.— А если попадается кожа с татуировкой, бюварам и абажурам нет цены!

Вот когда я вполне понял, что представляют из себя эти супруги...

Шакалы! Самые настоящие шакалы!

Впрочем, под личиной мещан сплошь да рядом прячутся именно такие хищники...

Вчерашний кофе показался мне не таким уж сладким...

Но Янковская тут же забыла об абажуре и перешла к обычным делам.

Согласие Эдингера выдать Чарушину документы ей явно не понравилось, она, кажется, снова начала подозревать, не подослан ли он самим Эдингером; его брань по адресу девушек вызвала у нее только усмешку, а требование Эдингера демаскировать агентурную сеть Интеллидженс сервис заставило серьезно задуматься.

— Эдингер повторяет ту же ошибку, которую совершил Блейк, он хочет владеть тем, что предназначено совсем не для него,— задумчиво сказала она.— Что ж, он сам лезет в петлю, которую не так уж трудно затянуть.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

10. «ПРАВЬ, БРИТАНИЯ!»

На первый взгляд жизнь в городе шла своим чередом: жители ходили на работу, прохожие заполняли улицы, торговали по-прежнему магазины...

И все же Рига, казалось, существовала только для немцев: лишь они непринужденно расхаживали по улицам, сидели в ресторанах и кафе, громко смеялись и разговаривали на всех углах.

Тем временем в городе шла и другая, странная и страшная жизнь. Молодых латышей насильно отправляли в Германию. Транспорт за транспортом с девушками и подростками уходил из Латвии. В застенках гестапо казнили всех, кого подозревали в симпатиях к коммунистам. Евреев убивали и сжигали в газовых камерах. И самое невероятное было, что всему этому не предвиделось конца. Десятки тысяч евреев были замучены, казнены, сожжены, а их продолжали ловить и «обезвреживать». Коммунисты были уничтожены все до одного — об этом не раз писалось в приказах и листовках. Но коммунисты появлялись вновь и вновь, точно они были бессмертны. Заводы не давали продукции. Поезда с немецкими солдатами шли под откос. Распространялись подпольные газеты. Самолеты взрывались на аэродромах. Гитлеровские офицеры боялись ходить вечерами по улицам...

Рига жила двойной жизнью: одна была наружная, показная, сравнительно благополучная; другая была наполнена непрекращающейся борьбой, смертью, отчаянием и надеждой.

Но самым непостижимым в этой двойственной Риге было для меня мое собственное существование.

Впервые за все свои тридцать лет я вел образ жизни ничего не делающего рантье.

Железнов, который находился рядом со мной, был поглощен бурной и опасной деятельностью. Он исчезал по ночам и не появлялся по нескольку дней, делал множество дел и при всем этом успевал играть роль моего шофера.

В сложном механизме, каким являлось организованное антифашистское подполье, он был одним из тех незаметных, но важных винтиков, которые очень способствовали слаженной работе всего механизма.

Не знаю, было ли это врожденной способностью или у него постепенно выработались профессиональные навыки, но конспиратором Железнов был необыкновенным!

Он ускользал от гестаповских ищеек с удивительной ловкостью. Не скажу, что гестапо держало меня и мою квартиру под неослабным надзором, но интерес ко мне со стороны полиции, разумеется, не ослабевал никогда. Тем не менее Железнову удавалось создавать у нее впечатление, что он всецело поглощен лишь специфическими делами английского резидента Блейка.

О том, что делал Пронин, я говорить не берусь. Но если Железнов изо дня в день участвовал в делах, требовавших от него исключительной смелости и ловкости, Пронин, я думаю, делал еще больше.

А я в это время неторопливо вставал по утрам, пил кофе, встречался с Янковской, фланировал по улицам...

Я старался поменьше привлекать к себе внимания, боялся выдать себя, и мне казалось, что я совсем не гожусь в актеры.

Иногда мы с Янковской ездили в гости ко всяким негодяям, которых давно пора было расстрелять. Время от времени я принимал своих девушек, снабжавших меня недорогой информацией. Впрочем, девушки отсеивались, они заходили все реже и реже, я не проявлял большого интереса ни к их сообщениям, ни к ним самим...

Да, такова была внешняя сторона жизни, и если бы рядом не находился Железнов, если бы я не сознавал, что где-то поблизости находится Пронин, если бы мне не была ясна вся шаткость и зыбкость собственного моего положения, я бы мог вообразить себя персонажем какого-нибудь мещанского романа, перенесенным волею автора в прошлый век...

За этот год я крепко подружился с Железновым, стал называть его Виктором, а он меня Андреем; мы были погодки, и в главных своих направлениях жизнь наша текла одинаково.

Сын питерского рабочего, погибшего на фронте в бою против Юденича, Виктор Железнов еще подростком познакомился с Прониным. После гибели отца тот как бы взял над мальчиком шефство. Виктор учился, очень много учился,— на этот счет Пронин был суров. Получив образование, Виктор, всегда чуточку влюбленный в своего опекуна, пошел на работу в органы государственной безопасности, и в ранней юности и в последующие годы Пронин во всем был для него примером.

Меня интересовала история появления Пронина в Риге, и Железнов, хоть и не очень подробно, рассказал мне об этом.

Когда командование решило заслать Пронина в тыл к гитлеровцам, план переброски вырабатывал он сам.

В часть он прибыл под фамилией Гашке; о том, кто это на самом деле, знали только командир, комиссар полка да командир роты, в которую был назначен Гашке. Пронин ждал подходящего случая. Таким он посчитал день, когда осколком снаряда был убит начальник штаба полка. Так как на эти же дни был намечен отход группы наших войск на новые позиции, Пронин получил приказы, которые через два дня должны были устареть, хорошенько запомнил дислокацию войск, которая через два дня должна была измениться, и собрался в путь.

Проводить «перебежчика» прибыл начальник разведотдела армии.

На тот случай, если бы у немцев оказался на нашей стороне какой-нибудь осведомитель, в целях полной дезинформации был пущен слух, что Гашке проник в штаб полка, убил начальника штаба и похитил секретные документы.

Выждав, когда в постоянной перестрелке между противными сторонами наступило недолгое затишье, начальник разведотдела и Пронин вышли на линию расположения роты.

Они стали за кустами жимолости. Пронин в последний раз измерил глазами расстояние, которое ему предстояло пробежать, пожал своему провожатому руку — в его лице он прощался со всем тем, ради чего шел рисковать своей жизнью,— шагнул было из-за кустов, и в этот миг немцы снова открыли стрельбу.

Нет, не по перебежчику, его они не успели еще увидеть, и, однако, один из выстрелов поразил Пронина.

Он покачнулся и прислонился к ветвям жимолости, которые не могли служить никакой опорой.

— Вы ранены? — тревожно воскликнул начальник разведотдела, хотя это было очевидно без слов.

— Кажется,— сказал Пронин.— Где-то под ключицей...

— Ну, что ж, в таком разе пошли в госпиталь,— предложил начальник разведотдела.— Операция отменяется.

— Ни в коем случае! — возразил Пронин.— Надо идти.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—28.

— А как же рана?— спросил начальник разведотдела.

— А может, она и послужит мне лучшей рекомендацией,— сказал Пронин.— Вы сами видите, обстановка не для госпиталя!

— Не советую, товарищ Пронин,— сказал начальник разведотдела. — Может, еще и кость задета...

— Ничего, сегодня командую я, разведчик должен уметь пользоваться обстоятельствами, рискну,— сказал Пронин.— Кланяйтесь там...

Он поморщился, отстранил от себя ветку с багровыми волчьими ягодами, рванулся и побежал в сторону противника.

С нашей стороны по перебежчику, разумеется, открыли стрельбу; стреляли, как это заранее было приказано, холостыми патронами, хотя для Пронина риск все равно был большой: и с той и с другой стороны кто-нибудь всегда мог пустить настоящую пулю.

Немцы сразу поняли, кто к ним устремился, и прекратили обстрел.

Остальное было понятно. Пронину удалось осуществить свой замысел. Он упал перед самыми позициями немцев, обессиленный, истекающий кровью, счастливый, что добежал до «своих»...

В нем погиб талантливый актер, в этом я убедился, наблюдая его в госпитале.

С самим Прониным за всю зиму я встретился всего лишь один раз, да и это свидание навряд ли состоялось бы, если бы Эдингер не поставил меня, что называется, в безвыходное положение.

Да, Эдингер становился все настойчивее, все чаще и чаще требовал он от меня реальных доказательств моего сотрудничества с немцами. От меня ждали многого и поэтому относились ко мне с известной снисходительностью, но в конце концов я должен был предъявить свою агентурную сеть и свои средства связи, именно это и должно было быть моим вкладом в фирму, именовавшуюся «Германский Рейх».

Как и следовало ожидать, Эдингер припер меня к стене.

— Милейший Блейк, вы злоупотребляете нашей снисходительностью,— сказал он, пригласив меня как-то к себе. — Но больше мы не намерены ждать. Мы понимаем, что вашу агентуру надо подготовить для новых задач, серьезных агентов не перебрасывают из рук в руки, точно мячик, но ваши связи с Лондоном мы хотим теперь же взять под свой контроль. Я желаю, чтобы вы предъявили нам свою рацию. В среду или, скажем, в четверг вы дадите нам это доказательство своего сотрудничества, или мне придется переправить вас в Берлин...

Вечером я сообщил об этом требовании Железнову.

— На этот раз господин обергруппенфюрер от вас, пожалуй, не отвяжется,— сказал Виктор.— Доложу начальству, что-нибудь да придумаем.

На следующий день Виктор передал, что Пронин хочет со мной встретиться и назначает свидание в кинотеатре «Сплендид».

Я пришел в назначенный день на последний сеанс (в это время всегда бывало мало публики: для хождения по городу после десяти часов требовались специальные пропуска), взял билет — двадцатый ряд, справа,— и ряд и сторона были названы заранее. Зал погрузился в темноту, сеанс начался; минут через двадцать кто-то ко мне подсел.

— Добрый вечер,— тихо сказал Пронин.

Он крепко пожал мою руку.

— Ну, что случилось? Какую еще там рацию требует от вас Эдингер?

Я повторил все, о чем уже рассказывал Железнову, и со всей возможной точностью изложил свой разговор с Эдингером.

— Н-да,— задумчиво протянул Пронин, выслушав мой рассказ.— Предлог для отлучки придуман неплохо, но нетрудно было предвидеть, что немцы заинтересуются рацией...

Судя по его тону, мне показалось, что Пронин укоризненно покачал головой, хотя я и не видел его в темноте.

— Однако вам нельзя выходить из игры, придется бросить им эту подачку,— проговорил он.— Надо тянуть с немцами как можно дольше и ждать, ждать...

— Чего? — спросил я, подавляя возникающее раздражение.— Не кажется ли вам, что я напрасно провожу время? Вокруг меня все бурлит, я чувствую, какой интенсивной жизнью живет Железнов, в то время как меня держат в состоянии какого-то анабиоза.

— Не тревожьтесь, анабиоз скоро кончится... Спрашиваете, чего ждать? Видите ли, терпение — одна из главных добродетелей разведчика, хотя терпеть бывает иногда, ох, как трудно! Это только в кино да в романах разведчики непрерывно участвуют в приключениях, на самом деле они иногда годами выжидают, пока узнают какую-нибудь тайну.

— Но так можно ждать, ждать и ничего не дождаться,— возразил я.

— Да, можно и не дождаться,— немедленно согласился Пронин.— Но это уже не ваша забота. Вам приказано ждать, и ваше дело — ждать. Будьте Блейком. Как можно лучше играйте роль Блейка. Проникните в его подноготную, изучите каждую книжку, каждую бумажку, каждую половицу в его квартире. Будьте Блейком и ждите. Это все, что я могу вам сказать. В один прекрасный день жизнь раскроет нам тайну Блейка. Это могло бы показаться случайностью, если бы мы не ждали этого случая в течение трехсот шестидесяти четырех дней. И, возможно, в один из этих дней его агентура окажется в наших руках.

Он еще раз пожал мне руку.

— Так вот...— Даже здесь, в темноте, в в отдалении от других зрителей, он не называл меня по имени.— Возвращайтесь — и побольше выдержки. Вы сами понимаете, что находитесь на острие ножа. Но приходится балансировать. Слишком велик выигрыш, чтобы стоило отказаться от борьбы. Наберитесь терпения, что-нибудь придумаем. Завтра Железнов передаст вам команду. Спокойной ночи!

Он отодвинулся и исчез в темноте так же, как расплывались передо мной на экране кадры какого-то детективного фильма.

Странное дело, хотя я в течение всей зимы совершенно не видел Пронина, если не считать этой пятиминутной встречи, у меня все время было ощущение, точно он находится где-то поблизости от меня. Впрочем, так оно и было в действительности; ощущение того, что в случае нужды, в исключительных обстоятельствах, я всегда могу обратиться к нему за советом и получить от него помощь, делало меня самого более уверенным и решительным.

На другой день Железнов велел мне сказать Эдингеру, что рацию тот получит; от меня требовалось только оттянуть встречу с Эдингером на неделю.

Я так и поступил.

— Господин обергруппенфюрер, вы получите то, что хотите иметь,— сказал я ему по телефону.— Но я не могу сейчас покинуть Ригу, я прошу отложить нашу поездку на неделю.

— Хорошо, господин Берзинь, пусть будет по-вашему! — угрожающе ответил Эдингер.— Но помните, мое терпение истощается, больше вы не получите отсрочки ни на один день.

Я передал ответ Эдингера Железнову, и тот удовлетворенно вздохнул.

— Не беспокойтесь, Пронин не подведет!

И действительно, через четыре дня после моего свидания с Прониным Виктор подошел ко мне и сказал:

— Все в порядке, рацию можно предъявить. В воскресенье осмотрим ее сами, а в среду свезете Эдингера.

В воскресенье мы поехали на взморье.

Был серенький день, в небе клубились сизые тучи, с моря подувал неприятный холодный ветерок.

Мы ехали по невеселой, заснеженной дороге, мимо необитаемых дач, хозяева которых были разметены ветром войны в разные стороны.

— Кажется, за мной снова установлена слежка,— высказал я Железнову свое предположение.— Эдингер вот-вот готов сорваться.

— Вы не ошибаетесь, хотя он никогда не обходил вас своим вниманием,— согласился Железнов.— Он боится, как бы вы вообще не замели следов к своей рации.

— Значит, за нами следят? — спросил я.

— Разумеется,— подтвердил Железнов.—Ну и пускай. Доставим немцам удовольствие перехитрить английского разведчика.

Перед одной из самых унылых и невзрачных дач Железнов остановился.

Вдалеке на дороге маячила неподвижная фигура какого-то долговязого субъекта.

Железнов, не обращая на него внимания, распахнул незапертую калитку.

— Входите и запоминайте все, запоминайте каждую мелочь, запоминайте как можно внимательнее! — предупредил он меня.— Эдингер должен сразу почувствовать, что все здесь для вас привычно.

Мы подошли к веранде, Железнов достал из кармана ключи, отпер наружную дверь, потом дверь, ведущую с веранды в дом. Внутри дача казалась не такой уж заброшенной: простая мебель аккуратно стояла по местам, словно комнаты были покинуты своими жильцами совсем недавно.

Из кухни спустились в погреб. Железнов повернул выключатель, вспыхнула электрическая лампочка, он отодвинул от стены большую бочку, обнаружилась дверка, ведущая в соседнее помещение.

Мы проникли туда, и на большом ящике, сколоченном из толстых досок, я увидел радиопередатчик.

— А антенна? — поинтересовался я.

— Видели петуха над входом? — в свою очередь, спросил меня Железнов.— Его хохо-

лок из металлических прутьев, торчащих в разные стороны?

— Слабая маскировка,— заметил я.— Как же это немцы не обнаружили ее до сих пор?

— Они и не могли обнаружить,— объяснил Железнов.— Этот петух сидит на своей крыше всего второй день.

— Так ведь немцы это тоже заметят?

— Петуха заметили бы, но пустые крыши не запоминаются,— пояснил Железнов.— Эдингер, конечно, упрекнет своих сотрудников в ротозействе...— Он кивнул на рацию.— Умеете на ней работать?

— Более или менее,— признался я.— Любительски.

— Достаточно,— сказал Железнов.— Можете сообщить своему шефу, что с вами говорят дважды в месяц, каждое четырнадцатое и двадцать восьмое число, от четырнадцати до пятнадцати, на волне одиннадцать и шесть десятых. Ваши позывные «Rule Britannia», и в ответ продолжение: «Britannia rules the waves». Знаете гимн англичан? «Правь, Британия! Британия, правь над волнами!» Иван Николаевич сказал: не надо оригинальничать, чем проще, тем достовернее. И не вздумайте сказать, что вы непосредственно связываетесь с Лондоном, вы говорите с резидентом Интеллидженс сервис, находящимся в Стокгольме.

— Но ведь от меня потребуют код? — спросил я.

— Будет и код,— согласился Железнов.— За три дня вам придется основательно его выучить.

Уходя, Железнов извлек из кармана небольшой пульверизатор и распылил перед дверьми какой-то порошок.

— Зачем это? — удивился я.

— Пыль, цемент,— объяснил Железнов.— Вернувшись сюда, вы сразу узнаете, был ли здесь кто-нибудь после нас.

Мы вышли. Ничто не нарушало унылого спокойствия зимнего дня в опустелом дачном поселке. Только долговязый субъект переместился поближе к нашей даче.

Мы сели в машину, и Железнов с пренебрежительным равнодушием поехал прямо на незнакомца, заставив его поспешно отскочить в сторону.

На следующий день я позвонил в гестапо.

— Господин обергруппенфюрер, это Берзинь,— назвался я.— Вам угодно прогуляться со мной в среду за город?

— В среду или в четверг? — почему-то переспросил Эдингер.

— Мне кажется, среда более приятна для разговоров,— ответил я.

— Хорошо, пусть будет в среду,— согласился он.

Это был довольно торжественный выезд: впереди два мотоциклиста, затем лимузин Эдингера, в котором находились Эдингер, я и еще двое гестаповцев, как выяснилось в дальнейшем, инженер, специалист по связи, и радист, и, наконец, сзади открытая машина с охраной.

В продолжение всей дороги Эдингер самодовольно молчал, но, подъезжая к даче, внезапно обратился ко мне:

— Не указывайте мне местонахождения своей рации, Блейк...

По всей вероятности, ему очень хотелось поразить меня. Утверждающим жестом он указал на дачу с железным петухом.

— Здесь?

Кажется, я неплохо разыграл свое изумление, потому что у Эдингера вырвался довольный смешок.

— Видите, Блейк, нам все известно,— самодовольно произнес он.— Я лишь хотел проверить, насколько вы правдивы.— Он подошел к калитке и пригласил меня идти вперед.— Показывайте.

Я открыл двери и посмотрел под ноги: не было никаких следов, но и не было пыли; кто-то, кто был здесь после Железнова и меня, подмел пыль, уничтожая свои следы.

Мы прошли в кухню, спустились в погреб, я сдвинул бочку, и мы очутились перед передатчиком.

Я слегка поклонился Эдингеру.

— Прошу вас.— И не преминул слегка его упрекнуть: — А вы еще сомневались во мне!

Эдингер обернулся к инженеру:

— Ознакомьтесь, господин Штраус.

Инженер наклонился, радист подал ему отвертку, он быстро отвинтил какую-то деталь, осмотрел, заглянул еще куда-то. Все это делалось очень быстро, квалифицированно, со всем знанием предмета.

— Да, господин обергруппенфюрер, это английский аппарат,— подтвердил он.— Изготовлен на Острове.

— Тем лучше,— одобрительно сказал Эдингер и обратился ко мне: — Когда вы на нем работаете?

— Дважды в месяц,— объяснил я.— Четырнадцатого и двадцать восьмого, от четырнадцати до пятнадцати, одиннадцать и шесть десятых.

— О, вы совсем молодец! — похвалил меня Эдингер.— Теперь я понимаю, почему среда приятнее четверга. Сегодня четырнадцатое.

Он взглянул на часы, позвал радиста.

— Паулы!

Взглянул на меня.

— Позывные?

— «Rule Britannia»,— сказал я.

— Отзыв?

— «Britannia rules the waves».

— Отлично,— сказал Эдингер.— Сейчас тринадцать сорок. Благодарю вас, господин Берзинь, за то, что вы выбрали такое подходящее время. Ганс, к аппарату! Слышали: «Rule Britannia», «Rule Britannia»... И затем переходите на прием.

Потянулись минуты томительного ожидания. Ганс работал.

Я, конечно, понимал, что в этот день все было предусмотрено с обеих сторон, но все же облегченно вздохнул, когда заметил, что Ганс услышал ответ...

Эдингер властно указал мне на аппарат:

— Говорите!

Я стал вести разговор с помощью изученного мною кода, разговор от имени Блейка, о каких-то текущих делах, о положении в Риге, о всяких слухах, побранил немцев...

Эдингер и его сотрудники напряженно прислушивались и всматривались в меня.

— Это Лондон? — спросил Эдингер, когда я закончил разговор.

— Нет, Стокгольм, майор Хавергам,— объяснил я.— Резидент нашей службы, через него я связываюсь с Лондоном.

— Молодец, Берзинь! — еще раз похвалил меня Эдингер.— Порядка ради мы попытаемся запеленговать вашего Хавергама, но я вижу, вы ведете честную игру...

В Риге он потребовал от меня код, и я по памяти написал у него в кабинете большинство условных обозначений, а затем, спустя день, привез ему аккуратно переписанную табличку.

— Отлично, Блейк,— одобрил обергруппенфюрер.— Теперь мы сами будем связываться с вашим Хавергамом, очередь за агентурной сетью. Если она будет того стоить, вы получите железный крест.

«Или пулю в затылок,— подумал я.— Кто знает, захотите ли вы и дальше возиться с Дэвисом Блейком!»

— Эту сеть не так просто подготовить к передаче,— уклончиво сказал я.— Но я постараюсь.

Однако Эдингер был так доволен моим подарком, что я мог еще какое-то время тянуть с передачей агентуры.

Что касается рации, мне больше не пришлось ее видеть; не знаю, что уж там передавали и принимали немцы, но, судя по тому, что Эдингер не высказывал мне никаких претензий, «майор Хавергам» находился на должной высоте. Тогда это меня даже слегка удивляло, и только впоследствии я убедился, что все, что ни делал Пронин, всегда делалось серьезно, основательно и так, чтобы никого и ни в чем нельзя было подвести.

Но, пожалуй, за исключением этого эпизода моя личная жизнь в течение всей зимы текла на редкость монотонно. Я действительно пытался обнаружить тщательно законспирированную агентурную сеть Блейка, и мои усилия не могли ускользнуть от внимания гестапо. Эдингер, считая, что я работаю на него, набрался до поры до времени терпения. Но мне тоже приходилось запастись терпением в ожидании благоприятного стечения обстоятельств, и если бы не вечера, которые я иногда проводил с Железновым, я бы ощущал свое одиночество очень остро.

Что касается времени, проведенного мною в Риге вместе с Виктором, его мне не забыть никогда.

Может быть, именно в Железнове наиболее полно отразилось все то, чем наделило людей наше советское общество: железная воля, непреклонность в достижении поставленной перед собой цели, неумение идти ни на какие компромиссы и в то же время удивительная мягкость души, необыкновенная скромность и пренебрежение своими личными интересами.

По отношению ко мне он был внимателен, деликатен, заботлив, трудно было найти себе лучшего товарища.

Помню, как-то сидели мы с Железновым вечером дома. Янковская только что ушла, поэтому Виктор мог без церемоний попить со мной чаю.

Где-то шли бои, где-то лилась кровь наших братьев, в самой Риге ни на мгновение не прекращалась невидимая ожесточенная борьба с гитлеровцами, но в комнате, где мы находились, все было спокойно, тихо, уютно, все настраивало на мирный лад.

И вдруг Виктор, закинув руки за голову, мечтательно сказал:

— До чего же мне хочется побывать сейчас на партийном собрании, на самом обыкновенном собрании, где обсуждаются самые обыкновенные вопросы!

С каким-то сыновним вниманием относился он к Марте; впрочем, привязался к Марте и я. Она была простой, хорошей женщиной, которая работала и у Блейка и у других, у кого служила еще до Блейка, просто из-за куска хлеба; всей своей жизнью была она связана с трудовой Ригой, и, так как многие ее бли-

кие пострадали от гитлеровцев, она, догадываясь о том, что и я и Виктор не те, за кого мы себя выдаем, относилась к нам с симпатией и все больше и больше становилась для нас близким и родным человеком.

Гораздо сложнее складывались мои отношения с Янковской.

Можно сказать, что она относилась ко мне даже неплохо, оберегала меня, подсказывала, как вести себя с немцами, регулировала мои отношения с Эдингером и старалась сблизить с Гренером; во всяком случае, делала все, чтобы никто не усомнился в моем тождестве с Блейком. Многое, слишком многое связывало ее с этим человеком!

Шпион, резидент английской разведки, Блейк собирал в Прибалтике военную информацию, собирал для того, чтобы в случае возникновения пожара, в случае столкновения Германии с Советским Союзом Великобритания могла бы таскать из огня каштаны...

Свои обязанности он выполнял, должно быть, неплохо, судя по деньгам, которые перешли от него ко мне, но было, по-видимому, еще что-то, что он должен был сделать или делал и почему английская разведка решила законсервировать его в Риге на время войны и почему обхаживала его немецкая разведка; помимо текущей работы, он служил еще, если можно так выразиться, политике дальнего прицела.

И, должно быть, слишком выгодна была эта игра, если Янковская после смерти Блейка не хотела из нее выходить. Думаю, что именно поэтому она, с одной стороны, подогревала ко мне интерес нацистов, а с другой — подавляла возникавшее против меня раздражение.

Но думаю также, что Янковская не ограничивалась тем, что играла роль моей помощницы; она, несомненно, была непосредственно связана с немецкой разведкой и выполняла какие-то ее поручения; об этом, несомненно, свидетельствовала ее близость с Гренером.

Это был небезызвестный ученый, книги которого имели хождение за пределами Германии. По своему характеру он был экспериментатором и обладал непомерным честолюбием; ради его удовлетворения, ради внешнего блеска он готов был манипулировать фактами так, чтобы произвести наибольший эффект и поразить современников своей талантливостью. Ученый в нем сочетался с актером; вероятно, эта особенность его характера и сблизила его с нацистами. Гренер вступил в национал-социалистскую партию еще до прихода ее к власти и пользовался личным покровительством Гитлера; они должны были нравиться друг другу: и тот и другой были позерами и страдали неукротимым тщеславием.

Что понесло Гренера из Берлина в Ригу, трудно было понять. В Берлине он высокопарно заявил, что желает находиться на аванпостах германского духа; формально он числился всего лишь начальником громадного госпиталя, фактически был царьком всех лечебных учреждений в оккупированных областях на востоке. Но и находясь на этих аванпостах, он похвалялся, что даже в Риге не прекращает своей научной работы.

Он был самонадеян, сух и сентиментален, любил музыку и цветы и любил, чтобы его считали добрым.

Он никогда не осуждал фашистских зверств, он как бы не слышал ничего ни о массовых расстрелах, ни о лагерях смерти; когда в его присутствии оправдывали жестокость немецких войск или истребление «низших» рас, он становился глухим, делал вид, что парит где-то в эмпиреях и интересуется только отвлеченной наукой. Но, тем не менее, в Риге упорно говорили о том, что профессор Гренер спас от уничтожения немало детей.

Иногда среди приговоренных к смерти женщин появлялись сотрудники профессора Гренера и забирали у них детей. Самых здоровых и самых красивых... Что тут можно было сказать? Профессор Гренер не мог спасти всех. Красота часто спасала людей, на то она и красота! Слухи о том, что на даче Гренера устроен чуть ли не настоящий детский сад, ходили и среди нацистов и среди их жертв. Нацисты снисходительно усмехались: старый чудак, прихоть ученого. Матери же детей, взятых у них сотрудниками Гренера, благословляли профессора; возможно, что его имя было последним словом надежды, которое они произносили перед смертью.

Гренер был мне неприятен, уж слишком высоко поднимали его нацисты, но многое я был склонен ему извинить за этих детей: каким бы там он ни был честолюбцем, он все же оправдывал высокое звание врача.

Янковская часто бывала у него и иногда брала меня с собой.

Этот старый журавль был явно к ней неравнодушен; как только Янковская появлялась в его апартаментах, он начинал вышагивать вокруг нее на своих длинных ногах, предлагал ей ликеры и играл для нее на рояле.

Помимо квартиры в городе, Гренеру была отведена большая дача, принадлежавшая в прошлом какому-то латвийскому богачу. Гренер говорил, что дача нужна ему для научной работы. Во всяком случае, он не только пользовался дачей сам, но и устроил там свой детский сад, и эта отдаленная дача действительно была, пожалуй, наилучшим местом для спасенных им сирот.

Я на этой даче не бывал, но Янковская ездила иногда со своим профессором за город. Не знаю, насколько она была близка с Гренером, но, во всяком случае, вела она себя у него, как хозяйка.

Сама она жила в гостинице, и ее домашний быт походил на быт небогатой артистки, приехавшей на непродолжительные гастроли; она мало бывала дома, почти не имела вещей, жила так, словно вот-вот соберется и навсегда покинет свое временное обиталище.

Иногда я находил возле ее дверей какого-то смуглого субъекта; в первый раз я не обратил на него внимания: мало ли всевозможных личностей околачивается в гостиничных коридорах; но когда увидел и во второй раз, и в третий, и в четвертый, я спросил Янковскую:

— Что это за тип сторожит у ваших дверей?

— Ах, этот... — Она кивнула, как бы указывая на него сквозь стену. — Это мой чичисбей: он оберегает и меня и тех, кому я покровительствую.

Ее ответ, как обычно, ничего не объяснил, но, во всяком случае, подтвердил, что у Янковской были какие-то дела и знакомства, о которых я не имел понятия.

Я вообще мало что о ней знал. Я пытался ее расспрашивать, она скупо рассказывала. Отец ее был мелкий помещик, у них в деревне были только дом и сад, и больше ничего. Отец кончил Краковский университет, по образованию он был филолог. Он служил в Варшаве учителем. В имение ездили только летом, как на дачу. Мать умерла, когда девочке исполнилось пять лет. От горя отец осмелел, стал всюду ходить, выступать, стал заниматься политикой. Он так много говорил о трудностях жизни, что к нему стали прислушиваться. Принялся писать в газетах. Его стали читать. Он говорил о Польше, как о жене, не позволял сказать о ней ни одного плохого слова. Он был безвреден и привлекал к себе внимание. Такие люди нужны в каждом парламенте. Его выбрали в сейм. Тогда он стал говорить слишком много. Его следовало сделать министром или избавиться от него. Его сделали дипломатом. Ведь он был филолог и знал языки. Янковская объехала с отцом множество стран. Отец принялся изображать из себя аристократа. Стал играть в карты... Тут Янковская что-то не договаривала. Должно быть, он продал какой-то государственный секрет, сделался агентом какой-то иностранной разведки, вероятнее всего, английской: Англия всегда интересовалась Польшей. Потом он как-то странно умер. Внезапно, не болея перед смертью. Янковской было тогда восемнадцать лет. Она осталась без денег, без дома, без единственного близкого ей человека. За границей среди знакомых отца было немало «друзей» Польши. Они посоветовали Янковской вернуться на родину и осведомлять их обо всем, что там происходит. Они поддержали ее материально. Она была умна и смела и не дорожила собой. Она вела свободный и независимый образ жизни. Она нравилась мужчинам и расчетливо соглашалась сближаться с теми из них, от которых могла узнать что-либо интересующее ее друзей. После того, как в 1939 году Польша была порабощена гитлеровцами, Янковская эмигрировала в Лондон. В 1940 году она приехала в Ригу помогать Блейку...

Связно о себе Янковская не рассказывала никогда, в жизни ее было много тайн, о которых она предпочитала ничего не говорить, многого она не договаривала, но постепенно, от случая к случаю, от фразы к фразе, я представил себе ее жизнь. Жизнь авантюристки и не очень дорогой женщины!

Впрочем, это жизнеописание, воссозданное мною по ее рассказам, вызывало у меня некоторые сомнения...

Люди, подобные Янковской, умеют представляться кем угодно! С равным успехом она могла оказаться обруселой англичанкой, ополяченной француженкой или латвийской шведкой.

В тот день, когда события, участником которых мне довелось быть, стали разворачиваться со стремительной быстротой, как в каком-нибудь приключенческом романе, Янковская напомнила мне о моих волосах:

— Вы опять начинаете темнеть, — заметила она. — А вам не следует забывать о своей наружности.

Пришлось, как обычно, прибегнуть к испытанному средству многих неотразимых блондинок.

Когда я высох и порыжел, она пригласила меня поехать к Гренеру.

Выполняя указания Пронина, я никогда не отказывался от таких посещений.

У Гренера собиралось лучшее немецкое общество тогдашней Риги.

В тот раз было не очень много народа. Кто-то играл в карты, кто-то закусывал, сам Гренер то музицировал, то ухаживал за Янковской.

Время проходило спокойно и даже безмятежно. Все держались так, точно такая жизнь будет продолжаться вечно.

Я стоял у рояля, перелистывал ноты и прислушивался к разговорам.

Вдруг в гостиной появился эсэсовский офицер.

Он подошел к хозяину дома и негромко что-то ему сказал.

Гренер побледнел, я это сразу заметил. Он вообще был бледный, желтоватый, его лицо отсвечивало старческой желтизной, и, несмотря на это, он заметно побледнел.

Он как-то судорожно дернулся, приблизился к Янковской, взял за руку, отвел на середину комнаты и что-то прошипел...

Мне показалось, что я разобрал слово «шеф».

Потом Гренер подошел к авиационному генералу, сидевшему за картами, прошептал что-то ему.

Тот немедленно поднялся и, не прощаясь, ничего не объясняя своим партнерам, тотчас пошел из комнаты.

Гренер развел руками и улыбнулся гостям:

— Извините, господа, но меня срочно вызывают к тяжело больному...

Он всех выпроводил очень скоро.

Мы остались втроем — он, Янковская, я.

Он вежливо обратился к Янковской:

— Вы поедете со мной?

Она утвердительно наклонила голову.

— Я только переоденусь, — сказал он и пошел журавлиным своим шагом прочь из комнаты; через две минуты он появился в синем штатском пальто.

— Что случилось? — спросил я Янковскую, воспользовавшись минутным отсутствием Гренера.

— Хозяин! — серьезно сказала она. — Прилетел хозяин!

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

11. ГОЛОС ИЗ ТЬМЫ

От Гренера я вернулся домой один, Янковская уехала куда-то вместе со своим профессором. Она появилась у меня на следующий день уже к вечеру. Вошла, поздоровалась, уселась в столовой, выпила даже чашку кофе, внешне вела себя, как всегда, но на самом деле — я это видел очень хорошо — мысли ее витали где-то далеко. Против обыкновения она была на этот раз неразговорчива. Спустя час или два, скорее для того, чтобы нарушить ее сосредоточенное молчание, чем ради самого вопроса, я поинтересовался, собирается ли она к Гренеру; от меня она часто направлялась прямо к нему. Как бы проснувшись, она ответила, что профессора сегодня не застать ни дома, ни на работе.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—29.

— Сегодня он на приеме...— Она не договорила, прошла в гостиную, закрыла двери, прилегла на диван и закурила папиросу.

Вид у нее был усталый и необычно покорный.

— Я переночую здесь,— просительно сказала она.— Не беспокойтесь, я не собираюсь вас совращать...

Она курила торопливо, жадно, захлебываясь дымом.

— Если хотите, я отвезу вас домой, — предложил я.

— Не стоит, мне пришлось бы подняться слишком рано. Да, Август, пришло время и для вас. Тот, кто вчера прилетел, хочет вас видеть, он велел привезти вас завтра к шести часам утра.

— А кто вчера прилетел? — спросил я.— Кто это такой?

— Хозяин,— повторила она свое вчерашнее определение.

Я, конечно, догадывался, что значит это слово, но все же не угадал, кто это мог быть. Скорее всего, думал я, это кто-нибудь из руководителей немецкой тайной полиции; я даже допускал, что это могли быть Гиммлер или Кальтенбруннер.

— А нельзя яснее? — спросил я.

Она было замялась, но потом — мне ведь все равно предстояла встреча с этим человеком — сказала:

— Это один из видных деятелей заокеанской державы, который может там почти все.

— Как, сюда явился президент? — иронически отозвался я.— Или государственный секретарь?

— Нет,— сказала Янковская.— Это один из руководителей Разведывательного управления.

— И, по-вашему, он так могуществен?

— Да,— сказала Янковская.— Волнами и молниями он, может быть, и не повелевает, но нет на земле человека, которого не могла бы подчинить его воля.

— Однако! — воскликнул я.— Вы здорово его поэтизируете!

— Я убедилась в его силе,— просто сказала она.— Впрочем, я выразилась неправильно. Это сама сила.

— И с этой могущественной личностью мне предстоит завтра встретиться? — спросил я.

— Да,— сказала Янковская.— Идите отдохните, я разбужу вас. Вам предстоит нелегкий разговор.

— Еще один вопрос, если это, конечно, не секрет,— сказал я.— Каким образом эта могущественная личность очутилась в Риге?

— Он прилетел из Норвегии,— сказала Янковская.— А в Норвегию прилетел из Англии. А до Англии был, кажется, в Испании... Он совершает инспекционную поездку по Европе.

— Как же его зовут, если только это можно сказать?

Янковская замялась.

— Впрочем, поскольку он сам вами интересуется... Генерал Тэйлор.

— И его так свободно везде пропускают? — спросил я.— И немцы и англичане?

— А почему бы им его не пропускать? — насмешливо возразила Янковская.— Господина Чезаре Барреса, крупного южноамериканского промышленника, убежденного нейтралиста, готового торговать со всеми, кто только этого пожелает?

— Но позвольте, вы сказали, его зовут Тэйлор? — перебил я свою собеседницу.

— Да, для меня, для Гренера и даже для вас он Тэйлор, но официально он негоциант Баррес, озабоченный лишь сбытом своих говяжьих консервов.

— Значит, он прибыл сюда легально?

— Вполне! Он деловой человек и торгует со всеми, кто соглашается ему платить!

— Но ведь это же только маскировка?— допытывался я.— На самом-то деле он не торгует консервами?

— Почему вы так думаете? — Янковская пожала плечами.— Еще как торгует!

Я искренне удивился:

— Генерал разведки?

— Это не мешает ему быть владельцем крупнейших мясохладобоен,— снисходительно пояснила Янковская.— Деньги и политика всегда взаимодействуют...

То, что для меня было отвлеченным понятием, для нее являлось повседневной практикой жизни!

— Но что же для него важнее? — поинтересовался я.

— Как вам сказать...— Янковская на мгновение задумалась.— То, что в данный момент приносит наибольшую выгоду! В нем прекрасно сочетаются промышленник и генерал. Официально господин Баррес интересуется латвийской молочной промышленностью: заокеанские промышленники уже сейчас думают о захвате европейского рынка...

— А неофициально?

— А неофициально тоже беспокоится о рынках, только, конечно, генерал Тэйлор действует несколько иными методами, нежели сеньор Баррес...

— Все-таки он рискует, ваш генерал,— за-

метил я. — Вряд ли его визит не привлечет внимания гестаповцев!

— Не будьте наивны,—упрекнула меня Янковская.— Был бы соблюден декорум! Одних обманывают, другие делают вид, что обманываются... У заокеанской державы везде свои люди. Не воображаете же вы, что шпионов рекрутируют только среди официантов и балерин? Министры и ученые считают за честь служить этой державе.

— Но ведь не все же продаются! — возразил я.

— Конечно, не все,— согласилась Янковская.— Но тех, кто не продается, обезвреживают те, кто продался.

— А зачем он пожаловал в Ригу? — поинтересовался я.

— Я уже сказала вам, сеньор Баррес интересуется молочной промышленностью.

— А на самом деле?

— На самом деле? Чтобы повидаться с вами! — насмешливо ответила Янковская.—А кроме... Неужели вы думаете, что я знаю что-либо о его делах и замыслах?..

Она вздохнула и пожелала мне спокойной ночи.

Об этом разговоре следовало незамедлительно поставить в известность Железнова, но, как назло, он отсутствовал, и я понятия не имел, где его искать...

В пять часов Янковская подняла меня на ноги.

Она сама довезла меня до улицы Кришьяна Барона и указала на большой серый дом.

— Минут пять нам придется подождать,— предупредила она.— Мистер Тэйлор требует от своих сотрудников точности.

Ровно в шесть мы вошли в подъезд серого дома, поднялись на третий этаж и позвонили в одну из квартир... Впрочем, я запомнил ее номер — в квартиру № 5.

Дверь нам открыл человек в полувоенной форме, и я сразу подумал, что это офицер, хотя на нем не было никаких знаков отличия.

Он небрежно кивнул Янковской и вопросительно посмотрел на меня.

— Август Берзинь,— назвала меня Янковская.

— Входите,— сказал человек во френче, ввел нас в респектабельную гостиную, на минуту скрылся, вернулся обратно и, приоткрывая следующую дверь, жестом предложил нам пройти дальше.

Мы очутились во мраке, но я тут же убедился, что это не так: на столе под темным абажуром горела маленькая лампочка вроде ночника, свет от нее падал только на стол, на котором она стояла.

— Садитесь,— услышал я хрипловатый голос.— Садитесь у стола.

Я подошел к столу, увидел низкое кресло, сел и точно утонул в нем: такое оно было мягкое.

Я стал напряженно вглядываться в том направлении, откуда раздавался голос...

Где-то я читал или слыхал, что имя руководителя Интеллидженс сервис известно в Англии только трем лицам — королю, премьер-министру и министру внутренних дел,— что принимает он своих сотрудников в темной комнате и для большинства людей является как бы невидимкой; вы можете находиться с ним где-нибудь бок о бок и не знать, что рядом с вами глава секретной службы Великобритании.

Мне вспомнилась сейчас эта легенда; возможно, подумал я, что деятели заокеанской разведки действительно заимствовали эту манеру у своих британских коллег.

Освоившись с темнотой или, вернее, с сумраком, царившим в комнате, я, насколько мог, рассмотрел своего собеседника. Напротив сидел человек среднего или, вернее, ниже среднего роста, очень плотный, даже полный; он был в темном костюме, лицо его смутно белело, в полусвете оно казалось даже призрачным. К концу разговора, когда я привык к темноте и рассмотрел лицо этого человека лучше, оно оказалось столь невыразительным, что я не смог бы его описать.

— Я хочу с вами познакомиться,— произнес таинственный незнакомец.— Вас зовут...

— Август Берзинь,— поспешил я назваться.

— Оставьте это,— остановил меня незнакомец.

Я усмехнулся.

— В таком случае, к вашим услугам Дэвис Блейк.

Незнакомец посмотрел в сторону Янковской.

— Вы знаете этого господина? — спросил он ее.

Я тоже обернулся в ее сторону; она села где-то у самой двери, но, едва этот человек к ней обратился, тотчас встала и почтительно вытянулась перед ним.

— Так точно,— по-солдатски отрапортовала она.— Господин Август Берзинь, он же капитан Блейк, он же майор Макаров...

Незнакомец отвел от нее свой взгляд и вновь повернулся ко мне.

— Так вот...— В его голосе звучало легкое раздражение.— Меня зовут Клеменс Тэйлор, для вас это должно быть достаточно. Для меня не существует тайн, и я не могу терять времени.

— Госпожа Янковская советовала мне забыть, что я Макаров,— объяснил я.— Она настойчиво внушала мне, что я теперь только Дэвис Блейк, и никто больше.

— Госпожа Янковская — только госпожа Янковская,— холодно произнес Тэйлор...

На одно мгновение он опять посмотрел в ее сторону. Должно быть, она понимала этого человека с одного взгляда.

— Я могу быть свободна, генерал? — почему-то шепотом спросила она.

Он ничего не ответил, и лишь по легкому шелесту открывшейся и тут же закрывшейся двери я понял, что Янковская выскользнула из комнаты.

— Госпожа Янковская — способный агент, но, как у многих женщин, эмоциональная сторона преобладает у нее над рациональным мышлением,— снисходительно заметил Тэйлор.— Она хотела поставить вас в ложное положение, а это никогда не приводит к добру. Вы Макаров и должны оставаться Макаровым.

— Вы, что же, советуете мне вернуться к своим и снова стать майором Макаровым? — спросил я.

— Да,— вполне определенно сказал Тэйлор.— Только идиот Эдингер способен принять вас за англичанина, вы с таким же успехом можете сойти за египетского фараона. Ваша ценность в том и заключается, что вы Макаров.

— Я рад это слышать, мистер Тэйлор,— отозвался я.

Но он тут же меня разочаровал.

— Но вернетесь вы в Россию уже в качестве нашего агента. С этого дня вы будете работать на нас.

Он говорил об этом так, точно сообщал о решении, которое я и не подумаю оспаривать.

— Я понимаю вас,— ответил я, делая вид, будто не понял его.— Мы все союзники и делаем одно дело, и у нас одна цель — разгромить фашизм.

— Замолчите,— нетерпеливо перебил меня Тэйлор.— На нас — это значит на нас, и фашизм тут ни при чем. Вы станете агентом нашей разведывательной службы и свяжете отныне свою судьбу с нами, а не с Россией.

— Позвольте, но как может генерал союзной страны... — в моем голосе звучало негодование, хотя мне уже вполне стала ясна истинная сущность моего собеседника,— ...делать такое предложение русскому офицеру?

— Бросьте, мы с вами не на банкете, майор! — оборвал меня Тэйлор.— Вероятно, вы изучали историю? Это на банкетах говорят красивые слова, а мы с вами находимся на кухне, где именно и готовятся блюда, которые подаются на стол народам. В конце концов, каждому в мире дело только до себя.— Он зевнул.

— Попробуем быть трезвыми, майор, — продолжал он.— Мы знаем цену людям. Штабной офицер, майор, коммунист — это неплохое сочетание. Вы многое можете сделать. Мы заключим с вами как бы контракт: переведем на ваш текущий счет пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, будем еженедельно выплачивать двести долларов, не считая вознаграждения за каждое выполненное по-

ручение. Я не говорю о таких вещах, как какая-нибудь часть мобилизационного плана. За такие вещи мы не пожалеем ничего. В случае каких-либо политических перемен мы обеспечим вас своей поддержкой, и вы сможете занять у себя в стране видный пост. Впрочем, при желании вы сможете достигнуть этого поста и не дожидаясь политических перемен. Если за десять лет ничего не изменится, во что я мало верю, и вы почувствуете, что устали, мы поможем вам уехать из России...

Тэйлор качнулся в мою сторону.

— Вас устраивает это?

— Нет,— сказал я.— У меня все-таки есть совесть.

Я, конечно, понимал, что тут бесполезно говорить о таких предметах, как совесть. Но мне казалось, что следует поторговаться и порисоваться, и именно в плоскости моральных категорий. Это всегда производит впечатление. Кроме того, надо было растянуть время; этот генерал свалился на меня, как снег на голову, и мне показалось очень важным как можно скорее поставить в известность о его появлении Пронина...

— Вы перестали бы меня уважать, если бы я согласился на ваше предложение,— продекламировал я.— Конечно, я играю роль Блейка, к этому меня принудили обстоятельства. Но я не утратил веры в красоту, благородство и порядочность человека. Купить меня вам не удастся, я предпочту умереть, но предателем я не стану...

И вдруг Тэйлор засмеялся тоненьким добродушным смехом, как смеются над тем, что, безусловно, подлежит осмеянию.

— Все это мне известно,— сказал он.— Патриотизм, благородство, честь! Все эти ценности котируются у интеллигентных людей, но есть нечто, перед чем блекнут и честь, и благородство, и любовь просто, и любовь к отечеству. Есть сила, выше которой нет ничего на свете...

Я отрицательно покачал головой.

— Не качайте головой, не изображайте из себя ребенка,— назидательно сказал Тэйлор.— Я не открываю истин, об этом хорошо писал еще Бальзак. Деньги — вот единственная сила, которой ничто не противостоит в нашем мире.

— Вы полагаете, времена Бальзака еще не прошли? — спросил я не без иронии.

— И никогда не пройдут,— уверенно произнес Тэйлор и еще раз с явным удовольствием повторил: — Деньги, деньги и деньги! Ничто не может сравниться с могуществом золота. Я трезвый человек и не люблю бездоказательных суждений. Мы хотим и будем главенствовать в мире, потому что мы богаче всех. Слабость русских в том и заключается, что они воображают, будто миром движут какие-то идеи. Абсолютная чепуха! Миром движут деньги, а тот, у кого денег больше, тот и является хозяином жизни...

Все это говорилось столь просто, с такой будничной непререкаемостью, что у меня не возникало никаких сомнений в том, что Тэйлор высказывает свои истинные убеждения.

— Коммунисты с презрением говорят о власти денег потому,— продолжал он,— что деньги не могут принадлежать всем, а тем, у кого их нет, не остается ничего другого, как их презирать. Но те, кому удается разбогатеть, быстро меняют свои убеждения.

Я не хотел бы пользоваться трафаретными сравнениями, но он смотрел на меня, как удав на кролика.

— Вы тоже измените своим убеждениям, как только разбогатеете,— убежденно сказал Тэйлор.— А сделаться богатым помогу вам я, и не потому, что вы мне нравитесь, а потому, что мне это выгодно. Не думайте, что я щедр, это только дураки бросаются деньгами. Люди вообще дешевы, а низкие людишки дешевле всех остальных: стоимость рядового шпиона не превышает стоимости хорошей свиной туши. Но среди этого кордебалета есть примадонны, и им приходится платить дороже, иначе они будут танцевать у другого антрепренера. Офицер советского генерального штаба и коммунист, не имеющий в прошлом грешков перед своей партией... Такой товар стоит денег, и мы не постоим за ценой.— Мой собеседник добродушно рассмеялся.— У вас хорошие перспективы, майор! Домик на берегах Калифорнии, красивая жена, апельсиновая роща, вечная песня моря...

Он отодвинулся в тень, я почти перестал его видеть.

— Ну как, майор Макаров? — спросил он.— Договорились?

— А если я откажусь? — задал я вопрос в свою очередь.

— Тогда мы вас ликвидируем,— деловито ответил он.— Вы знаете слишком много для того, чтобы вас можно было отпустить, да и вообще незачем отпускать кого бы то ни было, кто может стать нашим противником. Вас убьют и похоронят еще раз. Конечно, для нас не составило бы труда изобразить вас изменником и предателем. Ваше имя покрылось бы позором, а ваши близкие подверглись бы в России остракизму. Но мы не будем этого делать. Я противник излишней театральности. Вас уберут тихо и незаметно. Но если вы станете работать с нами, я гарантирую вам блестящее возвращение на родину. Вы будете заключены в какой-нибудь немецкий лагерь смерти, откуда вам будет предоставлена возможность совершить героический побег. Вы вернетесь в Советский Союз, и вам будет обеспечено успешное продолжение вашей карьеры. Мы не будем торопиться и лишь спустя некоторое время установим с вами связь...

В общем, мой дальнейший жизненный путь был уже определен мистером Тэйлором или кем-то из его помощников.

— А что потребуется от меня? — спросил я.

— Ничего,— выразительно ответил Тэйлор.— Мы сегодня же выдадим вам аккредитив на любой нейтральный банк, и все. Причем я рекомендовал бы вам выбрать Швейцарию или даже лучше Швецию. Ну, а если вы вздумаете нас обмануть, вы в две минуты будете скомпрометированы.

— Я должен подумать,— сказал я.— Это слишком ответственно. Дайте мне несколько дней...

— Я вас понимаю,— с неожиданным для меня сочувствием отозвался Тэйлор.— Бывают моменты, когда серьезному человеку нелегко сделать выбор между жизнью и смертью. Но я не могу дать вам даже одного дня. Сегодня после четырех я улетаю из Риги. В воздухе будет устроен специальный коридор... Поэтому...— Он прикинул в уме время.— Сейчас семь. В полдень вы явитесь обратно и скажете, какую команду мне отдать...

Несмотря на всю категоричность тона, мне показалось, что этот прожженный циник далеко не уверен в моем ответе.

— Идите,— сказал он.

Все тот же человек в полувоенной форме проводил меня из передней на лестницу.

Домой я, можно сказать, не шел, а бежал...

Но Железнов еще не вернулся!

Мне необходимо было встретиться с Гашке.

Я искал предлога...

И, как всегда, оказалось, что нет положения, из которого нельзя было бы найти выхода.

«Под каким предлогом я могу встретиться с Гашке?.. Ну, под каким?» — думал я.

Из немцев никто не знал о нашем знакомстве...

И тут я вспомнил нашу встречу в букинистической лавке.

Пронин отлично понимал характер этих «европейцев» в эсэсовских мундирах...

Это был такой удобный предлог!

Действительно, разведчику могут пригодиться самые странные вещи. Янковская была права. Даже скабрезные картинки могли, оказывается, сослужить полезную службу!

Я кинулся к своему сейфу...

Конверт с картинками лежал все на том же месте, куда его положила Янковская в начале нашего знакомства.

На этот раз я внимательно пересмотрел снимки. Да, они могли понравиться любителям этого жанра...

Я сунул конверт в карман, спустился во двор, вывел на улицу машину и помчался в гестапо.

В комендатуре гестапо я был известен — время от времени господин Эдингер приглашал меня для назидательных бесед,— и, хотя в гестапо меня называли господином Берзинем, все, по-моему, знали, что на самом деле я Дэвис Блейк.

— К господину обергруппенфюреру? — любезно обратился ко мне дежурный офицер.

— На этот раз нет,— сказал я.-Мне нужен господин Гашке.

— А что у вас за дела к Гашке? — спросил офицер уже гораздо строже.

— Мне нужно совершить с ним некоторые обменные операции, — сказал я и высыпал на барьер, за которым сидели сотрудники комендатуры, свои карточки.

Они вызвали целое ликование! От официального тона не осталось и следа.

— Обер Гашке любит такие штучки! — воскликнул офицер.— Сейчас его вызовут, господин Берзинь!

Он позвонил по телефону и попросил как можно скорее прислать Гашке.

Пронин не замедлил появиться. Он шел с недовольным лицом, сдержанный, строгий. Он точно не заметил меня.

— В чем дело? — спросил он дежурного офицера.

— Этот господин спрашивает вас, обер,— сказал офицер, ухмыляясь и указывая на меня.— У него к вам коммерческое дельце.

Пронин с невозмутимым видом приблизился ко мне.

— Что за дело?

— Видите ли...— пролепетал я,— я слышал, что у вас есть несколько книжек, приобретенных у здешних букинистов, определенного содержания. Если бы вы могли со мной поменяться...

И я с трогательной непосредственностью рассыпал перед ним свои картинки.

— О! — сказал Пронин с оживлением.— Где вы это достали?

С видом знатока он стал их рассматривать.

— Что же вы хотите за свою коллекцию? — деловито спросил он.

— Я слыхал, что у вас есть несколько французских книжек,— сказал я.— Если бы мы могли обменяться...

— Пожалуй, я бы на это пошел,— задумчиво сказал Пронин.— Сегодня вечером, после службы...

— Нет, мне нужны эти книжки именно сейчас,— настаивал я.— Я обещал достать их к одиннадцати.

— Какой это барышне вы хотите дать урок, господин Берзинь? — заметил кто-то из присутствующих.— Хотел бы я на нее взглянуть!

— А вы отлучитесь, обер,— посоветовал дежурный офицер.— Господин Берзинь на машине, вы слетаете с ним за полчаса, жалко упустить такой случай...

Пронин колебался.

— Если книжки мне подойдут,— добавил я, соблазняя Гашке,— я добавлю к карточкам несколько бутылок французского коньяка.

— Валяйте, Гашке! — сказал офицер.— Вечером вы нас угостите, я давно не пил французского коньяка.

Тогда Пронин как будто решился.

— Ладно,— сказал он.— Поедем. Я живу в общежитии гестапо.

Под общее одобрение мы покинули комендатуру и вышли на улицу.

Но Пронин заговорил со мной только тогда, когда мы очутились в машине и тронулись с места.

— Я бы сказал, вы довольно смело действуете, майор Макаров,— не слишком одобрительно заметил он.— Что там у вас стряслось?

— В Риге находится кто-то из генералов заокеанской разведки,— объяснил я, полагая, что удивлю Пронина.— Я только что от него.

Но Пронина, кажется, нельзя было удивить ничем.

— Догадываюсь,— коротко отозвался он.— Сегодня у нас в гестапо черный день. Все в Риге говорят о приезде видного промышленника из Южной Америки. Эдингер, конечно, осведомлен, кто это такой, и пребывает в большом миноре. Во-первых, в этом деле обошлись без него, а во-вторых, дали, вероятно, понять, чтобы он вообще не совал своего носа. Тут действуют фюреры покрупнее и посильнее Эдингера. Поэтому громы и молнии в данном случае он может метать только против своих подчиненных. Сам я, разумеется, не

знал точно, кто прибыл, но можно было предположить...

— Нет, он говорил вполне откровенно,— объяснил я.— Генерал Тэйлор.

Мы неторопливо двигались по городу.

— Ну, а чего он хочет от вас? — насмешливо спросил Пронин.— Вербует в американскую разведку?

— Конечно,— отозвался я.— Хочет послать обратно в Россию и обещает мне там высокий пост.

— Нет, нет! — решительно сказал Пронин.— Вы еще нужны здесь. Соглашайтесь на все, но скажите, что на какое-то время задержитесь. Намекните на привязанность к Янковской...

Он попросил меня подробно изложить разговор с Тэйлором, и тут выяснилось, что рассказывать мне почти нечего.

— Он больше занимался философией,— объяснил я.— Наподобие бальзаковского Гобсека поэтизировал власть денег, а практически...— Я пожал плечами.— Практически ничего.

Пронин усмехнулся.

— Что ж, он может позволить себе такую роскошь, у него найдется кому заняться техникой. Понимает, что новичков нужно идейно подковать. Но учтите, философия философией, а палец в рот ему не клади...

Мы доехали до общежития, Пронин скрылся на несколько минут в здании, вышел с книжками, бросил их на сиденье — ни он, ни я на них даже не взглянули,— и я повернул обратно.

— Кажется, все ясно,— произнес Пронин.— Соглашайтесь. Но Ригу пока что вы покинуть не можете. Скажите, что вам нужно собрать здесь ценную информацию, сочините что-нибудь...

Все это было ясно и мне самому, и я огорчился, что напрасно потревожил Пронина.

— Выходит, беспокоил вас зря,— заметил я.— До всего того, что вы сказали, мне следовало додуматься самостоятельно.

— Вы ошибаетесь,— ответил Пронин.— О таких вещах обязательно надо докладывать, я мог бы и не знать о приезде этого господина, а это очень важно. В нашей работе нельзя пренебрегать ничем. Этот случай надо использовать возможно лучше. Не исключено, что при втором посещении вы услышите что-нибудь конкретное...

Я довез Пронина до гестапо и отдал ему картинки.

— Ну, а какой банк выбрать? — пошутил я на прощание.— Шведский или швейцарский?

Пронин опять усмехнулся.

— Я бы выбрал шведский,— шутливо посоветовал он в тон мне.— В данном случае я вполне солидарен с мистером Тэйлором, шведский, по-моему, солиднее.

Он вышел из машины, махнул на прощание рукой и скрылся в подъезде, а я прямым ходом помчался на улицу Кришьяна Барона.

В знакомой передней сидело двое каких-то людей в синих комбинезонах, а тот, кто впускал меня в первый раз, вышел мне навстречу, улыбнулся, как старому знакомому, и повел в одну из комнат.

— Ну, что вы решили? — весело спросил он меня.— Жить или умереть?

— Если бы я решил умереть, я бы сюда не вернулся,— ответил я ему в том же веселом тоне.

— Вы правы,— согласился со мной провожатый.— Садитесь, вам придется подождать,— сказал он.—Мистер Тэйлор освободится не раньше чем через сорок минут.

Но освободился он гораздо скорее.

На этот раз меня не пригласили в темную комнату. Тэйлор сам вышел ко мне.

Больше он от меня не прятался!

Да, плотный, подернутый жирком человек ниже среднего роста и с таким невыразительным лицом, которое могло бы озадачить любого художника...

Много лет спустя, когда мне случалось видеть снимки этого человека в различных газетах и журналах, я всегда задумывался над вопросом, какие качества помогли ему достичь своего высокого положения, и так никогда и не смог найти на этот вопрос ответа.

— Рад вас приветствовать, майор,— сказал Тэйлор и даже протянул мне руку.— Теперь у нас будет небольшой деловой разговор.

Он по-мальчишески сел верхом на стул — лицом к спинке — и положил на нее обе свои руки.

— Идея госпожи Янковской превратить вас в англичанина годится только для немцев,— сказал он.— Я думаю, в данном случае госпожа Янковская руководствовалась личными соображениями. Ведь своей жизнью вы обязаны ей, это вы знаете. Но для нас Россия более трудна, чем Англия, и здесь мы не можем терять ни одной возможности. Мне кажется, вы можете стать отличным агентом. А пока что вы получите одно конкретное задание.

Он покровительственно посмотрел на меня.

— Вам понятно, чем занимался здесь Блейк? — спросил он и не дал мне ответить.— Все эти штучки с мелким шпионажем... Не в них дело! Он создал здесь агентурную сеть английской секретной службы, немногочисленную, глубоко законспирированную и способную выполнять любые ответственные задания. Эта сеть создана политикой дальнего прицела. Она особенно активизируется после войны. Если победят немцы, будет действовать против немцев, если победят Советы, значение ее будет еще важнее. Мы должны ее выявить и заставить работать на себя. Мы пытались купить этого несчастного Блейка, но в него слишком въелись дегенеративные предрассудки английской аристократии. Он отказался передать нам своих агентов, и его пришлось устранить. Но дело в том, что список, который он отправил в Лондон и который удалось достать для нас госпоже Янковской, не имеет реальной ценности. Несколько десятков распространенных фамилий. Людей с такими фамилиями тысячи, и мы не можем опросить тысячу человек для того, чтобы узнать, кто из них является агентом Интеллидженс сервис! К списку имеется какой-то ключ, но мы этого ключа не имеем. Вам предстоит серьезная работа. Госпожа Янковская вам поможет, и вы сделаете для нас эту сеть реальной...

Он вдруг поднялся и с не свойственной ни его положению, ни его возрасту быстротой вышел из комнаты и через несколько минут вернулся.

— Я вам тоже помогу,— сказал он.— Мы знаем фамилию одного из агентов Блейка. Этот агент был когда-то связан с нами. Он получит приказание явиться к резиденту английской секретной службы. Попробуйте при помощи того человека поискать ключ. Мы вас не торопим. Но эта сеть нам нужна, и вы должны ее нам дать. А после этого отправим в Россию. В свое время мы поставим вас об этом в известность.

Неожиданно он перешел на специфический полицейский жаргон.

— Но смотри не вздумай крутить хвостом, или мы шлепнем тебя с двадцатого этажа! — многозначительно пригрозил он, обращаясь ко мне на «ты».— Ничего, ничего, не бойся, я же вижу, ты свой парень, и ты хорошо у нас заработаешь...

Почему-то в этот момент я вспомнил о выдержке и дерзости, с какими держался здесь, в Риге, Пронин, и мне захотелось хоть немного походить на него.

«С помощью этого заокеанского генерала мне тоже следовало бы возможно лучше закрепиться среди множества враждебных людей, между которыми мне теперь приходится вращаться,— подумал я.— Надо не только соглашаться, но и требовать...»

Стараясь не переигрывать, я с легким вызовом посмотрел на своего собеседника.

— Ну, а на самом деле? — спросил я.— Какие гарантии я буду иметь в том, что в один прекрасный момент ваши люди не прижмут меня к стенке и не превратят в мокрое пятно?

Тэйлор чуть-чуть улыбнулся.

— Я вижу, ты предусмотрительный парень,— с некоторым даже расположением промолвил он.— Что ж, это правильно...

Мне показалось, что он в чем-то колеблется...

Затем он покопался в кармане своего пиджака и вдруг решительно подал мне пуговицу — довольно большую круглую медную пуговицу, на поверхности которой было вытиснено изображение трехлистного клевера.

— Возьмите,— сказал он.— Потенциально вы представляете большую ценность, и я согласен дать вам некоторую гарантию. В прошлом такие пуговицы носили на своих куртках колорадские горняки, теперь их не делают. Мы скупили на складах остатки этих пуговиц и выдаем их некоторым своим агентам. Непонятно? Это, так сказать, символ, знак вашей неприкосновенности. Если наши парни прижмут вас при каких-нибудь обстоятельствах, покажите им эту штучку. Они оставят вас в покое и, может быть, даже помогут вам. Берегите этот талисман, он принесет вам счастье. Других гарантий я вам пока дать не могу...

Он приблизился ко мне и похлопал по плечу.

— Идите,— весело сказал он.— Возможно, мы никогда уже больше не увидимся, но наша забота и благословение бога будут теперь с вами.

Это было, конечно, достойное завершение нашего разговора.

— Да, кстати,— спросил он уже в последний момент.— На какой же банк выдать вам аккредитив?

— Я предпочитаю шведский,— сказал я.

— Вы разумный человек,— похвалил меня Тэйлор.— Я сам храню некоторую часть своих денег в шведских банках.

Он пожал мне руку, и меня быстро выпроводили, хотя никакого аккредитива так и не дали.

Я вышел на улицу, опустил руку в карман, достал пуговицу, посмотрел на нее, старинную литую медную пуговицу, каких в наше время уже не делают ни в одной стране, подержал на ладони и подумал, что мистер Тэйлор чересчур экономен,— он так хвастался и своим и чужим богатством, что ему следовало бы делать свои пуговицы из чистого золота.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

12. АЛЬБОМ ДЛЯ ОТКРЫТОК

Не думаю, чтобы Янковская провожала мистера Тэйлора при его отлете из Риги, но она, оказывается, видела его после моей встречи с ним.

Она появилась, когда уже стемнело, легкой, танцующей походкой вошла в гостиную, покопалась у себя в сумочке и небрежно, двумя пальчиками, протянула мне заклеенный конверт.

— Меня просили передать это вам.

Я разорвал конверт...

Напрасно я усомнился в честности мистера Тэйлора. Он был точен в делах и выполнял взятые на себя обязательства: в конверте находился аккредитив на один из шведских банков, делавший меня обладателем пятидесяти тысяч долларов.

— Вы довольны? — задорно спросила Янковская.

— А вам известно, что находилось в конверте? — поинтересовался я.

— Обеспеченное будущее,— уверенно произнесла она.— Я догадалась. Я не интересовалась суммой, но знаю, что мои заокеанские друзья умеют платить.

Я пренебрежительно пожал плечами.

— Ну, я думаю, они знают, за что платят...

— Ого! — воскликнула Янковская.— Впрочем, это неплохо — знать себе цену...— Она испытующе посмотрела мне в глаза.— Но помните, Август, люди Тэйлора требовательны, они дотянутся до вас, где бы вы...

Я не был уверен, следовало ли сообщить ей о странном подарке, полученном мною от Тэйлора, но я не вполне понимал его значение... Что, действительно, могла значить эта медная пуговица?.. Я почему-то не забывал о ней и время от времени нащупывал у себя в кармане...

Пожалуй, никто, кроме Янковской, не сможет объяснить значение этого подарка.

— Мистер Тэйлор подарил мне странный сувенир,— сказал я и, разжав ладонь, показал пуговицу своей собеседнице.

Она пытливо вскинула на меня глаза.

— Он ведь объяснил вам что-нибудь?

— Он сказал мне, что это знак моей неуязвимости. Что его парни, если даже я стану им поперек дороги, не посмеют меня тронуть...

Янковская задумчиво смотрела на меня.

— Он вам не солгал. По-видимому, вы чем-то расположили его к себе. Это действительно нечто вроде талисмана. Если вы даже возбудите какие-либо подозрения, агенты заокеанской разведки не посмеют вас тронуть, увидав эту штучку. Теперь для того, чтобы вас ликвидировать, требуется санкция самого мистера Тэйлора.

— А может быть, здесь дело не столько в расположении,— возразил я,— сколько в том, что даже самому мистеру Тэйлору завербовать советского офицера потруднее, чем какого-либо короля?

— Вы правы,— немедленно согласилась Янковская.— Вы для него клад! — Все с тем же задумчивым видом она повертела в руках пуговицу.— Несомненно, вы относитесь к числу тех драгоценных агентов, которых очень трудно заполучить даже заокеанской разведке,— продолжала она.— Слишком большие надежды возлагаются на вас, чтобы какие-нибудь резиденты могли распоряжаться вашей жизнью.

— А у вас есть такая? — поинтересовался я.

Она нахмурилась. По-видимому, мой вопрос был или бестактен, или обиден.

— Нет,— сказала она не то с легким вызовом, не то с печалью.— Я могу обойтись без подобного талисмана. Мне не придется работать в такой сложной обстановке, как вам...

Она с любопытством всматривалась в меня, точно мы виделись впервые. У меня появилось ощущение, будто я предстал перед Янковской в каком-то новом качестве после свидания с мистером Тэйлором.

Она как бы порхнула на диван и приветственно помахала мне рукою. Вообще она вела себя в этот вечер очень театрально, говорила с излишней аффектацией, принимала неестественные позы, никак не могла усидеть на месте. Думаю, что и приезд господина Тэйлора и мое приобщение к его ведомству возбудили ее нервы необычной даже для нее остротой положения.

— Кстати, я хочу дать вам один добрый совет,— дружелюбно произнесла Янковская.— Мне кажется, что вы все-таки недооцениваете значения своей пуговицы, а это, повторяю, могущественный талисман. Носите ее всегда при себе. Всегда может случиться, что она выручит вас из большой беды.

— Хорошо,— сказал я и сунул пуговицу в карман пиджака.

Она улыбнулась.

— Вы еще меня вспомните!

— Вот что, Софья Викентьевна,— сказал я, переходя на сугубо деловой тон и стараясь по возможности делать вид, что инициатива по-прежнему остается за ней.— Этот самый Тэйлор заявил, что вы поможете мне превратить в реальность какую-то фантастическую агентурную сеть. Не будем откладывать дело в долгий ящик. У вас есть список, к которому мы должны подобрать ключ...

Она посмотрела на меня не без удивления.

— Вы, кажется, действительно хотите оправдать полученные деньги?

Каким-то балетным жестом она пригласила меня пройти в кабинет, подошла к стене, сняла одну из акварелей Блейка, вставленную в очень узенькую рамочку, шпилькой, вынутой из волос, вытолкнула из рамки какой-то шпенечек и вытряхнула на стол скатанный в тонкую трубочку листок.

— Можно прочесть? — вежливо спросил я.

Янковская не ответила.

Я развернул листок.

Это был список фамилий на английском языке. Позже я их пересчитал: двадцать шесть фамилий с инициалами.

— Я не понимаю, что же здесь сложного? — удивился я.— По-моему, все ясно.

Янковская снисходительно улыбнулась.

— Если бы это было так. Попробуйте найдите в Латвии имеющегося в списке Клявиньша... Их тысячи! А инициалы означают что угодно, но только не имя и отчество...

Я с любопытством держал в руке крохотный листок бумаги, еще раз перечел фамилии, и вдруг совсем другая мысль пронизала мое сознание.

— Скажите,— спросил я Янковскую.— Неужели из-за этого листка и поплатился Блейк своей жизнью?

— И не только Блейк,— ответила она.— Вы тоже могли поплатиться, хотя имели к этому листку совсем косвенное отношение.

— Это так дорого? — спросил я, глядя на листок.

— Очень,— сказала Янковская.— В Советском Союзе за него тоже дали бы немалые деньги. Кажется, это Наполеон сказал, что хороший шпион стоит целой армии?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—30.

Она взяла листок и заботливо его расправила.

— Это все первоклассные агенты...

— Но почему же Блейк не пожелал продать этот список?

— Noblesse oblige! — произнесла она с иронией.— Благородное происхождение обязывает!

— И вы убили его, чтобы завладеть этим списком? Неужели для вас деньги дороже человека?

— Ах, да при чем тут деньги! — с досадой ответила Янковская.— Просто т е сильнее, они убрали бы и меня, как убирают всех, кто не желает с ними сотрудничать.

— А вы не боитесь, что Интеллидженс сервис не простит вам этого?

— А я не собираюсь дразнить Интеллидженс сервис,— ответила Янковская.— В тот вечер, когда мы с вами познакомились, Блейк должен был переслать список в Лондон. В Англию возвращался крупный английский коммерсант, находившийся со своей женой в России в качестве туриста. Ночью он улетал в Стокгольм. Блейк не подпускал меня к списку. Я знала, что он должен пойти в ресторан отеля «Рим» и через день этот список очутился бы в тайниках Интеллидженс сервис. Блейк собирался на свидание. Я видела, что у него имеется два экземпляра списка. Один он должен был отдать, второй, вероятно, хотел сохранить для себя. Я предложила ему продать дубликат. Он засмеялся. Я пригрозила ему, сказала, что он рискует жизнью. Он ударил меня. Я застрелила его и пошла на свидание вместо Блейка. Сказала, что его пытались убить, что это, по-видимому, дело рук советской разведки, что раненый Блейк поручил мне отдать список...

— Таким образом, Интеллидженс сервис имеет список?

— Да, этот турист успел улететь; еще несколько часов, и он застрял бы здесь,— подтвердила Янковская. — Иначе меня не оставили бы в покое. А ключ к списку или изобретен в Лондоне, или отправлен туда раньше.— Она указала на листок.— Эта бумажка очень важна, но пока что ею нельзя воспользоваться.

— А что же мы с вами будем делать?

— К вам пришлют одного из тех, кто перечислен Блейком. Единственного, кто известен заокеанской разведке. Может быть, с его помощью мы отыщем ключ.

— Ну, а скажите, на что заокеанской разведке английские агенты?

— Как вы не понимаете? — удивилась Янковская.— Тэйлор и его люди всегда таскают каштаны из огня чужими руками. Блейк потратил несколько лет для того, чтобы подобрать своих агентов, а они приберут эту сеть к своим рукам и будут ею пользоваться.

— А тем все равно, кому служить?

— В основном да,— подтвердила Янковская.— Конечно, агенты Блейка—тоже люди не без принципов, но, в общем, это один принцип — ненависть к Советам; с этой точки зрения им почти безразлично, кому служить. Кто заплатит больше, тот и будет их хозяином.

— В таком случае вы тоже перепродались? Судя по вашей теории...

— Конечно,— перебила меня Янковская.— Но что касается меня, я предпочитаю служить не столько тем, кто щедрее, сколько тем, кто сильнее.

— Ну, а если Интеллидженс сервис узнает о вашем предательстве? Вы не боитесь ее мести?

— Во-первых, не узнает,— равнодушно ответила она.— А во-вторых, тот, кто не захочет подчиниться Тэйлору, отправится вслед за Блейком.

— Ну, а почему же вы служите немцам? Или это тоже реальная сила?

— Немцы — сентиментальные дураки,— резко сказала Янковская.— Сила-то они сила, только не очень разумная. Пока что немцы выматывают Россию, и им позволяют это делать. Но помяните мое слово: они тоже таскают каштаны для кого-то другого.

И тогда я задал ей один неосторожный вопрос:

— А не думаете ли вы, поклонница непреодолимой силы, что настоящая сила на той стороне, откуда пришел я?

— А вот этой силе я не подчинюсь никогда! — закричала она.— Сила, принадлежащая серому быдлу!..

Голос ее сорвался. Она бросилась в кресло и точно утонула в нем.

— И если вы, Андрей Семенович...— Она почти никогда не называла меня этим именем...— Если я замечу, что вы снова поглядываете на восток, клянусь, я убью вас соб-

К 58

ственными руками! — Она тут же встала.— Прикажите Виктору отвезти меня домой.

Я вызвал Железнова.

— Отвезите Софью Викентьевну,— распорядился я.— Ей нездоровится, поэтому не торопитесь, пусть она подышит свежим воздухом.

Железнов вернулся очень быстро.

— Я не заметил, чтобы она была больна,— сказал он.— Она не захотела ехать домой и приказала отвезти ее к Гренеру.

— Ну и слава богу,— отозвался я.— Значит, мы можем спокойно поговорить.

Я протянул ему аккредитив.

— Это что? — спросил он.

— Цена предательства,— пояснил я.— Мистер Тэйлор решил, что в эту сумму я ценю Родину.

Я подробно рассказал о своей встрече, показал список, открыл тайну убийства Блейка.

— Да, поучительный разговор,— задумчиво заметил Железнов.— Теперь многое становится понятным: и почему тянут со вторым фронтом и откуда у немцев нефть...

Он попросил показать ему пуговицу, подержал на ладони и бережно мне вернул.

— Береги, это может пригодиться,— посоветовал он и как бы спросил самого себя: — Хотел бы я знать, есть ли еще такие пуговицы в нашей стране...

Затем он склонился над списком Блейка.

— Война когда еще кончится, нам до Берлина еще идти да идти, а они уже о другой, о следующей войне думают,— продолжал он размышлять вслух.— Политика дальнего прицела, сверхдальнего...

Он бережно скатал и спрятал драгоценный листок на прежнее место.

— Помнишь,— спросил он меня и почти слово в слово повторил Янковскую,— по-моему, это Наполеон как-то выразился, что один хороший шпион стоит иногда целой армии, так что в тайной войне эти двадцать шесть человек — немалая сила.

— Пока это только список,— заметил я.— К нему нет ключа.

— Но ведь к тебе кого-то пришлют? — возразил Железнов.— Не может быть, чтобы мы не достигли цели!

— А может быть, это псевдонимы? Может быть, этот список написан для отвода глаз?

— Правильно, все может быть! — Железнов засмеялся.— Однако Блейк поплатился за него жизнью. Теперь, когда мы имеем хоть что-то, мы обязаны взяться за работу, теперь есть над чем подумать, и мы обязаны решить эту задачу...

Ту короткую летнюю ночь, проведенную вместе с Виктором, мне не забыть никогда.

За окном было темно, только в фиолетово-черном небе слабо мерцали редкие звезды. А у нас в комнате горел свет. Мы вспоминали Родину, говорили о нашей жизни, обдумывали свою работу, строили планы...

Мечтательное наше настроение нарушил какой-то шелест, донесшийся до нас с улицы, точно мостовую скребли огромной щеткой.

Мы выглянули в окно. Рассветало. Эсэсовцы с пистолетами в руках вели толпу женщин, подростков и стариков. Толпа была какая-то удивительно серая, безликая, призрачная; эсэсовцы в своих черных мундирах напоминали только что сработанных глянцевых оловянных солдатиков.

Куда они вели этих людей?..

Мы смущенно посмотрели друг на друга...

Наступил новый день, и у каждого из нас были свои обязанности.

— Ну, я пойду,— сказал Железнов и вышел из кабинета.

Через день Железнов сказал:

— Видел Пронина. Доложил о твоей встрече с Тэйлором. Просил передать ему копию списка. Говорит, это будет большой выигрыш, если удастся расшифровать...

А еще через день Марта сказала, что меня спрашивает какой-то человек.

Я с таким нетерпением ждал появления какого-нибудь незнакомца, что сразу поспешил к нему навстречу.

Мы вопросительно поглядели друг на друга.

— Господин Берзинь? — обратился ко мне посетитель.

— Он самый...— Я вежливо наклонил голову.— С кем имею честь?

Посетитель посмотрел на меня рыжими и липкими глазами.

— Арнольд Озолс, к вашим услугам.

— Раздевайтесь,— пригласил я его.— Прошу в кабинет.

Мы прошли в кабинет.

Озолс неторопливо опустился в кресло, минуту помедлил, сунул руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда почтовую открытку, на которой были изображены незабудки, посмотрел на рисунок, посмотрел на меня, еще раз посмотрел на цветы, положил открытку на стол и прикрыл ее ладонью.

Разговора Озолс не начинал.

— Чему обязан? — церемонно сказал я.

— Скажите, у вас есть лошади? — неожиданно спросил он.— Выездные лошади?

— Нет,— сказал я.— У меня нет лошадей.

— А верховая лошадь?

— Нет, нет,— сказал я.— У меня машина.

— Может быть, у вас есть корова? — спросил Озолс.

— Нет,— сказал я.— И коровы у меня нет.

— Это плохо,— сказал Озолс.— Всегда лучше пить молоко от своей коровы.

— Я согласен с вами,— сказал я.— Но както, знаете, не обзавелся.

Озолс опять посмотрел на незабудки и перевел взгляд на меня.

— А свиней вы не держите?

— Не держу,— сказал я.

— Это тоже плохо,— сказал он.— В каждом доме бывают отходы, домашняя ветчина вкуснее.

— Хорошо, если вы считаете это необходимым — сказал я,— я постараюсь обзавестись поросенком.

— А собаки у вас нет? — спросил Озолс.— Вы не охотник?

— Пожалуй, что охотник,— сказал я.— Но собаки у меня нет.

— Очень жаль,— сказал Озолс.— И кошки нет?

— Я не совсем вас понимаю,— ответил я ему тогда на вопрос о кошке.— Я не помню, какое количество животных описано Бремом, но смею вас заверить, что ни одного из них, к моему великому огорчению, у меня нет.

— Дело в том, что я ветеринарный врач,— с достоинством ответил Озолс.— Мне сообщили, что у вас заболело какое-то домашнее животное.

Он опять взял в руки свою открытку, с сожалением посмотрел на незабудки и задумчиво покачал головой.

— Очень жаль, по-видимому, произошло недоразумение, не смею вас больше задерживать...

И вдруг меня осенило! Я вспомнил, что где-то уже видел такую открытку с незабудками... Да ведь я видел ее у себя! В гостиной у Блейка валялось несколько альбомов для открыток... Я еще подивился, зачем этот эстет держал у себя такие мещанские альбомы с почтовыми карточками... В одном из них я видел точно такие же незабудки!

И тут я вспомнил, что много месяцев назад ко мне приходил заведующий каким-то дровяным складом и тоже все время вертел перед моими глазами какую-то почтовую открытку...

— Одну минуту, господин Озолс! — воскликнул я и пошел в гостиную...

Я схватил альбом, перелистал, нашел открытку с незабудками и поспешил обратно в кабинет.

— Посмотрите, господин Озолс,— сказал я. — Какое удивительное совпадение: у меня такая же открытка, как у вас!

Озолс взял мою открытку, сличил со своей, затем выпрямился в кресле и с каменным лицом посмотрел на меня.

— Я не понимаю, господин Берзинь, для чего вам нужна была эта комедия? — с достоинством спросил он.— У других тоже есть нервы.

— Извините меня, Озолс, — непринужденно ответил я.— Но сперва у меня возникли сомнения...

— Какие же могут быть сомнения? Посмотрите сами.

Он подал мне обе открытки — не могло возникнуть сомнений в их идентичности.

— В последнее время столько неожиданностей...— Я виновато посмотрел в рыжие глаза Озолса.— Так что известное предубеждение...

— Какие неожиданности могут быть между нами! — Ироническая улыбка чуть тронула губы моего посетителя, он слегка вздохнул и выжидательно на меня посмотрел.— Я слушаю вас, господин Берзинь.

— Вам кто передал, что нужно явиться ко мне? — деловито спросил я, как бы проверяя своего посетителя.

Озолс приветливо улыбнулся.

— Один мой старый друг из-за океана. Ведь я...

В этом разговоре все следовало угадывать с одного слова.

— Ведь вы...

— Да, я провел там около восьми лет.

— Вы там работали...

— Тоже ветеринарным врачом...— Озолс самодовольно улыбнулся.— Но мне не один раз приходилось участвовать в подавлении забастовок сельскохозяйственных рабочих...

— И вы по-прежнему поддерживаете связи?

— К сожалению, нет.— Озолс опять улыбнулся. После того, как я показал ему свою открытку, он превратился в воплощенную любезность: как-никак я являлся его начальником.— По возвращении в Латвию я все их растерял.

Я тоже вежливо ему улыбнулся.

— Но мы их восстановили...

Озолс утвердительно кивнул.

— Да, вы сумели найти меня.

— А что вы делаете сейчас?

— Как что? — удивился Озолс.— Лечу коров и собак.

— Нет, не в том смысле.

— А что же я могу сейчас делать? — еще больше удивился Озолс и неожиданно обнаружил проблески какого-то остроумия.— Мы будем ждать мирных весенних дней, когда опять возникнет нужда в агрономах и ветеринарах.

И правда, чем мог быть полезен такой Озолс капиталистической разведке? Мне совсем неясна была его роль. Сообщать, какие военные части движутся мимо его дома? Трудно было допустить, что такой шпион стоит целой армии...

Однако надо было как-то оправдать посещение Озолса, и не только для себя, но и для него.

— Видите, вы мне понадобились...—Я не знал, что ему сказать.— Наша служба проводит, так сказать, что-то вроде переучета. Кое-кто у нас выбыл, мы, так сказать, перестраиваем свои планы, так сказать, заново пересоставляем наши планы тайной войны...

Озолс внимательно слушал.

— Поэтому хочется еще раз подумать, чем вы можете быть полезны.

Озолс молчал.

— Я обращаюсь к вам, господин Озолс,— повторил я.— Подумайте, чем вы можете быть полезны?

Озолс заерзал в своем кресле.

— Вряд ли я смогу быть вам полезен в чем-либо другом, кроме того, что уже было запланировано, — промолвил он с некоторой тревогой в голосе.— Ни стрелять, ни участвовать в каких-либо авантюрах...— Он покачал головой.— Нет, господин Берзинь, я узкий специалист, и вне своей специальности мне не хотелось бы участвовать ни в каких планах.

Я задумчиво протянул:

— А мы запланировали для вас...

— Сибирскую язву, господин Берзинь,— напомнил мне мой посетитель тоном, ясно говорившим, что мне нечего делать вид, будто я этого не помню.— При получении соответствующего указания я и двое моих коллег, которых вы знаете не хуже меня, сможем вызвать эпидемию сибирской язвы у домашнего скота во всей Прибалтике, а в случае необходимости с помощью кисточек для бритья перенесем ее и на людей...

Да, пожалуй, такой шпион стоил армии!

— Да, да, Озолс, я помню об этом задании,— сказал я, с интересом разглядывая своего невзрачного собеседника, который вдруг предстал передо мной совсем в ином качестве.— Но я предполагал, что вы и до этого сможете оказать кое-какие услуги.

— Нет, господин Берзинь,— решительно отказался Озолс, не спрашивая даже, что я хотел ему предложить.— Я не умею ни убивать, ни похищать и не хотел бы за это браться.

— Ну, хорошо,— сказал я ему.— Очень рад был с вами познакомиться.

— Отлично,— сказал тот и поднялся.

Но я еще не хотел его отпускать. Мне надо было узнать его адрес. Надо было узнать еще что-нибудь, что перекинуло бы цепочку к другим.

— Простите, Арнольд... Арнольд...

— Янович,— подсказал Озолс.

— Арнольд Янович,— повторил я.— Ваш адрес не изменился?

— Врачи и аптекари не должны менять адресов,— назидательно ответил он.— Иначе легко растерять клиентуру.

Но мне надо было узнать, где он живет.

— Вам когда передали о моем желании видеть вас? — спросил я.

— Это было три дня назад,— сказал он.— Но я не мог выехать сразу.

Значит, он встретился со своим американским другом в день отъезда мистера Тэйлора из Риги...

— И долго вам пришлось добираться? — спросил я.

— Нет,— сказал он.— Как обычно.

— Отлично,— сказал я.— Я хочу только еще раз взглянуть на вашу открытку...

Нет, в ней не было ничего особенного, открытка как открытка: надпись «Carte postale», место для марки, а на обороте — голубые незабудки.

Я не знал, надо ли ему дать денег, но решил не давать.

— Отлично,— сказал я еще раз, возвращая открытку.—Поезжайте домой. Желаю вам всего доброго. Если вы понадобитесь, мы поставим вас об этом в известность.

Мы церемонно раскланялись, и я проводил его до входной двери.

Затем вернулся в кабинет, взял открытку, извлеченную мной из альбома, и пошел в гостиную...

Это был, оказывается, не простой альбом!

В нем были открытки с изображением цветов. Астры, розы, жасмин, ландыши, гладиолусы...

Я принялся рассматривать эти открытки. На некоторых из них были написаны карандашом цифры; на открытке с незабудками, которую я предъявил Озолсу, значилась цифра 3481...

Индекс, под которым значился Озолс у Блейка?

Я принялся рассматривать другие альбомы; там были репродукции с разных картин, много всяких пейзажей; в одном из альбомов были открытки с видами Латвии, улицы, площади, всякие достопримечательности...

Возможно, для того, чтобы отыскать ключ к списку, следовало узнать адрес Озолса, и это было не столь трудно: ветеринарного врача всегда можно отыскать в Латвии.

Я снова открыл альбом, в котором находились открытки с цветами, затем достал список Блейка и положил его рядом с открыткой с незабудками.

Озолс значился в этом списке восьмым по счету, Озолс Н. Е.

Но нет, это был не тот Озолс. Тот, который только что был у меня, — Арнольд Янович, а этот — Н. Е. Я перевел взгляд на открытку с незабудками. Незабудки... Незабудки... Незабудки... Нет, товарищ Железнов, моя голова тоже кое-что варит. Незабудка... НЕзабудка... Н. Е. забудка... Н. Е.— Озолс Н. Е.— Озолс — Н. Е. забудка. Озолс — незабудка... Озолс А. Я.— незабудка.

Я отобрал все открытки, помеченные цифрами.

Цифры не говорили мне ничего. Цветы были кличками, опознавательными кличками всех двадцати шести агентов Блейка, но что значили цифры, я не догадывался.

Я опять взял список.

Ципстиньш Н. А., Блюмс Ф. И., Клявиньш Р. О., Миезитис Л. А.

Я перебрал открытки.

Н. А. Настурция... Настурцией и был Ципстиньш... Но как его зовут на самом деле?

Ципстиньш был настурцией, Блюмс — фиалкой, Клявиньш — розой, Миезитис — ландышем...

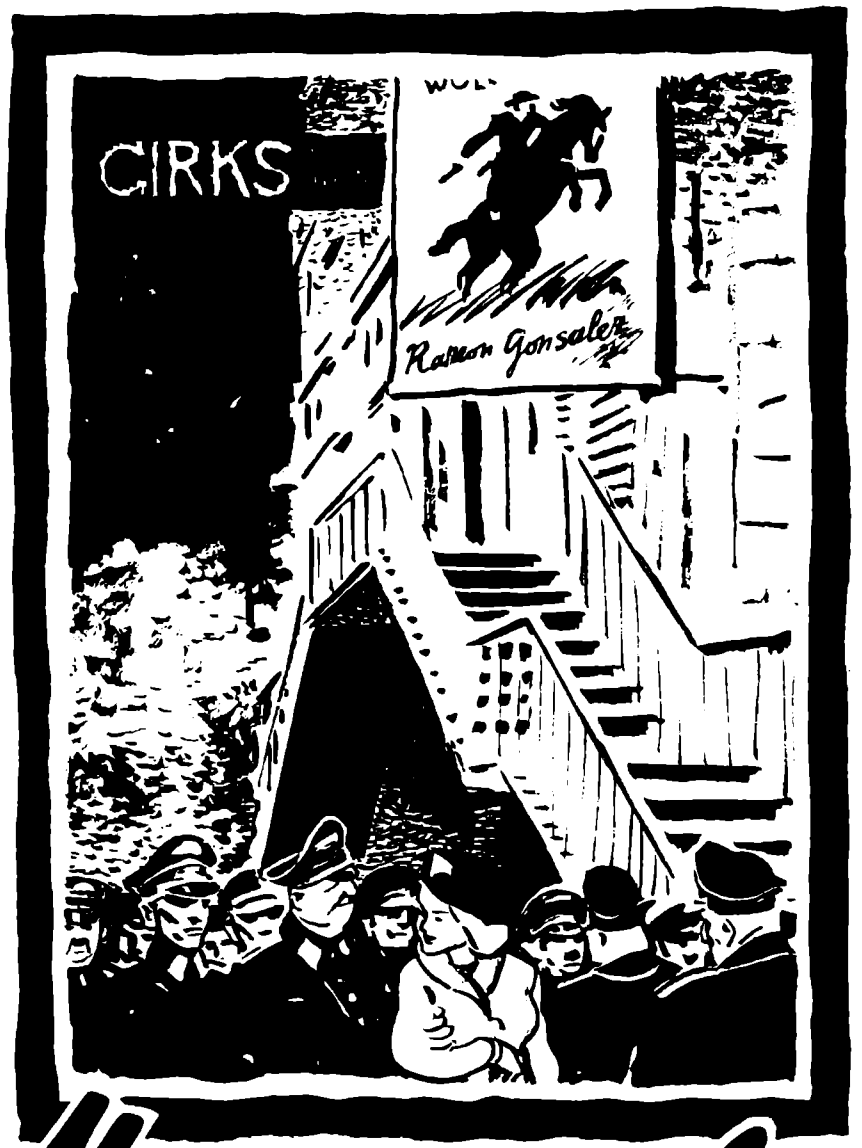
Но каковы были их настоящие инициалы?..

Для ясности требуется сказать, что список был написан по-английски и названия цветов я тоже подставлял по-английски, и лишь для удобства читателей я показываю, как бы выглядел этот список на русском языке.

Предстояла работа, и довольно-таки кропотливая, но игра стоила свеч. Теперь-то я понимал, что сидел в Риге не зря: с господином Озолсом необходимо было познакомиться.

Он стоил наших усилий, невзрачный господин Озолс, он же незабудка, и, если это понадобится его хозяевам, он же сибирская язва!

Продолжение следует.



Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

13. ЖОНГЛЕР НА ЛОШАДИ

Не стоит подробно рассказывать, как мы с Железновым работали над тем, чтобы дешифровать список Блейка. Лишь постепенно все эти фиалки и ландыши стали превращаться в реальных людей, имеющих определенные адреса и профессии.

Железнов согласился со мной, когда я высказал гипотезу о тождестве цветов и агентов Блейка; впрочем, это не было гипотезой, это было очевидно. Теперь следовало узнать адрес Озолса, а может быть, собрать и еще какие-то дополнительные данные для того, чтобы с помощью этих сведений найти и других людей, перечисленных в списке.

Железнов взялся это сделать через товарищей, с которыми был связан, но для этого требовалось, конечно, время.

Неожиданно на помощь пришла Янковская.

Она заезжала ко мне обычно или поздно утром, или под вечер, а иногда даже два раза в день; она все время держала меня в поле своего зрения.

В день посещения Озолса она появилась под вечер, хотя ее позднее появление не означало, что она не была осведомлена о визите «Незабудки». Она следила за мной и вследствие профессиональной наблюдательности по незначительным деталям, обрывкам слов и незаметным вопросам создавала правильное представление о моем времяпрепровождении.

Она вошла, села, закурила, с любопытством взглянула на меня, ожидая, что́ я скажу, но я молчал, и она первой нарушила молчание:

— Был?

— Кто?

— Тот, кто должен был к вам явиться.

Не было нужды прятать от нее Озолса, наоборот, она могла помочь обнаружить и других агентов Блейка.

— Был.

— Кто он?

— Некий Озолс, ветеринарный врач.

Она сама достала список и нашла в нем Озолса.

— Вы узнали о нем какие-нибудь подробности?

— Да, его кличка — «Незабудка».

Я показал ей открытку с незабудками и познакомил со своей догадкой.

Ей понравились цветочные псевдонимы. Она оживилась и утвердительно кивнула.

— Вы не узнали его адреса?

— Это могло вызвать подозрения.

— Правильно. По-видимому, это старый провокатор. Он сразу бы исчез. Но его адрес легко узнать.

— Через адресный стол?

— Конечно, нет. В адресном столе сейчас полная неразбериха, хотя немцы создали в нем видимость порядка. Вы должны использовать Эдингера. Попросите его узнать адрес...

— Эдингера?

— Разумеется. Он отыщет Озолса за несколько часов.

Она была дерзка и трезва. Эдингер мог найти Озолса без труда, а скрывать Озолса от Эдингера тоже не было необходимости.

Я тут же позвонил Эдингеру по телефону.

— Господин обергруппенфюрер? Счастлив вас приветствовать. Вы могли бы меня принять?

— Приходите завтра, Берзинь,— ответил он.— Вы мне тоже нужны.

— О, на этот раз я удовлетворю ваше любопытство, господин обергруппенфюрер...

— Хорошо, хорошо,— довольно сухо отозвался он.— Буду ждать.

Он действительно меня ждал и с первой же секунды моего появления в кабинете устремил на меня пытливый неодобрительный взгляд.

— Садитесь, Блейк,— сказал он.— Я слушаю вас, хотя вы мало чем оправдываете мое снисходительное отношение.

— Не так просто передать моих агентов другому хозяину,— обиженно возразил я.— Я восстанавливаю утраченные связи, перепроверяю всю сеть. Вы получите людей, которые действительно чего-нибудь стоят...

— Но когда, когда?— нетерпеливо перебил Эдингер.— Вы злоупотребляете моим терпением, Блейк

— Не позже, как через две недели,— твердо сказал я.— Но мне нужно найти одного ветеринарного врача, некоего Озолса.

— А он в Латвии?— спросил Эдингер.

— Безусловно,— подтвердил я.— Озолс Арнольд Янович.

— Это что, ваш агент?— спросил Эдингер.

— Да.— Я свободно мог подарить Озолса Эдингеру.— Я утратил с ним связь, а запрашивать Лондон нецелесообразно. В современных условиях это может затянуться, я не рискую испытывать ваше терпение. Озолс поможет мне восстановить некоторые связи.

— Я вижу, вы беретесь за ум,— похвалил меня Эдингер.— Я прикажу найти этого Озолса.

Он по телефону вызвал гауптштурмфюрера Гаусса, и через минуту в кабинет вошел какой-то чиновник в черной эсэсовской форме, висевшей на нем мешком и явно обличавшей штатского человека.

— Господин Гаусс,— сказал Эдингер,— мне нужно найти некоего Озолса...

Эдингер вопросительно обернулся ко мне.

— Арнольд Янович,— подсказал я.

— Арнольд Янович,— повторил, в свою очередь, Эдингер.— Он служит где-то у нас в Латвии ветеринарным врачом.

— Как срочно это нужно?— скрипучим, деревянным голосом осведомился господин Гаусс.

— Задание особой важности,— сказал Эдингер.— Эти данные нужны лично мне.

Господин Гаусс поклонился и ушел, не промолвив больше ни слова.

— А теперь, Блейк, буду говорить я,— сказал Эдингер и зашевелил своими усиками, точно таракан перед неожиданным препятствием.

Он хотел казаться внушительным и, пожалуй, казался таким, но на этот раз он выглядел больным, чувствовалось, что он не в своей тарелке, хотя по-прежнему старался говорить резко и угрожающе.

— Я ценю вас, Блейк,— сердито сказал Эдингер.— Наша разведка наблюдает за вами вот уже шесть лет, и вы все время работали только на свою страну. Поэтому вы поймете меня, если я скажу, что пошел в полицию для того, чтобы служить Германии...

Я уже видел, что мне придется стать свидетелем очередного словоизвержения на тему о величии германского рейха, но на этот раз мне показалось, что Эдингер говорил не ради рисовки, на этот раз он нуждался в самоутверждении: почва зашаталась под его ногами, приезд генерала Тэйлора поколебал его уверенность в германском правопорядке...

Увы, он был не из тех, кому можно было что-либо объяснить! Поэтому я молчал.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—31.

И так же, как всегда, Эдингер внезапно спустился с заоблачных высот риторики на залитую кровью землю.

— Как это ни печально, но я хочу огорчить вас, господин Блейк,—внезапно произнес он.— Вас окружают подозрительные люди, вы прикрываете коммунистов и партизан...

Я похолодел... Так, кажется, говорится в романах?.. Во всяком случае, я испытал весьма неприятное ощущение... Черт знает, что он мог узнать! Было бы глупо и обидно так просто, ни за понюшку табаку, погибнуть в здешних застенках...

— Вы уверены в своем шофере? — строго спросил меня Эдингер.— У нас о нем самые неблагоприятные сведения. И то, что я сейчас говорю об этом,— свидетельство доверия, которое я еще не утратил к вам...

У меня немного отлегло от сердца, хотя я еще не знал, что нужно от меня Эдингеру.

— Не знаю, как он сумел провести такого опытного разведчика, каким являетесь вы, капитан Блейк,— упрекнул меня Эдингер,— но у нас есть данные о том, что некий господин Чарушин или тот, кто скрывается под этим именем, связан с рижским коммунистическим подпольем...

Но я уже взял себя в руки. В том, что говорил Эдингер, не заключалось ничего экстраординарного: всегда можно было ожидать, что гестапо нападет на след кого-нибудь из нас. Гораздо важнее было понять, почему он считает возможным или нужным сообщить мне о провале Железнова. Эдингер, как я полагал, опять играл со мной в доверие. Но поскольку он не сомневался в том, что я капитан Блейк, он пытался выяснить, не связан ли я, англичанин, с союзниками Англии по войне, с русскими партизанами и коммунистами, и, выдавая мне Железнова, давал возможность порвать эти связи, если они существовали. Для гестапо капитан Блейк был гораздо более значительной фигурой, чем шофер Чарушин; предоставляя мне возможность отмежеваться от своего шофера, тем самым гестапо пыталось сохранить меня для себя.

Поэтому Эдингер пошел еще дальше. В его глазках, совсем как у хорька, когда тот настигает свою жертву, загорелись желтые искорки, он лег грудью на стол и негромко сказал:

— Донесения о Чарушине лежат у меня в столе, и я совершенно доверительно скажу вам, что через день или два отдам приказ об аресте этого человека. Лично вы можете не беспокоиться: вас потревожат лишь на самое короткое время...

Что мне оставалось делать? Высказать свое недоверие Чарушину? Усилить подозрения Эдингера? Это не было бы полезно. Решительно взять под свою защиту? Тоже вызвало бы подозрения. Следовало лишь удивляться и удивляться.

— Удивительно! — воскликнул я.— Чарушин — отличный шофер, я очень им доволен. Он не вызывает подозрений даже у такой недоверчивой женщины, как госпожа Янковская!

Как раз у Янковской-то Железнов и вызывал подозрения. Я приплел ее потому, что она пользовалась значительным влиянием в нацистских кругах, но ответ Эдингера поверг меня в изумление.

— Госпожа Янковская! — насмешливо сказал он.— Хоть она и ваша сотрудница, знаете вы ее недостаточно. Кто вам сказал, что это не она направила наше внимание на вашего шофера?

Если в этом была хоть доля правды, то налицо предательство. Она действовала вопреки мне и против меня.

— Но позвольте,— возразил я.— Я наблюдал за Чарушиным достаточно тщательно. Он выполняет весьма серьезные поручения. Конечно, он не посвящен в мои отношения с вами, он убежден, что служит британским интересам...

— Вы серьезный разведчик, Блейк, но в данном случае этот Чарушин играет на ваших английских чувствах,— укоризненно сказал Эдингер.— Его подослали к вам, и если он вас еще не убил, то только потому, что ему удобно прятаться в вашей тени. Мы давно к нему присматриваемся. Впрочем, не буду скрывать: так же, как и к вам. Но если вас не в чем упрекнуть, ваш шофер уличен...

Вот когда я убедился, как был прав Пронин, удерживая меня от участия в каких бы то ни было делах Железнова,— он видел дальше и больше меня. Молодые бойцы часто ропщут, когда их держат в резерве, но опытные командиры лучше знают, кого и когда надо ввести в бой.

— Не смею больше спорить,— холодно произнес я, показывая, однако, своим видом, что я еще не вполне убежден Эдингером.— Я только прошу вас повременить с арестом: мне хочется самому убедиться в предосудительных связях Чарушина.

— Своей защитой Чарушина вы компрометируете себя! — раздраженно ответил Эдингер.— Вас, как англичанина, волнует не существо, а форма. Я заверяю вас, что с вашим шофером будет поступлено по закону. Положитесь на нас, предоставьте его собственной судьбе, поймите, для вас это наилучший выход...

Эдингера вообще трудно было переубедить, а в данном случае просто невозможно. По-видимому, он нацелился на Железнова очень основательно.

А может быть, и не только на Железнова! Но все это могло быть и провокацией; прямых улик против меня не имелось. Выполняя приказание Пронина, я вел себя очень осмотрительно, но мне могли неспроста сообщить о предстоящем аресте Железнова: исчезни Железнов, будет очевидно, что это я предупредил его...

Тут опять появился гауптштурмфюрер Гаусс.

Вероятно, когда Эдингер говорил Гауссу о «задании особой важности», он хотел показать мне образец немецкой быстроты и аккуратности.

— Разрешите, господин обергруппенфюрер? — спросил Гаусс деревянным голосом.

— Да, да! — сказал Эдингер.— Узнали что-нибудь?

Гаусс молча подал Эдингеру узкий листок бумаги. Эдингер взглянул на него и тотчас передал мне.

На листке значилось: «Мадона, Стрелниеку, 14».

— Это все? — спросил Эдингер.

— Адрес ветеринарного врача Озолса,— ответил Гаусс.— Он живет в Мадоне.

Возможно, подумал я, этот адрес и послужит ключом к списку...

Я поблагодарил Эдингера и поспешил откланяться. Мне не хотелось возвращаться к скользкому разговору о Чарушине.

— Помните, о том, что произойдет с вашим шофером, не знает никто,— предупредил меня на прощание Эдингер.— Вы еще будете мне благодарны.

— Можете быть уверены, господин обергруппенфюрер,— заверил его я.— Хайлитль!

Я отсалютовал Эдингеру поднятой рукой и заторопился вниз, в машину.

— Давай! — сказал я.

Железнов включил мотор и удивленно посмотрел на меня.

— Что это ты как будто не в себе?

— Плохи, брат, наши дела,— ответил я.— Гестаповцы собираются тебя арестовать.

Нельзя было не заметить: Железнов встревожился, но он тут же взял себя в руки.

— Как так? — спросил он.

— Предупредил сам Эдингер,— объяснил я.— Уж не знаю, донес кто-нибудь или они сами, но говорит, что гестапо располагает данными о твоих связях с рижским подпольем...

Железнов задумчиво покачал головой.

— Задача...

— Какая же тут может быть задача? — возразил я.— Медлить нечего, приходится скрыться.

Железнов вздохнул.

— Не так это просто, и тем более непросто, что это может бросить тень на вас...

Мы обращались друг к другу то на «вы», то на «ты»; в моменты, когда особенно остро ощущали нашу духовную близость, говорили на «ты», а когда возвращались к служебным делам, переходили на «вы»; на этот раз «ты» и «вы» смешались в нашем разговоре.

— Вы недооцениваете важности возложенного на вас задания,— укоризненно сказал Железнов.— Ради него можно многим пожертвовать.

— Но ведь не тобой же?— перебил я его.— Что, если нам удрать вдвоем?

— Вы понимаете, что говорите? — резко возразил Железнов.— Мы не имеем права уйти, пока не обнаружим всех этих агентов. Вы понимаете, чем это может грозить после нашей победы? Это все равно, что оставить грязь в ране. Рану можно вылечить в месяц, а можно лечить десять лет...

— Посоветоваться с Прониным? — предложил я.— Он подскажет.

— Это конечно,— согласился Железнов.— Но, пожалуй, и Пронин здесь...— Он замолчал; видно было, что ему нелегко прийти к какому-нибудь решению.— Надо протянуть какое-то время и успеть...— Он не договорил и опять задумался.— Вот если бы удалось хоть на время отстранить Эдингера...

Железнов резко повернул машину за угол.

— Ну, а как с адресом? — поинтересовался он.— Эдингер обещал узнать?

— Адрес в кармане,— сказал я.— Можно браться за поиски.

— Вот это здорово! — оживился Железнов.— Обидно будет, если меня возьмут...

Но я-то понимал, что это просто невозможно. Задание, разумеется, должно быть выполнено, но и жертвовать Железновым тоже нельзя. Нам опять предстояло найти выход из безвыходного положения...

И я подумал о Янковской. Почему бы не заставить эту даму послужить нам? Она недолюбливала Эдингера и была расположена ко мне; в ее расчетах я занимал не последнее место. Почему бы не бросить на чашу весов самого себя?

Я повернулся к Железнову.

— Поворачивай! — сказал я.— Двигай в гостиницу, к Янковской.

— Зачем? — удивился Железнов.— Дорога каждая минута.

— Пришла одна идея, — сказал я. — Попробуем побороться.

— А мне нельзя познакомиться с этой идеей? — спросил Железнов.— Как говорится, ум хорошо, а два...

Но я боялся, что он меня не одобрит, да и не был уверен, что сумею эту идею как следует изложить.

— Двигай, двигай! — повторил я.— Авось, рыбка и клюнет...

Не могу сказать, чтобы Железнов чрезмерно доверчиво отнесся к моим словам, однако он подчинился и поехал к гостинице.

Янковская не отозвалась на мой стук; я подумал, что ее нет дома, но дверь оказалась незапертой и, когда я ее толкнул, поддалась.

Янковская спала на диване, поджав ноги. Она не услышала моего стука, но как только я, ничего еще не сказав, сел возле нее, она сразу открыла глаза.

— У меня неприятности,— с места в карьер заявил я.— Только что был у Эдингера. Он сказал, что установлены мои связи с партизанами...

Янковская сразу села, сон с нее как будто рукой смахнуло.

— Какая глупость!— воскликнула она.— Они ничего не поняли!

Этой фразой она выдала себя, но я не подал вида, что в чем-то ее подозреваю.

— Чего не поняли? — спросил я.— Кто?

— Ах, да ничего не поняли! — с досадой отозвалась она. — Ваш Чарушин в самом деле очень подозрителен, но вы-то, вы-то при чем? Самое ужасное в том, что если этот маньяк вздумает привязаться, от него невозможно отцепиться, он ничего не захочет признавать...

Она встала, прошлась по комнате, закурила.

— А вы-то чего нервничаете? — спросил я.— Ну, арестуют меня, убьют, вам какая печаль?

— В том-то и дело, что вас нельзя арестовать! — воскликнула она.— Тэйлор мне этого никогда не простит!

Беспокоилась она, конечно, не столько обо мне, сколько о себе.

— Вот что, поедем к Гренеру,— решительно сказала она.— Надо что-то предпринять...

Она опять пришла в то деятельное состояние, когда трудно было ее остановить.

Мы спустились вниз.

Янковская раздраженно посмотрела на Железнова; сейчас она не пыталась скрыть своей неприязни к нему.

— Ах, это вы? — враждебно сказала она и кивнула куда-то в сторону.— Вы нам не нужны!

Железнов вопросительно взглянул на меня.

— Вы нам не нужны! — вызывающе повторила она.— Выходите из машины!

— Ладно, Виктор,— сказал я.— Не стоит спорить с капризной женщиной.

Он вылез на тротуар.

— Я пойду домой,— сказал он.

— Куда хотите,— ответила Янковская.— У вас хватает дел без господина Берзиня...

Я не хотел ей перечить. Янковская была человеком действия, и, если бралась за дело, лучше было с нею не спорить.

— Садитесь! — почти крикнула на меня Янковская и села сама за руль.

Железнов пожал плечами и спокойно, как всегда, точно ему ничто не угрожало, пошел по улице.

Янковская, злая и стремительная, с места повела машину на большой скорости.

Мы нигде не могли настигнуть Гренера; его не было ни дома, ни в госпитале. Наконец мы узнали, что он находится в канцелярии гаулейтера. Нам пришлось ждать, когда он освободится. Мы вернулись к нему домой — Янковскую без разговоров впустили в квартиру — и принялись ожидать возвращения хозяина.

Янковская обзвонила все места, где мог появиться Гренер.

— Передайте господину профессору, чтобы он поскорее возвращался домой,— повсюду передавала она.— Скажите, что звонила госпожа Янковская.

Однако господин профессор явился сравнительно поздно.

— Что случилось, моя дорогая? — встревоженно спросил Гренер, войдя в гостиную и целуя Янковской руку.— Надеюсь, вы меня извините, меня задержал барон.

Он поздоровался со мной, и я бы не сказал, что очень приветливо.

— Мы разыскиваем вас уже часа четыре,— нетерпеливо сказала Янковская.— Надо срочно что-то сделать с Эдингером!

Гренер бросил беглый взгляд на меня и опять повернулся к Янковской.

— Может быть, вы разрешите предложить вам чашку кофе?

— Ах, да какой там кофе, когда я говорю об Эдингере! — нервно воскликнула она.— Давайте говорить о делах, а не о кофе!

Гренер опять неприязненно посмотрел на меня и вновь повернулся к Янковской.

— Но я не знаю...— промямлил он.— Господин Берзинь... Удобно ли...

— Ах, да ведь вы отлично знаете, что Берзинь — свой человек! — с досадой произнесла Янковская.— Генерал Тэйлор заинтересован в нем не меньше, чем в вас!

Мне показалось, что замечание о нашей равноценности не доставило Гренеру удовольствия.

— Хорошо, дорогая! — послушно произнес он.— Если господин Берзинь осведомлен о ваших делах, давайте поговорим.

Он больше не смотрел на меня, но мое присутствие, я не ошибался, было ему неприятно.

— Эдингер начинает усердствовать сверх меры,— холодно сказала Янковская.— Вы както говорили, что хотели бы видеть на посту начальника Рижской гестапо своего друга Польмана и что можете это сделать. Мне кажется, пришло время доказать, что вы хозяин своего слова.

Гренер любезно улыбнулся.

— Я действительно хотел бы видеть в Риге своего друга Польмана,— согласился он.— И у меня достаточно связей, чтобы он получил в Берлине такое назначение. Но только не вместо Эдингера...

Он закивал своей птичьей головкой.

— Только не вместо Эдингера,— настойчиво повторил он.— Эдингеру лично покровительствует гаулейтер Гиммлер, и, пока Эдингер не получил какого-либо повышения, Польману здесь не бывать.

— Ну, а если Эдингера здесь не будет? — испытующе спросила Янковская.— Вы уверены, что на его место назначат Польмана?

— Так же, как и в том, что вижу сейчас вас перед собой,— уверенно сказал Гренер.— Но я не вижу способа избавиться от Эдингера.

Янковская холодно усмехнулась.

— О, способ устроить для него повышение найдется!..

Гренер опять закивал своей птичьей головкой.

— Я боюсь, вы переоцениваете свои возможности, дорогая...

— А вы недооцениваете возможностей заокеанской разведки, профессор,— холодно возразила Янковская.— Стоит дать команду, и обергруппенфюрер Эдингер взлетит так высоко...

— Увы! — не согласился с ней Гренер.— Ни на Гиммлера, ни на Гитлера генерал Тэйлор не может повлиять!

— Но зато он может повлиять на самого господа бога,— насмешливо произнесла Янковская.— Ни Гитлер, ни Гиммлер не помешают отправить вашего Эдингера к праотцам.

— На это я не даю согласия! — крикнул Гренер.— Эдингер — честный человек, и я не хочу доставлять место Польману ценой человеческой жизни!

— А я с вами не советуюсь, как поступить с Эдингером! — крикнула, в свою очередь, Янковская.— Я спрашиваю вас, гарантируете ли вы, что в случае исчезновения Эдингера на его пост назначат Польмана?

— Что касается Польмана, я уверен, но, повторяю, я не согласен на устранение Эдингера...— Гренер впервые повернулся ко мне за все время этого разговора.— Господин Берзинь, или как вас там! Я надеюсь, вы не возьметесь за такое дело...

Он, кажется, решил, что это именно мне Янковская предполагает поручить устранение Эдингера.

Но Янковская не позволила мне ответить.

— Да скажите же ему, что вы имеете особое поручение от Тэйлора! — закричала она на меня.— Профессор все сводит к личным отношениям, но забывает, что есть интересы, ради которых приходится забывать о себе!

— Нет, нет и нет! — закричал вдруг Гренер, приходя в необычайное возбуждение.— Я ничего не хочу делать для господина Блейка! Вы испытываете мое терпение! Я предупрежу Эдингера...

И тут Янковская проявила всю свою волю.

— Не орите! — прикрикнула она на Гренера.— Ревнивый журавль!

И он не посмел ей ответить.

— Слушайте,— медленно произнесла она сдавленным голосом.— Эдингер не ваша забота. Но если вы сейчас же не примете мер к тому, чтобы в Ригу был назначен Польман, я никогда — слышите? — никогда не уеду с вами за океан. Больше того, я наплюю на все, не побоюсь даже Тэйлора — вы меня знаете! — и завтра же исчезну из Риги вместе с Дэвисом. Вместе с Дэвисом! Вы хотите этого?

И вот этого Гренер не захотел!

— Отто, Бернд! — взвизгнул он.— Где вы там?!

В гостиную влетел один из его денщиков.

— Кофе! Где кофе? — визгливо забормотал он.— Сколько времени можно дожидаться? И госпожа Янковская, и господин Берзинь, и я, мы уже давно ждем...

Денщик — уж не знаю, кто это был: Отто или Бернд,— ошалело взглянул на Гренера и через две минуты — это была уже магия дисциплины! — внес в гостиную поднос с кофе и ликерами.

— Разрешите налить вам ликера? — обратился Гренер к Янковской.

По-видимому, это значило, что зверь укрощен.

— Налейте,— согласилась она и, совсем как кошка, лизнув кончиком языка краешек рюмки, безразлично спросила: — Вы когда будете звонить Польману?

— Сегодня ночью,— буркнул Гренер и обратился ко мне: — Может быть, вы хотите коньяку?

— Мы хотим ехать,— сказала Янковская.— У нас есть еще дела.

— Опять с ним? — сердито спросил Гренер.

— Да, с ним,— равнодушно ответила Янковская.— И еще тысячу раз буду с ним, если вы не оставите свою глупую ревность...

Она направилась к выходу, и Гренер послушно пошел ее провожать.

— Вы можете намекнуть своему Польману,— сказала она уже в передней,— что Эдингер чувствует себя очень плохо и вы, как врач, весьма тревожитесь за его здоровье.

Мы опять очутились в машине.

— А теперь куда? — поинтересовался я.

— В цирк,— сказала Янковская.— Я хочу немного развлечься.

К началу представления мы опоздали, на арене демонстрировался не то третий, не то четвертый номер, но это не огорчило мою спутницу.

Мы сидели в ложе, и она снисходительно посматривала то на клоунов, то на акробатов.

— Вот наш номер,— негромко заметила она, когда объявили выход жонглера на лошади Рамона Гонзалеса.

Оркестр заиграл бравурный марш, и на вороной лошади в блестящем шелковом белом костюме тореадора на арену вылетел Гонзалес...

Оказалось, я его знал!

Это был тот самый смуглый субъект, который дежурил иногда в гостинице у дверей Янковской.

Надо отдать справедливость, работал он великолепно. Ни на мгновение не давал он себе передышки. Лошадь обегала круг за кругом, а в это время он каскадом делал разнообразные курбеты, сальто и прыжки. Ему бросали мячи, тарелки, шпаги, он ловил их на бегу и заставлял их кружиться, вертеться и взлетать, одновременно наигрывая какие-то мексиканские песенки на губной гармонике. Но самым удивительным было его умение стрелять. Это был действительно первоклассный — да какое там первоклассный! — феноменальный снайпер! Гонзалес выхватил из-за пояса длинноствольный пистолет, и одновременно служители подали ему связку обручей, обтянутых цветной папиросной бумагой. Он взял их в левую руку, в правой держа пистолет. В цирке пригасили свет, цветные лучи прожекторов упали на арену, и наездник становился попеременно то голубым, то розовым, то зе-

леным. В оркестре послышалась дробь барабана. Лошадь галопом помчалась по кругу, а Гонзалес, не выпуская пистолета, хватал правой рукой обручи, бросал вверх перед собой и, когда цветные диски взлетали к куполу, стрелял в них; продырявленные диски быстро и плавно возвращались обратно, Гонзалес подхватывал их головой, и они повисали у него на плечах...

Этот человек имел изумительный глазомер и выработал необыкновенную точность движений!

Я с интересом наблюдал за его искусной работой...

Не знаю, почему, но мне вспомнился вечер на набережной Даугавы...

— Да, этот Гонзалес неплохо владеет пистолетом,— сказал я.— У меня такое чувство, точно я уже сталкивался с его искусством...

— Возможно,— согласилась Янковская.— Только это никакой не Гонзалес, а самый обыкновенный ковбой, и зовут его просто Кларенс Смит.

Он еще несколько раз метнул свои обручи, выстрелил в них, поймал и спрыгнул с лошади. Вспыхнул свет, прожектора погасли, Гонзалес, или, как его назвала Янковская, просто Смит, принялся раскланиваться перед публикой.

Он остановил свой взгляд на Янковской, а она приложила кончики пальцев к губам и послала артисту воздушный поцелуй.

Как только объявили номер каких-то эксцентриков, Янковская заторопилась к выходу.

— Вы устали или надоело?— осведомился я.

— Ни то и ни другое,— ответила она на ходу.— Не надо заставлять себя ждать человека, которому еще предстоит серьезная работа.

Мы ожидали Гонзалеса у выхода минут пять, пока он, по всей вероятности, переодевался.

Он быстро подошел к Янковской и схватил ее за руку.

— О! — сказал он, бросая на меня неласковый взгляд.

— Быстро, быстро!—крикнула она ему вместо ответа.

...Через минуту мы уже опять неслись по улицам сонной Риги, а еще через несколько минут сидели в номере Янковской.

— Познакомьтесь, Кларенс,— сказала она, указывая на меня.— Это Блейк.

— Нет! — резко сказал он.— Нет!

— Что — нет? — спросила Янковская со своей обычной усмешечкой.

— Я не хочу пожимать ему руку. Он мой враг!

— Не валяй дурака,— примирительно сказала Янковская.— Никакой он тебе не враг.

— Ладно, останемся каждый при своем мнении! — ворчливо пробормотал Смит.— Что тебе от меня нужно?

— Поймать бешеную лошадку,— сказала Янковская.

— Кого это еще требуется тебе заарканить? — спросил Смит.

— Начальника гестапо Эдингера,— назвала Янковская.

— Ну, нет, за такой дичью я не охочусь,— отказался Смит.— Потом мне не сносить головы.

— Тебе ее не сносить,— сказала Янковская,— если Эдингер останется в гестапо.

— Мне он не угрожает,— сказал Смит, посмотрел на меня прищуренными глазами и спросил: — Это вам он угрожает?

— Хотя бы,— сказал я.— Я прошу вас о помощи.

— Туда вам и дорога,— пробормотал Смит, придвинулся к Янковской и сказал: — Я бы перестрелял всех мужчин, которые вертятся возле твоей юбки.

— Надо бы тебе поменьше ерепениться,— сказала Янковская.—Это шериф требует смерти Эдингера.

Я не знал, кто подразумевался под этим именем, но вполне возможно, что это был все тот же генерал Тэйлор.

— Знаю я, какой это шериф! — мрачно проговорил Смит и указал на меня.— Гестапо, небось, собирается кинуть этого парня в душегубку, и тебе хочется его спасти.

— Вот что, Кларенс... — Янковская вцепилась в его руку. — Если ты не сделаешь этого, тебе не видать меня в Техасе. Не будет ни дома на ранчо, ни холодильника, ни стиральной машины. Ищи себе другую жену!

— Все равно ты меня обманешь! — пробормотал Смит и закричал: — Нет, нет и нет! Пусть они подохнут, все твои ухажеры, может, я только тогда тебя и получу, когда тебе не из кого будет выбирать!

— Кларенс! — прикрикнула на него Янковская.— Ты замолчишь?

— Как бы не так! — закричал он в ответ.— Ты что же, за дурака меня считаешь? Ты думаешь, я забыл тот вечер, когда ты помешала его задушить? Теперь я и рук марать об него не буду, пойду в гестапо и просто скажу, что твой Блейк, или Берзинь, или как он там еще теперь называется, на самом деле русский офицер...

Янковская стремительно вскочила и подбоченилась, совсем как уличная девка.

— Пуговицу, Блейк, пуговицу! — крикнула она.— Нечего с ним церемониться! Покажите ему пуговицу!

Я послушно достал пуговицу и разжал ладонь перед носом Смита.

Янковская оказалась права, когда назвала эту пуговицу талисманом. Этот упрямый и разозленный субъект уставился на нее, как завороженный...

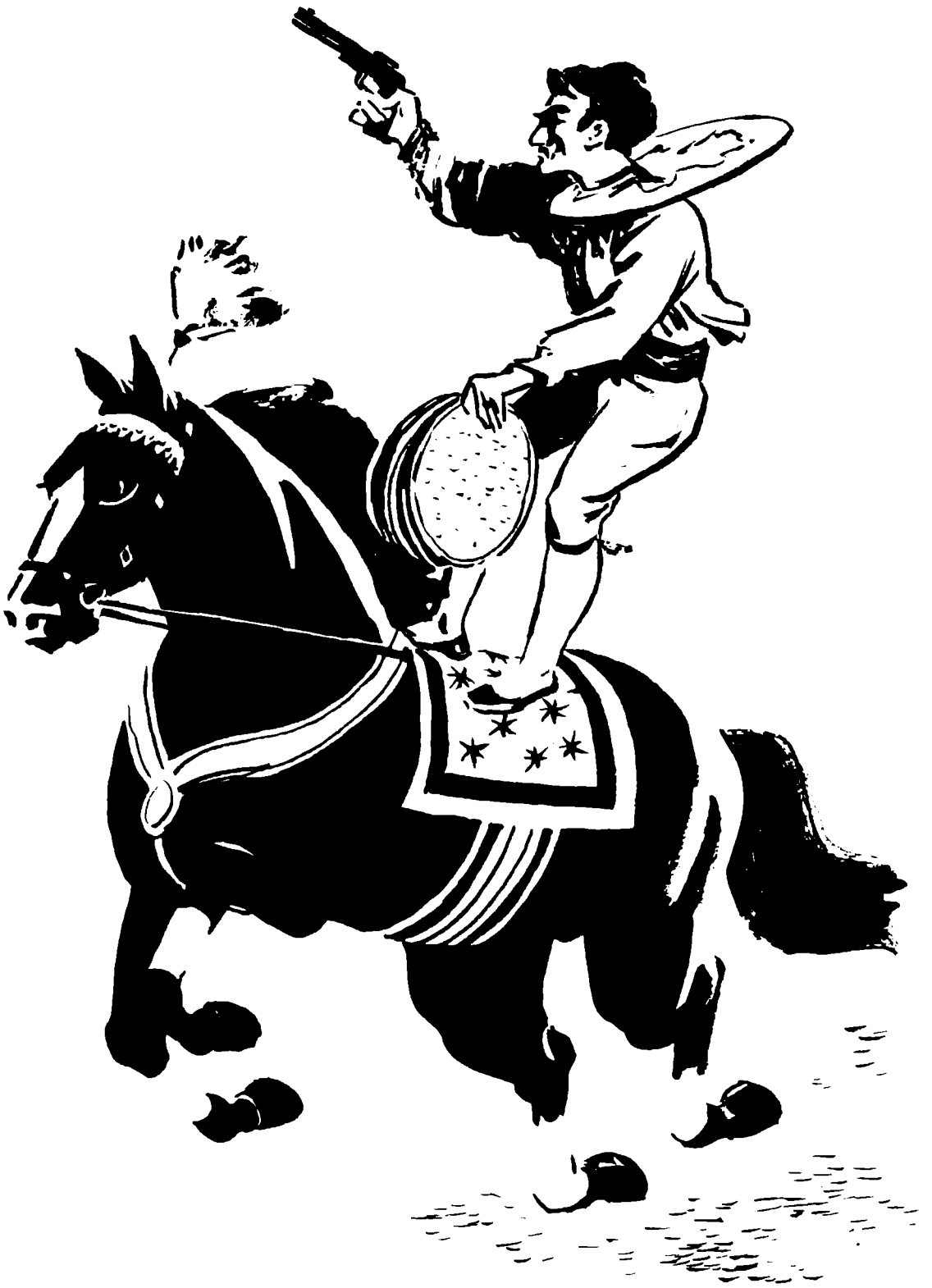
Он с сожалением посмотрел на нее, потом на меня и, точно укрощенный зверь, подавил вырвавшееся было у него рычание.

— Ваша взяла,— выдавил он из себя.— Ладно, говорите.

— Двадцать раз, что ли, говорить?— крикнула Янковская.— Тебе сказано: зааркапить Эдингера, а иначе...

— Ладно, ладно! — примирительно оборвал он ее.— Говори: где, как и когда?

Продолжение следует.



Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

14. НОЧНАЯ СЕРЕНАДА

После вышеописанной драматической сцены последовал самый прозаический разговор.

Янковская и Смит хладнокровно и обстоятельно обсуждали, как лучше убить Эдингера, изобретали всевозможные варианты, учитывали все обстоятельства, взвешивали детали, отбрасывали одни и находили другие.

Проникнуть в гестапо было невозможно, и, кроме того, Эдингера окружал целый сонм сотрудников; напасть, когда он ехал в машине, было безнадежным предприятием; особняк, в котором он жил, охранялся не хуже городской тюрьмы...

Всего уязвимее была квартира некой госпожи Лебен, у которой Эдингер проводил иногда вечера.

Этот мещанин, всеми правдами и неправдами выбившийся, так сказать, в люди, считал, кажется, хорошим тоном иметь любовницу, во всяком случае, он не только не делал из этого тайны, но даже афишировал свою связь.

Сама госпожа Лебен была особой весьма незначительной, молва называла ее артисткой; возможно, она и на самом деле была маленькой актрисочкой, прилетевшей в оккупированную Ригу, как муха на запах меда, чтобы тоже поживиться чем можно из награбленных оккупантами богатств.

Она занимала квартиру в большом, многоэтажном доме и неплохо чувствовала себя под покровительством человека, внушавшего ужас местному населению.

Охрана не докучала своему шефу, когда он предавался любовным утехам, и Смит считал, что организовать на него охоту лучше всего именно в это время.

— Даже лошади глупеют от любви,— деловито констатировал Смит.— Завтра вечером я обратаю его за милую душу!

На том они и порешили.

На следующее утро я поинтересовался у Янковской:

— Что это за тип?

Она небрежно пожала плечами.

— Мой брави!

— Он имеет на вас какие-то права?

— Кто может иметь на меня какие-то права? Разве только чья-нибудь секретная служба...

Она усмехнулась, но ей не было весело, я это отлично видел.

— Ну, а все-таки, что это за субъект? — настаивал я.— Что это за ковбой на службе у заокеанской разведки?

— Натура малозагадочная,— пренебрежительно отозвалась она.— Каким вы его видели, такой он и есть. Пастух из Техаса, отличный наездник и стрелок, считает себя стопроцентным янки, хотя, вероятно, в его жилах все-таки течет мексиканская кровь. Его умение вольтижировать и стрелять привлекло внимание какого-то проезжего антрепренера, и тот сманил его в цирк. Те же качества привлекли к нему внимание разведки. Ему дали несколько поручений, он их успешно выполнил. Работает он исключительно из-за вознаграждения, копит деньги. Поручения ему даются самые несложные, для выполнения которых не требуется быть мыслителем. Поймать, отнять, убить... Гангстер! Смел, исполнителен, молчалив. Большего от него и не хотят. У него одна мечта: накопить денег, купить в Техасе ранчо, построить дом, с гаражом, с холодильником, со стиральной машиной, и привести туда меня в качестве хозяйки.

Я испытующе взглянул на нее.

— А как вы сами относитесь к такой перспективе?

— Я его не разочаровываю,— призналась она.— Пусть надеется, так он будет послушнее.

— А когда вы его обманете?

— Тогда я буду для него недосягаема,— жестко сказала она.— Он уже не сможет меня убить.

— Ну, а если...

— Догадается? — Янковская улыбнулась.— Тогда...

Она щелкнула пальцами, и ее жест не оставлял никаких сомнений в том, что сама она не поколеблется пристрелить этого претендента на ее руку, если тот вздумает ей мешать.

Мы помолчали.

— Вы уверены, что все кончится успешно? — спросил я.

— Конечно,— сказала она без какого бы то ни было колебания.— Все предусмотрено.

Мне, пожалуй, не следовало бы присутствовать при расправе с Эдингером, но я хотел собственными глазами убедиться в том, что я и Железнов избавились от грозящей нам опасности.

— Я хотел бы э т о видеть,— сказал я.

— Не испугаетесь? — спросила она с легкой насмешкой.

— Нет,— сказал я.— Я не из пугливых.

— Вот это мне нравится,— одобрила она.— Вы входите во вкус нашей работы.

— Что вы хотите этим сказать?

— Сначала мы смотрим, а потом начинаем действовать сами.

— А как же мне увидеть н а ш у работу?

— Вы можете сесть в сквере и наблюдать издали, но как только все произойдет, сейчас же удаляйтесь. Никто не знает, что последует дальше.

Она передернула плечами.

— Дайте мне рюмку водки.

Все-таки она нервничала.

— До вечера,— сказала она на прощание.— Вечером я провожу вас в театр.

Она выпила водку и ушла.

Да, все эти люди делали, в сущности, одно дело, служили одному хозяину, и в то же время как они ненавидели друг друга!

Если бы не Железнов, мне было бы гораздо тяжелее переносить постоянное общение с этими людьми и притворяться, что я один из них. Близость Железнова позволила мне в самых тяжелых обстоятельствах не утрачивать чувства локтя.

Еще до утреннего разговора с Янковской мы провели вместе с Железновым почти всю ночь.

Я рассказал ему о решении уничтожить Эдингера.

— Оно неплохо бы,— согласился Железнов и неуверенно усмехнулся.— Однако об этом придется доложить. Менять начальников даже в гестапо нельзя без разрешения. Тут можно и напортачить.

Мы с тревогой спросили друг друга: даст ли наше начальство согласие на ликвидацию Эдингера, и захочет ли, в конце концов, и сумеет ли Смит устранить его — в какой-то степени от этого зависела наша судьба. Но не в характере Железнова было сидеть у моря и

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—32.

ждать погоды. Мы приступили к работе — следовало спешить, потому что, мы это чувствовали, над нами день ото дня сгущались тучи.

Мы держали перед собой адрес Озолса и просматривали открытку за открыткой.

На открытках с цветами были цифры, и на открытках с видами Латвии были цифры, но адрес и цифры нам никак не удавалось сочетать.

Мы долго бились над расшифровкой этих цифр. Шифры в наше время стали очень сложны, и такой опытный работник разведки, каким являлся Блейк, должен был пользоваться самым изощренным шифром. Поэтому я не буду описывать наших попыток раскрыть тайну цифровых знаков Блейка, а только скажу, что, несмотря на все наши догадки, мы так ничего и не добились.

Когда мы почти уже совсем отчаялись, на Железнова вдруг снизошло вдохновение,— он принялся пересматривать открытки не с той стороны, где пишется текст и где написаны были цифры, а с лицевой, где напечатаны были картинки; он взглядывал время от времени на адрес и всматривался в улицы, площади и здания, изображенные на открытках...

— Подожди-ка! — вдруг закричал он.— Эврика!

Он схватил адрес, прочел: «Мадона, Стрелниека, 14»,— потом подал открытку мне.

— Что здесь изображено? — спросил он.

На открытке виднелась какая-то провинциальная улица; я посмотрел на обратную сторону и прочел надпись: «Мадона, Стрелниека».

Не был только указан номер дома, в котором жил Озолс...

Вместо того, чтобы записать местожительство Озолса, дом засняли на почтовой открытке...

Незабудка жила на Стрелковой улице в Мадоне!

Оставалось только разгадать тайну цифр, но к утру мы не успели это сделать.

— Еще одна — две ночи, и все станет ясно,— сказал Железнов.— Если только Эдингер или его преемник не отрубят нам раньше головы.

Потом мы решили поспать хотя бы несколько часов, потом Марта позвала нас завтракать, потом пришла Янковская, и день завертелся обычным колесом.

Железнов с утра ушел из дома и вернулся только в сумерках. Я услышал на кухне его голос и пошел за ним, но не успел раскрыть рта, как Железнов оттопырил на руке большой палец: это без слов говорило, что все в порядке и что согласие на уничтожение Эдингера дано.

Мы с Железновым заранее решили, что на место происшествия пойду я: рисковать обоим не следовало.

Янковская появилась очень поздно, наступила уже ночь.

— Пойдем пешком,— сказала она.— Машина будет только мешать.

Мы не спеша дошли до дома, в котором жила госпожа Лебен. Везде было очень темно, редкие прохожие торопливо проходили мимо.

Несколько наискось, шагах в двухстах от интересовавшего нас дома, находился сквер.

Мы сели на скамейку, Янковская положила мне на плечо руку. Нас можно было принять за влюбленную парочку.

— Это хоть и не кресло в партере,— сказала Янковская,— но отсюда все будет видно. Вы своими глазами убедитесь в том, что Эдингер больше не опасен.

Над нашими головами мерцали звезды, шелестела листва деревьев, пахло душистым табаком; обстановка была очень поэтичная.

— Я пойду,— сказала Янковская.— Я не слишком люблю цирковые номера...

Она оставила меня в одиночестве.

Я сидел и всматривался в громаду немого многоэтажного дома.

Госпожа Лебен жила на пятом этаже, и мне было интересно, как сумеет забраться туда неподражаемый Гонзалес.

Все, что затем последовало, было настолько необычно, дерзко и, я бы сказал, театрально, что, появись описание такого происшествия в приключенческом романе, обязательно нашлись бы критики, которые обвинили бы автора в неправдоподобии...

Но тут уж ничего не поделаешь! Никакая фантазия не может угнаться за жизнью, а люди с ограниченным мышлением не верят ни в межпланетные путешествия, ни в необычные ситуации, в каких не так уж редко оказываются люди...

Хотя и странно хвалить убийц, надо отдать справедливость Янковской и Смиту — они оказались мастерами своей профессии. Именно театральность, необычность и дерзость обеспечили успех покушения на Эдингера.

В полночь, может быть, несколькими минутами позднее, появился, как это ему и положено, сам дьявол, потому что в той преисподней, какой являлось рижское гестапо, Эдингер, несомненно, был дьяволом.

Он подъехал в машине в сопровождении нескольких эсэсовцев и тотчас скрылся в подъезде, один из эсэсовцев исчез в воротах, другой остался на улице, остальные шумно о чем-то посовещались и укатили обратно.

Эсэсовец, оставшийся на улице, постоял перед домом и затем двинулся в сторону сквера. Напевая какую-то лирическую песенку, он медленно зашагал по дорожке и, хотя был, по-видимому, в очень благодушном настроении, скорее по привычке, чем в силу какой-то особой настороженности, внимательно посматривал по сторонам.

Разумеется, он заметил меня.

Он приблизился и пальцем ткнул мне прямо в грудь.

— Кто такой?

— А вы кто? — ответил я ему, набравшись нахальства, но тут же поспешил добавить: — Стерегу шефа!

Чем-чем, а таким ответом нельзя было его удивить: всяких сыщиков, ищеек и соглядатаев хватало в ту пору в Риге!

Эсэсовец ухмыльнулся и понимающе кивнул в сторону дома.

— Голубки воркуют, а ты скучай...— Он сочувственно похлопал меня по плечу.— Сиди, сиди, а я схожу, пропущу рюмочку шнапса...

Он принял меня за сотрудника тайной полиции.

Он даже козырнул мне, вышел из сквера и скрылся за углом.

Около часа ночи из-за угла появился какой-то человек в черном плаще, в каких обычно выходят на сцену оперные убийцы.

То был ожидаемый мною Кларенс Смит, он же Рамон Гонзалес.

В этом пастухе из Техаса была какая-то врожденная артистичность, и если бы он тратил свои способности не на шпионаж и убийства, возможно, он остался бы в истории цирка как большой артист...

Но — увы! — он любил только деньги и госпожу Янковскую, впрочем, последнюю, как мне казалось, несколько меньше, чем деньги!

Смит прошелся вдоль дома, посмотрел на окна верхнего этажа и поднес к губам какой-то темный предмет (я сперва не разобрал, что это такое), минуту стоял молча и вдруг издал нежный протяжный звук...

Это была простая губная гармоника!

Смит проиграл лишь одну музыкальную фразу и смолк, опять посмотрел вверх и скрылся в тени...

И вдруг откуда-то из темноты полились звуки одновременно задорной и грустной песенки...

Странная это была мелодия, вероятно, какая-нибудь мексиканская или индейская песня, давным-давно слышанная Смитом где-нибудь в пустынных, неприветливых прериях, и ее исполнение говорило о незаурядном таланте исполнителя.

Нежная и жалобная мелодия лилась, как серебристый ручеек, разливалась вдоль улицы, поднималась вверх, таяла в ночном небе. Песенка звала, завораживала, призывала...

Должно быть, так вот завораживают звуками своих дудочек укротители змей. Вероятно, это сравнение пришло ко мне позже; в тот момент я не думал ни о каких укротителях — меня самого околдовали эти звуки.

Но было в этой мелодии и что-то раздражающее, что-то опасное...

Кое-где осторожно хлопнули створки оконных рам, кто-то выглянул, распахнулись створки окна и на пятом этаже, и Эдингер (я не сомневался, что это он), движимый, вероятно, еще и профессиональным любопытством, высунулся из окна...

Дудочка сделала свое дело: змея высунула голову из корзины!

Должно быть, еще внимательнее, чем я, следил за всем происходящим Кларенс Смит...

Он вдруг появился из темноты; можно сказать, выступил на подмостки...

Я не мастер описывать эффектные сцены, но все происходило, как в американских фильмах,— вероятно, Смит насмотрелся в своей жизни немало голливудских боевиков. И хотя для описания всего того, что произошло дальше, потребовалось бы не более минуты, на самом деле все произошло еще быстрее.

Песенка приблизилась ко мне,— ее исполнитель почти демонстративно продефилировал по мостовой перед домом, чем еще сильнее возбудил любопытство своих немногочисленных слушателей. Он даже как будто поклонился Эдингеру, снова поднес к губам гармонику и заиграл быстрый, веселый и, я бы сказал, даже насмешливый мотив, подошел к решетке сквера и внезапно скрылся в тени пышного вяза...

Вероятно, Эдингер рассердился, что кто-то посмел нарушить его покой. Он перегнулся

через подоконник и что-то закричал, всматриваясь в темноту...

В этот момент Смит прислонился спиной к стволу дерева, вскинул руку, и я услышал сдавленный крик...

Но выстрела я не услышал...

Господин Гонзалес пользовался бесшумным пистолетом! Вот когда мне стали понятны некоторые таинственные обстоятельства моей прогулки с госпожой Янковской по набережной Даугавы...

Вслед за выкриком Эдингера раздался громкий женский вопль.

Артисту следовало убегать со сцены. Он это и сделал.

Я тоже поспешил покинуть сквер и скрыться в ближайшем переулке.

Дома Железнов ожидал моего возвращения.

— Ну что? — спросил он.

— Порядок,— сказал я.

Утром Железнов принес номер «Тевии» — газеты, выходившей в Риге в годы немецкой оккупации.

В газете было напечатано короткое сообщение о том, что начальник гестапо обергруппенфюрер Эдингер мужественно погиб при исполнении служебных обязанностей...

К вечеру вся Рига говорила, что Эдингер лично руководил захватом подпольного антифашистского центра и был убит некой Лилли Лебен, оказавшейся немецкой коммунисткой, специально засланной в Ригу для совершения террористических актов и под видом артистки варьете вкравшейся в доверие к обергруппенфюреру...

Торжественные похороны состоялись два дня спустя.

Впервые в жизни госпожа Эдингер плакала, не испросив на то разрешения своего мужа. Гиммлер прислал ей сочувственную телеграмму, а военный оркестр сыграл над могилой обергруппенфюрера «Стражу на Рейне».

При первой же встрече Янковская спросила меня:

— Вы довольны?

— Я рад, конечно, что избавился от опасности,— ответил я.— Но еще неизвестно, что ждет меня впереди.

— Все будет хорошо,— успокоила меня Янковская.— Скоро приедет Польман...

— А каков этот? — спросил я.

— Это наш человек,— сказала Янковская.— У него трезвый ум, и, главное, он умеет ценить друзей и оказывать им услуги.

15. В ТЕНИ КАКТУСОВ

Господин Вильгельм фон-Польман не замедлил прибыть на освободившееся место: если профессор Гренер не имел возможности убрать Эдингера, то его влияния было достаточно, чтобы добиться назначения Польмана.

В квартире Гренера я и познакомился с новым начальником гестапо через день или два после его прибытия.

Он не походил на своего предшественника ни внешне, ни внутренне. С виду он напоминал преуспевающего аптекаря или дантиста. Черные, коротко подстриженные, слегка вьющиеся волосы, большие, темные, немного навыкате глаза, крупный мясистый нос и пухлые, влажные губы...

Он был спокоен, сдержан, невозмутим, вежливо посматривал на всех сквозь роговые очки, любезно всех выслушивал.

Но не прошло и нескольких недель, как в своей деятельности Польман намного превзошел неуравновешенного Эдингера!

Эдингер, как рассказывали о нем его сотрудники, легко мог взбеситься при допросе какого-нибудь чрезмерно упрямого и неразговорчивого заключенного и собственноручно наброситься на него с кулаками или, цитируя Гитлера, прийти в раж, закатить глаза и буквально забыть все на свете. Напротив, Польман никогда не выходил из себя и никогда не снисходил до того, чтобы лично прикоснуться к лицу арестованного, но зато он классифицировал все виды пыток, которые применялись эсэсовцами, и особой инструкцией точно определил их последовательность. Польман запретил избивать подследственных кому попало и как попало, но зато увеличил штат специальных инструкторов и ввел в практику применение специальных инструментов для развязывания языков...

Словом, если Эдингер был, так сказать, воплощенная непосредственность, Польман был само хладнокровие и система. Кстати, следует сказать, что Польман вполне прилично играл на кларнете. Именно с музыки и началось наше знакомство при встрече у Гренера. Польман решил очаровать всех его гостей и исполнил на кларнете несколько старинных тирольских танцев.

И, пожалуй, именно в связи с приездом Польмана я был наконец удостоен приглашения на дачу к профессору Гренеру.

— Дорогой Август,— прокаркал он мне после ужина,— я буду искренне рад, если вы не откажетесь провести у меня за городом ближайшее воскресенье.

К себе на дачу Гренер приглашал только близких друзей, и это приглашение я объяснил не столько его дружелюбием, сколько вниманием, проявленным ко мне генералом Тэйлором. Однако я не угадал: он пригласил меня потому, что приготовил, как он воображал, ошеломляющий сюрприз...

А сюрприз от господина Польмана я получил еще раньше.

На четвертый или на пятый день после появления Польмана в Риге Марта вручила мне простой серый конверт, в котором оказалась обычная повестка, вызывающая господина Августа Берзиня в канцелярию гестапо к 13 часам 15 августа 1942 года.

Конечно, вызов мог быть сделан и каким-нибудь мелким чиновником, неосведомленным о том, кем является господин Август Берзинь на самом деле, но, как затем оказалось, вызов был сделан вполне осведомленным лицом.

Я явился к тринадцати часам. В комендатуре потребовали документ, хотя отлично знали меня по предыдущим визитам к Эдингеру. Господин Польман наводил порядок и в самом гестапо.

Меня направили на второй этаж, там заставили подождать, переправили на четвертый, на четвертом снова заставили дожидаться, отправили на третий, на третьем отвели к кабинету Польмана и еще заставили подождать.

Мне это не слишком понравилось, но поднимать бунт не было смысла,— это было что-то вроде психической подготовки: мол, знай сверчок свой шесток.

Наконец Польман пригласил меня к себе.

Он был все так же спокоен и невозмутим, как и при встрече у Гренера.

Он слегка улыбнулся и пытливо посмотрел на меня сквозь очки.

— Если бы мы встретились до войны, я бы не заставил вас дожидаться, — произнес он.— Если бы вы были только британским офицером, я бы немедленно направил вас в лагерь. Но поскольку вы являетесь нашим сотрудником, я пригласил вас к себе и принял в порядке очереди.

Он смотрел на меня, я сохранял полное спокойствие.

— Можете сесть,— сказал Польман в тоне приказания.

Я сел.

— Я вас вызвал за тем, чтобы сказать, что мы вами недовольны,— продолжал Польман.— Я ознакомился с докладами обергруппенфюрера Эдингера еще в Берлине. Вы должны были передать нам свою агентурную сеть еще...— он извлек из-под руки какую-то крохотную шпаргалку,— еще в прошлом году. Потом вам дважды предоставляли отсрочку. Вы слишком затянули это дело. Я даю вам еще месяц, капитан Блейк. Если через месяц вы не передадите нам агентурной сети, я отправляю вас в лагерь как британского шпиона, причем на вашем документе будет сделана пометка: «Возвращение нежелательно».— Его улыбка сделалась еще любезнее.— Я советую вам оправдать наше доверие и хочу предупредить, что при мне в полиции не может быть такого беспорядка, как при обергруппенфюрере Эдингере. Если я говорю месяц, это и значит месяц; если я говорю, что вы попадете в лагерь, вы в него попадете.

Это был сюрприз и в том смысле, что обещало мне скорое возвращение домой: в лагерь я попадать не собирался, и, значит, за месяц необходимо было выполнить свое задание...

Быть моим проводником на дачу к Гренеру взялась Янковская.

— Виктора мы не возьмем,— категорически сказала она.— Он не пользуется моим доверием.

Она появилась в воскресенье раньше обычного, оживленная, нарядная, в светлом летнем костюме какого-то блекло-фисташкового оттенка, в широкополой соломенной шляпе, украшенной фиалками...

Она потребовала, чтобы и я надел светлый костюм.

— Я хочу, чтобы сегодня все было очень празднично,— сказала она.— Может быть, это последний веселый день в моей жизни.

Предчувствие не обманывало ее: немного веселых дней оставалось у нее впереди.

Мы выехали на шоссе. Свежий ветер бил нам прямо в лицо. Мелькали пригородные домики.

— Куда мы едем? — спросил я.

— В Лиелупе! — крикнула Янковская.— Мы будем там через полчаса!

Она сбавила скорость.

— Мы скоро расстанемся,— сказала она ни с того, ни с сего.

Я удивился.

— Почему?

Она не ответила.

— Вы будете меня вспоминать? — вдруг спросила она.

— Конечно,— сказал я.

Янковская не пыталась со мной заигрывать; она вообще больше уже никогда не предпринимала никаких попыток сблизиться со мной, но в это утро она была сама нежность. Она смеялась, шутила, вела себя так, точно к ней опять вернулись ее семнадцать лет.

Мы почти миновали Лиелупе, когда Янковская свернула в сторону, и вскоре поехали вдоль высокого кирпичного забора, из-за которого виднелись пышные купы деревьев.

— Вот мы и на месте,— со вздохом промолвила Янковская.

— Это дача Гренера? — удивился я.

Мы остановились перед высокими тяжелыми чугунными воротами, плотно зашитыми изнутри досками, выкрашенными черной краской под цвет чугуна.

Янковская попросила меня позвонить.

Сбоку у калитки белела кнопка звонка.

Я позвонил, и из калитки тотчас вышел эсэсовец.

Он намеревался было о чем-то меня спросить, но увидел Янковскую, поклонился и пошел открывать ворота.

За воротами, когда мы уже въехали на территорию дачи, я увидел вышку, с которой просматривалась вся линия вдоль забора; на вышке стоял эсэсовец с автоматом.

От ворот тянулась аллея, очень широкая и очень чистая, уходившая в глубину парка. Мы медленно ее проехали. Налево показался двухэтажный дом, построенный в ультрасовременном стиле — серый куб с изобилием стекла и со стеклянными верандами наверху, выступающими, точно крылья самолета, над окнами нижнего этажа; чуть поодаль от дома виднелись два флигеля — должно быть, для прислуги или для гостей; направо, за деревьями, открывался просвет, там тоже стояли какие-то постройки, а за ними раскинулся просторный луг...

Передо мной открылся самый настоящий аэродром!

Меня вдруг осенило.

— Скажите, Софья Викентьевна,— спросил я,— это и есть посадочная площадка, где приземлялся наш босс?

— Вы догадливы! — отозвалась она, сопровождая свои слова обычным ироническим смешком.— Не могли же немцы принять его на одном из своих военных аэродромов!..

— Вообще странная дача,— заметил я.— Охрана, аэродром...— Я указал на дом и флигеля.— А там какие-нибудь секретные лаборатории?

Янковская опять усмехнулась.

— Нет, дом действительно предназначен для Гренера, а во флигелях живут его питомцы.

И в самом деле, возле одного из флигелей я увидел детей; одни из них копались в песке, другие бегали.

Оказывается, молва не лгала: Гренер действительно устроил у себя на даче что-то вроде детского приюта. Этому чванному журавлю все же не чужды были человеческие чувства.

— Он здесь работает,— сказала Янковская, явно имея в виду нынешнего хозяина дачи.— Он большой ученый и много экспериментирует...

Она остановила машину перед домом — мы вышли; из подъезда опять показался какой-то эсэсовец, козырнул и повел машину куда-то за дом.

Гренер спешил уже навстречу Янковской.

— Мы ждем вас, дорогая...

Он поцеловал ей руку, поздоровался со мной и повел нас наверх. В очень просторной и светлой гостиной, уставленной цветами, сидели Польман и еще двое господ, которые, как выяснилось позднее, были высокопоставленными чиновниками из канцелярии гаулейтера Розенберга.

Оказалось, ждали только нас, чтобы приступить к завтраку.

Разговор за столом соответствовал обстановке. Мимоходом коснулись каких-то новых стратегических планов германского командования, с незлобивой иронией отозвались о последней речи Геббельса, а затем принялись рассуждать об абстрактной скульптуре, о превосходстве немецкой музыки над итальянской, о каких-то новых открытиях самого Гренера...

Я бы сказал, что все было очень мило, если бы от всех этих разговоров не веяло какой-то невероятной пустотой; обо всем говорилось столь бесстрастно, точно все темы были равно безразличны и неинтересны собеседникам.

Да, все было очень мило, но меня не покидало ощущение того, что всех находящихся здесь за столом людей связывала не только общность общественного положения, но и какие-то тайные узы, точно все здесь принадлежали к какому-то тайному ордену...

И у меня мелькнула мысль: не состоят ли все эти люди на службе у генерала Тэйлора?..

За десертом подали шампанское, и когда его разлили в бокалы, Гренер встал.

Он обвел взглядом своих приятелей, остановился на мне, и когда заговорил, я понял, что именно меня собирался он поразить своим сюрпризом.

— Милые друзья! — сказал Гренер, сентиментально закатывая свои оловянные глаза.— Здесь, среди цветов, с освобожденной от всяких забот душой, я хочу обрадовать вас неожиданной вестью...

Он поднес к губам руку Янковской, и сразу все стало ясно.

— Я нашел себе подругу жизни,— сообщил он.— Госпожа Янковская оказала честь принять мое предложение, и скоро, очень скоро я смогу назвать ее своей супругой...

Старый журавль таял от блаженства. Бесспорно, Гренер не мог найти себе лучшей жены. Янковская тоже не смогла бы устроить свою судьбу лучше: вместе с Гренером она получала положение в обществе, материальное благополучие и, быть может, даже освобождение от своих бездушных господ.

Сама Янковская ничего не сказала, непонятно усмехнулась и позволила всем нам по очереди поцеловать свою руку.

Затем Гренер пожелал показать нам свою коллекцию кактусов.

Все вышли на громадную застекленную веранду.

Повсюду на специальных стеллажах стояли глиняные горшки со всевозможными кактусами. Здесь были растения и похожие на стоймя поставленное зеленое полено, и лежащие в горшках, точно груда серебристых колючих мячиков, и напоминающие растопыренную серую человеческую пятерню, и, наконец, столь бесформенные, что их уже ни с чем решительно нельзя было сравнить!

Гренер вел нас от растения к растению, с увлечением рассказывая, чем отличается один вид от другого и каких трудов стоило каждый из них выходить и вырастить.

Он коснулся пальцем одного из кактусов, вздохнул и не без кокетства указал на вторую дверь, выходившую на веранду.

— Когда мой мозг требует т а м отдыха, я прихожу к этим существам...

— Там ваш кабинет? — спросил один из гостей.

— Нет, лаборатория,— объяснил Гренер.— Я не мог не откликнуться на призыв фюрера помочь рейху в освоении восточных земель, но и здесь я продолжаю служить науке.

— А чем вы сейчас заняты, профессор? — поинтересовался гость.— На что устремлено ваше внимание?

— Я работаю над животными белками,— сказал Гренер.— Некоторые исследования по консервации плазмы...

Польман указал хозяину на закрытую дверь:

— Было бы крайне любопытно увидеть алтарь, на котором вы приносите жертвы Эскулапу!

Гренер снисходительно улыбнулся.

— Вряд ли моя лаборатория представляет интерес для непосвященных,— отозвался он, распахивая, однако, перед нами дверь лаборатории.

Большая светлая комната, ослепительная белизна, множество стеклянной посуды...

Поодаль, у большого стола, стояли две женщины в белых накрахмаленных халатах; при виде нас они сдвинулись, выпрямились, как солдаты, и смущенно поклонились, хотя сам Гренер почти не обратил на них внимания.

— Мои лаборантки,— сказал он, небрежно кивнув им головой.

И вдруг я заметил, что эти женщины как будто пытаются что-то скрыть, заслоняют что-то собой...

Позади них, вплотную придвинутый к большому столу, заставленному колбами, пробирками и пузырьками, стоял небольшой белый эмалированный столик на колесах, на каких в операционных раскладывают хирургические инструменты, а в лабораториях зоологов оперируют мелких животных.

Мне стало любопытно, что может скрываться под простыней, наброшенной поверх столика.

Гренер проследовал своим журавлиным шагом мимо лаборанток и взял со стола штатив с пробирками, наполненными бесцветной жидкостью.

— С помощью этой плазмы мы сохраним жизнь многих достойных людей! — воскликнул он не без пафоса.— Нет ничего драгоценнее человеческой жизни!

И в этот момент простыня, задетая Гренером, соскользнула со столика, одна из женщин тотчас подхватила ее и накинула обратно, но этого мгновения было достаточно, чтобы увидеть, что скрывалось под простыней...

На столе лежал ребенок...

Гренер заметил мой взгляд; гримаса недовольства искривила его лицо.

— Извините...— Гренер слегка поклонился в нашу сторону.— Госпожа Даймхен! — позвал он одну из женщин.— На два слова.

Женщина постарше неуверенно приблизилась к Гренеру.

Как и всегда в минуты своего возбуждения, он зашипел и сердито что-то пробормотал, слегка повизгивая, как это делают во время сна старые псы.

Госпожа Даймхен побагровела.

Ужасная догадка промелькнула у меня!

— Простите, господин профессор,— обратился я к Гренеру.— Вы берете вашу плазму...

Гренер любезно повернулся ко мне.

— Да, мы экспериментируем с человеческой кровью,— согласился он.— Именно плазма человеческой крови дает богатейший материал для исследований...

Я не ослышался: Гренер невозмутимо и деловито признал, что этот ребенок принесен в жертву какому-то эксперименту...

Нет, мне никогда не забыть этого ребенка!

Игрушечное фарфоровое личико, правильные черты лица, черные шелковистые кудряшки, доверчиво раскинутые ручонки...

— Но позвольте...— Я не мог не возразить, пользуясь своей прерогативой свободолюбивого англичанина.— Английские врачи вряд ли одобрили бы вас! Приносить в жертву детей...

Гренер метнул еще один выразительный взгляд в сторону госпожи Даймхен.

— Вы чувствительны, как Гамлет, милейший Берзинь,— снисходительно произнес он.— Никто не собирался приносить этого ребенка в жертву, я только что сделал выговор госпоже Даймхен, это непростительная небрежность с ее стороны. Мы берем у детей немножко крови, но не собираемся их убивать. Наоборот, мы их отлично питаем, им даже выгодно находиться у меня. Эти дети принадлежат к низшей расе и все равно были бы сожжены или залиты известью. По крайней мере, мы используем их гораздо целесообразнее...

Все же он был раздосадован неожиданным инцидентом и быстро повел нас прочь из лаборатории, пытаясь снова обратить наше внимание на новые разновидности кактусов.

Может быть, никогда в жизни мне не было так плохо...

И я вспомнил все, что говорилось о гуманизме профессора Гренера, вспомнил матерей, которые перед смертью благословляли его за спасение своих детей...

Должно быть, я недостаточно хорошо скрывал свое волнение.

Польман снисходительно притронулся к моей руке.

— Вы слишком сентиментальны для офицера,— назидательно упрекнул он меня.— Некоторые народы годятся только на удобрение. Ведь англичане обращались с индусами не лучше...

Но на остальных все, что мы видели, не произвело особого впечатления.

А мне чудилось, будто все кактусы на этой веранде приобрели какой-то розоватый оттенок...

С веранды Гренер повел нас в гостиную, играл нам Брамса, потом был обед, потом мы пошли в парк. Однако мысль моя все время возвращалась к ребенку...

Мы проходили мимо флигелей, неподалеку от дома Гренера. Это были чистенькие домики, обсаженные цветами. Около них играли дети, тоже очень чистенькие и веселые. Женщина в белом халате следила за порядком.

— Как видите, они чувствуют себя превосходно,— заметил Гренер, кивая в сторону детей.— Я обеспечил им идеальный уход.

Да, я собственными глазами созерцал этот идеальный уход!

У многих детей руки на локтевых сгибах были перевязаны бинтами...

Маленькие доноры играли и гуляли, и счастливый возраст избавлял их от печальных мыслей о неизбежной судьбе.

— И много воспитанников в вашем детском саду? — спросил я.

— Что-то около тридцати,— ответил Гренер.— Мне приятно, когда вокруг звенят детские голоса. Они так милы...— Тусклые его глаза влюбленно обратились к Янковской: — Вкусу госпожи Янковской мы обязаны тем, что можем любоваться этими прелестными крохотными существами, именно она привозила сюда наиболее красивых особей...

Для характеристики Янковской не хватало только этого!

Возвращение мое с Янковской в Ригу было далеко не таким приятным, как утренняя поездка. Я молчал, и ей тоже не хотелось говорить.

Только в конце пути, точно оправдываясь, она спросила меня:

— Вы не сердитесь, Андрей Семенович? — И еще через несколько минут добавила: — Мне не остается ничего другого.

При въезде в город мы поменялись местами, я отвез ее в гостиницу и поспешил домой.

Железнов уже спал, но я разбудил его.

Я рассказал ему обо всем: о поездке, об этой странной даче, о Гренере и Польмане, о кактусах и детях...

Кулаки его стиснулись...

— Ты знаешь, когда Сталин назвал фашистов людоедами, я думал, что это гипербола,— сказал он мне.— Но мы видим, что это буквально так...

Всегда очень спокойный и сдержанный, он порывисто прошелся по комнате, остановился передо мной и твердо сказал:

— Нет, этого ни забыть, ни простить нельзя.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Л. ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

16. СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

У Железнова в Риге было много дел, и я понимал, что работа его по связи рижских подпольщиков с партизанами могла прекратиться лишь одновременно с изгнанием гитлеровцев из Латвии. Зато с возложенным на меня заданием следовало спешить. Польман не хвастался, когда говорил, что не бросает слов на ветер,— в этом скоро убедилось все население Риги: там, где Эдингер пытался забрасывать удочки, Польман ставил непроходимые сети.

Постепенно Железнов раскрыл секрет таинственных цифр, и тогда он показался нам столь простым, что мы долго недоумевали, почему нам так упорно не давалась разгадка.

Для примера сошлюсь хотя бы на того же Озолса. На открытке с незабудками значилось число «3481», на открытке с видом Стрелковой улицы в Мадоне — «1843». Железнов всевозможным образом комбинировал эти цифры, пока не попытался извлечь из них число «14» — номер дома, в котором жил на Стрелковой улице Озолс. В числе «3481» это были вторая и четвертая цифры, причем читать число следовало справа налево; это же число значилось и на другой открытке, но только написанное в обратном порядке. Так мы, узнав сперва фамилии всех «незабудок» и «фиалок», установили затем, где эти «цветы» живут: город или поселок, улицу или площадь мы видели воочию, а номер дома заключался в обоих числах, которые связывали определенный «цветок» с определенным адресом. Нам оставалось только убедиться в реальности существования этих людей, так сказать, узнать их физически, узнать, как их полностью зовут и чем они занимаются.

В связи с этим мы с Железновым много поездили по Латвии, выезжали в маленькие города, на железнодорожные станции, в дачные местечки, встречались с этими людьми и все больше понимали, чего стоил наш улов.

Нет нужды подробно рассказывать о наших поисках и встречах, но о двух — трех стоит упомянуть, чтобы ясней стало, что́ это были за люди.

На одной из открыток был напечатан снимок вокзала в Лиепае; цифры, написанные на снимке, повторялись на открытке с изображением двух желтых тюльпанов. В списке тюльпаном назывался некий Квятковский...

Мы нашли его на вокзале в Лиепае, он оказался помощником начальника станции. Я подошел к нему будто бы с намерением что-то спросить, показал открытку с тюльпанами, и этот «тюльпан» сам потащил меня к себе домой. Дома он предъявил мне такую же открытку и спросил, что ему надо делать. Выяснилось, что может он очень многое: задержать или не принять поезд, что угодно и кого угодно отправить из Лиепаи и даже вызвать железнодорожное крушение.

Я поблагодарил его и сказал, что хотел проверить его готовность к выполнению заданий, которые он, возможно, скоро получит.

Действительно, по прошествии нескольких дней я представил ему Железнова, представил, разумеется, под другой фамилией, как своего помощника, от которого Квятковский будет непосредственно получать практические задания.

Железнов, в свою очередь, связал Квятковского с одним из руководителей партизанского движения, и «тюльпан», который отнюдь не питал добрых чувств ни к русскому, ни к латышскому народу, принял участие в подготовке нескольких серьезных диверсий на железнодорожном транспорте, убежденный в том, что выполняет поручения британского командования.

Еще более интересна была другая встреча.

На открытке была изображена Мариинская улица, одна из самых больших и оживленных торговых улиц Риги.

Адрес мы установили без труда: Мариинская 39, Блюмс, и он же «фиалка».

В Блюмсе я узнал того самого заведующего дровяным складом, который приходил ко мне с предложением купить дрова. Я помнил, что он показывал мне какую-то открытку с цветами, но тогда я не придал значения его визиту и не запомнил, какие цветы он показывал.

Так вот, эта «фиалка» оказалась «цветком» куда более серьезным, чем «тюльпан» и, по-моему, даже чем «незабудка».

Прежде всего этот маленький, кругленький человечек принялся меня экзаменовать, пока не убедился, что я действительно Блейк,— я уже достаточно вжился в этот образ, чтобы ни в ком не вызывать сомнений. Затем он стал упрекать меня в том, что я не хотел признать его, когда он ко мне являлся,— он запомнил все подробности своего посещения. Я сказал, что во время его посещения в соседней комнате у меня находился подозрительный человек, и я боялся подвести Блюмса. Кажется, я оправдал себя в его глазах. Выяснилось, что он приходил ко мне советоваться, как поступить с запасами бензина и керосина, находившимися тогда в городе: продать или уничтожить. И так как я не пожелал с ним разговаривать, предпочел, будучи коммерсантом, их продать.

В очень умеренной степени, правда, но я выразил удивление, какое отношение к бензину мог иметь заведующий дровяным складом, и узнал, что заведующим складом он стал после установления в Латвии Советской власти, а до этого был одним из контрагентов могучего нефтяного концерна «Ройял Датч Шелл» и связан со всеми топливными предприятиями в стране.

С этой «фиалкой», от которой шел густой запах керосина, я встретился два или три раза; он и при немцах, во всяком случае до окончания войны, предпочитал оставаться заведующим дровяным складом, но, на мой взгляд, в буржуазной Латвии смело мог бы стать министром топливной промышленности. По своим связям, влиянию и пронырливости он без особого труда мог вызвать если не кризис, то, во всяком случае, серьезные перебои в снабжении прибалтийских стран горючим.

Материально Блюмс и при немцах жил с большим достатком: в его квартире было много дорогих ковров и хорошей посуды; немцы частенько захаживали к нему, и он занимался с ними какими-то коммерческими делами.

Говоря короче, люди Блейка в той тайной войне, которая постоянно ведется империалистическими государствами и в военное и в мирное время, были реальной силой, которую следовало учесть, в будущем обезвредить и, может быть, даже уничтожить, а пока что использовать в борьбе против врага.

Но о том, как Железнов подключился к замороженной английской агентуре, как сумел связать с нею деятелей антифашистского под-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—33.

полья, как удавалось иногда заставить ее работать на нас, я рассказывать не буду, хотя об этом можно было бы написать целую книгу...

Из числа тех, кто значился в списке, мы не нашли троих; они не жили по адресам, указанным в картотеке Блейка. Когда-то жили, но уехали. Соседи не знали, куда. Возможно, бежали куда-нибудь от войны: на запад или на восток, сказать было трудно.

По четырем адресам мы с Железновым так и не успели побывать: неожиданный поворот событий помешал нам это сделать, — а после войны из этих четырех человек нашли лишь одного «гиацинта».

К счастью, в нашу деятельность не вмешивались ни гестапо, ни Янковская. Гестапо не лишало нас своего внимания. Я не сомневаюсь, что после появления Польмана в Риге я все время находился под наблюдением, но, поскольку мною было получено приказание передать немцам свою агентурную сеть и я после этого принялся метаться по населенным пунктам Латвии, Польман должен был думать, что я спешу удовлетворить его требование. Что касается Янковской, то после того, как Гренер объявил об их помолвке, у нее прибавилось личных дел. Удовлетворение безграничного честолюбия Гренера должно было стать теперь и ее делом, и единственно, чего я мог опасаться, чтобы ей не пришла в голову идея каким-нибудь радикальным способом избавиться от меня как от лишнего свидетеля в ее жизни.

Поэтому, когда она появилась у меня после нескольких дней отсутствия, я встретил ее с некоторой опаской: кто знает, какая фантазия могла взбрести ей в голову!

Она вошла и села на краешек стула.

Я внимательно к ней присматривался. Она была в узком, плотно облегавшем ее зеленом суконном костюме, ее шляпка с петушиным пером была какой-то модификацией тирольской охотничьей шляпы. Она медленно стянула с пальцев узкие желтые лайковые перчатки и протянула мне руку.

— Прощайте, Август.

Она любила все делать шиворот-навыворот.

— Странная манера здороваться,— сказал я.— Мы не виделись три... нет, уже четыре дня.

— Вы скоро совсем забудете меня,— сказала она без особого ломанья.— Что я вам!

— Неужели, став госпожой Гренер, вы лишите меня своего внимания? — спросил я, чуть-чуть ее поддразнивая.— Я не предполагал, что ваш супруг способен полностью завладеть вашей особой.

— Не смейтесь, Август,— серьезно произнесла Янковская.— Очень скоро нас разделит целый океан.

Я решил, что это — фигуральное выражение.

— Мы с Гренером уезжаем за океан,— опровергла она мое предположение.— Мне жаль вас покидать, но...

Она находилась в состоянии меланхолической умиротворенности.

— Как так? — вполне искренне удивился я.— Как же это профессор Гренер отказывается от участия в продвижении на Восток?

— Видите ли... — Она потупилась совсем так, как это делают девочки-подростки, когда в их присутствии заходит разговор на смущающие их темы. — Гренер внес свой вклад в дело национального возрождения Германии, — неуверенно произнесла она. — Но, как всякий большой ученый, он должен подумать и о своем месте в мире...

Ее речь была что-то очень туманна!

— Впрочем, лучше спросите его об этом сами,— сказала она.— Он заедет сюда за мной, в конце концов мне теперь остается только сопутствовать ему...

Она выступала в новом репертуаре.

Действительно, Гренер появился очень скоро. Полагаю, он просто боялся оставлять надолго свою будущую жену наедине с Блейком, от которого с таким трудом ее, как он думал, отнял.

Ученый генерал на этот раз произвел на меня какое-то опереточное впечатление. Он порозовел и сделался еще длиннее, движения его стали еще более механическими, он двигался точно на шарнирах; вероятно, ему хотелось казаться и он казался себе моложе.

— Дорогой Август!

Он приветственно помахал мне рукой, подошел к Янковской, поцеловал ей руку повыше ладони.

Янковская встрепенулась:

— Ехать?

— Как вам угодно, дорогая,— галантно отозвался Гренер.— Вы распоряжаетесь мной.

— Мне хочется чаю,— капризно сказала она и повернулась ко мне.— Вы позволите у вас похозяйничать?

Я позвонил.

Пришла Марта, враждебная, отчужденная, поздоровалась без слов, одним кивком, стала у двери.

— Дорогая Марта,— обратилась к ней Янковская,— не напоите ли вы нас в последний раз чаем?

Марта удивленно на нее посмотрела.

— Я уезжаю,— объяснила Янковская.— Мы никогда уже больше не увидимся.

Марта, кажется, не очень ей поверила, но, судя по быстроте, с какой сервировала чай, думаю, ей хотелось избавиться от Янковской поскорее.

Мои гости пили чай так, что чем-то напоминали балетную пару, столь согласованны и пластичны были их движения.

— Софья Викентьевна сообщила мне, что вы уезжаете, господин профессор,— сказал я.— Мне не совсем только понятно, кто же теперь будет опекать валькирий в их стремительном полете на Восток?

— Ах, милый Август! — сентиментально ответил Гренер.— Ветер истории несет нас не туда, где нам приятнее, а где мы полезнее.

Мне почему-то вдруг вспомнился Гесс, один из самых верных соратников Гитлера, которого ветер истории занес в Англию...

Я посмотрел на него оценивающим взглядом и вдруг заметил, как он с мальчишеским торжеством смотрит на меня поверх своей чашки. Старый журавль воображал, что отнял у меня Янковскую, и светился самодовольством.

— Да, дорогой Август,— не смог он сдержаться.— All is fair in love and war — все позволено в любви и на войне.

— Что ж, желаю вам счастья,— сказал я.— Как же это вас отпускают?

— Да, отпускают,— многозначительно заявил Гренер.— Я улечу в Испанию, потом в Португалию и уже оттуда за океан.

— Мы получим там все,— подтвердила Янковская.— Нельзя увлекаться сегодняшним днем. Предоставим войну юношам. Работу профессора Гренера нельзя подвергать риску. За океаном у него будут лаборатории, больницы, животные...

— Но позвольте,— сказал я,— заокеанская держава находится с Германией в состоянии войны!

— Не будьте мальчиком,— остановила меня Янковская.— Воюют солдаты, для ученых не существует границ.

— И вас там примут? — спросил я.

— Меня там ждут,— ответил Гренер.

— Мы не знаем, как это еще будет оформлено,— добавила Янковская.— Объявят ли профессора Гренера политическим эмигрантом или до окончания войны вообще не будет известно о его появлении, но, по существу, вопрос этот решен.

Я посмотрел на Гренера; во всем его облике было что-то не только птичье, но и крысиное, взгляд его голубоватых бесцветных глаз был зорким и плотоядным.

— Когда же вы собираетесь уезжать? — спросил я.

— Недели через две — три,— сказала Янковская.— Не позже.

— Но ведь перебраться не так просто,— заметил я.— Это ведь не уложить чемодан: у профессора Гренера лаборатории, сотрудники, библиотека...

— Все предусмотрено,—самодовольно произнес Гренер.— За океаном я получу целый институт. А что касается сотрудников, за ними дело не станет.

Но меня тревожил и другой вопрос, хотя он не имел прямого отношения к моим делам.

— А что будет... с детьми?

Все последние дни меня не оставляла мысль о детях, находившихся на даче Гренера.

— С какими детьми? — удивился было Гренер и тут же догадался: — Ах, с детьми... О них позаботится наша гражданская администрация,— равнодушно ответил он.— Они будут возвращены туда, откуда были взяты. В конце концов, я не брал по отношению к ним никаких обязательств.

Я промолчал. Было вполне понятно, какая участь ждет этих детей.

— Может быть, вы еще передумаете и останетесь? — спросил я, хотя было совершенно очевидно, что все уже твердо решено.

— Увы! — высокопарно, как он очень любил, ответил Гренер.— Муза истории влечет меня за океан!

— Увы! — повторила вслед за ним Янковская, хотя каждый из них вкладывал в это междометие разное содержание.— Мы не принадлежим себе.

Они допили свой чай.

— Да, отныне вы будете полностью принадлежать заокеанской державе,— сказал я.— Мне только непонятно, чем это будет способствовать величию Германии.

Гренер пожал плечами.

— Наука не имеет границ...— Он посмотрел на часы и встал.— Моя дорогая...

Янковская тоже поднялась.

— Идите! — небрежно приказала она будущему супругу.— Я вас сейчас догоню!

Гренер церемонно со мною раскланялся, я проводил его до дверей.

— Так внезапно? — обратился я к Янковской, когда мы остались одни.— Что это значит?

— Ах, Андрей Семенович, я загадывала иначе,— грустно ответила она.— Увы! Я ведь знаю, как много вы работали в последнее время. Для кого, вы думаете, старается Польман? Почему он вас щадил? Как только вы передадите свою сеть, вас отправят обратно в Россию. А я, я устала уже рисковать...

Она протянула мне руку, и я задержал ее пальцы.

— Мы еще увидимся? — спросил я.

— Конечно!

— Вы у меня в долгу,— упрекнул я ее.— Вы не открыли мне всех тайн, связанных с нашим знакомством.

— Вы их узнаете,— пообещала она.— Это еще не последний наш разговор.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Поцеловать вас?

Я покачал головой.

Она вырвала свою руку из моей.

— Как хотите...

Она переступила порог и, не дав мне выйти на лестницу, резким толчком захлопнула за собой дверь.

Не успел я вернуться в столовую, как передо мной появился Железнов.

— Что это все значит? — нетерпеливо спросил он.

— Очередная лирическая сцена,— пошутил я.— Госпожа Янковская в одной из ролей своего репертуара!

— Марта сказала, что они уезжают?

— Совершенно верно,— подтвердил я.— Господина Гренера сманили за океан жареным пирогом!

— Каким еще там пирогом? — с досадой отозвался Железнов.— Сейчас не время шутить!

— А я не шучу. Повторяется старая история. Совесть можно продать лишь один раз, а затем сколько ни одолжаться, придется расчитываться.

Действительно, подумал я, куда делись все патриотические речи Гренера, как только он услышал хозяйский оклик?!

Но Железнов не склонен был заниматься отвлеченными рассуждениями.

— Неужели ты не понимаешь, как осложнится твое положение после отъезда Янковской? — с упреком сказал он.— Оберегая себя, она в какой-то степени вынуждена была оберегать и тебя. Ты был ширмой, за которой ей удобно было прятаться. Один ты вряд ли сможешь нейтрализовать Польмана и попадешься, как кур во щи...

— Мне кажется, ты сгущаешь краски. В конце концов, я могу рискнуть...

— Мы можем рисковать собой, но не вправе рисковать делом! — резко оборвал меня Железнов.— Свое поручение ты, можно сказать, выполнил. Мы обязаны спасти тебя, но, признаться, очень жаль детей. Их тоже хотелось бы спасти. А кроме того, есть, кажется, еще одно немаловажное обстоятельство, которое может ускорить твое возвращение домой.

— Что же ты собираешься делать? — спросил я.

— Говорить с Прониным,— ответил он.— На этот раз он очень-очень нам нужен!

17. У лукоморья дуб зеленый...

Через день или два после визита Янковской и Гренера в тех кругах Риги, где волею судеб и своего начальства пришлось мне вращаться весь последний год, заговорили о предстоящем отъезде профессора в Испанию.

Его научные исследования, которые он не прекращал, даже находясь, как выражался он сам, на аванпостах германского духа, вступили в такую фазу, что потребовали всех сил ученого. Поэтому он решил на некоторое время уехать в далекую от войны страну, которая на самом деле являлась как бы испытательным полигоном для ученых гитлеровского рейха. Такова была официальная версия. А неофициально в Риге, посмеиваясь, говорили, что просто-напросто Гренер решил провести свой медовый месяц в Мадриде.

Истину знали немногие, знали, разумеется, в Берлине и два — три человека в Риге; мне о ней стало известно только в силу особых отношений, сложившихся между мной и Янковской.

Что касается Железнова, он был озабочен предстоящим отъездом новоиспеченной четы, по-моему, больше самого Гренера.

— В связи с этим отъездом ухудшается ваше положение, — говорил мне Железнов, — и очень хотелось бы как-нибудь помочь ребятишкам...

Железнов находился на опаснейшей работе, приходилось все время думать, как бы сохранить на плечах собственную голову, но этот удивительный человек меньше всего думал о себе.

— Пронин примет нас сегодня,— сказал мне через несколько дней Железнов.— Не уходите никуда, я слетаю в одно местечко...

Он исчез и сравнительно скоро явился обратно.

— Знаете Промышленную улицу?— спросил он меня.— По-латышски называется Рупниецибас. Запомните: Рупниецибас, дом 7, квартира 14.

— А что дальше? — спросил я.

— Сейчас запоминайте, а завтра забудьте. Ровно через час приходите по этому адресу. «Руслана и Людмилу» проходили в школе?

— Разумеется...

— Начало помните? — спросил Железнов.

— Там, кажется, посвящение есть,— неуверенно произнес я.— Посвящения не помню.

— Нет, нет! — нетерпеливо перебил меня Железнов.— То, что в школе учили: «У лукоморья дуб зеленый»?

— «Златая цепь на дубе том»?

— Вот и хорошо! — облегченно сказал Железнов.— А то сейчас было бы некогда заучивать стихи. Я уже условился. Вы позвоните и скажете первую строку, вам ответят второй, дальше вы третью, вам четвертую, вы пятую, а вам... Понятно?

— Понятно,— ответил я.

— Вот и ладно, — сказал он. — Помните: ровно через час! А я побегу...

И он исчез опять.

Ровно через час я поднимался по тихой и чистой лестнице дома № 7, а спустя минуту стоял у дверей квартиры № 14 и нажимал кнопку звонка.

Дверь мне открыла какая-то пожилая, хорошо одетая и представительная дама.

Она ничего не сказала и только вопросительно поглядела на меня.

Я неуверенно посмотрел на нее и с довольно-таки глуповатым видом произнес:

— «У лукоморья дуб зеленый»...

Дама слегка улыбнулась и тихо ответила:

— «Златая цепь на дубе том»...

Затем открыла дверь пошире и пригласила:

— Заходите, пожалуйста.

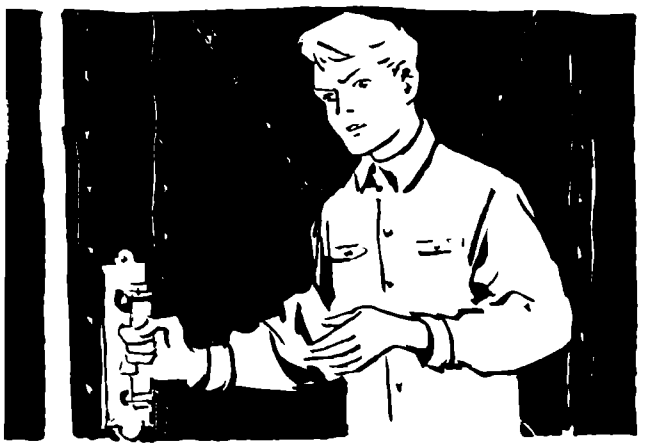
Я очутился в просторной передней. Дама тотчас закрыла дверь и повела меня по коридору в кухню; там у плиты возилась какая-то женщина, одетая попроще.

— Эльза,— сказала дама,— проводите этого господина...

Эльза тотчас вытерла передником руки и, не говоря ни слова и не оглядываясь, открыла выходную дверь. Мы оказались на черной лестнице, спустились на улицу, миновали несколько домов, вошли в какие-то ворота и

завернули за угол. Моя провожатая остановилась перед входом в какую-то полуподвальную квартиру, указала на дверь и пошла прочь, даже не поглядев на меня.

Я секунду постоял перед дверью, дернул ручку звонка и услышал дребезжание колокольчика.



Дверь тотчас отворилась, передо мной появился юноша, скорее даже подросток, в серой рабочей блузе.

— Вы к кому? — спросил он довольно недружелюбно, готовый вот-вот захлопнуть передо мной дверь.

— «И днем и ночью кот ученый...» — твердо сказал я.

Подросток окинул меня внимательным взглядом и быстро пробормотал:

— «Все ходит по цепи кругом».

Он выскочил во двор и, полуобернувшись в мою сторону, небрежно кинул:

— Пошли!

По черной лестнице этого же дома мы поднялись на второй этаж; паренек, не стучась и не звоня, решительно открыл незапертую дверь чьей-то квартиры, миновал кухню, в которой у окна, спиной к нам, стоял какой-то мужчина, не обративший на нас внимания, остановился перед закрытой дверью, коротко сказал: «Стучите» — и сразу покинул меня.

Дверь приоткрылась, из-за нее выглянула голубоглазая девушка.

— Вам кого? — спросила она.

— «Идет направо — песнь заводит»,— сказал я.

Но она не успела мне ответить.

— «Налево — сказку говорит»,— услышал я из-за двери знакомый голос...

Девушка выскользнула в коридор, я вошел в комнату и увидел... Пронина!

Неподалеку от него стоял Железнов.

— Здравствуйте,— сказал Пронин; при встречах в Риге он никогда не называл меня по имени.

— Прибыл в ваше распоряжение,— сказал я.

— Ну, как дела? — спросил Пронин.— Рассказывайте.

— Вероятно, вам уже докладывал товарищ Железнов. Можно сказать, успешно. С девятнадцатью познакомились лично, лицом к лицу, троих нет, исчезли неизвестно куда, с четырьмя еще не встречались.

— Значит, можно домой? — спросил Пронин.

— Это зависит от вас, товарищ майор,— сдержанно произнес я, хотя мое сердце сжалось от радостного предчувствия.

— Да, домой,— повторил Пронин.— Вы сделали большое дело. И, кроме того...

— Ну, без Железнова я бы ничего не добился,— убежденно ответил я.— Он многому меня научил.

— А ему и карты в руки, он специалист,— сказал Пронин, усмехнулся и кивнул в сторону Железнова.— Знаете, о чем он просит?

— Догадываюсь.

— А что скажете?

— Поддерживаю просьбу капитана Железнова. Если только возможно что-нибудь...

Пронин насупился.

— Да...— неодобрительно произнес он.— Оба вы специалисты...

На секунду воцарилось молчание.

— Придвигайтесь ко мне, — прервал молчание Пронин. — Давайте подумаем.

Кажется, это было единственное совещание, в котором мне пришлось участвовать за всю мою бытность в Риге.

— Спасти детей...— задумчиво произнес Пронин.— Вывезти с дачи, фактически превращенной в крепость... Невозможное дело! Вывезти чуть ли не целый детский сад из города, находящегося во власти гитлеровцев...

Пронин забарабанил пальцами по столу. Железнов и я молчали. В конце концов, решение зависело от Пронина.

— Однако докладывай,— обратился он к Железнову.— Что имеешь предложить?

— Самолет, — ответил Железнов. — Вызвать самолет. План такой. Самолет посадить у дома Гренера. Ведь это же аэродром! Засекреченный аэродром специального назначения. Среди наших летчиков найдутся такие, которые и захотят и сумеют это сделать. Прохоров, Столярчук... Товарищ Макаров выполнил задание, его все равно надо перебрасывать обратно. Гестапо вот-вот нацелится на него. Вместе с ним забрать детей. И, кроме того... Сами понимаете, что будет... Посадка произойдет ночью. Все будет сделано в течение получаса...

Пронин сосредоточенно рассматривал поверхность стола, точно на ней лежала карта или какие-нибудь чертежи.

Мы с опасением посматривали на Пронина: согласится или нет?

— Рискованное предприятие,— произнес он.— Аэродром или дача, как их там, охраняются. Крепко охраняются. Приземление самолета будет замечено. Эти стервятники кинутся туда в мгновение ока... — Он замолчал, а мы затаили дыхание.— Но рискнем...

Мы облегченно вздохнули.

— Риск — благородное дело, а в этом случае особенно благородное. Тем более, что...

Он быстро посмотрел на нас, и в глазах его загорелся огонек.

Пронин жестом предложил нам сесть еще ближе.

— Но помните, ребята, все рассчитать, как в аптеке. Надо проявить максимум самообладания и выдержки. Макарову узнать, какая на даче охрана. Железнову сегодня же связаться по рации с командованием. Лично я советую такой вариант. Когда наши бомбардировщики вылетят на задание, один из них, после того как сбросит бомбы, завернет на дачу. К тому времени надо быть уже там. На помощь обера Гашке особых надежд не возлагайте. Андрею Семеновичу подготовиться к возвращению. Захватите картотеку, открытки, список. Копию списка передадите мне: мало ли что может стрястись. Командовать операцией будет капитан Железнов. — Пронин строго посмотрел на меня. — Понятно, Андрей Семенович? Каждое слово Железнова — для вас закон.

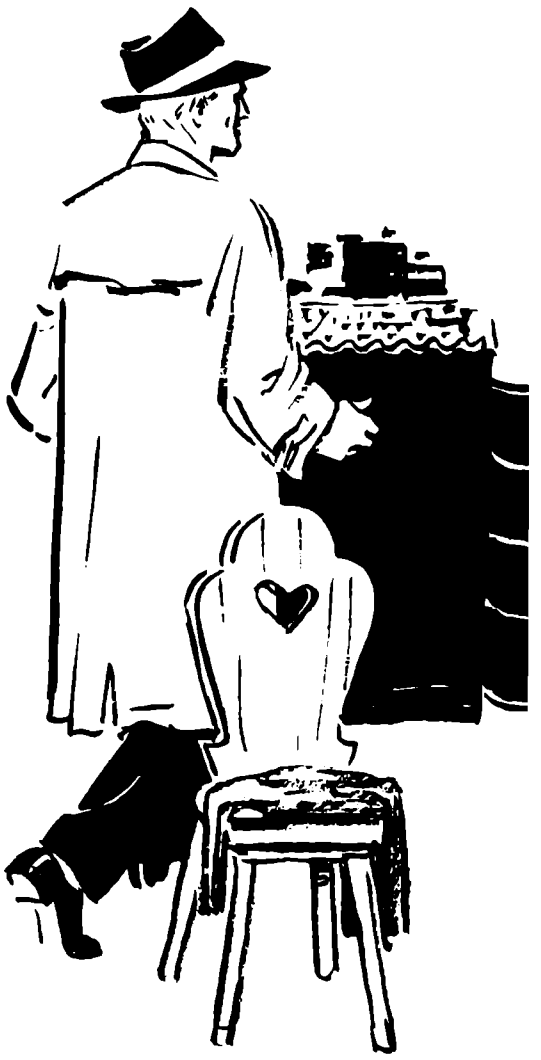
Он встал, пожал нам руки.

— Идите,— сказал он мне.—Прямо во двор и на улицу. Виктор уйдет позже, вы еще его сегодня увидите.

Я опять миновал кухню, все тот же мужчина по-прежнему стоял у окна, рука его была засунута в карман. Только сейчас я догадался, что он, вероятно, охранял Пронина.

На улице, у ворот, тоже стоял какой-то человек — кто знает, свой или чужой. Я прошел мимо, он не последовал за мной.

Дома я выбрал нужные открытки, проверил список, переписал, спрятал в сейф.



К вечеру пришел Железнов.

— Ну как? — спросил я.

— Все в порядке,— сказал он как ни в чем не бывало.— Попробую связаться с людьми, к которым я возил вас в гости.

— К утру вернетесь?

— Навряд ли. Машину надо поберечь,— сказал Виктор.— А вы пока собирайтесь.

Через час он ушел.

Я поехал искать Янковскую.

В гостинице ее не было, мне сказали, что она почти не бывает у себя.

Я нашел ее по телефону у Гренера.

— Я хотел бы вас видеть,— сказал я.

— Приезжайте,— пригласила она.

— А ваш жених не будет недоволен?

— Он вернется нескоро,— объяснила она.

В квартире Гренера она чувствовала себя полной хозяйкой.

— Я готов к расчету,— сказал я.— Агентура Блейка у меня как на ладони.

— Правда? — обрадовалась она.— Я все время колебалась, получится или не получится.

— Кому же отдать список? — спросил я.— Польману?

— Ни в коем случае! — воскликнула она.— Вы должны отдать Гренеру, но можете передать мне, я сама вручу ему. Мы привезем хороший подарок за океан.

Но вдруг как бы облако печали пробежало по ее лицу.

— А может быть, позременить? — неожиданно предложила она. — Мне жаль вас. Как только вы отдадите список, вам предложат вернуться в Россию. Там все горит у Тэйлора. Для вас найдется дело...

— Чему быть, того не миновать,— философски ответил я. — Попадете за океан и быстро все забудете.

— О, нет! — сказала она.— Вас я не забуду.

— Полетите на самолете? — спросил я.

— Да. Сначала в Испанию. Но самолет пришлют из-за океана.

— И полетите со своего аэродрома?

— Да, Гренер сразу захватит свои книги и материалы.

— А вам не помешают? — заботливо осведомился я.

— Кто? — удивилась Янковская. — Дачу охраняют эсэсовцы, а они подчинены Польману.

Я усмехнулся:

— Дачу или аэродром?

— И то и другое,— сказала Янковская.— О том, что там аэродром, почти никто не знает. Там всего десять эсэсовцев, и их еще ни разу не сменяли. Так что болтать было некому. А для того, чтобы туда не проникли любопытные, достаточно и этого десятка...

Я узнал то, что нужно было узнать, да Янковская и не пыталась что-либо скрыть: она считала меня своим человеком, и ее самоуверенность усилил еще скорый отъезд за океан — она строила большие планы насчет своего будущего.

Она немного изменила себе только тогда, когда я уже собрался уходить. Сев за стол, она подперла голову ладонями, жалостливо на меня посмотрела и сказала:

— Ох, Андрей, если вы все-таки попадете когда-нибудь за океан, разыщите меня, я сделаю для вас, что могу...

Распрощались мы очень церемонно. В передней, помимо Янковской, меня провожал один из гренеровских денщиков...

И здесь, пожалуй, следует отметить, что все, что происходило со мной, с Железновым, с Прониным в течение этого года, не было следствием каких-либо случайностей — все было результатом правильных умозаключений, точного расчета, тщательной предусмотрительности и непоколебимой выдержки духа. У наших людей, с которыми мне пришлось общаться в оккупированной Риге, многому можно было научиться. Счастливый случай всего лишь один раз пришел к нам на помощь, и таким случаем на этот раз явилось отсутствие Железнова.

Ночью ко мне на квартиру нагрянули гестаповцы.

Польман не походил на Эдингера, ко мне в друзья он не набивался, не доверял мне, как и всем остальным, и предпочитал никого ни о чем не предупреждать.

Гестаповцы искали Железнова.

Это было естественно. Если Эдингер говорил мне о том, что гестапо подозревает Железнова в связях с советскими партизанами, знать об этом должен был не один Эдингер! Его смерть приостановила на некоторое время преследование Железнова, но постепенно все должно было завертеться своим чередом.

Со мной гестаповцы держались достаточно корректно. Они вломились в квартиру с обоих входов, но вели себя так, будто я их не интересую. Не найдя Железнова, они не стали делать обыска.

Меня только спросили:

— Где ваш шофер? Где господин Чарушин?

Я сделал таинственное лицо.

— Мне кажется, господа,— сказал я,— что он бежал!

Думаю, гестаповцы были согласны со мной.

И то, что я был на месте, хотя Железнов исчез, выглядело как доказательство того, что я к его исчезновению не причастен.

Гауптштурмфюрер, командовавший нагрянувшей ко мне бандой, даже попрощался со мной.

Во всяком случае, было очевидно, что в отношении меня Польман никаких указаний не давал.

Утром ненадолго заехала Янковская.

— Где ваш Виктор? — прямо спросила она.

Она, конечно, знала о ночном посещении.

— Кажется, он удрал, — виновато сказал я.

— Вот видите,— обрадовалась она.— Я вас предупреждала!

Железнов должен был вернуться примерно через сутки. Во что бы то ни стало требовалось предупредить его о том, что в дом ему возвращаться нельзя.

Когда Янковская уехала, я позвал Марту.

— У меня к вам просьба,— сказал я.— Господин Чарушин только случайно избежал ареста. Если он и я, дорогая Марта, не совсем вам безразличны, я попрошу вас помочь мне предупредить Виктора об опасности. Вполне возможно, что за нашей квартирой установлено наблюдение. Если бы вы попытались встретить Виктора! Он появится со стороны Мельничной улицы. Объясните, что ему нельзя приближаться к нашему дому. Пусть он назначит мне свидание...

Марта только молча кивнула и принялась одеваться.

— А вы не боитесь, Марта? — спросил я.— Не наведете гестаповцев на след Виктора?

— Не волнуйтесь, господин Берзинь,— рассудительно объяснила мне Марта.— Полиция поручает дворникам осведомлять ее обо всем, что происходит. Но ведь дворники-то в нашем городе латыши! У меня есть знакомый дворник, он поможет мне...

Я не знаю, как Марта встретилась с Железновым, у меня не было времени расспросить ее об этом, знаю только, что в сумерки она вернулась домой и деловито сказала:

— Господин Чарушин дожидается вас за углом, в воротах дома № 3, они просили вас захватить какой-то список.

Я вышел из дому, вывел со двора машину, поставил ее у подъезда, точно собирался куда-то ехать, сам поднялся обратно в квартиру, снова спустился по черному ходу во двор, выскользнул в переулок и, обойдя квартал, очутился возле дома № 3, где и нашел за воротами Железнова.

— Тебя ищут,— сказал я.— Что нам делать?

— Уже стемнело,— ответил он.— Рискнем, пройдемся.

Мы смешались с толпой и неторопливо пошли по улице.

— Как дела? — спросил я.

— Великолепно, — ответил он. — Послезавтра ночью самолет приземлится у дачи Гренера. Вы должны быть совершенно готовы часам к семи. Если до этого не получите от меня или Пронина каких-либо известий, выезжайте в половине восьмого; на углу, возле гостиницы «Даугава», задержитесь и заберете меня. Не смущайтесь, вероятно, я буду в эсэсовском мундире. Оттуда мы махнем с вами прямо в Лиелупе. Если нас с вами и будут искать, то, во всяком случае, не на даче Гренера.

— Пронин знает об этом? — спросил я.

— Знает,— коротко сказал Железнов.— И недоволен, что мы забыли о подставных лошадях...

Я ничего не понял.

— Каких лошадях?

— Читали «Три мушкетера»? — спросил Железнов. — Помните, д'Артаньян возвращается с бриллиантовой подвеской от герцога Бэкингема? Он не успел бы вернуться вовремя в Париж, если бы по дороге его не ждали подставные лошади. Пронин обещал о них позаботиться.

— Машина не лошадь! — возразил я.— Да еще такая отличная машина, какая имеется у нас. Мы домчим с вами до Лиелупе за двадцать минут!

— Не знаю, что практически имеет Пронин в виду, говоря о подставных лошадях, — отозвался Железнов. — Но можете быть уверены, говорит не зря. Вы еще не знаете этого человека!

Мы прошли мимо кафе; из дверей доносилась веселая музыка.

— Список у вас с собой? — осведомился Железнов.— Давайте, я передам копию.

Я незаметно сунул ему листок в карман.

— Значит, если ничего не произойдет,— повторил Железнов,— послезавтра, чуть позже половины восьмого, на углу, около гостиницы «Даугава».

Он отделился от меня, отстал и тут же нагнал снова.

— Еще два слова,— сказал он.— До своего отъезда отпустите Марту, пусть она куда-нибудь скроется, иначе ей не миновать гестапо.

Он был верен себе: в эти тревожные минуты он не забыл и о Марте.

Он опять отстал, а когда я спустя некоторое время повернул обратно, навстречу мне лилась обычная толпа прохожих, и среди них не мелькало ни одного знакомого лица.

Продолжение следует.

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

18. ПЛЕМЯННИЦА ГАУЛЕЙТЕРА

В назначенный день я начал собираться в дорогу. Утром спустился во двор, осмотрел и заправил машину, до блеска протер ветровое стекло, чтобы как можно яснее был виден наклеенный на него пропуск. Проверил и зарядил пистолет. Побрился. Зашил в подкладку брюк документы, добытые в Риге. В последний раз обошел квартиру, в которой прожил больше года. В последний раз съел обед, приготовленный Мартой...

Около трех часов я зашел к ней на кухню.

— Дорогая Марта, сегодня я покидаю Ригу,— сказал я.— Меня будут искать и прежде всего будут допытываться у вас, куда я делся. Вам известно, что значат разговоры в гестапо. Мне кажется, вам надо уйти и не попадаться на глаза. Не сердитесь на меня за то, что я осложнил вашу жизнь...

— Не стоит извиняться, господин Берзинь. Вы старались не для себя,— ответила Марта, не изменяя своему обычному спокойствию.— Я все понимаю.

— Так уходите, Марта,— повторил я.

— Хорошо, господин Берзинь,—вежливо согласилась Марта.— Я сейчас соберусь.

Через полчаса она зашла попрощаться.

В сейфе оставалось еще несколько золотых безделушек: девушки господина Блейка в последнее время совсем редко посещали меня.

Я протянул их Марте.

— Возьмите себе, это может вам пригодиться.

— Что вы, господин Берзинь! — испуганно произнесла она.— Если госпожа Янковская узнает, мне несдобровать.

— Она не узнает,— сказал я.— Берите, берите, все равно это мне уже ни к чему.

Она взяла эти колечки и брошки с большой нерешительностью. Мы пожали друг другу руки, я проводил ее до дверей.

— Счастливого пути вам,— сказала она уже в дверях.— Да сохранит вас господь!

Я запер за ней дверь и остался один.

В пятом часу я позвонил на квартиру Гренера Янковской.

— Вы никуда не собираетесь вечером? — осведомился я.

— Нет, мы дома, у нас соберется несколько друзей,— сказала она.— Будем рады вам, Август...

— Я приду часам к десяти,— сказал я.— Кланяйтесь от меня профессору.

Я хотел обезопасить себя от неожиданного вторжения Янковской.

Вскоре после ухода Марты раздался звонок, я открыл дверь и увидел перед собой... Гашке!

Пронин быстро вошел и торопливо закрыл дверь.

Мы даже не поздоровались.

— Что-нибудь изменилось? — спросил я.

Он, не раздеваясь, прошел в гостиную.

— Готовы? — спросил он.— Что собираетесь делать?

— Железнов говорил, что он докладывал вам,— ответил я.— В половине восьмого заберу его у «Даугавы» и сразу же двинем в Лиелупе.

— На чем? — нетерпеливо перебил Пронин.

— На моей машине,— сказал я.— Все подготовлено, машина заправлена...

— Далеко ли только уедете? — насмешливо спросил Пронин.

Они-таки появились, непредвиденные обстоятельства, которые предвидел Пронин!

— В связи с участившимися налетами советской авиации отдано распоряжение не выпускать из города ни одной машины без специального досмотра,— сказал Пронин.— И есть особое указание, касающееся вашей машины. Усилены контрольные посты, предупреждены полицейские. Вас задержат, как только вы очутитесь на окраине.

— Что же делать? — воскликнул я.— Как вы это узнали?

Пронин укоризненно на меня поглядел.

— А для чего, вы думаете, находится Гашке в гестапо? Распоряжение было отдано еще вчера. Польман — хороший оперативный работник. Он приказал во что бы то ни стало найти Чарушина и установить наблюдение за вашей машиной.

— Значит, все провалилось?

— Нет, не значит,— сказал Пронин.—Укрыть вас, конечно, мы бы смогли, но самолет вызван, сделает посадку. Риск увеличился, людей подводить нельзя, надо добиваться успеха...

И тут-то вступили в действие «подставные лошади» Пронина, о которых он обещал позаботиться!

— Свободно передвигаться, да еще ночью, могут только военные машины и машины гестапо,— сказал Пронин.— Ни одной из таких машин у нас нет. Но вы получите машину, которую никто не посмеет остановить...

Пронин на мгновение замолчал, прежде чем удивить меня своими словами.

— Вы поедете в Лиелупе на машине гаулейтера,— сказал он.— На машине самого Розенберга! Она подойдет к вашему дому в половине восьмого, может быть, чуть позже. На шофера можете положиться. Захватите у «Даугавы» Железнова и поедете в Лиелупе. Самое трудное — достать машину, но, думаю, удастся. В машине будет находиться дама, она поедет вместе с вами. По дороге вы высадите даму по ее указанию. Шофера возьмете с собой. Рассчитывайте на него, как на самого себя...

И вдруг Пронин замолчал.

Он еще раз взвешивал принятое им решение.

Я еще не видел Пронина таким. Дымка задумчивости пробежала по его лицу, затем он пристально заглянул мне в глаза, точно еще раз взвешивая, чего я стою, и потом уже, отогнав от себя все сомнения, протянул мне руку.

— Вот что, майор Макаров, слушайте внимательно,— тихо произнес он.— Есть еще одно дело. Не через Железнова, а лично хочу я вам дать это поручение. Вам доверяется задание особой государственной важности...

Он достал из кармана небольшой сверток.

Это был какой-то предмет, похожий на большой металлический портсигар, к которому проволокой был привязан плотный серый пакет.

— Здесь документы исключительной важности,— объяснил Пронин.— Их содержание вам не должно быть известно, впрочем, как и мне. Я сам имею только очень приблизительное представление о бумагах, находящихся в пакете. Чем скорее они очутятся в Москве, тем лучше. Для их пересылки не жалко направить любого человека. Я остановил свой выбор на вас. Вы отдадите их в штабе армии, и оттуда они уже сами перешлют их. Но...

Пронин осторожно протянул мне сверток, указал на запор портсигара, обычную метал-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 20—34.

лическую кнопку, украшенную темным зеленоватым камешком.

— Эта небольшая бомбочка имеет достаточно большую взрывную силу,— объяснил он.— Держите ее в кармане и не забывайте о ней ни на секунду. Могут произойти самые непредвиденные вещи, может возникнуть угроза, что вы попадетесь в руки противника. Так вот учтите: сверток попасть в руки противника не должен. Прежде чем это произойдет, вы нажмете кнопку, бросите сверток, и через секунду от документов не останется ничего.

Он опять заглянул мне в глаза.

— Понятно, майор Макаров?

— Так точно,— сказал я.— Прежде чем меня задержат, нажать кнопку.

— Так помните. Вам вверена государственная тайна, не говоря уже о многих жизнях...

Теперь мне стали понятны некоторые недомолвки Пронина при разговоре о моем отъезде из Риги: должно быть, он и согласился на мой отъезд, имея в виду это поручение...

— Есть, товарищ начальник,— сказал я.— Враг к этому пакету не прикоснется.

— Ладно,— ответил Пронин.— Я вам верю. Но, смотрите, берегите себя...

Он заботливо посмотрел на мой карман, где очутился столь опасный и драгоценный сверток, и ободряюще кивнул.

— И еще вот что,— сказал на прощание Пронин.— Запомните мой совет. В нашей работе излишняя торопливость погубила не одного хорошего человека. Все надо взвесить и обдумать. Но порой наступает момент, когда уже некогда оглядываться. Сейчас как раз такой момент. Теперь только вперед, все время вперед. Помните: темп, темп! Теперь это решает успех дела. Понятно?

— Понятно, товарищ майор,— сказал я.

Он еще раз кивнул и, что-то вспомнив, с любопытством взглянул на меня.

— Да, а пуговицу свою вы не забыли? — с усмешкой спросил он.

— Нет, она при мне,— сказал я.— Сувенир генерала Тэйлора!

— Ну, не совсем сувенир,— заметил Пронин.— Не возлагайте на нее больших надежд, но на всякий случай держите под рукой. Не зря же вам ее дали. Может статься, она сослужит свою службу.

Пронин выглянул в окно.

— Никого,— облегченно сказал он.—Пойду!

— Все-таки вы рискуете, товарищ майор,— упрекнул я его.— Заметят — несдобровать.

— Не волнуйтесь, я человек осторожный,— хладнокровно сказал Пронин.— С вашей квартиры снято наблюдение. Я немного в курсе оперативной деятельности гестапо. Все агенты брошены на поиски Чарушина. Немцы не слишком доверяют вам, но не подозревают того, что вы русский. Они убеждены, что после провала вашего шофера вы притаитесь и некоторое время носа не высунете на улицу... А что касается каких-нибудь случайных встреч, иногда приходится рисковать...

Совсем не в соответствии с моментом Пронин добродушно засмеялся.

— До свидания,— сказал он.— Кланяйтесь нашим.

И ушел, пренебрегая всеми страхами жизни.

Впоследствии, вспоминая о своих встречах с Прониным, я понял, что благоприятное стечение обстоятельств имеет, конечно, большое значение в таких делах, но еще большее значение имеет холодная и строгая предусмотрительность специально натренированного в этой области ума.

А что значило пребывание Пронина в гестапо и какую пользу приносил он, находясь там, я, пожалуй, вполне понял, только непосредственно ощутив его помощь...

Очень коротко я хочу рассказать о том, что происходило в течение двух часов, когда я ждал обещанной машины.

Действительно, на всем нашем пути к цели предусмотрительным Прониным заранее были приготовлены «подставные лошади», не всеми ими пришлось воспользоваться, но если бы он о них не позаботился, нам не сносить бы голов...

От меня Пронин отправился в один знакомый ему дом...

В этом доме его ждала дама. Он проводил ее на вокзал, где ей предстояло действовать уже без чьей бы то ни было помощи.

Находясь в самом волчьем логовище, Пронин был отлично осведомлен о всех обитателях этого логовища, знал всю их подноготную, все их семейные и дружеские связи...

Нужно было вызвать машину гаулейтера, но сделать это было не так просто. Машиной пользовались только сам гаулейтер и его семья. Шофер не мог выехать без специального вызова. Да и рискни он самовольно покинуть гараж, это привлекло бы внимание, не говоря уже о том, что он мог понадобиться хозяевам. Вызов машины не должен был возбудить никаких подозрений.

Сам барон находился в эти дни в Берлине, в его отсутствие машиной могла распоряжаться только баронесса.

В гестапо многие знали, что баронесса ждет к себе в гости племянницу баронессу фон Третнов, и ее-то Пронин решил выпустить на сцену...

Поезд из Кенигсберга только что пришел.

Очень красивая и элегантно одетая женщина остановилась перед кабинетом начальника станции, открыла дверь и, не затворяя, подошла к сидевшему за столом начальнику, надменно на него поглядела и опустилась в кресло.

— Господин начальник, соедините меня с домом барона Розенберга,— повелительно сказала она.

Приказание было отдано столь уверенно, что начальник станции не осмелился ослушаться: дама, по-видимому, не терпела возражений.

Он позвонил по телефону, правда, очень нерешительно: начальнику станции еще не приходилось тревожить гаулейтера.

— Попросите баронессу! — приказала незнакомка.— Скажите, что просит баронесса фон Третнов.

Она взяла у начальника телефонную трубку.

— Тетя? — сказала она спустя мгновение.— Это Ильза... Как откуда? Меня уговорил дядя... Почему экстравагантно? Я была в гостях у фон Шенбергов и решила заехать к вам... Вы пришлете машину?.. Нет, нет, самой не надо, я на вас рассержусь, если поедете... Нет, багажа нет, он придет завтра... Шофер найдет меня в кабинете начальника станции...

Если бы можно было представить, чего стоил этот семейно-светский разговор той, которая называла себя баронессой фон Третнов!

Через четверть часа в кабинете начальника станции появился личный шофер гаулейтера Эрнст Штамм.

Но не все обстоятельства удавалось предвидеть даже самому Пронину!

Почти одновременно со Штаммом в кабинете появились господин Польман и какой-то хлыщеватый офицер из канцелярии гаулейтера...

Пронин недаром хвалил деловые качества Польмана. Не успела баронесса фон Третнов

закончить разговор со своей тетушкой, как господин Польман был поставлен в известность о том, что машина гаулейтера выезжает за гостьей. Баронесса фон Третнов была влиятельной особой в берлинском обществе, и господин Польман, дипломат по характеру и карьерист по природе, решил самолично проводить столичную гостью в резиденцию гаулейтера. Он и в канцелярию гаулейтера сообщил о прибытии баронессы и для большей импозантности захватил оттуда себе компаньона.

Предполагалось, что Штамм встретит баронессу, заедет за мной, затем мы захватим Железнова и двинемся в Лиелупе.

Появление Польмана, да еще не одного, спутало все карты. Теперь баронессе приходилось ехать к тетушке.

Но гостья оказалась на должной высоте!

Она любезно встретила Польмана и его спутника, позволила им приложиться к своей ручке и заторопилась к машине.

Увы, Польман и его спутник собрались провожать ее до дома гаулейтера!

Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, знала и мой адрес и как меня зовут,— она же должна была за мной заехать,— и вследствие непредвиденного осложнения с ее стороны последовала импровизация, не предусмотренная никакими режиссерами.

— Ах! — воскликнула она, когда машина отошла от вокзала.— Мне надо заехать по дороге в одно место! — Она кокетливо посмотрела на Польмана.— Господин обергруппенфюрер, вы не знаете здесь Августа Берзиня?

Польман насторожился.

— А вы откуда его знаете, баронесса?

Баронесса подавила смешок:

— Одна моя приятельница...

Больше она не сказала ничего; перед господином Польманом открывалось широкое поле для догадок.

Баронесса достала из сумочки какое-то письмо, пробежала его глазами, сделала вид, что нашла искомое место, назвала Штамму мой адрес.

Штамм повел машину в указанном направлении и остановил ее перед моим домом.

— Здесь!

Баронесса фон Третнов поднялась было с сиденья.

— Не беспокойтесь, баронесса,— любезно обратился к ней Польман.— Господина Берзиня может и не быть дома, я сейчас узнаю и передам, что его желают видеть...

— Ах, нет, нет! — капризно воскликнула гостья.— Я не отпущу вас от себя! Мы попросим...— Она повернулась к шоферу.— Поднимитесь, пожалуйста,— обратилась она к Штамму.— Попросите господина Берзиня спуститься вниз, если, конечно, он дома...

Штамм взбежал по лестнице, позвонил.

С этой минуты я тоже вступил в игру.

Я уже давно ждал звонка, открыл дверь и увидел перед собой плотного пожилого человека в форме немецкого фельдфебеля. Он взглянул, в свою очередь, на меня. Описание, по-видимому, совпало с оригиналом.

— Это вас я должен отвезти в Лиелупе? — спросил фельдфебель.

— Да,— ответил я.— Поторопимся!

— Не спешите,— сказал он.— Знаете, кто меня послал?

— С вами должна быть дама,— сказал я.

— К сожалению, она не одна,— сказал шофер.— Кроме нее, в машине начальник гестапо и офицер из канцелярии гаулейтера: они увязались ее провожать. Мне велено передать, что баронесса фон Третнов просит вас спуститься.

— Как же быть? — спросил я.

— У вас, конечно, есть оружие? — спросил шофер.

Я похлопал себя ладонью по карману.

— И у меня есть,— сказал шофер.— Я передам, что вы просите господина Польмана и его спутника подняться. Полагаю, мы с ними справимся, другого выхода нет.

Раздумывать было некогда.

— Зовите,— согласился я.

Штамм спустился и через минуту поднялся опять.

— Его не проведешь,— с досадой сказал он.— Польман говорит, чтобы вы сами спустились.

Заставлять даму ждать себя больше было бы неприлично, я спустился. Штамм распахнул дверцу машины.

Дама протянула мне руку.

— Господин Берзинь?

Я поцеловал ей руку и раскланялся с Польманом и незнакомым мне офицером.

— К вашим услугам, баронесса!

Мне показалось, что я ее где-то видел...

Баронесса кокетливо посмотрела на своих спутников.

— Господа, мне необходимо посекретничать с господином Берзинем. Моя приятельница...

Польман неохотно вышел из машины, офицер последовал за ним. Они остановились неподалеку.

Рвануть, дать газ и умчаться под носом у Польмана было невозможно, он тотчас же организовал бы погоню; пристрелить его на улице тоже было нельзя.

— Как от него отвязаться? — вполголоса спросила меня та, которая называла себя баронессой фон Третнов.

— Черт его знает! — пробормотал я...

Положение, как говорится, было безвыходное, и тут я припомнил многочисленные намеки Янковской по поводу Польмана. Гренер был связан с заокеанской разведкой, а ведь именно Гренер добивался назначения Польмана в Ригу. Янковская все время называла его своим человеком. Вспомнил я и то, что говорил мне Тэйлор, и решил воспользоваться своим талисманом. Янковская пророчила, что он выручит меня в трудную минуту.

— У меня есть одно средство,— сказал я незнакомке и подошел к Польману.

— Господин обергруппенфюрер, разрешите попросить вас на два слова.

— Что вы хотите? — недоверчиво спросил Польман, идя за мной.

Я остановился под фонарем, порылся в кармане и разжал ладонь со своей пуговицей.

— Вам приходилось видеть подобную безделицу?

Польман ничем не выразил своих чувств, но не думаю, чтобы вид этой медяшки привел его в восторг.

— Откуда она у вас? — бесцеремонно спросил он.

— Купил у одного оборванца,— невозмутимо ответил я.— Я ведь коллекционирую пуговицы, милейший Польман.

— Сейчас не время шутить,— оборвал он меня.— Я слышал об этих трилистниках. Вы получили ее от этого...

Однако он не осмелился произнести имя Тэйлора.

— От кого бы ни получил, трилистник, если мне не изменяет память, считается символом счастья. И я решил проверить свой талисман на вас!

В ответ на это Польман криво улыбнулся.

— Мне не все ясно в вашем поведении, капитан Блейк, но, судя по этой эмблеме, вам покровительствует...

Он опять не договорил, кто мне покровительствует.

Тогда я перешел в наступление.

— У нас один покровитель,— грубо сказал я.— Генерал Тэйлор!

— Тс-с-с! — зашипел на меня Польман.— Не называйте его!

— Вы мне мешаете, Польман,— произнес я как можно небрежнее.— У меня с баронессой особые дела.

— Подождите, войдем в подъезд,— остановил меня Польман и повернулся к своему спутнику.

Тот стоял с баронессой у машины.

— Кюнце, я поднимусь на несколько минут! — крикнул ему Польман.— А вы не отходите от машины...

Я понял, что и гостья, до тех пор, пока не будет сдана с рук на руки своей тетке, и с этого момента даже я сам находимся как бы под конвоем.

Мы поднялись по лестнице и остановились на площадке перед моей дверью.

— Говорите! — раздраженно обратился ко мне Польман.— Чего вы от меня хотите?

Нет, убивать его не было расчета...

Если бы даже удалось убить и самого Польмана и его спутника, в лучшем случае через какие-нибудь полчаса поднялась бы такая паника, что вряд ли нам удалось бы ускользнуть от погони...

Живого Польмана я еще мог нейтрализовать на какое-то время, но мертвый он принялся бы преследовать меня с места в карьер.

— Слушайте внимательно, Польман,— сказал я возможно более спокойно и деловито.— Я выполняю особо ответственную операцию по личному указанию... Ладно, не будем его называть, вы знаете его имя! Попробуйте только ее сорвать! С нашим шефом шутки плохи...

Несмотря на слабый свет на лестнице, я заметил, что Польман побледнел от волнения.

— Вы хотите сказать, что вас решили...

— Вас не должно интересовать, что там решили, если не сочли нужным поставить вас об этом в известность,— произнес я возможно более пренебрежительно.— Забудьте, что вы начальник гестапо. Сейчас я вижу в вас сотрудника другого ведомства...

— А... список? — неуверенно спросил Польман.— До того, как будет получен список...

— Список передан по принадлежности,— ответил я.— Мне уже дано другое задание!

— Гренеру?! — Польман с трудом сдержал свое волнение.— Он-таки обошел меня!

— Ну, это уж меня не касается,— примирительно заметил я.— А сейчас мне нужно, чтобы вы оставили меня с баронессой и захватили с собой своего фендрика...

Польман угрюмо покачал головой:

— А если я...

Я сдержанно ему пригрозил:

— Жалеть об этом придется не мне!

Он отвел от меня свои глаза.

— Хорошо,— неохотно согласился он.— Если резидент подтвердит ваши полномочия, я не буду мешать...

Я не знал, кого он имел в виду, но подумал, что скорее всего это мог быть Гренер.

После этого короткого, но выразительного разговора мы вернулись на улицу и подошли к машине.

— Дорогая баронесса, господин обергруппенфюрер приносит вам тысячи извинений,— галантно произнес я.— У него возникла необходимость срочно побывать в своей канцелярии, но он надеется, что ни с вашей стороны, ни со стороны вашей тетушки не встретится возражений, если он завтра заедет засвидетельствовать вам свое почтение.

Польман только молча поклонился.

Баронесса милостиво пожала ему руку.

— Пойдемте, Кюнце,— промолвил Польман своему спутнику.

Я сел в машину, Штамм взялся за баранку, и мы поехали. Я наклонился к шоферу:

— Я не знаю, как вас зовут...

— Штамм,— сказал он.

— Товарищ Штамм,— предупредил я его,— на минуту задержитесь у гостиницы «Даугава», а затем жмите изо всей мочи.

— Я знаю,— ответил он.

Та, которая называла себя баронессой фон Третнов, не вмешивалась в наш разговор и вообще не произносила больше ни слова.

Минут через пять мы подъехали к «Даугаве». Можно сказать, мы даже не останавливались. Железнов сел в машину почти что на ходу. Он был в мундире гауптштурмфюрера, и я бы не сразу его узнал, если бы не был предупрежден о маскараде.

Я прекрасно понимал, что Польман не замедлит обратиться к Гренеру и что нам важен каждый час выигранного времени...

Мы мчались по улицам Риги, и я напряженно соображал, какое препятствие можно воздвигнуть на пути наших преследователей.

Дорога была каждая минута, но мне подумалось, что для задержки противника стоило пожертвовать даже десятком минут!

— Товарищ Штамм, поезжайте к цирку,— приказал я.— Остановитесь неподалеку и ждите. Я вернусь самое большее через четверть часа.

— Для чего это? — спросил Железнов.

— Потом, потом! — бросил я ему.— Сейчас нет времени.

Штамм затормозил перед цирком, и я бегом устремился к артистическому подъезду.

— Где господин Гонзалес? — крикнул я на ходу какому-то цирковому служителю.— Проведите меня!

Я не видел Гонзалеса с того памятного вечера, когда он исполнял свою серенаду под окнами госпожи Лебен...

Он встретил меня в коридоре, одетый в темное пальто, накинутое поверх расшитого блестками камзола.

Гонзалес почти не изменился, разве чуть обрюзг и стал еще мрачнее.

— Добрый вечер, синьор Гонзалес,— поздоровался я.— Вы еще не отказались от госпожи Янковской?

— Что вы хотите этим сказать? — мрачно спросил он, не отвечая на мое приветствие.

— Мне некогда, но я решил оказать вам услугу,— сказал я, не обращая внимания на его тон.— Если вы еще не оставили намерения привести на свое ранчо госпожу Янковскую, вам следует что-то предпринять. Сегодня ночью Янковская и Гренер собираются покинуть Латвию, а господин Польман должен организовать их отъезд. Если вы поторопитесь, вы успеете еще ее задержать. Самое главное, помешайте Гренеру стакнуться с Польманом!

— Не знаю, что побудило вас сообщить мне об этом предательстве,— произнес он свистящим шепотом.— Возможно, она пыталась обмануть вас, как и меня, но у вас не хватает характера для мести...— Он протянул мне руку.— Можете рассчитывать на мою благодарность!

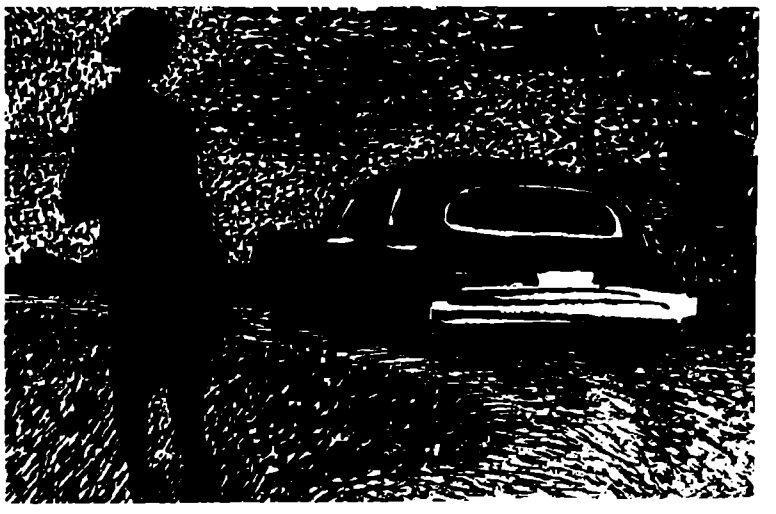
И устремился к выходу, опережая меня.

Кто-то закричал ему вслед:

— Рамон, Рамон, а как же ваш выход?!

Но Гонзалеса уже след простыл...

Я не сомневался в том, что он не замедлит появиться в квартире Гренера и внесет немалую сумятицу. Появление Гонзалеса предвещало по крайней мере хороший скандал. Во всяком случае, он близко не подпустит Польмана к Гренеру, пока там разберутся, что к чему. Я был убежден, что благодаря



темпераменту техасца мы получим значительную фору во времени!

Машина ждала неподалеку от цирка.

Штамм коротко спросил:

— Ехать?

— И побыстрее,— ответил я.— Больше нам задерживаться нечего!

Штамм прибавил газу, и мы понеслись через город. Вся Рига знала машину гаулейтера. Мы неслись с такой скоростью, что шуцманы не успевали нас приветствовать.

— Однако вы заставили меня поволноваться,— упрекнул Железнов.

— Если бы ты знал! — только и ответил я...

Мы миновали пригороды Риги и вынеслись на шоссе.

— Все-таки желательно было бы объехать контрольные посты,— проговорил Штамм.— Будет лучше, если никто не увидит, в каком направлении ушла наша машина.

— А разве вы не знаете, где контрольные посты? — удивился Железнов.

— В том-то и дело, что знаю,— сказал Штамм.— Я всегда езжу мимо контрольных постов и не знаю, как их объехать.

— Вы ориентируетесь по карте? — спросил я Штамма.

Я достал карту окрестностей Риги, которая имелась у Блейка, мы задержались на минуту, выбрали дорогу, на которой была наименьшая вероятность с кем-либо встретиться, и помчались опять.

— Загляните под сиденье! — крикнул Штамм.

Под сиденьем мы нашли автоматические пистолеты — это оружие было посерьезнее того, что лежало у меня в кармане,— и, кроме них, еще ракетный пистолет и несколько ручных гранат.

Мы тут же поделили между собой пистолеты и гранаты, и я как-то увереннее стал вглядываться в ночную тьму.

Штамм вел машину на предельной скорости.

Я посматривал на нашу спутницу...

Наконец-то я ее узнал! Эта была та самая девушка, которая сопровождала Пронина в Межапарке. За то время, что я ее не видел, она сильно похудела, а нарядный костюм очень изменил ее внешность...

Я хотел ее спросить, помнит ли она меня, но она держалась столь отчужденно, что я так ее ни о чем и не спросил.

Приблизительно на полдороге к Лиелупе наша «баронесса» обернулась ко мне и указала на окно.

Я помнил слова Пронина.

— Штамм! — крикнул я.— Стойте!

Он тотчас остановился.

Наша незнакомка открыла дверцу.

Вокруг была сплошная ночь, машина тонула в темноте, лишь где-то вдалеке мерцал слабый огонек.

— Прощайте, товарищи,— сказала наша спутница и выскочила из машины.

— Как вы будете добираться в такой темноте? — участливо спросил ее Железнов.

— Ничего,— ответила она.

Мы услышали, как под ее ногами зашуршал гравий, ее фигура мелькнула, точно неясная тень, и тут же пропала.

Мы сразу потеряли ее из виду.

Я с опасением посмотрел в черную пустоту. Куда она пошла? Что ждет ее в этом мраке? Должно быть, у нас у всех было тревожно на душе...

— Поехали, товарищ Штамм,— сказал Железнов.

Мы опять понеслись вперед.

Теперь, оставшись втроем, мы распределили наши роли, каждый должен был знать, что ему в том или ином случае придется делать.

Стремглав миновали Лиелупе, свернули на знакомую дорогу, и перед нами появились очертания высокой каменной ограды.

Над аркой горела лампочка, ворота были раскрыты.

— Что за черт! — воскликнул я.— Почему раскрыты?

— Ничего нет удивительного, нас ждут,— объяснил Железнов.— Надо полагать, Пронин позвонил и предупредил охрану, что на аэродром Гренера выехал гаулейтер.

Штамм сбавил скорость, и мы въехали в ворота. Навстречу бежал начальник охраны, эсэсовский офицер, с поднятой для приветствия рукой.

Окончание следует

Медная пуговица

Роман

Лев ОВАЛОВ

Рисунки П. КАРАЧЕНЦОВА.

19. ПОЛЕТ НА ЛУНУ

Я так назвал эту главу, потому что полет, описанный здесь, совершить было столь же трудно, как лететь на луну...

Мы въехали в ворота, и они тотчас за нами захлопнулись. Штамм затормозил. Начальник охраны подбежал к машине. Занавески на ее окнах были задернуты, и нельзя было видеть, кто в ней находится. Железнов выскочил из машины и обменялся с начальником приветствиями.

— Господин лейтенант, барон просит немедленно собрать всю охрану,— сказал Железнов.— Он лично передаст свои инструкции.

— Где и когда?— лаконично спросил офицер.

— Здесь, немедленно,— распорядился Железнов.— Господин гаулейтер торопится.

По-видимому, такие внезапные приезды не были здесь редкостью: на аэродроме не один раз принимались самолеты с гостями, чьи посещения следовало хранить в тайне.

Минуты через три возле машины выстроились эсэсовцы: вместе с офицером их было одиннадцать человек.

— Все?— спросил Железнов.

— Все,— подтвердил офицер.

— А вон тот, на вышке?— указал Железнов.

— Он на посту,— объяснил офицер.

— На посту только один человек?— удивился Железнов.

— Да,— объяснил офицер.— Ограда обтянута поверху проволокой, через которую пропущен электрический ток.

— Позовите и часового,— распорядился Железнов.— Господин гаулейтер хочет лично проинструктировать все подразделение.

Офицер послал к вышке одного из эсэсовцев.

Затем все двенадцать человек выстроились прямо против машины. Железнов распахнул дверцу, и мы со Штаммом прошили их очередью из своих автоматов.

Железнов остался у ворот, а мы поехали к аэродрому.

По нашим расчетам, самолет должен был вскоре приземлиться.

Все было тихо и безлюдно: в эту ночь, очевидно, не ждали никого.

У края поля находилась какая-то будка.

Мы вошли туда, повернули выключатель. В тесной комнатке стояли стол и стулья, на стене чернел рубильник. Мы рискнули его включить и выключить: на поле на мгновение вспыхнули сигнальные электрические лампочки.

— Это удача,— сказал Штамм.— Я думал, придется сигналить ракетами.

С аэродрома поехали к домикам, в которых находились дети.

Там тоже было тихо. Мы зашли в одно из помещений.

Стояли кроватки, в них спали дети.

Их было что-то мало, часть из них уже успели куда-то деть...

В одной из комнат мы нашли трех женщин, уж не знаю, как их назвать: няньками, сиделками или надсмотрщицами.

Одна из них проснулась, когда мы вошли. Она стыдливо натянула одеяло до самого носа.

— Господин офицер!— воскликнула она, хотя я был в штатском платье, а Штамм в солдатской форме: вероятно, большинство здешних посетителей, в штатской ли они были одежде или военной, являлись офицерами.

Ее восклицание разбудило остальных.

Женщины не понимали, зачем мы пришли.

— Пойдите, Штамм, поглядите,— сказал я,— не найдется ли для них подходящего местечка.

Штамм быстро отыскал какой-то чулан, в котором не было окон, но зато снаружи имелся большой, крепкий засов.

— Отличный бокс,— сказал он.— Как раз для таких, как эти.

Мы заставили женщин подняться и загнали их в чулан.

— Если будете сидеть тихо, с вами ничего не случится,— строго сказал Штамм.— Но если вздумаете орать и безобразничать, мы вас расстреляем.

Одна из них принялась просить, чтобы их не запирали, клялась, что они ничего себе не позволят, но мы им не поверили.

В соседнем доме не оказалось никого — ни детей, ни взрослых.

На самой даче обнаружили двоих — кухарку и денщика; этих мы заперли в погреб.

Вернулись к детям, принялись поднимать их с кроватей и отнесли в машину.

Перевезли и поехали к Железнову.

Он стоял возле вышки с автоматом в руках.

— Самолет запаздывает,— с досадой сказал он.— Неспокойно что-то...

Но тут мы услышали долгожданный рокот, и я со Штаммом поехал обратно на аэродром.

Штамм подъехал к будке, вбежал в нее.

Дети, сбившись кучкой, сидели в темноте, прижавшись друг к другу, как цыплята; кто-то плакал, кто-то спал, но большинство только сопело и молчало.

Штамм включил рубильник — в поле загорелись огоньки, и несколько минут спустя большой, тяжелый самолет побежал по полю.

Мы подъехали к нему на машине.

Самолет содрогался: пилот не заглушал мотора.

Он выскочил из кабинки, вгляделся в меня в темноте.

— Беда с вами,— сказал он.— Товарищ Железнов?

— Нет, я Макаров,— сказал я.— Железнов охраняет вход.

— Ну, здравствуй,— сказал он и назвался:— Капитан Лунякин.

— Видите ли, обстановка такова...— начал я.

Но Лунякин закричал:

— Какая там обстановка! Где ваш груз? Где груз? Давайте скорее, иначе все тут останемся!

Штамм по-немецки сказал мне, что пойдет за детьми.

Лунякин подозрительно на меня посмотрел.

— А это что за немчура?— спросил он.

— Это один товарищ,— сказал я.— Проверенный товарищ. Он идет за детьми.

— Ладно, коли проверенный,— сказал Лунякин.— Все пойдем, давайте грузить побыстрее.

Около него стояли уже два его помощника — штурман и радист.

— Где они?— спросил кто-то из них; по-видимому, они знали, в чем дело.

Мы все побежали к будке.

Скажем прямо, в эту ночь мы обращались с детьми не так, как принято в детских учреждениях; не было времени ни уговаривать, ни нежничать с ними; мы хватали их под мышки, по двое и даже по трое, бегом тащили к самолету, запихивали в кабину и бежали за другими.

Окончание. См. «Огонек» №№ 20—35.

В это время со стороны ворот раздался выстрел.

— Это еще что? — спросил Лунякин.

— Не знаю,— сказал я.— Но ясно, что ничего хорошего.

— Поглядим! — сказал Лунякин.

Он оставил возле самолета штурмана, и мы вчетвером — Лунякин, радист, Штамм и я — помчались к воротам.

Железнов стоял на вышке.

Мы подбежали к нему.

— Что случилось, Виктор?

— Приехали! — сказал он.— Первые гости!

Оказалось, что к воротам подъехала было легковая машина, но Железнов отогнал ее выстрелом.

Теперь машина стояла поодаль, в тени деревьев, и приехавшие пользовались ею, как прикрытием.

Я всматривался, но людей различить было трудно.

Прикоснулся к руке Железнова.

— Как думаешь, кто это?

Он усмехнулся.

— Я же сказал: первые гости. Сейчас начнут прибывать!

Люди у машины чего-то выжидали...

И вдруг мы услышали женский крик.

Я сразу узнал: кричала Янковская.

— Август, Август! — кричала она.— Берзинь, откликнитесь!

Даже здесь, даже этой ночью она была верна профессиональным навыкам и соблюдала правила конспирации, не назвав меня ни одним из других моих имен.

Я поднялся на вышку.

— Я вас слушаю! — крикнул я и пригнулся, опасаясь выстрела.

— Не бойтесь, мы не будем стрелять! — крикнула Янковская.

В темноте взметнулось что-то белое...

Она привязала к обломанной ветке носовой платок и подняла его вместо белого флага.

— Не стреляйте! — крикнула Янковская.— Я иду к воротам!

Она решительно пошла по дороге.

Этого у нее отнять было нельзя: она была смелая женщина.

— Что вы хотите? — спросил я ее, когда она подошла к воротам.

— Разве так разговаривают с парламентерами? — насмешливо сказала она.— Впустите меня.

— Зачем? — спросил я.

— Неужели вы боитесь безоружной женщины? — ответила она.— Мне необходимо с вами поговорить!

— Впустим,— решил Железнов.

Он не стал слезать с вышки, и мы со Штаммом впустили Янковскую.

— Говорите,— сказал я.— Чего вы хотите?

— Мне надо говорить лично с вами,— сказала она.— Отойдем в сторону.

Она сошла с дорожки, и я невольно последовал за ней.

— Зачем вы приехали? — спросил я.— Кто с вами?

— Никого! — Она рассмеялась.— Кому же еще быть? Вы не представляете, какой спектакль устроил мой чичисбей. Вы здорово его растравили. Я приехала бы раньше, но Гонзалес никому не давал говорить, и я не могла понять, чего добивается Польман...

Она потянула меня за руку.

— Что вы собираетесь делать? — продолжала она.— Подозрения Польмана подтвердились. Гренер ни о чем не знал. Он не получал ни списка от вас, ни указаний от шефа...

Мне об этом можно было не сообщать!

— Для чего вы все это говорите? — остановил я ее.

— Для вас! — воскликнула она.— В течение нескольких минут Польман установит, куда последовала ваша машина, и все станет ясно. С минуты на минуту сюда прибудут специальные войска. Я хочу вас спасти. Все равно вам не прорваться через линию фронта. Помогите обезоружить команду самолета, и вам обеспечено прощение. Вас не пошлют в Россию. У вас будут деньги, положение, свобода...

Она принялась торопливо уговаривать меня, сулила всяческие блага, запугивала всевозможными ужасами.

Может быть, дорогой она еще воображала, что сможет меня уговорить, но, едва заговорив, я думаю, сразу поняла бесполезность затеянного разговора. Она торопливо повторяла фразу за фразой о красивой жизни, личной свободе и обеспеченном положении, но сама уже не верила в убедительность своих доводов. Она продолжала говорить, а в сознании ее зрело другое решение, потому что внезапно она отскочила от меня и выхватила из кармана пистолет.

У меня мелькнула мысль, что на этот раз она не пощадит Макарова, но нет, она целилась в Лунякина!

Не знаю, случайно она его выбрала или угадала в нем пилота, но этим выстрелом она могла погубить нас всех...

Она умела принимать молниеносные решения!

Одним прыжком я очутился возле нее и сбил с ног.

Ко мне подбежал Лунякин, и ремнями, снятыми с мертвых эсэсовцев, мы скрутили ей руки и ноги.

— Что там у вас, Андрей Семенович?—закричал Железнов.

— Янковская хотела его застрелить! — объяснил я, указывая на Лунякина.

Я приблизился к вышке и передал Железнову слова Янковской о том, что с минуты на минуту должны прибыть специальные части.

— Чего же вы медлите?— сказал он.— Не пропадать же всем...

Он поискал глазами Штамма.

— Товарищ Штамм! — подозвал он его.— На два слова!

Они перекинулись между собой несколькими отрывочными словами.

— Так вот, товарищи,— внятно и не торопясь произнес Железнов.— Решение принято. Экипаж возвращается в самолет, и товарищ Макаров тоже, а мы с товарищем Штаммом постараемся вас прикрыть.

— Ты можешь лететь с нами! — воскликнул я.

Железнов указал на ограду.

— Думаешь, эти не попытаются проникнуть сюда? А мы не знаем всех секретов здешнего аэродрома! Нельзя рисковать ни самолетом, ни людьми. Да и выезда мне никто не разрешал! Пока что мы не впустим тех, что за воротами, и будем задерживать тех, что прибудут...

— Нет,— сказал я.— Я не согласен! Ты полетишь с нами!

— Вы недостаточно дисциплинированны, товарищ Макаров,— сказал Железнов.— Но на этот раз номер не пройдет. Вас ждут в штабе армии. Понятно? Приказ командования! Посмейте ослушаться, и вас расстреляют за невыполнение боевого приказа!

Он тотчас от меня отвернулся и пожал руку Лунякину.

— Большое спасибо за помощь...— Голос его на мгновение перехватило, но он сейчас же оправился.— Передайте...

Но так больше ничего и не сказал.

— Майор Макаров, подмените шофера,— приказал он.— Садитесь.

Он указал головой в сторону Янковской.

— И заберите с собой эту особу,— сказал он.— Незачем оставлять ее здесь, сдадите в Особый отдел.

Он опять обернулся к Лунякину.

— Товарищ Лунякин, попрошу...

Пилот и штурман подошли к Янковской, подняли ее, как мешок, и довольно бесцеремонно сунули в машину.

— Товарищ Штамм, забирайте автомат и гранаты и лезьте на крышу,— сказал Железнов.— А я останусь на вышке.

Штамм поднял автомат.

— Пожми ему руку,— сказал Железнов.

Я простился со Штаммом, и он пошел к сторожке.

— А теперь торопись,— сказал Железнов.— Поцелуемся.

Мы поцеловались, я отвернулся и, не оглядываясь, побежал к машине.

И почти тут же услышал выстрелы...

Сперва несколько одиночных выстрелов, а затем частую, непрекращающуюся стрельбу. Стреляли где-то в отдалении, за оградой. Выстрелы раздавались со стороны поля, но потом стрельба послышалась и со стороны дороги...

Я прислушался и вернулся к Железнову.

— Слышишь? — спросил я.— Что это может значить?

— Наши! — закричал Виктор. — Тут неподалеку действует одно партизанское соединение. Им послали приказ — подойти и обеспечить операцию. Следовательно, получили!

Кажется, не было в этой войне момента, когда нельзя было бы не ощутить плеча товарища!

— Значит, порядок? — воскликнул я.— Теперь и ты можешь с нами...

— Нет, не значит, никто не разрешал мне покидать Ригу,— сердито откликнулся Виктор.— И вообще, товарищ майор, почему вы нарушаете приказ? В машину, на самолет, и попрошу больше не задерживаться!

Я не мог не подчиниться и побежал обратно к машине.

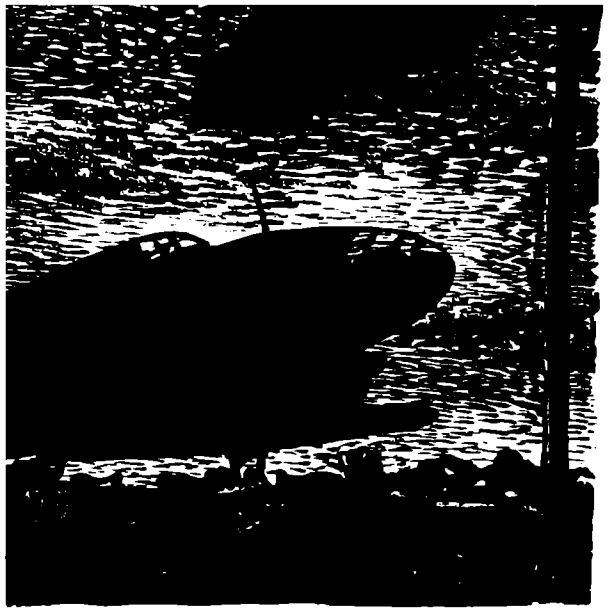
Однако на сердце у меня стало как-то спокойнее...

— Давай, давай, майор, теперь дорога каждая минута,— сказал Лунякин.— Что там за стрельба?

— Партизаны! — объяснил я.— Специально, чтобы обеспечить нашу операцию.

— Добро,— довольно сказал Лунякин.— Сейчас мы рванем!

Мы проскочили аллею и помчались через луг к самолету.



Стрельба делалась все ожесточеннее, видно, бой завязывался всерьез...

Специальные части напоролись на неожиданное сопротивление.

Я тормознул прямо с хода...

Штурман подбежал к машине.

— Долгонько.

— Ладно,— сказал Лунякин.— Ребят в сторожке не осталось?

Штурман помотал головой.

— Тогда по местам...

Летчики очень спешили. Янковскую бросили внутрь. Подсадили меня.

Через несколько минут мы оторвались от земли.

Когда мы набирали высоту, до нас донесся глухой взрыв.

Вскоре мы уже не слышали ничего. Впервые с момента выезда из Риги я взглянул на часы. Мне казалось, что прошло бесконечно много времени. На самом деле все наши перипетии заняли немногим более часа. Мотор рычал все яростнее: Лунякин набирал высоту. Я нащупал в кармане свой сверток и почувствовал, как во мне нарастает желание поскорей от него освободиться...

Земля под нами пропала совсем, и мы взмыли в черное бездонное небо.

20. РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

То, что произошло в Риге после нашего отбытия, стало известно мне лишь со слов Пронина и много времени спустя.

Расставшись со мною, Польман отправился к Гренеру, но Гонзалес, как я и рассчитывал, очутился там раньше.

Из цирка он прямиком помчался на квартиру к Гренеру, где и узнал, что тот действительно женится на Янковской и готовится вместе с ней к отъезду,— об этом ему без всяких обиняков объявил сам Гренер и тут же приказал денщикам выбросить буянящего артиста вон.

Гонзалес впал в неистовство.

Тут как раз прибыл Польман, потребовал, чтобы Гонзалес его пропустил, но это только подлило масла в огонь.

На шум появились Гренер и Янковская, снизу принеслась охрана. У входа в квартиру произошла форменная свалка. Обезумевший от ревности Гонзалес с ножом кинулся на Гренера, Польман попытался вмешаться. Гонзалес замахнулся на Польмана, и кто-то из эсэсовцев, спасая своего начальника, пристрелил незадачливого ковбоя.

Во всяком случае, такова была версия, услышанная на следующий день Прониным, хотя он допускал, что Янковская сама могла воспользоваться возникшей сумятицей и собственноручно пристрелить Гонзалеса или же надоумить на это кого-либо из эсэсовцев. Ей была выгодна эта смерть: она разом избавлялась и от назойливого поклонника и от свидетеля многих темных ее дел.

Все же Гонзалес успел ранить Польмана; рана, как выяснилось во время перевязки, оказалась неопасной, но в первый момент растерялись все, начиная с самого Польмана.

Гренер кинулся оказывать Польману помощь. Тот пытался еще во время перевязки узнать, насколько справедливы слова Блейка о передаче списка и новом задании, полученном от генерала Тэйлора, но Гренер, поглощенный перевязкой, не сразу сообразил, чего добивается Польман, и, пока они дотолковались, прошло какое-то время.

Зато Янковская моментально все поняла, ей вспомнились мои расспросы об аэродроме, она выскочила из комнаты, кинулась вниз к машине Польмана и от его имени приказала шоферу везти ее в Лиелупе.

Нужно было во что бы то ни стало воспрепятствовать моему отъезду, а может быть, и уничтожить меня: вырвавшись из-под ее опеки, я тоже превращался в лишнего и опасного свидетеля ее дел...

Тем временем Польман выяснил наконец у Гренера все, что было нужно. Установить, куда проследовала машина гаулейтера Риги, не представляло труда, он немедленно отдал команду выслать к даче отряд специального назначения и тут же выехал сам...

Но история с Гонзалесом отняла достаточно времени, и когда Польман устремился в Лиелупе, мы уже собирались в путь-дорогу.

О приземлении самолета Польман узнал уже на месте. Прибыв в Лиелупе в тот момент, когда мы набирали скорость, он сразу поднял на ноги противовоздушную оборону и приказал прибывшим одновременно с ним солдатам атаковать дачу и сбить поднимающийся самолет...

Не их вина, что Лунякин ушел и от зенитного обстрела и от высланных в погоню «мессершмиттов»!

Эсэсовцы еще прежде, чем кинулись в атаку, были обстреляны партизанами со стороны шоссе, а Железнов и Штамм, один с вышки, а другой с крыши сторожки, взяли под перекрестный огонь тех, кто пытался проникнуть за ограду.

И здесь о Штамме следует сказать особо.

Кто он такой, я узнал после войны. Механик машиностроительного завода, рабочий, сочувствовавший социал-демократам, он по возможности старался держаться подальше от политики. Приход нацистов к власти его не слишком обрадовал, но и не вызвал с его стороны особого протеста: он хотел посмотреть, что из этого получится. А когда увидел, стал держаться от политики еще дальше: поддерживать политику нацистов честному человеку было стыдно, а бороться против нее опасно. Когда началась война и Штамма мобилизовали в армию, было установлено, что политикой он никогда не занимался, и его назначили шофером, сперва в какую-то эсэсовскую часть, потом в штаб охранных отрядов, и, наконец, он попал к гаулейтеру Риги.

Однако во время войны оставаться нейтральным было нельзя, приходилось или самому участвовать в убийствах и бесчинствах, или стараться этому помешать...

Неверно было бы сказать, что Пронин и Штамм случайно нашли друг друга.

Гашке внимательно присматривался ко всем, с кем ему приходилось сталкиваться в немецком тылу.

— Что должен делать в моих условиях честный человек?—спросил как-то Штамм у Гашке.

— Ну, знаете ли, честный человек должен сам ответить себе на этот вопрос,— уклончиво отозвался Гашке.

Постепенно они сблизились, и Штамм начал помогать Пронину, сперва в мелочах, а затем и в серьезных делах.

И поэтому, когда пришла трудная минута, Пронин обратился к нему.

Пронин рассказывал, что, когда он пришел к Штамму и познакомил его с существом дела, тот ограничился немногими словами:

— О чем говорить, товарищ Гашке? Каждый честный человек обязан бороться против фашизма. Я отвезу товарищей в Лиелупе. Подумаем, как нам это организовать.

Однако он не только отвез нас, но и с оружием в руках прикрывал наш отъезд...

Конечно, долго сопротивляться Железнов и Штамм не могли, но на какое-то время задержали эсэсовцев... В конце концов эсэсовские пули настигли обоих; раненные, они принялись отходить в глубину парка... Сами бы они оттуда не выбрались, но их нашли партизаны и, отступая, унесли с собой.

Тем временем самолет, пилотируемый Лунякиным, избежав обстрела зенитных орудий и встреч с вражескими истребителями, приземлился в расположении нашей армии.

Лунякин совершил посадку и пошел доложиться своему командиру. Мы со штурманом вывели из самолета голодных и перепуганных детей и вызвали санитарные машины.

Медики опередили особистов: детей погрузили в машины — только мы их и видели.

Впрочем, одна женщина-врач с капитанскими погонами успела подойти ко мне и спросить:

— Это вы доставили детей?

— Пожалуй, что и я,— признался я.

— Эх, вы! — сказала тогда она.— Вас бы судить надо за такое обращение с детьми...

Но она, к счастью, уехала: накормить детей для нее было важнее, чем отдать меня под суд.

Потом из штаба армии пришел «виллис», мы со штурманом завезли Янковскую в Особый отдел, я сдал свой пакет, доложился о прибытии и отпросился спать: в тот момент я хотел только спать и ничего больше.

Меня вызвали в Особый отдел на следующий день и в течение трех дней допрашивали в качестве свидетеля по делу Янковской, а еще через день я был вызван на заседание военного трибунала.

Я не буду подробно описывать этот суд, здесь не место для газетного отчета, скажу только, что суд шел по всем правилам и даже без обычной спешки, свойственной судам в военной обстановке.

Янковская признала себя виновной в шпионаже.

— Да, это моя профессия,— заявила она.— Да, моя деятельность была направлена против Советского Союза.

В качестве свидетелей были вызваны Лунякин и я.

Председатель суда предложил мне рассказать все, что я знаю о Янковской.

В моем рассказе было много неясностей. Скорее я возбудил в членах суда любопытство, чем удовлетворил его. Гораздо больше своими показаниями я поразил Янковскую. Вероятно, она не ожидала, что я скажу всю правду, не скрывая собственных оплошностей и просчетов.

— Может быть, вы все-таки сообщите нам всем обстоятельства своего знакомства с Макаровым? — обратился к ней председатель.— Это послужит на пользу делу и даже вам.

Янковская наклонила голову.

— Хорошо,— сказала она.— Хотя вряд ли мне от этого будет польза.

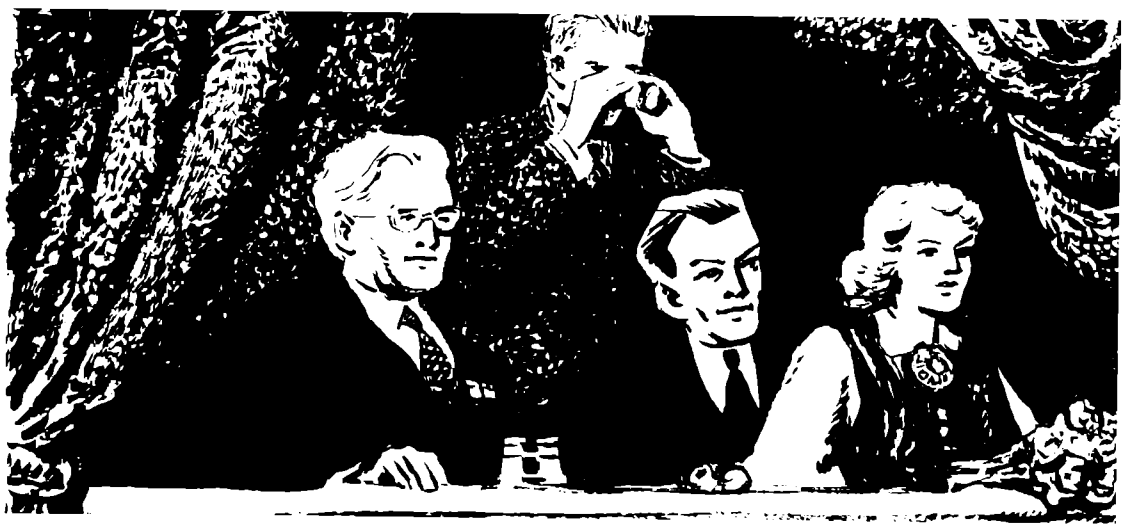
И она стала рассказывать...

Нет нужды полностью пересказывать показания Янковской, но для того, чтобы многое наконец стало понятным, придется вкратце вернуться к событиям того памятного вечера, когда мы с нею познакомились.

Да, собственно говоря, она с них и начала.

Она коротко и в общем правильно охарактеризовала обстановку, сложившуюся тогда в Риге, и очень просто объяснила загадочные явления, так поразившие меня, когда я впервые увидел эту женщину.

Буржуазная Рига всегда была сборищем шпионов; по своему географическому и поли-



тическому положению она занимала на западе такое же место, какое Шанхай, например, или Харбин занимали на востоке.

Янковская была связана с тремя разведками: в капиталистическом мире один шпион нередко работает на две и даже на три разведки одновременно, их называют «двойниками» и «тройниками». Янковская и являлась таким «тройником», хорошо понимая, какой из трех спорящих богинь должен отдать предпочтение умный Парис.

Блейк, разумеется, не знал всего этого о своей помощнице. Офицер английской секретной службы, он честно служил своему правительству; он и погиб потому, что принадлежал к тем англичанам, которые не хотели служить на побегушках у заокеанских дельцов.

Собирая военную информацию и выполняя поручения, связанные с подготовкой к войне, Блейк думал не только о предстоящей войне, но и о том, что̀ будет после войны; он уже готовился к деятельности, которая и после войны помогала бы капиталистам извлекать свои прибыли и которая в наше время именуется «холодной войной».

Тревожная атмосфера, в которой действовали все эти крупные и мелкие агенты капиталистических держав, достигла особого накала в связи с появлением в Риге некоего господина Хэндшема, одного из представителей секретной службы Великобритании, который приехал в Ригу под видом богатого коммерсанта, путешествовавшего по Советскому Союзу вместе со своей супругой.

Хэндшему необходимо было встретиться с Блейком, но так, чтобы не бросить на последнего никакой тени. Через Янковскую Блейку было передано поручение встретиться вечером с Хэндшемом в ресторане: сразу после свидания ночным рейсом Хэндшем должен был вылететь в Стокгольм.

Янковской представилась единственная возможность перехватить сведения о подготовленной Блейком агентуре, на чем категорически настаивала заокеанская разведка, с которой к тому времени была основательно связана Янковская.

Янковская отлично понимала, что приказание достать список равнозначаще приказанию убить Блейка. У нее, в общем, было безвыходное положение: не выполнить приказания— значило быть наказанной, то есть попросту убитой, убийство же Блейка грозило преследованиями со стороны Интеллидженс сервис. Янковская предпочла не ссориться со своими заокеанскими начальниками.

На помощь она взяла Смита, который был приставлен к ней для выполнения отдельных поручений и которому она откровенно сказала, что придется убить Блейка — в таких делах от Смита нечего было прятаться. Смиту на это было тем легче согласиться, что он ревновал Янковскую к Блейку, впрочем, как и ко всем, с кем она общалась.

Но за деятельностью Блейка не менее тщательно наблюдали и немцы. После провозглашения в прибалтийских республиках Советской власти немцам, жившим в Прибалтике, была предоставлена широкая возможность репатриироваться. В связи с этим из Германии понаехало множество всяких уполномоченных по репатриации, и среди них было достаточно шпионов. Немецкие разведчики даже опекали Блейка, имея, конечно, на него свои виды, и всячески оберегали от посягательств заокеанской разведки.

События развивались в такой последовательности. Янковская передала Блейку, что его будут ждать вечером в ресторане отеля «Рим», а несколько позже предупредила Смита, что ей приказано убить Блейка. Вечером Янковская пришла к Блейку, между ними произошел неприятный разговор, и затем она его убила. В это время позвонил телефон. Янковская сказала, что господин Берзинь не может подойти и просит сказать, что от него нужно. Тот кто звонил, не называя себя, сказал, что место свидания переносится, с господином Берзинем встретятся в назначенное время на набережной Даугавы. Янковская не узнала голоса Хэндшема, но она могла ошибиться. Если же это был не Хэндшем, то это могли быть только немцы.

Янковская вышла из квартиры Блейка, дошла до здания, занимаемого штабом нашего военного округа, и дождалась моего появления.

Еще впервые, увидев меня, она обратила внимание на мое сходство с Блейком, и в тот вечер решила использовать это сходство в своих интересах.

А обо мне ей стало известно вскоре после моего приезда в Ригу. Один из монтеров, обслуживавших здания нашего военного ведомства, сообщал ей о всех новых офицерах, появлявшихся в штабе.

С целью выпытать от меня какие-либо военные секреты она была не прочь познакомиться со мной, а если возможно, то и влюбить в себя, но повода для знакомства найти не удавалось.

Однако обстоятельства, в которых она запуталась вследствие своей сложной игры, заставили ее обратиться ко мне с просьбой проводить ее по набережной.

Если бы нам повстречался Хэндшем, она отошла бы к нему, объяснив, что за мной идет слежка. Мельком увидев меня и получив от Янковской список, Хэндшем не усомнился бы в подлинности Блейка.

Но едва появилась машина, как у Янковской исчезли всякие сомнения в том, что свидание на набережной назначено немцами, пронюхавшими о предстоящей встрече. Машина принадлежала одному из германских уполномоченных по репатриации. Немцы не могли не предположить, что Блейк передаст Хэндшему какие-то документы. Приняв меня за Блейка, они могли меня или захватить, или убить.

Поэтому Янковская и изобразила из нас влюбленную пару. Немцы помчались дальше, а Янковская заторопилась на свидание с Хэндшемом.

За Блейка принял меня Смит, который решил, что Янковской не удалось покушение. Они условились, что Смит пристрелит Блейка, если тот появится на улице. Смит предупредил свою сообщницу свистом, но Янковская предотвратила ненужное убийство.

Когда мы дошли до угла, Смит, издали следовавший за нами, убедился в своей ошибке, но снова выстрелил, заметив, как ему показалось, мою попытку похитить сумку Янковской...

На этом бы все и закончилось, не вздумай я отправиться в ресторан на поиски таинственной незнакомки.

Янковская нашла Хэндшема за столиком и сказала, что Блейк подвергся нападению и тяжело ранен. Хэндшем встревожился, но она успокоила его, сказав, что убийцам список похитить не удалось, и отдала ему один экземпляр списка, умолчав, разумеется, о другом. Она высказала предположение, что это — дело рук советской разведки. В это время появился я и, увы, не сумел скрыть своего внимания к Янковской. Хэндшем заинтересовался мною. Янковская сказала, что я офицер советской разведки, давно интересуюсь Блейком и Янковской, что она только что встретила меня на набережной и вполне возможно, что это я и пытался убить Блейка.

Хэндшем приказал меня убрать, предупредив, что еще до отъезда проверит, как выполнено его поручение. Янковской не оставалось ничего другого, как опередить меня и отправиться к моему дому.

Она взяла с собой Смита, и они вдвоем притаились на лестнице. Смит и осветил меня сверху, когда я поднимался...

Покушение на мою жизнь совпало с первой бомбардировкой Риги. Янковская сразу догадалась, что означают донесшиеся до нее взрывы, и с обычной для себя быстротой решила сохранить мне жизнь.

В новой ситуации Блейк, послушный и ничего не знающий о ней новый Блейк, мог очень и очень ей пригодиться...

Идея выдать меня за Блейка озарила ее в то самое мгновение, когда она хладнокровно выполняла приказание Хэндшема. Можно сказать, эта мысль отвела ее руку от моего сердца, но... не от груди; если я в этой ситуации и нужен был Янковской, то только в беспомощном состоянии.

Она меня не убила, но тяжело ранила. Вытащить меня в бессознательном состоянии из дома с помощью Смита не представляло особого труда, они проделывали вещи и посложнее. Меня перевезли на квартиру Блейка, а труп Блейка забрал Смит. Утром этот труп, изуродованный настолько, чтобы не было заметно разницы между Блейком и Макаровым, был найден в одном из переулков, под обломками дома, разрушенного немецкой бомбой. Одежда и документы подтверждали, что это Макаров. Макарова похоронили товарищи, а тяжелораненого Берзиня Янковская поместила в больницу.

Покуда Берзинь находился между жизнью и смертью, Рига была оккупирована немцами. Они и сами знали, кто скрывается под именем Берзиня, и Янковская поставила их об этом в известность, тем более, что по линии заокеанской разведки ее непосредственным начальником стал профессор Гренер, давно уже связанный с этой разведкой.

В общем, все, о чем она рассказывала, было известно, и она мало отклонялась от истины.

Судебное разбирательство шло к концу.

Председатель суда, пожилой полковник в очках, бросил на меня вопросительный взгляд и больше для проформы спросил:

— Имеете что-либо добавить?

Я покачал головой:

— Нет, что же... Все правильно...

Да, все, что говорила Янковская, было правильно, и, тем не менее, она уходила от ответственности. Да, собирала информацию для одних, для других; мне даже спасла жизнь, во всяком случае, после ее рассказа могло создаться такое впечатление; и если бы не покушение на Лунякина, которое она склонна была объяснить своей экзальтированностью, она могла бы даже рассчитывать на снисходительный приговор...

Но снисходительное отношение к таким преступникам — глубочайшая несправедливость по отношению к тысячам невинных людей, которыми играют и жертвуют себялюбивые и циничные личности вроде Янковской ради удовлетворения своих корыстных интересов!

— Правильно,— повторил я.— Но...

Председатель взглянул на меня.

— Госпоже Янковской следовало бы сказать о своем сотрудничестве с профессором Гренером,— сказал я.— Это сотрудничество заслуживает внимания суда!

— Суд не должен интересоваться моими отношениями с этим человеком! — запальчиво перебила меня Янковская.— Никто не имеет права касаться моей интимной жизни!

Ей очень, очень хотелось скрыть некоторые стороны этой жизни!

— А дети? — задал я ей вопрос.

— Что — дети? — переспросила она.

— Дети, которых вы доставляли профессо-

ру Гренеру для его преступных экспериментов?

— Что, что? — переспросил председатель суда.

И я рассказал суду обо всем, что мне довелось видеть в оккупированной Риге.

И о повешенных на бульварах, и о подростках, угоняемых в Германию, и о детях на даче Гренера, и о том, что Янковская самолично отбирала детей для опытов своего ученого поклонника...

Председатель суда склонился над столом и принялся заново перелистывать следственное дело.

— Преступление против человечности, — сухо заметил он и повернулся к Янковской.— Что вы можете сказать по этому поводу?

Но у Янковской хватило храбрости усмехнуться.

— Макаров все это говорит из ревности,— сказала она, щуря свои дерзкие глаза.— Они с Гренером постоянно ревновали меня друг к другу...

Тут Янковская внезапно поднялась, какими-то совершенно умоляющими глазами посмотрела на своих судей и протянула ко мне руку.

— Андрей Семенович, ведь мы никогда уже с вами не увидимся. Не обижайтесь на меня. Но неужели вы способны забыть вечера, проведенные нами вместе?..

И я, правду сказать, смутился...

Председатель пожал плечами, провел ладонью по залысине и поправил очки.

Мне непонятен был смысл сказанного, но Янковская не замедлила его разъяснить.

— Как видите, майор Макаров не может отрицать нашей близости,— обратилась она к председателю суда, посматривая то на него, то на меня своими кошачьими глазами.— Только он спешит уйти от ответственности!

Председатель строго посмотрел на Янковскую и опять поправил очки.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что Макаров — такой же шпион, как и я,— отчетливо произнесла она звенящим и чуть дрожащим голосом.— И даже чуть покрупнее!

Янковская замолчала.

— Мы вас слушаем,— поторопил ее председатель.— Говорите, говорите!

— Он заслан сюда заокеанской разведкой,— с каким-то отчаянием произнесла Янковская...

И принялась рассказывать о моем свидании с господином Тэйлором, о том, что я им завербован, о том, что я снабжал его ведомство ценной информацией и что это я выдал гестаповцам коммуниста и партизана, скрывавшегося у меня под фамилией Чарушина... Да, она сказала все это, пытаясь утопить меня вместе с собой.

— Чем вы это можете доказать? — холодно спросил председатель.

— Спросите его! — с какой-то пронзительностью выкрикнула она, как бы нанося мне удар.— Почему он скрывает, что в Стокгольме на его текущем счету лежат пятьдесят тысяч долларов?

Все-таки она была убеждена, что деньги — это самое главное в мире!

Она привела факты и думала, что мне от них никуда не деться, но я даже не успел обратиться к суду.

— Вы можете быть свободны, товарищ Макаров,— повторил председатель с неизменной холодностью в голосе, но в глазах его засветилась какая-то теплота.— Суду известно, кем санкционированы ваши переговоры с генералом Тэйлором, а что касается денег, переведенных на ваше имя... — Председатель назвал даже банк, на который был получен аккредитив, слегка наклонился в сторону Янковской и продолжал уже как бы специально для нее: — Что касается денег, они были получены по поручению товарища Макарова и даже израсходованы, но только не на его надобности...

Я посмотрел на председателя суда, и он кивнул мне, давая понять, что я могу удалиться. Я пошел к выходу.

— Андрей Семенович! — внезапно услышал я за своей спиной дрожащий голос Янковской.— Все это неправда, неправда! Я все это говорила для того, чтобы вы разделили мою судьбу... Потому что... Да обернитесь же! Потому что я вас любила...

Но я не обернулся.

Я понимал, что ей хотелось исправить впечатление от своей лжи, но я хорошо знал, что и эти ее последние слова — такая же невозможная ложь, как и вся ее жизнь.

ЭПИЛОГ

Вот, пожалуй, и все.

Сравнительно много времени прошло с тех пор, но из памяти никак не изгладятся события, описанные мною в этой рукописи.

Окончилась война, я встретился с девушкой, которую любил. Получив известие о моей гибели, она не поверила в мою смерть, а если немного и поверила, в ее сердце не нашлось места другому. Она терпеливо ждала меня. С неизменным волнением слушает жена мои рассказы о Риге и только всегда хмурится, когда я называю имя Янковской...

Разыскал меня после войны и Иван Николаевич Пронин, мы встретились с ним у меня дома. Естественно, что первым долгом я тотчас осведомился о Железнове.

— Где он? Как он? Что с ним?

Но Пронин уклонился от прямого ответа на мои расспросы.

— Когда-нибудь после,— сказал он.— Это сложный вопрос...

И так ничего больше мне не сказал, и я понял, что дальнейшая судьба Железнова — это, очевидно, целый роман, который еще не время опубликовывать.

Потом мы коснулись нашей жизни в Риге, наших поисков, наших общих огорчений и удач.

— Ну, а что сталось с вашей агентурой, знаете? — спросил Пронин.— Со всеми этими «гиацинтами» и «тюльпанами»?

— Те, кто уцелел, вероятно, арестованы?— высказал я догадку.

— Да, большинство арестовано,— подтвердил Пронин и усмехнулся.— Но трех или четырех не стоило даже трогать, на всякий случай за ними присматривают, хотя оставили их на свободе.

Мы еще поговорили о том, о сем...

Я выразил и удивление и восхищение быстротой и тщательностью, с какой Пронин сумел оборудовать рацию капитана Блейка.

Пронин снисходительно усмехнулся.

— Обычная практика. В таких обстоятельствах мы не то что английский передатчик, черта бы из-под земли выкопали...

Несколько лет спустя после этой встречи мне довелось проездом побывать в Риге, задержаться там я мог всего на один день.

Я походил по городу; он был по-прежнему красив и наряден, зданий, разрушенных войной, я уже не нашел, на смену им поднимались другие. Подошел я и к дому, в котором квартировал у Цеплисов; дом сохранился, но жили в нем другие жильцы.

Юноша, открывший мне дверь, сказал, что Цеплис работает в одном из сельских районов секретарем райкома партии.

Мне хотелось его повидать, но я не располагал временем на разъезды. По возвращении в Москву я написал Мартыну Карловичу письмо, и теперь мы с ним обмениваемся иногда письмами.

Попытался найти Марту, но я не знал, где ее искать, а в адресном столе Марта Яновна Круминьш не значилась.

Потом мне пришла в голову мысль съездить на кладбище. Я прошелся по аллеям, побродил между памятников и крестов и, удивительное дело, нашел собственную могилу: памятник майору Макарову сохранился в неприкосновенности.

Что еще остается сказать?..

По роду своей работы мне приходится следить за иностранной прессой, правда, я интересуюсь больше специальными вопросами, но попутно читаешь и о другом.

Профессор Гренер перебрался-таки за океан, у него там свой институт, он там преуспевает.

Мне пришлось как-то прочесть письмо нескольких ученых, опубликованное в крупной заокеанской газете, в котором они поддерживали венгерских контрреволюционеров и с нескрываемой злобой выступали против венгерских рабочих и крестьян, требуя обсуждения «венгерского вопроса» в Организации Объединенных Наций. В числе прочих под письмом стояла и подпись профессора Гренера.

Ну, и в заключение еще об одной встрече с Прониным, которая имеет некоторое отношение к описанным событиям.

После всего того, что я пережил в Риге, нерушимая дружба связала меня с латышами, навсегда запечатлелись в моем сердце образы мужественных латвийских патриотов, и все, что так или иначе касалось теперь Латвии, стало для меня не безразлично.

Зимой 1955 года в Москве проходила декада латышского искусства и литературы, и Пронин пригласил меня посмотреть пьесу Райниса. Во время спектакля Пронин все время обращал внимание на одну актрису, называл ее, хвалил, подчеркнуто ей аплодировал, как это мы часто делаем по отношению к своим личным знакомым.

Потом он слегка меня толкнул и спросил:

— Неужели не узнаете?

Какое-то смутное воспоминание мелькнуло передо мной и растаяло.

— Нет,— сказал я.

— Неужели не помните? — удивился Пронин.— Баронесса фон Третнов!

Валькирия из Межапарка!

— Так это была артистка! — воскликнул я.

— Рижская работница,— поправил меня Пронин.— Она и не помышляла о театре. Это товарищи после ее выступления в роли баронессы фон Третнов натолкнули ее на мысль об артистической карьере...

А в антракте Пронин велел мне посмотреть в правительственную ложу. Он указал на пожилого человека, беседовавшего в этот момент с одним из руководителей нашей партии.

— Тоже не узнаете? — спросил Пронин.— Букинист из книжной лавки на Домской площади!

Но я не узнал его даже после того, как Пронин сказал мне, кто это такой.

Так познакомился я с судьбой еще двух действующих лиц этого, так сказать, приключенческого романа...

И, кажется, можно поставить точку.

Кто-то это прочтет, переберет в памяти страницы собственной жизни, поверит мне, а может быть, и не поверит, а потом забудет...

Только мне самому ничего, ничего не забыть!

Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытисненным на ней листиком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки, долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

Ф. ШАХМАГОНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. БЛИОХА.

1

Все, что произойдет, я мог узнать, не выходя из своего служебного кабинета. Но как удержаться и не взглянуть на старого «знакомого», который и не подозревал, что в нашем лице нашел терпеливейших исследователей его запутанной, темной биографии.

Мы ждали его... Рано или поздно он должен был вновь появиться. Тогда нам не сразу удалось установить, кто он такой. Теперь же мы знаем о нем очень многое.

Лайнер, на котором прибыл «гость», подруливает к назначенному месту. И вот уже по трапу спускаются пассажиры.

Вот и он! В сером летнем костюме, через левую руку перекинут плащ, в правой — кожаный портфель прямоугольной формы.

Жарко. Сальге снимает шляпу и вытирает белоснежным платком пот со лба. Обычный житейский жест. Но так ли это?

Одного из встречающих мы заметили несколько ранее. Он приехал минут за двадцать до приземления лайнера. Это Нейхольд, корреспондент одной из буржуазных газет.

Несколько лет он работает на Сальге, или, вернее, на тех, кто посылает этого господина к нам в гости.

Одет он небрежно. Полуспортивный костюм, изрядно потершиеся джинсы, сандалеты, замшевая курточка.

Черные волосы заброшены назад; смуглое лицо, с горбинкой нос.

С господином, которого встречает, у Нейхольда есть какое-то сходство.

Последний раз мы видели Сальге пять лет тому назад. Эти годы мало что изменили в его внешности, разве что немного поседел да углубились морщинки у глаз. И только! Держится он все так же прямо, лишь едва заметно приопустились плечи.

Одет не «с иголочки», нет! Едва приметная небрежность в костюме, не очень плотно завязан узелок галстука. Голубая рубашка...

Итак, он снял шляпу, вытер платком пот со лба...

Нейхольд, перекидывая из одного угла рта в другой жевательную резинку, бесстрастно смотрит на приближающихся пассажиров. Этот жест приезжего не вызвал у него никаких эмоций. И все же!

Мои товарищи уловили в общем круговороте, в аэродромной сумятице уверенное, целеустремленное движение человека. Это шофер такси. На голове у него форменная кепочка. Еще молодой, лет этак двадцати пяти, пиджак нараспашку, в зубах сигарета. Остановился у табачного киоска, прошелся вдоль книжного прилавка, подбросил в руке связку ключей — профессиональный жест. Вернулся к машине, сел за руль. К нему подходили пассажиры и тут же отходили. Он отказывался ехать...

На привокзальной площади — интересующий нас господин. Он обежал равнодушным взглядом машины и уверенно направился к той, за рулем которой сидел таксист, обративший на себя наше внимание.

Господин подошел к окошку, протянул шоферу листок бумаги и что-то начал объяснять знаками. Обычная сценка в международном

аэропорту: иностранец, не знающий русского языка, объясняет шоферу, куда ему надо поехать; шофер смотрит на листок бумаги и соглашается отвезти пассажира.

Сальге сел в машину. Такси медленно тронулось.

Итак, он сел к «своему». Это усложняло наблюдение, требовало особой осторожности. Но мы его ждали, стало быть, готовились и к неожиданностям.

Через несколько минут мне доложили, что на этот раз Сальге приехал из Федеративной Республики Германии под именем Иоахима Пайпера. Еще несколько минут потребовалось для того, чтобы узнать: господину Пайперу забронирован номер в гостинице «Украина».

Все пока было в порядке. Мы установили, под каким именем он приехал, знали, куда он проследует с аэродрома. Но с этим господином требовалась особая осторожность.

Был ли риск, что он сменит пункт назначения или захочет где-то побывать до приезда в гостиницу?

В двух точках, в которых, как нам было известно, сходились его интересы, мы уже готовы к встрече с ним... Предстояло, конечно, заняться шофером такси.

А Нейхольд словно бы все еще кого-то ждал на аэродроме. Кого он ждал?.. Мы должны отметить для себя, что он был на аэровокзале, когда прибыл Сальге, как когда-то Сальге присутствовал при отлете Нейхольда в Париж, наблюдая за его посадкой в самолет...

2

Не так все начиналось пять лет тому назад... Тогда мы о приезде этого господина узнали не сразу.

Поздним вечером в отделение милиции небольшого подмосковного городка Верея явилась Клавдия Ивановна Шкаликова. Она всех знала в городе, и ее все знали. Тихий, небольшой городишко в глубине больших лесных массивов, которые можно считать предплечьем брянских лесов. В городке швейная фабрика — вот и вся промышленность. В пригородах пионерские лагеря.

Она вошла к дежурному по отделению милиции в двенадцатом часу ночи. Сидящий за столом старшина удивленно поглядел на нее. Шкаликова... Узнал старшина.

Женщина подошла к барьеру и тихо сказала:

— Сынок! Ты уж извиняй меня! Где Иван Иванович?

Это было в стиле городка. Все друг друга знали по имени и отчеству. И старшина не удивился, что она именно так спросила о начальнике городского отделения. Удивился другому: как это Клавдия Ивановна не взяла в толк, что начальника в такой поздний час не должно было быть на работе?

— Начальник? Спит он... Отдыхает! А что случилось?

Шкаликова было наклонилась ближе, как вдруг засомневалась.

— Нет, Николай! Нет, нет... Иван Иванович мне нужен...

— Так уж срочно? Приходите, Клавдия Ивановна, утром...

— Нельзя утром. Буди начальника! — И в голосе ее такое послышалось, что старшина смирился и поднял телефонную трубку...

Иван Иванович хотя и со сна, но выслушал рассказ Шкаликовой.

Все произошло недавно, полчаса тому назад... Ее дочка Леночка сидела у открытого окна и читала.

На крыльце послышались чьи-то тяжелые шаги, потом постучали.

Шкаликова спросила, не открывая двери:

— Кто там?

Незнакомый голос ответил:

— Сергея Николаевича! Можно его повидать?

Вопрос грянул как гром с неба. Она себе не поверила, переспросила:

— Какого Сергея Николаевича?

— Шкаликова! Сергея Николаевича! — ответил тот же голос.

Спрашивали ее мужа... И как не удивиться? Ее муж, Шкаликов Сергей Николаевич, сгорел пятнадцать лет тому назад во время пожара на дальней делянке лесхоза.

Лесной пожар возник ночью на торфяном болоте, перекинулся на сосновую рощу, потом запылал склад заготовленного к вывозу леса, и сгорела дотла сторожка, в которой спал Шкаликов. Для всех Шкаликов считался сгоревшим. Но Клавдия Ивановна имела, однако, основания предполагать, что он... не сгорел.

Так кто же спрашивает ее мужа? Кто? Тот, кто за пятнадцать лет не узнал, что Шкаликов сгорел, или тот, кто, как и она, мог предполагать, что он жив?

Шкаликова открыла дверь. На крыльце стоял высокий немолодой человек восточного типа. Но акцента в его речи заметно не было.

Незнакомец поздоровался, назвал ее по имени, представился старым знакомым ее мужа.

Час был поздний, но, не узнав, что скрывается за этим посещением, Клавдия Ивановна не хотела выпускать незнакомца, хотя и испугалась. Она пригласила его в дом.

Он вошел в прихожую. Клавдия Ивановна усадила его за стол и объявила, что муж ее умер пятнадцать лет тому назад...

Незнакомец, как она уверяла, растерялся. Высказал свое сожаление.

— Откуда, простите, вы его знаете? — спросила Шкаликова.

— Воевали вместе! — ответил он уклончиво и засобирался.

Шкаликова попросила дочку поставить чайник.

— Я вас так не отпущу! Я ни разу не видела ни одного фронтового товарища Сережи! Расскажите, как он воевал... Это не мне — моей дочери надо знать!

Не знала она, что лишь этой фразой «Я ни разу не видела ни одного фронтового товарища Сережи» она спасла себе жизнь.

— Воевал? — спросил незнакомец.— Я не знаю, как он воевал. Мы с ним встретились в плену! Под Кенигсбергом... В лагере для военнопленных... Он носил с собой вашу карточку... Поэтому я вас сразу и узнал... Это — чудо, что и он и я остались живыми... До сих пор клеймо на мне... Сергей Николаевич мог бы кое-что подтвердить... Я долго его искал... Когда он умер?

— В пятьдесят втором...

— По лагерю в Кенигсберге он мог бы подтвердить, что изменником я не был... Отчего он умер?

— Сгорел он... В лесном пожаре...

Последовал мгновенный вопрос:

— Вы его хоронили?

Страшный вопрос. Именно этот вопрос и решил исход всего дела.

— Что же было хоронить-то? Свезли мы его останки в могилу... Ошибки не было... дважды не умирают... А я дважды его хоронила: извещение получила и вот...

Незнакомец выпил стакан чая, сокрушаясь о смерти товарища, рассказал о лагере для военнопленных, о том, как расправлялись с русскими гестаповцы, распрощался и ушел, не назвав своего имени.

Иван Иванович был старым оперативным работником. Именно оперативная работа приучила его не отмахиваться от трудноуловимых, невыраженных впечатлений. Худой, немного сгорбленный, но собранный, как пружина, человек. Он сумел уцепиться за почти неуловимое в рассказе Шкаликовой.

Пока еще очень смутно, но все же вырисовывалось объяснение ночного визита. Неосновательное, ничем не подкрепленное, но все же объяснение. Ну хотя бы и такое. Вместе были в плену. Шкаликов прошел комиссию, ни в чем не оказался замешанным. А этот незнакомец мог быть и повязан преступлениями с захватчиками. Словом, мог он отбывать и наказание. Вышел... Прошли годы. Решил повидаться с сотоварищем по плену. Что же здесь удивительного? Искал как свидетеля...

Шкаликов считался умершим еще задолго до того, как Иван Иванович стал работать в этом городке. Поэтому в ту ночную встречу Иван Иванович был совершенно не подготовлен для разговора.

Иван Иванович попытался сопоставить все как-то во времени и задал всего лишь уточняющий вопрос:

— Когда умер муж?

И вдруг ошеломляющий ответ:

— Он не умер... Он жив!

— Сбежал, что ли? К другой ушел?

Несколько позже Шкаликова при мне повторила свой рассказ. Мешались в этом рассказе вещи вполне понятные и вещи, заставлявшие задуматься...

— Получила я открытку — пропал без вести...— рассказывала Шкаликова.— Не похоронная! А что это означает: пропал без вести? Где он? Какое ему лихо? Слезы душат! Долгие ночи все о нем думаю. Из-под венца на войну ушел... А тут эвакуация в Сибирь... Мыкалась одна как могла. Первенький наш глотошную в дороге схватил. Умер... Как вдруг — войне уже кончаться — муж явился...

Разговор шел дома у Шкаликовой. Мы к ней приехали двумя днями позже.

Иван Иванович поправлял ее, возвращая к той форме рассказа, в которой она ему все выложила.

— Да ты не волнуйся, Клавдия Ивановна,— урезонивал он ее.— Не торопись!

— Явился! — продолжала она, стараясь не потерять нити рассказа. Чувствовалось, что вот-вот слезы подступят к глазам.— Только, гляжу, порченый он! Ночью проснется, закричит... Зубы скрипят. В плену все видит себя... Боялся он!

Вот она, точка, вот те два слова, которые привели начальника отделения милиции к нам, в Комитет государственной безопасности. Ему она толком и не объяснила, кого он боялся. Я тут же спросил ее:

— Кого он боялся?

Шкаликова скосила на меня глаза, вздохнула и не ответила. Задумалась.

— Рассказывай, рассказывай! — подбадривал ее Иван Иванович.— Нам все нужно знать, чтобы разобраться!

— Как ночь, под кровать топор кладет...— продолжала Шкаликова.— На стенку ружье вешал, чтобы сразу рукой дотянуться. На окна глухие ставни поделал. У нас их сроду не было. Он закрывал ставни изнутри и снаружи. Запрется кругом, запрет ставни, тусклую лампочку зажжет, ложится, а не спит... Не спит... Лежит часами с открытыми глазами. Или всю ночь ходит и ходит... Собака залает — одна рука к ружью, другая — за топор... Успокаивала я его... Допытывалась. «Сергей,— говорю,— ежели в чем виноват, пойди повинись...» А он посмотрит на меня чудными глазами и молчит...

— Ждал он кого-то! — подсказал Иван Иванович.

Я смотрел на Шкаликову. Ответ мне ее был известен со слов Ивана Ивановича. Ответ этот тоже был всего-навсего намеком.

— Ночи долгие... Сама ведь тоже не сплю... Как-то ночью совсем измаялась. Спрашиваю: «Кого ты ждешь?» А он вдруг говорит: «Если б знал, кто придет, встретил бы... И топор взял бы!»

Иван Иванович многозначительно посмотрел на меня поверх ее головы. Вот как. Топором встретил бы, да только кого он так встречать вздумал?

Но сам Шкаликов, сам он кто же таков?

Из ее рассказа мало что прояснилось. Работал он, как из плена пришел, на тихих, незаметных работах. Служил в бухгалтерии лесхоза контролером, перешел обходчиком леса, потом ночным сторожем на лесном складе. Вернулся с войны еще молодым человеком. Почему же ему не захотелось попытать себя на деле, более значительном и интересном? И не пил... Трезво жил.

Шкаликова заканчивала:

— А как дочь родилась, успокоился. Радовался он ей! А тут и исчез...

Иван Иванович тогда ночью боялся спугнуть ее лишним неосторожным вопросом. Принял все как должное.

В два дня, что прошли после ее прихода в милицию и нашего к ней приезда, кое-что прояснилось. Опять же лишь слегка.

Иван Иванович успокоил ее, отправил домой и связался с нами. Свое обращение в Комитет государственной безопасности он обосновал тем, что исчезновение Шкаликова было явно связано с пребыванием Шкаликова в плену. Он считал необходимым найти Шкаликова, посмотреть его дело и расспросить, кого же он боялся. По его мнению, Шкаликов сразу пролил бы свет на всю эту историю. Поинтересовался он, почему жена считает, что жив он. Шкаликова рассказала, что каждый месяц аккуратнейшим образом шли к ней денежные переводы из разных городов и поселков. Всегда одна и та же сумма. Смутило и Ивана Ивановича и нас, что переводы шли от разных лиц. Города, из которых приходили переводы, далеко друг от друга. Могло создаться впечатление, что человек, отсылающий деньги, все время находится в дороге. Я сейчас же дал указание нашим товарищам изучить географию переводов, чтобы уловить хоть какую-нибудь связь между ними, сам же поехал со своим помощником Василием Михайловичем Снетковым к Шкаликовой.

— Топор, ружье, ставни... Это интересно! Не от милиции и не от нас он собирался отбиваться топором...— сказал Василий Михайлович.— Послушайте, Никита Алексеевич! Интересное это дело! Разрешите, я поеду...

Прежде чем войти в дом к Шкаликовой, мы с Василием подошли к окну. Заглянули внутрь комнаты. Интересная деталь: в окно была видна задняя стена. На стене, как это обычно бывает в деревенских избах или вот в таких домиках в небольших городках, было развешано множество семейных фотографий. Висел портрет молодых: Шкаликов в солдатской гимнастерке и его жена. Заглянув в окно, ночной посетитель мог увидеть все эти фотографии. Они могли подтвердить ему, что он пришел по адресу.

Итак, мы у Шкаликовой. Она все рассказала. Мне в общем-то были понятны мотивы, которые привели ее в милицию. Но хотелось, чтобы она сама это объяснила. Я спросил, что ее заставило обратиться в милицию. Клавдия Ивановна задумалась. Я настаивал на своем:

— Для себя вы никакой беды не ждали?

— Для себя? — воскликнула она с удивлением. Но тут же удивление и прошло. Она задумалась.— Для себя? — переспросила она.— Нет! Для себя не ждала! Бабье чутье подсказало, что вот он, тот самый, кого боялся Сергей, для кого ружье и топор под рукой держал...

Кое-что мне все же нужно было уточнить.

— Скажите, Клавдия Ивановна, когда вы получили последний перевод от мужа? — Я нарочно сделал ударение на последнем слове.

— На днях! — ответила она чуть слышно, без тени удивления.

— Алименты по договоренности?

Она оставалась по-прежнему спокойной, как спокоен человек, ничего не утаивающий.

— Ни о чем я с ним не договаривалась... Исчез — и все... Сгорел...

— Когда вы догадались, что переводы идут от него?

— Чего же гадать? Кто же еще пошлет? Кому нужно? Думала поначалу, что другую нашел...

— Где же он?

— Не знаю...

— Вы его искали?

— Зачем? Что с ним делать, если жизнь его с нами не получалась?.. Дочь поднять он мне помог! Спасибо ему и на этом! Подросла вот! Последние два года больше переводит... Да какие у него заработки? Таится от всех, боится всего...

— Чего боится? Что его заставило уйти?— не выдержал Василий.

— Намек он мне давал... Оттуда должны прийти... С пленом все связано! Что у них там вышло, не знаю... Только говорил: «Придут — мне один конец. Или руки на себя наложить, или топором встретить!»

— Вы не сказали гостю, что сомневаетесь в смерти мужа?

— Нет. Я только вам открылась.

Итак, Шкаликов боялся, что к нему явятся «оттуда». «Оттуда» — это уже не только из прошлого. Он не хотел этой встречи. Стало быть, эта встреча была для него ужасна. Или топором встречать того, кто придет, или руки на себя наложить... Это не ссора! Это... И к тому же уточняющий вопрос: «Хоронила ли она его?» Может быть, у незнакомца были основания предполагать, что Шкаликов скроется, инсценировав смерть?

3

Почему исчез Шкаликов, что заставило его скрыться от семьи? Никаких сомнений, что он любит дочь! Неужели он так ни разу и не повидал ее? А если и повидал, то никто об этом и не догадывался... Почему он скрылся?

Год и день мнимой смерти ничего не разъяснял. Он скрылся после того, как родилась дочь. Рождение дочери — и сразу же этот по-

жар... Они как-то увязаны — эти два события. Но как? Что заставило его бросить семью?.. Подняло его с места что-то очень серьезное.

Само по себе исчезновение Шкаликова не побудило бы нас взяться за это дело, его поиски остались бы в компетенции милиции. И переводы со сложной географией мало еще о чем говорили. Такого рода истории встречались и без столь мрачной подоплеки. Главное — это то, что он ждал кого-то «оттуда». «Оттуда» мог появиться экземпляр, интересный и для нас.

Искать Шкаликова — вот к чему сводилась задача. Искать ночного посетителя было почти безнадежно.

Мы попросили дочь Шкаликовой дополнить рассказ матери о внешности незнакомца: ведь она была дома, когда он пришел к ним. Девочка начала было вспоминать, как вдруг предложила:

— Я могу нарисовать его портрет...

Оказалось, что она отлично рисует.

Мы получили хотя бы некоторый намек на его внешний облик. Это уже большое дело. И оно сыграло свою роль. Но об этом позже. Тогда все еще терялось в предположениях.

Мог ли кто еще знать, что Шкаликов жив? Мог ли этот незнакомец искать Шкаликова через других лиц? Это знать тогда, на том этапе расследования, нам было не дано.

Подняли архивы. След, как это ни было удивительно, все же нашелся. Что побудило старшего лейтенанта Колобкова из особого отдела 39-й гвардейской стрелковой дивизии оставить это дело в архиве, не знаю. Старший лейтенант Колобков погиб смертью храбрых при штурме города Познань.

Именно там, на подступах к Познани, «группа Шкаликова» вышла к нашим войскам. В протоколах допроса она так и именовалась «группой Шкаликова». Их было всего четверо. Шкаликов Сергей Николаевич, рядовой, год рождения 1920-й. В плен был взят под Ярцевом осенью сорок первого года. Установить, попал ли Шкаликов в плен, будучи, как он показывал, раненым, или, поддавшись панике, поднял руки, сейчас уже не представлялось возможным.

Значился по материалам в «группе Шкаликова» и Власьев Николай Павлович. В плен он попал на Северном Донце в августе 1943 года. Лейтенант, артиллерист, воевал в 8-й гвардейской армии. Может, здесь и лежит объяснение того, что Колобков, оперуполномоченный особого отдела 39-й дивизии, переслал дело в архив: 39-я гвардейская стрелковая дивизия входила в состав 8-й гвардейской армии. На Северном Донце в сорок третьем году, в августе, она перешла в наступление. Добровольно тогда в плен не сдавались. 8-я гвардейская — это бывшая 62-я армия, защищавшая Сталинград. Гвардейская, легендарная армия. В ее рядах сражались сталинградцы, они были ее цементирующим костяком. Нет, Власьев не мог сдаться в плен! В его показаниях значилось, что он был контужен.

Следующим в списке стоял младший лейтенант Алексей Алексеевич Раскольцев. Год рождения 1922-й. В бои он вступил под Ярцевом и сразу же попал в плен. Утверждал, что взят в плен после тяжелого ранения.

Подполковник Анатолий Иванович Голубев. Звание в лагере для военнопленных скрывал, выдал себя за шофера. В плен был взят в Белоруссии в июле месяце сорок первого года. Колобкову показал, что был взят на дороге немецкими танкистами. Ехал на машине в расположение штаба дивизии. Штаба на месте не оказалось, их машина встретилась на лесной дороге с немецким танком, сопровождавшим бронетранспортер с автоматчиками. Перевес был на стороне врага. Застрелиться не поднялась рука. Признание это было в его пользу, так как никто и никогда не установил бы истину, если бы он сослался, например, на контузию.

Бежали все четверо из лагеря для военнопленных под Познанью...

Колобков тщательно записал их показания, они совпадали. Наиболее полным, хотя несколько и суховатым, мне показался рассказ Голубева.

Вот выдержка из протокола допроса:

«СЛЕДОВАТЕЛЬ. Скажите, как вы познакомились в лагере с Сергеем Николаевичем Шкаликовым.

ГОЛУБЕВ. Совершенно случайно... Это было где-то перед Новым годом... Наступал год сорок пятый. Я всю войну провел в лагере для военнопленных неподалеку от Познани... Работал... Герой из меня не получился...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Какого рода работы вы выполняли?

ГОЛУБЕВ. Скрывать не буду...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я этого не советовал бы делать. Лагерь освобожден. Мы это легко можем установить.

ГОЛУБЕВ. Меня постигло страшное несчастье. Я не знаю, чем я могу смыть свой позор, чем я могу заслужить прощение моего народа. Я не решился застрелиться. Стрелять по танку из пистолета, как вы понимаете, бесполезно. Работал... Немцы оборудовали заново и перестраивали форты и крепость в Познани. Было много земляных работ... Лопатой работал. Землекоп.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы показали в лагере, что по профессии шофер...

ГОЛУБЕВ. Показал. Но это их не интересовало. Машину мне не доверили.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А если бы доверили?

ГОЛУБЕВ. Увы, я ничего не связывал с тем, получу ли я машину, сяду ли я за руль, или нет... Не дали машины, и все, хотя некоторые в лагере работали шоферами.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Итак, вы познакомились со Шкаликовым в канун Нового года.

ГОЛУБЕВ. Числа смешались... Не помню, какого это было числа. Мы не следили за числами по календарю. В это время наша авиация бомбила железнодорожные узлы, где скапливались немецкие войска. Разрывы были слышны и в лагере. Из военнопленных создали несколько бригад для расчистки железнодорожных путей. Я попал в такую бригаду. В эту же бригаду был зачислен и Шкаликов. Я его ранее в нашем лагере не видел. Но тогда много появилось новеньких. Немцы отступали и переводили военнопленных из тех районов, куда вступала Красная Армия. В этой же бригаде оказались Власьев и Раскольцев. Они тоже были переведены из других лагерей. Раскольцев утверждал, что он по случайности выбрался живым из Майданека.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы тогда знали, что такое Майданек?

ГОЛУБЕВ. Я и сейчас толком не знаю, что это такое. Знал, что есть такой лагерь под Люблином. Мы его название произносили шепотом. Плохо, но и у нас работал свой «вестник». В Майданек отправляли тех, кто уже не мог работать на земляных работах, кто заканчивал оборудование военного объекта. Отправляли и тех, кто решался на побег и попадался. Мы его называли между собой «преисподней»... Это была смерть.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что вам о себе рассказывал Шкаликов?

ГОЛУБЕВ. Я ничего и никому не рассказывал о себе, не спрашивал и других. Правду у нас редко рассказывали. Так... что-нибудь из прошлой жизни. Из довоенной... О семье, о детях!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Шкаликов рассказывал, как он попал в плен?

ГОЛУБЕВ. Рассказывал... Был ранен. Попал в плен без сознания. Но это все так говорили: ранен, контужен... Проверить я не мог и не очень-то вникал в его рассказ.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Но он был организатором побега... Вы должны были бы каким-то образом проникнуться к нему доверием.

ГОЛУБЕВ. А если бы я ему не доверял? Что это изменило бы? Мы все были обречены. Все, кто имел какое-то отношение к строительству укреплений. Я доверял ситуации. А ситуация была удобна для побега. Это могло прийти в голову любому из нас. Шкаликов сообразил первым. А может быть, и не первым. Он первым рискнул заговорить об этом с товарищами. Наша бригада расчищала железнодорожные пути на больших станциях. Все было в завалах: обрушенные здания, провалы в стенах. Вокруг лес... В бригаде десять человек. Сопровождал нас немец лет пятидесяти пяти. В очках. Равнодушный. По-моему, он всего боялся. Десять человек могут уйти от одного автоматчика, когда кругом пожары, руины, обвалы. Шкаликов предложил бежать. Он предложил мне первому напасть на немца.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему именно вам?

ГОЛУБЕВ. Не знаю... Власьев присоединился к нам в самую последнюю минуту. Заранее с ним Шкаликов не сговаривался.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кто-нибудь собирался бежать с вами из вашей бригады?

ГОЛУБЕВ. Собирались...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему никто с вами больше не ушел? Вас ушло из десяти только четверо...

ГОЛУБЕВ. На этот вопрос ответить невозможно... Почему мы раньше не пытались бежать? Куда бежать? В лес? А дальше? Начнут искать... К кому мы обратимся в чужой стране? Кто нас скроет?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Но вы все же бежали!

ГОЛУБЕВ. Бежали... Нас могли выдать в первой же деревне. Нас не выдали.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы скрывались на хуторе?

ГОЛУБЕВ. В подполе у хозяйки. Крестьянка. Она нас скрыла.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я прошу поподробнее рассказать, как все-таки был осуществлен побег.

ГОЛУБЕВ. Я и Шкаликов напали на автоматчика. Шкаликов сбил у него с глаз очки, я вырвал автомат и застрелил его, чтобы не поднял шума. Побежали... Но не в лес... В лес сразу нельзя. Хватятся, с собаками найдут. Мы скрылись под обломками. Огляделись. Оказалось, нас четверо... Я, Шкаликов, Раскольцев и Власьев.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что случилось с вашими товарищами?

ГОЛУБЕВ. Мы слышали выстрелы...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Мы имеем данные, что их тут же расстреляли.

ГОЛУБЕВ. Это мы могли предполагать... Но каждый из них мог бежать в ту минуту так же, как бежали и мы. Под обломками нас не нашли. Мы слышали собачий лай. На камнях собаки не взяли следа. Ночью опять бомбили наши. Все, что удалось за день немцам расчистить, все было вновь разбито и разбросано. Ночь и следующий день мы сидели под обломками. В тот день немцы не выгоняли наших на работу. Ночью мы двинулись в лес. Шел мокрый снег с дождем. Это удача. Шли на запад. Так нам казалось надежнее. Вел Шкаликов. Он сказал, что у одного поляка разузнал дорогу к хуторам. Там мы надеялись выпросить какой-нибудь еды.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вам не говорил Шкаликов, у какого поляка он расспрашивал дорогу?

ГОЛУБЕВ. Я не спрашивал... Мне было все равно. Поляков в лагере было много. Их тоже заставляли работать на укреплениях.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кто пошел на хутор?

ГОЛУБЕВ. Шкаликов...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Почему именно он? Он знал немецкий или польский язык?

ГОЛУБЕВ. Немецкий язык знал у нас один Раскольцев. А что было делать с немецким языком? Мы шли к полякам.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Но почему пошел на хутор именно Шкаликов? Он что, очень смелый человек?

ГОЛУБЕВ. Наверное, не из трусливых! Мы оставались в лесу. Если бы он на хуторе наткнулся на немцев, ему спасения не было бы! У нас оставались какие-то шансы. У меня был автомат.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Герой ваш Шкаликов?!

ГОЛУБЕВ. В герои мы не годимся. Жизнь... Она живуча... Цепляется и за голый камень. Вы видели когда-нибудь березки, растущие на голом камне, на кирпичной стене? За что она держится, куда пускает корни? А? Он долго пропадал. Вернулся, сказал, что можно идти.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Он объяснил вам, почему вас решила скрыть эта полька?

ГОЛУБЕВ. Объяснил... Она считала, что скоро придет Красная Армия. Она спросила, кто с ним. Он рассказал.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы с хозяйкой общались?

ГОЛУБЕВ. Нет! Я все время сидел в подполе. К ней выходил по ночам Раскольцев. Он ей понравился... Молодой, холостой. Бойкий он был парень. Студент...»

В показаниях Голубева меня заинтересовала одна фраза. Это ответ на вопрос следователя, смелый ли человек Шкаликов. Голубев ответил: «Наверное, не из трусливых». Он был вообще очень сдержан в своих оценках и, я сказал бы, даже скромен. Голубев представал передо мной человеком правдивым. В логике этого характера и его судьба. Он добился возвращения в строй. Сражался. Был тяжело ранен в боях на Магнушевском плацдарме, где несколько дивизий 8-й гвардейской сдерживали удар немецкой танковой группы. Ранение было тяжелым. Он два года провел на госпитальной койке и умер в сорок седьмом году.

Стало быть, Шкаликов «не из трусливых». Что же с ним случилось, когда он вернулся домой? Не таким нам его обрисовала его собственная жена. «Боялся он»,— говорила она. Даже если что-то и было, чего он мог опасаться, зачем двойные ставни? Ночи не спал... И смело пошел один на хутор. Сам вызвался. Любой из четырех мог пойти. Пошел он...

Несколько иным, чем обрисовала его Клавдия Ивановна, представал он и из допроса.

«СЛЕДОВАТЕЛЬ. Расскажите, Шкаликов, как вы попали в плен?

ШКАЛИКОВ. Попал, и все... Как и все тогда попадали. Меня ранило, другие и без ранений сдавались... Сила перла. Растерялись. А тут крики, минометы бьют... Окружение...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Решили, что Красной Армии конец?

ШКАЛИКОВ. Про Красную Армию какой разговор! Про себя решил, что конец! Настает такая минута, гражданин начальник...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я не начальник!

ШКАЛИКОВ. Извиняйте! Привычка лагерная, каждого начальником звать, кто без номера на спине.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Куда были ранены?

ШКАЛИКОВ. В плечо. Поглядите! Кровью в поле истекал, они подняли — и в колонну... Как в колонну попал, так и пошло... Никуда не отобьешься.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. В каких были лагерях?

ШКАЛИКОВ. Во всяких... Все разве упомнишь? Далеко меня не загоняли. В Белоруссии, потом в Польше...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Что делали в лагерях?

ШКАЛИКОВ. Все, что и другие... Работал. Лес валил, дороги мостил, насыпи ремонтировал. В каменоломнях камни выбивал. Так и жили... Жрать-то надо было. Не работал бы — с голоду сдох. И без того кожа да кости остались... А тут подвернулось бежать... И нельзя было не бежать. Знали мы много. Крепости строили, подземные заводы. Все равно нас уничтожили бы...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Группу возглавили?

ШКАЛИКОВ. Чего же ее возглавлять? Сказал одному, другому. Вижу: не предадут, сами все смерти в глаза глядят. Не предали...»

Бойко отвечал, с налетом даже какой-то пренебрежительности к себе и к следователю. Так держат себя люди, уверенные в своей правоте, или те, кто разыгрывает эту уверенность...

Очень уж облегченно выглядел в рассказе Шкаликова весь побег, от начала и до конца. Так вот, запросто доверился совершенно незнакомым людям в лагере, где все было пронизано агентурой гестапо. И не мудрено, военнопленные этого лагеря работали на немецких военных объектах первой важности. Правда, удачно смягчала все обстановка, в которой совершался побег. Немцам, и в особенности гестаповцам, тогда было уже не до военнопленных. Расчистка завалов при бомбардировке. И тут все сходилось. Пришлось поднять некоторые архивные материалы в Министерстве обороны. Да, действительно, накануне Нового года, когда союзникам приходилось трудно в Арденнах, наша авиация усилила налеты на железнодорожные узлы. И подслеповатый конвоир... Скорее всего, из фолькштурма — тогда Гитлер ставил под ружье всех, кто мог стоять на ногах. И именно Шкаликов сбил у конвоира очки, а Голубев пристрелил. Мог стрелять и Шкаликов. Но тогда совсем герой, а кто-то умный очень осторожно раскладывал весь этот пасьянс. Почти герой, да не герой... И налеты, и завалы, и полька... Искала хозяина, земледельца. Без мужика в доме какое же хозяйство? Она много знала, эта полька... Прошло более двадцати лет. Где же ее найдешь? Так почему же старший лейтенант Колобков не встретился с этой польской крестьянкой и не спросил ее? Она была тогда на месте, недалеко. От нее очень многое зависело в этом побеге, побег мог бы окончиться трагически. Она прятала их, рискуя жизнью.

Продолжение следует.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

Ф. ШАХМАГОНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. БЛИОХА.

4

Искать Шкаликова...

С чего начинать? Ну, конечно же, выписали прежде всего названия городов, станций, поселков, откуда шли Клавдии Ивановне переводы. И выходило, что Шкаликов только тем и занимался, что следы свои запутывал, все пятнадцать лет провел на колесах. Пятнадцать лет! И каждый месяц — перевод. Сто восемьдесят переводов из разных мест. И что особенно удивительно... Идет денежный перевод из Волгограда в Верею. Это в январе. В феврале в тех же примерно числах перевод отправлен из Ташкента. В марте — из Баку, в апреле — из Егорьевска, в мае — из Новороссийска, в июне — из Москвы, а в июле — из Владивостока. В этом перечислении каких только городов не было!

Собрались у меня в отделе на совещание. О Василии Михайловиче Снеткове я уже говорил. Он включился в расследование и в поиски Шкаликова с первой минуты, как только все это у нас возникло. Григорий Иванович Волония фамилии. Ничего не значат эти фамилии. Любую поставить можно. Но я нашел десяток схожих почерков. Считайте, что десяток переводов сделан одним и тем же почерком. Ни один из этих почерков Шкаликову не принадлежит. Значит, делали переводы многие и многие люди по его просьбе! В этот круговорот втянуто более сотни людей!

— Что же вы думаете делать?— спросил я наконец Сретенцева, догадываясь, что какое-то предположение у него есть и не очень-то он уверен в нем.

Прежде всего Сретенцев предложил подумать вот о чем... Шкаликов слал не письма, а деньги. Так-то уж первому встречному он и доверял? Проверить же, получила ли его жена перевод, он не мог... Стало быть, доверяя деньги, он должен был как-то подстраховываться возможностью встретиться с тем, кто делал перевод.

— Поставим вопрос так,— после установившегося было молчания заговорил я.— По какому принципу отбирал Шкаликов своих «первых встречных»? По внешности, по глазам, из бесед, что ли, он устанавливал, что перед ним честный человек?

— Все эти категории ненадежны! Он делал переводы через проводников пассажирских вагонов и товарных поездов. Я остановился бы на этом варианте!

Понравился этот вариант и Василию. Он оживился.

— Конечно, проводники! Через проводников! Всегда остается возможность проверить, сделан ли перевод. Подгадает, когда приходит поезд, встретит... И проводник знает, что отправителю он известен, и никуда не денется!

Сретенцев попросил две карты железных дорог страны и положил их рядом.

— Вы согласились, товарищ полковник,— начал он,— что мы можем поискать закономерность в этих переводах. Я отбросил все непонятные отклонения... На сто восемьдесят переводов да еще при такой системе могли быть и всякие неожиданности. Если отбросить исключения, хотя их немало, мы вдруг увидим...

Сретенцев начал перечислять по одному из своих списков города и железнодорожные станции. Он попросил Василия отмечать эти пункты отправления переводов на карте красным карандашом. Они находились в разных частях страны, и сначала мы не могли уловить в этом их перечислении ничего любопытного. Но вот города и станции начали повторяться. Один за другим пункты отправления переводов как бы нанизывались на невидимую ось. По просьбе Сретенцева на мой стол лег железнодорожный справочник движения пассажирских и товарных поездов. Я отодвинул справочник.

— Здесь долго копаться! Вывод?

— Все эти города,— продолжал Сретенцев, внимательно глядя на меня,— связаны одним железнодорожным узлом... Василий Михайлович, проследите по карте, где этот железнодорожный узел... Прочертите красным карандашом...

Легла одна линия, вторая, третья. Еще и еще линии, и все они скрестились в Рязани.

— Рязанский узел! — воскликнул Василий.— Но это же все можно разбрасывать и из Москвы. Москва — тоже центр пересечений!

— Справедливо! — немедленно согласился Сретенцев.— Вот тут нам должны помочь исключения... За пятнадцать лет определилась одна странность! Десять переводов пришли с железнодорожных станций... И все десять — весной. Апрель... Иногда в марте... И все десять переводов из Рязанской области... Словно бы какое-то препятствие вставало перед Шкаликовым, и он не мог попасть в Рязань... Словно стена перед ним вырастала!

— Весной? — переспросил Василий.

— Весной...

Сретенцев начал зачитывать пункты отправления весенних переводов. Василий наносил их на карту. Десять наименований на пятнадцать лет...

Василий отметил последний пункт, и все определилось. Все десять переводов ушли с левого берега Оки. Весенний разлив!

Сретенцев поставил точку:

— Мостов через Оку, действующих во время разлива в Рязанской области, нет!

Итак, сто тринадцать переводов оказались связанными между собой рязанским железнодорожным узлом, десять пришли с левого берега реки — из Рязанской области, остальные шли вразбивку, не предусмотренные никакими путями сообщения. За мной оставалось последнее слово. Никто из присутствующих гипотезу Сретенцева не отвергал.

Можно было предположить, что площадку для поисков Шкаликова, необозримую и безграничную, мы сузили до масштабов области. И не только области: левобережья Оки в области... Все же легче. Это не вся страна... Но и здесь, конечно, могли быть неожиданности.

Всех нас волновал, конечно, и незнакомец, этот неожиданный ночной гость. Он тоже искал Шкаликова. Искал своими путями. Одно было известно: если он ищет Шкаликова, то не сличением квитанций от переводов. Какой же поиск короче? Кто найдет Шкаликова быстрее, если он все же его ищет? Сколько могло оказаться жителей в левобережье Рязанской области? Сколько там городков и деревень, сколько глухих углов, где может затаиться этот Шкаликов?

Решили так. Василий поедет в Рязань, попросит помощи в областном управлении Комитета государственной безопасности и выйдет

Продолжение. См. «Огонек» № 30.

ков, подполковник, обычно занимался у нас разработкой документов, изучением архивных материалов. Он поднял протоколы Колобкова, искал и другие документы. Немалая работа. Архивы разбросаны по стране, не сразу и определишь, что и в каком архиве искать. Подключил я опытного человека, майора Сретенцева. Он как раз и решал головоломку с переводами.

Попросили его доложить, как продвинулось разрешение головоломки.

— Закономерность пока не обнаружена! — коротко доложил он.

— Вариант железнодорожного проводника?— спросил я его.

— Проводник...— начал он раздумчиво.— Я вас понимаю! И проводник при таких условиях — иголка в сене...

Но эта версия слишком на поверхности... Проводник — это железная дорога. Фотография Шкаликова у нас есть... Разослали бы по управлениям кадров всех железных дорог, немоторое время спустя он и обнаружился бы! Много их, проводников, но это все же была бы надежная ниточка. Отправной момент, что ли... Не проводник он! Спрятался в глухой угол, сидит смирно.

— Хорошенькое «смирно»! Каждый месяц из разных городов весточку подает. Когда только успевает?

— Один человек этого сделать не может! — заключил Сретенцев.

— И два не могут!— заметил Волоков.

— Как сообщаются между собой все точки отправления? — спросил я Сретенцева.

— Все до одной? — переспросил он.

— Да!

— Всяко сообщаются! — ответил он.— И железными дорогами они между собой связаны, и аэролиниями, и водой...

— Вы хотите сказать, что железнодорожный узел отпадает?

Сретенцев поднял глаза, мы встретились взглядами. Вижу, тяжело ему. Не нашел точки опоры. И понимает, что торопиться надо.

— Все годится, товарищ полковник! И железнодорожный узел и аэродром... С водными путями полегче. На сто восемьдесят переводов пустяк... Важен здесь принцип: не откуда шли переводы, а кто их делал. Зацепиться не за что! Разные стоят на квитанциях отправления станции. В Рязани две железнодорожные станции: Рязань-I и Рязань-II. На станциях, в проходящих поездах, он мог опрашивать проводников, не делал ли кто через них денежные переводы. Мы снабдили Василия фотографиями Шкаликова.

Сретенцеву тоже надо было ехать в Рязань и искать Шкаликова с рязанскими товарищами, искать на левобережье какую-то закономерность в возможных передвижениях отправителя переводов. Именно отправителя. Никто нам еще не дал гарантии, что переводы из Рязанской области Шкаликов отправлял самолично.

Уехали...

5

Волоков между тем нашел Расмольцева и Власьева.

Николай Павлович Власьев обнаружился в Сибири. Далеко же он забрался! Когда посмотрел я справку, что-то дрогнуло у меня. Село Третьяки. Есть у Оби приток Чулым. Это таежная река. Редко на ней встретится городок, не чаще и деревня. У Чулыма тоже немало притоков. Есть и приток Чичкаюл. Кучумово царство... Уходит дремотная история этих мест в глубь веков, во времена покорения Сибири. Чичкаюл тоже таежная река. На иной карте не отмечено на этой реке ни одного жилья. Но жилые места есть, и там обживались русские люди. Село Третьяки... На берегу Чичкаюла. На сто верст вокруг нет ни одного человеческого жилья. А в полутораста верстах стоит большое село Зимовское...

На дороге от Третьяков на Зимовское я родился. Отец мой, Алексей Федорович Дубровин, отбывал в Третьяках царскую ссылку. Мать приехала к нему на правах вольной поселенки.

Настало время появиться мне на свет. Урядник запретил ссыльному «за политику» сопровождать роженицу. Повез мою мать на лошади к фельдшеру хозяйский сынишка. Было тогда Мише Проворову пятнадцать лет. Положил мальчишка в сани берданку от лихой и неурочной встречи с серыми хозяевами леса, завернули мать в тулупы, заложили сеном, чтобы не замерзла.

Миша Проворов... Он стал близким человеком

в нашем доме. Я его помню, да и как не помнить? Он стал одним из первых наших чекистов, провожал меня накануне войны в первый путь, готовил к забросу на нелегальное положение в Германию.

Третьяки... Много раз я собирался съездить на свою родину...

Власьев Николай Павлович был в Третьяках председателем большого животноводческого колхоза. Вернулся туда сразу после плена. Отлежался, отдохнул... Выбрали председателем. В конце пятидесятых годов ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

...Раскольцев был рядом. Врач с обширной частной практикой, специалист по сердечным заболеваниям. До войны он успел окончить первый курс медицинского института. Вернулся, поступил на второй курс. Окончил институт с отличием. Был направлен в одну из московских клиник, работал ординатором у известного специалиста. От него частично и унаследовал практику.

Шкаликов прятался за закрытыми ставнями, Раскольцев и Власьев не прятались, жили на виду, и даже очень на виду. Так кому же отдать предпочтение, кому мы могли бы поверить?

Но лишь только мы именно так поставили вопрос, как поняли, что он бессмыслен, не говоря о том, что и неправомерен. Вопрос о доверии к тому или другому мог встать только после встречи с ними.

Тогда мы поставили вопрос несколько иначе. К кому безопаснее обратиться, исходя из интересов дела?

Предположим, что тот, кто ищет Шкаликова, пришел бы в своих поисках к Раскольцеву или к Власьеву. Как бы выглядел этот приход?

Раскольцев — врач. Он принимает в клинике и у себя на даче. Частная практика. У него есть квартира в Москве, но на квартире он не принимает больных. Квартира невелика. Дача в двадцати минутах езды на электричке от Москвы. Там он ведет прием. К нему приезжают каждый день.

Встреча его с таким вот посланцем, который навестил Шкаликовых, могла пройти незамеченной. А если бы этот незнакомец поехал к Власьеву?

До Томска он мог доехать на поезде или долететь на самолете. А от Томска до Чичкаюла? Там ему пришлось бы пересесть на самолет местной авиалинии или плыть на пароходе. На пароходе долго... На самолете. Самолет местной авиалинии, это уже только десять пассажиров. Каждый новый человек приметен и остается в памяти. На этом перегоне, не доезжая до Третьяков, мы уже обнаружили бы следы незнакомца.

Но это еще только часть пути. В Третьяки рейсовые самолеты не летают. От последнего аэродрома местного значения до Третьяков около двухсот километров. Двести километров лесной дорогой.

...И вот прыжок на самолете до Зимовского — и мы на последнем до Третьяков аэродроме. Здесь местные жители знали друг друга в лицо. Знали здесь все и Николая Павловича Власьева. Наш товарищ из областного управления без труда установил, что за весь год к Власьеву и в Третьяки ни один человек, сколько-нибудь похожий на посетителя Шкаликовой, не приезжал. И вообще не заезжал сюда никто из лиц неизвестных. Приезжали из областной газеты корреспонденты, работники обкома партии, приезжали работники разных областных организаций. Сам Власьев не выезжал из Третьяков с весны. Весной он был на совещании, которое собирал обком партии. А дальше — посевная, сейчас в разгаре сенокос. Не до поездок председателю колхоза. Я еще не решился встретиться с ним, как вдруг в Зимовском меня настиг телефонный звонок Василия...

6

Вернемся немного назад и посмотрим, что происходило на станциях Рязань-I и Рязань-II.

Василий несколько дней кряду выходил к поездам дальнего следования и опрашивал проводников. Не так-то это было легко.

Представиться по форме нельзя. Ему могли ничего не ответить, а Шкаликову сообщить, что им интересуются чекисты.

К станции Рязань-II подошел поезд Волгоград — Москва. Василий начал опрос с первого вагона. Шел от проводника к проводнику. Приглянулась ему проводница попроще и подобрее, угадал он общительный ее нрав.

— Скажите,— начал он,— вам никогда не приходилось делать денежные переводы?

Что и говорить, вопрос от незнакомого человека довольно удивительный и даже в какой-то степени нелепый. Но надо знать Василия. Очки, несколько растерянный и отрешенный вид. Проводница удивилась и переспросила:

— Переводы?

— Деньги по почте никогда не посылали?

— Посылала! А вам зачем знать? — сердито ответила проводница, но любопытство взяло верх, и ей уже хотелось знать, почему ее об этом спрашивают.

А Василию того и нужно было — удивить, а затем и разговориться...

— Свои или чужие? — вновь спросил он.

Это уже было совсем удивительно.

— Это зачем же чужие? А кто вы такой?

Василий снял очки, и сразу беспомощным, наивным сделался весь его облик.

— Да вот тут...— заговорил он невнятной скороговоркой.— Отца разыскиваю... Ушел из дома... А деньги посылал, пока я рос. Да все под чужими фамилиями посылал, незнамо откуда! Мать не искала его... Я хочу найти, отец все же!

В точку попал.

— Вот оно что! — воскликнула проводница.— Слыхала я что-то! Беги в десятый! Спросишь Пчелкина!

Василию пришлось действительно бежать. Поезд стоит недолго. Пчелкина упустить никак нельзя.

У десятого вагона беседовали два проводника.

— Кто из вас Пчелкин? — спросил, подбегая, Василий.

— Ну, я! — ответил проводник постарше.

— Мне на вас из третьего вагона указали...

— Семечки, что ли, покупаешь? — спросил в ответ Пчелкин.

— Нет, не семечки.. Отца разыскиваю!

Пчелкин оказался человеком не без юмора. Он тут же ответил:

— Я детей не терял!

Смех — великое дело. Рассмеялись Пчелкин и его товарищ, и все стало близким и возможным, холодок отчужденности при встрече незнакомых людей растаял. Василий, как бы оправдываясь за свое неудачное обращение, объяснил:

— Ушел из дома... Отец ушел... Пятнадцать лет посылал мне деньги, пока рос, и никак не объявлялся! То из Баку, то из Волгограда, то из Арчеды... Мать не искала его! Я ищу! Все же мне-то он отец родной...

Пчелкин снисходительно улыбнулся.

— Знаю я твоего отца!

На встречный путь в это время подошел поезд из Москвы. Итак, в Москву поезд шел из Волгограда, а из Москвы — в Баку.

Пчелкин отвлекся, высматривая знакомых проводников. На платформу высыпали пассажиры. Кто совсем приехал, кто вышел прогуляться.

— Знаю, знаю я его...— продолжал Пчелкин.— Он даже мне фамилию свою называл... Запамятовал.

Василий, как и Пчелкин, оглянулся на проходящих мимо пассажиров. Прямо на него, в сером костюме, в зеркальных очках и в соломенной шляпе, шел человек, удивительно схожий с тем, которого нарисовала дочка Шкаликова, чей словесный портрет попытались перенести на бумагу наши специалисты. Василий, как говорят, не поверил своим глазам: в такую минуту всякое могло привидеться. И он пропустил гражданина мимо.

— Знаю я твоего отца! — твердо заявил Пчелкин.— Посылал я деньги по его просьбе. Он мне и фамилию свою называл...

Василий оглянулся на человека, похожего на посетителя Шкаликовой. Тот отошел уже достаточно.

— Прибытков, Прибыткин, Прибылков...— вспоминал проводник.— Он все выпить уговаривал. А мне нельзя, я на должности... Сунул в карман мне бутылку.

Василий стиснул зубы. Вот сейчас здесь будет поставлена точка. Как он его может упустить, этого незнакомца? И путь к нему короче, чем от проводника к Шкаликову. А Пчелкин говорил и говорил, не называя главного:

— Он здесь где-то неподалеку живет... Постой-ка! Он говорил, что у него дочь, а не сын...

— Так он же, наверное, нарочно так говорил! — нашелся Василий.— Скрывался — вот и говорил...

— Притыков! — воскликнул проводник.— Герасим Иванович! Точно! Каждое второе число он здесь на платформе появляется.. Найдешь?

— Спасибо! — воскликнул Василий и нырнул в поток пассажиров, не упуская из вида поразившего его человека.

— Постой! Погоди! — крикнул ему вслед удивленный Пчелкин.

Может быть, этот возглас сыграл роль, а скорее всего таков был принцип у Сальге — он вдруг поднялся в вагон. Сразу за ним в тот же вагон подниматься было нельзя. Это все и сразу провалить, обнаружить, что за ним слежка. Василий остановился возле проводника соседнего вагона. Площадки вагонов соседствовали.

— Места есть? — спросил Василий, чтобы как-то завязать разговор.

— Есть места! Есть! — воскликнул проводник.— Куда ехать?

В этой спешке выпали из памяти у Василия все промежуточные станции.

— В Баку! — ответил он.

— В Баку! Надо билет, братон, взять! Беги! Поезд еще постоит.

Надо отходить, больше здесь делать нечего. Василий сделал два шага к тому тамбуру, в котором скрылся Сальге. Дверь была открыта и на другой стороне тамбура. Василий поднялся и заглянул внутрь вагона. В коридоре стояли несколько пассажиров. Так вот просто и без билета в «мягкий» вагон не сядешь. Осторожно, не сразу высовываясь, Василий поглядел на платформу с другой стороны поезда. У самых вагонов кое-где стояли пассажиры этого поезда. Вышли поразмяться. «Его» не было видно. Здесь тамбур был открыт на две стороны, так могло быть и в других вагонах. Василий опустился на ту платформу, по которой шли пассажиры на переход через пути. И на этой платформе его не было.

«Если бы это не «он», не исчез бы!» — так рассудил Василий.

По междугородным телефонным проводам он начал поиски и нашел меня в Зимовском.

Доклад был лаконичен.

— Говорю из Рязани! На нашего «друга» вышел... Известна фамилия... Видел незнакомца... Ушел! Он тоже ищет!

— Поспешите! — приказал я Василию.— Берегите нашего «друга»!..

Итак, вот он и Власьев. Сталинградец, гвардеец... Тот, кто выдержал сталинградскую оборону...

Невысок он ростом, сибиряки больше в кость раздаются. Легко спрыгнул с коня, провел пальцами по усам, стряхивая пыль, и к нам. Мы его в правлении ждали.

Твердая поступь, не смягчилась солдатская выправка. Окинул нас коротким взглядом из-под седых, надвинувшихся на глаза бровей. Поздоровались... Сел за свой стол, еще раз посмотрел на нас. Томский товарищ и Волоков вышли. Мы остались вдвоем. Таиться было нечего. Я представился. Он удивился.

— Полковник? Из Москвы? Что же такое стряслось? Далекие наши края. Не говорю — глухие: нет глухих мест, где человек живет... Однако даление.

Он еще раз взглянул на мое удостоверение.

— Дубровин? Алексеевич! У нас тут знают Алексея Федоровича Дубровина...

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Алексей Федорович — мой отец...

— Взглянуть, значит, решили, где он жил?

— И это... Но еще и дела... К вам просьба, Николай Павлович! Разговор должен остаться между нами...

— Такое уж у вас учреждение. Понимаю... Так что же? Не плен ли вспомнить приехали?

— Плен...

Власьев сдержанно вздохнул.

— Много раз вспоминать приходилось! Забыть и сам не забудешь...

— Вам что-нибудь может подсказать из далекого прошлого фамилия Шкаликов?

— Как не может! Обязательно даже может! Только что же покойника вспоминать?

— Покойника? Откуда у вас такая уверенность, что он умер?

— Как меня председателем выбрали, написал ему письмо... Знаю... По себе... Трудно нам было, кто в плену побывал. А мне люди нужны. Приглашал его работать в колхоз. Жена ответила: умер, деснать!

— Жив Шкаликов...

— Жив? Удивляться не хочу! Всякое может быть... Фокус, конечно, занятный! Но плохого вы от меня о нем не услышите! Жизнь он мне спас!

— Вы что же, без него не решились бы на побег?

— Побег? Оттуда? Из немецкого лагеря? Каждый час о побеге думал! И не я один! Только бежать некуда! Далеко не убежишь! Так хоть надежда какая, свои вот-вот придут! А побег — это очередь из автомата!

— Вас выводили на работы... Это было за пределами лагеря. Завалы, разрушения...

— Протокол нашего допроса, я вижу, вы изучили, Никита Алексеевич! Сохранился?

— Сохранился...

— Со Шкаликовым не беседовали?

— Ищем, чтобы побеседовать!

— Нового он вам ничего не расскажет! Бесполезно! Хотя придется объяснять, зачем умер!

Власьев грустно усмехнулся.

— Выжил я, товарищ полковник, потому, что умел молчать. Разные там и всякие подворачивались с разговорами о побеге... Может, кто и искренне искал попутчиков, а чаще — от лагерного начальства проверку делали... Игру такую любили. Сколотит провокатор группу для побега, соберутся. Немцы даже помогут. Только из лагеря долой — они следом... И весело, и начальству реляция: вот, дескать, какие мы молодцы ребята! Никто от нас уйти не в силах! Так и говорили: оставь надежды, всян сюда входящий! Это чтобы у нас надежды не оставалось... Шкаликова откуда-то перевели. Шальной он, что ли, или испугался, что из нашего лагеря уже никуда и не переведут. Он прямо, в открытую предлагал всякому и каждому: бежим, и все тут!

— На этот раз вы не испугались, что это провокация?

— Я опять же ничего ему не ответил... Завалы, обвалы там всякие... Это все несущественно... Шкаликов сбил очки у солдата, тот растерялся, и Голубев вырвал у него автомат. Как застрелили фашиста, я сразу и решил: можно бежать! Если Шкаликов — провокатор, то и ему беда! Не простят! И в побеге он не выдаст...

— Вы этого не рассказывали на допросе...

— А если Шкаликов не провокатор, а просто отчаянный малый? А? Загубил бы я его таким предположением! Потому и не рассказывал...

— Почему именно он пошел на хутор договариваться? Голубев считает, что по своей смелости...

— Голубев доходил... Он обессилел от голода... Куда ему идти? Раскольцев сам не спешил... Я так считал: если Шкаликов — провокатор, зачем тогда ему в хуторе с немцами советоваться, заранее бы сказали ему, в каком месте будут они нас ожидать в засаде. Вызвался идти, пусть идет.

— Ну и как сейчас вы считаете? Провокатор он или нет?

— Никак не считаю... Не знаю! Всем, чем могу помочь, помог бы ему оправдаться!

— Помогите! Почему вы решили, что мы обязательно хотим его в чем-то обвинить? Во всяком расследовании всегда есть две стороны. Я тоже был бы рад, если бы он оказался честным человеком. Может быть, так оно и есть... Человек он сложный...

— Мне он там особо сложным не показался... Говорю, скорее шальным! Так я его для себя и объясняю... А этот фокус с тем, что он вроде бы как умер, объяснить не могу! Не виделись с той самой поры, как к следователю из особого отдела ходили...

...Все, однако, смешалось в моем повествовании. Но вернемся на аэровокзал.

...Нейхольд дождался своего гостя. Вот его приезд для нас был неожиданностью.

Я уже уехал с аэровокзала, собирался уходить домой. Доложили, что Иоахим Пайпер, он же Сальге, никуда не заезжал. Проехал в гостиницу, взял номер и спустился обедать в ресторан. О шофере такси, который, как видно, специально за ним приезжал в аэропорт, дали мне справку. Юрий Александрович Гамузов. Шофер 2-го класса. На такси работает два года. Беспартийный. Семейный: жена, двое детей. Замечаний по работе не имел. Отличный специалист. Живет под Москвой, на станции Томилино. Я попросил товарищей заняться Гамузовым.

В это время позвонили с аэродрома и доложили: прибыл господин Эдвардс. Прибыл под чужим именем...

Это уже было похоже на мистификацию. Пять лет тому назад полковник одной из иностранных разведывательных служб приезжал сюда туристом. В туристской карте указывалось и место его работы. Как же он мог решиться приехать под чужим именем? К туристской карте прикладываются обычно фотографии. Пять лет не такой уж срок, чтобы человек мог измениться до неузнаваемости. В туристской карте есть и подпись Эдвардса. Не мог за эти годы измениться и почерк. Правда, подпись за него там, в его стране, мог поставить кто-то другой. Сличение фотографии с оригиналом... Как он этого собирается избежать? Рассчитывает, что первый его приезд остался незамеченным? Или это еще более тонкая игра?

Наш интерес ко всей этой истории возник, как мы видели, с визита нынешнего Иоахима Пайпера к Шкаликовой...

Эдвардс посетил нашу страну несколько ранее. Турист, да еще в группе. Он ходил по музеям, по выставкам, осматривал достопримечательности Ленинграда и Москвы. Обычный туристический маршрут. Ходить по пятам за ним мы тогда не имели никаких оснований. Позже стало известно...

Пойдем, однако, по порядку.

Жил-был художник-реставратор Евгений Прокофьевич Казанский.

Евгений учился в Суриковском институте, но разошелся с профессурой в оценке своих работ. Не приняли его «самовыражения». Таких «самовыраженцев» в художественной среде всегда больше, чем талантов. Однако Казанский, порвав с институтом, освоил ремесло реставратора. Реставрация тоже искусство, но терпит она на второстепенных ролях и ремесленников, достаточно, конечно, искусных. Для того, чтобы платили деньги, надо было овладеть ремеслом. Евгений им овладел...

В мастерской он расчищал древние иконы.

В его мастерскую, которую он разместил в гараже своего друга на окраине Москвы, привели однажды корреспондента иностранной газеты господина Нейхольда.

Нейхольд, конечно, сразу оценил, с кем он имеет дело.

Очередная корреспонденция в газету. А дальше? Дальше видно будет. Как на все это отреагирует Казанский? Через реставратора можно что-нибудь купить из модной так теперь древней живописи.

Опять же все это осталось бы мелкой авантюрой, и только.

Черный рынок, какой бы там товар ни шел, всегда привлекал внимание разведок. Торговля иконами из-под полы, сопутствующие этому валютные сделки и есть та самая мутная водица, в которой рыбку ловить!

Статья на Западе обрадовала Казанского. С легкостью необыкновенной он аплодисменты врагов принял за международное признание.

Нейхольд купил у него несколько картин. Расплатился щедро. Сделка была совершена без нарушения закона. Нейхольд заплатил советскими деньгами. Казанский купил кооперативную квартиру и оборудовал ее под мастерскую.

Нейхольд привел к нему в дом своих коллег. Евгений Прокофьевич быстро усвоил, что́ производит впечатление на западного человека. Ему и невдомек было, что «впечатление» наигрывалось.

Он расставил по стенам огромные иконы в сияющих бронзовых ризах, которые за полной ненадобностью отказывались брать музеи, расписал потолки библейскими сюжетами на тему Страшного суда. В большой комнате с потолка на посетителей глядел огромный немигающий синий глаз, в зрачке отражался человек без головы.

Примерно к этому времени он отпустил густую черную бороду.

Дальше все шло по схеме: Нейхольд изъявил желание купить у него новую картину. Художник уже входил во вкус своей славы на Западе. За картину он заломил несуразную сумму. Нейхольд замялся. Казанский решил не уступать. Тогда Нейхольд объяснил «сомнения». Он купил бы. Но сумма велика! Она и не велика, но... Словом, Нейхольд разъяснил, что на эту сумму он должен обменять доллары в банке. По официальному курсу. Если Казанский согласился бы взять долларами, ему, Нейхольду, было бы легче. Они могли бы сделать пересчет стоимости на доллары по курсу черного рынка. Нейхольд просил засчитать ему доллар за три рубля.

Сделка была для Евгения Прокофьевича фантастически выгодной. Он взял доллары и этим нарушил закон о валютных операциях.

Доллары Казанский пристроил по пять рублей за один.

Он купил «Москвич» по доверенности. Побаивался все же, что кто-то заинтересуется, на какие деньги купил машину скромный реставратор.

Нейхольд, как нарочно, интереса к его картинам больше не проявлял. Не покупал. Казанский намекнул ему, что они могли бы повторить комбинацию. Нейхольд пожаловался, что терпит затруднения с деньгами... Но вот его друзья, люди очень богатые, хотели бы приобрести старинную икону... Хорошую икону. Не классику, конечно, но чтобы это была работа настоящих мастеров иконописи. Нашлась и икона в коллекции Казанского. Сделка состоялась через Нейхольда. Казанский опять сбыл доллары. Еще икона. Еще и еще...

Сделал Нейхольд и особый заказ. Попросил для клиента, миллионера, икону пятнадцатого или шестнадцатого века, из круга больших мастеров. Казанский объяснил, что такого рода иконы — большая редкость, но Нейхольд продолжал уговаривать Евгения. В его уговорах проскользнула даже подсказка... Что, дескать, миллионер в древней живописи не специалист, а Казанский — такой мастер-реставратор...

И вот с одной из старых, но утраченных икон он снял паволоку. Наклеил на доску. Изготовил левкас и выбрал сюжет...

Время шло...

Нейхольд привез Эдвардса. Встреча льва с котенком.

Изобразить миллионера Эдвардсу не составило труда. Он осмотрел мастерскую, картины Казанского, иконы. Восторгов не выражал, он был весь «нетерпение»...

Казанский, в душе все же робея, положил на стол свою подделку.

— О-о-о! — воскликнул Эдвардс и посмотрел выразительно на Нейхольда.

Нейхольд на немой вопрос ответил легким кивком головы. Казанский мог оценить, что западный друг блюдет его интересы.

Эдвардс лениво опустил руку в боковой карман и извлек оттуда бумажник. Двумя пальцами вытащил из бумажника пачку стодолларовых купюр и небрежно бросил ее на стол.

Нейхольд подвинул пачку Казанскому.

— Здесь тысяча долларов, господин Казанский! — сказал он.— Мой друг просит вас написать ему точное название сюжета иконы, обозначить школу и время исполнения... Желательно также знать ее происхождение...

— Пишите! — предложил Казанский.— Пишите, я продиктую...

Нейхольд отрицательно покачал головой.

— Моя запись, господин Казанский, ничего не стоит... Нужна ваша запись... И подпись... Это как заключение эксперта.

Просьба обеспокоила Казанского. Подпись, заключение. На столе лежала зеленая пачка. Он давно имел заказ на такую сумму долларов от спекулянтов валютой. С другой стороны, чем могла грозить такая запись? К чему она относилась? Кому он ее дал? О чем она говорит?

Казанский написал фламастером на обратной стороне доски: «Иоанн Предтеча. Ангел пустыни. XVI век. Вывезена из Каргополя, Архангельской области. Предположительно новгородская школа. Е. Казанский».

Казанский не отказал себе в удовольствии небрежно, не считая, бросить доллары в ящик стола.

Столь же небрежно он предложил:

— Коньяк? Виски? Джин?

Сам того не ведая, он демонстрировал Эдвардсу выучку, которую прошел у Нейхольда.

Налили коньяк.

Евгений Прокофьевич оживился. Начал пояснять:

— Редчайший сюжет! Ваш друг, господин Нейхольд, останется доволен. Не всегда турист может похвастаться такой находкой...

— Находка стоит тысячу долларов! — заметил Нейхольд.

Казанский нашелся:

— У вас на Западе она стоит в десять раз дороже...

— Все может быть! — слегка насмешливо согласился Нейхольд.— Если нет ошибки и это действительно шестнадцатый век... Последнее время очень много ошибок, дорогой Евгений!

Тогда же Нейхольд пообещал встретить Казанского в Европе и познакомить с самыми известными художниками.

— Пора, пора, Евгений, выходить вам по-настоящему на международную арену! — воскликнул он.

А скоро Казанский купил путевку — туристический маршрут вокруг Европы. Выехал он

двумя месяцами ранее визита незнакомца к Шиаликовой.

Нейхольд сдержал слово. Они встретились в одном из крупных европейских городов. Нейхольд позвонил в гостиницу по телефону. И здесь Казанскому надо было бы задуматься, откуда у Нейхольда такая осведомленность. В городе группа советских туристов должна была пробыть всего лишь два дня.

Договорились по телефону, что Казанский ночью, когда его товарищи по группе лягут спать, выйдет к подъезду гостиницы.

Евгений вышел. К подъезду бесшумно подкатил черный, свернающий лаком «ситроен». Казанский быстро нырнул в машину, «ситроен» поплыл по улицам ночного города.

— Я рад вас видеть, Евгений, на свободной земле!— воскликнул Нейхольд.

Казанский промолчал. На этой земле, однако, у него уже было имя художника...

Нейхольд привез его на одну из конспиративных квартир полковника Эдвардса.

Эдвардс в России не знал русского языка. А тут он обратился к Казанскому на русском языке, и не без иронии:

— Коньяк? Джин? Виски? Лучшие сорта!

— Вы говорите по-русски?

Эдвардс живо ответил, и даже акцента не слышалось:

— Я коллекционирую русские иконы! Надо изучать русский язык!

Резким движением Эдвардс подвинул кресло.

Дальнейшее развернулось в стремительном темпе.

Эдвардс снял со стены икону, приобретенную у Казанского, и строго спросил:

— Это ваша икона?

Евгений взял икону из рук Эдвардса, провел по ее поверхности пальцами, перевернул доску. Эдвардс указал на надпись:

— Это звучит как утверждение! Именно ее я купил у вас за тысячу долларов? Не правда ли?

— Она самая...

— Я хотел бы, Евгений, расторгнуть сделку! Вашу икону осмотрели эксперты... Они признали ее подделкой! Когда я могу получить обратно мои доллары?

Не знал Казанский и другого: он продавал доллары валютчику, которого навел на него Нейхольд. Эдвардс совершенно точно знал, что его доллары уже давно ушли.

Вступил в разговор и Нейхольд.

Он сухим, деловым тоном проинформировал, что по законам той страны, где они находились, подделка произведения искусства каралась очень и очень сурово.

Казанский снял пиджак, часы с руки и предложил все это взять у него в залог. Эдвардс опять усадил его в кресло. Пошел главный разговор.

— Мы понимаем,— начал Эдвардс.— Художнику, чтобы стать известным, нужно много денег! Холсты, краски, представительство... Зачем же, Евгений, добывать деньги с таким риском? Продавать иконы за доллары! Это у вас в стране называется спекуляцией и нарушением валютных правил. Продавать подделку за подлинник... Это еще опасней! И еще опаснее продавать доллары!

Тогда, впрочем, делаю оговорку, этим намеком о продаже Казанским долларов Эдвардс и ограничился.

— Угроза... и обещание помочь? Как вас понимать?— спросил Казанский.

И Эдвардс сказал:

— Успокойтесь! Я предлагаю вам более простой и легкий способ заработать деньги! Много денег...

— Шпионаж?

Эдвардс насмешливо посмотрел на Казанского.

— Шпионаж — это профессия, господин Казанский... Вы художник! Я предлагаю вам маленький бизнес... К вам обратится человек, который попросит передать... Придется передать посылочку. Кому? Мы скажем в свое время... Абсолютно безопасно!

— Что я должен буду передать?

— Оставьте! Это менее опасно, чем торговать иконами...

— Коньяк, виски? — спросил насмешливо Нейхольд.

— Виски!— с сердцем ответил Казанский.

Тиски сжались. Он наконец почувствовал, что с ним играют, как кошка с мышкой, что этой силе, этому давлению он здесь ничего противопоставить не может!

Оставалась какая-то надежда затаиться и... Но и здесь Эдвардс отсекал ему пути.

— Мы не берем у вас подписки! Это нам не требуется. Я надеюсь, понимаете, что если нам понадобится, мы вас найдем! Теперь пароль... Его назовут вам... Вы знаете, что такое пароль?

Нейхольд взял со стола икону. Повертел ее в руках, как бы в раздумье проговорил:

— Ангел пустыни... Эффектно? И ошибки не будет! Кому в голову придет употребить такие слова?

— Для подтверждения: привет от Эдвардса!— добавил Эдвардс и встал, давая понять, что разговор закончен.

Казанский вернулся в Москву в растерянных чувствах. Но шло время. К нему никто не обращался.

И вот Эдвардс в Москве. Второй раз, пять лет спустя... Под чужим именем!

Продолжение следует.

Ф. ШАХМАГОНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. БЛИОХА.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

9

Я возвращался из Сибири в полной уверенности, что наши товарищи уже нашли Шкаликова. Ан нет! Герасима Ивановича Притыкова нигде не значилось. Мы сузили площадку левобережьем Оки. Всего лишь несколько отделений милиции.

В книгах прописки Притыкова не нашли. Товарищей начали одолевать сомнения. Он же мог назваться проводнику любым именем? Как же его искать? Василий, Сретенцев, товарищи из областного управления разъехались по отделениям милиции и опрашивали участковых, показывая им фотографии Шкаликова.

И вот он! Один из участковых довольно удаленного от областного центра отделения милиции признал по фотографии Шкаликова. Мне позвонил об этом ночью Василий, я сел в машину и к утру был уже в районном центре, откуда мы решили ехать все вместе... Кто-то предложил вперед выслать участкового, проверить, не спугнем ли мы кого-нибудь.

Я был против всяной задержки. И без того поиски затянулись.

Так или иначе, встреча со Шкаликовым надвигалась, и мне хотелось видеть его лицо, видеть его реакцию в первую секунду встречи. Все это было крайне важно. Что-то подсказывало, что мы вышли на значительный след.

Большое село на берегу Оки.

Участковый пояснял, что село людное, милицейский пост имеется, что работает там молодой, но старательный парень Рыжиков. Работает хорошо, а Притыков не прописался, бог его знает, по каким причинам. Напоминали ему...

У третьего дома с края участковый попросил шофера остановить машину.

— Здесь он квартирует у бабки Анисьи! Кто пойдет — я или вы?— спросил он.

Пошли я и Василий.

Василий постучался. На крыльце соседнего дома сидел старик, играл со щенком.

— Вам не Притыкова?.. Герасима Ивановича?— спросил он.

— Его самого!— ответил Василий.

— Съехал он! Тому уже боле недели прошло!

— Совсем съехал?— уточнил Василий.

— Кто же его знает! Не прощался, не докладывался!

Емний ответ. И осуждение в нем и характеристика нрава необщительного.

— Осмотрите избу... Может, что-то из вещей его осталось, может быть, хозяйка знает, куда съехал... Это не обыск!— сказал я Василию. Сел в машину.

— В правление!

— Поедем к Рыжикову,— предложил участковый.— Он тут каждого и всякого знает.

Можно было ехать и к Рыжикову... Съехал! Больше недели назад... Я рассчитывал, не совпало ли это по времени, когда Василий расспрашивал проводников. Тогда это ошибка. Только намек, что кто-то ищет,— и исчез! Выходит, что он боится нас? Нет! Если бы он нас боялся, не стал бы и переводы делать! Не стал бы! Не от нас он прятался! Не от нас! Сама Шкаликова могла в любое время за эти пятнадцать лет начать поиски. По переводам-то могли искать только от нее. И никому она о них не говорила. Стало быть, его спугнуло что-то другое!

Что?

Остановились у дома Рыжикова. Он увидел в окно машину и выбежал, на ходу надевая портупею. Обедал...

Участковый вышел навстречу. Начал с места в карьер.

— Привет, Рыжиков! Притыкова знаешь? Герасима Ивановича? Где он?

— Уехал! Уволился и уехал...

— Куда?

Я вышел из машины.

— А долго ли он жил здесь?— спросил Рыжикова.

— Давно он здесь?.. Сразу и не вспомню... Лет десять жил... Проводником он устроился на железную дорогу. Его уже спрашивали!

На улице собирались любопытные. Я взял Рыжикова под руку, он настороженно отстранился, я увлек его в дом.

Участковый шепнул:

— Из КГБ... Так что, Рыжиков, рассказывай!

— А чего мне скрывать? Пришлось мне тут один протокол составлять... На человека, больного алкоголем... Так этот, кто спрашивал его, Гусейнов Хасан Хасанович, свидетелем записан... Он в гости к Притыкову приезжал... Не застал его!

Я вынул из кармана рисунок — «словесный портрет».

— Похож?

— Есть сходство...

— Откуда известно, что он Гусейнов?

— По паспорту, товарищ полковник!— ответил Рыжиков даже с некоторым недоумением, что я задал такой наивный вопрос.

— Вы видели паспорт?

— Видел!

— И ничего?

— Правильный паспорт. В протоколе и номер записан и адрес!

Оставался еще один вопрос. Подробности меня сейчас не интересовали. Главный вопрос.

— Притыков уехал до приезда Гусейнова или после?

— До Гусейнова он уехал!

Я попросил Сретенцева остаться и записать все, что было связано с Гусейновым.

Теперь уже я и не сомневался, что на платформе в Рязани Василий видел этого самого Гусейнова, посетителя Шкаликовой. Теперь уже вставал вопрос: почему он идет впереди нас?

Машина развернулась. Я приказал ехать в Рязань. Василий стоял на дороге, в руке держал какой-то свертон. По лицу я угадал, что есть и у него какая-то новость. Он почти на ходу вскочил в машину, я попросил шофера поторопиться.

Машина выехала из села, Василий протянул мне пачку журналов.

— Почитайте, Никита Алексеевич!

Я развернул журналы. Это были специальные медицинские журналы. Один двухгодичной давности, два других недавние.

Я начал листать первый журнал: портрет Раскольцева и его статья. Статья жирно обведена красным карандашом. Открыл второй журнал. Статья Раскольцева подчеркнута красным карандашом в оглавлении.

— В третьем,— подсказал Василий,— есть ссылка на эти статьи. Упоминается имя... И тоже подчеркнуто!

Шкаликов и медицинские журналы? Это было, конечно, странновато. Но его внимание к Раскольцеву легко объяснимо. Вместе бежали. Знакомы. Могли и после войны встречаться.

— Можно, Никита Алексеевич?

Василий обычно задавал такой вопрос, когда хотел, как он сам говорил, выложить свои предположения.

— Ну-ну!— подбодрил я его.

— Почему этот тип нас опередил?

— Опередил... На этот вопрос мы сразу не найдем ответа!

— А может быть, Раскольцев ему адресок дал? Люди любят лечиться! Шкаликов терпел, терпел да и двинулся к знакомому врачу! Шкаликова сказала этому Гусейнову, что муж ее умер. Тот к Раскольцеву, а Раскольцев адресок?! А? Может быть, этот посетитель вместе с ними где в лагере был? А к Власьеву чего ему ехать? Край не близкий!

— К доктору Шкаликов мог пойти... Примем это! Не прятался от него? Чего же вдруг спрятался?

— А он не от него прятался! Вы сами же сказали, что Гусейнов после отъезда Шкаликова появился... От меня он, наверное, прятался! Через проводников узнал!

— А чего же он в Рязани четыре дня тому назад делал? А? От Рязани сюда пять часов езды... Не четыре дня!

— Вы уверены, что я его видел?

— Не я же его видел! Это я тебя об этом должен спросить! Рыжиков по нашему портрету сразу его узнал...

— Все! Молчу! Не склеивается версия! И усложнять не очень-то хочется. Этак можно предположить... Можно предположить, что есть какой-то второй план в этой истории.

Я считал в тот момент, что главное — это торопиться! Площадка сузилась, и теперь Шкаликов был полностью в пределах нашей досягаемости...

В Рязань надо было ехать через райцентр. Я попросил на минуту заехать в отделение милиции. Оттуда позвонил в областное управление и сообщил о Притыкове. Его надо было искать через отдел кадров управления железной дороги.

Намного нас опередил этот господин! Медлить уже нельзя было ни секунды. Проводник вагона. Как все логически сцеплялось одно с другим. Человек в минуту опасности кидается туда, где поскорее можно укрыться. Среди проводников у него много знакомых, пригляделся он к этой работе. Вот и сунулся туда. Но почему, почему еще до прихода этого Гусейнова? Не от нас же, повторяю в который раз, прятался он на железной дороге! Судя по системе, придуманной с переводами, правда, не им придуманной (этой системой и до него иногда пользовались), не так уж он глуп и наивен. Он должен понимать, что и мы и милиция без труда найдем проводника.

В деревне он каким-то образом замял дело с пропиской. Поступление на железную дорогу отмечается в соответствующих документах.

Нет! Не от нас он спрятался! От Гусейнова? Но кто его предупредил? Откуда он узнал, что этот Гусейнов идет по его следу? Я должен был в ту минуту признать про себя, что Василий где-то прав, вводя в круг действующих лиц и Раскольцева. Кому-то очень понадобился Шкаликов...

Начал с его дома... К кому же еще обратиться? Тот, кто его ищет, если он действительно обратился к Раскольцеву, все знает о их плене и побеге! А кто же это может знать?

Приехали в Рязань...

Меня уже ждал работник областного управления Авдюшин.

Он не старше Василия, тоже недавний студент. Обрадовался, что в руки пришло интересное дело. Сработал тщательно.

Действительно, неделю тому назад Притыков оформился проводником через отдел кадров на поезд Москва — Ташкент в мягкий вагон. Авдюшин сличил фотографию Притыкова в личном деле с фотографией Шкаликова. Совпало. Поезд, на котором работал Шкаликов, сейчас шел из Ташкента, приближаясь к Рязани. Авдюшин сделал запрос по селектору на одну из станций. Ему ответили, что проводник Притыков «сопровождает шестой вагон».

И напоследок!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30, 31.

В отдел кадров управления железной дороги приходил какой-то восточного типа человек, молил девушек узнать, где работает Притыков. Ему подсказали. Он оставил в знак признательности бутылку вина и букет цветов.

Уверял: «Другу вез, без вас не нашел бы друга!»

Не знаю, почему, но у меня по спине пробежали мурашки. Переживать приходилось всякое, бывали ситуации, когда, казалось, уже и выхода не было. Там, в Германии в канун войны... И все же не часто в такой степени подступало ко мне чувство тревоги.

Пришел ответ на запрос из Махачкалы, где был отмечен паспорт Гусейнова. Такого там не значилось...

Теперь уже наш выход на Шкаликова обретал более широкие цели. Теперь это превращалось и в погоню за человеком, действовавшим под фальшивым паспортом. За ним погоню надо было строить несколько в ином плане, чем за Шкаликовым. Но не грозит ли их встреча кан-либо Шкаликову? Топор под кроватью клал, ружье на стену вешал! Ждал этой встречи! С оружием в руках ждал... Но, выходя на Шкаликова, мы могли спугнуть Гусейнова, а это... Это смотря, кто такой Гусейнов... Это могло помешать чему-то такому, что скрыто уже за его фигурой. Но Шкаликову грозила опасность! Надо было прежде всего спасать человека, невзирая ни на что!

Мы сверили по расписанию движение поезда. Получалось, что, выехав навстречу поезду из Рязани, мы его скорейшим образом могли встретить лишь на станции Проня...

Машина сорвалась с места и пошла по городу, проскакивая под светофоры и на красный свет.

Дежурный по управлению получил задание связаться с милицейским постом на станции Проня и поручить работнику милиции встретить проводника Притыкова, снять с поезда и задержать в отделении милиции, не арестовывая его, а охраняя... Ни под каким видом до нашего приезда никого к нему не допускать...

10

Значительно позже мы узнали, что произошло в поезде Москва — Ташкент на перегоне между Шиловом и Проней. От Шилова до Прони поезд следовал без остановок.

Минут за двадцать до прихода поезда на станцию Шилово в окошко кассира постучали. В такой поздний час на этой станции пассажиры были редкостью. Голос с восточным акцентом попросил четыре билета в мягкий вагон. Пассажир просил, если это возможно, дать все четыре билета в одно купе.

Мягкий вагон шел полупустым. Кассирша продала четыре билета. Отдавая билеты, помедлила, пассажир просунул в окошко голову. Она запомнила его. Просто так, из любопытства.

Когда пришел поезд, она заметила, что в мягкий вагон сел только один пассажир, тот самый, который брал четыре билета. Это ее удивило, поэтому она и запомнила все в деталях.

Спрашивается, почему этот господин выбрал перегон между Шиловом и Проней?

Далеко уезжать от Москвы ему, видимо, не с руки. Дневной перегон его не устраивал, вот и упал выбор на Шилово.

Шкаликов в лицо его не знал, поэтому он спокойно вошел в вагон и коротко бросил:

— Стели постель, дорогой! Я спать буду!

Дежурил Шкаликов, его напарница спала в служебном купе. Шкаликов положил на место фонарь, флажок, взял пачет с чистым бельем и пошел в четвертое купе. Сальге вышел, чтобы не мешать ему. Шкаликов застелил постель и выпрямился. Сальге стоял спиной и закрытой двери из купе и пристально смотрел на него.

Снисходительно, с наигранным равнодушием негромко сказал:

— Здравствуй, Шкаликов!

Вот она, встреча, которую ждал, к которой готовился и от которой скрывался. И топора нет под рукой, и ничего нет, а стоит перед ним человек, который все может...

— Садись!

Шкаликов попятился и сел.

Сальге снял с полки портфель, выставил на столик поллитровку.

— Выпьем, Шкаликов! У нас с тобой разговор долгий!

Шкаликов было вскочил:

— Сейчас чистые стаканы принесу!

— Выпьем из грязных! Спирт все очищает!

На столике от прежних пассажиров оставались два стакана.

Разлив водку, Сальге извлек из портфеля купленный на вокзале пакетик с едой: кусок колбасы, два яйца, хлеб.

Выпили...

— Скрылся? — отрывисто спросил Сальге.

Шкаликов не торопился отвечать. Сальге сам и ответил на вопрос:

— Спрятался... От кого прятался?

Шкаликов потихоньку приходил в себя, лихорадочно соображая, как вывернуться, как уйти, как отбиться.

— От людей... От себя не схоронишься!

— Кто-нибудь знает, что ты живой?

— Ни одна душа. Ни одна душа! Только Раскольцев!

— И жена не знает?

— Упаси бог ей знать!

— Это почему же?

— Искать начнет!

— Значит, по чистой скрылся?

— По чистой!

— Зачем тебе деньги потребовались?

— Деньги всегда нужны!

— Это верно!.. Напугал ты доктора! Он тоже считал тебя покойником!

— Ему я не докладывался!

— В пятьдесят втором году у вас была назначена контрольная встреча... Забыл?

— Никак нет! Шестого мая... в Москве... У входа в Большой театр... В два часа. Я к тому часу уже покойником числился!

— Он навел справки... Ему указали, что умер... Все правильно! Чего же вдруг ожил?

— Как-то журнал на станции купил... Гляжу — не верю! Он! Его лицо! Я! Я... как червь в землю уполз, в темень задвинулся, а он на виду, в богатстве, барином! В журнал пописывает! Такая злость взяла! Ну? Ваши что тогда говорили? Все! Конец России! Ты ни о чем не думай, мы господа, а ты наш верный слуга. В обиду не дадим! А Расеюшка-то жива! Жива! И все по-прежнему! К чему я пришел? Чего мне ждать? Ждать, когда постучатся в дверь? Дочь родилась... А ну как станет все известно об отце? Как ей жить? И что я мог? Гроши получал... Попросил его поделиться!

— А если бы не поделился?

— Поделился!

— А если бы не поделился?

— Нажалился, что я ему пригрозил?

— Пригрозил в КГБ обратиться... У тебя что же, там друзья завелись?

— Упаси бог от друзей, от остальных сам отобьюсь!

— Почему ушел из деревни?

— На почте сказали: навестил, дескать, друг! Друзей у меня нет, а про ту почту один Раскольцев знал...

— И так и этак получается, что ты не от КГБ бегал, а от нас?

Сальге налил еще по полстакана водки.

— Прятался! — признался Шкаликов.

Водка начала действовать. За многие годы и он, при всей сложности минуты, мог свободно и не таясь порассуждать о своей жизни.

— Тогда не управились, а теперь что же? После драки кулаками не машут! Тут только голову высуни, отсекут, как не бывало!

— Испугался?

— А кто ты таков есть, что не боишься? Врешь! Боишься!

— По твоим доносам, Шкаликов, в лагере вылавливали...

— И вешали... Ну и что? Жизнь моя — не жизнь... Искалечена! Давно я покойник! Сам себя казнил, и никто такой страшной казни не придумает! Я двадцать лет умираю... Двадцать лет... Они стоят вокруг меня, покойники... Душат ночами... Я умер! И на вас работать не буду! Я ненавижу вас! И не боюсь! Битые вы козыри!

Шкаликов кинул руку к горлышку бутылки, но Сальге одним взмахом оглушил его кастетом, погасил в купе свет, открыл окно и спустил Шкаликова под колеса поезда...

Закрыл окно, вышел из купе. Коридор пуст. Сальге прошел по вагонам вперед по ходу поезда...

Повествование вынудило меня забежать вперед. Не по ходу и не по хронологии развивающихся событий. Об этом разговоре в купе и о том, как был убит Шкаликов, мы узнали значительно позже.

Стремительно в те часы и минуты сближались поезд и наша оперативная машина.

Сначала я торопил шофера. Но что-то мне в этой спешке не нравилось. Не нравилось мне, что мы подъедем к станции ночью на «Волге», что милиционер поднимется в вагон за Шкаликовым. Шумно, суетливо все это и... Но все мои сомнения, совершив какой-то круг, вновь замыкались на Шкаликове.

— Торопись, торопись, Миша! — говорил я шоферу.— Мы должны успеть!

Машина свернула с асфальта, пошел разбитый проселок, но впереди засверкали огни железнодорожной станции.

Прорезал тьму прожектор электровоза подошедшего поезда. Мы немного не успевали.

Машина остановилась у закрытого шлагбаума железнодорожного переезда. С нашей стороны подъехать на автомашине к станции было невозможно. От переезда в сторону станции терялась в темноте пешеходная тропка.

Авдюшин открыл дверцу.

— Куда? — спросил я его.

— Открыть шлагбаум!

— Не надо! Мы пойдем пешком...

Мы с Василием вышли из машины и пошли вдоль пути.

— Я побегу! — предложил Василий.

— Беги!

Он побежал, посвечивая перед собой карманным фонариком.

В ту ночь на станции Проня дежурил старшина милиции Артюхин. Он получил указание от дежурного по областному управлению снять с поезда Притыкова и ждать нашу опергруппу.

Поезд еще двигался вдоль платформы, а старшина уже стоял на том месте, где должен был остановиться шестой вагон. Поезд остановился. Открылся тамбур, поднялась площадка, из вагона высунулась с фонарем проводница.

— Куда ему деться! В купе с пассажиром пьянствует...

Артюхин оправил гимнастерку и вошел в вагон.

— Какое купе?

— Четвертое! — ответила проводница.

Артюхин подошел к двери и постучался. Не отозвались. Он открыл купе... Пусто! На полу разбитая бутылка из-под водки, стакан. Другой стакан на столике. На столике ломтики колбасы и раздавленное яйцо, словно кто наступил на него ногой.

Старшина позвал проводницу.

— Где они?

Но вопрос был бессмыслен.

Старшина открывал в купе одну дверь за другой, перебудил пассажиров, но Притыкова нигде не было. Исчез и пассажир.

Я застал всех в сборе. Дежурный по станции, старшина, Василий и пассажиры...

И уже раздавались вопросы:

— Что случилось?

— Кто убежал?

— Ограбили? Кого ограбили?

Я попросил Василия осмотреть все в купе, назначил встречу в Рязани. Вышли на перрон.

Вот это все мне и не нравилось: люди, тревога. А этот господин имеет возможность наблюдать за всем, оставаясь для нас неприметным...

Поезд тронулся. Я пошел с сержантом в милицейскую комнату.

Опередил! Неужели на этом роковом перегоне, где и мы могли встретиться со Шкаликовым, он опять, опять оказался впереди?

Я уже знал от проводницы, что пассажир с восточным лицом вошел на станции Шилово и исчез... Исчез и Шкаликов.

В милицейской комнате надрывался телефон. Артюхин снял трубку. И вдруг изменился в лице. Прикрыв мембрану, доложил:

— Звонят из Дома приезжих... Тут, недалеко... От Дома приезжих угнали грузовую машину. Только что угнали... Наверно, этот Притыков?..

— Притынов! — ответил я старшине, не желая посвящать его во все сложности дела.

Ну хоть здесь мы не попали впросак. Этот господин незаметно вышел из другого вагона, где его и не ждали, затерялся в темноте, наткнулся на машину и погнал ее, уходя как можно дальше. Стало быть, он не видел нашей суеты.

— Не уйдет, догоним! — воскликнул старшина.

— Догоним!

— Мы сейчас на посты сообщим!

— Я сам сообщу! — унял я его рвение.

Не расскажешь же старшине милиции, какие в ту минуту одолевали меня сомнения. Василий заметил в купе пыль на белых занавесках. Разбитая бутылка, разбитый стакан... Он высказал предположение, пока только предположение, что в купе открывалось окно. Если оно открывалось, то совершено преступление, а если не открывалось?

Подошла «Волга». Я вышел навстречу Авдюшину. Он сразу начал с машины. На переезде он встретил показавшийся ему подозрительным самосвал «ЗИЛ-130», он хотел было его задержать, но торопился по мне.

— Вы разглядели кабину самосвала? — спросил я Авдюшина.

— Мы ослепили его встречным светом на переезде... В кабине сидел один человек за рулем... Мне показалось, товарищ полковник, что водитель похож на того, кого вы ищете!

— На кого? На Притыкова или на Гусейнова?

— Не на Притыкова... Притыков маленького росточка... Этот высок, у него восточный тип лица... Поэтому я и хотел задержать... Не знал... Не было вашей команды! Но мы его догоним! Немедленно догоним! Здесь он никуда не уйдет! У нас отличные посты ГАИ...

Я оглянулся на старшину милиции Артюхина. Все равно он узнает о находке... На него можно было рассчитывать в такой мелочи. Я попросил его связаться с дежурным по станции Проня и от моего имени организовать тщательнейший осмотр перегона между Шиловом и Проней. Искать надлежало труп выброшенного из поезда человека...

— Притыков? — спросил Авдюшин.

— Если за рулем самосвала не было Притыкова, искать Притыкова.

— Это же убийца! Мы его сейчас догоним!

Старшина милиции побежал к селектору, Авдюшин — к машине. Я же был в нерешительности... Я не торопился, хотя надо было торопиться! Сел как бы против своей воли в машину.

Возвращаюсь к ранее сказанному. Погоня в нашем деле — это не стиль работы, это признак слабости и неподготовленности операции. Другое дело, когда мы торопились спасти Шкаликова.

Авдюшин не напрасно утверждал, что посты ГАИ у них отличные. Он тут же из машины связался по рации с постами в Кирицах и Соколовке. Куда бы ни свернул с проселка самосвал, налево или направо, он был бы перехвачен. Радиоволны опередили его.

Ночь... Выпала на асфальт роса. Мы остановились, когда въехали с проселка на шоссе. Вышли с Авдюшиным.

Покрышки самосвала наволокли с проселка пыль на мокрый асфальт и четко пропечатали следы. Самосвал повернул направо, к Рязани...

К Рязани... К областному центру, к железнодорожному узлу, к точке, где он мог встретить наибольшую насыщенность милицейских постов. Не может быть, чтобы он сворачивал по наитию, не обдумав, куда свернуть. Если бы он почувствовал хоть в какой-либо степени, что кто-то идет по его следу, он повернул бы налево, подальше от Рязани, в районы поглуше... Стало быть, он спокоен... Надо ли его пугать?

Поехали по шоссе. Шофер нажал на акселератор, стрелка спидометра склонилась до отказа направо. «ЗИЛ-130» снабжен восьмицилиндровым двигателем. Это быстроходная машина, но мы уже шли с превышением ее скорости километров на тридцать. До Рязани было пятьдесят километров. Мы должны были его догнать где-то на полпути.

Авдюшин вызвал навстречу оперативную машину ГАИ. Мы его брали как бы в коробочку. Действительно, деваться ему было некуда. Оставалось одно — бросить машину и скрыться в поле. На всем пути от Прони и до Рязани леса не было.

Я чувствовал, как шофером и Авдюшиным овладевает азарт погони. У меня азарт проходил. Еще несколько минут, и случится непоправимое. Или мы возьмем его, обрубив все спрятанные концы этого дела, или он уйдет, обнаружив нашу погоню, установив, что за ним гонятся... Все дальнейшие комбинации будут исключены!

Я уже казнил себя за то, что мы не успели к Шкаликову, не успели, потому что гнались, а надо было быть впереди этого господина!

Что мы имели, что позволяло мне идти на риск вообще? Кто же ему сказал, что Шкаликов жив? Кто? Кто ему указал его адрес? У Шкаликова фотография и журналы со статьями Раскольцева. Раскольцев... Без него Сальге не нашел бы Шкаликова... Значит, и Раскольцев! Но какие доказательства? Сальге заявит, что никакого Раскольцева он не знает. И тогда я решился на риск! Очень крупным представлялось мне это дело.

Я попросил Авдюшина включить рацию и приказать встречной оперативной машине, не останавливаясь, следовать нам навстречу. Не останавливаясь и не задерживая самосвала. Авдюшин поразился. Он не удержался:

— Товарищ полковник, вы за наших товарищей из ГАИ боитесь?

— Передайте также на пост Соколовку,— продолжал я,— и на все посты ГАИ, чтобы этот самосвал нигде и ни при каких обстоятельствах не задерживали...

Авдюшин понял, наконец, что вот теперь и начинается наша операция.

Я еще, правда, смутно себе представлял, как она начнется, но ход событий подсказывал ее начало.

Случайность? Такая же случайность, как и с обращением в милицию Шкаликовой? Нет! Не случайность!

Не случайно, а только в силу своей добросовестности и чувства ответственности милиционер Рыжиков нашел след... Он очень переживал свою ошибку с паспортом Гусейнова, хотя ошибка была и невелика. Паспорт был изготовлен отлично.

Вся история с протоколом вообще была срывом у Сальге. Он приехал в село к Притыкову. Как мы знаем, Притыкова не оказалось. Ему нужно было, конечно, ухватиться за его след. Может быть, он просто проголодался. Он отправился в колхозную «Чайную». Разговорился за столиком с каким-то местным жителем и решил угостить его водкой для более задушевной беседы. Подошел к стойке. Заказал две порции водки по сто пятьдесят граммов. Пока рассчитывался, из-за его спины протянулась чья-то рука, схватила стакан... Сальге оглянулся. Невзрачный человек допивал большими глотками его водку. Буфетчица подняла крик. Оказывается, это был давний и излюбленный прием окончательно спившегося человека. Вызвали милицию, хотя Сальге просил не обращать внимания, отказался от всяких претензий. Но никто за Сальге и за его потерю не переживал. Всем надоела назойливость пьяницы. Пришел Рыжиков и составил протокол. Сальге пришлось предъявить паспорт, как пострадавшему. А когда Рыжиков узнал, что Гусейнов ищет Притыкова, подсказал ему, что тот оформился проводником на железную дорогу...

Кругом виноватым считал себя Рыжиков. Он искал... Неизвестно, что искал... Он решил переворошить все, что касалось Притыкова. К ночи, перерывая в который уже раз корзинку из-под бумаг в бухгалтерии колхоза, где работал счетоводом Притыков, он нашел обрывок квитанции, по которой Притыков получил перевод в пятьдесят рублей. Перевод до востребования... Удивило Рыжикова, что перевод пришел в почтовое отделение в другом селе, расположенном километрах в двадцати выше по Оке.

Зачем Притыкову понадобилась такая конспирация?

Добраться в село Инякино, где находилось это почтовое отделение, было не так-то просто. Оно находилось на другом берегу Оки. Надо было ехать часа два на катере, от пристани идти пешком семь километров. Неспроста все это было у Притыкова. Так решил Рыжиков. Невзирая на поздний час, он сел в моторную лодку и отправился в Инякино. На пристани он в колхозе поднял с постели знакомого ему шофера, в Инякине разбудил работниц почты. Они ему рассказали, что Притыков получал ежемесячно вот уже два года по пятьдесят рублей из Москвы. Открыли ночью почту. Подняли корешки квитанций. Притыков получал переводы от Раскольцева! Имя это, конечно, ничего не говорило Рыжикову, но переводы квитанции он забрал. Рассказали ему работницы почты, что являлся к ним на почту на свидание к Притыкову его друг, высокий, со смуглым лицом. Они признались, что подсказали незнакомцу, где искать Притыкова. Нарушили почтовые правила. Очень уж он просил, жалко было человека, издалека ехал!

В третьем часу ночи я приехал в управление. Дежурный сказал, что меня разыскивает Рыжиков. Звонить ему надо в Инякино...

В Инякино, так в Инякино... Название этого села в ту минуту мне ничего не говорило. Соединились с Инякином.

— Товарищ полковник, еле нашел вас! Притыков получал в Инякинском почтовом отделении переводы из Москвы... По пятьдесят рублей в месяц... Переводил ему какой-то Раскольцев! Посмотрите на карту, товарищ полковник! Это далеко от нашего села...

— Раскольцев? — перебил я его. Меня уже не интересовало, где это село.— Раскольцев? — переспросил я еще раз.

Рыжиков медленно, по слогам, повторил фамилию. Добавил, что у него квитанция в руках, но без обратного адреса. Адрес мне был не нужен...

— Спасибо, Рыжиков! Спасибо! — поблагодарил я его от души.— Квитанции лично доставите в Москву ко мне... И немедленно...

Не квитанции были мне нужны. Их можно было получить и другим путем. Мне был нужен Рыжиков. Пока это был единственный человек с профессиональными навыками, который видел и говорил с таинственным незнакомцем...

В Москве утром меня застало еще одно известие. На перегоне Шилово — Проня нашли до неузнаваемости обезображенный труп человека. Его искромсало колесами поезда... Нашли и паспорт на имя Притыкова в кармане железнодорожной формы...

Но теперь мы знали, где пересекутся наши пути с убийцей.

11

К концу дня должен был прибыть Рыжиков. Он ехал поездом. Но медлить было нельзя. С часу на час в Москве должен был появиться и Сальге. Встречать его на вокзале в Москве не имело смысла. Он мог сойти на любой станции, пересесть в электричку, в автобус... Словом, вокзал как место встречи я исключил. Он должен был, как я считал, связаться с Раскольцевым. На всякий случай только для подстраховки я позвонил в Томск и попросил наших товарищей поберечь Власьева. Никаких оснований считать, что Сальге направится и туда, у меня не было. Все сходилось к Раскольцеву. И не за пятьдесят же рублей убрали Шкаликова, убрали его за то, что он что-то знал о Раскольцеве. Вот когда зазвучали в полную силу слова Власьева: «Раскольцев, тот был поглаже... На голодного не смахивал...» Сохранилась у Власьева в памяти эта деталь. И не могла не сохраниться у дистрофиков, у голодных. Разительная деталь! Тут ошибки быть не могло! Знал, видимо, Шкаликов, откуда прибыл к ним в лагерь Раскольцев. Не ради ли Раскольцева и весь побег удался? Я не говорю «совершился». Голубев и Власьев бежали, потому такая возможность объявилась,— о том, что ловить не будут, они знать не могли.

Теперь выстраивалась версия. Оживляют агентуру. Расчищают для Раскольцева возможность работать. Наверное, все эти годы его не трогали... Оговариваюсь. Именно «наверное». Могло быть и так. А теперь понадобился...

Сами по себе переводы Шкаликову от Рас-

кольцева мыслей у меня таких не вызвали бы. Но он переводил Притыкову! Он знал, что Шкаликов скрывается, помогал ему в этом и считал, что есть у Шкаликова причины скрываться, причины «умереть»... Но эта «смерть» оказалась ненадежной. Убрали... Раскольцев переводил деньги в Инякино. Именно в Инякино приехал и Сальге. Раскольцев навел на след, направил... Он соучастник в убийстве, убийство совершено. Теперь Сальге должен дать отчет. Их встреча с Раскольцевым предопределена.

Письмо? Телефонный звонок, условный язык? Нет! Должна быть встреча, если идет оживление агента.

Установили мы, что у Раскольцева есть расписание частных приемов. Лучшего предлога для встречи, чем приход на прием, и придумывать не надо.

В клинику Сальге не пойдет. Там нужно предъявить документы. Здесь все проще.

На прием я решил пойти сам. Очень мне хотелось встретиться лицом к лицу с Сальге, заглянуть ему в глаза, взвесить силы этого противника. Любопытно было посмотреть и сразу после встречи с Сальге на Раскольцева. Как он овладеет собой, какой у него след оставит эта встреча? Окончательно это потерянный человек или он запутался по слабости?

Рыжиков должен был опознать Гусейнова.

Ждать... Ждать... Ждать и догонять — нет ничего хуже.

Прошло двое суток.

Десятки раз были обсуждены все возможные варианты, как брать этого опасного человека. Он мог отстреливаться. Нельзя было дать этой возможности, нельзя было дать ему возможности и покончить с собой. Все заранее оговорили, предусмотрели все случайности и ждали...

И вдруг резкий звонок телефона. Ждали, ждали, а все же «вдруг»! Этот телефон мог зазвонить только в одном случае...

Я снял трубку. С нервной дрожью в голосе Василий объявил:

— Он пришел! Идет к даче...

Я посмотрел на часы. Первый час дня. Доктор Раскольцев заканчивает прием в час. Выбрал время под конец приема.

— Иду! — ответил я Василию.

Я не торопился. Шел, посматривая на всякий случай на номера дач. Первое посещение... Мы наблюдали, но и за мной могли в это время наблюдать.

Итак, все сошлось. Мы вышли на второй фон всей этой истории.

Теперь, когда передо мной лежит все полностью завершенное дело, когда все его исходные сложились в единый ход событий, все кажется простым... Придется опять забежать вперед, чтобы прояснить этот второй фон.

Сальге, не найдя Шкаликова дома, сразу же поехал к Раскольцеву.

К респектабельному частнопрактикующему врачу явился очередной больной. Явился под конец приема и был записан последним.

Вошел в кабинет. Раскольцев, заканчивая запись по предыдущему больному, задал обычный вопрос, не отрывая глаз от бумаги.

— На что жалуетесь?

— Гипертония, доктор! — ответил больной.

Раскольцев поднял глаза на пациента. С сомнением покачал головой. Спросил:

— Спортсмен?

— Занимался спортом... Сейчас не занимаюсь... Возраст!

— Вид у вас, однако, не гипертоника! — заключил Раскольцев.

Измерил давление.

— Странно! У вас отличное давление! Отличнейшее... Возраст никак не сказался! Курите?

Сальге улыбался.

— Не курю, доктор! И никогда не курил...

— Коньяк?

— Коньяк! — как бы виновато ответил пациент.

Осмотр продолжался. Раскольцев выслушал Сальге, ощупал его, попросил одеться и задумался. И опять последовал обычный для него вопрос:

— Кто вас направил ко мне?

Должны мы, конечно, признать, что ответ поразил Раскольцева, хотя многие годы он и ожидал услышать эти слова, втайне надеясь, что все ушло в прошлое и он никогда их не услышит.

Пациент негромко произнес:

— Вам привет от Отто!

Раскольцев услышал, перо зависло над бумагой, все внутри у него оборвалось. Кто это? Почему? Все было давно... А вдруг это его испытывают чекисты?

— Вы не ослышались, доктор! — продолжал пациент.— Вам привет, доктор!

Что делать? Убить, убрать! Это было первой мыслью. А если это советская контрразведка? Надо выиграть время.

Раскольцев невнятно ответил:

— Я вас не понимаю, больной!

— Я не думал, что у вас плохая память!

Но Раскольцев все еще опасался, что перед ним чекист, и он воскликнул с яростью:

— Вон! Убирайтесь вон!

Посетитель встал, спокойно отошел к двери, едва обронив несколько слов:

— Очень сожалею, доктор!

Это были страшные слова, за ними таилась вполне очевидная угроза. И Раскольцев знал, что ему грозит, если это не чекист, а гость из прошлого. Он не мог его так отпустить.

— Подождите!

Гость вернулся, сел на свое место. Раскольцев осторожно попытался установить, что же известно посетителю.

— Я что-то начинаю припоминать...— начал он.

Сальге понял его сомнения. Он выложил на стол пачку фотографий из гестаповского досье, на которых доктор был снят во время карательных операций зондеркоманды в форме младшего офицера СД.

Если посетитель был сотрудником КГБ, скрывать было нечего. За эти деяния по советскому законодательству полагалась высшая мера наказания. Раскольцев это знал. И он взмолился:

— Прошло столько лет...

Посетитель ответил:

— Не было причин вас беспокоить...

— Оставьте меня! Все забыто... У меня дочь... В наше время, в наших условиях это — безумие! Это гибель!

Нарочито растягивая каждое слово, Сальге продолжал:

— Каждому свое... Если вы не в силах переломить себя, мы против насилия... Но я не хотел бы, доктор, чтобы у вас возникли какие-либо иллюзии! Ваша судьба в ваших руках!

Раскольцеву пришлось с этим согласиться, последовал тот вопрос, которого и ожидал от него посетитель:

— Что вам от меня нужно?

С этой минуты хозяином положения стал Сальге. Он объяснил, что у новых хозяев той агентуры, в которую входил Раскольцев, проявился к нему интерес в связи с тем, что он лечил генерала Брунова.

Раскольцев получил исчерпывающие инструкции завязать с генералом дружбу, записывать каждое его слово портативным магнитофоном, искать к нему подходы.

Прошлое опрокинуло настоящее, уничтожило его. Перед Раскольцевым стоял выбор уйти из жизни или работать на новых хозяев. Он опять уцепился за жизнь. Тогда он и спросил у Сальге, не они ли подсылали к нему Шкаликова. Так Сальге выяснил, что Шкаликов жив. Шкаликов шантажировал Раскольцева, указал ему, куда высылать деньги,— именно по этому адресу и поехал Сальге...

Тогда мы этого ничего не знали. Нам было ясно только одно, что Сальге и Раскольцев связаны, что убийство Шкаликова — это дело их рук...

Калитка отперта. Я уже знал, что больные не стучатся, а сразу проходят на веранду и записываются у пожилой женщины.

Я открыл калитку и вошел, шел до веранды, упорно не поднимая глаз. Только безразличие, только равнодушие, никак не выдать себя. Он, этот господин, сейчас напряжен до предела.

Скрипят под ногами ступени. Вошел. Можно и поздороваться.

Я поклонился, ни к кому не обращаясь, и огляделся. На мгновение скользнул по его лицу взглядом. Он стоял спиной к саду, облокотившись о барьер веранды. Буркнул в ответ:

— Здравствуйте!

Слово прозвучало без акцента.

Из кабинета вышла пожилая женщина.

— Вы на прием?— спросила она меня.

— На прием... Если, конечно, можно...

— Вы первый раз? Я спрошу доктора... Он заканчивает прием, а еще двое на очереди...

Мы встретились с ним взглядами. Я смотрел потухшими глазами больного человека, робеющего перед решающим приемом у врача. Его глаза горели. Смуглое, волевое лицо.

Стоит он так... Один рывок — и на локтях перебросит тренированное тело через барьер. Хотя ведь не молод, не молод... Мы почти ровесники.

Я еще раз огляделся. Несколько плетеных кресел. Столик с журналами и газетами. Приметил гвоздик в бревенчатой стене. Я снял шляпу и повесил ее на гвоздик. Представляю себе волнение Василия: я подал знак «не брать».

Да, да! Именно «не брать». Ситуация для ареста явно не созрела. Такой господин по пустякам сюда не приехал бы. Не убивать же Шкаликова он прибыл к нам!

— Жарко!— сказал я.— Парит...

Вытер носовым платком пот на лице.

Вышла женщина и объявила:

— Доктор вас примет... Последним...

Время, однако, шло...

Прошла в кабинет пациентка. Мы остались с Сальге вдвоем. Он молчал. Я сидел в кресле, не глядя на него, но чувствовал его присутствие, каждый его жест.

Прошел, наконец, и он в кабинет. На веранде оставил портфель и трость. Отличный прием, но для кого? Это уже профессиональное неуважение — рассчитывать, будто чекист кинется проверять, что у него в портфеле. Проверка, не ведется ли за ним наблюдение. Всеми средствами, даже наивными. Есть только одна разведка, которая так работает... ее стиль... Маскированный, тотальный. В деталях, в мелочах!

Я голосов их не слышу. Стена капитальная. Но там, на наблюдательном пункте, Василий все слышит и все фиксирует.

И здесь было кое-что предусмотрено. Если бы содержание их разговора потребовало немедленного ареста обоих преступников, из пункта наблюдения был бы подан сигнал. Василий мог принять это решение только в том случае, если бы чьей-нибудь жизни грозила опасность.

Я терпеливо ждал. Разговор у них не короток, стало быть, по существу...

Проглядывался с веранды довольно просторный садовый участок. Такие нарезались в тридцатых годах, когда поощрялась инициатива застройщиков в подмосковных поселках. Наверное, купил он эту дачу. Но деревья в саду молодые. Как он мог сажать сад, зная в душе, что вся его жизнь может рухнуть в одно мгновение?.. Жена? Все эти любовно ухоженные деревья требовали высокого душевного спокойствия.

Шаги за дверью, дверь раскрылась, вышел Сальге. Я встал.

Из-за двери раздался голос:

— Пожалуйста!

Сальге раскланялся со мной, обнажив ослепительные зубы, улыбнулся он только ртом, глаза смотрели пронизывающе и холодно. Какого-либо неудовольствия встречей я не отметил...

А что если? Импровизация и в нашем деле иной раз решает все дело! Я задумался, входя в кабинет. Что-то интересное показалось мне в промелькнувшей мысли. Ну, конечно же!

Все это по-житейски очень просто и открывает Раскольцеву возможность подумать, как бы подталкивает его под локоть к спасению...

Повторяю, тогда мы не знали, как круто замешана их связь, на какой крови она держится...

Когда я вошел в кабинет, Раскольцев сидел за столом, что-то записывал в тетрадь посещения больных. Не поднимая голову, сказал:

— Садитесь!

Поставил точку в конце фразы, поднял на меня глаза.

— Фамилия?

Я окончательно решился: да, то, что мелькнуло при входе в кабинет лишь проблеском, пожалуй, самый верный ход...

— Дубровин Никита Алексеевич!

Он записал.

— Возраст?

— Пятьдесят шесть лет...

— Работаете?

— Работаю...

— Профессия?

— Полковник...

— Военнослужащий? В штатском?

— По условиям службы приходится в штатском...

Здесь бы ему и споткнуться, если бы его мысли в эту минуту работали в определенном направлении. Но его внимание скользнуло мимо этой моей оговорки о «штатском».

— Курите?

— Трубку, доктор!

— Не глядя, сразу говорю, курить бросайте! Ничего не знаю! Если хотите у меня лечиться, сразу бросайте! Ночные работы? Нервы?

— Сейчас какие там нервы? И ночных работ нет! Все было, доктор... и по полторы пачки курил за ночь... Во время войны досталось!

— Всем, кто воевал, досталось! Ранения были?

— Ранений не было, но работа была сложной...

Потихоньку я его выводил на главный вопрос. Он взглянул на меня из-под очков.

— Что-нибудь было особенным в вашей работе, что могло повлиять на ваше здоровье?..

— Наверное... Я всю войну провел, доктор, в Германии...

— Простите! Это по какой же линии всю войну в Германии?

— По нашей, доктор! Всю войну провел там на нелегальном положении.

— Зачем вы мне это говорите, пациент?

Ого! Легко и свободно, без усилия он принимает вызов!

— Это уже давно не тайна, доктор! Теперь я занимаюсь историей... А вот там, наверное, и закладывалась моя болезнь... Сердце болит, доктор!

— Там это могло быть! Там все могло быть! Страшная страна! Я тоже был во время войны в Германии. В плену!

— Сочувствую вам, доктор! Досталось, наверное!

— Кто вас ко мне рекомендовал?

Я назвал ему имя его давнего пациента.

— Ложитесь!— приказал он.

Я снял пиджак, рубашку и лег. К спине прикоснулся холодный ободок стетоскопа. Выслушивал он внимательно. Должен отдать ему справедливость.

— О-о!— воскликнул он.— Германия?

Он увидел шрам на спине от пулевого ранения.

— Испания, доктор! Мадрид!

— Биография у вас, скажу я вам! Эпоха!

Он разрешил мне встать.

— Мы не думали об эпохе! Жили, как повелевала совесть!

— И горели, как свечи!— поддержал он разговор.— Стеарин остался, а фитилька частенько не хватает... Сердце у вас пошаливает! Но имейте в виду, что сердце — аппарат выносливый. Только убирать надо все лишнее. Пора отказаться от трубки. Историей занятия не обременительны! Я тоже иногда мысленно возвращаюсь к прошлому... Нельзя сказать, что о фашистском плене написано мало... А вы знаете, не доходит до молодых... Рассказываю вот дочке, она верит... Как не верить! Но зрительно этого не представляет...

— Да, в стандарты здесь ничего не вгонишь!

— Именно в стандарты, полковник! Фашизм — это во всем стандарт. И в мыслях и в практике...

— Интересная мысль! Если, конечно, вздумаете заняться историей... Звоните, доктор! Может быть, я чем-нибудь и помогу!

Решился уже совсем на прямой намек. Но легко, конечно, и объяснимо желание пациента чем-то помочь своему доктору. И уловил, уловил я в нем какое-то движение, какое-то метание чувств, беспокойство в мыслях при всей его сухости и сдержанности. Он сжал мне руку чуть повыше локтя и проговорил:

— Принимайте мои лекарства... Заглядывайте через недельку...

Мы раскланялись...

Солнце между тем совершило положенный ему путь, и лучи упали на веранду. Блистала серебром хвоя елочка. Я снял с гвоздя шляпу и тихо пошел... Да, артист он превосходный. Прекрасно провел роль, нигде не переиграл, нигде не сбился!

Продолжение следует.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

Ф. ШАХМАГОНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. БЛИОХА.

12

...А теперь послушаем разговор Раскольцева и Сальге. В аппаратной собралась вся наша группа: Василий, Сретенцев, Волоков...

САЛЬГЕ. Здравствуйте, доктор!

РАСКОЛЬЦЕВ. Вы?.. Здравствуйте! Удивили...

САЛЬГЕ. У вас два дня не отвечает телефон!

РАСКОЛЬЦЕВ. Идут работы...

САЛЬГЕ. Знаю. Ведут подземный кабель... Почему?

РАСКОЛЬЦЕВ. Как это почему? Была воздушная линия, ведут подземный кабель. Я думаю, это лучше.

САЛЬГЕ. Мне именно сегодня надо было вам звонить... Случайность?

РАСКОЛЬЦЕВ. Не сходите с ума! Мы два года добивались, чтобы проложили подземный кабель. Я даже и генерала просил.

...В этом месте сидевший рядом со мной Василий даже поднял руку, чтобы я обратил внимание... Действительно, здесь в разговоре Сальге и Раскольцева что-то улавливалось в интонации: бытовое, приземленное. Словно бы говорили они об общем и давнем знакомом. Я попросил повторить фразу, отметил для себя, как строились паузы. Пошли дальше.

САЛЬГЕ. Я не люблю неслучайные случайности!

РАСКОЛЬЦЕВ. Этак нельзя! У меня больше оснований беспокоиться. Вы белым днем являетесь сюда...

Раскольцев еще и успокаивает его! Это неожиданность!

САЛЬГЕ. Белым днем спокойнее. Здесь я управляю своими действиями, а не кто-то иной! Кабель — это вторжение в мою самостоятельность!

РАСКОЛЬЦЕВ. Что вас беспокоит? Вы что-нибудь заметили?

САЛЬГЕ. Я? Я всегда к этому готов!

С огромной самоуверенностью и даже обидой на Раскольцева он произнес эти слова. И добавил:

— Я научился ходить невидимкой... Это моя профессия! Что же вы не поинтересуетесь судьбой своего старого друга?

РАСКОЛЬЦЕВ. Я знал, что она в руках профессионала!

А он не лишен чувства юмора, этот доктор! И вот уже с беспокойной интонацией:

— Не наследили?

САЛЬГЕ. Смерть человека всегда оставляет след... в душах! Какой-то бандит что-то с ним не поделил... Выбросил в окно на ходу поезда... Ночью сошел на маленькой станции, угнал самосвал. Уголовщина...

РАСКОЛЬЦЕВ. Они откопают, что это не Притыков!

САЛЬГЕ. Ну и что же? Может быть, даже у вас о нем спросят. Только не делайте глупостей! Хвалите его! О покойниках дурно не говорят. Вот к супруге его я напрасно наведывался... Да, я не думал, что он откажется, так что пришлось убрать. У нас были за вас опасения: доктор, величина, связи... Но все это — прошлое. Можно начинать работу! Лекарства мои готовы?

РАСКОЛЬЦЕВ. Не так скоро! Вы сами не торопили!

САЛЬГЕ. Начинайте! Беда другая. Мы рассчитывали на связь через Шкаликова... Придется использовать запасной вариант!

РАСКОЛЬЦЕВ. Он надежен?

САЛЬГЕ. Что в нашем деле можно считать надежным? Вы могли бы мне это сказать? Мы с вами разыгрываем не рождественский спектакль на детской елке!

РАСКОЛЬЦЕВ. Кто это?

САЛЬГЕ. Его пароль «Ангел пустыни». У нас любят такие экстравагантные пароли, что-нибудь вроде «Удар грома», «Зимняя гроза», «Созвездие Гончих Псов»...

РАСКОЛЬЦЕВ. А у него — так просто вызывающий.

САЛЬГЕ. Мне объяснили, что это сюжет русской иконы.

РАСКОЛЬЦЕВ. Так кто же он?

...Наступила пауза. Василий чему-то усмехнулся. И вдруг слышим негодующий возглас Раскольцева:

— Вы с ума сошли! Да ведь это — мальчишка! У него нет прошлого!

...Понятна усмешка Василия. Не произнес имени, на записке написал. «Нет прошлого...»

Значит, не во время войны познакомился Раскольцев с этим Ангелом пустыни...

САЛЬГЕ. Зато его настоящее нас устраивает... И здесь идет смена поколений, доктор! Я попробую его на скользящей передаче, все сам проверю. У вас с ним связь упрощена. Есть и второй пароль. Он идет после первого... Через несколько фраз: «Привет от Эдвардса!» Все! Как только будет готова посылка, можете к нему обратиться. Отдыхайте! Я больше к вам не пожалую...

Мы сидели некоторое время в тяжелой задумчивости. Такая уж профессия, сталкивает она с человеческой подлостью, грязью, предательством, изменой... К этому привыкнуть невозможно.

— Соучастие в убийстве подтвердилось! — заметил Василий, хотя было мне ясно, что думает он уже не о соучастии в убийстве. Прояснился теневой фон. Оправдывалось и решение не брать этого господина. Рано!

Куда же тянут они теперь свои щупальца? Ну прежде всего, конечно, Ангел пустыни. Связной. Человек, близко знакомый с Раскольцевым. Раскольцеву известен его характер, он молод, коли Раскольцев назвал его мальчишкой, связь с ним у доктора упрощена... Сюжет русской иконы. Вполне достаточно отправных точек.

Генерал? «Я даже и генерала просил...»

Здесь все более туманно и неустойчиво. Это могло быть и проходной фразой, ровным счетом ничего за собой не несущей. Просил какого-то генерала похлопотать о закладке подземного кабеля. Сказал об этом... Только интонация настораживала. Так, как была произнесена эта фраза, говорят только о людях, известных обоим собеседникам. Сразу вопрос: почему этому господину известно, что у Раскольцева есть знакомый генерал? Стало быть, вообще круг знакомых анализировался теми, кто послал к Раскольцеву этого господина. Анализировался, поскольку нашли Ангела пустыни, связного из близкого окружения Раскольцева.

Сомнений не было. Раскольцев был оживлен как старый агент. Завербован он мог быть только в плену. Кем? Гестапо или абвером? Особого, правда, значения это не имело... Он перешел в наследство другим хозяевам. Пытались оживить и Шкаликова. Сорвалось... Мы тогда не знали, какой был разговор у Шкаликова с Сальге, но мы знали, что Сальге убил его, что надежды на Шкаликова не оправдались.

Оживляют агентуру. Зачем? Просто так, на всякий случай это не делается. Стало быть, Раскольцев понадобился именно сейчас, и всего вероятнее, только потому, что прикоснулся к лицу или объекту, интересующему хозяев этого посланца, хозяев бывшей гестаповской и абверовской агентуры.

Этот строй рассуждений подводил нас и генералу... Опять же все это было смутно, интерес мог быть проявлен совсем и не к генералу. Но к кому-то он проявлялся. Надо было установить круг знакомств Раскольцева и посмотреть, куда через него устремился этот господин.

За это взялся Василий.

Меня вызвали для доклада.

— Чем объясняется, что вы не задержали убийцу Шкаликова?

— Слишком это было бы просто,— ответил я.— Настоящее расследование только начинается! Сегодня мы знаем, что этот неизвестный, он же Гусейнов, оживил агента иностранной разведки. Можно предполагать...

— Предполагать не надо! Древние говорили, что все дороги ведут в Рим... В конечном счете, от кого бы этот господин ни действовал, все сойдется в одном центре... Оживил? А может быть, Раскольцев и был действующим агентом?

— Нет! Из записи их разговора видно, что они только начинают работать... Оживлен Раскольцев, и ему придан связник.

— Кто связник?

— Это один из вопросов расследования...

— Какое на вас впечатление произвел Раскольцев?

— Всех фактов мы еще не знаем. Противник он сильный. Я ему оставил свой телефон.

— Зачем?

— Представился чекистом... Занимаюсь историей... А вдруг?.. Вдруг сама рука потянется к телефону? Будет легче обратиться к человеку знакомому, к своему пациенту. Может быть, это его подтолкнет прийти...

— С повинной?

— Сначала, может быть, посоветоваться! Может быть, еще жив в нем человек?

— Может быть... Может быть... Если его руки в прошлом не запятнаны кровью! Этот господин не уйдет, пока вы ведете расследование?

— Он проверит, как пойдет передача... Этим у нас обеспечена еще одна встреча с ним.

13

Вечером у Раскольцева на веранде собрались гости, почти все до одного участники этих событий.

Приехал к Раскольцеву сыграть партию в шахматы и генерал-полковник Брунов.

Забежал на огонек художник Казанский. Он приехал не столько к Раскольцеву, сколько к его дочери. Елена Раскольцева закончила Суриковский институт по отделению искусствоведения. Они и познакомились в институте.

Казанского в доме Раскольцевых принимали по-разному. Елена вообще-то знала цену его живописи. Казанский ей был интересен своими знаниями памятников древнерусского искусства. Раскольцев же смотрел на Казанского как на преуспевающего молодого человека. Он был не против такого знакомства. Не пьет, хорошо зарабатывает, купил машину...

Брунов не первый раз видел художника у Раскольцева, привык к нему.

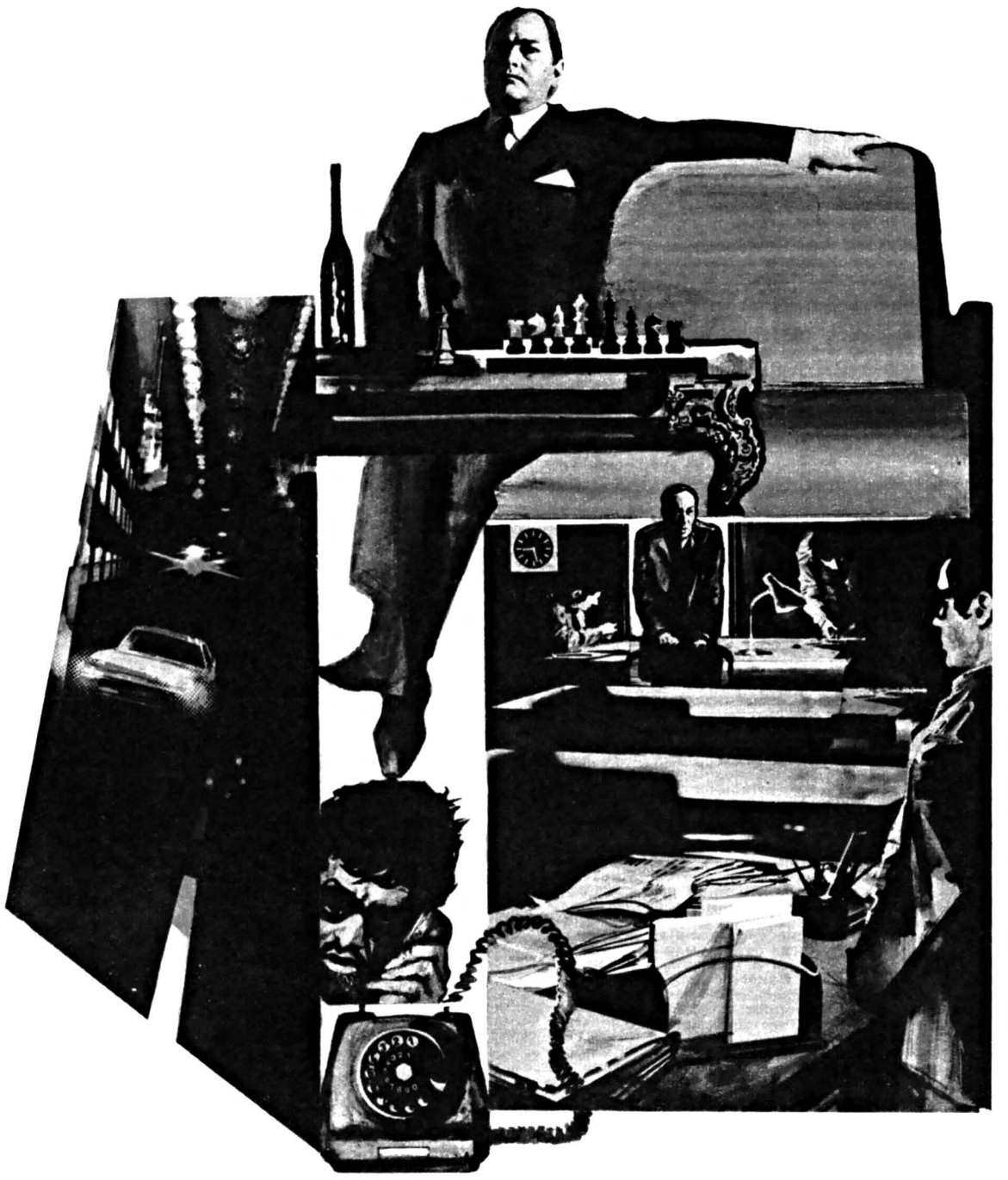
Разговор зашел о недавней поездке Казанского вокруг Европы.

Говорил Брунов.

— Я слышал, что вы там знамениты! Как-то мне пришлось просмотреть запись пере-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—32.



дач радиостанции «Свобода». Их обозреватель не скупился на эпитеты в ваш адрес. Вы знаете, что такое радиостанция «Свобода»?

— Наслышан... Газеты читаю...

— Вас не настораживает, что они вас хвалят?

— Это их дело! Я к этому стараний не прилагал.

— Я не о стараниях... Помилуйте! Но там же сидят оголтелые враги России. Я не оговорился! Именно России! Они выставляли ваши картины... Какие?

— Библейские сюжеты... Эта тема не имеет прямого адреса! Она абстрактна, вечна... Скачущие всадники... Страшный суд... Воскрешение из мертвых... Земля и море отдают своих пленников... Древние обладали богатой фантазией на ужасы...

— Может быть, они не знали настоящих ужасов и не могли себе представить хотя бы даже Хиросиму! Те, кто сегодня вещает по радио «Свобода», содержатся на деньги тех, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму! Я вас не утомил, Евгений Прокофьевич? Скажете — пропаганда! Я не могу до сих пор поверить в добрые чувства тех, кто выжигает напалмом вьетнамские деревни...

Раскольцев смягчил остроту спора ироническим вопросом:

— В атомный век, наверное, даже игра в шахматы потребует новых правил? Шахматное искусство атомного века... Скажите, Петр Михайлович, как человек сведущий, нам, непосвященным... Скажите... Ну вот разразилась катастрофа! Не предотвратили! Есть ли хоть какая-нибудь надежда... нам, простым людям, уцелеть?

— Не предотвратили?— переспросил Брунов.— Это действительно катастрофа! Мне както пришлось читать в одной американской газете, по памяти точно не процитируешь, но я хорошо запомнил эти строчки. Почти цитата! Новая война, пишут они, не должна быть военным разгромом вражеской нации, как это было в прошлых войнах, а буквальным истреблением вражеского народа. Для истребления всего народа надо сбрасывать бомбы так, чтобы уничтожить без всякой жалости мужчин, женщин, детей, сжечь их жилища, разрушить заводы, отравить воду, выжечь урожай и превратить саму землю в безжизненную пустыню... Вот так! А вы, молодой человек, принимаете, не задумываясь, знаки одобрения этой публики.

— Но есть же какая-нибудь надежда? Как, как можно спасти нацию от уничтожения?!— воскликнул Раскольцев.

— Прежде всего не чувствовать себя обреченным, не утратить сопротивляемости. Это даст энергию для активных действий...

— Но вот разразилось!

— Вовремя узнать, вовремя оповестить все население, вовремя принять все намеченные и заранее разработанные меры. Я приведу пример... Не конкретизируя. Система мероприятий для спасения миллионов разнообразна... Она состоит из множества отдельных деталей, каждая из которых во время исполнения спасает один процент населения страны... Это, дорогие мои, два с половиной миллиона жизней! Вы врач... Вам надо знать, как спасать людей. Я дам вам кое-что почитать...

Елена накрыла на стол. Выпили чаю, генерал уехал. За шахматную доску сели Евгений и Раскольцев.

Они остались на веранде вдвоем. И вдруг Казанский услышал полушепот доктора:

— Женечка, вы, по-моему, проявляли интерес к иконе «Ангел пустыни»?

Это грянуло как гром. Казанский не забыл истории, которая с ним произошла во время путешествия в Европу, но надеялся, что вспомнят о нем не скоро. Не от Раскольцева, не от близкого ему человека, думал он услышать эти слова. Евгений в испуге поднял голову.

— Зачем так пугаться!— с укоризной и успокаивающе сказал Раскольцев.— Вам привет от Эдвардса!

— Вы?— выдохнул из себя Казанский.

— Вас же просили ничему не удивляться!

И уже другим тоном, тоном безапелляционного приказа:

— Я сейчас принесу вам коробку с лекарством. Вам позвонят и скажут, куда их доставить.

В кабинете Раскольцев вынул из кармана портативный магнитофон в форме портсигара, извлек оттуда бобину чуть побольше пуговицы от пальто, вложил бобину в коробку от лекарств, заклеил ее условленным образом и вышел к Казанскому.

Коробочка с лекарством легла на шахматную доску.

— Не вскрывать!

— Что? Что здесь?— шепотом спросил Казанский.

— Лекарство! И кончим об этом. Вы ничего не знаете. Вы передаете лекарство. Ваш ход.

Казанскому было не до игры.

— Возьмите себя в руки! Мальчишка! Вы в серьезном деле!

14

К тому времени, когда у Раскольцева на даче разыгралась вся эта сцена, мы уже знали, кто такой Ангел пустыни.

Сретенцев просмотрел круг знакомых Раскольцева. В поле его зрения попал и Казанский. Сразу же всплыли его поездки за иконами по деревням, обозначился круг посетителей мастерской. Возникла зловеще фигура Нейхольда. Выяснилось, что полковник одной из разведслужб Эдвардс был частым гостем Нейхольда. Второй пароль, хотя это было просто невероятным, совпал с живым человеком. Эдвардс — столь же распространенная фамилия, как Петров, Иванов, Сидоров... Это могло быть случайностью, но очень уж близко совместились пароль и реальное имя.

Мы не знали, когда последует передача, что это будет за передача, но мы теперь знали, через кого она будет сделана.

Все, что происходило с Казанским дальше, мы знали с протокольной точностью.

...Казанский вошел в мастерскую, запер дверь на все замки, обошел комнаты, осматривая каждый угол. Погасил свет и подошел к окну. Осмотрел переулок. «Москвич» стоял у подъезда, переулок был безлюден.

«Интересно,— думал Казанский,— на чем и как они поймали Раскольцева? Никогда за ним не замечал никакой слабинки, он даже от общих политических разговоров обычно уходил! Плен? Плен... А если?..»

И Казанский похолодел.

Рассуждения его в ту минуту были не лишены логики. Если Раскольцев был запутан в плену, то только гестаповцами. И если он сегодня работает на Эдвардса, то это чистой воды шпионаж. Выспрашивает у Брунова... Что же он у Брунова выспрашивает? Систему спасения народа от атомного оружия? Вот что он у Брунова выспрашивал! И тут же передача!

Но Брунов ничего же не сказал! Сегодня не сказал... А может, что-то сказал вчера, скажет завтра! Они запутают и Брунова...

Может быть, ему все это кажется, может быть, это всего лишь валютная сделка? А зачем он им понадобился? Разве о валютной сделке вел речь Эдвардс? «Нечего притворяться!»— сказал себе Казанский.

Он опять пристально поглядел в окно. По переулку шел, поначиваясь, пьяный. Остановился возле «Москвича», постоял и исчез в подворотне.

Следят?

Звонко прогремел в ночной тишине телефонный звонок. Казанский схватил трубку. Голос Раскольцева:

— Как себя чувствуете, Женечка?

— Отлично!— твердо ответил Казанский.

— Подъем душевных сил?— иронизировал Раскольцев.

— Да нет, сел вот посмотреть на свои картины...

— Это хорошо! Плюньте на мелочи жизни... Спокойной ночи!

В трубке послышались гудки отбоя.

В ту минуту Казанский не мог еще себе объяснить, почему он говорил с Раскольцевым так твердо. Помимо его воли и сознания он уже ощутил между собой и Раскольцевым непроходимую пропасть.

Казанский метался по мастерской. Он положил на стол коробочку. Велико было искушение открыть ее, но боялся, боялся какой-нибудь ловушки, что в коробочке скрыт проверяющий механизм и только. Он был отчасти прав. Вскрыть ее могли только специалисты.

Раздался опять телефонный звонок. Он снял трубку.

— Алло!

В трубке послышался незнакомый голос:

— Здравствуйте, Евгений! Я от Алексея Алексеевича!

Началось! Казанский едва сдерживал себя, чтобы не закричать. Однако ответил:

— Слушаю вас!

Глуховатый голос спокойно продолжал:

— Вы интересовались картиной «Ангел пустыни». Я могу завтра вам ее показать... Я прошу вас подойти завтра в половине седьмого вечера к памятнику Пушкина. Идти от Никитских ворот по Большой Бронной...

В трубке отбой...

Казанский рассказывал, что именно в эту минуту он решил явиться в Комитет государственной безопасности. Но как туда идти? А если они следят? Могут подстеречь. Позвонить? А вдруг они уже подключились к телефону?..

В голове все мешалось. Казанский схватил коробочку, ключи от машины, выбежал из дома. Он вскочил в машину и помчался... на вокзал. Решил ехать в Ленинград, в Ленинграде за ним они не уследят!

Он решил взять билет, а машину оставить прямо у подъезда вокзала. Билетов не оказалось. Кассирша объявила:

— Все поезда ушли, молодой человек!

Он вернулся к «Москвичу», у машины стоял милиционер. Милиционер спросил, чья это машина.

— Не-ее... не знаю! — ответил Казанский.

— Как же вы это не знаете? Вы на ней приехали!

Проверив документы, милиционер все-таки, усмотрев что-то подозрительное в поведении Казанского, сообщил в ГАИ номер машины. Казанский вернулся домой, поставил машину у подъезда, пошел в мастерскую.

Он уверял, что в этот час боялся, как бы мы его не арестовали до того, как он сам явится.

Когда он выглянул из окна в переулок, его охватил ужас. Около «Москвича» стояла милицейская оперативная машина. Это инспектора ГАИ обнаружили его «Москвич» по номеру, указанному милиционером. Казанский не сообразил, что появление оперативной милицейской машины вызвано его нелепым ответом милиционеру на вокзале. Он решил, что приехали за ним...

В довершение всего раздался телефонный звонок. Он снял трубку. С другого конца провода кричали:

— Алло! Алло! Это аптека?

Тут Казанский отвел душу.

— Почему аптека?— взорвался он.— Какая аптека? Вы с ума сошли? Хулиганство! Я буду жаловаться!

Трубку на другом конце провода положили. Именно поиски аптеки и надоумили его. Он набрал телефон «Скорой помощи» и вызвал врача, заявив, что у него сильнейший сердечный приступ.

Врач приехал.

Выслушал его, никаких сердечных явлений не нашел, хотя Казанский почти в истерике уверял, что у него разрывается сердце.

— Спасите меня, доктор! Спасите!— кричал он.

Мольба его звучала вполне убедительно. Врач вызвал санитаров. Казанского уложили на носилки и увезли в больницу.

...В девять часов утра, с первых минут рабочего дня, но мне позвонили из приемной и спросили, не интересует ли меня некто Казанский.

Я посмотрел на Василия. Он не слышал, конечно, что мне сказали, но весь потянулся к телефонной трубке. Ждал!

Я спросил:

— Он в приемной?

Мне ответили, что Казанский вызывает следователя Комитета государственной безопасности в больницу.

— Эксперимент удался!— объявил я Василию.— Казанский просит нашего представителя, чтобы сделать заявление...

— Надо торопиться, Никита Алексеевич! Свидание у них назначено на половину седьмого.

Я его понял. Ему очень хотелось дело с Казанским самому довести до конца.

— А почему надо торопиться?— спросил я его.— Впереди целый день!

Я достал трубку, набил ее табаком и закурил, нарушая запрет Раскольцева, хотя этот запрет и был справедлив.

— Почему торопиться?— повторил я вопрос.

Василий замер.

— Можно, Никита Алексеевич?

— Можно!

— А если послать его на встречу?

— И с поличным взять всю группу?

Я нарочно задал такой вопрос, я знал, что Василий задумал нечто иное.

Он меня понял.

— Никита Алексеевич, я же не о том! А если через Казанского ворваться в эту цепочку?

— Ворвемся в цепочку — дальше что? Вступать в игру?

— Смотря что их интересует... Если Брунов, то мы можем сделать большое дело!

— Это зависит и от Казанского...

— Согласится!

— Я не об этом! Сумеет ли он их переиграть? Мы же с тобой решили, что Раскольцев — очень сильный противник. И этот еще господин...

— Я вижу, Василий Михайлович, вам очень хочется поехать в больницу... Ехать, однако, придется мне!

Я попросил главного врача больницы отвести мне часа на два отдельную комнату. Главный врач уступил свой кабинет. Туда на тележке привезли Казанского. Дверь закрылась. Я запер ее на ключ, повернулся к Казанскому. Он резко поднялся с коляски.

Чтобы все было по форме, я показал свое удостоверение. Я мог бы его сейчас же засыпать вопросами. Но важно было, чтобы он сам все рассказал, чтобы раскрылась мера его искренности.

Он рассказал все, вплоть до вызова «Скорой помощи». Статья шестьдесят четвертая Уголовного кодекса гласит: «Не подлежит уголовной ответственности гражданин СССР, завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой».

В силу добровольного признания от наказания он освобождался. Мы имели правовые основания не возбуждать уголовного дела против него и за валютные операции. Признание все перекрывало. Я показал портрет Сальге, тогда еще личности для нас туманной. Он его никогда не видел.

Наступала решающая минута. Посылка, небольшая картонная коробочка из-под пилюль, лежала передо мной на столе. Он не открывал ее.

О вступлении в большую игру речи пока еще не шло. Но позондировать, попробовать, пойдет ли игра, мы могли.

— И предположений никаких нет,— спросил я его,— кто придет к вам на встречу у памятника Пушкина?

— Никаких!

— У вас нет желания прогуляться по Большой Бронной от Никитских ворот до площади Пушкина?

— Мне? Сейчас? Сегодня?

— Не сейчас! У вас целый день впереди, чтобы подготовиться! Вы этим нам очень поможете!

Он растерялся. Не потому, что понял что-то в моих словах. Я счел нужным устранять все неясности.

— Да, мы просим помочь нам до конца разобраться во всей этой истории. Вашу встречу мы обезопасим...

— Мне кажется, что они следили за мной...

— Это действительно только кажется... Следить они могут, когда им нужно... Правда, это очень непросто. Не следили!

— За мной...

— Не следили!— перебил я его.— Это мы знаем точно! Но мы не настаиваем — это должно быть вашим добровольным желанием.

Он согласился.

Решено было, что он останется в больнице.

Специалисты открыли коробочку и обнаружили в ней бобину с магнитной проволокой. Проиграли ее на соответствующей аппаратуре. На ней оказалась запись уже известного нам разговора на веранде дачи Раскольцева с Брунковым. И все... Вопрос, куда протянулись руки хозяев, новых хозяев Раскольцева, был снят. Брунов и сфера его деятельности...

Пожалуй, имело смысл «помочь» им через Брунова. Обычно разведки очень критически относятся к каким-либо сенсационным удачам. Всегда в таких случаях возникает опасность натолкнуться на дезинформацию. Но хочешь не хочешь, а принять игру им придется. Никто не может на первых порах, а иной раз и на протяжении длительного времени определить, что передает агент, достоверные сведения или дезинформацию. Искусно составленная дезинформация действует иногда без промашки.

Все эти соображения я изложил в своем докладе руководству. Такого рода игра — дело крайне деликатное. Здесь это было вдвойне осложнено. Возникал вопрос о судьбе Раскольцева и неизвестного. Они совершили уголовное преступление.

— Вы еще раз,— сказал наш начальник отдела Сергей Константинович,— приостановили арест неизвестного... Это что — эмпирического характера импульсы или у вас уже созрел какой-то план?

Я высказал свои предложения по игре. Правда, я пока мог говорить только о примерной схеме. Брунов — Раскольцев — Казанский и то лицо, которое должно определиться вечером. А это означало, что и сегодня вечером мы не арестовываем неизвестного...

Сергей Константинович обещал до вечера посоветоваться с Брунковым, может ли иметь его ведомство интерес к этой игре.

Между тем Волоков и Сретенцев кое-что нашли и связанное с неизвестным. Они позвали меня в спецлабораторию.

Был проведен сравнительный анализ сегодняшних фотографий с фотографиями, хранившимися в архивах по одному давнему делу.

Мы получили фотографию нашего неизвестного, Гусейнова, в годы войны, во время Тегеранской конференции. Он состоял в группе, которая готовила покушение на Рузвельта. Был задержан иранской полицией. При невыясненных обстоятельствах скрылся. Действовал сей господин в те годы под именем Сальге.

Нашли и еще один след Сальге. Он проходил по Краснодарскому процессу, на котором была осуждена группа карателей, замешанных в массовых убийствах советских людей. Преступления свершались в сорок втором году. Ряд свидетельских показаний указывал на Сальге. Он был опознан по фотографиям. И все... Кто таков он был, откуда, никто не знал, и следствие тогда подробностей не установило. По всему было видно, что он не чужак на нашей земле. Русским языком владеет отлично. Знает и обстановку. Чужеземца так подготовить не могла ни одна школа.

Прошлое Раскольцева и Шкаликова тонуло пока во мраке... Надо было искать и искать и не только по архивам.

Волоков пока что зацепился за Краснодарский процесс.

Если Раскольцев замешан в карательных операциях, то ждать его звонка, его прихода с повинной не приходилось... Тогда понятен страх Шкаликова.

Продолжение следует.

Ф. ШАХМАГОНОВ

ПОВЕСТЬ

Рисунки И. БЛИОХА.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

15

...В 18 часов 10 минут Казанский вышел из такси у Никитских ворот, около Кинотеатра повторного фильма. Огляделся. Посмотрел на часы. Перейдя улицу, купил в цветочном киоске букетик цветов. Затем не торопясь направился к Большой Бронной.

Наблюдение за операцией было организовано с привлечением всех технических средств. Мы не имели права рисковать безопасностью Казанского. Мы предполагали, что они тоже установили с этой минуты наблюдение за каждым его шагом.

Ждали Сальге. С Казанским условились, что, заметив Сальге, он войдет в первый же подъезд. Переждать. Для Сальге это будет признаком того, что Казанский вышел на свидание остерегаясь.

Так Сальге его и понял. Когда Казанский пропустил его и зашел в подъезд, Сальге прошествовал к киоску с мороженым. Купил эскимо и повернул обратно.

В 18 часов 20 минут, когда Казанский шел уже по Большой Бронной, от площади Пушкина навстречу ему двинулся Нейхольд. Круг не расширялся. Я снял трубку и соединился по телефону с Сергеем Константиновичем. Доложил, что операция проходит точно по плану, без всяких отклонений, что все в сборе и на линии. За ним оставалось решение производить арест с поличным или входить в большую игру.

— Не трогать! — коротко ответил Сергей Константинович.

Настала минута, когда Сальге снова должен был пройти мимо Казанского.

Казанский остановился возле театральной афиши. Мимо прошел Сальге. Казанский двинулся вперед.

Разминулись Нейхольд и Сальге. Сальге остановился завязать шнурок на ботинке.

Стережет!

Нейхольд и Казанский сближались. На лице у Нейхольда расплылась широкая улыбка.

— Здравствуйте, Евгений! — воскликнул он.— Давно с вами не виделись!

— Что не заходите? — спросил в ответ Казанский и вынул правую руку из кармана — в ней была коробочка. Они поздоровались, коробочка оказалась в руке Нейхольда.

— Недосуг все, недосуг... Забегу как-нибудь...

Тихо спросил:

— Почему у вас с утра в мастерской не отвечал телефон?

— Так лучше! — полушепотом ответил Казанский.

Они раскланялись, каждый продолжал свой путь. Сальге двинулся за Казанским.

Казанский вышел к памятнику Пушкину и сел на скамейку, как бы кого-то поджидая. Сальге сел на скамейку в сторонке.

Посидев минут десять, Казанский направился к стоянке такси. Уехал. Сальге встал и пошел своим путем.

16

На другой день мы с Сергеем Константиновичем отправились к генералу Брунову.

Он оказался человеком приветливым, очень интересным собеседником. Конечно, в первую минуту он держался настороженно. Его удивил наш визит, даже в какой-то степени обеспокоил. Какая вдруг обнаружилась в нем нужда у контрразведчиков?

Чтобы развеять все его недоумения, Сергей Константинович попросил меня рассказать о Раскольцеве. Услышав эту фамилию, Брунов переспросил:

— О ком? О ком вы собираетесь мне рассказать? О Раскольцеве?

— О Раскольцеве! — подтвердил я.— Об Алексее Алексеевиче Раскольцеве...

— Это отличный врач! — воскликнул он.— Я у него лечусь... Он мне очень помог! Я его хотел пригласить на работу в нашу систему...

— На секретную работу? — спросил я.

— А почему бы и нет?

— Нет, нет! Вы ничего не могли знать... Мой вопрос — это естественное удивление, как во, многом успел этот человек... Петр Михайлович Раскольцев, по нашим данным, работает на иностранную разведку.

— Данные... Какие данные? — спросил он в упор.— Проверенные это данные?

— Он работающий агент. Вчера он отправил разведывательную информацию. Она еще не ушла за рубеж...

— Как вас понять?..

— Раскольцев получил задание... разрабатывать вас, Петр Михайлович! На первый случай он записал вашу беседу с ним у себя на даче во время партии в шахматы...

Брунов рассмеялся.

— Недорого же стоит эта информация... Это же глупость! Что он от меня мог бы получить? Я с юных лет служу в армии... Знаю, что и где говорить...

Я объяснил Брунову, что никто и не надеялся вот так сразу от него что-то узнать... Прежде всего Раскольцев закрепит знакомство, будет записывать на магнитную ленту все разговоры, высказывания; по отдельным словам, по намекам там будут составлять общую картину... И скорее всего будут подыскивать возможность скомпрометировать объект их внимания или через Брунова установить связь с человеком, менее стойким... Словом, началась работа...

— Так что же вы не арестуете этого господина? — спросил с чувством брезгливости генерал.

Мы переглянулись с Сергеем Константиновичем.

— А надо ли торопиться с его арестом? — спросил Сергей Константинович.

Брунов сразу все понял.

— Товар у нас найдется для таких покупателей...

— Вот, вот,— подхватил Сергей Константинович,— мы и приехали посмотреть на товар... Вернее, из чего можно сделать товар...

— А поверят они? — спросил Брунов.

— Вопрос философский! — ответил тоже с улыбкой Сергей Константинович.— Вступая в игру с противником, любая разведка ставит перед собой вопрос: а поверят ли? Иногда вдруг такая возьмет заумь контрразведчиков, что и настоящая информация оценивается как дезинформация, иногда удается дезинформацию выдать за истину... Я заметил: чем труднее получить информацию, тем больше в нее верят... Мы создадим специальные трудности... Да и самый выход на Раскольцева для них уже был сопряжен с большими затратами и трудностями... Что мы им дадим? Вот вопрос.

— То, что они ищут...

Брунов обрисовал нам, что они могли искать.

Немедленно последовало указание не трогать ни Сальге, ни Нейхольда, ни Раскольцева. Игра началась...

Нейхольд взял билет на самолет до Парижа. Сальге приехал на аэродром в час его отлета. Опять проверял.

И тут неожиданность...

17

Наши службы вели наблюдение за Сальге и Нейхольдом, не выпуская из поля зрения и Раскольцева.

Примерно в то время, когда Нейхольд собрался на аэродром, Раскольцев выехал с дачи в Москву. А через час после его отъезда раздался у меня в кабинете его телефонный звонок.

— Никита Алексеевич! — начал он.— С вами говорит доктор Раскольцев... Вы принимаете мои лекарства?

Я ждал этого звонка. Рецепт лежал у меня на столе под стеклом на случай, если Раскольцев спросит меня, какие я принимаю лекарства.

Дрогнула, стало быть, у него душонка... Так я подумал в ту минуту.

— Принимаю ваши лекарства, Алексей Алексеевич! — ответил я ему.— Собираюсь к вам, да вот никак все не выберусь...

— У меня тоже возникла нужда посоветоваться! — откликнулся Раскольцев.— Помните наш разговор касательно истории? Хотелось бы обратиться к вам за помощью...

— Всегда рад помочь! — ответил я, ожидая, что последует далее, сколь настойчив будет Раскольцев.

— Если вы не очень заняты, я хотел бы к вам заглянуть.

— Пожалуйста! Я закажу вам пропуск!

— ...Неужели, Никита Алексеевич, вы всерьез полагаете, что он идет к вам с признаниями? — проговорил Василий, когда я ему рассказал о звонке Раскольцева.

Я промолчал, хотя в глубине души действительно надеялся на такой вариант. Неужели в этом человеке все мертво?

К той минуте Нейхольд уже улетел. Сальге возвращался в Москву с аэродрома.

Раскольцев вошел ко мне в кабинет твердым шагом, хотя и заметна в нем усталость уже немолодого человека. Держался он в меру самоуверенно, скорее самоутверждающе. Он поздоровался и тут же осведомился:

— Курить вы не бросили?

Он слегка потянул в себя воздух. В кабинете, вероятно, пахло трубочным табаком. Курильщик обычно не чувствует запаха трубки.

Он был, конечно же, прав, что мне надо было бросать курить. Я виновато пожал плечами.

— Бросать! Бросать! — наступал он.— Ничего не знаю! Бросайте курить!

Он протянул руку и взял меня за запястье — послушать пульс. Может быть, именно так ему было легче начинать разговор, ради которого он напросился сюда, в это здание.

Но я не стал развивать разговора о болезни, я не считал нужным помогать ему. Он сам должен был переступить тот психологический барьер, который, мне виделось, встал перед ним. Но я ошибся на этот раз. Он пришел к нам не с повинной!

— Решил я,— начал он несколько патетически,— вспомнить былое... Все нынче мемуарами увлеклись... У меня какие же мемуары! Но рассказать как врач, как человек гуманной профессии о страшном прошлом, о том, что такое фашизм, как изничтожал он личность, мне думается, я сумел бы небезынтересно для нашей молодежи...

— Тема актуальная! — ответил я как бы в раздумье.

Я сказал это, не поднимая глаз... Опасался, что выдам себя! Лицемерие его меня не сразило, я знал, что это противник из сильных. Я боялся, что выдам свое торжество... Игра пошла. И он пришел меня проверить, проверить, почему я у него оказался на приеме, проверить, конечно, чем я занимаюсь здесь, может быть, даже и наметить контакты для будущего и, главное, удостовериться, что мы знаем о Шналинове. Я ждал этого вопроса с минуты на минуту. Я даже ускорил его.

— Чем мы можем быть вам полезны, доктор? Все, что в моих силах, я готов сделать...

— Времени прошло много,— неторопливо продолжал Раскольцев.— Память — инструмент не всегда надежный... Кое-что надо мне перепроверить... Трудно найти тех, с кем пришлось сталкиваться там, в лагерях... Иные умерли, иных не могу найти...

В знак согласия я кивнул головой.

— Трудновато... Согласен! Война раскидала людей! И после войны прошло столько времени... Но, может быть, поищем вместе с вами... Кого вам хотелось бы найти?

— Был у меня товарищ... Вместе с ним бежали... Он был организатором побега. Его находчивости обязан жизнью! Простой человек, рядовой солдат...

— А вы разве не были рядовым? — спросил я негромко и как бы даже удивившись. Вопрос этот может только поначалу показаться простым. Я зацепился за его слова «рядовой солдат». А ведь мы знали, что он окончил краткосрочные командирские курсы и в июле 1941 года был уже лейтенантом. Однако главным сейчас было то, что в карательном легионе фашистов он значился по нашим материалам офицером: унтершарфюрером.

Я не спросил его сейчас: «Вы были или не были рядовым?» — нет, я как бы удивился, что он зачисляет себя не в рядовые...

Боюсь, что Раскольцев не уловил столь сложного подтекста, это, конечно, хорошо, что не уловил, это была еще одна проверка его настороженности, а также и настороженности его

Продолжение. См. «Огонек» №№ 30—33.

хозяев. Мне было важно теперь использовать этот его визит с наибольшей для нас пользой. Я не обольщался... Если мы вступали в игру и игра принималась, то с Раскольцевым вот этак, с глазу на глаз мне беседовать придется теперь нескоро. Он ответил:

— Я войну начинал лейтенантом, а Шкаликов начинал, мне кажется, не очень-то грамотным деревенским пареньком... И оба мы попали в плен. По каким лагерям и где он скитался все годы, я не знаю... Мы встретились с ним буквально в последние дни войны. В лагере под Познанью, на польской земле... Шкаликов его фамилия. Сергей Николаевич... И все! Больше я о нем ничего не знаю! В адресном бюро не справишься. Год его рождения мне неизвестен. Место рождения неизвестно...

— И лагерь немецкий, вы говорите, был для него транзитным?

— Привезли его откуда-то...

— Маловато, Алексей Алексеевич! Посудите сами! Никакой пока зацепки вы мне не дали, чтобы его можно было найти...

— Было нас четверо... Одного я встречал после войны... нечто Голубев... На улице его как-то встретил. Потом я справлялся... Он умер.

Не надо мне молчать. Надо было включаться в его поиск.

— Кто же четвертый? — спросил я.

— Имя и фамилию четвертого запамятовал. А может быть, даже и не знал... В последние дни все в лагерях смешалось...

Не нарочно ли так ограничил круг своих сведений Раскольцев, чтобы выведать, не раскроюсь ли я, развивая его поиски? Все могло быть...

— Маловато, Алексей Алексеевич! — заключил я.— Могу дать вам совет. Вам известен адрес этого... Голубева, вы назвали?

— Был адрес... Когда мы встретились на улице в сорок седьмом году, он мне дал его. Несколько лет спустя я попробовал найти Голубева. Не только дома, но и улицы не оказалось на месте. Старое все снесли, новое построили... Тогда мне в райисполкоме и в милиции помогли. Сообщили, что Голубев умер... Семьи у него не было. Может, кто-то и был близкий, где же теперь найдешь?

Я развел руками, открыл стол и достал из ящика трубку.

— Стоп! — воскликнул Раскольцев.— Трубку долой! Нельзя!

— Трудно сразу, доктор!

— Потом будет легче!

— Мало вы мне дали для поисков... Не знаю, что вам и посоветовать!

— Нас, когда пришли части Красной Армии, допрашивали в особом отделе!

Я встрепенулся, изобразил живейший интерес на лице.

— Какое подразделение, часть, дивизия или полк вас освободили? Что-нибудь запомнили?

— Из истории знаю, что Познань освобождала Восьмая гвардейская армия... Запомнил я и дивизию... Допрашивал нас офицер из особого отдела Тридцать девятой гвардейской дивизии... Фамилии его не знаю... Не назвался...

Я записал на листке номер армии и дивизии... Фамилию Шкаликова.

— Это уже кое-что, Алексей Алексеевич! Но поручиться вам, что остались протоколы допроса, не могу... Могли и не остаться... Много тогда людей возвращалось из плена... Еще что-нибудь есть?

— Больше ничего...

Я обещал поискать протоколы допроса, мы расстались.

Зашел Василий.

— Ну и как? — спросил он.

Я вздохнул.

— Ошибки, Василий Михайлович, надо уметь признавать! Ошибся я! Он и не думал повиниться... Ищет Шкаликова... Для своих воспоминаний...

— Дерзок!— заметил Василий.— Может быть, он еще что-нибудь ищет? Сам он додумался к нам идти или ему посоветовал Сальге?

— Зачем это советовать Сальге?

— Со всех сторон интересно... Если он рассказал Сальге, что у него появился пациент из КГБ, Сальге мог насторожиться... Да еще в тот же день, когда у них был такой разговор... А?

— Предположим, насторожился...

— Нейхольд увозит с собой передачу. В тот же час, когда Нейхольд выезжает на аэродром, к нам является Раскольцев. Проверка! Где вы, что вы делаете? Это первое. Второе! Сальге может исходить из версии, что вы никакого отношения к их деятельности не имеете, через вас пытаются выяснить, что нам здесь известно о Шкаликове... Не связали ли мы его имя с Притыковым после железнодорожного происшествия? И это Сальге необходимо знать! И последнее. Не Сальге проверяет, а Раскольцев проверяет, чисто ли сработал Сальге... Для него это вопрос жизни и смерти...

Я должен был признаться, что Василий нащупал зерно истины.

Мы решили помочь им. Правда, это было не просто. Из-за Шкаликовой. Следуя принятой версии и не разрушая логики своих действий, Раскольцев должен будет нанести два визита. Визит к Шкаликовой, а потом к Власьеву. Власьева предупредить нетрудно. Он не из пугливых. Не испугается ли Шкаликова?

Узелок с ней вообще был из сложных... Мы не могли пока сообщить ей, что ее муж погиб, однако переводы от него она уже не получала. Конечно, ради дела мы организовали бы посылку этих переводов из любых районов страны, но Сальге мог узнать, что переводы приходят по-прежнему, и обо всем догадаться... У Шкаликовой должно было сложиться мнение — переводы ее муж перестал посылать потому, что почувствовал: его ищет милиция.

Теперь нам было ясно: Раскольцев обязательно явится к Шкаликовой. Если мы ее не предупредим, что же последует? Не расставит ли он какими-либо вопросами ловушку? Не выведает ли, что Шкаликова пошла после визита Сальге в милицию? Может быть, именно перед визитом к Шкаликовой и сделал свой сложный заход ко мне Раскольцев?

Шкаликова произвела на меня впечатление женщины серьезной и выдержанной. Если ее предупредить, она смогла бы переиграть Раскольцева, она хитра, умна, а Раскольцев пришел бы к ней, считая ее противником и слабым и неподготовленным.

Вопрос! А пойдет ли к ней Раскольцев, не получив от нас ее адреса или по крайней мере подсказки, где ее искать? Раскольцев не пойдет! Но все равно кто-то обязательно к ней явится. И не Сальге... Лучше знать, кто к ней явится, это менее опасно для нее.

Примешивалось ко всем этим вопросам и множество других тонкостей.

Взять хотя бы такую деталь.

Я уже рассказывал о старшем лейтенанте Колобкове. А вдруг он тогда на допросе обронил, что протоколы он отправляет в архив на вечное хранение? Стало быть, если мы теперь скажем, что протоколы уничтожены, это может вызвать подозрение у Раскольцева. Это сейчас совсем ни к чему. Не исключено, что и ранее, времени прошло много, Раскольцев каким-то образом мог проверить, что протоколы сохранены.

Все, словом, сходилось на том, чтобы его допустить к Шкаликовой.

Можно было потянуть с ответом, посмотреть, связывает ли свой отъезд Сальге с окончанием проверки, которую начал Раскольцев.

Однако после раздумий мы решили с этим делом не тянуть...

Я разыграл из себя очень обязательного пациента. Через два дня я позвонил Раскольцеву и сообщил ему по телефону, что протоколы я видел, что в них побег группы, в которую он входил, выглядит героическим, что Шкаликов родился и вырос в городе Верея, что в Верее он и женился, что жива его жена, а сам Шкаликов лет пятнадцать тому назад умер...

Прошло еще два дня, и Раскольцев появился в Верее. И не один... Он приехал на своей машине, на автобусе приехал Сальге. Аккуратно подчищал за ним следы...

Но и Шкаликова была нами подготовлена к этому визиту. Дочь она отправила к родственникам в Москву, Раскольцева встретила поначалу настороженно. Очень неохотно, с заметным для него сопротивлением втягивалась в разговор. Он назвался. Объяснил, что ее муж помог ему бежать из плена. Теперь вот, дескать, решил он о нем вспомнить и написать книгу. Она могла бы о нем рассказать. Он же герой, самый настоящий герой!

— Какой же он герой? — остановила его Шкаликова.— Всю войну в плену просидел...

— И в плену себя люди по-разному держали,— пояснил Раскольцев.— Он не только о себе думал, но и о других...

Он рассказал, как они убежали, какой это был риск, как убили немецкого автоматчика.

— Рассказывал он мне это...— отвечала Шиалинова.— И вас вспоминал... Говорил, что доктором стали. Все собирался к вам ехать лечиться... Не собрался... Сгорел. А героем не был... Работал по счетной части да ночным сторожем. Жалела я его... Так и не выбился из нужды. Жизнь ему плен поломал. А может быть, и родился неумехой... Я его откуда же знала? Только поженились, а вот и война!

Выдержала испытание. Провела все так, как нам было нужно. Раскольцев распрощался с ней, оставив ей в подарок шерстяной платок.

Пока шел в доме Шиаликовой этот разговор, Сальге дважды прошел мимо дома и сел на автобус. Сошел на остановке на полпути к Москве. Раскольцев ехал на машине. Сальге поднял руку, «проголосовал». Раскольцев посадил его к себе в машину.

Их разговор известен нам с протокольной точностью. Это была их последняя встреча.

Сальге спросил:

— Есть какие-нибудь признаки, что она что-то знает?

— Никаких!— твердо ответил Раскольцев.— Похоже, что он от нее надежно скрылся...

— Не врал! Не знает она о нем... Хорошо! Не испугалась?

— Такую гражданочку не испугаешь! Вам это не понять! Русская баба! С юмором она смотрела на своего супруга... Терпела, и все...

— Пятнадцать лет прошло... Может быть, уже и забыла его?

— В герои его не зачисляет... И забыть, конечно, забыла... Похоже, что и вспоминать ей все это неприятно...

— Каков Дубровин, ваш пациент? Контакты с ним возможны?

— Как видите, возможны... Но я не хотел бы их продолжать. Это люди осторожные, тренированные...

— Пока не продолжайте... Я попытаюсь узнать там, у нас, что о нем известно... Если он был в Германии в годы войны, то следы его могли остаться... Тогда будет ясно, как с ним себя держать... Больше к нему не напрашивайтесь...

— Надо бы проверить, как прошла версия с Притыковым!

— Ни в коем случае... Это элементарная ошибка. Не счесть, сколько преступлений раскрыто именно на том, когда начинали вот так проверять... Притыков со Шиаликовым не совместились. Для меня это очевидно... А для вас это главное... Гарантирую вам, доктор, что личность его установить могли только по документам... Все было точно рассчитано. Казанского я проводил... Он трусил... Но все прошло чисто. Если бы за ним было наблюдение, я заметил бы... И его связной не мальчик...

— Кто он? — спросил Раскольцев.

— Профессионал!— ответил Сальге. Они помолчали.

— Теперь с генералом...— продолжал Сальге.— Не торопитесь! Беседа на веранде просмотрена нашими. Вопросы поставлены слишком прямо... Чем дольше вы не будете задавать вопросов, тем лучше... Всячески его привяжите к себе. Записывайте все ваши с ним разговоры. События сами что-нибудь подскажут... Мы подсказку не проглядим... Вы вошли в когорту очень ценных для нас лиц... Сегодня я могу с вами уточнить наши расчеты... Что вас устроит? Вся сумма на руки или часть в заграничном банке?

— Все в заграничном банке и в валюте.

— Расходы на организацию дела в русских рублях здесь! Нас интересуют прежде всего средства связи его службы. Это большая тайна, и ее оберегают. Если вы что-то получите из этой области, конечно, не сейчас, а когда выдастся случай...

— Мы можем сейчас определить сумму?

— Я закончу свою мысль... Не я это определяю, и сразу никто не определит, что вы добудете... Если информация будет отнесена к первой категории, вы станете очень богатым человеком.

— Как я смогу выбраться за границу?

— Туристское путешествие... Просьба предоставить политическое убежище...

— Если я почувствую, что они мной заинтересовались, что делать?

— Лучше вам этого не почувствовать... Мой совет — не ждать встречи со следователем! Вы врач!.. Я думаю, что вы не нуждаетесь в наших средствах...

— Не нуждаюсь...

— Что вас тревожит?

— Художник... Я его едва привел в сознание, так он испугался...

— Это хорошо, что испугался... Пугливый не пойдет на себя доносить... Он предупрежден, что в случае провала мы его на дне морском разыщем... Цепочка выстроена отличная, поверьте, вам ничего не грозит, если только вы сами будете осторожны!

Прощание было не сентиментальным. Сальге вышел из машины, не доезжая до Москвы...

Приближались последние часы его пребывания у нас в стране. Василий даже погрустнел.

— Жалко отпускать!— объяснил он мне.— Красиво можно было бы допрос построить!

— Мы еще с ним встретимся!— заверил я, хотя, по правде сказать, не очень-то рассчитывал на встречу.

...В одном из южных портов Сальге поднимался по трапу на туристский теплоход. Василий стоял на посту в форме пограничника рядом с сотрудником таможни. Он проверил документы у Сальге и не удержался от шутки. Возвращая документы, он сказал:

— В добрый путь! До скорой встречи!

— Мне ошень, ошень нравилось в вашей стране...— ответил Сальге, коверкая русские слова.

Теплоход отчалил...

Окончание следует.

НАЙТИ ВОСКРЕСШЕГО

Ф. ШАХМАГОНОВ

Рисунки И. БЛИОХА.

ПОВЕСТЬ

18

Сальге уехал, а мы занялись исследованием белых пятен в этой истории.

Прошлое Раскольцева, Шналикова...

И еще одно пятнышко.

Я уже упоминал, что Казанский сбывал доллары, полученные от Нейхольда, спекулянту валютой. Кто этот валютчик?

Решили поначалу, что найти валютчика будет легко. Но здесь мы встретились с большими трудностями.

Однажды Казанский обедал в ресторане. К его столику подсел грузный человек восточного типа. Он оказался веселым, общительным собеседником. Разговорились за столом, продолжили разговор в мастерской. Назвался незнакомец Габо. Он восхищался талантом Казанского, тут же купил у него картину. До утра распили не одну бутылочку. Уходя, Габо шепнул, что купил бы валюту... Казанский рискнул. Габо отдал деньги не торгуясь, сказал, что будет позванивать и возьмет, если еще появится... И позванивал.

В мастерской они больше не встречались. Габо звонил, и они сходились на улице, в подъездах домов. Короткая, как молния, встреча. Свертон передает Габо, сверток передает Казанский. И все... Никогда своего адреса или телефона Габо не оставлял.

Я несколько раз потом переспрашивал Казанского, действительно ли известно было Эдвардсу, кому и за сколько он продавал доллары. Нет, не оговорка. У Казанского сложилось впечатление, что Эдвардс и Нейхольд знали о Габо. После встречи Казанского с Эдвардсом за рубежом Габо ни разу не позвонил...

Мы его искали, но поиски ни к чему не привели...

И вот через несколько лет опять всплыла эта фигура.

Я уже упоминал о Гамузове, шофере II класса, таксисте, доставившем Иоахима Пайпера в гостиницу «Украина».

Ни по возрасту, ни по роду своих занятий он не подходил к этой компании. Его появление возле Сальге было для нас неожиданностью, оно таило в себе опасность, это был нежелательный для нас выход Сальге на автотрассы. Пришлось встретиться с Гамузовым на другой же день. Встретились в таксопарке, в кабинете инженера. Я предъявил ему удостоверение и предупредил, что разговор будет крайне серьезным. Он пожал плечами, но робости я у него не почувствовал.

Я сразу спросил:

— Кого вы, Юрий Александрович, встретили вчера на аэродроме?

Он попытался увильнуть от прямого ответа.

— Я работал на линии... Ждал пассажиров...

— Почему вы взяли именно того пассажира, который подошел позже других?

— Он мне больше понравился...

— Приплатить пообещал?

— Пообещал! — ухватился Гамузов за эту поставленную ему мной же лазейку.

Некогда, некогда было играть с ним в кошки-мышки.

Я выбросил на стол веером пачку фотографий.

Сальге идет по летному полю к аэровокзалу, он, Гамузов, протискивается сквозь толпу пассажиров в аэровокзал, останавливается у табачного киоска. Подбрасывает ключи, Сальге идет мимо киоска... Сальге садится в машину...

— Что означал этот жест с ключами? — спросил я.

Гамузов вытер пот со лба...

— Это кто же? Кого я встретил?

— Это я хотел у вас узнать.

— Шпион?

— А если шпион? Вы понимаете, Гамузов, в чем вы окажетесь соучастником?

И Гамузов начал рассказывать...

Все оказалось просто до удивления.

Однажды Гамузов довез с вокзала до гостиницы пассажира. По дороге они разговорились. Пассажир предложил Гамузову хороший приработок. Он должен будет обслуживать этого пассажира во время его приездов в Москву. Телефонный звонок. Надо будет встречать на вокзале, стоять у подъезда гостиницы с включенным счетчиком, выезжать по вызову в любой час дня и ночи. Оплата всего плана за день, второй план Гамузову. Пассажир назвался Габо. Гамузов подладился под его вызовы. Освобождал на дни приезда Габо своего сменщика от работы. По телефонному звонку подавал машину. Ездили по Москве, по московским магазинам, по гостиницам, выезжали иногда за город. Ничего подозрительного в поведении Габо шофер не замечал. Считал его богатым человеком, и только. Сам никогда ему не звонил и не искал. По его заданию он иногда обслуживал и других клиентов. Расплачивался всегда Габо.

— Каких клиентов?

— Разных... Приходилось развозить всяких гуляк... Несколько раз возил иностранцев...

Так и на этот раз... Он должен был встретить человека, который, сходя с самолета, снимет шляпу и вытрет белым платком пот со лба... После этого надо будет подойти к киоску с сигаретами, ничего не купить, у книжного киоска подбросить ключи и сесть в машину. Приезжий подойдет к машине, протянет листок бумаги с адресом. Его нужно будет доставить в гостиницу, подчиняясь в дороге каждому его требованию.

Оплата двойная... Несколько дней стоять возле дома на приколе, ждать вызовов. Все...

Гамузов дал нам словесный портрет Габо. У нас имелся портрет Габо, сделанный Казанским. Мы показали его Гамузову. Он признал в нем Габо.

Все закоулки, откуда могла бы возникнуть неожиданность, были взяты под наблюдение. Но проблема, перед которой мы встали, от этого не стала легче.

Приезд столь значительных гостей в нашей игре в какой-то степени предусматривался. Кто-нибудь должен был обязательно приехать; приехали старые знакомые: и Сальге и Эдвардс. Они круг своих людей не расширили. Соблюдали осторожность.

Но только ли осторожность?

Незадолго до этого визита Раскольцеву «удалось» ухватить за хвост жар-птицу и вырвать у нее из хвоста перо. Сложным путем, через окружение Брунова, мы передали Раскольцеву то, что заказывал ему Сальге. Такого рода «удачи» в работе разведок не часты. Передача в руки Раскольцева специально для этого сделанной схемы узлов средств оповещения и связи в системе гражданской обороны страны была совершена с крайней осторожностью. Но мы знали, что, получив эти узлы схемы, там всерьез задумаются: не дезинформация ли это? Они были обязаны над этим задуматься... А как проверить? Сравнить с подлинной схемой им не дано... Поверить не проверяя? Так в разведслужбах не бывает. Стало быть, мы ожидали проверки психологического характера. Кто-то должен был проверить всю цепь связи, расспросить Раскольцева с глазу на глаз, как ему удалось получить схему. Для этого могли прислать любого агента.

Прислали Сальге и руководителя всей операции Эдвардса. Эдвардса послали под чужим именем... Нелепица?

В такой игре нелепиц не должно быть... Стало быть, засылка Эдвардса под чужим именем — это комбинация, а не нелепица. В чем смысл этой комбинации? В чем смысл повторного засыла Сальге?

Здесь мы могли рассчитывать только на логический домысел. Надо было «проиграть» всю эту операцию...

Василия я поставил на место своего противника.

Пришла информация от Раскольцева...

Схема средств связи и оповещения населения на случай ракетно-ядерной войны — это стратегическая тайна, она дает возможность решать и стратегические задачи. А если это дезинформация? Если эту схему подсунула контрразведка? Что делать?

— Я сам встретился бы с Раскольцевым,— ответил Василий.— Никому не доверил бы этой встречи...

— Вариант возможный! — согласился я.— Как организовать встречу?

— Выезд Раскольцева за границу в этой ситуации нежелателен! Я выезжаю к Раскольцеву... Что мне может помешать? Ничто не может помешать... Покупаю туристскую путевку и еду...

— Вы выезжаете под своим именем... В вашей туристской карте значится, что вы сотрудник разведуправления... Вышли бы вы при этих условиях на встречу с Раскольцевым?

— Вышел бы! В ресторане за столиком, на бульварной скамейке, в театре, в креслах рядом... Даже, если бы обнаружил за собой наблюдение... Ну и что? Наблюдайте! Я куплю эти билеты, а потом продам их у театрального подъезда... И все! Масса возможностей... Придумывать варианты?

— Возможностей много... Согласен! Почему же он... то есть вы, Эдвардс, едете под чужим именем? Один раз Эдвардс уже был у нас под своим именем.

— Проще простого! — ответил Василий-«Эдвардс».— Прошло время... Опять еду! Волей-неволей контрразведка заинтересуется моими путешествиями... И я не буду знать, почему она проявила интерес, если замечу за собой наблюдение... Потому ли, что ей известна вся операция и она ведет с нами игру, потому ли, что я наношу повторный визит? Я меняю имя. Если тот, первый мой приезд оставил какой-то нежелательный след, если с нами играют, эта смена имен будет замечена... А если не играют? Как это заметить? В этом году страну посетило более двух миллионов туристов... Все проходит незамеченным! И вдруг все же обнаружили, что я — это не я! Как это можно доказать? Да никак! Сходство... Двойник! И все! Ответственности никакой! Пустяковое объяснение. Ни в чем я не замечен, никаких действий не произвожу... Все! Но мне нужен напарник. Этот напарник будет следить, нет ли за мной наблюдения... Даже не один напарник... Но такие могут найтись и здесь, на месте... Габо, Нейхольд, его приятели и коллеги...

— Почему же напарником вы взяли Сальге?

— Сальге убил Шналикова... Сальге сплел всю паутину... Предположим, паутина прорвана. Если это так, то, по моему, Эдвардса, мнению, прилетевшего в Москву Сальге должны задержать. Но, может быть, не сразу... И не к Раскольцеву, а к Казанскому едет Сальге сначала: он достаточно хитер, чтобы проверить Казанского, и достаточно опытен, чтобы зафиксировать за собой наблюдение... После его встречи с Казанским я, то есть Эдвардс, пойду на встречу с Раскольцевым... Встретились, разошлись... Теперь посмотрим, что со мной и с моим напарником. Если все в порядке, то мы уезжаем...

— Так и уезжаете?

— А почему нет? — спокойно ответил Василий и вдруг запнулся.

Я заметил его заминку и сам вдруг ощутил какую-то, пока еще никак не выраженную, но наметившуюся слабость в продолжении всей этой игры.

Окончание. См. «Огонек» №№ 30—34.

— Почему нет? — повторил я вопрос Василия.— На этом все и кончается? Два раза все сходит с рук... Все сходит с рук. Давайте перечислять. Приехал в первый раз. Нелегально разгуливает по стране. Восстанавливает агентуру... Убивает Шналикова... Уезжает... Агентурная сетка работает несколько лет... Раскольцев добывает секретную информацию... Нейхольд все переправляет за границу, работает и с Габо... Они высылают Гамузова на обслуживание Сальге... Опять свободно разгуливают по стране и уезжают... А что им скажут там?

Василий не отвечал.

— Ну вот вы там, у них в центре... Вы их встретили с докладом, что все благополучно, все на месте, цепочка работает...

— Их для этого и посылали!

— Я не сторонник недооценивать противника. Что-то у меня здесь не получалось. Не получалось... Коли их прислали, коли началась проверка, стало быть, есть сомнения. Разрушим ли мы окончательно эти сомнения, выпуская Сальге и Эдвардса? Примут ли они тогда подготовленную нами схему за истинную схему без дополнительной перепроверки? Я не принял бы!

Разведслужба тоже имеет свои законы. Приняв за возможный вариант полученную схему, наш противник обязан начать самую тщательную проверку разведданных. Как могла бы строиться проверка в данном случае? Линия схемы средств связи и оповещения расчерчивала карту страны во всех направлениях. Проверяя всю схему, наш противник должен выйти на какие-то узлы, установить в каких-то скрещениях линий наличие средств связи. Нелегкое это дело, а вдруг удастся ему в одном или другом месте выйти на указанный нами узел. И там, в этом узле, обнаружится пустота... Тогда уже полученная схема ставится не только под сомнение, она полностью отвергается. Противник устанавливает, что с ним велась игра.

В любой разведигре, при передаче любой дезинформации всегда надо иметь в виду, что противник может раскрыть игру. Ошибкой было бы полагать, что мы ввели противника в заблуждение раз и навсегда.

Каков же тогда, спрашивается, был смысл всей игры? Чего мы достигли, выпустив из рук пять лет тому назад Сальге, не трогая все эти годы Раскольцева?

Первое. Втягивая разведслужбу в игру, мы как бы ставили своеобразный громоотвод. Затратив силы и средства на Раскольцева, разведслужба не могла что-то предпринимать серьезное, не получив от него результатов. Все, что могло быть получено этой разведслужбой иными каналами, нам неизвестными, проверялось на Раскольцеве и ставилось под сомнение. Даже если бы противник получил в эти годы что-то и соответствующее действительности, он не принял бы это за истину... Стало быть, под сомнением вся информация в той области, в которой работал Раскольцев, полученная иными каналами.

Второе. Игра искусственно нами затягивалась. Раскольцев получал всю «схему» урывками, маленькими частями, мы этим подогревали азарт его хозяев. Они рвались к конечной цели, на каком-то этапе еще и не ставя под сомнение достоверность данных Раскольцева.

Третье. В итоге мы получили возможность нанести удар по всей цепочке. Арест Раскольцева и связанных с его делами лиц — Сальге, Эдвардса, Нейхольда или других — означал бы для противника не только потерю нескольких агентов. Это было бы прежде всего и политическим провалом разведслужбы, вызвало бы шок, внесло бы путаницу в расстановку сил, уничтожило бы итог многолетней работы. Все надо было бы начинать сначала... Но сразу после такого провала на этой же площадке начинать невозможно.

Выход же наш на Габо и на валютные сделки Нейхольда открывал перед нами и несколько иные возможности. Мы могли привлечь Нейхольда к ответственности за спекуляцию валютой, Сальге привлечь к ответственности за использование подложных документов, Раскольцева — за его преступления в годы войны, Эдвардса можно было и не трогать... Это была бы еще одна загадка противостоящей нам разведслужбе. Вскрыта работа Раскольцева или нет? Вопрос? И не маленький!

А если вскрыта его работа, то что это означало бы? Это повело бы к полному изменению всей действительной схемы средств связи и оповещения... Стало быть, все, все надо начинать сначала... Путаница, полная путаница — это тоже форма дезинформации.

Могли мы рассчитывать и на получение каких-то новых данных для усложнения всей игры после ареста Габо...

Мы долго взвешивали все «за» и «против». Но все сходились на том, что на этот раз удачливость Сальге могла быть там понята!

Решено было нанести удар стремительно. Точка удара — Гамузов, через него — по Габо, а через Габо — по Сальге и Нейхольду...

Дирекция таксомоторного парка уволила Гамузова за использование государственной автомашины в целях личной наживы, ОБХСС привлек его к уголовной ответственности. Габо позвонил Гамузову и назначил встречу на улице. Габо сел в машину, тут же подъехала оперативная милицейская машина. Габо взяли. Обыск на месте дал незамедлительные результаты. У Габо в кармане была обнаружена пачка долларов и фунтов стерлингов. В милиции Габо отказался объяснять, откуда у него валюта. Его доставили к следователю, Игорю Ивановичу Архипову, моему старому другу и сослуживцу. Я договорился с Архиповым, что приду на первый же допрос.

Мы установили, что на месте встречи Габо и Гамузова находился и Сальге. Он видел всю сцену из подъезда близстоящего дома... Это нас вполне устраивало. Во-первых, он видел, что Габо взят милицией. Во-вторых, нам было интересно, как он поступит при столь тревожных обстоятельствах. Он вернулся в гостиницу и сказался больным. Вызвал врача...

Встреча с Габо...

Это был грузный, не очень высокий человек. Ни паспорта, ни каких-либо других документов при нем не обнаружили. Но он, конечно же, понимал, что ему придется говорить правду о себе. Он не ожидал атаки, сам набросился на следователя. Лились по его щекам слезы, он и оправдывался и каялся.

— Что? Что я такого совершил? Почему меня вызвали сюда? Я не враг! Я общественник! Я работаю... Попутали меня с этой чертовней! И не мои это деньги... Я и не знаю, кто их мне всучил... Адрес дали в Тбилиси... Должен передать.

— Кто вручил, где, когда? — спросил сейчас же следователь.

— Мне позвонили в номер... Сказали, чтобы вышел к подъезду... Есть, дескать, посылочка в Тбилиси... Я вышел, мне сунули конверт... На конверте адрес...

— Кто позвонил? Как назвался?

— Никак не назвался... Назвал имя моего друга...

— Имя друга?

— Мой друг умер... Это его семье посылка... Я мог отказать?

Архипов по прямой устремлялся в глубину не очень-то надежно придуманной легенды.

— Посылка семье вашего друга?

— Семье его...

— Вы их знаете лично?

— Нет! Не знаю... Никогда в семье у него не бывал...

— На конверте указан адрес... Вы когда-нибудь бывали по этому адресу?

— Нет! Не бывал...

Мы уже установили, что адреса, указанного на конверте, не существовало в природе. Ресурсы легенды были исчерпаны...

Архипов приостановил допрос. Надо было дать Габо возможность увериться, что его легенда работает ему во спасение.

Архипов начал допрос по форме.

— Ваше имя, фамилия, год рождения, место рождения, адрес местожительства? Прошу!

Габо потянулся к боковому карману... Затем махнул рукой.

— Забыл! В гостинице забыл, дорогой! В столике... Там и паспорт и записная книжка... Зовут меня Вахтанг. Фамилия — Кабанов. Ударение на последнем слоге... Русская фамилия... Не виноват! Так записали, когда паспорт мальчиком получал... Беспризорным рос, по детским домам! Отца как звали, не знаю... Записали Семена... Мать помню... По матери я армянин... Доказать трудновато... И кому и зачем доказывать? Отец мой торговцем был... Догадываюсь, что грек... Опять же не докажешь... И не надо! Никто меня об этом не спрашивал... Вот до этой минуты! В военкомате спрашивали, когда призывался...

— Когда призывались?

— В сорок первом... Родился я в двадцать втором году...

— Воевали, Вахтанг Семенович? — спросил Архипов.

— Воевал... Из-под самого Киева к Ростову отступали... Под Ростовом ранили... Это когда Тимошенко на немцев с севера нажал. Госпиталь... Опять воевал...

— Где?

— На Кавказе... Перечислять?

— Пожалуйста, перечислите! — попросил Архипов.

— Из Ростова-на-Дону нас погнали на Белую Глину... Есть такая станция... Слыхали?

Я подошел к карте. Нашел Белую Глину, показал Габо. Он махнул рукой.

— По карте я не обучен... Из Белой Глины мы отошли к Ставрополю. Ушли из Ставрополя, к морю пятились... Десятый стрелковый корпус... Опять госпиталь... Потом в двенадцатой армии... На Украине все и кончилось... Опять ранен был... Под Запорожьем...

— Что делали после войны?

— Торговал... Овощами торговал, рыбой торговал... Продавцом...

Я сел за столик почти рядом с Габо. Все, что он рассказывал, было похоже на правду, но такую правду легко было и склеить. Вся операция с Сальге и Эдвардсом во всех ее деталях требовала от нас работы и работы... Ничего нельзя было принимать на веру, ни одной версии по первому ходу.

Я взял со стола Архипова конверт, заглянул в глаза Габо.

Сейчас он судорожно выбирает, что он может подбросить нам, как отвести главный удар, что дать, чтобы не продешевить, что спрятать нам смертельную для себя опасность.

Я положил перед ним конверт и спросил:

— Может быть, вы, Вахтанг Семенович, задумаетесь над своей сказочкой? Мы за правдивость на следствии... Это всегда облегчает участь, смягчает наказание... Сказочки сочинять все учатся с детства, но и верят им только дети...

Габо пожал плечами.

— Адреса такого не существует...— добавил я.

— Тогда заберите эту валюту... Она мне не нужна! Она не моя!

— Спасибо! — воскликнул Архипов.— Мы ее и так забрали... Но вы не ответили на главный вопрос следствия... Где вы взяли эту валюту? Для чего она вам?

Человек может управлять собой до известного предела. Он может сохранить на лице в трагическую минуту улыбку, но улыбка эта будет иметь такие оттенки, что превратится в гримасу. Габо попытался сохранить и улыбку и внешнюю жизнерадостность и продолжал играть под простачка, но в его темных глазах засветился испуг. Не может человек похудеть в одну секунду, но Габо сразу осунулся.

— Это не милиция работала! — крикнул он.

— Почему вы недооцениваете нашу милицию? У вас к этому есть какие-нибудь основания?

— И не за мной вы охотились...

— Милиция охотилась за Гамузовым... Неужели вы всерьез вообразили, что ему разрешат превратить государственную машину в вашу личную...

— Государство от этого не пострадало...

— Интересы других граждан страдали... Но наш интерес проистекает из другого... Откуда у вас валюта? Почему вы так любезно предоставили Гамузову обслужить Иоахима Пайпера?

— Какого Пайпера?

Мы показали ему фотографию Сальге.

— Я его не знаю! Не он мне заказывал машину... Я все расскажу!

Опять ползут слезы из глаз.

— Проклятый! — воскликнул Габо.— Всучил мне беду! Где мне его искать?

Архипов между тем, порывшись в столе, вдруг выложил на стол сразу несколько фотографий. Сальге на аэродроме. Нейхольд на аэровокзале. Гамузов во всех видах по дороге к машине. Сальге и Гамузов у машины.

Можно было считать, что первый торг с самим собой Габо закончил. Решился что-то нам приоткрыть. Пока самую малость. Отстраняя от себя Сальге, он отдавал нам Нейхольда. И только. Рыдая, каясь, он признавался в валютных сделках с Нейхольдом. Нейхольд скупал валюту у своих коллег и перепродавал Габо... Один конец. Другой конец сделки уходил на юг... Посыпались имена и адреса. Возникало новое ответвление в деле, но к нашим вопросам оно отношения не имело. Важно было, что Габо назвал Нейхольда.

Показания Габо давали основание к привлечению Нейхольда к уголовной ответственности за валютные сделки.

...Отступлений от стандарта в таких случаях ждать не приходилось. Нейхольд начал с бурного возмущения, с полного отрицания своих связей с Габо.

Габо опять, как сентиментальный разбойник, рыдая и кляня все на свете, отдавал нам Нейхольда. Он называл места их конспиративных встреч, телефоны Нейхольда, перечислял сделки и суммы сделок. Нейхольд на очной ставке с трудом отбивался.

А между тем работала наша служба, выясняя точнее личность Габо. Товарищи имели его документы, фотографии и отпечатки пальцев. Решили всё отпечатки пальцев. Оказалось, что на Габо... Нет, не на Габо! Как у каждого оборотня, у него было не одно имя. В батальоне «Бергман», сформированном фашистским командованием для карательных операций на Кавказе, он значился под именем Иоганна Муслима Оглы. Наши войска, выбив захватчиков из Краснодара, захватили архив штаба этого батальона. В архиве было обнаружено досье взводного командира Иоганна Муслима Оглы. С его фотографией, с отпечатками пальцев и аккуратными записями его деяний. На фотографии офицерик карательного батальона. Прошло более двух десятков лет. Тогда он был молод, вились у него, свисая на лоб, черные кудри, жесткий взгляд... Фотография порыжела, а оригинал слинял. Он расползся, обрюзг, полысел... В офицерике из досье угадать Габо было бы просто невозможно. Помогла немецкая предусмотрительность: оставили его отпечатки пальцев.

В сорок шестом году на одном из судебных процессов, которые вел Военный трибунал Северо-Кавказского военного округа, всплыло имя Иоганна Муслима Оглы. Были даны показания, что он изменил Родине, сдался в плен и добровольно вступил в ряды карательного батальона, дослужился до взводного, принимал участие в карательных экспедициях против партизан и мирных жителей, потом скрылся. Иоганн Муслим Оглы был приговорен заочно к расстрелу...

На него был объявлен всесоюзный розыск. В розыскное дело пошли его фотографии и отпечатки пальцев. Но тогда найти преступника не удалось.

Волонов вызвал меня из кабинета следователя во время очной ставки Габо с Нейхольдом. Без преувеличения могу сказать — его трясло. Он показал мне выдержки из дела и заключение экспертов об идентичности отпечатков пальцев у Габо и Иоганна Муслима Оглы.

Нейхольд не сдавался. Он отрицал все, о чем говорил Габо. А Габо, отдав Нейхольда только по его валютным сделкам, не расширял своих показаний.

Иоганн Муслим Оглы — Нейхольд — Раскольцев — Сальге — Шналиков...

Я положил папку на стол Архипову и громко сказал:

— Полистайте, Игорь Иванович!

Подошел поближе к Нейхольду. Мы встретились взглядами. Он держался, но уже мерцал у него в глазах страх.

— К чему же вы пришли? — спросил я его.— Решение отмалчиваться? Не слишком ли это рискованно, господин Нейхольд?

Он попытался усмехнуться. Улыбка получилась жалкой.

— Жадность, жадность одолела! — твердил сквозь рыдания Габо. Я обернулся к нему.

— А под Киевом, когда вы добровольно сдавались в плен фашистам, что вас одолело?

Габо резко поднял голову и даже руки выставил, как бы заслоняясь от меня.

— Это неправда! Не было! Не было!

Нейхольд воскликнул:

— Я протестую! Этот вопрос не имеет ко мне отношения!

Я стоял, наклонившись через стол к Габо.

— Итак, Иоганн... Может быть, вы продолжите? Иоганн — это неполное ваше имя... Тогдашнее ваше имя!

Габо молчал. Крупные капли пота проступили у него на лысине, осыпали бисером лоб.

— Иоганн Муслим Оглы! — докончил я за него.

Габо вдруг пополз со стула на пол. Я испугался, подумал было, что у него плохо с сердцем, что слишком резко, без всякого подхода ошеломил его. Но я ошибся. Он упал на колени, сложил молитвенно руки и завопил:

— Спасите! Спасите! Я все расскажу! Я все расскажу! Я хочу жить! Я много знаю! Я все знаю!

Я отступил. Архипов попытался поднять его, но напрасно, такую тушу не сразу поднимешь. Я налил воды в стакан. Архипов взял у меня стакан из рук.

— Выпейте воды! — предложил Архипов.— Встаньте!

— Не встану! Не тронусь! Жить хочу! Жить хочу! Давность лет! Закон есть такой... Я все расскажу!

Нейхольд сделал какое-то движение. Габо шарахнулся от него в сторону, легко перебросив свое грузное тело на другой конец кабинета.

— О нем! О нем расскажу! — воскликнул, указывая рукой на Нейхольда.— Это дорого стоит! Он не валютчик, он шпион!

Нейхольд опустил руку в карман полуспортивной куртки.

— Держите его! Он будет стрелять! — закричал Габо.

Нейхольд вынул из кармана помятую пачку сигарет.

— Можно курить? — спросил он у Архипова.

Архипов зажег спичку.

— Вежливость — привилегия королей! — заметил Нейхольд.— Спасибо! Но я все же прошу вас избавить меня от этого сумасшедшего... Я понимаю его чувства. Обвинение в спекуляции неприятно, но я ему ничем не могу помочь и вижу его первый раз...

— Ваш пропуск! — попросил Архипов.— Мы на некоторое время отложим наш разговор...

— Не выпускайте! Не выпускайте его! — закричал Габо.— Это он меня нашел!

Архипов держал ручку в руке, словно бы готовился подписать пропуск, но отложил ручку и с некоторым даже пренебрежением спросил:

— Что за нелепость! Как это он мог вас найти? Где найти?

Начиналась история Габо. Она была выделена в специальное дело.

Нас в этой истории может интересовать только одно положение.

Нейхольд действительно нашел Габо, Габо разыскал... Раскольцева.

Все труднее Нейхольду сопротивляться. Наконец Габо назвал Казанского.

— Все! — воскликнул Нейхольд.— Даю показания!..

Итак, настала минута. Наконец-то произнесено имя Сальге. Нейхольд назвал его Пайпером...

Узел вязался за узелком. Все пока шло естественным ходом, и нигде этот ход не соприкасался с главным, пока еще ни Нейхольд, ни Габо нигде не могли почувствовать, что мы о них знаем давно и значительно больше, чем они рассказывают. Габо догадывался, что Раскольцев «оживлен» как агент, но он не знал, что добывал Раскольцев для его хозяев. Нейхольд показал, что «оживлял» Раскольцева, как агента, Пайпер...

Они торопились распродать все по мелочам, чтобы отгородиться от бо́льшего.

Архипов положил перед Нейхольдом и Габо фотографию Сальге. Нейхольд не удержал восклицания:

— О-о! У вас есть даже его фотография?

Габо чуть скосил глаза на фотографию и тут же отвернулся. Но ни от меня, ни от Архипова не ускользнуло, что фотография не оставила его равнодушным.

Архипов подвинул фотографию ближе к Габо.

— Взгляните! — сказал он.— Этот человек вам известен?

Габо опять скосил глаза на фотографию. И вдруг Габо взмахнул рукой и, сжав кулак, с силой ударил по фотографии.

— Известен! — крикнул он.— Очень даже известен!

— Кто он? — сейчас же задал вопрос Архипов.

— Мой старший брат!

Я подошел к телефону и соединился с Василием.

— Василий Михайлович, могу вас поздравить!

— Слушаю, Никита Алексеевич! — откликнулся он.

— Вы помните сцену у причала? Что вы тогда пожелали своему знакомцу? До скорой встречи? Настало время с ним встретиться!

— Сейчас? Немедленно?

— Со всеми предосторожностями...

...Перед Габо легла фотография Шкаликова.

— Известен, известен! — кричал он.— Вешал, стрелял, доносил... Солдат из моего взвода!

— Имя?

— Там все под чужими именами жили!

Нейхольд встал. Габо замолк, настороженно косясь по сторонам.

— Распад личности! — произнес Нейхольд.— Я не хотел бы наблюдать эту...

Но он не закончил фразы.

Архипов не упустил возможности поставить на место этого иронически настроенного молодого человека.

— Есть русская поговорка,— сказал он.— С кем поведешься, от того и наберешься! Распад этой личности начался не сегодня, господин Нейхольд!

— Я фаталист, господин следователь! — ответил он.— Профессия такая! Надо быть готовым к любому!

— Это хорошая мысль! — отозвался Архипов.— Я прошу вас не забыть ее! Мы еще побеседуем с вами на эту тему...

Отправили в камеру и Габо. Условились с Архиповым, что он сразу же, как привезут Раскольцева, снимет с него предварительный допрос, предложит ему сделать признания, а я хотел встретиться с Сальге.

Сальге был приглашен к нам через консула страны, за которой он значился как Иоахим Пайпер, поэтому все прошло спокойно, даже при всей резкости его характера.

Встретились.

Он немедленно заявил протест на немецком языке. Я не торопился с ответом, вглядываясь в его лицо.

— Вы владеете немецким языком? — спросил он опять же по-немецки.

— Так же, как и вы русским! — ответил я ему по-русски и предложил сесть за столик. Он сел.

Должен отметить, реакция у него была мгновенной. Он сразу как бы сжался, хотя внешне это ни в чем не проявилось. Ничего не ответил, не выразил и удивления.

— У вас должна быть отличная зрительная память...— продолжал я.— Вы не припоминаете, где нам приходилось встречаться?

Он поднял на меня темные глаза. Они ничего не выражали.

— Мне моя зрительная память ничего не подсказывает...— ответил он опять же на немецком языке.

— В приемной у доктора Раскольцева...

Он по-прежнему оставался бесстрастным.

— Мне такой неизвестен...

Здесь он перешел на русский язык. Оплошность? Нет. Он не утверждал, что не знает русского языка.

Вошел Василий. Сел напротив Сальге. Не удержался! Интересен был ему этот допрос, а может быть, пришел, чтобы уберечь меня от всяких неожиданностей. Но обыск был сделан до того, как его ввели ко мне, опасаться было нечего.

— Я прошу пояснить,— сказал Сальге.— Я приглашен сюда как свидетель?

— Нет! — ответил я ему.— Допрос по форме будет вести следователь... Он вам предъявит обвинение... Я вам даю возможность побеседовать в некотором роде неофициально. Профессиональный разговор... Вы имеете возможность рассказать, зачем вы пожаловали в нашу страну, с кем вы намерены были встретиться.

— Вы видели мой паспорт. Там все указано...

— И это все, что вы хотели бы сказать?

Сальге всматривался в Василия, наверное, узнал в нем того пограничника, который пожелал ему скорой встречи на причале. На мой вопрос не ответил.

Я нажал под столом кнопку звонка. Это был сигнал Архипову, чтобы он привел Раскольцева.

Раскольцев с порога увидел меня. Лицо его дрогнуло, что-то похожее на надежду вспыхнуло в его глазах, но он тут же перевел взгляд на Сальге и замер. Его ноги отяжелели, приросли к полу. Надо пройти к столу, а он шага не может сделать. Стало быть, всерьез наде-

ялся, что останется его «работа» на Сальге нераскрытой. Но он все же собрался с силами для отпора.

— Я не ожидал, что мой пациент превратится в моего следователя!

— Так же как я не ожидал встретить унтершарфюрера в белом халате врача!

Он овладел собой. Тяжелой походкой прошел по кабинету и сел на свободный стул, но поодаль от Сальге. Молчание было тягостно. Он негромко спросил не без вызова в голосе:

— Когда же вы совершили такое удивительное открытие?

— После того, как узнал, что некоему Притыкову переводились деньги доктором Раскольцевым. Вы переводили деньги своему герою Шкалинову, своему «спасителю».

Я выдвинул ящик стола и положил на столик фотографию обезображенного колесами поезда трупа Шкалинова.

— Приглядитесь, доктор! Это ваша работа! Последняя по вашей главной специальности...

Сальге взял фотографию. И вдруг усмехнулся.

— Вы этого не сможете никогда доказать! — воскликнул он.

— Взвешивать те или иные доказательства будет суд... У нас с вами профессиональный разговор. Разбор, так сказать, операции...

Сальге указал рукой на Раскольцева.

— Но он же не профессионал...

— Почему же? Вы положили ему ежемесячное жалованье... И не маленькое. У него есть даже звание... Унтершарфюрер... Я думаю, ему тоже интересно поприсутствовать на этом разборе? А?

— Почему вы тогда не арестовали всех участников операции? — вдруг спросил Сальге.

— Торопитесь! — остановил я его.— Вы хотите узнать, что нам известно об «Ангеле пустыни»... Казанский действительно не профессионал. К тому же он в общих чертах все знает... Все передачи он делал под нашим контролем... Все! Когда мы закончим наш разговор, мы перейдем в кинозал, я покажу, как это делалось... Сейчас могу показать вам некоторые фотографии... Что вам показать? Как вы проверяли Казанского на скользящей передаче?

— Интересно! — осторожно ответил Сальге.

— Давно это было... Казанский шел по Большой Бронной от Никитских ворот к памятнику Пушкину...

Я положил перед Сальге фотографию: Казанский идет мимо киоска с мороженым, за ним идет Сальге.

Сальге взял фотографию и пристально рассматривал ее с минуту. Оглянулся на Раскольцева.

— Что скажете, доктор? Я предупреждал вас, что надо иметь при себе средства, чтобы уйти из жизни...

Раскольцев не выдержал.

— Вы понимаете,— начал он, обращаясь к Сальге,— что вы набалтываете себе расстрел?

Сальге резко к нему обернулся.

— А вы на что рассчитывали, доктор? На счет в швейцарском банке?

— А вы на снисхождение за откровенность?

Сальге усмехнулся.

— Нет, доктор! Мне интересен разбор операции! Неужели вы не догадываетесь, что вся наша операция проходила под стеклянным колпаком?

— Вы это знали?

— Это трезвый вопрос, доктор! Сегодня все разведки мира оснащены современными техническими средствами... Или они вообще ничего не знают, или знают всё! Я уверен, что наши разговоры записаны на магнитную ленту! Не правда ли?

Вопрос Сальге относился ко мне.

Искусно поставлен вопрос, с некоторой даже долей внезапности. Он хотел установить, с какого момента они оказались под стеклянным колпаком.

— Не все! — ответил я.— Не записан ваш первый разговор с Раскольцевым. О нем только глухо упоминается!

— Он вам интересен?

— Интересно, как вы уговорили доктора работать? Он, наверное, даже забыл о своих обязательствах!

— Такое не забывается! Он прикидывал, нельзя ли меня убить, убрать. Но он правильно оценил обстановку... Он просто на пять лет продлил себе жизнь! Шкалинов оказался решительнее! Кто бы мог подумать? Но и у меня есть вопрос! Разрешите?

— Разрешаю! Обращение сделано по форме...

— С какой точки все началось? Где я ошибся? Я понимаю, это чисто умозрительный вопрос, но интересно все же знать! Следствие обычно скрывает ответ на этот вопрос...

— Чего же тут скрывать?

— Художник!

Я мог ответить без опасения для хода следствия.

— Однажды ночью в дверь постучался незнакомец...

— Это случилось на второй день моего приезда сюда...— продолжал Сальге.

Разбор операции подошел к концу. Я уступил место за столом следователю...

От редакции.

Рассказанные в повести события положены в основу художественного фильма «Меченый атом», который отснят на киностудии «Ленфильм». Кинокартина поставлена режиссером И. Гостевым. В главных ролях снимались артисты: Г. Жженов, В. Самойлов, Г. Тараторкин, Ю. Толубеев, В. Стржельчик, Л. Соколова, М. Погоржельский, В. Покровский.

Мартти ЛАРНИ

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ОБ ЭТ ПОМ

Роман-памфлет

Глава первая

Меня зовут Тимидус. Лепус Тимидус. Бывший министр полиции республики Лакония. Просвещенный читатель знает, где находится Лакония. Поэтому мне нет надобности перечислять реки, горные хребты, равнины и государства, которые лежат на границах Лаконии с севера, востока, юга и запада. Моя родина славится как образцовая страна свободы, куда туристы приезжают любоваться забастовками, уличными потасовками, политическими канатными плясунами, классическими ограблениями, профессиональными пьяницами и пышными парадами. Лакония обеспечивает своим гражданам и гостям все привилегии и блага, которые только может предложить подлинная демократия.

Финляндия в какой-то степени напоминает Лаконию. В какой-то степени. Здесь тоже царит свобода. Я люблю Финляндию, потому что ее правительство три года тому назад предоставило мне политическое убежище. Когда-нибудь я попрошу дать мне финское гражданство. Если я буду иметь свободу действий. В Финляндии страшно холодные зимы и жестокая налоговая система; отличные спортплощадки, но скверные дороги; невкусное вино и дурно пахнущие писсуары. В остальном же здесь вполне прилично. Финны часто бывают склонны к мании величия, драчливы, упрямы, самодовольны, нечестны, выскочки и пьянчужки. В остальном же они неплохие. В Финляндии можно отлично прожить, если владеешь английским языком. Потому что объявления, модные песенки, приветствия и вежливость здесь всюду приняты английские. Табачные фабрики обращаются к своим покупателям исключительно по-английски. Только национальные кушанья м э м м и и к а л а к у к к о пока еще называются по-фински. Я не собираюсь учиться финскому языку, чтобы меня не стали принимать за иностранца. Если я говорю с акцентом по-английски, меня принимают за финского моряка или за финна-фермера из Америки. А может быть, даже за популярного певца модных песенок. Таким образом, перед широкой публикой я имею счастье оставаться инкогнито.

Еще год тому назад власти Лаконии требовали, чтобы Финляндия выдала меня. Финляндия отказала им, и с тех пор меня оставили в покое. Для окружающих я совершенно безопасен. Я не страдаю клептоманией, не употребляю запрещенных наркотиков, не вынашиваю в душе замыслов сексуального убийства и не собираюсь свергать финское правительство. К тому же я старый холостяк, которого интересуют лишь одинокие женщины да неверные жены. Но подобные щепетильные дела я привык устраивать тактично, деликатно, без огласки и к общему удовлетворению обеих сторон.

В дипломатических кругах долгое время поговаривали, что, дескать, я перед побегом ограбил государственную кассу Лаконии. Подобные разговоры вызывают у меня лишь улыбку. По двум причинам. Во-первых, я был на родине министром полиции, в задачу которого входит выслеживать грабителей сейфов. Во-вторых, государственная касса Лаконии уже четыре года была пуста, ибо эта богатейшая страна переживает хронический кассовый кризис. В государственных сейфах хранилась лишь кипа неоплаченных счетов. Кассовый кризис — это одно из тех обстоятельств, которые и здесь, в Финляндии, живо напоминают мне о родине.

Я прибыл в Финляндию тайно, и в кошельке у меня было лишь годовое жалованье. Мне удалось получить жалованье за год вперед на правах министра полиции. Этих денег мне хватило здесь на три месяца, причем я тратил лишь на самое необходимое, что служит показателем либо а) высокого уровня цен в Финляндии, либо б) низкого уровня оплаты министров в Лаконии. Я не специалист в данной области, так что оставляю решение дилеммы экономистам или политикам.

Как мне стало известно, меня считают агентом иностранной державы или шпионом. Разумеется, я бы смог быть шпионом, потому что на моей родине шпионаж является одной из важнейших задач министерства полиции. Но сейчас мне шпионская деятельность вовсе не улыбается. Шпионы так редко доживают до пенсии. От старческих недомоганий их избавляет электрический стул, газовая камера или виселица. Неприятный финал, к которому едва ли стоит стремиться. Лично меня это не привлекает. Во мне еще бурлит неуемная жажда жизни. Я хочу служить человечеству, но, разумеется, так, чтобы это и мне приносило удовольствие. Я не продам мое возлюбленное «я» слишком дешево, хотя после второй мировой войны цена человеческих душ падает катастрофически.

К политическим беженцам относятся всегда с некоторым предубеждением. Наверно, это происходит оттого, что они обыкновенно первым делом стараются вредить своей родине. Клянусь именем моих родителей, что я не страдаю такого рода навязчивыми идеями. Лакония имеет лучшее правительство, какое только можно купить на деньги. Я искренне желаю, чтобы оно смогло усидеть. Если оно, задремав, свалится со стула, я ему от всей души посочувствую. Стало быть, я весьма своеобразный политический эмигрант. Я не навязываю финским газетам заявлений, оскорбительных для моей страны и ее правительства; не прошу дать мне место в радиопередачах, чтобы поливать грязью прекрасную Лаконию; и даже не думаю хлопотать о создании эмигрантского правительства Лаконии здесь, на холодном севере, где оно в поисках теплого места для собраний убивало бы свои силы и здоровье парно́й баней и ресторанными бдениями.

Мое пребывание здесь вызывает в известных гражданских кругах неутихающее любопытство. Многие хотели бы выяснить источник моих доходов и тайну моей весьма приличной обеспеченности. Друзья мои, здесь нет никакой тайны! Я живу на свой заработок. Я читаю лекции и должен честно признать, что ни в одной стране так не боготворят иностранных лекторов, как в Финляндии. Я читаю лекции по криминальной психологии. Если мне удастся воспитать для Финляндии группу способных сыщиков, каких она прежде не имела, то тем самым, думается, я сполна расквитаюсь с уважаемым правительством, предоставившим мне политическое убежище.

Мой любезный читатель, конечно, недоумевает, почему такой честный, социально мыслящий и безупречный по своим житейским правилам человек вынужден был бежать из родной страны. Я и сам не перестаю удивляться этому. И читатель будет удивлен еще больше, когда я расскажу ему правду, только правду, чистую правду.

Глава вторая

Было совершено преступление. В этом, разумеется, нет ничего удивительного, поскольку местом действия являлась столица Лаконии — Палинодия, где крупные преступления совершаются каждые тридцать минут. Власти Палинодии вообще никогда не одобряют крупных преступлений. И сами они воруют только по мелочи. Они отстаивают порядок и справедливость, поскольку это дает им хоть какую-то личную выгоду.

Преступление, о котором я собираюсь рассказать, несколько отступало от обычной схемы. На первом этапе никто не был убит. Следовательно, деяние предстало в весьма замаскированном виде. И общественное мнение вначале направилось по ложному пути. Все пялили глаза на происшествие, забыв о виновниках. Последовательная непоследовательность. Но ведь это так естественно. Сколько мужчин, глядя на раздевающуюся женщину, совсем не замечают ее одежды!

Для тех, кому недостаточно знакомо политическое устройство Лаконии, ее великолепный демократический строй, я должен рассказать, что моя родина имеет только две партии: Партию Народной Свободы, основанную в свое время доктором Валерием Миксинусом, по прозванию Ангвилла, и Свободную Народную Партию, которую основал доктор Сабин Рептилианус. Чтобы не путаться, избиратели называют первую партию «Угрем», а ее соперницу — «Рептилией». Это не бранные клички, а ласковые прозвища. Они изящно образованы от имен основателей обеих партий, чтобы таким образом имена эти сохранились в памяти грядущих поколений.

Если вы раскроете любой словарь лаконийского языка, то легко найдете слово anguilla, что значит у г о р ь. Если же вы потрудитесь заглянуть в любую энциклопедию, то легко найдете название вида Myxine glutinosa, что значит м и к с и н а с к о л ь з к а я. Но это научное название непопулярно. В народе миксину обыкновенно называют угрем паразитическим или ослизлым угрем. Хотя наука и не относит миксин к уг-

реобразным рыбам и даже вовсе не считает их рыбами, а находит, что они вместе с миногами составляют особый класс круглоротых, являясь наиболее примитивными из всех позвоночных, но народные названия не всегда считаются с наукой. Народ, как известно, и кита называет рыбой. Вот некоторые данные о миксине, именуемой в просторечии угрем: плавает, извиваясь, как змея; цвет светло-красноватый, брюшко белое; несмотря на слепоту, всегда находит поживу.

Точно так же читатель может найти и объяснение ласкового прозвища партии Сабина Рептилиануса: Reptilia — р е п т и л и и, п р е с м ы к а ю щ и е с я; класс позвоночных. Наиболее распространенными рептилиями являются ящерицы. Тело удлиненное, конечности короткие, пятипалые, когтистые; периодически меняют кожу; окраска зависит от окружающей среды. Изображения извивающегося скользкого угря и пресмыкающейся ящерицы, которая сбрасывает кожу и на ходу меняет окраску, стали эмблемами партий. Эмблемы благодаря своей наглядности дают возможность легко и удобно различать обе партии.

Если я по ходу рассказа буду иногда говорить об у г р я х и о р е п т и л и я х, то, конечно же, я имею в виду две политические партии моей родной Лаконии, а не позвоночных, которыми занимается зоология.

Это маленькое отступление от темы моего рассказа не должно вводить читателя в заблуждение. Пусть оно лишь послужит его просвещению. В самом деле, для характеристики обстоятельств преступления весьма важен местный колорит. А поскольку речь идет о Лаконии, которая знаменита своей свободой, ее колорит сразу бросается в глаза. Но, учитывая столь распространенную в наше время цветовую слепоту, я все же буду говорить лишь об угрях и рептилиях, а читателя попрошу раскрасить картинки с помощью собственного воображения. Это введение мне кажется достаточным, и я перехожу непосредственно к преступлению, расследование которого сыграло столь роковую роль в моей жизни.

В самом центре Палинодии находился ювелирный магазин, которым владел бывший министр внутренних дел Гней Барбатус. Это один из богатейших людей Лаконии, всегда и во всем следовавший общепринятому житейскому правилу: деньги никогда не

— Вполне возможно,— ответил один из двух негодяев тем холодно-деревянным тоном, каким наука говорит о любви.

Пришельцы решительно приступили к исполнению своих прямых обязанностей. Пока один наполнял чемоданы драгоценностями, другой стоял в дверях с автоматом наперевес, держа на мушке владельца магазина и его жену. В этом, разумеется, не было ничего удивительного, ведь подобные дела творятся в Лаконии каждый день. И внимания прохожих все это, конечно, не могло привлечь, ибо граждане Лаконии воспитаны могучими средствами радио, кино и телевидения, бесконечно повторяющими те же сюжеты. Необычным было в данном случае лишь то, что бандиты заставили господина Барбатуса и его жену раздеться донага. Это уж было противозаконно, ибо законы Лаконии решительно запрещают нюдизм, вовсе не считая, что собственное «я» нюдистов может служить им одеждой.

— Даю вам две минуты,— сказал бандит с автоматом.— В противном случае я буду вынужден пролить вашу кровь. А вы ведь понимаете, друзья мои, как это неприятно.

Госпожа Барбатус стала раздеваться с таким рвением, что ее устремленная вперед грудь оказалась в опасной близости с дулом автомата. Сцена эта возмутила целомудренные чувства бывшего министра, и он воскликнул:

— Ламелла! Вспомни, что ты мне обещала!

— Осталась одна минута,—напомнил вооруженный страж.

— Меньше минуты,— поправила Ламелла.— Поторопись, Гней! Ты не на заседании государственного комитета.

И снова подтвердилась истина: женщины рождены, чтобы повелевать. Господин Барбатус привык командовать мужчинами и подчиняться женщинам. Он разделся и заявил протест. Гнев его подогревали еще некоторые досадные мелочи: кальсоны держались на двух английских булавках, а из одного носка робко выглядывал большой палец. И все же, невольно испытывая глубокое почтение к автомату, он явился разбойникам в девственной натуральности своего ожирения, складок и морщин. По его мнению, Ламелла своей наглостью перещеголяла гангстеров,

ОМ АЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

могут упасть так низко, чтобы человек отказался от любви к ним. Кроме денег, Барбатус любил свою жену Ламеллу, бывшую исполнительницу модных песенок, имевшую обыкновение совершать по вечерам гормональные прогулки, за которыми почтенный супруг наблюдал особенно тщательно.

Барбатус знал, что в свободной стране свободой пользуются и бесчестные люди, а потому он сам вел свои торговые дела. Теперь, кстати, ничто не мешало ему заниматься ими, ибо к власти пришли у г р и, а р е п т и л и и могли всецело посвятить себя бизнесу. Барбатус был рептилия. Весьма солидный мужчина, он ненавидел всякую непристойность, если сам не мог ею насладиться. Уступив сопернику министерский портфель, он тотчас уволил из своего магазина продавцов и начал сам обслуживать покупателей. Красивая жена служила ему манекенщицей. Каждый день она должна была по двадцать минут сидеть в витрине, бросая взгляды на проходящих по улице джентльменов. Она блистала драгоценностями и собственными формами. Декольтирована она была до предела, и это служило несомненным доказательством того, насколько высоко ценил муж ее выступления с точки зрения бизнеса.

В один прекрасный день, а точнее сказать, 5 октября 1958 года, в магазин Барбатуса вошли двое неизвестных. Закрывая лица, они сразу дали понять, что явились с целью ограбления.

— Я не согласен,— сказал Барбатус.— Ведь это — уголовное дело.

хотя она и изображала величайшую покорность. Но женщина, которая кажется ангелом, должна быть превосходной актрисой. А этим талантом Ламелла не обладала. Господин Барбатус решил, что вызывающая стыдливость Ламеллы связана с деятельностью каких-либо желез.

Перед уходом незваные гости достали из кассы печать магазина, и в мгновение ока на плечах, на груди и на спине господина и госпожи Барбатус красовались фиолетовые клейма: «Барбатус — торговля драгоценными камнями». Господин Барбатус снова заявил протест, но злоумышленники довольно сухо заметили:

— Нынче рептилии не у власти.

Гости ушли, вежливо кланяясь, и унесли с собой платье господина и госпожи Барба-

тус, кассу и все драгоценности. Не все то золото, что блестит,— поэтому бриллианты их тоже устраивали.

«Лучшее наше достояние — свобода»,— подумал бывший министр внутренних дел, когда грабители вышли из магазина, унося сокровища общей стоимостью в десять миллионов лаконийских долларов (1 лаконийский $ = 3 финским маркам).

— Скорее вызови полицию!— крикнул он жене, суть наряда которой по-прежнему составляла нагота.— Полицию! Ты что, оглохла? Полицию!

— Сигнализация не работает,— спокойно ответила Ламелла.— Грабители обрезали провода.

— Так позови с улицы!

— С улицы?

— Да откуда угодно, наконец!

— Хо-ро-шо,— сказала жена и, покачивая бедрами, направилась к выходу.

Тут господин Барбатус вспомнил о законе, преследующем нюдизм. Законопослушание заставило его броситься на улицу следом за женой. Там их обоих задержали. Полицейские предложили им свои плащи, и двенадцать минут спустя оба были доставлены в отделение полиции.

— Я министр!— воскликнул господин Барбатус.

— Бывший,— поправил его полицейский офицер.

— Я призываю на помощь закон,— продолжал господин Барбатус.

— Сейчас, сейчас...— ответил офицер и, запинаясь, прочитал статью Лаконийского кодекса: «Лица мужского пола, появляясь в публичных местах на территории городов Лаконии, должны иметь на себе брюки...»

О лицах женского пола закон скромно умалчивал. Благодаря этой деликатности закона госпожа Барбатус отделалась предупреждением, но ее мужа оштрафовали на сто долларов — за непристойное поведение в публичном месте и оскорбление общественной нравственности; а кроме того, взыскали десять долларов штрафа за неуважение к правительству и за оскорбление представителей власти.

Покончив с этим делом, перешли ко второму: рассмотрели вопрос об ограблении ювелирного магазина Барбатуса, о чем было сделано теперь официальное заявление.

— Следствие начнется, как только сыщики закончат свою забастовку,— сказал полицейский офицер, разглядывая стройные ножки Ламеллы.

— Преступников надо задержать сейчас же! — отчаянно воскликнул господин Барбатус.— У нас справедливое государство, и я плачу налоги.

— Это вовсе не оправдывает вас.

Полицейский офицер пошелестел бумагами и неторопливо продолжал:

— Вот тут у нас на очереди ожидают расследования двести десять ограблений, восемьдесят изнасилований, свыше семисот карманных краж, примерно тысяча избиений и целая куча более мелких преступлений. Ваше дело подождет еще по крайней мере полгода.

— Это — безобразие! Я напишу жалобу канцлеру юстиции.

— Не трудитесь. Он сегодня объявил забастовку в знак солидарности.

Господин Барбатус начал ругать на чем свет стоит правительство угрей и добился того, что полицейский офицер тут же оштрафовал его еще на пятнадцать долларов. Поскольку господин Барбатус был без костюма и без карманов, то, конечно, у него не было с собою и бумажника. Поэтому взамен денег его жене пришлось снять с себя серьги, которые офицер потом подарил своей подруге.

Барбатусы ушли из отделения полиции в полицейских плащах и в подавленном настроении.

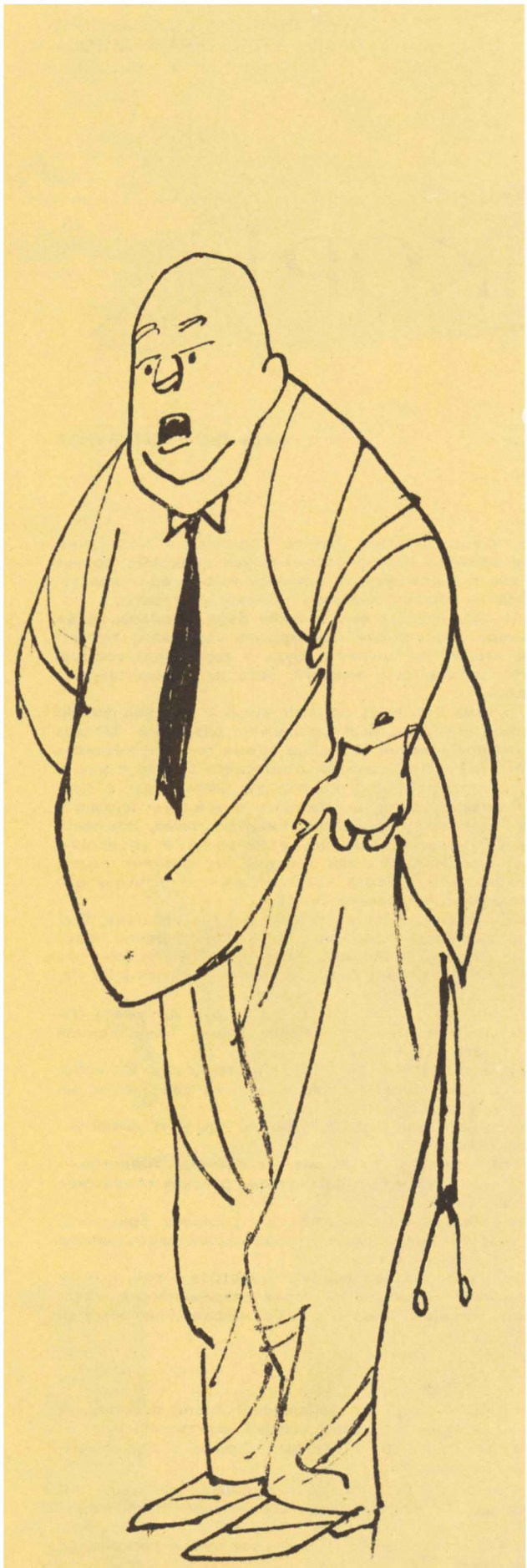
Вечером того же дня господин Барбатус позвонил мне домой. Он сказал, что я манкирую своими обязанностями и делаю это весьма успешно. Я ответил равноценной вежливостью, сказав, что для полноты комфорта в его роскошно обставленном доме не хватает лишь электрического стула. Тогда он почувствовал, что разговаривает с действительным министром Лаконии, и попросил аудиенции. Я обещал принять его в министерстве на следующее же утро, как только министерские чиновники освободятся от побочных дел и явятся на службу. Он знал по опыту, что это значит примерно после часу дня.

Я знал господина Барбатуса довольно хорошо. Мы были уже лет двадцать знакомы. Он начинал свою политическую карьеру как угорь, но потом переметнулся к рептилиям. В бытность министром он заслужил признание оппозиции, так как брал взятки в умеренном размере. Правда, и при нем бывали забастовки, но это происходило, вероятно, потому, что в свое время он защитил диплом о конфликтах между трудом и капиталом. Во время забастовок его капитал рос, как сплетня. Деньги, подобно тесту, прилипали к его рукам. В остальном же он был отличнейшим человеком. Вышло довольно забавно, что именно его магазин подвергся ограблению. Впрочем, нас потешает все то, что не задевает наших интересов.

Господин и госпожа Барбатус появились в министерстве за полчаса до назначенного срока. Им пришлось подождать лишний час, потому что моя секретарша разбудила меня после завтрака лишь в два часа пополудни. Я даже немного рассердился на секретаршу за такую ее деликатность — я не посмел бы назвать это халатностью,— потому что тем самым она дала лишний козырь в безжалостные руки моего противника. Теперь господин Барбатус на следующих выборах чего доброго станет говорить о спящих министрах. Зигмунд Фрейд признавал важнейшее значение снов для истолкования поведения человека, однако и он едва ли одобрил бы поведение министров, спящих на службе. Все же я не сделал выговора секретарше, ибо это была женщина редкого ума и честности, которая могла бы стать подлинным совершенством, будь у нее к тому же кое-какие недостатки, свойственные большинству женщин. Но я уверен, что она и поныне страдает чрезмерной положительностью. Незадолго до моего бегства за границу она сублимировала свой половой инстинкт и поступила на вечернюю работу в армию спасения.

Протерев спросонья глаза и пропустив стаканчик виски для бодрости, я принял у себя в кабинете бывшего министра внутренних дел Гнея Барбатуса и его жену Ламеллу. Обменявшись обычными партийно-политическими оскорблениями, мы приступили к обсуждению дела, приведшего их ко мне.

— Если стоимость похищенных сокровищ



достигает десяти миллионов лаконийских долларов,— сказал я спокойно,— то для вас имело бы смысл пообещать по крайней мере сто тысяч долларов тому или тем, кто задержит преступников. Дайте завтра же в газеты объявление с обещанием награды, да покрупнее, во весь лист.

— Поможет ли это?— вздохнул бывший министр.

— Трудно сказать. Но таким образом преступление приобретет известность, а ваша торговля получит отличную рекламу.

— Мы так и сделаем!— воскликнула госпожа Барбатус.— Подумай, Гней, ведь это блестящая реклама!

Господин Барбатус бросил на жену злой взгляд. Он был по горло сыт рекламой. Вообще надо сказать, что из всех уцелевших на земле животных видов один лишь человек пользуется алкоголем, огнестрельным оружием и рекламой.

— Неужели министерство полиции не способно предложить мне другой помощи?— спросил господин Барбатус.

Я отрицательно покачал головой.

— Все государственные сыщики бастуют,— ответил я.— И забастовка может изрядно затянуться, поскольку сыщики тем временем устроились в частные фирмы.

— А с частными фирмами государство конкурировать не в состоянии,— простонал несчастный коммерсант, который был уже настолько богат, что теперь его не разорила бы и честность.— Очевидно, придется обратиться за помощью в частное бюро. Знать бы только, на кого можно положиться.

Именно этого момента я ожидал, ибо принадлежащее мне бюро «Х 13/В 31 Х» специализировалось на расследовании ограблений. Вынув из ящика стола карточку с адресом моего бюро, я подал ее господину Барбатусу и сказал:

— Как высший блюститель порядка и справедливости я обязан помочь вам. Вот, возьмите. «Х 13/В 31 Х» на протяжении многих лет оказывало нашей государственной полиции неоценимые услуги. В штате этой конторы состоят лучшие, талантливейшие сыщики Лаконии. Рекомендую. Если угодно, я сам могу позвонить в контору.

Господин Барбатус наговорил мне с три короба любезностей: «...буду вечно благодарен за вашу внимательность и никогда не подумаю, что мы с вами представляем два противоположных политических лагеря...»— и прочую ерунду в таком количестве, что я посмеялся всласть. Я никогда не смеюсь оттого, что у меня хорошее настроение, но зато от смеха у меня всегда настроение улучшается. Считая аудиенцию законченной, я проводил гостей до двери и сказал:

— Все-таки я сейчас же позвоню в эту контору. Уверен, что они возьмутся за дело быстро и энергично. Да, тут есть только одна маленькая особенность, о которой я не успел упомянуть: у «Х 13/В 31 Х» довольно высокая такса.

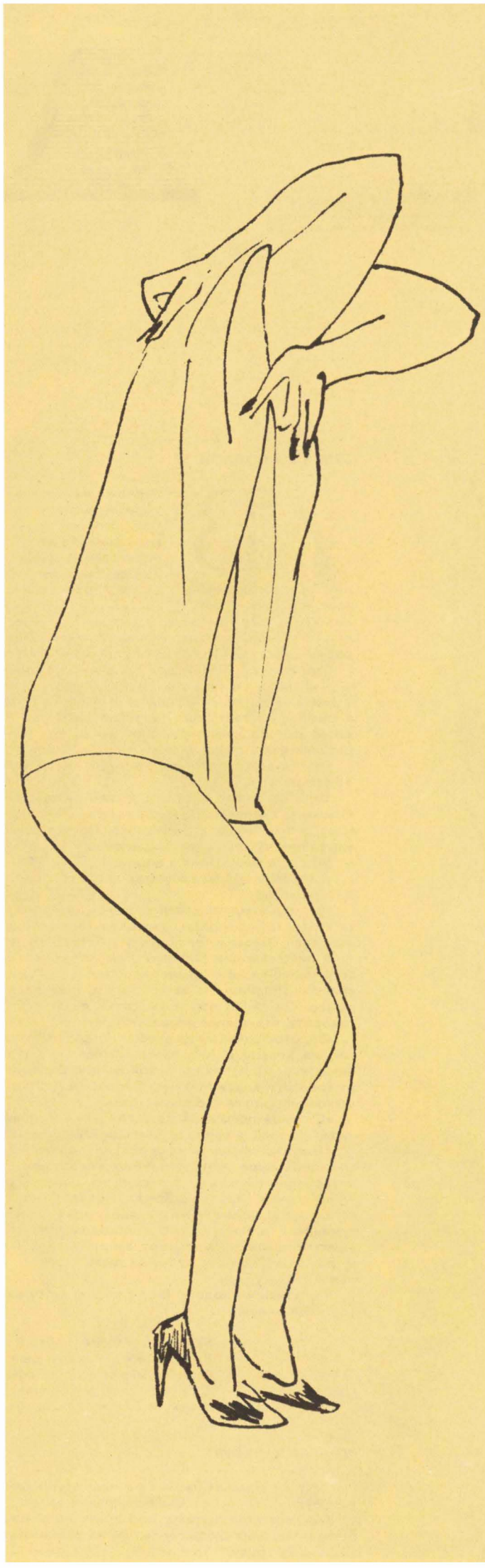
— Я готов заплатить что угодно, лишь бы только они раскрыли преступление,— ответил бывший министр и подал мне руку, столь же сухую, как и вся его жизнь.

Госпожа Барбатус бросила на меня томный взгляд. Наверно, она увидела в офицерском мундире некий символ эротики. Потом она протянула руку, задержав ее в моей руке, пожалуй, слишком долго, пока господин Барбатус не утащил ее, схватив за локоть.

Как только гости ушли, я позвонил в мое сыскное бюро. «Х 13/В 31 Х» звучит, пожалуй, несколько загадочно. Могу раскрыть вам маленький секрет. Эти буквы и цифры были просто-напросто меткой на казенном обмундировании, которым я пользовался, когда служил в армии. Метка крепко врезалась мне в память, и тут я решил воспользоваться ею, чтобы не пропадала зря. Я всегда стремился брать от родины все, что только можно взять. Не случайно я был награжден и орденом.

С финского перевел **В. БОГАЧЕВ.**

Продолжение следует.



Рисунки В. ГОРЯЕВА

ОБ ЭТОМ ПОМА

Мартти ЛАРНИ

Глава третья

На следующий день в газетах появилось объявление, в котором буквами с ослиную голову было обещано сто тысяч долларов награды тому (или тем), кто сумеет раскрыть тайну ограбления ювелирного магазина, принадлежащего бывшему министру внутренних дел господину Гнею Барбатусу. Независимые газеты Палинодии поместили на видных местах биографии Гнея Барбатуса и его супруги, десяток интервью и свыше сотни фотографий, на которых супруги Барбатус были показаны в различной обстановке, в различные моменты общественной и интимной жизни. Индивидуальность Ламеллы выступала лучше всего в купальном костюме. Взоры липли к ней, как пластырь. Некоторые журналисты заговорили о «возвращении Ламеллы». Партийный совет угрей собрался на экстренное совещание, считая возможным и «возвращение Гнея Барбатуса». Меня вызвал премьер-министр и высказал следующее предположение.

— Мне кажется,— сказал он,— что история с ограблением инсценирована. Барбатус ловит в этой мутной воде голоса избирателей. До выборов остается лишь полтора года. Рептилии теперь могут поднять шум, что-де наше правительство не обеспечивает гражданам защиты их прав.

— Предположение разумно, но, к сожалению, ошибочно. Гней Барбатус очаровательно простодушен. Его считают выдающимся характером, потому что никто не знает его. Он еще никогда ничего не выдумал.

Премьер-министр продолжал линию здорового недоверия.

— Ограбление могли придумать в партийном руководстве рептилий.

— Это выяснится со временем.

— Следствие ведется?

— Ведется. «Х 13/В 31 Х» занимается этим делом.

Лицо премьер-министра просияло в улыбке.

— Это ведь твое бюро?

— Так точно.

— Хорошо. И такса, надо полагать, прежняя: двадцать процентов от брутто прибыли в выборный фонд нашей партии.

— Ошибаешься. Тридцать процентов.

— Прости, дорогой друг. Я не забуду этого при следующем распределении орденов... Желаю удачного расследования.

Преступление, поскольку таковое произошло, наделало, по-моему, слишком много шуму. Чего только сюда не приплетали! Иностранные информационные агентства уже стали поговаривать о возможном правительственном кризисе. Глупость человеческая неописуема, но каждый может познать ее на собственном опыте.

Я решил расследовать это нашумевшее дело так, чтобы обе партии остались довольны. В республике Лаконии всегда стараются примирить богов и чертей. Я замечал много раз, что люди не бывают либо злыми, либо добрыми; они бывают и злы и добры одновременно. Истина обычно сомнительна. Порочность людей отлично подходит для современной крикливой мелодрамы. Они успевают украсть, ограбить, совершить подлог и убийство, пока господь бог лишь развернет платок и высморкается.

Я вызвал лучших детективов моего бюро, которые пользовались в нашей партии безусловным доверием и многими благами, помимо жалованья. Конечно, они также пользовались и гражданским доверием и алкоголем в умеренных дозах. Господин Барбатус уплатил моему бюро пятьдесят тысяч долларов авансом на расходы по ведению следствия. Он бы, наверно, поторговался, если бы знал, что деньги поступят на мой счет. Таковы уж мы, люди. Недоверчивы и легковерны. Легковерны безошибочно. Господин Барбатус считал меня умным, энергичным и справедливым человеком — и в этом он не ошибся; я же находил его глуповатым, весьма ненадежным и жадным до денег — и я тоже не ошибся.

Сотрудники моего бюро были настоящие детективы современной школы. В целях безопасности они выступали под конспиративными кличками. Я отобрал четырех самых способных, известных по прозвищам: Марк-Дубинка, Секст-Косоглазый, Луций-Кастет и Фабий-Скорострел. Я знал их прошлое. У них был острый нюх, который особенно обострялся, если пахло деньгами. Они и прежде оказывали отечеству большие услуги, и благодаря им количество политических заключенных никогда не уменьшалось. Я не стану подробно описывать их характеры, так как они немного погодя сами раскроются перед вами.

Познакомившись с протоколами допросов, я дал ребятам следующие указания:

— Вы все знаете, что Гней Барбатус — рептилия и бывший министр внутренних дел. Вот вам отправная точка для следствия.

— Отправная точка ясна!— гаркнули четыре глотки.

Я продолжал:

— Теперь вы должны тщательнейшим образом исследовать, как и почему бывший министр и нынешний торговец ювелирными изделиями Гней Барбатус инсценировал ограбление. То ли он имел в виду а) рекламу своей торговли, то ли б) устройство своей жены Ламеллы — бывшей исполнительницы модных песенок — обратно на телевидение. Поэтому вы должны проверить все рекламные фирмы и конторы и дознаться, не заключил ли Гней Барбатус с кем-нибудь из них секретной сделки. А если заключил, то сколько он им заплатил. При этом надо выяснить политическую позицию данной фирмы. Затем нужно найти одежду господина и госпожи Барбатус, поскольку это даст нам в руки нить и поможет распутать клубок преступления. Как только упомянутая одежда будет найдена, ее надо отправить на экспертизу в Исследовательский центр криминалистики...

— Они там бастуют,— перебил Марк-Дубинка.

— Не перебивай. Воспользуемся услугами криминалистов какого-нибудь захолустного городка. А в крайнем случае, можно будет послать на исследование за границу. Время терпит. Экспертиза должна опреде-

---

Продолжение. См. «Огонек» № 27.

лить: а) артикулы тканей, б) кем сшито изделие, в) год изготовления, г) степень изношенности и состояние вещи — хорошее, удовлетворительное, плохое — и д) стоимость одежды — суммарно и каждой вещи в отдельности. По словам госпожи Барбатус, у обоих грабителей нижняя часть лица была закрыта красным шарфом. Это значительно облегчает задачу следствия. Теперь остается лишь задержать и допросить всех мужчин, у которых на шее или в гардеробе будет замечен красный шарф. Эксперты-криминалисты, конечно, смогут выяснить, является ли шарф отечественным или же иностранным изделием. Если он отечественный, дальнейшие розыски могут ограничиться пределами нашей страны; если же заграничный, тогда придется просить Интерполь установить следующее: а) не были ли данные шарфы ввезены в страну без пошлины — тогда мы возбудим дело о нарушении таможенного режима, б) не имеет ли красный цвет шарфов политической подоплеки и в) не явятся ли эти шарфы причиной международных осложнений и, возможно, обмена нотами.

— Судя по протоколам допросов, данные, сообщенные господином Барбатусом, быстро устаревают. Очень скоро их придется искать, как ископаемые останки. Насколько можно доверять его рассказу, оба грабителя были одеты в светлые плащи. Вот опять направляющая нить для нашего расследования. Всех мужчин в светлых плащах задерживать и допрашивать; надо у всех снять отпечатки пальцев и получить клятвенные заверения в том, что они не замышляют силой оружия свергать правительство нашей страны. Затем надо установить, не исчезал ли в последнее время каким-либо известным или неведомым способом одиночный автомат со складов армии, военно-морского флота, полиции, а также крупнейших гангстерских корпораций. При этом важно узнать калибр автомата, его исправность, фабричную марку и год изготовления. Точно так же следует выяснить, какое смазочное масло использовалось для чистки автомата. С этой целью необходимо обыскать все заводы, выпускающие смазочные масла и маргарин, и образцы продукции доставить в Исследовательский центр криминалистики...

— Он бастует!—опять воскликнул Марк-Дубинка.

— Не перебивать! Я бы просил не перебивать меня. Как засвидетельствовано протоколами допросов, грабители оставили на теле своих жертв — господина и госпожи Барбатус — многочисленные отпечатки, сделанные при помощи печати ювелирного магазина Барбатуса. Данный поступок указывает на то, что у бандитов исключительное чувство юмора или же что они долго работали на бойнях клеймильщиками мяса и профессиональное занятие стало для них второй натурой. Печать была найдена в магазине, и это также облегчает задачи нашего следствия. Теперь лишь нужно выяснить: какой фирмы штемпельная краска была использована и где была изготовлена печать? Не исключена возможность, что преступники воспользовались самодельной печатью. Поэтому задерживайте всякого, у кого в карманах, в портфеле или дома вы обнаружите печати и штампы. Задержанных можно будет выпустить на свободу после того, как они докажут свою невиновность и торжественно поклянутся не пользоваться своими печатями для политических целей.

И не забывайте, что в нашем законе сказано о клятве. Христиане должны клясться богом и его святым евангелием; иудеи — богом и его священным писанием; негры и мулаты — святым барабаном и белым дьяволом; атеисты, не исповедующие никакой религии, пусть клянутся своей честью, состоянием и должностью. Согласно конституции, совесть свободна. Я отдал строжайшее распоряжение, чтобы до окончания следствия господин и госпожа Барбатус не смывали и никаким иным способом не удаляли со своей кожи следов, оставленных печатью. В их доме надо провести тщательный обыск. Если будут обнаружены моющие, отбеливающие и пятновыводящие средства — скипидар, спирт, ацетон и тому подобное,— они должны быть изъяты. Печати на теле госпожи Барбатус я обещал обследовать лично — в иных случаях и полиция обязана проявить известную деликатность.

Тут я как будто заметил на лицах моих подчиненных скрытые усмешки. Может быть, им показалось, что перед ними развертывается пролог эротической комедии? Вполне возможно. Блохи всегда найдут себе собаку. Но я искренне готов поклясться, что не имел никаких задних мыслей, хотя иной раз и не прочь пофлиртовать с этакими ангелочками... Любовные комедии и фарсы, с помощью которых иные щелкоперы зарабатывают свой хлеб насущный, вызывают у меня колики. Если бы я написал о любви комедию, я не уложился бы, возможно, и в сто страниц. Но для создания фарса на ту же тему мне потребовалась бы лишь спальня да пара простынь.

— К делу!— воскликнул я неожиданно громко, прерывая цепь умозаключений моих детективов.— Прежде чем вы начнете действовать, я хочу дать вам еще несколько указаний. Приглядывайтесь ко всем женщинам, у которых на шее, в ушах, в волосах, на руках и на ногах появятся в эти дни новые украшения. Вы ведь знаете, что женская страсть к нарядам и украшениям составила значительную часть истории преступности, которую нам следовало бы по возможности подсократить. Итак, шпионьте за всеми женщинами, но это не должно заводить вас слишком далеко. Сохраняйте хладнокровие при любых обстоятельствах. Будьте всегда начеку. Спускайте предохранитель пистолета, как только увидите красный шарф, светлый плащ, бриллиантовое украшение, подозрительный узел с вещами, штатского человека с автоматом или же незнакомца, у которого пальцы испачканы штемпельной краской.

Шныряйте всюду — среди бедных и богатых, и особенно присматривайтесь к людям, старательно моющим руки. Я признаю, что задача не из легких. Наш народ известен своей чистоплотностью. Бедные моют полы, богатые подчищают цифры своих доходов — главное, чтобы получалось чисто. Так вот, господа, великое дело зовет вас. Мы должны сражаться за нашу свободную республику, против преступности, идущей к нам из-за границы. Я полагаю, у нас в руках важнейшие нити, ведущие нас по следам преступников. Вопрос теперь лишь в том, чтобы настигнуть и взять их — живыми или мертвыми.

На этом закончился первый акт. Марк-Дубинка, Секст-Косоглазый, Луций-Кастет и Фабий-Скорострел, бросив на меня восхищенные взгляды, удалились. Оставшись один на сцене, я налил себе стаканчик виски и грустно вздохнул:

— Блаженны люди, лишенные мозгов и сами того не подозревающие! Такие необходимы отечеству, политика которого представляет собой непрерывную лотерею: одному достается портфель министра, другому — язва желудка, а третьему — репутация безупречного гражданина. Большинству же не достается ничего.

Глава четвертая

Господин Барбатус верил мне, но не правительству и не судебным органам. Он полагал, что свобода или, как говорили циники, гражданская распущенность, царившая при правительстве р е п т и л и й (которое сидело у власти четыре года подряд), процветала и в наши дни. На самом же деле с переходом власти к у г р я м в Лаконии начала складываться конъюнктура нравственного подъема. Изредка, правда, случалось, что тот или иной министр нашего правительства напивался вдребезги и нарушал правила уличного движения, а какой-нибудь высший чиновник возводил на своем участке за счет государства пару железнодорожных мостов и шоссейную дорогу; какой-нибудь генерал устраивал поставки таким образом, что его личное состояние возрастало, нарушая все нормы приличия; или авторитетнейший юрист забывал сообщить о своих доходах, подлежащих налогообложению.

ЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Р о м а н-п а м ф л е т

Но это все же мелкие нарушения по сравнению с тем, что творилось буквально каждый день, пока моей милой родиной правили р е п т и л и и. Вот тогда в Лаконии царила полнейшая свобода. Государственная полиция могла свободно брать кого угодно, а суды свободно выносили приговоры. Согласно законам, не считалось аморальным ковырять в носу, но и за меньшую провинность сажали в тюрьму и казнили. Трудно сказать, как далеко зашло бы очистительное рвение р е п т и л и й, если бы государственные палачи не объявили забастовку. Они требовали оплаты сверхурочных и неслыханного повышения сдельных тарифов. Забастовка закончилась лишь при нынешнем правительстве. Я не хочу хвалиться, но все же не могу умолчать: это я ее прекратил.

В то время я был государственным посредником по улаживанию трудовых конфликтов. Я уговорил забастовщиков подписать соглашение, по которому палачам устанавливался месячный оклад, бесплатное виски в барах, право содержать подругу за счет государства и, наконец, княжеская пенсия. В тех случаях, когда приходилось усаживать на электрический стул министра действующего правительства, палачу платили надбавку за грязную работу.

Да, господин Барбатус доверял мне. Он знал, что я изучал в Университете Палинодии право, словесность и общегуманитарные науки, что я презираю алкоголь, хотя и не отказываюсь от него, и что никакое недоразумение не могло склонить меня к браку. Он знал также, что закон всегда на моей стороне, ибо я хороший юрист и широта интеллекта моего противника никогда не лишит меня дара речи. Но он не знал одного: что сыскное бюро «Х 13/В 31 Х» принадлежит мне,— конечно, через подставное лицо, как водится. В свое оправдание я могу сказать, что не только у меня, а у всех высших должностных лиц Лаконии были собственные коммерческие предприятия, которые, разумеется, пользовались не только моральной, но и материальной поддержкой партии, стоящей у власти.

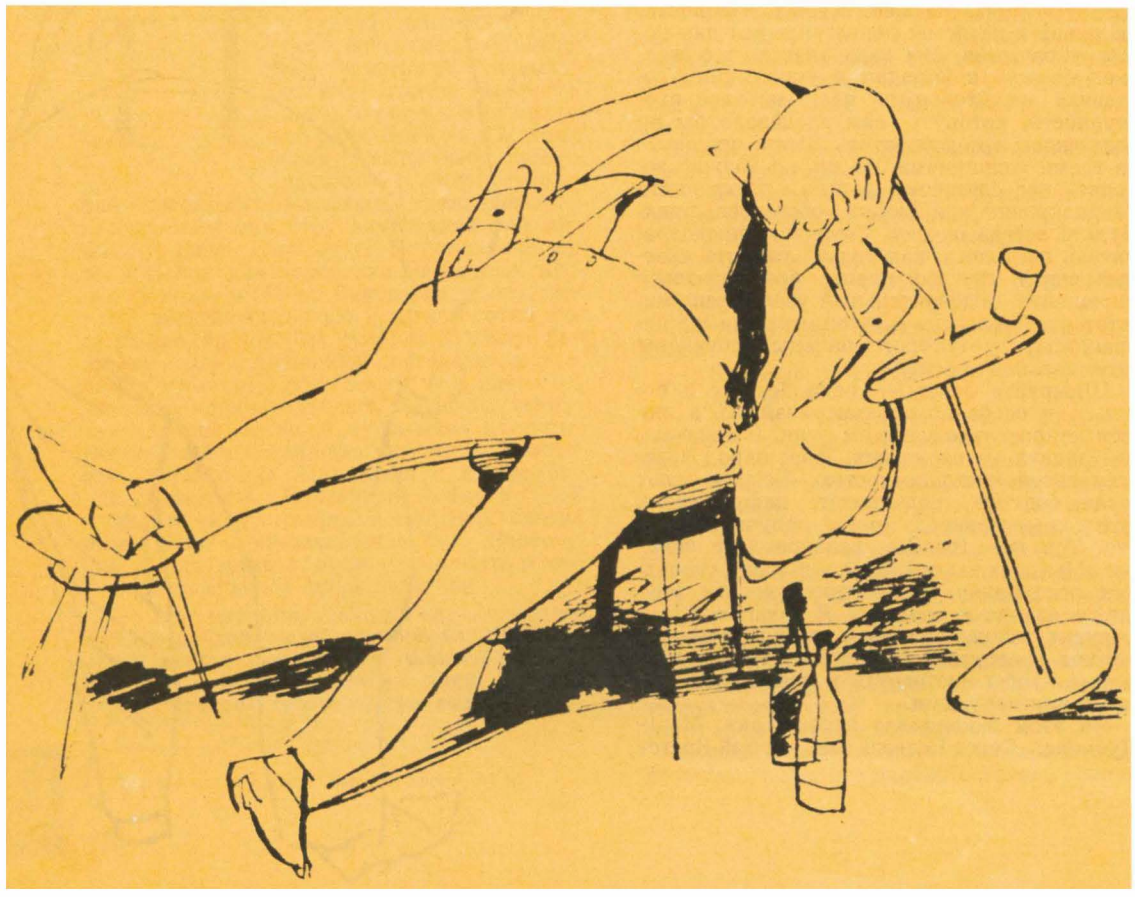
Премьер-министру нашего правительства принадлежали маргариновые заводы, министру почты — железные дороги, а министру обороны — пушечные заводы. У меня же было лишь одно несчастное сыскное бюро. Я знаю, конечно, что ни о чем подобном не может быть и речи в Финляндии, где чувство гражданской ответственности является прирожденным и любая нечестность распознается уже в зародышевой стадии. Но в Лаконии — этом пленительном Эльдорадо свободы, где не требуются ни водительские права, ни разрешение носить оружие, ни пепельницы,— там для некоторых избранных граждан существуют особые, исключительные привилегии. Вот и я, с тех пор как детективы моего бюро с особым рвением принялись за работу, получил особую привилегию посещать дом господина Барбатуса.

Господин Барбатус пригласил меня к себе, чтобы побеседовать о некоторых вопросах уголовного права. Видите ли, у него дома произвели обыск. Сыщики реквизировали все моющие, пятновыводящие и отбеливающие средства, а заодно и вообще все жидкости: духи, напитки, лекарства. Словом, постарались. Лаконийцы вообще очень старательный народ.

Знакомясь с людьми, я всегда запоминаю их приметы. Это у меня профессиональное. Господин Барбатус был пятидесяти лет, среднего роста, с карими глазами, склонный к полноте. Два подбородка и третий наметился. До женитьбы на Ламелле он боролся за нее, а после свадьбы — с нею. Три года тому назад он загляделся на ямочки модной певицы варьете и вскоре был вынужден жениться. Для него это был первый брак, а для Ламеллы — второй. Ламелла успела побывать замужем за каким-то парикмахером. Беззаботный цирюльник не думал о старости и умер молодым. Говорят, он был пьяница, нарушал законы и супружеский долг. Ламелла положила конец его изменам, дав ему яду. Отчаяние не смотрит на законы. Не поглядел на них и суд, который оправдал Ламеллу.

Госпоже Барбатус как раз исполнилось тридцать лет. Природа дала ей одно лицо, а косметика — другое. Язык был ей дан для того, чтобы скрывать мысли, и она их скрывала, не умолкая. Злые люди, которые завидовали даже снам ближнего, довольно громко поговаривали о легкомыслии и ветрености госпожи Барбатус. Дважды в году она уезжала на какой-то из континентальных увеселительных курортов и проводила там долгий отпуск. А мы ведь знаем по собственному опыту, что чем дольше отпуск, тем глубже падение. В каждом возрасте для любви складывается своя особая конъюнктура. Ламелла находилась как раз в том возрасте, когда конъюнктурная кривая достигает высшей точки, а в производстве гормонов имеются большие неиспользованные мощности. Да и вообще она была великолепная женщина.

Не удивительно, что Ламелла влюбилась в меня. Я мужчина именно того типа, которым увлекаются женщины: рост выше среднего, статный, брюнет с голубыми глазами и с чуть седеющими висками. Неполных сорока лет. Никогда не сидел в тюрьме. И ко всему — холост.



События последних дней нашли свое отражение в газетах и на лице господина Барбатуса. Он плакался, стараясь вызвать сочувствие.

— Господин министр,— проговорил он со стоном, когда мы сидели на террасе его пышно обставленного дома и потягивали шотландский виски,— меня испытывают слишком сурово. Сначала наглое ограбление моего магазина, а потом эти ужасные методы следствия. Сегодня у меня в доме провели обыск, вы понимаете: домашний обыск! С какой стати? С нами обращались, как с преступниками. Чье это распоряжение, что мы — моя жена и я — даже не можем умыться?

— Не знаю, кто отдал такое распоряжение,— ответил я уклончиво,— но причины запрета мне совершенно понятны. До тех пор, пока следствие не закончено, нельзя уничтожать вещественные доказательства.

— Вещественные доказательства?..— отупело пробормотал господин Барбатус.— Неужели недостаточно того, что нас сфотографировали в чем мать родила!

— Да, причем они снимали с разных сторон и крупным планом,— добавила госпожа Барбатус.— С меня сделали по крайней мере десять снимков.

— Восемь,— уточнил господин Барбатус.— А с меня шесть.

Я с радостью отметил склонность Ламеллы увлекаться и преувеличивать, так что она обычно даже правду говорила, чуть-чуть привирая. Она все-таки уверяла, что с нее сделали десять снимков, и притом — двумя фотоаппаратами. Я даже позавидовал усердию и расторопности моих сыщиков. Получить снимки вещественных доказательств — это было великолепно придумано! К тому же спрос на снимки нагого женского тела никогда еще не удовлетворялся полностью. А тело, украшенное печатями,— это даже пикантно и, во всяком случае, прозвучит новинкой. И притом это патриотично, ибо снимки голых женщин являются весьма важной статьей лаконийского экспорта как в развитые, так и в развивающиеся страны. Женатые мужчины, разглядывая фотографии незнакомок, находят в них формы своих собственных жен, а холостяки видят в картинках доступную замену брака, вполне современную в нашу эпоху небывалого расцвета заменителей. Культ картинок стал неотъемлемой частью западной цивилизации. Женщины дают мужчинам смелость и обезоруживают их.

— Я вам вполне сочувствую,— сказал я чистосердечно.— Разумеется, я не вправе вмешиваться в действия тех, кто непосредственно ведет следствие, но все же рискну взять на себя известную ответственность: смойте с вашего тела печати ювелирного магазина.

— Сейчас? Немедленно?— воскликнула Ламелла.

— Да хоть сейчас. Но постойте-ка. Я бы хотел, пожалуй, взглянуть на эти печати. Это, впрочем, даже моя прямая обязанность, как министра полиции.

Ламелла отличалась откровенностью как в манере одеваться, так и в манере раздеваться. Она собиралась тут же обнажить свое розовое тело, но господин Барбатус воскликнул:

— Ламелла! Не здесь, только не здесь, ради бога! Будет ужасный скандал.

Он начал говорить что-то о приличиях и о нравах, точно пуританский проповедник. И даже осмелился упрекнуть жену за то, что она, мол, слишком много выпила вина. Возможно, он силился припомнить предостережение апостола Павла: «Не упивайтесь вином, ибо оно побуждает к распутству». Наконец он предложил следующий компромисс:

— Уж довольно, мне кажется, если господин министр увидит, как меня изукрасили.

В ответ я произнес нечто неопределенное, и мы, покинув террасу, вошли в дом. Попросив жену дожидаться нас в гостиной, господин Барбатус прошел со мною в ванную и с горечью сказал:

— Такого оскорбления мне еще никогда

не наносили. Вот, полюбуйтесь: я точно свиная туша.

Он снял рубашку и обнажил свой торс. Ярко-фиолетовые клейма пустили по коже длинные чернильные подтеки.

— Негодяи получат за это пожизненную тюрьму,— сказал я холодно.

— Пожизненную! Это же обеспеченное существование до конца дней, естественная смерть и похороны за счет казны! Я требую смертного приговора. Их следует повесить на центральной площади Палинодии. Вы подумайте о моем личном достоинстве.

Господин Барбатус был действительно полон личного достоинства. Я не хотел спорить с ним о мере наказания непойманных преступников. Про себя я подумал, что на господине Барбатусе больше и клейма поставить негде. Осмотрев его гладкую спину, я завел разговор о страховании:

— Ваш магазин, конечно, застрахован на случай грабежа?

— Да, к сожалению...

— К сожалению? Что же так? Или страховка слишком мала?

— Напротив, она непомерно велика. Но вы же знаете эти страховые общества: они вкладывают свои средства в промышленные предприятия, в недвижимость и в результате оказываются не в состоянии выплачивать страховые вознаграждения. В договоре со мной имеется условие: вознаграждение выплачивается застрахованному лишь после поимки преступников.

Я вовсе не был потрясен этим сообщением. Говоря медицинским языком, господину Барбатусу теперь предстояло перейти на диету: питаться одними надеждами. Имея столь изящно составленную страховку, господин Барбатус мог радоваться, вспоминая прожитые годы. Какие-то десять миллионов, насколько мне было известно, еще не пошатнули его благополучия. Я сказал ему несколько общих слов утешения, посоветовал отмыть штемпельную краску теплой водой с мылом и, пятясь, вышел из ванной комнаты, оставив его одного. Дальше произошло нечто такое, чего я уже не берусь рассказать со всеми подробностями. Рекомендую вниманию читателя великолепнейший «Декамерон» Джованни Боккаччо, потому что Боккаччо был писателем по профессии, моя же специальность — право и криминальная психология.

Все же я должен сказать хотя бы о том, что Ламелла ждала меня в гостиной, готовая отправиться в ванну. Нужно было лишь проверить печати и разрешить смыть их. Я искренне поверил, что мои ребята действительно сделали с нее десять снимков двумя фотокамерами. Охотно разрешив ей помыться, я удалился. Я подумал, что министру полиции, пожалуй, неприлично преклонять колена даже перед женщиной, чье лоно, как алтарь. У меня возникло подозрение, что вся сцена срепетирована заранее и что сценарий написан в партийной канцелярии р е п т и л и й.

Придя домой, я почувствовал себя маленьким и жалким. Мне казалось, что я высох и съежился, как будто меня продержали несколько часов в автоклаве.

Глава пятая

Каждый день в мое сыскное бюро поступали добрые вести: сыщики нападали на следы преступников. Газеты печатали из номера в номер захватывающую детективную повесть, с интригой, способной заинтересовать читателей всех возрастов. Преступников, по всей вероятности, было восемь. Я пришел к такому выводу путем простого арифметического расчета: четыре сыщика вели розыски в четырех штатах Лаконии, и каждый из четырех напал на след двух преступников. Вообще в Лаконии столкнуться с преступниками очень легко. Гораздо труднее поймать среди них именно того преступника, которого ты ищешь.

Я еще прекрасно помню случай, когда государственная полиция разыскивала физика-атомника, подозреваемого в шпионаже. Преследуемый сумел ускользнуть, перемахнув через границу. Но, пока его ло-

вили, полицейские задержали человек сорок взломщиков, двух убийц, одиннадцать контрабандистов, свыше сотни содержателей публичных домов, уклоняющихся от уплаты налога, и несколько фальшивомонетчиков. В результате получился неплохой улов за счет, так сказать, «побочного продукта».

Но, как известно, побочный продукт порой оказывается ценнее основного продукта. Мне рассказывали, что в Финляндии — как побочный продукт мебельного производства — изготовляются тысячи тонн прекрасного столового вина. Или, как сказал президент Лаконии Бос Таурус, жизнь — это химический процесс, при котором в качестве побочного продукта рождаются люди.

Пока мои сыщики вели свои дознания (кстати, это было единственное значительное дело, по которому за все время забастовки сыщиков велось следствие), а газеты рекламировали ювелирную торговлю господина Барбатуса, наша партия готовилась к предстоящим выборам. Партийные взносы у г р е й, занимающих правительственные должности, были повышены на десять процентов. Многие высокие должност-

ные лица начали скрывать свои доходы. От жен они скрывали свои расходы. Вам, наверно, покажется невероятным, что я не скрывал ни того, ни другого. Единственно, что я деликатно сохранял в тайне,— это была моя связь с госпожой Барбатус.

Я никогда не старался быть особенно целомудренным, потому что целомудрие мужчины, по моему убеждению,— это либо поза, либо беспомощность. Если уважаемый читатель ждет от меня теперь признаний покаянной души, он, к сожалению, ошибается. Я не из тех сладострастников, которые наслаждаются до пресыщения, а потом начинают каяться, находя новое наслаждение в том, чтобы мучить себя. Я пришел к выводу, что люди, погруженные в самосозерцание, никогда не бывают единодушны относительно того, что же они в действительности созерцают. Посему я отказываюсь вступать в их клуб. Я расскажу о нашей маленькой любовной истории без самолюбования и без лишних церемоний. Я не думаю, чтобы это могло повредить мне, так же как и Ламелле, которая, насколько мне известно, находится теперь в полной безопасности: в женской тюрьме Палинодии.

С того дня, как я властью министра полиции разрешил господину и госпоже Барбатус помыться, меня время от времени приглашали провести вечер в семейном кругу. Просиживая эти вечера, набитые трескучей пустотой, я замечал не раз, что муж есть муж, а жена есть жена и что общая у них только постель. Господин Барбатус сетовал на свои неудачи. Ему не повезло в политике и в супружеской жизни. Я вообще не понимаю, как ему могло повезти в политике, если у него череп служил в основном опорой жевательных мышц. Если бы подобные политики взялись решить задачу, относится ли голод к области социологии или же психологии, то мир наверняка умер бы с голоду. За женой он тоже не умел ухаживать. И дело было тут, конечно, не в разнице возрастов, ибо такая разница как раз и побуждает мужчину испытывать все возможные средства, проявляя максимум изобретательности. Ведь недостаточно покорить женщину, за ней надо еще ухаживать.

Ламелла испытывала неудовлетворенность и начинала тяготиться мужем, который женился лишь для того, чтобы узаконить блуд. Господин Барбатус был неисправимый пессимист, чья мудрость не имеет корней и не приносит плодов. Он лишь сетовал на горести судьбы и на несправедливость правительства, стоящего у власти. Он верил, что любит свою жену, но его вера не делала ее счастливой.

Мало-помалу мне стало ясно, почему господин Барбатус так часто искал моего общества: он боялся пить в одиночку, чтобы не стать алкоголиком. Каждый мой визит заканчивался тем, что господин Барбатус засыпал, а мы с хозяйкой дома выходили прогуляться по саду. Любой мужчина, доживший до моих лет, знает, что невинные прогулки часто заводят слишком далеко, грозя нечаянными последствиями. Однако тут о нечаянности не могло быть и речи благодаря моей предусмотрительности. Как все приятные романы, наш тоже начался поцелуем. Продолжение мы решили устроить у меня дома, где было двое старых слуг, восемь комнат и французская кровать.

В тот вечер первого поцелуя я пришел домой с несколько странным чувством. Вероятно, я влюбился в Ламеллу. Она внушала мне то смешанное с жалостью восхищение, на какое обычно попадаются сестры милосердия. Я ведь знал, что порочный человек интересен, добродетельный — скучен. Но Ламелла не была полностью ни тем, ни другим. Часами гуляя по саду, я слушал ее откровенную болтовню и думал про себя: мечтатели просыпаются от снов, когда оказываются женатыми.

У некоторых людей бывает дар речи, у некоторых — мозги. У Ламеллы был дар речи. Как откровенно и в то же время как по-женски деликатно изображала она глупость своего мужа! Будь я на месте Ламеллы, мне наверняка опротивел бы Гней Барбатус, который при любых обстоятельствах все чаще и чаще пренебрегал своими супружескими обязанностями. Не думаю, чтобы деревянная нога когда-нибудь передавалась по наследству, но деревянная голова, видимо, все-таки передается.

Придя домой, я, несмотря на поздний час, тут же объявил слугам, что послезавтра ровно в двадцать один ноль-ноль ко мне придет дама, визит которой должен остаться тайной. Мои верные Корвус и Кабаллус понимающе улыбнулись. Оба они были в том возрасте, когда меньше действуют, а больше понимают.

Я лег в постель и стал читать всемирно нашумевший роман, бестселлер, из которого в Голливуде уже накрутили несколько фильмов, а в Голландии крутили пакетики для семян. С книгой я незаметно заснул. Вероятно, и автор дремал, когда писал свое произведение.

* * *

Ламелла пришла ко мне без малейшего страха и стеснения. Будь я писателем, я бы изобразил до мельчайших подробностей, как она была одета, как выглядела, ее очарование и даже интонации ее голоса. Теперь же я скажу лишь коротко: она была исключительно прелестна. Вкусив понемножку алкоголя, мы оба стали как огурчики. Запас слов у Ламеллы был скуден, из чего я сделал заключение о скудости ее мысли. Слова создают картину человеческой ограниченности. Они как бы очерчивают тот мир, который мы всюду носим с собою. Но есть еще и беззвучные слова, рождающие своеобразное щекотание в горле. Они сказываются в интонациях, во внутренних репликах и могут действовать столь же сильно, как и любое внешнее раздражение. Обстоятельства определяют характер возбудителей, их силу и многообразие.

Ламелла была обольстительна, но я видел в ней удачную копию Мата-Хари [1]. Поэтому во мне возникло отрицательное приспособление, как будто я в любое мгновение ждал сигнала тревоги. Профессия стала для меня второй натурой: я уже не в силах отрешиться от подозрительности. Ведь она могла оказаться лазутчицей враждебной партии, агентом иностранной державы или, наконец, частным сыщиком своего мужа. Подозрительной казалась ее расчетливость, ее умелая нежность. Но постепенно настороженность исчезла, подозрения рассеялись. И так вновь подтвердился извечный закон приспособляемости: тесные ботинки жмут до тех пор, пока мы не привыкаем к ним.

Ламелла продолжала тайно посещать мой дом. Я уже с нетерпением ждал ее прихода. Понятно, что два здоровых человека не могли удовольствоваться только беседами. Это было бы даже противно естеству. Конечно же, наше общение было более тесным. Мне нет надобности описывать это подробно, ибо данная тема есть гвоздь новейшей беллетристики, а в жизни подобные переживания наверняка испытал каждый нормальный мужчина и каждая женщина. За исключением старых дев Лаконии, ведущих постоянную борьбу за свою честь. Для них переводятся на лаконийский язык произведения Генри Миллера и некоторых скандинавских писателей — я уж не помню их имен, произведения, которые должны удовлетворить даже самых взыскательных любителей тайных вожделений.

Я привык пользоваться словом «любовь» очень осмотрительно. Поэтому я воздержусь от красот возвышенно романтического слога и не стану говорить о нашей большой любви и т. д. Достаточно сказать, что я привязался к Ламелле. Ее восхитительные духи свидетельствовали о том, с каким блеском человеку порой удается улучшать природу; а ее способность покорить мужчину показывала, от каких слабых, едва уловимых сигналов начинается в наших нервах бешеный танец электронов.

Продолжение следует.

[1] Знаменитая немецкая шпионка.

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ОБ ЭТОМ ПОМА

Глава шестая

Следствие по делу об ограблении ювелирного магазина Барбатуса велось весьма энергично уже три месяца. Как и раньше бывало, ценные побочные продукты получались в изобилии. Свободных граждан свободной страны сажали под арест. Газеты печатали экстренные выпуски, а некоторые члены парламента срочно уезжали в отпуск.

Мое сыскное бюро подводило первые итоги расследования. Я сохранил как редкостные документы донесения моих сыщиков, записанные на магнитную пленку, и сейчас передаю их слово в слово. Вот, например, рапорт Марка-Дубинки:

«Это — скверное дело, господин министр. Но теперь оно проясняется. На печати ювелирного магазина Барбатуса была штемпельная краска завода «Муска». Откуда я знаю? Я изучил это дело. Ну вот. Конечно, я могу рассказать все по порядку, с самого начала. Я исходил из того, что надо двигаться по узкой линии, чтобы не было напрасных арестов. Итак, я сидел в кабаке и потихоньку исследовал карманы, портфели и сумочки посетителей. Ни одной печати. Чего другого — пожалуйста. Фальшивые доллары, контрабандная губная помада, поддельные закладные, лак для ногтей и прочая интимная дрянь. И то неплохой результат: задержано двенадцать человек. По крайней мере не зря пачкал руки.

И вот я опять сижу в кабаке. Но на этот раз мы вдвоем. Босс разрешил мне взять с собой Путориуса. Это тот самый парень, который тогда, помните, раскрыл торговлю наркотиками. Ну вот. Сидим мы в кабаке, и Путориус угощает. Балакаем о погоде, о бабах и о футболе. И вдруг Путориус говорит:

— Марк, ну-ка погляди на эти руки.

Я гляжу. Гляжу только на руки и ни на что больше, господин министр. Чертовски красивые руки. Такими руками можно играть хоть на пианинах, хоть на чем угодно. Пальцы тоненькие, в маникюре. И тут я замечаю, что на пальцах — следы штемпельной краски.

— Вы арестованы, барышня,— говорю я ей тихо, чтобы не привлекать внимания посторонних.

— Сейчас неудобно,— отвечает она и смотрится в зеркальце, для независимости, стало быть.

— Мне удобно,— говорю я и показываю, между прочим, полицейский значок.— Не угодно ли пройтись?

И тут происходит такое, чего раньше в моей практике никогда не бывало. Дамочка идет с нами, даже не пикнув. Мы с Путориусом отводим ее в нашу контору и начинаем допрашивать. Она сразу смекнула, что с нами лучше не темнить. Итак, мы выяснили, что она всего лишь час назад смазывала штемпельной краской подушечку для печати. Она работает секретаршей и потому постоянно обязана заботиться о директорской печати и прочих штучках. Мы взяли пробу краски с пальцев девушки, и наш ловкий алхимик Цикл за четверть часа установил, что это именно та краска, которой были проштемпелеваны кое-какие места госпожи Барбатус. Преступление раскрылось. Нужно было достать лишь парочку дополнительных свидетельств. Какой завод изготовляет эту штемпельную краску?

— Нам необходимо получить всю бутылку,— говорит Путориус.

— Она у директора в шкафу,— отвечает задержанная.

И тут я, между прочим, тоже замечаю, что она дьявольски красивая или, как это называется, обтекаемая такая, ну, словом, классная. Зовут ее Маммилла. Здорово так подкрашена и пахнет роскошно. Просто черт побери, как роскошно пахнет! Мы с Путориусом требуем у нее бутылку, но она, смотрим, колеблется. Боится, видно, получить расчет и вообще опасается неприятностей. Тогда мы сговорились с Путориусом, что придем в ее контору, когда там будет пусто. Вечером или ночью. Она сказала, что у нас нет ключей. Да нам ключи и не потребуются. Путориус открывает без ключа любой замок. Потом эта девушка (или дамочка, кому как больше нравится) дает нам клятву держать язык за зубами. Еще она пообещала Путориусу сходить с ним как-нибудь в ресторан. Но тут я живо прервал их болтовню и сказал, что свидетельница свободна и может идти к себе на службу. Она ушла чуть не плача, оттого что опоздала после обеда на три часа. Но меня это нисколько не волнует, ведь каждый гражданин обязан помогать суду и следствию. Иначе какой же дьявол ликвидирует в нашей стране преступность, если все вечно торопятся? Это моя философия.

Как только Маммилла ушла, мы с Путориусом начали совещаться. Вот мы, значит, сидим в кабаке. Между делом еще двоих арестовали. И тщательно планируем операцию «Штемпельная краска». Дело, по-видимому, осложняется. Это оттого, что сейчас в Лаконии поспела черника и люди ходят с черт-те какими руками. Поди разбери тут, кто собирал чернику, а кто пользовался штемпельной краской. Но нас не проведешь. У нас имеются направляющие нити. Скоро и печать и подушка будут доставлены к Циклу на экспертизу. Мы с Путориусом должны дождаться лишь вечера. А пока у нас еще есть время пропустить законно по стопке виски.

Эта контора находится в самом центре Палинодии, на улице Мультум. Это банкирская контора, где о деньгах говорят с почтением. Ночной сторож, оказывается, знакомый Путориуса. Он впускает нас на лестницу, а нам больше ничего и не

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27, 28.

нужно. Я держу наготове пушку, а Путориус работает отмычками. Все идет, как часы. Подходим к кабинету директора. На двери табличка: **«Капра Гиркус, генеральный директор. Прием только по предварительной записи»**. Нам смешно. Путориус действует отмычкой. Да, это искусство, надо вам сказать! И не какая-то там абстрактная чушь, а настоящее искусство! Путориус мог бы отлично жить, посвятив себя профессии взломщика,— так мастерски владеет он отмычкой. Но он не хочет становиться на скользкий путь. Он предпочитает служить закону и справедливости, как все порядочные полицейские. Он считает, что в такой стране, как Лакония, будущее принадлежит полиции. Мы открываем дверь и входим. Перед кабинетом директора небольшая прихожая. Мы входим тихо-тихо, как монашки в воду. Не говорим ни слова, прислушиваемся. Дверь в кабинет приоткрыта, и за нею слышны голоса. Скоро нам становится ясно, что за банковские дела дебатируются там. Сам директор Капра Гиркус занят весьма срочными и неотложными делами с мисс Маммиллой.

— Не будем им мешать,— говорит Путориус,— это неделикатно.

— Противно,— говорю я.— Терпеть не могу смотреть, когда другие крутят шуры-муры.

— Ежели в меру, то шуры-муры здоровью не вредят. А даже способствуют.

— Ах, в меру! Ну, знаешь ли, я просто не в силах больше сдерживаться. И потом полиция вовсе не обязана быть деликатной. Мы стоим на страже права и безопасности родины. За то нам и жалованье платят.

С этими словами я первый решительно вхожу в кабинет Капра Гиркуса и показываю служебный значок. Путориус входит следом за мною, немного смущаясь. Ему неловко оттого, что он договорился с Маммиллой о встрече в другом месте. Я, конечно, вижу, что мы все тут мешаем друг другу, точно десять заповедей, но я должен выполнять свой долг. Между прочим, конечно, извиняюсь и ставлю вопрос ребром: какой штемпельной краской пользуются в этом доме? Маммилла чуточку смущается, а Капра Гиркус грозится подать в суд. Я ему, со своей стороны, тоже судом пригрозил. Хотя, между нами говоря, конечно, я-то знаю, что прелюбодеяние в Лаконии, а особенно в Палинодии,— дело весьма обычное, и в течение десятилетий никого за это не наказывали. Ну, короче говоря, банкир идет к шкафу, открывает его и рявкает:

— Фирмы «Муска».

Я беру бутылку краски и печать. Затем я опять же извиняюсь, и мы с Путориусом удаляемся. На улице Путориус говорит мне:

— Тоже нелегкая, видать, эта банкирская работа. День до вечера, да и по вечерам покоя не дают. Но эту фифочку я больше не хочу видеть.

Я не люблю сентиментальности. Поэтому я советую Путориусу выкинуть из головы всех баб и думать только о деле. Придя в нашу контору, мы разбудили Цикла и дали ему на анализ печать и краску. Затем коротко докладываем боссу. А босс аж вспотел весь. И говорит, что нам может выйти хана. Капра Гиркус — активист нашей партии и друг министра полиции. Нам могут всыпать чертей, говорит. Не за то, говорит, что мы взяли печать и бутылку краски, а за другое. В наших законах, говорит, есть такая статья, согласно которой прерванное наслаждение приравнивается к серьезным телесным увечьям. За это могут дать срок или наложить большой штраф. Плевать на Маммиллу, говорит, но там был Капра Гиркус! Босс, конечно, признает, что Капра Гиркус неважный банкир и дрянной вообще человечишка, но он большой активист нашей партии, а это все кроет.

Но я отбрасываю сантименты прочь. Главное, мы установили, что это — изделие завода «Муска». Я дал взятку — пять тысяч долларов — и получил возможность обследовать завод. Производство пришлось приостановить, и мы опросили весь персонал. Нами установлено, что в текущем году на заводе были украдены разновременно пять бутылок штемпельной краски и две подушечки. Технический директор завода подозревает, что здесь орудовала шайка воров, руководимая и оплачиваемая из-за границы. Или же все это козни р е п т и л и й. Они хотят спровоцировать нас, наплевав на закон и справедливость. Но я не отступлю. Я сжимаю кольцо, и я еще покажу, чего стоит Марк-Дубинка. Еще парочка хороших арестов — и чернильные воры будут накрыты. А тогда уж мы сможем начать серию расследований, с тем чтобы окончательно распутать историю ограбления ювелирного магазина. Теперь, во всяком случае, ясно, господин министр, что это краска завода «Муска».

Я не хочу хвалиться, но, право же, я действовал в соответствии с указаниями. Мне пришлось нанимать и оплачивать несколько сот временных сыщиков и прочий персонал. Словом, мои расходы составляют на сегодня немного больше двадцати тысяч долларов. Очевидно, надо представить счет хозяину ювелирного магазина, который заварил всю эту кашу. У меня такое чувство, что преступники с минуты на минуту будут в наших руках. Я имею в виду похитителей штемпельной краски. И уж они так дешево не отделаются. Тут вполне может выйти шпионское дело. Так что можно заранее готовить электрические стулья. Все вышесказанное я клятвенно подтверждаю и заверяю моей полицейской честью и совестью. У меня нет иной цели, как говорить правду и только правду — на благо отчизны, во имя закона и справедливости...»

* * *

Рапорт Марка не нуждается в комментариях. Он честен без прикрас, как народная песня Лаконии. Приглядитесь к нему. В нем открываются дремучие глубины истинно народного мышления стопроцентного лаконийца. В этой чистой душе можно сеять все, что угодно, и все прекрасно всходит. Именно такие люди необходимы нашей лаконийской свободе и демократии. Было бы несколько рискованно давать оценку интеллектуальным способностям Марка-Дубинки, поскольку и он ведь является признанным активистом нашей партии. Впрочем, у него бывают даже собственные мысли, потому что он никогда ничего не читает. Среди у г р е й он пользуется доверием, хотя ему случалось иногда по ошибке сажать за решетку своих. Ничего подобного не могло бы, разумеется, случиться в Финляндии, где гражданская ответственность воспитывается еще с пеленок.

Глава седьмая

С е к с т - К о с о г л а з ы й не принадлежал к монголоидной расе, и его кличка имела совершенно иную подоплеку. Глаза его отличались особой неправильностью преломления: когда он обращал взор направо, он видел то, что находилось слева, и наоборот. Секст был исключительно образованный человек, превосходный следователь, с тонким чутьем. Он не считал пистолет синонимом справедливости, а потому вообще отказался носить оружие. Зато у него в кармане всегда имелись наручники и маленький сосудец с эфиром, которым Секст-Косоглазый при надобности усыплял задержанных. Находясь в разъездах, он, подобно апостолу Павлу, отправлял отовсюду послания в разные адреса, чаще всего, однако, домой, где о нем скучала жена и одиннадцать детей.

Три месяца Секст изучал интереснейшее преступление Лаконии и вот, наконец, представил следующий доклад:

«Светлые плащи задали много хлопот, но мое патриотическое рвение ни на минуту не ослабевало. Теперь уже можно

ЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Р о м а н - п а м ф л е т **Мартти ЛАРНИ**

сказать с уверенностью, что на грабителях были плащи либо фирмы «Акантия эт Эктобиус», либо «Арвалис К°». Материал — английский поплин, ткань с густой тонкой основой и значительно более грубым и редким утком; выработана из египетского хлопка и мерсеризована; импортирована в текущем году. Импортн. лицензия Л. Ц. 541/678—1958. Цены плащей колеблются, так как большое количество их реализовано с уценкой по распродаже и через магазины подержанного платья. Универсальный магазин «Атропос» роздал свыше пятисот таких плащей бесплатно всем клиентам, которые приобрели в «Атропосе» автомашину, десять телевизоров или же автофургон стирального порошка. За истекший квартал нами было задержано пять тысяч четыре человека, имевших на себе или при себе подозрительные поплиновые плащи. Из них арестовано сто восемьдесят человек, коим будут предъявлены обвинения, между прочим, в совершении следующих преступлений: занятие проституцией (при прежнем правительстве) в государственных служебных помещениях; использование государственного имущества (при прежнем правительстве) для своих частных выгод; нарушение валютного режима; взяточничество и подкуп; ложные доносы и клевета; антилаконийская деятельность при прежнем и при нынешнем правительстве; недозволенная знахарская практика в высшем обществе и купля ученых званий в иностранных университетах без специального разрешения, выданного Государственным банком Лаконии.

Неделю тому назад я был почти уверен, что преступление раскрывается. Заранее дал сообщение в газеты и переехал с семьей в новую, просторную квартиру. Ведь направляющие нити были у меня в руках, оставалось лишь арестовать преступника. Я встретил на улице прохожего со светлым плащом в руке. По характеру ткани и фасону я тотчас опознал изделие «Арвалис К°». Мне сразу показалось, будто прохожий что-то прячет. Возможно, на плаще были пятна штемпельной краски, ружейного масла или крови. Я стал выслеживать его. Нанял две дюжины бастующих государственных сыщиков. Они следили за каждым шагом преступника. Арестовывать незнакомца на данном этапе пока еще не стоило, поскольку мне хотелось схватить заодно и его сообщника. Я узнал все его личные данные: имя — Агрестис Агрикола, возраст — 45 лет, занятие — постоянно безработный, особые приметы — беспартийный, скрытный, среднего роста, темноволосый, буйный, жует жвачку.

С помощью маленькой хитрости я завладел плащом Агрестиса Агриколы. Он зашел пообедать в ресторан «Лукулл» — знаменитый институт обжорства, куда некоторые посетители заходят, чтобы обменять шляпу или пальто на лучшее. Захватив плащ Агриколы, я поспешил в нашу контору, и мы с Циклом тщательно исследовали его. Обнаружилось важное обстоятельство: на плаще имелись три пятнышка крови. Я немедленно дал объявление в газеты: «Полиция напала на след убийцы!» Газеты опубликовали портрет Цикла с интервью, в котором читателям подробно объяснено, что такое кровь.

В одном-единственном красном кровяном шарике содержатся миллионы молекул гемоглобина. Молекула гемоглобина имеет следующую формулу: $C_{578}H_{1203}N_{195}S_3FeO_{218}$. В молекуле только три атома серы и один — железа. Большую часть гемоглобина составляет глобин, а затем — соли железа, или гематин, молекулярная структура которого довольно проста: $C_{34}H_{34}N_4FeO_5$. Кристаллы гемоглобина лошади и человека совсем несхожи между собою, но гемоглобин мула напоминает в равной степени осла и человека, что, бесспорно, доказывает наше близкое родство по крови.

Была ли на плаще убийцы кровь человека? Будь этой крови побольше, ответить на данный вопрос не представляло бы труда: испытуемую кровь впрыскивают кролику — и кролик погибает. Но что, если пятнышко на плаще — всего лишь след плохо упакованной говяжьей печенки? Опять-таки мы выясняем это с помощью простого опыта. Вливаем кролику малую дозу человеческой крови. В крови испытуемого животного вырабатывается особое защитное вещество, антиген, борющийся против частиц человеческой крови. Кролику не нужна человеческая кровь, которая всегда содержит вредные примеси — либо алкоголь, либо иные яды. Итак, было ли найденное пятно пятном крови? Да, это, несомненно, кровь. Но мы еще не можем с уверенностью сказать, человеческая ли это кровь, или же обезьянья, или другого теплокровного животного. Пока исследования не закончены, полиция не желает публиковать более точные данные. Теперь можно лишь засвидетельствовать, что совершено убийство, и убийца будет схвачен с минуты на минуту.

За преступником продолжалась слежка. Я шел за ним по пятам и время от времени менял маскировку. Его приметы крепко запали мне в память. Вероятно, у него было нарушено кинестетическое чувство, отчего руки и ноги его действовали как-то вразнобой. Из этого я заключил, что он, несомненно, совершил умышленное убийство. Во всяком случае, он все время нес плащ на руке, по-видимому, что-то скрывая. На другой день Агрестис Агрикола вышел из дому примерно в пять часов утра. Поймав на улице такси, он крикнул:

— Поехали в Аллиум!

— Туда часа два езды,— сказал шофер.— Я не поеду так далеко.

— В Аллиум,— повторил разбойник и выхватил из-за пазухи пистолет.

Он сел рядом с шофером, и машина помчалась. Я двинулся за ними следом. Погода, казалось, раздумывала, полить ли дождю или проясниться. Машина с преступником мчалась впереди с бешеной скоростью, как будто предчувствуя беду. Еще немного — и добыча была бы в моих руках. И какая добыча! Прежде всего сто тысяч долларов за поимку преступника, а затем — слава и почет.

Мы приближались к Аллиуму — знаменитой столице преступного мира Лаконии, где многие добиваются удачи в жизни независимо от образования и заслуг. Я хотел было связаться по радио с полицией Аллиума, но отказался от подобной мысли.

Мы прибыли в центр города. Машина преступника свернула налево, так что мне пришлось — в силу моего досадного порока зрения — повернуть направо, чтобы не отставать от него. Машина въехала в тихий проулок и остановилась у входа в увеселительное заведение «Сильвер Сити», где женщинам запрещено появляться в мужских костюмах. Я приготовился к бою. В моем левом нагрудном кармане не дремали наручники, а в правом кармане брюк — сосуд с эфиром. Я знал, что они действуют, как часы, которые никогда не надо заводить. Сотворив крестное знамение, я призвал благословение неба на жену и детей, на себя и на свою маленькую подружку. Затем я вошел в «Сильвер Сити», разыгрывая полуслепого чудака ученого. В зале был только бармен — мужчина средних лет с красным шарфом на шее. Я сразу догадался, с кем имею дело. Красный шарф и светлый плащ: вот они, верные приметы!

Осторожно теребя фальшивую бороду, я заказал бутылку пива и, сев за столик, принялся читать философский трактат Альцедо Испида-младшего «История не повторяется». Превосходная вещь! Изданная удобным карманным форматом, книга стоит всего лишь полдоллара. Я вновь признал, что Альцедо Испида-младший умеет писать нечто такое, чего сам не понимает. И он при этом обвиняет своего читателя в неясности мысли. Нервы мои были напряжены. Испида утверждал, что история человечества читается по древним наскальным надписям и что она вся запечатлена в изрезанной извилинами коре человеческого мозга. Теперь я готовился к истории, которая никогда не повторится. Кому охота, чтобы она повторилась?

Разбойник, которого я выслеживал чуть ли не целую неделю, бросил на меня взгляд, полный презрения и ненависти. Демонстрируя пренебрежение к тихому книжнику, он несколько раз выстрелил в воздух. Это было конкретное презрение к культуре, которого в нашей стране гораздо больше, чем автомобилей и холодильников. Я постарался занять терпения у Испиды-младшего и подумал про себя: «Ну зачем ты балуешься своей пукалкой? Хорошо стреляет тот, кто стреляет последним».

Агрестис Агрикола спокойно подошел к бару, вынул пистолет из кармана, повертел им и воскликнул:

— Если вы двинетесь с места, я застрелю обоих!

Опять я оказался прав. У бандита была нарушена координация движений: он направил пистолет на бармена, а смотрел на меня, моргая правым глазом. Мускулы смеха у него с течением лет совершенно атрофировались. Разбойник потребовал у бармена кассовую выручку и стопку виски, чтобы спрыснуть сделку. Вот когда наконец я мог без труда взять его! Я нащупал в кармане орудия производства: наручники и эфир. Но в тот самый момент, когда грабитель опрокинул в горло стаканчик виски, бармен нагнулся и неожиданно выхватил пистолет. Однако бандит оказался проворнее. Он выстрелил бармену в грудь и с холодной усмешкой сказал:

— Ах, ты так, Вульпес! Теперь мы квиты. В прошлый раз ты обдул меня на тысячу долларов. Больше не сплутуешь. Еще минута — и ты покойник.

Бармен упал на стойку, стиснув грудь обеими руками. Я мгновенно включил миниатюрный магнитофон-портсигар, который всегда со мною, и записал на пленку его последние слова:

— За мной не пропадет, Агрестис... Квиты... Ты застрелил меня, но и я не остался в долгу... Ты выпил виски, болван, и не знал... что в нем... цианистый калий...

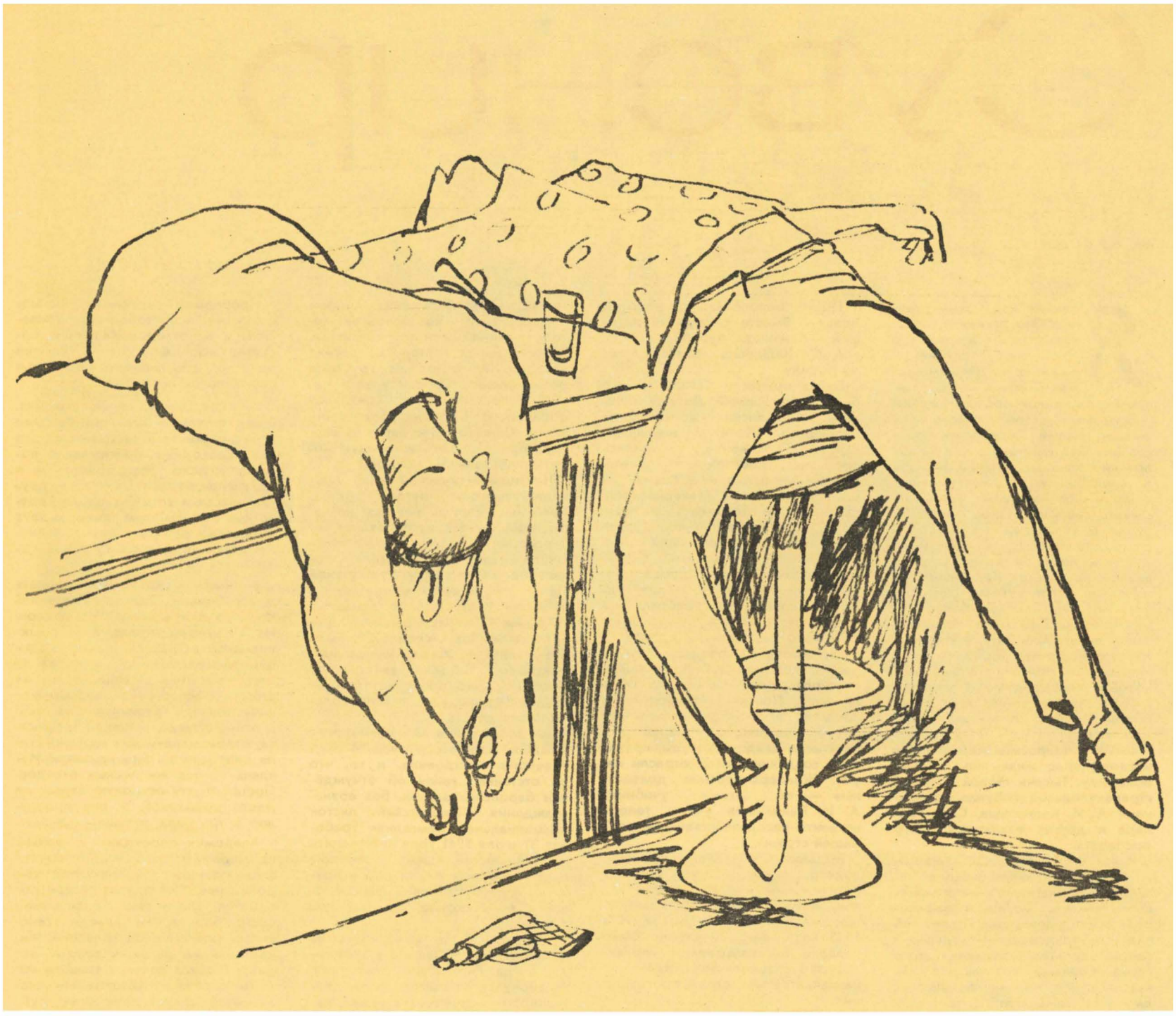
Спустя тридцать две секунды оба они были мертвы. Три человека всегда могут сохранить тайну, если двое из них умрут. Я приходил в отчаяние, ибо они открыли мне только часть тайны. Кто же был третий покойник, чью кровь мы нашли на плаще Агриколы? Это оставалось по-прежнему загадкой, давая мне четкую направляющую нить для продолжения расследования. Я поспешил в Палинодию, и тут химик-криминалист Цикл спутал мне все нити. Он установил, что бурое пятнышко на плаще вовсе не кровь, а какое-то другое вещество. Возможно, это был соевый соус, а может быть, выделения какого-нибудь млекопитающего. Следствие продолжается, и плащ в настоящее время отправлен за границу, в один из крупнейших иностранных центров криминалистики.

Мне сейчас нужна новая направляющая нить. Может быть, стоит взяться за красные шарфы? Я не могу сидеть сложа руки, пока преступление не раскрыто. Но прежде всего мне необходимо получить 22 тысячи долларов для уплаты по счетам. Я знаю, что наш клиент — состоятельный человек, готовый отдать все, чтобы довести до конца начатое дело. Когда он услышит, что двое бандитов уже прекратили бренное существование без помощи полиции, а третий разбойник скоро попадет в наши сети, то, я полагаю, он не станет скряжничать.

Настоящий рапорт я клятвенно подтверждаю и заверяю своей полицейской честью и совестью. У меня лишь одна высшая цель: говорить правду и только правду — на благо отчизны, во имя закона и справедливости...»

* * *

Господин Барбатус оплатил очередной счет сыскного бюро. Правда, не обошлось без ворчания. Он находил, что дело слишком раздувается. В тюрьмах уже начали жаловаться на нестерпимую тесноту. Но



когда я намекнул об этом премьер-министру, он коротко ответил:

— Тесные ботинки надевают с помощью ложки.

Пряча от людей свою злость, он всегда говорил скабрезности, облекая их в форму острот.

— Послушай-ка, мой добрый Лепус Тимидус,— сказал он по-братски после моего доклада о деле Барбатуса.— Счастье для Лаконии, что государственные сыщики бастуют: никогда еще у нас не раскрывали столько преступлений. И, что самое изящное в этом, казенные средства экономятся, поскольку работу сыщиков и прочие расходы по делу оплачивает частное лицо. Вот это, по-моему, настоящая свобода и демократия: раз мы поддерживаем частную инициативу, пусть и частный капитал хоть немного поддержит государство. Продолжай и дальше в том же духе.

Человек хоть верит не всему, что слышит, однако спешит повторить услышанное. Я вспомнил эту старую истину, когда Ламелла рассказала, что видела на жене премьер-министра бриллиантовое колье, похожее, как две капли, на украденное в магазине Барбатуса уникальное ожерелье «Якхос».

— Наверно, это просто хорошая копия,— сказал я.

— Достань его мне.

— Это невозможно.

— Для тебя нет ничего невозможного. Я хочу, чтобы ты добыл мне эту вещь. Мне хочется только посмотреть, не украдена ли она в магазине моего мужа.

Наш деловой разговор состоялся в постели, в минуту, когда на мужчину легко оказывать давление. Многие государственные решения принимались в постели! Ламелла умела вымогать. Она сказала, что начала писать мемуары, в которых я предстану симпатичным любовником. Она была не первой женщиной, которая надумала получать за свои грехи авторский гонорар, придав исповеди форму печатного произведения.

— Милый Лепус!.. Достань мне эту безделушку только на один день, только подержать, милый!

— Нельзя, нельзя,— сказал я резко, так как просто не мог придумать ничего более подходящего ни в тот момент, ни после.

В любви то и дело случаются недоразумения, возникает невольная или умышленная эксплуатация. И очень редко любовь бывает достойна своего имени. Постель может быть раем, но и гильотиной тоже. Здесь приносят ложные клятвы, опьяняются на короткий миг и просыпаются в похмелье. Гений всегда чувствует свою ограниченность — у глупца же нет этого неудобства. Любовь тоже безгранична. Она сметает преграды, для нее нет ничего невозможного.

— Милый Лепусик!.. Так ты достанешь мне колье? Только на время. Вот я завязываю на углу простыни узелок. Пусть он тебе напоминает...

С тем же успехом она могла бы сказать:

— Милый министрик! Если хочешь лучше запомнить, завяжи петельку на пальце, а если забудешь, надень петлю себе на шею...

Продолжение следует.

ОБ ЭТОМ ПОМАЛКИВ

Мартти ЛАРНИ

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

Глава восьмая

Луций-Кастет имел весьма длинный послужной список. Прежде чем стать сыщиком, он поработал и в порту, и корабельным коком, и таможенником, и спортивным репортером, и диктором, и тренером по боксу, и, наконец, вахтером в одном театрике, где показывали стриптиз. Он отличался хорошим воспитанием: всегда, бывало, гасил ногой брошенный окурок, чтобы в ковре не прогорели дырки. Он был женат второй раз, ибо все привык повторять. В жизни ему повезло, его дети ходили в школу. Ходячие мнения служили ему вместо знаний, а хорошо подвешенный язык отлично заменял мысли. Следовательно, он как нельзя более подходил для роли сыщика.

Как только он вошел в мой кабинет, я включил магнитофон. Мне нравилось его произношение.

— Господин министр,— почтительно начал Луций-Кастет, доставая из портфеля начисто переписанный рапорт.— Полагаю, что я продвинулся в расследовании порученного мне дела несколько дальше, нежели мои уважаемые коллеги. Грабители уже находятся в тюрьме и ждут приговора. Остается лишь допросить еще десяток свидетелей, и население нашей свободной страны станет меньше на две головы.

— Когда вы их арестовали?

— Неделю тому назад, господин министр. И если вам будет угодно послушать мой рапорт, я зачитаю хотя бы главные места.

— Прошу вас. Но только самое основное. Значит, вы уверены, что арестовали настоящих виновников?

— Пока еще они все отрицают, но цепь доказательств стягивается туже и туже.

— Отлично, Луций. Я слушаю вас.

Луций-Кастет доложил следующее:

— «В первую неделю работы я велел задерживать всех мужчин, которые несли подозрительные свертки. В числе трех тысяч арестованных нашлись наконец преступники: двое молодых мулатов. Сейчас они находятся в следственной тюрьме. Господин и госпожа Барбатус утверждают, правда, что грабители были белокожие, но они, видимо, не учитывают современной возможности легко отбеливать кожу лица и рук. Лаконийская химическая промышленность делает чудеса, она преодолевает расовую дискриминацию и утверждает равенство. В наши дни каждый цветной предпочитает сойти за белого. Такое предположение придало моему следствию совершенно новый характер. Итак, я стал обращать особое внимание на всех цветных. Избрав эту направляющую нить, я неуклонно шел по ней, пока не достиг цели.

В палинодийском метро мне попались два молодых мулата. У одного под мышкой я заметил узел с вещами, у другого какой-то весьма подозрительный сверток. Задержав их, я доставил негодяев в наше бюро для допроса. Владелец узла по имени Азинус девятнадцати лет от роду, холост. Ловкий парень, очевидно, так как до сих пор еще ни разу не попадался полиции.

— Где вы были пятого августа ровно в полдень?— спросил я его врасплох.

Парень пожал плечами и сослался на плохую память. И вообще он производил очень подозрительное впечатление. Мы проверили узел. Там оказались две мужские сорочки, спортивные тапочки и женский лифчик. Госпожа и господин Барбатус не признали вещи своими, чем, разумеется, несколько затруднили следствие. Но затем мне стала ясна подоплека этого дела: преступник, конечно же, умышленно обменял в толпе и давке свой узел, чтобы таким образом замести следы преступления. Поскольку, однако, можно было допустить, что две сорочки все-таки принадлежали парню, я сконцентрировал внимание на лифчике. Мерзавец стал уверять, будто нашел названный предмет в раздевалке на спортплощадке. Такая поспешная ложь только насмешила следователя. Можете ли вы себе представить, господин министр, чтобы какая-нибудь спортсменка забыла или обронила столь важную часть своего туалета в раздевалке? Нет. Следовательно, тут имело место преступление. Я был уже почти уверен, что парень умертвил какую-то белую женщину, а чтобы скрыть злодеяние, спрятал лифчик жертвы в своем грязном белье.

— Я никому не сделал зла,— плакал преступник, размазывая слезы по щекам.

— Может быть, ты совершил убийство в состоянии временного умопомешательства?— спросил я.

— Убийство? Какое убийство?

Он прикидывался, будто ничего не знает, как самый закоренелый преступник.

— Чей это лифчик?— спросил я резко.

— Я не знаю...

— Значит, ты не хочешь назвать ее имя?

— Я ее не знаю...

— Так. Стало быть, неизвестная женщина. Когда произошло убийство?

— Какое убийство?

Тогда я взял кастет и дал ему некоторое представление о неприятных сторонах допроса третьей степени. И парень признался.

— Это лифчик Фамы... Мы просто дурачились...

— Фамы? Куда вы спрятали труп?

— Она ушла со спортплощадки раньше меня. Мы с нею живем на одной улице...

Фама тоже мулатка, так что у меня сразу пропал интерес ко всей этой истории. Но затем появилась новая направляющая нить. Фама заявила, что она никогда не носила лифчиков. Значит, кто-то все-таки убит. Но кто? Мы проверили картотеку: шестнадцать нерасследованных убийств молодых женщин. Мы пригласили родственников убитых опознать лифчик. Одиннадцать человек опознали. Я был в восторге. Очевидно, задержанный Азинус совершил массовое убийство. Первую душу загубил он двенадцать лет тому назад. Тогда ему было, правда, лишь семь лет, но если человек родился убийцей, он очень рано проявляет свой инстинкт.

Итак, я имел уже достаточно доказательств виновности Азинуса. Во-первых, он

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—29.

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Роман-памфлет

АЮТ

не ответил, где находился пятого августа; во-вторых, у него дома при обыске нашли красный шарф; в-третьих, на допросе он сначала не знал, кому принадлежит лифчик, а затем, поставленный в тупик, сбивчиво признал, что украл эту часть туалета у Фамы, якобы «дурачась»; в-четвертых, одиннадцать несчастных матерей заявили под присягой, что лифчик принадлежал их зверски убитым дочерям; и, в-пятых, на лифчике обнаружены отпечатки пальцев Азинуса.

Два дня спустя дело приняло неожиданный оборот. Азинус повесился в своей камере. Сперва мы поверили в самоубийство, но потом подозрение пало на сидевшего в той же камере мулата. Имя последнего Катуволькус; возраст — двадцать лет; судим за кражу собак.

Виновность Катуволькуса в убийстве Азинуса можно считать почти доказанной. Его показания страшно сбивчивы и противоречивы, хотя он по-прежнему все отрицает. Но у нас имеются веские улики. На подтяжках Азинуса найдены отпечатки пальцев Катуволькуса. Стало быть, можно предположить с большой степенью достоверности, что он задушил Азинуса, когда тот спал; затем повесил труп на ручке двери, сам же лег и преспокойно заснул. Каковы мотивы столь зверского убийства? Я полагаю, что Азинус и Катуволькус были соучастниками преступления, хотя и отрицали свое знакомство. Катуволькус боялся, что Азинус признается во всем и выдаст его. Поэтому Катуволькус решил от него избавиться. Когда ему показали отобранный у Азинуса бюстгальтер, он дотронулся до вещи и закатил глаза. Это несомненный признак врожденной склонности к убийствам на сексуальной почве. И вообще, не ясно ли, что человек, унизившийся до кражи соседской собаки, не остановится и перед убийством? Вот почему было бы наиболее разумным приговорить Катуволькуса к смертной казни как извращенную личность, опасную для общества.

Что касается другого арестованного, который бережно содержится в одиночной камере, то, по-моему, с ним все ясно, и едва ли нужны дальнейшие допросы. Тит Проциллус, студент, восемнадцати лет. Непомерно гордый и невоздержанный на язык. В подозрительном свертке, отобранном у него, оказался автомат. Игрушечный автомат, из тех, что продаются свободно во всех универсальных магазинах и в школьных киосках. Арестованный уверял, что игрушечный автомат он купил своему младшему брату в подарок ко дню рождения. Проверка показала, что это лишь предлог. Правда, у него есть младший брат — одиннадцатилетний школьник, которому вряд ли доставит радость игрушечный автомат из пластмассы: у мальчишки уже давно есть настоящий револьвер с барабаном, маленькая винтовка, сотни две патронов, несколько ручных гранат и куча разной взрывчатки.

Хотя со складов армии, флота, полиции и крупнейших гангстерских корпораций за последний год исчезло около сотни настоящих автоматов, я все же убежден, что лица, ограбившие ювелирный магазин Барбатуса, воспользовались именно таким игрушечным автоматом. Мне это подсказывает моя интуиция. Я распорядился провести проверку игрушечных и универсальных магазинов. Дело, конечно, очень осложнилось, но зато мои люди обнаружили незаконные махинации с ценами, пересортицу и арестовали несколько нечестных торговцев. Во всяком случае, я убежден, что Тит Проциллус повинен в тяжких преступлениях. Мою уверенность особенно укрепило его наглое и даже высокомерное поведение на допросах. Например, когда его спросили, для чего ему нужен игрушечный автомат, он ответил с ухмылкой:

— Для охоты на женщин...

— Вы заставили госпожу Барбатус раздеться? — спросил следователь.

Арестованный рассмеялся.

— Нынче женщин заставлять не приходится.

— Куда вы спрятали бриллианты? — продолжал следователь.

— Бриллианты? — растерянно переспросил Тит Проциллус, но тут же ответил с издевкой: — Я раздарил их моим любовницам...

Стало быть, он признался. Секретарь записал в протоколе допроса:

«Тит Проциллус, студент, восемнадцати лет, неженатый, показал на допросе, что госпожа Барбатус разделась добровольно. Обвиняемый забыл все, что прежде помнил. Господина Барбатуса не встречал. Бриллианты раздарил своим любовницам, имена которых уже забыл. Обвиняемый подтверждает протокол допроса своей подписью...»

Мы устроили ему перекрестный допрос: кто был его соучастником? Обвиняемый отвечал опять-таки высокомерно:

— Мои дела с женщинами я улаживаю без посторонней помощи!

— А это вы видали? — спросил следователь, вынув из ящика стола бюстгальтер, отобранный у Азинуса.

Тит Проциллус едва взглянул на лифчик и ухмыльнулся:

— Надо полагать! Не такой уж я мальчишка.

Это очень важное признание. Пусть присяжные решают, виновен Тит Проциллус или не виновен. По мнению полиции, он опасный преступник, аморальный и патологически бесчувственный. Он обвиняется в грабеже, подкупе и обмане представителей власти и в убийстве по крайней мере одной неизвестной женщины. Мне думается, уже можно сообщить в газеты, что ограбление ювелирного магазина раскрыто. Но прежде мы должны представить нашему клиенту счет на тридцать тысяч долларов. Ради искоренения преступности никаких денег не жалко. Все сказанное я клятвенно подтверждаю и заверяю моей полицейской честью и совестью. Мною руководит лишь одна цель — говорить правду и только правду на благо отчизны, во имя закона и справедливости».

Глава девятая

Прошло более трех месяцев с того дня, как господина и госпожу Барбатус ограбили, а преступники были все еще на свободе. Сыщики жаловались на злую судьбу: арестованные либо кончали самоубийством,

либо их линчевали. Временами казалось, что они уже получили сполна за свое преступление. Господин Барбатус становился все нетерпеливее. Он не понимал простой вещи: сыщик никогда не может идти впереди событий, он должен идти по следам; а следов в Лаконии всегда достаточно.

Генеральный директор Капра Гиркус, банкирскую контору которого мои детективы навестили в ночное время, так рассердился на блюстителей порядка и справедливости, что вышел из нашей партии и записался в р е п т и л и и. Это досадная потеря, ибо он был видным активистом. В один прекрасный день ренегат явился ко мне на прием.

— Не правда ли, Лаконня — справедливое государство?— спросил он тоном осуждения.

— Конечно,— коротко ответил я, разглядывая маленького, кругленького господина, сочная верхняя губа которого лишь частично прикрывала широкие передние зубы.

— В таком случае я требую справедливости,— продолжал он.— Кто дал право сыщикам производить незаконные обыски?

— Незаконные?

— Да. Ведь государственные сыщики бастуют, однако же их право на забастовку не уважается. Преступления расследуются силами штрейкбрехеров. Разве это правильно?

— Господин генеральный директор,— сказал я спокойно,— как высший блюститель законности в нашей стране я должен ответить вам: да, безопасность граждан должна обеспечиваться также и во время забастовок. Ограбление магазина Барбатуса необходимо расследовать, хотя государственные сыщики и бастуют.

Генеральный директор Гиркус одобрительно кивнул головой, круглой, точно глобус, снял очки и вытер потную лысину. С небольшими оговорками он согласился, что следствие по делу об ограблении ювелирного магазина можно вести силами штрейкбрехеров, но он решительно возмущался вторжением последних в его личную жизнь. Он обвинял сыщиков также в покушении на частную собственность. Марк-Дубинка и Путориус конфисковали печать и чернильную подушечку банкирской конторы. Но, что самое главное, они нарушили ночной рабочий покой банкира.

— И именно в тот момент, когда я диктовал важнейшее деловое письмо!— воскликнул господин Гиркус.— А сегодня эти негодяи задержали моего личного секретаря для каких-то дополнительных допросов. Маммилла чувствительная женщина, и страх перед полицией может заставить ее наговорить бог знает что.

— Я распоряжусь, чтобы ее немедленно отпустили,— сказал я сочувственно.— Значит, вы уверены, что она непричастна к ограблению магазина?

Господин Гиркус, казалось, был приятно удивлен.

— Разве речь идет об этом?

— А о чем же еще?

Потирая пухлые руки, толстяк банкир воскликнул с чувством огромного облегчения:

— Ну, в таком случае все хорошо! А я-то думал, что вы хотите обвинить меня...

— Обвинить вас?

— Ну да...

— В чем же?

Господин Гиркус мог бы, наверно, покраснеть, но он приучил свою совесть помалкивать, и она больше не мешала ему наслаждаться жизнью.

— Ну, мало ли причин можно найти при желании,— ответил он уклончиво.— Да за неимением другой вины, хотя бы в супружеской неверности. Слава богу, что вас интересует только ограбление ювелирного магазина.

Генеральный директор Капра Гиркус тут же решил опять вернуться в нашу партию. Он уж думал было завести себе вместо секретарши диктофон, чтобы внимание не раздваивалось между текстом и коленками Маммиллы. Но теперь все может остаться по-прежнему. Перед уходом он с недоумением рассказал о необычной настойчивости сыщиков: они во что бы то ни стало хотели знать, платит ли он Маммилле сверхурочные, согласно трудовому соглашению. Мне это тоже показалось странным, и я даже повысил голос. Вообще ведь гораздо легче повышать голос, чем зарплату.

Итак, я спас для нашей партии активного члена с весьма внушительной суммой членских взносов. Капра Гиркус был из тех людей, чья первая любовь не выдержала испытаний брака. Маммилла же, насколько можно доверять донесениям сыщиков, вполне достойна хотя бы одной аудиенции.

Капра Гиркус вышел из министерства в приподнятом настроении. Он с удивительной легкостью вскочил в машину и помчался мимо знака «Проезд закрыт». Он развил такую бешеную скорость, словно торопился в ад. И через минуту он туда попал. Покойник был 1901 года рождения. Расследование дела об ограблении ювелирного магазина Барбатуса потребовало восемь человеческих жертв. Но следствие продолжалось с неослабевающим рвением.

Бывали минуты, когда мне хотелось спрятаться, уйти под колпак собственного «я». Открытое признание очищает душу, но зато пачкает репутацию. Однако наедине с собой я признавал, что если к нолю прибавить ноль, в сумме по-прежнему будет ноль. Сколько я ни оглядывался по сторонам, я не видел ни в ком из своих ближних и признаков биологического прогресса. Мой цинизм не выражал отношения к жизни, а был лишь защитным приспособлением. Ведь я не виноват, что теперь большинство людей находится в тупике, в каком-то слепом отростке, которому постоянно грозит гангрена. Все говорят о свободе и справедливости, однако определяют их по-разному. Судебный процесс крайне редко дает ответ на вопрос: что есть справедливость? Биологическое понятие справедливости похоже часто лишь на зародышевую плазму.

Занимаясь самонаблюдением, я видел свой неведомый миру облик. Я уподобился швее, которая смотрит на вещи с изнанки. Я любил врага своего лишь после того, как его сердце переставало биться. Я не жалел ближнего своего, будучи в душе убежден, что эволюционное учение Дарвина следует понимать в обратном смысле: обезьяны происходят от человека.

Я знал, что многие завидовали мне. Или, может быть, роли, которую я играл так убедительно. Чтобы производить впечатление неутомимого труженика, я заставлял других работать, делать глупости, искать. Это льстило моему тщеславию, доставляло маленькое садистское наслаждение. Я следовал примеру Руссо, который очень умно рассуждал о воспитании, но своих детей отдал в сиротский приют. У меня, насколько мне известно, детей нет. В сомнительных случаях я всегда старался рассеять сомнения путем последующей проверки. Заботясь о детях, я старался, чтобы их не было. Такое чувство ответственности, по-моему, уже доказывает величие души. Великие мужи остаются холостыми, а великие женщины завещают грядущему веку свои имена, но не оставляют потомства. Поэтому величие души не наследственное, а скорее благоприобретенное свойство, оно чаще всего вырабатывается условиями жизни и воспитанием.

Напрасно я здесь пытаюсь набросать хотя бы в общих чертах свой портрет. Он все равно останется неизвестным. Истории достаются лишь имена святых и негодяев, нормальные же люди запоминаются редко. А славная история Лаконии — это весьма обширный перечень человеческого зла, коварства, подлости и лжи, вывернутой наизнанку. История показывает нам, что мы никогда не помним уроков истории. В 1873 году в нашей стране было совершено около шестисот судебных убийств. В 1958-м оборот значительно возрос. Сложилась благоприятная конъюнктура. Ограбление ювелирного магазина Барбатуса. Забастовка государственных сыщиков.

Тут мне могут заметить: описывай, не пускайся в долгие рассуждения! Прошу чуточку терпения, друзья мои! Я привык описывать, рассуждая. Ведь я адвокат и следователь, а не художник слова. У каждого человека есть своя «душа», но лишь немногие догадываются об этом. Моя «душа» разделилась надвое. Одну половину вы уже знаете, а вторая пока еще остается за кулисами. «Душа» министра полиции говорит официальным языком Лаконии, который всем понятен. Этот язык приспособлен для любых обстоятельств и всегда тактичен. (Правда, наша тактичность есть лишь социальная ложь, но попробуйте-ка отвергнуть ее! Даже попытка будет преступлением.)

Если я позаимствую абзац из чужого произведения, меня обвинят в плагиате: но если я возьму ряд отрывков из нескольких произведений, то мой труд назовут исследованием, и я могу даже заслужить признание. Однако, несмотря ни на что, я использую здесь слово в слово рапорт Фабия-Скорострела, представленный мне в тот самый день, когда Капра Гиркус, как говорится, от полноты жизни ринулся вместе с роскошной машиной в пасть смерти.

Ф а б и й - С к о р о с т р е л никогда не пользовался оружием легкомысленно. Он был отставной армейский офицер и чемпион Лаконии по стрельбе из пистолета. Лишь немногие знали, что он работал сыщиком. Поэтому Фабий мог свободно вращаться в высшем обществе, его всюду принимали как знаменитого и прославленного чемпиона, обходительного и галантного светского человека. Говорил он блестяще, но писал скверно. Вот так:

«Назад тому три месяца я начал обследовать рекламные бюро, учитывая возможность того, что бывший министр Гней Барбатус нарочно подстроил ограбление ради рекламы, вроде того как сделал в свое время модный певец Ламиенус, который сам себя похитил, когда увидел, что его пластинки больше не пользуются спросом. У меня были даже две направляющие нити, и они обе пригодились. Я напал на след группы преступников, которые напечатали туманные объявления. Выяснилось, что они поставляли девочек охочим до того мужчинам. Мы втроем зашли в их заведение, и мерзавцы, считая нас клиентами, предложили на выбор полдюжины девиц в довольнотаки открытых платьях, и у каждой на шее висел ярлычок с ценой. Девицы строили глазки, но мы ведь были на службе, и мне пришлось показать этим господам мой значок. Тут же мы вынули для убедительности пистолеты, и хозяева, зная, что я стреляю без промаха, не оказали сопротивления. Но девки подняли крик и стали осыпать нас ужасной бранью. Одна из них была настолько страшна, что, наверное, и по сей день сохранила невинность даже в этом доме разврата. Она походила на ворону, которая и плачет-то каркая. Мы взяли всех и повели на допрос. И платья девиц держались не на крючках, а только на нашей строгости. Трех мужчин мы отправили в камеру, а девиц после короткого допроса выпустили на улицу. Затем босс допрашивал, а я писал протокол. Босс спросил, кто из них руководитель заведения под названием «Цветок любви», и мы выяснили, что это тот самый Микротус, который год назад вышел из тюрьмы. Помните, он получил срок за избиение подслеповатой Лутры, которая потом сама наложила на себя руки. А два других молодчика служили у Микротуса на процентной оплате. Одного зовут Гуло, а другого Лагопус. Теперь все трое ждут суда. Они пока еще не признались в совершении ограбления, хотя у них при обыске найдена вырезанная из газеты фотография госпожи Барбатус, одетой весьма пикантно, и эта фотография, по мнению босса, является тем аргументом, который будет делать чудеса в руках общественного обвинителя. Микротус уверяет, что видел Ламеллу лишь на картинках, но ему недостает алиби. И к тому же у него дома найден светлый плащ и два красных шарфа. Один цвета красного вина, а другой цвета гвоздики. Итак, полиция выдвигает следующую теорию. Грабителей было трое. Двое из них вошли в магазин, а третий сторожил на ули-

це. Конечно, их можно обвинить и в профессиональном сводничестве, и тогда они отделаются штрафом. Но за ограбление можно смело дать смертный приговор.

Вторая направляющая нить привела меня к цели - вчера на балу в отеле Дульце, где деньги выступали во всем своем блеске. Я ухаживал за женщинами, на которых видел бриллиантовые украшения. Я танцевал с ними, присматривался к их драгоценностям и восхищенно говорил: «Ах, какой прекрасный бриллиант».— и только одна дама сказала, что камень поддельный, а все другие говорили, что да, и он стоит безумные деньги, и я получила его в подарок, и тому подобное. Затем я пригласил на танец одну даму, на шее которой сверкало знаменитое бриллиантовое колье Якхос. В самом деле ослепительной красоты. Говорит, получила его в подарок на день рождения. Я отвел ее в сторонку, любовался ее бриллиантами, целовал в губы и наконец попросил разрешения осмотреть колье. Но тут вдруг откуда ни возьмись появляется бывший сыщик Фога, тычет мне в бок дулом пистолета и тихо шепчет: «Убери прочь лапы, Фабий, и живо отчаливай, потому что я нанялся охранять даму и отвечаю за ее неприкосновенность». Оказалось, что дама — жена премьер-министра и что я рискую здорово погореть. Но я все же не растерялся и арестовал бывшего начальника тайной полиции вместе с его женой, отправил их на допрос и дал ордер на обыск в их доме. Они, видите ли, критиковали нынешнее правительство чуть ли не в полный голос и высказывали нелаконийские идеи, а к тому же жена носит перстень, какого не купишь на доходы бывшего начальника полиции. В особенности, если известно, что он долгое время был на грани банкротства, и никак не мог встать на ноги, и даже продал недавно свою машину. Конечно, он уверяет, что купил перстень у какого-то неизвестного моряка, заплатив за него двадцать долларов, и что камень ненастоящий. Однако специалисты находят, что камень настоящий. И хотя господин и госпожа Барбатус не опознали камень, все же он вполне может быть украден из их магазина. Теперь у меня возникла собственная теория, которую до сих пор никому не удалось опровергнуть. Вот она. Испытывая финансовые затруднения, бывший начальник тайной полиции при поддержке своей жены осуществил ограбление магазина Барбатуса. Его жена часто разгуливает в мужской одежде, и, стало быть, совершенно ясно, что она и грабила, переодевшись мужчиной. В пользу данного предположения говорит еще и тот факт, что в шкафу преступницы найден светлый плащ, а в шкафу ее мужа — по крайней мере три красных шарфа. А в рабочем столе мужа оказалась откупоренная бутылка штемпельной краски, но печати не нашлось. Следовательно, он уничтожил печать, дабы запутать следствие. Итак, преступление раскрыто уже дважды, и можно сегодня же предать суду тех трех сводников — Микротуса и Гуло с Лагопусом, из коих руководителем является Микротус, а также бывшего начальника тайной полиции с женой. Счет я представлю через несколько дней, когда приведу в порядок мои квитанции. Все вышеизложенное я клятвенно подтверждаю и заверяю моей полицейской честью и совестью, и у меня лишь одна задача — говорить правду и только правду на благо отчизны и народа».

Рапорт Фабия произвел на меня гнетущее впечатление. Я поспешил принести премьер-министру мои покорнейшие извинения и в тот же день дал Фабию окончательный расчет. Его считали сладкоречивым обольстителем, а он оказался просто болтуном. Мозг его действует с необычайной быстротой и находчивостью, за исключением тех случаев, когда необходимо думать.

Через два дня число арестованных снова уменьшилось. Когда торговцев живым товаром переводили из здания полиции в тюрьму для подследственных, какой-то молодой человек в воротах тюрьмы двумя выстрелами убил наповал Микротуса и Гуло.

Происшествие было заснято на кинопленку, так что стрелявший — ресторанный вышибала Луций Акантия — не мог отрицать своей вины. На допросе в полиции он показал, что стрелял в состоянии временного умопомрачения. Пресса раздула сенсационную новость, оповестив весь мир, что лица, ограбившие магазин Барбатуса, понесли заслуженное наказание. Три десятка знаменитых адвокатов заявили о своей готовности быть защитниками Луция Акантии. Многие из них брались вести дело безвозмездно. Они ручались, что докажут невиновность Луция. Как показало вскрытие, пуля попала Микротусу в затылок, а Гуло — в грудь. Выстрелы были произведены с разных направлений. Заснятый кинорепортерами фильм нельзя считать убедительным документом, ибо, как выяснилось, фильм снят кинокамерой иностранного производства. Следовательно, и стрелять могли тайные агенты иностранной державы. Все подозрения падали на Куропотамию, с которой правительство Лаконии разорвало дипломатические отношения. В Лаконии было объявлено чрезвычайное положение. Армия и флот срочно провели внеочередные маневры. Люди стали запасаться продовольствием, и покупательная способность лаконийского доллара стремительно падала вниз. По причине инфляции в церквах собирали с молящихся деньги по два раза. Многие думали, что на них нашло религиозное прозрение, хотя на самом деле это был панический страх. В такой обстановке я чувствовал себя никому не нужным.

Продолжение следует.

Мартти ЛАРНИ

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ОБ ЭТОМ

Роман-памфлет

Глава десятая

В середине ноября меня пригласил президент Бос Тауpус. Он просил доложить обстановку, поскольку дело Барбатуса явилось причиной серьезных международных осложнений. Помимо Куропотамии, Лакония разорвала дипломатические отношения с двумя молодыми африканскими государствами и с королевством Линдус. Между Лаконией и Куропотамией шла холодная война. Началось с того, что Куропотамия отказалась покупать у Лаконии гусиные яйца, детективные фильмы и художественные порнографические альбомы. Лакония, со своей стороны, запретила ввоз куропотамского текстиля, фото- и кинокамер и хлопушек для отпугивания бродячих собак.

Положение стало критическим после того, как было объявлено, что Луций Акантия застрелил в воротах тюрьмы сводника Микротуса и его помощника Гуло, обвиняемых в ограблении ювелирного магазина Барбатуса. Знаменитый снайпер и чемпион Олимпийских игр Цезарь Коммиус выступил с авторитетным заявлением, утверждая, что выстрелы были произведены не из пистолета, а из крупнокалиберной полуавтоматической винтовки, оснащенной оптическим прицелом. Такое оружие рассчитано для поражения цели с большой дистанции, но не отличается скорострельностью. После каждого выстрела приходится делать специальное движение, чтобы перезарядить винтовку. Оптический прицел ограничивает поле зрения стреляющего и тем самым осложняет его задачу, так как после каждого выстрела необходимо вновь найти цель. Поэтому невероятно, чтобы Луций Акантия мог поразить две цели в течение пяти секунд. Следовательно, кинорепортаж, на котором запечатлено происшествие у ворот тюрьмы, является лишь грубой подделкой.

Прежде всего настораживает, что снимали куропотамской камерой и на куропотамской пленке; во-вторых, вся стрельба, видимо, была заранее срепетирована; в-третьих, Луций Акантия настолько близорук, что не мог бы разглядеть никакой мишени; и, в-четвертых, снайперские винтовки с оптическим прицелом имеет на вооружении, между прочим, Куропотамия. Так что здесь налицо явная провокация. Очевидно, все это ловко подстроили тайные агенты Куропотамии, чтобы вызвать международные осложнения. И вся эта дикость возникла лишь из-за того, что Лакония отказалась покупать у соседней страны ее дрянной текстиль, ненадежные кинокамеры и слишком громкие собачьи хлопушки.

Президент выслушал мой доклад и со вздохом сказал:

— Смутно, весьма смутно. Но все же цель достигнута: дипломатические отношения с Куропотамией разорваны. Теперь лишь остается придумать повод для объявления войны. Будем надеяться, что Совет Безопасности не сможет остановить наши действия. А в действительности, дорогой мой Тимидус, какова истина в деле Барбатуса? Выяснится ли она когда-нибудь?

— В какой-то мере,— ответил я уклончиво.— Десять человек можно предать суду.

— И виновники находятся среди них?

— Они все так или иначе замешаны в ограблении.

— Понимаю. Значит, министерство полиции сохраняет свою добрую славу...

Президент добродушно усмехнулся. Это был исключительно умный и крупный человек, не забывающий прошлого. Во время президентских выборов я оказал ему значительные услуги, и он остался моим другом. Редкий случай. Обычно все те, кому я помогал, становились моими врагами. Они считали благодарность проявлением слабости характера. Президент продолжал:

— Когда же будет суд?

— Как только нам удастся подобрать присяжных. Но тут возникли большие трудности. Пока из десяти тысяч мы смогли выбрать лишь двоих: это один престарелый торговец из пассажа и одна старая дева. У них совершенно чистая совесть...

— И, наверное, безупречное прошлое,— добавил президент.— Каких приговоров следует ожидать?

— Это зависит от состава присяжных. Ряд известных ученых юристов считает, что всех подсудимых следовало бы приговаривать к смертной казни, а уж потом часть из них можно было бы помиловать и выпускать на свободу.

— Ты уверен, что Луций Акантия застрелил арестованного Микротуса и его пособника Гуло?

— Уверен, потому что сотрудники моего бюро засняли на пленку весь инцидент.

— Разве это твои ребята снимали? — удивился президент.

— Мои. Но потом, правда, по секретному распоряжению министра юстиции фильм объявили сомнительным, а Луция Акантию — невиновным.

— Совершенно верно... Так на самом деле и было. Я уже забыл отдельные подробности. Да, по правде говоря, вся эта карусель вокруг Барбатуса мне и поныне представляется сомнительной. Твоя задача — разобраться, расследовать, чтобы была полная ясность. Сколько времени тебе потребуется?

— Расследование может продолжаться шесть лет, но его можно закончить и в два часа. Если начнется война с Куропотамией, дело Барбатуса поневоле придется положить под сукно, а там оно само присохнет. Ведь и в прошлую войну мы так похоронили многие незаконченные судебные дела.

— Ты циник, друг мой Тимидус. Кстати, когда ты женишься?

Я не поперхнулся от столь неожиданного вопроса, потому что давно привык к очаровательной манере Боса Тауруса: он целился в голову, а попадал в сердце.

— Сначала закончу дело Барбатуса,— ответил я спокойно.

— А на это потребуется либо шесть лет, либо два часа? Готов ли ты поступить в сей институт перевоспитания взрослых мальчиков, где идеалы заменяются покорностью судьбе?

— Если хочешь сохранить друга, не подвергай его дружбу испытанию,— ответил я.

— Когда-нибудь ее придется испытать. Но, надеюсь, это случится не через два часа. Если Куропотамия согласится отменить свои безумно высокие таможенные пошлины на ввоз изящнейших художественных творений, прославляющих нагую красоту, перестанет продавать на мировом рынке табак по демпинговым ценам и если она, в довершение всего, отдаст принадлежащие нам по праву нефтеносные районы, то я охотно буду ждать твоей свадьбы шесть лет.

— Значит, война вовсе не является неизбежностью?

— Конечно, если мы получим то, что хотим.

— А королевство Линдус?

— С ним мы установим дипломатические отношения, как только король Пипинацис даст команду, чтобы его страна не вывозила свиной тушенки, иллюстрированных изданий, огнестрельного оружия и противозачаточных средств в молодые негритянские государства, которые совершенно естественно, по самой природе вещей, должны входить в сферу нашей торговли. Королю Пипинацису пора уж понять, что Лакония — великая держава, которая правит миром. Мы стиснем Линдус в объятиях экономической блокады. А если и это не вразумит Пипинациса, мы начнем одаривать соседние с ним страны современным оружием. Вместо того, чтобы любить врагов наших, мы лучше позаботимся о наших маленьких друзьях. Да, кстати, кто же ограбил магазин Барбатуса?

— Я не могу пока дать точного ответа...

Президент поднялся с кресла и сказал официально:

— Ну, а если я потребую?

— Господин президент, обвиняются десять человек.

— Как это может быть? Газеты все время писали о двух грабителях.

— Сначала их и было двое, но дело все расширялось.

— Отчего же?

— По двум причинам. Во-первых, государственные сыщики бастуют, вместо одного хорошего специалиста пришлось нанимать по крайней мере десятерых. Во-вторых, в ходе следствия раскрыто много других преступлений,— это, так сказать, побочный продукт, если вы позволите мне воспользоваться вашим выражением, господин президент. И, в-третьих, чем шире разрастается дело, тем больше средств поступает в выборный фонд нашей партии...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—30.

Президент многозначительно откашлялся.

— Одни повышаются по службе с чувством ответственности, другие же просто набираются важности. Ты уверен, что работник, ведущий следствие... кстати, кто он?

— Бывший инспектор полиции Энрико Вульвиус.

— Да, так ты уверен, что он справится с этим делом?

— Он очень опытный следователь. И притом у него замечательная способность к коллективной работе.

— Коллективная работа! Значит, его голова никогда не родит самобытной мысли.

— Он исключительно настойчив и требователен к себе. Я знаю, что он занимается служебными делами даже дома, по вечерам.

— Значит, плохой организатор! Не успевает управиться с делами в служебное время. Кстати, как его фамилия?

— Энрико Вульвиус.

— Да, так он член нашей партии?

— Конечно, и хороший активист. Прекрасный оратор. Слушать его — наслаждение.

— Значит, типичный партийно-политический болтун. Кстати, почему ты уверен, что он справится с делом Барбатуса?

— Он держит меня в курсе всех событий, звонит мне по крайней мере по два раза на дню. Вместо длинных докладных записок он предпочитает поддерживать непосредственный, живой контакт.

— Готово ли министерство полиции к войне?

— Министерство отвечает за внутренний порядок в стране. Государственная тайная полиция не бастует.

— Хорошо, друг мой Тимидус! А бастующие сыщики, я полагаю, призваны в армию?

— Все до единого.

— Аудиенция окончена. Жду тебя вечером в моей городской резиденции. Мы проведем тайное совещание, в котором примут участие премьер-министр и министр иностранных дел. Постарайся к тому времени подумать вот над чем: нельзя ли в ограблении магазина Барбатуса обвинить Куропотамию...

Вернувшись от президента, я сразу же вызвал Энрико Вульвиуса. Я не стал говорить ему о новом назначении, а завел речь о погоде. День был гнетуще осенний. Вульвиус почувствовал что-то неладное: когда начальство начинает говорить о погоде, разговор переводится в плоскость роковой предрешенности. Тогда уж бессмысленно задавать вопросы. Как благовоспитанный человек и старый служака, он с готовностью повторил мне радиосводку погоды. Он хорошо знал, что перечить начальству — все равно, что плевать против ветра.

— Погода просто давит,— сказал он.— Сыро и слякотно. Вот когда раздолье для всяческой хвори! Богатые болеют воспалением легких, а у бедных едва хватает средств на самую легкую простуду.

Он мстил ему за то, что тот совратил его сестру, опозорил девушку.

— Опозорил?

— Совершенно верно. И я вполне понимаю Акантию. Побуждаемый жаждой мести, он застрелил Микротуса.

— Акантия не стрелял в Микротуса.

У Вульвиуса задрожали щеки.

— Это произошло при мне, я был очевидцем,— проговорил он.

— Ты был, я знаю. Но больше ты им не будешь.

— Господин министр! — воскликнул Вульвиус.— Я видел все собственными глазами!

— Речь идет о безопасности нашей родины и о ее будущем. На месте происшествия не было ни одного свидетеля.

— Муравьиный патриотизм основан на чувстве обоняния, моя же любовь к родине смотрит на вещи чистыми глазами ума и сердца.

— Ум и сердце забудь. Дай сыщикам новые направляющие нити.

— Что же мы должны расследовать? — спросил Вульвиус.

— Грубые провокации Куропотамии. Название дела остается прежним: «Ограбление ювелирного магазина Барбатуса».

— А что делать с десятками арестованных?

— Они посидят в следственной тюрьме до тех пор, пока суд не соберет полного состава присяжных.

Вульвиус молчал. Старый полицейский

ОМ АЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

— Так поступают все болтуны, слабо владеющие пером. Нет ли кого получше?

— Я считаю, что ему вполне можно доверить и более трудные дела.

— Отлично. В таком случае мы будем счастливы, если избавимся от него, и чем скорее, тем лучше.

— Господин президент, я несколько озадачен. Если Энрико Вульвиус будет снят с работы, ему надо подыскать другое место.

— Нет ничего проще. Назначим его послом в одну из отсталых стран, где его пустоту прикроет умение держаться с достоинством и солидный костюм. Сколько ему лет?

— Недавно исполнилось шестьдесят три.

— Значит, выжил из ума. Все данные для того, чтобы быть дипломатом. Возраст наилучшим образом обеспечит ему авторитет и послужит оправданием его потрепанных анекдотов. Да, дело Барбатуса кажется сборником анекдотов, только твой Вульвиус не сумел их как следует отредактировать.

— Значит, я должен понять это так, что его надо отстранить от дела.

— Он слишком долго искал виновных и совсем забыл о преступлении. Ему нужно переменить обстановку. Солдатами становятся не по призванию, а по призыву. Дипломатов же не призывают, а лишь отзывают, да и то редко. Ни один из наших послов не лишился должности за то, что слишком громко храпел, или за солдатские манеры в политике. Самым большим пороком для них считается неумение выучиться современным танцам и французским вежливостям с дамами.

Президент Бос Таурус предложил мне сигару и неожиданно спросил:

Потирая озябшие руки, он бросил на меня вопрошающий взгляд. Я испытывал к Вульвиусу невольное почтение. Лет десять тому назад он был моим начальником. В то время я трудился в криминально-экспертном центре, занимая весьма скромную должность, и получал мизерное жалованье. Пока не сообразил записаться в партию. И вот теперь я стал его начальником.

— Дело Барбатуса неожиданно принимает новый разворот,— сказал я наконец.

— В какую сторону? — спросил Вульвиус.

— Прямо на восток.

Вульвиус покачал головой.

— Невероятно.

— Бывает, что и возможное кажется невозможным. Я разработал новую теорию. Наши расследования показали, что на заводе «Муска» за нынешний год украдено пять бутылок штемпельной краски. Действиями воровской шайки руководили из-за границы. Тит Проциллус, обвиняемый в ограблении магазина Барбатуса и в убийстве нескольких неизвестных женщин, год тому назад совершил двухнедельную туристскую поездку в Куропотамию. Есть подозрение, что он действовал как агент иностранной державы. Поставщик девиц Микротус, застреленный у ворот тюрьмы, иммигрировал в Лаконию опять же из Куропотамии. Представляется весьма правдоподобным, что под вывеской его публичного дома скрывалось шпионское гнездо. Хозяева Микротуса испугались, как бы он не выдал кое-чего, и постарались его убрать...

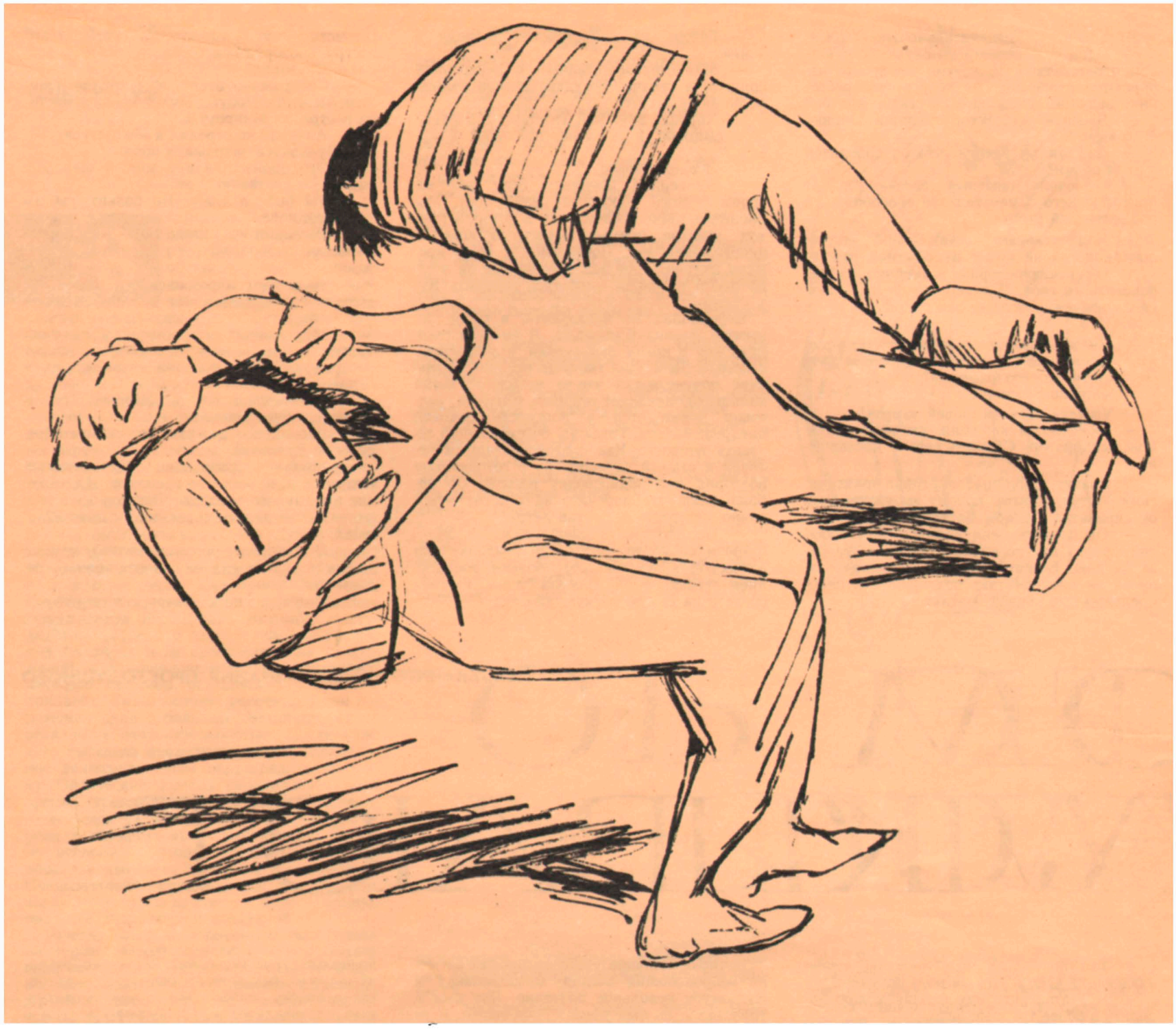
— Невозможно, невозможно,— перебил меня Вульвиус.— Какому идиоту могло прийти в голову, что Луций Акантия — «хозяин» Микротуса? На допросе Акантия рассказал, почему он убил старого сводника.

покорился воле отечества. Возможно, он подумал, что, как вода смывает с дороги сор, так и власть освобождает человека от чувства справедливости. Он вышел от меня с видом отчаянной решимости: как пешеход, рискнувший перейти улицу в часы пик с единственной надеждой отделаться легким увечьем.

Глава одиннадцатая

Тайное совещание в доме президента было настолько тайным, что я и по сей день еще не знаю, о чем же там в действительности шла речь. Премьер-министр почти не глядел на меня. Он все еще не мог мне простить, что я позволил Фабию разглядывать украшения дам на великосветском благотворительном балу. Фабий решил, будто колье Якхос явилось к жене премьер-министра прямехонько из магазина Барбатуса. Но, возможно, оно успело совершить краткую заграничную поездку, прежде чем встретило свою теперешнюю хозяйку. Ведь редкостные украшения имеют привычку путешествовать из страны в страну, пока не обретут в конце концов покойное пристанище в подземном сейфе одного из швейцарских банков.

Министр иностранных дел тоже, видимо, дулся на меня. Он сказал, что затеянная моими людьми проверка сортов импортных тканей вызывает лишние трения и настораживает союзников. Он также не мог одобрить безоговорочно и того, что я приостановил контрабандный ввоз жевательной резинки из одной страны, с которой у нас были очень дружественные отношения.



— Министерство полиции должно следить за порядком внутри страны, обеспечивать безопасность граждан и поменьше соваться во внешнюю политику,— сказал министр иностранных дел, поглядев на меня довольно кисло.

— Отныне министр полиции обязан будет вмешиваться во внешнюю политику,— заметил президент.— Положение становится критическим. Если Куропотамия не подчинится нашей воле, мы будем вынуждены прибегнуть к крайним средствам. Как идет обработка общественного мнения? Дух народа высок?

Президент адресовал вопрос премьер-министру, который дал несколько уклончивый ответ:

— Война всегда неприятна, но отдельным слоям населения она особенно не по нутру.

— Неужели они не пойдут сражаться за свободу?

— Пойдут, конечно, но поскольку сейчас речь идет не о свободе собственно...

— А о чем же? Лаконня борется только за свободу. Начиная с завтрашнего дня, все массовые средства информации должны как можно громче трубить о свободе. Нигде в мире нет такой свободы, как в Лаконии Здесь каждый гражданин свободен делать все или почти все, что вздумает. А кто не хочет сражаться за свободу, того в тюрьму!

— В тюрьмах ужасная теснота, господин президент,— деликатно заметил я.

— Построить больше тюрем. Свободная страна должна иметь достаточно тюрем. Кстати, господа, какие же это слои населения проявляют столь сомнительное отношение к возможной войне?

Мы переглянулись. Премьер-министр счел своим долгом ответить:

— Прежде всего малоимущие, господин президент. Они опасаются, что война поставит под угрозу их жалкое существование.

Президент бросил на премьер-министра свирепый взгляд и чуть не крикнул:

— Это неправда! В Лаконии нет бедняков. Ведь Лаконня — самая богатая страна мира! Наши экономисты утверждают, что уровень жизни Лаконии в двадцать раз выше, чем в Куропотамии, которая вечно похваляется своими природными богатствами.

Президент достал из стола папку с последними данными статистики и с увлечением продолжал:

— Господа! Вам следовало бы немножко ознакомиться с делами страны. Взгляните на цифры, отражающие производство этого года. Производство автоматического огнестрельного оружия возросло на сто процентов, губной помады — на двести процентов, пудры, жевательной резинки, зубных протезов, накладных ресниц, новейших поролоновых лифчиков и алкогольных напитков — почти на триста процентов! И только в производстве гусиных яиц, детективных фильмов и комиксов наблюдается некоторый спад, поскольку Куропотамия прекратила их закупки с начала этого года. В нашей внешней торговле экспорт неизменно преобладает над импортом, и соотношение их станет еще лучше, когда мы начнем продавать в развивающиеся страны лежалые и неходовые товары, которыми полны наши склады. Ведь у нас там горы всякого добра! Зерно и мука гниют и преют годами! Да только ли мука! Какие россыпи, пласты, напластования ценнейших вещей: вышедшие из моды изделия парфюмерной, галантерейной и полиграфической промышленности, теннисные мячи и ракетки, средства для удаления волос, веснушек и угрей, залежи свиной тушенки, соленые земляные орехи! А также оружие устарелых образцов. Я повторяю. Лаконня — богатая страна, где бедных нет и быть не может.

Президент не на шутку разгорячился. Я молчал. То же делал и министр иностранных дел. Но премьер-министр попытался было возражать:

— Господин президент, богатства Лаконии никто не отрицает. Но позвольте мне все же сказать, что, по сведениям Лаконийского статистического управления, почти пятьдесят процентов населения нашей страны терпят нужду и голод, что безработных у нас...

— Довольно! Директора статистического

управления немедленно перевести на другую работу. Я назначу его нашим торговым представителем на Огненную Землю. И надо распорядиться, чтобы начиная с завтрашнего дня все средства информации решительно отрицали бедность. В течение недели с бедностью в нашей стране должно быть покончено. Каждый гражданин Лаконии обязан понять, что в стране столь высокого жизненного уровня никаких бедных быть не может. Академия языка пусть прежде всего подыщет вместо слова «бедность» вполне равноценный синоним, вызывающий представление о зажиточности. Государственная полиция должна усилить бдительность. Всех, кто жалуется на бедность, задерживать и отправлять на принудительные работы за нелаконийское поведение.

— В трудовых лагерях невыносимая теснота,— робко заметил я.

— Надо иметь побольше лагерей. У нас хватит средств, чтобы настроить лагерей даже в соседних странах. Что же касается возможной безработицы, то она ликвидируется сама собой, как только мы втянемся в войну. Конечно, желательно было бы организовать войну в какой-нибудь другой части света, а самим оставаться в стороне. Тогда бы мы имели великолепную возможность экспортировать оружие, и наша страна богатела бы все больше и больше. Этого никак не следует упускать из виду. Так что прошу вас, господа, изучать обстановку, чтобы нам не прозевать подходящего случая. Свобода — это бесценный дар, господа, и за нее всегда стоит повоевать — либо на своей, либо на чужой земле.

— Прошу прощения, господин президент,— сказал премьер-министр,— но я все-таки не понимаю, при чем здесь свобода?

— А за что же нам еще воевать? Под свободой я разумею такое положение, когда Лакония имеет свободные руки и может делать все, что захочет. Если наша жажда свободы приводит к войне, то и ангелы господни благословляют нас.

— Когда на земле идет война и пирует смерть, хор ангелов умолкает и тихо плачет. А может быть, смеется...

— Неудачный афоризм! — воскликнул президент.— К счастью, он не будет занесен в протокол, так же как и все содержание нашей беседы. Когда вспыхнет война, мы назовем ее войной Барбатуса, ибо ведь в конце-то концов речь идет именно об этом. Не так ли, господин министр полиции?

Я утвердительно кивнул головой и про себя подумал: человек измеряет межзвездные расстояния и расщепляет атомное ядро, но он не в состоянии определить границы между разумом и безумием. Часто даже в его собственном тайном протоколе содержится лишь ложь, которой он пытается обмануть себя и других.

Возникла короткая, но тягостная пауза. Президент смотрел на нас испытующим взором, как бы говоря: «Ну так вот, господа! Если у вас есть ко мне вопросы, милости прошу, задавайте их. Если вы колеблетесь, говорите все как есть. Но запомните раз и навсегда, что, если справедливость нарушается, это становится законом. Кто никогда не ошибается, тот никогда не изобретет ничего нового. Так-то, господа министры! Что вы еще имеете сказать? Собственные соображения, предложения, возражения? Да ну же, будьте решительнее! Не опасайтесь за свои посты, за свои портфели. Так. Значит, вы все-таки ждете, чтобы вам разжевали да в рот положили? Хорошо. В таком случае прошу вас ответить на следующее».

Президент вынул из папки аккуратно сложенный лист бумаги, просмотрел его и сказал с усмешкой:

— Рептилии надумали обратиться к правительству с вопросом... Они, разумеется, вправе спрашивать: ведь Лакония — свободная страна.

После паузы президент продолжал уже другим тоном:

— В канцелярию палаты депутатов сегодня поступил запрос. Одиннадцать рептилий просят соответствующего министра ответить, известно ли правительству, что в нашей стране имеют место грубые нарушения законности, в каковых нарушениях замешаны влиятельные государственные деятели; а если указанное известно, то скоро ли правительство в соответствии со своим законным долгом позаботится о том, чтобы расследовать упомянутые злоупотребления. Большинство нации настаивает на соблюдении конституции, согласно которой все граждане равны перед законом...

Президент сухо улыбнулся и подал мне бумагу.

— Надо что-нибудь ответить... А фамилии подписавшихся — в картотеку. Достойно сожаления, что депутаты тратят время на подобную глупую болтовню, тогда как перед родиной стоят куда более важные задачи... Я ни разу не слышал, чтобы при моем правлении имели место какие-либо нарушения законных норм. Преступления, конечно, совершаются каждый день... но это опять-таки другое дело.

— Запрос абсолютно беспочвенный,— сказал премьер-министр.— Я знаю, кто это настрочил. Подписи мне знакомы. Все молодежь, горячие головы. Для них моральная сторона вопроса важнее, чем жизнь и свобода нации. Они напоминают мне истеричных женщин, которые в переломном возрасте часто впадают в религиозно-моральный фанатизм.

Президент Бос Таурус тихонько рассмеялся, и на этом закончилось наше особое секретное совещание. Затем мы втроем отправились в закрытый правительственный ночной клуб, продолжая беседовать. Утолив жажду вином, министр иностранных дел начал рассуждать о трезвости и послал жене телеграмму: «Положение критическое, заседание продолжается».

Под утро я получил вести от Вульвиуса: Луций Акантия застрелен во время прогулки во дворе тюрьмы. Убийца задержан на месте преступления. Он оказался гражданином Куропотамии.

Вульвиус проявил оперативность. Теперь ему едва ли придется переходить на дипломатическую службу. Не вина Лаконии, что на ее территорию пробрались преступники. Позор убийцам...

Я простился с коллегами и пошел домой. Мне хотелось спокойно полюбоваться на себя в зеркале. Я, Лепус Тимидус, министр полиции республики Лакония, чувствовал, что оказал своему отечеству немалую услугу. Будь я истериком, я бы, конечно, разбил зеркало вдребезги, или сунул бы голову под подушку, или напился бы, как сапожник, или поколотил бы слуг. Но, как безупречный государственный служащий, верный долгу как в малом, так и в большом, я спокойно лег в постель и заснул, шепча слова присяги.

Продолжение следует.

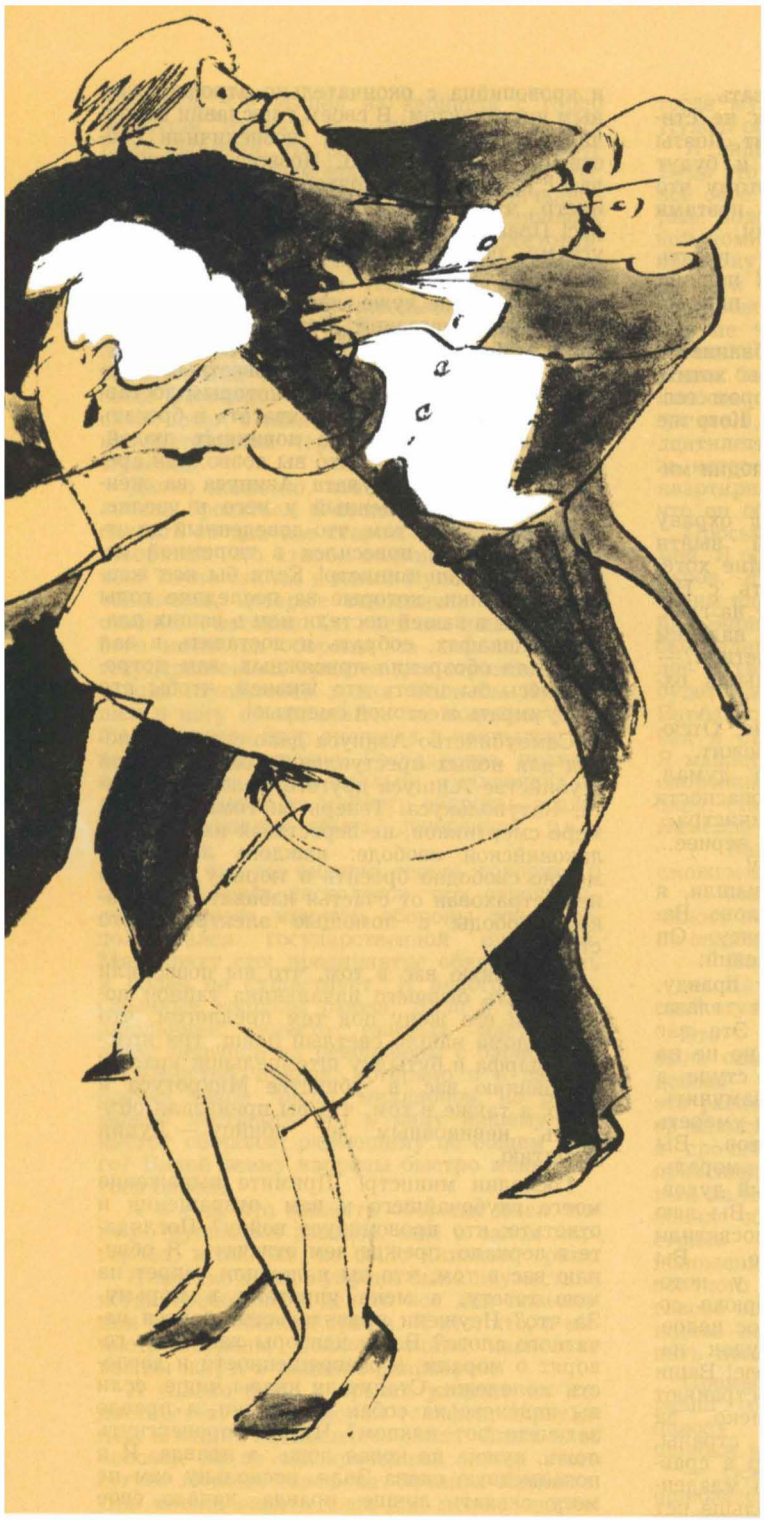
Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ОБ ЭТ ПОМА

Глава двенадцатая

Вся Лакония находилась в состоянии напряженности и тревожного ожидания. Оптимисты уверяли, что наш мир лучший из всех возможных, а пессимисты опасались, что это правда. Многие верующие творили усердные молитвы: они просили допустить их в царство небесное, но не очень спешили

Продолжение.
См. «Огонек» №№ 27—31.



туда отправляться. Издатели газет, промышлявшие прежде почти исключительно грязью, обрели внезапно новый источник доходов: идею свободы, которая шла нарасхват. За какие-нибудь двое-трое суток общественное мнение было отлито в прочную форму. Каждый гражданин заявлял о своей готовности умереть за свободу торговли.

Но нашлась-таки белая овца в стаде, один еретик, не пожелавший идти навстречу смерти, поскольку он лично не был с нею знаком. Некий Валериан Пулекс, молодой гуманист, основавший собственную газету, ибо иначе его голоса никто не слышал. Говорят, отец его когда-то был политиком. Не удивительно, что и сын не отличался порядочностью. Он охотно видел свои недостатки у других и разоблачал их в газете.

Пулекс начал публично поносить утвержденное правительством мнение, распространяемое печатью ради того, чтобы облегчить гражданам задачу мышления. Вы ведь знаете этих упрямых молодых людей (кажется, они есть и в Финляндии?), которые требуют сокращения вооружений и тем вредят идее свободы. Эти нигилисты думают набраться мудрости, оглядываясь по сторонам. Как было бы хорошо, если бы Ной в свое время не набрал в ковчег паразитов.

Валериан Пулекс в своей газете «Новая свобода» печатал статьи, вдохновителей которых надо было искать в партийной канцелярии р е п т и л и й. Запрос, поданный в Палате представителей, газета опубликовала полностью. Авторы запроса, между прочим, справлялись: «Известно ли правительству, что премьер-министр, будучи пьян, затеял драку в одном ночном клубе с несколькими высокопоставленными чиновниками и, побитый, заснул в гардеробе, откуда его утром, разбудив, доставили на заседание правительства; и если сие правительству известно, то что оно намерено предпринять для обеспечения премьер-министру более благоприятных условий сна».

Как установило наше расследование, запрос имел целью подорвать престиж и запятнать репутацию премьер-министра. Выдвинутые обвинения оказались абсолютно беспочвенными и облыжными. Они были опровергнуты пункт за пунктом.

Во-первых, место, где произошло столкновение премьер-министра с двумя другими государственными деятелями, вовсе не ночной клуб, а посольство республики Рио-Логота. Там праздновалась вторая годовщина независимости этого дружественного нам государства. Во-вторых, причиной ссоры послужили не какие-то политические разногласия, а личные вкусы: премьер-министр стоял на том, что для грога нужно сначала налить в бокал виски, а затем воды; начальник канцелярии Б. Д. предпочитал сперва налить воду, а потом постепенно добавлять виски по вкусу. Горячий спор перешел в потасовку, в которой приняли участие более десяти должностных лиц и их супруги. В-третьих, премьер-министр не был побит, ибо, как бывший спортсмен (в студенческие годы он занимал призовые места по прыжкам в длину и в беге на короткие дистанции), он вышел из схватки без единой царапины и покинул посольство с высоко поднятой головой. В-четвертых, премьер-министр вовсе не заснул в каком-то гардеробе ночного клуба, так как из посольства он направился в отель «Фокус», где просидел в компании близких друзей до полуночи или немножко дольше. Затем он хотел навестить свою подругу, но по пути уснул в лифте отеля. И, в-пятых, премьер-министр не явился на заседание правительства голодным и небритым из какой-то раздевалки, а был доставлен из лифта, куда ему подали утренний кофе с яичницей.

Далее в ответе правительства разъяснялось, что премьер-министр никогда не спит в местах, неблагоприятных для его здоровья, а если и спит, то для государства в том нет опасности, поскольку он постоянно носит теплое лечебное белье «Реума», шерстяные носки и никогда не расстается с ночным колпаком. Стало быть, запрос не имел никаких оснований. Столь же беспочвенным был и второй пункт запроса: «Известно ли правительству, что министр обороны построил себе на средства государства три новых завода, выпускающие глушители звука для храпящих во сне, маргарин для снабжения армии и газовые пистолеты для школьников среднего и старшего возраста; и если известно, то что правительство намерено предпринять для облегчения бремени забот названного министра, дабы он мог лучше сосредоточить внимание на нуждах обороны страны».

В своем ответе правительство разъясняло, что министр обороны не построил ни одного завода на средства государства; он лишь получил от государства помощь для их строительства, поскольку правительство считало необходимым поддерживать и поощрять частное предпринимательство.

Хотя на запрос представителей оппозиции правительство дало в Палате депутатов совершенно исчерпывающие ответы, Валериан Пулекс продолжал публикацию поносных статей. Когда он обвинил правительство в разжигании войны, а министерство полиции — в содействии преступникам, я счел за благо прекратить издание газеты. Валериана Пулекса арестовали как общественно опасную личность. Притом он в некотором роде был замешан в деле ограбления магазина Барбатуса: а) поскольку обвинял полицию во взяточничестве и в сокрытии правды и б) поскольку утверждал с подозрительным упорством, что пойманные нами и ожидающие приговора преступники не имеют якобы отношения к преступлениям, в которых их обвиняют.

Пулекс оказался очень дерзким молодым человеком, настолько дерзким, что посмел просить моей аудиенции. Впрочем, он не был оригинален. Подобные нахалы встречаются везде. С просьбами и жалобами ходят обыкновенно люди, которые еще ни разу не получили достаточно крепкого пинка. Я согласился принять Пулекса, и вот его привели под надежной охраной в мой кабинет. Он был очень красив, этот светловолосый юноша в новеньком арестантском костюме. Заметив, что он имел склонность говорить горячо, с увлечением и при этом жестикулировать, я предложил следователям снять с него наручники. Ножные кандалы с него сняли в тюремном автобусе.

Как я и предполагал, Пулекс пришел ко мне требовать освобождения. Но я сразу же поверг его в глубокое раздумье, предложив уплатить залог в сумме одного миллиона долларов.

— Со мной обращаются как с преступ-

ОМ ЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Р о м а н-п а м ф л е т **Мартти ЛАРНИ**

ником,— сказал он,— как будто я убийца или грабитель.

— Ваше преступление гораздо серьезнее,— ответил я.— Вы обвиняетесь в политических интригах и кознях против законного правительства страны.

— Я лишь говорил правду, господин министр. Неужели это справедливо: в свободной стране сажать за решетку ни в чем не повинных людей?

— Суд решит, виновны они или нет.

— Но я невиновен. Я надеюсь, что меня освободят немедленно.

— Что вы будете делать, если вас освободят?

— Буду писать.

— Что? Уж не стихи ли? Не стоит. Поэты всегда были и будут бедняками. Потому что становятся поэтами обычно бедняки.

— Я буду писать президенту. Я напишу ему открытое письмо. ...Я обвиняю...

— Вы обвиняете? Стало быть, вы хотите стать плагиатором господина Золя? Кого же вы обвиняете?

— Вас, господин министр!

Я попросил охрану и следователей выйти из кабинета. Мне хотелось поговорить с Пулексом с глазу на глаз.

— Может, наденем на него браслетики?— спросил начальник охраны.

— Не нужно. Отсюда никто не убежит.

— Я только думал, что... для безопасности господина министра... просто будет вернее...

— Ступайте!

Когда они вышли, я предоставил слово Валериану Пулексу. Он начал с обвинений:

— Я скажу правду, которая колет глаза. Вы негодяй! Это вас надо казнить, но не на электрическом стуле, а медленно замучить. Садист должен умереть от рук садистов. Вы совершенно аморальный, бездушный духовный кастрат! Вы всю свою жизнь посвятили самолюбованию. Вы ракообразное, у которого голова и брюхо составляют единое целое, сердце и желудок находятся в голове! Ваши дела распространяют зловоние далеко за пределами страны. Ирод и Гитлер в сравнении с вами младенцы. У меня больше нет слов.

Пулекс задыхался.

— Для чего же вы хотели сказать мне это?— грустно спросил я.

— Это единственная возможность высказать вам правду в глаза, прежде чем меня казнят.

— Ну, а если вас выпустят?

— Тогда я напишу открытое письмо, в котором разоблачу ваши преступления.

— Даю вам десять минут на то, чтобы разоблачить их сейчас же, здесь.

— Десяти минут мало.

— Пятнадцать минут.

— За это время я успею только начать.

— Двадцать минут.

— Мало.

— Говорите короче.

— У меня нет конспектов.

— Соберитесь с мыслями. Даю двадцать пять минут.

Валериан Пулекс согласился.

— Господин министр полиции! Вы хамелеон, блудливый козел, пьяный краснобай, карьерист и проныра, палач по призванию и кровопийца с окончательно атрофированным интеллектом. В своем тщеславии вы печально прославились и возвеличили собственное ничтожество. Позвольте сказать вам с глубочайшим почтением, господин министр, что я в высшей степени презираю вас! Правда и только правда говорит моими устами, обвиняя вас в отвратительнейших судебных убийствах.

Вы знаете не хуже меня, кто организовал ограбление магазина Барбатуса. Но ради того, чтобы укрыть преступников, вы поручили вести расследование известным профессиональным гангстерам, которым доставляет высшее наслаждение хватать и бросать в тюрьму ни в чем не повинных людей. Я обвиняю вас в том, что вы позволили арестовать молодого мулата Азинуса за женский лифчик, найденный у него в узелке. Я обвиняю вас в том, что доведенный до отчаяния Азинус повесился в тюремной камере. Господин министр! Если бы все женские лифчики, которые за последние годы побывали в вашей постели или в ваших платяных шкафах, собрать и доставить в зал суда для обозрения присяжных, вам потребовалось бы иметь сто жизней, чтобы сто раз умирать жестокой смертью!

Самоубийство Азинуса дало сыщикам повод для новых преступлений: они обвинили в убийстве Азинуса другого молодого мулата, Катуволькуса. Теперь он томится в камере смертников, не переставая изумляться лаконийской свободе: каждого лаконийца можно свободно бросить в тюрьму, и никто не застрахован от счастья избавиться от такой свободы с помощью электрического стула.

Я обвиняю вас в том, что вы позволили арестовать бывшего начальника тайной полиции и его жену под тем предлогом, что у них дома нашли светлый плащ, три красных шарфа и бутылку штемпельной краски. Я обвиняю вас в убийстве Микротуса и Гуло, а также в том, что вы приказали объявить невиновным их убийцу — Луция Акантию.

Господин министр! Примите выражение моего глубочайшего к вам отвращения и ответьте: кто провоцирует войну? Поглядите в зеркало, прежде чем отвечать. Я обвиняю вас в том, что вы наложили запрет на мою газету, а меня упрятали в тюрьму. За что? Неужели правительство боится печатного слова? Ваши цензоры ханжески говорят о морали, о развращенности и дерзости молодежи. Станут ли нравы чище, если вы наденете на собак штанишки, а правде заткнете рот кляпом? Чтобы опровергнуть ложь, нужна не новая ложь, а правда. И я позаимствую слова Золя, поскольку сам не могу сказать лучше: правда начала свое шествие, и теперь ее ничто не может остановить!

Я обвиняю всех, кто втоптал в грязь славу Лаконии. Нигде в мире личному поведению государственных мужей не уделяется так мало внимания, как у нас в Лаконии, где политика равнозначна непристойности.

Господин министр! Если вы отпустите меня на волю и снимете запрет с моей газеты, я обещаю и впредь писать правду, но по-новому, в более современном духе. Вы, как ловкие цирюльники-шарлатаны, норовите не только обрить родное отечество наголо, но, изощряясь во лжи, стараетесь навести фальшивый румянец на его измученное лицо. Мы, молодежь, не нуждаемся в брадобреях. Мы даем нашей бороде и нашим волосам свободно расти. Я заявляю вам, господин министр, вам, который лелеет и пестует «свободу, справедливость и безопасность нации»: вы не только извращенный индивид и хорошо смазанный автомат преступлений — вы большая дрянь.

Закончив столь изящно свою гневную речь, современный Золя умолк в ожидании ответа и был крайне разочарован, видя, что я не умер от разрыва сердца.

— Вы все успели сказать? — спросил я спокойно.

— Нет, лишь малую часть.

— Что ж, и на том спасибо.

Я позвал сыщиков и охрану, чтоб увели Пулекса. Молодой человек протянул руки, и на них мгновенно защелкнулись стальные

браслеты. Он вышел из кабинета с гордо поднятой головой и запел национальный гимн Лаконии. Но за порогом песня вдруг оборвалась острым коротким звуком икоты. Полицейские Палинодии всегда отличались служебным рвением и не жалели резиновых дубинок. Им разрешалось бить арестованных только по плечам, по седалищным мышцам и по рукам, но теперь, поскольку в стране существовало чрезвычайное положение, они били, как правило, по лицу. Когда лицо человека превращают в кровавую отбивную, мне становится немножко не по себе. Особенно, если попадается такое красивое лицо, с такими благородными, полными достоинства чертами, как у Валериана Пулекса.

Давно известно, что гнев заставляет человека бросаться в волны истории и вытаскивать со дна все старое. А ведь недаром говорится: кто старое помянет — тому глаз вон. Точно так же и юный Пулекс выдвинул обвинения, которые относились уже собственно к истории. Он клеймил нашего честного министра обороны за использование государственных средств для строительства завода глушителей храпа. Если бы Пулекс шел в ногу со временем, он, конечно, знал бы, что завод этот прогорел и закрылся назад тому три месяца. Государство, правда, потеряло на нем несколько миллионов, но тут уж виноват не министр обороны, а плохая организация сбыта, доверенная р е п т и л и я м.

Точно так же смешно теперь говорить о заводе газовых пистолетов, при строительстве которого министр обороны тоже воспользовался государственной субсидией. Мир праху его: предприятие обанкротилось и более не существует. И некого винить. Обычные капризы рынка. Дело в том, что школьники вместо газовых пистолетов вдруг перешли на револьверы с барабаном. Государство, правда, потеряло и в данном случае энное число миллионов, но разве можно поставить это в вину нашему министру обороны, радеющему об общем благе? Виной всему капризы быстро меняющегося спроса.

А в том, что министр обороны имел, помимо пушечных заводов, еще и завод маргарина, право же, не было никакого греха.

И именно теперь упреки были неуместны, когда требовалось делать все для повышения боеспособности армии. И кто, кто, а министр обороны должен знать, насколько важны жиры в рационе снайперов.

Я только было собрался уходить из министерства, как зазвонил телефон, спрятанный в ящике письменного стола. Лишь пять человек знали засекреченный номер этого сугубо личного телефона. Звонила Ламелла. Она хотела видеть меня как можно скорее. Торопясь и запинаясь, она пробормотала, что речь идет о жизни человека, которого только я один могу спасти. Мы договорились о встрече. Я начал догадываться, что она опять поссорилась с мужем. С годами их вкусы и привычки сделались совершенно одинаковыми: оба стали сварливы и оба ненавидели друг друга. Статистика доказывает, что брак спасает человека от самоубийства — и наоборот.

Наступили густые сумерки, когда Ламелла явилась ко мне домой. От слез глаза ее покраснели, а ресницы стали бесцветны. Ценители изящной словесности не любят выражения «бросилась на грудь». Но я не могу найти лучшего определения. Ламелла в буквальном смысле слова бросилась мне на грудь и разрыдалась. Вообще у нее была манера вдруг залиться слезами, проявляя чувствительность души,— но только на людях. Теперь же она рыдала без зрителей. Для меня одного.

— Милый... милый... Не требуй такого немыслимого залога.

— О чем ты говоришь?

— Миллион долларов... Это безумная сумма. Ну, сбавь хотя бы до ста тысяч или до десяти тысяч долларов. Ты ведь знаешь, что муж отвратительно скуп.

Стиснув плечи Ламеллы, я посмотрел ей в глаза.

— О ком ты говоришь?

— О брате... Валериан Пулекс — мой сводный брат. Сбавь залог до десяти тысяч, тогда муж согласится быть поручителем. Нужно освободить Валериана!

Я видел, что Ламелла не притворялась. Будь это притворство, она бы использовала все свое очарование, все те качества, которые, подобно негативу, проявляются в темной комнате. Теперь же, видя ее помятую прическу, ее умоляюще заломленные руки, я искренне подумал, что, хоть она, безусловно, женщина, но женственности в ней не чувствуется. С огромным трудом рассказала она о своем сводном брате, молодом борце, верящем в правду и справедливость, одинаково презирающем как у г р е й, так и р е п т и л и й. Это двадцатилетний идеалист без гроша в кармане, за которого всюду платила сестра. Правда, квартирная плата была невелика, потому что он обитал в воздушных замках.

Просьба Ламеллы не была невыполнимой. Я обещал снизить залог до тысячи долларов. Желая блеснуть перед Ламеллой своим влиянием и властью, я тут же позвонил Энрико Вульвиусу и распорядился, чтобы Валериана Пулекса освободили под залог в тысячу долларов, если поручителем будет бывший министр внутренних дел Гней Барбатус. Но Ламеллу поразило скорее то, как я слушал ответ моего подчиненного. Я машинально налил себе стаканчик виски, опорожнил его в два глотка и, отойдя к окну, стал глядеть на бегущие огни улицы. Ламелла подошла ко мне и тихо сказала:

— Как я тебе благодарна... Теперь мы сможем нанять адвоката...

— Мы чуть-чуть опоздали, дорогая. Случилось несчастье. Час тому назад твой брат по ошибке попал...

— По ошибке? Куда?

— На электрический стул.

Это действительно была ошибка, а не судебное убийство. Так это расценил и премьер-министр, которому я срочно доложил о происшедшем. Тюремный палач неправильно понял объявленное в стране чрезвычайное положение и законы военного времени, согласно которым бунтовщиков необходимо казнить немедленно.

Премьер-министр выразил сожаление по поводу допущенной ошибки и сказал:

— Осел никогда не ошибается, потому что ошибаться свойственно человеку. Для равновесия немедленно казните палача.

Я уж не помню, как Ламелла перенесла потрясение. Меня самого спасла примитивная реакция: я схватился за штопор. Все же и меня глубоко потряс случай Валериана Пулекса. У юноши были такие открытые, честные, прекрасные глаза. Если бы он правильно понял идею свободы и записался в нашу партию, он мог бы стать начальником отдела в министерстве пропаганды или редактором отдела культуры нашей главной газеты. Очень жаль, что современные молодые люди воображают себя новыми Золя и начинают бунтовать. Излишний гуманизм ведет к преждевременной смерти. Родственникам остается лишь память о прекрасном покойнике.

У Валериана Пулекса были в самом деле чудесные глаза: он видел ими больше, чем я своими, хотя мы смотрели на один и тот же объект.

Примечательно, что с тех пор совесть мучила меня при каждом взгляде на колени Ламеллы.

Глава тринадцатая

Ради безопасности Лаконии цензура запретила газетам упоминать о случае с Валерианом Пулексом. Зато каждый имел право говорить и писать об убийстве Луция Акантии. Его официально признали невиновным, а потому расправа над ним являла собою пример самого ужасного злодейства.

Энрико Вульвиус собрал секретное совещание, на которое пригласил и меня. Присутствовали также наши талантливые сыщики Марк, Секст и Луций. Фабий был от дела отстранен и назначен ротным писарем в войска внутренней охраны. Меня всегда восхищала исключительная гибкость и находчивость Вульвиуса. У него была феноменальная способность выбрать направляющую нить. Он говорил спокойно, обосновывая каждое свое предположение.

— Вы все понимаете, что убийство Луция Акантии должно иметь политические причины. Итак, отправная точка ясна. По уточненным данным, он убит во дворе следственной тюрьмы шестнадцатого ноября 1958 года в пять часов одиннадцать минут.

Пока еще не выяснено, почему Луций Акантия совершал прогулку в столь ранний час и как он вышел из запертой камеры в коридор, а оттуда — во двор тюрьмы. В его карманах найдены тонкая, сделанная из нейлона, веревочная лестница, пистолет, напильник и три плитки шоколада. Веревочная лестница, напильник и пистолет не имеют, по-моему, существенного значения: это случайные предметы, которые легко, однако, могут повести следствие по ложному пути. Поэтому мы должны отложить их в сторону и все внимание сосредоточить на шоколадных плитках. Родные и друзья покойного, которых мы впоследствии опросили, единодушно показывают, что Луций Акантия до страсти любил шоколад. Этим, между прочим, объясняются его плохая, угреватая кожа и его испорченные зубы. Итак, я разработал теорию, основанную на шоколаде.

Убийца или убийцы, проведав о шоколадной страсти Акантии, решили использовать ее. Я нисколько не сомневаюсь, что они послали своей жертве либо письменно, либо при помощи перестукивания следующее сообщение: «Выходи во двор тюрьмы шестнадцатого ноября в пять утра, получишь шоколад». Зачем преступнику понадобилась эта приманка? Почему он не мог послать шоколад заключенному с обычной передачей или тайно? Это объяснить нетрудно. Акантию заманивали во двор, чтобы там застрелить с подходящей дистанции. Другое предположение, что Акантия готовил побег, никак не укладывается в мою теорию. У Акантии не было причин торопиться на свободу, так как он знал, что там его возьмут в армию, а солдат шоколадом не кормят.

Но двинемся дальше! Преступники пытались ввести в заблуждение тюремное начальство и полицию, подослав Акантии нейлоновую лестницу, напильник и пистолет. Акантия взял с собой названные предметы, отправляясь в роковой путь, и собирался, конечно, выбросить их за тюремную стену. Когда Акантия вышел во двор тюрьмы (каким образом? На этот счет я представлю свою теорию позже), он увидел над гребнем стены — по-видимому, на северо-востоке — чью-то руку и в ней плитку шоколада. Он потянулся к шоколадке и подошел к самой стене. Но здесь в него трудно было попасть, и убийца бросил две плитки шоколада на середину двора. Акантия поспешил поднять их и оглянулся в надежде получить добавку. Возможно, что убийца обещал бросить еще одну плитку. Акантия стоял, готовясь поймать ее. Тут грянул выстрел, и Акантия упал замертво.

Как же Акантия вышел из камеры, не замеченный стражей? Расследование еще не закончено, но уже сейчас можно предположить, что убийца действовал не один. Кто-то в тюрьме помогал ему. Акантия был не простой заключенный. Луций Акантия пользовался доверием и был на особом счету, потому что ведь это он из патриотических побуждений застрелил двух иностранных агентов... Простите, нет. Я хотел сказать, что... он не застрелил их, но что его подозревали... Словом, Акантия пользовался доверием стражи.

Хотя его честная, открытая натура не знала притворства и фальши, он, ослепленный страстью к шоколаду, что, разумеется, смягчает вину, использовал маленькую хитрость. Возможно, он сказал, что хочет подышать свежим воздухом, немножко размяться или что-нибудь в этом роде. В том, что часовой в коридоре найден мертвым, нельзя винить Акантию. Стражника кто-то задушил нейлоновым чулком, но пары к этому чулку среди вещей Акантии не оказалось.

Впрочем, для нас не существенно, каким образом Акантия смог проскользнуть мимо восьми часовых; главное теперь — как можно скорее задержать убийцу или убийц и внести полную ясность в дело Барбатуса.

Итак, точка отправления нам ясна: Луций Акантия убит во дворе следственной тюрьмы, и убийца, насколько нам известно, жив. Последнее обстоятельство облегчает работу следователей. Теперь мы должны лишь выяснить имя убийцы или убийц, фамилию, год и место рождения и крещения, профессию и адрес. Даже пусть будет только фамилия и профессия — этого достаточно, так как может статься, что у преступника нет постоянного жилища или что его не крестили. Уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что все подозрения падают на Куропотамию. Возможно также, что преступнику (или преступникам) оказывали содействие один или несколько граждан Лаконии, какой-нибудь бастующий сыщик или активист оппозиционной партии.

Следствие должно сосредоточиться на следующих основных направлениях: 1) все куропотамцы, куропотамские иммигранты, лица, родившиеся в Куропотамии и приехавшие сюда в разное время и по разным причинам, в том числе и лаконийцы куропотамского происхождения, должны быть задержаны для допроса; 2) все лица, совершавшие в течение последних лет туристические поездки в Куропотамию, а также все, о ком станет известно, что они проявляют симпатии к Куропотамии, должны быть задержаны; 3) необходимо выяснить, кто покупал пятнадцатого ноября или рано утром шестнадцатого три плитки молочного шоколада «Роза»; допрашивать и детей, ибо преступники могли подослать для покупки малолетних; 4) следствие и впредь сохраняет рабочее название «Дело Барбатуса».

Это, стало быть, направляющие нити. Теперь от вас требуется бдительность. Вы должны с особенным вниманием присматриваться к лицам, которые тайно слушают радио Куропотамии, к лицам, которые используют для подарков шоколад, к лицам, которые когда-либо пытались заводить знакомство с полицейскими, а также ко всем тем, кто верит, что Луций Акантия получил по заслугам, отправившись на вечный покой.

Если преступник или преступники не будут задержаны в течение недели с сего дня, нам придется обвинить Тита Проциллуса также и в убийстве Луция Акантии. Пока еще у нас нет веских доказательств, так как он сумел продемонстрировать свое алиби. Но ведь нам это не впервой, что у преступника имеется алиби. На его счету ограбление магазина Барбатуса, убийство нескольких неизвестных женщин и двухнедельная туристская поездка в Куропотамию. Я ознакомился с полицейскими рапортами и протоколами допросов Проциллуса и убедился, что он закоренелый преступник. В своей камере он все время поет разухабистые песни. Например: «Отвори мне дверцу к самому сердцу... Через твои штучки я дойду до ручки...» Дерзость его видна уж из одного того, что он каждый день просит дать ему бесплатного адвоката.

Директор тюрьмы докладывал, что как только среди заключенных пронесся слух о нервном срыве Луция Акантии, Тит Проциллус разразился грубым смехом и крикнул в присутствии стражи: «Как мало нужно, чтобы у человека сдали нервы! Сначала он спокойно стреляет и двумя выстрелами убивает наповал двух арестованных, а затем, увидав, что его снимают кинокамерой, начинает биться головой об стену и просит поскорее отправить его к психиатру!»

Весьма возможно, что Тит Проциллус окажется по крайней мере причастным к убийству Луция Акантии. Но, разумеется, будет лучше, если главные виновники, несомненно, являющиеся тайными агентами Куропотамии, окажутся в наших руках как можно скорее. Надо спешить уже хотя бы потому что Куропотамия стягивает войска к нашей границе, а также потому, что правительство Куропотамии обратилось к Совету Безопасности с отчаянным посланием. Итак, господа, я дал вам направляющие нити. Действуйте! Средств жалеть не нужно, поскольку господин Барбатус отпустил на дальнейшее расследование двести тысяч долларов. (Кстати, чек уже находится в банке.)

Энрико Вульвиус заставил сыщиков соревноваться: кто первым найдет убийцу Луция Акантии? Три дня спустя Марк-Дубинка получил первую премию — пять бутылок ирландского виски и плетку из свинцового кабеля с серебряной рукоятью — за следующий рапорт, который я привожу полностью:

«Мы сидели с Путориусом в кабаке, малость под мухой. Выпили понемножку. Никоим образом не допьяна, а в самый раз, чтобы быть на взводе — для бодрости и лучшего соображения. Говорили о жизненном уровне. И он и я соглашались, что уровень у нас чертовски высок. Путориус сказал, что он мог бы еще выше быть, если бы все нищие да увечные поздыхали к дьяволу. Путориус вообще парень с юмором и умеет иногда говорить не только о бабах. Ну вот. Значит, мы сидим и разбираем жизненный уровень, который все повышается с каждой стопкой. И тут Путориус вдруг и говорит:

— Марк, а ну, погляди-ка!

Я скосил глаза налево. За столиком сидят парень и девушка. Оба совершеннолетние. Я начинаю приглядываться. У девушки очень тесный джемпер, чертовски тесный. Но кровообращению не мешает. Наоборот, у парня кровообращение даже усиливается. Я замечаю, что парень смотрит на этот девушкин джемпер, как астматик на кислородную подушку. Ее бюст и в самом деле, думаю я, напоминает углы кислородной подушки. Красивая девушка. И мне кажется, она чертовски хорошо пахнет.

Затем я изучаю парня. Нос у него курносый. Да, думаю, под дождем он должен нагибаться, чтобы вода не заливала в ноздри. И странное чувство,— наверно, у меня на это нюх — ох, думаю, он не чистокровный лакониец! Голова круглая, лицо скуластое, глаза карие, а шеи вовсе нет. Явно вражеские черты. И тут я вижу: нюх меня и на этот раз не обманул. Парень вытаскивает из кармана плитку шоколада, развертывает и предлагает девушке. Путориус делает мне знак, и я иду к тому столику. Девушка прячет смущение. Но парень, видно, крепкий орешек. Дает ей шоколад, а на меня ноль внимания, будто бы он меня и не замечает. Тогда я его спрашиваю:

— Метрика при тебе?

— Что? — говорит он, и я замечаю, что у него акцент.

— Метрика,— говорю я,— или другой документ, где значится год и место рождения, имя, профессия и адрес. А если у тебя нет постоянного жилья, то хотя бы имя и год рождения.

Парень начинает дерзить. Он, хоть и ничего не говорит, но я чувствую, что ему хочется сказать: «Пошел ты куда подальше...» или что-то в этом роде. Я еще раз его спрашиваю насчет метрики, и тогда он отвечает:

— Нету. И зонтика тоже нету.

Я не люблю нахалов. Полиция не обязана выслушивать всякую романтику. Я ему — бах! — предъявил полицейский значок и спрашиваю:

— Ты часто покупаешь шоколад?

— Да,— говорит.

— Какой марки?

— «Роза».

— Имя, фамилия? — говорю.

— Бена Поповичкау.

— Это твоя настоящая фамилия?

— Да.

— Родился?

— Так точно.

— Где?

— В Палинодии.

— Чем ты это докажешь?

Парень занервничал. Молчит, ничего не отвечает. Для глупого самое умное — молчать. Но я-то ведь нахожусь при исполнении служебных обязанностей, а не в школе глухонемых. Я ставлю вопрос ребром:

— Этот транзисторный приемник твой?

— Да.

— Дай-ка взглянуть.

— Пожалуйста.

— Так и есть. «Мэйд ин Куропотамиа»... На какую волну настроен? Ага. Ясно. Куропотамская станция. Этого достаточно. Все. А теперь включай первую скорость.

— Что вы хотите сказать?

— Вы арестованы. Пошли помаленьку.

Только тихо, спокойно, чтоб никому не мешать.

Парень только мотает головой на своей короткой шее, но девица горячится. Просто выходит из себя. Она налетает на меня с криком, и тут только я замечаю, какой тесный на ней джемпер. До того тесный, что я боюсь, как бы от него не было мозолей. И пахнет хорошо. Но мне некогда сентиментальничать. Путориус подходит к нам, и в кабачке начинается маленькая суматоха. Путориус подает знак: пошли, мол. Так как девчонка продолжает шуметь и разглагольствует что-то о свободе, приходится взять и ее. Что она знает о свободе в таком тесном джемпере?

Так, значит, мы привезли парочку в участок и стали допрашивать. Цикл сделал анализ шоколада. Затем он обследовал приемник и обнаружил, что батарейки почти совсем разряжены. Из чего можно заключить, что тут очень усердно слушали подрывные передачи из Куропотамии.

Допросив девушку, Путориус предложил отпустить ее поскорее домой. Оказывается, ее отец — видный деятель нашей партии и к тому же генеральный директор большой фирмы. Кстати, я его знаю. Лысый господин и всегда начинает заикаться, когда приходится вносить доллары в избирательный фонд партии. То ли он такой застенчивый, то ли совесть нечиста. Ну, в общем, отпустили мы девицу. Босс позвонил ее папаше и постарался объяснить, что, мол, при тотальной обороне страны возможны иной раз осечки и что порой даже стопроцентный лакониец может предстать в дурном свете, если начнет флиртовать с представителем оппозиционной партии. Он еще что-то сказал ему такое туманное, что я не понял.

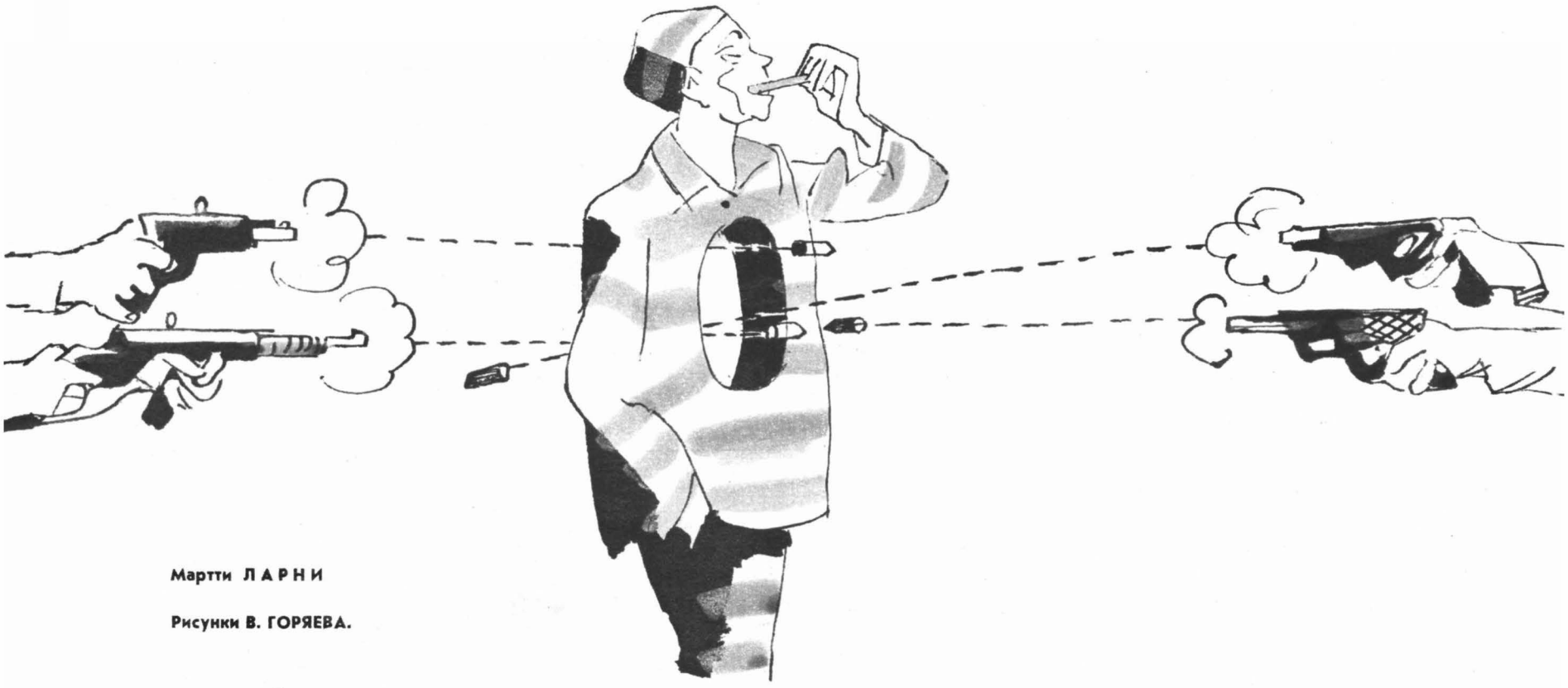
Однако я реалист и люблю действовать прямо. Стоило мне только взяться за дубинку, как этот Бена моментально заговорил. Затем он честь по чести беспрекословно подписал протокол допроса, где признает, что пятнадцатого ноября в девятнадцать часов он действительно купил четыре плитки молочного шоколада «Роза»; что слушал передачи радио Куропотамии; что его родители прибыли как иммигранты из Куропотамии; что сам он исповедует куропотамскую веру и предпочитает куропотамскую кухню и что он учился в одной школе с Титом Проциллусом. Он пока еще отрицает свое участие в убийстве Луция Акантии и ограблении магазина Барбатуса, но подозрения так велики, что я уже могу считать парня полностью виновным.

Посему я распорядился арестовать всех его родичей. Их, правда, чертовски много, потому что куропотамцы страшно плодовиты. И хорошо, что мы их всех задержали, так как среди них оказался один знаменитый снайпер. Хотя сейчас ему уже около девяноста лет. Но это, конечно, не все: дальнейшее дознание, безусловно, выявит и новые улики и отягчающие вину обстоятельства — можете не сомневаться, за нами дело не станет. У меня имеется теория, которую и Путориус одобряет. Она состоит в следующем: все проживающие в нашей стране куропотамцы, без различия пола и возраста, состоят в заговоре против нас. И сейчас было бы лучше всего арестовать их всех и посадить в тюрьмы, и нечего тянуть волынку долгих допросов. Все вышеизложенное я клятвенно подтверждаю и заверяю моей полицейской честью и совестью. У меня лишь одна цель — говорить правду, на благо отчизны, во имя закона и справедливости».

* * *

На другой же день в Лаконии начались массовые аресты. И только теперь люди научились ценить свободу. Сыщик Марк Папиллус отличился в первые дни и был награжден орденом «Рыцаря свободы третьей степени». И тут же он был назначен заместителем начальника вновь организованной колонии заключенных, построенной и оборудованной по последнему слову техники. Секрет успеха никогда не раскрывается неудачникам.

Продолжение следует.



ОБ ЭТ ПОМ

Роман-памфлет

Мартти ЛАРНИ

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

Глава четырнадцатая

Президент Бос Таурус был чрезвычайно доволен развитием событий. Теперь ему и в голову не приходило сделать Энрико Вульвиуса послом. Напротив, он назначил этого талантливого специалиста по уголовным делам на должность пресс-секретаря при правительстве. Согласно тому же распоряжению президента, общее руководство делом Барбатуса возлагалось на Секста-Косоглазого.

Когда все подозрительные элементы были арестованы и сосланы в Аллиумские лагеря заключения, президент выступил по радио и телевидению с трехчасовой речью, которую, думается, нет нужды здесь повторять. Ведь она в свое время публиковалась печатью всего мира. Я слышал, генеральный секретарь ООН был так глубоко взволнован этой речью президента, что плакал навзрыд. Бос Таурус говорил о твердой решимости Лаконии выступить на защиту мира и свободы и призывал союзников не пожалеть усилий и средств на вооружение. Куропотамия представляла собой угрозу всему миру, а потому каждый, кто хочет мира, должен подготовиться к войне и погибнуть с оружием в руках. Мир не может быть сохранен, если маленькая страна Куропотамия не будет стерта с карты мира. Дни Куропотамии были сочтены. Речь шла лишь о моменте, когда президент нажмет маленькую кнопку на своем письменном столе и объявит всеобщую тревогу.

Лакония жила точно в угаре от мира. Газеты, радио, телевидение, захлебываясь, кричали о мире. Поэты писали стихи о мире, композиторы сочиняли победные марши для солдат мира. Особенно изощрялась реклама: «Мир и Свобода» неслось отовсюду. Прическа «Мир», зубная паста «Мир», жевательная резинка «Вкус Мира», часы «Мирное время», купальники «Мирные волны», лифчики «Дары Мира»... В то же время производство автоматического оружия головокружительно росло, а производственные расходы неуклонно снижались благодаря правильной организации и автоматизации массового поточного производства. Обращение президента нашло отклик и у отцов церкви: они заново придумали муки ада, чтобы, воздействуя на людей страхом, хоть немного отвлечь их от исключительной заботы о земных благах. В условиях чрезвычайного положения, введенного в Лаконии, мирный дух настолько поднялся после выступления президента, что следующей же ночью в Палинодии произошло две сотни мирных уличных сражений и несколько сексуальных убийств, не считая отдельных случайных выстрелов. Я, пожалуй, недостаточно хорошо знаю психологию, чтобы проанализировать все эмоциональные мотивы человеческих поступков, но мне думается, война и мир так же близки и неразделимы, как боль и наслаждение. Ради мира приходится воевать, а ради войн — устраивать иногда мир, чтобы иметь возможность спокойно готовиться к следующей войне.

Эти вечнозеленые проблемы человечества обсуждались, в частности, и на пресс-конференции, которую устроил в одном из залов правительственного дворца Энрико Вульвиус. Собравшимся был роздан текст официального сообщения, а также многочисленные фотоматериалы, разоблачающие агрессивные замыслы Куропотамии. Особый интерес вызвал документальный фильм, показывающий, как произошло убийство Луция Акантии. Сценарий, режиссура, съемки и монтаж фильма доказывали высокий художественный, технический и морально-этический уровень нашего киноискусства. Редко увидишь столь потрясающий и столь убедительный кинорепортаж, как этот, изготовленный нашими вездесущими мастерами кинохроники.

Поскольку фильм пришлось впоследствии уничтожить, я коротко расскажу вам его содержание.

Тайная разведывательная служба Куропотамии дозналась, что Луций Акантия собирался рассказать на суде — присяжным и представителям прессы — всю правду о своднике Микротусе и его подручном Гуло, которых застрелили в воротах следственной тюрьмы. Луций Акантия направлялся в тюремную часовню, чтобы помолиться, как вдруг к нему приблизился одетый в арестантскую форму агент иностранной державы. Сунув в руку Акантии записку, он тут же исчез в извилистом тюремном коридоре. В записке предлагалось Акантии выйти во двор тюрьмы ровно к пяти часам утра, где его будет ждать приятный сюрприз. О стражниках он может не беспокоиться, так как им щедро заплачено. Не предполагая опасности, Акантия вышел из своей камеры ровно в пять утра и беспрепятственно прибыл к назначенному месту во дворе тюрьмы. На гребне стены сидел Бена Поповичкау, который, не говоря ни слова, бросил ему плитку шоколада. Тут же развернув ее, Акантия стал пожирать шоколад. В это время на стене появились снайперы, подававшие Бене световые сигналы. Тот сразу понял, что требуется заманить жертву на открытое место посреди двора. Соответственно с этим он кинул две плитки шоколада достаточно далеко от стены и, когда Акантия поспешил поднять их, пообещал ему бросить еще. Акантия ждал, приготовясь поймать шоколадку, и тут единым залпом прозвучали выстрелы. По ту сторону стены стояли на карауле полтора десятка куропотамцев, проживающих в Лаконии; они приняли убийц в свои машины и скрылись в тот самый момент, когда тюремные часовые по сигналу тревоги сбежались к месту происшествия.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—32.

Просмотрев фильм, журналисты начали задавать пресс-секретарю Вульвиусу вопросы. Представитель французского телеграфного агентства Гастон Пари спросил:

— Господин пресс-секретарь! Нельзя ли узнать имя человека, который столь удачно исполнил роль Луция Акантии?

— Это был сам Луций Акантия, лично,— ответил Вульвиус.

— Но ведь его нет в живых, он убит.

— Он был застрелен во время съемки.

— Простите меня, господин пресс-секретарь, значит, вы хотите сказать, что данный фильм аутентичен?

— Ну, разумеется. Вы же сами видели.

Гастон Пари, очевидно, сомневался, как и все французы, наивно полагающие, что кинофильмы умеют делать только во Франции. Мосье Пари продолжал наседать на Вульвиуса:

— Господин пресс-секретарь! Как могло случиться, что кинооператоры в момент убийства находились на своих постах? Неужели они знали заранее?

— Это обстоятельство нами еще не изучалось, да, впрочем, оно не имеет существенного значения.

— Мне кажется, имеет. Я сам кинорепортер, и мне как специалисту было бы интересно получить ответ на следующие вопросы: 1) Поскольку фильм снимался тремя камерами и для движения камеры во время съемки были необходимы рельсы, много осветительной аппаратуры и большой технический персонал, то как могло случиться, что убийцы не помешали сложной работе съемочной бригады? 2) Поскольку в Луция Акантию стреляли из четырех автоматических винтовок, как можно объяснить, что у него оказалось лишь одно пулевое отверстие и то на спине? 3) Каким образом кинооператоры проникли во двор тюрьмы и снимали жертву крупным планом, с близкого расстояния? 4) Переодевался ли Луций Акантия во время съемок? На общих планах мы видели его в обычном арестантском костюме, а на крупных — он в шерстяной рубашке.

Вульвиус не впервой сталкивался с любопытными журналистами. Он ответил спокойно и с достоинством:

— Ваш первый вопрос чисто технического характера. Действующий в нашей стране закон о промышленном шпионаже не разрешает мне подробно рассказывать здесь о способах движения съемочной камеры. Лаконня — самая передовая страна мира в техническом отношении. В настоящее время мы можем укрыть камеры в таких местах, где они никому не помешают. На второй ваш вопрос ответить легче: все убийцы были отличными снайперами, так что их пули попали точно в одно и то же отверстие. Третий вопрос показывает, что вы не знаете современной съемочной техники. Наши операторы снимают крупные планы при помощи специальной оптики с расстояния в сорок и в сто метров, так что им вовсе не потребовалось ходить по двору и приближаться к жертве, как вы дилетантски предположили. Ваш четвертый вопрос основан, очевидно, на обмане зрения. Луций Акантия не менял костюма во время съемки, хотя у него и была возможность для этого, потому что Лаконня — страна высокого жизненного уровня, где заключенные имеют достаточный выбор одежды.

Ответ Вульвиуса был награжден аплодисментами и возгласами «Да здравствует Лаконня!», но упорный француз все еще не был удовлетворен. Он жаждал дополнительных сведений о лаконийском кино. Вульвиус порекомендовал ему съездить в столицу нашего кино — Галлиум, где один поцелуй француженки оценивается в тысячу долларов, а душа француза — в 50 центов. Развязный француз заявил, что он там был, но не получил ничего, кроме венерической болезни. За столь бесцеремонное саморазоблачение Гастон Пари получил предписание покинуть Лаконию в двадцать четыре часа. Он удалился и на следующий же день опубликовал в какой-то вечерней газете Парижа статью «Снимки раскрывают обман». Он писал, что получил от пресс-секретаря Вульвиуса снимки, оказавшиеся поддельными. Он посмел утверждать, что убийцы Луция Акантии — в том числе и Бена Поповичкау — вовсе не куропотамцы, а молодые актеры Национального театра Палинодии, которым позже примонтировали совсем другие головы. Статья вызвала возмущение во всем цивилизованном мире. Каждый просвещенный человек отлично знал, что следствие по делу Барбатуса велось тщательно и с огромным пиететом. Министерство иностранных дел Лаконии решило направить ноту французскому правительству, но вмешался президент Бос Таурус. Кто-то сказал ему, что во Франции тоже есть талантливые фотографы, которые умеют ретушировать, изменять и монтировать снимки. К тому же он считал, что неделикатно докучать французскому правительству делом Барбатуса, когда у него и без того довольно хлопот с Алжиром, Брижитт Бардо и недородом винограда.

Гастон Пари был не единственный иностранный журналист, которому пришлось срочно покинуть Лаконию за нелояльное поведение на пресс-конференции Вульвиуса. Один из представителей Скандинавии назвал историю потрясающего убийства Акантии «забавной сказочкой для детей». Он сказал:

— Если я пошлю в Стокгольм сообщение о том, что Луций Акантия попался в шоколадную западню и за это поплатился своей драгоценной жизнью, над моим рассказом будут смеяться даже в королевском дворце. Не лучше ли было сказать, что Акантию, который, кажется, был не дурак выпить, выманили из камеры чем-то более действенным? Могли бы ему посулить, например, бутылку шведского пунша или полштофа датского аквавита...

Последние слова скандинава потонули в бурных возгласах протеста; его тут же удалили из зала и отвезли прямо в аэропорт. Однако обмена нотами и в данном случае не последовало.

Корреспондент из Марокко хотел узнать, какова же связь между убийством Акантии и ограблением Барбатуса. Вульвиус дал, по-моему, необычайно убедительный и подробный ответ, который все же не удовлетворил грамотного мусульманина. Последний даже повысил голос:

— Господин пресс-секретарь! Если собака укусит человека, это не заинтересует редакцию новостей. Но если журналист кусает собаку, такое известие можно напечатать даже на первой полосе. Я не могу понять, каким образом ограбление ювелирного магазина способно вызвать международные осложнения и угрозу войны. Скажите мне, господин пресс-секретарь, не может ли Лаконня объявить войну Марокко, если ваша уважаемая супруга будет найдена в спальне одного из лаконийских чиновников за чтением арабских сказок? Скажите мне...

— Ближе к делу! — прервал марокканца председатель.

Пресс-секретарь сохранял завидное спокойствие. Он ответил марокканскому журналисту:

— Видите ли, дело Барбатуса очень сложно, необычайно сложно. Оно перешло границы обычного судебного процесса, распространяясь, так сказать, по всем измерениям, и затронуло множество вопросов...

— Сейчас решается вопрос о мире и о войне!—воскликнул мусульманин.—Вы, лаконийцы, стали империалистами и колониалистами, вы ищете любой возможности перешагнуть границы и распространиться, не считаясь нисколько с интересами народов. Вы даже в наших домотканых коврах видите четыре измерения: длину, ширину, толщину и цену! Но если я напишу в свою газету об этом, меня немедленно отзовут домой...

Этому журналисту тоже предложили срочно покинуть пределы Лаконии. Достойно сожаления, что среди журналистов всегда находятся отдельные неисправимые скептики, которые создают за границей неблагоприятное представление о Лаконии. Зато финский корреспондент являл собой отрадное исключение. Он посылал информационному агентству своей страны все без исключения новости, которые составлялись и редактировались в информационном агентстве Лаконии. Таким образом он сохранял добрые отношения с Лаконией и в то же время избегал изнурительной мозговой работы. Но я же всегда говорил, что финны великолепны. К тому же они еще и скромны настолько, что ждут обыкновенно, чтобы им говорили спасибо дважды. Больше всего они меня умиляют, когда достигают той степени опьянения, при которой человек становится глубокомысленным, утрачивая способность что-либо говорить.

ОМ АЛКИВАЮТ

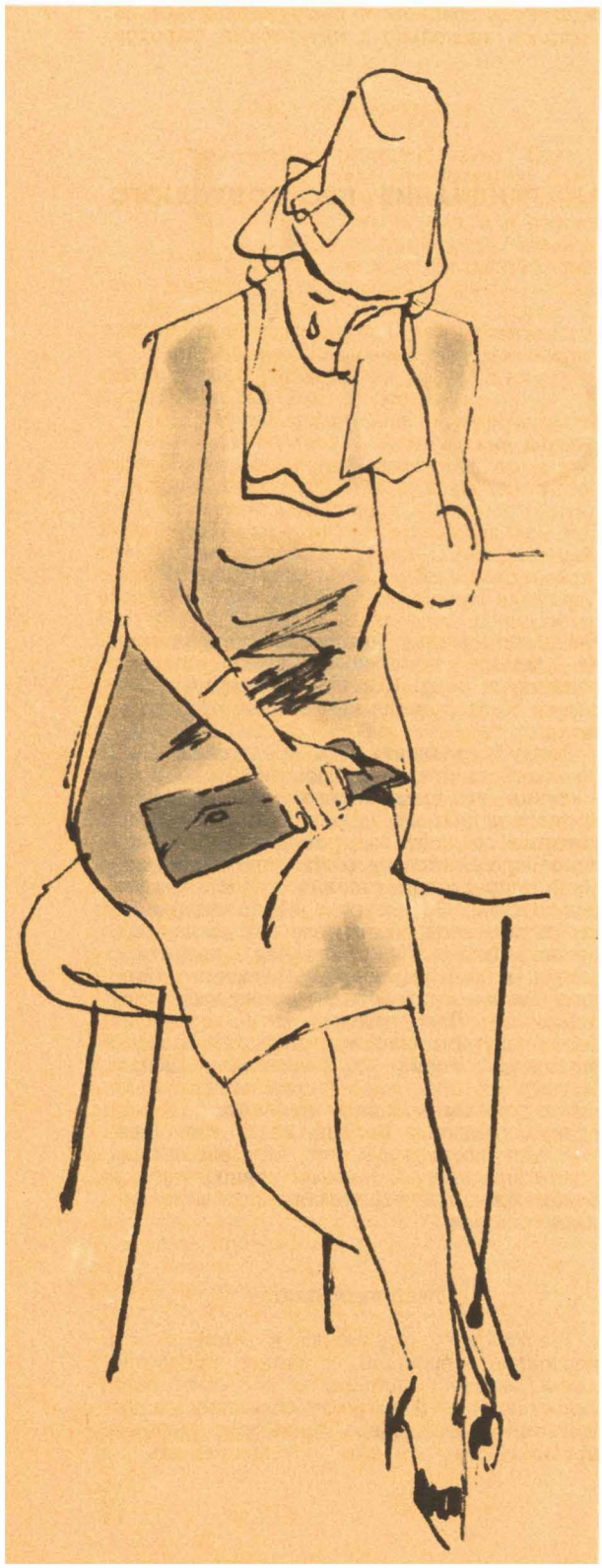
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Глава пятнадцатая

Р е п т и л и и относились к войне за мир несколько сдержанно. В палате представителей делались запросы, в которых правительство у г р е й попросту обвинялось в поджигании войны. Двое министров бывшего правительства уехали путешествовать за

границу и там принялись чернить свою родину. Но они прогадали, так как имущество их было тут же конфисковано и передано в распоряжение государства. Хотя история и повторялась, некоторые граждане с трудом усваивали ее уроки. Эти люди не понимали и не желали понять, что для укрепления нашего мира и нашей свободы самое лучшее и верное средство — устроить хорошенькую войну. С точки зрения религиозно-нравственной война есть благо, ибо она дает вечный мир миллионам душ. Да, собственно, достаточно одного Барбатуса, чтобы Лакония считала себя вправе выступить на защиту своей свободы. И Лакония была готова совершить акцию мира с чистым сердцем и душой, со всей прямотой своих чистых газовых пушек. Как прекрасно сказал президент Бос Таурус в исторической речи по радио и телевидению: «Лакония идет в мир как Спаситель, которого не удастся распять на кресте. Я предупреждаю тех, кто пытается угрожать нашей неограниченной свободе: кто за меч возьмется, тот от нашего газа уснет вечным сном...»

Укрепление идеи мира доставило министерству полиции массу сверхурочной работы. Ежедневно приходилось арестовывать



смутьянов. Это были люди, которые слишком поверхностно поняли обращение президента и правительственное воззвание. Им, видите ли, казалось, что призывы к миру не вяжутся с военными приготовлениями. Для их вразумления пришлось срочно создать много новых лагерей заключения и оплачивать огромные штаты охранников. В Палинодии и в других крупных городах происходили время от времени незначительные нарушения порядка, зачинщиками коих были бастующие сыщики. Положение изменилось решительным образом после девятнадцатого ноября, когда государственный уполномоченный по разрешению трудовых конфликтов начал переговоры с представителями сыщиков. Через два дня удалось подписать новое трудовое соглашение, гарантировавшее государственным сыщикам следующие дополнительные льготы: сыщикам предоставлялось право самим выбирать дела для расследования и отказываться от невыгодных дел; им разрешалось играть с арестованными в карты; государственная финансовая инспекция не имела права интересоваться их расходами на представительство; государство принимало на себя оплату их страховых взносов и заграничных поездок; им обеспечивались похороны за счет государства.

Когда радио и телевидение в экстренных выпусках новостей сообщили об окончании забастовки, господин Барбатус горячо поздравил меня и пригласил поужинать у них дома. В моем положении следовало тщательно выбирать знакомства. Встречаться с деятелями оппозиции, было, пожалуй, рискованно, особенно сейчас, когда государственные сыщики, хорошо отдохнув, наконец-то дорвались до работы. Во избежание ненужных подозрений я тут же сказал премьер-министру, что собираюсь поужинать в доме известной р е п т и л и и.

— Кто кому дает взятку? — спросил премьер-министр.

— Никто никому. Визит чисто формальный.

— Содержание беседы обусловлено заранее?

— У нас лишь одна тема: расследование обстоятельств ограбления ювелирного магазина.

— Когда начнется процесс?

— Как только соберут присяжных. Пока удалось отобрать четверых.

— А подсудимых сколько?

— Главных обвиняемых — шестнадцать.

— А всего?

— Около шести тысяч.

— Может, дело прекратится без суда?

— Это зависит от общей обстановки.

— Всеобщая тревога будет объявлена, вероятно, завтра. Наши войска заняли оборонительные рубежи и готовы к броску. Главнокомандующий уверен, что захват Куропотамии продлится не более полутора суток. Кстати, у Барбатуса красивая жена?

— Очаровательная. Мы применим ядовитые газы?

— Нет, по крайней мере, не в самом начале. Она, кажется, и умна?

— Я ее не знаю. В какое время будет объявлена тревога?

— Президент примет решение сегодня вечером. Я слышал, она не слишком добродетельна.

— Добродетель сопутствует уму, редко — красоте.

— Твое определение годится лишь для женщин. Ведь мужчина всегда добродетелен, насколько позволяют обстоятельства; женщина же, напротив, порочна настолько, насколько у нее хватает смелости. Так-то, друг мой Тимидус! Как далеко она рискует зайти?

— Кто?

— Ламелла.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать.

— Именно то, что ты слышишь. Только форма моего вопроса, может быть, немножко неделикатна.

— За мной, стало быть, следят?

— Точно так же, как и за мной. Разница лишь в том, что я не имею сыскной конторы, а пользуюсь услугами твоих же людей. Итак, четырехнедельная слежка закончилась вничью. Будем продолжать?

— Хочешь загнать меня в угол?

— Так же, как ты меня. Ты делаешь обходный маневр конем, угрожая моей королеве. Ход, однако, не очень умный: он открывает дорогу моему слону. Оставь-ка лучше своего коня, пусть он охраняет Ламеллу, и подвинь какую-нибудь пешку, Тимидус. Ты не глуп, но тебе не хватает тонкого математического чутья. Ты слишком рвешься в атаку и не учитываешь возможной контратаки противника.

— Какой ход ты собираешься сделать?

— Мы ведь начинаем новую игру. Твоя очередь играть белыми, так что первый ход должен сделать ты. Тебя все еще интересуют украшения моей жены?

— Меньше, чем тебя интересует госпожа Барбатус.

— В таком случае мы можем снова согласиться на ничью. Я очень сожалею, если немного испортил тебе приятный вечер, а может быть, даже и всю ночь? Пусть будет снова ничья. Я, видишь ли, лишился спокойного сна с тех пор, как ты науськал Фабия принюхиваться к бриллиантам моей жены.

— Это было недоразумение, чистое недоразумение.

— Хорошо, Тимидус. Поставим на этом крест. Пусть наши сыщики получат наконец передышку, а мы сможем спокойно готовиться к завтрашней игре, когда шахматной доской будет республика Лакония и первый ход сделают наши тяжелые бомбардировщики. Насколько мне известно, вечер у Гнея Барбатуса — это не просто вкусный стол. Это ритуал. Постарайся насладиться им до конца. Забудь прошлое и освободи от цепей Варавву. Я убедился на собственном опыте, что питье не помогает от бессонницы, но заполняет пустоту вынужденного бдения. До свидания, Тимидус!

* * *

За весь вечер господин Барбатус не сказал ни слова о своих прежних заботах: ни об ограблении магазина, ни о предстоящем процессе. Зато он сокрушался об участи брата своей жены, Валериана Пулекса, павшего жертвой столь естественной и простительной человеческой ошибки.

— Такой правдивый и честный юноша!

— Охотно верю, — подтвердил я.

— Он и стихи писал, — сказала Ламелла и всхлипнула.

— Ну, конечно, нельзя же ему быть вовсе без греха! — воскликнул господин Барбатус, содрогнувшись. — Такие стихи мог бы писать и я. Одно слово оттуда, другое отсюда.

— Прекрасные темные стихи, — вступилась Ламелла. — Самые темные, какие я когда-либо слышала. Валериан ведь абсурдист или что-то в этом роде. И он был так красив! Ни один лаконийский поэт не носил такой прелестной бородки, как мой брат. Это была настоящая поэтическая бородка. Я никогда не забуду его бородки...

Господин Барбатус начал терять терпение.

— Борода, бородка! Я лично не выношу бородатой поэзии. Но у парня в самом деле было что-то кроме растительности. Говорил он блестяще. Да и писать умел.

— А его глаза! — воскликнула Ламелла. — Такие честные, пламенные и нежные. Вы ведь его видели, господин министр?

— Видел, мадам. Действительно, пламенные...

— А какой голос! Что за сила в каждом слове! Вы ведь его слышали, господин министр?

— Слышал, мадам...

— И ведь он говорил правду, только правду. Ведь верно, господин министр?

— Да, мадам, сущую правду...

— Вот поэтому-то он и должен был умереть.

— Должен! Что значит должен? — Господин Барбатус возмутился, бросил салфетку в супницу и углубился в себя. — Я при-

гласил господина министра не затем, чтобы толковать о поэзии.

— Смерть моего брата тебя нисколько не трогает,— сказала Ламелла.

— Право же, трогает, но не на весь вечер. К тому же Валериан был тебе лишь сводным братом. Конечно, он честный. Я ничего не говорю. Но кто же среди нас нечестен? Во всяком случае, не я.

— Во всяком случае, ты бы мог проявить вежливость по отношению к жене.

— Неужели я еще должен делать вид? Это уж было бы нечестно. Ламелла, да перестань, наконец, хныкать!

Жене пришлось умолкнуть. Господин Барбатус желал поговорить со мной конфиденциально, с глазу на глаз. Оторвавшись от трапезы, мы перешли в кабинет. Я чувствовал себя не в своей тарелке, но такова уж роль любовника. Я не испытывал робости, или смущения, или так называемых угрызений совести, когда пил с хозяином дома «за нашу дружбу». Мучительное чувство возникло скорее оттого, что я не мог проявить себя рыцарем, видя унижение Ламеллы. Одни пустые вежливости да жалкое спасибо. Все эти патентованные добродетели решительно делали харакири, как только я встречался взглядом с господином Барбатусом. При нашей политической выучке мы оба отлично понимали, что тот, кто расточает комплименты, ничего не отдает, а кто их принимает, получает еще меньше.

Господин Барбатус желал знать, начнется ли война, и если начнется, то когда. Я не мог ответить ему точно, поскольку сам этого не знал. Конечно, я, как и все граждане, пекущиеся о благе отчизны, хотел, чтобы война вспыхнула как можно скорее. Война сразу покончила бы с проблемами мира, а заодно и с делом Барбатуса, поскольку все дело автоматически было бы передано в архив.

— Ведь у Лаконии подавляющее превосходство,— сказал господин Барбатус.

— Да. Покорение Куропотамии займет лишь два дня.

— Но все же, я думаю, оно потребует кое-каких жертв.

— Свобода всегда требует жертв.

— Наверное, делались предварительные расчеты?

— Главное статистическое управление предполагает, что в собственно очистительных операциях может погибнуть восемь тысяч человек; от возможных воздушных бомбардировок погибнет две тысячи душ гражданского населения и от случайных выстрелов — еще примерно тысяча; кроме того, должно умереть обычное количество престарелых и сердечных больных — кто от потрясения, кто просто от страха. Самоубийства тоже учтены.

Господин Барбатус быстро записывал цифры, подсчитывал и рассуждал вслух:

— Восемь тысяч, две тысячи, тысяча и три тысячи... Четырнадцать тысяч. При несколько более оптимистической оценке, возможно, и все шестнадцать тысяч. А кроме того, тяжело раненные, из которых, наверно, помрет каждый третий.

Он заложил карандаш за ухо и бросил на меня взгляд, полный надежды.

— Не следует ли нам исходить из того предположения, что мир и свобода Лаконии потребуют двадцати пяти тысяч жертв?

— Трудно сказать. Как вы понимаете, цифры главного статистического управления основаны лишь на предположительных оценках.

— Значит, и вы считаете, что двадцать пять тысяч можно принять за минимум? Скажите мне, господин министр, неужели мои расчеты слишком оптимистичны?

Там, где пессимист видел только мрачные перспективы, оптимисту представлялись отличные возможности. Господин Гней Барбатус, бывший министр внутренних дел, был прежде всего деловой человек. Из университета он вынес лишь собственное «я», но из деловой деятельности он выжимал все, что возможно,— до последнего центика. Вот почему я нисколько не удивился, когда услышал его предложение, вполне типичное для нынешнего делового мира. Господин

Барбатус был приятно под хмельком, говорил сдержанно и солидно, стараясь не слишком увлекаться. Время от времени проверял свою выдержку: вставал, делал несколько шагов по комнате и снова садился. Он изложил мне следующий план:

— Чрезвычайное положение вызвало у населения покупательный порыв. Бедные запасают муку, соль и табак, состоятельные — драгоценные камни и золото. Моя фирма обслуживает состоятельных. Вернее сказать— обслуживала, ибо все мои запасы распроданы. Теперь у меня возникли чрезвычайные трудности с помещением капитала. Преступно оставлять деньги без движения, поскольку их назначение — быть неутомимыми слугами человечества. Я не пьян, господин министр, хотя и сбиваюсь на возвышенный стиль. Я все думаю об этих двадцати пяти тысячах и об их родственниках. Я бы хотел оказывать им помощь. У меня есть к этому призвание, внутренняя потребность. Цель моей жизни — утешить горюющих родственников. Я не священник и не врач. Я верный гражданин Лаконии, который желает вложить свои средства в дело служения человечеству. И тут, господин министр, я подхожу к тому, ради чего я позволил себе побеспокоить вас: не можете ли вы мне помочь?

— В устройстве ваших денег?

— Вот именно. Именно! Вы сразу почувствовали, в чем дело.

— Стало быть, вы хотите благотворительствовать?

— Что-то в этом роде. Действительно, я ведь известным образом жертвую человечеству свои средства и силы. Не подумайте, что я пьян. Я вижу в вас близкое по духу человеческое существо, симпатичное и разумное существо, у которого имеется влиятельное положение, безупречная репутация и нет собственных коммерческих предприятий. Так вы согласны помочь мне?

Кто бы на моем месте смог ответить отрицательно?

— Может быть, разумнее всего было бы организовать фонд, который носил бы ваше

имя? Но всеми такими фондами ведает министерство юстиции.

— Все это я знаю. Вы только не подумайте, что Гней Барбатус пьян и сам не знает, что говорит. Поищите-ка в этот час в Палинодии более трезвого человека. Не сыщете! Давайте выпьем за процветание Лаконии! Э, только не передергивать! Пейте до дна так же, как и я. Хорошее снадобье, не правда ли? Это дело не касается ни министерства юстиции, ни министерства внутренних дел, ни социального министерства, ни министерства полиции. Это — частное дело обыкновенных порядочных людей. Вы порядочный человек, господин министр. Вы разрешите мне называть вас просто — Лепус Тимидус? Я Гней Барбатус, бывший министр внутренних дел и деловой человек. Я хотел бы быть вашим другом и даже больше: компаньоном. Я даю деньги, а вы — ваше имя.

— Вы слишком скромны, господин Барбатус. По-моему, кто жертвует столь многим на благо общества, не должен оставаться в тени. Я полагаю, надо назвать фонд вашим именем.

— Нет, нет. Никакого фонда. Я ведь все-таки не пьян.

— Однако, господин Барбатус, что же вы тогда хотите основать?

— Национальное похоронное бюро. Да не смотрите на меня так пристально, я совершенно трезв. И спрячьте ваши часы, вам некуда спешить. Если война начнется, она начнется без вас.

— Правительство запрещает всякое упоминание о войне. Речь идет о защите мира и свободы.

— Так будем говорить о мире и свободе. Суть дела все же в том, что покойников будет, как минимум, двадцать пять тысяч. Это, конечно, подозрительно мало, но статистики — известные пессимисты. Готов биться об заклад, что потери будут больше сорока тысяч. Тимидус! Я предлагаю пари! Если я проиграю, можешь забрать мою жену. Постой, не спеши уходить. Если ты сомневаешься, думаешь, что я пьян, то даю тебе гарантию... Ну, не надо, не надо. Не обижайся. Прости мою бестактность. Последнее время я действительно пил несколько сверх меры. Господин министр, позвольте, я все-таки изложу вам мой план. Вы только сядьте и послушайте. Не угодно ли чего-нибудь солененького?

— Спасибо, мне ничего не нужно...

— Тогда разрешите, я продолжу. По коммерческому регистру я выяснил, кому принадлежат кладбища и похоронные бюро Лаконии. Среди владельцев нет ни одного члена нынешнего правительства. Это не пьяная болтовня, а истина, господин министр. Так вот мое предложение, над которым я думал две недели. И основательно. Надо создать Национальное похоронное бюро, которому правительство даст монопольные права. Мое предложение, конечно, не пройдет. Но если вы, господин министр, доложите правительству, его утвердят без долгих прений и предложат еще государственную субсидию. Но нам она не нужна, потому что у меня самого достаточно средств для финансирования предприятия. Не я захмелел, а вы! Я же сказал: спрячь ты свои часы в карман и слушай! Да, господин министр. Похоронная монополия вообще — а во время горячего мира в особенности — дело высокорентабельное. Две тысячи долларов с каждого покойника. Помножьте это на двадцать пять тысяч, господин министр. Я вам помогу. Не правда ли, получается пятьдесят миллионов? А две тысячи — минимальная цена. Но кто же так презирает милых родственников, чтобы хоронить их по минимальной цене? Нет, каждый предпочтет приличные похороны. А в таком случае цены колеблются от трех до десяти тысяч! Будем осторожными, господин министр, и возьмем за основу расчетов три тысячи. За две недели наш оборот составит... ни много ни мало — семьдесят пять миллионов. А чистый остаток (не нужно говорить о прибыли, когда речь идет о деятельности, направленной на всеобщее благо!), чистый остаток составит миллионов десять. Я получу из остатка свою долю соответственно вложенному капиталу, а вы получите кругленький миллион — за ваше доброе имя и репутацию. Что скажете? Я пьян? Нет, черт побери! Я не помню, когда еще я был настолько трезв. Я люблю последовательность. Меня приводит в ярость нынешняя постановка похоронного дела. Совершенно отсутствует плановость. Нужна продуманность. Нужен размах. И торжественность! А нынче может любой кустарь... может нынче любой кустарь... нынче. Э-эх! Выпьем, брат мой. Это протрезвляет... Я не пьян нисколечко. А если я и захмелел, то рассудок у меня совершенно ясный. Смысл? Не спешите. Позвольте мне продолжить. Мы скупим разом все похоронные бюро Лаконии и объединим их в одно предприятие. Концентрация, концентрация — вот что необходимо в нашей стране! Я дал задание моим экономистам детально все подсчитать. Я могу вложить в предприятие восемьдесят миллионов, которые распределяются примерно так: тридцать миллионов на строительство новых бюро и на ремонт старых помещений, двадцать пять миллионов на постройку завода гробов, пять миллионов на приобретение земли для кладбищ... Будем покупать исключительно красивые южные склоны, с хорошим видом... Остальное — оборотный капитал. Нет, нет, никакого риска. Все продумано до конца. Согласно действующим в Лаконии законам, покойников полагается бальзамировать перед захоронением. Надо внести в закон поправку. Я предлагаю вместо бальзамирования применить новейший способ консервации: тело погружается на несколько мгновений в жидкую синтетическую смолу, которая затем полимеризуется, образуя прочную пленку. Это удобно, практично и стоит гораздо дешевле. Производственные затраты снижаются... снижаются... Нет, я не сплю. Я только стараюсь представить себе... Мне хочется помечтать!.. Сейчас мне не нужно видеть ни вас... никого... Вы слышите музыку? Как будто играет орган? Да. Смотрите! Закройте глаза и смотрите!

Продолжение следует.

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

ОБ ЭТОМ ПОМА

Красивая вдова ищет у меня помощи. Я подношу ей букет роз.

— Смерть — серьезное дело, госпожа Алалус. Ваш супруг погиб во славу отечества?

— Во славу? Его застрелили в кабаке.

— За какую-то идею, во всяком случае. Вы любите его превыше всего на свете?

— Еще чего! Он был гангстер, пьяница и вор.

— Вы произносите жестокие слова перед неисповедимым величием смерти, госпожа Алалус. Ваш муж перенесся в вечность, и да простятся ему все прегрешения бренной жизни. Теперь он ангел небесный, и память его надо уважать.

— Да, были у него и хорошие качества. Он умел биться об заклад, хорошо играл в карты, отлично танцевал и бесподобно подделывал подписи. Конечно, он немножко попивал, но, надо признать, никогда не ломал мебели и не бил меня по лицу.

— Я не могу сдержать слез, госпожа Алалус... Горе легло на ваши плечи тяжким бременем, но я помогу вам нести его. Я поставил целью моей жизни утешать людей в горе.

— Благодарю вас, господин Барбатус. Вы благородный человек.

— Я всего лишь покорный слуга человечества. Была ли жизнь вашего супруга застрахована?

— Была. Я платила страховые взносы... Страховка на десять тысяч...

— Не плачьте, госпожа Алалус. Я облегчу ваше бремя. Подпишите вот это торговое соглашение, и наша фирма позаботится о похоронах.

— С удовольствием, господин Барбатус. Я хотела бы похоронить мужа как можно дешевле и проще. Ведь я бедная вдова.

— Когда речь идет о последней услуге нашим любимым, тогда нельзя думать о том, сколько это стоит. Уверен, что вам понравится этот современный зал. В дни нашей молодости таких еще не было. Так-то, друг мой. Взгляните вот сюда, на гробы. Как вам нравится эта модель? Пружинный матрас, обивка — натуральный шелк, каркас и отделка из нержавеющей стали, а в изголовье вмонтирован радиоприемник. Вы можете настроить его на волну одной из наших благочестивейших станций — «Голос рая», «Спасение» — или на передатчик вашей приходской церкви. Как видите, гроб изготовлен из сандалового дерева и снабжен вентиляцией. Акустика необычайно хороша. Цена — две тысячи лаконийских долларов.

— Две тысячи долларов! Это же мой годовой заработок.

— Прошу вас, не думайте о цене перед светлой памятью любимого существа, завещавшего вам свою страховку. Госпожа Алалус, не угодно ли послушать духовную музыку? У нас огромный выбор. Вот в этом списке все лучшее, что когда-либо исполнялось на электрооргане. Ничего подобного не было в дни нашей юности и даже совсем еще недавно, когда похоронные бюро находились в руках тысяч мелких предпринимателей. Может быть, вы выберете вот это: «Смерть не разлучит нас, любимый». Мелодия вам, конечно, знакома. Пьеса получила первую премию на конкурсе мелодий, устроенном нашей фирмой.

— Красиво, красиво...

— Не плачьте, госпожа Алалус. Разрешите предложить вам бокал вина? Пожалуйста, госпожа Алалус. Выпьемте в память вашего дорогого супруга. Так вы выбрали этот гроб? Хорошо. Уверяю вас, вы сделали самую удачную покупку в своей жизни. Позвольте, я и впредь буду помогать вам! Предписываемое законом бальзамирование мы на этой неделе выполняем по льготной цене.

— Сколько?

— Тысяча лаконийских долларов. Но, кроме того, придется еще немного доплатить за дополнительные операции. Лоб покойного обезображен пулевой раной. Мы ее изящно закроем, так что не будет видно и следа. За это начисляем двести долларов. Ну, потом бритье, косметика, стрижка, прическа, окраска волос...

— К чему такая роскошь! Вы меня разоряете.

— Госпожа Алалус! К святому делу не следует относиться легкомысленно! Покойнику совершенно необходимы косметические процедуры, так как иначе его нельзя и людям показать. Чем лучше покойник ухожен, чем наряднее одет, тем дольше друзья и родственники пробудут на его поминках, где коктейли подаются бесплатно за счет нашей фирмы. Вы уж доверьтесь нам. Мы сделаем вечерний грим, сошьем покойнику костюм по мерке и новые ботинки...

— И ботинки?

— Ну, разумеется, госпожа Алалус. Нельзя же уложить покойного в гроб в стоптанных штиблетах. Это было бы просто надругательством. Белье, сорочку и галстук я попрошу вас подобрать в том зале. У нас все самое модное. А теперь давайте выберем

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—33.

место погребения. Взгляните на фото. Не правда ли, восхитительный южный склон? Место под сенью дуба вы получите за тысячу долларов. Вон у того платана места подороже.

— А нет ли подешевле?

— Госпожа Алалус! Вы опять о деньгах! У ложа смерти надо забыть все земное. Когда вы встретите вашего супруга на небесах...

— Боже упаси, я не желаю встречаться с ним ни при каких обстоятельствах!

— Друг мой, я опять не могу сдержать слез. Я вижу вашего мужа, как живого. Вот он сидит на возвышении в зале церемоний, смотрит на своих друзей, слушает душеспасительную музыку — и весь точно светится. Он чище и красивее всех нас. Друзья осматривают его костюм и замечают, что сшит он из лучшего английского габардина и что ручные часы — последний памятный подарок покойному — идут точно, минута в минуту. И ботинки покойнику не жмут, и воротничок ему не тесен. Герой торжества, лицом подобный ангелу, знает, что через минуту его уложат в комфортабельный гроб, затем отправят в скоросжигающую печь и далее к месту вечного успокоения. А там — прекрасный вид на шоссе, по которому в лучшие дни свои он шел под руку с любимой женщиной... Вы плачете, госпожа Алалус! Наше бюро постарается осушить ваши слезы. Мы пришлем вам счет на восемь тысяч лаконийских долларов минус пять процентов, которые вы внесете наличными. Я же знал, что в такую минуту вы не станете думать о деньгах. Благодарю вас, госпожа Алалус! Налить вам еще бокал вина? Прошу вас. И никогда не говорите, что умереть в Лаконии — слишком дорогое удовольствие. Лакония — это страна необычайно высокого уровня жизни, которым большинство лаконийцев успевают воспользоваться лишь после смерти...

Я не пьян... Но меня клонит ко сну... Ламелла! Раздень меня и уложи в постель... Я заключил отличную сделку... Он согласился, согласился этот... как его... Как, бишь, зовут этого мерзавца?.. Этого министра полиции... который убил Валериана Пулекса... Ну, да бог с ним! Я получил монополию — и теперь наступают хорошие времена... Люди начнут умирать, как мухи, а я их буду хоронить... Я. Нет, я! Я единственный подрядчик похоронного дела в Лаконии! Разве ты не понимаешь, ты, жалкая потаскушка, что это — отличное приложение капитала?.. Я не пьян. Я устал, ужасно устал... Уф! Душно... Не дави за горло... Акустика... В гробу великолепная акустика... Я задыхаюсь... Ламелла!.. Не будем ссориться больше... Темно. Как темно!..

Когда господин Барбатус свалился с кресла на пол, я счел удобным удалиться из гостеприимного дома. Жизнь великодушного хозяина казалась мне раскрытой книгой, которую может прочесть каждый. Во всяком случае, он, очевидно, доверял мне, ибо иначе едва ли стал бы вовлекать меня в свое дело. Не желая оказаться недостойным доверия, я решил никому не говорить о его гениальных планах.

Я попытался уйти незаметно, но не успел. Ламелла поймала меня в передней и спросила:

— Кончили совещаться?

— Он заснул.

— Наконец-то. Я всыпала ему в рюмку двойную дозу снотворного. Теперь он проспит часов двадцать.

— Надо, наверно, перенести его в спальню?

— Ни в коем случае. Это может нам только помешать. Милый...

— Ламелла, сейчас я не могу остаться с тобой. Положение критическое. С минуты на минуту поступят важные сообщения... Я должен ехать.

— Ты уедешь один?

На мгновение я задумался. Казалось, будто я в осажденном городе, ожидающем лишь приказа о сдаче. Я стиснул ее в объятиях и сказал:

— Я еду один, но буду ждать тебя. Еще только час ночи.

Кабаллус дожидался меня в переулке. Седовласый шофер выключил радио и открыл дверцу машины. Я плюхнулся на сиденье и долго старался подавить чувство неловкости. Голос совести звучал негромко, но упорно. Он заставлял меня думать о тех двадцати пяти тысячах, за души которых мне предложили вознаграждение, как за кошелек, найденный на дороге.

Я сказал Кабаллусу, чтобы он остановил машину у подъезда и подождал даму, которая скоро должна прийти ко мне. Верный мой слуга — если еще можно полагаться на чью-то верность — ответил понимающе:

— Слуш-шаюсь, господин министр.

Чтобы скрыть свой речевой недостаток, Кабаллус никогда не переставал жевать резинку, отчего во рту его была невообразимая каша. Хотя я, кажется, уже говорил об этом. У него была еще одна неистребимая привычка: ложиться под утро и спать до полудня. В остальном же он был превосходный слуга, тихо стареющий автомат.

Я позвонил в президентский дворец, чтобы узнать обстановку. Мне сказали, что пресс-секретарь Вульвиус занят подготовкой экстренной пресс-конференции, которая, как предполагают, состоится рано утром. Дозвонившись до него, я спросил о повестке дня конференции.

— Только один вопрос, имеющий чрезвычайное внешнеполитическое значение.

— Объявление войны?

— Нет, господин министр. Но с точки зрения престижа нашей страны событие еще большей важности. Два часа тому назад премьер-министр найден почти в бессознательном состоянии, с подбитым глазом. Представители иностранной прессы уже успели дать в свои газеты сенсационные сообщения. Они утверждают, что были очевидцами происшествия, и рассказывают все с самыми ужасными подробностями. Конечно, вдумчивый читатель поймет, что нашего достопочтенного премьер-министра никак невозможно считать виновником драки, возникшей, по-видимому, из-за какой-то женщины. У меня имеется собственная теория, которую я собираюсь изложить на пресс-конференции: тайные агенты Куропотамии каким-то невыясненным способом сумели одурманить премьер-министра, затащили его в винный погреб известного отеля и завладели его портфелем. Премьер-министр в настоящее время доставлен домой, и врачи делают все, чтобы установить, чем он был одурманен — то ли куропотамским ромом, то ли каким-то другим наркотическим веществом...

Я положил трубку, не дослушав теорию Вульвиуса, которая мало интересовала меня в этот момент. Я был несколько разочарован. Ведь если все осталось по-прежнему, то дело Барбатуса придется как-то доводить до конца.

Около двух часов пополуночи настроение мое решительно переменилось. Пришла Ламелла, и я, подобно премьер-министру, был увлечен и одурманен.

Глава шестнадцатая

На другой день правительство Лаконии направило Куропотамии резкую ноту, обвиняя это известное варварское государство в наркотическом одурманивании высших должностных лиц Лаконии. Пресс-секретарь Вульвиус объявил содержание ноты на пресс-конференции, где, кроме журналистов, присутствовали также иностранные дипломаты и несколько министров нашего правительства.

— Мы были потрясены, став свидетелями чудовищного нарушения Куропотамией общепринятых норм права и человечности, — сказал Вульвиус, придав своему лицу самое серьезное выражение. — Год тому назад куропотамцы одурманили нашего посла, военного атташе и пресс-атташе посольства настолько, что пришлось отозвать всех троих на родину и госпитализировать для серьезного принудительного лечения. Сотни лаконийцев, совершивших туристические поездки в Куропотамию, вернулись домой одурманенными. И даже после разрыва дипломатических отношений с Куропотамией наша недружелюбная соседка продолжала свои коварные, вредоносные действия. Последним актом неслыханной дерзости явилось наркотическое оглушение и усыпление в гостинице «Фокус» нашего высокочтимо-

ЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Роман-памфлет

Мартти ЛАРНИ

дицинским исследованием установлено, что премьер-министр был одурманен куропотамским ромом...

— Сколько он его выпил? — поинтересовался какой-то журналист.

— Врачи считают, что примерно восемь десятых литра,— ответил Вульвиус.

Представитель французского агентства печати немедленно воспользовался случаем для рекламы продукции своей страны.

— Премьер-министру следовало употреблять не ром, а французский коньяк!

— Премьер-министр не отказывается и от коньяка, но все же ром ему больше по вкусу,— ответил Вульвиус.— И притом личный врач рекомендовал ему ром от простуды.

В зале возникло оживление, поднялась маленькая суматоха, общий гул заглушал отдельные реплики. Мнения присутствовавших разделились: одни стояли за коньяк, другие — за ром. Корреспондент из Мексики удивлялся, что Лакония все еще потребляет горячительные куропотамские напитки, хотя отношения между этими странами и так уже накалены до предела. Итальянский пресс-атташе решительно возражал против политических барьеров в торговле алкогольными напитками, утверждая, что алкоголь — единственное международное удовольствие и что пьянству границ не положено. Итальянец закончил свою речь тем, что посоветовал всем воздерживаться от крепких напитков и переходить на виноградные вина. Сангвиническое предложение итальянца, видимо, глубоко задело представителя Финляндии, который, не успев попросить слова, неделикатно перебил журналиста с Берега Слоновой Кости и заорал:

— Долой вина! Рекомендую всем нашу горькую, которая сразу бьет в голову! Если бы премьер-министр вместо рома пил финскую понтикку, он бы не разгуливал по всей гостинице, а свалился бы спокойно под стол и не терял своего портфеля. Уверяю вас: понтикка — это вещь!

— Прекратите рекламу! Здесь не место! — воскликнул председательствующий, постучав дубинкой по столу, и вновь предоставил слово Вульвиусу.

— Ваши превосходительства! Господа! Нет нужды разбирать здесь обычаи разных народов, которые столь многообразны и многолики. У каждого народа свои традиции. Не будем слишком придирчивы. Побольше терпимости. Перед нами, господа, вопрос гораздо большей важности — вопрос о действиях, порождающих напряженность во всем мире. У нас имеется масса доказательств того, что Куропотамия злоупотребляет законами гостеприимства, предлагая своим гостям одурманивающие напитки. Жертв тысячи, а может быть, и сотни тысяч. В столице Куропотамии многие представители иностранных государств совершенно теряли сознание, выпив несколько стаканчиков куропотамского рома. Когда одурманенные жертвы падали без чувств, недремлющие агенты похищали у них государственные тайны. Правительство Куропотамии приманивает жертвы, используя следующие средства: 1) ром продается очень дешево; 2) на бутылках привлекательные этикетки; 3) продают ром красивые женщины; 4) в роме высокий процент алкоголя.

Правительство Лаконии взывает к авторитету ООН и требует, чтобы Куропотамия снизила крепость своего рома с восьмидесяти пяти до сорока градусов, чтобы цена рома была повышена, а этикетки изменены. Наше правительство надеется, что ООН безотлагательно направит в Куропотамию свои инспекционные группы, составленные в большинстве своем из граждан Лаконии, поскольку Лакония — великая держава и крупнейший потребитель куропотамского рома. Правительство Лаконии обращается к ООН с требованием, чтобы Куропотамия уплатила Лаконии сто миллионов лаконийских долларов компенсации за одурманивание нашего премьер-министра и недружественные действия в отношении законного правительства нашей страны. Мы хотим жить в мире и защищаем свою свободу. Есть предел нашему терпению. Преступления Куропотамии — это преступления против всего человечества. У нас больше нет выбора: Куропотамия бросила вызов, и Лакония даст на него достойный ответ.

Воцарилась тишина. Только чуть слышно шелестели блокноты. Председательствующий разрешил задавать вопросы. Представителя французского агентства печати интересовала лишь м-ль Фрутти:

— Господин пресс-секретарь, вы упомянули, что м-ль Фрутти предъявляла премьер-министру несообразные требования. Мое агентство хотело бы знать: какие это требования?

— Совершенно несообразные.

— Мне хотелось бы получить более точный и детальный ответ. Моих слушателей особенно интересуют интимные детали. Быть может, господин премьер-министр нашел чрезмерно высокой таксу м-ль Фрутти?

— Вы задаете весьма нескромные вопросы, но я попытаюсь ответить на них достаточно скромно. Во-первых, было неприлично и несообразно со стороны м-ль Фрутти просить, чтобы премьер-министр стал перед нею на колени и завязал порванный шнурок, тогда как она видела, что премьер-министр и двух слов связать не может; во-вторых, м-ль Фрутти неделикатно предложила премьер-министру провести остаток ночи вдвоем, хотя она ясно видела, что премьер-

министр одурманен почти до полной потери устойчивости; и третьей несообразностью было требовать за такое заведомо бесплодное свидание гонорар в тысячу долларов. Если бы премьер-министр согласился провести остаток ночи вдвоем с м-ль Фрутти, эта ловкая аферистка наверняка похитила бы его портфель и продала последний представителю иностранной державы, который, по-видимому, находился в шкафу ее спальни, притаившись и ожидая своей очереди.

— Мое информационное агентство хотело бы получить интервью м-ль Фрутти,— сказал француз.— В этой истории есть что-то человечное, теплое. Мои личные симпатии целиком на стороне м-ль Фрутти. По-моему, она в совершенстве овладела международной политикой. Как только представитель Лаконии входит к ней через парадную дверь, представитель Куропотамии выходит через кухню. И оба, надо полагать, удовлетворены. Господин пресс-секретарь! Нельзя ли получить адрес м-ль Фрутти?

— М-ль Фрутти сегодня утром арестована, и ей не разрешается давать кому-либо интервью.

— Так о чем же мне тогда писать?

— Пишите о деле Барбатуса и о последних событиях, вершиной которых явилась наркотизация премьер-министра Лаконии.

— Наркотизация! Просто человек хватил лишнего. С кем не бывает! Я всегда говорил, что ром опасен, лучше пить добрый французский коньяк.

— Прекратите рекламу! — крикнул председательствующий.

— Текстовая реклама разрешается всюду.

— Я попрошу вас удалиться!

— У меня дипломатический паспорт.

— Его можно и аннулировать.

Двое полицейских в штатском вывели французского журналиста и отвезли прямо на аэродром. Дипломатический корпус удалился добровольно и с достоинством. Один только торговый представитель Финляндии остался с журналистами. Он рассказывал мне впоследствии, что его необычайно заинтересовал куропотамский ром. Такой напиток должен иметь успех в Финляндии, где привыкли пить, что покрепче: денатурат, политуру, иллоидин и дезинсекталь. У финнов прямая и цельная натура: легкому хмелю они предпочитают полное оглушение с потерей сознания, самоубийству предпочитают убийство, а внутренней политике — спорт.

Энрико Вульвиус отлично справился с задачей. Когда конференция кончилась, все были убеждены в том, что Куропотамия производит ром специально как дурманящее средство и что ООН должна направить в Куропотамию лаконийских инспекторов. Один представитель развивающейся страны прочувствованно благодарил пресс-секретаря от лица всех иностранных журналистов и пообещал написать в своей газете проникновенную статью о благородном премьер-министре Лаконии, моральных устоев которого не смогла поколебать даже Амелия Фрутти. Пресс-секретарь, со своей стороны, тепло поблагодарил оратора, который, впрочем, был весьма многим обязан правительству Лаконии.

Прозвучал национальный гимн Лаконии, и конференция закончилась общим мирным призывом: Куропотамия должна быть уничтожена во имя мира и свободы.

С несколько неопределенным чувством я приехал в министерство, где меня ждал Секст-Косоглазый. Я уже упоминал, что Секст возглавил дело Барбатуса с тех пор, как Энрико Вульвиус стал пресс-секретарем.

— Будем ли мы продолжать следствие?— спросил Секст.

— А с чего бы нам его прекращать?

— Нам мешают работать. Государственная сыскная полиция тоже заинтересовалась делом.

— Я сообщу начальнику полиции, что вести следствие поручено нашему бюро. Есть еще вопросы ко мне?

Секст, казалось, чего-то недоговаривал. Впервые странное преломление его зрачков начало меня раздражать. Я знал, что он смотрит мне прямо в глаза, хотя взор его устремлен в окно.

— Разрешите мне, господин премьер-министр, занять еще минуточку вашего внимания?..

— Моя обязанность выслушать вас.

— Я прошу меня уволить.

— Зачем же? Перед вами открывается прекрасное будущее.

— Теперь оно для меня закрыто. Я совершил ошибку... грубую служебную ошибку.

Я запер дверь кабинета на ключ, выключил телефон и попросил Секста рассказывать. Вот его история, записанная на магнитную пленку:

«Получив от Энрико Вульвиуса новые направляющие нити, я энергично взялся за работу. Хотя меня назначили руководителем следственной группы, я все время сам участвовал в оперативной работе, поскольку обещанная господином Барбатусом награда — сто тысяч долларов — интересовала меня так же, как и мою жену. У меня было две возможности: двигаться от начала к концу или же от конца к началу. Результат, во всяком случае, должен был получиться один и тот же: арест грабителей. Отправная точка была также ясна: ювелирный магазин Барбатуса ограблен пятого августа, и грабители действовали, по-видимому, вдвоем, Луций Акантия убит шестнадцатого ноября, и убийц было, по всей вероятности, несколько. Вероятно также, что убийцы еще живы, что они куропотамцы и что они все прямо или косвенно замешаны в деле Барбатуса. Стало быть, рассматривая теоретически, мне было легче идти от конца к началу.

Если бы мне удалось поймать убийцу Луция Акантии, тогда сразу же выяснились бы и причины, в силу которых Луций Акантия стрелял (теоретически допустимо предположить, что он все же стрелял) в Микротуса и его пособника Гуло. А это, в свою очередь, выяснило бы причины, побудившие Микротуса вырезать из какой-то газеты фотографию госпожи Барбатус. Так я подходил все ближе и ближе к господину и госпоже Барбатус, пока не дошел, наконец, до самого момента ограбления. Отсюда, для уточнения и проверки всей цепи событий, я отправился обратно к убийству Луция Акантии и далее — в Куропотамию.

Я отбросил все несущественное и сосредоточил внимание на следующих моментах: на шоколаде, транзисторных приемниках и подозрительных лицах. Поскольку я уже раньше арестовал свыше восьмисот человек, я решил на сей раз удовольствоваться минимумом. Ведь собственно преступников было де-факто лишь двое или — самое большее — восемь человек, если не считать правительства и народа Куропотамии. Но, по соображениям уголовно-процессуальным, на данном этапе еще не требовалось лишать целую нацию свободы и права на самоопределение, хотя достаточно оснований для этого дает уже расовая теория.

Не далее как вчера я имел возможность оценить актуальность и действенную силу этого учения. Совершая обычный проверочный обход, я заглянул в ресторан аэропорта, где Марк арестовал накануне двух покупателей шоколада. (И он не промахнулся, так как один из задержанных оказался дезертиром, а другой — злостным неплательщиком штрафов за вождение машины в нетрезвом состоянии.) Я заказал бутылку пива и стал наблюдать. Как все-таки много на свете подозрительных людей! Если бы мне дали власть и право задерживать их всех и сажать в тюрьму!

У меня очень хорошая зрительная память. Я успел зарегистрировать больше сотни пассажиров, которые в ожидании са-

молета сидели в ресторане и от скуки что-нибудь ели и пили. Моя память как раз регистрировала субъекта под номером 118, как вдруг ко мне подсел доктор Мус Сильватикус. Вы его, конечно, знаете, господин министр? Каждый культурный человек знает нашего всемирно известного социолога, который в последние годы неутомимо изучает поведение человеческих рас, их характерные особенности, культурные традиции и верования. Доктор Сильватикус — один из лучших друзей моего детства, смелый ученый, свободный от предрассудков, основатель современной школы социологии. Он летел в Лондон на конференцию и в ожидании самолета прочел мне целую лекцию.

— Дорогой Секст, Куропотамия больше не представляет для нас неразрешимой проблемы. Там, где бессильны политики, справляются социологи. Сегодня я передал мои соображения премьер-министру республики. Он прочел их при мне, не отрываясь, прочел и был просто восхищен. Теперь мне обеспечено звание академика и государственная пенсия. Великие открытия чаще всего просты и легко осуществимы. Мое открытие — новая расовая теория. Наших государственных руководителей серьезно беспокоит завтрашний день. Они боятся, что после покорения Куропотамии мы не будем знать, что делать с несколькими миллионами рабов-куромоидов. Напрасные опасения! Куропотамцы, или куромоиды, не станут обузой для Лаконии, если принять к руководству мое учение.

А оно сводится к следующему: мы должны освободить куромоидов от рабства, в котором они живут. Для этого имеется много испытанных средств, но все они не отличаются гуманностью. Газовые камеры, с помощью которых немецкие нацисты освободили шесть миллионов человек от тягот бренного существования, сейчас выглядят старомодно и неэстетично. Мое изобретение гуманно и забавно. Весело будет всему человечеству. В своей докладной записке я предлагаю срочно развернуть массовое производство разработанного нашими выдающимися биохимиками препарата «Стерилис», который Лакония сможет затем бесплатно раздавать куромоидам, а заодно и всем другим неполноценным человеческим расам. Чудесная сила препарата «Стерилис» состоит в том, что всякий, кто выпьет нужную дозу этого эликсира, абсолютно безболезненно становится бесплодным. Раз и навсегда. Таким образом куромоиды очень скоро освободятся от тяжелых забот о потомстве, а Лакония примерно в течение шестидесяти лет освободится от куромоидов. И окончательно.

Разумеется, находятся такие чудаки, которые считают мой метод решения проблемы куромоидов негуманным, поскольку он ведет якобы к полному истреблению этой человеческой расы. Но я вовсе не ставлю такой цели. Напротив, в своей докладной записке я предлагаю создать специальные, строго изолированные резервации, где небольшое количество куромоидов будет жить и производить потомство — под постоянным наблюдением и в сугубо ограниченных количествах. Некоторым из них будет разрешено покидать резервации: они будут использоваться для работы в передвижных цирках, а также в качестве подметальщиков улиц и подопытных кроликов для испытания новых лекарств.

В моей докладной записке особенно подчеркивается, что целью расовой политики должно быть создание чистой и здоровой человеческой расы. Поэтому в Лаконии необходимо периодически проводить всенародный осмотр. Мы будем тщательно проверять цвет волос и кожи, длину и толщину шеи, форму носа, скул и подбородка, уши, зубы и настроения. Всякого, кто не отвечает установленным нормам, необходимо стерилизовать. В идеальном государстве будущего, прототипом коего является Лакония, только чистым представителям расы будет позволено производить потомство. Все прочие подвергнутся стерилизации. Это я имел в виду, когда сказал, что весело будет всем. Так поступали еще в античной древности, в одном из тогдашних высокоразвитых государств. Так что моя расовая теория имеет древние традиции. Прошу прощения, мне показалось, объявили рейс на Лондон?

— Мне тоже показалось.

— В таком случае я закончу, когда вернусь. Будь здоров, дорогой Секст. Не слишком печалься о деле Барбатуса. Моя расовая политика решит и его. Так когда мы с тобой встретимся? Вот объявляют снова! Надо идти. Встретимся у меня дома после покорения Куропотамии. До свидания, Секст!

Доктор Мус Сильватикус поспешил к самолету, а я продолжал свою регистрацию отъезжающих. Я незаметно поглядывал на господина за соседним столиком, проявлявшего интерес к лекции Сильватикуса. Я заметил, как он время от времени что-то записывал. Я хорошо запомнил его внешность. Темноволосый, среднего роста, с брюшком, глаза карие, над левой ноздрей бородавка; одежда: синий габардиновый костюм, черные ботинки, светло-синие носки, белая нейлоновая сорочка, темно-синий, с сероватыми полосками галстук.

Мужчина посмотрел на часы, внимательно и осторожно огляделся, встал и пошел к кондитерскому киоску. Я пошел следом, не спуская с него глаз. Он купил четыре плитки шоколада, пачку сигарет и спички. Сунув руку в карман, он небрежно вытащил целую кипу денег. И тут он даже сам растерялся. Вместе с деньгами из кармана его тянулся тонкий нейлоновый чулок. Я мгновенно вспомнил, что в ночь убийства Луция Акантии стражника в тюрьме задушили нейлоновым чулком, а пары к чулку так и не найдено. Я положил руку на плечо неизвестного и негромко сказал:

— Позвольте взглянуть на ваше удостоверение личности.

Он обдал меня презрением и бросил:

— Не позволю.

— Зачем у вас в кармане дамский чулок?— спросил я внезапно.

— Убирайтесь к черту, или я позову полицию.

Я показал ему полицейский значок. Тут он сказал совершенно свирепым тоном:

— Отстаньте от меня и проваливайте ко всем чертям!

Я не стал с ним спорить и пререкаться. Пока он платил за покупку, я тихо вынул свой распылитель и направил ему в лицо хорошую струю эфира. Он громко чихнул, застонал и свалился мне на руки. В тот же миг я надел ему стальные браслеты и добавил еще дозу эфира, для большей верности. Двое полицейских втащили задержанного в машину и привезли для допроса в нашу контору. Теперь я получил нить к убийству Акантии: нейлоновый чулок. У задержанного был только один чулок, новый и ненадеванный чулок! Несомненно, это ключ и к ограблению магазина Барбатуса. Я позвонил жене и сказал, что она может идти выбирать себе модную шубку. Затем мы с двумя сыщиками и Циклом принялись обследовать карманы задержанного... И тут я понял, что совершил ошибку, грубую должностную ошибку... Господин министр, я прошу меня уволить.

Старый добрый Секст едва не плакал. Меня опять стали раздражать его глаза: он уставился в окно, но смотрел прямо мне в лицо.

— Продолжайте!— сказал я почти сурово.— Установили вы личность задержанного?

— Установили, господин министр. Мы нашли у него билет на самолет и дипломатический паспорт.

— Значит, дипломат? Кто же он такой?

— Гражданин Лаконии... Он направлялся в Эфиопию, но самолет опаздывал на час... Это наш посол Мелас... Господин министр, я подаю в отставку...

— Зачем же у него в кармане был чулок?

— Не знаю, господин министр... Он получил такую крепкую дозу наркоза, что мы не могли допросить...

— Где же он теперь?

— Не знаю, господин министр. Мы отвезли его в центральный парк Палинодии и оставили там... на скамейке... Господин министр, я подаю в отставку...

— Государственная сыскная полиция знает о случившемся?

— Видимо, знает. Но у нее сейчас столько срочных дел, что этим происшествием они еще не начали заниматься.

— Был ли посол в сознании, когда его доставили в контору для допроса?

— Нет, он скапутился еще в аэропорту.

— Отлично, Секст. В таком случае мы возьмем это дело в свои руки. Но вам придется пока посидеть дома, до поры до времени. Собственно, преступление уже раскрыто. Я позвоню пресс-секретарю Вульвиусу, чтобы он дал сообщение.

— Господин министр, господин министр!.. Неужели я должен идти в тюрьму?..

— Вам пока ничего не грозит. Если вы не наделаете новых глупостей. Можете идти.

Два часа спустя на улицах Палинодии продавались экстренные выпуски газет. Радио и телевидение, прервав свои передачи, давали экстренный выпуск известий: «Тайные агенты Куропотамии одурманили нашего посла, направлявшегося в Эфиопию. Народ с нетерпением ждет объявления войны...»

Я чувствовал, что впервые в жизни совершил преступление. Хотя преступление ли это? Ведь решался вопрос о свободе и безопасности моей родины. И потом это многосложное дело Барбатуса... Кто-то сказал, что ошибки политиков оплачиваются, а ошибки врачей хоронятся...

Продолжение следует.

ОБ ЭТ ПОМ

Роман-памфлет

Мартти ЛАРНИ

Рисунки В. ГОРЯЕВА.

Глава семнадцатая

Каждый патриотически мыслящий гражданин ждал всеобщей тревоги. Некоторые уже чуть ли не вслух обвиняли президента Боса Тауруса в слабости и нерешительности. Поскольку активные мирные действия со дня на день откладывались, следствие по делу Барбатуса надо было продолжать. Хотя я старался всеми мерами сдержать лавину арестов, все же число главных обвиняемых уже дошло до девятнадцати. Так же подозрительно стало расти и число присяжных. Мало-помалу их набралось уже восемь. Еще четыре — и величайший в истории судебный процесс мог начинаться в Палинодийском суде нижней инстанции.

Энрико Вульвиус был счастлив, что развязался с делом Барбатуса. Как пресс-секретарь он должен был лишь повторять и уточнять чужие высказывания, предлагая их представителям печати и телеграфных агентств. Наркотизацию нашего посла он подал столь убедительно, что даже пресса Куропотамии опубликовала это сообщение без комментариев. После того как посла под надежной охраной доставили к самолету и отправили в Эфиопию, я разрешил Сексту продолжать работу. Но уже без эфира. Старый честный сыщик был так благодарен, что пригласил меня к себе на обед. Прелестная семья! Одиннадцать детей — и все в очках, от мала до велика. Матери они слушались с полуслова. Да она целых слов и не произносила — одни лишь половинки. Вообще, словарь ее был крайне беден, и не удивительно: ведь она всю жизнь только и делала, что рожала и командовала чадами. Округлая линия ее живота предвещала вскорости круглую дюжину.

Секст любил вспоминать блаженное время, когда он взял свою невесту за руку и повел ее к алтарю. На том и кончилось его руководство. Я сразу понял, что дома он говорил шепотом, а повышал голос только на службе. Впрочем, это столь обычно для Лаконии наших дней, что я не собираюсь распространяться по такому поводу. Меня никогда не привлекала идиллия лаконийской семьи, где место мужа — на кухне. Самолюбие побуждало меня оставаться одиноким. Я видел на многочисленных примерах, как одно несчастье влечет за собою другое и все кончается браком.

Пока Секст готовил обед, я сидел с ним на кухне. Мать семейства стояла в дверях, не давая детям прорваться к рабочему месту отца. Стоя на своем посту, она отдавала приказания. В каждой семье есть свои любимые словечки и крылатые выражения. Семейство Секста несколько удивило меня. Здесь таким магическим словом было Барбатус! Из бедного словаря хозяйки я почерпнул в течение часа следующие характерные словосочетания с этим именем: «Секст, положи побольше масла, Барбатус заплатит! — Не жалей сахара, пойдет за счет Барбатуса! — Чего ты тянешь, как дело Барбатуса! — О, Барбатус! Что там за шум?» И так далее. Казалось, Барбатус был их ангелом-хранителем, домашней святыней, семейной иконой. Более того, дух Барбатуса витал в этом доме повсюду. Дети грызли шоколад «Роза», душили друг друга старыми нейлоновыми чулками матери, расстреливали из игрушечных пистолетов куропотамских кукол, делали маски из кусков красной материи. Я еще не встречал семьи, которая была бы настолько увлечена профессией отца. Дети заканчивали вечернюю молитву словами: «Боже, храни Барбатуса и дай нам хлеб наш насущный». А мать, мечтая, вздыхала: «Вот, когда муж закончит дело Барбатуса и получит большую премию...»

Великолепное семейство! Лакония в миниатюре. Одиннадцать будущих сыщиков! Младший сосал грудь, а старший уже штудировал рапорты своего отца. Жена — родильный автомат, а муж — кухарка. Мир в семье окрылен литературой: у мужа чековая книжка, у жены — поваренная. Эти книги они одалживают друг другу.

Секст не успел подать обед на стол, как из конторы пришло важное сообщение: Марк-Дубинка и Путориус наконец-то задержали настоящих преступников и ждали распоряжений своего шефа.

— По правде говоря, мне надо бы пойти туда, но... Господин министр...

— Конечно, вы пойдете. Служба есть служба.

— Неловко получилось...

— Ничуть. Полицейский, как врач: должен идти, когда зовут.

Право, было даже уютно перекусить на кухне, пока хозяйка стояла в дверях на страже. Одиннадцать пар глаз жадно следили из-за ее спины за нашей поспешной трапезой. Секст оказался отличным коком. Не будь у него такой большой семьи, я бы ему вместо следовательской работы предложил место повара. Но я не хотел, чтобы моя кухня превратилась в детский сад. Хоть я и любил детей, но не до такой степени. Едва мы встали из-за стола, а стража отступила со своего поста, как маленькие сыщики мигом заполнили кухню. Чистота — добродетель, но ее не всегда можно требовать от детей. Отпрыски Секста походили на стаю саранчи. Облепив стол, они и немытыми руками навели на нем чистоту. Я с наслаждением наблюдал за ними. Каждый ребенок состоял из кожи и аппетита. Аппетит рос во время еды, а кожа нисколько не мешала его росту. Дети не замечали ни ухода отца, ни строгого вида матери, ни моего умиления. Маленькие грызуны подчищали остатки обеда, пока их кормилица и хранительница провожала нас до выхода.

— Ты не забыл взять свои наручники? — спросила она мужа на прощание.

Об эфире она уже и не поминала. Секст ощупал нагрудный карман и еще раз удостоверился, что правда и порядок близки его сердцу. Инстинктивным движением он проверил также карман брюк, но там лежал теперь лишь носовой платок. Я поблагодарил энергичную властительницу дома за обед, приготовленный под ее бдительным наблюдением.

Секст поспешил в нашу контору, пообещав первым делом прислать мне рапорт

Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—34.

Марка и Путориуса. Я зашел в цветочный магазин и послал жене Секста букет гвоздик. На улицах была необычайная сутолока. Люди не находили себе места, ожидая всеобщей тревоги и приказа об эвакуации. Большинство пешеходов составляли автомобилисты, искавшие стоянки для своих машин.

Сырой, пронзительный осенний ветер подметал улицы Палинодии и проветривал одежду прохожих. Но никому не приходилось жаловаться на холод и голод, поскольку директор главного статистического управления был уволен с работы, а его преемник покончил с бедностью в Лаконии меньше чем за неделю. Академия языка также приняла участие в борьбе с бедностью. Лингвисты придумали синоним, удобно заменяющий слово «бедность», и он сразу же вошел в употребление. В Лаконии больше не было бедных. Были только богатые и богатеющие. Семья Секста относилась к богатеющим, а семья Барбатуса — к богатым.

Кабаллус притормозил машину и спросил:

— Домой, господин министр?

— А куда же?

— Вы говорили, что после обеда...

— Да, вы правы. Я чуть было не забыл. Сейчас я только на минутку зайду к себе, и мы поедем.

Не снимая пальто, я быстро прошел в кабинет и позвонил в резиденцию правительства. Все еще никаких новостей. Нервы у всех натянуты. Почему президент Бос Таурус так медлит? Ведь симпатии всего мира на стороне Лаконии. Каждый день глава республики получал сочувственные телеграммы со всех концов земного шара. Известные политические деятели и ученые юристы высказывали мнение, что дело Барбатуса уже невозможно закончить, если Куропотамия не будет покорена. Лакония, бесспорно, вправе защищать свою судьбу, мир и свою святую веру. Вот именно: свою веру! На Куропотамию крестовым походом! Обратить куромоидов в праведную веру! Во имя гуманности, во имя будущего всего человечества.

Я сказал секретарше, что еду как представитель правительства на большой религиозный митинг, посвященный разоблачению варварской веры Куропотамии. Если правительство соберется на экстренное совещание, то меня можно вызвать по ультракоротковолновому радиотелефону. Кабаллус будет до полуночи дежурить у аппарата в моей машине.

Митинг религиозного пробуждения собрался на недавно построенном зимнем стадионе Палинодии. Уличные громкоговорители весь день скликали на митинг жителей столицы. В качестве оратора был приглашен наш известный проповедник Аса Алонсо Аллен, на днях вернувшийся из длительного заграничного турне. Когда я вошел в огромный зал, все встали и затихли. Дело Барбатуса приучило граждан Лаконии к сдержанности. Я занял кресло, приготовленное для представителя правительства. Один из распорядителей вечера поднес мне книгу духовных песен и букет роз. Обстановка была торжественная, пожалуй, еще более торжественная, чем в зале церемоний похоронного бюро, о котором мечтал господин Барбатус. На возвышении появился глашатай — Бенедикт Замбах, в прошлом боксер тяжелого веса Скрофа Ферус. Осененный религиозным духом, он покинул ринг, переменил имя и стал ассистентом Аса Алонсо Аллена. Мне не понравилось его выступление. Он говорил слишком простонародным, чтобы не сказать площадным, языком, выгибал грудь колесом, колотил себя кулаками по животу. Но его воздействие на толпу было удивительным. Я не сомневался в его искренности. Грубый человек может быть по-своему грубо чувствителен.

Бенедикт Замбах поднял к небу здоровенные кулачищи и сказал:

— Вот этими руками я не один нос расплющил в лепешку и отбивал приятелям печенки-селезенки. Но больше я не бью моих единоверцев. Я пришел к вере и отныне дерусь только с язычниками и с сатаной. Только что мы — Аса и я — объехали вокруг света и видели, как добро побеждает, а зло получает по морде. Разве можно идти на мирное сосуществование с сатаной? Нет, други мои! Его надо бить так, чтобы не встал окаянный. Сейчас я хочу представить вам человека, который установил прямую связь с небом, который спас меня и поднял из грязи, да не одного меня, а много таких же пропащих душ. Вот он! Вот перед вами! Аса Алонсо Аллен!

Грянули фанфары военного духового оркестра, и на трибуну поднялся наш всемирно известный посланец доброй воли. Красивый, симпатичный молодой человек. Ему не везло в качестве киноактера, но зато повезло в роли проповедника. Он верил, что все люди так же достойны любви, как и он сам, а потому он и любил всех. В юности он знал лишь одно средство получения денег: письмо к отцу. Теперь же он не ведал финансовых затруднений, ибо верующие наполняли протянутую руку молодого евангелиста.

Аса Алонсо Аллен (этот псевдоним он выбрал себе, когда впервые держал конкурс в киностудию) поднял руки в знак приветствия, послал воздушные поцелуи дамам, сидевшим в первых рядах, сказал, что счастлив видеть в зале так много верующих, и пожелал им всем быть самоотверженными борцами за веру.

— Дух отца нашего не в роме, извлеченном из сахарного тростника, а в евангельской истине! — произнес он своим звучным голосом и скрестил руки.

И в тот же миг через динамики грянул мощный шепот записанного на магнитную пленку хора:

— Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Настроение становилось все более и более возвышенным. Казалось, поистине все лаконийцы любили своих ближних. Аса Алонсо Аллен предложил присутствующим пожать друг другу руки со следующими словами: «Добрый вечер, дорогой друг! Сегодня мы сокрушим сатану!»

Публика последовала совету и повторила слова проповедника. Шестьдесят тысяч человек обещались сокрушить одного сатану. Другого выхода не было. Слишком долго все пытались пойти с лукавым на компромисс. А к чему это привело? К неверию, к разочарованиям, к коварному рому и к ограблению магазина Барбатуса.

Аса Алонсо Аллен продолжал:

— Возлюбленные друзья и братья! На улице сейчас холодно, но в наших сердцах живет тепло. Этот прекрасный жар любви к ближнему мы несем всему человечеству! Замечательные лаконийские исследователи космоса установили, что царство небесное обширнее, чем предполагалось. Там хватит места всем, кто объявит войну сатане и пойдет за мной в новый крестовый поход. Мы боремся за свободу, честь, любовь, справедливость и чистоту. Я не хочу называть по имени тот народ, который отрицает все эти добродетели; народ, который не признает нашей свободы; который, похваляясь своей честностью, продавал нам неполноценный текстиль, дрянные фотопринадлежности, а теперь отказывается вернуть нам богатые нефтеносные районы, принадлежавшие нашим предкам еще пять тысяч лет тому назад; который все время говорит о своей любви к народу и правительству Лаконии, но при удобном случае одурманивает каждого лаконийца; который говорит о справедливости, но тем не менее проводит демпинг жевательного табака; который только и ждет случая, чтобы пролить нашу кровь.

Дорогие, возлюбленные сестры и братья! Я спрашиваю вас: не есть ли все это служение сатане, врагу нашему? И я вам отвечу: да, воистину так. И раз мы решили сокрушить сатану, то нам следует также сокрушить его приспешников. Я спрашиваю вас, возлюбленные друзья и братья: неужели есть тут, среди вас, хоть один человек, который отдаст свой голос за сатану? И я отвечу: нет такого, ибо все молчат. Значит, мы сокрушим его, а заодно и его пособников. Лучше, конечно, сокрушить сначала этих пособников и приспешников, так, чтобы сатана остался в одиночестве. Имеются другие мнения? Нет! Стало быть, мы пойдем воевать за свободу, честь, любовь, справедливость и чистоту! Прежде чем приступить к сбору средств на покупку снаряжения и продовольствия для защитников свободы, я предлагаю провозгласить троекратное «ура» — да услышит нас небо.

После троекратного «ура» снова грянул мощный радиомагнитофонный хор:

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

ОМ АЛКИВАЮТ

— Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!

Возбуждение нарастало. Женщины всхлипывали, и многие мужчины смахивали слезу. Пожертвования собирали в большие серебряные вазы, взятые напрокат из гостиницы «Фокус», где в них обычно подавали на стол шампанское на льду. Аса Алонсо ушел на минутку отдохнуть. Я почувствовал некоторое нарушение стиля в том, что устроители вечера попросили Бенедикта Замбаха занять публику, пока Аса Алонсо собирается с силами, чтобы продолжить проповедь. Бенедикт Замбах весьма примитивно рассказывал о том, как он пришел к вере. Однажды он гнал машину по главной улице Аллиума со скоростью более ста километров в час. Он был так пьян, что не заметил красного света и задавил двух прохожих. Когда полиция задержала его, он сказал лишь одно слово: «Аллилуйя». Полицейские приняли Бенедикта за священника, который торопится со святым причастием к умирающему, и отпустили его с богом.

— Тогда я пришел к вере и с тех пор как в пьяном, так и в трезвом виде всюду преследую сатану. Пусть ему не будет пощады. Он уже сбит в нокдаун, и теперь только нужно врезать ему хорошенько прямой правой. Верно я говорю, братья и сестры?

Непритязательная история Бенедикта Замбаха встретила бурный отклик. Особенно шумно реагировали безусые юнцы спортивного вида. Они пришли в восторг и решили «врезать Куропотамии прямой правой».

Митинг прошел успешно. Он укрепил в нашем народе волю к миру и чувство единства. Говорят, Аса Алонсо с большой силой закончил проповедь и дал свое толкование делу Барбатуса. Жаль, что я не слушал второй части проповеди. Мне сообщили, что правительство собирается на экстренное заседание. Я покинул зимний стадион в сопровождении почетного караула, и мне казалось, будто я слышу музыку Баха. Поистине, митинг удался на славу. Его действие было возвышающим и конструктивным. Я почувствовал спокойную уверенность: хорошо все-таки быть министром полиции великой державы!

Через каких-нибудь пятнадцать минут мне пришлось испытать разочарование. Оказывается, экстренное заседание правительства было созвано не президентом, имевшим сообщить нам долгожданную весть о начале решительной акции мира, а нашим любимым премьер-министром, который испытывал потребность провести остаток вечера в отдельном кабинете ресторана «Фокус». Ему пришло в голову, что Энрико Вульвиуса следует снять с поста пресс-секретаря за нелояльность. Он, видите ли, распространил версию, будто премьер-министр был одурманен куропотамским ромом, хотя на самом деле он пил только французский коньяк.

Вопрос оказался настолько деликатным и сложным, что наши дебаты затянулись до утренней зари. Но я воздержусь от изложения подробностей, ибо об этом помалкивают.

Глава восемнадцатая

Марк и Путориус составили общий рапорт, который в газетном изложении был совершенно неузнаваем. Я привожу его по сохранившейся у меня рукописи Путориуса.

«После того как руководитель следствия Секст дал нам новые направляющие нити («Идите от начала к концу или же от конца к началу»), мы с Марком решили заняться началом. Перво-наперво следовало выяснить: было ли вообще совершено такое преступление, вокруг которого потом сырбор загорелся и вышло вообще столько шуму, что не разберешь, где же начало, а где конец? То есть было ли у этой истории так называемое начало? Потому как можно ведь иной раз приступить прямо к сути дела, а всю вводную часть перенести в послесловие. И вот тогда мы придумали — или, вернее, это я придумал — восстановить, как все происходило с самого начала, чтобы таким образом лучше ухватить эту самую направляющую нить.

Мы сидели в кабаке, но ничего не пили, ни-ни! А выверяли время. В двенадцать сорок пять мы сели в машину и подъехали к ювелирному магазину Барбатуса. Затем мы условились, что Марк будет орудовать автоматом, а я — собирать в чемодан драгоценности. Мы вышли из машины и договорились, что встретимся у входа в магазин в тринадцать часов, как будто мы друг с другом незнакомы. Я подошел к витрине ровно в тринадцать, но Марк опоздал на полминуты. У него была на этот счет своя собственная теория. Я сразу же заметил, что в деле Барбатуса с самого начала есть какая-то неувязка. На витрине были только дешевые украшения, а госпожа Барбатус не показывалась. Тогда Марк подошел ко мне. Мы надели светлые плащи, закрыли лица красными шарфами и быстро вошли в магазин. Господин Барбатус сидел слева от входа и читал газету. Госпожа Барбатус стояла у прилавка справа, если смотреть от входа, и красила ногти лаком.

— Руки вверх и ни с места! — крикнул Марк, направив автомат на господина Барбатуса.— Мы пришли грабить!

Господин Барбатус отложил газету да как заорет:

— Убирайтесь к черту, к дьяволу! Ламелла, позови полицию!

— Не шевелитесь, иначе буду стрелять,— сказал Марк.— Сколько раз вам повторять!

— Ну, и не повторяйте,— сказал господин Барбатус и снова взялся за газету.— Ламелла, ну позови же полицию!

— Зови сам,— ответила она и, поставив пузырек с лаком, стала дуть на ногти.

Тогда вмешался я. Я сказал, чтоб они разделись, да поживее, а не то прольется кровь. Затем, не давая им опомниться, я спросил, где у них несгораемый шкаф. Господин Барбатус кивнул головой: вон там, мол,— но сказал, что шкаф заперт. Я не стал требовать у него ключи, ведь открыть шкаф для меня не проблема. Пока Марк занимался хозяевами, я открыл шкаф, но там ничего не оказалось. Пошарив по магазину, я кое-что все-таки собрал по мелочи и, наполнив чемодан, сказал, повышая голос:

— Ну, раздевайтесь же и дайте нам печать вашего магазина.

— Будете вы раздеваться или нет? — грозно спросил Марк, наступая на Барбатуса.— Я повторяю, что мы пришли грабить и с пустыми руками отсюда не уйдем!

— Забирайте все, что найдете,— ответил господин Барбатус.

А его жена, эта бывшая певичка, вела себя просто нахально. Раздеваться не пожелала, хотя Марк серьезно грозил автоматом и обещал выпустить очередь ей прямо в декольте. Мне все это стало уже надоедать. Грабеж явно затягивался. Ну, я поставил чемодан и, подойдя к хозяйке, сказал, что я-то не побоюсь раздеться. Тогда господин Барбатус швырнул газету на пол и взревел:

— Ламелла! Не будь идиоткой! Стукни его чем-нибудь!

— Молчать!— крикнул Марк и снова направил автомат на бывшего министра внутренних дел.

Но и на этот раз он ничего не добился. Как вдруг распахнулись настежь двери, раздались предупредительные выстрелы; и с криком «Лапы кверху!» в магазин ворвались десять вооруженных до зубов полицейских. Нас мигом схватили и повезли в государственную сыскную полицию. Ну, конечно, по дороге все выяснилось. Мы рассказали, что пытались восстановить шаг за шагом весь ход ограбления, чтобы распутать следы. Государственные полицейские ужасно хохотали. Они обещали объяснить все это господину Барбатусу.

Но у нас с Марком возникла теперь своя теория:

1) Ограбление магазина Барбатуса пятого августа 1958 года было лишь инсценировкой, разыгранной, по всей вероятности, в целях рекламы. Или в каких-то иных целях. Все очевидные обстоятельства — а их можно привести множество — говорят в пользу такого предположения.

2) Мы с Марком набрали ювелирных изделий примерно на тысячу долларов, следовательно, заявление господина Барбатуса, будто бы у него из магазина похищено различных драгоценностей и золота на десять миллионов долларов,— это хвастовство или умышленный обман.

3) Где там грабители могли найти сигнализацию тревоги и испортить ее, если даже мы с Марком не нашли никакой сигнализации, а ведь мы сыщики! Стало быть, если ограбление 5 августа было настоящим, а не разыгранным ограблением, то почему господин и госпожа Барбатус не позвали полицию с улицы, как теперь? Когда я спросил господина Барбатуса: «Где у вас сигнализация тревоги?»— он только буркнул: «Ищите!» — и продолжал читать газету. Это еще раз доказывает, что они все время лгали.

4) В полицейских протоколах записано, что грабители якобы заставили господина и госпожу Барбатус раздеться. Это чепуха. Если женщину не уговоришь раздеться по-хорошему, то никакой силой ее не заставишь это сделать. Она раздевается только тогда, когда ей это выгодно. Стало быть, вся история с раздеванием — выдумка или ложь.

5) Невероятно, чтобы грабители успели наставить на теле господина и госпожи Барбатус столько печатей. Мы проверили у себя в конторе, сколько времени требуется, чтобы наставить печатей на голые тела мужчин и женщин, не желавших раздеваться. Процедура заняла три часа и пять минут.

Следовательно, и на этот раз мы имеем дело с выдумкой и ложью.

Итог.

После того, как мы с Марком разыграли ограбление, государственные сыщики специально допрашивали господина и госпожу Барбатус, и выяснилось, что в рассказах «пострадавших» нет никакой логики. Вот, например, как они отвечали.

Вопрос. Каким оружием грабители вам угрожали? Ответ. Мы не обратили внимания. Вопрос. Как были одеты грабители? Ответ. Скверно. Вопрос. Какого цвета плащи были на них? Госпожа Барбатус. Широкие и грязные. Господин Барбатус. Я не обратил внимания. Вопрос. Грабители были в масках? Госпожа Барбатус. Лица их были замотаны какими-то тряпками. Господин Барбатус. Я не приглядывался. Вопрос. Почему же вы не разделись, если вам угрожали оружием? Ответ. Мы знали, что государственные сыщики больше не бастуют.

Второй итог.

Поскольку инсценированное нами ограбление выявило, что и первое ограбление было инсценировано — либо ради рекламы, либо просто так,— мы пришли к следующему выводу: бывший министр внутренних дел пытался обманным путем получить десять миллионов долларов, причем его действия привели к усилению международной напряженности и к внутриполитическому кризису. Как утверждает наш эксперт по криминальной психологии, господин и госпожа Барбатус должны были помнить, тем более теперь, когда вторично разыгралась та же сцена, по крайней мере следующие важные обстоятельства: вид оружия, фасон и цвет плащей, маски на лицах и точное время прихода грабителей. Поскольку же они ничего этого не помнили, хотя в тот раз — в августе — они запомнили все до мельчайших подробностей, то нет ни малейшего сомнения в том, что пресловутое начало дела Барбатуса было просто-напросто инсценировкой.

Итак, принимая во внимание, что мы хорошо разобрали начало и конец истории, и учитывая, что нити дела у нас в руках, мы — я и Марк — имеем право требовать те сто тысяч долларов вознаграждения, которые бывший министр внутренних дел обещал уплатить тому или тем, кто все разъяснит и задержит преступников.

Окончательный итог.

Для получения обещанной награды нам — мне и Марку — оставалось только задержать преступников. С этой целью и учитывая тот факт, что других грабителей у нас уже наарестовано до черта, мы пошли и взяли господина и госпожу Барбатус, которые сидят теперь в следственной тюрьме Палинодии и пишут заявление с просьбой передать все дело в руки государственной сыскной полиции. Все вышесказанное я клятвенно подтверждаю и заверяю моей полицейской честью и совестью. У меня лишь одна цель: говорить правду и только правду — на благо отчизны, во имя закона и справедливости».

Ознакомившись с рапортом Путориуса, я тотчас позвонил Вульвиусу и просил не предавать гласности этот документ. Произошла очевидная ошибка, совершенно случайная и простительная: ведь человеку свойственно ошибаться. Я поехал в следственную тюрьму и освободил господина и госпожу Барбатус. Я объяснил им, что за всем этим скандальным и достойным сожаления инцидентом стоят тайные агенты врага, которые в свое время понесут заслуженную кару. Господин бывший министр и госпожа Барбатус просидели в тюрьме всего лишь около суток. Я предупредил возможность огласки, и впоследствии о печальном недоразумении никто не говорил публично. Теперь как никогда я всей душой желал, чтобы президент Бос Таурус дал наконец лаконийским силам мира приказ об обороне: Куропотамию надо было покорить.

— Я не понимаю, чего он колеблется,— сказал премьер-министр, когда я рассказал ему о своем патриотическом нетерпении.— В последние дни президент непонятно пассивен.

— И именно сейчас, когда правительство так активно! — воскликнул я.

Премьер-министр цинично ухмыльнулся:

— Нынче чрезмерная активность неожиданно может иссякнуть. Сегодня ты можешь быть активен, завтра — радиоактивен, а послезавтра — и вовсе пассивен. Кстати, как господин Барбатус чувствует себя?

— Он очень возмущен. Да и понятно.

— А супруга?

— И ей, конечно, не понравилось ни с того ни с сего оказаться в тюрьме.

— Ты полагаешь, господин Барбатус воспользуется этим инцидентом на следующих выборах?

— Наверно. Лучшего козыря против нас просто не сыщешь.

— Ты думаешь? Но ты мог бы выбить у него козырь из рук.

— Я? Каким образом?

— Как близкий знакомый... Можно сказать, друг семьи... А что, если господину Барбатусу пригрозить? Или, наоборот, предложить удовлетворение?

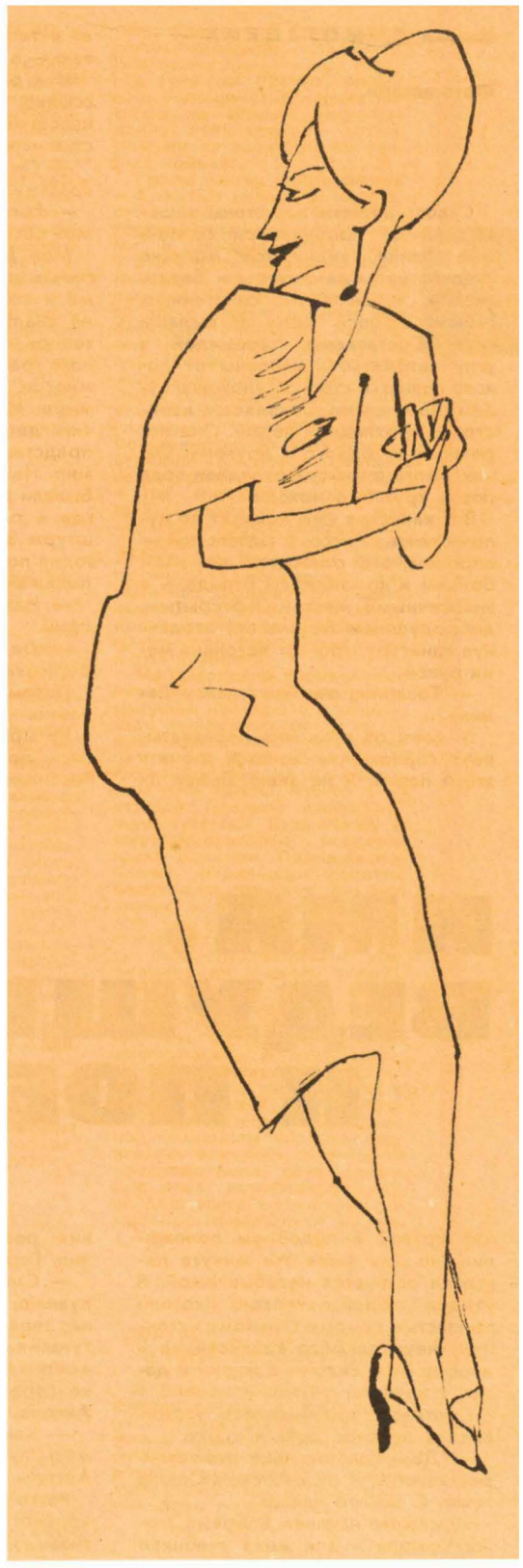
— Лучше предложить удовлетворение.

Тут мне представился удобный случай походатайствовать за Гнея Барбатуса. Я рассказал премьер-министру о плане Барбатуса монополизировать похоронное дело в Лаконии. Премьер-министр слушал с огромным вниманием. Глаза его загорелись. Он сказал:

— Да, это блестящая идея! Наверно, и в нормальное время предприятие будет высокорентабельным. Друг ты мой, дело это меня заинтересовало. Я думаю, можно будет получить государственную субсидию и льготы.

— Субсидии господину Барбатусу не нужны. Он в состоянии сам финансировать предприятие. Вопрос лишь в предоставлении монополии...

— Монополию Барбатусу? Ни за что! Это настолько блестящая идея, что я сам возьмусь за ее осуществление.



Продолжение следует.

ОБ ЭТОМ ПОМА

Глава девятнадцатая

На следующий день я пригласил господина Барбатуса в министерство для разговора о похоронной монополии. Услыхав отрицательный ответ, он не мог скрыть своего разочарования.

— По новому закону о картелях монопольные права предоставляются лишь в исключительных случаях,— сказал я довольно сухо.— Я сделал все, что в моих силах, но не смог вам помочь.

— Тогда мне придется вложить средства в иностранные предприятия. А я уже надеялся начать похоронное дело на той неделе...

— Есть ведь и другие возможности.

— Есть, разумеется. Но я бы хотел основать такое предприятие, которое не страдало бы от постоянных грабежей. Разве вы слышали, господин министр, чтобы покойников грабили?

— За самое последнее время не припомню. Но вообще ведь преступники ничем не брезгуют. Я, право же, огорчен, что не мог помочь вам.

— Деньги мои, денежки... Что с ними теперь будет?

— Вложите их в государственные облигации мира.

— Плохое применение... А когда же, кстати, начнут прибывать покойники?

— Точно время еще не определено.

— Во всяком случае, на этих днях?

— Возможно.

— И минимум двадцать пять тысяч?

— Да, по предварительным наметкам.

В глазах господина Барбатуса вспыхнул огонь отчаяния. Каждый покойник был для него личной утратой. Он так хотел запустить свои деньги в работу, чтобы они трудились усердно, а приходилось приносить их в жертву инфляции. Деньги — это верный друг, который, однако, уходит от нас без тоски и сожалений. Мне было жаль господина Барбатуса. Ему решительно не везло.

Он вышел от меня опечаленный. Я искренне пожелал ему подыскать такое коммерческое предприятие, которое не страдало бы от грабежей. Мы попрощались, и человек, которому деньги не принесли счастья, грустно сказал:

— Я очень благодарен, что вы приняли меня. Последние дни я подумывал еще об одном деле, но об этом поговорим, когда вы наведаетесь к нам. А что бы вы сказали, если бы я переменил партию?

Я воздержался от каких-либо высказываний. Я начал серьезно подозревать, что господин Барбатус близок к тому состоянию, когда человеку всюду мерещатся зеленые чертики. Между бредом алкоголика и гениальностью огромная разница, но ее трудно описать. Для этого надо, вероятно, обладать литературным талантом, которого у меня нет.

Господин Барбатус был не единственный из видных граждан Лаконии, начавший вести себя несколько странно. Такого же рода симптомы замечались и у действительных министров и даже у государственных чиновников меньшего ранга. Я приписывал это действию куропотамского рома, но главный директор аптечного управления решительно отклонил мою версию. Он находил, что речь может идти о каком-то неизвестном вирусе, вызывающем нарушения мозговой деятельности. Выдающийся диагностик Лаконии доктор Плекотус отверг вирусную теорию, признавая, со своей стороны, что имеет место истерия, носящая характер эпидемии. По его мнению, правительство страны вызвало массовый психоз, раздувая дело Барбатуса. Каждому понятно, что доктора Плекотуса пришлось отстранить от работы и строго изолировать. Ему создали особые условия домашнего ареста.

Назначенный вместо него доктор А. Б. Пубес выдвинул свою теорию, тотчас одобренную правительством. Доктор Пубес утверждал, что Куропотамия тихой сапой начала бактериологическую войну. Она коварно использует стихийные силы природы и посылает с ветром бактерии на территорию Лаконии. Пресс-секретарь Вульвиус поспешно созвал конференцию представителей печати, но военные специалисты в последнюю минуту запретили ему говорить о бактериях; дело в том, что они ожидали перемены ветра, который со временем начнет дуть в сторону Куропотамии. Отряды гражданской обороны на всякий случай раздавали жителям Палинодии защитные маски и средства первой помощи. Каждый читающий газеты гражданин понимал, что враг хочет сделать всех нас помешанными. Но все же публично о бактериях не говорили.

Изолированный с сохранением содержания диагност Плекотус чувствовал себя под домашним арестом отлично. Он сразу же засел за мемуары, которые изданы в Лаконии года два тому назад. Между прочим, книга Плекотуса переведена и на финский язык и здесь была встречена исключительно благосклонно. Финны любят мемуары. Очень многие даже посвящают лучшие годы своей жизни тому, чтобы ворошить в памяти былое. Если не хватает смелости посмотреть в будущее, то самое умное — жить прошлым. Зачем сажать новый лес, если можно считать пни? Но, несмотря на все, я люблю финнов: их медлительность просто трогательна.

Читатель, несомненно, заметил, что я все время старался и стараюсь дать возможно более положительную и правдивую картину жизни Лаконии. Легче сделать доброе дело, чем объяснить, почему ты его не сделал. Я, разумеется, не собираюсь представить себя благотворителем, ожидающим признательности грядущих поколений, бронзовых монументов или хотя бы восковой фигуры в музее мадам Тюссо. Но смею сказать, что я обладал всеми гражданскими добродетелями, обязательными для должностного лица моего ранга. Меня нельзя обвинить в политическом шатании. У г р и никогда не шатались. Меня нельзя обвинить и в судебных убийствах, потому что правосудие никогда не совершает убийств.

Говорят, что родина не знает своих сынов. Да и зачем ей знать? Это входит в задачи полиции. Друзья познаются в беде, например, Корвус, мой верный слуга, награжденный медалью за спасение человеческих жизней 2 декабря 1958 года. Я расскажу вам о его подвиге и прошу ответить: неужели он не заслужил медали?

23 ноября 1958 года я вернулся домой около полуночи с секретного заседания. Мы обсуждали, как поступить с доктором А. Б. Пубесом, чье душевное здоровье внушало серьезные опасения. Он панически боялся бактерий, которые мерещились ему повсюду. Войдя в свой тихий кабинет, я хотел было позвонить Ламелле, как дверь приоткрыл Корвус и задал свой обычный вопрос:

— Чай или кофе, господин министр?

— Кофе.

— На двоих?

— Мне одному.

— Подать сейчас?

— Пожалуйста.

— Что-нибудь еще, господин министр?

— Ничего. Принесете кофе и можете быть свободны.

Корвус принес кофе, накрыл на стол и остановился, словно ждал еще чего-то.

— Какой-нибудь вопрос ко мне?

— Да, господин министр. Внизу, в прихожей, адская машина. Я хотел спросить, куда ее деть.

— Адская машина? Корвус, да вы пьяны! Или больны.

— Господин министр, я не употребляю спиртного уже двадцать лет. Так куда мне девать эту бомбу?

Он попутно взглянул на часы и спокойно сказал:

— Ей положено взорваться через два часа. Ровно в три часа ночи.

Вскочив, я стал трясти его за плечи.

— Что вы болтаете? Ну, в чем дело?

— Дело в бомбе. Отпустите руки, господин министр. У меня и так ломит плечи. Должно быть, к перемене погоды. Ревматизм, видите ли. Ни массаж уже не помогает... ни патентованные лекарства. Суставы, суставы. Старые суставы...

— Корвус! Вы больше у меня не работаете. Можете уходить. Сию минуту!

— С удовольствием, господин министр. У меня есть пенсия и кое-какие сбережения. Завтра утром соберу вещи и поеду в Лутению, к брату. Наверно, поезда-то еще ходят? Да, только эта бомба. Унести бы ее куда-нибудь.

У меня лопалось терпение. Я не привык к таким дурацким выходкам, хотя и давно смотрел на мировом театре абсурдную пьесу, в которой безумию дается хитроумное истолкование. Полная лаконийская свобода все же не означает, что подчиненные могут позволять себе столь дикие шутки с начальством. А может быть, доктор А. Б. Пубес все-таки прав и враг начал бактериологическую войну, желая поразить безумием великую державу?

Корвус стоял и ждал.

— Не изволите ли, господин министр, поглядеть на нее? — покорно спросил он, когда я снял руки с его ревматических плеч.

— Принеси эту бомбу сюда!

— Слушаюсь, господин министр.

Он опять поглядел на часы и, кивнув головой, сказал как бы про себя:

— Время еще есть. Час и три четверти. Если их часы не спешат...

Он спустился вниз и через минуту вернулся с продолговатым металлическим ящиком объемом примерно в два кубических фута. Он осторожно поставил ящик на восточный ковер и проговорил, отдуваясь:

— Ну и тяжелая... Тут вот квитанция, господин министр. За доставку платить не пришлось.

Он подал мне сложенную вдвое бумажку, на которой было четко, крупно выведено:

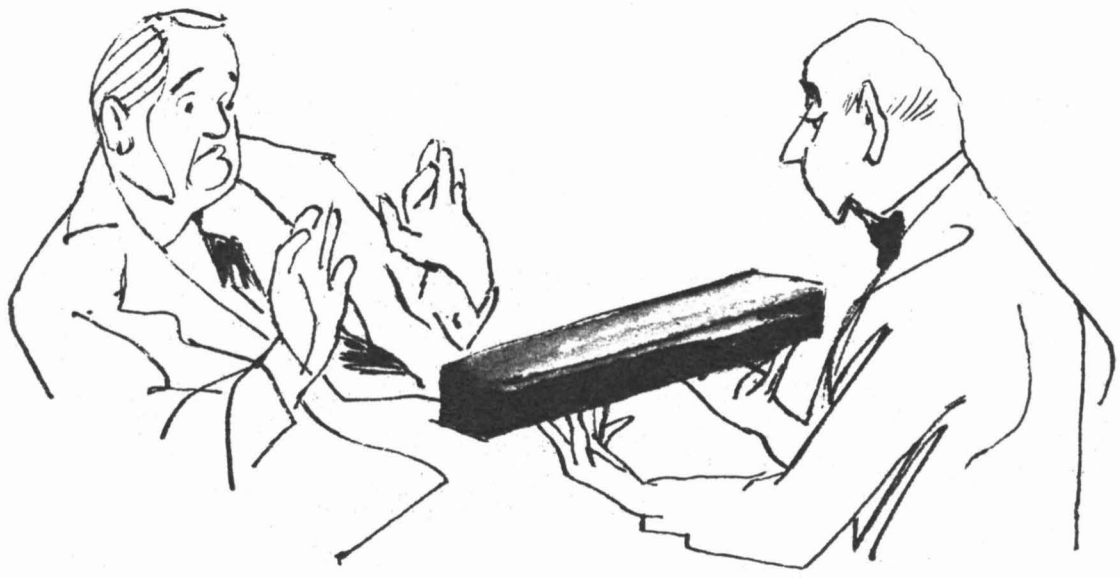
Продолжение. См. «Огонек» №№ 27—35.

ЛКИВАЮТ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАНИЯ ПРОСТОДУШНОГО

Роман-памфлет

Мартти ЛАРНИ



Рисунки В. Горяева.

Последний привет величайшему
идиоту Лаконии
Друзья демократии.
P. S. Обращаться осторожно, чтобы
не взорвалась преждевременно,
т. е. до трех часов ночи.
Те же.

— Вы уверены, что это адресовано мне?

— Конечно, я сперва было подумал, что ящик надо доставить премьер-министру или президенту. Но посыльные проверили адрес и сказали, что все в порядке: кому написано, тому и принесли. Примите и распишитесь. Ну, я и расписался.

— Идиот!

— Так они не меня имели в виду, господин министр.

— Все равно идиот! Кто это принес?

— Двое молодых людей.

— Когда?

— Может, час тому назад.

— Почему же вы сразу не заявили в полицию?

— Заявил. Но там сказали, что ничего, мол, пускай взрывается, а ты, дед, заткни уши ватой да выпей-ка еще глоток-другой и ложись спать. И еще кое-что добавили, такое похабное, что я не могу вам повторить, господин министр. Я все же культурный человек. Вы же знаете, что мать моя была графского рода. Она эмигрировала в Лаконию из...

— Довольно! Перестаньте, черт побери, тянуть кота за хвост! Чем древнее род, тем глубже вырождение. Унесите это немедленно вон, хоть на улицу!

— Слушаюсь, господин министр. Время у нас еще есть — почти полтора часа.

Корвус утащил ящик, который, слава богу, хоть бесплатно доставили. Я поднял на ноги государственных сыщиков и своих людей. Позвонил также Вульвиусу, тот обещал вызвать пожарную команду, отряды гражданской обороны, скорую помощь и представителей прессы. Все почему-то жаловались на занятость и спрашивали, заплатят ли за экстренность и за ночной вызов. Я честно признаюсь, что волновался. В наши дни все подрывает в человеке веру: тут соревнуются и любовь, и демократия, и спешка.

Корвус оттащил адскую машину метров на шестьдесят от моего дома. Бомба взорвалась за полчаса до назначенного срока и причинила большой ущерб. Пострадало несколько зданий, и погибло человек тридцать. Я уверен, что несчастье больше всех потрясло господина Барбатуса, которому правительство не утвердило похоронной монополии. Он искренне горевал оттого, что не мог дать утешение родственникам погибших.

Покушение сразу же начали расследовать. В распоряжении сыскной полиции имелись ясные направляющие нити: Куропотамия фактически начала войну. Лишь один момент вызывал разногласия сыщиков: кого именно террористы хотели уничтожить? Премьер-министр предполагал, что тайная агентура иностранной державы замышляла ликвидировать именно его. Но, увидев своими глазами квитанцию с последним приветом «величайшему идиоту Лаконии», он покачал головой:

— Не думаю, чтобы это относилось ко мне.

Правительство экстренно собралось на чрезвычайное заседание. Все министры единодушно считали, что мирным войскам Лаконии надо безотлагательно дать приказ перейти границу и захватить Куропотамию.

— Бездействие подрывает моральное состояние армии,— сказал министр обороны.

— Бактериологические диверсии Куропотамии угрожают здоровью всего народа,— заявил министр здравоохранения.— У людей появляются странности. На площадях, в парках, на станциях метро, в кинотеатрах, в школах и на собраниях молящихся постоянно происходят беспорядки.

— Престиж Лаконии падает во всем мире,— сказал министр иностранных дел.— Нас упрекают в робости и беспомощности.

— Теперь уж нам нельзя думать о жертвах,— очень внушительно произнес премьер-министр, ибо именно ему предоставили похоронную монополию.— Акция мира не может обойтись без человеческих жертв. Двадцать пять тысяч покойников — недорогая цена за свободу.

— Сколько еще нужно покушений, сколько бомб нам нужно подбросить, чтобы мы очнулись наконец?— сказал я.

— И что скажет о нас история?— добавил министр просвещения.— Мы столько лет помогали всему свету, а теперь не можем постоять за себя. Будущие историки со стыдом станут рассказывать школьникам правду о днях унижения великой Лаконии. Культурные традиции нашей страны обязывают нас применить самое действенное оружие — газ. Пешеход уклоняется от автомобиля, бизнесмен — от налогов, а политик — от ответственности. Но мы не можем, не имеем права уклоняться. Во имя культуры, во имя цивилизации уничтожим Куропотамию!

Президент Бос Таурус умел талантливо слушать. Он дал министрам высказаться, а затем спокойно сказал:

— Господа, вы хотите, чтобы я поступил так, как поступили бы вы, будь вы на моем месте. Врагов надо тщательно выбирать. Я не скажу, что мы ошиблись в выборе. Куропотамия — ценный враг. И с нею надо обходиться так, чтобы получить максимальную выгоду. Подготовка к миру требует терпения и тщательного, всестороннего вооружения. Разоружение совершенно нереально. Пусть им занимаются женщины: это их дело, так же как и стриптиз. Конечно, мы могли бы оккупировать Куропотамию хоть завтра. Но если мы сможем получить все, чего требуем, то с оккупацией можно и повременить. Одно дружественное нам молодое африканское государство — Башмания — согласно выступить посредником при урегулировании конфликта между Лаконией и Куропотамией. Так что, господа, подождем еще дня два.

— Чего ждать? Новых покушений?— спросил министр обороны, нетактично проявив свое раздражение.— Что я скажу верховному командованию армии?

— Скажите, что состояние готовности номер один продолжается и что правительство полно надежд. Пресс-секретарю Вульвиусу даны точные указания относительно освещения в печати инцидента со взрывом адской машины. Но о бактериях мы пока молчим. Лично я не возражал бы против захвата Куропотамии сегодня же, чтобы поставить точку на деле Барбатуса. Но тут надо еще подумать. Я объявлю свое окончательно решение завтра.

Министры разошлись в подавленном настроении. Я поехал к себе в министерство, и мне сразу же подали рапорт государственной сыскной полиции: участники покушения задержаны и сами во всем сознались. Я распорядился пока не публиковать никаких сообщений. По-моему, сотрудники полиции ошиблись. Просто невероятно, чтобы свои же лаконийские граждане — два молодых студента — могли совершить столь безумный поступок. С какой стати им надо было мстить за смерть Валериана Пулекса, явившуюся следствием вполне естественной человеческой ошибки? Я приказал сотрудникам моего собственного бюро продолжить расследование, концентрируя внимание на куропотамских переселенцах.

Каждая новая мысль представляет ценность, если только появляется в нужный момент.

Глава двадцатая

Покушения продолжались. Палинодия едва успела пережить первый испуг, как ей уж был приготовлен второй. В кабинет премьер-министра через окно забросили маленькую бомбу. Взрыв был слабый и материального ущерба не нанес. Но зато запах от нее был просто умопомрачительный. Запах этот явно напоминал куропотамское национальное кушанье — б и с и к а к у,— приготовляемое из кислого мульего молока, чеснока и кореньев к а р и ц и к и. После покушения весь правительственный дворец пришлось проветривать. Разумеется, р е п т и л и и встретили это сообщение с нескрываемой радостью. Их главный орган «Рептилия» напечатал известие под претенциозным заголовком, столь же броским, сколь непристойным: «Правительственный дворец нуждается в проветривании! Правительство работает по-домашнему».

Министр юстиции наложил арест на газету р е п т и л и й, поскольку ее выступление было оскорбительно для лаконийской свободы. Отношения у г р е й и р е п т и л и й становились все более натянутыми, так как, несмотря на дело Барбатуса, обе партии готовились к новым выборам.

За пахучей бомбой последовало третье покушение. У входа в дом министра просвещения подорвался грузовик, доверху нагруженный тухлыми гусиными яйцами. Террористы стали осторожнее, они уже не предлагали расписаться в накладной и не выдавали квитанций с глупыми приветствиями. Нет смысла повторять одну и ту же шутку.

У квартир министров усилили охрану. Даже мне пришлось три раза доказывать, что я — это я, и предъявлять пропуск, чтобы пройти в собственный дом. Поэтому визиты Ламеллы были чрезвычайно затруднены. Для верности она одевалась монашкой и пряталась в футляр от контрабаса, который Корвус и Кабаллус извлекали из подъезжавшей к дому министерской машины и несли прямо ко мне в спальню. Невозмутимый Корвус объяснял моим телохранителям, что министр полиции страдает приступами слуховой меланхолии и ему помогает игра на инструменте с низким, густым звуком.

Голос моего драгоценного инструмента прозвучал на этот раз жалобно.

— Милый, ты должен помочь мне!— с мольбой проговорила Ламелла, едва я открыл крышку футляра.— Я так несчастна и просто не знаю, что делать.

— Прежде всего сними эту ужасную униформу.

— Не будь жестоким, Лепус. Ты же видишь, я вся дрожу от страха.

— Только от страха? Успокойся, маленький вампир. Мой дом охраняют особенно зорко, и слуги больше не принимают никаких посылок. Негодяи не смогут повторить свой глупый фокус. Они просчитались. Думали, я поверю, что это лишь безобидная шутка. Но я и не подумал открывать их ящик, а живо выставил его на улицу.

— Слава богу! Какой ты молодец, Лепус! Подумать только, что было бы, если бы ты открыл этот ящик! Лепус, я люблю тебя. Скажи, милый, не правда ли, мне идет это платье монашки?

Вечная забота женщины состоит в том, чтобы демонстрировать одновременно себя и свой наряд. Мне больше нравилась она сама. Теперь она была очаровательна, как никогда. Страстная, чуткая и покорная. На минуту я даже забыл, что она имела непосредственное отношение к делу Барбатуса. Но вскоре я должен был вернуться к неприятной действительности. Ламелла заговорила о муже. Замужество Ламеллы представляло собою сплошной клубок неприятностей, недоразумений и ссор. Она доверялась мне и предавала своего мужа. Я чувствовал, что со мной она искренна. Потому что меня она не могла бы предать. Я был единственный человек, которому она могла открыто рассказать о намерениях мужа. Гней Барбатус замышлял удрать за границу.

— Вчера он попытался перейти в вашу партию, но его заявление отклонили,— сказала Ламелла.— Угри не верят ему с тех пор, как он переметнулся к рептилиям. А две недели назад он перевел большую часть нашего состояния в Швейцарию. И вот теперь он задумал бежать в Англию.

— Зачем?

— Не знаю. Он совсем обезумел. Он говорит, что боится мира... Или, может быть, не столько мира, сколько мирных действий. К тому же он не доверяет нынешнему правительству. Он говорит, что премьер-министр — алкоголик и кретин. Я, конечно, не знаю, что значит кретин, но я знаю премьер-министра...

— Так твой муж недоволен нынешним правительством?— спросил я.

— Не говори т в о й м у ж. Он просто мой сосед по квартире. Теперь мы даже спим в разных комнатах. Он говорит во сне почти столько же, сколько наяву. И так же невнятно. Да, он недоволен. Он говорит, что правительство Лаконии неспособно обеспечить своим гражданам даже минимальной безопасности. Затем, он не верит, что Куропотамия готовится на нас напасть. Но ведь все же знают, какие варвары эти куромоиды! И запах от них такой ужасный! Вот поэтому муж... нет, Гней и хочет бежать в Англию. Но я не поеду с ним. Не поеду.

— Почему же он стремится именно в Англию?

— Не знаю. То есть как-то раз он сказал, что в Англии удобнее всего организовать эмигрантское правительство Лаконии, поскольку там сейчас очень много противников нынешнего правительства. И еще он сказал, что Англия очень охотно предоставляет радиостанции Би-Би-Си в распоряжение эмигрантских правительств.

— Он действительно так сказал?

— Я готова поклясться. Разве ты не знаешь Гнея? Это сумасшедший. Он воображает, что алкоголь для него так же безвреден, как и для коньячной бутылки. Я подозреваю, что он тоже кретин. Да и не удивительно. Бандиты похитили у нас на одиннадцать миллионов ценностей, а он чуть ли не столько же заплатил сыщикам за расследование! Лепус, неужели и я должна покинуть Лаконию?

— Нет, дорогая... Нигде в мире жизнь человека не обеспечена так, как в Лаконии. Ты подумай о нашей свободе, о нашем уровне жизни, о нашей истории.

— А бомбы?

— Их не станет, как только мы перейдем к активным мирным дейст...

Я не договорил. Мы вскочили, точно по уговору. Раздался могучий грохот орудий. Дом задрожал. С улицы доносились крики и неопределенный шум. Зазвонил телефон. Референт из министерства полиции объявил, что правительство немедленно собирается на чрезвычайное заседание. Дело спешное. Я был радостно взволнован. Значит, президент наконец-то принял решение. Наступление мира и свободы началось! Де-

ло Барбатуса следствием прекращается и, надо полагать, сдается в архив на вечные времена. Я горячо обнял Ламеллу, дрожавшую как в лихорадке, и, торжествуя, воскликнул:

— Наконец-то, дорогая! Начинается!

— Ужасно! О боже мой! Я боюсь...

— Совершенно напрасно. Разве ты не слышишь, как наша артиллерия приветствует мир? Какой могучий салют в честь мира! Теперь вся Лакония упьется миром...

Мы быстро оделись. Ламелла хотела было юркнуть в футляр от контрабаса, но я схватил ее на руки и пронес сквозь плотный кордон полиции к ожидавшей меня министерской машине. Кабаллус перекрестился и прочел «Аве Мария», увидав, что в машину садится монашка. Ничего другого ему видеть и не полагалось. Я довез Ламеллу до ворот монастыря кармелиток, откуда было лишь две минуты ходьбы до дома Барбатуса, и дальше помчался пустынными улицами к правительственному дворцу. Орудийные залпы стихли, и кое-где любопытный обыватель уже рисковал выглянуть на улицу.

Перед входом в зал заседаний я заметил, что забыл надеть галстук. Я почувствовал неловкость, но, увидев, как министр социального обеспечения снимает кухонный передник и безуспешно пытается запихнуть его в карман брюк, я ощутил в себе приятную уверенность свободного человека. На лицах министров витали счастливые улыбки. Только министр обороны поглядывал довольно мрачно. Наша славная армейская артиллерия получила возможность сделать лишь сто одиннадцать залпов. Согласно приказу президента. Сорок залпов в честь Куропотамии и семьдесят один залп в честь Лаконии.

Заседание правительства началось. Президент Бос Таурус вынул из портфеля пачку бумаг и доложил следующее:

— Господа! Сегодня славный день в истории Лаконии. Согласно нашей демократической конституции, президент наделен властью и правом единолично решать вопрос о войне и мире. В течение последних двух недель я вел тайные переговоры с главой государства Куропотамии. Лаконийская служба информации действовала безупречно, и нам удалось восстановить против Куропотамии мировое общественное мнение. Куропотамия признала все наши обвинения основательными. Поэтому я взял на себя смелость подписать сегодня договор о дружбе между нашими двумя странами, который отныне и впредь гарантирует нам свободу и мир. Битва за мир выиграна, господа! И мирные действия наших оборонительных сил прекращаются сегодня же.

Члены правительства бросали друг на друга изумленные взгляды. Признаюсь, я почувствовал себя несчастным. Дело Барбатуса надо было все-таки продолжать. У премьер-министра дрожали губы. Он лишился по меньшей мере двадцати пяти тысяч похорон. Это составляло, даже по самым осторожным подсчетам, десять миллионов лаконийских долларов. Я, кажется, заметил, как на лице у него легли складки обреченности. Наверно, он вдруг почувствовал себя старым, одиноким человеком, единственным утешением которого была похоронная монополия... в условиях нормальной смертности. И министр просвещения тоже как-то вдруг осунулся. Боевой дух угас, и он сразу почувствовал себя стариком. Старость подходит порой неожиданно. У одних появляется мудрость, у других же — только морщины.

Президент продолжал свою торжественную речь:

— Господа! Я вижу, вы глубоко взволнованы. От радостного порыва у вас чуть ли не слезы навертываются на глаза. Я уверен, что чувство облегчения наполнит сегодня сердца и души всего нашего народа. Мы одержали мирную победу и будем по-прежнему вооружаться, чтобы закрепить и упрочить мир. Великая Республика Лакония и Младореспублика Куропотамия заключают между собой следующий

ДОГОВОР О ДРУЖБЕ

Правительство Великой Республики Лаконии, с одной стороны, и Правительство Младореспублики Куропотамии — с другой,

исполненные решимости прекратить возникшие между обоими государствами разногласия и создать условия мирного сотрудничества между ними

и убежденные в том, что прочный мир равно соответствует интересам обеих договаривающихся сторон,

сочли нужным заключить настоящий Договор о дружбе и с этой целью возложили все необходимые полномочия на

Президента Республики Лаконии Боса Тауруса и

Президента Куропотамии Хабачиба Хай Бай Каина.

Предъявив друг другу свои полномочия и признав их действительными, оба Президента договорились о следующем:

Статья 1.

Куропотамия немедленно соглашается на дружбу и обязуется впредь никогда не публиковать заявлений, оскорбительных для Республики Лаконии.

Статья 2.

Республика Лакония обещает относиться к Молодой Республике Куропотамии деликатно.

Статья 3.

Государственная граница между Республикой Лаконией и Младореспубликой Куропотамией демаркируется таким образом, что пограничные районы Друхас-Мулькку с находящимися там нефтепромыслами и со всем оборудованием последних отходят к Республике Лаконии на неопределенное время или до тех пор, пока нефтяные месторождения окончательно не иссякнут. Республика Лакония, со своей стороны, соглашается продавать Куропотамии нефть по себестоимости, с начислением приемлемого процента прибыли, обеспечивающего рентабельность поставок.

Статья 4.

Младореспублика Куропотамия соглашается отменить охранные пошлины на лаконийские кинофильмы, комиксы, фотографии, возбуждающие половую активность, а также на гусиные яйца. Со своей стороны, Лакония соглашается покупать у Куропотамии ограниченное количество текстильных товаров и кинокамер, но пока воздержится от ввоза собачьих хлопушек.

Статья 5.

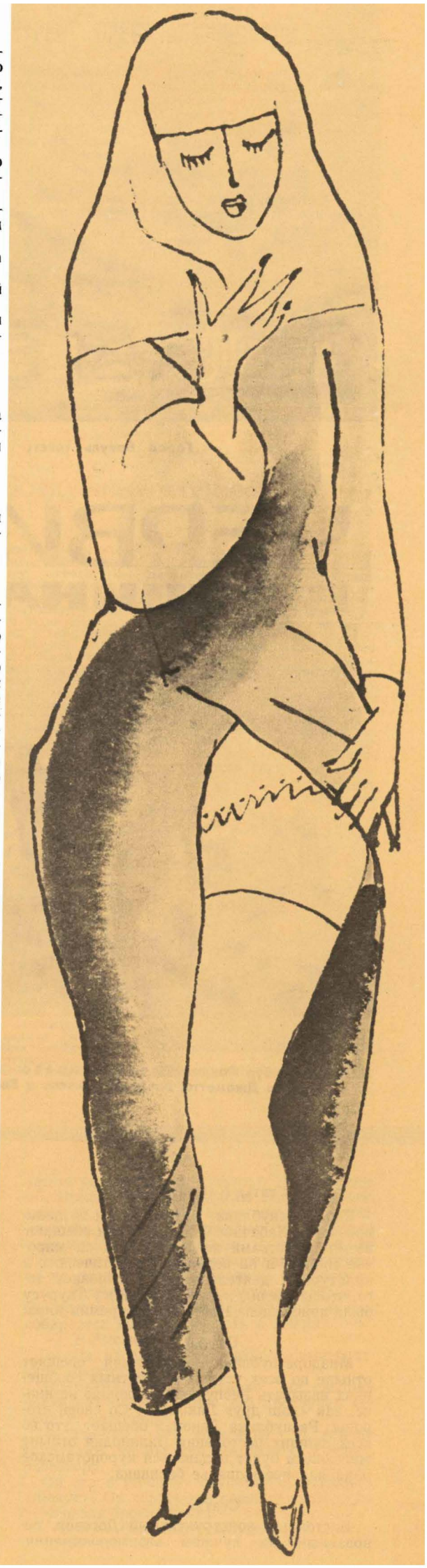
Младореспублика Куропотамия немедленно прекращает табачный демпинг и больше не продает своих табачных изделий торговым партнерам Лаконии.

Статья 6.

Младореспублика Куропотамия снизит крепость экспортируемого ею рома с восьмидесяти пяти (85) до сорока (40) градусов и одновременно повысит цену этого превосходного напитка на сорок пять (45) процентов. Младореспублика Куропотамия соглашается уплатить Республике Лаконии сто миллионов (100 млн.) лаконийских долларов компенсации за одурманивание лаконийских граждан. Со своей стороны, Республика Лакония соглашается, чтобы этикетки рома остались прежними.

Статья 7.

Республика Лакония соглашается репатриировать в Куропотамию всех проживающих в Лаконии куромоидов, которые непосредственно не участвовали в ограблении магазина Барбатуса. Со своей стороны, Младореспублика Куропотамия обязывается возместить Республике Лаконии расходы, связанные с постройкой дополнительных тюремных лагерей, согласно счетам, которые Лакония представит позднее.



Статья 8 (Секретная).

Младореспублика Куропотамия и лично президент Хабачиба Хай Бай Каин обещают всеми средствами воздействовать на мировое мнение и на ведущих политических и культурных деятелей мира, добиваясь того, чтобы президенту Лаконии Босу Таурусу была присуждена Нобелевская премия мира.

Статья 9.

Младореспублика Куропотамия обещает отныне во всех устных и печатных сообщениях называть Республику Лаконию не иначе, как «наш друг Лакония». Со своей стороны Республика Лакония обещает, что во всех лучших ресторанах Палинодии отныне желающим будет подаваться куропотамское национальное кушанье бисикака.

Статья 10.

Настоящий конструктивный Договор, основанный на лучшем взаимопонимании, взаимном уважении и многовековых традициях добрососедства, вступает в силу тотчас после его подписания и подлежит неукоснительной ратификации.

Обмен ратификационными грамотами состоится через три дня после подписания Договора в столице Республики Лаконии — Палинодии.

Настоящий исторический Договор о дружбе, могущий служить примером и образцом для всех народов и стран мира, составлен в двух экземплярах, на лаконийском и куромоидском языках, причем оба текста являются аутентичными.

Палинодия, 29 ноября 1958 года.

Бос Таурус Хабачиба Хай Бай Каин.

Правительство безмолвствовало. Оно было подавлено силой десяти статей договора. Седеющий министр просвещения, автор школьных учебников по истории, тихо всхлипывал. Министр обороны, питавший отвращение к легким победам, устремил свой взор в пустоту. Премьер-министр что-то рассеянно писал в своем блокноте. Министр внутренних дел судорожно сжимал руку министра социального обеспечения. Остальные члены правительства сидели совершенно неподвижно.

— Добрые друзья всегда идут на взаимные уступки, если ничто не мешает этому,— произнес президент несколько патетически.— Куропотамия входит в число наших добрых друзей. Мужчинам нравятся женщины, которые редко говорят «нет». Великой державе особенно милы те страны, которые боятся сказать «нет». Так рождаются взаимопонимание и крепкая дружба. Но дружба накладывает и обязательства. Теперь мы обязаны принимать все, что друг предложит нам. Я распоряжусь, чтобы все наши средства информации начали широко пропагандировать дружбу между нашими двумя странами, чтобы в ближайшие дни в Куропотамию выехала наша торговая делегация для ознакомления с новыми возможностями развития экспорта, чтобы школьные учебники были переизданы с необходимыми исправлениями: такие определения, как «варварская Куропотамия» и «отсталая соседняя страна», следует всюду заменить на «дружественная нам Куропотамия» и т. п. Следует также отменить некоторые ограничения, существующие у нас для куромоидов. Надо установить, например, чтобы представитель куромоидной расы мог получить в армии звание офицера интендантской службы, чтобы смешанный брак между лаконийцем и куромоидкой не преследовался и чтобы дети от таких смешанных браков — куромулаты — имели право занимать даже руководящие должности после десятилетнего испытательного срока. Крепкая дружба между двумя нашими странами потребует еще многих распоряжений, но мы отдадим их позже. Может быть, года через два опубликуем специальный сборник постановлений.

Президент Бос Таурус окинул членов правительства вопрошающим взглядом. Поскольку все молчали, я собрался с духом и спросил:

— Господин президент, в какой мере Договор о дружбе меняет характер дела Барбатуса?

— Очень незначительно. Только теперь придется рассматривать его как чисто внутриполитическое событие. А направляющие нити у вас имеются?

— Имеются, господин президент.

— И обвиняемых достаточно?

— Совершенно достаточно, господин президент.

— В таком случае лучше всего начать суд как можно скорее. Нам надо покончить с этим запутанным процессом до выборов. Заседание закрыто.

Выходя из зала заседаний, премьер-министр поймал меня и прошептал на ухо:

— Друг мой Тимидус! Последние дни я все думаю о судьбе господина Барбатуса. Он пострадал слишком сильно. Надо бы как-то возместить его утраты. Хоть частично. Принять в нашу партию такого идиота, конечно, нельзя, но у меня есть одно предложение, которое наверняка заставит его действовать в нашу пользу. Я, пожалуй, откажусь от похоронной монополии и уступлю ее по сходной цене господину Барбатусу.

— Слишком поздно,— сухо ответил я.— Он перевел капиталы в Швейцарию и сам собирается на днях сбежать в Англию.

— В Англию?

— Да, чтобы организовать там эмигрантское правительство.

Премьер-министр, наверно, не слышал последних слов, и ответ его прозвучал несколько рассеянно:

— Так-так... Это интересно. Я сейчас тороплюсь, но мы еще вернемся к этому разговору.

Он сел в машину и укатил в гостиницу «Фокус». Он всегда так спешил, что просто не успевал бросить пить.

Окончание следует.

Роман-памфлет

ОБ ЭТОМ ПОМАЛКИВАЮТ

Мартти ЛАРНИ

Глава двадцать первая

Как ни грустно, а надо признать, что в мире оказалось слишком много пессимистов и скептиков, которые встретили Договор о дружбе между Лаконией и Куропотамией весьма иронически. Представитель известного французского агентства вел себя на пресс-конференции Вульвиуса просто неприлично, вступал в пререкания:

— Господин пресс-секретарь! Я познакомился с текстом «Договора о дружбе», внимательно выслушал ваш обтекаемый комментарий, но мне бы хотелось получить от вас еще одно маленькое разъяснение: означает ли лаконийское слово д р у ж б а то же самое, что французское l'amitié или немецкое Freundschaft?

— Совершенно точно.

— Значит, здесь нет ошибки переводчика?

— Не понимаю, что вы имеете в виду?

— Господин пресс-секретарь! Я имею в виду дружбу. По-моему, договор утверждает явное насилие.

— Ближе к делу, мсье! — перебил его председательствующий. — У французов на уме вечно какая-нибудь фривольность. Вы, видно, сами не знаете, что такое дружба.

— Нет, мы дружбу знаем. Но тут мы видим явное насилие.

— Дружба! — воскликнул Вульвиус.

— Насилие!

— Дружба!

— Насилие!

— Дружба! Дружба! Дружба!

— Насилие, насилие, наси-ли-е...

В конце концов полиция заставила француза умолкнуть, но пресс-конференцию пришлось, к сожалению, закрыть. Всем иностранным агентствам печати были разосланы специальные бюллетени, в которых на обильном фактическом материале убедительно показывалась прочная и нерушимая дружба Лаконии и Куропотамии. Нашу информацию широко использовали газеты всего мира, но комментарии были резко различны. Только в двух странах наш материал опубликовали полностью и без комментариев. Как вы догадываетесь, одна из этих стран была Куропотамия, а другая — Финляндия, где пресса вообще все печатает без комментариев.

Я был счастлив, что забота о развитии дружеских отношений с Куропотамией не входила в задачи министерства полиции. Оно могло поэтому сосредоточить все свои силы на завершении дела Барбатуса. По прошествии двух недель я заметил, что придать делу международный разворот гораздо легче, чем находить внутриполитические решения. Человек легче осуждает чужих, чем своих.

Народ с нетерпением ждал суда по делу Барбатуса. Нам удалось наконец собрать присяжных, воспользовавшись пунктом 1-м статьи 4-й уголовного кодекса Лаконии, в котором сказано: «Если гражданин Лаконии, пользующийся безупречной репутацией, отказывается без уважительных причин от участия в заседании присяжных, он подлежит ответственности за неуважение к суду или же за нелаконийское поведение и может быть приговорен к тюремному заключению на срок от одного до десяти лет».

Лаконийцы уважают закон, поэтому за какой-нибудь час все присяжные были в сборе. Собственно, на этом мое участие в деле Барбатуса и закончилось. Сыскная полиция получила строгое указание не производить новых арестов. Все материалы следствия, полицейские рапорты и протоколы допросов поступили к судье Палинодийского

О к о н ч а н и е. См. «Огонек» №№ 27—36.

суда низшей инстанции. Министр юстиции тяжело вздохнул, я вздохнул с облегчением.

Суд начался девятого января 1959 года в помещении зимнего стадиона Палинодии. Присутствовало примерно пятьдесят тысяч человек. В числе приглашенных гостей были представители иностранных посольств, видные люди торговли и промышленности, выдающиеся деятели культуры. Право производить киносъемки в зале суда было закуплено международной компанией «Патро-Гульвин». Для ограничения наплыва публики установили высокую входную плату: один билет стоил десять лаконийских долларов. Продавались также абонементы на право посещения десяти судебных заседаний. Один такой абонемент стоил девяносто долларов. Право торговли мороженым и прохладительными напитками приобрела с аукциона одна палинодийская компания, владельцами которой были министр торговли Лаконии и его жена. По предварительным подсчетам министерства финансов, чистый доход от процесса по делу Барбатуса должен был составить примерно двадцать миллионов лаконийских долларов, из коих десять процентов отчислялось, по решению правительства, в избирательный фонд у г р е й.

Главных обвиняемых по делу Барбатуса было десять человек. Коротко цитирую основные пункты обвинительного заключения:

«Студент Тино Катуволькус, 20 лет, смешанной расы, неженатый. Обвиняется в краже собаки и в убийстве заключенного Азинуса, находившегося с ним в одной камере.

Общественный обвинитель требует смертного приговора.

Учащийся Тит Проциллус, 18 лет, неженатый, закоренелый преступник; у него при аресте отобран завернутый в упаковочную бумагу игрушечный пистолет-пулемет. На допросах признал, что стрелял в женщин; драгоценности роздал своим девушкам; опознал лифчик... и т. д. и т. д.

Общественный обвинитель требует для него смертного приговора.

Мисс Маммилла Корпус, секретарь-машинистка, 28 лет, незамужняя. Работая у банкира Капра Гиркуса в качестве личной секретарши, пользовалась штемпельной краской, украденной на заводе Муска; вводила в заблуждение полицию; сознательно обманывала супругу Капра Гиркуса, вступив с последним в интимные отношения; послужила непосредственной причиной гибели Капра Гиркуса.

Общественный обвинитель потребовал ее изгнания из пределов Лаконии.

Безработный Покулус Лагопус, 25 лет, пособник промышлявшего сводничеством Микротуса, случайно не убитый патриотами у ворот тюрьмы.

Общественный обвинитель потребовал для него пожизненной каторги.

Бывший начальник тайной полиции Ламнус Корнубикус, 58 лет, р е п т и л и я. Публично критиковал нынешнее правительство и высказывал антилаконийские мысли... Подарил своей жене дорогой перстень... Обвиняется в склонности к покупке краденых вещей и в намерении совершить государственную измену.

Общественный обвинитель требует приговорить его к десяти годам строгой изоляции.

Жена его Рая, возраст неясен, часто появлялась на людях в мужском костюме. В ее шкафу найден светлый мужской плащ и красный шарф. Не могла объяснить, каким образом на ее туалетном столике оказалась бутылка от штемпельной краски.

Требование общественного обвинителя — пять лет тюремного заключения.

Бена Поповичкау, учащийся, 19 лет, смешанной расы. 15 ноября 1958 года около четырех часов пополудни купил четыре плитки шоколада «Роза», с помощью которых выманил Луция Акантию из камеры во двор тюрьмы.

Общественный обвинитель потребовал для него смертного приговора за участие в убийстве выдающегося патриота Луция Акантии.

Мадемуазель Амелия Фрутти, публичная женщина, возраст неопределенный, незамужняя. Пыталась соблазнить премьер-министра нашего правительства.

Требование общественного обвинителя — изгнать из пределов Лаконии за антилаконийскую деятельность.

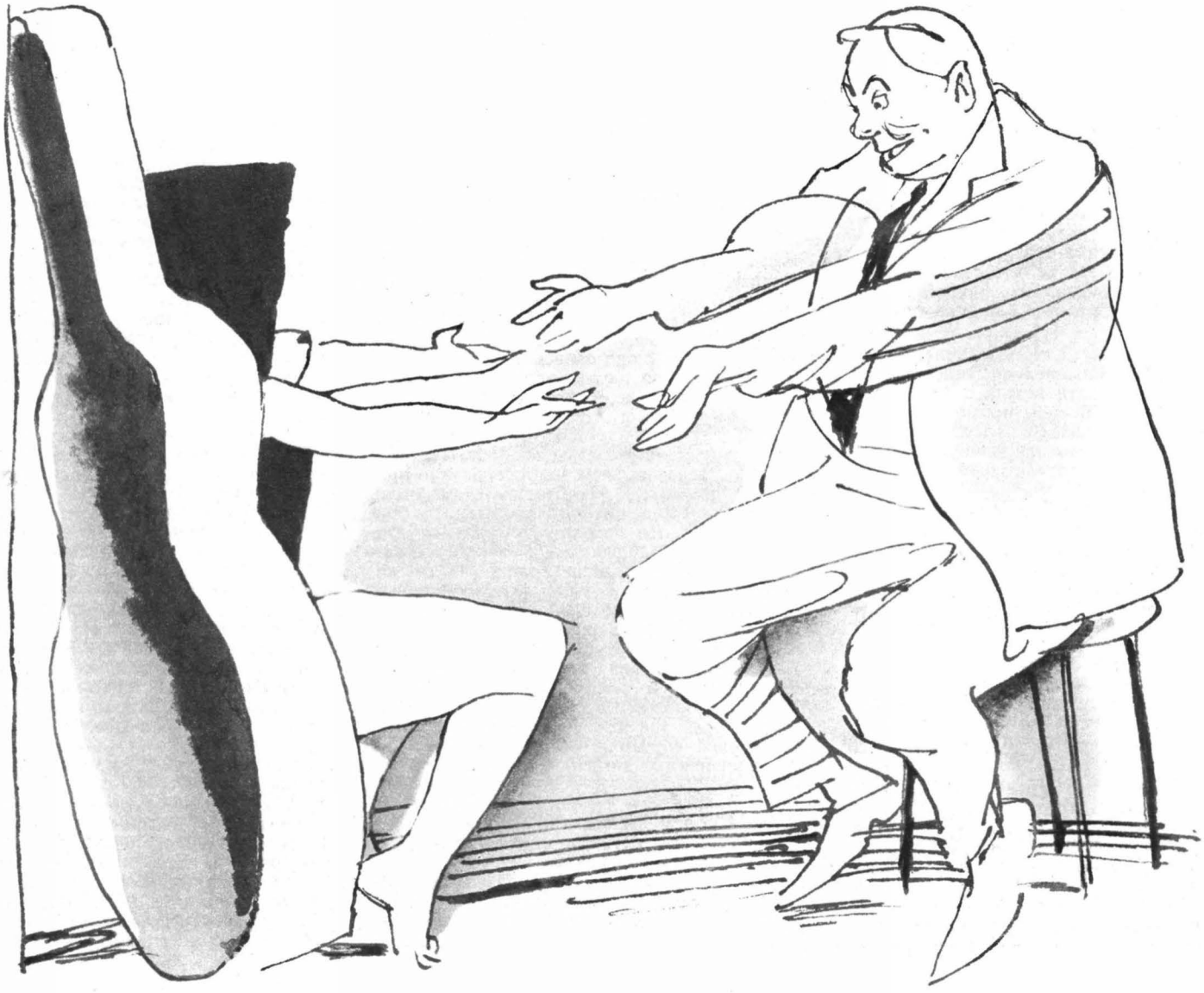
Студент Пий Агилис, 19 лет, неженатый. Доставил адскую машину в дом министра полиции Лаконии.

Требование общественного обвинителя — смертная казнь.

Студент Ранус Арвалис, 20 лет, неженатый, смешанной расы. Бросил ручную ароматическую бомбу в рабочий кабинет премьер-министра.

Требование общественного обвинителя — смертная казнь».

Помимо названных десяти главных обвиняемых, общественный обвинитель потребовал приговорить к различным срокам заключения четыреста одиннадцать человек,



так или иначе замешанных в ограблении ювелирного магазина Барбатуса.

Заседания суда начинались ежедневно с десяти и продолжались до семнадцати часов. Ровно в полдень объявлялся короткий перерыв, во время которого публика имела возможность что-нибудь купить, воспользовавшись предложением многочисленных лотков и временных киосков, разбросанных по всему громадному помещению. Здесь же в зале размещались киоски тотализатора и бюро по оформлению пари. Главными фаворитами публики были Тит Проциллус, которому почти все прочили смертную казнь (единица), студент Тино Катуволькус, которому все без исключения сулили пожизненное заключение (двойка), и мадемуазель Амелия Фрутти, которая, по общему убеждению, должна была получить условную свободу (крест). Сумма выигрышей по каждому разряду, согласно предварительным подсчетам, достигала трехсот тысяч лаконийских долларов.

Шестого мая 1959 года были объявлены первые приговоры. Единогласным решением присяжных к смерти были приговорены следующие из обвиняемых: студент Тино Катуволькус и учащийся Тит Проциллус — к повешению, учащийся Бена Поповичкау — к казни на электрическом стуле, а студенты Пий Агилис и Ранус Арвалис — к удушению в газовой камере. Исполнение приговоров было назначено на девятое мая. Сразу же началась продажа билетов для публики, желающей присутствовать при свершении правосудия. Право снимать казнь досталось палинодийской киностудии, которая ранее создала столь блестящий шедевр — репортаж о злодейском убийстве Луция Акантии.

Лично я всегда был противником смертной казни, а сейчас тем более, но, выслушав приговоры, я все же почувствовал известное удовлетворение. Как-никак, сложнейшее дело Барбатуса доведено-таки до конца. Сколько было затрачено сил и времени! А сколько произнесено слов! Человек мыслит словами. Слова приводят в движение весь хитроумнейший механизм языка и мышления. Если бы в работе этого механизма возникли во время судебного процесса какие-либо помехи — я здесь не имею в виду бестактные выкрики, раздававшиеся в зале,— мышление присяжных зашло бы в тупик. Но поскольку слова логично управляли мышлением, а мышление — языковым механизмом, то в результате и возникло единогласное решение, на которое нельзя пожаловаться: смертная казнь для пятерых. Правда, этот результат не удовлетворил общественное мнение страны. Особенно же недовольны были все те, кто ставил двойку на Тино Катуволькуса. Это лишний раз доказывает, что и в тотализаторе нужно везение.

И тут я подхожу к тому моменту, когда в моей жизни произошел неожиданный поворот. Неожиданности всегда являются неожиданно. Утром 9 мая, примерно за три часа до начала казней, государственная сыскная полиция объявила важную новость: грабители ювелирного магазина Барбатуса добровольно явились к начальнику сыскной полиции, чтобы предупредить «величайшее в истории Лаконии судебное убийство», как они напыщенно выразились. Я сразу же объявил государственному палачу, что исполнение казней откладывается до особого распоряжения — ввиду технической неисправности. Одновременно я распорядился, чтобы кассы начали принимать обратно билеты, проданные на этот день. Правительство собралось на экстренное заседание. Пресс-секретарь Вульвиус доложил обстановку:

— Господин президент, господа министры! Сегодня утром к начальнику сыскной полиции явились двое молодых людей, студент-медик Сицист Бетулинус и аптекарский ученик Викко Ларус, которые сознались, что ограбили ювелирный магазин Барбатуса пятнадцатого августа 1958 года. Их сразу же стали допрашивать, и полиция получила новые направляющие нити. Оба молодых человека состоят в молодежной организации рептилий, представляя в ней крикливую группу хулиганов. Полиция за последние два года имела достаточно хлопот с этими крикунами. Они проповедовали новую половую мораль, устраивали уличные беспорядки и многое другое. Четвертого августа прошлого года руководитель группы Сицист Бетулинус и Викко Ларус решили устроить эксперимент и проверить, насколько успешно в Лаконии охраняется порядок, закон и справедливость. На следующий день молодые люди ограбили магазин Барбатуса. Судя по их заявлениям, они действовали одни, совершенно самостоятельно; никто им не помогал и никто не руководил ими.

На допросе в полиции возникло подозрение, не является ли их чистосердечное признание вымыслом, за которым стоит столь характерное для молодых стремление к оригинальности. Но подозрение сразу отпало, как только молодые люди в присутствии одиннадцати полицейских раскрыли два чемодана. В одном оказались все похищенные драгоценности, в другом — два светлых плаща, два красных шарфа, одежда господина и госпожи Барбатус и автомат. Госпожа Барбатус опознала все драгоценности и платье. Ничего не пропало, кроме одних лишь нейлоновых трусиков госпожи Барбатус, которые так и не удалось найти. Когда грабителей спросили, зачем они заставили потерпевших раздеться, Сицист Бетулинус беззастенчиво сказал:

— Просто нам хотелось пошутить.

— А зачем вы ставили печати?

— Это мне вдруг пришло в голову,— ответил Сицист Бетулинус.

Потом полиция восстановила весь ход ограбления; все было разыграно заново, и все повторилось точно, как и в первый раз. Итак, теперь мы можем сказать с уверенностью, что обстоятельства ограбления магазина Барбатуса выяснены детально и что виновники — Сицист Бетулинус и Викко Ларус — находятся в руках полиции. Воспроизвести ограбление оказалось не так просто, поскольку роль господина Барбатуса пришлось исполнить другому человеку. Известно, что бывший министр Гней Барбатус живет в настоящее время в Лондоне и работает в лаконийской редакции Би-би-си. После отъезда мужа госпожа Барбатус одна сохраняла и обслуживала магазин, ставший в основном туристской достопримечательностью.

Господин президент, господа министры! Дело Барбатуса успешно завершено, но теперь мы вступаем в полосу тяжелого внутриполитического кризиса. Все вынесенные приговоры придется отменить. И сделать это нужно публично, потому что истинные виновники написали подробный отчет о своих похождениях и продали сочинение газетам рептилий, а также одной иностранной киностудии. Следовательно, избежать огласки невозможно. Но тут все же есть некоторые существенные моменты, о которых помалкивают. Я имею на этот счет свою теорию:

а) Ограбление магазина Барбатуса, несомненно, было задумано и запланировано в партийном руководстве рептилий со специальной целью — представить нынешнее правительство в дурном свете перед всем миром.

б) Ограбление, несомненно, было инсценировано, ибо сегодня утром, когда полиция инсценировала его снова, госпожа Барбатус смотрела на Сициста Бетулинуса, как на старого знакомого, и сказала: «Теперь на мне все-таки хоть что-то надето».

в) Поскольку господин Барбатус знал, что драгоценности спрятаны в надежном ме-

сте, он с легкостью предложил огромную награду тому, кто найдет пропажу.

г) Когда дело приобрело международный характер, господин Барбатус бежал за границу и начал сколачивать эмигрантское правительство Лаконии, оставив свою жену в Палинодии со шпионским заданием.

д) Все время, пока длилось следствие по делу Барбатуса, рептилии настраивали общественное мнение против угрей; и именно сейчас, когда суд успел вынести пять смертных приговоров, они кладут на стол свой избирательный козырь, выпустив из рукава Сициста и Викко!

Господин президент, господа министры! Я жду ваших указаний, ибо сегодня в семнадцать часов начнется пресс-конференция и мне придется отвечать на вопросы газетчиков всего мира. Между прочим, если угодно мое мнение, то госпожу Барбатус следовало бы немедленно арестовать.

— Никаких новых арестов! — воскликнул президент и попросил Вульвиуса покинуть зал заседаний.

Минута прошла в молчании. Я и не догадывался, что этим самым правительство как бы почтило память своего министра полиции. Наконец президент Бос Таурус сокрушенно произнес:

— Пресс-секретарь Вульвиус прав: нам предстоит серьезный внутриполитический кризис. Надо признать, что в семье не без урода. Господа, следующее заседание состоится в тринадцать часов. А до тех пор мы обсудим создавшееся положение на малом совете министров.

Премьер-министр и министр иностранных дел проследовали за президентом в его рабочий кабинет. Остальные члены правительства поспешили заняться своими побочными делами. В вестибюле ко мне подошел министр юстиции и шепотом спросил:

— Что имел в виду президент, когда он сказал: «В семье не без урода»?

— Понятия не имею,— ответил я.

— Мне кажется, он имел в виду либо министра полиции, либо министра юстиции.

Беспечно улыбнувшись, я оставил коллегу с его неспокойной совестью и побежал к машине. Хотелось поскорее увидеть Ламеллу и выслушать ее признание. Неужели она, подмигивая, сказала этому наглому юнцу: «Теперь на мне хоть что-то надето»?

Вот и наступил этот день, которого я в душе побаивался. С некоторых пор я стал замечать в ней какую-то натянутость и оглядку. Может быть, она обманывала и меня? Порой она избегала встреч. Не было ли это признаком нового увлечения? Возможно ли, чтоб какой-то начинающий медик... Кто-то сказал, что любовь слепа...

Я позвонил Ламелле. Служанка вежливо ответила, что госпожа полчаса как уехала отдыхать за город. Я утешал себя тем, что Сицист Бетулинус сидел сейчас в одиночной камере и что его жизненная карьера только-только начиналась. Мне и в голову не приходило, что моя карьера уже подходила к концу.

* * *

Когда правительство собралось на второе в этот день экстренное заседание, ему объявили мнение малого совета министров.

— Мы должны приготовиться к худшему,— сказал президент.— Государственная тайная полиция свидетельствует, что высшее офицерство армии недовольно нынешним положением. Я хорошо понимаю, что Договор о дружбе между Лаконией и Куропотамией принес разочарование тем, кто уже настроился активно защищать мир современным оружием. Для многих резко сократились возможности повышения по службе. Но руководство армии, видно, не учитывает, что Договор о дружбе дает Лаконии огромную экономию. Лакония сохранила по крайней мере двадцать пять тысяч своих парней и свою славу доброго пастыря. Но это еще не все. Я прошу вас принять во внимание огромную экономию денежных и материальных средств. И все же, несмотря на столь большую экономию, расходы на армию очень велики и положение страны исключительно серьезно.

Президент устремил взгляд на министра обороны, чей пушечный завод последние недели работал лишь в полнагрузки. Министр пожал ватными плечами и усмехнулся:

— Я ничего не знаю.

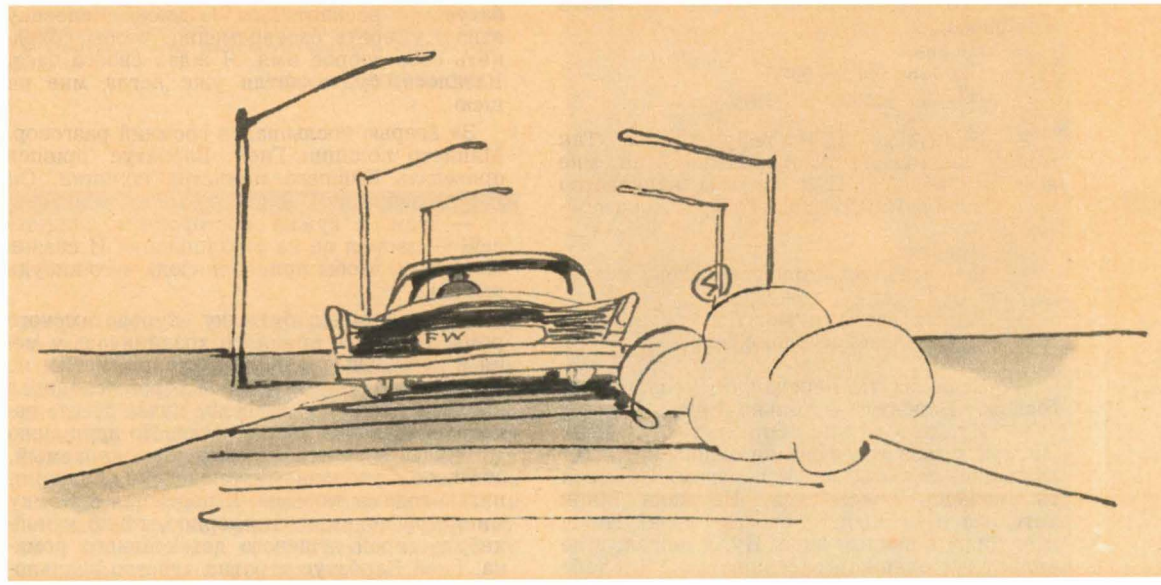
— В конце концов неплохо было бы знать что-нибудь,— жестко бросил президент.— На нас надвигается еще и другой кризис: государственная касса опять пуста. Малый совет министров предлагает правительству временно прекратить все выплаты. А поскольку кассовый кризис может затянуться надолго, малый совет министров предлагает далее, чтобы все члены правительства получили сейчас же свое жалованье за три месяца вперед. Убытки, которые явятся результатом понижения стоимости денег, мы постараемся потом возместить.

Это были, собственно, самые важные вопросы, рассмотренные на втором экстренном заседании. Проголосовав за решение правительства и воспользовавшись особой привилегией министра полиции, я на другой же день получил из государственной кассы свое жалованье за год вперед — для большей верности. Ибо я предвидел особенно затяжной кассовый кризис. Разумеется, в Финляндии ни о каких подобных действиях и речи быть не может, поскольку здешние кризисы не затягиваются надолго. Кроме правительственных кризисов, которые настолько постоянны, что их уже не считают кризисами.

Мой дорогой читатель может подумать, что человек, который спешит получить жалованье за год вперед, должно быть, влюблен в деньги. Нет, друзья мои! Я в ту минуту думал вовсе не о деньгах, а о том, как бы получить их побольше.

Глава двадцать вторая

Каждый, кто следит за событиями, происходящими в мире, должен хорошо помнить, что третьего июня 1959 года в Лаконии совершилась бескровная революция. Президента Боса Тауруса отстранили от власти, и руководимая рептилиями военная хунта составила правительство, которое возглавил генерал Эго Папула. На состоявшихся вскоре после переворота выборах единственный кандидат — нынешний президент — Септин Леперкус получил, кажется, все поданные голоса. Члены бывшего правительства содержались под домашним арестом и готовились предстать перед государственным судом. Лагеря заключения, опустевшие со времени дела Барбатуса, снова перешли на полную занятость, а лаконийский доллар пережил девальвацию.



Уже целую неделю я жил в своем доме в полной изоляции. Корвус и Кабаллус получали крайне скудные сведения о внешнем мире, потому что их тоже держали под строгим надзором. Мой тихий, уютный дом превратился в змеиное гнездо. Рептилии проводили в нем свои сборища, загнав меня в какой-то жалкий угол. В соседних комнатах расположились четырнадцать вооруженных стражников (по подсчетам Корвуса), в числе которых оказались бывшие мои верные сотрудники Марк и Путориус. Даже Марк! Он, правда, не показывался ни разу, хотя вся охрана, видно, подчинялась ему. Через Корвуса я послал Марку записку и просил его заглянуть в мою комнату. Два часа спустя он пришел, в новеньком мундире и с куропотамской сигарой в зубах. Его назначили начальником полиции Палинодии. Я не завидовал столь быстрому повышению, сознавая, что подлинная демократия нуждается именно в такого типа руководителях — простых и политически гибких. И даже хорошо, что у него мускулы сильнее мозгов. Ну кто же будет смотреть на мозги, если они не открываются даже в купальном костюме!

— Да, дрянь твое дело, Лепус Тимидус,— фамильярно проговорил Марк, сел за мой письменный стол и взгромоздил на него свои ножищи.— Меня маленько мутит с похмелья, но это пройдет. Они тебе сюда не дают, что ли, выпивки?

— Я же арестованный, — кротко ответил я.

— Вообще-то, да. Но другим, по-моему, все же разрешили и напитки и прочие удовольствия. За исключением женщин. Да. Вот оно как получилось. Они предложили мне и Путориусу работать по-прежнему. Мы почесали-таки в затылке. Но когда они сказали, что все прежние годы службы нам зачтутся в пенсионный стаж, то мы решили продолжать. И эта наша контора теперь, слышь, тоже, говорят, у других хозяев.

— Мое бюро?

— Нет у тебя больше никакого бюро! Оно перешло к новому министру полиции.

— К новому министру полиции! Кто же он?

— Ах, да, ты же тут не получаешь газет... И радио у тебя забрали. Таков был приказ, чтобы никаких связей... Но я на это смотрю проще. По-моему, просто несолидно, когда у джентльмена отбирают пояс и подтяжки. Если кто захочет повеситься, так он всегда себе найдет какую-нибудь тесемку. Хоть от рубахи оторвет.

— Значит, в Лаконии новый министр полиции?

— Новый, новый. Мы сперва все не могли привыкнуть. Уж больно он любит закладывать за воротник. Но так, впрочем, приятный человек. Много знает, много ездил. Хотя, может, от всех поездок он только и запомнил, что названия городов да гостиниц,— так ведь и то чего-нибудь стоит.

— Кто же он?

— Кто?

— Новый министр полиции!

— Так разве ж я не сказал? Да, верно, не успел. Все тот же Гней Барбатус, хорошо нам всем знакомый. И ему не привыкать: в правительственном дворце знает все ходы и выходы. Ведь и раньше уж он там сидел. Только в другом кабинете.

У меня не хватило мужества скрыть потрясение. Я чувствовал, что слезы готовы брызнуть у меня из глаз. Вот они — наши победы и поражения! Сегодня ты, а завтра я. Сегодня ты на лужайке, завтра она покроет тебя... Но дело Барбатуса ведь все еще не закончено. Я посмотрел на развалившийся в моем кресле полицейский мундир, внутрь которого втиснулось восемьдесят килограммов живой массы, и горько сказал:

— И ты, Марк...

— Да, да, валяй, без церемоний. Я ведь теперь с большими господами на «ты».

Марк встал, хлопнул меня по плечу и посочувствовал:

— Я тебе откровенно признаюсь, что все это гадость. Но ничего не попишешь. Я всегда служу закону и справедливости. Мне совершенно все равно, кто сидит в седле и платит жалованье. Я, честное слово, очень огорчен, но ничем помочь тебе не могу. Теперь ты, Лепус Тимидус, единственный министр, который остался у нас под стражей.

— Значит, все остальные уже казнены? — спросил я, холодея от ужаса.

— Хе! Как бы не так! Зачем лишнюю кровь проливать? Страна и так уже сыта по горло казнями да убийствами. Этот наш Леперкус — мирный человек и, кажется, даже в бога верит. Он пока еще никого не убил.

— Зачем же тогда меня держат под арестом да еще так строго стерегут?

— За неимением других. Остальные все сбежали. Кто куда — в разные страны. У них были помощники. У настоящего политика всюду есть друзья, даже в чужой партии. А вот у тебя нет. Даже премьер-министр упорхнул с шиком — на самолете. Какая страна его приютила? Черт, не помню! Но он уже там сколачивает эмигрантское правительство. Слушай, я бы мог, пожалуй, распорядиться насчет выпивки...

— Спасибо, Марк. Мне ничего не нужно. Кроме твоей помощи...

— Помогать не могу. Я служу закону и справедливости.

— Сколько, по-твоему, могла бы стоить моя свобода?

— Не знаю.

— Сколько бы ты взял?

— Я?

— Да.

— Нисколько. Я не беру взяток. Так можно лишиться службы. Видишь ли, мне всегда доверяют. И я никогда начальство не подводил. Или подводил? Ну, скажи прямо.

— Никогда.

— Вот именно. Марк свое слово всегда держит. И Путориус тоже.

— Но ты все-таки мог бы сделать для меня хоть маленькое одолжение?

— Какое?

— Если бы ты передал от меня привет госпоже Барбатус,— только тайно...

— Ну, это можно. Это я хоть сейчас. Да, тут у тебя телефона ни одного нет... Ну да ладно, сам съезжу и передам. На меня ты можешь положиться. Неужели Марк хоть раз отказался от своего слова? Никогда. Даже в пьяном виде. Ну, я пошел. Мне нельзя тут слишком засиживаться. Я к тебе еще наведаюсь. Но только рассказывать я, конечно, ничего не могу. Не положено. Дал подписку о молчании. Черт побери, этого нам еще недоставало! Но ради отчизны я готов на все...

Старый, добрый Марк-Дубинка был неплохой человек. Может быть, он уважал своего бывшего хозяина, которому служил верой и правдой без малого четыре года? Не прошло и двух часов, как двое дюжих полицейских принесли в мою комнату контрабас. Все-таки были у меня друзья! Когда полицейские вышли, я запер дверь для верности на ключ, а затем открыл футляр и вынул мой драгоценный инструмент из его тесной тюрьмы.

— Ламелла! — воскликнул я, сгорая от нетерпения.— Как ты осмелилась? Нас могут застигнуть врасплох.

— Целуй меня! Скорее, скорее...

— Нас караулят.

— Только тебя. Милый, обними меня скорее... Я к тебе только на полчаса.

Эти полчаса были самыми счастливыми в моей жизни. Я больше не сомневался в искренности Ламеллы. Она любила меня и хотела вместе со мною бежать за границу.

— Секст нам поможет,— сказала она.

— Секст?

— Да. Его недавно назначили начальником государственной сыскной полиции. Он хочет отблагодарить тебя за добро. Он ждет меня внизу, в служебной машине. Милый, все уже продумано. Гней обещал посетить тебя в семнадцать часов. Если он еще будет на ногах. Не думаю, чтобы он преуспел на министерском посту. Он совсем помешался. На службу ходит, когда придется, в министерстве почти неуловим... Милый, я немного волнуюсь... Да, когда Гней придет к тебе, постарайся напоить его. Секст обещал устроить все остальное. Я буду ждать тебя у монастыря кармелиток в девятнадцать часов. Мы должны бежать. Куда угодно...

Ламелла то и дело поглядывала на часы, но старалась не выдавать своего волнения. Я целовал ее красивые губы, расточая какие-то банально ласковые слова. Она легла в футляр, улыбаясь, как смертник, которого ведут на электрический стул. Я закрыл крышку футляра и беззвучно отпер дверь. Двое полицейских вошли, не говоря ни слова, взяли футляр и понесли его назад, в машину, дожидавшуюся у подъезда. Я слышал, как кто-то из стражи сказал:

— Господин начальник! Они унесли обратно свою бандуру. Видно, наш музыкант сейчас не настроен играть.

Марк что-то ответил, но слов я не разобрал. Я начал подозревать, что и он мне друг. Во всяком случае, на него всегда можно было положиться. Десять минут я сидел и обдумывал сложившееся положение. Потом просто сидел и ждал. Минутная стрелка часов ползла медленно-медленно. Эдгар По, наверно, сумел бы описать это мучительное, давящее чувство. Около восемнадцати часов мною овладело сомнение. Может быть, меня хотели заманить в ловушку? Дьявольским, садистским способом. Вот когда Барбатус мог расквитаться со мною. Человеку важно умереть своевременно, чтобы сохранить свое доброе имя. Я ждал своего часа. Казалось, будто петля уже легла мне на шею...

За дверью послышался громкий разговор. Министр полиции Гней Барбатус пришел проведать бывшего министра полиции. Он хотел допросить меня по-джентльменски.

— Нам не нужно посторонних свидетелей! — заорал он на стражника.— И скажите слугам, чтобы принесли сюда чего-нибудь выпить.

Корвус принес бутылку куропотамского рома. Барбатус принялся хозяйничать у меня в доме. Он проявлял гостеприимство, не забывая, однако, и себя. Я строго следовал наказам Ламеллы. Женское чутье всегда надежнее мужской уверенности. По наущению Ламеллы я совершил поступок, караемый, согласно уголовному кодексу Лаконии, пятью годами тюрьмы. Я подсыпал в рюмку министра полиции снотворное, точно какой-нибудь герой дешевого детективного романа. Гней Барбатус утратил чувство реальности, ориентиры времени и места стали расплывчатыми. Он погрузился в прошлое и переживал его как настоящее.

— Господин министр полиции,— бормотал он, страстно сжимая мою руку.— Мы ведь с вами друзья. Я нисколечко не пьян... Слушай, Лепус Тимидус, я еще раз прошу тебя помочь. Твой авторитет имеет вес, и если ты поговоришь с членами правительства, то все устроится... Двадцать пять тысяч похорон... Да не смотри ты на часы... Или, скажем лучше, сорок тысяч. Твоя доля — десять процентов... Мне нужна монополия... Ламелла, Ламелла!.. Куда опять запропастилась эта потаскушка? Итак, если исходить из того, что мирные действия потребуют двадцать пять тысяч убитыми, то... Ламелла, Ламелла!

— Ламеллы здесь нет.

— Нет... здесь нет... Ну чего ты уставился? Я не пьян. А где же она?

— У себя дома.

— Дома... У нас дома... Дома у нас... Не-ет, она не дома! Она в больнице... Нет... да... Нет, конечно, она все-таки в больнице. Поэтому я и опоздал на час с лишним... Ну и ладно, оставим ее. Слушай же, господин министр полиции... Я, кажется, уже говорил об этой похоронной монополии, но я скажу еще раз...

— Твоя жена действительно в больнице?

— Да, да. Сломала ногу... Врет, конечно, все врет. И доктор врет, и полиция врет, все врут... И думают, что я поверю. Споткнулась. якобы на лестнице и — бух! — в футляр от контрабаса. Меня считают за дурака! В футляр от контрабаса, именно так мне сказали. И полиция исследует... Что они исследуют? Контрабас? Или мою жену? Или лестницу? Выпьем, господин министр! Я тебе доверяю, но меня нервирует, когда ты смотришь на часы... Монополия, должен тебе сказать... Что за черт! Неужели я не дома?.. Откуда взялся этот шкаф? Лепус, кто поставил сюда этот шкаф? Пойдем в мою комнату...

Я помог министру полиции Гнею Барбатусу подняться, и так, в обнимку, поддерживая друг друга, мы двинулись в путь. Стража как будто остолбенела, и ни одна душа не помешала мне проводить высокого гостя до министерской машины. Я сел рядом с ним на заднее сиденье. Подъехав к дому Барбатуса, шофер вызвался втащить хозяина домой. Я сел за руль и поехал кратчайшим путем к северной границе страны. Правительственную машину я оставил на земле Лаконии и дальше пошел пешком. Я взял с собой в дорогу лишь самое необходимое: бумажник, электробритву и пистолет. Неделей позже я прибыл в Финляндию. Мне сразу понравилась эта красивая страна Севера, где радио и газеты подробно пересказывают новости, переданные информационным агентством Лаконии. Но официальное агентство, естественно, о многом помалкивает. Из конфиденциальных источников мне стало известно, что правительство р е п т и л и й лишило Гнея Барбатуса министерского портфеля за не очень серьезные злоупотребления по службе, а его красивая жена Ламелла приговорена к пяти годам тюрьмы за антиправительственную деятельность и за поездки в футляре от контрабаса.

Я все время пристально слежу за политической жизнью моей горячо любимой родины. Дело Барбатуса привело к сокрушительному поражению у г р е й. Но до меня доходят слухи, что на предстоящих выборах для у г р е й послужит козырем новое дело Барбатуса, которое опять-таки приведет к очередной смене правительства. Я жду этого и тем не менее не собираюсь входить ни в какое эмигрантское правительство.

Хоть я и полюбил Финляндию, ее спортивный народ, ее эстрадных певцов, позабывших родной язык, оживленные дорожно-строительные работы на улицах Хельсинки, я все же не перестаю скучать по Лаконии. Нигде в мире нет такой свободы, такого высокого уровня жизни, такой культуры. Лакония — символ вечной свободы.

Мои признания могут показаться странными и сумбурными, порой даже наивными и невероятными. Но я не стремился к оригинальности. Как не стремился попасть в эмиграцию. Просто волею обстоятельств я вынужден был затронуть в моем рассказе нечто такое, о чем вообще помалкивают.

С финского перевел
В. Богачев.

Приключенческая повесть

Василий
АРДАМАТСКИЙ

Рисунки
П. ПИНКИСЕВИЧА.

1

Прежде всего о том, как родилась эта повесть, как попали ко мне лежащие в основе ее дневники и другие материалы.

В 1958 году, совершая на автомобиле поездку по стране, я заночевал в старом русском городе Острове. Устроившись в гостинице, я отправился побродить по городу. Вышел к реке и остановился в удивлении. Представьте себе довольно безлюдный к вечеру маленький городок, деревянные дома в садах, тишина — и вдруг перед вами мост, словно перенесенный сюда, скажем, из Ленинграда: могучие стальные упоры, цепи, гранитные тумбы.

Зачем нужно было на этой тихой речонке воздвигать такой величественный мост? Он был явно дореволюционной постройки. Не ввело ли в заблуждение петербургский департамент то обстоятельство, что эта речонка носит название «Великая»?

Возле меня остановилась пожилая женщина с «авоськой», набитой книгами.

— Что вас так интересует? — спросила она дружелюбно.

— Красивый у вас мост, — ответил я.

— Вы приезжий?

Вопрос прозвучал уже настороженно, и я решил сразу же все прояснить. Сказал, что я не столько приезжий, сколько проезжий, совершаю поездку по стране, что остановился здесь в гостинице. Я назвал свою фамилию. Мы познакомились.

Ольга Михайловна Никишина — так звали женщину — почти сорок лет проработала в библиотеке. Теперь она на пенсии, приехала в Остров на лето, живет у подруги своей юности, у которой тут свой домик. Мы разговорились о том, о сем и, конечно, о нашей литературе. Вдруг Ольга Михайловна спрашивает:

— Не хотели бы вы ознакомиться с одним дневником? По-моему, очень любопытный человеческий документ.

Я согласился. Ольга Михайловна задумалась.

— Вот не знаю только, как практически это сделать. Дело в том, что эти документы хранятся в Пушкинских Горах у моей двоюродной сестры. Война, знаете, разбросала не только людей, но и их имущество.

Я сказал, что если материалы, о которых она говорит, действительно интересные, я съезжу в Пушкинские Горы, тем более, что это не так далеко, и, наконец, я не прочь еще раз побывать в тех заветных местах.

— По-моему, очень интересные, хотя я и не все прочитала. Записки о войне какого-то неизвестного человека.

Утром я мчался на юг от Острова. В кармане у меня лежало письмо Ольги Михайловны к ее двоюродной сестре. Спустя полтора часа мой «Москвич» уже трясся по булыжной мостовой Пушкинских Гор.

Нахожу домик, указанный на конверте письма Ольги Михайловны. Он стоит на боковой улочке, в окнах пламенеет герань. Тенистый дворик зарос травой, собачья будка еле видна.

Та, которой писала Ольга Михайловна, оказалась еще довольно моложавой, но весьма необщительной особой. Прочитав письмо, она сказала:

— Наконец-то! — После чего прошла за перегородку и вскоре вынесла оттуда перевязанный бечевкой небольшой сверток.

— Ольга вечно собирает и хранит всякое старье, — сказала она. — Хорошо, что она вспомнила. Не сегодня-завтра я бы выбросила это.

Выехав из Пушкинских Гор, я вскоре остановил машину. Мне не терпелось посмотреть, что там, в свертке. Я развернул его. В нем были мелко-мелко исписанные листки бумаги самого разного формата: из записной книжки «День за днем», из ученической тетради в клеточку и даже из какого-то немецкого офицерского дневника. И хотя почерк был очень четким, читать записки было трудно: бумага пожухла от времени, чернила выцвели, а на многих, очевидно, подмоченных листках строчки расплылись и еле проглядывали. Наконец, записи были сложены непоследовательно. Я прочитал несколько листков и понял, что в мои руки попал действительно интересный материал.

Я принял решение снова ехать в Остров, чтобы узнать у Ольги Михайловны о происхождении этого свертка.

- Рассказ Ольги Михайловны Никишиной

...К началу войны я жила в Пскове. Произошло какое-то горькое недоразумение с эвакуацией нашей библиотеки, и я со своими книгами осталась в тылу у гитлеровцев, рвавшихся к Ленинграду. Но спасти библиотеку все равно не удалось — она сгорела, а меня судьба забросила в Литву.

Я оказалась в маленьком литовском курортном городке, где меня приютила русская семья, состоявшая из двух сестер примерно моего возраста и глухонемого паренька Сережи, приходившегося им племянником. В этой семье я и прожила всю войну вплоть до прихода наших войск. И вот примерно за неделю до освобождения случилась история, связанная с этим свертком.

Летом 1944 года всем нам было понятно, что гитлеровцы в Прибалтике держатся на волоске. Понимали это и сами гитлеровцы. Наш курортный городок стоял на стратегическом приморском шоссе, и уже по той нервной суете, которая царила на этой магистрали, было видно, что дело идет к дальнейшему отступлению немцев.

Как-то утром я с Сережей отправилась в лес собирать шишки для самовара. Быстро набрав их целое ведро, мы возвращались обратно. Сережа с ведром ушел вперед, а я присела на пенек отдохнуть. Задумалась... Вздрагиваю от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Озираюсь по сторонам и вижу, что в трех шагах от меня из чащи молодого ельника выглядывает человек со светлой шкиперской бородкой, обрамляющей молодое и красивое лицо. Смотрим мы друг на друга и не шевелимся. Потом он здоровается со мной на хорошем немецком языке, называя меня бабушкой — гроссмуттер. Сама не знаю, почему, но я решила, что он русский, и спрашиваю по-русски:

— Кто вы такой, что вам нужно?

Услышав русскую речь, он вышел из ельника и приблизился ко мне.

— Вы русская?

— Да.

— Как вы сюда попали?

— Длинная история. А вы?

— Я тоже русский. — Он помолчал, а потом решительным движением протянул мне этот сверток.

— Прошу вас спрятать это... — Я механически взяла сверток. — Как вас зовут?

Я ответила.

— Ольга Михайловна, огромная к вам просьба: сохраните это. Не бойтесь, в свертке одни бумажки, которые, кроме меня, никого интересовать не могут, а мне они дороги.

Я испугалась. Он это заметил и, волнуясь все больше, начал умолять меня выполнить его просьбу.

Я согласилась. Он спросил, где я живу. Когда мы прощались, он сказал:

— Если я сам не приду за свертком, поступайте с ним как хотите.

И исчез в густом ельнике.

За свертком он так и не пришел. Когда я уезжала обратно в Псков — это было уже в начале 1945 года, — я сказала приютившим меня сестрам, чтобы они, если кто-нибудь будет меня искать, сообщили мой псковский адрес. Там, в Пскове, я надолго не задержалась, перебралась в Ленинград, потом несколько лет работала на Дальнем Севере, потом снова вернулась в среднюю полосу, работала в Витебске, в Велиже. Но куда бы меня ни забрасывала судьба, я обязательно сообщала свой новый адрес туда, в Литву. Однако за свертком так никто и не пришел. В конце концов, собираясь снова уехать на Дальний Север, я попросила мою двоюродную сестру, к которой вы ездили в Пушкинские Горы, поберечь сверток и ее адрес снова сообщила в Литву. Но и сюда за ним, как видите, не пришли.

Записи, сделанные с двух сторон на листках из записной книжки «День за днем»
21 июля 1940 года

«Сегодня во второй половине дня прилетели в Ригу, а завтра уже на автомашинах мы поедем в столицу Литвы Каунас. Народный Сейм Латвии принял решение об установлении в республике Советской власти и обратился в Верховный Совет СССР с просьбой принять Латвию в семью советских республик. В связи с этим в Риге происходила бурная манифестация населения. Мы наблюдали ее с балкона Советского посольства. Все было похоже на наш Первомай: оркестры, веселый шум, красные флаги.

Ночевали в гостинице. Моим соседом оказался страдающий астмой пожилой дядька по имени Пал Палыч. Еще в Москве мне сказали, что он специалист по финансам и едет в Литву, чтобы помочь ликвидировать валютную неразбериху. Он долго не мог уснуть, охал и очень шумно дышал. Я спросил, не нужно ли ему помочь. Он ответил:

— Это у меня от волнения разыгралось. Такое дело! Такое дело! Ты понял, чудак, что присутствуешь перед лицом самой истории?

— Похоже на наш Первомай, — сказал я.

И вдруг Пал Палыч разозлился:

— Чудак ты, тысячу раз чудак! Ты же не понимаешь, через какой порог переступает тут целый народ, из какой жизни в какую он шаг делает. Ты даже представить, чудак, не можешь, как тебе повезло.

...В Литве происходит то же, что и в Латвии. Чем больше я знакомлюсь со здешней жизнью, тем глубже понимаю всю важность происходящего. Но вот вопрос: повезло ли мне?

Повезло в том, что командировка дала мне возможность вырваться из-под родительской сверхбдительной опеки. Дорогие мои родители, вы, конечно, старики неплохие и всегда желали мне добра. Но если бы я во всем следовал вашим указаниям, из меня выросло бы довольно чахлое деревце. Но я вступил в комсомол, я занимался спортом, вопреки вам я дружил с ребятами, которые нравились мне, а не вам. Словом, вопреки вам я делал многое.

Мне повезло, что из всех молодых инженеров-экономистов выбрали для посылки сюда именно меня. Это значит, что меня уважают и что мне доверяют, если, конечно, не прав Лешка, сказавший, что выбор пал на меня только потому, что я хорошо знаю немецкий и английский языки.

Тему диссертации я выбрал, сознаюсь, никудышную. Нелепо решать экономические проблемы по данным одного, пусть на сегодня самого совершенного станка. Этот самый совершенный станок завтра может оказаться безнадежно устаревшим вместе с моей диссертацией. Но опять же родители сделали все, чтобы приковать меня к этому станку. И все только потому, что тогда моим руководителем станет «давний друг дома» Сергей Емельянович Радецкий, известный в институте по прозвищу «чародей малых наук». А теперь я послушаюсь совета старикана-великана, профессора Боголепыча, и темой диссертации сделаю то, чему я буду свидетелем здесь, в Литве, — переход капиталистической экономики производства в социалистическую. То, что я уже узнал, необыкновенно интересно. Другой, совершенно другой мир».

Далее листки записной книжки испещрены беглыми, краткими пометками. Такими, например:

«Совещание в 18, иметь данные по всем смежникам».

«Жемайтис прав, все дело в сырье. Телеграфировать в Москву».

«Срочно командировать Айдутиса в Таллин за моторами».

«Ответить на письмо родителей. Обязательно!»

«В ЦК в 14, иметь наметки плана».

«Баня, во что бы то ни стало».

«Калпаса уволить. Хватит!»

«Аварии не случаются, их делают люди». Выражение инженера П.».

«Хоть землетрясение, а ответить родителям. Если бы они знали, как нерегулярно принимает пищу их несравненный Владик».

«С перестановкой оборудования — чушь, если не вредительство, замаскированное революционной декламацией. До опыта ленинградцев надо еще дорасти, дорогие мои товарищи литовцы».

«Ответственность за учет возложить на Яниса, он потянет».

«Они словно тоскуют по прежнему хозяину — фабриканту. Очевидно, дело в том, что на фабрике нет крепкой хозяйской руки. Л. С. — хороший дядька, но шляпа. Оно и понятно, в подполье директоров фабрик не готовили. Но где же выход?»

И только одна запись подробная. Она на последней странице книжки:

«Сегодня похоронили Владаса Ничкуса — человека с горячим сердцем, бойца за свободную Испанию, пятидесятилетнего энтузиаста новой жизни. Уже известно, — его убил враг, самый настоящий враг. Кто он, мне еще не сказали, но намекнули, что я его хорошо знаю. В тот последний свой вечер Владас, прощаясь, сказал мне: «Наши дела, юноша,

сделал все, что мог

идут хорошо, а это значит, что врагам нашим плохо, а это, в свою очередь, значит: смотри в оба». Точно он чувствовал что-то. Потрясающе сказал на кладбище директор фабрики: «Наших могил много, но мы живем, и теперь уже никакая сила не убьет нашу свободную жизнь». Просили выступить меня, как «человека из Москвы». Я отказался. Что я мог сказать? Они называют меня человеком из Москвы. У них это звучит почти как святой человек, и во всем громадном смысле, который они придают этим словам, я называться так попросту не имею права. Я как будто знаю, из чего складывается экономика производства, но что я знаю еще? До ужаса мало, до ужаса! А похороненный сегодня Владас в моем возрасте уже сидел в тюрьме за подпольную революционную деятельность. Как стыдно за себя!

Скорее бы уже проходила зима. На душе тревожно и такое ощущение, будто я чем-то виноват в гибели Владаса...»

На последней страничке запись такая:

«Сегодня в горкоме партии мне всыпали за отставание (два или три слова расплылись, их невозможно разобрать). Хоть и обидно, а всыпали правильно. Я обязан был учесть, что местные плановики привыкли смотреть назад, а не вперед...»

3

В свертке не оказалось никаких записей, относящихся к весне и началу лета 1941 года. Следующая запись — уже о войне. Она на листах из тетради. Бумага в клеточку. Почерк тот же самый — мелкий, убористый, четкий. А то вдруг размашистый и трудночитаемый. Иногда можно подумать, что записи производили совершенно разные люди.

...«Вот мой отчет о том, почему. и как я остался в Каунасе. Здесь только правда и никакой попытки оправдаться. Записываю про это только потому, что хочу, в случае...

Первое и главное: учтите, что фашисты прорвались к Каунасу в первые же дни войны. И все эти дни прошли под зверской бомбежкой и при активных действиях местных бандитов из числа националистов. А когда падают бомбы и почти на каждом углу тебе стреляют в спину, трудно требовать от себя четкой организованности. Я только этим могу объяснить, почему намеченная эвакуация завода, в которой я должен был участвовать, не была произведена. В нужный час не оказалось ни транспорта, ни рабочих для производства демонтажа оборудования. Потом поступил приказ взорвать завод. В тот страшный вечер мы (я и четверо бойцов из рабочего отряда самообороны) тщетно ожидали взрывчатку, которую должны были доставить на завод. Ее не доставили. Но если бы это и произошло, вряд ли мы сумели бы сделать все, как надо, ведь ни один из нас не знал, как это делается. А прикрепленный к нам сапер еще днем был убит выстрелом с крыши.

В полночь я решил при помощи короткого замыкания вывести из строя хотя бы моторы. Мы начали эту операцию. Около десятка моторов сожгли, но вдруг не стало электрического тока. Я не знал, был ли он выключен по всему городу, или только в нашем районе, или даже только на заводе. Мы пошли искать трансформаторную будку, но как только вышли из цеха, напоролись на бандитов или на немецких парашютистов. Их было человек тридцать, не меньше, у них были автоматы. Завязалась перестрелка. Рабочий, бывший в нашей группе за старшего, приказал отходить к складским помещениям и через запасные ворота уходить в город.

В городе темень. На первой же улице мы потеряли друг друга. Я не очень хорошо знал город и шел наугад, стараясь только держаться восточного направления. То в одной стороне, то в другой слышалась стрельба, и я всякий раз направлялся в ту сторону, откуда она доносилась, надеясь найти там своих. Но разобраться в темноте, кто стреляет, было невозможно, и я оставил эту затею. Вскоре я вышел на какую-то маленькую площадь, в центре которой виднелся памятник. На площади стояли две немецкие танкетки и легковая автомашина. Я услышал разговор немцев:

— Город взят. Наши танки пошли на Вильнюс. Что будем делать?

— Пить кофе.

Провожаемый гоготом немцев, я прошмыгнул в тесный, как щель, переулок, который вывел меня на довольно широкую улицу. Только я перебежал через нее, как слева послышался быстро нарастающий грохот — по улице на полном ходу промчалась немецкая механизированная артиллерийская часть. Впереди шла открытая легковая машина, над ней развевался белый штандарт со свастикой.

Опять крадусь по узким улочкам. Сердце немеет от страха: что я буду делать, когда рассветет? Со всех сторон, как горы, темные притаившиеся дома. Кто там живет, за этими слепыми окнами? Что, если взять да зайти в подъезд, подняться на самый верхний этаж (там всегда живут люди попроще и добреe) и постучаться в дверь? Неужели не помогут?

Оставляю это на самый крайний случай и иду дальше.

Вышел к Неману. Перед мостом густо замешанное скопление машин и людей. Голос, усиленный динамиком, по-немецки отдает приказы. Разбираю только отдельные слова. Ясно одно: пробраться через мост нельзя. Снова углубляюсь в город и иду параллельно Неману. Еще какая-то площадь. Тоже небольшая, и здесь тоже немцы. Они стоят кучками вокруг грузовиков, курят, громко разговаривают. Не выходя на площадь, я повернул назад.

Стало светать. Проклятый ранний июньский рассвет! Что делать? Был бы со мной сейчас Владас Ничкус, он бы, небось, знал, что делать. Однажды он рассказывал мне, как приходилось ему скрываться от полиции. Вдруг вспомнились его слова: «Всякий народ — народ. И в Литве, как везде, больше людей хороших, людей-тружеников, которые за нас». И тогда я окончательно решил воспользоваться тем, что оставлял на самый крайний случай. Направился к подъезду ближайшего дома. Но, увы, парадный вход заперт. Я к другому дому. Тоже заперт. В третий, четвертый, пятый... Наконец, счастье — парадное открыто. Поднимаюсь на пятый этаж, направо дверь с медной табличкой. Что на ней написано по-литовски, не понимаю, но вижу, что над фамилией выгравированы целые две строчки текста, наверное, какие-нибудь титулы владельца квартиры. Слева дверь, к которой кнопками приколота визитная карточка. Отколол ее и положил в карман. Зачем — не знаю. И позвонил. Безнадежность моего положения усугублялась еще и тем, что у меня в пистолете ни одного патрона. Если за дверью враги, они возьмут меня голыми руками.

Дверь приоткрылась тотчас, словно меня ожидали. Я начал что-то торопливо говорить по-русски, дверь захлопнулась. Тишина. Я уже хотел снова позвонить, но в это время дверь приоткрылась.

— Кто вы есть? — тихо спросил по-русски мужской голос.

— Я русский инженер, не успел уехать. В городе немцы.

Дверь опять закрылась. Теперь я слышал, что за дверью шепчутся. Жду. Шептаться перестали. Гремит дверная цепочка. Дверь открывается.

— Войдите.

Так я попал в квартиру учителя математики Ионаса Шекайтиса. Что будет дальше — не знаю. Учитель напуган моим появлением до смерти. Пока разрешил мне переждать в его квартире день. Живет он вдвоем с женой, которая преподает на дому музыку. По внешнему виду она еврейка. Они постелили мне на полу в малюсенькой комнатке возле кухни. Здесь я и делаю эту запись. Тетрадь дал мне хозяин. Чем кончится для меня этот, уже начавшийся день — не знаю».

Больше на этих тетрадочных листах в клеточку о первых днях войны ничего не записано.

4

Найти литовского учителя Ионаса Шекайтиса оказалось делом совсем не трудным. Пришлось только заехать в Вильнюс, навести там необходимые справки и оттуда позвонить в Каунас. И я уже знал, что Ионас Шекайтис проводит летний отдых в городе Кретинга, неподалеку от популярного курорта Паланга.

На исходе дня я въезжал в небольшой городок, раскинувшийся на крутых берегах реки Данге. Устраиваюсь в маленькой уютной гостинице, спрятавшейся в переулке возле городской площади, и пока не стемнело, гоню свой «Москвич» по сообщенному мне адресу.

А всей-то гонки оказалось от силы триста метров. Домик, где жил учитель, стоял на улице, круто спускавшейся мимо старого костела.

Ионасу Шекайтису лет шестьдесят. Высокий, худощавый. Вьющиеся седые волосы венчают крупную голову. Глаза голубые, но они словно выцвели. На нем рубашка из простой ткани, вышитая национальным орнаментом. На ногах порядком стоптанные тяжелые башмаки. Мы знакомимся и садимся на скамеечку в палисаднике. Над нами хлопотливо шумят позолоченные закатом молодые березки. Я говорю ему о цели своего приезда и показываю листы из тетради, с записью, которую мы только что читали.

— О-о! Конечно, я знаю эту тетрадь! — восклицает учитель, взволнованно рассматривая страницы. — Да, да, это из тетради, которую я ему подарил в то утро.

— Расскажите мне все, что вы помните об этом человеке.

— С удовольствием. Сейчас. Мне нужно немного сосредоточиться... Все-таки давно это было.

Рассказ учителя Ионаса Шекайтиса

...Он пришел к нам в ночь падения Каунаса. Пустили мы его в квартиру не сразу. Откровенно признаюсь, я впускать его не хотел: мало ли что? Моя покойная жена была еврейка, и она острее понимала положение человека, вынужденного скрываться от гитлеровцев. Она настояла на том, чтобы дать ему приют. Мы договорились, что он пробудет у нас только один день, а с наступлением темноты должен уйти.

Однако все вышло иначе. Он прожил у нас целую неделю, и мы с женой приняли некоторое участие в устройстве его судьбы.

Это был совсем молодой человек, лет двадцати трех, не больше. Тонкое, интеллигентное лицо, нос прямой, чуть вздернутый, светлые волосы зачесаны назад. Рост средний, мне он был примерно по плечо. Он очень хорошо говорил по-немецки и по-английски. Сказал нам, что его зовут Владимиром. Мы с женой звали его Вольдемар. Фамилии своей он не назвал.

Пока он спал, мы с женой все время говорили, скажу прямо, спорили о том, как с ним поступить. Жена уже тогда высказала мысль, что его надо спрятать на несколько дней, пока в городе не устоится новое положение. Она ссылалась на радио, которое беспрерывно сообщало о дальнейшем быстром продвижении немцев на восток. «Видишь, — говорила она, — через два-три дня Каунас будет совсем далеко от войны, все здесь утрясется, и тогда Вольдемар уйдет. А сейчас его могут схватить у нашего подъезда».

К моменту, когда Вольдемар проснулся, мы с женой пришли к компромиссному соглашению: пусть беглец пробудет у нас три дня. Мы сказали ему об этом. Он покачал головой и сказал: «Нет, большое вам спасибо, но я уйду, как только стемнеет. Я обязан пробиваться к своим». Он попросил у меня бумагу. Я дал ему тетрадь, и он около часа что-то писал.

Вечером он ушел. Жена дала ему две плитки шоколада. Я дал ему свою шляпу: у него не было головного убора. Он сердечно попрощался с нами, поблагодарил и сказал: «Я никогда не забуду вас». Его шаги давно затихли на лестнице, уже закрылась за ним парадная дверь, а мы с женой еще долго стояли у двери и прислушивались.

Легли спать, но долго не могли уснуть. От каждого звука на улице жена вздрагивала, вскакивала с постели и бежала к окну.

В половине третьего ночи раздался резкий звонок. Оба бежим к двери. Жена спрашивает: «Кто там?» И слышим: «Вольдемар. Откройте».

Оказалось, что почти всю ночь он бродил возле нашего дома. На всех перекрестках стояли патрули, и проскользнуть мимо них было невозможно. Он видел, как патруль застрелил женщину, не остановившуюся на оклик.

Потом он наткнулся на группу немецких офицеров, и его спас оказавшийся рядом проходной двор.

Словом, он вернулся. Моя жена сразу успокоилась, уложила Вольдемара спать и скоро заснула сама.

Целый день мы втроем обсуждали, как быть, и ничего придумать не могли. Одно было ясно: надо выжидать. Решили, что для своих учеников по музыке жена объявится больной. Впрочем, кому в те дни было до музыки? Никто из учеников и не появлялся.

На третий день я впервые вышел из дому и отправился в школу. Там — ни души. Решил пройтись по городу, посмотреть, что и как. Неподалеку от школы встречаю одного нашего педагога. Еле узнал его. Всегда одевавшийся щеголевато, сейчас он больше походил на бедного крестьянина. Когда я его окликнул, он вздрогнул, и мне показалось, что он даже хотел убежать. Мы разговорились, но говорить-то, собственно, было не о чем. «Как здоровье? Как здоровье супруги?» И вдруг я вспоминаю, что этого учителя у нас все считали коммунистом. А он точно прочитал мою мысль и говорит: «Надеюсь, коллега, что вы окажетесь порядочным человеком. Понимаете, что я имею в виду?»

Я говорю, что понимаю и что он может на меня положиться, так как мой предмет — математика, а не политика. Он пожал мне руку, помолчал и сказал: «Черные времена у нас наступили». А меня в это время осеняет мысль: вот кто может помочь Вольдемару, и я, плюнув на всякую осторожность, говорю своему коллеге все, что произошло в нашем доме. Он выслушал меня, посмотрел как-то удивленно и говорит: «Вы, коллега, поступили правильно, а главное — хорошо». Он пообещал подумать, как помочь Вольдемару.

А на другой день он пришел к нам вместе с каким-то молодым человеком. Они поговорили с Вольдемаром, и вскоре все ушли. Вот собственно, и все...

(Продолжение следует)

Он

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

5

Возвращаемся к листам из тетради, видимо, той, которую подарил Владимиру литовский учитель...

...«Если бы кто-нибудь сказал мне месяц назад, что я стану подпольщиком, я расценил бы это как шутку. И вот я действительно подпольщик. Вхожу в боевую группу дядьки Бориса. Нас семь человек: четверо русских, застрявших здесь так же, как и я, и три литовца. Все коммунисты. Один я комсомолец. Любой из шести моих боевых товарищей по возрасту может быть мне отцом. Литовские товарищи остались в городе по приказу партии. Меня привели сюда два местных учителя.

Вчера я выполнил первое боевое задание. Я еще полон впечатлений, мне хочется вспоминать. Вспоминать и рассказывать. (Поскольку дело сделано, оно уже не секрет даже для гестапо. Но все же подлинных фамилий и адресов я не назову.)

С приходом гитлеровцев здесь повылезало из щелей немало всякой сволочи. Смертельные враги советского строя, всякие таутининки или ляудининки[1] решили, что настало их время. Прежде всего они хотели расправиться со всеми сторонниками Советской власти. В их лице гестапо получило хорошо осведомленных доносчиков. Ведь многие из них в первый советский год прикинулись лояльными и жили среди нас. Теперь они помогали гестапо зверски уничтожать лучших сынов и дочерей литовского народа. Особенно усердствовал один из них, таутининк, которому гестаповцы дали прозвище «Непримиримый». Ходили слухи, что оккупанты собираются сделать его полицейским гаулейтером Литвы. Он был особо опасен, потому что в советское время под другой фамилией работал в одном из городских учреждений и был хорошо осведомлен об активистах нового строя. Наша боевая группа получила приказ подпольного центра уничтожить Непримиримого.

Почти месяц шло изучение обстановки. Непримиримый жил в особняке недалеко от центра города. Пешком он не ходил: оккупанты предоставили ему автомобиль. В поездках по городу его всегда сопровождали гестаповцы. Особняк его выглядел, как учреждение: в окнах допоздна проглядывал свет, то и дело к подъезду подкатывали автомашины. Гестаповцы очень тщательно охраняли палача. Однако дядька Борис не унывал и говорил, что задание будет выполнено.

С помощью подпольного центра было установлено, что Непримиримый должен получить в подарок от оккупантов имение в Жемайтии. Дело это на мази, но должен приехать из Пруссии какой-то немец, который, как наследник давнего владельца тех земель, тоже претендует на имение. Гитлеровцы обещали Непримиримому уладить дело полюбовно, отведя наследнику другие владения. Но немец что-то не ехал, Непримиримый нервничал. Вот эту ситуацию и решено было использовать...

В течение недели разрабатывался детальнейший план, который предусматривал несколько вариантов хода операции, в зависимости от

[1] Таутининки, ляудининки — националистические контрреволюционные партии.

Продолжение. См. «Огонек» № 19.

сделал все, что мог

обстановки. Роль исполнителя выпала мне, как хорошо говорящему по-немецки и внешне похожему на немца. Я должен был стать управляющим того самого наследного претендента на имение. От подпольного центра были получены соответствующие документы.

Я изучил все, что связано с местностью, где находилось имение, снившееся Непримиримому. Весьма ценной была подробнейшая генеалогия семьи немца, некогда владевшей имением. Имена всех дедушек, бабушек, теток и дядек я выучил на память, как стихи.

Схема моих действий была такова: я появляюсь в городе вечером и будто бы прямо с дороги направляюсь в особняк Непримиримого. Я тороплюсь, потому что имею задание хозяина в кратчайший срок выяснить ситуацию. Предполагалось, что Непримиримый предложит мне вариант замены имения. Решение этого вопроса откладывается на завтра, так как я всего-навсего управляющий и мне нужно снестись с хозяином. Я уезжаю якобы в отель, но предварительно должен незаметно оставить в особняке портфель с миной замедленного действия. Она невелика, с книгу средней толщины, — кстати, она и сделана в виде книги. Где и как я суну свой портфель, заранее не знаю. Мина должна сработать вскоре после моего ухода. В связи с этим я должен внимательно следить за ходом времени, ибо срок взрыва я изменить уже не могу.

При обсуждении плана действий выдвигались самые различные и самые неожиданные повороты ситуации и соответственно придумывались контрмеры. Мы репетировали все, как в театре. Наконец для меня были добыты нужный костюм и летнее пальто.

Накануне операции дядька Борис вызвал меня для разговора с глазу на глаз.

— Есть ли у тебя какие-нибудь сомнения? — спросил он, смотря мне в глаза.

Я ответил, что никаких сомнений нет. Тогда он сказал:

— Наш план вроде неплох, но надо помнить, что все эти гады тоже не дураки. Может случиться осечка. Если осечка, стреляй из пистолета, но если увидишь, что дело твое плохо...— Он замолчал на секунду, а потом, не сводя с меня глаз, тихо сказал: — Тогда знаешь, что делать?

— Знаю,— твердо ответил я. И я действительно понимал, о чем он спрашивает.

Но дядька Борис, видимо, решил поставить все точки над «и».

— Тогда, Володя, живым в руки даваться нельзя,— глухо сказал он.

— Ясно.

И вот настал день операции. Настроение у меня было приподнятое. Почему-то я был уверен, что все сойдет хорошо. И, клянусь, не испытывал никакого страха, с тревогой думал только об одном: а вдруг Непримиримого не окажется дома и я не смогу оставить у него портфель? Ведь тогда придется все начинать сначала, а вдруг на второй раз у меня духа не хватит?

Сейчас, уже после операции, я сам хочу разобраться в себе и понять, почему не было страха. То есть легкое дрожание души, конечно, было, но чтобы страх, да еще такой, от которого млеет все тело,— этого не было. Помню, как в недавние студенческие времена я на пари взялся съехать на лыжах с трамплина на Воробьевых горах. Когда я поднялся на вышку и стал на лыжи, у меня от страха подгибались ноги. Как я тогда не сломал себе шею, не знаю. Во всяком случае, я метров сто катился по земле, как мешок, и потом мне не раз снилась чертова вышка, и я просыпался в холодном поту. А тут страха не было.

В чем же основа моей храбрости? Мне кажется, я знаю, в чем. Во-первых, мне надо было пережить ту первую ночь, когда я, как затравленный гончими заяц, петлял по ночному городу, шарахаясь от каждой тени. Трудно передать словами, какой унизительный страх, какую унизительную беспомощность переживал я тогда. Этого человек не прощает, не имеет права прощать. И тем глубже почувствовал я свое предназначение, когда попал к этим людям, которые стали моими боевыми товарищами. Они помогли мне научиться думать о жизни.

Сколько таких, как я, жили, считая, что все радости жизни положены нам, так сказать, по штату! Советская власть окружала нас всяческими заботами, и мы росли. Ну как же, всякое растение должно расти! А ты, мой сверстник, всегда ли помнил о такой, например, очень простой вещи? Для того, чтобы Советская власть могла дать тебе все то, что ты имеешь, должна была свершиться Октябрьская революция. А до этого Ленина и его боевых соратников травила полиция, их загоняли в ссылки, их пытали, многих казнили. А потом тысячи и тысячи людей, которые, как все, любили жизнь, погибли в гражданскую войну... Да, полезно, очень полезно задумываться о жизни, видя при этом несколько дальше собственного носа.

А теперь про операцию.

6

Вечером я покинул главную квартиру нашей боевой группы. Товарищи попрощались со мной просто, даже небрежно. Стась, который во время операции будет находиться поблизости от особняка Непримиримого, ушел на свой пост еще раньше. Уходя, он весело сказал мне: «Ночью увидимся»,— будто на прогулку пошел. А сейчас он уже притаился в развалинах дома напротив. В случае, если в особняке вспыхнет заваруха, он должен открыть отвлекающий огонь. Конечно, лучше будет, если он останется без дела.

Иду по улице подчеркнуто открыто. Никого и ничего не может бояться управляющий, хозяин которого близко знаком с самим Герингом. С дороги управляющий все же немного устал, а тут еще совершенно незнакомый вечерний город. Так что идет он не очень быстро и на перекрестках вынужден освещать фонариком таблички с названиями улиц.

Подхожу к перекрестку. На другой стороне стоят два солдата. Подсвечиваю табличку, громко по-немецки поминаю черта и иду прямо к солдатам.

— Добрый вечер, солдаты Германии!

— Добрый вечер,— отвечают они.

— Вы не скажете мне, где в этом темном царстве Школьная улица?

Солдаты смеются.

— Мы сами в этом царстве только со вчерашнего дня,— говорит один.

— Надо спросить у местных,— добавляет другой.

— Каких еще местных! — Теперь уже смеюсь я.— Вы же загнали их в норы. В отеле мне объяснили, как идти, но я заблудился. Но отсюда, кажется, уже недалеко. Надо идти. Служба Германии — первое дело, и бог знает, куда идет каждый человек. (Эту пословицу я вычитал в немецком календаре.)

— Так то бог, а не вы,— смеется солдат.

Чуть поднимаю руку и небрежно бросаю:

— Хайль Гитлер!

Стукнули четыре каблука:

— Хайль, хайль, хайль!

Иду дальше. Слышу, как переговариваются позади меня солдаты. Может быть, у них возник спор о том, нужно или не нужно было проверить мои документы? Нет, солдаты меня не окликают.

В начале Школьной улицы меня останавливает патруль. Только я мигнул лучиком фонаря на табличку, раздался строгий возглас из темноты:

— Погасить огонь! Стой!

Стою. Подходят трое: два солдата и очень молоденький лейтенантик. Фонариком, спрятанным в рукаве плаща, он освещает мое лицо:

— Что вы здесь делаете?

— Ищу вас.

— Нас? Зачем? — Лейтенант озадачен.

— Наконец-то мне кто-нибудь поможет найти нужный адрес.— Я вынимаю из кармана бумажку с адресом.— Посветите, пожалуйста...

Лейтенант освещает бумажку, но смотрит на меня...

— Школьная улица, семнадцать,— читаю я.— Где это? У скольких патрулей спрашивал, никто не знает. Такое впечатление, что наша армия взяла город, но никто в армии ничего не знает о том, что мы взяли.

— Прошу документы,— строго, но весьма почтительно произносит лейтенант.

— Пожалуйста,— говорю я чуть раздраженно.

Лейтенант освещает фонариком мою бумагу, увенчанную гербовым орлом и прочими канцелярскими знаками, долженствующими вызывать уважение у всякого добропорядочного немца.

— Вы что, только приехали? — спрашивает лейтенант.

Я уже сержусь:

— Из Кенигсберга летел сюда один час, а здесь никак не могу добраться до цели.

Лейтенант аккуратно складывает и возвращает мне бумагу.

— Идите вот так. Машина «Опель-адмирал» стоит как раз у дома, который вам нужен.

— Какая машина? — раздраженно спрашиваю я.

— Дежурная.

— Значит, есть же машины! — Я уже разозлен не на шутку.— Но машины стоят, а те, кому нужно на них ездить, вынуждены блуждать по темному городу.

— Это вне моей компетенции.— Лейтенант приложил руку к козырьку.— Тут не больше двухсот шагов.

Подхожу к особняку Непримиримого. Из автомобиля меня рассматривают какие-то люди. Даже стекло опустили, чтобы лучше видеть. Прохожу с достоинством, не позволяющим повернуть голову. Поднимаюсь на крыльцо особняка и решительно нажимаю кнопку звонка. Не отпускаю ее секунд пять. Гремят и звякают запоры. Дверь открывается. Передо мной человек огромного роста. Спрашивает на плохом немецком языке:

— Кто вам нужен?

Называю свое имя и должность и говорю, кого я хочу видеть.

— Одну минуту...— Дверь закрывается, но тут же распахивается настежь.— Пожалуйста, входите.

Неторопливо снимаю в передней пальто, тщательно причесываюсь перед зеркалом. Человек огромного роста нетерпеливо ждет, переминаясь с ноги на ногу. Затем он раскрывает передо мной дверь, что справа, и я прохожу через большую пустую комнату. Человек огромного роста забегает вперед и распахивает передо мной следующую дверь. Я вхожу в ярко освещенную комнату, очевидно, столовую. За овальным столом друг против друга сидят тучный мужчина и еще более тучная женщина. При моем появлении оба они встают.

— Здравствуйте, долгожданный гость! — произносит по-немецки мужчина и, протягивая мне руку, называет свое имя.

Это Непримиримый. Рука у него пухлая, сырая. Он представляет мне супругу. Я целую ей руку. Она смотрит на меня настороженно...

Сажусь за стол рядом с Непримиримым. Не спеша вынимаю из портфеля великолепный бумажник, на котором сияет золотая монограмма. Портфель опускаю на пол, возле своего

стула. Из бумажника вынимаю бумагу и протягиваю ее Непримиримому.

— Прошу ознакомиться с доверенностью, данной мне доктором Гернгроссом на ведение здешних его дел.

Увы, бланка прусского помещика подпольный центр не имел, доверенность была напечатана на гербовой бумаге, и хотя выглядела она вполне внушительно, я не без тревоги наблюдал, как Непримиримый читал ее. Делал он это очень внимательно, вертя бумагу и так и эдак. Он прочитал даже круговые тексты двух печатей. Затем он вернул доверенность мне. Лицо его стало непроницаемым.

— Слушаю вас, — сухо произнес он.

— Прежде всего вопрос: на каком юридическом основании вы претендуете на имение Трех озер?

Его сизые щеки порозовели.

— Юридические основания бывают разные,— помолчав, ответил он.— Весь вопрос в том, какие из них следует считать наиболее объективными и жизненными.

Молчу. Обдумываю, как бы поскорее закончить разговор. Во-первых, регламент ограничен сроком, на который поставлен часовой механизм мины, и мне абсолютно ни к чему дожидаться, пока наш юридический спор оборвет взрыв. Во-вторых, в споре опасно уйти в различные детали, о которых я могу ничего не знать и вызвать поэтому подозрение.

Он расценил мое молчание по-своему и стал развивать мысль о жизненном юридическом основании.

— Наследственные права, — продолжал, заметно ожесточаясь, Непримиримый,— переживают в наши дни существенные изменения. На Трех озерах давно забыт не только герб Гернгросса, но и он сам. Мой дядя и отец с незапамятных времен — арендаторы этой земли. Их потом эта земля смочена, их руками выхолена. И это не юридический казус, скрепленный какой-то бумажкой столетней давности. Это жизненная реальность. А великий фюрер Германии — образец реалистического мышления. И мне неизвестно, каково его официальное решение о балтийских землях.

Он замолчал, барабаня по столу мясистыми пальцами и смотря на меня так, точно спрашивал: «Съел пилюлю? Ты думал, я орешек, а я камешек».

В конце концов, зачем мне было его дразнить? Я сделал вид, что обдумываю решение, и потом спокойно сказал:

— Мне непонятно, почему в наш деловой разговор сразу примешалось раздражение. Мой шеф послал меня сюда прежде всего за получением полной и объективной информации по интересующему его вопросу. Я уверен, что у него, как и у меня, вызовет уважение тот факт, что ваша семья столько лет трудилась на его земле. И нам нет никакого смысла углубляться в абстрактный спор о праве собственности. Я бы хотел узнать от вас, что представляют собой те земли, которые предполагают выделить моему шефу взамен Трех озер.

Непримиримый мгновенно оживился:

— Это несколько южнее Трех озер, и там земля гораздо лучше освоена. Если бы не традиции моей семьи, я без разговора взял бы то хозяйство.

— Завтра я туда поеду.— Я посмотрел на часы. До взрыва было двадцать минут. В моем распоряжении оставалось не более пятнадцати.

Супруга Непримиримого, в течение всего нашего разговора сидевшая неподвижно, как изваяние, теперь зашевелилась:

— Кофе не хотите?

— Спасибо, никогда не пью его на ночь.

— Может, хотите закусить?

Я встал.

— Благодарю вас. Мне кажется, всем давно пора спать. Я и так вел себя невежливо, ринувшись к вам прямо с дороги, не считаясь со временем. Но я раб своей службы, а мой шеф не любит, когда его служащие не торопятся.

— У дома стоит дежурная машина, она отвезет вас в отель,— вдруг заявляет хозяин.

Вот так номер! Молниеносно соображаю, что отказываться нельзя, ибо отказ невозможно объяснить. Ясно одно: теперь надо торопиться, с тем чтобы успеть покинуть машину до взрыва.

— Спасибо, а то пока я к вам добрался, мне пришлось перезнакомиться со всей армией рейха.

Непримиримый рассмеялся:

— Порядок, слава богу, наведен.

— Это действительно так? — обеспокоенно спрашиваю я.— Ведь у нас ходят всякие слухи о диверсиях коммунистов.

— Не без того, конечно.— Непримиримый смотрит на меня, как матерый специалист на зеленого ученика.— Война есть война. Но мы здесь тоже не дремлем и знаем, как отблагодарить фюрера за освобождение. Можете быть уверены, порядок будет образцовый.

— Да, главное — порядок,— говорю я, протягивая ему руку.— Могу ли я повидать вас после поездки?

Он засмеялся:

— Как ни верти, а придется дело закончить. До свидания.

Прощаюсь с его супругой, и мы выходим в переднюю. Он идет куда-то отдавать распоряжение о машине, но верзила, который меня встречал, сопит за моей спиной. Я беру пальто на руку, прикрываю им портфель.

Вернулся Непримиримый:

— Можете ехать.

Еще одно рукопожатие. Верзила идет к двери рядом со мной. Душа холодеет от мысли, что я не смогу незаметно оставить портфель. Верзила открывает дверь и ждет, пока я пройду мимо него. Еще одна беда — когда я входил, свет в тамбуре не горел, а теперь его освещает яркая лампочка. Неужели катастрофа? В правой нише тамбура стоит стремянка, на которую наброшен коврик. Все это я вижу в десятую долю секунды. Положение спасает вымуштрованность верзилы. Открыв вторую дверь, он бежит вперед, чтобы открыть мне дверцу автомобиля. Я сую портфель за стремянку. Секунда — и я уже иду к машине. Верзила захлопывает дверцу автомобиля и скрывается в особняке. Стукнула дверь, свет в тамбуре погас. Все в порядке.

Машина трогается, круто разворачивается и мчится по темной улице. Я сижу сзади. Впереди рядом с шофером сидит какой-то тип в пилотке. Когда подъехали к отелю, он выскочил и раскрыл передо мной дверцу. Я вышел. Машина тут же сорвалась с места и исчезла в темноте.

Стою, думаю: заходить в отель или нет? А вдруг за мной сейчас наблюдают. Все же решаю в отель не заходить. Смотрю на часы — через семь минут взрыв. До потайной квартиры, куда мне надлежало явиться, идти не больше десяти минут.

Медленной походкой человека, прогуливающегося на сон грядущий, я пошел по тротуару вдоль отеля. Из-за угла вынырнул часовой.

— Стой! Документы!

— Пожалуйста.

Часовой рассматривает мою бумагу с орлом и печатями. В это время слышится взрыв. Он похож на рокот грома. Я вздрагиваю. Часовой смеется:

— Не привыкли? Война есть война. Идите.

Мне почему-то смешно, что именно эти слова «война есть война» я так недавно слышал от Непримиримого, которого сейчас, надо думать, уже нет в живых.

Вот и все. Около трех часов ночи на потайную квартиру явился Стась. Он рассказал, что взрывом разнесло весь фасад и правую часть особняка. Крыша и потолок обвалились, и тотчас начался пожар. Он до сих пор не потушен. Нельзя и думать, что в доме кто-нибудь уцелел.

Через день мы уже знали точно, что Непримиримый погиб, а его супруга скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Теперь мне хочется...»

Так обрывается эта часть записи. И в дальнейшем она, очевидно, не была продолжена.

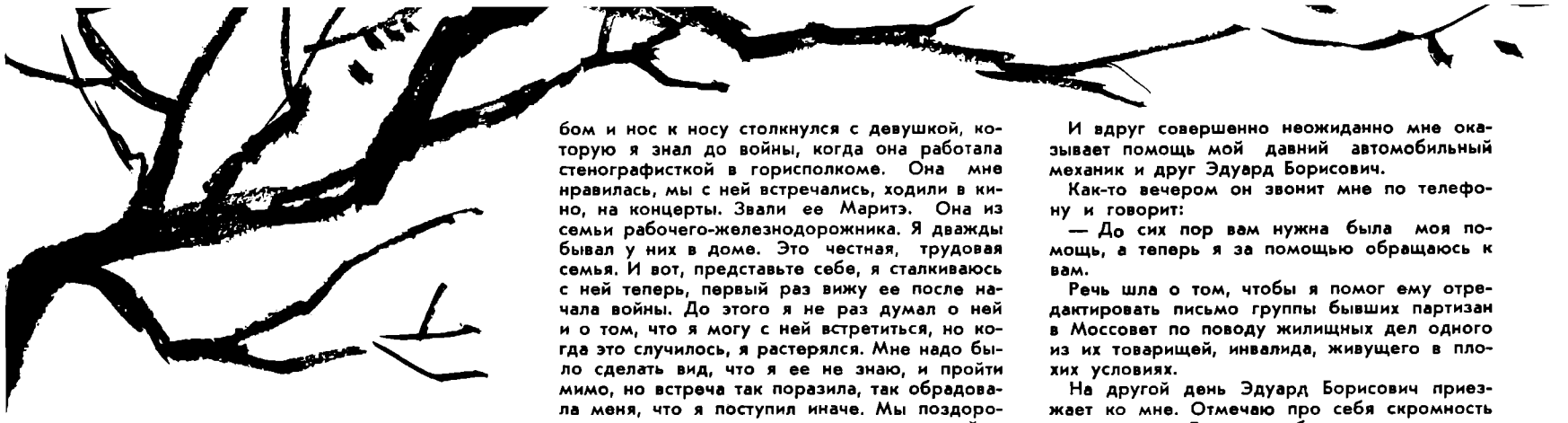
7

По всем данным, следующим по времени материалом следует считать две странички, мелко исписанные с обеих сторон. По всей вероятности, это черновик заявления или объяснительной записки. Кому это адресовалось, неизвестно, потому что начала черновика нет. Но оно явно было, как была, очевидно, еще третья страничка, так как текст, которым мы располагаем, начинается с перенесенного слова. Можно предположить, что Владимир писал это или командиру или секретарю партийной организации партизанского отряда, в котором он оказался в первую военную зиму.

Текст привожу полностью и только для удобства чтения расшифровываю многие слова, записанные автором сокращенно...

«...мированы, но у меня есть все основания думать, что вы информированы не точно. В связи с этим считаю своим долгом честно, ничего не утаивая, сообщить вам, как было дело.

После удачно выполненного задания по ликвидации предателя литовского народа (взрыв особняка) мне была объявлена благодарность, и, как я понимал, эта благодарность была от подпольного центра. Потом я долгое время



трудных заданий не получал. Я не раз говорил об этом руководителю нашей группы, но он или отшучивался («Каждому овощу свое время»), или туманно обещал («Жди, твой час придет»). Но никогда никто не говорил мне, что я намечался для выполнения нового ответственного задания, которое подготавливалось подпольным центром. Я, естественно, нервничал. Вкусив сладость настоящей борьбы, я рвался к новым боевым делам, и нет ничего странного, что об этом я часто говорил в группе. Именно на этом, очевидно, и основано обвинение меня в «хвастливой болтовне, создававшей в группе опасное настроение шапкозакидательства». Это неверно по существу. Почти всю зиму наша группа практически бездействовала, вела только малополезную разведку обстановки в городе. Настроение у большинства товарищей было кислое, и только двум такая спокойная жизнь была по душе, и я им это прямо говорил. Так

что теперь я уверен, что именно они и заварили против меня кашу.

Теперь о главном. О будто бы совершенной мной расшифровке нашей группы. Я повторяю здесь то, что я говорил на собрании группы и здесь, у вас. Никакой расшифровки не произошло. Что же было на самом деле? Наша группа должна была испортить рождественский вечер гитлеровским офицерам в их штабном клубе. Операцию начали готовить в первых числах декабря. Мне было поручено изучить обстановку в районе клуба, куда я и ходил почти каждый день. Обстановка не радовала. Клуб был расположен в центре города, и возле него до поздней ночи толпилось офицерье. У подъезда и по углам здания круглосуточно стояли патрули из солдат и дежурных офицеров. Парадный зал клуба находился на третьем этаже, удачно забросить туда гранату невозможно. Обещание центра установить связь с какими-то людьми из обслуживающего персонала клуба оставалось лишь обещанием. Все нервничали. И вот именно в этой нервной атмосфере и происходит со мной случай, который послужил основанием для тяжелого обвинения меня в расшифровке группы.

Прежде всего это действительно случай. Судите сами... Утром я вел наблюдение за клубом и нос к носу столкнулся с девушкой, которую я знал до войны, когда она работала стенографисткой в горисполкоме. Она мне нравилась, мы с ней встречались, ходили в кино, на концерты. Звали ее Маритэ. Она из семьи рабочего-железнодорожника. Я дважды бывал у них в доме. Это честная, трудовая семья. И вот, представьте себе, я сталкиваюсь с ней теперь, первый раз вижу ее после начала войны. До этого я не раз думал о ней и о том, что я могу с ней встретиться, но когда это случилось, я растерялся. Мне надо было сделать вид, что я ее не знаю, и пройти мимо, но встреча так поразила, так обрадовала меня, что я поступил иначе. Мы поздоровались, прошли в садик и сели на скамейку. Я спросил, как она живет, что делает. Она стала рассказывать о себе. Сообщила, что нигде не работает, что ее отца выгнали из депо, что в семье работает только один ее брат, который служит на почте. Что живущая в деревне сестра матери помогает им продуктами. Когда она все это рассказывала, я подумал, что сейчас она, наверное, спросит, что делаю я. И я лихорадочно придумывал, как ей ответить. Вдруг она прерывает свой рассказ, со страхом смотрит на меня, оглядывается по сторонам и спрашивает:

— А как это вы... здесь?

Толковой версии я так и не успел придумать и начал плести, что пришло в голову. Она прервала меня и сказала:

— Мне кажется, я все понимаю.— Она встала со скамейки и прибавила: — Если будет нужно, заходите к нам домой, у нас спокойно.— После этого она ушла.

Я подождал, пока она скрылась за углом дома, и затем сложным маршрутом, на каждом перекрестке проверяя, нет ли у меня за спиной шпика, вернулся в группу и тотчас рассказал все, что произошло. Я прекрасно понимал, что это «ЧП», но я никак не мог подумать, что оно такой сверхчрезвычайности и что мне будут предъявлены столь тяжелые обвинения. На крайний случай нужно было удалить меня из города, и все. Собственно, так и было сделано. Но, оказывается, на этом дело мое не прекращается.

Я, конечно, не знаю всех законов подполья, но и они, эти законы, должны подчиняться логике. Группа не расшифрована, я за свою неосторожность сурово наказан тем, что удален из группы. А на меня возводится и как тень за мной следует обвинение в том, что на самом деле не произошло, а это выводит меня из строя как бойца. Я же прекрасно вижу, что командование отряда не назначает меня в опасные операции. Сам я так чувствую себя, что мне неловко смотреть в глаза товарищам. В таком состоянии идти на серьезное дело, конечно, недопустимо. Но теперь отклонено мое заявление о приеме меня в кандидаты ВКП(б). Я, видите ли, должен показать себя в бою и кровью завоевать доверие. Но, во-первых, меня к настоящему бою не допускают, во-вторых, если мне официально отказано в доверии, меня нельзя вообще держать в отряде. В заявлении я написал все. Прием в кандидаты ВКП(б) означал бы для меня доверие на всю мою жизнь, доверие, которое я готов оплатить своей кровью и даже жизнью. Я прошу вернуться к моему заявлению и пересмотреть решение. Иначе я не вижу для себя ни возможности, ни права жить и оставаться среди вас...»

Было ли что-нибудь сделано по этому заявлению или письму Владимира, неизвестно. Между тем история эта необычайно интересна. Понял ли в конце концов Владимир тот урок, который давали ему старшие товарищи? Или обида окончательно ослепила его? Наконец, какая связь между этой историей и тем, что произошло с Владимиром позже и о чем речь впереди? Нельзя ли сейчас найти кого-нибудь из партизанского отряда, где Владимир переживал свою трагедию?

Я начал поиск. Долгое время он не давал никаких результатов. На мои письма, которые я рассылал в разные концы страны, отозвалось около десятка бывших партизан, но ни один из них ничего о Владимире не знал. Я решил оставить поиски и заняться выяснением следующих этапов жизни моего героя.

И вдруг совершенно неожиданно мне оказывает помощь мой давний автомобильный механик и друг Эдуард Борисович.

Как-то вечером он звонит мне по телефону и говорит:

— До сих пор вам нужна была моя помощь, а теперь я за помощью обращаюсь к вам.

Речь шла о том, чтобы я помог ему отредактировать письмо группы бывших партизан в Моссовет по поводу жилищных дел одного из их товарищей, инвалида, живущего в плохих условиях.

На другой день Эдуард Борисович приезжает ко мне. Отмечаю про себя скромность автомеханика. Ведь если бы не эта история с письмом в Моссовет, я, наверно, так бы никогда и не узнал, что он во время войны был бойцом диверсионной группы, действовавшей во вражеском тылу на границе Белоруссии и Литвы. Теперь, когда я об этом узнал, я начал расспрашивать его о тех ратных временах. Рассказывая об одной операции в районе Ново-Вилейки, он, между прочим, уточнил, что эта операция проводилась совместно с партизанским отрядом, в котором действовал один молодой москвич, инженер по профессии. Он был бойцом легендарной храбрости и в этом бою погиб. Я сразу насторожился. Спрашиваю, не помнит ли Эдуард Борисович, как звали этого молодого москвича. И слышу уверенный ответ: «Володя». Фамилии его Эдуард Борисович не знал.

— Какой он из себя?

— Блондин, очень симпатичный,— так же уверенно отвечает автомеханик.— Но горяч до крайности, это его погубило.

— А что с ним произошло?

— Я сам не видел, но мои ребята говорили, что он зарвался в рукопашной.

В эту минуту я уже был уверен, что речь идет о моем герое.

Однако Эдуард Борисович к тому, что сказал, больше ничего прибавить не мог. Но он вспомнил, что отрядом партизан командовал человек по фамилии Сутолока.

В течение месяца я разыскивал этого самого Сутолоку. Всесоюзная справочная служба дала мне сведения о четырех Сутолоках. Всем им я послал письма. И первый же полученный мною ответ был именно от того Сутолоки, который мне нужен. Да, он партизанил в тех местах. Да, он помнит моего Эдуарда Борисовича — тогда бойца диверсионной группы.

Но самым драгоценным доказательством того, что именно этот Сутолока может сильно помочь мне, было его имя и отчество — Михаил Карпович. Дело в том, что это имя встречается в дневниках моего героя, и по всему видно, что этот человек глубоко запал в сердце Володи.

Авиапочтой посылаю письмо Михаилу Карповичу Сутолоке,— как и где мы можем встретиться.

«В самое ближайшее время,— ответил он,— я собираюсь приехать в Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, и мы можем встретиться».

Ранним утром я встречал его на Казанском вокзале, а часом позже мы уже сидели в комнате одной из гостиниц ВСХВ во Владыкине. Комната была на четверых. Но остальные три кровати были свободны. Именно это обстоятельство вывело Михаила Карповича из себя.

— Черт, что делается! — возмущался он.— Так трудно, так трудно попасть на выставку, а тут, смотри, свободные койки! До чего же любят у нас иногда искусственно создавать затруднения! Я хотел взять с ссбой племянника — так нельзя, нет свободных мест! А койки, вон, пустые стоят! Ну, разве не чертяки безрукие? А?..— Он замолчал.

Я воспользовался этим и спросил о своем.

— Это факт,— сказал Михаил Карпович,— в приданной мне для той операции группе был инженер из Москвы по имени Володя. Фамилии его я не знал. В партизанском быту как-то так складывалось почему-то, что одного звали только по фамилии, а другого только по имени. Верно и то, что он был совсем молодой человек...

Продолжение следует.

Он

Приключенческая повесть

Василий **АРДАМАТСКИЙ**

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

8

РАССКАЗ МИХАИЛА КАРПОВИЧА СУТОЛОКИ

Было это под самый Новый год, стало быть, под сорок второй. Я получаю приказ подобрать по своему усмотрению несколько человек и ночью пойти на железнодорожный разъезд. Там с дрезины будет высажен товарищ, которого мы должны привести в отряд. Я решил, что едет к нам связной. За осень я уже два раза так доставлял их в отряд. Ну что ж, в полночь мы уже были на месте и укрылись в кустарнике у полотна. Около часа ночи, как и было условлено, подходит дрезина, и с нее спрыгивает человек. Дрезина уходит дальше, в сторону Ново-Вилейки, а человек стоит, озирается по сторонам. Мы выжидаем: мало ли что? Ждем условного сигнала: человек должен фонариком сделать движение снизу вверх. И когда он этот сигнал подал, мы к нему подошли. Смотрю: совсем молодой парень и одет больно легко, никак не для лесной зимы. А идти нам километров десять.

Привели мы его в отряд, прямо в землянку командира. Я зашел туда вместе с ним. Командиром у нас в то время был Никифоров — майор из окруженцев, мы его в сорок третьем году в бою потеряли. Хороший был человек, обстоятельный, спокойный, а в бою — так прямо полный генерал...

Ну вот, здоровается, значит, Никифоров с гостем и усаживает его к печке. Отогрелся Володя немного и говорит:

— Мне приказано доложить так: послан к вам в отряд по приказу подпольного центра. А подробности получите не от меня.

Сказал он это не просто, а вроде как с подковыркой.

Никифоров посмотрел на него и спрашивает:

— Проштрафился?

Володя опустил голову.

— Возможно, что и так,— отвечает,— не знаю.

Тогда Никифоров перевел разговор на другое. Как, мол, там жизнь в городе, сильно ли лютуют гитлеровцы и всякое такое прочее.

Володя отвечал кратко, было видно, что он разговаривать не хочет.

Тогда Никифоров обращается ко мне и спрашивает:

— У тебя, кажется, есть место в землянке? Возьми к себе этого товарища.

Так Володя и поселился в моей землянке. Неделю, если не больше, жил он у нас, как командированный: спит, ест — и вся работа. О чем-нибудь постороннем, скажем, о том, какой город лучше — Москва или Ленинград, он с нами еще разговаривает, а как возьмешь

ПРОДОЛЖЕНИЕ. СМ. «ОГОНЕК» №№ 19, 20.

сделал все, что мог

что-нибудь поближе к делу, отмалчивается. Я сразу сообразил, что у парня на душе камень лежит, и подумал, что командир наш, наверное, в воду глядел: ясно, парень проштрафился. Так оно впоследствии и подтвердилось.

Позже на сборе отряда командир объявляет, что к нам поступил новый боец, что зовут его Володя. Но добавляет, что он совершил проступок, за который его, несмотря на заслуги, из подполья отчислили. Конечно, говорит дальше командир, никто этот факт не должен понимать так, что служба в нашем отряде ему вроде как бы наказание. Сделано это из соображений тактики: воевал человек в подполье, а теперь нужно ему повоевать у нас.

Отряд у нас был небольшой, мы главным образом диверсиями занимались. Каждый боец был на виду, и про каждого мы знали всю его подноготную. И поэтому нашим товарищам пришлось не по душе, что командир о новом бойце вроде чего-то не договаривал. И вот встает мой ближайший помощник, подрывник Леша — он с тем Володей был, наверно, однолеток,— встает и спрашивает:

— Почему нам не говорят, что за проступок был у нашего нового бойца? Мне же,— говорит,— может быть, придется вдвоем с ним на задание идти, и я тогда должен точно знать, на что он способен и чего от него можно ожидать.

Володя хотел ответить ему сам, он даже встал. Но командир сделал ему знак: дескать, сиди, я отвечу. И говорит так:

— Подпольная организация в большом городе — это сложное и тонкое дело. Проступок, который совершил наш новый боец, происходит не от трусости или от чего-нибудь в этом же роде. Просто им была допущена тактическая ошибка, а в подполье самая малая ошибка может стоить большой крови.

— Понимай так: его ошибка стоила крови товарищей? — спрашивает отрядный фельдшер Голубев; он, между прочим, всегда страшно переживал каждую потерю.

— Нет,— отвечает Никифоров,— этого, к счастью, не случилось.

— Конечно, нет, и вообще ничего не случилось! — крикнул Володя, а сам весь красный стал.

— Хватит об этом! — строго крикнул Никифоров.— Разойтись!

Вернулись мы в свою землянку. Володя сильно нервничал. Сел на нары и качается, будто у него зубы болят. Я молчу, растапливаю печурку. Вдруг он спрашивает:

— Бывают ли, Михаил Карпович, люди, которые никогда не совершают ошибок?

Мне от такого вопроса стало смешно.

— Нет, вы не смейтесь,— говорит Володя.— Я серьезно спрашиваю.

Тогда я ему тоже серьезно отвечаю, что, мол, все дело в том, как в человеке та ошибка перевешивает: не тянет ли она чашу до самой земли. Но такого человека, который ни разу не ошибался, нет и не может быть. Даже часы и те другой раз дают оплошку, а они ведь стальной механизм, без всякой души. А ошибка может быть и такая, что за нее человека к стенке можно поставить.

— Это я понимаю,— говорит он.— Ну, а если ошибка совсем не такая? Если от нее только та беда и приключилась, что меня сюда отослали?

На это я ему говорю так: вопрос, дескать, сложный и счет последствий тоже сложный. Надо знать, что бы ты мог хорошего сделать, кабы остался там. И тогда за то несделанное и надо тебя судить. А как это узнаешь? Этого никто знать не может. Разве что предположить можно. Но точно никто не знает, что ему на роду написано.

Володя в ту ночь раскрыл передо мной всю свою жизнь. Папаша у него по ученой части, кажись, профессор. Мамаша тоже тонкая женщина: на разных языках легко разговаривала и его, Володю, тем языкам выучила. И уж, конечно, было у него полное обеспечение, как при коммунизме: получай все, что душе угодно. От такой жизни, без забот, добра не жди, это факт. А вот вырос парень ничего, самостоятельный, опять же инженер. В Литву его не зря послали.

Но все же вырос он, как тополиный лист: с одной стороны вроде серебряный, а с другой — зеленый. Так с двух сторон я его в ту ночь и увидел.

...Ну, вот. А война-то продолжается. И мы воюем, как можем. Ходим на диверсии, взрываем, что прикажут, оккупантов постреливаем. Словом, жизнь идет своим чередом. А Володя мой все мрачнеет и мрачнеет. Приду, бывало, с операции, гляжу: он лежит небритый, лохматый. Прямо приказом заставляю его привести себя в порядок. Слушается. У него, конечно, переживания были оттого, что его в настоящее дело не посылали. Я понимал это и не раз думал: прав ли наш командир в своей осторожности? Даже пробовал себя ставить на место командира. И вот как раз тогда и пришел к выводу, что командир прав. Во-первых, нет у Володи нашего опыта, а зимнее время требует от нас особо большой сноровки. Затем насчет его проступка. Какой бы он ни был — тактический или какой другой,— а раз он был, человек должен его прочувствовать. И на все огорчения Володи я говорил ему одно:

— Погоди до весны, и я сам возьму тебя в самое что ни на есть лихое дело.

Созывается отрядное партийное собрание. В день смерти товарища Ленина. Доклад делал сам командир. Главный упор он взял на те неисчислимые трудности, которые выпали Ильичу во всей его жизни,— от казни родного брата Александра и до ранения его самого отравленной пулей. Были докладчику вопросы, но по большей части они касались наших боевых дел. Это и понятно: в тех условиях про что речь ни заведи, а все кончается боевыми буднями. Опять же и в резолюции все было вместе: и Ленин и наши боевые успехи.

Потом командир говорит:

— Теперь разное. У меня только одно сообщение. Наш новый боец подал заявление о приеме в партию, в кандидаты, стало быть. Принято решение: воздержаться, поскольку он у нас без году неделя и никак себя еще не показал.

Володя крикнул:

— Вы же сами не даете мне этого сделать!

А командир будто и не слышал его, объявил, что собрание закрыто, и первый запел «Интернационал».

Пришли мы после собрания в землянку. Володя мой зажег коптилку, сел к ящику, который был у нас вместо стола, и долго что-то писал, что, не знаю. И вдруг мне подумалось: не пишет ли он предсмертное письмо? Не надумал ли он лишить себя жизни? Своего оружия, я знал, у него нет. Тогда я свой автомат и пистолет незаметно прибрал к себе на нары, а когда он кончил писать и задул коптилку, я его на разговор потянул. Особенно тянуть и не пришлось. Наоборот, у него в душе словно плотина прорвалась, я потом не знал, как его и остановить.

Говорит, говорит... И начинаю я улавливать одну его душевную линию. Вот он произносит разные слова, а я только и слышу: «я», «меня», «мое», «мне», «я не могу», «я не хочу», «я потребую». Одним словом, заякался парень так, что мне тошно стало. Вот, думаю, где у него главный прорыв. Несмотря на все хорошее, привык он впереди всех себя видеть. Вот где неправильное воспитание вбок его тянет.

И тогда я ему все это, как мог, разъяснил. Про самолюбие, когда человек видит себя впереди всех и всего. Тут уж и мне самому как-то яснее стало, что я хочу ему сказать. Вот ты считаешь, говорю я ему, что по твоим законам должно быть тебе полное прощение и полная тебе вера. А люди думают по-другому. Они говорят: «Пусть он себя покажет».

Выслушал он меня, долго молчал и уже совершенно спокойно говорит:

— Мне же не дают показать себя.

Тогда я ему твердо заявляю:

— Дадут, не торопись.

Ну, вот... Не могу, конечно, все на себя принимать. Ведь с Владимиром в то время не один я беседы имел, а только после той ночи парень постепенно стал в рамки входить, перестал гнушаться самых малых дел по отряду: и дрова для печки колол и даже марлю для фельдшера стирал. А от этого в отряде постепенно стало расти к нему уважение. А тут нагрянула весна, и скоро он в дело пошел.

9

Операция, значит, была такая. Нужно было взорвать путь с двух сторон от узловой станции, потом ворваться на станцию, устроить переполох и под шумок вывести из строя водокачку и поворотный круг депо.

Весна была в полном цветении. Для партизан эта пора — сплошной праздник. Ведь каждый кустик броней для нас становится, а лес, так тот уж целая крепость: поди возьми меня там, не ожегшись.

В ту весну вблизи от нас появилась передвижная группа подрывников, сброшенная с воздуха нашей авиацией. В этой группе за главного и был автомеханик, о котором вы мне писали. На операцию мы пошли вместе — наши партизаны и эта группа диверсантов-подрывников.

Разбились мы на три опергруппы по пятнадцати человек. Одна пошла на запад от станции, этой группой руководил ваш знакомый автомеханик. Другая — на восток. А моя вышла прямо к станции. Все было расписано по минутам.

В мою группу включили Владимира. Это было первое его большое дело у нас. Наша исходная была на болоте с чахлым кустарником. Мы залегли между купинок, поросших дурникой. Есть на болоте такая ягода. Угостишься ей без меры — одуреешь до рвоты, а цветок ее безвредный и даже дает приятный запах. Вот мы, значит, лежим и нюхаем, ждем назначенного срока. Рядом со мной лежит Владимир. Вижу, волнуется парень. Я понимаю, рвется у парня душа к боевому делу, и это, конечно, хорошо.

Сперва операция разыгрывалась как по нотам. Ударил взрыв справа от станции. Фашисты забегали, на двух дрезинах помчались туда. А ровно через двадцать минут последовал взрыв слева. Паника на станции стала еще сильнее. И тогда поднимаемся мы.

Ворвались на станцию, кидаем в окна гранаты, из автоматов бьем только прицельно. Может, десяти минут не прошло, как мы оседлали станцию. И сразу кто к водокачке, а кто к депо. Ваш автомеханик, убегая со своими к депо, крикнул мне: «Поторопи водокачку!» А я еще подумал: «Зря он беспокоится: станция «прочесана» основательно, и ждать сопротивления вроде неоткуда». Ну, а на войне опираться на слово «вроде» никогда не стоит.

Фашисты уже разгадали наш план и теперь с обеих сторон быстро возвращались к станции, чтобы действовать здесь всеми своими силами. Тут же выясняется серьезная ошибка нашей разведки. Она позорно проморгала, что в пяти километрах от станции строительная ро-

та чинила шоссе. Правда, могло быть и так, что эта рота появилась только под сегодняшнее утро, а вчера ее еще не было. Так ли это, теперь выяснять не время. К станции подкатывают два грузовика с солдатами строительной роты, и мы вступаем с ними в бой. Хорошо еще, что строители у немцев, как правило, не очень обстрелянные солдаты. От нашего огня они залегли за насыпью и лежат. Взять их открытой атакой у нас сил не хватает, но и для того, чтобы они спокойно лежали, тоже силы надо тратить, а это планом не предусмотрено.

В это время качнулась и загремела водокачка. Думаю: молодец, Владимир, быстро они там свое сработали — и вижу, как он и его товарищи перебегают к депо. А там тоже перестрелка идет горячая.

Ну, вот... Володи я больше не видел. Потом, когда мы уже отошли в болото, ваш автомеханик сообщил, что Владимир погиб в рукопашном бою.

— Говорите, не погиб? — Михаил Карпович помолчал, недоверчиво покачал головой и сказал: — Ну что ж, могло быть и так, что не погиб. Про войну все можно узнать только после ее окончания, на итоговой, так сказать, перекличке. Что же он, Володя-то, в плен, что ли, попал? Да?..— Михаил Карпович поцокал языком. — Только этого ему и не хватало!

10

«Записываю это в ночь на 30 октября 1942 года».

Это рукой Владимира написано чернилами на верху листа из тетради. Все эти строчки подчеркнуты синим карандашом. Ниже в две строки, как адрес:

«Моим родителям!»

«Моей Родине!»

Еще ниже поперек всей страницы жирная черта синим карандашом, а под ней семь раз записан один и тот же вопрос: «С чего начать?» Будто он думал об этом и незаметно для себя записывал то, о чем думал: «С чего начать?» «С чего начать?»... И только после этого начинается запись.

«Самое главное — я попал в плен к врагу. Со мной случилось самое страшное из всего самого страшного.

Попал я в плен при следующих обстоятельствах — описываю все абсолютно точно.

Я был включен в диверсионную группу, которая осуществляла налет на железнодорожную станцию. Это может подтвердить, если он жив, командир партизанского отряда «За победу» майор Никифоров и мой непосредственный командир Михаил Карпович, фамилии которого я, к сожалению, не знаю. Знаю только, что он из Донбасса, из шахтерской семьи.

Сперва я действовал в группе, которая взрывала водокачку, а затем мы присоединились к группе, которая взрывала возле депо поворотный круг.

Когда мы перебежали к депо, там создалось довольно напряженное положение. Гитлеровцы решили во что бы то ни стало спасти поворотный круг и бросили сюда свои основные силы. Шла очень активная перестрелка, во время которой был убит боец из нашей группы Алексей Губин. Затем часть гитлеровцев была отвлечена группой Михаила Карповича, а остальные в это время пошли в атаку на нас. Завязался рукопашный бой. Командир действовавших с нами диверсантов приказал отходить, но я считал, что этот приказ адресован только к подрывникам, а ко мне и моим товарищам по партизанскому отряду он не относится, тем более что мы и перебежали сюда от водокачки специально для прикрытия подрывников.

Просто удивительно, как мне везло. До самого взрыва поворотного круга я даже царапины не получил. Но тут сработали мины. Я был шагах в пятнадцати от круга и схватился врукопашную с одним гитлеровцем. Раздался взрыв.

Я очнулся на угольной куче, метрах в десяти от того места, где меня застал взрыв. Ощупал себя — цел, только ничего не слышу, и в голове шумит, как в морской раковине. Бой переметнулся уже за станцию, к лесу, и я понял, что наши отходят. Я встал. Идти было трудно, меня качало, как пьяного, и каждый шаг больно отдавался в голове. Все же я добрался до водокачки и уже хотел перебежать через линию, но в это время меня начало тошнить, и так, будто наружу выворачивались все мои внутренности. И я потерял сознание.

Очнувшись во второй раз, я подумал, что ослеп: кругом чернота. Но тут же я обнаружил, что руки и ноги мои связаны. Я понял, что лежу на полу в каком-то закрытом помещении. Прислушался: кто-то поблизости дышал. Я окликнул его, но ответа не услышал и даже подумал, что это у меня просто шумит в голове.

Лежу и думаю: что же это со мной? Неужели плен?

Начало светать. В темноте медленно проступили зарешеченные окна. Я осмотрелся: рядом со мной ничком лежал какой-то человек, из-под него растекалась лужа крови. Я снова окликнул его, он не отозвался.

Судя по всему, нас заперли в помещении, которое когда-то было магазином. К стенке с полками сдвинут прилавок, на котором до потолка навалены ящики из-под хозяйственного мыла. Надписи на ящиках русские. В углу лежала железная бочка, в которую был вставлен заржавленный ручной насос. Наверно, здесь был магазин хозяйственных товаров.

За обитой жестью дверью послышались голоса и топот ног. Залязгало железо. Дверь открылась, и в помещение вошли трое: два немца в форме и один в штатском. Сперва они подошли к тому, который лежал ничком, перевернули его на спину. Один из гитлеровцев сказал:

— Готов...

И они снова перевернули его ничком. И даже в эту минуту я еще не сознавал всего ужаса своего положения: у меня было такое состояние, будто все это происходит не со мной.

Гитлеровцы подошли ко мне.

— Этот жив.— Склонившийся ко мне гитлеровец выпрямился и по-немецки спросил, говорю ли я на их языке.

Я промолчал. Тогда он обратился к штатскому:

— Чего спишь? Приступай к делу! Поднимай его!

Штатский приблизился ко мне и чуть наклонился. Я увидел его бледное, как мел, лицо и испуганные глаза.

— Вам приказывают встать, — сказал он извиняющимся тоном и чуть картавя на букву «р».

Я сказал, что без помощи встать не могу. Штатский — это был, видимо, переводчик — сказал немцам, что надо развязать мне ноги.

— Ну и развяжи.

Переводчик долго и неумело развязывал веревки, а потом помог мне встать, но я тут же сел на пол: ноги так затекли, что стоять я не мог.

Гитлеровец засмеялся.

— У него от страха ноги подкашиваются.

Переводчик снова стал помогать мне подняться, но я его отстранил и встал сам. Один из гитлеровцев подошел ко мне.

— Выходи! — приказал он по-немецки.

Я не двигаюсь. Переводчик говорит:

— Вам приказано выйти.

Делая первый шаг, я заметил, как оба немца вынули пистолеты, и решил, что они сейчас меня пристрелят. И странно: не было никакого страха смерти.

Но выстрела не последовало.

Меня вели по улице какого-то маленького городка. Нигде ни души, только наша процессия, движущаяся посреди улицы. Впереди шагает, размахивая пистолетом, немец, что повыше ростом. За ним плетусь, спотыкаясь, я, и рядом со мной — переводчик. Второй военный процессию замыкает. На ходу немцы громко переговариваются. Наверно, на всю жизнь я запомнил их диалог.

— Хорошо, Отто, что мы с тобой прибыли на станцию с опозданием.

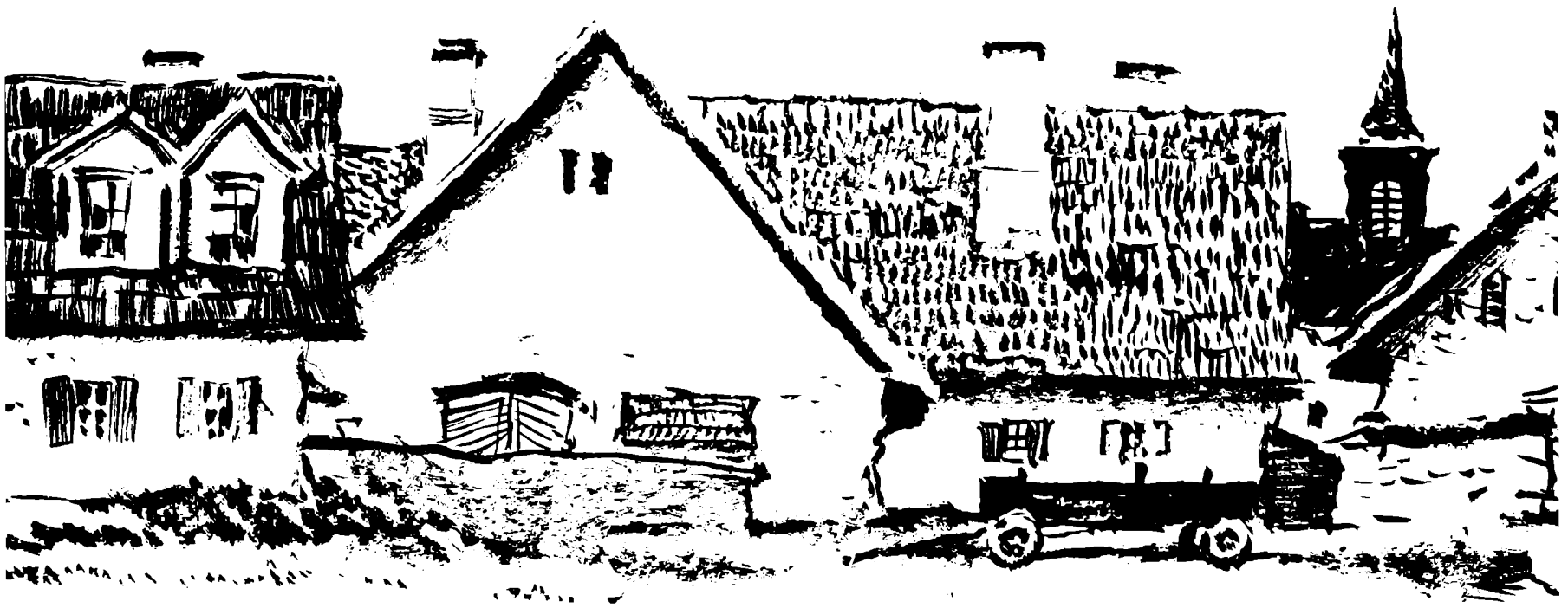
— Надо благодарить нашего лейтенанта, он больше часа пытался связаться со станцией по телефону.

— Лейтенант у нас мудрец! Ты Гашке знал?

— Конечно. Я с ним из Лейпцига ехал сюда в одном эшелоне.

— Из его головы партизаны сделали яйцо всмятку.

— Я говорил лейтенанту, что второй до утра не протянет, надо было допрашивать вчера.



— Лейтенант, наверное, и тут мудрил: за ночь выяснял, кого будут судить за потерю станции. Он-то знает, как вести это дело, если за станцию отвечал майор Брант.

— Ну и что же?

— Болтают же, что этот Брант чуть ли не племянник Браухича. А тогда нашему лейтенанту выгодно доложить, что на станцию напала целая дивизия партизан с танками.

— А ведь говорят, будто Браухич в последнее время не очень-то в почете у фюрера.

— Все может быть. Тогда лейтенант напишет, что на станцию напали три партизана с топорами в руках.

Оба гитлеровца всласть посмеялись и потом несколько минут шли молча. Затем опять заговорили.

— А этот производит впечатление интеллигентного человека, верно?

— Эти интеллигенты из леса у меня никакой симпатии не вызывают.

— Удивительное дело! В третий раз я попадаю в кашу, связанную с партизанами, а только впервые вижу живого партизана. Обычно на месте остаются только мертвые.

— Они воюют насмерть.

— Интересно, что сделают с этим?

— «...и хладный труп его земле предали на утешение червям...»

(Интересно, откуда эти строчки, продекламированные немцем?)

Мы подошли к двухэтажному каменному дому, стоявшему на взгорке, откуда была видна маленькая речка, мост и цветущие сады на том берегу.

Гитлеровец, переводчик и я остановились в узком темном коридоре. Другой гитлеровец зашел в комнату, на двери которой было написано по-русски и по-немецки: «Комендант». И теперь я все еще полностью не осознавал того ужасного факта, что я в плену и что со мной может произойти все самое страшное. У меня было какое-то состояние полусна, и я по-прежнему наблюдал все как бы зрением другого человека, который хоть и близок мне, но все же мной не является.

Гитлеровец подтолкнул меня в спину. Я увидел, что дверь с надписью «Комендант» распахнута и на пороге стоит тот, другой немец.

— Скорей, скорей! — кричал он, взмахивая рукой с пистолетом.

Я вошел в маленький кабинет, где, кроме письменного стола, не было никакой мебели. За столом сидел огненно-рыжий офицер, по нашивкам лейтенант. Возможно, что это и есть тот самый лейтенант, которого мои конвойные именовали мудрецом?

Переводчик стал к стене, вытянув руки по швам. Конвойные стали возле двери.

Рыжий лейтенант долго смотрел на меня, потом встал из-за стола и подошел ко мне вплотную.

— Партизан?

И хотя это было понятно без перевода, переводчик быстро проговорил:

— Господин лейтенант спрашивает: вы партизан?

Я молчал. Лейтенант снизу вверх ударил меня в подбородок. У меня померкло в глазах, и я чуть не упал. Лейтенант посмотрел на свой кулак. На сгибе третьего пальца у него была кровавая ссадина. Он злобно глянул на меня, вернулся к столу и, вынув из кармана носовой платок, замотал им разбитый палец. У меня ныл подбородок. Я притронулся к нему тыльной стороной ладони, и на ней осталось пятно крови.

— Мы будем говорить или молча пойдем на виселицу? — деловито спросил лейтенант.

Переводчик торопливо и неточно перевел:

— Лейтенант приказывает отвечать под страхом смертной казни.

Я кивнул переводчику: дескать, «все понятно»,— и продолжал молчать.

— Сколько партизан участвовало в нападении на станцию? — повысив голос, спросил лейтенант.

Пока переводчик переводил вопрос, я вспомнил разговор конвойных и, не сдержав улыбки, ответил вопросом:

— Какое количество устроит лейтенанта? Большое или малое?

Переводчик смотрел на меня испуганно и моего вопроса не переводил. Лейтенант стукнул кулаком по столу.

— Перевод! Быстро!

Переводчик, путаясь, подыскивая слова, перевел мой вопрос так:

— Он отвечает двойственно, в том смысле, что партизан могло быть много, но могло быть и мало.

Выслушав это, лейтенант усмехнулся.

— Пусть он помнит, что насчет виселицы двойственная перспектива его не ожидает.

— Вас повесят, — кратко перевел переводчик.

Я кивнул головой: мол, и это мне ясно.

Лейтенант вынул из ящика карту и, расстелив ее на столе, сделал мне знак подойти.

— Вот станция. — Лейтенант отточенным карандашом показал на карте черный кружок на скрещении двух железных дорог. — Где партизаны?

— Не знаю, — ответил я, не ожидая перевода вопроса.

— Где партизаны?! — бешено заорал лейтенант.

Я молчал. Тогда он схватил лежавший на окне стек и начал хлестать меня, норовя попасть по лицу. Руки мои были по-прежнему скручены за спиной, я пытался увертываться от ударов, а потом боль стала непрерывной, и она наполнила все мое тело.

Лейтенант устал. Он брезгливо отшвырнул стек, вытер рукавом вспотевший лоб.

— Будет он говорить, где партизаны?

Сквозь звон в ушах я услышал перевод вопроса и ответил:

— Нет, не буду.

Переводчик растерянно посмотрел на меня, потом на лейтенанта.

— Он не скажет.

— Предупредите его, что он пока еще не в гестапо, а там разговорчивыми становятся даже камни.

Переводчик толкует это совершенно неожиданно.

— В гестапо вам будет хуже, — говорит он мне с интонацией доброго советчика. — Нужно сказать все, что можно, здесь.

Я кивнул ему головой.

— Я не буду говорить ни здесь, ни там.

Лейтенант выслушал перевод и задумался. Потом схватил телефонную трубку, и я услышал следующее:

— Полковника Крафта! Господин полковник? Здесь лейтенант Крицвальд. Пленный показаний не дает... Да, пробовал — не дает. Я хочу спросить: передавать его в гестапо или подождать? Так... так... Понимаю... понимаю... Нет, они этого не знают. В рапорте офицера строительной роты о пленных не говорится. Да, да, этих двух взяли мои ребята... Один умер. Да... Мы прибыли с опозданием и обнаружили их во время обхода станции, спустя час после боя. Так... так... Но это не просто, господин полковник, по инструкции, я должен его передать. Понимаю... понимаю... До свидания, господин полковник.

Речь шла явно обо мне, и я понимал, что есть какая-то сложность с передачей меня гестапо.

Меня увели обратно в помещение магазина, там мне развязали руки и дали поесть. Переводчик принес кусок хлеба и жестяную кружку мутной похлебки. Конвойный, пока я ел, сидел на крыльце.

Снова связывая мне руки, переводчик тихо сказал:

— Вы попали в сложную ситуацию. Дело в том, что коменданта станции майора Бранта обвиняют в измене, а вы становитесь свидетелем обвинения. Понимаете?

Я кивнул головой.

Снова прогремели запоры, и все стихло. Неизвестный мне убитый человек был убран, лужа крови была забросана соломой. Я лег на бок и сразу забылся в странном сне, когда я слышал каждый звук, и в то же время у меня было такое ощущение, будто меня здесь нет и ничто происходящее тут меня не касается. Реальной была только боль от ударов стека. Я все время видел этот стек, сделанный из бамбука.

И вдруг я вспомнил Михаила Карповича. Это воспоминание точно встряхнуло меня. Нет, не то, будто вдруг сотни колоколов забили и пробудили во мне ясное сознание происходящего. Мне показалось, что я вижу Михаила Карповича и слышу его хрипловатый голос. И он говорит мне: «Видно, зря я тебе втолковывал, что такое человек на войне. Опять ты рассуждаешь только о своей особе. Ты же попал в плен к заклятым врагам. И вместо того, чтобы соображать, как достойнее принять смерть, ты думаешь только о том, что тебя били стеком и что тебе больно. А между тем тебе не мешало бы выяснить, не можешь ли ты еще насолить врагам.»

Продолжение следует.

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

11

...И часа не прошло, как меня снова подняли и отвели в тот дом на взгорке.

Конвойным и переводчику приказали выйти. В кабинете рыжего лейтенанта, кроме него, остался я и, судя по всему, тот самый полковник Крафт, которому прошлый раз звонил лейтенант. Это был сильно раскисший с летами мужчина, все у него оплыло — и живот и лицо.

— Садитесь там,— сказал он на довольно хорошем русском языке и показал на стул.

Я сел. Он долго смотрел на меня крупными слезящимися глазами.

— Я знаю ваш язык, потому что в прошлую войну так же, как вы теперь, был в плену.— Он попытался улыбнуться, его отечные щеки чуть шевельнулись.— Ваше состояние я очень хорошо понимаю. Но я понимаю и другое — бессмысленность фрондирования. Когда я был в плену, у нас в лагере (он находился возле Самары) сама действительность выработала своеобразный устав поведения пленных. Был в нем и такой параграф: для пленного беспрекословное послушание есть не что иное, как виза на возвращение домой живым.

— Теперь этот город называется Куйбышев,— непонятно почему сказал я и, увидев, что полковник не уразумел моей реплики, пояснил: — Город Самара, где был ваш лагерь, теперь называется городом Куйбышевом.

— А-а!..— Полковник вяло махнул рукой.— Вы там все переименовали. Но это не имеет никакого отношения к нашему вопросу.

— Нет, имеет,— упрямо сказал я, безотчетно радуясь, что, оказывается, про Куйбышев я вспомнил не случайно.— У нас и устав для пленных свой, новый: лучше погибнуть, но не стать предателем.

— Боже, как вы любите фразеологию! — Полковник попытался поморщиться, но шевельнулись только его косматые седые брови.— Никто же не ждет от вас предательства, речь идет только об одной детали уже минувшего боя: много ли партизан участвовало в нападении на станцию?

— Много, очень много!

— Это хорошо.— Полковник и лейтенант переглянулись.— Сто, двести, пятьсот?

— Очень много. Уточнения не будет.

Лейтенант тихо сказал полковнику по-немецки:

— Может, поскольку он начал говорить, всыпать ему еще? — Он протянул руку за стеком.

— Нет, не надо. Я эту нацию знаю, он больше ничего не скажет. Надо зафиксировать то, что он сказал, и найти способ передать это майору Бранту. Это надо сделать быстро, уполномоченный СД уже приехал и сейчас обнюхивает станцию. Понимаете? — Полковник встал.— Ну, вот и все.

Меня отвели назад в магазин. Когда я остался один, меня охватил ужас: не повредил ли я

ПРОДОЛЖЕНИЕ. СМ. «ОГОНЕК» №№ 19, 20, 21.

партизанам, сказав, что их было очень много? Вдруг враги теперь пошлют в лес мощный карательный отряд? От этой мысли меня пробрал холод.

Опять лязгают запоры. Конвойные торопят меня. На этот раз они пришли без переводчика. В пути они меня понукают. А когда я в ответ на их понукания пошел медленнее, один из них сказал другому:

— Он еще капризничает! Там его выдрессируют в два счета.

— Дурак,— отозвался другой немец,— не хотел говорить с нашим лейтенантом. Он пожалеет об этом.

— Эти умеют. Ты знаешь, когда я захожу в их здание, мне жутко становится.

Все ясно. Меня ведут в гестапо. И такая тоска сдавила мне грудь, не сказать словами!

Гестапо размещалось в здании школы. В вестибюле, где во всех школах за деревянным барьером няни принимают от ребят пальто, стоял канцелярский стол с несколькими телефонами. За столом в расстегнутом черном кителе сидел белобрысый детина огромного роста — его ноги торчали из-под стола. Один из конвойных подошел к нему, щелкнул каблуками и сказал что-то. Белобрысый отстранил его рукой, посмотрел на меня, потом снял трубку одного из телефонов.

— Рихард! Партизан доставлен... Хорошо...— Он положил трубку и крикнул: — Дежурный!

Из комнатки, в которой во всех школах помещается нехитрая школьная канцелярия, выбежал, на ходу застегивая китель, солдат. Белобрысый показал ему на меня и сказал:

— В комнату номер два.

Солдат подошел ко мне и толчком в спину направил к лестнице. Я видел, как он расстегнул болтавшуюся у него на ремне кобуру.

У двери, на которой мелом была написана крупная двойка, он поставил меня лицом к стене, а сам постучал в дверь. Когда дверь открылась, он гаркнул:

— Арестованный доставлен!

Там, за открытой дверью, засмеялись. Солдат взял меня за локоть, подвел к двери и резким толчком впихнул в комнату и захлопнул дверь.

В комнате в непринужденных позах сидели три гестаповских офицера. Несколько секунд они с любопытством рассматривали меня. Потом один из них сел за стол.

— Фамилия? — спросил он тихо.

Я молчал и смотрел поверх его головы.

— Фамилия? — чуть громче повторил гестаповец.

Я молчал.

— Все-таки ты вызови переводчика,— сказал сидевший на диване гестаповец.

Сидевший за столом рассмеялся.

— Тьфу, дьявол, я же забыл, что имею дело с обезьяной! — Он позвонил по телефону и потребовал к себе переводчика. Но, очевидно, ему сказали, что переводчика нет или что он занят.

— Где хотите найдите мне переводчика! — закричал он в трубку, мгновенно побагровев.— Вот так каждый день: то нет переводчика, то нет машины, то испорчен штабной кабель... Где вы откопали этого рыжего саботажника?

Сидевший на диване брезгливо махнул рукой.

— Он работал в аппарате берлинского управления, умудрился потерять какой-то документ, и его двинули на фронт.

— Двинули на фронт...— Сидевший за столом гестаповец пожал плечами.— Неужели у вас там до сих пор не понимают, что сюда, на такие посты, надо слать лучших, а не всякое дерьмо!

— Не узнаю тебя, Фридрих, ты стал неврастеником. Надеюсь, себя ты не относишь к дерьму?

Гестаповцы рассмеялись. Один из них глазами показал на меня.

— Интересно, что думает сейчас этот тип?

— Я знаю,— сказал тот, за столом.— Он думает, когда мы его повесим. Он не догадывается, какой ему подготовлен сюрприз. Шутка сказать: Берлин, милый старый Берлин!

— Для него Берлин не то, что для тебя. Притом его и там ждет виселица или пуля в затылок. И вообще это нелепость, что я должен везти этого типа в Берлин.

— За дорогу вы подружитесь и будете играть в карты,— сказал сидевший за столом.

Они засмеялись.

Явился уже знакомый мне переводчик. Сидевший за столом офицер показал на него пальцем.

— Вот типичные кадры рыжего. Не то русский немец, не то немецкий русский, деятель из русских эмигрантов, а учился в Гейдельберге. На допросах чуть не падает в обморок, фило-соф!

Переводчик стоял посреди комнаты руки по швам.

— Валерьянки для себя захватил? — спросил у переводчика сидевший за столом офицер.

Переводчик не ответил.

— Ладно. Посади этого типа на тот стул. Так. Сам садись здесь. Будем работать. Задача такая: надо выяснить, сколько партизан нападало на станцию.

— Я уже знаю этого человека,— тихо сказал переводчик.— Он отвечать не будет.

— Да? — Гестаповец презрительно посмотрел на переводчика.— Переведи ему мой вопрос.

Я выслушал перевод и молчал.

Офицер, сидевший в кресле, вскочил и встал за моей спиной.

— У него, наверное, прилип язык,— сказал он гортанным голосом.

— Проверь,— улыбнулся гестаповец за столом.

Удар по затылку сбросил меня со стула, я потерял сознание. Очнулся на середине комнаты и под смех фашистов стал подниматься.

— Ну как, отклеился язык? Философ, помоги ему, посади на стул.

Когда я садился, гестаповец, стоявший за моим стулом, поигрывал толстой резиновой палкой.

— Попробуем его с другой стороны,— усмехнулся сидевший за столом.— Философ, переведи ему вот что. Мы тщательно обследовали станцию. Судя по всему, в налете на нее участвовало не больше двадцати бандитов. А он на допросе у коменданта сказал, что партизан было очень много. Зачем он пытается обманывать нас? Или он нас пугает?

— Я сказал тогда неправду.

Выслушав перевод моего ответа, гестаповец, сидевший за столом, переглянулся с тем, на диване.

— Зачем?

— Просто так. Мне надоел рыжий лейтенант.

Мой ответ вызвал хохот гестаповцев.

— Ну, а все-таки, сколько было партизан?

— Не помню.

— Ну, ну, если партизан было немного,— значит, их было мало? Так?

— Если хотите, так.

— Что значит «если хотите»? Мы же знаем точно: вас там было не больше двадцати человек; запомни: не больше двадцати. И если хочешь жить, всюду, где тебя будут спрашивать, называй эту цифру. Не больше двадцати! Понял?

— Да, понял.

— Ну, вот и хорошо. Это только такой идиот, как майор Брант, не мог перебить вас, как бешеных собак. Последнее не переводить! — бросил он переводчику.— Может, ты хочешь спросить что-нибудь? — обратился он к сидевшему на диване.

Тот, смеясь, махнул рукой.

— Ну его к черту! Наговорюсь с ним в Берлине.

Гестаповец, сидевший за столом, взял телефонную трубку и назвал седьмой номер.

— Здесь Гернгросс. Возьмите у меня арестованного. Поместить в одиночку, глаз не сводить. Вечером его увезут в Берлин.— Он положил трубку и вышел из-за стола.— Ну вот и все дело. Майора Бранта можно считать списанным в архив. Как он надоел всем нам, надутый, как индюк, при каждом случае вставляет: «Браухич спросил у меня...», «Я звонил Браухичу...»! А сам глуп, как пробка. Мои люди рассказывают, что на станции он целыми днями решал шахматные этюды или дрессировал своего дога.

Меня отвели в подвал и заперли в маленькой комнатушке без окна. Чуть приметный свет проникал в щель под дверью. Ощупью я нашел в углу кучку соломы и лег на нее. В ушах у меня звенело; голова точно налитая расплавленным свинцом, тяжелая, горячая. Страшно хотелось пить.

Вдруг открывается дверь и входит переводчик.

— Меня послали узнать вашу фамилию.

— Это не имеет для них никакого значения.

— Я понимаю, но мне кажется, вы можете назвать любую фамилию, им это нужно только для заполнения сопроводительного документа.

— Скажите им какую хотите.

— Федоров, Иван Федоров, я так скажу.

— Как хотите.

Переводчик не уходил, топтался возле меня, опасливо посматривая на стоявшего в дверях солдата.

— Что вам еще надо? — спросил я.

— Ничего. Я только хотел, чтобы вы знали, как я вам сочувствую.

— В сочувствии всякой сволочи не нуждаюсь.

— Ну да, ну да! — пробормотал он и ушел. Странный тип.

12

Ночью меня вывели во двор. Гестаповец, заявлявший, что наговорится со мной в Берлине, сел в легковую машину, которая тут же выехала со двора. В это время два солдата возились с замком задней дверцы арестантской машины, никак не могли его открыть.

Стоявший рядом со мной переводчик тихо сказал мне:

— Вы попали в большую игру против майора Бранта, он арестован и тоже отправлен в Берлин. Ваши показания для его судьбы решающие.

— Не хотите ли вы предложить мне спасти вашего майора? — также тихо спросил я.

— Нет, но вы это должны знать.

— Я сам давно все понял.

— Ну да, ну да, я так и думал. Но комендант просил...

Дверь машины с железным грохотом открылась, солдат крикнул мне: «Живей!» Я влез в черную утробу машины, она рывком тронулась и покатилась по булыжной улице. Минут через десять начался асфальт.

Мы приехали на военный аэродром. В темноте виднелись силуэты стоявших в ряд больших самолетов. Вокруг сновали военные. Все службы здесь были под землей, и люди возникали из земли и в нее уходили. Иногда через открытую дверь из подземелья вырывался яркий свет, и тогда раздавался тревожный крик:

— Свет!

Дверь поспешно захлопывалась.

Меня отвели к груде ящиков и приказали сесть. Со мной остался конвойный. Стоило мне чуть пошевелиться, он рычал:

— Не двигаться!

Офицер, который раньше уехал на легковой машине, был уже здесь. Он дважды прошел мимо меня с каким-то военным, раздраженно с ним разговаривая. Потом он появился с каким-то рослым человеком в плаще и без фуражки.

Человек в плаще посмотрел на небо и сказал:

— Нет, разрешить вылет я не могу.

— Всю ответственность беру на себя,— сказал гестаповец.— Я не имею права все сказать вам, но мое дело сверхсрочное, сверхважное.

— А я не имею права разрешить вылет. Авиация противника проявляет большую активность, и зажечь огни даже на десять минут для вашего взлета — это означает поставить под удар аэродром, который в стратегическом отношении тоже сверхважный.

— Я должен быть в Берлине утром.

— Будете днем.

Они помолчали.

— Прикажите соединить меня с Берлином.

— Это можно.

Они снова исчезли в земле.

Тихая, теплая ночь. В черном небе мерцают редкие звезды. Нахожу в небе ковшик Большой Медведицы и определяю север, потом восток. Там, далеко-далеко, Москва.

Где-то ухнули подряд несколько тяжелых, глухих взрывов.

И я снова вспомнил своего партизанского учителя Михаила Карповича, его хрипловатый голос.

«Опять ты, парень, якаешь направо и налево,— говорил мне Михаил Карпович.— Ты же солдат, и у тебя одно главное дело — убивать врагов, которые топчут нашу святую Отчизну!»

Я невольно оглянулся по сторонам и увидел сторожившего меня солдата. Он стоял, прислонившись к груде ящиков, положив руку на автомат. Вот он, враг! Чего же я жду? Убить его! Убить!

Я придвинулся к солдату. Он отшатнулся и качнул стволом автомата. Нетерпеливо переступая с ноги на ногу, я дал ему понять, что мне понадобилось в уборную. Солдат растерянно оглянулся по сторонам. То ли он хотел спросить у кого, как ему поступить, то ли хотел подозвать на помощь. Но поблизости никого не было. Тогда он рывком повернул меня лицом к груде ящиков и, уткнув мне в спину ствол автомата, стал развязывать руки.

— Шнеллер! — прохрипел солдат.

Мгновенно оборачиваюсь, двумя руками хватаю автомат и дергаю изо всей силы вниз. Солдата кинуло на меня, и он ударился лбом о мой подбородок. В это время буквально рядом взвыла сирена. Я думаю, конечно, что сирена вызвана моими действиями, но остановить меня уже не может ничто. Я срываю автомат с шеи солдата и с полного взмаха ударяю солдата по голове. Мой удар вызывает такой оглушительный грохот, что я на мгновение замираю. Оказывается, за грудой ящиков стоят зенитные орудия, и сейчас они открыли исступленную стрельбу. Трассы снарядов натягиваются к звездам, как струны. Солдат лежит у моих ног, он еще живой, вяло цепляется за мои ноги. Я бегу налево. Теперь я вижу зенитки. Они стоят в глубоком котловане шагах в двадцати. Я беру левей котлована и, пригнувшись, стремительно бегу в сторону леса. Загрохотали и другие зенитки. Одна из них стояла на моем пути, обегаю ее. Передо мной возникает силуэт большого самолета, беру еще левее. Я не знаю, сколько я так бежал. Бег оборвался внезапно. Вдруг земля исчезла из-под моих ног. Я пролетел в воздухе и всем телом ударился точно о стену. Не чувствуя боли, озираюсь и вижу, что ввалился в широкую и глубокую канаву. Ноги по колено в воде. Я подпрыгиваю, подтягиваюсь вверх и переваливаюсь через насыпь.

До леса шагов двести, не больше, а здесь уже начинается кустарник. Дикими прыжками мчусь дальше и наконец врываюсь в лес. Останавливаюсь, перевожу дыхание. Тут только замечаю, что из носа ручьем льет кровь. Закидываю голову вверх, но куда там: кровь продолжает хлестать, и, кроме того, возникает ощущение резкой боли: очевидно, я здорово повредил нос.

Новая и совершенно непредвиденная опасность снова возбуждает во мне желание и силы для борьбы. Наши бомбардировщики атакуют аэродром, но бросают бомбы не прицельно, и первая очередь фугасок падает в мой лес. Грохот взрывов повторяется стократным эхом. Одна бомба упала неподалеку от меня. Взрывом вскинуло вверх большую сосну. Она перевернулась в воздухе и рухнула на деревья.

Вторую серию бомб наши летчики положили более удачно: очевидно, попали в бензохранилище. К небу поднялся гигантский столб огня.

Я побежал дальше. Очень трудно было бежать по лесу, освещенному громадным заревом пожара на аэродроме. Тени деревьев метались перед глазами, иногда я принимал их за настоящие деревья и обегал стороной.

Вдруг я почувствовал, что окончательно теряю силы. К тому же зарево внезапно погасло, и меня окружила такая плотная темнота, что я вынужден был двигаться медленным шагом, протянув вперед руки. Ноги тяжелые, точно камни к ним привязаны. Что делать? Ведь на аэродроме сейчас уже опомнились от бомбежки и обнаружили мое исчезновение.

Где спрятаться на день? Долго думал и надумал. Выбрал старую, очень густую ель, влез на нее и на высоте шести метров на сучьях устроил себе подобие логова, которое тщательно замаскировал ветками. Здесь я и лег лицом вниз, чтобы видеть все происходящее на земле. Автомат ремнями укрепил под правой рукой. И сразу незаметно для себя забылся в каком-то странном сне, будто сознания лишился, но все же это был сон и очень чуткий. Я проснулся от какого-то непонятного шума, который медленно приближался и становился все явственней. Оказалось, это дождь, сильный, по-летнему нехолодный и недолгий. Позже выяснилось, что дождь защитил меня от большой опасности.

Конечно, фашисты бросились в погоню за мной. Они появились в лесу еще до восхода солнца, а когда рассвет уже наступил, лес огласил гулкий лай собак. Будь же благословен дождь, смывший мои следы и сбивший с толку собак! Два раза фашисты прошли мимо моей ели. Весь день она была моим домом.

Когда стемнело, я слез с дерева. От лежания на сучьях все тело ныло. Я чувствовал страшную слабость и острое ощущение голода. Пошел прямо на восток.

Летние ночи торопливы, но на этот раз ночь показалась мне особенно краткой. Передо мной открылась болотистая низина. Раздумывать о маршруте было бесполезно, надо идти на восток. Однако шагать по зыбкой, мшистой земле было куда трудней, чем по лесу. И все же рассвет застал меня уже довольно далеко от леса, он еле виднелся на горизонте. А низине, казалось, не было конца, и спрятаться негде. Чахлый редкий кустарник — плохое убежище. Зарыться в мокрую, чавкающую землю тоже неразумно. Словом, я решил идти напропалую дальше.

Когда солнце всплыло над землей, я подошел к берегу реки. Мне повезло: в осоке я обнаружил ялик, а в нем под сиденьем — брезентовый мешочек, в котором была окаменевшая краюха ржаного хлеба. Да простит меня за все хозяин ялика, и огромное ему спасибо! Хлеб я размочил в воде и мгновенно съел, ялик вытащил из осоки, прыгнул в него и оттолкнулся от берега. Стал думать, куда плыть: по течению или против? Увы, если продолжать движение на восток, надо плыть против течения. Другого выбора не было. На той стороне реки вдалеке виднелись постройки, и показываться там было безрассудно.

Речка была мелкая. Хорошо, что я взял лежавший на берегу шест, им я и толкал свой ялик. Позже я догадался выломать поперечное сиденье, и у меня появилось что-то вроде маленького весла. Даже против течения ялик двигался довольно резво.

В полдень я сделал привал. Причалил к заводи, затемненной густым лозняком, привязал ялик к кусту и растянулся на его дне. Так я проспал, наверное, часа два. Проснулся от голода. Сел и тупо смотрю в воду. В серо-зеленом речном царстве шевельнулись водоросли, вместе с ними шевельнулась и их тень на желтом песке. И я вижу, как из-под водорослей вылезает рак. Он ползет по песку к берегу и потом ловко взбирается по крутой стенке до чернеющей дырки и скрывается в ней. Чуть правей — другая дырка, и из нее высовывается рачья клешня.

Никогда не любил раков вареных, а тут досыта наелся сырыми. Сразу ожил, повеселел и даже без всякого на то основания решил, что все у меня теперь пойдет хорошо. Чего раздумывать? В путь! Отвязываю ялик, беру в руки весло — и плавание продолжается. Теперь у меня есть развлечение: я смотрю, как ползают по дну ялика наловленные мною раки — это мой продовольственный запас.

Время от времени я причаливал, выбирался на берег и осматривал местность. Картина была пока все та же: слева — бескрайняя пустая низина, а справа — земля обжитая. То там, то здесь, то ближе к реке, то дальше от нее виднелись постройки. Единственно, что заметно изменилось,— это сама речка: она становилась все у́же.

На другой день я увидел впереди черневший на горизонте лес. Ну, вот и прекрасно! Я думал, что к вечеру доберусь до него, но я плыл весь день, а лес по-прежнему оставался на горизонте. Речка стала труднопроходимой для моего ялика, местами она была шириной не больше метра. И она делала немыслимые петли; на крутых ее поворотах возни не оберешься, пока протолкнешь ялик вперед. А то еще пошли отмели, одна за другой; на каждой приходилось вылезать и тащить ялик волоком. В заключение я обнаружил, что моя речка вдруг резко свернула в сторону и продолжать плыть по ней означало бы удаляться от спасительного леса.

В последний раз я воспользовался благами речки и набил раками мешок, сделанный из нижней рубашки. Запихнув ялик поглубже в осоку, я вылез на берег и пошел болотом в сторону леса. Добрался я до него только на другой день и то к самому концу.

Теперь я знаю, что вышел на закраину знаменитой Гродненской пущи, но тогда я видел просто лес, даже не очень рослый и густой. И вот тут, в самом начале леса, мое благополучное путешествие чуть не оборвалось.

Произошло это так... Я осторожно шел в сумрачной предвечерней сини, особенно густой вблизи леса. Шел, озираясь, как затравленный зверь. Когда я был буквально в нескольких шагах от леса, я увидел вспышку огонька, словно кто в лесной чаще или спичку зажег, или чиркнул зажигалкой. Несколько минут я стоял на месте не шевелясь — ничего подозрительного не было видно и слышно. Снова пошел, но взял правее того места, где был огонек, старался ступать бесшумно и все время следил за тем опасным местом.

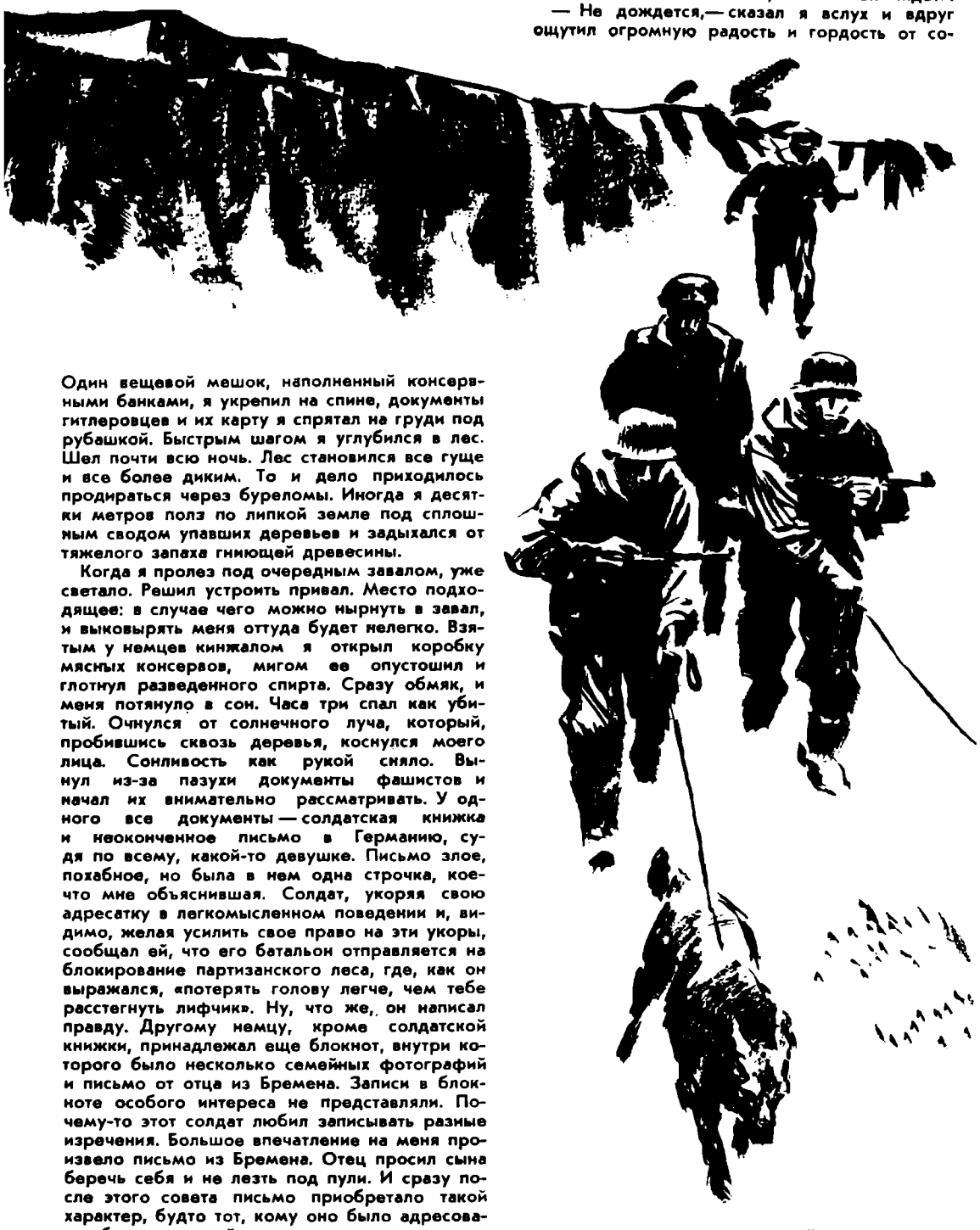
Вскоре я вошел в лес. Продолжая двигаться крайне осторожно, я углубился в него примерно на километр. К этому времени я уже решил, что огонек мне померещился, и чувство опасности постепенно притупилось. Вдруг я почуял запах паленой хвои и остановился. Подумалось: а вдруг это партизаны? Обостренный слух уловил потрескивание костра. Сверхосторожно я пошел в сторону этого звука. Сделаю шаг и замираю на месте: слушаю, смотрю.

И вот я увидел отраженный на стволе сосны зыбкий отблеск костра. Подошел еще ближе — до костра оставалось шагов пятнадцать. И картина мне открылась такая: костер горит в глубокой ямке, а возле него, друг против друга, сидят два гитлеровца. На коленях у них автоматы. Один из гитлеровцев привстал и вынул из костра жестяную коробку. Он поставил ее возле себя. Другой придвинулся к нему поближе, и они начали есть разогретые консервы. Я услышал запах вареного мяса, рот у меня наполнился слюной. Я пишу сейчас про это только потому, что честно хочу сказать: многое в принятом мною решении шло от голодной злости, и, наконец, решительность, которая при этом была проявлена, стоила, в общем, недорого, ибо не такое уж смелое и хитрое дело — с

пятнадцати шагов полоснуть из автомата по освещенным костром фашистам.

Для верности я угостил их щедрой, длинной очередью. Потом подошел к костру. Гитлеровцы были мертвы. Первое, что я сделал,— доел их мясные, чертовски вкусные консервы. Потом занялся их имуществом. В вещевых мешках я обнаружил солидный запас — четырнадцать банок. В металлических флягах оказался разведенный спирт. В кармане одного из убитых я нашел тщательно сложенную карту местности с непонятными отметками.

Я торопливо притушил костер, забросил свой автомат на дерево и взял автоматы убитых.



Один вещевой мешок, наполненный консервными банками, я укрепил на спине, документы гитлеровцев и их карту я спрятал на груди под рубашкой. Быстрым шагом я углубился в лес. Шел почти всю ночь. Лес становился все гуще и все более диким. То и дело приходилось продираться через буреломы. Иногда я десятки метров полз по липкой земле под сплошным сводом упавших деревьев и задыхался от тяжелого запаха гниющей древесины.

Когда я пролез под очередным завалом, уже светало. Решил устроить привал. Место подходящее: в случае чего можно нырнуть в завал, и выковырять меня оттуда будет нелегко. Взятым у немцев кинжалом я открыл коробку мясных консервов, мигом ее опустошил и глотнул разведенного спирта. Сразу обмяк, и меня потянуло в сон. Часа три спал как убитый. Очнулся от солнечного луча, который, пробившись сквозь деревья, коснулся моего лица. Сонливость как рукой сняло. Вынул из-за пазухи документы фашистов и начал их внимательно рассматривать. У одного все документы — солдатская книжка и неоконченное письмо в Германию, судя по всему, какой-то девушке. Письмо злое, похабное, но была в нем одна строчка, кое-что мне объяснившая. Солдат, укоряя свою адресатку в легкомысленном поведении и, видимо, желая усилить свое право на эти укоры, сообщал ей, что его батальон отправляется на блокирование партизанского леса, где, как он выражался, «потерять голову легче, чем тебе расстегнуть лифчик». Ну, что же, он написал правду. Другому немцу, кроме солдатской книжки, принадлежал еще блокнот, внутри которого было несколько семейных фотографий и письмо от отца из Бремена. Записи в блокноте особого интереса не представляли. Почему-то этот солдат любил записывать разные изречения. Большое впечатление на меня произвело письмо из Бремена. Отец просил сына беречь себя и не лезть под пули. И сразу после этого совета письмо приобретало такой характер, будто тот, кому оно было адресовано, был не на войне, а в универсальном магазине. Один за другим следовали отцовские заказы сыну: подыщи кожаное пальто пятидесятого размера и обязательно на меху, который отстегивается. Точно такое пальто отец видел у букиниста Шваба, которому этот дорогой подарок прислал из России племянник. А бабушке нужен белый, метр на метр, шерстяной платок с бахромой по краям. И еще хорошо бы получить мужское нижнее белье, которое в России почему-то называется охотничьим, оно серо-грязного цвета и сделано из какого-то пуха. Наконец, отец просил сына присматривать во всех русских деревнях древние иконы и поучал его, что иным иконам нет цены. И тут он тоже ссылался на пример все того же образцового племянника букиниста Шваба.

Я и до этого, конечно, знал, что фашисты мародерствуют в нашей стране и шлют родственникам посылки с награбленным добром, но впервые я сам столкнулся с конкретным грабителем. Я видел семейную фотографию бандита. Семейка снялась в садике на фоне цветочной клумбы, увенчанной каким-то блестящим шаром. Я видел и того самого папашу, который так хорошо знал цену иконам. Я видел бабушку, ждущую теплый платок с бахромой по краям. В центре группы стоял пустой стул, под ним на фотографии было написано: «Это твое место, оно тебя ждет».

— Не дождется,— сказал я вслух и вдруг ощутил огромную радость и гордость от сознания, что это я, никто другой, а я уничтожил и этого бандита, и его приятеля, и того, третьего, там, на аэродроме. Я воюю, дорогой Михаил Карпович, я воюю — вот что это означает! Я выполняю свой святой долг солдата, вместе со своим народом я защищаю свою Родину.

Вместе со своим народом! Нелегко было произнести это, сидя возле бурелома, когда вокруг мерно гудел дикий лес, когда вся обстановка кричала, что я здесь один.

Я встал, забросил за плечи два автомата, на спину вещевой мешок и пошел дальше в глубь леса.

Я шел по лесу целый день, продолжая держать направление на восток. Сумерки упали как-то внезапно, а затем быстро наступила темная, глухая ночь. Лес шумел тихо и, как мне казалось, настороженно. Я продолжал идти, как вдруг меня остановил звук сломанной сухой ветки. Я замер. Справа чуть слышный шелест кустарника, будто кто быстро прошел мимо меня шагах в двадцати. Стою, не шевелюсь, прислушиваюсь. Приготовил автомат. Раздается отчетливый металлический щелчок. Опять долгая тишина, слитая с ровным шумом леса. Решаю идти дальше. В конце концов какой толк от того, что я буду стоять на одном месте? Ступаю осторожно, почти неслышно, и вдруг впереди, прямо передо мной, хриплый голос командует по-русски:

— Стой!

Стою. Сердце бьется так громко, будто рядом кто-то колотит в барабан. Мысль только одна: «Крикнули по-русски».

— Свой! — произношу я негромко и тотчас слепну от ударившего мне в глаза яркого света. Инстинктивно укрываюсь от него рукой.

— Бросай оружие!

Послушно бросаю автоматы. Ничего не вижу, кроме этого нестерпимо яркого глаза электрического фонарика. Голоса все ближе, слышу, что ко мне приближаются люди с двух сторон. Вспоминаю о кинжале, засунутом в голенище сапога,— в случае чего воспользуюсь им. Глаз фонарика погас. Приказ оттуда:

— Иди сюда.

Теперь фонарик светит уже не в глаза, а чуть в сторону от меня, и я вижу человека с автоматом в руках.

— Иди за ним.

Я иду за этим человеком и слышу, что справа, слева и позади меня идут люди. Кто они? Свои или враги? Единственное успокоение, что я слышу русскую речь. Я не знаю, сколько мы так шли. Потом впереди послышался какой-то ритмический звук. Вскоре я понял: это работал маленький движок. Тут же я услышал и совсем невероятное — приглушенный перепев гармошки. Голос из темноты впереди:

— Стой, кто идет?

— Свои.

Фонарик погас. Два голоса перебросились непонятными словами.

— Одну минутку,— весело произнес кто-то и побежал...

Мы остались стоять: я и неизвестные мне люди.

Потом меня ввели в громадную землянку, ярко освещенную свисавшей с потолка голой электрической лампочкой и стоявшей на столе карбидной лампой. За столом сидел грузный, седой, как лунь, мужчина в матросской тельняшке. Над ним в рамке из необделанной березы висел портрет товарища Сталина.

Меня начало трясти, как в лихорадке, и я заплакал.

— Дайте ему воды. Помогите сесть,— сказал седой и кивком головы показал на лавку у стены.

Я сел, понемногу пришел в себя.

— Кто вы такой, как вы здесь оказались?

Я рассказывал сбивчиво, многословно. Вдруг меня обжег страх, что мне не поверят, и стал говорить еще путаней.

Седой чуть поднял руку.

— Подождите, не торопитесь. Отвечайте на вопросы. Кто вы, откуда? Как оказались в этих местах?

Я замолчал, собираясь с мыслями, а потом заговорил уже спокойнее.

Не знаю, сколько я говорил, но седой слушал меня очень внимательно, изредка кивал головой и посматривал на молодого человека в плаще, который стоял возле двери. Я закончил рассказ и положил на стол документы убитых мною гитлеровцев, кинжал и вещевой мешок. Потом я попросил разрешения раскроить голенища сапог и вынул из-за подкладки свои личные записки о начале войны. Молодой человек в плаще подошел к столу, и вместе с седым они долго рассматривали документы. Потом седой сказал молодому:

— Отведи его в бункер номер четыре.

— Идем! — сказал тот и пошел впереди меня.

Утром я уже знал, что нахожусь в большом партизанском отряде, оседлавшем кра[illegible]родненской пущи.

Продолжение следует.

Он сделал все, что мог

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 19, 20, 21, 22.

13

В партизанском отряде я воевал и исполнял обязанности переводчика. Блокирование пущи, о котором сообщал в своем неоконченном письме один из убитых мною фашистов, видно, обошлось им очень дорого. Партизаны захватили живьем девятнадцать карателей. Допрос их шел с утра до вечера, так что работы мне было хоть отбавляй. Допросы вел тот седой, в тельняшке. Он был командир отряда, и все партизаны звали его «Дед»: «Дед приказал», «Дед сказал», «ходил к Деду».

Мне врезался в память допрос одного гитлеровца. Это был человек уже в годах, лет под пятьдесят. На вопрос, состоит ли он в партии национал-социалистов, он, страшно волнуясь, затараторил о том, что был социал-демократом и почти коммунистом, а с того момента, как Гитлер захватил власть, он-де ушел в себя. Именно так он и выразился: «ушел в себя». Дед усмехнулся в седые, пожелтевшие от никотина усы, неторопливо набил махоркой сделанную из плексигласа полосатую трубку, раскурил ее и сказал:

— История о том, как вы из почти коммуниста стали фашистом, нас не интересует.— Дед с остервенением стал выколачивать о стол погасшую трубку.— Вы нацист?

— Да, но нацист нацисту рознь.

— Никакой разницы мы что-то не заметили. Все вы одинаково охотились за моими партизанами. И вы лично убили очень хорошего человека, который виноват перед вами только в том, что он не пожелал, чтобы его родина стала колонией Гитлера.

Дед встал и приказал дежурившему в дверях партизану увести пленного. Но это оказалось делом нелегким. Он ухватился за стол, потом пытался упасть перед Дедом на колени. Но когда дюжий парень схватил его поперек туловища и, как мешок, понес к дверям, он стал кричать, что великая Германия все равно победит.

Дед смеялся:

— Вот он и вышел из себя!

Потом допрашивали гитлеровца, который был года на два моложе меня и командовал группой карателей. Когда его брали в плен, он одного партизана убил, другого тяжело ранил. Когда Дед стал спрашивать о подробностях плана карательной экспедиции, пленный скривил лицо в презрительной улыбке:

— Зачем вам это? Каковы бы наши планы ни были, они не осуществились.

— Это верно,— согласился Дед,— но, может, вы скажете, кто командовал всей операцией?

— Нет, этого я не скажу.

— Впрочем, мы и без вас знаем. Майор Фогт, Иоахим Фогт, по прозвищу Сеттер. Не так ли?

Пленный засмеялся:

— Зачем терять время на вопросы, если вы действительно все знаете?

Дед обратился ко мне:

— Скажи ему, что мы можем его расстрелять.

Пленный пожал плечами.

— Неизбежные издержки драки.— Он помолчал и вдруг с фанатически горящими глазами выкрикнул: — Каковы бы ни были наши издержки, гений фюрера победит!

— Придет час, мы расстреляем и вашего фюрера,— тихо произнес Дед.— Или лучше: повесим.

Пленный побагровел, стал кусать запекшиеся губы, а потом твердо произнес:

— Фюрер — это Германия! Он бессмертен...

Дед долго молчал, не сводя глаз с пленного, раскурил трубку и потом дал знак увести его. Когда дверь за ним закрылась, Дед сказал мне:

— Видел? Вот такие типы — главная сила Гитлера и главная трагедия немецкого народа. Такие идут на все. Во имя фюрера он, не задумываясь, сделает то, что нормальному человеку не может даже прийти в голову. Наверно, потому они и зовут себя сверхчеловеками.

Дед надолго замолчал. Трубка у него опять погасла, он посопел ею и сердито сунул ее в стол.

— Знаешь, о чем я думаю? — спросил он, смотря мимо меня.— Даже после полной нашей победы такие еще останутся в Германии. Сколько еще будет хлопот с ними и у немцев и у нас, страшно подумать...

Я задумался о своем...

Крепка ли моя вера? Глубока ли она?.. В бою, на станции, я увлек за собой товарищей криком: «За Родину!» Но что для меня означал этот лозунг? Что за ним стояло? Было ли за ним полное понимание высокого идейного смысла борьбы? И я вынужден был сознаться себе, что за этими словами крылось нечто туманное, хотя и по-настоящему дорогое. Это и милая моя Москва, и дорогие мои старики, и беспечное мое детство, и уверенная юность, и что-то еще не менее дорогое. Я хочу быть сейчас предельно правдивым перед собой и потому говорю: моими поступками больше руководит романтический порыв, самолюбивое желание не оказаться хуже других. Мне трудно об этом написать, но я пишу, потому что мне хочется быть предельно искренним.

14

Однажды ночью — это было в ночь на 10 октября 1943 года — меня поднял с койки посланный от Деда. Бегу. Что такое, думаю, стряслось?

В штабной землянке, кроме Деда и начштаба, находился неизвестный мне мужчина лет сорока. Одет он был в синий комбинезон, а на голове — кожаный шлем с завернутыми вверх ушами. На ремне — кобура с пистолетом. Я решил, что это очередной связной летчик, прибывший к нам с Большой земли. Летом самолеты прилетали к нам почти каждый месяц.

Но оказалось, что он совсем не летчик, он только что сброшен к нам с парашютом для выполнения специального задания.

Дед показывает на него и говорит:

— Познакомься, Володя, с Иваном Ивановичем, у него к тебе дело, и очень важное.

Иван Иванович заговорил не сразу. Долго вглядывался в меня, точно изучал, стоит ли со мной иметь дело. Потом он задал мне два довольно неожиданных вопроса:

— Знают ли вас лично какие-нибудь люди в Вильнюсе?

Я ответил, что разве только те, с которыми я имел дело в советское время в Каунасе и которые теперь почему-либо живут в Вильнюсе. Иван Иванович подумал и задал второй вопрос:

— Сможете ли вы в случае, если потребует обстановка, укрыться у той девушки Маритэ,

что живет в Каунасе и из-за которой вы тогда пострадали?

— Думаю, что смогу,— ответил я.

После этого разговор пошел о деле. Вдруг Иван Иванович заговорил по-немецки, проговорил с минуту и спрашивает:

— Все понимаете?

Я засмеялся:

— Абсолютно. У вас, между прочим, великолепный берлинский выговор.

А он мне говорит, что мой выговор смахивает на саксонский, и спрашивает, почему. Я ему ответил, что моей учительницей по немецкому языку была немка, уроженка Саксонии.

— Ну, что ж, отлично,— сказал он и только тогда стал объяснять суть дела.

Вдвоем с ним мы должны были пробраться в Вильнюс. Там действовала большая подпольная организация, в которую из Германии недавно был заслан провокатор. Эти сведения Москва получила от наших разведчиков, находившихся непосредственно в Германии. Ввиду особой важности дела, из крайней осторожности было решено не прибегать к обычным каналам связи с подпольщиками, а информировать их о провокаторе через специального посланного, в задачу которого входила также и ликвидация провокатора.

Мы с Иваном Ивановичем пойдем в Вильнюс порознь: второй — спустя пять дней после первого. На случай провала одного в действие вступит второй. Первым пойдет Иван Иванович.

Мы готовились к операции тщательно; квартал за кварталом изучали план города. Иван Иванович располагал довольно подробной информацией об обстановке.

Иван Иванович и я появимся в Вильнюсе в облике штатских немцев. Он берлинский врач, приехавший навестить своих родственников. Я Карл Мотмиллер, коммерсант из Дельменхорста, интересующийся ценностями. В связи с этим я, как таблицу умножения, проштудировал привезенный Иваном Ивановичем немецкий каталог-ценник ювелирных изделий. В некотором роде я должен буду явиться кладом для вильнюсских спекулянтов: молодой коммерсант, набитый деньгами и не очень-то разбирающийся в тонкостях дела.

20 октября вечером мы с Иваном Ивановичем отбыли на исходную позицию, заблаговременно указанную по радио вильнюсскими подпольщиками. Это был хутор в четырех километрах от Вильнюса. Хозяин хутора и два его взрослых сына были связаны с подпольщиками — добывали для них оружие и провиант, а хутор был резервной явкой. Теперь я должен сделать признание об одном совершенном мною нарушении дисциплины. Никому ничего не сказав, я несколько листков своих записей о начале войны зашил в подкладку пальто. Я сделал это достаточно хитро. Но это — явное нарушение дисциплины, и совершил я его вполне сознательно. Я не мог оставить кому-то эти листки своей исповеди. Не мог, и все! Мальчишество? Согласен. Преступное своеволие? Согласен. Но я это сделал. Сейчас, когда я пишу это, я уже могу сказать, что мой проступок ни к чему плохому не привел. Да и не мог привести: эти записки врагу ничего не дали бы. Но раз проступок этот совершен, я обязан о нем сообщить...

На явочном хуторе встретили нас хорошо, оказалось, нас давно ждали.

...За полночь Иван Иванович ушел в Вильнюс. В качестве проводника с ним отправился старший сын хозяина. Часа через четыре он вернулся и сообщил, что все прошло спокойно — Иван Иванович уже в городе.

Пошли дни напряженного и нервного ожидания. В случае успеха операции Иван Иванович должен дать весть хозяину хутора, и тогда я отправлюсь обратно в партизанский отряд Деда. Уходя, Иван Иванович сказал мне: «Желаю тебе остаться без работы».

Днем я сидел в подвале, искусно устроенном под хозяйской спальней. Ночью я это убежище покидал и общался с семьей хозяина, в которой, кроме него и двух сыновей, была еще мать хозяина, слепая и глухая старуха, которая, казалось, вечно сидела на одном и том же месте — в кресле возле печки.

Прошло три дня, никаких сведений от Ивана Ивановича не было. Признаюсь, я нервничал. Ведь если с Иваном Ивановичем случилась беда, вся ответственность за операцию ляжет на меня. Справлюсь ли?

Но вот пошел пятый день. Вестей от Ивана Ивановича нет. По плану операции я должен идти в город. В полночь я попрощался с хозяином, и тот же старший его сын повел меня. Я шел с тайной мыслью, что Ивану Ивановичу удалось все сделать, что просто подкачала связь...

В город я вошел без всяких осложнений. Как было предусмотрено планом, сперва я направился на вокзал, где прождал около часа — до прихода поезда из Кенигсберга. После чего я с небольшим чемоданом в руках вместе с пассажирами вышел на привокзальную площадь, нанял частную машину и назвал шоферу адрес недорогого, но и не третьеразрядного отеля.

Портье зарегистрировал меня без разговоров, но, узнав, что я собираюсь пробыть в Вильнюсе дней десять, попросил меня завтра отметиться в полиции. «Хорошо,— решил я про себя,— может быть, мы и отметимся, а может, забудем. Вообще, об этом надо подумать».

Пока я регистрировался у портье, прибыли еще два немца, очевидно, с того же поезда. Мы тут же, у стойки, перезнакомились. Один из них был инженером, приехавшим по заданию какой-то электрофирмы, а другой был коммерсант, как и я. Он приехал понюхать, не стоит ли здесь открыть магазин канцелярских товаров — филиал его берлинского магазина...

Узнав у портье, что для пассажиров ночного поезда в отеле работает специальный буфет, мы сперва разошлись по номерам, оставили там вещи, а затем снова сошлись, уже за столиком буфета. Это неожиданное знакомство могло мне пригодиться. Во-первых, я имел возможность проверить надежность и достоверность своей версии, во-вторых, мне очень могли пригодиться всевозможные детали, которые всегда мелькают в непринужденном разговоре. Однако я заметил, что мои собеседники, узнав о моем интересе к ценностям, явно утратили свое расположение ко мне, особенно инженер. С чуть заметной брезгливой усмешкой он сказал:

— Война растрясла людские ценности, а вы их подбираете. Наверное, неплохой бизнес.

Они стали разговаривать друг с другом, и вскоре я ушел в свой номер.

Утром я в самом прекрасном расположении духа, одарив улыбками всех горничных, а заодно и портье, вышел на улицу и начал свой вояж по ювелирным и комиссионным магазинам.

Как бы я ни увлекался коммерцией, ровно в двенадцать тридцать я должен прийти в садик возле башни Гедимина. Там на каменном парапете, именно на парапете, а не на скамейке, будет сидеть человек в темно-зеленой шляпе, тулью которой будет опоясывать желтый шнур с бантом на правой стороне. В руках у человека должен быть молитвенник без переплета, с заложенным между страницами белым птичьим пером. На плече у человека на его темно-серой визитке — меловое пятно. Если все это есть, к человеку можно подойти и произнести первую фразу пароля.

Со дня появления в городе Ивана Ивановича и затем подряд еще пятнадцать дней в разное, установленное специальным расписанием время этот человек приходил и будет еще приходить в садик.

Но сегодня я к нему не подойду, и у меня не будет примет, известных этому человеку. Сегодня я только посмотрю, сидит ли он в условленном месте в назначенное время.

А пока я пошел по «делам»...

Подхожу к довольно шикарному магазину. Большая витрина уставлена и увешана разнокалиберным товаром, присущим комиссионной торговле во всех частях света: от кофейной мельницы до полотен живописи.

За прилавком три продавщицы; они очень похожи друг на друга. Очевидно, дело ведет одна семья. А вот и ее глава — из стеклянного скворечника кассы вылезает пожилой человек в полосатом пиджаке. Розовая маслянистая физиономия, аккуратненько зачесанная реденькая шевелюра, волосок к волоску.

— Здравствуйте,— говорит он медовым голосом по-литовски.

— Добрый день,— строго отвечаю ему по-немецки и мимо него направляюсь к прилавку, где разложены всякие безделушки. Хозяин проворно обегает прилавок и, отстранив девушку, оказывается прямо передо мной.

— Сувенир? Подарок? — спрашивает он уже по-немецки, рабски заглядывая мне в глаза.

Я брезгливо показываю на витрину:

— Это, по-вашему, сувениры или, может быть, подарки.

Хозяин разводит руками:

— Мы, комиссионеры, товара не заказываем. Что принесут, то мы и продаем.

— У нас в Германии уши протрубили, что Литва — богатейшая страна. И, очевидно, это факт, раз литовцы не несут вам настоящих вещей. Когда богат, зачем уносить вещи из дому, лучше — в дом.

Хозяин засмеялся, причем как-то странно, будто икоту рассыпал.

— Ну вот,— продолжал я,— а мне приходится от этого нести материальный ущерб. Неужели я действительно зря приехал сюда с самого края немецкого света?

— Вы ищете что-нибудь определенное? — осторожно спросил хозяин.

— Да, ценности.

Хозяин пристально и заискивающе смотрел на меня, может быть, целую минуту, а потом прошелестел:

— Может быть разговор.— Кивком головы он показал мне на дверь в углу магазина и сам пошел туда. Я — за ним.

Мы оказались в темной, пахнущей мышами комнатушке. Наверное, здесь он принимал товар. Комнатушку перегораживал низкий ларь, по обе стороны которого стояло по креслу.

— Что вам конкретно надо?—деловито спросил хозяин.

— Конечно, не пудреницы без крышек. Нужен настоящий товар: благородный металл, камушки и прочее. Будет и настоящая плата.

— Может быть... может быть...— медленно ответил хозяин и вдруг решительно спросил: — Чем вы платите?

— Товар люкс оплачиваю швейцарской валютой. Но только чистый люкс. Остальное — рейхсмарками, не оккупационными, а рейхс, понимаете?

Хозяин мелко-мелко кивал головой, в это время о чем-то напряженно думая.

— Сколько времени вы можете мне дать? — спросил он.

— Выращивать садик возле отеля я не собираюсь,— засмеялся я.— Даю три дня.

— О, мало! Ведь теперь все страшно сложно, люди не верят друг другу, как бывало.

— Да, я забыл сказать. С каждой сделки и в валюте той сделки вы получите десять процентов комиссионных. Но цену мы сбиваем вместе. Этого вам достаточно для восстановления пропавшей веры в людей?

Хозяин блудливо улыбнулся:

— Лично мне достаточно. А какие гарантии?

— Гарантия — первая же сделка. И с клиентом и с вами я буду расплачиваться немедленно и наличными.

В конце концов мы условились, что завтра я зайду к нему в час закрытия магазина.

Однако уже было десять минут первого, и я отправился к башне Гедимина. Поболтался там немного и зашел в садик. На парапете сидел человек, который меня ждал. Стараясь не привлечь его внимания, я прошел мимо него и шагах в пятнадцати сел на скамейку. Решил понаблюдать, что происходит вокруг связного. Может быть, он сам не знает, что за ним следят. А после возможной неудачи Ивана Ивановича я должен быть вдвойне настороже. Методически просмотрел площадь и садик. Как будто ничего подозрительного не было, но сам связной почему-то вел себя неспокойно. При приближении каждого мужчины он начинал перекладывать молитвенник из руки в руку и все время озирался по сторонам. Все-таки неправильно, что на такую ответственную связь, от которой зависит судьба всей подпольной организации, поставили такого нервного человека.

Ровно в час тридцать пять связной встал, осмотрелся и пошел к главной улице.

На другой день связной должен был прийти на свое место в садике к десяти часам утра. В случае дождя он будет находиться у колонн музея...

И как раз дождь. Хорошо еще, что хоть теплый. Шагаю, подняв воротник плаща и надвинув шляпу на нос.

Связной стоял, прислонясь к колонне. Я подошел к нему.

— Здравствуйте.

Он не отвечает — по паролю так и надо.

— Не знаете случайно, где в Вильнюсе можно купить породистых голубей?

Следует установленный ответ:

— Я знаю, где продаются голуби декоративных пород.

Мы пожали друг другу руки.

— Идемте,— сказал связной.

Мы пересекли площадь и вошли в узкую, кривую улочку старого города.

— До меня вы встретили товарища? — спросил я.

— Он не пришел.

Я даже остановился.

— Как не пришел?

— Так, не пришел. Очевидно, с ним что-то случилось. И может быть, очень плохое. Наши люди пытаются разузнать.

Неужели Иван Иванович схвачен? Не хотелось в это верить. Но что же тогда могло помешать ему прийти на явку? Только какой-нибудь нелепый случай. Именно за это объяснение я и ухватился, чтобы не думать ни о чем другом.

Через ворота, такие маленькие, что в них не могла бы въехать и малолитражка, мы прошли в квадратный тесный дворик, вымощенный каменными плитами. У двери, украшенной художественной поковкой, связной нажал кнопку звонка. Дверь тотчас отворилась. По железной лестнице мы поднялись на второй этаж и вошли в маленькую, по-мещански обставленную квартирку. В столовой, наполовину заполненной старинным пузатым буфетом, у круглого стола сидели двое мужчин. Перед ними стояла откупоренная бутылка вина и три бокала. Мы поздоровались. Я сел к столу. Связной вышел из столовой. Мне придвинули бокал и налили в него вина.

— С благополучным прибытием! — сказал один из сидевших за столом и пригубил бокал.

— Что случилось с моим предшественником? — не дотрагиваясь до бокала, спросил я.

— Очевидно, попал в гестапо. Окончательное подтверждение будем иметь завтра вечером.

— С кем я разговариваю? Являетесь ли вы руководителем организации?

— Так и есть,— последовал ответ.— Я руководитель, кличка «товарищ Петер», а это мой заместитель — «товарищ Ян».— Человек с орлиным носом говорил по-русски, с отчетливым акцентом прибалтийца.

— Тогда поговорим о цели моего прихода сюда.— Я припомнил все, что должен сказать, и спросил: — Не появился ли в вашей организации примерно месяц назад человек со следующими приметами: рост средний, возраст сорок — сорок два года, широколицый, возможно, носит усы. Волосы чуть рыжеватые, глаза серые. Главная мета — на спине под левой лопаткой крупная родинка со следами попыток вывести ее. У него должны быть две биографических версии. Обе подтверждаются документами. По первой он постоянно жил в Латвии, был в партизанском отряде, действовавшем в Латгалии, бежал из Латвии в Литву после разгрома отряда карателями. Прилично говорит по-русски. Другая версия...

— Одну минуточку,— тревожно произнес товарищ Петер,— у нас есть такой человек.

— Он провокатор.

Товарищ Петер даже привстал.

— Не может этого быть!

— Абсолютно точно. Он заслан к вам из Берлина. Что сходится: приметы или версия?

— И то и другое.

— Родинка?

— Этого мы не могли видеть.

— Для абсолютной уверенности надо увидеть и это.

— Все остальное сходится. Невероятно! — Товарищ Петер нервно закурил.

Я сказал, что в гестапо работают не дураки и с этим нужно считаться. Потом спросил, много ли провокатор знает об организации.

— Он знает свою тройку,— ответил товарищ Петер,—знает меня и товарища Яна. Мы с ним, естественно, беседовали сразу после его появления.

Я сказал, что Москва рекомендует тщательно проанализировать, как провокатор нашел ход в организацию.

Товарищ Петер и товарищ Ян переглянулись.

— Анализ нетрудный,— покачивая головой, сказал товарищ Ян.— Его ввел в организацию Эльгисонис. Он его рекомендовал, ручался за него.

— Значит, он провокатор номер второй,— сказал я.

— Он десять дней назад убит при довольно смутных обстоятельствах,— сказал товарищ Петер.

— Тройка, в которой действует провокатор, важная? — спросил я.

— У нас все важные.

— Где он сейчас?

— Сегодня ночью его тройка должна была взорвать восстановленную немцами мельницу. Взрыва не произошло. В двадцать часов сегодня у него явка с моим связным.

— Где?

— На одной из наших квартир.

— Можно его там задержать, осмотреть и, если надо, ликвидировать?

— Можно. Это отдельный домик на окраине. Хозяин домика — врач, наш человек, его можно посвятить во все. Мне самому нужно там быть?

— Ни в коем случае, товарищ Петер. Там буду я и ваш связной. Врач абсолютно надежный? Тогда пусть где-то поблизости находится и он. Вы меня представите ему как нового связного.

— Все ясно...

15

В домик врача меня привезли в санитарном автобусе.

Врач оказался совсем молодым человеком, примерно моим ровесником, только ростом он был повыше и скроен покрепче. По-русски он говорил плохо, и мы сразу перешли на немецкий язык.

Я рассказал ему, что должно произойти вечером в его доме. Он побледнел.

— Ведь он уже второй раз приходит на явку в мой дом.

— Второй и последний, если вообще придет.

— Вы думаете, он что-нибудь подозревает? — забеспокоился врач.

— Нет, но ночью он не выполнил задания. Возможно, что на этом он и выходит из игры.

— Только бы пришел...— сквозь сжатые зубы произнес врач.— Задушу собственными руками.

Я объяснил ему, в чем его роль, и попросил строго придерживаться этой роли.

Затем мы осмотрели дом. Врач показал мне столовую, где обычно происходили явочные встречи. Окна здесь выходили на улицу, и, хотя они плотно закрывались внутренними ставнями, я все же решил перенести явку в спальню, единственное окно которой выходило в сад. Кровать оттуда убрали, а из столовой перенесли туда стол и три стула.

Начало смеркаться. Я попросил врача понаблюдать за улицей, а сам стал обдумывать, как лучше провести эту нелегкую операцию. Уточнил все, вплоть до того, как поставить настольную лампу и как наклонить ее абажур. За этим занятием я старался подавить волнение, которое подступало к сердцу.

И вот наконец настал час операции. Пришел связной. Он во все уже был посвящен, и мне осталось только сказать ему, какой помощи я от него жду. По всему видать, это был опытный боевик. Он дал мне несколько дельных советов, и мы вдвоем, если можно так сказать, прорепетировали свои действия.

Ровно в восемь пришел тот, кого мы ждали. Его встретил связной. Я слышал, как они довольно весело разговаривали о чем-то в передней. Но вот дверь отворилась, и я увидел его. Он увидел меня и удивленно оглянулся на связного.

— Знакомьтесь,— сказал связной.— Теперь вы будете встречаться вот с ним, его зовут Михаил.

Мы обменялись рукопожатием, и я пододвинул ему стул. Он оказался в узком пространстве между столом и стеной.

— Ну, как идут дела? — спросил я по-русски как только мог непринужденней.

— Сегодня ночью шли плохо,— угрюмо ответил он и замолчал.

Я пристально смотрел на него — приметы сходились.

— Я пойду к доктору, кофе сварю,— сказал связной и вышел из комнаты, не совсем плотно прикрыв за собой дверь. Провокатор кивнул головой на дверь.

— Он, кажется, не закрыл?

Я махнул рукой.

— Ничего, тут все свои.— Волнение, сковывавшее меня в первую минуту, стало проходить, я совершенно спокойно спросил: — Как было сегодня на мельнице?

Он грустно покачал головой.

— Не повезло. Мины установили, а часовой механизм подключить не успели, подвел третий исполнитель, замешкался. А в это время у корпуса, где мы действовали, появился сторож с собакой, и пришлось бежать.

— Повторить операцию можно?

— Конечно,— обрадованно произнес он.— Ведь самое трудоемкое уже сделано: мины установлены.

— Когда это сделаете?

— Завтра ночью.

— А сегодня нельзя?

— Нет. Тот человек, который помогает нам проникнуть на территорию мельницы, работает через день.

— Понятно, понятно.

Я делал все, чтобы он успокоился, чтобы в душе его ослабла напряженность, естественная для его двуличной жизни.

— Ну вот мы и познакомились. Теперь мы будем встречаться часто.

— Вы уже давно в организации? — спросил он.

— Да нет. А вы?

— Тоже недавно. Вы местный русский?

Я улыбнулся.

— Отнюдь, я из Москвы.

В глазах у него зажглось любопытство.

— И давно оттуда?

— Нет.

— Как там, в Москве?

— Порядок, лучше, чем здесь.

— Воздухом? — Он поднял глаза вверх.

— Что воздухом?

— Как прибыли сюда?

— А как же еще? Прямые поезда из Москвы сюда пока еще не ходят.

— Это здорово.— Он помолчал.— Ну, а как вам здесь, в организации?

— Пока осматриваюсь. Вы-то подольше меня в организации. Какое впечатление у вас? Тем более что вы человек с партизанским опытом. Какое ваше первое впечатление? Мне... нам это очень важно знать.

Он кивнул головой.

— Понимаю.— Он преданно посмотрел мне в глаза.— Берите-ка все это дело в свои боевые, московские руки, вот что я вам скажу, пока не поздно.

Я выказал крайний интерес к тому, что он говорил. Он привстал и плотно прикрыл дверь.

— У меня такое впечатление,— снова заговорил он,— что организация действует на холостом ходу. А главное, узнать невозможно, что в ней вообще происходит.

— Это же хорошо,— сказал я.— Секретность — наш первый завет.

Он усмехнулся:

— Понимаю. Но когда люди организации в полном неведении о ходе борьбы,— это плохо. Успехи товарищей всегда подогревают других. А тут организация словно нарочно так построена, чтобы ты, кроме того, что делают два человека из твоей тройки, ничего не знал.

Я подумал: «Молодцы руководители организации, правильно ее построили, трижды правильно».

— Но это,— продолжал он с улыбочкой,— создает одновременно благоприятные условия для очковтирательства. Ведь руководство в своих донесениях может отнести на счет организации все, что происходит и даже не происходит в городе. Поди проверь.

— Спасибо за ориентировку. Я подумаю об этом, посмотрю. Вы, я слышал, партизанили в Латвии.

— Так точно,— по-военному ответил он и в это мгновение весь подобрался. Началась его

версия, и, как бы идеально она ни была разработана, он знал, что всегда в ней может образоваться трещина и поэтому надо быть начеку. — В лесах Латгалии воевал, хорошие дела мы там совершали. Но пролез провокатор. Сколько погибло замечательных бойцов, страшно вспомнить!

— А как попал в отряд провокатор?

— Очень просто. Задержали в лесу человека. Иду, говорит, к вам. Партизаны есть партизаны. Проверили его кое-как и зачислили в отряд: мол, пусть покажет себя в деле. Вот он и показал.

— Ну, что же, провокатор может пролезть и в нашу организацию. И вот тогда может оказаться очень хорошо, что она разбита на глухие тройки. Предаст двоих — вот и все его трофеи.

Он чуть смешался.

— Да... В этом отношении — да.

— А организация здесь действует сильная,— продолжал я, не сводя с него глаз.— Ею наверняка интересуются в Берлине. И представьте себе, что они с огромным трудом снаряжают сюда провокатора. А тот может выдать лишь двоих подпольщиков. Нельзя позавидовать тому провокатору. Нет, нет, пожалуй, вы неправы в отношении троек. Подпольная организация — это не партизанский отряд. Тут действуют свои законы распределения сил и свои законы бдительности.

— Да, да, конечно,— поспешил согласиться он, и я заметил, как он потер о скатерть ладонь.

Ну, что же, пора переходить в наступление.

— Опасность провокации всегда страшна,— сказал я жестко.— Уберечься от нее можно, но это нелегко. Вот вы, например,— я сделал секундную паузу и заметил, как в глазах у него словно тень метнулась...— вот вы, например, приезжаете сюда, устанавливаете контакт с организацией, говорите, что вы из Латвии, что вы партизан. А какая гарантия, что вы не являетесь тем самым провокатором?

— Ну, знаете... это... — Он пробовал даже возмутиться.— У меня документы на руках.

Я покачал головой.

— В Берлине делают документы отлично, тем более, что в руки гестапо попало немало подлинных партизанских документов. А еще какие у вас есть доказательства, что вы не провокатор?

Теперь он уже догадался, что попал в западню. На висках у него проступила испарина. Я пристально следил за его руками. Никогда не забуду эти руки. По ним будто ток пробегал. Они были готовы на все. Но тот, кому они принадлежали, видел, что моя правая рука в кармане пиджака, а это лишало его тех секунд, какие были нужны ему, чтобы опередить меня. И потому он продолжал навязанную мною игру.

— Все же всегда можно почувствовать, когда у человека реальная биография, а когда выдуманная,— сказал он устало.— А потом ведь всегда можно провести последующую проверку.

— Это верно,— согласился я.— Но далеко не всегда. Скажем, вашу партизанскую биографию так или иначе можно проверить — это, как говорится, в наших руках. Ну а вдруг вы предложили бы совсем другую свою биографию? Например, такую.— И я начал рассказывать вторую, резервную версию, разработанную в Берлине.

Вот теперь он уже окончательно не сомневался, что находится в западне. Но, как видно, это был человек очень сильной воли. Он даже улыбался.

— Но ведь и у второй стороны можно потребовать доказательств, подтверждающих ее подозрения?

— Вам их еще недостаточно? — мгновенно спросил я.

— Да, недостаточно.

— Ну, что ж, вот вам еще одно: снимите пиджак и рубашку. Если у вас на спине под левой лопаткой...

Вот тут-то он и сорвался. Сделал стремительное движение правой рукой. Я выпустил в него три пули из своего «ТТ». Он рывком выпрямился и, замерев на секунду, смотрел на меня бешеными глазами, а потом начал медленно валиться на стол. В комнату вбежали врач и связной. Врач, наклонившись над телом провокатора, сказал по-русски:

— Уже есть покойник.

— Приговор приведен в исполнение,— торжественно произнес связной, смотря на распластанное тело провокатора.— А может, стоило сперва выбить из него все полезные нам сведения?

— Нет,— ответил я.— Такие умеют молчать. Его нужно было ликвидировать, и все.

Итак, задание выполнено. По плану операции, завтра вечером я должен с помощью подпольщиков покинуть город, вернуться на хутор и оттуда в отряд Деда.

Но вышло все иначе...

Продолжение следует.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. СМ. «ОГОНЕК» №№ 19, 20, 21, 22, 23.

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА.

Он сделал все, что мог

16

На рассвете приехала санитарная машина, на которой увезли труп. Его оставят в подворотне одного из домов на главной улице города с приколотой бумажкой: «Судьба фашистского провокатора». Когда труп обнаружат, эта бумажка скажет кому следует все, и в Берлине карточка еще одного агента будет переставлена в раздел «Потерян».

Затем покинули дом мы. Врач сюда уже не вернется.

Около полудня я зашел в свой отель. Дежурил тот же портье, который меня регистрировал. Я сказал ему, что буду в Вильнюсе еще один день, и спросил, нужно ли отмечаться в полиции. Получил благосклонное разрешение не ходить.

Пообедав в скромном ресторанчике отеля, я поднялся в свой номер. Не раздеваясь, прилег на постель, думая полежать часок.

Проснулся внезапно. На часах половина шестого. Быстро умылся, привел себя в порядок, взял чемоданчик и спустился к портье. Прошу его получить с меня за номер по завтрашний день включительно, но предупреждаю его, что если я успею закончить дела до поезда, я сегодня же уеду домой, в Германию.

Идя по улице, я думал все о том же: неужели Иван Иванович в гестапо?

Незаметно для себя я подошел к комиссионному магазину, хозяин которого назначил мне свидание в час закрытия торговли. Я вообще не думал к нему заходить, хотел те полтора часа, которые оставались до прощальной явки, просто побродить по городу, но чисто автоматически пришел сюда. Остановился перед витриной и вдруг вижу: за стеклом хозяин магазина делает мне знаки. Теперь уже нельзя было уходить.

Хозяин выбежал из ворот.

— Здравствуйте! Я думал, вы уже не придете.

Он повел меня в магазин черным ходом, через двор, но мы пришли не в ту комнатку, где я беседовал с ним первый раз, а поднялись по лестнице в квартиру хозяина. Это была довольно богато, хотя и безвкусно обставленная квартира из нескольких комнат. Хозяин ввел меня в гостиную, и я увидел сидевшего в кресле гестаповца в полной форме и даже с железным крестом на шее.

Сердце замерло, в ногах появилась противная слабость, мысль заметалась, как мышь.

— Ну, видите, господин полковник, я был прав. Он все-таки пришел,— подобострастно смотря на гестаповца, сказал хозяин.

— Добрый вечер! — небрежно обронил полковник и встал.

— Добрый вечер! — отозвался я осевшим голосом.

Полковник засмеялся:

— Вы, я вижу, удивлены? Ничего, ничего, надо знать, что и в гестапо бывают деловые люди, которые занимаются не только своим прямым неприятным делом. Давайте сядем вот здесь.

Я сел на краешек стула и непроизвольно нащупал локтем в кармане брюк пистолет. Хозяин магазина сел на диван чуть в сторонке от нас.

— С кем имею честь? — Полковник смотрел на меня открыто насмешливо.

— Карл Мотмиллер из Дельменхорста, коммерсант,— отрекомендовался я.

Полковник покачал головой:

— Любопытно, почему вы в вашем возрасте не в армии рейха?

— У меня плохое сердце, и я единственный мужчина в семье, веду дела фирмы.

— А что с сердцем-то?—как-то просто спросил он.

— Органический порок, с детства.

— О-о! — Полковник сочувственно посмотрел на меня.— Я думал, у вас болезнь времени — атеросклероз, тогда я мог бы вам помочь. Мне друзья из Франции присылают прекрасное лекарство...— Полковник помолчал и спросил: — Как сложились здесь ваши дела?

— Плохо. Пустая трата денег на поездку.

— Коммерсантам надо поддерживать контакт с гестапо, и тогда у вас не будет таких промахов...— Полковник засмеялся.— Но перейдем к делу. Что вас интересует?

— Все, что имеет подлинную ценность...

Я был уже совершенно спокоен и начал сложную игру, конца которой я, однако, не видел. В этой игре была только одна, внезапно возникшая цель: а что если этот гестаповец поможет узнать об Иване Ивановиче? Но как это может произойти, об этом я пока не знал. Главное, о чем я сейчас думал,— вовлечь полковника в большую игру. Ведь не кто иной, как Иван Иванович, рассказывал, что гестаповцы падки на крупную наживу.

— Золото? Драгоценные камни? Так я вас понимаю? — деловито спросил полковник.

— Да, именно.

— Речь идет не об одном кольце или браслете? — Полковник пытливо вглядывался в меня.

— И не о двух,— улыбнулся я.

После долгой паузы полковник спросил:

— Какая валюта?

— Самая надежная — рейхсмарки.

Полковник повел головой.

— А других предложений на этот счет не последует?

Я сделал вид, что не понимаю, о чем он говорит, но полковник тут же пояснил:

— Меня бы устроили английские фунты.

— Валюта врагов? — почти возмутился я.

Полковник поморщился:

— Коммерция, я слышал, находится вне политики.

Теперь долго молчал я. Потом спросил:

— Размер сделки?

— Крупный,— мгновенно последовал ответ.

— А все же?

— Ну... одного золота, например, килограмма три.

— А камни?

— Один — уникум, десяток — средней величины и мелочь.

Мы оба долго молчали.

— Вы, полковник, надеюсь, понимаете,— сказал я,— что у себя, в Дельменхорсте, я не печатаю английских фунтов и что в поездку беру с собой валюту той страны, в которой я живу.— Он понимающе кивнул головой.— И затем, прямо признаюсь вам, масштабы сделки меня несколько пугают. Я коммерсант меньших масштабов.

Я заметил, как сразу увяло лицо полковника.

— Но в Ганновере у меня есть коллега, а у него есть сбережения в валюте, которая вас интересует. Разрешите ли вы мне связаться с ним хотя бы по телефону?

— Связывайтесь, но, конечно, без объяснений, с кем вы вступаете в сделку.

— Но при полной гарантии с вашей стороны,— подхватил я,— что мой ганноверский коллега останется в полной безопасности в связи с характером валюты.

— Полная гарантия! — Полковник, улыбаясь, махнул рукой.

— Тогда я прошу дать мне два дня на улаживание этого вопроса.

— В субботу я вас жду здесь же, в это же время.— Полковник встал, поклонился мне и хозяину магазина и ушел. Хозяин магазина побежал его провожать.

— Это — верное дело! — вернувшись, сказал хозяин.

— Гестапо есть гестапо,— подмигнул я ему.— Вы-то, конечно, не рискуете ничем, а кто поручится, что этот полковник не упрячет потом в Моабит и меня и моего ганноверского коллегу?

— Не допускаю,— горячо возразил хозяин.— Он уже давно вьется возле меня, и небольшие дела я с ним уже провел. Поверьте моему чутью, он человек, у которого есть товар и который хочет сделать надежный гешефт. Больше ни о чем он не думает.

— Хорошо. Я сегодня же свяжусь с Ганновером. Если все будет в порядке, я приду к вам завтра. Пожелаем друг другу удачи.— Я пожал руку хозяину магазина и, сопровождаемый им, вышел на улицу.

С товарищем Петером я встретился в совершенно новом месте — в фешенебельной квартире в самом центре города.

Он сообщил, что Ивана Ивановича схватили случайно, он оказался в зоне облавы. Я рас-

сказал товарищу Петеру о встрече с полковником гестапо и спросил, нельзя ли попробовать использовать полковника для спасения Ивана Ивановича.

Петер попросил меня описать внешность гестаповца. Я сделал это с максимальной обстоятельностью.

— Кто же это может быть? — сморщив лоб, задумчиво сказал товарищ Петер.— В вильнюсском гестапо четыре полковника, но ни к одному из них эти приметы не подходят. Может случиться, что ваш полковник не имеет никакого отношения к местным гестаповцам. Нет, я категорически против этой затеи. Если хотите, я запрошу Москву. На это уйдет минимум два дня. Но вы еще сегодня, как предусмотрено планом, уйдете на хутор и пробудете там, пока придет ответ из Москвы. Если ответ будет положительный, вы вернетесь в город.

Мне ничего не оставалось, как согласиться с ним. В конце концов товарищ Петер для меня являлся здесь начальником.

Итак, за пятнадцать минут до наступления комендантского часа я должен буду прийти в условленное место, откуда меня выведут за пределы города. В моем распоряжении оставалось около часа.

Я вернулся в отель. Прилег на кровать, чтобы хоть немного отойти. Вдруг без стука раскрывается дверь, и в комнату входит полковник гестапо.

— Извините, господин Мотмиллер. Но я услышал, что в кабаке вашего отеля есть чешское пиво, и решил распить с вами бутылочку-другую. Пойдемте...

— С удовольствием, но не могу. Сейчас мне должны как раз звонить из Ганновера. Дело прежде всего. Если хотите, попозже, часа через полтора.

— О, мы поступим иначе!— весело сказал полковник.— Мы закажем пиво сюда и соединим приятное с полезным.

— Да, но... Мне бы не хотелось... у нас, дельцов, есть своя конфиденция.

— Как вам не стыдно, Мотмиллер! Полковник гестапо дал вам полную гарантию тайны сделки, а вы бормочете о конфиденции.

Я все понимал. Он пришел проверить мою персону, и теперь он уже ни за что не откажется от возможности послушать, как я буду оговаривать с Ганновером нашу сделку. Это давало ему возможность проверить и солидность предприятия, в которое он ввязался.

Официант принес пиво. Мы выпили по кружке за победу великой Германии.

— Во сколько у вас разговор с Ганновером? — спросил полковник.

Я посмотрел на часы, лихорадочно обдумывая ответ.

— В течение ближайших тридцати — сорока минут. Так мы договорились два часа назад.

— Вы заказали разговор?

— Нет, коллега будет звонить из Ганновера сам.

— Думаете, я не знаю, о чем будет разговор? О той валюте. Ой, не делайте такие страшные глаза! Неужели вы думаете, что мы не знаем, в каком ходу сейчас у вашего брата эта валюта? Мы даже знаем, как вы ее называете с далеко идущим намеком. Вы называете ее валютой любого варианта.

— Первый раз слышу,— пробормотал я.

— Врете! — отрезал полковник.

Когда все пиво было выпито, полковник показал на телефон.

— Ну, где же ваш Ганновер?

— Может случиться, что коллега и не позвонит. Помешали дела.

Полковник круто повернулся ко мне:

— Кто должен звонить?

— Я же сказал, коллега.

— Точно, кто?

Этот вопрос был задан уже так, что на него не отвечать было нельзя.

— Оскар Шранке. Ювелирная фирма. Так или иначе, он позвонит обязательно. Не сегодня, так завтра. Ведь я же просил у вас на улаживание дела два дня. Наконец, он мог просто не получить провод.

Полковник на мгновение задумался, встал, решительно подошел к телефону и набрал какой-то номер.

— Здесь Цехмайер. Позвоните сейчас же нашему дежурному в Ганновер, от моего имени попросите его срочно разыскать там коммерсанта Оскара Шранке и соедините его с Вильнюсом, отель «Палас», номер сто пять.— Полковник положил трубку и снова сел в кресло.— Так-то будет надежней.

«Ну вот и свершилось! — подумал я.— Я сам всунул голову в петлю».

Я стал подсчитывать, каким временем я теперь располагаю. Из Вильнюса звонят в Ганновер через Берлин. На это даже при всей власти гестапо уйдет не меньше десяти минут. Столько же, а может, и больше понадобится гестапо Ганновера, чтобы убедиться, что никакого Оскара Шранке в городе нет. И тогда еще десять минут, пока Ганновер через Берлин дозвонится в Вильнюс. Словом, я имею право рассчитывать на тридцать минут. Но самое страшное — через пять минут меня будет ждать проводник, а от гостиницы до этого места пять — семь минут самой быстрой ходьбы. Словом, на встречу я уже не успевал.

Резкий телефонный звонок. Оттолкнув руку полковника, я схватил телефонную трубку.

— Алло! Говорит дежурный гестапо Ганновера! — кричал в трубке далекий гортанный голос.

— Да, я у телефона. Слушаю.

— Кто у телефона? — спрашивал далекий голос.— Полковник Цехмайер?

Дальше я уже не вслушивался в то, что говорил тот далекий голос, ибо в это мгновение я уже принял решение. Не слушая того, что звучало в трубке, я делал вид, что говорю со Шранке.

— Одну минуточку, Оскар, ищу карандаш.— Полковник пальцем показал на лежавшую на столе его вечную ручку. Но я, будто не видя этого, опустил руку в правый карман пиджака, схватил пистолет и, не вынимая его из кармана, сделал два выстрела в полковника. Он взмахнул руками и осел в кресле.

Тишина. Встревоженные голоса в коридоре. Потом кто-то успокаивающе сказал:

— Что-то упало.

Тишина.

Я засунул чемодан под кровать, хватит мне таскаться с ним, набитым фальшивыми рейхсмарками.

Я покинул отель без каких-либо осложнений. А минут через двадцать я уже был на окраине города, там, где начиналось шоссе, ведущее в Каунас.

Останавливаю почтовый автофургон. Короткий, деловой разговор с шофером и почтовым чиновником заканчивается тем, что в их карманы переходят две сотни марок, а я сажусь в фургон.

Примерно в трех-четырех километрах от Каунаса я покинул своих спасителей и пошел полями, рассчитывая выйти на какое-нибудь другое шоссе, тоже ведущее в Каунас.

На шоссе я вышел на рассвете. Впереди, метрах в двухстах, на обочине стояла группа штатских людей. Я сообразил, что они ждут пригородного автобуса. Подошел к ним и тоже стал ждать. Минут через тридцать показался автобус. Он остановился, нетерпеливо рыча уставшим мотором. Я сел на крайнее место у задней двери. На виду у меня были все пассажиры, и в случае чего я мог быстро выскочить через заднюю дверь.

На окраине города я вышел. Я чувствовал себя довольно спокойно. В конце концов имевшиеся у меня документы на имя коммерсанта были в полном порядке, а до солдата из какого-нибудь случайного патруля слухи о моих похождениях в Вильнюсе дойти еще не могли. Наконец, я был уверен, что там, куда я иду, меня ждет надежный приют.

Да, это решение я принял еще в Вильнюсе — я шел прямо к Маритэ.

Встретили меня очень хорошо, особенно Маритэ. Все получилось очень удачно. Было так рано, что никто посторонний моего появления не заметил. Но спустя некоторое время возникли первые сложности. Я ведь не мог сказать ни Маритэ, ни ее отцу и брату, кто я и что я делаю и откуда я свалился на их голову. Надо признаться, что об этом я своевременно не подумал и потому рассказал тут же придуманную версию. Я заметил, что отец и брат Маритэ стали посматривать на меня с подозрением и радушие, с которым они вначале встретили меня, заметно померкло. Тогда я сказал им:

— Успокойтесь, могу вас заверить в одном: совесть моя перед вами чиста. Но отвечать на ваши вопросы я больше не буду. Кроме того, долго затруднять вас своим присутствием я тоже не буду.

Маритэ сказала, что меня никто не гонит, но ее отец и брат этих ее слов не подтвердили.

И вот я здесь уже вторую ночь. Она на исходе, а я заканчиваю эту запись обо всем происшедшем со мной. Какой-то документ о том, что со мной произошло, должен остаться. Пусть не будет меня, но правда о моих поступках должна остаться, хотя бы для того, чтобы однажды моим родным старикам кто-то мог бы сказать: «Ваш сын не был идеальным бойцом, он совершил немало грустных ошибок, но он не был ни предателем, ни трусом».

Вот ради одного этого я и делаю запись. Я оставлю ее здесь, в доме Маритэ. На этом заканчиваю и ставлю точку.

17

На этом кончается запись.

После слов «ставлю точку» нарисована огромная точка, величиной с орех. Она заштрихована линиями крест-накрест. Под ней мелко-мелко написано: «Надо перешагнуть и через это»...

Итак, запись обрывалась. А находившаяся в свертке следующая по времени запись относилась уже к лету 1944 года. Но в ней ни слова о том, что произошло с ним начиная с конца октября 1943 года, когда он появился в доме Маритэ. А ведь после этого прошел почти целый год.

Как же восстановить события года? Что, если попробовать поискать Маритэ?

Из записок Владимира мы знаем, что она в сороковом году работала стенографисткой в Каунасском горисполкоме. Ну что ж, это уже кое-что, можно поискать...

Машинистки Каунасского горисполкома никакой Маритэ не помнили. Впрочем, они и не могли ее знать, так как выяснилось, что ни одна из них в сороковом году здесь не работала. Я уже собрался уходить, как вдруг одна из них вспомнила, что года два назад на пенсию ушла одна из старейших стенографисток города, которая в сороковом году должна была записывать заседания городских организаций.

Адрес этой стенографистки я разыскал без особого труда.

Дверь мне открыла сухонькая суетливая старушка. Убедившись, что я пришел именно к ней, она, абсолютно не интересуясь, кто я и зачем пришел, провела меня в маленькую, сплошь увешанную коврами комнатку, усадила за стол, сама села напротив, положив на стол руки. Очевидно, она жила одна, ей было тоскливо без дела, и приход любого человека был для нее праздником. Она вся светилась, ожидая, что я ей скажу.

Я спросил, не знает ли она работавшую в сороковом году в горисполкоме стенографистку по имени Маритэ.

— Вы очень правильно сделали, обратившись именно к стенографистке,— заговорила она быстро, и на ее сморщенных щеках появился румянец.— Мы, стенографистки, очень дружный народ, можно сказать, корпорация. Или, может быть, каста. Все стенографистки города, как правило, знают друг друга. Но дружим мы по-особому, и никогда нельзя понять, как мы сходимся в свои особые группы. Но если уж сходимся, то мы друг за друга стеной. Скажем, одной из нас предлагают работу, а она не может ее взять. Тогда она немедленно дает адрес остальных своих подружек, это уж закон...— Она осеклась, наверное, заметив на моем лице выражение крайнего нетерпения.— Значит, вас интересует Маритэ... Маритэ...— Она помолчала.— Да, я знала одну стенографистку с таким именем, и она работала тогда в горисполкоме. Фамилия ее Давидайтис. Да, да, Давидайтис, Маритэ Давидайтис. Это была очень молоденькая стенографистка и страшно неопытная. Мы однажды взяли ее на парламентскую работу и потом мучались с ней невероятно. Да, да, я ее помню, красивенькая такая блондиночка с большими светлыми глазами. Между прочим, болтали, что у нее роман с каким-то русским из Москвы. Впрочем, почему я говорю: с каким-то? Я его видела на одном совещании и даже стенографировала его выступление. Очень темпераментно говорил и оттого страшно быстро. Писать его было невероятно трудно. Я хоть и

училась стенографировать по-русски, и, между прочим, в Петербурге, но к сороковому году успела забыть многие русские слова. Но ничего, я все-таки справлялась... Нет, того, что он говорил, я не помню. Стенографистки вообще никогда не помнят то, что записывают. Какой он был из себя? Ну, статный такой, светлые волосы. Я бы сказала, шведского типа... Нет, о Маритэ я больше ничего сказать не могу. Боже мой, что для меня Маритэ, если я за войну потеряла всех своих близких и давних подружек! Осталась одна, как старое дерево в чистом поле, словом не с кем перекинуться...

Уйти от нее оказалось гораздо труднее, чем ее найти. Она и в прихожей продолжала тараторить, теперь уже про то, что подготовка стенографисток в наши дни поставлена отвратительно и что, будь она на месте начальства, она бы не доверяла ни одной стенографистке моложе сорока лет...

Давидайтисов в Каунасе проживало не меньше, чем Давыдовых в любом большом русском городе. Перенумеровав полученные в справочном бюро квитки с адресами, я начал методический поиск. В оставшееся до темноты время я посетил три семьи Давидайтисов. Ничего похожего. На другой день с утра впустую съездил еще по четырем адресам. И вот в руках у меня квиток под номером восемь. Он привел меня на тихую, утопающую в зелени окраинную улицу. В пестрой оборке палисадника притаился одноэтажный домик. Из окна уже заметили, что я стою перед калиткой, и на крыльцо вышел мужчина. Он подошел к калитке и впился в меня острыми, подозрительными глазками.

— Да, да, этот дом... принадлежал Давидайтисам до сорок седьмого года...— Сиплая одышка разрывала его фразы на куски.— Я купил у них... этот дом... А в чем дело?

Я объяснил, кого ищу. Толстяк сказал:

— Да ведь из всей семьи Давидайтисов только эта Маритэ и... и осталась. Она теперь инженер. Брат ее погиб в конце войны. Отец умер в сорок седьмом. Оттого она и дом продала.

Я спросил, не знает ли он, где сейчас живет Маритэ. Толстяк повернулся к дому и позвал кого-то. В окне показалась женщина с рогатой от бигуди седой головой. Толстяк сказал ей, о чем спрашивал я. Женщина исчезла, но тотчас с необычайной резвостью выбежала из дома, держа в руке бумажку. Другой рукой она кокетливо придерживала на голове бигуди.

— Вот здесь,— женщина протянула мне бумажку,— последний адрес Маритэ. Это она своей рукой написала.

Указанная в адресе улица была абсолютно новая. По обе стороны чистенькие, только что построенные дома. Некоторые из них были еще в лесах. Земля вокруг разворочена, улица рассечена глубокими канавами, через которые переброшены временные мостки. Машину пришлось оставить в самом начале улицы.

Квартира Маритэ была на третьем этаже. Звонок не работал. Я постучал. За дверью тишина. Постучал сильнее, и тогда открылась дверь квартиры через площадку, и женщина в ярком клетчатом фартуке, с руками, белыми от муки, спросила у меня, кого я разыскиваю.

— Мне нужна Маритэ Давидайтис.

Женщина сказала, что Маритэ ушла в магазин, скоро придет и что я могу подождать у нее. Я поблагодарил и сказал, что лучше зайду попозже. Я вышел на улицу и стал у двери. Мне было интересно: узнаю ли я Маритэ?

И вот я увидел вдали женщину с хозяйственной сумкой в руках, быстро приближавшуюся к дому. Она не пользовалась мостками, пересекала улицу напрямик, уверенно прыгая через канавы. Меня охватило страшное волнение. Еще не разглядев ее как следует, я уже был почему-то уверен, что это и есть Маритэ, хотя она была совсем не похожа на ту Маритэ, какую я создал в своем воображении. Начиная с того, что приближавшаяся молодая женщина была совсем маленького роста.

Увидев меня, она чуть замедлила шаг, издали всмотрелась в меня и затем снова пошла быстрее.

— Простите, пожалуйста, вы случайно не Маритэ Давидайтис?

— Да, это я.— Она остановилась.

— Мне очень нужно поговорить с вами. Я пишу о человеке, которого вы знаете.

Несколько секунд она стояла в нерешительности, потом сказала:

— Зайдемте ко мне.

У нее была маленькая, однокомнатная уютная квартирка. Книжные полки занимали две стены от пола до потолка. На длинном низком столе, возле которого стояло кресло, аккуратными кипами лежали журналы. В углу на специальном столике стояли радиоприемник и телевизор. Письменный стол был покрыт толстым стеклом. У стены стояла чертежная доска с приколотым листом ватмана, на котором едва просматривался какой-то чертеж, выполненный пока карандашом. Одна из стен почти сплошь была увешана гравюрами. В центре стены в золоченой рамке висел непонятный чертеж, похожий на рисунок абстракциониста,— беспорядочно пересекающиеся полукруги, а из этой мешанины линий вправо и влево уходили параллельные двустрочия. По четыре с каждой стороны. Когда я с любопытством и удивлением рассматривал этот чертеж, стоявшая за моей спиной Маритэ рассмеялась:

— Это моя работа. Когда я училась в Московском транспортном институте на четвертом курсе, я вообразила, что меня осенила гениальная идея. Села за чертежку и разработала вот эту схему маневровых путей активного железнодорожного узла. Понесла профессору. А он сказал: «Вам, милая, надо окончить институт, и тогда вы сами обнаружите катастрофический просчет вашей схемы. В чем он, я вам не скажу, найдите его сами». И только через два года я поняла, что в моей схеме такое огромное количество пересечений путей, при котором нормальное маневрирование почти исключается, а моя идея на том и держалась. Тогда я вставила этот чертеж в рамку, повесила среди милых мне картин, а вот тут, в углу чертежа, сделала понятную только мне надпись: «В технике все новое — только от знаний».

Вдруг оживление в ее глазах погасло.

— Простите, я отвлеклась. Вы сказали... Я слушаю вас. Садитесь, пожалуйста.

— Я хочу написать книгу о человеке, которого вы хорошо знали,— о Владимире.

На ее лице медленно проступил румянец.

— Он жив? — быстро спросила она.

— Не знаю.

— Действительно не знаете или не хотите меня огорчать? Так не стесняйтесь, все это уже предано забвению.

Продолжение следует.

Он сделал все, что мог

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ

Рисунок П. ПИНКИСЕВИЧА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. СМ. «ОГОНЕК» №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24.

18

РАССКАЗ МАРИТЭ ДАВИДАЙТИС

«Познакомились мы с Владимиром случайно. Произошло это в начале осени сорокового года. Я тогда работала в горисполкоме. У нас шло совещание, на котором я его в первый раз и увидела. Он выступал дважды. Но я тогда русский язык знала совсем плохо и, что он говорил, не понимала,— записывала его другая стенографистка.

А потом так случилось, что мы вместе вышли из горисполкома. Он сказал что-то о погоде, но я не поняла, что он сказал, и рассмеялась. Я вообще была до неприличия смешливая. Мы пошли по улице и стали разговаривать по-немецки. Потом мы зашли в кафе. За столиком я предложила говорить по-русски, и мы очень много смеялись: я от странных для моего уха русских слов, а он от моего страшного произношения. Вот с этого наше знакомство и началось.

Нет-нет, ничего серьезного между нами не было, даже дружбы настоящей не было. Знакомство, не больше. Во всяком случае, я расценивала наши отношения именно так, а что о них думал Володя, я не знаю.

Сначала мы виделись главным образом по воскресеньям. Ходили в кино, в кафе, танцевали. Весной сорок первого года мы стали встречаться чаще. Володя побывал у нас дома. Мы с братом выросли без матери: она умерла, когда мы были еще маленькими. Воспитывал нас отец. Он был рабочим-железнодорожником и очень хорошим человеком, хотя держал нас с братом в большой строгости. Мы любили и даже боготворили его. Он не был коммунистом, но о России всегда говорил с симпатией. И не удивительно, что переворот сорокового года он приветствовал и вскоре стал активистом профсоюза железнодорожников.

Война, как вы знаете, обрушилась на нас внезапно. На второй день войны Володя позвонил мне по телефону в горисполком, сказал, что хочет помочь нашей семье эвакуироваться, и назначил мне свидание в семь часов вечера, но почему-то не пришел.

Когда фашисты захватили Каунас, отца прогнали с прежней работы, и он стал чернорабочим на расчистке путей. Я не работала вовсе. На своем месте остался только брат — он работал на почтамте. Жить сразу стало очень трудно. Наверное, пришлось бы голодать, если бы не тетка, которая нет-нет да присылала нам из деревни продукты.

Наступила зима. Как раз под самое рождество я столкнулась с Володей на улице. Я очень обрадовалась встрече и остановила его. Володя был растерян, он расспрашивал меня, как я живу, а сам в это время думал о чем-то совсем другом. И вдруг все, что было связано с этой встречей, дошло до моего сознания во всей своей сложности. Я спросила его, что он делает в городе, как живет. Он стал говорить очень сбивчиво, концы с концами в его рассказе не сходились. И тогда я подумала, что он, наверное, живет тайно, и попросила больше ничего о себе не говорить. Я сказала ему: если возникнет надобность, он может уверенно идти к нам. На том мы и расстались...

Больше о Володе я ничего не знала вплоть до его появления у нас в самом конце октября 1943 года.

Он пришел рано-рано утром. Отец собирался на работу, брат еще спал. Вдруг стук в дверь. Я открываю и вижу Володю. У меня прямо язык отнялся, смотрю на него и молчу. И он тоже молчит, только как-то жалко улыбается. А одет он был, между прочим, шикарно. Даже при крахмальном воротничке. Наконец я опомнилась и пригласила его войти. Еще в передней он задержал мою руку и сказал:

— Помните, Маритэ, вы говорили, чтобы я, в случае чего, шел к вам. Вот я и пришел. Выручайте.

Мы вошли в столовую. Володя поздоровался с отцом, но тот ему не ответил. Уставился на него злыми глазами и молчал. Тогда Володя сказал ему:

— Извините меня, товарищ Давидайтис, но ваша дочь однажды сказала мне, что в случае надобности я могу найти у вас надежный приют. Вот сейчас я как раз в этом нуждаюсь...

— Садитесь,— проворчал отец, продолжая разглядывать Володю недобрыми глазами.— На вас глядя, не скажешь, что вы в беде. Может, вы просто не поладили с новыми господами?

Лицо у Володи стало серым, он встал со стула.

— Товарищ Давидайтис, у вас нет оснований оскорблять меня, а у меня нет ни желания, ни возможности перед вами оправдываться. Вопрос очень прост: можете вы укрыть меня на два-три дня?

Отец долго молчал, потом сказал:

— Маритэ вас приглашала, пусть она делает, как хочет.

Согласитесь, что мое положение было весьма сложным. У меня, конечно, и мысли не было, что Володя служит у немцев, но в нашем доме мнение отца всегда было решающим.

— Садитесь пока к столу,— растерянно сказала я.— А потом мы все обсудим.

Отец, не сказав больше ни слова, ушел на работу.

В это время встал брат. Он тоже отнесся к Володе настороженно, хотя и не так резко, как отец.

— Вы что же, все это время живете в Каунасе? — спросил брат.

Володя покачал головой.

— Я не был здесь два года и появился тридцать минут назад. Но где я и кто я, этого сказать вам не могу. Прошу лишь поверить мне на слово: с оккупантами я не сотрудничаю.

— Ну что же,— усмехнулся брат,— поверим на слово.

— Речь идет о том,— повторил уже брату Володя,— чтобы ваша семья дала мне приют на два-три дня и чтобы об этом никто не знал. А затем я уйду. В ближайшие дни мне опасно появляться где бы то ни было. Не только в Каунасе.

Брат пожал плечами:

— Живите, раз надо.

Вскоре мы остались с Володей вдвоем. Он был подавлен. Молчал. Я предложила ему отдохнуть, но он покачал головой, потом спросил:

— У вас ход на чердак есть?

Я показала ему лестницу, пристроенную в кухне за печкой, и люк в потолке.

— Я буду находиться там,— сказал он.

Тщательно осмотрев чердак, он сделал себе там укрытие из пустых ящиков и старой мебели. С чердака он так и не спустился. Попросил, чтобы я ни о чем больше не беспокоилась и занималась своими делами. Да, чуть не забыла, он попросил еще бумаги. Я дала ему свою старую школьную тетрадь...

Так он у нас и остался.

К вечеру вернулся отец, спросил:

— Где он?

Я сказала:

— На чердаке.

Отец усмехнулся:

— Хороший костюм испачкает.— И больше о Володе не заговаривал, поужинал и лег спать.

Позже пришел брат, принес газеты и стал их читать. Я поставила ему ужин, он отложил газеты в сторону и говорит:

— Читаешь их газеты, так дела у них идут как по маслу, а все рассказывают, что вчера в Вильнюсе коммунисты прямо в гостинице застрелили какого-то крупного нациста. Об этом в их газетах не прочтешь.

Почему-то я сразу подумала, что Володя связан с этим убийством. Я не могу вам объяснить, почему я так подумала...

На другой день отец вернулся с работы какой-то взволнованный. Делает мне знак пройти за ним в спальню и говорит:

— Не знаю, что и подумать,— говорит он.— Ты слышала про нациста, застреленного в Вильнюсе? В городе ходят слухи, что убийца в Каунасе. На вокзале обыскивают всех подряд. Патрули обходят поезда. Пока я с работы шел, меня два раза остановили...— Отец замолчал и выразительно посмотрел на потолок.

— Папа, я тоже так подумала,— сказала я.

— Подумала, подумала,— проворчал отец и вышел из спальни.— Давай ужинать.

Пришел брат и тоже стал рассказывать о кутерьме в городе. Почтамт кишит агентами, все письма вскрываются. То и дело хватают людей и ведут на проверку. Брат заметил, что хватают только хорошо одетых мужчин молодого и среднего возраста.

Вдруг отец положил ложку и строго сказал:

— Ну-ка, Маритэ, проверь затемнение на окнах. В порядке? Позови его с чердака!

Брату он приказал выйти на улицу и смотреть, чтобы никто не нагрянул.

Володя спустился с чердака. Небритый, бледный, глаза воспаленные. Остановился перед отцом и спросил:

— Мне пора уходить?

— Садитесь, надо поговорить,— смущенно сказал отец.— Дело серьезное. В Вильнюсе, говорят, застрелен какой-то крупный фашист, а убийцу ищут здесь, в Каунасе. В городе переполох, хватают кого попало...

Володя пожал плечами:

— А при чем здесь я? Если вы боитесь и хотите...

— Я еще не сказал, что я хочу! — разозлился отец.— А я хочу что-нибудь знать.

— Так вы уже знаете больше меня,— улыбнулся Володя.

В это время я заметила, что его трясет, как в лихорадке, а лицо его покрывается красными пятнами.

— Володя, вы больны? — спросила я.

— Это не имеет никакого значения,— хрипло сказал он.— Я сейчас уйду.

— Вас никто не гонит,— твердо произнес отец.

— Я уйду,— повторил Володя.— Уйду, потому что не имею права подвергать вас опасности. Прошу вас, Маритэ, поднимитесь ко мне через час.

Он поднялся на чердак, а мы — я, отец и брат — собрались в спальне и шепотом обсуждали, как нам поступить. Я настаивала, чтобы отец уговорил его пожить у нас еще хотя бы два-три дня. Отец отказался это сделать.

— Если он действительно тот, кого ищут,— сказал он,— то он лучше знает, что ему делать. А если не тот, кого ищут, тогда, тем более, пусть уходит.

Брат поддерживал меня, но не очень уверенно. Так мы ни до чего и не договорились. Отец и брат легли спать. Я перед тем, как лечь, поднялась на чердак. Володя при свете

коптилки писал. Посмотрел на меня, улыбнулся:

— Наделал я вам хлопот. Жалеете теперь, что пригласили меня?

— Я никогда не жалею о том, что делаю,— сказала я.

Он внимательно посмотрел на меня, вздохнул:

— А я вот часто жалею о сделанном. — Он полистал лежавшую перед ним тетрадь и сказал: — Маритэ, у меня к вам просьба. Я скоро закончу писать. Всем, что для вас свято, прошу вас эту тетрадь не трогать. Я спрячу ее у вас на чердаке и при первой возможности приеду за ней или сам, или пришлю человека. Обещаете?

— Обещаю.

Он крепко пожал мне руку и, волнуясь, сказал:

— Когда-нибудь все выяснится. Абсолютно все. И тогда вы убедитесь, что я вас не обманывал. Скажите это и вашему отцу. Я на него не в обиде, я его понимаю. А теперь до свидания.— Он снова сжал мне руку своей горячей рукой, быстро отвернулся и склонился над тетрадкой.

Уснуть, конечно, я была не в силах. Я лежала с открытыми глазами и прислушивалась к тому, что делалось на чердаке. Я слышала, как он там ходил, что-то передвигал. Под утро я все же заснула.

За завтраком ни отец, ни брат о Володе не говорили и у меня ничего не спрашивали. Как только они ушли на работу, я поднялась на чердак. Час был ранний. Утро выдалось мглистое, и на чердаке было совсем темно. И вдруг я услышала стон.

Володя полулежал, прислонившись к ящикам. В груди у него свистело и клокотало. Изредка он стонал и произносил какие-то слова. Он был без памяти. Я прикоснулась рукой к его лицу. Оно было горячее, как печка.

Володя заболел, я думаю, воспалением легких. Что я пережила, пока пришли с работы отец и брат, словами не передашь. Не забыть, что все мы пережили за те две недели, пока он болел. Ведь даже хорошо знакомого врача позвать было нельзя. Опасно было даже спросить у кого-нибудь совета. А чуть не каждую ночь нам казалось, что Володя умирает. Все же отец ухитрился как-то получить врачебную консультацию и даже добыл лекарство.

На девятый день в болезни наступил перелом, резко спала температура. Невероятно похудевший и ослабевший, Володя был похож на беспомощного ребенка. Вдобавок ему совершенно отказали нервы, он часто плакал. Спросишь, как дела, а у него слезы из глаз ручьями.

Но поправлялся он быстро. Через неделю начал вставать, нашел на чердаке два кирпича и систематически проделывал с ними гимнастические упражнения.

— Болезнь,— говорил он,— событие от меня не зависящее, а вот выздоровление я уже обязан ускорить, именно обязан...

Однажды отец привел с собой старого своего знакомого, тоже железнодорожника, которого мы все звали дядюшкой Ионасом. Отец знал его с юных лет: они когда-то даже учились в одной школе, и в одно время они пошли работать на железную дорогу.

Во время оккупации дядюшка Ионас тоже стал чернорабочим и работал вместе с отцом.

Отец сказал мне:

— Веди сюда Володю.

Стою, с места тронуться не могу. Смотрю то на отца, то на дядюшку Ионаса. Отец разозлился, ударил ладонью по столу.

— Веди, раз сказано!

Я поднялась на чердак, разбудила Володю и сказала, что его зовет отец, но что, кроме отца, там есть еще один человек, железнодорожник, старый приятель отца.

И вот такая, значит, картина: за столом сидят отец, дядюшка Ионас и Володя. Дядюшка Ионас, наклонив голову, поверх очков рассматривает Володю. Тишина. Только слышно, как сердито сопит отец.

— Кто вы и откуда? — тихо спросил у Володи дядюшка Ионас.

— Я советский человек, которого крайние обстоятельства заставляют сейчас скрываться. Больше я ничего сказать не могу и не имею права. А вы кто?

— Я местный рабочий-железнодорожник.— Дядюшка Ионас усмехнулся.— Номинально член Коммунистической партии.

— Что значит номинально? — спросил Володя.

— А то и значит. Членских взносов, согласно обстановке, не плачу. Организации у нас фактически нет. Четверо вот таких же, как я, номинальных. Кустарничаем, как можем. Но сейчас не об этом речь. Нужно решать, что с вами делать...

Володя пожал плечами:

— А что со мной делать? Я в ближайшие дни уйду.

— Куда?

— Решу по обстановке.

Дядюшка Ионас вздохнул:

— Ну, так вот: обстановка сейчас такая, что как бы за вас не решили гестаповцы. Просто так уходить и не думайте, если жизнь вам, конечно, дорога.

— Но и сидеть без конца, как клоп в щели, я не собираюсь,— сердито произнес Володя.

Несколько минут все молчали. Потом дядюшка Ионас сказал:

— У нас такое предложение. Товарные порожняки идут на Восток, в Белоруссию. Есть кондукторская бригада, в которой все до одного верные люди. Они могут вас доставить поближе к партизанам.

Договорились так: в течение трех дней дядюшка Ионас выяснит возможности переправки Володи в Белоруссию и потом даст знать, как и когда все это будет организовано...

Спустя неделю, а может, и больше, отец снова пришел домой вместе с дядюшкой Ионасом.

Все было уже подготовлено. Состав отправлялся в Белоруссию в конце следующего дня. Стали обсуждать, как незаметно доставить Володю на товарную станцию, где достать для него теплую одежду. Снова выручил дядюшка Ионас и его товарищи. В этот вечер он ушел от нас в отцовской старой куртке, а полушубок, в котором пришел и в каких работают путейцы, оставил Володе.

Дальнейший план был такой: отец завтра должен заболеть. И так как завтра воскресенье, его придут навестить товарищи по работе. Они будут приходить в разное время, одинаково одетые в свои рабочие полушубки. А в конце дня вместо одного из них наш дом покинет Володя. Затем он должен будет пойти на окраину города, там его будет ждать дядюшка Ионас, чтобы отвести к месту формирования эшелона и спрятать в одном из вагонов.

Прощаясь со мной, Володя сказал:

— На чердаке, за балкой возле трубы, я спрятал тетрадь. Там очень важные для меня записи. Прошу вас ее не трогать ни при каких обстоятельствах. Придет время, я или сам явлюсь за тетрадкой, или пришлю человека, который будет знать, где она хранится. Вы мою просьбу выполните?

Я только кивнула головой, мне было очень трудно говорить. Володя держался спокойно, только был очень бледен.

А на другой день выяснилось, что в самую последнюю минуту, когда Володя был уже запрятан в вагон, эшелон направили не на Восток, а на Запад — в Кенигсберг. Единственно, что успел сделать дядюшка Ионас, это крикнуть Володе, что в случае чего он может обратиться за помощью к машинисту паровоза, и сказал его имя. Спустя две недели, когда машинист вернулся в Каунас, дядюшка Ионас узнал от него, что Володя покинул поезд на станции Вилкавишки.

...Уже летом сорок четвертого года, примерно за месяц до освобождения Каунаса, к нам явился паренек лет семнадцати. Дома был один отец. Насчет тетради он был мной предупрежден, и когда паренек сказал, что он пришел по поручению Володи, отец пустил его на чердак. Там паренек сразу же нашел тетрадь, засунул ее за пазуху и ушел. Уже с улицы он крикнул: «Привет от Володи!..» Отец рассказывал, что паренек был веселый, беспрестанно шутил, но на вопросы отца о Володе не отвечал.

Вот все, что я могу вам рассказать».

Я поблагодарил Маритэ Давидайтис за рассказ и уехал в гостиницу, где немедленно, по свежей памяти, все это записал.

Рассказ Маритэ дорог подробностями пребывания Владимира в их доме, но он восстанавливает не больше месяца из того года его жизни, о котором мы ничего не знаем.

Что с ним было после того, как он на станции Вилкавишки покинул товарный поезд?

Может быть, все-таки хоть какие-нибудь подробности знает машинист? Во всяком случае, упускать эту возможность я не имел права.

На другой день утром мне снова пришлось съездить к Маритэ узнать фамилию машиниста, и потом весь день ушел на его поиски.

Вечером я уже беседовал с ним.

19

РАССКАЗ МАШИНИСТА

«...Это одно из самых страшных моих воспоминаний о том времени. Вы же не знаете, как трудно было подготовить тайный вывоз того русского товарища. Ведь мы отвечали за него и сами рисковали жизнью. И вдруг, когда самое трудное было уже позади, все сорвалось.

Было это так... Я уже принял в депо паровоз и ждал разрешения идти к эшелону. Но проходят все сроки, а разрешения нет. Оставляю паровоз на помощника и иду к диспетчеру. Спрашиваю у него: «Почему задерживается выход?»

А тот отвечает: «Черт их, этих немцев, поймет! Полчаса назад вызвали маневровый паровоз и переформировывают твой эшелон».

У меня замерло сердце.

— Зачем? — спрашиваю.

— Очевидно, состав пойдет в другом направлении, потому что они переставляют головные вагоны в другой конец эшелона.

Вернулся я в депо сам не свой. Жду. Прошло еще минут сорок. Наконец я получаю приказ подать паровоз. Направление — на Кенигсберг. Но мой паровоз идет только до станции Вилкавишки. Когда я подвел паровоз к стрелке, кто-то выкрикнул мое имя. Я выглянул в окошко. Это был Ионас. «Помоги ему в Вилкавишках!» — крикнул он и убежал.

Как помочь? Об этом я думал всю дорогу, а она длилась очень долго. На каждой станции приходилось стоять из-за страшной неразберихи в движении.

В Вилкавишки прибыли ранним утром. После сильного мороза от резкого потепления стоял такой туман, что в трех шагах ничего не было видно. Прямо ощупью привел эшелон на товарный двор. Отцепился, перешел на запасный путь и стою, жду. А чего жду, сам не знаю. Вдруг вижу, к паровозу метнулся человек. Я сразу подумал: «Он». Говорю помощнику:

— Держи пар, я маленько промнусь.

Соскочил на землю и сразу увидел человека. Он стоял, прижавшись к тендеру. Я подошел к нему поближе.

— Вы машинист? — спрашивает он по-немецки.

— Да,— говорю,— машинист.

Тогда он назвал мою фамилию и сказал, что дядюшка Ионас советовал ему...

— Знаю, знаю,— перебил я его.— Переходите пути, идите вперед до пакгаузов. Не доходя до них шагов сто, сворачивайте налево и идите под прямым углом, пока не выйдете к речке Шеймена, а потом по берегу идите к лесу. Там увидите хутор под названием «Мария». Хозяин хутора — мой двоюродный брат, зовут его Август. Передайте ему от меня привет и скажите, что я рекомендовал вас.

— Спасибо,— сказал он и исчез в темноте.

Вот и все. После войны Август приезжал ко мне в гости. Поблагодарил за батрака и мрачно добавил: «Два месяца,— говорит,— я из-за твоего батрака жил, как на вулкане. Каждую ночь мне виселица снилась...» Нет, я никаких подробностей у него не спрашивал. Да, потом этот Август вовсе не мастер рассказывать, он больше мастер молчать. Узнал я только, что спустя два месяца русский исчез с хутора... Да, Август жив. Он сейчас бригадир в колхозе. Могу дать вам к нему записку, только боюсь, что вы из него и двух слов не вытянете».

Действительно, это оказался на редкость неразговорчивый человек. Богатырского сложения, огрубелое от ветров и солнца лицо его точно высечено из меди, и только наголо бри-

тая голова была белой. Мы сидели за столом в его аккуратном домике из кирпича, куда он недавно переехал. Я сказал ему, что меня интересует. Он смотрел на меня светлыми непроницаемыми глазами и молчал. Его жена в это время накрывала на стол. Я видел, как она бросала на мужа осуждающие взгляды, а тот продолжал молчать. Наконец она недовольно сказала ему что-то по-литовски. Он шевельнул могучими плечами, вздохнул и сказал:

— Владимир пришел к нам зимой, а через два месяца ушел...— И снова надолго умолк.

— Как он у вас работал?

Колхозный бригадир усмехнулся:

— Уж работал! Я только и ждал, когда полиция нагрянет.

— Что же он такое опасное делал?!

Бригадир махнул рукой:

— Все.

— Что именно? Расскажите хоть что-нибудь.

Бригадир только пожал плечами.

— Знаете, что я вам посоветую,— вмешалась в разговор его жена,— не тратьте вы с ним время попусту. В трех километрах от нас колхозная электростанция, а на ней работает Збышек Старчинский, он в то время был первым приятелем вашего Владимира.

Но когда я встал из-за стола, чтобы последовать ее совету, она обиделась:

— Как же так, я еду готовила, а вы уходите.

Пришлось остаться. Во время ужина вспыхнула висевшая над столом электрическая лампочка.

— Вот, Збышек как раз заработал,— сказала жена бригадира.

Спустя полчаса я в сопровождении бригадира шагал вдоль реки к электростанции. Дойдя до крутого поворота речки, бригадир остановился и показал рукой на видневшийся в сумраке силуэт приземистого здания на невысоком косогоре.

— Там,— сказал он и пошел назад.

Внутри здания грохотал небольшой дизель, возле которого в задумчивости стоял высокий тощий мужчина в брезентовой куртке. На голове у него был берет, низко сдвинутый на самые брови. Когда я подошел к нему вплотную, он вздрогнул, досадливо сплюнул и рассмеялся.

— Думал, привидение! — прокричал он.— Вы ко мне?

Я стал кричать, кто я и зачем пришел, но тут же бросил это занятие и показал Старчинскому на дверь. Мы вышли, сели на скамеечку, и я сказал ему, что меня интересует.

20

РАССКАЗ ЗБЫШЕКА СТАРЧИНСКОГО

«Я тогда працовал у того же Августа, от которого вас ко мне послали. Но я не был у него на постоянной вакансии, а так — когда у него есть дело, я працую. А больше я вертелся на станции. Там было интересно. Не снег сгребать, конечно, а технику смотреть. Ну, а гитлеры гнали по дороге целые горы всякой техники. И с харчами на станции тогда было полегче, чем у пана Августа. Тому пану самому часто есть нечего было. Потом на станции жила одна девочка, к которой у меня был интерес, то есть теперь моя жена. Один раз я пришел к пану Августу и вижу, працует у пана новый человек, вроде молодой, а с бородкой, дрова колет. Я ему: «День добрый»,— а он молчок. Вышел пан Август. Взял, говорит, работника, русский. И все. От пана Августа подробностей не узнаешь. Подхожу я к тому русскому. Бросил он дрова колоть, а топор держит нехорошо, словно готовится вместо дров меня колоть. Стоим, молчим. Я ему говорю:

— Дайте-ка я от скуки дров поколю.

А он только боком повернулся, чтобы я топор у него не мог выхватить. Тогда я уразумел: он, наверно, думает, будто я какой-нибудь полицай или шпион. Говорю ему, кто я такой. Но русский говорить не желает, молчит. Так я ни с чем на этот раз и ушел. Вообще, немало дней прошло, прежде чем стали мы друзьями и начали вместе шкодить...

Первую шкоду мы решили устроить именно на станции. Смешно сказать, с какого оружия мы начали. Вон там, за горкой, кузнец жил. Пошли мы к нему и из амбарного крюка выковали два кинжала. Ничего себе кинжалы получились, очень пригодились. Владимир сказал:

— Кинжалы хорошо, а пистолеты лучше. Надо раздобыть у гитлеровцев.

Я ему говорю:

— Они не дадут.

А Владимир говорит:

— Надо отнять.

Ну, отнять так отнять... Нам почему-то запало в голову, что сцапать гитлера лучше всего, когда он по нужде отобьется от своих и уединится в кустики.

Эшелоны, которые направлялись на фронт, всегда останавливались у выходной стрелки и вытягивались далеко за пределы станции. И там как раз были кустики. Но гитлеры туда не бежали. Они по своей немецкой аккуратности, наверное, не представляли себе, что можно пользоваться теми кустиками, поскольку туда не идет никакая официальная тропинка. Однако аккуратность не мешала им так загаживать пути, что, когда эшелон уходил, страшно было смотреть на то место, где он стоял. И вот мы с Владимиром придумали такую авантюру: примерно на том месте, где останавливались самые последние вагоны, мы протоптали в снегу тропинку в кусты. Перед приходом эшелона вечером мы притаились в тех же кустах. Эшелон пришел, остановился. И что вы думаете? Гитлеры сразу клюнули на нашу тропинку, прямо валом к нам повалили. Целую очередь образовали. Прямо смех разбирает от этого зрелища. Ну, мы, конечно, ждем, пока спрос на тропинку уменьшится. Поток стал редеть. Вот прибежали пятеро, потом трое. Смотрим на часы: минут через десять эшелон уйдет, а никто больше в кусты не является. И вдруг прибегает гитлер-одиночка, деловитый такой. Автомат повесил на куст, шинель закинул на голову... и тут Владимир, как рысь, бросился на него. Гитлер и не пикнул. Я схватил его автомат, и мы с Владимиром побежали от станции. И как раз в это время эшелону дали отправление. Мы перебрались на санную дорогу и по ней вернулись на станцию.

Автомат мы снесли на хутор пана Августа и спрятали на сеновале. Владимир говорит, надо решать, что делать дальше. Как бы, говорит, раздобыть нам мину какую-нибудь или взрывчатки хотя бы килограмм. И тут меня озарило. Я вспомнил, что километрах в семи от станции, где раньше проходила граница, есть поле, на котором торчит табличка: «Внимание, мины!» Я сказал об этом Владимиру. Он прямо вспыхнул: «Вот это дело!»

Как вы думаете, кто пришел нам на помощь? Голодная свинья пана Августа. Ему нечем было ее кормить, а рядом с минной полосой находилось поле с неубранной картошкой. И мы посоветовали Августу поехать туда за картошкой. За день мы накопали ему целую кошму картошки и заодно прихватили три мины, похожие на чудо-кастрюльки, в которых хозяйки пироги пекут.

Первую мину мы потратили впустую. Позже та мина стала для меня вроде справки о патриотизме. В общем, мы ее без всякого понятия заложили под рельсы в десяти километрах от станции, а она не взорвалась. И пришлось мне, когда советские войска подходили, двое суток дежурить возле той мины, чтобы предупредить своих. Ведь мина-то дура, под немцем не рвалась, а тут вдруг возьмет да и взорвется. Вынуть ее сам я боялся, вот и дежурил, пока не сдал ее советским саперам, за что и получил благодарность.

Вторая мина сработала красиво. Ночью мы зарыли ее в ямку на шоссе. И под утро на ней подорвался штабной автобус, битком набитый офицерами. Семеро стали покойниками. Третьей миной мы повредили водокачку на станции.

Кутерьма поднялась страшная. Одних гестаповцев прибыло человек пятьдесят. По всей округе прошла молва, будто у нас появились партизаны. Нам с Владимиром в пору смеяться над этими слухами, но было не до смеха. Пять человек из населения станции гестаповцы арестовали и расстреляли. Пошли аресты и в городе и на пристанционных хуторах.

Оставаться в этих местах было опасно. Я предложил Владимиру перебраться на время в Польшу. Там, недалеко от литовской границы, жила моя сестра. Она была замужем за сельским учителем. Владимир согласился. И однажды с наступлением темноты мы отправились в путь. На дорогу у нас ушло одиннадцать дней. Шли только в темноте, особых приключений не было. Перед самым рассветом мы подошли к домику моей сестры и половину дня вели за ним наблюдение. Ничего подозрительного не заметили. Сестра с утра работала во дворе, а ее муж уехал куда-то верхом. Сперва я пошел к дому один.

Ядвига — так зовут мою сестру — очень обрадовалась моему появлению, она считала меня сгинувшим со света. Осторожно выведав у нее обстановку, я сказал ей, что пришел не один, со мной товарищ, и что мы хотим здесь пожить. Ядвига задумалась, а потом сказала, что против этого будет ее муж Адам Кричевский, который, по ее выражению, боится собственной тени.

— Черт возьми! — сказал я ей.— Близится весна. Неужели местным хозяевам не будут нужны работники?

Ядвига за эту идею ухватилась и сказала, что на богатом хуторе пана Кшесинского наверняка нужны батраки.

Да, батраки здесь были нужны! И еще как! Пан Кшесинский взял нас обоих и даже сам уладил дело в отношении Владимира, у которого не было документов. Так Владимир стал Вольдемаром Стаховским — такие документы ему достал хозяин. Нас поселили в пристройке к хозяйскому дому.

Работники пану Кшесинскому были нужны позарез, и он не собирался устраивать нам курортную жизнь. Он знал, чем занять батраков и зимой. Работать приходилось с рассвета дотемна, и хозяин умел проверять, как работают его люди. И так день за днем, день за днем.

Не прошло и месяца, как Владимир затосковал. Однажды он сказал мне:

— Я больше так жить не могу. Я обязан воевать, а не батрачить на польских кулаков.

Что я ему мог предложить?

По воскресеньям мы ходили в ближайшее село купить что-нибудь в лавочке, посидеть часок-другой в корчме. Владимир заводил беседы с местными и все пытался выяснить, нет ли в округе партизан. Но ничего утешительного он не слышал и становился еще мрачнее.

Теперь я расскажу о последнем дне пребывания Владимира на хуторе. В тот день на хутор приехали и остались ночевать гитлеровский офицер и трое солдат.

С рассвета дотемна мы с Владимиром работали. Поужинали и легли спать. Я сразу как ко дну пошел.

Просыпаюсь от того, что кто-то меня трясет. Поглядел — Владимир. Шепчет:

— Оденься, выйди на минутку.

Я вышел и оторопел. Дом хозяина и амбар объяты пламенем. Владимир дрожащим голосом говорит:

— Я убил офицера. Солдат запер в амбаре. Бежим!

Размышлять было некогда. Мы побежали. Тринадцать дней мы двигались тем же маршрутом, каким пришли сюда, и однажды явились к пану Августу. Он нам не обрадовался. Прежде всего сообщил, что нас искали гестаповцы, и его по этому делу таскали в Вилкавишки. Дал нам хлеба, сала и попросил убираться подальше. В эту же ночь мы пошли на хутор километрах в двадцати, где батрачил один мой приятель. Там мы жили недели две. Затем Владимир меня покинул.

Когда мы прощались, он сказал:

— Ну, что же, Збышек, мы сделали с тобой все, что смогли. Нет, пожалуй, точнее сказать надо так: мы сделали все, что сумели.

Куда он пошел? Он сказал так:

— Пойду навстречу своим.

Нет, никаких его вещей у меня не осталось. Между прочим, когда мы, после бегства от пана Кшесинского, жили на хуторе, где батрачил мой приятель, произошла такая оказия. Младший братишка моего приятеля Юрис собрался ехать с хозяином в Каунас. Владимир, когда узнал об этом, прямо затрясся, стал меня умолять, чтобы Юрис выполнил его поручение, зашел по одному адресу и взял там какую-то тетрадку и передал от него привет.

Юриса долго уговаривать не пришлось, паренек он был легкий, веселый. Ладно, говорит, все сделаю, как в аптеке.

И через несколько дней он привез Владимиру тетрадку. При мне как раз Владимир ту тетрадку получил, расцеловал Юриса и стал расспрашивать, кого он видел. Оказалось, что

Юрис видел одного старика и больше никого. Владимир вздохнул и еще раз поцеловал Юриса. Потом он разделил тетрадку на листы, чистые выбросил, а исписанные по два, по три сложил ленточками и целый вечер зашивал их под подкладку своих ватных штанов и куртки...

Расстались мы, когда весна была уже в разгаре...»

21

Итак, Владимир покинул район Вилкавишек весной сорок четвертого года. А последний по ходу времени материал из его папки начинается с лета. Теперь разрыв во времени уменьшился, и уже можно приступить к чтению следующей и последней записи Владимира. Эту запись он вел в книжке-дневнике немецкого офицера Генриха Целлера. Никаких дат тут нет.

«Все-таки я принял неправильное решение. Нужно было пробираться в сторону Белоруссии, прямо на восток, южнее Вильнюса, а я пошел к Литовскому побережью Балтийского моря. Меня сбили с толку слухи о том, что наша армия стремительно движется по Приморью.

Итак, я взял направление вдоль Немана к Балтийскому морю. Документ у меня был довольно надежный — то удостоверение, которое добыл для меня хозяин хутора Кшесинский. Во всяком случае, с этим документом я благополучно проболтался без дела почти целый месяц. Итак, по документу я Вольдемар Стаховский, работник с польского хутора, разыскивающий разбросанную войной родню. Вид у меня подходящий, даже борода выросла.

Продвигался я очень медленно. Приду в какое-нибудь местечко или на хутор и начинаю выспрашивать, не проживают ли тут какие-нибудь Стаховские. Относились ко мне, как правило, сочувственно: кормили, давали ночлег. А потом отправлялся дальше. Почти двадцать дней шел, пока не добрел до более или менее крупного населенного пункта Кудиркос, стоящего вблизи слияния Немана и Шешупе. Здесь у меня произошло первое серьезное осложнение.

Надо же было произойти такому дикому случаю: первый человек, к которому я обратился с просьбой дать мне прикурить, оказался полицаем. Никаких служебных примет у него не было. Навстречу мне шел довольно пожилой человек, куривший трубку, и я попросил у него огонька. Он стал задавать мне вопросы. Я сказал ему, что ищу свою родню. Тогда он повел меня в комендатуру и там искал по списку моих несуществующих родственников. Словом, это оказался какой-то непонятно заботливый полицай. В конце концов он сказал, что искать родню, не имея о них никаких, хотя бы приблизительных данных, безнадежное дело. Между тем уже вечерело, и он спросил, где я буду ночевать. Я сказал: не знаю. Тогда он говорит:

— Брось свои поиски и оставайся здесь. Я устрою тебя на работу, и ты получишь место под крышей.

Полицай держался как-то странно: говорил со мной спокойно, я бы сказал, по-отечески, а в глазах у него то и дело поблескивала усмешка, будто он о чем-то догадывается и моим словам не верит. Вот почему я побоялся отказаться от предложенной мне работы.

Он отвел меня в другую комнату, и там у меня отобрали удостоверение, а вместо него выдали бирку и записку в барак для рабочих.

В бараке, кроме меня, оказалось еще четыре человека. Их гоняли копать землю по ту сторону реки, где немцы строили укрепления. Только этого мне не хватало!

Ночью я вышел из барака, добрался до реки, сел в первую попавшуюся лодку, выгреб на середину и отдался во власть быстрого течения. Я так устал, что мгновенно уснул.

Проснулся от звонкого ребячьего крика. Уже взошло солнце. Моя лодка, зацепившись за поваленное дерево, покачивалась на волнах, а прямо надо мной на гребне высокого берега стояли два, судя по одежде, крестьянских мальчика, которые кричали мне что-то по-литовски. Я помахал им рукой, отцепился от дерева, взялся за весла и снова выгреб на середину. Река была довольно широкая, и я понял, что за ночь меня уже вынесло в Неман. Лодка шла по течению быстро.

Чем ниже я спускался по реке, тем спокойнее обстановка была вокруг. Абсолютно ничего не говорило о том, что я приближаюсь к местам, куда отступала гитлеровская армия. Наоборот, вокруг идиллические красоты реки, а на берегах картины обычной крестьянской жизни. И полное равнодушие людей к моей персоне. Если бы не самолеты, часто пролетавшие надо мной днем и ночью, ни одного звука войны я не слышал бы. Посмотрим, что будет на морском побережье...

. . . . . .

...От тех курортных мест, где я теперь нахожусь, фронт совсем недалеко. Я имею возможность причинить здесь кое-какие неприятности гитлеровцам и затем буду пробиваться к своим.

. . . . . .

Решено! К своим! К своим! К своим! Записи свои собрал в сверток. Сегодня же подыщу более или менее надежного человека и сдам ему сверток на хранение. И в путь! К своим! К своим!..»

Больше никаких записей в свертке не было.

Окончание следует.

Он сделал все, что мог

Приключенческая повесть

Василий АРДАМАТСКИЙ Рисунок П. ПИННСЕВИЧА.

22

Последняя глава повести

Долго шла работа над повестью, я все время помнил, что у истории, попавшей в мои руки, нет конца. Это, по правде сказать, мешало работать. Я утешал себя такой мыслью: как бы читатель ни хотел узнать, что в конце концов случилось с моим героем — жив он или погиб, все же главное и самое интересное не это, а то, что́ он сделал во время войны, какие подвиги совершил, какие приключения пережил. Утешение это было слабым, и в течение года, пока писалась повесть, я не раз предпринимал шаги, чтобы выяснить дальнейшую судьбу Владимира, но это ни к чему не приводило.

Да, Владимир мой словно растворился. Опытные работники, чья профессия — помогать людям искать друг друга, сказали мне, что розыск по одному только имени почти наверняка не даст результата.

Но, может, все-таки попробовать установить фамилию Владимира? Я снова пересмотрел все его записи и составил «перечень зацепок», которые могли потянуть за собой какие-то новые сведения о моем герое. Такая, например, «зацепка»: Владимир учился в каком-то столичном экономическом институте. В институте его должен знать упомянутый в начале дневника профессор или преподаватель Сергей Емельянович Радецкий (или Ратецкий, или Разецкий, третья буква в этой фамилии автором дневника выписана небрежно). В том же институте должен быть и профессор, которого Владимир в дневнике ласкательно называет Боголепычем. Начинаю поиск по этой «зацепке». Обращаюсь за помощью к директору Московского государственного экономического института. Нет, в этом институте таких профессоров или преподавателей не было. Но раз уж такое дело, он попробует выяснить, что можно, в Министерстве высшего образования. Но и это ничего не дало.

Связываюсь с Московским экономико-статистическим институтом. Результат тот же. Только в институте экономики Академии наук мне сказали, что фигурирующий в дневнике Боголепыч мог быть членом-корреспондентом Академии наук Боголеповым, но он умер в 1945 году. Словом, «зацепка» оказалась бесполезной.

Один из старейших сотрудников Всесоюзной справочной службы, за свою жизнь разгадавший тысячи ребусов с адресами и пропавшими людьми, утешая меня, сказал:

— Вы должны учитывать, что все учреждения, вместе взятые, знают о людях очень многое, но далеко не все. Все знают только сами люди.

Тогда я расценил это его изречение как фразу, не лишенную афористичности.

После этого не прошло и двух месяцев, как я убедился, что это не фраза, а совершенно точная формула, продиктованная опытом жизни.

Шла обычная читательская конференция в библиотеке. Я делился своими впечатлениями о Венском фестивале молодежи, а потом рассказал о работе над этой повестью и пожаловался на трудности, возникшие в связи с выяснением судьбы героя. Говорю и вижу, что один из читателей, пожилой, сильно поседевший мужчина, слушает меня не так, как остальные. Не то он волнуется, не то нервничает, не то злится. Потом он торопливо вынул из кармана блокнот, вырвал из него листок, что-то написал на нем и отправил по рукам к моему столу. Я прочитал записку. «Не уходите после выступления. Надо поговорить». Подпись неразборчива.

Теперь начал волноваться я.

Когда конференция закончилась, ко мне подошел тот пожилой человек.

— Кажется, я могу вам помочь в поисках вашего героя,— говорит он с места в карьер.

Я молчу и смотрю на него почти со страхом. Вдруг все, что происходит, окажется сном и этот человек сейчас исчезнет.

— Я знаю Володю и знал его семью. Судя по вашему рассказу, речь идет именно о них,— продолжает вполне земным голосом пожилой человек.

Сознание автоматически отмечает своеобразное построение его фразы, и я тоже почти автоматически спрашиваю:

— Почему его вы знаете, а семью знали?

— Дело в том, что отец Владимира погиб в начале войны, а мать умерла три года назад.

— А он где? — с трудом произношу вопрос.

— Здесь, в Москве.

— Где?!

Пожилой человек улыбнулся.

— Я не взял с собой записной книжки, но у меня есть его служебный и домашний телефон. Если хотите, пойдемте ко мне, я живу совсем рядом.

И вот я сижу в уютной комнате старого московского дома. Громадный письменный стол на львиных лапах завален книгами и бумагами. Похожий на тирольскую шляпу металлический абажур отбрасывает на стол прямоугольник яркого света. Я уже знаю, что хозяина комнаты зовут Родион Ильич, что он пенсионер, а до недавнего времени в течение почти четверти века — учитель истории и директор школы, в которой учился Владимир. Да, мы уже точно установили, что он знает именно моего героя.

— Володя был, как иногда любят говорить педагоги, гордостью школы,—рассказывает Родион Ильич.— В девятом классе он стал победителем общегородской математической олимпиады. И вообще это был мальчик талантливый. На вечерах он очень хорошо читал стихи. Его рисунки всегда выделялись на школьных выставках. Он уже тогда в совершенстве владел немецким языком и знал английский. Ну, а через него я, естественно, был знаком и с его родителями. Отец его историк — знаток средневековья. Мать тоже высокоинтеллигентная женщина. Она знала языки, хорошо играла на рояле. Но, правда, все эти ее качества оставались без применения, она свою жизнь посвятила семье...

Родион Ильич помолчал, качая головой.

— До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что этой семьи не стало. Спустя недели три после начала войны стало ясно, что с Володей в Литве случилась беда. Во всяком случае, о нем не было никаких сведений. Отец пошел записываться в ополчение. Его не взяли. Тогда он без всякого оформления сам отправился на фронт. Я его видел накануне. Он сказал мне: «Само средневековье топчет нашу жизнь. Не могу». И он ушел. Именно ушел. И где-то под Вязьмой попал под бомбежку, был тяжело ранен и скончался.

Я должен предупредить вас. Вам нужно тщательно продумать свой разговор с Владимиром Евгеньевичем. Характер у него нелегкий. Он очень тяжело перенес утрату родителей, особенно отца. Работает он сейчас на каком-то большом заводе, кажется, он там главный инженер. Скажу вам откровенно, по первому движению души я написал вам записку, а потом об этом пожалел. Я все думаю: могу ли я взять на себя, так сказать, посредничество в вашем знакомстве с ним? В общем, я бы предпочел, чтобы вы это сделали без всяких ссылок на меня.

Я обещал Родиону Ильичу подумать...

И вот в восемь часов вечера я набираю номер телефона Владимира. Протяжный гудок. Еще гудок. Еще. Трубка снята.

— Да.

— Владимир Евгеньевич?

— Да.

Я представляюсь и говорю, что мне крайне нужно с ним повидаться. Он долго не отвечает, потом спрашивает:

— Может быть, вы скажете, в чем дело?

Я отвечаю, что мне не хотелось бы говорить об этом по телефону.

Снова долгое молчание. Потом он говорит сухо и немного раздраженно:

— Позвоните в воскресенье в двенадцать часов.

Короткие гудки. А я все еще прижимаю трубку к уху. От волнения у меня взмок лоб.

До воскресенья три дня. Ничего не могу делать. Все думаю, как я буду с ним разговаривать. В воскресенье ровно в двенадцать звоню.

Снова слышу его голос:

— Вы можете приехать сейчас?

— Конечно. Я буду у вас через пять минут.

Старый московский дом. Вход со двора. Поднимаюсь на третий этаж. Сердце колотится так, будто взбежал на двадцатый. Нажимаю кнопку звонка.

Дверь открывает он. Он! Я так в этом уверен, будто видел его раньше. Рост выше среднего. Красивое строгое лицо. На висках густая седина. Когда я снимал пальто, он демонстративно посмотрел на часы.

— Проходите сюда.

Мы вошли в комнату, которая раньше, очевидно, была отцовской. На полках книги по истории на разных языках, словари, энциклопедии. Над письменным столом большой фотопортрет женщины, очень похожей на Владимира. Наверное, это его мать в молодости.

Владимир Евгеньевич сел в кресло у стола, а я — в кресло в углу комнаты.

— По правде сказать, я недоумеваю: зачем я вам понадобился? — сказал он.

Решаю сразу идти напролом.

— Дело в том, Владимир Евгеньевич, что у меня находятся ваши дневники военного времени.

ОКОНЧАНИЕ. СМ. «ОГОНЕК» №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25.

Он как-то пригнулся и сделал движение ко мне, но тут же откинулся на спинку кресла и, смотря мимо меня, спросил:

— Вы хотите мне их вернуть?

— Дневники я могу вам вернуть. Но на основании этих материалов я написал повесть.

Быстрым движением он переставил на столе тяжелую хрустальную пепельницу.

— Я протестую! Самым категорическим образом! — Он смотрел на меня гневно и в то же время встревоженно.— То, что в дневниках, писалось для себя, а не для публичного чтения. Каким образом они попали к вам?

— В этом виноваты вы сами.

Он пожал плечами.

— Отдавая сверток Ольге Михайловне Никишиной, вы разве не сказали ей, что если вы за ним не придете, она может поступить с ним по своему усмотрению.

— Я не помню этого! — сказал он решительно, но, помолчав, добавил:— Я мог сказать это, думая, что не останусь в живых. Но я жив, и сверток могу распоряжаться только я и никто другой. В общем, исходя из элементарной порядочности, вы просто обязаны вернуть мне дневники.

— А как вы, Владимир Евгеньевич, распорядитесь в отношении повести? — Я тоже начинал злиться.

Наступило долгое молчание, после которого он сказал:

— Это уже дело вашей совести.

— Я не стал бы работать над вашим дневником, не стал бы разыскивать по стране людей, знавших вас, не стал бы искать и вас самого, если бы совесть не говорила мне, что книга, над которой я работаю, будет полезна читателю.

— Чем? — быстро спросил он.

— Книга расскажет читателю, как из не подготовленного к большим испытаниям молодого человека формировался смелый боец за народное дело.

Владимир Евгеньевич неестественно рассмеялся.

— Вы наивный человек, если думаете воздействовать на меня подобной лестью. Если вы читали мои записи с минимумом внимательности, вы должны были усвоить, что жизнь все время учила меня скромности, а вы теперь дешевой лестью хотите пробудить во мне то, что я считал и считаю бедой своей юности. Неужели это вам непонятно? Наконец, в моих дневниках есть такое, чего не должен знать другой человек. Вы же, надеюсь, не позволяете себе вскрывать чужие письма?

— Нет, не позволяю. Но, во-первых, я дневник использую далеко не полностью. Во-вторых, я ваши дневники обработал в литературном отношении, что позволило и устранить многие неловкости и сделать дневники более интересными для чтения.

— Могу ли я прочитать то, что вы написали? — спросил он.

— Конечно. Я именно об этом хотел просить вас.— Я расстегнул портфель и положил на стол рукопись.

Владимир Евгеньевич показал на портфель.

— Дневники здесь?

— Нет. Они дома.

— Предосторожность? — усмехнулся он.

— Нет, я просто не думал, что наша встреча будет такой. Но вы не беспокойтесь, я их вам верну. И смею вас заверить, что ваши записи, кроме меня, не читал никто.

— Какой срок вы даете мне на чтение рукописи?

— Я уверен, что вы прочтете ее еще сегодня. Я просто ставлю себя на ваше место и думаю, что поступил бы именно так: прочел бы рукопись сегодня.

Наш разговор начал входить в более или менее спокойное русло.

— Владимир Евгеньевич, можно вам задать несколько вопросов?

— Попробуйте...

— Как сложилась ваша военная судьба после того, как вы отдали сверток Ольге Михайловне Никишиной?

— Все было более чем просто и менее чем интересно. Пробравшись через линию фронта, я стал солдатом и в этом высоком звании закончил войну в Берлине.

— А нельзя подробнее? Ведь читатели повести захотят узнать об этом. Они замучают меня письмами.

Владимир Евгеньевич пожал плечами.

— Это уже заботы ваши.

— Еще один вопрос. Если вы так щепетильно относитесь к своим записям, почему вы не съездили в Литву и не забрали там свой сверток? Во всяком случае, Ольга Михайловна делала все, чтобы там, в Литве, знали, где он находится.

— Я был уверен, что все это давно не существует. И я настолько захвачен работой на заводе, что некогда ворошить прошлое.

— Последний вопрос. Если не захотите, можете на него не отвечать. Ваши отношения с Маритэ Давидайтис?

Владимир Евгеньевич мгновенно рассердился:

— Вам для сюжета нужно, чтобы я женился на ней? В нашем роду мужчины женились не по сюжету, а по любви. А вы что же, то, что в дневниках, так сказать, переработали в любовь?

— Ни в коем случае. Но я побывал у Маритэ. Она человек вам не посторонний. В трудную минуту очень помогла вам. И даже не знает, живы ли вы.

И вдруг лицо у Владимира Евгеньевича стало задумчивым и грустным.

— Да. Тут, пожалуй, вы правы,— тихо произнес он.— Я должен был написать ей.

— Вы можете это сделать и сейчас. У меня есть ее адрес.

— Вы что, по совместительству еще и сваха? — На лице Владимира Евгеньевича первый раз улыбка была неэлой. Он встал.— Я обещаю вам прочитать рукопись. Дайте мне ваш телефон. Когда я прочитаю, позвоню.

На том наша встреча и кончилась.

Он позвонил спустя двенадцать дней. Выдержал характер и в этом.

Я снова пришел к нему. Теперь он держался иначе. Был деловито тороплив. Пододвинув ко мне рукопись, он сказал:

— Прочитал. Там на полях есть мои замечания, претензии, просьбы. Дело вашей совести посчитаться с ними или ими пренебречь. Делайте с вашей рукописью что хотите, но одно абсолютно категорическое условие: моя фамилия в ней фигурировать не должна. Смею надеяться на вашу порядочность. Вот так.

Вдруг он решительным движением открыл ящик письменного стола, вынул из него блокнот большого формата. Прикрыв его рукой, он еще раз посмотрел на меня и сказал:

— Боюсь, однако, что вы не поймете меня правильно.

Я улыбнулся и сказал:

— Постараюсь быть максимально сообразительным.

— Я хочу дать вам свой последний дневник. Речь не обо мне. Все эти дни я думал о вашей повести, представлял себе, как ее будут читать, что о ней будут думать, вернее, что будут думать о герое и его судьбе. И вот это последнее и привело меня к решению отдать вам дневник. Здесь все-таки есть кое-что, объясняющее читателю мое поведение. Этот дневник я начал писать в госпитале на окраине Берлина. Закончил в Москве. В нем есть то, что вас интересовало,— конец войны. Но есть и другое: мои мысли о себе. Пригодится — хорошо, а нет — так вернете мне вместе с другими моими записями.

23

Итак, читаем последнюю часть дневников Владимира.

«Война окончена. Лежу в госпитале уже двадцать четвертый день. Казалось бы, пустяковая рана, а такая коварная: не заживает, и все. Врачи говорят, будто это оттого, что я нервничаю. Нервы! Какие к черту нервы, когда у меня горит душа и костенеет мозг от мысли, что мой милый батя, всю свою жизнь изучавший средневековье, взял в руки оружие и пошел сражаться с ожившим средневековьем. И погиб. Мама пишет, что в дни перед уходом на фронт он говорил обо мне. «Я верю,— говорил он,— что наш мальчик окажется достойным своей Отчизны. Но я не могу сидеть в тылу, зная, что наш мальчик там, где средневековье, одевшееся в мундир фашизма, огнем и мечом терзает нашу родную землю и убивает наших людей».

Милый мой батя! Родной мой! Я старался оправдать твое доверие, старался как мог, как умел. А воевать ведь тоже надо уметь. Этому надо учиться. Я учился уже на войне. Теперь перед твоей памятью, милый мой батя, я снова и снова требовательно просматриваю всю свою военную пору. Конечно, многое, приведись мне это сделать теперь, я сделал бы лучше, умнее. Особенно отчетливо я понял это в последний период моей военной жизни. Хочу в нем отчитаться и перед собой. Это уже стало привычкой...

Итак, я оказался в районе литовского приморского курорта. Фронт был очень близко. В одну из ночей мне показалось, что он рядом. По шоссе валом валили отступающие гитлеровцы. Это было радостное и вместе с тем фантастическое зрелище. В темноте только на мгновение включались подфарники или засиненные фары. В лязге, грохоте и гуле, в бензиновой вони по шоссе двигались вперемешку танки, легковые машины, грузовики, штабные автофургоны и пешие солдаты. Иногда вдруг создавалась пробка, и поток останавливался. Слышалась страшная брань, остервенелые выкрики приказов — и движение возобновлялось. А стоявший вокруг лес уже озаряли зарницы фронта, и далекое его громыхание становилось все ближе. У меня было два автомата с запасными обоймами к ним и пять немецких гранат. Все это оружие я минувшей ночью взял в бою, напав на отставших от строя трех гитлеровцев.

И вот я сижу в кустарнике в десяти шагах от шоссе, по которому движется поток вражеских войск, и лихорадочно обдумываю, что мне делать. Первый позыв — швырнуть туда гранаты, а затем пустить в ход автоматы. Конечно, я нанесу врагу значительный урон, может быть, даже на какое-то время задержу движение. А дальше что? Врагов-то тысячи и тысячи. Они, конечно, быстро разберутся, что я один, и тогда мне конец. А как не хотелось погибать теперь, когда свои рядом! Я всячески отодвигал решение, успокаивая свою совесть примитивным объяснением, что действовать надо начать попозже, когда фронт будет еще ближе и когда мой маленький удар по врагу как бы сольется с могучим ударом наших войск. «А как ты определишь этот срок?»— спрашивала совесть. «Очень просто,— отвечал я.— Когда фронт будет совсем близко, это будет понятно ребенку». Совесть спрашивала: «А что если к тому времени перед тобой не будет уже этого скопища врагов, так как они успеют удрать дальше на запад?» На этом я разговор с совестью обрывал и снова начинал мучительно и лихорадочно думать, что делать.

Посмотрел на часы. Начинался второй час ночи. И вдруг мне показалось, будто громыхание фронта умолкло. И именно это подействовало на меня, как приказ. Словно фронт умолк специально, чтобы прислушаться, как я тут действую. Меня охватило какое-то безудержное и бесшабашное ощущение, в ушах у меня кричало: «Действуй! Действуй!»

Я раздвинул кусты, пригляделся к мешанине на шоссе, метнул туда одну за другой все мои пять гранат и прижался к земле. Взрывы, казалось, встряхнули дремучий лес. А там, на шоссе, возникло невообразимое. Кто-то в панике зажег яркие фары, и в их лучах я увидел форменное светопреставление: опрокинутые машины, среди них мечутся люди, два танка, скидывая в кювет автомашины, давя людей, прорываются вперед. Я взялся за автомат. Две обоймы первого автомата я выпустил безнаказанно. Паника на шоссе разыгралась еще больше. Меня даже рассмешило, как какой-то гитлеровец вопил без конца одно слово: «Мешок! Мешок! Мешок!» Но когда пошел в дело второй автомат, начали раздаваться и ответные выстрелы. Вокруг меня защелкали по сучьям пули. Затем я услышал за спиной лязг гусениц и треск ломаемых деревьев. Параллельно шоссе по лесу, точно обезумевший слон, проламывался танк. Он на ходу стрелял из орудий и пулеметов, но бил вслепую. Я прижался к земле, а когда танк прошел, побежал на восток, все больше углубляясь в лес.

Я бежал, наверное, часа два, не чувствуя ни

малейшей усталости. Изредка останавливался и слушал. Со стороны шоссе все еще доносилась страшная стрельба, но вскоре я ее уже не слышал. Тихо было и впереди. Где же фронт? Я взял немного левее, чтобы снова приблизиться к шоссе.

Начало светать. Я выбрал глубокую лесную лощину и на ее дне схоронился в густых кустах орешника. Приподнятое, бесшабашное настроение прошло, вместо него появилось успокаивающее сознание, что я все-таки сделал то, что мог сделать.

Но что будет дальше?

Когда день уже занялся вовсю, я сперва услышал приближавшиеся ко мне осторожные шаги, а затем и голоса. Никогда не забуду этих первых услышанных мною русских слов. Говорили двое: один — по-московски, а другой — окая.

— Ты махорку получил? — спросил окающий.

— Поменял на папиросы,— ответил другой.

— На, держи. Закурим для порядка.

Они остановились в нескольких шагах от меня, но я их не видел. Сердце мое билось в ребра, как ошалелое.

— Я курением занялся только на фронте,— сказал окающий.

— Наука нехитрая,—отозвался другой.— Меня батька бил за это еще в школьные годы.

Я раздвинул ветви орешника и теперь увидел их. Это были наши, советские солдаты. Они настороженно смотрели в мою сторону.

— Слышал? — тихо спросил один.

— Ветер,— так же тихо отозвался другой.

Не понимая, что я рискую нарваться на автоматную очередь, я начал вылезать из своей берлоги.

— Товарищи, товарищи!— бормотал я, от волнения не в силах произнести это слово громче.

Солдаты, направив на меня автоматы, пристально следили за каждым моим движением.

— Брось оружие! — тихо, но властно приказал окающий.

Я бросил.

— Руки вверх!

Я сделал и это. Окающий подошел ко мне, а другой остался на месте, держа меня на прицеле. Окающий быстро обшарил меня руками и, заглянув мне в глаза, спросил:

— Кто таков?

— Свой.

— Что значит «свой»?

Ну что я должен был им ответить? Не мог же я начать рассказывать свою биографию! И тут со мной произошло непонятное. Я заплакал. Подошел другой солдат. Они стояли и молча смотрели, как я плачу, до крови кусая себе губы.

— Что же с ним делать? — растерянно спросил окающий у товарища. Тот помолчал и сказал:

— Может, подойдет Лешка Масленников.

— А если не подойдет? Мы же с тобой на боевом задании.

Но Лешка Масленников подошел. Это оказался толстенький и румяный, как колобок, солдат. К спине его была прикреплена рация.

— Лешка, живей вызывай хозяйство! — приказал окающий.— Скажи, задержали неизвестного с оружием, говорит, что свой, но не поясняет. Спроси, что с ним делать.

— Резеда, Резеда, я Перелесок,— весело затараторил Колобок в микрофон. И потом с раскатом на букве «р» произнес:— Пррррием.— Прижав наушник рукой, он слушал ответ, выпучив веселые серые глаза.

Потом опять заговорил в микрофон, передал то, что сказал ему окающий, и снова:

— Пррррием.

Потом, выслушав ответ, он снял наушники и сказал:

— Приказано Полякову доставить его в штаб.

Приказ касался окающего солдата.

— Пошли! — сказал он мне с недовольным лицом и рукой показал, чтобы я шел впереди.

Молча мы шли по лесу километра два. За это время он только спросил, откуда я взялся.

Я ответил, что иду к своим через фронт из тыла.

— Ясно,— сказал он.

И на этом разговор кончился.

Вскоре мы вышли на поляну, где стоял добротный кирпичный дом, к окнам которого тянулись телефонные провода. Возле дома стояла автомашина — наша родная, видавшая виды «эмка». Рядом с машиной мирно беседовала группа солдат. Поляков сказал что-то стоявшему у дверей часовому, и тот скрылся за дверью. Через минуту он вернулся и крикнул:

— Веди его сюда.

Меня ввели в просторную горницу, в которой находились два офицера. Я смотрел на них, как завороженный, еле подавляя снова подступавшие слезы. Мой конвойный кратко доложил, где меня взяли. Ему приказали вернуться к оставленным в лесу товарищам. Он лихо стукнул каблуками, рывком повернулся и ушел.

— Расскажите, кто вы и что делали в этом районе? — устало спросил сидевший за столом офицер с наголо побритой головой.

Я начал рассказывать и начал, как говорится, от самой печки. Офицеры слушали меня терпеливо, не перебивая, изредка переглядывались. Когда я стал рассказывать, как первый раз попал к партизанам и что там со мной произошло, офицеры перебросились тихими фразами, и один из них вышел из дома.

— Погодите! — прервал мой рассказ другой.

Я замолчал.

— Мы вас сейчас доставим к одному майору. Вы все это должны ему рассказать.

В сопровождении уже другого конвойного меня повезли на «эмке». Дорога была недолгой, минут через десять мы въехали в большой, сильно разбитый курортный поселок и остановились возле здания с вывеской «Аптека». Здесь помещался какой-то, видимо, уже большой штаб.

Меня тотчас ввели в комнату, где за столом сидел спиной к окну и оттого плохо видимый мне широкоплечий офицер.

— Владимир? Не может быть? — услышал я и чуть не упал. У меня перед глазами все кругом пошло. Это был Иван Иванович. Тот самый Иван Иванович, вместе с которым мы шли тогда в Вильнюс.

Я уже не могу припомнить в точности, что мы говорили в эти первые минуты нашей встречи. Я снова плакал, а Иван Иванович отпаивал меня водой и смеялся, приговаривая:

— Ну и чудак же, чего реветь? Поздно реветь, все уже в порядке.

Немного успокоившись, я начал рассказывать ему о своих приключениях. Иногда он задавал вопросы, и я отвечал ему, ничего не тая. О себе Иван Иванович сказал более чем кратко. Почти две недели он был в руках гестапо, а потом с помощью подпольщиков ему удалось бежать. И все.

Потом снова речь пошла обо мне. Иван Иванович взялся помочь мне уехать в Москву, но я даже обиделся: не для того я, рискуя жизнью, рвался к своим, чтобы удрать подальше от войны. Тогда Иван Иванович сказал, что раз у меня нет офицерского звания, мне придется воевать рядовым солдатом. Но я ни о чем другом и не мечтал.

К следующему утру я уже был солдатом по всей форме. Меня включили в подразделение разведчиков дивизии. Тут снова началось наше наступление. И первый его рывок был таким стремительным, что я даже не заметил, как мы проскочили местечко, где я оставил свой сверток. А теперь я о нем и не думаю. К чему он мне? Не собираюсь же я хвастаться своими приключениями, когда вокруг меня кого ни возьми — настоящие герои и труженики войны! Вообще, когда я попал в среду военных разведчиков и получше узнал их, все совершенное мной сильно померкло в моих глазах. Какие это ребята!

Вот Леша Масленников, тот самый Колобок с рацией, который первый сообщил в «хозяйство» о моем задержании в лесу. У него два ордена Красной Звезды. Однажды он почти сутки пробыл в осенней, холодной воде, ведя наблюдение за вражеским аэродромом, расположенным на берегу озера. В другой раз он со своей рацией сидел на чердаке ветряной мельницы и корректировал огонь нашей артиллерии. Мельница загорелась. Он продолжал работать до последней возможности. У него руки все в следах ожогов. «Это оттого,— говорит он,— что через огонь пришлось пробиваться с чертовой рацией в руках. Без нее я бы проскочил, как миленький».

А Федя Свпетов. Я мылся с ним в бане. Гляжу, у него все тело в рубцах. Оказывается, он в начале войны служил возле границы и уже на третий день войны, раненный, попал в плен. Сидел в концлагерях, бежал и воевал вместе с польскими партизанами. Попал в руки гестапо и перенес там тяжкие пытки. Снова бежал, добрался до Белоруссии, пробился к своим и вот воюет как ни в чем не бывало. Он рассказал мне о себе так же кратко, как я тут написал, и прибавил:

— Да ничего интересного не было, на войне, как на войне.

И весь разговор...

А Сережа Пронин! Донбасский шахтер, наш неутомимый шутник и весельчак, автор всех прозвищ. Он награжден орденом Красного Знамени. Однажды он пошел в свободный ночной поиск «за языком». На дороге он напоролся на легковую автомашину. Возле нее на диком морозе хлопотали три гитлеровца. Один, видно, важная птица, покрикивал, чтобы торопились с ремонтом. Тогда Сережа двоих ликвидировал, а важного взял живьем. Это оказался штабной полковник. Но сам Сережа в перестрелке был ранен в ногу. Это не помешало ему, как он говорит, «стреножить полковника» и потом тащить его почти пять километров. Действительно, кого из моих новых товарищей ни возьми,— настоящие герои. Что я в сравнении с ними? Я в тылу имел целые месяцы каникул. А ведь они все шли на смерть каждый час, каждый день, и это длилось месяцы и годы.

В свою среду они приняли меня запросто и душевно. А какие все они верные, славные товарищи в бою! Я уже имел возможность убедиться в этом не один раз. Под Кенигсбергом мне спас жизнь лейтенант Крупин, он пришел мне на помощь, когда я, казалось, уже ни на что надеяться не мог.

В том же бою погиб Миша Долгушин. Разведывая вражеские огневые точки, он напоролся на пулеметное гнездо, а сзади шли его товарищи, по которым этот пулемет открыл огонь. Тогда Миша недолго думая закрыл собой амбразуру, повторив подвиг Александра Матросова. Говорят, ему тоже посмертно дадут Героя. Сделал ли бы я то, что сделал он? Не знаю. Не знаю...

Теперь расскажу о последнем бое, в котором меня ранило.

Берлин горел и рушился от могучих ударов нашей артиллерии и авиации. Но враг еще сопротивлялся и делал это с яростью обреченного. Большой урон он наносил нам при помощи фаустпатронов. Мое подразделение получило приказ пробраться вперед и вести очистку домов от фаустпатронщиков.

Перед самым рассветом мы начали очистку большого дома, который углом выходил на широкую площадь. Расположение дома было очень выгодным для фаустпатронщиков. Одного мы с Лешей Масленниковым прихватили еще на лестничной клетке. Он оказался майором войск СС. Потом мы все разделились по этажам. Мне, Леше и сержанту Коле Архипову достался третий этаж. Мы осторожно прочесывали комнату за комнатой. Ворвались в огромную комнату, и я на немецком языке скомандовал:

— Сопротивление бесполезно! Оружие на пол!

Немая картина. Гитлеровцев здесь не меньше двадцати: возле каждого окна по двое. Замечаю, что один из них осторожно тянет руку к лежащей на столе гранате. Ждать больше нельзя, и мы открываем огонь. Косим их длинными очередями. Через минуту здесь полный порядок. Но раздается стрельба в коридоре. Это выскочили гитлеровцы из соседних комнат.

Коля Архипов быстро закрыл дверь, а мы с Лешей придвинули к ней два стола. Гитлеровцы из коридора начали стрелять сквозь дверь. На огонь отвечаем огнем и тоже через дверь. Но тут произошло новое осложнение. Оказалось, что в нашей комнате не все гитлеровцы были убиты. Один из раненых выстрелил из фаустпатрона. И сразу комнату затопило оранжевое пламя. Даже рвавшиеся из коридора гитлеровцы оторопели. Коля Архипов оценил обстановку и скомандовал:

— Пробиваемся!

Я глянул на Лешу Масленникова, слышит ли он приказ, и вижу: он лежит на боку, а из-под него вытекает ручеек крови. Думать некогда. Я вскинул Лешу на плечо и под прикрытием огня Коли Архипова выбежал в коридор. Потом мы вместе побежали по коридору. Сзади стрельба. Пули сшибают штукатурку, но нас почему-то милуют, и мы успеваем свернуть на лестницу. Смотрим, с верхнего этажа к нам на помощь спешит группа Сережи Пронина.

— Рота, за мной! — орет он на весь дом. А с ним-то всего-навсего три бойца.

Я посадил Лешу Масленникова на ступени лестницы, а сам обратно в коридор вслед за Прониным и его ребятами. И Коля Архипов тоже.

Драка была отчаянная. Раз пять сходились врукопашную, но бой все же выиграли мы. Но тут меня ранило...

Вот так мы и очутились в госпитале вместе с Лешей Масленниковым. Лежим рядом. Ему сделали какую-то очень тяжелую операцию, и он еще весьма слаб, даже говорить ему трудно.

— Ничего, ничего,— шепчет он, кривя лицо в улыбке.— Важно, что войне конец и что мы ее сделали как надо...

Как я счастлив, что он будет жить и что я сделал для этого все, что мог!

В день, когда я из письма мамы узнал о гибели отца, я не находил себе места. Леша видел, что у меня какое-то горе, но ничего не спрашивал. Я сказал ему сам. Он долго молчал, а потом тихо проговорил:

— Я сам из Смоленска, там у меня все погибли. Все до одного: и брат, и сестра, и маманя с отцом.

Как ни говорят, что свое горе горше чужого, я, услышав сказанное Лешей, буквально замер. Да, вот и горе мое тоже далеко не единственное на свете.

...А Москва, какой была, такой и осталась. Будто и не было войны. Она такая же милая и единственная на всей земле. Но вот с мамой беда. Она постарела сразу лет на двадцать и стала какой-то странной, отрешенной от всего. Вроде живет и не живет. Мне нужно сделать все, чтобы отогреть ее душу. Сделаю!

И сам отдыхать не буду. Нельзя останавливаться после такого разбега. Иду оформляться на завод. Инженеры очень нужны. Мне там так обрадовались, будто они всю войну ждали именно меня.

Итак, начинается новая моя жизнь, жизнь после войны. И эту жизнь надо прожить достойно. По-моему, нет ничего страшней для нас, людей войны, прийти в эту новую жизнь с расчетом, что твои военные заслуги будто бы еще не оплачены народом и ты имеешь теперь право на какое-то особое положение в жизни.

Неправильно это! Каждый наш человек во время войны сделал то, что мог, то, что обязан был сделать, и военная слава у всех у нас общая.

Ну, а если родина позовет на свою защиту, мы первыми встанем в строй, и с нами будет весь наш военный опыт, вся наша любовь к советской отчизне и вся наша ненависть к ее врагам. Вот с этим ясным сознанием я и буду жить».

Каждый день в семь часов утра из темных, как тоннель, каменных ворот старинного московского дома выходит высокий, чуть сутулящийся мужчина. Посмотрев на часы, он энергично шагает к станции метро «Новокузнецкая». Купив в киоске газету, он спускается на подземный перрон, садится в голубой поезд и мчится к далекой окраине Москвы. Всю дорогу он читает газету. Услышав рядом молодые голоса, он из-за газетного листа внимательно посмотрит на веселых парней и девчат, и на лице его мелькнет какая-то беспокойная улыбка: не видит ли в них он себя, того парня, который двадцать лет назад вот так же беззаботно жил, не зная, не ведая, что судьба готовила ему тяжкое испытание.

На последней станции метро он поднимается на поверхность и пересаживается в троллейбус. Газета небрежно засунута в карман, лицо сердито-сосредоточенное,— всеми своими мыслями он уже на заводе.

Владимир Евгеньевич едет на работу...

Ощупью в полдень

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

— Нет, махорочка, что ни говори, штука стоящая. Возьми вот сигареты нынешние, особенно с фильтром. Крепости в них никакой — кислота одна. Изжога потом. Кислотность у меня очень нервная: чуть что не по ней, сразу так запаливает — соды не хватает. А из махры к концу дня свернешь «козу», пару раз затянешься — мигом мозги прочищает.— Шарапов говорит медленно, не спеша, оглаживая и ровняя слова, лениво проталкивает их между губами.

— Ну и как, прочистило сейчас?

— Трудно сказать...

Тихонов нетерпеливо барабанит пальцами по спинке стула и бормочет:

— Непонятно, непонятно все это...

Шарапов спокоен.

— Поищем, подумаем, найдем.

— А если не найдем?

— Это вряд ли. И не таких находили...

— Тогда давай думать, черт возьми, а не тянуть баланду про махорку!

Шарапов протягивает руку и снимает с электрической плитки закипевший чайничек, достает из ящика стола большой хрустальный фужер с отбитым краем. Долго, задумчиво протирает его листом бумаги, насыпает сахар и кофе. Потом наливает из эмалированного чайничка кипяток, смотрит, как замирает желтой пеной коричнево-черная жидкость. Делает он все спокойно, истово, почти торжественно. Тихонов сидит, закрыв глаза, слышит, как Шарапов со вкусом причмокивает, довольно кряхтит, приговаривает: «Эх, хорошо!» Потом фужер с легким звоном стукается о мрамор письменного прибора, и Шарапов говорит негромко:

— Подъем, сынок. Поехали с самого начала...

Тихонов открывает глаза и перелистывает первую страницу картонной папки, надписанной аккуратным канцелярским почерком: «Уголовное дело № 2834 по факту убийства гр-ки Т. С. Аксеновой. Начато 14 февраля 1966 года. Окончено...»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ АБСОЛЮТНОГО

ПОНЕДЕЛЬНИК

1

Ветер сник, и снег пошел еще сильнее. Было удивительно тихо, и эту вязкую, холодную тишину внезапно распорол пронзительный крик. Потом еще раз и еще, как будто кто-то рядом разрывал огромные листы жести.

— Что это? — спросил Тихонов постового милиционера.

— Павлины проклятущие. Их тут, в Ботаническом саду, в клетке держат. Прямо удивление берет — такая птица важная, а голос у нее вроде в насмешку.

— Ладно. Дайте-ка фонарь.

Тихонов нажал кнопку, и струя света вырубила в серебристой зимней ночи круг снега, перечеркнутый человеческим телом. Тихонов подумал, что в цирке так вот освещают воздушных гимнастов. Он опустился на колени прямо в сугроб и увидел, что снежинки, застрявшие в длинных ресницах, уже не тают. Большие глаза были открыты: казалось, что женщина сейчас прищурится от яркого света фонаря и снежинки слетят с ресниц.

Но она лежала неподвижно, широко разбросав руки, и с удивленной улыбкой смотрела сквозь свет в низкое, запеленатое снегопадом небо. А снег шел, шел, шел, будто хотел совсем запорошить ее каменеющее лицо.

— В морг...

2

Тихонов держал сумку осторожно, за углы, медленно поворачивал ее под косым лучом настольной лампы. Черная кожа, блестящий желтый замок в тепле сразу же покрылись матовой испариной. Комочек снега, забившийся в боковой сгиб, растаял и упал на стол двумя тяжелыми каплями.

Стас щелкнул замком и перевернул сумку над листом белой бумаги. Сигареты «Ява», блокнот, шариковый карандаш, коробочка с тушью для ресниц, десятирублевка, мелочь, пудреница, белый платочек со следами губной помады. Стас почувствовал себя скверно, как будто без разрешения вошел он в чужую жизнь и подсмотрел что-то очень интимное. Даже не в жизнь — туда опоздал. Он пришел в чужую смерть.

Из бокового кармашка сумки Тихонов вынул удостоверение и конверт. В коричневой книжечке с золотым тиснением «Страна Советов» написано: «Аксенова Татьяна Сергеевна. Специальный корреспондент». И сбоку — фото: лицо с большими удивленными глазами и улыбкой в уголках губ. Тихонов подумал, что обычно фотографии на документах почему-то очень не похожи на людей, личность которых они удостоверяют. А эта похожа. Даже после смерти. Конверт был без марки, со штампом «доплатное» и московскими штемпелями отправки и получения. Внутри лежал лист бумаги, неаккуратно вырванный из ученической тетрадки «в три косых». Размашистым почерком: «Вы скверная и подлая женщина. Если вы не оставите его в покое, то очень скоро вам будет плохо. Вы поставите себя в весьма опасное положение».

Тихонов покачал головой: неплохо для начала.

«Москва, Теплый переулок, д. 67, кв. 12. Аксеновой Т. С.»

Тихонов снял трубку.

— Адресное? Тихонов из МУРа. Дайте справочную на Аксенову Татьяну Сергеевну, журналистку. Так, так. Все правильно. Нет, это я не вам. Спасибо.

Обратного адреса на конверте нет. Письмо было получено два дня назад.

В блокноте исписаны только первые две страницы. Собственно, не исписаны, а изрисованы. Какие-то фигурки, отдельные короткие фразы, слова между рисунками: «Корчится бес», «Белые от злобы глаза», «Старик Одуванчик», «Страх растворяет у труса все человеческое», «Ужасно, что все еще...», «Верила глупая баба!», «А может быть, не он?», «Он, он, он!».

3

— Гражданка Евстигнеева, расскажите теперь все по порядку.

— С самого начала?

— С самого...

— Значит, Нюра приехала ко мне насчет холодильника...

— Нюра — это Анна Лапина?

— Ну, конечно! Кто же еще! У нее очередь на «ЗИЛ», а у меня на «Юрюзань». Она, значит, говорит, что, мол, твоя очередь еще не скоро, а у меня...

— Надежда Петровна, начните с того момента, как вы вышли на улицу.

— Так, пожалуйста! Значит, полдевятого Нюра стала собираться, я ей и говорю: «Давай до автобуса провожу». А дом мой — прямо напротив гостиницы «Байкал», наискосок немножко. Я говорю Нюре: «Ты здесь не садись на автобус, здесь всегда народу полно. Пошли лучше через пустырь, там последняя остановка двадцать четвертого. Все сойдут, а ты сядешь, вокруг гостиницы объедешь, зато до самого центра сидеть будешь. За пятак, как в такси, поедешь». Ну, и пошли, значит. Тропинка там утоптана...

— Скажите, пожалуйста, тропинка прямо к автобусной остановке выходит?

— Нет, остановка на Сусоколовском шоссе. А на краю пустыря, значит, дом шестнадцать стоит. Вот как его обогнешь, тут и остановка будет. Мужчина этот самый еще у начала тропинки нас с Нюрой обогнал. А впереди-то и шла убитая.

— На каком расстоянии от вас шла женщина, которую убили?

— А кто его знает? Вам же точно надо? А я разве мерила? Думаю, что шагов пятьдесят. А может, шестьдесят! Если б заранее знать...

Тихонов внимательно слушал, стараясь тщательно рассортировать все, что говорила эта пожилая расстроенная женщина. Ведь она и ее подруга Анна Семеновна Лапина были единственными очевидцами убийства.

— Как выглядел мужчина?

— Как? Обыкновенно вроде. Высокий, в кепке, пальто, кажись, было темное. И сумка в руке...

— Гражданка Лапина, а вы не разглядели его в лицо?

— Да где же? Темно ведь. Тропинка узкая, я спиной к нему повернулась, когда он нас обгонял.

— По тропинке двое рядом могли идти? Или одному надо было посторониться?

— Так я ж про то и говорю! Одному отступить надо было, не то нога в снег проваливалась.

— А какая сумка у него в руке была?

— Да это, по-моему, и не сумка вовсе, а чемоданчик. Вот вроде как студенты носят.

— Вы бы могли этого человека опознать?

Женщина подумала, помялась:

— Не, боюсь грех на душу взять. Темно ведь было. Так и в тюрьму ни за что упечь можно.

Тихонов усмехнулся:

— Так просто человека в тюрьму не упекают... Давайте дальше. На тропинке вас было четверо: вы с Евстигнеевой, перед вами мужчина, перед ним — та женщина...

— Правильно. Когда дошли до середины пустыря, женщина уже подходила к самому краю, а мужчина ее нагонял. Потом подняла голову, смотрю — ни его, ни ее не видать. Прошли мы еще немного, глядь — лежит она, горемыка, на снегу. А его уж и след простыл.

— Давайте еще раз восстановим последний момент, когда все были на тропинке. Вы видели, как он обгонял женщину?

— Да, видела.

— После этого они сразу исчезли из виду?

— Нет. Я еще видела, как он шел немного впереди, а она сзади.

— Сколько метров было приблизительно от вас до них?

— Да так, если на глаз, метров пятьдесят, наверное.

— А от них до дома шестнадцать?

— Метров тридцать,— неуверенно сказала Лапина.

— Если мы выедем на место, вы сможете показать, где вы все находились?

— Думаю, что смогу...

4

«...ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я, судебно-медицинский эксперт Сорокин, на основании изучения обстоятельств дела и данных с судебно-медицинского исследования тела гражданки Аксеновой Т. С., двадцати восьми лет, с учетом:

1. характера раневого канала, направленного сзади вперед, сверху вниз, несколько слева направо и слепо заканчивающегося на внутренней поверхности четвертого левого ребра;

2. особенностей краев раны — круглой формы, ровных, без осаднения;

3. наличия в левой лопаточной кости округлого отверстия, повторяющего форму оружия, диаметр которого соответствует размеру раны;

4. отсутствия пояснков осаднения и ожога;—

прихожу к заключению, что смерть Аксеновой наступила в результате проникающего ранения левого легкого и сквозного ранения сердца, с последующей тампонадой его, причиненного длинным (не менее 17—18 см) остроконечным орудием, действующим по направлению своей продольной оси, вероятнее всего, толстым шилом...»

Тихонов даже присвистнул:

— Ничего себе! Шилом! Прямо пещера Лейхтвейса какая-то!

Шарапов еще раз внимательно просмотрел акт экспертизы.

— Шилом. Надо же! Так что у тебя есть, Стас?

— Вот смотри, Владимир Иваныч: план, составленный по обмеру и показаниям Евстигнеевой и Лапиной на месте убийства. Длина тропинки — сто восемнадцать метров. Тело Аксеновой лежало на расстоянии двадцати четырех метров от дома шестнадцать. Обе свидетельницы утверждают, что неизвестный обогнал Аксенову метров за десять — двенадцать от этого места. Это и непонятно. После того, как он ударил ее шилом в спину,— больше ведь и некому — она сделала еще около двадцати шагов и упала, даже не вскрикнув.

Шарапов осмотрел лист с одной стороны, потом зачем-то перевернул его вверх ногами. С обратной стороны лист был покрыт столбиками цифр; они умножались, складывались, делились, вычитались.

— Что это за арифметика?

— Да пришлось вспомнить: «Пешеход вышел из пункта А в пункт Б. Через час следом за ним выехал велосипедист...»

Шарапов кивнул:

— Понял. Что получили?

— Исходные данные у меня очень приближенные. Я сделал три варианта: на разную скорость ходьбы убийцы, убитой и свидетельниц. Потом три варианта на разную засечку интервалов, через которые Евстигнеева и Лапина видели Аксенову и убийцу на тропинке. Потом привел их к средним результатам.

— И что?

— Несообразность. Лапина говорит, что, взглянув последний раз перед собой, никого на тропинке не увидела. А убийцу, по моим расчетам, она должна была увидеть. Уже после того, как Аксенова упала.

— Ладно, поехали на место...

5

Все длилась эта бесконечная ночь. Снегопад немного стих, и прожектор с оперативной машины просвечивал почти всю тропинку — от дома шестнадцать до корпусов гостиницы «Байкал».

Шарапов сказал:

— Здесь она упала. Ему осталось пройти всего метров десять, потом он исчез в тени от дома шестнадцать. Видишь, дом заслоняет свет фонарей на шоссе. Поэтому Лапина его и не видела.

— Может быть,— сказал Тихонов.— Но что-то здесь не то...

Он махнул рукой, и прожектор на оперативной машине погас.

Мгла, непроницаемая, прошитая белесыми стежками снегопада, повисла над пустырем.

— Земля была безвидна и пуста, и тьма царила над бездной,— грустно сказал Шарапов.

Они прошли по тропинке до шоссе, где ветер на столбах с визгом раскачивал фонари. Последней дорогой Тани Аксеновой, которую она не прошла до конца. Здесь снегопад сатанел совершенно, лип к лицу, лез в рукава и за шиворот. Хлопнула сухо дверца машины, и Шарапов сказал:

— На Петровку...

ВТОРНИК

1

Ключ слегка заедало в замке, и, чтобы открыть дверь, его надо было быстро покрутить несколько раз налево-направо, подергать туда и обратно. Тихонов чертыхнулся, но ключ повернул все-таки нежно, дверь отперлась. В кабинете было сине от утренних зимних сумерек и холодно. «Черти-хозяйственники,— меланхолично подумал Стас,— окна, наверное, заклеют к Первомаю». Стекло покрылось толстой узорной изморозью. Не снимая пальто, Тихонов подошел к столу и включил электрическую плитку. Снял пальто, толстый шарф бросил на спинку стула. После вчерашней ночи он чувствовал себя разбитым. От теплого воздуха плитки его снова потянуло в сон. «Хорошо бы пойти в ночные сторожа! Сиднь себе в тулупе, в валенках, в малахае на свежем воздухе. И спишь. Красота! А утром сменился — и снова спишь. Лафа!» Стас усмехнулся, вспомнив это слово. Во время войны у всех мальчишек высшую меру блаженства обозначало слово «лафа». А потом, так же неожиданно, как и появилось, оно исчезло бесследно.

Тихонов потянулся изо всех сил — с хрустом. Бабушка говорила в детстве: «Смотри, высочат все кости из гнезд, будешь вбок-поперек расти».

Он встал, походил по кабинету.

«Начнем обзванивать автобусное хозяйство».

Звякает диск телефонного аппарата.

Шесть цифр:

— Пожалуйста, дайте начальника эксплуатации.

Шесть цифр:

— Попросите к телефону старшего диспетчера.

Шесть цифр:

— Линейную службу прошу.

Шесть цифр:

— Начальника четвертой колонны. А! Очень приятно. Говорит старший оперуполномоченный МУРа Тихонов. Нет, нет, с вашими ничего не случилось. Вы мне сообщите, пожалуйста, каков интервал движения двадцать четвертого маршрута в районе Владыкина между 20 и 21 часами. Сколько? 11 минут? Так. Теперь второй вопрос. Сообщите фамилии водителей, проехавших Владыкинский конечный круг с 20 часов 20 минут до 20 часов 45 минут. Записываю. Гаврилепко — 20.26, Демидов — 20.37, Лампси — 20.48. Спасибо. Когда они работают сегодня? Очень хорошо. До свидания.

2

Тихонов вышел на Петровку, обогнул Екатерининскую больницу, двинулся по Страстному бульвару и Пушкинской площади. На воздухе сонливость прошла. Негромко поскрипывал под наблуками снег, пышно лежал на скамейках высокими «пупецкими» перинами. Стас на ходу зачерпнул ладонью ком тяжелого мягкого снега, скатал тугой, жесткий шарик и бросил его в ствол старого развесистого тополя. Снежок с хрустом разбился, и сразу же с ветвей посыпались тяжелые белые хлопья. Впереди шла высокая тощая старуха. Она обернулась и сказала хрипло:

— Ты что, со вчера не проспался? Ишь, бездельник, шутки придумал!

Стас быстро ответил:

— Миль пардон, мадам!

Старуха погрозила прямым пальцем, похожим на обгорелый сучок.

— То-то!

Тихонов знал эту старуху. Летом она прогуливала на веревочке по Страстному бульвару огромного рыжего петуха по имени Пьер. Обычно старуха громко беседовала с этим Пьером по-французски. Поэтому Стас сразу выложил все свои познания во французском. Помогло. Стас подумал, что каждому человеку, видимо, отпущен какой-то лимит любви и он должен его непрерывно расходовать, чтобы не разрушить баланс своей жизни. Ужасно обидно: людям нужно еще так много доброты и любви, а кто-то любит бессмысленного рыжего петуха...

Около стеклянного навеса кинотеатра «Россия» толпились первые зрители. В витрине «Известий» вывешивали фотомонтаж «Вчера и завтра Якутии», школьники положили на снег у памятника Пушкину цветы. Тихонов сел в троллейбус. На Кропоткинской сиреневым облаком поднимался над бассейном пар, мятыми светлыми кругами еще горели над водой прожекторы. По Метростроевской, с лязгом размахивая кривыми железными руками, ползли снегоуборочные машины, и шоферы самосвалов, глядя, как проседают под грудами снега кузова, кричали:

— Ха-а-рош!

Москва жила своей жизнью. Тихонов ехал в Теплый переулок.

Он поднимался по лестнице медленно, останавливался на площадках. Больше всего его страшила минута, когда он позвонит и из-за двери спросят: «Кто там?» Кто там? Десятки раз раньше звонил, спрашивали, и он отвечал: «Откройте. Из уголовного розыска». Иногда в ответ можно было получить через дверь пулю или плотный заряд дроби. Так убили Толю Панкратова. Молодой был совсем, забыл, что отвечать надо, стоя сбоку от двери. Мерзкий холодок под ложечкой в таких случаях не проходит никогда. Но и к этому привыкаешь. Нельзя привыкнуть к необходимости сказать кому-то, еще неизвестному, за дверью: «Ваша дочь сегодня убита...»

Ну, Стас, так кто там? А? Капитан милиции Тихонов, двадцати восьми лет, холостой, последний год в комсомоле, по мнению начальства, способный сыщик, по собственному убеждению, человек, еще не нашедший своего призвания и не решившийся начать новую жизнь.

Самое глупое, до чего может додуматься человек,— это решить начать новую жизнь. Стас знает это точно. Волевые люди, принявшие такое решение, мучаются долго, пока не выработают какие-то эрзацы, хотя бы внешне непохожие на прошлое. И продолжают спокойно и весело жить по-старому. А вот с неволевыми людьми просто беда. Стас — человек безвольный. Часто он просыпается с твердым решением начать новую жизнь, обдумывает все ее аспекты в троллейбусе, по дороге на работу. Вместо обычной шутки Стас сухо козыряет постовому в воротах и не бежит по лестнице на четвертый этаж, а дожидается лифта. Открывает вечно барахлящий замок в своем кабинете, садится за стол и обдумывает рапорт начальству об увольнении из милиции. Потом прикидывает, кем он сможет работать на «гражданке». Лешка Пинчук, бывший следователь первого отдела, стал корреспондентом «Московской правды», Тихонравов — заместителем директора самолетостроительного завода. По общим вопросам, конечно. А Иван Петренко пошел администратором в цирк. Правда, Петренко не сам ушел, а «ушли» его из милиции...

Потом раздумья Стаса обрывает телефонный звонок, и тягучий голос Шарапова гудит в трубке:

— На проспекте Мира вооруженное ограбление сберкассы. Инкассатор ранил одного из бандитов. Ты старший группы. Савоненко, Ластиков и Дрыга с тобой. Давай, быстро!

Тихонов почти автоматически вскакивает, передергивает затвор своего «макарова», засовывал его на ходу в задний карман брюк, и бежит вниз в оперативную машину. И ныряет с головой в колготу розыска, преследования, звонков, обысков, опознаний... А вечером, поднимаясь в лифте к себе домой, он прислоняется к красной исцарапанной стенке, потому что ноги дрожат от усталости и уходящего напряжения, и думает, что Дрыгу надо завтра послать домой и вернувшемуся из тюрьмы Колюне-Иностасу, а Лепилину-эксперту надо предложить сделать новые снимки в косо падающем освещении: на сейфе были следы; и поехать со следователем к прокурору — получить санкцию на обыск у Галки-Миллионерши, а фарцовщика Берем-Едем надо взять прямо утречком в постели. Знаем, куда диски золотые поплыли! И еще надо, надо, надо...

Стас падает в постель и засыпает мгновенно, не успев подумать, что так и не начал сегодня новую жизнь и прошедший день был похож на десятки других. Об этом он вспомнит только утром. Но завтра об этом будет некогда думать. Завтра дело будет в разгаре. О новой жизни придется подумать, когда дело закончится и наступит пауза. Но тогда позвонит Шарапов, как он позвонил вчера:

— Стас, женщину убили во Владыкине...

Тихонов поднялся до четвертого этажа, остановился, вынул из кармана записочку: «5-й этаж, квартира 49». Все, надо идти. Он повернул на последний марш и увидел, что дверь в квартиру отворена. Стас вошел в прихожую. Здесь стояли тихие, заплаканные люди. Значит, опоздал. И впервые Тихонову стало легче оттого, что кто-то его опередил. Полный мужчина негромко говорил по телефону, иногда голос его срывался:

— Это же не люди, а бюрократы, я вам говорю! Это же что-то невозможное! Я же сказал, что автобус послали в морг!

Он с размаху бряпнул трубку на рычаг и повернулся к Тихонову.

— Здравствуйте. Арон Скорый, заведующий редакцией. Иначе говоря, заместитель главного редактора по хозяйственной части. Ах, какое горе! Кто бы мог подумать! Вы, если не ошибаюсь, Константин Михайлович?

— Нет. Я Станислав Павлович. Но это не имеет значения.

— Видит бог, что да, не имеет. Перед горем все равны. Да-да-да.

«Вот привязался Скорый — Почтовый — Пассажирский! — с досадой подумал Стас.— А кто же это Константин Михайлович? Она вроде незамужняя...»

— Простите.— Он отодвинул расстроенного толстяка и вошел в комнату.

Седая женщина, повязанная черной косынкой, сидела в углу на диване. Она не плакала, а только тихонечко раскачивалась и повторяла беспрерывно:

— Донюшка, моя донюшка, за что ты меня так? Таточка моя нежная, за что же ты? Что мне жить без тебя? Донюшка моя, донюшка...

Около нее, обняв за плечи, сидела девушка с опухшими, красными глазами и говорила:

— Ну, мамочка, дорогая, перестань! Перестань, мамочка...

Женщина все время раскачивалась.

— Донюшка моя светлая, солнышко мое, Таточка, убили меня вместе с тобой, Таточка...

Стас осторожно прошел к окну. Вдруг женщина подняла голову и увидела Тихонова:

— Вы с работы с Таточкиной?

Стас немного растерялся, неожиданно остро почувствовал свою неуместность здесь и сказал угрюмо:

— Я из милиции.

Женщина смотрела на него долго, внимательно, и Стасу стало нестерпимо страшно: такое чудовищное страдание было в этих выцветших глазах.

— Подойди, сынок,— сказала женщина вдруг охрипшим голосом.

Стас подошел.

— Наклонись.— Стас нагнулся, и она провела ледяной ладонью по его лбу, и он сразу вспомнил, как ночью прикоснулся рукой к уже окоченевшему лицу Татьяны.— Дочку мою, Таточку, убили,— сказала женщина тихо. И вдруг в голос, от всего рвущегося сердца закричала:

— Уби-и-ли-и! Донюшку мою! Кровиночку мою родную!

Девушка обняла ее, охватила крепко, как будто хотела остановить рвущийся из нее крик.

— Мамочка, перестань! Ты убьешь себя!

— Ой, Галенька, что жалеть-то меня? Убили меня сегодня, не хочу больше жить. Зачем жить мне? Как домой пойду, если завтра положат ее в землю ледяную?

Какая-то старуха громко зарыдала. Стас окаменел. Женщина повернулась к нему.

— Сынок, дожить хочу только, как поймают их! Если не поймаешь, зря живешь ты на земле. Слышишь, это мать тебе говорит!..

Галя крикнула:

— Ну зачем так, мамочка!

— Галюшка, человека убили! Дочь мою убили! Все люди на земле кричать должны: человека убили! Какого человека уби-и-ли-и-и!..

...Тихонов час подряд расспрашивал в соседней комнате Галю обо всем, что могло иметь отношение к убийству Тани. Ничего! Ничего, ровным счетом ничего девушка не могла сообщить полезного. Уже перед самым уходом вспомнил:

— А кто такой Константин Михайлович?

— Это Ставицкий — Танин приятель. Одно время они даже пожениться хотели. Но он скрыл от нее, что был женат. А она врунов ненавидит. Вот и пошло у них вкривь и вкось. Но все-таки они видятся иногда...

Девушка не замечала, что говорит о Тане, будто она должна скоро прийти...

3

Тихонов шел по улице, раздумывая, где лучше встретиться с водителями автобусов: поехать в парк или перехватить их на остановке «Владыкинский круг». Оба варианта имели свои плюсы и минусы. В парке можно было поговорить обстоятельно: на линии шоферов поджимал график. Но встреча на остановке психологически целесообразней: им придется раскручивать назад только нить событийных воспоминаний — обстановка полностью сохранялась. С этим нельзя не считаться. Впрочем, подумал Стас, если не выйдет, вызову их на Петровку и попробую копнуть глубже.

Он приехал во Владыкино задолго до пяти и решил еще раз пройти по тропинке. На том месте, где упала Таня, снег был уже плотно утоптан, по тропинке деловито шагали люди. Стас дошел до гостиницы «Байкал», бессознательно считая шаги. Потом повернул обратно. Здесь она упала. Лапина говорит, что вот тут убийца еще шел впереди. Сколько же шагов сделала Таня со смертельной раной в сердце? Тропинка заворачивала за дом шестнадцать и кончалась на автобусной остановке. Евстигнеева помнит, а может быть, ей кажется, что она помнит, будто сразу после того, как они нашли Таню, раздался гул уходящего автобуса...

Шофер Гавриленко не помнил.

— Бес его знает! У меня длинных мужиков в черных пальто и кепках, почитай, сотня за день проедет...

Тихонов на него и не очень-то рассчитывал. Машина Гавриленко ушла в 20.26. А Евстигнеева говорит, что они вышли из дома минут двадцать девятого. За шесть минут они дойти почти до самой остановки не могли. Убийцу могли, вероятнее всего, увезти Демидов или Лампси.

Увез Демидов. Толстый, с маленькими серыми глазками и красным носом, в голубоватых прожилках, он говорил спокойно, ковыряя каблуком кирзового сапога снег около кабины:

— Когда народу много, еще совестятся. Вроде все на тебя смотрят: давай пятак. А как пассажиров сзади нет, так некоторые мимо кассы все боком шмыгнуть норовят. Проездной, мол. А я двадцать девять лет в автобусе баранку кручу — меня хрен обманешь. Я «зайца» издаля вижу, и сразу ему по радио в салон: «Гражданин, предъявите проездной билет или опустите деньги за проезд в кассу». Так вот этот, что вы спрашиваете, этот нет. Он вошел аккурат вот здесь, и еще какая-то старуха тоже. Старуха пятак в заднюю кассу бросила, а он стоит, в карманах мелочь копает, билет брать не торопится. Я микрофон включил и говорю: «Граждане, приобретайте абонементные книжечки стоимостью пятьдесят копеек на десять поездок. Они экономят ваше время». Тут он подошел к окошечку, засмеялся и говорит: «Батя, давайте сэкономим мое время»,— и купил книжечку. Опустил билетик в кассу, вернулся ко мне и говорит — окошечко у меня еще открыто было:

«А гетеродин, батя, в радиоле твоей менять надо. А то, смотри, хрипом своим распугаешь всех пассажиров». Это он кстати заметил: динамик мой — ни к чертям. Вот и все. Потому и запомнил. А так бы — нет. Много же людей — молодых и длинных, а про пальто черное и говорить не стану. Вообще-то парень вроде приличный...

Рассудительный дядя, молодец. Тихонов спросил:

— А где сошел этот парень?

— Ну-у, этого я, конечно, не заметил. Народу на следующей остановке много село, да и ни к чему мне смотреть за ним. А вообще-то, ежели не секрет, на кой он вам ляд сдался?

— Дело в том, что, по всей видимости, этот «приличный» парень, перед тем как сел в ваш автобус, убил человека...

— Ну-у! Этот парень?! Да-ают, бандюги... И ограбил?

— Не думаю. Скажите, Иван Михалыч, узнали бы вы этого парня?

— А то как же! Я же с ним разговаривал...

— Ладно. Если вспомните еще что-нибудь или новости какие появятся, позвоните мне по телефону 99-84. Фамилию свою я вам уже сказал — Тихонов. Всего хорошего.

— Всего. Если будет чего, уж, конечно, позвоню...

Зимний день догорел, стало совсем темно. Вспыхнула зеленая световая вывеска на крыше гостиницы, зажглись фонари на Сусоколовском шоссе. Небо расчистилось немного, и в рваных прорехах серых низких облаков стало видно беспокойное мерцание скупых маленьких звезд. Сильно похолодало. Тихонов ежился на пронзительном ветре, тер руками покрасневшие уши. Долго стоял на остановке, пропуская уютно гомонливые, упруго дышавшие теплом автобусы. О чем-то думал. Потом махнул рукой и сел в очередную машину. В тепле его разморило, и снова захотелось спать. Он приехал на Петровку, поднялся к себе, снял телефонную трубку:

— Адресное? Тихонов у аппарата. Дайте, пожалуйста, запрос на Ставицкого Константина Михайловича. Постарайтесь подготовить к завтрашнему утру.

Продолжение следует.

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Ощупью в полдень

СРЕДА

1

Газетно-издательское объединение находилось в огромном сером доме с галереями, длинными балконами, круглыми окнами. Дом был похож на старый пассажирский корабль, во время наводнения случайно попавший на городскую улицу и застрявший здесь навсегда.

Тихонов знал, что «Страна Советов» помещается в левом крыле на четвертом этаже.

На бесчисленных дверях белели табличии с фамилиями. Рядом с туалетом почему-то висела черная стеклянная таблица «Ходи тихо. Работают». У входа в комнату 414 было написано: «Беляков С. Н., Степичев Ю. М., Аксенова Т. С., Пушинна А. Н.». Тихонов коротко постучал.

— Войдите...

В комнате за одним из столов сидел парень лет тридцати в красивом дубленом полушубке. Меховая шапка с длинными ушами валялась рядом на стуле.

— Мне нужен заведующий отделом Беляков.

Парень повернул к нему кудрявую светлую голову с худым хищным профилем.

— Беляков вышел. Будет через полчаса. Я — Степичев. Могу быть полезен?

— Да, можете. Я — Тихонов из МУРа.

— Садитесь сюда, это Танин стол. Подождите немного, я сейчас закончу свои дела — и к вашим услугам.

Танин стол был завален какими-то газетами, исписанными листами, гранками, вырезками из журналов, на шестидневке были расчеркнуты и загнуты листы. Крышка с чернильного пузырька была свинчена, в нем торчала деревянная школьная ручка с обкусанным концом. Под стеклом на столе — большой цветной портрет Фолкнера и фотография космонавта Комарова с надписью «Доброму и умному товарищу, прекрасному человеку, Танюше Аксеновой. В. Комаров. 12 августа 1965 г.». Космонавт гасит купол парашюта на бесконечном, залитом солнцем поле.

Степичев разбирал на своем столе какие-то бумажки, быстро читал, некоторые складывал в верхний ящик стола, остальные рвал. На угол сложил стопку потертых блокнотов. Позвонил куда-то и попросил приготовить досье по Таймыру. Задвинул ящик, запер, ключ положил на стол Белякова.

— Все. Можно ехать.— Он сел верхом на стул, достал пачку сигарет, протянул Тихонову.

— Спасибо, не курю. Далеко собираетесь?

— Талнах, Северный Таймыр. Гидростанцию и металлургический комбинат пускать будут. Там-то все в порядке, а вот у вас как — по-прежнему ничего?

— Ноль. На вас надеюсь, думаю, поможете. Вы когда последний раз Аксенову видели?

— В понедельник, около пяти.

— Потом она ушла?

— Нет, я ушел первым. Таня еще оставалась. Я ее звал ужинать — она сказала, что ей надо поработать.

— Больше никого в отделе не было?

— Нет. Собственно, заходил Беляков. Но он в понедельник был «свежей головой», так что он и в отделе-то почти не показывался.

— Как это — «свежей головой»?

— На каждый выходящий номер газеты выделяется человек, который приходит, когда верстка уже готова, и вылавливает из него «блох».

— Понятно. Вы не обратили внимания, какое у Тани было настроение в этот день?

Степичев пожал плечами:

— Трудно сказать. Вроде бы нормальное. Она ведь вообще была очень спокойной.

— Спокойной или флегматичной?

Степичев взмахнул сигаретой:

— Это, знаете ли, только в учебниках люди разбиты на четыре подкласса: флегматики — холерики, меланхолики — сангвиники. В жизни сложнее подогнать человека под эти рамки. Таня была обычной молодой женщиной — веселой, добродушной. И, кроме того, когда вот так внезапно погибает близкий человек, в первое время почему-то уходит из памяти самое главное. Мелочи какие-то, пустяки остаются.

— Вы не знаете, были у нее враги?

— Не думаю. Недоброжелатели какие-нибудь, наверное, как у всякого человека были. Но такие, чтобы убить, вряд ли.

— А что она в понедельник днем делала?

— Сейчас подумаю. Дай бог памяти. Так, с утра она писала отчет о командировке...

— Простите, а когда она приехала из командировки?

— В субботу утром. Таня ездила на завод в Ровно, неделю там была. Привезла очерк. Да! Говорила, что нашла какой-то поразительный материал для рубрики «На моральные темы», но что-то ей еще должны были не то прислать, не то она должна была проверить. Я сам был в закрутке и как-то пропустил это мимо ушей. Да оно, собственно, уже не имеет значения...

Стас спросил, как бы между прочим:

— Аксенова не замужем?

— Нет. У нее был один человек. Не знаю даже, как его назвать — жених, что ли. Слово какое-то пошлое...

— Да, романтики в нем маловато. Вы о Ставицком говорите?

Степичев взглянул на него удивленно:

— А вы уже о нем знаете?

— Пока очень мало. Я как раз и хотел что-нибудь интересное о нем узнать.

— Да ничего, по-моему, в нем нет интересного. Актер! Таким всю жизнь не хватает одной роли, чтобы стать знаменитыми.

— Я хочу вам напомнить: мы об обстоятельствах убийства почти ничего не знаем. Нам лишь известно, что Таню, возможно, убил высокий молодой человек в темном пальто с чемоданчиком в руке,— сказал спокойно Стас.

— Во-первых, Ставицкий ходит в сером пальто, а во-вторых, я не верю, что он может быть к этому причастен.

— Во-первых, я вам не сказал, что подозреваю Ставицкого: мне просто надо лучше знать людей из окружения Аксеновой. А во-вторых, только в системе Станиславского установка «Не верю!» неоспорима. Мы предпочитаем факты.

— Видите ли, я его не люблю, и поэтому я не могу быть объективным. А вам необъективность сейчас может только навредить. Да и действительно, я его очень мало знаю. Встречался несколько раз, и мне он не понравился. По-моему, просто хлыщ, который дома снимает с себя интеллигентность, как пиджак. Мне иногда казалось, что Таня его терпит, потому что дала себе слово сделать из него человека. А может быть, я и неправ, не знаю...

2

Беляков вошел в комнату стремительно, рывком. В руках он держал сырой еще оттиск газетной полосы. Беляков был очень мал ростом, очень прям, очень озабочен.

— Здравствуйте, товарищ Тихонов. Я — прямо из типографии.

Стас встал, шагнул навстречу.

— Сидите, сидите. Вот здесь мы даем Танин очерк, который она привезла из командировки.

На желтоватом листе бумаги выстраивались колонки серепьких букв, аккуратно огибая белые пятна, куда втиснутся клише фотографий. Сбоку шел высокий трехколонник, названный «Много ли человеку доброты надо?». Под заголовком — фамилия Тани, отбитая траурной рамкой и жирным шрифтом официальное — «Когда верстался этот номер, трагически погибла молодая талантливая журналистка Т. С. Аксенова. Читатели хорошо знают...»

Степичев поднялся.

— Ну, я поехал.— Он обнял Белякова за плечи, пожал Стасу руку.— Желаю удачи.

— Телеграфируй,— сказал Беляков.

— Пока.

Дверь захлопнулась, и еще долго из коридора доносились четкие шаги Степичева.

Беляков снял очки и, высоко подняв их, стал протирать платком. Как у всех очень близоруких людей, глаза у Белякова без очков сильно смешивались к носу и лицо становилось незащищенно голым.

Беляков надел очки и снова стал руководяще озабоченным.

— Мы потрясены этой трагической, нелепой гибелью,— сказал он и доверительно добавил: — Наш главный хочет сместись с вашим руководством на предмет выделения группы самых сильных оперативных работников для расследования этого из ряда вон выходящего дела.

— Благодарю за внимание,— усмехнулся Тихонов,— только самых сильных мало, а преступлений еще вполне хватает. Так что, если все самые сильные будут заниматься одним де-

Продолжение. См. «Огонек» № 7.

лом, для преступников будет не жизнь, а мадина. Кроме того, мы занимаемся не следствием, а оперативным розыском. Следствие ведет прокуратура.

— Я, наверное, неудачно выразился. Я просто хотел сказать, что этому убийству надо уделить чрезвычайное внимание.

— Я не обижаюсь. А что касается чрезвычайного внимания, то оно уделяется у нас всякому убийству.

— А как вы думаете, поймают убийцу?

— Мне за это зарплату платят,— сказал зло Стас и вспомнил спокойное шараповское: «Найдем. И не таких находили».

— А все-таки случается еще, что такие преступления остаются нераскрытыми?

— Случается.

— Вот видите!

— Что я вижу? Убит человек. Надо выяснить, почему. Тогда уже будет проще найти кто убил. Для этого берем всю совокупность объективных обстоятельств вокруг убитого и отметаем все лишнее — напицо мотив и субъект преступления.

Беляков смотрел недоверчиво: разыгрывает его оперативник, что ли? Стас говорил спокойно, слегка улыбаясь, скрывая раздражение.

— Да-да, как у Родена — берем каменную глыбу и отсекаем все ненужное.

— Но ведь это, наверное, дьявольски трудная задача,— сказал растерянно Беляков.

— Нет. Если привыкнуть, то ничего,— успокоил Стас, подумал: «Ох, милиция, милиция. Горький, черствый хлеб!»

По лицу Белякова было видно, что он в Стаса не верит. «Медаль надо было надеть»,— усмехнулся про себя Стас.

— Все это так непостижимо, нет никаких логических объяснений всему свершившемуся,— сказал Беляков, и очки его запотели.— Даже не знаю, как вы это распутывать все будете. Боюсь, уйдет убийца от кары.

Больше всего Стаса бесило, что Беляков молодой. Ну, старый какой-нибудь, пенсионер со сквера, обыватель доминошный, бормотал бы такое — понятно. Но молодой совсем парень — это уж черт те что! Только бы не сорваться, спокойно.

— Как я понимаю, вы хотите получить от меня расписку в том, что я обязуюсь найти убийцу. Такой расписки я вам не дам. И никто не даст. Потому что я — человек. И преступник, в общем, тоже человек. Вот если бы преступления совершали машины и машины же их раскрывали, то для всемирного правосудия достаточно было бы найти необходимый алгоритм, и с преступностью было бы покончено. Но вы поймите, что я — человек, и всякий другой оперативник — молодой и старый — только человек. Поэтому мы можем ошибаться, не знать, не понимать, не предвидеть. И все-таки мы ищем и, как правило, находим.

— За счет чего же? — с интересом спросил Беляков.

— За счет всего,— устало сказал Тихонов.— На моей стороне закон, все люди, общественное мнение. Наконец, я — человек, а он — волк, человеко-волк, и рано или поздно мы его загоняем за флажки.

— Да-а, это по-своему убедительно, хотя довольно общо,— упрямо сказал Беляков.

— Ладно, предлагаю эту криминологическую дискуссию перенести на внеслужебное время. Я хотел бы с вашей помощью ознакомиться с архивом Тани Аксеновой...

Около трех часов дня Стас задвинул последний ящик стола, откинулся на стуле. Все. Не нашлось ничего интересного. Беляков тоже устал от напряжения — он расшифровывал Стасу некоторые непонятные Танины записи.

— Вот посмотрите ее последний блокнот. Она забыла его у меня на столе, уходя в понедельник.

«Предпоследний,— подумал Тихонов.— Последний был у нее в сумке».

Он взял из рук Белякова красную ледериновую книжку, долго листал. Записи и пометки о людях, каких-то кораблях, атомной электростанции на Чукотке, сказка о диком олене Хоре и очень много фраз — вставочек наподобие режиссерских ремарок: «Гораздо больше экспрессии», «Это одеяло лжи, сшитое из лоскутов правды», «Потеря темпа», «Врет так интересно, что не хочется спорить».

Видимо, у Тани была привычка механически записывать отдельные мысли. Уже в самом конце шли наброски очерка о людях Ровенского завода, который завтра будет напечатан в газете. На последней странице написано: «А. Ф. Хижняк. Говорят, что микробы прокаы могут прожить в организме, объективно не проявляясь, до пятнадцати лет». «В плотине моральных устоев нацизм открыл слив для всех человеческих нечистот». «Трусость — детонатор жутких поступков». Какие-то птички, галочки. Больше ничего нет.

— Тут тоже ничего нет,— вернул Стас Белякову блокнот.— Скажите, Аксенова не заявляла в план каких-либо материалов, связанных с проблемой фашизма? Или, может быть, с судьбами жертв фашизма?

— Нет. Это вообще не относится к тематике нашего отдела. Танины проблемами занимаются международники. Она мне сказала, что сдаст какой-то интересный материал, но я в понедельник был очень занят...

— Когда вы видели Таню в последний раз?

— Подождите, сейчас я точно скажу. Третью полосу приносят в половине шестого. Да, в половине шестого я зашел в отдел, и Таня с кем-то говорила по телефону. Да-да, она еще мне показала рукой: подождите, мол. Но меня вызвали в секретариат, и я решил зайти позднее. Заглянул минут через сорок — ее уже не было.

— А о чем говорила Таня, вы не слышали?

— Видите ли, я не имею обыкновения слушать чужие разговоры.

— Жаль,— сказал Тихонов.— Жаль, что не нарушили в тот раз обыкновения.

В отделе кадров Стас быстро перелистал личное дело Аксеновой. Последняя характеристика для поездки в международный дом отдыха журналистов в Варну. «...Зарекомендовала себя..., деятельный и инициативный журналист..., ведет большую общественную работу, политически грамотна..., морально устойчива...»

«Не придумаешь лучшего способа обезличить человека,— подумал Тихонов.— Смешные какие-то сохранились рудименты в нашей жизни. Характеристика! Кого она — такая — может охарактеризовать? И вообще это нелепо: хорошим работникам характеристики не нужны, их и так знают, а плохих характеристик, по-моему, вообще не дают...»

Кадровик спросил задумавшегося Стаса:

— Что-нибудь неясно?

— Неясно. Что обозначает, например, «морально устойчив»?

— Ну, как же! Значит, зарекомендовал себя хорошо...

— Деятельным и активным?

— Хотя бы. Устойчив в быту и на производстве. Не было аморальных проявлений, персональных дел там всяких.

— Замечательно,— усмехнулся Стас.

Последний листок в деле — выписка из приказа: «Командировать специального корреспондента т. Аксенову Т. С. в город Ровно на строительство химического завода с 3/II по 10/II 1966 г.».

Десятое — это какой день? Стас достал карманный календарь. Так, десятое — четверг. Значит, она должна была выйти на работу в пятницу, а Беляков говорит, что вернулась в субботу. Надо бы узнать, не объясняла ли она както задержку. Тихонов вернулся обратно по коридору, но в комнате 414 никого не было. На столе Белякова лежала записка: «Я на редколлегии. Буду в 17 часов». Стас взглянул на часы. Пора возвращаться на Петровку.

3

Шарапов приоткрыл дверь в кабинет Тихонова: Стас внимательно рассматривал несколько документов, отпечатанных на машинке.

— Давно приехал?

— Час назад. Заходи, Владимир Иваныч.

— Что-нибудь привез?

— Так, кое-что. Как говорится в процессуальном кодексе, документы, «характеризующие личность».

Шарапов подошел к Тихонову, присел на край стула.

— Ну?

— В редакции у нее был. На, почитай ее характеристику.— Тихонов протянул фирменный бланк редакции.

Шарапов почитал, прищурился.

— Да-а, для уголовного розыска здесь маловато...

— Здесь для кого хочешь маловато. Разве что для другого кадровика. Взыскание, строгий выговор, видишь, имела и три поощрения. Высшее образование у нее и общественную работу вела, а в самодеятельности не участвовала. Я, конечно, с товарищами ее беседовал — те, как о живой, о ней говорят. А мне сейчас важнее всего узнать ее живую. При наших исходных данных шансы выйти на убийцу минимальные. Мотив надо искать. Пока мы не установим мотив нападения, преступника нам не найти. Будем крутиться, как собака с банкой на хвосте.

— Пожалуй,— сказал Шарапов.— Хочешь, давай прикинем по вариантам. Ну, во-первых, ее могли убить из корысти.

— Вряд ли,— возразил Тихонов.— По обстановке преступник никак не мог ее ограбить — люди сзади шли. Да и сумочка Аксеновой при ней осталась. На богатое наследство тоже рассчитывать не приходилось...

Шарапов кивнул:

— Значит, отпадает. Тогда ревность.

— Вот это очень возможно. Молодая, красивая — мог какой-нибудь прохвост загубить женщину, лишь бы другому не досталась. Мне вообще кажется, что мотив скрыт где-то в ее личной жизни. И письма эти...

Шарапов сказал:

— Пошли дальше. Хулиганство. Обстоятельства убийства вполне подходят для этой версии: разгулялся, пьянчуга, ну, и ткнул шилом ни в чем не повинного человека...

— Могли ее убить на почве выполнения служебного или общественного долга,— продолжал Тихонов,— но данных для такой версии у нас фактически нет. Убийство на семейной почве? Нет, это сразу отпадает...

— Остается еще убийство из мести или для сокрытия другого тяжкого преступления,— задумчиво сказал Шарапов.— Таких данных у нас пока тоже нет, но отбрасывать эти мотивы рано.

— Рано,— согласился Тихонов.— Ну, и последнее: эксцесс. Аксенову мог убить какой-нибудь сумасшедший, либо на нее напали по ошибке, приняв за другого человека.

Шарапов грустно улыбнулся:

— Прямо весь Уголовный кодекс перебрали. Значит, какие оставим направления?

— Я думаю, что в первую очередь надо пройти по ревности и хулиганству. Потом будем думать о мести, это — понятие широкое и многое охватывает. Попробуем проверить эксцессы.

— Конечно.— Шарапов поднялся, повертел в руках характеристику.— Не забудь только: ее могли убить за то, что она слишком много знала о ком-то. В общем, работенки нам, видимо, хватит...

4

СВОДКА

16 февраля 1966 года № 138.

«...В отделениях милиции проверить, нет ли среди граждан, доставленных за хулиганские действия, мужчины, сходного по приметам с разыскиваемым. Ориентировать общественность, народных дружинников на выявление лиц, имеющих колющее оружие типа шила. Запросить все медицинские учреждения о поступлении больных, имеющих раны от такого оружия, для выяснения обстоятельств ранения.

Информировать о происшествии персонал психиатрических лечебных учреждений, так как не исключена возможность задержания с колющим оружием психически больных.

Уголовные дела о всех аналогичных преступлениях, в том числе и приостановленные, немедленно представить в Управление.

Зам. начальника Управления
полковник милиции Санин».

5

Тихонов с сожалением отодвинул на край стола том уголовного дела о хулиганстве Якимова. Очень, очень заманчивая напрашивалась аналогия: Алексей Якимов, которого вчера арестовали за пьяный дебош в общежитии стройуправления, четыре года назад по пьянке ударил остро заточенным узким напильником с деревянной рукояткой совершенно незнакомого ему человека, прохожего, без всякого на то повода. Вышел он на свободу недавно и вот опять начал гастролировать. Не его ли работа — убийство Аксеновой? Способ нападения, во всяком случае, такой же. Но всю эту неделю Якимов работал вечерами. Да и приметы его отличаются от примет парня, которого видели Евстигнеева и Лапина. Все же, на всякий случай, надо поточнее проверить, где был Якимов в понедельник вечером.

Зазвонил телефон.

— Тихонов.

— Але, Тихонов, Демидов говорит.

— Да, да, Иван Михалыч, слушаю.

— Сейчас со мной снова ехал парень, про которого ты спрашивал, тем же рейсом...

Стас неожиданно охрип:

— Где он?

— А кто его знает? На Цветном, у цирка, из автобуса вышел. А сел здесь же, у «Байкала», из чемоданчика книжку достал и читал всю дорогу.

— Ах, черт возьми! Что же ты его не задержал?

— Так откуда я знаю — задерживать его или нет? У нас такого уговора не было. Ты ж позвонить в случае чего просил...

— Это верно,— сказал с досадой Тихонов. Подумал, переспросил: — Тем же рейсом, говоришь? И с той же остановки?

— 20.37. От «Байкала».

Тихонов подумал еще немного.

— Тогда вот что, Иван Михалыч. Завтра в это время мы с тобой поедем. Если парень войдет в машину, ты мне знак подай...

— Ладно. Посигналю два раза.

— Договорились. Привет.

ЧЕТВЕРГ

1

Тихонов захлопнул дверь, но замок опять не выпускал ключ. Стас аккуратно поводил им, резко дернул на себя. Ключ вышел. Стас повернул голову и в длинном сумеречном коридоре увидел Шарапова, издали узнал его расхаживающуюся походку.

— Далеко собрался?

— Беседовать со Ставицким.

— А чего ты его к себе не вызвал?

— Нецелесообразно. Когда я задаю ему вопросы у него дома,— это милая беседа. Когда мы мило беседуем на Петровке,— это допрос. А допрашивать его пока еще рано. Пока надо просто мило с ним беседовать.

— Ну, давай, собеседник! Ишь ты...— ехидно улыбнулся Шарапов.

В четверг с утра потеплело и снова пошел снег. Стас постоял на углу, прикинул: на Кузнецкий мост можно проехать 42-м троллейбусом. Можно пешком. Решил идти пешком по бульварам. Надо еще раз не спеша все обдумать.

Это дело пугало своей непонятностью, бессвязностью, отсутствием очевидных мотивов. Нет, это не хулиган просто так ткнул шилом. Когда ткнули шилом, эта история не началась, а закончилась. На заснеженном пустыре у гостиницы «Байкал» поставили точку. Какие-то незримые страсти давно бурлили подо льдом. А прорвало лед на владыкинском пустыре. Но почему? И кто? Как это было записано в блокноте у Тани: «Микробы проказа могут жить в человеческом организме до пятнадцати лет...» Шарапов держит в ящике стола забавную головоломку — маленький разноцветный шарик. Достаточно дернуть за кольцо, и он распадется на дюжину причудливых частей. Стас изрядно попыхтел, пока впервые сложил из них шарик. Но там были все части. Все. И он знал это заранее. А здесь? Стас уже прикинул десяток стройненьких версий. Из имеющихся фактов. Но достаточно было любую версию чуть натянуть на жесткую раму достоверности, как она начинала позорно трещать, обнажая прорехи очевидных домыслов. Придется идти единственным путем — искать недостающие части.

— Ничего,— упрямо сказал Стас, нажимая на кнопку звонка.— Мы этот шарик еще сложим...

Ставицкий оказался совсем не таким, как представлял себе Тихонов. Ничего в нем не было изнеженного и хлыщеватого. Высокий — вровень со Стасом — красивый парень открыл дверь, мельком глянул на удостоверение, спокойно сказал:

— Заходите. Я ждал вас.

— Это почему же?

— Было бы грубейшей ошибкой следствия не поговорить с человеком, который, быть может, лучше всех знал убитую.

Стаса неприятно царапнуло слово «убитая». Все-таки о любимом человеке!

— Вот я решил этой ошибки не допускать.

Стас снял пальто, замешкался, вроде искал, куда повесить. На вешалке висело серое короткое пальто, на сундучке лежала черная замшевая куртка.

Стас простодушно улыбнулся:

— Извините за нескромный вопрос: сколько стоила эта куртка?

Ставицкий удивленно взглянул на него:

— 720 форинтов. Я ее в Венгрии купил. А что?

— Мне вот такую же предлагают. Девяносто рублей хотят. Дорого, наверное?

— Это — дело любительское. Охота пуще неволи...

— Да я вообще не знаю, пойдет ли она мне. Черный цвет. Боюсь, при моей фактуре на фанельщика буду похож.

— А вы примерьте эту.

— Можно?

— Конечно.

Стас натянул куртку, посмотрел в зеркало. Теплая, с подстежкой, шерстяным воротничком. До середины бедер. Сказал:

— И зимой можно носить, вместо пальто.

— Можно,— ответил Ставицкий.— Хотя я в ней обычно только в машине езжу.

Помолчал, подумал, потом сказал:

— Ну, что, наверное, маскарад можно кончать? Куртка сидит неважно: оттопыривается пистолет в заднем кармане. А зачем вам надо было осмотреть мою куртку?

Стас быстро глянул ему в глаза, спокойно ответил:

— Куртку — не надо. Я хотел осмотреть себя в куртке. Мы же с вами одного роста. А насчет пистолета вы ошиблись. Это коробочка с мятными конфетами «Звика». Угощайтесь!

— Вот и хорошо. Поставим все точки над «ё». Значит, подозреваете?

— Нет. Нет достаточных оснований. А вот серьезно поговорить есть о чем.

Ставицкий сердито хмыкнул:

— Как же это вы для такой серьезной беседы пистолет не взяли?

Тихонов удобно уселся в кресле.

— А я его попусту с собой не ношу. Он же ведь, черт, тяжелый. Да и таскать его вот так повсюду — потерять можно, голову потом за него снимут.

— Мне кажется, что вы без этого обязательного детективного атрибута никак не обойдетесь.

— Дело в том, что этот атрибут для меня такой же инструмент в работе, как для бухгалтера — счеты или для вас — коробочка с грибом. Вы же не берете ее с собой, отправляясь в магазин или в гости?

— А вы пришли, чтобы прицениться к моей куртке?

— Нет. Я пришел к вам в гости. Правда, в гости ходят по приглашению. Но специфика работы понуждает меня пренебречь некоторыми условностями. Поэтому я решил лучше прийти в гости к вам, чем приглашать вас к себе. Так, мне кажется, лучше.

— Кому лучше?

— Вообще лучше,— сделал неопределенный жест рукой Стас.

— Видимо, вы полагаете, что допрос в неофициальной обстановке более эффективен?

— Я уже сказал, что это не допрос. А что касается эффективности — несомненно. Я вам напомню о причине и цели своего визита,— тихо сказал Стас, и голос его стал жестким.— Убита при непонятных обстоятельствах женщина, которую вы, по моим сведениям, любили, на которой собирались жениться, и были ею не так давно отвергнуты. Во всяком случае, я могу рассчитывать на вашу всемерную помощь в розыске убийцы. Поэтому я пришел сюда. В этой, как вы говорите, неофициальной обстановке она бывала много раз, здесь еще должно быть эхо ее голоса, и вы должны это помнить и рассказать мне все, имеющее отношение к делу.

— Но вы же подозреваете меня!

Стас посмотрел на него и сказал:

— Расскажите, что вы делали в понедельник вечером.

Ставицкий походил по комнате:

— В театре я был свободен. Позвонил Тане в редакцию около пяти, может, в половине шестого, предложил встретиться, поговорить. Она куда-то торопилась, сказала, что ей надо с кем-то увидеться. Велела позвонить в среду. Я поехал к Гене Григорьеву...

— Кто это?

— Мой приятель, тоже актер. Его не оказалось дома. Там рядом с ним кинотеатр «Прогресс». Делать было нечего — зашел на семичасовой сеанс. Потом поехал в ресторан, поужинал и отправился домой спать. Вы удовлетворены?

— Почти. Вы откуда звонили Тане?

— Из дома.

— Через сколько минут вы вышли?

— Вскоре. Минут через тридцать, наверное.

— Где живет Григорьев?

— На Ломоносовском проспекте.

— Каким транспортом ехали к нему?

— Четвертым троллейбусом.

— Итак, складываем: пять тридцать — вы звонили Тане, плюс полчаса на сборы — шесть. Минут пятнадцать ходьбы до остановки четвертого троллейбуса, плюс минут тридцать езды. Значит, без четверти семь вы были у Григорьева. Так?

— Так.

— Когда вы уходили из дома, кто-нибудь из соседей вас видел?

— Понятия не имею. Я как будто никого не встретил.

— Идемте дальше. Дома у Григорьева вас кто-нибудь видел?

— Нет, я же сказал, что его не было.

— А может, кто-либо из чад и домочадцев?

— Нет. Никто дверь не открыл.

— Ладно. Без пяти семь вы в кинотеатре. Какой демонстрировали фильм?

— Какая-то импортная белиберда.

— А точнее?

Видно было, как Ставицкий напрягся:

— «Вернись, Беата!»

— Прекрасно. Когда закончился фильм?

— Около девяти.

— Так это ж короткий фильм. Что так долго?

— Журнал был длинный.

— Не помните, о чем?

— «Новости науки и техники».

— Прямо из кино поехали ужинать?

— Нет. Была хорошая погода, снегопад, и я дошел до метро «Университет», а оттуда почти до моста через Москву-реку. Там сел в такси.

— В каком ресторане ужинали?

— Дома актеров. Приехал туда около десяти.

— Какой швейцар дежурил? Володя?

— Нет, другой. Я его не знаю.

— Ладно. Вы не запомнили, кто из официанток вас обслуживал?

— Да, конечно. Надя. Она может подтвердить.

— К сожалению, она может подтвердить только то, что вы пришли в ресторан около десяти. Она же с вами не ездила и Григорьеву и не смотрела «Вернись, Беата!».

Покусывая губы, Ставицкий сказал:

— Что ж, алиби у меня нет. Но это еще ни о чем не говорит.

— Конечно, не говорит. А куртку свою вы когда последний раз надевали?

— Неделю назад. А может быть, дней десять. Не помню,— сказал Ставицкий.— Если бы знал, что предстоит разговор с вами, повесил бы на нее табличку: «Ношено первого февраля с 17.30 до 22.00».

— Да вы не сердитесь,— миролюбиво сказал Стас.

— Посмотрел бы я на вас в моем положении! — зло дернул головой Ставицкий. Он достал из стенного бара небольшую пузатую бутылку, вытащил пробку.— Хотите попробовать? Это «Реми Мартин» — один из лучших в мире коньяков.

— Спасибо, я не хочу.

— А что, в вашем Скотленд-ярде не пьют?

— В Скотленд-ярде — не знаю, не был. А в МУРе пьют. Только не на работе,— сказал спокойно Стас. Вспомнил, как Шарапов рассказывал про ликер «Шасси», и усмехнулся.

Продолжение следует.

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

ПОВЕСТЬ

Щупью в полдень

Ставицкий налил немного коньяку в высокий фужер, выпил разом, долго морщился, нюхал кусочек мармелада. Тихонов встал, подошел к окну. На улице шел снег, все было серо и тоскливо. Стас почему-то вспомнил, как школьный учитель Коростылев говорил: «Окно — две системы измерения, дающие нам возможность познать третью».

Ставицкий сказал мятым голосом:

— А Тани уже нет...

Тихонов обернулся. Ставицкий, понурившись, сидел в кресле. Потом взял сигарету и стал чиркать спичкой. Но руки у него дрожали и спички ломались. Наконец затянулся, и кадык на худой шее дернулся вверх-вниз. И весь он был уже не красивый и спокойный, а нервный, угрюмый и напуганный. Ставицкий несколько раз затянулся и сломал сигарету в пепельнице:

— Про нее, про мертвую, трудно говорить. О мертвых, о всех, стараются говорить хорошо и забывают мелочность, жадность, всяную человеческую труху. Потому что, когда кто-то неожиданно умирает, люди вокруг пугаются: ведь и с ними могло такое приключиться! И они невольно проникаются признательностью к умершему: что это случилось с ним, а они вот живы. Оттого и говорят хорошо обо всех скопом — о хороших и плохих.

— Мрачноватая у вас философия,— буркнул Стас.

— Да бросьте, не философия это никакая. Просто меня злит, что о Тане будут говорить, как обо всех. А она совсем другая!

Ставицкий помолчал, закурил новую сигарету.

— Можете смеяться, если хотите, мне это безразлично. Но Таня была святая. Очень ироничная, очень веселая святая. А на ее работе это особенно трудно — быть святой.

— Быть святым вообще трудно,— пожал плечами Стас.— А почему ей особенно?

— Она слишком много видела разного. А большое видение иногда порождает цинизм. Особенно у молодых, которым вообще свойствен максимализм. Таня шутя называла себя «прорабом человеческих душ»...

«Большое видение», «максимализм». Красиво... Стас наклонился и сказал тихо:

— Простите, вы Таню Аксенову любили?

— Во-первых, сейчас это уже не имеет значения, а во-вторых, это — мое личное, и лучше этого не касаться.

— Несомненно. Но Таня убита при очень непонятных обстоятельствах, и я бы хотел знать о ней как можно больше. Ведь Танина смерть — это не только ваше личное дело.

— Понятно. Ну, условимся, что любил.

— Любили? Или условимся, что любили?

— Любил.

— Вы из-за Тани разошлись со своей женой?

— И это знаете?

— Я это знать обязан. Так как же?

— Нет, не из-за Тани. Просто тот брак был уже бессмыслен. Совершенно чужие люди. Елена не хочет этого понять до сих пор.

— Елена Букова, ваша бывшая жена, знала о ваших отношениях с Аксеновой?

— Да. На этой почве у нас были острые конфликты. Она требовала, чтобы я прекратил встречи с Таней и вернулся.

— Аксеновой это было известно?

— Нет. То есть в конце концов она узнала. Ей кто-то стал присылать анонимные письма. Думаю, что это работа Елены.

«Так. Это уже теплей»,— мелькнуло в голове у Стаса.

— А почему вы сразу не рассказали обо всем Аксеновой?

— Ха! Надо было знать Таню.— Ставицкий налил себе еще коньяку, выпил.— Она бы сразу меня и черту послала. Она мне и так говорила: «Очень ты всегда красиво беседуешь...» А я уж так заигрался, что вел себя, как школьник, прогуливший уроки,— все равно накажут, поэтому прогуливал все дальше и дальше, надеясь на какое-то чудо. Думал, что со временем это потеряет свою остроту и всякое значение. Это была, как говорится, ситуационно обусловленная ложь.

— А потом?

— Потом Таня получила какое-то письмо. Ну, а врать я больше не мог. И тогда пришел конец всему.

— Вы письмо это видели?

— Нет. Таня даже разговаривать со мной не захотела.

— Вы почерк своей жены хорошо помните?

— Да. А что?

— В сумке Тани я нашел письмо с угрозами. Она получила его за два дня до смерти.

— Но это не то письмо! То она получила месяц назад. Если можно, покажите мне его.

— Пожалуйста.

Дрожащими пальцами Ставицкий достал из конверта письмо. Взглянул мельком:

— Нет, это не Еленя рука.

— Вы посмотрите внимательней.

— Да что смотреть! Что я, почерка ее не знаю! Слава богу...

— Если предположить, что Букова имела отношение к этому письму, напрашивается вывод: такое щепетильное дело она могла доверить только очень близкому человеку. Кто может быть ей настолько близок?

Ставицкий задумался:

— Вероятнее всего, это Зинка Панкова, ее подруга.

— А кто она, эта Панкова?

— Актриса, вместе с Еленой работает в Театре музыкальной комедии.

Ставицкий налил себе еще коньяку. Глаза у него блестели.

— Как все это ужасно! Какой-то бессвязный нервный бред, как в пьесах Ионеско... И вообще во всей этой истории есть что-то катаклитическое. С одной стороны, это — ужасное горе, а с другой, признаюсь честно,— разговоры с вами, которые душевному спокойствию отнюдь не содействуют. Ерунда, конечно. Главное, что в этой драме все так непоправимо...

Стас по-прежнему стоял у окна, смотрел на падающий непрерывно снег и думал: «Небольшой ты человечек-то оказался».

2

Вернувшись к себе, Стас включил пятку, достал из сейфа несколько папок с уголовными делами, присланными ему для ознакомления из разных районов. Позвонил оперативник из 78-го отделения милиции Саша Савельев, которого подключили в помощь Стасу. Но у Савельева тоже ничего интересного не было.

Тихонов подумал, что надо бы еще раз внимательно осмотреть одежду Тани.

— Вот что, Савельев,— сказал Стас.— Ты мне завези, пожалуйста, вещи Аксеновой. А от меня поедешь в домостроительный комбинат, точно разузнаешь, как Якимов провел понедельник.

— Насчет Якимова я уже интересовался,— сказал Савельев.— Он с пяти до одиннадцати вечера вместе с другими рабочими был в Свиблове: они там временный водопровод чинили...

В управленческой столовой было, как всегда, полно народу. Тихонов злился, но есть все-тани хотелось, и пришлось выстоять длинную очередь. Щи были холодные, шницель назывался «по-африкански». Шарапов уныло шутил, что его делают из львов пополам с хлебом.

После щей есть расхотелось. Тихонов лениво жевал невкусный шницель и думал, что надо было спросить Ставицкого о том, чем кормили в понедельник в ресторане. «Не верю, не верю я ему. Это не отчаяние, это душевная расхристанность»,— пробормотал Стас и пошел наверх.

Савельев уже ждал его. Передав Стасу большую картонную коробку, он умчался по своим многочисленным делам. Стас включил свет, открыл коробку.

Черное мохнатое пальто с седым норковым воротником. Крохотное отверстие в черной ткани, его только на свет и разглядишь. Серая шерстяная кофта. Крупные толстые петли, они образуют строгий, красивый узор.

Крупные красивые петли. А где же все-таки отверстие? Сразу и не найдешь. Впрочем, его может и вовсе не быть. Ведь если это шило, то острие могло пройти между петлями, раздвинуть их, не задеть ткань. Так оно, наверное, и было. Нет, вот отверстие. Маленькая круглая дырочка. Пятнышко крови. Красивая пушистая вещь, связанная крупными петлями...

Стас достал из стола сильное увеличительное стекло. Повертел в руках. Может быть, отверстия в одежде подскажут форму оружия? Нет, линза бессильна. Надо бы позвонить экспертам-криминалистам. Но уже поздно. Завтра.

3

В половине восьмого Тихонов вышел на улицу. Синеватые пятна фонарей вырывали из промозглой снежной кутерьмы ссутулившиеся фигуры прохожих, размытые очертания неуверенно ползущих автомобилей, мохнатые купы деревьев над оградой «Эрмитажа». Тихонов поднял воротник. Ох, злится зима, прямо до костей пробирает сырая стужа! А Вася-шофер, как всегда, не торопится.

— Сто лет тебя дожидаться,— ворчит Стас, усаживаясь в машину.— Небось, мозоли на руках от домино набил...

— Что-то вы не в духе сегодня, Станислав Палыч,— улыбается Вася.— Разве вы со мной опаздывали когда?

На автобусной остановке у «Байкала» Стас наметил себе дистанцию: от фонаря до фонаря — шестьдесят шесть шагов. Он ходит по тротуару, постукивая время от времени ботинком о ботинок, смотрит, прикидывает. Все-таки интересно — за три дня парень побывал здесь дважды. Вряд ли это случайность. Значит, реальные шансы его здесь встретить сохраняются. Это было бы ловко! Сразу же многое стало бы на свои места. Конечно, взять его — еще не все. Пойди докажи, что именно он убил Таню...

У остановки автобуса уже собралась небольшая очередь: немолодая женщина с ребенком, две девочки-школьницы, два солдата. 20.26. Подтормаживая и скользя по накатанному асфальту, к тротуару прижимается автобус.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 7, 8.

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

машина Гавриленко. Со скрипом раскрываются створки задней двери, пассажиры торопливо поднимаются в машину, уехали. Опять один в этой проклятой ледяной крупе. Не встретил. Но парень поедет следующей машиной. С Демидовым. Должен поехать. Иначе какого черта здесь мерзнуть? Какая крохотная дырочка в пальто Аксеновой, в платье, в кофте! Всего несколько пятен крови. И нет человека. Гяупо, нелепо.

Из-за угла дома показывается длинная мужская фигура, приближается к остановке. Следующий автобус демидовский. Тихонову уже не холодно. Человек приближается, подходит к столбу остановки. Высокая цигейковая шапка-«москвичка», темное, заснеженное на плечах пальто. Он? Какого черта, в нем же роста — метр с кепкой. Просто издали показался длинным и одет совсем по-другому. Нервишки проклятые играют. Хорошо было классику говорить: «Учитесь властвовать собою». А где, интересно, учиться? На юрфаке эту дисциплину не преподают.

Тихонов зябко поводит плечами: спина, ноги замерзли. Очень холодно все-таки. Подходят, взявшись за руки, маленький крепыш-лейтенант и девушка в полосатой меховой шубке. Девушка ест мороженое и с увлечением объясняет лейтенанту, что «...Надька такая врушка, всем говорит, будто она на втором курсе, а сама на первом, и в театр она ходила вовсе не с парнем, а со своей теткой. Надо же!..» В очередь встало еще несколько человек. Они к тихоновским делам явно никакого отношения не имеют. Стас чувствует, что сейчас подъедет Демидов, а парня все нет. Вот бежит к остановке мужчина в сапогах и кожаной шубе, и тут же из-за угла показывается автобус. Это демидовский. Тихонов видит, как Демидов озабоченно вертит головой, встречается с ним глазами. Парня нет. Автобус стоит минуту. Наконец дверцы захлопываются. Тихонов бормочет чуть слышно: «Постой, постой еще минуту! Сейчас он подойдет». Демидов, умница, понимает. Автобус мелко дрожит, ждет. С неба просеивается белесая сырость, садится на лицо, на плечи, на окна автобуса. Вдруг щетка снегоочистителя делает широкий взмах, оставляя под собой влажный стеклянный полукруг. В нем озабоченное лицо Демидова. Тихонов пожимает плечами, и автобус трогается: у него расписание. Форсаж, голубоватая струя выхлопа у поворота. Уехал.

Надо ждать. В конце концов «Длинный» — так Тихонов окрестил парня — с ним не договаривался ездить только на демидовском автобусе. Тихонов ходит по заснеженному тротуару, пальцы совсем окоченели, нос, щеки отваливаются. Форс держим, шелковую маечку носим. Кисло бы нам сейчас в теплом бельишке было... Какая крохотная дырочка в кофте, даже петля не спустилась. Как ей, наверное, больно было! А может, сразу сознание потеряла? Нет, вряд ли. Ведь еще шагов двадцать прошла. Может, бежала? Нет, Евстигнеева и Лапина говорят — шла. Небыстро шла. Упала молча, руками даже не взмахнула.

Прошел автобус, еще один. Подвыпившая компания выбралась из гостиничного ресторана. Прошли мимо. Тихонов узнал, что в Красноярске шашлык куда лучше, чем здесь, а Нефедова все равно порежут. Если не в главке, то в министерстве уж обязательно...

ПЯТНИЦА

1

Тяжелая, обитая сияющей бронзой дверь неохотно приоткрылась, и табличка «Служебный вход» сразу потеряла свою магическую неприступность.

— Вам кого? — спросил швейцар, величественный, с седыми баканбардами и в пижамной полосатой куртке.

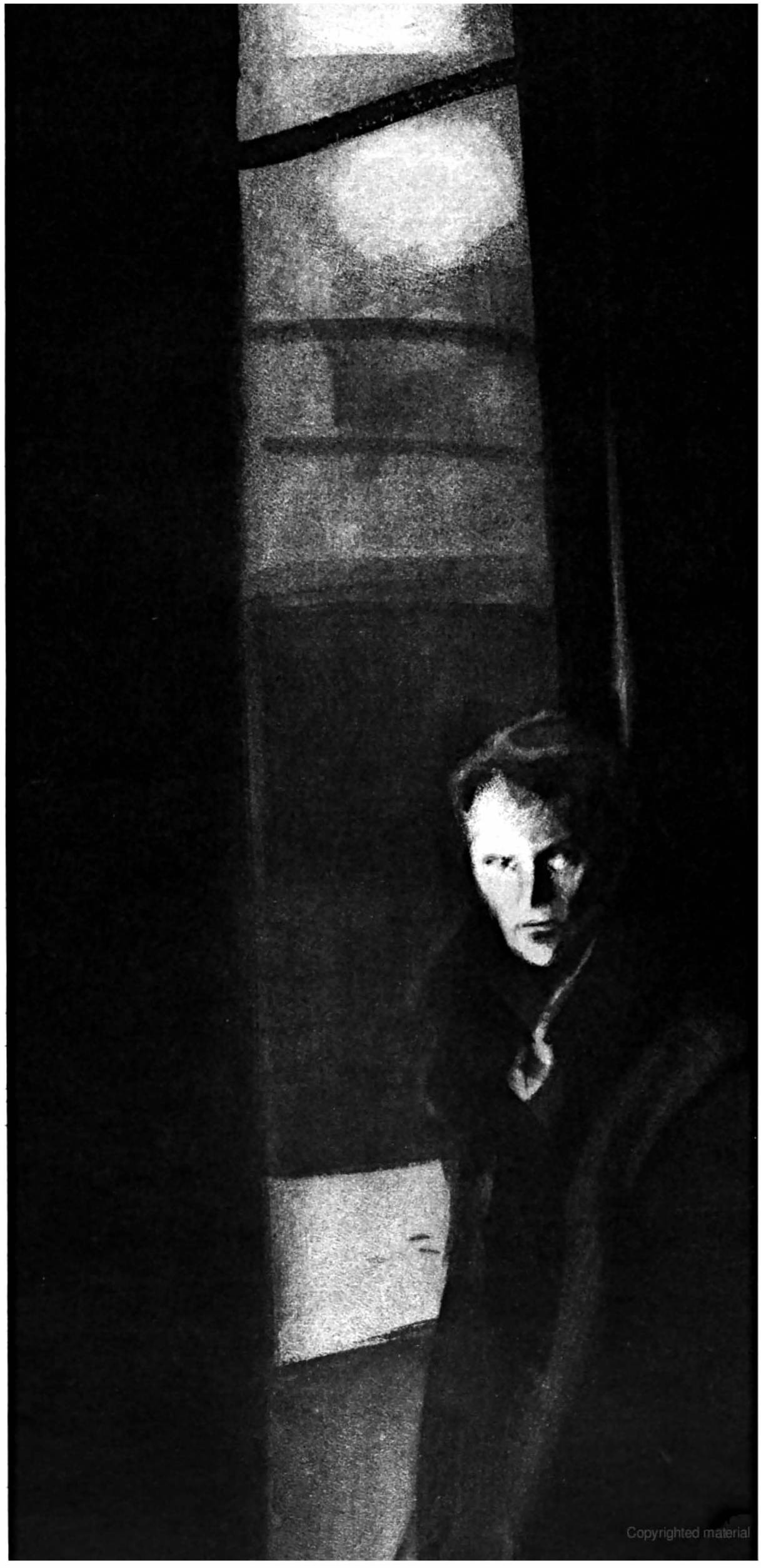
— Либердей Гордеича,— буркнул Тихонов. Швейцар не понял, но переспрашивать не стал и указал рукой на лестницу. Тихонов поднялся на второй этаж и среди длинного ряда безымянных дверей быстро отыскал ту, на которой было написано: «Инспектор по кадрам». Заперто. Тихонов еще раз дернул ручку. По коридору шла женщина с ведром и щеткой.

— Чего дергать-то? Ведь заперто! Марианна Ивановна пошла за пирожками. Будет скоро. Ты сядь, подожди.

— Слушаюсь. Сяду подожду.

Тихонов уселся на красный бархатный диванчик и стал рассматривать развешанные на стене фотографии актеров в разных ролях. Прямо напротив висел хорошо сделанный портрет — «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР К. М. Ставицкий в роли графа Люксембурга».

«Да, ведь раньше он тоже в этом театре работал»,— вспомнил Тихонов. Ставицкий был в блестящем цилиндре, смокинге, с тростью, в плаще, накинутом на одно плечо. Красивый парень, ничего не скажешь. Потом подумал: «А все-таки алиби у вас нет, гражданин Люксембург». Тихонов встал и пошел вдоль стены, читая надписи к фотографиям. Большинство актеров на них имело вид лирико-драматический, а актрис — томно-демонический. Ага, вот



Copyrighted material

Букова — «...в роли Пепиты в оперетте Дунаевского «Вольный ветер». Букова была похожа на этикетку одеколона «Кармен» — с веером и завитой прядью на щеке. «Такие нам страсти бог послал»,— почачал головой Стас. Почти в самом конце коридора он нашел портрет Панновой — «Элизы Дулитл в оперетте «Май фер леди». Здесь Элиза уже не оборванка — она леди, элегантная, строгая, с очень умным лицом. Ну-ну!

Дверь в конце коридора вела на крутую железную лестницу. Стас спустился по ней и неожиданно оказался за кулисами. Здесь было полутемно. Мезозойскими волнами застыли складки занавесов и кулис, чернел провал оркестровой ямы, зыбь партера уходила в глубину зала, где очень далеко ночными баканами краснели буквы «Выход». Рабочий, возившийся где-то наверху, над сценой, кричал: «Электрики! Электрики, сволочи, луну снимайте!» — и голос его булыжником катался в пустой бочке зрительного зала.

«Смешно, что мы часто не только не задумываемся над сущностью явлений вокруг нас, но даже не подозреваем о наличии у них какой-то оборотной стороны,— подумал Стас.— Нас четко держит в русле привычных представлений изначальная заданность событий и людей. В театре всегда должен быть праздник, на космодроме бывают только запуски, актер обязан всегда быть благородным и прекрасным, а милиционер — хитрым и грубым! Причем заложено это так глубоко, что обычно и в голову не приходит спросить: «Почему?» Это аксиома, как точка — обязательно пересечение двух прямых. Хорошо бы запретить аксиомы. Их придумали наверняка о-очень умные люди. Аксиомы мешают менее умным заглядывать за установленный раз и навсегда предел...»

Стас тряхнул головой и поднялся обратно по лестнице. Дверь — «Инспектор по кадрам» — была приоткрыта.

Стас представился пожилой женщине, сидевшей за старинным письменным столом.

— Мне нужно посмотреть несколько личных дел...

— Творческих? — деловито спросила инспектор.

— Как? — не понял Тихонов.

— Ну, служащих или артистов?

— Артистов.

— А в чем дело? Кто-нибудь проштрафился?

— Да нет, что вы! — засмеялся Стас.— Просто в силу профессиональной любознательности.

— А чье именно дело вам требуется?

— Видите ли, я бы хотел посмотреть несколько...

— Ясно, ясно,— догадалась Марианна Ивановна.— Вот шкаф с личными делами, кто вам нужен — ищите сами. Секретничаете все!

Тихонов сказал:

— Вы не обижайтесь, пожалуйста. Ведь у нас специфика: спросим иногда про Петрова, и уже готова схема: то ли у Петрова что-то украли, то ли он у кого-то украл. В общем, в какой-то краже Петров замешан...

Кадровичка засмеялась:

— Да ладно, я эту шутку еще в двадцатом году от артиста Александра Вишневского слышала. Трудитесь...

Тихонов взял несколько личных дел.

Букова Елена Николаевна. Аннета: тридцать два года. Образование высшее. Копия диплома. Характеристика в девять строчек. Автобиография. Тоже несколько строчек: родилась, училась, поступила... Копии приказов: зачислить в театр, предоставить отпуск, объявить благодарность... Присвоить вторую категорию. Заявление об отпуске, еще одно. «Ей-богу,— подумал Тихонов,— у швейной машинки паспорт и то разговорчивей: что она умеет делать, чего нет; когда хорошо работает, когда плохо; кому на нее жаловаться...» Тихонов вздохнул и вернулся к автобиографии. Четкий, почти каллиграфический почерк. «Выработанный»,— вспомнил Тихонов термин экспертов-почерковедов. Не спеша, наверное, писала, выводила. А вот прошлогоднее заявление об отпуске. Здесь Букова явно спешила: зачеркивала, некоторые слова не дописывала. Все равно строчки круглые, гладкие, как на школьной доске. Да, не густо.

Тихонов открыл тоненькую папку с надписью «Панкова З. Ф.». Так, Зинаида Федоровна, тридцати одного года, автобиография: школа, театральная студия, эстрада, театр. Присвоена вторая категория. Вот и все. Взысканий нет. Благодарность «за творческие успехи» — ко дню Восьмого марта. Отпуск, еще отпуск, трудовая книжка. Все. Ближайшая подруга Буковой. Задушевная. Ставицкий говорил, что Панкова принимала очень близко к сердцу его разрыв с женой. В автобиографии, конечно, об этом ничего нет. И не может быть. Почерк какой корявый! Двоечницей, наверное, в школе была. Не то «К», не то «Н» — не разберешь, одинаково пишет. Постой, постой. Эти буквы кто-то еще пишет так же. «Н» похожее на «К», и «К» похожее на «Н».

Тихонов отложил папочку, полистал «для дела» еще несколько. Потом спросил:

— Скажите, пожалуйста, в какое время приходит в театр Панкова?

— Видите ли, Панковой сейчас нет в Москве. В Ленинграде у нее старушка мать. Недавно она серьезно заболела, и Панковой предоставили отпуск за свой счет. Завтра она должна выйти на работу.

— А когда она уехала?

— В понедельник вечером или во вторник утром. Я точно не знаю. Зине неожиданно сообщили о болезни матери, и она договорилась об отпуске с режиссером Колосковым по телефону.

— Ясно. Автобиографию Панковой и ее заявление я с вашего разрешения возьму...

...— Тут, видимо, какое-то недоразумение.— Колосков, коротко стриженный молодой человек, неуверенно.— Зины с понедельника нет в Москве, она уехала к больной матери.

Стас быстро просчитал в обратном порядке: четверг — раз, среда — два, вторник — три. Аксенова погибла в понедельник. Спросил:

— А как это произошло?

— Часов в десять вечера она позвонила мне домой, была очень взволнована. Сказала, что с матерью плохо и немедленно выезжает в Ленинград. Зина просила оформить ей отпуск до пятницы.

— Значит...

—... завтра она обязательно должна быть к двенадцати часам, у нас крайне ответственная репетиция.

Прямо из театра Тихонов поехал к Панковой домой, в Кривоколенный переулок. Дверь открыл представительный мужчина в сапогах.

— Зинаида Федоровна? Она в отъезде,— сказал он задумчиво, застегивая свои роскошные бриджи.— Да вы заходите. Знакомый ей будете?

— В общем-то знакомый. А давно она уехала? — спросил Тихонов.

— Порядочно. Дня три-четыре, значит.

— Три-четыре?

— Да я вам точно скажу. В воскресенье я ей сказал, чтобы она жировку за свет и газ рассчитала — ее очередь. Она говорит: «Ладно, Павел Кузьмич, к вечеру сделаю». Смотрю, вечером ее нет. Известное дело — артисты! А в понедельник сидим, телевизор смотрим, слышу, дверь у нее хлопнула. Я сразу к ней в комнату, а она сидит на диване, чемодан пакует. Я, значит, ей: «Ты что, Зин, уезжаешь? А жировка?» Она говорит: закрутилась, мол, с делами, забыла, говорит, жировку вывесить. И дает ее мне. А сама уехала, на гастроли, что ли, в субботу обещала вернуться.

— Что же она, прямо так в полночь и укатила? — вежливо удивился Тихонов.

— Да нет, часов одиннадцать было, аккурат телевизор кончился, как я к себе зашел.

— Ну спасибо, папаша,— сказал Стас, глядя через его плечо на листок с расчетом за свет и газ, пришпиленный к кухонной двери. Теперь окончательно ясно, откуда эти корявые, совпадающие «Н» и «К».— Водички нельзя попить?

— Это пожалуйста, воды у нас вдоволь, вон из крана третий день течет, а слесарям плевать.— Сосед, борзоча, пошел на кухню. Стас протянул руку, отцепил с двери счет, опустил его в карман. «Состава преступления нет,— подумал он.— За малозначительностью кражи и отсутствием вредных последствий».

Пить совершенно не хотелось, но Тихонов цедил воду, невкусную, с запахом железа, леденящую зубы.

2

На сей раз замок открылся сразу, и это обрадовало Тихонова: замерзли руки, и проделывать фокусы с ключом ужасно не хотелось. «За это я сейчас вызову наконец слесаря»,— злорадно подумал Стас. Дуя на пальцы, он набрал номер комендантского отдела, но там никто не снимал трубку. Стас посмотрел на часы — обед. Замок в этот день починить было не суждено.

Тихонов уселся за стол, с удовольствием вытянул длинные ноги.

— Итак,— сказал он вслух,— как говорил наш университетский остряк Лева Плоткин:

«Что мы имеем с гусь?» А имеем мы, похоже, первую микроскопическую победу...

Стас набрал номер, подождал.

— Алло! Савельев? Ты чего не звонишь? Я давно пришел. Минут десять. Ну ладно, ладно. Ты Демидову фото Ставицкого показывал? Не опознает? Значит, правильно. А чего мне не радоваться? У меня, мой друг, свои тайные услады. Теперь, старик, вся надежда на пассажира. Значит, в шесть ты, как из пушки, готов и ждешь моего звонка. Арривидерчи!

Потом достал из сейфа расчерченный на квадраты лист и стал аккуратно, с явным удовольствием густо заштриховывать клетку, в которой было написано «К. М. Ставицкий». Закончив, долго рассматривал лист, любуясь своей работой. Сложил его, спрятал в сейф, щелкнул замком, надолго задумался...

3

«В ленинградский уголовный розыск
Телефонограмма.
18 февраля 1966 г. 14 час. 25 мин.
исх. № 171«ф»

...По указанному адресу прошу срочно проверить факт болезни гр-ки Панковой Екатерины Сергеевны и пребывания у нее дочери — Панковой Зинаиды Федоровны. О результатах сообщите немедленно по телефону 99-84.

ПОДПИСАЛ — начальник отдела Шарапов.
ПЕРЕДАЛ — Тихонов.
ПРИНЯЛ — Петровцев».

4

Перед вечером пришла Трифонова, эксперт-трассолог из НТО.

— Нечем мне вас порадовать, Станислав Павлович. Очень трудную задачу вы мне задали.

— Простые я сам решаю,— усмехнулся Стас.

— Видите ли, Станислав Павлович, в подобных случаях ткань — очень плохой следовоспринимающий объект. Лишь в самых редких случаях она фиксирует форму орудия, которое на него воздействовало. Поэтому уже сейчас ясно, что по поводу повреждений на пальто и платье потерпевшей мы вам никакого заключения не дадим.— Трифонова сняла очки и задумалась. Потом вздохнула и продолжала: — Что касается кофты, то тут особый разговор. Вы, конечно, знаете, что такое негативный след?

Тихонов хмыкнул что-то не очень определенное.

— Грубо говоря, это — появление следа, которого не должно быть. И вот мне кажется, что на кофте есть такой след...

— Не понял,— честно признался Тихонов.

— Объясню,— терпеливо сказала Трифонова.— Вы мне вчера изложили механизм нападения, как вы его себе представляете и каким он выглядит по материалам дела. Кофта, которую вы мне передали для исследования, сделана из синтетической широковолокнистой шерсти методом крупной вязки. В этой кофте есть отверстие от оружия нападающего. Я провела эксперимент: шилами круглой и трехгранной формы я во многих местах прокалывала кофту...

У Стаса захватило дыхание.

— ...и ни в одном случае отверстия в ткани кофты не оставалось. Это подтвердило мое предположение о том, что ткань подобного типа оказывает лишь косвенное сопротивление острию оружия. Она пропускает его между отдельными нитями, просальзывающими вдоль иглы шила...

— Но этого не может быть,— растерянно сказал Стас.

— Давайте поднимемся к нам в лабораторию, и я вам все покажу,— тихо сказала Трифонова.

Стас взглянул на часы. Без пяти шесть. Он снял трубку телефона, набрал номер:

— Савельев! Я задерживаюсь. Бери кого-нибудь и поезжай на автобусную остановку к «Байкалу». Жди не меньше часа. Я буду все время на месте.

Они поднялись на шестой этаж, прошли длинным коридором, заставленным какими-то громоздкими станками, приспособлениями, ящиками. В одном из простенков стояли изрядно помятый капот «Волги» и переднее крыло с разбитой фарой. Трассологическая лаборатория помещалась в двух маленьких комнатах. Весь угол первой комнаты занимало огромное сложное сооружение. Оно было похоже одновременно на весы с товарной станции, токарный станок и телескоп. Тихонов кивнул на него:

— Изготовляем деньги, маленькие атомные бомбы и пишущие машинки?

На полу вдоль стен были расставлены смешные вещи, являющиеся для кого-то страшным вещественными доказательствами: гипсовые слепки чьих-то ног, сапог с четким отпечатком автомобильного протектора по голенищу; выпиленный из двери замок с явными следами взлома и рядом с ним ржавый, изогнутый в конце ломик; жаровня с торчащими из нее шампурами.

«Чего только не стекается сюда со всего города,— подумал Стас.— Здорово похоже на лавку «Старье-берем!». Хотя, если вдуматься, понятие старья весьма относительно — сегодняшнее старье завтра неожиданно становится антикварной ценностью».

Стас улыбнулся и сказал:

— Вы знаете, Анна Сергеевна, я вот оглядел вашу контору и вспомнил, как давным-давно, когда я еще был мелким совсем, в нашем доме жил дворник — татарин Бабахан. И рассказывал он нам, пацанам, сказки, которые слушали мы, естественно, с восторгом. Несмотря на то, что мужчин он обязательно называл «она», а женщин — «он». Помню, была у него сказка о том, как обидел багдадский халиф своего судью за справедливость его решений. Занимул судья от досады их багдадский УПК в реку и открыл на базаре лавку старья, да не простую, а волшебную. Ходил он по богатым домам, и, если покупал вещь, добытую злом и насилием, превращалось все остальное в этом доме в хлам и рухлядь. А сама вещь стояла в лавке, пока не приходил настоящий хозяин, и, если он был добрый человек, волшебник превращал вещь в новую и возвращал ее. Вот вы, Анна Сергеевна, и есть тот самый багдадский волшебник.

— Да ну вас, Станислав Павлович. Вы всегда чего-нибудь придумаете.— Трифонова было под пятьдесят, но смущалась и краснела она, как девочка.

— Ну хорошо,— засмеялся Стас.— Вернемся к нашим мутонам.

— Для начала давайте повторим эксперимент, Станислав Павлович,— сказала Трифонова.

Много раз во всех направлениях они прокалывали ткань кофты разными шилами и тут же внимательно рассматривали ее. Результат во всех случаях был один и тот же: от ударов не оставалось никаких следов, острие шила беспрепятственно проскальзывало сквозь пушистые волокна.

— Да-а, что-то тут не то,— растерянно пробормотал Тихонов.— Но как же с отверстием?..

— Вот сейчас мы его рассмотрим под микроскопом,— сказала Трифонова и положила кофту на предметный столик прибора.— Поглядите, нити петли в том месте, где находится отверстие, обрезаны ровно, как бритвой. А вот экспериментальный участок, смотрите внимательно, я ввожу шило...

Между рядами нитей, напоминавших под сильным увеличением ровные линии бревен в плотах, Тихонов увидел огромный металлический стержень с зазубренным концом. Конец стержня спокойно раздвинул два соседних «бревна», и они, изогнувшись, легко скользнули по нему.

— И вот петля, которую я для пробы разрезала ножом,— сказала Анна Сергеевна, и Тихонов увидел новый участок ткани, где несколько «бревен» были разрезаны пополам. В местах среза торчали лохматые, разной длины волокна, а некоторые из них, оставшиеся целыми, мягкими мостиками соединяли разрезанные нити.

— Теперь вам понятно? — спросила Трифонова.

— Теперь мне понятно, что ничего не понятно,— сказал Стас.— А может быть, это не шило вовсе, а острая узкая отвертка?..

— Это ближе к тому, что мы видим,— задумалась Трифонова.— Но нам ведь нужен достоверный вывод, а не гипотеза. Так?

— Так,— отозвался Стас.

— Мы можем сделать вот что. Поскольку отгадка, возможно, таится в свойствах ткани, надо обратиться к специалистам. Давайте, пока не поздно, я съезжу в лабораторию профессора Роговина. Там большие знатоки искусственного волокна. Может быть, они нам все разъяснят.

— Не поздно?

— А я, как чувствовала, договорилась с научным сотрудником лаборатории Левиным. Он меня будет ждать.

Продолжение следует.

В девять вечера пришел Савельев.

— Ничего,— флегматично сказал он.— Я — на остановку, тут как раз и автобус демидовский подъехал. Перегляну лись мы с шофером — и гуд бай.

Савельев моргал рыжими ресницами.

— Посмотрел еще несколько автобусов — и сюда. Ошибся шофер, наверное.

— Это почему же?

— Потому что, уж если б тот парень здесь сидел, так сидел бы. А то появился и исчез. Так не бывает.

— Логика железная,— засмеялся Стас.— Ну, ладно. Я буду домой собираться, да и ты иди отдохни. Завтра к десяти приезжай ко мне...

Его перебил звонок телефона. Савельев поглядел на телефон с опаской: какие еще новости в десятом часу?

По отдельным репликам Тихонова и его уничтожающему взгляду Савельев понял, что новости имеют к нему самое непосредственное отношение.

— Пошли к Шарапову,— сказал Тихонов, положив трубку.

— Кто звонил-то? — спросил Савельев.

— А то ты не понял! — зло рявкнул Стас. Презрительно протянул: — Так не быва-а-ет... Сейчас нам с тобой объяснят, как «бывает», теоретик!

Шарапов сидит нахохлившись, на желтом пергаментном лице резко обозначились морщины. Он греет ладони о свой фужер с черным кофе, смотрит куда-то вбок. Тихонов тоже устав ился в пол.

— Да-а, дела...— говорит Шарапов.— Как же это ты, Тихонов? — Ответа он, видно, не ждет, понимает, что отвечать тут нечего.

— Значит, говоришь, подъезжает Демидов к Самотеке, а впереди Гавриленки автобус? А?

— Гавриленки,— сумрачно подтверждает Стас.— У светофора перед строящейся эстакадой задержался.

— Ну и...?

— Ну и выскочил из этого автобуса Длинный, сел на один рейс раньше, наверное. Демидов его сразу узнал, а что подавались?

— А ты-то где же был?

Стас зло глянул на Савельева, сидевшего с невинным и даже чуть сонным видом на диване.

— Да вот, как на грех, закрутился здесь с экспертами...

Савельеву стало неловко. Он тряхнул рыжими чубом:

— Я за ним выходил, товарищ подполковник. К демидовскому автобусу. Кто ж его знал, что он к Гавриленко сядет?

— А-а,— протянул Шарапов.— Значит, не сдержал он обещания-то?

— Какого обещания? — опешил Савельев.

— Ездить только рейсом 20-37...

Савельев покраснел, пошевелил пятнами. Лучше уж помолчать. Стас что-то шептал себе под нос, загибая пальцы, потом вдруг сказал:

— Никуда он не денется. Сегодня не взяли — завтра возьмем. Раз он тут крутится...

— Да-а? Завтра возьмем, говоришь? — протянул Шарапов.— А может, через неделю возьмем? — Неожиданно разозлился: — Адресочек знаете?

— Какой? — спросили разом Тихонов и Савельев.

— Гарнизонной гауптвахты.

— Я, между прочим, неделю там с удовольствием отдохнул бы,— одно сказал Стас.

— Правильно, молодец. Сделал дело — отдыхай смело.

— Ладно, хватит. Сказал, возьмем,— значит, все.

— Ну-ну,— покачал головой Шарапов.

В кабинет заглянул дежурный.

— Тихонов здесь, Владимир Иваныч? Ему телефонограмма из Ленинграда.

Стас поднялся с дивана, подошел к дежурному, взял листок. Прочитал.

— Панкова действительно была в Ленинграде,— с удивлением сказал он.— Из ЛУРа сообщают, что мать ее хронически больна. Только что Панкова выехала московским поездом...

Шарапов подумал. Сказал:

— Встретишь ее на вокзале. Привезешь сюда.— Помолчал, потом, растягивая слова, добавил: — Я думаю, она много чего рассказать может. В лоб не начинай, о жизни побеседуй... Длинного завтра найди...

— Ну...

— Без «ну». Найди — и точка.

6

Тихонов еще раз внимательно перечитал телефонограмму, посмотрел в темное заиндевелое окно.

— У нас с тобой, Савельев, есть еще около девяти часов — надо успеть.

— Чего успеть?

— Найти Длинного.

— Ты что, шутишь?

— Самое время. У тебя дома телефон есть?

— Нет. А что?

— Тогда звони и себе в отделение, скажи, чтоб и жене кого-нибудь прислали — предупредить. Дома только завтра будешь,— сказал Стас, достал из стола чистую бумагу и стал писать что-то в столбик. Потом поднял голову, задумчиво посмотрел на Савельева. Оперативник дремал на стуле. Почувствовав взгляд Тихонова, встряхнулся, зевнул виновато.

— Стас! А, Стас! Есть очень хочется...

— Сочувствую. Мне тоже.

— Идем вниз, в буфет. Работать после будет легче.

Тихонов взглянул на часы.

— Двадцать минут одиннадцатого. Уже закрыто. Теперь буфет по ночам не работает.

— Чего так? — спросил недовольно Савельев.

— Наверное, в связи с сокращением преступности,— пожал плечами Стас.— А есть действительно убийственно хочется. Представляешь, сейчас бы шашлычок по-карски? А? И бутылочку-другую «Телиани»?

— Ой, не мучь!

Тихонов пошарил в карманах, нашел рубль, пригоршню мелочи.

— Давай, Савельев: шапку в руки — и беги в «Гастроном» на улицу Горького. Там до одиннадцати. Колбаски любительской возьми и булок. За полчаса обернешься. А я пока чай смастерю и подготовлю фронт работы.

Савельеву не очень-то хотелось выходить сейчас на мороз, но перспектива просидеть голодным всю ночь тоже не слишком грела...

Тихонов допил чай, стряхнул крошки и колбасные шкурки в пустой пакет, ловко бросил его через всю комнату в корзину.

— В баскетбол играешь? — благодушно спросил Савельев. Он блаженствовал, даже чуб потерял обычный, возмущенный вздыбленный блеск.

— Хватит, тунеядец, тешить плоть. Ты еще свой ужин не отработал. Не хлебом единым жив оперативник! — сказал Тихонов.

— Конечно, не хлебом,— буркнул Савельев,— за работу в твоей бригаде молоко надо получать: вредное производство.

— Садись, старик, рядом и, как говорят в Одессе, слушай сюда. Здесь список лиц и учреждений. Я разделил его поровну. Бери телефон и начинай...

Заканчивался пятый день поиска.

СУББОТА

1

Тусклый зимний рассвет вползал в окно неслышно, вязко, как кошка. Тихонов нажал кнопку, настольная лампа погасла, и знакомые очертания предметов, потеряв свою четкость, расплылись в голубом сумраке кабинета. Веки были тяжелые, будто налитые ртутью, а голова — огромная и звенящая, как туго надутый аэростат.

Посапывал Савельев. Он устроился на четырех стульях у стены, подложив шинель Тихонова и накрывшись своим стареньким пальто какого-то невероятного розового цвета.

Стас встал, потянулся, потер кулаками глаза и медленно, вязко, как о чем-то посторонним, подумал, что сегодня, наверное, все кончится и тогда можно будет спать, спать, спать. Он подошел к Савельеву, легко потряс его за плечо.

— Вставай, вставай, старик! Уже четверть девятого...

Савельев резко дернулся, не открывая глаз, сунул руку под голову, под шинель, натянулся на спинку стула и проснулся. Он сел, улыбаясь, все еще с закрытыми глазами, сказал:

— Сон хороший снился...

На его бледном лице затеяли от сна складки, набрякли глаза.

Приглаживая руками алую шевелюру, спросил:

— Стас, у тебя зеркала нет? Видок, наверное, тот еще!

— Ты ангорского кролика видал? Сходство сейчас замечательное.

— Он же белый, по-моему? — недоверчиво протянул Савельев.

— Цвет и выражение глаз одинаковые.

— У тебя, между прочим, сходство с иностранцем Тихоновым сейчас тоже минимальное,— ехидно заметил Савельев.— Слушай, Стас, а сколько я проспал?

— Часа полтора верных. Ну, все, старик, поехали. Поезд приходит в 9.10, значит, в полдесятого я здесь, а ты бери его и прямо сюда...

Панкова сказала:

— Учтите, что в двенадцать у меня репетиция.

— Собственно, длительность нашего разговора зависит от вас. Мне-то всего два-три вопроса надо задать.

«Красивая женщина,— подумал Стас.— Хотя временами уже и начало точить эту красоту. Хорошо держится».

— Итак, приступим к делу. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о взаимоотношениях в семье Ставицких?

— Ах, как трудно говорить с посторонними об интимной жизни своих близких!

— Ничего страшного, Зинаида Федоровна,— успокоил Стас.— В милиции, в исповедальне и у доктора интимные стороны жизни охраняются профессиональной скромностью собеседника. Там я вас слушаю.

— С Алешенькой Буковой мы дружим уже лет пятнадцать...

— Вы имеете в виду Елену Николаевну?

— Да, конечно. Мы все ее так называем...

Панкова говорила страстно, похрустывая длинными, красивыми пальцами:

— Тяжкая драма. Развалилось окончательно это теплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. А Алешенька еще надеется...

Высокая, еще стройная, в изящном жесте «диверси», она время от времени вставала и нервно ходила по кабинету. «Ишь, затянулась,— смотрел на нее Тихонов.— Мне только б в режиссеры — сразу на третью категорию обратно бы перевел...»

— Простите, а чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?

— М-м, точно я не могу этого утверждать, но чем вас, интересных женатых мужчин, можно скорее всего совратить с пути истинного? — кокетливо сказала она.— Как говорят французы: «Шерше ля фам».

— Я только интересный, но неженатый,— сказал Тихонов, напряженно думая о чем-то.

— Ну, тогда у вас еще все впереди,— заверила Панкова.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 7—8

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

ОЩУПЬЮ В ПОЛДЕНЬ

Повесть

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

— А вы не знаете, где надо искать эту женщину? — спросил Стас.

— Право, затрудняюсь вам сказать. Это ведь только мои догадки.

— И Букова тоже не знает?

— Скорее всего нет. Она бы мне сказала.

— Прекрасно. У меня будет к вам просьба: напишите мне обо всем этом. Можно покороче. Раз в шесть.

Звонок. Стас рванул трубку.

— Тихонов. Да, да, слушаю. Савельев. Куда? На работу? Совместительство? Давай туда. Жду. Удачи, старик.

Панкова за соседним столиком быстро писала объяснение. Тихонов подошел к окну. По заснеженной Петровке сновали троллейбусы, женщина несла перед собой, как щит, новый латунный таз, лениво протащила свой возок мороженщица. Тихонов негромко барабанил пальцами по стеклу, напевая под нос:

А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты...

Прошло утреннее оцепенение, его уже сотрясал азарт охотника, идущего по верному следу. Все, сеть заброшена...

— Все, я написала.

Стас подошел к столу, взял у Панковой объяснение, прочитал. Довольно улыбнулся, положил листок в стол.

— Вот видите, наша беседа заняла меньше часа. Давайте я вам отмечу пропуск на выход.

— Прекрасно, я как раз успеваю в театр.

Тихонов поставил на пропуске свою смешную, немного детскую подпись и потянулся к тушбочке за штампом. Достал, подышал на него. Панкова встала. Стас еще раз дыхнул на штамп и отложил его в сторону.

— Простите, Зинаида Федоровна, я забыл вам задать еще один вопрос.

— Пожалуйста.

Стас тихо сказал:

— Вы зачем писали письма с угрозами Тане Аксеновой?

Панкова бледнела стремительно, кровь отливала от лица, как будто сердце ее остановилось.

— Какие п-письма? Я вообще не люблю писать письма. И я не знаю никакой Аксеновой.

— Не знаете? Но это же вы предложили «шерше ля фам».

— Боже мой, если вы говорите об истории со Ставицким, то я не имею к этому никакого отношения.

— Вот что, Зинаида Федоровна, если вы хотите успеть на репетицию, то давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня все равно не попадете. А роль благородной подруги из вашей пьесы вам придется репетировать здесь, со мной.

— Не запугивайте меня! — крикнула Панкова, и из глаз ее брызнули слезы.— Театральная общественность столицы не допустит!.. Вы еще молоды...

— Чего не допустит театральная общественность? Моей молодости? — спросил вежливо Тихонов.— Наоборот, она ее скорее будет приветствовать. Так, знаете ли, интересней...

— Вы мальчишка,— сказала Панкова, и лицо ее теперь покрылось красными пятнами.

Стас покачал головой:

— Как жаль, что вы не в магазине. Там хоть висят плакаты: «Будьте взаимно вежливы!» Тем более что я еще не понимаю причины вашего гнева и испуга.

— Вы меня напрасно пытаетесь впутать в эту неприглядную историю! Сейчас не бериевские времена! — кричала Панкова.

— Ну-ка, тише,— вдруг резко сказал Стас, и Панкова сразу смолкла...— Насчет времен вы правильно сказали. А в скверную историю вы себя впутали сами.

Он открыл ящик и разложил на столе четыре листа бумаги.

— Вот ваша автобиография из театра. Вот жировка из вашей квартиры. Вот объяснение, которое вы сейчас написали. А вот это,— он поднес листок к глазам Панковой,— письмо Татьяне Аксеновой.

— Я ничего не понимаю,— сказала растерянно Панкова.

— Понимать нечего. Не надо быть почерковедом, чтобы увидеть: все бумаги написаны одной рукой.

— И что?

— А то, что это письмо найдено в сумке убитой Татьяны Аксеновой.

— Убитой? — с ужасом переспросила Панкова.

— Да-да, убитой. За три часа до того, как вы поспешно убыли в Ленинград.

— Но клянусь вам, это случайность! Ужасное, роковое совпадение! Я действительно писала ей письмо, но ничего подобного и в мыслях не имела.— Панкова зарыдала по-настоящему. Стас налил ей в стакан воды. У Панковой тряслись руки, и вода текла некрасивой струйкой по подбородку, рассыпалась темными каплями по платью. Она затравленно, не отрываясь, смотрела Стасу прямо в глаза. Тихонов отвернулся к окну. За стеклом летали сухие снежинки, в полдень было так же сумрачно, как и на рассвете.

Панкова плакала. Стас, прислушиваясь к ее всхлипываниям, вспомнил, как сидела онемевшая мать Тани, приговаривала все время: «Донюшка моя, доня...» И подумал с ожесточением: «Плачь, стерва, плачь. Не жаль мне тебя. Таня, когда умирала, не плакала...»

Тихонов сел за стол, собрал бумаги, положил в ящик.

— Вы успокоились? Давайте продолжим. Но учтите: если вы будете снова врать, то уже сами, как вы писали Тане, «поставите себя в весьма опасное положение».

Панкова кивнула.

— Но зачем вы так грубо со мной говорите? Вы же воспитанный человек...

— А вы бы хотели, чтобы я вас называл «мадемуазель» и шаркал ножкой? Это уж увольте! Вы что-то не очень раздумывали об этике, когда писали Аксеновой письмо с весьма прозрачными угрозами. А человек этот убит. Так что обойдемся без реверансов. Нам нужна правда. Намерены вы говорить только правду?

Панкова снова кивнула. Лицо ее стало некрасивым, обвисшим, с множеством мелких, суетных морщинок.

— Зачем вы написали письмо?

— Лена была так несчастна! И она надеялась, что если эта женщина оставит Костю в покое, он вернется домой.

— Вы снова говорите неправду.

— Почему?

— Это... это...— Стас вспомнил фразу из блокнота Тани Аксеновой.— Это одеяло лжи из лоскутов правды. Вы же прекрасно знаете, что Таня была не в курсе семейных дел Ставицкого. И специально информировали ее письмом. После этого Таня указала Ставицкому на дверь. Поэтому говорить о том, чтобы она «оставила его в покое», нелепо. Правильно?

— Ну, значит, я оговорилась. Это же непринципиально!

— Нет, принципиально. Потому что вы рассчитывали так: получив письмо с угрозами, Таня испугается и заставит Ставицкого вернуться к Буковой. Так?

— Ах, может быть, и так! Но ведь, ей-богу, я действовала из лучших соображений. Я хотела восстановить семью. Кто мог знать, что...

— Что? Кончится убийством?

— Я не имею к этому никакого отношения! Ведь это так страшно — убить человека...

— Боюсь, что вы не очень хорошо представляете, как это страшно — убить человека. Вы мне лучше скажите, кто мог совершить это убийство в интересах Буковой.

— Клянусь, я не знаю!..

— Ладно, допустим. У Буковой есть сейчас мужчина, как это называется, поклонник, который готов ради нее на все?

Мгновение подумав, Панкова ответила:

— Да, есть.— Сразу заторопилась: — Но я его видела всего несколько раз.

— А что, Букова его скрывает?

— Нет, мне он просто не понравился.

— Подробнее!

— Ну, у него какие-то скверные манеры, очень разухабистые. Вообще он какой-то отчаянный. И... нетрезвый.

— Как он выглядит?

— Высокий, по-моему, шатен, худощавый...

— Как зовут его? — Тихонов задержал дыхание.

— Ника. По-моему, Ника. Ник Ника...

— Его зовут Никита Казанцев? — спросил спокойно Стас.

— Наверное,— обрадовалась Панкова.— Полного имени я не знаю, но, кажется, его так и звали — Ника.

— Посидите здесь. Я скоро приду.— Тихонов подергал ручку сейфа и вышел.

— Через полчасика, Владимир Иваныч, сможешь побеседовать с Никитой Казанцевым, проходившим у нас под условной кличкой «Длинный». Савельев поехал за ним.

Шарапов поднял глаза от бумаг.

— Но-о! Нашел-таки? Ну, хвались, сынок, подвигами. Как вышел?

— Я его вычислил.

— Чего-о?!

— Вычислил, говорю. Как Леверье планету Нептун — на кончике телефонного диска!

— Ну-ка, ну-ка...

— Вот смотри. Эта идея сформировалась у меня окончательно вчера, когда я ушел от тебя. Интервал между автобусами — одиннадцать минут. Как же Демидов свог догнать Гавриленко на середине маршрута? Позвонил в парк. Оказывается, Гавриленко на семь минут опоздал к владыкинской остановке. Застрял у Самотеки, там эстакада строится. Тогда меня озарило: Длинный появляется на остановке три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, ровно в полдевятого, что, вероятнее всего, связано со сменами на работе. Надо было угадать самое главное: куда он ездит из Владыкина — домой или на службу? Подумал и решил: домой. Вот почему: во-первых, в пользу этого говорит само время его поездок. Вечерние смены везде обычно начинаются от пятнадцати до семнадцати часов,— значит, поздно. А ночные — от двадцати двух до двадцати четырех часов,— значит, рано. Во-вторых, я сделал допущение, скорее социологическое...

Шарапов усмехнулся.

— Не смейся, не смейся,— сказал Стас.— Женщины обычно ездят на работу очень точно, а возвращаясь, имеют в графике своего движения отклонения в среднем около часа. Это связано с хозяйственными заботами. Мужчины, наоборот, имеют в дороге на работу отклонения до пятнадцати — двадцати минут, а уходят довольно точно. Поэтому я решил, что он ездит домой.

Отсюда у меня пошел следующий этап. Парень должен работать где-то близко. В этом я не сомневался. Сначала я допустил, что он приезжает сюда на каком-то другом транспорте и делает пересадку. Однако этот вариант я отбросил. Объясняю. Приехать во Владыкино он мог только на восемьдесят третьем автобусе, идущем от Сокола, и электричкой Савеловской железной дороги. Автобус не годится: парень едет к цирку, а туда проще добраться этим же маршрутом по Лихоборскому шоссе.

— А электричка? — спросил Шарапов.

— Не годится,— покачал головой Стас.— Станция Окружная там действительно недалеко. Но зато от станции и остановки идти проще и ближе по тротуару, чем по пустырю. Кроме того, в этом промежутке времени только две электрички останавливаются на Окружной — 8.10 и 8.31. Если бы он приезжал в 8.10, то уезжал бы на автобусе в 8.26, а если в 8.31, то раньше, чем на автобус в 8.48, никак не попадал бы. А он-то ведь в 8.37 ездит! Значит, ясно: работает он где-то близко.

— Резонно,— кивнул головой Шарапов.

— Так где же это «близко»? Место убийства практически совпадает с остановкой автобуса. Я решил сделать первую прикидку: на карте района провел циркулем круг с центром в месте убийства. Длинный шел к остановке по пустырю с северо-запада. Поэтому половину круга в юго-восточном направлении я заштриховал сразу. Остался сектор, образованный Сусоколовским шоссе, железнодорожной линией и оградой Ботанического сада. Из-за линии он прийти не мог: полотно проходит по высокой обледенелой насыпи, на которую с той стороны и не вскарабкаешься. Выйти из Ботанического сада он тоже не должен был: там у ворот, на полкилометра ближе, есть остановка. Вывод: Длинный шел из глубины владыкинского жилого массива. С работы, заметьте себе, товарищ Шарапов!

— Ну-ну-ну,— заинтересованно сказал Шарапов.

— Вот тут и встала проблема: где же он может работать? И начали мы с Савельевым подбивать бабки. В намеченном для розыска районе имеются такие предприятия: завод, фабрика, комбинат бытового обслуживания, столовая, шашлычная, один жэк и две гостиницы — «Байкал» и «Заря».

Начали с завода металлоизделий. При этом не забудь, старик, что Длинный ходит с работы через день в 20.30. На заводе — ноль. Служащие уходят в пять, вторая смена заступает в четыре, а третья — в одиннадцать ночи. Савельев еще проверил, нет ли у них сотрудников, работающих до восьми — полдевятого. Нет. Значит, отпало.

Берем фабрику головных уборов «Свободный труд». Труд у них, видимо, действительно свободный, потому что работает этот гигант легкой индустрии до семнадцати часов, после чего запирается на замок.

Потом началась эпопея с магазинами. А их шесть штук. Ужас! Два промтоварных, два продмага, один культтоварный и булочная. С промтоварными и форпостом культуры, правда, все решилось быстро: в понедельник они все выходные. В булочной никто через день не работает. В продмагах время не совпадает, и тому же в одном из них работают только женщины.

Столовая закрывается в девятнадцать. Умерло.

Шашлычная — до пол-одиннадцатого. На всякий случай через ОВХСС проверили: никто в восемь — полдевятого там работу не заканчивает. Дошли до комбината — закрывается в семь. Точка.

Тогда настал черед гостиниц. Тут мне прямо нехорошо стало: около двух тысяч работников. Ну, благословясь, приступили. Узнаем: дежурные рабочие — электромеханики, мастера по ремонту пылесосов и полотеров, радисты — работают по двенадцать часов через день, с восьми тридцати до двадцати тридцати. Наконец-то! Начали с «Байкала» — ближа к автобусной остановке. Нашлось там таких дежурных двенадцать человек. Кто работал в понедельник — среду — пятницу? Шесть. Сколькими из них до тридцати лет? Четверым. Кто длинный? Двое. Кто такие, где живут? Один — в соседнем доме. А радиомастер Никита Александрович Казанцев живет в Большом Сухаревском переулке, дом 36, квартира 79,— в пяти минутах ходьбы от остановки двадцать четвертого автобуса «Госцирк». Вот так.

— Молодец,— сказал Шарапов.— Молодцы! — И засмеялся: — Нептун, одно слово...

Зазвонил телефон. Шарапов снял трубку:

— Савельев? Где, внизу? Прямо вместе с ним поднимайся ко мне...

3

Высокий парень в черном пальто был чуть бледен, но держался спокойно. Только руки судорожно мяли кепку. В кабинете Шарапова он прислонился к стене, принял независимую позу. Савельев, помахивая чемоданчиком, взял его под локоть.

— Вы проходите, проходите. Присаживайтесь. Беседовать-то долго придется.

Парень дернулся:

— Не хватайте руками! Не гяухой.

— Вот и хорошо,— миролюбиво сказал Савельев.— Садитесь вот, с товарищами потолковать удобней будет.

— Всю жизнь мечтал,— усмехнулся парень.

Шарапов и Тихонов молча рассматривали его. Потом Шарапов провел пальцем по губам, будто стер слой клея между ними.

— Что в чемоданчике носите, молодой человек?

— А вам что до этого? Все мое, вы там ничего не забыли.

— А чего дерзите?

— А вы привыкли, что здесь перед вами все сразу в слезы — только отпустите, ради бога.

— Нет. Кому бояться нечего, с теми легко без слез обходимся. Так что в чемоданчике?

— Возьмите у прокурора ордер на обыск и смотрите.

— Постановление. Не ордер называется — постановление. А прокурор, наверное, сейчас сам пожалует. С вами знакомиться, специально.

Казанцев нервно всхлипнул, щелкнул никелированными замками лежащего перед ним на столе чемоданчика, откинул крышку. Тестер, мотки проволоки, пассатижи, паяльник, припой. В отдельном гнезде на крышке тонкая длинная

отвертка, слабо мерцающая блестящим жалом. Тихонову изменила выдержка:

— Вот оно, шило!..

— Это не шило, а радиоотвертка,— сказал, презрительно скривив рот, Казанцев.

— Знаю, знаю, гражданин Казанцев! Это мы поначалу думали, что шило,— сказал Стас и повернулся к Савельеву: — Подготовь для Панковой опознание и отправляйся за Буковой.

Казанцев захотел сесть с краю. Рядом уселись еще двое. Панкова вошла в кабинет, и Тихонов подумал, что глаза у нее, как у статуи Дианы, большие, красиво вырезанные, без зрачков. Он сказал:

— Посмотрите внимательно на этих людей. Успокойтесь, не волнуйтесь. Вспомните, знаете ли вы кого-нибудь из них?

Панкова долго переводила взгляд с одного на другого, потом на третьего, и Тихонову показалось, что она избегает смотреть в лицо Казанцеву. Он увидел, как кровь стала быстро оттекать от щек Казанцева. И глаза Панковой были все такие же, без зрачков.

Она сказала медленно:

— Не-ет. Я никого из них не знаю.— Потом уже тверже добавила: — Ники здесь наверняка нет...

4

Тихонов горестно всхлипывал, бормотал, с кем-то спорил, и сон, горький и тяжелый, как дым пожарища, еще клубился в голове, когда он услышал два длинных звонка. Он сел на диване.

Оконная рама встала на путн голубого уличного фонаря, расчертившего стену аккуратными клетками-классами. Ребятишки чертят такие на асфальте и прыгают в них, приговаривая: «Мак — мак — мак — дурак!» Тихонов сонно подумал: «Я бы и сам попрыгал по голубой стене. Но я уже наступил на «чиру». Сгорел. «Мак — мак — дурак!» Снова требовательно загремел в коридоре звонок.

«Все-таки действительно звонят. Я-то надеялся, что приснилось». Он нашарил под диваном тапки, встал, пошел открывать. За дверью кто-то напевал вполголоса:

За восемь бед — один ответ!
В тюрьме есть тоже лазарет.
Я там валялся,
я там валялся...

«Понятно,— хмыкнул Тихонов.— Лебединский со своим репертуарчиком».

— Розовые лица! Ре́вольвер — желт? — заорал с порога Лебединский.

— Заходи. Твоя милиция тебя бережет,— пропустил его Тихонов и не удержался: — Долго придумывал эту замечательную шутку?

— Всю жизнь и сей момент. Слушай, барбос, а ты же ведь и не розовый совсем, а какой-то нежно-зеленый. Как молодой салат.

— У меня, видимо, жар,— сказал Тихонов и потрогал горячий лоб.

— Надеюсь, любовный? — осведомился Лебединский.

— Нет, служебный,— хмуро сказал Стас.

— О, Тихонов, если уж ты загугнил,— значит, дела швах! Тебя, наверное, разжаловали в постовые?

— Ха, если бы! Моя жизнь стала бы безоблачно голубой! И даже где-то розовой.

— А ты знаешь, я приехал вчера из Парижа с симпознума, и там мне ужасно понравилось, что ажаны раскатывают на велосипедах. Живописно до чрезвычайности!

— Где раскатывают — на симпозиуме?

— Ты, жаба, зол и туп. Ажаны раскатывают по Парижу, а на симпозиуме обсуждают возможности моделирования человеческого мозга. Я же, вместо того чтобы за бесплатно привезти для тебя приличную мозговую модель, истратил половину валюты на подарок.

Лебединский достал из бокового кармана пальто небольшой сверток.

— Гляди, питон, это марочный старый коньяк «Реми Мартин». Штука бесподобная. Ц-ц-ц! — И пощелкал языком.

— На меня ты потратил только четверть валюты, вторую четверть ты сейчас проглотишь сам,— пробурчал Тихонов и подумал: «Какое счастье, что есть на земле такие нелепые умницы, Сашки Лебединские, которые тратят половину своей скудной парижской валюты на «Реми Мартин», не подозревая, что эту невидаль можно купить в елисеевском «Гастрономе» за пятерку! Наверное, настоящим мужикам даже в голову не приходит, что дружить можно дешевле». Тихонов покрутил в руках бутылку, понимающе кивнул: — Коньячок хоть куда! Позавчера такую в руках держал.

— Ну врешь же, обезьяна, врешь, по глазам вижу! Где ты мог его пить?

— Вот те истинный крест! Держал! А пить не пил. Весь был при исполнении служебных...— И сразу вспомнил: «А у вас в Скотленд-Ярде не пьют?» — Ладно, Сашка, давай отведаем твоего бальзама. За это, подожди только, угощу тебя напитком, которым причащают вступающих в орден настоящих мужчин. Называется ликер «Шасси».

— Врешь, поди, тритон, как всегда. Или ликера такого нет, или не угостишь, или вообще все придумал.

— Нет, Сашок, ликер такой есть. Это я тебе серьезно говорю. И слово даю тебе честное: мы его с тобой еще выпьем на радостях.

Лебединский неожиданно спокойно и тихо спросил:

— Когда жар окончится?

— Да, Сашка. Дела мои, как ты говоришь, швах!

Лебединский сильно хлопнул его ладонью пониже спины:

— Ну-ка, морж, встряхнись! Давай хлопнем этого французского барахла, поболтаем, сгоняем в шахматишки — и жизнь покажется нам краше и нарядней...

Лебединский лежал на диване, Стас уселся в глубокое кресло рядом, между ними на столике шахматная доска. Сбоку, на стуле, бутылка и рюмки. Коньяк не брал Стаса совсем, но все вокруг казалось горячим, влажным, лишенным четких очертаний. «Как в парилке»,— подумал Стас и сказал:

— Устал я, Сашка, очень. Устал. И время от времени я начинаю себя чувствовать на работе вещью обязательной и ненужной, как смычок для контрабаса. А это ужасно, потому что в моей работе тоже необходимо творчество, хоть меня и не посылают, как тебя, в Париж...

— Красиво сказано насчет смычка! Пример суесловия для учебника риторики. Суесловие твое, мандрил, есть продукт секундного кокетства, минутной неудовлетворенности и постоянного невежества. Если бы ты ходил развлекаться не на танцульки, а в симфонические концерты, то знал бы тогда, что смычок контрабаса — вещь очень нужная. Просто необходимая!

— Спасибо, отец, за информацию. Слушай дальше. Подтверждается все: и Казанцев это, и по пустырю он шел в понедельник, и отвертка у него есть длинная. Но он бьется, как лев, и доказывает, что он не убивал Аксенову. И что не знал он ни ее, ни Букову и что не надо ему было этого вовсе. И хотя этого не может быть, я ему верю. А Букова мне объясняет, что приятеля ее вовсе зовут Кока, а не Ника — Николай Лысых, и находится он уже третью неделю в Свердловске. Это правда, мы проверили. И все разваливается, хотя со вчерашнего дня я был уверен: осталось чуть-чуть — и возьмем убийцу. Пять дней я топал по фальшивому следу. А где теперь настоящий убийца — один бог весть!

— М-да, тут даже вся моя диагностическая лаборатория не поможет...

— Ты знаешь, Саш, я ведь в этих вопросах всегда очень строг к себе. Но тут я даже казнить себя не могу: факты настолько четко выстраивались в логическую схему, что я и сейчас не представляю, с чего начну в понедельник.

Лебединский сказал:

— Старик, я в этих вопросах плохо понимаю. Но, выслушав тебя внимательно, я бы хотел высказать свое мнение...

Тихонов кивнул.

— У тебя, Стас, для такого запутанного дела было слишком много фактов.

Стас удивленно взглянул на него.

— Да, да.— Лебединский встал с дивана, прошелся по комнате, включил телевизор. Медленно затеплела трубка.

— Постараюсь объяснить на близких мне понятиях. На симпозиуме выступил с очень интересным докладом француз Шавуазье-Прюдом. Он предложил ни много ни мало принципиальную схему электронной машины, полностью моделирующей человеческий мозг. Был у этой схемы только один маленький порок: практически она неосуществима из-за фантастического количества образующих ее узлов. Понимаешь? Работа всей схемы зависит от одновременной надежности каждого из элементов. Но их так много, что в любой данный момент выходит из строя хотя бы один. В результате схема не срабатывает или дает неправильный результат. Понимаешь, тапир? Во всем твоем деле было

стольно узлов, что проверить их надежность в работе одновременно тебе не удалось. А ты ведь не компьютор, ты только гомо сапиенс, и то не слишком удачный экземпляр.

Стас сказал:

— А что такое «компьютор»?

— Машина-вычислитель.

— Слава богу, что я гомо, хоть и не слишком сапиенс. В отличие от тебя, компьютор несчастный!

Лебединский засмеялся, подошел и обнял его за плечи.

— Эх, Стас, Стас! Вижу я, старичок, совсем тебе худо с этим делом.

Стас хмуро помочал головой.

— Не говори, Сашка. Как вспомню ее мать — жить не хочется.

Лебединский сказал:

— Тебе сейчас надо отлечься, хоть немного отключиться от дела. Это я тебе как врач говорю. У тебя сейчас выработался стереотип мышления. В каком-то месте есть порок, но ты этого не замечаешь и продолжаешь бегать по кругу. Давай беседовать на отвлеченные темы, а то мы с тобой, как командорские лесорубы: в лесу — о бабах, с бабами — о леса.

Лебединский снова разлил коньяк по рюмкам, обмакнул дольку лимона в сахарницу.

— Что ж, Стас, выпьем? За тех, кто в МУРе!

Стас засмеялся. Они выпили. Лебединский, морщась, закусывал лимоном. Видно было, что вместо коньяка он с удовольствием выпил бы сладкого чаю. Тем более что лимон уже есть. Пока он расставлял на доске фигуры, Стас смотрел телевизор. Показывали «Ромео и Джульетту».

— Смешно, когда идет опера без звука. А балет ничего, даже лучше,— сказал Лебединский.— Ага, если я не ошибаюсь, там как раз завязывается свара между Монтекки и Капулетти.

— Точно,— кивнул Стас и двинул вперед королевскую пешку.— Эти стройные мелодии в чулках и камзолах уже крепко выясняют отношения. Скоро начнут ширять друг друга саблями.

— Не саблями, валенок, а шпагами.

— Ну, шпагами,— равнодушно сказал Тихонов и двинул конем под бой.— За это время ушерли шпаги, ушерли камзолы, ушерли государства, а любовь жива. И до сих пор из-за любви ушерают и убивают.

— Это рудимент и атавизм,— сказал Лебединский.— Вульгарный пережиток в сознании отсталых людей.

— Что, любовь?

— Нет, умирать и убивать из-за любви. Вот на том же симпозиуме один деятель сделал вне программы сообщение. Он предложил повсюду внедрить электронные машины для помощи вступающим в брак.

— Это как?

— А так. Большинство людей, так же как и ты, долго не женятся из-за того, что никак не могут, видите ли, встретить того единственного человека, который им нужен. Поэтому заполняешь специальный бланк, описываешь с минимальной обстоятельностью свои требования и отправляешь его в Центр бракования. Там соответствующим образом кодируют этот бланк и запускают в электронную машину, которая по имеющемуся каталогу в два счета находит тебе невесту. Едешь к ней, представляешься: вот-де, мол, я, ваш единственный суженый и ряженый, прошу пожаловать в загс. Нравится?

— Не очень. Я уж как-нибудь обойдусь старым способом.— Стас помолчал, подумал, спросил:— Слушай, Сашка, а ты кто больше — врач или кибернетик?

— Теоретически врач,— усмехнулся Лебединский.

— А вот посмотри: Тибальд уже минуты две, как пырнул Меркуцио, а тот все еще красиво умирает. Ты мне сказал, в жизни так может быть: в сердце воткнули и выдернули шпагу — может человек еще ходить после этого?

— Ты, Стас, вульгарный материалист. Это же искусство! А в жизни вряд ли.

— А точнее?

— Ну, шаг, другой, третий может сделать — и все.

— Но ведь Анисимова сделала после такого ранения не менее двадцати шагов. Это же факт!

— Нет ничего относительно абсолютных фактов. Помнишь, как мы с тобой лет пятнадцать назад поймали ворону и окольцевали ее табличкой с надписью: «1472 год». Если ее потом поймал какой-нибудь орнитолог, он наверняка защитил на ней диссертацию. А пока тебе гарде!

Зазвонил телефон. Стас, не вставая с кресла, протянул руку и взял трубку.

— Добрый вечер, Станислав Павлович. Это Трифонова говорит.

— Да, да, Анна Сергеевна, слушаю.

— Простите за поздний звонок. Но я решила не откладывать. В лаборатории утверждают, что края отверстия в кофте оплавлены...

Электрические шорохи скреблись в телефонных проводах, по которым бежали крошечные волнки человеческих слов, суматошно заметались в трубке гудки отбоя, и вдруг все перестало плыть перед глазами, снова стало четким, как будто кто-то повернул в голове ручку фокусировки. Стас бережно положил трубку на рычаг, механически снял конем короля. Лебединский закричал дурным голосом:

— Что ты делаешь, мудик!

— Стой,— тихо сказал Стас.— Я все понял...

Гладкая дырка в кофте, двадцать шагов мертвой Тани Анисимовой, идущий впереди по тропинке Казанцев, черные окна гостиницы — все закрутилось снова сумасшедшей каруселью.

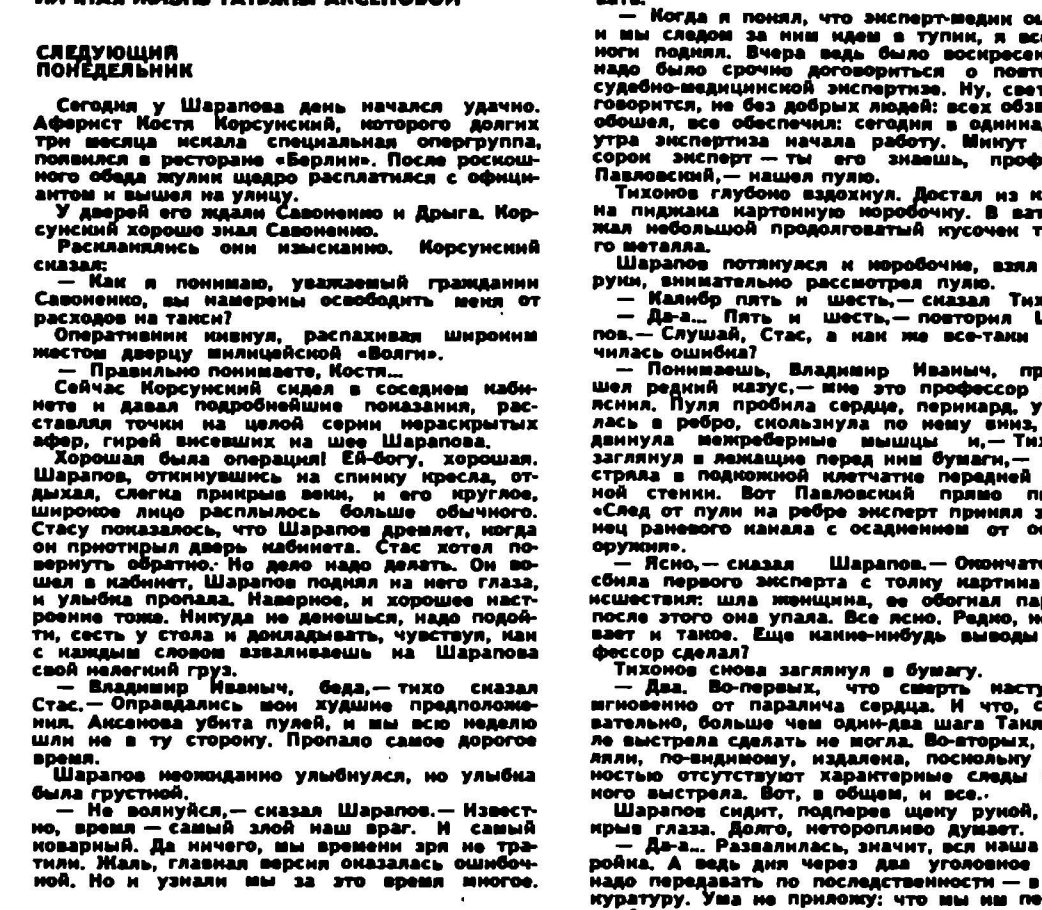
— Пуля! — крикнул Стас.— Это была пуля!

Продолжение следует.

Аркадий ВАЙНЕР, Георгий ВАЙНЕР

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ТАТЬЯНЫ АКСЕНОВОЙ

СЛЕДУЮЩИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Сегодня у Шарапова день начался удачно. Аферист Костя Корсунский, которого долгих три месяца искала специальная опергруппа, появился в ресторане «Берлин». После роскошного обеда жулик щедро расплатился с официантом и вышел на улицу.

У дверей его ждали Савоненко и Дрыга. Корсунский хорошо знал Савоненко.

Расклеились они изысканно. Корсунский сказал:

— Как я понимаю, уважаемый гражданин Савоненко, вы намерены освободить меня от расходов на такси?

Оперативник кивнул, распахивая широким жестом дверцу милицейской «Волги».

— Правильно понимаете, Костя...

Сейчас Корсунский сидел в соседнем кабинете и давал подробнейшие показания, расставляя точки над целой серии нераскрытых афер, гирей висевших на шее Шарапова.

Хорошая была операция! Ей-богу, хорошая. Шарапов, откинувшись на спинку кресла, отдыхал, слегка прикрыв веки, и его круглое, широкое лицо расплылось больше обычного. Стасу показалось, что Шарапов дремлет, когда он приоткрыл дверь кабинета. Стас хотел повернуть обратно. Но дело надо делать. Он вошел в кабинет, Шарапов поднял на него глаза, и улыбка пропала. Наверное, и хорошее настроение тоже. Никуда не денешься, надо подойти, сесть у стола и докладывать, чувствуя, как с каждым словом взваливаешь на Шарапова свой нелегкий груз.

— Владимир Иваныч, беда,— тихо сказал Стас.— Оправдались мои худшие предположения. Аксанова убита пулей, и мы всю неделю шли не в ту сторону. Пропало самое дорогое время.

Шарапов неожиданно улыбнулся, но улыбка была грустной.

— Не волнуйся,— сказал Шарапов.— Известно, время — самый злой наш враг. И самый коварный. Да ничего, мы времени зря не тратили. Жаль, главная версия оказалась ошибочной. Но и узнали мы за это время многое. Да-а... Все это еще пригодится. Раскрутим мы это убийство, не вешай носа. Кофе хочешь? Нет? Ну, садись тогда, рассказывай по порядку.

Тихонов достал из бокового кармана свернутые в трубочку бумаги, разгладил их ладонью, полистал. Не поднимая глаз, начал рассказывать:

— Когда я понял, что эксперт-медик ошибся и мы следом за ним идем в тупик, я всех на ноги поднял. Вчера ведь было воскресенье, а надо было срочно договориться о повторной судебно-медицинской экспертизе. Ну, свет, как говорится, не без добрых людей: всех обзвонил, обошел, все обеспечил: сегодня в одиннадцать утра экспертиза начала работу. Минут через сорок эксперт — ты его знаешь, профессор Павловский,— нашел пулю.

Тихонов глубоко вздохнул. Достал из кармана пиджака картонную коробочку. В вате лежал небольшой продолговатый кусочек темного металла.

Шарапов потянулся к коробочке, взял ее в руки, внимательно рассмотрел пулю.

— Калибр пять и шесть,— сказал Тихонов.

— Да-а... Пять и шесть,— повторил Шарапов.— Слушай, Стас, а как же все-таки получилась ошибка?

— Понимаешь, Владимир Иваныч, произошел редкий казус,— мне это профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, ударилась в ребро, скользнула по нему вниз, раздвинула межреберные мышцы и,— Тихонов заглянул в лежащие перед ним бумаги,— и застряла в подножной клетчатке передней грудной стенки. Вот Павловский прямо пишет: «След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала с осаднением от острия оружия».

— Ясно,— сказал Шарапов.— Окончательно сбила первого эксперта с толку картина происшествия: шла женщина, ее обогнал парень, после этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие-нибудь выводы профессор сделал?

Тихонов снова заглянул в бумагу.

— Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно от паралича сердца. И что, следовательно, больше чем один-два шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека, поскольку полностью отсутствуют характерные следы близкого выстрела. Вот, в общем, и все.

Шарапов сидит, подперев щеку рукой, прикрыв глаза. Долго, неторопливо думает.

— Да-а... Развалилась, значит, вся наша постройка. А ведь дня через два уголовное дело надо передавать по последственности — в прокуратуру. Ума не приложу: что мы им передадим?

Тихонов безнадежно машет рукой.

— Ладно,— говорит Шарапов.— Надо искать оружие...

— В первую очередь надо выяснить, откуда стреляли,— хрипло говорит Стас.— Казанцев явно отпадает: стрелять он мог только в упор, а экспертиза это отвергает напрочь... Кроме него, Евстигнеева и Лапина на пустыре никого не видели...

Тихонов задумывается надолго, потом решительно говорит:

— Вот что, Владимир Иваныч. Направление выстрела мы определим экспериментально!

— Сомнительно что-то...

— Ничего сомнительного, все по науке будет.

— Подвела нас крепко наука, с шилом-то,— почесал головой Шарапов.

— Нечего на зеркало пенять!— разозлился Стас.— Подсунул эксперт удобную для нас версию, мы в нее и вцепились. Спешим все...

Взгляд Шарапова потеплел.

— Ладно, парень. Не в Сочи спешили... Вперед урок будет. Так что решаем с экспериментом?

— Я считаю, надо проводить.

— Ладно, пробуй, только на месте обставь все поаккуратней, без лишнего шума, народ не мути.

Тихонов сделал несколько шагов по комнате, упрямо сказал:

— Это еще как сказать — насчет народа.

— А что?

— Мне кажется, эту операцию широко надо провести, с размахом. Народ обязательно соберется, будут спрашивать: что, да как, да зачем? Объясним. Люди другим расскажут. Глядишь, кроме Евстигнеевой да Лапиной, еще свидетели найдутся. Может, кто-то выстрел слышал. Или подозревает кого-нибудь. Да мало ли еще что! Беспокоюсь только, как бы не спугнуть стрелка этого...

— Не-е,— улыбнулся Шарапов.— Что нет, то нет. Дело не то. Здесь нам от преступника таиться нечего. Мы розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам ничем не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. А если попытается подняться, воду нам мутить — глядим, и наведет на свой след.

Шарапов размял сигарету, стряхнул со стола табачинки, закурил.

— Пошию, размотывали мы в Филях одно дело. Яблин-Каин, рецидивист, человека убил. Ну, среди прочего узнали мы, что с убитого сняты золотые часы «Омега». То ли Каин пронюхал, что мы эти часы ищем, или сам сообразил от улики избавиться. Подобрал в «Ландыше» одного пьющего компаньона-командировочного, напились оба. А когда до поцелуев у них дошло, поменял с ним часы: у того «Полет» был, он ему за них и отдал «Омегу». Проспался командированный, видит обновку. Однако трезвый он принципиальный был. Приходит в девятое отделение, ищите, говорит, мои часы, мне, мол, чужого не надо. Дежурный уж было его наладил на выход, да тут, к счастью, Володя Дранников случился. Бросил глаз на «Омегу» и обомлел. Ну, а когда командировочный обрисовал, с кем гулял да часами менялся, ясно стало: Яблина работа. Там-то, сынок,— поднялся Шарапов.— Преступник нам здесь не помеха. Ну, что ж, давай, организовывай эксперимент. Посмотрим, что получится.

СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРНИК

1

Тихонов набросал карандашом схему и протянул Шарапову.

— Смотри, Владимир Иваныч, эксперты утверждают, что выстрелить могли только из этих трех окон — левый блок, третий этаж, номера пятьдесят восемь, пятьдесят девять и окно лестничной клетки. В номере пятьдесят восемь проживает инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из Кронска Лагунов Дмитрий Михайлович. В пятьдесят девятом номере — врач из Кимешмы, Александр Павлович Попов, с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый понедельник. И кто-то еще, нам неизвестный, мог выстрелить из третьего окна на лестнице.

— Соображения?

— Козака и Лагунова я еще не видел: они со своими командировочными радостями возвращаются около пяти. С Поповым разговаривал.

— Что-нибудь интересное есть?

— Есть. Варенье. Любишь вишневое варенье?

— Чего-о?

— Варенья, говорю, вкусного целое ведро есть. Приглашали еще заходить.

— Тебя все на сладкое тянет,— ухмыльнулся Шарапов.— А кроме варенья, что интересного?

— Он в институт усовершенствования приехал, диссертацию защищать, а докторша — болеть за него. Я специально для тебя даже записал тему диссертации, запомнить не смог.— Тихонов достал записную книжку, полистал и важно объявил: — «Состояние гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной системы при воздействии ионизирующего излучения». Во как!

— Что ж, красиво. А животик не болит от вишневого варенья? Я ж тебя знаю: съел, наверное, полведра.

— Ну-у, ты не прав. Я же сластей вообще не ем!

— Ладно, ладно, давай дальше.

— Дальше — окно на лестнице. Вот окно это мне не нравится. Лестничная клетка находит-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 7—10.

ся в конце коридора, и выход на нее из бокового прохода. Этакий аппендикс. Площадка из коридора не просматривается. Лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал — горничные, монтеры, слесари. По существу, это черный ход. Выходит он во двор гостиницы. Дверь внизу обычно запирают в десять вечера. Наверху лестница переходит в чердачную площадку. Дверь на чердак заперта и была когда-то опломбирована. На петлях висят обрывки проволоки, а в углу я отыскал смятую пломбу. Пол там очень запылен, и на бетоне нечеткие следы ног. Перекопали мы чердак сверху донизу, но ничего не нашли. Отпечатки следов на всякий случай мы сняли. Надеялся я все-таки стреляную гильзу найти — нет, ничего. Сейчас поеду беседовать с Козаком этим и с Лагуновым. А лестницей еще придется заняться...

2

— Я вам объясню, из-за чего произошло убийство,— сказал Козак.— Не надо быть всевидящим пророком, чтобы объяснить, из-за чего могли убить молодую, интересную женщину. Любовь. Да-да, любовь! Это страшная штука, должен вам заметить. Меня самого однажды чуть не убили из ревности.

Тихонов внимательно смотрел на него: Козак был чрезвычайно наряден, мал ростом и невыносимо энергичен. Он без устали катался по небольшому номеру на своих коротких ножках, ловко обходя все препятствия на пути.

— Да-да, я вам серьезно говорю. У меня был такой острый роман в Смоленске. Неповторимая дама! Волшебный экстерьер! Я не женился на ней случайно. Когда я уехал из Могилева в Минск...

— Вы же сказали, что в Смоленске...

— Да, но ведь мне потом пришлось перевестись в Могилев, и она приезжала ко мне. О, эти незабываемые прощания и встречи на вокзале! Я получил тогда строгача с понижением по должности...

— За прощания на вокзале?

— Нет, к сожалению, за встречи,— ловко обогнул тумбочку Козак.— А вы смеетесь? Зря, зря, товарищ Тихонов. Ваше лицо мне симпатично, поэтому я с вами так откровенен. Скажу вам тет-а-тет, как мужчина мужчине: сколько я горел из-за женщин! Как горел, боже мой! С дымом, с треском! Но не могу я бороться с чувством прекрасного в себе!

— И давно вам так тяжело?

— Первый выговор я схлопотал лет двадцать назад.— Козак чуть не налетел на стул.

— Просто вам надо жениться по любви,— сказал участливо Тихонов.

— Ах, милый мой, я уже четырежды был женат по любви.

— Слушайте, Козак, у вас не сердце, а дворец бракосочетаний. Вашу бы энергию да на мирные цели...

— Интерес к женщинам — стимул любого творчества,— обиделся Козак.— Все великие люди были неравнодушны к женщинам: Леонардо да Винчи и Монферран, Петр Первый и Наполеон, Пушкин и Толстой. Это же достоверный факт!

— А вы замыкаете этот славный ряд?

— Я не Монферран и не Наполеон...

— Заметил,— кивнул Стас.

— ...но и я имею перед человечеством заслуги,— важно сказал Козак.

— По части чего?— вежливо осведомился Стас.

Тут Козак обиделся всерьез. Он полез в шкаф, достал чемодан, из него потертую кожаную папку с надписью «На подпись». Папка распахнулась с треском. Почетные грамоты, благодарности, вырезки из газет свидетельствовали о трудовых успехах инженера-строителя Л. А. Козака. Среди бумаг лежала фотография еще совсем молодой, очень красивой женщины.

— Это моя супруга,— с гордостью сказал Козак.

— Четвертая?— съехидничал Стас.

— Практически,— замялся Козак.

— А теоретически?

— Видите ли, сложные житейские обстоятельства помешали нам с четвертой оформить брак официально.

— Строгач или понижение?— сочувственно спросил Стас.

— Перебросили в сельское строительство, на Львовщину,— вздохнул Козак.

— Там вы и познакомились со своей нынешней пятой супругой?

— Да, ее папа, мой тесть,— начальник межрайонной конторы «Сельэлектро»...

Стас неожиданно вспомнил, что Львов в нескольких часах езды от Ровно, куда Таня ездила в командировку. «Пора начинать атаку»,— подумал он.

— А ее папа, ваш тесть, намного вас старше?

— На четыре года. А что?

— А то, что я хочу узнать, как вы провели вечер прошлого понедельника?

— Вечер? Прошлого понедельника?— споткнулся Козак.

— Да, да, уважаемый Лев Алексеевич, именно вечер прошлого понедельника. И подробнее.

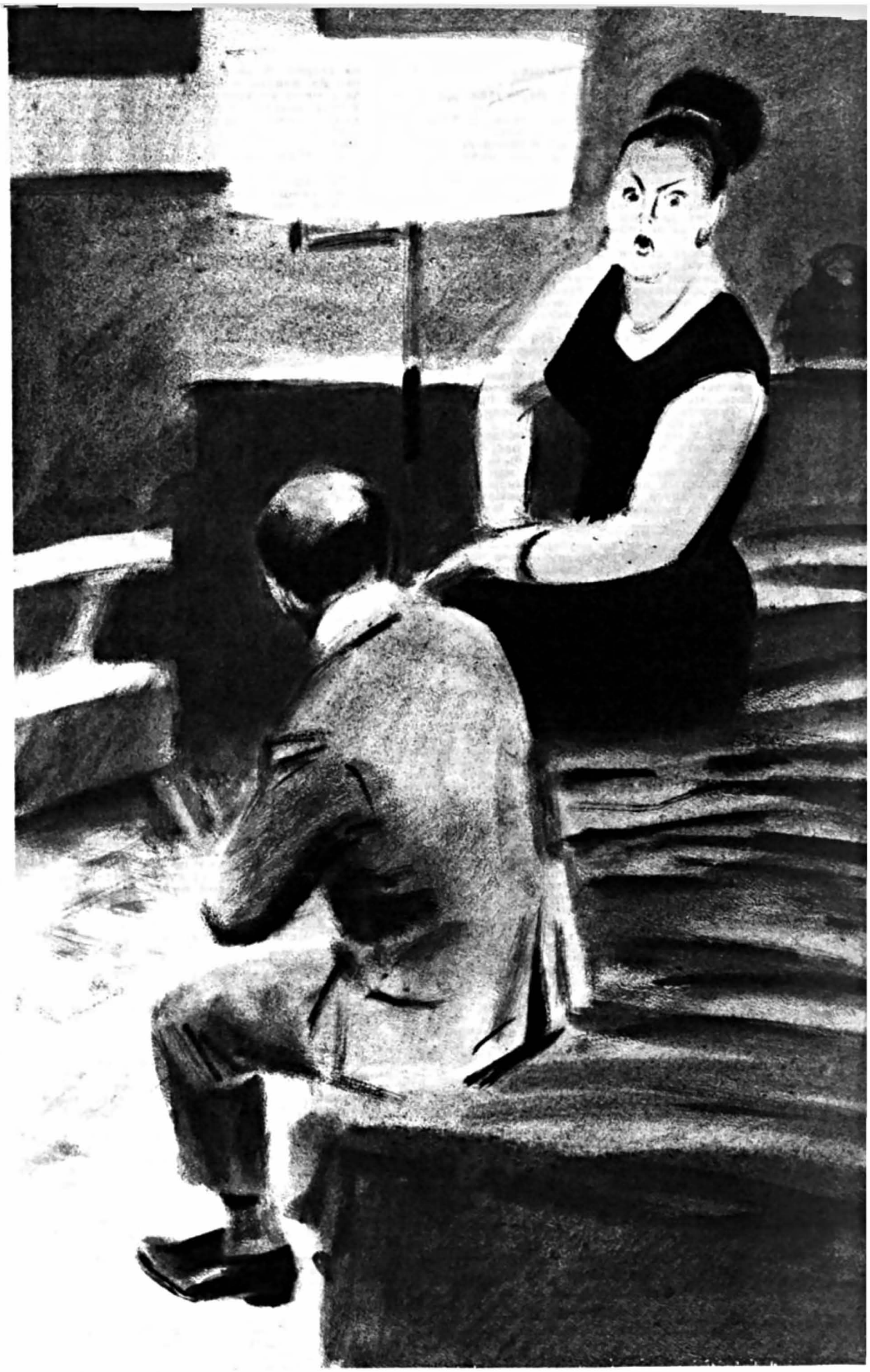
Козак подумал.

— Часов в пять я уехал из гостиницы. Походил в городе по магазинам, потом поехал к друзьям, в гости.

Говорил он не спеша, и Стас почувствовал, что Козак думает над каждым словом.

— Когда вернулись в гостиницу?

— Было уже поздно, но время я не заметил.



— Сколько времени вы ходили по магазинам?

— Часов до восьми.

— В каких магазинах побывали, если не секрет?

— В Марьинском универмаге, в комиссионном магазине на Октябрьской улице, потом в комиссионке на Колхозной, еще в нескольких... Вот жене сумку купил.

Тихонов взял у него из рук изящную черную сумку, повертел в руках, отчинулся в кресле.

— Приятно поговорить с вами, Лев Алексеевич.

— Почему?— насторожился Козак.

— Потому что ваш рассказ напомнил мне один старый, но ужасно смешной анекдот. Разрешите его вам поведать?

— Сделайте одолжение,— растерянно развел руками Козак.

— Вернулся один человек из отпуска и рассказывает друзьям: «Как только,— говорит,— я приехал в Кисловодск, так сразу же пошел на море и искупался». «Позвольте,— говорят друзья,— ведь в Кисловодске же нет моря!» «Так вот, я не знал, что в Кисловодске нет моря, пошел и искупался»,— отвечает курортник. Правда, смешно?

— Смешно,— согласился Козак.— Но какое это имеет...

— Отношение?— спросил Стас, перехватив напряженный взгляд Козака.— А такое: вы не знали, что по понедельникам промтоварные магазины в Москве закрыты,— пошли и купили сумку. Смешно?

Это был чистый гол. Козак даже бегать перестал. Он стоял посреди комнаты, нервно вытирая губы концом своего элегантного галстука. Тихонов невозмутимо крутил в руках сум-

ну. Козак решил выкатить мяч в центр и начать игру сначала.

— Простите, я, видимо, перепутал. Да-да, я купил сумку во вторник.

— А к друзьям тоже во вторник ездили?

Козак замешкался на мгновение.

— Не-ет, в гостях я был в понедельник...

— Кто ваши друзья? Где они живут?— Стас достал записную книжку.

— Их фамилия — Алешины. Они живут на Юго-Западе.

— Телефон есть?

— Нет. Должны скоро установить.

— Когда вы приехали к ним и сколько там пробыли?

— Около шести. А уехал поздновато.

— Они, наверное, смогут подтвердить, что вы провели у них весь вечер?

Козак заерзал. Он затянул узел галстука до отказа, потом растянул его совсем, отстегнул верхнюю пуговицу сорочки, снова подтянул узел.

— Вы сейчас помнете свой прекрасный галстук,— спокойно сказал Тихонов.— Так как же насчет Алешиных?

— Я вам могу поклясться честью, что я провел там весь вечер, но мне бы очень не хотелось, чтобы вы этот факт у них проверяли!

Тихонов удивленно поднял брови.

— Это почему же?

— Вы же интеллигентный человек! Вы же понимаете, что всем всего не расскажешь. Вы же знаете, что приход может быть неправильно истолкован. Представляете, как это звучит для простых людей, где-то неподалеку обывателей,— о друге дома расспрашивают из МУРа! Ведь это же не просто. Это же МУР! Это же звучит как!

— Гордо!— мрачно отрезал Тихонов.— Но доводы ваши я считаю неубедительными. Тем более, что честному человеку нечего бояться, если официальное лицо наводит справки во имя закона. Поэтому нам придется вместе поехать сегодня к Алешиным.

— Но это же невозможно!— с отчаянием сказал Козак.

— Возможно. Очень возможно. Я вам это точно говорю,— отозвался Стас.

— Но дело в том, что Алешина сейчас нет дома.

— То есть как? А где же он?

— В командировке,— упавшим голосом сказал Козак.

— А где же вы были тогда?

— Я же говорю: в гостях у Алешиных.

— Так-так-так,— забарабанил Тихонов пальцами по ручке кресла.— Вы уж формулируйте тогда точно: у Алешиной, а не у Алешиных.

— У Алешиной,— покорно вздохнул Козак.

Тихонов задумался. Просто смех и грусть берут, когда подумаешь, с чем только не сталкиваемся на работе. Впрочем, это тоже объяснимо. Мы же ходим всегда, как пограничники, вдоль тонкой линии, разделяющей нормальное и извращенное. Но у пограничников — полосатые столбы, распаханная полоса, на ней остаются следы. А мы эти столбы ставим сами и полосу пашем на себе. Поэтому нельзя в разговоре поставить деликатную точку, нельзя на обыске тактично отвести взгляд от чужого белья, нельзя не видеть чужих пороков и слабостей. Как это трудно — иметь большие права, которые в сто раз тяжелей наших нелегких обязанностей. Но иначе нельзя: мы ставим столбы между людьми и убийцами. Убийство не абстрактная картина, здесь непонятного и недосказанного быть не может. И кто-то должен копаться в чужой грязи и крови, чтобы не было вообще грязи и пролитой крови. Чтобы не видеть никогда распростертого на искрящемся снегу Таниного тела.

Тихонов провел ладонями по лицу, будто умывался, потом встал.

— И все-таки, Лев Алексеевич, я должен вас огорчить: к Алешиной нам сегодня придется поехать.

— Но вы убедитесь, что все это ерунда, и сами же потом будете смеяться.

— Может быть. Но, как говорит мой начальник, хорошо смеется тот, кто смеется без последствий.

Отворилась дверь, в комнату вошел высокий седой человек. Он подошел к Тихонову, сказал звучным, веселым басом:

— Здравствуйте! Лагунов.— И крепким мужицким пожатием стиснул ему руку.

3

— ...Нет, дорогой мой, у вас архаические представления о нынешней периферии!— сочно захохотал Лагунов. Его лицо красно, крупные черты подвижны, небольшие седые усы вздыблены. «С такого мужика писал Эренбург американского майора Смидла»,— подумал Тихонов.

— Небоскребы у нас не строят, как на проспекте Калинина, скоростную химчистку налаживают второй год — это все верно. Но вот вы, столичные жители, всегда немного кичитесь с нами, провинциалами: «Ах, у нас такая спешка всегда, такой ритм жизни бешеный!» Так ритм — что? Уже давно нужны другие категории, другие определения. Я бы сказал, что надо нынешнюю жизнь мерить ее наполнением, насыщенностью... Да и ребята у нас сейчас хорошие растут, грамотнее нас, глубже жизнь знать хотят. Мне тут как-то сын — семнадцать лет парню — говорит: «Папа, а где бы взять почитать Пруста?» Я ему снисходительно так: «Вон в шкафу пятитомник стоит. Почитай сначала «Фараона»— отличная вещь». Поволочил мой Алеха, потом говорит: «Папа, я Болеслава Пруса читал, я про Марселя Пруста спрашиваю». Вах! Я чуть от стыда не сгорел. А ведь мы их воспитывать должны. Да, видать, чтобы кого-то воспитывать, надо самому учиться здорово. А где время взять? У меня вон целая программа намечена была, а за все время один раз в Большом театре побывал. Вот как раз в тот день, когда здесь женщину убили. Пришел из театра, мне горничная сразу рассказала. Во вторник прошлый, кажется?

Тихонов сказал:

— Женщину убили в понедельник.

— В понедельник? По-моему, во вторник это было. Хотя чего гадать, у меня же билет, наверное, остался, сейчас посмотрим.

Лагунов достал добротный, уже потемневший бумажник из свиной кожи, покопался в нем толстыми, сильными пальцами.

— Ага, вот он, голубчик. Так, так, дожка бенуара, так, вот — 14 февраля.— Лагунов стал загибать пальцы:— Сегодня — двадцать второе, вчера — двадцать первое... Точно: четырнадцатого числа был понедельник.

— А спектакль хороший был?— спросил Тихонов.

— Отличный. «Князя Игоря» давали. Великолепно все это — в музыке такая мощь, что после спектакля чувствуешь себя приобщенным к великой силе духа. Я бы детей-школьников в обязательном порядке водил на эту оперу,— засмеялся Лагунов.

— Исполнители пожилые стали,— сказал Стас.— Кто Кончака-то поет сейчас?

— Ведерников. Хороший он певец, но кто Максима Дормидонтовича Михайлова слышал, тот может сказать, что был знаком с половецким ханом лично,— провел Лагунов ладонью по усам.— И все-таки здорово — большое удовольствие получил!

— Дмитрий Михайлович, а когда вы узнали про убийство?— спросил Тихонов.

— Да сразу же! Как пришел я за ключом — времени уже около одиннадцати было,— мне горничная Ханя и рассказала. Минут за десять до этого тело увезли, а они все, горничные, в окна глазели.

— А в город вы уехали задолго до убийства?

— Так я ведь и не знаю, когда ее убили-то. Мне потом рассказали, что в гостинице шум поднялся, когда ее нашли,— около девяти, что ли. А мы с Львом Алексеевичем в пять уехали.

— Лев Алексеевич-то куда поехал?

— Видите ли, мы договорились ехать в половине шестого, но в пять ему позвонили, и он куда-то заторопился. А мне надо было жене письмо написать, он не стал меня ждать и уехал. Минут через десять — пятнадцать поехал и я.

— Значит, вы запирали номер?

— Да, конечно.

— А ему из дежурных сдали ключ?

— Ну, дорогой, я этого уж не помню. Сами посудите, сколько их там. А вечером я взял ключ у Хани. Это я точно запомнил, потому что именно она рассказала мне про убийство.

— А когда приехал Козак?

— Затрудняюсь сказать. Но наверняка поздно. Я еще, помню, дослушал последние известия по радио, потом почитал с часок и заснул.

Тихонов спросил:

— Вы не слышали, когда Козак вошел?

— Слышал. Я проснулся на мгновение, он мне еще сказал: «Тише, тише. Все в порядке, свои». И я снова уснул.

— Он вам не показался взволнованным?— спросил Стас.

Лагунов захохотал:

— Знаете ли, спросонья, да еще в темноте, определять нюансы душевного состояния я не берусь.

На журнальном столике у кровати Козака лежала книга — томик Брэдбери. Тихонов лениво перелистал книжку. На титульном листе штамп: «В дар Народной библиотеке им. А. П. Чехова на добрую память о читательнице Суламифь Яковлевне Сайкиной». Тихонов улыбнулся, хлопнул переплетом, встал.

— Ну, простите, Дмитрий Михайлович, за отнятое у вас время.

— Да что вы говорите! У меня уже и дела-то все закончены, билет домой заказан. Хочу успеть у себя еще и на лося сходить — через две недели отстрел заканчивается.

— До свидания.

— Всего хорошего. Если будете в наших местах, заезжайте. Я вас такой лосятиной жареной угощу — пальчики оближете.

— Если будет возможность, с удовольствием. Спасибо. До встречи.

4

В холле Савельев вел душеспасительную беседу с томящимся Козаком. Увидев Тихонова, Козак привстал.

— Мы едем или вы, может быть, передумали?

— Одну минуту.— Стас подошел к столу дежурной по этажу.— Скажите, пожалуйста, кто работал на вашем этаже в тот понедельник?

— Наша же смена. Мы дежурим сутки, а потом трое свободны. В понедельник как раз мы и работали.

— Кто из жильцов пятьдесят восьмого номера сдавал вечером ключи?

— Ей-богу, не помню. У меня же сорок номеров на этаже, да и прошло больше недели. Разве упомнишь?

— А когда они вернулись в гостиницу?

Дежурная подумала, пошлась, покраснела.

— Знаете, я в тот день белье сдавала, намаялась — без ног. Поэтому часов в десять прилегла вздремнуть немного — мне же всю ночь сидеть. А здесь Ханя осталась. Давайте ее спросим.

— А кто это, Ханя?

— Горничная наша — Ханифя Гафурова.

— Давайте сюда Ханифю.

Гафурова, быстроглазая молоденькая женщина, сказала, что ключ забрал Лагунов. Он пришел вскоре после того, как с пустыря уехали милицейские машины и «Скорая помощь».

— Очень веселая был, все песню напевал, из театра пришел.

— Кто веселая?

— Лагунов. Все пела, тихо, правда: «О дайка, дай-ка мне свободу...»

— А Козак когда пришел?

Ханифя задумалась, потом весело сказала:

— Задрешал я, не слышал. Но шибко поздно было, я в три часа задремал.

— Не боитесь, что гостиницу из-под носа украдут?

— Не. У нас кража никогда не был.

— Удивительно, что не было,— хмуро сказал Тихонов.— А никто не приходил в этот день к жильцам в пятьдесят восьмой номер?

— Может быть, приходил. Не видела я,— сказала Ханифя.— У нас учет сейчас — шибко дел много. Мы только в полночь смотрим, чтоб чужие в номерах не бывали.

— Спасибо, вы свободны,— сказал Стас и снял телефонную трубку. Набрал две цифры.— Абонированный «Голубая звезда». Дайте телефон репертуарной части Большого театра. Есть, записываю. Отбой.

Набрал номер.

— Большой? Добрый день. Из милиции говорят. Сообщите, пожалуйста, какой спектакль шел четырнадцатого числа на основной сцене. «Игорь»? Прекрасно. Заодно уж подскажите, кто пел партию Кончака. Ведерников? Хорошо. А замен не было? Нет? Когда оканчивается спектакль? Отлично. Всего доброго.

Повернулся к Савельеву:

— К Лагунову больше вопросов не имеем. Ты, Савельев, поезжай домой, выспись как следует, завтра будешь нужен. А с Львом Алексеевичем мы сейчас предпримем одну прогулку...

В автобусе Стас позорно заснул. Он долго клевал носом, потихоньку наклонялся вперед, вдруг резко встряхивался и откидывался назад. Потом голова его съехала набок и уютно легла на мягкий ондатровый воротник сидевшего рядом Козака. Козак сидел, не шелохнувшись, хотя ему было неудобно и тяжело. В автобусе было холодно и тихо, лишь завывал мотор, когда машина с разгона въезжала на обледенелую гору, да голос водителя, охрипленный динамиком, называл остановки. На Херсонской улице Козак осторожно постучал по колену Тихонова.

— Мы приехали, нам пора сходить.

— Да-да, войдите,— сказал Стас и проснулся. Он протер глаза, чертыхнулся, спросил:— Давно я уснул?

— От самого метро, почти сразу,— сказал Козак.— Ничего страшного, я вас понимаю, сам устаю на работе.

На Херсонской было темно, из близких лесов ветер доносил запах хвои и сухого холода, гребешки сугробов вспушивало белым дымом. Тихонов зябко поежился, взглянул на огоньки микрорайона, стоявшего в стороне от остановки, невольно рассердился:

— Давайте, ведите, товарищ Казанова.— И пропустил Козака вперед.

На заснеженной, пустынной улице холодный ветерок с крупой, как в аэродинамической трубе, продувал насквозь, заныли щеки и пальцы. Тихонов засунул руки под мышки и, сгорбившись, медленно шел за бойко вышагивающим Козаком и негромко постанывал: «Ой, как болит все, как я ужасно, нечеловечески устал, ой, как я хочу спать». Поныв немножко, Стас почувствовал, что стало легче. «Жалость к самому себе, видимо, хорошо согревает,— усмехнулся Стас и ленивo подумал:— А я ведь даже не пощупал его слегка в автобусе — прекрасный будет номер, если он сейчас вынет пушку и влепит в меня пару полноценных свинцовых пломб. Ну, и черт с ним. Можно было бы полежать хоть немного до «Скорой помощи». Однако эта мысль добавила Стасу сил. Он выпрямился и быстрым шагом догнал Козака, взял его под руку и стал с интересом расспрашивать о перспективах сельского строительства на Львовщине. Легкими, незаметными движениями ощупал карман Козака. Потом улыбнулся и сказал:

— Лев Алексеевич, в какой-то степени я склонен верить в вашу непричастность и трагическому происшествию на пустыре...

Козак остановился, прижал руки к груди и сказал:

— Дорогой товарищ Тихонов! Я же говорил вам об этом с самого начала. Так зачем нам идти сейчас в этот дом, смущать покой и моральное состояние замечательной женщины? Давайте лучше вернемся и выпьем по случаю благополучного разрешения всех вопросов бутылку коньяку!

Тихонов покачал головой.

— Нет. К Алешиной мы пойдем все равно. Но я заинтересован в вашей предельной искренности...

— Можете на нее рассчитывать,— снова приложил руку к сердцу Козак. Для этого он даже сдернул перчатку.

— Вот и расскажите мне подробно о том, как вы в понедельник уезжали из гостиницы.

— Мы договорились с Лагуновым часов в пять вместе выехать в город. Он сел писать письмо жене и писал его очень долго, так что мне стало жарко, и я уехал.— Пар изо рта Козака вырвался четкими круглыми клубочками.

— И все?— спросил Тихонов.

— Вроде бы все.

— Чтобы дополнительно простимулировать вашу искренность, я покажу вам небольшой психологический тест. Хотите, например, что-

бы я подробно рассказал, что и в каком кармане у вас лежит?

— Хочу,— нетвердым голосом сказал Козак.

— В левом боковом кармане пальто у вас лежит связка из семи или шести ключей. И спичечная коробка, в которой мало спичек. В правом кармане — папиросы «Три богатыря». В левом боковом кармане пиджака — дамская расческа. В правом — перочинный нож с двенадцатью разными приспособлениями, изготовленный заводом «Красная заря», ценой пять сорок. Да, и еще там лежит носовой платок. В левом внутреннем кармане пиджака у вас деньги, а в правом — портмоне. В портмоне билет в купейный вагон скорого поезда Львов — Москва, счет за десять дней проживания в гостинице, сильно почерканный список разных вещей, командировочное удостоверение. Да, забыл совсем,— квитанция на отправленную телеграмму. Там, где бумажник перегибается, отпорота подкладка и под ней — фотография Алешиной. В отдельном кармашке — десять рублей целой купюрой.

— Пятнадцать: десять и пять,— совсем плохим голосом сказал Козак.

— Может быть,— кивнул Стас.— Ну и, заканчивая наш опыт, могу сообщить, что в верхнем кармашке у вас лежит коричневая кожаная книжечка с тисненном: «Министерство сельского строительства УССР». Как, все правильно?

— В бумажнике есть еще записка в Госплан,— тихо сказал Козак.— Но откуда вам все это известно?

Стас многозначительно ответил:

— Профессиональная тайна. За ее разглашение я могу угодить под суд. Но если я вас убедил, что знаю о гражданине Козаке гораздо больше, чем он думал, и он станет искреннее, то обещаю на обратном пути рассказать, как я это узнал. Так почему вы не дождались Лагунова? Какая вам звонила женщина?— сделал «нахидку» Стас.

— Пуся. Пуся Алешина.

— Ну-ну. И еще: говорил ли вам Лагунов, что собирается в театр?

— Да, кажется, говорил. Да-да, говорил, что хочет попасть в какой-нибудь театр, если повезет с билетами...

Дверь открыла высокая, полная брюнетка в скромном голубом халатике.

— Ой, ты не один!— Она смутилась и убежала в глубь квартиры. Из-за двери спальни доносился ее приглушенный грудной голос, чуть в нос:— Ну, Львенок, как тебе не стыдно приглашать друзей, не предупреждая меня заранее. Мне же вас и угостить нечем!

Козак нервно ходил под дверью.

— Пусенька, это не мой друг... То есть нет, я не так сказал,— друг, конечно, конечно. Но, видишь ли, у нас такое щекотливое дело...

Пуся вышла из спальни в нарядном черном платье, разрисованном павлиньими хвостами. И Тихонов вспомнил, как жутко орали павлины в ту ночь.

— Что ты лопочешь, Львенок?— спросила она снисходительно, направляясь к Стасу с протянутой рукой.

— Тихонов,— представился он.

— Полина Владимировна,— кивнула Алешина. Она возвышалась над маленьким Козаком, как океанский фрегат.

— Ты помнишь, Пусенька, в прошлый понедельник, когда...— торопливо забормотал Козак.

— Минуточку,— остановил его Стас.— Я работник уголовного розыска.

Глаза Алешиной стали квадратными.

— Мне нужно знать, где провел вечер и ночь четырнадцатого февраля — в прошлый понедельник — ваш приятель Лев Алексеевич Козак.

У Алешиной челюсть отвисла аккуратным балконом. Она несколько раз глотнула воздух и раскатистым голосом, постепенно набиравшим силу, дала залп:

— Да вы что?! Да как вам не стыдно задавать мне такие вопросы? Этот человек,— она ткнула рукой в сторону Козака,— действительно бывает у меня в гостях. Но очень редко и всегда в благопристойное время! Я замужняя женщина, и ваши вопросы оскорбляют меня! Я инженер-экономист! И последний раз я его видела не меньше года назад!

— Как год назад, Пусенька? Ведь позавчера...— заверещал Козак.

— Замолчите, грязный человек, и не втягивайте меня в ваши плутни!

— Одну минуточку,— постучал Стас ключом о графин, как будто утихомиривая страсти на собрании.— Полина Владимировна, я прошу вас серьезно отнестись к моему вопросу, потому что речь идет об убийстве.

— Пусенька, родная моя, пойми, речь идет об убийстве,— застонал Козак, пытаясь обнять Алешину за талию.

Алешина одним движением отшвырнула его от себя.

— Позвольте, позвольте, товарищ! Я вас знать не желаю и видела последний раз в прошлом году в присутствии своего отсутствующего супруга. И попрошу вас не марать моего доброго имени! Не смейте больше за версту подходить к нашему дому! Я еще и вам на работу сообщу о вашем недостойном поведении!

— Пусенька, о чем ты говоришь! Пойми, что все это очень серьезно, а товарищ Тихонов вовсе не имеет в виду чего-то другого...

— Прекратите эти неприличные разговоры. Я официально заявляю, что вас здесь не было и я вас вообще... плохо знаю...

Продолжение следует.

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ОЩУПЬЮ В ПОЛДЕНЬ

ПОВЕСТЬ

Козак понуро шагал сзади Тихонова и негромко бормотал: «Я такой любвеобильный и добрый человек... Кто мог знать?..»

Тихонов остановился и подождал его.

— Слушайте, Козак, я не любитель заниматься доносами, но если я хоть раз еще услышу от вас слово «любовь», я напишу любимой пятой жене письмо с описанием ваших похождений.

— Не буду,— покорно согласился Козак.

На остановке долго ждали автобуса. Тихонов совсем замерз и проклинал себя, свою работу, блудливость Козака, подлость Алешиной, зиму, автобусное расписание.

В автобусе было совершенно пусто. Козак побежал к кассе с возгласом:

— Я возьму билеты...

— Мне не надо. Мне полагается бесплатный проезд.

— Неужели? — пришел в восторг Козак.

— А вы думали, что я к вашим дамам еще на собственные деньги должен ездить?

— Нет, конечно. Это справедливо.

Минут десять молчали. Тихонов немного отогрелся, вспомнил испуганно-возмущенный вид Козака, и ему стало смешно. Козак, видимо, тоже успокоился и робко сказал:

— Если вы только не передумали, товарищ Тихонов, и у вас не будет, упаси бог, неприятностей на службе, расскажите, пожалуйста, как вы узнали, что лежит у меня в карманах.

Тихонов засмеялся:

— Меньше о бабах думать надо, тогда будете наблюдательней. В левом кармане ключи — вы продавили мне ими бок, сидя рядом в автобусе. Там у вас лежало еще что-то твердое, я все не мог понять. Но, когда вы спрыгнули с подножки, загромыхали спички. Ясно? Когда вы шли по тротуару, в узких заснеженных местах вы прижимались ко мне правым боком, и я ощущал какую-то гладкую плоскую поверхность. В пепельнице на столе я видел окурок папиросы с изображением трех былинных молодцов. Что же еще вам держать в кармане, как не «Три богатыря»? Перочинный нож? Ну, это совсем просто. Под столом валялась картонная коробочка из-под него с описанием всех его достоинств. Когда я пришел в номер, вы, как воспитанный человек, сразу надели пиджак. При этом я заметил, что левый внутренний карман у вас застегнут булавкой. Для надежности. Ясно: деньги.

— Да, но откуда вы узнали, что лежит в бумажнике?

— Проще простого. Железнодорожный билет и счет за гостиницу вы сохраняете для отчета. В гостинице надо оплачивать каждые десять дней, а вы живете уже тринадцать. Судя по куче свертков и пакетов на вашей кровати, вы покупали для дома разные разности. Чтобы не забыть чего-нибудь, жена дала вам списочек — из него вы вычеркивали уже купленное...

— А пятнадцать рублей?

— Заначка. На прощальный бал с Пусенькой. Все просто.

— Незабываемо...— восхищенно сказал Козак.

Тихонов сонно глядел в окно, задумчиво отбивая пальцем на замерзшем стекле только ему известный ритм. Потом спросил:

— Послушайте, Козак, вы читать любите?

Козак подозрительно покосился:

— Вообще-то... как любой интеллигентный человек... то есть, конечно... если есть время.

— Понятно. А какой жанр вас больше привлекает?

— Это даже трудно сказать,— замялся Козак, но сразу же воспрянул: — Мне близка интеллектуальная фантастика! Особенно английская.

— Вы полагаете, что Бредбери — англичанин?

— Ха-ха! — сказал нервно Козак.— А что, нет? Впрочем, я всегда предисловие читаю потом, чтобы не создавалось предвзятое мнение.

— Так какое же у вас сложилось непредвзятое мнение?

— Великолепно, великолепно. Правда, я ее не дочитал еще до конца, потому что совсем недавно достал с большими трудностями. Вы же знаете, как трудно достать Бредбери!

— Угу,— кивнул Стас...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 7—11.

В центре Тихонов сошел. Он постоял на остановке, и со стороны могло показаться, что он забыл, куда ему надо идти. Стас достал из кармана записную книжку и ручку, открыл и долго рассматривал какую-то схему из квадратиков, соединенных стрелками. Снежинки падали на листок и слабо искрились под неживым светом уличного фонаря. Стас стряхнул ручку и, прислонив книжку к столбу, стал аккуратно заштриховывать квадратик, где была вписана фамилия Козак. Зачеркнув половину, Стас остановился, подумал. Закрыл книжку, засунул ее глубоко в карман и медленно пошел домой.

Была ночь, была уже среда, пятнадцать минут третьего.

СЛЕДУЮЩАЯ СРЕДА

1

Винтовку, из которой убили Таню Аксенову, нашел в среду Савельев. Он позвонил Тихонову утром и сказал своим немного сонным голосом:

— Алло, Тихонов, это Савельев говорит. Я вроде бы винтовку ту самую нашел. Приезжай сюда, в отделение, с пацанами поговорить надо.

Тихонов от такого сообщения немного обалдел:

— С какими пацанами?

— Приезжай, здесь потолкуем...

— Я тебе все по порядку,— сказал Савельев.— Эксперимент, значит, наш вчерашний шуму наделал много. Все только об этом и толкуют. Пошел я «в люди»: народ-то взбудоражен — собираются все, обсуждают, каждый свою версию строит. Человек двадцать до вечера в отделение явилось — свою помощь предлагают, подозрения высказывают, ну и тэ дэ и тэ пэ. Захожу я в булочную, тут о том же разговор. Слышу, одна тетка другой подробно все происшествие излагает, а потом резолюцию накладывает: ничего, мол, удивительного, хулиганье до того распустилось — спасу нет. Вот Гафурова, дворника, сын, Муртазá, сегодня в обед притащил ружье и давай вместе с приятелем по птицам палить! Я, само собой, уточнил у тетки ее адрес, фамилию и — к Гафуровым. Вызвал тихо Муртазу, шепнул ему: ну-ка, давай, мол, ружьишко-то свое! Муртаза постеснялся немного, поотнекивался, слезу, конечно, пустил. Потом, само собой, объясняет: «Винтовка-то у приятеля, Сережки Баранова, лежит». Пошли к Сережке. Там без лишнего шума эту винтовочку изъяли. Калибр — 5,6. Тот, что мы ищем. Оба пацана здесь, в разных кабинетах сидят. Разговаривать прямо сейчас будем?

— Конечно,— рассеянно отозвался Тихонов, рассматривая винтовку. Обыкновенная пятизарядная винтовка калибра 5,6 миллиметра. Необычным было только деревянное ложе — коротков, грязно-белого цвета, выструганное, похоже, из доски.— Побеседуй с Сережкой,— сказал Тихонов.— А мне давай Муртазу. Да, пригласи только учителя из их школы...

Через порог ступил маленький, плотный мальчишка лет четырнадцати. Он молча прошел к указанному Тихоновым стулу, сел, закрыл глаза и неожиданно громко заревел на одной низкой, нудной ноте. Стас с интересом смотрел на него, ждал. Муртаза ныл довольно долго. Тихонов терпеливо дожидался. Муртаза осторожно приоткрыл один глаз, остро зыркнул из-под черной челочки.

— Ну, хватит, что ли? — сказал Тихонов.— Ты где это таким фокусам научился?

— Нигде,— спокойно сказал Муртаза и открыл второй глаз.— Только не бейте, дяденька!

— Что-о? — спросил удивленно Тихонов.

— Не бейте, говорю.

— Ладно, не буду,— усмехнулся Тихонов.— Ты запомни только: советских граждан никто бить не смеет. А ты советский гражданин.

Муртаза сразу приосанился, важно сказал:

— А как же! Конечно. Я сам все расскажу.

Тихонов поддержал:

— Я в этом и не сомневаюсь — ведь тебе скрывать нечего?

— Ага.— Муртаза собрал под челочкой мелкие морщинки, задумался. Черные хитрые глазки смотрели сосредоточенно.— Значит, было так. Иду я утром в школу, а по дороге машина снегоочистительная едет. Знаете, такая, снег передом загребает, а сбоку он, как из пушки, вылетает. Я, конечно, постоял, посмотрел. Ну, проехала эта машина, а снег по краю, как ножом, обрезала. Гляжу, из сугроба срезанного, около дороги, какая-то гладкая палка торчит. Подошел поближе, стал ее из сугроба тащить, гляжу: винтовка! Жалко только, одно дуло было. Я обрадовался, хотя она и без приклада была. Побежал к Сережке Баранову — он хвастался, что у него патроны есть. Взяли мы с ним доску, обстругали, приладили к дулу.

— К стволу,— поправил Тихонов.

— К стволу,— повторил Муртаза.— Все хорошо получилось. Ну, решили попробовать, как она стреляет...

— Так-так...

— Взяли патроны, зарядили винтовку и пошли во двор.

— Когда? — спросил Тихонов.

Муртаза подумал немного, быстро взглянул на Стаса.

— Вчера. Ну, бабахнул я разик. По вороне...

— Попал?

— Не-а. Сережке дал стрельнуть — все-таки его патроны-то. Он попал.

— В кого? — негромко спросил Стас.

— В кого, в кого! В ворону! Она как раз в развилке на клене сидела...

— А потом?

— Потом все. Похоронили ворону и разошлись.

Тихонов поднялся, походил по кабинету. Повернулся к мальчишке:

— А в тот день, что винтовку нашел, ты в школу ходил?

Муртаза горестно покачал головой и, тяжело вздохнув, сказал:

— Сережка Баранов тоже не ходил...

— А когда же все-таки ты нашел винтовку?

— На той неделе.

— Точнее.

— Точнее? Так, в понедельник я был в школе, потом мы всем классом ходили в кино. А вот на другой день я школу и прогулял. Во вторник, значит, нашел. Сразу вместо школы к Сережке побежал...

Тихонов переспросил:

— А первый раз когда стреляли?

— Я же говорю, вчера!

— Ой ли? — покачал головой Стас.

— А как же,— заторопился Муртаза.— Пока деревяшку приделали — два дня. Потом еще подождали...

— Чего же это вы ждали? — насторожился Тихонов.

Муртаза прищурил маленькие глазки:

— А вдруг хозяин винтовки найдется? Увидит ее у нас и сразу отнимет! Подождали, подождали, а вчера и решили ее попробовать.

— Значит, сколько же раз вы всего стреляли?

— Так я же говорю, два раза,— нетерпеливо сказал Муртаза.

— А сколько у Сережки патронов было?

— Пять.

— Остальные где?

— Вот они.— Мальчишка полез в карманы, вывалил на стол кучу очень полезных вещей: механизм от старых часов, круглую батарейку, несколько значков, моток тонкой проволоки, авторучку без колпачка. Глухо залязгнув, на стекло выпали, поблескивая латунными гильзами, три патрона.

— Ладно,— сказал Тихонов.— Кто твои родители?

— Отец работает дворником в нашем доме. А мать — горничная в гостинице «Байкал».

— Подожди, подожди,— стал припоминать Тихонов.— Ее как зовут — Ханифя?

— Да-а. А откуда вы знаете?

— Ты же сам сказал. А к матери на работу ты ходишь?

— Иногда хожу,— сказал Муртаза, вспоминая, когда же это он говорил о матери.— Денег на кино попросить или еще чего...

— Ясно. А в прошлый понедельник ты у нее был? После кино?

Муртаза опять задумался, потом неуверенно сказал:

— Н-не помню. Я, кажется, до кино к ней заходил...

Тихонов усадил Муртазу на скамеечку в коридоре, вызвал Савельева. Из его короткого рассказа Стас понял, что приятель Муртазы Сережка Баранов повторил объяснения Гафурова слово в слово.

— Вот что, Савельев,— сказал Тихонов.— Ты сейчас свяжись с трестом благоустройства и на всякий случай проверь, работала ли пятнадцатого февраля снегоочистительная машина на Владыкинском проезде. Узнай, в какое время работала. И не забудь спросить, какая машина — плужная или шнековая. А я поеду с винтовкой в управление. Пускай эксперты с ней поколдуют.

2

Баллистическую экспертизу проводил старый, опытный эксперт НТО Шифрин. Его заключение было лаконично и недвусмысленно:

«...Установлено совпадение индивидуальных особенностей канала ствола оружия и пули, ширины и крутизны следов от полей нарезов. Отмеченные признаки дают основание сделать вывод о том, что пуля, изъятая из тела Т. С. Аксеновой, стреляна из представленной на исследование винтовки номер ВБ 806237, производства Тульского оружейного завода, обнаруженной у несовершеннолетних Гафурова и Баранова. Фототаблицы прилагаются».

— Ошибки не может быть? — недоверчиво спросил Тихонов.

— А вы посмотрите фото,— пожал плечами Шифрин.— Сопоставьте разные таблицы, и вы увидите, как совпадают мельчайшие детали оболочки пули и канала ствола. Пуля стреляна из этой винтовки — это так же верно, как то, что сегодня среда и вы стоите передо мной!

— Хорошо,— сказал Тихонов.— Вы меня убедили. И я вам очень благодарен, Юрий Петрович. Вы себе даже не представляете, как сейчас важно для нас иметь орудие убийства!

— Почему не представляю? — добродушно сказал Шифрин.— Я шесть лет следователем работал. Потому так и старался.

Стас помолчал, потом сказал:

— Вы ведь почтовые марки собираете, да?

Эксперт оживился, влез пятерней в густую черную бороду, скрывавшую изувеченный шрамами подбородок — след лабораторного эксперимента с самодельной миной, явно заинтересовался:

— Собираю, собираю! Это все знают. А вы хотели мне что-нибудь показать?

Стас засмеялся, обнял Шифрина за плечи:

— Ничего подобного. Вы заслужили большего. Когда-то, еще студентом, я насобирал целый альбом всякого барахла. Но одна марка у меня есть по-настоящему ценная: Леваневский, 1935 год, с перевернутым штемпелем «Москва — Сан-Франциско». В знак искреннего уважения к науке я ее вам дарю.

— Этот подарок столь же щедр, сколь и неожидан,— растроганно сказал эксперт.— Но у меня нет сил его отклонить. Я даже не уверен, что смогу с вами расквитаться за этот царский подарок. Во всяком случае, я подумаю над этим вопросом.

— Не надо думать над этим вопросом,— сказал Тихонов.— Только я хитрый. Я ведь вам принес еще работу...

— Где, какую работу? — засуетился Шифрин.

— Вот три патрона. Их надо исследовать по вашей линии, но в основном с позиций судебного химика. Вопрос: имеют ли эти патроны что-либо общее с пулей Аксеновой?

Эксперт подумал, что-то прикинул, сказал:

— Результаты будут завтра, что-нибудь к обеду. Устраивает? Кстати, вы полагаете, что пуля Аксеновой и эти патроны — из одних рук?

Тихонов хитро прищурился:

— Срок меня устраивает. А вот свои предположения насчет патронов я пока оставлю при себе. Вы уж не обижайтесь, но я не хочу, чтобы ваша симпатия ко мне распространилась на выводы экспертизы. Знаете, когда хочется сделать приятное человеку...

Шифрин засмеялся:

— Не морочьте мне голову. Какого черта вам исследовать эти боеприпасы, если бы вы не подозревали, что они из одного источника? Но не сомневайтесь, я науку на симпатии не меняю, даже под бременем такой редкой марки...

3

В Дзержинском районном тресте благоустройства вежливая девушка-диспетчер сказала Савельеву, что у них ведется строгий учет уборки улиц. Посмотрев документы, она сообщила, что во вторник, пятнадцатого февраля, Владыкинский проезд очищался от снега с восьми до девяти утра шнекороторным снегоочистителем номер «МОН 17-46».

— Вопрос исчерпан,— сказал Савельев вошедшему Стасу.— Снег действительно во вторник чистили, так что Гафуров не врет.

— Снег-то чистили,— отозвался Тихонов.— Но вовсе не факт, что он взял винтовку в снегу. Давай проверять дальше.

— А что еще проверять?

— Смешно, но сейчас нам придется искать погибшую от рук этих злодеев ворону. А в ней — пулю. Одевайся, поехали.

Мальчишки сразу показали место, где они закопали ворону.

— Первый раз присутствую на такой эксгумации,— покачал головой Стас.

Однако здесь их ожидало разочарование: пули не было, ворона была прострелена навылет. Тихонов уже хотел уезжать, но Савельеву, у которого терпения почему-то всегда оказывалось больше, деловито спросил мальчишек:

— Ворона-то где сидела, когда вы стреляли?

— Вон, в развилке клена,— показал Сережка на старое ветвистое дерево.

Савельев сказал:

— Вы здесь минутку погодите,— и с озабоченным видом куда-то ушел. Вернулся он скоро, волоча за собой ветхую деревянную лестницу. Скинув свое замечательное розовое пальто на руки Стасу, Савельев приставил лестницу к дереву, ловко и быстро влез наверх и закричал: — Здесь?

— Чуть повыше! — показал Муртаза.

— И левее,— уточнил Сережка.

Савельев достал из кармана носовой платок, осторожно обмел прилипший к коре снег, утянулся носом в развилку. Глядя на его рыжую шевелюру, Тихонов улыбнулся: «Ну, чистый дятел». А Савельев продолжал методично обметать снег.

— Есть! Вот входное отверстие виднеется. Вынаривать будем или как?

— Или как,— отозвался Стас.— Будем выпиливать участок, где находится пуля. Слезай, надо достать инструменты и сходить за понятыми.

Надевая пальто, Савельев досадливо морщился:

— Скажи на милость, где сейчас понятых найдешь — на морозе-то стоять! Без них не обойдемся?

— Нельзя, брат Савельев,— сказал Тихонов.— По закону вещественные доказательства с понятыми изымать надо. Значит, быть по сему!..

4

В коридоре Тихонов встретил худощавую, подтянутую девушку — инспектора отдела разрешений.

— Добрый вечер, Галочка,— сказал Стас.— А я как раз к вам собрался. Вы проверили тот номер, который вам Савельев днем принес?

— Здравствуйте, товарищ Тихонов,— официально сказала девушка.— Задал же мне работки ваш Савельев! Ведь у нас винтовки числятся по фамилиям тех лиц, которым выданы разрешения на пользование оружием, поэтому все пришлось в обратном порядке проверять. Должна вас огорчить: винтовки, интересующей вас, на нашем учете нет и не было. Справочку пришлю завтра...

«Этого следовало ожидать,— размышлял Тихонов по дороге к себе.— Вряд ли кто бросит на улицу винтовку, зарегистрированную на его имя. Но владельца теперь уже надо найти во что бы то ни стало — здесь может начаться очень интересная ниточка».

Тихонов вошел в кабинет, включил настоль-

ную лампу — при неярком ее свете комната не казалась такой унылой. Достал из ящика стола записную книжку, полистал, снял трубку.

— Алло, связь? Примите заказ на Тулу. Гормилиция, уголовный розыск, Хохлова.

Хохлов отозвался сразу, как будто ждал звонка Стаса.

— Привет, Толя,— сказал Тихонов.— Как жив? Вот и отлично. Толя, у меня к тебе срочная и очень важная просьба. Добро, ты же знаешь: за мной не пропадет. Так вот слушай. Поедешь на оружейный завод, в отдел сбыта. У меня есть винтовка «ТОЗ-17» за номером Вера — Борис восемьсот шесть двести тридцать семь. Запиши. По этому номеру установи дату выпуска — раз. По дате выяснишь номер партии — два. По номеру партии тебе скажут, по какой накладной эта партия была отпущена,— три. Ну, а по накладной уже легко установишь получателя — четыре. Все понял? Номер винтовки записал? Значит, сделаешь? Понимаю, что не сегодня. Но завтра, старик, жду звонка обязательно. А копию накладной сразу же вышли фельдсвязью. Все, салют!

Тихонов вздохнул и стал собираться домой.

СЛЕДУЮЩИЙ ЧЕТВЕРГ

1

«...Для комплексного химико-баллистического исследования представлены три объекта:

№ 1 — три патрона калибра 5,6 мм, изъятые у подростка Гафурова.

№ 2 — одна пуля калибра 5,6 мм, извлеченная из дерева по протоколу от 23 февраля 1966 г.

№ 3 — одна пуля того же калибра, послужившая причиной смерти Аксеновой Т. С. ...

...На основании результатов химико-баллистического анализа, приведенного в исследовательской части настоящего заключения, экспертиза приходит к следующим выводам:

1. Пули, взятые из объектов 1 и 2, абсолютно одинаковы по форме, твердости, весу и химическому составу и являются изделиями одной производственной партии.

2. Пуля, обозначенная как объект № 3, по твердости и химическому составу отличается от объектов №№ 1 и 2. С учетом особенностей технологии изготовления патронов можно категорически утверждать, что объект № 3 не относится к партии изделий, которой принадлежали объекты №№ 1 и 2.

Эксперты Шифрин,
Варламов».

Тихонов отложил в сторону заключение экспертизы. Так, ясно. Похоже, что мальчишки здесь ни при чем: у них другие патроны. Если бы еще иметь уверенность, что Муртаза действительно стрелял только по птицам... Смешно получается: пока что мы только тем и занимаемся, что отыскиваем невиновных: Панкова, Казанцев, Муртаза...

2

Тихонов сидел за столом, опершись подбородком на сцепленные ладони, смотрел бессмысленно в окно. Похоже, что розыск, описав восьмерку, вернулся в начальную точку. Остается минимальная надежда на винтовку. Может быть, удастся найти владельца и начать разматывать от него новую версию. Все старые можно считать исчерпанными. Врач Попов, Лагунов, Козан, Муртаза. Поиски людей, которые могли попасть на лестницу гостиницы, ничего реального не дали. Дальше искать негде. Нет следов. Вернее, не видно их. Следы быть должны, не может быть, чтобы убийца или обстоятельства убийства не оставили никаких следов. Ах, если бы можно было поговорить с Таней! Ведь она наверняка незадолго перед смертью уже все знала. Может быть, догадывалась, что ее хотят или могут убить. А может, и нет. Она же не ребенок была — наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я разговаривал, десять дней назад брал ее на мушку. А она шла спокойно, не знала. Вот оно: чужая душа — потемки. Не влезешь. Это тебе не Козака шерлок-холмсовскими фокусами удивлять. Скоро придется поехать к матери Тани и сказать: «Следствие по делу приостановлено из-за нерозыска преступника...» «Зря ты живешь на земле. Ты ничего не созидаешь, ничто не рождается в твоих руках. Ты ешь хлеб земли за то, что ходишь у границы антимира и бережешь людей от выползней. Не уберег. Выползней не нашел, не раздавил каблуком. Ушли обратно, переползли границу, сидят в Зле и снова придут — убьют, разорят, опаскудят. А что делать? Ну, не виноват я! Маленькая голова у меня, не могу я все знать и предвидеть. У меня мозг, наверное, полкило весит. Не могу я рассмотреть незримое, не могу ощупать бесплотное. Ведь я человек только, и я исчерпал все свои возможности. У меня мозг болит, как будто я выжал его рукой... Ох, как я устал!..»

Тихонов потер ладонями лицо, встал, походил по кабинету, подошел к окну, сел на подоконник. Из-под стекла поддувала холодная, тонкая, как лезвие, струйка. Снег, снег. Скорее бы весна, что ли! Тихонов повернул к струе воздуха разгоряченное лицо, закрыл глаза. «Условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг моего поиска. Проскочить мимо них я мог по двум причинам: абсолютная маскировка, антилицо, или меня подвела проклятая заданность восприятия, аксиомы сволочные. Надо научиться в работе ничего не воспринимать заранее как неоспоримый, безусловный факт. У всякого факта может быть тьма интересных нюансов. А ведь кто-то же говорил с Таней вечером в понедельник. Во Владыкино ее, совершенно ясно, заманили. Но кто? Каким способом? И, самое главное, зачем? Нет, стой, стой, снова сбился с мысли.

Начнем сначала. Приехала она из командировки в субботу... Отсюда снова поедем вперед. И каждый факт надо взять на ощупь. Надо выяснить все насчет командировки. Отправлюсь-ка я опять в редакцию».

Беляков встретил Стаса теплее, говорил с ним вроде сочувственно. «Хороший видок у меня, наверное»,— подумал Тихонов. На Танином столе было уже пусто, аккуратно вытерта пыль. Беляков перехватил взгляд Стаса, извиняющимся тоном сказал, тяжело вздохнув:

— Ничего не попишешь, жизнь продолжается...

— Да, жизнь продолжается,— кивнул Тихонов.— Но в какой-то миг она остановилась. Нам надо вернуться к нему. Вы сказали мне, что Таня вышла на работу в субботу, двенадцатого, а командировка у нее была по десятое. Откуда это расхождение?

— Разве? — удивился Беляков.— Я, честно говоря, не помню уже. Может быть, мы с ней договорились раньше. Не помню.

— Постарайтесь вспомнить, это важно.

— Вообще-то у нее были отгулы за дежурства, может, она использовала? Не могу вспомнить, говорила ли она мне...

— Напрягите память, свяжите с какими-то событиями! У вас же должна быть творческая, ассоциативная память. Помните, как у Чапека: «О шея лебедя, о эта грудь...»?

— Не помню,— развел руками Беляков.

— Ладно,— сказал Тихонов.— Мы с вами в прошлый раз смотрели блокнот Аксеновой. Он у вас сохранился?

— Да, я оставил его себе на память.

— Одолжите его мне на несколько дней,— попросил Стас,— я его верну потом.

С видимым сожалением Беляков достал из стола блокнот.

— Только, пожалуйста, верните потом.

— Хорошо,— сказал Тихонов, листая блокнот. Все то же самое. И в конце эти непонятные фразы. И фамилия: «А. Ф. Хижняк».

— Вы не знаете, случайно, кто такой Хижняк? — спросил Стас, показывая Белякову запись. Тот близоруко щурился, долго, внимательно смотрел, полистал страницы в обратном порядке, пожал плечами.

— Тут полно разных фамилий. Она же ведь со многими людьми встречалась. Вот здесь еще какие-то: Семенов, Кондратенко, Ли, Дербаремдикер...

«Но Хижняк — последняя фамилия. Потом ее убили,— сказал себе Стас.— А может быть, здесь вообще никакой связи нет...»

В бухгалтерии Стас долго рассматривал отчет Аксеновой по командировке, пытаясь вместе с Таней повторить маршрут. Билет на самолет Москва — Ровно, счет за шесть дней проживания в гостинице, железнодорожный билет в купейный вагон.

Восстановим снова. В Ровно Таня прилетела третьего февраля. Счет в гостинице открыт тем же числом. Закрыт девятого. Минуточку, от третьего до девятого — семь дней. Значит, она поселилась в гостинице во второй половине дня и в первой половине дня уехала — поэтому ей посчитали шесть дней. Поезд от Ровно до Москвы идет около суток. Если она уехала в середине дня девятого, то в середине дня десятого она должна была быть в Москве. А Галя, ее сестра, категорически утверждает, что Таня приехала в пятницу утром, одиннадцатого. Где же еще она была почти целые сутки? Тихонов взял железнодорожный билет и внимательно посмотрел на свет. На темном квадратике картона были видны еле заметные светлые точки компостерных щипцов...

— Этот билет выдан железнодорожной кассой станции Ровно на скорый поезд № 16, который прибыл на наш вокзал одиннадцатого февраля в шестнадцать часов двадцать минут. Но в Брянске десятого числа билет был прокомпостирован на сутки. Затем его владелец сел в 20.45 на московский поезд и прибыл в Москву одиннадцатого февраля в восемь часов утра.— Билетный кассир взглянул на отчужденное лицо Тихонова и добавил: — Нет, нет, вы не сомневайтесь, у нас четкий график и перевозки на учете.

— Конечно, конечно,— согласился Тихонов и спросил: — А когда этот скорый прибыл в Брянск?

— Сейчас посмотрим по расписанию.— Кассир пробежал карандашом по колонке цифр.— Десятого февраля в девять пятнадцать утра.

— Спасибо...

Тихонов вышел на привокзальную площадь. Часы на башне громыхнули четыре раза. Холодный, сырой ветер с Москвы-реки хватал разгоряченное лицо. Тихонов задумавшись прошел остановку, вышел на Бородинский мост. Вода в реке не замерзла, коричневая, грязная, подернутая легкими клочками пара, она несла изгрызенные желтые глыбы льда. Тихонов стоял на мосту, облокотившись на перила, на едком, пронизывающем ветру и смотрел в темную, рябую глубину. На мутном, мятом зеркале воды он пытался начертить какую-то схему. Потом с остервенением плюнул вниз, как будто река скрывала все, будто она не пускала к истине... Почему Брянск? При чем здесь вообще Брянск? Брянск-то откуда здесь взялся?..

3

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Вх. № 83/1
Московский уголовный розыск
Капитану милиции Тихонову.

«...винтовка выпущена заводом 23 января 1965 г. и по накладной № 231234 отправлена Брянскому облспортторгу.

Оперуполномоченный Тульского уголовного розыска Хохлов».

Позвонив по телефону в Брянский облспорттторг, Тихонов узнал, что эта винтовка в апреле 1965 года была продана городскому клубу ДОСААФ...

«ВЕСЬМА СРОЧНО!
В БРЯНСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Исх. № 119

Управлением Московского уголовного розыска разыскивается владелец винтовки «ТОЗ-17» № ВБ 806237, которая в апреле 1965 года была куплена Брянским городским клубом ДОСААФ. Необходимо установить, в чьем ведении находилась эта винтовка и каковы данные о ее местонахождении в настоящее время. О результатах проверки прошу известить нас незамедлительно.

Начальник отдела Управления Московского уголовного розыска ШАРАПОВ».

4

«ВЕСЬМА СРОЧНО!

Начальнику отдела Московского уголовного розыска ШАРАПОВУ

ТЕЛЕФОНОГРАММА
Вх. № 7

Сообщаю, что винтовка «ТОЗ-17» № ВБ 806237 действительно была приобретена 21 апреля 1965 года городским клубом ДОСААФ и использовалась для спортивно-стрелковых целей, находясь на ответственном хранении завскладом оружия Хомякова В. С.

29 июня 1965 года из помещения клуба были похищены различные предметы, в том числе и вышеуказанная винтовка. В ходе следствия установлен и разыскан гр-н Плечун С. Я., совершивший эту кражу.

Плечун признал себя виновным и выдал следствию часть похищенных предметов, пояснив, что остальные вещи он в разное время продал нескольким лицам. В частности, похищенную винтовку Плечун продал на городском рынке за сорок пять рублей неизвестному мужчине, внешность которого он описать затрудняется. Плечун заявил, что при встрече мог бы опознать этого мужчину. Однако принятыми мерами розыска установить покупателя винтовки не удалось. Судьба оружия неизвестна, и оно находится в нашем розыске. При наличии данных о нем просим информировать Брянский уголовный розыск. Для сведения сообщаю, что Плечун содержится в Ярцевской исправительно-трудовой колонии...»

«Ну, что ж, Стас, вот ты уже, как говорится, достиг определенных успехов: нашел своим брянским коллегам похищенное имущество,— грустно подумал Тихонов.— И «судьба» этого «имущества» — страшная судьба — стала известна. Вот так оно и нанизывается цепочкой: головотяпство в клубе, где не обеспечили сохранность оружия, потом некрупная и в мировом масштабе неважная кражонка, которую совершил мелкий жулик Плечун, потом этот неизвестный покупатель — на черта ему краденая винтовка? А потом — смерть Тани Аксеновой... Как уследить здесь, в этой цепочке случайностей, где начинается закономерное? В растяпе-кладовщике? Нет. В воришке? Не похоже: сам он сидит в колонии, а винтовку еще раньше продал... Покупатель. Здесь начинается темнота. Что за любитель оружия такой? Осталась ли винтовка в его руках или путешествовала дальше? Неясно. Но мне нужен этот покупатель, и его надо искать. Как хлеба-ищут. Ну, что ж. Примем первые меры...»

«ЧРЕЗВЫЧАЙНО СРОЧНО!
ФОТОТЕЛЕГРАММА

Отдельное требование
в порядке статьи 132 Уголовно-процессуального кодекса

Начальнику Ярцевской исправительно-трудовой колонии

Направляю нумерованные фотографии четырех мужчин. Прошу, с соблюдением требований статьи 165 УПК РСФСР, предъявить их для опознания гр-ну Плечуну С. Я., отбывающему наказание в Ярцевской ИТК.

Материалы опознания вышлите в наш адрес: Москва, К-6, Петровка, 38, Управление МУРа.

Начальник отдела ШАРАПОВ».

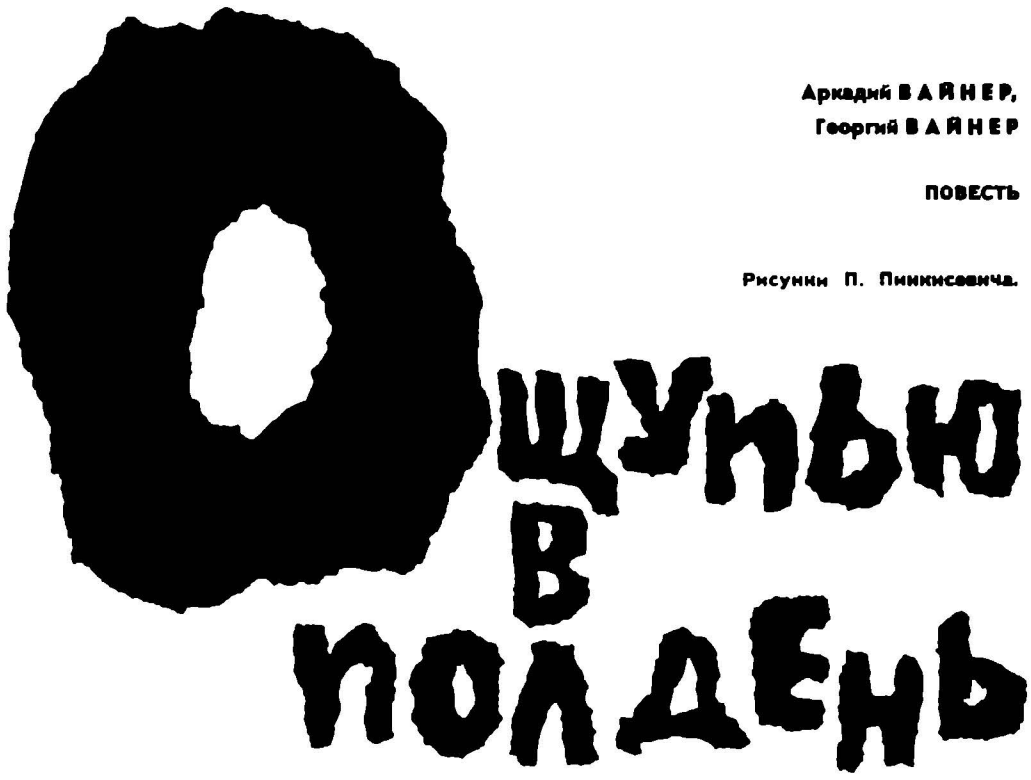
Тихонов открыл сейф, достал пачку фотографий, внимательно осмотрел их. Потом отобрал четыре, подколол их скрепкой к телеграмме. Подумал немного, взял из пачки еще одну фотографию и присоединил ее к первым четырем...

Окончание следует.

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

ПОВЕСТЬ

Рисунки П. Пинкисевича.



5

Брянск, Брянск. Значит, все-таки не случайно он сюда затесался. Аксенова едет в командировку в Ровно, возвращаясь назад, останавливается на день в Брянске. Никто не знал, что она туда собирается. Вернувшись, никому не сказала о том, что была там. Через шестьдесят часов ее застрелили на пустынной тропинке во Владыкине из снайперской винтовки, украденной в Брянске и в Брянске же купленной неизвестным. Слишком много совпадений. Никто из прошедших по делу людей в Брянске не живет. И все-таки искать надо, видимо, там.

Его надо искать хоть на ощупь, перебирая руками по стене. Дверь должна быть где-то здесь, совсем, совсем рядом. В Брянске? Вероятно. Но после записей в блокноте с фамилией Хижняк идет жирная черта. И такая же черта перед ровенскими записями. Так что скорее этот Хижняк в Ровно, чем в Брянске. О чем там в блокноте?.. «Микробы приказы живут пятнадцать лет... Нацизм открыл слив для всех человеческих нечистот... Трусость — детонатор жутких поступков...» Это в предпоследнем блокноте. А в последнем, из сумки? Подожди, подожди, там есть что-то похожее. Так: «...Страх растворяет у труса все человеческое... Белые от злобы глаза...» Рисунок человеческой фигуры со свастикой на рукаве. А там было про нацизм. Может быть, это не случайно? Вяселица почему-то. «Корчится бес». Нет, уверен, что все это связано какими-то глубинными каналами с Хижняком. Так где же он, Хижняк, в Ровно или в Брянске? Интересно, это у него «белые от злобы глаза»?.. Искать надо начинать с Ровно. Думаю, там Аксенова решила ехать в Брянск. Пойдем, старик, по стене. Дверь должна быть рядом.

СЛЕДУЮЩАЯ ПЯТНИЦА

1

— Просыпайся, молодой человек! Чай проспишь.

Тихонов открыл глаза и сразу зажмурился: так ослепительно сверкало солнце в безбрежной белизне полей. Он потер руками глаза, привычно провел ладонями по лицу, тряхнул головой.

Пожилая проводница добродушно улыбалась, стоя в дверях купе.

— Ну что, умываешься, как киска после еды?

— Для красоты. А кстати, мамаша, вы не знаете, почему «после еды»?

— Как же. Сказка есть такая. Поймала кошка мыша и приготовилась его кушать. А мышь давай ее совестить: как же ты, моя, не умывшись, есть собираешься?

Послушалась кошка, отпустила мыша и стала умываться, а он — ноги в руки... Теперь кошки только после еды умываются. А ты вот можешь чай свой проумывать...

— Чай — бог с ним,— засмеялся Тихонов.— Мне бы мыша своего не проумывать.— Оперся на полку и спрыгнул вниз.

В туалете под полом вагона особенно громко бормотали колеса, изредка взвизгивая на крутых поворотах. Тихонов долго полоскался и фыркал под холодной водой, докрасна вытер лицо и руки, причесал жесткий ежик волос. Посмотрел в забрызганное зеркало и подумал: «Побриться бы сейчас в самый раз». Но бритвы не было. Впрочем, не было у него с собой не только бритвы. Вообще ничего не было. Он не успел заскочить домой и уехал на вокзал прямо с Петровки. Проводница, проверяя у дверей вагона билет, удивленно спросила:

— А багаж?

Тихонов ухмыльнулся:

— Иметь некрасивые чемоданы — признак дурного тона. Поэтому я обхожусь без них.

Проводница взглянула на него подозрительно и сунула билет обратно:

— Третье купе.

Стас вошел в купе, лег на полку, и гудок электровоза слился с его первым хриплым, сонным вздохом...

Вместе с ним в купе ехало трое: старичок бухгалтерского вида и молодая женщина с дочкой лет восьми. Девочка читала книжку «Сказка среди бела дня», старательно водя пальцем по строкам, мать вязала. Старичок непрерывно заглядывал в какой-то справочник и все время что-то вычислял карандашом на бумажной салфетке, удовлетворенно похмыкивая время от времени. Отрывался от этого занятия он только для того, чтобы послушать по радиотрансляции последние известия.

Тихонов, усевшись в углу, с удовольствием пил крепкий сладкий чай, пахнувший немного дымом.

Проводница снова открыла дверь, с сомнением посмотрела на него.

— Печенье брать, конечно, не будешь?

Чтобы немного поддержать свою пошатнувшуюся на корню репутацию, Тихонов спросил:

— А бутербродов с черной икрой у вас нет случайно?

— Не бывает,— гордо сказала проводница.

— Жаль, ах, жаль. Пяточек и завтраку сейчас было бы уместно. Несите тогда печенье. Две пачки...

Девочка оторвалась от книжки, посмотрела на Тихонова строгими глазами.

— Дядя, а ящик — это извозчик?

— Извозчик,— кивнул Стас.— Извозчик-дальнорейсовик.

Старичок, прижав палец к губам, сказал:

— Тише!

«Маяк» передавал сообщение о том, что произошел военный переворот в Гане. Дослушав, старик поднял на лоб перевязанные бинтом очки и озабоченно сказал:

— Да-а, все-таки силы реакции во всем мире еще сильны!

— Ужасно,— согласился Стас и серьезно спросил: — Подсчитывается ресурсы для их уничтожения?

Старик улыбнулся, и лицо его, потеряв выражение озабоченности, вдруг стало добрым, почти ласковым. Он показал на справочник.

— Это великая книга. Это сводный железнодорожный справочник за нынешний год. Придумывая неожиданные маршруты перевозок, можно с помощью этого справочника обеспечить индивидуальными арифметическими задачами каждого школьника страны. Например, сколько будет стоить и сколько потребуется вагонов, чтобы перевезти из Мурманска во Владивосток пятьсот тонн апельсинов, тысячу тонн нефти и тысячу восемьсот кубометров леса? А-а?— сказал он торжествующе.

— Действительно, страшно интересно возить апельсины из Мурманска во Владивосток,— сказал Стас. Женщина с вязаньем улыбалась. Видимо, старичок уже вдоволь побеседовал с ней на все эти темы и жаждал новой аудитории.

— Вот посмотрите и убедитесь сами,— протянул он Стасу справочник.

— Сейчас, дома только печенье,— покорно сказал Стас. От ознакомления со справочником, видимо, было не отвертеться. Он полистал толстую, отлично изданную книгу. С картами, графиками, подробными расписаниями. Стас остановился на крупномасштабной карте-плане Киевской железной дороги, стал внимательно всматриваться и тихо охнул.

— Что? Говорил я вам, что не отвертеться?— лениво сказал старикан.

— Не отвертусь, не отвертусь,— быстро сказал Стас, лихорадочно листая справочник в поисках карты административного деления. Наконец нашел, посмотрел, вернулся обратно и сравнил с картой-планом и ногтем отметил точку на административном разноцветье маленького портрета страны.

Дверь отъехала в сторону, и проводница сказала Тихонову:

— Через десять минут — Ровно. Вам сходить...

За окном замелькали пакгаузы, старая водонапорная башня, вагоны — дома путейских рабочих. На стрелках судорожно забились, затарахтели колеса...

ЧРЕЗВЫЧАЙНО СРОЧНО

ТЕЛЕГРАММА

Москва, Петровка, 38, Шарапову.

Незамедлительно сообщите в адрес Ровенского уголовного розыска, кому была выдана в народной библиотеке имени Чехова книга Рэя Бредбери «Фантастические рассказы». Книга подарена библиотеке читательницей Сулашиф Яковлевной Сайкиной.

ТИХОНОВ.

2

Человека по фамилии Хижняк Тихонов нашел быстро. Депутат райсовета Анна Федоровна Хижняк работала старшей аппаратчицей на заводе в Ровно.

— Недели две назад с ней разговаривала журналистка из Москвы,— сказал Тихонову председатель месткома.— Хотела написать о ней и не успела — трагически погибла. В газете сообщение было вместе с очерком о нашем заводе. Хорошо, душевно написала. Как же это она погибла? Под машину попала?

— Есть много разных способов трагически погибнуть,— пожал плечами Стас.— А как увидеться с Анной Федоровной?

— Она сегодня должна была вернуться из Киева. К сыну поздила на зимние каникулы — он у нее студент-дипломник. Адрес в личном столе найдете.

Хижняк жила в старой части города, в небольшом деревянном доме. Когда Тихонов вылез из такси, уже перевалило за полдень. Он постучал в дверь, обитую дерматином и тряпочными полосками, и кто-то теплым, мягким голосом крикнул в доме:

— Подождите, подождите, сейчас открою!..

Загремела щеколда, и из-за открытой двери ударил в лицо запах молока и свежего хлеба.

У женщины было молодое, еле тронутое морщинками лицо и совершенно белые волосы. Туго затянутые в косу на затылке, они сидели на голове, как серебряный шлем.

— Анна Федоровна?

— Да. А вы по мне?

— Я хотел поговорить с вами...

Полы в комнате были белые, дощатые, выскобленные до стерильной чистоты. Тихонов посмотрел с сомнением на свои облепленные снегом ботинки, но женщина добродушно засмеялась:

— Заходьте, заходьте. Все одно — убирать, во всем дому грязь. Только сегодня приехала — у сына в гостях десять дней была.

На стене висела фотография красивого смуглого парня, и Тихонову вдруг показалось, что он уже где-то видел это лицо.

— Простите, Анна Федоровна, а когда вы поехали к сыну?

— Во вторник прошлый. А что?— встревожилась женщина.

— Нет, я просто так спросил.— Тихонов понял, что она не знает о смерти Тани — в дороге разминулась с газетным сообщением. Он помедлил и сказал:

— Анна Федоровна, я из Московского уголовного розыска. Привело меня к вам печальное событие...

— Что? Случилось что?— Хижняк стала медленно бледнеть.

— Вы помните Таню Аксенову?

Хижняк что-то хотела сказать, но горло сдавило, она сглотнула тяжелый ком, кивнула.

— Одиннадцать дней назад она погибла...

— Убил. Убил! Убил, проклятый!..

3

Стас огляделся. Ночная улица была пустынна, голые черные ветви деревьев покачивались под порывистым холодным ветром, редкие неяркие

Окончание. См. «Огонек» №№ 7—12.

фонари с трудом рассеивали вокруг себя мрак. Стаса знобило. На вокзал, надо скорее на первый же поезд. Как назло, ни одного такси не видать. Тихонов шел размашистым шагом, все быстрее и быстрее, потом побежал. В груди что-то противно екало и свистело, остро закололо под лопаткой. «Пуля болит, сволочь,— подумал Стас.— Ничего, она не опасная. Больно потому, что она на плевру давит. Нет, она уже не опасная. Как это Лебединский сказал? Она «инкапсулировалась». Слово противное. Ничего, еще метров пятьсот пробежать можно. Скоро все уже кончится... Надо успеть на московский ночной экспресс...» Он бежал и бежал, уговаривая себя потерпеть еще до следующего фонаря, потом до следущего и еще до одного. Брызгал из-под ног грязный жидкий снег, глухо цокали подковки на каблуках, и над переулком разносился сухой хрип легкого, разорванного пулей два года назад...

В комнате милиции на вокзале сидел мужчина в сером коверкотовом костюме.

— Из Москвы? Надо помочь — поможем. А вы пока присядьте.

Тихонов опустился на полированную, очень неудобную скамейку с резной надписью «МПС», прикрыл глаза. Он тяжело дышал, вытирая ладонью пот с лица. Мужчина снял трубку и негромко сказал:

— Зина! Майор Сударев позвонил. На семьдесят первый один билет в двухместное купе, быстренько! Как это нет? Знаю, знаю, для проводниц оставляете, чтобы их пассажиры не беспокоили... А если проверю? Что? Нашлось уже? Ну и чудненько. Сейчас к вам товарищ Тихонов подойдет.

Повернулся к Стасу, объяснил:

— Подойдете к седьмой кассе, получите билет в отдельное купе. Я вижу: вам давно пора спокойно выспаться...

— Спасибо... Помогите мне добраться до горотдела. Мне очень срочно надо позвонить по междугородной.

— Элементарно,— сказал Сударев и вызвал дежурного сержанта.

— Пахомов, заведи мотоцикл, подбрось товарища на Гончарную.

Через десять минут Стас уже разговаривал по телефону с начальником Ярцевской колонии.

— Опознание провели,— бился в мембрану далекий окающий голос.— Плечун без всяких сомнений опознал на фотографии номер три человека, который купил у него винтовку...

Тихонов положил трубку и снова разгладил на столе телеграмму Шарапова.

«КНИГА РЭЯ БРЕДБЕРИ «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ» ВЫДАНА 26.I — 1966 г. Т. С. АКСЕНОВОЙ».

СЛЕДУЮЩАЯ СУББОТА

1

К Брянску поезд подошел в шесть часов утра. Было еще темно, и только на востоке рассвет начал размывать густую синеву неба, стирая с него звезды, как капли со стола. На перроне царили сутолока, гомон, метались фонари проводниц. Тихонов вышел на вокзальную площадь, огляделся и направился к автобусной станции. Кассирша с сожалением сказала:

— Ваш автобус ушел двенадцать минут назад. Следующий отправляется в десять ноль пять.

Тихонов про себя чертыхнулся, спросил:

— А согласовать автобусное расписание с железнодорожным никак невозможно?

Девушка развела руками:

— Это не от меня зависит.

— Я понимаю. Просто, когда спешишь, торжествует принцип максимальной пакости.

— Какой, какой принцип?

— Максимальной пакости: бутерброд всегда падает маслом вниз.

Девушка улыбнулась:

— А если все-таки вверх?

— Значит, он упал неправильно...

Тихонов шел малолюдной улицей, негромко ругался и размышлял, где ему провести оставшиеся четыре часа. На углу ярко светилась вывеска «Баня». Пожалуй, это был хороший выход из положения. В вестибюле остро пахло земляничным мылом и березовыми вениками. Тихонов заплатил за ванный номер, вошел в небольшую кафельную комнатку, щелкнул замком, пустил горячую воду. Вода с шипением бежала по эмалевым стенкам ванны, закручивалась в булькающий пузырчатый водоворот у стока. Стас снял пиджак, опустившись на кожаный диванчик, устало слушал бормотание и шелест воды. На живот тяжело давила рукоятка пистолета, вылезшая из открытой полукобуры.

От нервного возбуждения он всю ночь не сомкнул глаз, и теперь сонная одурь теплым паром заволакивала голову. Стас быстро разделся, влез в воду, и оцепенение утренней дремоты проглотило его, как болотная ряска смыкается над брошенным камнем...

...Учителя Коростылева он встретил жарким июльским полднем, прогуливаясь с майором Садчиковым по улице Горького. У Стаса еще дергался глаз, контуженный пулей Крота-Костюка, но настроение было прекрасное, и Садчиков подсмеивался над ним.

— В п-погонах новых щегольнуть охота?

Коростылев стал совсем старый. Он сказал:

— Эдик Казарян уже ведущий конструктор. А Слава Антонов стал кандидатом наук. Атомщик.

Стасу послышалось в голосе Коростылева осуждение. И он, словно оправдываясь, с вызовом сказал:

— А я стал капитаном!

Садчиков усмехнулся:

— Каждый к-кулик свое местожительство хвалит.

Коростылев спросил его:

— И вы там же работаете?

Садчиков кивнул. Стас, как будто извиняясь за то, что Садчиков не кандидат атомных наук, сказал Коростылеву:

— Он уничтожил банду знаменитого Прохора...

Учитель помолчал. Ветер трепал его редкие седые волосы, и Стас боялся, как бы они все не улетели. Потом Коростылев сказал:

— Я доволен тобой. Вы делаете очень важное — караете зло. Прощать содеянное зло так же преступно, как и творить его.

— М-мы не караем. Закон карает. М-мы только ловим,— сказал Садчиков и отвернулся.

Стас почему-то разволновался тогда и, чтобы скрыть это, сказал:

— Все замечательно. Одна беда — не можем определить свое место в споре между физиками и лириками...

Вода в ванной остыла, и Стас проснулся от холода. Он пустил на себя из душа струю горячей воды, гибкой и упругой, как резина. Потом вылез и долго сидел на диванчике, завернувшись в простыню, осторожно поглаживая багрово-синеватый шрам на груди. Не спеша оделся, взглянул на часы: стрелка подползла к девяти. Он перекинул через плечо ремешок с петлей, достал «макарова», оттянул затвор, дослал патрон. И повесил пистолет в петлю слева под мышкой. Вспомнил, как когда-то Шарапов сказал бандиту Валетику: «У трусов пистолет создает чувство ложной уверенности...»

...Автобус, перемалывая толстыми шинами бугры наледей, въехал на площадь. Кондукторша сказала:

— Пойдете прямо по этой улице, за третьим кварталом направо — улица Баглая.

Тихонов огляделся. Часы на здании горисполкома показывали половину второго. Прилично потрясся в автобусе.

Стас направился в горотдел милиции. За двадцать минут он договорился с начальником уголовного розыска, как расставить людей, когда прислать машину. Вышел на улицу и вдруг с удивлением заметил, что больше нет ни азарта погони, ни возбуждения, ни страха. Он очень устал. Это трудно — карать зло. Сейчас он пойдет и возьмет этого бандита. И все произойдет буднично, даже если тот попробует стрелять. Он посмотрел на вялое зимнее солнце, беззащитное, на него можно смотреть, не щурясь, провел холодной ладонью по лицу и вспомнил, что так же прикоснулась к его лбу Танина мать, повернулся и пошел на улицу Баглая. Он даже не посмотрел, есть ли в доме двадцать девять черный ход, а прямо постучал в дверь и сказал вышедшей женщине:

— Здравствуйте. Хозяин дома?

— Заходите, он скоро придет. Суббота сегодня — он в баню пораньше пошел.

Тихонов подумал: «Прекрасное совпадение. Мы, не сговариваясь, хорошо подготовились к встрече». Женщина открыла из прихожей дверь в столовую, пропустила Стаса, сказала:

— Жена я. Нина Степановна зовут.

— Очень приятно. Тихонов, корреспондент из Москвы.

— Пообедать хотите или самого подождете?— Из кухни доносился запах пирогов и жареного мяса.

— Спасибо. Мы лучше сначала побеседуем,— сказал Стас и снова подумал: «Диеты у нас с ним разные...»

Нина Степановна сказала:

— Сам-то важен стал. Недавно уже приезжала к нему корреспондентша. Из Москвы тоже. Не застала только — в районе был.

— Знаю,— кивнул Стас.— Из нашей газеты. С вами разговаривала?

— Да, проговорили три часа. Не дождалась, расстроенная была. А сам, то же самое, как рассказала о ей, расстроился, что не застала. Да, знаю дело, всем разговоры приятные вокруг себя охота слышать, да и работяга он большой — статья об нем авторитету бы прибавила...

— Это уж точно,— сказал Стас.— Корреспондентка книжку у вас здесь не забывала? Просила захватить, если сохранилась...

Хлопнула входная дверь. Тихонов выпрямился, как лопнувшая пружина, сунул руку под пиджак, щелкнул предохранителем «макарова». Женщина сделала шаг к двери.

— Стойте!— свистящим шепотом сказал Стас.— Стойте на месте...

Женщина обомлела. Распахнулась дверь.

— Заходите, Ерыгин, я вас уже час дожидаюсь.

Вошедший автоматически сделал еще один шаг, сказал: «Здрасте»,— и судорожно обернулся.

Стас больно ткнул его стволом пистолета под ребро и сорвавшимся на фальцет голосом крикнул:

— Ну-ка, ну-ка, без глупостей!— Вздохнув, сказал:— Я за вами две недели не для того гонялось, чтобы сейчас еще кросс устраивать...

Женщина, оцепенев от ужаса, прижалась к стене. Из кухни наносило чад подгорающего мяса.

— Вы, Нина Степановна, займитесь пока на кухне, а мы с вашим супругом побеседуем.

На крыльце затопали тяжелые шаги. Стас, прижав к бедру наведенный на Ерыгина пистолет, отскочил к столу, чтобы видна была входная дверь. Громыхнула щеколда, и вошли три милиционера. Стас облегченно вздохнул и подумал: «Вообще-то глупость, конечно, была — идти за ним одному. Он же меня сопляй перебить может. Расчет на внезапность оправдался...»

— Что, Ерыгин, здесь говорить будем или прямо в Москву поедем?

Ерыгин разлепил сразу запекшиеся губы, хрипло сказал:

— Не о чем мне с тобой говорить...

2

Тихонов вышел на трап первым, за ним — Ерыгин, которого придерживали сзади два оперативника. Они шли из носового салона, и пассажиры, выходившие из двери у хвоста самолета, удивленно и испуганно смотрели на эту молчаливую группу. Внизу, у первой ступеньки трапа, стоял, расстегнув пальто, заложив руки в карманы, широко расставив ноги, Шарапов. И Тихонову вдруг захотелось побежать по лестнице ему навстречу, обнять и сказать что-нибудь такое, чего завтра ни за что не скажешь. Не спеша спустился, усмехнулся, протянул руку.

— Здорово, Владимир Иваныч,— кивнул через плечо.— Доступ к телу свободный.

Шарапов и не взглянул на убийцу. Не отпуская руки Стаса, он смотрел своими чуть раскосыми монгольскими глазами на него. Потом сказал медленно, и слова будто падали на бетон тяжелыми мягкими гирьками:

— Я рад, сынок, что это тебе удалось,— он сделал паузу и добавил, хотя Стас заметил, что Шарапову не хотелось этого говорить:— Если бы ты его не взял, тебе жить дальше было бы тяжело...

Аэропорт был похож на огромный светящийся кусок сахара. Прожектора высвечивали серебристые сигары самолетов, искры вспыхивали на полосках снега между бетонными плитами, тускло светились огни в черном даже оперативных «Волг». Шарапов посмотрел в мертвое, будто сгоревшая лампа, лицо Ерыгина и сказал оперативникам:

— Поезжайте с ним в первой.

Ерыгина посадили в машину, вырвался белый дымок из выхлопной трубы, и машина рывком ушла в ночь, на шоссе, в Москву. Шарапов открыл дверцу второй «Волги».

— Влезай, я за тобой.

Шофер Вася сказал:

— Здравствуйте, Станислав Павлович! Мы вас заждались.

— Не говори, два дня не было,— улыбнулся Стас и почувствовал, что все кончилось, что он дома...

Мелькали черные деревья на обочинах, вдалеке горели огоньки на шпиле университета. «Волга» со свистом и шелестом летела по пустынному ночному шоссе. Голос Тихонова звучал надтреснуто:

— В принципе мы с тобой не ошиблись, Шарапов, предположив, что причина смерти Тани скрыта в ее личной жизни. Но мы с тобой не знали этого человека и поэтому канцелярски сузили понятие личной жизни. Ты понимаешь, для Тани не было чужих болей и бед, они становились ее личными бедами, частью ее личной жизни. Так и получилось, когда она познакомилась с Анной Хижняк. А жизнь Хижняк — страшная трагедия, за которую надо было бы само по себе расстрелять этого бешеного пса. Вот послушай. Анна Хижняк вышла замуж за местного счетовода Ерыгина прямо перед войной. И как только в Здолбунов — это под самым Ровно — пришли немцы, он сам отправился к ним и предложил свои услуги. Парень он был здоровый, красивый и незадолго до войны стал чемпионом города по стрельбе. Ерыгина взяли в карательные войска СД, и он прославился неслыханной жестокостью. Скоро он уже командовал расстрелами евреев, советских и партийных работников. Мне рассказала Хижняк, что он выстраивал шеренгу и с большого расстояния из карабина беглым огнем валил людей через одного. Это называлось у него «расчет на первый-второй». В середине 1942 года он получил серебряную медаль «За заслуги перед рейхом» и нашивки ротенфюрера. Ерыгин каждый день приходил в дом ее матери, куда Анна убежала от него с крошечным ребенком, издевался над нею и бил. А когда понял, что она не вернется к нему, сдал ее в фельджандармерию как связную партизан. Шесть дней просидела она в камере, ожидая виселицы. На седьмую ночь в Здолбунов нагрянули партизаны, сожгли дотла комендатуру, перебили всех немцев и полицаев, а арестованных освободили. Она ушла с шестимесячным сыном к партизанам, уверенная, что этого изувера убили вместе с остальными бандюгами. Да, видимо, выжил, сволочь, сменил фамилию, омолодился, женился и осел на глубине.

Прошло двадцать четыре года, и в руки Анны Федоровны случайно попадает газета с групповым снимком передовиков. И в одном из них узнает Ерыгина. Причем подписи под снимком нет. Знаешь, как дают иногда — «участники совещания обсуждают...». Это произошло за неделю до встречи с Таней. А Таня должна была о ней очерк написать. И, видимо, здорово она умела с людьми разговаривать. Поговорили, поговорили, не выдержала Хижняк, расплакалась и рассказала ей все. А до этого — никому ни полслова. Там, понимаешь, возникла страшная коллизия. Сын вырос, в этом году кончает Киевский университет. И до сего дня уверен, что отец его геройски погиб на фронте. Она специально после войны все бросила, уехала из Здолбунова, чтобы кто-нибудь не рассказал пацану о том, кем был его отец. Я ее хорошо понимаю: это для парня была бы никогда не заживающая рана. И вот рвется Хижняк на части — надо бы пойти, заявить, проверить, не ошиблась ли она. А с другой стороны, боится — вдруг не подох он тогда, жив, арестуют его — процесс громкий, в газетах все. Сын, счастье единственное, проклянет ее за то, что сгубила от него такое. А через месяц — распределение у парня. И все же Таня убедила ее, что молчать нельзя. Но поскольку Хижняк не была полностью уверена, что на фотографии именно Ерыгин, Таня вызвалась по дороге заехать и проверить — это же по пути, два с половиной часа на автобусе от Брянска.

Вот так появился лишний день в командировке Аксеновой. Таня сошла с поезда в Брянске, по газетному фотоснимку с помощью местной редакции легко установила Ерыгина и поехала к нему...

Машина промчалась мимо щита с надписью «Москва», зашелестела по Ленинскому проспекту. Шарапов слушал сосредоточенно, ни разу не перебил.

...На месте его не оказалось — в районе был. Аксенова объяснила жене, что она — корреспондент, стала беседовать с ней. И тут Таня допустила ошибку. Жена, очень простая, тихая женщина, добросовестно пересказала Ерыгину содержание их разговора. Как я понял, его насторожили три вопроса Тани: давно ли они женаты, где он был во время войны и жил ли раньше Ерыгин в Здолбунове.

Таня сама не была уверена в том, что она нашла подлинного Ерыгина. Очень тонкая, деликатная, она не решилась обратиться в официальные органы с предложением проверить подозрения Хижняк. Боялась оскорбить человека таким жутким предположением. Тем более, жена сказала, что он дня через два собирался поехать по делам в Москву. Таня оставила для него записку со своим телефоном и попросила срочно позвонить ей по очень важному делу.

И тогда он положил в чемодан купленную в Брянске у ворошни винтовку...

Тихонов помолчал, долго смотрел в окно, потом сказал:

— Я вот все думал — зачем он купил тогда винтовку? На всякий случай? Вряд ли. Прошли недавно большие процессы над пойманными изменниками, и он точно знал, что ни под какую амнистию не подпадет...

«Волга» с визгом прошла поворот с бульвара и выскочила на уже безлюдную ночную Петровку, затормозила у ворот. Шарапов и Тихонов вылезли, постояли, глубоко вдыхая холодный чистый воздух. Шарапов достал пачку сигарет, спросил:

— Может, закуришь?

Тихонов пожал плечами.

— Давай, испорчу одну за компанию.

Они стояли, прислонясь к ограде, и курили, и постовой удивленно смотрел на них. Шарапов бросил окурок в снег, взял Тихонова за руку:

— Пошли, сынок. Еще немного.

Они поднялись в кабинет Шарапова, и он, не снимая пальто, подошел к телефону, коротко бросил:

— Ведите.

Сидели, молчали, смотрели друг на друга и думали, каждый о своем, оба об одном и том же. До тех пор, пока в коридоре не раздался тяжелый размеренный стук шагов. Так шагает конвой.

Он вошел в дверь боком, так и стоял посреди комнаты, сбычившись, с ненавистью глядя на них. Молчали долго, и Тихонов потом не мог вспомнить: сколько было это долго — час или минута. И все в комнате было пронизано такой взаимной ненавистью, что Стасу показалось, будто окна не выдерживают ее тяжести и тонко дрожат.

Наконец Шарапов сказал:

— Ну, Лагунов-Ерыгин, будешь каяться или пойдешь в суд на одних доказательствах?

Лагунов хрипло выдохнул:

— Какие еще, к хренам, доказательства у вас есть?!

— Расскажи ему, Тихонов, про доказательства.

Стас, не поднимая глаз от пола, и методически отступивая ногой такт, монотонным голосом, будто читал обвинительное заключение, рассказывал:

— Четырнадцатого февраля, в понедельник, около половины шестого, вы позвонили Тане Аксеновой в редакцию и уговорили ее приехать к вам в гостиницу. Заодно, мол, забрать и забытую ею книжку. Это было через несколько минут после того, как Козак уехал. Таня приехала около семи часов. За это время вы достали из чемодана, собрали ствол и приклад винтовки. В это время дежурная по этажу сдавала белье, в коридоре ходило много народу, поэтому приход Тани остался незамеченным. Вы беседовали с ней немногим более часа, и Таня окончательно поняла, что никакой вы не Лагунов, а именно скрывавшийся больше двадцати лет Ерыгин. Но она не сумела этого скрыть от вас, и вы поняли, что прямо из гостиницы она пойдет в прокуратуру. Тогда вы окончательно решили, что терять вам нечего — за прошлые зверства все равно полагался расстрел. Вы уже знали, что, выйдя из гостиницы, Таня пойдет перед вашими окнами по пустырю. Затворив за ней дверь, вы заметили, что в коридоре по-прежнему нет дежурной. Вы заперлись, включили на полную мощность радио, погасили в комнате свет, отворили верхнюю фрамугу и встали на стул, оперев ствол винтовки на оконный переплет. Вы хотели застрелить Таню на середине пустыря — это место просматривается лучше всего. Но прямо за нею по тропинке шел мужчина по фамилии Казанцев, и он сразу бы увидел, как она упала. Поэтому вы дождались, когда он обогнал ее метров на пятнадцать, и нажали спусковой крючок. В этот выстрел было вложено все ваше бандитское мастерство. Впрочем, вы и не сомневались, что убьете ее наповал. Опыт большой. Выстрел услышать никто не мог — у этих винтовок негромкий бой,— а шум радио погасил и его. После этого вы разобрали винтовку, спрятали под пальто ствол и приклад, тихо отперли дверь и выглянули в коридор. Там все еще никого не было. Вы захлопнули дверь, быстро подошли к столу дежурной и оставили ключ от номера. Потом вернулись назад — к черному ходу, спустились по лестнице вниз и вышли во двор, а оттуда — на стоянку такси около гостиницы «Заря». По дороге засунули в глубокий сугроб ствол и приклад. Из взволнованных разговоров прохожих об убийстве на пустыре вы поняли, что беспокоиться вам нечего — вы послали пулю точно.

Сев в такси, вы отправились в Большой театр. Вы приехали в начале десятого и полчаса ожидали конца спектакля, после чего спросили у кого-то из выходящих зрителей программу и билет. Снова взяли такси и вернулись в гостиницу. Здесь вы уже постарались максимально обратить на себя внимание горничной Гафуровой, вплоть до того, что пели: «О, дайте, дайте мне свободу». План удался, и Гафурова впоследствии охотно подтвердила ваше алиби. После этого вы решили не дергаться, а сидеть и ждать.

Вообще-то вам ничего другого и не оставалось, потому что — я уверен — вы не смогли узнать у Тани, как она нашла вас. Если бы вы поняли, что на след навела Хижняк, вы тотчас же поехали бы в Ровно, чтобы убрать этого опасного свидетеля.

В разговоре со мной вы осторожно и ловко намекнули на Козака, а потом успокоились окончательно. Правда, здесь вам помог сам Козак. Своей дурацкой хвастливостью он чуть не сбил меня с толку, когда наврал, что книга Бредбери принадлежит ему. К сожалению, я поздновато сообразил, что он просто хотел продемонстрировать свою интеллигентность...

И все-таки несколько ошибок вы сделали. Вы слишком настойчиво акцентировали, что ваш Кромск — в Орловской области. Когда я поинтересовался этим, то узнал, что Кромск хоть и в Орловской области, но расположен гораздо ближе к Брянску, чем к Орлу. И зря вы так на виду держали книгу, подаренную московской библиотеке Суламифью Яковлевной Сайкиной. Но все это детали. О них разговор будет потом. Сейчас мы вас спрашиваем: вы хотите рассказать нам о своих преступлениях?

— Хочу,— сглотнул слюну Лагунов.— Хочу. Хочу сказать, что мало, мало вас стреляли! Сколько смогу...

— Не сможешь, гад!— сказал Шарапов.— Отстреляался!— И кивнул конвою:— Уведите...

Затихли в коридоре шаги. Шарапов посмотрел на Тихонова. Стас сидел, закрыв глаза, шевелил неслышно губами...

— Поехали домой, сынок.

— Сейчас,— встрепенулся Стас.— Подожди только минутку, я хочу зайти к себе, посмотреть одну бумажку...

Стас подошел к своей двери, вставил в скважину ключ, повернул, но замок не открывался. Он дергал его влево-вправо, вверх-вниз, но замок не открывался. Сломался совсем. Кружилась голова. Стас решил присесть на мгновение на скамейку в коридоре, чтобы перестала дрожать рука, и спокойно открыть замок.

Он сел, привалился к стене. Камень приятно холодил затылок. «Сейчас, посижу еще чуть-чуть и встану»,— бормотал Стас, и веки пухли, тяжелели, голова клонилась на плечо, и губы расплывались в улыбку...

Так и застал его Шарапов, спящим, со счастливым лицом у дверей кабинета, где плохо открывался замок.

ПО СЛЕДУ

Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, В. ВЕДЕЕВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Основой для настоящего повествования послужили действительные события и факты. Изменены лишь имена и фамилии действующих лиц.

1

Виктор Шутов сидел в дежурке девятнадцатого отделения милиции Москвы и слушал, как старший лейтенант докладывал по телефону обстоятельства его дела. Час тому назад трое неизвестных, сев в такси, принадлежащее второму таксомоторному парку, под угрозой оружия ограбили шофера Шутова, а затем, выбросив его на ходу, угнали машину. В изложении старшего лейтенанта все получалось как-то незначительно: сели, ограбили, угнали...

Длинная скамья, на которой сидел Шутов, была по-вокзальному неуютной, лампочку на потолке засидели мухи, в помещении пахло сыростью и дезинфекцией, и от всей этой холодной обстановки Шутова охватила какая-то тоска. Он снова деталь за деталью перебирал в памяти печальные подробности прошедшего вечера.

Первым пассажиром был мужчина средних лет. Он сел на стоянке у Белорусского вокзала и доехал до улицы «Правды». Счетчик набил три рубля. «Надо же, на такое расстояние — и нанимать такси!» — разозлился Шутов.

Вторыми возле гостиницы «Советская» сели юноша с девушкой.

— Куда? — спросил Шутов.

— Все равно, — ответил юноша. Потом, подумав немного, добавил: — Пожалуй, лучше всего по Садовому. — Он наклонился к самому уху водителя: — Понимаешь, такое уж дело, негде посидеть вдвоем. Тебе же все равно, куда ехать?

В конце концов юноша был прав: действительно, какое дело ему, Шутову, до маршрута. Лишь бы счетчик работал.

Минуты на три их задержали у светофора, потом машина вырвалась на прямую, как стрела, магистраль Ленинградского шоссе. У площади Маяковского Шутов сделал правый поворот и, не торопясь, поехал по Садовому кольцу.

Не доезжая Зубовской, он случайно поднял глаза и увидел в зеркальце, что на заднем сиденье целовались. У Калужской площади он еще раз взглянул в зеркальце. Картина не изменилась.

«Интересно подсчитать, — подумал Шутов, — во сколько им обходится каждый поцелуй?»

Возле Курского юноша стал расплачиваться. У него едва хватило денег: последний рубль пришлось отсчитывать мелочью.

Было без пяти девять, смена только началась.

Кто-то энергично рванул на себя дверцу, и в машину протиснулся молодой человек. Сзади сели еще двое.

— На Ярославское, к Северянину, быстро! — Парень поднял воротник, устраиваясь поудобнее. У него были светлые волосы, выбивавшиеся из-под кепки. Через всю щеку наискось багровел глубокий шрам.

Свернув у Красных ворот и проехав мимо Комсомольской площади, Шутов по Переяславке выехал на Первую Мещанскую. Миновав мост за Рижским вокзалом, он прибавил газу.

Промелькнули площадь возле главного входа на Сельскохозяйственную выставку, новый мост у платформы Северянин. Шутову становилось не по себе...

Проехали еще пять километров.

— Ну? — спросил Шутов.

— Пожалуйста, направо.

Шутов свернул вбок от шоссе.

— Кажется, приехали.

Машина стала. Вокруг не было ни единого дома. Где-то метрах в трехстах тускло мерцал одинокий фонарь.

— Семнадцать рублей,— сказал Шутов и вдруг увидел, нет, скорее ощутил направленное на него дуло пистолета.

— Не рыпаться!

Предупреждение было излишним. У Шутова похолодела спина.

В это мгновение кто-то с силой рванул его назад. Шутов очутился на заднем сиденье. Ему заломили руки за спину и, повалив на сиденье, уселись сверху.

Развернувшись, машина вновь мягко понеслась по асфальту. Очевидно, парень со шрамом сел за руль. Они ехали обратно в город — это было единственное, что мог определить Шутов. Остальное осталось вне поля зрения: он лежал на сиденье, лицом вниз, уткнувшись подбородком в кожаную подушку.

Он покорно дал обыскать себя. Потом с него стащили пальто, пиджак вместе с документами...

Ехали молча. Тормозили у светофоров. Только однажды сидевший сзади заметил:

— Аккуратнее, здесь нет левого поворота!

Машина замедлила ход. Шутова подняли.

— Вывалишься — не вздумай кричать, — обернувшись, предупредил парень со шрамом. — Пикнешь — заработаешь пулю.

Шутов с размаху ударился об асфальт. Машина прошла в десяти сантиметрах, едва не задев его задним колесом.

За углом прогромыхал трамвай. Там начиналась Трифоновская. Шутов дошел до угла. У остановки стоял милиционер. Прихрамывая, Шутов побежал к нему.

Все, даже эти заключительные подробности были запечатлены в протоколе. Сущность дела в более сжатой форме старший лейтенант доложил дежурному по городу.

Выполнив необходимые формальности, он счел свою миссию законченной, встал из-за стола и подошел к Шутову.

— Можете быть свободны, гражданин Шутов. Если понадобитесь, вас вызовут.

— А машина? — упавшим голосом спросил тот.

— Будут искать. Между прочим, у вас есть деньги, чтобы доехать до дому?

Денег у Шутова не было. Дежурный порылся в кармане и протянул трехрублевку.

— Берите, да не стесняйтесь, чего уж тут! Как-нибудь, случаем, завезете.

2

Дежурный по городу майор милиции Василий Логунов доложил о случившемся дежурному по главному управлению и принял первые меры. Всем постам ОРУДа, находящимся в черте города и на прилегающих шоссе, был передан приказ о задержании автомашины «Победа ЭЖ-01-17».

Однако в течение пяти последующих часов машины с подобным номером замечено не было, хотя даже у тех светофоров, которые на ночь переводятся на автоматическое действие, были усилены милицейские посты.

В половине третьего ночи Логунову доложили о крупной квартирной краже, совершенной в новых домах в районе Каширского шоссе. Преступники скрылись на автомашине «Победа», обстреляв постового милиционера. Но тому все-таки удалось записать номер машины — «ЭЖ-22-08».

На место кражи выехала дежурная опергруппа Московского уголовного розыска.

Дом был одиннадцатиэтажный, построенный в форме буквы «П». Квартира, принадлежащая инженеру Лосеву, находилась на восьмом этаже. В подъезде работал лифт и круглосуточно дежурила лифтерша. Она клялась всеми святыми, что ни на минуту не сомкнула глаз, однако за время своего дежурства ничего подозрительного не заметила. Больше того, после двенадцати подъезд обычно запирался на ключ.

Однако жильцы из соседней квартиры около половины второго ночи слышали, что у Лосевых лаяла собака. Лай доносился из передней и продолжался не более десяти минут.

Далее, следователь угрозыска капитан Сергей Васильевич Брайцев узнал, что Лосевы жили одни.

Квартиру они оставляли редко, если не считать кратковременных выездов на рыбалку с пятницы на субботу и воскресенье. Сегодня Леонид Михайлович вместе с женой отправился на Истринское водохранилище, куда, по его словам, предполагался массовый выезд спиннингистов. Накануне он забегал к соседям за напильником: свой куда-то запропастился.

Как это ни было горько, Сергей Васильевич решил испортить Ло-

севу утреннюю зарю и, связавшись по телефону с МУРом, просил срочно передать на Истринскую базу «Рыболова-спортсмена» телефонограмму, вызывающую Лосева в Москву.

Наружный осмотр двери не дал результатов. Английский замок какой-то хитрой конструкции оказался в полном порядке. Но со стороны двора, куда выходили окна Лосевых и их маленький навесной балкон, в балконной двери оказалось вырезанным стекло. Однако, чтобы преодолеть расстояние до балкона от лестничной клетки, необходимо было пробаданснровать не менее десяти метров по узкому карнизу, тянущемуся на высоте восьмого этажа.

В квартире стоял терпкий запах тройного одеколона. «Опытные», — подумал Брайцев. Служебной собаке делать здесь было нечего. В большой комнате, служившей столовой, пол был усыпан осколками стекла. У двери, ведущей на балкон, лежала овчарка. Брайцев насчитал одиннадцать ножевых ран. Стены и пол были обильно забрызганы кровью.

Вместе с экспертом научно-технического отдела лейтенантом Павлом Петровичем Аркадьевым Брайцев занялся внимательным изучением пятен крови. В одном месте багровое пятно им показалось особенно подозрительным: чувствовалось, что кто-то усиленно растирал капли подошвой. Пришлось соскоблить верхний слой паркета для лабораторного исследования.

За диваном был обнаружен будильник с разбитым стеклом. Очевидно, его свалили вместе с тумбочкой и не заметили второпях. Будильник молчал. Стрелки остановились на сорока минутах второго.

Теперь Сергея Васильевича занимал вопрос, почему лай доносился из передней, а не из внутренней комнаты, куда через окно лезли воры? Возможно, это было лишь обманом слуха и собака лаяла именно во внутренних комнатах?

Брайцев решил проверить. Вместе с Павлом Петровичем они прошли в соседнюю квартиру, оставив старшину Смирнова вместе со служебной собакой Рексом у Лосевых. В самом деле, когда собака лаяла во внутренних комнатах, лай доносился глухо, и только после того, как Рекса перевели в переднюю, Брайцев отчетливо услышал голос собаки. Значит, это не могло быть ошибкой: собака действительно лаяла в передней.

Нужно было во всем разобраться. Еще раз исследовали дверь. Осматривая ее с внутренней стороны, Аркадьев заметил на крашеной поверхности в полуметре от пола несколько свежих царапин. Не исключено было, что это — дело собаки, которая яростно скреблась в дверь. Действительно, под когтями убитого пса Аркадьев обнаружил несколько крохотных крупинок высохшей белой краски. Их можно было рассмотреть лишь с помощью сильной лупы, и окончательный вывод о химическом составе крупинок нуждался в лабораторном подтверждении. Но уже и сейчас это, казалось бы, незначительное открытие представляло далеко не отвлеченный интерес для капитана Брайцева. Вряд ли можно было предположить, что, испугавшись человека, лезущего в окно, собака стала искать спасения в передней, лая там и скребясь в дверь. Ведь убита-то она была в комнате, а не в передней. Кто-то, находящийся на площадке перед дверью, усиленно старался отвлечь внимание собаки, чтобы дать возможность своему сообщнику без особых помех вырезать стекло и проникнуть затем в квартиру. Но каким образом эти люди попали на лестницу, как вынесли вещи, если, по словам лифтерши, парадный подъезд был заперт всю ночь?

Лучше всех на эти вопросы мог ответить Рекс. Бедняге пришлось трудно. В комнатах, «обезвреженных» резким запахом одеколона, он лишен был возможности применить свое единственное оружие — обоняние. Но лестничная площадка была «чистой» от одеколона. И, разобравшись наконец в сложном букете лишь ему одному доступных запахов, Рекс выбрал главный из них и взял след...

Он вел по лестнице вверх, с этажа на этаж, оттуда на чердак, где замок оказался сорванным, к трубе мусоропровода. Для чего им понадобилось останавливаться именно у мусоропровода? Случайность? Но почему же в таком случае тут пахнет нафталином? Чтобы почувствовать это, не нужно обладать обонянием служебной собаки. Осматривая внутренность трубы мусоропровода, Аркадьев обнаружил и там следы нафталина. Теперь все становилось на место. Вероятно, чтобы не вызвать подозрений на случай непредвиденной встречи, вещи, похищенные из квартиры Лосевых, были спущены вниз через мусоропровод.

А между тем Рекс нетерпеливо натягивал поводок. Следуя за собакой, оперработники пересекли чердак и спустились по лестнице в другом, противоположном конце дома. Здесь в большом подъезде находился также и вход в дежурную аптеку, расположенную в цокольном этаже. Этот подъезд был открыт круглосуточно. Отсюда Рекс привел в подвал, где помещалась мусорная свалка. Оттуда — снова во двор. Тут следы обрывались.

Рекс остановился метрах в двух от стены. На асфальте смутно отпечатался след левого заднего колеса автомашины. Именно здесь постовой милиционер заметил, как двое неизвестных втаскивали в автомашину какие-то узлы. Тут он бросился к ним, но был остановлен выстрелом в упор, который лишь по счастливой случайности не достиг цели. В следующее мгновение машина рванула с места и исчезла на шоссе.

Резина была старая и потертая. В одном месте, судя по отпечатку, имелся небольшой порез. След сфотографировали. Когда уже совсем рассвело, неожиданно улыбнулась удача: осматривая двор, Брайцев поднял с земли пустую пистолетную гильзу.

3

Пока Брайцев занимался осмотром места происшествия, в городе произошло еще одно событие.

Около половины четвертого утра лейтенант ОРУДа Шульгин, дежуривший у моста возле Белорусского вокзала, заметил такси, у которого задний фонарик был погашен.

Магический милицейский свисток не возымел действия: машина не убавила хода. Пока Шульгин бежал к своему мотоциклу, такси скрылось из виду. Но постовой в будке на мосту тут же передал по телефону предупреждение по всей линии: любыми средствами задержать машину. У гостиницы «Советская» дежурный ОРУДа старшина Макаркин, выбежав на осевую линию, пытался преградить машине дорогу, но, резко вильнув в сторону и едва не сбив Макаркина, такси свернуло к Бегам и оттуда переулками вырвалось к Хорошевскому шоссе.

На хвосте ее повисли два мотоцикла. Но такси скрылось за поворотом... И когда, преследуя его, мотоциклы миновали поворот, шоссе перед ними уже оказалось пустынным.

Машину нашли за одним из трехэтажных домов, выходящих на Хорошевское шоссе. Левое ветровое стекло было разбито. Номерной знак исчез.

...Начальник одного из отделов Московского уголовного розыска полковник Иван Ильич Северцев приехал на работу рано утром. Из перечня разнообразных происшествий минувшей ночи он выделил те, которые, как ему показалось, заслуживали особенно пристального внимания: нападение на шофера Шутова, кража на Каширском шоссе и находка машины на Хорошевском шоссе. Эти события имели какую-то связь: во всех случаях фигурировали автомашины, а в двух — и огнестрельное оружие. Впрочем, это могло быть и случайным совпадением.

Полковник Северцев, назначив на 12.00 совещание оперативных сотрудников отдела, выехал на Хорошевское шоссе.

Иван Ильич поздоровался с сержантом милиции и, не торопясь, начал осмотр машины. Он не нашел на ней никаких следов от ударов. Почему же в таком случае повреждено ветровое стекло? Северцев установил, что оно разбито с помощью твердого, тяжелого предмета и удар был нанесен снаружи. Рассматривая осколки, Северцев обнаружил на одном из них отпечатки трех пальцев.

...Без четверти десять из бюро пропусков Сергею Васильевичу Брайцеву сообщили, что к нему приехал инженер Лосев.

Лосев был в старой, потертой телогрейке, залатанных брюках, резиновых сапогах — в никем не утвержденной, но общепринятой форме московского рыболова.

— Вот, как видите, весь тут — нищ и гол, как сокол, — сказал он упавшим голосом и опустился на стул. Потом Лосев заговорил, торопливо глотая слова, как бы опасаясь, что он не успеет выговорить все до конца.

Сергей Васильевич слушал, не перебивая, откинувшись на спинку стула, не задавая вопросов и не записывая ничего.

Потом Брайцев начал обстоятельный допрос. Но как ни бились они с Лосевым, тот так и не сумел вспомнить, кто, кроме соседей, к которым он заходил за напильником, мог быть в курсе его выезда на Истринское водохранилище.

И когда уже Брайцев собирался прекратить этот бесполезный разговор, его вдруг осенила новая мысль.

— Постойте, — спросил он, — а что, эти ваши массовые выезды спиннингистов происходят регулярно?

— Нет, — ответил Лосев, — довольно редко. Например, в данном случае решение было принято на заседании секции.

— И там вы сказали вслух о своем намерении принять участие в массовке?

— Да, но какое это имеет значение?

— Решающее, — заметил Брайцев.

В этот момент дверь кабинета приоткрылась, и помощник Северцева напомнил о том, что Брайцева ждут на совещании у полковника.

Когда Брайцев вошел в кабинет, совещание уже шло. Сообщение делал представитель научно-технического отдела Павел Петрович Аркадьев. Он доложил о данных экспертизы.

Исследованием крови, обнаруженной на паркете у Лосева, было установлено, что она принадлежит человеку и классифицируется по II группе.

Баллистическая экспертиза показывала, что гильза, найденная во дворе, выстрелена из пистолета системы «ТТ» образца 1933 года.

Далее. След автомашины «Победа», найденной на Хорошевском шоссе, совпадал со следом, сфотографированным на месте кражи: та же стертая резина, тот же глубокий порез.

Представитель Госавтоинспекции сообщил, что номерной знак «ЭЖ-22-08», записанный постовым милиционером, был выдан на автомашину «Победа», принадлежащую шестому таксомоторному парку столицы.

Что касается отпечатков на осколках стекла, то прошло еще слишком мало времени, чтобы данные о их принадлежности могли поступить из дактилоскопического сектора.

Последним докладывал Брайцев. Он передал содержание своей беседы с Лосевым, сделав упор на коллективный выезд спиннингистов общества «Рыболов-спортсмен».

Теперь слово было за полковником Северцевым. Он поручил Брайцеву возглавить дальнейшее расследование и тут же наметил очередные оперативные мероприятия. Они сводились к следующему: первое — допросить шофера автомашины «ЭЖ-22-08» и выяснить по путевым листам, где находилась машина в период между двенадцатью ночи и четырьмя часами утра. Второе — изучить персональный состав членов секции спиннингистов московского общества «Рыболов-спортсмен», организацию и обстоятельства коллективного выезда на Истринское водохранилище и вероятность причастности кого-либо из членов секции к настоящему делу. Третье — ожидать данных дактилоскопического исследования и в случае необходимости заняться активной разработкой новой версии. На этом совещание закончилось.

Спустя час Брайцев входил в маленький дворик на улице Чкалова. За палисадником возвышалось одноэтажное здание с вывеской московского добровольного общества «Рыболов-спортсмен». Брайцев попросил показать ему учетные карточки участников коллективного выезда.

Не успел Брайцев разложить перед собой обширный пасьянс учетных карточек, как его попросили к телефону.

Звонил Иван Ильич Северцев.

— Немедленно приезжайте, — сказал он, — есть новости.

Брайцев торопливо собрал карточки, сказал, что заедет в следующий раз, и, вскочив в такси, помчался на Петровку.

Полковник разговаривал по телефону. Он знаком предложил Брайцеву сесть и тут же протянул ему две карточки, лежавшие на столе. С первой карточки на Брайцева смотрело открытое, довольно приятное лицо юноши лет девятнадцати. Рядом была его же фотография в профиль. Под фотографиями шли десять отпечатков пальцев правой и левой руки. На другой карточке были помещены рядом репродукция отпечатков трех пальцев — указательного, среднего и безымянного, сделанная с первой карточки, и фотокопия отпечатков, обнаруженных на осколке ветрового стекла. Узоры удивительно совпадали.

— Вы заметили, в последнее время вам чертовски везет, Брайцев,— сказал полковник, кладя на рычажок трубку,— ключ к делу принесли на блюдечке. Теперь остается действовать.

Брайцев привстал с кресла.

— Сидите, — остановил его Северцев, — я уже послал за старым делом. Сейчас оно будет здесь. Как он там по фамилии, кажется, Коваленко?

Витя Коваленко родился в 1935 году. Москвич. Учился хорошо. Был комсомольцем. Потом умер отец. Мать работала. Вечерами стирала на соседей белье. Мальчишка был предоставлен самому себе. Когда мать спохватилась, было уже поздно: влияние улицы взяло верх. Появились приятели, великовозрастные парни без определенных занятий. Школа пошла насмарку. Однажды он сообщил матери, что бросает школу. Уговоры и слезы не помогли: сын стоял на своем. Поступил учеником токаря на завод «Станколит», прогулял несколько дней — уволили, устроился на другой завод, потом грузчиком в типографию, потом разнорабочим в какую-то артель. Однажды в компании пьяных приятелей, сорвавших у женщины часы, был задержан. По дороге в милицию пытался бежать. Догнали. Ударил милиционера. Дело рассматривалось народным судом Октябрьского района столицы. Был приговорен к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях и отправлен на Север. В лагере тяжело переживал свое положение. Неоднократно заявлял командованию о раскаянии. Отлично работал. И спустя полтора года был досрочно освобожден. Возвратился в Москву. Был прописан по прежнему местожительству, в Горловом тупике.

— Вам все ясно, Сергей Васильевич? — спросил полковник, старательно завязывая бантиком тесемки на папке.

В домоуправлении Брайцев узнал номер квартиры и по шаткой деревянной лестнице поднялся на второй этаж. Как и во многих старых московских домах, квартира оказалась большой и густо населенной. Сергей Васильевич с трудом отыскал нужную комнату, но на двери висел массивный замок.

Он постучал к соседям. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова девушки. Очевидно, она только что вымыла волосы и теперь накручивала их на бигуди.

— Вам кого? — спросила девушка, придерживая рукой спадавшую прядь.

Ухватившись за первое, что пришло ему в голову, Брайцев стал объяснять, что он школьный товарищ Виктора, не виделся с ним много лет и вот сегодня, очутившись проездом из Хабаровска в Москве, решил разыскать старого друга. Но, как видно, неудачно: поезд уходит через несколько часов, а на дверях, увы, замок.

— Неудачно, — согласилась девушка,— кажется, как раз сегодня Витя работает в вечерней смене. Впрочем, точно не знаю. Сейчас должна возвратиться Мария Авксентьевна, она вышла в магазин.

Брайцев догадался, что Мария Авксентьевна, очевидно, и есть мать Коваленко.

— Спасибо, я подожду в коридоре, — сказал Брайцев и посмотрел на часы.

— Зачем же в коридоре? Заходите.— Девушка отстранилась, пропуская Брайцева в комнату.— Только вы уж извините, пожалуйста, у нас тут небольшой разгром.

— Нет, это я должен просить прощения, — возразил Брайцев.

Состоялся обычный в таких случаях обмен любезностями. Брайцев уже проклинал себя за то, что так легкомысленно взялся играть эту не свойственную для него роль. В сущности, что он знал о Викторе Коваленко? Каждое сказанное невпопад слово могло теперь разоблачить его, но отступать уже было поздно. Лавируя между острыми рифами, как опытный лоцман, он начал осторожно расспрашивать девушку о том, как живет теперь его старый друг, где работает, с кем проводит свободное время.

Попросив Брайцева сесть к ней спиной, девушка продолжала заниматься прической. Она охотно отвечала на все вопросы, и чем больше слушал ее Брайцев, тем сильнее росло его недоумение. Нет, это был совсем не тот Виктор Коваленко, образ которого нарисовал себе он по дороге в Горлов тупик.

Коваленко работал на Первом подшипниковом заводе и, судя по рассказу, довольно неплохо: почти ежемесячно он приносил премии. Посещал вечернюю школу рабочей молодежи. Был левым полузащитником заводской футбольной команды, встречался с девушкой — студенткой московского пединститута. Все это как-то не вязалось с обычными представлениями об уголовном преступнике, уже прошедшем через лагерь.

Покончив наконец с прической, девушка повязала голову косынкой и, усевшись напротив Брайцева, стала, в свою очередь, бомбардировать его вопросами. Она считала долгом хозяйки поддерживать светскую беседу, а Брайцев готов был провалиться сквозь землю, придумывая на ходу несуществующие подробности своей жизни в Хабаровском крае. Неизвестно, как бы закончилось это испытание, если бы на выручку не пришла мать девушки. Узнав, в чем дело, она с готовностью вызвалась помочь Брайцеву:

— Я только что видела Марью Авксентьевну в химчистке. Она сдавала пиджак Витеньки, а сейчас, наверное, в гастрономе: у нее там очередь за яблоками. Пожалуй, я сбегаю за ней: ведь вам каждая минута дорога.

Но Брайцев уже не слушал ее. Упоминание о химчистке поразило его, как удар молнии. Он вспомнил квартиру Лосевых, овчарку, распростертую на паркете, кровь, старательно растертую чьей-то подошвой. Откуда такое поразительное совпадение, почему именно сегодня матери Коваленко понадобилось отнести в чистку его пиджак? Нет, он не мог, не имел права оставить без проверки этот новый факт.

Стрелки часов приближались к шести. С минуту на минуту мастерская могла закрыться.

— Знаете что,— Брайцев улыбнулся,— пожалуй, не стоит вам беспокоиться. Сейчас шесть, поезд уходит в десять тридцать. Я подумал, если взять такси, то, пожалуй, можно еще обернуться до «Шарикоподшипника» и обратно. Всего хорошего!

И, не дав им опомниться, Брайцев торопливо вышел из комнаты. Он сбегал по лестнице, прыгая сразу через две ступеньки...

Мастерская была уже закрыта, но приемщица еще не успела уйти. Предъявив удостоверение следователя угрозыска, Брайцев прошел в мастерскую и потребовал, чтобы ему показали мужской пиджак, сданный сегодня женщиной по фамилии Коваленко.

Рассматривая его, Брайцев обнаружил на левом рукаве, ниже локтевого сгиба свежую штопку и еле заметное желтоватое пятнышко. С обратной стороны на

подкладке пятно уже было значительно больше и в то же время бледнее. Его можно было различить лишь с помощью лупы. Цвет пятен, их форма не оставляли и тени сомнений, что это тщательно замытая кровь.

4

Из мастерской химчистки Брайцев позвонил к себе и вызвал оперативную машину. Теперь, как ему казалось, нужно действовать быстро и решительно. Он был уверен, что одна из основных нитей преступления находится уже у него в руках. В мастерской он оставил расписку и взамен получил пиджак вместе с копией квитанции.

Заскочив на несколько минут в научно-технический отдел и сдав пиджак на исследование, Брайцев захватил с собой двоих оперуполномоченных на случай, если придется провести операцию задержания Коваленко, и выехал на завод.

Оставив товарищей ожидать в машине, Брайцев прошел в цех. Первое, что бросилось ему в глаза, — это была Доска почета, висевшая на стене у самого входа в цех. Фотография во втором ряду справа показалась Брайцеву знакомой: открытое лицо, светлые, слегка прищуренные глаза. Коваленко, ну, конечно же, Коваленко! И как он не узнал его сразу? И опять, как во время разговора с девушкой в Горловом тупике, Брайцева охватило двойственное чувство. С одной стороны, в пользу выдвинутой версии беспощадно свидетельствовали неопровержимые факты: отпечатки пальцев, пиджак, разорванный, вероятно, в схватке с собакой, кровь... Но, с другой стороны, девушка, студентка педагогического института, футбольная команда и, наконец, фотография на Доске почета... Во всем следовало тщательно разобраться, и какой-то внутренний голос настойчиво подсказывал Брайцеву, что опаснее всего поспешить, броситься вперед, напролом, очертя голову.

Он разыскал начальника смены и, не посвящая его в сущность дела, начал осторожно, исподволь расспрашивать о Коваленко. И снова даже тон, даже слова, которыми начальник смены характеризовал юношу, приводили Брайцева все в бо́льшую и бо́льшую растерянность. Он чувствовал, как с каждой новой фразой начальника ослабевает та единственная нить следствия, которая еще четверть часа назад казалась ему незыблемо прочной.

Но заключительный удар был впереди — и он последовал, когда Брайцев задал своему собеседнику главный вопрос, — собственно, тот, ради выяснения которого он приехал сюда сегодня. Если бы собеседник ответил «нет», Брайцев, несмотря ни на что, все-таки задержал бы Коваленко, но собеседник сказал «да». Да, вчера между двенадцатью ночи и четырьмя часами утра Коваленко находился в цехе, и подтвердить это могут десятки человек.

Брайцев извинился, что отнял время, попрощался и вышел на улицу.

— Все отменяется, — сказал он в ответ на вопросительные взгляды товарищей, с шумом захлопнул дверцу автомашины и, буркнув шоферу: — Назад, на Петровку! — не проронил больше за всю дорогу ни единого слова.

Было уже очень поздно. Рабочий день давно закончился, и, кроме дежурных из опергруппы, все остальные сотрудники разошлись по домам. Полковник Северцев уехал к внуку на дачу.

Сергей Васильевич позвонил в научно-технический отдел, выругался по телефону и в сердцах обозвал всех сотрудников сектора дактилоскопии жалкими кустарями.

— Вы понимаете, — кричал он в трубку, — согласно вашим данным, я обязан был задержать сегодня ни в чем не повинного человека! Могу вас поздравить, все ваши изыскания относительно Коваленко — это бред! Чистейший бред! Если хотите знать, парень физически не мог оставить следов пальцев на стекле автомашины, которую даже не видел в глаза. Одним словом, спасибо вам за помощь, дорогие товарищи!

И, не слушая ответного объяснения, он швырнул трубку. Потом он опустился на диван, обхватил голову руками и только тут почувствовал, как устал и как ему хочется есть. Он вспомнил, что уже больше суток не спал и не имел за весь день во рту ни единой крохи.

5

Следующий, воскресный день изобиловал новыми событиями, которые круто изменили ход дела.

Прежде всего, измотанный за предыдущие сутки, Сергей Васильевич Брайцев проспал. Он проснулся только в начале одиннадцатого, когда завтрак уже стоял на столе. Однако, к великому огорчению жены, хлопотавшей ради него все утро, он схватил со стола бутерброд с ветчиной и, отказавшись завтракать, исчез из дому.

На Петровке его уже устали ждать. Федя Гринюк — молодой следователь, которому поручили взять на себя разработку версии по шестому таксомоторному парку, — рассказал, что ему без особого труда удалось найти такси с номерным знаком «ЭЖ-22-08». Оказывается, машина уже третью неделю стоит на яме, с нее снят мотор, который находится теперь в капитальном ремонте. Номерной знак отсутствует. Объяснить его исчезновение в шестом таксомоторном парке не могли. Договорились продолжать расследование.

Сведения из скупочных и комиссионных магазинов, куда передали список и приметы похищенных вещей, тоже были малоутешительными. За время, прошедшее с момента кражи, ни один из предметов, поименованных в списке, в магазины не поступал.

Брайцев позвонил на дачу Ивану Ильичу Северцеву и доложил ему об итогах минувшего дня. Факты были довольно противоречивы. Брайцева они сбивали с толку. Однако, когда полковник задал прямой вопрос, причастен или нет Коваленко, по мнению Брайцева, к расследуемому делу, Брайцев, не колеблясь, дал отрицательный ответ.

— Я не допускаю столь тонкой маскировки, этакого сочетания вечерней школы с бандитизмом, — обосновывал свою точку зрения Сергей Васильевич. — А что касается дактилоскопических данных, что ж, вероятно, была допущена ошибка.

— Возможно, возможно... — каким-то неопределенным тоном заметил полковник и замолчал.

— В котором часу Коваленко вступил на смену? — вдруг неожиданно спросил полковник.

— Кажется, что-то около двенадцати, — ответил Брайцев и тут же поймал себя на том, что это не ответ следователя.

— Кажется или вы точно знаете? — Чувствовалось, что полковник недоволен ответом.

— Разрешите, я уточню, — попросил Сергей Васильевич.

— Мне непонятно, — сказал после паузы полковник, — почему вы так твердо уверены, что лица, совершившие нападение на шофера Шутова, непременно были участниками и квартирной кражи? А вы не допускаете разделения труда? В таком случае ваш основной довод относительно алиби Коваленко оказывается беспочвенным. Кстати, не пытались ли вы полюбопытствовать, где и как провел время ваш подопечный, например, между двадцатью одним и двадцатью четырьмя часами? Странно, что вас так загипнотизировала эта ночная смена...

Повесив трубку, Брайцев сгоряча вновь решил съездить в Горлов тупик. Это было абсурдным решением, — очевидно, вся его наивная легенда о старом школьном товарище была уже там полностью разоблачена. Но он чувствовал себя обязанным самостоятельно исправить свой промах. Пока Брайцев ломал голову, как достойнее выпутаться из создавшегося положения, прошло еще минут тридцать — сорок.

Мучительные раздумья прервал телефонный звонок. Говорил дежурный по городу подполковник Астахов. Час назад от трехрублевых касс Московского ипподрома было угнано такси. Его настигли только что на шоссе в районе Тушина. Юноша лет двадцати, угнавший машину, успел скрыться.

— Вы, кажется, занимаетесь делом об ограблении шофера такси, так вот, мне думается, этот случай для вас небезынтересен, — закончил подполковник Астахов.

— Да, да, — растерянно произнес Брайцев.

Спустя несколько минут раздался еще один звонок. Научно-технический отдел докладывал, что вторичное изучение отпечатков пальцев на осколке стекла подтвердило первоначальный вывод: отпечатки принадлежат Виктору Коваленко. Биологическое исследование замытых пятен на пиджаке показало: по своему составу это кровь II группы, соответствующая групповым признакам крови, обнаруженной на паркете в квартире Лосева.

Положение было не из веселых, и Брайцев решил, что самым правильным сейчас будет поставить в известность обо всем полковника Северцева. Он позвонил за город и кратко доложил Ивану Ильичу о случившемся. Выслушав его доклад, Северцев сказал, что немедленно выезжает в Москву.

Брайцев давно уже не видел полковника таким расстроенным и раздраженным.

— Следователя должны интересовать факты, факты и еще раз факты, — чеканил он, неслышно ступая по ковру. — Отпечатки пальцев — раз. Кровь на пиджаке — два. Наконец, совпадение групповых признаков этой крови — три. Не слишком ли много фактов для чистой случайности? А как объясняет их сам Коваленко? Увы, нам все это еще неизвестно. Почему до сих пор не допрошен Коваленко? Я вас спрашиваю, капитан Брайцев!

Брайцев рассматривал носки своих полуботинок. Он чувствовал: дело оборачивается плохо.

— Даю вам два часа, чтобы разобраться с Коваленко. В восемнадцать доложите мне лично. Не справитесь — будете отстранены от расследования.

Полковник встал, давая понять, что разговор закончен.

Сотрудник, посланный в Горлов тупик, доложил по телефону, что Коваленко ушел из дому в восемь утра и покуда не возвращался. Где он, дома не знают или же не хотят говорить. Брайцев приказал ждать, хотя бы до утра. Но через час Коваленко доставили на Петровку.

Брайцева поразила какая-то мрачная решимость, написанная на лице юноши.

— Что вам всем от меня нужно? — угрюмо спросил он с порога.

— Садитесь, — предложил Брайцев.

— Ничего. Постою.

— Садитесь, вам говорят!

Коваленко сел, положив на колени руки. Руки были большие, тяжелые, привычные к труду.

— Имя? Отчество? Фамилия? Год рождения? — Брайцев задавал первые обязательные вопросы.

— Это что, допрос? — Коваленко встал.

— Сидеть! — приказал Брайцев.

Наступила пауза.

— Я спрашиваю: это допрос? — повторил Коваленко.

— Нет, это беседа между двумя приятелями.

— Послушайте, значит, вы и есть тот самый друг из Хабаровска, который приходил вчера? — Глаза Коваленко еще более сузились. — Довольно дешевый номер. Я думал, у вас работают тоньше.

— Отвечайте на вопросы! — резко сказал Брайцев.

— А собственно, почему я обязан вам отвечать?

— Очевидно, потому, что я следователь. — Брайцев уже с трудом сдерживал себя. — Вы знаете, где находитесь?

— Знаю. — Брайцев заметил, как Коваленко стиснул зубы и на скулах у него запрыгали желваки. — Значит, я обвиняемый. В чем? В том, что меня судили, в том, что я сидел в лагере... Так неужели теперь всю жизнь, на каждом шагу меня будут попрекать этим? Ведь меня выпустили из тюрьмы. Зачем вы меня выпустили? Зачем?! — Он почти кричал.

— Без истерики! — оборвал Брайцев. — Здесь видели артистов и похлестче.

Опять наступила пауза.

— Что вам от меня нужно? — глухо спросил Коваленко.

— Не торопитесь, сейчас узнаете. — Брайцев точно рассчитывал удары. — В пятницу вы пользовались такси?

— Нет.

— А в четверг?

— Нет. И в среду нет, и во вторник, и в понедельник. Я пользуюсь только метро. Вас это устраивает?

Продолжение следует.

ПО СЛЕДУ

Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, В. ВЕДЕЕВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Брайцев встал, прошелся по кабинету и, закурив, внимательно посмотрел на Коваленко.

— Устраивает, — ответил Брайцев и, не давая ему опомниться, задал следующий вопрос: — В котором часу в пятницу вы заступили на смену?

— В ноль часов, можете справиться в табельной.

— А где вы были между двадцатью одним и двадцатью четырьмя часами?

Коваленко насторожился.

— Где был, там уже нет меня.

— Потрудитесь отвечать точно! — повысил голос Брайцев.

— Я отказываюсь отвечать на это.

— Хорошо, оставим пока в покое пятницу. — Брайцев заметно волновался. — А куда вы уходили сегодня с утра?

Коваленко побледнел.

— Почему вы считаете себя вправе влезать в чужую жизнь и так бесцеремонно копаться в ней обеими руками?

— Пока что спрашиваю здесь я! — Брайцева несколько смутил тон Коваленко. — Вы будете отвечать или нет, Коваленко?

— Не буду.

— Отлично. — Брайцев встал из-за стола. — Отлично. В таком случае я сам за вас отвечу. В пятницу вместе с двумя приятелями, один из которых имел на лице шрам...

— Шрам? — переспросил Коваленко и побледнел еще больше.

— Да, шрам. Вот видите, вы уже начинаете припоминать. Итак, вместе с двумя приятелями в девять часов вечера вы взяли у Земляного вала такси и поехали по направлению к Северянину. Там вы ограбили шофера и, возвратившись в город, выбросили его на Третьей Мещанской. Так я говорю?

Коваленко молчал.

— Ночью, примерно в половине второго, заменив на машине номер, — продолжал Брайцев, — ваши друзья приехали на Каширское шоссе, где ограбили квартиру Лосева. Я не стану сейчас останавливаться на подробностях, хотя они нам хорошо известны. Ну, говорить дальше?

Коваленко молчал.

— Что же произошло дальше? Не далее как сегодня в той же компании вы пытались угнать такси. Это было у трехрублевых касс ипподрома.

— Ложь. Все от первого до последнего слова — ложь. Не было этого, — еле слышно произнес Коваленко.

— Было. Все было! И вы об этом не хуже меня знаете.

Он подошел к столу и, взяв заключение дактилоскопической экспертизы, протянул его Коваленко.

— Познакомьтесь, эти отпечатки обнаружены на осколке ветрового стекла ограбленной вами машины. — Брайцев с интересом следил за выражением лица Коваленко. — Увы, мы привыкли прежде всего верить фактам. Факты, как говорят, — упрямая вещь.

— Не может этого быть! — Коваленко дышал так тяжело, как будто ему не хватало воздуха. — Здесь какая-то дурацкая ошибка.

— А это, по-вашему, тоже дурацкая ошибка? — Брайцев подал Коваленко акт биологического исследования пятен крови и вынул из ящика стола пиджак. — Узнаёте?

— Мой, — упавшим голосом сказал Коваленко.

— Вот видите? — Тон Брайцева стал даже ласковым. — Я так и знал, в конце концов мы должны были понять друг друга. Теперь, я надеюсь, дела пойдут веселее.

И вдруг в юноше, сидевшем перед Брайцевым, произошла непонятная перемена. Губы его задрожали, глаза наполнились слезами, и, по-мальчишечьи всхлипывая, он закричал:

— Пишите все, что хотите, пишите! Да, грабил, воровал, убивал, мать родную зарезал, отца задушил!.. Будьте вы все прокляты! Мне все равно, слышите вы, все равно!.. — Он рыдал, закрыв лицо своими тяжелыми руками.

Брайцеву стало не по себе. Он меньше всего ожидал такого оборота.

— Послушайте, я не могу принять всерьез ваше заявление, — стараясь говорить как можно спокойнее, сказал он. — Дело весьма серьезное.

Коваленко плакал навзрыд, вздрагивая всем телом. И снова Брайцева охватило уже знакомое ему двойственное чувство: с одной стороны, факты, с другой... Впрочем, черт его знает, что было с другой! Брайцев задал еще несколько маловажных вопросов, но Коваленко даже не поднял головы.

— Что ж, посидите в коридоре, подумайте, я вас вызову, — сказал Брайцев и отправился на доклад к полковнику.

Ивана Ильича насторожило это внезапное признание. Он тоже почувствовал, что здесь не все ладно. Однако неумолимые факты обусловливали дальнейшие действия, и Северцев скрепя сердце отдал приказ о задержании Коваленко. Так закончился еще один день.

В понедельник с утра Северцев решил сам допросить Коваленко. В кабинет полковника вошел юноша среднего роста, щеки уже успели ввалиться, под глазами появились темные круги.

Северцев, который день назад мельком видел его, поразился столь быстрой перемене. Коваленко был бос, без пиджака. Брюки, лишенные ремня, то и дело спадали, и он неловко придерживал их рукой.

— Хорош! — без улыбки заключил полковник. — В камере пощипали?

Коваленко не ответил.

— Не волнуйся, — успокаивающе сказал Северцев. — Сейчас все будет возвращено.

Просмотрев список заключенных камеры № 14, он приказал привести арестованного Шамшурина.

— Вот что, Бирюк, а вещи-то придется вернуть.

— Невозможно, — нагло улыбаясь, пояснил уголовник, — проиграл в карты.

— Кто проиграл?

— Я, ваше величество!

— Не паясничать! — Это было сказано таким тоном, что даже конвойному стало не по себе. — Вы слышали? Чтобы вещи были! Сейчас же!

— Слушаюсь, гражданин начальник! — И, недобро подмигнув Коваленко, Бирюк скрылся за дверью.

Не прошло и пяти минут, как тот же конвойный принес пиджак, полуботинки, галстук, запонки и носки. Все было в полной сохранности.

Прислонясь к стене, Коваленко надевал ботинки.

— Садись в кресло, тебе же неудобно, чудак, — совсем по-домашнему предложил полковник.

— К арестованным полагается обращаться на «вы», — заметил Коваленко.

— А я к тебе обращаюсь не как к арестованному. — Полковник подошел к Коваленко. — Эх, ты, герой, герой! Ну, садись, что ли, чего уж тут церемониться!

Коваленко сел в кресло. Полковник опустился напротив.

— Чувствую, ты что-то скрываешь от нас. И вроде как будто бы парень ты неплохой...

— Что? Подход пробуете найти. — Глаза Коваленко глядели с нескрываемой злобой. — Бросьте, ни к чему это все, гражданин начальник! Я же признался. Любой протокол дайте. Не читая, подпишу. Что вам еще нужно? Оставьте меня в покое!

— Дурак! — в сердцах произнес Северцев. Они помолчали. — У меня сын такой был. Тоже, как пень, упрямый. Погиб в сорок первом под Гжатском... — Он тяжело выдохнул воздух и как-то весь сник — плечи ссутулились, глаза потухли, и Коваленко почувствовал, как тяжело сейчас этому усталому, уже далеко не молодому человеку.

...Не спрашивая ни о чем, Иван Ильич заговорил о сыне. Он рассказывал неторопливо и подробно о его склонностях и привычках, о ночах на рыбалке, которые они коротали вместе. И в каждом слове сквозила порою трудно уловимое, немного суровое, но неизменно теплое отцовское чувство, то самое мужское тепло, которого все эти годы так не хватало Виктору Коваленко.

Одно откровение порождает другое. Виктору вдруг неотвратимо захотелось открыть этому, в сущности, постороннему человеку свою душу, рассказать о том, чем он не стал бы делиться даже с матерью, хотя считал ее самым близким и, пожалуй, единственным другом.

Да, он был в лагере, но об этом сейчас не к чему вспоминать, было и прошло... Он говорил о девушке, и Северцева поразили какая-то свежесть и глубина чувства, словно откуда-то издалека вдруг пахнуло на него теплым ветром его юности...

История была коротка, она не блистала новизной и заканчивалась печально. Он объяснился девушке, но родители были категорически против; она спросила разрешения у родителей и отказала. Ее отец, преподаватель физики, человек старых правил, не желал и слышать о том, чтобы дочь вышла замуж за амнистированного. Так они разошлись.

— Когда это случилось? — спросил полковник.

— Вчера. Мы встретились в

Продолжение. Начало см. «Огонек» № 40.

двенадцать дня, и она мне сказала...

— И вы провели вместе весь этот день?

— Нет. В четверть первого она ушла.

— А дальше? Ведь тебя целый день не было дома.

— Это опять допрос?

— Мне просто интересно узнать, что было дальше.

— Дальше я бродил по улицам и думал. Иногда необходимо остаться одному. Я думал, что ее отец по-своему прав: мало ли хороших ребят с чистой анкетой?

— Чепуха! — уверенно сказал Северцев и повторил с ударением: — Чепуха!

— Не чепуха, гражданин начальник.

— А почему ты не рассказал следователю того, что говоришь сейчас мне?

— Потому что я не хочу, чтобы ее вмешивали в это дело.

— Ну, а ты сам?

— Мне уже все равно.

— Глупо.

— Не знаю.

— Эх, дорогой ты мой! — Северцев наклонился к Коваленко. — Давай-ка без всяких церемоний говорить о вещах прямо, мы же с тобой не дети. Допустим, я поверил, что ты не причастен к делу, которое лежит на моем столе. Но, согласись, одной только уверенности недостаточно, если ей противостоят факты, свидетельствующие не в твою пользу. Возможно, эти факты базируются на недоразумениях, будем считать их цепью трагических заблуждений, но кто нам поверит, даже мне? Пойми, без тебя мы бессильны установить истину, только ты сам можешь помочь нам. Только ты сам. Ты веришь мне, Виктор?

— Верю.

— Ну вот и отлично! — Полковник улыбнулся. — Первый вопрос: где, как и когда ты поранил руку? Только правду, без всяких фокусов.

— В четверг вечером меня ударили ножом.

— Кто?

— Я его не знаю.

— За что?

— Это длинная история. Она началась еще в лагере...

6

Проходя вечером через внутренний двор угрозыска, Брайцев был остановлен неожиданным зрелищем. У освещенной прожектором машины такси сидел на корточках Иван Ильич и раскладывал на листе фанеры осколки ветрового стекла. Ему помогал эксперт Аркадьев.

— К чему вы затеяли это? — спросил Сергей Васильевич.

— Очевидно, не из праздного любопытства.

— Усомнились в виновности Коваленко?

— Откуда вы догадались?

— А как же быть с фактами? — Брайцев платил полковнику его же монетой.

— Факты нужно анализировать, а не плестись у них на поводу.

Это было довольно нудным занятием — складывать из осколков ветровое стекло. Дело подвигалось медленно, и Северцев ухитрился дважды порезать себе палец. Но все на свете имеет конец, и постепенно очертания стекла на фанере стали принимать все более законченные формы. Лишь кое-где осталось несколько пустых участков, заполнить которые оказалось невозможным: от сильного удара часть стекла разлетелась в пыль.

— Я думаю, достаточно, — сказал полковник, вытирая платком пыльные руки. — А теперь, Аркадьев, давайте-ка сюда наш злополучный осколок.

Увы, для нового осколка, представляющего вытянутый треугольник, на фанере явно не оставалось места.

— Кому понадобилась эта комедия? — поразился Брайцев.

— Меня самого занимает тот же вопрос, — задумчиво произнес полковник, — кому и зачем? И покуда не будет найден ответ, вряд ли мы сдвинемся с места.

Они направились в лабораторию. С помощью качественного спектрального анализа нужно было установить, к какому типу стеклянных изделий относятся тот и другие осколки.

Анализ показал, что исследуемый осколок с пальцевыми отпечатками состоит из сплава полисиликатов, содержащих примеси титана и железа.

— Это — настольное стекло, — заключил Аркадьев. — Как оно могло попасть в автомашину, уму непостижимо!

Наступила пауза. Полковник подошел к окну и стал барабанить по стеклу пальцем. Ночная бабочка, случайно залетевшая в комнату, забилась о стекло. Полковник приоткрыл окно, и бабочка улетела. Потом он резко обернулся к Брайцеву:

— Пройдемте ко мне. Нужно сейчас же переговорить с Коваленко.

— Вы забыли о времени, Иван Ильич, — осторожно заметил Брайцев, — допросы разрешаются только до шести, а сейчас уже, слава богу, четверть двенадцатого.

— Это не допрос. Просто мы проведем с ним вечер вместе. Я даже попрошу, чтобы нам принесли по чашечке кофе.

Вместе с Коваленко они самым тщательным образом стали восстанавливать в памяти все события последних пяти дней. Где он бывал? С кем встречался? О чем разговаривал?

В этом неторопливом экскурсе назад не было незначительных мелочей и маловажных деталей, все интересовало полковника. Наконец, где-то около четырех утра полковник нашел то, что разыскивал с таким упорством.

— Он остановил меня у проходной, — рассказывал Коваленко, — и предложил зайти напротив, выпить по кружке пива. Есть у нас там такая забегаловка. Сели за столик.

— Стол был покрыт скатертью или клеенкой? — как бы между прочим спросил Северцев.

— Нет, сверху лежало стекло. Он сказал, что пришел от имени Урганова, которого я должен помнить по лагерю. Потом сообщил, что собралась группа своих ребят, решивших провернуть дело, о котором Урганов мне рассказывал раньше. Я спросил, на свободе ли Урганов. Он ответил, что это не имеет значения, а главное, друзья его сейчас здесь. И он предложил мне принять участие в этом деле. Я сразу же отказался и объяснил, что веду совсем другую жизнь и такими делами не занимаюсь. Он не уговаривал, а только спросил, сохранился ли у меня план, который давал Урганов.

— Что за план? — перебил полковник.

— Это тоже было в лагере. Когда стало известно, что я выхожу на волю, Урганов начертил мне план, по которому я должен был отыскать человека, чтобы после работать с ним, вернее, с ними, — Урганов говорил, что там целая группа.

— Вы воспользовались планом?

— Собирался воспользоваться, отыскал улицу, даже во двор зашел и вдруг передумал. Потом я где-то потерял эту бумажку.

— Вы помните адрес?

— Названия улицы я не знаю, но показать, если необходимо, смогу.

— А фамилия? Как фамилия человека, к которому вы шли?

— Фамилии не было, я знал только кличку — Скокарь.

— Так, — полковник щелкнул портсигаром и протянул Коваленко папиросы. Закурили. — Простите, я перебил вас. Так что же вы ответили ему по поводу плана?

— То же, что и вам.

— Ну, а он?

— Он сжал мою руку и сказал, чтобы я забыл имя Урганова и дом, к которому приходил.

— Вы говорите, он сжал вам руку. Покажите, в какой позе вы сидели, это очень важно.

Коваленко придвинул стул и сел вполоборота к письменному столу.

— Вот так на столе лежала моя рука, он положил свою сверху. Потом мы встали. В кружке у него оставалось немного пива, и он допил его стоя. Вдруг он закашлялся, и кружка выпала из рук. Стекло на столе разбилось. Появился заведующий, но он выложил пятьдесят рублей, и все утряслось. Я спросил, почему так много: стекло от силы стоит рублей двадцать. Он сказал: «Мы денег не считаем». На прощание он еще раз предложил мне подумать, и я еще раз отказался. Тогда он предупредил, что я пожалею об этом, потому что «вход в блатную компанию стоит рубль, а выход из нее два рубля»...

Было поздно. Коваленко уже устал. Но полковнику, напавшему на золотую жилу, не хотелось так быстро расставаться с ней.

— Когда это произошло? — спросил он.

— В четверг.

— А ножом вас ударили в пятницу?

— Нет, в тот же вечер, когда я был в Загорянке.

Продолжать допрос становилось бессмысленным: у парня слипались глаза.

— Последний вопрос. — Полковник говорил почти умоляюще. — Как выглядел этот человек?

— Обыкновенно: среднего роста, коренастый, в черном пальто, волосы светлые, на левой щеке шрам...

7

Летняя ночь коротка. Когда Северцев с Брайцевым вышли на Петровку, уже начинало светать.

Они медленно шли по направлению к центру. Иван Ильич шутил, и Сергей Васильевич чувствовал, что у его спутника отличное настроение. Для этого было основание: удалось нащупать ту главную нить, с помощью которой вскоре распутается и весь узел. Версия приобретала законченные формы, и полковник без труда изложил ее Брайцеву.

Итак, во время своего пребывания в лагере молодой и неопытный Коваленко попал на глаза матерому уголовнику Урганову. Тот пригрел парнишку, быстро подчинил его своему влиянию, рассчитывая в будущем сделать одним из своих помощников. Как раз в этот период Урганов вынашивал план какого-то нового дела, которое собирался осуществить, когда окажется на свободе. Дабы поразить воображение юноши, он поделился с ним своим замыслом. Но произошло непредвиденное: Коваленко отказался. Он работал, чтобы по возможности сократить срок заключения и таким образом порвать с Урганом. Тот заметил эту перемену, но не придал ей особого значения. Коваленко нужен был ему не сейчас, и опыт подсказывал Урганову, что есть немало способов, с помощью которых впоследствии легко будет отрезвить юношу, если тот, паче чаяния, совсем отобьется от рук.

Поэтому, узнав, что Коваленко амнистирован, он, не задумываясь, начертил ему план местонахождения «малины» — главной штаб-квартиры его банды.

Но Урганов еще раз ошибся. Перспектива честной жизни оказалась для юноши увлекательнее грязной «романтики» уголовщины: он не пришел в шайку. Более того: каждый новый шаг Коваленко — вечерняя школа, футбол, девушка — оставлял у участников банды все меньше и меньше сомнений относительно его теперешних взглядов на действительность.

Таким образом, в Москве оказался свидетель, посвященный в замыслы Урганова, человек, знающий явки, имеющий возможность в любой момент провалить банду.

Отчаянные попытки «привести мальчика в чувство» окончились безуспешно. И вот тут-то... Здесь можно было поставить жирный вопросительный знак, потому что дальнейшие действия урганов ских молодчиков противоречили элементарной логике.

— Допустим, что удар ножом в Загорянке, — рассуждал вслух Северцев, — был оправданным действием с ясно поставленной целью: устранить свидетеля. Но для чего им понадобилось впутывать Коваленко в историю с такси, подвергать его опасности ареста и ставить под угрозу судьбу всей банды, когда они отлично понимали, что Коваленко на допросе может рассказать все?

— Что ж, — после паузы заметил Брайцев, — вполне возможная версия. Однако у нас с вами нет еще уверенности, что это не просто красиво придуманная легенда. Я помню аналогичный случай в сорок шестом, в Брянске...

— Оставим в покое воспоминания, — перебил Северцев. — Завтра, то есть уже сегодня с утра, вы посетите пивную на Шарикоподшипниковской улице и проверите показания Коваленко. Хорошо было бы найти остальные осколки настольного стекла, даже если для этого вам пришлось бы съездить на городскую свалку. Я возьму на себя Загорянку. Сойдутся концы с концами, — значит, ночью мы проведем операцию по очистке урганов ского гнезда.

...Во вторник одним из первых посетителей пивной на Шарикоподшипниковской улице был Сергей Васильевич. Заведующий, представительный мужчина лет сорока пяти, вначале долго не мог

понять, чего, собственно, добивается от него этот вежливый молодой человек.

Да, действительно, случай, которым интересуется товарищ следователь, имел место. Когда? Несколько дней назад. Возможно, в четверг? Именно в четверг, — впрочем, число легко уточнить по акту. А разве был составлен соответствующий акт? Разумеется. Как же можно без акта! Пускай стекло стоит гроши, а все-таки государственная собственность.

— Не сохранились ли случайно осколки стекла? — спросил Брайцев.

— К сожалению, нет. — Заведующий широко улыбнулся. — Скорее всего, их выбросили вместе с остальным мусором в выгребную яму, тут, во дворе. Это уже не первый случай. Тонкое прислали с базы стекло, ни в коей мере не может служить настольным.

Брайцев вышел во двор. Он установил, что яму чистят раз в две недели и последняя машина приезжала за мусором дней десять назад. К великому удивлению заведующего пивной, официантки и жильцов дома по Шарикоподшипниковской улице, Брайцев, сняв китель, полез в выгребную яму.

...Северцев приехал из Загорянки только в начале пятого. На письменном столе его ожидало стекло, привезенное с Шарикоподшипниковской улицы, и акт спектрального анализа.

— Показания Коваленко соответствуют действительности, все сошлось, — доложил Брайцев.

Но Северцев даже не читал акта.

— Не могло не сойтись! — воскликнул он. — Ах, если бы вы только знали, до чего ж это замечательный парень! — Северцев звонко щелкнул портсигаром и с удовольствием затянулся папиросой. — А ну-ка, давайте его сюда!

...Дверь кабинета приоткрылась. На пороге в нерешительности остановился Коваленко.

— Проходи, проходи! — слегка подтолкнул его в спину конвойный.

— Можете заниматься своими делами, Лукин, — весело сказал полковник.

Конвойный не понял. Он продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу.

— Товарищ Коваленко освобождается из-под стражи, — объяснил Северцев. — Давай, Виктор, подсаживайся к нам.

Но глаза Коваленко попрежнему смотрели с недоверием.

— Честное слово, освобождаетесь! — повторил полковник. — Вот чудак-человек, не верит! — И он обернулся, ища поддержки у Брайцева. Брайцев утвердительно кивнул головой.

— Между прочим, — в глазах полковника заиграли веселые искорки, — мы с тобою теперь в некотором роде родня. Я, кажется, отлично справился с ролью свата.

— Вы были там? — Губы юноши сжались. — Вы же дали мне слово не вмешивать ее в это дело!

— А разве я говорил, что вмешал? Я просто съездил, как сват, — и полковник звонко рассмеялся.

— А чем же вы объяснили им свой приезд?

— Просто. Решил похлопотать за друга, вернее, за сына моего старого друга. Короче говоря, батька не возражает.

— А вы не шутите?

— Вот еще, охота была мне с тобой шутить!

Теперь уже рассмеялся Коваленко.

— Так, значит, мне можно идти, Иван Ильич? — Он впервые обращался к нему по имени-отчеству.

— Разумеется, — ответил полковник, потом, немного помедлив, спросил: — Кстати, какие у тебя планы на вечер?

— Увижусь с матерью, в баню схожу и потом к Наташе. А в чем дело-то?

— Видишь ли, Виктор, мы хотели просить тебя, чтобы сегодня вечером ты проводил нас на урановскую «малину».

— Сегодня не могу. Сегодня я поеду к ней! — упрямо и, как показалось Северцеву, даже зло отрезал Коваленко.

Но полковник не сдавался. Он исподволь начал новую атаку.

— Это в твоих же собственных интересах, Витя, еще немного задержаться тут. Кто может поручиться, что Урганов еще раз не попытается свести с тобою счеты?

— Свободен я или нет? — глухо спросил Коваленко.

— Формально я не имею никакого права далее задерживать тебя здесь. Но чисто по-человечески...

— По-человечески нужно отпустить меня! А что касается Урганова, в конце концов эта история началась не сегодня с утра. До сих пор он меня не слопал. Будем надеяться, что обойдется и впредь.

— Как знаешь, — развел руками Северцев. — Но завтра в десять утра быть здесь! Ясно?

— Ясно, — улыбнулся глазами Коваленко.

— Ступай! Капитан оформит тебе пропуск.

Проводив Коваленко, Брайцев возвратился в кабинет Северцева.

— И все-таки вы зря отпустили его сейчас, Иван Ильич.

— А вы думаете, что можно было содержать его под стражей до окончания следствия? Сколько еще продлится оно? И сколько там человек, в урановской банде? Кто нам позволит держать хлопца? Никто.

Соединившись с таксомоторным парком, он сообщил, что можно присылать за машиной: она ему больше не нужна. Потом, вызвав к себе лейтенанта Гринюка, поинтересовался, какие новости в шестом таксомоторном. Особых новостей не было; расследование подвигалось туго.

Стрелки часов приближались к шести. Северцев вызвал машину и уехал домой.

...Ночью его разбудил телефонный звонок. Докладывал дежурный по МУРу. На перегоне между Мытищами и Тайнинкой с электрички сорвался юноша. Был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство — установить не удалось. Несколько пассажиров и проводник, находившиеся в вагоне, слышали крик о помощи, но, выскочив на площадку, уже не обнаружили никого. Труп был доставлен в Мытищи и сдан в морг районной больницы. На трупе нашли документы, удостоверяющие личность погибшего: заводской пропуск и паспорт на имя Коваленко Виктора Григорьевича, 1935 года рождения.

Полковник застонал и уронил трубку.

Через двадцать минут после телефонного звонка Северцев уже был в Мытищах. Он с трудом отыскал дежурного врача и вме-

сте с ним спустился в подвал, где помещался морг. Морг был совсем пустым. В маленькой больнице умирали редко.

— Вон там, в углу, — указал врач, пропуская Северцева вперед.

В углу, у бетонной стены, слегка позеленевшей от сырости, на железном столе лежало тело, покрытое чем-то белым. Из-под простыни виднелись желтоватые ступни. Они казались неестественно большими.

Северцев подошел к столу, приподнял край покрывала, и тотчас же опустил его. Последняя слабая надежда, что произошло какое-то недоразумение, рухнула. Он узнал это лицо — под простыней лежал Коваленко.

Северцева охватила апатия.

Коваленко был мертв. И вместе с ним исчезла та основная нить, с помощью которой Северцев рассчитывал так легко довести до конца следствие. Он не знал адреса урановской «малины», и назначенная на завтра облава уже не могла состояться. Он не имел понятия о характере преступления, которое задумывал в лагере Урганов: Коваленко не успел рассказать об этом...

Единственное, что еще оставалось в руках Северцева,— это сам Урганов. И, возвратившись перед рассветом к себе на Петровку, он послал шифрованную телеграмму начальнику лагеря.

В полдень пришел подробный ответ. Алексей Урганов, осужденный к двадцати годам лишения свободы, из лагеря бежал. Ввиду бушевавшей пурги организовать немедленные поиски не представлялось возможным. Однако весной, когда стал таять снег, в тундре, неподалеку от лагеря, был найден обглоданный хищниками человеческий скелет. При исследовании обрывков одежды на поясе кальсон обнаружили вышитую черными нитками фамилию владельца: «Урганов». Скелет погребли на кладбище при лагерном госпитале, и дело Алексея Урганова было прекращено.

У Северцева опустились руки: последняя нить оборвалась. Так закончилась первая версия, оставив много недоуменных вопросов и не пролив никакого света на существо дела.

8

Два ограбления, убийство Коваленко, угон такси — это уже было слишком. Вечером Северцева вызвали к руководству. После весьма неприятного объяснения он возвратился к себе и заперся в кабинете.

Что делать дальше? Он не мог ответить на этот вопрос. Обычная уверенность в своих силах теперь покинула его. Почва уходила из-под ног, и он тщетно искал вокруг спасительную точку опоры.

— Вспомните хорошенько, — спросил он Брайцева, — вы никому не рассказывали историю Коваленко?

Вопрос был праздным. Сотрудники угрозыска вообще не отличались болтливостью, тем более на столь щекотливые темы.

— Я все время думаю, — продолжал Северцев, — каким образом за пределами тюрьмы стало известно о показаниях Коваленко? Возможность самоубийства я отбрасываю сразу же: собираясь жениться, люди обычно не кончают с собой. Несчастный случай тоже маловероятен. Вот акт анатомического исследования. Как показало вскрытие, Коваленко был трезв. Значит, почти несомненно, он убит, и это убийство было подготовлено заранее.

Брайцев осторожно попробовал изложить свою точку зрения. При создавшемся положении первое, что нужно было сделать, — это установить каналы, по которым сведения о Коваленко проникли за пределы уголовного розыска. Таким образом, исследуя связь за связью, Брайцев рассчитывал добраться до самой банды. Несмотря на сложность и длительность предложенной операции, за неимением ничего лучшего, Северцев согласился.

С чего же начинать? Естественно, что первым объектом для поисков решили избрать камеру № 14, где среди других подследственных лиц еще сутки назад сидел Виктор Коваленко.

Полковник отдал приказ приносить ему на просмотр всю переписку камеры № 14. В четверг ничего подозрительного обнаружить не удалось. А в пятницу стало известно: камера № 14 уже знала о том, что Коваленко убит.

Тогда Северцев решил применить обходный маневр. Кроме профессиональных уголовников, в камере № 14 находился состоящий под следствием председатель одной мелкой артели, арестованный за различные махинации в области производства бытовой резинки. Он почти ежедневно сочинял пространные петиции, сетуя на тяжелые условия и невыносимое общество. Северцев взял одну из таких петиций и пригласил автора к себе.

— Мне поручили разобраться, что там у вас происходит, — сказал он скучающим, безразличным тоном.

Значительная часть показаний не представляла интереса для Северцева. Но Северцев заранее запасся терпением. Он знал: дойдет очередь и до истории с Коваленко. И не ошибся.

— А по ночам, — рассказывал уже успевший вспотеть председатель артели, — один из этих типов имеет привычку перестукиваться с соседней камерой. Я, как интеллигентный человек, вообще не привык спать на нарах, а тут еще этот бесконечный стук.

— Кто именно? — впервые перебил Северцев.

— Не знаю. У всех там какие-то дикие клички. Я не запоминаю их.

— Продолжайте.

— Сегодня, например, стали стучать из соседней камеры, и тот же самый тип, о котором я уже рассказывал, собрав вокруг себя своих друзей, таких же головорезов, как и он сам, о чем-то долго перешептывался с ними. Но я слышал их разговор. Я притворился спящим. В камере так скучно: каждая новость интересует тебя.

— Что же вам удалось узнать?

— Так, пустяки. Впрочем, это даже не имеет отношения к предмету нашего разговора.

— Нет, говорите.

— Извольте. Они говорили, что юноша, который сидел вместе с нами, кажется, Коваленко, если не ошибаюсь... Должен сказать, что я ничего к нему не имею, очень приятный и даже корректный юноша. Так вот, оказывается, Коваленко убит за то, что якобы выдал каких-то там своих сообщников. Простите, это правда?

— Правда,— подтвердил Северцев. — А что касается причин, не могу сказать, просто не в курсе дела.

Помолчали.

— Так вы говорите, что это сообщение поступило из соседней камеры? — решил уточнить Северцев.

— Совершенно верно. Перед этим они как раз перестукивались. Но мы отвлеклись...

— Нет, достаточно. — Северцев встал.

— Позвольте, я же не рассказал главного! Они там собираются играть на меня в двадцать одно! Они...

— Достаточно, — повторил Северцев. — Вас переведут в другую камеру. Без уголовников...

...Камера № 14 была по коридору крайней и справа не соседствовала ни с кем. Оставалась левая камера под номером 13. Она была небольшой — всего на три человека.

Не откладывая дела в долгий ящик, Северцев тут же выяснил, кому из заключенных этой камеры была сегодня вручена передача или письмо. Спустя десять минут он уже знал фамилию: Гонтарь. Это был квартирный вор, имеющий за плечами длинный хвост судимостей.

Дальнейшие оперативные мероприятия также не представляли особых трудностей. Без всякого предупреждения, в неурочный час, трое заключенных были выведены на прогулку.

В их отсутствие камеру обыскали. В щели между стеной и нарами Брайцев обнаружил изорванное в мельчайшие клочки письмо. Когда их сложили, они оказались отрывком письма. Фраза гласила: «Николай просит передать благодарность Бирюку, и скажи ему, что мальчик расшибся».

— Есть! — хлопнул по столу Северцев. — Есть, — повторил он упавшим тоном. Даже его, видавшего виды, потряс неприкрытый цинизм написанного.

...Цепочка начинала вырисовываться. Она выглядела примерно так: Бирюк — Гонтарь — затем какой-то его корреспондент, связанный с безусловно интересующим следствие Николаем.

С письма была снята фотокопия, потом Брайцев аккуратно собрал обрывки и, чтобы не вызвать подозрений у Гонтаря, водворил их на прежнее место. После этого заключенных вернули в камеру.

Теперь нужно было установить личность автора письма и его связи. Судя по почерку, писала женщина.

Выяснилось, что Гонтарь не получал писем по почте. Записки шли вместе с передачей. Передачи приносила мать или сестра.

Гонтари жили в одном из тихих переулков, примыкающих к Таганской площади. С помощью участкового уполномоченного Северцев установил, что в семье есть ребенок — сын Марии Гонтарь; мальчик недавно перенес операцию аппендицита и находится в детской районной больнице.

Раз в неделю, по воскресеньям, лечащие врачи больницы встречались с родителями. Дарья Захаровна Гонтарь, бабушка, воспитывающая шестилетнего Юру, была хорошо знакома с палатным врачом Елизаветой Петровной. Поэтому ее крайне удивило, когда Елизавета Петровна не стала разговаривать с ней и попросила зайти к заведующему отделением.

Он принял Дарью Захаровну в своем кабинете и оказался на редкость приветливым и душевным человеком. Доктор был уже не молод, редеющую шевелюру посеребрила седина, глаза смотрели внимательно и добро.

«Господи,— подумала она,— наверное, с Юркою худо!..» Сердце ее забилось часто-часто.

— Не волнуйтесь, — поспешил предупредить доктор. — Ваш внук чувствует себя прекрасно.

— Слава богу! — произнесла она одними губами.

Она сидела по-старушечьи прямо, сложив на коленях руки, и ждала: зачем же ее пригласил к себе этот важный врач?

— Вот Елизавета Петровна жаловалась мне, что ей ни разу не приходилось разговаривать с матерью Юры. Разве у мальчика нет родителей?

— Я ему мать! — сердито ответила бабушка.

— Ребенку уже шесть лет. Он все понимает, — продолжал доктор. — И, естественно, ему обидно видеть, что соседей по палате навещают чуть ли не каждый день, а его мать не была здесь ни разу.

Удар был рассчитан верно и достиг своей цели.

— Разве ж она ему мать? Она... Вот кто она такая! — У нее вырвалось грубое, оскорбительное для женщины слово, и тотчас же, испугавшись своей дерзости, она опасливо подняла глаза на врача. Но лицо его попрежнему было спокойным, как будто ничего особенного не произошло. И это понимание, это молчаливое участие, которое порою действует сильнее самых горячих слов, окончательно сломили Дарью Захаровну Гонтарь. И, сама не понимая почему, она стала рассказывать этому, в сущности, совершенно незнакомому ей человеку всю свою жизнь, все свои горести и печали, не приукрашивая и не тая ничего.

Из этого рассказа Северцев почерпнул многое. Он узнал, что Мария Гонтарь давно уже ведет бездумный и разгульный образ жизни. Даже сама Мария затрудняется сказать, кто приходится отцом Юре. Все это объясняется влиянием брата, появляющегося дома от тюрьмы до тюрьмы. Марию посещают его приятели, которые приходят так же внезапно, как и исчезают. Вот и сейчас дочь встречается с каким-то Николаем — мрачным, нелюдимым типом, которого даже сама Мария боится...

— На какие же средства вы существуете? — не без умысла спросил Северцев.

— У меня пенсия, а она... талоны продает в ГУМе, — простодушно ответила Дарья Захаровна.

— Какие талоны? — Иван Ильич сделал вид, что не понял ее.

— Известно, какие: выписывает чек, а потом продает его, кому очень нужно, — какой за пятнадцать рублей, а какой и за полторы сотни. Это смотря по товару.

— Вот что, пускай она завтра придет ко мне. С утра я сам поговорю с ней! — категорически заявил Северцев. — В самом деле, на что это похоже, чтобы мать так безразлично относилась к ребенку!

— Не придет она. Не придет. Разве ж я ей не говорила?

— А вы солгите на этот раз. Вы скажите, что с сыном очень плохо.

Продолжение следует.

ПО СЛЕДУ

Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, В. ВЕДЕЕВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Мария пришла. «Заведующего отделением» на месте не оказалось, и с нею говорил «заместитель». Разговор был недолгим. Доктор был рад познакомиться с матерью больного и предупредил ее, что ребенок, перенесший тяжелую болезнь, будет нуждаться дома в строгом уходе и, что самое главное, в непрестанном внимании к себе. Мария Гонтарь ушла в полном недоумении: неужели для того, чтобы высказать ей пять общих фраз, нужно было так настоятельно требовать ее прихода в больницу.

А оперативному уполномоченному Карпатову только и нужно было увидеть это лицо, чтобы запомнить его хорошенько.

На следующее утро в ГУМе, в очереди за цигейковыми манто, Карпатов издали указал милиционеру на Марию Гонтарь. Через полтора часа она была задержана и вместе с женщиной, купившей у нее чек, доставлена в дежурную комнату милиции при ГУМе.

Лейтенант милиции Адоскин был уже знаком Гонтарь по встречам в магазине, его, как огня, боялись спекулянты.

Он был беспощаден и не желал слушать никаких оправданий. Напрасно она клялась ему, что больше ни разу в жизни не переступит порог ГУМа, напрасно она рыдала, размазывая по щекам краску с ресниц. Неумолимый лейтенант составил протокол, и Гонтарь скрепя сердце поставила под ним свою подпись.

«Ну, все, — решила она, — посадит». И уже примирилась со своей участью, но неожиданно ситуация изменилась. Спасение явилось в образе незнакомого капитана, заглянувшего в комнату как бы между прочим. Он сочувственно взглянул на Марию, и та, ухватившись за этот взгляд, как за спасительную соломинку, не преминула состроить ему глазки. Капитан клюнул на этот маневр и, устроившись на диване, стал смотреть на нее с любопытством. Она чувствовала, что нравится ему, и пустила в ход все свои женские чары, чтобы на всякий случай закрепить эту первую призрачную победу.

«Вот еще разревелась, дура, некстати», — подумала она и, вынув из сумки зеркальце, стала усиленно оттирать черную краску со щек.

А капитан, лениво протянув руку, достал со стола протокол.

— Нехорошо! — укоризненно сказал он и даже покачал головой. — Такая красивая девушка, и вдруг... — Но в голосе его не чувствовалось никакой строгости. Скорее, он говорил это так, по обязанности.

— Я же в первый раз!.. Никогда еще такого не случалось! — Глаза ее смотрели умоляюще.

— А может быть, действительно в первый раз, а ты сразу же протокол. Бездушный ты человек, Адоскин.

Она не верила своим ушам: неужели он говорит серьезно? А может, это только тонкая издевка? Нет. Капитан подошел к столу и сел на место лейтенанта.

— А ну, товарищ лейтенант, давай-ка я сам поговорю с гражданкой... — он заглянул в протокол, — гражданкой Гонтарь.

— Слушаюсь, товарищ начальник! — козырнул лейтенант и вышел.

«Начальник, — с уважением подумала Мария. — Наверное, новенький. Ни разу не встречала его здесь».

— Как же это вы? — Капитан не спеша достал из кармана кителя коробку «Казбека», деловито постучал по крышке и сунул папиросу в рот.

«А он ничего, даже симпатичный, — отметила Мария. — Эх, была не была!» — И она улыбнулась ему самой очаровательной из своих улыбок.

— Ну так что же, а? Не годится спекулировать чеками. Это не кончится добром.

— В первый раз я, — повторила Мария, — ребенок у меня в больнице, а денег нет ни гроша. — Вдруг ей показалось, что сказанное недостаточно убедительно, и она поспешно добавила: — Можете сами проверить, позвоните туда хоть сейчас.

— Я верю, — очень серьезно сказал капитан, — но это, конечно, не может служить оправданием.

И вдруг он перевел разговор:

— Расскажите, пожалуйста, о себе.

— А что рассказывать-то? — искренне удивилась она, и в самом деле не представляя, как отвечать на этот вопрос.

— Ну, как вы живете? С кем встречаетесь? Где проводите свободное время?

Вопросы застали ее врасплох. Она не ожидала такого оборота. И чтобы не запутаться и не испортить дела, Мария решила говорить правду. Лишь об одном она предпочла умолчать — о занятиях своих знакомых. Но капитан и не настаивал на этом пункте. Она рассказала, что изредка ходит в кино и даже в театр, когда случаются деньги. А в последнее время у нее новый знакомый, — нет, пускай товарищ капитан ничего такого не думает, просто так, приятель ее брата, — он любит слушать цыганские песни, и они вместе ходят к цыганам...

Капитан был вполне удовлетворен этим ответом.

— Вот что, — сказал он, — протокол я уничтожу при вас. — И он разорвал листки на четыре части. — Вы можете идти. Но чтобы этого не повторялось! Понятно?

И, как накануне в больнице, Мария Гонтарь была удивлена. Она уже успела поверить в то, что ей не избежать ареста, а этот чудаковатый капитан даже не взял с нее штрафа.

Когда Мария Гонтарь вышла за дверь, «чудаковатый» капитан Брайцев снял телефонную трубку, набрал номер и доложил полковнику Северцеву, что операция прошла успешно.

Следующими на повестке дня были цыгане...

9

Цыганский театр «Ромэн» уже больше месяца находился в отпуске. Единственным местом в Москве, где выступали цыгане, был ресторан «Волга» в Химках. Поэтому лейтенант Федор Гринюк и капитан Людмила Араличева ежедневно, начиная со среды, стали посещать «Волгу». В паспортном столе таганского отделения милиции Брайцев получил фотографию Марии Гонтарь, которая была увеличена и размножена в нескольких экземплярах.

Гринюк и Араличева приходили к девяти, занимали столик возле эстрады, откуда отлично просматривался зал, заказывали ужин и дежурили до закрытия. Они производили впечатление милой, влюбленной пары.

Так прошла среда, четверг, пятница и суббота. И вот Мария Гонтарь появилась в ресторане, и не одна, а с молодым человеком.

Гринюк неторопливой походкой прошел в администраторскую и набрал номер дежурного по МУРу. Трубку снял Северцев.

— Как выглядит этот тип? — поинтересовался Иван Ильич.

— Среднего роста, коренастый, волосы светлые, на левой щеке шрам...

— Шрам? — переспросил Северцев. — Вы ясно видели шрам? Этого человека необходимо задержать. Любыми средствами! Вы поняли, Гринюк? Вы поняли?

Неверной, шатающейся походкой Гринюк возвратился в зал. Араличева была на том же месте, где он покинул ее, и разговаривала с администратором. Парень со шрамом встал. Гонтарь, смотрясь в зеркальце, поправляла прическу.

«Ах, расскажи, расскажи, бродяга», — пела цыганка с эстрады.

— Сейчас будет скандал, — бросил на ходу Гринюк. — Предупредите милиционера, чтобы он задержал нас.

Араличева едва заметно кивнула и вышла в вестибюль.

Зажав папиросу в зубах и натыкаясь на столики, Гринюк приближался к Марии Гонтарь. Вот он уже подошел вплотную и прикоснулся к ее теплой обнаженной руке.

— Что вы, гражданин? — Она отстранилась.

— Зоенька, ты не узнаешь меня? — Он придвинулся еще ближе.

— Товарищ, вы перепутали, это не та, — сказал за спиной парень со шрамом, и Гринюк почувствовал, как сильные руки, взяв его за плечи, легко отодвинули в сторону.

— А ты тут еще кто? — крикнул Гринюк нарочито громко.

За соседними столиками приподнялись, с любопытством наблюдая за происходящим.

— Послушай, мальчик, здесь не место выяснять отношения. — Парень со шрамом говорил так тихо, что Гринюк лишь по движению губ улавливал смысл его слов. — Если хочешь, выйдем на улицу, там поговорим.

Но вместо ответа, с шумом выдохнув воздух, Гринюк двинулся навстречу ему. Какая-то дама за столиком слева ахнула и уронила бокал. Певица смолкла на полуслове. Парень со шрамом оттолкнул его от себя, и, пятясь назад, Гринюк опрокинул столик.

С разных концов ресторана к ним бежали официанты. Сквозь образовавшуюся толпу с трудом протискивался милиционер.

Гринюка уже удерживали трое мужчин. Кто-то усиленно пытался вывернуть ему руку.

— Прошу следовать за мной! — предложил милиционер.

— Оставьте его. — Парень со шрамом говорил спокойно. — Все в порядке. Я к этому гражданину ничего не имею. Я готов даже извиниться перед ним, хотя и не виноват.

— Нет, — возразил милиционер, — он нанес вам оскорбление действием. Я не имею права оставить так этот случай. Прошу следовать в отделение!

Парень со шрамом пытался спорить, но за его спиной, словно из-под земли, выросли еще два сотрудника милиции. Возражать было бесполезно.

10

В отделении милиции при Химкинском речном вокзале, куда привели их, уже находился Северцев.

— Так, — сказал он, когда милиционер по всей форме доложил о случившемся. — Значит, подрались? Очень похвально. — Северцев сделал внушительную паузу. — Попрошу предъявить документы!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 40, 41.

У парня со шрамом паспорта не оказалось.

— Как назло, оставил в старом пиджаке, — все еще спокойно объяснял он, — но вы можете узнать. Моя фамилия Багров, Николай Константинович. Я прописан на Малой Тульской, номер дома 17.

— Проверим, — согласился полковник. — Может быть, при вас есть другие документы, удостоверяющие вашу личность?

— Других документов нет, — подумав, ответил Багров.

— В таком случае я вынужден задержать вас до выяснения. Это ненадолго, каких-нибудь полчаса.

— То есть как задержать? — возмутился Багров. — Вы не имеете права!

— Весьма сожалею: порядок, — сочувственно произнес Северцев.

Марию Гонтарь смутило происходящее. Ей не раз приходилось бывать в милиции, но сейчас все выглядело как-то иначе. Почему-то не стали составлять протокол. Почему-то дежурного больше всего интересовал паспорт Багрова. Почему-то, наконец, он не задал ни одного вопроса главному зачинщику скандала, который, кстати сказать, уже не походил на пьяного...

Вошел Брайцев. За капитаном следовал еще один мужчина, в штатском.

— Простите, что потревожили вас, товарищ Шутов, — сказал Северцев.

— Ничего. Наше дело шоферское, не привыкать.

— Ну, не будем терять времени. — Полковник встал, и они втроем прошли в соседнюю комнату.

— Посмотрите внимательно, вы не узнаете никого? — включая прожектор, спросил Брайцев.

На скамье перед Шутовым сидели трое: один пожилой, с синяком под глазом, другой средних лет, в разодранной рубашке, и третий...

— Он! — воскликнул Шутов. — Он меня грабил! Шрам на щеке, я сразу узнал!

Багров побледнел.

— Здесь какое-то недоразумение, — заговорил он, заметно волнуясь. — Я впервые вижу в глаза этого человека!

— Обыскать его! — приказал Брайцев.

В карманах оказались шоферские права и просроченный пропуск шестого таксомоторного парка.

— Вы принимаете меня за кого-то другого, — задыхаясь, хрипел Багров, — вы еще ответите за свои действия!

— Дай бог! — усмехнулся Брайцев и сделал знак, чтобы Багрова вели в машину.

...Этой же ночью в доме № 17 по Малой Тульской улице, где проживал Багров, произвели обыск. Северцев рассчитывал найти какой-нибудь из предметов, похищенных в квартире у Лосевых. Расчеты не оправдались.

Соседи, которых пригласили в качестве понятых, показали, что Багров имел семью, но минувшей зимой выгнал жену вместе с ребенком. Соседи боялись Багрова и старались держаться от него подальше.

Просматривая потрепанную книжку, выпущенную в 1939 году, Брайцев обнаружил между страниц фотографию Багрова в трусиках и майке. Открытка размером девять на двенадцать была разрезана пополам. Вторая половина, на которой, очевидно, был запечатлен еще кто-то, отсутствовала. На втором плане виднелись очертания какого-то сооружения, показавшегося Брайцеву знакомым. Всмотревшись внимательнее, он высказал предположение, что это, по всей вероятности, причал речного трамвая в Серебряном бору. На обороте фотографии сохранились часть надписи и половина печати. Надпись гласила:

«...ять
...чах
...ина».

Печать оказалась менее загадочной. Брайцев прочитал: «...отоработников. Артель им. Красина».

Обрадованный этой находкой, Северцев продолжал поиски. Простукивая капитальную кирпичную стену, он вдруг ощутил пустоту. За обоями оказалась тонкая фанерная прокладка. Вскрыв тайник, Северцев увидел тщательно смазанный пистолет «Беретта» образца 1923 года и шесть запасных обойм...

11

Артель имени Красина специализировалась на групповых съемках. В летнее время, когда количество заказов на групповые портреты снижалось, артель устанавливала несколько временных точек в наиболее людных местах Москвы...

Председатель артели — деятельный молодой человек, выслушав лейтенанта Карпатова, с готовностью взялся ему помочь. Дело в артели было поставлено солидно: старые негативы и корешки квитанционных книжек сохранялись в течение нескольких лет.

Чтобы как-то сузить круг поисков, начали с выяснения, кто из фотографов за два последних года работал в Серебряном бору. Насчитали пять человек. Из архива бухгалтерии приволокли целую гору запыленных квитанционных книжек.

Около семнадцати часов подряд Карпатов вместе с двумя девушками, добровольно вызвавшимися помочь ему, перебирал корешки квитанций. Но квитанции на имя Багрова не обнаружилось. Тут Карпатова осенила мысль. «А почему непременно квитанция выписывалась на фамилию Багрова? — подумал он. — С таким же основанием расплачиваться за фотографии мог и другой человек, изображенный на обрезанной части фотоснимка. Не исключено, что этим человеком была женщина. Тем более, что на обороте фотографии сохранилась часть подписи: «...ина». Зина, Нина, Галина, Ирина... Или же окончание фамилии: Малинина, Силина, Забродина... Да мало ли имен и фамилий, оканчивающихся на два этих слога!»

Карпатов решил еще сузить круг поисков и просматривать лишь те негативы, квитанции к которым были выписаны на фамилии женщин.

Случайно зашедший в кабинет старший лаборант артели взглянул на часть открытки, изъятой при обыске у Багрова, и сказал, что отпечаток сделан на «Мимозе». Этой бумагой пользовались в конце прошлого лета. Партия была небольшой. Числа можно легко уточнить по копиям накладных.

Так еще раз сузился круг поисков, и к вечеру Ивану Ильичу принесли шесть экземпляров фотографий Николая Багрова и его знакомой. Квитанция была выписана 28 августа прошлого года на имя Корневой Н. И.

Это пришлось как нельзя кстати, потому что на первом допросе Багров категорически отверг предъявленные обвинения. Он отрицал все. Когда Северцев спросил его, чем же, наконец, он объяснит незаконное хранение оружия, и положил на стол пистолет «Беретта», Багров удивленно пожал плечами.

— В глаза этого не видел.

— Бросьте валять дурака! — сказал Северцев. — Пистолет найден в вашей комнате. Вот акт, подписанный понятыми. Тут уж никуда не попрешь.

Но Багров ухитрился вывернуться:

— Позвольте, но пистолет обнаружен в стене, в тайнике, за обоями...

— А вы откуда знаете, где он обнаружен, ведь вы же не видели его в глаза!

— Я же грамотный, об этом сказано в акте.

Он был прав, и Северцев разозлился на себя за этот промах.

— Я получил комнату в позапрошлом году по ордеру райжилотдела, — объяснял Багров. — До меня в ней находился другой жилец. Я же не обязан был заниматься простукиванием стен и поисками тайников.

— Вы случайно не в курсе, куда переехал прежний жилец? — спросил Северцев.

— На Ваганьковское кладбище! — с издевкой ответил Багров.

Крыть было нечем. Северцев взвесил на ладони густо смазанный пистолет, достал из кармана платок и вытер руки. Повидимому, оружие давно уже лежало без употребления. Калибр гильзы, найденной на Каширском шоссе, был 7,62 миллиметра. Пистолет «Беретта» имел укороченные патроны 9-миллиметрового калибра. И здесь концы не сходились с концами.

И хотя первый допрос окончился ничем, хотя Багров никогда еще не состоял под следствием, Северцев своим профессиональным чутьем угадывал, что перед ним матерый бандит, ловкий и умный противник. Северцев отлично знал: рано или поздно будет сбит этот нагловато-снисходительный тон и разговор пойдет по-иному. Однако этому должна предшествовать долгая, тяжелая и кропотливая работа, которая называется следствием.

...Спустя сутки после ареста Багрова Мария Гонтарь была приглашена в уголовный розыск. Ее принял все тот же «чудаковатый» капитан, с которым она познакомилась в ГУМе.

— А, старая знакомая! — улыбнулся он.

Увы, ее уже не могли обмануть ни эта деланная мягкость, ни кажущееся простодушие.

Но Сергей Васильевич на этот раз и не собирался играть в «кошки-мышки». Ему необходимы были конкретные сведения, и он не сомневался, что получит их.

— Что вы можете рассказать о человеке, с которым вас видели в ресторане? — прямо спросил он.

— Ничего! — зло отрезала Гонтарь. — Я не знаю его!

— Неправда! — насмешливо сказал Брайцев. — Вы же сами рассказывали мне в ГУМе, что он ухаживает за вами, водит в кино и даже слушать цыганские романсы.

— А с вашей стороны это было подло! Подло! — закричала она.

— Ну, я думаю, мы не станем

сейчас обсуждать вопросы морали. Так как же, будете рассказывать?

— Не буду! — И она отвернулась.

— Послушайте, Мария Гонтарь, у меня нет времени взывать к вашему сознанию! — Он решил не церемониться с ней. — Ваш приятель — бандит, занимающийся открытым грабежом. На его руках кровь человека.— Брайцев остановился, чтобы убедиться в произведенном впечатлении.— Вы его подруга и соучастница. Вы помогали ему, и я мог бы просто посадить вас, но я думал...

— Не докажете! — Это был не крик, а скорее стон. — Не докажете! — повторила она и вдруг, побледнев, покачнулась на стуле.

Брайцев налил воды и протянул ей, но она отказалась.

— Докажем, — сказал он таким миролюбивым тоном, как будто речь шла о стакане воды.— Если забыли, я напомню вам одну фразу из известной вам записки: «Мальчик расшибся...» Ясно? — Он еще раз сделал паузу. — Может, вы вспомните, что говорилось в записке, переданной из тюрьмы для вашего Николая?

Разумеется, Брайцев не имел ни малейшего понятия ни о какой другой записке, кроме той, которую только что процитировал. Но сейчас он бил наугад...

— Вспомню, — вдруг тихо сказала Гонтарь, — сейчас... — Она действительно напрягла память, что-то вспоминая.— Вот... кажется, так: «Горшок раскололся, и его выбросят...»

Брайцев не ожидал такой удачи.

— А знаете ли вы, что в результате одной этой фразы был убит человек? Вот он, полюбуйтесь! — И Брайцев положил перед ней фотографию трупа, сделанную в мытищинском морге. Это, как и ожидал он, произвело на нее ошеломляющее впечатление.

— Ну, в последний раз, будете говорить или нет?

— Буду, — прошептала Гонтарь. Теперь она сама потянулась за стаканом, но руки ее дрожали, и стекло стучало о зубы.

— Я слушаю вас! — сказал Брайцев, усаживаясь в кресло.

— Что я наделала! Что я наделала!— шептала она, вздрагивая.— Они же играли мною, как последней дурой!

— Вот именно, — согласился Брайцев.

Он извлек из стола еще одну фотографию.

— Опять про убийство? Не нужно! Не хочу смотреть! — запротестовала она.

— Нет, нет, не пугайтесь, — успокоил Брайцев.— На этот раз более мирный сюжет. Вы знаете эту девушку?

Он показал ей одну из открыток.

— Нинка Корнеева, знаю, а этот, в трусиках, он.

— Догадываюсь, — улыбнулся Брайцев.

— У нее дочь от него. Только вы не трогайте Нину. Она и без того несчастная. А то узнают они, плохо ей будет. Они шутить не любят.

Брайцев уже имел случай убедиться, что это не пустые слова.

— Пожалуй, на сегодня достаточно, — сказал он.

Она посмотрела на него долгим, вопросительным взглядом. Он понял смысл этого взгляда.

— Дайте-ка сюда ваш пропуск. — Брайцев размашисто расписался и поставил печать. — Впредь будьте разборчивее в своих привязанностях!

Она аккуратно сложила пропуск и встала.

— У меня к вам просьба,— сказал Брайцев.

— Какая?

— Познакомьте меня с Корнеевой.

— Нельзя!

— Даю вам слово, они не тронут ее.

— Когда знакомить? — спросила Гонтарь.

— Чем скорее, тем лучше. Хотя бы даже сегодня вечером.

Она подошла к двери, потом вновь возвратилась и, расстегнув кофточку, положила что-то на стол.

— Отдайте ему. И скажите, что мне от него ничего не нужно.

Это был медальон, похищенный на квартире у Лосевых.

Вечером на площади Свердлова, возле Большого театра, Брайцев снова встретился с Марией Гонтарь. Гонтарь пришла не одна. Она познакомила Брайцева с Ниной Корнеевой.

Гонтарь оказалась права: Нина действительно ненавидела Николая Багрова, который испортил ей жизнь.

Багров, по профессии шофер, недолго задерживался на работах. Она служила подавальщицей в кафе, и в основном они существовали только на ее зарплату. А когда у них родился ребенок и она вынуждена была уйти с работы, он стал уносить из дому вещи. Он буквально раздел ее, не останавливаясь даже перед тем, чтобы продать распашонки ребенка. А потом, когда в доме уже не осталось ничего, он выгнал ее среди зимы вместе с шестимесячной дочкой. Однако по существу дела Брайцев узнал немногое.

Однажды — это было несколько месяцев назад — у Белорусского вокзала ее нагнало такси. В машине находились Багров и еще один молоденький парнишка, который назвал себя Федей. За рулем сидел Митька Басов. Тогда еще она не знала его, но как-то во время болезни Багрова тот посылал ее на Вятскую улицу отнести Басову какую-то записку. Вятская — это она точно помнит, только вот номер дома забыла, но его не трудно найти: как раз напротив клуба.

Федю она потом не раз встречала на улице Горького и в кафе «Националь». Фамилии его и места жительства Корнеева не знала. Также ей ни разу не приходилось слышать фамилии Урганова или каких-либо других фамилий, кличек и имен.

...В эту ночь произошло еще одно нападение на такси.

В первом часу ночи шофер Валежин привез пассажира на сорок третий километр Дмитровского шоссе. Когда стали рассчитываться, Валежин не сумел дать сдачи со ста рублей. Поставив машину на обочине шоссе, он вместе с пассажиром прошел к даче.

Возвращаясь обратно, Валежин увидел у машины двоих: худощавого с длинными руками и второго, поплотней. «Повезло, — подумал Валежин, — а я еще беспокоился, что придется гнать вхолостую такой конец!» Но ожидавшие не собирались ехать.

— Закурить не найдется? — спросил один из них и придвинулся вплотную. Второй зашел сзади. Валежин почувствовал, что начало не предвещает хорошего.

— Не курю, — коротко ответил он и сделал шаг в сторону.

В этот момент в бок ему уперлось что-то твердое. «Пистолет!» — мелькнуло у Валежина. Да, это был пистолет.

— Ключи от машины! — сказал коренастый. — И можешь катиться к чертовой матери!

Валежин порылся в кармане и протянул ключ от французского замка. Переложив пистолет в левую руку, коренастый направился к машине. Худощавый, не упуская из виду Валежина, торопливо зашагал за ним.

— Это не тот ключ! — послышался из машины голос коренастого. — Ты что, с нами шутки вздумал шутить? — Последовало грязное ругательство.

— Да что вы, ребята, — примирительно сказал Валежин, — машина с характером, сам с ней всегда волынюсь! А ну-ка, пусти!

Он зашел с другой стороны кабины и рванул на себя дверцу. Вторая дверца тоже оставалась открытой.

Присев рядом с коренастым, Валежин тщетно пытался втиснуть ключ в замочную скважину. Коренастый с подозрительностью наблюдал за ним. Худощавый продолжал стоять на шоссе шагах в трех — четырех.

— Вот дурак! — воскликнул Валежин. — А ведь действительно ключ не тот! Прости, ошибся с перепугу!

Не давая им опомниться, он вставил в замок другой ключ и, резко двинув коренастого плечом, рванул машину с места. Но коренастый каким-то образом все же успел ухватиться рукой за выступ двери и повиснуть на ходу.

Раздался выстрел, другой, третий... Лобовое стекло треснуло по всем направлениям, покрывшись тысячами косых линий. Крайне неудобное положение, в котором продолжал висеть коренастый, мешало ему попасть в Валежина.

Между тем машина все увеличивала скорость. Сквозь мутное лобовое стекло Валежин ничего не видел перед собой. Он ни разу не обернулся. Прямо, только прямо, до боли в пальцах, впившись в руль!

Вдруг машину круто мотнуло. Очевидно, она боком задела за какой-то предмет. Скорее инстинктивно, чем сознательно, Валежин затормозил.

Коренастого уже не было. В какой момент он сорвался с машины, Валежин не заметил.

Как ни странно, но в общем машина оказалась цела, за исключением лобового стекла, помятого крыла и разбитой фары. Достав из-под сиденья гаечный ключ, Валежин выбил растрескавшиеся остатки и, свернув на окружное шоссе, поехал в город.

Первым же встречным орудовцем машина была остановлена. О случившемся немедленно сообщили в МУР, и из Москвы выехала дежурная опергруппа. Был обследован значительный участок Дмитровского шоссе, начиная с сорок третьего километра. Но, кроме осколков стекла, никаких иных следов ночного поединка не удалось обнаружить.

Северцев, которому доложили по телефону о случившемся, отнесся к этому известию спокойно. Показалось, что новый случай даже обрадовал его.

— Так и есть! — говорил он на утреннем совещании.— Я давно предполагал, что им главным образом нужна машина. И не любая «Победа», а именно такси. Я даже позволю себе сделать вывод, что грабеж, которым сопровождался первый угон, был лишь маскировкой основной цели — завладеть самой машиной. Для чего им понадобилось такси? Пока что мы с вами этого не знаем. Очевидно, за спиной этой группы стоит какой-то опытный бандит с далеко идущими планами. Но в конце концов нам сейчас и не обязательно знать их. Важнее другое. Когда был взят Багров, можно было предполагать, что дальнейшие события будут развертываться двояко: либо банда на какой-то срок притаится, пережидая опасное время, либо, напротив, перейдет к активным действиям, создавая тем самым видимость, что Багров не имеет к ней отношения. Теперь мы видим, что подтвердилось второе. Прекрасно, нам это только на руку. Следовательно, не сегодня-завтра нужно ожидать нового нападения на такси. Будем считать, что мы получили предупреждение...

Вошла секретарша и доложила о прибытии товарищей из ОРУДа. Северцев попросил тотчас же провести их в кабинет.

— Я хочу познакомить вас с планом операции,— сказал он, когда орудовцы заняли места,— которая будет проведена в общегородском масштабе. В общих чертах план заключается в следующем...

...В начале четвертого Брайцев принес фотографию Дмитрия Басова и сообщил, что, по имеющимся сведениям, тот возвратился домой на рассвете и вновь вышел из дому в два часа дня, заметно прихрамывая на правую ногу. Но Северцев приказал пока не трогать его.

Гринюк, закончивший расследование по шестому таксомоторному парку, установил, что накануне кражи на Каширском шоссе Баг-

ров целый день провел в гараже, куда он заходил якобы за трудовой книжкой. Однако здесь же выяснилось, что трудовая книжка была получена им давно вместе с расчетом. Теперь стало ясно, откуда был добыт номерной знак для автомашины.

В помещении отдела было както необычно тихо. Готовилась операция. Шла охота за урганоской бандой.

И наконец мышеловка захлопнулась.

Около двух часов ночи на Можайском шоссе, не доезжая Кунцева, наряду милиции, находившемуся здесь, удалось окружить троих, пытавшихся захватить машину; четвертый бежал и, отстреливаясь на ходу, легко ранил в плечо лейтенанта Кондрашина. Но, повидимому, и сам был ранен. Быть может, легко, но ранен.

Утром на допросе арестованные отказались назвать свои имена. Для опознания задержанных в угрозыск были приглашены Валежин и Корнеева.

Как показал Валежин, бандитов, которые напали на него на Дмитровском шоссе, среди арестованных не было. Корнеева тоже не узнала никого.

Значит, торжествовать еще было преждевременно: часть банды продолжала разгуливать по Москве.

Водитель такси Вартанов, которому среди других фотографий показали портрет Басова, узнал в нем четвертого бандита, ранившего лейтенанта Кондрашина. Однако Северцев вновь не разрешил трогать Басова, рассчитывая, что, находясь на свободе, он рано или поздно выведет на след последних остатков бандитской группы.

12

Ночью по телефону была вызвана «Скорая помощь». Машина прибыла к дому на Вятской улице и, взяв больного, доставила его в ближайшую больницу. Ближайшей больницей оказалась Боткинская.

В регистратуре старик-отец, приехавший вместе с больным, объяснил, что его сын Дмитрий Басов был ранен ночью неизвестным гражданином, неожиданно напавшим на него, а затем исчезнувшим.

Пострадавшего подняли в операционную. Ранение не представляло угрозы для жизни: пройдя касательно, пуля слегка поцарапала берцовую кость и застряла в мякоти. Дежурный хирург без труда извлек пулю, наложил несколько швов и хотел было отправить больного в палату, но вдруг заметил, что у него сильно

ободрана и правая нога. Кожа успела покрыться коркой и начинала гноиться.

— Где это вас так? — спросил врач.

— Позавчера. Катался на велосипеде,— неохотно ответил больной.

Его поместили в большой палате, где лежали уже выздоравливающие.

Одновременно с ним в больнице появилась новая сестра. Этому никто не придал значения: сестры в отделении менялись часто. Новенькая всем понравилась. Она оказалась заботливой и внимательной. Но особым ее расположением пользовался Басов — необщительный, молчаливый больной, лежащий у стены. Звали сестру Людой, фамилия ее была Араличева.

Сотрудник научно-технического отдела майор Игнатьев неторопливо изучал предметы, которые в качестве вещественных доказательств переслали из Боткинской больницы. Предметов было немного: брюки и трусы Басова, пробитые пулей, сама пуля и медицинское заключение о характере и обстоятельствах ранения.

Эти обстоятельства вызывали серьезные сомнения у Игнатьева и вступали в вопиющие противоречия с вещественными доказательствами. Как объяснил сам пострадавший, он был ранен неизвестным, стрелявшим в него в упор. Однако характер разрывов на одежде Басова и поверхность брюк, где не было никаких признаков копоти или частиц пороха, неизбежно остающихся на одежде, если выстрел сделан в упор, убеждали, что стрелявший в Басова находился от него на значительном расстоянии. Более того, пуля, попавшая в Басова, почти совсем утратила свою первоначальную скорость, иначе ранение было бы сквозным.

Через несколько часов после того, как Игнатьев поделился своими соображениями с Северцевым, в научно-технический отдел принесли пистолет милиционера, из которого тот ранил преступника, скрывшегося во время операции на Можайском шоссе. Контрольные стрельбы в тире с пластилиновым пулеуловителем показали, что пуля, извлеченная из тела Басова, была выпущена именно из этого милицейского пистолета. Таким образом, стало ясно: Басов является тем самым четвертым преступником, которого не удалось задержать на Можайском шоссе.

В биологическом секторе исследовали состав крови, которой была обильно пропитана одежда Басова. Кровь относилась ко второй группе. Но Северцев просил, чтобы на этот раз были произведены и дополнительные, новейшие исследования. С помощью тончайших иммунологических реакций сотрудники биологического отдела установили, что кровь Басова идентична с кровью, обнаруженной на паркете в квартире Лосева.

Однако, располагая такими данными, Северцев все же решил сделать еще одно небольшое уточнение — исследовать и обувь. Как известно, кровь на паркете была растерта подошвой. Под подошвой или на нитях, скрепляющих рант, могли сохраниться следы высохшей крови. Но, несмотря на самое тщательное исследование, никаких следов, свидетельствующих о присутствии крови, на обуви не нашли. Северцев продолжил эксперимент и подверг анализу обувь всех задержанных.

Но и здесь его постигла неудача. Он не стал отчаиваться, заявив, что откладывает дальнейшее продолжение этого опыта до новых, более лучших времен.

...Ситуация в Боткинской больнице с каждым днем осложнялась.

Басов начал заметно нервничать. Рана на ноге стала заживать, и теперь он не упускал случая, чтобы не обратиться с просьбой выписать его из больницы и перевести на амбулаторное лечение. Басова, очевидно, немало тревожило то состояние полной неизвестности, в котором все это время он пребывал. Передачи приносила мать, и, судя по их переписке, полностью контролируемой Араличевой, мать и не подозревала о том образе жизни, который вел ее сын.

Он упрямо искал способов установить связь с внешним миром, и эта лихорадочная поспешность, граничащая уже с полным отчаянием, передала в руки следствия недостающие нити и привела за решетку еще одного из участников банды.

Узнав о том, что сосед по палате, некий Осетров, выписывается домой, Басов начертил на клочке бумаги план, по которому просил его разыскать дом и передать на словах девушке по имени Соня, чтобы она пришла навестить его. Осетров, не подозревавший ничего худого, охотно согласился исполнить эту просьбу. Но в регистратуре к Осетрову подошел Северцев и предложил отдать ему начерченный Басовым план. Миссию порученца Басова взял на себя Сергей Васильевич Брайцев.

13

На окраине в одном из тихих переулков Брайцев нашел старый каменный дом. О возрасте его убедительно свидетельствовала сохранившаяся каким-то чудом табличка Российского общества страхования от огня. Эта табличка и была главным ориентиром плана, по которому шел Брайцев.

Он миновал арку-тоннель и, свернув налево, постучался в крайнее окно. Гринюк и Карпатов, сопровождавшие Брайцева, остались ожидать в воротах.

Занавеска дрогнула, и чьи-то загорелые руки приоткрыли окно.

— Вам кого? — спросил женский голос.

— Соню,— ответил Брайцев.— Я с Митей в больнице лежал. Он просил, чтобы я разыскал ее.

— С каким Митей? — переспросил тот же голос. В нем чувствовалась настороженность.

— С Басовым,— сказал Брайцев.— Если здесь не живет Соня,— значит, я ошибся. Виноват.— Он сделал шаг в сторону.

— Постойте. Это Басов вам дал адрес? — спросил тот же голос.

— Нет, Басов начертил мне план.

— Он находится при вас?

— Разумеется.

— Покажите.

Брайцев протянул в щель басовский клочок бумаги. Последовала длительная пауза. Эта осторожность даже обрадовала Брайцева.

«Неужели набрели на ту самую «малину»?» — с волнением подумал он.

Заскрипела тяжелая задвижка, и низкая деревянная, уже потрескавшаяся дверь отворилась. На пороге стояла девушка лет девятнадцати. Она была в коротком халатике, перевязанном пестрым шнурком, и в тапочках на босу ногу.

— Соня,— представилась она, протягивая Брайцеву руку.

Они миновали кухню, затем прихожую и наконец очутились в комнате с окном, куда только что стучался Брайцев.

На диване развалился в небрежной позе худощавый юноша и, как показалось Брайцеву, с бесцеремонной наглостью разглядывал его.

— Митя просил передать, что очень скучает и было бы хорошо, если бы вы нашли время навестить его. Вот, собственно, и все,— сказал Брайцев.

— А вы откуда знаете Басова? — спросил худощавый юноша.

— Моя фамилия — Осетров, Николай Васильевич, мы рядом в палате лежали, я уже говорил об этом.— Брайцев обернулся, ища глазами поддержку у девушки.

— Ну, как он?..— начала было девушка, но юноша перебил ее.

— А вы что, тоже болели? — спросил он.

— Да, аппендицит. Так, значит, вы придете? — обратился он опять к девушке.

— Возможно,— ответил за нее худощавый юноша и добавил: — Если, конечно, время позволит...

На этом Брайцев счел свою миссию оконченной и, попрощавшись, тем же путем, через темную кухню, вышел наружу.

В воротах, не замедляя шага, он прошел мимо Гринюка и Карпатова, и те только в конце переулка нагнали его.

— Кажется, тут «малина»,— сказал Брайцев, когда они завернули за угол.

Продолжение следует.

ПО СЛЕДУ

Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, В. ВЕДЕЕВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

Пройдя еще два квартала, они сели в машину, которая ожидала их.

— Может быть, возвратиться и взять их? — неуверенным тоном предложил Гринюк, выслушав отчет Брайцева о встрече с Соней и разговоре с худощавым парнем, который сильно смахивал на Федю, известного по описаниям Корнеевой.

— Не болтай чепухи,— возразил Брайцев.— Полковник не разрешил предпринимать ни единого шага без согласования с ним, а кроме того, какие у тебя основания для ареста? Придет она завтра или не придет, вот о чем следует беспокоиться.

...Она пришла. Но, несмотря на горячие уговоры, главврач не разрешил свидания с Басовым. Гардеробщица, ведающая халатами, и нянечка у входа в лечебный корпус оказались неподкупными. Делать было нечего: Басову передали килограмм яблок и коротенькую записку, в которой Соня сообщала о своем приходе и осведомлялась о его самочувствии.

Араличева вручила сверток Басову, постояла, ожидая, пока он напишет ответ. Басов набросал карандашом несколько фраз на почтовой открытке, вложил ее в конверт и запечатал.

— И скажи ей,— сказал он, передавая Араличевой письмо,— чтобы обязательно. Сегодня или завтра обязательно.

— А чего обязательно-то? — невинным тоном спросила Араличева.

— Она знает чего. Там в письме все написано. Ну, ступай, а то ждет же внизу человек.

Но Араличева не торопилась спускаться вниз. Конверт распечатал Северцев.

«Соня! Сегодня или завтра вечером подходи к стадиону «Динамо»,— говорилось в письме.— Около кассы в кино спросишь у пацанов «Рыбака», они покажут. Скажешь, что от меня. Возьми у него керогаз и отнеси домой. За ним придут. Я очень беспокоюсь: 15-го дядя собирался на дачу, керогаз будет нужен ему. Я скоро выйду. С.»

— А почему «С»? — задумался Брайцев.

— «Скокарь»,— сказал полковник.— Помните показания Коваленко? Так вот, значит, кто этот «Скокарь»!

Араличева вышла в вестибюль и объяснила ожидавшей ответа девушке, что Басов благодарит за яблоки и записку, но написать ответа не может, так как очень слаб. Он просит завтра придти.

Северцев знал, что на воровском жаргоне словом «керогаз» обычно называют пистолет, револьвер.

...Ровно в восемь часов вечера к кассе кинотеатра «Динамо» подошла Люда Араличева.

— Не видел тут «Рыбака»? — спросила она у вертящегося возле кассы мальчишки.

— «Рыбак»? Да он только что был здесь. А вам чего, билетик?

— Давай-ка отыщи, дело есть. Быстро!

— Ну, я «Рыбак».— К Араличевой подошел подросток лет семнадцати. Он был в полотняных брюках и вылинявшей майке.

— «Скокарь» прислал,— сказала Араличева.

— А дальше?

— Керогаз верни.

— Кому?

— Мне.

— А примуса тебе, случайно, не треба?

Араличева протянула письмо. Он подошел к фонарю, извлек из конверта открытку и несколько раз по складам прочитал ее: «Рыбак» был малограмотным.

— Понятно,— как-то неопределенно промычал он и сунул открытку в карман.

— Э, э! — запротестовала Араличева.— Давай сюда.— И задержала его руку.

— Смотри, какая! — одобрил он.— Давно с ним ходишь?

— Ладно. Гони керогаз,— строго сказала она.

— Пошли.— Он сделал несколько шагов и остановился.— Стой. Лучше я сюда принесу.

Он возвратился через десять минут.

— На, держи. И Митьке там кланяйся.— Он сунул руку в карман.— Глянь, сзади меня никого нет?

— Все тихо. Давай.

— Осторожно: заряжен.

— Знаю,— сказала она, и в то мгновение, когда «Рыбак» протягивал ей пистолет, чьи-то руки железными объятиями стиснули его сзади и какой-то голос в самое ухо умиротворяюще зашептал:

— Спокойно, спокойно, все в порядке.

Мягко подошла машина и так же неслышно ушла. Араличева осталась одна стоять на тротуаре. У касс кинотеатра попрежнему толпился народ. Даже вездесущие мальчишки, и те не заметили ничего.

14

В научно-техническом отделе пистолет пробыл около суток. За эти сутки удалось уточнить многое. Было установлено, что вся коллекция гильз, хранящаяся в сейфе у Северцева, стреляна именно из этого пистолета «ТТ» образца 1933 года за номером... С номером произошло затруднение. Номер оказался уничтоженным. А узнать его было абсолютно необходимо, потому что только номер мог рассказать биографию пистолета, поведать историю о том, какими путями он попал в преступные руки. К сожалению, этого не удалось узнать о пистолете «Беретта», изъятом на квартире у Багрова. «Беретта» имела иностранное происхождение, возможно, пистолет был получен первым владельцем прямо из-за рубежа, поэтому номер его 001123 в общесоюзной описи огнестрельного оружия не числился. Другое дело «Тульский Токаревский». Итак, нужно было узнать номер.

Номера на пистолетах выбиваются чеканкой, и цифры получаются как бы вдавленными в корпус пистолета. Поэтому, естественно, если уничтожить слой металла и превратить место, где были отчеканены цифры, в гладкую поверхность, то кажется, что прочитать уже несуществующий номер невозможно. Но это только кажется. Металл, в частности, сталь, из которой изготовлен корпус пистолета, как и всякое неорганическое вещество, состоит из молекул. В том месте, где металл подвергался воздействию пресса при чеканке номера, молекулы неизбежно должны были уплотниться по сравнению со всей остальной массой молекул, составляющих корпус пистолета. Причем это уплотнение проходит по вертикали не только в тонком поверхностном слое, непосредственно соприкасавшемся с прессом, но распространяется и глубоко вовнутрь. Следовательно, как ни старайся уничтожить номер, в случае необходимости его всегда возможно восстановить.

После специальной обработки пистолета восстановили уничтоженный номер 0802 и передали его в соответствующие органы, чтобы установить, кому он прежде принадлежал.

...Соня сдержала обещание, данное Басову. Назавтра она снова пришла в больницу. И вновь врач не разрешил свидания. И вновь гардеробщица и нянечка у дверей были неумолимы. На этот раз Араличева не могла передать Басову ни яблок, ни записки. Однако девушка получила ответ — вчерашнее письмо Басова. Она пробежала его здесь же, отвернувшись к окну.

— Обязательно, он просил передать на словах, чтобы сегодня или завтра обязательно.— Араличева повторила фразу, сказанную накануне Басовым.

Девушка поблагодарила и сунула ей десять рублей. Араличева спрятала деньги в карман халата.

...Вечерняя операция была несколько сложнее вчерашней. Еще днем Брайцев два битых часа тренировал специально подобранных для этой цели мальчишек. Один из них, племянник Араличевой, должен был играть главную роль.

Гринюк, одетый в полосатую тельняшку, коротенький пиджак и

Продолжение. Начало см. «Огонек» №№ 40, 41, 42.

«бобочку», лихо сдвинутую набекрень, с независимым видом прогуливался у касс кинотеатра.

В половине девятого Брайцев издали указал мальчику на Соню, выходившую из метро. Мальчишка нагнал ее и, забежав вперед, спросил, не нужен ли лишний билетик.

— А ты кто такой? — спросила девушка.

— А вам-то что?

— «Рыбака» знаешь?

— А вон он, в тельняшке такой. А вам зачем? — с нескрываемым любопытством спросил малец и закинул рыжую голову.

— Много будешь знать, скоро состаришься,— улыбнулась девушка и, убыстрив шаг, направилась к кассам.

Мальчишка проводил ее одобрительным взглядом. Видимо, она произвела на него приятное впечатление. Но больше всего он был доволен собой, и непостижимый доселе Шерлок Холмс казался ему в этот момент примитивным дилетантом.

— «Рыбак»? — спросила она, подойдя к Гринюку.

— Допустим, — ухмыльнулся он.— А вы, как я догадываюсь, Сонечка.— И Гринюк подмигнул ей по-свойски.— Ну, как там «Скокарь», не отдышался еще?

— Пытается,— ответила девушка и тихо прибавила: — Я за керогазом пришла.

— Керогаз при нас,— процедил Гринюк,— а какая гарантия имеется?

— Какая еще гарантия? — забеспокоилась девушка.— Вот у меня его письмо.

Гринюк прочитал записку Басова и спрятал ее в карман. Соня не возражала. Потом он бесцеремонно взял ее под руку, и они, не торопясь, пошли к остановке троллейбуса. По пути Гринюк незаметно передал ей уже ставший безвредным пистолет.

...Было одиннадцатое число. Согласно записке Басова, за пистолетом должны были придти в течение четырех последующих дней, включая утро пятнадцатого. На пятнадцатое, вероятнее всего, было назначено какое-то новое дело, договоренность о котором существовала заранее. Северцев во что бы то ни стало решил поломать этот план.

На окраине Москвы, в одном из тихих переулков, где находился дом, застрахованный от огня, устроили засаду. Под наблюдение была взята квартира Сони, а также все входящие и выходящие из нее.

Между тем по мере приближения пятнадцатого Басов стал проявлять все более заметную нервозность. Тринадцатого Араличева и Карпатов, который дежурил вместе с ней, задержали Басова, когда он пытался бежать в одном белье через окно уборной. Северцев решил, что этот поступок более чем что-либо свидетельствует о полном выздоровлении и, к превеликой радости врачей, почувствовавших наконец долгожданное облегчение, приказал перевести Басова из больницы в тюрьму.

Все это время, пока проводились последние операции, связанные с ранением Басова, на Петровке, 38, не прекращались допросы.

Было бы слишком утомительно досконально описывать их, тем более, что в основном результаты допросов мало в чем влияли на ход дальнейшего следствия. Поэтому остановимся лишь на тех деталях, которые имели непосредственное отношение к делу.

Михаил Косов — «Рыбак» — оказался человеком, сделавшим в своей жизни лишь первый шаг по преступной дорожке. Еще не обладая достаточным опытом встреч со следователем, он на первом же допросе полностью капитулировал перед бесспорными фактами.

Дело в том, что сразу же после ареста Косова Северцев отобрал у него башмаки и направил их для биологического исследования. На этот раз исследование дало блестящие результаты. На нитях, скрепляющих рант с подошвой давно не чищенного башмака Косова, эксперт обнаружил мельчайшие частицы высохшей крови, которую он классифицировал по второй группе. В то же время кровь самого Косова относилась к первой группе.

Сама кличка «Рыбак» навела Брайцева на мысль возвратиться к старой, давно отброшенной версии относительно московского общества «Рыболов-спортсмен». Затребовав списки общества, он нашел в них фамилию активного члена и аккуратного плательщика взносов Михаила Косова.

Инженер Лосев, к которому съездил Брайцев, наконец вспомнил, что по его заказу Косов изготовил два десятка тяжелых блесен «шторлинг», на которые в подмосковных водоемах особенно успешно ловятся окунь и щука. Эти блесны Косов приносил ему домой, и он, Лосев, даже угощал его чаем. Далее был восстановлен в памяти тот самый вечер, когда заседала секция спиннингистов общества «Рыболов-спортсмен» и именно Косов уговаривал Лосева принять участие в массовом выезде, а сам так и не приехал.

— И кто мог подумать! — сокрушался Лосев.— Такой умелый рыболов — и такой мерзавец!

...— А вы, я смотрю, ловкач: здорово это у вас получилось с блеснами! — сказал, начиная допрос, Северцев.— Одних вещей на восемнадцать тысяч унесли. Только вот кровь на паркете не следует растирать ботинком: некультурно получается, и потом на подошве остаются следы.

— На пушку берешь, начальник? — неуверенно произнес Косов.

— Охота была брать вас на пушку! — откровенно признался Северцев.— Хотите, я вам расскажу, как было дело в квартире Лосева? Машину вы оставили во дворе, потом прошли через тот подъезд, где помещалась аптека: здесь подъезд не запирался на ночь. Поднялись на чердак, отжали замок и спустились на площадку восьмого этажа. Вы остались у двери, чтобы отвлечь внимание овчарки от окна столовой, куда, пройдя по карнизу и выставив стекло, проник Басов. Когда он уже находился в комнате, овчарка бросилась на него. Басов убил ее ножом, но она успела прокусить ему руку. Он открыл изнутри английский замок и впустил вас. Рука его была в крови, и кровь капала на паркет. Чтобы не оставлять следов, вы растерли пятно на паркете ногой. Я даже могу назвать вам точное время, когда все это происходило: в два часа сорок минут ночи.

Косов был ошеломлен осведомленностью Северцева. Он рассказал все. К сожалению, он пребывал в полном неведении относительно существования банды и был связан лишь с Дмитрием Басовым. Этой кражей в основном ограничивалось участие Косова в делах банды.

— Вы не сказали мне, каким образом к вам попал пистолет, — напомнил Северцев.

— Ночью как-то я возвращался домой... — стал рассказывать Косов.

— Где вы провели ночь?

— Да так, с одной знакомой.

— Продолжайте,— сказал Северцев.

— Значит, иду я домой, а мы с Басовым рядом живем. Он на Вятской, а я около «Динамо». Так вот, на Новослободской вдруг вижу — навстречу мне Митька. Хромает. За стену держится. Я ему помог, до дому довел. «Скорую помощь» это я по телефону вызвал. По дороге Митька рассказал мне, что его поцарапали, и отдал на сохранение свой пистолет. Митька боялся, что, если попадет в больницу, дома могут устроить обыск. Он сказал, что за пистолетом придут его корыши, которые будут предупреждены.

Басов был посложней Косова. Но Северцев располагал уже всем необходимым, чтобы в ходе допроса рассчитывать на успех.

Легенда о загадочном покушении на жизнь Басова была быстро развеяна в прах.

— Послушайте,— сказал Северцев,— мы только зря теряем время. Попробуйте посмотреть на себя со стороны: ведь уже сами по себе вы являетесь сплошным вещественным доказательством. Начнем с левой руки — отлично сохранившиеся следы собачьих клыков. Между прочим, вы счастливо отделались: еще немного, и лосевская овчарка порвала бы вам вену. Я уже не говорю о том, что на паркете у Лосевых вы расписались своей кровью. Не будем мелочны. Следующими по счету идут правое плечо, локоть и колено,— крути не крути, они ободраны, и даже сильно. Это память о сорок третьем километре Дмитровского шоссе, Басов. Далее — ваша левая нога — след милицейской пули. Мы уже не станем касаться таких пустяков, как гильза, найденная на Каширском шоссе. Попробуем подвести итог. Ко всему вышеперечисленному следует присовокупить, что шофер Валежин опознал вас. А косовские показания? Совсем упустил из виду косовские показания! Честное слово, не волыньте, Скокарь. Вам же все равно уже не выпутаться. Это конец.

И вдруг неожиданно для Северцева Басов закатил глаза к потолку и, сделав идиотское выражение лица, слезливо замямлил:

— Поеду... сейчас... в Сухум... купаться...

— Что? Что? — опешил Северцев.

— Купаться... в Сухум...— неуверенно повторил Басов и на всякий случай пустил слюни.

— Э, вот это уже зря,— критически заметил Северцев.— Неубедительно получается. Психа надо делать не так.

Но Басов продолжал сверкать белками и уверять, что поедет в Сухум.

И хотя Северцев ни на минуту не сомневался в его психической полноценности, все же, согласно существующим правилам, Басов был направлен на заключение врачебной комиссии, где его попросту подняли на смех.

Трудно было поверить, что неглупый и опытный Басов мог рассчитывать всерьез на возможность длительной симуляции психического расстройства. Скорее всего этот неловкий трюк понадобился ему, чтобы хоть как-нибудь оттянуть время. Аналогичное стремление наблюдалось и на допросах остальных подследственных. Северцев чувствовал, что в его руках отнюдь не главные заводилы банды. Кто-то более сильный, чем они, главарь, пользующийся у них непререкаемым авторитетом, находился на воле. И этот факт сам по себе связывал им языки и определял их поведение.

Профессиональное чутье не обмануло Северцева. Его подозрение подтвердилось новым фактом. Прибирая после утреннего туалета в умывальной внутренней тюрьмы угрозыска, надзиратель обнаружил записку. Написанная бисерным почерком на обороте трамвайного билета, она была скатана в тугую трубочку и вставлена в носик водопроводного крана. Очевидно, автор рассчитывал, что кто-то, находящийся не под столь пристальным наблюдением, как он, какими-то неведомыми для Северцева путями переправит записку на волю. Это был поистине отчаянный призыв подать о себе голос, хотя бы условный знак, потому что держаться далее не оставалось силы.

Записка была без адреса, обращения и подписи, но Северцев узнал почерк Багрова. Он хорошо понимал его состояние. Прижатый к стене неопровержимыми уликами, Багров не мог уже придумать ничего лучшего, как молчать, не произнося на допросах ни слова. Остальные трое, арестованные во время операции на Можайском шоссе, следовали в своем поведении примеру Багрова и напоминали в этом смысле его бледную тень: они были рядовыми в банде.

...Наступило пятнадцатое число. Сведения из дома Софьи Хмелько (такую фамилию носила знакомая Басова) были малоутешительными. В течение четырех дней за пистолетом никто не приходил.

Пятнадцатого, в девять утра, Северцев устроил очную ставку между Басовым и Багровым. Они сидели перед ним и молчали. Ни на один вопрос не последовало ответа. Можно было подумать, что Северцев встретился с глухонемыми.

— Отлично,— сказал он, когда были исчерпаны все средства.— Я никуда не спешу. Будем молчать вместе.

Иван Ильич достал из футляра очки, тщательно протер носовым платком стекла, предварительно подышав на них, и, раскрыв книгу, углубился в чтение.

Вдруг Северцеву послышалось деликатное постукивание. Как бы от скуки, опустив руки, Багров барабанил пальцами по ножке стула. Он делал это с безразличным, отсутствующим выражением лица и столь тихо, словно стеснялся отвлечь Северцева от чтения.

Иван Ильич собрался было пресечь эту фривольность. Но, вовремя передумав, сделал вид, что увлечен книгой, и стал прислушиваться.

В приемной стучала машинка, это мешало сосредоточиться, и все же... Точка-тире-точка... «Ес-ли про-дать Вол-ка, он убь-ет», — складывал по буквам Северцев.— «Волк убь-ет»... Одна и та же фра-

за повторялась несколько раз... Очевидно, Багров был не слишком высокого мнения о познаниях своего приятеля в азбуке Морзе.

Постукивания прекратились. Снова воцарилась полная тишина, и только сквозь обитую войлоком дверь из приемной слышался глухой стук пишущей машинки.

...Итак, появилась новая фигура — «Волк». Не он ли является вожаком стаи? На протяжении всего следствия впервые появилось имя «Волка». Кто он, этот человек, который еще ни разу и нигде не оставил своего следа? А может быть, были следы, но Северцев прошел мимо и не заметил их?

Днем принесли прошитый и запечатанный сургучами пакет. Северцев, наклонившись над корзиной, сломал печати, потом, посмотрев конверт на свет, аккуратно срезал его край ножницами.

Это был ответ на запрос Северцева относительно пистолета «ТТ» за номером 0802. В письме сообщалось, что настоящий пистолет числился за охраной Н-ского исправительно-трудового лагеря МВД СССР и, согласно докладной записке начальника лагеря, был похищен из караульного помещения ** февраля 195* года.

Северцев подошел к сейфу и извлек из объемистой папки другое письмо. Даты сошлись. Исчезновение пистолета и побег Урганова были отмечены одними и теми же числами. Но, как известно, Урганов замерз в пути, и останки его покоились на кладбище. Каким же образом пистолет мог попасть в Москву и очутиться в руках членов урганов ской банды? Но, позвольте, откуда вообще возникло само понятие «банда Урганова»? Какая связь существует между покойным и людьми, которые находятся сейчас под следствием?

Вопросы нагромождались один на другой. Они требовали немедленного ответа. Ответы можно было получить лишь в результате активных оперативных действий. А так как единственно известным, но малоизученным объектом теперь оставалась квартира Хмелько, Северцев решил снять не давшую никаких результатов засаду и, захватив с собою оперуполномоченного, сам поехал туда...

15

За дверью не ощущалось никаких признаков жизни. Северцев постучал настойчивее. Послышались торопливые шаги, и испуганный голос спросил:

— Кто там?

— Из уголовного розыска. Откройте.

— Сейчас. Одну секунду.

Шаги удалились. Прошло минут пять. Северцев постучал снова.

Наконец на пороге появилась Хмелько. Она была напудрена и подкрашена, но даже краска не могла скрыть бледности ее щек.

— Почему вы не открывали? — строго спросил Северцев.

— Странный вопрос, не могла же я выйти к вам голой! — Она попыталась улыбнуться, но улыбка получилась жалкой.

Северцев прошел в комнату.

— Вы живете одна?

— Да, то есть нет, как вам сказать...— Она замялась.

— Говорите прямо: да или нет?

— Видите ли, собственно, я живу с братом, но он ночует у себя в мастерской.

— В какой мастерской? — не понял Северцев.

— Брат — скульптор.

— Так,— неопределенно сказал Северцев.— А сами вы чем занимаетесь?

— Сижу на шее у брата.— Она повела плечами, зябко кутаясь в свой халат.

— Можно видеть вашего брата?

— Сейчас. Я позову его,— забеспокоилась она.— Но если хотите, мы пройдем прямо к нему. Это здесь, в нашем доме.

По шаткой внутренней лестнице они поднялись на второй этаж.

Посреди комнаты на низком деревянном помосте возвышалась полутораметровая скульптура женщины с девочкой на руках.

Худощавый юноша с выпачканными глиной руками обернулся, и Иван Ильич прочел в его глазах недоумение.

— Товарищ из угрозыска,— поспешила объяснить Соня.

— Этого еще не хватало! — воскликнул он, но, тотчас спохватившись, добавил совсем иным тоном:— Входите, пожалуйста.— И, накрыв газетой не очень чистую табуретку, подвинул ее Северцеву.— Прошу садиться.

— Я вижу, что оторвал вас, извините,— сказал Иван Ильич.

— А я и не сомневался, что рано или поздно этим должно было кончиться. Чем могу служить? Впрочем, догадываюсь.— Он метнул молнию в сторону сестры, и та съежилась под его взглядом.— Надеюсь, ты отдала товарищу эту штуку?

— А у меня ее никто и не спрашивал.

— Может быть, ты ожидаешь запроса в письменной форме? — язвительно заметил он.— Сейчас же спустись и принеси, понятно?

Она послушно вышла из комнаты.

— Вы себе не представляете, с каким наслаждением я бы накостылял этой дуре по шее! Но, к сожалению, невозможно, женщина! — И он беспомощно развел руками.

Спустя несколько минут возвратилась Хмелько и принесла пистолет.

— Вот.— Голос у нее дрожал.— Только обещайте, что мне ничего не будет.

— Я не стану давать никаких обещаний,— сказал Северцев.— Откуда у вас оружие?

— Не подумайте, что я хотела воспользоваться им, ей-богу, я даже не знаю, из какого конца нужно стрелять.

Наступила пауза. Скульптор с мрачным видом расхаживал по комнате, поглощая одну сигарету за другой.

— Вы не ответили на вопрос,— напомнил Северцев.

— Что же ты, говори! — загремел скульптор.— Ты все, все говори!

Она подробно рассказала о визите Брайцева, о двух посещениях Боткинской больницы и о встрече с «Рыбаком». Только о «Дяде», о котором писал Басов из больницы, не было сказано ни единого слова.

— Значит, вам было известно, чем промышляет Басов? — спросил Северцев.

— Я догадывалась,— тихо ответила Соня.

— Не морочь голову,— вмешался брат.— Разумеется, она знала, знала все, даже больше, чем ей полагалось знать!

— И, несмотря на это, вы продолжали встречаться?

— Ну и что же! — неожиданно вызывающе крикнула она.— Мне нравится этот мужик, понимаете, нравится! А, да мне наплевать, что вы обо мне думаете!

— А кто такой «Дядя»? — резко спросил Северцев.

И без того уже бледное ее лицо стало еще бледнее.

— Я спрашиваю вас: кто такой «Дядя», гражданка Хмелько?

— Я не знаю... Нет, что вы, я действительно не знаю, клянусь мамой.

— Кто же, в таком случае, находился у вас, когда пришел человек из больницы?

— Я,— вмешался брат.— Я даже требовал, чтобы она не впускала неизвестного человека, а потом запретил ей идти в больницу.

— Ты говоришь дикие вещи! — Она обернулась к нему.— Как я могла не пойти, если, если... А ну вас всех к черту! Оставьте меня!

— А за пистолетом к стадиону «Динамо» вы тоже не могли не пойти? — спросил Северцев.

— Ну казните, казните меня! — рыдая, закричала она.— Казните меня за то, что я баба!

— Держи себя в руках, истеричка! — закричал брат.

— Давайте разберемся спокойно,— предложил Северцев,— свои отношения вы выясните, когда я уйду. Так, значит, вы говорите, за пистолетом никто не приходил?

— Нет, почему, я этого не говорила,— все еще продолжая всхлипывать, возразила она.

Ее ответ поразил Северцева, как удар молнии.

16

— Позвольте, — нетерпеливо спросил Северцев,— но вы только что утверждали, что не знаете никакого «Дядю»?

— Нет. Не знаю.

— А кто же тогда приходил к вам?

— Какой-то молодой человек, я его видела впервые.

— Почему он не взял пистолета?

— Он осмотрел его, нашел какую-то неисправность и сказал, что «машинку лапали».

— Все?

— Все,— ответила она.

— Когда это было?

— Вчера. Около десяти утра.

— Он пришел тем же путем, что и я?

— Нет, через черный ход, который выходит в другой переулок.

О существовании второго входа Северцев слышал впервые. У него заломило в висках.

«Упустили, — подумал он, — по-глупому упустили».

Узнал Иван Ильич и еще одну деталь. Молодой человек тут же, в комнате Сони, написал какую-то телеграмму, но не отправил ее, а немного подумав, разорвал. Клочки бумаги он унес с собой.

— На чем он писал?

— Я дала ему старую тетрадь с конспектом. Ведь я же когда-то училась в энергетическом институте.

— Где эта тетрадь?

— Сейчас...— Она мучительно вспоминала.— Сейчас я соображу, куда ее сунула... Ах, вот она!

Северцев раскрыл тетрадь. Страниц пятнадцать были исписаны мелким торопливым почерком. Он прочитал несколько фраз. Это была лекция по сопромату. Следующий лист был выдран, и на сгибе сохранились клочки. Дальше... Северцев подошел к свету и поднял раскрытую тетрадь на уровень глаз...

В научно-техническом отделе страницу, сохранившую слабые следы букв, сфотографировали при скользящем свете. Фамилии адресата и полного текста восстановить не удалось, но отдельные слова все же проявились. Подставив недостающие буквы, Северцев прочитал: «...ника, дом 2, кв. 23... на карантине. Расскажу при встрече». Однако дело было даже не в содержании. Теперь полковник располагал почерком, а это при известных обстоятельствах позволяло надеяться, что по почерку может быть найден и сам преступник...

Кем был человек, пришедший за пистолетом? Кого он пытался предупредить телеграммой о том, что квартира Хмелько «на карантине»? На какой улице Москвы расположен дом № 2 с квартирой 23? Известно было лишь окончание названия улицы «...нка». Но в Москве много улиц с таким же окончанием. И на каждой из них есть дом № 2...

17

Продолжая искать следы «Волка», Северцев решил ознакомиться с томами старого уголовного дела, которое Брайцев извлек из архивов Мосгорсуда. Даже сам по себе заголовок на папках был ошеломляюще красноречив: «О хищении из... ского отделения Мосгорбанка 1 миллиона 800 тысяч рублей».

12 апреля 194* года, в три часа дня, Алексей Урганов вместе с двумя своими сообщниками, подъехав на машине к отделению Госбанка, расположенному на одной из центральных площадей Москвы, похитил оттуда 1 миллион 800 тысяч рублей.

Это был последний «подвиг» Урганова, за которым следовали побег из лагеря и гибель во время пурги.

Но Северцева заинтересовал более ранний период урганов ской

биографии. Одно из старых дел показалось Северцеву подозрительно знакомым.

Работая в одиночку, как-то в начале войны Урганов проник в квартиру подполковника, находящегося на дежурстве в Наркомате обороны. Неожиданно возвратился хозяин. Казалось, это уже был конец: подполковник имел при себе оружие. Но Урганов предъявил подполковнику фальшивое удостоверение оперуполномоченного НКВД и объяснил, что в квартире производится обыск. Затем он предложил сдать оружие.

— Где человек, с которым вы только что поднимались по лестнице?— спросил Урганов.

Подполковник опешил. Он не заметил никакого человека, так как шел один.

Приказав подполковнику не двигаться с места, Урганов крикнул кому-то, якобы находящемуся во внутренней комнате, что сейчас возвратится, и вышел из квартиры...

Это было давно. Но Северцев вспомнил обстоятельства недавней кражи, происшедшей на Новопесчаной улице и оставшейся нераскрытой.

Женщина, случайно вернувшись домой среди дня, застала в передней незнакомого мужчину.

— Не волнуйтесь!— предупредил он ее вопрос.— Вас пытались обокрасть, но преступникам, видимо, помешали. Уже приняты все меры. Я понятой. Прошу вас не делать ни единого шага. Сейчас возвратятся товарищи из милиции, которые пошли за служебной собакой.

Потом он попросил ее проследить, чтобы в комнаты не входили посторонние и не затоптали следов, и отправился выяснять причину задержки... Так из квартиры исчезли золотые часы, браслет, облигации и крупная сумма денег.

Две эти кражи, старая и новая, были схожи по приему, использованному преступником, которого застигли врасплох. А если к этому присовокупить загадочные обстоятельства исчезновения пистолета «ТТ», вдруг оказавшегося в Москве... Если вспомнить, что при ограблении банка Урганов пользовался машиной и теперь вновь шла охота за автомашинами... Если собрать воедино все эти разрозненные факты, возникал вопрос: действительно ли череп и кости, найденные в тундре весной, были Алексея Урганова?

Северцев принял решение: произвести эксгумацию трупа и доставить череп в Москву. На рассвете Брайцев вылетел в Н-ский лагерь.

...Неудача, которая постигла следствие с провалившейся засадой в доме Хмелько, неожиданно компенсировалась целой серией удивительных удач.

Графическая экспертиза установила, что автором телеграммы, написанной у Хмелько, возможно, является Федор Евгеньевич Волков, 1933 года рождения, приговоренный условно к году тюремного заключения за пьяный дебош в ресторане «Европа».

Волков —«Волк»? Это было более чем странно. Неужели столь зеленый юнец на самом деле руководил бандой?

С фотографии смотрела сальная физиономия с тоненькой черточкой усиков вдоль верхней губы. «Сморчок»,— подумал Северцев.

Накануне этого открытия в один из скупочных магазинов, куда был переслан список вещей, похищенных на квартире Лосева, вдруг поступило пальто, весьма подозрительное по своим приметам. Так как магазин уже закрывался, Северцев позвонил на службу Лосеву и договорился, что завтра с утра они вместе отправятся туда.

— Мое! — взглянув на пальто, воскликнул Лосев.— Проверьте: должна быть разорвана подкладка под левым рукавом!

В самом деле, подкладка под левым рукавом разошлась по шву.

Приемщик записал фамилию и адрес сдававшего пальто. Это был совершенно новый человек, еще неизвестный Северцеву,— студент четвертого курса Московского авиационного института Сергей Ямцов.

В дирекции института и в комитете ВЛКСМ Северцев получил исчерпывающие данные о Ямцове: персональный стипендиат, член студенческого научного общества, секретарь факультетского бюро комсомола.

Ямцова пригласили в директорский кабинет, и они остались с Северцевым вдвоем. Северцев спросил Ямцова, как к нему попало пальто.

История была такова. Старый школьный товарищ Федя Волков, с которым у Ямцова давно уже разошлись интересы, сохранил обыкновение изредка захаживать к нему. Как-то утром Волков, заскочив на минутку, попросил Ямцова одолжить ему полтораста рублей. «Только до завтра»,— клялся он. Лишних денег не было, предстояло еще тянуть до стипендии, и Ямцов отказал. Тем более, что Волков не имел обыкновения возвращать долги. Но Волков настаивал, уверял, что от этих ста пятидесяти рублей зависит вся его жизнь, все его будущее счастье,— ведь только на один день, ведь завтра... В обеспечение своего долга он оставил Ямцову пальто, «почти совсем не надеванное, понимаешь, до слез жаль тащить его в скупку». Однако вслед за завтра наступило послезавтра, прошло еще двадцать дней, а Волков не появлялся. На днях Ямцов встретил его, он деликатно намекнул о долге, тот отмахнулся: нашел, мол, о чем вспоминать. На том свете сочтемся. Но Ямцов предпочитал произвести расчеты еще на этом свете и, разозлившись, отнес в скупочный магазин оставленное Волковым пальто. Ему заплатили четыреста рублей. Он тут же пришел к Волкову, чтобы возвратить разницу. Узнав, что пальто сдано в скупку, Волков сначала струхнул, а потом набросился на Ямцова, обвиняя в том, что тот чуть ли не погубил его...

...Возвратившись к себе на Петровку, Северцев позвонил в таксомоторный парк и просил срочно разыскать Валежина. Из пяти фотографий, разложенных на столе, Валежин выбрал одну.

— Он, Иван Ильич. Тот самый — второй, худощавый.

Точно такая же операция фотографического опознания была проведена и со свидетелем Корневой. Становилось очевидным, что Федя Волков является участником бандитской группы, а может быть, и вожаком волчьей стаи.

Получив санкцию прокурора, Северцев вместе с Гринюком и Карпатовым выехал на квартиру Волкова, чтобы произвести арест.

Волкова дома не оказалось. Когда его мать узнала, что приехали арестовывать сына, с ней сделался сердечный приступ. Волков-старший, пытаясь успокоить жену, заявил, что, по всей вероятности, произошло досадное недоразумение. При этом он весьма недвусмысленно намекнул на некоего высокого начальника — своего институтского друга, который, без сомнения, пресечет произвол.

— Я готов дать руку на отсечение,— горячо уверял он,— что у моего сына забавы самого невинного порядка! Ну, съездит на охоту, выпьет слегка, иногда пошумит в ресторане... Я готов дать руку...

— Считайте, что вы уже без руки,— с грустью заметил Северцев.— Ваш сын попал в опасную компанию. И, возможно, в его же интересах сейчас изолировать его.

— Прекрасно!— ухватился за эту мысль Волков.— Я увезу его на два месяца в Сочи. В конце концов, мы можем отправить его к тетке в Краснодар.

— Поздно,— сказал Северцев.— Вы проглядели своего сына. Теперь уж его воспитанием придется заняться нам.

— Боже мой!— сокрушалась Волкова.— Мы же не отказывали ему ни в чем, мы же ни разу пальцем его не тронули!..

Северцев устал от этих сентенций, сопровождающихся всхлипываниями и заламыванием рук.

— Я должен буду произвести в его комнате обыск,— сказал он.

— Обыск?!— переспросил Волков. У него даже захватило дыхание от неожиданности.— Обыск в моей квартире! Да вы отдаете себе отчет в своих действиях?

— Вполне,— спокойно ответил Северцев и, обернувшись к Гринюку, приказал:— Пригласите, пожалуйста, понятых.

В письменном столе, перебирая ящик за ящиком, Северцев обнаружил богатую коллекцию всевозможных приспособлений и устройств, которыми развлекался юный Волков. Здесь был кастет, два внушительных наладонника, причем один замаскированный в виде часов, нож, вделанный в обыкновенную расческу, и даже музейный кистень, которому мог бы позавидовать сам Соловей-разбойник.

Но все это были мелочи, жалкие побрякушки по сравнению с тем, что увидел Карпатов, когда приподнял на кровати матрац. Аккуратно сложенные один к другому, лежали двенадцать инкассаторских мешков, стандартного размера и установленной формы. Это открытие стоило сотен других. Инкассаторские мешки! Так вот почему им нужна была машина, и не какая-нибудь, а именно такси! Так вот где была незримая нить, роднившая тень Урганова со всей этой разношерстной группой! Только на этот раз методика была упрощена: зачем подбирать ключи, взламывать запоры, вырезать окна в стальной броне несгораемых шкафов, если можно под вечер проехаться на такси по нескольким наиболее крупным магазинам и обрести сразу сотни тысяч рублей, пересчитанных и запечатанных в мешках.

А Волков-старший стоял в дверях белее ночной сорочки. Он уже не возмущался ничем и не грозил. Слишком уж ошеломляющим оказались для него и этот ночной обыск, и нож в виде невинной расчески, и, главное, инкассаторские мешки, мешки с торчащими веревочками для пломб и печатей.

И вдруг Волков вспомнил свою юность... Он был конником у Котовского, чуть не умер от тифа в двадцатом году, в двадцать пятом строил шахты в Донбассе, носил на плече рваный шрам — след кулацкой пули — память о коллективизации на Смоленщине. Всю свою жизнь, все силы свои он отдал тому, чтобы крепла, торжествовала его родная, его кровная Советская власть. И вот оказывается, что его сын Федор, Федечка, Федька, тот мальчик, которого он носил на руках, которому он покупал дорогие игрушки, в котором он не чаял душ, вырос и ходил теперь с наладонником и кастетом, складывал под своим матрацем инкассаторские мешки, чтобы грабить именно эту самую его родную, его кровную Советскую власть!

— Судите, сошлите его в тартарары!— говорил Волков, задыхаясь.— Чтобы он землю рыл, чтобы он камни на плечах таскал, чтобы он понял, подлец, почем в жизни фунт лиха!

— Опомнись, что ты говоришь, это же твой сын!— прошептала Волкова.

— Молчать!— крикнул он так, что зазвенел хрусталь.— Молчать!

Окончание следует.

ПО СЛЕДУ

Д. ХРАБРОВИЦКИЙ, В. ВЕДЕЕВ

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

...За окнами уже занимался рассвет. Федор Волков не возвращался.

— Где же ваш сын?— спросил Северцев.

— Не знаю,— растерянно прошептала Волкова.— Он должен был к обеду возвратиться с охоты. И, как видите, не пришел. Должно быть, опоздал на поезд и заявится утром. С ним это уже бывало.

Но Волков не появился и утром. Не было его и на другой день. Северцев снял засаду в квартире и объявил розыск. Во все концы страны спецсвязью полетели фотографии Волкова в фас, в профиль, во весь рост. Все было напрасно. Волков исчез.

На третьи сутки после той памятной ночи мать Волкова пришла на Петровку, слезно умоляя дать ей свидание с сыном или хотя бы разрешить передачу.

Напрасно Северцев уверял, что Федор сбежал,— она не верила.

— Вы должны понять меня,— говорила она, торопливо вытирая бегущие по дряблым щекам слезы,— я же мать!..

И она снова рассказывала:

— Накануне вечером зашел его друг Ямцов, они о чем-то резко поговорили, дверь была заперта, а я не имею обыкновения подслушивать разговоры сына. Но когда Ямцов ушел, я заметила, что Федор озабочен, он долго объяснялся с кем-то по телефону, я в это время как раз была на кухне и не слышала, о чем шла речь. Потом он вдруг внезапно собрался на охоту, надел свой охотничий костюм, взял у меня тридцать рублей на дорогу и сказал, что вернется завтра. Он даже просил, чтобы я приготовила на ужин его любимые сырники со сметаной. Но назавтра он не пришел. А вечером приехали вы, и произошла вся эта кошмарная сцена. Прошло уже столько дней, а мы в полном неведении о судьбе нашего сына. Где он? Вы-то, по крайней мере, должны знать?

— М-да,— задумчиво произнес Северцев,— к сожалению, и мы не знаем...

В этот день возвратился Брайцев. Он приехал усталый, обросший до самых глаз, но очень довольный результатами командировки. Брайцев привез череп, который отлично сохранился и был вполне пригодным для предстоящих исследований.

В старом деле имелись фотографии Урганова. С них сделали репродукции и получили негатив. Точно в том же ракурсе, в каком был заснят в свое время Урганов, сфотографировали череп. Теперь в отпечаток с первого негатива предстояло впечатать второй. Если череп действительно принадлежал человеку, запечатленному на фото, то в определенных местах ряд точек первого и второго снимков должны были абсолютно совпасть. Этот тип исследования носит в криминалистике наименование метода фотоаппликации.

Но как ни пытались совместить отпечатки с обоих негативов, критические точки упрямо отказывались совпадать.

Тогда Северцев решил прибегнуть еще к одному методу исследования. Он обратился к профессору Тарасову с просьбой восстановить портрет по черепу.

По мере того, как подвигалась вперед работа Тарасова, оставалось все меньше и меньше сомнений в том, что Урганов жив. Искусный мастер воссоздал скульптурный портрет человека монгольского типа с резко выдающимися скулами и узкой прорезью глаз.

Нет, можно было с уверенностью сказать, что это кто угодно, но только не Урганов. Однако, чтобы уничтожить последнюю тень сомнений, Иван Ильич, связавшись с Архангельским областным управлением МВД, просил выяснить по архивным данным, не исчезал ли в известный период какой-нибудь человек, живший в районе Н-ского лагеря? Спустя сутки пришел положительный ответ. Среди старых, нераскрытых дел фигурировало заявление местной жительницы ненки Угарэ о том, что ее муж, отправившийся в тундру проверять капканы, пропал без вести. По телефону Северцев срочно запросил фотографию охотника. Пакет доставили в Москву с очередным рейсовым самолетом.

Взглянув на фотографию, Северцев понял, что нет даже необходимости в фотоаппликации: перед ним был человек, которого воспроизвел в своей скульптуре Тарасов. Значит, сам Урганов жив, а за него приняли охотника, убитого Урганом.

18

Прошло две недели со дня исчезновения Волкова, когда Северцеву сообщили, что на имя Багрова поступил перевод в сумме тридцати семи рублей. До сих пор Багров не получал даже писем. Никто не приходил справляться о нем, никто не приносил передачи. И вдруг денежный перевод. Тридцать семь рублей,— эта сумма насторожила Северцева. Почему именно тридцать семь, а не тридцать пять или, скажем, сорок? Что означало это число? Но как он ни ломал себе голову, догадаться не смог.

Самым простым выходом было бы задержать деньги и не сообщать о них заключенному. Но Северцев поступил иначе. Он решился на риск, рассчитывая в ходе допроса раскусить этот орешек. Северцев отлично понимал степень своего риска: в случае неудачи он как бы становился посредником между Багровым и тем, кто в данный момент счел необходимым подать сигнал по условленному коду. Возможно, это был Волков или сам Урганов.

Итак, Иван Ильич пригласил на допрос Багрова. Это уже был далеко не тот лощеный хлыщ из модного ресторана, заезжающий туда на часок, чтобы послушать цыган.

Багров ерзал на стуле, поминутно оглядываясь по сторонам, и никак не мог пристроить свои длинные руки. Он нервничал, положительно нервничал, и Северцев с удовольствием отметил это.

— Я пригласил вас, Багров, отнюдь не для того, чтобы еще раз насладиться вашим искусством играть в молчанку.— Северцев был весел и даже немного насмешлив.— Вам пришел перевод, и вы можете получить деньги.

Багров промолчал.

— Вы ожидали их?— спросил Северцев.— Ну, отвечайте что-нибудь, это же не входит в круг вопросов, которые у вас принято обходить молчанием.

— Допустим, ожидал,— нехотя ответил Багров.

— Допустим,— в тон ему произнес Северцев.— А можно ли узнать, от кого?

— От приятеля. Фамилия не имеет значения.

— Разумеется,—согласился полковник.— Он что, возвратил вам долг?

— Именно,— подтвердил Багров, мучительно пытаясь понять, чего от него добивается Северцев.

— Сколько вы рассчитывали получить?

— Давайте кончим,— сказал Багров, которому становилось не по себе от издевательского тона Северцева.— Там пятьдесят рублей. Я знаю.

«Пятьдесят,— мелькнуло у Северцева.— Значит, иная цифра застигнет его врасплох». И он пошел ва-банк.

— Должен разочаровать вас, здесь только тридцать семь рублей.

Он с удивлением наблюдал, как расширяются зрачки у Багрова.

— Не хватает тринадцати? Ох, уж эта мне цифра тринадцать! Чертова дюжина — неприятное число!

— Откуда вы взяли цифру тринадцать? — упавшим голосом спросил Багров.

— Простая арифметика: пятьдесят отнять тридцать семь равняется тринадцати. Пример из учебника для второго класса.

— Липа! — сверкнул глазами Багров.

Игра была проиграна. Багров понимал это.

— Прикажите проводить меня в камеру,— мрачно сказал он.

— А как же быть с переводом? Не стесняйтесь, берите его, на худой конец тридцать семь рублей — тоже деньги.— И Северцев протянул почтовый бланк.

— Грубая работа,— возвращая бланк, заметил Багров.

— Ну уж это вы бросьте, — совершенно серьезно сказал Северцев. — Мы не подделываем документов.

— Разрешите мне отдохнуть часок в камере

— А что произойдет через час?

— Через час я начну давать показания.

— Так я и думал,— с удовлетворением произнес Северцев.

...Допросы шли параллельно. Одних допрашивал Иван Ильич, других — Сергей Васильевич. Арестованных сводили со свидетелями, устраивали им перекрестные допросы, вывозили на места преступлений, делали очные ставки Произошло удивительное превращение: они были разговорчивыми, как никогда. Но Северцев почему-то не торжествовал. Его тревожило одно обстоятельство, которое на первый взгляд могло показаться естественным: все, абсолютно все, коллективно валили на Волкова. Багров показал, что Волков был организатором и главарем банды, Волков предлагал дела и основной куш получал тот же Волков.

Банда занималась исключительно грабежами такси и лишь изредка квартирными кражами. Ни о каких иных, более крупных делах не могло быть и речи. Это подтверждалось вещественными доказательствами и ходом всего предыдущего следствия. Но в стройной, логически обоснованной версии не оставалось места для двух кирпичей: инкассаторских мешков и убийства Коваленко.

И, делясь своими мыслями с Брайцевым, Иван Ильич высказал твердое убеждение в том, что вся эта внезапная откровенность была продиктована сигналом извне и преследовала одну только цель: выдвинуть на первый план второстепенного Волкова, чтобы прикрыть его фигурой истинного главаря — Алексея Урганова. Нет, Северцев был бы слишком наивен, если б поверил в то, что зеленый юнец Волков мог направлять действия Багрова или Басова. Продолжалась все та же игра, только на этот раз она приняла новые формы. Теперь Северцеву недоставало лишь Волкова, чтобы расставить все по своим местам.

...К концу третьей недели со

Окончание. См. «Огонек» №№ 40, 41, 42, 43.

дня исчезновения Волкова стало известно, что он найден убитым и находится в Лефортовском морге. Следователь одного из подмосковных райотделов милиции, передавший это известие, не без гордости сообщил, что убийца им найден и заключен под стражу. Разговор был не для телефона, и, прервав на время допросы, Северцев выехал в подмосковный район.

В маленьком городке, окруженном церквами, он провел целый день. В первую очередь его интересовала личность убийцы, который оказался местным лесником. Уже сам по себе этот факт вызвал серьезные сомнения у Северцева. Зная весь ход предыдущих событий, Северцев почти не сомневался, что убил Волкова вовсе не лесник. Знакомство с материалами предварительного следствия еще более упрочило эту уверенность, и Северцев поразился шаткости объективных данных, на основе которых был арестован мнимый убийца. Труп обнаружили пионеры, совершавшие поход по изучению родного края. Вернее, они обнаружили даже не труп, а поросль годовалых елочек, увядших без всякой заметной причины. Заинтересовавшись болезнью елочного семейства, ребята убедились, что это только еловые ветви, срубленные топором. Разметав прелые листья, путешественники увидели сжатую в кулак руку человека.

Сотрудники местного отдела милиции, производившие расследование, обнаружили на трупе две ножевые раны, расположенные одна над другою, несколько ниже левого соска. Труп был найден недалеко от лесной сторожки, поэтому первым, на кого пало подозрение, оказался лесник. Потребовались улики. Эти улики «нашлись». Характер срубов на еловых ветках показывал, что они сделаны топором, изъятым у лесника. Но тот и не отрицал этого факта, заявив, что к нему действительно заходили два незнакомых охотника и попросили одолжить им топор на случай, если придется разжечь костер. В залог они оставили тридцатку. Вечером один из охотников принес топор и сказал, что товарищ ждет его на дороге.

Кроме этой главной улики, была еще одна. Производя обыск в лесной сторожке, следователь нашел охотничий нож. Когда была снята деревянная ручка, внутри обнаружили обильные сгустки уже засохшей крови. И хотя лесник божился, что этим ножом он колол кабанчика под пасху, следователь не принял во внимание столь важное заявление.

Он был молод, самонадеян и честолюбив. Ухватившись за первое в своей практике крупное дело, он рассчитывал благодаря своей проницательности (ею еще восхищались девушки в институте) и ловко поставленным вопросам добиться исчерпывающих показаний у лесника. Поэтому он начал прямо с ареста, поэтому он прислушивался лишь к собственному голосу, стараясь подчинить факты своей версии.

Северцев, захватив нож и ручку со сгустками крови, возвратился в Москву. Исследования показали, что кровь, обнаруженная в ручке ножа, оказалась свиной. К этому уже нечего было добавить.

...Лесник, приехавший в Москву по вызову Северцева, взглянув на фотографию Урганова, узнал в нем охотника, который возвратился без товарища и принес в сторожку взятый топор.

19

В кармане охотничьей куртки Волкова Брайцев нашел два троллейбусных билета. Сотрудники Управления троллейбусного транспорта по номерам установили дату продажи — месяц, число и даже час, а также маршрут троллейбуса и примерную остановку, на которой сели пассажиры.

Число совпадало с днем выезда Волкова на охоту. Маршрут троллейбуса был четвертым. Примерная остановка — район Якиманки. Сопоставив эти данные с окончанием названия улицы, которая фигурировала в неотправленной телеграмме Волкова — «...нка», Северцев пришел к выводу, что встреча между Волковым и Урановым состоялась где-то недалеко от квартиры последнего. Однако в доме 2 по Якиманке никаких жильцов, похожих на Урганова, не оказалось. Тогда Северцев собрал у себя группу участковых из отделений милиции, расположенных в этом районе. Введя их в курс дела, чтобы они прониклись всей важностью предстоящей задачи, Северцев роздал участковым по экземпляру фотографий Урганова. От участковых требовалось только одно: сегодня же осторожно проверить подведомственные дома и в случае малейшего подозрения немедленно сигнализировать Северцеву.

Участковому уполномоченному Карпову лицо Урганова показалось знакомым. «Уж не тот ли это жилец пенсионерки Авдеевой, которого я чуть было не оштрафовал за проживание без прописки?» — подумал Карпов.

На обратном пути он мучительно вспоминал фамилию жильца — не то Посенцов, не то Поченцов, но уж, конечно, не Урганов...

Приехав в отделение, Карпов первым делом зашел в паспортный стол и, рассказав по величайшему секрету девушке-паспортистке то, что он слышал у Северцева, попросил ее помочь уточнить фамилию. Фамилия оказалась не Посенцов и не Поченцов, а Почепцов Евсей Матвеевич, уроженец Ростова-на-Дону, прописанный в Москве временно.

Ангелину Леонтьевну Авдееву он застал на кухне, где она жарила для своего жильца яичницу с луком. Карпов справился о здоровье, расспросил про житье-бытье и, решив, что предварительной подготовки достаточно, перевел разговор на главное.

— А что,— насторожилась Авдеева,— он у меня прописан! Еще с двадцать пятого февраля.

— Да не про то я,— таинственно зашептал Карпов.— Как он у вас тут, не выпивает? Не шумит?

— С чего вы взяли? — поразилась Авдеева.— Разве поступало какое-нибудь заявление?

— Заявлений не поступало, но...— Карпов оглянулся по сторонам и, удостоверившись, что вокруг нет никого, достал фотографию Урганова: — Он?

— Он,— подтвердила Авдеева.— А что стряслось-то?

— Ничего,— успокоил Карпов и, чтобы перевести разговор на другую тему, спросил, кивнув на уже начавшую подгорать яичницу.— Ужинать, значит, собираетесь?

— Нет,— возразила Авдеева,— это как раз ему.

— Ну, ну,— промычал Карпов,— стало быть, приятного аппетита! — Он еще раз оглянулся вокруг и строго предупредил: — Только об этом разговоре ни-ни! Под вашу личную ответственность! Твердо?

Но, очевидно, Авдеева недостаточно твердо уяснила себе, в чем должна состоять ее личная ответственность, потому что, когда через сорок минут, окружив дом на Малой Полянке, Северцев вошел в квартиру Авдеевой, комната, занимаемая ее жильцом, оказалась пустой. По свидетельству Авдеевой, жилец собрался за четверть часа, позвонил по телефону в справочную какого-то вокзала и, сказав, что отбывает на несколько дней, исчез. Все это произошло мгновенно, после того, как она передала ему содержание своего разговора с участковым уполномоченным.

К великому счастью Карпова, его в этот момент не оказалось поблизости, ибо Северцев был почти невменяем. Ему хотелось биться головою об стену от ярости на сверхъестественную глупость участкового Карпова, который своей медвежьей услужливостью погубил все.

Приступили к обыску. Пока Брайцев с Карпатовым перебирали по одной вещичке нехитрый гардероб Урганова, Северцев широкими шагами расхаживал по комнате, прикуривая одну папиросу от другой.

Искали адреса, письма, хотя бы конверт, один из тех, в которых, по словам Авдеевой, аккуратно получал письма Евсей Матвеевич.

Но ни писем, ни конвертов не было. Гася папиросу о чугунную пепельницу, стоящую на причудливом ломберном столике, Северцев обратил внимание на пресспапье. Вместо ручки на посеребренной пластинке возлежала дева с распущенными волосами и русалочьим хвостом. Поднеся к свету эту вещичку, Северцев случайно повернул ее промокашкою вверх и вздрогнул от неожиданности. На промокашке отпечаталась часть адреса — улица и номер дома. Приставив к ней зеркальце, Северцев прочитал: «...Низами, дом 18, кв. 23, Шахсейнову».

20

Ночью были наведены необходимые справки. В девятнадцати городах Закавказья и Средней Азии имелись улицы и переулки, носившие имя Низами. В четырнадцати городах на улицах Низами стояло по дому с номером 18. Но только один дом номер 18 имел тридцать квартир. И только в одном этом доме проживал гражданин, носящий фамилию Шахсейнов. Улица Низами с тридцатиквартирным домом находилась в Ташкенте.

Значит, скорее всего Урганов мог податься туда. Был и еще один географический пункт, где в 1953 году паспортный стол 3-го отделения милиции выдал паспорт Евсею Матвеевичу Почепцову. Кто такой Почепцов?

Начальника паспортного стола города Ростова подняли ночью с постели. Брайцев по телефону объявил ему, что дело не терпит ни часа. Он и слушать не желал мольбы ростовчанина повременить хотя бы до десяти часов утра.

В половине третьего ночи Ростов передал по телефону следующую справку: Евсей Матвеевич

Почепцов с марта 1954 года покоится на Братском кладбище. Паспорт был похищен или куплен — неизвестно.

...Между Москвой и Ташкентом курсируют два поезда: четырнадцатый — скорый и пассажирский — пятьдесят шестой. Скорый отпал: он отправлялся в 19.20, а Урганов вышел из дома около девяти. Значит, скорее всего он уехал пятьдесят шестым, отходящим с Казанского вокзала в 22 ровно.

Поезд находится в пути сто шесть часов и двадцать пять минут. Он прибывает в Ташкент на пятые сутки. Итак, для полного отчаяния пока не было оснований — Урганова еще можно догнать.

Эту ночь Северцев и Брайцев провели в угрозыске. На рассвете уже был составлен конкретный план действий. В четыре часа утра вместе с Гринюком и Карпатовым они были во Внукове.

Северцев вылетел в Ташкент. На всякий случай он решил ожидать Урганова в доме 18 по улице Низами. Гринюк и Карпатов должны были лететь до Илецка и там на вокзале снять Урганова с поезда. Самая ответственная миссия выпала на долю Брайцева, которому предстояло сесть в поезд в Куйбышеве, найти Урганова и не спускать с него глаз до Илецка.

Брайцев прибыл в Куйбышев за два часа до прихода поезда. Он спокойно добрался с аэродрома, успел перекусить в вокзальном ресторане и даже побриться. Поезд опаздывал на двенадцать минут. По этому случаю была сокращена стоянка, и в тринадцать десять состав плавно отошел от платформы, продолжая свой путь на Ташкент.

Брайцев медленно двигался по ходу поезда, переходя из вагона в вагон и всматриваясь в лица пассажиров. Он дошел до конца, вернулся и снова проделал тот же путь. Урганова в поезде не было. Брайцев решил еще раз проверить себя. С фотографией в руках он стал обходить проводников, допытываясь у них, не ви-

дели ли они такого пассажира. Проводник третьего вагона ответил утвердительно. Пассажир сел в Москве, билет у него был до Ташкента, он взял постель и расположился на отдых, но, не доезжая Сызрани, попросил свой билет обратно, объяснив, что решил сделать остановку. Пассажир сошел в Сызрани, вот почему проводник запомнил его.

...Поезд подходил к станции. Брайцев спрыгнул на платформу и побежал к расписанию. Встречный должен быть не раньше, чем через четыре часа. Нет, положительно на каждом шагу подстерегала какая-нибудь неудача! За неимением иного выхода Брайцев решил ждать.

Он возвратился в Куйбышев уже под вечер и, прямо с вокзала позвонив в областное управление МВД, вызвал дежурную машину.

Шофером попался бывший танкист, обожавший быструю езду, «что-нибудь эдакое, ну, понимаете, чтобы душа холодела». Через полтора часа они оказались в Сызрани.

Избрав уже однажды оправдавший себя способ, Брайцев подошел к окошечку кассирши и, представившись, показал ей фотографию Урганова.

— Был такой гражданин. Я продала ему мягкий билет до Ростова. Поезд ушел полчаса назад. Если достанете машину, вы сможете нагнать его в Поворине.

Был известен номер вагона и можно было дать телефонограмму по линии, чтобы в Поворине или даже в Балашове к поезду выслали наряд, но Брайцев не рискнул передавать Урганова в незнакомые руки и выехал на машине сам.

В Балашове они поезда не догнали: слишком уж разбитыми были проселочные дороги.

На перрон Поворинского вокзала Брайцев влетел вместе с паровозным гудком. Поезд уже тронулся. Махнув рукой на прощанье шоферу, Брайцев прыгнул в ближайший вагон.

Он постоял в тамбуре, отдышался и, переложив пистолет в наружный карман пиджака, двинулся через весь состав навстречу Урганову.

Колеса стучали на стыках, вагоны едва ощутимо раскачивало из стороны в сторону. Быстро спускалась черная южная ночь с немыслимо высоким куполом неба, усыпанным мириадами звезд. Пролетали за окнами телеграфные столбы, деревья и станционные будки. Бесконечно разворачиваясь фантастическим веером, плыла пахучая и прохладная степь.

Он справился у проводника мягкого вагона о пассажирах второго купе. В купе было трое: дама с девочкой пяти лет и мужчина, ехавший от Сызрани.

Брайцев прошелся по узкому коридору и остановился у окна, неподалеку от второго купе. Дверь была приоткрыта. Устроившись у матери на коленях, девочка ела дыню. Сок стекал по подбородку и капал прямо на платье.

Сделав еще несколько шагов, Брайцев обернулся и тут же почувствовал, как кровь застучала в висках.

Закинув ногу на ногу, на диване сидел Урганов. Он был в легкой рубашке-тенниске и в габардиновых брюках, сужающихся книзу. Точно такой же пиджак висел на крючке у окна. Широкое белое запястье облегал массивный золотой браслет часов. Темные волосы были небрежно зачесаны назад, и одна прядь, спадавшая на лоб, завивалась колечками.

«В купе брать нельзя,— решил Брайцев,— мешают женщина и ребенок». Он понимал, что не имеет права подвергать риску их жизнь. О собственном риске Брайцев не подумал.

Возвратившись в противоположный конец вагона, он передал проводнику текст телеграммы на ближайшую станцию, чтобы к поезду был выслан наряд, и договорился, что в случае необходимости займет служебное купе. Потом, выбрав себе наблюдательный пункт в коридоре, Брайцев стал ждать. Он не сомневался, что рано или поздно кто-нибудь из пассажиров второго купе выйдет в туалетную. Если мать с дочерью,—он возьмет Урганова прямо в купе, если Урганов,—все произойдет здесь. Но там или здесь это должно произойти. Неизбежно.

Вышли мать с дочерью. Он дождался, пока они минуют его и достигнут конца коридора. Пора! Брайцев неслышно подошел к двери и откатил ее прочь.

— Не двигаться!

Урганов рванулся к пиджаку...

— Руки! — угрожающе предупредил Брайцев.— Руки на колени. Одно самовольное движение, и я спущу курок, Урганов.

Урганов с ужасом смотрел на него. На лбу его мелкими капельками выступил пот.

Нужно было спешить. С минуты на минуту могли возвратиться мать с дочерью.

— Встаньте,— приказал Брайцев.

Урганов подчинился. Держа наготове пистолет, Брайцев свободной рукой ощупал Урганова и извлек из заднего кармана брюк «Вальтер». Потом, пятясь, он вышел в коридор и, придерживая на всякий случай дверь, чтобы Урганов вдруг не захлопнул ее, пригласил его выйти.

— Вещи брать нужно? — спросил Урганов.

— Вещи останутся здесь.

— А пиджак?

— И пиджак тоже. Выходите.

Он пропустил его вперед.

И в этот момент Урганов побежал. Просто побежал, как бегают мальчишки, играющие в «догонялки». Брайцев обомлел от такой наглости.

В тамбуре промелькнула его тень, и тотчас же шелковые занавески надулись от порыва встречного ветра. Глухо хлопнула дверь.

— Спрыгнул! — вырвалось у Брайцева.

Поезд миновал подъем, с каждой секундой убыстряя ход.

Брайцев сорвал «стоп-кран» и открыл двери.

...Над головой висело иссиня-черное небо... На горизонте в степи полыхал огонек костра, и на этот огонек бежал Урганов.

— Стой! — крикнул Брайцев, но тот даже не обернулся. Спустив предохранитель, Брайцев стал целиться.

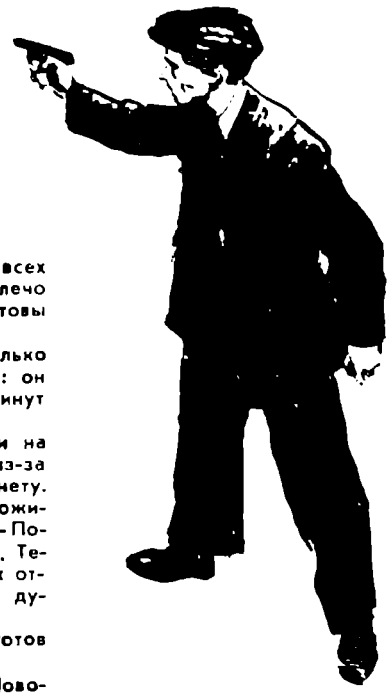
Он видел впереди спину бегущего. Это был не человек, это был волк, хищник, уходящий в степь, чтобы вновь убивать, грабить, собирать себе новую стаю.

Брайцев нажал на спуск и патрон за патроном выпустил всю обойму.

...Когда он подошел к нему, Урганов лежал на траве. Левая рука была закинута за спину. Он был мертв...

21

Спустя сутки после гибели Урганова Северцев возвратился в Москву. Пора уже было заканчивать дело, и, решив поставить последнюю точку, Иван Ильич вызвал в свой кабинет всех участников «волчьей стаи». Они сидели полукругом на табуретах, сложив руки на коленях,— шесть человек: Николай Багров, Дмитрий Басов, трое, арестованные на Можайском шоссе, и, наконец, Михаил Косов — «Рыбак». Ни разу еще не собирали их всех вместе, и теперь, чувствуя плечо друг друга, они, казалось, готовы были дать Северцеву бой.



Однако Северцева нисколько не беспокоила их решимость: он знал, что через несколько минут она сменится отчаянием.

Шесть пар глаз смотрели на него выжидающе. Он встал из-за стола и прошелся по кабинету.

— Ну, что ж,— вдруг неожиданно громко сказал он.— Пора и честь знать. Дело ясное. Теперь уже ни в чьих интересах оттягивать развязку. А вы как думаете на сей счет?

Ему не ответили. Он был готов к этому.

— Позавчера в степи под Поворином при попытке к бегству был убит Урганов,— медленно произнес Северцев.— Никто из вас не может опасаться его мести. Нет, нет, я не ввожу вас в заблуждение. Убедитесь сами — этот снимок сделан позавчера на рассвете. Вот он, ваш главный волк. Узнаете?

И Северцев пустил по рукам фотографию, сделанную в степи.

Никакого чуда не произошло. Люди, подобные Багрову и Басову, умеют скрывать свои чувства. Но от опытного взгляда Северцева не ускользнуло, что они были рады такой развязке.

Даже в глазах угрюмого Багрова промелькнула веселая искорка.

— Так что же, будем кончать? — дав им собраться с мыслями, поинтересовался Северцев.

Они переглянулись. Басов усиленно мял кепку, лежащую у него на коленях. Было душно. Игра в молчанку продолжалась. Наконец Басов откашлялся и, ударив об пол кепкой, сказал:

— Этого гражданина, который снят на карточке, мы не знаем. И, вообще, когда заговорит моя кепка, заговорю и я.

Эта фраза, явно рассчитанная на то, чтобы поднять боевой дух остальных подследственных, не имела успеха. Судя по выражению лиц, мелькнувшая было надежда на то, что сегодня можно будет уже рассказать все и избавиться наконец от гнетущего чувства неизвестности, вновь сменилась разочарованием. Басов, очевидно, решивший принять на себя роль главного в банде, приказывал молчать. Но оставался еще Багров, которому, повидимому, не понравилось ни заявление Басова, ни его самовольный захват власти в шайке.

Внимательно наблюдая за состоянием подследственных, Северцев уловил этот тонкий нюанс, это молчаливое начало раскола.

— Насчет кепки уже было, Басов,— сказал Северцев,— и психа из себя тоже уже разыгрывали и пробовали многое другое.— Он сделал паузу и закурил.— Мне казалось, что теперь в ваших же интересах побыстрее закончить следствие. Так или иначе, все вы будете осуждены. Мы располагаем достаточным количеством объективных фактов, показаниями свидетелей, прямыми и косвенными вещественными доказательствами. В основном дело ясное. Скажу прямо, есть несколько туманных моментов. О сути их мы догадываемся. И если вы сами отказываетесь дать показания по этим второстепенным моментам, мы докопаемся и без вас. Но этот труд оттянет окончание следствия еще на месяц, а может быть, и на два. Не думаю, что вас увлекает перспектива провести два лишних месяца в следственной тюрьме. Итак, сами решайте, как дальше вести себя. Можете даже обменяться мнениями друг с другом,— я разрешаю. Не стану скрывать от вас: ни сегодняшнее признание, ни дальнейшее молчание уже никак не могут повлиять на существо дела. Речь идет о времени и только о времени,— и Северцев вышел из кабинета.

Он возвратился лишь через пятнадцать минут. Повидимому, между присутствующими что-то произошло. Басов, сидевший прежде рядом с Багровым, находился теперь на крайней табуретке. Отвернувшись к стене, он отирал с рассеченной губы кровь. Но решение уже было принято. Об этом Северцев догадался сразу.

— С чего ж мы начнем? — спросил он.

— Следствию видней,— ответил Багров.

— Опять все будем валить на Волкова? — съязвил Северцев.

— Давайте говорить серьезно,— предложил Багров.— Самим надоело Ваньку валять. Скорей бы уж кончить.

— Что же, — согласился Северцев, — наконец наши интересы сходятся. — Он положил перед собой чистый бланк протокола, приготовившись писать. — Что означала цифра «13»?

— Было два условных числа — «50» и «13», — медленно подбирая слова, давал показания Багров. — Число «50» означало: «Дела идут нормально. Продолжайте молчать». Число «13» имело совсем иной смысл: «Временно исчезаю. Валите все на Волкова и таким образом по силе возможности выгораживайте себя».

— Значит, получив перевод, вы уже знали, что Волков убит? — уточнил Северцев.

— Разумеется, — ответил Багров, — рано или поздно с ним это должно было случиться.

— Почему? — удивился Северцев.

— Видите ли... — Багров замялся. — Для каждого солидного дела, вроде нашего, непременно нужен один подставной человек. Урганов долго искал такого маменькиного сынка и наконец нашел его на улице Горького. Их всегда можно встретить там — искателей приключений и даровых денег, сопляков в узеньких брюках.

— Для чего Урганову понадобился Волков?

— А для чего откармливают поросят? Чтобы потом была ветчина и холодец из свиных ножек. Мы ведь задумывали большое дело. Нужно было, чтобы вы напали на ложный след, — я имею в виду Волкова. А к тому времени, когда Волкова вам удалось бы обнаружить, он был бы уже трупом. Кстати, вы обратили внимание, что кличка «Волк» созвучна с фамилией Волкова? Урганов сделал это специально, а Волков видел в этом проявление дружбы, — он надеялся со временем стать преемником Урганова в банде.

— А под кличкой «Дядя» тоже имелся в виду Урганов?

— Да.

Все время, пока говорил Багров, Басов ерзал на табуретке, бросая в его сторону свирепые взгляды. Он оказался в одиночестве и, сознавая всю невыгодность своего положения, мучительно искал случая, как бы вклиниться в общий разговор. Он несколько раз безуспешно пытался вставить свою реплику, но Северцев умышленно делал вид, что не замечает его усилий. И теперь, когда Багров, полный готовности дать исчерпывающий ответ на любой вопрос следователя, уже окончательно захватывал в свои руки инициативу, Басов взорвался.

— Ты что же, за всех решил говорить, — двинулся он на Багрова, — чистосердечным признанием хочешь показать свое раскаяние? Чистеньким хочешь выглядеть? — Он был в ярости; казалось, еще секунда — и Басов бросится на Багрова. Тот же привстал, и мертвенная бледность выдавала его волнение.

— Сидеть! — приказал Северцев.

— Виноват, гражданин начальник, — переводя дыхание, сказал Басов. — Спрашивайте, какие есть вопросы.

— Кто и почему убил Виктора Коваленко? Зачем понадобилась эта комедия с отпечатками пальцев на стекле? Какую вы преследовали цель, подсунув нам Коваленко, который кое-что знал о вашей банде и не был заинтересован в том, чтобы скрывать от следствия правду? — Северцев задавал вопрос за вопросом. Они внимательно слушали его, вдумываясь в каждое слово. Полковник отметил для себя нечто новое, появившееся в их поведении, — собачью угодливость во взглядах и стремление опередить своими ответами каждый его вопрос.

На этот раз Басов не дал говорить Багрову, уже открывшему было рот. Он стал отвечать сам:

— Бывают такие люди, — сказал Басов, — которые считают себя умнее других. Они выпендриваются изо всех сил, чтобы про них сказали: «Ах, какой молодец этот парень!» У каждого хозяина есть свой любимый холуй. У нашего хозяина таким холуем был Багров. Но есть пословица: «Заставь дурака богу молиться — он и лоб расшибет». В точности так получилось и с Колей Багровым.

Басов рассказал о том, что по заданию Урганова Багров сделал последнюю попытку вовлечь Коваленко в их банду. Разговор шел в пивной на Шарикоподшипниковской улице. Но Багров перестарался. Трюк с отпечатками пальцев на настольном стекле он осуществил по собственной инициативе. После неудавшегося покушения в Загорянке, стремясь заслужить одобрение Волка, Багров решил сделать больше, чем ему было приказано, и подбросил осколок стекла в машину, оставленную на Хорошевском шоссе. В восторге от своей находчивости, он доложил обо всем Урганову. Но тот жестоко избил его. Исправляя свою ошибку, Николай Багров узнал через брата Марии Гонтарь, что в соседней с Гонтарем камере сидит Коваленко. Бирюк дал знать Гонтарю о том, что Коваленко выходит на свободу, следовательно, он «раскололся» на следствии. Гонтарь сообщил об этом в иносказательной форме сестре, которая получала от него записки. Та тотчас же передала это Николаю Багрову. Взвесив все «за» и «против», Урганов решил убрать Коваленко и взялся осуществить это убийство сам. Они следили за домом Коваленко, потом за ним самим, и, когда он возвращался в электричке от знакомой девушки, Урганов вызвал его в тамбур и, выбрав удобный момент, сбросил под колеса.

— Ясно, — сказал Северцев. — Последний вопрос. Что должно было произойти пятнадцатого?

Ответа не последовало. Багров сделал такое лицо, словно не понимал, чего от него добивается следователь, о каком еще пятнадцатом числе идет речь.

— Я помогу вам вспомнить, — сказал Северцев. — Вы охотились исключительно за такси — это первое. Второе — под матрацем у Федора Волкова было найдено двенадцать инкассаторских мешков. Теперь, если вспомнить, что инкассаторы объезжают магазины именно в такси, присовокупить к этому найденные у Волкова пустые инкассаторские мешки, которые оставляются в магазинах взамен получаемых, и вспомнить, что пятнадцатого как раз суббота, когда, учитывая дачный сезон, в продовольственных магазинах особенно большая выручка... Нетрудно догадаться, каков дело вы собирались осуществить пятнадцатого числа. Но мне хочется услышать это из ваших уст.

Северцев знал все. Дальнейшее запирательство было лишено смысла.

— Прошу отразить это в протоколе, — с какой-то дерзкой веселостью произнес Багров, — прошу отразить, что я, а не кто иной, дал показания по настоящему пункту. Надеюсь, вы оцените всю важность того, о чем я сейчас расскажу.

Да, действительно, «грандиозное дело», замысел о котором вынашивался Урганом еще в лагере, было операцией изъятия выручки из магазинов под видом представителей Мосгорбанка. Урганов оставался верен себе: он упрямо продолжал свою линию, начатую им еще давным-давно. Операция была продумана до мельчайших деталей и подготовлена с глубоким знанием инкассаторского дела. Урганов рассчитывал захватить не менее полутора — двух миллионов. И вполне возможно, что расчеты его могли оправдаться, если бы не сотрудники Московского уголовного розыска, которые своевременно напали на след и разгромили ургановскую банду.

Багров рассказал все. Это было последней каплей, переполнившей чашу. Друзья его окончательно поняли, что банда потерпела полный провал, они уже никогда не сойдутся вместе.

Заговорили все вместе, топя и перебивая друг друга. Каждый из них старался выгородить себя, любыми усилиями, не останавливаясь перед прямым предательством своих вчерашних товарищей. Полнота! О каком товариществе могла идти речь! Они были те же самые волки, освободившиеся вдруг от ужаса перед всемогуществом своего вожака, от круговой поруки, связывавшей им языки и сковывавшей их инициативу. Банда больше не существовала, а следовательно, не существовало ее неписаных законов, основанных на слепом повиновении до конца, под страхом кровавой, бесчеловечной расправы. Теперь уже ничто не тяготело над ними. Они откровенно спасали собственные шкуры, мелочно торгуясь друг с другом, на чью долю приходится большая степень вины.

Вот, собственно, и все. Северцев поставил последнюю точку и аккуратно подшил последний листок протокола к последнему тому дела о банде Урганова.

Иван Ильич вызвал конвой и отправил арестованных обратно в камеры. Можно было хоть сейчас садиться за составление обвинительного заключения. Северцев решил отложить это на следующий день. Чувство огромного облегчения наполнило его душу: как и в любом деле, в профессии следователя успешный конец неизменно радостен.

...Был жаркий летний полдень. Ивану Ильичу вдруг неотвратимо захотелось выйти на улицу, побродить, подумать наедине с собой.

Он шел по старой, знакомой Петровке. Рабочие на стройке клали кирпичи, возводя очередной этаж будущего дома. Дети возле «Эрмитажа» бегали вперегонки. Автобус с туристами медленно двигался по направлению к центру. И никто не обратил особого внимания на невысокого человека в полковничьих погонах и синей милицейской форме. Он был одним из миллионов советских людей и, подобно миллионам, скромно и самоотверженно делал свое большое и очень нужное дело...

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА

КРАЖА В ВАГОНЕ 22 АВГУСТА 1961 ГОДА

Скорый поезд Сухуми — Ленинград опаздывал. В купе мягкого вагона ехали четверо.

Пассажир, которого звали Михаилом, возвращался в Петрозаводск из командировки. Павел, севший в Армавире,— радиотехник, жил в Москве. Он в отпуске, был на юге.

Пожилые муж и жена ездили в гости к сыну в Сухуми и сейчас торопились в свой несравненный Ленинград.

Обитатели купе смотрели в окно, за которым на черном фоне августовской ночи пролетали огни маленьких станций. Старушка чувствовала себя явно неуютно и посматривала то в окно, то на своих попутчиков с беспокойством.

— Прилично идет. Километров сто, не меньше,— нарушил молчание Михаил.

— Не вижу причин для радости, молодой человек,— откликнулась старушка.

— Антонина Ивановна, так ведь быстрее будете в Ленинграде,— заметил Павел.

Михаил и Павел, как говорится, окружили своих пожилых спутников заботой и вниманием. Старушка с удовольствием принимала их услуги. Особенно хорошее впечатление произвел на нее Павел.

Пора было ложиться спать — время близилось к двенадцати. Мужчины вышли из купе, чтобы дать возможность Антонине Ивановне переодеться. Павел пошел поболтать с проводниками, а вернувшись, принес новость: у одного пассажира в соседнем вагоне украли вещи.

— Безобразие! Распустили воров и хулиганов, житья нет! — возмущалась Антонина Ивановна.

— Дорогая моя, опять ты начинаешь волноваться, ведь тебе вредно, ты знаешь,— успокаивал ее Дмитрий Михайлович, супруг.

— Вредно? Конечно, вредно... Не хватало еще, чтобы обокрали нас с тобой! Нет, нужны более строгие законы. Вспомни, как поступали с ворами в Турции и Китае...

— Дорогая моя, это слишком кровожадно,— возразил Дмитрий Михайлович.

Молодые люди, слушая этот разговор, снисходительно улыбались.

— Антонина Ивановна правильно говорит. Родимые пятна прошлого надо выжигать каленым железом,— подлил масла в огонь Павел.

— Да, в этих вопросах нужна решительная и беспощадная линия,— поддержал его Михаил.

— Вот, вот, вы правы. Но попробуйте это доказать нашим законникам.— Антонина Ивановна бросила сердитый взгляд в сторону мужа.— Вот, посмотрите на него. Юрист!

Юрист, вздохнув трагически, закрылся газетой. Вскоре тема была исчерпана, и разговор погас.

Перед тем как лечь спать, Антонина Ивановна тщательно осмотрела свой чемодан, попросила Михаила задвинуть его подальше в угол багажной полки и предупредила, что дверь купе на ночь надо обязательно запереть. Ответственным за эту важную операцию был назначен Павел...

Утром старушка, проснувшись, первым делом проверила багажник и чуть не лишилась чувств. Чемодана на полке не оказалось. Вместе с ним исчез Павел.

Дмитрий Михайлович суетился, беспомощно разводил руками, виновато поглядывая то на свою супругу, то на растерянного Михаила, и все приговаривал:

— Как же это, а? Что же это такое?

Михаил побежал к проводнику, принес стакан воды, дал Антонине Ивановне попить.

— Вот вам и родимые пятна... Хорош радиотехник! Таких радиотехников вешать надо!— зло говорил он.

Когда Антонина Ивановна пришла в себя, Михаил отправился искать начальника поезда, чтобы заявить о краже.

На очередной остановке о происшествии сообщили в отдел милиции при вокзале.

Капитан милиции, внимательно выслушав заявление о похищении чемодана, проверил паспорта пострадавших супругов и их попутчика, а отныне свидетеля по делу, Михаила Кириллова, и составил протокол происшествия, записав обстоятельства дела и приметы преступника.

— Не волнуйтесь, гражданка, разыщем,— уверенно заявил капитан, протягивая Дмитрию Михайловичу авторучку, чтобы он подписал протокол.

— Нет уж, голубчик, подписывать буду я, а не он.— Антонина Ивановна решительно отобрала ручку у мужа, подвинула протокол к себе и, наклонившись низко-низко к столу, поставила свою подпись.

— Да, товарищ капитан, чуть не забыл,— спохватился Михаил.— Этот тип выдает себя за радиотехника.

Капитан улыбнулся Михаилу.

— Прошу и вас, товарищ Кириллов, подписать протокол.

Михаил Кириллов единым размашистым росчерком поставил свою подпись.

— Благодарю вас. До свидания,— закончил процедуру капитан милиции.

— Но чемодан, чемодан... Ведь там фотографии моего внука! — сокрушалась Антонина Ивановна, покидая комнату милиции.

— Не волнуйтесь, гражданка, разыщем вам чемоданчик,— отвечал капитан.

Пассажиры вернулись в свое купе. Оставшуюся часть пути Антонина Ивановна пребывала в грустном настроении. И теперь уже без всякого удовольствия, скорее даже с некоторым недоверием принимала знаки внимания со стороны Михаила.

В Ленинграде они расстались сухо.

СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА

Поезд пришел в город Н. поздним осенним вечером. Носильщики бросились к вагонам. Один из пассажиров с чемоданом в руке не спеша вышел из вагона и, отказавшись от услуг носильщика, неторопливо зашагал по перрону. Вошел в вокзал, прогулялся по залам, заглянул в киоски и остановился около стойки буфета. Здесь он слегка перекусил и только после этого направился к выходу.

На стоянке такси неторопливый пассажир сел в машину.

— В центр,— бросил он шоферу.

Машина тронулась. Пассажир равнодушно скользил взглядом по мелькавшим на улице освещенным витринам. Вдруг знаком руки приказал шоферу остановиться, вышел из машины, несколько минут постоял около обувного магазина. Оглядел витрину, а потом посмотрел вправо, влево. На улице было пустынно и неуютно. Лишь редкие прохожие стуком каблуков нарушали тишину, да время от времени шуршали шинами еще более редкие автомобили. Как бы приняв наконец решение, пассажир снова сел в такси. Не проехав и с полкилометра, он остановил машину и сказал, что хочет расплатиться. Шофер взял деньги и уехал.

Пассажир остался один в полутемном переулке. Зажав в зубах папиросу, достал из кармана спички и, прикрываясь от ветра, повернулся. Внимательный глаз ничего подозрительного не обнаружил. Пассажир направился к трамвайной остановке, на которой ожидало несколько человек. Он сел во второй вагон последним и, когда трамвай набрал скорость, выпрыгнул из него, свернул в переулок и, уже не задерживаясь, зашагал спокойно, фланирующей походкой. Он ходил по улицам еще минут двадцать. Наконец остановился около дома, огороженного высоким дощатым забором, еще раз осмотрелся и только после этого нажал кнопку. Во дворе громко залаяла собака.

Через несколько минут послышались шаги, и недовольный голос сонно спросил:

— Кого тут носит?

— Откройте, техник из горэнерго,— объяснил пришелец.

— Чего надо?

— Не бойтесь, не съем. Проверка. В вашем районе обнаруживается утечка электроэнергии...

Собака все лаяла.

— Какая утечка? Что за ерунда! Приходите днем.

— Ну что ж, тогда придется с милиционером... Вам же хуже будет.

Угроза подействовала. Хозяин дома цыкнул на пса. Калитка отворилась, ночной гость нырнул в темноту двора. Хозяин, быстро закрыв калитку, поторопился вслед за техником из горэнерго.

— С проводкой у вас в порядке? — осведомился техник, входя в дом.

— Наверно...

— Давайте посмотрим.

Поставив чемодан на пол, техник внимательно осмотрел счетчик, потрогал пломбу, вынул блокнот и что-то записал в него.

Затем приступил к осмотру проводки, обошел все комнаты — их было три — и, покончив с этим, блаженно развалился на стуле в кухне. Он не стеснялся. Его вид и поведение казались хозяину по меньшей мере неучтивыми. Две-три минуты прошло в молчании. Хозяин, обиженно насупясь, решил, видно, первым разговора не заводить и начинал посматривать на непрошеного посетителя с тревогой.

Техник закурил без разрешения. Ему, кажется, здесь очень нравилось, ему некуда было торопиться. Он давно заметил неприязнь хозяина дома и как будто даже наслаждался его мучениями. Наконец он нарушил молчание и задал вопрос, который показался хозяину дома просто издевательским:

— Ну-с, как поживаете?

— Хорошо поживаем. Вы закончили свою работу? — раздраженно осведомился, в свою очередь, хозяин.

— Однако вы не очень-то любезны.

— Я не располагаю временем для любезных разговоров. Если у вас больше нет ко мне вопросов, не смею вас долее задерживать,— сухо отрезал хозяин.

— Вопросы есть. И немаловажные.— Техник продолжал откровенно издеваться.

— Ну, так я слушаю вас.— Хозяин едва сдерживал себя.

— Например, вы не знаете, где обитает ныне...— он сделал паузу,— Леонид Круг?

При этом имени у хозяина дома перехватило дыхание. Сделав над собой усилие, он хмуро произнес:

— Такого я не знаю...

— Жаль. Мне он очень нужен,— как ни в чем не бывало заметил гость.

Хозяин не знал, что делать. Он тупо уставился на «техника из горэнерго» и молчал.

Тогда техник вынул из кармана пиджака зажигалку, демонстративно повертел в руках, как бы любуясь ею, и щелкнул раз, другой, третий. Искры сыпались снопом, но пламя не появлялось. Зажигалка не работала. Техник посмотрел на хозяина и спросил:

— Не найдется ли у вас бензина?

— Автомобильный подойдет? — Голос хозяина выдавал волнение.

— Желательно авиационный.

— Такого нет...

— Тогда давайте автомобильный...

Хозяин, не в силах больше сдерживаться, рванулся к «технику».

— Извините меня, пожалуйста, но вы понимаете...— В волнении он не находил слов.

— Вашей выдержке позавидуешь,— перебил техник.— Давайте знакомиться. Зароков.— И он протянул хозяину руку.

— Дембович, Ян Евгеньевич,— представился хозяин.

— Это ваша девичья фамилия?

— Да.

— Вы, кажется, были завербованы еще в сорок первом?

— У вас точные сведения.

— А с сорок седьмого активно не действовали?

— Нет.

— Ну вот, теперь анабиоз кончился. Я приехал в этот город именно потому, что здесь вы. Кто, кроме вас, живет в доме?

— Никого. Я холост.

— Превосходно. А сейчас спать. Я лягу там.— И Зароков показал на угловую комнату.

Хозяин отправился стелить постель. Гость нетерпеливо следил за его приготовлениями, он чувствовал неимоверную усталость, непреодолимое желание лечь, вытянуться и закрыть глаза.

— Меня не будить. В дом никого не впускать. Поговорим завтра.

— Спокойной ночи,— произнес Дембович и вышел из комнаты. Зароков закрыл за ним дверь.

Дембович, наблюдая в замочную скважину, увидел, как его гость вяло стянул с себя пиджак, вынул из-под мышки правой руки пистолет, висевший на каком-то хитром приспособлении, сунул его под подушку и, не раздеваясь дальше, рухнул на кровать.

Дембович осторожно выпрямился и на цыпочках отправился на свою половину.

НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Сегодня вечером шоферу голубой автомашины такси везло. Прошло всего два часа, как он выехал из парка, но сделал десять ездок, и выручка тянула уже на половину плана. Высадив очередного пассажира, он подкатил к стоянке такси, где нервничала в ожидании очередь, человек десять — двенадцать. В очереди произошло некое нетерпеливое движение, кто-то кого-то оттеснил, кто-то сказал: «Нахалы, обязательно норовят...» Но шофер не обратил внимания на скоротечный скандал: все это было ему привычно.

На заднее сиденье водворились двое, и мужской голос повелительно сказал:

— В ресторан, шеф! В самый лучший, если есть такой в этом богопротивном городе. Не обижу.

Шофер обернулся, посмотрел на пассажиров. Голос говорившего показался ему знакомым. Он поправил зеркальце и внимательно оглядел сначала ее, потом его. Девушка была вульгарна. Лицо мужчины, как и его голос, показалось шоферу знакомым. Он вгляделся — и не поверил своим глазам.

— Слушай, шеф, мы когда-нибудь поедем? — спросил пассажир.

— Минуточку,— трогая с места, ответил шофер.

На какой-то малолюдной улице машина остановилась. Шофер вышел, поднял капот, снова закрыл, сел за руль, попробовал завести мотор, но ничего не получалось.

— Ехали мы, ехали...— усмехнулся пассажир.

— Не торопись, «радиотехник» Павел. Деньги промотать еще успеешь,— безуспешно терзая стартер, словно между прочим сказал таксист.

Пассажир положил руку на плечо своей спутнице, бросил коротко: «Выйди»,— и, когда она вылезла из машины, тихо спросил:

— Откуда знаешь?

— Не спеши... Или забыл? Поезд Сухуми — Ленинград. И чемоданчик славной Антонины Ивановны.

— Хочешь сдать?

Таксист, полуобернувшись, посмотрел на пассажира насмешливо, потом показал рукой на ветровое стекло.

— Вон, погляди вперед, что там такое?

Метрах в двадцати светился над тротуаром сине-красный прямоугольник — вывеска отделения милиции. Как раз в этот момент из подъезда отделения вышли три милиционера. Они направлялись в сторону такси.

— Видишь, я мог бы легко тебя сдать,— сказал таксист сжавшемуся на заднем сиденье пассажиру, когда милиционеры миновали их.

— Спасибо, шеф, век не забуду,— скороговоркой прошептал пассажир.— А теперь двигай.

Он приоткрыл левую дверцу, девица села, и машина у таксиста вдруг завелась как ни в чем не бывало.

Всю дорогу ехали молча. У ресторана «Центральный» машина остановилась. Раскрашенная девица вышла первой, Павел остался рассчитываться с шофером. Когда дверца захлопнулась, они посмотрели друг на друга.

— Ну что, узнал? — отсчитывая сдачу, спросил шофер.

— Нельзя так пугать человека,— сказал Павел.— Сдачи не надо... Слушайте, шеф, если память мне не изменяет, вы ехали в Петрозаводск? И зовут вас Миша?

— Память у тебя хорошая, «радиотехник» по чемоданам. Гуляй пока. Может, встретимся. Знаешь, как гора с горой...

— Семь бы лет я тебя не видел.— И Павел вылез из машины, громко хлопнул дверцей.

Михаил не торопился уезжать, хотел посмотреть, что будет дальше. Павел-«радиотехник» остановился в нерешительности с девицей у входа в ресторан, они что-то горячо доказывали друг другу. Во время этого разговора Павел дважды озабоченно посмотрел в его сторону.

В конце концов Павел махнул рукой. Девица затопала по улице, а Павел один вошел в ресторан.

— Свободен?— услышал Михаил голос нового пассажира.

— Еду в парк,— соврал он, быстро развернул машину и дал газ так, что колеса в первую секунду провернулись вхолостую, оставив на асфальте черный след. Он спешил домой, чтобы захватить Дембовича и привезти его к ресторану. Встреча с Павлом была нежданной, но раз уж этот воришка появился на орбите, Михаил Зароков не хотел его терять.

...Павел, войдя в зал, вел себя настороженно. Он занял столик в углу, откуда хорошо был виден вход.

Посетителей в ресторане с каждой минутой становилось все больше,— наступил вечер. Входили парами, по одному и целыми компаниями. Но один посетитель не мог не обратить на себя внимания Павла. Высокий, полнеющий, седой, он не вошел, а вступил в зал. Огляделся с удовольствием, словно все здесь присутствующие были его личными гостями. Когда он приблизился, Павел увидел резкие морщины на его шее. Седой опустился на свободный стул за столиком невдалеке. Павел следил за ним, пока тот не остановил взгляд на его столике. Павел тут же уткнулся в меню. Даже постороннему было заметно, что ему не по себе, хотя он и старался сохранять беспечный вид. Оторвав взгляд от меню, он увидел, что седой встал и идет к нему.

— Вы не против, если я составлю вам компанию? — услышал Павел.

— Сделайте одолжение.— Павел не поднимал головы.

Незнакомец поправил полы пиджака, усаживаясь поудобнее.

— Вы уже заказали?

— Да. Но, кажется, здесь вообще не подают,— ответил Павел.

— Старая привычка: в классных ресторанах раньше всегда было принято не спешить.

Сосед Павла оказался словоохотливым человеком. Он тоном знатока стал рассказывать, как в прежние времена обслуживали в ресторанах. Когда официант принес Павлу закуску, его сосед, не обращаясь к помощи меню, сделал свой заказ.

Павел ел, а сосед посвящал его в традиции ресторанного быта, и голос его звучал почти задушевно. Он был настроен на долгую беседу, а может быть, даже на близкое знакомство.

Павел осмелился предложить ему рюмку водки. Тот охотно принял предложение.

— Вы крайне любезны, молодой человек. Ваше здоровье... Люблю это заведение. Только здесь по-настоящему отдыхаешь. Люблю этот ободряющий звон бокалов.

— Вы здесь частый гость? — спросил Павел.

— А вы разве впервые?

— Я транзитом...

— Тогда вам повезло. Мы в одном из лучших ресторанов города. Здесь не спешат, выдерживают марку заведения. Однако это уж слишком...— Он посмотрел на часы.

Павел предложил выпить еще по рюмочке.

— Я вижу, вы компанейский парень. Давайте в таком случае знакомиться,— сказал сосед.— Куртис.

— Матвеев.

— Чем занимаетесь?

— Ем бифштекс.

Куртис улыбнулся.

Когда официант поставил перед Куртисом его заказ, он налил рюмки и сказал:

— Ну, что ж? За людей свободной профессии.

— Закону не нравится ваш способ существования? — спросил Павел.

Куртис вздохнул.

— О нет! Я вполне лоялен. Получаю пенсию. У меня большой участок,— знаете, яблони, картошка, то, се. Сейчас зима, и я совсем свободен. У меня есть сын, работает конструктором на Урале. Помогает, конечно. Но все это не имеет значения.

Они пили рюмку за рюмкой, и взаимная симпатия росла.

— Значит, вы, молодой человек, проездом? А где же остановились? — спрашивал Куртис.

— Пока приземлился здесь. А дальше видно будет.

— Значит, нигде...— Куртис как будто был доволен, сделав такое заключение.— Я гулял по улице и видел, как вы входили в ресторан. Обратил на вас внимание, потому что вы были с очень яркой девушкой. Где водятся такие красавицы?

— На вокзале прихватил.

Павел вытер губы бумажной салфеткой, помолчал и спросил:

— Между прочим, улица Карла Маркса далеко отсюда?

— Найдем. Могу помочь.

Щедро расплатившись с официантом и стараясь шагать прямо, новые знакомые покинули ресторан. Куртис держал Павла под руку. Они искали улицу Карла Маркса.

Встречный прохожий объяснил, как лучше пройти. Через несколько минут они стояли перед серым трехэтажным зданием. Павел посмотрел на номер дома, огляделся вокруг.

— Побудь здесь.

— Нет, нет. Я с тобой,— запротестовал Куртис.

Они вошли в подъезд, поднялись, держась за перила, на третий этаж, остановились у двери квартиры под номером семь. Павел нажал на кнопку электрического звонка. Дверь открылась, и перед ними предстал мужчина огромного роста, лет тридцати пяти. На нем была морская тельняшка.

— Мне бы Зудова,— спросил Павел.

— Я Зудов,— ответил простуженным голосом человек в тельняшке.

— Привет Боцману.

— Привет,— без всякого энтузиазма откликнулся Зудов, оглядывая Павла суровым взглядом из-под густых бровей.

— Пройдем?

— Валяй здесь.

— Разве так встречают гостей? — обиделся Павел.— Я привез для боцманской трубки табачку. Вот, держи.— И Павел, вынув из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток, протянул его Боцману.

Боцман спокойно разглядывал Павла, затем посмотрел на Куртиса.

— Слушай, детка. Трубку я оставил на память милиции. Отнеси туда и табачок.

Павел сунул сверток в карман. В это время открылась одна из многочисленных дверей, выходящих в коридор квартиры, и оттуда с громким криком выбежал мальчик лет трех. Он споткнулся и упал в ноги Боцману. Боцман подхватил мальчишку. Из той же двери в коридоре появилась белокурая маленькая женщина.

— Уловил? — беззлобно спросил Боцман.

Павел не отвечал.

— Еще вопросы есть?

— Мне нужна хата... Всего на несколько дней.

— Ты кто? — спросил Боцман.

— Бекаса слыхал?

— Приходилось... Все один промышляешь?

— Ну ладно, Боцман. Не поминай лихом.

— Идем ко мне, дорогой Бекас,— сказал Куртис, обнимая Павла за плечи.

В одном из переулков они вошли в подъезд высокого дома, поднялись на четвертый этаж. В квартире, куда попал со своим новым знакомым Павел, никого, кроме чистенькой, аккуратной старушки, не было.

Они сняли пальто.

— Располагайся. Будь как дома. Я сейчас.

Куртис вышел.

Через несколько минут старуха накрыла на стол.

Не нужно было обладать особенной наблюдательностью, чтобы понять, что Куртис проявляет к Бекасу повышенный интерес.

— А все-таки какая у тебя профессия? — усаживаясь за стол, спросил он Павла.

— Не пойму, маэстро, к чему этот допрос?

Павел огляделся, как бы опасаясь стен.

Куртис это заметил и поспешил успокоить:

— Никто не услышит...

— Хотите, чтоб я покаялся? — спросил Павел.— Но ведь вы не поп, я не грешник.

— Извини, хочу помочь. У меня есть надежные люди. Надумаешь быть с ними — не прогадаешь.

Он еще долго уламывал Павла, и наконец тот сдался, чтобы только отвязаться. Он удовлетворил любопытство новоявленного

друга и рассказал коротко о своей неудачно сложившейся жизни. Куртис слушал, молчал и сочувственно посматривал на него.

— Да, нелегка твоя жизнь. Ну, а что же ты собираешься делать здесь?

— Пока даю показания Куртису.

— А если без шуток?

— Стерегу одного. Думаю в дороге перейти с ним на «ты».

— Оставь его в покое. Могут найтись дела посолиднее. И без разъездов.

— Что мне надо, я нашел. И упускать не собираюсь.

— Но сколько можно стрелять по воробьям? Пока ты молод, это еще годится. А состаришься?.. Плохо одному в старости...

— Что-то ты мне, Куртис, все ребусы подсовываешь, а карандаш прячешь.

— Не торопись,— сказал Куртис.— Я плохого тебе не желаю.

В конце концов они договорились, что Павел пока останется в городе и будет жить здесь, у старушки. По этому поводу они еще выпили. И через час Павел, пробормотав: «Эх, славно получается!»— подошел к кровати, лег, помахал Куртису рукой и завалился спать.

Куртис, подождав минуту, уложил Бекаса поудобнее и вынул у него из кармана сверток, от которого отказался Боцман. Вместе со свертком он извлек маленький золотой медальон; это получилось нечаянно — Куртис мизинцем случайно захватил цепочку.

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

У Зарокова был выходной день, однако встал он рано. Позавтракал. Несколько раз с нетерпением взглянул на часы. Скоро десять, а Ян еще не вернулся. Что могло случиться?

Но вот раздался лай собаки, и Зароков сразу успокоился. По этому лаю он безошибочно узнавал, кто идет: хозяин дома или посторонний.

— В ресторане я его нашел сразу...— раздеваясь на ходу, начал рассказывать Дембович.— Парень стоящий. Фамилия его, если не врет, Матвеев. Трижды судим. Бежал из колонии. Имел здесь явку, но хозяин отказал. Отец был арестован в тридцать восьмом, из тюрьмы не вернулся. Мать — пенсионерка, живет в Москве. У него свои счеты с властями. Дорожит свободой, не любит над собой начальства. Придется с ним еще повозиться, но уверен: можно обломать. Отвез к старухе.

— Идиот! — Зароков вскочил со стула.— Зачем к старухе?! Такое чистое место! Если он вор — может наследить, провалить квартиру. Лезешь напролом, как медведь.

— Но вы же сказали: нельзя его упускать...

— Не хватало только, Дембович, чтобы вы меня поближе познакомили с контрразведчиками, которые интересуются как раз седыми пожилыми людьми, имеющими подозрительные связи.

— Он урка,— как-то нехотя, не стараясь уверить, сказал Дембович.— Я знаю их жаргон. Тут невозможно обмануть.

— Ах, Дембович, Дембович! — сказал Зароков.— Блатному жаргону можно выучиться по книгам. У меня даже был один знакомый художник, немолодой человек, который говорил на жаргоне хлестче любого урки.— Он понемногу отходил.— Надо быть осторожнее. Можешь обижаться, сколько тебе угодно. Но впредь не торопись. А теперь выкладывай по порядку. Как можно подробнее.

Обстоятельно отчитавшись, Дембович положил перед Зароковым сверток, а сверху аккуратно поместил медальон.

— Это было у него. Привез Боцману.

Зароков глядел на сверток с поблескивающим наверху медальоном.

— Можно подумать, что ты в свое время только и делал, что грабил пьяных. Самая неквалифицированная специальность...

— Вы же говорили, что при возможности хорошо бы обыскать карманы.

— Ну, ладно...

Зароков развернул сверток. Там был серебряный портсигар с чернью, совсем новый, а в нем серебряные колечки, тоже с чернью, бирюзовые сережки и серебряный браслет,— видно, все это из какого-то второразрядного ювелирного магазина. Но золотой медальон — тусклый ромб на тусклой золотой нитке — был наверняка из другой коллекции. Зароков подбросил его на ладони, спрятал к себе в бумажник.

— Портсигар ты ему вернешь. Скажешь, взял, чтобы старуху в соблазн не вводить. Про медальон ничего не говори.

Зароков собрал все в портсигар, завернул его в газету.

— Имеет свои счеты с властями, говоришь... Но, боюсь, оплачивает он их не теми векселями, какими ты думаешь...

— Я вас не совсем понимаю. Если вы его подозреваете, зачем он вам?

— Мне будут нужны люди. Если этот человек действительно вор, то лучше иметь такого симпатичного вора, чем другого. Дай бог, чтобы так оно и было. Но надо все проверить. Узнай, кто такой Боцман. Обо мне Бекасу, разумеется, ни слова. Связь с ним будешь поддерживать только ты. Я понятно говорю?

— Вполне... Я назвался ему Куртисом. Старуху предупредил,— отвечал Дембович.

— А что за красавица была с ним?

— Говорит, на вокзале прихватил.

— Ну, хорошо. Надо подумать, куда его пристроить. С улицей следует кончать.

— Устроить на работу совсем нетрудно, были бы документы.

— Будут.

На этом они закончили разговор. Дембович пошел по хозяйству.

...Сам Зароков месяц назад без особого труда устроился в таксомоторный парк — шоферов там не хватало. Уже через несколько дней он знал почти всех парковских по имени.

Работал Зароков, как и все шоферы, через день. С самого начала он постарался зарекомендовать себя как можно лучше. Не спешил уходить домой после смены, подолгу задерживался в гараже, и не было случая, чтобы он отказался кому-нибудь помочь. Скоро о нем заговорили как о хорошем, отзывчивом человеке. Как-то начальник колонны попросил его принять участие в осмотре послеремонтных машин. О чем речь? С удовольствием! И шофер Зароков в свободное время подолгу возился с машинами.

Правда, существовало и еще одно обстоятельство, из-за которого Зароков охотно торчал в гараже. Ему сразу понравилась диспетчер Мария. Ей лет двадцать шесть — двадцать семь. Высокая, темные волосы, серые глаза... Словом, Зароков решил поближе познакомиться с диспетчером и не упускал случая поговорить с нею. Вот почему и сейчас он отправился в парк.

В диспетчерской, которую шоферы называли между собой брехаловкой, было полно.

— Ну вот, еще одна жертва,— громко сказал шофер в серой кепке.

Мария сидела за столом, заполняла кому-то путевой лист.

— Здравствуйте, Зароков,— не поднимая головы, сказала она.

— Ого! Персонально! — сказал тот же шутник.

— Новички-холостячки берут первенство, нам здесь делать нечего,— подхватил другой.— Пошли, ребята!

— Потише, товарищи, мешаете! — зажав рукой микрофон телефонной трубки, крикнула Мария.

— Ну вот, мы уже и мешаем...

Кое-кто поднялся, собираясь уходить. Зароков сел на освободившуюся табуретку, вынул пачку «Казбека», стал угощать.

— Богато живешь. А мы так «Волну» с перекатом,— взяв папиросу, опять пошутил шофер в серой кепке.

— Как дела, ребята? — спросил Зароков.

— Спрашиваешь, будто не знаешь. План везешь — дела хороши, плана нет — переходи на иждивение жены.

В это время в диспетчерской появился начальник колонны. Все стали расходиться. Зароков пожалел, что разговора с диспетчером с глазу на глаз не получилось, простился и ушел восвояси.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

УДАЧЛИВЫЙ ИГРОК

Дембович нарезал лимон, уложил тонкие дольки на коричневом блюдце и нетерпеливо крикнул:

— Завтрак стынет!

— Зайди ко мне,— послышалось из-за двери.

Дембович вошел и недовольно поморщился: накурено так, что щиплет глаза и за пеленой дыма еле виден Зароков,— Дембович не сразу обнаружил, что тот лежит на кровати.

— Так недолго и дом сжечь. Окурки на полу...— проворчал Дембович, оставляя дверь открытой.— Завтрак совсем остыл.

— Вот что, дорогой мой хозяин. Я вижу, вы с большим уважением относитесь к своему желудку. По этому поводу я хочу рассказать вам один эпизод, имевший место у нас в диспетчерской. На днях я дружески болтал с товарищами и, между прочим, угостил их «Казбеком». Они сказали, что я богато живу. Намек был недвусмысленным. Как бы это сделать, чтобы у них не возникали разные вопросы?

— Что-то надо придумать,— ответил Дембович.

— Подумай, ты же обстановку знаешь.

Дембович, помолчав секунду, сказал:

— Кажется, надо выиграть.— И, как бы убеждая самого себя, прибавил: — Совершенно правильно, надо выиграть. Скоро розыгрыш. Я знаю. Слежу. У меня у самого есть две облигации.

— Не понимаю.

— По трехпроцентному займу. Надо после опубликования таблицы выигрышей потолкаться в какой-нибудь сберкассе среди счастливчиков и попробовать кого-то осчастливить еще раз. Трудно. Но если повезет, можно найти человека, который отдаст вам свою облигацию, а вы ему отдадите деньги, причем, конечно, больше, чем значится в таблице.

— Просто, но убедительно,— сразу все понял Зароков.

Через несколько дней после опубликования таблицы выигрышей очередного тиража трехпроцентного государственного займа в красном уголке таксомоторного парка Зароков, понаблюдав минут пять за партией «козла», подошел к столику, где лежала подшивка «Известий», над которой склонились двое. Когда они перевернули последнюю страницу, Зароков увидел таблицу и сказал: «О, братцы, у меня же облигация имеется. А ну, проверим!» Он достал из бумажника двадцатирублевую облигацию, посмотрел на номер, произнес его вслух, и замасленные указательные пальцы побежали по столбикам цифр.

— Есть! — воскликнул один из шоферов.

— Ты смотри...— удивился другой.

Зароков сначала даже не поверил. Он глядел то на облигацию, то на таблицу. Но сомнений быть не могло: облигация выиграла тысячу рублей новыми деньгами. Зарокова поздравляли, кто-то объявил, что с него причитается. Зароков принимал поздравления с растерянным видом, разводил руками, наконец сказал: «Дуракам везет». А потом пригласил тех двоих в шашлычную.

Это приглашение прибавило Зарокову популярности в таксомоторном парке. Во-первых, не жлоб. Во-вторых, пьет, но знает меру. А Зароков сделал для себя в шашлычной полезное открытие: можно, как сказал один из его собутыльников, ходить на ипподром, на бега. Новичкам в тотализаторе, как во всякой игре, обязательно везет. Старые, прожженные тотошники даже специально поджидают новичков у кассы, чтобы подслушать их ставку и сделать такую же... Зарокову пришлась по душе мысль как-нибудь сходить на ипподром...

Он собирался наладить свою жизнь в этом городе не на месяц и не на год. На много лет. Собственно, если не считать кое-каких специальных заданий, у него одна цель — внедриться, пустить корни, сделаться настоящим Михаилом Зароковым. И пока все складывалось удачно.

...В следующий свой выходной он проснулся на рассвете. Подтянувшись на локтях, отодвинул оконную штору. На дворе был снег. Солнце только-только вставало. Чувствовалось, что день будет ясный и морозный.

Бреясь в ванной перед зеркалом, он соображал, чем бы заняться. Вспомнил о разговоре в шашлычной. Тот парень говорил, что бега бывают по вторникам, четвергам и субботам. Сегодня четверг. Значит, можно на ипподром. Если бы еще Мария согласилась с ним пойти, было бы совсем хорошо...

Он позвонил ей из ближайшего автомата.

— Здравствуйте, Мария!

— Здравствуйте, товарищ Зароков! — Голос у Марии был веселый.

— Как дела?

— Отлично. Не хочется сидеть в помещении в такой день.

— Денек хорош. А что вы делаете после работы?

— Не знаю. Планов не строила.

— Слушайте, Мария, у меня есть предложение. Вы когда-нибудь на ипподроме бывали?

— Нет.

— Давайте сходим? Я тоже никогда не был. Говорят, интересно.

— Ну что ж, давайте.

Зароков даже не ожидал, что его настолько обрадует согласие Марии.

— Только надо потеплей одеться.

— Не замерзну.

— Так где прикажете вас ждать?

— Давайте у цирка. Возле телефонов-автоматов.

— Я буду ровно в четыре.

В четверть пятого они встретились. Зарокова поразил цвет лица Марии. Как будто не она просидела целый день в прокуренной брехаловке. И ему было очень приятно, что такая красивая молодая женщина пришла к нему на свидание.

Зароков остановил такси, и через десять минут они были на ипподроме. Он взял билеты на главную трибуну, после недолгих блужданий по переходам они поднялись наверх, туда, где гудела возбужденная толпа. Уже темнело. На кругу перед трибунами включили прожекторы, которые осветили белое поле, белый щит с черными цифрами, и черную ленту дорожки, и столбы. Шел второй заезд. Лошади были где-то на противоположном краю ипподрома.

Они стали у колонны в десятом ряду. Зароков спросил у соседа, как пройти к кассам тотализатора, и, оставив Марию, побежал делать ставку. Он купил наугад десять билетов в «одинаре» — по полтиннику и десять дублей — по рублю. По пять для Марии и для себя. Когда брал сдачу, на кругу зазвонил колокол, трибуны взорвались оглушительным криком, и Зароков поймал себя на том, что совсем забыл о главной причине, приведшей его сюда, что дух игры, азарт, которым пропитан воздух ипподрома, завладел им. И ему показалось унизительным разыгрывать перед Марией предстоящую комедию. Но то была лишь минутка. Отойдя от кассы, он стряхнул с себя внезапное наваждение...

Мария смотрела на дорожку, где в ожидании нового заезда бегали размашистой рысью разномастные лошади, впряженные в легкие двухколесные коляски, в которых сидели пестро одетые наездники, и глаза у нее блестели.

Зароков, пошутив, что им, как новичкам,

Продолжение. См. «Огонек» № 38.

обязательно должно повезти, разделил билеты на две пачки, положил одну в левый карман пальто, другую в правый и сказал, что левая пачка принадлежит Марии, а правая ему.

Дали старт очередному заезду, и трибуны притихли. Зароков держал Марию под руку, искоса поглядывал на нее и молчал.

Снова зазвонил колокол, и трибуны вздохнули. Потом еще заезд. И опять звон колокола. И так повторялось раз семь или восемь. Не разбираясь в механизме тотализатора, Зароков решил не вникать в объявляемые номера выигравших лошадей. Он сказал Марии, что они узнают обо всем сразу, когда бега окончатся.

Все здесь было удивительно для него и Марии. Но самое удивительное произошло тогда, когда Зароков, оставив Марию, спустился к кассам, выплачивавшим выигрыши, и разузнал, по каким билетам платят.

Оказалось, что ему не придется разыгрывать комедию перед Марией: шесть его билетов — два одинарных и четыре дубля — выиграли! Три билета были из левого кармана, три из правого. Выигрыши были одинаковые, потому что и на четырех дублях и на двух одинарных значились одинаковые ставки.

Несколько озадаченный, Зароков встал в очередь сначала к одной кассе, получил по одинарным семнадцать рублей, потом в другом окошечке, где народу было значительно меньше, получил по дублям девяносто шесть рублей. Черт его знает, действительно новичкам везет!

На трибуну, где ждала его Мария, Зароков взлетел единым махом.

— Вот! — воскликнул он.— Мы выиграли сто тринадцать рублей! Хотите верьте, хотите нет. Половина ваша.

Он помахал зажатыми в руке деньгами.

Мария засмеялась и сказала:

— Нет, нет! Что вы? Я их не покупала.

— Но это несправедливо! Если уж быть щепетильным, то я вычту из вашей половины стоимость билетов — и ваша совесть чиста.

Но Мария категорически отказалась от денег.

— Лучше идемте отсюда. Я что-то начинаю зябнуть.— Она взяла его под руку, и они пошли по лабиринту переходов.

— Но если вы откажетесь от ресторана, это будет необъяснимо.

Мария сказала:

— В ресторан я с вами пойду.

Три часа, проведенные на ипподроме, и два часа в ресторане сблизили их так, словно они знали друг друга с незапамятных времен. Когда вышли, Зароков спросил:

— Почему вы одиноки? Неудачный брак?

— К сожалению. Это длинная история...

— Я провожу вас.

Пошел снег. Крупный, лохматый. И на улицах сразу стало светлее. Они шагали молча. Зароков все время посматривал на нее сбоку.

— Ну, вот мы и пришли,— сказала Мария.— Давайте прощаться.

Он задержал немного ее руку в своей руке. Потом она быстро-быстро поднялась по каменным ступенькам на четвертый этаж, а он слушал, как стучат ее каблуки.

ЗАКОННЫЙ ЖИЛЕЦ

Квартира, в которой обосновался Павел Матвеев, состояла из двух смежных, соединенных дверью комнат и маленькой кухни.

По выцветшим, изрядно замасленным обоям трудно было установить, какой рисунок был на них первоначально. Меблировка самая разностильная. Квартира имела черный ход. Хозяйка, маленькая пожилая женщина, которую уже вполне можно было называть старушкой, впрочем, очень подтянутая и живая, держалась с Павлом неприветливо и сухо.

Через день явился Куртис. Павел еще не успел обнаружить пропажу. И был удивлен, когда Куртис протянул ему портсигар.

— Брали на сохранение?— спросил Павел.

— Представь себе...

Павел пошарил в карманах.

— У меня была еще одна рыжая игрушка,— сказал он рассеянно.— Неужели она вам так понравилась?

Куртис не понял.

— Какая рыжая?

— Ну ладно, я вам дарю ее, маэстро,— сказал Павел. Но, увидев, что Куртис вот-вот рассердится, поспешил его успокоить:— Не расстраивайтесь, маэстро. Черт с ним!

Куртис сказал, чтобы Павел пока не выходил на улицу. Без хороших документов нельзя. Нужно отсидеться.

— У тебя фото для документа найдется?

Карточки у Павла не было.

Куртис вынул из кармана маленький фотоаппарат, поставил Павла против окна и щелкнул несколько раз.

С этого дня для Павла начался долгий карантин.

Было ясно, что завязать дружбу с хозяйкой не удастся. Павел быстро сделал и другое заключение: хозяйка безотрывно следит за ним. Когда Павлу надоело дышать свежим воздухом только через форточку, он однажды попытался выйти на улицу. Хозяйка загородила ему дорогу и заявила:

— Вам нельзя выходить.

Чем же заняться? Павел оглядел комнату. На стене над комодом висело несколько фотографий. Павел, сидя на диване, начал их изучать. Вот семейная фотография: отец, мать и трое детей. В тоненькой девушке, обнявшей родителей, едва угадывалась хозяйка квартиры. С другой фотографии глядела молодая пара и двухлетний мальчик. Была еще фотография уже старой женщины и молодого человека в матросской форме, как видно, матери и сына.

Биографию старухи трудно было себе представить. Может быть, у нее в жизни произошла какая-то трагедия? Как говорится, жизнь не получилась, и женщина обозлилась постепенно на весь белый свет. Кто ее знает! Одно только было ясно: старуха зависит от Куртиса и потому так предана ему.

Как-то, отдыхая после обеда, Павел почитывал потрепанную, без начала и конца книгу, изданную, вероятно, в прошлом веке. В ней повествовалось о любви и загробной жизни.

Павел встал, вышел на кухню. Старухи не было. Он подошел к другой комнате, открыл дверь. И там ее не было. Павел направился к входной двери. Она была заперта только на французский замок. Внутренний запереть старуха забыла. «Это уже прогресс»,— сказал он. Быстро пошел в комнату старухи, открыл шифоньер, порылся в белье, достал деньги: он однажды подсмотрел, куда она прятала свою наличность. Оделся и вышел на улицу...

Вернулся он поздно. Старуха встретила его злым взглядом.

Однажды — это произошло в субботу утром — явился Куртис. Он был в новом пальто, в пышной светло-коричневой шапке, а когда разделся, оказалось, что и костюм на нем новый.

Павел, обрадованный его приходом, обнял Куртиса, а потом стал вертеть его из стороны в сторону. Осматривая костюм, пощупал борта пиджака, потрогал плечи.

— Неплохо прибарахлились,— сказал он, закончив осмотр.

— Я уже стар, дорогой мой,— отвечал Куртис со вздохом.— Так пусть хотя бы костюм будет новый. Как дела?

— В тюрьме намного веселей.

— Ну, ничего. Скоро все переменится,— сказал Куртис, садясь к столу.— У тебя паспорт есть?

— Что за вопрос?

Павел достал из кармана брюк паспорт и протянул его Куртису.

Куртис с интересом взял паспорт, и брови у него поползли вверх. С фотокарточки на Куртиса смотрела его собственная физиономия.

— «Дембович Ян Евгеньевич. Время и место рождения — 18 июля 1901 года, город Херсон», — машинально вслух прочел он.

— Когда же ты успел? — искренне удивленный, спросил Куртис.

— Пока вы моргали. — Павел, прищурив левый глаз, прицелился в Куртиса указательным пальцем, как прицеливаются из револьвера. — Я вас поймал, маэстро. Значит, или вы не Куртис, или этот паспорт не ваш?

Куртис колебался лишь секунду. Еще раз посмотрев на паспорт, он спокойно объяснил:

— Застарелая привычка... Всегда полезно при первом знакомстве не говорить настоящего имени.

— Ладно, не оправдывайтесь. Оставайтесь Куртисом, только в следующий раз будьте осторожнее.

— Урок пойдет мне на пользу, — сказал Куртис. — Но теперь к делу. Дай твой паспорт.

Павел достал из пиджака, висевшего на спинке стула, потрепанный документ.

— Вот, прошу.

— Почему чужая фамилия? — спросил Куртис. — Ты же Матвеев, а тут...

— Моя настоящая фамилия мне теперь ни к чему. А это я позаимствовал у одного гражданина.

— Но как же фото? Ведь здесь твое?

— Имеем опыт. Правда, я был тогда немного помоложе, — объяснил Павел.

— Вполне подходяще, — сказал Куртис. — Но я у тебя его отберу.

— Пожалуйста, — охотно согласился Павел.

Куртис стал совсем серьезным.

— Вот тебе новый — на имя Корнеева.

Павел взял протянутый паспорт.

— Корнеев так Корнеев.

Куртис положил на стол узенькую полоску бумаги.

— Вот адрес. Ты послезавтра пойдешь в отдел кадров. Постарайся устроиться на работу, не отказывайся ни от какой. Места у них там должны быть.

На столе появилась трудовая книжка.

— Возьми это. Как следует запомни все, что здесь написано, а то будешь путаться.

Павел поморщился.

— Вы хотите сделать из меня ударника коммунистического труда? Маэстро, я же квалифицированный вор, мне работать нельзя.

— Это необходимо. Нелегально долго не проживешь. А потом не беспокойся, дело найдется.

Павел раскрыл трудовую книжку, стал читать, и лицо у него сделалось кислое.

— Веселая жизнь была у этого Корнеева... грузчик, истопник, разнорабочий какой-то... Не могли придумать что-нибудь поинтереснее?

— Ты же сам говоришь, работать не привык. Что ты умеешь?

— Когда-то действительно прилично знал радиодело.

— Когда-то! — передразнил Куртис. — Спорить тут нечего. Надо поступать на работу.

Павел полистал паспорт, увидел штамп прописки.

— Прописан я здесь?

— Да.

— Тогда пусть старуха перестанет глядеть на меня, как солдат на вошь. Я законный жилец.

— Имей в виду, ты ей приходишься племянником. Приехал из Минска на постоянное жительство... Полагаю, с племянником она будет вести себя иначе.

— Больше вопросов нет. Могу я пойти погулять?

— Конечно!

Одевшись, Павел подошел к двери в комнату хозяйки, приоткрыл ее, крикнул: «Привет, бабуся!», — сделал Куртису прощальный жест и выбежал вон из квартиры.

Дембович позвал хозяйку.

— Садись. Что нового?

— Что же нового? — сухо отвечала она. — Я вам уже говорила... Очень любопытный молодой человек, всю квартиру обшарил, во все углы сунул нос. Что ни положишь — осмотрит. Монеты золотые нашел. Одну взял... Украл тридцать рублей. Забыла двери запереть — ушел... Явился пьяный... Жулик он...

— Определенно жулик, — задумчиво произнес Дембович. — Не спрашивал обо мне, кто я?

— Нет.

— Ну, хорошо. Теперь он твой родственник. В домоуправлении все устроено. Вещи его смотрела?

— Нет.

— Надо осмотреть.

— Не было случая. Раз ночью входила, но не решилась. Спит чутко.

— Поворачиваться надо. — Дембович достал бумажник, вынул из него белую таблетку. — Вот растолчешь, всыпешь в водку.

ОБЫСК

Хозяйка действительно непонятным образом переменилась.

Утром она сама разбудила его.

— Пора вставать, — услышал Павел тихий голос и открыл глаза.

— Что, нарушаю санаторный режим?

Она промолчала. Павел быстро оделся. Позавтракав, он решил, что не лишним будет попривередничать, показать характер.

— Слушайте, бабушка, где жалобная книга? Плохо кормите.

— Ты и этого не заслуживаешь, — ответила хозяйка.

— Справедливо, — сказал Павел. — Пошел заслуживать.

Изумлению Павла не было конца, когда хозяйка дала ему ключи на железном колечке, сказав: «От входной двери».

Он отправился по адресу, который дал ему Куртис, — это оказался хлебозавод. В отделе кадров молоденькая курносая девушка-инспектор, полистав его трудовую книжку, предложила должность разнорабочего. В его обязанности, объяснила она, будет входить погрузка хлеба в автофургоны. Павел почесал за ухом и согласился. К работе можно было приступать хоть сейчас, не дожидаясь официального оформления и приказа. И Павел тут же приступил. Целый день он грузил ящики со свежим, только что выпеченным хлебом в фургоны. Он отнюдь не был хлипким, двухпудовая гирька когда-то летала в его руках, как детский мячик. Но с непривычки намотался так, что домой ехал совсем разбитый.

Медленно поднявшись по лестнице и войдя в квартиру, он разделся, повесил пальто и кепку на вешалку и хотел сразу идти в ванную, но хозяйка, выглянув из своей комнаты, сказала:

— У тебя гость.

В его комнате на диване сидел с газетой в руках Куртис.

— А, передовик производства! — приветствовал он Павла. — Рассказывай, как дела.

— Минуточку, маэстро, — устало сказал Павел. — Смою трудовой пот.

Куртис ждал с нетерпением рассказа о прошедшем дне, и Павел не стал его томить, отказавшись на этот раз от своих обычных шутливых отступлений.

Куртис остался доволен его рассказом. Скоро хозяйка пригласила ужинать.

— Надо обмыть назначение, — потирая руки и усаживаясь, сказал Куртис.

На столе стоял графинчик с водкой и распечатанная бутылка коньяка, тарелки с закусками.

— Сразу видно, бабушка уважает трудовых людей, — сказал Павел.

— С чего начнем? — спросил Куртис.

— С водки, конечно.

Через полчаса Павел почувствовал, что его клонит в сон. Он подумал, что все-таки тяжелая физическая работа для непривычного человека — это тебе не утренняя физзарядка, и сказал:

— Я, кажется, расклеился. Надо спать.

— Может, по последней?

— Нет, нет.

У Павла уже не ворочался язык. Он побрел из кухни, ступая неуверенно, словно ноги у него отнялись.

Посидев минут пятнадцать, Куртис поднялся, заглянул в комнату Павла. Тот спал на спине, раскинув ноги, свесив к полу безжизненную правую руку. Пиджак висел, как всегда, на спинке стула, брюки валялись, скомканные, рядом со стулом.

Куртис, взяв вещи Павла, перешел в комнату хозяйки.

Положив брюки на сундук, он начал обыскивать карманы пиджака. Вынул уже знакомый ему сверток с побрякушками, записную книжку в зеленом переплете, некий предмет, представлявший собой увесистый, в полкилограмма, стальной шарик, обернутый толстой лоснящейся кожей и прикрепленный к гибкой ручке из китового уса.

Ян Евгеньевич разложил все это на сундуке и начал просматривать записную книжку. Хозяйку же заинтересовал незнакомый ей предмет. Она взяла, взвесила его на руке и спросила в недоумении:

— А это что?

— Чтобы бить людей по голове, — раздраженно объяснил Ян Евгеньевич. — Не задавай глупых вопросов. Эмма, мешаешь.

Хозяйка с испуганным лицом положила шарик на сундук, отошла в сторону и больше ничем не интересовалась.

Ян Евгеньевич долго и внимательно изучал записную книжку Павла. Здесь было много адресов и телефонов, причем постороннему человеку оставалось непонятным, каким городам принадлежат эти адреса и телефоны. Было также множество невразумительных заметок.

Там, где кончался алфавит и начинались чистые листы, Ян Евгеньевич обнаружил маленькую, сделанную для документа фотографию пожилой женщины. Невеселый взгляд, чуть наморщенный лоб, прическа гладкая с пробором посредине. Он быстро переснял карточку своим крошечным, со спичечную коробку, фотоаппаратом, а потом начал щелкать над каждой страницей записной книжки.

МАРИЯ ЕДЕТ В МОСКВУ

Ровно через неделю после первого похода на ипподром Зароков снова пригласил Марию съездить посмотреть лошадей и попытать счастья в игре. Все было так же интересно, как в прошлый раз,— все, кроме одного: хотя он опять накупил кучу билетов, потратив тридцать рублей, выигрыш составил смехотворную сумму — всего два рубля семьдесят копеек. Зароков забыл, что он уже не новичок на ипподроме, и теперь уже ему придется разыгрывать перед Марией идиотские водевили под названием «А я опять выиграл!». Однако он не опасался, что Мария заметит фальшь: он давно понял, что Мария наивна и доверчива, хотя на первый взгляд может показаться гордой и умудренной житейским опытом женщиной.

Вот и сейчас, выслушав сообщение, что они снова выиграли кучу денег, Мария была обрадована чисто по-детски.

Потом они поужинали в кафе, и, как в прошлый раз, он проводил Марию до ее дома. В гости не напрашивался, решив подождать, пока она не пригласит сама,— он был уверен, что этот момент не так уж далек.

С тех пор они стали видеться чаще. Раз в неделю обязательно посещали ипподром, и Зароков обязательно исполнял свою хорошо отработанную роль, варьируя только сумму так называемых выигрышей.

Часто ходили в кино. По воскресеньям же, если он не работал, покупали билеты в какой-нибудь театр.

Зароков нравился Марии все больше и больше. Она сразу, с первых дней его работы в парке, выделила его. Он казался умнее и интеллигентнее всех других шоферов. Был неизменно вежлив и спокоен, никогда она не услышала от него скверного слова.

Михаил понемногу рассказывал о себе, но никогда особенно не расписывал свою биографию, и это тоже нравилось Марии. Из его отрывочных рассказов Мария узнала, что он рано осиротел, что у него где-то должна быть сестра, которую он очень любил и любит и с которой они растерялись во время войны. Он был в плену, числился пропавшим без вести. Потом бежал из плена, опять воевал. И по тому, как Зароков, вспоминая свою жизнь, хмурил брови, Мария догадывалась, что ему тяжело перебирать в памяти события минувших лет. И она даже жалела его в такие минуты, хотя он всем своим обликом и характером менее всего походил на человека, нуждающегося в жалости.

Он ни разу не позволил себе сказать, нравится ли она ему. Но об этом и не надо было говорить, Мария и так все видела.

Новый, 1962 год встречали у ее подруги Лены Солодовниковой. Компания собралась пестрая, но Зароков нашел общий язык со всеми, и так как он был старше других, то скоро завладел общим вниманием и стал вроде бы не гостем, а хозяином. Лена работала библиотекарем и была по-библиотечному тиха и спокойна и даже за праздничным столом не могла говорить громко. И она, книжная душа, просто поразила Марию, когда, вызвав ее посреди шумного пира в коридор, восторженно и горячо начала поздравлять, что у Марии такой «великолепный друг». Это, конечно, польстило Марии.

Распрощавшись с компанией, они пешком добрались до ее дома. У подъезда Михаил в первый раз поцеловал ее.

— С Новым годом, Мария?

— С Новым годом.

Он по обычаю постоял немного в дверях подъезда, слушая, как стучат ее каблуки на каменных плитках лестницы, закурил и зашагал по переулку...

На следующее утро в восемь часов, выписывая ему путевку, Мария была в прекрасном настроении.

А в два часа дня, когда Зароков заехал в парк починить закапризничавший счетчик и, пока механик возился с машиной, заглянул в диспетчерскую, Мария сидела грустная, как будто произошло несчастье.

— Что случилось?— склонившись над столом, вполголоса спросил он.

— Понимаете, Миша, расстроена я. Только что был разговор с начальством, они хотят, чтобы я свой отпуск за прошлый год взяла сейчас же. Я рассчитывала соединить за тот и за этот вместе и отгулять в сентябре, но ничего не получится. У моих сменщиков так составлен график отпусков...

— И это все?

— Понимаете, я так рассчитывала...

Михаил засмеялся.

— Есть из-за чего убиваться! По мне, так отдыхать всегда хорошо, лишь бы отдыхать.

— Но куда я зимой денусь? Путевку в дом отдыха купить уже, наверно, не успею...

— Вот что. Завтра встретимся, что-нибудь придумаем. Когда надо уходить в отпуск?

— Уже отправили приказ машинистке. Через пять дней.

— Ну, не расстраивайтесь. Придумаем что-нибудь...

На свидание Зароков пришел с готовым планом. То, что он собирался предложить Марии и о чем хотел ее просить, выглядело совершенно естественно и по-житейски понятно. Больше того: главное — его просьба будет, наверное, воспринята всего лишь как благовидный предлог, который позволит Марии без особых усилий справиться с самолюбием и принять его дружеское предложение.

Они шли, слушая, как скрипит под ногами свежий сухой снежок. Зимние сумерки сгущались, фонарей еще не зажгли, и улицы с усыпанными снегом черными липами, решетками скверов, карнизами зданий стали похожи на гравюру. Но загорелись молочно-белые плафоны фонарей, и все изменилось. Где-то в переулке послышались громкие крики мальчишек, где-то вдруг заливисто зазвонил трамвай. Казалось, вместе с ранним электрическим светом разом ожили звуки притихшего было города.

— Так я, кажется, придумал...— начал Михаил.— Вы когда-нибудь в Москве бывали?

— Два раза, но, знаете, проездом — с вокзала на вокзал. Можно не считать.

— Почему же не съездить, как следует?

— Что вы! На такую поездку у меня нет денег.

Михаил перебил ее:

— Но слушайте, Мария, пусть эта поездка будет вам подарком от меня. Я сейчас просто набит деньгами, и они же, вы знаете, шальные, достались случайно.

Она взглянула на него рассеянно.

— Нет, нет, слишком дорогой подарок. К таким подаркам я не привыкла.

— Хорошо,— попробовал он с другого конца,— возьмите у меня в долг.

— В долг брать я тоже не привыкла.

Михаил был обижен.

— Ладно, в таком случае я открою вам один секрет. Можно положиться, что это останется между нами?

Она слегка пожала плечами.

— Слушайте, Мария,— наклонясь к ней поближе, начал Зароков.— Я расскажу одну историю, не очень длинную, а потом попрошу вас об одолжении, но прежде чем соглашаться или отказываться, попробуйте понять меня. Это не так уж трудно.

Он помолчал, пока они миновали оживленный перекресток, а потом начал свой рассказ:

— Во время войны у меня был друг, звали его Павел Матвеев. Мы полгода служили в одной части. Для передовой полгода — это, поверьте, большой срок. Это было в сорок четвертом, уже после того, как я побывал там, у немцев. И носил я в то время не свою настоящую фамилию. Под настоящей после плена можно было угодить... ну, знаете сами, наверное, что иногда случалось с бывшими пленными во время войны... Так вот, этот Павел Матвеев был единственный человек, который знал мое настоящее имя. Можно понять, как мы дружили...

Он закурил, затянулся несколько раз подряд, не выпуская дыма.

— В одном бою, уже далеко за Днепром, его ранило тяжело, в живот. Когда мы прощались, он отдал мне золотой медальончик на цепочке и свою небольшую фотографию. Просил передать на память матери. И то и другое у меня сохранилось, я вам после покажу.

На людном перекрестке Михаил опять прервал рассказ.

— После войны все у меня так закрутилось, запуталось, что ехать в Москву искать Павла или его мать нечего было и думать... Да, я, кажется, забыл сказать, что Павел—москвич? Ну вот. Да к тому же у меня и своя забота была — разыскать сестренку. Ее-то я искал, конечно, но тоже не нашел. Может, вышла замуж, сменила фамилию. Адрес Павла я знал. Начиная с сорок восьмого писал раз шесть или семь, но ответа не получил. И мои письма обратно тоже не приходили. На будущее лето я наметил обязательно съездить в Москву, попробую разыскать или узнать, в чем дело. А тут вот ваш неожиданный отпуск. И я подумал — попросить бы вас...

Они не пошли отогреваться ни в кафе, ни в ресторан. Мария просто, как будто делала ему такие предложения каждый вечер, сказала:

— Знаете что, давайте купим конфет и пойдем ко мне. Будем пить чай.

Так и порешили. И когда Михаил вновь вернулся к разговору о ее поездке в Москву и шутя предложил составить смету расходов, Мария согласилась.

Он дал Марии медальон, взятый Дембовичем у Павла, и карточку, снятую с его старого паспорта. Медальон Марии очень понравился, она примерила его на себе, посмотревшись в зеркало, и сказала:

— Изящный.

Потом вгляделась в карточку, но фото было старое, несколько выцветшее, и разобрать на нем выражение глаз было невозможно.

— А вот его мать.— Михаил показал ей репродукцию карточки, которую Дембович нашел в записной книжке Павла.

Они условились, что Мария поедет послезавтра утренним поездом.

У Михаила не было причин в чем-либо подозревать Марию. Вряд ли такую наивную и бесхарактерную женщину контрразведчики могли выбрать для своих целей. И в парке она работала задолго до того, как он появился в этом городе.

И все же он счел необходимым устроить ей хотя бы самую грубую и нехитрую проверку.

Когда Михаил доставал фотокарточку Павла, он вынул и два конверта, на которых не было написано адресов. Один из них был запечатан, другой нет. В конвертах были письма к двум его воображаемым приятелям. Он уронил конверты под стол, а уходя, забыл поднять.

Они расстались до завтра.

Утром в набитой шоферами диспетчерской Мария первым делом протянула ему эти письма. Выехав из парка, Зароков остановился в переулке и самым тщательным образом осмотрел их. Заклеенный не вскрывался, а из незаклеенного письмо даже не извлекалось. Он окончательно успокоился. И с легким сердцем повернул к вокзалу — за билетом.

Наутро он провожал Марию. Она немного волновалась — оттого, что впервые ехала в Москву надолго, что билет у нее в мягкий вагон скорого поезда — это было тоже впервые в жизни,— и украдкой поглядывала на уезжающих и провожающих.

Когда объявили, что до отправления поезда осталось пять минут, он дал Марии листок из блокнота, на котором было написано: «Матвеева Пелагея Сергеевна, год рождения — приблизительно 1902—1904».

— Вот, узнаете в справочном в Москве,— сказал он.— Пора садиться.

Он подвел ее к вагону, подсадил. Поезд медленно, почти незаметно тронулся.

— Веселитесь хорошенько!— говорил он громко, шагая за вагоном и глядя на белевшее в глубине тамбура за спиной проводника чуть растерянное лицо Марии.— Не забывайте меня!

Продолжение следует.

ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

ПОВЕСТЬ

Олег ШМЕЛЕВ, Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА

«НЕ ВЕРЬТЕ ЕМУ»

Первое, что сделала Мария, выйдя на вокзальную площадь в Москве,— спросила у милиционера, где справочное бюро. А через полчаса с адресом Пелагеи Сергеевны Матвеевой спускалась в метро.

На третьем этаже большого старого дома на Чистых прудах она позвонила в квартиру номер одиннадцать. Дверь открыла пожилая женщина, и Мария без труда ее узнала: то же лицо, грустные глаза, морщинки на лбу, та же гладкая прическа с прямым пробором посредине, как у той, что на фотографии, которую показывал ей Михаил. Но Мария все же спросила:

— Мне Матвеевых. Можно?

— Входите,— нисколько не удивившись, пригласила женщина.— Я и есть Матвеева.

— Пелагея Сергеевна?— Мария была очень довольна, что все оказалось так удачно.— Меня просили вас найти...

— Идемте в комнату, что же мы на пороге стоим...

Снимая пальто, Мария думала, как получше начать разговор с этой симпатичной женщиной. И решила не мудрить. Когда вошла в комнату, открыла сумочку, достала медальон и фотокарточку Павла и положила то и другое на стол.

— Вот,— сказала она,— не узнаете?

Пелагея Сергеевна взяла фотографию, долго смотрела на нее, а затем сказала без всякой радости:

— Постарел... Видно, по тюрьмам сидеть — даром не дается.

Мария стояла растерянная.

Пелагея Сергеевна посмотрела на медальон, перевела недоуменный взгляд на Марию.

— А это что?

— Понимаете...— Мария не знала, как объяснить.

— Ах, милая вы моя,— сказала Пелагея Сергеевна.— Вещичка эта чужая. Небось, ворованная.— Она опустила голову.— И откуда в нем такое? У нас в роду не то что воров — лгунов никогда не было. Но вот споткнулись на Павлушке. Его ведь ищут сейчас... Ко мне уж два раза милиция приходила. Он из тюрьмы убежал. Говорят, охранника ранил тяжело. Не сын он мне, нет, не сын...— Пелагея Сергеевна села.— Не знаю, в каких вы с ним отношениях, но я бы вам дала совет: не верьте ему. Возьмите эту безделушку.

Мария, когда шла, собиралась рассказать Пелагее Сергеевне историю, услышанную от Михаила, но теперь сочла это излишним. Она взяла медальон, положила его в сумочку. Потом взяла карточку, повертела, сунула ее в тот же кармашек и сказала:

— Извините, пожалуйста. Я не хотела...

Пелагея Сергеевна все понимала и без слов.

— Ладно, милая.

Мария уходила от Пелагеи Сергеевны расстроенная. После этого она часа три искала место в гостинице, потом стояла в очереди в магазине «Синтетика» за кофточкой, потом обедала в столовой и все это время думала о Пелагее Сергеевне, о ее непутевом сыне Павле, о том, как трудно быть матерью, у которой сын пошел по преступной дороге...

Мария не смогла прожить в Москве весь свой отпуск, вернулась через неделю.

...Михаил не встречал ее, потому что телеграмму она не давала. Они встретились на следующий день вечером у нее дома. Мария рассказала ему все в подробностях. Она не заметила скрытой радости, которую вызвал ее рассказ. Видела только выражение печали на лице Михаила. Конечно, подумала она, можно понять человека, который столько лет искал друга и вот узнает, что этот его друг — преступник. Нехорошо бывает узнавать такие вещи, но что же поде-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38, 39.

лаешь? По крайней мере, все стало на свои места.

Мария вернула ему фотографию и медальон, но Михаил начал уговаривать ее оставить эту золотую безделушку себе. Мария отказывалась, но недолго: медальон ей нравился.

КТО ЕСТЬ КТО

Все, разумеется, с первых страниц догадались, что Зароков — иностранный разведчик. Авторам и не было нужды играть в прятки и сбивать читателя с толку, заставляя долго гадать, кто он такой. Задача у авторов совсем иная.

Роль Павла можно толковать по-разному. Вполне логично предположить, что он совсем не случайно оказался однажды пассажиром в вагоне поезда Сухуми — Ленинград, а затем в такси, за рулем которого сидел Михаил Зароков, хотя обстоятельства, при которых это произошло, носили по видимости чисто случайный характер и не вызвали подозрений даже у осторожного разведчика.

Дембович, назвавшийся Павлу Куртисом,— фигура совершенно ясная с самого начала. Он старый агент иностранной разведки, держащий явочную квартиру.

Оценивая поведение Марии, следует иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, она не знает, кто такой Михаил Зароков на самом деле. Во-вторых, он ей очень нравится.

Наши контрразведчики, конечно, могли предупредить ее, но это было рискованно. Характер Марии таков, что в один прекрасный момент она могла бы не удержаться и выдать себя, а значит, провалить все дело.

Настоящая фамилия Зарокова — Тульев. Он родился в 1922 году в Париже. Отец его, русский дворянин Александр Тульев, служил по министерству иностранных дел Российской империи. Октябрьская революция застала его за границей.

Поняв, что в России произошли необратимые изменения и что необходимо сделать выбор, Александр Тульев принял решение не возвращаться на родину.

Друзья помогли ему найти ход в разведку одного из европейских государств.

Александр Тульев сам выбрал профессию для сына. Михаил был зачислен в школу, где инструктором работал его отец.

Незадолго до нападения Германии на Советский Союз школу прибрали к рукам гитлеровцы. Когда настал срок подыскивать маску, под которой надо будет жить в Советском Союзе, Михаила под видом советского военнопленного посадили в один из концентрационных лагерей на территории Польши. Это было летом 1943 года.

Прежде чем сделаться «военнопленным», Михаил ознакомился с документами заключенных и заочно отобрал наиболее подходящие кандидатуры. За месяц пребывания в концлагере Михаил Тульев сделал выбор. Он пал на русского солдата Михаила Зарокова. Почему именно на него? Тут имелось несколько причин.

Михаил Зароков родился, как и Тульев, в 1922 году. Они были двойными тезками — это удобно: не надо привыкать к другому имени. Роста они были совершенно одинакового.

У Михаила Зарокова не было родителей,— они умерли в 1933 году в приволжской деревне в Самарской области. Из его родных жив только один человек — младшая сестра Нина. Не будь и ее, для Тульева было бы еще лучше, но с одной сестрой все же можно мириться.

После смерти родителей Михаил и Нина жили, как перекати-поле. Сначала их отправили в детский дом на Украину, в Сумскую область, потом перевели в Горьковскую область, потом опять на Украину. В 1938 году Михаил научился водить трактор, ушел из детдома, устроился работать в МТС и забрал к себе сестру. Потом окончил школу шоферов, поработал немного на грузовике, а в 1940 году его потянуло в большой город, и они переехали в Горький. Работа нашлась. Поселились в общежитии.

В мае 1941 года Михаила призвали в армию, он попал в автобатальон водителем. В октябре под Вязьмой их колонна оказалась в окружении. Немцы расстреляли колонну из крупнокалиберных пулеметов, а потом подожгли зажигательными пулями. Грузовик Михаила загорелся. Выскочив из вспыхнувшей машины, он был контужен миной, а очнулся уже в плену...

Когда Тульев выведал у Зарокова все подробности его биографии, пятьдесят заключенных из концлагеря, в том числе Зароков и Тульев, были переведены в Германию — их отправляли в Рур, на шахты. Однако туда доехало не пятьдесят человек, а только сорок пять. Пятерых ссадили по пути на какой-то небольшой станции, в их числе и обоих тезок. Четверо не доехали никуда: их расстреляли в местной тюрьме.

После войны Тульев-отец нашел для себя новых хозяев и, конечно, для сына тоже. Михаилу пришлось побывать в Африке и в Португалии, в Корее и на Ближнем Востоке. А потом шеф отца вспомнил, что Михаил готовился раньше к работе в Советском Союзе, и это решило его дальнейшую судьбу. Михаила вызвали к начальству и после долгой беседы объявили, что его собираются заслать в Советский Союз. И началась усиленная учеба. Отец придумал ему кличку — Надежда. Разменяв седьмой десяток, старик стал заметно сентиментальнее.

Через год Надежда был готов перейти границу.

Эксперты с особой тщательностью отбирали предметы будущей экипировки. Специалисты готовили ему документы прикрытия, спецаппаратуру, шифровальные таблицы, средства тайнописи, оружие, медикаменты.

Разведчики еще раз тщательно инструктировали Надежду, как себя вести в России, с тем чтобы не попасть в поле зрения советских контрразведчиков.

Специалисты уточняли, что́ в первую очередь узнавать о военной и экономической мощи Советского Союза и как безопаснее переправлять добытые данные.

Опытные инструкторы отрабатывали скоростные передачи по рации.

Так называемые психологи проводили с ним длиннейшие беседы, тщательно проверяли надежность биографии, с которой он должен действовать в России. Они с великим пристрастием допрашивали его, ловили на слове, на малейшем замешательстве, старались запутать, сбить с толку...

С того момента минуло пять месяцев, а ему кажется — пять лет.

Сейчас у Надежды были все основания для спокойствия и уверенности. Границу он перешел удачно. Поддельный паспорт на имя Кириллова с честью выдержал испытание в пути. Тот паспорт давно уничтожен, а в действие вступил настоящий, советский, на имя Зарокова. Вопрос с работой решен надежно. Для разведчика трудно подыскать более подходящее занятие, чем работа шофера-таксиста: езди куда хочешь и с кем хочешь, никто ни в чем не заподозрит. С пропиской и с жильем все устроилось как нельзя лучше. Помощник мог бы оказаться моложе и расторопнее, но на первое время и Дембовича хватит. На связь с центром Надежда, как было условлено, выходил лишь однажды — после того, как поступил в таксомоторный парк. Портативная рация была закопана Дембовичем под яблоней. До весны она не понадобится.

Пожалуй, уже можно было приступить к исполнению двух специальных заданий, полученных им перед заброской. Надо поскорее сделать это, чтобы потом уже не думать и не заботиться ни о чем, кроме главной своей задачи.

Первое спецзадание — взять в районе Новотрубинска пробы земли и воды. Сам Надежда поехать туда, разумеется, не мог. Резидент, который должен внедриться на неопределенно долгий срок, рисковать по пустякам не имел права.

В этом деле Надежда рассчитывал на Павла. Закончив его проверку, он собирался через Дембовича дать ему задание.

Второе дело было намного сложнее. Надежда не напрасно помянул при первой встрече с Дембовичем некоего Леонида Круга. Круг, приходившийся родным братом помощнику шефа разведцентра Виктору, был членом подпольной боевки. Его сбросили на парашюте еще в 1947 году.

В 1949 году органы госбезопасности разгромили бандитское подполье, накрыли квартиру Леонида Круга, разворошили все потаенные лесные бункера. Круг сумел скрыться. Связи с ним больше не было, так как рация попала в руки советских контрразведчиков. За прошедшие десять лет Виктор Круг посылал двух агентов для розыска своего брата, но безуспешно.

Во время напутственного совещания шеф дважды повторил, что как только Надежда сочтет свое положение прочным, он должен разыскать Леонида Круга, а затем с помощью центра организовать его переправу через границу. Старый Тульев тогда пытался возражать в том духе, что нерационально нагружать Михаила, резидента, отправляющегося со столь серьезной миссией, обязанностями частного сыщика,— старик недолюбливал Виктора, они вечно соперничали. Но шеф так посмотрел на него, что Тульев осекся...

Надежде в разведцентре сказали перед засылкой, что Дембовичу известно о дальнейшей судьбе Леонида Круга. Те два связника, что забрасывались специально для его розыска, воспользоваться услугами Дембовича не имели возможности, так как квартира Дембовича была законспирирована разведцентром еще раньше, чем Круг потерпел неудачу.

Согласно предварительному плану, Круга

должны будут переправлять морем. У Надежды еще есть время: до весны, до тех дней, когда растает береговой припай, ждать еще целых три месяца.

Грунт и воду тоже раньше мая не добудешь: человек, ковыряющий мерзлую землю посреди белого, заснеженного поля, неминуемо вызовет подозрение.

Насчет способа передачи проб заранее не уславливались. При благоприятном стечении обстоятельств их можно будет переправить с Кругом.

Вот как складывались у Надежды дела в конце января 1962 года. И вдруг одно событие чуть было не разрушило до основания все это с трудом добытое благополучие.

ВИЗИТ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

Сквозь сон Зароков услышал, как вдруг залаял во дворе Таран. Он поднял голову, взглянул на будильник — было десять часов утра. Давно рассвело.

Лай оборвался. С улицы донесся голос Дембовича. Он приглашал кого-то в дом. Голос у него был медовый.

Кто-то крепко притопнул на крыльце раз, другой, хлопнула дверь, и половицы в коридоре заскрипели под тяжелыми шагами.

— Прошу вас, товарищ уполномоченный, вот сюда.— Дембович распахнул двери столовой.— Прошу, присаживайтесь. Чему обязан?

— Благодарю,— опустившись на жалобно скрипнувший стул, сказал гость сочным басом.

Зарокову было хорошо слышно, что он листает бумаги.

— У вас прописан Зароков Михаил Александрович? — спросил бас.

— Да, да, как же! — поспешно отвечал Дембович.

— Тысяча девятьсот двадцать второго года рождения?

— Да, кажется, так.

— Как мне его увидеть? Он на работе?

— Нет, по-моему, еще спит. Во всяком случае, я не заметил, чтобы он выходил.

Зароков вдруг почувствовал, как одеревенела у него рука, на которую он оперся, приподнявшись, чтобы посмотреть на будильник. В груди заломило, когда он сделал глубокий вдох,— кажется, он все это время не дышал.

Дембович подошел к его двери, нарочито громко постучал, крикнул:

— Михаил Александрович, вы не спите?

Зароков сел на краю кровати, ответил заспанным голосом:

— В чем дело, Ян Евгеньевич? Входите!

Дембович вошел, закрыл за собою дверь.

— Садитесь, я сейчас,— повысив голос, сказал Зароков, жестом спрашивая, кто в столовой.

— Участковый уполномоченный, из милиции,—скороговоркой объяснил Дембович.

Зароков лихорадочно вспоминал, что такое участковый уполномоченный,— расспрашивать у Дембовича было не время. Наконец вспомнил.

— Сейчас. Я быстренько оденусь.— И тихо, для одного Дембовича: — У нас выпить найдется?

Дембович кивнул.

— Устрой на кухне...

Минут через пять Зароков, улыбаясь, вошел в столовую. Участковый уполномоченный встал при его появлении — высокий, с массивными плечами. Густые выцветшие брови белели на обветренном розовом лице. Совсем молодой, лет двадцати пяти.

Зароков протянул руку.

— Здравствуйте, товарищ...— Он взглянул на погоны.—...товарищ младший лейтенант.

— Вы Зароков Михаил Александрович?

— Совершенно верно. И именно я вам нужен? — Зароков спросил это шутливым тоном, но было ему совсем не так уж весело.

— Ай-я-яй, гражданин Зароков! — укоризненно начал младший лейтенант.— Нехорошо получается... Вас ищут, а вы скрываетесь. Нехорошо...

Зароков изобразил крайнюю степень удивления.

— Позвольте, кто же меня может искать?

— Вся милиция Советского Союза. Покажите, пожалуйста, ваш паспорт.

Зароков быстро прошел в свою комнату, вернулся с паспортом, дал его младшему лейтенанту. Он еще минуту назад сообразил, в чем дело.

— Неужели Нина, сестра моя? — не веря собственной догадке, спросил он.

Младший лейтенант добродушно рассмеялся.

— Точно! Поздравляю!

— Присядемте! — Зароков был неподдельно взволнован.— Вы понимаете, прошло двадцать лет... Я ее после войны искал, но все впустую... Думал, или умерла, или вышла замуж, сменила фамилию. Разве найдешь? Откровенно говоря, давно смирился.

Участковый уполномоченный заглянул в бланк, лежавший перед ним на столе рядом с планшеткой.

— Точно. Фамилия ее теперь Воробьева. Нина Александровна. Проживает в Ленинграде. Можете записать адрес...

Зароков снова сходил в свою комнату, принес блокнот и карандаш, переписал адрес, затем позвал из кухни Дембовича.

— Вы слышали, Ян Евгеньевич? Сестра нашлась!

— Ну вот, никогда не следует терять надежду.

Младший лейтенант снова засмеялся.

— Скорее не сестра, а вы нашлись, товарищ Зароков.

— Золотые слова, товарищ младший лейтенант! По этому поводу не худо бы по ба-
ночке. Как смотрите?

Но участковый вежливо отказался. Уходя, он сказал, что милиция, как положено в таких случаях, сообщит Нине Александровне Воробьевой об успешном завершении розысков, и пожелал Зарокову скорейшей встречи с сестрой.

Дембович проводил участкового до калитки, вернулся, не забыв вытереть ноги о скребок на крыльце. Зароков все еще сидел в столовой, растерянно глядя на листок блокнота, где был записан адрес Нины Воробьевой.

— Что же будет? — решился спросить Дембович.

Он только раз видел Зарокова таким. Сейчас Зароков был похож на того ночного гостя, который однажды осенью явился в дом Дембовича под видом техника горэнерго.

— Действительно, что же будет? — не обращая внимания на Дембовича, переспросил Зароков.— Одна такая нелепость — и все летит к чертям...

Отстранив в дверях онемевшего Дембовича, он прошел в ванную, умылся, причесался. Потом у себя в комнате снял спортивные брюки и фланелевую рубаху, в которых обычно ходил дома, надел костюм, повязал галстук. Дембович все это время следовал за ним молча, но в конце концов не выдержал:

— Вы собираетесь уходить?

— Не навсегда,— ответил Зароков.— Не бойся. Пойду на почту, надо дать телеграмму сестре.

Он надел свое рабочее полупальто с цигейковым коричневым воротником.

— А ты пока что попробуй уяснить себе в подробностях, как может отразиться знакомство с сестрой на моей судьбе, а значит, и на твоей тоже.

Зароков ушел, а Дембович принялся искать валидол, к которому давно уже не прибегал.

РИСК РАДИ БУДУЩЕГО

На почте Михаил Зароков составил и послал в Ленинград Нине Александровне Воробьевой длинную, в пятьдесят слов, телеграмму.

Покинув почту, он отправился бродить по городу. Надо все хорошенько взвесить и принять какое-то решение. Надо трезво оценить собственное положение со стороны.

Встреча с Ниной Воробьевой исключалась — это не подлежало обсуждению. Хотя Нина и настоящий ее брат Михаил расстались целых двадцать лет назад, было бы крайне опрометчиво рассчитывать на то, что она не распознает подмены. Даже если память обманет ее, он все равно не имеет права строить всю свою дальнейшую судьбу на таком зыбком расчете.

Можно оттянуть встречу, но ненадолго. Вообще же уклоняться было бы в его положении несерьезно. Он должен вести себя точно так, как это делал бы настоящий Михаил Зароков. Вот почему он поспешил дать телеграмму.

Короче говоря, выход был один: или он должен все бросить и исчезнуть, или исчезнуть должна Нина Воробьева. Но ее исчезновение органы милиции теперь уже обязательно свяжут с тем фактом, что она долго разыскивала брата и наконец нашла его. Жаль, очень жаль, что у него не было раньше возможности самому разыскать ее. Тогда все устроилось бы значительно проще. Но зачем понапрасну сожалеть о том, чего он не сделал?

Много ли можно дать за Михаила Зарокова, чье имя будет связано с убийством его сестры? Но не меньше ли стоит Михаил Зароков, если сестра скажет, что он ей не брат, что она его вообще не знает? Скрыться, использовав запасную легенду, которая у него имелась на крайний случай? Но это чревато опасными осложнениями.

Как ни поворачивай, ясно одно: если Надежда твердо намерен быть резидентом, необходимо так или иначе раньше или позже избавиться от сестры. Риск велик, но это как раз тот случай, когда он должен или рискнуть, или немедленно связаться по радио с центром и попросить, чтобы его забрали отсюда во избежание неминуемого провала.

В его положении убийство — крайний, самый нежелательный шаг. Но он попробовал успокоить себя тем, что убийство убийству рознь. Очень много зависит от того, как его обставить...

В двенадцать часов дня Зароков вернулся домой. Дембовичу не терпелось поговорить.

— Вы позволите мне задать вопрос? — еле дождавшись, пока Зароков разденется, спросил он.

— Сколько угодно.

Зароков пошел в кухню, налил в чашку остывшего крепкого чаю, выпил, сел к столу на круглую табуретку. Дембович устроился напротив.

— Думаю, вы не хотите встречаться с этой женщиной...

— Я-то не хочу. Она хочет.

— Но это же невозможно!

— Конечно, невозможно,— согласился Зароков.— Может, вы сумеете ее отговорить?

Дембовичу было не до шуток.

— Вольно вам паясничать...— С утра он явно сделался смелее.—Вы же должны что-то предпринимать!

— В другое время, дорогой Дембович, я бы сказал, что вы вмешиваетесь в чужие дела. Но сейчас ваше благополучие для меня так же дорого, как мое для вас. У вас есть предложения?

— Я знаю, как найти Леонида Круга.

Зарокову не надо было долго думать, чтобы по достоинству оценить ход мысли Дембовича. Идея, возникшая в седой голове старого пройдохи, устраивала его во всех отношениях. Круг, в обмен на обязательство переправить его за кордон, пойдет, пожалуй, на что хочешь. Да ему можно и просто приказать. Ведь он не знает, какие инструкции на его счет получил Надежда. Провалится — туда и дорога. Болтать он не будет. А центр если что-нибудь и узнает, то не от Надежды.

— Где он сейчас? — спросил Зароков.

— Работает киномехаником в рабочем клубе в поселке на седьмом километре.—

Дембович видел, что его мысль одобрена, и постепенно успокаивался.

— Поддерживали с ним связь?

— Нет.

Зароков и это безусловно одобрял.

— Как вы его обнаружили?

— Встретил его там же, в клубе, лет шесть... позвольте... да, шесть лет назад. Я работал тогда инструктором областного управления культуры, часто ездил по клубам. Мы не разговаривали, но он дал мне знак, что узнал и помнит. Прошлым летом я был на седьмом километре, показывался ему, но не разговаривал, даже не подходил близко.

— Где живет, знаете?

— Да, я проследил. По-моему, у него семья...

Зароков минуту подумал.

— Вот что, Дембович, я вижу, взаимных объяснений не требуется. Надо действовать, и немедленно. Вы сейчас же поедете на этот седьмой километр, найдете Круга. Опасаться и слишком осторожничать, пожалуй, нет нужды. Он давно очистился. Поговорите. Пощупайте откровенно, как он смотрит на самого себя. Обо мне сегодня ничего. Даже и намеков не надо. Само ваше появление будет лучшим намеком. На прощанье скажите, что очень скоро увидитесь опять.

...Через час Дембович приехал в электричке на седьмой километр. Клуб оказался на замке. В квартире, где жил Круг, Дембович нашел лишь парнишку лет двенадцати — это был сын соседей Круга. Мальчик сказал Дембовичу, что тетя Поля как ушла утром на работу, так и не приходила, что дядя Леня приходил домой обедать, а после обеда, всего с полчаса назад, поехал в город за новой картиной. Дядя Леня сказал ему, что на сегодняшний фильм дети до шестнадцати лет не допускаются... Исчерпывающе подробное объяснение всезнающего и на редкость словоохотливого соседа Леонида Круга взвинченный и озабоченный Дембович дослушивал уже на лестнице...

Приехав в город, он сел в трамвай, чтобы добраться до базы кинопроката — адрес ее был ему известен давно. Дембович спешил: очень хотелось поскорее увидеть Круга,— и ему повезло. Не промаячив и четверти часа перед воротами базы, возле которых стояли автомобили — грузовики и два пикапа-москвича,— он увидел того, кого искал. Леонид Круг — низкорослый, широколицый — появился из проходной с двумя большими кубическими жестяными коробками в руках. Оттого, что был в стеганой телогрейке, он и сам казался кубическим. Поставив коробки в кузов бежевого пикапа, он огляделся, ища своего шофера. Дембович в этот момент двинулся через дорогу, и Круг обратил на него внимание. Приблизившись, Дембович сказал:

— Товарищ, вы не с седьмого километра?

— С седьмого.

— То-то я вижу, как будто знакомый пикапчик.— Заметив подходившего к ним шофера, он спросил у Круга: — Не подбросите?

— Нужно хозяина попросить,— сказал Круг и повернулся к шоферу:— Вот тут земляк с нашего седьмого в пассажиры набивается, ты не против?

Шофер, сердитый высокий дядя, отпер дверцу, закинул ногу в кабину и буркнул неприветливо:

— Я-то не против... Замерзнет старик в кузове.

Киномеханик сказал:

— Ну, ничего, я для компании тоже в кузове сяду, чтобы не обидно одному...

— Дело ваше,— захлопнув дверцу, закончил переговоры шофер.— Поехали.

С первой минуты, как только они уселись рядом спиной к ветру и машина тронулась, Дембович приступил к делу. Путь был недальний. Через десять минут у переезда через железную дорогу Дембович сошел. Прежде чем постучать по кабине, он спросил у Круга, как лучше всего найти его, чтобы поговорить обстоятельнее. Круг сказал, что удобнее прийти, как стемнеет, к нему в кинобудку. Помощника он всегда сумеет выставить, благо у того по вечерам частенько бывают свидания. Дембович может прийти в любой день, кроме понедельника. В понедельник выходной. На том они и распрощались...

Дембович застал Зарокова дома; тот лежал на кровати поверх одеяла и курил. У Зарокова была, как всегда, намечена встреча с Марией, но сейчас не до этого, и, проводив Дембовича на седьмой километр, он сходил к телефону-автомату, позвонил Марии в парк и сказал, что сегодня прийти не сможет, а почему — объяснит при встрече...

Внимательный Дембович сразу заметил валявшуюся на полу рядом с пепельницей телеграмму. Он подошел поближе.

— От нее?

Зароков кивнул.

— Можно?

Дембович прочел: «Миша дорогой какая радость не дождусь встречи срочно позвони любое время суток жду целую тебя крепко обнимаю твоя сестра Нина». И в конце два телефона — рабочий и домашний. Зароков не дал Дембовичу высказывать свои комментарии по этому поводу, он заставил его рассказывать о Круге.

После девяти вечера Зароков отправился на переговорный пункт. Он разговаривал с Ниной ровно пять минут и вышел из жаркой, душной кабины взъерошенный и потный. Вернувшись домой, счел излишним передавать Дембовичу содержание разговора. Да, собственно, и нечего было передавать — так, маловразумительный обмен бессвязными репликами, не удивительный между людьми, которые не виделись двадцать лет...

ПОСЛЕДСТВИЯ ВИЗИТА УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО

Контрразведчикам, взявшимся за осуществление плана с очень дальним прицелом, приходится ни на секунду не забывать о психологических особенностях человеческой натуры.

Разведчик, если даже он ничего не делает, всегда имеет повод для беспокойства. Но, бездействуя долгое время, он может стать спокойным. Правда, это будет пассивное, если можно так выразиться, полусонное спокойствие. Оно непрочно и неглубоко и может развеяться от малейшей, даже ложной тревоги.

Только то спокойствие надежно и прочно, которое выработалось у разведчика путем многочисленных проверок в серьезных испытаниях.

Опытный разведчик не пропускает ни одной возможности провериться, он даже сам искусственно создает такие возможности — конечно, в пределах разумного.

Надежда, после того как устроился в таксомоторный парк, словно впал в зимнюю спячку, и, по всей видимости, надолго. Это не устраивало наших контрразведчиков. Лучше было бы, если бы Надежда активизировался.

Вот почему известие о том, что Воробьева наконец-то разыскала своего мнимого брата, оказалось как нельзя более кстати.

Спустя два часа после телефонного разговора Нины с Михаилом в квартире Воробьевых раздался звонок. Открыв дверь, Нина Александровна увидела незнакомого молодого человека.

— Разрешите войти?— очень вежливо и вместе с тем несколько официально сказал он.

Молодой человек достал из кармана удостоверение личности, показал его Нине Александровне и спросил:

— Где нам можно поговорить наедине?

Нина Александровна пригласила в комнату.

У нее были все основания удивляться, когда сотрудник органов госбезопасности, попросив извинения за то, что не может ничего объяснить подробно, изложил причину своего появления. Он сказал, что человек, который прислал телеграмму и с которым два часа назад она говорила по телефону, не брат ей. Но если она когда-нибудь встретится с ним, то должна постараться сделать вид, что узнала в нем брата. Сыграть эту маленькую, но очень важную роль ей будет не так-то просто.

Пока он говорил, Нина Александровна успела отчетливо сообразить лишь одно: с ее братом Михаилом случилось что-то серьезное. Она готова была услышать самое худшее. Поглядев на нее внимательно, сотрудник госбезопасности продолжал:

— Вы, безусловно, понимаете, Нина Александровна, приносить людям такие вести никому не хочется, но у нас есть основания полагать, что ваш брат Михаил Зароков, если даже он еще жив, вряд ли объявится в живых. Мою задачу немного облегчает то, что вы ведь еще в сорок пятом году получили извещение о Михаиле... что он пропал без вести...

Нина Александровна провела ладонями по лицу.

— Мне сейчас кажется, что я чего-то такого ожидала...— заговорила она.— Сказать по правде, в последний раз я заявляла в милицию о розыске Михаила просто на всякий случай, без особых иллюзий... И муж не раз говорил, что напрасно я все это... И вдруг получила телеграмму, потом звонок... Похоже на рождественский рассказ... Мне и радостно было и как-то странно..

— Мы так и думали.— Он окончательно освободился от чувства неловкости перед этой спокойной и, как видно, немало пережившей женщиной.— Но все же сегодня вашим нервам досталось... Мы просим у вас извинения.

— Ничего,— сказала Нина Александровна. Ей уже хотелось подбодрить молодого человека. Она сумела заметить, как трудно ему дается этот разговор.— Я понимаю, так нужно.

Напоследок он заверил ее, что она не должна испытывать никакого беспокойства. Мужу надо все объяснить.

— И попросите его, как я прошу вас, никому не говорить о моем посещении и о теме нашей беседы.

— Ну, конечно. Это понятно...

Визит участкового уполномоченного имел и еще одно последствие.

Леонид Круг, которого предприимчивый Дембович, сам того не ведая, ввел в поле зрения органов госбезопасности, очень заинтересовал нашу контрразведку.

Была молниеносно проведена большая работа. Она началась через несколько минут после того, как киномеханик рабочего клуба в поселке на седьмом километре, открутив последний вечерний сеанс, запер на висячий замок свою кинобудку и отправился домой, а окончилась под утро. В эту ночь не спали многие работники органов госбезопасности и вместе с ними два летчика. Но зато к утру дактилоскопическая экспертиза установила полную идентичность отпечатков пальцев, взятых с предметов, которыми пользовался киномеханик, и тех отпечатков, которые были добыты с некоторых предметов после разгрома боевки в 1949 году и, как предполагалось, принадлежали бандиту, сумевшему скрыться и с тех пор безуспешно разыскиваемому. Беспокойство Надежды начинало давать плоды...

Можно было с немалой степенью вероятности предположить, что появление на горизонте сестры Зарокова и неожиданное желание Дембовича увидеть Леонида Круга находятся в прямой связи.

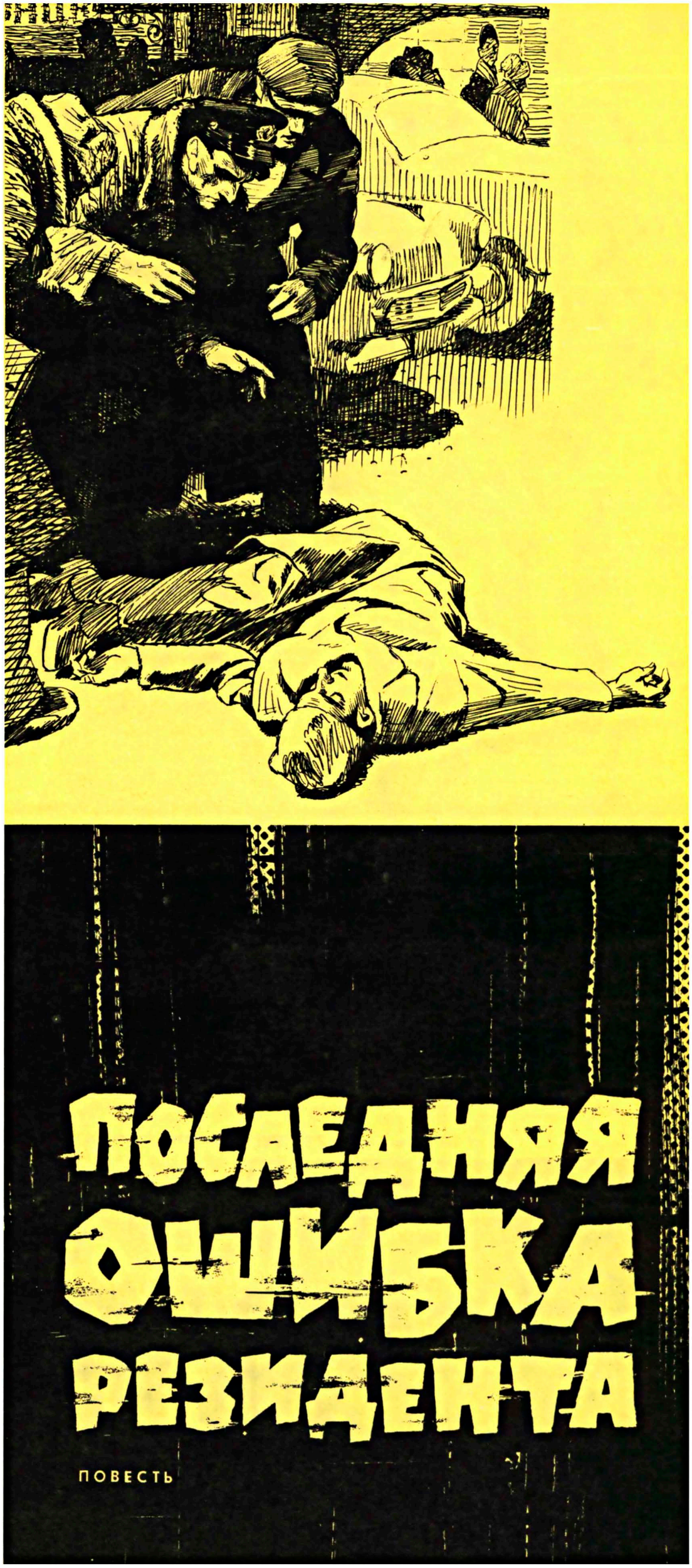
Леонид Круг — сам по себе такая фигура, что позволить Надежде пожертвовать им в какой-нибудь комбинации, имеющей отношение к Воробьевой, было бы по меньшей мере нерасчетливо. Леонид Круг мог еще сыграть более серьезную роль.

Именно поэтому случилось так, что на следующее утро к Леониду Кругу зашла заведующая клубом. Киномеханика посылали на курсы повышения квалификации. Он не удивился,— это уже бывало.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.



ГРЯЗНЫЙ ВАРИАНТ

Зароков выехал из парка в шесть утра. Три раза отвез с вокзала пассажиров, а потом дело застопорилось: нет седоков, хоть убейся. Поболтав на стоянке со скучавшими коллегами, он решил съездить домой попить чаю.

Неспокойно было у него на душе. А вид Дембовича, ходившего со вчерашнего дня с похоронной физиономией, растравил еще больше. Он понимал, что глупо и несправедливо злиться на старика, и старался хотя бы внешне не показывать ему своего раздражения. Ждать сложа руки невыносимо, надо действовать. За чаем Зароков завел речь о возникшем накануне плане.

— Сегодня четверг, значит, клуб работает? — спросил он.

— Да.

— До вечера еще далеко, сейчас всего восемь часов. У вас как, валидола хватит?

Зароков с некоторых пор незаметно для себя перестал говорить Дембовичу «ты».

— Можно не ждать вечера. Если он дома, то один или в крайнем случае еще этот мальчишка.

— Хорошо, Дембович, не будем тянуть время, поезжайте.— Зароков сложил руки на столе в замок.— У меня есть старый пароль к Леониду Кругу. Человеку, который придет к нему с этим паролем, он обязан подчиняться. Круг, наверное, удивится, что это оказались вы. Объясните, что пароль дал вам тот, кому подчиняетесь и вы сами. И дальше прямо к делу. Он должен сегодня же уехать или улететь в Ленинград. Хорошенько запомните сами и велите запомнить ему адрес моей сестры и ее телефоны. В Ленинграде он сразу позвонит ей. Вероятно, это будет вечером, после работы. Он расскажет ей такую историю: с братом Михаилом произошла небольшая неприятность, сам он в ближайшие две недели приехать не сможет. Он, Леонид, мой друг, прилетел в Ленинград всего на сутки, хочет кое-что передать. Зайти к ней домой не может, нет времени. Если она имеет желание поговорить с ним полчаса, пусть приедет, скажем, на Кировские острова или в другое место по его выбору... Скорее всего, она согласится. Когда я говорил с ней по телефону, было столько слез...

Зароков закурил свой неизменный «Казбек».

— Дальше. Он встретит ее у самого дома, конечно, она не должна его видеть. Ему обязательно надо проверить, не следят ли за ней. Как это делается, Круг знает. И вот самое главное. Меня не интересует, где и как он с нею покончит. Обстоятельства подскажут, а рука у него, думаю, набита. Самое главное, чтобы все было похоже на убийство с целью ограбления. И чтобы он убрался из Ленинграда в ту же ночь. Хорошо, если у него в кармане заранее будет билет на поезд, который уходит из Ленинграда часов в одиннадцать-двенадцать. В любую сторону, только не в наш город. А дело сделать надо за час—полтора до отъезда. И не дай бог, если он привезет сюда с собой хоть одну ее вещичку. Все надо где-нибудь спрятать так, чтобы никто не нашел. Обязательно чтобы был в пер-

Продолжение. См. №№ 38, 39, 40.

чатках и в новой обуви. Старую пусть выбросит...

Зароков встал, начал расхаживать взад-вперед.

— Дальше. На следующий день он даст телеграмму сюда, на главный почтамт, до востребования, на имя Корнеева. Пусть напишет два слова: «Перевод получил»,— если все в порядке. Если нет,— «Жду перевода». Теперь о нем самом. Он, конечно, сообразит, что ему трудно будет объяснить дома и на работе неожиданный отъезд. Скажите вот что. После Ленинграда он не будет возвращаться на седьмой километр, мы переведем его на нелегальное положение. Пусть приедет в город, пойдет на хлебозавод и найдет там Корнеева. Куда поведет его Бекас, после решим. В самом конце разговора объявите ему, что весной, если все будет хорошо, его переправят за кордон. Это вдохновит. А потом дадите ему триста рублей на разъезды. Кажется, все...

Но, подумав, Зароков уточнил еще одну деталь.

— Да, вот что... Когда он с ней встретится, пусть расскажет такую историю. Я сбил нечаянно пешехода. Завели следствие. С меня взяли подписку о невыезде.

...Они вышли вместе, сели в машину, стоявшую в переулке. Прежде чем тронуться, Зароков разогрел мотор, покурил. Высадив Дембовича у автобусной остановки, он отправился в парк.

Было около девяти. В диспетчерской, по обычаю, толклись водители.

Наклонившись к Марии, Зароков подмигнул ей и сказал:

— У меня новость.

— Расскажешь?

— Сестра нашлась... Сама меня разыскала... Представляешь?

Мария приложила ладони к щекам.

— Да что ты говоришь?!

— Ей-богу... Живет в Ленинграде. Фамилия Воробьева. А я-то искал Зарокову.

— Ой, как я рада за тебя!..

— Хочу дня на три отпуск у начальства попросить.

Зароков рассказал подробно, как все это произошло, какую он послал и получил телеграмму, как говорил с сестрой по телефону.

— Ладно, Мария.— Он взглянул на часы.— Надо поработать.

— Завтра увидимся?

— Обязательно. Если я не уеду...

А в одиннадцать часов дня на площади перед филармонией произошел несчастный случай, по поводу которого работники ОРУДа составили протокол.

Вот как было дело.

К остановке на площади подошел автобус. Следом за автобусом ехало такси — голубая «Волга». В тот момент, когда такси обгоняло автобус, из-за него на проезжую часть выскочил молодой человек, он хотел перебежать на другую сторону, к скверу. Такси вильнуло, молодой человек заметался, и машина ударила его правым крылом в бедро.

Очевидцы утверждали, что скорость у такси была небольшая, во всяком случае, не превышала шестидесяти километров. Резко тормозить водитель не мог, так как был гололед, да к тому же площадь покрыта не асфальтом, а гладкой гранитной брусчаткой. Общая картина позволяла сделать заключение, что водитель такси не виноват. Между прочим, затормозив, он первый бросился к лежавшему на мостовой парню, хотел отвезти его в больницу. Но тут, на счастье, мимо проходила машина «Скорой помощи», она и забрала парня. У незадачливого пешехода оказался перелом бедренной кости, других повреждений не нашли.

Водителем такси был Зароков. Его повезли на экспертизу, где заставили дуть в трубку. Трубка не показала ни малейших следов алкоголя. После составления протокола у Зарокова взяли подписку о невыезде из города и велели отправляться в парк. На линию выезжать сегодня больше не разрешили.

В парке по этому случаю было много толков. Хорошо еще, что Мария сдала смену и ушла до его появления. Все шоферы жалели Зарокова, считали, что ему просто не повезло — ведь водитель первого класса. Допустить наезд из-за нерасторопности, по недосмотру он не мог...

Убитый случившимся, Зароков покинул парк и отправился на телефонный переговорный пункт. Прождав целый час, он наконец получил Ленинград. Ему не хотелось описывать случившееся Нине в слишком трагических тонах, но все же он был очень расстроен. Главным образом потому, что это досадное происшествие задержит его приезд в Ленинград. Не может ли она сама приехать к нему? Нет, в ближайшие дни никак не может: составляется план на второй квартал. Договорились, что он будет звонить ей как можно чаще...

По пути домой он зашел в винный магазин, где продавали в розлив, выпил стакан коньяку.

Дембович встретил его словами:

— Он уехал.

— Уже? — удивился Зароков.

— В район уехал.

Хмель сразу прошел.

— Почему в район? В какой район?

— Командировали на курсы повышения квалификации.

Зароков сунул изжеванный окурок в пепельницу.

— Это из-за вас?

— За последние три года его посылают вторично. Я узнавал у заведующей.

Зароков покачал головой.

— Наследили, Дембович.

— Это не так опасно. Она меня помнит с тех времен, когда я работал в управлении культуры.

Зароков попросил дать чего-нибудь поесть. Дембович не мешал ему, но Зароков заговорил сам.

— Надолго послали?

— На месяц.

— Надо проверить. Но с ним не встречайтесь.— Он покрутил головой.— А я-то насочинял... Драматург!

Зароков отложил вилку.

— Нужен другой.

— Я думал,— сказал Дембович.— У меня есть только один человек, который может пойти... Но это будет очень грязный вариант...

— Кто он?

— Зовут Василий Терентьев. Мы вместе служили в гестапо во время войны. На нем много крови, его держали на самых грязных акциях. А я в этом смысле был не замаран. Когда уходили, немцы меня взяли, а его бросили. Он знает, что его разыскивают как государственного преступника. В сорок седьмом он меня нашел. Я помог ему достать документы.

— Плохо... Но поневоле приходится иметь дело с подонками. Где живет?

— Псков.

— Надо ехать к нему, Дембович. Завтра же.

— Другого ничего нет.

— То, что мы насочиняли для Круга, годится?

— Думаю, годится. Только говорить он был не мастер. Не знаю, как сейчас. Ваша сестра удивится, что у ее брата такой друг.

— Другого же ничего нет... Давайте спать. Встанем пораньше... Вам в дорогу, а мне надо одного пострадавшего пешехода в больнице навестить, гостинцев снести...

«ПОВЕДЕНИЕ ОДОБРЯЕМ...»

Жизнь Павла текла размеренно и спокойно. Иногда он являлся домой поздно. Тогда хозяйка ворчала, а на следующий день завтрак бывал хуже тюремного. Но Павел не очень-то обижался. Добродушие его было неистощимо. И это обезоруживало строгую старушку.

Усердие и расторопность Павла были замечены на работе, и вскоре его перевели на должность экспедитора. Теперь он ездил на разные склады и базы за маслом, за изюмом, какао, молоком, сахаром...

Однажды на складе, где он должен был получать масло, к нему подошел какой-то человек в белом фартуке,— лица его Павел в первый момент не разглядел: в помещении склада было полутемно. Наверно, новый помощник кладовщика, решил Павел.

— А халатик-то надо бы постирать, — сказал этот человек.

Павел весь напрягся. Он узнал много раз слышанный голос. Ошибиться было невозможно,— рядом с ним стоял лейтенант Кустов, которому по плану операции назначалось осуществлять связь между ним и руководством.

— А у вас всегда очередь,— ответил Павел.— Пойти покурить, что ли?

— Ну, это уже по принципу: сам дурак,— разочарованно произнес человек в белом фартуке.— Покурите, покурите...

Ожидавшие очереди экспедиторы улыбались. Кустов вышел в боковой коридор, Павел тоже.

— Кустов, это же ты, да?— быстрым шепотом сказал Павел, шагая следом.

Октябрь, ноябрь, декабрь, январь — вот сколько прошло времени, прежде чем Павел дождался связи. Каково ему было сдерживаться?

В дальнем конце коридора Кустов отпер ключом маленькую дверь, и они вошли в тесную кладовку, где стояли новенькие весы и в углу стопкой были сложены пустые мешки. Пахло рогожей.

Обнялись. Потом Кустов достал из бокового кармана кожаный бумажник, извлек оттуда вдвое сложенный листок.

— Читай.

Павел развернул записку.

«Твое поведение одобряем,— читал он.— От тебя пока никакой информации не требуется. Задача прежняя — входи в доверие.

«Боцмана» проверял Дембович. Пелагею Сергеевну Матвееву проверяла втемную женщина, тебе неизвестная. Медальон предъявлен. Но не в медальоне суть. Главное — карточка. На карточке тебя узнали. И все-таки проверка еще не закончена. Будь бдителен. Не торопи события.

Дома все в порядке, шлют тебе большой привет. Что нужно — передай. Желаем успехов. Сергей».

Кустов все время наблюдал за ним с улыбкой. Заметив, что Павел дочитал до точки, он сказал вполголоса:

— Тебя просто не узнаешь.

— Система Станиславского.

Но обмениваться впечатлениями друг о друге все-таки не было настроения.

— Видел его с тех пор? — спросил Кустов.

— Нет, больше не видал.

— Выдерживает.

— Но, думаю, если уж такой заглотает, будет крепко, не сорвется.

— Трудно?

— Вжился.

Кустов отобрал у него записку, вынул карандаш, написал на чистой стороне несколько цифр.

— В экстренном случае можешь звонить.— Он подержал у Павла перед глазами номер телефона.

— Готово,— сказал Павел, и Кустов спрятал записку в бумажник.

— Следующая явка будет похожа на эту.

— Хорошо.

— Что передать?

— Привет всем.

И они расстались. Павел отправился получать масло, а Кустов вышел через другую дверь на улицу...

Снова потянулись будни, в которых не было места старшему лейтенанту Павлу Синицыну, ставшему самим собой на пять минут в кладовке, где стояли новенькие весы и пахло рогожей, будни, в которых существовал только Бекас, в прошлом специалист по вагонным кражам, бежавший из заключения рецидивист, а ныне социально неопасный, приобщенный к общественно полезному труду Павел Корнеев.

Настал февраль. Среди метельных и ветреных выпадали иногда дни, приносившие откуда-то издалека запах весны. Как будто на замороженных стеклах окна кто-то растопил теплым дыханием светлую лунку.

6 февраля вечером пожаловал Куртис. Дверь ему открыл Павел. Он отметил про себя, что старик сильно сдал. Как-то сразу обозначились и мешки под глазами и склеротические жилки на скулах. И кожа шеи, показавшаяся Павлу такой морщинистой еще при первой встрече, в ресторане «Центральный», была решетчатая и темная, как панцирь у старой черепахи. И вдобавок дня два не брился.

— Сразу видно, что вы шли не на прием к английской королеве,— приветствовал его Павел.

Куртис только махнул рукой.

— Слушай, Павел. Завтра поближе к вечеру тебе надо сходить на почтамт. Возьми с собой паспорт. Получишь телеграмму до востребования.

...На следующий день Павел после работы съездил на почтамт и получил телеграмму. Дома его ждал Куртис. Старик схватил телеграмму, воскликнул: «Слава богу!»— и, не простившись, убежал.

Павел переоделся, обрадовал хозяйку, что идет в кино, и спустился на улицу. Побродив, он нашел телефон-автомат на тихой, пустынной улочке. Набрав номер, который показывал ему Кустов, Павел сообщил о телеграмме.

— Вам просили передать,— услышал он в ответ,— приедет гость. Берегите его. Редкая гадина. Теперь необходимо координировать действия.

— Понял. Буду звонить.

Вернувшись к себе, Павел опять увидел Куртиса. Как всегда, когда предстоял важный разговор, Куртис послал хозяйку в магазин. Он попросил Павла сесть и выслушать его, не перебивая, со всем вниманием. Он предупредил, что это будет самая серьезная беседа из всех, до сих пор между ними происходивших. И просил не зубоскалить.

— Завтра, а может быть, послезавтра,— начал он,— к тебе на работу придет человек. Он вызовет тебя. Не удивляйся. Фамилия его Терентьев. Пойди с ним в столовую на углу Кузнечной и Парковой. Знаешь? Если будет спрашивать обо мне, скажи, что меня увидеть нельзя, меня сейчас в городе нет... Расспроси его досконально, что он сделал. Все по порядку. Если он привез какие-нибудь вещи, отбери. А затем скажи, я велел сделать так: он сегодня же ночью должен ограбить какую-нибудь палатку, магазин, ларек — что угодно. Или стянуть вещи в зале ожидания на вокзале. В общем, по его усмотрению. Его могут искать и найти. Ты понимаешь: лучше судиться за кражу, чем за убийство. Осудят года на два — и концы в воду. Отсидит — выйдет чистый. Втолкуй ему. Самое главное, чтобы он усвоил именно это. От него надо избавиться. Объясни, что после отсидки он сможет жить в открытую, как хочет, не надо будет скрываться. Я дам тебе деньги для него. Тысячу рублей. Пусть спрячет их или сделает, что хочет. Выйдет — поможем. Но чтобы не мешкал. Ему надо садиться в тюрьму.

— Слушайте, маэстро, вы хотите впутать меня в мокрое дело,— серьезно сказал Павел.— Я протестую. На мне и так, кажется, висит одно.

— Тебе нечего опасаться,— умоляюще сложив руки, уверял Куртис.

— Хорошо. Но учтите: если что, я себя в жертву ради вас приносить не буду. Все скажу.

ТЕРЕНТЬЕВ ЕСТ ПИРОЖКИ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Павел за свои тридцать лет повидал людей немало, и хороших и плохих. Но таких еще не встречал.

Человек, пришедший в пятницу после обеда в контору хлебозавода и спросивший Корнеева, производил очень странное впечатление. Он был словно из ваты. Двигался медленно. На землистом лице застыло какое-то идиотски бесстрастное выражение, словно у него были парализованы нервы, управляющие мышцами лица. И ко всему неестественно тонкий голос.

Павел, отпросившись у начальства, вышел с ним на улицу.

— Значит, вы и есть Терентьев и вы получили мой перевод? — в обычной своей манере завел разговор Павел.

— Телеграмму отбивал,— без всякого выражения, как автомат, сказал Терентьев.

— И много получили?

Тот молчал.

Павел посмотрел на него сбоку и подумал: «Настоящий истукан». Походили по переулкам. Павел два раза проверился — Куртиса не было.

— Ладно,— сказал он,— план такой. Сейчас пойдем где-нибудь перекусим. Для ресторана, боюсь, ты одет слишком кричаще. Но тут недалеко имеется одно предприятие под названием «Пирожковая». Оно нам подойдет.

В столовую на углу Кузнечной и Парковой, куда велел Куртис, он идти не собирался.

В пирожковой было столиков шесть, а посетителей человека четыре,— обеденные часы кончились. Павел и Терентьев сели в углу. Терентьев шапку не снял и пальто не расстегнул, хотя было жарко. Павел принес два бульона, горку пирожков с мясом на глубокой тарелке.

— Водки нет? — Впервые в голосе Терентьева послышались нотки какой-то заинтересованности.

Это было кстати. Павлу нужно было выйти на несколько минут из пирожковой. Вчера он звонил своим, доложил о Терентьеве. Просили позвонить сегодня, когда Терентьев явится.

— Нет,— с сожалением произнес Павел,— здесь выпивки не бывает. Но вот что... Ты посиди, я сбегаю в продовольственный, куплю пол-литра. Тут недалеко. Хочешь — ешь, но лучше подожди.

— Бери сразу две.— В первый раз этот ватный человек сказал три слова кряду.

— Тоже правильно,— согласился Павел и вышел.

Огляделся. Вокруг ничего подозрительного.

Он позвонил из пустовавшего автомата за углом. Инструкции были короткими и ясными: сделать все так, как приказал Куртис.

— И еще одно. У вашего подопечного есть золотые женские часы марки «Заря». Возьмите их у него. Покажите и отдайте их Куртису, если он сам спросит о каких-нибудь вещах. Не спросит — не показывайте. Вы их присвоили, понимаете? Деньги подопечному не отдавайте. Прикарманьте их.

— Понял.

— Когда будете передавать Куртису то, что расскажет подопечный, не приукрашивайте. Сохраните его стиль.

— Это мне ясно.

— Все.

...Павел принес две бутылки водки. Одну дал Терентьеву, другую зажал у себя между коленями.

— Так удобнее,— объяснил он.— Тут в открытую пить не разрешается. Наливай себе под столом и сразу опрокидывай. Чтоб стакан пустой стоял.

Павел и вообще пить не хотел, а в компании с этим типом тем более. Но Терентьеву было все равно. Звякнув под столом стеклом о стекло, он налил себе полный стакан и выпил его маленькими глотками. Съел полпирожка. И тут Павел попросил его рассказать про Ленинград.

Терентьев уместил всю историю в несколько слов, но излагал ее мучительно долго. То и дело останавливался, возвращался назад и все время забывал, что говорить надо шепотом. Павлу пришлось раза два цыкнуть на него. В конце концов он все-таки добрался до точки. Если бы Павел знал о плане убийства, разработанном Надеждой, он бы увидел, что рассказ Терентьева в целом совпадает с этим планом.

Когда Терентьев допил свою бутылку, он спросил у Павла, нет ли еще выпить. Оказывается, этот истукан даже не замечал, что Павел вообще не наливал себе. Он был полностью выключен из окружавшей его жизни.

— Свалишься,— сказал Павел.— А тебе еще надо дело делать.

— Не. Не свалюсь,— трезвым, бесстрастным голосом возразил Терентьев.— Если есть, дай.

Павел видел, что он действительно нисколько не изменился после выпитой бутылки.

— Ну ладно, я тебе дам еще, но после. Сейчас слушай...

И он слово в слово изложил то, о чем просил Куртис. Терентьев выслушал спокойно. Ни одна жилка не дрогнула на его лице.

— Сделаю,— только и молвил он.

— Что-нибудь от этой женщины у тебя есть? — спросил Павел.

— Часики.

— Дай их мне. Только тихо. Сними шапку, сунь их за клапан, шапку положи на стол.

Терентьев все так и сделал. Павел взял шапку, вынул и положил к себе в карман часики на черном креповом ремешке.

Потом передал Терентьеву под столом нераспечатанную бутылку, сказав:

— Только не торопись, а то опьянеешь. Нам еще долго сидеть, до вечера. Я тебе покажу одну палаточку, там ты и разгуляешься.

...Около девяти часов вечера Павел повел Терентьева поближе к центру. Они шли по Спортивной. Не дойдя немного до угла Первомайского переулка, Павел остановился.

— Вон, смотри, на углу стеклянный павильон. Это галантерейная палатка. Действуй.

Место было не очень оживленное, но прохожие попадались.

Терентьев, шаркая по асфальту своими галошами-шинами, размеренно и неторопливо направился к павильону. Павел повернул в обратную сторону, отошел метров на сто и решил подождать, понаблюдать, что будет.

Было тихо, и скоро он отчетливо услышал лязг, какой-то хруст, затем крики: «Сюда! Сюда!» А через минуту раздалась трель свистка. Павел увидел, как две фигуры, сопровождаемые кучкой любопытных, пересекли улицу и скрылись за углом...

Куртис встретил Павла бранью. Он был взбешен и настолько не владел собой, что забыл услать Эмму.

— Где ты пропадал? — кричал он.— С вокзала он поехал к тебе. Почему ты не пришел в столовую?

— Какая столовая? — Павел простодушно поглядел на Куртиса.— С таким чучелом в центре показываться?

— Подумаешь, аристократ!

Павел тоже решил разозлиться.

— Если так, я вам скажу, маэстро, кое-что. Хотели, чтобы я с этим барахлом таскался по городу? Замарать меня хотели? И без того уже замарали. Хватит. Что вы ко мне прилипли? И не орите. На меня родной папа никогда не орал. Кажется, мы с вами распрощаемся. И боюсь, что навсегда.

Павел хорошо изучил натуру Куртиса. Старик был из тех, кто кипятится только до первого отпора. Так произошло и теперь. Куртис почувствовал себя усталым.

— Сядем,— сказал он.— Рассказывай.

Павел подробно описал все. Куртис слушал, закусив губу, полуотвернувшись и глядя в пол.

— Будем надеяться, что все прошло так хорошо, как ты говоришь.

— Чего вам еще надо?— возмутился Павел.— Ваш приятель благополучно попал в руки милиции. Вы же этого хотели?

— Он мне никакой не приятель... У него что-нибудь оказалось из вещей?

Павел молча достал часы на потертом черном креповом ремешке, протянул их Куртису. Но тот, поглядев на них, брать в руки не стал. Он смотрел на часы, как на жабу.

— Их надо выбросить. Так, чтоб никто не нашел. Слышишь? Непременно выбрось. Пожадничаешь — жалеть будешь.

Павел усмехнулся.

— Это я лучше вас знаю. Я же не аристократ.

— Деньги отдал?

— Конечно, отдал,— не моргнув, соврал Павел.— Но вот куда он их спрятать успеет, трудно сказать.

— Отберут, наверно,— безразлично предположил Куртис, вставая.— Мне пора идти. Но я тебя еще раз прошу: выбрось часы. А ремешок лучше сжечь.

— Хорошо, понял.

Павел не вышел из комнаты в прихожую, чтобы проводить Куртиса,— это было впервые. Старик, надев пальто, заглянул в дверь, сказал:

— Не злись.— Тон у него был примирительный.— Скоро погуляем. А насчет замарать — глупость.

— Поживем — увидим,— ответил Павел.

ЧЕГО НЕ ЗНАЛИ НАДЕЖДА И ПАВЕЛ

Контрразведчики думали, что Надежда не решится на убийство Воробьевой. Но он решился. И вот что произошло в Ленинграде, о чем не знали ни Павел, ни Надежда.

...Василий Терентьев, одетый в длинное зимнее пальто грязно-синего цвета, с черным барашковым воротником, в шапке-ушанке солдатского образца, в черных валенках с тонкими галошами, склеенными из автомобильных шин, вышел на вокзальную площадь в толпе пассажиров, приехавших из Пскова в Ленинград, и остановился, чтобы осмотреться.

Шоферы со стоявших чуть поодаль легковых автомобилей торопливо, как родных, кинулись встречать приехавших. Это были не таксисты, а обыкновенные «леваки».

Ловкий, разбитной парень в пыжиковой шапке и потертой кожаной тужурке издалека крикнул стоявшему с полуоткрытым ртом Василию Терентьеву:

— Эй, валенки! Поедем, что ли?

Терентьев поманил его рукой в толстой шерстяной перчатке. Парень подошел вразвалочку.

— Мне на Московский вокзал. Свезешь? — спросил Терентьев неожиданным для его обстоятельного облика тонким голосом.

— Рупь,— сказал парень, озорно поглядывая по сторонам.

Терентьев снял перчатку, хотел лезть в карман за деньгами.

— Да нет, ты что? — остановил его парень.— Так нельзя. Потом. Иди в машину. Во-о-он, серая, с того краю третья. Видишь? Ты иди садись, я еще попутных поищу.

Терентьев деловитой походкой направился к машинам, а парень принялся громко вопрошать:

— Кому на Московский? На Московский кому? Есть два места!

Терентьев, приблизясь к серой машине, обошел ее, словно прилаживаясь, наконец открыл переднюю дверцу, но передумал и поместился на заднее сиденье.

Скоро прибежал шофер. Рывком распахнув дверцу, он нырнул за руль, еще не усевшись, завел мотор и, трогая с места, сказал:

— Порядок! Еще двое нашлись. С вещами. Сейчас мы их заберем.

Развернувшись по широкой дуге, он лихо, так, что взвизгнули тормоза, осадил машину у тротуара. Задние дверцы открылись разом с обеих сторон, и, не успев сообразить, что происходит, Терентьев оказался между двумя плотными молодыми людьми. Машина, свернув, быстро побежала по переулку. Молодые люди крепко сжимали его запястья.

— Спокойно,— дружелюбно сказал тот, что сидел справа, и сунул руку к нему за борт пальто.

Там у Терентьева кое-как был пришит длинный узкий карман из холстины, а в кармане лежал тяжелый молоток.

Молодой человек извлек его и ласково поинтересовался:

— Еще что есть?

— Ножик,— тонким голосом отвечал Терентьев.

— Ну и валенки! — весело сказал шофер и расхохотался. Ему, видно, очень понравился голос.

— Где он?

— В пинжаке. В левом кармане,— оторопело, еще не придя в себя, сообщил Терентьев.

Молодой человек достал финку с наборной ручкой из разноцветного плексигласа в самодельном, отполированном до сапожного блеска чехле,— такие делались во времена войны.

Через полчаса Терентьев давал показания. Первый вопрос задал, правда, он сам.

— За что забрали?

Но спокойный грузный человек, сидевший перед ним за большим столом, на котором не было ничего, кроме чистого листа бумаги и черной авторучки, выдвинул боковой ящик, взял из него фотографию с фигурно обрезанными краями, показал ее Терентьеву и ответил своим вопросом:

— Когда и куда вы исчезли с Карпат?

Терентьев, помедлив, сказал:

— Спрашивайте. Буду говорить.

Он не запирался, не утаивал ничего.

Покончив с прошлым, перешли к тому, что Терентьев собирался делать в Ленинграде. Ответы его были односложны, но вполне откровенны и исчерпывающи.

— Вот что, Терентьев,— сказал брезгливо человек, сидевший напротив.— Вы поедете в Москву, как и собирались сделать. Вы дадите оттуда телеграмму, что перевод получили. Потом вы поедете в тот город и найдете Корнеева. И будете поступать так, как они вам прикажут. Не вздумайте фокусничать. Теперь вам никуда не уйти. Разделаться с вами мы не дадим: вас будут судить как государственного преступника...

Вот каким образом случилось, что Павел имел удовольствие познакомиться с Терентьевым, а Надежда смог порадоваться телеграмме, содержавшей два слова: «Перевод получил».

БЕДА ОДНА НЕ ПРИХОДИТ

На свете существует один совершенно особый вид суеверия. Скажем, идет компания друзей, настроение у всех отменное, кто-то рассказывает смешные вещи. Общий хохот, чуть не до слез. И вдруг посреди веселья кто-нибудь — чаще это бывает женщина — говорит: «Ох, что-то мы много смеемся, как бы плакать не пришлось». Развивая, так сказать, тему, кто-то из подобных людей додумался до малоутешительной истины, что, мол, беда одна не приходит.

Испытывая в эту зиму постоянную радость оттого, что одиночество ее кончилось, Мария все ждала и боялась, как бы не пришла беда. И вот, пожалуйста, так она и знала: Михаил сбил пешехода. Правда, до суда дело вряд ли дойдет, потому что виноват не Михаил, а сам пострадавший, но все равно душа болит. Единственное утешение — травма у парня оказалась не очень тяжелой. Она навещала его, носила яблоки и печенье, говорила с врачом. У парня был перелом бедренной кости, но без смещения, врач назвал его удачным. Парню семнадцать лет, бедро срастется бесследно.

Но так как беда одна не приходит, Мария ждала, что должна случиться еще какая-нибудь неприятность, и, конечно, дождалась.

В тот вечер они собирались пойти в театр, но когда Михаил встретил ее после работы, Мария поняла: ни о каком театре не может быть и речи. Михаил выглядел таким убитым, что у нее упало сердце. Он как будто постарел лет на десять.

— Что с тобой? — спросила она.

Он протянул ей синюю бумажку: это была повестка из прокуратуры. Явиться сегодня в пять вечера.

— Неужели все-таки?..— Мария имела в виду дело с парнем.

— Нет,— сказал Михаил.— Думаю, что-то случилось с сестрой. Очень серьезное. Сейчас объясню. Проводишь меня до прокуратуры?

До пяти времени еще оставалось много, пошли пешком. И вот что рассказал Михаил.

Вчера поздно вечером он позвонил в Ленинград сестре по домашнему телефону. Никто ему не ответил. Он подумал, что, может быть, сестра с мужем ушли в театр или в гости. Вернулся на переговорный пункт в половине первого. Но и на этот раз квартирный телефон не отвечал.

Сегодня утром он позвонил по рабочему телефону. Произошел какой-то странный разговор. Женский голос ответил, что Воробьевой нет. Он спросил, когда она будет. Никогда — был ответ. Михаил попросил объяснить, почему. Может, она уволилась? Нет, не уволилась. Так что же случилось? Это — не по телефону...

А дома Михаила ждала повестка...

У подъезда прокуратуры он попробовал уговорить Марию, чтобы она не ждала, это может затянуться. Но Мария осталась ждать.

Целых два часа она ходила по тротуару взад-вперед, строя самые зловещие предположения. Было холодно, но зайти в прокуратуру Мария стеснялась. Наконец Михаил вышел.

Да, предчувствия не обманули его. Следователь попросил буквально по часам и минутам рассказать, что он делал с того момента, как узнал от участкового уполномоченного о существовании Нины Александровны Воробьевой, его сестры. Михаилу нечего было ломать голову — каждый его шаг на виду, можно точно проверить.

На вопрос Михаила о сестре следователь ответил, что она убита. Когда Михаил пришел в себя, следователь сказал, чтобы он правильно понял этот вызов и допрос. Следствие обязано проверить все версии, кажущиеся возможными...

На протяжении недели Михаила вызывали еще дважды. И в последний раз следователь попросил от имени прокуратуры извинения за то, что его потревожили.

Михаил пытался звонить по вечерам в Ленинград на квартиру Нине, хотел поговорить с мужем, но телефон не отвечал. Михаил пошел к следователю, который его допрашивал,— посоветоваться, узнать, почему не отвечает телефон. Следователь сказал, что свяжется с ленинградцами, и просил зайти завтра. Михаил зашел. Оказывается, Воробьев, муж его сестры, хочет менять квартиру, дома не бывает, живет у знакомых...

На этом черная полоса, кажется, кончалась, и Мария с радостью наблюдала, как Михаил становится прежним, уверенным в себе человеком. Окончательно он стряхнул угнетавшее его беспокойство в тот день, когда они нечаянно попали в суд. А произошло это так.

Они гуляли, встретившись по обыкновению в четыре часа, после ее работы. Михаил был весел. Вдруг он остановился и стал читать вывеску, на которой было написано: «Народный суд 2-го участка Заводского района». Михаил сказал:

— Давай зайдем. Никогда не бывал в суде. А ты?

Она тоже не бывала.

Залов было несколько, но дела слушались только в двух: в одном разводили мужа с женой, в другом судили вора. Публика — сплошь старушки и старики. Михаил выбрал второй зал.

Они немного опоздали к началу разбирательства, обвинительного заключения не слышали. Подсудимый — невзрачный человек с землистым лицом — отвечал на вопросы прокурора противным тонким голосом. Вероятно, дело было предельно ясное,— весь процесс занял не более двадцати минут. Вор забрался в галантерейную палатку на углу Спортивной и Первомайского переулка и был задержан на месте преступления двумя прохожими — парнями с электролампового завода, которые и сдали его милиционеру. Парни эти присутствовали на суде в качестве свидетелей и тоже давали показания. Вора осудили на два года.

После суда Михаил стал еще веселее. В тот вечер Мария вздохнула с облегчением: и вправду, черная полоса кончилась, все перемололось.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ, Владимир ВОСТОКОВ

УРОК ЛОГИКИ

Надежда-Зароков был спокоен и уверен как никогда. Все вошло в норму. Единственное, что тревожило его,— внезапный отъезд Леонида Круга, подозрительно точно совпавший с посещением Дембовича,— разъяснилось. По его заданию Дембович ездил в район, зашел в здание, где проходили сборы киномехаников, и через уборщицу узнал, что Леонид Круг здесь. А в первых числах марта посетил седьмой километр, видел Круга, говорил с ним. Круг в самом деле был на курсах. Ровно месяц.

Снег в саду у Дембовича растаял, и однажды поздним вечером Надежда попросил его выкопать из-под яблони портативную рацию. Составив и зашифровав довольно подробное донесение и дождавшись назначенного для сеанса часа, он выехал далеко за город и во второй раз за полгода пребывания в Советском Союзе вышел в эфир. Надежда не слишком опасался, что его запеленгуют: передача была скоростная, длилась всего двадцать секунд.

В донесении Надежда описал в общих чертах события прошедших месяцев, дал объективную оценку своему положению, а в конце сообщил о том, что с Леонидом Кругом установлена связь, и просил на этот счет указаний.

В следующую ночь он работал на приеме, который длился всего десять секунд. После приема он с помощью маленькой приставки к рации прослушал развернутый текст радиограммы, а потом долго расшифровывал ее. Центр считал, что положение Надежды, как им представляется, позволяет приступить к исполнению двух спецзаданий. Ориентировочно переброска Леонида Круга назначалась на вторую половину июня. К тому времени следует иметь пробы земли и воды, чтобы Круг взял их с собой. Детально разработанный план переброски Надежда получит ровно через месяц. Указывалось точное время, когда он должен будет в следующий раз работать на приеме.

Видеться с Кругом он не намеревался. Это было бы опрометчиво. Все можно сделать через Дембовича. А с Бекасом следовало встретиться вроде бы случайно и поговорить по душам.

Как-то в ясный вечер, когда солнце было уже на закате и капе́ль, весь день звеневшая в городе, замолкла, а на карнизах домов морозец развесил хрустальные сосульки, Надежда приехал на своей машине к хлебозаводу.

Павел вышел с двумя совсем юными девушками. Он, видно, досказывал им какую-то историю, начатую еще там, за дверями завода. Девчонки покатывались со смеху. Надежда, понаблюдав эту картину, подумал, что Дембович в своих педантично подробных описаниях встреч с Бекасом нарисовал ему портрет, идеально схожий с оригиналом. Тут, конечно, Павел был не таким, какого помнил Надежда по кратковременному знакомству в поезде Сухуми — Ленинград. И не таким, как во вторую их встречу, когда Бекас сел к нему в такси вместе с размалеванной девицей. Надежда чувствовал, что начинает питать симпатию к этому парню.

Павел не обратил на машину Надежды, стоявшую вдалеке, никакого внимания. До трамвайной остановки он дошел вместе с девушками. Они продолжали путь пешком. Павел сел в трамвай.

Надежда не спеша ехал следом. Там, где трамвай сворачивал в сторону стадиона, Павел спрыгнул с задней площадки, не дожидаясь остановки, и бодро зашагал по бульвару. За версту было видно, что это бесшабашный человек.

На глаза ему попалась закусочная, и Павел зашел в нее. Надежде пришлось подождать.

Потом, сокращая путь, Павел свернул в улицу, застроенную старыми одноэтажными и двухэтажными домишками, с тесными дворами, загроможденными сараями. И вот здесь-то Надежда догнал его.

Опустив стекло, окликнул Павла:

— Алло, радиотехник! Садись — подвезу. Бесплатно.

Павел чуть нагнулся, разглядывая шофера такси. Узнал и моментально нахмурился.

— Знаешь, друг милый,— не принимая дружелюбного тона, сказал он,— вались ты... Вот навязался на мою шею! Я тебя не знаю, понял?

Павел огляделся, свернул во двор, увидел узкий проход между сараями и юркнул в него, чтобы выйти на другую, параллельную улицу.

Надежда развернул машину, нажал на газ посильнее, доехал до угла, сделал поворот и въехал в улицу, куда ускользнул Павел. Но его там уже не было.

Личный контакт, как говорится, наладить не удалось. Паническое бегство Павла обрадовало Надежду. Страх Павла, нежелание встречаться со свидетелем вагонной кражи были естественны и понятны.

Но инстинкт разведчика, работающего на чужой территории, тот инстинкт, который порою заставляет разведчика не верить собственному отражению в зеркале, шептал Надежде: смотри, не промахнись... И он решил еще раз взвесить все «за» и «против», преподав самому себе урок элементарной логики.

Если исходить из того, что Павел — контрразведчик и подослан к нему,— значит, органам государственной безопасности было известно о Надежде с первого дня его появления на территории Советского Союза, точнее — еще до появления.

Отсюда вытекает вопрос: почему органы госбезопасности не взяли Надежду сразу? Ответ найти нетрудно: чтобы выявить его связи и намерения.

Но очевидно, что у советских контрразведчиков достаточно средств, чтобы следить за малейшим его шагом, контролировать каждое его действие. Подсылать к нему под видом уголовника специального сотрудника с целью усилить слежку нет особой необходимости. И к тому же это всегда чревато известным риском для следящих: если они не считают иностранного разведчика круглым идиотом, то обязательно должны опасаться, что при малейшей фальши разведчик раскроет подставу, и тогда придется немедленно прекращать игру. Да и вряд ли они могли рассчитывать, что разведчик позволит себе прямой контакт с подосланным человеком, а общение через третье лицо в смысле слежки мало что прибавляет.

Значит, если Павел подослан контрразведкой, то с единственной целью: чтобы Надежда его завербовал, заставил работать на себя. Это похоже на дело.

В таком случае Бекас — большой артист. Он до сегодняшнего дня еще не сделал ни единой ошибки. И сегодня сыграл блестяще.

Дембович не верит, что Павел подослан контрразведкой, а старик — стреляный воробей, его на мякине не проведешь.

Но трезвый ум запрещал Надежде приблизить Павла без проверки более строгой.

Что же получается? К чему он пришел?

Остается только одно. Он пошлет Павла за пробами земли и воды. Затем переправит пробы с Кругом и попросит центр, чтобы они послали в Советский Союз специаль-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—41.

Рисунки О. КОРОВИНА.

ного агента в тот же район за повторными пробами. Центр обязан пойти на такую перепроверку, ибо это имеет важнейшее значение для будущей деятельности Надежды. Таким образом выявится подлинное лицо Павла.

И еще одна проверка — переправа Круга. Если Кругу удастся уйти за кордон,— значит, советские контрразведчики о Надежде не знают. Иначе оценивать этот факт он отказывается...

Все было логично в этих рассуждениях. Но тем не менее урок логики, который сегодня преподал Надежде Павел, выглядел убедительнее.

ЗЕМЛЯ И ВОДА

Подобного скандала Куртис еще никогда в жизни не учинял.

Павел, придя с работы, заперся в ванной и полоскался там, как морж. В это время явился Куртис. Поздоровавшись с Павлом через дверь, он спросил:

— Ты долго еще?

— Только голову вымыл. Посидите, маэстро, почитайте книжку о загробной жизни, у Эммы есть.

В пиджаке у Павла, кроме старого, знакомого Куртису блокнота, оказался еще новый, с записями, имеющими отношение к новой деятельности Павла в качестве экспедитора. Кастет отсутствовал, будучи спрятан — это Куртис знал — под кроватью. Сверток с дарами для Боцмана также давно исчез — вероятно, продан в какой-нибудь забегаловке. Часиков, которые Павел получил от Терентьева, не было. Но зато за подкладкой на обоих бортах пиджака, внизу, Куртис нащупал нечто хрустящее.

Поколебавшись немного, он решительно пошел в комнату хозяйки, вернулся с ножницами и отпорол подкладку в двух местах. Возмущение его не поддавалось описанию: он изъял из распоротого пиджака два целлофановых пакетика, в каждом из которых было по четыреста рублей двадцатипятирублевыми новенькими купюрами. Те самые, которые он вручил Павлу для передачи Терентьеву! Две сотни были, конечно, пропиты...

Куртис даже покраснел. Бросив распотрошенный пиджак на стол вверх подкладкой и положив на него пакетики, он сел и стал ждать.

Куртис и в самом деле был возмущен, но так как пришел он сегодня к Павлу для особого разговора, то решил использовать это для дела.

Павел появился в комнате распаренный, с полотенцем на голове. С порога увидел свой пиджак на столе, перевел взгляд на разрумянившегося Куртиса и молвил:

— Ну-у, никогда бы на вас не подумал... Устраивать шмон своему лучшему другу!..

Куртис вскочил, сжав кулаки.

— Шмон?! Я тебе покажу шмон, подлый вор!

Он кричал, как на базаре, топал ногами. Павел, против обыкновения, не огрызался. Побесновавшись всласть, старик схватился за сердце и сел. Павел сбегал на кухню, принес воды в стакане, дал ему попить, приговаривая:

— Ну стоит ли так портить кровь из-за несчастных бумажек?

— Ты поступил подло по отношению к Терентьеву! — закричал старик.

— На что они ему? И куда бы он успел их спрятать? — возразил Павел.

Новая вспышка гнева была ему ответом. Но скоро Куртис устал ругаться и, отдышавшись, сказал:

— Хорошо. Мне этот случай окончательно открыл на тебя глаза. Я шел к тебе сегодня не за тем, чтобы ругаться и скандалить, но ты меня вынудил. Я хотел по-дружески просить тебя об одном одолжении, но теперь имею право и требовать. Я собирался дать тебе деньги — не столько, конечно, сколько ты прикарманил. Скажем, половину. Но ты уже получил из них двести рублей, не так ли?

— Считайте, что получил,— согласился Павел.— Давайте остальные триста.

— Сначала поинтересуйся, за что ты их будешь получать.

Павел присел на стул.

— Помнишь, я как-то между прочим спрашивал тебя насчет Новотрубинска?

— Разве? Что-то не помню.

— Ну, значит, собирался спросить. Ты бывал там?

— Легче сказать, где я не бывал.

— Придется съездить в Новотрубинск.

— А как же работа?

— Возьмешь расчет.

Павел не мог сдержать радости. Он хлопнул старика по плечу так, что тот поежился.

— Вы не совсем пропащий человек, Куртис. Весна действует и на вас. Но что я там буду делать?

Куртис как будто не слышал вопроса.

— Скажи,— спросил он,— там в апреле снега уже нет?

— Смотря где. А вам что, прошлогодний снег нужен?

Куртис достал из пиджака карту — это была страница, выдранная из карманного географического атласа,— ткнул пальцем в бурое пятно. Ноготь Куртиса занял площадь в несколько тысяч квадратных километров.

— Здесь.

— Аллах его ведает,— сказал Павел.— Наверно, уже растаял. А может, нет.

— Все равно.— Куртис сложил карту пополам.— К концу апреля ты отправишься. До Новотрубинска самолетом, а там — как сможешь. Авиалиния есть — полетишь, нет — поездом. Запомни: станция...— Он назвал станцию.

— А зачем я туда поеду?

— Дело самое пустяковое. Привезешь коробочку земли и бутылку воды из речки. И все.

— Так, так, так...— Павел соображал недолго.— Думаете, нашли простака... Учтите, Куртис, я же вор образованный, хотя и не аристократ. Научно-популярную литературу почитываю в промежутках между посадками. Знаете, такие маленькие книжечки в ярких обложках. Я же десять классов окончил, Куртис, а вы сколько? Это называется: проба на радиоактивность.

— Ты ничем не рискуешь.

— Статья шестьдесят четыре УК РСФСР. Измена Родине.

Куртис заерзал.

— Это же легче легкого. Ну как ты можешь попасться? Неужели у кого-нибудь вызовет подозрение турист, если он несет с собой бутылку воды? И земли тебе нужно не целый вагон. Всего две-три горсти.

— Я же беглый, меня ищут. Попадусь в дороге — что я скажу? Что вез землицы на могилу отца? А водой хотел полить цветы, которые на ней не растут, потому что я не знаю, где могила?

Павел сам подкинул козырей в руки Куртису.

— Ну, если ты попадешься милиции, тебе все равно, по какой статье становиться к стенке. Ведь ты часового-то убил?

Взглянув на него, Павел протянул неуверенно:

— Он должен быть живой... А как ты узнал?

— Должен!

Переговоры, выражаясь языком дипломатов, чуть было не зашли в тупик. Но Куртис проявил терпение и настойчивость. Он не сулил золотых гор, но предлагал довольно много денег. Успокаивал, внушал, что при соблюдении элементарной осторожности почти никакой опасности нет. Павел молчал, слушал как-то рассеянно, потом встал, снял с головы полотенце, скомкал его, в сердцах шлепнул на стул и сказал:

— Эх, гореть так гореть!

Когда Куртис уходил, к Павлу уже вернулось его обычное бесшабашное настроение. Он остановил старика в дверях.

— Слушайте, может, все-таки заштопаете мой пиджачок?

— Ничего, ты и сам портной хоть куда...

Как условились, дней через десять Павел взял расчет. На хлебозаводе все были опечалены, что он уходит, его успели полюбить за веселый, легкий характер. Пробовали отговаривать, но Павел сказал, что хочет приобрести на четвертом десятке какую-нибудь более квалифицированную профессию. Это, объяснил он, необходимо ему для будущей семейной жизни. Чтобы в нормальной советской семье, которую он собирается создать, не было разлада на почве неравенства супругов.

С тем, пошутив на прощание, Павел и покинул хлебозавод.

Куртис не провожал его на аэродром. Они скоротали время в кафе неподалеку от городского агентства Аэрофлота, откуда Павел должен был уехать на автобусе. На Павле был новый, только что купленный костюм

серого цвета и недорогое, но хорошо на нем сидевшее пальто. Поговорили о том, о сем, о погоде. А напоследок, уже выйдя из кафе, Куртис сказал как бы мимоходом:

— Да, ты вот что... Билеты не выбрасывай. Все привези.

Павел ничего не ответил, только укоризненно покачал головой.

Старик улыбнулся.

— Тебя не обманешь.

ТРЕТИЙ СЕАНС

Все чаще случалось так, что Михаил после смены, поставив машину в гараж, приходил ночевать к Марии. Соседи ее давно к нему привыкли, он стал в квартире своим человеком. Мария дала ему запасные ключи от общей двери и от комнаты.

Она лишь однажды поинтересовалась, как у него с жильем. Он сказал, что снимает проходную комнату в частном доме на окраине, приглашать Марию в гости ему неловко. И больше между ними этот вопрос не возникал.

В тот день, уходя из дома Дембовича утром на работу, Михаил захватил небольшой обшарпанный фибровый чемоданчик. Сверху лежала пара чистого белья, свежая верхняя рубаха, мыло, мочалка и махровое полотенце. Под бельем свободно поместилась рация. Очередной сеанс связи с центром, назначенный на завтра, он из предосторожности хотел провести в другом месте, за городом.

После смены, сдав машину, Михаил пошел к Марии. Она видела уже седьмой сон, когда он, стараясь не греметь, открыл дверь. Мария не проснулась. На ночь он поставил чемоданчик в платяной шкаф. Можно было не опасаться, что Мария из любопытства заглянет в него. Эпизод с письмами, которые он забыл у нее тогда, давал ему на это право.

Утром она не стала его будить, и он проспал момент ее ухода. На столе лежала записка с указаниями, что где взять на завтрак. В конце: «Позвони».

Позавтракав, он оделся, взял чемоданчик и вышел на улицу. Было совсем тепло. Солнце делалось горячим. На тополях лопнули почки, и улицы были пропитаны их горьковатым запахом.

На автобусе он добрался до того места, где начиналась загородная автострада. Встал на обочине.

Грузовые машины шли часто, но ему не всякая годилась. Наконец он увидел то, что нужно: в кабине место рядом с шофером было занято — там сидели две женщины. Михаил поднял руку, грузовик притормозил. Кузов с высокими бортами — машина оказалась овощная — был порожний.

— Мне недалеко! — крикнул он шоферу.— Подвезешь?

Шофер кивком показал на кузов. Грузовик быстро покатился по прямой, как линейка, бетонной автостраде.

Михаил лег на пол кузова, приоткрыл крышку чемодана. Рация была налажена заранее. Следовало лишь послать позывные и перейти на прием.

Минут через десять, когда проезжали через большой поселок, Михаил постучал по кабине, поблагодарил шофера, предложил ему рубль, но тот отказался.

В город он вернулся на электричке. На вокзале зашел в телефонную будочку, позвонил в диспетчерскую.

— Ну как? — узнав его голос, спросила Мария.— Что собираешься делать?

Михаил сказал, что хотел сходить в баню попариться с веничком, да встретил одного знакомого. У него мотороллер забарахлил, просит помочь, придется венику постоять в углу.

— А я думаю, что это с чемоданом стал ходить! Ты мне еще позвонишь?

— Обязательно. После обеда.

Он поспешил домой. Дембович ковырялся среди яблонь, открыв сезон весенних садоводческих работ.

Расшифрованная радиограмма подробно излагала детали по переброске Леонида Круга, который должен взять с собой пробы.

В час ночи 28 июня в квадрате, который числится на имеющейся у Надежды карте под номером 31—42, в узкой длинной бухте Круг должен в ста — ста пятидесяти метрах от берега ждать катера. Он может быть в небольшой резиновой лодке, а лучше пусть добирается вплавь. При условии, что пробы останутся в сохранности.

В непосредственной близости от указанного квадрата должны быть расположены санатории и дома отдыха. Леонида Круга надо направить в один из них заблаговременно. Район пограничный, появление незнакомого человека, если он не отдыхающий, обратит на себя внимание. Под видом отдыхающего есть возможность предварительно разведать квадрат.

Пароль для Круга — «Экватор». Ответ с катера — «Аляска».

Если у Надежды возникнут препятствия,—уведомить. Его будут слушать каждое четное число в два часа дня по московскому времени. Если все в порядке,— в эфир не выходить. Подписал телеграмму Виктор Круг.

Но у Надежды были и свои потребности. Он хотел получить от центра деньги — его запасы подходили к концу — и, главное, запасную портативную рацию, потому что старая вдруг стала барахлить. Однажды он, торопясь, забыл вложить ее в непромокаемый футляр, и она, очевидно, отсырела. Отдавать в ремонт нельзя.

Надежда считал переброску Круга пробным шаром. Улетит — стало быть, у него все в порядке. Не улетит — возможно, он давно на крючке у контрразведчиков. Пересылка рации и заодно с нею денег в этом смысле опасности не прибавляла. А раз так, можно без колебаний подключать Павла.

Надежда зашифровал ответную радиограмму с намерением передать ее послезавтра. Затем пошел и снова позвонил Марии. Баня отменяется, сказал он, до послезавтра. Сейчас купит билеты в кино на вечер, потом пообедает, а в четыре ждет ее на их обычном месте...

Через сутки был опять устроен банный день. Он передал центру радиограмму с просьбой прислать запасную рацию и деньги, которые должен принять с катера и доставить на берег Павел. Через некоторое время разведцентр запросил характеристику на Павла. Получив необходимые данные, он разрешил привлечь его к операции.

Советские контрразведчики заставили Надежду допустить ряд уже известных читателю просчетов. Но самой главной ошибкой резидента был, конечно, сам Павел, хотя Надежда все еще не до конца доверял ему.

...На Дембовиче действия Надежды отразились своеобразно. Он получил задание купить, а если нет в магазинах, то заказать у какого-нибудь кустаря надувную резиновую лодку, способную поднять двух взрослых людей. К лодке нужно иметь разборное байдарочное двухлопастное весло.

Весло купить удалось, но были только алюминиевые, оставлявшие на ладонях темные, металлически лоснящиеся пятна. Дембович наивно попробовал выразить протест — почему алюминиевые? Весло должно быть деревянное. Но продавец посоветовал дружески: «Берите, папаша, что есть, а то и этого не будет».

Лодок в магазине не имелось. Дембович предпринял в воскресенье поход на рынок, на толкучку, и там ему повезло. Один дошлый дяденька, торговавший предметами рыбацкого обихода, надоумил его обратиться к некоему своему знакомому, который работал вулканизаторщиком в авторемонтной мастерской. Он и адрес дал. И заверил: «Он те не то что лодку, он те космический корабль сотворит». Действительно, найдя вулканизаторщика, Дембович моментально с ним договорился. Цену он заломил людоедскую, но зато обещал сделать быстро и, как сказал этот маг и волшебник, «будете плавать, пока сами не утопитесь».

Старик чертыхался после всех этих торговых мероприятий. Но это была не самая трудная часть выпавших на долю Дембовича забот. Михаил велел обеспечить две путевки в дом отдыха на побережье. Курортный сезон был на носу, достать путевку к морю становилось проблемой даже для рабочих и служащих, а Дембович, как известно, пенсионер. И, позвольте, если, предположим, ему повезет и через собес дадут целых две путевки, то ведь они будут на его имя. «Ну, тут мы как-нибудь выйдем из положения»,— сказал Михаил.

И Дембович каждое утро, как на службу, отправлялся или в собес, или в областное курортное управление, где у него прежде были кое-какие знакомства, или в совет профсоюзов.

А 26 апреля Михаил послал Дембовича к Леониду Кругу с паролем, велев передать, чтобы тот готовился к переправе и ждал указаний.

ВСТРЕЧА ПЕРЕД МАЕМ

В небольшой подмосковной даче, укрытой кустами смородины и сирени, не ложились спать до поздней ночи. Собеседников было трое: генерал Иван Алексеевич Сергеев, полковник Владимир Гаврилович Марков и старший лейтенант Павел Синицын. Все в штатских костюмах. Павел — в своем серењьком.

Полковник Марков и Павел сидели друг перед другом за круглым столом под огромным темным абажуром. Генерал расположился в полутени на небольшом диванчике. Он лишь изредка вмешивался в разговор, а больше слушал.

Марков подытожил доклад Павла и данные, собранные всеми участниками операции.

— Вариантов с переправкой проб может быть несколько, но наиболее реальны из них два. Или к нему пришлют специального курьера, допустим, какого-нибудь безобидного туриста или моряка, или он сам пошлет кого-то за кордон. Курьера — маловероятно, потому что слишком для него опасно. Курьер может привести хвоста. Значит, будем исходить из второго варианта. Здесь четыре вопроса: кого, как, где, когда? Здесь нам ничего не известно, но есть наводящие на размышление факты. Во-первых, Дембович снова навещал Леонида Круга...

— Владимир Гаврилович,— перебил Маркова генерал,— простите, но мы ведь сошлись на том, что поездка Дембовича на седьмой километр в марте вызвана просто беспокойством Надежды.

— Мартовская — да. Но Дембович ездил туда и вчера. Я не успел вам доложить.

— Хорошо, продолжайте.

Павел слушал молча. Ему все это было крайне интересно, ибо сейчас перед ним открывалась общая картина операции. В положении Бекаса он походил на актера, который один, без партнеров, играет выхваченную из пьесы роль.

— Во-вторых,— продолжал Марков,— Дембович обзавелся самодельной надувной резиновой лодкой и веслом.— Он сделал паузу, побарабанил пальцами по столу.— В-третьих, Дембович пытается приобрести две — прошу обратить внимание — две путевки в дом отдыха у моря — предпочтительнее к западу от города N. И сроки его интересуют строго определенные — с пятнадцатого или, в крайнем случае, с двадцатого июня... Надежда три раза выходил в эфир, его слушали, но расшифровать радиограммы пока не удалось. Вот все, Иван Алексеевич...

— Да-а...— Генерал подсел к ним за стол, облокотился, лег грудью на скрещенные руки.— Как ты думаешь, Павел, зачем ему две путевки?

— Не знаю, для кого другая, но от одной я сам не отказался бы,— пошутил Павел.

Генерал усмехнулся.

— Вижу, ты в шкуру Бекаса влез плотно, не скоро сбросишь... Кстати, Владимир Гаврилович, надо помочь Дембовичу купить путевки.— Он поглядел на Маркова, потом на Павла.

Марков и Павел молчали.

— А затем спать пора,— сказал генерал, вставая.— Ложитесь. Я поеду домой.

Марков и Павел поднялись из-за стола. Генерал снял очки, близоруко посмотрел на Павла, положил ему на плечо руку.

— Славно мы посидели на дорогу. До свидания, Павел! Главное, всегда помни: бой ведешь ты, а мы обеспечиваем тебе тылы.

Они пожали друг другу руки. Потом Марков и Павел проводили генерала во двор, к черной «Волге», стоявшей под навесом. Генерал Сергеев сел за руль. Павел открыл ворота. Поравнявшись с ним, генерал сказал, придержав машину:

— С наступающим Первым мая тебя!

— Спасибо. Вас также, Иван Алексеевич.

«Волга», фыркнув, выскочила за ворота.

Марков и Павел спать не легли. Требовалось самым тщательным образом выверить линию дальнейшего поведения Павла в зависимости от возможных поворотов событий.

На следующий день Марков привез на дачу красивую молодую женщину и познакомил с ней Павла. Она была модно одета. Звали ее Рита. Если Павлу придется попасть на курорт, Рита будет связной, на все другие случаи остается лейтенант Кустов.

После первомайских праздников, которые Павел провел с матерью на даче, он получил от полковника Маркова пробы. Земля и вода были привезены из того самого района, куда Павла послал Дембович, но по пути к Павлу они успели побывать в лаборатории одного института. Если люди, жаждавшие заполучить эту землю и воду, предполагали обнаружить в пробах радиоактивность, то результаты анализов превзойдут самые смелые их ожидания. Забегая далеко вперед, скажем, что это обстоятельство поставит Павла в смертельно опасное положение, а его товарищам-контрразведчикам причинит массу непредвиденных хлопот.

А пока что Павел, взяв чемоданчик из искусственной кожи, в котором лежала круглая коробочка из-под халвы — там была земля — и синтетическая фляга с водой, а также имелись предметы, приличествующие Бекасу, полетел в Новотрубинск. Оттуда поехал на станцию, указанную Дембовичем, и целую неделю изучал ее окрестности с пристрастием топографа.

На Павле, когда он покидал Москву, не было пальто, не было и новенького серого костюма. Возвращался он в город, где его ждали Надежда с Дембовичем, не самолетом, а поездом. И ехал не в купированном вагоне, а в бесплацкартном, рассчитывая, что Дембович расценит это, как надо.

ДЕМБОВИЧ РАСПРЕДЕЛЯЕТ ПУТЕВКИ

— Нате вам землю, сажайте огурцы.— Павел положил перед Куртисом банку из-под халвы.— Нате вам воду, поливайте их.— На столе появилась фляга.— Больше для вас ничего нет.

Павел вытряхнул остальное содержимое чемоданчика на кровать. В перепутанном ворохе были зеленый мужской шарф, женский пуховый платок, галстук тех ядовитых расцветок, от которых сводит скулы, кожаные перчатки, блестел перочинный нож, и все это нашпиговано картами рассыпавшейся колоды.

— Да, маэстро! — Павел полез в боковой карман.— Вот билеты. Тут немного больше, чем вам нужно.

Действительно, маршрут передвижений Павла, отраженный в предъявленных им билетах, был гораздо длиннее и сложнее того, который составил для него Куртис. На билетах фигурировало штук пять крупных городов.

Куртис неодобрительно наблюдал за Павлом. Наконец разжал зубы.

— Гастролировал?

— Было дело.

— Не боялся?

— Боялся.

Куртис оглядел грязный, заношенный, явно с чужого плеча костюм Павла.

— Пропился?

Павел вынул из разноцветного вороха на кровати карту, показал ее Куртису. Это был туз бубен.

— Вот. Вот что меня сгубило, дорогой Куртис. Ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза. Перекинемся с вами? Я не передергиваю.

Куртис пропустил мимо ушей любезное приглашение. Он не был расположен к пустой болтовне.

— Банку и флягу оставь у себя. Спрячь, на виду не держи. Завтра я зайду. Днем. А ты отмывайся.

— Одолжите хоть красненькую.

Куртис оставил на столе десятку, сгреб билеты, завернул их в газету и ушел.

Явившись на следующий день, он пошушукался с хозяйкой на кухне, а когда та ушла, приступил к делу.

— С тобой можно говорить всерьез?

— Валяйте,— лежа одетый на кровати и глядя в потолок, сказал Павел.— Я сейчас в самой боевой форме.

Вот что услышал Павел. Куртис даст ему путевку в дом отдыха «Сосновый воздух», выдаст денег на приличный костюм и вообще на обзаведение всем необходимым для пребывания на курорте. Павел возьмет надувную лодку, складное весло и велосипедный насос, которые лежат в брезентовом чехле у хозяйки в кладовке. Путевка не заполнена, Павел впишет свою фамилию и имя собственной рукой, это официально разрешается. Путевка с 12 июня на двадцать четыре дня.

В доме отдыха с ним познакомится один человек — тут Куртис нарисовал портрет, совершенно не схожий с внешностью Круга: высокого роста, худой, узкоплечий, волосы светлые, стрижка короткая, глаза серые. Особых примет нет. Впрочем, полезно знать, что два передних верхних зуба у него из белого металла, вставлены недавно.

— Неудобно в зубы глядеть,— критически заметил Павел и поцокал языком.

— Советую отнестись серьезнее.

— Сообразите сами: как это он меня опознает, как я его?

— Вот для этого и надо слушать до конца, а не строить из себя умника.

Во-первых, этот человек заметит Павла уже по брезентовому чехлу с лодкой, он приедет в дом отдыха несколько раньше. Но на курорте найдется много отдыхающих с лодками в чехлах. Поэтому...

— Поэтому поднимайся, приведи себя в божеский вид, и мы пойдем погулять по городу.

Куртис посмотрел на часы. Было два. Хозяйка где-то задержалась.

— Не будем дожидаться Эмму. Пообедаем где-нибудь по дороге.

Он таскал Павла по улицам, будто экскурсовод экскурсанта. Павел так и не понял, где Куртис хочет показать, предъявить его Леониду Кругу, где должно состояться это одностороннее знакомство. Они обошли весь центр, съездили к вокзалу, были у стадиона, у электролампового завода, в речном порту, около телецентра, и когда после двухчасового блуждания сели в маленьком ресторанчике пообедать, Куртис дышал, как загнанный.

Павел съел большую порцию солянки и два вторых. И выпил бутылку пива. Куртис не пил: у него болело сердце.

Провожая Павла, Куртис досказал основную часть своих инструкций.

Павел возьмет землю и воду и будет держать их у себя. Когда тот человек спросит о халве, Павел отдаст ему пробы. И вот наиболее важное — то, что Павел должен зарубить себе на носу: на все время пребывания в доме отдыха он поступает в беспрекословное подчинение к незнакомцу и обязан исполнять все, что тот прикажет. А дела там могут быть посложнее, чем поездка за пробами.

С нынешнего дня и до самого отъезда на курорт Павлу запрещается выходить из дому. Строго-настрого.

По мере того, как излагалась программа, всегдашняя бесшабашность постепенно сползала с Павла, и от Куртиса это не укрылось. Серьезный Павел нравился ему больше.

Куртис поднялся с ним в квартиру, поговорил с Эммой. Уходя отобрал у него ключи.

Павел протестовал вяло.

— В такую погоду...

— У моря надышишься.

В начале трехнедельного карантина, похожего во всем на тот, первый, Павел переживал тревогу и неуверенность. Что делать? Надо позвонить и поставить своих в известность о том, что он узнал. Но Куртис торчит в квартире целый день. А старуха, кажется, вовсе перестала спать по ночам. Можно, конечно, улучить удобный момент, убежать, когда Куртиса нет, а старуха ковыряется на кухне. Однако Эмма обязательно донесет Куртису, и это может навести на подозрения, которые заставят Зарокова изменить планы.

К тому же, что такое существенное, чего не знали бы Марков и Сергеев, мог в данную минуту сообщить Павел? Им и без него все должно быть известно, в том числе и сроки путевок. Они не знают только, что вторая путевка именно у него.

Что ж, узнают 12 июня. Тут ничего страшного нет, все равно раньше 20-го ничего случиться не должно. И Павел решил не испытывать судьбу.

Он научил Куртиса играть в буру и в шестьдесят шесть, а старик научил его раскладывать пасьянсы. Куртису не понравилась ни бура, ни шестьдесят шесть, а Павлу понравился пасьянс под названием «чахоточный», посредством которого удавалось успешно убивать время.

Кроме того, Павел заставлял Куртиса приносить ежедневно свежие газеты. Все, какие бывают в киосках. Он говорил, что ему доставляет удовольствие хотя бы видеть на печатных страницах названия различных городов, если уж нельзя их посетить лично. Иногда он читал Куртису вслух длинные статьи, читал с выражением, и это было на редкость трогательное зрелище.

Иногда Павел тренировался: раскладывал на полу аккуратно склеенную лодку и надувал ее с помощью велосипедного насоса. Это было очень трудно.

Однажды он заявил, что гантели, купленные им еще в пору работы на хлебозаводе, его больше не удовлетворяют. Нужна гиря. В магазине спорттоваров должны продаваться.

Куртис, кряхтя, приволок новенький полуторапудовик. Как старик внес его на четвертый этаж — уму непостижимо, но клял он Павла искренне и с большим темпераментом.

Можно считать, что Павел не сильно скучал. Гораздо тоскливее было старику.

Но все приходит к концу. 11 июня Куртис принес билеты на поезд.

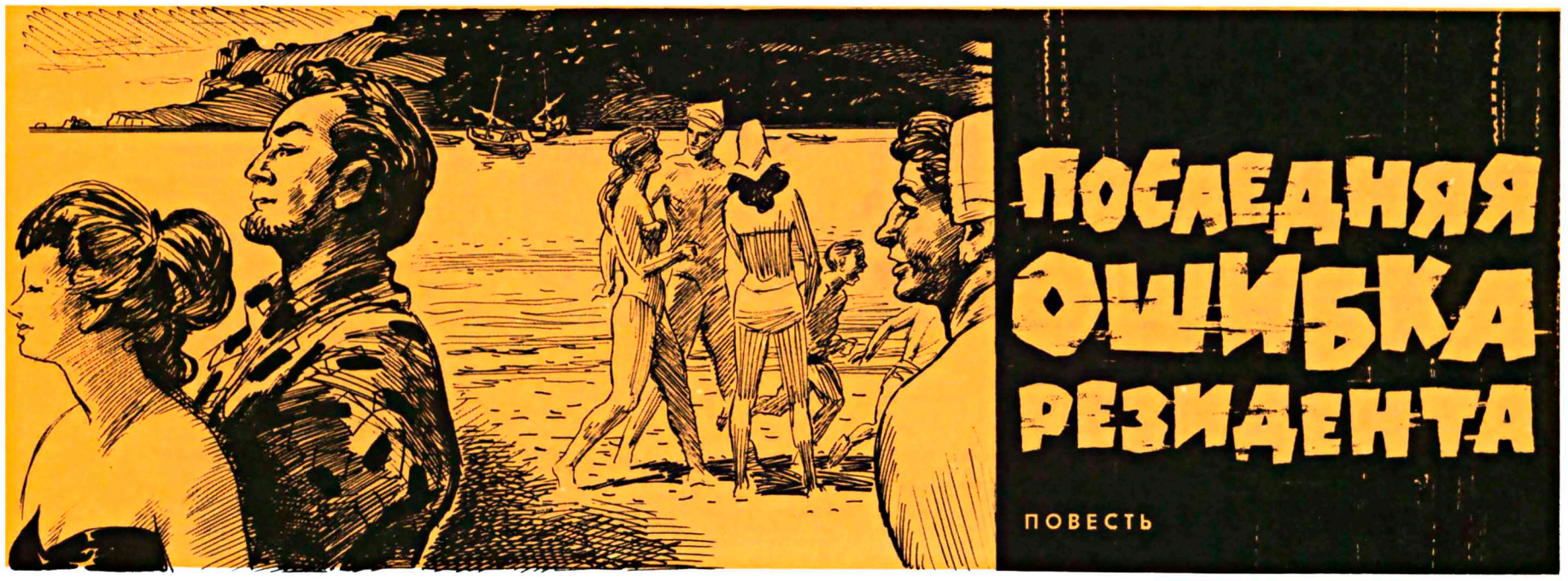
12 июня утром Павел с маленьким чемоданчиком из искусственной кожи в руке и с большим брезентовым чехлом на плече ступил на перрон вокзала в городе N и, щурясь на солнце, от которого успел отвыкнуть за три недели, не спеша вышел на привокзальную площадь.

А еще через час автобус доставил его в дом отдыха «Сосновый воздух».

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.



«ИДЕМТЕ ГУЛЯТЬ» И ПАША-ЛОДОЧНИК

Курортный дух беспечности и легкомыслия неистребим и всепроникающ. Даже самые выдающиеся и закостенелые из тех, кого в просторечии принято уважительно называть солидными и положительными, на курорте не боятся позволить себе такие вещи, из-за которых, узнай об этом кто-нибудь на работе или по месту жительства, они краснели бы до слез даже во сне,— например, играть в камушки на берегу, в салочки на поляне или в «третий лишний» на спортплощадке. Или, того хуже, в испорченный телефон.

Местечко, куда привела Павла путевка, было пропитано курортным духом. Белая полоса песчаного пляжа бежала меж изумрудным морем и густо-зеленым лесом, подступавшим к самой воде. Песок мелкий и чистый, просеянный ветром, промытый соленой волной.

Дом отдыха имел только один каменный корпус — центральный, где на первом этаже разместились столовая и клуб. Большинство отдыхающих располагалось в четырехкомнатных деревянных коттеджах, разбросанных в беспорядке среди леса. В лесу обитало множество белок, которые почти не боялись людей.

Народ тут собрался со всех концов страны, были даже с Сахалина, но каждый вновь приезжающий уже на второй день здоровался с давно приехавшими, как со старыми приятелями. Вода была еще холодна для купания — пятнадцать-шестнадцать градусов, но солнце грело жарко, и после завтрака все отправлялись на пляж. Лежали на песочке, подставляя солнцу по очереди то грудь, то спину. Становились в широкий круг и пасовали друг другу волейбольный мяч, вскрикивая, когда кто-нибудь с силой гасил. Владельцы разноцветных надувных матрацев и лодок, презрев оставшихся на берегу, покачивались на ленивой, меланхоличной волне. Преферансисты, подложив под расчерченную для записи бумагу большой плоский камень и прижав ее сверху малыми камнями, травили себя сигаретами и отрешались от моря, неба и земли, лишь время от времени нервно переругиваясь с окружавшими их болельщиками, которые, как известно, отлично умеют подсказывать, но совсем не умеют играть.

Как на каждом пляже, здесь тоже было два-три мужественных купальщика и две-три еще более мужественные купальщицы, которые плавали в любую погоду при любой температуре, восхищая тем простых смертных.

После обеда, вопреки здравому смыслу и совету врача, полученному еще дома, одни играли в волейбол на площадке, другие гуляли по берегу моря или в лесу.

После ужина танцевали на веранде, смотрели кино, иногда по призыву энергичного культработника, по очереди завязывая платком глаза и беря в руки увесистую палку, били горшки, но плохо. Наличных запасов горшков культработнику должно было хватить при таких темпах лет на десять.

Пары отправлялись к морю — слушать прибой, как они объясняли. Часов около десяти их обычно вспугивали пограничники, ходившие дозором по берегу.

В общем, курорт как курорт. Только две особенности отличали его от многих других курортов страны: во-первых, здесь в нескольких километрах проходила сухопутная государственная граница, и, во-вторых, море пригоршнями выбрасывало на берег янтарь, так что в любое время дня и вечера можно было увидеть, как любители древней застывшей смолы с прутиками в руках бродят по колено в воде.

Павел не имел ни малейшего намерения в чем-нибудь отставать от своих, как здесь выражались, сопляжников. Он играл в волейбол, загорал, купался и катался на своей лодке. Правда, она была не такая яркая и шикарная, как у прочих лодко- и матрацевладельцев, посматривавших на него с чувством собственного превосходства, но зато могла свободно поднять четверых и весла слушалась с полуслова. Одно было хлопотно: воздуха в свои резиновые цистерны-борта она принимала столько, что надувать ее велосипедным насосом — все равно что кисточкой для бритья подметать футбольное поле. В конце концов подметешь, но сколько потребуется времени! Поэтому Павел искал и нашел выход: стал перед спуском к морю заворачивать в гараж дома отдыха, там быстро надувал лодку автомобильным насосом и нес ее на берег готовенькую.

С первого дня он начал приглядываться к мужчинам, похожим на обрисованного Куртисом. Высоких, со светлыми волосами и серыми глазами среди отдыхающих было несколько человек, и Павел старался угадать, который же из них должен будет не сегодня-завтра заговорить с ним о халве. Он ждал, что этот момент наступит очень скоро. Но прошло сегодня, прошло завтра, а никто к нему не обращался.

На третий день своего отдыха Павел увидел на пляже Риту. Заметил ее издалека. Она сняла платье, оставшись в серо-голубом купальнике, и легла на песок невдалеке от компании женщин, уже заметно поджарившихся на солнце. Женщинам — старожилкам пляжа хватило силы воли сдерживать любопытство не долее, чем пять минут, ибо купальник на Рите был не менее хорош, чем ее прическа. Вскоре новенькая оказалась в центре внимания. Графически это можно было изобразить в виде светлого пятна, плотно окруженного темными пятнами.

Павел насажал полную лодку мальчишек и девчонок, которых много на каждом пляже, и поплыл подальше от берега. Море было спокойное, гладкое, будто на воду положили и туго натянули прозрачную пленку.

Вернувшись, Павел увидел, что не одни женщины быстро обратили внимание на Риту. Около нее в ленивых, но полных достоинства позах стояли двое рослых, атлетически сложенных пловцов в кокетливых шапочках — соискатели, как называл таких Павел. Усмехнувшись, он подумал, что, наверное, как всегда в подобных ситуациях, ленивость поз и небрежность, с которой цедятся слова, прямо пропорциональны заинтересованности.

Юнцы ушли дальше по берегу походкой развинченной, как у мастеров спортивной ходьбы. Но их место тут же занял более собранный человек, постарше и как раз такой внешности, как описал Куртис. Молчать здесь Рите не дадут и скучать в одиночестве — тоже. Тем лучше, с ней можно заговорить, не возбуждая ничьих подозрений. Он ведь тоже может быть соискателем...

День проходил за днем, а халвой никто не интересовался. Павел уже начинал подумывать, что Зароков изменил планы. Или Круг следит за ним, приглядывается? Возможно. Но в его положении оставалось только ждать и отдыхать.

За неделю Павел познакомился с доброй половиной дома отдыха, в том числе и с Ритой. Этому во многом способствовала лодка. Видя, что он парень общительный, сопляжники не стеснялись: женщины просили по-

Продолжение. См. «Огонек», №№ 38—42.

катать их, мужчины брали лодку и сами катались. Но после критиковали алюминиевое весло: очень руки мажет, не отмоешь. Кто-то шутя советовал Павлу открыть прокатный пункт,— мол, можно денег на обратную дорогу заработать.

Так как на пляжах всем дают прозвища, то дали и Павлу. Его звали Паша-лодочник.

21 июня после завтрака он, как всегда, накачал возле гаража лодку, взвалил ее на голову и зашагал к морю. Его догнали бежавшие налегке девушки.

— Поможем Паше-лодочнику! — брошен был клич.

Девушки отобрали у Павла его нетяжелую ношу и побежали вперед.

— Весло возьмите! — крикнул он.

Одна вернулась, взяла весло.

Когда он дошел до пляжа, девушки уже были в купальных костюмах. Окружив лежавшую на песке лодку, они спорили, кому первой кататься. С ними был невысокий, коренастый мужчина лет сорока на вид, похожий сложением на штангиста. Павел видел его на пляже и в столовой с первого дня, но не останавливал на нем внимания. Знал только, как все, что девушки прозвали его «Идемте гулять»,— вероятно, часто приглашал на прогулки. Сейчас коренастый выступал в качестве арбитра между девушками. Наконец они его послушались. Он отобрал трех, бросил лодку на воду, все сели, и «Идемте гулять» неумело заработал веслом.

Павел подсел к игравшим в «кинга» женщинам.

Промелькнул час, другой. Солнце вошло в зенит. «Идемте гулять» все катался, несколько раз сменив за это время пассажирок. Павлу тоже наконец захотелось уплыть в море, подальше от берега: там прохладнее, не так печет. Выждав, когда «Идемте гулять» подгреб к берегу, чтобы высадить очередную партию, Павел крикнул ему:

— Алло, капитан! Нельзя ли теперь хозяину?

— Прости, Паша! — отозвался тот.— Что же раньше не сказал?

Павел вошел в холодную воду. Мурашки побежали по ногам.

— Давай,— протянул он руку за веслом.

Но «Идемте гулять» предложил:

— Садись пассажиром. Ты всех возишь, давай теперь я тебя покатаю.

Павел согласился. Но не успел он устроиться, к ним подскочила дородная женщина в голубой резиновой шапочке — одна из тех, кто на зависть другим купался при любой температуре. Ухватив лодку рукой, она сказала свойским тоном:

— Ой, мальчики, возьмите меня! Отвезите подальше — я там спрыгну.

«Идемте гулять» сердито возразил:

— Как так «спрыгну»? Лодку перевернете. В вас наверняка пудов пять есть.

Но упитанная пловчиха не обиделась.

— Может, пять, а может, больше. А вообще не вы хозяин. Как, Паша?

Лодка вправду была верткая, неостойчивая, но Павлу не хотелось обижать эту жизнерадостную даму, к тому же ему не нравилась неожиданно грубая выходка «Идемте гулять».

— Ладно, что с вами сделаешь,— сказал он, подвигаясь ближе к корме, где сидел «Идемте гулять».

Пловчиха села впереди, перевесив их обоих.

«Идемте гулять» за два часа освоился с веслом, и они быстро ушли от берега метров на триста. Пловчиха с удивительной для ее комплекции ловкостью перекочевала из лодки в воду, сказала: «Привет, мальчики!» — и редкими саженками поплыла к берегу.

— Ну и моржиха! — сказал «Идемте гулять». Скорей всего потому, что нечего было больше сказать.

— А вам что, лодки жалко стало? — спросил Павел.

— Да ладно, черт с ней, Паша,— примирительно заговорил «Идемте гулять».— Даже лучше получилось.

Павел обернулся к нему в недоумении. Оказывается, у него есть о чем сказать.

— Что лучше получилось? Вы о чем?

— Я хотел поговорить о банке с халвой.

У Павла вытянулось лицо. Вот так Дембович! «Высокий, худой, волосы светлые». Все наоборот. И Павел подумал, как предусмотрителен и дальновиден был полковник Марков, отказавшись тогда, при встрече на даче, показать Павлу фотопортрет Круга, чтобы Павел как-нибудь не выдал себя перед Кругом, что знает его.

— Интересно...— сказал он.

«Идемте гулять» перестал грести.

— Как же насчет халвы?

— Когда отдать?

— Можно хоть сегодня. Но это не все... Нам надо пройтись по берегу, посмотреть. Я уже ходил два раза. Тебе тоже полезно...

— Я человек послушный. Как скажете, так и будет.

— Давай на «ты». Сегодня после обеда пойдем гулять в лес. Вдоль берега. Пригласим девчонок. Пойдем к границе. Там все время в горку, с высоты линию берега видно хорошо. Смотри и запоминай.

— Там же, наверно, пограничники?

— Пограничники и здесь бывают. Мы пройдем километра полтора. В одном месте увидишь наблюдательный пункт. Больше нет. Он днем пустой. Наверно, запасной. Или ночью там сидят.

— Для чего все это, можешь сказать?

— Объясню в свое время... Хотел спросить: знаешь, как меня зовут?

— Девчонки прозвали «Идемте гулять». А по паспорту как, не ведаю.

— Леонид. Мы с тобой должны быть дружными.

— Не против,— сказал Павел.

— В столовке подойди ко мне, договоримся. Сейчас довольно.— И он направил лодку к берегу.

Пообедав, Павел подошел к столику в углу, где сидел Леонид, доканчивавший второе блюдо.

— Ну так что, Леня? — бодро спросил он.— Идем гулять?

Девчонки, сидевшие за соседним столом, фыркнули, и одна из них сказала:

— О! Даже Пашу-лодочника вовлек в пенсионеры. Пропал человек!

Павел погрозил им пальцем.

— Вот вы смеетесь, а зря. Знаете, что такое озон? Вот идемте с нами...

Слово за слово, и Павел их уговорил. А по пути к ним присоединился еще кое-кто, и получилась компания человек в пятнадцать.

Шли гурьбой, оглашая лес смехом, пугая белок громкими возгласами.

Павел, подхватывая чужие шутки, не забывал, зачем пошел: внимательно изучал линию берега.

Сначала тянулись открытые песчаные пляжи. Они были безлюдны. Санатории и дома отдыха кончились.

Потом он увидел короткий и широкий мыс, тупым клином врезавшийся в море. Формой и цветом он напоминал бетонные быки мостов, о которые крошатся в ледоход льдины, только на нем сверху, как мохнатая шапка, топорщился сухой кустарник.

За мысом показалась укромная бухточка, которая с той, дальней стороны окаймлялась песчаной косой, длинной и узкой.

Дойдя до косы, решили повернуть. На обратном пути Леонид дал Павлу знак, чтобы он отстал. А потом отстал и сам.

— Чуешь, какая бухточка? — сказал он, взяв Павла за руку.

— Уютно.

— Походи раза два-три и вечерком как-нибудь. Погуляй по бережку. Только не в одиночку. Посмотри, как ближе сверху спускаться. Я уже смотрел и еще схожу. Вместе нам лучше туда не гулять.

— Сделаю. Но, может, ты все же скажешь, какую кашу завариваешь?

Леониду было понятно нетерпение Павла, он не видел в этом ничего настораживающего.

— Скоро узнаешь. Зачем заранее волноваться?

После ужина Леонид подошел к Павлу, прогуливавшемуся перед центральным корпусом.

— Ну и наломал я сегодня руки! — сказал он.— Неудобное какое-то весло.

— С непривычки,— объяснил Павел.

— Все-таки не то весло. И потом смотри...— Он показал Павлу ладони. Припухшие подушки пальцев лоснились, как рельсы.— Мажется. Пойдем в душ, а?

Павел отказался.

— Я пойду помоюсь. Холодной воде это не поддается.

Он пошел в свой коттедж.

Павел уселся на скамейке. По пути в душевую Леонид должен был пройти мимо. Через пять минут он появился со скатанным в трубку полотенцем под мышкой.

— Сидишь?

— А что делать?

— На танцы шел бы.

— Еще не начинали.

Дождавшись, пока Леонид скрылся в душевой, он отправился искать Риту. Нашел ее на площадке, где располагались столы для пинг-понга. Игра велась «на высадку», Рита ждала очереди. Павел уговорил ее походить немного. Предупредив игроков, что вернется, чтобы ее очередь не пропала, Рита взяла Павла под руку, и они пошли по аллейке.

Павел отдал Рите нарисованную им схему бухты, виденной днем. Они условились, что с завтрашнего дня Рита, сказавшись больной, будет по вечерам сидеть дома, в палате,— она жила в самом ближнем от центрального корпуса коттедже, если идти в сторону, противоположную морю. Днем она должна быть или на пляже, или дома. Одним словом, чтобы он в любую минуту мог ее найти...

Дождавшись темноты, Рита исчезла с территории дома отдыха. Вернулась она после полуночи.

Миновал еще один день, потом второй, а Леонид не выказывал желания вновь заговорить. Павел дважды ходил к бухте с той смешливой девушкой, которая острила тогда в столовой по поводу прогулок. Они облазили бухточку, прошлись по длинной косе. Был полный штиль, и зеркало бухты не имело ни единой морщинки. Павел подумал, что даже и при сильном волнении здесь большой волны не будет.

Утром 27 июня Леонид подошел к Павлу на пляже, когда он был один у лодки.

— Покатаемся,— не попросил, а скорее приказал он.— Поговорить надо.

В море Леонид наконец изложил Павлу задачу, объявил, что это произойдет сегодня в час ночи. Они выработали подробный план действий и вернулись на берег.

Павлу было трудно поговорить с Ритой незаметно: Леонид не спускал с него глаз,— но он все-таки сумел, шляясь по пляжу, пройти мимо нее и сказать: «Сегодня в час ночи».

Перед обедом Рита позвонила из кабинета директора дома отдыха в город.

СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

В десять часов вечера они встретились в лесу. Было еще довольно светло, но закатный свет быстро меркнул. Ночь обещала быть теплой.

Леонид Круг оделся по-походному: черные сатиновые шаровары, бордовая рубаха, на ногах баскетбольные кеды. Фляга с водой и земля, пересыпанная в целлофановый пакетик, были за пазухой. Резинка шаровар не удержала бы флягу, поэтому он опоясался узким брючным ремнем.

Павлу пришлось одеться еще легче: ведь ему не в дальний путь, ему возвращаться надо. Человеку, катающемуся ночью в резиновой лодке, лучше не надевать костюм с галстуком. На нем была синяя рубаха с короткими рукавами — подарок Куртиса, черные шорты и тапочки на резиновой подошве. На плече он нес толстый, увесистый сверток — лодку, в руке был автомобильный насос, который после обеда по настоянию

Леонида он стащил из гаража. Леонид сам как следует его смазал, чтобы не скрипел. У Леонида было весло.

Вышли пораньше с расчетом. Могло случиться, что они наткнутся на пограничников, прежде чем достигнут облюбованной Кругом расщелины в высоком берегу бухты. Тогда они скажут, что заблудились, вернутся к дому отдыха и начнут все сначала. Ходу до бухты, если даже сделать большой крюк, минут двадцать пять — тридцать.

Леонид взял направление прочь от берега. Он шагал впереди совсем бесшумно. Павел шел на вытянутую руку сзади след в след.

Стемнело. Но все же ночь была светлая. Утешало лишь то, что на лес спускался туман.

похрустывали под тяжелыми сапогами. И опять тишина. Море не шелохнется.

Леонид притянул к себе Павла, зашептал:

— Ой, плохо! Все плохо.

— Отменить нельзя? — шепотом спросил Павел.

— Мы ж не ленту крутим — на каком кадре оборвать захотел, там и оборвал.

«Киномеханик ты проклятый!» — хотелось сказать Павлу.

Они стояли, касаясь друг друга плечом, и Павел чувствовал, что легкая, едва уловимая дрожь, охватившая Леонида Круга, передается и ему.

Павел не испытывал ненависти к Кругу. Только спокойное, ровное презрение. Сейчас не время было копаться в душе. Он старался представить себе то, что должно

Устали плечи, устали ноги. Уши устали слушать тиканье часов — Павел раньше и не предполагал, что обыкновенные наручные часы могут тикать так громко и нудно.

— Пора,— шепнул Круг.

Павел поднес циферблат к глазам. Без двадцати час. Ну что ж, пора... Он потянулся, чтобы выгнать из мышц оцепенение.

Приподняли лодку, боком выдвинули ее из расщелины, стараясь не царапать о стенки. Круг первым вышел на покатый склон. Комочки сухой глинистой земли покатились вниз. Он застыл.

Но ничто не нарушало безмолвия в туманном лесу. Они спустились к воде.

Круг сел впереди. Павел с кормы занес одну ногу, другой оттолкнулся и в тот же момент опустился на упругое дно лодки.

Он своей половинкой весла греб с право-

В кронах деревьев шла своя жизнь. То вдруг коротко прошуршит листва, словно кто бросил камень. То тревожно заверещит какая-то птичка, будто испуганная спросонья.

Минут через пятнадцать Леонид под острым углом повернул в сторону моря.

Туман становился плотнее. Но когда они достигли кромки обрыва, нависшего над берегом, и, раздвинув кусты, посмотрели на море, Круг шепнул Павлу в самое ухо: «Плохо». Над морем тумана — ни клочка. Черный овал лодки на темно-сером фоне воды сверху будет заметен. Но что делать? Погоду не предусмотришь...

Удачно, без шума, забрались в расщелину. Она была очень узкая, у́же размаха двух рук, но глубоко врезалась в покатый склон обрыва. Вероятно, весенние ручьи промыли эту щель. Ветви кустов, росших наверху, сплелись и образовали плотную крышу.

Не мешкая, начали надувать лодку. Леонид развернул ее, взялся за один борт, приподнял его выше головы. Другой борт свисал на дно расщелины. Павел приладил шланг насоса к соску лодки и стал качать. Потом они поменялись.

В начале двенадцатого часа, когда лодка была уже надута и они молча стояли, глядя на море, наверху прошел пограничный патруль. Пограничников было двое, они не разговаривали и двигались тихо, но ветки

произойти через полтора часа, и мысленно провести себя по всем этапам скоротечного действия, разъяв его на секунды и мгновения. Поэтому он был спокойнее Круга. Он даже ощущал, что комары жгут нещадно лицо, шею, голые ноги...

Справа, в самом углу видимой им части моря, слабо светлело зарево морского порта. Казалось, оно шевелится.

Круг часто смотрел на часы, поднося их к самым глазам. Но от этого время быстрее не двигалось.

Около двенадцати снова прошли пограничники, теперь в обратном направлении.

Где-то далеко в море, в восточной стороне, замерцал белый блик. Он переместился слева направо, потом справа налево, высветив линию горизонта, и погас. Наверно, корабль шарил прожектором.

Потом послышался отдаленный глухой рокот — то ли в воздухе, то ли в море.

Круг посмотрел на циферблат — было всего пять минут первого. Еще рано.

Рокот удалялся и скоро сошел на нет.

— Как думаешь, на каком расстоянии мы его увидим? — прошептал Круг.

Глаза хорошо привыкли к темноте. Павел считал, что надежная видимость у них с Кругом не меньше километра. Но расстояния на море обманчивы, особенно ночью и если смотришь с высоты. Так он и сказал.

Вероятно, Круг старался высчитать наиболее подходящий момент, когда им надо сесть в лодку.

го борта, Круг — с левого. Работали без всплеска.

Понадобилось пять минут, чтобы выгрести на середину бухты. Остановились.

— Подгребем носом,— зашептал, обернувшись, Круг.— Как только подойдем к катеру, сразу греби назад, к берегу.

— Ты говорил, что-то должны передать?

— Багаж тяжелым не будет. Сбросят в лодку.

Неожиданно на востоке за толстым мысом родился тихий, ровный звук — будто жужжит маленький настольный вентилятор.

Круг предостерегающе поднял руку.

— Разве оттуда должны?..— шепнул Павел.

— Подожди.

Круг весь напрягся, вслушиваясь. Похоже было, что звук приближается. Слух, измотанный долгим, напряженным ожиданием, отказывался определить, далеко это или совсем близко.

Но тут они явственно услышали другой звук — сочный, хрустящий. Словно тугая струя из открытого до предела крана бьет в раковину. Только очень быстроходный корабль может так звонко резать острым носом воду.

И вдруг прямо перед ними метрах в пятидесяти возник узкий силуэт маленького судна. Сбавив ход и чуть отвернув, катер прошел мимо, держа их по правому борту, заложил крутой вираж, качнув лодку на своей волне, повернул носом в открытое

море и, поравнявшись с ними, застопорил метрах в двадцати. Казалось, он ходил без мотора: никакого шума. Короткий, низко сидящий, с плоской, зализанной рубкой, серого мышиного цвета. На открытой корме стоял человек.

— Живо! — едва не в полный голос выдохнул Круг.

Но прежде чем они опустили весла в воду, с катера спросили по-русски:

— Кто вы?

— Экватор.

— Мы Аляска. Быстро!

Круг греб сильнее, лодку заносило вправо, к носу катера.

За толстым мысом взревела сирена.

— А, черт!

И в тот момент, когда до катера оставалось каких-нибудь пятнадцать метров, пронзительный прожекторный луч ударил со стороны толстого мыса и воткнулся в борт катера, отпечатав на нем четкую тень двух сидевших в лодке.

Человек, стоявший на корме, кинулся к рубке.

Круг бросил весло в воду, встал, с трудом сохраняя равновесие...

— Давай же! — заорал он отчаянно, протянув руки вперед.

Павел сделал один гребок, другой. Низкая, выступающая над водой не больше чем на полметра корма катера была совсем рядом. Металлические поручни ярко блестели в безжалостном свете прожектора. Круг весь подался вперед. Павлу казалось, что он не вытерпит, кинется в воду.

Снова оглушительно громко взревела сирена. Луч прожектора, бивший Павлу в спину, сделался теплее: судно, на котором был включен прожектор, приближалось.

Усиленный мощным динамиком, разнесся над бухтой басовитый голос:

— Эй, на катере! Стопорь машину!

Глухое эхо отдалось в туманном лесу, звонко отскочило обратно на воду, звук гремел и шарахался из стороны в сторону. Все выглядело и звучало странно и фантастично. Особенно голос. Как будто это происходило в узком гулком тоннеле — может быть, оттого, что катер и лодка беспомощно барахтались в ослепительно светлой трубе прожекторного луча. Все остальное, за пределами его фосфоресцирующих границ, казалось черно и беззвучно.

Вдруг со стороны прожектора застрочил пулемет. Длиннейшая очередь. Пули вспороли воздух над катером. Круг, уже протянувший руки к поручням, дернулся, вскрикнул и упал в воду. Лодка перевернулась.

Ухо Павла не слышало, чтобы в пулеметную очередь вплелся одиночный выстрел, но ему показалось, что пуля, попавшая в Круга, прилетела с другой стороны, с берега.

Павел, вынырнув, увидел, что рядом, на расстоянии двух вытянутых рук, бултыхается Леонид Круг. Голова его то появлялась над водой, то скрывалась.

Сделав сильный гребок, он схватил Круга под мышку правой рукой, лег на левый бок и поплыл к катеру. Ухватившись за поручни, подтянулся, на секунду оставив Круга, затем лег животом на поручни, перегнулся за борт и протянул ему руки. Круг цепко обхватил их чуть ниже локтей. И так же, ниже локтей, держал его Павел.

— Давай! — закричал Круг.

Катер вздрогнул и рванулся вперед. Павел рывком потянул Круга вверх. Тот вспрыгнул коленями на острый край борта, застонал и перевалился через поручни на палубу кормы.

Они вырвались из прожекторного луча, потом он снова нашел их. Еще одна длинная очередь прошила небо над катером. Вероятно, пограничное судно преследовало их, но скорость у катера была бешеная.

Прожектор погас — он был уже бессилен.

Мотор катера работал тихо, но Павел всем телом ощущал его мощь: палуба под ногами вибрировала и, казалось, гудела.

Из рубки выскочил человек. Он был в каком-то полуматросском-полурыбацком одеянии.

— Ложись! — приказал он Павлу, а сам опустился на корточки.

Павел повиновался, лег рядом со стонавшим Кругом и сказал по привычке шепотом:

— Теперь ушли.

— Кто из вас Леонид? — спросил матрос.

— Я Леонид,— подавив стон, отвечал Круг.

Матрос постучал лежавшего вниз лицом Павла пальцем по затылку.

— Бери посылку — и за борт. Еще недалеко, можно доплыть.

— Вы с ума сошли!.. Поедет с нами...— простонал Круг.

Павел сделал попытку встать.

— Нет... нет...— запротестовал Круг.

Матрос, махнув рукой, ушел в рубку. Видно, вся команда катера состояла из двоих — капитана и этого человека.

Прервав стоны, Круг сказал:

— Старик не получит посылку. Но кто знал, что так все... О, черт!

Он опять застонал.

— Куда тебя? — спросил Павел.

— Ноги. Вот тут.— Круг, лежавший ничком, показал рукой на бедро.

— Надо перевязку сделать,— сказал Павел и, приподнявшись, крикнул в рубку: — Алло!

Матрос открыл дверцу, спросил, не выходя:

— Что надо?

— Бинт, йод есть?

— Нет. До берега.

— А далеко это?

— Как дойдем, так и будем.— И закрыл дверцу.

Павел снял синюю рубаху с короткими рукавами — под нею была еще белая майка. Стянул майку, разорвал ее на широкие ленты, связал их.

— Ну-ка, давай.

Он повернул Круга вверх лицом, расстегнул ремень, вынул у него из-за пазухи флягу и пакет с землей. Потом сдернул шаровары до колен. Осматривать раны было лишним — плохо видно.

— Обе? — спросил Павел.

— Кажется, да.

Видно, левую ногу ударило сильнее, потому что Круг, пока Павел ее бинтовал, скрипел зубами. Пуля прошла навылет через левое бедро и застряла в правом бедре, потому что выходного отверстия не было.

Когда Павел кое-как перевязал Круга, тот сказал:

— Спасибо тебе, лодочник. Если бы не ты, кормить бы мне рыбу... Век не забуду! Спасибо.

Круг впал в забытье. Катер, дрожа, рвался вперед. Сочный, хрустящий звук сопровождал его бешеный бег — словно тугая струя из открытого до предела крана бьет в раковину... Павел задремал.

...С того момента, как прожекторный луч вспыхнул на пограничном судне, и до того, как Павел и Круг очутились на борту катера, прошли считанные секунды. Но если бы сказать это Павлу, он бы никак не поверил.

* * *

О ночном происшествии в бухте обитатели «Соснового воздуха» толком ничего не знали. Кто-то утверждал, что ночью была стрельба на границе. А может, просто померещилось. Во-первых, расстояние все-таки порядочное — полтора километра, да и лес заглушает звуки, а во-вторых, сон у отдыхающих крепок, как у новорожденных младенцев.

Неожиданное исчезновение «Идемте гулять» и Паши-лодочника вызвало переполох. Возникали самые невероятные предположения. Основной пищей для фантазии служил тот факт, что они исчезли, оставив все свои вещи и чемоданы.

Наиболее распространенной оказалась версия, что они удрали морем за границу, так как исчезла и лодка. И недаром Павел Корнеев получил свое прозвище: значит, он просто тренировался. И к тому же еще один факт: в гараже пропал насос, которым всегда пользовался этот Паша-лодочник.

На третий день пограничники принесли лодку и отдали ее физинструктору дома отдыха.

Значит, они утонули, решили обитатели «Соснового воздуха» и пригорюнились.

Но, как известно, курортный дух беспечности и легкомыслия неистребим, и все забылось очень скоро.

Рита уехала из «Соснового воздуха» раньше срока.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ, Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—43.

ДОЛГОЖДАННОЕ СВИДАНИЕ

Небольшой «мерседес» свернул с бетониого шоссе на узкую асфальтовую дорогу, ведущую к морю, и вскоре остановился на берегу бухты. Из машины вышли двое, оба в одинаковых темных костюмах. Тот, что вел машииу, был среднего роста, плотиый. Лет под пятьдесят. Черные с проседью волосы причесаны на косой пробор. Второй — высокий, худой и светловолосый. И намного моложе.

Оставив машииу с открытыми дверцами, двое пошли к берегу: черный — впереди, блондин — сзади. У деревяниого пирса они остановились. Черный поглядел на часы. Было десять. Утро стояло ясиое. Солнце, забравшееся уже высоко в безоблачное иебо, жарко грело их спины.

— Если все в порядке, должны скоро быть,— сказал блондии.

Черный кашлянул в кулак, ио ие отозвался. Ои, прищурясь, глядел туда, где четкая межа отделяла стеклянно отсвечивавшую гладь залива от темной, взъерошекиой громады открытого моря.

— Викто́р радуется,— снова нарушил молчание блондин.

На этот раз черный разжал губы:

— Брат...

Но словоохотливого блондииа его тон не смутил.

— Мало ему хлопот и нахлебников... Думаете, этого оставят в системе?

— Монах любит Викто́ра... А его брат знает теперь Советский Союз лучше, чем все ваши умники во главе с божьим одуванчиком... И вообще довольно об этом.

Они ждали и смотрели. И вот из-за мыса показалось маленькое судко. Оио вошло в бухту и нацелилось на пирс.

Катер с низкой, зализанной рубкой пересек бухту на полном ходу и лишь у самого пирса резко убавил скорость. Буруны вскипели за кормой. Скрипнув обшивкой по сухому дереву, катер прильнул к пирсу. Человек в полуматросском одеянии вспрыгнул на дощатый помост, накинул петлю швартова на столбушок, обточенный в форме кнехта.

Двое на берегу ие двинулись с места.

На пирсе появилась фигура человека в морской фуражке. Это был капитан катера. Под мышкой ои держал небольшой матово-серебристый мешок.

Приблизившись, капитан козырнул ожидавшим. Он был не молод и выглядел уставшим.

— Их двое,— сказал капитан.— Меня обнаружило пограничиое судно. Стреляли.

На катере происходила какая-то возня. Черный спросил:

— Чего они тянут?

— Одии ранеи. Кажется, тнжело...

В это время из катера иа белые доски пирса выбралась группа, выглядевшая странно в ярком свете солнца, заливавшего безмятежно тихий залив. Двое, стоя по бокам, поддерживали третьего.

Один из этой группы был в шортах и рубахе с короткими рукавами, босой. Другой, в сатиновых шароварах и баскетбольных кедах, еле держался на иогах. Третий был матрос.

Группа медлеино двинулась по пирсу. Тот, что в шароварах, обияв двух других за плечи, ступал только иа правую ногу, а левую волочил беспомощио, охая и наваливаясь на своих помощников.

Достигнув берега, троица остановилась. Раненый поднял голову. Лицо у него было опухшее, воспаленное. В углах рта запеклись черные сгустки.

— Здравствуйте,— сказал он тихим хриплым голосом.

— Вы Леоиид Круг? — спросил черный.

— Да.

— Кто ои? — Черный кивиул на Павла.

— Должен был взять посылку,— ответил Круг.— Вышло не то...— Ои передохнул, достал из-за пазухи флягу и непромокаемый пакетик, протянул черному и сказал:— Просили передать.

Под оханья Круга они двинулись к машине.

Павел взялся уже за ручку задней дверцы, но черноволосый сказал сердито:

— Ждать!

Затем открыл багажиик, вынул скатанный в трубку клетчатый коврик, дал его блондину. Тот расстелил коврик на заднем сиденье и жестом приказал садиться.

...Асфальтовая лента взбежала на бетонное шоссе, и машина резко прибавила скорость. Круг с закрытыми глазами сидел, держа спину прямо, упираясь в мягкую подушку дивана вытянутыми руками. Павел подложил ладонь под его запрокинутую голову.

От ворот к широкому парадиому входу вела узкая дорожка, выложеиная белыми изразцовыми плитками. Вокруг дачи росли розы. Большой участок был засажен яблонями.

На верхней ступеньке крыльца стояла молодая, гладко причесанная женщина в светлом полотняном платье. Увидев вошедших, оиа скрылась в доме. Навстречу им откуда-то из-за роз появился высокий человек в клееичатом белом фартуке и в шапочке с длиным узким козырьком. Он перехватил руку Круга, сменив черноволосого.

По внутренней лестнице поднялись на второй этаж, вошли в большую комнату. Леонида Круга подвели к тахте, и он лег на спину, придерживая руками левую иогу.

Черноволосый исчез, а приблизительно через час явился врач, щеголеватый человек лет тридцати, с саквояжем в руке. Павел помог Кругу раздеться.

Женщина в полотняном платье принесла эмалированный тазик с водой. Пока врач включал никелированный бокс, гремел иглами и щипцами, мыл руки, она успела сходить вниз и вернуться с ворохом одежды. Павел выбрал себе техасские брюки из тонкого брезента. Оии были ему немного длинны.

Осмотрев раны Круга, врач задумчиво посвистел. Потом быстро обработал отверстия, наложил пластыри и сказал помогавшей ему женщине, что надо тут же посмотреть раиеного на рентгеие и извлечь пулю из правого бедра. Еще он сказал: кости левого бедра, вероятно, расщеплены, раиение тяжелое.

За Кругом была прислана санитарная машина. Его увезли, одев в длинный махровый халат.

Павел помылся в ванной иа первом этаже, а потом женщина предложила ему пообедать на кухие. Оказалось, что она прекрасио, почти без всякого акцента говорит по-русски. Зовут ее Клара. Павел спросил, сколько ей лет, и она сказала, что двадцать восемь. Когда Павел как следует ее разгля-

Черноволосый поправил зеркальце, и Павел почувствовал, что иа него пристально смотрят, но сам в зеркальце старался ие глядеть.

Часы у Павла остаиовились, и он не мог определить, сколько времени они ехали. Во всяком случае, ие меньше полутора часов.

Затем свернули с шоссе и углубились в лес.

Скоро деревья стали редеть, а потом машина выскочила на огромную поляну, на которой в строгом порядке стояли дачи. Возле одной из иих, окруженной высоким забором, остановились.

Черноволосый вышел из машины, нажал кнопку у двери рядом с воротами. Ему быстро открыли, он исчез и не появлялся минут десять. Вернувшись, распахнул заднюю дверцу и сказал как будто бы приветливее прежнего:

— Выходите. Оба.— И помог Павлу извлечь Круга из машины.

Дача была из красного кирпича. Первый этаж имел по фасаду восемь окон, второй был вдвое меньше площадью, а иад ним еще возвышалась башенка с ромбовидным маленьиим окошком. Крыша — из розовой черепицы.

дел, он подумал, что вряд ли принял бы эту Клару за иностранку, встретив на улице в Москве. Типичное русское лицо, очень миловидное.

Павел поинтересовался, где он будет жить. Клара ответила, что вместе с Кругом.

После обеда Павел поднялся наверх, прилег отдохнуть на тахту и заснул.

Его разбудил грохот на лестнице. В комнату вошел врач, за ним появились носилки, на которых двое несли Круга. Потом санитары притащили какие-то блестящие трубы и трубочки, колесики и шнуры и начали сооружать над тахтой некое мудреное приспособление. Они долбили стену, ввинчивали в потолок крючья, приворачивали шурупами к полу никелированные стойки. Когда все это было свинчено и подвешено, получилось похоже на стрелу подъемного крана.

Круга уложили на тахту. Врач с помощью санитаров заключил его левую ногу в систему трубок, планок и ремней, а потом взялся за шнуры, свисавшие с блока на потолке, и подтянул ногу ступней вверх.

Павел наблюдал за всеми этими манипуляциями, стоя спиной к двери, и поэтому не заметил, как в комнату вошел черноволосый человек, привезший их сюда. Перекинувшись с врачом несколькими словами, он поманил Павла к себе и сказал, что на все время, пока Круг будет поправляться, Павел останется с ним в этой комнате и будет исполнять обязанности сиделки.

Комната опустела.

Клара позвала Павла вниз и в одной из

комнат показала ему кресло-кровать. Павел отнес его наверх, а Клара пришла следом с постельным бельем и подушкой. Она пожелала спокойной ночи и велела разбудить ее, если раненому станет плохо...

Так началась для Павла жизнь на чужой земле. К чему все это приведет, он не имел никакого понятия. Этой ночью просто выработал для себя линию поведения на каждый день. Он остается Бекасом, но в новых условиях Бекас должен измениться. Пусть каждый, кто пожелает здесь общаться с ним, ощущает главное: неожиданный поворот в судьбе устраивает его как нельзя лучше. А там видно будет...

С утра, едва проснувшись, Павел приступил к обязанностям сиделки. И более заботливого ухода Круг вряд ли мог ожидать.

Прошло три дня, но никто больше ими не интересовался. Только однажды дачу посетил врач.

За все это время Павел ни разу даже не показывал носа на двор, ни на минуту не покидал раненого. Клара постепенно снабдила его принадлежностями госпитальной палаты, в которой лежат люди, лишенные возможности двигаться, и Павел ухаживал за Кругом по всем правилам.

Они почти не разговаривали. Леонид Круг нервничал и, по всей вероятности, с нетерпением ждал чего-то, но был замкнут и не желал делиться с Павлом своими думами. Во взгляде его Павел улавливал все нараставшую благодарность, смешанную с удивлением. По правде сказать, Павел и сам не ожидал, что малопривлекательная роль сиделки дастся ему столь легко.

К концу четвертого дня, перед наступлением сумерек, на дачу явился новый посетитель. Едва увидев его, Павел понял, что это брат Леонида Круга. Они были очень похожи, только вошедший выглядел старше и грузнее.

Леонид Круг сделал порывистое движение, хотел приподняться, но брат замахал руками и, быстро подойдя, припал щекой к его груди. Павел покинул комнату, неслышно притворив за собою дверь.

Спустя полчаса его позвала наверх Клара.

Леонид Круг сказал:

— Познакомься, Паша. Мой брат Викто́р. Мы ждали этой встречи тринадцать лет.

Павел пожал протянутую ему крепкую ладонь.

— Очень рад,— сказал он.

Глаза старшего Круга смотрели на него доброжелательно.

Викто́р Круг пробыл недолго. Пообещав наведаться завтра, он распрощался.

Уже со следующего утра они почувствовали, что отношение к ним изменилось. В их комнате был установлен телевизор. Клара объявила, что в холодильнике всегда есть вино. С Павла и Леонида сняли мерки, а через день принесли костюмы, белье и обувь.

Леонид Круг повеселел.

Внешне беспечный, Павел в глубине души сомневался, что и дальше все пойдет так удачно. Это было бы слишком большим везением. Не настолько доверчивы и благодушны люди, к которым он попал в руки.

И он был прав, конечно.

РАЗГОВОР ШЕПОТОМ

На десятый день Викто́р Круг приехал не вечером, как обычно, а перед обедом. Вид у него был озабоченный. Попросив Павла пойти погулять в саду, он подвинул стул к изголовью тахты и тихо, в самое ухо сказал брату:

— Я задам тебе несколько вопросов. Но говори шепотом. Нас не увидят: телеглаза в этом доме пока нет.

Леонид кивнул. Викто́р подошел к телевизору, включил его. Заиграла музыка.

Между братьями начался разговор, больше похожий на допрос, с той лишь разницей, что допрашивающий не желал допрашиваемому ничего, кроме добра.

— Ты лично встречался хоть раз с человеком по имени Михаил Зароков? — спросил Викто́р.

— Нет, никогда.

— Кто явился к тебе с паролем?

— Дембович.

— Как ты познакомился с этим парнем?

— Через Дембовича. Он показал мне Павла.

— Как Дембович собирался прикрыть твое исчезновение?

Леонид Круг облизал сухие губы, вспоминая детали.

— Я получил от жены телеграмму со срочным вызовом. Должен был дать ее Павлу. И записку к соседу по комнате, чтобы отдал Павлу мои вещи. Павел должен был показать телеграмму в дирекции дома, чтобы объяснить мой досрочный отъезд.

— Это было бы надежно?

— Вполне,— отвечал Леонид.

— Ты уверен, что все сделал так, как велел Дембович? Ни в чем не ошибся?

Леонид молчал.

Викто́р вздохнул, опустил голову.

— Ну, я слушаю.

— Я забыл про телеграмму,— наконец признался Леонид.— И записку не писал.

Викто́р снова припал губами к его уху.

— По сути дела, это не имеет никакого значения, раз Павел оказался здесь. Но это твоя ошибка. Какие инструкции давал тебе Дембович о Павле на ту ночь?

— Он сказал так: что бы ни произошло, я должен попасть на катер. Если замечу какую-нибудь опасность, Павла в лодку не брать. Но пограничный катер появился в последнюю секунду.

— Надо, чтобы этот Павел, когда его спросят, излагал историю с телеграммой так, как должно было быть, а не так, как случилось на самом деле.

— Будут разбирать? — спросил Леонид.

— Следствие назначили бы все равно, в любом случае... Не в том дело... Надежда не вышел на связь.

Леонид Круг впервые услыхал это имя, но сразу догадался, какое отношение имеет оно к его переправе.

Братья помолчали, глядя друг на друга. Потом Викто́р заговорил:

— Не буду объяснять соотношение сил — это долго, и всего тебе не понять. Усвой основное: я на ножах со стариком Тульевым, отцом Надежды. Дембовнч лишь исполнял приказ, а устраивал твой побег именно Надежда. Если его расшифровали из-за этой истории, старик постарается раздуть дело. Шеф мне доверяет, но он очень любит сталкивать людей лоб в лоб при всяком удобном случае. У него на этот счет своя теория. Назначат следствие. А потом много будет зависеть от Себастьяна — ты его знаешь, он тебя встречал, черный. Его можно не очень опасаться. Старик ему не нравится.

Викто́р умолк, прикидывая что-то про себя. И снова склонился к брату.

— Ты на допросах должен твердо держаться одной линии: говори, что сделал все по инструкциям. Растерянность в той бухте простят,— рана твоя не выдуманная. Значит, и Павла тебе простят. Ему скажи так: для его собственного благополучия выгодно быть с тобой заодно. Ему здесь цена — копейка. Я могу устроить так, что он исчезнет бесследно. Но нам он нужен. Как свидетель.

— Он не дурак,— сказал Леонид.

— Посмотрим. У него своя судьба. Шеф не исключает, что твой партнер — советский разведчик, а вся эта операция — хорошо разыгранный спектакль. Павлу придется доказать, что это не так.

Леонид скрипнул ремнями, оплетавшими его раненую ногу, вздернутую ступней к потолку.

Брат продолжал:

— Тебя тоже могут подвергнуть допросу на детекторе. Вещь вредная. Но все окажется не так страшно, если ты не будешь волноваться. Внуши себе, что ты сам попросил испытать тебя. Что тебе до смерти интересно узнать, как эта штука устроена. Все время будь настороже. На неожиданные вопросы отвечать можно и так и эдак,

лишь бы быстро. Главное — ие задумывайся. Накануне очень полезно напиться. Я предупрежу тебя зараиее.

Затем они переменили тему. Виктóру интересно было узнать подробности жизни брата за последние тринадцать лет на положении человека, скрывающегося от советской контрразведки. Об этом можно было говорить в полный голос, и оии оставили шепот.

А Павел, пока братья разговаривали, успел сделать массу полезных вещей. Во-первых, он познакомился с долговязым садовником, которого звали Франц. Оказалось, что Франц побывал в плену в Советском Союзе и поэтому знал довольно миого рýсских слов, однако соединять их в связную речь так и ие научился, главным образом потому, что ие знал глаголов и прилагательных, а только имена существительные.

Павел сиачала помогал Францу рыхлить землю вокруг цветов, а потом, ближе к вечеру, поливал из шланга яблони, стараясь лить воду в лунки вокруг стволов равномерно.

Франц угощал Павла сигаретами, они то и дело устраивали перекур.

В том, что этот милейший садовник приставлен к даче ке только для ухаживания за яблонями и цветами, можно было не сомневаться. Так же, как смешно было бы считать Клару просто экономкой. Павел сознавал, что вообще каждый человек, с которым ему отныне придется общаться, будет его прошупывать и испытывать. Поэтому он обязан решительно подавить в себе свое настоящее «я», чтобы оно ие мешало существовать Бекасу ии наяву, ии во ске. Не думать, не вспомииать о Москве, о товарищах по работе. Иначе, как случилось сегодня ночью, будешь видеть сны, в которых старший лейтенаит Павел Синицын, одетый в форму, допрашивает человека, похожего лицом на Виктóра Круга. Не хватало еще просыпаться от собственного крика и холодеть при мысли, что кто-то мог тебя подслушать...

Садовиик Франц курил сигарету, покашливал. Павел завел разговор о городе.

Франц прекрасно понял, что именно интересует Павла в городе. Город — это значит женщины, рестораны, кино, вообще всякие развлечения. И вокзал, с которого можно уехать в другие города. Правда, у Павла совсем иет денег, но деньги — дело наживное.

Эту взаимоприятную беседу прервал голос Клары, звавшей Павла в дом. Брат Леонида Круга уже исчез, и Леонид требовал Павла к себе.

Телевизор в их комиате передавал вальсы, но экран ие был включен. Музыка звучала тихо.

Леонид был взволнован и, кажется, расстроен. Он показал рукой на стул, на котором сидел перед тем Виктóр, попросил нагиуться пониже и зашептал Павлу в ухо.

Очень скоро все стало ясно. Конечно, Леонид Круг ие хочет, чтобы его начальство узнало о том, что ои иарушил данные Дембовичем инструкции относительно телеграммы и записки, но это голая формалистика, коль скоро Павел очутился иа борту катера вместе с ним. И все же оба они должны строго держаться одной линии: все было сделано именио так, как предусматривалось. А насчет главного — подробностей тех считаиных секуид в тесной бухточке — ии Павлу, ни Леониду ничего придумывать не надо. Требуется говорить чистую правду. Телеграмма и записка, которые Леоиид якобы передал Павлу, естественно, потерялись во время их неожиданиого купания... И должны же, сказáл Круг, понять здесь, что этот удачный побег навредил не больше, чем могла навредить их поимка. Кому иавредить, Круг ие объяснил. Павел отметил про себя, что Круг, вероятио, и сам не подозревает, насколько логичиы его рассуждения и доводы, если их рассматривать с точки зреиия советской контрразведки. Ведь если бы им ие дали тогда уйти, резидентскому существованию Зарокова пришел бы коиец. И всей операции тоже.

Павел поморщился: опять, хоть и на одно мгновение, но Бекас улетучился из него. Леонид истолковал эту гримасу по-своему.

— Ты встречался с человеком по имени Михаил Зароков? — спросил он.

— Не зиаю такого,— ответил Павел.

— Дембович тебя ни с кем не знакомил? — Леонид передохиул и добавил: — Мы должны быть откровеииы.

— С самого иачала я узнал его старуху — Эмму. Был еще один ватный тип, помоему, круглый идиот. А потом — ты.

Леонид Круг положил руку Павлу на плечо и прошептал:

— Мы с тобой связаны. Держись. Дрогнешь — пропадешь!

— Поправляй, если что не так,— сказал Павел.

— Само собой...

Они замолчали, потом Круг попросил, кивнув на телевизор:

— Выключи эту бандуру.

Павел встал, повернул ручку, музыка оборвалась, он снова опустился на стул.

— Теперь всегда шептаться будем?

— Ты что, не поиимаешь? — удивился Круг.

Павел сказал громко:

— Ну как, Леня? Когда мы смотаемся на городской бульвар? Здесь под боком есть город.

— У любой дачи город под боком. Но это пока не для нас,— серьезио ответил Леоиид Круг.

— А вот я возьму и смоюсь,— сиова перейдя на шепот, сказал Павел.

— Не дури. Раз попал сюда, ие мечись. Кому ты в городе нужен?

— В Париж подамся. Там русских много.

— Дуран ты. Паша.

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ СВИДАНИЕ

28 июня 1962 года около часу дня Дембович стоял на тротуаре в узкой полосе тени от вокзала, поглядывая на автобусы, прибывавшие время от времеии к павильону, на котором было иаписано: «Стоянка автомашин санаториев и домов отдыха». Дембович приехал в город, чтобы встретиться с Павлом. Он ждал автобуса с табличкой «Сосиовый воздух». В руке у него был чемоданчик из искусственной кожи, очень похожий на тот, с которым уезжал в дом отдыха Павел.

Старик часто доставал из кармана светлого полотияного пиджака мятый цветастый платок и, сдвинув соломеиную шляпу иа затылок, вытирал мокрый лоб и щеки под глазами. Он ие очень нервничал. Просто ему было жарко. Ночь он провел в поезде, спал плохо,— вернее, совсем не спал,— за завтраком в вокзальном ресторане ему подали несвежую рыбу, есть которую было просто невозможно, и вот теперь он чувствовал себя слабым и разбитым на этой тридцатиградусной жаре, иа площади, раскаленной, курящейся зноем, будто под иею разведен огонь. Теиь от вокзала смещалась в сторону павильоиа, и вместе с тенью передвигался Дембович.

Наконец он дождался. К стоянке подошел автобус дома отдыха «Сосиовый воздух». Народу в ием было битком. Скрипнув, разжались дверцы.

И тут к Дембовичу впервые за прошедшие две недели вернулось притупившееся было беспокойство. Ему представилось лицо Михаила, напутствовавшего его в эту поездку с заметным волнением, и в один момент открылась стáрику вся важность предстоящего.

Едва первые пассажиры автобуса, загорелые и веселые, с облегченными вздохами спрыгнули на горячий асфальт, Дембович повернулся и быстро-быстро зашагал к тоннелю, где размещались камеры хранения багажа. Хотелось бы посмотреть, как Павел со знакомым чемоданчиком в руках выйдет из автобуса, а потом уже поспешить к условленному месту встречи, и кичего страшного из этого не получилось бы, потому что никто за Дембовичем не следил. Но это было бы не по инструкции, а старик стал в последнее время меиее самостоятелен и боялся в чем-либо отступать от правил. Они с Павлом должны обменяться чемоданами в камере хранения.

Остановившись у второго окна, он начал читать правила сдачи багажа. Шумные пассажиры автобуса ввалились в прохладный, как погреб, тоннель, женский звонкий голос сказал: «Уф, как тут хорошо!» Кто-то с кем-то обсуждал, как заполнить время до поезда, что посмотреть в городе. Кто-то смеялся. Кто-то пытался установить очередь. Но беспечные курортники столпились у трех окошек как попало, и любитель порядка умолк.

Дембович огляделся. Павла в тоннеле не было.

Нет Павла...

С растерянным выражеиием лица Дембович вышел под яркое солнце. Он уже не замечал жары.

Ноги сами подвели его к автобусу. Шофер, молодой курносый парень в шелковой выцветшей рубашке с короткими рукавами, стоя возле машины, пил лимонад прямо из горлышка бутылки; лимонад был со льда, на бутылке сверкали капельки холодиой росы.

Дембович подождал, пока парень допил до диа, и, улыбнувшись, довольно натянуто спросил:

— Вы из «Сосиового воздуха»?

— Из него,— охотио ответил шофер.

— Вы сейчас будете возвращаться?

— Да уж будем. А что, папаша? Подвезти? Прóшу пана, садитесь.

У Дембовича мелькнула мысль тут же поехать в дом отдыха, узнать, что произошло. Ведь Павел должен был прийти к иему на свидаиие в любом случае, состоится операция или иет. Он мог не явиться только по одной причиие — если его забрали.

Но, может быть, он явится позже? Дембович спросил у шофера:

— А вы сегодня больше не приедете?

— Нет, папаша. У нас два рейса в

день: утром, к приходящему, и вот этот. Больше не будет.

Дембович не знал, что делать. Инструкция была четкая и ясная: не встретишь Павла — сразу домой.

Но больше всего на свете, больше даже, чем прямой опасности, Дембович боялся неизвестности. И тут уж ничего не поделаешь. В последние годы дошло до того, что он не мог лечь спать, пока не посмотрит, нет ли кого за дверью его комнаты, хотя каждый раз отлично знал, что никого там быть не может. Он и сам понимал, что это глупости и малодушие, но справиться с собой не умел. Вот и сейчас так: перед ним закрытая дверь, и надо непременно выглянуть за нее: что там? Иначе не будет покоя...

— Папаша, вам плохо? — услышал он голос шофера и ощутил его руку на своей руке.— Шли бы в вокзал. Жарища...

Дембович очнулся, смущенно отстранился от курносого парня, глядевшего на него сочувственно и серьезно. Дембовичу стало обидно за самого себя. Нельзя расклеиваться до такой степени...

Он решился нарушить инструкцию.

В доме отдыха, когда они приехали, был мертвый час. Дембович вошел в главное здание. Кругом было тихо, дремотно. Никого не встретив, он направился на пляж. Народу на берегу было немного. Около одной компании он остановился, прислушался к разговору. Молодые люди болтали о пустяках. Дембович перешел к одиноко жарившемуся на солнце мужчине. Присел на корточки. Мужчина поднял голову, молча посмотрел на Дембовича и вновь принял прежнее положение.

— Вода теплая? — не придумав ничего более подходящего, спросил Дембович.

В конце концов разговорились. И понял пляж Дембович в смятении: он узнал, что из дома отдыха «Сосновый воздух» пропали двое и что ночью на границе, кажется, стреляли...

...На поезд Дембович едва успел. По счастью, в купе мягкого вагона он оказался один,— известное дело, люди с курортов редко возвращаются в мягких вагонах. Дождавшись темноты, старик улегся, но уснуть не мог. Старался не думать о Павле, о Круге, о Михаиле, но получалось так, что больше ему думать было не о чем и не о ком. Ругал себя, что не удосужился захватить люминал. Гадал, спит ли сейчас Михаил, ожидая его возвращения. И только под утро незаметно для себя уснул.

В полдень 29 июня он подъезжал на такси к своему дому. Таран был голодный,— значит, Михаил не ночевал, значит, провел ночь у Марии, а сейчас, наверное, преспокойно возит пассажиров. Дембовичу стало горько и обидно оттого, что вот он, старый человек, сжигает последние свои нервы, а тот, ради кого приходится все это делать, даже и не ждет его. Как будто Дембович всего лишь ездил на базар за редиской...

Но едва он успел войти в дом и снять с себя все дорожное, на улице, за оградой, послышалось короткое шуршание резко заторможенной машины, клацнула рывком захлопнутая дверца, и через секунду перед Дембовичем стоял Михаил.

— Ну? — спросил он грубо.

Дембович, глядя ему в глаза, пожал плечами.

— Он не явился. В доме отдыха его нет. На границе была стрельба...

Можно было ожидать, что это прозвучит для Михаила, как гром с ясного неба, но Дембович смотрел и не видел, чтобы хоть подобие растерянности мелькнуло у Зарокова на лице.

Михаил подбросил на ладони связку ключей, протяжно произнес: «Та-а-к...» — и, обойдя застывшего посреди коридора Дембовича, прошел к себе в комнату.

Торопливо надевая пижаму, старик ждал, что Михаил сию минуту позовет его и по обыкновению задаст привычный вопрос: «Как вы думаете, дорогой Ян Евгеньевич, что же это значит?» Но вдруг ему показалось, что щелкнул замок в двери, и неожиданно для самого себя он испугался. Уж не хочет ли Михаил покончить самоубийством?

Дембович босиком подошел к двери, дернул за ручку — заперто.

— Михаил! — позвал он.— Зачем вы заперлись?

Из-за двери ответил спокойный голос:

— Что вы так взволновались, Дембович? Подождите, имейте терпение, я вас позову.

Дембович был не в том состоянии, когда думают о приличиях. Он остался на месте, чтобы послушать, что делается в комнате.

Сначала шуршала бумага, потом он услышал какой-то хруст, словно от полена щепают лучину или ломают что-то хрупкое.

Дембович отошел, поискал в коридоре шлепанцы, надел их и снова стал у двери.

Наконец Михаил повернул ключ и тихо, будто видел, что старик подслушивает, сказал через дверь:

— Ну, входите. Обсудим.

Старик давно научился без лишних слов понимать настроение своего постояльца, а теперь к тому же нервы у него были взвинчены, он все воспринимал обостренно. И, взглянув мельком на Михаила, Дембович уже знал: обсуждать нечего, Зароков все решил без него. Но что именно решил?

— Садитесь,— пододвигая стул, сказал Михаил.

Когда Дембович сел, Зароков посмотрел на него сверху вниз внимательно, но отчужденно, как смотрят на безнадежно больного, и ровным голосом, словно читал лекцию, заговорил:

— Если даже принять без сомнений, что теперь контрразведка неминуемо выйдет на нас с вами, нет смысла заранее отпевать себя. Чему быть, того не миновать, и, чтобы поберечь нервы для допросов, не надо давать волю собственному воображению.

— Вы говорите со мной, как с мальчишкой,— раздраженно заметил Дембович.

— А у вас и голос дрожит, дорогой мой Дембович,— как будто даже с удовлетворением сказал Михаил.— Распустили себя.

Он закурил папиросу, сел на кровать. Дембович, не мигая, глядел широко открытыми глазами в одну точку, куда-то за окно. Михаил переменил тон.

— Скажите, Ян Евгеньевич, там, где вы брали путевки в дом отдыха, вашу фамилию знают?

Дембович ответил не сразу. Резкий переход от общего к частному был ему труден.

— Я же писал заявление, чтобы мне их дали,— наконец произнес он.

— По номерам путевок быстро можно установить, кому они первоначально выданы? — был следующий вопрос.

— Совершенные пустяки,— устало отвечал Дембович.

Оба понимали, что могло произойти одно из трех возможных. Павел и Круг схвачены ночью во время переправы. Круг ушел на катере, а Павел арестован. Или, наконец, и Павел и Круг ушли. В любом из этих случаев в деле будут фигурировать путевки, по которым они отдыхали в «Сосновом воздухе». И следствие по прямой дороге выйдет на Дембовича, а значит, и...

Где-то в глубине сознания Зароков все еще не отказывался от подозрений, что Павел подставлен к нему контрразведкой. Но если это верно, то Павел должен был явиться на свидание. Исчезать ему нет никакого смысла. Тем более сейчас, когда он вошел в доверие.

Теоретически можно было себе представить еще один, последний вариант: Павел-контрразведчик с самого начала имел целью переправиться за границу и вот теперь, используя оказию, вместе с Кругом ушлый на катере. В таком случае он, Зароков, с первого своего шага на советской земле служил лишь инструментом в руках органов госбезопасности.

Этому он всерьез верить не мог. Это выглядело слишком неправдоподобно. Однако над этим следует подумать.

После долгого тягостного молчания любое произнесенное слово Дембович готов был принять с благодарностью, но то, что он услышал, ударило его в самое сердце и заставило сжаться.

— Я дам вам пистолет,— сказал Михаил.— Он может пригодиться. Но, по-моему, с этим никогда не надо спешить...

Старик не шелохнулся.

Зароков встал, снял с гвоздя у двери новую кремовую курточку, которую не надевал еще ни разу, завернул ее в газету. Потом выдвинул ящики письменного стола, загремел какими-то железками, завернул их в другую газету и сунул сверток в карман брюк.

— Очнитесь, Дембович. Пистолет вот здесь, в столе...

Дембович встрепенулся. В глазах у него стояли слезы. Пальцы рук заметно дрожали.

— Вы уходите? — тихо спросил он.

— Не навсегда, Дембович, не навсегда,— сказал Михаил.

Продолжение следует.

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

ДОПРОС БЕЗ ПРИСТРАСТИЯ

У Павла было такое ощущение, что до этого дня его особой никто не занимался. Конечно, он на виду у молчаливой, меланхоличной Клары и у этого долговязого садовника, но они могли играть лишь роль пассивных наблюдателей. Вероятно, в их задачу ничто иное и не входило.

И вот настал день, которого он так ждал.

Черноволосый плотный человек, встречавший их в бухте — Леонид звал его Себастьяном,— приехал утром после завтрака, поговорил с Кругом, а потом пошел к машине, принес желтый кожаный портфель, достал из него пачку чистой бумаги и авторучку и подозвал к себе Павла.

— Садиться и писать автобиографию,— сказал он, протягивая бумагу и ручку.— Мать. Отец. Своя жизнь. Детально. Не торопиться.

Павла с первого дня забавляло, что Себастьян употребляет русские глаголы только в неопределенном наклонении; хотелось бы отгадать, почему он научился говорить именно так. Но сейчас момент был слишком неподходящим для лингвистических изысканий.

Себастьян ушел, а Павел сел к столу у окна. Леонид Круг, запрокинув голову на подушку, поглядел на него и сказал дружески:

— Пиши как есть, не скрывай ничего. Потом легче будет. Это в первый, но не в последний раз.

— Ладно.

Павел подробно написал биографию Бекаса. Почерк у него был довольно разгонистый, и получилось десять страничек. Он умышленно сделал несколько грамматических ошибок, запомнив их как следует.

Себастьян забрал исписанные листки и авторучку и уехал.

Через три дня за Павлом прислали машину. Рядом с шофером сидел незнакомый молодой человек.

Ехали сначала лесом, потом минут сорок мчались по широкой, но не очень оживленной автостраде, а потом опять свернули в лес и остановились возле двухэтажной виллы. Молодой человек проводил Павла в большой пустой кабинет на первом этаже и ушел, прикрыв за собою дверь.

Минут через пять явился полный, добродушного вида дядя, в очках, с небрежно повязанным галстуком, в измятом костюме. Он поздоровался, пригласил к столу, положил перед Павлом стопку бумаги и ручку и предложил написать подробную автобиографию. Павел сделал удивленное лицо.

— Я уже писал.

Толстяк ласково улыбнулся, развел руками.

— Не знаю, не знаю, молодой человек. Для меня вы ничего пока не писали. Прошу вас. Я не буду мешать.— И он быстренько выкатился из кабинета.

Павел почти слово в слово изложил то, что уже имел возможность прочесть Себастьян. И аккуратно вставил те же ошибки.

Толстяк вернулся, взял листки, поблагодарил Павла и проводил к машине.

Еще через два дня за ним снова прислали машину с тем же шофером и сопровождающим. И привезли на ту же виллу, ввели в тот же кабинет, где на этот раз он увидел Себастьяна и добряка толстяка. Первый располагался на кожаном диване, перед которым стоял низкий легкий столик с огромной круглой пепельницей, куда Себастьян стряхивал пепел,— курил он непрерывно. Павел еще ни разу не видел его без дымящейся сигареты. Толстяк сидел на широком подоконнике, беспечно болтая ногами, чисто по-школьному. Они не изменили поз при появлении Павла. Только прекратили разговор.

— Ну-с, молодой человек,— приветливо начал толстяк,— садитесь к столу, и будем беседовать. Мы хотим, если вы не против, познакомиться с вами поближе.

Павел опустился на стул за большим круглым столом посреди кабинета. Под взглядами этих двоих ему показалось, что лицо его утеряло выражение бесхитростного любопытства и беспечности, которое он как бы надевал каждый день в момент пробуждения и не снимал до поздней ночи. Павел улыбнулся.

— Я все жду, жду,— простодушно признался он,— хоть бы кто-нибудь побалакал со мной: мол, как живешь-можешь, не жмут ли ботинки? Зачем устраивать переписку, когда можно общаться натурально?

Толстяк подмигнул Себастьяну и, кивнув на Павла, сказал:

— Большой оригинал!

— Вы русский, да? — спросил Павел.

— Конечно, русский.

— А как вас зовут?

— Александр.

Себастьян вмешался в разговор словно бы нехотя.

— Где вы познакомились с Михаилом Зароковым? — спросил он негромко.

Павел недоуменно повернулся в его сторону, будто не понимая, к кому обращен вопрос.

— Вы меня спрашиваете?

— Вас, вас...

— Зароков? Не знаю. Вообще фамилии такой никогда не слыхал. Какая-то выдуманная фамилия.— Павел посмотрел на толстяка, ища сочувствия.

Тот грузно спрыгнул с подоконника, подошел к тумбе в углу, на которой стоял большой, в металлическом корпусе аппарат, нажал на нем одну из белых клавиш. Кажется, это был магнитофон. Вернувшись к окну, толстяк задал вопрос:

— Итак, молодой человек, вы родились... в каком году?

— В тридцатом.

Дальше пошли вопросы по биографии — в хронологическом порядке. Они задавались так благодушно, словно это был не допрос, а заполнение анкеты для поступления на курсы кройки и шитья. Вообще все поведение и вид толстяка должны были размагничивать.

Монотонность этого диалога нарушил Себастьян:

— Где вы познакомились с Леонидом Кругом?

— В доме отдыха «Сосновый воздух».

Еще серия вопросов и ответов, касающихся жизни Павла Матвеева — он же Корнеев, он же Бекас,— и снова реплика Себастьяна:

— Когда Круг сказал вам о переправе?

— Двадцать седьмого днем.

Себастьян, как говорится, стрелял вразброс, но в этом была своя система. Если потом очистить допрос от мякины их бодрой беседы с толстяком, получится довольно подробная картина переправы и обстоятельств, ей предшествовавших.

Павел откликался одинаково охотно и любезно и толстяку и Себастьяну, так что по тону вряд ли можно было уловить, как колеблется напряжение, испытываемое всем его существом.

— Прошу рассказать детально про переправу.

Павел изложил события ночи с 27 на 28 июня.

— Нарисуйте бухту,— приказал Себастьян.— Наш корабль. Пограничный ко-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—44.

рабль. Как стояли. И вашу лодку. В момент встречи.

Павел подумал и набросал схему бухты, расположение катеров и лодки.

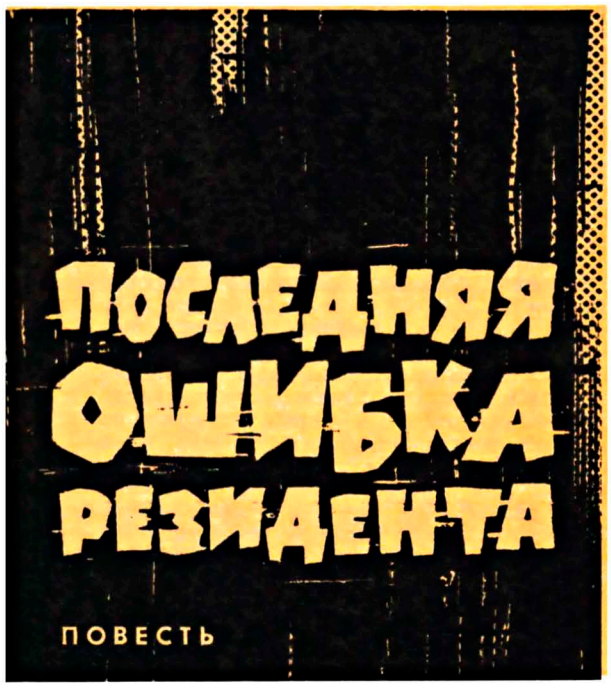
Пока Себастьян рассматривал чертеж, Павел попробовал развлечь толстяка, чтобы самому развлечься и отдохнуть.

— А у нас не так допрашивают,— сказал он.— У нас следователь все записывает, чин-чинарем. И потом расписаться даст.

Толстяк расхохотался. Ему было весело наблюдать плутовскую физиономию Павла.

— Во-первых, это можно не считать допросом,— объяснил он.— А во-вторых, он все записывает.— И показал на магнитофон.

Павел оценил такую доверительность. И подумал, что, пожалуй, ему было бы легче, если бы они ее не демонстрировали. Все заранее рассчитано, все должно давить на психику, в том числе и этот допрос без всякого видимого пристрастия. Значит, у них в запасе есть средства посерьезнее, чем старая песня на мотив «спрашивай — отвечаем».



МИХАИЛА ЗАРОКОВА БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

План побега созрел моментально. Сейчас к Надежде вернулось то острое чувство опасности, которое прежде заставляло его больше доверять инстинкту, а не разуму. А инстинкт требовал не доверять никому и ничему, даже собственным впечатлениям. Поэтому главным в его плане было проверить, следят ли за ним, а если да, то насколько бдительно. И потом, после проверки, действовать по обстоятельствам.

В путевке у него был записан рейс по телефонному заказу, который дала ему Мария. В два часа дня он должен подать машину по указанному адресу, а потом везти пассажиров в дачный поселок, за тридцать километров. Это кстати: на загородном шоссе легче обнаружить слежку.

Но сперва нужно сменить машину, что нетрудно: в парке всегда есть несколько запасных таксомоторов, стоят на площадке под открытым небом.

На новой машине, с новым номером, если обстряпать все за несколько минут, уже из парка можно, пожалуй, выехать без хвоста: ведь следящие, если они есть, знают его по машине и по ее номеру так же хорошо, как и в лицо, и так же привыкли к этому номеру. И еще одно соображение: если он действительно на крючке у контрразведки, то можно предполагать, что где-то в чреве его машины спрятан миниатюрный радиопередатчик, посылающий в эфир непрерывные сигналы, по которым оператор на пеленгующей станции в любой момент может определить, в каком районе находится машина. Искать его сейчас нет времени. Пришлось бы распотрошить автомобиль до основания.

Надежда поехал в парк.

Поставив машину в угол к забору, чтобы никому не мешала, поднял капот, снял колпачок с трамблера, перепутал провода, один из них чуть зачистил, чтобы замыкал на корпус, закрыл капот, быстро пересек двор и вошел в диспетчерскую.

Мария была на месте.

— Ты что приехал? — спросила она.

— Да, понимаешь, барахлит мотор, а у меня же рейс по заказу. Через пятнадцать минут.— Михаил поглядел на часы.— Как бы это к шефу подкатиться, чтобы дал другую?

— Все на обеде,— сказала Мария.— Хотя обожди, дядя Леша здесь.

Дядя Леша был дежурным механиком. Мария позвала его, и в пять минут все было улажено.

— Бери машину Сливы, у него сменщик не вышел,— предложил механик.— Машина на ходу. Заправлена, помыта.

— Спасибо, дядя Леша.— Михаил протянул Марии свою путевку.— Перепиши.

Мария зачеркнула на путевке старый и написала новый номер машины.

— Заезжай часов в пять домой, пообедаешь,— сказала она, глядя, как Михаил прячет путевку.

— Обязательно.

Он наклонился через перила, поцеловал ее.

Спустя несколько минут Надежда выехал из парка на таксомоторе водителя Сливы. Пиджак, в котором он был до этого, снял и положил под себя на сиденье, форменную фуражку тоже снял. На нем была теперь кремовая курточка на молнии. Все шло пока строго по плану...

Часто меняя скорость, Надежда сделал большой круг по восточной окраине города. Улицы здесь были в дневные часы малолюдны, автомобили заезжали редко.

За ним следом никто не ехал. Пора отправляться по адресу — это в районе новостроек, который здесь называли по-московски Черемушками.

Он опоздал всего на десять минут. Те, что заказали машину, жили в только что отстроенном доме, на четвертом этаже. Надежда поднялся на лифте, позвонил. Дверь открыла пожилая женщина. Его ждали, но сами готовы еще не были.

— Переезжаем на дачу,— объяснила женщина.— Осталось сложить посуду в корзинку — и поедем. Входите, входите!

В квартире стоял переполох, два молодых голоса, мужской и женский, переругивались в комнате без всякого вдохновения. Иногда им мешал ругаться детский голосок, задававший какие-то вопросы.

— Может, хотите чаю? — спросила женщина просто из вежливости.— Я подогрею...

— Спасибо,— сказал Михаил.— Не беспокойтесь, занимайтесь делом, я на кухне подожду. Водички, с вашего разрешения, попью.

— Ради бога, ради бога! Стаканы там в шкафу, пожалуйста.— И ушла в комнату.

В кухне Надежда оглядел стены. Вытянув из кармана брюк бумажный сверток, откинул металлический клапан мусоропровода и хотел было выбросить туда из газеты разрозненные внутренности радиопередатчика, но тут же передумал и быстро сунул сверток обратно в карман.

Взял из буфета стакан, спустил из крана воду, чтобы была холоднее, напился.

Тут и хозяева появились. Все они улыбались, малыш в том числе.

— Вы нам поможете? — спросила молодая румяная мама.

— Давайте что-нибудь потяжелее,— сказал Надежда, бросив мимолетный взгляд на высокого худого папу в очках с толстыми стеклами. Вид у него был измученный, страдальческий.

Теща пригласила Надежду в комнату и показала на плетеную корзину.

— Только осторожнее, здесь посуда,— предупредила она.

Не прошло и получаса, как чемоданы и узлы были сложены в багажник и славное семейство в полном составе разместилось в машине. Впереди села мама с сыном. Она вздохнула и сказала:

— Даже не верится.

Надежда покосился на нее.

— Захлопотались? Но это, наверно, приятные хлопоты...

Больше он с ними не разговаривал.

Вырвавшись из путаницы улиц на загородное шоссе и отметив, что ни впереди, ни сзади нет других машин, Надежда выжал газ до предела и облегченно откинулся на спинку сиденья.

Разгрузка отняла совсем немного времени, и в четверть четвертого Надежда отъехал от дачи, пожелав дачникам хорошего лета.

На шоссе он повернул не к городу, а в противоположную сторону. Вдалеке синела зубчатая стена леса. Он ехал, все время держа стрелку спидометра на восьмидесяти, и скоро машина нырнула вместе с дорогой в прохладный тенистый коридор. Ели подступали с обеих сторон прямо к кюветам. Надежда сбавил ход. Заметив тележную колею, ответвлявшуюся от дороги в глубину леса, он свернул на нее и поехал не спеша, притормаживая всякий раз, как под колеса ложились особенно толстые корни. Полоска этой лесной дороги, как рука набухшими жилами, вся была переплетена корнями больших деревьев.

Показался просвет. Началась знакомая поляна, а за нею молодой ельничек. Как раз то, что ему нужно.

Надежда выбрал проезд поудобнее, вдвинулся в заросли и выключил мотор. Вышел, отводя ветки от лица, на открытое место.

В лесу пели и щелкали птицы. Над поляной струилось зыбкое марево, пропитанное дремотным стрекотаньем кузнечиков.

Надежда вспомнил, что сегодня пятница. Он еще неделю назад договорился с Петром Константинычем, своим сменщиком, поработать две смены подряд, в пятницу и субботу, чтобы в воскресенье быть свободным. Послезавтра они с Марией собирались поехать за город, погулять в лесу.

Он не удивился тому, что жалеет Марию. Удивительно было другое: собственное безоглядное бегство вдруг показалось ему паническим, а опасения — по крайней мере преждевременными.

Но тут же подумал, что это говорит в нем его легализовавшийся двойник, привыкший к размеренной жизни, расслабившийся, умиленный шорохом бабьей юбки. И погода такая, что сейчас бы валяться в траве, напившись холодного пива...

Потом он представил себе Дембовича и подумал, что уже давно перестал считать его вздорным стариком, хотя старик и вправду отчасти вздорный. Но все же, как ни жаль, расставаться с ним придется, и, конечно, навсегда. От улик полезно вовремя освободиться.

И, как ни странно, только после этого Надежда вспомнил об отце. В последнюю очередь. Может быть, оттого, что отец дальше от него, чем город и люди, с которыми он был связан без малого год.

— Как перед дальней дорогой,— сказал Надежда вслух.— К чертям!

Из заднего кармана брюк он достал бумажник, тяжелый, туго набитый, развернул его. Денег пока достаточно. Паспорт в порядке. Паспорт на имя Станислава Ивановича Курнакова, выданный в 1956 году милицией города Ростова-на-Дону, действителен по 1966 год.

Михаила Зарокова больше не существует. Он умер сегодня во второй раз и теперь уже не возродится...

Надежда присел на траву.

Если бы Мария увидела его сейчас, она бы, наверное, не узнала Михаила Зарокова.

Лицо человека, сидевшего в задумчивости посреди заросшей цветами поляны, показалось бы ей чужим и неприятным.

Долгим было это раздумье. И важным. Надежда изменил первоначальный план исчезновения.

Дождавшись темноты, он вывел машину из ельника и поехал в город. Ровно в одиннадцать ночи оказался около своего дома. Машину поставил на соседней улице. Огляделся. Перелез через забор в сад. В комнате Дембовича и на кухне горел свет. Подумал с досадой: «Еще не спит».

Но Дембович спал. Он лежал на неразобранной постели одетый, правая рука свисала безжизненно к полу.

На столе Надежда увидел пустую коньячную бутылку и кусочки выжатого лимона на коричневом блюдце.

Надежда постучал ключами по дверной притолоке. Старик не шевельнулся.

Надежда знал: в кухне у запасливого Дембовича всегда стоит бидончик с керосином. Бидончик оказался на месте.

Надежда облил углы комнаты, бельевой шкаф. Запер дверь дома, затем вернулся, закрыл на два оборота дверь комнаты Дембовича с внутренней стороны, а ключ положил в карман висевшего на стуле пиджака.

Затем тихо, без скрипа растворил окно, вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и сунул ее в шкаф. Не мешкая, вылез в окно, закрыл его и плотно притворил массивные ставни. Собака на секунду показалась из будки, но, увидев своего, нырнула обратно. Надежда перелез через забор, огляделся. Улица была пустынна.

...Выехав за город, Надежда увеличил скорость. Тридцать километров он покрыл за пятнадцать минут. Эта гонка в темноте его немного успокоила. Он думал о последнем пункте плана, созревшего там, на лесной поляне. Что бы ни произошло в будущем, нужно дать людям, которые станут доискиваться, почему сбежал водитель Зароков, готовую причину.

Съехав на проселочную дорогу, он заметил впереди темное пятно. Включил дальний свет. Лучи фар высветили одиноко стоящую на обочине повозку. Надежда чуть сбавил скорость...

Машина врезалась в заднее колесо телеги правой фарой...

Около пяти часов утра Надежда вышел на автостраду. Движение было оживленное. Много грузовых.

Он проголосовал перед порожним «ГАЗом», машина остановилась. Спросил шофера, далеко ли едет. Оказалось, на узловую железнодорожную станцию, за полтораста километров отсюда. Повезло...

В восемь часов утра он был на станции. Побрился в парикмахерской, поел в станционном буфете.

Билет взял в общий плацкартный вагон, место его оказалось на верхней полке. В вагоне было душно, но он быстро уснул, отвернувшись лицом к переборке.

МАЛОУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

У Марии не возникло никакого беспокойства оттого, что Михаил не заехал в пять часов пообедать. И то, что он не пришел ночевать, тоже не удивило ее. Но когда утром в субботу она явилась в диспетчерскую и узнала, что машина, на которой уехал Зароков, в парк не вернулась, и когда пришедший на работу Слива устроил ей небольшой скандал за ее самоуправство, Марию охватили недобрые предчувствия. Она пошла к начальнику парка и рассказала о вчерашней истории с заменой автомобилей и о том, что такси Сливы в гараже до сих пор нет.

Начальник был человек несуетливый и понимающий. Он ограничился мягким выговором, приказал дать водителю Сливе другую машину, из запасных, а насчет Зарокова, которого он уважал и ценил как работника и об отношениях которого с диспетчером был много наслышан, посоветовал предпринять следующее: сейчас же послать

первого попавшегося водителя к Зарокову домой, а если его дома не окажется, сделать официальное заявление милиции о пропавшей машине.

Мария адреса Михаила не знала, поэтому тут же побежала в отдел кадров.

Когда вернулась к себе, диспетчерская была полным-полна. Неприятные вести почему-то и распространяются и собирают людей гораздо быстрее, чем приятные. Многие водители отложили выезд на линию: очень хотелось узнать подробности.

А Марии не терпелось самой отправиться на розыски Михаила.

Как велел начальник, она попросила первого попавшегося шофера съездить к Зарокову...

Когда остановились у забора, на котором был написан номер нужного им дома, и вышли из машины, Мария совсем пала духом: за забором тоскливо, как по покойнику, выла собака. Нехорошо звучал этот вой при ярком солнце июньского утра.

Шофер, опередив Марию, положил руку на медное кольцо калитки, повернул его.

Они увидели пепелище. Залитые водой черные головешки бархатно блестели на солнце. Нелепо возвышались среди этой черноты остовы двух голландских печей, изразец на них был закопчен.

Поехали в городское управление охраны общественного порядка.

Там им оказали, что пожар произошел ночью по неизвестной причине, что хозяин дома Дембович был извлечен из горящего дома мертвым. При поверхностном осмотре никаких признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. О причине смерти точно можно будет сказать только после вскрытия, но, вероятнее всего, покойный был сильно пьян и не смог выбраться из горящего дома...

Вернувшись в парк, Мария работать была уже не в состоянии. Начальник распорядился вызвать подменного диспетчера.

Воскресенье она просидела дома, совершенно убитая, вздрагивая и выбегая в коридор при каждом звонке у дверей. Но то все были гости к соседям. Да и с чего бы Михаил стал звонить? У него же ключи есть...

В понедельник, придя на работу, она узнала, что таксомотор найден на проселочной дороге. Врезался в телегу, разбит, но не очень сильно.

Следов Михаила Зарокова обнаружить не удалось. Он исчез.

Мария сходила в управление охраны общественного порядка, поговорила с работниками, занимавшимися поисками, но ничего сверх того, что было уже сообщено, они ей сказать не могли. Вероятно, Зароков скрылся, побоявшись, что его привлекут за аварию к ответу. Тем более у него уже был раньше неприятный случай — наезд на пешехода...

...Шоферы такси возят много разного народа, поэтому и знают много, и вскоре в парке стало известно, что старик по фамилии Дембович, у которого квартировал Зароков, страдал болезнью сердца, пить ему совсем было нельзя, а он, старый дурень, царствие ему небесное, то ли с горя, то ли на радостях напился и сгорел в собственном доме по глупости.

Все сочувствовали Марии, все замечали, что она тает на глазах. Даже губы красить перестала.

И никто пока не догадывался, что Мария беременна. Михаилу сказать об этом она не успела.

Гораздо позже, перебирая в памяти встречи и разговоры с Михаилом, она поняла, что он был с нею не таким беспредельно откровенным и правдивым, как она думала. Взять хотя бы квартиру. Он уверял, что живет на окраине, в страшно плохих условиях, даже стыдно пригласить в гости, а сам, оказывается, жил и не на окраине и, как видно, не в развалюшке. Зачем ему было лгать? И вообще вокруг Михаила навертелся целый клубок каких-то непонятных историй...

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕТЕКТОР

Облака густели, белый цвет быстро сменялся свинцовым, а с севера, от моря, наплывали чугунно-темные клубящиеся тучи. Собиралась гроза, но духоты не ощущалось, воздух был свежий, как ранним утром.

Начал накрапывать мелкий дождик, потом в листьях яблонь и кустов прошуршали первые тяжелые капли, словно дождь примеривался. На минуту наступила тишина, и вдруг хлынул сплошной ливень.

Павел был на крыльце, когда возле ворот остановился автомобиль, калитка распахнулась, и на дорожке появился толстяк Александр. Он шел так, будто никакого дождя в помине не было. Вельветовая курточка сразу промокла у него на плечах.

Войдя на крыльцо, он плотно провел ладонью по своим светлым, коротко остриженным волосам, стряхнул с руки воду. Улыбнувшись и не поздоровавшись, сказал Павлу:

— А я за вами, молодой человек. Поедем.

Они ехали тем же маршрутом, но остановились у другой виллы. Александр провел Павла по коридору и распахнул перед ним белую дверь. Они вошли в комнату, похожую не то на лабораторию, не то на врачебный кабинет. За столом у окна сидел человек в белом халате и черной атласной шапочке, лет пятидесяти, худощавый, с нездоровым цветом лица, в очках с дымчатыми стеклами.

— Он не знает, зачем его привезли? — спросил врач по-немецки у Александра. Но глядел при этом на Павла.

Тут Павел подумал, что совершенно необходимо быстрее освободиться от одного

опасного чувства, которое он испытывает с тех пор, как ступил на эту землю. Всякий раз, когда он слышит разговор на чужом языке, ему кажется, что уши у него немеют, словно отморожены, и что это заметно со стороны. Оказывается, очень трудно делать вид, что не понимаешь языка, который в действительности знаешь отлично. Насколько безопаснее было бы и вправду не знать...

— Я ничего не говорил,— ответил Александр. И по-русски сказал Павлу: — Это доктор, он займется вами. Раздевайтесь до пояса.

Врач воткнул себе в уши трубочки фонендоскопа, поманил Павла поближе и, приложив холодную целлулоидную мембрану ему к груди, стал слушать сердце.

— Поговорите с ним,— сказал он.

Александр по привычке присел на подоконник и спросил у Павла:

— У вас как вообще здоровье?

— Не жалуюсь.

— Спортом занимались?

— По роду занятий обязан быть в форме.

— Да, ведь вам приходилось бегать...— Александр имел в виду побег из заключения.— А эту борьбу... как она называется... самбо знаете?

Это был не такой уж простой вопрос, хотя звучал вполне невинно.

— Самбо — это что, ерунда... В тюрьме можно научиться кое-чему почище.

— А по-немецки так и не научились?

Мембрана фонендоскопа, как показалось Павлу, прижалась чуть плотнее. Павел развел руками.

— Warum? — спросил Александр.

Павел не колебался. Он решил покончить с этим вопросом просто и надежно. И ответил по-немецки:

— Darum.

Александр рассмеялся.

— Значит, учили все-таки?

— В школе у нас был немецкий. Но я его не любил. С немецкого урока ребята смывались на стадион, играли в футбол. А потом старуха немка все равно выводила нам тройки, чтобы не портить школьный процент успеваемости.

— А больше никакого языка не учили?

— А что, я похож на бывшего студента? — поинтересовался Павел.

— Но все же...

— Довольно,— сказал врач по-русски. Он взял Павла за руку, подвел к столу у противоположной стены, на котором стоял пластмассовый ящик, формой и величиной похожий на чехол для пишущей машинки с широкой кареткой. По дороге врач взял легкое кресло с плетеной спинкой и широкими подлокотниками, стоявшее посреди кабинета.

Щелкнув запором, врач снял пластмассовый чехол. Под ним оказался аппарат с рукоятками на передней стенке. На верхней крышке во всю длину был сделан вырез, и в нем виден валик, похожий на скалку для теста. От аппарата отходило три пары разноцветных проводов. Над валиком на одинаковых расстояниях друг от друга краснели длинные клювики трех самописцев. Из стоявшего рядом плоского ящичка врач достал толстую гофрированную трубку, напоминавшую противогазную, и другую трубку, тоньше первой и гладкую, затем два металлических зажима, похожих на разомкнутые браслеты, и две подушечки из пористой резины.

— Вы знаете, что это такое? — спросил Павла Александр, кивнув на аппарат.

— Похоже на рацию,— сказал Павел.

— Это полиграф, в просторечии называемый детектором лжи. Знакомьтесь! У вас в Советском Союзе много писали по поводу этой машины. Не приходилось слышать?

— Болтали раз в камере...

— Этот аппарат умеет читать мысли.

Павел подмигнул толстяку: мол, будет трепаться, сами умеем.

— Не верите? — спросил Александр.— А вот сейчас посмотрим.

Врач присоединил к проводам аппарата обе трубки и зажимы, поставил кресло спинкой к аппарату и жестом пригласил Павла сесть. Но Александр сказал:

— Подождите, доктор, покажем ему фокус. Он не верит.

Александр стащил с себя вельветовую куртку, закатал рукав рубахи на левой руке и сел в кресло. Врач обвил гофрированной трубкой его широкую грудь — гармошка сильно растянулась.

Гладкая трубка тугим кольцом легла на руку чуть ниже локтевого сгиба.

Металлические зажимы-браслеты врач надел на кисти рук Александра с тыльной стороны, потом взял пористые подушечки, отошел к раковине, в которой стояла банка с каким-то раствором, окунул в нее подушечки, немного отжал их и вставил под зажимы так, что они плотно прижались к ладоням.

— Я вам после объясню устройство,— сказал толстяк.

Врач воткнул вилку в розетку, затем вынул из стола рулончик бумаги с мелкими делениями, как на чертежной миллиметровке, отрезал от него ножницами ровную полоску. Написав на полоске цифры от одного до десяти, он уложил ее на валик.

Павел с неподдельным интересом наблюдал за манипуляциями доктора, а толстяк наблюдал за Павлом.

Врач взял резиновую грушу наподобие пульверизаторной, приладил ее к соску гофрированной трубки и стал накачивать воздух. Потом сделал то же самое с трубкой на руке. И вышел в коридор, притворив за собою дверь.

Александр сказал:

— Вот там на бумаге записаны цифры. Загадайте одну и скажите мне, я тоже загадаю ее. Испытывать аппарат будет меня, но чтобы вы не подумали, будто мы с доктором заранее сговорились, сделаем именно так... Ну, загадали?

— Да.

— Запишите на бумажке. Вон возьмите на столе у доктора, там и карандаш.

Павел вывел на клочке цифру.

— Покажите мне.

Павел показал. Это была шестерка.

— Спрячьте в карман.

Павел спрятал.

— Готово, доктор! — крикнул Александр.

Врач вернулся в кабинет.

— Теперь будет вот что,— объяснил Александр.— Доктор станет называть все цифры подряд, а я должен на каждую цифру говорить «нет». В том числе и на задуманную тоже. А потом увидите, что получится.

Врач повернул рукоятку на передней стенке детектора. Возникло легкое жужжание. Ровным голосом, не спеша врач стал называть цифру за цифрой. Валик с миллиметровой бумагой чуть заметно двигался. Клювики самописцев прильнули к бумаге.

— Один? — вопросительным тоном произнес врач.

— Нет,— ответил Александр.

— Два?

— Нет.

— Три?

— Нет.

И так далее. Голос у толстяка был спокойный. И при цифре «шесть» он звучал совершенно так же уверенно, ухо не могло уловить никакой разницы, хотя это и была задуманная ими цифра.

Когда счет кончился, врач выключил детектор, извлек из него бумажную ленту и принялся изучать извилистые линии трех разных цветов, оставленные самописцами. Это продолжалось совсем недолго.

— Шесть,— объявил врач.

Теперь уже Александр подмигнул Павлу.

— Ну, как?

Павел спросил:

— А еще можно?

— Давайте повторим,— согласился толстяк.

Опыт повторили. Павел задумал и записал девятку. И врач с помощью детектора быстро и четко ее угадал. Было чему удивляться.

Павел понимал: это психологическая обработка. Но оттого, что он это понимал, не было легче. Детектор продемонстрировал свои возможности очень убедительно.

— Позовем Лошадника? — спросил врач у Александра.

— Зови.

Врач позвонил по телефону, сказал два слова: «Мы готовы».

Продолжение следует.

ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА РЕЗИДЕНТА

ПОВЕСТЬ

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ

Очень скоро пришел Себастьян. Вероятно, Лошадник — его кличка. Павел давно обратил внимание, что здесь вообще в моде прозвища. Он несколько раз слышал, как в разговорах упоминались цветистые клички явно неофициального происхождения: Монах, Музыкант, Цицерон, Одуванчик и так далее. Некоторые из прозвищ давались по принципу от обратного: Леонид Круг говорил Павлу, что Монахом звали шефа всего этого заведения, а он, по слухам, был выдающимся бабником.

Стоило чуть отвлечься, и Павел почувствовал, что ему стало легче, словно его выпустили на минуту подышать свежим воздухом... Леонид Круг говорил, что полезно перед испытанием на детекторе напиться как следует. Но если б знать...

Пока врач снимал с Александра чувствительные щупальца детектора, Павел старался представить себе устройство аппарата: проявить любопытство к какому-то непонятному явлению — значит наполовину уменьшить страх перед ним.

Гофрированная трубка фиксирует дыхание и работу сердца. Гладкая трубка на руке снимает артериальное давление. А для чего пористые подушки на ладонях? Леониду Кругу брат объяснял, что они реагируют на отделение пота. Три датчика — три самописца.

Можно было сообразить, что действие детектора основано на простом факте: нервная система, регулирующая деятельность человеческого организма, не подчиняется тому, что условно называется волей. Но все же она существует, воля. И не так уж она условна...

Себастьян, Александр и врач, стоя у окна, о чем-то посовещались. Потом Себастьян придвинул к креслу белый столик врача.

Врач намотал на валик аппарата рулон миллиметровки и сказал Павлу:

— Садитесь в кресло, закатайте рукав.

На Павла были наложены трубки, врач приладил зажимы, укрепил на ладонях пористые резиновые подушечки, предварительно окунув их в банку с раствором. И сел за стол напротив.

Себастьян и Александр стали у Павла за спиной так, что он их не видел.

— На все вопросы, которые вам зададут, отвечайте только «да» и «нет»,— сказал врач.— Или «да», или «нет». Смотрите мне в глаза.

— Начнем с ключа? — спросил Себастьян.

— Можно с ключа.

Себастьян написал на ленте цифры от одного до десяти.

Врач снял с правой руки Павла зажим и подушечки, подвинул к краю стола листок бумаги и карандаш.

— Сейчас мы проделаем то, что вы уже видели,— сказал он.— Задумайте любую цифру. Запишите на бумаге и спрячьте. Мы отвернемся.

Все трое отвернулись. Павел вывел тройку, сложил и сунул листок в карман брюк.

— Можно,— сказал он заговорщически, как будто все они играли в какую-то занятную детскую игру.

Себастьян включил аппарат.

— Итак, во всех случаях, даже когда я назову вашу цифру, говорите «нет»,— предупредил врач.

— Валяйте,— отвечал Павел.

— Один?

— Нет.

— Два?

— Нет.

— Три?

— Нет.

После проверки ленты врач сказал небрежно:

— Вы задумали тройку.

Павлу сделалось не по себе. Значит, аппарат работает точно. Значит, эти проклятые самописцы дергаются на ленте, когда он говорит «нет» на задуманной цифре. И это послужит ключом для расшифровки записи допроса. Самописцы будут так же дергаться всякий раз, как он произнесет неправдивое «нет»... Неужели нельзя их обмануть?

— Еще разок?— спросил Александр.

— Да,— сказал Себастьян.

На этот раз Павел загадал единицу. Процедура повторилась Но теперь врач изучал ленту очень долго. Он хмурил брови, покусывал нижнюю губу и молчал. Наконец заговорил, но в голосе его уже не было недавней уверенности.

— Ваша цифра три.

— Нет,— радостно объявил Павел.— Ей-богу, нет! Вот посмотрите.

Себастьян двумя пальцами вытянул скомканный листок из его кармана, развернул. Там стояла единица. Врач сказал:

— Повторим ключ в конце. Это бывает, когда задумана первая цифра...

Павел посмотрел в окно. На улице както сразу потемнело. Тучи с моря успели приплыть и сюда. Пошел крупный прямой дождь. Но гроза все не начиналась.

Врач задернул шторы на обоих окнах, включил свет.

Себастьян и Александр снова встали у Павла за спиной, врач сел за столик напротив.

— Теперь вы будете отвечать на вопросы,— сказал он.— Говорите только «да» или «нет». Смотрите мне в глаза.

Себастьян включил детектор.

— Вы родились в Москве?— задал первый вопрос Александр.

— Да.

— Ваш отец жив?

— Нет.

— Вы коммунист?— Это спросил уже Себастьян.

— Нет.

— Вы сидели в тюрьме?

— Да.

— Вам нравится здесь?

— Нет.

— Вы любите вино?

— Да.

— Вы служили в Советской Армии?

— Нет.

— Вы служите в органах госбезопасности?

— Нет.

— У вас есть дети?

— Нет.

— Вы коммунист?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—45.

— Нет.

Себастьян выключил детектор. Врач встал, подошел к Павлу, выпустил воздух из трубки, стягивавшей руку, подождал с полминуты и снова накачал ее грушей.

— Ну как, хорошо я отвечаю?— спросил Павел.

— Очень хорошо, отлично,— саркастически сказал врач.

Павел быстро перебирал в уме десять заданных ему вопросов, вспоминая их последовательность. Отвечал спокойно. Он знал это, потому что ни разу не услышал ни одного толчка собственного сердца. Значит, не волновался. Раньше, давно-давно, иногда бывало так, что он начинал слышать свое сердце.

Он старался угадать в последовательности вопросов какую-то систему. Но ее, кажется, не было. Разве что расчет на неожиданность важного вопроса...

— Продолжим,— сказал врач.

У Павла затекли ноги, он разогнул и снова согнул их. Мышцы на плечах ныли, хотелось потянуться, но тут ничего нельзя было поделать. Привязанный к детектору тремя парами электрических проводов, он чувствовал себя скованным.

Начиналась вторая серия вопросов. Открыл ее Себастьян.

— У вас есть мать?

— Да.

— Вы любите ее?

— Да.

Он спрашивал размеренно, спокойным голосом. И вдруг Александр, нарушив привычный ритм, спросил скороговоркой:

— Зароков работает шофером такси?

Павел отвел глаза от лица врача, повернул голову к толстяку.

— Я не знаю, как тут отвечать. Не знаю никакого Зарокова.

Обернувшись, Павел увидел, что оба — и Себастьян и Александр — держат в руках раскрытые блокноты. Значит, вопросник был составлен заранее.

— Ну ладно, пошли дальше,— сказал врач.

— Вы коммунист?— спросил Себастьян. Этот вопрос задавался в третий раз. Павел крикнул что было сил:

— Нет!

— Не орите, молодой человек,— попросил Александр.— Спокойнее.

— Вы ездили за пробами земли?— спросил Александр.

— Да.

— Вы вор?

— Да.

— У вас есть жена?

— Нет.

— Леонид Круг получал телеграмму в доме отдыха?

— Да.

— Дембович познакомился с вами в ресторане?

— Да.

— Вы сегодня завтракали?

— Да.

— Вы рассчитывали попасть за границу?

— Нет.

Врач поднялся из-за стола и опять выпустил воздух из трубки на руке, вероятно, чтобы дать ей отдохнуть, потому что рука от локтя до ногтей онемела и сделалась синюшного цвета.

Вторая серия кончилась, и теперь уже можно было разглядеть определенную систему. Рядом с безобидными вопросами, ответ на которые им заранее известен — ведь Павел дважды давал письменные показания,— ставился вопрос по существу. Лживые «да» и «нет» будут на диаграмме отличаться от стоящих рядом правдивых.

Врач накачал воздух в трубку. Значит, будет еще одна серия. В кабинете стало душно.

— Вас зовут Павел?

— Да.

— Вы Матвеев?

— Да.

— Вы умеете стрелять из пистолета?

— Нет.

— Вы чекист?

— Нет.

Павел смотрел на зеркальные стекла очков сидящего перед ним врача и начинал испытывать раздражение. Свет яркого плафона отражался в очках двумя яркими бликами, резал глаза, хотелось увернуться в сторону, как от слепящего солнечного зайчика. Глаз врача не было видно.

— Sprechen Sie deutsch?

— Нет.

Себастьян выключил аппарат.

— Почему вы отвечаете, если не говорите по-немецки?

Павел устало улыбнулся.

— Это выражение я понимаю. Я уже говорил: в школе проходил немецкий.

Врач ослабил трубку на руке, снял зажим.

— Поднимите руку вверх,— сказал он,— пошевелите пальцами.

За окнами шумел дождь. Едва лишь Павел прислушался к этому ровному шуму, как все происходящее представилось ему чем-то неестественным, не имеющим никакого смысла. Хотелось сбросить с себя эти сковывающие провода и сказать громко: «Довольно ваньку валять, пижоны!» Если б это была только игра!..

Приступили к четвертой серии. Она заняла меньше времени, чем предыдущая.

После перерыва была пятая серия. Все вопросы оказались пустыми, кроме двух. Себастьян опять спросил, не коммунист ли и не чекист ли Павел.

Затем трижды повторили фокус с цифрами. Врач просил не загадывать единицу. Павел задумал сначала семерку, а потом — дважды пятерку. Врач отгадал лишь семерку. Два раза он ошибся.

Павел заметил, что все трое не очень-то довольны. Вероятно, они получили не слишком надежный ключ для расшифровки ответов.

Когда врач распахнул шторы, дождь еще продолжался, но стало заметно светлее. Тучи сваливались на юг, оставляя после себя редкие темные космы.

Александр взглянул на свои часы, и Павел успел увидеть, что было уже четыре.

Себастьян ушел, не попрощавшись, а толстяк позвонил по телефону насчет автомобиля.

— Поедем, отвезу вас домой.— В его тоне, когда он обращался к Павлу, совсем не было недоброжелательства. Даже трехчасовая вахта у детектора не испортила ему настроения.

Обратно ехали молча. Только раз Александр пожаловался, что страшно проголодался.

...Леонид Круг давно пообедал, но против обыкновения не спал. Видно, ждал возвращения Павла.

— Допрашивали?— спросил он, когда Павел устало опустился на свое кресло-кровать.

— Угу.

— Детектор?

— Да.

— Похоже на то, как я говорил?

— Похоже. Но только намного хуже.

Павел сидел, глядя на свои сложенные в пригоршню ладони. Они высохли, и на коже был виден белый налет. Он лизнул правую ладонь, сплюнул, выругался.

— Соль, что ли?— Вытер ладони о брюки, стряхнул с брюк белую пыль.

Круга интересовало только то, что касалось переправы. Павел успокоил его.

— Насчет той ночи было несколько вопросов. Отвечал, как договорились.

— Иди пообедай.

Но есть Павлу не хотелось.

— Давай лучше поспим.

Сняв туфли и брюки, он лег, укрылся простыней. Круг не успел докурить свою сигарету, а Павел уже храпел. Он действительно чувствовал себя очень уставшим.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА

На следующий день приехал Виктор Круг. Павлу бросилось в глаза, что старший брат выглядит сегодня как будто моложе меньшого. И голос вроде бы помолодел, стал бодрее.

По обычаю Павел оставил братьев вдвоем. Спускаясь вниз, он рассудил, что, может быть, Виктор привез какие-нибудь вести о

результатах вчерашнего допроса. Конечно, наивно было бы рассчитывать, что расшифрованные показания детектора становятся достоянием большого числа людей, но Виктор-то должен был поинтересоваться, тем более что часть показаний имеет прямое отношение к его родному брату.

Виктор пробыл недолго. Когда его машина отъехала, Павел заставил себя побродить по саду еще немного, а потом поднялся на второй этаж.

Леонид, можно сказать, сиял и светился. Должно быть, старший брат передал ему свое бодрое настроение, как эстафетную палочку. Павел подумал, что было бы не плохо, если б братья и его включили в свою команду.

В последние дни Леонид частенько жаловался, что у него сильно чешется левая нога, и эти жалобы звучали жизнерадостно: раз чешется, значит, дело пошло на поправку. Но Павел про себя отметил, что гораздо больше у Леонида стал чесаться язык. Он сделался болтливым. И не мудрено: тринадцать лет вынужденного скрытничанья когда-нибудь должны же вызвать реакцию. Самое важное из последних известий, услышанных Павлом недавно, касалось Себастьяна. Леонид под большим секретом сообщил, что Себастьян и еще два сотрудника этого разведцентра — американцы. Себастьян здесь в качестве советника, но фактически — второй хозяин...

Можно было не сомневаться, что Круг сейчас выложит все, что узнал от брата. И даже не понадобится вызывать его на откровенность.

Едва Павел вошел, Леонид начал рассказывать новости. Как стало известно Виктору, показания Павла в части, касающейся их обоих, признаны правдивыми. Насчет остального Виктор ничего не сказал. Но и это уже много. Значит, детектор можно одурачить. И вообще, кажется, этот аппарат бывает не мудрее обыкновенной кофейной мельницы, когда натыкается на твердого человека.

Еще Леонид сообщил, что от парня, который организовал его переправу, больше не было ни одной вести. У Виктора из-за этого возникли неприятности, потому что отец того парня, упрямый старик, считает Виктора виновным в провале сына. Но теперь все в полном порядке. Старика поставили на место.

Павел за неимением других занятий давно начал изучать Леонида Круга. Ему доставляло удовольствие предугадывать реакцию своего партнера на те или иные явления их не слишком-то богатой событиями жизни. Когда Павел ошибался, он склонен был считать Круга личностью не совсем пошлой. В таких случаях Кругу нельзя было отказать ни в уме, ни в душевной оригинальности. Но бывали моменты, когда он выглядел примитивным, как тумбочка возле его постели.

Леонид жаждал дружеского общения.

— Знаешь,— сказал он, покончив с новостями,— давай побреемся.

Обычно они брились электрической бритвой, которую подарил им на двоих Виктор, но иногда Леониду приходила охота, как он выражался, срубить бороду, то есть побриться старомодной опасной бритвой. Это напоминало ему времена лесной жизни. В таких случаях Павел брал у садовника Франца его бритвенные принадлежности и срубал Леониду бороду.

Когда Павел намылил одну щеку, на лестнице послышались незнакомые шаги и в дверях появился плечистый молодой человек. Он был выше Павла на целую голову. Посторонившись, он пропустил в комнату Клару.

— Вы поедете с ним,— сказала она Павлу.

Павел показал бритвой на намыленную физиономию Леонида, но гость покачал головой и постучал пальцем по часам.

— Придется тебе самому,— сказал Павел Леониду.— Не обрежься без зеркала. Или подожди меня.

Он вышел следом за Кларой и молодым человеком. Они спустились по лестнице. Клара осталась на крыльце.

Когда Павел шагнул за ворота и увидел машину, которую за ним прислали, он подумал, что Леонид, пожалуй, долго будет ждать его на сей раз. Машина напоминала те малоуютные экипажи, в которых перевозят преступников.

Его провожатый открыл заднюю дверцу, выдвинул ступеньку и пригласил Павла садиться. В кузове по бокам тянулись узкие мягкие диванчики. Павел опустился на диванчик справа. Провожатый закрыл дверцу, щелкнул выключателем — на потолке зажегся свет — и сел слева, напротив Павла. Затем постучал в переднюю стенку, и машина тронулась.

Павел уже научился определять время без часов, так как его часы стояли с той самой ночи, а новых ему не дали. Но это было легко в нормальных условиях, особенно если день солнечный, а жизнь течет размеренно. В глухой коробке, мчащейся на шуршащих шинах неизвестно куда, течение времени совсем не то, за ним очень трудно уследить.

Они ехали, может, час, может, два, а то и все три. И ехали быстро, хотя ощущение скорости тоже очень обманчиво, если едешь в хорошо закупоренном ящике.

Когда они остановились и провожатый распахнул дверцу, Павел убедился, что завезли его гораздо дальше, чем он думал. Солнце, казавшееся после сумрака камеры на колесах нестерпимо резким, уже висело низко над горизонтом.

Кирпичное приземистое одноэтажное здание, возле которого остановилась машина, было явно нежилым. Оно больше походило на казарму или на больничный барак. Часть окон по фасаду белела матовым стеклом. Рядом с домом были гаражи и еще какие-то строения. Вся территория, вплоть до окружающей ее высокой кирпичной ограды, залита асфальтом. Вокруг за оградой редкие сосны.

По сравнению с уже знакомыми Павлу местами это местечко выглядело крайне неприветливо.

Провожатый показал на входную дверь. Вошли в нее.

По коридору прямо, потом направо.

Лестница, ведущая вниз. Ступени железные и узкие, как в машинном отделении корабля.

Один марш, другой, третий, четвертый...

Под первым этажом дома, оказывается, есть еще три. А может, гораздо больше. Они сошли с лестницы в коридор на третьем, но лестница опускалась глубже.

Стены бетонные, сухие. Пол покрыт мягкой, пружинящей под ногами дорожкой. С потолка льется белый люминесцентный свет.

Тихо так, что слышишь дыхание идущего впереди.

Справа начались двери, странные для дома, даже если он и подземный. Они были овальной формы, покрыты голубоватой эмалью. Ручки как у холодильника.

Провожатый остановился у двери, на которой черной краской была выведена римская пятерка. Потянув за ручку, как за рычаг, он открыл дверь, и Павел удивился: она была толстая, будто служила входом в барокамеру, с резиновой прокладкой.

За дверью оказался просторный тамбур, а за тамбуром — другая дверь, обычной формы, но узкая и с вырезом на уровне лица, прикрытым козырьком из пластмассы.

Провожатый нажал одну из многих кнопок справа от двери — она беззвучно ушла в стену.

Не дожидаясь специального приглашения, Павел ступил в открывшееся перед ним замкнутое пространство, а когда оглянулся, дверь была уже закрыта.

Не сразу можно было сообразить, что находишься в комнате. Пол, стены и потолок были неопределенного, мутно-белесого цвета. Такое впечатление, будто попал в густой туман или в облако.

В длину — десять шагов, в ширину — шесть.

На короткой стене, прямо против двери, на высоте пояса — полка, которая, по всей вероятности, должна служить кроватью. На ней резиновая надувная подушка.

В углу слева, у той стены, на которой дверь, в пол вделана белая изразцовая раковина. Из стены торчит черная эбонитовая пуговка.

Больше ничего нет.

Свет — белесый, как стены,— исходит из круглого иллюминатора на потолке.

Тишина...

У Павла зазвенело в ушах. Он сел на пол, прислонившись спиной к стене.

Ждал ли он, что с ним произойдет нечто подобное? Ждал, безусловно. Уж слишком гладко шло все до сих пор, невероятно гладко.

Он не был бы удивлен, если бы его посадили в тюрьму сразу по приезде. Это выглядело бы вполне закономерно. Более удивительно как раз то, что они так долго его не сажали.

Почему же его посадили в тюрьму именно сегодня, а не вчера и не позавчера? Имеет ли это какое-то отношение к результатам вчерашнего допроса?

А может быть, содержание в подземной тюрьме — обычная, предусмотренная правилами мера, применяемая к каждому, кто волею судеб вошел с хозяевами тюрьмы в контакт, подобно ему, Павлу? Долго ли его здесь продержат, и какой режим приготовили ему? Судя по общему стилю тюрьмы, его ждет нечто достойное космического века. Но что толку гадать? Ему придется принять здешние условия, что называется, безоговорочно. Для них он вне закона. Его можно уничтожить в любой момент, и никто никогда не узнает об этом.

Павел встал, подошел к полке, потрогал ее. Полка обита губкой, спать на ней будет не так уж жестко. Он ртом надул подушку, прилег, чтобы примериться. Ничего, сойдет. Правда, нет одеяла. Но если все время будет тепло, как сейчас, то одеяло не очень-то необходимо.

Неожиданно Павел почувствовал, что хочет спать. И не стал сопротивляться дремоте. «Придется Леониду Кругу бриться самостоятельно,— подумал он, усмехнувшись.— Какое сегодня число? Третье августа. Третье августа 1962 года...»

Мать на даче, наверное, уже собирает понемножку черную смородину, варит варенье. Что-то делают товарищи? Думают ли о нем? Конечно, думают, что за вопрос! Но им труднее представить его мысленно: они не знают, где он, что с ним, не знают обстановки, его окружающей. А он все знает, ему легко представить их живо, как наяву. Вспомнилось почему-то, как по воле Дембовича он сидел под домашним арестом, под надзором у старухи, и тогдашняя тоска показалась ему праздником.

Третье августа, тридцать седьмой день его пребывания на чужой земле. Вернее, теперь уже под землей...

Его разбудила музыка. Духовой оркестр играл траурный марш. В первую секунду он подумал, что слышит оркестр во сне, но, открыв глаза и увидев себя в этой словно бы насыщенной белесым туманом камере, вспомнил, где находится, и прислушался. Траурная мелодия звучала тихо, но очень отчетливо. Павел попробовал определить, откуда исходит звук, встал, прошелся вдоль всех четырех стен и не отыскал источника. Звук исходил отовсюду, он был стереофоническим, и это создавало иллюзию, что музыка рождается где-то внутри тебя, под черепной коробкой.

Он попробовал зажать уши. Музыка стала тише, но все же ее было слышно.

Мелодия кончилась. Трижды ударил большой барабан: бум, бум, бум! И снова та же траурная музыка.

Павел начал ходить по камере, считая шаги. Досчитав до двух тысяч, сел на полку. Посидел. Потом прилег. Музыка не умолкала. Время от времени через одинаковые промежутки троекратно бухал барабан.

Он опять почувствовал дремоту и забылся.

Очнулся от легкого озноба. Хоть и тепло в камере, но без одеяла как-то зябко

спать, непривычно. Траурная мелодия впиталась в него, и было такое чувство, что, выйди он сейчас наружу, все равно музыка будет звучать в голове, он вынесет ее с собой, он налит ею до краев, и сосуд запаян — не расплескаешь.

Павел одернул себя: не рановато ли психовать? Если это пытка, то она только началась.

Послышался посторонний звук. Пластмассовый козырек, прикрывавший снаружи широкий вырез в двери, был откинут. На Павла смотрели спокойные глаза. Они исчезли, и в вырез вдвинулось нечто похожее на поднос. Павел вскочил, подошел и принял поднос из гибкого белого пластика. Он был голоден и обрадовался, что его собрались покормить, но содержимое подноса мало походило на съедобное. Со странным чувством глядел Павел на синюю булочку и на четыре синие сосиски. Поставив поднос на полку, разломил булочку. Она была и внутри ядовитого синего цвета. Он брезгливо отломил кусок, пожевал — по вкусу булочка была выпечена из нормальной белой муки. Пресновата немного, но есть можно. Сосиски тоже имели нормальный вкус. Но цвет, цвет...

Он съел все это, зажмурясь. Потом отдал через щель поднос и получил низкую широкую чашку с кофе. Кофе был настоящий, натуральный, натурального цвета.

Итак, теперь ясно, что ему предстоит. Жизнь вне времени в обесцвеченной музыкальной шкатулке и причудливо расцвеченная пища. Это могли придумать только люди с воображением параноика.

СЕБАСТЬЯН НАВЕЩАЕТ ПАВЛА

Павел не мог бы сказать, сколько дней и ночей продолжается его заключение. Время можно было бы хоть приблизительно измерять промежутками между завтраком, обедом и ужином. Но ни завтраков, ни обедов, ни ужинов в привычном смысле слова здесь не было. Его кормили в неопределенные часы, никакой регулярности не соблюдалось. И пища была однообразна, как музыка.

Он оброс бородой и очень похудел.

Он отдал бы десять лет будущей жизни, чтобы только знать, какое сейчас число, сколько времени.

Зарядку делать перестал, потому что это было бессмысленно. Ее нужно делать утром, а у него нет утра, нет дня, нет ночи. Ничего. Только похоронная музыка, барабан и белый люминесцентный свет.

Павел шагал из угла в угол, когда музыка вдруг умолкла. Это испугало его сильнее, чем может испугать человека пушечный выстрел, раздавшийся в полной тишине.

Павел вздрогнул и застыл, напряженно приподняв плечи. Было невероятно тихо. Он слышал, как часто бьется у него сердце.

Вместо музыки возникло шипение, а потом он услышал русскую речь. Это было невероятно!

Сначала он не осмысливал слов, просто слушал, впитывая их всем существом, и лишь постепенно сообразил, что скрытые в стенах динамики воспроизводят магнитофонную запись его допроса на детекторе. Своего голоса он не узнал, зато хорошо узнал голоса Себастьяна и Александра.

Снова шипение, и разговор повторился. Это была вторая серия вопросов. Павел слушал, боясь пропустить хоть звук. «У вас есть мать?» «Да». «Вы любите ее?» «Да». «Зароков работает шофером такси?» «Я не знаю, как тут отвечать. Не знаю никакого Зарокова». «Ну ладно, пошли дальше». «Вы коммунист?» «Нет!» «Не орите, молодой человек. Спокойнее». «Вы ездили за пробами земли?» «Да». «Вы вор?» «Да». «У вас есть жена?» «Нет». «Леонид Круг получал телеграмму в доме отдыха?» «Да». «Дембович познакомился с вами в ресторане?» «Да». «Вы сегодня завтракали?» «Да». «Вы рассчитывали попасть за границу?» «Нет».

От наступившей тишины Павел оглох. Он не мог понять, то ли действительно потерял слух, то ли тишина настолько глубока и безгранична, что можно слышать ток крови в жилах. Тревога начинала овладевать им. Он с сожалением отметил, что в эти моменты перестал наблюдать за своим настроением словно бы со стороны, как делал все время. Внезапная перемена вышибла его из колеи... Нельзя терять контроль над собой в его положении. Чуть ослабишь тормоза — и покатишься под уклон неудержимо.

Для чего им понадобилось напоминать ему о допросе? Хотят этим сказать: голубчик, ты попался?

Павел смотрел на дверь, когда она открылась. Впервые за... за сколько же дней?

В камеру вошел Себастьян. Внимательно оглядел Павла, и по выражению его красивого лица можно было понять, что он нашел заключенного именно таким, каким ожидал найти. Во всяком случае, не удивился. Одет он был безукоризненно. Принес с собой запах табака и свежей зелени.

— Ну, как дела? — спросил Себастьян, и его голос донесся как сквозь подушку.

В горле у Павла пересохло. Он не мог вымолвить ни слова, он, похоже, разучился говорить.

— Какое сегодня число? — наконец произнес он.

— Не имеет значения, — ответил Себастьян, но, подумав, прибавил: — Вы здесь уже пять дней.

Павел отказывался верить. Не может быть, чтобы эта нескончаемая пытка длилась так мало и измотала его так сильно за столь короткий срок! Он сообразил, что Себастьян врет с расчетом. Чтобы сбить с толку, подавить остатки уверенности. И больше решил ни о чем не спрашивать.

Но неожиданно вспышка гнева разбила спокойствие.

— Зачем меня здесь держат? Что я вам сделал? — закричал он.

Себастьян покачал головой.

— Не надо на меня кричать. Я могу уйти. — Сейчас в нем не чувствовалось его постоянной холодности. Скорее он был снисходителен. — Прошу ответить: почему вы не желаете сказать, что знаете Михаила Зарокова?

Этот вопрос вернул Павлу равновесие. Если они считают его контрразведчиком или разведчиком, то должны понимать, что такой вопрос задавать бесполезно. Признаться, что он знаком с Михаилом Зароковым, все равно что подписать себе приговор. Слишком просто все было бы. Не такие же они наивные. Значит, его подозревают, но сомневаются.

— Я не знаю такого человека, никогда не знал, — сказал Павел.

— Ну, хорошо. Можно еще посидеть, можно вспомнить. — Себастьян был совсем покладистым. — Будем говорить о другом. Садитесь.

— Я постою, — сказал Павел.

Себастьян присел на его полку.

— Вы можете хорошо вспомнить место, где брали землю и воду?

— Могу рассказать подробно.

— Я слушаю.

— Ехать надо так...

Рассказывая, он старался не выдать голосом своего волнения. То, что они заинтересовались историей добычи проб, застало его врасплох. Не для протокола нужны им эти топографические подробности.

Выслушав, Себастьян дал Павлу блокнот и ручку и велел нарисовать план станции, ее окрестностей, отметить кружочком, где он брал землю и воду.

Уходя, Себастьян задержался в дверях, спросил, не оборачиваясь:

— Так вы не знакомы с Михаилом Зароковым?

— Нет.

— А он о вас докладывал.

Павел пожал плечами.

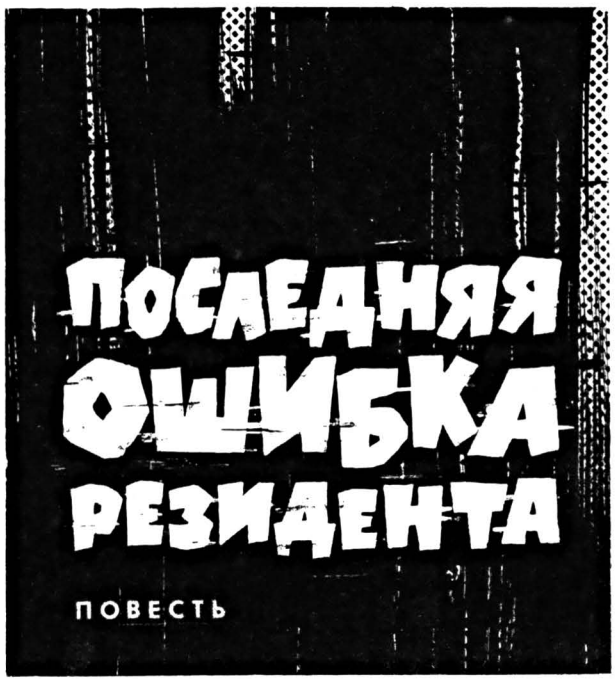
Дверь неслышно закрылась за Себастьяном. И в ту же секунду в камере грянула музыка.

Павел начал вышагивать по камере, глядя в пол и не видя его.

Неужели они настолько серьезно к нему относятся, что решили ради его разоблачения проверить подлинность проб? Если они возьмут повторную пробу, ему крышка.

Ведь та земля и вода, которые они получили через его руки, были обработаны в лаборатории, а эти будут настоящими.

Продолжение следует.



Олег ШМЕЛЕВ,

Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

Продолжение.

См. «Огонек» №№ 38—46.

ЖИТИЕ АЛИКА СТУПИНА

Собственно говоря, его уместнее называть по имени-отчеству — Альбертом Николаевичем, так как ему уже исполнилось двадцать семь.

Но все друзья и знакомые обращаются к нему коротко — Алик. Так проще и удобнее. Фамилию свою он никогда не называет, отчасти потому, что считает неблагозвучной. В институтскую пору был такой момент, когда он хотел сменить ее, взять материнскую. Но по зрелом размышлении счел фамилию матери еще менее благозвучной и оставил все как есть.

Отца своего Алик помнит, но довольно смутно. Он ушел в армию на второй день войны и погиб в сорок втором под Сталинградом; мать делала попытки найти могилу, но ничего у нее не получилось. У Алика осталось одно яркое воспоминание: отец, умывшись после работы, берет его под мышки, подбрасывает к потолку, ловит и целует. Щеки у отца колючие, пахнет от него табаком и земляничным мылом...

Мать, когда отец ушел на фронт, стала работать стенографисткой и одновременно машинисткой.

Жили не очень-то сытно. Как-никак их было трое: мать, Алик и Света, младшая его сестренка.

После войны мать поступила работать в какой-то главк. Купила подержанную машинку и стала подрабатывать дома — брала рукописи для перепечатки у писателей. Машинка трещала в их комнате каждый вечер до тех пор, пока они со Светой не укладывались спать. Позднее, когда Алик вырос и научился острить, он придумал такую шуточку: если его отец, судя по анкетным данным, родился между молотом и наковальней, то он сам, Алик, был отстукан на пишущей машинке.

Они стали жить не хуже других, все у них было.

В школе Алик учился хорошо, мать радовалась. Чуть ли не с первого класса увлекся марками, и эта страсть прожила в нем до поступления в институт.

Алик выбрал педагогический. Впрочем, выбрал — не то слово. Так уж сложились обстоятельства.

В школе преподаватели отмечали, как говорится, гуманитарный характер его наклонностей. Дома постоянно присутствовали рукописи писателей, которые он иногда читал. И постепенно Алик выносил в себе убеждение, что его призвание — литературный труд.

Он подал документы на факультет журналистики МГУ. Экзамены сдал прилично, но баллов для зачисления, увы, не хватило.

Один из коллег по несчастью надоумил податься в педагогический. Там приняли. Алик рассматривал пребывание в педагогическом как прозябание, не оставлял надежды впоследствии поступить в университет. Может быть, поэтому он относился свысока к своим сокурсникам, которые пришли в педагогический по той простой причине, что именно здесь и хотели учиться.

Дальше житие Алика Ступина, если изложить его схематично, сильно отдает трафаретом. Но тут ничего не поделаешь, ибо он шел к преступлению тем трафаретным путем, который хорошо знаком читателям газет и документальных повестей по жизнеописаниям валютчиков, фарцовщиков и разных явных и скрытых тунеядцев.

Первую свою рюмку он выпил, еще будучи на первом курсе, в компании, с которой Алика свел знакомый студент. Они собрались в квартире его приятеля, когда родители этого приятеля уехали на курорт.

Устраивали складчину, по пятьдесят рублей с носа, старыми деньгами, конечно. Если с девушкой, то по семьдесят пять. У Алика таких денег сроду не бывало: откуда им быть? А те ребята о пятидесяти рублях говорили, как о семечках.

Но Алик скорее готов был бросить институт, чем отказаться от компании из-за отсутствия денег. Он вспомнил о своей коллекции марок, пошел и продал ее одному типу на Кузнецком. Тип явно его обжулил, но все же дал много — три тысячи.

Эти деньги и сам факт продажи марок Алик скрыл от матери. После той памятной вечеринки у него появились новые друзья.

Однако эта компания скоро ему надоела. Он вдруг обнаружил, что перерос их всех, что они, в сущности, примитивны. Больше говорят, чем делают. А он уже по-настоящему ухаживал за самостоятельной женщиной.

Три тысячи скоро кончились, и тогда его знакомая сказала, что есть люди, которые умеют делать деньги из ничего. Одного такого она знала лично. И Алик пожелал познакомиться с ним.

Сначала спекулировал почтовыми марками, и это давалось ему легко, потому что помогали старые познания в филателии. Затем круг деятельности расширился, операции с комиссионными магазинами требовали частых выездов в Ленинград и Ригу, и, не закончив четвертого курса, Алик оставил институт.

Для домоуправления, если бы оно поинтересовалось, у него имелась липовая справка, что он работает нештатным переводчиком в издательстве. Матери он сказал, что на год прервет учебу, потому что его пригласили как знающего английский поработать переводчиком в «Интуристе».

В тот год, когда судили небезызвестных Рокотова и Файбишенко, Алик Ступин сделал крупные шаги на пути превращения в настоящего подпольного дельца. Процесс Рокотова напугал его и заставил убавить активность, но ненадолго. Он стал очень осторожным. И в характере его появилась еще одна черта — скупость, страсть к стяжательству. Не всепоглощающая, но достаточно сильная, чтобы подавить другие его качества.

К этому времени сестра Света вышла замуж за военного моряка, уехала во Владивосток, а вскоре к ней перебралась мать, в надежде нянчить внука. Алик сделался совсем свободным человеком.

Операции становились все внушительнее, дело дошло до бриллиантов. И вот тогда-то с ним и случилось несчастье.

Алик перепродал одному своему постоянному клиенту, Николаю Николаевичу Казнну, которого он за глаза звал Кокой, ворованный бриллиант, заработал на этом чистыми четыре тысячи в новых деньгах. А через неделю Кока явился к нему домой, выложил камень и сказал, что он фальшивый. Пришлось идти к знакомому специалисту, и тот подтвердил: да, камень не настоящий, искусная подделка.

Возмущенный Кока потребовал деньги, но у Алика наличности не оказалось, договорились встретиться завтра. На следующий день он шел на свидание, как на свои собственные похороны. Не хотелось, обидно было отдавать назад деньги. К тому же он испытывал смутное чувство, что его обвели вокруг пальца, он подозревал, что Кока просто-напросто подменил камень.

Кока ждал его у себя дома на Большой Полянке. Дом у него был, что называется, полная чаша. В гостях у Коки сидел солидный дядя, похожий на старого антиквара, и они пили чай с вареньем.

Алик в буквальном смысле слова не узнал вчерашнего разъяренного Коку,— тот встретил его как лучшего друга. Не успел Алик заикнуться, что принес деньги, а хозяин уже и ему налил чаю и усадил к столу. И сказал, что если у Алика сейчас трудно с наличными, можно и подождать. Отдаст, когда будет легче. А пока может написать расписку, что взял заимообразно у подателя сего...

Добровольно расставаться с деньгами Алику было очень трудно. Он написал расписку, условившись с хозяином, что будет к его услугам по первому требованию.

Это случилось полгода тому назад. С тех пор Алик не однажды встречался с Кокой, и всегда между ними происходил разговор на тему о четырех тысячах, и каждый раз Кока проявлял поразительную любезность и соглашался подождать. В глубине души Алик считал, что он или редкостный добряк, или...

Оказалось именно второе «или». Добряк в один прекрасный день заявил, что настало время расплачиваться. И не обязательно деньгами. В погашение половины долга Алик может оказать небольшую услугу, связанную с недолгой командировкой в дальний город.

У Алика с финансами было туго: он только что вложил крупную сумму в одно дело, которое еще не закончилось. Предложение Коки выглядело неопасным. И Алик согласился.

Кока объяснил, что нужно в ближайшие дни съездить в район города Новотрубинска, на станцию Н., и привезти оттуда пакетик земли и флакон воды из речки. Чтобы не привлекать внимания местных жителей, надо одеться подходяще. Алик получил план окрестностей станции.

«БЕРИТЕ НА ЗАВТРА»

Он был одет по-охотничьи. Крепкие яловые сапоги с подвернутыми высокими голенищами, брюки из плотной прорезиненной ткани, с карманами на коленях, непро-

мокаемая куртка бутылочного цвета. За одним плечом — ружье в брезентовом чехле, за другим — полупустой рюкзак.

Поднявшись по трапу «ТУ-104» и оставив рюкзак и ружье в багажном отсеке при входе, Алик отыскал свое место — оно оказалось у иллюминатора — и утонул в кресле.

День стоял прохладный, на улице в куртке было в самый раз, а в самолете, когда он взлетел, стало жарковато, но Алик не замечал этого. Стюардесса разносила кислые конфеты, потом яблоки и печенье, потом лимонад — Алик ничего не взял. Он украдкой оглядел соседей в своем ряду — сзади и спереди из-за высоких кресельных спинок никого не видно — и больше не двигался...

Смешно было бы думать, что у Алика не хватило сообразительности понять, что за птица оказался этот велеречивый Кока и какого рода деятельностью он занимается. С того вечера, как они договорились, у Алика сразу появилось чувство, что за ним уже кто-то следит. Ночью у него созрело решение пойти в КГБ и выложить все начистоту. С этой мыслью он и уснул тогда.

А наутро вчерашнего страха уже не испытывал. И желания идти в КГБ тоже.

Алик прикинул трезво, что будет, если он явится с повинной, и что, если не явится.

В первом случае — прощай, привычная жизнь, берись за общественно полезный труд, денежки, что сколотил благодаря смекалке и тонкому расчету, выкладывай на бочку. Нельзя же рассчитывать, что там удовлетворятся одним лишь фактом — поручением Коки. Его обязательно спросят: а как дошел ты до жизни такой? И придется разматывать все от печки. Предположим, ему простят Коку. А все остальное куда девать? Идти каяться еще и в милицию, в прокуратуру, в органы правосудия? А после честно стать на путь исправления?

Такой выход казался чересчур сложным. А другой?

Алик привык называть вещи своими именами. На деловом языке просьба Коки называлась заданием иностранной разведки. Алику была известна статья, карающая за исполнение подобных просьб. Но велик ли риск?

Кока — его старая деловая связь. Правда, их бизнес карается законом, но если бы кое-кто считал эту связь предосудительной, им давно бы дали понять. Вернее, их постарались бы разлучить, обособив в казенном доме.

Ехать на станцию, названную Кокой,— это хлопотно, и там могут произойти непредвиденные осложнения. Но зачем обязательно ехать? Горсть земли можно взять во дворе, а воды налить из-под крана. И потом к черту Коку, больше с ним никаких дел.

Решив так, Алик немного успокоился. Но в тот же день они случайно встретились на Петровке. Взяв Алика под руку, Кока предложил пройтись. Они медленно двинулись к Большому театру. Кока противно шаркал ногами.

— Ну, как дела?— спросил он.

— Что вы имеете в виду?

Кока помолчал, а потом сказал очень ласково:

— Мне хочется предостеречь вас, Алик...

Алик удивился: что за странный человек — сначала сам втравил, а теперь предостерегает.

А Кока, пожевав губами, продолжал:

— Вы человек молодой, но, знаю, практичный... Товар, которого от вас ждут, всюду одинаковый, не так ли? И не было бы ничего удивительного, если бы вы подумали: зачем куда-то ехать? Еще не подумали так?

Алик прикусил губу. Нет, ему еще рано считать себя мудрее Коки. Кого он хотел обмануть?!

Кока не ждал ответа.

— Я вас убедительно прошу, чтобы вы этого не делали. Это принесет только лишние хлопоты. И неприятности.

Кока раскланялся с какой-то женщиной, шедшей им навстречу.

— И не надо тянуть. Чем скорее, тем лучше.

Они дошли до Большого театра. Кока остановился. Алик так ни слова еще и не проронил.

— Вы сейчас не в кассу Аэрофлота?— спросил Кока.

— Пожалуй, пойду в кассу,— сказал Алик.

— Берите на завтра,— посоветовал Кока тоном, каким советуют приятелю посмотреть понравившийся фильм.— Это будет в самый раз.

Алик действительно отправился в кассу. С той минуты его не оставляло ощущение, что за ним следят, но не те, кто охраняет безопасность государства.

— ...Просим вас застегнуть ремни!— услышал Алик голос стюардессы. Ему казалось, они только что взлетели, а уже посадка.

Чуть-чуть заклало уши. Самолет выровнялся. Свист турбин изменился, перешел в другой регистр. Легкий толчок. Пол под ногами завибрировал. Тише, тише, и, развернувшись, самолет стал.

«НАМ ЗЕМЛИ НЕ ЖАЛКО»

Приехав на железнодорожный вокзал, Алик узнал в справочном бюро, когда отправляется поезд до нужной ему станции, когда он туда приходит и каким поездом можно вернуться в город. Все оказалось очень удобно: приедет он на станцию в 9.00, а обратный поезд в 14.37. Лучше не придумаешь. У Алика даже поднялось настроение. Из Москвы все казалось так далеко и сложно, а, по сути дела, можно обернуться за два неполных дня. Он встряхнулся.

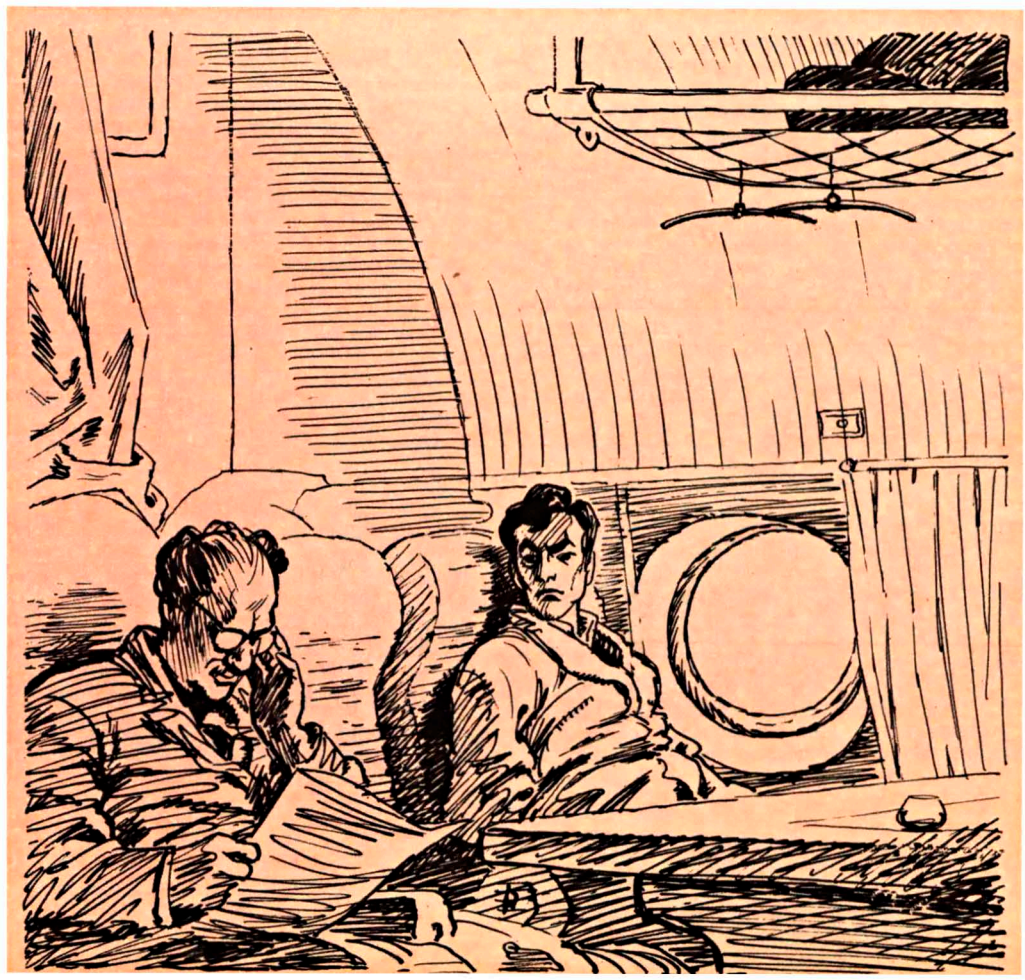
...Почтовый поезд, составленный из видавших виды скрипучих вагонов, не старался казаться экспрессом. Все станции были ему одинаково милы, он не проезжал заносчиво, как курьерский, ни одну, везде стоял охотно и долго. Алику не приходилось прежде ездить в таких поездах, да еще по глубинной, так сказать, Руси. Поэтому интересно было наблюдать незнакомую жизнь на тихом ходу. Правда, ему, видавшему Кавказ, здешние холмы представлялись несколько провинциальными. Расслабившись, он и не заметил, как уснул...

Почтовый прибыл на станцию с опозданием — в 9.10, но, по местным понятиям, плюс-минус десять минут решающего значения не имели. Единственным человеком, который относился к опозданию небезразлично, был Андрей Седых, дизелист поселковой электростанции. Он заказал проводнику этого поезда, своему земляку, привезти из города двадцать пачек «Беломора», так как привык к этим папиросам, а в поселковом магазине они в последнее время бывали с перебоями. Час назад он кончил дежурство и выкурил последнюю беломорину, а для заядлого курильщика, каким был Андрей Седых, час без затяжки — пытка. Поэтому Седых, стоя на платформе, от души ругал про себя машиниста, расписание, автоблокировку, железнодорожное начальство и железнодорожный транспорт в целом. Сам он был человеком аккуратным и точным, в нем не успели выветриться привычки и взгляды, выработанные во время службы на подводном флоте, поэтому Седых имел моральное право критиковать, невзирая на лица. Однако если есть рельсы, а по ним движется поезд, уж он обязательно когда-нибудь придет...

Дав поезду остановиться, Седых подошел к третьему вагону, а из вагона ему навстречу выпрыгнул проводник. Седых взял у него авоську с «Беломором», вынул одну пачку, распечатал, закурил и сразу повеселел. Разговаривать им было некогда: поезд стоял две минуты, да и к тому же проводник был некурящий.

Когда состав тронулся дальше, Седых обратил внимание на пассажира, сошедшего с этого поезда. Точнее, сначала он увидел ружье в брезентовом чехле, а потом уже того, кто при ружье был. У него самопроизвольно возникло желание подойти к владельцу ружья, ибо все и вся, что имело хотя бы отдаленное отношение к охоте, вызывало у Седых непреодолимую симпатию. Страсть к охоте была у него в крови, а такой человек инстинктивно ищет себе подобных и скорее влепит по ошибке заряд в собственную подсадную утку, чем упустит возможность поговорить с товарищем.

Но что-то погасило в нем стихийный порыв. Что? Седых оглядел незнакомца с ног до головы. Сапоги, штаны, куртка — все было на нем прямо из магазина, только что лаком не крыто. Седых подумал, что, наверно, где-нибудь на штанах или на куртке еще и фабричный ярлычок не срезан. Не обмята одежонка, и нет в ней ладности. И образцово-показательный рюкзак за плечом топорщится, будто в нем не увесистый охотничий припас, а пяток ежей. А в чехле, небось, «Зауэр» три кольца в заводской смазке. Встречал Седых таких гусей. А на черта им «Зауэр», никто не знает. У самого Седых была «тулка» двенадцатого калибра... И без шапки человек, а какой же охотник может быть без шапки?!



Одним словом, нюхом чуял Седых, что перед ним если и охотник, то из самых новичков, которые пугают зазря дичь и зверье, а если что и подстрелят, боятся испачкаться кровью.

Испытав разочарование, Седых тут же подумал: этот долговязый тип вообще никакой не охотник. Человек, если он охотник, должен знать сроки. А сейчас всякая охота закрыта. Вот что главное... А так как Седых считается в поселке активистом Госохотинспекции и однажды разоружил двух залетных браконьеров, промышлявших по перу и пуху, то он счел нелишним приглядеться к незнакомому человеку, так сказать, и с этой точки зрения. Делать ему все равно было нечего, жена с сынишкой гостила у тещи в Иркутске, а дома сидеть одному до смерти скучно... Хотя, честно сказать, на браконьера-то обладатель таких капитальных сапог и такого рюкзака был похож меньше всего. Не те ухватки. Но все же не мешает проверить...

Охотник пошел к кассам. Сказал что-то в окошечко. Потом поинтересовался буфетом, но садиться к столу не стал. Вынул из кармана какую-то бумажку, поглядел в нее, вышел, пересек пути и неторопливо зашагал к лесу, в сторону оврага.

Седых не пошел за ним следом. Он знал, что овраг заставит незнакомца повернуть влево, и отправился наперерез.

Седых не боялся потерять незнакомца: он все время слышал шум шагов, потому что охотник ходить по лесу совсем не умел.

Впереди был высокий холм, поросший ежевикой, и на нем Седых увидел охотника. Тот забирал левее. За холмом по открытому месту течет ручей под названием Говорун, узкий, можно перепрыгнуть.

Седых двинулся в обход холма, рассчитывая зайти сбоку и дальше двигаться с охотником на параллельных курсах. Но, обогнув холм, остановился в удивлении.

Было бы понятно, если б он увидел, что охотничек достал из чехла и сложил ружье. Но долговязый, присев у ручья, развязал рюкзак и вынул из него маленькую карманную фляжку. Седых не мог не усмехнуться: если человек хотел запастись водой, то разве ж это запас? Фляжка на два хороших глотка, а сухари размочить уже не хватит.

Охотник опустил фляжку в ручей, наполнил ее, завинтил крышку и спрятал в рюкзак. Затем достал мыльницу, носком своего новенького подкованного сапога разрыхлил грунт, поддел половинкой мыльницы землю, накрыл другой половинкой, завязал рюкзак. Постоял, сполоснул в ручье руки. Закинул рюкзак и чехол с ружьем на одно плечо. И пошел обратно, к станции.

Ну, вода — это понять можно, думал Седых, быстро и бесшумно двигаясь по своим следам. Но зачем земля? Червей, что ли, хотел накопать? Так он их не искал. Черпанул разок, и все...

Седых пошел на станцию, куда держал путь охотничек,— поглядеть, что будет дальше.

А дальше не было ничего. Долговязый прямым ходом проследовал в буфет. Взял большую бутылку белого кислого вина и сел у окна. И уходить куда-нибудь еще, по всему видать, не собирался.

Седых поглядел-поглядел на него через стекло и окончательно понял, что этот тип ему не нравится. Нормальные люди так себя не ведут.

На платформе появился в это время Дородных, лейтенант милиции, поселковый уполномоченный, тоже, как и Седых, из охотников. Поглядев по-хозяйски направо-налево, лейтенант увидел Седых, сказал:

— Здорово, Андрей.— И, кивнув на авоську с папиросами, поинтересовался: — Дальний встречал? Не обратил внимания, кто-нибудь из незнакомых с поезда сходил?

Лейтенант задал этот вопрос не случайно. Чтобы объяснить почему, надо сделать небольшое отступление.

Дело в том, что еще третьего июля на станцию приезжал работник Комитета госбезопасности, который просил лейтенанта Дородных повнимательней присматриваться к незнакомым приезжим, и если чье-нибудь поведение покажется подозрительным — скажем, человек почему-то пожелает копаться в земле,— немедленно сообщить о таком человеке в Новотрубинск. Лейтенанту Дородных, конечно, ничего не было известно ни о полковнике Маркове, по чьему указанию приехал на станцию сотрудник КГБ, ни о Павле, безопасность которого оберегал тем самым дальновидный Марков, но лейтенант понимал, что речь идет о серьезных вещах.

С тех пор он не оставлял без своего бдительного внимания ни одного заезжего,— правда, их было очень мало. Сегодня он немного опоздал к поезду, потому что у него как раз происходил долгий телефонный разговор с непосредственным начальством, но это не так уж и важно: на станции всегда есть кто-нибудь из местных жителей, так что новичок обязательно попадет кому-нибудь на глаза...

— Слушай, тут такое дело...— Седых подошел ближе, покосился на окна буфета и попросил: — Идем-ка в дежурку. Что скажу...

Немного погодя лейтенант, оставив Седых в дежурке, заглянул на минутку в билетную кассу, а затем отправился в буфет. Он вошел, остановился в дверях, поприветствовал буфетчицу, со вкусом оглядел знакомых посетителей, которых было человек шесть-семь, сказал: «Ну, что, идет торговля?» — и, посчитав предисловие достаточным, прямо подошел к столику, за которым сидел охотник.

— Здравствуйте, товарищ! — вежливо сказал Дородных.

— Здравствуйте.

— В гости к нам? Надолго ли?

— А что?

— Да так. А то я думал — транзитом...

— Вы угадали. Транзитом.— Он не был расположен к дружеской беседе.

— Документики есть? — спросил Дородных менее любезно.

Оскорбленный охотник полез в карман, достал паспорт.

— Так, так, все в порядке,— сообщил Дородных, посмотрев и возвращая документ.— Где работаете?

Появилась справка, удостоверявшая, что податель ее является нештатным переводчиком.

— А это что в чехле? Не ружье ли?

— Да.

— Охота еще запрещена. Вам известно?

Ему скорее всего не были известны сроки охоты. Он сказал:

— Я не стрелял.

— Не стреляли? — удивился Дородных.— Разрешите посмотреть...

Охотничек неумело извлек из чехла ружье. Дородных принял его в руки почти с благоговением.

Андрей Седых ошибся ненамного: стволы были еще в заводской смазке, но это оказался не «Зауэр», а ижевская двустволка шестнадцатого калибра.

— Спасибо, благодарю вас.— Он вернул ружье.— Правильно, были без выстрела. Все в порядке.

Дородных заранее сам с собой договорился, что выходить за пределы охотничьей темы не будет, чтобы охотник не догадался об истинных причинах особого интереса, проявленного к его личности. Это было бы тактически неграмотно.

То, что хотел выяснить, он выяснил: фамилия — Ступин, Альберт Николаевич. Москвич, прописка в порядке.

Полагалось бы спросить охотничий билет, но Дородных уже и без того видел, что билета скорей всего нет. Еще испугается, навострит уши. В общем, тактика — великая вещь...

Через полчаса, когда Алик, успокоившись, допивал свое вино, лейтенант Дородных говорил по селектору с городом. На том конце провода был сотрудник КГБ. Вот какой произошел разговор после того, как лейтенант сообщил сведения, почерпнутые из паспорта, и внешние приметы подозрительного гражданина по фамилии Ступин.

Город: — Почему он вам показался подозрительным?

Дородных: — Набрал в мыльницу земли, а из ручья налил воды во флягу.

Город: — Любопытно. Что он собирается делать дальше?

Дородных: — Сидит в буфете, легко выпивает. Интересовался поездом четырнадцать тридцать семь в вашу сторону.

Город: — Вы спрашивали, зачем ему вода и земля?

Дородных: — Воздержался.

Город: — Хорошо, товарищ лейтенант. И не трогайте его больше. В какой вагон у него билет?

Дородных: — Билет еще не брал. Поезд проходящий, продают за полчаса.

Город: — Как сядет, вызовите меня, скажите вагон.

Дородных: — Слушаюсь.

Город: — Найдется у вас кто-нибудь свободный, чтобы прокатиться до города?

Дородных: — Могу сам.

Город: — Нет, вам лучше не надо, вас он запомнил. Кого-нибудь нейтрального.

Дородных: — Есть под рукой товарищ... Он мне и сказал про этого гражданина. Дизелистом у нас на электростанции, зовут Андрей Седых. Если попросить — сделает.

Город: — Устройте его в тот же вагон и проинструктируйте как следует. Надо смотреть, чтобы где-нибудь на промежуточной не сошел. Если что — задержать силой.

Дородных: — Понял. Желаю благополучно встретить.

Город: — Постараемся. Ну, жму лапу, лейтенант. Жду насчет вагона.

За полчаса до прихода поезда Алик купил билет. Вагон номер шесть, купированный. А место даст ему проводник. Вообще же, сказала кассирша, этот вагон всегда полупустой, так что о месте беспокоиться нет причин.

Лейтенант Дородных, быстро найдя начальника поезда, договорился об Андрее Седых, и тот поместился в шестом вагоне, в пустом купе по соседству с тем, которое указал проводник Алику Ступину.

Седых всю дорогу не прилег, не вздохнул. Как сел у открытой двери купе, так уже и не вставал, кроме одного раза. И напрасно. Охотник не имел ни малейшего желания сойти на промежуточной станции, а тем более спрыгнуть на ходу. Только разок и отлучился из купе.

В половине одиннадцатого ночи поезд прибыл в город. На перроне вокзала Седых вышел из вагона следом за Аликом. Он видел, как двое рослых молодых людей подошли к Ступину, что-то коротко ему сказали, а потом все втроем ушли через служебный ход.

Обратный поезд отправлялся в двенадцать тридцать. Андрея Седых устроили опять в купированный вагон. Только теперь он почувствовал себя уставшим, и не потому, что порядком намотался, а главным образом оттого, что ему пришлось долго писать о подозрительных действиях охотника. Седых было легче отработать две смены подряд. Но, слава богу, теперь все это позади. Седых взял у проводника белье за рубль, постелил постель и завалился спать. На душе у него был полный покой. Правда, на смену он явится с опозданием часика на полтора, но Дородных обещал все уладить.

Андрею Седых было вовсе невдомек, какую услугу оказал он сегодня одному незнакомому парню по имени Павел Синицын...

А в областном управлении Комитета государственной безопасности в это время допрашивали Альберта Николаевича Ступина. Он очень нервничал и на все вопросы старался отвечать самым исчерпывающим образом. Когда его попросили вкратце рассказать о последних годах жизни, он рассказал не вкратце, а подробно, со множеством деталей. И о махинациях своих говорил вполне откровенно. Как будто бы треснул и развалился на составные части потайной ящичек.

Но на вопрос, зачем ему понадобилась земля и вода, и не откуда-нибудь, а именно с этой станции, Алик ответить не мог. Когда этот вопрос был задан в третий раз, а Алик продолжал молчать, допрашивавший сказал:

— Вы поймите: нам земли не жалко. Мы народ добрый, берите хоть целый самосвал. Но просто по-человечески любопытно знать: зачем молодому москвичу понадобилась земля и вода с этой маленькой станции? А?

Голос его звучал прямо-таки задушевно, но глаза, смотревшие на понурившегося Алика, были холодны и понимающи. Алик предпочитал не смотреть в эти глаза.

И вдруг он словно очнулся. Если его здесь задержали сразу, едва он сошел с поезда, если, еще не осмотрев содержимого рюкзака, они попросили показать мыльницу и флягу,— значит, за ним следили с самого начала. Иначе все это необъяснимо.

Какой же смысл запираться? Ведь его чистосердечное признание должны будут учесть... И Алик выложил все. А потом те же двое, что встретили его на вокзале, пригласили сойти вниз. Быстрая езда на машине, аэродром, самолет незнакомых Алику очертаний, и в пять часов утра он был уже в Москве.

ПРОБЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Около шести его ввели в небольшой кабинет, где за столом сидел пожилой человек с помятым лицом, явно невыспавшийся.

Алик совсем пал духом, и было отчего. Специальный самолет. Двое сопровождающих. Тут ждут, не спят. И все это из-за него одного. Из-за того, что кому-то понадобились горсть земли и стакан воды. В какую же историю втравил его Кока? Алику только теперь стало по-настоящему страшно.

Допрос скорее был похож на беседу. Невыспавшийся человек не проявлял раздражения, в его голосе не чувствовалось неприязни. Был интерес и терпеливое внимание.

Первые вопросы носили формальный характер, но, когда дело дошло до истории с фальшивым бриллиантом, официальность исчезла, и Алику сразу стало легче. Его собственная персона как бы отодвинулась на второй план, а в фокусе оказался Кока.

Давно ли Алик его знает? Часто ли виделись? Где он живет? Какова у него семья? Когда он ждет Алика? И последний вопрос:

— Встречали вы у него кого-нибудь, знакомил ли он вас с кем-нибудь?

— Нет.

Алик не хотел врать.

— Это очень важно. Вспомните хорошенько. Может быть, вы с кем-нибудь его видели?

Алик никогда ни с кем Коку не видел, но он стал перебирать в уме свои встречи с Кокой и вдруг вспомнил, что в тот несчастный вечер у него сидел гость. Алик был тогда в таком состоянии, что не мудрено и не запомнить постороннего.

— Да, простите,— сказал он.— В тот раз, когда Кока взял с меня расписку, он был дома не один.

— А с кем?

— Такой старый, седой. Лицо красное. В очках.

— Кто он, чем занимается, не знаете?

— Мне показалось, он похож на антиквара. Может, на старого учителя...

— Вы ничего не убавили?

— Можете верить.

Алика попросили побыть в другой комнате, где стоял большой диван. Он провел там несколько часов. Два раза ему приносили поесть, но он выпил лишь компот. А вечером произошла сцена, которая одновременно и ободрила его и потрясла, так как он неожиданно понял, что оказался в самом центре каких-то неведомых ему, но, безусловно, очень серьезных событий.

Когда Алика снова пригласили в кабинет, где его допрашивали, он увидел на столе свой рюкзак и чехол с ружьем. А тот, кто допрашивал, сказал:

— Сейчас вы отправитесь домой. Но прежде садитесь и выслушайте меня.

Алик повиновался. Он был оглушен.

— Я не буду читать вам мораль.— Пожилой человек, стоявший перед ним, секунду подумал, отвернулся к окну и продолжал ровным голосом, очень внятно выговаривая каждое слово, как будто диктовал текст машинистке: — Вы не мальчик. Вы должны отдавать себе ясный отчет в каждом шаге, в каждом поступке. Вся ваша прошлая жизнь, исключая, разумеется, школу,— дрянь. Вы идете по преступному пути и дошли до крайней черты. Вы не переступили ее не по своей воле. Вас вовремя удержали. Это — самое главное, что вы должны отныне знать и помнить. Вас следует привлечь к ответственности. Пока этого не будут делать, но не потому, что вы заслуживаете какого-то особого отношения или снисхождения. Вы их недостойны. Вам дается возможность коренным образом изменить образ жизни — используйте ее. Дальше все будет зависеть от вас.

Он снова повернулся лицом к Алику.

— Это были советы. То, что я скажу дальше... Но сначала один вопрос. Если вы прекратите всякие отношения с вашим Кокой, это его не удивит?

Спокойствие и серьезность этого человека делали все простым и ясным, снимали нервозность.

— Я собирался с ним порвать. По-моему, он об этом догадывается,— сказал Алик.

— Но вы еще останетесь должны?

— Отдам.— Алик опять опустил голову.

— Расписку не забудьте взять. Не захочет вернуть — погрозите, что пожалуетесь куда надо.

— Пожаловаться...— Алик не знал, как выразиться.— Он не поверит. Так отдаст, думаю.

— Ну, слушайте, Ступин.— Пожилой человек сел напротив, облокотился о стол.— Сегодня же вечером — или завтра, как вам удобней,— вы отнесете Коке мыльницу и флягу. Надо, чтобы он по вашему состоянию не догадался о происшедших с вами неприятностях. Это не значит, что вы должны изображать восторг и умиление. Будьте самим собой. И запомните крепко: не болтать. Ни с кем, ни с одним человеком, кто бы он вам ни был. И порвите с Кокой.

— Понятно.

— А теперь идите. Вас проводят. И вот вам обратный билет из Новотрубинска до Москвы. Кока может у вас потребовать.

Алик, очутившись на улице, отправился не к себе домой. Он поехал на Большую Полянку.

Кока был дома, очень обрадовался. Обратил внимание на усталый вид, посочувствовал, советовал теперь отдохнуть, предлагал посидеть, выпить чаю.

Алик держал себя с ним не более вежливо, чем тогда на Петровке, при последнем свидании. Чай пить отказался, а выложив из рюкзака мыльницу и флягу, сказал решительно и мрачно:

— Не рассчитывайте, что я поеду куда-нибудь еще раз. Завтра принесу деньги.

Кока развел руками.

— Ну что вы, Алик! Куда ехать, зачем ехать?

— Завтра я отдам деньги, а вы вернете мне расписку.

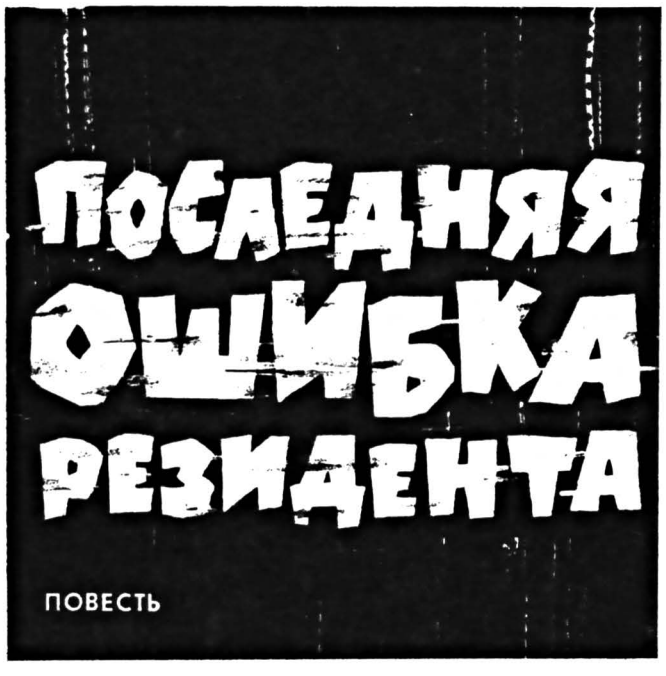
— Ну, хорошо, хорошо,— согласился снисходительный Кока.— Только не надо приходить сюда, милый мой, меня завтра трудно застать. Приходите после пяти на почтамт.

На том и порешили. Алик ушел.

...На следующий день полковнику Маркову стало известно, что так называемого Коку посетил некий иностранец, по приметам похожий на того Кокиного гостя, которого Алик принял за антиквара. При проверке выяснилось, что антиквар — атташе по вопросам культуры одного из посольств, аккредитованных в Москве.

Не составляло труда установить, что пробы воды и земли, доставленные Аликом, были переданы Антиквару,— эта личность теперь фигурировала в деле и величалась с большой буквы,— потому что после его визита мыльница и фляга исчезли из комнаты Коки.

Продолжение следует.



Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 38—47.

АГЕНТ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Павла продержали в подземной тюрьме больше месяца. Себастьян еще дважды допрашивал его. В последний раз Павел бросился на Себастьяна с кулаками, но был сбит коротким точным ударом в подбородок, а когда поднялся с пола, Себастьян уже ушел. Бунт выглядел несерьезно, слишком много сил потерял Павел за это время.

Освобождение произошло таким же будничным порядком, как и арест. Тот же молодой широкоплечий гигант однажды открыл дверь, кивком приказал Павлу выйти и, следуя впереди, вывел его на поверхность. Павлу сделалось плохо, закружилась голова, он вынужден был присесть на ступеньки крыльца, а тюремщик — или кто он там был — терпеливо ждал, стоя рядом.

Дорога показалась Павлу короткой. «Слава богу,— думал он,— что везут в легковой машине, а не в том ящике, в котором доставили сюда».

Когда Павел начал узнавать знакомые места и понял, что его везут домой, к Кругу, он вздохнул облегченно. Уже давно, с той поры, как сделался Бекасом, он отучил себя загадывать вперед хотя бы на день и незаметно научился радоваться сиюминутному бытию. В его положении невозможно было строить какие-либо далекие планы, заранее рассчитывать ход событий. Он вынужденно жил по малопочтенному принципу «лови момент», у которого, если вдуматься, тоже есть свои преимущества. Раз данный момент хорош, старайся извлечь из него как можно больше и не порти его мыслями о завтрашнем дне, который может оказаться для тебя очень плохим.

Встреча с Леонидом Кругом была трогательной. Круг даже прослезился, хотя не был пьян. Приспособление для перебитой ноги уже убрали, и их комната перестала походить на госпитальную палату. Леониду выдали пару костылей, скоро он начнет вставать.

По испуганному лицу Круга в первую минуту Павел мог догадаться, что выглядит после подземной тюрьмы не лучшим образом. И зеркало подтвердило это. Борода какая-то сивая, виски и щеки ввалились, волосы косматые. Такими показывают в кино беглых каторжников.

Клара разговаривала с ним так, словно он никуда не отлучался. Франц посочувствовал и успокоил: мол, ничего, все пройдет, бывает и хуже.

Франц, между прочим, оказался заправским парикмахером. Он с помощью расчески и ножниц подстриг Павла под польку — получилось в лучшем виде. Бороду Павел сбрил сам. И без бороды показался себе еще более изможденным.

Леонид и Павел проговорили до ночи. Оказывается, Леонида тоже допрашивали на детекторе. Специально привозили аппарат сюда. И Леонид тоже был поражен, как точно могут они определять задуманную цифру. Результатов допроса Леониду, само собой, не докладывали, но после Виктор сообщил, что, кажется, все в порядке. Да Леониду и не пришлось врать ни в чем, кроме истории с телеграммой.

Леонид знал, что произошло с Павлом. Виктор называл это строгой изоляцией. И это тоже входило в систему специальной проверки.

Леонид склонен был полагать, что содержание в тюрьме преследовало не одну только эту цель. Вероятно, Павла испытывали, так сказать, на прочность. Выдержав испытания, можно считать себя не просто свободным от подозрений. Виктор дал понять, что прошедший через строгую изоляцию может пользоваться доверием в самом широком смысле слова.

Павел рассказал Кругу о разговоре с Себастьяном по поводу поездки за пробами. Но Леонид о повторных пробах ничего не знал. Нужно будет закинуть удочку Виктору.

Нетрудно было заметить, что Леонид искренне соболезнует Павлу, удручен из-за того, что ему пришлось принять столько лиха. Круг как будто бы считал себя отчасти повинным в этом. В речах его проскальзывали такие нотки, что, мол, старший брат делал все, что мог, но раньше у него были связаны руки. Он не имел права открыто проявлять по отношению к Павлу покровительство. Ему и за одного Леонида пришлось проглотить немало упреков.

Теперь другое дело. Теперь ничто не мешает. Кстати, самый активный враг Виктора, тот старый хрыч из бывших, вышиблен окончательно и бесповоротно. Кажется, убрался в Париж.

Леонид распространялся бы и дальше, но Павла сморило как-то вмиг, и он уснул, не дослушав фразы...

Наутро он испытал такую острую радость пробуждения, как бывает только в юности. У этой радости нет видимых причин. Просто открывает человек глаза, вздыхает полной грудью, и у него такое настроение, что хочется подкинуть на ладони земной шарик.

Потекли безмятежные дни. Павел отъедался на Клариных харчах, а готовила она очень хорошо. Поговорка «не в коня корм» к нему явно не относилась. Уже через неделю ремень застегивался на ту же дырочку, что и до посадки в тюрьму.

Виктор Круг, навестивший их как-то под вечер, нашел Павла посвежевшим, а они не виделись с конца июля.

Старший брат привез младшему добрые вести. Леониду после выздоровления дадут должность инструктора по диверсионной подготовке. Судьба Павла пока не определена, но он может рассчитывать на самые благоприятные перспективы. В доказательство того, что отношение к Павлу в корне изменилось, Виктор Круг сказал, что он может, когда пожелает, съездить в город. Одному будет с непривычки трудно, поэтому лучше взять Франца гидом. У него есть малолитражный «фольксваген», и вдвоем они отлично прокатятся.

Виктор оставил денег и пожелал Павлу повеселиться как следует.

Из солидарности с прикованным к постели Леонидом Павел заявил, что не имеет желания развлекаться, но Леонид настоял, чтобы он не упускал такой приятной возможности. «Поезжай, поезжай,— сказал он.— Потом расскажешь — мне легче станет».

Франц идею поездки приветствовал. Выбрали день среди недели, потому что, объяснил садовник, по субботам и воскресеньям в городе бывает такая бестолковщина — ничего, кроме головной боли, не добьешься. Особенно теперь, в сентябре, когда все только что съехались после дачного сезона.

Ранним утром, позавтракав на скорую руку, Франц вывел из жестяного гаража свой вишневый маленький «фольксваген», словно извлек ягоду из консервной банки, залил бак бензином и после этого покричал Павлу в окно.

Они ехали не спеша. Практичный садовник вообще не торопился жить. Он как бы смаковал каждую переживаемую минуту. И от этого рядом с ним было очень покойно. Если бы еще не знать, что, кроме основных, у него есть и побочные обязанности, было бы совсем хорошо...

Город, особенно центр, понравился Павлу. Чисто, много стекла и алюминия. Современные здания не задавили домов старинной архитектуры.

Оставив машину на платной стоянке, они отправились в недорогой ресторан пообедать.

По пути встретился газетный киоск. Павел бросил беглый взгляд на прилавок и неожиданно для себя остановился, словно его что-то зацепило, а что именно — он не сразу сообразил. На прилавке среди английских, немецких, французских газет лежала «Правда».

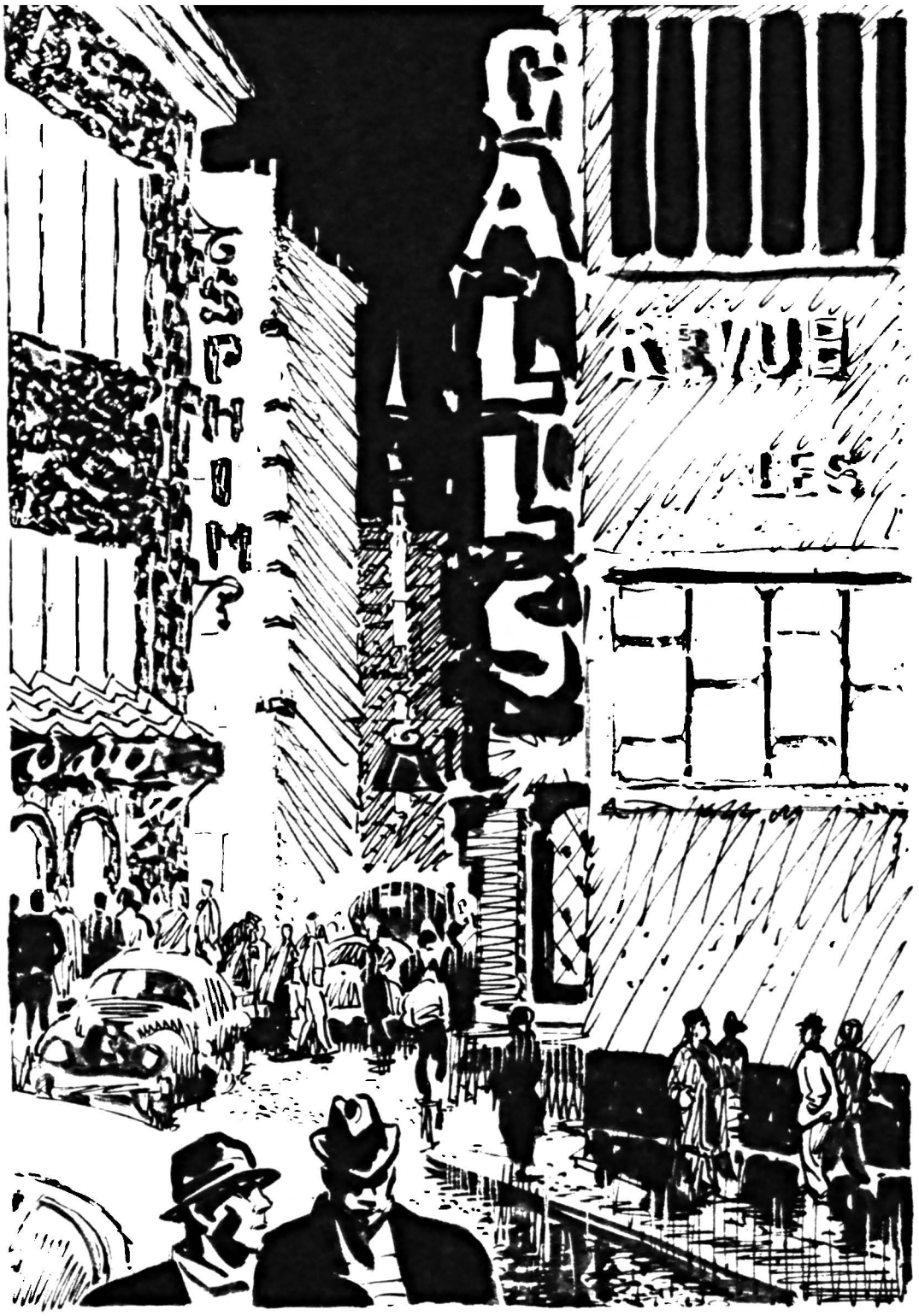
Странное ощущение испытал Павел, взяв ее в руки. Словно встретил в чужой, разноплеменной толпе старого приятеля, который все про него знал, знал да помалкивал. Павлу казалось, что «Правду» положили на прилавок специально для него, только его она и дожидалась, хотя было ясно, что это обычный киоск с обычным набором изданий.

Франц, улыбаясь, глядел на него добродушно. Павел еще раз оглядел прилавок, заметил две газеты, напечатанные по-русски, взял и их. Эти оказались эмигрантскими листками из Парижа. У Павла не было мелочи, поэтому расплатился Франц. Он взял себе какую-то немецкую газету.

За обедом Павел прочел «Правду» насквозь, от передовицы до радиопрограммы, потом принялся за парижские газеты. Франц читал свою.

После обеда погуляли по старым улицам, заглянули в кинотеатр, но попали на какой-то нудный фильм, в котором актеры были наряжены в одежды времен упадка Римской империи и все время пели очень громко, поэтому Павел с Францем быстро ушли. Гулять было интереснее.

Павел купил у уличного торговца для прозябавшего в одиночестве Леонида Круга игрушку. Это была трубочка, устроенная по принципу калейдоскопа, но вместо при-



чудливых цветных орнаментов она показывала женские фигуры.

Довольные проведенным днем и друг другом, слегка усталые, но веселые, они вернулись, когда совсем стемнело. Павел описал Кругу поездку в город самыми смачными красками. Игрушка понравилась. «Правду» Круг читал потом целый день, а эмигрантские газеты просмотрел с пятого на десятое.

Больше никаких выдающихся событий в их жизни не происходило до октября.

Круг понемногу начал вставать. Он в буквальном смысле слова учился ходить заново.

Октябрь принес крупные перемены. В первых числах дачу посетил Себастьян. Он приехал не один. Павел был представлен пожилому господину с карими внимательными глазами. Этот господин поселился в комнате на первом этаже и прожил две недели. Каждый день Павел являлся к нему утром, как на службу, и рассказывал обо всех городах и селах Советского Союза, где ему удалось побывать за тридцать с лишним лет жизни. От Павла требовалось вспомнить топографию виденных им мест как можно детальнее. Особенно интересовали господина состояние дорог и приметы расположения воинских частей.

Павел мешал истину с ложью, не очень-то беспокоясь о правдоподобии.

Наконец господин исчез вместе со своим магнитофоном.

После него Себастьян познакомил Павла с инструктором парашютного дела. Это был парень, постоянно пребывавший в отличном расположении духа. По-видимому, он рассматривал жизнь как один долгий затяжной прыжок без раскрытия парашюта в конце и поэтому смотрел на вещи философски. В нем не было той фанаберии, которой в избытке обладал Себастьян.

Практикой занимались на летном поле, расположенном далеко в стороне от больших дорог. Они прожили там полмесяца. Павел прыгал трижды из спортивного самолета, пилотируемого самим инструктором, с высоты полторы тысячи метров и приземлялся на ровном месте. Затем было два прыжка с приземлением на смешанный лес. А после этого серия ночных прыжков из военного транспортного самолета на неизвестную заранее местность. Старая практика сослужила Павлу службу, и все сошло благополучно. Лишь однажды при ночном прыжке он немного не рассчитал момент соприкосновения с землей и вывихнул левую ногу в голеностопном суставе. Но инструктор оказался мастером и в этом деле: он быстренько вправил сустав, и помощи врача не понадобилось.

Когда вернулись на дачу, инструктор преподал урок, как лучше и быстрее спрятать парашют после приземления. Это у Павла получалось хуже, но инструктор сказал: ничего, нужда научит. Он заполнил какой-то длинный формуляр, попрощался и уехал, пожелав напоследок Павлу, чтобы ему не пришлось воспользоваться приобретенными знаниями.

Из всех, с кем судьба сталкивала Павла на чужой земле, этот остряк-парашютист был единственным симпатичным парнем, хотя и циником.

Следующим был инструктор по подводному плаванию, человек лет тридцати, но уже лысый. Он приехал с аквалангом, привез резиновый костюм и прочие необходимые принадлежности.

Прежде всего он спросил, умеет ли Павел плавать, и, получив утвердительный ответ, велел закаляться — обтираться холодной водой по утрам, постепенно приучить себя к холодным душам. Павел сказал, что давно так и делает. Раньше Павлу не приходилось держать в руках акваланг, и занятия были ему интересны.

Леонид Круг, ставший наконец мобильным, принимал в них участие, и надобность во Франце как в переводчике отпала. Круг успел отвыкнуть от немецкого, однако его знаний, хоть с грехом пополам, хватало.

Седьмое ноября, годовщину Октябрьской революции, Павел отметил крещением в ледяной воде. Лысый подводник привез его и Круга на берег знакомой им бухты, велел Павлу надеть резиновый костюм, маску, акваланг, ласты и приказал войти в море.

Тренировки продолжались в течение недели ежедневно. Было бы преувеличением сказать, что Павел научился чувствовать себя в воде, как рыба, но кое-чего он все же достиг. Он мог плавать с грузом и без груза на нужной глубине и с нужной скоростью. Большего от него не требовалось.

Когда подводник убрался с дачи, приехал специалист по тайнописным вопросам, его сменил радист, а затем наступило затишье, и Леонид Круг организовал экскурсию в город. Франц сопровождал их.

Эта поездка была похожа на предыдущую. Круг порывался кутнуть на всю катушку, но Павел сдерживал его напоминаниями, что у них мало денег.

Как и прошлый раз, Павел купил в киоске газеты. Вечером, читая их в постели, он обратил внимание на некролог, помещенный парижской эмигрантской газетой. Фамилия усопшего была ему известна из дела резидента Михаила Зарокова. В некрологе сообщалось о кончине на семидесятом году жизни Александра Николаевича Тульева.

За завтраком газеты просматривал Леонид Круг. Павел ожидал, что он как-то среагирует на это сообщение, и не ошибся. Увидев некролог, Леонид сказал: «Отлетался, божий одуванчик. Вечная память!» И объяснил Павлу, кто такой этот Тульев.

У Павла мелькнула мысль сохранить газету, может быть, вырезать некролог. Но это было рискованно. Как он объяснит, если вырезку обнаружат?

Подошло рождество. Клара испекла огромный пирог, а сама уехала на целый день, и они выпили под пирог втроем.

Минул Новый год, а затишье все продолжалось. Погода на дворе стояла отвратительная. Заморозки бывали только по утрам, днем земля расквашивалась. Снег падал редко, а выпав, тут же таял. Ветер с моря дул влажный, зябкий.

Однажды за Леонидом приехал брат и увез его на три дня. С тех пор отлучки Круга стали повторяться все чаще, и жизнь Павла сделалась совсем тоскливой. Куда ездит и что делает, Круг не рассказывал.

Задумываясь о дальнейшей своей судьбе, Павел терялся в предположениях.

Появление инструкторов позволяло догадываться если не о цели, ради которой с ним возятся, то по крайней мере о способах передвижения. Но последовавшее затем бездействие его хозяев все опять затуманило. Вряд ли в этом был какой-то умысел. Скорее им попросту не до него...

Однако всему приходит конец.

В один прекрасный день явился давно

не показывавшийся Себастьян. Он изъяснялся в обычной своей бесцеремонной манере, но содержание беседы было необыкновенно ново.

Сначала был задан вопрос, не хочет ли Павел вернуться в Советский Союз, на что последовал ответ: хоть к черту на рога, лишь бы не торчать больше на этой опостылевшей даче. Себастьян сказал, что у Павла будет относительно легкое задание. Ему дадут маленькую рацию и много денег. Он должен найти одного человека, передать ему рацию и деньги. Разумеется, его снабдят безупречными документами. А способ засылки будет нетрудным.

Павел был согласен на все, и Себастьян уехал, сказав, что ждать теперь недолго.

Это произошло в начале марта. А через месяц Павла перевели в другое место. Он покинул дачу, ни с кем не простившись, так как думал, что еще вернется. Однако не вернулся.

Ему выдали костюм, туфли, белье — все советского производства, велели сразу надеть, чтобы обносилось. Вручили паспорт на имя Павла Ивановича Потапова. Затем показали «Спидолу» — рижский транзисторный приемник. Но это не «Спидола», хотя может служить и обычным приемником: в корпусе вмонтирована портативная рация. Павлу объяснили, как настраивать ее на передачу. Дали подержать в руках микрокатушку. Он вставит эту катушку в гнездо рации и проведет краткий сеанс передачи, дату которого ему сообщат перед отправкой.

А задание предельно простое, обязанности его ограниченны и необременительны.

В городе К. или в городе Я. Павел разыщет человека, которого зовут Станислав Курнаков. Паролем послужат советские денежные знаки: он предъявит Курнакову вот эти две бумажки, пятерку и трешницу. Они не поддельные.

Дальше Павел должен исполнять приказания Курнакова.

Может случиться, что Павел его не найдет. Тогда-то и следует воспользоваться передатчиком. После этого рацию надежно спрятать, обосноваться в городе К., устроиться на работу и жить мирно, ни о чем не думать. Когда понадобится, его найдут.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕКАСА

Теплым и дождливым майским вечером новенький сухогрузный теплоход под иностранным флагом отдал якоря на внешнем рейде Батумского порта.

В ожидании таможенного досмотра капитан и его помощники собрались в офицерской кают-компании, а команде было разрешено заняться личными делами.

Капитанская каюта не пустовала в это время. В ней сидели Себастьян и Павел. Света не зажигали.

Когда совсем стемнело, Себастьян приказал готовиться.

Павел разделся, остался в плавках, застегнул на груди пряжки акваланга, приладил маску. Себастьян достал из шкафа резиновый мешок, в нем был мягкий чемоданчик на молнии, а в чемоданчике «Спидола» и деньги. Сунув в мешок одежду Павла, Себастьян туго перетянул резиновым жгутом горловину, сделал из жгута две петли, чтобы можно было продеть в них руки, и помог Павлу закинуть мешок за спину, поверх акваланга.

Павел взял в руки ласты, но Себастьян попросил не спешить. Он один вышел из каюты.

Минут через десять он вернулся и приказал следовать за собой. Они быстро достигли кормы, никто не встретился им по пути.

С кормы свисал веревочный трап. На море был полный штиль.

— Давай! С богом! — шепнул Себастьян и хлопнул Павла по плечу.

Павел спустился по трапу до последней перекладины, вдел ноги в ласты и окунулся в теплую, темную, плотную воду. Под водой он услышал тихий мелодичный звон — это дождь заставлял звенеть сонное море.

Плыл он медленно. Теперь, когда желанный миг возвращения на родную землю оказался так близок, ему не хотелось спешить, он хотел продлить это неповторимое ощущение...

Раньше всех поутру прибегают на берег моря мальчишки. Нахватавшиеся солнца, шоколадные, как негритята, они презирают благоустройство цивилизованных пляжей, они выбирают для купания такие местечки, которые рассудительным взрослым представляются не только неудобными, но даже опасными. Если из воды торчит причудливый, похожий на горный пик, обомшелый у подножия огромный камень, окруженный камнями поменьше, а берег в этом месте обрывистый и море выточило в нем грот, который издает вечный шум, как приложенная к уху раковина,— тут-то и самое раздолье.

Вот в таком укромном уголке ребята, ныряя на спор — кто дальше,— и обнаружили необыкновенный клад. Под большим выщербленным камнем, увязанные резиновым жгутом в одну охапку, были спрятаны доспехи аквалангиста. Полный комплект!

После того, как были высказаны самые фантастические предположения, летучее совещание на берегу вынесло деловое решение. Конечно, ребята, обитающие на морском берегу,— романтики и фантасты, но это не мешает им быть реалистами до мозга костей, ибо берег — государственная граница и они дышат воздухом границы.

Раз человек спрятал такие бесценные сокровища под водой, значит, он не хотел, чтобы его видели выходящим на берег с аквалангом, он хотел притвориться обыкновенным купальщиком. А зачем ему было притворяться? Да очень просто: это шпион!

И ребята, по очереди взваливая на плечо важный груз, отправились к пограничникам...

А Павел в это время ехал в поезде, глядел в окно и думал об удивительных, порою необъяснимых совпадениях, происходящих в жизни.

Он включился в операцию в поезде № 52 Сухуми — Ленинград и сейчас, завершая большой этап операции, попал в этот же № 52.

Он отправился за кордон, можно сказать, прямо с пляжа и вот вернулся в страну через пляж.

...Павел сидел, облокотившись о столик и подперев подбородок кулаками. Так и задремал.

Проснувшись вскоре, Павел понял, что тащиться поездом будет невмоготу. В Адлере он сошел и поехал в аэропорт...

Во Внукове хотелось позвонить своим из автомата, но он решил на вокзале не мельтешить, сразу махнул на такси в город, а на Калужской площади, отпустив машину, зашел в телефонную будку.

Сначала позвонил матери. Услышав родной голос, сказал:

— Здравствуй, мама! У тебя все в порядке? Не хвораешь?

Она была обрадована.

— У меня-то все в порядке, сынок мой. Как твои дела? Жив-здоров?

— Все хорошо. Я сейчас заеду, повидаемся.

— Не обманешь?

— Нет-нет.

— Ну, жду...

Потом он позвонил Маркову. Когда полковник поднял трубку, Павел сказал, изменив голос на солидный руководящий баритон:

— Это Владимир Гаврилович? Как поживаете?

— Не обманешь...— сказал полковник радостно.— Мне же пограничники уже сказали... Когда прибыл?

— Только что.

— Ты где?

— На Калужской площади.

— Спускайся к парку Горького, ко входу. Я сейчас за тобой приеду...

Марков повез его домой на Садово-Кудринскую повидаться с матерью.

Павел посидел дома минут тридцать, а потом спустился к машине.

Марков сказал тихо:

— Вот такая у наших матерей судьба. Полчаса в год сынка видит.

— И то хорошо,— откликнулся Павел.

— Ну, ладно, у тебя все же несколько дней свободных будет. Порадуй ее...

Они поехали за город, на ту самую дачу, где беседовали в последний раз перед расставанием.

Когда Павел принял душ, сели обедать. Владимир Гаврилович не спрашивал у Павла, как он себя чувствует, только поглядывал на него украдкой, стараясь, вероятно, подметить перемены. Но их не было. Перед ним сидел тот же Павел. Разве что появилась некая задумчивость, мимолетная, едва уловимая. Но так, может быть, кажется оттого, что не виделись давно, да и устал ведь человек.

Марков не собирался с места в карьер требовать от Павла полного отчета. Это было не в его правилах. Он всегда говорил, что всякому впечатлению надо сначала отстояться.

Наоборот, полковник ждал от Павла его просьб: что необходимо сделать немедля, что не может быть отложено на завтра.

Вкратце изложив суть полученного задания, Павел сказал:

— Время у нас есть. Если б я сам искал Станислава Курнакова, сколько б мне потребовалось? Минимум дней десять. И сроков они не устанавливали.

Марков согласился, что не меньше, и спросил:

— А тебе не приходило в голову, что Курнаков — это Зароков?

— Была такая мысль.

— Зароков-то исчез,— сказал Марков.— А твой друг Дембович, он же Куртис, к сожалению, помер. Сгорел в собственном доме. И, как говорится, унес с собой в могилу все, что знал. А знал он немало.

Владимир Гаврилович встал, поправил съехавший набок галстук.

— Ладно, я ушел. Отдыхай. Завтра приедем с Иваном Алексеичем.— И вместо «до свидания» сказал свою любимую поговорку: — На неделю не напьешься, на год не насмотришься...

Марков уехал, захватив с собой «Спидолу».

Иван Алексеевич Сергеев и Марков приехали на следующий день в обед. И не уезжали с дачи до утра.

Марков сказал, что Станислав Курнаков, он же Михаил Зароков, обнаружен в городе К. Работает в ремонтной радиомастерской.

Павел подробно рассказывал о своих закордонных днях. Магнитофон терпеливо фиксировал его повествование.

Первый тур закончился. Начинался второй.

Частный план, выработанный ими на ближайшие два месяца и являвшийся фрагментом общего плана, рассчитанного на более отдаленное будущее, исходил из того, что резидент, восстановив связь со своим центром, должен активизировать разведывательную деятельность. Ближайшей и, пожалуй, главной задачей Павла было: войти в доверие к Зарокову-Курнакову, добыть недостающий ключ к шифру, которым тот будет пользоваться, передавая в центр разведданные.

Специалисты, тщательно изучив содержимое «Спидолы», установили, что присланные таблицы являются только частью шифра.

Когда уточняли тактику Павла на предстоящий период, он обратил внимание генерала и полковника, что видел в эмигрантской парижской газете некролог о старике Тульеве. Вспомнил и число. Это обстоятельство может оказать услугу в решении далеко идущей задачи. С Павлом охотно согласились. Марков обещал немедленно найти газету и дать Павлу вырезку. На этом они расстались...

Олег ШМЕЛЕВ,
Владимир ВОСТОКОВ

Рисунки О. КОРОВИНА.

Последняя ошибка резидента

ПОВЕСТЬ

У старшего лейтенанта Павла Синицына высвободилось дней девять-десять, которые он мог использовать по личному усмотрению. Они пролетели очень быстро.

Окончание следует.

СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ

Взяв из окошечка справочного бюро листок с адресом, который был ему известен и без того, Павел отправился на квартиру Курнакова. Все следовало делать естественно: вдруг спросит, как Павел узнал адрес...

Хозяин ветхого деревянного дома, седой низенький дяденька пенсионного возраста, выглядевший гораздо крепче своего домовладения, сообщил, что Станислав Иваныч сейчас на работе, и объяснил, как найти мастерскую...

Судя по всему, работа в этой радиомастерской была, что называется, не бей лежачего. Или в городе радиоприемники не ломались, или их вообще не было по причине поголовного увлечения телевизорами. Так или иначе, но Павел целый час дежурил поблизости, ожидая, не выйдет ли Курнаков на улицу, и ни одного клиента не увидел.

В чемодане у него лежала «Спидола», и можно было зайти вроде бы за консультацией, но если окажется, что мастер там не один, то это не годится. Лучше разыграть сцену встречи старых друзей. Станислав наверняка подхватит.

Павел вошел в мастерскую.

В первой комнате, разделенной надвое широким прилавком, никого не было. За хлипкой фанерной дверью слышались мужские голоса. Павел постучал по прилавку костяшками пальцев.

Дверь открылась. За нею стояли двое в синих халатах, один помоложе и пониже, другой постарше и повыше. Павел глянул на высокого, развел руки во всю ширь и закричал, как в лесу:

— Стасик! Дорогой!

«Стасик» даже вздрогнул, глаза у него сделались круглые и испуганные. Но в этом сонном царстве можно было испугаться просто от крика. Надежда моментально оправился, так что его коллега не успел ничего заметить. А старые друзья уже обнимались, делая это неуклюже, ибо их разделял прилавок.

— Кого я вижу! Друг! Какими судьбами? — кричал Надежда: он не знал, как ему называть Павла.

Сцена встречи развивалась по нарастающей. Закончилась она словами Надежды, обращенными к его сослуживцу:

— Слушай, Коля, ты иди обедать сейчас, а я потом.

Коля оставил их вдвоем.

Лицо у Надежды сразу потемнело.

— Так действительно можно сделаться заикой,— сказал он, глядя Павлу в глаза.— А теперь говори: какими судьбами?

Павел вынул бумажник, покопался в нем и положил на прилавок пятерку и трешницу. Надежда взял их, долго смотрел на номера, и складки у него между бровями постепенно разгладились.

— Привез что-нибудь? — спросил он, пряча деньги в карман.

Павел похлопал по стоявшему между ними чемодану. Надежда сказал:

— Знаешь что? Сейчас этот телок вернется, и мы уйдем отсюда. Все равно работы нет. Ты иди по этой улице к центру, я догоню.— Он снял халат, повесил его на гвоздик...

Через двадцать минут Павел и Надежда встретились. Они шли по теневой стороне: было жарко.

— Ты уверен, что пришел без хвоста? — спросил Надежда.

— Не опасайся. В чем в чем, а в этом опыт есть.

— Что в чемодане?

— Рация, деньги.

— Где бы нам поговорить? Дома у меня нельзя.— Надежда подумал и решил: — Занесем чемодан, а потом погуляем.

Надежда представил Павла хозяину и его старушке жене как лучшего друга, с которым не виделся бог знает сколько, и сказал, что Павел, возможно, поживет у него день-другой. Старики ничего не имели против.

Комната у Надежды была с низким потолком, но большая и чистая. Едва вошли, Надежда раскрыл чемодан, взял в руки «Спи-

Окончание. См. «Огонек» №№ 38—48.

долу», нежно погладил. Потом обвел комнату взглядом, прикидывая, где можно спрятать аппарат.

— Она работает и как приемник,— сказал Павел.

Надежда кивнул на стену.

— Народ деликатный, без стука не заходят. Но знаешь...

Решено было взять «Спидолу» с собой,— сейчас многие шляются по улицам с транзисторами, как ходячие громкоговорители. Видно было, что Надежде не хочется выпускать рацию из рук.

Часть денег рассовали по карманам, а другую Надежда убрал в ящик старинного пузатого комода. Затем они вышли на улицу.

Надежда начал с того, что было для него самым главным:

— Они назначили срок первой передачи?

— В любую среду от двадцати трех до двадцати четырех по московскому времени.

— А прием?

— Сказали, что сам сообразишь.

— О шифре речь была?

— Просили передать тебе «Спидолу», остальное меня не касается.

— Тебя учили работать с ней?

— Мне дали маленькую приставку, показали, как включить рацию на передачу.

— А когда ты должен воспользоваться этой приставкой? — спросил Надежда.

— Семнадцатого июля в те же часы. Если бы тебя не нашел.

— Они допускали?

Павел пожал плечами.

— Значит, допускали.

— Ты как будто недоволен, что я тебя расспрашиваю? — деланно удивился Надежда.— Или я спросил что-нибудь лишнее?

— С чего ты?

— Ну, ладно. Говори, какие инструкции получил, кто их давал.

— Найти Станислава Курнакова. Отдать «Спидолу», деньги. Дальше выполнять приказы Станислава Курнакова. Сказал мне это Себастьян.

— И все?

— Больше ничего.

— А если бы не нашел?

— Включить приставку и передать в эфир. Рацию спрятать. Устроиться здесь и ждать.

Надежда замолчал. Было понятно, что он хотел выяснить, какой степенью доверия облекли Павла в центре. Теперь он все узнал и был вполне удовлетворен. Нервозность исчезла.

Они вышли к скверу. Надежда предложил посидеть на скамейке.

— Сменим пластинку, Паша,— сказал он, когда сели.— Или ты не Паша?

— Фамилия другая. Потапов.

— Так что же мы с тобой будем делать, Потапов? На работу устраиваться надо, а?

— Надо бы.

— Ладно. Была бы шея, хомут найдется. Скажи, Потапов, ты знаешь мое настоящее имя?

Видно, Надежде показалось, что пластинку менять еще рано.

— Догадываюсь,— сказал Павел.

— Как же?

— Зароков Михаил.

— Тебе Себастьян сказал? Или Дембович?

— Нет.

— А кто?

— Сам сообразил, когда тебя в мастерской увидел.

— Не пойму...

Павел объяснил:

— На допросах, как «отче наш», все время твердили о двоих: Дембович и Зароков, Зароков и Дембович. Эти фамилии у меня теперь в одном ящике лежат. Ну, с Дембовичем-то мы почти что родные, а Зарокова я в том городе не слыхал. Но зато был знаком с одним фраером, который предлагал мне кататься бесплатно на такси. И вот я вижу этого самого фраера в радиомастерской и почему-то сразу вспоминаю Дембовича. И думаю себе: или Бекас стал психом, или он имеет перед собой человека по фамилии Зароков. Непонятно?

— Соображаешь.— Надежда как будто был удивлен.— А еще никаких фамилий в ящике нет?

Павел знал, что имеется в виду фамилия Тульев. Но как бы не так...

— Нет.

Надежда счел, что можно перейти к другой теме. Он попросил рассказать, каким образом Павла забросили.

Павел описал все по часам, по минутам. История раскручивалась в обратном порядке.

Надежда заинтересовался подробностями жизни Павла и Леонида Круга в разведцентре, людьми, с которыми Павел сталкивался. Почти всех он хорошо знал. Портреты, нарисованные Павлом, были карикатурны, но обладали поразительным сходством. Надежда все время улыбался.

Павел мимоходом упомянул о букете прозвищ, слышанных им, и тогда Надежда спросил, не приходилось ли ему также слышать об Одуванчике. Павел сказал, что Леонид Круг часто говорил с крайней неприязнью о каком-то старце, который якобы вредит его брату, и иногда называл старца божьим одуванчиком. Надежду при этих словах прямотаки перекосило. В бумажнике у Павла лежал некролог о старце, но вынимать его еще не настал срок.

А затем последовали долгие расспросы о ночи с 27 на 28 июня, о переправе.

Наконец Павел заявил, что выдохся, нельзя в один присест болтать так много.

Пришли домой. Пообедали, покурили.

Надежде не терпелось заглянуть внутрь рации, и, дождавшись темноты, он задернул тюлевые занавески, повернул ключ в двери, зажег настольную лампу и верхний свет. Затем достал из комода брезентовую сумку, в которой хранился набор отверток, сверл, напильников, маленькая электродрель, молоточки, и снял маскировочный корпус «Спидолы».

Ее внутренности состояли из двух самостоятельных блоков. Полюбовавшись компактностью аппаратуры, Надежда принялся изучать цифры и буквы, выдавленные на черной блестящей поверхности эбонитовой оболочки, составленной из отдельных пластин. Потом взял маленькую отвертку и отвинтил одну пластину. Под нею открылась ниша, из которой Надежда извлек две картонные таблички, формой и размером похожие на маленькие игральные карты для покера, которые принято называть атласными, хотя делаются они не из атласа. И рубашка у них была карточная. А на лицевой стороне отпечатаны календари на 1963 год. Разграфлено по месяцам и по дням недели, воскресенья выделены красным. Но числа в календарях перепутаны. Это был шифр. Вернее, половина шифра.

Надежда взял из брезентовой сумки шильце и спросил у Павла иронически:

— Я тебе не мешаю?

— А что, нельзя? — Павлу не надо было притворяться, чтобы изобразить, как ему не хочется отходить сейчас от Надежды.

— Иди погуляй, что ли... С полчасика...

Павел повиновался. Во дворе, прохаживаясь под окнами, он обратил внимание, что свет в их комнате как будто бы уменьшился. Кажется, Надежда выключил настольную лампу. А через минуту-две снова зажег.

Павел сел на ступеньке крыльца. Ночь была беззвездная, темная. Поднимался ветер.

Наконец скрипнула дверь, Надежда подошел, опустился на ступеньку рядом с Павлом, закурил.

— Сегодня вторник? — спросил он. Голос у него был усталый.

— Уже среда.

— Ну, отбой.— Надежда погасил папиросу.

Он поделился с Павлом простынями и подушками. Павел лег на диване. Кровать Надежды была очень высокая, выше стола, он взгромоздился наверх, чуть ли не под самый потолок, и было смешно глядеть на него снизу.

— Свет-то забыли,— как-то по-домашнему проворчал Надежда.

Павел встал, выключил лампу.

— Черт те что! — сказал Надежда, ворочаясь.— Надо попросить хозяев, пусть уберут эти проклятые перины.— И добавил без всякой связи с предыдущим: — Надоело мне в этом городе. У тебя документы в порядке?

— По-моему, нормальные.

— А ну-ка покажи.

Павел встал, снова зажег свет, подал Надежде паспорт. Тот нашел, что сделано чисто.

Они лежали в темноте молча, и каждый думал о своем.

— Не спишь? — сказал Надежда.

— Не могу.

Тикали часы. На улице ветер шелестел листвой. Слышно было, как покашливает за стеной хозяин.

— Хотел бы я знать, что с Дембовичем,— сказал Надежда.

— А если забрали?

— Должны были забрать.

— Старик расколется, как орех.

— А может, не расколется.

Больше не разговаривали...

В среду Надежда вышел в эфир. В четверг работал на прием. Настроение у него заметно улучшилось.

У Павла оставалась невыполненной одна задача — найти недостающую половину шифра.

Было ясно, что с собой Надежда ничего не носит. Поэтому Павел, пользуясь его отсутствием, методично и тщательно осматривал все предметы, находящиеся в комнате, ища какой-нибудь тайник. Долгое время его попытки оказывались тщетными. Однажды при очередном таком осмотре он обратил внимание на настольную лампу. Это была, так сказать, капитальная конструкция канцелярского типа. Массивная, как пьедестал, круглая мраморная плита, к ней привинчена ребристая ножка-колонна, а над колонной на проволочном каркасе покоится большой матовый плафон. Вдруг Павел вспомнил, что, выпроводив его на улицу, перед тем как сесть за шифровку, Надежда почему-то на несколько минут погасил настольную лампу.

Сняв плафон и отвернув легко завинченную гайку на нижней поверхности мраморного основания, он отделил полую ножку. Хорошенько запомнив расположение витков, размотал изоляцию на проводе, и в руках у него очутился плотно скатанный бумажный ролик. Развернул его и увидел три колонки цифр. Это было то, что он искал,— ключ к шифру.

В глубине ножки белел комок ваты. Павел вытянул его, и на ладонь упала автоматическая ручка. Размеры ее были несколько крупнее принятого стандарта. Это оказался пистолет. Любопытно. Почему не носит при себе? Неужели перестал бояться?

Переписав цифры, Павел снова устроил все, как было...

В тот же день после ужина Надежда завел речь о женщине, которую зовут Мария,— казалось, он угадывал и исполнял желания полковника Маркова. Он говорил, что тоскует по ней, что ему ее страшно не хватает. Эта исповедь завершилась настоятельной просьбой: Павел должен съездить в тот город, негласно разыскать и повидать Марию. И как-то вручить ей деньги. Может быть, заодно удастся что-нибудь узнать о Дембовиче...

Надежда отлично отдавал себе отчет, насколько это небезопасно,— ведь Павла многие знают в городе, контрразведчики, безусловно, не забыли историю с переправой, он может быть опознан, выслежен, может привести хвоста. Но никакие соображения безопасности не остановили его.

Павел сначала подумывал, что это просто способ отправить его подальше, а самому скрыться. Но было не похоже, чтобы Надежда хитрил.

Сообщив своим по телефону, что должен исчезнуть на несколько дней, Павел попросил явку. Он встретился с лейтенантом Кустовым и передал ему добытый у Надежды ключ к шифру.

А потом отправился в город, где жила Мария.

ПРИВЕТ И ПОДАРОК

В феврале у Марии родился сын. Она назвала его Александром.

Когда она была в роддоме, каждый день под окно, возле которого стояла ее кровать, приходили ребята из таксомоторного, передавали через няню апельсины и яблоки, однажды написали записку: «Цветов пока нет. Но как будешь отсюда выходить, найдем вот такой букет». И правда, в день выписки явились с целой охапкой мимозы, домой ее провожали на трех машинах.

Подруги, которых Мария как-то незаметно растеряла с появлением в ее жизни Михаила, снова были с нею, а Лена Солодовникова буквально не отходила ни на шаг, часто оставалась ночевать.

О причинах бегства шофера Михаила Зарокова судили и рядили в парке по-всякому. Нашлись и такие, кто объяснял дело, по их мнению, мудро и просто. Мол, чего тут непонятного: все они таковы, холостые мужики,— заморочил девке голову, а увидел, что будет ребенок,— удрал.

Одна Мария знала, что это не так. Она же не успела сказать Михаилу о беременности...

Она не винила Михаила ни в чем и не жаловалась на судьбу. Причиной, заставившей его бежать из города, Мария считала какие-то неведомые ей события, грозившие Михаилу очень серьезной опасностью. А события эти могли быть последствием прошлого. Она сопоставляла историю, поведанную Михаилом в тот далекий зимний вечер, когда первый раз пригласила его к себе, и свою поездку в Москву, к матери друга Михаила. Вспомнилось странное впечатление, оставшееся от поездки.

Михаил был в плену, бежал, служил в армии под чужой фамилией. Друг, которого Михаил считал погибшим, оказался живым и сделался бандитом. И потом Михаил кое в чем врал ей. Например, насчет жилья.

Мария складывала все вместе, и получалась зловещая сеть, в которую, вероятно, и попал Михаил. Во всяком случае, она не сомневалась, что дело связано с уголовным миром. С сожалением перестала она носить подаренный Михаилом медальон. Однажды хотела даже выбросить — ведь эта вещь была ворованная, мать Мишиного друга отказалась ее принять. Но, поколебавшись, Мария спрятала медальон в старую сумочку, которой давно не пользовалась,— с глаз подальше. Все-таки это была единственная память о Михаиле.

Заботы о сыне отодвинули в сторону все другое. Мария понемногу пришла в себя. И вдруг одно непонятное происшествие нарушило покой.

Мария так рассказывала Лене Солодовниковой:

— Понимаешь, до сих пор руки дрожат, не могу успокоиться... Вот слушай по порядку. Сегодня утром повезла Сашку в консультацию. Коляску оставила в сквере, против входа. Пробыли мы у доктора полчаса, не больше, ничего страшного у Сашки не оказалось, просто перекормила. Выхожу, держу его одной рукой, а другой клеенку в коляске поправляю. Разгладила ладонью — кирпичик какой-то под клеенкой. Отвернула — пачка денег. Десятки, новенькие, в упаковке. Под ленточку вложена записка. Всего несколько слов: «Ваш друг передает вам привет и просит принять подарок». Почерк не Мишин... Ты знаешь, Ленка, у меня прямо сердце оборвалось. Думаю: ну вот, дождалась. Их там, наверно, целая шайка. Награбили, и он мне от своей доли прислал. Даже не хотела Сашку в коляску класть после этих денег. Иду и думаю: что же делать? Деньги у меня в сумке, и будто я сама воровка. Куда их девать? Пошла в милицию. Ну, конечно, расспросы, допросы. А что я могла им сказать? Говорят, не можете ли вы предположить, кто подкинул эти деньги? Говорю: нет. Не буду же я замешивать Михаила. В общем, не стала я ничего предполагать. Говорю: возьмите эти деньги, а сказать больше нечего. Составили протокол, и я ушла.

Мария недаром считала Лену фантазеркой. Выслушав, та спросила таинственным шепотом:

— А записка? Надеюсь, ты ее не отдала?

Мария вздохнула.

— Конечно, не отдала.— Она вынула из сумочки записку.

Подруги долго рассматривали ее, даже на свет. Начитанная Лена высказала догадку, что, может быть, на бумаге есть тайнопись, и предложила прогладить горячим утюгом. Это было наивно, и Мария сказала с грустной улыбкой:

— Ленка, Ленка, какой ты еще ребенок...

Однако отговаривать ее не стала и сама включила стоявший на подоконнике электрический утюг.

Пылкое воображение обмануло Лену: на бумаге, кроме чернильных букв, ничего не было, и Мария спрятала чуть поджарившуюся, ставшую ломкой записку в сумочку.

Лена спросила:

— И все? И дальше ничего?

— Что же еще? Думаю, как же они меня разыскали. Ну, положим, Михаил адрес знает. Но ведь на дом ко мне не пришли. Значит, следили, выбирали удобный момент. От самого дома следили... Ужасно неприятно... И откуда узнали, что я дома сижу, в декрете? Значит, справлялись на работе.

Пришла в парк. Там, как всегда, крики, шуточки: «Покажи-ка шофера Сашку». А мне не до шуток. Спрашиваю у Нины, у новенькой, не интересовался ли кто мной. Сказала, звонил мужской голос, спросил по имени. Нина ответила, что меня нет, в декретном отпуске, и поинтересовалась, кто спрашивает. Ответил: знакомый. А какой там знакомый... Прямо не знаю, что делать. Хоть на улицу не выходи.

— Да что ты, Маша! — воскликнула Лена.— Не хватало еще в своем городе жить и бояться.

— Я и не боюсь,— сказала Мария.— Просто неприятно. Один раз подбросили — могут и еще.

Они условились, что Лена пока поживет у Марии.

АРЕСТ

Павел сказал Надежде, что Мария понравилась ему. И это была правда.

Он сразу узнал ее по описаниям Надежды. Ему неизвестно, какая она была прежде, но сейчас просто хороша, ничего не скажешь.

Не опуская ни единого штриха, Павел начал рассказывать, как нашел Марию, как дежурил возле ее дома, следовал по пятам до детской консультации.

— При чем здесь детская консультация? — перебил Надежда.

— Фу, черт, забыл! — спохватился Павел.— У нее же ребенок, сын. Четыре месяца.

Понадобилось подождать немного, чтобы дать Надежде переварить эту новость. Павлу еще не приходилось наблюдать, каким образом проявляется у Надежды радость. Но сейчас выражение лица у него было приблизительно такое, как в тот момент, когда он держал в руках рацию. Это было похоже на тихое ликование. Он сказал:

— Это мой сын, Паша.

Павлу оставалось только поздравить, что он и сделал.

— Ну, дальше,— попросил Надежда.

А дальше Павел поведал довольно грустную для Надежды историю. Как были положены в коляску деньги, как Мария обнаружила их, что с нею сделалось после этого и как она, не раздумывая, отправилась прямо в милицию.

И опять пришлось сделать перерыв, еще более долгий. Отчет Павла походил на процесс закалки: сначала металл раскаляют докрасна, а потом бросают в холодную воду.

Ни один из оттенков в смене чувств, владевших Надеждой, не ускользнул от внимания Павла.

— Продолжай.

— Больше я ее не видел. То есть, конечно, дождался, пока не вышла из милиции, проводил немножко, вижу, топает до дому, и отстал. Разузнал кое-что о Дембовиче, да, может, не стоит сейчас говорить...

— Брось-ка ты, психолог,— мрачно сказал Надежда.

— В общем, помер Дембович, вот что. Сгорел вместе с домом.

— Как узнал?

— От таксиста. Соседи сказали, какая-то старуха на пепелище два раза приходила. Скорей всего Эмма.

— Больше некому.— Задумавшись, Надежда машинально мял папиросу, пока из нее не высыпался табак.— А Эмму, значит, не взяли... Черт, неужели зря я порол горячку?

...С того дня Надежда редко разговаривал с Павлом по душам. Вечерами он читал книги, которые брал у хозяина. В хорошую погоду ходили на ту сторону Волги купаться.

Павел по настоянию Надежды поступил на курсы шоферов и занимался каждый день с утра до обеда. Надежда правильно рассудил, что Павлу надо иметь крепкую профессию — не работать же всю жизнь грузчиком или экспедитором в пекарне! Сам он тоже с великим удовольствием снова сел бы за руль, но опасался это делать: если его ищут, то в первую очередь среди шоферов.

Надежда просил Павла завязывать знакомства с железнодорожниками, с военными, с речниками. И свободную от занятий половину дня не велел болтаться без дела. Надо ходить по ресторанам, на вокзал, на пристань, ездить за город подальше. Смотреть, какие грузы проходят, особое внимание обращать на воинские части, вооружение, а главное, искать месторасположение огневых ракетных позиций. Все это пригодится.

Надежда был словно в ожидании.

Наконец наступил очередной четверг. Сразу после двенадцати ночи Надежда включил «Спидолу», что-то записывал, а потом, выпроводив Павла на улицу, целый час занимался расшифровкой.

На следующий день, когда Надежда окончил работу, они вместе пошли на почтамт. Там Надежда получил открытку, посланную на его имя до востребования. Они прочли ее вместе, не отходя от окошечка. Содержание было немногословным: «Дорогой товарищ! Марки, имеющиеся в Вашей коллекции, меня очень заинтересовали. Сообщите, пожалуйста, о возможности обмена». Подпись неразборчива. На лицевой стороне есть обратный адрес: Москва, Большая Полянка...

Надежда тут же написал ответ. Павел знал, что это контрольная проверка. Если Станислав Курнаков действительно в этом городе, он должен получить открытку и ответить. Если его здесь нет, открытка вернется к отправителю за неявкой адресата.

В воскресенье — это было на следующий день после того, как столица встретила космонавтов Валентину Терешкову и Валерия Быковского,— он очень рано разбудил Павла и попросил съездить в Москву купить кое-какие радиодетали для нужд мастерской.

Это оказалось на руку, потому что Павел собирался просить у своих явку.

Операция завершалась. Михаилу Тульеву, бывшему Зарокову, а в настоящем Курнакову, настало время давать показания.

В Москве Павел встретился с Владимиром Гавриловичем Марковым.

— Будем брать,— выслушав доклад, сказал полковник.— День назначишь ты. И место тоже. Но прежде тебе необходимо переехать на новую квартиру. Надо, чтобы там, где ты будешь жить, никто не знал в лицо Станислава Курнакова.

— Постараюсь уговорить его побыстрее.

— Надо взять в день переезда на новую квартиру. Чтобы новые хозяева не успели разобраться, кто из вас Станислав.

— А насчет некролога как, Владимир Гаврилович? Показать?

— Это можно бы сделать и после, что

называется, в стационарных условиях. Но раз сам придумал,— сам и покажи.

— Ну, кажется, все?

— Все. Кустов будет у тебя под рукой. И последнее. Прошу тебя, не зарывайся, будь предельно осторожным и смотри за ним строго. Это все же не игра. И пистолет у него заряжен не холостыми патронами. Слышишь, Павел?

— Ну, что вы, Владимир Гаврилович... Вы ж меня знаете.

— Потому и говорю. Это самое творчество по вдохновению — оно у меня вот где сидит. Не смей гусарить.

— Пистолет он не носит, а авторучка в лампе.

— Все равно.

Они попрощались, и Павел ушел.

...Уговаривать Надежду, что квартиру следует сменить, не пришлось. Он сам не раз подумывал об этом, так как с появлением рации и партнера следовало позаботиться о более глухой изоляции от соседей. Павлу было поручено найти новое жилье.

...Утро 14 июля было солнечным и теплым. Весело прозвучал на тихой улочке мажорный сигнал «Волги», вызывавший Павла и Надежду. Расставание со стариками хозяевами было недолгим. Уложив чемоданы в багажник, Павел и Надежда сели сзади, и Павел представил Надежде своего друга-механика. За баранкой был лейтенант Кустов.

Отвезли вещи, заперли входную дверь — и опять в машину.

Выехав на шоссе, Кустов сказал, что минут через сорок будут на озере. Больше он не заговаривал, нужно было смотреть в оба: горожане на всех видах моторного и безмоторного транспорта ринулись на лоно природы, движение, как в Москве на улице Горького в часы «пик». У Надежды тоже не было настроения болтать. Ехали молча.

Километрах в двадцати от города Кустов свернул влево и грунтовой наезженной дорогой повел машину к видневшейся невдалеке березовой рощице.

газетную полоску, развернул и подал Надежде.

— Взгляни, Михаил, что у меня есть.

Это был заголовок некролога из парижской русской газеты — имя, отчество и фамилия отца Надежды.

Надежда протянул руку без интереса, но, взглянув, рывком подался вперед, словно машина резко затормозила, и застыл, упершись глазами в сжатую пальцами бумажку. Лицо его мгновенно побелело.

Не поворачивая головы, не глядя на Павла, Надежда произнес тихо и совершенно спокойно:

— Ты все-таки знал. Но когда же...— Он не договорил.

Павел молчал.

Машина выезжала из рощицы. До берега, где их ждали, оставалось метров сто. Надежда поднял глаза, посмотрел через ветровое стекло на стоявших возле автомобиля людей.

— За мной? — спросил он. И вдруг резко взмахнул рукой, схватил зубами рукав

Вскоре он пригласил Надежду посмотреть приглянувшийся ему дом на окраине, в котором сдавались две комнаты, имевшие отдельный ход. Надежда одобрил выбор. Договорились о плате, о прописке и назначили день переезда — 14 июля. Собственно, «переезд» — это звучало слишком громоздко в данном случае. Вещей у них было всего три чемодана.

В субботу, 13 июля, когда Надежда пришел с работы, Павел завел разговор насчет того, что неплохо, мол, завтра съездить на озеро поудить рыбу. На курсах шоферов, где он занимается, подобралась веселая компания, едут на автобусе, а механик, с которым у Павла дружеские отношения, берет казенную «Волгу». «Мы же завтра переезжаем»,— напомнил Надежда. Но так как в принципе идея ему нравилась, Павел предложил поступить следующим образом: он сейчас же позвонит механику, чтобы тот завтра утром заехал за ними, забросят вещи на новую квартиру, а оттуда отправятся к озеру. Автобус уйдет раньше, но они его нагонят.

— Вон за теми березками и наше озеро,— сказал Кустов.

Это значило, что минут через десять Павел и Кустов увидят своих.

Павел был совершенно спокоен. Надежда ничего не подозревал. Вряд ли следовало опасаться, что он окажет какое-нибудь сопротивление. Во всяком случае, не успеет оказать. Финал будет сугубо прозаическим. Ни тебе побега, ни погони, ни стрельбы. Все произойдет так, как обычно бывает в жизни.

Павел мог бы оглушить Надежду двумя словами: «Ты арестован» — или просто не говоря ни слова, скрутить ему руки, когда выйдут из машины. Но эту выстраданную им операцию не грех было закончить так, как хотелось ему.

Машина въехала в березовую рощицу. Сквозь редкие тонкие стволы просвечивало небольшое озеро. На берегу стоял черный «ЗИЛ».

Павел достал из лежавшего на сиденье пиджака бумажник, вытянул из него узкую

куртки. Павел ударил его в лицо, навалился, прижал в угол.

— Тихо, Михаил.

Машина остановилась. Надежда сник и сидел с безучастным видом, как будто все это не имело к нему никакого отношения. Павел открыл дверцу.

— Ну, выходите, Тульев,— сказал Владимир Гаврилович.— Поедем в Москву.

Надежда поглядел на Павла, перевел взгляд на Маркова, прищурился и, стряхнув оцепенение, вылез из машины, встал перед полковником во весь рост.

— В большую,— приказал Марков.

Надежду повели к черному «ЗИЛу».

— Поезжайте, я догоню,— сказал Марков шоферу большой машины.

«ЗИЛ» медленно двинулся вдоль берега, а потом свернул к роще.

Полковник Марков подошел к воде, нагнулся, зачерпнул горстью и плеснул на лицо. Потом вынул носовой платок, не спеша утерся. Павел стоял рядом. В руке он держал ампулу, вырванную из рукава Надежды.

— Как, ты говорил, зовут его шефа? — спросил Владимир Гаврилович.

— Монах.

— Значит, будем работать на Монаха. Отныне Надежда — ты.

ИЗ РАПОРТА ПОЛКОВНИКА МАРКОВА

«...Судя по характеру задания, полученного Бекасом в разведцентре, полного доверия, несмотря на тщательную и долгую проверку, ему все же оказано не было. Содержание ответа, полученного Надеждой на первую радиотелеграмму, говорит о беспокойстве разведцентра по поводу его конспирации. Наиболее вероятно, что, посылая Бекаса в качестве агента-связника на розыски Надежды, лишенного средств связи, руководители разведцентра не имели стопроцентной уверенности в успехе этого мероприятия. Они допускали возможность провала в связи с переправой Леонида Круга.

В случае неуспеха миссии Бекаса разведцентр рисковал немногим. Шифр, заключенный в портативной рации, замаскированной под «Спидолу», сам по себе не представляет большого интереса, так как ключ к нему имелся только у Надежды, скрывавшегося под именем Станислава Курнакова. В случае успеха разведцентр вновь обретал ценного разведчика.

...Проверка Надежды центром закончилась посылкой контрольной почтовой открытки.

...Надежда уже на первых допросах проявил трезвое понимание собственного положения и на все поставленные ему вопросы дает исчерпывающие ответы. В этом большую роль играет тот факт, что центр несправедливо обошелся с отцом Надежды, который после неожиданной отставки скоропостижно скончался в Париже, а также привязанность Надежды к Марии.

...Благодаря бдительности Андрея Седых в поле нашего зрения появились новые лица, представляющие оперативный интерес. Один из них — Антиквар, атташе по вопросам культуры. Второй — Кока, Николай Казин, гражданин СССР, житель Москвы, известный в среде перекупщиков драгоценных изделий, состоящий в контакте с атташе. Третий — Альберт Ступин, москвич, без определенных занятий. Антиквар и Кока взяты под тщательное наблюдение. Со Ступиным проведена профилактическая работа, его общение с Кокой по оперативным соображениям временно прекращено.

...В интересах дела близкая знакомая умершего Дембовича Эмма оставлена на свободе, ее явочная квартира находится под контролем.

...Мария спустя некоторое время после получения денег от Надежды явилась в органы госбезопасности и сообщила о своих подозрениях.

...В три приема получена и дешифрована телеграмма из разведцентра, содержащая первое важное задание Надежде. Она гласит:

«Надежде. Операция «Уран-5». Космическая разведка отмечает, что в квадрате БС 72-48 развертывается какое-то строительство. Судя по характеристике района, речь может идти об объекте стратегического назначения. Попытка проникнуть в этот район официальных лиц не увенчалась успехом, однако получены данные, свидетельствующие об интенсивном транспортном движении. Стройка развернута на большом удалении от железной дороги и недоступна для визуального наблюдения и технического контроля. Стратегическая служба надеется, что вы примете все возможные меры для того, чтобы уточнить:

— место и объем строительства;

— наличие подъездных путей, характер и интенсивность поступления грузов (особое внимание обратить на объект квадрата БС 72-44);

— какая организация строит объект, фамилии начальника строительства и главного инженера. По возможности их подробная характеристика и места работы в прошлом;

— как и где происходит набор рабочей силы. Подвергаются ли мастеровые предварительной проверке (какие документы заполняют в отделе найма; особо приветствуем получение их образцов).

Не жалейте усилий и средств, не стесняйтесь в методах достижения цели, но будьте осторожны.

Сообщите о мерах, которые предпочтете принять по этому делу. Впредь при переписке ссылайтесь на шифр операции. Вам кланяются друзья и Ваш отец. Желаем успеха. Да поможет Вам бог. Ваши друзья».

...С 15 июля с. г. Бекас, снабженный паспортом на имя Станислава Курнакова, живет и работает шофером в городе К. Нами проведен первый сеанс связи с центром.

Послана ответная радиограмма следующего содержания:

«Операция «Уран-5». Нащупал подходы к объекту. Возможно, понадобится Ваша помощь. Детали выяснятся через месяц. До тех пор связи не хочу. Надежда».

О том, как развивались события дальше и как сложились судьбы персонажей этой повести, будет рассказано во второй книге, над которой авторы сейчас работают. «Огонек» намерен опубликовать продолжение повести в следующем году.

ПОВЕСТЬ

Сергей ВЫСОЦКИЙ

Рисунки И. УШАКОВА.

СМЕРТЬ ТРАНЗИТНОГО ПАССАЖИРА

— Здесь! Вот он...— Полицейский раздвинул упругие ветки вишневых кустов. Дождевые капли зашелестели по листве. Покатились на землю, увлекая за собой розовые лепестки облетающих цветов.

Пожилой коренастый мужчина несколько секунд молча смотрел туда, куда показал полицейский. На траве лежал человек. Из-под небрежно брошенной пластикатовой накидки торчали его ноги, обутые в мягкие домашние туфли. Вода собралась в складках накидки, стекала тоненькой струйкой на светлые брюки лежавшего, в воде плавали белые цветочные лепестки.

— Снимите,— кивнул коренастый.

Полицейский осторожно, чтобы не задеть за мокрые кусты, нагнулся. Снял накидку...

Человек лежал, уткнувшись лицом в густую влажную траву. Одна его рука была неловко подвернута, вторая, вытянутая вперед, влилась в землю. Седые растрепанные волосы потемнели от воды.

— Его экономка позвонила в полицию час назад, господин комиссар,— сказал полицейский. Он все еще держал пластикатовую накидку в руках, не зная, куда ее деть.

Коренастый усмехнулся:

— Да бросьте вы, Клод, эту тряпку.

— Я думал, господин комиссар...— Клод замялся на секунду.— Мало ли там что... Следы, может быть...

Лицо у него было совсем рыжим из-за обилия больших, ярких веснушек. И брови были рыжие. Комиссар подумал о том, что его рыжая, прямо-таки светящаяся физиономия никак не гармонировала с дождливой погодой.

— Какие следы, Клод...— с легким раздражением сказал он.— Я удивлен, что вы сами тут не управились. Обязательно надо было вытаскивать меня?! — Он вздохнул.— Если я буду таскаться черт знает куда из-за каждого самоубийцы...— Комиссар не договорил и с неприязнью посмотрел на седой затылок лежавшего.

— Переверните его, Клод.

Они осторожно перевернули мертвого... На немолодом, изборожденном глубокими морщинами лице застыла гримаса боли. Пиджак был расстегнут, а на белой рубашке расползлось большое коричневое пятно...

Комиссар долго смотрел на мертвеца, словно пытался понять, что же заставило этого человека решиться на последний шаг.

— Кто он?

— Мишель Буроф, господин комиссар,— ответил Клод.— Из администрации фирмы «АБМ». Живет один. Экономка у него приходящая. Богатый человек, господин комиссар. Я заходил в дом...

— Какая странная фамилия,— сказал комиссар.— Буроф! Клод, вы пригласили экспертизу?

Клод кивнул.

— Странно, что он поперся из дому на дождь... Мне это показалось очень странным, господин комиссар.

— Сколько я вас знаю, Клод, вам все кажется странным,— пробурчал комиссар.— Может быть, человеку просто захотелось подышать свежим воздухом перед смертью?

Вечером в ресторане при отеле «Корона» Буров много выпил по случаю удачного завершения дел и теперь лежал в своем номере, чувствуя, как подступает головная боль. Надеясь отогнать ее, он закрывал глаза и пытался лежать расслабившись, ни о чем не думая. Но это не помогло. Буров хорошо знал, что спасти от головной боли его могут только сильнодействующие таблетки. Но таблеток не было, а ему не хотелось спускаться вниз и спрашивать их у сонного портье. В отеле стояла тягучая тишина. Лишь изредка с улицы доносился вой полицейской машины, спешащей куда-то по ночному Брюсселю.

Рядом, жалобно постанывая во сне, лежала девушка, с которой он познакомился в ресторане. Видно, ей снились очень плохие сны. Звали ее Лили, и больше ничего Буров о ней не знал. Лили говорила только по-шведски, а Буров совсем не знал шведского. Она отстала от какой-то большой и шумной компании, гулявшей в том же ресторане, и весь вечер провела с Буровым, мило резвясь, пока совсем не опьянела. Она была хорошенькая, но с чуть простоватым личиком, с несколькими веснушками под большими голубыми глазами. Друзья ее уехали, и Буров долго пытался дознаться у Лили, куда ее отвезти, но ничего добиться не мог. Она мотала головой и упорно повторяла одно лишь слово — «здесь».

Лили разметалась во сне и лежала, едва прикрытая легким одеялом. Около самой груди у нее была большая родинка, совсем как у Мадлен, бывшей жены Бурова. Только у Мадлен эта родинка была совсем черная, такая же черная, как и сама Мадлен. Бурову стало вдруг грустно и одиноко. Вот уже шесть лет исполнилось с тех пор, как Мадлен ушла от него и увела их маленького сына. Буров не мог понять, почему все так произошло: любовника Мадлен не завела — Буров знал, что до сих пор она живет одна, воспитывая их сына. Буров считал, что у них было все для счастливой жизни: он имел хороший доход, любил жену и сына. Ком-

мерческая деятельность, правда, бросала его в разные концы света, но это, как правило, были недолгие командировки, которые, кстати, так способствовали укреплению их бюджета и его положения в фирме.

Уход жены был неожиданным и непостижимым. То, что она в истерике кричала на суде о его черствости и эгоизме, Буров считал просто первыми попавшимися словами — они жили в согласии; во всяком случае, за восемь лет супружества Буров никогда не слышал от Мадлен ни упрека, ни жалобы. И вдруг... Буров возненавидел бывшую жену. Он не стал ездить на свидания с сыном, чтобы не встречать ее. Даже женщин, хоть как-то напоминавших Мадлен, он избегал.

И вот эта Лили... И такая знакомая родинка и грудь, как у Мадлен...

Голова болела все больше. И даже вчерашний успешный финиш с продажей партии счетно-решающих устройств уже не радовал Бурова. Чертова боль! И надо было столько выпить! Виновата эта девка с родинкой...

Буров никогда не позволял себе лишнего. Да и вообще пил редко.

«Старею я...— подумал Буров, и ему стало тоскливо.— Вот и в ресторане на воспоминания потянуло...»

...Он пришел в ресторан часов в восемь. Думал поужинать и пойти в номер, лечь спать. Но тут подвернулась эта Лили... Она сидела за соседним столиком и пялила глаза на Бурова. Судя по всему, девчонка уже изрядно выпила со своими молокососами-друзьями. Буров пригласил ее танцевать. Потом они сидели вместе, пили шампанское, слушали музыку. Вертлявый чернявый человек из оркестра объявил очередной номер. Не то «Белые лошади», не то «Белые лошадки». Лили захлопала в ладоши и потребовала виски «Белую лошадь». А Буров вдруг вспомнил детство и большую колхозную кобылу по кличке Авария. Она была совсем белая, без единого пятнышка, без единой подпалины, стройная, легкая. На такую бы вскочить и лететь полями да взгорками. Ее еще ни разу не запрягали в плуг. Мать Миши Бурова возила на Аварии хлеб из соседнего села, где была небольшая пекарня. Буров любил ездить с матерью.

Лошадь бежала мелкой рысью по мягкой пыльной дороге, всхрапывая и косясь на седоков, словно приглашая их понестись вскачь. Вокруг было тихо, спокойно. В глухом еловом лесу, что обступил дорогу, не слышно было даже птичьего пения — только глухой цокот копыт. Лишь иногда тишина нарушалась, когда колесо телеги наезжало на утонувший в пыли камень. Телега подскакивала, звенели цинковые ящики, в которых возили хлеб. И снова тишина.

У пекарни витал аппетитный запах свежего хлеба. Пока дожидались своей очереди, весовщик, поздоровавшись с матерью, выносил горячую буханку.

— Поклюйте, чтоб не соскучиться,— всегда говорил он одну и ту же фразу.

Буров отламывал горячие хрустящие корочки с углов буханки — они были самыми вкусными — и ел.

Иногда мать давала монетку на мороженое, и тогда он бежал к магазину и покупал самое вкусное, что только существовало на свете,— холодное, желтовато-зернистое мороженое, зажатое между двумя хрустящими вафлями, на которых было написано женское имя. Или Мария, или Нина. Буров всегда с восхищением смотрел, как сердитая мороженщица залезала ложкой в круглую жестяную банку и, наскребая из нее, накручивала потом на чашечку хитроумного устройства мороженое, накладывала сверху вторую вафельку и выталкивала готовую порцию...

Раньше Буров почти никогда не вспоминал про «ту» жизнь. Все словно выветрилось из его памяти, отсеклось напрочь. Он старался не встречаться с русскими, жившими во Франции, а если и встречался случайно, то не испытывал никакого желания вести разговоры о прошлом. «Это меня нисколько не волнует»,— говорил он вежливо собеседнику. И был совершенно искренним. И вдруг...

«Неужели старею?» — с тревогой подумал он, глядя, как бегают по струнам пальцы дородной арфистки. Длинные, хищные, они цеплялись за струны, словно лапки гигантского паука за туго натянутые тенета паутины. Бурову показалось, что они существовали отдельно от арфистки — ее надменное сытое лицо было неподвижно, будто окаменело. Большие карие глаза смотрели сонно и безразлично. И только пальцы выдавали ее хищное существо.

...Зазвонил телефон. Звонок был негромкий, но Буров вздрогнул — так неожиданно он нарушил ночную тишину.

— Месье, вас вызывает Париж,— сказала телефонистка.

Буров ждал, удивляясь, кому это он понадобился среди ночи. В трубке слышалась тихая музыка, какие-то шорохи.

— Месье Буроф? — наконец спросил мужчина на другом конце провода, и Буров сразу узнал хрипловатый голос своего шефа, директора фирмы.

— Да, это я, месье Эмбер,— сказал он торопливо.— Что-нибудь случилось?

Еще днем Буров звонил шефу и доложил о том, что все дела в Брюсселе закончены, а сам он утром вылезжает в Париж.

— Ничего плохого, месье Буроф... Просто вам придется утром лететь в Токио,— прохрипел директор.— Ближайшим самолетом — в семь. Машину оставьте в Брюсселе... Я понимаю, что у вас могли быть другие планы, но дело слишком большое...— Он помолчал немного.— Я могу положиться только на ваш опыт...— Он снова помолчал.— Если поездка окажется успешной, я буду рекомендовать совету директоров назначить вас начальником экспертного отдела...

У Бурова екнуло сердце, белая телефонная трубка запрыгала в руке. Он хотел сказать: «Благодарю»,— но не мог произнести ни слова.

— Паспорт с японской визой и подробные инструкции вам вручит мой секретарь на аэродроме,— продолжал Эмбер.— Он уже выехал... Чего вы молчите, Буроф? Алло...

— Я готов, месье. Я слушаю внимательно...— Буров передохнул.— Я очень польщен, месье...

— С богом! Из Токио дайте телеграмму...

Буров положил трубку и несколько минут сидел без движения, словно не зная, что делать. Потом посмотрел на часы. Было два часа ночи. Он позвонил портье, заказал такси на пять часов и попросил разбудить его в четыре. Оставалось два часа. «Надо хоть немного поспать»,— подумал он и удивился, что головная боль неожиданно прошла. «Спать, спать,— сказал он себе.— Времени подумать будет еще достаточно». Он выключил свет, лег, обнял Лили и прижался к ней. Но уснуть не мог. Беспокойные мысли лезли в голову, он ворочался, ворочался и снова зажег свет. Встал с постели. Прошелся по комнате, постоял у окна. На улице было темно. Дождь барабанил по стеклам. «Может быть, погода будет нелетной!» — подумал Буров и поймал себя на том, что ему приятно думать так.— Что это я?»

Он сел за письменный стол написать в Париж экономке, которая вела все его хозяйство. Но на столе не было ни конвертов, ни бумаги. Буров открыл один за другим все ящики, но бумаги не было. Только пыль, забытые кем-то карандаши. Лишь в одном из ящиков валялась истрепанная книга, без начала и конца. Буров медленно стал ее листать. Это были какие-то письма, статьи, стенограммы выступлений. Ему на глаза попалось «Воззвание к французам».

«Мы по-братски предупредили Германию.

Германия продолжает свое движение на Париж.

Она стоит у ворот».

«Чье же это воззвание?»— подумал Буров. Он почти совсем не знал истории да и вообще читал от случая к случаю. Все больше детективы из дешевой серии...

«Может быть, де Голль?» Но тут же увидел дату: «Париж, 17 сентября 1870».

Он лег в постель и стал читать книгу, надеясь, что все-таки придет сон.

«Очень желательно, чтобы факт, о котором вы прочтете, не прошел незамеченным»,— писал неизвестный Бурову автор в статье «В защиту солдата».

«Солдат по имени Блан, фузилер 112-го линейного полка, дислоцирующегося в Эксе, только что приговорен к смертной казни за тяжкое оскорбление, нанесенное старшему в чине.

Объявлено, что в ближайшем будущем этот солдат будет казнен.

Эта казнь мне кажется невозможной.

Почему? Вот почему:

10 декабря 1873 года руководители армии, заседая в Трианоне в качестве верховного военного трибунала, приняли важное решение.

Они отменили смертную казнь в армии.

Перед ними стоял человек; то был солдат, самый ответственный из всех,— маршал Франции. Этот солдат в самый решительный час, когда совершалась катастрофа, дезертировал со своего поста; он бросил Францию нагедь перед Пруссией; он перешел на сторону врага при самых чудовищных обстоятельствах: имея возможность победить, он позволил себя разбить...— Буров читал, и в нем проснулось любопытство, заинтересованность, чем же кончится эта история маршала, перешедшего на сторону врага, и солдата, оскорбившего старшего в чине.— Этот человек умертвил отечество.

Высший военный совет счел, что он заслуживает смерти, и объявил, что он должен остаться в живых.

Что же совершил военный совет, поступив таким образом? Повторяю, он отменил смертную казнь в армии.

Он установил, что отныне ни измена, ни переход на сторону врага, ни убийство родителей (ибо убить свое отечество — то же самое, что убить свою мать) не будут наказываться смертью...

...Бесспорно, многие соображения могли подсказать этим мудрым и храбрым офицерам необходимость сохранения смертной казни для военных. В будущем предстоит война; для этой войны нужна армия; армии нужна дисциплина; наивысшая форма дисциплины — честность; самая нерушимая форма субординации — верность знамени; самое чудовищное преступление — измена. Кому нанести удар, как не предателю? Какого солдата наказать, как не генерала?..

Моральная казнь, заменяющая казнь физическую, более ужасна. Доказательство: Базен...

...Оставьте этого человека в его бездне...

Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю: по великому праву первого встречного. Первый встречный — это человеческая совесть».

Буров бросил книгу на пол, погасил свет. Он лежал с открытыми глазами и думал о том, как же сложилась судьба этого солдата, давшего пощечину своему капралу. И кто это вступился за него, написав статью таким торжественным, возвышенным слогом? «Первый встречный — человеческая совесть... Красиво сказано,— подумал он.— Первый встречный... Красивая ложь... Совесть — это сам человек. Каков человек, такова и совесть. Они всегда в согласии, они всегда вместе. Остальное — красивая ложь».

Он думал и думал об этом солдате и решил, что все же его расстреляли. «Мало ли кто писал... Солдат — всего лишь солдат. Маршала могли и пощадить, но не солдата». Буров представил себе маршала на белом коне. «Почему на коне, и на белом? — тут же подумал он.— Это у матери была белая кобыла Авария, на которой мы ездили за хлебом».

Смутное осознание того, что все только что прочитанное имеет какое-то далекое отношение и его судьбе, вдруг одолело Бурова, но он тут же отогнал эту мысль. «Я не изменник,— подумал он,— у меня просто не было выхода. Таких, как я, тысячи, десятки тысяч». Буров усмехнулся: «Вот чертовщина. Чтой-то я?» Так и не уснул..

Утром он бодро вскочил, быстро собрался и, даже не взглянув на спящую Лили, вышел из номера. Расплатившись, Буров дал портье денег и попросил его помочь девчонке отыскать свой отель.

Но едва он сел в такси, бодрое настроение улетучилось. Зябко поеживаясь, он смотрел на темные пустынные улицы. Странное чувство испытывал Буров. Он понимал, что настоящая, большая удача выпала ему. Большой, редкий фарт. Сбывается давнишняя мечта, будет он теперь не просто хорошо обеспечен, а богат. Будет большим человеком, самостоятельным и независимым. И этому надо радоваться. Но радоваться по-настоящему он почему-то не мог.— Какая-то печаль лежала на сердце и мешала радоваться. Какая-то зыбкость и непонятное легкое раздражение владели Буровым. Ему было жаль, что пришлось так рано встать и уйти из своего теплого, уютного номера, от этой пустой, но такой уютной девчонки, разметавшей золотистые волосы на подушке. Бурова раздражало то, что сейчас приходится ехать в такси по темным холодным улицам, кутаясь в плащ, а потом дожидаться самолета, вступать в необходимые и в то же время ненужные разговоры с десятками людей. Ему не хотелось всего этого. Даже мысли о том, что придется все это делать, раздражали.

«Это первый признак старости,— в который уже раз подумал Буров.— Одинокой старости».

Гигантский аэропорт выглядел пустынным и заброшенным. Небольшие группы пассажиров терялись в огромном зале ожидания. У кассы Бурова дожидался Левель, секретарь шефа. Он был, как всегда, угрюм и немногословен. Передавая Бурову конверт с письмом шефа и паспорт, Левель буркнул:

— Мороки с этим паспортом было... Но уж если шеф решил, то своего добьется. Все сделали за полдня.

Буров подумал, что мороки, наверное, действительно было немало. И раз уж шеф добился всего, значит, ему это было очень надо.

Левель приподнялся на носках, окинул Бурова с ног до головы взглядом, словно оценивая, достаточно ли прилично он выглядит для поездки, и подал руку.

— Желаю удачи! Возвращайся на коне! А я устал безумно. Ехал всю ночь. Пора и отдохнуть..

Буров взял билет. У него еще оставалось время, и он зашел в бар выпить кофе. Не терпелось прочитать, что пишет шеф.

Бар был пуст и мрачен. Темно-вишневый ковер на полу, низкий, черный потолок создавали впечатление неуютной бездомности. За стойкой сидел ссутулившись один-единственный на весь бар посетитель. Да бармен, бубня себе под нос незатейливую мелодию, бесшумно орудовал бутылками, составляя коктейль.

Буров взгромоздился перед стойкой, попросил кофе и виски. Достал письмо шефа и только собрался вскрыть конверт, как его окликнул сосед:

— Вот так встреча! Вы ли это, месье?

Раздосадованный, что ему помешали, Буров оглянулся: соседом по стойке был Жевен, представитель одной парижской фирмы. Бурову нередко приходилось сталкиваться с этим респектабельным, несколько благообразным на вид, но удивительно пронырливым человеком. Фирма, которую представлял Жевен, тоже занималась компьютерами и была главным конкурентом фирмы, где работал Буров.

Буров не любил Жевена. Собственно, каких-то серьезных, основательных причин у него для этого не было. Просто раздражение от того, что Жевен чуть больше преуспевал, что всюду у него были друзья, что держался он, как министр, и позволял себе снисходить до деловых советов Бурову. Это было невыносимо. К тому же, в этом он много раз убеждался, встреча с Жевеном была для него плохим предзнаменованием. А Буров верил в приметы...

— Вот уж кого не ожидал увидеть в такую рань, так это вас, месье Буроф.— Жевен приветливо улыбался, но Бурову показалось, что взгляд у него настороженный.— И, главное, в этом унылом Брюсселе, где парижане мрут от скуки!

Буров не торопясь спрятал письмо шефа в карман. Сказал:

— Мы всегда встречаемся с вами черт знает где. И почти никогда в Париже!

Жевен кивнул.

— Пути господни неисповедимы. Но я очень рад видеть вас, Бурофі Вы прекрасно выглядите. Время не берет вас!

— Что говорить о времени, месье Жевен.— Буров поднял стакан с виски.— Давайте лучше выпьем.

Они выпили.

— Вы далеко?— спросил Жевен.

Бурову совсем не хотелось говорить, куда он летит. Он ответил только:

— Да, на этот раз далеко... А вы?

— И у меня, месье Бурофі большой вояж. Еще виски?

Буров кивнул. Подумал: «Этот старый хрен никогда не скажет, куда и зачем едет. Ну и пусть подавится своими секретами».

Они выпили еще. Буров принялся за кофе, досадуя, что так и не прочитал письмо шефа. «Ну да ладно,— решил он.— Сейчас распрощаюсь с этим хлюстом и прочитаю...» В это время диктор объявила посадку на московский рейс. Буров посмотрел на Жевена. Их взгляды встретились. Жевен понял и рассмеялся:

— Нам объявили посадку, попутчик?

— Значит, и вы?— сказал Буров.— Забавное совпадение...

— Значит, и я,— подтвердил Жевен.— Но я не в Москву. Я дальше, в Токио...

— В Японии вы с вами еще не встречались... Ну что ж, я начинаю верить журналистам, что мир наш не так уж и велик.

Они расплатились и пошли на посадку. Жевен болтал без умолку, но Бурову казалось, что он расстроен. «Старой лисе не нравится моя поездка в Токио?— думал Буров.— Но почему? Значит, неспроста летят к японцам представители двух конкурирующих фирм...»

Как только самолет набрал высоту и погасили предупредительные табло, Буров пошел в туалет. В самолете народу было не так много, и Жевен сел рядом с Буровым, так что прочитать письмо шефа не было никакой возможности. Конверт был фирменный, и Буров не хотел привлекать внимание своего попутчика.

...Ничего неожиданного в письме шефа не было. Очередная сделка, правда, как понял Буров, очень выгодная. На этот раз с японской фирмой по производству полупроводников. И лишь небольшая тонкость: сделку надо было заключить в понедельник, иначе японцы вынуждены будут обратиться к представителям другой фирмы...

Он спрятал письмо и вернулся в салон. Жевен дремал, откинувшись на мягком кресле. На коленях у него лежала библия. Когда Буров садился, он открыл глаза, улыбнулся. Буров посмотрел на него с затаенной неприязнью. Подумал: «Небось, и он меня готов испепелить, а вот приходится улыбаться. Ну что ж, сегодня суббота. Завтра я буду в Токио. Жевену не на что рассчитывать, если он летит по этому же делу».

В салон вошла стюардесса.

— Дамы и господа, минуту внимания. Наш самолет через пять минут пересечет государственную границу Советского Союза.

Пассажиры оживленно задвигались, стараясь заглянуть в иллюминаторы. А там лишь громоздились одно на другое мощные ослепительно-снежные облака. Буров заметил, что нижний их слой был мрачно-синий, кое-где почти совсем темный.

— Мы летим на высоте девяти километров,— продолжала стюардесса.— Температура за бортом пятьдесят пять по Цельсию... В Москве сейчас плюс пятнадцать. Идет слабый дождь.

— Черт возьми, как некстати этот дождь,— выругался Жевен.— чего доброго, не дадут посадки, и мы упустим самолет. Вы же знаете, на Токио он летит только раз в неделю.

— Напрасно беспокоитесь.— Буров посмотрел на Жевена и улыбнулся — с таким огорчением глядел тот на стюардессу.— Сейчас и взлетают и садятся в любую погоду... Бросьте вы свою библию и давайте выпьем за наши успехи.

Он подозвал стюардессу, попросил виски. Через несколько минут она подкатила к ним тележку, заставленную бутылками, сигаретами, плитками шоколада.

Жевен со вздохом отложил библию и, глядя, как Буров кладет лед в стаканы, сказал:

— «Все труды человека — для рта его, а душа не насыщается».

— Хотел бы я знать, чем можно насытить вашу душу, Жевен? — спросил Буров.— Уж не за пищей ли для души летите вы в Японию?

— Наша фирма не так богата, чтобы оплачивать духовную пищу своим мелким служащим,— смиренно ответил Жевен.— Духовную пищу они ищут в библии, коллега. А в Японии я буду изучать патентное дело.

Буров усмехнулся и поднял стакан.

— За ваши успешные поиски, Жевен! И еще за то, чтобы они всегда проходили в стороне от меня.

«Эта хитрая лисица неспроста летит в Японию,— думал он, глядя, как Жевен тянет виски.— Все его разговоры про систему патентного дела не стоят выеденного яйца... Жевен не из тех, кто первому встречному расскажет о своих намерениях. Уж не летит ли он за тем же, за чем и я...»

— Скажите, Буроф, вы ведь русский. Какие чувства вы испытываете, бывая на родине?

— А я не бывал в России...

— С тех пор?

— Да, с тех самых...— ответил Буров и посмотрел в иллюминатор. Но там все так же клубились облака...

— И у вас никогда не появлялось желания побывать дома? — не отставал Жевен.

— Я никогда не был сентиментален,— усмехнулся Буров.— Мой дом там, где я живу. Уверен, что и вы, Жевен, предпочли бы иметь теплое гнездышко с десятком хорошо обставленных комнат у черта на куличках, чем развалюху у себя на родине? А?

Жевен засмеялся, но ничего не ответил, и Буров, глотнув виски, сказал:

— Все так думают, но только не все имеют смелость говорить это вслух.

— Вы что же, не верите в то, что существует любовь к родине? К месту, где человек родился, к стране, в которой он вырос и живет, к стране его предков и сыновей?

— Ах, месье! Зачем столько эмоций? — Буров иронически посмотрел на Жевена, так горячо принявшегося спорить.— Каждый верит в то, во что ему выгодно верить... Может быть, слово «выгодно» слишком грубо... Скажу тогда так: каждый верит в то, что помогает ему жить. Хорош бы я был со своей «любовью к родине», как вы выражаетесь, живя в вашей Франции. Да мне надо было бы еще двадцать пять лет тому назад повеситься на первом суку. Эта любовь не прибавила бы мне силы для борьбы за свое место в жизни, для борьбы с такими, как вы...— Буров развел руками, словно извиняясь и желая сказать: такова жизнь, месье Жевен, и мы должны принимать ее именно такой! Ведь никто, месье, не поделится добровольно тем, что он имеет, с другим человеком, а тем более с каким-то неизвестным беженцем. Даже тот, кто чтит бога или делает вид, что верит, не расстается никогда с библией...

Жевен усмехнулся.

— Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов... Вы сердиты на весь свет, Буроф.

— Нет. Я уже давно не сердит. С тех пор, как приобрел себе положение и достаточно средств. Озлобленными могут быть только обделенные.

Они замолчали. «Хорошо я отбрил этого ханжу,— подумал Буров.— Так ему и надо, пусть не лезет в чужую душу». Но тут же ему стало все безразлично — и этот надутый человек, и дождь в Москве, и все-все на свете. Он откинул кресло и закрыл глаза. В голову лезли всякие видения: то Лили, разметавшаяся в постели, с родинкой около груди, вдруг показавшаяся близкой и такой необходимой ему, то пальцы-пауки равнодушной кареглазой арфистки. Буров старался отогнать эти видения, старался думать о Токио, о том, как интересно будет ему в этом экзотическом городе, но никак не мог избавиться от них. Наконец он задремал.

Бурова разбудил бархатный голос стюардессы:

— ...будем садиться на запасном аэродроме.

В салоне поднялся шум. Пассажиры обеспокоенно переговаривались.

— В чем дело? — спросил Буров Жевена и тут только заметил, что лицо его попутчика искажено злобой.

— Вот свиньи! Москва не принимает из-за плохой погоды! У них там четыре аэродрома. Не везде же гроза! Вот вам и «при любой погоде».

— Но в чем же дело? И где этот запасной аэродром? — спросил Буров, с интересом глядя на озлобленного Жевена.

— Перед Москвой — грозовой фронт. И в Москве сильная гроза. Вот они и получили сообщение, что Москва не принимает. Предлагают садиться черт знает где. Русские просто перестраховщики... Какое им дело до того, что у людей могут быть срочные дела.

Как ни расстроен был и сам Буров, он не удержался от того, чтобы не съязвить:

— Но что вам беспокоиться, Жевен? Неделей раньше начнете изучать патентное дело в Токио, неделей позже... Или фирма ограничила вас во времени?

Жевен с такой ненавистью посмотрел на Бурова, что ему стало не по себе.

— Я пойду говорить с пилотами,— твердо сказал Жевен,— я скажу, что авиакомпании придется платить неустойку, большую неустойку за мое опоздание. Так не поступают деловые люди...

Он уже собрался идти, но Буров положил ему руку на колено.

— Жевен, но ведь мы не одни в самолете. Здесь женщины и дети.

— Что вам до этого? Пустите меня! — взвизгнул Жевен.— Вы ведь тоже летите не на прогулку...

Буров усмехнулся.

— Я слышу речь не мальчика, но мужа. Желаю успеха!

Жевен ушел. Сидевшая рядом немолодая дама, видимо, слышала их разговор. Она смотрела на Бурова испуганно.

— Месье, неужели это возможно?

— Что, мадам?

— Неужели он сможет повернуть самолет?

— Я думаю, он сделал бы это, если бы...

— Если бы...— как эхо повторила дама.

— Если бы это была не Россия. Русские действительно перестраховщики. Но если бы не пошел он, то я бы пошел, мадам!

Дама посмотрела на Бурова с ужасом.

Жевен вернулся вне себя и молча сел. Буров ждал, когда он успокоится.

— Они хорошие парни... Но русские отказались принимать.

Стюардесса объявила, что самолет идет на посадку, и попросила пассажиров пристегнуть ремни. Буров посмотрел в иллюминатор. Они входили в плотные, темные, зловеще темные облака. «Ниман, и здесь дождь?» — подумал он.

В самолете стало темно, легкая дрожь пронизала его зыбкое тело. Буров взглянул в иллюминатор: темные клочья облаков проносились мимо, и Бурову показалось, что он слышит, как свистит ветер и скребут по обшивке вдруг ставшие жесткими облака. Самолет сильно тряхнуло. Потом еще раз... Заплакала девочка-негритянка. Мать стала успокаивать ее, нежно гладя и что-то быстро приговаривая по-испански. Она задернула занавеску и напряженно глядела на табло, где горели слова «НЕ КУРИТЬ, ПРИСТЕГНУТЬ РЕМНИ». В глазах у нее был испуг.

Месье Жевен замер в своем кресле, и только губы у него шевелились. «Наверное, молитвы читает,— подумал Буров злорадно.— Трусишка». Жевен снял руки с подлокотников и сложил на животе. На матовой коже подлокотников остался мокрый след от ладони...

Кабина самолета вдруг наполнилась ослепительным светом молнии, и сразу же раздался оглушительный треск. «Как глупо,— мельнула у Бурова мысль.— Так не хотелось лететь...» Он почувствовал, что Жевен вцепился ему в локоть.

А уже в следующий момент Буров понял, что самолет катится по твердому полю аэродрома.

«Толчок я прозевал»,— подумал Буров, освобождаясь от рук Жевена.

Самолет остановился.

Гром гремел с прежней силой, чудовищный ливень хлестал по обшивке, на улице было темно, как ночью, но в салоне поднялась веселая суета. Стоял невообразимый гомон, кто-то всхлипывал, все наперебой делились впечатлениями.

— Ах, я думала, это конец,— говорила седая дама.— От испуга я не могла вспомнить ни одной молитвы...

— А я решил, что русские пустили в нас ракету,— сказал немолодой американец и нервно захохотал.

Жевен посмотрел на Бурова и, виновато улыбнувшись, сказал:

— Псу живому лучше, нежели мертвому льву.

Буров промолчал.

Стюардесса вышла из кабины пилотов и, помедлив несколько секунд, чтобы улегся шум, сказала:

— Мы сели в Ленинграде. Из-за плохой погоды придется ждать здесь до вечера... Погода, вы сами видите, какая...— Мило улыбнувшись, она кивнула белокурой головой на иллюминатор.— А в Москве еще хуже. Как только кончится дождь, вы сможете выйти из самолета, подышать русским воздухом.

Косые струи дождя зло хлестали в окна аэровокзала. Буров с удовлетворением, даже со злорадством отметил, что аэровокзал какой-то старомодный, темноватый и совсем маленький. Он невольно сравнил его с гигантскими постройками в Брюсселе, откуда вылетел три часа назад. «А Орли, Бурже... Все отстает она, матушка-Россия, как ни старается...» Буров прошелся по небольшому залу. У буфета, заставленного бутылками и яркими коробками конфет, толпился народ. Буров поинтересовался, берут ли франки. Франки принимали. Он выпил кофе с коньяком. Кофе был вполне приличным, а коньяк просто превосходным.

— Армянский? — спросил он у буфетчицы.

— Коньяк молдавский, месье,— ответила та по-французски и почему-то покраснела. Буфетчица была совсем молодая, черноглазая, с большим красным бантом на затылке.

На бант Буров обратил внимание еще издали и неприязненно подумал: «И банты-то красные заставляют носить...»

Он подошел к окну и стал смотреть, как гонит ветер пригоршни дождя прямо в окна, как треплет потемневший флаг у выхода на летное поле.

«Как странно,— подумал Буров,— вот я и в России. А ничего не перевернулось во мне, я не припал грудью к земле при выходе из самолета, не кинулся обнимать первых встречных земляков... И волнует меня сейчас только одно — успею ли я и самолету на Токио. Двадцать пять лет — это целая вечность, четверть века! За это время можно не только отвыкнуть, но и забыть навсегда... Пройдет несколько часов, и я преспокойно улечу в Москву. Несколько часов там... Но что мне Москва? Пустой звук. Я никогда в ней не был, не ходил по ее площадям. А в Париже я знаю каждую улочку, каждый садик. С ним связаны самые яркие воспоминания. Моя жизнь. Двадцать пять лет».

Жевен остановился рядом. С понимающей улыбкой посмотрел на Бурова. «Идиот,— подумал Буров,— решил, небось, что воспоминания меня одолели...»

— Наблюдаете родину? — спросил Жевен.

— Много тут понаблюдаешь! — Буров кивнул на окно.— Такой дождь может лить и в Париже. Там только побольше комфорта для того, чтобы его переждать.

— Пилоты говорят, что вылетим не раньше восьми вечера,— сообщил Жевен.— Меня успокаивает только то, что в Москве погода еще хуже и никто не летает... Русский «ТУ» никуда от нас не уйдет. Кстати, через полчаса обед. Русский обед, месье Буроф!

Буров промолчал.

Дождь вдруг стал стихать. Из серой пелены один за другим начали проступать силуэты самолетов. Они были разных марок. Но больше всего «Илов», «ТУ»... Вот и «Каравелла». Стройные, вымытые дождем, самолеты прижались к бетону аэродрома, готовые взмыть в небеса.

Потом стали видны дальние ангары, дома городской окраины, и вдруг Буров увидел большой холм, укутанный невысоким лесом, и купола обсерватории на нем. «Пулково,— узнал Буров,— Пулковские высоты». И еще: он не увидел, а скорее представил, почувствовал, как взлетает на холм ровная, словно стрела, дорога, делает зигзаг, огибая здания обсерватории, и мчится, мчится дальше на юг, через необозримые поля, перелески, рассекая деревушки со странными названиями, вроде Донн на Гатчину, на Лугу, к неприметной осиновой рощице на краю огромной шшары. И здесь в сторону от гудящего под колесами грузовиков асфальта отлетает мягкий, весь в колдобинах и лужах проселок, ведущий в тихую деревушку Береть. Буров смотрел на Пулково и думал о том, сколько раз приходилось ему ездить мимо этих зданий. И в дождь и в солнечную погоду, когда с холма открывался перед тобой весь Ленинград, как на ладони.

Безотчетное желание выйти на шоссе и сесть в автобус, идущий в сторону Берести, вдруг овладело Буровым. Просто так — выйти и сесть. И ехать спокойно, ни о чем не думая. Смотреть по сторонам, запоминать, сравнивать... и оставаться равнодушным.

«Времени у меня много. Выйду — и в автобус. Надо только выйти. А там...— Буров усмехнулся.— Сошлюсь на особые обстоятельства в случае чего. Вот и дождь так истати перестал».

Он спустился на первый этаж и уверенно пошел прямо и проходу в небольшом барьерчике, около которого сидел дежурный с красной повязкой.

от гудящего под колесами грузовиков асфальта отлетает мягкий, весь в колдобинах и лужах проселок, ведущий в тихую деревушку Берест. Буров смотрел на Пулково и думал о том, сколько раз приходилось ему ездить мимо этих зданий. И в дождь и в солнечную погоду, когда с холма открывался перед тобой весь Ленинград, как на ладони.

Безотчетное желание выйти на шоссе и сесть в автобус, идущий в сторону Берести, вдруг овладело Буровым. Просто так — выйти и сесть. И ехать спокойно, ни о чем не думая. Смотреть по сторонам, запоминать, сравнивать... и оставаться равнодушным.

«Времени у меня много. Выйду — и в автобус. Надо только выйти. А там...— Буров усмехнулся.— Сошлюсь на особые обстоятельства в случае чего. Вот и дождь так кстати перестал».

Он спустился на первый этаж и уверенно пошел прямо к проходу в небольшом барьерчике, около которого сидел дежурный с красной повязкой.

— Товарищ, вы куда? — спросил он Бурова, поднявшись со стула.

— Да я здесь, папаша,— улыбнулся Буров,— газетки, конфетки...

— Газетки-конфетки,— проворчал дежурный,— в следующий раз не выпущу. Обязательно лезут туда, где иностранцы. Как будто здесь медом намазано...

Продолжение следует.

СМЕРТЬ ТРАНЗИТНОГО ПАССАЖИРА

ПОВЕСТЬ

Сергей ВЫСОЦКИЙ

Рисунки И. УШАКОВА.

На улице было сыро. Ветер утих, и все окрестности мгновенно затянуло туманом. Снова пропали башни Пулкова, самолеты. Машины двигались медленно, с зажженными фарами. Буров быстро прошел метров шестьсот от аэропорта до шоссе. Ему вспомнилось, что где-то здесь рядом, у поворота, была раньше остановка автобуса на Берестье. Какой-то автобус и впрямь стал притормаживать. Буров побежал легкой рысцой и успел — последний пассажир затаскивал в автобус чемодан. Уже взявшись за поручни, Буров разглядел слово «Берестье» на маршрутной доске. Он прыгнул на ступеньку, двери со скрежетом захлопнулись, и автобус тронулся. И только тогда Буров сообразил, что у него нет ни копейки советских денег... Растерявшись, он хотел было заступить в дверь, чтобы автобус остановился, но перед ним уже стояла кондуктор.

— Билетик, гражданин,— требовательно сказала она.— Куда мы едем? — Голос у нее был приятный, неприятный.

— Вы знаете, я совсем забыл деньги,— сухо сказал Буров, раздражаясь и досадуя, что попал в такое глупое положение.— Я прошу вас, остановите автобус.

Кондуктор на мгновение опешила.

— Деньги забыл, папаша? А я должна тебе автобус останавливать? Как бы не так!— Голос у нее стал сварливый. Пассажиры с сочувствием смотрели на Бурова.— А не хочешь ли, папаша, проехаться со мной до милиции?

Крику не видно было конца.

Бурову хотелось броситься на нее с кулаками или провалиться сквозь землю. Выручил его мужчина, сидевший на заднем диване.

— Ты что кричишь? — негромко, но твердо сказал он кондуктору.— Это дело. Забыл человек деньги. Мало ли, расстроился... Может, несчастье какое... А ты сразу в крик! Что он, в лесу, что ли? И помочь некому? — И кивнул Бурову: — Тебе куда?

— Да я, право, не знаю, мне лучше выйти...

— Право, лево,— усмехнулся мужчина.— Ехать тебе, спрашиваю, куда?

— До Берестья,— ответил Буров и тут же пожалел. «Надо было бы совсем оставить эту дурацкую затею с поездкой,— подумал он,— выйти сейчас же и вернуться в аэропорт... А то ехать ведь и назад придется...»

— Ну вот,— сказал мужчина,— подавая мелочь кондуктору.— Тебе в Берестье, а мне в Займище. Попутчики вроде...

Деревня Займище стояла в двух километрах от Берестья.

Кондуктор оторвала билеты, протянула их Бурову. Смотрела она на него исподлобья, неодобрительно. От ее взгляда Бурову стало не по себе. Он подчеркнуто равнодушно оглядел автобус, ища свободного места, и сел рядом с выручившим его мужчиной.

Автобус поднимался в гору. Буров прильнул к окну, стараясь разглядеть обсерваторию, но туман был плотный. Мелькнули только красивые жилые дома рядом с дорогой, высеченный из гранита памятник, потом танки на постаментах. Справа Буров разглядел какие-то гигантские металлические конструкции. Они начинались за оградой почти у самой дороги и пропадали в тумане.

— Радиотелескоп,— сказал, обернувшись к Бурову, попутчик.— Такую громаду отгрохали... Говорят, сигналы с Марса слушают.

— Так неловко получилось,— сказал Буров,— впопыхах вскочил в автобус и плащ забыл, а деньги все в нем... Спасибо вам.

— Эка беда,— усмехнулся мужчина.— Разве это деньги? И говорить не стоит.

— Избаловались люди... Копейку ни во что не ставят,— проворчала сидящая рядом старуха.

— А что твоя копейка...— вступил в разговор еще один пассажир.— На базар с ней не пойдешь. А чтобы беречь ее, копейку,— так этого нынче нет. Нету у людей теперь жадности к деньгам. И на крестьянина посмотришь — надрываться за деньгу не будет. Червонцем больше, червонцем меньше...

Буров молчал, прислушивался к разговору, поглядывая в окно. Было похоже, что туман начинал полегоньку рассеиваться. Из него выплывали то островки леса, то деревенские избы. Буров отметил, что избы все чистенькие, светлые, словно только-только покрашенные. Навстречу автобусу с ревом неслись грузовики, автофургоны. Легковые машины обгоняли их. Автобус часто останавливался, входили и выходили люди, а спор о деньгах все продолжался. Потом старушка, что сетовала на избалованность нынешнего поколения, и саша слезла. Спорить стало не с кем. Все оставшиеся сошлись на том, что, дескать, человек нынче жаден и деньгам потерял. Буров с недоверием смотрел то на одного, то на другого из говорящих, потом вдруг не выдержал и сказал тихо:

— За червонец человек, конечно, надрываться не будет, а вот за миллион?.. Горло их перегрызет. Не так ли? — И хохотнул зло.

Никто не ответил. Говорившие смолкли, словно испытывали неловкость от сказанного. Буров почувствовал, что его слова почему-то не понравились остальным пассажирам. А может быть, просто спорить всем надоело, да уже и не о чем было. Только никто не проронил ни слова.

«Святошами друг перед другом прикидываются, а как дойдет дело до миллиона — ого-го!» — подумал Буров.

Скоро автобус свернул с асфальтовой глади шоссе и запрыгал на ухабах проселка. Народу осталось совсем мало. «Еще километров пять»,— подумал Буров, и сердце у него екнуло.

«Спокойно, старик,— сказал он себе.— Спокойно. Захотел приключений — пожалуйста. Только зачем же волноваться... Посмотрю краешком глаза — и назад».

В это время автобус вдруг так накренился, что у пассажиров попадали чемоданы. Мимо пронесся с ревом огромный самосвал. Шофер чертыхнулся, резко затормозил. Взвыл мотор, но автобус не двинулся. Видимо, крепко засел в канаву. Шофер выскочил из кабины. За ним выползли и пассажиры.

— Еще немножко — и кувырнулись бы,— проворчала мужчина, что ехал в Займище.

— Без трактора не выберемся,— хмуро сказал шофер, разглядывая увязшие в канаве колеса.— Носятся, идиоты, как угорелые,— вдруг снова взорвался он,— все план делают, а ты хоть пропади. Вон как дорогу размесили.

Дорога и впрямь была разбита. После дождя в наезженной колее стояла жидкая грязь.

— Ну что ж, пассажиры и пассажирочки, закуривай.— Шофер достал портсигар, щелкнул зажигалкой.— Будет попутка — сгоняю за трактором...

Буров оглядел. Туман почти рассеялся. Рядом с дорогой начинался густой еловый лес. Чуть подальше виднелась просека. Шагнув через дорогу, по просеке уходила в лес линия электропередачи. «Да это никак дорога из Берести в Кушкино,— вспомнил вдруг Буров.— Ну конечно! Тут до Берестья рукой подать».

— А тебе-то что здесь с нами куковать? — словно угадав его мысли, сказал займищенский мужчина.— По тропке напрямки за пятнадцать минут дошагаешь...

— Да я вот и собираюсь,— ответил Буров.— Будьте здоровы.

Мужчина кивнул.

Буров перепрыгнул через канаву, прошел десятком шагов вдоль дороги и свернул на просеку. Дороги здесь никакой не было, хотя он помнил, что до войны по ней ездили даже на телегах. Видно, заросла ольхой и ивняком. Зато тропка была сухая, утоптанная. Она вилась по гребню невысокого, заросшего густой травой вала. Когда-то этот вал разделял земли двух волостей.

Дорогой этой ходил Буров в Кушкино еще со своей бабушкой. К каким-то родственникам. К каким — он не помнил. Ходили обычно на Николу, на зимнего и на летнего, Илью и Петрова день. Буров попытался вспомнить, на какие же числа приходились эти праздники, но тоже не вспомнил. Забыл.

Лес по сторонам стоял красивый. Ельник кончился, и пошел негустой смешанный лес, в чередой с полянками. Огромные березы с поникшими ветвями-плетями, словно плакучие, сосна кондовая, можжевеловые заросли... «Грибов-то нету, наверное,— подумал Буров.— Разве что сморчки...» В глубине леса протяжно ворковали лесные голуби. «Витютни, что ли, называются?» — вспомнил он.

Где-то тут рядом должен был быть разрушенный кирпичный сарай. Буров вспомнил это с необыкновенной ясностью. И рядом с сараем — небольшой взгорок. С густой травой. Кажется, там всегда рос клевер, кашка. Запах стоял прекрасный. И летом радовали глаз красные капли земляники. С этой горки, если посмотреть в сторону Берести, среди завшелых елей должен быть виден просвет. И там поле, всегда засеянное рожью. Не знающее никаких севооборотов и родившее прекрасно.

Горку эту называли у них в семье бабушкиной. На ней бабушка... («А как же звали бабушку? Как же ее звали? Бабушка Марина? Нет. Ефросинья? Тоже нет...») На ней бабушка всегда отдыхала. Считала, что полдороги от Берести до Кушкино пройдено. Закусывала. Лес слушала...

Буров шел легко, наслаждаясь гомоном птиц, густым, пьянящим голову настоем лесного воздуха. Глядел по сторонам, ожидал вот-вот увидеть разрушенный сарай и бабушкину горку. Но их все не было. «Может, перепутал что? Да нет. Места, похоже, те...»

То ли лес так разросся, то ли Буров забыл напрочь все, но так и не увидел он бабушкину горку...

Тропинка взяла круто вверх. И снова екнуло сердце у Бурова. Вот сейчас он увидит Берестье. Стоит только подняться по тропке на гору. Взобрался — и увидишь.

Он остановился передохнуть, стараясь унять зачастившее вдруг сердце. Постоял немного и стал подниматься...

Василий Кузьмич проснулся рано. Солнце, пробившись сквозь макушки сосен, проникло в дом, чуть-чуть пригрело ему лицо. Он посмотрел на часы: еще не было и шести. Сладко потянулся и, снова закрыв глаза, несколько минут лежал не шевелясь. Ему было покойно и хорошо лежать, пригретому солнцем, и слушать, как слабо шелестят сосны под дуновением утреннего ветерка.

Он уже второй день жил на кордоне у одинокого лесника Журавлева. Журавлеву было около пятидесяти, все звали его дядей Костей, а за глаза просто Журавлем. Кордон его стоял километрах в семи от Берестья. Для грибников и охотников он был хорошим ориентиром, деливший лес на две части: «до дяди Кости» и «за дядю Костю». «За дядю Костю» считалось уже далеко.

Василий Кузьмич вспомнил вчерашние заверения Журавлева про охоту и улыбнулся. «Вот ведь мастак... Жаль, сегодня уже не послушаю его. Утречком закончу здесь дела,— подумал он,— сгоняюсь домой переодеться. Помогу Лидке с матерью по хозяйству. Да они, небось, и без меня управились... Свадьба — дело нешуточное, впопыхах не делается».

Лида, его дочь, выходила замуж. Василий Кузьмич души не чаял в ней и был рад, что с ее замужеством все складывается так удачно. Он хорошо знал жениха, долговязого Толика Гонохова, их деревенского парня. И, уже несколько лет приглядывался к нему, считал, что лучшего мужа для дочери трудно было бы найти. Но Лиде об этом никогда не говорил. И жене тоже не говорил. «Семейное дело хитрое. Посоветуешь, а потом чего не выйдет у них, не сложится — будешь всю жизнь себя попрекать»,— рассуждал Василий Кузьмич.

Толик жил с матерью и двумя младшими сестрами. Отец лет десять назад погиб во время большого пожара на главной усадьбе опытного леспромхоза, в котором работал лесничим Василий Кузьмич. Погиб, пытаясь вывести из гаража трактор. Толику в то время было пятнадцать. Он ушел из школы и стал работать в колхозе — надо было помогать матери растить сестер. Учебу, впрочем, он не забросил совсем, а стал учиться в заочной школе. Как ухитрялся он справляться с работой, с хлопотами по дому да еще учиться, Василий Кузьмич понять не мог и только восхищался да ставил Толика в пример многим парням из своего леспромхоза.

Удивлял его Толик и еще одной своей чертой — бесконечной любовью и ребятишкам. Они так и вились вокруг него. Ходили к нему в поле, торчали в огороде, когда он копал гряды или окучивал кусты смородины. Он давал им походить за плугом, отвести лошадь в табун, отвечал на десятки самых разных вопросов, брал с собой на рыбалку. И самое главное — он мастерил для них луки из можжевельника, пулеметы с трещотками, самострелы, которые стреляли чуть ли не через всю деревню, из конца в конец.

Кое-кто, и Лидка тоже, сначала посмеивался над Толиком — вечно он с младшими, будто не найти товарищей среди сверстников, но потом и

Продолжение. См. «Огонек» № 26.

этому так привыкли, что приходили к Толику искать управы на своих сорванцов. Даже школьные учителя искали в Толике своего союзника и часто говорили между собой о том, что из парня мог бы получиться прекрасный педагог. Но с Толиком на эту тему не заговаривали — считали, что ему не до учебы, семью надо тянуть. Каково же было их удивление, когда Толик, сдав экзамены за десятилетку, послал документы в областной пединститут. Одна из его сестер, Женя, Лидина подружка, к тому времени уже стала работать счетоводом в колхозе. Жить стало легче.

Василий Кузьмич пришел тогда к Гоноховым, прихватив бутылку водки, закуску, и долго сидел, обсуждая с Толиком жизненные проблемы.

— Уж раз ты решил, Анатолий, учиться — держись,— говорил Василий Кузьмич.— Держись и, как бы трудно ни было, не бросай. Мы тут матери подможем. И дров, как всегда, завезем. И на нашей лесопилке распилим... И еще что будет надо...

Толик смущенно улыбался. Лицо от нескольких рюмок у него зарделось. Густой русый чуб растрепался и придавал лицу какое-то совсем младенческое, доброе выражение.

— Я не брошу, Василий Кузьмич. Ну, что вы... И матери помогать буду. И летом и на зимние каникулы... Зачем же я бросать-то буду? Ведь я давно мечтал учителем стать. Только чтобы обязательно у нас в деревне работать... У своих...

Василий Кузьмич, теплея душой, подивился словам Толика: «Надо же, он уже давно все спланировал, надо же... А мы-то думали — тихоня». Сказал:

— Ты, Анатолий, учись, ни в чем не сомневайся. К твоему учительству мы здесь такую школу отгрохаем — будь здоров!..

— Вот хватил, Кузьмич,— сказала молчавшая до сих пор тетя Настя, мать Толика.— Эту-то школу отремонтировать не поможете, а тут — новую.

Василий Кузьмич устыдился немного своего бахвальства, но, словно решившись, вдруг сказал серьезно:

— Не сомневайся, мать. И ты, Анатолий, не сомневайся. Говорю: построим новую. Я уж давно думал, да все как-то не подступиться было. Много еще прорех в хозяйстве.

Вот тогда-то, во время этого разговора, и подумал он: «Эх, такого бы жениха моей Лидке!»

Но Лидка, по его наблюдениям, не обращала на Толика ровно никакого внимания, даже подшучивать над его сопливой компанией перестала. Что же касается Толика, то он, судя по всему, вообще ни на кого из девчат внимания не обращал.

И вот — на тебе — завтра свадьба учителя Гонохова и лаборантки опытного леспромхоза Лидии Павловой. И он, Василий Кузьмич, закончив нынче дела здесь, на кордоне, поедет домой помочь жене и дочери с приготовлениями.

Как и когда произошло сближение Лиды и Толика, Василий Кузьмич так и не заметил. Правда, в каникулы Толик всегда заходил к Павловым, но Василий Кузьмич считал, что Толик приходит к нему поговорить о жизни, поделиться новостями. А, оказывается, дело-то было не в нем одном...

Василий Кузьмич снова раскрыл глаза и вскочил с постели. Помахал руками, присел — делать настоящую зарядку он себя так и не приучил — и вышел во двор умываться.

Утро стояло тихое, прозрачное. Лишь в северной части неба громоздились одно на другое темные облака. На озере низко-низко над самой водой расстилался легкий туман. Слабый ветерок наносил крепкий настой цветущей черемухи, пахло сосной.

Вода в умывальнике была ледяная. Василий Кузьмич поежился, обдавшись водой, потом долго растирался полотенцем, чувствуя, как расходится тепло по всему телу. Ему хотелось петь — так радостно было у него на душе, такое хорошее настроение было у него от этого погожего утра. Василий Кузьмич даже замурлыкал себе под нос свою любимую «Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом, по долинам, рощам и оврагам...» и пошел будить лесников. Предстояло еще обойти ближнюю лесопосадку, посмотреть, как прижились посаженные в прошлом году сосны...

Василий Кузьмич успел только добраться на лесопосадку, как прискакал лесник Харитон, оставшийся на кордоне кашеварить, и, хитро улыбаясь, сказал:

— Там, Василь Кузьмич, к тебе гостей понаехало со всех волостей... Собирайся, мы тут справимся без тебя... Все в лучшем виде осмотрим и заприходуем.

— Каких еще гостей? — спросил Василий Кузьмич.

— Поедешь — узнаешь. Одно скажу — важные гости. А мы тут быстренько заделаем да вернемся. Отобедаем вместе.

— Хватит тебе, Харитон, зубы скалить. Кто приехал? По делу, что ли? Или свои?

— Да я, Василь Кузьмич, тебе всерьез говорю,— ответил Харитон.— Приехали — говорят, по делу ты им нужен. По серьезному, а по какому, мне не доложили...

Гостей было четверо. Они сидели на бревнах и о чем-то спорили. Рядом, прислоненные к бочке с водой, стояли велосипеды.

Василий Кузьмич слез с лошади, снял уздечку и седло, пустил лошадь на поляну. Потом, не торопясь, пошел к гостям.

Двоим пареньков было, наверное, лет по 13—14, двое были постарше, лет шестнадцати. Увидев, как подъехал Василий Кузьмич, они поднялись с бревен и шли ему навстречу. Одеты они были в защитного цвета форму, в пилотках, у каждого на руках были нашивки. Василий Кузьмич обратил внимание, что шли они как-то уж больно торжественно. «Как на параде,— подумал он.— Наверное, попросят лекцию о лесе прочитать. Или принять на практику в лесничество...»

Каждое лето в лесничестве работали ребята из окрестных школ. Даже из области приезжали. Рассаживали саженцы, помогали чистить лес, собирали шишки. Василий Кузьмич всегда бывал рад приезду ребятишек. «Природа — прекрасный воспитатель»,— говорил он. С приездом ребят в лесу становилось весело, по вечерам даже на самых дальних кордонах звучали песни.

— Здравствуйте, ребята, вы ко мне? — спросил Василий Кузьмич, когда ребята подошли.

— Здравствуйте, товарищ Павлов,— очень четко и слаженно приветствовали его ребята хором.

Высокий тонкий паренек с раскосыми глазами, с очень серьезным лицом только было хотел что-то сказать, как из-за его спины выглянул совсем белесый разбитной парнишка и быстро спросил:

— Вы ведь товарищ Павлов? — Голос у него был совсем простуженный, хрипатый. И лет, наверное, поменьше, чем всем остальным.

— Не высовывайся, Гаврила!— дернул белобрысого за рукав другой паренек.

— Я хотел у вас об этом же спросить,— сказал серьезный.— Вы Павлов Василий Кузьмич?

— Павлов я, Павлов, ребята. Коль в гости пожаловали — прошу в дом. Там и поговорим. А то здесь вас комары заедят.

Он было повернул к дому, но серьезный дотронулся до его руки.

— Одну минуточку! Вы Павлов, Василий Кузьмич, восемнадцатого года рождения, уроженец деревни Береть...

— В сорок первом году ушли добровольцем на фронт,— опять перебил его белобрысый Гаврила.

— Мы же договорились, Гаврила...— обернувшись к нему, укоризненно сказал серьезный.

— Не буду, Вова, не буду...

— В сорок первом году вам пришлось держать оборону недалеко от своих родных мест, под Заозерьем. Да?

Василий Кузьмич с удивлением смотрел на ребят, не зная, что и сказать.

— Да вы никак биографию решили мою написать? — улыбнувшись, спросил он наконец.

— Мы уже давно написали,— ответил один из ребят,— только вот с вами долго не могли встретиться. Кое-что уточнить.

— Чудеса,— сказал Василий Кузьмич.— Так что вы хотели узнать? Воевал ли я под Заозерьем? Воевал, ребятки. Воевал. Под Заозерьем я и войну закончил — контузило меня. Да так контузило...

Он тяжело вздохнул и махнул рукой, будто отгоняя неприятные воспоминания.

— Ну вот, все сходится,— радостно сказал белобрысый.— Это и есть тот Павлов — Василий Кузьмич! Я все время был уверен.

— Василий Кузьмич,— спросил, почему-то сильно волнуясь, серьезный Вова,— у вас есть правительственные награды? За Отечественную войну?

Василий Кузьмич вдруг заметил, что все четверо мальчишек просто впились в него глазами, что они напряжены до предела, словно ждут от него чего-то совсем необычного. Белобрысый Гаврилов прикусил нижнюю губу и ожесточенно крутил пуговицу на курточке. Вова подался вперед, боясь пропустить хоть слово. Два других парня замерли, не шевелясь...

— Да вы что, ребята...— начал было Василий Кузьмич, вглядываясь в лица мальчишек. Он хотел спросить, отчего это они так волнуются, но почувствовал, как ждут они сейчас его ответа, их непонятное волнение вдруг передалось и ему, и, разведя руками, Василий Кузьмич сказал:

— Ну, есть у меня награды, ребятки. Есть. Красная Звезда. В сорок первом получил. И «За Победу над Германией». Вот и все. Больше не успел. Я ж говорю, контузило меня сильно... Несколько лет себя не помнил.

— Вы Герой Советского Союза!— торжественно, срывающимся голосом произнес Вова.

— Герой Советского Союза! Мы нашли... Мы нашли...— крикнул нетерпеливый Гаврилов и неожиданно всхлипнул.

— Ура!— закричали мальчишки и, схватив Василия Кузьмича за руки, за плечи, стали трясти его, тормошить, уже не скрывая своего волнения.— Ура! Мы вас нашли... В архиве Министерства обороны есть все документы... Ура, Василий Кузьмич!

И Василий Кузьмич, еще ничего не понимая, оглушенный криком, почувствовал, что в словах мальчишек заключена большая правда. Не смел поверить в нее, растроганный искренностью, теплотой этих неожиданных пришельцев, Василий Кузьмич обнял их и повел в дом, приговаривая:

— Ну, как же это? Ну, что же это, соколики? Перепутали вы что-то. У меня Красная Звезда и «За Победу...».

Они сели на лавки за большой гладко обструганный сосновый стол. На одну лавку Василий Кузьмич, а напротив — ребята. Гаврилов встал на лавку коленями, чуть не лег на стол животом — смотрел во все глаза... В комнате пахло смолой, хлебом. В пыльные стекла большого

онна билась пчела, стремясь выбраться на волю...

Василий Кузьмич слушал сбивчивый рассказ Володи о том, как два года назад на школьном комсомольском собрании ребята решили написать историю боев под Заозерьем, разыскать людей, которые воевали в этих местах, привести в порядок братские могилы. И самое главное — они сказали себе: безымянных героев нет!

Вот тогда-то и доискались ребята до истории о том, как в двенадцати километрах от Заозерья в сорок первом году были на несколько суток остановлены немецкие танки...

— На двое суток,— поправил Василий Кузьмич Володю.— Только на двое...

...В те дни стояла сушь, и небо побелело от зноя. Пыль от телеги висела часами. Казалось, что даже болота высохли. Когда солдаты копали окопчики в кочкарнике у дороги, то на дне их было совсем сухо. Невесть кем подожженная, горела мшара. Ветер гнал черный дым вдоль дороги и мешал стрелять по танкам. Слезились глаза. В перерывах между атаками Василий Кузьмич думал о том, как хорошо было бы сейчас забраться в глубь мшары и, лежа на одуряюще пахнущем ковре мха, искать прошлогоднюю клюкву. А в горле было сухо, и мысли о клюкве даже не вызывали слюну.

Первый день долбали танки из сорокапяток. Но немцам во что бы то ни стало хотелось прорваться к шоссе и перерезать путь отступающим войскам. Когда несколько танков задымилось на дороге, пустили в ход авиацию. «Хейнкели» перелопатили половину мшары вместе с сорокапятками и всем боезапасом. В роте Павлова осталось в живых человек пятнадцать. Но они держались еще целый день.

Пока фрицы пытались оттаскивать с дороги подбитые танки, Василий Кузьмич поливал их из ручного пулемета, не давая высунуться из-за брони. И танки не начинали новой атаки. Ведь дорога была совсем неширокой... И болото по сторонам под названием Чертова топь...

Потом к Василию Кузьмичу в окопчик приполз трясущийся Мишка Буров, погодки, его землян. Приполз и сказал, что все, конец. В живых почти никого не осталось, надо уходить. Василию Кузьмичу никогда было оторваться от стрельбы, посмотреть Мишке в глаза, он молча сунул ему «дегтярь», заметив лишь, как дрожат у Мишки руки. Но у Василия Кузьмича тоже дрожали руки от напряжения. И пальцы не слушались, когда он пытался сворачивать цигарки. Поэтому, не обратив внимания на трясущиеся Мишкины руки, Василий Кузьмич пополз в соседний окопчик, где уже минут двадцать молчал «максим».

На дне окопа, свернувшись калачиком, словно примостился на часок, лежали два убитых солдата, но пулемет остался цел, и Василий Кузьмич, вставив новую ленту, начал стрелять. Он услышал, что Мишка тоже стреляет, и от этого ему стало спокойнее. Надо было продержаться хотя бы до ночи...

Его ранило в руку. Сначала он подумал, что это просто отрикошетил камешек, но потом почувствовал, как немеет рука гимнастерки. Он разорвал его и, зорко следя за дорогой, стал перевязывать руку, стараясь не глядеть на рану. Василий Кузьмич не выносил вида крови, ему становилось дурно. Потом он достал из кармана плоскую жестяную баночку, высыпал из нее махорку и положил туда все свои документы и комсомольский билет. И вдавил баночку глубоко в податливый мох. И снова стал стрелять короткими очередями, стараясь экономить патроны. Но, видно, он потерял много крови, потому что вдруг все перед ним заволокло плотным радужным туманом. Василий Кузьмич почувствовал страшную слабость и потерял сознание.

Когда, очнувшись, он с трудом подтянулся к пулемету и выглянул из окопа, то увидел, что в сторону подбитых танков шел человек с поднятыми руками. Правая рука высоко вздернута вверх, а левая раскорякой, словно клешня у краба.

Сломана была ключица у Мишки Бурова еще в детстве — с лошади упал неудачно.

Цепочка немцев стояла со вскинутыми автоматами, поджидая Мишку. А он двигался по раздолбанной дороге торопливо, чуть ли не вприпрыжку. Словно боялся не успеть.

— Мишка, сволочь! Стой!— крикнул Василий Кузьмич, хватаясь за ручки пулемета. Крик получился совсем слабенький, будто всхлип. Но один из немцев, тот, что стоял ближе к окопу, видно, услышал его и, напружинившись, метнул гранату.

«Ах, сволочь!— подумал Василий Кузьмич, пытаясь выстрелить.— Какая сволочь!» Но ленту заело. В это время сзади ухнуло, и он провалился во тьму...

...Василий Кузьмич вышел проводить мальчишек. Расцеловал крепко, по-мужски каждого. Растроганный, разбередивший душу воспоминаниями, хотел сказать мальчишкам теплые слова о том, как дорого их внимание видавшим виды фронтовикам, но сказал только: «Спасибо, соколики!» — притянул к себе, прижал к груди.

Ребята уезжали гордые, довольные. На их лицах светилась такая радость, такое удовлетворение, словно не они, а им привезли известие о запоздавшей на десятилетия награде. Они сели на велосипеды и, помахав Василию Кузьмичу, поехали по лесной тропинке к большаку.

Василий Кузьмич взглянул на часы. Было без пяти одиннадцать. На двенадцать в загсе райцентра назначена регистрация брака. Времени завернуть домой и переодеться уже не оставалось. «Ну и будет мне на орехи за мой «парадный» костюм,— подумал Василий Кузьмич, и вдруг ему стало весело.— До самой смерти жена вспоминать будет. Как же! Мало того, что помощи по хозяйству никакой, так на свадьбу единственной дочери в робе явился!»

Он оседлал свою каурую кобылу, легко прыгнул в седло, гикнул озорно, по-мальчишески и поскакал мягкой тропой, ныряющей в лес, где только что скрылись принесшие счастливую весть мальчишки. Он ехал и вспоминал о том, как после несколько лет мрака и небытия возвращался из больницы в родные места...

...Когда Василий Кузьмич шел от станции лесом к Берести, совсем стемнело. С реки тянулся туман, начало холодать, лес стоял тихий, величавый и страшноватый. Василий Кузьмич шел быстро, надеясь, что вот-вот увидит огоньки санатория, который раскинулся в лесу, неподалеку от его деревни, услышит музыку. Но ни огоньков, ни музыки не было. Стояла глухая, плотная тишина. И сюрю в этой тишине услышал Василий Кузьмич такой знакомый с детства негромкий, покойный шум. Это шумела мельница. «Значит, сейчас конец лесу, сейчас уже и деревня»,— подумал он. Через пять минут Василий Кузьмич, волнуясь и ускоряя шаг, подходил к деревне.

Он узнавал дома по очертаниям на фоне светлой полосочки на западе ночного неба. Это Липатовых, это Семеновых... и вдруг — провал, здесь должен стоять дом тети Веры Васиной... И еще провал и еще...

Свернув с прогона на боковую улицу, Василий Кузьмич остановился как вкопанный: за кустами маленького сада было пусто — дома нет. «Так вот почему никто не приехал в больницу...— прошептал Василий Кузьмич.— Так вот почему...» Сердце его сжалось и словно приостановилось. Он почувствовал озноб, какой-то внутренний озноб, от которого уже никогда не согреться... Василий Кузьмич стоял и стоял на дороге перед тем местом, где когда-то был его дом, и не мог сделать ни шагу. Тихо шелестели кусты в саду, а где-то далеко-далеко стучал поезд.

Наконец Василий Кузьмич стряхнул с себя оцепенение и пошел к соседнему дому, к Буровым. Дом был на месте.

«Уже спят»,— решил он, не увидев в окнах огня. Он раздвинул густые заросли сирени и подобрался к окну. Оно было забито... Второе — тоже. И третье...

«Может быть, на кухне?» С трудом продираясь сквозь разросшуюся сирень, Василий Кузьмич обошел дом. И кухонное окно было забито. Еще не веря, что в доме никто не живет, он зашел во двор и толкнул ворота. Они подались, визгливо заскрипели, растворились. Сыростью, прелой соломой и затхлым духом давно покинутого жилья пахнуло на Василия Кузьмича. Где-то под крышей не то захлопала крыльями курица, не то слетел с гнезда голубь. Василий Кузьмич чиркнул спичкой. Робкий, трепетный огонек высветлил кусок двора. У маленькой лестницы при входе в дом он заметил кучу тряпья и лохматую голову. Спичка погасла — он чиркнул второй. Увидел, как приподнялась голова...

— Кто здесь?— спросил Василий Кузьмич. Спичка снова погасла, и он стоял, напряженно вслушиваясь. Раздался неясный шепот, потом шаги. Кто-то схватил его за руку, гладил голову, всхлипывая.

— Кто это? Кто это?— шептал растерявшийся Василий Кузьмич.

Старушечий голос произнес:

— Вернулся, мальчик мой, вернулся, деточка. Порадовал старуху. Вернулся...

Костлявая, жесткая рука сдавливала руку Василия Кузьмича все крепче и крепче. Напрасно он все спрашивал, теряясь в догадках:

— Кто это? Кто это? Тетя Лена?

Женщина не отвечала, гладила, гладила по голове, прижимая Василия Кузьмича к груди.

— Все меня кинули, все. Только ты, Мишенька, вернулся. Им теперь что, на небушке яблочки кушают, забыли про старуху... И Боженька забыл.

— Да пустите же...— Василий Кузьмич вырвался с трудом из цепких рук.— Я спичку зажгу, я не Миша, тетя Лена. Я Василий. Павлов Василий. Сосед ваш...

Он дрожащей рукой зажег спичку, прикрыл ладонью. Лохматая, изможденная, похожая на ведьму старуха впилась в него глазами. Она молчала секунду и, как только погасла спичка, ударила Василия Кузьмича наотмашь по лицу.

— Ах, ирод! Где мой Мишенька? Куда дел моего сыночка? Будь ты проклят, тьфу!

Василий Кузьмич почувствовал, как кровь ударила ему в голову, оранжевые круги пошли перед глазами, тяжестью налилось все тело... «Опять приступ»,— мелькнула мысль. Он с трудом, словно пьяный, нашарил дверь в темноте и вышел на улицу. В голове гудело колокольным звоном. Василий Кузьмич прошел с десяток шагов, ничего не замечая вокруг, натянулся на бревна и молча осел на них, теряя сознание...

...Он очнулся не скоро. Кто-то светил ему фонарем прямо в лицо. Василий Кузьмич зажмурился. Голова все еще гудела. В теле чувствовалась непреодолимая слабость.

— Ниной оклемался,— сказал светивший.— я уж думал, помираешь...

— Фонарь-то убери,— попросил Василий Кузьмич.

Человек погасил фонарь и сел рядом на бревне. Василий Кузьмич увидел, что уже начинало светать: сквозь фиолетовую темень стали проступать очертания деревьев, редких деревенских крыш.

— А я на реку топаю через прогон — слышу, вроде мычит кто,— стал рассказывать человек. Василий Кузьмич разглядел, что это пожилой, крепкого сложения мужчина. И еще заметил: вместо левой руки — засунутый в карман пальтушки рукав.— Удочки вон положил на забор и сюда. А ты тут разлегся. Чую, что не по пьяному делу. Я и так и этак, ворот вон расстегнул, водой попрыскал... Да ведь не доктор... А ты вон и оклемался.

Он помолчал немного и спросил:

— Да я поглядел — ты нинан здешний? Навроде Васька Павлов? Аль сыскался?

— Сыскался.— Василий Кузьмич понемногу приходил в себя. Сел поудобнее. Вынул папиросы, протянул безрукому.

— Я тебя тоже узнал, дядя Гриша...

— Гришу узнать за версту можно,— усмехнулся безрукий.— Пустой рукав — хорошая примета!

Руку Гриша Дружков потерял еще до войны, на лесопилке.

— Да теперь таких пустых-то... Куда ни глянешь... Моих, что, фрицы спалили?— спросил, стараясь сдержать дрожь в голосе, Василий Кузьмич и почувствовал, как снова пошли круги перед глазами.

— А кого они не спалили, ты спроси лучше. Пять домов цельных осталось. Только начинают отстраиваться... Твои вроде сюрю вернутся. Луша Ветрова письмо получила с Германии.— Он помолчал.— Жить у меня будете, больше не у кого. Пока отстроитесь. Не подеремся... Ты чего не писал-то, Вася? В плену был?

— В госпитале лежал,— тихо ответил Василий Кузьмич,— с сорок первого... Меня же здесь, под Берестью, и ранило и контузило. Еле выходили. Да память отшибло начисто. Так и лежал четыре года безымянный.

— Что ж, документа при себе не было?

— Ага,— сказал Василий Кузьмич.— Не было. Закопал, как увидел, что фриц обходит. Думал, живым все равно не дамся, а как мертвеца звали — знать им необязательно. А что, в Германии-то и мать и Татьяна?

Татьяной звали младшую сестренку Василия Кузьмича.

— Ну да. Мать и Танька. На Кузьму Тимофеича похоронка еще в августе сорок первого пришла. Ты, наверно, слышал...— Дядя Гриша затянулся папиросой и посмотрел на Василия Кузьмича вопросительно.

Василий Кузьмич слышал о гибели отца. В последнем письме из дома мать писала ему об этом.

Они посидели, помолчали. Уже совсем разъяснило. Легкий утренний ветерок зашелестел в липах, принес дымок растапливаемой плиты.

Продрогшая за ночь, потемневшая от осенних дождей, лежала перед Василием Кузьмичом его родная деревня. О том, что когда-то деревня была большая, можно было судить только по буро-зеленым островкам садов, выстроившихся вдоль дороги в ряд с несколькими уцелевшими домами. А за садами — провалы, груды кирпичей, заросшие крапивой. И такой же провал там, где стояла пятистенка Павловых.

Василий Кузьмич разглядел несколько землянок, наскоро сколоченных хибарок. В двух или трех местах отстраивались всерьез — стояли подведенные под крышу свеженькие срубы. И только один большой дом был отстроен полностью. На том месте, где раньше была школа. Судя по размерам, и новый дом был отведен под школу.

Необычная, неестественная тишина поразила Василия Кузьмича. Ни крика петухов, ни мычания выгоняемых в поле коров, ни треска заводимого трактора... Только тонкий свист перелетающих с дерева на дерево синичек.

— А что за старуха у Буровых? Сумасшедшая?— нарушил Василий Кузьмич молчание.— Ночью во дворе на меня кинулась...

— Да это Елена Ильинишна,— отозвался дядя Гриша.— Она была совсем трехнутая, нынче отходить помаленьку стала. И то ведь — сколько пережить-то пришлось. Старшего-то, Кольку, под Псковом убили в начале войны. А мужик — да ты, поди, помнишь — еще до войны посажен был. За кулацкую его натуру. Так словно в воду и канул — ни одной весточки. Только недавно вдруг письмо пришло — оказывается, с тюрьмы в армию пошел. Дрался так, что орден дали. Жив, здоров, демобилизоваться собирается. Младший, Мишка, считай, тоже погиб. Без вести. Пропал...

— Пропал?— крикнул Василий Кузьмич.— Пропал, говоришь? Нет, дядя Гриша, не пропал Мишка без вести. Вести о том, куда он пропал, у меня вот здесь сидят, словно уголья раскаленные.— Василий Кузьмич ударил себя в грудь.— На моих глазах свои кривые лапы поднял и немцам навстречу пошел. Из того окопа, где мы оборону держали. Танки держали! А он лапы поднял... Погибших ребят предал, родную свою, деревню свою... А, да что говорить, Родину предал, гад трусливый. Иуда! Эх, у меня в пулемете тогда ленту заело!— Василию Кузьмичу стало жарко. Ненависть к этому человеку, с которым они провели вместе детство, юность, сидели в одном окопе, душила его.

— У меня для этой падали всегда один патрон храниться будет. До самой смерти. А если умру, то детям своим накажу... Кто бы его ни судил, кто бы его ни оправдывал — у меня к нему свой суд, особый. Не жить нам с ним на одной земле...

— Вот как!— Дядя Гриша даже присвистнул.— Сдался. Ну, Мишка, маменькин тихоня, недаром на всех зверенышем смотрел... Сдался! А я-то думал, погиб как человек. Не вытянул, значит... Что ж, всяк родится, да не всяк в люди годится. А как здесь мать убивалась... Сколько вытерпела от фашистов.— Дядя Гриша заволновался, он тоже чуть ли не кричал:— Ведь и били они ее и повесить грозились за то, что оба сына в Советской Армии воевали. А она и не скрывала... «Сама,— говорит,— в партизаны бы ушла, если бы не слепая». Ведь она куда как плохо видит... А они ее бить... До болезни довели. Ну, слава богу, кажись, получше сейчас, поспокойней она стала. Днем, на людях, и совсем хорошо... Э-эх! Ну, что, служивый? Пойдем до дому. Надо тебе жить начинать.

Они поднялись с бревен. Дядя Гриша взял свои удочки, Василий Кузьмич — тощий вещмешок и потихоньку зашагали по булыжной дороге, туда, где притаился в густых зарослях разросшейся сирени дом Григория Сидорова.

...Сколько лет прошло с этих пор! Сколько утекло воды! Люди рождались и умирали. Вчерашние дети становились отцами семейств. Сколько событий, больших и незначительных, стершихся навсегда из памяти! Уже чем-то безмерно далеким стала война. Нет-нет, да и мелькнет мысль: да было ли все это? Эти страшные бои, смерть товарищей у тебя на руках, горящие танки с черными крестами, пепелища вместо деревень. Было ли все это? А если было, то как смогли перенести все эти муки, как смогли выстоять, не сломиться, сохранить в себе доброту и радость?

Все это было. И все жило в памяти людей, передаваясь из поколения в поколение. В памяти народной ничто не было забыто. И сегодня он убедился в этом... Василий Кузьмич вздохнул. Война пыталась отнять у него самое важное в жизни человека — память. Самое важное, потому что без памяти нет человека. Но не смогла...

В райцентре он успел побриться и, благоухающий одеколоном, веселый, появился в загсе в то время, когда дочь с женихом, родня, гости заходили в просторный зал, где должна была проходить церемония. Жена шепнула, смерив его уничтожающим взглядом: «Все не как у людей». А дочь улыбнулась и заговорщически подмигнула. «Эх, и гульнем!— подумал Василий Кузьмич.— Не каждую субботу дочерей замуж выдаем!»

Окончание следует.

ПОВЕСТЬ

Сергей ВЫСОЦКИЙ

Рисунок И. УШАКОВА.

СМЕРТЬ ТРАНЗИТНОГО ПАССАЖИРА

Буров поднимался и нарочно смотрел только себе под ноги, на желтую от старой хвои тропку, всю оплетенную узловатыми корнями сосен. Буров хотел увидеть деревню сразу, всю. «Или не увидеть,— подумал он.— Или не увидеть ничего, только лес. Молодой лес, заросли никому не нужной ольхи...» Такая мысль овладела Буровым. Он подумал, что это может дать ему облегчение, освободить от проснувшихся вдруг воспоминаний, ненужных, тягостных и навязчивых. «Еще в сорок первом деревня почти вся сгорела,— думал он, спотыкаясь о корни,— а сколько потом здесь было боев... Кому захотелось отстраиваться в такой глуши? Небось, строились ближе к городу. А здесь все заросло, все...»

Буров запыхался и наконец почувствовал, что достиг вершины горки. Он остановился и поднял голову.

Туман рассеялся совсем и только кое-где над рекой еще клубился маленькими островками. Прямо перед Буровым, освещенная ласковым солнцем, лежала большая деревня. Он сначала даже подумал, что ошибся, вышел не туда, но взгляд его остановился на большом, потемневшем от старости и от дождя доме, наполовину упрятанном в липах и цветущей черемухе. Дом стоял на задворках деревни, у проселка, поблескивающего лужами. Это был его дом. Легкий дымок вился над трубой, несколько белых пятен из свежей дранки виднелось на крыше: ее недавно чинили. Буров оглянулся, ища, куда бы присесть. Но присесть было некуда — ни пенька, ни поваленного дерева, только мокрая трава. Он прислонился к сосне и жадно вглядывался в этот старый и такой знакомый дом, в тенистый сад, небольшую полоску вспаханной земли рядом. И сад и поле были пусты. И если бы не струйка дыма, можно было бы подумать, что в доме никого нет.

«Кто же там? Кто? Мать? Отец? Брат Николай?» Буров смотрел и думал о том, кто живет в этом доме, кто топит плиту, кто вспахал эту полоску земли, кто латал крышу, подгоняя друг к другу смолистую дранку и вколачивая в нее длинные тонкие гвозди.

Мать? Но какая же старая она должна быть, его мать, если и он почти старик, тертый жизнью, еще сильный, но старик... Почему старик? Почему он зачислил себя в старики? Ведь ему еще пятьдесят один... Ему рано быть стариком! Рано!

Сколько же сейчас матери? Семьдесят пять? Больше?

Буров поймал себя на мысли о том, что он забыл даже год рождения матери, день ее рождения.

«Если она жива, то ей, наверное, семьдесят пять... Если жива... А отец был на год моложе... Но что отец! Уж его-то наверняка в живых нет. Тюрьма бесследно не проходит. А был бы жив отец, порадовался за сына, за то, что крепко на ноги стал. Он и сам всю жизнь мечтал крепко на земле стоять, справно».

Буров вдруг увидел велосипедиста, едущего по направлению к его дому. Велосипедист ехал не спеша, осторожно объезжая лужи на дороге. Вот он подъехал к калитке, слез с велосипеда... У Бурова захолонуло сердце. Он всматривался до боли в глазах, стараясь определить хотя бы возраст этого человека. Человек вынул из сумки, привязанной к велосипеду, что-то белое и, прислонив велосипед к забору, открыл калитку и пошел к дому.

«Почтальон»,— догадался Буров. Человек подошел к окошку и, видимо, постучал. Окошко растворилось, Бурову показалось даже, что он видел протянутую руку. Почтальон передал газеты в окно. Постоял несколько минут и, вернувшись к велосипеду, поехал дальше.

Буров, оторвавшись от притягивавшего взгляд дома, долго следил за почтальоном, стараясь угадать, к кому еще он заезжал. Но угадать ничего не мог: деревня неузнаваемо изменилась. В том конце, где когда-то была небольшая белая школа и школьный сад, стояли красные кирпичные домики, все как на подбор небольшие, чистенькие, крытые черепицей. Все другие дома были деревянные, крашенные в голубой или какой-то ржавый цвет. На том месте, где стоял скотный двор, высилось двухэтажное здание. «Наверное, школа»,— подумал Буров.

Деревня жила своей обычной жизнью. Маленький трактор тащил по улице прицеп с какими-то ящиками, кое-где в огородах работали люди; мальчишки, сложив в кучу портфели, громко спорили, сгрудившись у реки.

Почтальон ехал от дома к дому, кое-где засовывая газеты в привешенные на калитки ящики, кое-где заходя в дома. Но как ни пытался Буров вспомнить имена земляков, которые жили в этих домах, он ничего вспомнить не мог. Недаром столько лет изгонял он из памяти все, что касалось прошлого.

...Сначала он боялся вопросов. Вопросов о

Окончание. См. «Огонек» №№ 26, 27.

том, как очутился в Париже, почему не возвращается в Россию. Тогда даже эмигранты, словно забыв о том, что их самих привело на чужбину, с презрением относились к своим соотечественникам, служившим у Гитлера. Буров сам видел, как какой-то русский, не то князь, не то граф, плюнул в лицо бывшему власовцу.

Газеты Бурова никогда не интересовали. Не стал читать он и эмигрантские листки.

Первое время, еще не зная толком языка, мыкаясь с жильем, пробавляясь временной работой, Буров постоянно чувствовал по отношению к себе не презрение, нет, скорее всего хорошо скрытое пренебрежение у одних и легкую жалость, подчеркнутую, холодную внимательность у других. А это бесило его. Особенно жалость. Он ненавидел людей, которые хотели помочь ему, хотя не всегда мог позволить себе отказаться от этой помощи. И он старался никому не дать повода ни для пренебрежения, ни для жалости.

Буров упорно учил язык. С детства он не отличался способностями, но был упрям. Упрям и ловок. Крестьянская сметка и общение только с французами позволили ему довольно быстро освоить язык. Но он хотел большего. Он хотел даже думать на французском, даже во сне говорить по-французски.

А эти сны... Как они мучили Бурова первое время, русские сны!

Несколько лет он прожил с одиноной, немолодой уже француженкой, учительницей. Она была некрасива и совсем не нравилась Бурову. Он каждый день с неохотой, почти с отвращением шел после работы в ее маленькую квартирку. Но она учила его произношению, умению держаться в обществе. И это было для него главным. Буров приносил домой жалкие гроши, хотя зарабатывал к тому времени уже неплохо. Неплохо для того, чтобы прилично одеться и два раза в месяц сходить в ресторан. Но он откладывал деньги в банк... Понемногу, но каждый месяц, тайком от своей учительницы...

Учительнице он запретил говорить о его прошлом даже дома, запретил произносить сами слова «русский», «русские», «Россия». А для себя он раз и навсегда решил, что мать и отец его погибли, умерли. И, решив так, старался никогда не вспоминать о них и не вспоминал.

А однажды, когда он почувствовал себя готовым к новой жизни, Буров, уйдя утром на работу, не вернулся больше к своей учительнице. И сделал это без всякого сожаления. Потом была фирма, успешная служба, Мадлен, на которой он женился, сын... И вот он стоит на небольшой, заросшей молодым сосняком горке и смотрит на свою давно забытую деревню, на дом, где он провел детство.

«Какая дикая случайность, какая глупость,— думает Буров.— Зачем я здесь?.. Кому это нужно? Летел бы спокойно в Токио и никогда не вспомнил про эту глухую деревню, затерянную среди лесов... Может, в этом доме и живут-то совсем чужие люди: столько лет прошло. Все погибли, а в доме живут чужие». Эта мысль нравится ему. «Ну, конечно же, это так. Я уеду, и все будет опять по-прежнему, все забудется».

Но тут же он с тоской вспоминает свое подавленное настроение перед отлетом, белую лошадь из детства, которая вдруг пригрезилась ему невесть отчего. «Это старческое, старческий бред, только и всего. Но он будет теперь повторяться... От него никуда не уйти. Вот если в этом доме действительно чужие... Если в этом убедиться... Оборвать эту нить из прошлого...» Он осторожно начал спускаться по тропинке к деревне.

Уже недалеко от дома Буров увидел, что из него вышла женщина с сумкой и пошла к деревне. Женщина была совсем молодая, хорошо одетая. «Ну вот,— с удовлетворением подумал он,— так и есть: в доме живут чужие. Кто она, эта женщина? Ни дочерью, ни женой Николая она не может быть. Для одной слишком стара, для другой очень молода». Когда Буров подошел к калитке, то уже совсем успокоился. А вот протянуть руку и толкнуть калитку не мог. Не мог!..

Он постоял минуту, вглядываясь в окна, но никого не увидел. Потом с трудом, словно превозмогая какую-то гигантскую тяжесть, все-таки протянул к калитке руку. Она открывалась так же, как и раньше: надо было просунуть руку между двух досок и приподнять деревянную щеколду. И Буров приподнял.

Он осторожно пошел по узкой, заросшей густой, коротной травой тропке. С одной ее стороны была пашня, с другой — гряды с луком, капустной рассадой. Уже пустили третий листочек огурцы, длинные мани приготовились расцвести. А тропинка была упругая, усеянная по обочине желтыми цветами одуванчиков, большими подорожниками, и Бурова произвело вдруг ощущение, будто он идет по этой травянистой, сырой от дождя тропинке босиком, как в детстве, легко придавливая траву пятками.

Около самого дома вся осыпанная цветами, словно белый фамел, росла черемуха. У крыльца стояла большая старая бочка с водой, чистенький половичок лежал на ступенях. Как тяжелы были эти пять ступеней, как тяжелы! Когда Буров поднялся на крыльцо и постучал в дверь, лицо его покрылось мелкими бисеринками пота, рубашка прилипла к телу...

В доме произошло легкое движение, негромко хлопнула дверь внутри, и вот уже распахнулась дверь на крыльце, и к Бурову вышла маленькая старушка в цветастом фланелевом платье и в таком же цветастом переднике. Буров сразу узнал мать, и словно мороз прикоснулся своими иголками к сердцу, заставил затрепетать его, сжаться.

— Тебе кого, милок?— спросила мать тонким и словно чуть надтреснутым голосом.

Слова застряли у Бурова в горле. Он смотрел на лицо матери, темное не то от солнца, не то от старости, смотрел в бесцветные глаза и не мог выговорить ни слова... Ему не хватало воздуху, нечем было дышать...

— Если ты про дачу, так не сдаем мы, милок, не сдаем...

«Не узнала,— подумал он,— не узнала...»

— У нас тут автобус застрял... За трактором пошли... Я вот попить молочко, может, у вас найдется,— выговорил наконец Буров.

Мать улыбнулась, прикрыв рукой беззубый рот.

— Ты заходи, заходи, милок... У нас если автобус застрянет, не только молочка попить успеешь. И отобедаешь и отужинаешь... Заходи, заходи.

Она пошла впереди, что-то шепча себе под нос, рукой шаря по стене, открыла дверь в комнату, поджидая Бурова. И по тому, как она шла, шаря рукой по стене, Буров вдруг понял, что она почти ничего не видит. Он вошел вслед за матерью в комнату, темноватую оттого, что герани и китайские розы на окнах заслоняли свет, и невольно подумал о своем доме под Парижем. На один миг...

— Ты, милок, садись, я тебе молочка плесну, попей пока, а то и обедом накормлю. Автобусто когда вытащат! Молочко, правда, у меня не свое.— Мать прошла на кухню, отделенную от комнаты легкой перегородочкой, и Буров слышал, как она наливает молоко.— Нам со стариком корову-то держать уже невмочь да и незачем. Так вот соседская дочка приносит, Павлова Лидка,— сказала мать, вернувшись с кухни и ставя перед Буровым большую кружку молока.

— Пей, милок. Молоко свеженькое. Лидка утречком занесла. Такая заботливая дивчина... Дай ей бог здоровья.— Мать села, подслеповато щурилась, словно стараясь разглядеть гостя.— У ней, у Лидки-то, сегодня свадьба. И мы со стариком званы, да старик мой обирючил совсем. Чего, говорит, там целый день сидеть. Вечером сходим. Жених свой, деревенский. На учителя выучился. Золото, а не парень. Я как подумаю о них, сердце радуется. Есть, милок, счастье-то на земле, есть...

Буров пил молоко судорожными глотками. Ему было трудно пить от нервного напряжения, но он заставлял себя и пил глоток за глотком.

«Что же это за Павлова? Не Василия ли Павлова дочь? Ну, конечно, чья же еще... Больше Павловых в деревне не было»,— подумал он, и слабость овладела всем его телом. Снова взмокла рубашка. Он чувствовал, как холодные струйки пота бегут по его телу.

«Василия Павлова дочь. Василия Павлова... Васьки Павлова...» Того, который остался в окопе, когда он, Буров, вышел с поднятыми руками навстречу серо-зеленой цепи немецких солдат...

— Ты, видать, городской, милок?— спросила мать.— Командировочный или дачу присматриваешь?

— Командировочный я,— ответил Буров.— Да вот застрял автобус... Наверно, вытащат скоро...

— Вытащут, вытащут,— согласилась мать.— Не скажу, скоро ли, но вытащут. Да ты не суетись. Автобус-то, небось, у Старого гумна сел, в низинке?

— У Старого гумна?— переспросил Буров. Слово «гумно» поставило его в тупик. Оно было знакомо. Даже очень знакомо. Связано с какими-то приятными воспоминаниями из детства. Но Буров никак не мог вспомнить, что оно означало.

— Да, у гумна,— торопливо согласился он.— У гумна...

— Ну так он все одно через деревню пойдет. Туточки рядом, на прогоне, и остановка. Ты и посиди, милок, поговори со старухой, как там в городе у вас жисть. А то я все одна да одна. Старик мой работает, хоть и пенсия ему вышла. Да коли и дома, так все равно слова не услышишь. Совсем в старости бирюком сделался.

Она тяжело вздохнула и задумалась. Руки ее, узловатые, темные, со множеством темных веснушек, шевелились, словно перебирали что-то невидимое для Бурова.

Буров молчал. Он понимал, что его молчание выглядит странно, что надо или сказать что-то, или уходить. Но он не мог сделать ни того, ни другого. Он только смотрел и смотрел на мать не отрываясь, словно хотел навсегда запечатлеть в памяти ее потерянный было образ. «Как она постарела, как она постарела»,— только думал он.

Мать вдруг встрепенулась и спросила:

— А что, верно ли люди говорят, картошка у вас в городе на рынке по двадцать копеек?

— Да,— кивнул Буров,— по двадцать...

— Ишь ты, по двадцать,— сказала она.— Совести у людей нету, такую цену рвать. У нас-то колхоз своим по копейке продает... Да только мы-то все со своей. Говорила старику: чего корячиться, каждую весну садить? Нам ведь ее и всего ничего надо. Так нет — садит, словно у нас семеро по лавкам. Привык в голодное-то время каждый клочок распахивать. Потом вот и раздает соседям на семена. Уж больно хороша у нас картошечка. Такая рассыпчатая, такая рассыпушка..

«Мама!— вдруг захотелось крикнуть Бурову — Мама!»,— гладить ее седую голову, припасть к ее коленям, обнять. Выплакаться. Но он тут же остановил себя. Отогнал эту мысль. «Это значит зачеркнуть все, что я сделал, все, к чему я так стремился, все, чего я достиг! Ради минутного порыва. Нет. Нет и нет».

Мать глянула в окно. Спросила Бурова:

— Времени-то много, милый человек?

Буров посмотрел на часы. Его золотой хронометр показывал час. Он сказал: «час», но тут же спохватился. Это было парижское время.

— Три, три уже, я ошибся.

— Ну вот, и старик сейчас придет, отобедаешь с нами. Мы гостю всегда рады...

Она встала, пошла на кухню.

«Надо уходить, скорее,— подумал Буров.— Сейчас придет отец, и все пропало...» Но подняться не мог и все сидел, глядя, как мать накрывает на стол, осторожно ощупывая его перед тем, как поставить тарелку. Она поставила пять тарелок, пять маленьких граненых стаканчиков, принесла большую миску с винегретом.

— Что, гости будут?— спросил Буров.

— Нет, милок. Мы так всегда накрываем... На двух сынков накрываем...

Она вздохнула и перекрестилась.

— Что, война?— судорожно сглатывая слюну, сказал Буров.

— Война, милок, война проклятая. Один в сорок первом, другой в сорок пятом.

— Небось, и могилы неизвестно где?— спросил Буров и весь напрягся, будто ожидая удара.

— Бог милостив,— ответила мать.— Люди добрые схоронили. И нам отписали. Младший-то совсем недалеко, под Псковом. Я туда каждый год со стариком езжу. А старший-то, Михаил, гораздо далеко, где-то под Пиллау. Мы только в сорок девятом и узнали. Все ждали, не найдется ли. Был он записан без вести пропавшим. Туда, под Пиллау, отец только один раз и ездил. Мне уже не под силу. Слепа я стала, совсем слепа. Почти ничего не вижу. Но отец говорит, могилка в порядке. И там люди присматривают...

Она все ходила в кухню, собирала потихоньку на стол. Речь ее лилась спокойно, доносилась до Бурова будто бы издалека. Он сидел, время от времени обводя комнату отсутствующим взглядом, останавливался на секунду то на одной, то на другой из многочисленных фотографий, развешанных на стенах, узнавал себя в мальчишке с большой кепкой, стоявшем как-то боком рядом с красивой женщиной — его матерью, брата Николая в военной форме.

Потом он встал, прошелся по комнате, стараясь поближе разглядеть фотографии. Они словно воскрешали его прошлое, напоминали о каких-то совсем забытых моментах его жизни, настолько далекой жизни, что сейчас она казалась нереальной.

Вот хотя бы этот снимок, где он с братом и отец, гордо выпятивший грудь, улыбающийся. Из дальних закоулков памяти выплыло воспоминание о том, как приехал отец с военных сборов. Понавез подарков. Бурову привез вот эту большую козырьнастую кепку с шишечкой на манушке. И много всяких вкусных гостинцев. Отец Васьки Павлова и сфотографировал их тогда своим «фотокором». У него, у единственного в деревне, был фотоаппарат.

На большом черном комоде, покрытом кружевной салфеткой, тоже стояли фотографии в маленьких деревянных рамках — его и брата Николая — в черных, траурных. Тикал будильник, маленький, изящный, совсем не такой, как был у них до войны. Внимание Бурова привлекла пачка бумаг, лежавшая на комоде. Сверху лежала почетная грамота сельсовета и райисполкома Бурову Тимофею Васильевичу за спасение колхозного имущества... «Грехи перед властями замаливал»,— подумал неприязненно Буров.

Грамот было много. Буров читал и читал их, беря одну за другой, как вдруг до боли знакомое лицо мельнуло в пачке бумаг. Что это? Ошибка? Трясущимися руками Буров вытащил из пачки тоненький журнал с портретом веснушчатого, с озорными глазами, курносого мальчишки на обложке. Нет, никаких сомнений. Это был журнал «Нойе Берлинер иллюстрирте» за май месяц 1964 года. На третьей странице журнала, он это хорошо помнил и будет помнить всю жизнь, было помещено фото, на котором улыбающийся Буров садился в новый «ситроэн». И подпись: «Французские монополисты не брезгают услугами бывших власовцев». Это был неприятный момент в жизни Бурова. Какой-то прохвост разнюхал кое-что из его биографии, напечатал в «Юманите», «NBJ» перепечатал. Пришлось долго потом улаживать скандал, писать опровержение. И вот здесь...

Трясущимися руками Буров раскрыл журнал. Фотография исчезла. Было видно, что она аккуратно вырезана из журнала. «Значит, знают... Не мать, нет. Отец. И скрывает от нее. Боится, что это ее убьет. Убьет мать... Убьет известие, что ее сын жив». Подавленный, Буров сел, не зная, что делать. Потом услышал, как стукнула калитка, и посмотрел в окно. По тропинке к дому шел кряжистый старик, неся буханку хлеба под мышкой. Отец почти не изменился за эти долгие годы. На Бурова нашла какая-то апатия, он сидел равнодушно и слушал, как отец долго вытирал ноги на крыльце, потом открыл дверь в комнату и охнул глухо, увидев Бурова. Отец хотел что-то сказать, но только нечленораздельный стон вырвался у него из груди. Он прислонился к косяку и закрыл глаза. Бурову показалось, что отец теряет сознание. Но руки его жили. Огромные кисти сошлись на груди, сцепились и хрустнули корявые, темные пальцы. Через мгновение отец справился с собой, вздохнул шумно, словно набрал полные легкие воздуха, открыл глаза и шагнул в комнату.

Мать вышла из кухни. Сказала:

— У нас, отец, гость... Автобус у него застрял у Старого гумна. Вот ироды, никак дорогу починить не могут.

Буров проговорил тихо:

— Да вот зашел молочка попить... Но пора уже.

Посмотрел в глаза отцу. Они были совсем белые, ненавидящие, недобрые. Буров увидел, как на скулах у отца ходят желваки, как бросил он быстрый взгляд на мать, словно хотел убедиться, знает ли она... Не сказал — выдавил:

— Здравствуйте.— И вышел на кухню.

Буров вскочил, чувствуя слабость в ногах. Сказал:

— Спасибо за молоко. Пойду я...

— Что же ты, милок, от обеда-то бежишь? — удивилась мать.— Калявочку бы со стариком распили. Я вон все приготовила...

Отец появился в дверях кухни, большой, крякистый.

— Не неволь, мать,— сказал он твердо.— У гостя своя дорога.

— Так ведь автобус-то...— начала было мать, но отец, ласково взяв ее за плечо, придержал, словно боялся, что она подойдет близко к Бурову, и повторил:

— Своя дорога у гостя, не неволь.

Буров увидел, что в глазах у него уже не было ненависти, только презрение.

Буров понял, что он вычеркнут здесь из списков живых. Вычеркнут из сердца. Что он не нужен никому и никогда не будет нужен. А они ему нужны. Он вдруг понял это. Они ему необходимы. Он столько времени жил без них. А прожить всю жизнь не сможет. Без живых или мертвых, без памяти о них он не сможет. Человек не может без прошлого. Это тень, а не человек. Это противоестественно — без прошлого. Без роду, без племени...

Ему был нужен этот старый дом среди цветущей черемухи, эта тропинка вдоль пашни, эта тихая речка, утонувшая в садах деревня!

Буров медленно шел по дороге, не глядя под ноги, ступал машинально, не сознавая, куда и зачем он идет. Ему вдруг представилось, что он долгие годы играл в какой-то большой пьесе среди ярких, красивых декораций, в толпе актеров и статистов. Но вот спектакль кончился. Равнодушные ко всему рабочие сцены унесли бутафорию, костюмеры забрали и его костюм. Разошлись актеры. И только он один остался на большой сцене, совсем голый и незащищенный. Один, которому некуда было идти. Человек, отказавшийся от своего прошлого и потерявший будущее.

— Эй, дядя! — вдруг крикнули у Бурова прямо над ухом.— Ты что ходишь, будто неприкаянный?

Буров вздрогнул. Две молодые женщины подхватили его под руки и улыбались, глядя на его испуганное лицо. Они были нарядно одеты, с разрумяненными лицами. Чувствовалось, что женщины где-то гуляли и вот-вот выскочили из-за стола.

— С похмелья, что ли? — смеясь, спросила одна, заглядывая Бурову в глаза и слегка прижимаясь к нему. Глаза у нее были черные, быстрые, чуточку плутоватые.— Пойдем опохмеляться. Мы тебя, дядя, быстро вылечим.

Гляди, Верка, у нас на свадьбе мужиков не хватает, а по улице вон какие гладенькие женишки выгуливаются! — сказала она подруге.

Верка засмеялась громко.

— Пойдем, миленький, на свадьбе поплящем,— потянула она Бурова за рукав.

Они стояли напротив красивого, из белого кирпича сложенного дома. Из открытых окон неслась веселая музыка, нестройный гул голосов. Калитка в сад была распахнута.

— Нет, что вы, девушки, я не могу...— Буров попытался высвободиться, но женщины держали его крепко.— Мне уезжать нужно. И притом срочно.

— Не выйдет,— с пьяным упрямством сказала Вера,— нам танцевать не с кем, а вы тут без дела разгуливаете. Да если хотите знать, сейчас вы и не уедете никуда! Хоть лопните. По расписанию ни одного автобуса нет. Вы, небось, дачу ищете? Там мы вам такую найдем, что закачаетесь! И хозяйка молодая, одинокая.

Они снова захохотали и потащили Бурова к калитке.

— Девушки, да ведь я серьезно не могу,— упрямился Буров.— И танцевать я не умею. Как же так можно, взять и вести человека насильно? Я же все равно буду вынужден уйти!

Но женщины только смеялись и, крепко прижавшись к нему, цепко держа за руки, тащили Бурова к крыльцу. Он чувствовал, какие сильные у них руки, упругие, разгоряченные тела.

На крыльце Вера шепнула ему, чуть склонившись к уху:

— Да не укушу я тебя... Выпьешь стопочку, посидишь рядком. И на автобус проводим...

Буров почувствовал, что ему сейчас не вырваться... «Ну и попался,— думал он.— Сейчас пить заставят. Выпью рюмку, извинюсь и уйду. Скорее, скорее. Прочь... Только бы никто не узнал. Да они там все пьяные...»

Дверь из сеней в комнату была открыта. Буров остановился.

— Передохнуть хоть дайте,— сказал подругам. А сам с тревогой посмотрел в комнату. Там дым стоял коромыслом. Пахло водкой, пирогами, и все перебивал устоявшийся табачный чад. За огромным столом сидели гости — в основном все молодежь. Чувствовалось, что сидят уже давно, некоторые стулья были пусты.

— Женишка поймали!— крикнула Вера, когда они вошли в комнату.— Чарочку товарищу дачнику!

В комнате поднялся галдеж.

— Штрафной ему, штрафной! Нашей самородной!

— За вновь прибывших! — провозгласил кто-то.

Высокий краснолицый парень подскочил к Бурову со стаканом и с большим графином в руках. Стал наливать. Руки у него были нетвердые, графин дергался. Он лил водку прямо на пол. Буров почувствовал острый сивушный запах. «Наверное, самогон»,— подумал он и отвел глаза от стакана.

Прямо перед ним сидели молодые. Буров не разглядел жениха. Невеста приковала все его внимание. Было ей года двадцать два, не больше. Тоненькая, нежная, она приветливо смотрела на Бурова большими улыбчивыми глазами. Фата лежала на красиво уложенных русых волосах. Лоб у нее был большой, чистый, совсем не женский. Такой лоб мог быть у дочери Василия Павлова...

Парень, наконец, налил полный стакан и протянул его Бурову.

— Штрафной, штрафной!— опять закричали все.

Буров через силу улыбнулся, со страхом ощупывая лица сидящих за столом, лихорадочно соображая, может ли быть здесь сам Василий. «Он же убит, я же сам видел...»

— Ну, дяденька, давай!— качаясь и разливая самогон, понукал парень.

— Да что вы!— натурально бодро выкрикнул вдруг Буров.— Я же непьющий, окосею сразу. Помилуйте...

Но все закричали протестующе, и Буров, подняв руки вверх, сказал:

— Сдаюсь!

Сзади грохнуло, зазвенели осколки битого стекла, кто-то огорченно закричал дурашливым голосом: — Ну, Василий Кузьмич! Плакал наш квасок.

Буров, холодея, оглянулся и встретился взглядом с ненавидящими глазами Павлова... Он метнулся к двери, выскочил на улицу и, не разбирая дороги, побежал прочь, желая только одного — уйти от этих глаз, от этих ненавидящих, непрощающих глаз... «Он убьет меня... убьет...— Одна только мысль владела им.— Он убьет...»

Через некоторое время Буров словно бы очнулся и заметил, что стоит в лесу, на заросшей густой травой дороге. Сквозь траву кое-где еще проглядывали булыжники, кусты по канавам так разрослись, что иногда образовывали сплошную крышу. Видно было, что по дороге очень давно не ездили. Буров шел теперь совсем равнодушный, будто отрешенный от жизни. Тупая тоска овладела им. И равнодушие ко всему.

— Эй, голова два уха! — услышал он неожиданно веселый тенорок.

Буров вздрогнул, испуганно обернулся. Рядом с ним стоял вышедший из лесу старик в сером ватнике с огромным букетом черемухи.

— Куда топаешь, иль на танцы?

Лицо у деда было живое, подвижное. Смешинка в глазах. Он улыбался, глядя на Бурова. На голове у деда была надета почти новенькая генеральская фуражка с золотой кокардой.

— Да я так...— сказал медленно Буров.— Иду себе...— Он не нашелся, что еще сказать, и только повторил: — Иду себе...

— Идешь себе,— усмехнулся старик.— Сразу видать, дачник. Так ты далеко уйдешь...

Он снял осторожно свою фуражку и вытер платком веснушчатую, совершенно лысую голову. Кивнул на фуражку:

— Сын новую сшил — эту прислал. И форму всю. Да перешивать надо. В нее два таких, как я, влезет. Вот вымахал!

— А эта дорога куда? — зло спросил Буров.

— Да никуда...— ответил старик, хотел прибавить что-то веселое, но осекся, взглянув на Бурова. Глаза этого человека поразили старика. Они были мертвы. Застыли совсем...

— ...Никуда не ведет дорога,— повторил он испуганно.— Вон за кустами топи начинаются. «Чертовы». А за ними шоссе к городу. Но туда и заяц не проскочит. Дорогу немцы во время войны строили. И понастроили — вперлись в болото. Один большой инженер специально их надоумил. Русский. Пленный. Они его тут и порешили.

Старик показал на холмик с обелиском, постоял с минуту, не зная, чего еще сказать этому странному человеку, и зашагал прочь. Буров дождался, когда старик скрылся за поворотом дороги, и шагнул в лес...

— А я подумал, вы попросили русское подданство,— усмехнулся Жевен, когда Буров, усталый, продрогший, появился в зале ожидания.

Буров только безнадежно махнул рукой. Он был уже не в состоянии огрызаться.

— Русские накормили нас прекрасным обедом. С коньяком...— Жевен взял Бурова под руку.— Объявили, что через тридцать минут мы летим. Времени как раз хватит, чтобы выпить еще по коньяку. Я уже начал спускать свою валюту... И где вы пропадали, мсье? Так долго. Как вам удалось отсюда выбраться? Наверное, успели осмотреть город?

Он болтал без умолку. Буров почувствовал, что Жевен уже изрядно выпил. Подумал: «Он просто боится снова сесть в самолет...»

Чернявая буфетчица встретила Жевена как старого знакомого.

— Мсье, дубль?

— Конечно, милая! И моему коллеге...

— Налейте мне сразу бокал,— тихо сказал Буров.

— О! В вас просыпается русская душа! — воскликнул Жевен, но Буров посмотрел на него с такой тоской, что Жевен смолк, недоумевая.

Буфетчица подала Бурову фужер с коньяком, взглянула участливо, словно хотела понять, что произошло с этим респектабельным, подтянутым французом. «Хорош же у меня вид,— подумал Буров,— если даже эта девчонка смотрит на меня с жалостью». Напрягаясь из последних сил, боясь разрыдаться, Буров улыбнулся буфетчице. Поднял фужер. Поклонился ей. Буфетчица тоже улыбнулась Бурову. Улыбка у нее была добрая, приветливая...

В это время по радио объявили посадку на самолет. Буров залпом выпил коньяк, поставил фужер на стойку. Сказал: «Прощайте, милая». Буфетчица хотела что-то сказать, да, видать, застеснялась... Только кивнула. Жевен расплатился, и они пошли, не оглядываясь, к выходу.

В самолете Буров наконец согрелся. Тепло расползлось по всему телу. На душе стало легко и покойно. И все, что произошло с ним за последние двенадцать часов, уже казалось чем-то далеким и ненастоящим. Совсем ненастоящим. Неясным. Словно скрылось за дождем и туманом. Буров только не переставал удивляться самому себе: «Ну надо же. Вот так фортель выкинул. Зачем? Для чего? Как мальчишка. Хорошо, что в историю не влип. Удачлив я стал. А ведь Васька и застрелить меня мог... Хорошо еще и то, что автобус вовремя подвернулся». Он думал так, умиротворяясь все больше и больше, пока наконец не задремал.

...В Москве было совсем мало времени для пересадки, но Буров с Жевеном все же успели выпить дубль.

Лететь было удобно. И Жевен и Буров имели спальные места. Буров сразу же уснул. Но часа через два, среди ночи, проснулся. Наверное, оттого, что в самолете было душновато...

Приглушенно гудели моторы, вздрагивало тело самолета. Серый холодный рассвет брезжил уже в иллюминаторе. Бурову вдруг стало безотчетно тоскливо. Даже жутко. Хотелось закричать, позвать кого-нибудь. Убедиться, что рядом живые люди. Говорить с ними. Что-то объяснить им, что-то доказать... Что? Буров не знал. Ему было просто очень плохо. Горько. Горько и мерзко на душе.

Он хотел пересилить себя. Отвлечься. Сосредоточить свои мысли на чем-то приятном: думать о предстоящем успехе, о возвращении в Париж, о своем уютном доме, о той девчонке с родинкой... Но все это выглядело сейчас пустым, ничтожным, ненужным... Лицо матери стояло у Бурова перед глазами. Смиренное, успокоенное. Мудрое какой-то ей одной открывшейся, горькой мудростью... «Ну что же я, ну что? Ведь вольная птица, весь мир передо мной»,— думал Буров. Но мысли его были прикованы только к маленькому клочку земли, к маленькой деревеньке под названием Береста. И ничего поделать он с собой не мог. Буров уже не смог сдерживаться. Рыдания прорвались из его груди. Он закусил угол подушки, стараясь пересилить себя. Но не смог. И плакал. Плакал, не стыдясь, что кто-то может его услышать.

...В Париж Буров возвращался через Сайгон и Дели. От Японии у него остались смутные воспоминания. Он был все время словно в бреду. Не мог ни на чем сосредоточиться. Он все время чувствовал в сердце какую-то тревогу. Спешил. Спешил все закончить, спешил взять билет на самолет, спешил лететь. Он и сам не отдавал себе отчета, почему так спешил. Но ему надо было скорее быть дома. В Париже он спешил...

Самолет приземлился в Орли вечером, и лишь в полночь Буров остановился перед дверью своего дома. Повернул ключ в замке, зажег свет. Дома стояла тишина. Бурову она показалась настороженной и недоброй. Он снял плащ, бросил его на диван. По привычке надел мягкие туфли. Медленно прошелся по комнатам, зажигая свет. В комнатах было зябко и пустынно. «Как я жил здесь один? — подумал Буров.— Один изо дня в день...»

Он сел за письменный стол. Прямо перед ним, за окном, была ночь. Косой дождь хлестал по стеклу. Спешить больше было некуда. Но тревога в сердце осталась. И тогда Буров вдруг понял, почему он спешил и откуда была эта выматывающая душу тревога. Ему надо было остаться наедине с самим собой... И все решить. И Буров решил. Он достал из стола стопку белой бумаги. Положил перед собой. Взял в руки перо и задумался. Картины пережитого воочию вставали перед ним...

Желтая от старой хвои, оплетенная узловатыми корнями сосны тропка была у него под ногами. Вот он остановился и поднял голову. Освещенная ласковым солнцем, лежала перед Буровым большая деревня и потемневший от старости и дождей, упрятанный в липах и цветущей черемухе дом.

Буров снова шаг за шагом повторял недавно пройденный путь...

Несколько раз он брался было за перо, но вывел только одну фразу в верхнем правом углу листа: «Послу Союза Советских Социалистических Республик» — и снова откладывал его. Сидел, ссутулившись, не мигая глядя в окно, где сквозь пелену дождя начинал продираться рассвет.

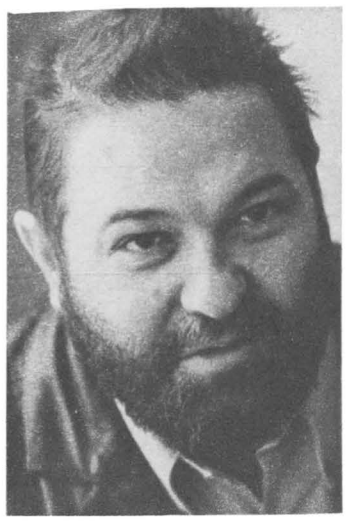
Презрительные, непрощающие глаза отца смотрели на Бурова. Непрощающие. И все остальное теряло смысл. И рука не в силах была водить пером по бумаге. И ничего нельзя было вернуть. Ничего.

Буров достал из стола маленький пистолет, похожий скорее на зажигалку, чем на оружие. Встал. Огляделся, словно что-то искал. Ему вдруг невыносимо противно стало в этой комнате. Он открыл дверь в сад. Уже совсем рассвело. Буров быстро вышел из дому, вздохнул полной грудью. Раздался негромкий, сухой выстрел.

Буров упал лицом в траву. Трава была мокрая от дождя. Она пахла чем-то невыносимо знакомым, какими-то цветами, название которых уже не смогла подсказать Бурову его слабеющая память.

В первый момент ему было даже не больно — только слабость. «Всю жизнь я делал только ошибки,— мелькнула у Бурова мысль,— всю жизнь, но только не сейчас...» И он увидел вдруг родной дом и белую лошадь у крыльца... «Мама»,— хотел он позвать, но уже не смог.

Нестерпимая боль омгла ему грудь. Буров застонал, пальцы его вцепились в траву, словно хотели захватить горсть этой, так знакомо пахнущей, но чужой земли и уже не смогли...



Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Третья карта

ГАННА ПРОКОПЧУК (1)

Женщина медленно шла по городу, который теперь был другим, несмотря на то, что по-прежнему синяя дымка стояла над Монмартром и сияли на жарком июньском солнце купола храма, и речь горожан, как и раньше («боже мой, все ведь здесь было другим год назад, всего триста шестьдесят дней назад!»), казалась беззаботной из-за того, что французы умеют смеяться над своими слезами.

Женщина свернула в маленький парк Монс Элизе. Тяжелые балки солнечных лучей чернили пыльную листву платанов. Раньше здесь всегда слышался звонкий гомон детских голосов, и Ганна любила приходить сюда и сидела, закрыв глаза, и ей казалось, что сейчас, вот-вот сейчас на колени вспрыгнет Янек, обовьет ее шею своими теплыми руками, а затем подбежит младший, Никита, станет отталкивать Янека, сопеть курносым своим носиком и потом заплачет: если ему что-то не удавалось сразу, он всегда плакал так горько и безутешно, что сердце разрывалось.

Но сейчас в парке детей не было, и никто не прогуливал пуделей на зеленых газонах, и старушки с седыми волосами не сидели с вязаньем на острых коленях, и юноши не играли в свои странные металлические шары — таких игр никогда не было в ольше. Пусто было в парке и тихо, одно слово — оккупация...

«Только бы снова не думать об этом проклятом «зачем»,— испугалась Ганна.— Так можно сойти с ума. Да, я идиотка и последняя дура, да, поступила глупо, преступно, но нельзя все время думать об этом, нельзя постоянно казнить себя — тогда я лишусь сил и уж ничего не смогу сделать».

Ганна заплакала — потекли быстрые слезы, и она увидела себя со стороны, открыла сумочку, достала платок, высморкалась («Никитка так же сморкается — жалостливо»), посмотрела на покрасневшие веки в зеркальце, припудрилась, подвела ресницы и подставила лицо жаркому, маленькому, пепельному солнцу.

«Нельзя приходить туда с зареванным лицом,— сказала она себе.— Я должна выглядеть красивой. Чиновники помогают только привлекательным женщинам... Это архитектура помогла мне понять людские характеры,— удивилась своей мысли Ганна.— А ведь это так, действительно это так. Легкость и красота стекла, алюминия и бетона не просто облегчают конструкцию — они облегчают жизнь, потому что делают ее красивей. Корбюзье прав: архитектура — главный воспитатель человечества; если людей «обречь» на красоту вокруг них, они станут лучше, они не смогут поступать так, как поступают, когда живут в каменных казематах, где нельзя двигаться свободно, и видеть свое отражение, и чувствовать солнце, постоянно чувствовать солнце... Будь проклята эта моя архитектура и мои солнечные города — кому они нужны сейчас? Мне нужны мои маленькие, их сердитое сопение, когда они лезли ко мне на колени, отталкивая друг друга, мне нужно босое шлепанье их ножонок, когда они крались ко мне по утрам, высунув свои розовые языки от страха, счастья и напряжения, только бы не разбудить меня, и прыгнуть ко мне на кровать, и залезть под одеяло, и уткнуться своими курносыми носенками мне в уши, и замереть счастливо... Ой, сейчас я снова заплачу, а через полчаса надо быть там, а зареванной бабе обязательно откажут, и я сойду здесь с ума, в этом тихом, пустом и — теперь уже — чужом городе...»

Среди русских и украинских эмигрантов ходили слухи, что редактор «Парижского вестника» Богданович создает особый отдел, который будет помогать с пропусками, чтобы люди могли вернуться в те места, откуда их разметало за последние два года войны.

Ганна решила пойти к Богдановичу: хоть он русский, а не поляк, но все же он должен понять ее лучше, чем немец, да и язык немецкий она знает слабо; а французские чиновники лишены всякой силы — выполняют лишь то, что им предписывают оккупационные власти.

В редакции, которая помещалась на Вараме, Ганну принял секретарь редакции Сургучев, участливо выслушал ее просьбу, попросил подождать в приемной, предложив почитать газету.

— Господин Богданович освободится через десять минут. Как это по-украински,— улыбнулся он,— будь ласка? Так, кажется? Будьте ласка, обождите его здесь.

Ганна поблагодарила его такой же, как у него, обязательной, воспитанной улыбкой и раскрыла газету. Машинально, наметанным глазом человека, который умел создавать формы, она отметила, как нелепо сверстаны полосы — полное нарушение пропорций. Она всегда чувствовала пропорцию и свет. Ее проекты получали первые призы на международных конкурсах архитекторов в Гааге и Париже, поэтому-то она и приехала в Париж из Варшавы, бросив Ладислава и мальчиков, из-за того, что Ладислав сказал ей тогда: «Или мы, или твоя работа»,— и нет ей прощения, потому что надо было согласиться с ним, и мальчики тогда были бы рядом, и ничего ей больше не нужно, только б чувствовать их подле себя. Ладислав мог не понимать ее, даже обязан был ее не понимать, ведь никогда еще и никто не мог по-настоящему понять друг друга: мужчина — женщину, женщина — мужчину, и ей надо было смириться с этим, а она решила тогда, что мальчики, повзрослев, поймут ее правоту, и вот теперь она должна сидеть в этой душной, маленькой приемной, и читать газету, которая сделана безвкусно, с нелепо громадным подвалом какого-то Монастырева о «великом идеологе национал-социализма, выдающемся трибуне и борце докторе Геббельсе», и стараться найти логику в статье полковника Карташова. Ганна стала читать шепотом, чтобы ей были понятнее русские слова — лишь произнесенное слово делается по-настоящему твоим. «Не дай вам бог сказать о поджигателях войны, что это масоны. Помилуйте, все наши «передовые» гг. Милюковы, Бунины и Осоргины начнут травить вас общественным презрением как мракобеса! Но мы не боимся этих кличек и заявляем, что войны нужны только большевикам, евреям и масонам, войну поджигают масоны, и ведут ее только одни они!»

— Госпожа Прокопчук?— Ганна услыхала за спиной негромкий голос.— Вы хотели видеть меня?

— Здравствуйте, господин Богданович. Благодарю за то, что у вас нашлось для меня время.

— По-русски вы не говорите? Я плохо понимаю вашу мову...

— Я не знаю мову,— резко ответила Ганна.— Я знаю украинский язык... Может быть, мы объяснимся по-польски?

— Нет, нет, ляхов я тоже не понимаю. По-немецки?

— По-французски, пожалуйста.

Богданович чуть поморщился:

— Ну что же, давайте по-французски. Что вас привело ко мне? Я в свое время читал о ваших солнечных городах... Вы ученица Корбюзье?

— Да.

— Рождены в России?

— Нет. Я родилась в Кракове, а потом жила в Варшаве.

— Варшава — русский город. Он входил в состав империи,— заметил Богданович.— Итак?

— В Кракове остались мои дети. Семья... Я бы просила вас помочь мне вернуться туда. Мальчикам нужна мать, особенно в такое тревожное время...

— Вы правы, вы правы, госпожа Прокопчук. Мать нужна детям всегда, а особенно в трудное время. По национальности вы...

— Украинка. Польская подданная.

— Ваш муж?

— Лесной инженер Ладислав Стахурский...

— Поляк?

— Да.

— А почему вы пришли к нам, госпожа Прокопчук?

— Мне казалось, что...

— Что вам казалось?— Богданович начал ставить вопросы быстро, словно он допрашивал женщину.— Что вам казалось?

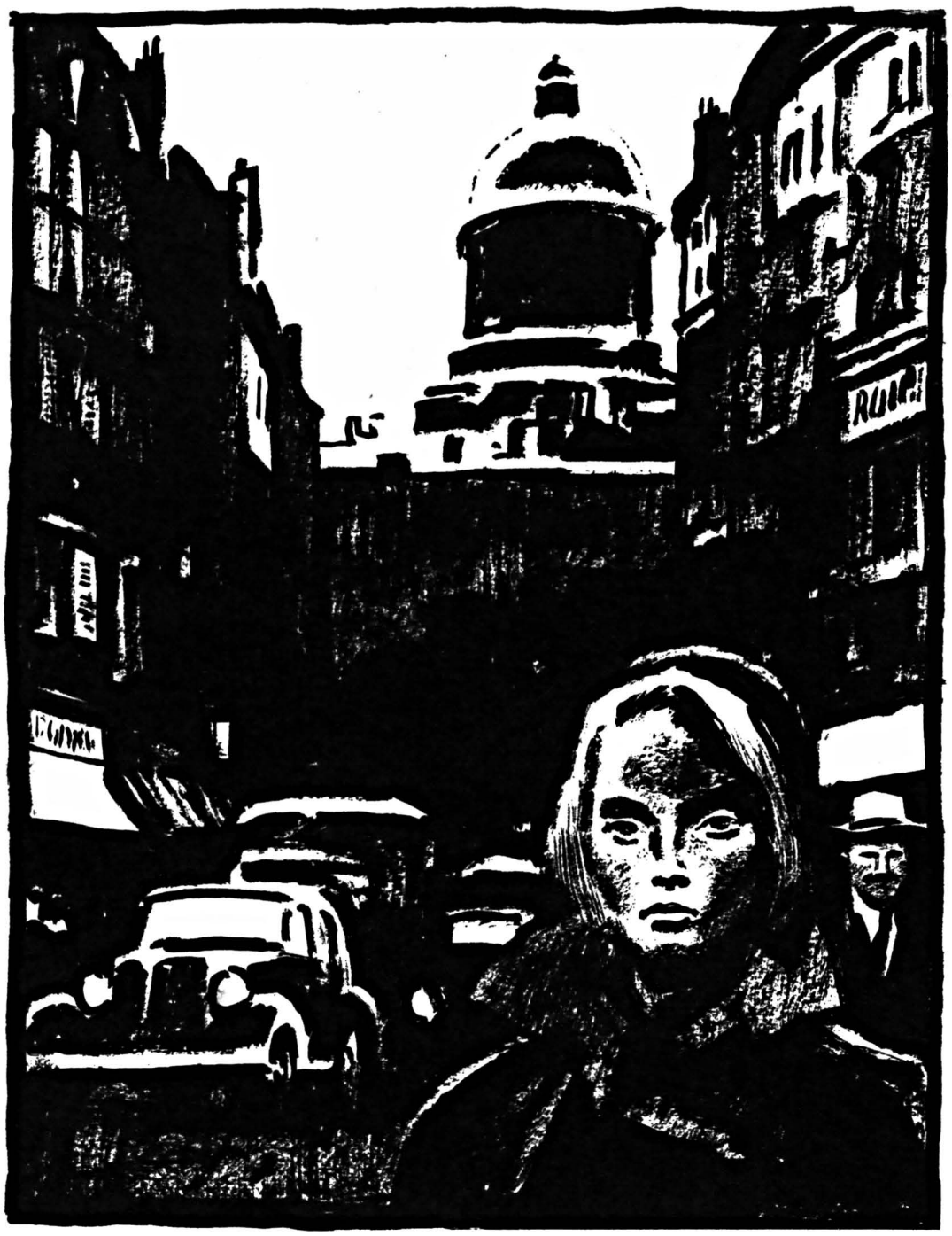
— Мне думалось, вы, как славянин, сумеете понять меня...

— Мы занимаемся русскими, госпожа Прокопчук. Только русскими. Если бы вы были русской подданной, мы бы завели на вас карточку и вошли в сношение с немецкими властями.

— К кому я могу обратиться, господин Богданович? Посоветуйте мне, пожалуйста...

— Когда мы обращались за помощью к украинцам, они не считали своим долгом помогать нам советом, госпожа Прокопчук.

— Я обращаюсь к вам как мать...



— В наш век, увы, следует разграничивать и это понятие.

— Матерь божия была одна,— сказала Ганна, чувствуя, что сейчас снова заплачет.— Разве можно в чем-либо винить матерей?

Богданович озлился, лицо его снова как-то неуловимо дрогнуло:

— Тех, которые оставляют своих детей, да.

Ганна поднялась — резко, словно ее ударили.

— Мне казалось, что в газете работают интеллигентные люди.

— Вы не ошиблись. Интеллигентные люди имеют право и обязаны отстаивать свою точку зрения. Повторять общепризнанное — удел черни. У вас все?

— Да. У меня все. Я хочу сказать вам на прощание, что ваша черствость отомстит вам, господин Богданович.

— Мне отмщение, и аз воздам.— Богданович тоже поднялся, после того как цепко и ернически оглядел фигуру женщины.— Честь имею.

Ганна шла к выходу, чувствуя на спине, шее, ногах, на волосах, уложенных без этого омерзительного, ставшего модным перманента, неотрывный взгляд Богдановича.

«Сейчас он окликнет меня,— подумала женщина, взявшись за медную, холодную ручку, чересчур дорогую и вычурную на плохо окрашенной, потрескавшейся двери,— я знаю, что он сейчас скажет».

— Госпожа Прокопчук...— Богданович кашлянул негромко.

— Да,— ответила Ганна, не оборачиваясь.

— Вы можете оставить свой телефон. При случае я постараюсь обговорить ваш вопрос с немецкими властями.

Ганна медленно повернула голову, и взгляды их встретились.

— Я оставлю мой телефон представителю немецкой власти,— ответила Ганна,— мне не нужны посредники.

Богданович усмехнулся:

— Как знаете. Во всяком случае, принимая решение, они обратятся ко мне за консультацией.

— Так ведь я украинка...

— Как же, как же... Но украинского отдела в Париже нет, слава богу. Так что решайте. Мне, во всяком случае, было бы любопытно навестить вас.

...Два года назад, когда Ганна решила принять приглашение, пришедшее из Парижа, и уехала от Ладислава и мальчиков, муж сказал, что будет считать отъезд ее окончательным разрывом, и она устало согласилась с этим, потому что бесконечные ночные разговоры (попытки объяснить ему, что едет она не из-за прихоти и не потому, что ищет каких-то новых ощущений, а лишь по необходимости работать) до того утомили обоих, что стало ясно — прежнее, привычное, принадлежащее только им двоим кончилось, ушло безвозвратно.

В Париже она находила вначале счастье и спокойствие в творчестве: работала в огромной архитектурной мастерской,— и проекты ее вызывали восторг у коллег. С первого гонорара она отправила деньги в Краков и письмо Ладиславу — доброе, грустное, с просьбой приехать с мальчиками в Париж. Считала дни, рисуя их разными цветами. Она верила, что каждый день недели имеет свой особый цвет: суббота — это обязательно густая зелень, с проблесками легкой и яркой желтизны; среда — день перелома, предтеча субботы, резкие оранжевые линии; воскресенье — это грустный день для тех, кто работает, а не творит, и для Ганны это был самый плохой день, ибо он отрывал ее от постоянной увлеченности делом, и она еще не имела достаточно денег, чтобы снять себе мастерскую, оборудовать ее и работать по воскресеньям — тогда бы и этот день был зеленым, ведь нет ничего прекраснее зеленого цвета, потому что это весна, или июньское лето, и тишина, и пение птиц — не видных, но близких.

Через две недели, когда четырнадцать листов бумаги были закрашены ею в цвета счастливого ожидания, из Кракова возвратились деньги — без какого-либо объяснения. Тем же вечером она ужинала с коллегами и после уехала с Мишелем Шенуа к нему, в Иври. На рассвете она тихонько поднялась с кровати и попросила Мишеля не звонить до понедельника. Она поехала на телеграф и отправила телеграмму в Краков: «Если хочешь, я вернусь». Но и на эту телеграмму Ладислав не ответил. И тогда у Ганны началась странная, пустая, обреченная жизнь по ночам и счастливая, отрешенная, испепеляющая — днем, в мастерской.

Мишеля она больше видеть не хотела, потому что он был чем-то похож на Ладислава: такой же большой, нескладный, обидчивый — она боялась увлечься им; ведь если в браке прожито десять лет, тогда это накладывает отпечаток на все последующее: «Привычка — вторая натура».

Ганна хотела уйти от себя, от прежней Ганны, она хотела, чтобы разум ее освободился от постоянной тоски.

Она знала, что мужчин к ней влекла ее свобода поступка. Она видела, что здесь, у них в мастерской, женщины рассматривали мужчину как свое будущее, как гаранта своего, и это мужчин пугало, потому что люди жили какой-то шальной, странной жизнью, быстро влюблялись, так же быстро расставались с любовью или с тем, что любовью казалось, ибо ощущение тревоги было постоянным, и каждое утро — рассветное, серое, сумеречное, солнечное, счастливое, тяжкое,— любое утро было таким неизвестным, что будущее становилось явным, лишь когда чрезмерно бодрый диктор парижского радио начинал читать сводку последних известий — еще один день без войны.

А когда утром первого сентября Ганна подошла к приемнику, повернула белую кругляшечку и бодрый голос диктора сообщил, что сейчас Гитлер бомбит Варшаву, она странно посмотрела на человека, который лежал в ее кровати, курил, тяжело затягиваясь черным «галуазом», и спокойно, как о ком-то другом, подумала о себе: «Вот и пришло ко мне возмездие. Вот и остались Янек с Никиткой одни. А я дрянь. И все мои проекты — ерунда, потому что все уже давно шло к тому, чтобы разрушать, а не строить».

Она тогда сделала кофе, сама не пила, а смотрела на своего приятеля и на прощание сказала ему:

— Знаешь, у тебя уже нет лица. На меня смотрит череп.

В их архитектурной мастерской, однако, жизнь продолжалась такая же, как и прежде: сыпались заказы из Америки, Бразилии, Аргентины и Мексики; по вечерам мужчины (многие из них ждали призыва и уже загодя ходили в полувоенной форме — это было модным) разбирали женщин (которые теперь по-другому смотрели на них — война заставляет иначе любить тех, кто будет защищать тебя с оружием в руках) и разъезжались по кафе, которые были открыты так же, как и в августе, только на окнах появились черные шторы светомаскировки.

Ганна теперь никуда не ездила: все свободные часы и дни она просиживала в организациях Красного Креста, в американском консульстве, в японском посольстве, стараясь получить разрешение на въезд в Польшу, но нигде и никто не мог помочь ей или, быть может,

не хотел. А потом в швейцарском отделении Красного Креста молоденький, очень нервный и быстрый клерк маленького роста, с обезьяньим лицом, предложил Ганне поужинать, и тогда, добавил он, «мы поговорим о вашем деле более подробно».

Он увез ее к себе, и Ганна, с трудом скрывая отвращение, осталась у него, а через два дня, когда она пришла за пропуском, ей сказали в представительстве, что Пауль Фроман срочно уехал в Берн в связи с болезнью его ребенка и вернется, видимо, не раньше чем через три месяца.

«Кому же верить?— думала сейчас Ганна, вернувшись в пустой Монс Элизе.— Кого просить о помощи?»

Она вспомнила прыгающее лицо Богдановича, его быстрые пальцы, и чувство омерзения овладело ею.

«Да,— решила она,— надо идти к немцам. Больше не к кому. А если и они откажут, я пойду пешком на границу, я не знаю, что стану делать, но только я должна все время что-то делать, иначе я сойду с ума».

И впервые вдруг она разрешила себе услышать тот страшный вопрос, который родился в ней в день бомбежки Варшавы: «А что, если их уже нет, моих мальчиков? Что, если я осталась одна?»

И этот второй вопрос показался ей таким страшным, что она ощутила т я ж к у ю брезгливость к себе, как в ту первую ночь, когда поехала к Мишелю и легла в его широкую, холодную и скрипучую кровать с синим балдахином, наивно полагая, что отречение от прошлого принесет избавление в будущем. Можно отринуть любимого или врага — нельзя отвергнуть себя, и невозможно забыть прошлое.

В таинственной и непознанной перекрещиваемости человеческих судеб сокрыто одно из главных таинств мира.

...Отец Исаева — Штирлица, профессор права Петербургского университета Владимир Александрович Владимиров, уволенный за свободомыслие и близость к кругам социал-демократов, был женат на Олесе. Свадьба у них была особая, по обычаю ссыльных поселенцев Забайкалья — с чтением стихов Некрасова, Пушкина, Лермонтова и Шевченко. Олеся, дочь ссыльного украинского революционера Остапа Никитовича Прокопчука, пела протяжные гуцульские песни.

Там же, в Забайкалье, родился у них сын Всеволод.

Отбыв ссылку, Остап Никитович Прокопчук с сыном Тарасом вернулся на Украину, а потом, опасаясь нового ареста, переехал в Краков. Здесь, в Кракове, Тарас женился на голубоглазой, черноволосой Ванде Крушанской, и накануне войны родилась у него дочь Ганна.

Остап Никитович и Тарас написали в Петербург письмо, сообщая Владимиру Александровичу Владимирову, что у Всеволода появилась двоюродная сестра, но письмо это адресату доставлено не было, потому что Владимиров с сыном в это время был в швейцарской эмиграции.

А потом началась мировая война, свершилась революция, и тогда лишь двадцатилетний Всеволод Владимиров, не Максим Исаев еще, а уж тем более не Штирлиц, узнал от члена коллегии ВЧК Глеба Ивановича Бокия, что есть у него в Польше сестра Ганна, оставшаяся сиротой,— Остап Никитович погиб в пятнадцатом году, а сына его, Тараса, расстреляли в восемнадцатом. Найти девочку и привезти ее в Россию он не мог: режим Пилсудского зорко следил за восточными границами Речи Посполитой и никого в красную Совдепию не пускал, украинцев тем более.

Мать Исаева — Штирлица, Олеся Остаповна, умерла, когда мальчику было пять лет,— скоротечная чахотка в сибирской ссылке многих свела в могилу. Он помнил только теплые руки ее и мягкий украинский говор — тихий, певучий, нежный.

Глеб Иванович Бокий однажды пошутил:

— Плохой ты хохол, Владимиров, песен наших не знаешь.

— Я знаю,— ответил тогда Всеволод,— я помню две мамины песни, только мне слишком больно вспоминать их...

...А потом он перешел на нелегальное положение, и с двадцать второго года жил за кордоном, и не мог знать, что сейчас люди в таких же черных мундирах, которые носил он, готовили в Париже двоюродной сестре его Ганне Прокопчук участь страшную, но по тем временам типическую, ибо в раскладе национальной структуры гитлеризма понятие «славянство» было не расчленимо на составные части русского, украинского, белорусского, сербского или польского: речь шла о тотальном уничтожении культуры, семени и крови этого единого племени.

И если бы литератор или историк был вправе озадачить себя вопросом, мог ли в те дни, накануне самого страшного в истории человечества сражения, брат Ганны Прокопчук помочь ей — допустив на миг возможность такого рода помощи,— то ответ определенный никто дать бы не смог, поскольку подчиненность частного общему, как жестоко она ни проявляет себя, существует, и опровергать ее негуманно. В этом нет парадокса, ибо риск во имя сестры был бы отступничеством по отношению к ста пятидесяти миллионам сограждан, которым он, Штирлиц, служил по закону долга — не приказа.

Верховное главнокомандование вооруженных сил.

Ставка фюрера 3. 4. 41 г.

Штаб оперативного руководства Отдел обороны страны (оперативный отдел).

Сов. секретно. Только для командования.

№ 44428/41.

Содержание: Подготовка к операции «Барбаросса».

1. Время начала операции «Барбаросса» вследствие проведения операций на Балканах откладывается по меньшей мере на четыре недели.
2. Несмотря на перенос срока, приготовления и впредь должны маскироваться всеми возможными средствами и преподноситься войскам под видом мер для прикрытия тыла со стороны России.

. . . . . .

Начальник штаба верховного главнокомандования вооруженных сил Кейтель.

ПРЕАМБУЛА
(11 июня 1941 года, Берлин)

Когда слуга легким движением рук взял со стола пустые кофейные чашки и, ступая неслышно, вышел из каминной, адъютант Гейдриха, штандартенфюрер Риче подвинул Узнеру, начальнику отдела III-А шестого управления РСХА, карлсбадскую пепельницу, полюбовался диковинными гранями сине-красного тяжелого стекла и несколько удивленно заметил:

— Подумать только, в начале этой прозрачности — обычный песок. Впрочем, трибун начинается с беззащитного писка младенца, а у истоков красоты атлета — звериный вопль роженицы... Можете курить.

— Благодарю, штандартенфюрер.

— Так вот, я продолжу мое размышление вслух... Кампания на Востоке ставит перед нами совершенно новые задачи. Армия после побед во Франции, Норвегии и Югославии заняла исключительное положение в обществе — героев недавних боев наш гитлерюгенд знает теперь лучше, чем ветеранов движения. После того, как мы сокрушим большевизм, армия может оказаться самой серьезной силой в рейхе, сильнее СС, сильнее нас с вами. Поэтому задача, с моей точки зрения,— я хочу подчеркнуть: с моей точки зрения — будет заключаться в том, чтобы постепенно привести на ключевые посты в армии наших людей. Для этого мы должны быть готовы предпринять определенного рода шаги. Надо доказать обергруппенфюреру Гейдриху, который раним и доверчив, что ОКВ [1] проводит свою политику, особую политику, эгоистическую. Как это сделать? В главном бить нельзя, это несвоевременно сейчас, ибо нам предстоит война. Щелкнуть надо в мелочи — это выгоднее по целому ряду причин. Во-первых, это самый болезненный и самый неожиданный щелчок. Во-вторых, такого рода щелчок оставляет путь для компромисса, если в нем возникнет необходимость. Я предлагаю обсудить возможность нанесения нашего щелчка, используя группы оуновских [2] уголовников,— абвер давно работает с этими головорезами.

Они поняли друг друга без разъяснений: Риче хотел начать свое дело, чтобы выделиться. Приглашая к сотрудничеству Узнера, он и ему давал такую же возможность.

...Узнер побеседовал со своим помощником Айсманом тем же вечером.

Работоспособность Узнера была поистине фантастическая: он успел цепко просмотреть справки по оуновской агентуре, отделил все ненужное и углубился в изучение досье на трех националистических лидеров — гетмана Скоропадского, Андрея Мельника и Степана Бандеру. Потом он пробежал материалы, собранные на их ближайших сотрудников, друзей и доверенных лиц, которые зарекомендовали себя как надежные и ловкие агенты гестапо, неоднократно проверявшиеся отделом Мюллера. После того, как Узнер понял, «кто есть кто», и прикинул комбинацию, в которой этим «кто» отводилась роль слепых исполнителей, он записался на прием к Шелленбергу.

Выслушав Узнера, бригадефюрер Шелленберг сказал задумчиво:

— Украина исчезнет с карты мира. Национализм славян с точки зрения нашей расовой теории — это бумажный носовой платок, который, использовав, выбрасывают. Конечно, сейчас следует соблюдать такт и позволять ОУН надеяться на создание государства. Но вы-то прекрасно понимаете, что вне славянского мира Украина существовать не может, а великая идея фюрера предполагает исчезновение славянства с карты мира... Но играть сейчас на этом периоде, использовать их мы обязаны — смешно отказаться от услуг ассенизаторов. Мелюзга — они очарованы великим.

Закурив, Шелленберг откинулся в кресле.

— Это все,— закончил он, не отдав приказа, и быстрая улыбка мелькнула на его тонких губах, казавшихся сломанными из-за постоянной печати сарказма, таившейся в них.

Той же ночью адъютант Гейдриха пригласил к себе помощника шефа гестапо Мюллера.

Помощник Мюллера, в свою очередь, вызвал из Кракова оберштурмбаннфюрера Дица и поручил ему практическую реализацию приказа.

А Шелленберг вызвал Штирлица. Через несколько минут секретарь доложил бригадефюреру, что Штирлица в РСХА уже нет, но и домой, в Бабельсберг, он еще не приехал.

— Позаботьтесь,— сказал Шелленберг,— чтобы в понедельник он был у меня ровно в девять часов.

СТАРЧЕСКИЕ ЗАБОТЫ
(13 июня 1941 года, Берлин)

— Политик вроде писателя,— прокашлял Скоропадский, посмотрев на телефонный аппарат с ненавистью.— Это ты потом поймешь, как повзрослеешь, сейчас еще рано. Тебе сорок, а в эти годы только гений становится истинным писателем. Тебе еще жить да жить, пока разумом дойдешь до того, что гению открыто с рождения.

Омельченко согласно кивнул, но глаз от телефонного аппарата не отрывал — настаивал, сукин сын, чтобы гетман позвонил секретарю Геринга еще раз. Ни вчера, ни позавчера старика с этим оберстом люфтваффе не соединили: «Энтшульдиген, майн герр, занят». Секретарь — он и есть секретарь: змей, нелюдь, одним словом.

— А что ж ты не спрашиваешь меня?— внезапно рассердился Скоропадский.— Чего не пытаешь: почему, мол, похожи писатель с политиком? Только вроде тарана я вам всем нужен, как генерал на свадьбе...

— Гетман, зря вы гневаетесь, право слово — время дорого.

— А я про что думал, когда начинал разговор? Не об этом, что ль? Об том же, милый. Я вон свои фотографии посмотрел, когда мо-

[1] ОКВ — Верховное командование вермахта.

[2] ОУН — Организация украинских националистов.

лодой был,— мурло и есть мурло. Ей-ей. Хавало. Ле пти кабан. А время эк пообтерло! Время и враги. Сейчас гляжу на себя и диву даюсь: благообразен до неприличия. Горилку пить нельзя, дамы интересуют только в роли массажисток, вот и остается одно — думать. А разве у писателя не так же? Если какой выживет до старости, тогда только и станет делу служить, а не себе самому.— Гетман приблизил свое породистое лицо, выбритое до кремового глянца, к Омельченко и неожиданно перешел на хриплый шепот:— А герингoвский секретарь молод. Молодой он, на него надежды нет, ему еще конец не видится. А каково мне унижения терпеть от него? Мне, Скоропадскому?! Раньше-то, знаешь...

Скоропадский оборвал себя, потому что он хотел сказать о старом канцлере, о Гинденбурге, который принимал его и завещал внимание к гетману, рассчитывая впоследствии использовать, и бонзы Геринга поначалу бывали в доме Скоропадского, но потом, чем больше побед одерживал рейх, тем надменнее делались оберсты и генералы, тем снисходительнее они были к гетману. Сначала Скоропадский думал, что это неосознанно в них, но потом ему показалось, что именно таким образом все эти мальчики в погонах хотят провести границу, перейти которую невозможно, ибо снисходительность пострашнее вражды и любой интриги, поскольку в ней обиднее всего сокрыто понимание твоей ненужности.

Вчера, после очередного звонка в приемную рейхсмаршала, Скоропадский неожиданно похолодел, испытав острый приступ ужаса. Он точно разделял свои чувствования: страх он познал в молодости, он теперь ничего уж не боялся — годы не те; страшатся только молодые и несостоявшиеся. Ужас — это категория другая, старческая, в ней есть нечто от бездны, от безответности: «Помру, а что потом? Тьма и безмолвие?» Именно размышления о конце, который неумолимо приближался, были связаны в представлении Скоропадского с ужасом. Он вчера не сразу понял, отчего холодный ужас родился в нем, но потом, поняв, трясущимся пальцем («Завтра же к невропатологу,— машинально решил он,— в старости безо всего можно жить, только без здоровья нельзя») набрал номер Канариса и попросил аудиенции. Тот справился о здоровье, поинтересовался, по-прежнему ли гетман выдерживает пять сетов на корте, но принять старика отказался, сославшись на чрезмерную занятость и предстоявший вскоре вылет «по делам».

Скоропадский долго сидел у аппарата с закрытыми глазами, а потом вызвал машину и поехал в РСХА. После двух часов унизительного ожидания его принял Шелленберг.

— Генерал, бога ради, откройте правду,— попросил Скоропадский, отказавшись от предложенного кофе.— Данила поехал по Европе с вашей санкции?

— Мы не даем санкций,— улыбнулся Шелленберг.— Мы даем рекомендации. Санкции дает аппарат партии.

Скоропадский испытал жалость к себе, ощутив (а особенно остро ощущают только безвозвратно утерянное) молодость этого самого юного, тридцатилетнего генерала СС, и свою одинокую старость, и свою былую молодость, которая всегда жестока к старикам,— и смежил веки, словно бы не удержав налитой их тяжести.

— Вы в ссоре с сыном,— скорее утверждающе, чем спрашивая, сказал Шелленберг.— Иначе Данила, как добрый сын, успокоил бы вас: он поехал, учитывая интересы не только вашего националистического движения, но и тех, кто вас традиционно поддерживает.

«Значит, не всегда жестока молодость,— облегченно вздохнул Скоропадский,— зря я так о нем сразу. Понял отца, успокоил».

Вчерашний ужас он испытал оттого, что, получив вторичный отказ от секретаря Геринга, подумал: а вдруг сын Данила, разругавшийся почти со всеми прежними друзьями, решил поменять курс? Зря в Лондон, Мадрид и Вашингтон не собираются... Такое не скроешь, да и «друзья» не дадут скрыть: всякие там Красновы, Бискупские, Граббе не преминули бы немедленно простучать по знакомым адресам. Они все от зависти стаканы грызут, им всем приходится просить у здешней власти, и лишь он, гетман, ничего ни у кого поначалу не просил, потому что вывез после революции из Киева икон, золота и картин музейных на три миллиона марок. «Я борец за белую идею,— часто говаривал он,— а те — наймиты, те — служат!»

«Что ж я себе-то эдак лгу?» — изумленно подумал Скоропадский, вспомнив давние свои слова, и изумился этой неожиданной мысли; а может быть, не столько он мысли этой изумился, сколько тому, что поймал себя на лжи: раньше он жил отдельно от лжи, пропуская ее мимо, не фиксируя на ней внимания, принимая ложь как некую объяснимую и понятную необходимость; и лишь сейчас, испытав ужас, а после облегчение, и легкость, и слезливую любовь к бешеному норовом сыну, он понял, что все эти долгие годы, с девятнадцатого, когда ему еще и пятидесяти не было, до нынешнего, когда стукнул восьмой уже десяток, он постоянно лгал себе, осознанно лгал. Он понял, что чаще всего эта мысль о лжи приходила к нему на теннисном корте, на охоте или утром, после ночи, проведенной с какой-нибудь здешней аристократкой. Но тогда он пропускал эту мысль мимо, потому что днем начинались дела: он консультировал гестапо, помогал абверу, проектировал для Розенберга, выступал на антикоммунистических митингах, он был «гетманом самостийной Украины, попранной большевиками». Однако по прошествии нескольких лет, а особенно когда погиб Петлюра (и он ощутил мстительную радость и устрашился этой своей радости, ибо погиб не просто враг его личный, а все же союзник против Советов, и он понял всю мелкость своей мстительной радости, и это испугало его и потрясло), он вдруг признался себе, что никакой он не гетман и что гетманство его зависит от тех, кому это выгодно в Европе, и определяется расстановкой сил в здешних парламентах, рассматривающих его как фишку, которую можно двигать как хочешь, а нет нужды — сбросить на пол.

(Царский генерал, говоривший по-украински с акцентом, Скоропадский, представляя интересы украинских магнатов-землевладельцев, использовался поначалу петербургским двором как некая декоративная фигура от помещичье-кулацкой Малороссии; он понимал это и не претендовал на свою линию — он исполнял то, что ему предписывали сверху. Однако здесь, в эмиграции, он с первых дней подчеркивал свою гетманскую особость и негодовал на себя, багровея, когда забывался, и начинал в кругу друзей говорить по-русски: Берлину нужна была, как некогда Санкт-Петербургу, сановитая «украинская» фигура— выскочки от политики нуждаются в титулованных, это льстит их самолюбию.)

Скоропадский запрещал себе думать про то, что он, именно он, гетман Скоропадский, виновен в гибели Петлюры. Он-то знал, как все делается. Он тому еврею, который Симона пристрелил, нагана в руки не совал, в глаза его не видел, а попался б в доброе время — запорол нагайками. Нет, убил он Петлюру иначе, убил, разрешив печатать про него правду; разрешил, рассказав о зверствах Петлюры в том кругу, откуда идут каналы к прессе. Он бы мог защитить Петлюру в прессе — какникак гетман должен быть выше всех добротою, должен уметь прощать,— но он хранил молчание, а когда разные юркие говорили, что Петлюра позорит самостийное движение, Скоропадский не возражал, как следовало бы, а вздыхал и сокрушенно разводил руками.

Впервые после долгих лет мстительной радости Скоропадский испуганно подумал слитно о себе, о Петлюре, сгнившем уже в жирной и сырой парижской земле, о своих немецких хозяевах и покровителях. Когда-то Гитлер, Гиммлер и Геринг расстреляли своих ближайших друзей — Эрнста Рэма и Штрассера, а адъютант Рэма дневал и ночевал у Скоропадского, и гетман гордился этой дружбой. Узнав о расстреле Рэма, гетман, хватив для храбрости стопку водки, отправился к секретарю рейхсмаршала.

Тот сказал сухо, подчеркнуто сухо:

— Борьба есть борьба.

А давеча, у Шелленберга, когда ужас ушел, но появилась гнетущая усталость, Скоропадский потерял контроль над собой, сказав:

— Я решил было, что помощник рейхсмаршала не хочет говорить со мной из-за Данилы,— два раза к нему звонил. Я было подумал, что Данила решил в самостоятельность поиграть...

— Ну, мы бы ему этого не посоветовали,— заметил Шелленберг и добавил, ожесточившись чему-то:— Не дали бы мы ему, гетман. Так что спокойно звоните секретарю рейхсмаршала: у нас сейчас много дел, поэтому вам приходится так долго ждать.

«Что ж ты мне о делах правду не говоришь, милый?— подумал Скоропадский.— Об этих ваших делах Бандера с Мельником знают, а гетман вроде бы лишний?!»

...Омельченко снова посмотрел на телефонный аппарат, и Скоропадский послушно набрал номер, опять-таки объяснив себе, что сделал он это, вспомнив вчерашние слова Шелленберга о «делах». Он подумал, что все человеческие деяния и мысли подобны той игрушке из теста, что пекли в доме деда на сочельник для детей,— нанизанные на палочку кружочки из сдобного теста.

«Все одно за другое цепляется, одно другим порождается,— подумал гетман,— потому в монахи и уходят, что устают от пустой суеты. Когда один, и стены белые, и общение с другими — в молитве или за молчаливой трапезой,— тогда только и будет спокойствие и мысль».

— Здесь гетман Скоропадский,— сказал он, откашлявшись в трубку и досадуя на себя за это: грохочет ведь в ухе маршальского секретаря.

— Я помню о вас,— ответил секретарь иным, как показалось Скоропадскому, голосом.— Я приму вас завтра в девять часов вечера в Каринхалле.

«Вот ведь как машина у них работает,— враз забыв вчерашнее, свои обиды и страхи, подумал Скоропадский.— Шелленберг — Гиммлеру, тот — Герингу, вот и у секретаря мед в голосе».

Будучи человеком маленьким, Скоропадский ошибался, поскольку в своих умопостроениях он исходил из преклонения перед большим. Являясь хоть именитым, но эмигрантом, он не мог понять структуру государства, предоставившего ему убежище, и относился к этому государству как к некоему фетишу, абсолюту. Шелленберг ни о чем не говорил с Гиммлером, ибо не имел права информировать рейхсфюрера до тех пор, пока не посетит своего непосредственного шефа, руководителя РСХА Гейдриха. Гиммлер, следовательно, не мог беседовать о Скоропадском с рейхсмаршалом да и не знал его имени толком: слишком мал и незаметен для него был этот эмигрант в эполетах.

Все было и сложнее и проще. Ведомства Геринга, отвечавшие в предстоящей кампании не только за авиацию, но и за экономику рейха, внимательно анализировали разногласия, возникшие между аппаратом Розенберга, уже утвержденным рейхсминистром Восточных территорий, офицерами Гиммлера, которым фюрер отдал всю полицейскую власть в будущих имперских колониях, и канцеляристами Бормана, которые имели право назначать партийных гауляйтеров на «новых землях».

До вчерашнего дня Скоропадский не интересовал ведомство Геринга: как никто другой, помощник Геринга знал позицию своего шефа — ни о каких вассальных славянских государствах не может быть и речи. В то же время разведке люфтваффе было известно, что абвер тренирует особый батальон «Нахтигаль», составленный из оуновцев. Канариса в этом поддерживали чиновники Розенберга. РСХА, Гейдрих, наоборот, считал эту затею ненужной: зачем «мараться с недочеловеками»? Помощник Геринга поэтому решил пригласить Скоропадского для беседы — какой-никакой, а все же украинец. Люфтваффе нужно было принять решение для того, чтобы занять позицию, единственно верную в глазах фюрера. Насколько полезной эта позиция могла стать для интересов рейха, его, как, впрочем, всех в гитлеровском государстве, не очень-то заботило: нацистский режим предполагал примат персональной преданности фюреру и его идеям — все остальное вторично.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

...А вот Канарис не случайно уклонился от встречи с гетманом, ибо он относился к числу тех, для кого судьба Великой Германской империи стояла куда выше судьбы параноика Шикльгрубера, спрятавшегося под сомнительным — с точки зрения его же расовой теории — псевдонимом «Гитлер».

Будучи разведчиком серьезным, Канарис отличался расчетливой жестокостью, гибкой мягкостью, чисто женской впечатлительностью, поразительной по своему коварству хитростью и сентиментальностью. Столь противоречивые качества, приложимые к понятию «разведчик», кажутся невозможными, слишком уж диаметрально противоположными лишь людям непосвященным. Обращая за рубежом в лоно «друзей империи» тех, кому стратегия национал-социализма уготовила судьбу страшную, Канарис ясно представлял себе будущее людей, которых он патетически называл «моими верными помощниками». Он понимал, что люди эти, сослужив службу его делу, затем уйдут из игры («Двум тузам,— говаривал Канарис,— третья карта мешает»), будут изолированы (в лучшем случае), но, зная механику нацистского государства, которое жило по законам банды: «Не оставляй свидетелей»,— он понимал, что скорее всего «верные помощники» будут ликвидированы гестапо. Поэтому, привлекая к сотрудничеству того или иного человека за границами рейха, Канарис старался делать для него все, что мог. Конечно же, смешно утверждать, что лишь внутренняя мягкость, способная моментально приспособиться к собеседнику, обтечь его, женская впечатлительность, позволявшая чувствовать слово контрагента за мгновение до того, как оно было произнесено, сентиментальность, жестокость, резкость, ум — смешно, конечно же, утверждать, что именно эти качества сделали его руководителем имперской военной разведки. Всякий человек — если только судьба уготовила ему призвание, и он смог ощутить это свое призвание, и подчинить ему себя без остатка, навечно, словно балерина или пианист,— обязан быть человеком стержневой, основополагающей идеи. Только в том случае инструменты, то есть мягкость, жестокость, юмор, доброта, хладнокровие, окажутся необходимыми в деле, которому человек призван служить.

Идеей, потребовавшей от адмирала Канариса развития заложенных в нем качеств, была идея расовая, идея агрессивная, великогерманская. В отличие от Гитлера адмирал не был зоологическим расистом; он без содрогания садился за стол со славянином, евреем, латинянином. В отличие от Гитлера, одержимого маниакальной идеей ненависти к евреям, славянам, французам, Канарис строил свою концепцию иначе. Он, как и Бисмарк, полагал, что Германия должна стать главной, определяющей силой Европы. Он, как и Гитлер, считал, что жизненное пространство ограничивает развитие великой германской нации. Он согласился служить Гитлеру потому лишь, что тот указал немцам путь на Восток. Поклонник Бисмарка, адмирал, казалось бы, отступничал, ибо железный канцлер завещал Германии дружбу с Россией. Но Гитлер призвал к походу на Восток качественно новый, на Россию, ставшую коммунистической, и, таким образом, Канарис свято верил, что служил он никак не Гитлеру, но лишь современной европейской идее, которую тот — по нелепой, но весьма распространенной в истории случайности — выражал устремленнее, жестче и бескомпромиссней, чем все другие лидеры.

Канарис вдохновенно работал против Австрии и Чехословакии, полагая, что возвращение в лоно империи этих «исконно германских территорий» угодно провидению. Он был — в определенной мере — согласен с Гитлером в планах удара по Варшаве, и его агентура держала там руку на всех важнейших «кнопках» в президентском дворце «Бельведер», особенно после того, как умер Пилсудский и на смену ему пришли политиканы с французскими амбициями. К Пилсудскому адмирал относился с чувством обостренного интереса: социалист, судимый царскими жандармами, ставший впоследствии ярым националистом, антисоветчиком, польский маршал поначалу казался Канарису человеком, с которым можно договориться о совместных акциях против России. Однако, натолкнувшись на непримиримую позицию фюрера: «Никаких дел со славянами, даже с такими, как Пилсудский!» — Канарис вынужден был оставить свой план.

Но когда Канарис узнал со всей точностью, что Англия и Франция объявят войну рейху в случае военного вторжения в Польшу, когда он доказал, что Берлину не удастся разбить единство Парижа и Лондона, часть военных, причем часть незначительная, «бисмарковская», поняла, что Гитлер толкает нацию к краху: война на два фронта—безумие, которое ввергнет немцев в катастрофу более страшную, чем версальская. Именно тогда Канарис обсудил со своими друзьями, крупными прусскими юнкерами, земельными магнатами, вопрос о смещении фюрера. Он был готов к этому. Его представители вступили в контакт с Лондоном. Однако заговор не удался: старые генералы слишком долго думали о последствиях перед тем, как предпринять решающий шаг, хотя, казалось бы, об этом больше всех нужно думать молодым, а не старым. Но — и в этом парадокс политики — именно молодые опасны, именно молодые не думают о последствиях, именно молодые ищут максимума, не довольствуясь вполне достаточной нормой, ставя на карту не что-нибудь — жизнь.

Впрочем, жизнь у друзей Канариса была такова, что за нее надо было сражаться — под знаменами Гитлера, когда он следовал научной доктрине Клаузевица-Мольтке, и без Гитлера, если он изменял букве этой доктрины.

Друзьям Канариса, прусским юнкерам, было что защищать: сотни гектаров пашен и лесов принадлежали этим людям; замки, охотничьи домики с каминами и мраморными бассейнами; миллионные счета в банках рейха, Швейцарии, Испании; акции в крупповских, геринговских и мессершмиттовских «концернах смерти».

...После того, как заговор, ставивший своей целью сохранить имеющееся, не удался, а войска Польши были сломлены в течение первых семи дней, Канарис ощутил страх: вдруг Гитлер узнает о его контактах с Лондоном? Самое действенное средство против страха — работа. Его работа, работа шефа военной разведки империи, служит фюреру, а интересы Гитлера и нации — как это ни ужасно — сделались неразделимыми в дни побед.

После разгрома Франции, Норвегии, Югославии и Греции Канарис должен был наново проанализировать самого себя, свою позицию на будущее, ибо он хотел не просто служить, а творить стратегию военной разведки Великой Германии. Естественно, он бы исполнял предписанное, не правь империей Шикльгрубер. Он бы с радостью выполнял указания Людендорфа или Гинденбурга: военный, шовинист, антикоммунист, он радовался возможности подчиниться приказу, хотя и признавался себе, что те капли греческой крови, которые были заложены в нем, мешали ему до конца счастливо ощущать себя «настоящим» немцем; «скепсис» — слово греческое, и оно жило в нем постоянно, словно его второе «я».

Когда Балканы, Норвегия, Польша, вся Западная Европа были разгромлены, Канарис ощутил высокое одиночество Великой Германии на поверженном континенте. Это ощущение одиночества было могучим, вагнеровским, ницшеанским, победным, но—одновременно—тревожным, чреватым ожиданием главного.

Канарис понимал, что главное еще предстоит. Англия при поддержке Америки противостояла рейху открыто, находясь с ним в состоянии войны. Россия, разбитая на квадраты, исследовалась офицерами генерального штаба как объект удара. Канарис все время повторял: «Сначала повергнуть большевистского колосса, а потом продиктовать условия мира Лондону». Переход из «врагов» в «друзья» логичен, объясним и целесообразен: британец Шекспир лучше всех других показал это на примере семейств Монтекки и Капулетти. Поражение России заставило бы британцев согласиться с очевидностью: немецкое превосходство таково, что для судеб мира разумнее соблюсти «баланс сил»: континентальной — великогерманской и островной — великосаксонской. Канарис понимал, что мировое владычество невозможно. Национальный примат вероятен только на континенте — и то лишь в том случае, если удерживать этот примат разумными способами, а отнюдь не такими, которые предлагает Гиммлер. Лишь опора на верных людей, считал Канарис, может обеспечить торжество великогерманской идеи; лишь поддержка коллаборационистов типа Павелича, Лаваля, Хорти, Дегреля, Квислинга, Тисо, Недича, Антонеску, Филова может гарантировать длительное и процветающее германское владычество. Институты «генерал-губернаторов» и «протекторов» типа Франка и Зейсс-Инкварта неминуемо должны вызвать взрыв протеста со стороны наций, открыто называемых «свиньями», «недочеловеками», «неполноценными тварями».

Как разведчик агрессивного, далекого

Продолжение. См. «Огонек» № 37.

плана, Канарис знал: говорить человеку, любому человеку, в глаза то, что ты о нем думаешь, неразумно, недипломатично, бесперспективно. Человеку надо говорить лишь то, что он хочет услышать. Человеческий слух, как и зрение да в общем-то и мысль, выборочен и целенаправлен. Когда человеку хорошо, его глаз и слух фиксируют приятное, исключая все то, что не соответствует его состоянию. В то же время, когда ему плохо, человек чаще обращает внимание на то горькое, униженное и оскорбленное, что окружает его, но в иное время им не замечается.

Во имя торжества идей Великой Германии следовало, считал Канарис, «обрекать» националистических лидеров на постоянно хорошее настроение. Он верил, что политику творят личности; именно личность, «ввергнутая» в постоянное наслаждение, подобна пластилину — она поддается лепке. И в протекторате и в генерал-губернаторстве, верил Канарис, можно найти или создать такие национальные силы, которые сами будут проводить политику, угодную Германии. Они, эти силы, поставленные в условия земного рая, окажутся теми волшебными флейтистами, которые сами заведут своих крысят-соплеменников в воду.

Гитлер шел к цели, сокрушая все на своем пути, не желая оставлять иллюзий; Канарис хотел иллюзии сохранить — он думал о далеком будущем.

Проводя дни и ночи в совещаниях и инспекционных поездках по районам, прилегающим к русским границам, Канарис благодарил судьбу за то, что фюрер решил сначала ударить по Советам. Год, который надо будет отдать кампании на Востоке, позволит Англии сделаться неприступным бастионом. Две равнозначные силы — Берлин и Лондон — неминуемо утвердят статус-кво в этом мире, и священная для каждого немца великогерманская идея Бисмарка сделается фактом истории. Главное — разгромить Россию. Задачи, которые возникнут после этой эпохальной победы, подчинят себе Гитлера, заставят его следовать за логикой развивающихся событий, а не безумствовать, выдвигая новые задачи, когда не решены главные, отправные. В крайнем случае, если параноик пойдет дальше и не удовольствуется великой победой на континенте, армия скажет свое слово. После победы на Востоке армия станет такой силой, которая будет значительно превосходить силы Гиммлера и Бормана. Тот, кто не захочет считаться с волей солдат — истинных победителей,— будет смещен, изолирован, уничтожен. А сейчас главное — разгромить Россию. Этому следует подчинить все. Это, и только это, решит будущее Великой Германии.

Поэтому-то Канарис и отказался встречаться с гетманом Скоропадским. Он точно знал, «кто есть кто». Он знал о связях гетмана с окружением Геринга; он знал, что Шелленберг отправил сына гетмана как своего агента в Европу и Нью-Йорк для организации подпольных групп украинских националистов, которые должны будут выполнять задания террористически-разведывательного характера против заокеанского колосса. У него, у Канариса, иные планы. Гетман — старый, уставший, а потому опасливый человек. Он может давать советы, но советы его продиктованы о п ы т о м прошлого, тогда как политику надо жить настоящим. Скоропадский сейчас не нужен Канарису. Ему нужны другие люди, не разложившиеся еще в условиях эмиграции, люди, готовые работать с к р о в ь ю, не останавливаясь ни перед чем. Таким человеком адмирал считает Степана Бандеру. Он имеет основание думать, что Бандера сделает все, что ему будет предписано.

...Ничто в рейхе не проходило, не могло и не должно было проходить мимо аппарата Гиммлера.

После беседы со Скоропадским секретарь Геринга решил, что старый гетман отправит в Краков, к Бандере и Мельнику, своего посланца, который затем проинформирует его беспристрастно обо всем, что там увидит. Решение это совпадало с затаенной мечтой Омельченко, директора книжного издательства оуновцев. Омельченко рвался в политику. Он боялся опоздать к пирогу, поэтому он так торопил гетмана.

Но пропуск иностранцу мог выдать только аппарат Гиммлера. Люди СД заинтересовались миссией Омельченко — он подобен лакмусовой бумаге, за ним следует посмотреть. Он поможет СД точнее понять, что же такое ОУН сейчас, в эти дни — в плане реального интереса, проявленного гестапо, а никак не иллюзорного, который позволяли себе иметь Канарис и люди из ведомства Розенберга.

КУРТ ШТРАММ (1)

...Только сначала, в первый день, боль была пронзительной, особенно когда руки зажимали в деревянных колодках, ноги прикручивали ремнями и человек в крахмальном белом халате садился напротив Курта и начинал медленно зажимать в тисках ногти — сначала мизинец, потом безымянный палец, а после указательный.

Когда они проделывали это первый раз, Курт извивался, кричал и мечтал только о том, чтобы поскорее потерять сознание и не видеть, как ноготь постепенно чернеет и как сквозь поры медленно сочится кровь.

Но потом, после первого дня, отсиживаясь в карцере, в темном, подвальном сыром боксе, где нельзя было подняться во весь рост и лечь было нельзя, он понял, что, извиваясь, доставляет радость этому доктору в крахмальном белом халате и эсэсовцам, сидевшим в темноте, за лампой, которая била в глаза жарким, раздирающим веки лучом. Понял он и то, что каждое движение во время пытки усиливает боль, превращая ее в особенно пронзительную и безысходную.

«Все кончено,— понимал Курт отчетливо, и лишь это понимание правды делало его способным думать: в таком положении иллюзии превращают человека в предателя, глупца или безумца.— Теперь для меня все кончено. Жить надо честно, но самое, наверное, важное для человека — это суметь честно уйти, ибо самое большое испытание — это все же не слава, любовь или болезнь, а смерть, именно смерть».

...Курт прижался затылком к холодной стене карцера и ощутил капельки воды, и ему было приятно это ощущение. Ему почудилось, что затылком прижался он к мощному стволу осеннего дуба после ночного дождя, когда лес становится серо-черным, и небо близким, словно утешитель, спустившийся к людям, а капли воды на деревьях медленными, как слезы старух. Весной-то капель быстрая и подобна слезам детей, а у них слезы всегда конец смеха или его начало, нежные, безбольные у них слезы.

«Неверно,— поправил себя Курт.— Мы забываем самих себя. В детстве бывают самые безутешные слезы. Просто с годами детские горести кажутся нам сущими пустяками, и мы не понимаем, как неправы, потому что первая обида, первая боль, первое горе определяют человека на всю жизнь, особенно если обида незаслуженна, боль случайна, а горе необъяснимо. Счастливые дети вырастают более честными и смелыми, чем те, которые росли в горе».

Он заставлял себя не думать о том, что кончилось, и о том, что предстоит: сейчас, или позже, ночью, или завтра, а может, сейчас уже и есть завтра — он ведь не видал света с того момента, как его затолкали в машину после встречи со связником.

«Они не могли взять связника, он из Швейцарии, у него дипломатический паспорт,— в который раз успокаивал себя Курт.— Они могли выслать его, заявить протест, но они не могли его арестовать, как меня, и не могли обыскивать и пытать. Такого еще ни разу не было. А может, я просто не знаю? Нет, я бы знал, Гуго Шульце наверняка сказал бы мне об этом — он связан с гестапо, потому что они охраняют его экономический офис, он поддерживает с ними добрые отношения, он всегда думает о возможном будущем... Снова я говорю глупости. Не говорю,— поправил он себя.— Думаю. Я ведь думаю. Господи,— ужаснулся он,— неужели я все это говорю вслух?! Нет, не может быть. Они, наверное, только и ждут этого. Надо все кончать. Надо, чтобы они рассвирепели. Тогда они скорее забьют меня, и все кончится. В первый день они могли убить меня, когда их было пятеро и когда они повалили меня и били сапогами по ребрам, но я, черт бы меня подрал, невольно защищался, и прятал голову, и прижимал руки к ребрам. Надо было дать себя убить. А я жил иллюзией».

Чтобы заглушить досаду, поднявшуюся в нем, Курт заставил себя переключиться. Он решил поспорить, вспомнив свое безапелляционное: «Счастливые дети вырастают более честными и смелыми».

Он потерся затылком о стену карцера, заставляя себя спорить, чтобы не думать о главном: о том, что г р я д е т.

«Наверное, это будет нечестный спор. Во мне нет желания спорить,— признался он себе.— Но я должен думать о чем угодно, только не о том, о чем они спрашивают. И мне есть о чем думать, потому что когда я сказал про счастливых детей, в самой глубине души думал о себе и восхищался собой, таким счастливым в детстве, таким любимым «паппи» и «мамми», моими нежными, самыми лучшими и самыми красивыми на свете «паппи» и «мамми». А Гуго воспитывался в доме деда, потому что отец его жил в Чили, а мать сошлась с каким-то венгерским помещиком и торчала в Монте-Карло; дед был суров и ни разу не поцеловал мальчика, и запрещал ему играть с детьми поваров, лакеев и шоферов, которые жили в их замке, и заставлял целые дни сидеть с учителями, изучать латынь, древнегреческий, музыку, логику, а за неуспехи наказывал розгами. Но Гуго все же сильнее меня, добрее и смелее. Да, это так. Потому что я чувствовал весь идиотизм происходящего в Германии после смерти Гинденбурга, я только чувствовал и ни с кем не решался поговорить об этом, а Гуго не побоялся сказать мне, что время пассивного сопротивления прошло, да и пассивное сопротивление не сопротивление вовсе в условиях нацизма, а одна из форм трусливого самооправдания».

...Его вытащили на допрос ночью — он определил это по сонным лицам тюремщиков. Курта втолкнули в камеру, и на него сразу же обрушился град ударов: гестаповцев сейчас было не пятеро, как в первый день, а семь человек.

«А я еще любил цифру «семь»,— успел подумать Курт и заставил себя стать человеком, который отринул иллюзии, а не животным, инстинктивно защищающимся от ударов.

Сначала он ощущал тупую боль, значительно более легкую, чем ту, когда металл входит в кожу, отделяя ногти от голубоватого, нежного мяса, а потом еще больше расслабился и начал молиться: «Только бы скорее. Господи, я не предам, я ни за что не предам, но только пусть то, что должно случиться, случится скорей, будь милостив ко мне, господи, я молю тебя о скорой смерти, ни о чем больше, не о жизни ведь...»

Но смерть не пришла: в камеру вбежал седой штандартенфюрер с юным лицом и закричал тонким, визгливым голосом:

— Прекратить свинство!

Курт выплюнул два передних зуба — Ингрид Боден-Граузе говорила, что у него зубы, как у американской актрисы Дины Дурбин, такие же красивые, лопаточками, особенно два передних.

— Сами можете подняться? — спросил штандартенфюрер, когда они остались одни.

Курт попробовал опереться на пол ладонями. Правая ладонь слушалась его, а левая тряслась и была ватной, и он понял, что один из этой семерки наступил ему каблуком на пальцы, и левая рука сейчас неподвластна ему, ибо она лишилась боли.

«Мы живем до тех пор, пока чувствуем боль,— подумал Курт.— Если бы этот седой задержался на полчаса, все бы кончилось».

— Я помогу вам,— сказал штандартенфюрер, взял Курта под мышки и взвалил на металлический стул.— С этим свинством покончено раз и навсегда, Штрамм. Я забрал вас к себе. Сейчас придет доктор, и мы приведем вас в порядок...

«Как это у них называется? — подумал Курт. Он мучительно вспоминал слово, которое говорил ему Гуго.— «Спектакль»? Или «кино»? Нет, не кино. «Кино» — это когда заставляют сидеть, не двигаясь, сутки или двое. «Спектакль» — это когда при тебе насилуют жену. Нет, то, что сейчас будет делать этот седой, у них называется иначе. Как же это у них называется? «Ибсен» — вот как это у них называется. Он сейчас будет поить меня кофе

и угощать бутербродом. Он будет играть роль моего друга, в надежде, что я потянусь к нему: человек, посаженный в зверинец, тянется к человеку, пусть даже тот в форме палача. Ну, играй. Я посмотрю, как вас этому научили».

ОЩУЩЕНИЕ ИЮНЬСКОЙ ДУХОТЫ

На Восточном вокзале Берлина было душно. Раскаленная за день крыша дышала тяжелым жаром. Запахи были странными здесь: Штирлицу казалось, что вот-вот должно шипуче пахну́ть молоденьким шашлычком, как тридцать лет назад, на ростовском перроне, когда они с отцом ездили лечиться в Евпаторию — у мальчика начинался ревматизм. Там продавали нанизанные на плохо оструганные деревянные палочки маленькие шашлыки, шипучие, мягкие, обжаренные на угольях до такой степени, что мясо вроде бы и с сыринкой, но в то же время пропеченное, пахучее, сочное, аж каплет сало бурыми пятнами на мостовую; в этом, казалось тогда десятилетнему мальчику, и есть проявление человеческой да и всякой иной на земле случайности: почему капнуло именно здесь, а не рядом?

(Пятно от шашлыка на мостовой, постепенно исчезающее под палящими лучами июньского солнца; бранчливые пассажиры, берлинский вокзал, июнь сорок первого, обостренное, тревожное желание жить, чтобы быть нужным.)

Штирлиц посмотрел на часы: до отхода поезда на Бреслау осталось десять минут, а его спутников — директора украинского издательства Омельченко с женой — до сих пор не было.

Позавчера Штирлица вызвал Шелленберг — он теперь сидел в новом кабинете, получив погоны бригадефюрера: в стол были вмонтированы два пулемета, сигнализация связывала шефа политической разведки со специальной комнатой охраны, где круглосуточно дежурили пять унтершарфюреров СС, в столе же (делали на заказ в Голландии) была встроена аппаратура записи и фотографирования. Шелленберг, скрывая горделивую значительность, продемонстрировал Штирлицу стол, который, как он заметил, «фиксирует мое новое качество в иерархической лестнице охраны порядка рейха».

— Вы поедете в Краков с одним из оуновцев,— сказал Шелленберг.— Омельченко, издатель и конспиратор, довольно смешная личность, с потугами на европейское мышление. Он близок к гетману Скоропадскому.

— Я, признаться, слаб в славянской проблеме,— заметил Штирлиц.— После Югославии, впрочем, я убедился, что проблема эта занятна, ибо она сконструирована так ловко, что трудно определить грань между национальной болью и европейской политикой.

Шелленберг закурил:

— Вот я и предоставлю вам возможность уяснить существо вопроса. Выезд назначен на конец недели, так что у вас есть время. Сначала вы встретитесь с генералом Бискупским, он у нас отвечает за русские дела. Потом повстречайтесь с гетманом Скоропадским. Материалы на Бандеру я запрошу в абвере, формуляр на него достаточно интересен — адмирал знакомил меня с этим формуляром. Я порой жалею, что лишен литературного дара: сюжеты разведки родили Бомарше и Мериме — блистательная беллетристика.

— Литература,— уточнил Штирлиц и, вопросительно посмотрев на пепельницу, перевел взгляд на бригадефюрера.

— Да, да, курите, пожалуйста,— поняв его, сказал Шелленберг.— Хотите мой «кэмл»?

— Благодарю, я лучше буду продолжать смолить мое «каро».

— Вы умеете загонять массу оттенков в фразу, Штирлиц. Вы говорите так, как должен писать помощник лидера — с тремя смыслами, упрятанными в два слова.

— Благодарю.

— Напрасно благодарите. Вы ведь не помощник лидера.

— Кто знает, кем вы станете через десять лет.

— Штирлиц, не провоцируйте меня. И через десять лет я буду тем же, кем являюсь сейчас, только с бо́льшим багажом опыта.

Штирлиц потушил спичку и поглядел в глаза шефа: лицо Шелленберга стало маской, непроницаемой маской жестокости и воли, даже аккуратная нижняя челюсть выдвинулась, словно у бригадефюрера внезапно открылся «волчий прикус».

«А ведь хочет в лидеры-то,— мгновенно отметил Штирлиц.— И боится признаться себе в этом. Зря я это брякнул. Политик не прощает то, что открылось другому, особенно тому, кто под ним; равнозначному по величине он тоже не простит, но вида не подаст, хотя должен будет в чем-то уступить, затаив злобу. Урок на будущее: не раскрывайся — старайся раскрыть сам».

Шелленберг попросил секретаря принести кофе, угостил Штирлица ликером «Иззара», подаренным ему испанским военным атташе, начал говорить о скандинавских рунах (излюбленная тема Гиммлера), для того, решил Штирлиц, чтобы не впрямую ответить про «беллетристику и литературу», но внезапно раздался звонок белого телефона — прямой аппарат связи с рейхсфюрером, и Шелленберг, слушая шефа, снова изменился в лице: оно стало мальчишеским, озорным, счастливым — с ямочками на щеках.

Штирлиц поднялся, но в это время пришел помощник Гиммлера и передал Шелленбергу пакет. Шелленберг поблагодарил помощника шефа чересчур экзальтированно, устыдился этой своей экзальтированности, поняв, что ее не мог не заметить Штирлиц, и Штирлиц подумал, что ему надо было бы уйти раньше, как только раздался звонок, но Шелленберг остановил его, словно поняв желание своего сотрудника, и протянул листок лощеной бумаги:

— Ознакомьтесь.

Лицо его было по-прежнему озорным, а ямочки на щеках то появлялись, то исчезали: бригадефюрер, перед тем как принять какое-то важное решение, играл губами, словно старая актриса во время утомительной гимнастики перед зеркалом — чтоб морщинок подольше не было.

Штирлиц положил листок на колени:

«Еще до приезда английского посла в СССР г-на Криппса в Лондон, особенно же после его приезда, в английской и вообще в иностранной печати стали муссироваться слухи о «близости войны между СССР и Германией». По этим слухам: 1) Германия будто бы предъявила СССР претензии территориального и экономического характера, и теперь идут переговоры между Германией и СССР о заключении нового, более тесного соглашения между ними; 2) СССР будто бы отклонил эти претензии, в связи с чем Германия стала сосредоточивать свои войска у границ СССР с целью нападения на СССР; 3) Советский Союз, в свою очередь, стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредоточивает войска у границ последней.

Несмотря на очевидную бессмысленность этих слухов, ответственные круги в Москве сочли необходимым ввиду упорного муссирования этих слухов уполномочить ТАСС заявить, что слухи эти являются неуклюже состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в дальнейшем расширении и развязывании войны.

ТАСС заявляет: что: 1) Германия не предъявляла СССР никаких претензий и не предлагает какого-либо нового, более тесного соглашения, ввиду чего и переговоры на этот предмет не могли иметь места; 2) по данным СССР, Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы, а происходящая в последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям; 3) СССР, как это вытекает из его мирной политики, соблюдал и намерен соблюдать условия советско-германского пакта о ненападении, ввиду чего слухи о том, что СССР готовится к войне с Германией, являются лживыми и провокационными; 4) проводимые сейчас летние сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных и проверку работы железнодорожного аппарата, осуществляемые, как известно, каждый год, ввиду чего изображать эти мероприятия Красной Армии как враждебные Германии по меньшей мере нелепо.

ТАСС».

— Каково? — спросил Шелленберг, угадав тот миг, когда Штирлиц прочитал текст.

Штирлиц кашлянул («Нехорошо я кашлянул, слишком осторожно, нельзя мне так. Мелочь,

конечно, но сейчас мелочей быть не должно»), снова спросил глазами разрешения закурить и сказал:

— Начинаем...

Шелленберг охватил лицо Штирлица медленным взглядом и, словно бы сопротивляясь самому себе, ответил:

— Да.

— Очень скоро,— так же утвердительно сказал Штирлиц.

— Двадцать второго.

— А когда начал Наполеон?

— Вы думаете...

— Я боюсь думать, бригадефюрер. Я боюсь думать вообще, а об этом особенно.

— Канарис считает, что они сильны. Розенберг утверждает, что мы победим, сделав ставку на национальную проблему. Наш с вами шеф убежден, что Советы развалятся сами по себе после первого же удара и всяческие ставки на их внутренние проблемы наивны и нецелесообразны.

— Доказательства?

— Вот вы и представите доказательства, Штирлиц. Создана бригада. Подобная загребской. Только руководить ею будет не Веезенмайер — дипломатам там делать нечего,— а оберштурмбаннфюрер Фохт. Да, да, он уже утвержден,— поймав недоумевающий взгляд Штирлица, быстро, будто бы досадуя на что-то ему одному известное, добавил Шелленберг.— Группу курирует человек Розенберга, и это должно быть понятно вам. Сейчас не время для игр в амбиции.

— Этот Омельченко едет с группой или со мной?

— Омельченко едет с вами. Фохта и Дица, который представляет гестапо, вы встретите в Кракове. Вам предстоит, помогая Фохту и опекая Омельченко, ответить на мои вопросы, Штирлиц. Первое: сколь перспективна линия советников Розенберга во всем этом славянском вопросе? Второе: какова в этом же вопросе истинная линия абвера, конкретно советников Канариса? Это все.

— Бригадефюрер, я позволю высказать свое мнение априори. У красных не будет Квислингов.

— Данные? У вас есть по этому поводу какие-то данные?

— Есть. Их история.

— Историю пишут, Штирлиц. Ее пишут люди. А людей надо создавать. Тогда история будет сделана такой, какой мы хотим ее видеть.

— Я могу познакомиться с материалами?

— Да.

— Благодарю.

— Это все,— закончил Шелленберг.— В остальном я полагаюсь на ваш опыт.

— Мне не совсем понятна главная цель моей работы, бригадефюрер.

— Вы познакомитесь с материалами, поговорите с лидерами националистов из ОУН, повстречаетесь с коллегами.— На этом слове Шелленберг сделал ударение, явно намекая на Фохта и Дица, которые представляли иные ведомственные интересы, не совпадавшие с интересами его, Шелленберга, организации.— Думаю, вам станет многое понятно. Если запутаетесь и не сможете принять решение — что ж, в этом случае сноситесь со мной.

«Центр.

По словам моего шефа, начало войны назначено на 22 июня.

Командирован в Краков для беседы с «фюрером» ОУН-Б Степаном Бандерой. Просмотрел материалы, собранные на него. Судя по досье, Бандера является уголовным элементом, претенциозно вещающим «от имени нации». Все данные о его уголовно-террористическом прошлом могут позволить — в случае целесообразности — отдать его под суд за грабежи, налеты на инкассаторов, шантажи, выполнявшиеся, впрочем, по приказу отсюда, из Берлина. Фигура эта — по ознакомлении с материалами гестапо —«сделанная», произносящая слова выученные, заложенные в него здешними инструкторами. Сейчас, из материалов гестапо, видно, что Бандера предпринимает все возможное, чтобы о нем узнали фюреры рейха. Он выдвигает какие-то планы, отношение к которым здесь весьма юмористичное. Однако тут считают, что Бандеру следует продолжать субсидировать, ибо он готов на выполнение любого задания, не остановится ни перед чем. Ему принадлежит фраза: «Наша организация должна быть страшной, как и наша оуновская власть». Его окружение весьма слабо: как правило, дети сельских священников и мелких буржуа, они малограмотны и совершенно лишены какой-либо мало-мальски привлекательной социальной идеи. Сильны они в одном лишь — живут по законам мафии и не остановятся ни перед чем в стремлении получить землю, посты, деньги. (Бывший главарь ОУН Коновалец и нынешний его преемник Мельник гордятся тем, что были офицерами австро-венгерской армии, связаны с миллионером Федаком родственными связями, играют в аристократизм. Бандера лишен прошлого — оно у него преступно, уголовно, кроваво,— он, видимо, будет сражаться за свой «кусок пирога» особенно яростно; что касается демагогических лозунгов, то над этим, видимо, работают здесь, в Берлине, его непосредственные руководители, которым он подчиняется беспрекословно.)

В последние дни имел встречи с начальником управления по делам русской эмиграции в Берлине генералом Бискупским Василием Викторовичем. Встречи эти подтвердили факт приближения агрессии.

Центр всей работы с русскими фашистами сейчас перенесен в генерал-губернаторство. Шеф варшавского филиала — бывший начальник контрразведки Деникина журналист Сергей Войцеховский, брат которого застрелил советского торгпреда в Варшаве Лазарева. Его связник по линии гестапо — Борис Софронович Коверда, убийца Войкова. Войцеховский, ранее связанный с разведкой польгенштаба, сейчас передал всю свою агентуру гестапо. Второй центр находится также в Варшаве — Пшескок, 4. Это «Русский фашистский союз». Шеф — Владимир Шелехов. Руководитель «Народно-трудового союза нового поколения» Вюрглер работал до войны в японском посольстве, сейчас на прямой связи с абвером. Лидер РОВС генерал Ерогин ведет переговоры об открытии школы для будущих русских офицеров. Бискупский сказал также, что он курирует русские организации в протекторате Чехии и Богемии и в Словакии. Из тамошних организаций он выделяет РНСД —«Русское национальное и социальное движение», связанное непосредственно с НСДАП, считающееся русской референтурой Бормана. В главных — Владимир Леонтьевич Кузнецов. Так же силен, по словам Бискупского, «Профессиональный союз инженеров и техников» во главе с Запорожцевым Николаем Семеновичем. Бискупский ознакомил меня с речью Запорожцева: «Германия уже сейчас готова принять колониальное хозяйство — она имеет колонистов, полицейский и административный аппарат, знающий положение на местах. Наша задача — провести немедленный опрос всей эмиграции: кто и куда хочет вернуться. Необходимо срочно выучить советскую терминологию, ибо нам предстоит быть посредниками между колонистами и массой населения». По словам Бискупского, очень силен «Общеказачий союз» во главе с Василием Тимофеевичем Васильевым и «Вольное казачество» во главе с Билым и Макаренко. Последнее занимает особую позицию, ибо настаивает на создании Великого Казачьего государства от Кубани до Дона. По словам Бискупского, вместе с войсками в Россию будет отправлено более двадцати тысяч человек — для работы в бургомистратах.

После исследования вопроса о русской фашистской эмиграции возвращаюсь к оуновцам: по поручению Шелленберга я встретился с референтом иностранного отдела НСДАП Эгоном фон Лоренцом. Инструктируя меня по поводу Бандеры, Мельника и прочих, по его словам, «уголовников и проходимцев, проходных пешек нашего шахматного гамбита», он сказал следующее: «Идея государственности, которой одержимы костоломы из ОУН, позволяет нам играть перспективно, всячески потворствуя националистам, разрешая им — на каком-то этапе — надеяться на то, что они — в случае столкновения с Советами — эту свою государственность получат. Естественно, мы с вами отдаем себе отчет в том, что ни о какой государственности славян речи быть не может — тем более о независимом украинском государстве: территория от Прута до шахт Донбасса обязана стать и станет землей, принадлежащей немецким колонистам. Однако сейчас необходимо играть на бредовой идее ОУН. Понятно, что никакая националистическая идея, кроме великой расовой идеи фюрера, невозможна в Европе. Однако следует помнить, что марионетки крайне болезненны и ранимы в плане ущемленного честолюбия. Поэтому необходимо внешне соблюдать определенного рода декорум, повторяя Бандере и Мельнику, что мы с пониманием относимся к их предстоящей миссии. Всю работу в Кракове вам предстоит проводить с учетом этого момента: мы выставляем на шахматный стол наши украинские пешки для того, чтобы расплатиться ими, когда придет время, выгодное с точки зрения нашей перспективной политики на Востоке». Лоренц добавил также, что группы ОУН должны быть под абсолютным контролем немецких руководителей, и ни одно их мероприятие не может быть проведено вне и без санкции германских властей. «Это,— добавил он,— альфа и омега наших взаимоотношений с головорезами, которых пока что приходится терпеть».

Связь в Кракове — по обычному методу.

Немедленно сообщите, в каком направлении продолжать работу. Дайте санкцию на действия.

Юстас».

«Юстасу.

Если убеждены в предстоящей войне, сообщите точные данные: главные направления ударов, силы, которые примут в них участие.

Продолжайте сбор информации о националистах. Связь в Кракове получите.

Центр».

Продолжение следует.

Третья карта

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Омельченко оказался человеком плотненьким, маленьким, юрким, постоянно потеющим, с застывшей улыбкой на широком, по-девичьи румяном лице. Жена его была статной, красивой женщиной на том изломе, который обычно наступает к сорока годам — либо хороша будет до горделивой старости, либо вот-вот сделается такой каракатицей, взгляд на которую оставит наиболее прозорливых мужчин холостяками.

— Познакомьтесь, пожалуйста, господин Штирлиц,— улыбаясь еще шире, быстро рассыпал слова Омельченко.— Моя жена Елена.

— Очень приятно.

Елена кивнула головой, и что-то странное, похожее на усталое презрение ко всему, появилось на ее лице.

— Она по-немецки смущается говорить,— суетливо пояснил Омельченко, расплачиваясь с носильщиком,— только по-русски.

— По-русски? — удивился Штирлиц.— Или по-украински?

— Нет, Леночка русская, по рождению русская. По духу, конечно, наша, да и бабка ее, мне думается, была все же не москалькой, а украинкой. Она потому не говорит на украинском, что кажется ей, будто недостаточно хорошо знает. Такой, видите ли, характер: или чтоб все с блеском, или — никак.

— Прекрасный характер,— заметил Штирлиц, предлагая руку Елене, чтобы помочь ей войти в вагон.

В хозяйственном управлении СС места на поезд, следовавший в Краков, были забронированы с соблюдением обязательной субординации: отдельное купе для Штирлица и рядом, тоже отдельное,— для Омельченко с Еленой.

К ужину проводник предложил галеты с жидким кофе — в последнее время выдачу продуктов урезали: начиная с марта на человека выдавали по карточкам два с половиной килограмма хлеба в неделю, полкило мяса и всего двести пятьдесят граммов маргарина.

Елена, однако, постелила салфетки, достала из сумки маленький кусок бело-розового сала, порезала его тонкими ломтиками, красиво разложила это царское угощение на тарелке, и стол сделался иным, домашним, милым.

— Ужин победителей,— не взглянув на Омельченко, а только чуть повернувшись к

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37, 38.

нему, заметила Елена, предлагая мужчинам приступать к еде.

— Не сходи с ума,— по-прежнему улыбаясь, бросил сквозь зубы Омельченко и шумно распахнул свой толстый, свиной кожи портфель.

«Сейчас достанет бутылку,— решил Штирлиц.— Обязательно початую. С хорошо притертой пробкой».

Омельченко действительно достал плоскую бутылочку с пробкой, вырезанной из дерева — носатый черт с красными глазами, который отчаянно-дерзко показывал свой горбатый нос.

— Горилочка,— пояснил Омельченко,— гетманская. Лучше не бывает.

Елена странно усмехнулась, и Штирлиц понял, что Омельченко лжет, что никакая это не гетманская горилка, а обыкновенное берлинское эрзац-пойло.

«Он не из корысти,— подумал Штирлиц,— он лжет для того, чтобы было лучше. Есть люди, которые привирают в малости, но не для собственной выгоды, а во имя общего блага. В таких людях много от детского — ребята ведь врут, как правило, не сознавая лжи, потому что для них игра — продолжение жизни, а вымысел — грань правды».

Шумно чокнувшись, Омельченко выпил, грациозным, чисто женским движением положил кусочек сала на сухую галету и понюхал:

— Мальчишкой был, а все равно помню, как мы дома ели, на Житомирщине, в поместье деда. Разве там эдакие кусочки отрезали? Во,— он показал ладонь,— и не меньше. А цибуля какая, боже ты мой!

— Цибуля? — переспросил Штирлиц.

— Лук. Так мы называем лук. Сладкий, сахаристый, в нос бьет; вкусом — словно патока. А хлеб! Каравай разломят — дух мучной, словно утренний пар поднимается, полем пахнет, озимью, миром.

— Вы настоящий поэт,— сказал Штирлиц, заметив мелькнувшую прежней странной усмешки на лице женщины.

Омельченко, видно, тоже увидел усмешку жены, потому что на какой-то миг замер, будто натолкнувшись на невидимую преграду. Лицо его враз осунулось, стали заметны отеки под глазами и нездоровая припухлость век. Но это было одно лишь мгновение, а потом он снова скрыл себя, заулыбался и начал говорить про то, что никакой он не поэт, а так, издатель, что поэзия — испепеляющее и единственное, а он отдает все свое время борьбе с большевизмом и лишь крохи сэкономленного досуга — рифмоплетству.

— Поэт — категория постоянная, господин Штирлиц, а я — ртутный, меня носит.

— Так ведь, наверное, хорошо, что носит: впечатлений много.

— Когда их слишком много, они начинают убивать самое себя. Это вроде большой кучи конского навоза, которую дурной хозяин долго на поле не вывозит: все должно перегорать в настоящем времени, иначе пропадет.

— А как вам видится будущее? — спросил Штирлиц, и только потому, что, спрашивая, он пристально смотрел на Елену, она не усмехнулась отстраненной своей, умной и горькой усмешкой.

— Когда свершится — сяду за стол,— ответил Омельченко.

— Что свершится?

— Ну... Как же... Я имею в виду освобождение Украины...

— А когда это свершится?

Омельченко рассмеялся слишком уж колокольчато и снова разлил водку по рюмкам.

— О, уж мне эти политики: все знают, а делают вид, будто первый раз слышат.

— Вы имеете в виду начало кампании на Востоке? — спросил Штирлиц, зная, что Омельченко вошел в круг посвященных.

— Ну, конечно! Она,— он кивнул на жену,— если быстро говорить, не понимает, так что можете быть спокойным...

Штирлиц посмотрел на подвижные губы Елены, которые жили своей особой жизнью, словно бы не связанные с ее лицом.

— Вы убеждены в этом? — спросил он.

— Конечно. Чувствовать — как всякий умный человек, да еще к тому женщина — наверняка все чувствует, но говорить можно не опасаясь, что поймет.

— Кто вам, кстати, сказал, что Украина будет освобождена?

— То есть как? — споткнулся Омельченко, даже остановил движение руки — он за галетой тянулся.— Не понял, простите.

— Кто вам сказал об освобождении?

— А что ж с ней будет, как не освобождение?! Уйдут большевики, придем мы.

— Придем мы,— поправил его Штирлиц,— вы будете нас сопровождать.

— Вы им будете служить,— сказала Елена по-русски,— в услужении вы у них.

— Не сходи с ума,— суетливо разливая водку, сказал Омельченко сквозь зубы.

— Русский язык очень трудный,— вздохнул Штирлиц, поднимаясь,— я пытался учить язык фрау Елены, но у меня ничего не вышло. Спокойной ночи. Давайте отдохнем — завтра будет тяжелый день. Спасибо за великолепный ужин.

...Он лежал в своем купе, смотрел на синюю лампочку под потолком, и думал о том, что за перегородкой, где громко говорило неспроста включенное радио, ехал маленький квислинг, которого он, Штирлиц, должен держать при себе и с ним обсуждать проблемы ближайшего будущего, связанные со статутом оккупационного режима на его, Максима Исаева, родине. Иногда все происходящее казалось ему нереальным, невозможным, диким, следствием усталости и разошедшихся нервов, но он обрывал себя, когда кто-то другой начинал в нем так убаюкивающе думать, ибо все происходившее было правдой, и он знал это, как никто другой.

«Я правильно осадил его,— рассуждал Штирлиц, чувствуя, как тело сведено напряжением, как оно ощущает тяжесть простыни, жесткость подушки и клочковатую неровность тонкого волосяного матраца.— Он может жаловаться кому угодно. Я обязан стоять на своем. Я солдат фюрера, а не политикан. А фюрер всегда говорил о завоевании восточных территорий для нужд германского плуга. Восток — это жизненное пространство, необходимое для выведения арийской расы. Славяне в раскладе гитлеровской расовой политики идут после евреев и цыган — неполноценное племя, обреченное на вымирание и частичное онемечивание. Неужели Омельченко не знает про это? Хотя, может, и не знает — не зря здесь издан приказ, запрещающий допуск иностранцев к партийной литературе. Наивно? Черт его знает. В чем-то наивно, но по остзейской, тяжелой и медлительной логике разумно. У несчастного эмигранта своих забот по горло, а тут еще бегай, доставай книгу! Зачем? Информация только тогда опасна, когда она целенаправленна. А так — утонет в ней человек, только пузыри пойдут. Из миллиона — один, кто может понять. Но этот один в картотеке гестапо. Следовательно, этот один — агент. Или сидит в концлагере, если позволяет себе роскошь думать. Третьего не дано. Занятно, что к националистам льнут в первую очередь несостоявшиеся литераторы. Чем это объяснить? Жаждой силы? Желанием приобщиться к политике, которая так богата сильными ощущениями? Или все проще? Считают, что, завоевав место под солнцем, они с немецкой помощью заставят поверить миллионы украинцев в то, что именно их «творчество» гениально?

Радио неожиданно замолчало, видимо, передача закончилась, и Штирлиц явственно услыхал голоса Омельченко и Елены. Перегородки между купе были тонкие, фанерные, поэтому Штирлиц слышал каждое слово. Разговаривали они, видно, давно — для этого и включили радио, но сейчас в пылу спора они не обратили внимания на то, что голос диктора исчез и стало тихо, только колеса перестукивали на стыках.

— У тебя в голове всегда был иной стереотип мужчины,— обиженным, жалостливым голосом, но тем не менее зло и убежденно говорил Омельченко,— тебе нравится молчаливый, сильный, высокий, седой. А у меня шея потная! И тороплюсь вечно! И нечего всё на меня валить! Нечего меня винить в том, что жизни у нас нет!

— Можно подумать, что это я по девкам бегала.

— Ты сама меня толкала к бабам своими подозрениями, ревностью, своими дикими представлениями!

— Но, значит, бегал?

— Да ты вспомни, как в первые же месяцы стала меня ревновать черт те к кому. К какой-то жирной старухе! Это ведь ужас был какой-то, ужас!

— Я очень тебя любила, Тарас.

— Нет. Ты никогда не любила меня. Ты всегда любила свою любовь ко мне. А сейчас чем дальше, тем горше — тебе этой своей любви жаль. Ты жила в другом мире, иначе воспитана была, республиканка при дедушкиных тысячах, а вот пришел хохлацкий разночинец, взбаламутил воду, вскружил голову... Эх, чего там...

— Так ведь не я вскружила тебе голову, Тарас. Не я звала тебя к венцу.

— Поэтому я столько лет и тяну, Лена. Только поэтому.

— А я все эти годы чувствую, как ты несчастен из-за нас. В каждом твоем слове, взгляде, жесте — жалоба на меня, на детей, на всех нас, кого тебе приходится тащить.

— А ты еще и погоняешь. Ты даже не замечаешь, как ты бываешь жестока, Елена. Ты говоришь мне — «брось все»! А что ты будешь есть, если я все брошу?! Чем ты будешь кормить детей?

— Не надо попрекать.

— Как только я обнажаю правду, ты говоришь — «не надо попрекать».

— Бунины живут в нищете, но они чисто живут.

— Ты сможешь жить, как Бунины? Ты ж привыкла кормить детей продуктами с рынка!

— Если ты устраиваешь приемы для своих бандитов, так что же мне, детей лишать того, что вы себе можете позволить?! Я всю твою банду терплю только потому, что могу благодаря этому кормить детей с рынка!

— Господи, ну как можем мы жить вместе, Лена? Я мечтаю о том лишь, чтобы забиться в нору и писать! А ты ведь, верно, думаешь: «Если б хоть писать мог»...

— Не говори за меня.

— Ты всегда за меня говорила. Ты придумывала за меня моих любовниц. Ты всегда стыдилась того, что я пишу. Ты всегда хотела, чтобы я был только издателем. Ты стыдилась меня в доме своих родителей: даже из-за стола уходила, когда я начинал читать стихи...

— Это неправда.

«О чем они, господи? — недоуменно подумал Штирлиц.— Ведь как больные говорят, как тяжело больные... Мир трещит, война начинается страшная, на смерть или жизнь, а они этакую ахинею несут!»

— В самом начале,— продолжал между тем Омельченко,— когда я взбаламутил тебя, когда ты еще не увидала меня в моем доме, в нашей с тобой первой конуре, пока ты не поняла, как мне приходится зарабатывать, ты слушала меня, даже любовалась мной — не думай, у меня тоже память есть, а вот потом, когда мы остались одни и когда я стал в твоих глазах тем, кто я есть, вот тогда...

— А зачем ты говоришь за меня?

— Ничего я не говорю... Не жизнь у нас, а зеленая тина...

— Вот бы в ней и утопиться.

— А не пугай. Хочешь топиться — топись. Я слишком устал, чтобы бояться, Лена. Я только хочу дождаться и сесть писать. Тогда я смогу обеспечить вас, а мне, кроме хлеба — и ты это знаешь,— ничего не надо. Масло и колбаса нужны вам.

— Мне? (Штирлиц почувствовал презрительную усмешку женщины.) Мне хлеба не надо. А колбаса, ты прав, нужна. Твоим детям.

— Ужас какой нас со стороны послушать,— со вздохом сказал Омельченко.— Вот-вот свершится то, о чем я мечтал эти годы, чему отдавал себя, а тут...

— Не я в этом виновата.

— Я?

— Конечно.

— Бессовестный ты человек, Лена.

— Нет, это ты бессовестный человек! Из-за тебя я научилась лгать, окунулась в грязь, чтобы не сходить с ума из-за любви к тебе — клин клином выбивают, из-за тебя я ненавижу себя!

— Это оттого, что забот при мне не ведала.

— Премного вам благодарны! Спаситель-батюшка! Я родила твоих детей, и ты обязан их содержать! Как любой порядочный мужчина.

— А ты обязана принимать меня таким, какой я есть — во имя того, чтобы я содержал их так, как содержу! И не болтать про то, чтобы я «все бросил»! Если я брошу мои дела, ты первая запоешь через полгода! «Бросать» можно дантисту — он ничем не рискует, да и золота припрятано! А я — политик!

— Политик,— с усталым презрением повторила Елена.— Осточертели мне наши выяснения отношений хуже горькой редьки!

«Больное самолюбие — самая страшная форма деспотизма,— подумал Штирлиц.— Этот «политик» с супружницей бичуют себя двумя плетками. Одна — ощущение собственной малости, вторая — желание стать могучим. Он хочет стать великим политиком и поэтом, она — настоящей матроной, хозяйкой, которая задает тон дому. Нашла кого ревновать! А я обманулся: она показалась мне умненькой. Она ж его действительно ревнует! Ревность — это злодейство в страдательной форме. Только такой злодей особенно несчастен, потому что живет в плену собственных горячечных представлений. А «политик» мучает себя ложным сознанием вины, потому что если бы он смог подняться до понимания вины истинной, он бы освободился, он бы смог тогда все бросить, сесть и писать, если ему действительно есть что писать. Но он мал и слаб, чтобы понять высшую вину... Да и потом, может ли нацист понять вину? Они и сильны тем лишь, что исключили понятие вины из практики взаимных общений. Но мы все равно разобьем их. Мои здешние хозяева говорят о примате расы. В этом их обреченность. Мы говорим о примате идеи. Идеи равенства всех со всеми. Они говорят о будущем господстве. Пойдет за Гитлером пятьдесят миллионов немцев? Нет. Пойдут те, кто может носить автоматы. А это десять миллионов. За ним не пойдут умные немцы; не пойдут поляки, чехи, французы, сербы, норвежцы, потому что они «недочеловеки», они оккупированы. За нами пойдут все те, кого унизили. Значит, количественный перевес за нами. Но в ведении войны Гитлер может показать класс. Удержимся ли? Самое главное — выдержать, выиграть время, ибо оно работает на правду больше, чем на неправду. Это факт. Во временном отдалении люди точнее различают, кто был враг, а кто — друг. Это надо перенести и на общества, которые живут по людским законам — добрым или злым. Но человеку нормальному противно зло, каждый мечтает о добре. В этом — наше спасение. В конечном-то счете время служит добру — с этим не поспоришь. С вандализма ведь начали, как ни крути, с вандализма, и считали его единственно возможным и самым лучшим способом общения. А все ж научились отличать черное от белого. Обидно, правда, что на это пришлось ухлопать пять тысяч лет... Стоп. Спокойной ночи, Штирлиц, пора спать. Завтра мне предстоит не философия, но практика — ОУН».

ЭКСКУРС № 1: «ОУН»

...Исследуя то, с чем ему предстояло столкнуться лицом к лицу, Штирлиц исходил из материалов, которые он собрал за эти июньские дни.

Политика, считал он, начинается с карты.

Если рассматривать Австро-Венгрию как некую историческую «окостенелость», то кабинетный ученый мог бы составить хронологическую таблицу взлетов и падений, причем общая «кривая», даже в моменты наибольшего подъема империи, была бы явно направлена вниз, к упадку. Конгломерат национальностей, связанных лишь честолюбивыми амбициями габсбургской монархии, не мог, естественно, развиваться, ибо развитие предполагает единство интересов значительной части общества.

Если же Австро-Венгрию рассматривать, словно таинственные линии на старой европейской ладони, то не надо быть гадалкой, чтобы прочитать прошлое и объяснить его.

Гигантская держава включала в себя исконные земли Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Украины, Италии, Хорватии, Боснии-Герцеговины, Далмации, Славонии. Монархи Австро-Венгрии тщательно следили за тем, как составлялись географические карты. Цензоры двора обращали особо пристальное внимание на то, чтобы «коронные» земли империи, то есть собственно Австрия, Каринтия, Крайна, Чехия и Моравия, Далмация и Галиция, были закрашены типографами в одинаково розовый, теплый, будуарный цвет. Всякого рода оттенки — в данном конкретном случае — карались немедленно и жестоко. Типографы, понимая, что им нечего больше делать на свете, кроме как печатать, отдавали себе отчет, какой будет их судьба, ошибись они хоть в малой малости — прогонят взашей, и никуда более не пустят. Книгопечатание — заметная профессия и дело имеет не с чем-нибудь, а со словом. Придворные типографы в глубине души кляли свою молодость, когда можно было сделать иной выбор, став лекарем, архитектором, парикмахером на худой конец. Так нет же — потянуло поближе к искусству, будь оно трижды неладно. Прогонят лекаря — так он в другом городе объявится, и снова — лекарь. Не понравится монарху дворец, созданный зодчим, откажут от работы, так ведь можно и не для коронованных особ строить, а для купца или промышленника — всё одно уплатят. А типографу несчастному куда? Он ведь печатал-то, он, а не кто другой! С него и ответ — по единственной и неумолимой строгости закона. Ошибка исключена — речь идет не о чем-либо, а о престиже империи. Поэтому директор монаршей типографии, печатавшей прибыльные карты империи, лично, по нескольку раз проверял состав красок и старался заручиться визой чиновника, близкого к дворцовым кругам. «Коронные» земли должны быть всегда одинакового цвета, чтобы ни у кого — спаси господь! — не могло возникнуть и мысли о чем-нибудь «этаком»...

Воистину политика начинается с карты.

Громадность территорий, втиснутая в типографский лист, манит к себе полководцев, рождает тиранов, подвижников, провокаторов, монархов, трибунов.

Любой человек, мало-мальски знакомый с военным делом, мог понять, отчего Австро-Венгерская монархия была так внимательна к географическим картам: «лоскутная империя», вобравшая в себя земли завоеванные, чужеродные, тщилась тем не менее сохранить амбиции былого величия, уповая на доктрину «агрессии на Восток».

Именно австрийская монархия, испытывавшая брезгливое чувство по отношению к чужеродному славянскому племени украинцев (общественные цели которого никак не могли совпадать с целями развивающейся австрийской буржуазии), уже двести лет назад открыла в Вене духовную семинарию для украинцев, а затем, в конце восемнадцатого века, вскоре после присоединения Галиции, во Львове эта же монархия решила создать при университете кафедры, где преподавание велось на «народном языке».

Расчет Вены был точен. Первые выпускники венской духовной семинарии, обращенные католики, пришли во Львов и организовали особые кафедры. Вновь обращенный обычно куда как более рьяно служит патрону, монарху, идее, чем тот, кому не надо доказывать свою веру и преданность, кто от рождения облечен доверием окружающих, ибо «если отец и дед нашей крови, то отчего он может быть против нас»? А тот, чьи отцы и деды были против, обязаны не словом, но делом показать себя. А что значит «показать себя»? Это значит исчезнуть как личности, раствориться в идее патрона, подчинить себя без остатка служению новому идолу.

Медленно накапливавшийся гнев безземельных, забитых украинских крестьян против помещичьего австрийского насилия венские выпускники осторожно повернули на поляков, таких же славянских чужеродцев монархии. Кровавые схватки на межах, поджоги крестьянами польских шляхетских фольварков — все это ищет суда. И суд приходит — «скорый и праведный». И поляки и украинцы, таким образом, должны осознать, что справедливость к ним может прийти лишь из столицы, из далекой и мудрой Австрии.

Все так бы и шло, но столкновения государственных интересов обычно ищут своего решения вовне, а не внутри. Внутри — это редко, это революция, которая немедленно «обкладывается», подобно берлоге, внешними силами, стремящимися навязать революции свой ход развития.

Все так бы и шло, но родился Наполеон, и прошел он по Европе, и всколыхнулись глубинные воды царств и монархий. Вместо России прежней, неведомой и далекой, появилась Россия иная, вошедшая триумфально в Париж, Россия, заявившая себя спасительницей Европы от узурпатора.

И вот уже ситуация меняется. Польской шляхте даются права; а украинцы в Галиции обязаны учить в школах польский язык; ставка теперь делается на давление «с другой стороны». Из Санкт-Петербурга, естественно, протест: «Галиция — славянская область, православие там было испокон веку». Дошло это до Галиции, прокатились по «коронной земле» пожары, полетели головы поляков — не австрийцев, а тех, кого Габсбурги выдвинули, как щит, перед собой: кидаются-то ведь на очевидное, в этом человек нередко подобен быку на корриде — ему бы, бедолаге, на тореро, а он все красный плащ бодает, зажатый в потной ладони умного мастера кровавого боя.

Петербург пытался продолжать давление. Меттерних с добрым состраданием на рассеянно-улыбчивых губах внимал, как между французскими экспромтами русских послов и обсуждением вокализов несравненной Нейбах в Опера все чаще и чаще затрагивался вопрос о Галиции. Отвечать на это Вена предпочитала не своим языком, но языком соплеменников петербургских послов. Львовский митрополит обратился в Вену с посланием: «Мы, живущие в Галиции, не русские, и язык наш другой, отличный от великорусского».

Таким образом факт открытого противопоставления русского языка украинскому был инспирирован Веной — после тщательного изучения «опытов» Мазепы и Орлика — через выпускников венской духовной семинарии, во имя сохранения интересов Габсбургской монархии.

А после революционных событий 1846 года, когда Вена вновь сменила курс, «поставила» на украинцев, пообещав «холопам» землю за голову каждого бунтаря-шляхтича, семена межславянской вражды надолго проросли кровавым, пышным цветом.

Возможность польско-украинского единения была подорвана, но оставалась тревожившая Вену проблема русско-украинского, антиавстрийского единения.

Дипломатическая миссия Габсбургского двора, аккредитованная в Санкт-Петербурге, зорко наблюдала за всеми процессами, происходившими в России. Развитие великорусского шовинизма находило свое проявление не только в наивных писаниях русофилов. Аппарат жандармского ведомства всей практикой своей ежегодно и ежечасно рождал глухое сопротивление на окраинах громадной империи. Не может быть свободен народ, угнетающий другие народы. Эта великая марксистская формула точнее всего иллюстрировалась той зоологической злобой, с которой царские опричники жестоко и чванливо теснили «ляхов», «хохлов», «татарву», «армяшек» и всяких там прочих «литвинов». Запрещение говорить и учиться на родном языке, русское судопроизводство, руское чиновничество, русская полиция — все это было той почвой, на которой любые семена, подброшенные заботливой рукой иноземного политического «стратега-сеятеля» давали немедленные и быстрые всходы.

В Вене стратеги от политики рассчитали: существование «самостийной» Украины в современной Европе — невозможно. Либо вся она будет в сфере среднеевропейских интересов, являясь составной частью Австро-Венгерской империи, либо останется Украиной, говоря языком официального Санкт-Петербурга, Малороссией. Естественно, в периоды мирного развития истории об отложении Украины от России — под любыми лозунгами — «самостийности», «соборности», «неподлеглости» — речи не могло быть. Но готовить проблему загодя, предвидя возможные конфликты, надо. Необходимо тешить детей

иллюзией взрослости. Пусть на Украине появятся люди, мечтающие о «самостийности» — опыт австрийского владычества в Галиции допускал и такую возможность. Пусть они начнут: дело Вены кончить. А иного окончания, кроме как включения всей Украины в состав монархии, быть не может. Считать иначе было бы непростительной политической глупостью, которая страшнее любого наперед задуманного преступления.

Развитие политических структур подобно бегу стайеров: логика борьбы предполагает смену лидера и ведомого. В начале XX века Вена сдала свои позиции Берлину во всем, хотя дальновидные дипломаты предрекали это еще во время Крымской войны; после разгрома Франции под Седаном Бисмарк вошел в Париж, и величие Австро-Венгрии окончательно сделалось прошлым. И уже в 1903 году священник Галицкий вступил в прямой контакт с Берлином — по линии организации, руководившей тайной борьбой Пруссии против «польского духа». Через десять лет, за год до сараевского выстрела, Берлин, получивший надежные контакты во Львове, предложил венски образованной, прусски сориентированной галицийской агентуре развернуть борьбу против поляков и москалей.

В рядах русской социал-демократии против тирании самодержавия, против «тюрьмы народов» сражались бок о бок с русскими революционерами украинские, польские, грузинские, татарские. Забиваемые в тюрьмах, обреченные на смерть в царских каторгах, большевики были так же опасны Петербургу, как и Берлину, Парижу, Вене. Социальности, классовости надо было противопоставить что-нибудь более знакомое темной массе, облегчающее ей понятие своей общности. А что, как не национализм? И вот уже социалисты, которым «германец платит», становятся тем объектом в националистической пропаганде, что ненавидим даже еще более; ведь победи они, социалисты проклятые,— и конец власти, при которой украинский помещик, еврейский банкир и польский заводчик могли вести через третьих лиц свою сольную партию, внимательно присматриваясь к взмахам дирижерской палочки в Берлине.

Именно на этих венско-прусских дрожжах антисоциализма и национализма власть имущих выросли Петлюра и Скоропадский, столь, казалось бы, несхожие в своих лозунгах, единые в одном лишь — в национализме. Поддерживая в разные периоды разных марионеток одной крови, Берлин оказался преемником венской испытанной политики стравливания славян.

Иллюзии по поводу принадлежности «самостийной» Украины к говорящей на немецком языке Европе кончились, когда свершилась революция; когда земли Скоропадских, Шептицких, Федаков и прочих украинских магнатов были отданы крестьянам; когда заводы и шахты перестали быть собственностью ста семейств, но сделались принадлежностью миллионов; когда освобожденный труд воздвиг Днепрогэс; когда великие ученые Богомолец и Патон совершили открытия мировой значимости; когда Нью-Йорк и Париж, Лондон и Цюрих аплодировали гению Довженко.

Революция выбила козыри из рук тех, кто наивно мечтал о реставрации. Гетман Скоропадский сделался теперь декоративным украшением берлинских салонов. Симон Петлюра обивал пороги варшавских и парижских ведомств, но помощи — реальной, финансовой — получить не мог. Какое-то время казалось, что химерическая ныне идея западноукраинского сепаратизма изжила себя. Однако запасы ископаемых на Украине, подсчитанные экспертами Круппа, Ротшильда и Дюпона, количество посевных площадей и возможные энергетические мощности продиктовали политикам необходимость дальнейшей работы в направлении «использования этого района в интересах всемирного прогресса». Барьер этому «всемирному прогрессу» был очевиден — Советская власть Украины. Пришла пора выдвижения новых идей, которые — внешне — должны принадлежать новым лидерам. Именно это и предстояло изучить Штирлицу, встретившись лицом к лицу с Бандерой и Мельником.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

В это время и появился на политической арене Рико Ярый.

Обер-лейтенант австро-венгерской армии, он был рожден в семье австрийского чиновника, женатого на онемечившейся польке. Австрийский офицер, знавший сызмальства украинский, чешский и венгерский, как свой родной немецкий, Рико Ярый воевал в Италии, отступил вместе с разбитыми частями габсбургской армии, а после недолгой стажировки в генеральном штабе начал организовывать первые кавалерийские части «Украинской Галицийской Армии». После того, как Пилсудский разгромил австрийских галичан, Рико Ярый ушел в Чехословакию. Там, в Закарпатье, кавалерийские части эти были превращены в «рабочие батальоны», которые при более пристальном рассмотрении оказались шпионско-диверсионными объединениями, работавшими и против Советской Украины и против Польши.

Когда кончилась великая монархия Габсбургов, кончилась и не успевшая еще толком начаться карьера Ярого, и обер-лейтенант узнал, что такое нужда, голод и холодная каморка у ворчливых хозяев. Там, в Закарпатье, бывший королевский офицер, занимавшийся организацией диверсионных вылазок, встретил изумительной красоты девушку — дочь местного богатея, корчмаря, главы еврейской общины. Юная Суламифь приняла католичество, взяла немецкое имя, скрыла кровь отца своего и вышла за Ярого. С той поры, меняя хозяев, предавая идеи и принципы, он не изменял одному лишь человеку — своей Суламифи.

В Чехословакии делать было нечего. В Вене пахло плесенью — монархия кончилась, как видно, навсегда. Относясь к числу людей смекалистых и быстрых, Ярый отдавал себе отчет в том, что труп уже не гальванизируешь. В Германии грохотали социальные бури. Громы и молнии метал молодой фюрер национального социализма — Адольф Гитлер, живописец, оратор, фанатик, говоривший открыто в отличие от всех других: «Коммуниста утихомирит только одно — виселица». И Ярый поехал в Мюнхен — надо же откуда-то начинать!

Он доказал свою нужность армии, принимая участие в разгроме коммунистических демонстраций. Он познакомился с Ремом и Штрассером — соратниками фюрера. Он скрывал эти знакомства от армейских командиров: Гитлер был тогда вне закона. Но дальним умом своим он понял, что за этими молодыми людьми будущее, ибо они не смирились. Они открыто требовали пересмотра Версаля и призывали германцев к столь угодному им порядку. А порядок может дать лишь личность. Такой личностью в Мюнхене считался Адольф Гитлер.

Именно тогда Рико Ярый получил задание от молодого националистического движения открыть рейхсверу свое знание славян вообще, а украинцев в частности.

Именно тогда в Германии с ведома и одобрения рейхсвера, при его финансовой помощи была создана «УВО» — «Украинская военная организация». И первым ее командиром был полковник австро-венгерской армии Евгений Коновалец. Коновалец искал силу и деньги. Полковнику силу и деньги дал офицер той же бывшей армии Рико Ярый. Деньги, естественно, были даны не впрямую, не так, как их брезгливо суют мелким агентам. Аккуратно, с соблюдением секретности, через голландские и бельгийские банки, при осторожном посредничестве украинского миллионера Федака деньги рейхсвера пошли в карман Коновальцу.

Парадокс заключался в том, что второе отделение польского генерального штаба — стратегическая разведка Пилсудского — так же поддерживала украинских националистов, действовавших в Польше, рассчитывая обратить их против Советов. Поэтому полиция не мешала появлению ячеек, никого из «бандюков местного значения» — кулаков и поповичей, — не арестовывала, намечая при этом к вербовке наиболее серьезных украинских функционеров.

Пилсудский, однако, забыл притчу о том, как опасно выпускать джинна из бутылки. Он только-только стал лидером нового государства, и вопрос оформления долгосрочной политической концепции оставался для него открытым. Избыточная же антисоветская эмоциональность помешала маршалу серьезно изучить украинскую проблему. А она, как выяснилось, могла быть изучена с двух сторон, учитывая разность европейских интересов.

Стратегический замысел берлинских генералов был понятен. В свое время не вышло с Россией, но появилась Польша, земля, входившая в сферу стратегии «дранг нах остен». С Россией приходилось считаться — политики заключили с Кремлем рапалльский договор, и армия вынуждена была на определенном этапе подчиниться правительству, свернув открытую антисоветскую подготовку. Что ж, армия готова подождать: не умеющий отступать никогда не сможет перейти в наступление. Не вышло пока что с Россией — почему не попробовать с Польшей! И кулаки, поповичи, помещики, банкирские сынки загомонили вдруг о «самостийной и незалежной». О той, где Петлюра и Скоропадский проходились шомполами по спинам украинских крестьян. О той, где украинские белогвардейцы отбирали хлеб и скот для вильгельмовской армии. Люди Коновальца приходили из-за кордона, от «головного провода» (главное руководство) ОУН, приходили (не открывая, естественно, что «головной провод» находился в Берлине и существовал на гитлеровские деньги), говорили о будущем, о том, как придет «самостийная» власть; а уносили эти люди из «края» сведения чисто шпионского характера, которые поначалу обрабатывались Рико Ярым, а потом ложились в сейфы генерального штаба рейхсвера — полулегального, но тем не менее существовавшего.

В тридцатом году, когда Гитлер вышел из подполья и старый маршал Гинденбург начинал все более внимательно присматриваться к ефрейтору, когда пропаганда национал-социалистов открыто призывала к акциям против Востока, когда «Майн кампф», обосновавшая необходимость захвата территорий на Востоке, продавалась в каждом книжном магазине (а боевикам НСДАП раздавалась бесплатно, чтобы с помощью «цитат из великого откровения национал-социализма обращать в новую веру заблудших»), армия приняла наконец решение, которого так ждал Коновалец: хозяева приказали работать. Ставка — террор. И прогремели выстрелы по городам и весям Западной Украины. Молодые оуновцы (были среди них и обманутые крестьяне, но мало их было, единицы), веруя в то, что сражаются они за независимость, начали палить по польским генералам и губернаторам. Пилсудский ответил так, как было спланировано в Берлине,— ввел в Галиции и на всей Западной Украине оккупационный режим, прошелся мечом по украинским селам. Сухой пороховой запал дал пламя на границах с Советами, ситуация в Европе накалилась, а именно это и было нужно нацистам, рвавшимся к власти.

Это же выгодно было и Пилсудскому: развязаны руки — можно вешать и стрелять без суда и следствия, можно карать всех тех, кто был против его военной диктатуры,— поляков-коммунистов в первую очередь.

Однако шеф оуновского руководства в Западной Украине Головинский при встрече с человеком от Коновальца дал понять, что те националисты, которые скрываются в Польше, должны иметь программу на будущее. (А как ее объявишь, программу, если просто-напросто требовалось Берлину ослабить изнутри режим Пилсудского, расшатать его и подготовить — в удобный и благоприятный момент — к вторжению извне, чтобы немецкая армия могла выйти к рубежам России.)

В тридцать третьем году, через два месяца после прихода к власти Гитлера, в Берлине состоялось совещание, на котором, помимо Коновальца и Ярого, присутствовали чины СС, абвера и гестапо. Бледный от волнения Коновалец хрустел пальцами. «Советник» Ярый, получивший чин в СС и назначенный куратором «украинского вопроса», похлопывал Коновальца по колену, словно добрый отец, выведший наконец сына в люди. Впрочем, и он волновался, ибо в люди-то он вывел себя, сделав в свое время точную и далекую ставку на другого.

Коновалец, считавший, что сейчас наконец сбудутся его мечты, не ведал, что за три дня перед этим совещанием у одного из помощников Гейдриха состоялось иное, узкое, на котором была сформулирована «теория стратегического обмана».

«Играйте украинскими шалунами,— говорил эсэсовцам штандартенфюрер Риче,— посулите им Киев как столицу, обещайте создание

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—39.

независимой Украины. Встречаясь с казачьими эмигрантами, предлагайте им создание великого государства от Запорожья до Волги — мы порвем все соглашения, когда восторжествует мировая идея германской расы. Обман в данном случае будет прощен провидением, ибо мы обманываем белорусских, украинских, русских «недочеловеков», заселяющих плодороднейшие земли и владеющих несметными запасами руды и угля. Все, что угодно, лишь бы отторгнуть Украину от России. Пусть они верят нам, пусть верят. Лишь бы делали то, что угодно интересам богоизбранной расы немцев. История нам простит все, если мы свершим задуманное... Увлекайте их идеей национализма: в столкновении с нашей расовой теорией любой национализм исчезнет, испарится, как лужа под ясным полуденным солнцем. Помогайте им сформулировать требования: «самостийность», «соборность» — любые их бредни должны быть оформлены в доктрину с помощью наших экспертов. Чем громче они будут сейчас заявлять себя, тем легче потом их будет уничтожить: распоясавшийся варвар вызовет ненависть немцев. Гегемонизм — а мы настаиваем на гегемонии нашей расы — отвергает все иные формы национализма. Время работает на нас, не бойтесь лепить из глины колосса — в него нельзя вдохнуть жизнь, его легко разбить, толкнув плечом: черепков не соберешь...»

И вот на совещании с гестапо, абвером и чинами СС Коновальцу было предложено пересмотреть план работ, выведя на первое место террор и диверсии против СССР. ОУН предлагалось отрегулировать постоянные организационные контакты с абвером и наладить разведывательную сеть в Центральной Европе и на Балканах. Именно по инициативе Ярого в свое время Коновалец обратился в рейхсвер за помощью: он создавал, помимо берлинского «главного провода» ОУН, отделения в Берне, Праге, Вене и широкую сеть филиалов во всем мире — тридцать пять надежных антибольшевистских националистических организаций, не вызывавших сомнений у полиции, оказались первыми действующими разведцентрами абвера.

Именно после этого совещания Рико Ярый отправил в «Край» — Польшу — Романа Барановского, брата ближайшего помощника полковника Андрея Мельника — Ярослава. Роман имел встречу с шефом провода «Края» Головинским, который вскоре после этого, при обстоятельствах, странных лишь при первом рассмотрении, был схвачен польской полицией и убит.

Зверь рождает зверя. Рождение Гитлера как политической личности породило в Европе целый ряд подражателей. «Поглавник» усташей Павелич взял курс на террор. Первым от его пуль погибли коммунисты — сербы и хорваты. «Железная гвардия» в Бухаресте стала призывать к «крови и очищению» — первыми были замучены румынские коммунисты; «скрещенные стрелы» Салаши появились в Венгрии: начались убийства демократов; Бандера и Мельник — каждый по-своему — «поставили на террор» — убивали украинских коммунистов, нелегально переходили границу, жгли дома колхозных активистов, стреляли из-за угла, насильничали.

Убийство министра внутренних дел Польши Пирацкого на уютной и тихой улице Фокзал, в ста метрах от беломраморных ступеней японского посольства, также было организовано «новой волной» ОУН во главе с Бандерой. Убийство это было «хитрым», выгодным пилсудчикам: тысячи польских и украинских коммунистов были брошены в тюрьмы; террор в Западной Украине принял размеры неслыханные — украинские селения, окруженные войсками, затаились, понимая, что их ждет расправа кровавая и беспощадная.

Бандера, будучи «третьей картой», которую разыгрывали разведки Берлина и Варшавы, дал повод для этой расправы — потому-то и сохранили ему жизнь.

В тюрьме Бандера честолюбиво рассуждал о будущем; он заново «исследовал» гибель Головинского, и пополз среди арестантов слух: «Тут не без Коновальца». И решил Бандера рвать с Коновальцем и создавать свой, новый ОУН. Об этих разговорах Бандеры и его друзей узнал Ярый. Это не могло не интересовать гестапо и абвер: эмигрантский «костолом», потерявший «Край», Берлину не нужен — зряшный перевод денег. И через несколько лет — торопиться в разведке негоже — Коновалец, разворачивая на улице Роттердама пакет, переданный ему портье, был разорван бомбой на куски. По «странному» недоразумению Ярослав Барановский, помощник Андрея Мельника, брат того Романа, который заложил в свое время Головинского, через полчаса после убийства Коновальца зашел в его отель и спросил, не возвращался ли Коновалец, причем назвал он фамилию секретную, под которой Коновалец в Роттердам приехал. Барановский был арестован, но вскоре за недостаточностью улик выпущен. Комбинация нацистов с убийством Коновальца, рассчитанная точно и дальновидно, сработала: теперь и Бандера и Мельник будут идти в Берлин, «поливая» друг друга. Они будут искать в Берлине судей и арбитров. Так Ярый выиграл ОУН, который постепенно разваливался на два: ОУН-Б (младобандеровский) и ОУН-М (старомельниковский). Пока Бандера сидел в тюрьме, Ярый по указанию Берлина санкционировал «избрание» Мельника вождем «главного руководства». Наличие двух сил предполагает присутствие постоянного координатора. Когда Бандера вышел из тюрьмы после краха Польши, он сразу же ринулся к Ярому, и тот, поначалу унизив его псевдонимом «Консул-2», потом одарил пониманием и дружбой абвера. Бандера получил деньги и провел «второй» конгресс ОУН, на котором себя избрал вождем, а Мельника заклеймил наймитом и мерзавцем. Работы у Ярого прибавилось, и он радовался этой работе: два дня в неделю он проводил в беседах с людьми Мельника, два — Бандеры. И те и другие «гнали» информацию. Информация была нужна ежечасно: время, отпущенное на подготовку к операции «Барбаросса», подходило к концу.

Рико Ярый держал Бандеру как силу мобильную и резкую. Именно его людей он отправил в Нойхаузен, под Бреслау — там началось формирование специального батальона СС «Нахтигаль». Германский командир — обер-лейтенант Хёрцнер, украинский — Роман Шухевич при политическом руководителе Оберлендере. Мельника использовали как консультанта, перепроверяя через него данные Бандеры. Он, так же как и Бандера, формировал походные группы, приданные армии: десять — пятнадцать человек, которые сразу же начнут помогать эсэсовцам расстреливать коммунистов и комсомольцев Украины.

Но о том, что Мельнику вменялись и другие задачи, не имеющие отношения к войне, но имевшие зато прямое отношение к войне честолюбий, к постоянной сваре между ведомствами Гиммлера, Розенберга, Геринга и Бормана, майор СС Рико Ярый не знал и знать не мог, как не знал этого и сам Мельник.

ГАННА ПРОКОПЧУК (II)

В немецкой комендатуре Ганну выслушали внимательно: никакого сравнения с «мышиным жеребчиком» Богдановичем. Чиновник был любезен до того, что спросил даже, закуривая, не помешает ли «фрау Прокопчук запах табака — я курю черный табак, очень ядовитый и резкий».

— О, что вы, я люблю «Житан»,— вымученно улыбнулась Ганна.

Чиновник понимающе кивнул:

— Запах мужчины. Война обделила несчастных женщин...

— Я, признаться, сама курю... Нет, это не запах мужчины, черный табак ассоциируется у меня с солнцем: наши заказчики из Бразилии курят именно такой табак.

— Надоели холода,— так же утверждающе кивнул головой чиновник, внимательно просматривая документы Ганны.

— Наверное, потом я буду тосковать о снеге, но сейчас я мечтаю о том, чтобы было постоянное тепло.

— Но просите пропуск в генерал-губернаторство, где зимой довольно холодно. Впрочем, в немецких домах зимой сейчас тоже прохладно. Трудности с углем — война...

— Да, ужасно,— согласилась Ганна послушно, потому что чиновник этот сразу показался ей человеком серьезным и честным; было что-то в его облике грустное, сосредоточенное, и еще Ганне понравилось, что он точно и необидно «угадывает» ее — так могут понимать женщину только сильные и добрые мужчины.

— Госпожа Прокопчук, я внимательно ознакомился с вашей просьбой. Я понимаю ваше состояние, я сам отец. Однако,— он заметил, как Ганна подалась вперед, и успокоил ее,— нет, нет, мы не отказываем вам... Просто-напросто следует соблюсти формальность, мы, немцы, знаете ли, невероятные формалисты. Сейчас в Париже будет создано бюро по делам украинцев...

— Наподобие русского?

— Да, в какой-то мере. А вы что, знаете людей из отдела русской эмиграции?

— Я была у господина Богдановича.

— И?

— Он ответил, что занимается только подданными Российской империи.

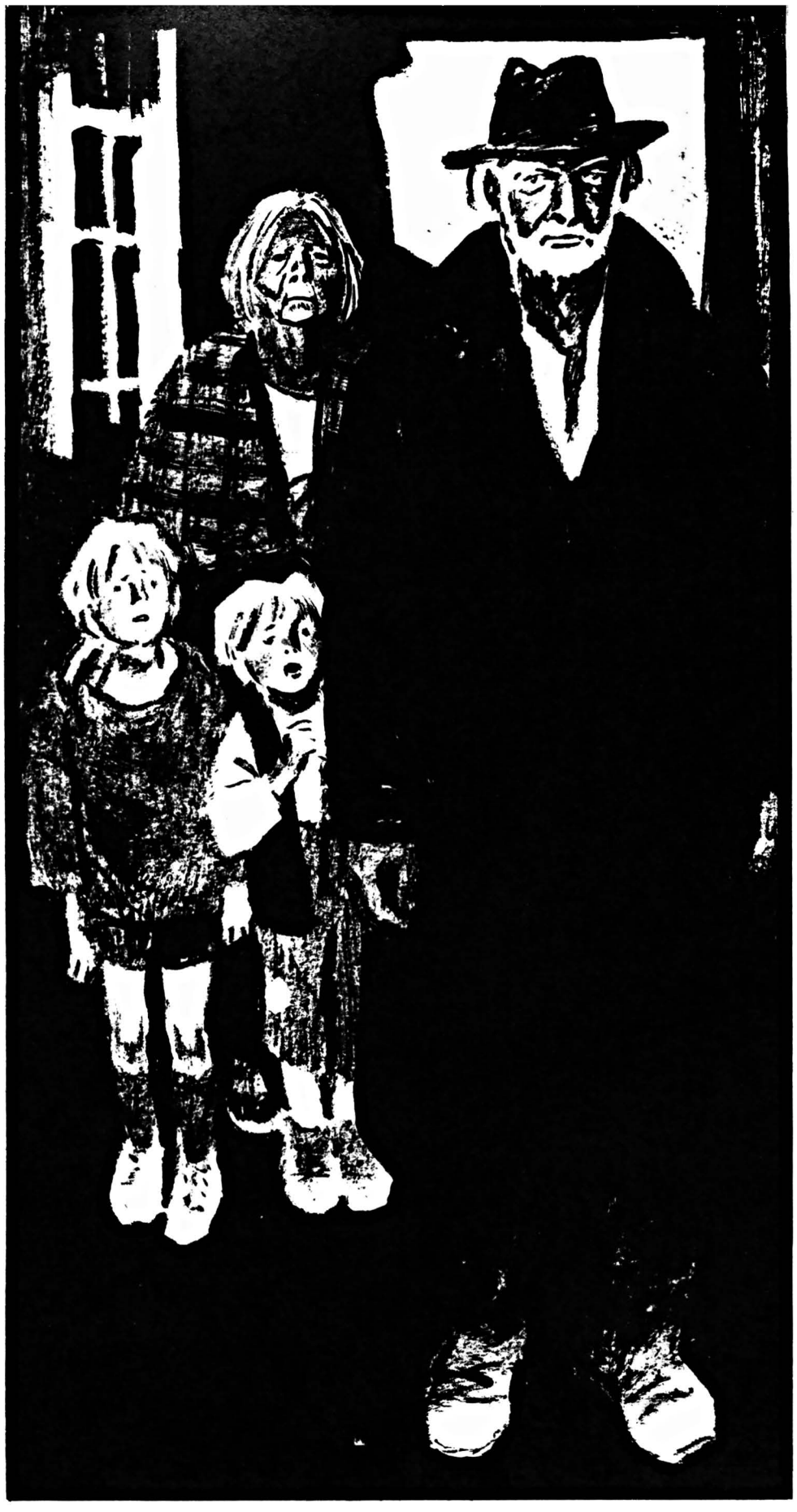
— Он ответил вам правильно. Вы же знаете, как англичане пытаются нарушить нашу экономическую дружбу с Советами,— поэтому нам приходится быть особо внимательными к российскому отделу, чтобы не дать козырей в руки врагов. Украинские представители по вашему делу снесутся с нами, и, я думаю, мы им поможем. Рю Пуасси, 42. Там бюро господина Прокоповича — обратитесь сегодня же.

Чиновник, беседовавший с Ганной, был руководителем референтуры РСХА, которая занималась украинцами во Франции. Уже в течение года референтура собирала материалы на председателя петлюровской Украинской Рады Прокоповича — тот не очень скрывал свою антипатию к Германии и Гитлеру: за тяжкие годы эмиграции прозрел. Сначала он надеялся на Францию и Англию. Ждал, когда те загоняг в угол Советы — экономическим бойкотом, дипломатическим непризнанием, самим фактом своей «разумной и доброй» мощи. Однако по прошествии лет, а особенно после разгрома Польши, Прокопович понял: ничего Запад не сделает для его «Рады», нечего на них надеяться; если уж за себя постоять не могут, как за других постоят?! И Гитлер был ему неприятен. В отличие от тех эмигрантов, которые жили в рейхе и которым, как и русским, было запрещено продавать в магазинах и выдавать в библиотеках «Майн кампф» Гитлера и «Миф XX века» Розенберга (не хотели, чтобы даже «карманная эмиграция» узнала о конечных целях Великой германской империи), Прокопович изучил эти труды с карандашом в руке. Он понял, что Гитлер и Розенберг готовят украинцам, как, впрочем, и русским, судьбу, подобную той, которую британцы навязали неграм в Африке. Поэтому Прокопович от всяких контактов с Андреем Мельником и Степаном Бандерой категорически отказался.

С Прокоповичем несколько раз беседовали «доброжелатели» из земляков, убеждали его в необходимости сотрудничества с новой властью, советовали влиять на Берлин постепенно, самим фактом диалога с национал-социалистами, говорили, что германский национализм как идейное течение в конечном счете не сможет не принять национализм украинский, направленный не вовне, а вовнутрь, в свою нацию, ни в коей мере не претендующий на мировое или европейское лидерство.

Прокопович не внимал советам украинских посредников, состоявших на штатной службе в «Антикоминтерне»— филиале геббельсовского министерства пропаганды, или у полковника Мартина, в секторе агитации СС, или у доктора Тауберта, в восточном отделе министерства пропаганды, или у профессора Менде — главного розенберговского эксперта, руководителя восточного отдела Германского института по изучению заграницы. Он теперь отстаивал уж и не политическую линию, а просто-напросто личное свое достоинство. Не признаваться же, право, что все эти годы брошены псу под хвост и дело, в которое он верил,— химера и вздор?! (Когда он найдет силы признаться себе в этом, гестаповцы устроят ему летом сорок второго года инфаркт миокарда со смертельным исходом.)

Но в июне сорок первого года референт, занимавшийся парижскими украинцами, хотел знать о Прокоповиче все, прежде чем сфор-



мулировать свои рекомендации Берлину. Для этого надо собирать материал — гестапо не торопится, когда речь идет о людях типа Прокоповича. Вопрос надо изучить со всех сторон, исследовав все возможности. Ганна будет принята Прокоповичем: об этом позаботятся люди из его окружения, завербованные гестапо еще в начале тридцатых годов. Запись беседы с этой талантливой украинкой ляжет в сейф референта. Люди типа Прокоповича с каждым не говорят — они разборчивы в знакомствах. Ганна Прокопчук относится к числу тех, перед кем он может открыться неведомой гранью; глядишь, именно эта грань сделает парижского украинца удобным для охвата его секретными службами рейха.

...Референт, однако, ошибся: бывший украинский лидер, выслушав Ганну, сказал, тяжко вздохнув:

— Не ждите от меня помощи, милая. Я бессилен сделать что-либо, потому что марионеткой быть не умею, я Прокопович, а не Лаваль. Мы для них — ничто... Горько: я это понял слишком поздно, когда изменить ничего нельзя, ибо сидеть на двух стульях допустимо на банкете — не в политике. Не гневайтесь, я человек конченый.

...Когда Ганна вышла из кабинета Прокоповича, грустный и доброжелательный секретарь его (агент гестапо, он поддерживал контакты с руководителем ОУН-М Мельником, естественно, с санкции и по указанию СД, для того, чтобы консультировать и анализировать все высказывания, акции, мнения, замечания, поведение бывшего главы «Рады») тихо и проникновенно сказал ей:

— Госпожа Прокопчук, мой вам братский, искренний совет: кому ж его и дать-то вам, украинке, как не мне, украинцу... Подружитесь с германцами. Видимо, скоро истинные патриоты нашей с вами родины обретут такую силу и такую самостоятельность, что помочь вам смогут в горе не словом — делом... Они вернут вам и Никитку и Янека... Подружитесь, родная, право слово, подружитесь с немцами, они вас не дадут в обиду...

РАНИМАЯ И ТРЕПЕТНАЯ ДУША АРТИСТА

Трушницкий закрыл дверь осторожно, но петли были плохо смазаны, и поэтому маленький домик, в котором он снимал комнату, наполнился протяжным и тонким скрипом.

Трушницкий даже зажмурился, представив себе, как этот страшный скрип разбудил старуху Ванду, пана Ладислава и маленьких Никиту и Янека. Он замер у двери и осторожно вслушался в темную тишину дома, но никто не шевельнулся в комнатах, и тогда, успокоенный, он, балансируя руками, как воздушный гимнаст, пошел по маленькой зале в свой закуток.

— У пана хормейстера есть сигареты?— услыхал он хриплый голос Ладислава, но перед тем, как понял, кто его спрашивает, Трушницкий успел испугаться: он с детства испытывал страх перед темнотой.

— Я разбудил вас. Простите,— сказал Трушницкий.— Я завтра смажу петли. Что пани Ванда? Ей легче?

Ладислав прошлепал босыми ногами по полу, прикрыл дверь своей комнаты, где спал с сыновьями, и подошел к Трушницкому: костистый, длинный, в белой ночной рубахе; из-за того, что пегая борода росла от глаз, вместо его лица зияло темное пятно.

«Всадник без головы,— подумал Трушницкий.— Наверное, это все же очень страшно. Можно только завидовать людям без воображения: они лишены представлений о неведомом, они живут в том мире, который привычен, неинтересен и заземлен. Но зато у них не бывает сердечных заболеваний».

— Пани Ванда завтра поднимется с постели,— сказал Ладислав, и Трушницкий ощутил тяжелый перегарный запах.— Маменька уже сегодня хотела подняться, но я уговорил ее полежать еще один день. Вот вам и наши издевательства над знахарями! Не приведи я к ней пана Крыжанского, завтра б ее унесли на кладбище.

— Будет вам, пан Ладислав... Держите сигарету.

— Спасибо.

Пламя спички осветило огромное лицо Ладислава; тяжелые, словно брылы у породистого пса, складки щек, резкие морщины под глазами и тяжелые надбровья. Потом темнота стала еще более осязаемой, оттого что Ладислав прятал сигарету в кулак: работая всю жизнь в лесах, он привык экономить табак — в кулаке медленнее сгорает, а на ветру мгновенно превращается в серый пепел.

— Что ей дал знахарь?

— Ничего. Ровным счетом ничего. Он месмеровец. Он взял на себя ее болезнь. Он водил по ее спине пальцами — у него длинные пальцы, длиннее, чем у меня, и ногти синие. Он пальцами-то водил по матушкиной спине, а я видел, как у него пот выступал за ушами. От напряжения.

— Почему от напряжения?— пожал плечами Трушницкий.— Просто было жарко.

— Это нормальным жарко. А он вне нормы. Он глазами на столе ложку двигает. Смотрит на ложку, а она двигается. Пошли, налью холодного чая.

В маленькой кухне остро пахло кислой капустой. Ладислав зажег керосиновую лампу.

— А может, чарочку?— спросил он, предлагая Трушницкому табуретку.— У меня немножко припрятано.

Трушницкий подумал, что завтра ему нужно быть поутру у Сирого, где соберутся трое из «руководства» ОУН, и Сирый как-то странно говорил сегодня, что, видимо, репетиции хора

придется отменить на ближайшее время, и намекал, что именно ему, Трушницкому, вероятно, выпадет честь первым приветствовать Бандеру. Но в конце концов одна чарка не сможет помешать ему, а нервы напряжены до предела. Оратория, наконец, получилась, и поют ее хористы поразительно.

— Разве что за компанию,— сказал Трушницкий.

Ладислав налил в чарки мутноватого самогона, принес хлеба, лука и соли.

— Хватит?— спросил он.— Или подогреть щей? Я кормил знахаря великолепными щами.

— Благодарствуйте, сыт,— ответил Трушницкий.— За здоровье пани Ванды.

— За здоровье,— ответил Ладислав и опрокинул чарку в свой рот, похожий на щель в копилке: такую Трушницкому подарила бабушка Анна Тарасовна, когда приезжала к ним в имение с Полтавщины,— пират с открытым ртом, в красной косынке и серьгой в левом ухе.

Трушницкий отрезал маленькую корочку хлеба, бросил в рот щепотку соли и спросил:

— Каков диагноз?

— А нет диагноза,— ответил Ладислав.— Знахарь не верит нынешней медицине. Он верит в Месмера. Сеанс продолжался полчаса, и матушка сказала: «Боли нет». Он заставил ее встать, и она встала.

— Но пани Ванда две недели пила лекарства...

— Ваши германские лекарства ни к черту не годятся! Они же не помогали матушке, ни на грош не помогали! А пришел знахарь...

— Ну хорошо, а вдруг знахарь пришел в момент кризиса, когда уже сказалось действие лекарств? А вдруг получился тот случай, когда знахарь воспользовался — невольно, невольно,— заметив негодующий взгляд Ладислава, пояснил Трушницкий,— тем эффектом, который дала обычная фармакология?

Ладислав затянулся, обжигая большие пальцы, и раздавил окурок о край грубо сколоченного дощатого стола:

— Я теперь этому знахарю до конца дней своих поверил. Зачем веру-то подрывать?

— А нужна она, вера?— тихо спросил Трушницкий.

— То есть?— Ладислав словно бы ударился обо что-то.— Не понимаю?

— Вера — это искушение, это надежда, пустая надежда, страх, ожидание, а в конце концов неверие, потому что в итоге каждого ждет разочарование и пустота. Лучше уж попросту жить будет день — будет и пища. Не верю я ничему и никому и знахарю вашему не верю.

— Так ведь он пришел, пальцы растопырил, пóтом облился, и матушка встала!— воскликнул Ладислав.— При чем здесь ваше неверие? Позавчера мы думали, что тю-тю: воспаление легких в ее возрасте известно чем кончается. А куда мне без нее? Куда? Я-то еще ладно, както продержусь до конца своего, а Никитка с Янеком?

— Слушайте, Ладислав, я хотел давно спросить: где ваша жена? Она жива?

— Спокойной ночи,— сразу же поднявшись, сказал Ладислав.— В потемках разденетесь или посветить?

— Разденусь. Извините, бога ради, что я вас неловко спросил,— самогон в голову ударил.

— А то посвечу.

Трушницкий поднялся, чувствуя в теле радость.

— Завидую я людям физического труда,— снова переходя на шепот, сказал он,— им и похмеляться можно, и с утра пораньше пивком побаловаться, а я как на каторге, право слово! Хоть умри, а голову имей прозрачную.

— Сильно страдаете после перепоя?

— Да. Тоска, и печень болит.

— А вы горячих щей. Очень это облегчает страдание — горячие щи, луковица, ломоть теплого хлеба, а потом, когда прошибет и лоб помокреет, тогда полстаканчика, и хрустнуть малосольным огурцом...

— Искуситель вы,— вздохнул Трушницкий.— Добрый искуситель. Сказочник. Я, знаете, заслушиваюсь, когда вы своим мальчикам сказки рассказываете.

Ладислав взял со стола лампу, зашел с Трушницким в его закуток с маленьким окошком, выходившим на покосившийся забор, и, наблюдая за тем, как хормейстер ловко раздевался, умудряясь бесшумно скакать на одной ноге, стягивая широкие брюки, задумчиво сказал:

— Если б я знал, кто моя жена, когда встретил ее, так либо сбежал бы от нее сразу, либо смотрел как на святую. А я на нее как на жену смотрел. Как на свою жену. Мужья, жены — это синоним собственности. Жена. Значит, само собой, моя. Муж? Соответственно. В ком дар божий заложен, тому либо в одиночестве надо жить, либо семью делать, когда дар божий, поначалу обычно скрытый в человеке, станет всем ясен. Словом, жена моя — Ганна Прокопчук.

Трушницкий сел на кровать, больно стукнувшись локтем о маленький столик.

— Это которая в Париже? Архитектор?!

Ладислав затушил лампу, буркнул:

— Спокойной ночи, дорогой хохол.

— Спокойной ночи, милый лях... Вы меня прямо как обухом по темени: Ганна Прокопчук, скажите на милость!

— И хватит об этом,— прикрывая дверь, попросил Ладислав,— дети не должны ее знать, не надо несчастным детям знать знаменитых родственников. Если сразу, сызмальства этого не было — в отрочестве сломать может. От меня их оторвет, а прибиться-то некуда. Хотя река без одного берега — и такое возможно, хормейстер, в наши дни.

...Трушницкий проснулся, услыхав музыку. Какое-то мгновение он лежал недвижно и слышал, как за стенкой кашляла пани Ванда и просила Ладислава развести горчицы в эмалированной кружке, но музыка все равно продолжала звучать, и была она до того пасторальной и легкой, что Трушницкому показалось, будто приснились ему и хриплый голос пани Ванды, и шлепанье по грязному полу больших ног Ладислава, и лязг посуды, когда тот доставал из буфета голубенькую эмалированную кружку. Трушницкому казалось, что высокая пасторальная музыка была явью, правдой, реальностью, которая обычно является под утро, в духоту, перед грозою.

«Именно потому, что я не хочу открывать глаза, я открою их»,— подумал Трушницкий, и в то мгновение, когда он подумал так, музыка исчезла, и он даже поднялся с кровати, чтобы задержать ее в памяти, но она, словно нечто живое, уходила от него белым, странным пятном воспоминания. Вместо музыки он теперь слышал только кашель старухи и отмечал машинально, что кашляла она действительно легче, чем вчера, и не было в долгих, удушливых затишьях того страшного ощущения смерти, которое появлялось в первые недели ее болезни; иногда, услыхав, как во время тяжелого кашля пани Ванда внезапно замолкала, и не глотала тяжко воздуха, и не сморкалась облегченно, Трушницкий вбегал в ее комнату и видел, как старуха раскачивалась на кровати, выгибалась на подушках, словно акробатка, и руками загребала воздух, чтоб было больше, но дышала все равно с трудом и откашляться не могла. Тогда ее усаживали на кровати, наклоняли голову, и синее лицо ее бледнело, и она начинала храпеть, будто огромные мехи раздувались в груди, а потом наступало забытье, и лицо ее делалось до странного моложавым и красивым — совсем без морщин...

«Может, действительно ей знахарь помог, а не красный стрептоцид?— подумал Трушницкий.— Мы всегда в отчаянии бежим к знахарю. А когда над нами не каплет, смеемся над ним. Уж не от слабого ли знания нашего? Или от невозможности понять неведомое? В церковь-то мы ведь тоже бегаем, когда помощи ждем от господа — в часы радостей кто о нем помнит?»

— Как здоровье пани Ванды? — поймав себя на том, что заученно улыбается, словно верит, что его не только слышат, но и видят через перегородку, спросил Трушницкий.

— Я ожила,— басисто ответила старуха; перегородка была из тонкой фанеры — даже голоса не надо было повышать.

— Ну и слава Христу,— сказал Трушницкий, одеваясь.

Он вышел на кухню, ополоснул лицо, хрустко потер большие свои уши, вспомнив отчего-то давешние слова Ладислава про то, как у знахаря потело за мочками, вытерся докрасна желтым, несвежим вафельным полотенцем и поставил на керосинку чайник.

Воды в чайнике было на донышке, Трушницкий прибавил фитиля и сел на табурет, дожидаясь, пока забулькает.

«Господи,— вдруг с тяжелой тоской подумал он,— когда же кончится эта страшная жизнь моя? Когда, наконец, обрету дом? Пусть бы только на Украину, пусть бы только свою квартирку, чтобы спокойно заниматься музыкой и не таиться самого себя, страшась доставить неудобство хозяевам своим присутствием. «Хозяевам».— Он даже усмехнулся этому слову.— Ладислав и пани Ванда мои хозяева. Это реальность, и смеяться над ней нечего. Можно смеяться надо всем — только над реальностью смеяться нельзя, ибо это проявление скудоумия. Даже если мы сами толкаем себя в ту реальность, которая нам омерзительна, которая унижает нас и ранит,— все равно принимать ее надо без смеха, чтобы понять с у т ь».

Перед уходом, басисто покашляв в огромный свой кулак, пан Ладислав, смущаясь своей просьбы и, видимо, чувствуя себя неловко до самой последней крайности, попросил:

— У меня вот какое дело... Я ночь не спал после вчерашнего разговора... Вы связаны с новой властью...

— Я не связан с новой властью,— сразу же возразил Трушницкий, потому что вспомнил наставления помощника «вождя» — Лебедя: «Ни о каких контактах с представителями генерал-губернатора никому ни слова. Мы — частная организация «Просвита», мы не пользуемся никакими льготами от немцев».

— Да полно вам, пан Трушницкий, вас же офицеры домой подвозили.

— Это был случай.

— Пан Трушницкий, мне некого попросить. Ганна не может выбраться из Парижа. Попросите за нее, а? Как-то вы меня разбередили вчера, сердце щемит...

— Она писала вам?

— Несколько раз писала.

— И что?

— Я не отвечал. Она звала туда, деньги переводила, молила. Но ведь я поляк, пан Трушницкий, я могу простить все, что угодно, но не то, что можно расценить как оскорбление. Будь проклят мой характер, будь трижды проклят...

— Вчера вы говорили, что дети не должны знать ее...

Пан Ладислав болезненно сморщился.

— Бог мой,— вздохнул он,— разве вы не понимаете? Вы ведь мужчина... Я заставлял себя забыть ее, я должен был заменять мальчикам и мать... Что не скажешь в сердцах?

— Как вы узнали, что она и сейчас хочет вернуться?

— Один наш офицер был в плену под Парижем. Он встречал там ее друзей... Она может как угодно относиться ко мне,— большое лицо пана Ладислава снова дрогнуло, потому что он тщился заставить себя снисходительно улыбнуться,— но по-человечески мне ее жаль. Она там совсем одна.

— Я, право, ничего не могу обещать вам.

— Не надо никаких обещаний. Вдруг вам удастся замолвить слово, просто замолвить слово...

...Зайдя в «Украинский комитет» (2 373 марки в месяц от абвера на аренду помещения), Трушницкий позвонил к Лебедю, который отвечал не только за контрразведку, но и за культурную работу среди националистов, и попросил назначить ему время встречи.

— Да полно вам, друже,— пророкотал в трубку Лебедь.— Заходите хоть сейчас.

Внимательно выслушав Трушницкого, он задал только один вопрос:

— А эта Ганна действительно талантлива?

— Ее считали одной из наиболее талантливых архитекторов Польши.

— А что ж она — украинка — и за поляка?— досадливо поморщился Лебедь.— Надо же помнить о крови, право слово. Ладно, я проконсультирую этот вопрос с друзьями. Вы, кстати, обратились по своей инициативе?

— Как сказать...— замялся Трушницкий.— Вообще-то больше по своей. Мой хозяин вскользь коснулся этой тяжкой для него проблемы...

— Понял наконец, что только мы теперь можем помочь полякам — никто другой.

— В том-то и дело,— обрадовался Трушницкий искренне и открыто, не понимая, что своей неискушенной радостью он обрек на смерть семью пана Ладислава.

Сразу после того, как Трушницкий ушел, Лебедь позвонил оберштурмбаннфюреру Дицу, резиденту гестапо, и договорился о встрече. Во время беседы, которую Диц предложил провести на конспиративной квартире у доктора философии Юзефа Шимфельда на улице Томаша в доме двадцать два, Лебедь коснулся вопросов «прикрытия».

— Связанные с нами поляки,— сказал Лебедь,— могут оказаться теми д ы р а м и, через которые уйдет информация. Не всем моим людям я могу открыть д а т у, господин Диц. Люди есть люди: каждый имеет своего «хорошего» поляка, жида или русского.

— Мы переболели этой болезнью,— согласно кивнул головой Диц.— Я понимаю вашу тревогу. Предложения?

— Я давно просил выделить нашим людям отдельные комнаты...

— Не все наши люди имеют отдельные комнаты, господин Лебедь, не все н а ш и. Итак, предложения?— настойчиво повторил Диц.

— Вероятно, тех поляков, которые были так или иначе сконтактированы с нашими людьми, стоило бы на какое-то время изолировать.

— У вас это уже написано? Оформлено в документ?

— Нет, я, собственно, считал, что нашего разговора будет достаточно.

— Отнюдь. Мне необходимо получить ваши соображения, чтобы я добился срочного решения этого вопроса в канцелярии генерал-губернаторства.

...Через полчаса Лебедь был на конспиративной квартире бандеровского руководства на улице Реторыка.

— Конечно,— выслушав отчет Лебедя о беседе с Дицем, сказал Ярослав Стецко, ближайший помощник Бандеры.— Пусть к концу дня твое предложение будет на столе у Дица. Теперь по поводу этой Ганны, архитекторши...

— Она, как утверждает Трушницкий, относится к цвету украинской интеллигенции,— ответил Лебедь.

— Ты это,— поморщился Стецко,— брось словечко «интеллигенция». Фюрер не скрывает своего презрительного отношения к интеллигенции — и нам этому не грех поучиться.

— Но Прокопчук украинка,— заметил Лебедь,— она же представитель кровной интеллигенции.

— А Корнейчук с Рыльским и Тычиной — эскимосы? Или москали? То-то и оно! Есть такое мнение, чтобы ввести в обиход понятие «мыслящая группа». Понятно? Два слова не одно. «Группа» — значит, подчинена кому-то. «Мыслящая» — значит, целенаправленная. Так-то вот. С Ганной Прокопчук, конечно, подумаем. Наш фюрер,— Стецко назвал Бандеру на немецкий манер,— обещал связаться с референтом в секретариате генерал-губернатора Франка — тот увлекался, говорят, архитектурой. Вроде их Шпеера.

Следующей ночью Трушницкого разбудил резкий стук в дверь — приехало гестапо.

Обыск в доме был недолгим, а потом пану Ладиславу, мальчикам и старухе Ванде предложили одеться и взять с собой самое необходимое.

— Но в чем дело?— срывающимся голосом спросил пан Ладислав.— Моя мать перенесла тяжкое воспаление легких, она еще не встает с постели...

— У нас хороший лазарет,— успокоил его офицер, руководивший арестом,— вам не следует тревожиться о будущем матушки.

— А дети?— Пан Ладислав заплакал, и дети тоже заплакали тонкими голосками, а старуха зашлась длинным, рявкающим кашлем.

— Если вы не виноваты, вас освободят,— сказал гестаповец,— собирайтесь поскорее, пожалуйста.

Старуха продолжала хрипеть, не в силах откашляться — видимо, она хотела сказать что-то, и пан Ладислав бросился к ней, но моментально сработал рефлекс эсэсовцев на быстрое движение: они бросились на поляка и сразу же завернули ему руки наверх. Он закричал не от боли, а от страха за детей, которые тонко заверещали и хотели было к нему кинуться, но были схвачены за плечи коротконогим солдатом, стоявшим возле двери.

— Господа, господа, послушайте,— сказал Трушницкий, отделившись от стены,— здесь какое-то недоразумение. Я из «Просвиты», позвольте мне связаться с нашим представителем.

— А к вам у нас нет претензий,— сказал офицер и, заглянув в бумажку, которую он держал в руке, обтянутой тонкой лайковой перчаткой, добавил:— Никаких, господин Трушницкий.

Пан Ладислав метнулся взглядом к лицу Трушницкого, потом в ужасе посмотрел на сыновей и закричал:

— Детей хоть спасите! Детей спасите, умоляю вас!

— Господин офицер,— откашлялся Трушницкий,— может быть, вы позволили бы мне взять детей под свой присмотр? Я смогу содержать их, пока выяснится это недоразумение.

— Хватит.— Офицер деревянным жестом одернул френч.— Ведите арестованных в машину. А вы,— он глянул на Трушницкого,— переселяйтесь из своей каморки в любую комнату, которая понравится.

Маленький Никитка затопал ножками, обутыми в рваные сандалии, губы его побелели, и слезы покатились по щекам.

— Папочка,— закричал он, и все лицо его побелело,— папуленька, я к тебе хочу!

— Сейчас, сыночка, сейчас, мой хороший, мы сейчас сядем в машину, я возьму тебя на коленки, не плачь, нежный мой, ну, не плачь... Пан Трушницкий, вытрите же ему глаза,— всхлипнул Ладислав,— и носик утрите, молю вас!

Трушницкий двинулся было к мальчикам, но офицер остановил его:

— Не надо.

Янек старался сдерживаться, ему уже было восемь, но, глядя на бабушку, тяжко поднимавшуюся с постели, тихонько заскулил, как щенок, оторванный от матери, а потом описался, потекла тоненькая струйка от его трясущихся ног, и он, видно, так испугался этого непроизвольного позора своего, что закричал пронзительно:

— Папочка, ну скажи им что-нибудь, папочка!

— Пан Трушницкий,— захрипел Ладислав, подавшись вперед,— будьте милостивы, помогите же детям!

Старуха, наконец, кончила кашлять, отерла взбухшие синие губы, посмотрела на сына с укоризной:

— Не роняй себя... Пошли, маленькие, пошли. Вам нечего бояться, вас ждет избавление и отдых, пошли. Это нам надо бояться — грешившим.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

КУРТ ШТРАММ (II)

Седой штандартенфюрер вызывал Курта уже пятый раз. Сначала он говорил о том, что в его же, Курта, интересах развеять павшее на него трагическое подозрение.

— Человек, с которым вы встречались,— вы знаете, о ком я говорю,— связан в Швейцарии с красными. Это факт, который мы установили со всей непреложностью. Объясните мне, где и как вы с ним познакомились, только об этом я вас прошу.

Курт молчал. Он ненавидел себя за это молчание, ибо понимал, что продиктовано оно иллюзиями, которые он считал изжитыми. Он понимал, что надо броситься на этого седого эсэсовца с юным, без единой морщинки лицом, и тогда придут семеро его помощников, которых он так свободно называл «свиньями» и «палачами», и все будет быстро закончено. Но в Курте еще не было сил ускорить конец, в нем была лишь сила принять его.

— Поймите,— продолжал штандартенфюрер,— вас бы никто не арестовал или, наоборот, гильотинировали бы уже, не будь вы тем, кем были. Вы дружили с семьей генерала Шернера, с семьей генерала Вицлебена, с Гуго Шульцем, работающим в секретном отделе экономических исследований при министерстве авиации, с семьей графа Боден-Граузе, который собирает у себя дома многих видных и уважаемых людей из министерства иностранных дел. Что вы хотите, у нас в гестапо есть люди, страдающие манией подозрительности. Такова уж профессия, ничего не поделаешь. Я должен их успокоить.-Он улыбнулся грустной улыбкой, очень красившей его лицо.— А успокоить их я могу, получив от вас формальные хотя бы объяснения, и ваше дело будет закрыто, а вы вернетесь к своей службе. Мы не сообщали никому о вашем аресте. Впрочем, вы даже и не арестованы: ордера нет, его никто не решится утвердить, потому что тогда надо бросить тень подозрения на слишком многих заслуженных людей рейха.

— Вы напрасно все это затеяли,— ответил Курт.— Я не буду вам ничего объяснять.

— Вам придется мне объяснить. И не все, а лишь где, когда и зачем вы познакомились с господином из Швейцарии.

Курт отрицательно покачал головой.

— Это все,— сказал он.— Я не считаю себя преступником. Так что скорее заканчивайте формальности, штандартенфюрер.

— Если вы не считаете себя преступником, так позвольте мне убедить в этом мое начальство. Я вас тоже не считаю преступником.

— Это все,— повторил Курт.

— Нет, не все. Вы же служили, Штрамм, и вы прекрасно понимаете, что поручение, данное вам руководством, обязано быть выполненным. Я получил поручение. И я выполню его. Я получил поручение доказать вашу честность. Я убежден в случайности ваших встреч с врагами. Но вас могли подвести те, которые желают нам горя. Вот я и докопаюсь до того, кто хотел сделать из вас преступника. Или докопаюсь до случайности и докажу причины этой случайности, ибо ничто так не причинно, как случайность. Я ведь не тороплю вас. Но в случае, если вы станете продолжать упорствовать, я...

— Прикажете вогнать мне иглы под ногти?— не выдержал Курт.

— Ни в коем случае. Я буду вынужден вызвать на допросы ваших друзей: господина Гуго Шульца, господина Эгона фон дер Бремма, графиню Ингрид Боден-Граузе, и они наверняка помогут мне установить правду.

«Вот оно, самое страшное,— подумал Курт,— это страшнее иголок, каблуков, карцера. Самое страшное — это когда ты чувствуешь беззащитность моральную, а не физическую».

* * *

«Совершенно секретно.
IV отдел РСХА.
Сектор по борьбе с подпольем в Германии.

В целях продолжения работы с арестованным Куртом Штраммом прошу установить наблюдение, включая прослушивание телефонных разговоров, за его ближайшими друзьями: экономическим советником министерства авиации Гуго Шульцем, бароном Эгоном фон дер Бремом и журналисткой, графиней Ингрид Боден-Граузе. Фотографии прилагаются.

Начальник сектора
СС штандартенфюрер Беккер.

Согласен. Прошу поддержать просьбу Беккера.
СС бригадефюрер Мюллер.

Не возражаю.
Гейдрих.

О наружном наблюдении за экономическим советником министерства авиации Гуго Шульцем рейхсмаршалу Герингу не сообщать.
Гиммлер».

И БУДЕТ ДЕНЬ, И БУДЕТ ПИЩА

Солнце пробивалось сквозь жалюзи ровными полосами лучей, по цвету похожими на расплавленную сталь. Черные тени безжалостно резали ковер, серебряные туфельки на тонком каблуке, атласное кресло, на которое брошены были синее газовое платье, пачка сигарет и книга, раскрытая рукой человека, любящего читать и читать умеющего: корешок не был смят, и в том, как была раскрыта книга, не чувствовалось насилия над вещью.

Ингрид долго смотрела на жестокую белизну стальных линий, которые разрезали ее спальню. Она слышала голос садовника Карла: он уже давно подстригал газоны в парке; наверное, он начал подстригать их вскоре после того, как Ингрид вернулась с приема у шведского посла. Только раньше Карл старался работать тихо, чтобы не будить дочь графа, а теперь, по его разумению, спать было грешно, потому что солнце уже в зените, и горничная (кажется, это был голос Эммы) звала садовника на второй завтрак.

Ингрид включила радио. Диктор читал последние известия: фюрер сдал в фонд обороны рейха медные ворота рейхсканцелярии. По всей Германии проходит кампания, провозглашенная рейхсмаршалом Герингом: сбор металла для победы над англо-еврейскими банкирами. Укрепляются экономические связи с Россией. Премьер Франции Пьер Лаваль принял германского посла и имел с ним дружескую и откровенную беседу по вопросам дальнейшего развития отношений между рейхом и Францией. Выступая на митинге в Загребе, поглавник «независимой державы Хорватской» Анте Павелич заявил, что новый порядок в Европе несет всем народам истинную свободу, которую гарантируют гений фюрера и дуче, мощь их великих армий, доказавших свое мужество и несокрушимую силу в боях против плутократов. Температура в Берлине плюс двадцать три градуса, ветер юго-западный, умеренный, к вечеру возможна гроза.

Ингрид поднялась, внимательно осмотрела себя в громадном зеркале, вмонтированном в стену спальни: когда была жива мама, к девочке приглашали балетмейстеров из Берлинского театра оперы, и только два года назад Ингрид попросила шофера снять шедший вдоль зеркала станок, за который она держалась, отрабатывая балетные позиции.

Ванная комната была отделана серыми мраморными плитами, и однажды Ингрид пошутила: «Папа, я чувствую себя в моем бассейне, будто в нашем фамильном склепе».

В воду, казавшуюся зеленой оттого, что мрамор был именно такого цвета, Ингрид налила хвойного экстракта; вода потемнела, сделалась темно-желтой, и запахло лесом, далеким, не здешним, а баварским, куда семья Боден-Граузе уезжала на все лето. Но после того, как под Варшавой погибли два сына графа, братья Ингрид, а мать, не перенеся горя, умерла, дочь и отец ни разу не покидали Берлин.

Узнав о гибели сыновей, граф сказал:

— Это отмщение за мою пассивность. Нельзя просто болтать о тупости ефрейтора, против него надо было сражаться. Я повинен во всем. Мне нет прощения.

Он сказал это спокойно, так спокойно, как редко говорил дома, и Ингрид больше всего испугало это оцепенелое спокойствие отца. Она любила его больше всех в семье, и она не ошиблась, почувствовав нечто к о н е ч н о е в словах отца. Он действительно решил уйти к сыновьям и даже наметил точную дату: сра-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—40.

зу же после того, как закончит необходимые формальности, вызовет управляющих из померанских и баварских имений, составит завещание и встретится с теми своими друзьями, которые смогут оказывать покровительство жене и дочери в том случае, если им придется сталкиваться с представителями власти «ефрейтора».

Но когда мать Ингрид умерла от разрыва сердца, не перенеся гибели мальчиков, граф — так же методически и рационально — отменил свое решение о самоубийстве до той поры, пока Ингрид не выйдет замуж. Пригласив дочь, он сказал ей:

— Поскольку ты рождена аристократкой, Ингрид, мне нет нужды повторять очевидное: только нуворишам, дорвавшимся до богатств, кажется, что им все можно. Ты воспитывалась в роскоши с детства, это было привычным, но я всегда старался внушить тебе, что истинному аристократу дозволено очень немногое. Мальчикам можно было остаться в Берлине, но закон нашей родовой чести не позволил им сделать этого, и они пошли на фронт и погибли, как другие немцы. Я бы не гневил господа, если бы они умерли во имя торжества Германии. Но они умерли во имя гибели Германии, и поэтому я хочу поделиться с тобой кое-какими соображениями.

Голос отца был сух и лишен каких-либо эмоций; волнение старика можно было угадать лишь по тому, как он то и дело ровнял длинными своими пальцами листки бумаги, сложенные в стопку.

— Я помню твое увлечение Кантом,— продолжал Боден-Граузе.— В юности все должны пройти через это. Считать себя, то есть субъект, первоосновой бытия, который фактом своего рождения порождает этот мир, замечательно и мудро. Но время Канта кончилось. Во всяком случае, на тот период, пока на нашей родине безумствует ефрейтор. Всем будет навязан кошмар. Каждому немцу,— повторил старый граф,— уготован кошмар, какого еще не было в истории человечества. Если бы, однако, я считал этот кошмар преходящим, если бы он был подобен инквизиции — добрые цели при вандализме их достижения,— я бы смирился, Ингрид. Государством можно управлять только в том случае — особенно в наш век аэропланов, танкеток, метрополитенов,— если человек, взявший на себя б р е м я управления, подготовлен к этому сложному, мучительному, испепеляющему творчеству. Извини, что я говорю так длинно, я несколько взволнован.

Ингрид никогда еще не видела отца таким. Она положила свою широкую, теплую ладонь на его длинные пальцы, и губы отца на какое-то мгновение дрогнули, что-то сделалось с лицом, но это было только на миг. Он продолжал обычным, скрипучим, размеренным голосом:

— Можно принять крест и незаслуженную муку, если веришь, что твоя безвинная смерть принесет пользу делу соплеменников. Легко смириться с лишениями, которые обрушились на тебя и твою семью, если ты убежден, что лишения эти продиктованы целесообразностью и логикой. Но если ты видишь, что страной правит банда, лишенная знаний, лишенная понимания истории, лишенная моральных устоев, правит по законам бандитской шайки, тогда терпение становится актом подлости. Нам, Боден-Граузе, дозволено немногое, ибо наше состояние позволяет нам всё. Так вот, нам более не дозволено т е р п е т ь. Кажущаяся сила ефрейтора, кажущееся его торжество чревато таким страшным отмщением, которое уничтожит не его — государство; не их шайку — германский народ. К сожалению, единственная сила, которая сможет противостоять ефрейтору, находится не на западе, а на востоке. Год назад умные люди говорили со мной о действиях. Это было до начала польской кампании, но я тогда верил, что запад сломит выскочку. Я отказался продолжать разговор, потому что вели его люди с востока. Нет, нет, они нашего круга, это немцы,— пояснил граф, заметив в глазах дочери испуг.— Сейчас я исправил свою прежнюю ошибку... Нет, не ошибку... Я сейчас попытался искупить свою вину... Хотя вина перед прошлым не может быть искуплена. Это подобно тавру, это вечно. Словом, если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты знала те мотивы, которые подвели меня к д е й с т в и я м.

— Если с нами что-нибудь случится,— поправила Ингрид.

— Тебя они не тронут. Я перевел на тебя половину имущества, и тебе предстоит порвать со мной: сейчас дети часто рвут с родителями. Предлог я тебе подскажу, посоветовавшись с моими новыми коллегами.

— Ты меня неверно понял, папа. Я не буду бездействовать. Ты прав, нам, людям нашего круга, дозволено слишком мало, чтобы я могла н а б л ю д а т ь твою борьбу и всеобщую покорную тупость.

...Ингрид опустилась в ванну, в белую, пушистую пену, которая скрывала под собой темно-бурую воду, и пена была похожа на ту, которая крутится над водоворотами в их речке в Баварии, только там иногда в такую же пену попадала ветка или распластанный лист бука, и они вдруг начинали вертеться и исчезали, затянутые в таинственную пучину страшной силой.

Наблюдая за водоворотами, там, в Баварии, Ингрид впервые задумалась над тем, почему сила истинная, могучая, обычно не видна, не фиксируется глазом, являясь одной из высших тайн бытия.

Она внимательно присматривалась к людям ее круга, к мужчинам таких же, как и она, фамилий. Они казались ей лишенными истинной силы. В них все было внешним: ловкость, достоинство, юмор, снисходительность. Но в них не было того, что, как казалось Ингрид, отличает истинного мужчину: в них не было двух чувств — вины и постоянного сострадания к окружающим, что и составляет в конечном счете силу. Считая себя дворянами, продолжателями истинно аристократического прусского духа, мужчины ее круга старались во всем походить друг на друга и не понимали, что этим самым они невольно разрушали свое личностное начало. С детства, видимо, под влиянием отца, Ингрид отстаивала свое право быть именно Ингрид Боден-Граузе, и никем другим она быть не желала. Она не хотела брать, ей, наоборот, хотелось отдавать частичку своего «я» окружающим, но это должна быть она, только она, а не какая-то часть обезличенного кастового «мы».

Без того девичьего трепета, который так сентиментально воспевался в мещанских фильмах гитлеровского кинематографа, она пришла в холостой, неряшливый дом Томаса Шарре, испытателя самолетов на заводе «Фокке-Вульф», и осталась у него, и потом часто оставалась у него — это было ее право распоряжаться собой, и она никому это право отдать не хотела. Когда Томас предложил обручиться, она отказалась:

— Милый, неравенство уровней, пока оно существует, не позволит нам быть счастливыми мужем и женой. И потом я терпеть не могу слово «супружество». Оно противно слову «любовь».

— Мне казалось, это нужно тебе,— сказал Томас.

— Почему?— Она пожала острыми мальчишескими плечами.— Существующему неравенству надо противопоставлять личное равенство, надо чувствовать себя свободным, только тогда мы сможем любить друг друга.

Томас разбился, выполняя мертвую петлю в ущелье — надо было проверить устойчивость нового истребителя в условиях горной местности. Ингрид тогда впервые напилась: она пила рюмку за рюмкой и перед тем, как упасть, ощутила тепло и увидела над собой доброе лицо Томаса. Она почему-то услыхала его слова; он сказал их за неделю до гибели:

— Только свободный может любить, говоришь ты? Но свободный имеет свободу выбора, замены, поисков. Значит, я волен завтра полюбить другую?

— Ты не сможешь полюбить другую, потому что знаешь, как я люблю тебя,— ответила тогда Ингрид.— Но ты можешь привести другую к себе и оставить ее на ночь, и эта свобода выбора еще больше привяжет тебя ко мне — так что лучше без нужды, пока ты любишь меня, не ищи.

— А ты? Ты бы смогла?

— Конечно,— ответила тогда Ингрид, и, вспомнив растерянного Томаса, от которого потом осталась только обгоревшая кисть с часами, продолжавшими тикать, она заплакала громко, навзрыд, неутешно, а потом провалилась в долгое и тяжелое забытье.

...Ингрид растерлась докрасна жестким полотенцем, оделась и вышла в столовую.

— Эмма,— позвала она горничную,— принесите мне кофе, пожалуйста.

Горничная принесла тостики, джем и черный кофе в высоком серебряном кофейнике.

— Граф у себя?

— Граф уехал. Он ждал вас к завтраку, но потом понял, что вы поздно вернулись, и выпил свой кофе один.

— Как он себя чувствовал?

— Он улыбнулся мне и сказал, что погода обещает быть хорошей.

— Лицо у него было не очень отечным?

— О нет! Он выглядел, как обычно.

— Попросите, пожалуйста, заправить мой автомобиль, я уезжаю в редакцию.

— Машина уже заправлена.

— Поблагодарите шофера, пожалуйста. Да, справьтесь у секретаря: Курт Штрамм не звонил?

Горничная вернулась через минуту:

— В ее записях имени герра Курта Штрамма нет.

— Хорошо. Спасибо.

Подумав о Курте Штрамме, она почувствовала нежность. После того, как погибли братья, Ингрид перенесла на него часть своей любви к мальчикам.

«Какой он нежный,— часто думала Ингрид,— вроде девушки, и ямочки на щеках, как у девушки, и краснеет так же, и обидчив не по-мальчишески. Но он очень чистый и верный — он никогда не лгал, даже в мелочи».

Она была против того, чтобы вовлекать в борьбу Курта Штрамма. Ингрид считала, что борьбу может выдержать тот, кто готов п о т е р я т ь. Такого рода готовность появляется у тех, кто много прожил и понял скуку жизни, если смысл ее сводится только к еде, сну и дозированным часам службы.

А Курт Штрамм был слишком молод и постоянно счастлив. Он еще не подготовлен к возможному исходу, считала Ингрид. А может, в глубине души она жалела юношу — она-то знала точно, что ее ждет, и была готова к тому страшному, на что она счастливо, облегченно и всецело обрекла себя.

...Впервые встретившись с Гуго Шульцем, который стал потом руководителем, Ингрид сказала ему, что готова делать лишь то, что не входит в противоречие с ее понятием чести и достоинства. «И еще,— добавила она,— я не умею выполнять чужую волю. Я должна понять и лишь тогда смогу делать». «Вы правы,— ответил Гуго.— Я тоже прошел через это и не призываю вас к изживанию врожденной чувствительности, понимая, как надо ценить это истинно аристократическое чувство. Но чтобы вы смогли приносить пользу, пожалуйста, согласитесь на предложение одного из наших женских журналов — мы сделаем так, что к вам обратятся сразу несколько,— поработать у них, поездить по Германии и сопредельным странам, написать для них кое-что. Эту просьбу вы сможете выполнить?»

Ингрид вскоре уехала в Гамбург и там, как ей и посоветовал Гуго, поселилась не в «Империале» и не в «Кайзерхофе», а в маленьком портовом пансионате с холодным туалетом в конце коридора. Это было началом ее «легенды». Ей предстояло — по замыслу одного из руководителей христианского подполья, связанного с Москвой,— стать особо доверенной связной. Значит, надо было, во-первых, приучить гестапо к тому, что графиня Ингрид Боден-Граузе любит разъезжать по стране и не лишена чудачеств (скорее всего там предположат «сексуальную» неуравновешенность аристократки, которая во время своих поездок живет в трущобах), а во-вторых, такого рода поездки позволят Ингрид выйти из рамок касты по-настоящему, не духом — духом она никогда не была в касте,— а знанием иной жизни, забот и интересов других людей.

...Ингрид вышла в сад: большая стеклянная дверь была распахнута, и ветер осторожно играл шторами. Ингрид опустилась в большую качалку и, закрыв глаза, слушала, как тяжело, словно бомбовозы, гудят шмели вокруг громадной клумбы, обсаженной желтыми розами.

...Первый раз Гуго отчитал ее за то, что Ингрид посмела написать о судьбе двух маленьких девочек, которые жили с больной матерью-уборщицей в ресторане. Девочки приходили на кухню, и мать отдавала им свою порцию супа. Сердобольный повар подкладывал девочкам по куску мяса. Однажды это увидел метрдотель и донес хозяину, который немедленно рассчитал уборщицу. У несчастной открылся туберкулез, и ее положили в больницу. Ингрид написала об этой трагедии для журнала. Репортаж ее не был, естественно, напечатан, потому что вмешалась цензура, но девочек взяли в приют. Редактор с тех пор стала странно смотреть на Ингрид, которая «делает столь скоропалительные выводы из частного случая».

...По дороге в редакцию Ингрид заехала в тот дом, куда изредка наведывался Гуго: являясь ответственным работником министерства авиации, он не был связан во времени и обычно завтракал в обществе друзей, либо в каком-нибудь маленьком ресторанчике, либо в тихих особняках на Ванзее. Встречи с Ингрид в этих аристократических домах были понятны и ни у кого подозрений вызвать не могли.

Однажды Гуго приехал сюда с офицером СС из свиты Гейдриха; он не предупредил друзей, что привезет эсэсовца, и пожалел об этом, потому что Ингрид, Курт и Эгон, как и два других человека, собравшиеся за столом, не смогли скрыть страха.

Гуго потом посоветовал Ингрид: «Если эсэсовец пригласит вас в машину, любой эсэсовец, шутливо попросите его показать ордер на арест; они любят, когда их боятся, и в том, как он вам ответит, вы прочитаете человека, его суть».

Сегодня Гуго был в особняке один. Он рассеянно предложил Ингрид кофе; не дослушав даже ее отказа, налил себе, пролив две капли на скрипучую от крахмала скатерть, и сказал:

— Через несколько дней начнется война с Россией.

— Этого не может быть...

— Вам надо завтра выехать в Краков. Вас попросят об этом в редакции. Тема: забота национал-социализма о детях — жертвах войны; в Кракове открыт приют для осиротевших украинских младенцев. Встретитесь там с человеком. Выше среднего роста, в сером костюме, со значком члена НСДАП в петлице.— И Гуго открыл альбом с фотографиями Кракова и ткнул пальцем в мост через реку.— Здесь. В восемь часов вечера, возле первой скамейки справа. То есть вот тут.— И он снова ткнул пальцем в едва заметную на фото скамейку.— Человека вы не знаете. По легенде вы Магда, учительница из Ростока. Договоритесь с ним о формах связи.

— На вас нет лица, Гуго...

— А вы думаете, на вас оно есть?— ответил Гуго жестко и даже, как показалось женщине, зло.— На ком сейчас есть лицо? На ком?! Мы были обезличены с тридцать третьего года, но то хоть были маски жизни, шутовские, ничтожные, смеющиеся, а все-таки жизни! Сейчас на каждом из нас маска смерти! Простите,— оборвал он себя.— Простите, Ингрид. Пожалуйста, будьте в Кракове осторожны: это прифронтовая зона. И еще: воспользуйтесь советом Геринга — «сердитесь, сохраняя улыбку». Я не знаю человека, к которому вы едете. Я не знаю, кто это. Понимаете? Поэтому я очень за вас волнуюсь... И перекрасьте ваши черные волосы в белые — для провинции вы не есть эталон арийки... Свяжитесь с Куртом Штраммом, он бывал в Кракове до войны, катался на лыжах в Закопане...

— Я не могу с ним связаться уже третий день,— ответила Ингрид.

Гуго приподнялся со стула и, словно переломившись, потянулся к Ингрид:

— Он не звонил со вторника?!

— Да.

— Вы искали его, и он не отвечал?

— Да. Что-нибудь случилось?

Гуго непонимающе взглянул на Ингрид, закурил, зажал между пальцами ложечку, согнул ее и только потом ответил:

— Нет. Ничего не случилось... После того, как возьмете билет на Краков, возвращайтесь сюда — я сам отвезу вас, но не на вокзал, а на одну из пригородных станций.

— Вы хотите посмотреть, не следят ли?

— Да,— медленно ответил Гуго.— Неужели вы были правы, когда не советовали привлекать Курта? Действительно, он ведь еще дитя... У меня в ванной есть краска для волос — сами что-нибудь сможете сделать или нужен парикмахер?

МИКОЛА, СЫН СТЕПАНА

Сюда, в Нойхаузен, под Бреслау, зимой сорок первого, в длинный, давно нежилой фольварк с особенным, немецким, хоть и крестьянским запахом, ночами, в крытых грузовиках, на бортах которых свежей масляной краской было написано жирно «Обст унд гемюзе», из Кракова, Варшавы и Люблина привозили эти самые «овощи и фрукты» — кулацких сынков, отобранных бандеровскими вербовщиками, пропагандистами и громилами из «службы безпеки» на землях генерал-губернаторства. Привозили их сюда, расселяли на втором этаже, подальше от окон, повыше от чужих взглядов, заводили в кабинет со стеклами, замазанными зубным порошком, на беседу с Романом Шухевичем и герром Теодором Оберлендером, который хоть и говорил не по-украински, а на москальском наречии, но понять его было можно, потому как слова он произносил певуче, медленно и глядел добро, с открытой, а не надменно снисходительной симпатией. Потом парням выдавали немецкую форму, но не военную, а «трудового фронта», вручали каждому тупорылый автомат, запас патронов и везли в «овощных» крытых машинах на стрельбище. Там инструкторы, говорившие кто на украинском, кто на чешском, русском или хорватском, обучали парней стрелять «от живота», с ходу, падая на колено, из-за укрытия; бить ножом растопыренное, по-человечески тугое чучело; учили схватываться друг с другом, рвать руку из плеча, заламывать кисть, ударять «промеж глаз», находить «темечко» для того, чтобы противника повалить в моментальное беспамятство.

Большая часть этих парней уже прошла военную подготовку в группах ОУН. После разгрома Польши эти ячейки были созданы во многих районах генерал-губернаторства, получали от новых властей помощь: им давали помещения, инвентарь, соответствующую литературу и определенную субсидию. Вообще-то новая власть деньгами не швырялась, но все же платила больше, чем русским эмигрантам. (Те получали крохи, кое-как сводили концы с концами: шеф «Национального союза русской молодежи» получал от гестапо 15 тысяч злотых в месяц, руководитель РОВС генерал Ерохин — столько же, и лишь Буланов, главарь «Русского национально-политического комитета», вошел в контакт с министерством пропаганды, и Геббельс отвалил ему тридцать тысяч — как-никак, организация побогаче, чем гестапо, да и потом Буланов пропагандой занимался, за нее всегда дороже платят, чем за простое доносительство.) Молодым оуновцам сообщили об этом факте, пояснив, что на них, на бойцов Степана Бандеры, смотрят иначе, чем на здешних москалей,— в этом знак, который только дурак не поймет.

Но среди подготовленных оуновцев оказались и совсем молодые — немец потребовал цифру, они до цифры охочи: восемьсот человек должны быть откомандированы в батальон «Нахтигаль», что по-русски значит «соловей». Семьсот человек были уже проверены в д е л е. Среди ста других, которые отличались от остальных людей планеты тем разве, что говорили по-украински, радовались «рушнику» и жили в мазанках, а не в коттеджах, избах или бунгало, оказался Микола, сын Степана Шаповала, крестьянина, бедолаги, который, когда пришли Советы на западные украинские земли, был, на беду, в генерал-губернаторстве, и землишка его была распахана, расчищена граблями, и на ней поставили пограничные столбы, опутали проводами и пропустили через них электрический ток: корова дотронется — бьет насмерть, аж язык вываливается, черный, вспухший, в кровавом предсмертном закусе.

Степану дали, правда, землицы взамен приграничной, но возле оврага, затененную, с рыхлинкой. Вот тогда-то и пришли к нему оуновцы, и объяснили ему вину москалей, и пообещали помощь, когда советская влада развалится, а пока дали маленько деньжонок. Крестьянину не сумма важна, а забота, суммуто он, хошь не хошь, должен своими руками выколотить, иначе дети помрут с голода.

Будучи человеком совестливым, Степан, когда к нему в феврале пришли, отправил сына Миколу отслуживать добро, да и земельку свою возвращать надо — сам не возьмешь, другой заберет. Когда большая драка начинается, ударять надо первым.

Вначале Микола в фольварке грустил. Не нравилось ему, как нахтигалевцы вышучивали его, по-барски грубо, заставляя прислуживать — привыкли, видно, дома к этому. Не нравилось, как немецкие хозяева смотрели, особенно когда по вечерам парни собирались в кружки петь песни. Хозяева глядели с пересмешкой и чистили зубы деревяшечками, посматривая время от времени то на парней, то на б е л е н ь к о е, что вытаскивали изо рта. Миколу аж передергивало, когда хозяева счищали беленькое пальцами и снова лезли в зубы деревяшечками, не прикрывая рта, словно одни были или с каким скотом бездумным.

Микола заметил, что часть новобранцев тоже на хозяев косилась, но не ведал парень, что они уже прошли кое-какую ш к о л у, а он был совсем еще новенький, чистый, он своего скрывать не научился. Старшим бандеровские агитаторы объяснили, что это есть временная п о л и т и к а, но главное будет дальше. С ними уже проштудировали лозунг Коновальца, взятый у Лойолы,— «цель оправдывает средства».

Одно было спасение для Миколы — настреляется за день, надерется, напрыгается с вышек на шею «врага», накричится, если другой нахтигалевский о с в о б о д и т е л ь окажется сильней, и руку меж лопаток вертанет так, что в глазах зазеленеет,— вернется, ляжет на койку во втором ярусе и забудется, вздрагивая, в тревожном сне.

Когда строевые занятия кончились и каждый в присутствии двух командиров «Нахтигаля» — немецких, обер-лейтенанта Херцнера и Оберлендера, и украинского, Романа Шухевича — сдал зачеты и получил в личное пользование оружие: автомат под номером и кинжал с гранатами,— тогда начались занятия по политике.

Из Кракова на немецких машинах приезжали Лебедь, Стецко и Старух. Они объясняли легионерам про то, как сильна великая Германия и какой гений есть Адольф Гитлер, понятно и доходчиво учили, что как только придет на Украину армия великого фюрера и освободит народ от Советов, так сразу же настанет жизнь райская: начнется царство справедливости, ибо всякий украинец — брат украинцу, а все несчастья происходят в мире только тогда, когда правят коммунисты — свои и чужие, другой крови.

— Господин Лебедь,— спросил Микола по наивной своей молодости,— а как же так — господь наш Иисус Христос, Сын Божий, жидовской крови, а правит душами нашими, давая надежду и утешение бедным и обиженным?

Лебедь улыбнулся, внимательно оглядев юное, не знавшее еще бритвы лицо парубка.

— Парень,— ответил он,— Христос бескровен, он ведь — ты сам сказал — Сын Божий.

— Не,— упрямо не согласился Микола (тут можно со всей искренностью говорить, не под поляками ведь, а со своими), нет,— повторил он,— кровь у Христа из ладоней сочилась, когда каленые гвозди распяли тело Его.

— Микола, тебе не легионером, а проповедником быть...

Нахтигалевцы засмеялись; дружное ржание прошло по столам, но здесь были свои, поэтому Микола тоже улыбнулся, но упрямо продолжая свое:

— Господин Лебедь, а вот когда мы под панами стонали, так ихний холоп, польский-то, наравне с нами страдал...

В помещении сделалось тихо. Легионеры переводили сузившиеся глаза с юного Миколы на резко рубленное, молодое еще, но в волевых морщинках лицо помощника Бандеры.

— И ляхи твоего отца не теснили?— спросил после долгой паузы Лебедь.

— Ну, как не теснили?!— удивился Микола.— Еще как теснили! И хлеб забирали на армию и коня! Еще б — не теснили...

— Ну,— облегченно ответил Лебедь,— я об этом и говорю. Чужой по крови, он и есть чужой.

— Так и у Седлецких хлеб забирали и у Бочковского коня со двора увели! А ведь поляки!

— А вот интересно, что у вас про Советы говорили?— особым, и с к р е н н и м голосом спросил Лебедь, и Микола не обратил внимания на то, как слишком уж он открыто улыбнулся ему, приглашая к откровенному разговору.

— Разное говорили,— ответил Микола.— Дядька Остап говорил, что под Советами голодных нет, за школу платить не нужно, в театрах на украинском играют и что песни у них поют не хуже, чем в «Просвите».

— Врет он!— жестко сказал Лебедь.— Как фамилия дядьки Остапа?

— Буряк,— сказал Микола.— Остап Буряк, мы с ним соседуем.

...После первого урока политики Миколу, сына Степана, восемнадцати лет и семи месяцев от роду, направили на кухню постоянным дневальным. Такому обороту дела он обрадовался, потому что ежели черпак большой, значит, и миска своя.

Микола не знал и не мог, естественно, знать, что Лебедь уже обсудил его судьбу с Романом Шухевичем. Лебедь предложил вернуть парня домой после того, как легион передислоцируют в Санок, к русской границе. Однако Шухевич, побеседовав с офицером СС Крюгером, прикомандированным к «Нахтигалю», решил по-иному — оставить Миколу для того, чтобы на его примере воспитать остальных.

— Во Львове,— говорил Лебедь на следующем занятии, зная, что в помещении теперь одни лишь свои, — в первый день надлежит вам, хлопцы, ликвидировать комиссаров и чекистов: своих, украинских спервоначала. Потом москалей, жидов и поляков. На каждого в день я кладу десяток. Всего вас восемьсот. За десять дней, таким образом, мы уберем всех врагов — дышать станет легче, да и место для тех наших, кто приедет следом из генерал-губернаторства, надо освободить. Я главные-то имена назову, а вы запомните. От этих главных круги себе разрисуете, их бесы тоже пятерками живут: вокруг главного — пять прихвостней, у каждого из этих пяти — своих еще с полтора десятка. А это легко, когда много. Один не дрогнет — другой развалится. Особенно бабы и дети: на них жмите, если кто из тех, кто нам нужен, скрылся. Записывать, конечно же, ничего не надо, вы разведка, вам бумага и перо ни к чему, это для интеллигентиков там разных — писать, нам делать надо. Очи закройте, отдохните малость, в себя поглядите, успокойтесь... Вот так. Готовы?

И Лебедь открыл папку и начал зачитывать списки.

Громадные списки эти начинались с украинских фамилий. Коммунисты и беспартийный советский актив в первую очередь. Потом шли русские, польские и еврейские, которые, в свою очередь, подразделялись на два сектора. В тот, который именовался «№ 47/12», были занесены имена и адреса офицеров-пилсудчиков, известных своими отлаженными связями в армии. Этот список Бандера не утверждал в абвере. Этот список Бандера не утверждал и с Оберлендером, ибо понимал, что столкнется с возражением; опыт создания гитлеровцами «народовых сил збройных» — польских вооруженных жандармов, надзиравших за украинскими районами в «генерал-губернаторстве» (при немце они пороли страшнее и безнаказанней даже, чем при пилсудской власти),— подсказал Бандере единственный путь: одним ударом уничтожить потенциального конкурента и врага, верой и правдой служившего одному с ОУН хозяину — Гитлеру.

Список украинских и польских интеллектуалов — цвет Львова, гордость Советского Союза и Европы, причем не только Европы славянской,— был утвержден Оберлендером, и уничтожение тысяч профессоров, врачей, художников и писателей было санкционировано. Второй список как бы прилагался к первому: список — он и есть список, в него, как в трамвай, можно натолкать — не резиновый, не лопнет; удобное это дело с п и с о к на расстрел — он развязывает руки в главном, а под главным всегда можно протянуть с в о е.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

Третья карта

БЕСЕДЫ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Уставших с дороги Омельченко и Елену разместили в доме, где жил Роман Шухевич. Им отвели ту комнату, где обычно останавливался Ярослав Стецко — маленькую, с окном, выходившим на огород, разросшийся, словно сад: лето было ранним и жарким, а в мае прошли хорошие дожди.

Шухевич, как заметил Штирлиц, был с Омельченко почтителен, несколько даже подобострастен, но в глазах его то и дело мелькала особого рода и г р и н к а — такая появляется, если только с врагом говоришь.

Штирлиц решил не мешать Шухевичу и Омельченко: первая беседа самая ответственная, когда притираются «разности». Он был убежден, что Омельченко назавтра расскажет ему все с мельчайшими деталями.

Шухевич, являясь начальником воинских соединений Бандеры, был, естественно, уполномочен вести любые переговоры с представителями других групп националистов.

«Пусть поговорят,— решил Штирлиц,— эта первая их беседа с глазу на глаз поможет мне войти в здешнюю атмосферу».

...А Штирлица на ужин пригласил Оберлендер. На столе был гусь, зажаренный с яблоками, хлеб и бутылка настоящей водки — немецких наставников снабжали продуктами из краковских армейских складов.

— Не рветесь из этой дыры в Берлин? — спросил Штирлиц.

— Рвусь. Видимо, урбанизм так же едко входит в моральные поры человека, как бензиновая копоть — в поры телесные.

— Урбанизм — это идея,— заметил Штирлиц,— а всякого рода идея порождает антиидею. Не пройдет и десяти лет, как вы станете яростным поклонником деревенской благости.

— Это рискованное утверждение,— ответил Оберлендер.— Прошу к столу, оберштурмбаннфюрер.

— Благодарю.

— Начнем с горилки? Я готовлюсь к русской кампании: у них в отличие от нас сначала пьют, потом закусывают.

— Да?

— Да. И это правильней. Алкоголь — суть обострение чувственного восприятия. А разве этот жареный гусь не есть сгусток чувств?

Штирлиц посмотрел на породистое лицо Оберлендера и не сдержался:

— Всякий молодой мыслитель обычно старается утрированно-ярко излагать мысль, а сказать-то нечего: философия — наука возраста.

На какое-то мгновение Оберлендер стал, словно скованный, даже заметно было, как он напряженно прижал к бокам толстые руки, но потом, расслабившись, резко потянулся к бутылке.

— В отношении молодости вы правы,— сказал он, стараясь не казаться обиженным,— и в отношении философии тоже. Но я отношу себя к иному типу мыслителя: мне все смешно. Мои сентенции не что иное, как тяга к юмору, которым судьба меня обделила. Впрочем, всех немцев судьба обделила юмором: даже интеллигенты у нас сплошь серьезные, скучные «профессора», страдающие так открыто, что это граничит с кокетством.

— Ну, уж если откровенно, вы тоже кокетничаете, говоря, что вам все смешно.

— Знаете, оберштурмбаннфюрер, мне приятно с вами,— искренно сказал Оберлендер.— Вы не скрываете своей антипатии; значит, мне не надо вас опасаться — люди вашего ведомства тогда только опасны, когда они проявляют чрезмерную доброжелательность.

— Браво! — сказал Штирлиц.— Это верно. Браво!

Оберлендер положил Штирлицу ножку, а себе взял крыло.

— Приятного аппетита! — пожелал он и хрустко разломил крыло, и в этом треске раздираемой кости прозвучало для Штирлица что-то особенное, страшное — он даже побоялся признаться себе в том, что именно он почувствовал, особенно когда глянул на сильные, округлые, ловкие и мягкие пальцы Оберлендера. Внимательно оглядев крыло, тот открыл рот, белые, ровные зубы его впились в мясо, и лицо сделалось сосредоточенным.

— Как гусь? — спросил Оберлендер.

— Великолепен.

— Господи, я забыл о приправах! — ужаснулся Оберлендер.— Сейчас скажу дневальному — на кухне в рефрижераторе отменные приправы!

Оберлендер вышел во вторую комнату, которая служила ему одновременно кабинетом и спальней, и набрал номер внутреннего телефона.

— Микола, будь любезен, принеси мне приправы из рефрижератора!

Вернувшись к столу, он снова начал обстоятельно прицеливаться к крылу, поворачивая в сильных пальцах кусок мяса, как ювелир — драгоценность.

— Как наш Рейзер? Сработались? — спросил Штирлиц.

— По-моему, он славный парень.

— Это не оценка работника гестапо: «парень» — либо возрастная категория, либо сексуальная.

— Я не сказал «парень». Я сказал «славный парень». Когда офицер армии так говорит об офицере гестапо, это не сексуальная и не возрастная оценка, оберштурмбаннфюрер. Это оценка деловая.

— Это вы хорошо меня отбрили. Словом, сработались?

— Мне не приходится, к счастью, срабатываться ни с кем из ваших. Я должен срабатываться с подопечными. Они должны помочь успеху армии, а первый успех весьма важен, ибо он носит шоковый характер.

— Верно. Наши задачи находят полное понимание со стороны ваших украинских подопечных?

— Цели двух людей всегда носят разный характер, даже при видимой общности. А что уж говорить о нациях...

В дверь постучали.

— Да! Войдите!— откликнулся Оберлендер.

Микола поздоровался со Штирлицем и поставил на стол приправы.

— Как настроение, Микола? — спросил Оберлендер.— Не грустишь?

— Работы много — грустить не успеваешь,— распевно ответил парень.— Ничего больше не потребуется?

— Нет, милый, спасибо. Хочешь рюмочку?

— Не велели — грех.

Посмотрев какое-то мгновение на дверь, осторожно прикрытую Миколой, Оберлендер задумчиво сказал:

— Несчастный парень... Его, видимо, расстреляют.

— Что?!

— Он оказался блаженным. Это распространено у славян... Он, знаете ли, ищет п р а в д у...

— Зачем же стрелять? Помогите ему правду найти.

— Такую идею высказали Шухевич и Стецко. Идея устроила Крюгера и Рейзера.— Оберлендер взял второе крыло с блюда.— Казнь с в о е г о сплотит легионеров. Своя кровь сплачивает сильнее, чем чужая: орден тем и силен, что требует жертву, причем жертву из своих же рядов.

— В чем вина этого парня?

— В наивности. В детской, доверчивой, крестьянской наивности. Политика рейха этого не прощает, не так ли?

— Политика рейха не прощает изменников и требует от всех своих граждан абсолютной, предельной открытости.

— У меня создалось впечатление, что вы человек дела, оберштурмбаннфюрер.

— Не понял.

— Вы все поняли.

— Я понимаю, когда мне делается ясной логика поступка. Здесь же я логики не вижу — досужие игры в средневековье.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—41.

— Парень попал сюда случайно, оберштурмбаннфюрер. Хотели привлечь его отца, но семья оставалась без кормильца; парень оказался наивным бычком — такие опасны в годину крови. Он уже все знает, поэтому отпустить его нельзя. Значит, его надо использовать. Во имя дела.

— Теперь понятнее. Какие задачи вы, лично вы, ставите перед легионерами?

— Лично я ставлю задачи перед студентами, когда надеваю мантию доктора права и государственных наук Пражского университета. Там я ставлю задачи. Здесь же я провожу линию, определенную моим командованием.

— И как вы понимаете эту линию — применительно к вашим подопечным?

Штирлиц сформулировал вопрос так, чтобы заставить Оберлендера ответить: вопрос, обращенный к личности, делал невозможным уход от ответа.

— Еще горилки?

— С удовольствием,— ответил Штирлиц.

— Что касается того, как я вижу свои задачи в будущей кампании, то однозначного ответа дать нельзя. Видимо, следует выделить два основных аспекта проблемы: крестьянство как объект превращения в придаточный аграрный потенциал рейха и славянскую интеллигенцию как вероятного противника этого неизбежного процесса.

— Постановка вопроса абсолютна, но успех или неуспех мероприятия будут определять частности.

— Совершенно верно,— подняв глаза от остатков гуся, согласился Оберлендер.— Основные узлы этой проблемы я сейчас попробую сформулировать.

Оберлендер закурил, подвинул к себе пепельницу, сделанную из гильзы противотанкового снаряда, и напористо (ему, видимо, нравилась такая манера) начал говорить резкими, рублеными фразами:

— В конкретно-славянском случае проблема интеллигенции представляется мне первичной, поскольку марксизм определил этот вид общественной деятельности как «прослоечный». Прослойка — форма некоего накопителя, принимающего в себя представителей крестьянства и городских рабочих. Поскольку в России преобладало крестьянство, то, следовательно, накоплений от села в интеллигенции было больше. Крестьянская идеология в интеллигенции стушевывает порыв, поскольку земля менее склонна к эволюции, чем фабрика. Станок революционен по своей сути, ибо он несет в себе заряд соревнования с другим станком, тогда как земля едина и бесконечна в своей вечности. Видимо, наша задача заключается в том, чтобы столкнуть интеллигенцию, так сказать, станковую с интеллигенцией аграрной. Противопоставление всегда конфликтно. Третьей силе выгоден конфликт двух других сил. Ущербность самолюбия — инструмент борьбы. Когда ты представитель «прослойки», когда ты ниже иных представителей общественных групп,— с тобой легче говорить представителю третьей силы.

— Управленческий аппарат вы относите к интеллигенции?

— Насколько мне известно, управленческий аппарат в России насквозь большевистский. Работать с ним бесполезно, ренегаты принесут мало пользы, ибо изменник обоюдоопасен. После того как будут изолированы фанатики, предстоит серьезная работа по расколу: ставка на тех, кто пришел от земли и с землей связан. Отсюда — скачок к массе крестьянства. Отличительная черта крестьянства — преклонение перед количеством. Для того, чтобы освободить земли Украины для заселения нашими колонистами, можно избрать два пути. Первый — создание поселений, построенных по спектральному методу: в основе конструкции колонист или группа колонистов, а вокруг бараки украинских агрорабочих, выполняющих задания рейха, доведенные до них нашими поселенцами. Пропорция населения только в первые годы, в первые десятилетия будет устраивать нас. Рейхсфюрер обозначил необходимое количество детей в каждой немецкой семье — семь. Четыре мальчика и три девочки,— добавил Оберлендер, и Штирлиц хотел угадать искорки у него в глазах, но Оберлендер, словно поняв это, потянулся к бутылке и разлил горилку по рюмкам.— Значит, на украинских землях вновь возникнет конфликтная ситуация, ибо наши колонисты будут расти, но и украинцы будут размножаться. С моей точки зрения, необходимо таким образом решить проблему, чтобы украинец сам попросил нас о переселении на Урал или в Сибирь. В этом нам должен помочь не только террор, но и обращенная интеллигенция, связанная с землей. Идея создания личных хозяйств на больших землях, идея общения с пахотой — помимо немецкого колониста — только кажется рискованной, на самом деле она целесообразна. Биологическое несоответствие украинской мягкости и сибирской суровости обречет это племя на внутривидовой отбор, и мы снимем с себя возможные обвинения. Нужна песня и песенники, за которыми массы крестьян уйдут в Сибирь...

— Крестьянство России и Украины представляется вам темной, единой, безмолвной массой? Или вы как-то дифференцируете аграрный класс?

— Вы бывали в России? — задумчиво спросил Оберлендер.

— Даже если бы я и бывал там, мое мнение не имеет веса — я никогда не специализировался по славянской проблеме.

— Занятно, чего в вашем ответе больше: недоверия ко мне лично или к армии, которую я представляю?

— Вы представляете армейскую разведку. Не стоит смешивать понятия.

— В таком случае СД...

— Экий вы зубастый,— удовлетворенно заметил Штирлиц.— Но в принципе верно: СД — перчатки, в которых партия проводит кое-какие мероприятия. То же самое и с абвером — в системе армии.

— Я отвечу на ваш вопрос,— удобнее устроившись на стуле, сказал Оберлендер.— Вопрос интересный, на него стоит ответить.

— Вы ведь больше заинтересованы в ответе. Нет?

— Верно.

— Вы привыкли оценивать свои мысли со стороны. Вы отчуждаетесь, когда говорите?

— Слушайте,— серьезно предложил Оберлендер,— приходите в Пражский университет. Ректором, а? Мне будет легко работать с таким руководителем.

— Спасибо. Обдумаю ваше предложение. Итак?

— Крестьянство России и Украины в общем-то мало разделимо: культура одна и та же, корни общие, киевские. Оно поразительно, их крестьянство... Советы создали в деревне новое сознание, коллективное, которое сосуществует с сознанием личным. Коллектив ослабляет страх крестьянина перед засухой, неурожаем, саранчой. Изолированная личность с большим трудом борется за жизнь. Коллектив же предполагает активность каждого в борьбе за общий интерес. Вот тут и сокрыто главное звено, за которое следует уцепиться, чтобы вытянуть всю цепь. Надо доказать славянскому аграрию, что всякое посредничество коллективной техники между ним и землей не нужно. Надо всячески стараться вернуть славянского крестьянина к идее девятнадцатого века, согласно которой единственная ценность в мире — это руки пахаря, запах конского пота и отвальная жирность весенней земли. Техника — порождение дьявола. Понимаете? Россия, которая была матерью картофельных бунтов, Россия, которая противилась новшествам, ибо они чужие, есть объект, к которому особенно приложима умная пропаганда. Нужно помнить, что история сплошь и рядом порождает иллюзии: людям свойственно искать прекрасное в прошлом, идеализировать его. Надо помочь славянам в этом аспекте — иллюзия прекрасного прошлого должна стать программой будущего.

— Вы убеждены, что иллюзия прошлого победит в России иллюзию будущего?

— Если наше слово будет умным,— победит. Если наше слово будет произнесено их проповедниками,— мы выиграем.

— Кто сможет проводить в жизнь «идею прошлого»?

— Мои подопечные, в частности,— уверенно ответил Оберлендер.— Иллюзия прошлого покоится на фундаменте национализма.

— Но Советы здорово поработали над тем, чтобы национализму противопоставить интернационализм. Нет?

— В общем-то это верное замечание. Они работали серьезно с этой идеей.

— Вам кажется, что идея Советов поверхностна? — спросил Штирлиц.— Двадцать пять лет большевизма легко забудутся?

— Хороший вопрос,— сказал Оберлендер и тяжело посмотрел на Штирлица. Он знал, что этот человек из разведки и хотя задачи его поездки, носившей явно инспекционный характер, были не до конца понятны ему, в одном нельзя было сомневаться: этот человек хочет знать правду, и он не боится ее узнавать.

— Хороший вопрос,— повторил он задумчиво.— Широко распространенное мнение о насильственности большевизма в России — ошибочно. Видимо, власть Советов — лучшая из всех, которая была там когда-либо. Славяне персонифицируют историю. От нас будет зависеть, каким способом мы утвердим, что наш «новый порядок» лучше прежней власти.

— И каким же способом это можно утвердить?

— Беспрекословностью подчинения и умелой пропагандой наших преимуществ.

— Вы имеете в виду социальные или бытовые преимущества?

— Последние.

— Значит, вы думаете предоставить славянам наши бытовые преимущества?

— Ни в коем случае. Только показать. Это вызовет в них преклонение перед нашей нацией, которая всего этого добилась. То, как долго мы этого добивались,— многозначительно добавил Оберлендер,— вопрос другого порядка.

— Вы смело говорите со мной.

— Я получил на это санкцию, оберштурмбаннфюрер.— Искры в глазах Оберлендера были нескрываемы, ибо он знал себе цену, понимая свою нужность рейху...

Однако назавтра, когда Штирлиц выслушал Омельченко, кое-что для него прояснилось: Оберлендер говорил лишь часть правды. Видимо, Оберлендер не успел обсудить с бандеровцами нюансы. То, что Шухевич сказал Омельченко, прибывшему с «миссией доброй воли» от Скоропадского, свидетельствовало об особой линии абвера.

Выслушав Омельченко, Штирлиц решил, что во время этой кампании армия заявит себя не только умением брать противника в танковые клещи, но и знанием, как организовать тыл. Это был замысел той части генералов, которая рассчитывала вывести ОКВ в первый ряд иерархии, оттеснив партийных гауляйтеров Бормана, экономистов Геринга и палачей Гиммлера, ибо раньше тыл обеспечивали войска СС. Сейчас, судя по всему, армия решила заявить себя силой единой, неделимой и определяющей победу во всех ипостасях войны. Это было новое, тревожное новое, заставившее Штирлица заново проанализировать для себя вопросы, связанные с ролью вермахта в жизни рейха.

«Центр.

Создана банда легионеров ОУН «Нахтигаль», которая находится под командованием абвера (Оберлендер, Херцнер). «Нахтигалю» приданы особые карательные функции на территории Советского Союза — уничтожение партийного, советского, комсомольского актива Украины. Бандера говорит подчиненным о своих «чрезвычайных правах» во время предстоящей «победоносной кампании», часто повторяя: «Я, как фюрер ОУН...» С точки зрения расовой теории Гитлера это недопустимо, ибо «фюрер» может быть лишь арийцем. Считаю, что это одно из наиболее уязвимых мест ОУН. Не убежден, что об этом известно в Берлине.

Юстас».

ЭКСКУРС № 2: «ПОЛИТИКА И АРМИЯ»

Будучи согласен с утверждением, что исторические параллели опасны, Штирлиц тем не менее вновь и вновь уходил в своих раз-

мышлениях к древним, исследуя настоящее. Он считал, в частности, что Ксеркс стал владыкой Азии потому лишь, что Галтиса, сестра великого Кира, бабка наследника, будучи воистину всемогущей, любила мальчика за его мягкую нежность. Она устала жить среди воинов с их шумными пьянками и сальными разговорами о распутных бабах — только в молодости ей нравилось быть наравне с героями битв, к старости она захотела ощутить странное и горькое благо женственности.

Ксеркс, став царем персов, любил приходить во дворец Галтисы поздним вечером, когда кончались утомительные совещания с членами высшего совета, встречи с сатрапами завоеванных провинций, которых вызывали для отчетов, начальниками воинских соединений, информировавшими о положении на границах, и ловкими экономистами, что отвечали за состояние казны.

Лишь здесь, в доме бабушки, Ксеркс вновь ощущал себя л ю б и м ы м, он громко смеялся, рассказывая о прожитом дне, и Галтисе казалось, что внук продолжает свои детские игры, изображая в лицах Мардония, прирожденного воина, уставшего жить дома, в кругу семьи, без битв, дальних дорог и новых невольниц; Артабана, познавшего всю прелесть высшей политической интриги, которая представлялась ему подобной историческому трактату, сдобренному хорошей поэзией, угодной и понятной богам, а потому столь заманчивой для смертных.

Галтиса любила Ксеркса, и эта любовь жила в ней вместе с постоянным чувством тревоги за внука: доброта и юность в мире сильных — опасные качества духа человеческого, ибо лишь сила может одолеть силу.

Галтиса воспитывалась в доме тирана, который с двенадцати лет приглашал любимую сестру на беседы с иностранными послами, чтобы девочка смогла познать стратегию политической борьбы. Великий Кир позволял сестре говорить все, что она считала должным сказать.

Став женой сатрапа, открывшего Азии равнины и холмы Европы, Галтиса сказала ему:

— Сколько прекрасных мужских лиц перевидала я в моих грезах, сколько слов сказали мне несуществующие любовники, сколько нежности испытала я в снах своих... Не говори мне о своей страсти: ты честен, и когда ты захочешь завести новую подругу, тебе будет стыдно смотреть мне в глаза, и ты прикажешь отравить меня, и это погубит тебя, ибо я сестра Кира, и боги станут тебе мстить. Относись ко мне, как к другу. Когда ты захочешь устроить вакханалию, какие делал мой брат, чтобы успокоиться после трудных разговоров с врагами, скажи мне, и я уеду в горы, а ты сопроводишь меня до первых постов, и вернешься, и будешь счастлив, ощущая свою силу и величие: жена сатрапа должна позволять ему ощущать собственное могущество. Не держи при мне евнухов — я ненавижу соглядатаев, они предатели по натуре, ибо предавший раз предаст и второй. Верь мне, тогда я смогу быть для тебя тем, кем была для брата.

Сатрап был счастлив в браке. Он открыто, на глазах у помощников советовался с женой, оказывал ей почести на людях, словно богине, проведя перед этим ночь в обществе вакханок, и эта его свобода пугала остальных сатрапов, ибо если человек силен дома, где труднее всего быть сильным, то, значит, по отношению к чужим мощь его несравнима и устрашающа: лишь когда владыка не скрывает от ближних свои желания, тогда только он достиг высшей власти.

...Просиживая с внуком многие часы, внимательно следя за тем, чтобы невольники вовремя подавали любимые Ксерксом блюда, Галтиса думала, как поступить ей, как, не пугая мальчика, сказать о той постоянной угрозе, которая сопровождает его каждый шаг. Как никто другой, она знала, что́ по-настоящему увлекает внука. Ксеркс блистательно рассказывал ей истории морских путешествий, давал свою оценку битв времен вавилонского расцвета, интересовался нравами далекой Спарты и шутя замечал, что обычай спартанцев — после гибели владыки на поле брани закрывать рынок и суд на десять дней — невозможен у персов, поскольку тяжба и торговля — два самых любимых занятия подданных. Он обращал свой взор в прошлое, но не так, как это делали Кир или Дарий, не во имя далекого будущего, а для своего удовольствия: что может быть приятнее парадоксальных рассуждений, во время которых оттачивается ум и развивается риторика!

Галтиса постоянно страшилась, как бы мальчик не решил, что, став царем, он обрел подданных. Она знала, что лишь разумный баланс сил может спасти жизнь Ксеркса. Она понимала, что, будь он простолюдином, не отмеченным печатью богов, все было бы просто и обыденно. Однако жизнь царя неразрывно связана с его престижем, а престиж — это всегда действие, и не обороняющее, но атакующее. Его престиж — это престиж царства, и честолюбцы всегда могут войти в коалицию с другими честолюбцами, если докажут, что уровни престижей не соответствуют друг другу; тогда, скажут они, спасение в перевороте и убиении того, кто оказался ниже задуманного ими идеала.

Галтиса знала, что в царстве идет скрытая борьба между военной партией Мардония и партией политиков, которую возглавлял белолицый, в скромном холщовом хитоне Артабан.

Галтиса понимала, что схватка двух честолюбий ждет арбитра, но она отдавала себе отчет в том, что ни Мардоний, ни Артабан не считали Ксеркса арбитром. Они считали, что Ксеркс должен примкнуть к одной из партий, придав ей, таким образом, законодательные функции и божественную устремленность.

И однажды во время плясок юных скифок, наблюдая за тем, с каким равнодушием Ксеркс смотрел на постыдности, разжигавшие других мужчин, Галтиса приняла решение. Она думала о жизни своего слабого, нежного мальчика, который для слепой толпы был царем, а для вождей партий — пешкой, венценосным символом, который следовало обратить на свою сторону или уничтожить.

«Он очень умен,— думала Галтиса, наблюдая за Ксерксом,— он смотрит искусство тела, а не распутство духа этих дикарок. Ксеркс знает цену своей мужской силе, и он не пресыщен, просто он умеет видеть больше, чем другие: за постыдным он тщится увидеть чудо пластики. Это мой внук, и я должна открыть ему истину...»

— Ксеркс,— сказала Галтиса, — великий царь персов, выслушай меня.

— Говори,— ответил Ксеркс, медленно оторвавшись взглядом от скифок.

— Владеть — значит опережать. Царствовать — значит угадывать предначертания богов. Угадывание не есть темное нечто, это, наоборот, явное, сложенное из кубиков явного. Кубики — мнение людей, которые окружают каждого. Разбросанные по полу кубики — крушение империи. Сложенные воедино — стены вечности, оберегающие памятник величия вла-

дык. Кубик «достижения величия войной» — Мардоний; кубик «достижения величия миром» — Артабан. Если ты станешь медлить, свершится распадение двух кубиков на десятки других. Сейчас тот момент, когда ты, зная мнение обоих, должен сделать выбор и принять решение.

Галтиса напряженно ждала, что ответит внук, и страшилась его ответа: даже самым умным бабушкам внуки-цари всегда кажутся маленькими детьми.

Ксеркс медленно очистил банан, сделал из желтой кожуры кораблик и осторожно положил его на большое серебряное блюдо.

— Похоже на лодку, которую спустили на море после захода солнца,— чуть прищурив глаза, сказал он.— Литое вбирает в себя слабое.— Он снова глянул на танцовщиц и чуть поморщился: отдавало потом, дикарки заметно притомились.— Говорят, серебро лечит желудочные недуги — очень интересно... Неделю назад я приказал разрубить пополам трех фригийцев, которые пришли ко мне с доносом на Мардония и Артабана, они сказали, что тот и другой хотят убить меня в борьбе за свои идеи. Я повелел ознакомить вождей партий с моим приговором: «Казнить бесчестных за попытку посеять вражду и недоверие среди друзей». Лазутчики донесли, что казнь отрезвляюще подействовала на обоих: они теперь говорят со своими советчиками о планах на будущее в дальних комнатах, опасаясь, что мои люди смогут подслушать их речи. А я знаю все, все!..

Назавтра, собрав совет, Ксеркс посадил Галтису подле себя, на второй ступеньке тронного возвышения, и, улыбчиво оглядев чеканные лица вождей партий, сказал:

— Все время после вступления на престол, о персы, я размышлял над тем, как бы мне не уронить царского сана предков и совершить деяния на благо державы не меньшие, чем они. Я собрал вас, чтобы открыть мой замысел: соединив мостом Азию и Европу, я поведу войска в Элладу.

Всю ночь Ксеркс готовился к этому совету. Он вызвал в дом бабушки тех, кто был когда-то поднят из милости великим Дарием: с ними беседовала Галтиса. Ксеркс сидел в углу, пил горячий напиток из листьев соргии и молчал. Лишь когда бабушка кончила беседовать с десятым человеком, голос которого должен был склонить совет в пользу его, Ксеркса, идеи «баланса», царь сказал:

— То, что вам повелела Галтиса, угодно мне и богу. Запомните все, что она объяснила, но поступайте так: сразу после того, как я закончу речь, а закончу я словами «отныне и на века», немедленно, как по команде, оберните головы к Артабану, буравьте его взглядами, и пусть вождь партии войны Мардоний почувствует свою малость и незначимость, ибо слова, которые готовился сказать он, скажу я, лишив его, таким образом, идеи. И не отрывайте взоры от лица вождя партии политиков до тех пор, пока не заговорит Мардоний, а он заговорит, или я ничего не понимаю в людях!

Галтиса подумала: «Такого не мог ни Кир, ни Дарий. Мальчик — самый великий политик из нашего рода воинов».

И сейчас в тронном зале, восседая возле левой сандалии внука, Галтиса, чувствуя внутреннюю дрожь, впилась глазами в лицо Артабана, хотя ей мучительно хотелось обернуться к Мардонию, от которого сейчас зависело будущее царя.

Ксеркс рассчитал всё, как математик, который выше политика, ибо оперирует он данностями, которые лишены эмоций. Мардоний, ощутив свое внезапное одиночество, вспомнил недавнюю казнь фригийцев, увидел, что все внимание обращено на его врага Артабана, резко поднялся и зычно произнес:

— Владыка! Ты самый доблестный из всех персов, какие были и будут когда-либо! Войны неизбежны, и мы должны собрать армию и начать битву против слабых эллинов!

Ксеркс отметил, что Мардоний сейчас выступил как политик, ибо он, во-первых, назвал его «самым доблестным» — так еще никто и никогда не говорил о нем,— а во-вторых, повторил свой тезис о неизбежности войн как его, царский тезис, согласившись, таким образом, признать свою верноподданную в т о р и ч н о с т ь.

«С этим все»,— понял Ксеркс и легким кивком головы поблагодарил Мардония.

— Артабан,— сказал он,— твой черед.

— Правильное решение, — откашлявшись, начал Артабан,— дело самое важное. Если потом и возникнет препятствие, то это неважно — решение все равно хорошо. Поспешность — к неудачам, промедление — во благо. Ты же, Мардоний,— обернулся Артабан,— перестань говорить презрительно об эллинах! Ведь пренебрежительными речами и клеветой на их слабость ты призываешь царя к немедленной войне с ними!

Нет ничего страшнее клеветы: клевета делает преступниками двоих, а третьего — жертвой!

Ксеркс глянул на Мардония, понял то, что ему надо было понять, и закричал на Артабана так, как кричат на слуг:

— Ты малодушный трус! Ты не пойдешь со мной на Элладу, а останешься здесь с евнухами стеречь наших баб!

Мардоний громко засмеялся, Артабан склонился в униженном поклоне, Ксеркс утвердил себя царем, жизни его отныне ничего не грозило, и Галтиса впервые за три года уснула счастливой.

(Потом будет поход в Европу, и мост через Геллеспонт, и шторм, и гибель моста, и будут воины Ксеркса за этот шторм сечь море и надевать на него оковы, и будут идти мимо Олимпа к Афинам, и будут грабежи, моры, распутство, победы, Фермопилы, будет гибель флота, бегство, казни, оргии, пьяный бред, воспоминание о молодости и ненависть к бабке, к проклятой старухе, которая не о с т а н о в и л а, и будет тяжкий и липкий страх, знакомый тем, кто познал медный привкус н е с в е р ш е н и я, а потом настанет смерть — от руки начальника стражи...)

Штирлиц раскопал в библиотеке, что король Фридрих Второй прусский изучал историю древних с профессорами, которые купировали тексты Плутарха, Геродота и Платона таким образом, чтобы юноша воспитывался на триумфах, а не поражениях. Учителя верили: трагедии персов, римлян и греков проистекали потому лишь, что монархи не имели мобильной армии, которая стала бы постоянным инструментом национальной политики. Армия, приведенная к присяге прусскому монарху, должна оказаться той силой объединения германской нации, которая сможет покарать противника внутри и вовне. Не собирать наемников и рабов к предстоящему походу, а иметь их постоянно под рукой; не дискутировать возможные варианты близкого и далекого будущего, а планировать это будущее загодя: лишь сила определяет мир, лишь организованная сила постоянна и имеет шанс на конечную победу.

Уроки Ксеркса были необходимы Фридриху Вильгельму для того, чтобы объединить раздробленные немецкие княжества под короной единой Пруссии. Национальная идея потребовала для своего утверждения «инструмент». Такого рода «инструментом» оказался генеральный штаб, который не только планировал места стоянок армии, количество материалов — для палаток, дерева для ободьев повозок, бумаги — для карт, но и предлагал монарху план наиболее целесообразного удара по противнику. Когда первый в истории Пруссии начальник генерального штаба Герхард Белликум предложил монарху такой план, Фридрих Вильгельм явственно представил себе лицо Мардония и тихо ответил:

— А почему вы внесли только одно предложение? Мне нужно пять по крайней мере, для того, чтобы я избрал единственное, увязав его с соображениями политической целесообразности, которая вам неподвластна...

Состоявшееся не исчезает. Задуманное осуществляется. Обиду не прощают, особенно воины и жены. Внуки Герхарда Белликума знали об унижении, которое испытал их дед. Потомки Фридриха Вильгельма помнили, как их венценосный предок поставил на свое место генеральный штаб: «Каждому — свое». Равновесие противоположностей долго продолжаться не может, а история мерит свою значимость столетиями — не годами. Генералы возвысившейся Пруссии знали, что венценосцы обязаны своими победами им. Они, как и монархи, не хотели понять, а скорее всего не могли, что лишь массы возвышают личность, а не наоборот; они верили, что массы чтят ту личность, которая ввергала их в пучины крови, разрушений, поражений и побед; мироносцев забывали — тиранов чтили. Подспудная борьба честолюбий продолжалась веками. Монарх — свят. Нация—вечна. Прусский дух не позволял генералам выкаблучивать «французские штучки», когда солдаты дерзали стать маршалами. Но они, будучи представителями нации высокой и организованной дисциплины, решили противопоставить монарху не личность, а совокупность личностей — генеральный штаб. Так родилась каста. Генеральный штаб планирует атаку — не мир. Маневры проводятся для того, чтобы нападать — не обороняться. Генералы, которые только учат муштре, но не позволяют юному ландскнехту ворваться в чужой город и ощутить сладость победы, обречены на презрение наемников и офицеров. Генералы знают это: они требуют от монархов реализации их планов на полях битв.

...Когда завершалось объединение германских земель под скипетром Пруссии, генеральный штаб функционировал особенно интенсивно. Он вел подготовку войны против Франции.

После разгрома Франции германский — не прусский уже — генеральный штаб приступил к новой фазе долгосрочного планирования агрессии.

Кайзер Вильгельм уволил в отставку Бисмарка, сопроводив увольнение почетными наградами и программным письмом: «Ваша светлость! В вопросе о необходимости и полезности войны политические и военные взгляды между собой разошлись. Последние сами по себе имеют право на существование... Я полагал, что такое указание не будет бесполезным для Вашей светлости, но не подозревал, что оно будет истолковано как желание подчинить политические задачи чисто военным целям. Я всецело держусь мнения Вашей светлости, что даже при счастливом ходе войны с Россией нам не удастся уничтожить ее боевые силы. Долг генерального штаба зорко следить за военным положением страны и наших соседей и заботливо взвешивать преимущества и невыгоды. Исходя из того, что не направление политики, а подчиненные ей в о е н н ы е мероприятия должны соответствовать политическим задачам момента, глава генерального штаба должен доводить до сведения руководителя политики военную точку зрения...»

...Выступая на митингах национал-социалистов, где в почетном президиуме сидел соратник кайзера Вильгельма генерал Людендорф, сопровождаемый фюрером штурмозиков офицером генерального штаба Эрнстом Ремом, Гитлер поначалу робел, покрываясь липким потом: уж кто-кто, а Людендорф понимал, что программа НСДАП — чуть модернизированная программа кайзера, разбавленная словесными, никого не страшащими призывами «покончить с капиталом, ссудными кассами, евреями и большевиками»; главная же ее суть оставалась неизменной.

Людендорф аплодировал молодому фюреру первым — за этим златоустом люди пойдут, этот «из низов», и обращается он к «низам» и поэтому будет легко управляем кастой генералов, ибо он, Гитлер, ощущает свою малость, не стыдится говорить про свой ефрейторский чин, восхищается героизмом армии и преклоняется перед военным гением Германии.

Гитлер, в свою очередь, понимал, отчего Людендорф оказывает ему такое открытое, дружеское уважение — сделка неравенств во имя торжества идей Великой Германии. По ночам фюрер не мог заснуть от гнева: его хотят просто-напросто использовать; генералам кажется, что он воск в их руках, они думают, что он прилежный ученик прошлого века. Он успокаивал себя и молил провидение о выдержке: главное с т а т ь — потом он им покажет «воск»!

Он с т а л, заключив договор с рурскими магнатами и тайным генеральным штабом. Две могучие касты п р и в е л и е г о к креслу рейхсканцлера. Он жаждал возмездия, но он знал силу касты и свою неумелость управлять государством.

Провидение помогло ему ощутить свою силу, ибо генеральный штаб заявил открытый протест против фюрера штурмовиков Эрнста Рема — ближайшего сподвижника, «брата и друга по совместной борьбе»,— когда тот по-

требовал от Гитлера объединить армию, СА и СС.

— Аристократы в погонах никогда не примут конечных целей нашего движения,— говорил Рем.— Мы для них — лишь переходная фаза, мостик из Версаля в будущее. Они отринут нас, как только мы разорвем версальские соглашения и докажем миру, что Германия восстала из пепла.

— Как ты мыслишь новую военную организацию? — спросил фюрер задумчиво.— Какой она тебе видится? Кто сможет управлять такой махиной?

— Управлюсь,— ответил Рем.— Неужели ты думаешь, что я не смогу загнать овец в хлевы? Кадровая армия сделается ферментом беспрекословности в будущей военной организации рейха; штурмовики и эсэсовцы получат от нее закалку слепотой; армия, в свою очередь, научится в наших рядах национал-социализму — такой сплав непобедим.

Рем назвал себя вождем будущей армии, сам назвал себя вождем. Этого было достаточно: фюрер сыграл трагедию — он отдавал на заклание армии своего брата по партии, который оказался «мягким идеалистом», не подготовленным к практике государственного строительства — он жил старыми лозунгами национал-социализма, которые ныне стали мешать практике межгосударственных отношений.

Гитлер лично руководил налетом на виллу Рема. Сонный телохранитель на вопрос: «Кто там?» — услышал ответ: «Телеграмма из Мюнхена». Фюрер изменил голос, отвечая охраннику Рема, он произнес фразу, как ребенок, пискливо. Опыт работы в тайной полиции (чем не грешит честолюбивая молодость!) помог фюреру войти в виллу своего «брата» без выстрелов. Выстрелы прозвучали спустя десять минут, они были глухими: Рема и его соратников убивали в подвале, где находился тир.

Генеральный штаб в благодарность за эту «жертву» привел армию к новой присяге: «Я клянусь перед господом богом этой священной присягой, что буду безропотно подчиняться фюреру немецкого государства и народа Адольфу Гитлеру, верховному главнокомандующему вооруженными силами...»

Теперь Гитлер мог убрать тех генералов, которые помнили военную программу кайзера Вильгельма и понимали мелкую «вторичность» фюрера. Но фюрер не торопился. Он был спокоен. Он взошел по лестнице. Осталось еще одно испытание, и тогда...

Аншлюс Австрии был пробным камнем: если сорвется — он во всем обвинит генералов и отдаст их на заклание. Если произойдет так, как задумано, лавры получит он. Он получил лавры. После этого он разогнал тот генеральный штаб, который вел его к победам. Все те, кто знал его начало, его малость и неумелость, должны уйти. Все те, для кого он был просто Гитлером, а не «великим фюрером», «гениальным стратегом», «непобедимым полководцем», должны исчезнуть. Гитлер посадил в кресло военного руководителя Кейтеля — исполнителя с мышлением дивизионного командира. Новые генералы славили стратегический гений фюрера — во время первой мировой войны они были лейтенантами и не могли знать того, что знали генералы, уволенные в отставку. Однако логика развития противна логике личности, обуреваемой честолюбивыми замыслами: новые фронты потребовали знающих командиров. Гитлер был вынужден призвать из поместий фельдмаршалов, которые жили там уединенно, под негласным надзором гестапо. Генеральный штаб, спланировавший войну на много лет вперед, становился саморегулирующейся силой, которая требовала питания, словно мощный мотор. Этого не понимал Гитлер, опьяненный победами. Это понял Штирлиц, наблюдая за мелким, казалось бы, эпизодом, связанным с группой незаметных, мелких политиканов из ОУН.

«Будет драка,— думал Штирлиц.— Генералы не простят Гитлеру унижения. Об этом надо думать уже сейчас и помогать этой драке, где только можно и как можно».

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ

КУРТ ШТРАММ (III)

«Эсэсовец прав,— подумал Курт, чувствуя, как мучительно одеревенели ноги, поясница и предплечья.— Он прав, к сожалению. Я не вытерплю, если меня подержат здесь еще неделю. Или две. Я начну лгать ему, я ведь придумал сотни версий, и каждая из этих версий правдоподобна, и все детали сойдутся, но не сойдется одна крохотная мелочь, обязательно не сойдется, потому что у меня нет карандаша и бумаги, и друзей — Гуго и Ингрид, и они не могут проговорить со мной каждую из этих версий; а эсэсовец может созвать совещание, поручить своим семерым или ста головорезам исследовать каждое мое показание и — главное — вызвать наших и начать их допрашивать, зачитывая им мои слова. Он будет подолгу рыться в бумагах, доставать ту, которая ему нужна, действуя на Гуго или Ингрид таким образом, чтобы заставить их поверить, будто я начал говорить, и сознание того, что я заговорил, погубит друзей, потому что мы дали друг другу клятву молчать».

Курт поднял плечи так, словно у него чесалась спина, но движение это не ослабило мучительной одеревенелости, а, наоборот, подчеркнуло ее — тонкие, холодные иглы вонзились в шею, ноги и в спину; каждое движение было сопряжено с ощущением зажатости в крохотном каменном мешке, повторявшем фигуру человека, стоящего на полусогнутых ногах.

«Я могу распоряжаться тем, что досталось мне по праву,— решил Курт.— Мне не по праву досталась в наследство фабрика, и не по справедливости я получил счета в банках. Но я по праву получил жизнь, по праву любви моих родителей. И я могу распоряжаться моей жизнью в этих условиях. Ну, спорь, Курт, спорь,— попросил он,— ведь разум всегда ищет выход, но ты, Курт, сейчас не имеешь права на это, потому что пошел на борьбу, веруя в ее высшую справедливость. Ты можешь, конечно, возразить, что честно лишь то, что заработано потом, кровью, руками, мозгом, талантом, голосовыми связками, и я поэтому не имею права распоряжаться жизнью, которая всегда случайна и получена в дар. Ну, спорь же, Курт! Ведь можно сказать, что надо выдержать; ты пообещаешь выдержать все, в глубине души каждый надеется на чудо, на то, что Гитлер разобьется на самолете, что на него упадет кирпич или его хватит паралич. Хотя таких паралич не хватает: за его здоровьем каждый день следят врачи, он принимает по утрам ванны, днем греется под «горным солнцем», а вечером пьет настой из целебных трав: ведь жизнь фюрера так дорога германскому народу! Нельзя надеяться на нечто, что может прийти извне. Надеяться надо лишь на себя. Ну, возрази, Курт! Это ведь гитлеровское: «Во всем и всегда надейся на свою силу!» Значит, мне нельзя надеяться на Гуго? Значит, нельзя надеяться на Ингрид и Эгона? Почему?! Потому что они не имеют права рисковать организацией ради одного меня. Они знают, что я буду молчать. Они поэтому спокойно продолжают наше общее дело. Ну, Курт, ведь ты подбросил себе кость — «наше общее дело»! Ухватись за это! А вдруг наше дело победит в эти дни? А? Молчишь? Молодец, что молчишь, это было испытание: такие дела, как наши, побеждают не сразу, а лишь со временем, как незримые ручьи весной — теплом и чистотой своей — исподволь разрушают серую корку снега. Господи, открой мне, что угодно тебе: мучения, которые убивают во мне твоего сына, или смерть, которую я приму не из твоих рук? А как же ты сможешь умереть, Курт? У тебя нет ремня, а если бы он был, то ты даже не смог бы накинуть петлю на шею. Железные пуговицы на брюках они спороли при обыске — разве забыл? Ты не сможешь распорядиться собой, Курт, потому что здесь, в этой стране, научились лишать человека права на самого себя, и не только в тюрьме, но и дома, а это страшней».

— Эй! — закричал Курт.— Пусть меня срочно отведут на допрос! Скажите, что я об этом прошу!

Когда его привели в комнату эсэсовца, Курт сказал:

— Я сойду с ума в моем мешке...

— Это может случиться,— согласился седой штандартенфюрер.— Но психический шок в мешках носит характер буйного помешательства, которое мы довольно быстро излечиваем. Причем врачи утверждают, что во время маниакального бреда арестованные порой открывают ту правду, которую мы так настойчиво ищем.

— Переведите меня в нормальную камеру, пожалуйста. В мешке я не могу думать над вашими предложениями.

— А вы здесь думайте. Сейчас принесут кофе и бутерброды — думайте себе на здоровье.

«Если я попрошу его снять наручники,— подумал Курт,— он может насторожиться».

— Да, но когда вы станете вызывать моих друзей на допросы и захотите свести меня с ними, они ужаснутся моему виду.

— С вами так поступили лишь потому, что я находился в отъезде, я же объяснял вам.

— Значит, вы отказываете мне?

— Я вынужден отказать. Просьба носит противозаконный характер. Если бы у вас было инфекционное заболевание, или чума, или воспаление легких, я бы отправил вас в лазарет.

«Воспаление легких,— ликующе уцепился Курт,— спасибо тебе, милый эсэсман, громадное тебе спасибо! Ах, как это хорошо — воспаление легких!»

Когда его уводили в мешок, Курт странным движением, которое при этом не было подозрительным, успел высоко вздернуть брюки кистями рук, схваченными за спиной наручниками. Он сделал это для того, чтобы они сразу же опустились,— Курт сильно оголодал за эти дни. Брюки должны сползти еще ниже, и тогда рубашка, которая отделяет его спину от

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37 — 42.

холодной плесени каменной стены карцера, выпростается.

«Из плана мероприятий по наблюдению за группой лиц, связанных с Куртом Штраммом, подозреваемым в контакте с «Быстрым», курьером из Берна.

...Ингрид фон Боден-Граузе, совершающая частые поездки по стране, должна попадать в сферу наблюдения местных отделов гестапо. В связи с тем, что она должна выехать в генерал-губернаторство, следует сообщить ее приметы — если не успеем переслать фото — штандартенфюреру фон Ловски в Варшаву и оберштурмбаннфюреру Дицу — в Краков. План мероприятий на местах должен быть согласован с нами. (Наблюдение за ней в дороге ведем мы.)

СС штурмбаннфюрер Холтофф».
«Утверждаю
СС бригадефюрер Мюллер».

ГАННА ПРОКОПЧУК (III)

На этот раз чиновник комендатуры был еще более внимателен к Ганне, предложил ей черную сигарету, спросил, нет ли каких-нибудь трудностей с французской полицией: «Они совершенно сошли с ума, им кажется, что мы чудовища, которые жаждут крови невинных, они хватают несчастных эмигрантов, сажают их в Сюртэ, а все шишки валятся на нас, проклятых «бошей»...

— Нет, нет, меня не тревожили,— ответила Ганна, не отрывая глаз от коричневой тоненькой папки.— Полиция, конечно, проверила мои документы, но все на этом кончилось.

— Ну и прекрасно. Теперь по поводу той просьбы, которую вы передали господину Прокоповичу...

— Он отказался ее принять.

— Мы знаем. Ничего. Я думаю, мы сможем помочь вам. Следует только написать заявление...

— Новое?

— Да, коротенькое новое заявление. Вы обратитесь с просьбой разрешить вам отъезд на работу в рейх. Вы станете трудиться по своей профессии: мы нуждаемся в хороших зодчих. А уже оттуда, из рейха, для вас не составит никакого труда разыскать своих детей. Мы помогаем тем иностранцам, которые честно трудятся на ниве нашего национал-социалистического государства.

— Здесь у меня работа, интересная работа... А что будет там?

— То же самое. Только более интересная, с моей точки зрения, работа — вы сразу увидите результаты своего труда: пока-то соберетесь отсюда в Бразилию...

— И вы думаете, мне разрешат выезд из Германии в Польшу?

— Куда?

— В Польшу, к моим детям?

— Польши нет. Нет больше такого государства, и оно никогда не возродится, так что, пожалуйста, говорите «генерал-губернаторство», это не будет обижать тех, кто осиротел в Германии после польской кампании.

«А кто осиротел в Польше? — подумала Ганна.— Как страшно сейчас сказал он, как ужасно и спокойно он сказал это...»

КАРТА

— Получить право на посещение генерал-губернаторства без отъезда на работу в Германию никак нельзя?

— Боюсь, что я не смогу вам помочь. Я готов переслать ваше прошение в Берлин, но поймите нас: в Варшаве сейчас слишком много всякого рода забот у новой власти. Город разрушен, гостиниц нет, вас не смогут обеспечить жильем, а это опасно, потому что там введен комендантский час.

— Дети в Кракове. У моей тещи.

— Простите?

— Теща — это мать моего мужа. Она живет в Кракове.

— Краков — закрытый город. Там резиденция генерал-губернатора Франка.

— А можно запросить власти Варшавы или Кракова?

— По поводу ваших детей? Но мы не разрешаем выезд оттуда вообще, а уж в оккупированную зону, сюда, в Париж,— тем более.

— Значит, выхода нет?

— Почему же? — искренне удивился чиновник.— Я предлагаю вам выход: работа в Германии. Это даст вам право найти своих детей, уверяю вас.

— Но...

— Не верьте вздорным слухам. Побежденные, как правило, клевещут на победителей. Мы создаем все условия для работы. В рейхе вы сможете творить по-настоящему.— Он положил свою жесткую ладонь на ее руку, по-дружески, как человек, понимающий горе матери, и добавил: — Поверьте мне и положитесь на меня — я не научился еще быть нечестным. Вот вам бумага, а текст я продиктую...

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Бандера проснулся в холодном поту от своего же страшного крика. Сон был кошмарным. Бандере привиделось, будто он привязан к стулу, перед ним — огромный циферблат с медленной, дергающейся секундной стрелкой, а вместо гирек — секира из стали, раскачивающаяся в такт секундной стрелке прямо над головой. Все ниже опускается секира, все ниже, и вот уже почувствовал Бандера мягким пушком на макушке легкое, будто ветерок «шарк-швырк» ее прикосновение, и представил, как через несколько минут полоснет, и как легонько распустит кожу, и как кровь теплыми струйками побежит за уши, а потом секира — с синим отливом, тяжелая, бритвенная — тронет кость черепа, и Бандера ощутил это мгновение, закричал тонко и проснулся.

«Жара,— подумал он, когда явное ощущение сна ушло, притупилось,— поэтому и мучают кошмары».

Он поднялся с широкой тахты, прошлепал по навощенному полу в ванную комнату и стал под холодный душ.

«Лебедь говорил, что плоть надо усмирять холодным душем,— почему-то вспомнилось ему.— Ерунда какая. Холодная вода — главный возбудитель плоти. Тепло — это спокойствие. Холод предполагает борение».

Бандера явственно увидел маленькую церковь, где обычно служил отец; ощутил теплый, успокаивающий запах ладана и подумал испуганно, что замахивается на огромное, отвергая примат тепла.

«Хотя,— подумал он, стараясь успокоить себя,— это только православие ищет тепло, уния устремлена в холод неба».

Привыкший бояться отца, он долго еще — даже после того, как уехал во Львов,— ощущал в себе страх: не за поступок какой, а даже за невысказанную мысль.

Он стеснялся того, что был поповичем, и страх свой поборол силой: в драке студентов, когда Петро Бурденко был сбит ловкой подножкой, Бандера наступил каблуком на его лицо, и услышал хруст, и закричал, потому что глаза застлало красным, а потом стал пинать мягкое, пинать до изнеможения и рвоты, и это было неким рубежом в его жизни, приобщением к всепозволенности, которая подчиняет себе человека без остатка.

...Бандера растер плечи и живот резиновой жесткой щеткой, накинул на себя простыню, легонько промокнул капли воды, оглядел свою маленькую, ладную, сухопарую фигуру в зеркале, напряг по-борцовски мышцы, усмехнулся, вспомнив рекламу нижнего белья для спортсменов, помассировал лицо, свел тугие брови в одну линию, потом широко улыбнулся своему отражению, подмигнул озорно и пошел одеваться.

Бандера любил красиво одеваться. Как и все мужчины небольшого роста, он компенсировал недостачу внешней мужественности строгостью костюма и постоянной, годами выработанной гримасой скорби на порочном, внутренне жестоком, женственном лице.

Зная, что сегодня предстоит встреча с представителем гетмана, который путешествует вместе с офицером СД, Бандера надел серый костюм в серебряную искорку, галстук повязал синий, но потом, оглядев себя еще раз в зеркале, решил поменять на серый, чтобы все было в один тон. Ботинки он заказывал особые: внешне подошва выглядела нормальной, но внутри, в самом башмаке, она была приподнята на четыре сантиметра — при его росте такая прибавка многое значила. Сначала, по молодости, когда он не мог распоряжаться средствами, Бандера придумал особую манеру: он, наоборот, сутулился, чтобы всем казалось — вот распрямится он, разведет плечи, поднимет голову и станет сразу же высоким и стройным, таким, каким и надлежит быть «вождю», террористу и борцу за национальную идею.

Но во Вронке, в польской тюрьме под Познанью, когда Бандера впервые стал на колодки, он вдруг увидел себя в окне «приемного покоя» и поразился тому, как много значат эти четыре деревянных, громыхающих, мозольных и тяжелых сантиметра; он понял высший смысл кажущейся малости. Он подумал тогда, что малость только тому кажется малостью, кто в ней не видит интереса. Перейдя мысленно от колодок и роста к делу, он тогда еще раз убедился в своей правоте: действенное малое важнее пассивного многого. Пусть у него будет лишь сто верных людей, но они могут сделать столько шума, что всем заинтересованным сторонам эта сотня покажется миллионом.

Когда было принято решение убить польского министра внутренних дел Пирацкого, Бандера организовал этот «теракт», выгодный объективно двум силам: Германии и Пилсудскому. (Германия вносила элемент смуты в пограничное государство, стараясь изнутри ослабить его; Пилсудский — получал свободу рук для «завинчивания гаек»; этот обычно болезненный процесс после гибели Пирацкого приветствовался органами прессы как действенное средство против бандитов. Люди не понимали, что нельзя «завинчивать гайки» только в одной какой-то области, подавляя лишь одну национальную группу — процесс этот будет неминуемо обращен не только против оуновцев, но и против всех украинцев; затем процесс этот коснется и поляков — поначалу коммунистов и демократов, а потом обрушится против тех, кто позволяет себе иметь собственное мнение и отстаивать личную точку зрения на происходящее. Взаимопроникновение тенденций — вещь естественная, опасная, распространенная. Национал-социализму Гитлера отец легионеров Пилсудский хотел противопоставить тоталитаризм польского единства. Бандера помог ему в этом, он развязал ему руки.)

Две силы, находясь в конфликтной ситуации, склонны фетишизировать (хотя и внешне) третью силу, которая является неким оселком в сшибке их амбиций. Один, помогая этой силе, другой, выставляя эту силу как момент национальной угрозы, делаются подобны жонглерам, пускающим новый шар в каскад шаров, летящих из руки в руку. Бандера понял свою «значимость», когда в зале суда замигали магниевые вспышки газетных репортеров. Бандера уверовал в свое предначертание, когда смертная казнь была заменена пожизненной тюрьмой. Об этом ему сказали еще до вынесения приговора, который он выслушал дерзко, чуть приподнявшись на носках, чуя, как икры трясутся от долгого напряжения.

Он всегда мечтал с т а т ь. Обладая умом жестким, быстрым, торговым, он понял, что родился в такое время, когда вырваться из ряда может дерзкий, смелый, ловкий, ставящий не только на свою умелость, свою особость или свое знание. Нет, вырваться, считал Бандера, может лишь тот, кто одарен способностью представлять многих в себе одном. Личность выше толпы; надо только понять нужную идею, надо поначалу раствориться, исчезнуть в этой идее, зная заранее, что это растворение временно, что общая идея в конечном счете подчинена личной устремленности — «стать». У Бандеры был выбор: он не холоп какой, он сын священника. Сызмальства, со

школьных еще времен, когда другие хлопцы утирали ему нос кепкой, нахлобучивая ее на глаза — сверху вниз,— в нем зрело жадное, больное, постоянно жестокое, яростное, кровавое желание доказать. Всех тех, кто насмехался над ним, не брал в баскетбольную секцию, кто не позволял ему быть вратарем в команде («шкет, не дотянется»), он хотел обратить в своих подданных, которые кровью умоются за надменность.

«Сырье» — несчастные массы бесправных украинцев в панской Польше — страдало тяжко. «Эта тупая тьма должна стать моим оружием,— думал Бандера.— Им нужен вождь, тот, кто скажет».

Холодок ужаса и восторга проходил по спине, когда он читал «Майн кампф». «Гитлер германца берет, как с в о е,— думал Бандера,— он подчиняет его своей воле, обращаясь к затоптанному в человеке величию. А почему я не могу так же в з я т ь украинцев? Если не я — придет другой, и я останусь тем, что есть, лишусь людской памяти — значит, буду смертным. А я хочу вечного для себя, вечного».

Рико Ярый не зря проводил «анкетизацию» польских и украинских военнопленных в Германии. Его сеть потому оказалась действенной, что не была «сетью» в шпионском понимании этого слова. Когда он заполнял «анкетки», расспрашивая каждого пленного о прошлом, о мечтах на будущее, о семье и друзьях, он всегда силился оказать несчастным помощь: того пристроит на работу, этого определит — через Красный Крест — в лазарет, тому выхлопочет билет на родину.

Люди Ярого, ходившие за кордон, к его «анкетникам», не просили их отвечать на вопросы, которые могли породить сомнение в осторожной до противозаконного крестьянской душе. Люди Ярого вели беседы, которые казались «анкетникам», спасенным в свое время австрияком, продолжением того доверительного, участливого разговора, который вел бывший командир бывшей армии с бывшими солдатами своими.

И однажды в ячею такого собеседования попало имя Степана Бандеры.

Человек чаще всего и не подозревает, что к нему п р и с м а т р и в а ю т с я. Разные люди оказываются втянутыми в сложную комбинацию, которая должна дать ответ на вопрос, в политике важнейший: можно ли делать ставку на ту или иную личность. Друзья, которые в другую пору и слова бы не промолвили о недостатках и пороках своего з а к а д ы ч н о г о, расскажут все второму приятелю, тоже старинному, особенно после нескольких лет разлуки. Недругов, наоборот, спросят о плюсах того, кем интересуются,— ежели о враге только минусы говоришь, грош тебе цена и нет тебе веры. Познакомятся с родителями, поговорят с соседями, найдут старых учителей, послушают «объект интереса», умело организовав дискуссию в дружеском застолье, и только потом, когда будут взвешены все плюсы и минусы, за кордон отправится посланец «вождя» ОУН Коновальца для личного контакта с Бандерой. Смешно и глупо представлять, что такой посланец, озаренный ореолом героизма (шутка ли — ходить через кордон!), скажет Бандере или любому другому честолюбцу его подобия, что, мол, давай, хлопец, служить немецкому хозяину, запишись в агенты и начинай шпионить.

Сначала под Бандеру надо было «подложить фундамент». В своих выступлениях на сборищах террористов он шел от «личного» чувства, от честолюбия (это «вычислили» в абвере достаточно точно), а надо было поставить его выступления на стезю «чувства национального», скрыв, упрятав ото всех глаз то «ячество», что вынесло его на поверхность и доказало его нужность Берлину. А нужность, если она порождена лишь желанием человека с т а т ь, если она не продиктована высшим идеалом правды и свободы, такого рода «персональная нужность», сдобренная национальными лозунгами, оказывается выгодной третьей силе, ей она — объективно — служит, ею используется.

Следовательно, Бандеру, который через определенное время с т а н е т благодаря незримой помощи третьей силы, необходимо подготовить к превращению из экспансивного честолюбивого юноши в беспощадного террориста, который в дальнейшем должен быть управляем. Надежность и гарантированность этой, столь необходимой управляемости обязана дать идеология национализма, изученная, расфасованная по проблемным ретортам и расписанная во всякого рода книженциях людьми из гиммлеровской разведки. Попытки доморощенных «идеологов» национализма отвергать это наивны, ибо политика — это наука, живущая по законам постоянных формул и данностей. Дело заключается в том, что суверенитет соседнего государства предполагает для дипломатов, парламентариев, деятелей государственного аппарата исключение возможности входить в серьезные контакты с националистами, находящимися в эмиграции, ибо это означает открытый разрыв с той страной, которая исторгает ту или иную группу в изгнание. Но и отказываться от такого рода контактов непростительно — с точки зрения агрессивного внешнеполитического планирования. Следовательно, связи с националистической группой берут на себя тайные организации — разведывательные учреждения рейха.

Человек ущемленного честолюбия, и физического (сызмальства лишь великан казался ему героем) и морального, Бандера получил первую порцию литературы и прослушал первые лекции от посланцев «главного руководства», посвященные, как это ни странно, античной истории.

«Что есть трибун? — спрашивал хитрый до человеческого материала посланец абвера.— Это есть та личность, которая нисходит до горя слабых и сирых. Трибун живет сам по себе, в мире своих утонченных чувств и мечтаний, он волен представлять себе все, что ему грезится. Но грезы его должны идти сверху вниз: от него — ко всем другим. Трибун всегда страдает за чистоту идеи. Ты должен понять, Степан, что истинный трибун более других стремится к схиме, к простоте и скромности, ибо он знает свою отметину на будущее. Можно носить рубашки голландского полотна, золотые запонки и парижское канотье, но при этом быть дешевым торгашом. Можно ходить в костюме ровного тона, уметь слушать и помогать, есть скоромное, ездить в трамвае, а не на «оппеле» и быть истинным трибуном, незримым владельцем душ тех миллионов, которые пойдут за твоим высоким, отдельным от всех духом».

Потом разбирался вопрос о том, что коллективизм, реально выраженный в московском большевизме, есть главный, личный враг трибуна, ибо он подчиняет часть общему, то-

гда как призвание свободного духа есть, наоборот, подчинение общего личному.

...Лишь утвердив в двадцатипятилетнем парне, рвавшемся в политику, идею его исключительности и объяснив «по науке», что и кто есть враг этой его свыше полученной исключительности, повели речь о национализме. Человек из Берлина в свое время сказал Бандере, что высшее проявление национализма сокрыто во всеобщем, темном эгоцентризме. Если обратиться именно к этому в человеке, если позволить ему выразить себя, если он найдет в твоих проповедях п о з в о л е н и е быть самим собой в рамках одной нации, если ты призовешь его к силе, чтобы добиться освобождения от пут общественной опостылевшей морали,— тогда за тобой пойдут и в тебя поверят, как в национального пророка. «Не бойся,— продолжал посланец,— звать к социальной справедливости. Брани буржуя и банкира: ему слово не страшно, ему страшно, если его лишат собственности. Нация без устойчивых точек собственности разлагается иллюзиями. Гитлер не боялся называть буржуазию своим врагом, но он никогда не называл своим врагом Круппа, ибо придумал ему титул «национальный организатор производства». Тебя не поймут, если ты сразу потребуешь отдать фабрику старому хозяину. Нет, ты не говори так; ты требуй передать фабрику новой власти, а инородцев изгнать, как присосавшихся паразитов».

Бандера до конца понял все, лишь когда вышел из тюрьмы после разгрома Польши. Ему тогда в отель люди абвера привезли костюмы, пальто, ботинки; два дня давали витамины и приводили массажистов, а потом посадили в поезд и переправили в Берлин. В тот же вечер его пригласили на ужин за город, в одиноко стоявший коттедж на берегу канала. Три человека, его принимавшие, беседу повели открыто.

— Господин Бандера, после гибели Коновальца,— начал старший по званию,— у власти в ОУН стал Мельник. Мы знаем, что вы хотите созвать свой конгресс и вините Мельника в убийстве Коновальца. Это — ваше право: пусть победит сильнейший. Но мы связаны с Россией пактом, и поэтому открытая деятельность ОУН в настоящее время нежелательна. Только осуществляя связь с нами, выполняя наши указания, лишь конспирируя вашу деятельность по законам нашего военного ведомства, вы сможете получать необходимую помощь.

Бандере тогда захотелось спросить: «Сколько ж вы Коновальцу-то в месяц платили?»,— но потом верх взяли уроки по аристократизму: унижая память ушедшего, ты унижаешь свое будущее.

— Я не совсем вас понимаю,— сказал тогда Бандера,— мы такого рода беседы называли вербовкой...

— Что касается вербовки,— сказал тот, что званием, судя по серебру на погонах, был меньший,— то это несерьезный разговор, господин Бандера.— И он раскрыл толстую кожаную папку.— Здесь собраны все донесения ОУН из края.

Бандера рассмеялся, не разжимая рта:

— Значит, все это время меня здесь з а к л а д ы в а л и?

Офицеры тоже посмеялись, а потом старший ответил:

— Только безумец или безответственный военный деятель дает деньги, оружие, паспорта, квартиры, явки, окна на границе, если в закладе нет чего-либо существенного. Все это время вы делали то, что планировалось нами.

— Размер субсидии, контакты и все прочие организационные вопросы оговорим сейчас? — спросил Бандера.

— Бесспорно,— согласился старший.— Только сначала для того, чтобы мы имели возможность продолжать контакты, вам надо выбрать псевдоним. Телефоны в Берлине работают отвратительно, возможны досадные накладки.

— «Консул». Такой псевдоним вас устроит?

Бандера заметил, как офицеры быстро переглянулись.

— Это закат аристократизма,— заметил, улыбаясь, старший.— Может быть, «Император»?

Военный в серебре почтительно вмешался — чуть не пополам сломился над ухом старшего:

— «Император» уже есть.

Все рассмеялись. Бандера — тоже.

— Хорошо, пусть будет «Консул-2»,— сказал старший,— я питаю врожденную неприязнь к первому консулу. (Не говорить же ему, право, что Андрей Мельник при вербовке взял себе точно такой же псевдоним. Придется проинструктировать Мельника, что отныне он именуется «Консулом-1».)

...Бандера еще раз вошел в ванную комнату, осмотрел себя в зеркале, вернулся в большой кабинет и сел за огромный, мореного дуба стол. Он переложил несколько бумажек, поправил мраморный чернильный прибор, и вдруг ч у м н о е ощущение счастья родилось в нем, и он, не желая сдерживать себя, выскочил из-за стола и начал метаться по кабинету, делая какие-то замысловатые, мальчишеские па, как в далекие студенческие годы, когда из-за малого своего роста стеснялся девушек, и запирался в комнате, и танцевал один — самозабвенно и сладко...

...Штирлица и Омельченко «вождь» ОУН-Б встретил у дверей конспиративной квартиры абвера на Звеженецкой улице, трижды обнялся с посланцем гетмана — пусть старик москалям служил и украинец только по названию, но все равно надо помнить первых борцов против большевизма, они — история, то есть вечность, они излучают особый свет, понятный, впрочем, не всем, а лишь людям с врожденным чувством авторитарности. Бандера, как человек, болезненно жаждавший власти, этим чувством был наделен до предела, поэтому не удержал слез, появившихся в уголках пронзительных глаз-бусинок.

Со Штирлицем он поздоровался сдержанно, ибо кожей ощущал особенность того лихого времени, которое грядет. Он загодя готовился к тому, чтобы возглавить нацию — уголки рта опущены книзу, брови насуплены, желваки перекатываются от ушей к острому подбородку: Сулла, право слово, истый Сулла! Поэтому он должен быть сдержан с представителем той власти, которая войдет на землю, принадлежащую ему.

— Голодны? — отрывисто спросил Бандера.— Я скажу, чтобы накрыли стол.

— Благодарю,— ответил Омельченко,— мы только что позавтракали.

— Действительно, мы только что выпили кофе,— поддержал его Штирлиц.

Бандера поиграл лицом — не поймешь сразу, то ли сожаление, то ли горькая ирония.

— Так ведь кофе с джемом — не завтрак. Это необходимость. Я велю зажарить яишню с салом, у нас на родине так едят, господин Омельченко, а?!

По-немецки Бандера говорил с акцентом, тщательно обдумывая фразу — вероятно, заранее строил ее в уме. «Так говорят люди,— подумал Штирлиц,— болезненно самолюбивые, боящиеся показаться смешными хоть в самой малой малости».

— Нет, нет,— торопливо отказался Омельченко, хотя, видимо, отведать глазунью ему хотелось,— сначала дела, Степан, сначала дела. Времени в обрез.

— Дела так дела,— согласился Бандера.— Прошу присаживаться.

— Нас в первую очередь интересует, как вы мыслите работу Украинской Рады в первые дни после начала кампании? — спросил Омельченко.— Нам известно, что председатель Рады, адвокат Горбовый, наш старый друг и надежный союзник рейха, но не кажется ли вам, что там существует утечка информации?

— Этого не может быть,— снисходительно прищурясь, ответил Бандера.— В Раде собраны проверенные борцы.

— Я не получал информации о создании Рады, господин Бандера,— жестко возразил Штирлиц.— Однако я узнал об этом здесь, в Кракове, от чужих нам людей.

«Не ты, а Омельченко,— сразу же понял Бандера.— Он встречался с Романом Шухевичем и Лебедем, а те по мягкости душевной брякнули!»

— Мои люди ничего не скрывают от представителей СД и германского командования,— сказал Бандера.

— Будем надеяться, что это так,— сказал Штирлиц, удобнее усаживаясь в кресле.— Видимо, вы создали Раду, чтобы загодя провести водораздел между вами и Украинским комитетом во главе с господином Кубиевичем?

— При чем тут Кубиевич? — Бандера пожал плечами.— Он марионетка в руках Мельника.

— Это не моя прерогатива,— сразу же отрезал Штирлиц.— Я хочу спросить вас, господин Бандера, как вы мыслите себе сотрудничество с гетманом? Он вне ваших трений с Мельником, но и его люди не вошли в Раду.

— Ты что ж,— сказал Бандера сквозь зубы Омельченко,— не мог с этим вопросом сам прийти? Обязательно надо было белье выворачивать?

— Ты странно говоришь, Стефан.— Омельченко назвал Бандеру на польский лад.— Я — это я, но гетман сам к тебе с этой просьбой обращаться не станет.

— Этот вопрос обсуждался в министерстве доктора Розенберга. Мы консультировались,— солгал Бандера, и Штирлиц отметил, что «вождь» знает о создании нового министерства восточных территорий, которое было «высшим секретом» рейха.— Я считал, что гетману в Берлине легче договориться с доктором Розенбергом, чем мне здесь с его представителями.

— Вы имеете в виду оберштурмбаннфюрера Фохта? — спросил Штирлиц.

— Именно.

— Трудно работать с ним?

— Он умный, проницательный человек, но ему кажется, что он знает украинскую проблему лучше, чем я и мои люди.

— А в чем суть проблемы? — спросил Штирлиц.— Сформулируйте.

— По-моему, это очевидно. Создание дружественной Германии, сильной Украины, способной вести вооруженную борьбу против Советов.

— Это вывод. Но не проблема,— сказал Штирлиц.— И потом — вы убеждены, что Германии на данном этапе выгодно иметь в своем тылу Украину, а не т е р р и т о р и ю? Ту, где размещены войсковые соединения, где пекут хлеб для войск и устраивают лазареты для раненых?

— Простите, но я уже достаточно полно обсуждал эту проблему,— настойчиво повторил Бандера.— С господами из ведомства доктора Розенберга.

«Что ж ты про армию молчишь, сукин сын?— подумал Штирлиц.— Что ж ты на Розенберга все валишь?»

— Доктор Розенберг,— вступил Омельченко,— действительно придает этому вопросу большое значение. Гетман встречался с его референтами дважды.

Бандера насупился, желваки стали острыми — вот-вот разорвут тонкую кожу щек.

— Я не совсем понимаю предмет разговора, господа,— сказал он.— По-моему, все в достаточной мере согласовано и выверено... Вы,— он тяжело посмотрел на Штирлица,— интересуетесь деталями в связи с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами? Тогда я хотел бы услышать, какими именно.

— Я представляю разведку, господин Бандера. Политическую разведку рейха. Деталями занимается служба безопасности и гестапо. Меня интересует, каким вы себе мыслите германский тыл на Украине? Немецким, оккупационным тылом или тылом украинским, со своим управлением?

— Я мыслю себе германский тыл монолитом, который создадим мы,— снова солгал Бандера, и Штирлиц понял, почему он солгал ему.

Этот человек не мог думать ни о чем другом, кроме как о своей роли в процессе, в любом процессе, и ему было сугубо безразлично все остальное,— немецкое, украинское или какое угодно другое.

Поняв, что Бандера солгал ему, Штирлиц перевел разговор на частности, дал Омельченко вести беседу. Договариваясь про кандидатов от гетмана, «политик» кокетливо отказывался от места, предложенного ему в Раде, а Штирлиц, слушая их быструю трескотню, цепко думал о раскладе сил, который постепенно ему открывался, и о том, как эти силы столкнуть — возможно, это поможет его Родине хоть в самой малой толике.

Потом, не желая мешать Омельченко выполнить г л а в н у ю часть его задания, Штирлиц попросил разрешения ознакомиться с новыми разведданными с Украины и вышел в другую комнату...

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

Из разговоров с немецкими руководителями националистов, прикрепленных к ним гестапо и абвером (Оберлендер, Херцнер, Райзер), получил повторные подтверждения о точной дате начала войны — 22 июня.

«Центр. Юстас».

КУРТ ШТРАММ (IV)

Курт мучительно долго, в сотый раз уже, вертел головой в непроглядной темноте. («Я привык к такой тьме, и свет сейчас казался бы мне насилием, вроде постоянной темноты вначале. А еще, говорят, человек долго привыкает к новым условиям. Смотря как предлагать их: Германия, например, за год привыкла. Дурной пример заразителен, теперь многие в мире захотят научиться так же дрессировать народ, как фюрер».) Он вертел головой и думал, как смешно он выглядит сейчас, если бы кто-то мог наблюдать за ним, но в этих «мешках» даже глазков на дверях нет, потому что арестант ни сесть, ни лечь, ни встать не может — он постоянно полустоит.

Курт, словно одержимый, вертел головой: ему надо было этим движением с одновременным толчком в спину схваченными в наручники кистями поднять рубаху так, чтобы ухватить ее зубами и задрать. Тогда он прижмется голой спиной к мокрой и холодной стене, от которой раньше, повинуясь инстинкту, он старался отодвигаться, чтобы образовалась маленькая воздушная прослойка. Теперь, если он задерет рубаху, то вдавит свое тело в мокрый каменный холод и будет ждать, пока заледенеет изнутри. Он помнил это ощущение с тех пор, когда катался в Альпах и на резком повороте его левую лыжу занесло на камень, который показался из снега неожиданно, ибо солнце было в тот день особенно жарким и растопило наст. Курт перекувырнулся через голову, грохнулся на спину и услышал в себе звон, словно разбился стеклянный, богемский, тяжелый графин, а потом настала тишина, особенно громкая после того, как разбивают графин, любимый, бабушкин, без спросу залезая в буфет вечером, после ухода родителей в театр.

Он тогда лежал, чувствуя, как холод постепенно входит в него. Он не мог ни подняться, ни пошевелиться из-за сломанной ноги. Трасса была новой, а день близился к вечеру, и никто из лыжников не катался здесь, потому что наступало время, когда надо было принять душ и отдохнуть перед тем, как уйти в бар и пить до утра «перно» — белое, словно вода, в которой разведен зубной порошок, танцевать вальс-бостон или танго, ощущая рядом свою подругу, которая днем кажется иной из-за того, что лицо ее скрывают огромные желтые очки, на тело натянута толстая куртка, а руки в меховых варежках. К тому же на трассе она и не подруга тебе, а спортсмен, такой же, как ты, и ты смотришь, как она катит по спуску, и завидуешь ей, или, наоборот, сердишься на нее за то, что она неверно идет, и знаешь, что сейчас, через мгновение, она завалится. Но здесь не обидно смотреть, как падает женщина, она добровольно сунулась в суровое дело, и ей надо терпеть все то, что в жизни уготовано мужчинам.

Курт лежал на трассе и не мог пошевелиться из-за сломанной ноги, но это поначалу не пугало его. Он надеялся, что его заметят на других склонах, не понимая еще, что человек в горах подобен камушку, он еще меньше здесь, чем на равнине, в лесу или в городе.

Он лежал, ощущая лишь боль в ноге, которая сковывала движение, а после Курт почувствовал жжение в спине и понял, что куртка его задралась и шерстяное белье тоже, и это снег жег спину.

Курт ощутил хрипение внутри и очень испугался этого. («Господи, скорее бы задрать рубаху, почувствовать холод, долгий холод и хрипение внутри, и чтобы поднялась температура, и кашель сотрясал меня, и в уголках рта была желтая, горькая мокрота; и чтобы седой штандартенфюрер отправил меня в лазарет, а там есть длинный, длинный коридор, который кончается каменной стеной,— обязательно должен быть. Но ведь коридор был, когда они меня вели в тот первый день, почему же тогда я не... Ты тогда еще хранил иллюзии, Курт. Ты ведь еще надеялся на чудо, разве нет? Ты не думал, что тюрьма, их тюрьма так быстро вылечивает от иллюзий? Ладно, оправдаем тебя. Нет ничего более легкого, как оправдать самого себя... хотя нет... Если судить по правде, то себя оправдать труднее всего».)

Тогда, в горах, его заметила Ингрид Боден-Граузе. Она каталась как раз на этом крутом и сложном склоне, каталась одна, когда большинство лыжников уже спустилось в долину.

Как же она честно тащила его к домику спасателей, проваливаясь в снег по пояс! Она подложила под него свои лыжи, а сама надела на грудь два ремня, будто лошадь или здешние ученые сенбернары. Ингрид опускалась перед ним на колени, гладила его лицо, целовала его щеки, мокрые от слез, шептала нежные, быстрые слова, и он из-за этого еще острее чувствовал боль, но он становился сильнее, когда была ее нежность — мужчина реагирует на нежность иначе, чем женщина, — он становится сильнее.

Ингрид тогда взмокла, и на морозе от нее валил пепельный пар, и Курт тогда смог подумать, что это унижает ее красоту и женственность.

...Через три месяца, после того, как его вылечили в клинике профессора Хаазе, Курт сделал предложение Ингрид. Она была той, о которой ему всегда мечталось,— женщиной-другом, но Ингрид сказала, что у них ничего не выйдет, потому что он слишком мягок и молод, «а я,— засмеялась тогда она,— нуждаюсь в силе, я преклоняюсь перед мужчиной, который опален порохом, который уже знал и любовь, и расставание, и счастье, и горе. Такая уж я дура. Я знаю, что нам какое-то время будет очень хорошо, но потом это кончится, потому что я видела, как ты плакал от боли: женщина этого не прощает. Не сердись, милый...».

...Курт наконец задрал рубашку, ухватил зубами воротник, ощутил его соленый вкус, почувствовал пот на спине, и на лбу, и на шее, и обрадовался этому: холод стены в соприкосновении с разгоряченным телом скорее сделает свое дело.

«Теперь надо ждать и не позволить себе отстраниться, когда я почувствую леденящий холод внутри и то, как там начнет ворочаться что-то тяжелое, превращающееся в кашель. Только бы он не вызвал меня сейчас на допрос, господи, только бы он не вздумал вызвать меня на допрос!»

«ПРЕДАТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМ»

Квартира гестапо, где жил Мельник, выглядела совершенно иначе, чем апартаменты Бандеры. Здесь, в четырех комнатах, три из которых были смежными, образуя просторную анфиладу («Дом, видно, купеческий,— отметил Штирлиц,— торгаши любят размах и пространство»), постоянно звонили телефоны; отвечали на звонки сотрудники СС, по-немецки отвечали, а возле большого полевого телефона, связанного, вероятно, с армейскими штабами, дежурил молоденький фельдфебель с косыми височками, надушенный, с ниточным бриолиновым пробором в белесых волосах.

Первым, кто приветствовал Штирлица, отделившись от группы офицеров СС, был оберштурмбаннфюрер Диц. Вместе с ним и Фохтом Штирлиц работал два месяца назад в Загребе, когда Берлин и Рим — каждый по-своему — привели к власти «поглавника усташей» Анте Павелича. Диц и Фохт тогда «подставились» — каждый по-своему. Они знали, что подставились Штирлицу: по их вине погиб подполковник югославского генштаба Косорич, на которого ставили в абвере — он был агентом Канариса. И Диц и Фохт ждали казни, они поначалу были убеждены, что Штирлиц проинформировал, однако после того, как ничего в их жизни не изменилось, каждый из них затаился, ожидая — они были убеждены, что Штирлиц что-то потребует взамен. Но он не требовал. Это именно и пугало.

— Здравствуйте, мой дорогой Штирлиц,— сказал Диц, сыграв радушие и открытость.— Воле фюрера было угодно, чтобы мы снова встретились в славянском городе.

— Краков ничем не хуже Загреба,— ответил Штирлиц.— Рад видеть вас, дружище.

— Мы ждали вас утром.

— Были другие дела.

— С вами Омельченко?

— Да. Знакомы?

— Встречались.— Лицо Дица приняло обычное добродушное выражение, за которым угадывалось горделивое сознание соб-

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—43.

ственной значимости.— С кем это он? А-а, с летчиками — с подчиненными друга его шефа...

— И все-то вы знаете, Диц,— вздохнул Штирлиц.— Скучно вам жить с эдаким-то знанием всего, всех и вся.

— Пойдемте, я познакомлю вас с руководителем,— предложил Диц,— мы отвели ему самую тихую комнату.

...Мельник сидел в кресле, возле окна; ноги его были укрыты толстым шотландским пледом; он медленно читал книгу, аккуратно подчеркивая остро отточенным карандашом строчки и абзацы.

— Ишиас, извините,— объяснил он Штирлицу, слабо пожав его руку мягкими, горячими пальцами.— Стоит пять минут постоять на сквозняке — и сразу же выхожу из игры. Обидно, но что поделаешь.

— Зато аппарат работает четко,— заметил Штирлиц.— Выйти из игры — это значит подать в отставку. Просто, видимо, противное ощущение: когда все готовятся к главному, сидеть за литературой...

— Это не литература,— ответил Мельник. Говорил он в отличие от Бандеры певуче, медленно, навязывая собеседнику свою, чуть ленивую, манеру беседы.— Это «Апологетика». Я заново изучаю православное толкование различий между церквами. Они очень наивно отстаивают свою единственность и истинность. Это будет сложный вопрос на Украине: обращение в католичество тридцати миллионов несчастных...

— Может быть, лучше сделать друзьями католичества православных пастырей? — спросил Штирлиц.— А не обращать насильно миллионы в чужую веру?

— Нет. Это невозможно,— мягко, но твердо возразил Мельник.— Православие связано с Москвой традициями язычества. Блок с православием всегда ненадежен. И потом оно слишком консервативно.

— Ну, это не самое страшное,— сказал Штирлиц.— Нас должен настораживать радикализм церкви, а уж с консерваторами мы как-нибудь договоримся. Не кажется ли вам, что церковь и на Украине и в России — я имею в виду православие, естественно,— займет нейтралистскую позицию в лучшем случае?

Мельник снисходительно улыбнулся:

— Господин Штирлиц, когда я говорю о ненадежности блока с православием, я имею в виду внутренние расхождения: византийское влияние мешает православию признать святость папы. Православные исступленно ждут второго пришествия, они меньше прагматики, чем мы, люди Запада. Но что касается внешнего, то есть отношения к освобождению от большевизма, здесь не может быть двух мнений — они все пойдут за фюрером, все, как один.

— Я согласен с Мельником,— сказал Диц.

— Ну-ну,— хмыкнул Штирлиц.— Как это говорится у славян: вашими устами пить мед?

— Вашими бы устами да мед пить,— поправил Мельник по-русски.— В этом выражении важна сослагательность, мечтание, предположительность. Они же мечтатели, москали, в этом их трагедия. А наша трагедия в том, что мы, прагматики по своей природе, вынуждены были подчиняться их розовым, безумным мечтаниям.

— По-моему,— не согласился Штирлиц,— главным мечтателем в русской литературе был украинец Гоголь.

— Гоголя нельзя считать украинцем. Он писал по-русски и говорил по-русски. Как это ни горько утверждать, но он похож на тех нынешних украинцев, которые продались Москве.

В дверь постучали, заглянул один из офицеров СС, пригласил Дица к телефону.

— Как вы относитесь к Бандере? — неожиданно спросил Штирлиц и понял, что он хорошо спросил, оттого что Мельник такого открытого вопроса не ждал.

— Он бандит, он банки грабил, неуч — только о себе думает,— ответил Мельник.

— Ваш ответ предполагает дополнение: «О нации, обо всех, думаю один я, Андрей Мельник». Нет?

— Нет. О нации думает много людей. О моей нации более всех скорбит наш духовный пастырь Шептицкий, которому это делать труднее, чем мне, оттого, что живет он в большевистском Львове, а не в Кракове.

— Правда ли, что Шептицкий — русский по крови?

Мельник даже руками замахал, зашелся быстрым, задыхающимся смехом:

— Боже мой, отец Шептицкий — русский?! Откуда?! Самый чистый украинец!

Штирлиц проводил дни в библиотеках — полковнику Исаеву надо было обладать знаниями, которые могли приносить пользу реальную и быструю.

Перед выездом в генерал-губернаторство он успел посмотреть старые, растрепанные фолианты и среди всякого рода данных обнаружил одно, показавшееся ему в высшей мере любопытным.

Ярослав Мудрый, возвеличив киевский великокняжеский престол, отбил попытки польских феодалов захватить древнерусские червенские города. Праправнук Мономаха, Роман, князь Владимиро-Волынский, образовал новое Галицко-Владимирское княжество. Он не отринул прежних князей и память о них — Ростиславовичах. Он любил повторять слова, сказанные о последнем Ростиславовиче Галицком — Осмомысле Ярославе: «Пышно сидел на своем златокованном столе, подпер горы Угорские своими железными полки, заступив Королеви венгерскому путь; затворив Дунаю ворота, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяеши Киеву врата...»

К нему, к Роману, праправнуку Мономаха, пришли посланцы от папы Иннокентия III после того, как узнали о присоединении Киева к Галицкому княжеству. Папа предложил королевский венец «самодержцу всей русской земли» и свой папский меч — во имя приобретения новых земель — с одним только условием: переходом в католичество.

— Такой ли меч Петров у папы,— ответил Роман, обнажив княжеское свое, кованое и тяжелое оружие,— иж имать такой, то может города давати, а аз доколе имам и при бедре, не хочу куповати ино кровью, якоже отцы и деды размножили землю Русскую.

Трудно представить себе дальнейшее развитие серединной Европы, не окажись Владимир, Рязань и Киев теми форпостами, которые первыми встретили нашествие татаро-монгольских войск. Киев, разоренный нашествиями, стал терять свои связи с другими русскими землями. А Владимир и Суздаль далеки, и санный путь опасен и долог, и главное их призвание тогда вышло: противостоять удару с востока, защитить Европу от вторжения диких орд. Так, из-за вторжения силы извне, из-за стечения исторических случайностей, которые не укладываются ни в какие логические умопостроения, Галицкая Русь осталась православным островом в море католичества.

Татаро-монгольское нашествие подорвало мощь и единство русских земель. Часть древнерусских княжеств отошла к Литве. На северо-востоке стала восходить Москва, начавшая собирать русские земли. А Галицкая Русь была захвачена польскими королями.

Русские земли были разделены барьерами политических границ. Но и после этого долгое время продолжала сохраняться единая древнерусская народность, пережившая Киевскую Русь. И в Юго-Западной Руси, в том числе и в галицких землях, где начался процесс формирования украинской народности, сохранялось сознание единства общего происхождения.

Прошло четыре долгих века после захвата Польшей галицких земель, прежде чем русские князья Острожские и Виневецкие, а также многие шляхтичи приняли католичество, ибо православие, которому служили их предки, лишало их в новых условиях того положения, которое они считали обязанными иметь. Среди них были и галицкие шляхтичи Шептицкие, позднее выслужившие себе за верность дому Габсбургов титул австрийских графов.

Это знал Штирлиц. И Мельнику это знать тоже не мешало бы, потому что граф Андрей Шептицкий, митрополит Львовский, потомок галицких шляхтичей по отцу и поляк по матери (это скрывалось тщательно, вопрос крови — вопрос особый, тут промашку дать нельзя,— потом не поправишь!) сыграл особую роль в жизни «вождя» ОУН-М.

Когда молодому еще Мельнику, офицеру бывшей австро-венгерской армии, осевшему после разгрома Габсбургов во Львове, где царил шальной дух «польской могутности», где легионеры бывшего социалиста Пилсудского правили громкие пиры национальной победы, надо было думать о куске хлеба, он вошел в связь со своими, то есть с такими же, как и он, бывшими офицерами венской монархии. Мельник знал свою силу. Он умел организовывать дело, обстоятельно изучая его со всех сторон, неспешно привлекая верных людей, расставляя их к «ключам», но все это было раньше, при Габсбургах, а потом при гетмане, а после гетмана при Петлюре, а теперь все кончилось, и он оказался никем. Именно тогда, в годы бедствий, Мельник вошел в УВО — Украинскую военную организацию, созданную, как и ОУН, с помощью Берлина. Но если берлинские военно-политические стратеги берегли ОУН как силу дальнего прицела, то к УВО отношение было словно к шлюхе — пользовали, как хотели, агентуру не ценили, торопились выжать максимум, получить все данные военного характера о новом европейском государстве, которое было отмечено «железной личностью» Пилсудского.

Именно УВО и поручило Мельнику, зная через «анкетников» Ярого его деловую умелость, создать резидентуру во Львове. Ужас голода сменился пьяной сытостью и пониманием своего падения: стать агентом другой державы, говоря проще,— шпионом — было поначалу для полковника австрийской армии вопросом нешуточным.

Мельник сумел найти людей, расставить их в нужных местах, не торопился задавать вопросы, семь раз мерил, один раз резал, создал свою контрразведку, охранявшую связи резидентуры, и лишь после этого начал гнать информацию в Германию, разведданные, которые потрясли военных в Берлине своей точностью и дотошной аналитичностью. Стал вопрос о передаче Мельника в отдел, ведавший созданием марионеточных «лидеров», но «засветилась» связная, приезжавшая к Мельнику из Мюнхена за шпионскими сведениями,— тут уж не до «лидерства»!

А Мельник-то поверил, что жизнь возвращается к нему. Он поверил в то, что с унижением кончено, что он доказал свою нужность практикой легкой и неинтересной для него (в силу ее обезличенности) разведдеятельности. С ним провели беседу люди Ярого, определили для него «сектор» работы: организация боевых пятерок; связанная с террором пропагандистская работа; конспиративное прикрытие националистического движения по всей Польше. И в тот день, когда он должен был сдать дела своему помощнику, польская полиция произвела аресты: Мельник был взят с поличным. За ним, шпионом Германии, выдававшим за деньги военные секреты, захлопнулись скрипучие ворота тюрьмы.

Первые дни в камере Мельником владела глухая ко всему и безразличная слабость. Только дурак мог тешить себя иллюзиями: отныне и навсегда путь вверх закрыт, а верхом, естественно, была для него политика. Была австрийская армия — ступенька в политику, армия чужая, казавшаяся мощной, но ее теперь нет; была работа в УВО — ступенька в политику, вот она рядом, поставь только ногу,— но нет, и это не получилось, обрушилась лестница. Все. Конец. Крах. Продавший душу дьяволу обречен на долгую гибель.

Мельник попросил в тюремной библиотеке евангелие и углубился в чтение — только в этом он находил спасение, только оно было точкой спокойствия в той буре, которая грохотала во внешне тихом существе его.

Сжимая в руках евангелие, он выслушал приговор. С этим же евангелием, подарком от тюремной администрации, он вышел на свободу. И приютил его тогда, сделав управляющим своих имений, граф Андрей Шептицкий, митрополит Галиции.

История определяется движением человеческих масс, увлеченных той идеей, которая на определенном периоде развития одержала победу над идеей прежней. Вопрос личности, ее роли, с одной стороны, и объективного процесса развития — с другой,— вопрос сложный, ибо внешне именно личность формулирует ту или иную декларацию, которая потом становится жизнью сословий, народов, государств. Казалось бы, именно личность объявляет войну, декларирует мир, дарит свободу и выносит приговор. Однако следует признать, что если на том или ином отрезке истории события носили характер сугубо личностный, то, как правило, события эти были скоропреходящими, хотя и особо кровавыми, зловещими.

Граф Андрей Шептицкий хотел навязать истории свою идею, и это не могло не привести к крови, ибо логические построения, созданные в тиши монастырского (банковского, военного, полицейского) кабинета, всегда страдают избытком властолюбия и некоего самоупоения.

Судьба украинского народа, его будущее были для Шептицкого абстрактным понятием. Идея его сводилась к тому, чтобы сделать народ, целый народ неким образцом народа, обращенного в чужую веру и живущего ею. В отличие от иных пастырей Шептицкий допускал возможность коллаборации с иноземной силой во имя торжества этой своей идеи; более того, в годы первой мировой войны он был военным шпионом Вены — ему платили за сведения. В глубоко сокрытой подоплеке его поступков лежала чисто мирская жажда самоутверждающегося собственничества. Это невытравляемое собственничество с годами ушло внутрь и перевоплотилось — в зрелости уже — в то самое властолюбие, которое так опасно вообще, а в сегодняшнем мире особенно...

— Только талмудисты считают дерзание,— говорил Шептицкий во время первой беседы с Мельником,— греховным. Первым дерзнул Христос, обращаясь к толпе. Он дерзал, ибо знал, что его не поймут, прогонят, предадут. И тебе предстоит дерзать, Андрей. Это только кажется, что дерзание внешне. Дерзание всегда акт внутренний, акт, обращенный против самого себя, против неуверенности в своих силах. Можно быть владыкой на людях и принимать поклонение толпы — это тешит.— Шептицкий тронул своими прозрачными, синеватыми пальцами недвижные ноги, бессильно развалленные в кресле-каталке.— Мое — это Он, твое — они. Знай, толпа не прощает колебаний. Они, сиречь малые и сирые,— рабы логики, хотя сами лишены ее,— может, потому ей и следуют. Они рабы вечных величин и понятий, именно поэтому Святая Церковь, зная всю правду об инквизиции, хранит об этом периоде своей истории молчание и по сей день, не поддаваясь соблазну отринуть то, что запятнало святость кровью безвинных жертв. Признание вины Святой Церковью послужит делу безверия, ибо миллионы усомнятся в нашей истине: «Если раз было зло, то почему бы ему не повториться?» Ты понял меня, Андрей? Кто и когда бы ни укорил тебя судебным делом, кто бы ни обвинил тебя в шпионстве, помни, ты не был грешен, ты выявлял нашу веру так, как было возможно. В твоих поступках не было греха: ты жил не своим интересом.

— Но я жил своим интересом,— чуть слышно возразил Мельник.— Я жил тогда своим отчаянием, голодом, своей обреченностью.

— Нет,— убежденно ответил Шептицкий.— Не считай, что вериги — непременный атрибут Святой Церкви. Мы постимся, но мы не хотим навязать людям вечную схиму. Ты жил, как жил, но ты отдал себя не диаволу, а другу. Да, да, Андрей, другу. Ибо враг врага — твой друг. Иди, работай, отдыхай, обрети себя, ты еще восстанешь.

Когда нацисты убрали Коновальца, а друг Андрея Мельника, вертких Ярослав Барановский, был арестован в Роттердаме по подозрению, Шептицкий легко выправил бывшему шпиону Германии паспорт в Варшаве для участия в похоронах: Мельник и Коновалец были женаты на сестрах Федак; директор банка «Днистро» — отец семерых дочерей, и почти все они вышли замуж за лидеров ОУН.

Родственника Мельник похоронил, вернулся во Львов, провел в монастыре у Шептицкого две недели, за ворота не уходил, а потом исчез, как растворился,— люди Рики Ярого перевели его через границу нелегально для того, чтобы — по указанию гиммлеровского ведомства — короновать новым «вождем» ОУН — Бандера в тюрьме, а ведь надо кому-то продолжать дело.

Первой акцией Мельника, когда он был «коронован», была акция ловкая, лойоловская: он предпринял попытку освобождения Бандеры, отправив группу для организации побега узника. Мельник понимал, что молодого Бандеру надо приблизить к себе, стать его благодетелем — вопрос освобождения вторичен. С умыслом ли, не без умысла, но боевая группа оказалась частью перебитой, частью схваченной.

Предсказание Шептицкого оправдалось: Мельник восстал из пепла. Жил он теперь то в Берлине, то в Вене, то в Риме, жил у немецких своих наставников, и те поняли его методическую, незаметную, аккуратную нужность. Он редко выступал, сторонился митингов и сборищ, а все больше сидел на конспиративных квартирах, редактировал брошюры

для «Края», составлял схемы связей подполья во Львове и Черновцах, намечал объекты для уничтожения в Польше и у Советов, выявлял друзей, но главное — врагов, и не явных, не партийцев (те сразу понятны), а таких, кто искренне принял идею большевиков и честно служил ей, не записавшись даже в ячейку.

Свою истинную нужность он доказал, когда войска Гитлера вторглись в Польшу: вместе с немцами шли банды Мельника. Словно во времена позднего средневековья, они помечали крестом дома врагов. СС и СД во время этой кампании учли еще одно важное качество Мельника: он знал свое место, он сделал ставку на силу, и он верил, что эта сила приведет и его к силе. Так и случилось. Созданный после разгрома Польши «Украинский комитет» во главе с доцентом Краковского университета Владимиром Кубиевичем был карманным, беспрекословно подчинялся Мельнику и оказался единственной «украинской властью» на территории генерал-губернаторства, решавшей все вопросы, связанные с «нацией» не как-нибудь, а непосредственно с референтурой наместника Франка. Украинских националистов Франк поддерживал, понимая, что они вольются в боевые отряды, когда начнется очистительный поход на Восток; оуновцев использовали в чисто польских районах, как силу полицейскую, а в районах украинских полицейскую службу несли те польские полицейские, которые были взяты на службу нацистами.

С начала сорокового года СД поручило Мельнику заняться проблемой крови. Необходимо было выявить для изоляции всех тех, кто был «замаран» русским или польским семенем; о еврейском даже не говорили. Мельник составил списки (в первую очередь нацистов, естественно, интересовали коммунисты, советский актив на заводах, в колхозах, интеллигенция Советской Украины). Списки были подробнейшие: на многих сотнях страниц — фамилии, имена, отчества, год рождения, место рождения, рост, цвет глаз и волос, особые приметы, адреса друзей и знакомых.

Естественно, в списке не было Андрея Шептицкого, потомка австрийского графа и польской аристократки. Не потому не было имени его в списках, что Мельник хотел скрыть это, а потому лишь, что не мог себе даже представить Шептицкого не украинцем.

...Побеседовав с «шефом» ОУН-М о тех сведениях, которые поступают из-за кордона, спросив Мельника о том, какова, с его точки зрения, прочность большевистского тыла, и выслушав ответ, угодный любому немцу, занимающему пост,— мол, тыла нет, это конгломерат разностей, который потечет, развалится, как мартовский лед после первого же дождя, Штирлиц пожелал собеседнику скорейшего избавления от досадного в такие дни недуга и вышел.

Диц только что кончил долгий и, видимо, трудный разговор: он сидел у телефона потный и злой.

— Замучили? — спросил Штирлиц.

— Фохт сошел с ума,— ответил Диц.— Можно подумать, что работа заключается только в том, чтобы писать отчеты и составлять таблицы. Живое дело для него не существует.

— Вы встречаетесь с Бандерой? — спросил Штирлиц, решив подкинуть Дицу нечто для размышления.

— Его опекает армия,— рассеянно ответил тот.— Наши встречаются с ним довольно редко: Канарис, говорят, отбил его для использования в тактических целях.

— Понятно,— задумчиво произнес Штирлиц, прислушиваясь к тому, как в соседней комнате молоденький фельдфебель кричал в полевой телефон: «Семь маршевых групп в район Перемышля отправлены уже вчера! Я говорю — вчера!» — Понятно,— повторил он, поразившись мелькнувшей догадке.— Но смотрите, как бы Бандера не схватил лавры первым — он значительно более мобилен, чем Мельник. Успех Бандеры будет лаврами абвера, а не вашими, Диц.

— Этого не может быть.— Диц забыл о своей постоянной улыбке, сразу же поняв смысл, скрытый в словах Штирлица.— По-моему, вы преувеличиваете.

«Их же оружием,— подумал Штирлиц, выходя из особняка,— только так, и никак иначе».

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

«И БУДЕТ НОЧЬ, И БУДЕТ УТРО...»

Связником оказалась женщина. Невысокого роста, с угольного цвета глазами и быстро появлявшимися ямочками на щеках, она показалась Штирлицу слишком уж яркой и беспечной. Это ощущение, видимо, родилось из-за того, что одета она была слишком броско: короткое платье, когда налетал ветер, открывало ее крепкие, спортивные ноги; вырез был слишком низкий — женщина знала, что она хороша, но ей было уже под тридцать, и поэтому она, видимо, перестала умиляться своей красотой и вела себя так, как это свойственно знаменитому, но мудрому поэту или актеру,— не реагируя на поклонение, не реагируя искренне, без того затаенного холодка счастья, которое сопутствует открытому выражению восторга у людей глупых и молодых, на которых обрушилась шальная известность.

Женщина была немкой — Штирлиц понял это по ее произношению, по тому, как она себя чувствовала в оккупированном городе, и по тому еще, как быстро и оценивающе оглядела Штирлица. Смотреть так, чтобы моментально сделать для себя утверждающий вывод, свойственно лишь европейцам. Люди Запада, как убедился Штирлиц, жили иным качественным и временным измерением, нежели русские. Отсюда, из Европы, ему казалось, что дома, несмотря на голод, трудности и лишения, люди убежденно верили, что уж чего-чего, а времени у них в избытке. Штирлиц много раз вспоминал писателя Никандрова, с которым сидел в камере ревельской тюрьмы двадцать лет назад, и его слова о том, что русские расстояния, их громадность накладывают отпечаток на психологию человека. Расстояния России сближали людей, в то время как ущербность европейских территорий людей разобщала, вырабатывая у них особое качество надежды на себя одного. Европеец убежден, что помочь ему может лишь он сам — никто другой этого делать не обязан. Надежда на себя, осознание своей личной ответственности за будущее родили особое, уважительное отношение ко времени, ибо человек реализуется прежде всего во времени, в том, как он слышит минуту, не то что час. Здесь — Штирлиц поначалу скрывал свое недоуменное восхищение этим — ни одна секунда не была лишней, каждое мгновение учитывалось. Люди жили в ощущении раз и навсегда заданного темпа: этому подчинялась манера поведения, интересы, мораль. В отличие от русского, который прежде всего хочет понять, зачем делать, здешние люди начинали утро с дела, с любого дела, придумывая себе его, если реального не было. Люди здесь, словно пианисты, подчинены ритму, и необходимые коррективы они вносят уже в процессе дела; главное — начать, остальное приложится.

...Женщина казалась резкой в движениях, рука у нее была сухая, сильная, с короткими пальцами, но в то же время податливая,— дисциплинированно податливая. Здешние женщины приучены не забывать, что они тоже способствуют достижению успеха, ибо семья начинается с женщины, а в ней ценится главное: податливая и всепонимающая доброта.

— Как со временем?— спросил Штирлиц.

— Я уезжаю завтра утром.

— Вас зовут...

— Магда. А вас?

— Моя фамилия — Бользен.

— Фамилия явно баварская.

— В дороге ничего не случилось? Никто не топал следом?

— Я проверялась. Ничего тревожного.

— Вы из Берлина?

— Я живу на севере.

— Кто вы? Я имею в виду защитное алиби.

— Вы говорите со мной, как трусливый мужчина со шлюхой,— заметила Магда.

— А я и есть трусливый мужчина,— ответил Штирлиц, внезапно ощутив в душе покой, которого он так ждал все эти дни,— видимо, присутствие человека оттуда, подумалось ему, дало это ощущение покоя, но потом он решил, что любой человек оттуда, из дома, покоя не принесет; замечательно, что этим человеком оказалась женщина с податливой рукой и с гривой льняных волос, которые то и дело закрывают лицо, и тогда просвечивают угольки быстрых глаз и угадываются две быстрые, внезапные ямочки на щеках.

— Вы голодны, Магда?

— Очень.

— В нашем офицерском клубе можно неплохо поужинать, но там...

— Не надо. Здесь, в кафе, можно получить хлеб и повидло? Этого будет достаточно.

— Попробуем. Оттуда никаких вестей?

— Я там была зимой,— улыбчиво солгала женщина.

— Легально?

— Во время ужасных холодов.

— Как там? Понимают, что вот-вот начнется?

— А на мне было осеннее пальто — в Ростоке ведь не бывает таких холодов, как там.

— Где вы остановились? — поняв, что женщина лгала ему, спросил Штирлиц.

— И мне пришлось купить белый, теплый платок со странным немецким названием «оренбургский».

Штирлиц улыбнулся и — неожиданно для себя — убрал волосы с ее лица.

— Я не проверял вас, но вы истинный конспиратор. Браво!

— Просто, видимо, вы не очень давно занимаетесь этой работой,— сказала женщина.

— Не очень,— согласился Штирлиц.— В этом вы правы. Можно вас спросить о профессии?

— Знаете что, не кормите меня разговорами. Будьте настоящим мужчиной.

— Вот кафе,— сказал Штирлиц.— Пошли?

Хозяин стоял за стойкой, под потолком жужжали мухи, их было много, они прилипали к клейкой бумаге и гудели, как самолеты во время посадки.

«Даже растение боится несвободы,— подумал Штирлиц,— и растет так, чтобы обойти преграды. А муха в сравнении с растением — мыслящее существо: ишь, как хитрит, ногами себе помогает».

— Вы говорите по-польски?— спросил Штирлиц Магду, и хозяин при звуке немецкой речи медленно опустил голову.

— Нет.

— Кофе, пожалуйста,— сказал Штирлиц хозяину, коверкая польскую речь.— И хлеба с джемом.

— Есть только лимонад,— ответил хозяин,— прошу пана.

— А где можно поужинать?

— Видимо, в Берлине,— тихо ответил поляк.

Штирлиц, оглядевшись, позволил себе улыбнуться — в кафе не было посетителей.

— Вы знаете адрес, где можно хорошо поужинать? Я уплачу по ценам рынка.

— За такие предложения людей увозят в тюрьму, прошу пана, я не знаю таких адресов.

— Едем в центр, Магда,— сказал Штирлиц.— Придумайте, где я мог вас встречать раньше: ужинать придется в нашем клубе.

— Что за клуб?

— Немецкий,— сказал Штирлиц, распахнув перед женщиной дверь.

— Это ненужный риск.

— Я рискую больше, чем вы.

— Неизвестно.

— Известно,— вздохнул Штирлиц.

— Вы могли встречать меня в Ростоке. Я преподаю там французский язык в женской школе. Если вы знаете Росток, то...

— Знаю. Но я не хожу в женские школы.

— Вы могли забрести на пляж.

— Какой?

— Городской. Там один пляж. Я купаюсь всегда слева, ближе к тому месту, где стоят яхты.

— Ну, вот и договорились. Вы член НСДАП?

— Нет. Я состою в организации «К счастью — через здоровье».

— Получается?— спросил Штирлиц, оглядев ее фигуру.

— Знаете, передайте-ка мне лучше то, что нужно передать, и я пойду на вокзал.

— Почему на вокзал?

— Все отели забиты.

— Где вы ночевали вчера?

— На Варшавском вокзале.

— Сколько времени вы пробудете здесь?

— Два дня. У меня путевка на два дня: я знакомлюсь со старинной столицей славянских варваров.

— Ну и хорошо. Пройдем этим переулком — там моя машина.

Когда Магда увидела «вандерер» с номером СС, лицо ее напряглось, ноги спружинились и каблучки зачастили по мостовой — «цок-цок-цок», как породистая лошадка-однолеток.

«Цок-цок, перецок»,— вспомнил Штирлиц что-то давнее, но очень ему дорогое. Он был убежден, что с этим связано нечто особо важное в его жизни, может быть, самое важное, но сколько он ни вспоминал — отпирая дверцу машины, садясь за руль, открывая противоположную дверь Магде, помогая ей устроиться,— вспомнить не мог, а потом времени не стало, ибо Магда, напряженно улыбаясь, сказала:

— Если это арест, то покажите ордер.

Голос у нее был испуганный, но в нем было то внутреннее дрожание, которое свидетельствует о силе, но не о слабости.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37 — 44.

— Вот поужинаем, а потом предъявлю ордер,— пообещал Штирлиц и нажал на акселератор.— И ведите себя в клубе так, будто спали со мной. Добродетель вызывает подозрение: развратники рядятся в тогу добропорядочных отцов семейств, но верят только тем, кто спит с чужими женщинами.

— Слушайте, Бользен, зачем вы так играете со мной?

— Я ни с кем, никогда, ни при каких обстоятельствах не играю, Магда, ибо игра стала моей жизнью. Просто играть невыгодно: разрушает память. Игра предполагает ложь, и надо всю эту вынужденную ложь держать в голове, чтобы не сесть ненароком в лужу. И вам, между прочим, не советую играть — я старше вас лет на пятнадцать, нет?

— Мне двадцать восемь.

— На тринадцать, значит... А прошу я вас побыть со мной, потому что мне очень сейчас плохо, и я могу ненароком сорваться. Понятно?

— Понятно.— Магда убавила громкость в радиоприемнике.— Только вы нарушаете все правила.

— Хватит об этом. Умеете массировать?

— Что?!— снова испугалась женщина.

— Массировать, спрашиваю, умеете?

— Это легче, чем делать мою работу.

— Тогда помассируйте-ка мне затылок и шею — давление скачет.

Давление у него было нормальным, но сейчас, в эти дни, ему нужно было прикосновение друга — это так важно, когда в часы высших тревог, в минуты отчаяния и безнадежности кто-то, сидящий рядом с тобой, не ожидая просьбы, прикоснется пальцами к затылку, положит ладонь на шею, и ты почувствуешь чужое тепло, которое постепенно будет становиться твоим, и чувство обреченного одиночества уйдет, и станет пронзительно-горько, но ты уже сможешь п о н и м а т ь окружающее, а если ты смог понять, а не наталкиваться взглядом на безликое, серое, окружающее тебя, тогда можно заставить себя думать. А в самые тяжелые минуты человек всегда думает о том, как п о с т у п и т ь.

«Господи,— испугался Штирлиц,— неужели ласка женщины нужна мне лишь как стимул к поступку? Неужели то прекрасное, обычное, человеческое, спокойное, нежное совсем ушло из меня? Неужели годы р а б о т ы подчинили мое существо профессии?»

Тепло женской ладони вошло в него, и он сбросил ногу с педали акселератора, потому что сразу же, словно получив чужую команду, закрылись глаза. Он потер лицо рукой, жестко и больно. Это было только мгновение, когда он закрыл глаза. Улыбнувшись Магде, Штирлиц сказал:

— Вам бы сестрой милосердия, а не учительницей...

Лицо женщины стало иным сейчас — оно смягчилось, мелкие морщинки вокруг глаз-угольков разгладились, и ямочки на щеках не исчезли, как прежде, когда она слушала его внимательно, не поворачивая головы, а глядя прямо перед собой, как глядит красивая женщина, словно отталкивая людские взгляды, утверждая собственную принадлежность самой себе, свою от толпы свободу и — поэтому — право принадлежать тому, кому она принадлежать захочет.

(«Осознание собственной красоты, значимости, нужности не есть проявление нескромности,— подумал Штирлиц.— Наоборот, склонность человека принижать себя, неуверенность в своих силах, неверие в свою нужность и красоту только при внешнем исследовании кажутся скромностью. На самом деле сознание своей ненужности, неумелости, кажущейся своей некрасивости порождает стыдливость, которая переламывает человеческие страсти, делает их неестественными и, наконец, загоняет чувства внутрь, не позволяя им выявиться вовне».)

— Магда, вы любите смотреть на себя в зеркало?

— Только если приходится мазаться. Я довольно точно осознаю себя и без зеркала.

— Как вы думаете, если начнется война, чем это кончится?

— Поражением.

— Быстрым?

— Молниеносным.

— Почему?

— В тех, кто унижен и подмят Гитлером, нет ничего объединяющего. Все, что подвластно нацизму,— обречено.

— Ах вы, философ мой милый,— вздохнул Штирлиц.— Значит, говорите, молниеносное поражение?

— Вы думаете иначе?— Она на мгновение перестала массировать его потеплевшую («Красная, наверно») шею.— У вас есть основания думать иначе?

— Есть,— ответил Штирлиц.

Он затормозил возле военного клуба и помог Магде выйти. Было еще солнечно, но вечер угадывался в том н а к а л ь н о м цвете неба, который в жаркие дни кажется дымным, серым, тогда как на самом деле он пронзительно-синий, легкий, разжиженный дневной жарой.

— Как мне звать вас?— спросила она, наклонившись к Штирлицу, пока он запирал дверь, и жесткие белые волосы ее, которые издали казались копной мягкого сена, тронули его щеку.

— Макс.

Он взял ее под руку, отворил дверь, вошел в полумрак клуба и придержал дверь, ожидая, когда следом за ним войдет Магда.

Метр, здешний фольксдойч, Штирлица в лицо не знал и поэтому потребовал документ. Штирлиц показал ему жетон СД, метр сразу п р е и с п о л н и л с я уважения и засеменил в зал первым. Он усадил Штирлица и Магду за маленький столик возле окна, забранного тяжелой шторой, которая пахла давней пылью, и подал им меню.

— Советую попробовать кролика, он сегодня неплох. Пиво, увы, безалкогольное,— метр позволил себе сострадающе усмехнуться — среди своих можно было подтрунивать над недостатками и трудностями,— но если у вас сохранились карточки, я постараюсь принести немного настоящего «рейнского».

— А обыкновенной водки у вас нет?— спросил Штирлиц.

— С этим труднее, но...

— Я очень прошу вас,— сказал Штирлиц, возвращая метру кожаное, дорогое меню, в котором была заложена глянцевая бумага с наименованиями двух блюд: кролик и рыба.

«Это хорошо, что она рядом,— снова подумал Штирлиц.— Интересно, дома поняли, что я на г р а н и, и поэтому прислали женщину? Или простая случайность? Слава богу, я сейчас вправе ни о чем не тревожиться и просто ощущать подле себя женщину, которой можно верить».

— Я тоже десять раз за день думаю, что все будет молниеносно,— сказал Штирлиц,— и десять раз отвергаю это.

— А я стараюсь не менять своих убеждений,— заметила Магда и осторожно оглядела полупустой зал.

— Неправда.— Штирлиц достал сигареты и закурил.— Это неправда.

— Это правда.

— Не спорьте. Каждый человек пять раз в течение часа меняет свое мнение. Мнение — это убеждение,— пояснил Штирлиц,— его разновидность. Но в школе,— он внимательно посмотрел на женщину (он любил, присматриваясь к человеку, говорить, нанизывая слова, внешне — серьезно, внутренне — чуть потешаясь и над собой и над собеседником),— учителя, а дома — родители вдалбливают в голову детям, что быть переменчивым в суждениях — главный порок, свидетельствующий о человеческой ненадежности. Нас учат неправде, нас заставляют скрывать свои чувства. За этим — некая вторичность морали, нет? Люди до того боятся обнаружить перемену во мнениях, что делаются некими бронтозаврами, костистыми, без всякой игры и допуска. В этом, по-моему, сокрыто главное, что определяет философию буржуазности: скрывать самого себя, быть «как все». Одинаково думать о разном, давать одинаковые оценки окружающему. Раз ты стал кем-то, ты соответственно лишен права развиваться, думать, отвергать, принимать, то есть менять мнения. А если чудо? Если марсиане прилетят? Вы измените мнение о мироздании? Или скажете, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда?

Магда слушала его внимательно, нахмурившись, с интересом и явно хотела возразить, это в ней было с самого первого слова, произнесенного Штирлицем, но сейчас ей было нечем возразить, хотя желание возразить — он чувствовал это — в ней оставалось.

— Вы говорите, как хулиган,— улыбнулась она быстрой, неожиданной улыбкой.— С вами нельзя спорить.

— И не спорьте,— посоветовал он.— Все равно переспорю.

— Какой-то вы странный.

— Вас, верно, окружают мужчины влюбленные, поддающиеся вам, а я поддаваться не люблю, да и потом женщине это нравится только первое время, потом надоедает. Женщина сама призвана поддаваться: рано или поздно покорные мужские поддавания станут ей неприятны. В этом, наверное, высшая тайна: большинство семей отмечены печатью несправедливости.

Метр принес хлеб, масло, колбасу и графинчик с водкой.

— Тсс! Только для вас. Привезли из деревни, это — н а с т о я щ е е.

Штирлиц сразу же налил водку в рюмки. Магда положила свою ладонь на его руку: он держал рюмку сверху, за края, как колокольчик.

— Погодите. Не надо сразу,— попросила она.— Поешьте сначала.

— Меня хорошо кормят. Спасибо, Магда. Я выпью, а вы сначала перекусите, ладно?

Она осторожно убрала со лба волосы, не отрывая от него глаз, которые сейчас показались Штирлицу не угольками, а бездонными озерками в северной тайге среди маленьких стройных березок.

«А если не из Припятских болот?— подумал Штирлиц, вспомнив в деталях лицо молоденького фельдфебеля в особняке гестапо, где содержали Мельника.— А если это маневр? Логика моего размышления убедительна; коли и поверят, то поверят мне. С другой стороны, Гитлер может легко отринуть логику; его поступки, мысли, устремления лишены логики, ибо они не обращены на познание. Он самовыражается — какая здесь, к черту, логика?! Но, с другой стороны, самовыражаться ему помогают армия, дипломаты, партия, гестапо. Армия не захочет оказаться униженной после недавних побед. Армия будет гнуть свое. Гитлер вряд ли пойдет на разрыв с армией. Армия, видимо, сейчас стремится занять место, равное СС и партии. Это опасно. Это так опасно, что трудно даже представить себе. Армия — категория в Германии постоянная, все остальное преходящее».

— Вкусно?— спросил Штирлиц.

Магда улыбнулась. Улыбка у нее сейчас была другой, такой еще не было на ее лице ни разу. Что-то доверчивое, то, что Магда тщательно прятала в себе, появилось в ее улыбке.

— Знаете, мой папа работал в ресторане кельнером. Я приходила к нему, когда была маленькая, и хозяин разрешал угощать одного из членов семьи тарелкой супа. Это было в двадцать девятом, во время кризиса, помните?

Штирлиц кивнул головой и сделал еще один маленький глоток — водка отдавала свеклой.

— Повар был очень добрый человек, он подбрасывал в овощной суп мяса. Когда я начинала есть мясо, папа находил минутку, чтобы подбежать ко мне и спросить: «Вкусно?» Я очень боялась, что хозяин увидит мясо у меня в тарелке, и папа знал, как я этого боюсь, и он всегда подходил в тот момент, когда я озиралась по сторонам, начиная есть мясо. Он успокаивал меня своим вопросом, я это потом поняла, недавно в общем-то.

— Любите папу?

— Очень.

— Он жив?

— Нет.

— А мама?

— Жива.

— Маму любите больше?

— Нет. Я люблю ее по долгу, потому что она моя мать. Она никогда не понимала отца, он очень мучился из-за этого.

— Когда я первый раз встретил вас в Ростоке, вы были с каким-то мужчиной,— сказал Штирлиц, подумав, что в столе может быть аппаратура прослушивания. Он помог глазами

понять Магде, почему он задал ей этот игривый, нелепый, но вызывающий доверие вопрос.— Нет?

Магда какое-то мгновение смотрела на него потемневшими глазами, а потом в них снова проглянули озерца:

— Это был мой приятель, Макс. Он был очень славным, но глупым человеком, и мне не хотелось вас знакомить. Поэтому,— чуть помедлив, добавила она.

«Умница. И быстрая. Какое же счастье, что я сейчас не один»,— снова подумал он и вдруг устрашился сходства, промелькнувшего в лице Магды, с тем единственным женским лицом, которое постоянно жило в нем эти годы.

На эстраде тихо, стараясь не грохотать стульями, рассаживались музыканты. Они очень осторожно переставляли пюпитры, доставали из футляров инструменты и говорили вполголоса.

«Несвобода — это когда люди веселья должны вести себя, как тяжелобольные, забитые существа,— подумал Штирлиц.— Частность, но во всех странах, куда приходит Гитлер, музыканты в ресторанах меняются, и приходят тихие старики. А до этого были молодые ребята».

Скрипач взмахнул смычком, и музыканты заиграли «Нинон, о моя Нинон, солнца светлый луч, для тебя одной!».

— Это красиво пел Ян Кипура,— сказала Магда,— а они играют пошло.

— Они играют для чужих и то, что чужим нравится.

— Налейте мне водки, пожалуйста. Чуть-чуть.

— Чуть-чуть имеет разные объемы,— улыбнулся Штирлиц.— Показывайте глазами — сколько.

И в это время в клуб вошли Диц и Омельченко с женой.

Диц сразу же заметил Штирлица, помахал ему приветственно рукой, Омельченко раскланялся, а Елена, рассеянно оглядев зал, так и не смогла увидеть его. Они сели за столик возле эстрады — заранее зарезервированный,— и Штирлиц сразу же услышал раскатистый бас Дица, оберштурмбаннфюрер рассказывал Елене что-то веселое, путая словацкие, немецкие и русские слова. Штирлиц успел заметить, как Елена проводила глазами тот взгляд, который Омельченко бросил на молоденькую официанточку, разносившую сигареты и шоколад, прикоснулась пальцами к сильной кисти Дица, что-то шепнула ему, и они пошли танцевать. Когда Омельченко оказался за спиной Дица, тот подмигнул Штирлицу, скосив глаза на голову Елены.

— Какой милый, интеллигентный человек, не правда ли?— заметив подмигивание Дица, спросила Магда и посмотрела в глаза Штирлица.

— О, да! Прелестный, добрый человек, настоящий интеллигент. Попробуем заказать кофе в другом месте, нет?

— Кофе есть на моем вокзале.

— Поехали на вокзал,— согласился Штирлиц.— Я люблю мерзнуть на вокзалах.

— Наоборот, жариться,— вздохнула Магда.— На вокзале сейчас страшная духота.

Но они не успели расплатиться и уйти, потому что к их столику подошел Диц.

— Добрый вечер,— сказал Штирлиц.— Познакомьтесь, дружище. Это моя добрая знакомая из Ростока.

— Диц...

— Очень приятно, садитесь к нам,— ответила Магда, протянув ему руку, и Штирлиц отметил ту внутреннюю свободу, с которой женщина познакомилась, не назвав себя.

«Она говорила про себя неправду,— убедился Штирлиц,— она живет по легенде. Девочка из кухни вела бы себя иначе. А сейчас в ее словах была та мера уважительного презрения, которое люди типа Дица не ощущают».

— Надолго в наши края?— спросил Диц.

— Нет, увы,— ответила Магда.

— Как устроились? Здесь сейчас довольно тяжело с пристойными отелями.

— Я экспериментатор по складу характера.— Магда чуть улыбнулась.— Чем хуже, тем интереснее.

Диц внимательно оглядел лицо женщины, и его стремительная улыбка показалась Штирлицу чуть растерянной.

— Хотите что-нибудь выпить, Диц?— спросил Штирлиц.

— Благодарю,— ответил он,— если ваша очаровательная подруга извинит меня, я бы хотел сказать вам пару слов, Штирлиц.

— О, конечно,— сказала Магда.— Бойтесь женщин, которые не любят особые дела мужчин...

Диц отвел Штирлица к бару, заказал две порции «якоби», не спрашивая, что тот хочет пить — знал, видимо, из данных гестапо, что оберштурмбаннфюрер заказывает в ресторанах во время встреч с агентурой именно «якоби», чаще всего «доппель» — восемьдесят граммов.

— Где я мог видеть вашу подругу?— спросил Диц.

— В Ростоке.

— Нет, я видел ее в Берлине.

— Она иногда наезжает.

— Не напускайте тумана, Штирлиц. Она живет в столице — я пока еще могу отличить провинциалку от берлинской штучки.

Острая тревога внезапно родилась в Штирлице.

— Ах вы, мой проницательный Пинкертон,— сказал он, казня себя за то, что привез Магду в этот клуб.

А Диц не зря задал Штирлицу этот вопрос: сегодня утром он получил с фельдсвязью фотографию графини Ингрид Боден-Граузе. (Мюллер униженно лгал Гейдриху, выпрашивая спецсамолет РСХА, потому что служба наружного наблюдения потеряла эту «аристократическую стерву» — ее пересадил в свой «даймлербенц» Гуго Шульц, и на Восточном вокзале, где ее ждали агенты, она не появилась: Гуго придумал легенду, по которой Ингрид, потеряв билет, попросила догнать поезд у Франкфурта и там купить любое место на первый проходящий экспресс. Билет ее они подбросили на одной из улиц по дороге на Кёпеник, заложив его в тот журнал, для которого Ингрид писала,— так что в легенде все было правдой, кроме самого факта «потери». Однако говорить, что наружное наблюдение потеряло Боден-Граузе, шеф гестапо Мюллер не мог, поскольку «наружники» подчинялись его отделу, и он не хотел давать против себя карты Гейдриху, который недолюбливал его за «деревенские манеры, излишнюю жестокость и колебания в дни, когда начиналось наше движение».

Мюллер, впрочем, не говорил, что его люди «ведут» аристократку — он не мог подставиться на лжи,— он лишь настаивал на том, чтобы Диц не терял времени зря: Мюллер, как и Гейдрих, не очень-то верил теории «словесного портрета» — он предпочитал доверять фотокамере и подробным донесениям агентуры.)

Два часа назад фельдъегерь передал Дицу восемь фотографий Ингрид Боден-Граузе — красивая брюнетка. Со Штирлицем, однако, сидела блондинка, только овал лица и глаза были чертовски похожи.

— Слушайте, Диц, оставьте в покое мою девку. С вас не спускает глаз жена подвижника славянской поэзии.

— Вы с ума сошли,— ответил Диц, и в голосе его Штирлиц уловил для себя то, что ему очень хотелось услышать.— Эта баба интересует меня с точки зрения наших интересов.

— Она пойдет на это,— уверенно, посерьезнев лицом, подыгрывая Дицу, сказал Штирлиц, чуть понизив голос.— Интересный вариант, Диц, очень интересный вариант...

— Тогда пригласите к себе за стол Омельченко. Одного,— попросил Диц.

— Сейчас?

— Я хочу сегодня же оформить наши отношения, она будет для нас небезынтересна, потому что Омельченко из породы тех, кто себе на уме. Не очень-то доверяйте его пришибленности: евреи точно так же ведут себя в нашем обществе.

— А завтра вы не можете все это провести?

— Я недолго. Я пью с ними уже третий час... А завтра будет очень хлопотный день... Или у вас намечено мероприятие с блондинкой из Ростока?— многозначительно добавил Диц, просияв еще более широкой улыбкой.

Что-то такое промелькнуло в лице Дица, в больших глазах его, когда он сказал про «мероприятие», что Штирлиц еще более уверовал в правильность своей мысли.

— Хорошо,— сказал он,— отправляйте ко мне Омельченко. Но как вы объясните ему свое отсутствие? Вы же уедете отсюда, нет?

— Мы вернемся через час. Это максимум.

Штирлиц вздохнул:

— Давайте себе отдых, Диц, нельзя сжигать себя — даже вечером вы бредите работой. Это, конечно, прекрасно, но если сломаетесь, кому вы будете нужны? Рейх ценит сильных работников.

— Ничего.— Диц успокоил Штирлица, и снова самодовольная, внезапная улыбка изменила его лицо,— я чувствую в себе достаточно силы.

...Омельченко, пересев к ним за столик, от водки не отказался и сразу же начал говорить — мудрено, изысканно, о поэзии и живописи, об их взаимоисключающей взаимосвязанности — с явным желанием понравиться Магде.

Штирлиц, слушая его, думал быстро и жестко, пьяная болтовня Омельченко не мешала ему, и, наконец, он принял решение.

— Магда, ждите меня здесь,— внезапно сказал он.— Я предупрежу метра, что вы задержались по моей просьбе.

— Я буду опекать фройлейн,— пообещал Омельченко,— и занимать ее танцами, если позволите.

— Лучше занимайте меня разговором,— попросила Магда, внимательно посмотрев на Штирлица. Он чуть прикрыл глаза, успокоив ее, и пошел к выходу быстро, чуть даже склонившись вперед, как человек, остро ощущающий время, данное, конкретное время, от которого зависит успех или неуспех его задумки.

В машине он, наоборот, замер, словно бы оцепенел, впившись пальцами в холодную баранку, и сидел так с минуту. Он думал о том, где сейчас Диц может быть с Еленой. Он не мог ошибиться. Лицо Дица, чувственное и тяжелое, было так полно нетерпения и похоти, когда он пил «якоби».

«Дурашка. Он решил, что мы с ним пришли сюда с одним и тем же делом,— рассуждал Штирлиц.— Поэтому он обратился ко мне. Он все рассчитывает по своей логике и в меру своих умственных возможностей. Он может, конечно, вербовать эту Елену — находка невелика, хотя, может, и похвалят за расширение агентурной сети. Но если я прав и если ты поволок в постель эту бабу, которая очень не любит своего мужа, тогда ты станешь моим рабом, Диц. За связь с иностранкой полагается партийный суд. Если я сделаю то, что я решил сделать, тогда мне не будут страшны твои холодные вопросы о Магде, и твоя проклятая зрительная память, будь она неладна, и весь ты — более того, ты очень будешь нужен мне в ближайшие дни, как никто другой, Диц».

Штирлиц должен был рассчитать, куда Диц повез Елену. Конспиративные квартиры гестапо на Пачлиньской и Славковской были забиты бандеровцами и мельниковцами. Организационные вопросы решались в краковском управлении гестапо — туда оуновцев не допускали. Когда Штирлиц спросил Дица, надежно ли в их офицерской гостинице на Плянтах, что напротив Вавеля, тот ответил, что сейчас самое надежное место именно в этом отеле — никто из посторонних не имеет права входа, «только в сопровождении наших людей».

Штирлиц включил зажигание, медленно закурил и поехал в отель.

Портье он спросил рассеянно, скрывая зевоту:

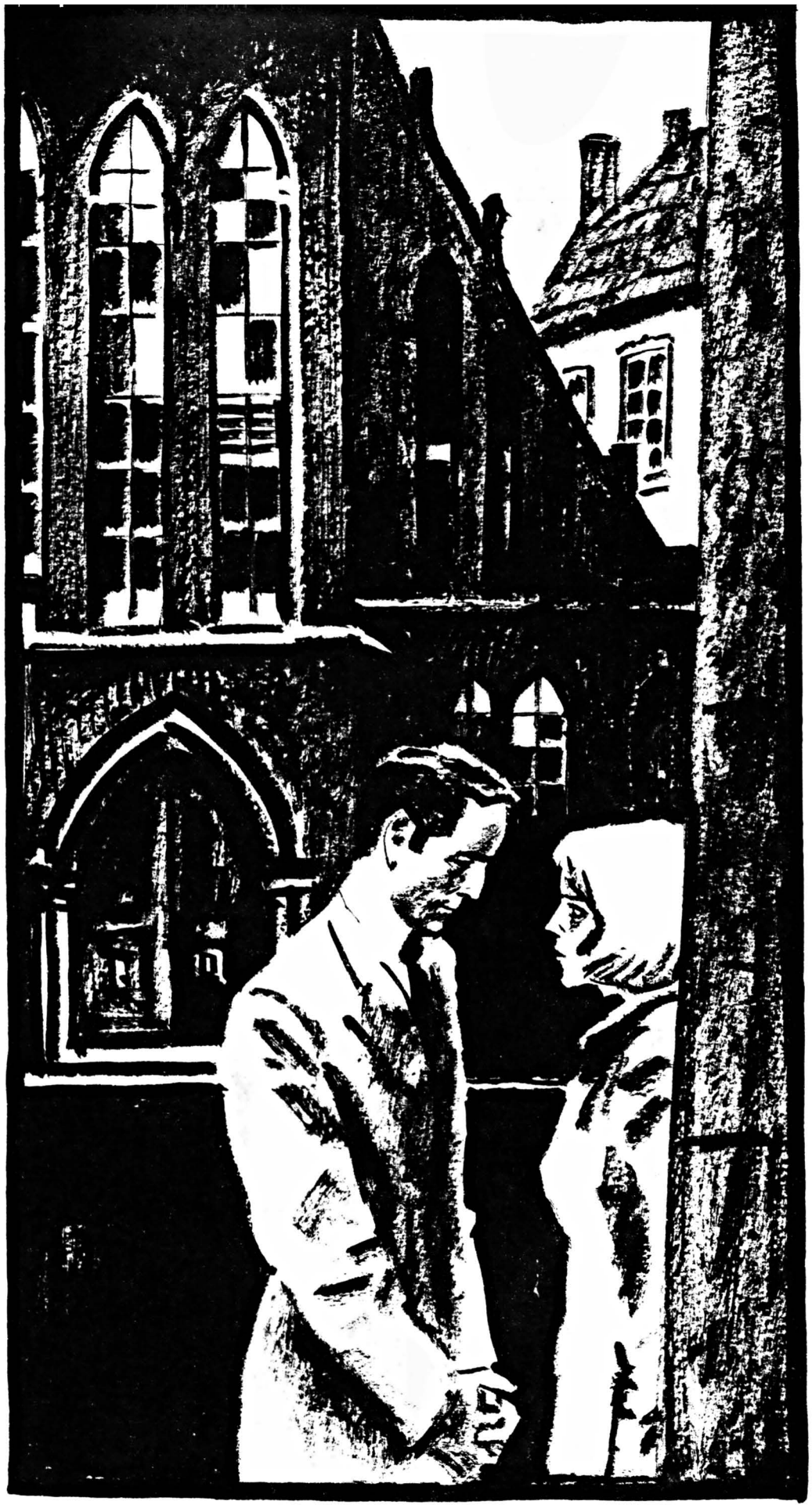
— Оберштурмбаннфюрер Диц уже у себя?

— Он пришел двадцать минут тому назад, господин Штирлиц. Он просил предупредить, что будет занят по работе полчаса.— Портье глянул на часы.— Соединить?

— Нет, нет. Благодарю вас. Я подожду его у себя.

Штирлиц похлопал себя по карманам, сосредоточенно нахмурился, снова похлопал себя по карманам, досадливо щелкнул пальцами:

— Черт возьми, мой ключ остался на работе... У вас есть ключ ко всем дверям, нет?



— Да, конечно.

— Дайте, пожалуйста, на минуту ваш ключ.

— Я открою вам дверь, оберштурмбаннфюрер...

— Дайте ключ,— повторил Штирлиц,— не уходите с поста, я сам умею открывать двери.

В их гостинице были особые замки: изнутри вместо скважинки — кнопка. Ключ, таким образом, внутри оставить нельзя. Нажмешь изнутри кнопку — дверь заперта, повернешь ключ снаружи — открыта.

Штирлиц подошел к двери того номера, где жил Диц, и прислушался: было включено радио, передавали концерт Брамса.

«Кажется, третий»,— машинально отметил Штирлиц и мягко повернул ключ, который подходил ко всем дверям — в военных гостиницах было вменено в обязанность иметь такой универсальный ключ. Он вошел в маленькую темную прихожую тихо, на цыпочках. Музыка неслась из комнаты, одна лишь музыка. Штирлиц рывком распахнул дверь. С большой тахты взметнулся Диц, который показался сейчас Штирлицу рыхлым и нескладным: в форме он всегда был подтянут. Елена медленно натягивала на себя простыню. Диц выскочил в прихожую — лицо его стало багровым.

— Бога ради, извините,— сказал Штирлиц.— Там Омельченко устраивает истерику...

— Штирлиц, слушайте,— Диц растерянно потер щеки, и на них остались белые полосы,— слушайте, это какой-то бред.

Штирлиц похлопал его по плечу:

— Продолжайте работу. И поскорее возвращайтесь.

— Штирлиц, что у вас в кармане? Вы фотографировали? Слушайте, не делайте подлости, я же ваш товарищ...

— Заканчивайте работу,— повторил Штирлиц,— и поскорее возвращайтесь. Потом поговорим. Ладно?

— Погодите, поймите же,— забормотал Диц, но Штирлиц не стал его слушать, повернулся и вышел.

...Он долго сидел за рулем, ощутив страшную усталость. Он затеял драку, и он победил в первом раунде, получив такого врага, который теперь не остановится ни перед чем.

«Неверно,— возразил себе Штирлиц.— Не надо придумывать человека, исходя из собственного опыта. Люди разные, и, если проецировать на себя каждого, с кем сводит жизнь, тогда можно наломать много дров и провалить все дело. Нет, он раздавлен теперь. Он будет другим, хотя постарается казаться прежним. Он будет успокаивать себя тем, что я, был один, без свидетелей; он будет убеждать себя, что показания Елены, если ее вызовут, не примут во внимание — какая-то полурусская украинка, ей нет веры. Но это все будет на поверхности его сознания. Внутри он уже сломан. Он станет гнать от себя эту мысль. И я должен помочь ему в этом. Я должен сделать так, чтобы он испытывал ко мне благодарность — как арестанты, которых они готовят к процессу: те тоже начинают любить своих следователей и верить им».

...Вернувшись в клуб, Штирлиц сказал Омельченко, что он вынужден откланяться в связи со срочными делами, а господин Диц и Елена едут следом: она хотела посмотреть вечерний город.

— Пойдем, Магда,— сказал Штирлиц, протянув женщине руку,— пойдем, голубчик.

Он долго возил ее в машине по городу, не говоря ни слова — просто крутил по красивым, опустевшим уже (комендантский час) улицам и ощущал в себе покой, потому что она была рядом, и Диц теперь не посмеет его спросить, что это за женщина, каких она кровей, чем занимается и часто ли путешествует. Он мог бы, конечно, и не ответить, но в таком случае Диц получит искомое основание обратиться за санкцией к руководству — выяснить самому, что это была за женщина, каких кровей, откуда и почему. И он бы выяснил. Это уж точно.

На берегу Вислы Штирлиц остановил машину, оперся подбородком на руль, вздохнул прерывисто и, кивнув головой, сказал:

— Смотрите на воду — здесь поразительно отражаются звезды. Они плывут.

«Я должен был накормить ее,— внезапно подумал Штирлиц, словно бы продолжая спор с самим собой, такой спор, который продолжать не хочешь и боишься того момента, когда этот спор начнется.— Только поэтому я повел ее туда. Только поэтому,— повторил он себе, стараясь заглушить другие слова, которые были в нем до того, как он произнес эти, самооправдывающие, и он услыхал эти слова именно потому, что не хотел их слышать.— Ты привел ее туда от отчаяния, вот почему ты привел ее, Максим. Она, как пуповина для тебя, она с в я з ь, а тебе сейчас очень страшно, и ты мечешься, ты в панике, оттого что не знаешь, как сделать так, чтобы тебя у с л ы ш а л и. И тебе было очень страшно все это время — до тех пор, пока не приехала Магда. Магда? Да какая она Магда?! Никакая она не Магда. И давай больше не врать друг другу. Для того, чтобы врать другим, нужна хорошая память, а себе врать слишком опасно: можно кончить в доме умалишенных».

Словно у г а д а в его, Магда тихо сказала:

— Поворачивайтесь спиной — я как следует помассирую вам шею, бедненький вы мой...

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

...В шифровке Центра, которую Магда передала Штирлицу, говорилось следующее: *«Найдите возможность локализовать действия террористов «Нахтигаля», внимательно просмотрите линию взаимоотношений Оберлендера с гестапо. Можете предпринимать шаги против «Нахтигаля», сообразуясь с обстановкой на месте. По нашим сведениям, между абвером и СД существуют тактические расхождения во взглядах на функции «Нахтигаля». Смысл этих расхождений нам до конца не известен. Однако можно предположить, что СД не хочет отдавать свои права кому бы то ни было, в чем бы то ни было и где бы то ни было. Постарайтесь выяснить взаимоотношения, сложившиеся между СД и сотрудниками иностранного отдела НСДАП.*

Алекс».

«СС бригадефюреру Шелленбергу.
Строго секретно, лично.

По сведениям, полученным мною от Омельченко, руководители «Нахтигаля» стараются присвоить себе право карать и вершить суд на украинских территориях, подлежащих колонизации. Поскольку это входит в противоречие с доктриной великого фюрера германской нации Адольфа Гитлера, подчеркивавшего, что право карать поверженных принадлежит только германским властям, прошу санкции на действия.

СС оберштурмбаннфюрер
Штирлиц».

«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
Запрещаю предпринимать какие-либо действия против «Нахтигаля» — впредь до особых указаний. Сообщите позиции чиновников иностранного отдела НСДАП и сотрудников министерства восточных территорий в связи с этим вновь открывшимся обстоятельством.
Выясните, является ли намерение ОУН присвоить себе карательные функции инициативой Оберлендера, или он действует, консультируясь с соответствующими службами НСДАП.

Шелленберг».

«СС бригадефюреру Шелленбергу.
По моим сведениям, Оберлендер поддерживает постоянные контакты с Лахузеном. Его связи с гестапо (Диц) или Фохтом (мин. вост. территорий) мне неизвестны.

СС оберштурмбаннфюрер Штирлиц».

«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
Собирайте все факты, имеющие отношение к этому вопросу. Сообщайте обо всех попытках Оберлендера считать себя персоной, претендующей на самостоятельность. Какие-либо акции без соответствующего на то указания запрещаю.

Шелленберг».

«Алексу.
Получил задание Шелленберга тщательно изучать претензии шефа «Нахтигаля» Оберлендера на самостоятельность и на право карательных функций без утверждения РСХА. Какие-либо действия без его санкции запрещены.

Юстас».

«Юстасу.
Выполняя распоряжение Шелленберга, предпринимайте всевозможные шаги для того, чтобы скомпрометировать «Нахтигаль» в глазах СД.

Алекс».

«СС бригадефюреру Шелленбергу.
Строго секретно, лично.
По моим сведениям, оберштурмбаннфюрер Диц (IV управление РСХА) имеет постоянные контакты с неким Мельником. Мельнику можно приказать точно выяснить намерения легионеров «Нахтигаля». Следует ли мне подключиться к Дицу?

СС оберштурмбаннфюрер Штирлиц».

«Штирлицу.
По прочтении сжечь.
От совместной работы с Дицем воздержитесь. Выполняйте возложенное на вас поручение — держать руку на пульсе событий и постоянно информировать меня о новостях. Помните, что легион «Нахтигаль» нужен нам как послушное орудие террора. Все, что мешает этому, будет предметом особого рассмотрения.

Шелленберг».

«14.6.1941 г. ...Большое совещание у фюрера.
Доклады командующих группами армий, армиями и танковыми группами о плане операции «Барбаросса».
11.00. Совместный доклад Фалькенхорста и Штумпфа (ВВС) об операции «Голубой песец». Северная группа начинает операцию в день «Б + 7», южная группа — в день «Б + 9».
13—14.00. Доклады командующих армиями и танковой группой, входящими в группу армий «Юг». При этом уточняются вопросы о Румынии. До начала наступления Антонеску будет формально возглавлять высшее командование в Румынии. Ему должен быть придан в качестве «рабочего штаба» штаб 11-й армии, который и будет осуществлять фактическое руководство. Однако его приказы румынским войскам должны отдаваться от имени Антонеску. При этом задача «военной миссии» состоит в посредничестве между штабом 11-й армии и Антонеску.
Венгрия не будет посвящена в наши планы. Ей лишь укажут, что сосредоточение русских войск на границе Венгрии требует оборонительных мероприятий с ее стороны.
Словакии также пока что не следует сообщать каких-либо сведений об операции. После начала военных действий командованию будет указано на необходимость привести его войска в полную боевую готовность с целью недопущения вторжения противника в Словакию. (Желательно использование словацких войск на русской границе южнее 17-й армии.)
После обеда фюрер произнес большую политическую речь, в которой мотивировал свое решение выступить против России и обосновал расчеты на то, что разгром России заставит Англию прекратить борьбу.

Начальник генштаба
Ф. Гальдер».

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—45.

ГАННА ПРОКОПЧУК (IV)

Когда вагон второго класса, в котором ехали «специалисты», пересек границу Германии и «зоны» (именно так называлась оккупированная часть Франции), вошел длинный человек со значком национал-социалистской партии в лацкане серого пиджака, раскрыл папку и приказал — без всяких привычных «битте»:

— Семейные — налево, мужчины — направо, дамы — ко мне.

Он начал выкрикивать фамилии — так же резко и деревянно, и после каждого его выкрика и тихого ответа выкликиваемых возникала тяжелая тишина, и было слышно пыхтение паровозов на путях, и Ганна представила себе, как вырывается тугая струя белого пара, и вспомнила, что в детстве ей казалось, будто именно этими струями паровоз отталкивается от земли, набирая скорость.

Напряженная тишина возникала оттого, что немец долго отмечал в своем списке выкликаемых, делая быстрые, но довольно подробные записки, и Ганна не могла понять, что он так долго пишет: что можно написать, выслушав имя и фамилию человека?

«У них ужасно длинные слова,— успокоила она себя.— Кажется, Марк Твен написал: «Если смотреть на немецкое слово прищурившись, то оно будет похоже на бесконечный рельс». Я, наверное, думаю про их длинные слова потому, что ужасно боюсь. Я трусиха, и мне сейчас невесть какой ужас мерещится. Но тот парижский чиновник был такой милый, в конце концов если что-то будет не так, я напишу ему — он ведь оставил свой адрес. Ничего, потрясусь немного, зато скоро поеду к мальчикам, ничего».

Кончив выкликать специалистов, словно новобранцев на первом построении, немец приказал взять вещи:

— Дальше вы поедете другим поездом.

Их поместили в теплушки с высокими, зарешеченными окнами, и здесь только все поняли, что ждет их не «творчество на любимом поприще», а нечто совсем другое, и тихо стало, так тихо, что, казалось, слышно было, как медленно текли крупные горькие слезы по щекам...

Ганну привезли в городок под Берлином, «отбив», словно теленка в стаде, от остальных специалистов. Поселили ее в маленькой комнате, в деревянном бараке — окна без решеток, умывальник в конце холодного — даже в полуденную жару — коридора, а туалет — на пыльном, без единого деревца дворе.

Жила в этом бараке Ганна одна. Перед тем как выдать ключ, с нее взяли подписку, запрещавшую ей вступать в «половую связь с арийцами и беременеть от иностранцев». Она сначала не могла понять смысла напечатанного, как тогда, в редакции у Богдановича, когда она должна была вслух прочитать статью, чтобы поверить в реальность типографских литер, сложенных в слова и фразы.

Питалась она в архитектурной мастерской, где ей отвели место в отдельной маленькой комнате с большим, светлым окном. На завтрак давали чашку кофе с одним куском сахара, ломоть хлеба и порцию мармелада; немецким архитекторам давали три куска сахара, порцию масла и ломтик сыра. На обед она получала миску супа, сваренного из старых овощей, картофельное пюре, политое соусом; немцы получали мясо. Ужинать ей разрешалось дома: два куска сахара, хлеб и через день пайка масла.

Вскоре Ганна должна была купить новый пояс — прежний не держался на ней. Начальник мастерской герр Эссен, который первое время давал Ганне проектировать узлы непонятных ей длинных зданий, выслушав просьбу женщины, пообещал помочь ей и этим же вечером дал пропуск на выход в город и две синенькие карточки для приобретения «промышленных товаров на сумму пятнадцать марок».

— Деньги будете получать раз в месяц,— сказал он.— Карточки на промышленные товары (его французский язык был чудовищным) для иностранных специалистов мы также выделяем раз в месяц. Продуктов питания вам, вероятно, хватает, так что дополнительные талоны на еду вам не нужны. Карточки на сигареты и спички — вы, я заметил, неравнодушны к табаку — я постараюсь достать для вас.

— Мне обещали в Париже, что я смогу начать поиск моих детей.

— Какие дети? — удивился Эссен.— Мне ничего об этом не известно...

— Мои дети остались в По... В генерал-губернаторстве...

— Ну и что?

— Я согласилась приехать сюда, потому что в Париже господин из военной комендатуры пообещал помочь, если я уеду в Германию.

— Хорошо. Мы запросим Париж. Теперь по поводу работы, фройлейн Прокопчук. Я доволен вашей работой. Я знал ваши проекты еще до войны — они интересны. Сейчас вы упорно облегчаете те конструкции, которые я прошу вас прикинуть, в то время как мы, архитектурная мастерская СС, должны думать не об ажурной и солнечной легкости помещений, а об их прочности и устрашающей мощи.

— Я не умею работать иначе. Я привыкла ловить солнце.

Эссен чуть улыбнулся:

— Мы будем вместе ловить солнце, когда уничтожим врагов рейха. Видимо, стоит показать вам несколько наших объектов, фройлейн Прокопчук. Вы тогда сможете понять, чего мы ждем от вас.

— Когда можно надеяться на ответ из Парижа?

— Я запрошу Париж на этой неделе. Как ваша комната? Не холодна?

— Наоборот, ночью страшная духота, крыша так раскаляется за день...

— Да, необычайно жаркий июнь... Завтра я постараюсь достать для вас разрешение на вход в городской кинотеатр — есть один сеанс, куда можно приходить иностранцам. Только не смотрите тяжелые фильмы, пожалуйста: у вас и так глаза часто бывают припухшими. Плачем? Не можем привыкнуть к новому месту? Ничего, крепитесь. Вам надо приспособиться к новым условиям как можно скорее — это в ваших же интересах.

...В кинотеатре, куда ей действительно выдали пропуск, демонстрировали сентиментальный фильм о немецкой семье: глава семьи увлекается «другой», но «другая», как истинный член НСДАП, не может лишать маленьких арийцев «семьи», и «паппи» постепенно начинает понимать, что лучше «мутти» никого нет, и лучше «другой» — тоже никого нет, и вообще в рейхе живут самые замечательные и добрые люди, мало ли что случается, самое важное ведь итог — никто не нашумел сверх меры, никого не растоптали, все хорошо, все на месте.

...Ганна вышла в сухое тепло улицы и ощутила тошноту после липкой духоты зала, где люди неотрывно следили за происходящим на экране. Некоторые, что постарше, то и дело вытирали глаза. Особенно часто стали вытирать глаза, когда «паппи» пришел в спальню к сыну, и мальчик в ночной рубашке потянулся к отцу, и обнял его шею толстыми, словно перевязанными ручонками.

«Толстой написал это один раз и во имя святого,— подумала Ганна.— Как много к святому пристает грязи и безвкусицы... Я бы тоже должна заплакать, потому что ручки у маленького, как у Никитки, но во мне не было слез, а только ощущение грязи и нечестности.

Добро обязано порождать добро, а здесь зло, слюнявое и жестокое по отношению к свободному человеку. Как трудно жить на этой земле, милостивый боже мой, как трудно... Нет, добро не может рождать зло. Только зло рождает зло. Ты живешь спокойно и счастливо, но тебя незаслуженно обидели, ударили, и ты ответил на удар, и конец спокойствию! Ты должна готовиться к тому, что тебя снова стукнут, и ты загодя думаешь о том, как защитить себя, как стать сильнее и жестче. Непротивление — это попытка создать универсальный рецепт счастья. Один ведь миг: надо пережить обиду, погасить зло, заставить себя не думать о мщении, и жизнь твоя будет по-прежнему счастливой. Смири я тогда гордыню, останься в Кракове — мальчики были бы со мной. Но это мое, маленькое добро,— возразила себе Ганна,— а в мире так много зла, которое мне неподвластно: разве бы я смогла спасти Варшаву от бомб? Все устроено так, чтобы зло соседствовало с добром, а добро всегда слабее и беззащитней...»

Она миновала маленькую площадь сонного городка и свернула по аллее, которая вела в лес. Здесь было тихо, и если идти, чуть подавшись вперед, заложив руки за спину, то можно ощутить поднимавшийся от земли запах — точно так же пахло в кабинете электротерапии у доктора Пернье, который лечил хронические простуды сеансами «горного солнца».

«Земля отдает себя солнцу по утрам. Днем она вбирает в себя солнце, а ночью ждет его: платоническая любовь, верно, должна быть именно такой»,— подумала Ганна и замерла — два огромных, испуганных и одновременно любопытных глаза смотрели на нее из-за кустов. Глаза были подвижны и широко, по-детски раскрыты.

— Здравствуй,— шепнула Ганна, чувствуя, как в ней разлилось щемящее, забытое тепло,— не бойся меня, пожалуйста.

Коза сделала прыжок в сторону, но не убежала.

— Ну что ты, дурочка?

Бока у животного странно вздрагивали, словно коза задыхалась от волнения. Ганна поняла, отчего так судорожно вздымались бока козы: в трех шагах от дороги стоял козленок — совсем еще крохотный, на огромных, голенастых ногах.

— Ах ты, маленький,— прошептала Ганна и потянулась к козленку, родившемуся, видно, совсем недавно.

Козленок отскочил от нее боком, словно котенок, остановился, замерев, и снова уставился на женщину синими, молочными глазищами, поводя плюшевым пятачком носа.

И вдруг Ганна услышала лес: она только сейчас могла понять, что та тишина, которая, казалось, окружает ее, на самом деле живет и радуется тому, что живет: свистели дрозды, носились по веткам желтогрудые синицы, стучал дятел.

«Надо было все эти годы брать мальчиков в лес,— подумала Ганна, посмотрев на то место, где еще мгновение назад стоял козленок. Сейчас там колыхалась трава, и не было уже синих глаз и мягкого вздрагивающего носа.— Надо было водить их в зоопарк, любоваться тем, как они завороженно смотрят зверей, и сердце бы сжималось от счастья, и я бы стала очень талантливой, потому что только счастье твоих детей может дать истинное ощущение высокого покоя, а лишь это истинный подступ к творчеству. Пусть бы я делала свое дело дома, пусть бы все мои задумки реализовались потом, пусть бы это реализовали мальчики — ведь настоящее счастье — это когда ты только задумываешь, носишь в себе опасливо, по частям, отдаешь это задуманное ватману... Потом начинается гадость — согласование, подбор металла и мрамора, торговля с поставщиками, доказательство своей правоты заказчику... Мы обкрадываем себя, когда мало бываем с детьми. Надо ходить с ними в театр, гулять в парках, наблюдать, как они строят из песка свои замки. Бабки, которые выводят маленьких, думают о своем, и нет для них чуда в том, как ребенок думает над песчаным замком и как он смотрит на летящую птицу,— старики считают, что они постигли суть жизни, потому что прожили ее. А ведь на самом деле все совсем наоборот: суть жизни лучше всего ощущает новорожденный. Чем мы делаемся взрослее, тем больше мы сужаем мир, ограничиваем самих себя нормами морали, своими страхами, рожденными силой и злом».

Ганна села на пенек, закрыла глаза и подставила лицо солнцу. Мягкое тепло его доверчиво накрыло веки, лоб, губы.

«Наверное, надо меньше двигаться,— подумала она,— я раньше слишком много двигалась, только сейчас, случайно, поняла, что такое ласка солнца. Я всегда торопилась с д е л а т ь. Нужно ли? Если мы странники, которым позволили ненадолго войти сюда, в этот мир, так, может, лучше ждать конца, наслаждаясь тем, что отпущено?»

Она долго сидела под солнцем, на сосновом пеньке, и в душе у нее было спокойствие, потому что здесь, в тишине леса, она поверила в то, что с прежним все покончено, что теперь она другая, а значит, мальчики будут с ней, ведь все-таки справедливость есть в мире, ведь справедливо было то, что именно она повстречала в лесу новорожденного козленка, а не человека, в руке которого могло быть ружье...

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

План беседы с Фохтом был в голове у Штирлица — после работы с архивами в берлинских библиотеках, после встреч с Мельником и Бандерой и после бесед с Дицем, который еще с Загреба затаил против чиновника из розенберговского ведомства тяжелую неприязнь.

Фохт встретил Штирлица подчеркнуто радушно, распахнул створку стеллажа, где за корешками книг был встроен большой буфет, предложил на выбор французский коньяк, шотландские виски и джин, рассеянно попросил мужчину-секретаря приготовить две чашки крепкого кофе и, полуобняв оберштурмбаннфюрера, подвел его к старинному, с высокой спинкой, кожаному креслу.

— На вас не действуют заботы,— сказал Фохт, рассматривая лицо Штирлица.— Я завидую вам. Вы словно бы отлиты из бронзы.

— Я поменяю имя на Цезарь,— пообещал Штирлиц, наблюдая за тем, как Фохт картинно смаковал коньяк.

— Веезенмайер вчера получил новый титул,— сказал Фохт,— теперь, после победы в Хорватии, он «посол для особых поручений». Можете отправить поздравительную телеграмму.

— Непременно. Он способный человек.

— Жаль, что его нет здесь.

— Я думаю, вы достаточно серьезно знаете славянскую проблему, чтобы здесь заменить Веезенмайера.

— Никогда не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите правду.

— Шутка тоже может быть правдой. И наоборот.

— Я, знаете ли, прагматик-метафизик, а Веезенмайера отличает дерзость.

— Что-то я не очень вижу разницу между метафизикой и дерзостью.

— Разница очевидна, Штирлиц. Метафизика есть нечто среднее между идеей и творчеством, между страстью и логикой; на мою долю все больше выпадает взвешивать возможности...

— Никому не признавайтесь в этом, Фохт. Никому. Вас тогда сожрут с костями. Если вы определяете свою функцию лишь как человек, оценивающий возможности, тогда вам не позволят высказывать точку зрения. Вы обречете себя на положение вечного советчика. А вам, как и любому нормальному человеку, хочется быть деятелем. Нет?

— Нет,— устало солгал Фохт,— больше всего мне хочется спокойствия, чтобы никто не дергал по пустякам и не мешал делать мое дело... Наше общее дело.

— По-моему, вы очень здорово отладили д е л о. Судя по моим встречам с Мельником и Бандерой, во всяком случае.

— Вы с профессором Смаль-Стоцким не познакомились?

— Нет. Кто он?

— Он назначен в украинский отдел министерства восточных территорий.

«Он по-прежнему боится своего провала с Дицем в Загребе,— понял Штирлиц, наблюдая за лицом Фохта.— Он очень боится меня и не любит, потому что я один знаю, что именно он виноват в гибели столь нужного нам подполковника Косорича. Поэтому он так доверителен со мной. Он хочет, чтобы я поверил в него: тогда, по его логике, мне будет невыгодно п о м н и т ь. Мне будет выгоднее з а б ы т ь».

— Это что-то новое в нашей практике,— сказал Штирлиц.— Впрочем, и министерство-то новое. Славянин — штатный сотрудник? Занятно, нет?

— Смаль-Стоцкий — личность особая, чудовищная, говоря откровенно, личность. Он был министром иностранных дел в правительстве Петлюры и вместе с ним ушел в Польшу. И там стал осведомителем второго отдела польского генерального штаба. Собственно, именно он стоял у колыбели организационных форм украинского национализма в Польше до тех пор, пока Пилсудский помогал националистам, рассчитывая обратить их против Советов. Но когда мы смогли обратить ОУН против Польши, Смаль-Стоцкий встретился с нашими людьми, отдыхая в Мариенбаде. Меня он поражает: эрудиция и при этом хулиганский, если хотите, цинизм. Я ни от кого не слыхал столько гадостей про украинцев, сколько от него.

— И вы ему верите?

— Вопросами доверия у нас занимается гестапо.— Фохт поморщился.— Диц, по-моему, превосходит самого себя,— пустил он пробный шар, не выдержав полной н е з а и н т е р е с о в а н н о с т и Штирлица.— Он очень ловко работает с группой Мельника.

— Мельник связан со Стоцким или автономен?

— Они не могут быть связаны друг с другом. Они готовы перегрызть друг другу глотку: не дает спать корона гетмана.

— Булава,— поправил Штирлиц.— Корона — это Европа, у них булава.

— Какая разница? Смаль-Стоцкий как-то изложил мне свое кредо. Человек, говорил он, выше национальной или классовой принадлежности. Человек, если следовать Ницше, средоточие всех ценностей мира. Милосердие должно проявляться в том, чтобы человеку позволяли выявлять себя там, где он может это сделать. Пусть даже в бандитизме, как Бандера. Меня, говорил Смаль, привлекает немецкий рационализм, немецкий дух. Я прошел к о м и с с и ю — я голубоглаз, строение моего черепа не отличается от арийского, я взираю на украинцев глазами западного человека, который рассматривает этот район лишь как точку приложения стратегических интересов рейха. Без меня, без моей помощи и консультации вам, арийцам, это сделать трудно. Я лучше вас знаю тупость и стадность моего кровного племени. Я знаю, как повернуть их во имя германского блага.

— Как? — спросил Штирлиц.

— Довольно просто... Вы думаете, какой-нибудь чиновник Розенберга не мог бы положить конец сваре между их вождями?

— Мог бы.

— Естественно. Но мы используем их не в одном сегодняшнем дне. Они важны и в будущем. Мы можем играть ими, словно пальчиками детишек — знаете, как это нежно, когда взрослая рука прикладывает пухлый пальчик несмышленыша к белым и черным клавишам и рождается мелодия, угодная нам, в то время как дитя считает, что эта музыка рождена им.

Штирлиц представил себе малыша возле рояля и рядом с ним Фохта. Он увидел это близко и явственно, он услышал скрип высокого, на винте, табурета и даже ощутил запах лака. Жестокая злоба поднялась в нем, злоба, рожденная несовместимостью понятий — Фохт, дитя, музыка, доверчивые немцы, чистота клавишей. Осознание этой причинности вызвало в Штирлице усталость — выносливость человека небезгранична.

— Каковы мои задачи? — спросил Штирлиц для того лишь, чтобы спросить, он боялся потерять над собой контроль.

— Да в общем-то все отлажено, дорогой Штирлиц. Если у вас нет о с о б ы х интересов, я просил бы вас обговорить с Мельником

формы работы с его людьми в Штатах: в ближайшее время это будет в высшей мере злободневно, думается мне.

— Предполагаете включение Вашингтона в драку?

— Ни в коем случае. Предполагаю давление на Рузвельта. Со всех сторон. В Штатах разворачивают работу контролируемые нами группы китайских, испанских, украинских, русских, ирландских и венгерских националистов — это миллионов пять по крайней мере.

— Не тешьте себя иллюзиями. Если силе противопоставить насилие, победит сила.

— Вы не верите во влияние прогерманских кругов в Штатах?

— Не верю.

— Почему?

— Потому что англофильские влияния там сильнее. И не надо врать себе. Пропаганда пропагандой, а у нас работа, за которую придется отвечать. Нам с вами. Исполнителям.

— Я предлагал вам перспективную проблему,— извиняюще пояснил Фохт.— Мне думалось, что это совпадает с вашими интересами.

— Спасибо. Как размышление для далекого будущего это занятно. А сейчас? В связи с кампанией?

— По нашей линии как будто все в порядке. Мы держим в руках Мельника и Бандеру. И тот и другой отправили к Рундштедту в расположение группы «Юг» своих людей для создания «походных групп» — такого еще не было раньше: вместе с армией двинутся оуновцы, одетые в немецкую форму, которые начнут наводить порядок незамедлительно, с входом в украинский город нашего первого танка.

«Значит, блок Розенберга с армией уже состоялся,— отметил Штирлиц.— Это — новое в раскладе сил. Это против Гиммлера и Бормана. Это важно».

— А ваша задача? Ваш, лично ваш интерес?

Фохт подвинул Штирлицу ящик с сигарами, долго обрезал кончик толстой «гаваны», обстоятельно прикуривал, обнося сухой табак со всех сторон спичкой, пока не затрещало голубоватым, горьким дымком, и лишь потом ответил:

— Вы же не очень верите мне, Штирлиц. Отчего я должен верить вам?

— Как знаете. Я свои дела сделал, сейчас я в вашем распоряжении, а чтобы приносить пользу тому, кому я подчинен, мне надо понять личный интерес каждого. Он ведь у нас неразделим с интересом национальным, нет?

— Конечно, нет.— Фохт принял игру Штирлица. Они понимали друг друга быстро и точно, потому что друг другу не доверяли, и похожи сейчас были на мальчишек, которые балуются, толкаясь плечами, и при этом прыгают на одной ноге.— Думаю, что нашим национальным интересам небезразлично ближайшее будущее; иноземцы, приходившие в Россию, всегда допускали ошибки, вызванные навязыванием своих методов, отрицанием услуг аборигенов-коллаборационистов. Вот я и хочу, чтобы ошибка прошлого не повторилась сейчас, при начале этой великой кампании.

— Разумно,— согласился Штирлиц.— Именно это меня интересовало.

— Наша с вами общая задача, таким образом,— подчеркнул Фохт,— состоит в том, чтобы с первого же дня исключить всякую возможность ошибок.

— Вы сказали «Россия». Оговорились или намеренно не проводите границы между Россией и Украиной?

— Славяне... — Фохт пожал плечами.

— Вы предполагаете организацию власти, подобной режимам Тиссо и Павелича?

— Тиссо мы создали, чтобы успокоить Хорти; Павелич — это кость, брошенная Муссолини. Здесь будет иное образование, чисто вассального порядка.

Именно это и надо было выяснить Штирлицу. Фохт сказал то, чего говорить бы не должен. «Вассальное образование» входило в сферу его личного интереса значительно в большей степени, чем в сферу интересов фюрера. В этом «вассальном образовании» он рассчитывал получить пост, который бы прибавил квадратиков на его погонах и поднял его на следующую ступеньку в нацистской иерархии. Но Фохт не понимал, что в данном случае его личная заинтересованность входила в противоречие с идеей Гитлера, который никогда, ни разу, ни в одном своем выступлении не говорил о возможности создания каких-либо «образований» на территории Советского Союза: только жизненное пространство для немецких колонистов! Никаких поблажек украинцам, белорусам, россиянам — все это материал для ликвидации, депортации, колонизации, не больше.

...Фашистский «идеолог» Альфред Розенберг, имперский министр восточных территорий и шеф международного отдела НСДАП, хотел делом доказать фюреру, что практика его министерства окажется более действенной, чем работа полиции Гиммлера и надзор гауляйтера Коха, ставленника партийной канцелярии Бормана.

«Центр.
Настаиваю на точной дате войны — ночь 22.6.
Юстас».

КУРТ ШТРАММ (V)

— Поймите же, мой дорогой,— все тем же ровным, лишенным каких бы то ни было интонаций голосом продолжал седой штандартенфюрер,— вы обречены на то, чтобы сказать правду. Человек, попав в Карлсбад, если только он не поражен раком, должен выздороветь. Человек, если он любит прекрасную, веселую, умную женщину, должен стать счастливым рогоносцем. Человек, оказавшийся в нашей тюрьме, должен сказать всю правду. Мы учитываем особенности немецкого национального характера, который выверен прагматизмом мышления миллионов наших предков.

Курт закашлялся, подавшись вперед. Тело его сотрясалось, в уголках рта появилась мокрота. («И губы у вас, как у обиженной девушки, и ямочка угадывается на щеке,—улыбалась ему Ингрид Боден-Граузе,— разве таким должен быть настоящий мужчина, мой милый и хороший друг?»)

«Сейчас можно падать,— подумал Курт.— Хотя нет, еще рано. Он ни разу не посмотрел на меня, он все время разглядывает свои ногти, если я сейчас упаду, это может быть естественным. Надо упасть, когда кашель станет особенно затяжным. А про Ингрид я сейчас вспомнил потому, что мне не хватает ее силы и спокойствия, и еще я очень хочу, чтобы она увидала меня сейчас и поняла свою неправоту, когда говорила про мои губы и ямочку на щеке. Господи, а ведь это желание рождено мстительностью, как же не стыдно, а? Ведь я ей мщу, доказывая ее неправоту, а мстительность — самое недостойное качество в человеке...»

— Согласитесь, что я более прав, чем вы,— продолжал штандартенфюрер,— согласитесь, ибо это, увы, логично.

«Нет, мстительность не есть самое недостойное в человеке. Другое дело, что качество это плебейское в такой же мере, как и господское, но не аристократическое. Оно родилось в сознании раба, который имел право отомстить господину за свои унижения. Нет, не имел права. Он мог и обязан был победить господина. Он обязан был добиваться свободы. А свободный человек мстить не может. Карать — да, мстить — нет».

— Немец точнее других понимает скрытую логику мысли и поступка,— монотонно продолжал штандартенфюрер, и Курт лишь урывками воспринимал его слова, когда хотел этого, когда он нуждался в паузе, ибо мозг его был разгорячен, как и тело.

— Немец,— продолжал штандартенфюрер,— как никто другой на земле, понимает первопричину необходимости... Вы невнимательно слушаете меня... А зря. Я даю вам дельные советы, которые к тому же ни к чему вас не обязывают.

«Он не поднял на меня глаз,— отметил Курт, чувствуя, что вот-вот начнется затяжной кашель,— он умеет ощущать, и он может ощутить мое решение, и тогда я погиб».

— В понятие первопричины необходимости я включаю целый ряд компонентов, господин Штрамм. Первый компонент — это тюрьма, а здесь все особое, даже время. Здесь время работает против вас, а не за вас. Второй компонент: рано или поздно вы ощутите свою о с о б о с т ь, весь ужас, сокрытый в невозможности распоряжаться мозгом и телом. Третий компонент: мы не позволим вам сделать какую-нибудь глупость вроде самоубийства или тяжкого телесного членовредительства. Четвертый компонент: чем дальше, тем явственнее вы будете ощущать возможность, которую мы даем вам для того, чтобы вернуться к прежней жизни и привычной деятельности, требуя от вас взамен лишь одно — правду. И наконец, последнее: в тюрьме вы ощущаете свою мелкость. Это особенно страшно, ибо, как правило, люди вашего круга мнят себя личностями недюжинными, крупными, а может быть, таковыми и являются на самом деле. Мы заставляем понять такого рода недюжинного врага его незначительность, выделив ему в следователи человека низшего порядка, который властен задавать вопрос и может — любыми способами — добиться ответа. Пусть даже заведомо лживого ответа. Диалог неравенств приведет к тем результатам, в которых заинтересован я. Понимаете? Тюрьма — это государственный институт особого рода, а допрос — диалог совершенно исключительного порядка. В тюрьме вы, свободный человек, ощущаете свою несвободу совершенно особенным образом: вы соглашаетесь с несвободой, вы принимаете этот факт как данность. Но ведь человек рожден свободным. И это постоянное клокотание разностей сломит вас, подточит изнутри. Вы по прошествии времени потянетесь к следователю, как к родному: вы будете искать в его словах намек, снисхождение, сочувствие; вы будете противиться этому; вы станете ненавидеть себя, когда вас вернут в камеру, вы будете проклинать себя за те слова, которые сорвались у вас с языка, но и на следующий день, а скорее всего через несколько дней — надо дать возможность накопить в душе желание надеяться — вы снова будете говорить, и в потоке лжи я увижу крупицу правды. А потом мы докажем, что вы преступили грань, и вы согласитесь с этим, и за час до казни вы будете желать только одного: увидеть меня, получить от меня утешение, ибо постепенно я стану вашим другом, который сострадает вам и старается понять вашу правду. Мне, впрочем, это действительно крайне необходимо: возможно, ваш опыт поможет нам удержать от аналогичных ошибок десяток других людей.

Кашель собрался. Он был словно комок в легких. Он был желтый, мокрый, горячий. Он вырвался изо рта стоном, воплем, мокротой. Курта било частыми, замирающими судорогами, он мешал себе, задерживал дыхание, хрипел, извивался до тех пор, пока не потемнело в глазах и не стало тяжело и гулко в голове, и тогда он повалился вперед, и седой штандартенфюрер поднял наконец глаза от своих ровных, квадратных розоватых ногтей. Он смотрел на Курта, на его взъерошенный затылок оценивающим, спокойным взглядом, дождался, пока приступ кашля прекратился, а потом, подойдя к арестанту, опустился перед ним на корточки, достал крахмальный платок, вытер потрескавшиеся губы Курта и тихонько сказал:

— У вас плохо с легкими после того случая в горах, да?

Курт, чувствуя нарастающее клокотанье в себе, кивнул головой.

— Если бы не Ингрид Боден-Граузе, вы бы уже тогда погибли, бедный господин Штрамм...

Курт снова кивнул головой.

— Я не слышу вас,— совсем тихо сказал штандартенфюрер.— Вы мне скажите только одно слово: «да» или «нет».

— Да,— ответил Курт.

— Ну вот, а теперь откашляйтесь,— сказал седой и поднялся.— Я налью вам воды, и станем беседовать... О прошлом, только о прошлом.

Курт поднял голову, посмотрел на штандартенфюрера с мольбой, с восхищением, со страданием и прошептал:

— Да.

А потом согнулся пополам от нового приступа кашля.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

ГАННА ПРОКОПЧУК (V)

Начальник архитектурной мастерской СС Герберт Эссен с каждым днем был все более мягок с Ганной, подолгу простаивая у нее за спиной, наблюдал, как она работала.

Воспитанный в Берлине, прошедший трехлетнюю практику в Сан-Франциско и Лондоне, СС штурмбаннфюрер Герберт Эссен был талантливым архитектором. В отличие от коллег, считавших патриотическим долгом громко ругать все иные школы, кроме готической, он позволил себе не соглашаться с мнением подавляющего большинства членов Германской гильдии художников.

«Мы должны брать все лучшее в мире и обращать на пользу нашего дела»,— эта его открыто высказываемая концепция находила поддержку в ведомстве хозяйственного управления СС,— обергруппенфюрер Поль был человеком рациональным, а всякий истинный рационализм предполагает допуск определенной смелости мышления.

Наблюдая за работой Ганны Прокопчук, любуясь точностью и смелостью ее решений, Эссен решил было попросить Поля перемолвиться с кем-либо в институте антропологии, подчиненном рейхслейтеру Розенбергу. Ганна была шатенкой с голубыми глазами; фигура у нее была великолепная, уши не оттопыривались — кто знает, быть может, ее мать подходит к типу нордического характера, и тогда расовая комиссия сможет утвердить талантливого архитектора истинно немецким зодчим.

Поль выслушал Эссена и покачал головой.

— Дерзайте, но до определенной меры, Герберт,— посоветовал он,— не считайте, что н у ж н о с т ь дает индульгенцию на дерзость. Используйте ее работу в наших целях, вам никто не запрещает этого. Можете улучшить ее положение, прибавьте паек, я готов дать ей литер на проезд по Саксонии — пусть познакомится с нашей архитектурой, но не больше. Поглощать всегда лучше, чем раздавать. Может быть, во мне говорит хозяйственник, а не христианин, но тут уже ничего не поделаешь — профессия формирует человека по своим законам.

— Архитектура — это искусство, обергруппенфюрер, а люди искусства прощают все и принимают все, но они не могут работать как хорошо оплачиваемые невидимки. Каждое интересное здание талантливого архитектора обязательно отмечается медной табличкой с фамилией автора проекта. Прокопчук имеет такие таблички в Бразилии, Голландии и Мексике.

— Я очень сожалею, Герберт, но это не тот вопрос, чтобы я шел к рейхсфюреру или к Розенбергу,— более низкий уровень н е п о й м е т мою просьбу.— И, обозначив паузой, что к этой теме больше возвращаться нет смысла, Поль спросил: — Как у вас дела с типовыми проектами?

— Мы закончили привязки. По-моему, планировка получилась довольно удачной. Особенно для тех лагерей, которые надо будет строить в России. Я решил учесть национальный момент: славяне сентиментальны, поэтому строгость Дахау или Равенсбрюка будет действовать на них угнетающе. Небольшой сквер, окна — чуть больше по размеру — это мелочь, но, по-моему, такая мелочь, которая будет стимулировать труд, а не гасить его. Я решил предусмотреть летние площадки для театра, волейбольные поля, небольшую библиотеку — надо помнить, что четверть века Россия жила по законам коллективной собственности.

— Это трудно проходимо, Герберт. Вы не попали под влияние украинской архитекторши, а? — засмеялся Поль, и тело его мягко заколыхалось в большом кожаном кресле.— Сентиментальность надо ломать н е п е р е н о с и м о й строгостью.

Эссен любовался работой Ганны, медленно затягиваясь длинной, дамской сигаретой. Эти сигареты ему подарили в секретариате Поля — люди обергруппенфюрера в последнее время часто летали в Болгарию, а там отменный табак — сухой, ароматный, резкий.

— Вы чувствуете линию еще до того, как берете карандаш? — спросил он, воспользовавшись паузой в работе женщины.

— Не знаю,— ответила Ганна, обернувшись.

Эссен заметил, как женщина посмотрела на сигарету. Он протянул ей пачку:

— Оставьте себе.

— Благодарю.

— У нас сейчас трудно со снабжением. С табаком дело особенно плохо. Я постараюсь выхлопотать для вас карточки на табак. Только не курите при моих сотрудниках,— он вздохнул,— у нас не любят курящих женщин. Считают, что именно в них заключен порок.

— Я буду курить дома.

— Дома,— задумчиво повторил Эссен,— мы что-нибудь придумаем с вашим делом. Пройдет месяц-другой, и я, пожалуй, помогу вам с комнатой в черте города. Только не торопите меня.

— Вы очень добры... Ответа из Парижа еще нет?

— Я бы сразу поставил вас в известность.

— Как долго может идти ответ?

— Я, пожалуй, снесусь с комендатурой в Кракове. Напишите мне адрес ваших детей. Только один вопрос...

— Пожалуйста.

— Муж. Вы замужем?

— Формально — да.

— Ваш муж не был коммунистом или социал-демократом? Левым, одним словом?

— Нет. Он вне политики.

— Еврей?

— Настоящий, истовый католик.

— Истовый — это тоже плохо. Но, во всяком случае, с левыми он не был связан: для вас это лучше, для меня — хуже.

— Почему?

— Будь он левым, ответ пришел бы немедленно, они все на учете. Ну ничего, это выход — я снесусь с Краковом, не дожидаясь ответа из Парижа. Продолжайте работать, как работали,— мне будет легче добиваться для вас всяческих льгот.

...Двадцатого июня Эссен разбудил Ганну — он приехал за ней в три часа утра.

— Что с вами? — спросил он.— Не тряситесь так, пожалуйста. Мы вылетаем в Краков, я решил взять вас вместе с нашей группой.

— Сейчас, я сейчас,— не в силах удержать дрожь, повторяла Ганна, не понимая, видно, что стоит перед ним неодетая,— я сейчас, одну только минуту подождите меня, я сейчас.

Эссен не имел права брать Ганну. Он понимал, что стоило официально запросить Поля, и тот наверняка отказал бы: славянку в зону, которая послезавтра станет прифронтовой!

Но он помнил о просьбе этой талантливой женщины и решил, что поскольку путь их будет лежать через Краков, то почему бы не сделать ей добро? Работает она великолепно, и хотя Поль не поддержал его идею о качественно новом оформлении трудовых лагерей для славян, которые будут содержаться там как сельскохозяйственные и заводские рабочие, он все же решил эту свою убежденность опробовать на Ганне — в конце концов ему предстоит работать с ней, а не обергруппенфюреру. Пожалуй, из всех его сотрудников она быстрее остальных поймет на месте, как надо проектировать, схватит все основные узлы, а он будет заниматься лишь общими проблемами, проецируя тот лагерь, который был наспех создан возле Кракова, на все будущие лагеря (прежде всего для военнопленных, как сказал Поль).

Ганна вышла через пять минут — лицо ее было бледным до синевы.

— А где же сумка? — мягко улыбнулся Эссен.— Мы летим на пять дней. Надо взять мыло, полотенце, белье.

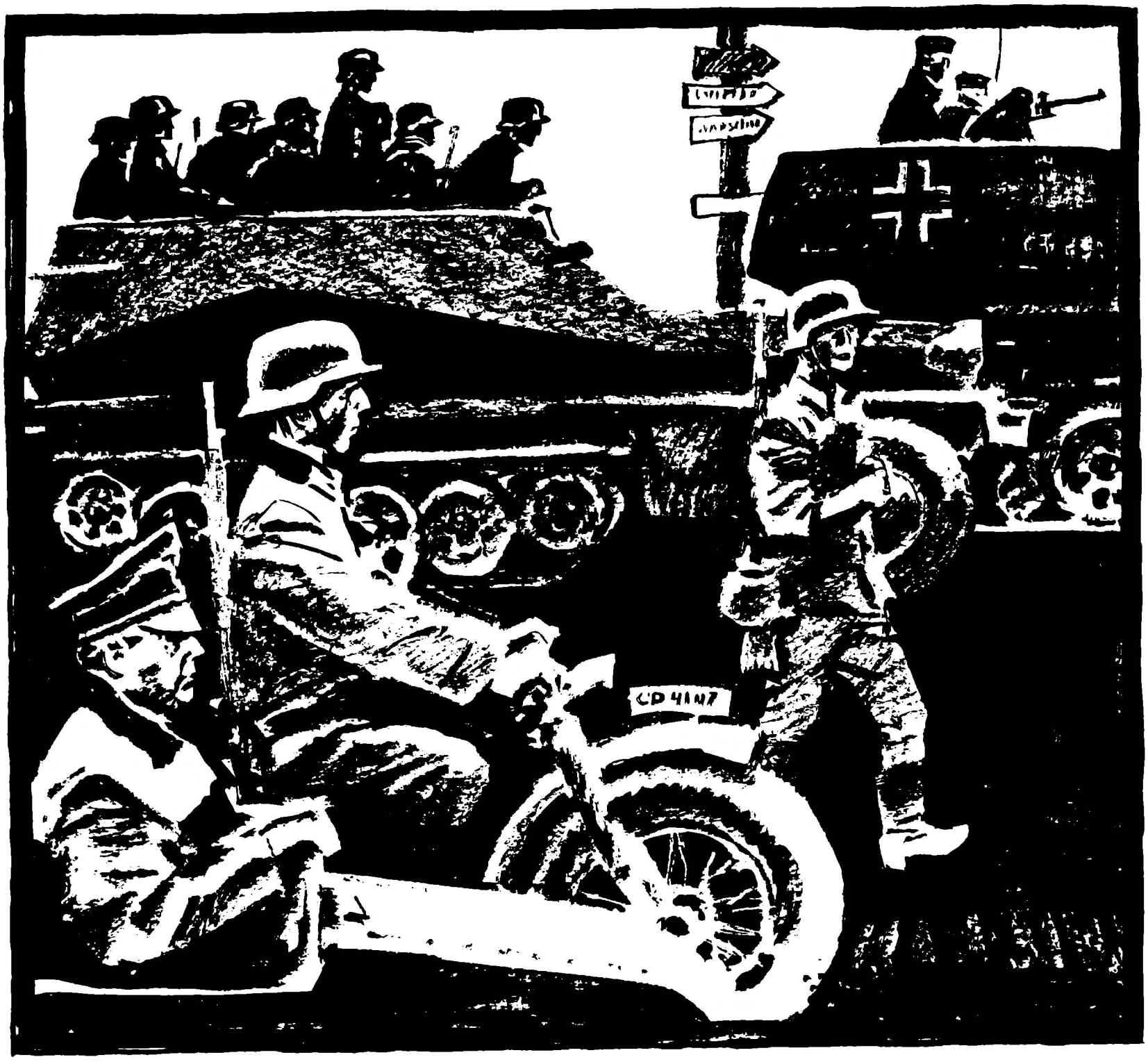
— Хорошо, сейчас, хорошо, я сейчас...

Эссен закурил, подумав о том, что до сих пор не выполнил своего обещания — он говорил Ганне, что достанет ей карточки на сигареты.

«На фронте можно будет запастись табаком,— подумал он.— Война развращает трофеями, но это так прекрасно — суровые и щедрые трофеи войны. Мужчина и в обычной жизни завоеватель, он всегда стремится вперед. Физиологически, кстати, тоже. Победив женщину, которая стала женой, он считает ее поверженной державой и стремится к новым завоеваниям. А женщина подобна начальнику тыла — она тщится закрепить полученное: и физиологически все сходится. Женщина всегда прагматичней в удержании наслаждений».

Эссену понравилась эта мысль, и вообще он сам себе сейчас нравился, он видел себя со стороны: пятидесятилетний человек, в модном костюме, который с м е е т брать с собой иокровку, отправляясь на границу, чтобы посмотреть лагеря, которые ему предстоит строить для других инокровцев. Сумасшедшая, внезапная радость охватила его от сознания своей спокойной и уверенной силы, от того, что он властен поступать так, как ему поступать хочется.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—46.



Ганна вышла, накинув на плечи толстую вязаную кофту. В руках у нее был маленький баул.

— Вы поразительны,— заметил Эссен,— я пока не встречал ни одной женщины, которая бы умела так быстро собраться.

Он взял из ее ледяных пальцев баул и пропустил вперед, уважительно распахнув перед ней скрипучую, со щелями, дверь барака.

В дребезжащем, холодном военном самолете Эссен сказал ей, что на обратном пути они остановятся в Кракове — он поможет ей найти родных.

— Вам это было очень трудно,— утвердительно сказала Ганна.— Судя по всему, было очень трудно добиться такого разрешения.

— Я его не добивался,— ответил Эссен.— Я просто хочу вам помочь. Так что головы нам будут снимать обоим.

Его высочеству главе
королевского итальянского
правительства
Бенито Муссолини, Рим.

Дуче!

Я пишу Вам это письмо в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также вечное нервное выжидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения. Я полагаю, что не вправе больше терпеть положение после доклада мне последней карты с обстановкой в России, а также после ознакомления с многочисленными другими донесениями. Я прежде всего считаю, что уже нет иного пути для устранения этой опасности. Дальнейшее выжидание приведет самое позднее в этом или в следующем году к гибельным последствиям...

...Русские имеют громадные силы — я велел генералу Йодлю передать Вашему атташе у нас, генералу Марасу, последнюю карту с обстановкой. Собственно, на наших границах находятся все наличные русские войска. С наступлением теплого времени во многих местах ведутся оборонительные работы...

...Но я ни на секунду не сомневаюсь в крупном успехе. Прежде всего я надеюсь, что нам в результате удастся обеспечить на длительное время на Украине общую продовольственную базу. Она послужит для нас поставщиком тех ресурсов, которые, возможно, потребуются нам в будущем...

...Если я Вам, дуче, лишь сейчас направляю это послание, то только потому, что окончательное решение будет принято только сегодня в 7 часов вечера. Поэтому я прошу Вас сердечно никого не информировать об этом, особенно Вашего посла в Москве, так как нет абсолютной уверенности в том, что наши закодированные донесения не могут быть расшифрованы. Я приказал сообщить моему собственному послу о принятых решениях лишь в последнюю минуту.

Материал, который я намерен постепенно опубликовать, так обширен, что мир удивится больше нашему долготерпению, чем нашему решению, если он не принадлежит к враждебно настроенной к нам части общества, для которой аргументы заранее не имеют никакого значения...

...В заключение я хотел бы Вам сказать еще одно: я чувствую себя внутренне снова свободным, после того как пришел к этому решению. Сотрудничество с Советским Союзом, при всем искреннем стремлении добиться окончательной разрядки, часто сильно тяготило меня. Ибо это казалось мне разрывом со всем моим прошлым, моим мировоззрением и моими прежними обязательствами. Я счастлив, что освободился от этого морального бремени.

С сердечным и товарищеским приветом.

Гитлер.

НАЧАЛО КОНЦА МОЖНО ПРЕДСКАЗАТЬ. (21.6.1941)

Диц заехал за Штирлицем в гостиницу около семи часов вечера. Небо было высоким, знойным, бесцветным. Над площадью Старого Рынка взвивались голуби; быстрые крылья их трещали, как деревянные. Высоко над крышами гомонливо, радостно и свободно метались стремительные, словно тире, ласточки.

— «Нахтигаль» начал движение из Жешува к Сану. Думаю, нам стоит послушать выступление Бандеры — он должен напутствовать своих легионеров.

— Вы все-таки пробились к нему через абвер? — спросил Штирлиц.

— Это оказалось не слишком уж трудным делом.

— Смотря для кого. Фохт сказал мне, что вы растете не по дням, а по часам.

— Кто дал ему право выносить такого рода суждения?

— Не понял? — сыграл Штирлиц.— Почему так резко?

— Он не знает нашей работы, всего ее объема. Мы в конце концов лишь сотрудничаем с ним, временно сотрудничаем.

— Он руководитель группы. Номинальный. Во всяком случае,— добавил Штирлиц и сразу же поймал себя на том, что подражает Магде. Она проговаривала фразу быстро и точно, а потом — в этом выявлялось ее женственное начало — добавляла что-то, смягчающее резкость формулировки. Это было похоже на то, как мать, отругав дитя, сразу же привлекает его к себе и начинает молча гладить по голове. Теплой ладонью.

«Это снова от нее,— понял Штирлиц.— Говорят, дурное заразительно. Неверно. Доброе куда более заразительно, чем дурное. Если, конечно, добро при этом не выступает в одеянии святоши. Добро обязано уметь лихо ездить на мотоцикле, плясать фокстрот и пить вино. Эти внешние атрибуты привычного зла истинному добру не мешают...»

Машина неслась по дороге к Жешуву: леса казались синими, слышалась громадная тишина окрест; не было ни военных машин, ни солдатских колонн, ни патрулей.

«Как же они умело маскируются,— подумал Штирлиц.— Как слаженно работает их машина... А вдруг действительно все это большая игра в провокацию? — ожгло его.— Вдруг они не начнут завтра? Что, если я стал для них к а н а л о м и они играют с Москвой, давно разгадав меня?»

Он зажмурился на мгновение, потер веки пальцами, закурил, заставил себя не думать об этом ужасе — возможном ужасе.

— Как Мельник? — спросил Штирлиц только для того, чтобы не было тишины.

— Это станок, а не человек. Он поднялся. Ему посадили на задницу трех пчел — невероятная дикость! — и он поднялся. Что вы хотите, славяне... Конечно, он во многом проигрывает Бандере, вы правы...

— Я не считаю, что он проигрывает Бандере в чем-либо,— возразил Штирлиц.— Я так никогда не считал, Диц.

— Значит, я вас тогда неверно понял? — осторожно спросил Диц.

— Неверно. Ведь в Загребе Мачек и Павелич нам были нужны в равной мере. Нет?

— Хорватии была уготована иная участь.

— Тоже верно. И тем не менее вы меня неверно поняли, дружище... Почему вы сравнили Мельника со станком?

— Он может работать бесконечно, если его не «выключить». Он сейчас исследует долгосрочную политику на Украине. Нашу долгосрочную политику,— добавил Диц многозначительно.

— Перепрыгивает через этап? Почему?

— Видимо, он думает, что «ближнюю политику» достаточно четко «сработает» бандеровский «Нахтигаль».

— Вы считаете, Мельник хочет уравнять Бандеру с собой?

— То есть? — не понял Диц.

— Мельник был военным шпионом.

— Очень интересная мысль,— чуть улыбнулся Диц.

— Дарю,— сказал Штирлиц.— И забываю о подарке.

— Спасибо. Вероятно, вы правы. Он хочет сквитаться. Занятный нюансик...

— Что, что?!

— Я говорю, нюансик занятный. Когда оба вываляны в дерьме, тогда равные шансы отмыться.

— Что касается «нюансика», не знаю, а по поводу «отмыться» — очень мудро, Диц, очень мудро.

Штирлиц снова был подобран и напряжен: он впервые встретился сегодня с Дицем с глазу на глаз после того случая с Еленой. Каждый из них понимал, что встреча эта должна определить очень многое, если не все.

Диц знал, что гестапо имеет своих людей в системе политической разведки Шелленберга. Штирлиц, в свою очередь, был убежден, что его шеф не смог до сих пор получить ни одного «опорного пункта» в ведомстве Мюллера. То, что произошло два дня назад в краковской военной гостинице, когда Диц нарушил закон о чистоте расы, ставило двух этих людей в положение совершенно исключительное.

Существует, однако, опасность исключительного. Являясь по внутренней сути своей фактом о п е р е ж а ю щ и м, исключительное становится неким оселком проверки человека на прочность, выдержку, скорость и самоконтроль. Иной, оказавшись в ситуации исключительной, тщится обратить на себя, на внешнее выявление своей личности, часть этого не познанного еще состояния в р е м е н и. В этом случае сплошь и рядом высокое оборачивается низким, трагедийное — фарсом, мудрое — смешным.

Не все понимают и чувствуют суть исключительного. Чаще всего этим даром чувствования обладают музыканты и литераторы. Этим даром — в определенной степени — обладал Штирлиц. Он поэтому не торопил события, справедливо полагая, что если свершилось нечто исключительное, то проявлять торопливость, настойчивость, радость, юмор, силу — значит, в конечном счете проиграть выигранное.

Он исходил в своих рассуждениях из той данности, каковой являлся Диц. Штирлиц был убежден, что самое понятие «исключительного» тот проецирует лишь на себя одного только потому, что уверовал в свою арийскую особость. Тогда как исключительное — это тот или иной пик с о с т о я н и я человеческого духа, который влияет на последующие события. Он был прав, Штирлиц. Действительно, после того с л у ч а я Диц испугался, затаился, но не для того, чтобы нанести удар, а потому лишь, что наивно ждал, когда все з а б у д е т с я. Ничто не забывается — ни слово, ни поступок. Тот, кто верит, что можно забыть, тот ближе к плоти, чем к духу, ближе к животному, чем к человеку.

Штирлиц ждал этой встречи, он был убежден, что Диц захочет остаться с ним наедине. Он наметил ряд возможных линий поведения гестаповца, и каждую из этих линий проиграл в воображении, чтобы точно подстроиться к Дицу, когда тот будет п р е д л а г а т ь себя.

Штирлиц понимал, что на человека нельзя ж а т ь; на такого, как Диц, особенно. Если противопоставить ему методы, которые тот исповедовал, ничего путного не получится: всегда легче бороться против того, что тебе хорошо известно. Значительно труднее ждать неизвестного. Только это, считал Штирлиц, позволит ему держать Дица в руках, только это заставит того выдавать «смежную» информацию, которая поможет Штирлицу в служебном росте — чего же еще он мог добиваться компрометацией в отеле, как не этого?

Допуск вероятностей, подчас совершенно фантастический,— удел людей высокоталантливых, отмеченных искрой божьей. Диц не мог себе представить, зачем он нужен Штирлицу, кроме как для того, чтобы строить благополучие на костях ближнего. Он будет отдавать Штирлицу часть своей информации — ему ничего не остается делать. Он заставит Штирлица поверить в то, что он его друг. Пусть старается. Этого Штирлиц и желал.

...«Оппель-адмирал» свернул с пустынного асфальта шоссе Краков — Жешув на хорошо грейдированный проселок возле Дебицы, и через пять — семь километров Штирлиц увидел иную жизнь. В синих сумерках то здесь, то там урчали танки; армейские патрули светили в глаза острыми лучами карманных фонариков, проносились — в клубах серой, изрезанной подслеповатыми щелочками фар пыли — грузовики с солдатами; до границы оставалось совсем недалеко — через Жешув на Перемышль.

— Война,— тихо, словно самому себе, сказал Штирлиц и закрыл глаза.

— Да. Война и конец войне одновременно.

— Война и конец войне одновременно,— повторил Штирлиц, не открывая глаз: мимо их «оппеля» проходила колонна артиллерии; пушки были короткоствольные, сильные; солдаты ехали на тягачах — с засученными, как у мясников, рукавами, белозубые, безглазые — темные, пыльные провалы в надбровьях, будто вампиры, и Штирлиц не мог смотреть на них, он не мог заставить себя спокойно на них смотреть, потому что представлял, до холодного ужаса представлял, как взрывающая сталь, которая несет смерть, обрушится на его сограждан, которые сохраняют спокойствие и которые не ударяют первыми («Может быть, не могут? Тогда еще страшней, господи!»), и которые сейчас слушают оперетту по радио, и возвращаются с танцев из клуба, и любуются младенцем, разметавшимся в маленькой кроватке, и сидят над книгой, и шепчут первые слова любви — неумелые, нежные, тихие...

...«Нахтигаль» был построен тесным, душным каре. Легионеры стояли при полной выкладке — с автоматами на груди, увешанные длинными, у д о б н ы м и гранатами, с кинжалами в тяжелых металлических чехлах, сохранявших форму тесака — резкую, острую, кровавую — на поясах.

Стецко стоял в центре каре, в окружении Оберлендера, Херцнера, Шухевича, Лебедя и капеллана Гриньоха. Стецко был бледен, это заметно было даже в ночи, и его тонкие ноздри подрагивали, словно он надышался белого и мягкого кокаина.

— Братья! — громко, протяжно, как кавалерийский офицер, прокричал Стецко.— На рассвете вы ступите на землю Украины! Вы ступите на землю большевиков! Великий вождь немецкой нации и новой Европы Адольф Гитлер показал на деле, что, прежде чем нести свободу другим, надо выкорчевать зло у себя дома. Пример великого фюрера должен быть для вас священным. Да пусть не дрогнет ваша рука! Да пусть не закрадется в ваше сердце сомнение! Вперед, к победе! Хайль Гитлер!

Каре протяжно ответило:

— Зиг хайль!

«Хитро сказал Стецко,— отметил Штирлиц.— Мельник, значит, напрасно надеялся уравняться с бандеровцами в «грязи».

Штирлиц несколько раз уже замечал, что чувства его обгоняют события. Он не понимал еще, что должно случиться, но то, что нечто важное сейчас произойдет, обязательно произойдет, он ощущал кожей, холодом в пальцах, колотьем в сердце — не мыслью.

Штирлиц почувствовал верно — следом за Стецко вышел Лебедь.

— Братья! — тихо сказал он, словно перед ним не тысяча вытянулась, а пять человек.— Легионеры! Вас с затаенным ужасом ждут комиссары, исполкомовцы, чекисты, комсомольцы, профсоюзники — украинцы по крови. Не тешьте себя иллюзиями — украинский комиссар такой же враг нам, как комиссар московский, как жид или лях. Око за око! Зуб за зуб! Хайль Гитлер!

«Ишь, как расписали,— яростно подумал Штирлиц.— Все по нотам. Стецко — политик, Лебедь — хоть и зовет карать, но тоже льнет к политике. А сейчас они должны позвать к крови в открытую, чтоб все ступеньки пройти, ни одну не проскочить...»

Маленький, жилистый, с истерикой в глазах легионер, стоявший ближе всех к Стецко, возле желто-блакитного знамени, протяжно завыл:

— Смерть коммунии!

— Смерть!

«Вот оно как,— понял Штирлиц.—Только намекнуть надо вождю — паства уже заранее подготовлена к крови. Ну, сволочь вождь, из прохиндеев, ну, отольется тебе горе, ублюдок ты этакий...»

Роман Шухевич выкрикнул:

— Хай живе Степан Бандера!

— Хай живе!

— Зиг! — крикнул Шухевич срывающимся голосом.

— Хайль! — ответило каре.

Когда танки, пройдя пограничную полосу, сшибли полосатые столбы, когда по дымному полю, над которым вились едкие дымы, поднимавшиеся из свежих, кровоточивших еще кровью земли воронок, двинулись войска, Ярослав Стецко, стоявший рядом со Штирлицем, опустился на колени и, заплакав, начал истово креститься, повторяя:

— Все, господи, все! Услышал ты нас, спас и воскресил...

Штирлиц вытер пот с висков:

— Хватит вам! Здесь зрителей нет!— и, обернувшись к Дицу, сказал устало: — Едем, а?

* * *

Лишь через три дня после начала войны головные части семнадцатой армии Штюльпнагеля смогли сломить сопротивление Красной Армии в Перемышле. «Нахтигаль», который шел следом за немцами, ворвался в городок. Именно здесь, в приграничье, жил тот дядька Остап Буряк, который говорил Миколе и его отцу Степану про то, как живут украинцы под Советами.

Рейзер вместе с тремя легионерами прыгнули в юркий, крашенный зелено-желтыми разводами бронетранспортер и, глянув в список, прогрохотали по тихой, замершей улочке Петровского к дому номер 9.

Мазаный домик казался голубым — так был он чист и заботливо выбелен. Аист, устроившийся на крыше, смотрел на людей надменным круглым глазом и вертел длинным клювом, словно жеманная красавица веером.

Рейзер кивнул легионерам, и они вышибли ногой калитку, ворвались во двор, полоснули очередью пса, который кинулся им в ноги, и ворвались в дом — одним махом: через дверь и дзенькнувшее окно.

Тот легионер, что махнул через окно, окровянился и, словно бы дождавшись этого, желанного, бросился на единственного мужчину, который сидел за столом, а рядом с ним была женщина с младенцем на руках, девочка и трое мальцов — тихие, пепельно-серые.

Он вытащил мужчину из-за стола, и женщина закричала тогда, и заплакали мальцы. Один из легионеров ударил женщину ногой в живот, и она, умолкнув, рухнула. Они выволокли мужчину, который не сопротивлялся им, затолкали его в бронетранспортер, и только там, в грохоте, спросили:

— Остап Буряк?
— Так.
— Начальник почты?
— Был.
— Имеешь родню в Люблинщине?
— Имею.
— Письма им слал?
— Слал.

Тот легионер, что порезался, прыгая в окно, схватил Буряка за уши, ловко наклонил его лицо вниз и два раза быстро ударил острым, жилистым коленом по носу и бровям.

— За что ж, паны добрые? — спросил Остап, поднимая к легионерам лицо, сделавшееся синим, а потом багровым, а после кровавым — в быстрых черных подтеках. Губы его сразу же вспухли, сделались белыми поначалу, а потом посинели, и изо рта потекли быстрые струйки крови.

Его вытащили из бронетранспортера, и он увидел вокруг себя каре, и лица людей в немецкой форме казались смазанными, похожими одно на другое, но среди этих похожих лиц он увидел вдруг Миколу, и застонал, и потянулся к нему, и командир Роман Шухевич быстро переглянулся с Рейзером.

— Микола,— сказал Шухевич,— знаешь его?

— Так то ж дядька Остап,— ответил побледневший хлопец.

— Хорошо, что сразу признал,— сказал Шухевич.— А ну, спроси его так, как вас наставники учили.

Микола вышел из каре, приблизился к Буряку и с ужасом поглядел в его синее лицо.

— Ну! — подбодрил Шухевич.— Давай, Микола. Люди ждут: устали люди, завтра снова в путь, отдохнуть надо...

— Спрашивай,— сказал Остап ровным голосом, поняв, видно, участь свою.— Ты спрашивай меня, Миколка, я отвечу, сынок.

— Ты большевик, дядька Остап?

— Не, сынок. Я не большевик.

— Ты на Советы работал?

— Работал, сынок. Работал я на Советы...

— Они заставили тебя?

— Не, Микола. Не заставляли. Я до них сам пришел.

— Мучили они народ?

— Не, Микола. Не мучили. Не мучили,— повторил Буряк,— может, где в ином месте мучили, а здесь мучений не было. Не было у нас мук, Микола, у нас жизнь добрая была под Советами.

Шухевич тонко крикнул:

— Микола, перед тобой большевистский наймит! Он предатель! Он продался им! Казни его так, как мы будем казнить всех предателей на Украине!

— Так то ж дядька Остап,— сказал Микола, обернувшись к Шухевичу.— Какой же он предатель?

— Тот, кто покрывает предателя,— сам предатель, Микола! — крикнул Шухевич.— Легион ждет!

— Да нет,— сказал Микола.— Пусть он отоспится, он же избитый весь...

Шухевич обернулся к легионерам:

— Степан!

Из каре вышел длинный, медлительный парень; он неспешно приблизился к Остапу, долго смотрел в его лицо, побелевшее под черной кровью, потом достал из ножен кинжал и протянул его Миколе:

— Держи, браток. В поддых. Бей с оттягом.

Микола попятился от длинного, медлительного парня, и тогда тот, став броским и быстрым, ударил невидным движением Остапа и, не обернувшись даже на упавшего, пошел в строй.

* * *

Через час после казни Шухевич, не дав легионерам отдыха, поднял людей по тревоге и погнал шляхом на Львов, чтобы войти в город вместе с немцами. Приказ этот, поступивший от Бандеры, был и для Шухевича неожиданным, но судя по тому, что Оберлендер согласился с «вождем», все было согласовано «наверху». Надо, значит, надо: «Вперед, к победе, хайль!»

«Центр.

Среди аппарата РСХА заметна растерянность — всенародное сопротивление агрессии, то сопротивление, которое оказывают части Красной Армии и пограничники, видимо, кажется «коллегам» неожиданностью — и Бандера и Мельник говорили прямо противоположное, уверяя своих руководителей, что народ Украины будет встречать Гитлера как освободителя. На самом деле бои идут кровавые, украинское, русское, польское население здешней местности уходит в леса, начинаются диверсии против агрессоров — неорганизованные еще, правда, но тем не менее весьма ощутимые. Солдатам запрещено вечерами ходить по оккупированным селам, запрещено ходить по одному, без оружия.

«Нахтигаль» заявил себя с первого часа войны группой опьяневших от крови уголовников: в селе Пидлисном, там, где был организован первый на Западной Украине колхоз, бандеровцы расстреляли весь советский актив, причем расстрелы звеньевых, колхозных бригадиров, орденоносцев проводились на глазах у маленьких детей и родителей.

Появилась листовка (рукописная), рассказывающая о зверском убийстве Василя и Ольги Коцки, соратников Ивана Франко. Вырезана семья легендарного Пелехатого.

Украинцы прячут в своих домах тех, кто уцелел из русских и еврейских семей, невзирая на угрозу расстрела.

Необходима срочная связь.

Прошу выделить — если возможно — украинского чекиста, знакомого с местными условиями: связь необходима постоянная и двухсторонняя. Пароль связника: «Вы совсем не изменились со времен «Куин Мэри». Отзыв: «Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе?»
«Во втором».
Юстас».

Когда трескучие мотоциклеты «Нахтигаля» пронеслись по спящим еще улицам Львова, Роман Шухевич склонился к Оберлендеру, сидевшему рядом с ним в тряской люльке, и осевшим от волнения голосом прокричал:

— Сразу на Святоюрскую гору, да?!

Оберлендер молча кивнул головой, поднял на лоб огромные очки, закрывавшие глаза — лицо серое, только зубы ослепительно белы и белки кажутся переливно-перламутровыми.

— Волнуетесь? — спросил он.

— А вы?

— А я нет. Как говорится, не сотвори себе кумира.

— Это вы без кумира можете, мы — нет.— Шухевич тронул плечо мотоциклиста и приказал ему: — К Шептицкому!

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ

Глава униатской церкви митрополит Андрей Шептицкий, в миру граф Роман, сидел возле окна на втором этаже своего дома, на вершине Святого Юра, и тяжело смотрел на город, расстилавшийся под ним, на купола церквей, не освещенные еще солнечными лучами, на черепичные крыши, которые казались тронутыми ранней октябрьской изморозью, и на строгие линии аллей, по которым он угадывал названия улиц.

Он сидел в тяжелой задумчивости — громадный старик с седой бородой, ниспадавшей на широкую грудь; глаза его, казалось, горели на лице, иссеченном резкими морщинами; огромные руки лежали на поручнях каталки, и нельзя было представить себе, что этот гигант давно уже не в силах опереться, встать во весь свой двухметровый рост, подойти к окну, прижаться выпуклым лбом к холоду стекла, ощутить запахи цветов, поднимавшиеся с клумбы, и легкие порывы рассветного, липового, горьковатого, с дымком ветра.

Он сидел в тяжкой задумчивости, и жизнь его медленно проходила перед глазами, и дивился митрополит тому, как сильна человеческая память и похожа на смертельно раненного, который мечтает о будущем, понимая в глубине души, что будущего-то быть не может и с прежним покончено, а настоящее уходит, становясь холодным, далеким и нереальным — жизнью, которая кончается...

Он спрашивал себя — в который раз уже и чем ближе к к р а ю, тем требовательней,— зачем в далеком, но столь ясно видимом ему году, в 1888-м, он снял щегольскую форму австрийского улана и облачился в тяжелую рясу василианского монаха. Что подвигло на этот шаг его, двадцатидвухлетнего магната, красавца, льва венских салонов и жуира?

Жажда деятельности просыпается в человеке рано, в детстве еще. Поначалу она неосознанна и суетлива. (Если взрослый человек повторит все движения трехлетнего ребенка, которые тот проделывает за день, он умрет, не выдержав мускульного напряжения.) Истинная деятельность, будь то физическая или умственная, начинается тогда лишь, когда человек осознает свою значимость и свое предопределение. Порой тот или та, на которых уповали школьные наставники, как на образчик воли и дисциплинированности, такого рода истинной деятельностью оказывались обойденными.

Граф Роман поначалу не видел иного пути в жизни, кроме как пути военной славы. Мечтатель, он свою юношескую мечтательность старался скрывать ото всех, но это не удавалось ему: окружающие особенно зорки, когда дело касается людей недюжинных.

И однажды молодой кирасир Карл Шлоссберг, на рассвете, после вечеринки, когда так же, как сейчас, солнца еще не было и в воздухе пахло горьким дымком, пьяно и дружески полуобняв громаднорослого улана за осиную талию, сказал:

— Я преклоняюсь перед тобой, Роман, право, преклоняюсь. И щемящая жалость порой сердце давит: ты достойнее меня, умней, сильнее, но уж если кому и суждено стать фельдмаршалом, то мне, а не тебе, хоть я этого не заслужу, а ты заслужишь.

Мягко улыбнувшись другу, граф Роман спросил (лучше б и не спрашивал, как он потом казнил себя за этот вопрос, сколько их на свете, ненужных вопросов-то, ответов ведь меньше):

— Почему, Карл?

— Потому что я австриец. Ты богаче, умнее, но ты чужой. У тебя есть п о т о л о к, а надо мной — небо.

Граф Роман умел пить, и его не могли повалить ни бутылка, ни две. Он уснул спокойно, но кто-то словно бы толкнул его в литое плечо. Он открыл глаза, поднялся и понял, что спал всего несколько минут, оттого что солнца не было по-прежнему и ветер все еще был горьким, рассветным. И услышал он голос друга Карла, понял вдруг страшный смысл, сокрытый в его словах, и почувствовал свою жалкость, несмотря на громадный рост, силу в руках, налитую мощь торса. И отец, и дед, и прадед были признаны Веной — не больше. Им позволяли достигать потолка, а коли росли выше — хрустко ломались шейные позвонки, летела наземь голова: потолок оставался прежним, раз и навсегда отмеренным для сановитых инородцев, верой и правдой служивших австрийской короне.

В то горькое, самое горькое в его жизни утро он осознал вдруг, что как бы он ни х о т е л, что бы ни д е л а л, ему могут не п о з в о л и т ь потому лишь, что кровь его была неавстрийской.

Рабство противно человеческому духу. Никто ведь не мечтает стать оруженосцем маршала — каждый думает о своем жезле; на смерть идут во имя такой жизни, в которой нет потолка — есть небо. Препятствия созданы для того, чтобы их преодолевать, ограничения — для того, чтобы разрушать их. Но не мог же он, граф Роман, пойти на то, чтобы разрушать монархию. Это значило бы обратить силу против самого себя.

...Граф Роман вечером следующего дня уехал в Киев. Он путешествовал по Украине и России один, встречался с разными людьми в душных ресторанчиках и за рюмкой слезливой водки слушал, слушал, слушал. Великая империя трещала, царила усталость, люди искали веры, ждали точки опоры, ж а ж д а л и идеала. Путь к небу духовен: из России граф Роман уехал в Ватикан, и там после долгих бесед с людьми веры отрекся от мирского имени своего и стал Андреем, монахом ордена «василиан», того самого, который шел в Россию с унией, желая примирить православие с Ватиканом, а путь к примирению один — растворение «низшего» в «высшем». Не граф Роман, а уже «брат Андрей» сделал выбор: он получит свое небо. Путь к его небу отныне будет путем духа. Славяне станут его д е т ь м и, а он сделается их пастырем. Он введет дикое племя в лоно католичества. А если так — никто не посмеет преградить ему путь к небу, потому что личные интересы брата Андрея, став социальным интересом Венского двора, будут отныне учитываться монархами Европы, а не р е г л а м е н т и р о в а т ь с я ими; Вена не может не желать разрушения изнутри славянского колосса; отныне, следовательно, кровь Шептицкого, славянская кровь, его плоть, славянская плоть, должна сделаться вторичной, несущественной, ибо тело он отдал служению венскому духу.

София Шептицкая, сохранившая и в преклонные годы красоту и властность, узнав о решении сына, превратилась в старуху за счи-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—47.

танные часы: лицо ее с заплаканными глазами изменилось до неузнаваемости. Папа Лев XII прислал ей письмо: «решение Вашего сына угодно богу». И графиня, сделавшись маленькой, притихшей и напуганной матерью, а не сановитой матроной, смирилась, погасла и умерла вскорости: что ей еще оставалось-то?

За двенадцать лет брат Андрей прошел все ступени церковной иерархии: от монаха до магистра, от епископа до митрополита. Ему не было еще тридцати пяти лет, когда он был коронован униатским владыкой славянского мира. Отныне путь в небо был открыт, потолок разрушен, ибо митрополит — всегда н а д миром, и монархи приходят к папе и его пастырям за советом и помощью в своих суетных, мирских делах, а никак не наоборот.

Вначале граф Роман думал о себе. Став «митрополитом Андреем», он приказал себе забыть то изначальное, что подвигло его на отказ от мирских радостей. Он тщился убедить себя, что горьким утром, после страшной беседы с другом Карлом, он думал об одних лишь сирых славянах, которым венская, сиречь немецкоговорящая, вера откроет путь к добру и благости.

Шептицкий понимал, что отныне он властен над душами миллионов, но над своей душой — мятущейся, постоянно обуреваемой жаждой деяний — он был не властен, ибо человек не всегда может з а б ы т ь. Он может приказывать себе, надеяться, молить, желать, уповать, но все равно желаемое забвение не снизойдет к нему: это трудней, чем изменить имя.

А политика, которая немыслима без веры, властно требовала от духовного пастыря определения земной позиции: «С кем ты?»

Когда заполыхала в мире первая мировая война, ему пришлось выбрать позицию, ибо человек не властен жить в обществе и быть свободным от него, даже если живет он идеей служения богу. И Шептицкий определил себя. Он обратился к украинцам со словом земным, ясным: «Поднимайтесь на борьбу за святую монархию Габсбургов, против Москвы, Парижа и Лондона!». В мире, разделенном, словно бы разрубленном кровоточаще, Шептицкий оказался на той половине, которая говорила и думала по-немецки — с венским ли акцентом, с прусским ли — это уже вторично. Паства Шептицкого, украинцы, включенные в австро-венгерскую монархию, была поднята им на борьбу против своих братьев на востоке. Назови призыв к борьбе крестовым походом за чистоту веры — казнят презрением потомки. Казнят, казнят, Шептицкий понимал это, потому что призыв к крови, даже продиктованный идеей «чистоты веры», отбрасывал церковь к временам инквизиции, тогда ведь тоже сжигали во имя чистоты. Тактика повседневности — политика, дипломатия, экономика — изуродовали его стратегию духа. Политика европейских государств затягивала его, словно в воронку, подводя к главному решению. Эта страшная воронка не позволяет остаться в о з л е, она требует стремительности, движения. Сказав «а», нельзя не произнести «б». Шептицкий знал: последовательность, если она воистину последовательна, позволит в будущем о б ъ я с н и т ь линию, важно только сейчас, начав, свято линии держаться. И он начал работу против России не только как пастырь духовный, но и как человек, знавший структуру армии: русская контрразведка уличила его в чисто шпионской деятельности. Митрополит был увезен в Киев. А когда после победы Февральской революции Шептицкий смог выехать в Вену и король Карл наградил его «Крестом ордена Леопольда с воинской декорацией» за «страдания в русской неволе», Австро-Венгрия устилала цветами славы путь, по которому медленно двигался «святейший кортеж», и сделано это было по приказу императора, признавшего за Шептицким право на небо, ибо тот, в свою очередь, подтвердил Карлу его право на Украину. Шептицкий тогда страдал стыдливо, потому что он-то знал, какая это была «русская неволя» — апартаменты в киевском «Континентале», личный салон-вагон, покои в Суздальском монастыре, люкс петроградской «Астории»,— но он уговорил себя посчитать это «страдание нечестностью» угодным всевышнему, потому что не он становился кумиром, не граф Роман, не митрополит Андрей, но немецкоговорящий дух Вены. Так говорил он себе, понимая, что и это неправда, что и это у г о в а р и в а н и е самого себя. И тогда-то возник в нем страшный вопрос: «А во имя чего?» Вопрос этот приходит к человеку состоявшемуся, и ответ на него может оказаться поворотным пунктом в дальнейшей его судьбе. У Шептицкого так не вышло: он возвращался во Львов вместе с эрцгерцогом Вильгельмом Габсбургом, который на людях прикладывался к его руке и был почтителен до сладости, но граф-то знал, что именно этот человек должен стать «Василём Вышиванным» — новым «украинским гетманом», и тогда-то Шептицкий снова — до ужаса близко — ощутил свою малость и свой потолок, и не увидел уж он неба и услыхал страшные в себе слова: «В услужении всю жизнь, будто в прихожей».

Ему пришлось потом поддерживать кайзера и подвергать анафеме его; звать к битве против поляков и ездить в Варшаву для сановных бесед со своим врагом Пилсудским; приходилось ему поддерживать Петлюру, а затем лишать своей поддержки; давать благословение Скоропадскому и лишать его дружбы своей и милости, любезно объясняться с Пуанкаре, против которого он поднимал украинцев; встречаться с Гувером, миллионы которого были обращены против австрийского императора Карла и его берлинского брата Вильгельма; многое пришлось ему п р и н я т ь, одного лишь Шептицкий принять не мог и не желал: того, что было восточнее Львова и что казалось ему самым страшным, сатанинским злом на земле.

И вот сейчас он смотрит, как солнце начинает золотить купола костелов и церквей и как листва на платанах делается прозрачной, желто-зеленой, и слышит он выстрелы и треск мотоциклетных моторов, и знает, что сейчас сюда придут немцы, и ему, старцу, в который раз уже надо определить позицию и снова стать против тех, кто Гитлера считает антихристом, а таких — весь цивилизованный мир, а он ничего, отныне и вечно, не сможет противопоставить немцам и возразить он не сможет им, потому что, избравши раз линию, надо ей следовать, и будь проклята эта линия, эта страшная жизнь, которая требует от каждого с о с т о я в ш е г о с я открытой определенности.

КАРТА

Роман Шухевич слез с заднего сиденья мотоцикла, чувствуя разбитость в теле и душевную робость. Оберлендер вылезал из коляски по-немецки обстоятельно, и не было в нем высокого волнения. Следом за первым мотоциклом во двор Святоюрской церкви влетели еще мотоциклы, и на втором сидел капеллан «Нахтигаля» отец Гриньох в серой военной немецкой форме; он взбежал на крыльцо, и его узнали служки и склонились к его пыльным, в бензиновых потеках рукам, и он не успел даже толком спросить, где отец Андрей, как его подхватили, повели в п о к о и, и невдомек было маленьким служкам, что отец Андрей сейчас сидит в тяжком раздумье. И сердце его сжато тисками странной боли, с в о е й, мирской, человеческой боли, которую нельзя показывать никому, особенно м а л ы м мира сего.

И когда к нему ввели Шухевича, Гриньоха и Оберлендера, и он улыбнулся им, и они подошли к руке, и ощутили горький запах ладана, и Шухевич заплакал, и не скрывал своих слез,— Шептицкий положил руку на его пыльную, жесткую голову и закрыл глаза, потому что в них была сейчас жалость к себе: после императоров, кардиналов, министров, он с н и з о ш е л до этих пыльных, маленьких людей, которые отныне с м е ю т входить к нему в покои на рассвете, поднимать его вместе с креслом, выносить на балкон и показывать его толпе солдат в немецкой форме, которые заполнили всю площадь перед домом, и как же кричат они, и как сияют их хмельные глаза, как много их, и какая сила за ними, и как з е м н ы они, склоняющиеся перед ним коленопреклоненно...

Что-то давнее, забытое заклокотало в груди Шептицкого, он вдруг вновь поверил в свое изначалие, в то, что может вернуться прежнее, когда он был ч и с т, опираясь на свою силу; что-то горячее застило глаза его, и он ощутил свою силу в силе этих солдат чужой армии, и

он простер руки и послал благословение, и слезы были в глазах легионеров, и слезы были в его глазах, и тишина была, и грянул колокол, и пронесся вздох — освобожденный вздох свершенья, и затрещали мотоциклетные моторы, и легионеры, вбросив свои жилистые тела в седла, понеслись по утреннему городу, по пустым и затаенным улицам — вершить свою правду и суд, утверждать новую власть... Ведь они получили благословение, они теперь могут, они все могут теперь, ибо бремя с их плеч снято высшим, тем, которого у самого Шептицкого никогда не было.

* * *

Бандера приехал во Львов вечером того же дня — в парике, под чужой фамилией, никак не контактируя с Романом Шухевичем и Оберлендером. Поселился он на конспиративной квартире, в доме напротив Политехнического института: он знал здесь все проходные дворы, похожие на гулкие колодцы, разница в том, что вместо пахучих, желтых бревен — тяжелый камень. Но схожесть с сельским, милым сердцу Бандеры колодцем оставалась, и только потом уже «вождь» понял, отчего это было: балкончики, увитые плющом и горошком, возвращали его к отчему дому в деревне.

Возле двери, в маленькой, темной прихожей замерли трое телохранителей из оуновской «СБ» — «службы безопасности». Бандера и Ярослав Стецко сидели в прокуренной комнате, окна которой выходили в тихий дворик, и молчали — один листал книгу, не понимая, что в ней написано, другой завороженно смотрел на громоздкий телефонный аппарат. Время тянулось медленно. Сейчас решалось главное. Бандера понимал ясно: кто завоюет Святоюрскую гору, тот завоюет власть. Он понимал, что Шептицкий, духовный пастырь Мельника, его давний покровитель, должен принять решение сложное и бескомпромиссное: или он поддерживает борцов Бандеры, или он лишает их поддержки. То, что он благословил сотню легионеров,— лишь первый шаг; сейчас он должен благословить одного Бандеру, именно Бандеру, а никак не Мельника, сидящего в далеком краковском тылу.

Бандера знал, что руководитель мельниковской контрразведки Сеник-Грибовский прибыл во Львов так же нелегально, как и он, Бандера. Он был убежден, что Сеник-Грибовский думает о том лишь, чтобы уничтожить его, вождя ОУН-Б, прошить грудь автоматной очередью, взорвать, подложив в номер гостиницы маленький «подарочек», шибануть автомобиль на ярой скорости в обрыв — мало ли как можно «ликвиднуть» неугодного политика! Сеник-Грибовский знал методы и умел их разгадывать. После убийства Коновальца он сказал крылатую фразу: «Если вам кто-нибудь даст ценный подарок, даже от его преосвященства митрополита нашего, возьмите его и сразу же закопайте где-нибудь в далеком и тихом месте, и бегите, не оглядываясь, памятуя, что вы закопали свою гибель». (Не он ли, сволочь, подарочек и всучил Коновальцу?)

...Зная методы, Сеник-Грибовский не только умел их разгадывать, охраняя вождя Мельника; он мог применить их против Бандеры. Но пусть он рискнет применить свои методы, если Шептицкий благословит его, Бандеру, пусть! Бандера мыслил сейчас четко и цепко. Мельник в свое время говорил о нем Шептицкому: «Это кровавый садист, для которого нет ничего святого, он готов на все». Да, он сейчас готов на все. Но главное, он готов к тому, чтобы выжить, а выжив, победить.

Рассуждая сейчас в прокуренной, тихой комнате, Бандера шел по туго натянутому канату логики. Но одно положение, в определенной мере отправное, осталось за бортом его размышлений. Он никак не исследовал вопрос, казалось бы, маловажный: кто и почему сообщил Шухевичу о готовящемся на него покушении? Кто и почему, таким образом, подталкивал его к активным встречным действиям? Кто знал его так точно, что заранее разыгрывал комбинацию: угроза гибели — активные действия напролом?

...Телефон зазвонил сухо и резко, и оба — Бандера и Стецко — вздрогнули, хотя каждую минуту звонка этого ждали. Стецко потянулся к трубке, но Бандера глазами остановил его. Только после четвертого звонка Стецко поднял трубку и ленивым голосом пропел:

— Алло...

— Павлик!— услышал он страшный женский крик.— Павлик, тут Коленьку во дворе бандеры расстреливают, Павлик!

Бандера тоже услыхал голос, звонили, видимо, из дома, что был совсем неподалеку.

— Положи трубку,— тихо сказал он, но Стецко слушал женский крик завороженно, и глаза его широко расширялись ужасом.

Бандера протянул руку, нажал на рычаг, запищали тревожные, быстрые гудки отбоя.

— Нашли?— глухим шепотом спросил Стецко.— Это Сеник...

— Зачем ему играться?— также шепотом ответил Бандера.— Если б он нас засек, ему не играться, а действовать надо...

— Зря ты запретил оставить у входа в дом мотоциклистов...

— Вот тогда-то нас бы нашли обязательно. Ты старайся действия врага положить на свои, Ярослав. Если ладонь ладонью вся закрывается,— тогда надо бояться. Враг, как брат, он тоже умный. Разве ты б так поступил?— Он кивнул на телефонный аппарат.

Стецко хрустнул тонкими пальцами, поднялся, подошел к большому зеркалу в оправе, крашенной под старинное серебро, и потер свое лицо, тщательно подгоняемое им под лик Гитлера — даже усики стриг так же, как фюрер.

— Волнуешься,— заметил Бандера,— вегетатика не в порядке, синие полосы выступают, словно пощечину получил... Образуется все — хорошим врачам покажись.

— Меня здесь Зильберман лечил.

— Больше не полечит.

— Хороших-то надо бы сберечь.

— Правило нарушать нельзя. Правило только тогда правило, когда нет исключений.

— По-твоему, у немцев ни одного жидовского врача не осталось?

— Не-е. У них свои есть. Здоровье не тарелка, всякому не доверишь. Ты к Зильберману своему с коликами в сердце, а он тебе клизму от язвы: помрешь в одночасье. Зильбермана я тоже помню, он со студентов денег не брал.— Бандера покачал головой, усмехнулся.— Сложная, Ярослав, эта штука — жизнь. Все она, брат, примет, только мягкость — никогда. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Ты думаешь, мне этого самого Зильбермана не жалко? Но если я дрогну, потомки не простят, сплошал, скажут, Бандера, слабак он, а не вождь. Всех до одного, всех...

Охранник осторожно просунул в комнату голову, шепнул:

— Стучат. Открывать?

— Нашим стуком?

— А я растерялся, не понял.

Бандера на цыпочках, по-звериному устремившись вперед, словно перед броском, вышел в переднюю и припал ухом к двери, мягко упершись в нее рысьими подушечками бесшумных пальцев, готовый в любую минуту отпрянуть, привалиться спиной к стене — тут пуля не прошибет, если станут палить с площадки.

Стук повторился — знакомый, тюремный «тук-тук — здравствуй, друг».

Бандера отлип от двери, достал из заднего кармана широких брюк «вальтер», кивнул охраннику: мол, открывай.

На пороге стоял Роман Шухевич. Лицо его, по-прежнему пыльное, было веселым.

— Ждет,— сказал он.— Едем.

* * *

Шептицкий внимательно оглядел Шухевича, потом мельком — Стецко, предложил им садиться усталым и рассеянным жестом.

Он увидел все, что хотел увидеть: и то, как Стецко пытался скрыть мелкую дрожь пальцев, и то, как Шухевич выжидающе смотрел на «помощника вождя», пока тот сядет, и только после того, как Стецко осторожно опустился в большое кресло, позволил себе последовать его примеру; и то, как отец Гриньох говорящими глазами смотрел то на Стецко, то на него, Шептицкого.

Митрополит подавил вздох: после папы, кайзера, французского президента, Гувера, Пилсудского ему предстоит сейчас иметь дело с бандюками, лишенными главного, что отличает истинного политика,— породы.

— Ваше преосвященство,— откашлявшись так, как кашляют мелкие чиновники, попавшие в канцелярию министра, начал Стецко.— Спасибо вам низкое за то, что вы согласились принять нас. Мы пришли к вам, как к отцу нашему, как к украинскому Моисею, за благословением на тот шаг, которого нация ждала многие века. Благословите на власть.

Шептицкий не торопился отвечать. Он знал, что мирские люди считают их, служителей духа, людьми схимы, людьми своей лишь божеской идеи, и кажется им, мирянам, что духовники лишены их быстрых и ловких качеств — все сразу заметить, понять, обдумать, принять решение.

Пусть их, пусть считают, это даже выгодно, когда тебя принимают не таким, каков ты есть на самом деле. Шептицкий молчал, и все молчали, и это молчание становилось тяжелым, и Стецко чуть кашлянул, прикрыв рот крепкой, квадратной ладонью.

— А почему не Бандера премьер-министр?— спросил Шептицкий. Он спросил Стецко не для того, чтобы выслушать его доводы, но для того лишь, чтобы понять, как он эти свои доводы изложит.

Стецко дрогнул лицом; быстрые пальцы, сцепившись, замерли на острых коленях.

— Бандера не хочет, чтобы его личность мешала консолидации,— ответил он.— Бандера оставляет открытыми двери для переговоров со всеми национальными силами. Для него не личный престиж дорог, а счастье украинской нации, освобожденной великим фюрером.

«Есть порода, нет породы — все одним миром мазаны,— с глубокой горечью и состраданием к себе подумал Шептицкий,— я ведь так же говаривал, когда был моложе, точно так же, только не откашливался и рот не прикрывал ладошкой».

— Вы готовы,— сказал наконец Шептицкий,— сесть за стол переговоров с друзьями Мельника?

— Да. Если они захотят говорить, а не стрелять в нас из-за угла.

— Свои в своих?

— Свои в своих,— повторил Стецко жестко, потому что сейчас только по-настоящему ощутил себя, свое тело, неловко устроенное в мягком, низком кресле, свои сцепленные пальцы, свой затаенный страх перед старцем, и даже цепляющийся за колени шелк подкладки своих широких брюк ощутил он сейчас. Это произошло в нем потому, что он до явственного близко увидел себя выходящим из митрополитового дома по каменным ступенькам, и парня, который отделится от стены храма с зажатым у живота автоматом, и боль он ощутил явственно, словно пули уже изорвали его тело, большие, острые, холодные пули, пущенные человеком Сеника-Грибовского.

— Нервы расходились,— сказал Шептицкий,— это бывает после перенапряжения.

Он ждал, как ответит ему Стецко. Тот мог открыть карты, назвать имена, привести доказательства, и этим бы он погубил себя.

— Нам жизнь не дорога,— ответил Стецко, поняв чутьем, какого ответа ждет старец.

— И со Скоропадским готовы сесть за стол переговоров?— спросил Шептицкий.

— Нас об этом и спрашивать не надо.

— Значит, готовы,— сказал Шептицкий и откинулся на спинку кресла.— В добрый час. Благословляю вас на добро, идите с миром. Провозглашайте государство, я с вами...

И в это время вошел профессор Ганс Кох с Альфредом Бизанцем — руководители Оберлендера, присланные Канарисом смотреть, не вмешиваясь.

Шухевич, Гриньох и Стецко поднялись, словно солдаты при появлении офицера, и это ударило Шептицкого, но еще больше ударило его то, как Ганс Кох небрежно протянул ему руку, не дожидаясь того момента, когда он, пастырь, осенит его, мирянина, крестным знамением, и это вдруг сроднило Шептицкого со Стецко, и он подумал, что с самого начала ему надо было ставить на таких именно, а не разбивать самому потолки, чтобы достичь неба: эти разбили б, они ведь по-холопски благодарны тому, кто снизойдет, а еще больше тем, кто поднимет.

Когда-то, в прошлые годы, Ганс Кох входил в кабинет митрополита неслышно, и к руке прикладывался, и словам внимал, но тог-

да Шептицкий был чужим, тогда он владел умами украинских католиков в Польше, а теперь все изменилось и его, митрополита, католики-украинцы надели мундиры армии Коха — он теперь здесь хозяин, он, а не венский император Карл, и не маршал Пилсудский, и не кайзер Вильгельм, а просто-напросто майор армейской разведки, маленький винтик в страшной машине рейха.

— Я буду молиться за вас, дети мои,— дрогнувшим голосом, не для бандеровцев и не для Коха даже, а для себя, для своего раздавленного самолюбия сказал Шептицкий.— Докажите миру, как могуча и сильна держава Украинская. Господь вам в помощь...

Провожая взглядом уходивших Стецко и Гриньоха, митрополит знал, что грядет, боялся этого момента и в то же время ждал его: человек всегда хочет определенности, любой, но только определенности, ибо, опершись на нее, можно будет эту маленькую унизительную определенность вновь подчинить себе и своей линии — на нее лишь надежда.

Шептицкий не ошибся. Когда дверь за бандеровцами закрылась, Ганс Кох достал из портфеля бумаги, протянул их митрополиту, сказав: — Это надо подписать, ваше преосвященство, здесь ваши первые обращения к народу. По-моему, ваш стиль соблюден совершенно точно. Впрочем, какие-то коррективы мы готовы внести.

Шептицкий взял листок плотной бумаги, очки надевать не стал, зрение его сохранилось, особенно если смотреть вдаль; уперся жестким взглядом в строчки: «Слово митрополита к духовенству. По воле всемогущего и всемилостивейшего Бога начинается новая эпоха нашей Родины. Победоносную немецкую армию, которая заняла уже весь край, встречаем с радостью и благодарностью за освобожденье от врага. В эту важную историческую минуту я призываю вас, отцы и братья, к верности Церкви, послушанию Власти и к работе во благо Родины. Каждый, кто считает себя украинцем и хочет трудиться во благо Украины, должен забыть про межпартийные раздоры и работать сообща на ниве возрождения нашей экономической, научной и культурной жизни, столь униженной большевиками. Чтобы испросить у Всевышнего любви, каждый Пастырь должен провести в ближайшее Воскресенье благодарственный молебен «Тебя, Бога, хвалим!», испрашивая многолетия победоносной немецкой армии...».

Шептицкий медленно опустил листок на колени, ощутив всю его литую тяжесть. Закрыв глаза, он какое-то мгновение ч у в с т в о в а л в себе гулкую, предсмертную пустоту. Потом лишь, через несколько долгих мгновений, старец услышал какие-то быстрые слова и понял, что это мысли мечутся в нем, оборванные, не собранные воедино, стремительные, жалостливые, растерянные. Шептицкий, не открывая глаз, напрягся, заставив тело свое стать хоть на миг прежним, подвластным его воле. Он развел плечи и почувствовал хрусткость хрящей где-то под лопатками и то, что тело его подчинилось воле, сделало Шептицкого прежним, давним: он снова мог р е ш а т ь, он был властен над собой.

Он мог бы порвать этот листок, составленный за него немцами, и отказаться от призыва возносить молебны в честь чужой армии, которая пришла на украинскую землю. Он понимал, что отказ его был бы — в нынешней ситуации — угоден тем силам в Ватикане, которые считали Гитлера врагом святой церкви. Но он отдавал себе отчет в том, что та л и н и я, которой он следовал долгие годы, почти полвека, стала силой материальной, самодовлеющей; она подчинила его себе и растворила, словно реактив, превращающий в ничто кусок металла. Это осознание своей несвободы, своей принадлежности чужой идее, своей невластности в поступках было сейчас видно Шептицкому как бы со стороны, и вдруг огромная, детская жалость к себе родилась в нем, и на глазах его выступили слезы, и услышал он слово, сказанное голосом тихим и скорбным: «Поздно».

— Допишите что-нибудь про украинскую нацию, соборность и самостийность,— прошептал митрополит.— Я подпишу. Идите с миром, мне надо побыть одному.

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

...Дмитро Михайленко, профессор-египтолог, в списках бандеровцев значился под номером 52.

Он не эвакуировался, потому что здешние дела мало интересовали его: он был обращен в прошлое, в эру Солнца, когда в Нильской долине фараон Аменхотеп держал на сильных своих руках новорожденного сына и ощущал, как греется под живительными лучами светила сморщенная кожица на лице младенца, приобретая тугой, глубинный цвет бронзы.

Михайленко размышлял об эре первой Реформации, и сухие щелчки выстрелов, перелязг танковых гусениц, пьяные песни солдат не волновали его — это все суета, это пройдет, это, как и жизнь человеческая, ненадолго...

Главное — оставить после себя идею. Пусть она достанется не тем, так этим. Появившись, она становится бессмертной, воплощая в себе бессмертие автора.

Он работал по пятнадцать часов, поднимаясь из-за стола, лишь когда затекали больные ноги; Михайленко писал страницу за страницей, чувствуя, что сейчас только и стало получаться по-настоящему, ибо то получается, что любимо, что стало твоим и чему ты себя отдал без остатка.

Слова опережали мысль, надо было успевать, надо было следовать за этой слитной неразрывностью идей и действа, образа и движения руки, в которой было зажато перо.

«Некогда дерзкие Фивы, возвысившись, возвысили своего бога — могучего Амона и фараона, сделавшегося святым человека, оказавшегося волею жрецов всемогущим,— писал он.— Под его знаменами шли колонны войск. С его изображениями в руках запыленные воины врывались в города азиатов, подвергая разграблению дома и лавки побежденных. Повергнутая к ногам египтян Азия была растоптана и унижена. Амон звал к продолжению агрессии, потому что она была угодна жрецам, получавшим дары и назначения на должности хранителей завоеванных областей. Но если бы воины бога Амона продолжали свой поход и дальше, столица оказалась бы лишь номинально столицей, власть царя постепенно деформировалась бы во власть царьков, а величие государства сменилось бы богатством и сытостью тех, кто думал о себе, но не о престиже дела.

Аменхотеп, воздвигавший громадные статуи могучего Амона, оставшись один, когда жрецы, сгибаясь в поклонах, уходили из его покоев, думал, как свергнуть того, кому он поклонялся на людях, в честь кого он строил храмы и произносил торжественные клятвы: великого свергают самые близкие, ощутившие горький вкус собственного величия. Аменхотеп понимал, что жрецы и военачальники, подползавшие к нему смиренно и рабски, лишь терпят его, подобно тому, как воин терпит тяжесть щита, защищающего от стрел противника.

Стратег и воин, Аменхотеп знал толк в политической борьбе: при поддержке жрецов, причем не всех, а наиболее молодых, тех, которые еще не были верховными, а лишь мечтали о том, чтобы верховными стать, он провел указ о строительстве собственной статуи.

— Я понимаю,— говорил фараон своим молодым помощникам,— что кое-кто из старцев может бросить в меня камень: придворные скульпторы предлагают сделать мою статую высотою в сорок локтей — в этом, конечно же, есть доля вызова традициям великого Амона. Но ведь не моя личность будет восславлена художниками, я слабый символ нашего государственного могущества, которое охраняет земледельцев, обогащает казну и возносит вас, моих советников и друзей.

Аменхотеп рассчитывал победить постепенно. После того, как статуя в его честь была высечена и установлена, он — опять-таки при поддержке молодых жрецов — хотел провести закон, по которому фараон отныне становится единственным сыном солнца Ра и выразителем его предначертаний. Эра Амона, таким образом, уходила в прошлое.

Молодые поняли: если это свершится, тогда они не смогут получать блага так, как они получали их ныне, используя глухие, скрытые разногласия между стариками, верховными, и фараоном, который тщится стать над ними всеми вкупе.

Законопроект не был проведен в жизнь. Возвращение к богу солнца Ра не получило устойчивого большинства в совете жрецов, ибо те понимали: признав Аменхотепа сыном Солнца, они сами будут обречены во всем следовать, в то время как они хотели, чтобы фараон следовал их, помазанников Амона, предначертаниям.

Государственные устремления фараона натолкнулись на личностные интересы жрецов. Аменхотеп внутренне хотел мира, понимал, что лишь это укрепит и его власть и страну. Жрецы, наоборот, хотели сражений, во время которых воины были их подданными, повиновались их молитвам и следовали их указаниям.

Постепенность хороша, если твои союзники имеют власть. Когда твои союзники борются за власть, действовать надо решительно, ибо узел надо разрубить — развязывая его, ты сам рискуешь оказаться разрубленным.

За несколько дней до своей таинственной гибели Аменхотеп был на торжественной службе в честь ненавистного ему бога Амона, которого он хотел свалить постепенно, исподволь, руками молодых жрецов.

Не смог. Свалили его.

Сын его, бронзовокожий, худенький, с тяжелой челюстью на длинном, губастом лице, Аменхотеп IV, не был поначалу страшен жрецам: слишком молод; плохой наездник; не любит церемоний, на которых они, его истинные владыки, обязаны оказывать ему знаки рабской преданности; сторонится застолий и женщин; проводит все время с громадноглазой женой Нефертити; ходит по городу в одежде воина, но не в дома военачальников и аристократов, а в пыльные мастерские скульпторов и художников, в маленькие лачуги беспутных поэтов, лишенных связей и богатства,— что ж такого бояться-то, такого славить надо и поклоняться ему, ибо знак остается знаком, пустым символом, он удобен, он в руках, его можно поворачивать, им можно управлять.

Так было полгода. Аменхотеп, сын Аменхотепа, нашел друзей не во дворцах аристократов или в храмах жрецов. Он привел в свою резиденцию единомышленников: художников с сильными мускулами, ибо они держали в руках молотки, которые тяжелее дротиков; поэтов, которые так яростно дрались друг с другом, доказывая преимущества своей рифмы не только словом, но и оплеухой, что плечи их были налиты неизрасходованной силой. Окружив себя этими людьми, которые казались жрецам неопасными, Аменхотеп провозгласил:

— Отныне наша земля будет жить по законам «Маат» — «Истины»! Она одна для всех, она от Солнца, а я единственный его пророк на Земле.

Военный переворот был невозможен: армия — по заветам Амона — оккупировала завоеванные области. Легионы, которые квартировали в столице, были составлены из братьев тех, кто теперь жил и спал вместе с фараоном в его резиденции: простолюдины сделались защитой фараона, его опорой.

Жрецы затаились. Те дискуссии, которые верховные провели с молодым сыном Солнца, оказались бесплодными.

— За попытку бунта я буду казнить,— сказал Аменхотеп, сын Аменхотепа.— Я не повторю ошибки отца. Ваше спасение в послушании.

Он приказал скульпторам изваять свое изображение, соотнося творчество с доктриной Истины. Его изваяли: нескладная фигура, простое, нецарственное лицо, слабый человек — совсем не фараон. Скульпторы не спали всю ночь — по прежним временам их должны были казнить за такое. Фараон осмотрел свое изваяние и бросил к ногам их кошель с золотом. Назавтра скульптура была выставлена на центральной площади Фив. Жрецы возроптали: фараон не может быть изображен слабым и тщедушным человеком. В храмах были оглашены послания верховных жрецов, которые называли свершившееся святотатством. Аменхотеп приказал арестовать двадцать старейших и казнил их у подножия своего изваяния. Старые храмы были закрыты повсеместно. Лик Амона был разрушен. Иероглифы с его именем вырубались: ведь если зачеркнуть имя, носивший его исчезнет, разве не так учили древние египтяне?! Все очень просто: надо спрятать, разрушить, зачеркнуть, приказать забыть — забудут.

Началась реформация.

Аменхотеп изменил свое имя — отныне он приказал именовать себя Эхнатоном, «Угодным Солнцу». Хватит бога Амона! Разве солнечный диск не выше и не значимей? Разве маленькие солнечные диски, которые опускаются у небосклона, и замирают, и смотрят на землю, не есть посланцы Неба, которому должны служить все? Разве он, принявший на руках отца солнечное помазание, не сын Солнца и слуга его?!

Эхнатон нагрузил караван судов: камень,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—48.

рабы, молотки, художники,— и отправился по Нилу, и нашел место, и остановился там, и воздвиг новый город — «Небосклон Солнца», святой Ахетатон, и архитектура его была странной, возвышенной, солнечной, великой — архитектура Истины.

Реформация — это увлечение.

Эмиссары Эхнатона рыскали по стране, наблюдая за тем, как воины уничтожали старые, языческие храмы Амона. Сам фараон из своей новой столицы не выезжал: он работал наравне с инженерами, художниками и строителями. Донесения министров слушал рассеянно — если его новый город будет угоден Солнцу, слава и победа придут к народу сами по себе. Азиаты захватили Сирию, их корабли грабили побережье — фараон строил город Солнца. Он был увлечен настоящим, он ненавидел прошлое, но он не понимал, что будущее можно утвердить лишь в том случае, если дело его будут продолжать единомышленники, научившиеся управлять государством — не только строительству храмов. И он не верил, никому не верил: он помнил, как погиб отец от рук тех, кого он научил править и с кем делил тяготы правления.

Можно делить хлеб, нельзя делить власть. Когда Нефертити сказала, что друзья могут помочь хотя бы во время приемов послов, фараон изгнал ее, страдая и плача по ночам: дело требует фанатизма от того, кто верит в его святость. Тот, кто задумал, должен быть уверенным, что все вокруг — такие же рабы его замысла, как и он сам. Тюрьмы были переполнены узниками. Казни проходили и по ночам — времени Солнца не хватало, чтобы умерщвлять тех, кто верил старому, привычному богу.

Желание увидеть замысел воплощенным пожирающе. Фараон был словно один одетый среди голых, один знающий среди толпы темных. Он построил свой солнечный город на крови и ропоте, и город этот был чудом мира; но казнь не довод, вера не приходит из дворца, провозглашенная вооруженным воином,— вера рождается в беседе дружбы, в разговоре равных...»

Михайленко оторвался от рукописи, потому что услыхал какой-то шум и крик и понял, что кричит его жена; он хотел было отчитать домашних за то, что они ведут себя, как вандалы, но не успел даже повернуться, потому что бандеровцы схватили его за горло, заломили руки за спину, ударили по тонкой, пергаментной шее, поволокли по лестнице вниз, и Михайленко ничего не мог понять и все боялся, что забудет ту фразу, которая была в голове у него, а потом его втолкнули в машину, и бросили на заблеванное днище кузова, и наступили кованым сапогом на ухо, и он тогда только осознал, что идею свою всем отдавать нельзя — отдавать ее можно тому, кто вправе мыслить...

Его повесили через семь часов на балконе дома, где обосновался бандеровский штаб. Пахло цветущими липами, хотя время их цветения кончилось.

Тарас Маларчук вышел из операционной, сел на высокое кресло, скользкое оттого, что совсем недавно было покрашено какой-то особой эмалью, присланной из Киева, откинулся на спинку и заставил себя расслабиться: руки его, по локоть в крови, упали вдоль тела, он ощутил дрожь в ногах — пять операций подряд, в основном дети, осколочные ранения...

Он закрыл глаза и сразу же впал в странное небытие: сна не было, но он не слышал звуков окрест себя, далеких выстрелов, криков раненых, суетливой беготни сестер и врачей, тяжелой поступи военных санитаров, которые таскали носилки с трупами, громыхая тяжелыми, не успевшими еще пропылиться сапогами. Тарас Маларчук видел странные цвета — густо-черное соседствовало с кроваво-красным, все это заливалось медленным, желто-зеленым, гнойным; он стонал, и хирургическая сестра Оксана Тимофеевна, стоявшая рядом, не решалась тронуть его за плечо, хотя на столе уже лежал мальчик с бедром, разорванным осколком,— спасти вряд ли удастся, слишком велика потеря крови.

— Тарас Никитич,— шепнула она, когда крик мальчика сделался нестерпимым, пронзительным, предсмертным,— Тарас Никитич, миленький...

Маларчук поднялся рывком, будто и не погружался только что в липкое, гадостное забытье.

— Что? — спросил он, чувствуя гуд в голове.— Что, милая? Уже готов?

— Да. На столе.

— Наркоз?

— Да. Ждут вас...

Маларчук зашел в маленький кабинетик при операционной, сунул голову под струю ледяной воды и долго стоял, опершись своими длинными пальцами («Похожи на рахманиновские»,— говорили друзья) о холодную эмаль раковины. Он ждал, пока успокоятся молоточки в висках и прекратится медленная дрожь в лице: все те шесть дней (с начала войны), что ему пришлось прожить в клинике, оперируя круглосуточно, были, как кошмар и наваждение: ущипни, казалось, себя за щеку, и все кончится, все станет, как прежде, не будет этих выматывающих душу сирен воздушной тревоги, воплей раненых девочек, предсмертных, старческих хрипов мальчишек...

— Тарас Никитич,— услыхал он сквозь шум воды,— миленький.

— Иду...

Маларчук выключил воду, растер голову сухим, жестким вафельным полотенцем, которое пахло теплом, попросил хирургическую сестру приготовить порошок пирамидона с кофеином, запил лекарство крепким чаем и пошел в операционную.

Он осмотрел желтое лицо мальчика, страшную осколочную рану, разорванное бедро, раздробленные трубки костей («Сахарные,— странно усмехаясь, шутил профессор, когда Маларчук учился в институте,— разобьешь — не собрать и не слепить»). Маларчук почувствовал вдруг, что плачет: дети играют в войну, взрослые воюют, но погибают-то дети в первую очередь. Добрый разум ученого, который создал аэроплан, что есть шаг в преодолении времени и пространства, обернулся вандалом; разум как символ вандализма — что может быть противоестественнее? Разум, разбитый злой волей кайзеров, монархов, премьеров, фюреров, фельдмаршалов надвое: разум конструктора самолета, принужденного сделать его бомбовозом, и хирурга; архитектора, сделавшегося сапером, который не строит, а уничтожает, и библиотекаря, который хранит мудрость мира, делая ее доступной добрым и злым: каждый находит то, что ищет.

— Тарас Никитич...

— Скальпель,— сказал Маларчук,— вытрите мне глаза и не болтайте.

...В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда он страстно и безраздельно ж е л а е т противопоставить неправде истину. Видимо, это желание угодно той высшей логике, которая движет людскими поступками, влияя на развитие исторического процесса, подчиняя мелкое, корыстно-личное общему, высокому, нацеленному в будущее. Желание это становится выполнимым, если человек обладает не только знанием, но и высшим навыком своего р е м е с л а. Мечтатель, лишенный у м е н и я, может оказаться лишь ферментом добра, и память о нем исчезнет с его исчезновением. Человек, подчинивший свою мечту делу, ремеслу, навыку, остается в памяти поколений навечно, как Леонардо, Фарадей, Менделеев, Эйнштейн и Туполев.

Маларчук сделал невозможное: он спас жизнь ребенку, и осталась последняя малость — сшить рану так, как это мог сделать лишь он один. Маларчук начал стягивать — жестким, казалось бы, движением сильной руки — концы раны, и в это время в операционную ворвались бандеровцы из «Нахтигаля».

— Вон отсюда!— хриплым голосом закричал Маларчук.— Кто пустил?!

Бандеровцы схватили его за шею — излюбленным своим, отрепетированным бандитским приемом, бросили на красно-белый кафельный пол и, пиная ногами, поволокли к выходу.

Маларчук, изловчившись, поднялся, ударил острыми костяшками длинных пальцев чье-то красное, пьяное, пляшущее смехом лицо, хотел было ударить следующего, но его стукнули автоматом по затылку, и он, повалившись, потерял сознание...

...В списке Миколы Лебедя хирург Тарас Маларчук, депутат областного Совета депутатов трудящихся, значился под номером 516. Поскольку Маларчук был украинцем, казнь его должна была состояться после заседания «тройки ОУН», которая была создана для судов над украинскими коммунистами и комсомольцами.

— У нас будет все по закону,— говорил Лебедь,— мы приговоры будем на меловой бумаге писать и протоколы допросов печатать на машинке — в назидание потомству...

...Маларчука ввели в темную комнату — окна забраны тяжелыми портьерами, дорогая, мягкая мебель, в камине полыхает огонь, хоть и так жарко — дышать нечем.

Три человека сидели за большим письменным столом, и Маларчуку показалось, что в этом кабинете совсем недавно все было разгромлено, а потом быстро, за несколько часов наведен порядок, но порядок н о в ы й: портреты Гитлера и Бандеры на стенах, бронзовые, дорогие, тяжелые часы на легком, семнадцатого века, столике, которые прежний хозяин никогда бы там не поставил; слишком маленький, женский чернильный прибор на громадном письменном столе — все это казалось случайным здесь и свидетельствовало о дурном вкусе тех, кто наводил порядок после хаоса.

— Ну что, Маларчук?— сказал тот, который сидел в кресле за столом.— Доигрался?

— Кто вы такие?

— Ты мне еще поспрашивай, поспрашивай,— сказал маленький, примостившийся слева от того, что был в центре,— ты отвечай, сучья харя, спрашивать мы здесь будем: председатель и его коллегия.

— Объясни нам, Маларчук, как ты, украинец, талантливый врач, смог предать Украину большевикам?— продолжал председатель.

— А как ваши сволочи могли убить мальчика на операционном столе? Украинского мальчика...

Маленький бандеровец вскочил со стула, подбежал к Маларчуку, замахнулся, но ударить не успел — полетел на пол: реакция у хирурга была моментальная.

Маленький заскреб ногтями кобуру, заматерился грязно, но председатель остановил его.

— Тарас,— сказал он особым, п р о н и к н о в е н н ы м голосом,— ты нравишься мне, Тарас. Я хочу спасти тебя. Я обращаюсь к тебе, как к обманутому. Сбрось пелену с глаз. Вспомни, сколько украинских интеллигентов, таких же, как ты, русский царь бросил в тюрьму и ссылку?

— А ты вспомни, сколько русских интеллигентов царь сгноил на каторге,— ответил Маларчук.— Посчитать? Или не надо?

— Ты ж говоришь со мной на украинском языке, Тарас. А наш язык русский царь запрещал изучать в школе, нас хотели оставить немыми, Тарас...

— А Победоносцев, который запрещал изучать русским русский, а предписывал зубрить церковнославянский? — Маларчук усмехнулся.— Ты со мной в теории не играй — проиграешь.

— Не проиграю,— убежденно сказал председатель и, обойдя стол, предложил Тарасу немецкую сигарету. Заметив усмешку хирурга, пояснил:— Скоро свои начнем выпускать, не думай... Ответь мне, Тарас: как мог ты служить москалям, когда они столько лет поганили нашу землю, топтали ее, как завоеватели?

— Не Москва пришла к нам, а мы пришли к Москве за помощью, Хмельницкий просил у Москвы защиты, когда и Швеция, и Крым, и Турция отказались помочь нам в борьбе против Польши. Это ж хрестоматия, председатель... Ты древностью не играй,— говорю же, проиграешь: ты Дорошенку вспомни, который отдал Украину турецкому султану, ты Выговского вспомни, который отдал Украину Польше, ты Мазепу не забудь, который отдал нас Карлу Шведскому, ты Петлюру не забывай, который передал нас всех скопом Пилсудскому... Ты Москву не трогай, председатель, без нее трудно было бы Украине, ох как трудно... Так что кончай спектакль, председатель, начинай уж лучше свои м е т о д ы, я про них наслышан...

— Чекисты инструктировали?

— Это неважно, кто... Наши, во всяком случае.

— Ладно. Вот тебе перо и бумага, пиши текст и отправляйся домой, на тебе вон лица нет, отоспаться надо...

— Какой же текст мне писать?

— А вот какой: «Обманутый большевиками, московскими бандитами, принудившими меня стать членом их преступной партии, я заявляю, что ныне, когда Украина стала свободной, отдам все свои силы и знания на благо моей Державы».— Число и подпись.

— Не число, а дата,— поправил его Маларчук.— Председатель, ты языка нашего не знаешь... Написать я тебе могу вот что: «Был, есть и умру коммунистом. Да здравствует Советская Украинская Республика. Дата: 30 июня, подпись — хирург Маларчук, украинский большевик».

Тараса Маларчука утопили в ванне, здесь же, в квартире, где обосновалась бандеровская «тройка». Его жену Наталку сначала изнасиловали на глазах у детей, а потом закололи штыками. Дочку, пятилетнюю Марию, выбросили из окна, и она, подпрыгнув, словно мяч, осталась на асфальте маленьким комочком с льняными волосами, а сына, трехлетнего Михаила, застрелили из дамского браунинга, опробуя силу этого махонького пистолетика, купленного по случаю на краковской толкучке...

«ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НАДО!»

...Трушницкий оглядел свой хор — музыкантов везли в обозе, следом за кухнями: серо-зеленые мундиры пропылились и казались вытащенными из старой рухляди. От того щегольского лоска, который был ночью двадцать первого июня, не осталось и следа.

Лица людей тоже казались пыльными, хотя всем предоставили комнаты для постоя, где можно было умыться и отдохнуть. Видимо, волнения этих дней наложили свой отпечаток: волнение либо красит человека, если это волнение о т к р ы т о е, радостное, свое; либо старит, накладывая отпечаток тревоги и ответственности, особенно когда все развивается стремительно, неуправляемо и неясно, куда п о в е р н е т.

Трушницкий смотрел на своих музыкантов усталыми глазами, в которых медленно закипали слезы. Все они да и он сам мечтали войти сюда, на родину, по улицам, засыпанным цветами, в криках радости, в том шуме всеобщего веселья и о с в о б о ж д е н н о с т и, в котором всегда слышится музыка, огромная музыка Вагнера или Глинки, но здесь, на Украине, на их Украине, музыки не было; встречала их тишина безлюдья днем, выстрелы украинских патриотов, ушедших в подполье в первые же часы оккупации, ночью.

А Глинка и вовсе теперь был запрещен,— русский.

Все его хористы и сам он мечтали, как выйдут они со своими песнями на улицы, но немецкий офицер в черном, который пришел к ним с адъютантом Романа Шухевича, строго приказал:

— Без нашего разрешения никаких публичных сборищ не устраивать. До нас дошли сведения, что вы собираетесь дать сегодня открытый концерт,— это недопустимо. Все ваши ноты я возьму с собой: тексты песен должны пройти военную цензуру.

Трушницкий тогда подумал, что самое страшное — это если маленькие гитлеры доводят человека до такого состояния, когда он вынужден оправдывать для самого себя идиотизм происходящего. А поскольку даже несвободному (как в условиях нацистского господства) человеку довольно трудно лгать себе, он должен придумать такую л о г и к у, чтобы она была убедительной и доказательной, а это трудно, очень трудно, ибо «второе я» не прощает «я первому» слабинки в доказательствах, и делается человек вроде змеи — вертким, хитрым, умным и — в самой глубине души — глубоко, безвозвратно нечестным, понимающий эту свою нечестность, а потому падший. Особенно это страшно для художника, думал Трушницкий, потому что он с о з д а е т, а создание, покоящееся на зыбком фундаменте изначальной лжи, всегда страдает ущербностью, метанием и тем зловещим недостатком мыслей, которые обрекают человека на постоянное ощущение собственной второсортности — ненужности, говоря иначе...

— Ну что?— спросил Трушницкий коллег.— Начнем репетицию?

Хористы легиона собрались на площади Рынка, в доме Просвиты, в тесном и пыльном зале, с плохо вымытыми окнами, дребезжащими от лязгающих танковых проездов.

Кто-то сказал:

— Да уж и некогда. Через час будет собрание.

— Слова «Хорста Весселя» все помнят?

— Помним,— ответили хористы устало.

— Начинаем с «Хорста Весселя», очень приподнято, с силой,— негромко сказал Трушницкий,— а потом наш гимн... Да, да,— словно угадав возражения хористов, еще тише добавил Трушницкий:— Все понимаю, друзья. Но таково указание руководства: сначала немецкую песню, сначала немецкую.

— Тут пластинки взяли в трофее, есть академическая капелла из Киева... Может, послушаем?— предложил кто-то.

— А граммофон?— спросил Трушницкий.— И потом — репертуар каков?

— Классика,— ответил ведущий бас.— Украинская классика. А патефон достал Пилипенко.

Хористы собрались в тесный круг, завели патефон и поставили пластинку. Когда обязательное змеиное шипение кончилось и зазвучал спокойный бас Паторжинского, все сникли, словно бы стали меньше ростом.

Музыка кончилась, все долго молчали, а потом Трушницкий, жалко откашлявшись, сказал:

— Давайте-ка в качестве спевки «Аве Марию»...

Он устыдился своих слов «в качестве», но понял, что они рождены растерянностью и острым чувством своей одинокой ненужности, и, чтобы хоть как-то подавить это б е з н а д е ж н о е чувство свое, взмахнул рукой, приглашая музыкантов к работе...

И полились сладкие звуки вечной музыки.

«Это память по детям пана Ладислава и старухе,— ужаснулся вдруг Трушницкий,— поэтому тянет меня к ней, по ночам ее слышу. Я ведь виновен во всем, один я,— признался, наконец, он себе, продолжая рождать рукою слитный хор голосов, возносивших любовь святой деве,— только я и никто другой. Господи, прости меня, во мне ведь не было дурного умысла, ведь я же только просьбу выполнил...»

Тонкий слух Трушницкого резко ударило — кто-то хлопнул дверью и, грубо топая сапогами, пошел по залу. Трушницкий обернулся: ему улыбался Лебедь — раскрасневшийся, молодой, в щегольском мундире.

— Послушайте, Трушницкий,— не обращая внимания на великую музыку, сказал он, и никто бы его не услышал — только музыкант может отличить среди сотни инструментов в оркестре неверный фа диез от фа бемоля, а уж резкий, высокий голос, столь противный духу и смыслу музыки этой — тем более.— Послушайте,— повторил Лебедь,— прервите репетицию, надо съездить в театр. Мы назначили вас главным режиссером. Или главным дирижером — что у вас считается важней?

Хористы — вразнобой, набегая друг на друга замиравшими тактами,— замолчали.

— Надо завтра дать спектакль,— продолжал Лебедь.— Наш. Национальный. Поехали. Пусть тут вместо вас кто-нибудь помахает.— И он засмеялся.

...Много ли надо хормейстеру? Только что казнился он, и плакал, и ненавидел Лебедя,— каждый норовит свою вину переложить на другого, на того, кто б о л ь ш е, а вот пришел он, Лебедь этот, и сказал про театр и про то, что он, Трушницкий, назначен главным режиссером, и уж не кажется лицо «идеолога» таким красным, сытым, самодовольным, и уж видятся хормейстеру молодые морщиночки под глазами, и допускает он мысль, что морщинки эти рождены страданием, таким же глубоким, каким видится Трушницкому его собственное страдание, и не понимает он, что разница между понятиями «с т р а д а н и е» и «н е у д о б с т в о» недоступна Лебедю и по-настоящему винить его в этом нельзя: каждому уготовано и отпущено только то, что отпущено и уготовано,— а что Лебедю, кроме бандитства и злобы, уготовано?

...В театре было сумрачно, тихо, торжественно: Трушницкий прикоснулся пальцами к тяжелому, цепучему бархату кресла, и вдруг дикая, забытая, мальчишеская, горделивая радость взметнулась в нем, и он услышал рев зрителей, и увидал себя — во фраке, за дирижерским пультом, со взмокшим лбом, в низком поклоне, и почувствовал он глаза музыкантов, их быстрые пальцы, легко державшие смычки, которыми они мерно ударяли по струнам,— оркестр только так выражает свой восторг и поклонение дирижеру.

Трушницкий всхлипнул, схватил горячую руку Лебедя своими холодными, длинными и быстрыми пальцами, сжал ее и прошептал тихо:

— Спасибо вам, милый! За все низкое вам спасибо!

Но когда он произнес это, перед глазами снова возникло лицо пана Ладислава, который жалко рвался к детям. Трушницкий напрягся весь, и отогнал это видение, и сказал себе, что это от диавола. Ведь только он, только диавол, часть выставляет впереди целого. Эта мысль родилась в нем мгновенно, и он так же мгновенно придумал стройную логическую формулу, по которой все ладно и разумно выстраивалось: страдание одного угодно господу во имя счастья тысяч. Страдание пана Ладислава, который дал ему, Трушницкому, кров, и поил на кухне самогоном, и оставлял от своего скромного ужина свеклу и ломоть хлеба, было по логике человека, получившего во владение театр, тот театр, что отныне будет принадлежать его искусству, угодно всевышнему. И ни при чем здесь он, Трушницкий,— он только выразитель воли, пришедший и з в н е.

...А как же со слезинкой обиженного младенца, за которую можно и нужно весь мир отдать?

* * *

Член Союза советских писателей Тадеуш Бой-Желенский, в списках бандеровцев 777-й, не успел уехать из Львова, потому что его огромная библиотека, которую он подбирал более двадцати лет, работая над переводами Стендаля, Бальзака, Доде, Мериме, Диккенса, Теккерея, была еще не до конца упакована: никто не мог предположить, что немцы ворвутся во Львов через неделю после начала войны.

А библиотека стала частью самого Бой-Желенского, каждая книга была для него как любимый собеседник, добро открывающий свои сокровенные знания и чувства: он не мог оставить своих друзей — он не питал иллюзий по поводу того, что может случиться с книгами, когда придут нацисты.

Ночью тридцатого, поняв, что он не успеет собрать свою библиотеку и не сможет отправить ее в тыл, Бой ходил вдоль стеллажей, доставал книги, оглаживал их, словно котят, потом раскрывал страницы религиозным, легким, благоговейным движением, касался ласковым взглядом строк, впитывал их, находя в высокой мудрости знаний и чувств успокоение.

— Бедные друзья мои,— шептал он,— любимые мои, я не оставлю вас.

Глаза его натолкнулись на строку: «Родители передают детям не ум свой, а страсти». Бой улыбнулся, подумав, что друзья в отличие от родителей отдают другим свои мысли, а мысли выше страсти: отдать мысль может лишь тот, кто свое «я» считает принадлежностью мира и думает не о себе — обо всех.

Он начал доставать книги, шептать вслух страницы, называть номер строки и читать фразы: раньше он так гадал себе по библии. Он помнил пять таких гаданий, в самые трудные дни его жизни: «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим»; «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих»; «Лучше открытое обличенье, чем скрытая любовь»; «И нет власти... над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого»; «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

Бой начал снимать книги одну за другой, и, закрыв глаза, шептал номер страницы, строку, и открывал, и строки были странными, несвязными, но в этой странной несвязности он чувствовал ту тревогу, которую испытывали его друзья; они словно бы молили его: «Беги, спасись, мы не ропщем. Мы знали целые века безумий и крови — мы пережили это. Мы пережили это оттого, что люди, создавшие нас, смотрели поверх барьеров времени, они думали о к о н е ч н о й правде, а не о минуте несправедливости. Уйди, и ты вернешься; оставшись, погибнешь».

Бой ходил вдоль стеллажей, на которых стояли его старые друзья, и качал головой, словно бы отвечая им: «Я знаю, что ваши слова искренни, но когда я уйду, в сердца ваши придет разочарование: часто мы говорим только для того, чтобы услышать возражение, мы ждем несогласия, а ведь согласиться всегда легче. Когда раненый боец просит друга уйти, чтобы тот мог спастись, он искренен в своей просьбе, но как же он бывает благодарен, если друг не уходит, и остается с ним, и встречает гибель вместе. Умирать страшно одному, на миру смерть красна, на миру легче о т д а т ь себя, ибо ты веришь, что это запомнят другие и память о тебе останется, значит, останешься и ты, смертью смерть поправ».

Бой-Желенский часто думал, как условен был тот мир, в котором он начал свою жизнь. Со многими людьми сводила его судьба; переводы западноевропейской классики на польский язык снискали ему известность; его исследования о Мицкевиче и Пушкине вызвали яростные споры в Польше: одни считали эти работы новым словом в литературной критике, другие не оставляли камня на камне, обвиняя писателя в предательстве «национальных интересов»; его антиклерикальная публицистика была, как бомба, а известные слова: «патриотизм — последнее прибежище негодяев», повторенные Бой-Желенским в разгар террора пилсудчиков, когда пылали хаты украинских крестьян на Галичине, сделали его имя символом мужества и честности для коммунистов и «гнусной измены» для черносотенцев. Условность и странность того мира, который обступил Бой-Желенского душной толпой издателей, цензоров, кредиторов, оппонентов, редакторов, должников, журналистов, сановно-шляхетских «ценителей», критиков, агентов полиции, поклонниц, завистников, казалась ему, чем дальше, все более зловещей и безысходной. Он, когда только начинал, думал остаться навсегда свободным в своих мнениях, привязанностях, в манерах. Но нет, чем большей становилась его известность, тем меньше оставалось ему свободы, тем больше он делался рабом представлений, составленных о нем людьми. Огромная мера ответственности, которая обычно отличает истинного писателя, ранимость, желание сделать добро всем, кому только можно, подвигали его на то, чтобы не только быть тем, кем он был, но и казаться таким, ибо люди не умеют распознавать истину вне ее хрестоматийного проявления, удобного и понятного для каждого. Мораль, созданная людьми безнравственными, мораль банкира, воеводы, ксендза, требовала от высоконравственного Бой-Желенского соблюдения условностей, позволяя ему, таким образом, внутренне оставаться моральным. Ему не нужно было это и грязно, он не искал себе снисхождений, а судил каждый свой поступок судом чести. Условность мира капитала, в котором он жил, однако, не позволяла ему назвать подлеца подлецом, потому что сто других людей не знали, что подлец и есть подлец на самом деле. В их глазах, назови Бой подлеца подлецом, он немедленно становится «зазнавшимся мэтром». Он не мог расторгнуть договор со старым издателем, который многие годы обворовывал его, потому что все расценили бы это как «рвачество и алчность». Он не мог расстаться с женщиной, которую разлюбил, потому лишь, что люди, ч и т а т е л и, могли посчитать его прелюбодеем, а какая вера прелюбодею? Был бы он хирургом, финансистом, актером — ему бы простилось, многое бы простилось, но он был вооружен Словом, которое всегда есть Закон, ибо с него все начинается и все кончается им.

Бой постепенно все дальше и дальше отходил от встреч, пресс-конференций, торжественных застолий, щедро оплаченных банковскими меценатами, велеречивых дискуссий, официальных завтраков,— он искал себя и находил себя, ощущая свободным, в кругу молчаливых друзей-книг. Он давал им вторую жизнь, занимаясь переводом, он знакомил далеких, умерших писателей с миллионами новых товарищей, верных и благодарных,— он отдавал их в руки читателей, а сам оставался в тени, и постепенно вновь обрел самого себя, и ощутил прежнюю, утерянную было свободу. Одно время он был на грани внутреннего краха: люди, казавшиеся друзьями, гостили у него, радовались его радостям, горевали в его горестях, но они уходили в свои дома, когда наступало время уходить; считается ведь, что воспитанному человеку нельзя засиживаться допоздна, а он просил их задержаться; они же думали, что он просит их задержаться из приличия, а кто и понимал, что не из приличия Бой просит об этом, все равно уходили, потому что мир, словно соты, составлен из ячеек, каждая из которых живет своим, но подчиняется одной, общей для всех морали: дома была жена, которая волновалась, мать, которая хворала, дети, которые ждали.

— Я-то не уйду, мои любимые,— тихо сказал Бой-Желенский, оглаживая корешки книг,— куда мне от вас уходить?

...Трагизм творчества в условиях буржуазного общества, с его одиночеством и разобщенностью, он ощутил, когда к нему пришла слава. В том обществе, где труд не стал творчеством, счастьем, призванием, обычные люди, которым не дано создавать Словом, Нотой или Резцом, живут унылой, мелкой жизнью, в них нет постоянного разрыва между испепеляющим, высоким о ж и д а н и е м начала творчества и застольем, смехом детей, ворчанием (поцелуем) жены, ссорой с соседом (инженером, врачом, пахарем, сапожником). Честно проработанный день с его заботами и л и ч н о с т н ы м и волнениями отходит и забывается, когда человек переступает порог дома, ибо здесь он находит о т в л е ч е н и е от забот и трудов. А творец, если он служит передовой идее добра, ждет и жаждет, все время жаж-

дет и ждет,— когда ласкает сына или завтракает с женой, слушает граммофон или зашнуровывает ботинок, стоит на тяге или окапывает куст черной смородины. Это тяжело для него; еще больше для окружающих. Такого человека могут вынести лишь тот или та, которые смогли понять высшую сладость жертвы во имя торжества всеобщей, то бишь социальной справедливости, а так уж ли много людей, способных понять это? Прозрение дано единицам — обычное зрение отпущено всем.

Бой-Желенский услыхал протяжный звонок в передней, подивился тому, кто бы мог прийти к нему ночью, и, поставив на место томик Мериме, пошел открывать дверь. Он никогда не спрашивал, кто пришел к нему, потому что навещало его множество людей, особенно часто заглядывали студенты, располагались у стеллажей и читали, читали, читали, а он был счастлив, глядя на сообщество друзей-единомышленников, которым было хорошо здесь: ему становилось еще лучше, чем им, ибо он воочию ощущал свою нужность.

Бой открыл дверь. На пороге стояли люди в немецкой форме, с оуновскими трезубцами. Один из них — потому, верно, что Бой открыл дверь, не спрашивая, кто пришел и зачем,— сказал невпопад:

— Как у вас с водопроводом? Трубы на кухне, кажись, текут...

Бой все понял сразу: он знал, что, когда п р и х о д я т, обычно представляются водопроводчиками или газовщиками. Он горько усмехнулся, почувствовал свою высокую правоту перед друзьями, которых он не оставил в беде.

Тот, что показался ему самым длинным, словно связанным из канатов, оттолкнул низкорослого плечом, вошел в прихожую, схватил Бой-Желенского за воротник рубахи, приблизил к себе и белыми, истеричными, сухими, истрескавшимися, сивушными губами прошептал:

— Ну, собака, гад, нелюдь, ну, кончилось твое время!

Потом он отшвырнул Бой-Желенского, и тот упал, а жилистый начал бить его ногами. Он бил его ногами, как мяч, и когда Бой ударился о стеллаж и локтем разбил стекло, тогда только закричал:

— Книги, осторожней же, книги!

Нельзя называть свое горе или любовь по имени. Никому нельзя показывать свою боль, а уж палачу — особенно. Палачи быстро понимают, где она, боль человеческая. Жилистый ударил по стеллажам прикладом автомата, молочное, игристое, сверкающее, темное стекло обрушилось на пол. Маленький, пыльный человек вывалил книги на пол и стал бить их ногами, как только что жилистый бил Боя. И Бой понял, что ничего страшнее того, что свершается сейчас, уже не будет, и слова больше не произнес, и когда его пытали в мрачном доме «бурсы Абрагамовичей», и когда Лебедь прижигал ему губы горящей сигаретой, и когда его лицо опускали в грязный унитаз, и когда вели на Кадетскую гору, и когда грянул залп и пули разорвали грудь, тогда он даже облегчение испытал: «Слава богу, кончилось»...

А для других начиналось только...

Два года назад всех профессоров Ягеллонского университета гитлеровцы арестовали, бросили в концлагеря и расстреляли в первые же месяцы оккупации Кракова. В мире поднялась волна протеста, это мешало дипломатам фюрера в Вашингтоне, Стокгольме и Берне, н а д о е д л и в о мешало. Здесь решили сделать все быстро, сразу, как в хирургической камере. Только теперь уж не руками своих «хирургов», а руками бандеровцев: на них при случае свалить можно будет вину, на ошибках, как говорится, учатся.

В течение двенадцати часов бандеровцы и гитлеровцы расстреляли, повесили и забили насмерть тысячи украинцев, поляков, русских, евреев и цыган. В городе слышалась пальба, крики; пахло кровью и дымом — пришло «освобождение».

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ

«Вчера в Советском информационном бюро состоялась первая пресс-конференция, которую проводил заместитель начальника Советского информационного бюро тов. Лозовский С. А. Во вступительной речи тов. Лозовский заявил:

— СССР, как известно, стал жертвой неспровоцированной агрессии со стороны германского фашизма. В оправдание своего нападения последний прибегает к огромному количеству выдумок и изобретений. Декларация Гитлера по поводу объявления Германией войны СССР заключает в себе одну большую ложь и 99 видов лжи разного калибра, изготовленных на кухне Геббельса. Заместитель Председателя Совета Народных Комиссаров СССР и Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В. М. Молотов в своем выступлении по радио 22 июня текущего года опроверг декларацию Гитлера, который показал, что он смешивает политику с коричневым игорным домом, где играют крапленными картами. Было бы невозможным опровергать всю клевету, на которую пустились Гитлер и Риббентроп. Однако ложь отравляет воздух, и в целях общественной гигиены приходится время от времени заниматься опровержением мифотворчества этих господ.

Приведу три примера.

Первый факт. В декларации Гитлер утверждает, что советские летчики развлекались тем, что нарушали германскую границу с целью якобы показать, что они уже считают себя хозяевами германской территории. Факты говорят о другом. С 1 января 1941 года до 21 июня того же года германские самолеты 324 раза нарушали госграницу СССР, в то время как со стороны советских самолетов было лишь 8 случайных перелетов госграницы.

После ноты в январе, а затем следующей ноты в марте текущего года с указанием на ряд нарушений советской границы германскими самолетами, ввиду участившихся нарушений нашей границы, 21 апреля с. г. германскому послу в Москве была вручена нота с перечислением 80 случаев нарушения госграницы германскими летчиками за период с 27 марта по 18 апреля с. г. И этого оказалось недостаточно. В ноте Народного Комиссариата Иностранных Дел, врученной германскому послу в Москве 21 июня, указывалось, что с 19 апреля по 19 июня германские самолеты 180 раз нарушили советскую границу. Было много случаев, когда германские самолеты залетали в глубь советской территории на 100—150 клм., что, конечно, нельзя объяснить потерей летчиком ориентировки, а объясняется тем, что полеты производились с разведывательными целями. Таким образом, утверждение Гитлера извращает действительность.

Второй факт. Г-н Риббентроп в своем меморандуме 22 июня заявил, что гарантии, данные Турции Советским Союзом в марте месяце 1941 г., представляют из себя враждебный акт по отношению к Германии. Однако вы помните опубликованный ко всеобщему сведению текст советского заявления. Почему оно, собственно, является враждебным актом против Германии? Немного нужно, чтобы понять, как мало здравого смысла и много жульничества в заявлении Риббентропа. Советский Союз заявил о том, что в случае, если Турция подвергнется нападению, он будет соблюдать нейтралитет. Сейчас, когда Германия начала войну против СССР, о нейтралитете заявили многие страны, в том числе Турция, Иран, Афганистан. Нейтральными являются и Соединенные Штаты Америки. Выходит, что всякая страна, заявляющая о своем нейтралитете, совершает тем самым враждебный акт против Германии!

Третий вопрос — это Проливы. Я не знаю, какие познания имеет г-н Гитлер в музыке, но в декларации этот вопрос он разыграл на очень высокой ноте. Он заявил, что во время посещения Берлина В. М. Молотов договаривался якобы с ним о том, что Советскому Союзу будут отданы Проливы. Советское правительство уже заявило, что в этом не было ничего похожего на истину. Это одно из клеветнических утверждений, предназначенных для людей, которые не отдают себе отчета в основных принципах советской политики, людей, которые хотят быть обманутыми. Это высосано из грязных пальцев г-на Геббельса и столь же похоже на правду, как сам Геббельс на Аполлона Бельведерского. Цель этой гнусной клеветы — натравить на СССР Турцию, вызвать неприятное чувство у турецкого народа, приобрести для себя новых сторонников, не останавливаясь ни перед чем.

Затем тов. Лозовский ответил на заданные иностранными корреспондентами вопросы.

Один из иностранных корреспондентов задал вопрос: почему ТАСС сообщил недавно, что Германия выполняет свои обязательства по договору с СССР, когда весь мир знал, что Германия готовится к войне.

На это последовал ответ:

— В свете последних событий политика Советского правительства ясна. Советское правительство делало все для того, чтобы сохранить и обеспечить договор между СССР и Германией. Заявление ТАСС являлось попыткой заставить Германию сказать, выполняет она договор или нет. Как известно, это сообщение ТАСС не было опубликовано ни в Германии, ни в ее вассальных государствах. Таким образом, само германское правительство, не опубликовав сообщения, в котором утверждалось, что оно выполняет договор, показало, что оно не желает этот договор выполнять. Этот шаг Советского правительства дал возможность выявить действительную позицию Германии. Своими вероломными действиями германское правительство показало, что оно вносит свои «поправки» в международное право и что оно заключает договоры о ненападении для того, чтобы, подготовившись, внезапно напасть на другую «высокую договаривающуюся сторону».

Иностранные корреспонденты обратились к т. Лозовскому с просьбой о расширении информации, связанной с военными операциями. Лозовский ответил:

— Вы, господа, заявляете, что Германия наводняет мир своей информацией. Вы знаете также, что эта информация является от начала до конца лживой. А мы выдумывать и измышлять не хотим. Мы сообщаем только то, что проверено. Информация иногда запаздывает потому, что приходится проверять факты.

Далее, отвечая на вопрос о судьбе членов советского посольства в Германии и германского посольства в СССР, т. Лозовский указал, что происходят переговоры об обмене персоналом посольств. Этим вопросом занимаются в Москве — миссия Болгарии, принявшей на себя представительство германских интересов в СССР, и миссия Швеции, представляющей интересы СССР в Германии.

После обмена мнениями относительно получения сообщений Советского информбюро о военных действиях и о порядке работы пресс-конференции т. Лозовский закрыл первую пресс-конференцию».

ИЗ ДИРЕКТИВЫ СОВНАРКОМА СССР И ЦК ВКП(б) ПАРТИЙНЫМ И СОВЕТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРИФРОНТОВЫХ ОБЛАСТЕЙ О МОБИЛИЗАЦИИ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ НА РАЗГРОМ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

29 июня 1941 г.

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается. Целью этого нападения является уничтожение советского строя, захват советских земель, порабощение народов Советского Союза, ограбление нашей страны, захват нашего хлеба, нефти, восстановление власти помещиков и капиталистов. Враг уже вторгся на советскую землю, захватил большую часть Литвы с городами Каунас и Вильнюс, захватил часть Латвии, Брестскую, Белостокскую, Вилейскую области Советской Белоруссии и несколько районов Западной Украины.

...Несмотря на создавшуюся серьезную угрозу для нашей страны, некоторые партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации и их руководители все еще не понимают смысла этой угрозы, еще не осознали значения этой угрозы, живут благодушно—мирными настроениями и не понимают, что война резко изменила положение, что наша Родина оказалась в величайшей опасности и что мы должны быстро и решительно перестроить всю свою работу на военный лад.

Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) обязывают все партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации покончить с благодушием и беспечностью и мобилизовать все наши организации и все силы народа для разгрома врага, для беспощадной расправы с ордами напавшего германского фашизма.

Совнарком Союза ССР и ЦК ВКП(б) требуют от вас:

1) В беспощадной борьбе с врагом отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу.

2) Организовать всестороннюю помощь действующей Армии, обеспечить организованное проведение мобилизации запасных, обеспечить снабжение Армии всем необходимым, быстрое продвижение транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым предоставлением под госпитали больниц, школ, клубов, учреждений.

3) Укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам фронта всю свою деятельность, обеспечить усиленную работу всех предприятий, разъяснить трудящимся их обязанности и создавшееся положение, организовать охрану заводов, электростанций, мостов, телефонной и телеграфной связи, организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие истребительным батальонам. Все коммунисты должны знать, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов, учитывать все это в своей работе и не поддаваться на провокации.

4) При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться.

5) В занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—49.

разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и т. д. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.

6) Немедленно предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, не взирая на лица.

* * *

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМА СССР ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

30 июня 1941 г.

Президиум Верховного Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР ввиду создавшегося чрезвычайного положения и в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, признали необходимым создать Государственный Комитет Обороны под председательством т. Сталина И. В.

В руках Государственного Комитета Обороны сосредоточивается вся полнота власти в государстве. Все граждане и все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного Комитета Обороны.

* * *

Мир реагировал на агрессию Гитлера немедленно и однозначно; естественно, речь идет о том мире, который не был подвластен нацизму.

Уинстон Черчилль:

— Я вижу... серую вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающуюся, подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще не зажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу.

За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий...

Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером,— наши враги... Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем.

...Он (Гитлер) хочет уничтожить русскую державу потому, что в случае успеха надеется отозвать с Востока главные силы своей армии и авиации и бросить их на наш остров...

Его вторжение в Россию — это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова.

Франклин Делано Рузвельт:

— Американский народ питает отвращение к вооруженной агрессии. Он связан с русским народом крепкими узами исторической дружбы, поэтому вполне естественно, что он следит с сочувствием и восхищением за мужественной борьбой, которую ведет в настоящее время русский народ в целях самообороны.

Де Голль:

— Мы должны занять совершенно определенную позицию в отношении конфликта между Германией и Россией... Мы должны, как и Черчилль, заявить, что, поскольку русские ведут войну против немцев, мы безоговорочно вместе с ними. Не русские подавляют Францию, не они оккупируют Париж, Реймс, Бордо, Страсбург, грабят и деморализуют нашу страну... Немецкие самолеты и танки, немецкие солдаты, которых уничтожают и будут уничтожать русские, впредь уже не смогут помешать нам освободить Францию. Прошу сразу же придать именно такое направление нашей пропаганде.

Теодор Драйзер:

— Ничто в истории человечества — ни безумные авантюры в поисках преходящей славы и власти, ни страшные массовые истребления народов и порабощение их Киром, Дарием, Александром, Цезарем, Аттилой, Чингиз-ханом, Тамерланом, Наполеоном — не может сравниться по своему бессмысленному варварскому разрушению и смертоносности с ничем не оправданным нападением Гитлера на Советскую Россию...

Эти преступления надо пресечь, а их инициатора и исполнителя, победив, всенародно казнить за его злодеяния...

Хьюлетт Джонсон, настоятель Кентерберийского собора:

— Судьбы человечества поставлены на карту в этой великой битве... На одной стороне — свет и прогресс, на другой — мрак, реакция, рабство и смерть. Россия, отстаивая свою социалистическую свободу, борется в то же время за нашу свободу. Защищая Москву, она защищает Лондон».

Томас Ламонт, председатель компании Моргана:

— Некоторые считают союз Америки с Россией ненормальным. Но почему? Во время прошлой войны Россия была союзником Соединенных Штатов. За последние 150 лет Россия трижды выступала сообща с Англией против диктаторов, стремившихся покорить Европу: Наполеона, Вильгельма II и Гитлера. Эти союзы не были случайными. Мир в Европе сейчас так же, как и в 1814 и 1914 годах, зависит от стойкости России на востоке Европы.

Весь мир следил за исходом великой битвы на Востоке. Уже вошли в бессмертие герои Бреста и Перемышля. Рождалась могучая антигитлеровская коалиция — союз Москвы, Вашингтона и Лондона, объединенных единым желанием спасти человечество от коричневой саранчи.

И среди этих огромных по своему значению событий произошло одно, м а л е н ь к о е, иудино, оплаченное тридцатью сребрениками, только плата эта была не за жизнь Христа, но за судьбы многомиллионного народа Украины, ставшего как один человек на борьбу за Родину, против полчищ Гитлера...

МЕХАНИКА МЫШИНОЙ ВОЗНИ

Первым о вступлении «Нахтигаля» во Львов и о том, что там произошло тридцатого июня, сообщил в свою берлинскую газету военный корреспондент Трауб. Задумчиво глядя на черную мембрану телефона, он медленно диктовал в редакцию из своего номера, прислушиваясь к далеким выстрелам на улицах и к быстрым шагам патрулей, которые то и дело проходили под окнами гостиницы, занятой немецкими офицерами.

«Сегодня вечером,— диктовал Трауб,— во Львове состоялось собрание ста представителей украинцев западных земель. Собрание открыл Стецко. Передав собравшимся поздравления от Бандеры, он зачитал акт следующего содержания:

«Украинская националистическая армия» будет бороться за соборную Украинскую державу, за новый порядок в Европе и за великого фюрера Адольфа Гитлера.

Слава Степану Бандере!»

Следом за Стецко выступил отец Гриньох, являющийся духовником «Нахтигаля», и передал собравшимся пламенный привет от коменданта легиона Романа Шухевича. Был зачитан указ Бандеры о назначении Ярослава Стецко председателем краевой управы. Отец Слипый передал собравшимся благословение митрополита Андрея Шептицкого. Православный отец Поликарп заверил собравшихся, что и восточные украинцы, все как один, пойдут за великим фюрером Адольфом Гитлером.

В заключение собравшиеся приняли приветствие Бандере и Шептицкому».

Трудно предположить развитие дальнейших событий, если бы эта корреспонденция была единственной, попав в Берлин.

Однако Бандера, прислушавшись к советам мил-друга Шухевича, решил опередить события. Именно поэтому легионеры «Нахтигаля», ворвавшись на радиостанцию, провели к микрофону диктора, и он под пистолетом после торжественных позывных «всем, всем, всем!» за три часа перед тем, как Трауб передал свою корреспонденцию в Берлин, зачитал декларацию Бандеры.

Естественно, ни в Москве, ни в Киеве, ни в Берлине, ни в Лондоне, ни в Берне не обратили внимания на истеричное заявление невесть домого «украинского освободителя», гитлеровского «карманного квислинга».

Однако Европа того периода, помимо сил реальных, включала в себя силы иллюзорные. К числу таких «государств» относилась Словакия Тиссо и Хорватия Анте Павелича.

В фарватере нацистской политики следовали фашистские режимы в Венгрии, Румынии и Болгарии.

Когда чиновники венгерского МИДа услыхали о провозглашении «независимой Украины», они срочно приготовили доклад заместителю министра иностранных дел.

— Как ты оцениваешь этот факт? — спросил чиновника заместитель министра, расхаживая по громадному кабинету, отделанному тяжелым мореным дубом.

— Трудно утверждать, ваше превосходительство, что-либо определенное. Увы, Берлин ставит нас в известность далеко не по всем своим запланированным мероприятиям.

— Я думаю, с Бандерой легко будет договориться о пересмотре границы в нашу пользу, учитывая нашу преемственность по отношению к Австро-Венгерской монархии. Я изучил карту: примерно три тысячи квадратных километров нынешней украинской земли должны отойти к нам. Я пока не ставлю в жесткой форме вопрос о других землях, но Буковина и прилегающие районы явно венгерские.

— Думаю, что Берлин на это не пойдет.

— Думать надо после того, как сделан первый шаг.

— В таком случае, первым шагом должно быть признание «самостийной и соборной Украины».

— Мы пойдем на это после того, как ты проведешь первые консультации с властями во Львове.

— Да, но они пойдут на консультации только после того, как мы признаем их.

— Разве среди всех дипломатических хитростей нет такой, которая бы позволила совместить два эти мероприятия? Словом, действуй. Возьми эту карту.— Заместитель министра тронул мизинцем большую старую карту с районами Украины, закрашенными в ярко-синий цвет — видимо, он это сделал только что.— Не откладывай на завтра то, что можешь начать сегодня.

Румынский МИД прореагировал на сообщение из Львова почти так же, как венгерский. Заведующий восточным отделом тоже достал из ящика письменного стола карту, тоже очертил районы Буковины, которые, по его мнению, должны войти в состав великой Румынии, с той только разницей, что карандаш для этой цели он использовал ярко-оранжевого цвета.

Заведующий восточным отделом понимал, что Венгрия, «заклятый союзник» по Тройственному пакту, наверняка созвала сейчас совещание. Поэтому Бухарест решил действовать быстрее: был приглашен немецкий посланник, и (о постоянная повторяемость ситуаций!) перед ним была разложена карта с территориальными претензиями «Великой Румынии к «Соборной Украине».

— Нами движет чувство исторической справедливости,— заметил дипломат, вхожий к Антонеску,— только лишь.

— Не слишком ли все это рано? — усмехнулся немецкий посланник.

— Почему? В дипломатии,— ответил шеф восточного отдела,— опасно оказаться последним.

Дипломат явно пережимал, и германский посланник понял это. Однако «жать» не стал — незачем. Следовало щадить самолюбие румынского дипломата; он считает себя римлянином, представляет не что-нибудь, а великий мир латинян в Тройственном союзе. Муссолини выродился в политикана, им не владеет великая государственная идея, и лишь Антонеску думает о возрождении могучего государства румын, которое будет доминировать на Черном море и контролировать проливы, ключ к Средиземноморью. Пусть себе думает. Рано или поздно румыны будут оттеснены с побережья Черного моря, которое станет внутренним великогерманским.

— Я снесусь с Берлином, ваше превосходительство,— пообещал посланник.

На этом аудиенция окончилась. Шеф восточного отдела считал ее важной: он «застолбил» Буковину первым.

...В Загребе и Братиславе сообщение из Львова изучалось еще более пристально, но уже в силу причин открыто амбициозных, м а л е н ь к и х. Марионеточные государства Хорватии и Словакии переживали особую пору «самоосознания». Это «самоосознание», естественно, не могло быть приложимо к народам, которые отдавали себе отчет в том, что живут они под германской оккупацией. Такого рода «государственное осознание» следует определять, как бюрократическое, или, скорее, плутократическое. Маленькие бездарности, болезненно честолюбивые политиканы, клянясь национальной идеей, служили чужеземцам, подчинялись беспрекословно их приказам, старательно организовывали «народно-национальные волеизъявления» дружбы к «Великой Германии» и старались при этом побыстрее и поухватистей устроить свою жизнь — в расчете на неизвестное будущее: квислинг, приведенный к власти оккупантами, а не пришедший к власти по закону, живет в постоянном ощущении неуверенности в завтрашнем дне.

Поэтому иллюзорная «независимость» бандеровской Украины рассматривалась здесь на еще более низком уровне теми в первую очередь, кто рассчитывал на посольский чин, на получение соответствующего отдела в «министерствах» иностранных дел, государственной безопасности, обороны, торговли, транспорта, культуры и связи.

Поэтому реакция режимов Павелича и Тиссо была несколько более медленной: следовало отладить «цепь интересов» — тот, кто мечтал о погонах «чрезвычайного министра и полномочного посла», должен был найти союзников, пояснить им выгоду своего назначения; союзник этот, в свою очередь, призван был заинтересовать тех, кто «метил» на новый департамент, и среди трех-четырех десятков плутократов обязательно должен был отыскаться такой, который бы мог обсудить эту идею непосредственно с Тиссо или Павеличем.

Однако на соответствующе низком уровне — с секретарями германских посольств — этот вопрос предварительно обсуждался, а секретарь в отличие от посла не о политике думает, а о себе, о своей п р о д у к ц и и, о том, насколько оперативно он отправит в Берлин запись беседы с ответственным чиновником той страны, где он аккредитован. Причем в этом сообщении он, опять-таки радея о своей карьере, а никак не о государственной политике, будет многое выдумывать, приписывать себе лавры у з н а в а н и я и о б р а щ е н и я и без того преданного замухрышки, и в силу этого его сообщение может оказаться в центре внимания руководства восточного департамента МИДа, а там повторится та же история: чиновник, к которому попала эта запись, проявит максимальную оперативность, ибо думать будет об обращении э т о й б е з д е л и ц ы в свою выгоду: маленькие чиновники Риббентропа любили дипломатические и н т р и г и и часто повторяли, что «политика начинается с пустяков, которые вовремя замечены, верно оценены и з а п у щ е н ы в нужном направлении».

Так и случилось: пока посланники в Будапеште и Бухаресте составляли свои пространные меморандумы, рапорты быстрых секретарей из Братиславы и Загреба уже легли на столы чиновников МИДа.

Люди Риббентропа поняли: пришел час их торжества. Их удар по аппарату Розенберга — новому министерству (как-никак конкурент) будет сокрушающим.

В это же время сотрудники Гиммлера — особенно Риче, адъютант Гейдриха,— напряженно ждали, когда все документы придут в МИД, к Риббентропу: секретарь германского посольства в Загребе был агентом VI управления РСХА и заранее оповестил Шелленберга, что беседа о «самостийной Украине» состоялась с директором восточноевропейского отдела МИДа «Независимой державы хорватской» и подробная запись ее отправлена в Берлин с нарочным. (Против того, чтобы секретарь р а с п и с а л эту беседу своему формальному начальству в МИДе, ведомство

Гиммлера не возражало; даже наоборот — всякого рода липогонство поощрялось, ибо способствовало росту своего агента в ч у ж о м ведомстве.)

...Узнав, что все документы о «независимой Украине» пришли в МИД, адъютант Риче доложил об этом Гейдриху. Тот предупредил о случившемся Гиммлера, который собирался на просмотр нового пропагандистского фильма о «кровавых злодеяниях большевиков», подготовленного Геббельсом. Гиммлер попросил секретаря вызвать его к аппарату, если позвонят с Вильгельмштрассе.

Риббентроп позвонил через сорок минут.

Через час он был у Гиммлера.

Через два часа они отправились к фюреру.

(Маленькая интрига, затеянная в середине июня Риче, дала результаты: после радиообращения Стецко о такой незаметной пешке, как Бандера, узнали высшие чины рейха, раньше и слыхом о нем не слыхавшие.

Риче точно учел механику гитлеровского аппарата — он был повышен в звании, ибо Гейдрих не мог не оценить его ловкости, поскольку тот оказал помощь бонзам в постоянной борьбе амбиций.)

Гитлер бушевал. Он метался по своему громадному кабинету, выложенному серыми мраморными плитами, и выкрикивал:

— Я начинаю ощущать свое бессилие! Меня хотят поссорить с армией! Меня хотят поссорить с нацией! Где, когда, кому и при каких обстоятельствах я обещал независимость Украины, скажите мне?! Я всегда утверждал, что земли, восточнее Одера, вплоть до Урала, подлежат колонизации! Эти земли будут отданы немецким солдатам и колонистам!

Гиммлер посмотрел на Риббентропа. Тот соболезнующе вздохнул:

— Мой фюрер, я возмущен не меньше, чем вы. Когда я обменивался мнениями по этому вопросу с рейхсфюрером, он понял мое негодование, но, право, армия в этом деле играет вторичную роль. Идея, как мне представляется, исходила из нового министерства восточных территорий. Я понимаю рейхсминистра Розенберга... Его могли подвести сотрудники...

Гиммлер заметил:

— Я согласен с Риббентропом во всем, мой фюрер, кроме одного — абвер в этой гнусности сыграл роль далеко не вторичную. Особая линия Канариса, который рвется в политику, вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом, давно беспокоит меня...

— Не трогайте армию,— резко бросил Гитлер.— Сейчас не время!

— Да, но...

Фюрер обернулся к Шмундту, своему адъютанту, белый от ярости, с глазами, запавшими после бессонных ночей:

— Розенберга ко мне!

Он проводил стройную, прямую и недвижную спину Шмундта воспаленными глазами, казавшимися сейчас круглыми из-за резких теней, их окружавших, и обернулся к Гиммлеру и Риббентропу:

— Гиммлер, по-моему, вам следует вылететь к гауляйтеру Коху. Он представляет интересы партии, а не мрачные утопии Розенберга. Украинцы стреляют в наших солдат, они в о ю ю т с нами, они защищают Советы, а Розенберг говорил, что они будут подносить нам цветы! Словом, наведите там порядок. И вызвать в Берлин всех чиновников, которые допустили это славянское свинство! Виновных растоптать!

Бормана не устраивал блок Гиммлера с Риббентропом: слишком сильные ведомства, представляемые столь ловкими политиками, могли оттеснить его на третий план.

Поэтому Борман нашел возможность проинформировать Геринга и Розенберга о негодовании фюрера в связи с львовским «свинством».

Геринг и Розенберг встретились с Кейтелем: надо было выработать общую позицию, конечная цель которой заключалась в том, чтобы не дать возможности Гиммлеру сделаться п е р в ы м...

Продолжение следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рис. П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

ГАННА ПРОКОПЧУК (VI)

Эссен и его сотрудники довольно быстро осмотрели маленький лагерь — бараки такого же типа, как тот, где жила Ганна. Построены лагеря были наскоро, колючая проволока кое-где провисла, провод от генераторной станции был слишком заметен — почти тридцать метров тянулся по территории зоны, поддерживаемый громоздкими бетонными балками.

— Обратите внимание на это уродство,— попросил Эссен Ганну.

— Я уже думала. Только я не понимаю назначения этого провода.

— По нему идет ток.

— Зачем? Освещение привязано к движкам на другой половине территории.

— Это иной ток,— поморщился Эссен,— высокого напряжения. Продумайте, как его загнать в подземный кабель.

— Хорошо.

Все эти дни в пыли, спешке, постоянных переездах, среди лязга танков, громкого смеха чумазых солдат с обгоревшими под нещадным солнцем лицами Ганна смотрела только на Эссена, смотрела на него преданными глазами, стараясь не думать о том, что они здесь делают и зачем она с ними. Она знала только одно: этот человек отвезет ее в Краков, этот, именно этот человек разрешит ей найти мальчиков. Ганна боялась думать о том, что может быть потом, она старалась гнать от себя мысль, что Ладислав не позволит ей взять с собой детей; она была даже готова попросить Эссена, чтобы мужу п р и к а з а л и, если он сам не согласится уехать с нею вместе с детьми и со старухой. В конце концов он хороший лесной инженер, он специалист, немцы в нем заинтересованы. Глядя на Эссена, Ганна заставляла себя считать его неким устойчивым поплавком в темной, яростной быстрине (ее несколько раз возил с собой на рыбалку капитан Морис Грашан — он погиб под Дюнкерком; видимо, он был серьезно увлечен Ганной, потому что писал ей с фронта письма, и ей же пришла похоронная из военного министерства — такова была воля покойного. Образ поплавка на коричневой, пенной быстрине, где Грашан ловил рыбу, казался Ганне с тех пор неким символом спокойствия. Грашан, пожалуй, был единственным мужчиной, который не раздражал ее: он не жаловался на свою первую жену, не пытал Ганну, любит ли она его и лучше ли он других мужчин; не предлагал жениться, просто звонил, спрашивал, свободна ли она, нет ли у нее желания провести вместе день).

Ганна выполняла все то, что Эссен просил ее сделать, выполняла быстро и четко, и он успевал проверять ее работу, несмотря на огромное количество забот, свалившихся на него (пищеблоки для лагерей надо было отнести подальше от домов охраны СС; крыши офицерских коттеджей сначала были спроектированы из гофрированного железа, но штаб обергруппенфюрера Поля попросил срочно изменить расчеты под черепицу — немцы, которые будут нести здесь службу, должны чувствовать себя как на родине, в привычной обстановке; представитель рейхслейтера Бормана обязал Эссена предусмотреть строительство клуба в комплексе СС — иначе негде будет проводить торжественные митинги и совещания членов НСДАП). Наброски Ганны нравились Эссену своей экономичностью и изяществом. Ганна заметила, как в глазах других членов их группы появлялась постепенная и нескрываемая неприязнь к ней. Сначала ее не замечали, она была вроде чемодана — немного мешает, занимая место, но чемодан он и есть чемодан, надо же в чем-то возить вещи. Однако постепенно ее о с о з н а в а л и как человека, который стал ближе всех к шефу, но при этом как человека чужой крови, иностранного специалиста, лишенного каких-либо прав в рейхе.

Ганна отдавала себе отчет, как это опасно, но когда поняла, что без мальчиков ей незачем жить, ощущение личной опасности притупилось, словно у той козы, которая не убегала в лес, принимая на себя возможный выстрел, потому что рядом с тропой стоял ее маленький.

Когда их группа отправилась смотреть «действующий объект» в Освенциме, Эссен какое-то время колебался, брать ли с собой Ганну: в конце концов она увидит там своих соплеменников, но потом он решил обязательно взять, чтобы до конца убедиться в надежности своего нового, талантливого, столь неожиданно доставшегося ему сотрудника.

Офицеры СС провезли группу Эссена через леса, сосновые, мачтовые, в которых струился тяжелый, разморенный, ладановый запах. Дорога была белой, песчаной; в лесу гомонили птицы; их, казалось, было огромное множество.

Лагерь открылся внезапно: железнодорожный путь, несколько составов, высокая труба, ограда на бетонных, частых опорах, уютные коттеджи СС, окруженные маленькими, точно распланированными садиками, бараки в зоне и люди с пепельными, мучнистыми лицами, которые что-то делали за проволокой, но понять, что именно они делали, Ганна не смогла, потому что сразу же увидела среди арестантов высокую фигуру в полосатом одеянии, непропорционально большое лицо и громадные руки, судорожно сжимавшие металлические держалки тяжелой тачки.

— Стойте! — закричала Ганна.

Шофер от неожиданности затормозил. Ганна выскочила из машины, побежала к проволоке, услыхав тонкий голос Эссена: «Там ток, не прикасайтесь, там ток!»

— Ладислав! — не понимая Эссена, кричала Ганна.— Ладик, Ладушко!

Ладислав съежился, стал вдруг маленьким, до страшного маленьким. Он медленно оглянулся, увидал Ганну и бросился к проволоке:

— Ганнушка, девочка, Ганна!

— Почему?! — кричала Ганна.— Почему ты здесь?! Где мальчики?!

По зоне бежали люди в черном, с собаками на длинных поводках.

— Их арестовали, их увезли! Ганна, Ганнушка, ты здесь?! Ищи мальчиков и маму, маму ищи, ее с мальчиками тоже привезли сюда! Ищи их зде...

Он не успел докричать, потому что на него бросились собаки, свалили с ног, а Ганна в это же мгновение ощутила на своих руках резкие пальцы, которые больно, до кости, сдавили, потом рванули на себя, и она увидела бешеные лица офицеров СС и Эссена — с таким же мучнистым, как у арестантов, лицом, а больше она ничего не смогла увидеть, потому что потеряла сознание.

...Дух д е я т е л ь н о г о немца, для которого с младенчества главное — это дело, проснулся в Эссене, когда гестаповцы, глядя на него с тяжелой неприязнью (они уже сообщили о происшествии в краковское управление РСХА и теперь ждали указаний от СС бригадефюрера Крюгера, который, в свою очередь, сидел у аппарата, дожидаясь распоряжения обергруппенфюрера Поля, записавшегося на прием к Гейдриху), доложили, вынуждены были доложить этому архитектору, старше их по чину в СС, что дети украинки уже ликвидированы и что арестована ее семья по просьбе некоего агента абвера Лебедя как люди, представлявшие угрозу для законспирированности ОУН.

— В деле было указано, что мать этих несчастных,— медленно, чеканя каждое слово, произнес Эссен,— работает на рейх и приносит нашему делу существенную пользу?

— Было известно, что она живет в Париже и занимается архитектурой. В деле есть ходатайство Бандеры о передаче госпожи Прокопчук в ведение кадровой группы ОУН.

— Так кто же будет отвечать за то, что меня лишили работника?! ОУН с каким-то вонючим Бандерой или наши бюрократы?!

Офицер гестапо взглянул на Ганну, лежавшую на диване, сухо заметил:

— Ваш работник уже пришел в себя, штурмбаннфюрер.

— Она может прийти в себя, но она никогда не сможет делать того, что делала, и так, как делала раньше! И вы хотите с таким бардаком выиграть битву?! Вы хотите, чтобы тыл отлаженно и четко работал?! Вы хоть думаете о будущем?! Вы можете проявлять трезвость, а не зоологизм?!

Гестаповец взорвался:

— Вы подвергаете обсуждению приказ бригадефюрера Крюгера! Это противоречит нормам партийной этики! Я сообщу об этом руководству!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 37—50.

— Вы?! Это я сообщу руководству, я, а не вы!

...Он ничего не сообщил руководству. Генерал Поль, не входя в объяснения с Эссеном, отдал приказ лишить его звания и отправить на фронт — рядовым. Гейдрих бушевал: «Взять в зону украинку, паршивую славянку?! Как он посмел?! Это ваш либерализм, Поль! Это все ваш либерализм! Эссен стал считать себя незаменимым! Мы найдем тысячу архитекторов, которые будут целовать нам руки за то, что мы дали им возможность работать! Экий благодетель, скажите на милость! На фронт! Под пули! Это хорошо лечит от зазнайства!»

Лишение звания было инициативой Поля — он решил подстраховаться, ибо все знали, как он благоволил Эссену. Надо проявить высшую принципиальность и должную инициативу, чтобы потом Гейдрих не смог при случае ударить его. Гейдрих говорил просто о фронте. Поль в приказе добавил от себя — «рядовым».

...Ганна сделалась странной, тихой, робкой; она постарела за эти дни, лицо ее осунулось, но при этом было отечным; веки тяжело нависли над потухшими глазами, которые казались пустыми, словно бы без зрачков.

Новым руководителем архитектурной мастерской СС была назначена зодчая из Кельна, фрау Нобе. В инструктивной беседе, сообщая о ее откомандировании на высокий пост, обергруппенфюрер Поль сказал, что, видимо, в ближайшие дни большинство мужчин из ее мастерской будут мобилизованы на фронт — наступление на Восток приняло такие грандиозные размеры, что квалифицированных офицеров-строителей не хватает, а строить придется много: русские не оставляют после своего ухода ни одного завода или электростанции.

— Мы будем присылать к вам пленных специалистов, и они обязаны будут делать то, что до сегодняшнего дня делали немцы,— сказал Поль, чувствуя, что он продолжает внутреннюю полемику с несчастным Эссеном. Он любил Эссена, но всему есть предел — подводя себя, Эссен подводил его: надо уметь выбирать, во всем и всегда надо уметь выбирать, точно взвешивая возможности и вероятия.— Они обязаны будут делать для нас то, что мы требуем, не хуже немецких специалистов. Я даю вам все права — добейтесь от них отличной работы. И никаких поблажек! Победитель должен чувствовать свою силу, лишь это внесет точность в баланс наших отношений с побежденными. При этом, естественно,— добавил он,— разумная строгость обязана быть корректной — мы, национал-социалисты, не будем унижать себя неразумной пристрастностью.

В отличие от Эссена фрау Нобе не стала ничего скрывать от Ганны: да, надо быстро спроектировать особые бараки для детей и женщин, да, это концентрационные лагеря, да, они необходимы до той поры, пока не будут выкорчеваны все последыши зла в Европе. Где дети Прокопчук? Это неизвестно, это выясняется, это будет выяснено в зависимости от результативности ее работы. В чем обвинен ее муж? В антигосударственной деятельности, и чем скорее Прокопчук вычеркнет его из памяти, тем будет лучше для нее: враг немецкой нации не заслуживает снисхождения.

Ганна выслушала рубленые ответы пятидесятилетней поджарой немки и ушла к себе в каморку, хранившую горький запах сигарет Эссена.

Она долго смотрела пустыми, недвижными глазами на большой белый ватман, прикрепленный мелкими кнопками к доске, сжимала в холодных, малоподвижных пальцах карандаши и не слышала себя, не могла задержать в голове ни одной мысли. Она лишь постоянно чувствовала своих мальчиков, их лица, но в отличие от Парижа, когда мальчики виделись ей бегающими, играющими, смеющимися, сейчас она видела их не живыми, во плоти, а как на фотографиях — испуганные, козьи, напряженные глаза, которые ждали, когда же наконец вылетит птичка из объектива.

Ганна видела замершие, вырванные из вечного движения, а потому неживые лица своих мальчиков; и за этими неживыми лицами иногда появлялась высокая фигура их отца в страшной, полосатой пижаме, с тачкой в руках, и колючая проволока; и тогда Ганна слышала крик Эссена: «Там ток!»,— а после этого в ней снова наступала ленивая пустота, и словно бы кто-то другой тихонько нашептывал ей: «Дальше не думай, не надо».

...Ганна пугалась, когда кто-то подходил к ее двери, сжималась вся, но не могла заставить себя начать работать.

Фрау Нобе, заглянув к Ганне вечером, спросила:

— Обдумывание кончилось? Пора бы начать, Прокопчук. Время не ждет.

— Да, да,— ответила Ганна,— конечно. Я уже все обдумала. Мне только надо собраться, госпожа Нобе.

— Завтра к вечеру покажите первый набросок.

— Хорошо. Обязательно. Я постараюсь.

— Стараться не надо. Нужно сделать.

И Ганна сделала. Она нарисовала на ватмане странный, со сплошными стеклянными окнами коттедж. Крыша была односкатной, словно изгибчивая, женская ладонь, застывшая в молитве, обращенной к солнцу. Возле громадного, во всю стену окна — маленький бассейн... Ведь малыши так любят плескаться, когда видят воду, и потом вода сильно отражает солнце, оно постоянно в ней, даже если лежат низкие облака. Проволочные ограды Ганна наметила пунктиром, вдали, так, чтобы проволока не была видна детям.

— А что это? — спросила фрау Нобе, ткнув карандашом в странные горки возле бассейна.

— Это песочек,— ответила Ганна.— Маленькие любят строить. Пусть они строят из песка, это ведь недорого — завезти песок...

Фрау Нобе ничего не сказала Ганне. Она вышла из ее каморки в задумчивости: эта украинка нашла форму дома, который улавливает солнце, она осуществила мечту Корбюзье, не понимая этого.

Фрау Нобе посоветовалась с партайлейтером НСДАП, и тот согласился, что украинка, видимо, действительно невменяема, и было принято решение отправить ее в тот концлагерь, где, помимо работы в карьерах, проводились медицинские эксперименты над душевнобольными.

...А проект Прокопчук фрау Нобе взяла себе. Через год она представила его в министерство пропаганды на конкурс приютов для сирот, потерявших отцов на Восточном фронте, а матерей — под английскими бомбами. «Проект фрау Нобе» был отмечен премией имени Гитлера, но в серийный запуск так и не был отправлен, потому что промышленность рейха целиком переключилась на нужды обороны. А в 1944 году, во время бомбежки, проект сгорел, и не осталось никаких черновиков, а возобновить его так, как это смогла бы Ганна Прокопчук, никто не смог бы — для этого надо было потерять то, самое дорогое, что потеряла она.

Умерла Ганна счастливой: когда ее, вконец изголодавшуюся, взяли для опытов в госпиталь доктора Менгеле, она, ощущая пустоту в себе, увидала наконец своих мальчиков такими, какими оставила,— смеющимися, звонкоголосыми, с ручонками теплыми, ее, близкими, пахучими, шершавыми, и ногти грязные, некому им чистить ногти; они всегда так боялись стричь ногти, только она умела это делать, когда выносила их из ванны закутанными в белое мохнатое полотенце, и рассказывала им сказки, и они не плакали, глядя на

ножницы, а слушали ее, и глаза у них были такие же, как у того голенастого козленка. Менгеле даже отшатнулся от ее лица — так счастлива была маска смерти, так покойна она была, и так нежна и благодарна людям, давшим ей возможность увидать ее мальчиков и пойти к ним легко и просто, по мягкой дороге, в тишине, которая только потому была тишиной, что вокруг пели птицы, великое множество веселых, нежных птиц.

* * *

«С точки зрения проявления симптомов процесс голодания можно разделить на два периода. Первый был характерен худобой, ослаблением мышц и непрерывным уменьшением энергии движения. Тогда еще не проявлялось глубокое повреждение организма. Исключая тот факт, что больные двигались очень медленно и были слабыми, никаких других признаков голодной болезни почти не было. Что касается психики больных, то здесь тоже не было особых перемен, кроме повышенной нервозности и возбудимости.

Границу перехода первого периода во второй трудно было определить. У одних это шло постепенно, у других — быстро. Можно утверждать, что второй период начинался тогда, когда больной терял $^1/_3$ своего нормального веса. Наравне с прогрессирующей худобой и ослаблением начинало изменяться выражение лица. Взгляд мутнел, лицо становилось равнодушным, бессмысленным и грустным. Кожа становилась серо-синей, делалась тоньше, выглядела как пергамент, твердела и лущилась. Такая кожа легко заражалась, особенно чесоткой. Волосы становились жесткими, ломались, теряли блеск. Голова как бы вытягивалась, делались видны скуловые кости и глазные впадины. Больной дышал медленно, говорил тихо, с большим трудом.

В зависимости от времени голодания появлялись разного размера опухоли. Сначала они были на веках и стопах ног.

Больные в это время делались тупыми, становились равнодушными ко всему, что делалось вокруг них. Они избегали какой-либо связи с окружающей их средой. Если они еще могли двигаться, то делали это очень медленно, не сгибая ног в коленях.

Если за группой таких больных наблюдать издалека, то она производила впечатление молящихся арабов. Именно отсюда и происходит популярное лагерное прозвище тех узников, у которых развилась голодная болезнь,— «мусульмане».

Жизнь возвращалась к ним только тогда, когда они видели пищу, или тогда, когда зрительное или слуховое ощущение наводило их на мысль о еде.

В результате соматических изменений у таких больных обнаруживались и отклонения в сфере психики. В первой стадии голодной болезни мы замечали в основном проявление повышенной возбудимости. Люди становились раздражительными, обидчивыми, ругались, истерически стонали, всем были недовольны, делались антиобщественными. Страдающие голодной болезнью собирались обычно около кухни, складов, помоек или нахально окружали тех, кто ел, смотря на них с завистью и ожидая редко предоставляющуюся возможность вылизать котелок или бочку.

Несмотря на то, что «мусульмане» обычно не были способны на какие-нибудь совместные действия, бывало, однако, что это происходило, но только в том случае, когда речь шла о еде. Объединенные усилия «мусульман» отразились в групповых нападениях на рабочую бригаду узников, развозившую по блокам бочки с супом.

Некоторые, обладающие бурной фантазией, делали разного рода записи. Составляли, например, рецепты на различные жирные блюда. С точки зрения кулинарного искусства эти рецепты не имели никакого смысла и были далеки от вкусовых вершин.

Дневные разговоры и мысли о еде вызывали мучения, которые ночью дополнялись соответствующими сонными мечтаниями.

Я тоже не избежал таких сновидений. Однажды, когда я был в госпитале в блоке № 28 из-за начавшегося у меня поноса на почве голодной болезни, мне приснилось, что я нахожусь в подвале, в доме своей матери, и вместе с тучей котов купаюсь в бочке, наполненной сметаной. Я дрожал при мысли, что мать может войти каждую минуту. Самым страшным было то, что я мог не только плавать в сметане, а даже и нырять, но напиться сметаны я не мог.

Если в начальной фазе голода люди еще имели немного характера, еще могли владеть собой, сохраняли человеческую гордость и определенные этические нормы, то в следующей фазе все это переставало быть важным. Человек становился похож на голодного зверя, не мог отвечать за свои поступки.

Я не раз был свидетелем таких фактов: отец систематически крал и съедал порции сына, который почти без памяти метался в жару; более сильный узник душил ночью своего соседа и забирал у него остатки еды. Виновники были удивлены, когда я остро осудил такое поведение. Но они перестали так делать только тогда, когда им на ночь связывали руки и ноги.

Власти СС очень хорошо знали, что при существовавшей дневной норме у узника рано или поздно наступит полное истощение и он умрет. В своей пропаганде они старались доказать, что истощение узников имеет свои корни только в расовой специфике представителей «низших» народов.

Однажды я был свидетелем того, как врач СС объяснял прибывшей откуда-то санитарной комиссии, состоящей из представителей союзнических государств гитлеровской Германии, что является причиной плохого физического состояния узников. На вопрос какого-то представителя Италии, какова причина того, что больные так плохо выглядят, врач ответил без запинки, что это поляки, а поляки, как народ варварский, в нормальных условиях жизни питались главным образом луговыми растениями и пили водку, а теперь, когда они попали в лучшие условия, оказалось, что они не могут к ним привыкнуть...

Узник получал пищу, которая в лучшем случае давала ему 1 500 калорий в день. Известно, что такое количество калорий является недостаточным даже для жизни человека, который лежит спокойно при комнатной температуре. Кроме того, что калорийность пищи была низкой, продукты питания были плохого качества.

Профессия, образ жизни и часто связанное с этим социальное происхождение также оказывали в определенной степени влияние на судьбу узника. В лагерных условиях дольше всех сопротивлялись последствиям голода рабочие, привыкшие к труду на открытом воздухе и часто при плохой погоде. С большими трудностями переносили голод узники, которые когда-то были работниками умственного труда, а также и крестьяне.

...Чтобы пережить Освенцим, не нужно было вкладывать свои силы в работу, нужно было обманывать лагерные власти, комбинировать, стараться придумать что-то (я не имею в виду обворовывание своих товарищей по лагерю) и меньше всего думать о семье и о возвращении домой. Вообще нужно было делать все то, чего нельзя было делать».

(Из показаний узника Освенцима Владислава Фейгеля.)

«QUOD ERAT DEMONSTRANDUM» [1]

Штирлица разбудил телефонный звонок. Здесь, во Львове, на Красноармейской улице, пока еще не переименованной в Герингштрассе, звонок этот показался ему зловещим. Медленно, как это всегда бывало с ним в минуты опасности, Штирлиц включил ночник и посмотрел на часы: было три часа утра. Телефон звонил по-прежнему, и было что-то обреченное и тоскливое в этой повторяемости звонков и тревожных пауз тишины.

«За мной ничего нет,— решил Штирлиц. Мыслил он в эти мгновения, словно просматривая кинохронику, только в резко убыстренном темпе.— И потом, если бы за мной что-то было, вряд ли бы стали звонить. Они бы пришли без звонка, бесшумно открыв дверь, как я, ломая Дица».

Он потянулся к трубке, и вдруг кровь прилила к лицу, и он почувствовал, как сразу же похолодели пальцы и отяжелел затылок.

«А если это связано с Магдой?»

Он не успел даже ответить себе, не успел решить, как станет поступать, если случилось что-нибудь с ней, и сразу же поднял трубку.

— Здесь Штирлиц.

— А здесь Диц,— услыхал он раскатистый, необычайно самодовольный, какой-то о с о б ы й голос гестаповца.

— Пораньше не могли позвонить?

— Не было смысла. Самолеты из Берлина еще не были высланы.

— Самолеты из Берлина? А в чем дело?

— Это не телефонный разговор. Отправляйтесь к Фохту— это в ваших интересах. А я возьму Оберлендера и сразу же буду у Фохта. Мне не хотелось обращаться ни к кому другому: вы знаете эту сволочь лучше всех других. Договорились?

— Хорошо. Только я не понимаю, в чем дело.

— Это не телефонный разговор,— повторил Диц ликующим голосом,— я смог доказать, кто он есть на самом деле,— и положил трубку.

Штирлиц рывком поднялся с кровати, быстро сунул голову под кран. Вода была ледяной, и вкус ее показался Штирлицу забытым, р у с с к и м.

Одеваясь, он думал о том, что разница между водой в Берлине и той, которую он помнил с юности, была разительной: дома вода была по-настоящему студеной, с голубинкой, именно с голубинкой, потому что сказать о воде «с голубизной» — нельзя, это слишком неповоротливо. Все то, что неповоротливо,— жалко и глупо, потому что любая неповоротливость — в мысли или движении — прежде всего тщится сохранить достоинство, а постоянное внимание к собственному достоинству вырождается в болезненную подозрительность и неверие в добро.

«Стоп,— остановил себя Штирлиц.— С водой — это я, верно, глуплю. Вода всюду одинакова, мы наделяем ее качествами фетиша в зависимости от нашего внутреннего состояния. И не надо сейчас уходить в эмпиреи, хотя я прекрасно понимаю, отчего я так настойчиво ухожу в них: это я успокаиваюсь и хитрю с самим собой».

Именно в это время Гуго Шульце затормозил возле особняка Боден-Граузе — они возвращались с праздничного приема в «Люфтваффе» — помог Ингрид выйти из «вандерера», проводил ее до тяжелой, с чугунными в ы к р у т а с а м и калитки и сказал:

— Обнимите меня и сыграйте пьяную — сейчас они выскочат из-за поворота.

Ингрид поднялась на носки, обняла Шульце, прижалась к нему. Из-за поворота выскочил юркий «оппель-капитан», набитый рослыми, сосредоточенно с м о т р я щ и м и гестаповцами, натренированными замечать все, что нормальному человеку замечать не следовало бы; они увидели тех, за кем следили; шофер сбавил скорость, гестаповцы заученно сыграли «рассеянность», фото, однако, сделали и скрылись за поворотом.

— Сейчас они вернутся,— вздохнул Гуго,— так что продолжайте стоять подле...

— Потереть затылок?

— Я не люблю,—ответил Шульце.—Чему вы улыбаетесь?

— Это я так плачу.

— Курт умер достойно... Он молчал. За нами будут следить еще месяца два так же липко, а потом станут работать иначе. Всем нам сейчас надо продолжать контакты, светские контакты. От работы, о т н а ш е й работы, сейчас следует воздержаться.

— Значит, в Краков меня больше не отправят?

— А вы там не были, Ингрид. Вы не были там. Никогда. И никого не встречали.

Ингрид покачала головой:

— Встречала, Гуго... Встречала... Но ведь Курт тоже встречал, а умер достойно...

Она поцеловала Гуго, когда «оппель» вновь показался из-за поворота, и, легко отворив тяжелую калитку, медленно пошла домой.

...На улицах, когда он ехал на квартиру Фохта, по пустынному, рассветающему, тихому, тревожному Львову, Штирлиц увидел, как немецкие солдаты срывали желто-голубые знамена Бандеры и водружали красные, с белым кругом и черной свастикой посредине — трескучие, огромные стяги рейха.

---

[1] «Что и требовалось доказать» (лат.).

«Это начало драки между ними,— подумал Штирлиц.— Или нет? Или я забегаю вперед и желаемое выдаю за действительное? А почему бы драке не начаться? Армия устремлена в атаку, на тылы ее не хватает. Значит, здесь будет схватка Гиммлера, Бормана и Розенберга. Итак, драка между бонзами возможна? Почему вчера знамена Бандеры пакостили весь город и солдаты СС ходили спокойно и спокойно обменивались гитлеровскими приветствиями с пьяными от крови оберлендеровскими «нахтигалевцами»? Почему вчера патрули были сплошь из «Нахтигаля», а сегодня ни одного бандеровского легионера нет и лишь черные на улицах? Почему Диц позвонил мне и говорил ликующим голосом? Почему он посмел сказать о Фохте как о «сволочи», ведь Фохт сейчас над ним, он в ы ш е? Нет, это все-таки начало драки. Но если я навязываю мою волю событиям, которые развиваются сами по себе, вне моей логики, тогда я могу здорово проиграть. Диц готов пойти на все ради того, чтобы взять реванш за Елену. Или нет? Мне нельзя проигрывать, потому что очень мало наших людей находится сейчас в таком положении, как я. Но, с другой стороны, если я прав, тогда нам будет очень важно иметь то, что я хочу получить. Риск? Риск. Смешно пугать себя риском. Я живу, как раковый больной, который знает, что конец может наступить каждую минуту. Только одни паникуют, а я у п о в а ю».

...Фохт сидел возле телефона, бледный до синевы, тщательно скрывая от Штирлица дрожь в пальцах.

«Кто-то сработал раньше Дица,— понял Штирлиц.— Видимо, армия успела его предупредить. Армия принимает самолеты, без их санкции ни один самолет, хоть трижды эсэсовский, на военный аэродром не сядет — война и есть война».

Штирлиц включил радио, дождался, пока нагреются лампы в большом «филипсе», прослушал первые такты музыки, которая становилась все громче, словно бы силясь прорвать чуть трепещущий матерчатый диск приемника, закурил, показал Фохту глазами на отдушину в стене и медленно погасил спичку.

Фохт сначала непонимающе посмотрел на отдушину, а потом в его глазах что-то мелькнуло, но тут же погасло, и Штирлиц понял, почему погасло.

«Он не верит мне. Надо объяснить ему разницу,— решил он,— разницу Фохт поймет, он знает по своему ведомству, что это такое — р а з н и ц а».

— Сейчас приедет Диц. Он берет Оберлендера, а потом заедет за вами, чтобы отвезти на аэродром,— тихо сказал Штирлиц.— Самолеты из Берлина уже вылетели. Аресты здесь начались? — полуутвердительно спросил он.

— Я не знаю,— ответил Фохт, не разжимая рта (тряслись губы),— меня не соединяют ни со Стецко, ни с Лебедем, ни с Бандерой.

— Спасти вас могу я,— негромко продолжал Штирлиц.— Я спасу вас не из чувства сострадания — я лишен его, это химера. Я спасу вас ради наших интересов, ибо я из политической разведки, а не из гестапо.

— Простите, но я не понимаю,— ответил Фохт, замотав головой. Он начал тереть виски белыми, плоскими пальцами с посиневшими ногтями, и Штирлиц вдруг ощутил, какие они у него холодные и влажные.

— Постарайтесь понять. Времени в обрез. Вы ведь все помните, Фохт. Вы помните все. Значит, вы меня быстро поймете. Я бы мог уничтожить вас в Загребе, когда вы заигрались с нашим агентом Косоричем и Дицем. Я этого не сделал. Почему? Потому что вы для меня более выгодны, чем Диц. Он из гестапо, а вы из другого ведомства, которое имеет выходы за границу. Вы мне в ы г о д н ы, Фохт. Если вы согласитесь стать моим агентом — я называю вещи своими именами, у меня нет времени на сантименты — и мы сейчас оформим наши отношения, я дам вам ключ к спасению.

— Что я должен сделать?

— Выполнить формальность.

— Каким образом вы меня спасете? Я не понимаю, о каком ключе идет речь? Я ни в чем не виноват. Я верен фюреру и рейху...

— Это уже песни,— поморщился Штирлиц и взглянул на часы.— Я слыхал такие песни, и они меня не интересуют.

— Я офицер, Штирлиц.

— Ну и прекрасно. Тем более — какие же вас сомнения могут мучить? Либо вы становитесь моим агентом, а вы знаете, что мы имеем свою агентуру повсюду; либо с вас срывают погоны СС, и тогда ставьте на себе крест.

— Что я должен написать? — Фохт захрустел пальцами, и Штирлицу показалось, что ломают сухой, перележавший зиму валежник.

— Я — псевдоним придумайте — обязуюсь выполнять все указания Бользена, знакомить его с теми материалами, которые потребуются, и приглашать к сотрудничеству с ним тех моих подчиненных, которые попадут в сферу его интересов. Все. И подпишитесь вашим псевдонимом. Второй документ — идентичного содержания, только вместо псевдонима напишите свое имя и фамилию и подпишитесь так, как вы подписываетесь на служебных документах.

(Если и когда Штирлиц погибнет, второй документ, будучи переправлен в Центр, даст основания тем, кто придет ему на смену, заставить Фохта выполнять то, что во всех иных случаях будет делать Штирлиц.)

— Я не смогу смотреть в глаза руководству, Штирлиц...

Голос у Фохта был жалобный, и Штирлиц заметил, что раньше голос его казался более низким — вероятно, он очень следил за собой, справедливо полагая, что тембр и мощь голоса играют заметную роль в продвижении по службе в условиях тоталитарного государства, когда кандидаты на «сильных мира сего» изучаются в канцелярии Бормана со всех сторон, причем такие данные, как внешность, голос, обаяние, юмор, заносятся в папочки, идентичные тем, где хранятся данные по поводу ума «объекта», его деловой подготовленности, расовой полноценности, образования и меры преданности идеалам национал-социализма.

— Я не давлю на вас, Фохт,— сказал Штирлиц,— я ни к чему вас не принуждаю. Просто я не успею дать вам ключ.

— Я напишу первую расписку, и дайте мне ключ. Тогда я напишу вам вторую... Неужели вы мне не верите?

— Конечно, нет. Вы слишком испуганы для того, чтобы я мог вам верить. Поймите только, постарайтесь понять, что я заинтересован в вашем в ы ж и в а н и и, если я беру у вас расписки. Мы не вербуем бесперспективных людей.

Фохт быстро написал вторую расписку, протянул ее Штирлицу, и зрачки его расширились ужасом: по улице мчалась машина.

— Это не он.— Штирлиц понял испуг Фохта.— Это грузовик. Итак, когда вас начнут допрашивать в Берлине — да, да, вас будут допрашивать там,— смело говорите, что вы неоднократно просили Дица быть особенно внимательным по отношению к Бандере. Скажите, что, насколько вам известно, не только вы говорили ему об этом. Подчеркните, что Штирлиц был обеспокоен линией ОУН-Б, предписанной абвером, и предупреждал об этом Дица и вас. Настаивайте на том, что вы были убеждены в санкционированности действий Бандеры, поскольку гестапо должно было з н а т ь все. Вы не могли допустить и мысли, что такого рода замыслы — а действия Бандеры были следствием дальнего замысла абвера — неизвестны Берлину. Вы отвечали за л и н и ю. Ваша линия была абсолютной. Все выявленные украинские коммунисты, русские, евреи и поляки изолированы и занесены в списки на ликвидацию, нет?

— Далеко не все.

— Утверждайте, что в с е. Материалы готовил Мельник, он ведь отвечал за тыл, не так ли?

— Да.

— А Мельник—человек гестапо в первую очередь, абвера — во вторую. Таким образом, вы выходите из-под удара... А вот это приехал Диц. Ну, ну, держите себя в руках. Я дал вам ключ, а вы в самолете отоприте дверь в вашу память и выстройте системы н а п а д е н и я. Ни в коем случае не защиты. Ясно?

Штирлиц потушил сигарету, закурил новую и улыбнулся Фохту, как мог, мягко.

— Если вы кому-либо, где-либо, когда-либо признаетесь в том, что я вас завербовал, вот тогда ваша карьера действительно кончится, ибо вам — ни в партии, ни у Розенберга — никто не сможет п о в е р и т ь, а мы своих агентов в кадры СД не берем. В крайнем случае, если Диц давно копал на вас и что-то смог здесь собрать, обвиняйте его в непорядочности, сведении личных счетов и моральном падении: он мстил вам за гибель Косорича, ибо вы были свидетелем его провала. Вторым свидетелем провала Дица в его работе с Косоричем был я. Понятно?

...Когда самолеты ушли в солнечное уже, безбрежно-высокое небо — было приказано Оберлендера с его людьми и Фохта отправить в разных самолетах,— Штирлиц улыбнулся Дицу:

— А теперь самое время хорошо позавтракать, нет?

— У меня есть полчаса. Потом надо ехать на допросы.

— Вы провели интересную операцию, дружище.

— В общем, ничего,— согласился Диц и не сдержал горделивой улыбки, хотя улыбаться он сейчас, в минуту своего торжества, не хотел.— Довольно занятная комбинация.

— Ну-ка, научите, как надо делать такие фокусы,— попросил Штирлиц, когда они подошли к машинам.— Или еще нельзя открывать?

— Вам можно,— со значением ответил Диц.— Я подвел к Бандере нашего человека. Он подбросил ему мою идею. Остальное сработало само по себе. Вы верно угадали, Штирлиц, когда говорили о лаврах Бандеры. Не сердитесь, я тогда вынужден был молчать. Мельник — наш человек, и он сейчас будет делать то, что мы ему прикажем. А Бандера — это абвер, это армия, вы же понимаете... Какая на него ставка? Когда мой агент — а это близкий друг Бандеры, это мы разыграли н о т н о — сказал ему, что, только заявив о себе во весь голос, на весь мир, по радио, он сможет пробить наших «бюрократов» и выйти напрямую к фюреру, Бандера поверил.

— Готовьте место для креста, Диц.

— Разве мы сражаемся во имя наград? — Диц вздохнул и сел в машину.— Награды понесут воины СС на черных подушках, перед нашими гробами, Штирлиц.

— Завтракать будем у меня?

— Можно у меня. В моем холодильнике есть пиво, ветчина и сало.

— А в моем — водка, пиво, сало, сосиски и сыр. Едем ко мне, я запасливей... Как фамилия вашего человека?

— Шухевич,— ответил Диц, чуть помедлив.

Он понимал, что, отвечая сейчас Штирлицу, он связывает себя с ним. Но, решил Диц, лучше это сделать самому, чем после того, как Штирлиц н а ж м е т. Инициатива должна быть во всем, в предательстве тоже, тогда это и не предательство вовсе, а с т р а т е г и я: на войне побеждает тот, кто остается в живых. На войне всякое может быть: шальная пуля в спину тоже...

КУРТ ШТРАММ (VI)

А сейчас он ощутил спокойствие, блаженное, расслабленное спокойствие, потому что конвоир, поддерживавший его под локоть, свернул налево, и Курт увидел коридор, именно такой, о каком мечтал,— длинный, узкий, с белыми стенами, а в конце, в самом конце, желтоватая, старая, потрескавшаяся кафельная стена.

«Наверное, мне лучше лечь в кровать и выздороветь,— подумал вдруг Курт,— а уже потом я сделаю то, что обязан сделать. Сейчас я могу не добежать. У меня жар, сильный жар, и конвоир схватит меня за шею и повалит, и они все поймут и потом лишат меня возможности р а с п о р я д и т ь с я собой так, как я обязан распорядиться».

Он точно ощущал каждый свой шаг, понимая, что расстояние до кафельной стены становится все меньше и меньше.

«Ты дрянь, Курт. Ты смог обмануть седого эсэсмана, ты наговорил ему много чепухи о прошлом, которая будет смешной, если он прочитает ее Ингрид, Гуго или Эгону, и они поймут, они все поймут, потому что ты п р о к р и ч а л им то, чего не мог бы никогда сказать отсюда. Они обязаны понять твой бред, и потомки поймут, вчитавшись в те показания, которые ты дал: чем глупее и нелепее ска-

занное тобою будет записано седым эсэсманом, тем яснее станет всем, что ты держался стойко и не был мерзавцем и никого не подвел, спасая свою жизнь. Ты смог обмануть седого, а сейчас ты хочешь обмануть себя. Не спорь. Не отговаривайся слабостью, жаром, тем, что рядом конвоир. Когда ты выздоровеешь, их будет двое. И потом, ты можешь бредить и в бреду скажешь про нашего связника из Швейцарии. И про Ингрид. И про Гуго с Эгоном».

Курт чувствовал, как желтоватая, в трещинах кафельная стена надвигается на него.

«Боже милосердный, помоги мне! — взмолился он.— Дай силы мне, боже! Как просто жить на земле, ходить по ней, чувствовать боль, страдать из-за любви, нестись с гор, когда холодный снег игольчато бьет тебя в лицо... Ох, зачем же я думаю об этом?! Я не должен об этом думать сейчас! Я должен думать про иголки, которые входят под ноготь, медленно и упруго раздирая кожу, доходя до мозга и до сердца и до того страшного холода, который появляется внутри за минуту перед тем, как они н а ч и н а ю т. Неужели я обычное животное, для которого возможность дышать, получать похлебку и ложиться на нары важнее, чем право остаться самим собой, распорядиться тем, что мне принадлежит? Ну, Курт, милый, это ведь только одно мгновение ужаса, а потом наступит счастье избавления от самого себя, от того с е б я, который уже ощутил внутри трещину, и трещина эта будет все шире и шире, как разводы на мартовской реке, после первого теплого дождя, который хлещет тебя по лицу, и ты высовываешь язык, и ощущаешь, как холодная и пресная вода падает с небес...»

Курт обернулся к конвоиру, жалко улыбнулся ему, а потом спружинился, ударил его двумя пальцами в глаз, и почувствовал мокрый холод глазного яблока и горячую трепетность век, и услыхал страшный крик конвоира, но это был не крик боли, а скорее крик испуга н е у с л е д и в ш е г о, что-то вроде жалобного визга охотничьей собаки, которая потеряла след подранка.

Курт опустил голову, оттолкнулся от пола и понесся, как раньше, когда он приезжал на стадион заниматься легкой атлетикой перед началом сезона в горах, чувствуя, что сейчас, через мгновение, он ощутит удар, и он представил явственно и близко желтую массу своего мозга на желтой стене, и закричал от невыразимой жалости к себе, и услышал, как где-то рядом хлопнула дверь, и понял, что за ним гонятся, и замахал руками, чтобы стена скорее обрушилась на него и расколола его череп, в котором грохочет имя связника, и пароль к Гуго, и адрес, где можно укрыться в случае провала кого-то из них, и любовь к Ингрид...

Тьма.

Избавление.

Это не было больно: смерть наступает за мгновение до того, как человек ощутит боль.

(Ночью в номер Штирлица постучали.

— Кто?

— Из городской управы,— мягко ответил по-украински голос,— из медицинского отдела, Опанас Мирошниченко.

— Что? — удивился Штирлиц, накидывая халат.— Говорите по-немецки, пожалуйста! В чем дело?!

Он отпер дверь: на пороге стоял черноокий мужчина в расшитой украинской рубашке.

— Извините, забылся,— сказал он, переходя на немецкий,— я доктор, отвечаю за дезинфекцию гостиницы... А вы, господин Штирлиц, совсем не изменились со времен «Куин Мэри».

— Вы тоже плыли на этом судне? В каком классе? — спросил Штирлиц, ощущая певучую, усталую, но в то же время уверенную радость: слова пароля — слова надежды.

— Во втором... Я стажировался в Штатах.— Это был отзыв.

— Проходите, доктор,— сказал Штирлиц и включил приемник: Берлин передавал победные марши.)

Окончание следует.

Юлиан СЕМЕНОВ

РОМАН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА

ТРЕТЬЯ КАРТА

Трушницкого арестовали в семь часов утра. Все было так, как в доме у пана Ладислава: в дверь осторожно постучали, и Трушницкий решил, что это пришел кто-нибудь по поводу завтрашнего, нет, сегодняшнего уже концерта в театре, в е г о театре, и спросил хриплым со сна голосом:

— Кто?

— Из домовой управы,— ответили ему,— у вас трубы лопнули.

Трушницкий оглянулся во тьму комнаты, воды нигде не увидел, но решил, что это могло случиться в ванной, и дверь отпер. На пороге стоял офицер СС, два солдата и один в штатском. Лицо его показалось Трушницкому знакомым, но он не успел вспомнить, где они виделись, потому что солдаты споро втолкнули его в комнату, а человек в штатском вежливо сказал:

— Собирайтесь быстренько, будьте добры.

— А в чем дело? — спросил Трушницкий, леденея от близкого видения лица пана Ладислава.

— В вашей квартире небезопасно оставаться, в городе начали орудовать красные подпольщики,—объяснил штатский.— Мы увозим поближе к немецким казармам тех, за жизнь которых опасаемся.

— Ой, господи, а я уж перепугался,— вымученно улыбнулся Трушницкий, теперь только ощутив дрожание под коленками.— Одну минуту, г-господа, прошу садиться.

Он быстро оделся, потер ладонью щеки — побриться бы, да времени нет,— господи, за что ж на него красным руку поднимать? Надо поскорее съехать отсюда, заботливый народ немцы, ничего не скажешь, охраняют цвет нации, понимают, что без нас им ничего здесь не сделать, привезут на другую квартиру, там и побреюсь...

— Господа, а как же с вещами? — спросил он.— Тут у меня партитуры.

— Один из солдат останется, сложит все в чемодан и привезет вам.

Трушницкий ничего не понял даже тогда, когда машина, в которой он был до странного т е с н о зажат между офицером и штатским, въехала в тюремный двор. И лишь когда его вытолкнули из машины, и к нему подошел эсэсовец, и ударил в спину, кивнув головой на кованую дверь, тогда лишь Трушницкий увидал решетки на окнах, высокие стены, вышки с пулеметами и трупы, аккуратно, словно дрова, сложенные в тени, под навесом.

Он хотел идти, однако ноги не слушались; колени, казалось, выгнулись в обратную сторону, и ему пришла дикая мысль, что если он сделает шаг, то это будет шаг назад, а не вперед.

Допрашивал его высокий эсэсовец, мгновенно менявший улыбку на тяжелую маску гнева. Тот, что в штатском, обращался к нему почтительно: «Господин Диц». Трушницкий наконец вспомнил: штатским был секретарь Мельника, тихий и быстрый Чучкевич; его в бандеровских кругах называли «мышонком».

— Послушайте, Трушницкий,— быстро заговорил Диц, слюняво сжевывая черный табак сигареты,— в ваших интересах сказать нам всю правду. Всю, понимаете?! Если вы решите утаить хоть самую малость, я прикажу вас расстрелять немедленно, ясно вам?! Идет война, и у нас нет времени разводить антимонии!

— Я ничего не понимаю. Что я должен... В чем я виноват?— тихо спросил Трушницкий, ощущая быструю дрожь во всем теле.

— В чем он должен признаться? — перевел Чучкевич.— Вы ведь спрашивали,— он глянул на Трушницкого,— в чем вам надо признаваться, да?

— Да, да,— быстро ответил Трушницкий, словно бы цепляясь за спасательный круг — за украинскую речь Чучкевича, который сейчас поможет все объяснить этому длинному гестаповцу.

— Ну, это я вам подскажу,— сказал Чучкевич.— Вам трудно самому понять, в какую гнусную игру вас втянул Лебедь. Вы художник, вы о прозе жизни не думаете, вы в эмпиреях,— ласково, теперь уже неторопливо продолжал он.— Он же втянул вас в игру, Трушницкий. Он вам приказал устроить концерт в театре?

— Да.

Чучкевич сказал Дицу по-немецки:

— Можно начинать записывать, с этим будет просто.

Диц вызвал стенографиста, тот устроился в уголке, включив яркую настольную лампу, и Чучкевич придвинул свой стул поближе к ввинченному, металлическому, холодному, о б р е к а ю щ е м у табурету, на котором было приказано сидеть Трушницкому, и колени их соприкоснулись, и Трушницкий захотел, чтобы это касание продолжалось, потому что этот человек был как-никак своим.

— Так вот, по поводу концерта, Трушницкий. Лебедь просил вас обсудить программу с представителями оккупационных властей?

— Нет.

— Не просил,— медленно повторил Чучкевич, дожидаясь, видимо, пока ответ Трушницкого запишет стенографист.

— Но он ведь должен был знать, что программа торжественного концерта обязана быть утвержденной представителями новой власти? Должен ведь, да?

— Да,— медленно, стараясь понять спасительный с м ы с л в словах Чучкевича, повторил Трушницкий.— Конечно.

— Лебедь сказал, что назначает вас главным режиссером театра?

— Главным дирижером.

— Что?

— Я говорю — главным дирижером.

— Ну, знаете, разница невелика.

— Да, да, невелика,— быстро согласился Трушницкий.

— А он должен был согласовать этот вопрос с новой властью? Как думаете?

— Должен.

— Он никогда не говорил вам, что надо попросить новую власть назначить немецкого директора вашего хора?

— Нет.

— Вот и получается, что он хотел стать над новой властью, этот Лебедь? Разве нет?

— Я не знаю... Мне кажется...

— Нет, погодите,— мягко перебил его Чучкевич,— как же так — «не знаю»? Такой ответ может показаться неискренним г-господину Дицу. Вы все прекрасно знаете, Трушницкий. Эмпиреи эмпиреями, но ведь хлеб вы едите земной, а не небесный. Мы ведь существуем только потому, что в мире есть великий фюрер Адольф Гитлер и его нация. А если Лебедь все брал на себя? Если он все хотел решать сам? Тогда как? Он ведь все хотел решать сам — так?

— Он самостоятельный,— согласился Трушницкий, почувствовав, как в нем рождается особое, испуганное подобострастие и желание во всем следовать за Чучкевичем.— Это вы верно отметили: он действительно очень самостоятельный человек.

— А может, заносчивый? — подсказал Чучкевич.— Может быть, точнее сказать — заносчивый?

— Вообще-то, конечно, это было в нем... Но по поводу новой власти...

— Что по поводу новой власти? Он хоть раз приветствовал вас так, как все честные люди новой Европы приветствуют друг друга? Он хоть раз, встретив вас, сказал «хайль Гитлер»?

— Говорил... Зачем же клеветать... Это он всегда говорил...

— Но чаще он, видно, говорил «хай живе фюрер Степан Бандера», разве нет?

— Это так, это истинно, он, конечно, тоже говорил «хай живе наш фюрер Степан Бандера»!

— Вот и ответьте мне теперь,— понял до конца Трушницкого, повторил Чучкевич,— старался Лебедь поставить себя над новой властью? По-моему, ответ может быть только одним — утвердительным. Старался?

— Не то чтоб старался, но вообще это в нем было... Это отрицать трудно,— ответил Трушницкий, сглотнув тяжелый комок, застрявший в горле.— Я только теперь начинаю понимать,— добавил он, силясь улыбнуться,— сразу-то разве все поймешь? Это вы совершенно правильно заметили: я живу миром музыки, а она отделяет человека от земной суеты, она...

— Погодите,— осторожно прервал его Чучкевич.— Погодите, мой дорогой. Если мы с вами сошлись на том, что вы знали о желании Лебедя стать над новой властью, то должен родиться следующий вопрос: «Кому это выгодно?» Это не может быть выгодно украинцам: они погибнут без новой, немецкой, культурной власти, сгниют заживо, в помоях утонут. Кому же в таком случае выгодно стать н а д властью?

— Кому?— Доверчиво, моля глазами о помощи, Трушницкий повторил вопрос Чучкевича.

— Ну, а вы как думаете? Кому?

— Что-то у меня голова идет кругом... И потом я не могу понять: меня арестовали?

— Это зависит от того, что и как вы будете отвечать, Трушницкий, все от вас зависит. Всегда все зависит от человека.

— Но сегодня же концерт должен быть...

Он подумал с ужасом, что никогда он не станет за пюпитр, никогда, никогда, н и к о г д а не услышит оваций зала, и стало ему до того жаль себя, что Трушницкий сказал:

— Господи, за что все это? В чем моя вина? В чем?

— Корыстной вины за вами нет,— уверенно сказал Чучкевич,— все можно поправить, только надо быть честным, предельно честным. И не только перед господином Дицем или

Окончание. См. «Огонек» №№ 37—51.

мною, его помощником. Честным надо быть перед самим собой, Трушницкий. Ответьте мне, пожалуйста: кому было выгодно желание Лебедя стать над новой властью? Врагам новой германской власти, разве ж нет?

— Вы думаете, врагам?

— А вы как думаете? Как вы сами об этом думаете?

— Кто бы мог представить себе...

— Вот это дело другого рода... Представить себе этого никто не мог, ни у кого в голове подобное не могло уместиться — тут вы правы, спору нет. Значит, вам кажется, что поступки Лебедя объективно служили врагам новой власти. Так?

— Теперь мне, конечно, так кажется, но раньше я не мог об этом и подумать.

Чучкевич посмотрел на Дица. Тот кивнул головой, Трушницкому дали подписать протокол и увели в камеру. Там он и потерял сознание, когда пан Ладислав, обнимая детей своих, вошел к нему, подмигнул пустой, кровавой глазницей — глаз был выбит, висел на длинной синей жилке, и сказал:

— В Опера́, в Опера́, хочу в Опера́, мой друг!

К девяти утра Чучкевич «оформил» еще пятерых, которые в картотеке Мельника проходили как «слабаки». «Улики» против Лебедя и Стецко были, таким образом, «неопровержимые».

Ознакомившись с показаниями арестованных, Лебедь закричал, срывая голос:

— Да вы что, озверели?! Господин Диц, мы ж свои! На кого руку поднимаете?! Это все штучки Мельника! Мы ж очистили Львов, мы все для новой власти делали! Что ж это такое, господин Диц! Это ж навет Мельника, как вы не понимаете?!

Чучкевич поднялся со своего табурета и лениво ударил Лебедя толстой потной ладошкой — словно кот.

Диц вскочил из-за стола, рявкнул:

— Чучкевич! Вон отсюда!

Тот какое-то мгновение недоумевал, потом выпрямился, щелкнул каблуками и вышел из камеры. Диц подошел к Лебедю, снял с него наручники, улыбнулся заговорщически и шепнул:

— Неужели вы не понимаете, что так сейчас н а д о?

— Что н а д о? — так же тихо спросил его Лебедь.— Что?

— Нужно с т р а д а н и е,— сказал Диц.— Разве трудно понять? Кто-кто,а уж вы-то должны были понять это, г о с п о д и н Лебедь. Вам и вашим друзьям нужен терновый венец национального страдания. В серьезную, с а м у ю серьезную борьбу вы включитесь чуть позже. Вы меня поняли, господин Лебедь?

...Гестапо зафиксировало три самоубийства членов ОУН. Один из самоубийц, учитель Гребенюк, написал в предсмертной записке: «Я был самостийником, а сейчас я понял, что я наймит. Я считал себя патриотом вольной Украины — оказалось, что я обезьяна, таскавшая каштаны из огня для гитлеров. Мне стыдно жить».

А девятнадцатилетнего легионера «Нахтигаля» Миколу Шаповала, сына крестьянина Степана, повесили во дворе львовской тюрьмы. Было выстроено каре немецких солдат. Поодаль стояли оуновцы из штаба Мельника.

— Предавший идеи рейха украинский бандит Микола Шаповал за измену делу великой Германии приговаривается к смертной казни через повешение. Так будет с каждым украинцем, который мыслью, словом или делом изменит великой Германии,— зачитал приговор Диц, внимательно глядя на лица мельниковских штабистов.

Те стояли тихие: и в глазах у них был страх и затравленное, рабье почтение...

Полковник Лахузен, помощник адмирала Канариса, все-таки успел встретить Оберлендера — все берлинские аэродромы контролиро-

вались армией, поэтому о сроке прибытия «юнкерсов» из Львова в штабе ОКВ (и соответственно в абвере) узнали незамедлительно.

Поскольку Оберлендер не был арестован, а лишь вызван в партийную канцелярию для объяснений, Лахузен посадил его в «майбах» и сказал:

— Гиммлер выиграл. На этом этапе выиграл. Но Розенберг и Канарис настояли, чтобы Бандера был помещен в особый «коттедж» Заксенхаузена: там держат «национальные резервы», с которыми предстоит работа. На определенном этапе и при определенных обстоятельствах мы вернемся к Бандере. Он будет в ореоле мученика национальной идеи — это впечатляет. Вам следует опередить события: внесите предложение немедленно отвести «Нахтигаль» в генерал-губернаторство. Предложите придать легиону полицейские функции на польских или сербских землях.— Лахузен закурил и, глубоко затянувшись, добавил: — Или на французских. Главное — сохраняйте лицо. Канарис, мне кажется, уже договорился о вашем откомандировании в Прагу по линии моего отдела с продолжением работы в университете. Потом мы снова переведем вас в Россию, как только падет Москва: надо будет налаживать сельское хозяйство в черноземных областях — это ваш конек.

— Обидно,— сказал Оберлендер, и его мягкое, округлое лицо ожесточилось.— Обидно, когда проигрываем в мелочах.

— Всякий проигрыш чреват выигрышем. Относитесь к проигрышу как к предтече победы. Гитлер уйдет — дух нации вечен. Он сделает то, что должен был сделать,— доделывать предстоит нам.

Оберлендер посмотрел на Лахузена изучающе, скосив глаза, словно конь.

— Не слишком ли рискованно говорите, полковник?

— Я веду машину, радио включено, вас вызвали для головомойки — какой вам смысл доносить? Осуждая личность Адольфа Гитлера, я думаю лишь о величии Германии, ни о чем другом. И потом, знаете ли, лучше получать тысячу марок за то, что держишь язык за зубами, чем сто — за то, что держишь кирку в руках.

— Разумно,— согласился Оберлендер.— Весьма разумно. Для себя — не для дела. Значит, идея вассальных славян исчерпала себя?

— Пока еще трудно говорить. Армия поддерживает Розенберга. Возможно, нам удастся внести в один серьезный документ пару весьма важных абзацев. Мы думаем, что фюрер — на этой стадии — подпишет наш документ; у него нет времени вчитываться в абзацы, поскольку большевики отчаянно дерутся. Абзацы трудно протаскивать в дни мира; война помогает тем, кто рискует...

* * *

...Розенберг отправил во Львов директивы, поручив аппарату партийного гаулейтера ознакомить с ними всех сотрудников министерства восточных территорий; копия была вручена им фюреру, чтобы «отвести всяческие инсинуации по поводу моего так называемого либерализма по отношению к славянам».

Первый документ назывался «Памяткой для молодых работников рейхсминистерства» и гласил следующее:

«1. Не ошибается тот, кто не посвятил себя борьбе.

2. Краткие указания в форме приказа — никаких разъяснений: украинцы хотят видеть в нас авторитетных руководителей.

3. Если у тебя и есть основания возмущаться немцем, твоим коллегой,— не делай этого при украинце. Перед украинцем защити и покрой любую ошибку немца.

4. Решающее: новодобытые территории на Украине принадлежат немцам отныне и навечно. Поэтому следует применять крайне жесткие меры по отношению к местному населению, если этого потребует государственная необходимость.

5. Не терзайся последствиями твоих действий для украинца — думай об интересах Германии.

6. Не вздумайте привлекать украинцев к национал-социализму! Не подпускайте их к нашим задачам!

7. Бедствия и голод украинцы переносили столетиями. Не вздумайте предложить им немецкий стандарт!

8. Никакого сострадания к украинцу! Вы хозяева — отныне и навсегда!»

Следующая директива носила чисто экономический характер, разъясняя, каковы должны быть нормы выдачи продуктов на душу населения.

«Работающий украинец получает по отрывным талонам двести граммов хлеба в день. Ребенок — сто граммов. Работающему — и только ему — в месяц выдаются по карточкам следующие продукты: 60 граммов масла (из расчета 2 грамма в день); 400 граммов муки, 300 граммов крупы, 1,5 килограмма мяса, 250 граммов сахара, 2 коробка спичек, 30 штук папирос».

По поводу промышленных товаров директива гласила следующее:

«Если украинец пожелает купить пальто, костюм или туфли, он обязан написать мотивированное заявление управляющему домом, который должен создать комиссию для обследования заявителя: в какой мере тот нуждается в ботинках или пальто; две пары ботинок или два костюма украинцу иметь запрещено. Заключение об истинном экономическом положении заявителя и о состоянии его обуви и костюма должно быть передано в районную управу, а оттуда — с заключением авторитетного служащего (желательно завизированное немецким руководителем) — пересылается в городскую управу, которая выносит окончательное решение».

Другие предписания исходили уже не от Розенберга, а из различных управлений рейхсминистерства, но все они были завизированы руководителем «украинского отдела» Смаль-Стоцким.

Предписания эти были сугубо конкретными: «...украинцам лекарств не отпускать. Университет не открывать. В театр разрешить вход украинцам только по пятницам и вторникам. В кинотеатры, кроме «Глории», «Метро» и «Коперника», украинцам вход запрещен. Район бывших Красноармейских улиц, где размещены офицеры вермахта и СС, для украинцев закрыт. За нарушение расстрел на месте. Гетто для тех евреев, которые будут обнаружены после а к ц и и, определено в районе Подзамче. За нарушение светомаскировки расстрел. За появление на улицах после 22.00 и до 6.00 расстрел (пропуска и разрешения на перемещения по району получать в дистрикте на улице Чернецкого, в бывшем здании Воеводства). Всех душевнобольных в клиниках уничтожить, как дармоедов. За укрывание украинских, русских коммунистов и евреев расстрел. Для вновь открываемых врачебных кабинетов, принадлежащих собственникам, установить расценки, превышать которые не разрешено: операция по удалению аппендицита не должна стоить больше 750 рублей; удаление гланд — не более 600 рублей; удаление паховой грыжи — не дороже 1500 рублей. Собственникам, открывающим аптеки, запрещено продавать лекарства по ценам выше, чем: порошок от головной боли — 13 рублей, таблетку красного стрептоцида — 25 рублей, кальцекс и аспирин — не дороже 10 рублей за один порошок. Целую упаковку (десять порошков) украинцам продавать запрещено. Разрешить украинцам, проверенным по линии службы безопасности, открыть частные лавки и магазины. Обязать владельцев лавок и магазинов вывесить объявления на немецком и украинском языках. Обязать владельцев лавок и магазинов поместить в красном углу портрет великого фюрера германской нации и новой Европы Адольфа Гитлера».

...Прочитав эти документы, Штирлиц какое-то время сидел оцепенев. Он еще раз посмотрел подпись Смаль-Стоцкого, и брезгливая, дергающаяся гримаса появилась на его лице.

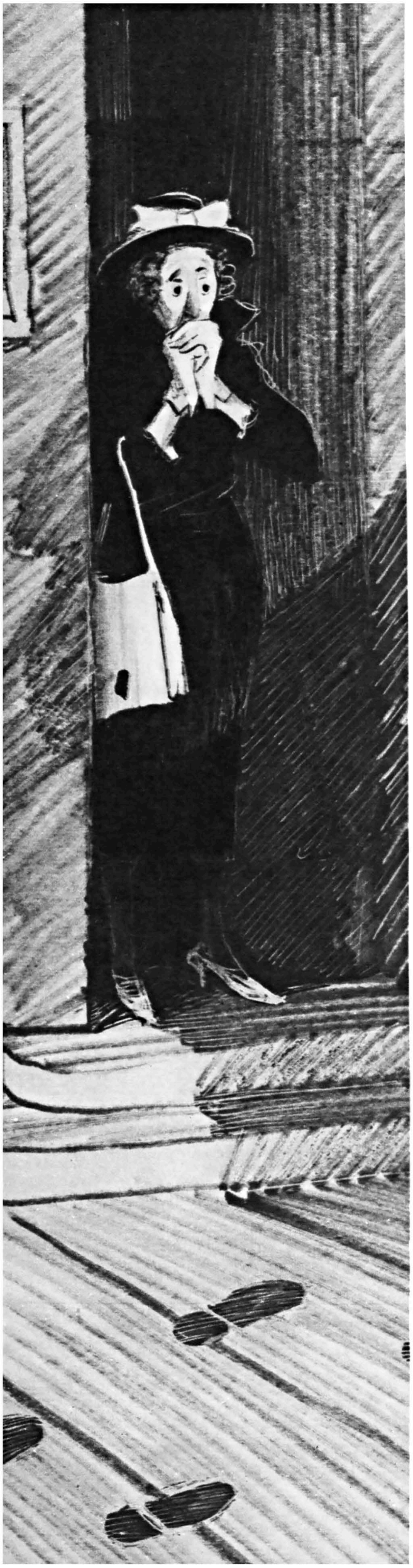
Сделав фотокопии, чтобы передать их новому своему связнику для отправки в Центр, он спрятал документы в сейф и поехал к Дицу. Он ехал по городу, облик которого за несколько дней стал иным. Он видел, как немецкие солдаты срывали таблички с названиями улиц: площадь Рынок стала Кракауэрштрассе, улица Абрагамовичей сделалась Кляйнштрассе, Пидвальна — Ам Грабен. Штирлиц ехал медленно, яростно сжимая руль, и думал о том, что сейчас надо держаться, как никогда раньше, потому что, прочитав документы Розенберга, он еще раз убедился в обреченности гитлеризма — вопрос времени, и только. А уж то, что время — это кровь и гибель тех, кто первым принимает бой со злом, что ж, сие — данность, диалектика, как говорится...

Штирлиц рассуждал сейчас спокойно, впервые за последние дни спокойно. Он рассуждал о том, почему нацисты решили сделать ставку на мелких лавочников. Это только кажется, думал Штирлиц, что собственность делает человека личностью. Нет, собственность делает человека своим рабом, а разве рабы могут быть проводниками нового? Пушкин и Кант были богаче тебя, Геринг, с твоими концернами, и с твоими «народными заводами», и с твоими «народными германскими банками», потому что они были свободны в своей мысли и им было о чем мыслить, а тебе некогда мыслить, потому что тебе надо пить и жрать на приемах в рейхсканцелярии, принимать парады люфтваффе, выслушивать доклады адъютантов, давать санкции на расстрелы, читать победные сводки, а все это подминает тебя, и в душе у тебя нет ничего, потому что ты лишен страсти познавать. Тебя ведь не интересует, есть ли конец вселенной, а если нет, то как это уместить в разуме; тебя не интересует, что такое людская память, как она живет в веках и кто хранит ее, эту память. Глупые наци, вам не понять, что мечты детей — это будущее общества. О чем мечтают дети? Вы думали об этом в своих рейхсканцеляриях? Разве вы помните свои детские мечты? Разве вы умеете узнавать мечты своих детей? Ведь нормальные дети мечтают стать пилотами или дирижерами, хирургами или шоферами, маршалами или актерами, но никто из них не мечтает стать лавочником. Дети хотят иметь гоночный автомобиль, но не таксомоторный парк, куклу, но не фабрику кукол. Лавочник — раб достигнутого. Для него нет иных идеалов, кроме как удержать, сохранить, оставить все, как есть. А это невозможно в наш век — оставить все, как есть. Миру сообщена скорость, новая, особая скорость, и ее нельзя погасить, и мелкий лавочник, раб вещи, ее владелец и собственник, смешон в мире новых скоростей, которые целенаправленны.

Если бы ты, фюрер, служил идее серьезной, реальной, а не химерической, ты бы ставил на иных и на иное. А ты слаб, фюрер, от начала и до конца слаб, хотя кажешься сейчас таким сильным и несокрушимым, и так все орут в твою честь «хайль» и так благоговеют перед тобой. Но ведь важно быть, а не казаться, фюрер. Надейся на лавочника, фюрер, надейся! Я очень прошу тебя, считай его своей опорой. Думай, фюрер, что благополучие нескольких тысяч в многомиллионном море неблагополучия — та реальная сила, которая будет служить тебе опорой. Тысяча не может быть опорой, если дело касается миллионов. И эти миллионы должны узнать, что им приготовил твой Розенберг. И они узнают об этом. Я уж постараюсь, чтоб они узнали об этом.

Штирлиц увидел, как в тюрьму заехали три машины, три к р ы т ы е машины. Штирлиц остановил свой «вандерер» у проходной, показал жетон и вошел в тюремный двор. Трупы, раздетые донага, с двумя огнестрельными ранами: на груди и голове,— лежали возле стены. Деловитые эсэсовцы ходили среди трупов, переворачивали тела и склонялись над лицами. Слышался быстрый перестук металла: эсэсовцы выбивали молотками золотые коронки.

Штирлиц почувствовал дурноту, отвернулся, пошел в умывальню, ополоснул лицо студеной, с голубинкой водой и, деревянно ступая, вышел из тюрьмы. Он долго сидел в машине, не в силах повернуть ключ зажигания. А потом он приказал себе ехать к Мельнику, говорить с Дицем, писать рапорт Шелленбергу — надо работать, чтобы все знать и все помнить. Это очень плохое качество — месть, но если за все это не придет возмездие, тогда мир кончится, и дети будут рождаться четвероногими, и исчезнет музыка, и не станет солнца, и будет вечная, черная, беззвездная ночь. Память хранят люди и выражают ее мщением, когда иначе поступать нельзя, ибо во всем, всегда и для каждого есть предел.



Трубка

Жорж СИМЕНОН

Повесть

Рисунки Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

Глава первая

ДВОЕ С НАБЕРЕЖНОЙ БЕРСИ

Половина восьмого. Мегрэ вздохнул. Он был в кабинете шефа, и вздох его означал усталость и облегчение одновременно: так вздыхают грузные мужчины на исходе жаркого июльского дня. Он привычно вытащил часы из жилетного кармана, взял свои папки с бумагами со стола красного дерева. Обитая кожей дверь закрылась за ним, и он прошел через приемную. Ни души на красных креслах для посетителей, старый курьер за стеклами конторки, длинный коридор префектуры, освещенный лучами заходящего солнца,— все это он видит каждый день.

Он вошел в свой кабинет и сразу же почувствовал устоявшийся запах табака, хотя окна, выходящие на набережную Орфевр, были настежь открыты. Он сложил бумаги, выбил еще теплую трубку о подоконник и сел за стол; рука его машинально потянулась за другой трубкой, которая обычно лежала справа от него. Ее там не оказалось.

Всего у него было три трубки. Одна из них, пенковая, лежала у пепельницы. А самая любимая, та, которой он пользовался охотней всего, большая, чуть изогнутая вересковая трубка, подаренная ему женой десять лет назад ко дню рождения, исчезла.

Удивленный, он пошарил по карманам. Поискал на камине черного мрамора. Говоря по правде, он не очень тревожился. Нет ничего особенного в том, что он сразу не смог найти одну из своих трубок. Он снова оглядел весь кабинет, открыл дверцу стенного шкафа, где находилась эмалированная раковина умывальника. Искал он, как и все мужчины, бестолково: ведь этот шкаф он не открывал после обеда, а около шести часов, когда ему позвонил судья Комельо, во рту у него была та самая трубка.

Он позвонил курьеру.

— Скажите, Эмиль, кто-нибудь входил в мой кабинет, пока я был у шефа?

— Никто не входил, господин комиссар.

Снова проверил карманы пиджака и брюк. Его раздражало это бессмысленное топтание на месте, он вспотел, как и все толстяки в досаде.

Без двадцати восемь. А в восемь он обещал быть у себя дома на бульваре Ришар-Ленуар: сегодня они пригласили свояченицу с мужем. Что он должен купить по дороге? Фрукты. Совершенно верно. Жена посоветовала купить персики.

Вечер был душный, и на улице он продолжал думать о трубке. Это пустяковое, но необъяснимое происшествие, помимо воли, беспокоило его.

Он купил персики. Придя домой, поцеловал свояченицу, которая располнела еще больше. Налил гостям аперитив. Именно сейчас ему особенно захотелось подержать во рту свою любимую трубку.

— Много работы?

— Нет, все спокойно.

Такие времена бывали и раньше. Двое его коллег были в отпуске. Третий позвонил утром и сказал, что два дня не будет на службе: приехали родственники из провинции.

— Ты чем-то озабочен, Мегрэ,— заметила жена за ужином.

Но он не решился признаться, что его беспокоит история с трубкой. Конечно, ничего серьезного не случилось. И все же...

Да, это было в два часа с минутами. Он сидел в своем кабинете. К нему зашел Люкас, доложил о недавнем ограблении, сообщил, что в семье инспектора Жанвье ждут еще одного ребенка. Потом, сняв пиджак и ослабив галстук, Мегрэ спокойно писал рапорт по поводу одного самоубийства, которое приняли было за убийство, и курил свою любимую трубку.

Затем привели Жежена, мелкого сутенера с Монмартра, который пырнул ножом работавшую на него девицу. По его словам, он лишь чуть-чуть «пощекотал» ее. Но Жежен и не подходил к столу. К тому же он был в наручниках.

После обеда Мегрэ не выходил из кабинета, даже не выпил обычную кружку пива в ресторане на площади Дофин.

Позвольте-ка, приходила еще та женщина... Как ее звали? Кажется, Руа или Леруа... Она явилась без вызова.

Эмиль доложил:

— К вам женщина с сыном.

— В чем дело?

— Она ничего не говорит. Требует пропустить ее к шефу.

— Пусть войдет.

Случайно у него выдалось свободное время, иначе бы он ее не принял. Разговору с ней он не придал значения и сейчас с трудом припоминал детали.

Женщина — пожалуй, все-таки мадам Леруа — села прямо против него. С несколько чопорным видом, как свойственно людям, старающимся держаться с достоинством. Ей было около сорока пяти, и она была из тех женщин, которые, старея, как бы высыхают. Мегрэ же предпочитал тех, которые с годами полнеют.

— Я пришла к вам, господин директор...

— Директора сейчас нет. Я комиссар Мегрэ.

Вот и припомнилась деталь. Женщина и глазом не моргнула — вероятно, не читала газет и ничего о нем не слыхала. Она оскорбилась, что ее не смог принять директор сыскной полиции лично.

Юноша, на которого Мегрэ сначала не обратил внимания, напротив, встрепенулся, глаза его заблестели, и он с жадным интересом принялся рассматривать комиссара.

Так. Теперь нужно припомнить, что рассказывала эта женщина. А говорила она так много! И настойчиво, как говорят люди, которые придают значение каждому своему слову и опасаются, что их не примут всерьез. Это особенно свойственно женщинам под пятьдесят...

Впрочем, она не совсем ошибалась. Мегрэ слушал ее рассеянно.

Она вдова. Овдовела несколько лет назад — пять или шесть, Мегрэ забыл. Во всяком случае, уже давно, так как сокрушалась, что ей одной трудно было воспитывать сына.

— Я все для него делала, господин комиссар.

Ну разве можно внимательно выслушивать то, что повторяют все женщины примерно этого же возраста при таких же обстоятельствах, повторяют гордо и смиренно... Еще что-то было связано с ее вдовством. Что именно? Ах, да...

Она сказала:

— Мой муж был кадровым офицером.

А сын ее поправил:

— Унтер-офицером, мама. Он служил интендантом в Венсенне.

— Нет уж, извини... Когда я говорю, что он был офицером, я знаю, что говорю. Если бы он не умер, если бы он не загубил себя, работая за начальников, вовсе того не стоивших, он непременно и своевременно стал бы офицером. Потому что...

Припоминая этот разговор, Мегрэ не забывал о трубке. Напротив, он уже старался припоминать все подробности разговора. Например, он уверен, что слово «Венсенн» как-то было связано с трубкой: он курил ее, когда это слово было произнесено. Впрочем, позже речь о Венсенне уже не заходила.

— А где вы живете?

Где-то за набережной Берси, в Шарантоне. Он мысленно представил себе эту широкую набережную, вдоль которой тянулись склады, а у берега — грузовые баржи.

— У нас маленький двухэтажный домик между кафе на углу улицы и доходным домом.

Юноша сидел в углу кабинета и держал на коленях соломенную шляпу. Да, у него была соломенная шляпа.

— Мой сын не хотел, чтобы я обращалась к вам, господин директор. Простите, господин комиссар. Но я ему сказала: «Ты ничем не провинился, и нет никаких оснований для того, чтобы...»

Какого цвета было ее платье? Черное, с лиловатым отливом. Такие платья носят женщины в годах, претендующие на элегантность. Шляпа довольно сложной конструкции, вероятно, не раз переделанная. Она с удовольствием слушала себя и выражалась высокопарно: «Можете себе представить, что...» или «Общеизвестно, что...»

Мегрэ перед разговором с ней надел пиджак и теперь изнывал от жары, его клонило ко сну. Ну и наказание! Как он жалел, что сразу же не направил ее в комнату инспекторов!

— Возвращаясь домой, я уже не раз замечала, что кто-то побывал там в мое отсутствие.

— Вы живете вдвоем с сыном?

— Да. И сначала я даже подумала, что

это он. Но все это происходило в часы, когда он занят на работе.

Мегрэ взглянул на молодого человека. Тот, казалось, был недоволен разговором. Еще один тип, хорошо ему знакомый. Наверняка лет семнадцать. Худой рыжеватый верзила, на лице прыщи и веснушки.

Скрытный? Возможно. Мамаша чуть позже сама сказала об этом; есть люди, которые любят дурно говорить о своих близких. Во всяком случае, застенчивый. Он сидел, упорно уставившись в ковер. Но когда никто не смотрел на него, бросал быстрые взгляды на Мегрэ.

Парню было явно не по себе. Он, конечно, злился на мать, что она пришла в полицию. Возможно, он немного стыдился матери, ее претенциозности, ее болтливости?

— Чем занимается ваш сын?

— Он парикмахер.

На это юноша заметил с горечью:

— У моего дядюшки парикмахерская, и поэтому мама вбила себе в голову, что...

— Нет ничего постыдного в том, что ты парикмахер. Я хочу только сказать, господин комиссар, он не смог бы улизнуть во время работы. К тому же я сама убедилась в этом.

— Не хотите ли вы сказать, что заподозрили своего сына и следили за ним?

— Именно так, господин комиссар. Но я никого конкретно не подозреваю, я просто знаю, что мужчины способны на все.

— Что же ваш сын мог делать без вас в доме?

— Не знаю.

И, помолчав:

— Может быть, приводил женщин? Три месяца назад я нашла в его кармане записку от девчонки. Ах, если бы его отец...

— А почему вы уверены, что в ваш дом кто-то наведывается?

— Это сразу чувствуется, господин комиссар. Открыв дверь, я сразу могу сказать...

Что ж, не слишком научно, зато вполне убедительно. Мегрэ сам замечал такое.

— Ну, а еще?

— Разные мелкие признаки. Например, дверца платяного шкафа, которую я никогда не запираю на ключ, оказалась запертой. На один поворот ключа.

— В вашем шкафу есть какие-нибудь ценные вещи?

— Я держу там одежду, постельное белье, кое-какие семейные сувениры. Но ничего не пропало. Вы ведь это имеете в виду? И в погребе один из ящиков тоже оказался передвинутым.

— А что в нем было?

— Пустые стеклянные банки.

— Словом, у вас ничего не пропало?

— Не думаю.

— А когда примерно вам стало казаться, что в ваш дом наведываются?

— Примерно три месяца назад. Но мне не кажется, я уверена в этом.

— А сколько раз, по-вашему, проникали в ваш дом?

— Всего раз десять. После первого раза не приходили долго, что-то около трех недель. А может, я не замечала. Потом два раза подряд. Затем опять никого не было недели три или даже больше. И вот уже несколько дней, как визиты следуют один за другим. Позавчера, например, когда была гроза, я обнаружила на полу мокрые следы.

— Мужские или женские?

— Скорее мужские, но я не уверена.

Она говорила еще массу других вещей. Говорила вообще очень много, без всякой на то нужды. Например, в прошлый понедельник, выходной день сына, она повела его в кино. Таким образом, он находился под ее надежным наблюдением. Все послеобеденное время они провели вместе. Вернулись домой тоже вместе.

— И, представьте, приходили.

— И тем не менее ваш сын не хотел, чтобы вы обращались в полицию?

— Именно, господин комиссар. Этого-то я и не могу понять. Ведь он тоже видел следы.

— Вы видели следы, молодой человек?

Он предпочел не отвечать и сидел насупившись. Может быть, это означало, что его мать преувеличивает, что она не совсем в своем уме?

— Вы не заметили, каким путем гость или гости проникали в ваш дом?

— Думаю, что через дверь. Я никогда не оставляю окна открытыми. А чтобы пробраться со двора, надо перелезть через высокую стену и пройти соседними дворами.

— Вы не обнаружили каких-нибудь следов на замке?

— Ни царапинки. Я осмотрела его через увеличительное стекло моего мужа.

— У кого-нибудь есть ключ от вашего дома?

— Нет, ни у кого. Он мог бы быть у моей дочери (молодой человек заерзал на стуле), но она живет в Орлеане с мужем и двумя детьми.

— У вас с ней хорошие отношения?

— Я всегда ей говорила, что ей не следовало выходить замуж за это ничтожество. Кроме того, мы не видимся...

— Вас часто не бывает дома? Вы сказали, что вы вдова. И пенсия, которую вы получаете от военного ведомства, вероятно, недостаточна...

— Я работаю,— сказала она скромно, но с достоинством.— Сначала, то есть сразу же после смерти мужа, у меня были жильцы. Двое. Но мужчины слишком нечистоплотны. Если бы вы видели, в каком состоянии они оставляли свои комнаты!

С этого момента Мегрэ уже не слушал ее, и тем не менее теперь ему отчетливо вспоминались не только ее слова, но даже интонация, с какой они были произнесены.

— Вот уже год, как я служу компаньонкой у мадам Лальман. Это весьма достойная дама, мать врача. Она живет одна у шлюза в Шарантоне, как раз напротив нас, и каждый день после обеда... Мы скорее приятельницы, вы понимаете?

Говоря по правде, Мегрэ это было совершенно безразлично. Возможно, перед ним была одержимая. Это его не интересовало. Но, несомненно, она принадлежала к категории людей, которые вынуждают вас напрасно терять время. И тут вошел шеф, вернее, он заглянул в кабинет и по виду посетителей сразу определил, что дело пустяковое.

— Можно вас на минутку, Мегрэ?

Они вышли в соседнюю комнату и несколько минут говорили о разрешении на арест, только что полученном по телеграфу из Дижона.

— Торранс займется этим делом,— сказал Мегрэ.

В это время во рту у него была трубка, но не любимая, а другая. Любимую он, скорее всего, положил на стол, когда ему немного раньше позвонил судья Комельо.

Он вернулся в кабинет и стал перед окном, сложив руки за спиной.

— В общем, у вас ничего не украли, мадам?

— Думаю, что ничего.

— Следовательно, вы не намереваетесь заявлять о краже?

— Я не могу этого сделать, потому что...

— Вам просто кажется, что последние месяцы и особенно последние дни во время вашего отсутствия кто-то проникает в ваш дом?

— И один раз даже ночью!

— Вы видели кого-нибудь?

— Я слышала.

— Что вы слышали?

— В кухне упала чашка и разбилась. Я тут же спустилась вниз.

— Вы были вооружены?

— Нет. Я не боялась.

— Там никого не было?

— Там уже никого не было. Осколки валялись на полу.

— А кошки у вас нет?

— Ни кошки, ни собаки. Животные разводят такую грязь!..

— Пролезть к вам кошка не могла?

Молодой человек на стуле терзался все больше:

— Мама, ты злоупотребляешь терпением комиссара Мегрэ!

— Итак, мадам, вы не знаете, кто бы мог проникать к вам, и не имеете ни малейшего представления о том, что могли бы искать в вашем доме?

— Понятия не имею. Мы всегда были честными людьми и...

— Если вам нужен мой совет, смените замок. Тогда посмотрим, будут ли продолжаться таинственные визиты.

— А что же полиция?..

Но он уже выпроваживал их. Шеф ждал его в своем кабинете.

— На всякий случай я пришлю к вам завтра одного из моих сотрудников. Установим наблюдение за вашим домом. Но, помимо этого, я, право же, не представляю...

— Когда он придет?

— Вы мне говорили, что по утрам бываете дома.

— Да, разве что выйду в магазин.

— Десять часов вас устроит?.. Значит, завтра в десять часов. До свидания, мадам. До свидания, молодой человек.

Мегрэ нажал кнопку звонка. Вошел Люкас.

— Это ты?.. Завтра к десяти пойдешь по этому адресу. Узнай, в чем там дело.

Он не был убежден, что это нужно. Полицейская префектура, как и редакции газет, притягивает к себе маньяков и помешанных.

И теперь, стоя у окна у себя дома и вспоминая этот разговор, Мегрэ ворчал:

— Негодный мальчишка!

Без сомнения, это он стащил трубку со стола.

— Ты не ложишься?

Мегрэ стал укладываться спать. Настроение у него было хмурое. Постель казалась жаркой, простыни — влажными. Он еще поворчал немного перед тем как заснуть. А утром проснулся не в духе, как это бывает, когда засыпаешь с неприятными мыслями. К тому же небо было затянуто тучами и начинало парить.

До набережной Орфевр он добрался пешком, шел вдоль Сены и раза два машинально пытался найти в кармане свою любимую трубку. Тяжело вздыхая, он поднялся по пыльной лестнице. Эмиль встретил его словами:

— Вас ждут, господин комиссар.

Он заглянул в зал ожидания и увидел мадам Леруа. Сидя на краешке обитого зеленым бархатом стула, она была готова в любое мгновение вскочить. Она его заметила, бросилась к нему. Вид у нее был чрезвычайно возбужденный и встревоженный. Вцепившись в лацканы его пиджака, она воскликнула:

— Ну, что я вам говорила? Они приходили этой ночью! А мой сын исчез! Теперь-то вы мне верите? Ах, я сразу почувствовала, что вы принимаете меня за сумасшедшую. Я не настолько глупа. И вот теперь вы убедились?..

Она судорожно рылась в своей сумке, вытащила носовой платок с голубой каемкой и торжествующе помахала им.

— Вот... Разве это не доказательство? У нас в доме нет платков с голубой каемкой. Тем не менее я нашла его у кухонного стола. И это еще не все!

Мегрэ мрачно оглядел коридор, где царило утреннее оживление, на них стали уже оборачиваться.

— Пройдемте со мной, мадам,— вздохнул он.

Досада какая! Он чувствовал, что это случится. Он толкнул дверь своего кабинета, повесил шляпу на обычное место.

— Садитесь. Слушаю вас. Вы говорите, что ваш сын?..

— Этой ночью мой сын исчез, и сейчас я не знаю, где он и что с ним.

Глава вторая

ДОМАШНИЕ ТУФЛИ ЖОЗЕФА

Было трудно понять, что эта женщина думала о судьбе своего сына. Только что в префектуре, внезапно разрыдавшись, она говорила сквозь слезы: «Я уверена, что они его убили. А вы за все это время ничего не сделали. Уж не воображаете ли вы, будто я не догадалась, что вы обо мне подумали? Вы приняли меня за сумасшедшую. Ну да! А теперь его убили. И я осталась совсем одна, без всякой поддержки». Теперь же, в такси, катившем под пышными кронами деревьев на набережной Берси, лицо ее прояснилось и глаза снова заблестели, она говорила: «У него есть слабость, господин комиссар. Он не может устоять перед женщиной, как и его отец, причинивший мне столько страданий!»

Оказалось, что за пределами Парижа, на территории Шарантона набережная носила то же название — Берси. Но деревьев больше не было. На противоположном берегу Сены виднелись заводские трубы, а здесь тянулись склады, всевозможные здания, построенные еще в то время, когда тут была сельская местность. На углу улицы — ресторан, вывеска ядовито-красного цвета с желтыми буквами, несколько железных столиков, две бочки с чахлыми фикусами.

Мадам Руа — нет, Леруа — засуетилась, постучала по стеклу:

— Это здесь. Прошу простить за беспорядок. Незачем вам говорить, что я и не думала делать уборку.

Она поискала ключ у себя в сумке. Дверь была окрашена в темно-коричневый цвет, а стены — в грязно-серый. Мегрэ тем временем успел осмотреть замок, следов взлома не было.

— Входите, прошу вас. Вы, наверное, захотите осмотреть все комнаты. Вот, пожалуйста, осколки чашки на том же месте, где я их нашла.

Она не лгала, утверждая, что у нее чистота. Нигде ни пылинки. Порядок чувствовался во всем. Но, боже, как все это было убого! Более того, уныло. Узкий коридор, выкрашенный в коричневый и желтый цвет. Коричневые двери. Обои, наклеенные по меньшей мере лет двадцать назад, совершенно потеряли первоначальный цвет.

Женщина говорила без умолку. Возможно, она говорила и тогда, когда оставалась одна, поскольку не могла выносить тишины.

— Меня особенно удивляет то, что я ничего не слышала. А сплю я так чутко, что за ночь несколько раз просыпаюсь. Эту же ночь я спала, как убитая. Может быть, мне...

Он взглянул на нее.

— Вы думаете, вам подсыпали снотворное, чтобы вы крепче спали?

— Нет, этого не может быть! Он не посмел бы этого сделать! И зачем? Скажите, для чего бы это ему понадобилось?

Неужели она готова снова распалиться? То она обвиняет своего сына, то представляет его как жертву. Мегрэ двигался медленно и вяло. И, словно губка, впитывал в себя все, что делалось вокруг. Женщина ходила за ним по пятам, следила за каждым его жестом, взглядом, подозрительно всматривалась в него, стараясь понять, о чем он думал. Люкас также наблюдал за начальником, сбитый с толку этим следствием, которое казалось ему даже не легкомысленной, а просто глупой затеей.

— Направо столовая. Но когда мы одни, а это большей частью так, мы едим на кухне.

Она бы крайне удивилась и даже возмутилась, узнав, что Мегрэ повсюду машинально ищет свою трубку. Он стал подниматься по лестнице, еще более узкой, чем коридор. Лестница вздрагивала, ступени скрипели. Она шла за ним, давая пояснения по дороге.

— Жозеф занимал комнату слева... Бог мой! Я сказала занимал, будто бы...

— Вы ни к чему не притрагивались?

— Ни к чему, клянусь вам. Постель, как видите, раскрыта. Но я готова поручиться, что он не спал на ней. Мой сын спит очень неспокойно. По утрам его простыни бывают смяты, одеяло часто валяется на полу. Случалось, что он громко разговаривал и даже кричал во сне.

Комиссар приоткрыл дверцу платяного шкафа.

— Все его вещи здесь?

— В том-то и дело, что нет. Если бы они были все в комнате, на стуле висели бы костюм и рубашка.

Может быть, юноша, услышав шум ночью, спустился в кухню и там на него напал таинственный гость или гости?

— Вчера вечером вы видели его в постели?

— Я всегда прихожу поцеловать его на ночь. И вчера я пришла как обычно. Он был уже раздет. Его вещи были сложены на стуле. Ну а ключ...

Видимо, у нее мелькнула какая-то мысль. И она снова принялась объяснять:

— Я всегда уходила снизу последней и сама закрывала дверь на ключ. А ключ держала в своей комнате, под подушкой, чтобы...

— Ваш муж часто не ночевал дома?

— Один лишь раз, и то после трех лет нашего брака,— ответила она с благородным возмущением.

— И с тех пор вы стали прятать ключ у себя под подушкой?

Она не ответила, но Мегрэ был уверен: за отцом следили так же строго, как и за сыном.

— Итак, сегодня утром вы нашли ключ на месте?

— Да, господин комиссар. Я сразу об этом как-то не подумала, но потом вспомнила. Видимо, он не собирался убегать, не правда ли?

— Минутку. Значит, ваш сын лег спать. Затем он встал и оделся.

— Смотрите, его галстук валяется на полу. Он не повязал галстук!

— А где его башмаки?

Она живо обернулась в угол комнаты, где стояли две пары сильно поношенных штиблет.

— Башмаки здесь. Он ушел в домашних туфлях!

Мегрэ по-прежнему искал трубку и нигде не находил ее. Впрочем, теперь он уж и сам точно не знал, что ищет. На всякий случай он осмотрел убогую комнату, где жил молодой человек. В шкафу висел синий костюм, его «выходной костюм», который он мог надевать только по воскресеньям, и пара лакированных туфель. Было еще несколько рубашек, все заношенные, не раз чиненные. Начатая пачка сигарет.

— А трубку ваш сын не курил?

— В его возрасте я бы не позволила ему. Недели две назад он пришел домой с маленькой трубкой, какими торгуют на ярмарках. Я у него вырвала ее и бросила в печь. Его отец в свои сорок пять лет не курил трубку!

Мегрэ вздохнул и перешел в комнату мадам Леруа, которая продолжала причитать:

— Вы уж не обессудьте, я не успела убрать свою постель!

Она была назойлива до тошноты.

— Наверху мы спали первые месяцы после смерти мужа, когда у нас были жильцы. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете обо всем этом, ведь на нем не было ни башмаков, ни галстука?..

И Мегрэ раздраженно:

— Я ничего не знаю, мадам!

Уже два часа Люкас тщательно обыскивал дом, осматривал все закоулки, и всюду за ним следовала мадам Леруа, ее голос не умолкал ни на минуту:

— Смотрите — вот этот ящик однажды был выдвинут. Тогда перевернули стопку белья на верхней полке.

За окном палило солнце, его жаркие, густые лучи походили на расплавленный мед. Но в доме было сумрачно, вечные потемки. Мегрэ окончательно стал похож на губку, он уже не в силах был следовать за своими спутниками.

Уезжая из префектуры, он поручил одному из инспекторов позвонить в Орлеан и выяснить, не была ли замужняя дочь мадам Леруа последнее время в Париже...

Но едва ли это могло навести на след.

Можно ли предположить, что Жозеф тайком от матери сделал себе ключ? Но если так и он намеревался сбежать этой ночью, почему же он не надел галстук и тем более ботинки?

Мегрэ точно узнал, со слов мадам Леруа, какими были домашние туфли Жозефа. В целях экономии она сшила их сама из кусков старой материи. А подметку вырезала из войлока.

Все здесь было бедно. И бедность эта была тем более мучительна, тем более невыносима, что в ней не хотели признаваться.

А прежние жильцы? Мадам Леруа рассказывала о них: первым пришел по ее объявлению, выставленному в окне, старый холостяк, служащий фирмы Сустеля, оптового торговца вином, склад которого Мегрэ заметил, проезжая по набережной Берси.

— Вполне приличный человек и воспитанный, господин комиссар, если можно назвать хорошо воспитанным человеком того, кто вытряхивает свою трубку где попало. К тому же у него была мания вставать по ночам, он спускался вниз и подкреплялся

наливкой. Однажды ночью я поднялась и увидела его на лестнице. Он был в нижнем белье. И все же он был человек образованный.

Вторая комната была вначале занята каменщиком, или, как она говорила, подрядчиком, но ее сын обязательно поправил бы это громкое определение. Каменщик ухаживал за ней и хотел во что бы то ни стало на ней жениться.

— Он все время говорил мне о своих сбережениях, о домике в Монлюсоне, куда он хотел увезти меня, когда мы поженимся. Заметьте, что я ни в чем не могла упрекнуть его. Когда он возвращался после работы, я говорила ему:

— Помойте руки, мсье Жермен.

И он шел к крану умываться. Как-то в воскресенье он зацементировал двор и лишь после долгих уговоров принял плату за цемент. Затем каменщик уехал, видимо, разочарованный. Его место занял некий Блюстейн.

— Иностранец. Он хорошо говорил по-французски, но с легким акцентом. Он был коммивояжером и ночевал лишь раз в неделю.

— А у ваших жильцов был ключ?

— Нет, господин комиссар. В то время я всегда бывала дома. А если выходила, прятала ключ за водосточной трубой, и они знали, где его найти. Как-то мсье Блюстейн не появлялся целую неделю, в его комнате я нашла лишь старую зажигалку, сломанную расческу и совершенно рваные простыни.

— Он вас не предупредил?

— Нет. И все-таки это был тоже хорошо воспитанный человек.

Несколько книг лежало возле швейной машинки в углу столовой. Мегрэ небрежно полистал их. Это были дешевые издания. Главным образом приключенческие романы. На полях книг часто попадались монограммы, выведенные то карандашом, то чернилами: «Ж» и «М». Причем «М» почти всегда намного больше, старательнее выписанное, чем «Ж».

— Вы знаете кого-нибудь, чье имя начиналось бы с буквы «М», мадам Леруа? — крикнул он в сторону лестничной клетки.

— С «М»? Нет, что-то не припоминаю. Впрочем, золовку моего мужа звали Марселла, но она умерла от родов в Иссудене.

Был полдень, когда Люкас и Мегрэ наконец вышли на улицу.

— Чего-нибудь выпьем, патрон?

И они зашли в маленькое бистро с красной вывеской на углу улицы. Оба были в скверном настроении. Люкас выглядел особенно мрачным.

— Ну и дыра! — вздохнул он.— Кстати, я обнаружил вот эту записку. Отгадайте, где? В пачке сигарет этого парня. Должно быть, до смерти боялся матери и свои любовные письма прятал в пачках сигарет.

Это действительно была любовная записка.

«Мой дорогой Жозеф, ты меня так расстроил вчера, сказав, что я тебя презираю и никогда не выйду замуж за такого человека, как ты. Ты ведь хорошо знаешь, что я не такая и что я люблю тебя так же, как ты меня. Я верю, что ты непременно станешь кем-нибудь. Но прошу тебя, не жди меня больше так близко от магазина. Тебя заметили, и мадам Роза, которая сама делает то же самое, но шпионит за другими, уже что-то подозревает. Впредь жди меня у метро, но не завтра, потому что за мной зайдет мама и поведет меня к зубному врачу. Прошу тебя, ничего больше не выдумывай. Целую тебя так же нежно, как и люблю.

Матильда».

— Так вот она! — сказал Мегрэ, перебирая записи в своем бумажнике.

— Кто она?

— «Ж» и «М» — такова жизнь. Так «это» начинается. А кончается в маленьком домике, в котором будут царить одиночество и покорность судьбе. Как только я подумаю, что этот негодник слямзил у меня трубку...

— Вы действительно думаете, что у вас ее украли?

Чувствовалось, что Люкас не верил в это, как и во все россказни матушки Леруа. Ему уже претила вся эта история, и он не понимал поведения патрона, который строил бог знает какие догадки.

— Если б он не стянул мою трубку...— начал Мегрэ.

— Ну и что? Что это доказывает?

— Тебе не понять. Я был бы спокойнее. Гарсон, сколько я вам должен?

Они ждали автобуса, глядя на почти пустынную в обеденный час набережную: подъемные краны замерли, протянув неподвижные руки к небу, и баржи, казалось, заснули.

Уже в автобусе Люкас спросил:

— Вы не зайдете домой?

— Я хочу заехать в префектуру.

И вдруг рассмеялся коротким смешком, не выпуская мундштук трубки изо рта.

— Бедняга... Мне вспомнился этот унтер, который, возможно, один раз в жизни изменил жене и остаток своих дней проводил ночь взаперти в собственном доме!

* * *

Пока в полицейских архивах разыскивали всех Блюстейнов, когда-либо имевших дело с правосудием, Мегрэ занимался текущими делами, а Люкас большую часть времени проводил в переулках около площади Республики.

Гроза так и не разразилась. А жара становилась все более невыносимой. Парило. Раз десять по меньшей мере Мегрэ инстинктивно протягивал руку за своей пропавшей трубкой и каждый раз ворчал:

— Проклятый мальчишка...

Дважды он осведомлялся по телефону:

— Нет новостей от Люкаса?

Не так уж сложно было опросить сослуживцев Жозефа Леруа в парикмахерской. И найти таким образом Матильду — ту, что писала ему нежные послания.

Сначала Жозеф стащил трубку Мегрэ. Затем тот же Жозеф, хотя и одетый, но в домашних туфлях — если их можно назвать туфлями,— прошлой ночью исчез.

Мегрэ прервал чтение какого-то протокола, попросил телефонистку соединить его с архивом и спросил с непривычным для него нетерпением в голосе:

— Ну, как дела с Блюстейнами?

— Ищем, господин комиссар, тут их целая куча, настоящих и мнимых... Проверяем даты, место жительства. Во всяком случае, мы пока еще не нашли никого, кто проживал бы в это время на набережной Берси. Как только что-нибудь обнаружим, сразу же сообщим.

Наконец появился Люкас. Он обливался потом. Видимо, перед тем как подняться в префектуру, он проглотил кружку пива в ресторане на площади Дофин.

— Все в порядке, патрон. Но не легко это было, уверяю вас. Наш Жозеф — престранный тип, который неохотно посвящал других в свои секреты. Вообразите, длинный парикмахерский зал. Пятнадцать или двадцать кресел перед зеркалами и столько же мастеров. С утра до вечера там толкучка. Люди входят, уходят. «Подстригите», «вымойте голову», «набриолиньте»...

— Жозеф? — спросил у меня хозяин.— Прежде всего, какой Жозеф? Ах, да. Прыщавый. Ну и что же? Что натворил этот Жозеф?

Я попросил разрешения задать несколько вопросов его служащим. И вот пока я переходил от кресла к креслу, все они шушукались, посмеивались и переглядывались.

— Жозеф? Нет, мы никогда не выходили вместе. Была ли у него девчонка? Возможно... Хотя, с такой рожей...

Снова хихиканье.

— Был ли он откровенен? Чурбан — и тот откровеннее. Молодой человек стыдился своей профессии и не снисходил до нас — всякой шушеры.

— Видите, патрон, в каком тоне они со мной разговаривали. К тому же приходилось ждать, пока каждый отпустит клиента. Хозяин уже начал ворчать, считая меня слишком назойливым. Наконец, я добрался до кассы. Кассирша — женщина лет тридцати, вся в завитушках, спросила меня игриво и даже мечтательно:

— Жозеф наделал глупостей?

— Да нет же, мадемуазель, напротив. Не знаете, были ли у него знакомые девушки где-нибудь?..

— Нельзя ли покороче? — проворчал Мегрэ.

— Хорошо,— ответил Люкас.— Если вы хотите повидать малышку, сейчас самое время туда отправиться. Словом, через эту кассиршу Жозеф получал записки от Матильды, когда она не могла прийти на свидание. Записка, которую я нашел в сигаретах, вероятней всего, была написана позавчера. Обычно мальчишка-рассыльный вбегал в парикмахерскую, совал записку кассирше и шептал: «Для мсье Жозефа». К счастью, кассирша видела, как этот рассыльный входил в галантерейный магазин на углу бульвара Бонн-Нувель. Вот так я и нашел наконец Матильду.

— Ты ей что-нибудь сказал?

— Она даже не подозревает, что я ею занимаюсь. Я просто спросил у хозяина магазина, есть ли у него служащая по имени Матильда. Он показал мне ее за прилавком и хотел позвать ее. Я же попросил его ничего никому не говорить... Сейчас половина шестого. Через полчаса магазины закрываются.

(Окончание следует.)

Жорж СИМЕНОН

Повесть

Рисунки Ю. ЧЕРЕПАНОВА

Трубка

— Простите, мадемуазель.

— Нет, мсье.

— Одно лишь слово...

— Послушайте, оставьте меня в покое...

Миловидная девочка, довольно красивая, она приняла Мегрэ за... Ну, что ж, ничего не поделаешь.

— Полиция.

— Что вам от меня нужно?

— Хочу кое-что сказать вам... О вашем приятеле.

— О Жозефе? А что он такое сделал?

— Этого я не знаю, мадемуазель. Я был бы рад узнать, где он сейчас находится.

И тут он спохватился: черт возьми, оплошал... Опростоволосился, как новичок. Он ведь заметил, как беспокойно она оглядывалась. Зачем нужно было заводить с ней разговор? Проще было проследить за ней. Ведь у них свидание возле метро, и она ждет его.

— Я думаю, он на работе, как обычно.

— Нет, мадемуазель. И, вероятно, вы знаете это лучше, чем я.

— Что вы хотите этим сказать?

На Больших Бульварах был час «пик». Толпы людей направлялись к метро.

— Постоим здесь минутку,— сказал он, задерживая ее у входа.

Она заметно волновалась, вертела головой во все стороны. Это была славная восемнадцатилетняя девушка с круглой мордашкой и апломбом маленькой парижанки.

— Кто вам сказал обо мне?

— Это не имеет значения. Что вы знаете о Жозефе?

— Что вам от него нужно, хотела бы я знать?

Комиссар тоже разглядывал толпу, говоря себе, что Жозеф, увидев его с Матильдой, тут же скроется.

— Не говорил ли ваш дружок о предстоящих изменениях в его жизни? Ага, я вижу, что вы сейчас солжете.

— А зачем мне лгать? — Она закусила губку.

— Ну вот, вы задаете мне вопрос, чтобы выиграть время и придумать какую-нибудь небылицу.

Она топнула каблучком.

— А кто мне докажет, что вы действительно из полиции?

Он показал ей удостоверение.

— Признайтесь: Жозеф страдал от своей незначительности?

— Ну и что же?

— А то, что это очень мучило его, даже слишком.

— Наверно, он не хотел быть парикмахером. Разве это — преступление?

— Вы знаете, что я имею в виду другое. Ему был отвратителен дом, где он жил, и весь этот образ жизни. Он даже стыдился своей матери, не так ли?

— Мне он этого никогда не говорил.

— Но вы это чувствовали? Так вот: последнее время он, наверно, говорил вам о скорой перемене в его жизни?

— Нет, не говорил.

— Сколько времени вы знаете друг друга?

— Немного больше полугода. Мы познакомились зимой. Он пришел в магазин купить бумажник. Я поняла, что они слишком дороги для него. Но он не решился сказать мне об этом и все-таки купил бумажник. Вечером я заметила его перед входом в магазин. Он несколько дней ходил следом за мной, но не решался заговорить.

— Вы где-нибудь бывали вместе?

— Чаще всего мы встречались лишь на несколько минут после работы. Иногда он провожал меня до станции метро Шампионнэ, я там живу. Иногда, по воскресеньям, мы ходили в кино. Но это было редко, потому что мои родители...

— Вы никогда не бывали у него дома в отсутствие матери?

— Никогда. Клянусь вам. Однажды он показал мне свой дом издалека, чтобы объяснить мне...

— Что он очень несчастлив?.. Вот видите!

— Он сделал что-нибудь дурное?

— Да нет же, моя крошка. Он просто исчез. Надо его найти. Я рассчитываю на вашу помощь, хотя, признаться, не слишком. Бесполезно спрашивать у вас, снимал ли он где-нибудь комнату.

— Сразу видно, что вы его не знаете. У него никогда не было денег. Весь заработок он отдавал матери, а того, что она ему оставляла, едва хватало на сигареты.— Она покраснела.

— Когда мы ходили в кино, каждый из нас платил за свой билет. И однажды...

— Продолжайте...

— Боже мой, а почему бы и нет... В этом нет ничего плохого. Месяц назад мы поехали вместе за город, и у него не хватило денег расплатиться за обед.

— Куда вы ездили?

— На Марну. Мы сошли с поезда в Шелле и погуляли между Марной и каналом.

— Благодарю вас, мадемуазель.

Огорчена ли она или довольна тем, что Жозеф так и не появился в толпе? Несомненно, и то и другое.

— Почему его ищет полиция?

— Потому что к нам обратилась его мать. Не беспокойтесь, мадемуазель. И если узнаете что-нибудь о нем раньше нас, сообщите немедленно.

Обернувшись, он увидел, как она нерешительно спускается по лестнице в метро.

В кабинете на набережной Орфевр его ждало донесение.

«Некий Блюстейн Стефан, 35 лет, был убит 15 февраля в Ницце в отеле «Нетреско», где он остановился за несколько дней до этого. У Блюстейна бывало много посетителей, часто поздно ночью. Он был убит выстрелом из пистолета шестимиллиметрового калибра; оружие так и не было найдено. Проведенное следствие не установило виновного. Убийца обшарил все вещи, и наутро в комнате царил неописуемый беспорядок.

Личность самого Блюстейна весьма таинственна, попытки установить, откуда он появился, ни к чему не привели. Выяснилось лишь, что в Ниццу он приехал скорым поездом из Парижа. Уголовная полиция Ниццы, несомненно, располагает более полными сведениями».

Дата убийства соответствовала исчезновению Блюстейна с набережной Берси. Мегрэ в который раз, привычно потянувшись за пропавшей трубкой, ворчал:

— Безмозглый мальчишка!..

Глава третья

ПО СЛЕДУ

Такси выехало за пределы Парижа и мчалось по шоссе, вне района действий столичной сыскной полиции. Зачем его снова понесло сюда? Ему даже не возместят проезд в такси. И все это из-за трубки!..

Гроза разразилась как раз в тот момент, когда он вышел из машины у дома на набережной Берси. Он позвонил и застал мадам Леруа на кухне за обедом, который состоял из хлеба, масла и копченой селедки. Несмотря на переживания, селедку она попыталась спрятать.

— Вы узнаете этого человека?

И она с удивлением, но не колеблясь, ответила:

— Это мой бывший жилец, мсье Блюстейн. Странно, на фото он одет, как...

— Да, как светский человек. В то время как на набережной Берси у него был вид бедняка.

— Что это значит, господин комиссар? Где этот человек? Что он сделал?

— Он убит. Скажите-ка, я вижу...

Он окинул взглядом комнату: шкафы и ящики были раскрыты.

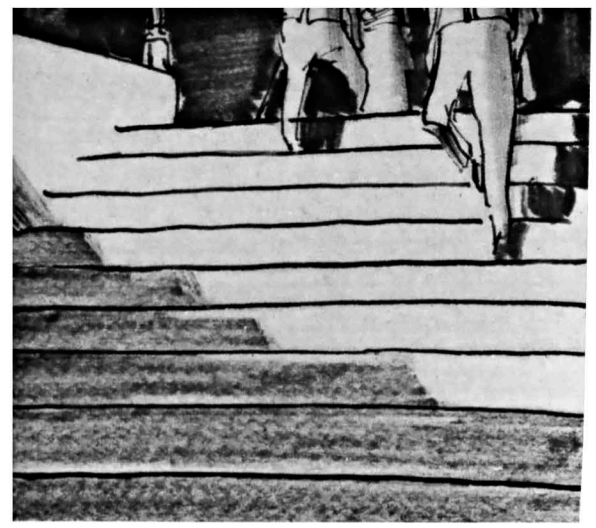
— ...что нам с вами пришла одна и та же мысль.

Она покраснела и уже готовилась огрызнуться, но комиссар в этот день не проявлял терпения.

— Вы пересмотрели все вещи в доме. Не отрицайте. Вы хотели узнать, не прихватил ли чего с собой ваш сын, не так ли? И каковы результаты?

— Никаких, клянусь вам. Все на месте. Что вы на это скажете? Но куда же вы?

Окончание. См. «Огонек» № 5.



Мегрэ

Он уже был за дверью. Сел в такси. Опять потеряно время. И опять глупо. Недавно он разговаривал с девчонкой на бульваре Бонн-Нувель и даже не подумал спросить ее адрес. А теперь она была ему очень нужна. К счастью, ее хозяин живет в том же доме, где находится его магазин. Снова такси. Крупные капли стучат по крыше. Прохожие прячутся под зонтиками. Машина то и дело задерживается у светофоров.

— Улица Шампионнэ, 67.

Он ворвался в маленькую комнату, где четверо — отец, мать, дочь и двенадцатилетний сын — ели суп за круглым столом. Матильда испуганно вскочила.

— Прошу прощения, господа. Мне нужна ваша дочь, чтобы установить личность покупателя, которого она видела в магазине. Будьте любезны, мадемуазель, следуйте за мной.

— Куда мы едем?

— В Шелл.

— Вы думаете, он там?

— Я ровным счетом ничего не знаю, мадемуазель. Шофер, остановитесь сначала на набережной Орфевр.

Здесь он посадил в такси поджидавшего его Люкаса. Сам же сел сзади вместе с Матильдой, которая испуганно жалась к нему. Прямо перед его глазами маячил огонек сигареты Люкаса.

— Вы хорошо помните Шелл, мадемуазель?

— О да!

Черт побери, разве и для Жозефа это место не самое дорогое напоминание об их любви? Один лишь раз они улизнули из Парижа, бежали вместе по высокой траве, по берегу реки...

— Вы уверены, что в темноте сможете указать нам дорогу?

— Думаю, смогу. Если только такси поедет мимо вокзала: ведь в Шелл мы приезжали на поезде.

— Вы мне говорили, что обедали там в таверне?

— Да, в таверне. Запущенной, грязной и такой мрачной, что нам даже стало жутко. Мы шли к ней по берегу Марны. И дорога иногда превращалась в тропинку. Слева мы видели заброшенную печь для обжигания извести. Затем, в полукилометре оттуда, двухэтажный домик. Мы даже удивились, когда его там обнаружили... Мы вошли. Справа — обитая цинком стойка. Беленые стены. И всего два железных стола и несколько стульев. Этот тип...

— Хозяин?

— Да. Маленький такой, черноволосый. Он был похож скорее... Я не знаю, как вам объяснить. Может, нам просто показалось... Мы спросили, можно ли здесь перекусить. И он подал нам сосиски, макароны, а затем подогрел кролика. Все было очень вкусно. Хозяин болтал с нами, рассказывал о рыболовах, которые составляли его клиентуру. Да, в углу там стояла целая куча удочек.

— Это здесь? — спросил Мегрэ, видя, что шофер остановился.

Здание станции, несколько огней в ночи...

— Направо,— сказала девушка,— а потом второй поворот, тоже направо. Там мы спросили дорогу. Но почему вы решили, что Жозеф здесь?

Просто так! Вернее, из-за трубки. Но в этом он не решился бы признаться.

— А теперь прямо,— сказала Матильда.— Дальше на реке есть мост, но по нему ехать не надо, повернете налево. Осторожно, дорога узкая!..

— Признайтесь, милая, что ваш Жозеф последнее время говорил вам о возможных и даже весьма вероятных изменениях в его жизни.

— Он очень честолюбив.

— Я говорю не о далеком будущем, а о том, что должно было произойти со дня на день.

— Он не хотел быть парикмахером.

— И он надеялся, что у него появятся деньги. Не так ли?

Как она мучается, бедняжка! Она так боится предать своего Жозефа!

Машина медленно ехала по берегу Марны. Слева виднелись низкие домишки бедняков и изредка — более комфортабельные виллы. То тут, то там мелькал свет, иногда лаяла собака. Примерно в километре от моста дорога стала ухабистой, такси остановилось, и шофер сказал:

— Дальше я проехать не смогу.

Дождь лил как из ведра. Они промокли до нитки, едва вышли из машины. Все было мокро: земля, скользящая под ногами, и кусты, цепляющиеся за одежду. Чуть дальше им пришлось идти цепочкой; шофер ворча забрался обратно в машину и, несомненно, готовился предъявить солидный счет.

— Странно. Я думала, что это ближе. Вы еще не видите дома?

Марна была совсем рядом. Шагая по лужам, они поднимали тучи брызг. Мегрэ шел впереди, раздвигая кусты. Матильда сразу вслед за ним. И Люкас замыкал шествие с невозмутимостью овчарки. Девушке становилось страшно.

— Я ведь узнала мост и печь. Мы не могли ошибиться.

— Сегодня,— проворчал Мегрэ,— время тянется медленнее, чем тогда, когда вы были здесь с Жозефом, и этому есть немало причин. Смотрите, вот и огонь слева.

— Так и есть. Это там.

— Тссс. Постарайтесь не шуметь.

— Вы предполагаете...

Мегрэ неожиданно резко прервал ее:

— Я ничего не предполагаю! Я никогда ничего не предполагаю, мадемуазель!

Когда они подошли поближе к дому, он тихо сказал Люкасу:

— Жди здесь с девчонкой. И не трогайся с места, пока не позову. Посмотрите-ка, Матильда, отсюда виден фасад. Узнаете его?

— Да. Могу поклясться.

Тут же широкая спина Мегрэ заслонила от нее свет окна. И девушка в промокшем платье, ночью, под дождем осталась на берегу реки наедине с незнакомым мужчиной, который невозмутимо курил сигарету за сигаретой.

Глава четвертая

МЕСТО ВСТРЕЧИ РЫБАКОВ

Матильда не преувеличивала, говоря, что место это тревожное, более того, зловещее. Нечто вроде заброшенного тоннеля чернело около дома с грязными окнами. Дверь была открыта, потому что начавшаяся гроза лишь чуть освежила воздух.

Желтоватый свет падал на давно не метенный пол. Мегрэ внезапно возник из темноты и в проеме двери казался выше ростом. Коснувшись пальцами края шляпы, он пробормотал, не вынимая изо рта трубки:

— Добрый вечер, господа.

За железным столом, на котором стояли бутылки молодого вина и два граненых стакана, сидели двое мужчин. Один из них, чернявый, без пиджака, неторопливо поднял голову, чуть удивленно взглянул и встал, подтягивая штаны.

— Добрый вечер...

Другой повернулся спиной к вошедшему. Наверняка не Жозеф Леруа. Человек был крепкого телосложения и одет в светло-серый костюм. Странно, однако: несмотря на то, что позднее вторжение было неожиданным, он даже не вздрогнул. Более того, он словно сжался, чтобы не вздрогнуть. Стенные часы с фаянсовым циферблатом показывали десять минут первого, но было позднее. Что-то неестественное было в том, что этот человек не полюбопытствовал узнать, кто вошел.

Мегрэ подошел к стойке. Вода стекала с него ручьями, на грязном полу появились темные лужи.

— Нет ли у вас свободной комнаты?

Хозяин, явно стараясь выиграть время, медленно прошел за стойку, на которой стояло лишь несколько бутылок с неизвестным содержимым, и спросил, в свою очередь:

— Я вам налью чего-нибудь?

— Пожалуй. Я спрашиваю: есть ли у вас комната?

— Очень сожалею. Но... Вы пешком?

Наступила очередь Мегрэ не отвечать на вопрос.

— Стакан вина.

— Мне показалось, что подъехал автомобиль.

— Весьма возможно. Так есть у вас комната или нет?

Все это время Мегрэ смотрел на спину в нескольких метрах от него, такую неподвижную, словно вырезанную из камня. Здесь не было электричества. Комнату освещала тусклая керосиновая лампа.

Если бы этот человек обернулся... Если бы его неподвижность не была столь упорной и нарочитой...

Это беспокоило Мегрэ. Он быстро прикинул: если принять во внимание размеры кафе и кухни, то на втором этаже должны быть по крайней мере три комнаты. По виду хозяина, по беспорядку и запущенности, которые царили здесь, он мог бы поклясться, что в доме нет женщины. Ему показалось, что он слышит над головой шаги. Вероятно, это имело определенное значение, поскольку хозяин поднял голову с явным неудовольствием.

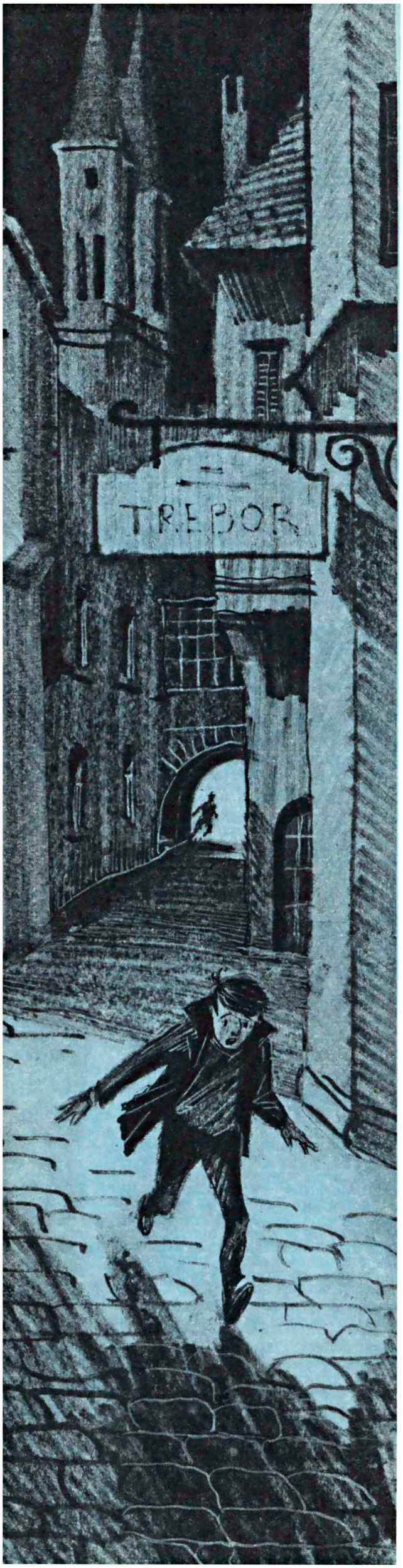
— А сейчас у вас много постояльцев?

— Никого. Разве что...

Он кивнул на человека, вернее, на его неподвижную спину. И тут Мегрэ интуитивно почувствовал серьезную опасность. Он понял, что надо действовать очень быстро и безошибочно. Он еще успел заметить, что рука человека оторвалась от стола и приближается к лампе. Мегрэ прыгнул вперед. Но было уже поздно. Лампа с шумом грохнулась об пол, зазвенели осколки, и запах керосина наполнил комнату.

— Я был уверен, что знаю тебя, негодяй!

Мегрэ удалось схватить человека за пиджак. Он вцепился крепче, но противник ударил его, пытаясь вырваться. Они боролись в полной темноте. Мегрэ не остался в долгу и бил кулаком вслепую. А как поведет себя хозяин? Поможет ли клиенту? Вдруг он почувствовал, что кто-то впился



зубами в его руку. Всей тяжестью своего тела он рухнул на противника, и они вдвоем покатились по полу, по осколкам стекла.

— Люкас! — что есть силы крикнул Мегрэ.— Люкас!

Противник был вооружен. Мегрэ прощупал тяжелый пистолет в кармане его пиджака и старался помешать руке дотянуться до кармана.

Нет, хозяин не подавал признаков жизни. Возможно, он невозмутимо ждал за своей стойкой.

— Люкас!..

— Я здесь, патрон!

Люкас бежал к дому, хлюпая по лужам и повторяя:

— Стойте на месте. Слышите? Я вам запрещаю следовать за мной!

Это относилось, конечно, к Матильде, которая, вероятно, обезумела от страха.

— Если укусишь еще раз, я раскрою тебе череп, скотина! Понял?

Мегрэ локтем придавил руку, тянущуюся за револьвером. Противник был силен так же, как и он. Возможно, комиссар допустил ошибку, схватившись с ним один на один в темноте. Они зацепили стол, и он опрокинулся на них.

— Сюда, Люкас! Посвети фонарем.

— Сейчас, патрон.

Внезапно бледный луч фонарика выхватил из темноты переплетенные тела.

— Черт возьми! Николя! Вот так встреча...

— А вы думаете, я вас не узнал? Сразу, по голосу...

— Ну-ка, Люкас, помоги. Это опасный зверь. Стукни-ка его, как следует, чтоб успокоился. Бей, не бойся! Он выдержит.

Люкас размахнулся и крепко стукнул лежащего по голове резиновой дубинкой.

— Где наручники? Давай сюда! Если б я знал, что встречу эту скотину здесь!.. Так. Теперь все в порядке. Можешь встать, Николя! Напрасно притворяешься, что ты без сознания. Твой лоб выдерживал и не такое... Хозяин!

Ему пришлось позвать вторично. И очень странно было услышать невозмутимый голос из темноты:

— Слушаю вас, господа!

— Есть у вас еще лампа или, может быть, свеча?

— Сейчас принесу свечу. Посветите мне в кухне.

Мегрэ обернул платком руку, которую прокусил бандит. Кто-то плакал у двери. Это была Матильда, которая не знала, что происходит, и, возможно, думала, что комиссар боролся с Жозефом...

— Входите, малютка. Не бойтесь. Я думаю, что сейчас все закончится. А ты, Николя, сядь здесь и не вздумай шевелиться!

Оба револьвера — свой и бандита — он положил перед собой на столе. Вернулся хозяин со свечой. Вид у него был такой спокойный, словно бы ничего и не произошло.

— А теперь,— сказал ему Мегрэ,— приведите-ка мне парнишку.

Небольшое замешательство. Неужели он станет отрицать?..

— Кому я сказал — приведите мальчишку? Живо!

Хозяин направился к двери.

— Трубка-то хотя бы у него?

* * *

Заливаясь слезами, девушка повторяла:

— Вы уверены, что он здесь и что с ним ничего не случилось?

Мегрэ не отвечал. Он прислушивался к тому, что происходило наверху. Хозяин постучал в дверь. Потом заговорил вполголоса. Затем все настойчивей. Можно было уже различить обрывки фраз:

— Это господа из Парижа. С ними девушка. Вы можете открыть. Клянусь вам, что...

Матильда говорила, всхлипывая:

— А вдруг они убили его?..

Мегрэ пожал плечами и тоже направился к лестнице.

— Смотри в оба, Люкас. Ты ведь узнал нашего старого приятеля Николя? А я-то думал, что он еще в тюрьме Фрэн!

Он медленно поднялся по лестнице, отстранил хозяина от двери.

— Это я, Жозеф, комиссар Мегрэ. Ты можешь открыть, мой мальчик.

И хозяину:

— Чего вы ждете? Ну-ка, спускайтесь. И налейте чего-нибудь девушке. Грога, что ли, пусть успокоится. Ну, Жозеф! Живее!

Наконец ключ повернулся. Мегрэ толкнул дверь.

— Почему здесь нет света?

— Подождите. Я сейчас зажгу. Тут остался еще огрызок свечи.

Руки Жозефа дрожали. И лицо его, освещенное пламенем свечи, было перекошено от страха.

— Он все еще внизу? — пролепетал он. И затем бессвязно: — Как вы меня нашли? Что они вам сказали? Кто эта девушка?

Деревенская комната. Очень высокая, разобранная кровать, комод, которым Жозеф пытался забаррикадировать дверь.

— Ну-с, куда вы запрятали вашу добычу? — спросил Мегрэ с самым невозмутимым видом. Жозеф обалдело посмотрел на него и понял: комиссар знает все. Иначе он не выглядел бы, как сам господь бог, когда вошел в эту комнату.

Торопливо порывшись в карманах брюк, юноша вытащил маленький пакетик, обернутый в газету. Волосы у него были нечесаны, одежда смята. Комиссар машинально взглянул на его ноги. Он был обут в нелепые домашние туфли.

— А моя трубка?

На этот раз Жозеф готов был расплакаться, и губы его сложились в плаксивую детскую гримасу. Мегрэ даже показалось, что он сейчас упадет на колени и попросит прощения.

— Успокойтесь, молодой человек,— посоветовал он ему.— Внизу люди.

И он с улыбкой взял трубку, которую парень протянул ему дрожащей рукой.

— Тссс. Матильда поднимается по лестнице. Она не может дождаться, когда мы спустимся. Ну-ка, причешитесь.

Он поднял графин, чтоб налить в умывальник воды, но графин был пуст.

— Нет воды? — удивился комиссар.

— Я ее выпил.

Ну да, конечно! Как он об этом не подумал? Это бледное, вытянувшееся лицо, провалившиеся глаза...

— Вы давно не ели? — И, не оборачиваясь к Матильде, присутствие которой он ощущал в темноте коридора, сказал: — Входите, моя милая! Поверьте мне, ничего не случилось. Он вас очень любит. Иначе и быть не могло, но прежде всего, думаю, ему нужно поесть.

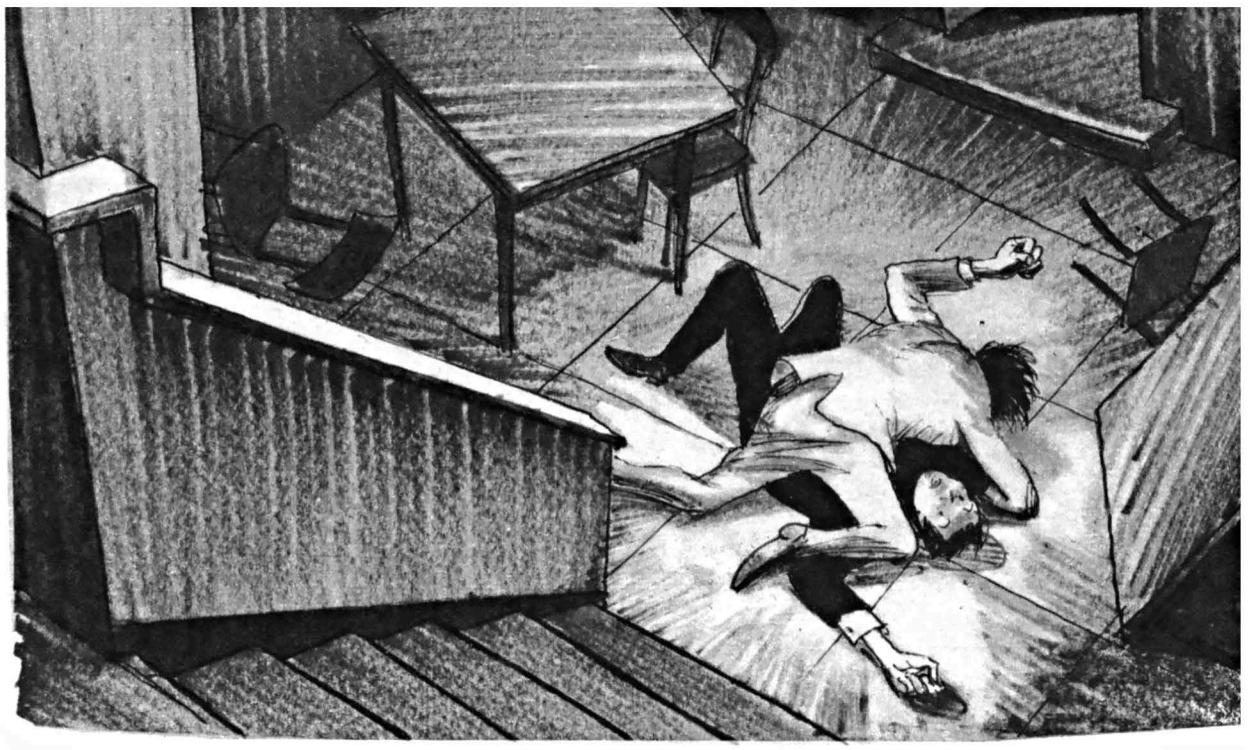
Глава пятая

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЖОЗЕФА

Теперь было приятно слушать, как хлещет дождь по листьям, и вдыхать через широкую открытую дверь влажную ночную прохладу. Несмотря на голод, Жозеф едва мог проглотить бутерброд с паштетом, который приготовил ему хозяин: так он был потрясен; его кадык судорожно поднимался и опускался. Что же касается Мегрэ, то он пил уже второй или третий стакан вина и с наслаждением тянул свою любимую трубку.

— Видите ли, молодой человек, я говорю это отнюдь не для того, чтоб поощрять мелкое воровство, но если б вы не стащили мою трубку, я уверен — рано или поздно ваш труп обнаружили бы в камышах Марны... Трубка Мегрэ, а?

И, честное слово, Мегрэ произносил эти слова с удовлетворением: вся эта история льстила его самолюбию. У него взяли труб-



ку, как берут незаметно на память карандаш у великого писателя, кисть у великого художника, носовой платок или какую-нибудь другую мелочь у кинозвезды.

Это комиссар понял с самого начала. Молодой человек, страдающий комплексом неполноценности, стащил его трубку. И этот же молодой человек на следующую ночь исчез. А до этого молодой человек пытался уговорить свою мать не обращаться в полицию. Что это значит? А то, что он сам хотел провести следствие, черт побери! Потому что он чувствовал себя в силах сделать это! Потому что с трубкой Мегрэ во рту он был уверен...

— Когда вы поняли, что таинственные посетители ищут в вашем доме бриллианты?

Жозеф хотел было из тщеславия солгать. Но, взглянув на Матильду, передумал.

— Я не знал, бриллианты ли это. Но несомненно одно: искали что-то маленькое, ведь рылись даже в коробках из-под лекарств.

— А что ты на это скажешь, Николя? А, Николя?

Тот сидел на стуле в углу, наручники сжимали его запястья, и он тупо глядел прямо перед собой.

— Когда ты убил Блюстейна в Ницце...

Николя не отозвался, ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Слушай, что я тебе говорю! Ты ведь прикончил Блюстейна в «Негреско» потому, что понял, что он тебя обманывал?.. Значит, ты не хочешь говорить? Ну, ладно, заговоришь потом. Что сказал тебе Блюстейн? Что спрятал бриллианты в доме на набережной Берси! Отлично. Ты стал сомневаться, сумеешь ли их найти, ведь эти маленькие штучки очень легко спрятать. Вероятно, он указал тебе ложный тайник?.. Ну, ладно. Я не спрашиваю тебя, откуда бриллианты. Мы узнаем это завтра, когда их осмотрят эксперты. Тебе не повезло на этот раз. Тебя сцапали за старое дело. Что ты там натворил? Кажется, ограбление на бульваре Сен-Мартен? Ну как же! Ювелирный магазин! Ведь если специализируешься на чем-то... Не так ли? Ты получил три года. И вот уже три месяца, как, выйдя из тюрьмы, ты бродишь вокруг этого дома. У тебя был ключ, который Блюстейн сделал для себя. Ну? Будешь говорить? Что ж, как хочешь.

Молодые люди с удивлением смотрели на Мегрэ и не могли понять его шутливого тона; они ведь не знали о всех треволнениях, которые он пережил за последние часы.

— Видишь ли, Жозеф... Смотри-ка, я обращаюсь к тебе уже на «ты». Все это было просто. Какой-то незнакомец проникает в дом, где уже три года не было жильцов. Я тотчас же подумал, что это какой-нибудь тип, отбывший заключение. Ведь не мог же таинственный посетитель, скажем, проболеть три года после исчезновения Блюстейна. Мне надо было бы проверить списки освобожденных из тюрьмы, и я тотчас бы наткнулся на нашего приятеля Николя. У тебя нет огонька, Люкас? Мои спички размокли... А теперь, Жозеф, расскажи нам, что произошло этой ночью.

— Я был уверен, что у нас спрятано что-то очень ценное. Возможно, целое состояние. И я решил отыскать...

— А так как твоя мамаша поведала мне об этом деле, ты решил во что бы то ни стало найти клад этой ночью.

Жозеф опустил голову.

— И чтобы тебе не помешали, ты подсыпал бог знает чего в стакан мамаши?

Он не отрицал. Только у него еще быстрее задвигался кадык.

— Мне так хотелось жить по-другому,— пролепетал он еле слышно.

— Ты спустился вниз в домашних туфлях? А почему ты был уверен, что найдешь ценности именно этой ночью?

— Потому что, кроме столовой, я обыскал уже весь дом, разделив все комнаты на секторы. И убедился, что тайник может быть только в столовой.

Несмотря на усталость и унизительность положения, в глазах его блеснула гордость.

— И я нашел.

— Где?

— Может, вы заметили в столовой старую газовую проводку с горелками и фальшивыми свечами из фарфора? Уж не знаю, как мне пришла в голову мысль отвинтить свечи. В них-то я и нашел какие-то завернутые в кусочек бумаги твердые предметы.

— Минутку! Отправляясь на поиски, ты уже знал, что будешь делать в случае удачи?

— Не знал.

— Ты не собирался бежать?

— Нет. Клянусь вам.

— Ты хотел перепрятать клад в другое место?

— Да.

— У себя в доме?

— Нет. Я ведь знал, что вы все у нас перевернете вверх дном и наверняка найдете. Я бы спрятал клад в парикмахерской. Ну, а потом...

Николя криво усмехнулся. Хозяин, облокотившись о стойку, не двигался. Его рубашка белела в полутьме.

— Итак, когда ты открыл тайну газовых горелок...

— Как раз в тот момент, когда я завинчивал последнюю свечу, мне показалось, что рядом кто-то стоит. Сначала я подумал, что это мама, и погасил электрический фонарик. Но это был мужчина, он шел прямо на меня. Тогда я бросился к двери и выскочил на улицу. Дверь с грохотом захлопнулась. Я был без ботинок, без галстука и без шапки. Я слышал за собой погоню и бежал что было сил.

— Нелегко тебе угнаться за этим быстроногим зайцем, а, Николя? — насмешливо сказал Мегрэ.

— У площади Бастилии я заметил полицейский патруль и зашагал вслед за ним, потому что был уверен, что этот человек не нападет на меня при них. Так мы дошли до Восточного вокзала. И тут у меня мелькнула мысль...

— Удрать в Шелл? Приятные воспоминания, не так ли? Ну, а потом?

— До пяти утра я проторчал в зале ожидания, где было много народу... А пока были люди...

— Ясно.

— Но я не знал, кто меня преследует, и разглядывал всех вокруг. Когда открыли кассу, я протиснулся между двумя женщинами и тихо спросил билет. В это время сразу отходило несколько составов. Я переходил из поезда в поезд, перебирался через пути на другие перроны...

— Этот парень доставил тебе хлопот еще больше, чем мне, а, Николя?

— Он ведь не знал, до какой станции я взял билет. В Шелле я подождал, пока поезд тронется, и спрыгнул.

— Что ж, неплохо. Совсем неплохо!

— Я поскорее выбежал из вокзала. На улице никого не было. Я снова побежал, и никто меня не преследовал. Я очутился здесь и сразу попросил комнату, у меня уже не было сил. Мне хотелось быстрее освободиться от...

Рассказывая, он весь дрожал.

— Мама никогда не давала мне много карманных денег и, поднявшись в комнату наверху, я обнаружил у себя всего пятнадцать франков и несколько телефонных жетонов. Мне захотелось вернуться домой, прежде чем мама...

— И тут появился Николя.

— Я увидел его в окно. Он выходил из такси примерно в полукилометре отсюда. Я сразу же понял, что он доехал до Ланьи и взял там такси. Но только в Шелле он напал на мой след. Я тут же заперся на ключ. А затем, услышав шаги на лестнице, я придвинул к двери комод. Я уже не сомневался, что он убьет меня.

— И не моргнет глазом! — пробурчал Мегрэ.— Но он не решался раскрыть себя, мешал хозяин. Так ведь, Николя? И он обосновался здесь, полагая, что рано или поздно ты выйдешь из комнаты. Ну, хотя бы поесть.

— Я ничего не ел. Я очень боялся, что ночью он возьмет лестницу и влезет ко мне через окно. Поэтому я запер ставни и старался не спать.

На улице послышались шаги. Это был шофер. Гроза окончилась, и он забеспокоился о клиентах.

Тогда Мегрэ осторожно выбил трубку о каблук, снова набил ее, поглаживая с явным удовольствием.

— Если б тебя угораздило ее сломать...— буркнул он.— И добавил уже другим тоном: — Ну, что ж, дети, в путь! Жозеф, а что ты скажешь матери?

— Не знаю. Страшно подумать.

— Не отчаивайся. Ты спустился в столовую, вообразив себя сыщиком. Тут ты увидел человека, выходящего из вашего дома. И, как настоящий сыщик, пошел за ним.

Тут Николя впервые раскрыл рот, чтобы бросить с презрением:

— Не думаете ли вы пришить мне это дело?

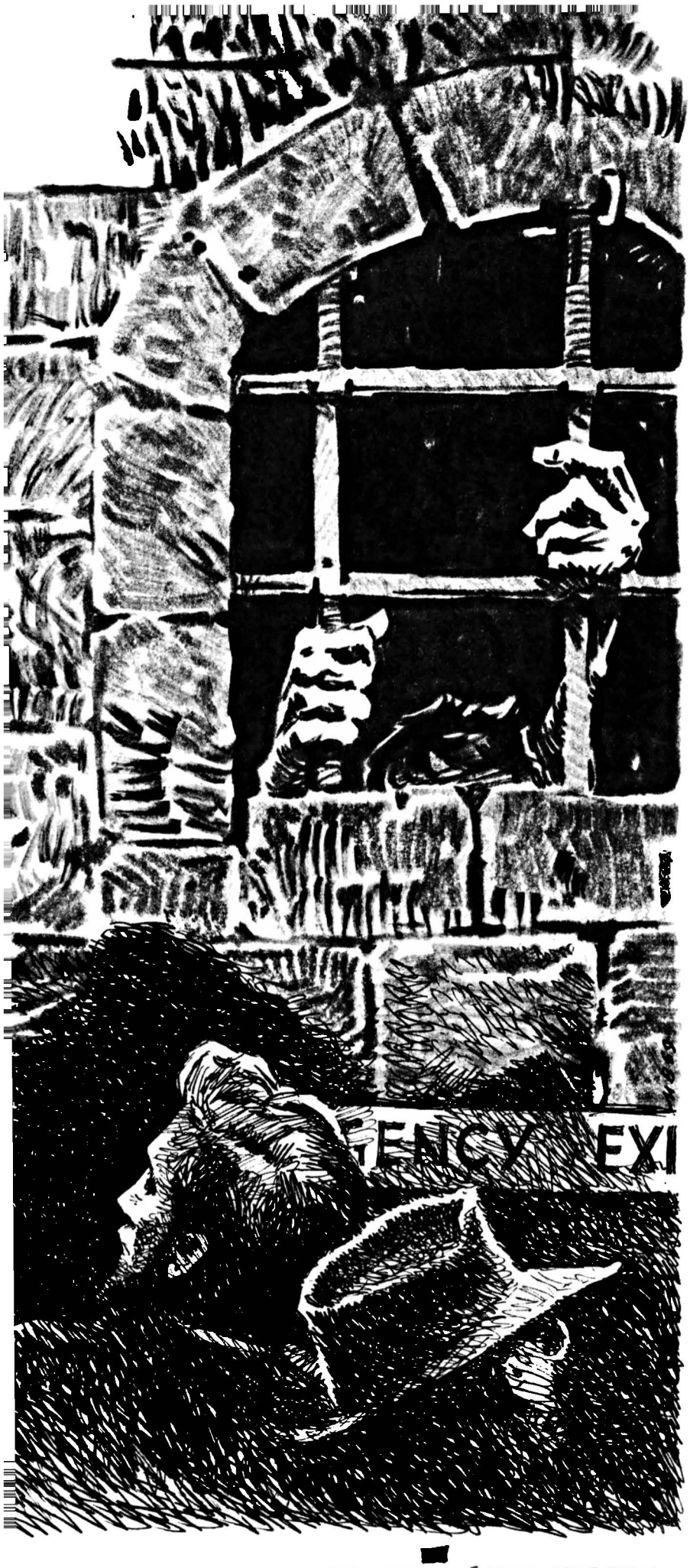
— А мы все выясним,— невозмутимо ответил Мегрэ.— С глазу на глаз, в моем кабинете... Эй, шофер! Нам, пожалуй, тесновато будет в вашем драндулете! Ну, что ж. Поехали?

Немного позже он шептал на ухо Жозефу, притиснутому вместе с Матильдой в самый угол сиденья:

— Я подарю тебе другую трубку, ладно? И, если хочешь, еще побольше этой.

— Да, но это будет не ваша трубка,— ответил парнишка.

Перевел с французского
О. ШИРОКОВ



ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

РОМАН

ВМЕСТО ПРОЛОГА

В первой книге романа «ЯНТАРНОЕ МОРЕ»[1] *мы оставили нашего героя Лидумса, бесстрашного чекиста, в Лондоне. Это он со своим отрядом «лесных братьев», созданным из бывших партизан и оперативных работников Комитета госбезопасности, принял группу английских шпионов на территории Латвии и «заботился» о них почти полтора года, а затем англичане, как говорится, «на своих плечах» переправили его в Лондон. Английской разведке было лестно заполучить прославленного командира «лесных братьев». Лидумс становится «советником Латвийского национального правительства по социальным вопросам» — есть и такое «правительство» под крылышком английской разведки — и «советником по восточным вопросам» при отделе «Норд».*

А задача, поставленная перед Лидумсом советской контрразведкой, состоит в том, чтобы изучить систему проникновения английских шпионов в Советский Союз и контролировать эти тайные пути.

Первая часть из второй — заключительной — книги романа «ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ» рассказывает о пребывании Лидумса в Англии.

Обе книги написаны на основании документов: тайнописных посланий, радиограмм, протоколов и дневниковых записей.

Роман иллюстрировал художник В. Вэтра, послуживший прототипом главного героя.

АВТОРЫ.

1

В ту новогоднюю ночь, когда Лидумс один в своем номере лондонского «Ройал-отеля» поднял бокал за здоровье далеких друзей в Латвии, он знал, что и друзья ответно подняли свои бокалы, думая о нем. В отряде Графа, скрывавшемся в Курляндских лесах, вместо хрустальных бокалов «лесные братья» чокались глиняными кружками. В рижской квартире Балодиса — звонкими рюмками. Но и там и тут думали о нем.

Это не было подтверждением одного из законов новой науки парапсихологии, о которой все чаще и чаще разговаривали английские знакомые Лидумса. Разговаривали с неким почти мистическим чувством ожидания. С надеждой на несбыточное. С верой в то, что адепты новой «науки» вот-вот изобретут способ общения «душ» между собой, который поможет разведчикам избежать при передаче тайных сведений таких сложных и дорогостоящих аппаратов, как агентурные рации, таких ненадежных средств связи, как письма, написанные симпатическими чернилами... Разведчики отлично знали, что рацию можно «засечь» пеленгаторами, подозрительное письмо исследовать при помощи реактивов и прочитать. Они мечтали о другом — о родстве душ и общении душ без помощи техники, одной лишь передачей мыслей на расстоянии.

Лидумс из любопытства прочитал несколько солидных книг и с десяток тощих брошюрок, подсунутых ему Силайсом, об этой странной и пока еще не очень исследованной области психологии. Парапсихологи утверждали, что передача мыслей на расстоянии существует. Они приводили зафиксированные якобы в документах результаты подобных опытов. В одних случаях индивид, именующийся медиумом, передавал свои мысленные приказы в пределах одной и той же комнаты подчиняющемуся его воле субъекту; в других случаях подобная передача производилась уже из комнаты в ком-

[1] См. «Огонек» №№ 1—13, 23—25, 27—29 за 1963 год.

нату, в третьих случаях — на эту сенсацию очень падкими оказались американские военные — парапсихологические опыты производились уже из штаба в Пентагоне, и приказы передавались ни много ни мало на подводную лодку в Атлантику... Вот о такой дальности и мечтали разведчики, которые пытались просветить Лидумса разговорами о новой «науке».

Но сам он знал и чувствовал другое. Он знал, что о нем думают его друзья, опасаются за него, но и надеются на его выдержку, пытаются поддержать его из своего далека, ждут его, а это ощущение было куда выше всяких парапсихологических опытов, в которые он к тому же не верил.

Он верил в своих друзей, в единство идеалов, в общность их любви к Родине. И знал, что друзья любят его, верят ему и надеются на него.

И в пустом номере лондонского отеля, обратившись лицом в ту сторону, где находилась его далекая Родина, он поднял свой бокал, желая ей счастья, и, казалось, увидел друзей, услышал их ободряющие голоса, а ободрение это ему, что греха таить, очень и очень требовалось. Завтра он снова встанет лицом к лицу с врагами, умными, хитрыми, безжалостными, и ему придется напрягать все свое внимание, силу воли, ум, чтобы достойно нести тяжелое бремя разведчика, оказавшегося внезапно в главном штабе противника, и в то же время внушить противнику полное доверие, так как только в этом случае он сможет выполнить порученное ему трудное дело.

Так Лидумс встречал Новый год.

2

Лидумс не ошибался: друзья думали о нем.

В этот час все, кто мог вырваться из леса и с дальних хуторов, где были размещены на зиму «люди королевы», собрались в квартире Балодиса. Тут были и заболевший в лесу воспалением легких Бородач, и вездесущий Граф вместе со своей веселой толстушкой женой, искренне радовавшейся тому, что муж наконец-то вернулся из долгой командировки и как будто собирается снова осесть в городе, и Кох, по-прежнему нарядный, толстый, как будто только что вернулся из дальнего плавания.

Жена Графа — Эглин — надела кружевной фартучек и принялась помогать Магде. Остальные мужчины пришли без жен, и Магда огорченно подумала: «Все не так, как у других! Больше похоже на заседание, а не на встречу Нового года...» Но при посторонней женщине побоялась высказать свои грустные мысли, тем более, что Эглин тоже недоумевала, почему это мужчины сразу удалились в кабинет. Но Магда сделала вид, что ничего не происходит, попросила сына включить магнитофон в столовой. Теперь из кабинета не доносилось ни звука.

Балодис достал из вделанного в книжный шкаф бара бутылку коньяку, рюмки, печенье. Уселись кто где хотел, сам хозяин стоял, слушая разноголосый веселый разговор: за зиму многие не встречались, им было о чем поговорить.

— Как твоя вдовушка, Кох? — спросил Граф.

— Замучила! — отчаянно махнул рукой Кох.

— Любовью? — засмеялся Ниедре-Бородач.

— Нет, пивом! — под веселый хохот признался Кох.— Видит же, что толстею не по дням, а по часам, а все варит, варит... Я уж хотел сказать, кого мы отпаиваем ее пивом, но побоялся, что она проломит мне голову черпаком. Перед Новым годом я сам отвез две бочки на хутор Арвиду. Но вдовушка моя постаралась, еще две бочки наварила. Боюсь, что к весне не пролезу в дверь бункера, придется меня втаскивать по частям или ставить отдельную палатку.

— А как себя чувствуют постояльцы Арвида?

— Эгле тешит себя надеждой, что весной его вызовут в Англию. Новички — Бертулис, Отто и Антс — слушают разинув рты сказки Вентспилсского леса, которые рассказывает им Делиньш. В лесу-то они пробыли всего один день, им показали Петерсона, они дали подтверждающую радиограмму, и их переселили к Арвиду. Петерсон в одиночку кукует под Ригой.

— А может быть, останешься в городе? — осторожно спросил Балодис.— Тебе не так мало лет, чтобы еще год мерзнуть и отсыревать в лесу.

— Ну уж нет, командир, вместе начали, вместе и закончим! — без шутки, очень сурово ответил Кох.— У меня все-таки самый приличный и почти английский вид: старый фермер на покое, на лесной даче. Да и кто станет им обеды и ужины готовить? Делиньш? У Делиньша и с морзянкой хлопот хватает. А Граф теперь командир. Ему просто неприлично кухней заниматься. Что англичане о таком командире подумают? Нет уж, товарищ Будрис, оставь мне мое, а себе берите свое.

Балодис потрепал Коха по плечу и молча налил рюмки.

Но вот он поднял свою рюмку, и все както сразу примолкли, встали в кружок перед ним. Балодис тихо сказал:

— За Лидумса! И пусть будет его тяжкий труд удачным, пусть останется открытой дорога к возвращению, пусть рассеются козни его врагов!

Все подняли рюмки. Как им хотелось, чтобы эти пожелания сбылись!

В эту минуту зазвонил телефон. Балодис поднял трубку.

— Да, я слушаю! — И, прикрыв трубку ладонью, шепнул: — Это Анна Вэтра.

Все переглянулись. Ни для кого из них не было секретом, что Лидумс ушел за море, так и не помирившись с женой. А она что-то оживленно говорила, и Балодис не успевал вставлять слова, кроме «Да. Да».

Но вот она выговорилась наконец, и тут Балодис произнес:

— Магда и я приглашаем вас к нам на Новый год. Да? Очень жаль. А может, заедете с вашими друзьями? Ну, ну. Я навещу вас после праздника...— Он положил трубку и сухо сказал: — Поблагодарила за подарок от мужа и за деньги...

— Значит, она и не знает?

— А зачем ей знать? Она уже привыкла быть самостоятельной. А общество, в котором она вращается, не очень приятно... Тут литературная богема и непризнанные гении, художники и просто авантюристы... Но завтра я к ней заеду.

В дверь тихонько постучали. Балодис открыл. Сын стоял в проеме с какой-то бумагой.

— Папа, тебе пакет. С нарочным.

Голос у мальчика был печальным. В этом доме знали, что отец может исчезнуть и в праздник. Балодис взглянул на пакет, погладил Арвида по голове.

— Это только поздравление, мой мальчик.

Он приложил сорванную с пакета наклейку к косяку двери, расписался, и Арвид, снова повеселев, убежал на кухню. Балодис вскрыл пакет. Из него выскользнула маленькая олеографическая открытка: три голубоглазых, белокрылых ангелочка сбрасывали с пушистого облака английские буквы, которые образовали на голубом небе надпись: «С Новым годом!»

На обороте какой-то господин Вента поздравлял свою знакомую в Латвии с праздником. Балодис потряс открыткой в воздухе и громко сказал:

— Друзья мои, примите поздравления от нашего друга! Он помнит о нас!

И все бросились к нему, разглядывая открытку, почерк, завитушки каллиграфического письма. Ничего похожего на то, как писал Лидумс. Ниедре даже усомнился. Балодис рассмеялся:

— И тем не менее это писал наш друг! Вот здесь написано «опять». «Опять наступил Новый год, а Вы далеко от меня!» Это слово и есть подпись нашего друга!

— Ну, по такому поводу нельзя не выпить! — бурно развеселился Кох и принялся разливать коньяк. Дверь осталась открытой, и никто не называл имя друга. Но Магда испуганно повернулась от стола.

— Дядюшка Петер, не много ли?

— Ах, хозяюшка, у нас тут такая радость!

— Кого-нибудь наградили?

— Всех! — пылко заверил ее Кох.— Правда, не орденами, а надеждой! Но надежда порой бывает дороже всякой награды!

— Тогда уж лучше выходите к столу. Сначала проводим старый год, он был не таким уж плохим, а потом выпьем и за Новый. Прошу, дорогие гости!

Но Кох попросил взглядом мужчин остаться. Он поднял открытку с пухленькими ангелочками, прикоснулся к ней краем своей рюмки, таинственно сказал:

— Как будто с ним самим чокнулся!

И все, улыбаясь, поспешили выполнить этот новый обряд.

Перед тем как выйти к столу, Балодис прикрыл дверь и тихо сказал:

— После праздников всем вам следует навестить ваших подопечных. Теперь в группе собрались уже пятеро английских посланцев. Почти у каждого из них собственные рации и, очень возможно, есть и другие средства связи, о которых мы не знаем. Пока они не подозревают, что находятся в ласковых объятиях латышских чекистов. Тем более важно, чтобы такие подозрения и не возникали. Сейчас мы должны обеспечить Лидумсу поддержку. Как сделать это лучше всего, мы еще обдумаем. Но в этом своем коротком письме Лидумс просит нас и о такой помощи. О дальнейших делах поговорим завтра. А теперь улыбнитесь пошире, чтобы развеселить наших дам, и прошу к столу!

Кох все еще вертел открытку в руках.

— Вот уж не сказал бы, что тут написано что-нибудь еще, кроме того, что прочитал нам полковник...

— Это и хорошо,— улыбнулся Балодис.— Хуже было бы, если б в открытке кто-то усомнился. А так все в порядке! Тоскующий в Англии латыш пишет своей оставленной жене, а может быть, любимой бабушке. Но мы видим в этой открытке и нечто невидимое. Что Лидумс жив, что он «устроен» в Англии и что он все-таки нуждается в укреплении своего положения. Вот об этом самом «укреплении» нам и надлежит подумать. А теперь — к столу, к столу...

3

В середине января Лидумса, которого англичане именовали Казимиром, снова переселили. На этот раз, кроме Силайса, руководителя латышского сектора отдела «Норд», в переселении участвовали Большой Джон и Нора. Правда, Нора не поднялась в отель, она ожидала Казимира за рулем. Силайс помог Лидумсу собрать вещи, Большой Джон беседовал о чем-то в вестибюле с портье, наверно, передавал какое-нибудь новое поручение разведки, и поздоровались они только в машине.

Встреча была дружеской, да и Лидумсу надоело отсиживание в отеле, где он пробыл эти две недели, словно в тюремной камере. Навещали его только Большой Джон и безымянный «специалист» по подпольной работе, преподававший ему стратегию и тактику подрывной борьбы.

Они проехали через центр города и скоро оказались в районе, занятом маленькими особнячками. Тут трудно было судить о состоятельности владельцев особнячков,— земля в этой части города стоила слишком дорого, чтобы возводить подобие старинных помещичьих замков, а по традиции при каждом особнячке положено иметь хотя бы садик. Поэтому домики строились в два, а то и в три этажа — чаще всего по две комнаты в каждом этаже,— а под окнами мерзли заиндевевшие кусты. Зима в этом году была для Англии морозной...

Свернули в какую-то короткую, узкую улочку и остановились у кованых железных ворот. Невидимый привратник открыл ворота, и машина вкатилась в маленький дворик с привратницкой, с небольшим гаражом, таким же заснеженным садиком, что и перед соседними домами, и Большой Джон помог Казимиру выйти из машины. Пока

Силайс доставал чемоданы из багажника, Большой Джон открыл входную дверь своим ключом, осветил небольшой, жарко натопленный холл с камином, с круглым столом, на котором поблескивали бутылки, рюмки и бокалы, шейкер для изготовления коктейлей, улыбнулся, глядя на изумленное лицо Казимира, торжественно изрек:

— Мистер Казимир, поздравляю вас с новосельем!

Все, смеясь и подшучивая над Казимиром, стали сбрасывать пальто, швыряя их куда попало, благо тут были и кресла, и просто стулья, и какие-то низенькие табуретки, словно вот-вот придет еще дюжина гостей. Силайс задвинул чемоданы в стенной шкаф, подошел к столу, поднял рюмку, уже налитую Норой, подтвердил:

— Да, Казимир, этот особняк теперь принадлежит вам со всем, что в нем есть!

Выпили за здоровье нового хозяина и гурьбой пошли осматривать дом.

На первом этаже были столовая, буфетная, кухня. Чувствовалось, что прежние хозяева дома жили широко: множество посуды, приборов, машинки для поджаривания тостов, груды тарелок, кастрюль, несколько кофейных мельниц на любой вкус — от турецкой с каменными жерновами до современной электрической, еще смесители для коктейлей, холодильник, в который можно было бы при нужде поставить автомобиль, маленький холодильник, в общем, все, что может облегчить жизнь богатого джентльмена. Лидумс обратил внимание, что Нора разглядывала это устройство с чисто женской завистью, и решил, что, видимо, теперь он окончательно утвержден в звании и ранге Чрезвычайного Полномочного Посла Дружественной Державы.

На втором этаже была библиотека, она же и курительная комната, с несколькими шкафами книг, с небольшим баром и запасом напитков, непременным шейкером и маленьким холодильником для изготовления льда, чтобы не надо было вызывать прислугу или лакея, затем спальня, еще одна спальня, рабочий кабинет и ванная комната. Нора словно бы нечаянно распахнула гардероб в спальной, и Лидумс увидел несколько костюмов, ящики с бельем, а в ванной халаты и пижамы висели прямо на виду — на выбор.

Закончив осмотр, все так же весело спустились вниз, в холл. Там кто-то невидимый и неслышимый успел уже поставить на приставной столик жареный миндаль, крохотные сандвичи, кофейник с семейством чашек, и Нора принялась хозяйничать.

Лидумс понимал, что хозяева не собирались изумлять его щедростью,— они знали, что он и сам происходит из обеспеченной семьи. Налицо было другое: признание его посольского ранга. И он с обычной легкостью отвечал на шутки, поинтересовался, будут ли к нему приходить гости и как ему справиться со всякими рашперами, горелками и прочими механизмами, когда он останется один.

Большой Джон объяснил: в привратницкой живут сторож и его жена. В каждой комнате есть кнопка звонка, проведенного в привратницкую. На кухне есть ящичек, куда следует опустить деньги и заказ — на день, на неделю, или просто записку, что вы будете обедать или ужинать по усмотрению миссис Пегги. Привратника зовут Моррис, он к тому же и шофер, а в гараже есть автомобиль, правда, не очень шикарный, а шоферские права на имя мистера Казимира находятся в кармане его шоферской куртки.

— Мило, очень мило! — восхитился Казимир и лукаво спросил: — А вдруг я не умею водить машину?

— Ну, если вы шестнадцатилетним мальчиком на машине отца возили девушек из Риги на взморье, то такие знания не забываются,— улыбнулся Большой Джон, пристально глядя на Казимира.

Казимир открыто расхохотался:

— А ведь я, между прочим, ни в одной анкете, даже при русских, об этом не писал!

— А мы русскими анкетами, между прочим, не пользуемся! — так же смеясь, ответил Большой Джон.

— Что делать,— притворно вздохнул Казимир,— придется взять один-два урока у нашего милого привратника мистера Морриса. Машину-то у отца русские реквизировали еще в сороковом году. Как говорили они, для нужд обороны...

— О, я охотно дам эти один-два урока! — весело подхватила Нора.

И Лидумс подумал: «Держись! Хорошо, что ты никогда не придумывал себе легенду с чужим детством! Ты всегда был самим собою, во всяком случае, для твоих противников: сыном состоятельного и влиятельного человека, хозяина особняка, который был побольше и побогаче, чем это шпионское гнездышко... Но как же они дознались до этой давно забытой тобою мелочи?»

Но Большой Джон, кажется, закончил новую проверку. Он довольно сухо сказал Норе:

— Нет, нет, Нора! Пока что Казимир должен жить тихо!

— А чем, собственно, вызвано такое ограничение? — беспечно спросил Лидумс.

— Мы беспокоимся о вашем здоровье.

— Но вечером-то выходить можно?

Большой Джон смерил взглядом мощную фигуру Лидумса, его широкие плечи, массивные кулаки, спросил:

— Джиу-джитсу знаете?

— Японских самоучителей джиу-джитсу у нас не было. Но мы переняли у наших противников-чекистов их вид защиты и нападения — самбо. Самооборона без оружия. Но зачем мне в Лондоне самбо или джиу-джитсу?

— Мы не можем прикрепить к вам для охраны полисмена...

— Я полагал, что в такой цивилизованной стране...

— В Лондоне сидят шпионы самых разных толков и ориентаций. Весной прошлого года вместе с Петерсоном к вам прибыли отсюда два ваших соотечественника — Том и Адольф. О своем прибытии они сообщили и попросили полгода для устройства в Латвии. Первые деловые переговоры были назначены на день рождества и на ночь под Новый год. В рождественский вечер они появились в эфире, а под Новый год нет. Если они, как мы подозреваем, провалились, то не исключено, что вас уже ищут в нашем прекрасном городе...

Он сказал это без улыбки. Лидумс подумал: Большому Джону поручено не только наблюдать, но и охранять.

Тут вмешались наперебой и Силайс и Нора:

— Мы не должны допускать ошибок!

— А мне, Казимир, будет просто очень жаль, если вашу великолепную фигуру кто-нибудь случайно продырявит...

— Клянусь, я не стану посещать ночные бары и клубы. Но подышать-то перед сном необходимо!

— Хорошо, попробуйте,— смилостивился наконец Большой Джон.— Но если заметите что-нибудь подозрительное, немедленно дайте нам знать! — и назвал два телефона, по которым Лидумс мог звонить в любое время дня и ночи.

А затем, словно бы смягчая и «проверочные испытания» и возможные опасности, Большой Джон сам наполнил бокалы и провозгласил тост: «За будущее мистера Казимира!» Что он под этим подразумевал, Лидумс понял значительно позже. А сейчас они мило болтали, пили, пока Нора не заторопилась нанести какой-то визит...

4

Утром следующего дня Лидумс познакомился с обслуживающим персоналом таинственного «замка».

Миссис Пегги оказалась еще молодой и очень приветливой женщиной, настоящей «кокни», судя по неправильному говору, а мистер Моррис — бывшим моряком военного флота, дослужившимся до звания боцмана, а затем ушедшим в запас.

Лидумс растолковал миссис Пегги, какие блюда он любит, заложил в кухонный ящичек половину своего «жалованья» и попросил ее заботиться о нем, что ей, кажется, понравилось. С мистером Моррисом он провел два занятия на автомобиле. Автомобиль был подержанный, не чета современным маркам спортивных гоночных, но это было к лучшему. Впрочем, за руль сел он сам, и мистер Моррис обучал его не столько вождению, сколько правилам езды по большому городу, в котором до сих пор сохранялось непривычное большинству европейцев левостороннее движение.

В первую же поездку Лидумс приобрел план Большого Лондона, справочники шофера и несколько дней просидел над изучением этих полезных документов. Несколько раз он выезжал с Моррисом, который сидел слева от него и командовал поворотами и разворотами,— этого было достаточно, чтобы удовлетворить возможное любопытство Большого Джона, действительно ли умеет мистер Казимир водить машину,— а затем стал выезжать один. Как ни затруднено было движение по этому городу, в котором двигалось и отдыхало трехмиллионное стадо автомашин, Лидумс предпочитал одиночество. Это позволяло ему бесконтрольно знакомиться с городом — в такой толчее за его передвижениями было трудно следить, если бы даже кому-то из сотрудников «Норда» было дано такое приказание. Обычно он отыскивал в центре города платную стоянку, припарковывал свою машину к счетчику-автомату, опускал в отверстие автомата полшиллинга и свободно бродил в окрестностях с полчаса.

Иногда он ехал к Вестминстерскому аббатству, к парламенту, к Букингемскому дворцу: там были бесплатные стоянки машин — и осматривал один из этих памятников или наблюдал традиционную смену караула у дворца королевы... Он посетил и Национальную галерею, и Британский музей — великолепное хранилище богатств, собранных почти во всех странах мира, где ступала нога солдата английских колониальных армий, и музей мадам Тюссо, в котором стояли и сидели вылепленные из воска и одетые, согласно своему времени и обычаю, деятели всех времен и народов, а в подвалах, по лучшим традициям балагана ужасов, вешали убийц, стреляли друг в друга эскадренные корабли, погибал одноглазый Нельсон и рубили голову Марии Стюарт — королеве Шотландии...

Город показался Лидумсу запущенным, грязным. Впрочем, может быть, это зависело от того, что продолжалась холодная зима, из множества труб валил угольный дым от каминов. В центре было еще много неразобранных развалин — последствий немецких бомбардировок с самолетов и снарядами «Фау-1» и «Фау-2». В тех местах, где развалины успели разобрать, бывшие владельцы строили новые дома, но чаще всего возводили их по старому плану, такими же, какие стояли тут раньше: стена к стене, без просвета, невысокие, узкие, в три — пять этажей,— и только там, где землей успели завладеть строительные компании, поднимались современные здания для новых контор, банков или под дорогие квартиры, с лифтами, кондиционированным воздухом, широкими балконами, в десять, двенадцать, а то и шестнадцать этажей. Но никаких небоскребов, похожих на американские! Англичане и тут сохраняли свой стиль!

Вечерами Лидумс работал. Он помнил поручение президента Зариньша составить доклад «правительству» об умонастроении различных групп населения в республике и составлял этот доклад, ничего не приукрашивая, хотя заместитель Зариньша — Скуевиц и предупредил его, что не следует огорчать президента слишком откровенными сообщениями.

Часов в десять вечера он выходил из надоевшего зимнего, обледенелого садика на узкую улочку и шел пешком, всегда по одному маршруту, в одиннадцать возвращался, ужинал и снова садился за работу. По вечерам делал записи для «Норда» о «подпольной работе в Латвии». Тут он тоже ничего не приукрашивал, просто почаще упоминал имя «руководителя национально мыслящих латышей» Будриса, возлагая на него бремя главных забот о «будущем свободной Латвии».

В эти же дни Лидумс получил от Зариньша официальное письмо, из которого узнал, что назначен «специальным советником президента по социальному устройству страны». Правда, в этом письме не сообщалось, полагается ли «советнику» какое-нибудь жалованье, но «советов» от него, несомненно, ждали. Кроме «социального устройства», Лидумс должен был разработать статут нового ордена республики для «награждения особо отличившихся деятелей подпольного движения». Лидумс с усмешкой подумал: «Боюсь, что получать этот орден будет некому...»

Но кой-какие наметки по этому статуту передал через навестившего его Скуевица.

Скуевиц, как видно, был предупрежден англичанами, что Казимир пока должен отсиживаться в «бесте», и посматривал на «советника» с должным уважением, даже к Зариньшу не приглашал. Боялся, наверно, что и их «посольство» взято под наблюдение «красными разведчиками».

В первых числах февраля Лидумса навестила Нора. Она привезла запоздалые рождественские подарки: несколько бутылок виски, отличного копченого угря — это уже был намек на те праздники, к каким привык Лидумс на родине. Лидумс встретил гостью радостно, только спросил, знает ли об этом визите Большой Джон.

Полные губы Норы тронула капризная усмешка.

— О, теперь Большому Джону не до вас! Том неожиданно вышел в эфир!

— Вот как? — только и сказал изумленный Лидумс.

Он помнил, как весной прошлого года эмиссар английской разведки Петерсон, прибывший в Латвию проверить достоверность сведений, получаемых от Вилкса, а заодно и познакомиться с отрядом Лидумса и руководителем «национально мыслящих» латышей Будрисом, приволок на своих плечах сразу трех посторонних. Один из них, Густав, погиб в тот же день на реке Венте. А двое — вот эти Том и Адольф — ускользнули. Правда, Лидумс надеялся, что они давно уже схвачены и обезврежены. Но вот они снова вышли в эфир!

— И вы можете представить,— продолжала Нора,— как гордится этим воскрешением из мертвых Ребане? Сначала Том и Адольф должны были идти по линии Силайса. Но для вашей безопасности и безопасности группы Будриса решили не делать этого. Тогда Ребане потребовал себе полной самостоятельности и швырнул их в свои каналы. А теперь это ничтожество, одинаково убивавшее во время службы в немецкой армии и советских и английских пленных, оказалось нужным нашим хозяевам...

— Зачем же так...— мягко предостерег ее Лидумс.

— Мой брат не вернулся из плена! — жестко сказала она.— А этот подонок осмеливается похваляться орденами, полученными от Гитлера.

Лидумс промолчал. Он почувствовал себя так, словно и сам попал в банку с пауками, а не просто глядит на нее со стороны. Странные люди-пауки собрались в этой банке. Вот такой полковник гитлеровской службы эстонец Ребане... Русские, эстонцы, литовцы, латыши, поляки объявили его военным преступником и потребовали выдачи для следствия и суда. А англичане (собственно, английская разведка!) приютили его, хотя он, наверно, с одинаковым удовольствием расстреливал и попавших в его руки английских солдат, о чем постоянно думает Нора. Или литовец Жакявичус... Он тоже был объявлен военным преступником, но и он нашел защитников в лице Восточного отдела английской разведки... Да, прошли те времена, когда англичане хвалились, будто их разведчики — подлинные джентльмены, и при всяком случае вспоминали «рыцаря разведки» поэта Редьярда Киплинга или «короля разведки» полковника Лоуренса... Грязные дела приходится делать грязными руками!

— Вы бы посмотрели, как он сейчас пыжится! — с ненавистью сказала Нора.— Если бы он смог, то проглотил бы Силайса, а вместе с ним и вас и меня. Наши удачи всегда торчали у него костью в горле. А теперь он утверждает, что подготовленные им люди никогда не проваливаются. Он, оказывается, два месяца ждал их нового выхода в эфир. В радиоцентре он так надоел, что наши девушки видеть его не могут. И вот приходится признать, что он победил! — Она развела руками, не столько удивляясь, сколько взывая к богу.

— Ну, насчет того, что девушки его не любят, я верю! — засмеялся Лидумс.— Я видел, как он ухаживает за ними: совсем по-немецки. Одну ущипнет, другую хлопнет по заду. А этого, кроме немецких фрейлейн, никто не переносит.

— Грязная свинья! — не стесняясь, аттестовала новую звезду разведки Нора. Но тут же перешла к делу: — Я думаю, Казимир, что теперь и с вами все будет в порядке. Большой Джон намекнул, что вы сможете в ближайшие дни снять осаду и навестить наш офис.

— Значит, вас все-таки направил Большой Джон? — лукаво напомнил Лидумс.

— Он даже и не знает, что я ваша гостья! — Нора была прелестна в своем огорчении.— Если бы он узнал, где я сейчас, он, наверно, не преминул бы сообщить об этом Маккибину...

— И начальнику отдела «Норд» это не очень бы понравилось?

— Он делает шикарные подарки! — откровенно призналась Нора.— А у меня есть кое-что и для вас, Казимир! — лукаво сообщила она.

— Я уже получил довольно много подарков! — отшутился Лидумс, показывая на стол, заставленный подарками Норы.

— Нет, это совсем другое...— И, видя, что Лидумс действительно заинтригован, торжественно объявила: — Письмо от ваших друзей из Латвии!

Лидумс не стал скрывать своей радости. Нора достала из сумочки расшифрованную радиограмму. Лидумс впился в нее взглядом: да, ее писал Будрис!

— Ну, не буду отнимать вас у ваших латышских друзей! Я вижу, что вам хочется побыть с ними хотя бы в воспоминаниях! Но имейте в виду, я уже ревную вас к оставленной вами в Латвии женщине! — Она шутя погрозила ему и попросила проводить до машины.

По представлению Лидумса, ей бы следовало сейчас оставить свою машину под наблюдением Морриса, а самой уехать на такси, поскорее добраться до дома и лечь спать. Но нет, Нора отважно села в свой «будуар на колесах», на прощание махнула рукой и развернула машину так круто, что случайный прохожий отпрянул в сторону. Впрочем, Лидумс уже привык к тому, что в этой стране пьяный водитель, не свалившийся с ног перед автомобилем, не подвластен полиции...

Он торопливо вернулся в дом и занялся радиограммой.

Радиограмма была действительно от Будриса и подписана радистом лесного отряда Делиньшем. В деловой части Будрис обращался к Силайсу и просил его не давать координаты его отряда неизвестным лично Силайсу людям.

Эта часть радиограммы и встревожила и рассердила Лидумса: по-видимому, «Норд», даже не посоветовавшись с Лидумсом, пытался подкинуть Будрису еще каких-то своих шпионов. Может быть, для дополнительной проверки, а возможно, и для спасения их от чекистов. Но и в том и в другом случае затея была чрезвычайно опасной и для Будриса и еще больше — для Лидумса. Эти попытки надо было во что бы то ни стало отбить, и хорошо, что Будрис прямо сказал в своей радиограмме, что в случае появления в расположении его отряда неизвестных лиц он не гарантирует их безопасности.

Но не эти вопросы и волнения Будриса заставили Нору привезти радиограмму Лидумсу: вторая ее часть была посвящена личным делам Лидумса. Лидумс удивленно читал:

«Дома у нашего друга все благополучно. Мирдза регулярно получает его письма, которые готовит Янко, правда, не очень умело: подводит почерк. Но в первом письме Янко сослался на контрактуру правой руки...»

Лидумс невольно пошевелил пальцами правой руки: она была в порядке. Но что бы могла означать эта часть радиограммы?

Он знал Будриса и знал, что каждое его слово дороже золота. В этих немногих словах скрывалось серьезное предупреждение, адресованное ему, Лидумсу, предупреждение, которое он должен прочитать между строк, если не прочтет в самих строках. Итак, что же пишет ему Будрис?

В той части радиограммы, которая обращена к Силайсу, Будрис пишет скорее всего о Томе и Адольфе. По-видимому, Ребане, этот старый лис, а Ребане и значит именно «лис», пытается затолкать своих внезапно воскресших любимчиков прямо в группу Будриса. Но если Будрис не может вести наблюдение за Томом и Адольфом, то почему он не хочет взять их в свою группу хотя бы для того, чтобы обезвредить их? А если Том и Адольф находятся под его контролем, то почему Будрис стремится показать, будто они все время получают «интересный» материал, которым так гордится Ребане?

Но была и еще фраза в послании Будриса: «Мирдза регулярно получает его письма, которые готовит Янко, правда, не очень умело: подводит почерк...»

Мирдза и Янко — какая в этом связь? Как может Мирдза знать почерк Лидумса, если Лидумс никогда с ней не переписывался? А Янко? Это же наш Делиньш, известный англичанам под кличкой «Барс». Заслуженный радист ее величества королевы, обученный Вилксом, имеющий с легкой руки Вилкса личный счет в Государственном банке Англии за доблестную и умелую службу. Но он никогда не видел Мирдзу и ничего не знает о ней. И вообще Мирдзу никто не знает. Лишь Будрис помнит историю о том, как художник Викторс Вэтра, ставший затем Лидумсом, позже Казимиром, написал однажды картину «Ожидание» — девушку у моря. И писал он ее давно, почти три года назад, на побережье Балтики, в Майори. Вот на этой картине и была изображена на первом плане эта милая девушка, студентка филологического факультета, испанистка, которую звали Мирдза. Потом была ссора с женой, ее ревность не столько к девушке, сколько к удачной картине, ведь жена тоже художница, а люди искусства ревнивы к чужому успеху, вспомним Моцарта и Сальери, хотя, погоди, это уже совсем ни к чему...

А между тем письма «готовит Янко, правда, не очень умело: подводит почерк...».

Так, а если перейти отсюда к Тому? Писем в Англию он не пишет, хотя такой канал связи у него, несомненно, был. А почему Роберт Ребане, всегда подчеркивавший свое превосходство перед низшими по положению, сейчас лебезит перед радиооператорами? Почему он так усиленно добивается унижения, а может, и изгнания Лидумса из «Норда»? Не тут ли зарыт этот «лис», хвост которого ему показывает Будрис?

Теперь он постоянно держал в памяти телеграмму Будриса, хотя и понимал, что не знает всех составных частей шарады. Но он знал, что рано или поздно найдет это недостающее звено, и тогда шарада зазвучит победным боем.

А меж тем к нему зачастили гости. Приехал Малый Джон и привез билеты в оперный театр — абонемент на все весенние концерты и спектакли. Пришла посылка из книжного издательства — десяток романов, которых Лидумс не заказывал. Моррис привез коробку сигар и сообщил, что «это от полковника Скотта», а полковник Скотт давно уже готовится сесть на место Маккибина. Акции Казимира все повышались, следовало лишь запастись терпением.

И он ждал.

Продолжение следует.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮ

РОМАН

5

Однажды позвонил Большой Джон. В отделе «Норд» все еще продолжался праздник, это Лидумс понял даже по голосу Джона.

— Мистер Казимир, не заедете ли вы к нам сегодня? — приветственно возгласил он.— Есть новости для вас!

— Благодарю. Буду,— коротко ответил Лидумс.

— Надеюсь, вы доберетесь в течение часа?

— Обязательно!

Лидумс привычно остановил свою машину за квартал от здания «Норда» и дальше пошел пешком. Внимательно оглядевшись, он нырнул в небольшие ворота, выходившие в переулок. Он запомнил, что посетители «Норда» всегда норовили войти не с парадного входа, а из этого незаметного переулка.

В кабинете Большого Джона сидел сияющий Роберт Ребане.

На этот раз его жесткое квадратное лицо, всегда хмурое, злое, распустилось в улыбке. Лидумс невольно подумал, что вот так, наверно, Ребане выглядел в первые дни войны, когда ему казалось, что он сможет отомстить большевикам и за отнятые земли и за потерянные чины, до которых он дослужился в эстонской армии. Недаром же он оказался таким необходимым в те дни для немцев. А теперь этот осужденный, но не пойманный военный преступник нужен англичанам...

— Ну, что вы скажете, Казимир,— шумно встретил Ребане Лидумса,— мои парни прорвались-таки за «железный занавес», минуя вашего хваленого Будриса!

— Очень рад! — широко улыбаясь, ответил Лидумс. Он пожал руки Большому Джону и Ребане, хотя в эту минуту ему больше всего хотелось схватить со стола литую медную пепельницу и ударить эстонца по голове. Но прежде всего надо было отразить атаку. Большой Джон опять был весь внимание, и Лидумс невольно подумал: а не с дальним ли прицелом устроена эта встреча с Ребане? И весело продолжал: — Чем больше мы откроем дорог и тропок, тем больше наших людей будут ждать дня «Д», ради которого мы и работаем!

— А ведь Казимир прав! — воскликнул Джон.— Это отлично, что ваши парни нашли новую лазейку! Теперь мы сможем направлять людей и по другому пути...

«И контролировать мой путь!» — подумал Лидумс. Но вслух с еще большим воодушевлением сказал:

— Похвалитесь, похвалитесь, Роберт! На вашем месте я бы тоже хвалился! Что сообщают ваши посланцы?

— О, они уже на подходе к очень важным данным! — откровенно радуясь, продолжал Ребане.— Недаром я всегда верил этим парням! Да они и шли к людям, хорошо известным нам еще по довоенным годам. Признайтесь, Казимир, что старые друзья — это не то что какие-то «лесные кошки», отсиживающиеся в курляндских болотах! Это люди интеллектуального склада! Они-то лучше знают положение в стране.

— А я бы все-таки не стал так иронизировать над «лесными кошками». Пока ваши интеллектуалы отсиживались в своих пышных квартирах, «лесные кошки», как вы их называете, дрались! И почему бы иначе «Норд» присвоил не столько «кошке», сколько «лесному котенку» Делиньшу имя «Барс» и поручил ему охранять в этих курляндских лесах лучших разведчиков «Норда»?

В это время позвонил Вилкс. До него тоже дошли сведения, что с востока получены новые известия.

Большой Джон сообщил, что «именинники» у него. Кажется, этому опытному человеку даже нравилась все разгорающаяся ссора между Ребане и Лидумсом. А может быть, из привычной осторожности он пытался как-то перепроверить радиограммы Тома. Во всяком случае, он немедленно пригласил Вилкса к себе.

Ребане примолк. Вероятно, придумывал еще какие-нибудь доводы, чтобы унизить Лидумса и всю группу Будриса. Лидумс успел заметить, что помощников Маккибина и полковника Скотта постоянно разделяла некая ревность. Каждая группа пыталась доказать, что именно ее деятельность приносит удачу. Если Ребане ратовал за «эстонский» вариант, то литовцы тут же предлагали свой «литовский» план, Вилкс немедленно принимался восхвалять доблесть своих латышских друзей. Лидумс старался не вмешиваться в эти мелкие дрязги, но и из мелочей можно извлечь порою некоторую пользу. Поэтому он был рад появлению Вилкса.

С Лидумсом Вилкс в последнее время держался холодно. Он знал, что в отделе все еще идет проверка гостя, и не хотел вмешиваться в это «грязное» дело. О своем отношении к проверке он рассказал Лидумсу, возможно, и помогал ему чем мог, но любовь свою перенес на одного Будриса. Лидумс ему не навязывался, он понимал, что похвалы Будрису все равно косвенным светом озаряют и его самого.

Вилкс появился на пороге в темном костюме из отличного твида, в меру помятом, чтобы он не походил на только что полученный от портного, в отличной сорочке с янтарными запонками и янтарной булавкой в галстуке, купленными в Риге. Невзирая на всю свою почтительность к заместителю начальника отдела Большому Джону и его консультантам Лидумсу и Ребане, он осмелился пошутить:

— Как я слышал, есть свежие лавры? Мистер Ребане, отдайте их мне, и я приглашу вас на уху из молодого осетра с лавровым листом! Бульон сделаю тройной, по нашему рыбацкому обычаю: сначала отварю мелкую рыбешку, отожму, выкину, подброшу несколько рыбин покрупнее, тоже выну, а уж потом заряжу бульон крупными осетрами. Пальчики оближете!

Большой Джон, впервые, наверно, услышавший такой оригинальный рецепт приготовления ухи, заулыбался. Но Ребане не принял шутку. Он сухо спросил:

— Вы были в Риге, Вилкс, и прожили

Продолжение. См. «Огонек» № 43.

там полгода. Как, с вашей точки зрения, там можно легализоваться?

— У нас были документы электриков, и этого оказалось достаточно. Но мы все-таки держались осторожно.

— А откуда вы вели передачи?

— И из Риги и из Майори...

— Ну, вот видите! — как будто решая какой-то спор, обратился Ребане к Большому Джону.— Значит, там можно работать.

Вилкс почувствовал себя уязвленным. Получалось, что он, Вилкс, не сумел обосноваться в Риге и бежал в лес, а какие-то другие парни, Том и Адольф, преспокойно ведут передачи из Риги, и их никто не беспокоит. Он язвительно добавил:

— Я забыл только сказать, что из Майори мы еле унесли ноги после первых пяти минут передачи. Пеленгаторы проползли прямо под окнами. Мы едва успели спрятать передатчик.

— Значит, вам просто не повезло,— равнодушно сказал Ребане.— А мои ребята в первой же передаче сообщили отличные данные о работе рижского порта.

— Рижский порт?

Вилкс нахмурился, и Лидумс понял, что похвальба Ребане сильно задела его. с несвойственной ему пылкостью проговорил Большой Джон.— Мистер Казимир, подождите меня, кажется, есть интересный разговор! Я покину вас на минуту!

Он вышел, а Вилкс и Ребане уставились на Лидумса: Вилкс удивленно, Ребане — сердито. А Лидумс размышлял о другом: если Том и Адольф были арестованы сразу после выхода в эфир, то к чему было Будрису выпускать «умершего» для англичан Тома после двух месяцев молчания? Придется ждать. И быть еще осторожнее, хотя он и так ничем не показал интереса ко второму рождению Тома и Адольфа. Но у Будриса, несомненно, есть железная цель. Как хорошо было бы поговорить сейчас со старшим товарищем! Увы, это невозможно...

Вернулся Большой Джон, коротко кивнул Ребане и Вилксу прощаясь, а Лидумса взял под руку:

— Вам, мистер Казимир, придется немного задержаться...

6

Этот высокий, длиннолицый англичанин никогда не носил форму. Внешне он был похож на министра больше, чем любой на-

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

Рисунки В. ВЭТРА.

ТСЯ К БЕРЕГУ

Наверно, вспомнил, чем кончилась его попытка завербовать бывшего дружка, работавшего в порту механиком. Тогда он схлопотал по физиономии и еле ушел от чрезмерно бдительного и полностью перевоспитанного бывшего приятеля. Но рассказывать об этом Вилкс не стал, только жестко сказал:

— Я с удовольствием поздравлю вас, мистер Ребане, если ваши парни передадут не одну, а десяток радиограмм. Но я-то знаю, что лучше всего им было бы действовать через Будриса.

Ребане поморщился, и Лидумс понял, что не следует перегибать палку. Ребане — опасный противник для такого бесшабашного человека, как Вилкс. А Вилкс пока еще очень нужен в комбинации Вилкс — Лидумс — Будрис. Лидумс осторожно предложил:

— Может быть, попросить Будриса направить кого-нибудь в порт?

— Как, вы проверяете моих парней? — возмутился Ребане.

— Наша задача — проверять и перепроверять! — отрезал Большой Джон.

— А что, мистер Джон, это правильная идея! Если Будрис пошлет в порт Юрку, от того ничто не укроется! — поддержал Вилкс.

— Кто такой Юрка? — вдруг живо заинтересовался Большой Джон.

— Бывший работник вентспилсского порта. Работал там помощником стивидора еще при немцах. Юрка мне сам говорил, что Будрис давно предлагает ему легализоваться, даже «чистые» документы достал для работы в порту, но Юрке жалко оставлять товарищей...

— Это ваш человек, Казимир?

— Да,— неохотно сказал Лидумс.— У него тяжело больна мать, поэтому Будрис предлагал ему легализоваться. Но парня увлекла романтика.

— Черт возьми, вот это находка! — стоящий министр. И хотя все звали его полковник Скотт, никто не знал ни его настоящего чина, ни его подлинного имени.

Перед светлыми очами полковника Скотта и предстал Казимир, сопровождаемый Большим Джоном.

Полковник благосклонно осведомился о здоровье мистера Казимира, о том, как нравится ему Лондон, и Лидумс кратко ответил, что на здоровье не жалуется, что во владениях ее величества дышится легко и свободно, но что ему не хватает активной деятельности — в лесу он привык быть всегда под напряжением...

Полковник Скотт улыбнулся, пошутил:

— Не вздумайте стрелять в наших полисменов...

— О, мы и у себя в лесу давно сократили количество выстрелов,— пожаловался Казимир.— Наш руководитель считает, что следует оберегать людей, которым еще придется возглавлять решительную операцию по освобождению Латвии.

— Я с ним вполне согласен,— чуть строже сказал Скотт.

— Но молодые рвутся в бой,— начал было Казимир, однако тут полковник внезапно спросил:

— У вас, кажется, есть люди самых разных профессий?

— Да, если считать и наших пособников — так мы называем легализовавшихся участников группы.

— Бывшие моряки?

— Наш руководитель и сам отличный моряк. В нашей группе есть еще двое.

— По словам Джона, Вилкс назвал какого-то Юрку?

— Это просто портовик. Был помощником стивидора в порту Вентспилс.

— Он может легализоваться?

— Только в случае крайней необходимости. Что поделаешь, фанатически не любит большевиков и чекистов. Два его старших брата погибли в лесных боях.

Скотт помолчал немного, постукивая своей дымящейся пенковой трубкой по столу, затем спросил:

— Наш офицер, преподающий стратегию и тактику подпольной борьбы, говорил вам, вероятно, о новых возможностях проникновения по ту сторону «железного занавеса»?

— Только о порядке связи с прибывающими в Советский Союз туристами, студентами, актерами, которыми начали обмениваться русские с западными странами...

— Вот-вот! — оживился полковник.— В связи с этой акцией Советской страны, а также с учетом расширения торговых и мореходных связей возникает масса проблем. Правда, иные ретивые головы,— с осуждением произнес он,— готовы на этом основании свернуть подлинную агентурную разведку и все функции возложить на этих профанов-туристов, как будто большевики будут возить их в те места, которые нас больше всего занимают! — Он поморщился от досады, затянулся, прячась в табачном дыму.— Особенно по душе пришлась эта идея американцам — впрочем, все их попытки прорваться в Россию неизменно проваливались! — подчеркнул он.— Однако отвергать эту идею бессмысленно: кое-какие данные мы, несомненно, можем получить и через туристов, и через студентов, и через наших славных моряков, особенно если сумеем хоть немного подучить их новой для них профессии. И тут, джентльмены, на нашей стороне та самая романтика, о которой так холодно отозвался мистер Казимир!

Он говорил уже с таким воодушевлением, как будто выступал на приеме у министра или по меньшей мере в генштабе. Возбужденно тыча коротким мундштуком в сторону Казимира, он пытался дать своим посетителям понять, какое количество — пусть и разрозненной — информации будет поступать в разведцентр, если умно сформулировать перед отъезжающими в Советский Союз людьми интересующие правительство Великобритании вопросы. Он как будто и забыл, с чего начался разговор, он восхищался своим предвидением и вниманием слушателей. Но когда показалось, что полковник совсем уже затоковался, как старый глухарь на весенней просеке, он вдруг деловито спросил:

— И этого Юрку можно устроить в вентспилсском порту?

— Я думаю, да,— осторожно ответил Лидумс.— Будрис уже говорил ему об этом, когда выяснилось, что мать Юрки тяжело больна. Тогда у нас было крайне трудное положение, «синие» запеленговали станцию Вилкса, и мы уходили от них по двадцать километров в день, прорываясь то в одну сторону, то в другую, пока наконец не оставили их с носом. Все вконец устали, неделю не ели ничего горячего, и Юрка совсем ослаб. Но тут он заупрямился, не желая покидать друзей в таком тяжелом положении. Да к тому же еще в районе, где мы осели, пособники были только у Юрки, и он уговорил Будриса оставить его. К счастью, потом мы получили от Будриса весточку, что Юркина мать выздоровела. Но документы для него приготовлены. Однако должен предупредить, что Юрка — хороший стрелок, прекрасный конспиратор, может быть, отличный стивидор, но он не разведчик, он не знает рации, шифров, тайнописи и ни разу не порывался хоть что-нибудь узнать в этой области. В сущности, он прирожденный исполнитель, то есть солдат...

— Вы слышали, Джон, какая точная характеристика? — восторженно заметил полковник.— Если бы в наших отделах так умели характеризовать своих людей, скольких провалов мы могли бы избежать! — И снова обратился к Лидумсу: — Но, дорогой мой Казимир, на роль «почтового ящика» он подойдет?

— Ну, чужие тайны из него и клещами не вырвешь!— улыбнулся Лидумс.— В сущности, он у нас лучший связной с местным населением. Да у него и физиономия такая, что лучше не придумаешь! — воодушевился он.— Представьте себе этакую луно-

образную веселую физиономию, неподражаемое знание всех диалектов Латвии — он может с одинаковым успехом выдать себя и за латгальца, и за курземца, а понадобится, так и за немца, да еще и по-английски, как он это называет, «спикает» (в порту подучился), и вот вам облик латыша-весельчака, который кого угодно расположит к себе. А уж рассказать какую-нибудь веселую или печальную историю лучше него никто, пожалуй, во всей Латвии не сумеет...

— Но это же настоящая находка! — воскликнул полковник.— Джон, вам надо немедленно связаться с Будрисом. Попросите перебросить этого Юрку в Вентспилс. В Ригу засовывать его не следует, пусть там пока действуют люди, подготовленные Ребане, а Вентспилс мы должны оседлать немедленно.

Он весело попрощался с мистером Казимиром, как будто получил от него дорогой подарок. Впрочем, Лидумс и сам понимал, каким дорогим подарком оказался бы для полковника послушный агент в порту, который ежегодно посещали сотни судов под флагами всех стран и наций. И даже пожалел бедного Юрку. Если бы старший стивидор вентспилсского порта Арнольдс Лидака знал, в какую кашу сует его любимый командир! А что будешь делать? Коли уж полковнику Скотту подсказали идею использовать безобидный туризм и торговые или культурные связи для «тотального» шпионажа, он змеей станет извиваться, но посадит в Вентспилсе своего агента. Так пусть это будет Юрка, он же Арнольдс Лидака, бывший старший стивидор порта, вот уже два года находящийся в нетях. Да и Будрису будет нелегко вернуть Арнольдса Лидаку в порт. Правда, его тогда отозвали из порта под тем предлогом, что он едет учиться на командные курсы морского флота в Ленинград... Но вернется-то Лидака на прежнюю должность. Впрочем, Лидака отшутится, скажет, что предпочитал два года изучать пивные, рестораны и танцплощадки прекрасного города Ленинграда... Что с него возьмешь, шутник же!

Успокоив себя этим, Лидумс решил больше в судьбу Юрки не вмешиваться. Пусть этим занимается Большой Джон. Сам Лидумс только прогулялся однажды вечером на вокзал в Черинг-Кросс и отправил там открытку по одному рижскому адресу, в которой сообщал некоей особе женского пола о своей вечной любви.

7

А Ребане продолжал наживать политический капиталец. Его посланец Том отвечал из Риги на все вопросы.

В пятницу вечером в особняк на Фростстрит (так называлась маленькая улочка, на которой жил Лидумс) позвонил Большой Джон.

— Мистер Казимир, чем вы заняты?

— Пишу обзор для министра Зариньша,— поддразнил его Лидумс.

— Жаль, что отрываю вас от дела, но все же прошу приехать к нам.

— Хорошо, приеду,— не скрывая своего неудовольствия, ответил Лидумс.

Он вывел машину из гаража, проверил указатель бензина (Моррис знал свое дело, баки полны), нажал кнопку звонка в гараже, и Моррис, не выходя из привратницкой, открыл ворота. Несколько минут езды привели Лидумса в равновесие.

Навряд ли Большой Джон очень желает столкнуть лбами его и Ребане. Скорее всего некоторое недоверие к Тому и его «работе», как бы нечаянно выраженное при помощи Вилкса, сыграло свою роль. Большой Джон тоже достаточно недоверчив. Если он столько времени проверял (или все еще проверяет) Казимира, то почему он должен верить Ребане и его воскресшему Тому на слово? Мистер Казимир хорошо знает Ригу — так, наверно, думает Большой Джон — привлечем его для экспертизы! Ну что ж, будем давать советы... На то ты и утвержден «экспертом по восточным делам при разведке ее величества королевы»... И даже получаешь солидное жалованье. А жалованье надо отрабатывать.

Он оставил машину в том же переулке, прошел в кабинет Большого Джона и, едва поздоровавшись, услышал ликующий возглас Роберта Ребане:

— А Том-то! Вот молодец! Дал сводку почти по всем промышленным предприятиям Риги! Ах, простите, мистер Казимир, я и не поздоровался с вами!

Лидумс пожал вялую руку Ребане, ответил сдержанно, однако вполне дружелюбно:

— Рад! Рад! Как же это ему удалось?

Вилкс, присутствовавший тут же, поморщился. Однако и он ничего не мог возразить Роберту Ребане, которого не любил за грубое чиноначалие. Радиограмма была вполне точная. Правда, Тому не удалось проникнуть на ряд крупных заводов, однако он сообщал, что находится «на подходе». Кроме того, он намекал, что имеет возможность получить некоторые данные о противовоздушной обороне Риги (этим занимается Адольф), и просил подкрепить его деньгами «через известный почтовый ящик».

Эта радиограмма настораживала. Было похоже, что Том и Адольф и на самом деле где-то отсиделись и теперь действуют довольно успешно. Лидумс даже выругал Будриса: «Эх, прошляпил этих сопляков!» Но снова сообщить о них Будрису у него долго не будет возможности! Остается один путь: осторожненько посеять настоящее недоверие к этим воспитанникам мистера Ребане, а заодно и самому Ребане прищемить его лисий хвост...

Большого Джона долго не было: видимо, он звонил не отсюда, а от кого-то из начальства. А когда он появился, неся портфель, закрепленный металлической цепочкой за запястье, стало понятно, что отсутствовал он по важным делам. Да и был он что-то слишком официален. Видимо, разговор с начальством был не из приятных.

Лидумс сделал вид, что ничего не заметил, и, пока Большой Джон отмыкал с руки наручник портфеля, спросил:

— Скажите, мистер Ребане, Том сообщил, чем объяснялся перерыв в связи после условного дня выхода и до февраля?

— Меняли место пребывания,— сухо сказал Ребане.

«Ах ты, лиса, лиса!» — подумал Лидумс. Разве не хитростью и ловкостью отличалась лиса в фольклоре всех народов, избравших именно ее синонимом коварства! Интересно, что еще придумает Ребане-лиса для унижения Будриса, Лидумса, Вилкса и его группы? А Ребане как раз о Будрисе и заговорил:

— Мистер Джон, у Тома есть интересное предложение. Он и Адольф связались с двумя национально мыслящими латышами. Естественно, они произвели тщательную проверку этих лиц. Это бывшие служащие немецкой полиции времен оккупации Риги. Теперь им угрожает так называемое «разоблачение». Кто-то из подвергшихся в свое время их преследованию встретился с ними в Риге, и они опасаются ареста. В то же время они буквально начинены нужной нам, по словам Тома, информацией. Том просит разрешения перебросить их в группу «лесных братьев», о существовании которых эти лица знают по доходящим до Риги слухам, да и сам Том был наслышан еще здесь. Он считает, что это, безусловно, преданные люди и могут принести известную пользу. Он просит у нас координаты Петерсона или Густава. Это поможет Тому и Адольфу завоевать доверие и этих лиц и их друзей, что для них очень важно!

Большой Джон закончил возню с портфелем, сунул его в сейф и теперь с интересом смотрел на Ребане. Потом обратился к Лидумсу:

— Ваше мнение, мистер Казимир?

— Я думаю, у мистера Ребане есть и другие мотивы?

— Пожалуйста, мистер Ребане!

— Том полагает, что курляндская группа имеет прямые связи через море с нами. Во время очередной морской операции нам нетрудно будет эвакуировать их сюда, а это даст нам исключительно важный материал, который не может быть передан по радио.

Большой Джон задумчиво сказал:

— Предложение несомненно заманчивое. Мы имеем возможность спасти двух преданных людей от преследований Чека и прежде всего получить кое-что интересное... Что вы скажете на это, мистер Казимир?

— Меня тут занимает пока что только один вопрос. Мистер Ребане так рьяно отстаивал самостоятельность своей группы, что даже не разрешил Тому и Адольфу идти через группу Будриса. И вдруг сами его воспитанники ищут теперь этой связи. Я считаю всякое проникновение непроверенных людей в группу Будриса извне опасной. Дело даже не в том, кто они. Группа находится в тяжелых условиях постоянного преследования. А вдруг этим господам, уже давно отвыкшим от условий военного времени, такая жизнь придется не по нутру? Допустим, они захотят уйти? Естественно, мы не можем удерживать людей насильно. Ну, а потом? Если они все-таки попадут в руки Чека?

— Но их действительно можно вывезти в Англию! — горячо запротестовал Ребане.

— Вилкс, сколько времени вы ожидали выхода в Англию? — сухо спросил Лидумс.

— Год и десять месяцев! — резко ответил Вилкс.

— Но информация! — напомнил Большой Джон.— Может быть, это интересные документы или фотографии? Мы пока еще не имеем возможности пользоваться бильд-аппаратами, которые передают фотографии по телеграфным проводам и даже через эфир.

— Я лично против такого рискованного эксперимента. Но если мистер Ребане настаивает, я не стану излагать мою точку зрения полковнику Скотту или Маккибину. Проще всего запросить мнение самого Будриса. Он лучше знает положение и в группе и в городе. Наконец, он может дать совет Тому, но только через нас, через Лондон. Может быть, он укажет этим двум лицам какие-то безопасные адреса или раздобудет для них безопасные документы. Но его мнение узнать просто необходимо, а до этого мы не можем отвечать Тому на его предложение, разве что сообщить: вопрос рассматривается.

— Вы разговариваете так, словно группа Будриса — ваша личная собственность! — сердито возразил Ребане.

— Простите, мистер Ребане, но я отвечаю за ее безопасность, хотя и нахожусь далеко от моих друзей. И вот еще что: если вы рискнете лично передать какие-то координаты группы Будриса, ставшие, возможно, вам известными по роду работы в отделе «Норд», то я не могу ручаться за безопасность тех, кто ими воспользуется. В одной из своих радиограмм Будрис уже предупреждал об этом. Подпольная борьба более жестока, чем открытая война, в лесу пленных не берут!

Лицо Лидумса стало таким жестоким, что и Ребане и Большой Джон невольно замолчали. Только после длинной паузы Большой Джон примирительно сказал:

— Мистер Казимир во многом прав. Я думаю, прав он и в том, что советует обратиться непосредственно к Будрису. Только Будрису известно положение дел в группе, мы отсюда можем лишь дать какой-то совет. Подготовьте запрос в группу Будриса и изложите пожелание Тома, мистер Ребане...

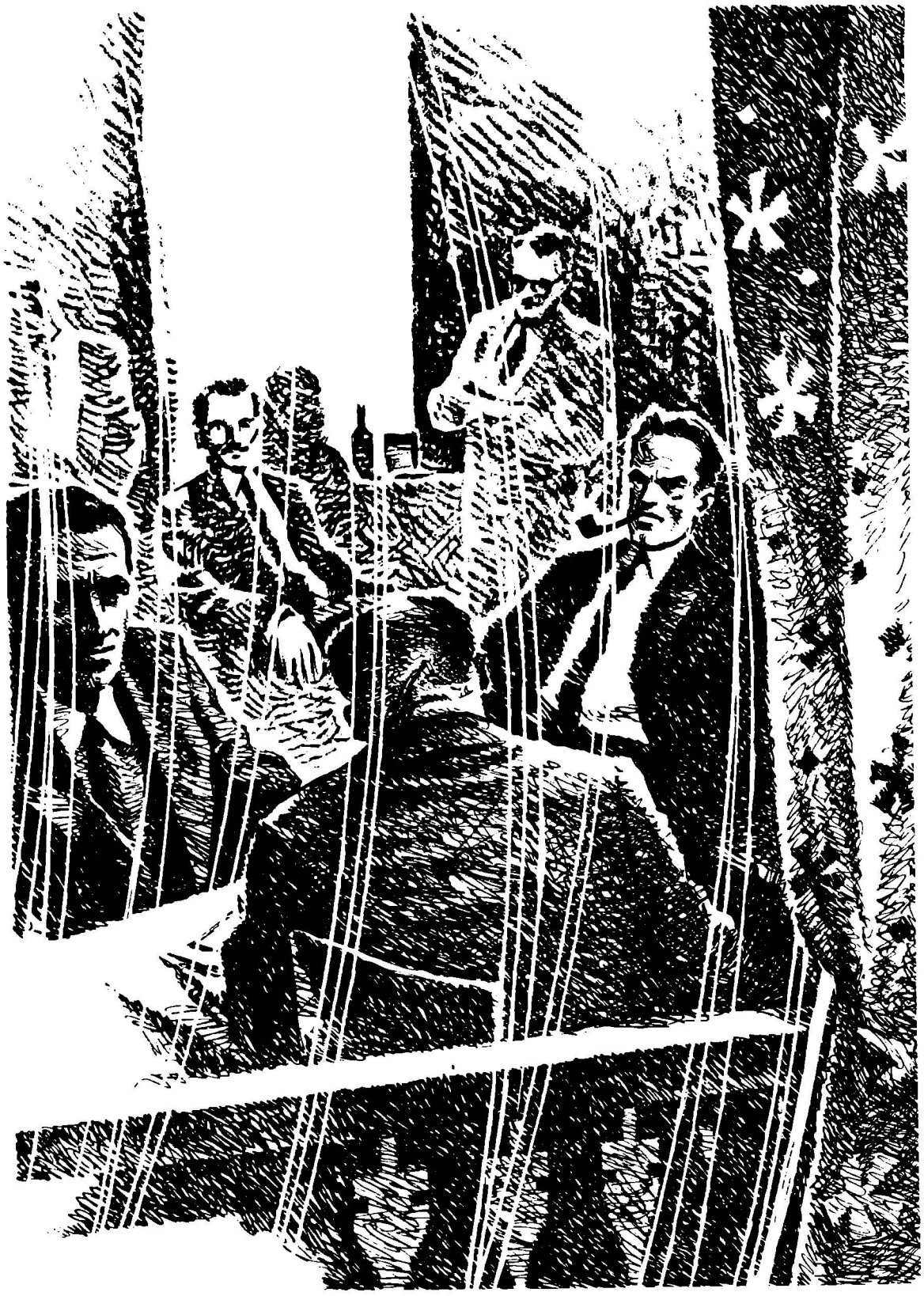
— Хорошо! — не очень любезно ответил Ребане.

— Полковник Скотт приглашает вас, господа, на совещание в среду, в два пополудни,— строго официально произнес Большой Джон, словно и не расслышав резкого тона эстонца.

Все молча вышли из его кабинета. За дверью разошлись, даже не взглянув друг на друга.

Но вечером Лидумса навестил Большой Джон. Ничего не объясняя, он рекомендовал Лидумсу держаться осторожнее.

Они посидели больше часа, потягивая коктейли. Большой Джон был чем-то встре-



вожен. Он много расспрашивал Лидумса об условиях подпольной работы в Латвии; действительно ли латышские чекисты так проницательны, как об этом говорят немногие, к сожалению, беженцы из страны; как относится население маленьких городков и хуторов к посторонним лицам — радушно или с подозрением; каковы условия прописки и проживания без прописки в Риге и других крупных городах Латвии и о многом другом. Но Лидумс понимал, что все эти вопросы связаны с одним: англичане относятся с подозрением к Тому. И объяснял спокойно: да, в Латвии пришельцу трудно. В прошлом году Густав погиб именно потому, что шел один... На «лесных братьев» чекисты постоянно устраивают нападения, которые пришлось вынести и Вилксу. Трудно, трудно...

8

Совещание у полковника Скотта скорее напоминало какой-то непринужденный дипломатический раут, тем более что, кроме англичан, тут присутствовали и эстонец Ребане, и литовец Жакявичус, и латыши Лидумс, Вилкс и Силайс.

Роль хозяйки взяла на себя мисс Нора. Она смешивала коктейли, раскладывала на тарелочки крошечные сандвичи. Не было только лакеев, каждый из присутствующих сам подходил к столу и наливал себе какоенибудь питье или получал бокал из рук Норы. Но едва кто-либо заговаривал, остальные умолкали, внимательно слушая, да и бокалы никто не торопился осушить — под строгим взглядом Скотта пить как-то не хотелось.

Главным украшением зала являлся портрет королевы, под которым в непринужденной позе устроился полковник Скотт, покуривавший свою привычную трубку. Бокал с вином он поставил на столик с телефонами и не притронулся к нему. У столика стоял Маккибин, державший бокал в руке, но тоже не пивший. Третьим в этой начальнической группе оказался какой-то неизвестный господин в визитке, белом галстуке и черных брюках — то ли он пришел с какого-то званого завтрака, то ли собирался прямо отсюда на званый обед. Он все поигрывал брелоками на цепочке, прикрепленной к жилетному карману с часами, так что можно было подумать, не спрятан ли у него в кармане минифон.

Подчиненные служащие собрались отдельной группой, к ним присоединился и Вилкс. Ребане стоял в центре — сегодня был его день! — и перебрасывался снисходительными фразами то с тем, то с другим из разведчиков. Лидумс устроился у противоположной стены и рассматривал портрет королевы. Елизавета была написана во весь рост, в коронационном костюме багрового тона, отделанном горностаем, лицо было невыразительно, но приукрашено художником (на фотографиях она выглядела проще).

Хотя совещание было чисто военного характера, все были в штатском, и внешне это походило на деловой разговор в правлении какой-нибудь торговой фирмы. Только эта фирма торговала военными секретами и кровью.

Ни Маккибин, ни полковник, никого из присутствующих не представляли, но Лидумс видел, что господин в визитке внимательно разглядывает его. Значит, он знал все обо всех присутствующих. Но Лидумс уловил и недоуменный взгляд Ребане и понял: лиса Ребане видит его впервые.

— Мистер Ребане! — четко, но мягко произнес Маккибин.— Мы хотели бы послушать вас!

Все двинулись к длинному столу, на котором лежали заранее подготовленные документы.

Ребане поднялся над столом. Держался он гордо, даже надменно, но Лидумс понял, что Ребане нервничает: у него подрагивали пальцы, когда он начал перелистывать бумаги, лежавшие перед ним.

Но заговорил он довольно спокойно. Приучился сдерживаться в присутствии начальства, понял Лидумс. Не те времена, когда он сам властвовал над жизнями тысяч людей, как это было в эсэсовских частях Гитлера. Здесь он, несмотря на всю его гордость, всего лишь мальчик на побегушках и понимает это. Вот почему ему так хочется доказать этим надменным господам, что он тоже не лыком шит!

— Подготовленные в моей секции Восточной разведывательной школы молодые люди,— начал Ребане,— назовем их Том и Адольф, благополучно проникли за «железный занавес» весной прошлого года. Некоторое время они «акклиматизировались», затем вышли в эфир. Передачи ведет Том. Адольф является «прикрывающим». За прошедшие три месяца они достигли больших успехов. Вот меморандум основных их сообщений! — Он потряс над столом пачкой бумаг.— Мы получили полные данные о мобилизационной возможности рижского порта, список и схему расположения рижских предприятий, данные о новой технической оснащенности некоторых аэродромов противовоздушной обороны, расположенных в Латвии. В ближайшее время Том обещает передать данные о дислокации гарнизонных частей и их составе. И все это сделано моими воспитанниками в самый короткий срок!

Тут он обвел всех ликующим взглядом. Господин в визитке улыбнулся в ответ, Маккибин и Скотт переглянулись. Лидумс подумал: «Под эти данные Маккибин, наверно, получит дополнительные ассигнования!»

В это время он уловил на себе мстительный взгляд Ребане: ликования в этом взгляде уже не было, он готовился съесть Лидумса или, во всяком случае, поджарить его, чтобы Маккибину блюдо показалось вкуснее. И опять подумал: «Ах, Будрис, Будрис, что бы тебе изучить эту проклятую параспсихологию, может быть, ты прочитал бы мои мысли и понял, что мне очень нужна поддержка! Что происходит там, у тебя?»

— Я хочу обратить внимание собравшихся господ на то именно, что смелому и ловкому человеку или двум людям было доста-

точно такого короткого времени. Но вот перед нами оборотная сторона медали: в той же Латвии находится хорошо экипированная и вооруженная англичанами группа Будриса. Здесь присутствует мистер Казимир, представитель этой группы, который может подтвердить мои слова. И что же успела сделать эта группа? А между тем Будрис и его подчиненные категорически настаивают на том, чтобы все связи с Латвией находились под их контролем. Не слишком ли это много за те крохи, которые они дают? Я предлагаю перебазировать часть нашей работы в Прибалтике на группу Тома и его добровольных помощников. Господин Казимир утверждает, что такой параллелизм вреден, но опыт группы Тома...

— Не только вреден, но и опасен! — перебил его Лидумс.— А кроме того, вы, мистер Ребане, неточно излагаете позицию Будриса, хотя она вам и известна. Будрис никогда не настаивал на том, чтобы все связи Запада с Латвией шли через него. Во-первых, это не в интересах нашей группы, так как чревато дополнительными опасностями, а во-вторых, любая обособленная группа, действующая отдельно и по собственной программе, может принести пользу нашему общему делу...

— Прошу меня не перебивать! — глухо сказал Ребане.

— Продолжайте, мистер Роберт! — добродушно произнес Маккибин. Его, видимо, заинтересовало предложение Ребане.

Тихо приоткрылась дверь, вошел референт радиоотдела и положил перед мисс Норой папку с радиограммами. Нора просмотрела их и передвинула Маккибину. Лидумс больше не слушал Ребане. Вернее, он отмечал про себя лишь те пункты в его утомительно длинной речи, по которым потом можно будет возразить. Он следил за тем, как радиограммы от Маккибина перешли в руки полковника Скотта. Тот мельком просматривал их, время от времени милостиво кивая неутомимому Ребане.

Лидумс перебросил Норе записку: попросил передать радиограммы Тома или сводный меморандум. Нора показала записку полковнику, тот кивнул, и вот меморандум на тридцати страницах оказался под рукой Лидумса. Ребане, закончивший свою длинную речь, посмотрел на Лидумса довольно зло, но протестовать не стал.

А Лидумс просматривал радиограммы Тома и все думал о самой странной фразе Будриса в той радиограмме, которая попала ему в руки несколько дней назад: «Мирдза регулярно получает его письма, которые готовит Янко, правда, не очень умело: подводит почерк...»

Теперь он видел эти «письма» и видел почерк, которым они написаны...

Совершенно неожиданно не только для Лидумса, но, кажется, и для всех присутствующих сразу после Ребане заговорил Маккибин. И совсем не о Томе и Адольфе. Он кратко и холодно сообщил, что недавно получены сведения о провале в Латвии группы американских разведчиков, которых возглавлял некий Бромберг.

Центральное разведывательное управление США так гордилось «работой» своего детища — Бромберга, что отказалось подключить к его группе английскую разведку. Более того, американцы не захотели поделиться добытой Бромбергом информацией. Отделу «Норд» пришлось действовать на свой страх и риск, параллельно с уже «прижившимся», казалось бы, Бромбергом, что всегда, сказал Маккибин, приводит к излишним опасностям. И вот работник английской разведки вынужден уйти в «подполье», а Бромберг скоро предстанет перед советским судом...

Маккибин ставил на рассмотрение собравшихся несколько вопросов: какими средствами и силами располагают органы контрразведки стран социалистического лагеря; чем можно объяснить столь частые провалы засланных в пределы этих стран представителей иностранных разведок; какие типичные ошибки могут быть совершены прибывшим в такую страну разведчиком? Все эти вопросы, сказал Маккибин, необходимо тщательно исследовать, чтобы сократить количество возможных провалов при засылке своих людей. Тут он, как и полагается представителю торговой нации, упомянул о том, как дорого стоит подготовка разведчика, особенно если это работник высокого класса. А Бромберга американцы называли в числе самых лучших своих воспитанников...

Лидумс невольно подумал, что вся эта речь построена так, чтобы вызвать на откровенный разговор именно его. По-видимому, англичане и сами не очень верят успехам Ребане, хотя и благодарят его за полученные от Тома сведения. Он уже успел мельком проглядеть эти сведения. Были среди них и отлично разведанные подлинные данные, но большая часть могла оказаться типичной дезинформацией, построенной так, чтобы Лидумс, если ему случится познакомиться с этими радиограммами, понял это. Вот, например, радиограмма Тома о наличии под Ригой на аэродроме в Спилве тяжелых бомбардировщиков (по словам Тома, местные жители называют их «ТУ-95»). Не специально ли для Лидумса подброшен этот материал?

Маккибин предложил высказываться по «делу» Бромберга и дал слово сидевшему рядом Силайсу. Лидумс понял: разговор пойдет по кругу, его очередь еще далеко, он успеет изучить все «письма», которые получает Мирдза...

Да, большая часть их была насыщена искусно смонтированной дезинформацией. И только один человек, именно Лидумс, мог разгадать, где в радиограммах «деза», а где подлинные факты. И старый друг и учитель сумел вовремя предупредить своего ученика Лидумса, что «письма» эти подложны... Том уже давно не выходит в эфир...

Теперь Лидумс знал, как укрепить свое положение. Конечно, Ребане не простит такого удара, но за спиной Лидумса отныне будут стоять Маккибин и полковник Скотт, и оба Джона — Большой и Малый, потому что Лидумс поможет им «спасти лицо», а все разведчики обожают незапятнанную репутацию...

Меж тем Силайс пытался в меру сил проанализировать провал американского шпиона Бромберга. По его словам выходило, что органы безопасности в социалистических странах так запугали своих граждан, что чуть ли не каждый третий из них стал добровольным контрразведчиком... Тут он спохватился, что переборщил: если треть населения каждой страны ищет шпионов, то как же посылать туда своих людей? На верную смерть? И немедленно повернулся на сто восемьдесят градусов.

— Но очень может быть, что Бромберг и сам совершил ошибку. Когда наши ученые разрабатывали новейшие средства радиосвязи, они предполагали, что у потенциального противника нет столь мощных пеленгаторов, которые могли бы засечь эти рации. Однако опыт Вилкса подсказывает, что органы безопасности снабжены отличными пеленгационными установками. Да иначе и не может быть — противник освоил космические полеты, управление беспилотными самолетами и радионацеливание ракет класса «земля — воздух» и «воздух — воздух», а затем ракеты континентального и глобального действия. Если учесть это, то им не так уж трудно было выследить рацию Бромберга, тем более что он, судя по количеству переданного материала, выходил в эфир чуть ли не по два раза в неделю. Следовательно, мы должны воспитывать у наших людей осторожность и еще раз осторожность в обращении с техническими средствами связи. Наши люди выучены лучше, об этом свидетельствуют и успехи Вилкса и успехи Тома, и вся деятельность группы Будриса и приданных ему наших радистов и разведчиков...

Тут Силайс умолк и торжественно опустился в кресло.

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Маккибин приподнял веки и выразительно взглянул на Лидумса. Пришло время держать еще один экзамен. А сколько их еще будет?

— Я не знаю условий работы мистера Бромберга в Латвии, поэтому не берусь судить о причинах его провала,— сказал Лидумс.— Однако опыт моей работы показывает, что небольшие группы наших пособников, как мы их называем, хорошо законспирированные, могут действовать не только в условиях нелегального пребывания в лесах, но и на хуторах и в городах. Иначе наше движение уже давно бы распалось...

...Но я знаю и другое: местное население очень настороженно относится к неизвестным людям, которые не могут доказать своей принадлежности к какой-нибудь понятной и нужной профессии. Мне помнится, что человек, принимавший Вилкса и его друзей, снабдил их пропусками монтеров. Даже и с этими, казалось бы, примитивными документами вся группа благополучно прожила в Риге полгода! А насколько опасно внезапно появиться даже на самых глухих хуторах, показывает печальная судьба Густава, который погиб в первый день своего пребывания в Латвии...— Тут Лидумс на мгновение склонил голову.

...Теперь я позволю себе перейти к анализу работы Тома. Мистер Ребане воспитал отличных работников. Я уверен, что если бы они и попали в руки советских контрразведчиков, то показали бы достойное мужество, как и сам мистер Ребане, проявивший себя во время минувшей войны. Но у меня есть несколько вопросов именно к мистеру Ребане: не находит ли он странным, что ни Том, ни Адольф, «приземлившись» в Латвии, так долго не давали о себе знать ни через эфир, ни тайнописными посланиями? Чем может мистер Ребане объяснить их поразительную работоспособность после «воскрешения»? Почему Том так стремится найти выход на группу Будриса? Да, кстати, мистер Ребане, интересовались ли вы, где они все это время скрывались?

...У меня, например, сложилось твердое убеждение, что они работают не по своей воле. Конечно, я надеюсь, что они ничего и никого не выдали, а может, и действительно, дай нам бог, не знали о группе Будриса, и теперь наш противник, используя захваченную у них радиостанцию, коды и шифры, пытается найти Будриса... через Лондон! А для этой цели забрасывает мистера Ребане сногсшибательной разведывательной информацией...

Голоса, выражавшие удивление, слились в неясный гул. Ребане вскочил и выкрик-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43,44.

нул что-то нечленораздельное, но Скотт усмирил его взглядом. Маккибин, резко откинувшийся в кресле, жестко смотрел на Лидумса, как будто собирался выхватить из потайного кармана пистолет и выстрелить в него. Но Лидумс, будто и не замечая этой всеобщей враждебности, перелистывал радиограммы, словно отыскивая необходимую, и, уловив, как внезапно замер взволнованный гул, заговорил снова:

— Вот одна из разведывательных информаций Тома. По словам мистера Ребане, информации Тома получили высокую оценку и в адмиралтействе и в военном министерстве. В этой Том сообщает, что под Ригой, на аэродроме в Спилве, базируются советские стратегические бомбардировщики. Это же потрясающая информация! Я думаю, что военное министерство поощрило мистера Ребане специальной денежной наградой за нее. И никому не пришло в голову спросить у какого-нибудь англичанина-туриста, побывавшего в последнее время в Риге: не знает ли он аэродрома в Спилве? Тот бы отрицательно покачал головой. Нет его! А относительно «приземления» тот же Том передал, что данные ему из Лондона явки в Риге не выдержали никакого испытания: бывший работник библиотеки латвийского университета разговаривал с Томом в передней и, после того как услышал пароль, огрел его увесистой тростью; от хуторянина под Ригой Тому удалось спастись только благодаря длительной тренировке в беге по пересеченной местности; барменшу из пансионата, в котором до сорокового года обычно останавливались друзья,— прошу извинить меня,— мистер Маккибин и сам он, отыскать не удалось. Том и Адольф, по их словам, сняли комнату в Дзинтари самостоятельно, без каких бы то ни было рекомендаций, и я не удивлюсь, если их квартирохозяева тут же доложили в милицию, что у них живут подозрительные люди...

— Ложь! — взорвался Ребане, снова вскочив. Он, кажется, готов был действовать кулаками.— Вы сознательно черните моих воспитанников! Но это вам не пройдет, мистер Казимир!

— У меня есть еще только один вопрос к мистеру Ребане,— хладнокровно продолжал Лидумс, не глядя на взбешенного эстонца.— Обращался ли он к специалистам, чтобы сравнить радиопочерк новоявленного радиста Тома с теми контрольными записями, что хранятся в радиоцентре «Норда»?

Ребане внезапно сел. Теперь Лидумс притворился сам взбешенным.

— Идиот! — тихо прошипел он по-латышски.— Ведь для того, чтобы получить выход на группу Будриса, большевики могли сообщить вам через поддельного Тома и о том, что в курляндских лесах построена стартовая площадка для запуска межконтинентальных ракет!

Скотт обернулся к Силайсу и приказал:

— Переведите на английский! Громко!

Силайс перевел. Внезапное ругательство и слова о стартовой площадке в лесу многих насмешили. Напряжение как-то разрядилось. Но Маккибин уже звонил по телефону. Руководителю радиослужбы было приказано срочно произвести сопоставление радиопочерка Тома, записанного в период его пребывания в Англии, с почерком радиста, действующего в Латвии под тем же псевдонимом. Затем Маккибин объявил перерыв.

9

Нора снова приняла на себя обязанности хозяйки. Но если в начале совещания все старались избежать соблазна и оставили свои бокалы почти полными, то на этот раз каждый устремился к столику, причем, отметил Лидумс, почти никто не стал разбавлять виски. Слишком мрачное было настроение. Он разгадал их мысли: «Если этот дьявольски проницательный латыш Казимир окажется прав, то вся работа «Норда» через Ригу летит к черту!»

Лидумс тоже принял от Норы бокал виски. Скотт попросил себе «Белый айсберг» — виски с плавающим куском льда. Даже Ребане не пожелал отстать: налил полный бокал «чистого». Никто из зала не уходил.

Теперь все стояли или бродили по залу, отыскивая нужного собеседника. Большой Джон подошел к Лидумсу.

— Вы уверены,— спросил он,— что никакого Тома нет в природе?

— В природе-то он существует,— вздохнул Лидумс,— но вот где, в Сибири или в Латвии? Но меня больше беспокоит другое: почему Ребане не проверил его «почерк»?

— Может быть, он проверял?

— Вы же видели, как он вдруг сел, словно в лужу плюхнулся, когда я спросил об этом.

— «В лужу» — это хорошо сказано! — жестко произнес Большой Джон, и Лидумс понял, что после сегодняшнего совещания господину Ребане нечем будет хвалиться. Подлинные господа не простят лакею обмана, как не прощают швейцару, если он пытается воровать мелочь из карманов пальто.

Большой Джон пошел «повторить» коктейль, и к Лидумсу тотчас же подошел Малый Джон. Лидумс постарался опередить его:

— Интересно, можно ли увидеть где-нибудь королеву? — Он указал кивком на портрет.— Разумеется, во время какого-нибудь официального выхода,— пояснил он.— Не думаю, чтобы ее интересовали бедные изгнанники, нашедшие себе приют под ее просвещенным владычеством...

— Подождите еще несколько лет,— язвительно сказал Малый Джон,— и, возможно, вас удостоят звания пэра. Тогда вы будете присутствовать при всех официальных выходах ее величества и, может быть, приветствовать ее, не снимая шляпы.— Потом сухо спросил: — Зачем вам понадобилось топить этого несчастного эстонца? Ведь вы, кажется, воюете одним фронтом?

«Я знал, что этот шпик не так прост!— подумал Лидумс.— Он куда умнее многих своих начальников. И его надо во что бы то ни стало привлечь на свою сторону. Беда в одном: даже самые умные лилипуты не переносят великанов. Боюсь, что в моем присутствии бедняга чувствует себя еще меньше росточком. А я не могу отрубить себе ни ноги, ни голову: самому еще понадобятся!»

Он медлил с ответом, равнодушно потягивая виски, и глядел не на Джона, а на Ребане.

«Тут надо сделать что-то такое, что сбило бы этого малютку с толку. Если он будет задумываться над каждым моим словом, то не пройдет и недели, как он за что-нибудь зацепится!»

К ним подошла Нора с подносом, и Лидумс взял и поставил на стол сразу три бокала, а пустые, свой и Малого Джона, передал ей. Потом окликнул стоявшего в одиночестве Ребане:

— Мистер Роберт, не присоединитесь ли к нам? У меня припасен для вас бокал отличного зелья!

— Вы меня и так уже изрядно отравили! — пробурчал Ребане, но подошел и принял бокал из рук Лидумса. Малый Джон, удивленно взглянув на Лидумса, тоже взял предназначенный ему бокал.

— Надеюсь, не смертельно? — искренне засмеялся Лидумс.— Возможно, мы еще найдем противоядие?

— Вы же видите, я остался один, как в вакууме! К вам подходят, чуть ли не лобызают, а меня словно бы уже списали в расход! — Губы у Ребане кривились, дьявольское самолюбие, которое с первой встречи подметил в нем Лидумс, мешало ему следить за собой.

— Ну кто же позволит из-за какой-то глупой оплошности списывать в расход отличного работника!—утешил его Лидумс.— Вот мы сейчас разговаривали с Большим Джоном, теперь заговорили с Малым и в обоих случаях приходим к одному и тому же выводу: вас так обрадовали сообщения Тома, что вам и в голову не пришло проверить «почерк» радиориста. Ведь так?

— Я и сейчас убежден, что на радиопередатчике работает Том! — резко ответил Ребане.

— Это мы понимаем! — отмахнулся от его резкости, как от чего-то ненужного, Лидумс.— Речь не об этом! Никто не обвиняет вас в том, что вы сознательно дезинформировали наших старших друзей. Но ведь вы обрадовались появлению Тома в эфире? — подчеркнул он.

— Естественно! — Ребане понял, что ему протягивают спасительную соломинку, и ухватился за нее.— И надо напомнить, что проверка «почерка» работающего с нами радиста — дело руководителя радиоконтрразведывательной службы! — тут же перешел он в наступление.— Я-то ведь получаю только расшифрованные радиограммы!

— Вот именно! — подхватил Лидумс и обернулся к Малому Джону с опечаленным лицом:— Посмотрите, мистер Джон, как все странно сложилось! Вы руководите обеими группами: и нашей и Тома. А не возникает ли у вас подозрение, почему «Том» — позволю себе, может быть, и преждевременные кавычки,— передавая очень ценную информацию, которая может доказать кому угодно, что он и Адольф «закрепились», тем не менее усиленно добивается связи с группой Будриса? Зачем ему эта опасная связь с группой нелегалов? Для выручки двух национально мыслящих друзей? Но из Риги проще перебросить их в Финляндию или в Швецию, чем подвергать всем опасностям жизни в лесу, без твердой уверенности, что их вывезут оттуда. А я отвечаю за безопасность группы Будриса, и вот, как ни странно, ни вы, ни мистер Ребане, ни я не знаем: проверялся ли «почерк» радиста? И еще одно обстоятельство: сейчас в группе Будриса находятся два воспитанника мистера Ребане — Отто и Антс — эстонцы. Я полагал, что Том и Адольф изыщут пути для их продвижения в Эстонию. А вместо этого нам предлагают другую идею: принять еще двух человек. Но ведь лес — это не швейцарский курорт Давос, где всего в изобилии. Я бы предпочел, чтобы Том, если он еще существует, позаботился прежде всего об Отто и Антсе. А он ищет Будриса, ни разу не назвав имена своих друзей! — Рассуждая, он все время следил за перемещением по залу начальников — полковника Скотта и Маккибина. Маккибин в это время прошел мимо них с господином в визитке. Лидумс окликнул его с естественной, казалось, живостью и непосредственностью: — Мистер Маккибин, разрешите, пожалуйста, наш краткий спор! Как могли в отделе отстранить от работы с Томом всех нас — мистера Джона, Роберта и меня? Мистер Роберт, оказывается, получал только расшифрованные радиограммы Тома! А я и радиограммы-то увидел только сегодня! Хорошо еще, что я долго жил в Риге и кое-что знаю о городе и пригородах. А мистера Джона, в сущности, отвечающего за обе латышские группы, вообще не информировали, что собираются вывести на группу Будриса группу Тома! А у Будриса сейчас семь или восемь наших агентов! Как это может быть в такой хорошо организованной разведке?

Господин в визитке навострил уши. Маккибин выглядел удивленным, но тут же принял начальнический вид.

— Это правда, Джон?

Джон, глядя на Лидумса, только пожал плечами.

— Ни я, ни Казимир не знали, что Тома собираются ориентировать на группу Будриса...

— А вы, мистер Ребане?

— Я тоже узнал об этом только вчера, когда получил приглашение на совещание. Но, признаюсь, очень обрадовался этому решению. В последней радиограмме Том сообщал, что у него накопилось много громоздкой информации — планы, карты, книги, рукописи, и надеялся передать их в группу Будриса, чтобы Будрис отправил

все эти грузы с людьми, которых вы, возможно, будете принимать от него...

— Откуда Том знает, что мы связываемся с людьми Будриса лично? — вдруг спросил господин в визитке.

«Э, да ты, друг, наверно, с верхнего этажа разведки!» — подумал Лидумс.

Ребане замялся немного, но ответил спокойно:

— Петерсона и Густава обучали в той же школе, где обучались Том и Адольф. Они общались между собой, а затем все вместе были переброшены в Латвию весной прошлого года. И хотя Петерсон и Густав шли к Будрису, а двое других — самостоятельно, на Ригу, они могли поделиться своими планами...

— Разве связь между обучающимися не исключена? — продолжал свой допрос господин в визитке.

— Они ведь земляки, мистер... э...

— Можете ограничиться этим обращением! — строго предупредил Маккибин.

Но Лидумс видел, как неприятен ему весь этот разговор, и вмешался:

— Я тоже удивлен. В Лондоне о группе Будриса говорят как о соседях по имению. А меня спрятали так, что я и сам-то себя не вижу!

— Не шутите, мистер Казимир, мы обязаны оберегать вас! — остановил его Маккибин.

— Но я тоже обязан оберегать моих друзей в Латвии! — резко заявил Лидумс.

Господин в визитке молча взглянул на него, но во взгляде чувствовалось одобрение.

— Да, это было одно из упущений,— глухо сказал Ребане.

Маккибин попросил всех занять свои места, и опасный разговор прервался.

Рядом с Маккибином стоял начальник радиоцентра, негромко упрашивая его о чем-то. Лицо у Маккибина было каменное, и чиновник все ниже склонял плешивую голову. Наконец Маккибин отпустил чиновника мановением руки и заговорил:

— Даже в такой фирме, как у нас, оказывается, могут быть накладки. Радиоцентр просит дать им двое суток для проверки и анализа данных. Прошу вас, господа, прибыть сюда в пятницу, в двенадцать часов...

Заместитель Маккибина ни на кого не смотрел, но голос его, сухой, жесткий, выдавал всю его злость. По-видимому, он боялся этого анализа и проверки. Лидумсу стало не по себе. Он понимал, против кого направлена вся ярость Скотта: против него! Если бы не речь Лидумса на этом высоком совещании, все можно было бы закончить втихомолку: «списать» Тома и Адольфа — и дело с концом! Но тут было столько свидетелей, что молчаливым «списанием» уже не ограничишься! И еще вопрос: а не придет на это будущее совещание тот самый господин в визитке? Похоже, что тут все ему подотчетны...

...Продолжение совещания в пятницу было по необходимости коротким. Господин в визитке присутствовал тоже, но на этот раз он был в обычном костюме. Маккибин, осунувшийся, как будто не спал обе эти ночи, предоставил слово своему заместителю. Скотт заговорил резко, зло:

— Я только что получил сообщение, что при изучении «почерка» радиста, работающего под псевдонимом «Том», выяснилось: Том выходил в эфир только один раз — двадцать пятого декабря прошлого года. После этого на передатчике Тома работает другой оператор...— Он сделал паузу, так как по залу пронесся глухой ропот негодования. Подождав немного, ни на кого не глядя, продолжал: — Это заключение в совокупности с анализом других данных об обстоятельствах пребывания Тома и Адольфа в Латвии, а также с анализом полученной от них информации дает основание предполагать, что они захвачены чекистами, которые пытаются при помощи передатчика Тома найти выход через Лондон, через английскую разведку на группу Будриса. Я благодарю мистера Казимира, который первым заподозрил в потоке информации, переданной через передатчик Тома, искусно построенную дезинформацию и угадал далеко идущие планы противника...

Он сел с тем же каменным лицом, глядя в полированную поверхность стола, словно ему было тяжело смотреть в разочарованные лица своих помощников. Стало так тихо, что даже шелест бумаги показался бы сейчас громом божьим.

Но Лидумс вынужден был отдать должное Ребане. Он, только что перенесший тяжкий удар по своему самолюбию, заговорил первым:

— Разрешите, мистер Скотт, я составлю такую телеграмму чекистам, что они будут долго ее помнить! Пусть они знают, что английскую разведку провести невозможно!

Скотт поморщился. Лидумс понял: думает о том, что эту разведку уже провели и никакие язвительные телеграммы, переданные в адрес Тома, то есть чекистов, не сотрут с лица следы полученной пощечины.

Лидумс попросил слова:

— Я бы не пренебрегал передатчиком Тома. Если начатую чекистами игру так же тонко продолжать, то мы сможем получить действительно ценную информацию. Чекисты и на самом деле хорошо знают, что английская разведка славится и опытом и умением. И волей-неволей вынуждены будут наряду с дезинформацией передавать и подлинную информацию: как они иначе могут подтвердить подлинность Тома? А здесь, в отделе «Норд», имеются отличные специалисты, которые сумеют отсеять крупицы золота от простого песка. Ведь мы все согласны, что радиограмма поддельного Тома о мобилизационных возможностях рижского порта была ценной. Столь же ценными были и данные о размещении промышленности в Риге. Если наряду с чисто военными сведениями мы будем запрашивать у «Тома» и экономические данные, чекисты невольно попадутся на собственный крючок: в качестве военных данных будут передавать какую-нибудь чепуху, вроде того, что в Спилве базируются бомбардировщики, а экономические данные постараются не путать...

Рассуждая о возможной «игре» с чекистами, Лидумс не терял из виду ни Скотта, ни Маккибина, ни господина в визитке и видел, что лица у них проясняются. Невольно вспомнилась русская пословица, которую он как-то слышал от генерала Голубева, когда советская контрразведка еще только начи-

нала свою «игру» с англичанами через Вилкса: «Маленькая рыбка лучше большого таракана!» Англичане тоже предпочитали маленькую рыбку большому таракану. И закончил он свои рассуждения эффектно:

— А теперь вернемся к главному, чего добиваются чекисты. Они хотят выйти на группу Будриса. Значит, Том или Адольф рассказали им, что с ними шел Петерсон, направленный в эту группу. Если мы сейчас разорвем эту цепочку мнимого Тома, они немедленно начнут искать группу Будриса самостоятельно, и, кто знает, чем это кончится. Я бы вместо той радиограммы, которую предлагает мистер Ребане, в процессе радиоигры сообщил «Тому», что мы потеряли следы Петерсона, скажем, в Латгалии — это так далеко от Курляндии, что чекистам понадобится большой срок, если они станут искать там иголку в стоге сена. А потом попросил бы этого «Тома» самого поехать в Латгалию и поискать следы Петерсона... И чекисты уверятся, что «адрес» Будриса дан нами правильно...

Усмешка на лице Ребане, который все ждал, когда Лидумса остановят, но так и не мог дождаться, постепенно угасла. Он видел, что идея, предложенная Лидумсом, понравилась всем англичанам. Уже господин в визитке что-то шепнул полковнику Скотту, не отрывая взгляда от спокойно рассуждающего Лидумса; уже и Маккибин с Большим Джоном перебросились записками; уже Маленький Джон неодобрительно взглянул на Ребане. «Нет, этот проклятый латыш обворожил их всех!» — в сердцах подумал Ребане, но тут же спохватился. Ведь Казимир, или как там его зовут, вытаскивает его, Ребане, из лужи! Если «игра» состоится, Ребане снова будет на коне. Вся связь с Томом шла через него, значит, его и теперь привлекут к этому интересному делу...

Лидумс уже закончил свои рассуждения, но все молчали, как будто смаковали вкус этого поданного им лакомства и раздумывали, каким ядом его зарядить, чтобы чекисты не распознали начинки. Но вот Маккибин встал, заговорил куда веселее, чем говорил о результатах исследования «почерка» «Тома»:

— Предложение мистера Казимира будет тщательно рассмотрено. А теперь, господа, вы свободны...

Лидумс мысленно поблагодарил Будриса за протянутую ему через леса и моря руку помощи. Нет, парапсихология — интересная наука, если научиться читать попадающие в руки документы между строк. Теперь он знал: друзья не только беспокоятся о нем, но и заботятся о его безопасности. Он и здесь сражается не один. За ним стоят опытные помощники!

10

Около полудня надоедливый февральский туман словно рукой смахнуло. Впервые за долгие зимние недели показалось солнце. Лидумс отодвинул пишущую машинку и подошел к окну.

Всевозможные рантье, пенсионеры, старые дамы с собачками, изголодавшиеся по солнцу, толпами шли по обеим сторонам тротуара. Автомобили ускорили движение, сирены их безмолвствовали, и сразу наметились первые полоски угарного дымка на проезжей части улицы.

Лидумс огорченно взглянул на этюдник, стоявший несколько месяцев у стены,— сейчас бы в самый раз пристроиться где-нибудь на перекрестке и попытаться набросать два-три этюда этого оживленного города. Он приехал в ту пору, когда начиналась затяжная туманная осень, а те несколько солнечных дней, что выпали на долю Лондона за зиму, сидел «в бесте», строго выполняя приказ Маккибина. Конечно, сейчас он мог бы и нарушить этот приказ, но ему очень не хотелось проявлять какую-нибудь самостоятельность, вчера он и так достаточно попортил кровь и Маккибину, и Скотту, и их помощникам... Правда, потом он же подбросил им неожиданную приманку, но... лучше казаться большим простодушным ребенком. Детям почему-то больше верят...

Он вернулся к столу. От него все еще ждали откровений о сегодняшней Латвии. Писал он на английской машинке, на английской, чересчур замелованной, тяжелой бумаге, небось, «Норд» получает такую прямо из министерства иностранных дел, писал по-английски, но мысли выкладывал латышские, советские, новые, с какими эти чопорные руководители «Норда» наверняка никогда еще не встречались. Конечно, он не перебарщивал, описывая свою и чужую жизнь в нынешней Латвии,— откровенных высказываний тут не поймут! — но намекнуть, что никто в Латвии не собирается встречать англичан с развернутыми знаменами, он мог. И делал это с удовольствием.

О, Лидумс ничего не преувеличивал! Он просто сообщал всем желающим слышать, что крестьяне вполне довольны самым первым актом Советской власти, произведенным еще в сороковом году,— разделом помещичьих земель между земледельцами. Следовательно, есть и обратная сторона медали: те, у кого землю отняли, ждут не дождутся англичан, американцев, тех же немцев, лишь бы им ее вернули. Беда в другом: эти «кадры» так раскрыли себя в дни немецкой оккупации, что большинство из них было вынуждено бежать вместе с немцами, а те, что остались, понесли наказание и сейчас вряд ли на них можно рассчитывать. Да, писал он, интеллигенция недовольна снижением доходов. Но тут тоже есть оборотная сторона: их дети теперь учатся бесплатно, а многие и получают стипендии. Несомненно, писал он, жилищный вопрос в Риге усложнился: многие владельцы крупных домов уплотнены, но он, Казимир, еще не встречал такого бывшего домовладельца, который готов был бы с оружием в руках защищать свое владение. И он, Казимир, полагает, что, покамест идет время собирания сил, мечты о всяких акциях следует отложить до более благоприятного момента, а вот когда этот момент наступит, одному богу известно...

Так он постукивал на своей машинке четырьмя пальцами и невольно кривился ехидной усмешкой, когда представлял, как яростно станет черкать этот мемориал полковник Скотт. Скотт употребляет при чтении три карандаша: зеленый — цвет надежды, тут для этого карандаша будет мало работы; синий — цвет будущего и красный — цвет опасности. Пожалуй, мемориал этот превратился под его карандашом в подобие бумажного ковра, только красный цвет будет преобладать. Так, впрочем, мистеру Скотту и надо! Пусть подумает, прежде чем соваться со свиным рылом в калашный ряд!

Зазвонил телефон. Лидумс поднял трубку.

Говорила Нора. Голос был смеющийся, очень громкий. Лидумс догадался: говорит из автомата неподалеку от его особняка.

— Так вы дома, господин инспектор? Вас не выманила даже весна? Позвольте мне и Джону заехать к вам.

— Пожалуйста. Но почему инспектор? И инспектор чего? Богоугодных заведений? У нас были такие. В них содержались престарелые, подкидыши и раскаявшиеся девицы легкого поведения...

— Фи, как зло вы шутите! — Она продолжала смеяться.— Потерпите, сейчас услышите!

Он убрал свои бумаги, но лист в машинке оставил и крышкой машинку не прикрыл: пусть видят, что он не даром ест хлеб ее величества королевы Англии. И открыл дверь холла, ожидая гостей. Они уже входили: впереди Нора, в распахнутом светлом весеннем пальто, светлом же, серебряного оттенка платье и легких туфельках на высоком каблуке. За нею следовал Большой Джон, тоже в распахнутом пальто, без шляпы, в темном строгом костюме, но с легкомысленным цветком в петлице.

— А мы за вами, Казимир! — добродушно пробасил Джон.

— Поздравляю вас, господин инспектор! — воскликнула Нора, низко приседая в реверансе.

— С чем? — Он смотрел недоуменно, но успел поцеловать протянутую руку.

— Именно с тем, господин инспектор! — Она снова присела перед ним.

— Бросьте, Нора, вы совсем замучите бедного Казимира! — остановил ее Джон.

— А вот и первое свидетельство признания ваших заслуг! — напыщенно произнесла Нора, достала из сумочки какой-то пакет, снова присела и протянула его Лидумсу.

— Что это? — Лидумс не торопился вскрывать пакет, даже держал его так, словно намеревался немедленно вернуть.

— Ради бога, не пугайтесь, Казимир! — взволнованно заговорила Нора.— Если вы вернете мне эту бомбу, Маккибин убьет меня.

Лидумс улыбнулся и надорвал пакет. В нем лежали деньги — четыре бумажки: всего сорок фунтов.

— Вы не можете себе представить, как разозлился Маккибин, когда узнал, что вы получаете всего семь фунтов в неделю. Он учинил, по-моему, каждому из нас по разносу. Скотт попытался было объяснить, что вы сами пожелали ничем не выделяться среди остальных обитателей школы, но Маккибин задал ему только один вопрос. Вы помните, Джон, какой вопрос задал Маккибин полковнику Скотту?

Джон поклонился Норе и сказал напыщенным голосом, довольно искусно имитируя торжественные спичи Маккибина:

— Полковник, вы получаете десять раз по семи в неделю, но если бы не Казимир, вы провалили бы нашу последнюю надежду — Будриса!

— Вот-вот, именно так он и сказал. И тут же показал полковнику только что подписанный им секретный приказ — вы ведь знаете, министерство финансов контролирует даже нас! — пожаловалась она,— которым вы назначаетесь старшим инспектором «народных училищ»! — Это она уже съязвила, такой должности в отделе «Норд» не было, но «народные училища», а точнее, «антинародные», были. Так назывались в финансовых документах шпионские школы, на содержание которых тоже требовались деньги налогоплательщиков, хотя налогоплательщики и не представляли, куда их денежки утекают. А школ — это Лидумс уже уяснил — было много — и в самой Англии и за ее пределами, особенно в Германии.

— А теперь, господин инспектор,— сказал Большой Джон,— самое время вам пригласить нас, ваших коллег, к обеду. А если благоволите, то и к ужину, ну, а уж если вам захочется посмотреть ночной Лондон, то и на всю ночь. Мы с Норой взяли на сегодня отпуск. Да вам и самому пора отдохнуть! — Он мельком, но внимательно взглянул на торчавший в машинке лист с текстом мемориала и закрыл машинку крышкой.— Одевайтесь! — скомандовал он.— Вы еще не прожгли дыры на вашем костюме, сидя в воображении у дымного костра в Латвии? А более светлый костюм у вас есть? А то мы с Норой можем сначала отвезти вас к портному. Вряд ли в магазинах держат одежду для таких викингов.

— Сойдет и этот!—засмеялся Лидумс.— Я так давно не носил ни фрака, ни смокинга, что мне придется долго привыкать!

Он сунул конверт с деньгами в карман, бросил на руку легкий плащ, который Джон купил ему в Германии, взглянул в зеркало и поймал восхищенный взгляд Норы. Неужели она не боится своего Маккибина? И вспомнил: даже на совещании ловил вот такой же восхищенный взгляд. А может, Маккибин не имеет ничего против, чтобы Нора «изучила» Лидумса?

Свою маленькую машину Нора припарковала при въезде на улицу. Какой-то ловкий малый распахнул дверцу. Большой Джон привычно сунул ему в протянутую руку шиллинг.

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Нора лихо вела машину. Лидумс внимательно разглядывал Лондон. После новогоднего запрещения выходить днем он покидал дом только по вечерам. А в этот день город ему нравился все больше и больше.

Они уже миновали центр, а Нора упрямо гнала машину. Начинался другой Лондон, малоэтажный, старый, без световых реклам, которые в центре никогда не гасли — ни в туман, ни в солнечный день. Покружившись по узким улочкам этого старого Лондона, Нора вдруг остановила машину, и Лидумс увидел неожиданную вывеску на пяти языках — ресторан «Латвия». Они устроили ему приятный сюрприз!

Зал ресторана был отделан черным деревом, под мореный дуб. В глубине помещения маленький джазик играл, как по заказу, латышские народные мелодии, транскрибированные синкопами. Перед оркестром был немного опущен подсвеченный круг для танцев. Справа, несмотря на первый ясный и довольно теплый день, пылал камин, в котором горели не угли, а настоящие дрова.

Нора прошла впереди, помахивая сумочкой, как пращой. В зале были две молодые пары; старик с молоденькой девушкой, судя по всему, с дочерью; компания моряков торгового флота, по-видимому, латыши с одного из английских лайнеров. Но самое приятное было то, что Лидумс услышал родную речь: тут все, начиная с официантов и кончая метрдотелем, говорили по-латышски, на латышском разговаривали и посетители. Увидеть такое чудо в Лондоне Лидумсу и во сне не снилось, и он опять от души поблагодарил Нору.

И меню было рижское... Копченый угорь на закуску, миноги, скабие капусти, земнieску брокастис. Затем шла уха, картофельный суп, курземес строгановс, свиное вареное мясо, свиные ножки, майзес зупа, и даже водка подавалась «Кристалл», по-видимому, хозяин имел связи с советскими торговыми фирмами...

Последнее открытие немного насторожило Лидумса, но Нора и Джон вели себя так мило, что он махнул рукой на все подозрения, тем более что не собирался повторять подобное путешествие в одиночку, и с удовольствием принялся сочинять настоящий латышский обед при помощи метрдотеля, который с не меньшим удовольствием произносил латышские названия блюд, советуя даме и господам попробовать то и это, потом нагнулся к Лидумсу, тихо спросил:

— А может быть, господа пожелают черного рижского бальзама?

— Что он сказал? — полюбопытствовал Большой Джон.

Он и Нора сами, должно быть, были тут впервые. Это можно было понять по любопытным взглядам, по улыбкам, которыми они обменивались, словно оценивали этот ресторан как находку.

— Он сказал, что покажет вам настоящее чудо, какого не добились ни в одной стране мира,— наш национальный напиток.

— Ну, ну! — скептически пробормотал Джон.

Но Нора, эта милая Нора просто преобразилась: она сразу набросилась на Джона.

— Милый Биг! — капризно воскликнула она.— Если уж мы привезли нашего Казимира на островок его родины, доверимся его выбору!

«Именно островок! — грустно подумал Лидумс.— Даже не островок, а плотик, который забросило бурным штормом во-он как далеко от родины, в самое Сохо, куда выбрасывает всю накипь этого странного мира эмигрантов, отщепенцев, изменников...» Но вслух только пошутил:

— Если вы не умрете от первой рюмки, то потом попросите меня записать название этого божественного напитка английскими буквами и станете приезжать сюда хотя бы раз в месяц. Только меня не приглашайте, тут я могу спиться, если у хозяина действительно есть запас.

Как раз к слову появился и сам метр в сопровождении лакея, подносившего на вытянутых руках деревянное, с резным орнаментом блюдо, на котором стояли три длинные рюмки, наполненные черным напитком. Отдельно, специально для англичан, стояло миниатюрное серебряное ведерко со льдом. Метр сам поставил перед каждым по бокалу, и Лидумс предостерегающе поднял руку:

— Прошу оставить лед таять, как ему положено, прямо в сосуде. В Латвии этот напиток пьют двумя способами: люди небогатые берут одну рюмку рижского черного бальзама и разводят ее бутылкой водки «Кристалл». Люди состоятельные или выдающие себя за таковых пьют чистый рижский черный бальзам. Попробуем и мы притвориться состоятельными людьми!

Он поднял свою рюмку на уровень глаз, подождал, пока подняли и Нора с Джоном, поклонился им и с удовольствием, смакуя, выпил. Джон опасливо сделал глоток, просиял и немедля допил. Нора закашлялась было, но храбро выпила до конца. Только потом, отдышавшись, она испуганно спросила:

— Что это за зелье? Яд кураре?

Джон, с побагровевшим лицом, тоже еле перевел дыхание.

— Если это и не смертельно, то выводит из строя по крайней мере на месяц! — еле выговорил он, удивленно глядя на Лидумса.— Что? Вы хотите убить нас? Я больше никогда не смогу пить!

— Вот именно! — засмеялся Лидумс.— Вам уже никогда не захочется пить ничего другого, если перед вами будет выбор: черный рижский бальзам или виски, коньяк, русская водка, вина, коктейли. Прошу повторить! — добавил он, так как лакей опять появился со своим блюдом, а хозяин уже расставлял рюмки.— И еще: этот напиток делается, как настойка, на семидесяти восьми травах! В Латвии им лечат почти все болезни. Во всяком случае, если в доме есть бутылка этого напитка, то грипп туда не вхож!

— Сколько же ему лет? — удивленно спросил Джон, разглядывая мерцающий черным цветом напиток в хрустале.

— Принесите нам бутылку! — приказал Лидумс. И когда хозяин поставил на стол глиняный полулитровый кувшинчик, пододвинул его Джону. Джон и Нора принялись изучать этикетку.

— Я бы хотела иметь такую этикетку в своей коллекции! — воскликнула Нора.

— Ловлю вас на слове! — ответил Лидумс и обратился к хозяину: — Заверните по бутылке для мисс и мистера.

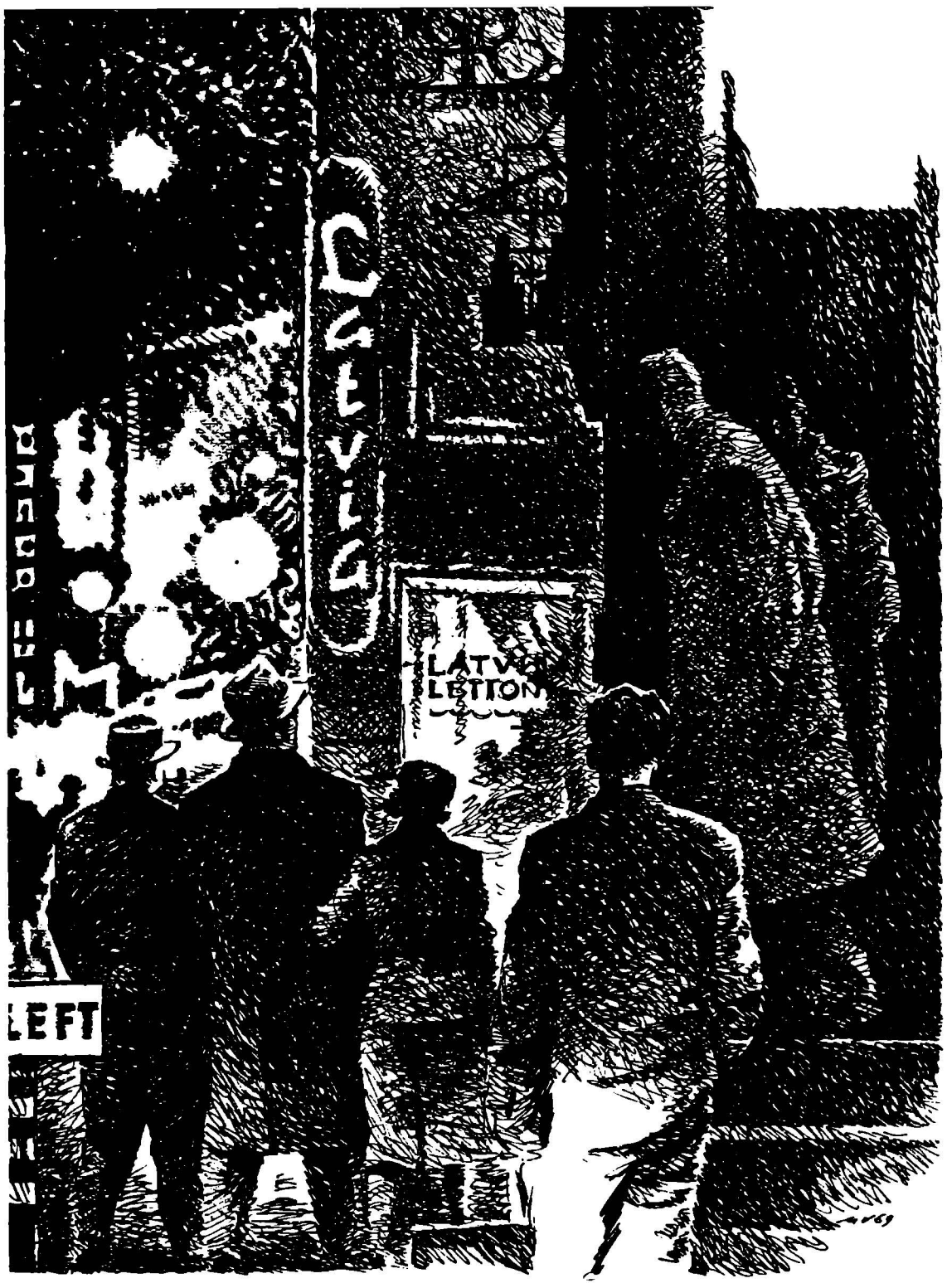
Хозяин поклонился так низко, что Лидумс подумал: «А не на вес ли золота продают здесь этот напиток с родины? Пожалуй, есть смысл удивить Скуевица и Зариньша!» — и добавил:

— И отдельно еще две. Нет, три!

— Вы почувствовали себя миллионером? — усмехнулся Джон, показывая мелко напечатанную в ресторанном меню цифру напротив названия напитка и рекламного восклицания: «Только у нас!»

— Ну, я так мало трачу, что вполне могу сделать подарок друзьям из моего правительства!

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—45.



— А действительно, знают ли Зариньш и его окружающие о существовании этого ресторанчика? — заинтересовался Джон.

— Это мы сейчас выясним,— ответил Лидумс и спросил у хозяина: — Господин советник Скуевиц у вас бывает?

— О, обязательно! Раз в месяц! Это приличный латыш.

— А есть и «неприличные» латыши? — засмеялся Лидумс.

— Конечно! — с возмущением ответил хозяин.— В колонии устроили кооперативную столовую. Мне пришлось завести отдельную кухню для посетителей-англичан.— Он показал на стеклянную дверь в соседнее помещение.— Иначе я прогорел бы!

— Оказывается, здесь есть и английская кухня! — сообщил Лидумс гостям.— Может быть, вы пожелаете...

— Что вы, Казимир! — остановила его Нора.— Вы, оказывается, умеете быть очень любезным хозяином! Я непременно хочу отведать этот курземес. А вот здесь я вижу слово «цеппелины». Они напоминают страшные истории прошлой войны, которые мне рассказывала мама. Она, правда, тогда не предполагала, что ее дочери и сыну придется участвовать совсем в другой, непохожей войне с немцами...— Кажется, бальзам медленно делал свое дело, Нора становилась сентиментальной. Это с ней случалось, как замечал Лидумс, только после очень крупного возлияния.

— Разве вам тоже пришлось участвовать в войне? — спросил он.— Я помню, что у вас погиб на войне брат, и думал, что это чисто мужское дело!

— Я с детства говорила и по-немецки и по-французски. Как только мистер Черчилль разрешил девушкам вступать в отряды противовоздушной обороны, меня приняли переводчицей в саутгемптонский районный отдел контрразведки. А уж после войны я перешла в «Норд»...

— Неисповедимы пути господни! — с легким вздохом сказал Лидумс.— Оказывается, была нужна война, чтобы я мог смотреть влюбленными глазами на английскую леди.

— Перестаньте так шутить! — Она легонько хлопнула его по руке длинными холеными пальцами.— Мне порой кажется, что вы все время слышите шум своих лесов и совсем не слышите меня!

«А ведь она права! Сквозь шум их голосов мне все слышится голос леса. Даже то, что я пью в Лондоне рижский бальзам, не мешает мне слышать голоса Будриса, Делиньша, Графа... Но ее признание обязывает. Я не могу притворяться монахом, это слишком подозрительно для них!»

11

После долгого обеда, слегка уставшие, но все еще полные иллюзий, будто они весело проводят время,— во всяком случае, так казалось Норе и так она и говорила,— они поехали в кино. Лидумс плохо понял фильм, в котором один сумасшедший преследовал другого сумасшедшего, пытаясь его убить, так как им овладела идефикс, будто тот будет его убийцей.

После кино Нора заявила, что у нее разболелась голова, следует подышать свежим воздухом, и Лидумс пошел на риск: отправился в машине с пьяной женщиной за рулем в дачные пригороды. Но так как все приятно выглядевшие места были обнесены изгородями, кое-где кустарниковыми, а в некоторых местах — колючей проволокой, а Джон все время негодовал, как это в наше время находятся идиоты, которые без служебного поручения ищут природу, настоящий белый человек давно уже умеет извлекать все наслаждения при помощи аппарата кондиционированного воздуха и вышколенной прислуги, то прогулка оказалась утомительной. Все-таки они нашли местечко на берегу Темзы, не огороженное ни проволокой, ни кустами, прошлись по берегу, и там Нора поцеловала Лидумса. Именно она его, а не наоборот. Но тут он сообразил, что лучше покориться судьбе. Отвергнутая женщина становится мстительной, и кто знает, не станет ли она преследовать его с упорством маньяка, которого Лидумс только что видел в кино?

Джон нетерпеливо нажимал на клаксон. Лидумс сорвал несколько жалких зеленых растений, то ли уцелевших с лета, то ли нечаянно возникших на согретой подземными трубами парового отопления почве, и нежно преподнес их Норе, а потом они снова мчались по прекрасным дорогам, и Нора опять развивала непозволительную скорость, шепча сидящему рядом Лидумсу, который на всякий случай привязался ремнями к сиденью, как в самолете,— машина была приспособлена для таких сумасшедших гонок! — что она, Нора, навсегда запомнит этот день.

«Если мы его переживем!» — поправлял про себя Лидумс, но ему, викингу, ему, лесному жителю, полагалось быть мужественным и страстным. И он терпел.

Они вернулись обратно в город около одиннадцати часов вечера. Нора подъехала к своему дому,— у нее был свой дом, похожий на дом, в котором жил теперь Лидумс, унаследованный ею от отца, двухэтажный, со множеством внутренних лестниц и переходов, устроенный так же, как и дом Лидумса: спальни и рабочие комнаты размещались наверху, а внизу находились большой холл, столовая, гостиная и комнаты для прислуги. Тут Лидумс и Джон выпили по коктейлю, пока Нора переодевалась где-то наверху, но вот она спустилась к ним.

На ней было вечернее платье, но самое главное для Лидумса было то, что она вернулась к ним совершенно трезвая. Он тут же подумал: «Хватит. Теперь я буду пить только ледяную воду и кофе. Если я проглочу еще две-три рюмки, она сможет вытянуть из меня что угодно...»

Сейчас это была просто женщина, и Лидумс усмехнулся, представив, как когда-то она явилась перед Маккибиным в таком вот наряде и как тот был ошарашен...

Но на Джона ее прелести как будто не действовали, а может, он просто все время помнил о стоящем за ее спиной начальнике отдела «Норд», во всяком случае, он кричал только о том, что она их задерживает, в лучших дансингах не будет мест, в какой-то кабак, который он упоминал несколько раз, они не попадут, и прочее, на что Нора с очаровательным спокойствием ответила:

— Программа разработана заранее, места заказаны!

И отказаться от очередного коктейля Лидумс не смог.

Он пожалел, что не запасся какими-нибудь таблетками против алкоголя,— ведь отрезвела же Нора только что!— и снова пообещал себе, что будет выливать все пойло, которое ему еще подадут.

В полночь они были в самой благополучной части города. Тут тоже виднелись, конечно, жители ночи, которые подрабатывали на причудах богатых посетителей злачных мест. Тоже кто-то бросился откинуть дверку автомобиля Норы, едва она припарковалась, какие-то девушки мерзли в летних плащиках — к ночи стало холоднее,— ожидая того, небом посланного, кто пригласит их поужинать или очаруется их сомнительными прелестями, хотя, на хмельной взгляд Лидумса, все они были похожи на ангелов. Тут же стояли продавцы цветов, и Лидумс не преминул вспомнить о своей студенческой жизни, купил прелестные розы и вручил их Норе. Та встретила этот дар несколько удивленным взглядом, и Лидумс похвалил себя: ведь он же все еще на испытании — вот о чем говорил этот взгляд!

Их действительно ждали. Швейцар, принимая пальто, должно быть, нажал невидимую сигнальную кнопку, так как на пороге вырос представительный господин, который, церемонно поклонившись Норе, пригласил гостей следовать в зал, а затем к ним были приставлены сразу два лакея.

Лидумс прежде всего пригласил Нору танцевать.

Так и не справившийся с опьянением Большой Джон снова прильнул к бокалу с ледяным коктейлем. Лидумс, отходя с Норой от стола, озорно шепнул лакею:

— Этот господин должен пить как можно больше! Наградные в том случае, если он к концу ужина не сможет отличить бутылку от женщины!

Лакей понимающе осклабился, а Нора, усмехнувшись, похлопала Лидумса по руке:

— Я вижу, до ухода в лес вы не теряли времени даром!

— Даром? — сознательно не понял ее Лидумс.— Я оставил в ресторанах до того дня сорокового года большую часть отцовского наследства. Нет, меня до сих пор не любили даром...

Все время они танцевали. Должно быть, Норе импонировало, что на ее партнера, как, впрочем, и на нее, заглядывались многие. И это спасло Лидумса, Нора перестала заботиться о питье.

Но к четырем часам ночи, когда уже прошли стриптизы, певицы, певцы и на сцене упражнялись бездарные комики, она, проглотив какую-то таблетку, воскликнула:

— Боже, я совсем трезвая! Какая же это ночь пиршеств, если женщина не теряет туфли с ног, а мужчина — свой дом?

Джон еле раскрывал уста и то для того лишь, чтобы приложиться к рюмке. Официант постарался заслужить чаевые.

Сначала Нора пожелала отвезти домой Джона. Сквозь пьяную муть утреннего похмелья у Лидумса все-таки порой просыпалось любопытство: что она станет делать дальше? Настоящей английской леди неприлично идти в чужой дом. Может быть, она привезет его на одну из конспиративных квартир?

Все оказалось проще. Отделавшись от спутника, Нора погнала машину в пригород. И через десять — пятнадцать минут остановила ее возле своего дома.

Эта бешеная гонка немного освежила Лидумса. Выбравшись из машины, он даже запротестовал: неудобно! Кто-нибудь может заметить!

Нора весело воскликнула, что еще вчера отпустила прислугу. Лидумс усмехнулся и спросил: «А что скажет Маккибин?» Но спутница суховато сказала, что дом принадлежит ее отцу, а в Англии ни служебные, ни личные отношения не касаются родительского дома.

Проснувшись у себя дома около полудня, он принял ванну, побрился, позавтракал и только после этого позвонил. Нора капризно спросила: «Почему так поздно?» — но, должно быть, кто-то мешал ей, так как она сразу перешла на деловой тон. Мистер Маккибин просит Казимира прибыть для срочной консультации. Мистеру Казимиру лучше воспользоваться городским транспортом: это будет быстрее, так как утренний час «пик» еще не кончился...

На ставшем уже привычным конспиративном языке отдела «Норд» это обозначало, что совещание носит совершенно секретный характер и мистеру Казимиру следовало прибыть по возможности незаметно.

12

В приемной у Маккибина сидели Силайс и оба Джона — Большой и Малый. Большой, как видно, чувствовал себя плохо после вчерашней ночи. Подсев к маленькому столику с сифоном, он медленно цедил содовую воду. Так как сифон был почти пуст, можно было думать, что он пьет не первый стакан. Он вяло улыбнулся Лидумсу и показал на затылок. «Болит голова!» — понял Лидумс. Нора мило улыбнулась, но сейчас же прошла к шефу. Силайс и Малый Джон встретили нового «советника» вполне дружелюбно.

Пока ничто не вызывало мысли об опасности. Но где-то в груди у Лидумса посасывало. Он-то понимал, что в этом, по-английски строгом, официальном здании всегда горит огонь под котлом, в котором кипит весьма ядовитое варево. И кто знает, кому придется хлебнуть его...

Нора вышла с той же милой улыбкой, сказала: «Шеф просит всех зайти к нему!» — и снова уселась за столом — этакий милый секретарь строгого учреждения. Остальные поднялись и прошли в служебный кабинет Маккибина.

Некоторое время он молча курил, потом вдруг спросил:

— Мистер Казимир, считаете ли вы март и начало апреля удобным временем для морского десантирования в Латвию?

Лидумс вынул из пачки сигарету, размял ее сильными длинными пальцами и только тогда ответил:

— В это время солнце заходит около девяти часов вечера. Но рассвет начинается в четыре часа утра, а ночью светит полная луна. Людям придется сделать очень сильный бросок, чтобы уйти из опасной зоны. А ведь у них, вероятно, будет с собой тяжелый и громоздкий груз? Придется вызвать на берег большое количество людей из группы Будриса на роль носильщиков. И еще вопрос: иду ли я вместе с этой группой?

Про себя он подумал: не из-за него ли затеяна вся эта неожиданная операция? Возможно, Маккибин уже знает все о нем и Норе и решил немедленно избавиться от неожиданного соперника...

Маккибин досадливо сказал:

— Это группа особого назначения. Морское министерство предложило перебросить их людей, людей из морской разведки. Я ответил им примерно то же самое, что сказали и вы, но они предпочитают рискнуть сейчас, нежели ждать осени. Вы с ними не пойдете.

— Какова тогда обязанность группы Будриса?

— Принять шесть-семь человек, вынести их груз, укрыть на некоторое время людей, пока они акклиматизируются, и помочь им в продвижении на восток. Наших друзей из морского министерства, видите ли, очень интересует ряд портов Советского Союза — Мурманск, Ленинград, Баку, Игарка и города, расположенные по Волге.— Это он проговорил иронически. «Норд» всегда считал, что в морской и военной разведках работают дилетанты. Но протестовать против приказов, исходящих из этих министерств, «Норд» не мог. А сама по себе ирония — слабое оружие, особенно когда тебя не желают слушать.

Лидумс нарочито медленно курил. Он думал: размах у морской разведки очень большой. Но что может их интересовать в этих городах?

Но такие вопросы задавать не полагалось. Опасно для спрашивающего.

— Вы сообщили Будрису об этом неожиданном плане?

— Если мы решим ответить морской разведке положительно, то этим займется Силайс, и немедленно. Большой Джон будет наблюдать за подготовкой десанта. Малый Джон поедет с вами в небольшую инспекционную поездку...

— Со мной?

— Да. Наши американские коллеги весьма заинтересованы вашим опытом подпольной борьбы в условиях СССР и попросили командировать вас как советника отдела «Норд» на некоторое время в их распоряжение. Военное министерство попросило нас исполнить эту просьбу...

— Ну, ну! — Лидумс покачал головой.

В его жесте было столько иронии в адрес «Норда», что Маккибин не выдержал:

— Вы же знаете, Казимир, музыканты играют только ту музыку, за которую им платят!

Маккибин оправдывался! Всесильный шеф отдела «Норд» признавался в бессилии перед теми, кто пытался планировать будущую войну. Как видно, ему и самому показались неубедительными эти оправдания. Он грубо добавил:

— Эти дармоеды из морской разведки ухватились за какой-то дурацкий слух, будто в одном из городов СССР строятся подводные лодки нового образца. Одна из них якобы проходила на Черном море ходовые испытания...

Да, Лидумсу достаточно было узнать об одном этом «дурацком слухе», чтобы оправдать все свое пребывание в «Норде». Теперь стала понятна нервозность Маккибина и его высоких покровителей! Но как передать эту новость Будрису? Если Лидумса отправят не сегодня-завтра в Западную Германию, он едва ли успеет написать что-либо «домой»! Но заговорил он спокойно:

— Все-таки проще всего обратиться к Будрису. Он лучше знает условия в Прибалтике на сегодняшний день. И следует заняться этим немедленно. Ему потребуется время для разведки. Хотя мы следим за условиями на побережье постоянно, однако же пограничники о переменах в своей дислокации нам не сообщают. Мне помнится, что новолуние начинается в самом конце марта. Если десантники высадятся к двадцати четырем, у них останется четыре-пять часов для броска к лесным базам...

Маккибин подошел к столу, взял какую-то книгу, удивленно взглянул на Лидумса:

— Ну, мистер Казимир, вам бы быть астрономом! Новолуние действительно начинается двадцать девятого марта!

— О, на лесных людей небесные светила оказывают слишком сильное влияние, чтобы забыть их благоприятное положение! — Он улыбнулся, глядя в удивленные лица своих слушателей.— В такие темные ночи мы обычно выходили из своих берлог и навещали друзей, а иногда и врагов...

— Не хотел бы я иметь таких врагов! — пробормотал Маккибин.

— В Лондоне это никому не угрожает! — весело рассмеялся Лидумс.

— Ну что ж, господа, вы свободны! — со вздохом облегчения произнес Маккибин.— О деталях вас поставит в известность мисс Нора. Это касается и вашего возможного путешествия, мистер Казимир. У вас будет отличный проводник, Джон знает Германию как свои пять пальцев! Мистер Силайс, приготовьте радиограмму Будрису. Подпишите ее от своего имени и от имени мистера Казимира. До свидания!

13

Вечером он опустил в прорезь почтового вагона, уходящего во Францию, очередное безразличное письмо, из которого никто бы не смог ничего вычитать, кроме адресата.

Этот день был наполнен раздумьями и тревогой.

Где-то далеко-далеко, на Черном море, ему мерещилась подводная лодка, которая вдруг вышла из морских глубин и показалась во всем своем мужественном великолепии. И хотя никто не должен был видеть ее, нашелся настороженный глаз. Как бы то ни было, теперь именно Лидумсу предстояло предупредить своих товарищей, ибо англичане не отстанут до тех пор, пока им не отрубят руки, выражаясь фигурально. И это видно хотя бы из того, что они бросают сразу шесть-семь человек на одну «акцию»!

Спал он плохо.

А утром позвонила Нора. Не скрывая своей печали, она сказала, что ей приказано доставить мистеру Казимиру документы и инструкции. Он должен завтра уехать...

Она не сказала, куда, но в голосе ее ясно слышался вопрос: «Зачем? Зачем? Зачем ты оставляешь меня?»

Он спросил только, когда она приедет, и, услышав: «К вечеру!» — заторопился. Нужно было хоть что-то сделать, чтобы утешить ее...

Нора приехала в час ленча, самый священный для мелкого буржуа. В этот час можно навестить друга, но только самого близкого, можно поговорить и о делах, касающихся только их. Для других дел лучше выбрать другое время.

«Викинг» успел подготовиться к визиту: заказал цветы, вино, чай. Вспомнил и о своей старой профессии: написал акварелью портрет Норы по памяти, написал бурными мазками. Женщина оказалась томной, изысканной, какой, скорее всего, никогда не была. Это был подкуп, Лидумс понимал, но это была и благодарность за нечаянную нежность и надежда на будущую дружбу. А в друзьях он очень нуждался и не собирался скрывать этого.

Он поставил еще сырой от красок портрет на свой письменный стол — если Нора привезет, как сказала, документы и деньги, то раньше всего увидит этот подарок,— примерился, как поудобнее поставить цветы, открыл вино и только успел вернуться к письменному столу и к тому же дурацкому докладу, которого так ждет от него господин Зариньш, как вошла Нора.

Скорее всего, она ожидала от своего «медведя» чего угодно, кроме учтивости и вежливости. Она даже ахнула, разглядывая накрытый стол, медленно прошла по комнате, протягивая руки навстречу, и вдруг замерла среди комнаты, устремив взгляд и вся потянувшись навстречу портрету...

— Дорогой Казимир! — только и воскликнула она.

Он помог ей снять пальто, небрежно бросил его на кресло и поцеловал ее руку.

Потом она долго и восхищенно разглядывала портрет, и Лидумсу пришлось признать, что, несмотря на некоторую стилизацию и слащавость манеры, портрет ему удался, но своей оценки он не изложил, с него достаточно было и того, что Нора искренне обрадовалась. Каково же было его удивление, когда она вдруг вынула что-то из сумочки, взяла его руку, поцеловала ее и надела на безымянный палец большой золотой перстень с камнем!

— Это... тебе! — совсем как девочка, признающаяся в вечной любви, прошептала она. Повернула камень вверх, добавила уже другим тоном, тоном оценщика: — Это аквамарин, счастливый камень.

— Но зачем! — попытался он отказаться, но тут она показала себя неумолимой.

— Никогда не смей снимать его! — торжественно попросила она.

Ему сразу стало легче с нею — до этого он еще боялся, что не сумеет повести себя так, чтобы она хоть чуточку поверила в его чувство. Она не только верила, она уже считала себя чуть ли не женой этого чужого великана, совсем недавно появившегося на пороге скромной немецкой виллы в костюме рыбака. Нет, он и тогда был викингом и остался викингом! Нора имеет право сказать, что в жилах этого человека течет кровь старых рыцарей, захвативших когда-то Англию и создавших могучее государство. Конечно, в ней самой много примеси кельтской крови, но ведь и кельты управляли этой страной наравне с англосаксами, выбирали себе подруг с белой кожей и светлыми волосами и отдавали своих дочерей, темноволосых и смуглых, в жены этим рыцарям... Так примерно прочитал Лидумс ее восхищенное молчание.

За столом она заговорила о деле. Казимир и Малый Джон должны отправиться на несколько дней в Западную Германию. Ами — ох уж эти неотесанные ами!—вздохнула она, насовали в свои шпионские школы черт знает какой бракованный материал, из школы «Z» ушло на Восток несколько человек, и все провалились. Теперь ами хотят воспользоваться методами отдела «Норд» и проверить свои конюшни.

«Ага,— подумал Лидумс,— это Бромберг и его воспитанники. Они провалились до того, как начали действовать. Но что хотят получить от «Норда» американцы? Безопасные явки по английским адресам? Сомнительно, чтобы англичанам это понравилось!»

Нора, немного помолчав,— собиралась с мыслями, подумал Лидумс, как объяснить латышу, что между «родственниками» тоже возможны свары,— сказала:

— Дорогой Казимир! — Теперь она действовала по инструкции и говорила сухо: — Никто не желает, чтобы из-за глупости этих неотесанных ами, вдруг решивших, что им уготована роль правителей мира, провалилась наша самая верная связь с вашей родиной. Было бы лучше всего, если бы вы вспомнили какие-нибудь другие безопасные адреса. Вы, конечно, понимаете,— перебила она сама себя,— это должны быть «чистые» явки. Но вне района действия группы Будриса...— Она опять помолчала.— Мы не знаем, как это получилось, но группа Будриса в поле зрения ами. Может быть, они контролируют наши передачи? — Видно было, что она и сама не верила этому предположению. Но сказать решительно, что в «Норде» есть «двойник», который работает и на американцев, она все-таки не могла.— Что ж, о группе Будриса вам придется рассказать, а вот как вы скроете «след», это уже ваше дело. Во всяком случае, Маккибин и полковник Скотт на вас надеются...

— Может быть, показать им мой отчет о группе?— нерешительно спросил Лидумс.— Вы помните, там есть прямое указание о нежелательности распространения связей?

Когда-то Нора сама перепечатывала, и с большим удовольствием, как полагается истинной патриотке, те страницы доклада, в которых Будрис сообщал, что расстреляет всякого, кто попытается проникнуть в расположение группы, не имея пароля «Норда». Лидумс догадывался об этом: патриотизм свойствен и разведчикам, особенно если они добыли сведения с трудом. Но ответила Нора растерянно:

— Вы определите это на месте...

«Так, значит, английская разведка вынуждена делиться вытащенными из огня каштанами с американцами. Ну что ж, тут я могу действовать свободно».

Дальше беседа потекла легче. Нора сообщила, что Лидумс — господин Казимир, с улыбкой сказала она,— должен выйти завтра в шесть часов утра. Его будет ждать машина. Он назовет свое имя, и шофер доставит его на один из аэродромов. Туда же приедет и Малый Джон, но они не должны подавать вида, будто знакомы друг с другом. На одном из аэродромов Западной Германии, где они приземлятся, их тоже будут ждать машины. Казимир должен проехать в отель «Альдона», где для него снят номер. От шести до семи вечера Казимир будет сидеть в баре «Альдоны», там к нему подойдет Малый Джон и даст знак. Марки на командировочные расходы и необходимые документы будут у Джона. Английские деньги с собой брать не разрешается...

— А если мы не встретимся?

— Он остановится в том же отеле,— успокоила его Нора.— Но у тебя есть мой домашний адрес. Ты всегда можешь послать какую-нибудь весточку... Но боже мой, как мне будет скучно без тебя!..

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

ЧАЙКИ ВОЗВ

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

14

В самолете за кабиной стрелка-радиста и его спаренными пушками оказался штабной салон, рассчитанный на четырех пассажиров. Казимир увидел Малого Джона, но даже знака ему не подал. Два других места занимали офицеры, недоброжелательно поглядывавшие на штатских, тем более что Малый Джон, по привычке, был даже без шляпы, как будто вышел просто прогуляться по весеннему Лондону. Зато Казимир был одет франтом — это ему посоветовала Нора. Плащ-пальто, отличный костюм, полушляпа-полукотелок, узкий темный галстук, золотое кольцо на пальце — все как у крупного коммерсанта-вояжера или видного чиновника. Даже чемодан не подделка под кожу, как у военных, а настоящий кожаный — все говорило о респектабельности Казимира.

Он посмотрел на серо-сизые воды Ла-Манша, нашел взглядом дуврский маяк, а потом и паром, на котором переправлялись пассажирские поезда в Европу, но тут же замелькали линии виноградников, белые строения — это уже была Франция.

Границы между Германией и Францией он так и не заметил, просто увидел под ногами голубую линию, догадался: Рейн.

Самолет начал падать, под ложечкой стало посасывать, но вот зашуршали шины по бетону, в ушах застыла вязкая тишина, и самолет остановился.

Машины подкатили прямо к самолету — «виллисы». Шоферы с сержантскими знаками застыли у трапа, каждый ждал одного пассажира. Когда Лидумс появился на трапе, снизу позвали: «Господин Казимир?» И Лидумс уселся в военный автомобиль, не оглядываясь. Шофер-сержант сунул чемодан назад, сел на свое место, и машина пошла со скоростью в семьдесят миль, так что Лидумс не успел даже прочитать название города на дорожном указателе.

Он увидел только название отеля: «Альдона». И тут шофер затормозил, вынес чемодан и поставил у конторки, после чего откозырял и исчез. А портье уже вопросительно спрашивал: «Герр Казимир?» — с ударением на первом слоге и протягивал ключ. Подросток-бой подхватил чемодан, провел к лифту, нажал нужную кнопку, и Казимир вознесся на двенадцатый этаж. Там его передали с рук на руки коридорному, щелкнул замок, и он оказался в довольно приличном номере, только тут вместо копий с Тернера висели копии с картин Дюрера: какой-то ад, какой-то рай и еще что-то жирно-поповское или библейское, только физиономии у всех запечатленных на картинах были подлинно бюргерские, вот сейчас поднимут высокие кружки с пивом и потребуют боквурст. Лидумс опустился на стул и вздохнул: приключения ему уже надоели, а уйти от них он не мог.

Было десять часов утра. Что он будет делать до шести вечера? Пожалуй, спать...

Перед вечерним выходом он побрился еще раз, принял душ и был готов к действию.

Он понимал, что этот предоставленный ему день отдыха Малый Джон провел совсем иначе. Наверное, связался с теми, кто их вызвал или пригласил, может быть, провел длительную проверку Казимира, а может, согласовал цены, по которым будет продавать себя и того же Казимира. Так или иначе пора было идти на условленное свидание.

Однако до этого он позвонил портье, передал телеграмму Норе. Никаких особо нежных слов не писал, просто сообщил, что прибыл благополучно. Но Малому Джону не вредно знать, что его подопечный герр Казимир имеет возможность общаться непосредственно с секретаршей начальника «Норда». А что Малый Джон об этом узнает, Лидумс не сомневался.

Он еще раз оглядел себя в зеркало: ничего, подходяще. А теперь держись, Малый Джон и вы, господа ами!

Он спустился в знакомый вестибюль, увидел справа украшенные огнями двери бара и прошел туда. У стойки остановился, заказал виски со льдом и всмотрелся в зеркало, опоясывающее верхнюю часть буфета за стойкой. Эти зеркала придуманы недурно. Можно видеть весь почти зал, не показывая своего любопытства. И тотчас увидел Малого Джона. Тот сидел со скучающим видом один за столиком и потягивал мюнхенское пиво. Казимир отошел со своим бокалом к столику, спросил: «Не позволите ли присесть?» — на что Малый Джон только сердито ответил: «А да бросьте вы все эти инструкции! Это вам не Лондон, папаша Маккибин за нами не присматривает!»

Лидумс не очень верил тому, что папаша Маккибин не присматривает, но улыбнулся дружелюбно, спросил, может ли Джон оплатить его рюмку виски, он, видите ли, забыл деньги в Лондоне на столе в своей городской квартире...

Джон тоже заулыбался, даже такая избитая шутка оказалась нужной ему в этот скучный час. Заказав себе виски, он перешел к делу.

Ами еще не готовы принять их. Весь вечер сегодня и полдня завтра свободны. Не соблаговолит ли мистер Казимир разделить с Джоном компанию за неимением лучшего? Он, Джон, часто бывает здесь, а совсем недалеко, в Миндене, у него есть подружка, которую ему, Джону, хотелось бы навестить. У его подружки, естественно,

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—46.

есть своя подружка, почему бы им не развлечься с этими приятными подружками?

Лидумсу стало совсем весело. Значит, бедняга Джон не знал, как оставить своего подопечного без присмотра! А Джон продолжал все горячее убеждать:

— Вы же совсем не знаете нашей жизни на Западе! Почему бы не воспользоваться тем, что посылает фортуна? Девушки, несомненно, будут рады, а так как они работают за деньги, то за их здоровьем следят специальные доктора да и полиция, так что опасаться нечего. А мне, признаться, до смерти надоела чопорность там, дома, и уж если представился случай, не дурно бы пуститься во все тяжкие! И когда еще появится новая возможность? Теперь наша работа в ФРГ сокращается, эти проклятые ами все прибирают к своим рукам. Последний раз я был здесь как раз в те дни, когда мы ждали вашего приезда...

РАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Ну что ж, Казимир готов испытать неведомое! Но как с деньгами?

Ну, Маккибин на этот раз не поскупился, выдал вдвое больше, чем выдавал раньше. Как видно, хотел, чтобы ами не могли упрекнуть его в скупости...

Но какое-то беспокойство еще грызло Джона. Он вдруг огляделся по сторонам и снизил голос:

— В «Альдоне» живут несколько наших сотрудников. Нам придется быть осторожными! — напомнил он.

— Слушаюсь, сэр!

— Перестаньте шутить, Казимир! Какое-то дурацкое недоверие захлестнуло весь мир! Ну, кому какое дело, где проведут свободный вечер два джентльмена? Так нет, обязательно найдется око недреманное! Но на этот-то раз мы их перехитрим!

— А что, часто не удается?

— Не будем об этом! — Джон перешел на инструкции.— Наши номера рядом. В восемь вечера я постучу вам в стенку, вы сразу выходите и идите к лифту. Ключ у портье не оставляйте, ступайте прямо на улицу. В табачном киоске купите пачку сигарет. Сейчас я разменяю деньги, а сдачу оставлю вам. Я пройду мимо киоска, и вы пойдете за мной. Когда я обернусь, можете подойти ко мне.

— К чему такие сложности? — попытался запротестовать Лидумс.— Мы ведь идем не на акцию!— Его действительно удивляло, что какую-то прогулку в ночной кабак или еще куда Джон обставляет такими таинственными приготовлениями.

— Портье и табачный торговец наверняка следят за посетителями отеля. А откуда я знаю, для кого они следят? Может быть, для нас, может, для ами, а может быть, и для немцев. Не забывайте, что мы нырнули в самый центр международного шпионажа. Конечно, это не значит, что каждый второй проходящий по улице — шпион, однако же в Содоме и Гоморре не нашлось и семи праведников...

— И господь бог правильно сжег эти города! — подхватил Лидумс.

— Боюсь, что теперь у него меньше возможностей! — угрюмо откликнулся Джон.

— Не скажите! А водородная бомба?

— Тут бог ни при чем!

Странно было слушать эти откровения от работника английской разведки. Должно быть, Джону изрядно надоело вечное угодничество и подчинение. Лидумс умолк, только подал знак лакею, подняв два пальца. Тот немедленно повторил заказ.

В восемь вечера они осторожно выбрались из отеля. Через четверть часа были на вокзале. Там сели в один из поездов и поехали в Минден.

Минден действительно ничем не напоминал скучный административный центр Херфорд, из которого они приехали сюда. Этот городок был словно нарочно приспособлен для разгула. На каждой улице — несколько кабаков, клубов, ресторанов. Везде толпы гуляющих, тут же «одинокие» женщины, ожидающие приключений или просто заработка. Было девять часов вечера, и этот старонемецкий город с претензией на готику словно взрывался от джазовых мелодий, автомобильных гудков, перезвона трамваев. Музыка доносилась из открытых окон, из танцевальных залов, из кабаков. И все вокруг было залито дрожащим светом реклам и разукрашенных витрин. Казалось, тут длится какой-то странный праздник, от которого все уже устали, но остановиться не могут.

Малый Джон быстро миновал ярко освещенный центр и остановился только на маленькой площади, от которой уходила темная узкая улица.

— Это улица Лох,— сказал он.— Улица, отданная любви...

Улица была узкая, темная, по ней еле-еле могла проехать автомашина. Но нижние этажи почти во всех домах пылали от яркого света. И в каждом освещенном окне восседали полуголые сирены любви. Малый Джон медленно шел по улице, подталкивая Лидумса плечом всякий раз, когда хотел привлечь его внимание к этим «живым картинам».

За окнами эти женщины были похожи на рыб в аквариуме. Они делали призывные знаки прохожим — по улице и в ту и в другую сторону шли только мужчины, останавливались, разглядывали товар, и то один, то другой вдруг нырял в мгновенно распахивающуюся и тут же закрывающуюся дверь. И окно рядом с дверью гасло, а изнутри дома слышалась музыка, чаще сентиментальная, по-видимому, там включали магнитофон...

Женщины были и молодые и пожившие, блондинки и брюнетки, так сказать, на любой вкус. Одни ели конфеты или пирожные, другие пили, третьи раздевались или одевались, но все происходило деловито, трезво, и тем более страшным казался Лидумсу этот странный парад манекенов.

Малый Джон провел своего спутника по одной стороне улицы до самого конца ее, где открывалась новая маленькая площадь, залитая безразличным светом реклам и витрин. Тут он остановился, спросил:

— Ну как, нравится?

— Нет! — Лидумс отрицательно покачал головой. Но, не желая обижать спутника, пояснил: — У нас эти жрицы любви тоже занимали несколько улиц,— Рига ведь портовый город! — но меня они никогда не привлекали.

— А я думал, что все художники любят богему...— разочарованно протянул Малый Джон.

— Я совсем не хочу лишать вас удовольствия и буду сопровождать куда угодно, только уж извините, если воздержусь от некоторых развлечений.

— Я так и знал, что вы, Казимир, свой парень! — обрадовался Джон и, подхватив Лидумса под руку, перевел на другую сторону улицы.

Их странное несоответствие: белокурый гигант в шляпе и об руку с ним маленький, простоволосый человечек — вызывало улыбки женщин за окнами. Они простирали к ним руки, манили их, смеясь, но Малый Джон упрямо шел дальше. Наконец он остановился, отыскал кнопку звонка и позвонил. Вход был рядом с широким, почти квадратным окном, за которым какая-то женщина в одном белье натягивала на длинную ногу черный чулок.

Дверь отворила высокая полная женщина лет сорока или даже больше. Увидав Малого Джона, она обрадованно улыбнулась, протянула руку и похлопала его по щеке:

— Опять здесь, мой мальчик?

— Да, на несколько дней!

Она приняла от них пальто и провела в крохотную гостиную, из которой три двери вели в другие комнаты, спальни, как догадался Лидумс, и в «витрину» с квадратным окном. Женщину он принял за «хозяйку заведения», она была несколько старовата, чтобы зазывать гостей. Каково же было удивление, когда он понял, что это и есть возлюбленная Джона!

Однако «возлюбленная» отнюдь не забывала о деловой стороне в своих отношениях с Джоном. Ее первые слова были:

— Деньги вперед, мой мальчик!

Джон вытащил бумажник и отсчитал пятьдесят марок. Лидумс видел, как жадно женщина разглядывала толстую пачку, от которой Джон отделил ей эти кредитки. Но она тут же принялась накрывать на стол, кликнула в сторону комнаты-«витрины»: «Эмма!» И женщина в пеньюаре вошла к ним.

Джон представил женщинам своего друга «мистера Казимира», старшая назвала себя Эльзой, все заговорили по-немецки, так что Лидумсу пришлось сознательно коверкать язык, чтобы сойти за англичанина хоть по акценту. Но так как их «друг» был действительно англичанином, то и Лидумс сошел за англичанина, а за хорошее знание немецкого его даже похвалили.

Пиршество сразу начало принимать угрожающие размеры. Вместо одной бутылки «корна», о которой, как помнил Лидумс, договаривался его спутник, на столе появились сразу три; кроме того, для «дам» — бутылка мозельского и бутылка шампанского, хотя «дамы» тоже предпочитали «корн», затем бутылки кока-колы, соки, какие-то консервы — одним словом, Джон «загулял».

Пить он явно не умел, а может, хотел хоть чем-нибудь похвалиться перед этими женщинами и Лидумсом, потому что выпил сразу несколько рюмок и через полчаса был уже пьян. А пьяный оказался задиристым, несговорчивым, и Лидумс понял: придется его оставить...

Лидумс простился с женщинами, напомнил, что утром Джон должен быть «в конторе», и ушел из этого «чайного домика», устроенного на такой истинно немецкий лад.

До вокзала было не больше километра, и Лидумс прошелся по затихающему городу. Толпы на улицах поредели, но рестораны, кафе и танцевальные залы, бильярдные и кино работали с тем же напряжением, как будто всем этим гулякам оставалось прожить одну только ночь.

На вокзале Лидумс узнал, что следующий поезд пойдет только через четыре часа — последний ночной поезд перед утренними рабочими поездами. Ну что ж, он найдет, чем занять это свободное время! В первый раз он оказался по-настоящему один за все эти напряженные месяцы, никто его тут не знает, никто не следит за ним, можно подумать и о своем деле...

В почтовом отделении вокзала он купил несколько открыток с видами Миндена, пожалел, что нет на этих открытках улицы Лох — вот бы посмеялся Будрис, получив такую открытку и просмотрев путеводитель по Миндену! — но и открытки со старинной ратушей и старым костелом тоже сойдут, друзья поймут, что он находился не так уж далеко от них, в центре Федеративной Республики Германии. Устроившись поудобнее, он написал несколько открыток, вписал в каждую по одной-две в Латвии еще обговоренных фразы... Открытки получились вполне милые, невинные, а то, что надо из них понять, дома поймут...

Из висевшего на стене расписания он выяснил, что скоро пройдет поезд в Восточную Германию. Этого поезда он и дождался, а потом бросил в щель почтового вагона свои сообщения и снова пошел в город.

Раз уж он все равно застрял в ночном Миндене, надо выручить Джона...

За час до отхода ночного поезда он снова был у домика с квадратным окном. Теперь окно было не освещено, но даже с улицы слышался шум продолжающейся попойки.

Лидумс позвонил. Дверь открыла Эмма. Она была сильно пьяна, но держалась на ногах крепко.

— А, это вы! — равнодушно сказала она.— Пойдемте ко мне?

— Нет, я за приятелем.

— Ну и хорошо, а то он так разошелся, что мы с Эльзой не знаем, как его выставить. Соседи сверху могут позвонить в полицию.

«Этого еще не хватало!» — подумал Лидумс и прошел в гостиную, не снимая пальто. Число бутылок значительно увеличилось, почти все были пусты. Эльза пыталась надеть на Джона его пиджак, а пьяный сопротивлялся, крича, что желает еще вина и любви. Лидумс рывком поставил «друга» на ноги, женщины помогли одеть его и, подталкивая в спину, выпроводили из дома.

На улице Джон еще пытался вырываться, но тут Лидумс уже не стеснялся: натер ему уши, чтобы хоть относительно привести в чувство, взял под руку и повел.

Джон попытался было удрать еще с вокзала, но тут подали поезд, и Лидумс втолкнул пьяного в вагон. В Херфорде он взял такси и доставил Джона в отель.

Утром Джон пришел в номер крайне расстроенный: у него пропали все деньги, выданные полковником на поездку.

— Так съездите в Минден и потребуйте их у Эльзы! — посоветовал Лидумс.— На билет у меня еще найдется из той десятки, сдача с которой осталась у меня.

— Так она и отдаст! — уныло сказал Джон.— Во-первых, она наверняка поделилась добычей с полицейским своего района. Во-вторых, полиции будет небезынтересно узнать, кто я такой. В-третьих, сегодня же к вечеру полицейская телеграмма будет лежать у Маккибина на столе...

— Да, вы, по-видимому, лучше знаете здешние порядки!— посочувствовал Лидумс.— Но все-таки пойдемте пока позавтракаем. Насколько я понял из лежащего в письменном столе проспекта отеля, стоимость завтрака входит в оплату номера?

— А на что мы станем обедать? — уныло спросил Джон.

Лидумс думал. Эта история ставила Джона в некоторую, пусть и неловкую, зависимость от спутника. Если же еще и помочь бедняге, он будет долго благодарен Лидумсу. Он взглянул на кольцо Норы, на свои золотые часы и медленно снял все это с руки.

— Хватит нам этого на первое время?

— Боже, что вы хотите сделать?

— Надеюсь, что мы избежим при помощи этих вещиц некоторых неприятностей,— возразил Лидумс.— Пойдемте поищем какого-нибудь скупщика...

— У меня есть знакомый офицер из немецкой администрации, я позвоню ему, он одолжит мне сотню-другую...

— Это тоже можно сделать, тем более что я не представляю, сколько нам могут дать за часы и кольцо. Но сначала займемся этой продажей.

Какой-то букмекер, сидевший в лавочке под вывеской «Тото», вручил за часы Лидумса семьдесят марок, а за кольцо — сто девяносто. Лидумс поинтересовался, не может ли герр покупатель переправить в течение ближайших недели-двух кольцо в Лондон. Там Лидумс выкупит его за двойную цену.

— Вы с ума сошли! — проговорил Джон.

— Видите ли, милый Джон, о том, что у меня есть это кольцо, знают в отделе. Часы я еще могу потерять, а кольцо — довольно сложно. И потом, на нем выгравированы инициалы...

Немец безразлично слушал их переговоры на английском, хотя Лидумс и подозревал, что он отлично понимает их. И действительно, немец позвонил кому-то по телефону, потом только спросил:

— Куда доставить кольцо в Лондоне?

Лидумс назвал свой адрес, условился о сроке. Немец даже скинул назначенную самим Лидумсом цену выкупа до трехсот марок.

Передав Джону деньги, полученные за часы и кольцо, Лидумс облегченно сказал:

— Ну, а теперь завтракать! И я не откажусь от рюмки виски или «корна».

— Вы меня спасли! — воскликнул Джон, укладывая деньги поглубже.— Но своему знакомому я все-таки позвоню...

— Хотите еще раз прокатиться в Минден?

— Избави бог! Но после инспекционной поездки нам придется устроить прием для ами. Полковник особенно на этом настаивал. И вообще мне, как официальному представителю отдела, просто неловко чувствовать себя бродягой без денег.

Утром в отель приехал немец-подполковник и привез Джону двести марок. Таким образом «первоначальный капитал» был восстановлен, а самое главное — печальное приключение сблизило двух новоиспеченных друзей. Оставалось лишь получить в Лондоне кольцо, а часы могут быть не золотые...

15

Они вернулись в отель к двум часам пополудни, но их никто не ждал. Малый Джон разнервничался, принялся ругать «проклятых ами», которые обращаются с англичанами, как с собственными лакеями. Лидумс понимал, что беспокоит его не только это пренебрежение, он побаивается, вдруг ами выследили их в Миндене.

Лидумс сидел в номере у Джона, читал немецкие газеты, а Джон, придвинув безмолвный телефон к дивану, угрюмо лежал, пил воду,— должно быть, похмелье еще не выветрилось. Часов в шесть он поднялся, спустился вниз, взял бутылку виски. Когда бутылка опустела, пошли ужинать.

Но и следующий день прошел в таком же напрасном ожидании. Теперь они покидали номер Джона по очереди, боясь, что их не застанут. И вдруг около восьми часов вечера в номер постучали. Валявшийся на диване Джон вскочил, кое-как пригладил волосы, бросился к двери. Вошел молодой, лет двадцати пяти, человек в штатском костюме, в пальто, без шляпы, с зачесанными назад пепельными волосами, круглолицый, веселый, воскликнул:

— Хелло, я Эал, которого вы ждете с таким нетерпением!

— Почему вы решили, что мы ждем с нетерпением? — спросил Джон.

Американец показал пальцем на переполненную пепельницу возле дивана, на разбросанные у ног Лидумса газеты, оглядывая в то же время обоих придирчивым, оценивающим взглядом. Джон смутился, представился и назвал Лидумса:

— Мистер Казимир...

— Слышал, мистер Казимир, что вы Геркулес, но не ожидал, что геркулесы бывают такого роста.

— Наполеон утверждал, что каждого человека можно укоротить на голову! — напомнил Лидумс.

Эал расхохотался, спросил:

— Не боитесь, что большевики учинят такую операцию?

Джон сердито перебил:

— Здесь еще нет повешенных, но о веревках говорить не следует! В каком вы звании?

— Лейтенант.

— Капитан Джон.

— Ну что ж, все точки поставлены! — засмеялся Эал.— Но так как мы оба в штатском, позвольте называть вас просто мистер Джон!

— Пожалуйста! — хмуро ответил англичанин.

— Машина подана!

Лидумс зашел к себе, оделся. Спутники ждали его в коридоре.

В машине сидели еще два человека, которых Эал представил как Альвираса и Би-

ля. Лидумс определил по акценту, что они оба не латыши, но расспрашивать не стал.

Ехали по дороге на аэродром. Джон, все еще возмущавшийся пренебрежительным отношением американцев, сухо сказал, что следовало бы сначала поужинать.

— Хорошо, возле аэродрома! — коротко бросил Эал и погнал машину быстрее.

В ресторане Джон спросил:

— Куда мы полетим?

— В Фюрстенфельдбрук!— ответил Эал.

Лидумс принялся вспоминать карту Федеративной Республики Германии. Да, центр американской зоны. Недалеко от Мюнхена.

Альвирас и Биль обменялись несколькими словами на каком-то языке, но Эал строго сказал:

— Вас предупреждали, что разговаривать можно только по-английски!

Молча вышли из ресторана, прошли в аэровокзал, а там — в какую-то служебную комнату. Сидели, курили. Примерно через час их пригласили на посадку.

В двухмоторном самолете оказался еще один пассажир — майор американской службы.

После получасового полета стали снижаться. Майор сухо приказал:

— Закройте шторы на иллюминаторах!

Лидумс решил, что это сказано в шутку, как подтрунивают над новичками, идущими в первый полет, а Джон и вообще не обратил внимания на слова майора. Но тот еще более сурово приказал:

— В иллюминаторы не смотреть!

Шторы задернули. Но когда самолет уже бежал по бетонной полосе, Биль слегка повернул голову и посмотрел в щель между занавеской и металлической оправой стекла. Тут майор взвизгнул чуть ли не истерически:

— Я вам сказал: не смотреть в иллюминаторы!

Лидумс встал с кресла и шагнул к майору. Его взбесил этот приказной тон. Он резко сказал:

— Послушайте, майор, с кем вы разговариваете? Я, во всяком случае, не принадлежу к числу ваших солдат.

— Инструкция обязательна для всех...— уже другим тоном пробурчал майор.— Я только выполняю приказ...

— И плохо выполняете! — еще резче сказал Лидумс.— Я гость вашего командования и буду вынужден сообщить, что вы вели себя недостойно...

Майор отвернулся, пряча лицо. Лидумс видел, как Джон с восхищением взглянул, но промолчал. Остальные сидели, притаившись, как мыши. Лидумс невольно подумал: «Этот пожестче Эала! Как вы теперь себя чувствуете, милый Малый Джон? Похоже, что вас тоже относят к представителям низшей расы?»

Самолет остановился, но еще долго не давали сигнала на выход. Теперь отчетливо слышался адский шум реактивных моторов. Когда наконец дверца самолета открылась, возле трапа стояла автомашина. Майор еще раз буркнул, но уже потише, что разглядывать аэродром запрещается, лучше немедленно садиться в машину. Сам он остался у самолета.

Шофера в машине уже не было. Эал опять занял место за рулем. Лидумс насмешливо спросил:

— Что, все ваши майоры воспитываются в собачьем питомнике?

Эал обиженно пробормотал, что аэродром не гражданский, но видно было, что и его покоробили повадки старшего офицера. Джон дружелюбно подмигнул Лидумсу: так, мол, их и надо! А сам спросил:

— Куда мы теперь?

— В Кауфбейрен.

В Кауфбейрен приехали глубокой ночью. Перед ними была огороженная колючей проволокой огромная площадь, на которой виднелось множество освещенных казарм. Это была крупная американская учебная база для солдат. Охрану несли выходцы из прибалтийских стран — бывшие военнослужащие немецкой армии. Об этом предупредил Эал и снова подтвердил свое распоряжение: пассажиры в машине должны говорить только по-английски!

Они проехали по круговой дороге мимо казарм и остановились у отдельного здания, примерно в километре от ворот базы. Тут размещалась американская школа по подготовке шпионов-парашютистов. С этой именно школы и должна была начаться инспекционная работа Джона и Лидумса, хотя, в сущности, ами сразу попытались превратить их в своих подчиненных, а со своими подчиненными из иностранцев они никогда не церемонились. Эал указал им комнаты для жилья и предупредил, что первое инструктивное совещание состоится завтра утром.

16

Утром Эал зашел за ними в девять часов. Машина уже ожидала.

Биль и Альвирас куда-то исчезли. На вопрос Лидумса, будут ли они участвовать в совещании, Эал пренебрежительно ответил:

— О, они заслуживают только рассмотрения под микроскопом.

Лидумс переглянулся со своим спутником. Тот лишь покачал головой. И верно, со стороны англичан Лидумс не замечал такого презрения к людям, которые на них работали. Да, и там была стена, но то была стена сословных предрассудков. А у ами это была стена полного пренебрежения к «слугам», стена расового отчуждения, очень похожая на ту, какую пытались возвести когда-то гитлеровцы в оккупированных странах.

По дороге в город они успели позавтракать в маленьком кафе. Ни Джон, ни Эал не рискнули выпить. Из этого Лидумс вывел свое заключение: совещание предстоит на высоком уровне!

Действительно, среди американцев в штатском, собравшихся в обширной гостиной тихого особняка на окраине Мюнхена, были и военные: полковник, в котором Лидумс без большого труда распознал крупного организатора, мистера Росса, руководителя всех шпионских школ, созданных американцами на территории Федеративной Республики Германии, затем мрачный майор, с которым они летели до Кауфбейрена. Остальные, как предположил Лидумс, были чиновниками различных разведывательных организаций и, по-видимому, высокопоставленными, так как сам полковник Росс был с ними весьма предупредителен.

Конечно, эту встречу назвать совещанием можно было лишь относительно. Американцы стояли, сидели, бродили по большому залу, толпились возле передвижного бара, у которого молодой разведчик Эал смешивал коктейли, а то, что высокопоставленным ами хотелось узнать у Джона или мистера Казимира, выяснялось в простой беседе. Возле них собрались несколько человек, в том числе и полковник Росс, и принялись расспрашивать об их связях с Латвией.

Джон отвечал неопределенно, должно быть, получил особые указания от Маккибина или полковника Скотта, но когда с таким же вопросом обратились к Лидумсу, тот, прикинув про себя, что, наверно, подслушивающее и записывающее устройство установлено как раз под тем столиком, возле которого их так предупредительно посадили, спокойно сказал:

— Я полагаю, что наша беседа связана с некоторыми неудачами, которые понесли наши американские друзья? Имею в виду суд в Риге над Бромбергом и его подопечными. Я как раз вчера прочитал его показания, опубликованные в немецкой прессе...

Американцы в штатском насторожились, а Росс прямо спросил:

— Вы можете дать больному правильный рецепт, мистер Казимир?

— Рецепта, может быть, и не выпишу, но диагноз могу поставить!— сухо ответил Лидумс. Он понял, что на этих высокомерных господ может произвести впечатление только такое же высокомерие, но оправданное. Поэтому он, словно забыв все предупреждения Норы, Маккибина, Джона не открывать себя, продолжал: — Когда я уходил из Латвии, там уже были взяты чекистами по меньшей мере двое сотрудников английской разведки, только что появившиеся в Латвии. Мы, к сожалению, узнали об этом тоже с опозданием, как и вы о провале Бромберга...

— Вы были в Латвии?

— Да, я прибыл сюда осенью.

— То-то мистер Маккибин предупреждал меня, что мы узнаем от его коллег много нового! — воскликнул один из респектабельных штатских. Мало того, он окликнул через всю комнату другого джентльмена, приютившегося у бара: — Райли, подите сюда, мистер Казимир рассказывает интересные вещи!

Тотчас же вокруг Лидумса, как журналисты вокруг интервьюируемой знаменитости, собрались почти все. Только Эал продолжал колдовать у бара, позвякивая шейкером и смешивая коктейли. Можно было понять, что он тут единственный младший по чину, остальные, возможно, и генералы тайной армии разведчиков.

— Чем вы объясняете эти таинственные провалы, мистер Казимир?

— Как вы установили, что наши английские друзья в Латвии провалились?

— Правда ли, что чекисты держат на жалованье тысячи честных граждан и приказывают им следить за каждым посторонним, появившимся в поле их зрения?

— Как организовано национальное подполье в Латвии?

— Господа, господа! — Лидумс поднял руку.— Вы уже набросали мне полную шляпу вопросов!

— Да, да, господа,— это вмешался полковник Росс,— давайте по порядку. Если мистер Казимир ответит и на наши первые вопросы, уже будет над чем подумать! Мы вас слушаем, мистер Казимир!

Малый Джон, поглядывавший на Лидумса с недовольным видом, совсем притих. Кто знает, что наговорит этот взбалмошный латыш. А вдруг примется выдавать те секреты английской разведки, о которых и Маккибин и Скотт предпочли бы помалкивать?

Но он должен был признать, что Казимир держался великолепно. Спокойный, с высоко поднятой головой, выше всех ростом, он, как будто и не замечая этого, уже стал центром оживленной компании джентльменов. Если Маккибин или полковник Скотт хотели, чтобы с представителями отдела «Норд» тут разговаривали на равных, Казимир добился большего: ему прямо заглядывали в рот, словно он должен был излить божье благословение на американских рыцарей плаща и кинжала. А Казимир спокойно и вдумчиво говорил:

— Из опыта нашей подпольной работы мы выяснили, что ваши люди приходят в устойчивый мир, не зная взаимоотношений в нем, пытаются вербовать помощников и проваливаются порой просто на том, что люди устали от войны. И еще одно: у ваших да и у наших людей до сих пор нет правильного понимания того, что делается в Советской России. Нам еще кажется, что там голод, нищета, разруха, что там каждый второй или третий стремится бежать из ада, а ведь пора бы подумать и о том, что эта страна победила в величайшей войне! Так неужели нельзя представить, что она давно уже победила и разруху? В России давным-давно провозглашена амнистия за преступления, совершенные во время войны, кроме самых крупных. Действие амнистии было даже продлено. И большинство лиц, адреса которых все еще хранятся в ваших картотеках, повинились перед органами, устроены на работу. Я сужу об этом не только по личному опыту, но и по радиограммам наших сотрудников Тома и Адольфа, которые жаловались, что в одном случае их встречали, как нежеланных гостей, палкой, в другом — травили собаками, в третьем — людей, к которым они шли, было невозможно найти. А люди, жаждущие спокойствия, естественно, подозрительны ко всему, что может их этого покоя лишить. И естественно, появление постороннего человека, да еще подозрительного, поскольку каждый заброшенный из-за кордона человек держится с опаской, не знает ни новых обычаев, ни нового языка — имею в виду язык административный, так сказать, общественный,— не знает цен на продукты, на сигареты, на вино, на автобус, — а именно этим почему-то отличались все те люди, которых мы приняли в нашу подпольную группу,— вызывает внезапный и очень острый интерес. Очень тщательно подготовленный и хорошо вооруженный английский сотрудник Густав весной прошлого года утонул в реке Венте, по-видимому, пытаясь бежать от заподозривших его в чем-то хуторян. Так, во всяком случае, передали о причине его гибели нашему руководителю Будрису преданные люди...— Казимир низко склонил голову, словно отдавал покойному долг памяти.

Было очень тихо. Даже Эал перестал позвякивать шейкером. Наконец один из самых видных штатских сказал:

— Продолжайте, мистер Казимир!

— Это случай трагический. Но есть и смешное. Например, наш отличный сотрудник Вилкс пришел со своими двумя друзьями в Ригу. Они были снабжены в достаточном количестве советской валютой. Но кто-то их информировал не очень точно о подлинном соотношении денег и цен. И деньги им выдали самыми мелкими купюрами. Представьте усмешку человека, к которому они пришли в Риге и предложили пять тысяч рублей... пятерками. Но бутылка водки тогда стоила тридцать рублей, а пальто — тысячу-полторы. Вилкс рассказывал, что его предупредили перед засылкой, что человек с сотенным казначейским билетом может показаться подозрительным. Принявший его человек ответил, что он сам получает три тысячи рублей зарплаты, так неужели кассир станет выдавать ему эти три тысячи рублями? И действительно, пожелай Вилкс купить себе одежду, он показался бы подозрительным со своими пачками пятерок!

Опять наступила тишина. Хотя Лидумс и предупредил, что расскажет смешные истории, что-то никому не хотелось улыбаться.

Тот же представительный и, должно быть, самый высокопоставленный джентльмен попросил:

— Объясните, мистер Казимир, как вы улавливаете провалы вашей агентуры, если чекисты пытаются продолжать «игру»?

— Ну, в случае с Томом и Адольфом это было нетрудно. После первых передач наступило довольно продолжительное молчание. А затем Том начал передавать сногсшибательную информацию. И, кроме того, настойчиво требовать выхода на группу Будриса, которую я имею честь представлять. В то время в группе было человек шесть из Англии, и они работали из нескольких пунктов на своих рациях. Уже одно это должно было насторожить наш отдел. Однако там Тома принимали всерьез, пока я не увидел его радиограммы. Двойная и тройная проверка, господа! — улыбнулся Лидумс.— Я бы, скажем, сначала внедрял одного, в крайнем случае, не больше двух человек. И только после того, как внедренный докажет, что работает успешно, что им подготовлена крепкая база для приема других, направлял их уже по готовому адресу. Мы часто слишком торопимся, господа...

Он замолчал, словно поставил точку. И Главный понял. Приказал:

— Дадим мистеру Казимиру отдохнуть. Эал, у вас что-нибудь особенное?

Эал подскочил с небольшим подносом:

— Антарктида, сэр, Ледяная Гора, сэр!

Главный взял бокал с коктейлем и передал его Лидумсу, только потом взял и себе. И Лидумс понял: его признали. Если Главный сам угощает его коктейлем, а этот Главный по меньшей мере генерал и один из руководителей того отдела, который занимается подготовкой шпионов, засылаемых на Восток, то теперь у Лидумса положение крепкое. Остается только запомнить лица этого Главного, Росса и еще нескольких людей, чтобы попытаться потом, уже дома, зарисовать по памяти. А на родине уяснят, насколько прав он в своих предположениях. И, во всяком случае, познакомятся с его новыми «шефами».

После коктейля Главный, дружески обняв Лидумса за плечо и поманив за собой Джона, провел их в другую комнату, что-то вроде делового кабинета. Там он усадил их и принялся расспрашивать Лидумса о том, какие, на его взгляд, ошибки допускает английская секретная служба при подготовке агентуры, засылаемой в СССР. Отвечал Джон, несколько расстроенный этими расспросами. Да, у англичан есть большие традиции в этом деле. Да, англичане стараются не жертвовать людьми понапрасну, а если жертвы и случаются, то благо страны стоит того...

Лидумс не очень вслушивался в этот лицемерный разговор. Он соображал: пожалуй, именно сейчас, когда они тут «отдыхают», ами прокручивают ленту магнитофона, сопоставляют тон мистера Казимира с его высказываниями, ищут несоответствий, прикидывают, насколько искренен был рассказчик. А потом они примут должное решение, и уж это решение покажет, прав ли он был, щеголяя своей откровенностью, или набил им на затылок столько шишек, что они поостерегутся поддаваться его воздействию.

Он покуривал, изредка вставлял словодва, поддерживая Джона — все-таки он должен был доказать свой английский патриотизм,— и прислушивался к тишине за стенами этого кабинета.

А через полчаса — как будто все это время только и занимались подготовкой заключительного эффекта — в кабинет вошел полковник Росс и торжественно провозгласил:

— Господа, прошу к столу!

В ту гостиную больше не заходили. Даже сброшенное там пальто Лидумса вынес Эал. И Лидумс еще больше уверился, что там стоят еще горячие от работы магнитофоны, но все кончилось вполне благополучно, именно поэтому и накрыт торжественный стол.

И, действительно, Главный, усаживая мистера Казимира рядом с собой, тихо сказал:

— Я бы очень хотел, мистер Казимир, чтобы после посещения некоторых пунктов подготовки наших разведчиков вы нашли время навестить меня. Я прикажу сопровождающему вас молодому офицеру выбрать для этого подходящий день.

— А как быть с мистером Джоном?

— О, мистер Джон, кажется, любит повеселиться! Ему предоставят такую возможность!

«М-да, значит, они все-таки знали о похождениях в Миндене! Правда, там я вел себя по-джентльменски. Предоставил мистеру Джону развлекаться, как он того желает, а сам погулял по городу. А открытки были столь невинны и к тому же были брошены прямо в поезд, что опасаться абсолютно нечего! Если бы было что-то другое, то Главный просто смолчал бы, и только. Ну, что ж, перейдем в новые конюшни,— как говорят в таких случаях англичане...»

Он благодарно кивнул Главному и приступил к салату из каких-то заморских фруктов, который не так уж и подходил к только что выпитому виски. Впрочем, у русских и на этот случай тоже есть подходящая пословица: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят!»

Настроение за столом было ровное, благожелательное. Прислуживали несколько лакеев с отличной военной выправкой. Но это лишь подчеркивало важность только что состоявшегося заседания.

Прощаясь, Главный сказал, что Лидумс и Джон будут приняты в школе как гости. Лидумс еще раз удивил Главного.

— Я предпочел бы роль обыкновенного слушателя...— заметил он.

— Но это налагает дополнительные и порой неприятные обязанности!

— О, человек моей профессии должен почаще тренироваться! — отозвался Лидумс.— Впрочем, я говорю только о себе. Мистер Джон волен поступать по-своему.

— Хорошо, я дам соответствующие распоряжения! — согласился Главный. И задумчиво добавил: — Хотел бы я, чтобы все мои подчиненные рассуждали, как вы!

— Ну, им-то не так уж часто приходится преодолевать границы и запретные зоны! — рассмеялся Лидумс.

— А может быть, именно из-за плохого тренинга они и проваливаются чаще, чем того хотелось бы?

— По-видимому, прежде всего следует добиваться душевного равновесия. Боюсь, что плохое знание местных условий вызывает у некоторых из них неуверенность. А от неуверенности до провала один шаг. Так же, как от трусости до стрельбы из пистолета.

— Это ваши предположения?

— Нет, опыт! — твердо ответил Лидумс.

Продолжение следует.

ЧАЙКИ ЖЕРЕБЦА

ЧАЙКИ МОЛЧАТ

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА

17

Поселили Казимира и Джона в небольшом особняке и весь следующий день предоставили для отдыха.

Утром Джон со скучным выражением лица пересчитал оставшиеся марки, отделил себе пятьдесят, отдал остальные Лидумсу и сказал:

— Прогуляюсь.

Лидумс благородно умолчал о минденской прогулке. От двери Джон спросил:

— А чем займетесь вы?

— Порисую.

— Но у вас даже этюдника нет!

— А зачем? Посижу у окна. Видите, за окном прекрасная готика.

Джон выглянул из окна: крыши зданий стрельчатыми уступами поднимались одна над другой, похожие на застывшие музыкальные ноты. Еще дальше виднелись особняки, и гребни их сменяли один другой, как морские застывшие волны. Он удивленно взглянул на Лидумса.

— А ведь вы правы! У вас глаз настоящего художника!

— Я и есть настоящий художник! — довольно мрачно сказал Лидумс.

— Не сердитесь! — попросил Джон. — Я уверен, что вы еще пригласите меня на выставку!

— Боюсь, что до этого пройдет еще много объявленных, а еще больше необъявленных войн!

Джон поторопился улизнуть от мрачного разговора. Лидумс занял место у окна, разложил краски, листы бумаги. В его распоряжении были только гуашь, лак, темпера.

Заперев дверь, он принялся за рисунок. Но рисовал совсем не то, что было за окном. На небольшом, размером в открытку, куске ватмана он набрасывал лица вчерашних хозяев. Мелкие чины, вроде Эала или мрачного майора, не интересовали его. Он восстанавливал облик таких «деятелей», как полковник Росс, Главный, и еще троих штатских, имена которых мог только предположить. Эти портреты он делал тщательно, отчетливо, разбросав в разных местах листа, в разных положениях. Некоторые повторил еще раз, а затем покрыл весь лист лаком и принялся писать на нем пейзаж.

Отложив рисунок сушиться, Лидумс взял большой альбомный лист бумаги и снова принялся писать пейзаж. Теперь он был внимательнее. Тут он действительно вкладывал всего себя. Когда вернулся Джон, его подопечный сидел в глубоком кресле и курил, а напротив, на сиденье стула, прислоненная к спинке, стояла картина.

— Боже! — воскликнул Джон. — Да это же отлично!

— Вам нравится? — устало спросил художник, не меняя позы.

— Конечно же! Я, признаться, боялся, что вы намажете краску слой на слой, а потом будете говорить, что вы так видите мир! Но я рад, что ошибся в своих предположениях! Признаться вам, я до сих пор не выношу этих снобов от искусства, которые не умеют провести правильную линию, а рассуждают о свободе чувств мастера!

— Я очень рад, милый Джон, что вам понравилась моя мазня.

— Добрый бог, какая же это мазня? Это так близко старому духу доброй Англии, которая до сих пор без ума от пейзажей Тернера, что не могу найти слов...

— И не надо лишних слов! — Лидумс встал. — Я прошу вас, милый Джон, принять в подарок от меня этот небольшой пейзаж! Пусть он напоминает вам наше маленькое путешествие, пусть напоминает о скромном художнике, которому очень хочется, чтобы вы хоть изредка вспоминали его, когда он уйдет снова в «небытие».

— Казимир! Такую работу! Что вы делаете? Она же стоит сотни фунтов! Ну, хорошо, вы не хотите продавать, но тогда оставьте ее себе!

— Оставить? — Лидумс грустно усмехнулся. — А что я скажу, если нечаянно попаду в Чека? Что я рисовал по вдохновению? Да и не в этом дело: я задумал эту

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—47.

работу как подарок вам! А для себя я оставил маленький набросок, о котором всегда могу сказать, что он перерисован с почтовой открытки... — и подал Джону первый набросок пейзажа.— Этот набросок я могу оставить себе на память о вас и о всех моих друзьях, благодаря которым я увидел свободный мир! А понравившаяся вам работа и делалась для вас, вот доказательство!

Он повернул лист обратной стороной. Там, в нижнем углу, была дарственная надпись: «Милому мистеру Джону от безвестного художника Казимира...». Надпись залакирована, чтобы не стерлась легкая гуашь, ниже были дата, число, место работы... Джон молча пожал руку художника.

— Вы не обидитесь, если следующую мою работу,— разумеется, если увижу что-то значительное,— я подарю кому-нибудь из ваших коллег, например, мистеру Маккибину? Скотту? Или Норе?

— Что вы, что вы, Казимир! Я буду счастлив когда-нибудь сказать, что у меня есть ваша работа! Я убежден, что вы еще станете художником с мировым именем!

— Увы,— грустно заметил Лидумс,— для этого прежде всего нужен мир на земле!

— Мир будет!— воодушевился Джон.

— Да, но сколько перед ним будет войн?

— Пс-с! Оставьте ваш пессимизм мистеру Россу и его начальству! Мы всегда были прагматиками и не позволим его величеству войне уничтожить наш уютный и спокойный мир! А они как хотят!

— Уж будто вы можете разделить мир на четвертинки!— невольно рассмеялся Лидумс.

— Но мы знаем, до какой черты можно идти и где необходимо остановиться. А если мы остановимся,— поверьте мне,— ни господин Росс, ни его начальник не посмеют переступить эту черту.

— Что-то этой взаимозависимости не было видно ни в корейской войне, ни во время других событий! — уже с насмешкой ответил Лидумс.— И вы и американцы отступали вместе, а начинают всегда они!

— А, бросим политику! Мы только исполнители! Но, клянусь, мы все-таки больше предпочитаем мир, нежели войну. А я принес — как знал, что вы подарите мне такую большую радость,— бутылку отличной водки!— И Джон достал из своего портфеля бутылку «Кристалла». Лидумс невольно подумал: а ведь меня опять проверяли! Теперь у местных эмигрантов!

Утром за ними заехал Эал.

Джон, как оказалось, и не подозревавший, что «мистер Казимир» решил испытать на себе методы обучения, принятые американцами, выбранил его, а потом заявил, что у него есть дела поважнее, и отказался от поездки на учебную базу, договорившись, что будет время от времени справляться, не смертельно ли надоело «мистеру Казимиру» быть подопытным животным. На этом они и расстались. Лидумс поехал с Эалом.

Но перед отъездом Лидумс написал на оборотной стороне своей рисованной открытки адрес любимой женщины, живущей в Дании, и попросил мистера Джона наклеить на открытку марки и швырнуть в почтовый ящик. Сам он написал только: «Еще жив. Люблю. Целую». И ее адрес.

— Почему бы вам не написать и свой адрес?— поинтересовался Джон.

— Подполье давно уже научило нас не оставлять своих адресов,— с некоторой меланхолией ответил Лидумс.— Моя Марта знает, что я остался на той стороне границы. Теперь она узнает, что я вырвался оттуда. А позже, когда позволят обстоятельства, я сам навещу ее. Всякая другая возможность нежелательна. А пока она будет знать, что я уже в Мюнхене. Значит, недалек тот день, когда мы встретимся с нею...

— А если она вышла замуж?— поинтересовался Джон.

— Письмо получат родители и в этом случае, естественно, не отдадут ей.

— И вы не станете бороться за свою любовь?

— Чем не жертвует человек на благо родины?

На этом они расстались.

18

Странные люди со странными судьбами окружали теперь Лидумса.

Среди них были бывшие солдаты и офицеры «великой» германской армии, выходцы из прибалтийских республик, связавшие свою судьбу с фашизмом то ли из мести к Советам, то ли из чистого авантюризма, а иногда и так: был батраком, да вот мобилизовали, сделали полицейским, а потом пошло-поехало, пока все эти люди не докатились до лагерей для перемещенных в американской или английской зоне. Все это уже немолодые люди, и числились они «старшими» в шпионских группах.

Но были и совсем молодые, так сказать, второе поколение разрушенных войною семейств. Одни вывезены немцами вместе со школами, другие попали в Германию с убежавшими родителями. Эти, в сущности, и выросли в лагерях для перемещенных. Они хорошо знали немецкий, «спикали» по-английски с американским акцентом, но и у них и у их родителей не было никаких надежд на будущее, не было постоянной работы, и «ами» пользовались этой беспросветной нуждой и отсутствием какой бы то ни было перспективы на будущее, терроризовали их в лагерях, оставляя один лишь выход — в шпионскую школу... Так создавались «кадры» самоубийц,— ведь каждому из них в свое время выдавали ампулу с цианистым калием, словно бы заявляли: жизнь ваша короче воробьиного хвоста, но ничего, злее будете!

И эти люди . собирались «освобождать» его родину!

Он невольно вспоминал собственную судьбу.

Да, его отца тоже экспроприировали. Он был довольно видным судовладельцем и, казалось, мог бы уйти из Риги на одном из своих собственных судов вместе с семьей, но он не сделал этого. С некоторым любопытством принял предложение новых властей возглавить отдел в управлении порта, ведавший экспортно-импортными операциями, потеснился в своем доме, приняв сразу две семьи «подвальных» жителей, без сопротивления сдал автомашину,— молодому государству она была, несомненно, нужнее, с интересом присматривался к разделу помещичьих земель и даже довольно добродушно отмечал, что лица крестьян, приезжающих на рынок в Ригу, стали веселее и даже несколько важнее, чем прежде. А когда к нему начали наведываться айзсарги, пытавшиеся сколотить новое подполье, резко ответил, что не интересуется политикой...

Вот этого айзсарги ему и не простили. В день входа немцев в Ригу отец Лидумса был застрелен прямо на улице.

Лидумс окончил университет перед самой войной. Сначала он побаивался, что его отчислят как «буржуйского сынка». Но никто его не отчислял, и после сдачи последних экзаменов он женился на любимой девушке. Была профессия, семья... И все это разрушила война...

Он помнил наставления отца. И когда некоторые из недавних его однокашников, сколачивавшие добровольческий легион для услужения немцам, явились к нему, просто выставил их вон. Ему тоже отомстили: лишили работы в самое тяжкое время оккупации.

Беда не приходит одна: жена умерла вскоре после родов, оставив ему девочку...

Вечером, когда покойницу уже доставили в кладбищенскую часовню, он вдруг вспомнил, что не выполнил последнюю ее волю. Она попросила снять обручальное кольцо с руки, чтобы у маленькой Аниты было молоко хоть на первое время. Утром в часовню войдут служки, и кольцо исчезнет.

На улицах уже слышался стук подкованных сапог: наступил комендантский час, патрули обходили улицы. Лидумс осторожно вышел из дома и пошел, прижимаясь к стенам домов, в сторону кладбища.

Старые, расхлябанные двери часовни были закрыты слабеньким английским замком. Лидумс раздвинул створки охотничьим ножом и вошел. В темноте он на ощупь отыскал гроб, снял крышку и нашел холодную руку...

Толстый немец-шуцман и уполномоченный квартала вывернулись из переулка прямо на него. Должно быть, они давно расслышали его шаги и притаились за углом, как охотники. Лидумс испытал такой прилив ненависти, что все движения его стали как бы автоматическими. Он не дал немцу выстрелить, сбив его с ног ударом кулака. Немец загремел автоматом, падая прямо в открытый бункер, через который засыпается уголь для отопления домов. Безоружный квартальный надзиратель бросился бежать, петляя, как заяц...

Утром по всему кварталу шла облава: искали «диверсантов».

От облавы Лидумс ушел: с карточкой докера он отправился в порт. Там у него были друзья.

Вечером, прямо из порта, переодетого Лидумса вывезли на грузовой машине в сторону Вентспилса. В лесу шофер по каким-то лишь ему понятным приметам определил место высадки: «Иди отсюда с полчаса прямо на восток, найди сухое место и переночуй. Дальше двигайся днем, если повезет, встретишь наших, не повезет — извини!» — и развел руками.

Партизан Лидумс встретил только на пятый день...

19

Партизанам в Латвии было трудно. За ними охотились не только немцы, но и айзсарги, возродившие свою террористическую организацию под крылышком у фашистов.

Группу партизан в курляндских лесах возглавлял Балодис.

Он был всего лишь на десять лет старше Лидумса (кстати, именно он и дал художнику Викторсу Вэтре этот псевдоним), но уже семь раз посидел в каторжной тюрьме бывшей республики: первый раз как активист-комсомолец, а в последний как один из организаторов и функционеров подпольной коммунистической партии — одним словом, год на свободе, год в тюрьме. В первый день создания Советской Латвии он был назначен начальником городского отдела госбезопасности в Вентспилсе и пришел в свой кабинет прямо из камеры каторжной тюрьмы.

После вступления немцев в Латвию Балодиса оставили для подпольной работы.

Лидумс провоевал с партизанами все лето сорок второго года. Осенью, когда немцев остановили под Сталинградом, Балодис предложил Лидумсу легализоваться в Риге. По его данным, квартальный уполномоченный, который мог повредить художнику, был расстрелян немцами еще летом «по обвинению в убийстве шуцмана», которого якобы сам столкнул в бункер.

Балодис приготовил документы о том, что художник Викторс Вэтра провел все лето у родственников на хуторе,— такой хутор был, и родственники были и могли подтвердить все сказанное в документах,— а теперь отправлялся в Ригу, чтобы поступить в военную школу, организованную оккупационными властями.

С такими документами, со своей собственной (не придуманной!) биографией Лидумс мог ехать не только в Ригу, но и в Берлин.

Балодис был дальновиден. Он без колебаний верил, что фашизм будет побежден. Но знал и другое: немцы готовят кадры для подпольной войны против Советской страны на тот случай, если их все-таки выгонят из Латвии, тогда снова возникнут «лесные братства», «лесные рыси», «лесные кошки»...

В военной школе Вэтра познакомился со многими будущими врагами. Был там и некий Чеверс, которого Лидумс взял в то время, когда сам исполнял роль командира отряда «лесных братьев» Были и дру-

гие, чьи портреты художник Вэтра, молодой воспитанник военной школы, писал в часы досуга, обязательно оставляя копию себе, о которой позирующий и не подозревал. При этом очень часто оказывалось, что копия сделана лучше, сильнее, чем сам портрет.

Вэтра окончил военную школу в тот год, когда за плечами советских армий был уже Сталинград, было освобождение Ленинграда от блокады, готовилась самая крупная битва механизированных войск, на Курском выступе. Он окончил школу с отличием, прослужил несколько месяцев в рижском гарнизоне, а перед отправкой добровольческих латышских легионов на фронт тяжело заболел. Тут опять помог Балодис.

— Этот год будет решающим в ходе войны!— уверенно сказал Балодис, навестивший Вэтру.— В будущем году можно ожидать битвы за Латвию. Сейчас вы должны уцелеть — это главное. И помните, вы должны уцелеть не просто как человек и мой помощник, но как художник! Ваше время еще настанет!

Лидумс продержался в гарнизоне до конца сентября 1944 года. В это время Балодис и его отряды были уже за линией фронта. Готовился штурм Риги. Лидумс не знал, как перейти линию фронта, чтобы разыскать своего друга. Немцы бросили в бой все свои резервы: айзсаргов, полицию, добровольческие легионы... В любой день могли отправить и роту Лидумса, пока что охранявшую порт и спокойствие эвакуируемых господ немцев. И в эти дни Балодис навестил его.

Под городом гремела канонада советских орудий, немцы расстреливали не только латышей, но и своих по обвинению в дезертирстве. А Балодис спокойно сидел в его комнате и советовал, что взять с собой. «Наденьте брезентовый костюм и сапоги, две пары шерстяного белья, возможно, ночевать придется в болоте, а вода стала дьявольски холодной. Из оружия возьмите два пистолета и нож,—я помню, у вас есть самораскрывающийся с роговой ручкой, она не скользит даже в мокрой руке. Бумаги, документы, рисунки упаковать в чемодан и спустить в подвал. Там, я помню, осталась гора шлака. Закопайте в эту кучу, она не станет гореть и в случае пожара. Что-нибудь да останется!»

У Балодиса оказался такой же ночной пропуск, какой был и у Лидумса. И у шофера машины, стоявшей внизу, был ночной пропуск.

Утром они были в Мадоне.

20

В переполненном войсками, штабами, всевозможными вспомогательными службами городе человеку в штатском устроиться было бы невозможно, если бы не Балодис. Викторс Вэтра оценил предусмотрительность старшего товарища, у которого оказался ключ от привратницкой каморки в одном из домов на центральной улице Мадоны.

В тот же вечер Балодис представил Вэтру своему непосредственному начальнику — полковнику Голубеву, и Вэтра был зачислен переводчиком при отделе полковника. А наутро были соблюдены и остальные формальности: зачисление на довольствие, присвоение воинского звания,— и Балодис и Голубев торопились, а оставить художника на произвол судьбы в прифронтовом городе было просто опасно.

Балодис по обычаю кратко пояснил:

— Наши «друзья»—латышские националисты, включая айзсаргов, осколки либералов и демократов вместе с католиками — организовали в Курляндии «Латвийский Центральный Совет». Это бы и черт с ними, все равно немцы в Курляндии окружены, но сей ЛЦС связался с американской и английской разведками. Пока мы ведем бои, они стянули в Курляндию свои полицейские части и остатки добровольческого легиона. Таким образом, в этом слоеном пироге оказался кусочек буржуазной Латвии. И вот эти так называемые «национально мыслящие латыши» приглашают американцев и англичан высадиться в Курляндии и «вступить в игру». Ты представляешь, что это значит? Они пытаются рассорить союзников, тем более что господину Черчиллю и во сне снится отколоть прибалтийские республики от Советского Союза. Так что завтра или послезавтра я исчезну, не успев попрощаться с тобой.

— И ты отправишься в этот котел? Там же все кипит!

— Если мы не будем наблюдать за этой адской кухней, то кто знает, что в том котле сварят? Но тебя это не должно волновать, из всякой переделки можно выбраться. Да и времени у них мало. Через несколько дней мы возьмем Ригу, а там и до Курляндии рукой подать. Ты должен заниматься своим делом, только постарайся не очень показываться на людях,— у нас на тебя еще есть виды...

И Вэтра неуклонно соблюдал совет старшего друга, а тот исчез, как в воду канул.

Встретились они, как говорится, в шесть часов вечера после войны...

Аните было уже четыре года, сестра Вэтры по-прежнему воспитывала девочку, но теперь и отец был рядом. Вэтра преподавал, много писал и маслом и гуашью, выставлялся и уже начал забывать тяжкие дни войны. Но война напомнила о себе сама.

Однажды утром в квартиру Вэтры зашел Балодис. Был он все такой же оживленный, веселый, неунывающий. Немедленно влюбил в себя девочку, но, порезвившись с нею, неприметно кивнул Викторсу: надо, мол, поговорить,— и уединился с ним в мастерской. Там еще похвалил картины, посмотрел наброски, но Вэтра уже видел: этого большого и веселого человека что-то гнетет. И без обиняков спросил:

— Что-нибудь случилось, Август? И что ты теперь делаешь? Ты же еще ничего не сказал о себе.

— Я опять в Вентспилсе. А случилось то же самое, что было и вчера, и неделю назад, и почти каждый день после войны: в лесах стреляют...

Вэтра знал, что в лесах стреляют. После разгрома немцев в лесах осталось немало банд и отдельных дезертиров, они постепенно собирались воедино, и случалось, что такие объединенные шайки устраивали налеты не только на хутора, но и на поселки, убивая всех, кто попал под руку, казня советских активистов, коммунистов, представителей власти. На художника вдруг пахнуло порохом, он снова почувствовал себя Лидумсом.

— Мы только что разгромили несколько крупных банд,— устало продолжал Балодис.— Но главари ушли. А там, где есть главари, отребье всегда отыщется. Нужен человек, который сумел бы собрать всех этих главарей в одно место...

— Ты думаешь, мне это удастся?— спокойно спросил Вэтра.

Балодис внимательно оглядел его. Вэтра выглядел атлетом. Даже трудные послевоенные дни не отразились на нем. Но на лице Балодиса появилась грустная усмешка.

— Жалко подставлять под пули такую светлую голову!— ответил он.— А так почему же,— ты бывший офицер немецкой армии, ты и твой отец пострадали от проклятых большевиков, ты знаешь три или четыре языка, и у этих «лесных рысей» не должно быть особых подозрений. Хотя кто знает? После этого разгрома они, кажется, уже и друг другу-то не верят. Во всяком случае, при приеме новых людей в банду они их проверяют и перепроверяют. Нашим людям среди них теперь очень нелегко!

— Я согласен!— быстро сказал Вэтра.

— Не спеши,—остановил его Балодис.— Очень может быть, что у тебя это только типичное стремление к романтике, а там, брат, все вокруг кровью пахнет.

— Ты понимаешь по-латышски? Я сказал: я согласен! И ты можешь понять еще одну вещь: я не рассчитался с ними за отца!

— Хорошо,— устало сказал Балодис.— Сходим со мной к одному нашему старому другу. Старый друг, как старый доктор,— всегда может что-то посоветовать...

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,

Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

21

Так вот и случилось, что однажды весной, на рассвете Лидумс подошел на маленькой моторной лодке при сильном ветре и крупной накатной волне к побережью Курляндии, в нескольких километрах от Ужавского маяка.

Небольшая бухточка укрыла его лодку от посторонних взоров, и он удачно пристал к берегу. Торопливо выгрузив свое снаряжение, он развернул лодку в море, открыл люк в днище и дал максимальные обороты мотору. Лодка на мгновение словно присела перед волнами, затем ускорила ход и устремилась вперед. И недалеко от берега, набрав полный корпус воды, медленно ушла на дно...

Усталый, промокший Лидумс, с тяжелым рюкзаком на спине и небольшим чемоданчиком в руке, в котором была вмонтирована агентурная радиостанция, взобрался на крутой песчаный яр, стоявший над морем стеною, и исчез в сосновом лесу, где каждое дерево было скрючено морскими ветрами.

Трое суток прошли в каком-то унизительном кошмаре. Он брел по лесу, заходил на одинокие хутора, где никто не хотел с ним ни разговаривать, ни пустить переночевать, ни продать молока или сала, и на ночь он останавливался в забытых стогах сена, в заброшенных шалашах, оставленных охотниками, а может быть, и дозорными тех, кого он искал. Следов он не прятал, то ли от неумения скрыть их, то ли от безразличия, костры разжигал с большим дымом, но ни разу никого не видел.

На четвертый день он наткнулся на хутор лесника, который принял в нем искреннее участие. Лидумс помылся у него горячей водой, побрился как следует, а за ужином рассказал, ничего не утаивая, что служил в немецкой армии, попал в плен к русским, а затем в фильтрационный лагерь, откуда бежал. Несколько дней назад он вернулся в Латвию, надеясь отыскать своих бывших друзей, которые, по слухам, обосновались в Курляндии.

Лесник ничего о «друзьях» слыхом не слыхивал, просто рад поговорить с прохожим человеком. Ночевать он уложил Лидумса на сеновал, а ночью спящего разбудил свет фонаря. Перед ним были два человека с автоматами, которые приказали ему собрать вещи и идти с ними. Но кто они? «Лесные кошки» или чекисты?

Едва Лидумс оказался на улице, как ему завязали глаза, связали руки и приказали двигаться молча, и Лидумс пошел, как лошадь, ведомая в поводу.

Дорога оказалась длинной, через бурелом, ручьи, болота. Лидумс пытался прислушиваться к коротким разговорам провожатых: они как будто подозревали в нем агента Чека, пришедшего в курляндские леса для поисков «лесных кошек», оторвавшихся от преследования чекистов...

Затем его втолкнули в бункер — грязную землянку, пропахшую запахами немытого тела, самогона, дурной пищи. Повязку с глаз у него сняли, но руки оставили связанными. Те, что привели его, чуть ослабили вожжи на онемевших руках Лидумса и ушли. Перед ним были три человека, по-видимому, штаб банды. Мокрый пол в бункере был покрыт втоптанными куриными перьями, под нарами валялись давно обглоданные кости и рваные бинты с бурыми потеками, должно быть, следы недавних боев с «синими», как эти люди называли чекистов.

Допрос начался с открытых угроз: «Мы знаем, что ты чекист, преследующий «национально мыслящих» латышей. Немедленно сознавайся: кто, откуда, как попал в расположение отряда? Полное признание, может быть, даст тебе возможность искупить вину перед родиной...»

«Да, «мыслящие»! — думал Лидумс.— И тоже называют себя латышами! А сколько бед принесли они Латвии!» Угрозы становились все злее, того и гляди, эти опытные палачи перейдут к побоям.

Но чем громче орали на него, тем громче орал он на них:

— Это вы-то и есть чекисты, замаскировавшиеся под «лесных братьев»! Недаром же меня схватили через час после того, как я обмолвился словом о «братьях»! Но меня вы можете уничтожить, я в ваших руках, а «братьев» вам все равно не найти! Слишком уж плохо вы маскируетесь! Разве могли бы настоящие лесные борцы жить в таких звериных условиях? Уж я-то знаю настоящих лесных борцов, сам жил с ними в лесном лагере, но никогда не видел такой показной грязи! Но мы воевали как солдаты, а когда нас окружили и прижали к морю, мы захватили ваш же чекистский мотобот и с боем ушли в Швецию! Можете спросить ваше чекистское начальство, они, наверное, еще помнят, как мы вырвались в Ирбенский пролив... Мне скрывать нечего: вы взяли все мое снаряжение и знаете, кто я. И больше я не скажу ни слова: передавайте меня прямо в Чека, стоит ли рассказывать о себе много раз подряд, когда у вас все улики против меня: рация иностранного производства, шифры, коды, кварцы, оружие, полномочия «Латвийского центрального совета» в Швеции, в которых ясно сказано, что я эмиссар Совета и направлен в Латвию для объединения и координации действий разрозненных отрядов «лесных братьев». И знайте, я горжусь тем, что был избран для этой миссии!

Он видел, что допрашивающие несколько смущены его заявлением, но понимал, что они чего-то или кого-то ждут для решения его судьбы, потому и продолжают этот бессмысленный допрос. И действительно, через полчаса допрос прекратили под предлогом обеда. Лидумсу тоже разрешили съесть пачку галет из обнаруженных в его рюкзаке, но на его предложение попробовать заморское лакомство все ответили отказом. «Боятся,— подумал он,— не напичканы ли галеты ядом или сильно действующим наркотиком».

Двое из главарей ушли из бункера на обед, но третий не спускал с Лидумса глаз: может быть, ждал, не отравится ли он галетами. На вторичное предложение отведать их он, хихикая, рассказал анекдот о том, как одна рижская семья стала получать через международный Красный крест посылки из Швеции от своих родных. В посылках были поношенные вещи, пакетики с сахарином, сигареты. А однажды, перед пасхальными праздниками, пришла посылка с мукой в трех пакетах, в двух мука была белая, в третьем — серая. Рижане, естественно, испекли отменный пирог и угостились на славу, а наутро отправили в Швецию благодарственное письмо. В тот же день «кулинары» получили запоздавшее письмо из Стокгольма, в котором сообщалось, что в третьем мешочке находится прах кремированной бабушки, которая перед смертью просила похоронить ее на родине. Шведские родственники просили выполнить последнюю волю покойной, а фотографии церемонии захоронения выслать им.

— Так что на твое угощение никто у нас не польстится!— ухмыльнулся бандит.— Мы ведь не знаем, какая из галет испечена чекистами из праха бабушки...

Лидумс отнесся к анекдоту вполне внимательно, а сам меж тем прислушивался к обрывкам разговора, доносившегося снаружи. Один из допрашивавших советовал позволить Лидумсу связаться по его рации со Стокгольмом и получить от ксендза Пропса, одного из организаторов Центрального Совета, подтверждение, что Лидумс действительно то лицо, за которое он себя выдает. Пропса этот бандит, оказывается, знал и знал пароль для связи с ним.

— Ну да, а его передатчик чекисты засекут, и через два-три часа мы опять окажемся под огнем! А если он и действительно чекист и передаст свое сообщение не в Стокгольм, а в Ригу, на улицу Стабу? Тогда нам вообще не уйти живыми!

Голоса смолкли: то ли бандиты обдумывали «варианты», то ли отошли от бункера. Но Лидумс уже понял, что ему, в сущности, поверили и все может кончиться хорошо, если не вмешается «третья сила». Ведь кого-то они все-таки ждут для продолжения разговора с ним?

Но вернулись они опять вдвоем.

Допрос продолжался, но уже более вяло. Во всяком случае, о немедленном расстреле разговоров больше не было. Тогда Лидумс грубо напомнил допрашивающим, что

Продолжение. См. «Огонек» №№ 43—48.

сами-то они не прошли даже начальной школы конспирации, хотя и берутся за такое трудное дело, как борьба с большевиками. Они не потрудились отойти от бункера для своих разговоров. А он, Лидумс, не глухой. Он же слышал, что выдвигались разные возможности для его проверки.

Допрашивающие были явно смущены своей оплошностью. Но старший из бандитов, может быть, командир всей банды, в прошлом, видно, моряк, глухо буркнул:

— По курсу нашего движения черных шаров пока что не видно...

Лидумс вспомнил: на флоте существует закон, согласно которому корабль, производящий траление мин, поднимает на тонких тросах черные воздушные шары как сигнал для проходящих судов, что приближаться к тральщику опасно...

Но он не успел обрадоваться этому неожиданному и приятному повороту. Дверь внезапно открылась, ворвался еще один бандит, и Лидумс, оглядев нового посетителя, понял: дело принимает дурной оборот.

Это был человек с отвисшим тяжелым подбородком, узкими, глубоко посаженными глазами неопределенного цвета, с узким, «птичьим» лбом и взлохмаченными волосами. Лидумс увидел, как подобострастно вскочили все трое, и решил, что если это не главарь всей банды, то уж, во всяком случае, «хозяин» какой-нибудь соседней и, наверно, более крупной группы. А бандит, бегло оглядев пожитки Лидумса, набросился с бранью на тех троих, которые взяли его ночью. Он не стеснялся в выражениях, и главным его обвинением было: почему они держат в своем лагере чекиста уже полсуток и до сих пор не расстреляли его?

Бывший моряк заикнулся было, что, может быть, Лидумс на самом деле эмиссар «Латвийского центрального совета». Но бандит с отвисшим подбородком яростно закричал, что вчера, рано утром, на шоссе Вентспилс — Рига его группа захватила автомашину начальника Вентспилсского городского отдела государственной безопасности Балодиса, который принес «лесным рысям» столько бед. В перестрелке Балодис был убит, но в машине обнаружен портфель, который он вез в Ригу. Один из документов свидетельствует, что захваченный ночью человек, называющий себя Лидумсом, известный чекист, направленный Балодисом с соответственной легендой в лес для поисков уцелевших бойцов из отрядов «лесных братьев» и для наведения на них чекистов...

Вопль радости вырвался у бандитов, когда они услышали о гибели Балодиса. И сразу послышались вопли:

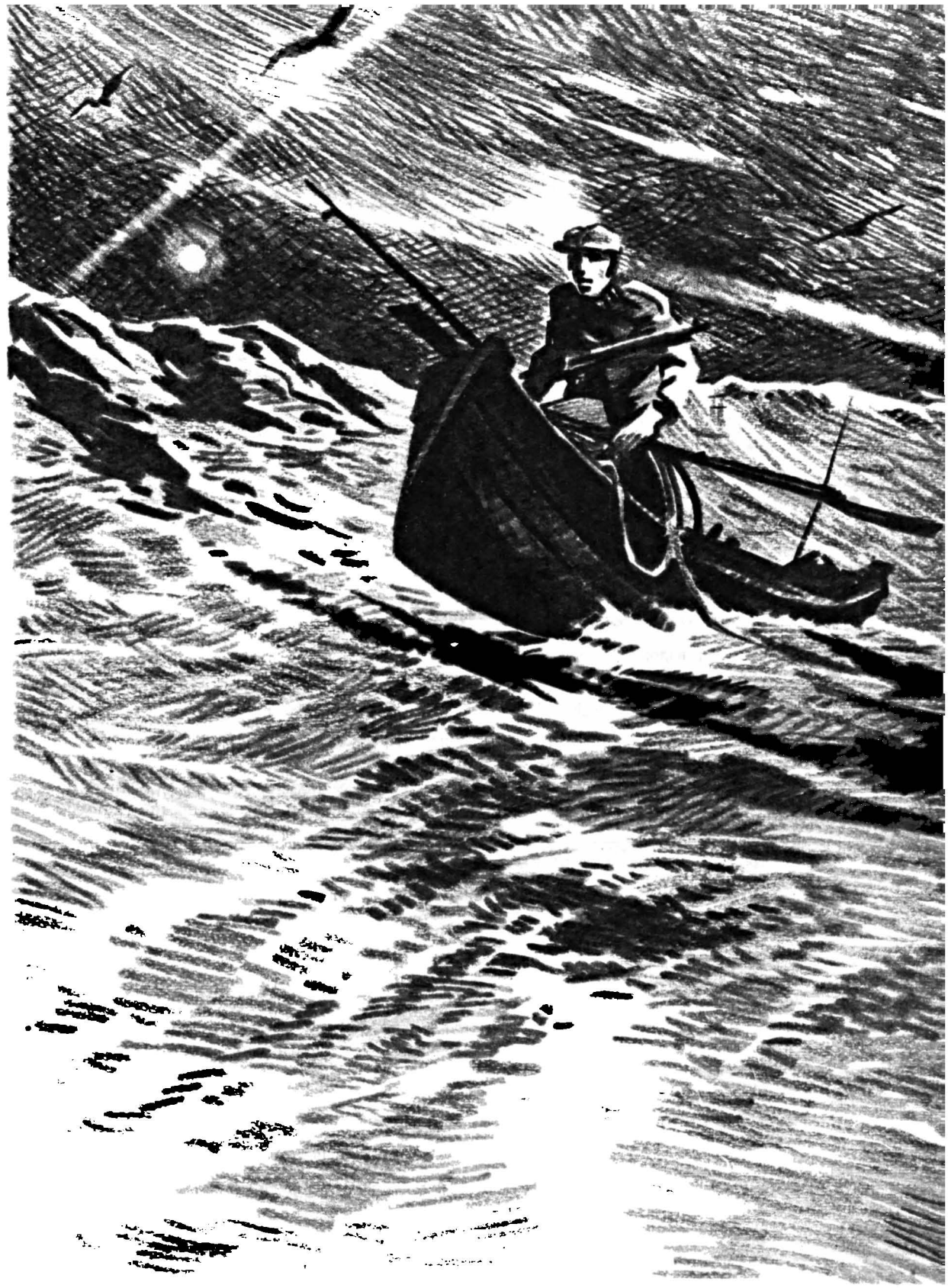
— Расстрелять этого негодяя!

— Зачем стрелять? Пулю жалко! Повесить на ближайшей осине!

А бандит с отвисшей челюстью продолжал хвалиться своим подвигом. С новыми и новыми подробностями он рассказывал, как они подстерегали Балодиса, во что он был одет в последний день своей жизни, и Лидумс узнал по этому описанию облик своего бесстрашного друга, некоторые его привычки, его манеру несколько необычно одеваться. Неужели этого смелого, отчаянного человека нет в живых? И могло ли случиться, чтобы в его портфеле были какие-то документы об их совместной затее пробраться в один из самых опасных отрядов «лесных рысей»?

А что делать Лидумсу, если бандит сказал правду? Попытаться вести двойную игру, чтобы потом убежать от бандитов? Но что будет стоить его жизнь, если бандиты сумеют скрыться за границу, чего они так страстно желают после своих провалов? И сколько друзей Лидумса погибнет, если даже он успеет предупредить своих о предстоящем уходе бандитов за границу через море? Нет уж, лучше погибнуть самому, чем выводить своих друзей под огонь вражеских автоматов.

Но мог ли Балодис вчера «рано утром», когда он, по словам бандита, был убит, ехать в Ригу? Пять дней назад, когда Лидумс приготовился уходить на задание, Балодис внезапно почувствовал себя плохо. Прямо из Комитета его отвезли в клинику.



Перед уходом в море Лидумс позвонил в клинику. Главный врач сообщил диагноз: гнойный аппендицит, требующий немедленной операции...

Конечно, бандитам могут быть известны привычки Балодиса, его внешний вид: получить такие данные через пособников не так уж трудно. А вот сообщить, что Балодис болен, пособники вряд ли могут...

И Лидумс швырнул на стол свой последний козырь.

Да, он действительно эмиссар «Латвийского центрального совета». Но мог ли он думать, что наткнется в курляндских лесах не на «лесных кошек», а всего лишь на слепых котят? Они даже не подумали о том, что у него может быть тайное задание, о котором им просто не к чему знать. Но уж если дело дошло до того, что его собираются убить, он скажет им о главной цели своего приезда, а там они сами могут решить, воспользуются ли они его помощью или так и останутся слепыми котятами.

Он был доставлен к берегам Курляндии с острова Готланд на быстроходном торпедном катере по согласованному решению нескольких иностранных разведок, опирающихся в своей деятельности на «Латвийский центральный совет». На границе территориальных вод Советского Союза, неподалеку от Ужавского маяка, с этого катера была спущена на воду небольшая моторная лодка, на которой он и добрался до берега. Это при желании можно проверить: затопленную им лодку нетрудно разглядеть в штилевую погоду — она покоится на дне моря в пятидесяти метрах от берега. А задача, которую он должен был выполнить, проста: связать лесные отряды с разведками Англии, Америки и Швеции для создания нелегальной дороги, по которой разведки этих стран могли бы направлять помощь «лесным братьям» и перебрасывать своих людей в Советский Союз. Не выполнил он свою задачу по простой случайности: попал не к «лесным кошкам», а к слепым котятам! Больше он говорить не будет. Все.

Бандит с отвисшей челюстью разглядывал пленника, потом грубо расхохотался, сказал:

— Суд удаляется для вынесения приговора!

Все трое вышли, остался только прежний страж, но тут же вошли еще двое. Несмотря на то, что руки у Лидумса все время были связаны, бандиты боялись упустить его.

«Совещание суда» продолжалось долго. Только перед закатом солнца все «судьи» вернулись в бункер. Главарь нес с собой железную лопату.

— Пошли!— грубо приказал он.

Лидумса вывели со связанными руками, но повязку на глаза больше не надевали. Один из подручных бандита нес на плече лопату, остальные держали Лидумса под дулами автоматов.

Так они прошли с полкилометра. Главарь остановился, приказал своим помощникам:

— Развяжите ему лапы и дайте лопату. Пусть копает могилу!

Один из бандитов разрезал ножом вожжи на руках Лидумса и воткнул в белый мох перед его ногами лопату. Все отступили на несколько шагов, может быть, опасаясь, как бы пленник не рубанул кого-нибудь лопатой перед смертью.

Лидумс помедлил, оглядывая лес и разминая руки. Они затекли и плохо слушались.

Но вот он вздохнул, аккуратно очертил границы могилы и срезал белый мох. Подо мхом лежала песчаная латвийская земля. Он запустил лопату на полный штык и вывернул землю. Вот так трагически и бесследно заканчивается его последняя операция в войне с фашистскими прихвостнями, которые и после войны терроризируют его братьев-латышей, пытаясь навязать им убийствами и вот такими «казнями» свои дурацкие идеи и свои «новые порядки»...

Вопрос этот возник и остался в сознании на фоне стремительно летящих воспоминаний. На соседнем дереве над его головой завозились грачи, устраиваясь на ночлег, и Лидумс вдруг увидел себя маленьким мальчиком, получившим от матери в подарок матросский костюмчик и вдруг забравшимся на тополь, чтобы заглянуть в грачиное гнездо. Ох, и испортили тогда грачи его новый наряд! А вот он уже студент, в форменном вицмундире, в корпорантской шапочке, и рядом милая девушка... И сразу война, немцы, орды немцев с широко разверстыми пастями, как же, победители мира! И вот его война оканчивается, оканчивается так глупо, и он ничего не может сделать своим врагам, находясь так близко от них.

Главарь зачитал какое-то подобие приговора и приказал Лидумсу повернуться спиной к своим палачам на краю неглубокой могилы.

Еще раз послышался приказ: признаться в своих связях с «синими».

— Идите вы к черту!— проворчал он сквозь зубы.

— Огонь!— скомандовал тот же грубый голос.

Послышался сухой треск автоматов. На голову Лидумса посыпались срезанные пулями ветви с дерева. Он резко повернулся, крикнул:

— Эй, вы, сволочи! Даже стрелять не умеете! Дайте мне пистолет, я сам продырявлю себе голову за то, что связался с таким дерьмом!

Главарь вдруг повалился в ноги Лидумсу:

— Простите нас, кунгс Лидумс!

Лидумс изо всей силы ударил его сапогом. Но уже и другие бежали к нему, готовые чуть ли не целоваться. Второй из судей, бывший моряк, смущенно бормотал:

— Это же только проверка! А вашу лодку мы нашли. Но ведь мы тут воюем все против всех...

...Вечером бандиты крепко перепились по поводу приема Лидумса в члены банды. А наутро у Лидумса началась обычная работа: надо было связаться с главарями всех банд, действующих не только в лесах Курляндии, но и в Земгалии и в Латгалии, предупредить всех о созыве объединительного совещания, отыскать наиболее удобное место для этой представительной встречи, на которой он, эмиссар «Латвийского центрального совета», доложит о своей миссии, об установлении крепких связей чуть ли не со всеми разведками мира, о создании тайных путей в Стокгольм, в Лондон, хоть в Нью-Йорк — куда кому захочется — чуть ли не первым классом...

Это совещание состоялось осенью неподалеку от Риги. Явились «боссы», «хозяева», «шефы» в количестве девятнадцати членов совещания и нескольких наблюдателей от соперничающих между собою групп. На совещание, по предварительному уговору, съезжались без оружия: тут было столько маленьких «фюреров», враждующих между собой, что они могли запросто перестрелять друг друга. И когда на совещание нежданно-негаданно явились чекисты, «фюреры» покорно подняли руки...

А теперь он опять живет среди этих недобитков, снова носит на лице маску, а как же ему хочется очутиться среди своих, расслабиться, дать полный отдых своему усталому лицу, своему усталому телу...

Но еще рано!

22

Итак, Лидумса снова окружали его бывшие враги, только теперь они именовались солдатами американских войск специального назначения, или, короче, рейнджерами — «зелеными беретами».

Именно на базе, где американцы муштровали свои войска спецназначения, проходили обучение и американские шпионы, да и вербовались они тут же, из солдат этих войск, преимущественно иностранцев, родившихся в стране, против которой они должны затем действовать, или хотя бы знающих язык этой страны...

Школой, с которой должен был ознакомиться Лидумс, оказалась школа шпионов-парашютистов. В нее попадали те, кто прошел предварительный отбор, получил первоначальные знания по радиоделу, фотографированию, диверсиям и теперь готовился к заброске в тыл «потенциального противника». Уже по одному тому, что все это были латыши, литовцы, эстонцы, бежавшие из Советского Союза вместе с немцами, или дети этих эмигрантов, воспитанные за пределами своей родины, становилось ясно, кого в данной школе именовали «потенциальным противником».

В школу Лидумса привез молодой американский разведчик Эал, а сопровождали Лидумса два ученика английской школы, назвавшие себя Биль и Альвирас. Перед въездом на территорию базы Эал предупредил своих пассажиров, чтобы они не говорили между собой: охранникам базы ни к чему знать, что новые питомцы школы не американцы...

Здание школы находилось примерно в километре от ворот базы и в некотором удалении от других зданий казарменного типа. Разгуливать по территории базы, знакомиться с живущими в других зданиях людьми было категорически запрещено. Одним словом, это была настоящая тюрьма со своим особым внутренним уставом и устройством, со своей субординацией и своими особыми занятиями. В этой тюрьме и должны были отныне жить Лидумс, Альвирас и Биль, а наблюдали за ними и занимались с ними два инструктора: лейтенант и сержант, с которыми Эал познакомил новичков.

Ни лейтенант, ни сержант имен не назвали, но оба были в своем роде примечательны. Лейтенант, американец по происхождению, невысокий, плотный, лет тридцати, с голосом громким и пронзительным, показался Лидумсу самоуверенным не по чину, грубым до самозабвения, и было видно, что всех остальных людей он считает куда ниже себя. Это наводило на мысль, что он давно уже сидит в этой или служил в похожей на эту школе, где под его началом были люди, им презираемые. Может быть, он сразу пошел в эти части спецназначения, а организованы они были еще в 1951 году, и уже привык к угодничеству и лести: ведь, по его понятиям, вокруг были не люди, а недочеловеки...

Сержант, такого же возраста, видимо, обиженный и обозленный тем, что так и не сумел пробиться к офицерскому чину, очень высокий, худой, держался со своим прямым начальником раболепно, но точно так же презирал «этих вшивых иностранцев» и если не пускал в ход кулаки, то, наверно, только потому, что служба в парашютной школе опасна: парашют может и не раскрыться или лямки его окажутся подрезанными... Что-то в этом рроде пробормотал Биль после первого же разноса, правда, пробормотал на родном языке, но Лидумс понял, что тут все держится на грубой силе.

Но Эал, по-видимому, что-то шепнул лейтенанту о миссии Лидумса, потому что тот при знакомстве словно проткнул нового «ученика» острыми пронзительными глазами, пробормотал: «Очень рад!» — и после этого ни сам он, ни его помощник-сержант к великану-латышу не придирались.

Занятия начались с утра на следующий день.

Их учили собирать и складывать парашюты, управлять ими при спуске с самолета, прятать освобожденный парашют на территории «противника» так, чтобы его невозможно было обнаружить,— это были и теория и практика, поскольку шпион мог воспользоваться парашютом только однажды — при спуске в тыл «врага»,— но от того, как он укроет его после приземления, в сущности, зависела жизнь.

Только после того, как они наловчились собирать распущенный парашют в самое короткое время, прятать его в считанные минуты, «учеников» перевели в следующий «класс»: подготовки к прыжкам...

Лидумс собрал все терпение и умение, чтобы заслужить одобрение лейтенанта. И после каждой похвалы, произнесенной тем же грубым и пронзительным голосом, каким лейтенант только что отчитывал Биля или Альвираса, вежливо повторял:

— Слушаю, сэр!

В конце концов лед тронулся. Как-то вечером лейтенант буркнул:

— Зайдите ко мне, мистер Казимир, поболтаем...

Лидумс невольно подумал: а как этот грубиян разговаривает с женщинами? По вечерам лейтенант часто отбывал «проветриться», оставляя школу на сержанта, и тот ворчал, не стесняясь учеников: «Опять ударил по бабам!» По воскресным дням сержант злобно завидовал начальнику: лейтенант отпускал его из школы только раз в неделю и то в рабочие дни.

Сегодня сержант был в городе, и начальнику школы, должно быть, стало скучно. А Лидумс к такому случаю подготовился заранее.

После ужина, который в школу доставляли откуда-то на «джипе» в термосах, когда Биль и Альвирас ушли в свою комнату продолжать бесконечную карточную игру, Лидумс поднялся к лейтенанту. Накануне он достал через «кухонных» солдат кварту хорошего виски, хотя и с большой наценкой, но не ту мутную дрянь, которую доставали для себя Биль и Альвирас. С этой квартой в руках Лидумс и вошел к начальнику школы.

Приношение лейтенант принял радушно, позаботился о бокалах и содовой, о кубиках льда, вынул из шкафа коробку соленого печенья, налил виски, тут же сказал, что мистер Казимир может называть его Гербертом, после чего контакт оказался еще приятнее.

После второго бокала лейтенант спросил, как ему нравится в школе.

— По-моему, в тех частях, где служите вы, значительно интереснее...

Пока мистер Герберт обдумывал ответ на этот вопрос, они успели выпить еще по два виски. Но на лейтенанта эта доза никак не действовала. После долгой паузы он только спросил:

— А что вы знаете об этих частях?

Лидумс ответил кратко: он слышал, что служба в этих частях хорошо оплачивается,

а кроме того, по истечении контракта как будто можно надеяться на гражданство США...

— Если вас не подстрелят в очередной операции,— проворчал лейтенант.

— Ну, подстрелить могут и на моей работе!— беспечно ответил Лидумс.— Разница только в том, что моя работа не дает таких широких перспектив, о которых я слышал от ваших вербовщиков.

— Вербовщики за то и получают свои деньги, что умеют врать,— отмахнулся лейтенант.

Но на Лидумса он теперь смотрел примерно с таким же любопытством, как вербовщик, словно бы оценивая «новый материал». Они пропустили еще по два бокала, и только тогда он заговорил всерьез:

— Что верно, то верно, в наших войсках хорошо платят. Но контракт заключается на десять лет. И берут в войска специального назначения людей не старше тридцати шести...

— Мне тридцать пять!— солгал Лидумс.— И к тому же я имею чин капитана немецкой службы...

— Это ничего не значит,— усмехнулся лейтенант,— начинать все равно придется сначала.

— Но я прошел подготовку в английской разведывательной школе...

— А, что они понимают в таких делах!— пренебрежительно пожал плечами лейтенант.— У нас речь идет не об одиночках-диверсантах, а о целых армиях солдат-невидимок! Я пропускаю через свою парашютную школу сотни солдат, но наши парашютные десанты насчитывают уже давно не сотни, а тысячи парашютистов, вооруженных пушками, танками, вертолетами. Эти солдаты могут выжить в болоте, в лесу, в пустыне, добыть пресную воду в море, питаться змеями и улитками, воевать в одиночку и армиями, сеять панику и захватывать города. Разве сравнишь эту великую миссию с действиями ваших шпионов-одиночек?

На этот раз лишний бокал виски сделал из грубого солдафона почти что стратега и философа. Больше его не надо было подгонять, он сам готов был рассказать все, что знал о новых соединениях американской армии...

23

А пока что Лидумс продолжал изучать парашютное дело.

Шпионы-новички — Биль и Альвирас — были совсем молоды и достаточно тренированы, но и они с удивлением наблюдали, как «старый», по их понятиям, Казимир проделывает прыжки с канатом с пятиметрового «штатива» легче и точнее, чем они сами. Тому же удивлялись и «руководители» уроков — лейтенант Герберт и сержант Джек. А прыжки эти с пятиметровой высоты были чрезвычайно утомительны, к концу занятий все тело было разбито, позвонки похрустывали, ноги неприятно дрожали. Но ведь шпионы готовились прыгать с большой высоты, надо было приучить себя к сотрясениям, даже к падению в темноте, когда земля совсем не видна и трудно определить самый миг приземления. И они день за днем отрабатывали эти прыжки.

В один из таких тяжелых дней во время обеденного перерыва их навестил неожиданный гость. В спальню, где они отдыхали, не вошел, а вбежал улыбающийся худощавый американец лет тридцати пяти и принялся расспрашивать, как они тут поживают. Похвалил за то, что они хорошо говорят по-английски, спросил, какими еще языками они владеют и говорят ли по-русски. Лидумс ответил, что все трое приличноговорят по-немецки...

— Какой вы национальности?— спросил американец.

— А какой национальности люди вам нужны?— спросил Лидумс.— Если понадобится, мы можем стать людьми той самой национальности, которая требуется...

Американец рассмеялся и ушел. Лидумс так и не понял, для чего была затеяна эта проверка.

Через несколько дней навестил их и Малый Джон. На этот раз он выглядел франтом: появился в новом костюме, новых башмаках, по-видимому, в его таинственных делах произошел поворот к лучшему. Джон небрежно осведомился у Биля и Альвираса, как им нравится обучение, и те, несмотря на то, что все время почесывались и поеживались от синяков, полученных при неудачных прыжках, поглядывая на своих учителей, бодренько ответили, что всем довольны и чувствуют себя хорошо. Лидумс промолчал: он хотел понять, зачем пожаловал Джон?

Джон, помахав ручкой своим подшефным новичкам, пригласил Лидумса проводить его и повез за пределы базы,— оказалось, он заранее получил пропуск для мистера Казимира. В городе они отыскали небольшой кабачок, и Джон предложил «вспрыснуть» встречу.

— Завтра эти орлы будут прыгать с парашютами,— сказал он.— Не лучше ли вам, Казимир, отказаться от вашей затеи с этими прыжками? Парашюты, даже американские, не всегда открываются вовремя!— озабоченно сказал он.— Маккибин и полковник Скотт, услышав, что вы собираетесь пройти тут весь курс обучения специальных войск США, проявили недовольство...

— А зачем вы им об этом сказали?

— А вдруг мне придется сопровождать не вас, а цинковый гроб?— сердито ответил Джон.— Что бы я сказал им в этом случае? Теперь они хоть знают, что вы рискуете по собственной воле. А что, программу относительно способов выживания вы тоже будете выполнять? Станете есть змей и лягушек в сыром виде?— ядовито спросил он.— Мне мой немецкий друг сказал, что в ближайшее время ами будут проводить такие учения где-то в Бад-Тельце, там есть довольно угрюмые болота...

— Ну, в этом случае я попрошусь в офицерскую столовую,— улыбнулся Лидумс.— Признаться, я провел столько лет на грибной диете, что в цивилизованном мире предпочитаю более приятные блюда.

— Прыжки тоже лучше наблюдать с земли!— угрюмо возразил Джон.

Лидумс поспешил заговорить о другом:

— А у вас, я вижу, произошли какие-то перемены? Может быть, дамы из Миндена одумались и вернули вам свой пиратский приз? Или вы нечаянно получили наследство?

— Ах да!— оживился Джон.— Мне тут неожиданно повезло: я продал два небольших сухогрузных корабля и один немецкий сторожевик...

— Корабли?— Лидумс вытаращил глаза.— Вы торгуете кораблями?

— Разве я вам не говорил?— Джон наслаждался неожиданным эффектом.— Я уже много лет торгую кораблями, правда, не в одиночку, а в компании с несколькими офицерами морской разведки.

— Час от часу не легче! При чем тут разведка?

— Но мы же продаем не те корабли, что строят на верфях, а те, что затоплены во время войны...

Лидумс свистнул.

— Ну и ну! Так, может, вы продали и мои корабли?

— Ваши? — Теперь пришла очередь Джона таращить глаза.

— Ну да, мои. Отец был крупным судовладельцем, и часть его кораблей после переворота в Латвии осталась в плавании или в гаванях других государств.

— И вы до сих пор не запрашивали ЛЛОЙД? Вам же причитаются крупные суммы за фрахт с тех судов, что остались целы, а за погибшие — страховые премии!— Он глядел на Лидумса так, словно увидел сияние вокруг его головы.

— А где я возьму подтверждающие документы? Не забывайте, что я с того самого времени живу по подложным паспортам...

— Боже мой, судовладелец!— кажется, Малый Джон и в самом деле готов был молиться на Казимира.— Да вы только шепните Маккибину или мистеру Скотту свое настоящее имя, и он немедленно выяснит все подробности.

— Сначала я должен закончить свои счеты с большевиками!— сухо заметил Лидумс.

— Ну хорошо, тогда я сам скажу им.

— И не вздумайте! Я не обещаю, что вы получите куртажный процент!

— Да вы с ума сошли! Какой куртаж? Это же просто чудо, что вы не только офицер, но и судовладелец! Вы хоть знаете названия ваших судов?

— Некоторые из них я видел после войны: они заходили в Рижский и Вентспилсский порты под флагами Бразилии, Швеции и еще каких-то стран. Но тогда меня больше интересовали способы, как уйти от чекистов.

— Нет, это бескорыстие просто потрясает! Да, я ведь пригласил вас, чтобы вернуть вам долг! Вашу выручку после истории в Миндене я никогда не забуду. А о том, что вы крупный судовладелец, обязательно расскажу Маккибину и полковнику. Это их не только позабавит, но и порадует! Ведь это настоящая честь для нашей разведки! У нас были на службе писатели, финансисты, предприниматели, а вот о судовладельцах я что-то не слыхал!

Он вынул из кармана пачку денег и положил перед Лидумсом.

— Ну, а ваша торговля затонувшими кораблями прибыльна?— поинтересовался Лидумс.

— Да как вам сказать? В конце концов это все-таки авантюра, а дельцы теперь пошли мелкие, без размаха. Наша небольшая (но, видно, теплая, подумал Лидумс) компания использует карты морских сражений (Лидумсу понравилось, что Джон заговорил совершенно доверительно, должно быть, честь оказаться судовладельцем, хотя и несостоятельным, для этого англичанина была даже выше титула «сэр»). Мы предлагаем кроки с этой карты, на которых указаны примерные глубины мест, где покоятся торпедированные суда. Затем идут данные о судне: вместимость, год постройки, название. Последнее необходимо для того, чтобы покупатель, справившись по регистру ЛЛОИДА, определил, на что он может надеяться... Но часть этих сведений утаивается до заключения контракта. Когда контракт подписан и мы получили определенный процент, указывается точное место погребения. Дельцы нанимают несколько водолазов и выходят с ними в море. Для контроля с ними выходит и наш водолаз. Если судно обнаружено, учитывается степень его доступности. А дальше — как пожелает предприниматель: судно можно поднять и целиком,— а вдруг оно после восстановления еще сможет плавать,— или разрезать и поднять только ценные металлы. Тут контракт подвергается дополнительному изучению. Ведь может быть и так, что мы продешевили, а это всегда неприятно...

— А если продешевили ваши «предприниматели»?— поддразнил его Лидумс.

— Ну, покупатель берет на себя «олл рискс», как говорится, то есть все неприятности!— усмехнулся Джон.

Тут он вдруг заторопился, позвал официанта. Расплатившись, он снова насел на Лидумса:

— О парашютах я вам советую забыть! Я позвоню начальнику базы, чтобы он отыскал вам развлечение побезопаснее!

— И не думайте! — рассердился Лидумс.— Я должен вернуться на родину, и очень возможно, что парашютный прыжок окажется единственно надежным путем! Можете рассказать Маккибину и полковнику Скотту, что они имеют честь держать у себя на службе судовладельца, это пока ничего не меняет в моей судьбе, но о себе самом позвольте позаботиться мне!

Джон вздохнул, но оглядел Лидумса с явным восхищением. Этот «викинг», как его называла Нора, не мог не вызывать уважения у цивилизованного человека. Конечно, его поступки были дики, но в них чувствовался характер, которым современные англичане похвастать не могли...

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

●

Продолжение.
См. «Огонек» №№ 43—49.

●

ЧАЙКА ВОЗВР

24

Джон доставил мистера Казимира на базу, попрощался с ним на пороге школы и отправился по своим «делам». А Лидумс еще долго стоял на полянке перед школой, раздумывая о том, как отнесутся Маккибин и полковник Скотт к его внезапному превращению в богатого судовладельца. Перед отъездом в Англию он обсудил с Будрисом и этот вариант. По наведенным тогда справкам, в ЛЛОЙДЕ на счету его отца оказалось действительно много денег: инюрколлегия, которая заботится о правах наследования советских подданных в капиталистических странах, пока не объявляла о том, что наследники живы.

Ну, что ж, если Ребане или Жакявичус начнут новый подкоп под «мистера Казимира», сведения, которые передаст Маккибину и полковнику Скотту Малый Джон, помогут только укрепить его положение.

Он поднялся к своим «соученикам». Биль и Альвирас играли нескончаемую партию в белот. Похоже, что они уже проиграли друг другу все свое жалованье вперед на двадцать лет: чуть не астрономические ставки были записаны мелком на зеленом сукне ломберного столика. Увидев старшего, они отложили карты.

— Почему вы сказали, что вам нравится школа? — спросил Лидумс, глядя на притихших «учеников».— Помнится, вы же говорили, что следовало бы и отдохнуть?

Альвирас поморщился, а Биль довольно сухо ответил:

— Эти ами стояли рядом и так глядели на нас, что ничего другого, как похвалить их, не оставалось. Не забывайте, что парашюты иногда отказывают...

Лидумс без всякого удовольствия вспомнил, что о том же самом говорил ему и Джон.

— Вы хотите сказать...

— Упаси боже! — перебил его Биль, делая испуганные глаза.— Просто ребята из американской школы предупреждали, что тут жаловаться ни на что нельзя...

— А то еще вытолкнут из самолета без парашюта,— хмуро добавил Альвирас.

— И с таким вот настроением вы завтра пойдете на прыжок?

— Кто запродал душу черту, тот на ангельские крылья надеяться не должен...— пробормотал Биль.

— Англичане в этом смысле больше похожи на джентльменов,— пояснил Альвирас.— Просто нам не повезло, что нас перебросили в школу к ами: они-то настоящие свиньи, это все наши парни знают!

В голосе его чувствовалось такое огорчение, что Лидумс невольно подумал: придется завтра самому присмотреть за американскими «педагогами».

А назавтра, двадцать восьмого марта, лейтенант Герберт сообщил, что им предстоит первый прыжок. Тренировка,— успокоил он своих питомцев,— пройдет при дневном свете. Машины подойдут после завтрака, и поэтому следует поторопиться...

К десяти часам подошли два армейских «джипа». И ученики и преподаватели уложили парашюты в одну машину, сами уселись в другую и покинули базу. Биль и Альвирас молчали, Лидумс разговаривал с лейтенантом о погоде, о развлечениях в городке близ базы, через который они проезжали, успевал прочитывать надписи на дорожных указателях, но о предстоящих прыжках тоже помалкивал.

Их привезли на военный аэродром в Фюрстенфельдбруке.

Там их ждал двухмоторный самолет с опознавательными знаками американских ВВС. Лидумс обратил внимание на то, что опознавательные знаки были свежими, даже подтекли немного, и ему показалось, что они были нанесены легкосмываемой краской.

Это предположение еще больше подкрепилось, когда приехавшие поднялись в самолет в сопровождении преподавателей и какого-то сержанта, который присоединился к ним уже на аэродроме. Внутри самолета все надписи были тщательно стерты: по-видимому, машина эта предназначалась для полетов над «вражеской» территорией.

Плац для парашютных прыжков был выбран неподалеку от аэродрома, на открытой местности. Возле кромки леса виднелись похожие на черных жуков автомашины. Пока самолет набирал высоту, лейтенант Герберт объяснил порядок тренировки. «Первыми,— сказал он,— самолет покинут сержант Джек и инструктор с аэродрома. Они будут затем наблюдать за прыжками «учеников» на втором круге. Сам лейтенант выбросится на третьем круге. Приземлиться необходимо как можно ближе к выложенному в центре полигона знаку».

Самолет поднимался кругами. Уши заложило от долгого и крутого подъема. Лейтенант посоветовал «продуть» уши, для чего достаточно плотно зажать ноздри и напрячь дыхание.

Штурман самолета вышел из пилотской кабины, над дверью которой вспыхнула сигнальная лампочка. Он открыл хвостовой люк и подал знак рукой. Оба инструктора прыгнули один за другим.

Пока самолет заходил на второй круг, Лидумс и его спутники следили за парашютистами. Оба они ловко приземлились почти в центре пристрелочного знака. Но тут снова вспыхнула лампочка над дверью кабины, штурман опять раскрыл люк, и Лидумс шагнул в пустоту. Затем, как было обусловлено, пошел Биль, за ним Альвирас.

Ветер засвистел в ушах, но тут все тело дернулось на лямках, и мгновенно установилась такая тишина, словно Лидумс оказался один в умершем мире. Ветер, однако, сносил парашют, пристрелочный знак со стоявшими в нем фигурками людей уходил куда-то вправо. Лидумс мгновенно вспомнил уроки Герберта и принялся подбирать стропы. И, о чудо, парашют заскользил навстречу ветру, и вот уже круг оказался снова под ногами. Еще скольжение, поворот, толчок — он на земле, и надо гасить купол...

Биль и Альвирас приземлились тоже удачно, хотя и довольно далеко от круга. Но инструкторы всем троим поставили оценку, вполне приемлемую для первого раза.

От места приземления все участники добрались сначала до аэродрома, а там «курсанты» и их инструкторы пересели в тот же «джип» и вернулись в школу.

На следующий день все повторилось. Только на этот раз приземлившихся «курсантов», кроме вчерашнего американского инструктора, встречал начальник английской шпионской школы, в которой жил Лидумс первое время. Он приехал из Лондона для проверки подготовки своих воспитанников. Начальник похвалил Лидумса за правильное приземление, и Лидумс с усмешкой подумал, что его акции все время повышаются...

Но третий прыжок, ночной, чуть не обошелся Лидумсу слишком дорого. Приземляясь, он попал на холмик, соскользнул с него и ударился спиной о землю. Несколько минут он не мог ни вздохнуть, ни подняться на ноги. Пришлось звать на помощь. Лидумс еле вытащил фонарик из кармана и включил его. На сигнал подбежал один из инструкторов, сделал какой-то укол, снявший боль, помог освободиться от парашюта. Начальник лондонской школы довел его до машины. А от следующего прыжка отстранил.

Однако от дела Лидумс отстраняться не пожелал. Он уже выяснил у начальника школы, что англичане готовят десант, и теперь входил в подробности операции. Отдел «Норд» собирался выбросить в расположение группы Будриса боеприпасы, оружие и снаряжение.

Решили пока остановиться на отправке четырех тюков, что составит одну тонну, и двух тюков по двести пятьдесят килограммов для Биля и Альвираса.

Тренировочные испытания с выброской парашютного десанта было решено провести в Англии в день возвращения. А пока начальник приказал Лидумсу отдыхать...

Но отдыха не получилось: вертлявый американец, появлявшийся как-то в школе с бессмысленными вопросами, вынырнул откуда-то снова. На этот раз он был с портфелем, набитым до отказа. Он пригласил «учеников» в комнату для занятий и весело сказал:

— А теперь, джентльмены, займемся детской игрой! Вас, мистер Казимир, как вполне взрослого, я от игры освобождаю, но присутствовать можете...

— Разрешите участвовать и мне! — любезно попросил Лидумс.— Вдруг я когда-нибудь буду дедушкой? Надо же знать детские игры...

— Ну, если хотите...— удивленно протянул американец.

Он вытащил из портфеля какой-то бланк, на котором Лидумс заметил напечатанные типографским шрифтом вопросы. Держа этот бланк перед собой, новый инструктор начал задавать самые неожиданные вопросы:

— Биль, сколько граммов в килограмме? Живее!

— Т-тысяча! — заикнулся от неожиданности Биль.

— Альвирас, что такое закон?

— Защита гражданина государством...

— Мистер Казимир, что такое апокриф?

— Легенда.

Инструктор выкрикивал свои вопросы все быстрее, ученики отвечали все громче, и это в самом деле походило на детскую игру. Но Лидумс уже понял: инспектор проверял их с помощью так называемых психологических тестов, которые американская развёдка начала применять еще во время войны.

Это была переходная ступень к так называемому «детектору лжи» — прибору, регистрирующему физиологические изменения в организме допрашиваемого человека. Еще в древней Индии подозреваемого в совершении преступления подвергали испытанию: ему и нескольким «сотрапезникам» давали по чашечке сухого риса. Тот, кто смог съесть сухой рис, считался невиновным. А кто не смог, подлежал наказанию как виновный. Дело в том, что перед угрозой разоблачения у человека понижается функция слюнных желез, и съесть сухой рис он не может...

Меж тем дотошный инструктор перешел к новым опытам. Он раздал испытуемым фотографии, на которых были изображены предметы с дефектами: голова без уха, дом без трубы, автомобиль без руля и тому подобное, что обычно преподносят на картинках для детей под названием «Угадай!», и они должны были найти дефект. Затем он выкрикивал цифры и требовал, чтобы испытуемые запомнили их и повторили в обратном порядке. Дальше пошли таблицы с пропусками, которые следовало заполнить. В конце концов устали все: и сам инструктор и испытуемые. Но оценку американец дал хорошую: шпионы владели навыками для ориентации на местности, отличались памятливостью, были сообразительны,— и все это подсказала инспектору якобы эта «детская игра» в кубики, крестики и картинки...

Но был в этой «игре» и второй смысл: при той быстроте, с какой требовалось дать ответ, при постоянной смене вопросов, конечно же, можно было проговориться не просто в мелочах, а в самом главном, например, в своем отношении к этим учителям-мучителям, а может быть, и кое в чем другом. И Лидумс порадовался тому, что их проверяли только на сообразительность.

А на следующее утро к Лидумсу явился молодой американский разведчик Эал и передал ему приглашение штаба. Его приглашали принять участие в учениях двух подразделений войск специального назначения. Эал подтвердил, что учения будут проводиться в Бад-Тельце, неподалеку от австрийской границы, в районе южных озер...

Во время встречи Эала с другими учениками произошел смешной случай.

Биль, увидав Эала, сказал, что хотел бы взять тренировочную форму американских ВВС с собой в СССР. Эту форму они получили, поселившись в школе. Биль утверждал, что она очень удобна для жизни в лесу.

Эал стал возражать: костюм является официальной тренировочной формой ВВС, он не подлежит выносу с базы.

— Вы что же, заранее меня хороните?— взорвался Биль.— Почему вы решили, что этот костюм увидят чекисты?

ИЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Эал понял, что совершил оплошность, но отступить уже не мог. И упрямо твердил, что форма частным лицам не выдается.

— А что вам дороже, моя голова или эта тряпка?

Ясно было, что парень нервничает. Тренировочные прыжки, подготовка грузов для выброски — все это отчетливо показывало, как близок день, когда им придется применить полученные в школе знания на практике. Глупая история с костюмом могла испортить настроение всем: и американцам и англичанам... Лидумс попросил Эала передать просьбу Биля начальнику школы. В конце концов Эал принес разрешение начальника экипировать обоих учеников по их желанию, и Биль торжественно переоделся в новую форму. Альвирас предпочел обычный костюм охотника, а Биля предупредил, что англичане все равно не разрешат ему идти на Восток в американской военной форме. Но Биль был рад и тому, что позлил «проклятых ами»!

Лидумса занимал не спор между Билем и Эалом, а тревожная мысль о том, что надо как можно скорее предупредить своих о готовящемся «прыжке» через границу. И он с удовольствием воспользовался благосклонностью начальника английской шпионской школы, чтобы совершить небольшую прогулку в город...

На этот раз он был один и брел по городу медленно, придерживаясь центральных улиц: приглядывался, нет ли где сзади или сбоку «недреманного ока», да и спина от удара о землю все еще побаливала.

Он заходил в маленькие лавочки, где обычно продают туристам неприхотливые сувениры, в пивные бары, где было еще мало посетителей, и постепенно удостоверился, что никто по пятам за ним не следует. Зато он обнаружил неприметный почтовый ящик в тихом переулке, где с удовольствием опустил очередное письмо своей любимой девушке в Дании, о которой так лирически грустно рассказывал как-то Малому Джону.

Письму этому предстоял длинный путь, но Лидумс был твердо уверен, что не далее, как через неделю, содержание невинного с виду любовного послания будет доложено генералу Егерсу, а тот вызовет к себе полковника Балодиса, кочующего где-то в лесах Курляндии и присматривающего за английскими лазутчиками, как добрый отец присматривает за своими детьми.

Так думал Лидумс, возвращаясь, в свою очередь, под бдительное наблюдение лейтенанта американских специальных войск Герберта. В подарок своему опекуну он нес тщательно упакованную четырехгранную бутылку отличного виски «Белая лошадь».

Его короткое любовное письмо латышской девушке, проживающей в Дании, в положенный срок действительно легло на стол генерала Егерса, но действие его оказалось куда более мощным, нежели простой разговор двух старых боевых друзей Лидумса — Вэтры о нем самом и о его долгой заграничной командировке без визы...

25

Генерал-майор Ян Янович Егерс любил порядок. Да и сам он был примером для своих подчиненных.

Невысокого роста, сухой, тонкий в кости, но жилистый и упругий, как истый спортсмен, он выглядел моложе своих пятидесяти пяти лет, и только седина вызывала мысли о возрасте. Двигался он быстро, разговаривал всегда с улыбкой, но порой за этой улыбкой скрывалась и ирония и даже, как некоторым казалось, раздражение, особенно если порядок, о котором он так пекся, кто-то нарушал.

А теперь, когда «хозяйство» генерала Егерса, говоря военным языком, все время пополнялось совсем уж необычными «подразделениями», порядок в нем должен был соблюдаться особенно тщательно. Да и как может быть иначе, если в этом «хозяйстве» появились «бандитские» группы, в которых на равных правах сосуществуют английские шпионы и оперработники, когда на многих лесных хуторах проживают под тщательным наблюдением чекистов английские лазутчики с оружием, со своими радиостанциями, выход в эфир которых круглосуточно должен контролироваться... В общем, этот новый «отдел» в хозяйстве генерала Егерса стал самым беспокойным...

Но зато и порядок в хозяйстве поддерживался железной рукой.

Как только к генералу Егерсу поступало очередное послание Лидумса, то из Англии, то вдруг из Западной Германии, Ян Янович немедленно собирал всех своих помощников, причастных к радиоигре с английской разведкой, для очередного анализа событий. Кроме, разумеется, тех, кто не мог оставить своих подопечных.

На этот раз Лидумс извещал генерала, что англичане готовят воздушный десант в составе трех человек, одним из которых, возможно, будет он сам. С самолета на парашютах выбросят полторы тонны груза: тонну — для группы Будриса, по двести пятьдесят килограммов на двух новеньких. Можно было представить, сколько оружия, патронов, радиостанций и прочего шпионского снаряжения насуют англичане в эту «посылку»...

Пока что все, о чем сообщал Лидумс, обязательно сбывалось. Предыдущее его сообщение о том, что англичане собираются снова воспользоваться катером Хельмута Клозе, но сам он определить дату не сможет, так как отбывает в Западную Германию, пришло вовремя. Ну, а поскольку Лидумс за эту операцию не отвечал, то катер, высадивший сразу две группы шпионов на двух лодках, был «нечаянно» замечен советским катером «морской охотник», который и влепил в него несколько снарядов. С первой лодки люди Графа все-таки приняли перетрусивших шпионов, но вторая сбилась с курса, и ее встретили уже вместе с пограничниками оперативные работники генерала Егерса в полевой форме. Все-таки следить за тремя шпионами легче, чем за шестью сразу. Англичанам пришлось проглотить эту горькую пилюлю. Будрис насел на них за неосторожность; сообщил, что встретил только трех человек; требовал ответить, как это его посланец Лидумс мог проштрафиться с десантом; просил сообщить, спасены ли катером три других шпиона и гребцы, так как недалеко от Ужавы пограничники выловили полузатопленную резиновую лодку без людей, а на фарватере напротив ужавского маяка обнаружены были мазутные пятна, что свидетельствует об аварии на катере. Так, во всяком случае, объяснили чекисты, читавшие для населения лекции о бдительности. К счастью, чекисты решили, что катер не успел высадить десант на берег, о чем говорит найденная ими резиновая лодка, и не стали «прочесывать» окрестные леса. Но Лидумса Будрис «отчитывал» сурово.

Теперь англичане, вероятно, призадумаются, стоит ли им проводить такие операции без Лидумса. А сейчас они пока что должны заняться ремонтом катера, да и Хельмут Клозе не один раз почешет затылок, если снова получит приказ идти к советским берегам... Пока Лидумс находится в лагере врага и связан со многими ситуациями, которые трудно предусмотреть, надо соблюдать крайнюю осторожность!

На очередное совещание, как и предполагал Лидумс, отправляя свои сообщения, прибыл и полковник Балодис с несколькими сотрудниками. Явилась и рижская группа, которая своими оперативными мероприятиями сдерживала действия наиболее активных английских шпионов в республике и в самой Риге. Из Москвы прилетел представитель центрального аппарата КГБ, координировавший действия местных органов Комитета Госбезопасности против отдела «Норд» английской разведки.

Прошло уже три с половиной года, как первая группа шпионов из Англии попала в поле зрения генерала Егерса. То были Вилкс, Эгле и бесславно для англичан сбежавший Лаува. Вилкс вернулся в Англию, чтобы представить «Норду» своего боевого командира Лидумса. Эгле лежал больной на одном из хуторов в курляндских лесах. Но англичане позднее заслали Петерсона, Тома и Адольфа, Бертулиса с двумя помощниками и вот еще троих с двумя гребцами, которые должны были возвратиться на катер. И теперь чекистам Латвии предстоит ежедневно, ежечасно, ежеминутно проводить свои мероприятия относительно этих людей, чтобы не просто путем следствия и их показаниями в случае процесса над ними, которые не признаются основными и полными доказательствами вины, а именно умелыми действиями контрразведчиков разоблачить их действия и представить суду весомые доказательства их измены Родине и раскрыть возможных сообщников — иностранных шпионов. А самое главное, что многие из них рвутся к «самостоятельной» деятельности, как тот же Петерсон, как рвались Том и Адольф, а все это чрезвычайно усложняет дело.

Об этом и заговорил генерал Егерс, анализируя создавшееся положение.

— К несомненным достижениям нашей радиоигры с противником,— начал он,— мы можем отнести прежде всего то, что сумели на определенном участке взять под свое наблюдение подрывные действия англичан, направленные против Советского Союза, и раскрыли многие вражеские замыслы...

Не менее важен и тот факт, что советский разведчик Лидумс успешно внедрился в агентурную сеть «Интеллидженс сервис» и своевременно вскрывает, а в некоторых случаях и направляет в выгодном для нас политическом и оперативном плане потуги англичан создать на территории советских прибалтийских республик шпионскую сеть и националистическое подполье.

...Мы можем с заслуженной гордостью сказать, что нам уже удалось захватить несколько хорошо подготовленных иностранных разведчиков и большое количество новейшего шпионского снаряжения, в том числе передатчики, шифры, коды, оружие. Захват этих разведчиков, а также и наблюдение за теми из них, которые еще не подозревают, что ордера на их арест давно выписаны, но сроки приведения их в действие отсрочены прокуратурой по нашим оперативным соображениям, позволили нам, чекистам, выявить в Прибалтике значительное число представителей старой вражеской агентуры, глубоко ушедшей в подполье и ожидавшей лишь сигнала к началу действий. Они вошли в контакт с английскими шпионами, получили этот сигнал, начали действовать и, естественно, разоблачили себя. Сегодня мы могли бы предъявить суду ясные и точные доказательства их враждебных действий в прошлом и в настоящее время.

Егерс ненадолго замолчал, словно показывал, что переходит к другому разделу своей речи. И слушатели поняли, что он будет говорить о самом главном.

Действительно, Егерс заговорил о Лидумсе, который находился в это время «где-то в Германии», как говорилось в военных сводках прошлого времени. Он сказал о том, как необходима была Лидумсу поддержка с Родины и как счастливо полковнику Балодису пришла мысль использовать для этой цели радиостанцию провалившихся и уже захваченных шпионов Тома и Адольфа. Передача дезинформации через станцию Тома позволила Лидумсу «разоблачить» чекистов, что очень сильно расшатало позиции злейшего врага Советской власти полковника Ребане в «Норде», и, главное, была скомпрометирована идея Ребане о заброске шпионов в Прибалтику, минуя группу Будриса. Естественно, что вся эта операция сильно улучшила позиции Лидумса в стане врагов и дала некоторые опорные данные для разработки очень важных в оперативном отношении действий, которые теперь реализуются. Егерс отметил, что переданная через радиостанцию Тома дезинформация об аэродроме в Спилве и ее разоблачение Лидумсом в Лондоне заставили англичан обратиться за проверочными данными к шпиону Петерсону, что, в свою очередь, показало, что он совсем не тот тихий «инспектор», каким представлялся в первое время, а дея-

тельный и энергичный агент разведки, умеющий использовать любую возможность, чтобы помочь своим хозяевам.

— Как видно, англичане начисто списали со счетов шпионов Тома и Адольфа. Из числа же тех, что находятся под нашим наблюдением, я считаю особенно опасным Петерсона. Сейчас мы выслушаем сообщение начальника группы, которая ведет наблюдение за Петерсоном с того дня, как он появился в Риге...

Старший офицер группы сообщил, что во время пребывания в Риге Петерсон в первом же тайнописном письме англичанам пожаловался на крайнюю ограниченность своих возможностей. Он писал:

«Вы на той стороне ожидаете от меня информацию о русских, но да будет мне разрешено объяснить причины медленного исполнения моего задания.

1. У меня до сих пор нет настоящего паспорта, который помог бы мне встречаться с легально работающими нашими единомышленниками, и я лишен возможности свободно передвигаться по стране. Полученный от вас бланк паспорта можно было бы заполнить, но нет рельефного штампа, который ставится на краю фотокарточки,— этот порядок вам может лучше объяснить Вилкс.

2. Будрис не разрешает использовать его людей для агентурной работы, опасаясь за безопасность всей организации при какомлибо случайном провале.

3. Я настойчиво пробовал привлечь к работе некоторых моих родственников и надежных знакомых, но они боятся последствий за связь со мной, да и разведывательные возможности у них крайне ограничены.

4. Кроме того, проживание в Риге на нелегальном положении нервирует меня до крайности, в связи с чем перспективы на будущее кажутся мне особенно мрачными. Однако надеюсь, что сумею выполнить ваше задание.

2 ноября, Петерсон».

Однако этот страх совсем не помешал Петерсону попытаться наладить связи со своими единомышленниками, которые, как его информировали в Англии, были связаны с англичанами еще до 1940 года. Правда, он продолжал бояться, но действовал.

Наружное наблюдение за действиями шпиона в Риге показало, что он из одних домов выходил весьма быстро, но были и визиты очень продолжительные. Тут офицер сослался на то, что полковник Балодис — Будрис несколько раз встречался с Петерсоном, и попросил Балодиса поделиться своими наблюдениями...

Полковник Балодис доложил о трех своих последних встречах. Встречи состоялись по просьбе Петерсона.

Сначала они встретились 28 ноября в парке «Виестура Дарзс». На вопрос «руководителя подполья», как поживает Петерсон, тот откровенно ответил, что чувствует себя весьма плохо... Он тут же пояснил, что не может добыть никаких ценных сведений ни сам, ни через людей, с которыми установил связь по указанию англичан, и попросил Будриса помочь ему через людей его «группы».

Будрис заметил, что он вполне понимает и разделяет взгляды Петерсона о необходимости сбора информации, но использовать для этого необученных партизан считает невозможным. Тут Будрис напомнил, что сам Петерсон, хорошо обученный, имеющий возможность свободно передвигаться по Риге, жалуется именно на то, что информацию собирать не может. Чем же помогут ему партизаны?

Петерсон опять стал ссылаться на отсутствие «чистых» документов. Но тут же похвалился, что недавно передал в Лондон сообщение о местонахождении одного войскового штаба, которое установил визуальным наблюдением за входящими и выходящими офицерами и генералами. Лондон поблагодарил его, но Петерсон чувствует всю фальшь своего положения: невозможность развернуть эффективную шпионскую работу действует на него угнетающе и беспокоит его. Будрис посочувствовал шпиону, передал присланные из Англии для него двадцать тысяч рублей, но от какой-либо помощи людьми или советами отказался.

Через месяц Петерсон снова передал сигнал о необходимости встретиться. Будрис явился на свидание в точно обусловленный час.

На этот раз Петерсон попросил обеспечить оружием его нового квартирохозяина на случай внезапного появления чекистов...

Был он чрезвычайно нервен, возбужден. Хотя встреча происходила в довольно людном зимнем садике, где катались на санках дети, гуляли няньки и бабушки с младенцами в колясках, он все время оглядывался, что — заметил ему Будрис — могло привести его к саморазоблачению. На слова Будриса, что не следует прибегать к оружию в любом кажущемся опасном случае, так как это может быть и случайная встреча или, скажем, ошибочный звонок в квартиру, где он живет, Петерсон возразил, что сам он без взведенного пистолета на улицу не выходит. Кроме пистолета, сказал Петерсон, он носит в кармане молоток без рукоятки — таким молотком с одного удара можно бесшумно убить человека. А хозяин так изнервничался, что опасается оставаться в собственной квартире без оружия.

Говорил он и о необходимости запасных квартир. Сам он подыскал таких квартир четыре, но каждая из них не вполне удовлетворяет требованиям безопасности и правилам конспирации. В одной слишком много жителей, в другом доме, где он снял запасную квартиру, дворничиха — вздорная и, по-видимому, опасная женщина. Есть еще квартира в районе Ропажа, но это слишком далеко, и только одна оказалась довольно удачной. Адреса он не назвал, но сказал, что квартира трехкомнатная, хозяин ее одинокий человек, железнодорожник, был членом ЛЦС. Офицер группы наблюдения подтвердил, что при изучении передвижений Петерсона все эти квартиры были выявлены: оказалось, что во всех случаях речь шла о людях, адреса которых Петерсон получил еще в Англии.

Последняя встреча,— продолжал Балодис — Будрис,— состоялась совсем недавно. На этот раз Будрис прибыл на свидание с нарочитым опозданием в целый час. Встреча состоялась на одной из подпольных квартир Петерсона. Будрис застал Петерсона в тот миг, когда тот уже собирался выпрыгнуть через окно с третьего этажа. К письменному столу и батарее центрального отопления была привязана нарочно для такого возможного случая купленная толстая веревка, окно приоткрыто, деньги, шифры и документы спрятаны в карман, оружие наготове.

— Увидав меня,— рассказывал далее Будрис,— Петерсон чрезвычайно обрадовался. Оказалось, что он уже представил возможность моего «провала» и подготовился бежать при первой тревоге. Хорошо еще, что хозяин, который знал пароль, успел крикнуть Петерсону, что пришли «свои»!

Петерсон находился в совершенно подавленном настроении. Он был недоволен всем, в частности, своей шпионской работой. Он рассказал, что при первом намеке на такую работу люди, вроде бы и согласные с ним в мыслях, начинают изворачиваться, лгать, одним словом, уходят даже от разговора. Иногда у него появляется страшное искушение: выйти на улицу, убить несколько человек, а последней пулей покончить с собой.

Его теперь все пугало. Он пошел на встречу с одним из своих информаторов в парк «Стрелниеку Дарзс». Поговорили и разошлись. Потом кто-то пробежал по улице, послышался милицейский свисток. Петерсон чуть не бросился и сам в бег, хотя понимал, что это больше всего привлечет внимание. На этот раз он все-таки сдержался. Но когда через несколько дней снова позвонил информатору и сказал несколько условных слов, чтобы вызвать его на новую встречу, тот возбужденным, дрожащим голосом ответил, что больше с Петерсоном встречаться не может. И оказалось, что новая конспиративная квартира, снятая за крупные деньги, стала опасной.

В этой связи Петерсон просил у Будриса совета: как проверить квартиру и ее хозяина? Может быть, позвонить туда по телефону-автомату?

Будрис посоветовал на конспиративную квартиру пока не ходить и туда не звонить, тем более что, по его данным, после Нового года в Задвиньи, где находится названный Петерсоном дом, идет выборочная проверка квартир с целью обнаружения спекулянтов жилплощадью, сдающих комнаты жильцам без прописки.

Хозяин квартиры, в которой жил Петерсон, доверительно рассказал Будрису — Балодису, что квартирант «созрел» для любого опасного действия. Из-за отсутствия документов он считает себя неполноценным человеком, заперт в квартире, как в бочке, и вынужден влачить самое жалкое существование. Во всем этом он считает виновными англичан. В последнее время он высказывается еще более решительно: если бы он, мол, знал, какая жизнь его тут ожидает и какие идиоты его хозяева, то лучше бы сразу по прибытии в Латвию явиться в ЧК и рассказать все... Впрочем, последнее высказывание, как думает хозяин квартиры, может быть и пробным камнем для проверки мыслей именно хозяина.

Во всяком случае, дела у Петерсона шли плохо, о чем свидетельствовали и его письма, отправленные в эти дни. В письме, адресованном: Германия, 24-А, Гамбург — Вандсбек, Кеденбургштрассе 31-Ш, Я. Абикис,— он писал:

«Здравствуй, милый друг!

Разреши мне в этом письме сказать несколько слов о себе. Как я уже сообщал раньше, людей для агентурной работы организация не дает, ибо их задачей является забота о безопасности друзей, живущих на нелегальном положении. Я нашел двух человек вне организации, рекомендованных вами, однако их возможности чрезмерно ограничены для того, чтобы быть информаторами, хотя они и согласились работать. Теперь мне стало известно, что они давно находятся под подозрением за свою прошлую деятельность, поэтому мне пришлось прекратить связь с ними. Живя без документов, я не могу искать случайных людей, тем более что большинство из них согласны примириться с Советской властью. Работать в такой среде мне кажется бессмыслицей. Да и нервы у меня сдают из-за постоянной тревоги и напряжения.

Не сердись, друг, может быть, я и ошибаюсь, но в настоящее время я думаю именно так. Если возможно, прошу в предстоящих операциях подумать обо мне и дать мне возможность вернуться в свободный мир...»

25 января Петерсон повторил свою просьбу по радио:

«Выполнение моего задания практически невозможно. Не могу найти подходящих людей, так как большинство не верит нашим идеалам. Жить здесь без документов опасно. Мои нервы страдают от непрерывной тревоги. Единственно, что мне осталось,— вести жизнь преследуемого партизана. Прошу вас обсудить возможность моего быстрейшего возвращения, а пока я предпринимаю меры по найму какого-нибудь суденышка для ухода морем на Готланд, если ваши операции задержатся...»

Да, Петерсон действительно «созрел», но не стал от этого менее опасен. Скорее, наоборот. Маниакальная подозрительность могла заставить его пустить в ход оружие против любого человека, который показался бы ему опасным.

Генерал Егерс поставил вопрос: как изолировать Петерсона, не вызвав подозрения англичан? Это не Том и Адольф, которые шли самостоятельно и могли провалиться как угодно и где угодно. Петерсон был аккредитован в группу Будриса как инспектор отдела «Норд» английской разведки. Он встречался с Будрисом, о чем сообщал англичанам, долго жил в лесном отряде. Руководители отдела «Норд»—опытные и умные люди. Если Петерсон «провалится», они прежде всего подумают о том, что он даст показания на первом же допросе: на эту

мысль их натолкнут собственные письма и радиограммы Петерсона, из которых видно, как он изнервничался. Но если он будет давать откровенные показания, то прежде всего выдаст всю группу Будриса. А группа должна еще «работать».

В то же время Петерсон уже разоблачил, пусть и не подозревая об этом, как известно присутствующим здесь товарищам, несколько кадровых агентов английской разведки. Эти агенты, активно действовавшие в Латвии перед войной и в первые послевоенные годы, были затем, если так можно выразиться, законсервированы англичанами и ожидали нового сигнала к действиям. Такой сигнал последовал от английской секретной службы через Петерсона. Оставлять на свободе этих агентов мы не имеем права, но одновременно с этим должны подумать, как использовать их в наших интересах в радиоигре с англичанами.

Всегда невозмутимый и спокойный полковник Балодис, вот уже три с половиной года живший бок о бок со своими заклятыми врагами, встречавшийся с ними один на один и со многими сразу, знавший, что любой промах может оказаться смертельным для него, как для минера смертельна любая ошибка, встал по знаку генерала и твердо сказал:

— Есть только один выход: инсценировать «героическую» смерть шпиона. Английские разведчики обожают всякую романтику. А что может быть выше героической гибели во славу королевы? Для англичан Петерсон умрет во время очередной радиопередачи. Такая передача, по расписанию Петерсона, состоится в следующую среду. Проводить ее он должен из пустой дачи в Дзинтари, ключи от которой получил сразу по приезде в Ригу. Там же хранится и его рация. Перед отъездом Петерсона на дачу мы его арестуем. По расписанию передача назначена на двадцать один тридцать семь минут. В двадцать один пятнадцать чекисты окружат дачу и инсценируют бой с Петерсоном и его помощниками. Во время боя Петерсон и его напарники будут «убиты». Чекисты вывезут их «тела» на санитарной машине. Местные жители услышат разговоры чекистов о том, что оба шпиона убиты, что убиты и двое или трое чекистов,— надо же, чтобы англичане поняли: бой был нешуточный! Правда, потом придется ремонтировать дачу, холостыми патронами тут не обойдешься, надо, чтобы местные жители увидели выбитые двери, пулевые пробоины, разбитые окна и прочее, чтобы слух об убитых диверсантах достиг ушей какого-нибудь доброхотного корреспондента одной из буржуазных газет, и англичане немедленно запросят Будриса о том, куда исчез Петерсон, не вышедший на связь в условленное время. А Будрис, после недолгого расследования, сообщит о гибели Петерсона и его помощника. Бог да благословит Латвию!

Затем генерал предложил обменяться мнениями о положении Эгле...

Эту зиму Эгле жил под наблюдением Коха на отдаленном хуторе. Его сознание затемнялось все чаще, и припадки шизофрении становились длиннее. Во время одного из таких припадков он пытался покончить с собой. Коху пришлось отобрать у него оружие, попрятать все веревки, вожжи, но не было никакой гарантии, что за ним удастся уследить и предотвратить следующую попытку самоубийства: сумасшедшие, подверженные какой-нибудь идее, бывают хитрее здравомыслящих.

Иногда он составлял очередное тайнописное послание, все содержание которого сводилось к жалобным мольбам о возвращении в Лондон, где осталась его семья. Когда-то, в первые месяцы по прибытии в Латвию, Эгле бравировал тем, что бросил отца и мать, жену и двоих детей и ушел «воевать» за идеалы свободной Латвии. Теперь он все чаще и чаще вспоминал о них и каялся, почему не послушал отца, работавшего бракером леса в лондонском порту. Эти три с лишним года подпольной жизни совсем изнурили его.

Балодис прочитал последнее письмо Эгле от 15 января:

«Во-первых, снова прошу разрешения вернуться в Лондон, чтобы можно было привести в порядок свое здоровье. Надеюсь на вашу помощь этой весной. Еще раз прошу протянуть руку помощи и, пока не поздно, отремонтировать мое здоровье, чтобы я был пригодным к будущей войне.

Если по каким-то особо важным обстоятельствам мне еще придется оставаться здесь, то прошу прислать мне следующие вещи: правильно изготовленный паспорт; рацию с запасными лампами; деньги; химикаты для вытравления чернил с инструкцией о правилах пользования; сильные яды в очень маленьких капсулах, примерно 15—20 капсул; очень хороший бинокль; несколько штук часов, устойчивых от сотрясений и воды; один четырнадцатизарядный пистолет; один пистолет калибра 7,65.

Из медикаментов прошу лекарства от воспаления слепой кишки; от гнойного воспаления гланд и для регулирования сердечной деятельности, ибо сердце временами чуть не останавливается, а порой бьется чрезвычайно сильно.

Все вещи прошу закрыть в чемодан, чтобы нельзя было чужому глазу заглянуть в содержимое. Если будете упаковывать в вещевой мешок, то его надо запломбировать. В мешок вложите письмо с описанием всех вещей и в каком порядке они уложены. Письмо пишите тайнописью. Посылку пошлите по адресу: Рижское взморье, Лиелупе... Этот адрес дан мне Будрисом...»

Англичане, получив странную радиограмму от Эгле и его жалобные послания, запрашивали Будриса, Бертулиса и Делиньша о его состоянии, и все трое откровенно ответили, что Эгле лучше всего вывезти при первой же морской операции...

После короткого доклада Балодиса о состоянии Эгле Ян Янович предложил послать на хутор к Эгле под видом «помощника» врача-психиатра,— может быть, удастся вылечить его?

Балодис предъявил хладнокровную радиограмму англичан:

«Учитывая, что морская операция является очень важной, а условия ее проведения будут значительно труднее, чем случалось до сих пор, взвесьте, не является ли поведение Эгле угрозой для всей операции? Если он может явиться такой угрозой, исполните приговор судьбы и считайте, что он погиб за родину. Наша цель намного дороже, нежели жизнь одного человека. Бог да благословит Латвию!»

Кто-то не выдержал, буркнул:

— Какая подлость!

Генерал усмирил общее возмущение, сказал:

— Свои приказы англичане пусть выполняют сами. Я советовался с товарищами из прокуратуры о деле этого шпиона. Он, едва вступив на Советскую землю, оказался в нашей группе. Какой-либо подрывной деятельностью он заниматься не мог, да и особого рвения не проявлял. Единственный «криминал», который мы можем ему предъявить, это то, что он добросовестно передавал англичанам все составленные нами радиограммы. В связи с этим соответствующие органы, учитывая также наши оперативные интересы, разрешили не привлекать Эгле к уголовной ответственности. Его можно было бы лечить и у нас, но Эгле так привязан к своей семье, что вряд ли наше вмешательство поможет ему. Поэтому я предлагаю Балодису навестить больного, сообщить ему, что он будет отправлен обратно в Англию при первой возможности. Ручаюсь, что это будет самым лучшим лекарством для него...

— А Клозе не выкинет его с катера в море? — спросил кто-то из присутствующих.

— В момент операции мы поставим англичан в известность, что отправляем больного для лечения. Они будут вынуждены проследить, чтобы с Эгле ничего не случилось. Авторитет Будриса слишком высок, чтобы они могли не считаться с ним!

Так были решены судьбы Петерсона и Эгле...

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

26

Эал с бешеной скоростью вел машину на юг Западной Германии, к австрийской границе. Шоссе, как это часто делали американцы в своей зоне, было закрыто для частного транспорта на неопределенное время.

Они уже пересекли несколько дамб, по обеим сторонам которых простирались хмурые болота с чахлой растительностью. Снег давно стаял, но воды было хоть отбавляй, а во многих местах болота были сплошь залиты, только мхи, кое-где выступавшие из воды, показывали, что тут все же есть земля.

Эал поглядывал искоса на своего спутника, пытаясь угадать по его лицу, как тот оценивает местность, на которой должны проходить «маневры». Но Лидумс так много бродил по болотам и такой вот запоздалой весной, и осенью, и летом, и зимой, что смотрел на этот дикий уголок без особого любопытства. Его больше занимало: зачем его пригласили на эти «маневры»?

Машина внезапно свернула с государственного шоссе на узкую дамбу и нырнула в лесок. Это было относительно высокое место, в своем роде остров. И скоро в лесу показались строения.

— Приехали! — с облегчением сказал Эал.

Перед ним было нечто вроде охотничьего домика, затерянного в густом, хотя и низкорослом лесу. «Домик» этот был двухэтажный и окружен службами: гаражами, кухней, конюшнями, столовыми, общежитиями, и вокруг всех этих служб суетились люди в военной форме, по-видимому, низшие чины, а на веранде двухэтажного дома сидели офицеры, курили, пили кофе, некоторые стояли, склонясь над длинными столами с расстеленными на них картами.

Когда машина остановилась, из дома вышел полковник, в котором Лидумс еще в первую встречу предположил руководителя шпионских школ, созданных в Западной Германии американцами, Росса. Он дружески протянул руку Лидумсу, приветствуя:

— Рады видеть вас в Бад-Тельце, мистер Казимир! Пройдемте в дом.

Эал поручил солдату чемоданы, свой и Лидумса, и пошел с ним в дом с черного хода. Росс, дружески взяв Лидумса под руку, провел его на веранду.

— Господа, мистер Казимир — представитель английской секретной службы.

Казимир увидел несколько лиц, которые запомнил с первой встречи с американцами. На этот раз все они были в форме, да и сам он надел тренировочный костюм, как посоветовал Эал.

Но было много и незнакомых военных, от молоденьких лейтенантов до седых полковников. Был даже один генерал с плотным, мясистым лицом и тщательно ухоженными усами.

— Виски? Мартини? — спросил Росс, подводя Лидумса к стойке бара.

— Пожалуй, виски, — улыбнулся Лидумс.

— Да, вы ведь привыкли к водке! — улыбнулся Росс. И предупредил: — Обедаем в четыре, после окончания операции.

— Простите, но не скажете ли вы мне, на что я должен обратить особое внимание? Я ведь человек новый, — попросил Лидумс.

— От вас нет секретов. Через час начнется высадка десанта.

— В это болото? Брр...

— А где вы спасаетесь от ваших противников у себя на родине?

— Увы, тоже в болотах. Но мы хоть заранее разведываем их.

— Вот этим и займутся наши парашютисты! Разведают и скроются от условного противника.

— А противник тоже выбросит десант?

— Нет, местность уже освоена. Противник попытается выбить десантников из болота и взять их в плен или «истребить».

— И на сколько дней рассчитана эта операция?

— На десять дней.

— А нельзя ли мне принять в ней участие?

— Я так и знал, что при вашем деятельном характере вы обязательно захотите принять участие в операции! — рассмеялся полковник. И обернулся к офицерам: — Господа, мистер Казимир изъявил желание участвовать в маневрах! Не хотите ли взять его в посредники?

Офицеры столпились вокруг Лидумса и Росса.

— Беру с удовольствием! — воскликнул один, оглядывая крупную фигуру Лидумса.

— А я бы с удовольствием взял его помощником в свою роту! — отозвался другой.

— Да, такому великану это болото по колено! — засмеялся третий.

В углу заработал телетайп. Оператор оторвал ленту депеши и передал генералу. Генерал поднялся, отрывисто сказал:

— Господа офицеры, высадка десанта через двадцать восемь минут!

Офицеры разбирали фуражки, оружие и покидали веранду. Росс дружески предложил Лидумсу:

— Мы с вами поднимемся на смотровую вышку. Это будет интересное зрелище!

Он взял фляжку, оглядел форму Лидумса.

— Вышка открытая, вам не будет холодно?

— Ну, в этом костюме можно спать зимой на снегу! — И пока они поднимались по узкой лестнице, рассказал, как его соученик потребовал от Эала обязательно снабдить его таким костюмом. — Как видите, доверие к качеству вашей тренировочной формы самое высокое!

На вышке собрались все свободные от приема десанта офицеры.

Тяжелый гул самолетов наполнил окрестности. Они заходили с юга и пристраивались в хвост один другому.

Откуда-то из болот в небо поднялась красная ракета. И тотчас же из первого самолета посыпались мелкие фигурки или свертки, а может, и то и другое, и над ними начали вспыхивать белые цветки парашютов. Это зрелище массового десанта — Лидумс не мог не признать — выглядело внушительно. Самолеты освобождались и уходили, а в небе все увеличивалось число парашютов.

Но вот и люди и грузы стали приземляться (скорее, приводняться), парашюты гасли, и через пятнадцать минут после высадки десанта ничто не напоминало о том, что тут скрывается не меньше роты парашютистов, вооруженных — Лидумс это знал — не только автоматами и ножами, но и стомиллиметровыми безоткатными орудиями, и минометами, и автомобилями, способными двигаться и по шоссе и по болотам. И мысль о том, что нечто подобное может однажды случиться у него дома, на родине, была весьма неприятна.

Солдаты, дежурившие у раций, то и дело подавали полковнику Россу радиограммы, и тот, одобрительно кивая, приказывал:

— Передайте им мою благодарность!

Но вот поступило последнее донесение, полковник обвел офицеров торжествующим взглядом.

— Операция окончена. Прошу, господа, к столу!

Все, кроме дежурных, спустились с вышки.

Если для рейнджеров и младших командиров учения были приближены к условиям военных действий, то старшие офицеры и посредники чувствовали себя в этом доме, как на даче. Был подан отличный обед, много свежей дичи — это уж постарались егеря, обслуживавшие охотничий домик, — много вина и виски.

Полковник усадил Лидумса наискось от себя и то и дело заговаривал с ним. Но Лидумс был настороже: пил мало, вопросов не задавал, лишь слушал да кратко отвечал, когда обращались к нему. Он все время ждал какого-нибудь подвоха, если не со стороны полковника или генерала, то со стороны младших офицеров, поглядывавших на чужака с любопытством, но в то же время свысока.

На болоте не было слышно ни звука. Изредка раздавались птичьи крики: перекликались дозорные. Полковник прислушался к этим крикам и с удовольствием сказал:

— А мы уже окружены! Пусть «синие» выставят дозоры!

Два или три офицера вышли из-за стола, где-то зазуммерил полевой телефон, и тотчас из-за зданий выбежали два взвода рейнджеров в прорезиненных костюмах, в высоких сапогах, с автоматами на шее и с гранатами у пояса. Одни из них тут же

Продолжение. См. «Огонек» № 43-50.

исчезли в заранее отрытых окопах, другие спустились с дамбы в болото и скрылись в камышах.

Полковник обратился к Лидумсу:

— Мистер Казимир, как вам понравился десант?

— Это было великолепно!

— А вы знаете, им придется провести в этом болоте десять дней, отбивая атаки и атакуя, передвигаясь с места на место и не имея никаких запасов пищи, кроме НЗ — так называемого неприкосновенного запаса. Но рейнджер, сохранивший свой неприкосновенный запас пищи в этих условиях, после окончания учений получает дополнительный двухнедельный отпуск, о чем они читали в приказе. Можете представить себе, как они будут беречь этот НЗ?

— Еще бы!— улыбнулся Лидумс.

— Господин полковник, разрешите задать вопрос нашему гостю?— спросил кто-то из более молодых офицеров.

— Пожалуйста!— милостиво кивнул полковник, но тут же добавил:— Но имейте в виду, господин Казимир имеет право не отвечать на вопросы, если они затрагивают интересы той службы, которую он представляет...

— Нет, нет, это скорее относится к области домашних споров!— включился в разговор другой офицер.

Лидумс внимательно оглядел его: майор лет сорока, вероятно, захвативший еще конец войны, по-видимому, типичный служака. Вряд ли его вопрос может быть опасен. Лидумс с интересом ждал. А майор, с усмешкой глядя на Лидумса, заговорил:

— Мистер Казимир не скрывает, что представляет разведку дружественной страны. Мне хотелось бы знать, есть ли у мистера Казимира люди, которые могли бы принять участие в подобных маневрах без особого риска утонуть в болоте или умереть с голода?

— Что вы скажете, мистер Казимир?— лукаво усмехнулся полковник.

Лидумс видел со всех сторон насмешливые глаза, а на некоторых лицах и прямо издевательскую улыбку. Да, эта сценка была, видно, срепетирована заранее. Он широко улыбнулся, отставил бокал и сказал:

— Жалею, что у меня под рукой нет моих людей. Но...— он вынул из кармана пачку денег, врученных ему Малым Джоном, и положил ее на стол,— ...я готов держать пари на все мои карманные деньги, что вы, майор, не рискнете повторить мой опыт. А я сейчас, с вашего, полковник, разрешения, надену такой же костюм, как у ваших парашютистов, получу необходимое оружие и НЗ, попрошу вас присоединить меня к любому взводу и вернусь в день окончания маневров, не истратив своего неприкосновенного запаса, после чего получу в поощрение двухнедельный отпуск...

Он, улыбаясь, смотрел на вытянувшиеся лица офицеров. Полковник предостерегающе кашлянул. Майор, стараясь не замечать недоброго взгляда полковника, небрежно спросил:

— И много у вас этих карманных денег?

— Право, не знаю, вероятно, марок пятьсот!

— Ого!— воскликнул кто-то из младших офицеров.

— Я запрещаю это пари!— торопливо воскликнул полковник.

— Почему же?— спросил Лидумс.— Вы пригласили меня на учения, и мне крайне интересно, соответствуют ли эти условия тем, в которых я прожил последние несколько лет.

— Вы слышите, Айрон?— сухо сказал полковник.— Несколько лет!.. А вы всю жизнь, даже и на войне, ходили по асфальту! Должен сказать, мистер Казимир, что майор Айрон занимается всего лишь снабжением. Извините его запальчивость!

— Но пари! Пари!— закричали сразу несколько голосов.

— Будем считать, что майор Айрон проиграл это пари. В день окончания маневров майор устраивает обед в честь нашего гостя,— жестко сказал полковник.

— Согласен!— сухо ответил майор.

Теперь Айрон поглядывал на Лидумса несколько испуганно. Зато молодые офицеры сразу после окончания обеда окружили гостя. Им хотелось знать: как можно прожить в лесах и болотах несколько лет?

— В болотах есть съедобные растения и птицы, в реках есть рыба, в лесах и птица и зверь. Надо только уметь взять их,— шутя отвечал Лидумс.

— Но если нельзя стрелять, как вы возьмете зверя и птицу?

— Вероятно, так же, как берут их ваши люди,— при помощи силков и сетей. А рыбу можно поймать...

— У нас этому обучают специальные инструкторы, кто же обучал вас?

— Голод!— усмехнулся Лидумс.

— И долго вы были в лесах?

— Достаточно долго, чтобы научиться устраивать сухой ночлег и в таком вот болоте и разводить огонь так, чтобы не ощущалось даже запаха. Наши «синие» умеют нюхать дым и за два и за три километра...

— Ну, сегодня у рейнджеров легкий день!— сурово заметил полковник.— Посмотрите, что будет тут завтра, когда начнется облава.

Ему, должно быть, не понравилось, что офицеры так заинтересовались Лидумсом. Лидумс заметил, как он сделал знак Эалу. Молодой разведчик тотчас предложил:

— Позвольте показать вам вашу комнату...

— Но еще рано, Эал!— запротестовали офицеры.

— Мне пора на дежурство. А мистер Казимир может еще спуститься к вам, если

вы не торопитесь на отдых. Но завтра тяжелый день.

Лидумс пошел за ним.

Как видно, полковник решил, что Лидумсу больше не следует спускаться вниз. На столике у кровати стояли бутылка виски в ведерке со льдом и кофе в термосе. Рядом — чашка и бокал. И тут же лежали газеты.

27

Утром Лидумса разбудил гул вертолетов.

Небольшие вертолеты опустились во двор усадьбы. Как только вертолет выключал моторы, его откатывали в угол двора, и на его место садился новый. Всего приземлилось пять машин.

Зазвонил телефон: мистера Казимира приглашали к завтраку.

Завтрак уже кончался, за столом сидели полковник, майор Айрон, Эал и еще несколько человек. Большинство офицеров, которых Лидумс видел вчера за столом, уже разошлись.

Полковник встретил Лидумса любезно, сам напомнил о том, как Айрон проиграл пари, затем пригласил сопровождать его в посредническом облете «сражающихся» сторон. Лидумс торопливо поел, выпил кофе, и все вышли во двор.

Для полковника был приготовлен четырехместный вертолет. С ним летели Лидумс, Айрон и Эал.

С болот доносилась все усиливающаяся стрельба. Сначала стреляли автоматы, потом в бой вступили минометы. Затем гулко «заработали» безоткатные орудия. Полковник, с удовлетворением прислушиваясь к нарастающим звукам «боя», сказал Лидумсу:

— «Синие» начинают выжимать «зеленых» из болота. У «зеленых» задача — продержаться хотя бы пять-шесть дней в пределах вот этой площади! — Он показал на карте обведенную красным карандашом полосу болот и речных пойм с небольшими водоразделами примерно десять на десять километров. На водоразделах были отмечены тощие гривки леса.

Вертолеты посредников показывались то в одном, то в другом месте. «Бой», должно быть, рассредоточился, и принимали в нем участие только маленькие группки. Правильнее было бы назвать это «разведка боем».

Лидумс отмечал про себя, что стоянки десантников замаскированы ловко. Если где-нибудь и виднелось нечто похожее на боевую позицию, то скорее всего она была ложной.

Они облетели все болото, так и не увидев ни атакующих, ни атакуемых, и возвращались назад, как вдруг прямо под собой заметили дымки минных разрывов. Десантники, скопившись у самой дамбы, пытались атаковать усадьбу, где расположился штаб «синих».

Дымовые шашки, имитировавшие разрывы мин, достигали уже усадебного двора. И по болоту и по дамбе бежали люди в зеленых маскировочных костюмах. Они уже почти достигли двора, когда с разных сторон затрещали станковые пулеметы, и офицер-посредник с белым флагом в руке остановил атаку как «захлебнувшуюся». Теперь «зеленые» отступали в болото, а «синие» в таких же буро-зеленых костюмах, но с белыми повязками на рукаве преследовали их.

Но в болото «синие» не полезли, опасаясь, должно быть, засады. Они швыряли гранаты, вероятно, со слезоточивым газом, так как несколько запоздавших отступающих бежали теперь, как слепые, и за ними охотились «синие», хватая их, связывая, выгоняя обратно на дамбу. Атака больше не повторилась, и «пленные» понуро брели, погоняемые ударами прикладов. На взгляд Лидумса, удары были довольно сильные. Вот упал один, другой. Их поволокли за руки, не скупясь на тычки и пинки.

Вертолет приземлился на дворе усадьбы.

К нему подбежал сияющий офицер и доложил полковнику:

— Атака «противника» отбита. Захвачены «пленные». Приступили к допросу!

— Благодарю! — козырнул полковник и, обернувшись к Лидумсу, спросил: — Хотите присутствовать при допросе «пленных»?

— Буду рад.

Они прошли к пустым конюшням, откуда вдруг раздался дикий крик. Лидумс невольно замедлил шаги. Полковник обернулся и с улыбкой сказал:

— На войне как на войне! Ведь будущий противник применит против пленных пытки! В следующий раз они постараются не попадаться!

В конюшне на бетонном полу валялись трое связанных по рукам и по ногам «пленных». Один, с которого одежда была сорвана, лежал привязанный на скамье. За столиком сидел стенографист. Допрашивающий офицер доложил полковнику:

— Солдат Дженкинс. Третий год службы. Психически слаб. В первые пять минут допроса третьей степени дважды терял сознание. Предлагаю сделать укол скополамина, может быть, удастся обойтись без других средств побуждения.

— А как эти?

— Психологическая подготовка к допросу. Пытались протестовать против средств принуждения, примененных к Дженкинсу, пришлось заткнуть им глотки.

— Национальность?

— Литовец, латыш и немец.

— Если созреют для показаний, доложите мне!

— Слушаюсь!

— Пойдемте, мистер Казимир! Это первая стадия допроса, она малоинтересна. Позже, когда обработка будет закончена, можно послушать, как они станут лгать, чтобы отвести от себя обвинение в предательстве и в то же время избежать новых приемов допроса третьей степени...

Они вышли из этой странной камеры пыток, где свои пытали своих, и Лидумс невольно спросил:

— Неужели нельзя обойтись без этой третьей степени? Ведь это же военная игра!

— Их работа давно уже перестала быть военной игрой! — жестко сказал полковник. — Нам нужны безусловно преданные люди. И потом они должны знать, что произойдет с ними при попытке сдаться в плен. Впрочем, пройдемте ко мне, я вам кое-что расскажу об этих наших войсках...

28

Полковник действительно не стал скрывать особенностей системы обучения подчиненных ему подразделений.

Общая картина создания войск специального назначения при военном министерстве США оказалась достаточно мрачной.

Уже в январе 1951 года американский сенат одобрил законопроект, разрешавший военному министерству завербовать для службы в американской армии десять тысяч иностранцев в возрасте от восемнадцати до тридцати шести лет. Американский генерал Хэмлет в статье «Войска специального назначения готовятся к войне и миру» так писал об этих диверсионных отрядах:

«Подготовка в мирное время и действия в период «холодной войны» помогут подразделениям войск специального назначения достойно выполнить свою миссию, когда начнется настоящая война. Эти люди должны научиться и быть способными переносить лишения, приносить жертвы и работать в самых трудных условиях».

На авантюру Пентагона прежде всего откликнулась так называемая международная ассоциация перемещенных лиц. Уже в октябре 1951 года эта организация переправила в США двадцать пять тысяч человек — эмигрантов из разных стран. Большая часть «живого товара» была направлена в формирующиеся отряды специального назначения. Но... аппетит приходит во время еды, и Пентагон принялся расширять новые воинские подразделения.

Лидумс уже знал многое об этих частях и без рассказов полковника... Но повторение — мать учения!

Вся затея с созданием наемных армий была очень близка к созданию в Древнем Риме легионов из рабов-гладиаторов. Кое у кого из конгрессменов, вероятно, бродили в голове сходные мысли: почему бы не повоевать чужими руками, не пожертвовать в войне чужими головами? Но современные «гладиаторы» не спешили положить свои головы за благо бизнесменов... Познакомившись с порядками в новых военных лагерях, многие старались поскорее унести оттуда ноги, а некоторые становились профессиональными убийцами. Много шума наделали два рейнджера, дезертировавшие из лагеря Форт Брэгг, — Джордж Иорк и Джеймс Латан, которые за семь дней пребывания на свободе убили и ограбили семь человек...

Воспитание и обучение убийц было поставлено на научной основе. В программе подготовки предусмотрено не только изучение вероятного противника, но и исследование быта, обычаев и нравов тех народов и стран, где диверсанты будут действовать. Особое внимание уделялось физической подготовке, умению выжить в самых тяжелых условиях. Их обучали, как скрываться в любой местности, самостоятельно добывать продукты питания, строить укрытия с максимальным использованием местных средств.

Курс подготовки диверсантов разделен на три периода.

Сначала диверсантов обучают их будущим специальностям. Специалисты по вооружению изучают легкое и тяжелое оружие, от пистолета до стомиллиметрового безоткатного орудия, а затем стрелковое оружие армий социалистических стран. Подготовка связистов продолжается три месяца. За это время связисты должны овладеть техникой телефонной и радиосвязи, техникой подслушивания переговоров противника, радиопеленгацией средств связи противника, шифровкой и расшифровкой, пользованием кодами и таблицами. Диверсантов-подрывников обучают их специальности четыре недели. За это время подрывники должны освоить не только средства и способы подрыва различных объектов, но и способы применения местных химических и медицинских материалов для изготовления примитивных взрывчатых веществ. Диверсанты-медики учатся два месяца. Их учат оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях, делать несложные операции, определять зараженность радиоактивными веществами местности, продовольствия и людей.

Все это обязательные специальные познания.

Военные специалисты и различные ученые из военных научно-исследовательских институтов создали десятки разных видов вооружения для войск специального назначения.

И все-таки эти войска не принесли Пентагону ни одной победы... А ведь они принимали участие во всех новых колониальных войнах США, из которых Пентагон всегда выходил изрядно потрепанным. Однако ж новые миллиарды, ассигнуемые Пентагону правительством, позволяют ему снова и снова отращивать свои петушиные перья...

Конечно, полковник рассказывал о войсках специального назначения совсем не в этом тоне. Он восхищался умением Пентагона использовать любые возможности для наращивания своей «наступательной» мощи. Для настоящей оценки этих войск Лидумсу пришлось многое додумывать, искать позже другие источники, но главное он понял: американцы готовят крупные диверсионные подразделения для вторжения почти в любую страну мира и особенно заняты подготовкой подобных войск на случай войны с Советским Союзом. И Лидумс был весьма доволен тем, что сумел отправить из Западной Германии довольно большое письмо о местонахождении, способах подготовки и состоянии этих специальных войск. Он знал, что его предупреждение будет принято во внимание...

Окончание следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

29

Малый Джон, ожидавший возвращения Лидумса в американской шпионской школе, был чрезвычайно мрачен. Лидумс, настроенный на веселый лад после окончания маневров, которые ему изрядно надоели, спросил:

— Не лопнула ли ваша фирма по торговле затопленными кораблями?

— Если бы...— загадочно ответил Джон.

Но рядом стояли Биль и Альвирас, и он замолчал. Только когда молодые ученики поднялись к себе, сказал:

— Переоденьтесь, Казимир, поедем в город...

Малый Джон молча вел машину. Лидумс, искоса разглядывавший его, заметил, как тот сжал челюсти, словно боялся проговориться раньше времени.

Остановились у знакомого кабачка, где уже бывали несколько раз.

Но и за столиком Малый Джон отдал только несколько распоряжений. Официант принес сразу две бутылки «корна», боквурсты — толстые свиные сосиски, две деревянные кружки пива по литру в каждой. Похоже было, что Малый Джон решил основательно напиться.

Презрительно смерив взглядом маленькие рюмки, Малый Джон приказал заменить их бокалами. Официант, удивленно глядя на иностранцев, принес рюмки побольше. Малый Джон налил себе и Лидумсу, сказал:

— Когда пьют за упокой, кажется, не чокаются...— и выпил.

Лидумс накрыл свою рюмку ладонью, требовательно спросил:

— Что случилось, Джон?

— Катер Клозе был обстрелян русскими. Из десяти человек, составлявших десант, Будрис принял только трех наших разведчиков и двух гребцов лодки, которые не смогли вернуться на катер.

Это было так неожиданно, что Лидумс невольно потянулся к рюмке. Джон налил свою снова и выпил в мрачном молчании.

— Есть какие-нибудь подробности?

— Да. Мне только что переслали радиограммы Будриса. Читайте! — Он швырнул несколько листов бумаги на стол.

Это действительно были копии радиограмм Будриса.

«Операция прошла крайне неудачно. Мы приняли только пятерых человек. Немедленно радируйте, вернулся ли катер на базу и находятся ли на нем не найденные нами три друга и два их спутника...» Лидумс взглянул на Малого Джона, спросил:

— Сколько же их десантировалось?

— По три человека на двух лодках и по два гребца на каждой...

— Остальные вернулись? Катер уцелел?

— Катер в ремонте. Одна лодка исчезла. Но вы читайте, читайте!

Лидумс снова вернулся к радиограммам.

Будрис жестоко порицал Лидумса за плохо подготовленную операцию. Лидумс молча показал эти строки Джону.

— Не беспокойтесь. Маккибин был вынужден сообщить Будрису, что операция готовилась без вашего ведома. Таким образом, «олл рискс», то есть все неприятности, «Норд» принял на себя.— Он даже не улыбнулся. По-видимому, эти «олл рискс» были непривычны для «Норда».

Лидумс взял следующую радиограмму. Он пытался угадать, что же происходило в ночь на двадцать седьмое марта там, на побережье Курляндии?

Будрис сообщал в следующей радиограмме, что чекисты провели несколько бесед с местным населением о повышении бдительности. Из этих бесед стало ясно, что чекисты обнаружили полузатонувшую резиновую лодку на три — пять человек, но ни трупов, ни каких-либо грузов ни в ней, ни вокруг, ни на дне, куда спускались водолазы, не обнаружили. Они считают, что людям удалось перебраться с лодки обратно на катер, но катер был подбит и, возможно, утонул, так как поблизости найдены соляровые и мазутные пятна...

Итак, предупреждение Лидумса поспело вовремя. Конечно, вторая лодка была просто захвачена, а затем инсценировано «потопление». Недаром же Будрис так яростно «нападает» именно на Лидумса, «не обеспечившего проведение операции»... Таким образом, Лидумс получает отличное алиби: он предупреждал, что в такое время года опасно проводить морскую операцию. И Малый Джон это знает. Поэтому Малому Джону и поручили сообщить Лидумсу о провале десанта и о том, что к этому провалу Лидумс отношения не имеет. В противном случае Малый Джон настоял бы на немедленном возвращении в Лондон и не показывал этих злополучных радиограмм. Лидумс взял снова наполненную Джоном рюмку, выпил ее, сказал грустно:

— Такова наша жизнь!

Помолчав немного, спросил:

— Нам, вероятно, надо поспешить в Лондон?

— Чтобы утешить шефа? — язвительно спросил Джон.— Я говорил с ним по телефону. Это железный человек! Он приказал закончить все необходимые тренировки. Впрочем, возможно, он надеется, к нашему возвращению в Лондон вы уже успокоитесь и не станете обвинять его в неосмотрительности. Но мне действительно было бы неприятно смотреть сейчас на его похоронную мину. Этот лицемер умеет притворяться, когда нужно. Но если следующими на очереди в рай окажемся мы с вами, он вполне прилично оплачет и нас!

Малый Джон говорил правду. И Лидумс понимал его желание забыться. Они просидели в кабачке до самого вечера, и Джон то бранил Маккибина, то сетовал на свою судьбу, которая заставила его служить в разведке. Только когда Лидумс напомнил, что он должен передать Маккибину телеграмму о своем отношении к этой трагедии, Джон согласился встать из-за стола.

Они заехали в отель «Альдона», и Лидумс составил короткую, но суровую радиограмму для Маккибина, в которой порицал руководство «Норда» за непродуманную операцию и за то, что в результате «Норд» рассорил своего советника с Будрисом. С точки зрения Лидумса, Маккибин должен был подтвердить Будрису, что в неудаче повинен именно «Норд», так как в подготовке операции Лидумс не участвовал. Там же он прибавил, что просит немедленно отозвать его в Лондон, чтобы обсудить создавшееся положение вместе с руководством «Норда».

Джон, прочитав его радиограмму, сказал, что приказ о возвращении у него в кармане, но предупредил, что американцы считают необходимым перед окончанием школы обязательно пройти еще медицинскую программу. Для Лидумса, Альвираса и Биля уже приготовлены медицинские сумки: они должны пройти в течение двух недель врачебную подготовку в том же примерно объеме, в каком обучаются «медики» из войск специального назначения... После этого он отвез Лидумса в школу. Обучение должно было начаться с завтрашнего дня.

Врач жил в юго-западной части Мюнхена в отдельном доме, окруженном большим садом. «Воспитанников» доставили к нему Эал, майор Айрон и Малый Джон. Айрон, оплативший свое проигранное пари пышным ужином в честь «мистера Казимира», теперь относился к Лидумсу с невольным почтением. Да и Малый Джон, по всей видимости, рассказал американцам, что мистер Казимир совсем не простой шпион, а идейный противник русских из хорошей семьи, наследник крупного судовладельца...

Эта все возрастающая почтительность и забавляла Лидумса и помогала ему. Он почти совсем избавился от надзора...

Американцы и Малый Джон, представив врачу участников группы, уехали развлекаться, а врач принялся знакомить новых учеников с содержимым медицинской сумки и с теми мерами первой помощи, кото-

---

Окончание. См. «Огонек» №№ 43—51.

рые нужно применять при переломах, огнестрельных ранениях, длительной голодовке, нечаянном отравлении недоброкачественной или непривычной пищей. Лидумс со скрытой усмешкой наблюдал, как все больше мрачнели его спутники, примеряя, так сказать, на себя все приобретаемые познания. Кому хочется ломать ноги или руки, быть подстреленным или отравленным? Но сам Лидумс относился к новым занятиям с полной серьезностью: мало ли что могло еще случиться с ним и с теми, кого он будет охранять в Латвии, когда вернется домой?

Занятия обычно продолжались весь день, а вечером за учениками приезжал Эал и вез их в ночной Мюнхен «развлекаться». Только эти развлечения и помогали Билю и Альвирасу скрывать все более нараставшую душевную тревогу. Ясно было, что скоро им предстоит применить на деле свои познания в шпионском ремесле. Они тоже с удивлением и почтением поглядывали на своего старшего товарища, который ничем и никогда не показывал ни страха, ни простой обеспокоенности.

В последний день занятий доктор «принимал экзамен» по оказанию помощи с применением искусственного дыхания. Лидумс, улыбаясь про себя, попросил врача проверить, достаточно ли умело справляется с этим мудреным делом. Врач, ничего не подозревая, улегся на пол, а Лидумс, нажимая коленом на его живот, принялся сгибать его руки. «Вот так выглядит и моя миссия к вам,—посмеивался он в душе.— Вы лежите под моим коленом на полу, все вместе, и англичане и ваш старший партнер, и руки ваши схвачены моими руками!..»

В конце концов доктор взмолился о пощаде, и Лидумс отпустил его. На этом измочаленный доктор прекратил занятия и отпустил непочтительных учеников.

После этого началась подготовка к возвращению в Лондон.

30

Начальник английской разведывательной школы отныне взял новых выучеников под постоянный контроль.

Под его наблюдением готовились они и к выброске воздушного десанта. Биль, Альвирас и Лидумс наполнили мешки песком, уложили эти мешки в плетенные из железной проволоки корзины, обшитые брезентом. Всего получилось полторы тонны груза, по двести пятьдесят килограммов для Биля и Альвираса и тонна — для Будриса. Репетицию высадки десанта повторяли несколько раз. Генеральная репетиция должна была произойти в Англии, недалеко от загородной шпионской школы.

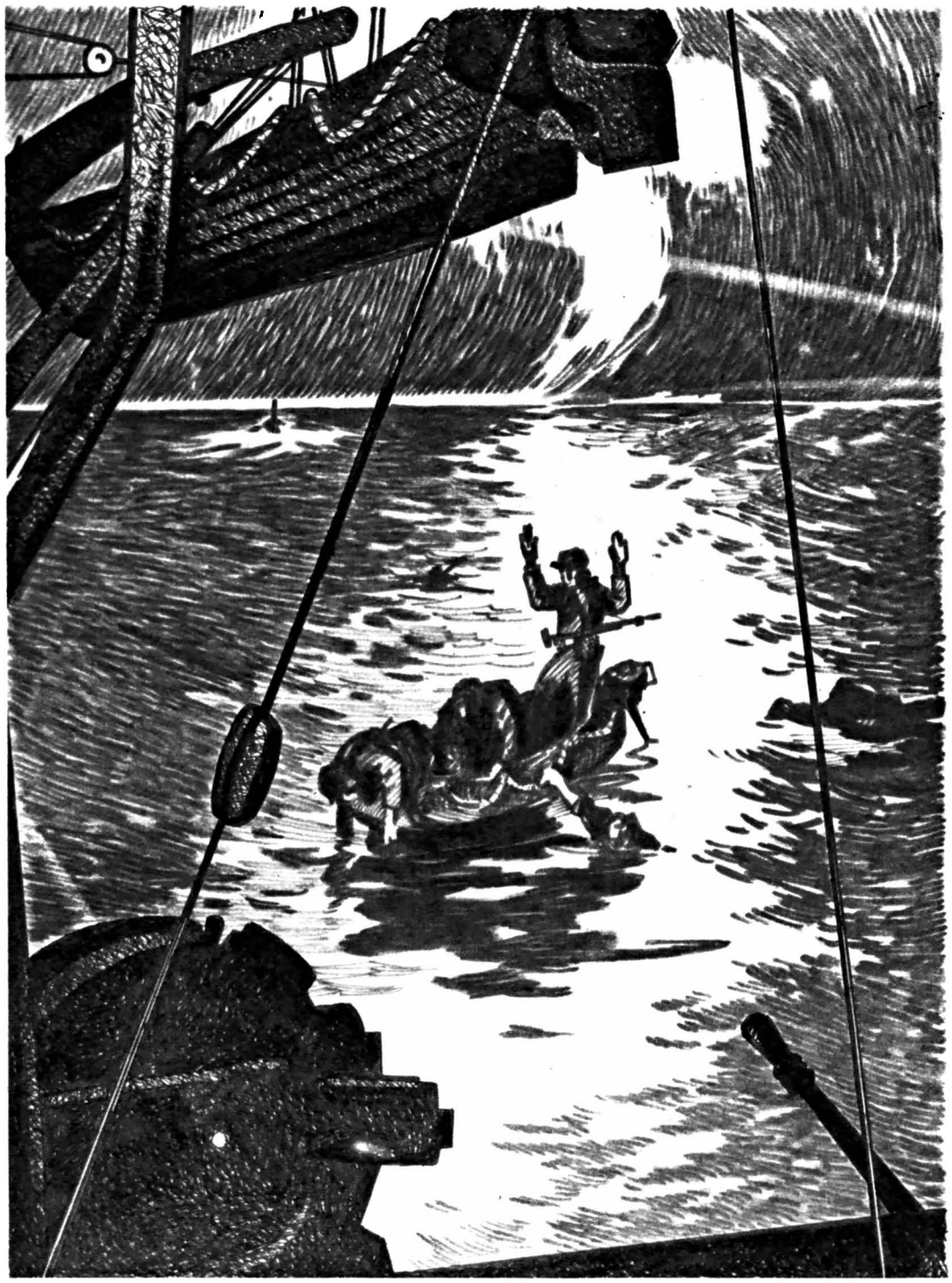
Вылет был назначен на первое апреля, но погода оказалась нелетной. Кончилось тем, что шпионы при благосклонном участии начальника всю ночь слонялись по злачным местам Мюнхена.

Утром второго апреля их доставили на знакомый уже аэродром в Фюрстенфельдбруке, где их ожидал самолет. Он взял курс на Англию.

После долгого полета приземлились неподалеку от Лондона на военном аэродроме. Там их встретил Малый Джон; он предпочел путешествовать с большим комфортом на пассажирском самолете. Малый Джон взял личные вещи участников группы, мило помахал им рукой и пообещал ждать их в школе.

Репетиция воздушнодесантной операции началась в 21 час. Самолет поднялся в воздух, хотя был сильный, порывистый ветер. На замечание Биля о том, что при таком ветре прыгать опасно, начальник школы философски заметил, что не волен выбирать погоду ни для тренировок, ни для настоящего прыжка в тыл противника. Биль умолк, только с опаской поглядывал в темное окно самолета.

Эта репетиция проводилась в максимально приближенных к подлинной десантировке условиях. Каждый получил оружие, рацию, шанцевый инструмент. Сначала выбрасывался «личный» груз Альвираса и Биля,



затем прыгали они сами. После приземления они должны были спрятать парашюты, отыскать в темноте груз — двухсотпятидесятикилограммовые корзины, отметить местонахождение груза и спрятать его, затем сделать двадцатикилометровый бросок в намеченное на карте место встречи, а во время броска установить связь с центром по рации.

Задание, предложенное Лидумсу, было куда легче. Он должен был проследить за выброской груза для Будриса, на следующем круге выброситься и отыскать этот груз, а затем направиться прямо в здание разведывательной школы.

Лидумс приземлился довольно точно и скоро отыскал свои корзины. Упаковка уцелела, хотя «груз» вынес довольно сильный удар при приземлении. Погасив грузовые парашюты и сориентировавшись на местности, Лидумс быстро добрался до базы. Там его встретили начальник школы, Малый Джон, два специалиста по ведению подрывной войны и еще несколько человек, которых он не знал. Начальник тут же сообщил, что выброска десанта прошла успешно: Биль и Альвирас сумели встретиться и уже передали на базу первые радиограммы. Вернутся они днем, машина уже ждет их в условленной точке. По поводу успешного окончания парашютных тренировок в школе был устроен парадный ужин, на который начальник пригласил и «мистера Казимира».

Утром Малый Джон уехал в Лондон («с отчетом»,— сказал он), пообещав как можно быстрее вытащить туда же и Лидумса. Но начальник школы имел на «мистера Казимира» свои виды. Едва Малый Джон уехал, как начальник повел Лидумса в стрелковый тир.

В стрелковом тире, довольно обширном подземном убежище со стендами и мишенями, с бетонными укрытиями для стрелков, их уже ожидал инструктор по стрельбе и оружию сержант английской службы, назвавшийся Альбертом. Альберт выдал Лидумсу для испытаний десяток пистолетов разных систем и автомат «Стенган». Лидумс должен был изучить и пристрелять это оружие, чтобы определить, какие системы лучше всего подходят для применения в лесных условиях Латвии. Во время испытаний оружия Альберт и сам начальник школы тщательно следили, чтобы Лидумса не увидел никто из шпионов, проходивших специальное обучение в той же школе. Одним

словом, это опять была тюрьма, и понятно, как обрадовался Лидумс, когда поздним вечером за ним приехал Малый Джон.

— Вас с нетерпением ожидает мисс Нора! — пошутил он, входя в заваленную оружием комнату Лидумса.

— Ах, черт побери! Я и забыл о подарке для нее! Она так любезно проводила меня в эту поездку! — спохватился Лидумс.

— Зато я вспомнил! — похвалился Малый Джон и показал левую руку. На безымянном пальце сверкало злополучное кольцо с аквамарином.

— Когда это вы успели?

— Кольцо уже ожидало нас у английского ювелира по указанному немецким скупщиком адресу. Я побоялся, как бы ювелир не соблазнился каким-нибудь предложением, и поторопился забрать его. Прошу вас! Это может быть великолепным подарком для Норы!

Он снял кольцо и передал Лидумсу.

Лидумс торопливо переодевался в свой штатский костюм... Впереди были трудные дела. Он надеялся на скорое возвращение в родную страну.

31

В Лондоне Лидумса ожидали новые испытания.

Он еле успел принять утренний душ, как зазвонил телефон. Большой Джон обещал быть через четверть часа. С точки зрения Лидумса, в «Норде» могли бы и не спешить, дать ему хоть немного отдышаться после долгой и утомительной командировки. Но сказать Большому Джону об этом он не успел: тот быстро положил трубку. Вот эта торопливость и наводила на мысль: в «Норде» опять что-то стряслось.

Лидумс торопливо побрился, оделся и спустился в нижний холл. Во время его отсутствия порядок в доме оставался неизменным, бар был полон, завтрак ожидал на столе, приятно пахло свежим кофе: миссис Пегги заслуживала всяческих похвал. Лидумс едва успел проглотить чашку кофе, как появились гости.

Большой Джон показался Лидумсу хмурым, а Вилкс, сопровождавший шефа, был вообще мрачен. Он молча поздоровался с Лидумсом и сразу ринулся к бару, чтобы не мешать Большому Джону, который, как понял Лидумс, приехал с дурными новостями.

Впрочем, Большой Джон не торопился с этими новостями. Он радушно приветствовал Лидумса, похвалил его за спортивный вид, принялся расспрашивать, как понравилось ему в Германии, что любопытное увидел он у американцев, как вели себя Биль и Альвирас... Вилкс очень кстати приготовил всем троим виски со льдом.

Лидумс держался непринужденно, курил, вытянувшись в кресле, хотя его и подмывало спросить: что произошло в «Норде»?

Но вот Большой Джон, по-видимому, принял какое-то решение. Он отставил пустой бокал и, глядя прямо в глаза Лидумсу, сказал:

— Ваш знакомый Петерсон убит в Латвии, под Ригой...

Лидумс вздрогнул и тоже отставил бокал. Напрягшись, подавшись вперед в кресле, он, не мигая, глядел на Большого Джона. Тот понял этот ожидающий объяснений взгляд, махнул рукой, как будто не знал, что ответить, и попросил Вилкса:

— Налейте мне чистого, Вилкс. И Казимиру тоже.

Все трое выпили молча, как на поминках. Большой Джон сказал:

— Я просил Силайса, чтобы он сам сообщил вам эту печальную весть, но Силайс в полной прострации.

Вилкс угрюмо добавил:

— Силайс сам обучал Петерсона. И не напрасно: Петерсон много обещал в будущем. Спокойный, храбрый, решительный человек. У него остались жена и ребенок. Они пока ничего не знают.

— Но, может быть, это ошибка? — неуверенно спросил Лидумс.

— К сожалению, нет,— сказал Большой Джон.— Петерсон мог по расписанию радиосвязи дважды в неделю выходить в эфир. Месяц назад связь с ним прекратилась. Мы запросили Бертулиса, Делиньша и Будриса о его судьбе. Признаться, мы особенно беспокоились о группе Будриса: Петерсон знал все их базы, и, если бы он попал к чекистам, нашим друзьям пришлось бы чрезвычайно трудно. Вот ответ Будриса...

Он вынул из своего портфеля большой лист бумаги и передал Лидумсу.

«У нас дома все спокойно,— читал Лидумс.— Относительно нашего друга удалось выяснить следующее.

Вечером двадцать восьмого марта на Рижском взморье, в районе Дзинтари, проходили какие-то воинские учения. На улицах появились крытые автомашины с выдвижными антеннами, передвигались в разных направлениях солдаты с большими ранцами за спиной, над которыми тоже виднелись антенны. Несколько улиц были перекрыты военными грузовиками и регулировщиками с красными флажками. Внезапно на одной из дач в конце поселка поднялась стрельба. Стрельба продолжалась примерно минут пятнадцать. Начало стрельбы фиксируется по-разному: от двадцати одного часа пятнадцати до двадцати одного часа тридцати. К даче подошли несколько машин «Скорой помощи» и спешно направились в Ригу. После окончания тревоги жители слышали, как переговаривались солдаты: речь шла о двух диверсантах, которые не захотели сдаться и были убиты в перестрелке. Со стороны «синих» убиты трое и несколько человек легко ранены. Жители, осматривавшие дачу на следующий день, рассказывают, что в ней сорваны двери, выбиты стекла, видны пулевые пробоины. На даче до сих пор находятся несколько солдат, которых сменяют раз в сутки. Полагаем, что рация Петерсона была запеленгована «синими», а сам он и его помощник убиты при попытке ареста. Временно прекратили радиосвязь с вами и пересылаем сообщение письменно. Будрис».

Лидумс передал письмо Большому Джону и молча склонил голову.

— Вам приходилось видеть эти переносные пеленгаторы? — спросил Большой Джон.

— Нет,— ответил Лидумс.

— А как запеленговали вас, Вилкс?

— Мы увидели эти самые крытые автомашины с выдвинутыми антеннами. Пришлось немедленно уходить.

— Не слишком ли много несчастий в такое короткое время? — сурово спросил Лидумс.— В Германии мне сообщают о гибели половины морского десанта в Латвию, здесь, в первый же день, о гибели Петерсона... Не слишком ли мы полагаемся на нашу радиосвязь? Как я понимаю, Петерсон выходил в эфир не реже, чем схваченный чекистами американский шпион Бромберг? А у Будриса работают по меньшей мере четыре радиостанции... Вдруг запеленгуют не просто одиночную станцию, а всю группу Будриса?

— Мы уже подумали об этом,— хмуро ответил Большой Джон.— Будрис предложил использовать для радиосвязи автомашину, с тем чтобы как можно чаще менять месторасположение рации. Но после неудачи с катером Хельмута Клозе, а теперь еще и с новым ударом — гибелью Петерсона мы дали ему строгое указание. Вот, ознакомьтесь!

Лидумс внимательно прочитал «указание»:

«№ 286/с. Определенно исключаем, что причиной трагедии Петерсона является только лишь пеленгация. Но вам, Будрис, следует немедленно прекратить свою радиосвязь с нами приблизительно на два месяца. К нам по радио обращайтесь только в случаях абсолютной необходимости, хотя мы и продолжаем вас слушать всегда согласно расписанию связи. Отбросьте мысль об использовании автомашины для проведения сеансов радиосвязи, как слишком рискованную».

Передавая радиограмму обратно Большому Джону, Лидумс подумал: англичане как бы просят у меня прощения за смерть Петерсона. Но для Будриса возникла хоть небольшая пауза... Теперь он на продолжительное время избавлен от необходимости готовить все новые и новые дезинформационные сведения, которые был вынужден передавать англичанам через несколько радиостанций одновременно.

— Что ж, на некоторое время это правильный выход,— задумчиво сказал он.— Но ведь для того, чтобы провести подготовленную нами десантировку с воздуха, нам все равно придется «оживить» одну из рацией Будриса. И тогда для уточнения всего плана воздушного десанта придется прибегнуть и к автомашине...— Он внимательно смотрел на Большого Джона.

Большой Джон кивнул Вилксу на столик с напитками, чтобы тот налил и принес бокалы, медленно выпил свой, подождал, пока выпили и собеседники, только после этой церемонии сказал:

— Боюсь, дорогой Казимир, что мы напрасно мучили вас парашютными прыжками!

— Почему? — удивленно спросил Лидумс.

— Мы только что консультировались с военным министерством. Оно категорически против попытки перебросить вас по воздуху.

Тут Вилкс, очевидно, все еще переживавший смерть Петерсона, неожиданно вышел из себя:

— Это черт знает что! Там наши парни, наверно, голодают, сидят без оружия, а тут какие-то господа в пышных мундирах боятся за самолет!

— Перестаньте, Вилкс,— холодно остановил его Большой Джон.— Мы могли бы и не согласиться с военными «в пышных мундирах»,— передразнил он разозленного Вилкса,— но мы посоветовались с самим Будрисом. Вот наш запрос:— Он вынул из портфеля несколько листов и прочитал:

«Дорогой Будрис! Взвесив и рассмотрев все возможные методы проведения операции по возвращению нашего друга, мы нашли, что воздушную операцию было бы легче провести, нежели морскую, особенно после неудачи нашего друга Клозе, если бы только вы смогли организовать прием. Речь идет о тонне груза для вас и о нескольких людях с грузом в двести пятьдесят килограммов на каждого. Поэтому просим сообщить ваши соображения о наиболее подходящем времени для такой операции весной, а также и ваш расчет, сколько груза для вас и сколько человек с поименованными грузами вы смогли бы принять за одну операцию с тем, чтобы сразу и как можно быстрее убрать все с места выброски. Хотелось бы также знать точно, не доставит ли вам дополнительных трудностей одновременная выброска пяти-шести человек, из которых один или два будут адресованы в соседнюю с вами республику? Можете ли вы организовать прием при помощи световых сигналов и беаконов и подобрать подходящую площадку? Бертулис и другие знают, как это нужно делать. Взвесив все условия своей безопасности, сообщите, находите ли вы такую операцию возможной в этом году и если да, то сообщите удобное время...»

— Эту радиограмму мы направили Будрису через Петерсона еще второго марта, а вчера ночью получили очень мотивированный ответ от господина Будриса,— переведя дух после чтения, сказал Большой Джон.— Господин Будрис сообщает:

«Очень подробно взвесили положение у нас и все возможности проведения операции. Мы считаем, что воздушная операция имеет ряд преимуществ перед морской, но думаем, что проведение ее в настоящих условиях связано с большим риском. Самолет обязательно заметят, и в таком случае срочно начнется проверка больших районов, как это было в прошлом году, когда искали каких-то неизвестных нам парашютистов, может быть, тех, которых судили в Латвии вместе с американским разведчиком Бромбергом.

Именно поэтому мы считаем морскую операцию более удобной. Конечно, теперь чекисты, после нашей неудачи на Курляндском побережье, будут настороже, но мы можем провести ее в другом районе, все предвари-

тельно разведав. Опыт показывает, что морские операции почти всегда были удачны, и у нас имеется уже известный практический навык, а недавнее обнаружение катера пограничниками было случайным. В приеме людей, думаем, особых трудностей не будет. Но, как показывает опыт, их доставка в соседние республики может быть связана с большим риском. Здесь в дальнейшем необходимо и нам и вам принимать более строгие меры предосторожности...»

Большой Джон умолк и торжественно оглядел слушателей. Те молчали. Тогда он строго добавил:

— В данном случае мнение нашего друга Будриса просто совпало с точкой зрения военных, которым стало известно, что недавно русские атаковали американский самолет, пытавшийся нарушить их границу.

Вилкс громко выругался и потянулся к бокалу. А Лидумс думал: «Значит, письмецо из Миндена, которое мне удалось отправить с подзагулявшим Малым Джоном, дошло по назначению. И умный Будрис понял его. Действительно, сколько бы усилий стоило ему и оперативным работникам отыскать и арестовать всех заброшенных в Латвию агентов. Нет, я был прав, передавая свои не очень еще тщательно обдуманные опасения...» Он вспомнил о тех полутора тоннах груза с оружием, боеприпасами, рациями и взрывчаткой, которые подготовили к выброске англичане, о длительной тренировке Биля и Альвираса, и с трудом подавил нечаянный вздох облегчения. Да, такой груз мог стать опасным, да и скрыться с ним в лесу легче легкого: под каждое дерево оперработника не поставишь!

Он взял свой бокал и присоединился к молчавшим собеседникам. Впрочем, молчал только Большой Джон, Вилкс все еще ругался.

— Не надо, Вилкс, принимать так близко к сердцу каждую неудачу! — мягко остановил «соратника» Лидумс.— И что же вы намереваетесь делать теперь? — снова обратился он к Большому Джону.

— Мы обсуждали этот вопрос...— Джон помолчал.— Что вы скажете, если мы попробуем перебросить вас через финско-советскую границу? Можете ли вы придумать такую легенду, которая могла бы объяснить ваше появление в приграничной полосе Советского Союза неподалеку от Финляндии?

— Д-да! Создать такую легенду довольно затруднительно! — покачал головой Лидумс.— Кроме того, я боюсь, что вы не все предусмотрели, предлагая этот вариант. Ведь Финляндия находится в дружеских отношениях со своим северным соседом. Уже поэтому провал такой операции неминуем. Финские власти постараются избежать всякого упрека в нелояльности к Советскому Союзу и, конечно, не допустят перехода через свою границу...

— Пусть это вас не беспокоит. Официальные власти ничего не будут знать об этой операции. У нас в Финляндии есть свои люди, которые имеют отношение к пограничному режиму...

— И все-таки есть еще одно «но»...— спокойно продолжал Лидумс.— С юга граница проходит по обжитой, плотно населенной местности, близко к такому жизненно важному центру страны, как Ленинград, а с востока — леса, в которых можно скрыться на время, но будет трудно выйти к железной дороге, так как тут-то уж каждый чужой человек обязательно покажется подозрительным. Разве что сразу явиться с повинной? — усмехнулся он одними губами.

— Нет, мой командир, не соглашайтесь на этот маршрут! — резко запротестовал Вилкс. Он опять был на стороне Лидумса,— в конце концов эти военные и на самом деле поступили по-свински! Сначала дали согласие, заставили его бывшего командира рисковать с парашютом, а потом вдруг испугались.

— Я должен быть сейчас в отделе, но позже мы еще увидимся! — пообещал Большой Джон, прощаясь.— И не волнуйтесь, мы найдем для вас удобную дорогу домой! Вы идете, Вилкс?

Он метнул на Вилкса такой взгляд, что тот немедленно подтянулся и пошел к двери.

Пока Лидумс раздумывал, к добру или к худу такая задержка и что сказал бы по этому поводу Будрис, как снова позвонили. Лидумс посмотрел в дверной глазок: Малый Джон. По-видимому, безупречно срабатывала инструкция о внимании к человеку.

Малый Джон был и без пальто, и без шляпы, в светлом костюме. По-видимому, обрадовался ранней весне на островах.

Он без слов и без приветствий развел руками. Это должно было обозначать, что он так же разочарован, как и Лидумс.

Усевшись в кресло, он долго разглядывал блистающие носки ботинок, потом вдруг спросил:

— А что если шефы перебросят вас в Западную Украину?

— Что ни гость, то новости хуже! — пробормотал Лидумс.— Неужели я вам настолько надоел, что вы решили торпедировать меня? С моим знанием украинского языка я дойду как раз до первого отделения милиции!

— Ну, не надо думать о нас так плохо! — беспокойно сказал Малый Джон.— Кстати, я сообщил Маккибину о вашем отце. Он тут же навел справки и даже получил из ЛЛОЙДА ваше фото. Я его видел.

— Благодарю. А поможет ли мне эта справка вернуться домой?

— Во всяком случае, вам не предложат ничего экстраординарного и чрезмерно опасного. По словам Маккибина, вы уже сегодня стоите, как говорят наши друзья американцы, несколько дороже полумиллиона фунтов стерлингов. Ну, доложу я вам, лицо у нашего шефа вытянулось! Хотя мы отнюдь не все меряем на деньги — у нас есть по крайней мере титулованная знать, родовые поместья, майорат, когда все состояние семьи переходит к старшему сыну,— но деньги тоже имеют вес. Не удивлюсь, что следующим вашим гостем окажется сам Маккибин или по меньшей мере его заместитель, полковник Скотт... А на версию об Украине, советую вам, плюньте раз и навсегда! Мне поручили предложить ее только для того, чтобы вы могли хоть чем-нибудь занять ваш могучий ум до тех пор, пока наши интеллектуалы придумают что-нибудь позанятнее.

Малый Джон резвился с видом милого котенка, но острые глаза его то и дело шныряли по лицу Лидумса. Впрочем, во взгляде было и дружелюбие и удивление. Но вот он встал, сказал:

— По-моему, интерес к вашей особе катастрофически увеличивается! Очень может быть, что вам еще подарят яхту!

Провожая Малого Джона до двери, Лидумс обдумывал его последние слова: было похоже, что Малый Джон намекнул на переброску катером «Люрсен-С». Но в светлое время года капитан Хельмут Клозе не станет больше рисковать. Не означает ли это, что его задержат в Лондоне до глубокой осени? Если это так, то надо уже сейчас думать о том, чем он будет заниматься все лето?

Впрочем, у него осталось еще много незавершенных планов. Зариньш. Скуевиц. Полномочия при эмигрантском правительстве. В конце концов он обязан сделать все, о чем просил и на что намекал Будрис. Это правительство следует обезвредить. А что требуется сделать для этого? Внести ряд предложений и требований Будриса. В той позиции, которую теперь занял Лидумс, он может требовать. Навряд ли англичане станут совать палки в колеса, если он займется высокой дипломатией. Обязанности посла он должен выполнить!

Он успел набросать письмо Скуевицу с предложением о встрече. Самого престарелого Зариньша он предпочел до времени не отягощать заботами. Но Скуевиц обязан прочитать между строками письма «мистера Казимира», что тут не просьба, а именно предложение о встрече. Кстати, и доклад и проект реорганизации эмигрантского кабинета, которые были ранее подготовлены главой незаконного правительства Латвии господином Зариньшем, оказались не рассмотренными Лидумсом из-за поездки в Западную Германию.

Зато теперь самое время это сделать. И посмотреть, как примут его замечания господа министры без портфелей!

Он уже вполне успокоился и готов был к новой битве. Ничего, господа англичане, я еще задам вам хлопот!

Конец первой части.

Последняя часть романа будет опубликована на страницах журнала «Огонек» в 1970 году.

Читателям предлагается завершающая часть повествования об операции чекистов против английской разведки под кодовым названием «Янтарное море».

В первой книге романа, «Янтарное море», опубликованной в «Огоньке» в 1963 году (см. №№ 1—13, 23—25, 27—29) и вышедшей отдельным изданием, речь идет о судьбе группы английских шпионов, заброшенных на территорию СССР.

Почти полтора года агенты пересылают в своих передачах в Лондон аккуратно составленную дезинформацию, которую им предлагают чекисты.

Заканчивается первая книга тем, что самый активный из шпионов, Вилкс, возвращается в Англию, разумеется, с негласного позволения чекистов. Вместе с ним за рубеж переправляется один из руководителей «лесных братьев», Лидумс (в гражданской жизни — художник Викторс Вэтра). Советская контрразведка поставила перед ним ответственную задачу—изучить систему проникновения английских шпионов в Советский Союз и контролировать эти тайные пути.

О пребывании Лидумса в Англии рассказывает вторая книга романа, «Чайки возвращаются к берегу», начало которой было опубликовано в №№ 43—52 «Огонька» за 1969 год.

В заключительной части романа читатель узнает об обстоятельствах, при которых была завершена зарубежная миссия Лидумса, о дальнейших судьбах шпионов, засланных на территорию Советской Латвии, об окончании операции «Янтарное море».

Роман написан на основании документов: тайнописных посланий, радиограмм, протоколов и дневниковых записей.

Авторы.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

1

Итак, Лидумс внимательно следил за «современной историей» отдела «Норд» английской разведки.

Маккибин был бессменным руководителем одного из самых важных отделов разведки. Правда, он как-то признался мистеру Казимиру, что давно мечтает отдохнуть. Но он должен вырастить свое детище — группу Будриса, вдохнуть в нее подлинную силу, снабдить средствами, организовать вокруг этой группы настоящее подполье националистов. Вот тогда он примет почетную отставку из рук ее величества вместе со званием лорда и крупной пенсией, после чего отправится в свое поместье. На севере Шотландии есть прекрасные реки, в которых водится форель, а рыбная ловля — его хобби! Он как бы упрашивал мистера Казимира позаботиться о том, чтобы отставка его оказалась действительно почетной!

Но с недавних времен военные начали вмешиваться и в дела разведки. Заместителем Маккибина стал полковник Скотт. Скотт, по-видимому, имел «сильную руку» в военном министерстве и не менее «сильную» в министерстве иностранных дел, он понемногу отодвигал своего шефа на задний план, хотя Маккибин и сопротивлялся. Но не считаться с Маккибином было невозможно даже для полковника Скотта,— слишком много он знал...

Для того, чтобы знать, как распределяются силы внутри отдела «Норд», надо было не только узнавать об этом распределении у Норы, но следовало внимательно изучать, кто из «помощников» ходит с постной физиономией, кому удалось добиться крупного куша, какому Жакявичусу, или Ребане, или Силайсу светит сегодня солнце. Правда, Силайсу оно светило целый год, какие бы неприятности ни сыпались с неба. Арест Петерсона? Чепуха! Липовый радист Том? Ерунда.

Конечно, Лидумс знал об этом солнечном сиянии, но помалкивал. Теперь ему надо было еще долго есть английский, довольно горький хлеб, потому что было неясно, когда и как он проберется на родину. И он изучал то, что было под руками.

2

В этот день у Лидумса, как говорится, отбоя не было от гостей. Только он произнес свою клятву — насолить англичанам за то, что они не желают отпустить его домой,— как зазвонил телефон. Нора весело поздравила мистера Казимира с возвращением, а затем церемонно сообщила, что его желает навестить Маккибин. Может ли мистер Казимир принять его?

Разумеется, Лидумс сообщил, что нетерпеливо ожидает этого визита. Не так уж часто шеф отдела «Норд» снисходил до визитов к своим подчиненным.

И вот Маккибин стоял в дверях, и его широкое лицо излучало живейший интерес к мистеру Казимиру, он весь светился мирной добротой, протягивал крупную широкопалую руку.

Дверь была открыта. В узком дворе Моррис ставил его машину в гараж, чтобы спрятать от любопытных взоров.

О нападении на катер Клозе и гибели пяти человек, как и о смерти Петерсона, Маккибин и не заикнулся: наверно, уже исключил всех этих людей из списков и думал только о том, кого заслать вместо погибших.

— Как вы себя чувствуете, мистер Казимир? — добродушно осведомился Маккибин, входя в дом, где, наверно, был больше хозяином, нежели гостем.— Все ли у вас в порядке?

— В смысле напитков не очень,— отшутился Лидумс.— У меня уже были несколько человек на коктейле. А если вы спрашиваете о здоровье или о настроении, то я чувствую себя как нельзя лучше!

Маккибин погрозил ему пальцем, но от бокала виски не отказался. Англичане из отдела «Норд» пили не меньше, чем ами. А уж эти «чертовы ами» пили постоянно.

Мистер Маккибин, конечно же, сразу обратил внимание на подготовленное Лидумсом письмо Скуевицу, лежавшее на письменном столе рядом с пишущей машинкой.

— А вы, я вижу, не теряете связи с друзьями? — спросил он.

— Только что мне сообщили сразу в несколько голосов, что я еще долго буду нахлебником ее величества королевы,— суховато сказал Лидумс.— Если это так, то надо сделать хотя бы то немногое, что в моих силах!

— Я был абсолютно уверен, что временная задержка не подрежет вам крылья,— мягко сказал Маккибин, хотя тон голоса не вязался с его холодным, внимательным взглядом.— Впрочем, ваше настроение мне понятно! — Тут и голос и взгляд потеплели.— Лучше делать хоть что-то, нежели прозябать в ожидании.— Он оглядел комнату, снова взглянул на Лидумса.— Да, наши вояки причинили нам массу неприятностей!— пожаловался он.— Естественно, что господин Будрис может высказать свое недовольство. Я думаю, вам следует самому объяснить ему ситуацию.— Помолчал, закурил сигару, похожую на ту, с какой неизменно изображался Черчилль, заговорил снова: — Конечно, обсуждавшиеся ранее варианты возвращения через Финляндию или Украину чреваты опасностями. Слишком долог путь. Но мы тут изучаем еще один вариант...— Он опять помедлил.— Из вашей характеристики, которую составили наши психологи, известно, что вы отличный пловец. Что, если мы высадим вас в пяти—десяти километрах от берега Латвии в небольшой резиновой лодке, снабженной мотором? Вы будете в костюме аквалангиста, с достаточным запасом сжатого воздуха. Подойдя как можно ближе к берегу, вы затопите лодку, а затем доберетесь под водой до берега. Ваш шеф, господин Будрис, точнее, его помощники заранее установят на каком-нибудь высоком дереве метрах в ста — двухстах от берега радиомаяк, так называемый беакон, на который сориентируется наш катер. Естественно, что господину Хельмуту Клозе не очень хочется снова забираться в территориальные воды Советского Союза. Русские пограничники довольно изрядно пощипали его. Пришлось капитану бежать в Швецию и отстаиваться там в ремонтном доке. Хорошо еще, что Советы не установили принадлежность судна...

Он недовольно поморщился. Лидумс осторожно заметил:

— Увы, ночи на Балтике становятся все светлее и короче...

— Да, тут вы правы...

Лидумс снова наполнил бокал Маккибина. Торопить его не хотелось.

— Сколько длится ночь в середине апреля? — вдруг неожиданно спросил он.

— Как мне помнится, не больше одиннадцати часов,— осторожно ответил Лидумс.— Но дело даже не в самой ночи... На море начинается весенняя флуоресценция. Если ночь лунная, то луна светит чересчур ярко. Одним словом, плывущий предмет нетрудно обнаружить с берега. После истории с катером в марте это стало ясно. Да еще и рыбаки выходят в это время на весеннюю путину...

— Да, да, да,— рассеянно подтвердил Маккибин.— Это в морском флоте не очень учли...

Маккибин допил свой бокал, поднялся.

— Я изложу ваше соображение адмиралу, с которым вы познакомились по приезде. Он с удовольствием вспоминает вас. А вы начисто презираете отдых?— Он с любопытством взглянул на Лидумса.— Мы собирались отправить вас в Пензанс, на побережье Атлантики, чтобы вы хоть немного отдохнули...

— Я обещал президенту Зариньшу принять участие в работе государственного совета...

— Ну что же, это отвлечет вас от мыслей о родине и займет ваш неутомимый мозг...

Лидумс уловил насмешку, но так как она относилась к «деятельности правительства», то обижаться не стал. Он все ждал главного разговора, так как знал, что не в правилах Маккибина приходить на коктейль только для того, чтобы обменяться с друзьями незамысловатыми шутками.

И вот этот момент наступил. Маккибин уселся поудобнее и, вертя в большой руке бокал, заговорил доверительным тоном старшего:

— Я надеюсь, что день вашего отбытия, мистер Казимир, не отодвинется очень надолго, во всяком случае, мы предпринимаем все необходимые шаги. И мне хочется поговорить с вами о некоторых вопросах, которые касаются вашего будущего. Естественно, ваше собственное мнение меня очень интересует. Например, как вы будете действовать после возвращения в Латвию? Мы хотим, чтобы вы могли продолжать вашу привычную жизнь. Поэтому вы должны тщательно разработать легенду на тот период времени, который вы провели в отряде и за границей. У меня имеется список различных новейших книг, вам его доставят. Если какая-либо из них будет необходима вам для разработки легенды, мы ее раздобудем. Кроме того, если вы пожелаете, мы можем устроить вам встречу с людьми, которые три года назад жили на Кавказе. Может быть, вам удобно будет сослаться на то, что вы жили некоторое время там? Я знаю, что вы отличный художник, и полагаю, что в России художники относительно свободны в передвижениях и смене мест проживания.

Лидумс отвечал медленно, обдумывая каждое слово:

— По возвращении в Латвию я некоторое время не буду показываться в обществе. Сначала я поеду в Москву, где у меня есть много друзей среди художников. Естественно, ни в лесу, ни здесь я работать по-настоящему не мог. Но дома у меня есть довольно много картин, которые неизвестны публике. Их я выставлю в Москве. Друзья оповестят об этом в прессе. После этого я явлюсь в Ригу. Встреча с кавказцами не нужна, так как я приблизительно в то же время сам жил на Кавказе и даже написал там несколько полотен...

— Отлично!—весело воскликнул Маккибин.— Я вижу, вы все предусмотрели заранее! А как объясняет ваше отсутствие семья?

— Ну, об этом заботится жена под руководством группы. Перед уходом в лес я взял командировку в Союзе художников на длительный срок. Следовательно, ей остается только сообщать, что я пишу такие-то картины... А будут ли они написаны или нет, неважно. И хорошие художники часто замазывают свои полотна...

— Будем считать, что с этим вопросом мы покончили. Перейдем к политике. Прежде всего о составе будущего правительства Латвии. Разумеется, мы запросим мнение вашей группы и примем все ваши рекомендации. Но нам понадобятся советники по делам Латвии на этой стороне. Я прошу вас подумать и сообщить, на кого из известных вам лиц, находящихся в эмиграции, мы можем опираться.

— Если вы позволите, я отвечу на ваш вопрос после совета с Будрисом...

— Конечно, конечно, это дело терпит!— согласился Маккибин. Он закурил новую сигару, отхлебнул глоток из бокала и заговорил снова. Теперь он давал советы, тоже тщательно выбирая слова, потому что речь шла о далеком будущем.— Мне хотелось бы,— цедил он негромко,— чтобы члены вашей группы и близко стоящие единомышленники старались при любой возможности продвигаться в обществе вверх по лестнице. Обязательно посылайте своих людей в другие советские республики, снабжая их материалами для тайнописи, чтобы они могли поддерживать связь с вами, а через вас — и с нами. Старайтесь поддерживать преданных людей материально,— средства мы будем перебрасывать вам через наши «почтовые ящики». В своей деятельности старайтесь опираться на лиц, проживающих легально, и планируйте вашу деятельность на много лет вперед. К вам лично у меня имеется просьба: сохранить свои позиции в легальной жизни, постараться выдвинуться в обществе. Работой на рации пока не занимайтесь, свои донесения пересылайте через других радиотелеграфистов группы. Вас лично я попрошу наблюдать постоянно за переменами в советском обществе, его психологической структурой, улавливать возникающие даже мельчайшие противоречия между различными социальными слоями населения и между национальностями, фиксировать такие факты и сообщать мне о них в письмах.

— А не может ли случиться так,—осторожно спросил Лидумс,— что в случае заключения какого-нибудь договора между Англией и СССР англичане откажутся помогать нашей группе и повернутся к нам спиной?

— На этот вопрос я не могу вам сказать ни да, ни нет. Я допускаю, что наше правительство может запретить нам морские операции... Возможно, что на некоторое время прекратится и снабжение. Но тогда мы будем искать другие пути, и ручаюсь, что связь мы будем поддерживать всегда, что бы ни говорили политики. Правительства в нашей стране меняются — английская же разведка остается. Иначе перед нами встанет вопрос, быть или не быть Британской империи...

— Благодарю вас за добрые намерения...— сказал Лидумс.

Как ни странно, этот разговор за сигарами, за бутылкой виски превратился в беседу политиков, пытающихся определить будущее всего мира. Лидумсу становилось все более неуютно. Неужели от таких вот «деятелей», как этот любитель рыбной ловли, или от какого-нибудь директора ЦРУ в Соединенных Штатах зависит жизнь или гибель миллионов людей? А Маккибин, словно уловив смятенное состояние Лидумса, заговорил опять:

— Сейчас я не требую от вас ничего такого, что создало бы для вас трудности или

осложнения. Но когда начнется война, мы потребуем от вас очень многого. Пока мы договоримся на том, что вы не станете обижаться, если я о чем-либо попрошу вас, а я, в свою очередь, не буду обижаться, если вы не сможете выполнить мою просьбу. Вот один из таких случаев: в одном из городов Латвии работает очень ценный для нас человек, который мог бы давать нам весьма интересную информацию. Согласится ли ваша группа помочь нам завербовать этого человека?

— Полагаю, что никто у нас против этого возражать не станет,— ответил Лидумс.— Но вопрос о вербовке связан со временем, и я не могу сказать, как скоро мы сможем чего-нибудь добиться. И нам важно знать, не работает ли этот человек на каком-либо оборонном предприятии. В этом случае вербовка становится весьма опасной.

— Если даже это и покажется опасным, я все-таки попрошу вас помочь нам. Для этой цели вам будут пересланы специальные рекомендации к этому человеку.

— А вы уверены, сэр, что дело это чистое? Не попадем ли мы прямо в объятия ЧК?

— Разумеется, я не могу сказать положа руку на сердце, что дело совершенно чистое. Вы сами знаете, что надо всегда соблюдать крайнюю осторожность. Встречу надо организовать неожиданно для него. Я, со своей стороны, дам вам несколько писем, которые вы должны будете предъявить определенным лицам, чтобы вам поверили. Письма будут без адресов и фамилий. Эти адреса я передам по радио, когда вы снова приступите к работе в Латвии. И еще посоветую вам подумать о средствах и возможностях пропаганды наших идей. Вам уже говорили, что мы разделяем пропаганду на белую, серую и черную. Всеми этими формами пропаганды нелегальная группа заниматься не может. Она может проводить только белую или черную пропаганду. Белой называется такая пропаганда, которую группа ведет от своего имени. Черной — от имени какого-нибудь государственного учреждения или от имени какого-нибудь ответственного лица. Серую пропаганду, которая предусматривает обработку общественного мнения через прессу и радио, могут время от времени проводить легально проживающие члены организации. Этот путь вам будет доступен, когда вы вернетесь к общественной жизни и восстановите свои старые связи с деятелями культуры. Но вам самому лучше оставаться в стороне на случай партийного или государственного преследования инакомыслящих.

Разговор, напоминавший тщательно отработанный инструктаж, понемногу подходил к концу. Лидумс, как гостеприимный хозяин, еще раз наполнял бокалы, но Маккибин не торопился пригубить. Он словно бы о чем-то размышлял. Затем вдруг сказал:

— Дорогой Казимир, мне необходимо посоветоваться с вами по одному крайне неприятному делу... Прошу вас извинить меня, но вы один можете разрешить мои сомнения...

— Я к вашим услугам...

— Мы получили странную телеграмму от Эгле. Вот она...— И передал Лидумсу документ.

Радиограмма с условным знаком Эгле, адресованная Силайсу, звучала так:

«Получил некоторые сведения о своих геройских подвигах. Должен констатировать, что мы во многом друг друга не понимаем. Выражаю тебе величайшую благодарность за все, что ты делал в мою пользу. Отменяю также все ограничения, которые я, твердо не продумав, дал тебе. Но и сам буду стараться оправдать доверие, которое ты оказал мне. Со своей стороны, никогда не думал порочить или портить твою работу. Надеюсь, что мы поймем друг друга...»

— Что это может значить? — с брезгливой миной спросил Маккибин.

— По-видимому, только то, что Будрис был прав, когда сообщил, что Эгле не выдержал долгой жизни в лесу и страдает психическим расстройством. Надо запросить Будриса о состоянии Эгле. Сумасшедший человек в подпольной группе может натворить много бед...

— Запрос Будрису мы передали, и он ответил, что Эгле действительно стал опасным для окружающих. Но вместе с тем Будрис требует, чтобы мы эвакуировали Эгле при первой возможности.

— Что же вы предлагаете?

— Мы не имеем права возиться с каким-то сумасшедшим! — резко ответил Маккибин.— Я поручил Силайсу ответить Будрису именно в этом духе, но Будрис отклонил его предложение избавиться от больного... Что вы думаете по этому поводу?

— Я считаю, что Будрис прав, не согласившись с Силайсом. Этот смертный приговор ни в чем не повинному человеку возмутил бы наших людей. У Эгле здесь отец и мать, жена и дети, которых он боится никогда больше не увидеть. Отчасти это и послужило одной из причин умственного расстройства, ну и, конечно, ощущение постоянной опасности и лишения, которые приходится переносить, находясь на нелегальном положении. Я бы просто предупредил Будриса в таком аспекте.— Он взял бумагу, написал несколько строк и передал Маккибину. Тот прочитал:

«С эвакуацией Эгле согласен в том случае, если он будет безопасен для всех на берегу. Я только что получил от него телеграмму, которая, несомненно, указывает на его неблагополучное психическое состояние. Необходимо, чтобы он в связи с планируемой операцией и болезнью немедленно передал вам все свои средства связи и оружие. Желаете ли вы, чтобы мы информировали Эгле сами?»

Маккибин задумчиво пожевал губами, медленно сложил лист пополам и сунул его в карман пиджака. После длинной паузы заговорил обычным доверительным тоном:

— Но почему он сошел с ума? Я видел этого Эгле несколько раз, и он казался мне вполне уравновешенным парнем. Что происходит с ними т а м?

Лидумс пожал плечами и сказал:

— Причины могут быть разные: или плохой человеческий материал, или постоянное ощущение опасности, которое может надломить и сильного человека. Кто знает, как это происходит? И где границы человеческих возможностей? — философски закончил он.

— А кого из наших людей вы возьмете в спутники?

— Я предпочел бы Биля и Альвираса, если вы не выберете кого-нибудь сами. С этими людьми я все-таки довольно долго делил пищу...

— Кого хотите, дорогой Казимир. Мы предложим вам десять — двенадцать кандидатов, а вы отберете пять-шесть, в том числе и тех, кого назвали...

Только теперь, в знак того, что все деловые разговоры окончены, он встал с бокалом в руке и начал внимательно рассматривать развешенные по стенам и приставленные к стене эскизы и картины. Он медленно переходил от картины к картине, наконец остановился среди комнаты и с сожалением сказал:

— А ведь все это вам придется оставить...

— Они и написаны для того, чтобы подарить их друзьям, которых я покидаю здесь!

— Тогда я первый претендент!

— Выбирайте!

Маккибин выбрал пейзаж в духе раннего Тернера: легкий туман в городе, темные здания чуть вырисовываются на переднем плане. Лидумс мысленно похвалил его вкус. Этот джентльмен умел не только плести международную сеть шпионажа или ловить рыбу, но понимал толк и в живописи...

Затем Маккибин сказал:

— Перед вашим отъездом на родину я, если вы позволите, устрою вам прощальный ужин. И пусть это случится поскорее, я вижу, что вы уже рветесь к новым действиям! Соберутся только ваши друзья. Биля и Альвираса не приглашайте, так как нам надо поговорить без посторонних. Хозяйкой ужина будет мисс Нора. Полагаю, что вдвоем с миссис Пегги они справятся отлично...

Он взял упакованную Лидумсом картину и пошел к машине. Лидумс вышел проводить его.

А перед концом рабочего дня позвонила Нора. Она попросила Лидумса никуда не выходить. Она еще не знала, когда освободится, но в голосе звучало такое нежное пение, что Лидумс понял: она все равно освободится!

3

«Полномочного министра и посла» Карла Зариньша английская разведка сделала чем-то вроде религиозной реликвии. Лидумс знал, что любого шпиона, отправляемого в Латвию, разведчики из «Норда» обязательно приводили к Зариньшу, как под благословение. И шпион сразу вырастал в своих собственных глазах, он уже становился «политическим представителем своего заграничного правительства». Не избежали этой участи и Вилкс, и Петерсон, и все другие шпионы, которые сейчас «паслись» в Курляндских лесах под тщательным присмотром «Графа», заменившего Лидумса на посту командира, и под строгим руководством Будриса.

Еще весной прошлого года Будрис, надеясь на скорое путешествие Лидумса в Лондон, предупреждал его, что недурно было бы снять позолоту с этой иконы. Несмотря на то, что подачки английской разведки и правительства ее величества были довольно скудными, Зариньш и Скуевиц продолжали игру в правительство: назначали послов взамен «скончавшихся по воле божьей» старых политиканов в те страны, которые под давлением Англии и США еще оказывали приют этим самозваным послам, писали какие-то протесты в ООН, пытались сколотить воедино латышскую эмиграцию, расползавшуюся во все стороны и разъединявшуюся на мельчайшие осколки. Лидумс видел и то, что его заявление об интересе группы Будриса к Зариньшу пришлось англичанам по душе, они готовы были потирать руки, убежденные, что буржуазно-националистическое движение в Латвии не только существует, но и будет плясать под их дудку. А старый Зариньш будет на этой дудке играть.

Скуевиц откликнулся на письмо Лидумса сочувственным посланием. Этот бывший директор департамента министерства финансов и сам хотел бы занять «пост» Зариньша, когда тот «волею божьей помре», и, уж во всяком случае, желал бы пока что получить должность министра. А поскольку англичане так носились с мистером Казимиром, то с ним следовало быть в ладу. Так началась серия заседаний у Зариньша, которые должны были объединить эмигрантское правительство в Лондоне с мифической «национально мыслящей группой Будриса»...

Всего этих заседаний было проведено семь. И Лидумс тщательно выполнял еще одну роль — роль дипломата, посланца «национально мыслящих» латышей.

Лидумс понимал, что до начала работы государственного совета — так предложил Зариньш называть это совещание — Скуевиц да и сам Зариньш забегут «посоветоваться» в английскую разведку, и терпеливо ожидал, когда Маккибин благословит и его. Эмигрантское правительство следовало обычному лакейскому правилу: из чьих рук ешь хлеб, на того и поглядывай! Сам он забегать за инструкциями не собирался.

За ним заехала Нора. Она привезла газеты «Правда» и «Циня» за все время, пока Лидумс был в ФРГ. Он не должен отрываться от жизни в Советском Союзе, а для этого надо следить за событиями на родине и за их освещением в прессе. Но газеты были только предлогом.

— Милый, это правда, что ты крупный судовладелец? — ошарашила она Лидумса.— Пожалуйста, не скрывай! Я сама наводила справки по поручению Маккибина. Я только не знала, что речь идет о тебе!

А ты промолчал! — упрекнула она.— Неужели ты не видишь, что я живу только тобой!

Он усмехнулся и пожал плечами.

— Почему ты молчишь? — чуть не со слезами воскликнула она.— Ведь это чудесно! Теперь тебе совсем ни к чему возвращаться в Латвию!

— Я, моя дорогая, солдат! — сухо ответил он.

— Но я уверена, что Маккибин с удовольствием заменит тебя кем-нибудь другим! Он приглашает тебя заехать сегодня и, как я понимаю, будет говорить именно о том, чтобы ты остался здесь. Ты будешь членом совета министров латвийского правительства в Лондоне, ну, а потом, когда Латвия будет освобождена, можешь въехать в Ригу хоть на белом коне. А пока мы будем вместе... Разве ты не хочешь этого?

— Не следует заставлять Маккибина ждать! — напомнил он.

— Но вечером ты приедешь ко мне! — потребовала она.

Он не поехал в ее автомобиле, этот «будуар на колесах» чересчур пропах ее духами, и Маккибин может подумать черт знает что.

Маккибин тоже взирал на него с удивлением и даже нежностью. Встретил в дверях, усадил не к письменному столу, а за маленький столик у окна, сразу создавая обстановку интимности.

По-видимому, он не знал, как начать разговор. Достал из кармана визитную карточку, написал что-то на ней и подал ее Лидумсу. На карточке было написано: «Викторс Вэтра?»

Лидумс молча кивнул.

Тогда Маккибин отобрал у него карточку и приписал под фамилией «562, 440». Лидумс прочитал цифры, объявляющие его состоятельным человеком, и молча разорвал карточку на мелкие кусочки, затем рассеянно поднес зажигалку к пепельнице и поджег.

— И это все? — тихо спросил Маккибин.

— Пока да.

— Но мы имеем возможность подтвердить вашу личность!

— Если это вас не затруднит, сделаем это несколько позже!

— Хорошо, мистер Казимир! — с какой-то даже грустью сказал Маккибин. Но тут же перешел на деловой тон: — У меня были Скуевиц и посол Зариньш. Не здесь, конечно, а на моем четверге. Чрезвычайно сожалею, что вы не знаете о моих четвергах. Собираются очень интересные люди. Обычный английский файф-о-клок. Послеобеденный чай. В следующий четверг мисс Нора доставит вас, я позабочусь. Посол Зариньш очень рад, что вы вернулись в Лондон, и хотел бы продолжить беседы с вами. Скуевиц подготовил черновые наметки для консультации с вами о будущем государственном устройстве Латвии. Я думаю,— тут Маккибин улыбнулся,— что вы не станете настаивать на участии коммунистов в будущем правительстве вашей страны?

— Постараюсь не тревожить господ Скуевица и Зариньша.

— Государственный совет решено составить из четырех человек. Председатель — Карл Зариньш, секретарь — Янис Скуевиц. Заместитель председателя — вы. Непременный член — Силайс. Но каждый участник совещания имеет право назвать еще несколько кандидатов. Однако для приглашения необходимо единогласное решение.

— Вы, как всегда, точны! — любезно ответил Лидумс, выслушав этот совет-приказ.

— Скуевиц позвонит вам завтра.

— Благодарю.

— Так вы все-таки не хотите стать частным лицом и пожить в Англии?

— Я как-то уже привык спать с заряженным пистолетом под подушкой и гранатой в изголовье постели. И мне не хочется подводить друзей...

— Но мы можем хотя бы представить вас руководителям «Ллойда» [1].

— Боюсь, что тогда я перестану быть частным лицом в нашем с вами понимании. Обязательно найдется какой-нибудь журналист, который напишет о появлении нового судовладельца или, чего доброго, еще и сфотографирует такового. А чекисты тоже читают газеты всего мира...

— Да, пожалуй, вы правы. Но как интересно было бы рассказать эту романтическую историю! И вы — в роли героя!

— По-моему, лучше быть живым, хотя и безвестным, нежели мертвым, пусть даже героем прессы...

— Придется принять и это замечание!— философски заключил Маккибин, провожая Лидумса. Но в дверях все-таки еще раз протянул: — А жаль, очень жаль!

На следующий день приехал Скуевиц. Его «заметки по государственному устройству свободной Латвии» оказались точной копией «устройства» фашистской ульманисовской Латвии. Но Лидумс не стал оспаривать эти проекты. Он в отличие от Зариньша, Скуевица и Силайса знал, что эти проекты никогда не будут претворены в жизнь.

Первое заседание нового совета было назначено на следующий день.

Все было устроено чрезвычайно чинно.

Четыре члена совета собрались в кабинете Зариньша. Первый вопрос — о кооптации других деятелей эмигрантских кругов — решился просто: стоило кому-нибудь назвать имя такого деятеля, как все остальные яростно нападали на новую кандидатуру. Так были отведены бывший министр общественных дел Альфред Берзиньш, лидер социал-демократической партии Бруно Калниньш, лидер крестьянского союза Кливе, председатель организации «Даугавс Ванаги» Янумс, католический епископ Ранцан. О них вспоминали и говорили с подлинной ненавистью.

Новое решение о государственном устройстве Латвии вырабатывалось довольно медленно. Едва прочитывали один абзац, как кто-нибудь из членов совета просил перерыва «для обдумывания». В сущности, шла игра в «государственную» деятельность. Лидумсу было ясно, что все наметки Скуевица, с которыми он согласился заранее, пройдут беспрепятственно, но «членам совета» было приятно напускать на себя таинственность.

В конце концов преамбула стала выглядеть весьма внушительно. Кроме, так сказать, легальных членов совета, в список участников включили и Лидумса. Он именовался представителем «группы национально мыслящих» латышей, существующей тайно в Латвии (группа Будриса), и заместителем председателя государственного совета.

Еще важнее был первый пункт решений:

«Временное правительство Латвии создает организованное движение сопротивления Латвии».

Этот пункт определял, что группа Будриса принимает непосредственное участие в решении «государственных дел».

Но самым главным стал шестой пункт:

«Сообщение для латышского народа о сформировании временного правительства и о его составе подписывают Чрезвычайный и Полномочный Министр Зариньш. Карлис (или его заместитель) и представитель группы Будриса. Это сообщение должно быть передано через радиостанции свободного мира в соответствующий момент, который определит группа Будриса».

Дальше дело пошло живее. Был принят тайный манифест, не упомянутый в «решениях». Его сочинили поклонники «железного Ульманиса» Скуевиц и Силайс. Он был краток и суров:

«...Коммунистическая партия со всеми ее организациями запрещается.

Учение коммунизма и коммунистическая агитация являются антигосударственными.

Распространение коммунистической литературы и других печатных изданий запрещается.

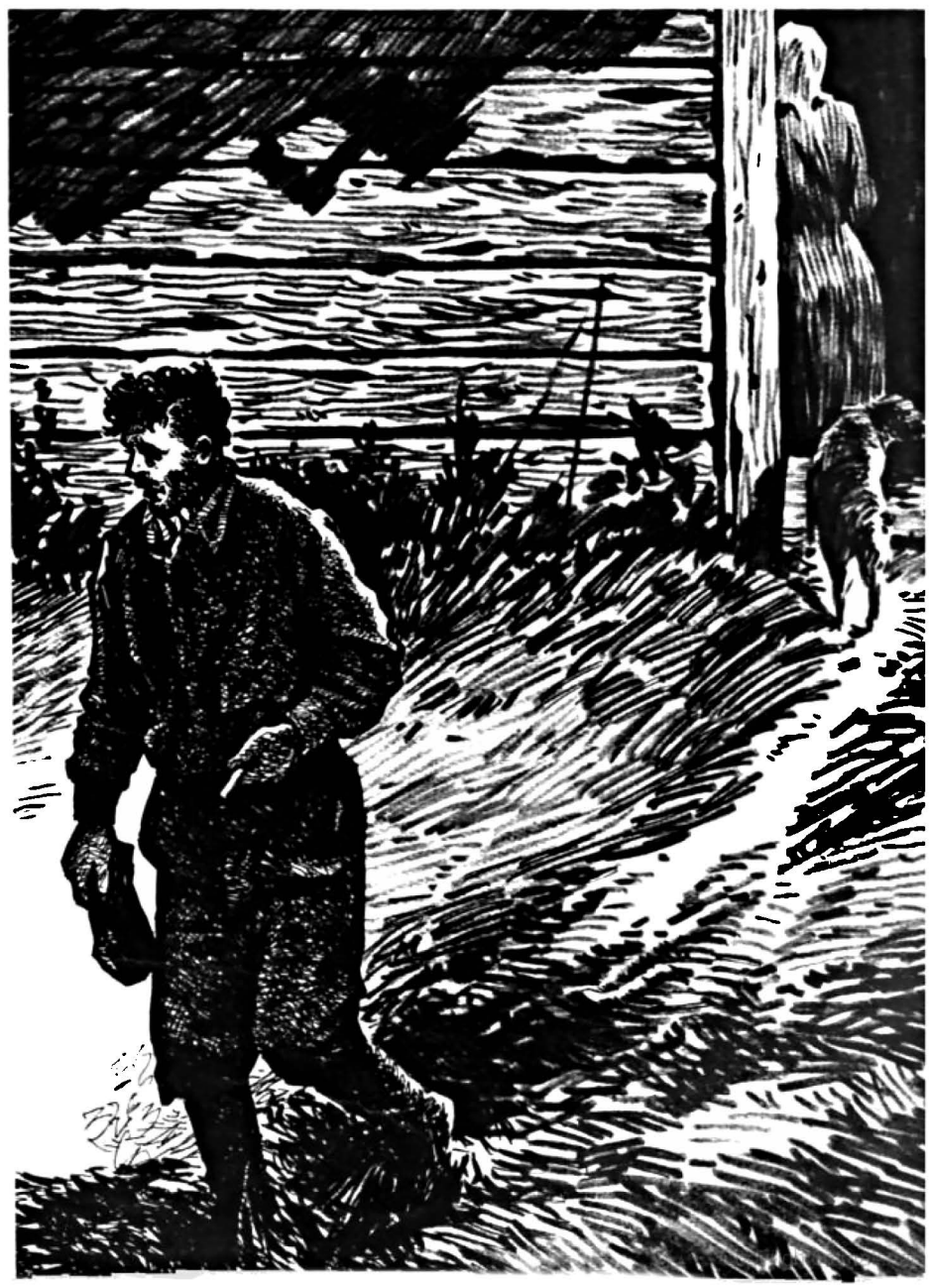
Руководящие работники коммунистической партии и ее учреждений должны быть арестованы.

Коммунистически настроенных граждан от руководящих государственных, хозяйственных, культурных и других сколько-нибудь важных постов отстранить.

В стране объявляется военное положение на 6 месяцев. В период военного положения вводится смертная казнь...»

Члены совета приняли и подписали постановление о вступлении в силу их решений. Постановление приготовили в трех экземплярах: один остался у Зариньша, второй получил для хранения Скуевиц, третий — Лидумс для передачи Будрису.

Продолжение следует.



[1] «Ллойд» — объединение страховых компаний и страховых маклеров Англии.

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА.

На последнем заседании было решено просить английскую разведку доставить «Решения» по ее каналам в группу Будриса.

По окончании работы совещания Зариньш дал банкет. И хотя на банкете не было тех, о ком заботился совет, пили много, произносили бравурные тосты, словом, чувствовали себя так, будто уже вступили в обетованную страну. Лидумс заботился лишь о том, как бы не опьянеть.

Уходил он вместе со Скуевицем и Силайсом. Когда они покинули посольство, Скуевиц вдруг сказал:

— Не понимаю, почему Зариньш так легко согласился подписать эти «Решения»? Ведь тем самым он юридически передал полученные им от правительства Ульманиса чрезвычайные полномочия группе Будриса...

Силайс довольно сухо возразил:

— Зариньш действительно стар. Теперь приходит время выдвигать более молодых и сильных людей.

Скуевиц пожал плечами и промолчал. Возможно, он тоже отнес себя к тем молодым, которым придется продолжать дело Зариньша. Лидумс сделал вид, что все идет, как должно.

На следующий день Лидумс передал в адрес Будриса отчетную радиограмму:

«Дорогой Будрис, задачи, относящиеся к будущему нашего государства и к руководимой тобой организации, мы вместе с Зариньшем и нашими английскими друзьями в принципе разрешили. Свое задание здесь я выполнил. Результаты радостные. При первой возможности вернусь к вам, так как полагаю, что мне необходимо быть дома в связи с этими решениями о нашей стране. Передайте привет жене и ободрите ее. Пусть она внимательно следит за событиями у меня на работе...»

Радиограмма была тщательно изучена в отделе «Норд» и передана адресату, так как вполне соответствовала и праздничному настроению мистера Казимира и крупным результатам его деятельности. Упоминание о жене не вызвало никаких сомнений — каждый человек, оторванный от семьи, скучает и думает о ней, — а для Будриса это упоминание было сигналом, что все действия Лидумса протекают вполне успешно.

В этот же сеанс односторонней связи Силайс передал Будрису:

«Взвешиваем все возможности возвращения нашего друга к вам. О конкретных действиях буду информировать...»

Ввиду важности сообщений из Лондона Будрис нарушил запрет англичан в связи со смертью Петерсона не выходить в эфир. В своем запрещении они указали на опасность пеленгации работающей станции. Но Будрис использовал рацию Делиньша, спрятанную в глубоком лесу, где пеленгаторы пока не появлялись. Он передавал:

«Лидумсу. Рады успешному окончанию переговоров и достигнутым результатам. Если вы с Силайсом считаете, что все наши вопросы улажены и решены, ускорь свое возвращение. Ждем сообщения Силайса о сроках операции, чтобы можно было заранее организовать все для приема. Желательно, чтобы ты оказался среди своих знакомых как можно быстрее. Договорись конкретнее о создании нашего постоянного представительства в Лондоне, предложенного Силайсом, и о практических задачах этого представительства. У нас все спокойно. По собранной до сих пор информации, активность чекистов в Курляндии значительно ослабела. Проведенное весной перемещение некоторых групп прошло без каких-либо происшествий. Будрис».

Лидумс внимательно читал эту весточку с Родины. Слова о «перемещении некоторых групп» обозначали, что шпионы и их «помощники» из оперативных работников Комитета госбезопасности уже переведены с хуторов в лесные бункера, хотя в лесу еще сыро и холодно. Но весной на хуторах начинаются полевые работы, и держать там посторонних людей опасно. Для Будриса и его людей начинался опять самый тяжелый период жизни в лесу. Сообщение о том, что «у нас все спокойно», было предназначено для англичан, чтобы они поторопились перебросить Лидумса и сопровождающих его людей морем на катере Хельмута Клозе.

Но, как Лидумс и предполагал, в самое светлое время года Хельмут Клозе не желал снова рисковать катером. После нескольких совещаний с Маккибином и полковником Скоттом Силайс передал Будрису:

«Технические обстоятельства не позволяют провести эту операцию весной. Поэтому возвращение Лидумса планируем на осень, сразу же, как позволит темнота...»

Лидумс был вынужден согласиться с многоопытным Силайсом. Одновременно с ним он направил и свою радиограмму:

«Как сообщил Силайс в своей радиограмме, до осени возвратиться не смогу, хотя задание и выполнено. Но лето не пройдет даром, так как мне предоставлены широкие возможности изучать все необходимое, что может пригодиться в дальнейшей работе организации. Как мы договаривались ранее, было бы целесообразно жене выехать на лето из Риги, чтобы подкрепить мое алиби...

Пойми мое положение, дорогой друг, я, как чайка, сейчас бы возвратился к родному берегу».

Эта условная фраза извещала латышских чекистов, что операция по заброске шпионов будет осуществлена морским путем.

Последнее замечание Лидумса о создании «алиби» очень понравилось Маккибину и Скотту: мистер Казимир действовал в полном соответствии с данными ему инструкциями «Норда». Но еще более понравилась эта строчка из радиограммы Балодису и генералу Егерсу, так как для них она обозначала, что положение Лидумса устойчиво и что он продолжает изучать работу «Норда» и тех людей, которых «Норд» предполагает отправить в Советский Союз в будущем...

4

Англичане согласились выполнить просьбу Зариньша о пересылке подлинного экземпляра «Решений лондонского совещания» в группу Будриса через мистера Казимира, а предварительно переслать их в тайнописном сообщении. Об этом доложил на совете Силайс.

Акции Силайса в эту весну значительно повысились. Во-первых, вся группа Будриса оказалась наиболее дееспособной из всех групп, заслланных из Лондона. Во-вторых, официальное участие в совещании сделало Силайса персоной грата в глазах «Норда», — все-таки почтение к различным церемониям у англичан в крови, а поскольку участие в Тайном совете возвело Силайса в ранг министра эмигрантского правительства, на каком бы месте ни росло это «правительство», соответственно поднималось и уважение к нему. А вместе с уважением — и доходы. Он уже приобрел машину и, конечно, не будуар на колесах, а вполне старомодную, громоздкую, которая выделялась среди малолитражек других сотрудников, как Ноев ковчег.

Но так как своим возвышением Силайс был обязан, в сущности, Лидумсу, а Лидумс оставался его союзником в постоянной и изнурительной борьбе с Ребане и Жакявичусом, то и он опекал Лидумса, как мог...

Через несколько дней Силайс навестил Лидумса.

В Лондоне наступило жаркое лето, город постепенно пустел. Готовились отбыть в отпуск и министры и члены парламента. Только разведка не прекращала работы.

Силайс оставил машину где-то на другой улице, пришел пешком. У него был служебный портфель, из тех, что можно прикрепить браслетом к кисти руки. В таких портфелях разведчики переносили особо важные документы. Браслет был скрыт рукавом, и вырвать портфель из рук его хозяина было невозможно.

Лидумс только что вернулся с этюдов — писал летний Лондон и теперь раскладывал полотна и листы бумаги с городскими пейзажами. После длительной работы в «Государ-

Продолжение. См. «Огонек» № 34.

ственном совете» он наконец выполнил приказ Маккибина и отдыхал. Бродил по городу, писал, иногда выезжал вместе с Норой, если она была свободна, за город, на природу, но больше проводил время в одиночестве. Лидумс уже давно привык жить и думать в одиночку.

— Вы с новостями? — приветствовал он Силайса, указывая взглядом на портфель.

— Подготовил письмо Будрису и хотел посоветоваться с вами...

— Очень рад! — живо воскликнул Лидумс. Он видел, что Силайс чем-то недоволен. Скорее всего, Силайс сунулся со своим письмом к полковнику Скотту, а может быть, и прямо к Маккибину. И кто-то из них посоветовал показать письмо сначала мистеру Казимиру. Он непринужденно добавил: — Давайте подышим вместе дымом латышского лесного костра!

— Да, в эту пору в Латвии можно жить и в лесу! — довольно вяло подхватил Силайс.

Он отомкнул замок браслета, затем открыл портфель и вынул пачку бумаг. Письмо, судя по всему, было длинное. Лидумс уселся в кресло, второе подтолкнул ногой Силайсу. Силайс прежде всего оглядел этюды, поставленные в ряд к стене.

— Отличные работы! — похвалил он.

Лидумс ничем не ответил на эту попытку скрыть неловкость.

— Прочитаете сами? — спросил Силайс.

— Зачем же? Я с удовольствием послушаю и, если вы разрешите, добавлю несколько слов от себя.

— Хорошо, — покорно сказал Силайс.

Читал он сначала с запинками, но постепенно разошелся, тем более что, взглядывая время от времени на Лидумса, видел на его лице неподдельный интерес. Лидумсу и на самом деле было интересно, как Силайс будет информировать Будриса о том, что произошло в их «правительстве»...

«Милые друзья на родине! — читал Силайс.— Вы, наверное, уже получили наши «Решения», которые были посланы вам тайным письмом. В этом письме я хочу проинформировать вас о моей работе в здешних условиях. Я особенно хочу подчеркнуть, что, читая это сообщение, вы сами увидите, насколько большое значение имела здесь миссия представителя родины и насколько правильным было ваше решение, несмотря на риск, послать его в Англию. Сердечное спасибо вам за эту решительность, твердость, несокрушимую веру в будущее Латвии и готовность на самопожертвование за нее, за то, что прислали сюда вашего представителя.

В результате наших совещаний мы решили передать обязанности временного правительства Латвии в руки организации сопротивления, то есть в ваши и наши руки. В связи с этим решением тепло приветствую руководство и каждого бойца. Каждому из вас желаю успеха, божьей помощи и благословения самоотверженно служить Латвии и латышскому народу до конца.

Передаю в ваше распоряжение копию наших важных решений, которые подписаны в трех экземплярах. Первый из них будет храниться у К. Зариньша, второй — у Я. Скуевица, третий доставит наш общий друг по возвращении для хранения в вашей группе.

Принимая во внимание наше «Решение», я хочу дать к первому пункту следующие разъяснения. Я понимаю, что ваша группа может выдвинуть в члены временного правительства и на другие ответственные государственные должности лиц, которые лично не принимали участия в движении сопротивления, но которые будут признаны и акцептированы вами. В отношении третьего пункта хочу сказать следующее. Западные государства не осудили преобразований, происшедших в нашей стране в связи с приходом к власти Ульманиса. Наглядным доказательством этого является существование всех наших последних дипломатических представителей в западных государствах...»

Дальше Силайс писал о будущем устройстве государства, о создании новой организации айзсаргов, но теперь они именовались «Стражи отечества», хотя все фашистские прерогативы оставались без изменений. На нескольких страницах он рассуждал о кандидате на пост главы государства Зариньше. Затем он писал:

«В связи с тем, что в наших «Решениях» должен быть вопрос о формировании нового правительства, вам следует обсудить также вопрос о его составе...

...Дорогие друзья, на нашем совещании в Лондоне был поднят вопрос о знаке вознаграждения для борцов, который отметил бы эти исторические дни и эпоху. Эта мысль от всего сердца была поддержана всеми участниками совещания, и мы уже придали конкретный образ и форму этому знаку и назвали его «Крест клятвы». Правила о награждении этим знаком и о его ношении мы не обсуждали, чтобы не обидеть борцов, так как не имеем полного представления о вашей борьбе. Это мы оставляем на ваше рассмотрение.

На прощание пожелаю вам успехов и большого счастья.

Бог да благословит Латвию.

СИЛАЙС».

«Все та же игра!» — думал Лидумс. Больше всего его поразил пункт в письме, где Силайс всесторонне описывал знаки различия для «Стражей отечества» и форму оплаты за их «работу» по арестам и уничтожению людей, которых они сочтут «врагами отечества». А к таковым Силайс относил всех коммунистов и комсомольцев, всех ответственных работников государственных учреждений и предприятий, а также, как указывалось в «Решениях», всех просоветски настроенных граждан.

Лидумс сумел вовремя придать лицу выражение размышляющего человека, хотя ему хотелось рассмеяться. Он встал и протянул Силайсу руку:

— Благодарю вас! Я знал, что вы мыслите по-государственному, но эта сжатость и резкость каждой формулировки потрясает меня!

Через несколько дней Силайс получил послание Будриса. Оно было тоже переслано тайнописью.

Документ был примечателен, и Лидумс остался доволен тем, что ответ Будриса оказался в Лондоне так быстро.

Это было тоже «Решение». Но оно, как говорится, пахло порохом и лесными кострами. В нем было примечательно все, от начала до конца. Будрис писал:

«Участники группы национально мыслящих латышей, руководимой Будрисом и действующей нелегально на территории Латвии, ознакомившись и тщательно изучив «Решение», принятое в Лондоне участниками организованного движения сопротивления, постановили:

1. Акцептировать принятое 10 апреля 195... года в латвийском посольстве в Лондоне «Решение» о предполагаемом политическом устройстве Латвийского государства...»

Дальше шли пункты, в которых признавались полномочия Карла Зариньша как временного главы будущего государства; пункт о назначении представителя группы Будриса в правительство, а затем решительное требование:

«4. ...просить Карла Зариньша консультироваться с нами... по вопросам выдвижения и назначения на посты наших дипломатов; систематически сообщать нам конспективную информацию о политических событиях, касающихся Латвийского государства, а также о деятельности латышских организаций за границей...»

В конце «Решения», после выражения благодарности ее величеству королеве Великобритании за моральную и материальную поддержку, следовало примечание:

«...Это «Решение» написано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранит группа Будриса, а второй должен храниться в латвийском посольстве в Лондоне.

10 мая 195... года.

Сигулда.

От имени участников группы БУДРИС».

Итак, Будрис миновал все рифы и подводные мели и стал контролировать деятельность эмигрантского правительства. Пока контролером является Лидумс, а потом Будрис найдет способ сменить Лидумса на этом высоком посту. И Зариньш будет вынужден умерить свою «политическую деятельность». За советом по каждому пустяку к Будрису не побежишь. А шпионские рации «Норда» будут забиты разной «дипломатической» чепухой, которую станет передавать Будрису «президент» Зариньш.

Эти мысли Лидумс хранил про себя. Его занимало, как радуется Зариньш, вдруг почувствовавший за своими немощными плечами «поддержку» с родины...

5

Маккибин и полковник Скотт придумали занятие для Лидумса.

Они, по-видимому, испытывали некоторые угрызения совести за то, что обещанная на весну операция по возвращению Лидумса на родину сорвалась, и боялись, что их «гость» заскучает. Поэтому в конце мая у Лидумса снова появился Малый Джон, на этот раз со своей собственной новенькой машиной, и предложил мистеру Казимиру побывать на двух конспиративных квартирах, где обучались завербованные англичанами прибалты; это необходимо было сделать для того, чтобы выбрать себе спутников для путешествия на родину.

Лидумс пошутил, что, наверно, торговля потопленными кораблями не такое уж малодоходное дело, если Малый Джон ухитрился купить не просто подержанную малолитражку, а настоящую гоночную машину, и Малый Джон весьма выразительно улыбнулся.

Для него эти поездки были чем-то вроде отпуска, но Лидумсу приходилось трудно. Мало было побыть несколько дней в той или иной школе, надо было запомнить имена, внешность, привычки людей, которые там обучались, чтобы по возвращении домой записать все это: ведь очень возможно, что ему еще придется встретиться с ними совсем в иной обстановке...

И руководители и воспитанники школ принимали мистера Казимира за какое-то высокополномочное лицо, в чем Лидумс их не разубеждал. Да и Малый Джон постоянно намекал на особое положение своего спутника.

В одной из школ Малый Джон показал Лидумсу на хозяйку «панснона», какую-то очень грустную молодую женщину, подавшую им обед, и шепнул:

— Это жена Эгле!

И Лидумс с невольным удовольствием подумал, что хоть эта женщина, может быть, еще обретет счастье, которого никогда не испытывают остальные жильцы этих тайных «панснонов» и школ.

Если поездок не было, Маккибин привлекал мистера Казимира к разработке и анализу поступающих от группы Будриса по радио и в тайнописных посланиях кое-каких шпионских данных. К этому времени англичане, утвердившись в своем полном доверии к «группе Будриса» и уверившись, что она действительно объединяет «национально мыслящих» лиц, начали понемногу раскрывать свои карты: по их представлениям, всякая националистическая группировка прежде всего должна была заниматься тотальным шпионажем в пользу «Интеллидженс сервис».

Четвертого июня Большой Джон показал Лидумсу подготовленный им по поручению полковника Скотта запрос в группу Будриса, в котором речь шла о конкретном задании:

«Полагаю, что для вас было бы возможно при помощи ваших друзей из Вентспилса, особенно рыбаков, еще до осени выяснить следующее: имеется ли в Вентспилском порту какой-нибудь плавучий док или плавучая ремонтная мастерская. Если имеется, прошу описать его флаг, вымпел, номер. Имеется ли на окраине города, со стороны моря, возможно восточнее замка, какое-либо новое либо строящееся здание, похожее на склад. Если имеется, то прошу описать, какое оно и для чего предусмотрено. Где находятся запретные места в Вентспилском порту. Прошу информировать обо всех замеченных радиолокаторных антеннах, особенно там, где кончаются молы. О всех замеченных антеннах сообщите письмом немедленно, а также вышлите их эскизы. Становятся ли на якорь пароходы между молами, прежде чем войти в порт, и на какое время. Прошу описание каждого военного корабля, который видели при входе или выходе из порта. В какое время они обычно выходят в море и когда возвращаются в порт. Имеется или был ли период, когда было запрещено находиться в южных районах города на побережье или въезд в город с этой стороны. К осени прошу подготовить эскизы, по возможности подробные, о Вентспилсе».

От Будриса еще не поступало сообщений о Вентспилсе, а Силайс под диктовку англичан подготовил еще одну радиограмму:

«Наши друзья здесь считают Вентспилс настолько важным пунктом, что просят вас обсудить вопрос о возможностях непрерывной регистрации там военных кораблей и данные о них телеграфировать мне два раза в месяц. Необходимо сообщать дату, время, название и обозначение судов, прибывших в порт и ушедших из него...»

А через несколько дней Лидумс читал ответ Будриса. Будрис не стал огорчать англичан отказом. Он просто сообщил о невозможности постоянного контроля:

«Мы не имеем возможности непрерывно контролировать движение военных кораблей в Вентспилсском порту с указанием часов и минут их прибытия и убытия, как вы предлагаете, так как военные корабли иногда прибывают в порт и убывают из него ночью. Мы могли бы сообщать вам, какие военные корабли видели в определенные дни. Для регистрации всех номеров нужно специально подъехать по Венте и наблюдать пришедшие в порт корабли со стороны реки. Такие поездки систематически осуществлять невозможно. Делать это возможно лишь летом, когда рыбацкие лодки прибывают в верховья Венты с грузом рыбы...»

Но не только Вентспилс интересовал англичан. В тот же день англичане послали через Силайса еще одну радиограмму:

«Мы были бы очень благодарны вам, если бы вы могли сообщить подробные сведения о заводе «ВЭФ» в Риге. Ранее поступившая от вас информация о заводе была принята с признанием. На этот раз они желают получить более подробное описание выпускаемых различных электрических приборов и аппаратов, с указанием правильного их названия, обозначения, номеров и так далее. Во всех случаях, когда это возможно, они просят указать объем продукции данного аппарата, куда их посылают и для каких целей производят. Заводские марки на выпускаемых изделиях имеют важное значение, на них имеется порядковый и заводской номер и другие важные знаки.

Разумеется, что на заводе производят тысячи разных предметов и частей, поэтому на первый план ставьте те, которые производят для военно-воздушных, морских или сухопутных сил или же по специальному заданию. Какие ученые там работают и их специальности. Производят ли на заводе такие инструменты или части, с помощью которых определяют передвижение или местонахождение подводных лодок под водой. Полагаем, что этот прибор по-русски называется «Тамар». Прибор работает на разных частотах, и в нем употребляются кварцы. Друзья особенно желали бы получить образцы этих кварцев. Любое указание, описание или схема этих приборов имели бы важное значение и большую ценность...»

Через две недели Лидумс имел удовольствие прочитать ответ Будриса:

«Сведения по интересующим друзей вопросам готовим и отправим во время операции. Еще раз проверили и подтверждаем, что между Сарнате и Ужава прожекторов нет. Наблюдение продолжаем».

Итак, Будрис приготовился к встрече.

Не оставлял Лидумса своими заботами и Зариньш: приглашал к ленчу под тем предлогом, что ему хочется услышать свежие новости о родной стране. Он прожил за пределами страны всю свою жизнь, даже говорил теперь по-латышски с акцентом.

Иногда налетала Нора: это был шторм. Она требовала, чтобы ее «викинг» всегда был в полном параде, и тащила его в какой-нибудь танцевальный зал или ресторан. Во время этих прогулок их чаще всего сопровождал Большой Джон, но Нора умела справиться с ним: заставляла напиться в начале вечера.

Но вот однажды, в субботу утром, приехала Нора. Была она грустной, какой-то неловкой, даже как бы постаревшей. Сказала, что сегодня Маккибин дает прощальный ужин в честь мистера Казимира, и еле удержала слезы. Моррис помог ей выгрузить из багажника корзины с вином и фруктами, миссис Пегги отправилась на рынок. Лидумс, не желая мешать подготовке к празднику, вывел из гаража машину и уехал прощаться с городом...

На самом деле ему просто хотелось поразить воображение гостей. Поэтому он, прокатившись по городу, заехал в порт к причалам, куда подходили рыболовецкие суда. Там ему удалось купить крупного живого угря.

Вернувшись домой, он налил полную ванну воды и пустил туда угря. Норы уже не было, а миссис Пегги в ванную комнату не заходила.

Он поставил на нескольких картинах дарственные автографы, подписываясь привычным для англичан именем «Казимир». Часов около пяти приехал Силайс.

Он предупредил, что Маккибин и Нора приедут не раньше семи вечера, но что у него есть свой разговор. Он привез письма, которые Лидумс должен был передать на родине. Письма были уже подготовлены для зашифровки. Силайс хотел лишь получить одобрение мистера Казимира или его поправки.

Письмо Силайса Будрису гласило:

«Полномочия для Зариньша и лондонские «Решения», чего, возможно, в самом начале мы с вами полностью не осознавали, были одним из больших шагов вперед в деле нашего совместного сотрудничества. Карл Зариньш сам перевел соответствующие места из «Решения» и протоколов на английский язык и вручил британскому министерству иностранных дел, которое почтительно приняло их.

...В течение прошедшего времени никаких особо важных изменений не было, за исключением все же того, что радары русских в Вентспилсе и Лиепае оттеснили нас в операциях довольно далеко в море, и нам теперь приходится добираться до берега на средствах, которые значительно ограничены в смысле вместимости и грузоподъемности. А это означает трудности с доставкой для вас оружия и боеприпасов. Но мы еще попробуем кое-что сделать, чтобы решить эту проблему...»

Следующее письмо было Будрису от Зариньша.

Зариньш писал:

«Дорогие соотечественники!

Советский Союз вооружен, если так можно сказать, до зубов. Но западные демократы тоже не дремлют. Запад готовится к войне...

...Мы должны сознавать, что освобождение мира должно идти с Запада на Восток. А мы находимся далеко на Востоке, но это не должно нас пугать, только нужно иметь терпение, выдержку и веру! Это то, что нам необходимо...»

Еще одно письмо было от Вилкса Будрису. Вилкс остался неизменен в своих антипатиях к англичанам и писал без дипломатических уверток:

«С тех пор, как мы простились на родине, у вас дома прошли долгие и тяжелые времена борьбы. Я был бы счастлив, если бы мог находиться у вас. Здесь же процветают интриги, обман и международная клевета. Обидно, что подобные вещи иногда прилипают к нашим людям на этой стороне. Это меня утомляет. В нашей работе больше, чем где-либо, необходимы ясность, единство и дружба. Обман необходим единственно против врагов. Видишь, Будрис, какие они бывают, «нравы» и «законы», и какая огромная разница с теми, которые в силе у вас — борцов на родине.

У меня нет сил и возможностей изложить эти обстоятельства, а иногда и события, которые нахожу неправильными, но имеется старая истина: все же лучше работать хотя и под плохим руководством, нежели идти каждому в свою сторону и не делать ничего. Всегда радостно сознавать возможность, хотя бы и на несколько минут, оказаться на берегах Курляндии и пожать руки старым друзьям...»

Лидумс одобрил послания, но письмо Вилкса предпочел оставить. Достаточно было того, что он запомнил его. А шифровальщики отдела «Норд» могли и доложить своему начальству неблагоприятные отзывы Вилкса об английской разведке. Силайс вполне с ним согласился...

Пока они сидели вдвоем в кабинете Лидумса, миссис Пегги накрыла на стол. Около семи вечера начали съезжаться гости: оба Джона, Жакявичус и Ребане, несколько старших сотрудников отдела «Норд», Маккибин и Нора. Вышедший встречать гостей Лидумс был поражен тем, что Маккибин привез с собой бутылку черного «рижского бальзама».

— Я хранил ее с тридцать восьмого года,— торжественно сообщил Маккибин,— со времени моей последней поездки в благословенную Латвию!

Этот дар был встречен всеми с восторгом. Только Нора и Большой Джон с улыбкой переглянулись с Лидумсом — вспомнили свой ужин в латышском ресторане...

Лидумс показал Маккибину угря, плававшего в ванне. Маккибин, хитро подмигнув ему, позвал Нору. Нора чуть не упала в обморок и завизжала на весь дом. На ее крик сбежались остальные гости. Сюрприз доставил всем не меньшее удовольствие, чем дар Маккибина. Особенно когда Лидумс пообещал приготовить его «по-латышски».

Миссис Пегги унесла угря на кухню, Нора пришла в себя, все собрались у стола. И тут Маккибин предложил назвать этот вечер «Вечером змей».

— Это название должно остаться между нами, участниками встречи,— торжественно сказал он.— Если я когда-нибудь по телефону, по радио или письменно спрошу любого из вас: «Помните, как тогда, на вечере змей, женщина купалась в ванне?» — то любой из вас, если с вами все будет в порядке, естественно, ответит: «То была не женщина, а угорь!» Сколько бы лет ни прошло с этой нашей встречи, вы всегда будете помнить этот пароль. Другие пароли,

к сожалению, очень часто забываются или путаются. Если допустить возможность, что вместо кого-нибудь из вас появится самозванец, он никогда не сможет дать на мой вопрос правильного ответа!

Предложение Маккибина было принято с восторгом. Да и весь вечер оказался необыкновенно приятным.

Когда угорь «по-латышски» был съеден, Маккибин произнес напутственное слово мистеру Казимиру:

— Связь с вами и с подобными вашей организациями и группами мы будем поддерживать всегда, в противном случае перед нами встал бы вопрос: быть или не быть Британской империи? И передайте господину Будрису, что английское правительство никогда и ни под каким видом не допустит создания латышского правительства без ведома и согласия группы Будриса...

Затем он напомнил, что английскую разведку, особенно отдел «Норд», крайне интересуют разведывательные данные, которые может доставлять группа Будриса. Лидумс ответил, что вполне понимает заботу англичан...

— Значит, договорились о том, что вы не станете обижаться на меня, если я буду требовать от вас такие сведения? — уточнил Маккибин.

— Да,— твердо ответил Лидумс.

После этой договоренности Маккибин пожелал Лидумсу успехов на благо Латвии и выразил еще раз надежду на плодотворное сотрудничество в будущем.

Около одиннадцати часов вечера гости разъехались.

Утром на следующий день Лидумса снова навестил Силайс. Он попросил Лидумса записать по памяти весь разговор с Маккибином, хотя и присутствовал при нем. Лидумс намекнул было, что Силайс мог сделать это и сам, но Силайс довольно высокопарно сообщил свое мнение о том, что этот разговор является «историческим» и запись должен сделать Лидумс как главный участник беседы. Лидумс не стал возражать. Просто подготовил его в двух экземплярах. Если разговор «исторический», то нужно оставить экземпляр и для Будриса.

«Радиограмма № 16/НС. 23 августа. Хотя мы сделаем все возможное, чтобы операция произошла в то время и в том месте, которое мы с тобой согласуем, все же всегда возможно, что плохая погода в ваших водах или непредвиденные препятствия могут заставить нас отложить операцию на следующую ночь или даже больше. В случае отсрочки мы, конечно, как можно быстрее информируем тебя по радио, чтобы вам не пришлось быть на побережье лишнее время. Пожалуйста, сообщи, на сколько дней до вашего выхода к берегу мы должны предупредить вас о начале операции. Сообщи также, сколько дней вы можете находиться без опасности вблизи от места операции, если она неожиданно задержится...»

Радиограммы сочинял и подписывал Силайс. В иные дни он отправлял по три — пять шифровок, и Лидумс, которому приходилось все их предварительно прочитывать, готов был выругать его за это словесное расточительство. Силайсу помогал готовить шифровки целый штат шифровальщиков, но там-то, в Латвии, с ними возится один Делиньш! А повторы, повторы? 23 августа Силайс отправил три радиограммы, и все они были посвящены одному вопросу!

«Радиограмма № 17 ЧС. 23 августа. Если по каким-либо причинам ты пожелаешь отложить операцию на несколько дней, сообщи нам об этом за тридцать часов. Но если ты захочешь задержать нас в связи с плохой погодой у вас, сообщи об этом телеграммой в этот же день до шестнадцати часов по московскому времени...»

«Радиограмма № 18 КС. 23 августа. Если по упомянутым в предыдущей радиограмме причинам нашу лодку пришлось бы отозвать, она обождет где-нибудь одну или несколько ночей и повторит операцию...»

Лидумс представлял, как бедный Делиньш, сидя в землянке где-то в курляндских лесах, проклинает многословие Силайса, расшифровывая эти документы.

Но все-таки дело шло на лад. К тридцатому августа были обговорены все сигналы:

«Радиограмма — 25 СК. 30 августа. Ты должен помочь нам провести операцию успешно, сигнализируя нам при помощи красного света следующим образом: начни подавать сигналы за полчаса до часа «Зеро»,— время операции, а именно 29 сентября в 23.30 МАЛ.— Московское время. Сигнализируй только в сторону моря в западном направлении, медленно поворачивая фонарь приблизительно на десять градусов влево и вправо. Если опасности нет, передавай непрерывно в течение двадцати секунд букву «К». Сигнализацию повторяй через каждые двадцать минут. Продолжай сигнализацию до 03.30 МАЛ или до тех пор, пока весельная лодка не причалит к берегу...»

Последняя радиограмма о порядке приема «гостей» была послана 14 сентября. В ней Силайс уславливался уже на тот случай, если гости не сразу будут найдены.

«В случае, если, выйдя на берег, наши лодки не сразу вас обнаружат, то прибывшие к вам будут имитировать один или несколько вскриков вальдшнепа, чтобы твои люди могли быстрее отыскать их, если бы весельная лодка вышла даже на несколько сот метров вправо или влево от обусловленного места...»

Оставалось всего две недели до дня «Зеро». Биль и Альвирас и три других спутника Лидумса уже покинули шпионскую школу. Они как-то притихли в эти дни, даже в город выходили редко. С Лидумсом были почтительны, старались не попадаться на глаза, все время проводили в верхних комнатах. Иногда Лидумс приглашал их покататься по вечернему Лондону, усаживал в машину и вез в какое-нибудь кино или в дешевый ресторанчик. Молодые люди пили мало, возможно, боялись, что англичане следят за ними. Раза два или три с ними увязывался и Вилкс, который все еще с удовольствием рассказывал о своих переживаниях. В такие дни Биль и Альвирас оживали: все-таки Вилкс был одним из тех, кто вернулся «оттуда»...

Но вот в середине сентября Лидумса пригласил Маккибин и изложил план возвращения. Сопровождать Лидумса и его спутников был назначен Большой Джон. Начальником группы утвержден Силайс. Группа отправляется на военном самолете в Западную Германию, затем перебрасывается в Гамбург, там отъезжающие ожидают погоды, грузятся на «Люрсен-С» и переходят под команду Хельмута Клозе.

Маккибин произнес приличествующий случаю спич, пожал Лидумсу руку, и Большой Джон, Силайс и Лидумс покинули гостеприимный отдел «Норд». Провожать их поехали полковник Скотт и Нора, но в дом к Лидумсу уже не зашли, простились у ворот. Глаза у Норы были заплаканные, и она все пряталась за спину полковника, чтобы остальные не заметили, какой у нее несчастный вид.

Силайс посоветовал пораньше лечь спать, так как машины придут не позже шести часов утра.

Все вещи были упакованы задолго до отъезда. Утром миссис Пегги разбудила Лидумса затемно и подала прощальный завтрак.

Подошли три автомашины, в багажниках которых тоже лежали тюки: «приданое» английской разведки. Там были оружие, переносные радиостанции, радиомаяки, аккумуляторы, шифровальные блокноты, бумага для тайнописи — одним словом, все, что должно было помочь спутникам Лидумса выполнить любое задание «Норда». Отъезжающие погрузили и свои вещи, и машины пошли по Лондону в сторону Королевской дороги, мимо Букингемского дворца с его стражей в красных мундирах и медвежьих шапках, мимо парков, по берегу Темзы. Лидумс, сидевший рядом с Силайсом и Большим Джоном, видел, что они смотрят на Лондон словно бы его глазами, прощаются с городом так же, как он, точнее,— сопереживают это прощание. А он действительно прощался: ему нравился этот скученный город небольших домов, узких улиц, из которых только Кингс-роуд — Королевская дорога напоминала родные улицы Риги, улицы Ленинграда, где было так много простора глазу и воздух совсем не был заражен «смогом» — этим ядовитым туманом, подавляющим Лондон...

Но вот они выскочили на «Горячий мост» — колоссальный виадук над множеством железнодорожных путей и шоссейных выездов из города, изогнувшийся высокой дугой перед началом самой крупной трассы Англии. На обоих концах моста, подогреваемого снизу тепловыми батареями, спасающими его от влаги и гололеда, на самых крупных домах стояли две телевизионные башни, с которых специальные стражи следили за тем, чтобы водители не превышали максимально допустимую скорость, которая здесь равнялась семидесяти километрам.

Впереди была государственная трасса, и шофер погнал машину быстрее, спидометр показал сто тридцать километров,— по сторонам дороги теперь мелькали виллы, мелкие поместьица, слева загудел огромный Лондонский аэропорт, на котором каждые две минуты приземлялся или поднимался самолет, и вот уже машина, не доехав до Оксфорда, повернула направо, и через несколько минут они были у ворот военного аэродрома...

Большой Джон сказал несколько слов дежурному офицеру, ворота распахнулись, и машины пошли прямо по летному полю. На взлетной полосе их ожидал большой четырехмоторный полутранспортный самолет.

Все вещи были немедленно погружены, пассажиры уселись, вслед за ними поднялись два английских офицера, и самолет пошел на взлет. Англия осталась позади...

Приземлились через два часа на военном английском аэродроме в Западной Германии. Там уже ждали машины, а у трапа Ребане, Жакявичус и Малый Джон. Они прилетели за несколько дней до Лидумса, чтобы подготовить безопасное пребывание в Западной Германии. Все трое были изрядно пьяны.

Заметив, как нахмурился Большой Джон, Ребане принялся объяснять, что у него сегодня памятный день. Тридцать лет назад ему присвоили в этот день первое офицерское звание. Поэтому сегодня он угощает всех своих друзей. Как видно, начал он свое юбилейное празднование рано утром. Сопровождавшие Ребане и его спутников несколько английских офицеров были тоже навеселе.

Выгрузив вещи, разведывательная группа уселась в автомобили и выехала с аэродрома в сопровождении английских офицеров в Бюнден.

Бюнден оказался маленьким городком и служил, должно быть, перевалочной базой при переброске шпионов на Восток. На углу улицы Седан машины остановились у двухэтажного дома. Вещи внесли в дом.

В роли хозяина выступал англичанин Джонни, лет сорока с небольшим, миниатюрный брюнет с курчавыми волосами, щегольски одетый. В такой же пустой и пыльной комнате, как и все другие, Лидумс увидел раскрытые чемоданы Джонни, в которых лежали по меньшей мере еще три или четыре новеньких костюма. Лидумс невольно подумал: сколько же времени собирается этот Джонни пребывать здесь в роли хозяина и сколько времени просидят в этом богом забытом Бюндене они сами?

Джонни познакомил их с кухаркой, полькой по имени Кэрола.

После обеда все разбрелись по комнатам отдыхать. Ушел только Большой Джон, предупредив, что никто из участников группы не должен выходить в город без него или Джонни...

Впрочем, Большой Джон почти постоянно отсутствовал: дежурил на аэродромной рации, ожидая приказа о дальнейшем передвижении группы. Так они просидели в этой тихой и пыльной провинциальной гостинице пять дней, выходя только по вечерам, чтобы выпить всей компанией пива в маленьком ресторанчике.

Но в один из этих тягостных дней Большой Джон явился с известием, что завтра группа выезжает в Гамбург.

Продолжение следует.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

РОМАН

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

Рисунки В. ВЭТРА.

7

Утром вся группа во главе с Большим Джоном выехала в Гамбург. Предстояло проехать километров триста. В Бюндене для связи остался Малый Джон.

От огромного Гамбурга после войны осталась только половина города. Развалины уже убрали, но новых строек было мало. «Великое боинское чудо» еще не распростерло свои черные крылья над этим городом. Однако после уравновешенного и спокойного Лондона Гамбург показался Лидумсу суетливым, хаотичным и шумным.

Машины пересекли весь город с запада на восток и остановились на окраине у большого трехэтажного особняка на Эльбас-штрассе, 23, на самом берегу Эльбы.

Особняк был пустынен. Большие комнаты, залы, паркет, резная деревянная мебель, обитая замшей,— все отдавало запустением, казалось, что и тут, как и в Бюндене, ни к чему не прикасалась рука хозяина.

Джонни и Кэрола и здесь держали себя как владельцы. Но их ничего не занимало, кроме обеда и вина. Они предоставили членам группы самим выбрать себе комнаты, и этим ограничилась их забота о «гостях».

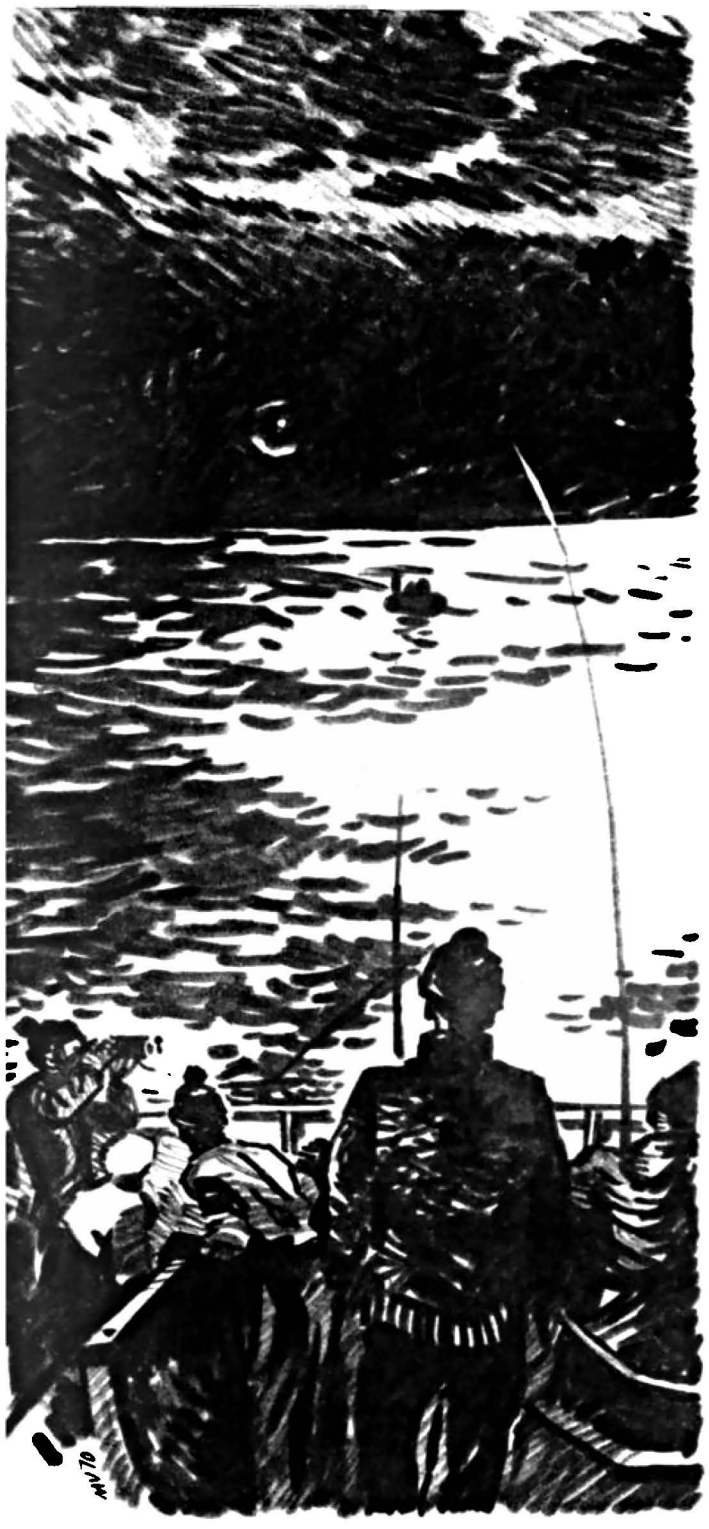
Группа находилась на трамплине, изготовившись для прыжка через Балтику. Все зависело от погоды. Большой Джон тут же пригласил Лидумса поехать с ним за метеосводками и радиоприказами. Теперь в дело вступал Хельмут Клозе. Его катер был связан по радио и с Гамбургом и с Лондоном. Радиосвязь осуществлялась из английского радиоцентра, находившегося в пяти километрах от Гамбурга, в районе Фолькштейна, на берегу Эльбы.

В один из дней тоскливого ожидания на Эльбас-штрассе, 23, появился Малый Джон. Он объявил, что погода на Балтике налаживается, и потому поторопился, чтобы успеть проводить Лидумса.

Малый Джон пригласил Лидумса и его спутников посетить кафедральный костел в Гамбурге и помолиться о благополучном возвращении на родину. Вместе с ними в костел отправились Ребане и Жакявичус. Биль и Альвирас сослались на то, что они протестанты, и пошли в другой храм.

По дороге в костел и на обратном пути Малый Джон много рассказывал о своих встречах с латышскими иезуитами. Интерес к иезуитам Малый Джон объяснил тем, что его мать является настоятельницей монастыря «Девы Марии» в Англии, который принадлежит «святому ордену».

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34, 35.



Прощаясь с Лидумсом, Малый Джон еще раз торжественно произнес:

— Идите и боритесь за церковь и свободу! В моей борьбе церковь всегда была на первом месте!

Лидумс не преминул передать Малому Джону просьбу, чтобы мать-настоятельница усердно помолилась за участников группы Будриса.

— Она уже делает это! — клятвенно заверил своего друга Малый Джон.

В Гамбурге было много других разведчиков. Один из крупных специалистов радиодела, англичанин Боот, пригласил Лидумса в радиоцентр и показал помещение, откуда он во время очередной «операции» ведет связь с катером Хельмута Клозе.

— И поверьте, у меня никогда не было ни срывов, ни потери радиосвязи!

— Если вы позволите мне воспользоваться вашим фотоаппаратом, то я сфотографирую вас,— сказал Лидумс.— После освобождения Латвии я помещу вашу фотографию в учебнике истории!

После того, как Боот был снят с «исторической» рацией, он сообщил, что на этот раз будет сопровождать Лидумса и его катер «Люрсен-С» на другом таком же быстроходном судне, чтобы в случае обнаружения катера Клозе советскими пограничниками прикрыть его отступление. Второй катер управляется англичанами, но все они носят тоже немецкую форму...

— Нам нет смысла ссориться с русскими! Пусть этим занимаются немцы! — пояснил он.

Боот с удовольствием рассказывал, как во время второй мировой войны принимал участие в вылавливании немецких шпионов, работая на радиопеленгационной станции «Ди-Фи».

— А теперь сотрудничаете с ними! — поддразнил его Лидумс.

— Ничего не поделаешь! — вздохнул Боот.— Я преподавал радиодело в десяти или одиннадцати шпионских школах на территории Англии и ФРГ. Среди учеников были и немцы. И я совсем не уверен, что они пришли в наши школы для того, чтобы работать на нас. Очень может быть, что их перекупали потом ами...

Дни проходили за днями.

От нечего делать посетили Ханзасский театр и Гамбургский оперный. Иногда вечерами играли в карты. Картежная игра чуть не вызвала ссору между Ребане и Лидумсом. Лидумс выиграл у Ребане крупную сумму. Тот продолжал играть уже в долг. Лидумс намекнул, что в долг играть неприлично. Ребане возмутился, но сходил за деньгами, швырнув проигрыш на стол, заявил, что играть больше не будет.

С Лидумсом он не разговаривал целые сутки. А на следующий вечер тихонько попросил денег для поездки в город. Когда Лидумс дал ему, не считая, несколько крупных купюр, отношения наладились.

Но вот приехал наконец чрезвычайно важный гость — вице-адмирал английского флота. Сначала он побеседовал с англичанами — офицерами разведки, затем пригласил Лидумса.

Это был человек выше среднего роста, лет пятидесяти, с веснушчатым лицом. Он говорил по-русски и по-немецки, но и на том и на другом языке с акцентом.

Адмирал сказал Лидумсу, что понимает, как нервничают участники группы, но они должны знать, что английское адмиралтейство отвечает за успех операции. Он пробыл недолго и, прощаясь, сказал, что едет в Киль, где будет лично следить за отправкой десанта.

На следующий день приехал еще более высокий гость: адмирал английского королевского флота, который отвечал за всю операцию. Сначала он пригласил к себе Малого Джона и Лидумса, потом, после короткого знакомства, вызвал по телефону Ребане и Силайса, побеседовал и с ними, а уже позже пригласил к себе всех участников группы Лидумса.

Он сообщил, что лично подготовил и подписал приказ о десанте, что уже побывал в Киле и что катер после ремонта находится в отличном состоянии.

Малый Джон шепнул Лидумсу, чтобы тот поблагодарил адмирала от имени участников группы на родном языке. Силайс поощрительно улыбнулся и предупредил адмирала, что руководитель группы желает сказать спич. Лидумс медленно заговорил:

— Господин адмирал, разрешите мне от имени всех участников предстоящего десанта поблагодарить вас за вашу любезность и внимание. Ваша забота прибавляет нам силы и позволит еще лучше работать на родине, чтобы оправдать не словами, а делами то высокое доверие, которое оказано нам группой Будриса. Сердечное спасибо за все!

Силайс по фразам перевел речь Лидумса. Малый Джон разлил по бокалам шампанское.

На следующий день Лидумс получил от адмирала письмо из Киля, в котором адмирал с восторгом заявлял, что его радует бодрый дух участников десанта, и выражал надежду, что они еще встретятся, как братья по оружию.

8.

В тот день, когда пришло письмо от адмирала, в пятнадцать ноль-ноль Большому Джону сообщили, что вся группа должна выехать из Гамбурга в девятнадцать тридцать, погода на Балтике благоприятна для десанта.

Засуетились все. Малый Джон выдавал каждому отдельно личные вещи, коды, карты, деньги, до этого хранившиеся у него в комнате в сейфе.

Когда все вещи были упакованы в чемоданы и мешки, Силайс произвел так называемый «полицейский» осмотр всего, что было надето или находилось при шпионах. «Это мы делаем для вашей же безопасности!» — заявил он. Ему помогал Малый Джон.

Осмотр был чрезвычайно тщательным: все лишнее немедленно изымалось. Изъят был и тренировочный американский костюм Биля, к полному удовольствию его друга Альвираса. Но, подойдя к вещам Лидумса, Малый Джон сказал, что тут осмотр не нужен: хозяин этих вещей сам знает, что можно, а чего нельзя везти в Латвию.

В час отъезда Лидумс получил свой паспорт, который проделал длинный путь по канцеляриям тайной английской службы и наконец-то вернулся к владельцу.

Попрощавшись со всеми провожавшими, с Ребане и Жакявичусом, с Джонни и Кэролой, с Большим Джоном, участники десанта в сопровождении Малого Джона тронулись в путь в сторону Киля. По пути машина несколько раз останавливалась: англичанин, ведший ее, объяснил, что они не могут приехать ни на минуту раньше или позже. В Киле простояли пятнадцать минут в каком-то тихом переулке.

Выехали к Эльбе. Машина въехала в неосвещенный сад. Шофер заранее предупредил, что действовать надо быстро и без разговоров.

В саду к участникам группы, высаживавшимся из машины, подошли два англичанина, один лет сорока, второй — молодой. Эти двое помогли вытащить вещи и перенести по узкой тропинке на берег реки. Там, в весельной шлюпке, их уже ожидали два члена команды катера «Люрсен-С», стоявшего на середине реки. Молча усадив людей и уложив вещи, матросы погнали лодку к катеру.

Когда группа была уже на катере, вице-адмирал представил их капитану Хельмуту Клозе. Капитан приветливо встретил Лидумса.

Малый Джон вручил каждому из участников десанта по две ампулы с ядом и огнестрельное оружие. Вице-адмирал сказал напутственное слово.

Малый Джон и вице-адмирал покинули катер. Как только отвалила их лодка, на катере заработали моторы. Хельмут Клозе приказал поднять английский флаг.

На следующее утро Лидумс, проснувшись, поднялся на мостик. Клозе, по-видимому, еще не ложился. Кругом было только море, катер быстро шел вперед. Капитан передал штурвал помощнику и пригласил всех участников группы позавтракать. Он предупредил, что около десяти часов утра по среднеевропейскому времени катер ста-

нет на стоянку возле датского острова Борнхольм, а пока десантникам следовало опробовать оружие.

После плотного завтрака все поднялись на палубу: стреляли по брошенным в волны консервным банкам, еще раз почистили и смазали оружие.

На горизонте показался силуэт судна, и Клозе приказал заменить английский флаг шведским. Судно оказалось крупным шведским катером. Несколько позже мимо них прошел огромный пассажирский теплоход, а затем показался голубоватый силуэт острова Борнхольм.

Вскоре примерно в одном километре от острова катер бросил якорь.

Операция должна была начаться вечером, и весь день участники оставались на борту. Лидумс приказал своим помощникам еще раз тщательно проверить упаковку шпионского снаряжения, оружия и всего прочего. А капитан Клозе устроил «учения» по владению резиновой лодкой «Динги» и по работе на радиомаяке, установленном на ней.

Перед обедом, когда все участники группы находились на палубе, над катером пролетел самолет. Он выключил на несколько секунд мотор и помахал крыльями. Сделав круг, самолет удалился на запад. Лидумс спросил, чей это самолет, Клозе ответил кратко: «Наши друзья!»

К вечеру капитан получил радиограмму, что операция откладывается на сутки: на Балтике штормовая погода. Клозе сообщил об этом Лидумсу и предложил провести еще одно «учение» — на этот раз по высадке десанта. Участники группы с наивозможнейшей быстротой уложили в шлюпку свои вещи, попрыгали в нее вслед за гребцами, и лодка пошла в сторону моря. Во время этих учений Клозе обращал особое внимание на быстроту и очередность посадки участников десанта: он объяснил, что радары русских на берегах Курляндии — весьма опасное оружие и что он не может рисковать катером при задержке погрузки и выгрузки десантников...

На другой день утром Клозе разрешили прорываться к берегам Латвии. Снялись с якоря в девять утра по среднеевропейскому времени и пошли в море со скоростью пятьдесят — шестьдесят километров в час. Шли под английским флагом. Ветер то усиливался, то стихал. Но, когда прошли часа три в северо-восточном направлении, море разбушевалось.

Клозе с сожалением сказал:

— Придется операцию отложить. Пока мы направимся в борнхольмскую гавань Рённе, чтобы взять горючего и переждать шторм...

В гавани Клозе приказал из каюты не выходить. А для полной маскировки выдал всем белые свитера и черные матросские брюки.

Отсиживаться в Рённе пришлось несколько дней: разрешения на выход в море англичане не давали. Сначала Клозе соблюдал все меры предосторожности, но в конце концов разрешил участникам группы выходить по вечерам в городок по одному в сопровождении кого-нибудь из членов команды. Сам он брал с собой Лидумса.

Разговоры Клозе становились все более доверительными. Он неоднократно напоминал, что латыши и немцы имеют давние исторические связи, тогда как англичане давно выпали из этого исторического родства. Он высказывал надежду, что в очень скором времени группа Будриса будет ориентироваться не на Англию, а на свою соседку Западную Германию.

— Но вы-то служите Англии,— сказал Лидумс.

— Если вы думаете, что все расходы по этой операции вместе с риском провала несут англичане,— с некоторой обидой, но и гордостью в то же время сказал Клозе,— то глубоко заблуждаетесь. Все это оплачиваем мы. Знает ли, например, ваш руководитель герр Будрис, что экипаж этого судна состоит исключительно из немцев?

— Признаться, я сам этого не представлял,— ответил Лидумс.

— Ну вот видите! Англичане все время пытаются въехать в рай на чужом горбу! Но, кажется, настает время, когда все эти попытки пойдут прахом...

— Вы имеете в виду перемену ориентировки? С англичан на американцев?

— Честно говоря, мы презираем одинаково и тех и других. Все это любители легкой наживы. Но мы сделали то, что хотели: сохранили наши кадры и теперь знаем, что совсем недалек день, когда знамя новой Германии взовьется над рейхстагом.

— Если бы я представлял себе это раньше, я бы все свое внимание отдал вам,— сказал Лидумс. Даже для него, искушенного в политике человека, откровения Клозе показались чудовищными!

— Хотелось бы знать, сколько денег получила группа Будриса от англичан? — спросил Клозе.

— К сожалению, я военный руководитель и не вмешиваюсь в чисто хозяйственные и политические дела группы,— ответил Лидумс.

На завтра Клозе праздновал день своего рождения. Это было девятого сентября.

Утром Лидумс преподнес ему вместе с письменным поздравлением часы. Клозе был очень растроган этим подарком.

Лидумс поинтересовался, не кажется ли датским властям Борнхольма подозрительным, что его катер пребывает в датских водах уже несколько дней?

— А, все они одним миром мазаны — НАТО. Хотя датская секретная служба ничего не знает, но они понимают, что я нахожусь здесь по заданию английской секретной службы,— небрежно ответил он.

Прошел еще один тягостный день, и одиннадцатого сентября Клозе приказал сниматься с якоря. На Балтике наступило улучшение погоды.

Катер пошел к восточному побережью острова Готланд.

9.

Около двух часов дня Клозе сообщил Лидумсу, что из Лондона только что получено согласие на проведение операции, а радист Будриса передал, что обстановка на побережье в Курляндии спокойна. Еще через два часа катер достиг острова Готланд. Здесь он остановился.

Все участники группы спустились в каюту. Были слышны команды Клозе. Капитан катера распорядился приготовить к действию автоматы и дымовые ракеты, установить на мачте радарную антенну, а впереди, по носу судна,— два радиоаппарата для приема сигналов радиомаяка с берега. Спасательную шлюпку, находившуюся на палубе, снабдили запасом воды и продуктов.

Сгустились сумерки, и Клозе приказал: на палубе не курить и громко не разговаривать. Лидумс, вышедший на палубу, увидел, как капитан погрозил в сторону востока кулаком, а затем отдал приказ включить моторы. В это время катер так резко свернул с курса на юг, что Лидумс едва удержался на ногах. Впрочем, движение скоро выровнялось, а сбежавший по трапу матрос объяснил, что в море встретился советский военный корабль и это заставило капитана так резко изменить свой курс.

Вскоре все моторы, кроме одного, Клозе выключил. Лидумс понял, что они приближаются к латвийскому побережью. Этой минуты он не мог пропустить и прошел в рубку капитана.

Темная полоса земли виднелась на горизонте. Каждые пять минут штурман объявлял глубину, причем говорил шепотом, как будто даже темнота вокруг являлась не союзником нарушителей границы, а опасным противником.

— Одиннадцать! Десять! Девять! — монотонно шептал штурман, и катер все замедлял ход. Впередсмотрящие с правого и левого борта вглядывались в темноту.

Как только штурман передал глубину «Семь!», катер остановился. Еще несколько минут он по инерции приближался к далекой, затянутой темнотой земле, но вот всякое движение словно бы прекратилось.

Тихонько вызванные капитаном появились Биль, Альвирас и остальные десантники. Они тревожно всматривались в темноту, не произнося ни слова даже шепотом.

В это время матросы подготовили к спуску весельную шлюпку, подвесили ее на талях, настороженно вглядываясь в сторону берега.

Стояла глубокая тишина. Слышалось только монотонное жужжание беакона, передававшего сигналы из этой молчаливой темноты берега. И вдруг на берегу вспыхнул узкий луч света. И сразу стало понятно, что эта столь долго ожидаемая земля совсем недалеко.

Шлюпка тотчас же оказалась на воде у борта катера. Матросы-гребцы укладывали в нее снаряжение группы. Лидумс шагнул к капитану и поблагодарил его за удачную операцию, которую, несомненно, оценят в Лондоне. Затем первым спустился в шлюпку.

Когда все разместились, Лидумс дал знак, и тали, удерживавшие лодку, были отцеплены. С катера донеслись последние слова Клозе: «Счастливого пути!» Лодка беззвучно отвалила от судна.

Изредка в борт била осенняя волна Балтики. Но берег все приближался, и теперь волна была не страшна.

Лодка находилась метрах в трехстах от берега, когда по воде заскользил луч сильного прожектора, вероятно, расположенного у подножия Ужавского маяка. Он медленно двигался по воде. Без всякого предупреждения и гребцы и пассажиры прильнули к дну. Набежавшая крупная волна, чуть не опрокинувшая лодку, сделала свое спасительное дело — закрыла лодку от глаз прожектериста.

Берег приближался, луна, выныривавшая из облаков, освещала желтую полосу песка на прибое, а Лидумс думал о том, что наконец-то кончается его «война нервов».

Когда до берега осталось не больше пятидесяти метров, спокойные, хотя и крупные волны внезапно превратились в грозный ревущий прибой с пеной и брызгами, но все равно они толкали лодку к берегу и вдруг, внезапно приподняв ее, посадили на береговой, залитый пеной песок.

Луна, прорвавшаяся еще раз сквозь тучи, озарила землю Латвии, родину Лидумса.

Они с помощью гребцов еще выбрасывали на берег подальше от прибоя свои тюки, мешки, чемоданы, а с крутого берега уже спускались встречающие. Среди них Лидумс приметил человека с опущенной головой, который еле передвигал ноги, так что его вынуждены были поддерживать двое сопровождающих. Граф скомандовал гребцам, чтобы они помогли поднять этого человека на борт лодки, те засуетились, а Граф бросился обнимать Лидумса.

Старший гребец тронул Лидумса за плечо, прося разрешения на отъезд. Граф швырнул в лодку большой мешок, по-видимому, с книгами. Лидумс попрощался с командой, те попрыгали в лодку, и она сразу слилась с волнами.

Продолжение на стр. 28—29.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Продолжение.

— Кто этот уехавший человек? — одними губами спросил Биль, привалясь к плечу Лидумса.

— Наш заболевший товарищ. Его отправили на лечение в Англию...

В это время на лодке включили мотор, и Граф, по-мужски выругавшись, приказал:

— Скорей берите вещи — и за мной! Теперь нам придется поторапливаться, такой треск слышен километров на десять по побережью! А тут еще надо все подмести и осмотреть, чтобы никаких следов не осталось!

Приказ Графа исполняли с крайней поспешностью. Впереди была Латвия.

10.

Ночь и опасность торопили людей.

«Гости» и люди Графа похватали вещи, и все устремились вверх по крутому обрыву под спасительную защиту леса.

Граф приказал ускорить шаг.

Около двух километров шпионы и люди Графа шли быстрым шагом, переходившим в размеренный бег там, где позволял лес. Каждый нес тяжелый груз, люди начали задыхаться, но тут Граф объявил свистящим шепотом привал.

Все повалились на землю, стремясь отдышаться как можно скорее. Неизвестно, сколько еще придется бежать вот так же стремительно.

В это время к ним подошел Делиньш со своей рацией и спутником, помогавшим ему работать во время операции. Делиньш оглядел высокие деревья, поискал какие-то предметы на стволах и залез на одну из высоких сосен: тут все деревья, обдутые морскими ветрами, были раскидисты и искривлены, но, видно, Делиньш знал, что и где ищет. Через несколько минут он спустился с небольшим переносным беаконом в руке и торжественно сообщил, обращаясь уже не столько к непосредственному своему командиру Графу, сколько к Лидумсу:

— Последний маяк снят, командир!

Только после этого он пожал Лидумсу руку, а тот молча поцеловал его.

Шпионы представились командиру. Граф оглядел их, как будто примерял, на что они годны. Шпионы тут же начали искать место для того, чтобы спрятать тяжелые грузы. Под деревом, на котором прежде висел беакон, оборудовали тайники, в которые тщательно уложили оружие, боеприпасы, агрегаты для зарядки аккумуляторов, рации вместе с шифрами, чемоданы с деньгами, ядами... Только Лидумс не снял свой заплечный мешок, остальные были готовы избавиться даже от пистолетов и ножей.

Граф посоветовал шпионам взять с собой продовольствие, так как первый лесной привал придется сделать в Тераидском лесном массиве, где у отряда есть запасной бункер на случай внезапной перемены стоянки, но никаких припасов там нет.

Вот на этом предрассветном привале вымокшие от росы и пота шпионы начали, по-видимому, понимать, что такое лесная жизнь. А Граф все торопил, поглядывая на светлеющее небо. Они закопали свои вещи в ельнике, под деревом с раскидистой кроной, тщательно замаскировали место, но Граф знал, что оперативные работники еще сегодня днем вынут вещи из тайника, перефотографируют шифры, коды, заменят безобидным порошком яды, а потом уложат все на место.

— Следующий бросок,— сказал Граф,— еще с десяток километров.

Как ни тренированы были шпионы, но к концу этого рассветного перехода они с уважением поглядывали не только на «лесных братьев», но и на самого Казимира, который шел тем же охотничьим шагом, не сбивал дыхания, не запинался, не шумел ветками и валежником, будто был таким же бесплотным, как и «лесные рыси».

Но и в тот час, когда отряд остановился в бункере Тераидского леса и все торопливо бросились на нары, самый молодой из «лесных братьев», Делиньш, всю дорогу несший свою тяжелую старомодную рацию, сразу исполнил приказ Графа: выйти и разведать местность.

Все уже спали, когда Делиньш вернулся, но случайно проснувшийся Биль увидел, как вернувшийся тронул за плечо руководителя отряда, и Граф беззвучно встал, взял автомат и вышел на охрану. Делиньш занял его место на нарах, заваленных сеном, и тотчас уснул.

Перед заходом солнца Граф разбудил всех: сухой паек был разложен на столе, горячий чай разлит в разнокалиберную посуду, которая нашлась в бункере и в рюкзаках. Наспех поели и снова вышли в поход. Шли всю ночь и только утром следующего дня достигли наконец главной базы отряда в Эдальском лесном массиве.

11.

Первый день был предоставлен прибывшим для отдыха. Сразу после довольно сытного завтрака из дичи, домашней свинины со стаканом водки сверх всего и чашкой хорошего кофе «лесные братья» разошлись. Одни отправились осматривать силки и капканы, другие — на разведку местности, третьи — на встречу со своими «пособниками», а новичков оставили отдыхать. И новички опять подивились дисциплинированности, а главное, выдержке этих людей. Еще до завтрака Делиньш развернул рацию и передал в Лондон первое сообщение о том, что все участники группы достигли места назначения. Во второй радиограмме, предназначенной для командира катера Хельмута Клозе, Делиньш гневно требовал примерного наказания для гребцов лодки, которые чуть не провалили всю операцию, включив мотор на уходящей лодке в пятнадцати метрах от берега...

Альвирас, улучив минуту после завтрака, попросил Лидумса и Графа устроить ему встречу с «руководителем национально мыслящих латышей» господином Будрисом. Это могло означать только одно: Альвирас имел задание от англичан на самостоятельную деятельность.

Граф грустно сказал, что во время подготовки к приему десанта Будрис довольно сильно простудился и теперь болен воспалением легких. Пока он может принять только Лидумса, который должен поехать в Ригу на встречу с семьей...

Лидумс поблагодарил Графа за разрешение на выход из лагеря. После этого в присутствии всех пяти десантников Лидумс отдал Графу распоряжение: вся группа в первое время после такой блестяще завершенной операции должна вести себя крайне осторожно. Разведение костров свести до минимума: запах дыма может навести чекистов на след. Крайне осторожно и только в исключительных случаях выходить на встречу с «пособниками». Связь с лондонским центром по радио пока прекратить. Вещи из тайников изъять не ранее как через десять — двенадцать дней, когда Будрис предпримет необходимые меры, чтобы проверить безопасность подхода к тайникам.

После этого довольно строгого разговора как бы в утешение перепуганным шпионам Граф объявил, что в ознаменование так благополучно проведенной операции все участники ее приглашаются на торжественный обед. И действительно, пока руководители совещались с вновь прибывшими «друзьями», в бункере был накрыт стол. На этом праздничном столе оказались дикая коза, свежая свинина, грибы, пиво домашнего изготовления, деревянный жбан с самогоном, а для любителей — несколько бутылок водки. Этот праздничный обед немного успокоил и утешил новых участников группы.

Но тосты — увы! — произносились вполголоса, а когда кто-то из вновь прибывших затеял было спеть гимн буржуазной Латвии, его довольно резко одернули.

Но этот октябрьский день, еще теплый, осиянный солнцем, пахнущий лесной смолой, дымком от костра, что теплился неподалеку от бункера, с золотом березовой листвы и яркими вспышками рябиновых гроздьев, был так прекрасен и спокоен, что шпионы почувствовали себя так же безмятежно, как если бы вернулись в родной дом после долгого и трудного путешествия.

А Лидумс в сопровождении Коха в это время уже спешил на хутор Арвида, где его ждал «больной» Будрис...

Продолжение следует.

РОМАН

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

12

Лидумс распахнул тяжелую, уже по-зимнему обитую войлоком дверь и остановился на пороге. Керосиновая висячая лампа-«молния» освещала сидевшего за столом полковника Балодиса, отмечавшего что-то на крупномасштабной карте. «Как на войне!»

Полковник был в штатском костюме. За эти два года прибавилось седины у него в волосах, морщины стали еще резче. Он вскочил, роняя карандаш.

— Вернулся! Вернулся! — с каким-то по-детски радостным смехом проговорил полковник и стиснул Лидумса своими сильными руками. Так они стояли, прижавшись друг к другу, несколько долгих мгновений.

Арвид и Кох, вошедшие вслед за Лидумсом, остановились и обошли обнявшихся друзей, переглядываясь и улыбаясь. И хотя Арвид не знал, откуда вернулся Лидумс и как появился вновь на его хуторе, он тоже весело улыбался: уж очень трогательной была встреча друзей. «Совсем как школьники после каникул!» — буркнул он Коху.

Кох только подмигнул хозяину и сказал обыденным тоном:

— Ужин-то готов? Мы десять километров протопали, нас теперь от стола за уши не оттащишь!

— Будет вам ужин! Полковник привез целый чемодан еды и даже бутылку рижского бальзама. Пошли на кухню, пусть поговорят с глазу на глаз...

Друзья расцеловались, разошлись и принялись по-новому разглядывать один другого.

— Ну, ну, вид у тебя не очень-то латышский! Встреть я тебя где-нибудь в городе, обязательно поинтересовался бы, откуда такой гусь появился.

— Это все англичане! — засмеялся Лидумс.— Они считают, что у нас в Латвии круглый год морозы! — Он распахнул подбитую мехом куртку, под которой был еще и толстый свитер.

— Арвид,— позвал полковник, приоткрыв дверь.— Баня у тебя готова?

— Готова, да вот Кох просит сначала покормить командира...

— Ужин после! — распорядился полковник. И обратился к Лидумсу: — Сначала в баню! Твой костюм и все необходимое я привез! Пока не переоденешься, мне все будет казаться, что я не с тобой, а с каким-то иностранным гостем беседую!

Арвид вошел в комнату с березовым веником и полотенцем. Кох вынул из чемодана полковника вещи Лидумса и весело засмеялся.

— Чур, после командира на полóк лезу я!

— А не пойти ли и мне с тобой? — вдруг оживился полковник.— Давно я в настоящей лесной бане не бывал...

Лидумс взглянул на него и рассмеялся.

— Что ты хохочешь? — напуская на себя суровый вид, спросил Балодис.

Лидумс выждал, когда Арвид и Кох вышли, и сказал:

— Ну, если я как-нибудь шепну генералу Егерсу, где ты у меня первый отчет принимал, он тебе выговор объявит!

— Ах, ты вот о чем! Так это же лучшее место для конспирации. Пар шипит, вода шумит, никто ничего не расслышит! — Полковник тоже рассмеялся.

Этот удивительный рассказ так и прошел под шипение пара и шум льющейся воды. И только когда они хлестали друг друга веником на жарком полкé, где не хватало воздуха для дыхания, Лидумс умолкал. А порой они начинали так хохотать, что эхо этого веселья докатывалось до дома и до кухни, где Арвид и Кох готовили праздничный стол.

А посмеяться им было над чем, особенно когда Лидумс рассказывал о мистере Маккибине и полковнике Скотте, об их чаяниях и надеждах.

— Так Маккибин, говоришь, спит и видит, как королева удостаивает его звания лорда за заслуги в организации разведки? Ох, боюсь, не получит он это звание! — прерывал речь Лидумса Балодис и снова разражался хохотом.— А на каких ролях у них полковник Скотт?

— Он мечтает только об одном: съесть Маккибина и сесть на его место.

— Ну, хорошо, оставим наших английских друзей в покое,— переходя на серьезный тон, сказал Балодис.— Расскажи теперь, что представляют собой эти парни, которых ты так любезно сопровождал сюда? Они не собираются выскочить из-под контроля? Не опасно оставлять такую крупную банду вместе с нашими ребятами?

— Альвирас, по-видимому, имеет особые задания. Впрочем, ты с ним встретишься и выяснишь все сам. А Биль довольно безобидный парень, к самостоятельности стремиться он не будет. Остальные трое намерены так или иначе пробраться в соседние республики. Их придется проводить до места назначения...

— А не собирались англичане повторить этой осенью операцию?

— Навряд ли! Они теперь надеются собирать урожай со старого поля, с твоего! И имей в виду, судя по их аппетитам, тебе придется попотеть, гоняясь за «материалами» для Маккибина и полковника Скотта...

— Тебе ведь тоже придется потеть, господин советник отдела «Норд»! — напомнил Балодис.

— Да, и мне тоже! — согласился Лидумс.

— Да уж ладно, не горюй, не горюй! — поддразнил его полковник.— Теперь, когда ты вернулся оттуда, все будет легче, дома-то и стены помогают!

— Если уж мы заговорили о доме... Почему ты ничего не сказал о моем доме?

— Давай об этом попозже! Нас же ждут к ужину,— отговорился Балодис, и Лидумс торопливо принялся одеваться. Эта отговорка полковника могла быть очень опасной. Может быть, он просто боится сказать правду?

Дружеский ужин вчетвером закончили довольно быстро, тем более что при Арвиде о служебных делах не говорили. А в эту минуту Лидумса больше занимали мысли о доме, о дочери и Анне, о которых умолчал Балодис.

После ужина Кох стал прощаться: ему еще предстоял обратный путь на базу отряда. Балодис нагрузил Коха несколькими рюкзаками с продуктами: шпионам было сказано, что, проводив Лидумса, Кох зайдет к пособникам разузнать, нет ли каких-нибудь слухов о высадке на берегу...

Арвид и Кох проводили полковника и Лидумса по лесной дороге до шоссе. Там, в укромном месте, укрытая от посторонних глаз, их ждала «Волга».

Арвид уложил в багажник вещи Лидумса. В рюкзаке находилось «приданое» отдела «Норд»: шифры, коды, средства тайнописи, подставные адреса за границей для связи с англичанами, два пистолета с патронами, лекарства и семьдесят пять тысяч рублей, полученные Лидумсом «на личные расходы». В другом чемодане, в котором

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—36.

привезли на хутор вещи Лидумса, находилась его английская экипировка... У машины они расстались с Арвидом и Кохом.

И полетело шоссе, освещенное яркими фарами, разворачиваясь, как кинолента. И сразу вспомнились другие дороги, английские и в ФРГ, казалось бы, похожие на эти, но в то же время такие чужие. Он все еще входил во вкус жизни — д о м а! — а Балодис, не замечая его сосредоточенности, все пытался расшевелить своими расспросами, рассказами о том, что происходило в группе без командира. Лидумс наконец шутливо взмолился.

Лидумс обратил внимание на то, что с какой-то просеки вышла автомашина «Волга» и пошла за ними. Она не приближалась, но и не отставала. Лидумс попросил шофера:

— Пожалуйста, помедленнее!

На второй машине тоже снизили скорость.

— А теперь побыстрее!

Шофер повиновался. Но и на второй машине увеличили скорость.

— Что ты взбудоражился?— спросил Балодис.

— Следом идет какая-то машина, но держится очень осторожно: на одном и том же расстоянии от нас.

Полковник оглянулся и сказал:

— Наши оперативные работники. Мы же не знали, как поведут себя твои так называемые новые «друзья». А вдруг их пришлось бы сразу арестовать на месте?

Лидумс невольно улыбнулся: Балодис остался таким же осторожным. Все предусмотреть и все подготовить. Проработать, так сказать, все возможные варианты.

— Дайте два гудка: длинный и короткий,— попросил шофера Балодис,— пусть знают, что мы их видим.

Шофер прогудел, как было приказано; со второй машины послышались три коротких сигнала.

Балодис снова повернулся к Лидумсу:

— Возможно, завтра ты уже будешь в Москве, а нам еще о многом надо посоветоваться.

Он остановил машину, пересел к Лидумсу и начал рассказывать о деятельности группы в отсутствие Лидумса. Вспомнил и о Томе, Адольфе, об аресте Петерсона, которого англичане числят погибшим, о захвате пассажиров со второй лодки весеннего десанта с катера Хельмута Клозе... Лидумс, в свою очередь, сообщил, что Клозе жив и невредим, а его катер отремонтирован, и о том, как Клозе перед новым десантом грозил в сторону Латвии кулаком,— должно быть, помнил неприятные последствия обстрела своего катера неизвестно откуда взявшимся «морским охотником»... Но когда Балодис задал вопрос о жизни Лидумса в Лондоне, он сразу поскучнел, сказал: «Потом, потом!» — и умолк. Полковник не стал настаивать, вернулся к делам своей «группы».

За прошедший год Балодис — Будрис разделил «отряд» «лесных братьев» на три самостоятельные группы, чтобы разобщить шпионов. Теперь в группе Графа будут двое — Альвирас и Биль, в отдельной группе Мазайса остался один Бертулис; раньше с ним жил и Эгле. Трое шпионов из весеннего десанта сидели на лесном хуторе под присмотром хозяина. Они что-то не очень торопились начинать свою деятельность, ограничиваясь жалобами в лондонский центр на то, что у них нет «безопасных документов», то есть повторяя стандартные для всех шпионов заявления.

Но ведь были еще двое лодочников из весеннего десанта, трое молодых спутников Альвираса и Биля, и в общем все это очень напоминало детскую задачу-загадку: как перевезти через реку на одной лодке волка, козу и капусту, если в лодке помещается только одно из составных задачи? Волк съест козу, коза съест капусту,— попробуй перевезти! В то же время легендировать перед англичанами арест хоть одного из шпионов — значило бы насторожить их и по собственной неосторожности прикончить всю эту игру...

— Кто из них более безопасен? — спросил Лидумс.

— Пожалуй, Бертулис. Мазайс сумел распропагандировать его. На зиму поселил в доме, где было много книг. Бертулис днем и ночью читал, редко выходил в эфир...

— Редко, но метко! — возразил Лидумс.— Я видел его радиограммы о воздушных учениях на военном аэродроме.

— Ну, он жил в пяти километрах от аэродрома и наблюдал эти учения собственными глазами. Но за всю зиму прошлого года он передал очень немного. Да и Силайс нам помог, когда посоветовал Бертулису не очень крутиться возле аэродрома.

— Силайс просто прислушался к моему скромному мнению,— улыбнулся Лидумс.— Я сказал, что аэродромы охраняются как зеница ока!

— Спасибо! — сердечно поблагодарил его Будрис.

— Не думаю, чтобы англичан удовлетворила скромная информация Бертулиса! — предостерег Лидумс.

— А мы подождем конкретных заданий. Из таких заданий нетрудно будет понять, что же интересует англичан на нашей территории. В конце концов они сами проговорятся о своих мечтаниях!

— Вполне возможно,— задумчиво заметил Лидумс.— Особенно теперь, когда они собственными глазами увидели меня, услышали рассказы Вилкса да еще получат в свои руки больного Эгле. Они всегда переоценивали возможности своих шпионов, куда бы их ни засылали. Как говорится, голодной курице просо снится!

— Ну что ж, решим так: Бертулис останется с Мазайсом. Биля и Альвираса надо еще изучить; этим делом сейчас занимается Граф и группа оперработников. Они выясняют, какие у них задания. Думаю, что есть тайнописные инструкции от Силайса и его начальников.

— Да, а где Юрка? — вдруг вспомнил Лидумс.— На встрече его не было, на базе тоже...

— Юрка, брат, стал старшим стивидором Вентспилского порта! Вот где наш Юрка! Мы передали пароль для связи с ним Большому Джону, теперь каждый шпик из королевского торгового флота прежде всего подходит к Юрке. «Эй, приятель, где тут есть ресторан?» «Направо, налево и прямо!» «Пойду направо!» «Иди налево. Дом 25, в углу под лестницей...» Такие, брат, дела!

— И много их?

— Да нет! Пока всего двое привязывались. Один привез деньги, другой пытался получить данные о торговле порта... По-видимому, моряки не очень идут на удочку мистера Скотта...

Балодис замолчал, и тогда Лидумс тихо спросил:

— Что делается у меня дома?

— Анита перешла в последний класс с отличными отметками. Живет по-прежнему с теткой. Жена получает твою зарплату. Она, кажется, привыкла к тому, что ты не скоро еще вернешься.

Лидумс склонил голову.

— Пожалуйста, не думай, что это ты сам или мы разрушили твое семейное счастье! — грустно заметил Будрис.— Она всегда считала, что ты подавил ее талант своей непримиримостью ко всему слащавому и сентиментальному. Сейчас она считается признанным художником-графиком, особенно в детской литературе. И, если хочешь знать правду, она скорее всего счастлива. И, главное, ей нет дела до того, счастлив ли ты!

Старый друг говорил так грустно, что Лидумс понял: это результат долгих наблюдений...

— Могу ли я ее увидеть?— глухо спросил он.

— Зачем?— спросил Балодис.— Чтобы обеспокоить и насторожить ее? Заставить ее б о я т ь с я принуждения? Взывать к ее воспоминаниям? Имей в виду, вас развела не наша тайная война, а полное несходство характеров! Кто был ты, когда влюбился в нее? Солдат, всю жизнь смотревший в глаза смерти. И вспомни, как жестоко страдали вы оба, когда ты пытался сказать ей правду. Если я не ошибаюсь, последние пять лет совместной жизни вы никогда не говорили друг с другом об искусстве...

— Да,— тихо признался Лидумс.— Она уже не понимала меня.

— Ну вот! А теперь ты ворвешься в ее жизнь, как пришелец с другой планеты. А у нее уже выработался свой круг идей, появились свои друзья, которым ты с твоими взглядами показался бы дикарем. Но я обещаю тебе: как только мы окончим нашу операцию, ты действительно поедешь в Среднюю Азию, в Арктику, к Черному морю, всюду, куда позовет тебя твой талант, и напишешь там такие полотна...

Лидумс молчал.

13

В Дзинтари машина Балодиса заехала во двор каменного особняка. Двухэтажное здание с лоджиями, балконами и полукруглым подъездом, сад перед домом, пряно пахнущий увядающими цветами и опавшими листьями,— все вызывало ощущение покоя.

Но яркий свет, пробивавшийся сквозь опущенные шторы, показывал, что спокойный дом полон жизни.

Лидумс и Балодис вышли, шофер достал из багажника вещи и пошел следом.

Они поднялись по широкой лестнице и повернули направо, где находились жилые комнаты,— две комнаты были отведены для них.

— Если можно, побыстрее приведи себя в порядок после дороги,— сказал Балодис.

— Хорошо! — ответил Лидумс.— О черт, опять я зарос бородой! Где у тебя бритва?

Балодис достал электрическую бритву.

Через некоторое время в дверь постучали. Вошел один из оперативных работников полковника Балодиса и сообщил:

— Вас ожидают в гостиной!

Балодис и Лидумс последовали за ним.

В гостиной Лидумс увидел генерала Егерса, полковника Вавина из центрального аппарата КГБ, особенно интересовавшегося деятельностью отдела «Норд» английской разведки, двух других сотрудников полковника Балодиса, организовывавших когда-то бандитскую группу для шпионов «Норда». В сторонке, у столика с магнитофоном, ожидал приказов адъютант генерала.

Лидумс по-военному кратко отдал рапорт генералу Егерсу о том, что специальное задание Комитета государственной безопасности им выполнено.

Егерс поблагодарил Лидумса за смелость и находчивость при выполнении задания и поздравил с благополучным возвращением на родину. Потом он крепко расцеловал Лидумса. Стоявшие поодаль от Егерса трое других участников встречи окружили Лидумса, приветствуя и поздравляя с успехом в этой опасной и трудной операции.

Молодая пышноволосая девушка-латышка принесла кофе и коньяк. Все расположились у невысоких полированных столиков. Генерал сказал:

— Предлагаю послушать рассказ товарища Вэтры. А для того, чтобы ему не повторяться при следующих встречах, запишем нашу беседу на магнитофон. Присутствие стенографистов всегда несколько смущает разговаривающего. Позже товарищ Вэтра прослушает запись и, если окажется, что он что-то забыл сказать, запишет отдельно.

— Да, это, пожалуй, лучше всего. Если бы мне пришлось самому писать отчет, я попросил бы месяц на выполнение этого задания!

— Это вам еще предстоит проделать в Москве. А сейчас слушаем вас, товарищ Вэтра!

Лидумс начал свой рассказ с того, как впервые высадился на катере Клозе в Западной Германии два года назад...

Он взял с одного из столиков несколько листов бумаги и карандаши и, рассказывая, быстро набрасывал какие-то рисунки. На листах появлялись все новые и новые

лица. Тут были Хельмут Клозе, вице-адмирал, руководивший десантными операциями, затем появились Нора, Большой Джон, Малый Джон, Маккибин, полковник Скотт, неизвестный господин в визитке, Силайс, Жакявичус, Ребане...

Генерал Егерс объявил перерыв. Все подошли к столику, за которым сидел художник, и принялись с удивлением и восторгом перебирать его карандашные наброски.

Во время перерыва переменили ленту на магнитофоне. Это как бы настроило Лидумса на иной лад — теперь он сам спрашивал. Он хотел узнать, как возникла идея с подменой шпиона Тома оператором-чекистом, которая так помогла ему в Англии.

— Тома и Адольфа надо было арестовать, чтобы укрепить вашу легенду о всемогуществе Будриса, без которого всякий английский шпион в Латвии обязательно провалится. А потом, когда нам стало ясно, что вы переживаете тяжелые дни в Лондоне, мы воспользовались его передатчиком...— сказал генерал Егерс.

— Как же это мой друг полковник Балодис не предупредил меня, что будет помогать мне через английские передатчики? — улыбнулся Лидумс.— Можете представить, в каком положении я оказался? Английские шпионы лепят «дезу», мне передают их стряпню на консультацию, я сижу над этими радиограммами и думаю, что ответить моему начальству — Маккибину и полковнику Скотту.

— Признаться, я в этом в известной мере виноват! Не мог предусмотреть все, что случится с нашим посланцем в Лондоне,— покаялся улыбающийся полковник Балодис.— Я, кажется, переоценил английскую разведку: думал, они сами разберутся, что вместо Тома на радиопередатчике работает наш сотрудник, а они так обрадовались выходу лже-Тома, что просто завалили его вопросами. Мне пришлось подключить к этому делу еще несколько человек, чтобы удовлетворить запросы англичан. Ну, а когда я совсем выбился из сил, пришлось обращаться к помощи самого Лидумса... Помнишь, дорогой друг, радиограмму, адресованную тебе?

— Это где Янко пишет моим почерком? Еще бы! Она меня так выручила тогда... А главное, мой противник Ребане был вынужден замолчать. И больше уже никогда не повышал голос... И группа Будриса сразу стала вне подозрений... Мне даже было както жалко англичан, когда полковник Скотт собрал всех своих помощников и объявил, что на передатчике Тома работают чекисты! Видели бы вы, какие у них были длинные лица! А там еще присутствовал некий крупный деятель, от которого, по всей видимости, зависит если не само их существование, так, во всяком случае, все денежные вспомоществования!

— Товарищ Вэтра, опишите его, пожалуйста! — попросил генерал.

— Я попробую нарисовать...

Все умолкли, кое-кто подошел к столику Вэтры, наблюдая, как из-под его карандаша появляется длинное, похожее на лошадиную морду лицо англичанина.

Генерал долго разглядывал законченный рисунок.

— Вам не приходилось видеть его лицо на фотографиях в газете? — спросил он.

— Похоже на то, что этот человек не любит «паблисити»...

— Еще бы! Это помощник премьер-министра Англии, не сменяемый при любом правительстве, будет ли оно консервативным или лейбористским, как сейчас. Он координирует действия всех разведок страны: военной, морской, военно-воздушной, контрразведки и службы внутренней безопасности. У нас в комитете хранится его портрет...

Снова все заулыбались внезапности этой ситуации: разведчик из Комитета безопасности Советского Союза встретился лицом к лицу с одним из главарей английской разведки!

— Подумать только, и я не попросил у него автографа! — жалобно покаялся Лидумс.

Когда взрыв веселья несколько поутих, генерал Егерс предложил перейти в столовую.

— Там мы продолжим беседу, но уже в частном порядке, если так можно выразиться.

Вэтра попросил разрешения пройти к себе.

Когда он возвратился в столовую, в руках у него был складной спиннинг в замшевом футляре и раскрытая коробка красного дерева с набором великолепных блесен и искусственных бабочек, кузнечиков, мормышек — всего того, что заставляет биться сердце любого заядлого рыболова. Вэтра протянул все это хозяйство генералу Егерсу и произнес торжественным голосом:

— Начальник отдела «Норд» английской секретной службы мистер Маккибин просил меня передать этот подарок вам лично!

Под общий смех генерал принял подарок, спросил:

— Как это произошло, товарищ Вэтра?

— На прощание Маккибин устроил мне ужин, который был назван им «Вечер змей» и должен служить нам паролем для связи. На вечере спросил, какими пристрастиями обладает мой непосредственный начальник. Естественно, он имел в виду неуловимого руководителя «национально мыслящих» латышей Будриса. Но поскольку «Будрис» — имя собирательное, а моим непосредственным начальником являетесь вы, я вспомнил, что вы отличный рыболов, и сказал об этом. Оказалось, что у мистера Маккибина то же самое хобби!

Егерс улыбнулся, сказал:

— Ну что ж, пусть подаренный нами мистеру Маккибину чернильный прибор с изображением Лачплесиса будет стоять на его письменном столе как памятник о его карьере разведчика, а его подарок напоминает, что в наших водах все еще водятся опасные хищные рыбы, которых можно поймать только на искусно выполненную блесну.

— Карьеру-то он сделал, товарищ генерал,— дополнил этот спич Вэтра.— Секретарь Маккибина мисс Нора перед моим отъездом передала мне под секретом, что перед предстоящей отставкой Маккибина королева, по представлению «Интеллидженс сервис», за исключительные результаты, достигнутые отделом «Норд», особенно в последние годы, в разведывательной работе против советских прибалтийских республик, наградила его орденом... В наградной реляции Маккибина добрую половину занимало описание его «ратных» дел, совершенных по чистой иронии судьбы с помощью начальника одного из ваших отделов — полковника Балодиса! Так что прошу вас наложить взыскание на полковника за то, что он способствовал возвышению одного из наших злейших врагов!

И снова все засмеялись.

За окном давно уже текла безлунная ночь, а здесь еще только начинался веселый праздник.

После тостов Балодиса и полковника Вавина Егерс встал снова и провозгласил свой второй тост: за подругу Вэтры — Лидумса Анну, которая всегда верила в благополучное возвращение мужа после выполнения специального задания, за возвращение к ней!

Вэтра почувствовал невольное волнение. Егерс сказал свой тост так, что было понятно: он совсем недавно, может быть, еще днем, разговаривал с Анной! И что-то произошло с нею, если он так уверенно говорит, что Анна ждет мужа...

Как же возникло противоречие между прямым словом генерала и уклончивым — Балодиса? Кто из них прав?

Он с некоторой неловкостью спросил генерала, давно ли тот видел Анну.

Оказалось, что Егерс довольно часто встречается с Анной. Как он объяснил, полковник Балодис, которому была поручена забота о жене отсутствующего товарища, оказался чрезмерно занят. Да и постоянные требования англичанами всевозможных сведений могли бы менее спокойного человека довести до отчаяния. А Балодису приходилось перемешивать правду с ложью почти ежедневно, притом делать это так, чтобы в одном случае и ложь выглядела правдой, как было с передачами Петерсона, а в другом — и правда казалась ложью, как было с передатчиком Тома и Адольфа. В конце концов Балодис был вынужден обратиться к генералу с просьбой освободить его от забот об Анне.

Анна каким-то образом угадала, что Балодис тяготится встречами с нею, вероятно, обиделась и сама стала холоднее относиться к старому другу мужа. Вот тогда-то она и познакомилась с Егерсом, с его семьей и особенно близко — с женой генерала.

— У женщин,— улыбнулся генерал,— всегда найдутся общие интересы...

А потом выяснилось, что Анна переживает творческий кризис. Сначала речь шла о частных неудачах: не приняли такой-то рисунок в издательстве; отказались выставить картину на весенней выставке года; не выдвинули на съезд художников; отклонили проспект оформления нового журнала и прочее и прочее. Генерал пытался помочь художнице по мере сил, побывал даже в Союзе художников, но там ему ответили прямо: Анна Вэтра исчерпала свою манеру письма и стала повторяться. Если она не найдет в себе сил переломить свой сентиментализм, условность рисунка и его статичность, ее ожидает довольно бесславное существование «обиженного», «непонятого» таланта...

Вот тут Егерс и предложил неожиданную атаку на «позиции» Анны.

Как-то летом он пригласил Анну Вэтра в гости на дачу. Приехало довольно много друзей генерала и один крупный художник из Москвы. Разговор невольно коснулся позиции художника в социалистическом государстве. Анна ринулась в бой, отстаивая право художника на свободу творчества. Поначалу ей показалось, что слушатели относятся сочувственно к ее горячей речи. Но едва она закончила свою первую эскападу, как послышались возражения. То, что у ее привычных друзей вызывало бурные аплодисменты, здесь подверглось тщательному анализу. Без насмешки, но и без принятия на веру каждого слова «пророчицы» нового искусства. Дальше — больше: у генерала оказалось около десятка картин Анны, купленных им сначала из любопытства, а потом и просто из желания помочь художнице. Генерал предложил проиллюстрировать точку зрения художницы ее полотнами и рисунками. Анне было неудобно отказаться. Произошел довольно бурный спор об истоках ее творчества, достоинствах картин. И общая оценка оказалась не в пользу художницы.

Анна, по словам Егерса, довольно долго противилась. До самой осени она работала в своей мастерской, почти нигде не бывая. От кружка бывших ее друзей она отошла, а друзья эти, именовавшие себя новаторами в искусстве, из обиды, что ли, начали распространять слухи о том, что Анна «исписалась». Так возник полный разрыв с прошлым...

В то же время Егерс постарался показать в настоящем свете работу мужа Анны. Он не стал ссылаться на мифическую творческую командировку, а просто рассказал, что Вэтра находится на очень опасном участке борьбы. Не затрагивая подробностей, он ввел Анну в тот мир тайной войны, которую ведет противоположный лагерь против Советского Союза. И Анна поняла, что длительное молчание мужа вынужденно, что в нем нет и намека на утрату им нежности к ней и к семье, что очень может быть, он и находится-то так далеко, что и до него не дойдет ни одна ее строка... Так произошел еще один перелом в ее смятенной душе.

Вэтра выслушал этот рассказ молча. Он боялся слов. И тогда Егерс спросил:

— Вы не возражаете, если мы утром пригласим Анну на завтрак к нам сюда?

У Вэтры перехватило дыхание: за эти три с половиной года он видел Анну три раза, и каждая встреча была тяжелее предыдущей. Но теперь он выходил из игры, начиналась новая жизнь, в которой было возможно все: работа, семья, счастье...

Ужин затянулся до глубокой ночи. У Лидумса — Вэтры оставалось еще много вопросов, а завтра он должен был вылетать в Москву: полковник Вавин уже передал ему приглашение генерала Голубева. И Вэтра все возвращался в недавнее прошлое:

— Как была проведена «акция» с Петерсоном? Признаться, когда англичане сообщили мне, что Петерсон убит под Ригой во время сеанса радиопередачи, я был страшно обеспокоен. Во-первых, в глазах англичан смерть Петерсона неминуемо должна была привести к провалу всей группы Будриса. А если это так, то возвращение на побережье Латвии не состоится, и мне суждено будет искать иных путей на Родину. Только полученное от Будриса сообщение о подробностях «гибели» Петерсона несколько успокоило англичан. Кроме того, англичане знали из предыдущих сообщений Петерсона, что Будрис приказал ему раз и навсегда готовить и зашифровывать свои сообщения в одном месте, а затем, взяв с собой только шифровку, выходить на радиосеанс. После того как Будрис подтвердил, что шифры и кодовые таблицы обнаружены им на конспиративной квартире Петерсона в Риге, англичане несколько успокоились. Но тут же начали специальное служебное расследование: почему сеансы Петерсона оказались столь длительными, что его рация была запеленгована? И тут выяснилось, что радисты английского Центра «держали» Петерсона в эфире, требуя в ряде случаев из-за метеорологических помех, как они потом объяснили, повторения многих цифровых групп, которые не успевали за ним записывать. Правда, все эти радисты понесли наказание, а Большой Джон и Малый были строго предупреждены Маккибином. Расследование подтвердило вину англичан в «гибели» Петерсона и еще сильнее укрепило репутацию Лидумса, который не однажды предупреждал «Норд», что опасность пеленгации в Латвии чрезвычайно велика...

Еще неприятнее для Лидумса было узнать, что англичане отдали Будрису приказ об уничтожении психически неполноценного Эгле. Окончание этой радиограммы: «Бог да благословит Латвию!» — после приговора к смерти ни в чем перед англичанами не повинного человека ошеломило Лидумса. Только мысль о том, что Будрис никогда не выполнит этот подлый приказ, удержала Лидумса от резких, а возможно, и опрометчивых поступков. Хотя Лидумс и не знал, как Будрис поступит с больным, но был убежден, что выход будет найден. И с удовольствием прочитал радиограмму, в которой Будрис утер нос англичанам, заявив, что транспортирует больного обратно в Англию. И как же ему было приятно увидеть Эгле, садящегося в шлюпку!

— Кстати, что это за мешок бросили в лодку от твоего имени, полковник? — вдруг спросил он Балодиса.

— А, это книги! Маккибин попросил меня прислать новые книги латышских издательств. Ну, я и выполнил! Вот тебе, кстати, список этих книг!

Вэтра читал улыбаясь: то были книги о советском строительстве в Латвии, стенограммы заседаний Верховного Совета республики в пяти томах, двухтомник «Национальная политика Советского Союза» и несколько романов о рабочем классе Латвии...

— Да, эти книги не доставят большой радости Маккибину, — проговорил он, возвращая список Балодису.

— Ну что же, товарищи, пора и отдохнуть! — сказал Егерс, взглянув на часы. Было два часа пополуночи.

Вэтра невольно подумал: завтра Анна будет здесь!

14

Утром, когда Вэтра брился, в дверь постучали, и адъютант генерала с порога сказал:

— Товарищ Вэтра, к вам приехали!

Вэтра, как был с намыленной щекой, выскочил в переднюю.

Может быть, именно эта непосредственность, эта намыленная щека, эта самобрейка в руке сломали тот лед, что все еще не оттаивал в душе и, наверно, заморозил душу Анны. Она вскрикнула и упала в объятия мужа, который казался ей мертвым, невозвратимым с самой минуты прощания.

Он провел ее в комнату, помог снять пальто, сказал: «Прости, я сейчас!» — оставил ее, смущенно мнущую перчатки, бросился добриваться, смывать мыльную пену: почему, собственно, именно сегодня он решил побриться по-старому, самобрейкой? Надоела, что ли, эта никогда не снимаемая по-настоящему щетина, шершавость кожи? Или просто захотелось вспомнить прошлое?

Когда он вышел из ванной, жена уже казалась спокойной, с любопытством рассматривала чужую комнату, заставленную нераскрытыми чемоданами, так непохожую на те комнаты и на тот порядок, в котором жил ее муж, когда еще был с нею.

Но это был он, мужественный, сильный, может быть, несколько суровый человек, для которого было привычно все, начиная от борьбы со смертью, кончая исчезновением на дни, месяцы, а теперь вот и на годы, человек, для которого эта странная жизнь была совсем не приключением, а самой подлинной жизнью! И она исподтишка разглядывала его, словно боялась или еще не доверяла, чувствуя в то же время его силу, под защиту которой ей так хотелось наконец укрыться после трудного опыта одинокой жизни...

Он тоже исподволь разглядывал ее, изменившуюся от этой самостоятельной жизни. И странная жалость тронула его душу, когда он заметил внезапные и такие неожиданные морщинки на ее всегда гладком и спокойном лице, смятение в больших голубых глазах, странную смесь женской мягкости и почти мужской резкости в движениях. Вот она села, бросив ногу на ногу, привычным движением вставила сигарету в длинный мундштук, щелкнула зажигалкой, заговорила робко, просительно:

— Ты вернулся насовсем?

И это вот детское «насовсем» и эта робость позы, к которой так не шла сигарета в тонкой руке, — все это было от двух разных женщин: его милой, робкой Анны и той, другой, которая так умела ранить его душу, притворяться непонимающей, бессердечной, донимать его ревностью и завистью.

Он тихо попросил:

— Выйдем отсюда, на взморье сегодня, кажется, тепло...

Она кивнула согласно, поднялась, ожидая, когда он поможет ей надеть пальто, подождала, пока и сам он оделся.

У двери они встретили адъютанта, который шел пригласить к завтраку, и Лидумс попросил не ждать их.

Они нашли маленькое кафе, в котором было пусто, но зато все обрадовались неожиданным посетителям. И кофе оказался превосходным и свежие булочки, и рюмка коньяка нашлась для подмерзших на ветру путников. И опять все было хорошо и напоминало давние-давние времена, когда им, молодым еще, неустроенным после долгой войны, каждое удовольствие казалось необыкновенным.

Анна спросила:

— Ты можешь теперь вернуться домой?

— Нет, я еще должен поехать в Москву...

— А... оттуда домой?

— Да...

— Это... не опасно? Я помню, после войны ты так долго ходил с вооруженными спутниками...

— Тогда я был еще на войне. Теперь я просто дома.

— Я могу поехать с тобой?

Он вдруг вспомнил совет Маккибина — легализоваться! И сказал:

— Я уезжаю в Москву сегодня. Если бы ты подобрала два десятка моих полотен, пусть и не самых лучших, и привезла их мне в Москву, мой путь домой был бы в два раза короче!

— Ты хочешь выставиться в Москве?

— Это, пожалуй, лучший вариант, я должен это сделать, — рассудительно ответил он. — Мои бывшие хозяева, вероятно, попытаются проверить меня, пусть это будет через сотрудников посольств, туристов, коммерсантов, но я должен остаться тем, кого они знали. В общих чертах генерал Егерс тебе, конечно, рассказывал, кем я был перед возвращением на Родину с берегов Белого Альбиона.

— Опять опасность, всегда опасность! — грустно произнесла она.

— Я действительно принадлежу к числу тех, кто заключил контракт на все пятьдесят лет объявленных и необъявленных войн, — напомнил он слова Хемингуэя, процитированные им перед уходом на выполнение задания. — Но теперь я ухожу в резерв... Нам пора возвращаться, генерал ждет.

— Пожалуйста, не так скоро, — жалобно сказала она. — Я еще не привыкла к тебе, новому, чужому, а ты уже торопишь меня!

— Хорошо, мы пойдем так же медленно к даче, и я буду слушать тебя, сколько ты захочешь.

— А о себе ты когда-нибудь расскажешь? — робко спросила она.

Он засмеялся, ответил:

— В одной стране действует закон: через тридцать лет после любого события все документы об этом событии извлекаются из архивов и предаются гласности. Но вот странность: к этому времени почему-то оказывается, что большинство документов исчезло! Начинаются расследования, споры, обвинения, но документов-то все-таки нет! Боюсь, что к тому времени, когда я смогу что-либо рассказать тебе, это будет уже неинтересно никому, кроме разве что наших детей!

Ее больше всего поразили последние слова: о детях. Она вдруг спросила:

— Ты в самом деле хочешь, чтобы у нас были дети?

— А ты? — прямо спросил он.

— Теперь — да! — так же просто ответила она. И пожаловалась: — Я иногда думаю, что если бы они были, ничто не разъединило бы нас: ни ссора, ни недоверие...

— Кроме приказа генерала Егерса и полковника Балодиса! — засмеялся он.

— Важность этих приказов я бы не оспаривала! — улыбнулась и она.

И это было как мир. Мир на земле и в душах.

Вечером Вэтра вылетел из Риги в Москву. Его никто не провожал. Самолет шел специальным рейсом, вне расписания. Вместе с Лидумсом летели лишь два человека — полковник Балодис и Вавин.

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

РОМАН

15

На следующий день после отлета Вэтры в Москву оперативные работники Комитета госбезопасности доставили в Ригу вещи шпионов. Сопровождали вещи Граф и Мазайс. Они должны были после тщательного и всестороннего осмотра специалистами шпионского имущества доставить все это снаряжение владельцам.

В вещах Альвираса были бумага для нанесения тайного текста, химикалии для проявления тайнописи, одиннадцать листов чистой бумаги, содержавшей тайный текст, письмо на латышском языке в двадцать страниц, между строк которого был написан текст, фиктивный советский паспорт, изготовленный в Западной Германии, со штампом прописки в городе Москве, печать УМВД по Московской области, фиктивные бланки командировочных удостоверений на русском языке, восемнадцать топографических карт районов Латвии и план Риги на латышском языке, шифры, коды, расписания радиосвязи.

Кроме бумаг, находились восемь пакетов в хлорвиниловой упаковке, содержавших восемьдесят тысяч рублей советских денег; электроприборы для определения напряжения тока в сети и для проверки работы беакона; пистолеты, более десятка автоматов и патроны к ним; две портативные радиостанции; две ручные динамо-машины для питания рации и зарядки аккумуляторов, много мелких предметов: даже спички, иголки, нитки, батарейки для карманного фонаря, медикаменты и тому подобное. Примерно таким же снаряжением был снабжен и Биль.

При специальной обработке бумаг, имевшихся в имуществе шпионов, важные письменные документы оказались у Альвираса: среди них письмо-инструкция для Бертулиса. Силайс в нем писал:

«Сердечный привет руководству и всем борцам! С искренней радостью вместе с Заринь-шем шлем самые сердечные и наилучшие пожелания каждому борцу в день независимости нашего государства — 18 ноября. Наши лучшие пожелания, которые мы можем передать друг другу,— все для Латвии!

...Запад примет бой в любую минуту, когда бы он ни начался. Единственно, кажется, что Москва не желает провоцировать Запад. Но Запад использует этот промежуток времени для вооружения. Когда Запад окончит подготовку, он будет сильнее коммунистов...

Наша роль в смысле военной силы в будущей войне будет очень небольшой, так как нас мало... Все, на чем мы должны сосредоточить наши усилия,— это сохранить себя. Вот наша главная задача.

Я предполагаю послать к вам весной человека, который умеет обращаться с документами, и отправить с ним сотни две паспортов, чтобы те, кто имеет возможность, переходили по крайней мере на полулегальное положение, чтобы уменьшить количество партизан в лесу. Таким образом, действующих партизан будет легче обеспечить.

Твоя работа, друг мой, была очень хорошей. Но прошу тебя и впредь быть столь же осторожным и помнить о своей безопасности. Я, конечно, с удовольствием получил бы какую-нибудь информацию о русских военных силах или о том, что происходит в Лиепае или Вентспилсе, но без большой опасности для тебя.

На всякий случай я одновременно с этим письмом посылаю тебе восемьдесят тысяч рублей. Эта сумма предусмотрена для тебя и того нового друга, который ее тебе передаст. Для главной группы друзей деньги доставит ваш делегат, я посылаю им тоже. Тебе же предназначен и паспорт, имеющийся у нового друга. О деньгах переговори с руководством, я бы не хотел, чтобы они ушли за пределы группы, оказывающей нам свою помощь.

Для тебя будет еще одно письмо с буквами «АРТ», пересланное через твое руководство. Письмо храни, как свой глаз, пока мы не скажем, как быть с ним дальше. Лучше тебе это письмо закопать в окрестностях Риги и сообщить мне адрес, чтобы я мог передать другу, который пойдет за ним...»

Итак, Альвирас был главным из «новеньких», и трогать их не следовало, так как весной англичане решили повторить всю акцию. Надо только тщательно присматривать за ними. А шифр, который им передала английская разведка для связи, был пока что недоступен. Он находился в пакете, вскрыть который мог лишь сам шпион. Следовало подождать, пока шпионы выйдут в эфир, чтобы доложить о своем прибытии.

После осмотра и тщательной укладки всего снаряжения шпионов, заделки пломб и отличительных знаков мешки и чемоданы присыпали привезенной с собою землей со взморья, и они обрели такой вид, будто их только что выкопали из тайников. Граф сообщил генералу Егерсу, что Альвирас просит господина Будриса дать ему аудиенцию... Получалось, что Альвирас действительно был старшим в группе. Генерал попросил от имени Будриса передать, что из-за воспаления легких Будрис встретиться с Альвирасом сейчас не сможет, но при первой возможности навестит нового «друга» либо в лесном лагере, либо вызовет его на одну из своих конспиративных квартир.

Первые дни шпионы вели себя спокойно. Альвирас, которому, должно быть, хотелось произвести впечатление на «лесных братьев», держался этаким удальцом: мне, мол, и море по колено! Он все досадовал, что переброска вещей из тайников задерживается: будь у него под рукой его рация и оружие, он тут же объявил бы войну большевикам! Биль больше помалкивал, внимательно прислушивался к рассказам «братьев», мотал на ус любой намек на опасности, которые приходилось переживать отряду и отдельным его участникам...

Но не прошло и недели, как оба шпиона начали волноваться. Их беспокоило долгое молчание Графа и Мазайса. Теперь они расспрашивали, как происходили предыдущие высадки, всегда ли удавалось выручить оставленные в пограничной зоне вещи, как «братья» определяют, обнаружены ли следы высадки пограничниками, бывают ли преследования нарушителей границы и как глубоко в лес проникают в этом случае преследователи...

В этих расспросах чувствовалось влияние Вилкса: тот, должно быть, неоднократно рассказывал о собственном промахе при высадке, когда он и его спутники закопали свое имущество в пограничной зоне, а потом их помощник Приеде потратил две недели, пока разыскал клад. По-видимому, Вилкс тщательно инструктировал новичков перед отправкой их в Латвию и объяснял суровые правила конспирации у «лесных братьев».

Но окончательно шпионы успокоились только в тот день, когда в лагере незаметно и бесшумно появился Граф. Граф обрадовал новичков тем, что вещи благополучно доставлены в расположение лагеря, находятся в трех километрах,— подвезти их ближе не было возможности, но там на охране остался Мазайс.

С наступлением сумерек все шпионы и другие участники отряда направились за вещами, оставив в лагере одного Коха, которому поручили приготовить торжественный ужин в честь Графа и Мазайса, так блестяще справившихся с чрезвычайно трудным делом: общий вес груза превышал полтонны...

К ночи мешки, тюки, чемоданы были доставлены в лагерь. Все вещи были еще облеплены сырой землей, пломбы и печати целы, и шпионы от души поблагодарили Графа и Мазайса, выполнивших самую трудную часть задачи.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—37.

Возле бункера выкопали новый тайник, куда и уложили все вещи, кроме рации Альвираса и аккумуляторов к ней, так как Альвирас попросил разрешения выйти в эфир, чтобы сообщить в «Норд» о благополучном «приземлении».

Ужин удался на славу. В лесу было еще тепло, дичи сколько угодно, подруга главного кулинара Коха недавно передала своему возлюбленному большой бидон самогона «для лечебных целей».

Во время этого ночного пира Биль и Альвирас рассказали своим новым друзьям, что окончили в Англии шпионскую школу. На прямодушный вопрос Мазайса, зачем их понесло в эту школу, а не в какую-нибудь шоферскую или монтерскую, парни пожаловались, что испытывали тяжкую нужду, а подходящей работы не попадалось месяцами. Да если такая работа и находилась, так всегда рядом оказывался какой-нибудь тип, который начинал преследовать их за то, что они, мол, отнимают хлеб у настоящих англичан, и прочее и прочее. Короче говоря, они отчаялись в своих поисках, а в той небольшой латышской колонии, где они жили, проходу не было от «двинских соколов», которые все требовали от молодых латышей «активной борьбы» с большевиками, хотя сами что-то не стремились вернуться в Латвию с пистолетами за пазухой...

Говорили они откровенно, может быть, потому, что Лидумса, которого они побаивались, не было. И вообще рассказывали о жизни на Западе без прикрас, не чувствовалось у них и той животной ненависти ко всему советскому, которую питали шпионы, так сказать, старшего поколения, тот же «покойный» Петерсон, Вилкс и Эгле. Только Альвирас все же похвастался, что когда начнет самостоятельную жизнь, то еще покажет большевикам свой характер.

Рассказывали они и о прошлой жизни в Латвии, но своих настоящих имен не называли. Во всяком случае, вели они себя проще и более доверчиво относились к окружавшим их «партизанам». Возможно, это объяснялось их молодостью и отсутствием достаточного жизненного опыта.

Альвирас откровенно рассказал, что имеет особое задание: он должен связаться с некоторыми националистами, проживающими легально. Для этой цели он надеялся лично встретиться с Будрисом...

16

На следующий день Альвирас вскрыл один из своих шифровальных блокнотов, а ночью впервые вышел в эфир. Его выход, очевидно, ожидали с большим нетерпением, так как Альвирасу пришлось тут же начать прием довольно длинной радиограммы.

Англичане сообщали:

«Возникли непредвиденные обстоятельства, которые заставляют нас просить Лидумса после акклиматизации в Латвии совершить поездку по России. Мы хотели бы, чтобы Лидумс направился по железной дороге в Москву, а затем по железной дороге от Москвы до N, оттуда — на пароходе по реке К до города N, и на пароходе возвратился в Москву. Просят отметить (рекомендуется использовать средства тайнописи) замеченные во время путешествия места, в которых строят новые железнодорожные линии или ремонтируют и расширяют старые.

В городах, список которых есть у Лидумса, за номерами 13, 14, 15 и 16 находятся важные аэродромы. Если Лидумсу удастся их увидеть, он должен запомнить длину беговых дорожек, их конструкцию. Он должен осмотреть типы и количество самолетов, которые там находятся,— истребители, бомбардировщики и прочие, реактивные или винтовые и сколько моторов.

Были бы благодарны за каждую информацию в отношении самолетов, аэродромов, армейских частей, особенно в городах №№ 1, 3, 5, 7. В городе № 7 имеются военные штабы. Здания их находятся на углу следующих улиц: Заводской и Ленинской и еще на углу Ленинской и одной из улиц, идущей параллельно Заводской (западнее ее). Прошу отметить, какие армейские подразделения находятся в них, и обозначения на каждой воинской машине, какую можно увидеть стоящей возле штабов.

В городе № 7 прошу записать все в отношении аэродромов, заводов, особенно описания самолетов и их типы и количество. Обязательно дать точное место расположения заводов и аэродромов в городе и возле него...»

Конец этой телеграммы англичане передали в течение следующего сеанса: они просили Лидумса дать полную информацию о заводах, примыкающих к реке К.

«Дорогой Лидумс, по прибытии в город № 5 прошу собрать подробные сведения о каждом воинском подразделении. Особенно о находящихся в казармах города. Необходимо обратить внимание на форму одежды, обозначение подразделений, на образцы оружия.

На реке К в городе № 8 пароход идет мимо верфи, на которой строятся подводные лодки. Эта судоверфь имеет два больших здания для спуска лодок на воду. Прошу заметить, имеются ли подобные сооружения на другой стороне реки. Необходима информация о каждом виденном корабле, находящемся в стадии строительства. Во время путешествия по рекам необходимо отмечать, какие пароходы были встречены. Среди них могут быть и военные корабли: фрегаты, истребители, минные тральщики и подводные лодки. Необходимо обращать внимание на отметки на бортах кораблей, указывающие на их осадку, это очень важно.

Также хотелось бы знать, приходится ли когда-либо пассажирским пароходам ожидать, чтобы пропустить мимо военные корабли, где и когда это произошло. Все вопросы: места, даты и время, когда видели военные корабли,— являются важными. Это все, что касается путешествия по России, но путешествие по реке К лучше провести весной, а другие прогулки можно и сейчас...»

Эту длинную радиограмму Альвирас принял за два сеанса. Но она доставила генералу Егерсу больше забот.

Итак, англичане сочли наконец группу Будриса не только надежной, но и одной из главных своих опорных точек в Советском Союзе. Это может означать только одно: по своей манере снимать сливки с чужого молока англичане попытаются использовать членов группы и для сбора разведывательной информации по другим районам Советского Союза.

Их разбирает жадность: завтра они могут потребовать, чтобы Будрис направил какого-нибудь шпиона за тысячи километров. Меньшим теперь они не удовлетворятся...

Егерс был прав. Через два дня у него на столе лежала новая телеграмма из «Норда»:

«Дорогой Будрис! Прошу информировать нас, имеется ли возможность направить кого-либо из вашей организации на несколько дней в город по списку Лидумса № 10. Последний является важной базой русского морского флота...»

Генерал Егерс вызвал «Бородача» Ниедре. Ниедре полтора года просидел вместе со шпионами, потом заболел, и его перевели на хутор. Сопровождали его Граф и Юрка, которые, вернувшись в лагерь, нагородили сто верст до небес и все лесом: «Бородача» будто бы захватили чекисты, Граф и Юрка еле спаслись.

Ниедре вылечился и теперь являлся помощником Будриса по всем «шпионским» делам. Он был уже капитаном, а в лес уходил старшим лейтенантом.

— Вот какое дело, капитан, вам надо немедля проехать на хутор к Арвиду и организовать из лагеря ответ на эту вот телеграмму «Норда». Так как Будрис пробудет в Москве не меньше месяца, то англичанам лучше сказать, что на выполнение их заданий Будрис пошлет своего человека в январе или в феврале...

Ниедре выехал на хутор и передал телеграмму Графу. Граф записал ее, чтобы шпионы видели: Будрис все еще болен. Так он ее и передал Альвирасу:

«Человека в город № 10 сможем послать только в январе или в начале февраля».

Через несколько дней последовала новая радиограмма из «Норда». Англичане благодарили Будриса за намерение оказать им помощь.

«Радуюсь,— писал Силайс,— что вы имеете возможность отправить своего человека в город № 10. Мы, правда, не знаем, кто этот человек по специальности и на какое время поедет туда. Все же предлагаем ему, как главную задачу, попытаться привлечь к сотрудничеству кого-либо из проживающих там надежных людей для регулярного наблюдения за расположением военного флота и установить связь с этим лицом по почте или другим путем.

В отношении военного флота нас интересуют те вопросы, о которых мы информировали Лидумса и обучили формуле наблюдения: для надводного флота — «Филмстар», для подводного — «Сиал». Пусть Лидумс объяснит вашему посланцу, что и как надо наблюдать в этом городе. Нас интересуют строения вблизи порта; как близко можно подойти к месторасположению флота? Имеется ли поблизости какая-нибудь высокая вышка, с которой можно было бы наблюдать военные корабли и устанавливать их класс? Какие корабли строятся на судоверфях на южном берегу реки? Можно ли проехать по реке из города в следующий город? Имеется ли регулярное транспортное сообщение по реке или по дороге на северном берегу реки от порта к порту?

Если пройти от подъемного моста по северному берегу реки от двух до трех километров на запад, минуя химзавод, цистерны с маслом и целлюлозную фабрику, то чуть дальше за фабрикой станут видны все военные корабли, которые находятся в городской бухте. На южном берегу реки, за фабрикой, расположены судоверфи. На каких верфях строятся корабли, какого типа, величины, сколько именно?

Если строятся и подводные лодки, то какой величины, длины и типа? Оканчивают ли строительство кораблей на месте, или они монтируются из готовых деталей?

Какие военные корабли и где именно видели в городе в последнее время, их названия, номера, описание. Лидумс знает, что является характерным для определения кораблей. Где стоят они на якоре? Если у вашего человека есть возможность проникнуть туда, пусть опишет все корабли, которые он увидит, а также все трудности, препятствия и все возможности для проникновения туда. Если туда идут поезда, пришлите расписание. Имеется ли какая-нибудь местная газета или журнал для моряков, которую кто-нибудь мог бы регулярно пересылать в Ригу...»

Вот какую «энциклопедию» затребовали англичане у Лидумса и Будриса!

17

Вэтру и Балодиса поселили на даче под Москвой.

Дача была обжитая, внизу — столовая, при ней — комната для домоуправительницы, еще несколько комнат — для гостей и обслуживающего персонала. Наверху в смежных комнатах поселили Вэтру и Балодиса.

В первый день вечером их посетили гости. Это были генерал Голубев и полковник Вавин, а с ними еще несколько человек, которым было крайне интересно поговорить с человеком, вернувшимся из «логова» английской разведки.

Утром началась работа, связанная с подготовкой отчета о выполнении Лидумсом задания органов госбезопасности в Англии.

После завтрака приехали стенографистки. Вэтра выбрал для работы гостиную: ему нужно было двигаться, стоять перед окнами, возвращаться к столу, за которым сидела стенографистка, диктовать ей фразу за фразой, потом опять стоять у окна... Балодис работал в столовой: там можно было прислониться к печке и помолчать, вспоминая, как худо живется в лесу суровыми зимами...

Вечерами выходили гулять. Шли к станции, порой уезжали в Москву, в театр или в ресторан, в воскресенье обязательно посещали выставки или музей. Этой осенью выставок было много.

Будрису доставили три телеграммы из Англии, полученные Альвирасом.

Итак, англичане желают, чтобы их «друг» Лидумс совершил длительное путешествие по России. Чтобы он побывал в Дольске,— там его легче всего поймать на ошибках, в Дольске бывают работники посольства, стоит Лидумсу неточно описать завод, и англичане будут это знать! Хорошо еще, что они решили ждать до весны. Так, а теперь телеграммы Будрису. Что значат эти слова: «Филмстар» и «Сиал»? Что интересует англичан в городе № 10? Наш флот?

Он прошел в комнату Вэтры. Тот возился со щенком, которого недавно они подобрали в лесу. За каждое выполненное приказание Вэтра угощал пса сахаром.

— Викторс, что такое «Филмстар»?

— Звезда экрана! — ответил Лидумс, подбрасывая мяч, чтобы собака поймала его.

— А еще что?

— Э, да ты, наверно, получил телеграмму из Лондона! Ну-ка, дай мне ее...

Лидумс читал и читал, и лицо его все больше и больше омрачалось:

— Они просят послать разведчика? Тогда им пригодится и «Филмстар» и «Сиал». Так вот, дружище: формула «Филмстар» относится к наблюдению за надводными судами и составлена из первых букв английских наименований частей судна.

Ф — фуннел: трубы и их количество.

И — идентификатион: опознавательные знаки, название или номер.

Л — ленгтх: длина судна.

М — мачта: мачты и их расположение.

С — спешиал деатурс: особые приметы.

Т — турт: артиллерийские башни, их количество и местонахождение.

А — армамент: вооружение судна.

Р — радар: локаторные установки, их количество и форма.

Все вместе собирается в слово-формулу «Филмстар», что можно прочесть как «звезда экрана». Конечно, это шутка, но от шутливого названия английская формула не становится более безобидной. А формула «Сиал» придумана для описания подводных кораблей:

С — спешиал деатурс: особые приметы, форма.

И — идентификатион: опознавательные знаки, номер.

А — армамент: вооружение.

Л — ленгтх: длина.

А теперь у меня к тебе один вопрос, товарищ полковник: не пора ли кончать эту затянувшуюся игру с англичанами? Теперь-то у них будет время на телеграммы! В ближайшее время вы, господин Будрис, получите столько заданий, что у вас не хватит времени на сочинение дезинформационных телеграмм в «Норд». Уж если господа англичане решили получить проценты на свои затраты, то постараются нажать на вашу группу...

— Прав-то ты прав, дорогой Вэтра, но не от меня все это теперь зависит. Игру надо продолжать. Хотя бы для того, чтобы англичане, сорвавшись здесь, не начали засылку новых шпионов в другие места!

— Ну, хорошо. Тогда я должен ответить Маккибину. Для этой цели мне необходимо съездить в Дольск.

— Эти англичане так верят в свой шпионаж, что никакому чиновнику из посольства доверять не желают. Шпионы, шпионы, шпионы, сорок тысяч одних шпионов — вот их мечта!

— А что будешь делать ты?

— Попрошу разрешения на отъезд. Англичане ждут многих сведений. Этим уж я займусь сам.

Вечером следующего дня полковник Балодис сел в поезд и покатил в Ригу.

Теперь с Вэтрой работал полковник Вавин.

Он привез данные о промышленности Дольска. А в один из дней они и съездили туда. Шел снег, погода была мягкая, машина бежала отлично. В Дольске посетили областное управление КГБ, выяснили, что можно и выгодно для нас сообщить англичанам. После этого Лидумс проехал по улицам города, сверяясь с планом, и запомнил местоположение некоторых предприятий. К вечеру вернулись домой.

Анна спрашивала в письмах, когда Викторс вернется. Может ли сама Анна приехать?

Лидумс понимал: надо как можно скорее заканчивать свои «мемуары». Но последнюю точку поставил к пятнадцатому ноября. В этот день Вэтру навестил генерал Голубев.

Голубев взвесил на руке папку с «мемуарами», сказал:

— Да, весомо! А сейчас мы заехали за вами!

Вэтра переоделся. Сели в машину.

Они миновали городской въезд, гостиницу «Украина», проехали мимо поворота на Садовое кольцо... Машина въехала в Кремль. Вот тут Вэтра заволновался!

К дому правительства прошли пешком. Широкая лестница вела в Георгиевский зал.

Генерал и Вавин были в штатском, не выделяясь среди приглашенных, просто сопровождали Викторса Вэтру. Теперь он чувствовал себя именно Викторсом Вэтрой, не было ни Лидумса, ни Казимира, был он сам — Викторс Вэтра. И едва они вошли в зал, как все смолкло.

Тут были ученые, инженеры, строители, шахтеры, колхозники, и это была та среда, в которой каждый чувствовал себя спокойно, ибо они все были друзьями, товарищами. И Викторс Вэтра успокоился, хотя сама церемонил награждения оставалась волнующей.

Когда его вызвали, он спокойно прошел к столу и сердечно поблагодарил за награду. Он был награжден орденом Красного Знамени.

18

Вэтра вернулся домой из длительной командировки и вытащил с чердака старые картины, которые требовалось «освежить». Когда друзья собирались у него в мастерской, он говорил, что лучшие полотна оставил в Москве, предложил их на выставку, к которой готовится.

Труднее всего было с Анной.

Что-то надломилось в ней. Ей было страшно нести в издательство свои рисунки, сдавать их, было трудно работать над ними, она все ждала от мужа, чтобы он помог, а как тут поможешь? Надо переломить себя — вот единственное лекарство!

Он предложил Анне сделать несколько портретов.

Сначала она отказывалась, но Викторс настоял. Первой ее работой стал портрет старой актрисы. Он пристально следил за работой жены и радовался ее успехам...

Чуть ли не каждый день звонил Балодис.

Викторс оказался прав... Англичане так насели на Будриса, что только поворачивайся! Работали обе рации — Альвираса и Бертулиса и задавали Будрису столько вопросов, что он составил длинный список, а Комитет госбезопасности предупредил некоторые учреждения, что их деятельностью чрезвычайно интересуются... англичане, и посоветовал этим учреждениям принять соответствующие меры для дезинформации противника...

В одной из таких телеграмм англичане передавали:

«Дорогой Будрис! Крайне необходимо, чтобы кто-нибудь из ваших друзей выехал в город по списку Лидумса № 15 на продолжительное время...

На берегу реки находятся важнейшие корпуса судостроительного завода, представляющие собой два больших ангара. В них производится сборка подводных лодок из готовых секций, поступающих с других заводов.

Необходимо зафиксировать типы подводных лодок и количество секций в них.

Длина подводных лодок примерно сто метров. Их спускают в реку ночью или утром около пяти часов.

Нужно зафиксировать дату спуска, размеры лодок, из каких дверей цехов они спускаются на воду.

В следующие после спуска дни наблюдайте подвоз новых секций.

Лодки перед спуском окрашиваются в огненно-красный цвет, и только после установки на них машинного и иного оборудования их перекрашивают шаровой краской.

Таким образом, по цвету можно определить, сколько новых лодок спущено на воду за определенный отрезок времени. Поэтому очень важно проводить наблюдения регулярно, если возможно, то через день.

Важно также знать, работают ли ночные смены и в каких помещениях. Вообще все, даже то, что, на ваш взгляд, кажется мелочью, для нас имеет очень большое значение...»

Круг интересов отдела «Норд» все расширялся. Правда, пока что Англия, бывшая владычица морей, большую часть своих вопросов и запросов связывала именно с морем. Но кто мог предсказать, чем англичане заинтересуются в дальнейшем?

Англичанам не терпелось пробиться за пределы Балтики. Им хотелось бы проникнуть на восток, юг, север. И Викторс с уверенностью предполагал, что не ему одному предстоит длительное путешествие, что такие же путешествия предстоят и Графу, и Мазайсу, и Делиньшу... Делиньшу в особенности, он же теперь Барс, лучший радист «Норда»...

Весной наступит время Викторса Вэтры. А за Викторсом придет день и для другого...

...Приближался Новый год. Викторс Вэтра готовился к выставке, писал много и хорошо. Анна взялась за портрет молодой девушки. Это было тоже очень хорошо, не потому, что портрет выписывался быстро и умело, нет, Анне все приходилось начинать очень трудно, каждую работу подолгу обдумывать,— а вдруг что-то выйдет не так? — и она постоянно советовалась с Викторсом. Но Викторс уже видел, что работа пойдет...

Свои тайнописные отчеты англичанам Викторс тоже послал. Он написал о Дольске, ответил на вопросы, касавшиеся нескольких других городов, правда, он туда не поехал, черновик письма составлял Будрис, Викторсу пришлось лишь переписать этот черновик, используя тайнописную копирку.

Ему приходилось ждать, ждать и ждать. Хоть бы все окончилось поскорее! Вот о чем он мечтал! Стать наконец самим собой!

Продолжение следует.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

19

Граф расселил Альвираса, Биля и трех их помощников на зиму по одиноким лесным хуторам. С каждым из пришельцев с Запада на хуторах жили по одному-два человека из «отряда» Будриса — Графа. Делиньш с согласия англичан свою радиостанцию свернул: англичане разрешили ему легализоваться так же, как и Юрке, новому стивидору в Вентспилсе...

Работали две шпионские рации: Альвираса и Бертулиса, который в эфир выходил все реже.

Мазайс слезно умолял Будриса освободить его от охраны Бертулиса. Парень, по его словам, все чаще задумывается, «почти как Этле!» — писал он в своих сообщениях. А это был очень опасный симптом.

В январе Бертулису должно было исполниться тридцать пять лет. И он все чаще жаловался Мазайсу, что ему нет смысла отмечать эту дату. Что он успел сделать в своей жизни?

Где-то в восточных районах Латвии жила его семья: отец, мать, братья и сестры. В сорок четвертом году, когда он был всего-навсего учеником Экономической школы в Риге, немцы вывезли его со всеми остальными школьниками в Германию. Он едва успел отправить короткую записку отцу...

После окончания войны детский лагерь оказался в английской зоне. Англичане отнеслись к детям нарочито участливо: их стали хорошо кормить, одели в костюмы бойскаутов. Появились и преподаватели.

Однажды Бертулиса вызвали в управление лагеря. Там ему сказали, что завтра в лагерь приедут русские. Россия разрушена войной, поэтому русские собирают по лагерям детей и подростков в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет, чтобы создать строительные бригады наподобие тех, что были в немецких концентрационных лагерях. Дети будут жить и работать под охраной. Если Бертулис не хочет погибнуть от голода и изнуряющего труда, он может отказаться от такой судьбы. Тогда его перевезут в Англию, где он закончит экономическое училище, а позже, если пожелает, помогут разыскать родителей — еще неизвестно, не сослали ли русские всех латышей в Сибирь.

Русские действительно увезли всех, кто назвал свое имя и национальность. Бертулис и многие другие промолчали, и администрация лагеря скрыла их документы.

Он окончил английское экономическое училище и мог бы работать счетоводом, но работы не было. До восемнадцати лет жил в общежитии при училище и получал хорошее питание, бойскаутскую форму и один

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—38.

РОМАН

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

Рисунки В. ВЭТРА.

ЕРЕГУ

штатский костюм в год. После окончания училища все эти блага кончились. Временно его поселили в латышской колонии «Двинских соколов», но работы все не было... Иногда их вызывали на погрузку и выгрузку военных кораблей, порой они заменяли бастующих почтальонов или водителей машин, если бастовали шоферы. Правда, в таких случаях все жители колонии получали довольно крупные деньги, но и неприятности случались крупные. Кого-то забастовщики успевали избить, кто-то нарывался на неприятности даже в колонии — туда тоже проникали коммунистические агитаторы, как объясняли Бертулису руководители «Двинских соколов».

Неприятностей Бертулис избегал, но сама неустроенная жизнь так надоела ему, что в возрасте двадцати лет он дал согласие бывшему государственному деятелю Латвии Скуевицу и английскому офицеру из латышей Силайсу пойти в особую школу.

Школа была действительно «особой». В ней обучались всего полтора десятка латышей, эстонцев и литовцев из детей перемещенных или вывезенных немцами. Так Бертулис переменил профессию экономиста на профессию шпиона.

И вот он уже больше года живет в Латвии, но даже и не пытается разыскать своих родителей. Конечно, он знает, что они наверняка живы, порой он читает название родного хутора в газетах, которые получает хозяин его прибежища, на родном хуторе работает колхозная бригада, вероятно, и его родители состоят в этой бригаде, но Бертулис помнит, что теперь за связь с ним родители могут понести наказание. И он боится даже издали взглянуть на родной хутор...

Деньги у Бертулиса были. Перед отправкой в Латвию Силайс дал Бертулису, кроме радиостанции, шифров, оружия и яда, еще и пятьдесят тысяч рублей советскими деньгами. За все время сидения на хуторе Бертулис истратил разве что десять тысяч. Не будь у него денег, его кормили бы и бесплатно. Так, во всяком случае, сказал руководитель подполья Будрис, да и сам хозяин хутора, работник Тераидского лесничества, никогда о деньгах не заговаривал, но Бертулис сам в начале каждого месяца оставлял на столе тысячу рублей, кроме того, он попросил хозяина купить велосипед, недорогой костюм, пальто, кое-какое белье...

День рождения у Бертулиса был пятнадцатого января. Бертулис достал из тайника пакет с деньгами и попросил Мазайса сходить в ближний городок, купить выпивки и закуски. Все-таки тридцатипятилетие нельзя не отметить, как бы бестолково ни проходила жизнь.

Мазайс всю зиму жил в бане, где хранилась и радиостанция Бертулиса. Сам Бертулис обитал в маленькой горенке возле комнаты лесничего. Если к лесничему приходили хуторяне, Бертулис отсиживался в этой горенке. Когда посетителей не было, он сидел в комнате хозяина, где были письменный стол, два шкафа с книгами, два удобных кресла и большая лампа-«молния». Хозяин хутора, хотя он и был вдовцом, любил уют, а книги остались от покойной жены, которая была учительницей.

Кроме книг, в доме были и журналы.

Бертулиса никто не беспокоил. Хозяин объяснял знакомым, что у него живет племянник: заболел в городе туберкулезом. И если кто-нибудь из хуторян случайно встречал Бертулиса, то поглядывал на него с сочувствием: такой молодой, а вот — на тебе!— болен...

Впрочем, Бертулис и на самом деле был болен.

Он болел тоской. Тосковал по родине, хотя и жил на родине, тосковал о родителях, хотя по шоссе, недалеко от которого стоял дом лесника, было едва сто километров до родного хутора, и любой шофер довез бы его туда. Это была очень тяжелая болезнь, может быть, даже тяжелее придуманного лесником туберкулеза.

Мазайс сунул деньги в карман, перекинул через плечо пустой рюкзак и ушел: путь не близкий, до городка десять километров, если не окажется попутной машины — шагай два часа. Бертулис вернулся по узкой, прогребенной в сугробах дорожке в дом.

Вошел и остановился в удивлении. Лесник, босой, с мокрой тряпкой и ведром, протирал стены и окна дома. Пол был уже вымыт, книги протерты и тщательно поставлены рядами. Комната так и сверкала, отражая косые лучи зимнего низкого солнца, врывавшиеся в окно.

— Дядя Генрик, чем это вы занимаетесь?

— Гостью жду!— сухо ответил лесник, продолжая орудовать тряпкой. Генрик не признавал излишней роскоши, стены не обивал ни сухой штукатуркой, ни линкрустом. Его жилище должно было д ы ш а т ь. Оно и на самом деле дышало лесным воздухом, смоляным запахом зимнего леса.

Генрик шлепал босыми ногами по мокрому еще полу, а стены уже начинали сиять своей первозданной золотой окраской доброго к человеку дерева, гудела прокалившаяся печь, тоже блещущая, тоже протертая. И Бертулис вспомнил, что так бывало и в его родном доме перед праздниками, даже перед его собственными именинами, когда он был еще ребенком.

Но воспоминание вдруг оборвалось: дядя Генрик ждет гостью! Кто она? Как хозяин объяснит ей пребывание Бертулиса в доме? Не придется ли вот сейчас же, немедленно собирать свои вещи и бежать из этого счастливого дома, в котором он прожил так долго, что чувствовал его уже почти родным? И, как на беду, он отослал своего помощника Мазайса, а куда он денется без него?

Он неловко спросил:

— Какая гостья, дядя Генрик?

— Племянница. Настоящая. Не такая, как ты, мой богоданный племянничек!

— А как же я?

Генрик швырнул тряпку в ведро с водой и смотрел довольно презрительно на своего жильца. Потом вытер руку об руку, также суховато сказал:

— Она знает, что у меня есть дальний родич из латгальцев, что он болен и живет здесь.

— А где она работает?

— Она учится. Студентка четвертого курса!— Эти слова прозвучали важно, весомо. Но Генрику, видно, еще не хватало этой весомости, так как он, подумав, добавил:— Филолог!

Последнее утверждение дяди Генрика начисто добило бедного Бертулиса.

— Может быть, мне переехать куда-нибудь?— робко спросил Бертулис.

— А зачем? Живи, как живешь. Мирдза и не такое на моем хуторе видала,— равнодушно сказал дядя Генрик.

— Она, что же, тоже состоит в организации?

— Ей это ни к чему! И ты при ней своей теории не развивай. Живи тихо, ты же больной,— чуть приметно усмехнулся лесник.— А больных всегда жалеют. Только извини, кабинет мой она займет. Мы с тобой как-нибудь вдвоем разместимся, а Мазайса отпустим домой. Он давно уже просился у Будриса, чтобы дали ему отдохнуть: жена его вот-вот рожать будет...

— А я-то собирался именины сегодня устроить...— растерянно сказал Бертулис.

— А кто тебе запрещает?— хмыкнул дядя Генрик.— Ежели человек живет, значит, у него бывает и день рождения. То-то, я вижу, Мазайс куда-то исчез. Наверно, ты упросил туда да обратно два десятка верст протопать? А спросил бы, я бы сказал: в два часа поеду на лошадке до городка, к рижскому автобусу, все бы и захватил, что требуется...

— Кто же знал...

20

Мирдза оказалась славной темноволосой девушкой, с пряменьким носиком, пухлыми губами. Белый пушистый свитер отлично шел к ее складной фигуре, а лыжные брюки делали похожей на подростка. На санках лежали и лыжи, и чемодан, и связка книг на каком-то непонятном Бертулису языке. Он все-таки переслил свою робость и вышел встретить гостью и хозяина. В задке санок сидел и Мазайс: лесник позаботился, отыскал его в городке. Мазайс поддерживал солидно набитый мешок, и Бертулис порадовался тому, что послал его в город, что затеял эти именины. Тем более что Мирдза, едва выпростав ноги из-под волчьей полсти, тут же воскликнула:

— А это, значит, и есть Бертулис? Вот хорошо, будем вместе бегать на лыжах! — И протянула маленькую крепкую руку.

— Ты, Мирдза, все ж помни, что он у нас больной,— нарочито строго сказал дядя Генрик, на что Бертулис поспешил ответить:

— Я уже выздоравливаю!

Мазайс обошел их и скрылся в кухне. Лесник распрягал лошадь. Молодые люди стояли и разглядывали друг друга. Вдруг Мирдза забеспокоилась:

— Я не стесню вас?

— Ну что вы! Мы с дядей Генриком уже все устроили...

— Ах, он сказал мне, что отдает тетин кабинет. Но ведь вы, наверно, тоже учитесь? Или работаете?

— Я в отпуске!— солгал Бертулис.— Только читаю!

— Ах, книги тетушки!— обрадованно сказала Мирдза.— Я их когда-то тоже прочитала от корки до корки. Но у меня с собой тоже есть несколько книг, и отнюдь не связанных с курсом.— Она улыбнулась.— Да, что же мы стоим? Пойдемте в дом! Я очень люблю запах вереска, который дядя Генрик развешивает по стенам!

Бертулис подхватил увесистый сверток с книгами, чемодан, Мирдза взяла лыжи с башмаками.

Именинный ужин удался на славу.

Утром Мазайс засобирался домой. Бертулис вскрыл тайник и достал один из пакетов с деньгами. Смущаясь, но довольно настойчиво попросил Мазайса принять подарок новорожденному...

Две недели пролетели быстро. Мирдза после завтрака сразу собиралась на прогулку, и Бертулис не мог отказать в просьбе сопровождать ее. Как-то она спросила:

— А что вы собираетесь делать дальше, Бертулис?

— Когда дальше?

— Ну, когда выздоровеете? Впрочем, вы уже здоровы. Я вчера нарочно бежала без остановок целых десять километров, и вы все время поспевали за мной. А я ведь перворазрядница. И когда я остановилась, у вас дыхание было даже ровнее, чем у меня. Значит, практически вы здоровы...

— Врач приказал мне явиться к нему весной...

— Ну, а потом? Если он разрешит вам вернуться в город?

Порой у него возникало подозрение, что все эти расспросы ведутся неспроста. Не подослана ли Мирдза каким-нибудь дотошным начальством, чтобы проверить, кто живет у дядюшки Генрика под видом племянника. Ведь она-то знает, что, кроме нее, у дядюшки племянников нет. А тому, что он дальний родственник, она может и не поверить. Ведь тщательно продуманная дядей Генриком легенда рушилась сама по себе в тот день, когда Мирдза приехала сюда... Он, правда, боялся связывать Мирдзу с таинственными чекистами, но ведь были и другие советские власти: не менее таинственный комсомол, сельсовет, лесничество, милиция... Но нет, нет! В лице Мирдзы было столько участия вместе с чисто девичьим любопытством, она так интересовалась прошлым и, главное, будущим Бертулиса, что он невольно сам расширял рамки заранее придуманной легенды. Вот уже в ней появились хутор его отца, усталая и довольно болезненная мать — не от нее ли и получил Бертулис эту болезнь, заставляющую его всю зиму жить в лесу?

— Вернусь в Ригу... — говорил он. «Какая Рига! Кто тебя туда пустит?» — стучало у него в висках. Но он мужественно продолжал: — Я ведь техник-экономист, для меня всегда найдется работа...

— А почему бы вам не пойти в институт? — вдруг рассудительно спрашивала Мирдза. — На экономическом факультете вас примут на второй курс. Еще три года, и вы дипломированный экономист. Сейчас эта профессия в большом почете! А там, глядишь, Госплан республики или какое-нибудь министерство, а потом вдруг: «Здравствуйте, товарищ министр, вы меня не узнаете?» — Она мгновенно обернулась к нему в поклоне и засмеялась, увидев растерянное лицо. — Между прочим, это совсем не сказка, а самая настоящая быль! Один мой приятель окончил университет в прошлом году, он славист, а осенью уже приезжал в отпуск из Болгарии, работает в нашем посольстве в Софии...

Она сказала это «в нашем посольстве» так, как будто в Болгарии было такое же посольство, как то, латвийское, в котором министр Скуевиц благословлял Бертулиса на подвиги в Латвии в честь «свободного мира». По ее словам выходило, что для простой девчонки-латышки не было никаких неодолимых да и вообще никаких препятствий, какую бы задачу или мечту она ни придумала, надо было только со всей решительностью устремиться вперед, освоить свой предмет досконально, быть трудолюбивой и смелой...

Ну, а сам-то Бертулис? Был ли он трудолюбивым, смелым, сильным? Это как сказать! Вот освоил же он и экономическое училище, а потом еще такую трудную школу, о которой, вероятно, никогда не станет никому рассказывать, разве что если его схватят чекисты... Но те-то сразу поймут, что он за птица! А ведь в той школе он научился черт знает чему! Он может пройти с аквалангом около пяти километров по дну моря; он может гнать машину хоть сутки, будь это танк, трактор, грузовик, легковой автомобиль; может прыгать с парашютом хоть днем, хоть ночью; умеет передавать по радиостанции максимум слов в минуту; может стрелять через плечо и навскидку; может, наконец, раздавить в зубах ампулу цианистого калия, если его внезапно попытаются захватить чекисты.

Ах, да, вот насчет цианистого калия у него с некоторого времени появились сомнения. С чем же они связаны? Неужели именно с тем, что Мирдза проявляет некоторый интерес к нему? Но ведь это смешно! Навряд ли он убедит ее бежать с ним нелегально за ту самую границу, которую Мирдза может пересечь официально хоть завтра?

Но почему именно ему, тихому, мирному человеку, так полюбившему ту профессию, к которой он никак не мог прикоснуться, почему именно ему приходится постоянно думать об ампуле с ядом?

Он так задумался, что даже не расслышал голос Мирдзы:

— Может быть, пойдем обратно?

— О нет, побродим еще! — попросил он.

— Вы не очень вежливы, мой кавалер! — сказала девушка. — Вот уже полчаса вы молчите. Не скажете ли вы, о какой русокосой красавице вы задумались?

Он чуть не проговорил: «О железнокосой!» — но спохватился. Ведь она может понять это именно так, как он только что думал! Да, она его-то все время ожидает, эта «железнокосая» старуха смерть...

— Мне захотелось пробежаться до лосиной кормушки!

Лоси и козули пробили в глубоком снегу тропы от водопоя к стогам сена. Дядя Генрик знал свое хозяйство и если не кликал каждое живое существо в лесу по имени, то заботился о них почти так же, как если бы был с ними знаком лично.

Мирдза и Бертулис постояли на опушке поляны, глядя на нескольких запоздавших с завтраком зверей, круживших возле невысоких стожков.

И опять у Бертулиса засосало под сердцем: все, что он видел вокруг, отныне связалось для него с образом Мирдзы.

Утром первого февраля Мирдза уезжала в город.

Накануне они долго сидели в большой комнате лесника возле круглой печи и мирно разговаривали. Поздно вечером вышли попрощаться с лесом. Под деревьями было совсем тихо, как будто в лесу было две жизни: верхняя — беспокойная, и внизу — застоявшаяся, неподвижная. И Бертулис вдруг подумал: это так и есть! Жизнь Мирдзы — движение, непокой; а у него — болото, засасывающее его все глубже, может быть, до той минуты, когда он уже не успеет крикнуть: «Спасите!»

Он как-то неловко повернулся, может быть, хотел сказать об этом Мирдзе, и вдруг коснулся губами ее лица.

Когда оба они опомнились, когда смогли произнести первые слова: «Ты меня любишь?» — это со страхом и недоумением сказал Бертулис,— «А ты и не замечал?» — это с ликованием и нежностью — Мирдза,— оба вдруг заспешили подальше от освещенных окон дома. И только остановившись у огромной сосны за домом лесника, опять принялись говорить, теперь уже оживленно, быстро, как будто боялись недоговорить что-то важное.

И вдруг он вспомнил:

— Но ведь ты уезжаешь!

— Глупый мой, да я же вернусь в конце февраля и останусь здесь до самой весны! Я приеду сюда писать свою дипломную работу!

— А я...

— Молчи, молчи! Я говорила с дядей Генриком... Он считает, что тебе не вредно пробыть здесь хоть до мая. Тогда воздух станет суше, и ты сможешь поехать к своему доктору...

Да. К доктору. И ничего больше. Ты не смеешь ничего говорить. Завтра вернется Мазайс. Если он услышит твои мысли, прочтет их, когда ты будешь спать, он просто пристрелит тебя и будет прав. Потому что ты собираешься изменить делу. А зачем оно тебе, это дело? Мазайса это не будет интересовать. У него приказ.

21

По возвращении из Москвы полковник Балодис, он же «руководитель группы национально мыслящих латышей Будрис», занялся инспекцией своего «хозяйства». Приближалась зима. Как ни приучены были люди и их подопечные — бывшие воспитанники английских шпионских школ — к лишениям и неудобствам, но оставлять их в лесу на зиму было просто опасно. Зимний лес надолго сохраняет следы. Зимой в лес выходят охотники. Стоит охотникам заметить чужие следы, учуять дымок бункера, спрятанного где-нибудь в чаще, как они выследят «чужаков».

И он снова объехал знакомые хутора, договариваясь с хозяевами, кто и кого именно приютит у себя на зиму. Человек, живущий на хуторе, будь он и посторонний, скорее сойдет за гостя.

Выполнил он и просьбу Альвираса.

Альвирас чрезвычайно волновался перед встречей с легендарным Будрисом. Граф, провожавший Альвираса на хутор Арвида, устал от расспросов и был вынужден напомнить о правилах конспирации. И, когда поздним вечером Альвирас добрался до хутора, он был уже тише воды и ниже травы.

Но Будрис принял «посланца» очень любезно, на столе стоял обильный ужин, украшенный бутылками вина и водки, и Альвирас, отогревшись, за ужином несколько ожил.

Он предъявил «господину Будрису» свои верительные грамоты, проявленные им на досуге письма Силайса, которые Будрис прочитал раньше, чем Альвирас, и радиограмму, которой Будрис еще не видел: она была получена Альвирасом до того, как его шифры были перефотографированы шифровальщиками на улице Стабу...

«Норд» запрашивал:

«Дорогой Будрис, можно ли просить тебя направить кого-либо из твоих друзей в один из городов центральной России для сбора некоторых разведывательных данных? Эти задания очень важные. Выполнить их можно только с помощью глаз и ушей, не задавая никому никаких вопросов. Задание очень срочное, поэтому прошу тебя ответить как можно быстрее...»

Будрис набросал ответ и передал Альвирасу для передачи по радио. Будрис дал согласие на посылку «одного из друзей» в центральную Россию, и Альвирас проникся еще большим уважением к своему новому начальнику.

— Когда прикажете передать?

— Во время очередного сеанса. Они ждут! — строго сказал Будрис.

— Я сам с удовольствием поехал бы туда!

— Вы говорите по-русски без акцента?— поинтересовался Будрис.

— Я знаю русский, но давно уже не разговаривал ни с кем из русских!— признался Альвирас.

— Ну, что же, я устрою вам практику.

— Как?— удивился Альвирас.

— На следующей неделе вы все переходите на зимние квартиры. Я распоряжусь, чтобы Граф поселил вас и вашего помощника на хутор, хозяин которого знает русский и женат на русской женщине...

— Но... русская женщина... Разве это не опасно?

— Русские тоже бывают разные, как и латыши,— усмехнулся Будрис.— Его жена — дочь священника, да и сам хозяин, хотя он и латыш, тоже православный. Так что не рекомендую заводить с ними споры о вероисповедании.

— Я буду очень рад, господин Будрис! Признаться, в лесном лагере с каждым днем становится труднее...

— Мы живем так уже долгие годы!— сурово напомнил все время молчавший Граф.

— Простите, командир, я не хотел обидеть вас и наших храбрых друзей.

Альвирас задал еще несколько вопросов: как организовать хотя бы небольшую группу помощников для сбора сведений по Латвии? Он очень упирал на то, что ему разрешено организовать такие группы на свой страх и риск. И еще хорошо бы ему легализоваться в каком-нибудь безопасном пункте. Будрис был вынужден напомнить, что предшественник Петерсон, устроившийся в Риге, был довольно быстро засечен со своей радиостанцией советскими пеленгаторами.

После такого напоминания Альвирас несколько увял и больше слушал, чем спрашивал. А Будрис отдавал немногословные распоряжения Графу: какие хутора вне подозрения; сколько человек и на какой именно хутор, в какой день доставить; о семье и привычках хозяина; где надо помалкивать, а где можно разговаривать свободно; кто из хозяев не прочь выпить, а кому нужно подготовить подарок... И Альвирас слушал все это, как сказку! Его руководитель знал окрестные места лучше, чем сам Альвирас бывшую школу. Теперь-то он был убежден, что находится под надежной защитой...

Перед рассветом Граф разбудил Альвираса, и они ушли в лес. Там уже все готовились к переселению...

Через неделю Альвирас и его напарник Кох были переведены на хутор. Граф не поскупился: он привез не только гостей, но могучего кабана-секача, которого подвалил сам Альвирас во время охоты. Парень стрелял отлично, не испугался, когда секач вывалился на него из болотной заросли, и заслуживал этой щедрой награды за участие в охоте. Кох свалил двух козуль, но одну оставил в пользу Биля, который заболел и не мог принять участия в охоте.

Альвирас и Биль расстались довольно равнодушно. Граф понимал, что более тихому Билю надоела вечная опека и покрикивания старшего по группе, он, видимо, надеялся на тихую зиму.

Впрочем, Альвирас сеансов связи не пропускал. И получил долгожданный ответ на согласие Будриса. К его сожалению, ответ «Норда» был неожиданный. Англичане били отбой:

«Мы выражаем сердечную благодарность за вашу готовность оказать нам помощь: направить вашего друга в Россию. Но, когда мы еще раз проверили задание, нам показалось, что оно все же более опасно, чем предполагалось вначале, и поэтому мы решили свою просьбу временно отменить, так как не желаем, чтобы вы или кто-то из ваших друзей подвергали себя новому риску...»

Альвирас отправил эту радиограмму Будрису через Графа уже из своего нового жилища.

А жилище оказалось превосходным.

Владис Ринкуле работал бригадиром в колхозе «Рассвет», но от хутора не отказался, хотя большинство колхозников жили теперь в новом селении, куда свезли или свои старые дома, или построили новые. В селении были и школа, и клуб, и пекарня, и маленькая столовая для тех, кто работал на центральной усадьбе, а жил еще в своих хуторах, вроде Владиса Ринкуле. Ринкуле предпочитал ездить на работу на мотоцикле, но жить в одиночку. Жена его — поповна, была еще молода, может быть, двадцати пяти лет, у них был ребенок, которому оставался год до школы, так что причин для переселения у Ринкуле не было. Да и позже, когда ребенок пойдет в школу, Ринкуле считал, что правильнее будет катать сына в школу и из школы на мотоцикле, чем ломать привычное житье-бытье. Тем более что на его жену в колхозе смотрели не очень одобрительно. Она в колхозе не работала, ссылаясь на болезни, хотя выглядела здоровее мужа, который стремился заслужить милость односельчан хоть тем, что трудился за двоих.

Житье было тихое. Помощник Альвираса Кох сходил тут за охотника. Он хвастался лицензией на отстрел двух лосей,— Будрис достал ему и лицензию и какую-то справку из общества охотников, так что Кох почти легализовался, часто бывал в селении, даже завел там друзей среди местных охотников. Альвирас получил от Будриса справку о том, что является таксатором соседнего лесничества, ведет «камеральные» работы по определению будущих порубочных площадей, но одновременно со справкой Будрис дал и совет, так сказать, «не высовываться». Поэтому Альвирас сидел тихонько, больше слушал «слепые передачи» из Лондона, а сам выходил в эфир только в случае прямого приказа Будриса или Графа, передававшего распоряжение через Коха.

Кох довольно откровенно предостерег Альвираса, чтобы тот не открывался перед хозяевами, кем он является на самом деле, так как хозяева были «пассивными» помощниками Будриса и его организации. Это означало, что Ринкуле и его жена могут дать временное прибежище людям из леса, помочь продуктами, вызнать, что говорят о «лесных братьях» и преследующих их чекистах в селении или в соседнем городке, но от прямого участия в тайных делах отстранились, оберегая семью и свой дом... Сам Кох вел себя в семье Ринкуле как свой человек, но о лесе тоже не вспоминал, больше говорил о своих охотничьих подвигах... Впрочем, он и впрямь был отличным охотником, это Альвирас видел своими глазами во время осенней охоты.

Альвирас довольно быстро отъелся, отдохнул после тяжкой лесной жизни, начал бродить на лыжах в окрестном лесу и както даже забыл о том, что он «нелегальный». Жена Ринкуле — хозяин звал ее Сашей — к жильцам относилась вполне гостеприимно, тем более что у Альвираса водились деньги и на оплату пропитания и на подарки. Вечерами, когда Альвирас не сидел возле приемника, а хозяин уже отдыхал, играли в четыре руки в «66» или в «канасту», которой обучил остальных Альвирас. Играли до полуночи, потом расходились. Альвирас и Кох шли в пристройку, а если случалась передача, Альвирас ждал своего часа, потом включал рацию и старался побыстрее передать радиограмму.

Первого марта Альвирас принял длинную радиограмму, адресованную Будрису. Англичане сообщали:

«Несколько месяцев тому назад мы обменялись радиограммами, в которых вы так вежливо выразили готовность послать своего друга в один из городов восточной России. Сейчас такая нужда возникла снова. Ранее вы сообщали, что ваш друг, который должен был отправиться в дальний вояж, обладает оптической памятью. Это очень хорошо. Если он имеет сейчас возможность выехать из Латвии, ему нужно будет посетить город по списку Лидумса № 17 и пробыть там около трех недель.

О подробностях задания мы сообщим, как только получим ваш ответ».

Днем Кох выехал на хутор, где жил Граф. Там он передал радиограмму и двое суток ждал ответа. Граф поехал к Будрису. С ответом Кох вернулся на свою базу.

В радиограмме Будриса стояло три слова: **«Посылаю Казимира. Будрис».**

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ, Юрий СТУРИТИС

Рисунки В. ВЗГРА.

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

РОМАН

22

Однажды весной над Альвирасом «грянул гром».

Не ясно было, куда идти? Зато было ясно, что идти следует. Конечно, если Владис Ринкуле не застанет «соблазнителя» в доме, в лес он не пойдет: он-то помнит, что у Альвираса есть пистолет... Значит, надо найти своего помощника Коха. Без Коха Альвирасу идти некуда, а Кох на охоте... И Альвирас, захватив с собой оружие, деньги и портфель с рацией, выскочил из дома...

Где-то на озерах раздался выстрел. Надо идти в сторону выстрела. Охотников, кроме Коха, тут нет. Альвирас сошел с дороги и прокрался краем леса, чтобы не попасть на глаза Владису Ринкуле. Миновал шоссе.

Тяжелая рация оттягивала руку. Пистолет он держал в правом кармане.

Следующий выстрел грохнул прямо перед ним. Альвирас скатился с обрыва к озеру и увидел Коха. Тот брел по колено в воде к убитой утке.

— Кох! — позвал Альвирас.

Кох зачерпнул воды в сапоги, выругался, схватил птицу и пошел к берегу.

— Почему ты ушел с хутора?

Только тут Кох увидел, что в руках у Альвираса портфель с рацией.

— За тобой гнались?

— Никто за мной не гнался. Я ушел от Ринкуле...

— Ушел? Так, так. Это тебе Саша синяки поставила?

Кох начинал понимать, что произошло на хуторе.

— Я не знал, что она такая недотрога!

— Надо было спросить у меня. Я бы тебе объяснил. Ты что, совсем ушел?

— Да. Она выскочила за дверь, как сумасшедшая, села на велосипед, подхватила мальчонку и помчалась в деревню...

— Да... Хуже некуда... Ну что ж, пойдем куда глаза глядят. Отсюда надо уезжать как можно скорее. А то Владис поднимет дружинников... Ах, черт!

Молча дошли до шоссейной дороги.

На перекрестке Кох остановился, сказал:

— Придется идти в бункер. А до него добираться — сорок километров. Это тоже понять надо! Будем ловить попутную машину...

Первую и вторую машину Кох пропустил: на одной — химические удобрения, на второй — рыба в ящиках. Увидев третью, Кох поднял руку. Водитель остановился. Усадил Альвираса рядом. Коха — вместе с портфелем — в кузов. И погнал машину.

— Куда торопишься?

— А, у сестры свадьба!

Они пролетели несколько населенных пунктов. Но перед маленьким городком, неподалеку от того места, откуда Альвирас и Кох должны были сворачивать к лесному бункеру, вдруг раздался милицейский свисток. Шофер буркнул:

— Только этого не хватало!

И газанул еще сильней.

Наслаждаться быстрой ездой им пришлось недолго: на площади машину обогнал мотоциклист в милицейской форме. Водитель сбавил ход и остановил машину.

Альвирас оглянулся назад. Увидел: Кох в два прыжка достиг спасительного переулка. Альвирас вдруг понял: у него-то нет никаких документов, кроме справки таксатора... Как захотелось оказаться на месте Коха!

Остановивший их милиционер не заметил Коха. Он спрашивал документы у шофера. Альвирас вытащил пистолет: стрелять! Стрелять! В это время с ними поравнялся второй мотоциклист. Альвирас сунул пистолет под сиденье. Первый мотоциклист приказал водителю ехать в ОРУД: у водителя не было путевки.

— Да оставил я ее! — жаловался шофер. — Оставил, когда груз сдавал!

— Ничего, позвоним из ОРУДа, узнаем, какие грузы ты сдал.

— Разрешите мне продолжать мой путь? — вежливо попросил Альвирас.

— Куда едете?

— В Ригу...

— Документы!

Альвирас порылся в карманах, отыскал справку таксатора, предъявил.

— Да пусть идет! — вмешался тот, что остановил шофера.

«Кажется, может пронести! — подумал Альвирас. — Лишь бы отпустили! Я бы и сам отыскал базу...»

Но в комендатуру их все-таки доставили. Милиционер начал дозваниваться до базы, куда был сдан товар. Шофер все умолял отпустить его: ведь он же опоздает на свадьбу сестры! Второй милиционер находился около машины.

Вдруг он ворвался в комендатуру и закричал:

— Руки вверх!

Альвирас увидел свой пистолет и поднял руки. Шофер, глядя на него, тоже поднял, потом озлобился и опустил.

— А ну, поднимай! — закричал милиционер.

Из внутренних комнат в комендатуру вошел начальник ОРУДа в форме майора, плотный, хмурый. Он спросил:

— В чем дело, Силис?

— Пистолет нашел в машине, где вот эти ехали!

— Это уже интересно! — Майор усмехнулся. — Обыщите их!

Оружия больше не было. Шофер завопил диким голосом:

— Это его! Его!

Альвирас ткнул пальцем в шофера:

— Он меня вез, его...

— Где нашли? — спросил майор.

— Под сиденьем пассажира.

— Позвоните в уголовный розыск!

Больше всего боялся Альвирас этих слов.

Первые два дня он находился в уголовном розыске, пока проверяли паспортные данные, адрес и прочее, а на третий день оказался в Риге, в Комитете безопасности.

Он довольно быстро признался, что прибыл в Латвию для шпионажа. Из вопросов следователя на допросах Альвирас догадывался, что кто-то из учеников английской разведывательной школы уже побывал в руках работников Комитета безопасности: о самом Альвирасе были собраны довольно обширные данные. Как он попал в школу, как учился, хорошо ли жил или средне, как окончил, какие получил отличия, и все, что относилось к его учению. Значит, кто-то из знавших его по школе — латыш, литовец или эстонец, — уже прошел этот тяжкий путь и рассказал о своих соучениках все. Поэтому и сам Альвирас принялся рассказывать все, чему был свидетелем...

Но о том, как он прибыл в Латвию, рассказывать не стал. Он не сказал, где жил последнее время. Сказал лишь, что регулярно передавал в Англию разведывательные радиограммы. И это было все, что он показал о своей работе в Латвии.

23

В конце февраля Мирдза вернулась к леснику, чтобы готовить диплом.

В день приезда они вместе с Бертулисом вышли на лыжах. Договорились: Бертулис не должен мешать Мирдзе заниматься. Он может читать, ходить на лыжах, но время с утра до четырех часов дня для Мирдзы святое, потом можно побегать на лыжах, поиграть в карты, шахматы, посидеть у камелька.

Так прошли март и апрель. Мазайс жил у жены, возился с сыном. Никто на него не доносил. Может быть, люди считали, что он вернулся из лагеря? Бертулиса проведывать он приезжал раз в месяц, привозил две-три телеграммы для Лондона. В такие дни у Бертулиса хватало забот. Проводив Мазайса, он ждал ночи. Затем ждал, когда Мирдза заснет. Потом прокрадывался в баню, занавешивал окна, зажигал сначала по-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—39.

тайной фонарик, оглядывал все вокруг, включал лампу, доставал рацию и начинал передачу. Хуже всего было, когда оператор английского разведывательного центра не мог полностью принять радиограмму. Начиналось: повтори такие-то группы! Передаю! Прием! Передаю! А самому Бертулису думалось: вот встает Мирдза, идет к окну, смотрит, в бане свет, будит дядю, узнает все о Бертулисе, проклинает его или просто бежит в милицию: «Возьмите его, он шпион!»

В начале мая Мирдза заканчивала диплом. И Бертулис решился. Он написал записку Мирдзе с объяснением в любви и холодным отчаянием. Он решил бежать в район Вентспилса, некоторое время где-нибудь укрываться, а затем с помощью иностранных моряков вернуться на Запад.

Вышел из дома, ведя велосипед, дошел до дороги, сел и поехал. Ехал он медленно, останавливался, вел велосипед, как лошадь в поводу, опять ехал.

24

Мирдза видела, как Бертулис выехал со двора. «Едет кататься!» — подумала она. Она шла не спеша, но вдруг ускорила шаг.

В дом она уже вбежала. И сразу увидела письмо. Оно было длинное. Мирдза развернула и прочла заключительные слова: «Хочу вернуться на Запад...»

Она выбежала из дома и побежала на соседний хутор. Как жаль, что дядя Генрик объезжает лесничество! Пешком она не догонит беглеца! Хорошо, если оперативный работник, постоянно находящийся на соседнем хуторе, доброшит ее на мотоцикле до городка. Тогда она пойдет вперед, увидит Бертулиса и остановит его...

Мирдза вспоминала, как три месяца назад дядя Генрик приехал в Ригу и навестил Мирдзу. Он сказал Мирдзе, что их ждет полковник госбезопасности Балодис.

Мирдза знала, что дядя Генрик воевал в партизанских отрядах, и встречей с полковником Балодисом была даже обрадована.

Встреча произошла на конспиративной квартире, что тоже весьма занимало девушку. А когда навстречу ей поднялся высокий, могучий мужчина в штатском костюме, а дядя Генрик представил его: «Полковник Балодис!» — ей показалось, что сейчас речь пойдет о ловле шпионов... Каково же было ее удивление, когда полковник, проводив дядю Генрика, сказал:

— Мы просим вас выехать на хутор к дяде Генрику. Там находится английский шпион, латыш по национальности, человек с радиостанцией... До сих пор за ним присматривал друг дяди Генрика Мазайс, но теперь у Мазайса рожает жена, он должен быть дома...

— Я знаю Мазайса,— сказала Мирдза.

— Можете ли вы помочь нам?

— Да.

— Сколько вы пробудете у дяди Генрика?

— Скоро я поеду на каникулы, а в марте приеду писать диплом...

Балодис смотрел на нее, смотрел, потом вдруг сказал:

— Где я видел вас?

Он задумался, даже глаза прикрыл, потом спросил:

— Вы знакомы с художником Виторсом Вэтрой?

— Да...— робея, ответила Мирдза.— Художник два года назад уехал куда-то и больше не появлялся.

— Я вспомнил его картину...

— Я позировала всего три сеанса...

— Неважно! Картина была замечательной!

Он тут же перевел разговор.

— На соседнем хуторе будет находиться наш оперативный работник, у которого есть мотоцикл. Вы должны сообщать ему, все ли благополучно у вас. О времени, когда ваш подопечный будет передавать по радио. Вы должны лишь следить за его настроением, за его чтением. Мне думается, что он скоро перестанет передавать радиограммы, кажется, Мазайс распропагандировал его, поселив у дяди Генрика.

Она поехала на каникулы к дяде Генрику. Но кто мог сказать Мирдзе, что она вдруг влюбится в ...шпиона? Ну, бог с ним, что она влюбилась! Но Бертулису нельзя уходить из Латвии на Запад! Прошла всего лишь неделя, как арестовали Альвираса... Англичане должны удостовериться, что Альвирас был схвачен, как беспаспортный, что все остальные живы-здоровы, что связь продолжается...

...Она сидела позади оперативного работника и думала, думала, думала...

На повороте за перелеском они остановились.

— Проезжайте дальше. Я его встречу тут...

Бертулис ехал медленно, опустив голову, но когда поравнялся с Мирдзой, только тут поднял голову и увидел ее.

Он остановил велосипед, спрыгнул и спросил:

— Как ты догнала меня?

— Пробежала бегом до соседнего хутора, у хозяина есть мотоцикл. К счастью, парень ехал в город. Видишь, догнала перед самым шоссе на Вентспилс!

— Ты прочитала?

Она кивнула, спросила:

— Пойдем назад?

— По-моему, лучше вперед!

— Тогда ты в случае провала выдашь всех твоих друзей, которые тебе помогали скрываться.

— У меня нет паспорта. Так я больше не могу жить. Стоит мне пойти в город, и я буду арестован. Так зачем мне ждать, когда меня возьмут? Уж лучше вырваться отсюда на Запад или сдаться чекистам. Но на последнее я не пойду.

Она настойчиво повернула велосипед.

— Подожди до весны... Я думаю, что ты не совершил больших грехов. Если я буду работать, я помогу тебе. Не может быть, чтобы тебе дали больше трех лет.

— Три года! Ты забыла, что у меня есть радиостанция...

— Ты ничего не передавал сам. Ты только служил связным между людьми из леса и Англией. Ну, подожди немного. Как только я защищу диплом, мы что-нибудь вместе придумаем. Я все равно буду ждать тебя. Подумай, Бертулис!

— Отдай мне письмо!

— Нет, это письмо надо немедленно сжечь, как только мы вернемся домой. Если его обнаружат чекисты, оно может увеличить твой срок наказания.

— Неужели ты думаешь, что это не смешно? Кто станет думать о том, что некий Бертулис решил бежать на Запад? Кому это интересно? Вот схватить Бертулиса — это очень важно для Комитета безопасности. И его схватят!

— Ничего, пусть твой отказ от бегства за границу будет твоим любовным объяснением. Последнее объяснение в любви! Я люблю тебя со всеми твоими грехами, люби меня и ты! А когда я стану работать, ты пойдешь и сдашься. Я буду ждать тебя, буду хлопотать за тебя, буду думать о тебе!

Шли они очень медленно.

Домой пришли к обеду. Дядя Генрик, вернувшись после объезда участка, уже возился на кухне. Молодых людей встретил воркотней.

25

Через неделю на хутор пришел старый Кох, которого Бертулис помнил еще по праздничному ужину в день приезда в Латвию. Был он худым, облезлым, лысина стала больше, кожа на щеках сморщилась, руки постарели особенно сильно.

Лесник провел его к Бертулису, а сам ушел. Мирдза сидела в комнате. Бертулис и Кох остались на дворе.

— Вот прочитай это, а потом зашифруй. Передашь, как только по расписанию радиосвязи придет время твоей работы.

Бертулис прежде всего взглянул на почерк. Писал Будрис.

Он вчитывался, и его брала оторопь. Там шла речь об аресте Альвираса. Бертулис один раз встретился с Альвирасом, получил от него паспорт и сорок тысяч рублей. Но в радиограммах Лондона радисты передавали приветы Альвирасу, как, по-видимому, передавали и Альвирасу приветы для Бертулиса. Сейчас он читал трагическую историю.

В конце Будрис просил продолжать готовить переброску нового десанта морем, так как Силайс в Англии обещал прислать человека, умеющего изготовлять паспорта. Одна из причин трагедии Альвираса — это отсутствие у него надежных документов...

Кох попросил:

— Воды бы мне...

— Сейчас поедим.

— Некогда. Принеси воду, я пойду дальше.

Бертулис принес воду, спросил:

— А что, этот человек, что умеет делать паспорта, приедет?

— Говорят, что приедет.

— Так хочется получить паспорт!

— У тебя же есть один. Который привез Альвирас. Боюсь, что паспорта будут просто «липой»! Ну, я пошел.

Теперь Бертулис не боялся Мирдзы. Даже сказал ей с какой-то отчужденной улыбкой:

— Альвираса арестовали...

Ночью он вышел в эфир. В радиограмме было очень много групп. Бертулис начал волноваться с первого момента передачи. Для того, чтобы сократить свое пребывание в эфире, Бертулис работал на ключе очень быстро. Поэтому оператор разведывательного центра неоднократно просил повторить передачу отдельных групп.

Конечно, он почувствовал, что у Бертулиса взыграли нервы. Но радиограмма оставалась нерасшифрованной. Только количество групп говорило о том, что передача очень серьезна. Радист предложил Бертулису повторить сеанс связи...

На следующую ночь Бертулис снова сидел в бане.

Настало время запасного сеанса. Радист из Лондона передал группу цифр и знак — «расшифровать немедленно!». Бертулис расшифровал и прочитал: «Аресты есть?»

Бертулис снова передал, что Альвирасу проще простого выдать себя за «лесную рысь» или за беспаспортного бродягу... Радист после приема всех последних групп ответил: «Связь прекращай! Слушай слепые передачи!»

Бертулис размонтировал радиостанцию, уложил в портфель и спрятал его в тайник под полом бани. Для того, чтобы слушать «слепые передачи» радиоцентра, было достаточно портативного приемника, который у него имелся на этот случай.

26

Биль тихо прожил всю зиму на хуторе, не выходя в эфир. Такая жизнь ему очень нравилась, конечно, по сравнению с лесной. Сиди в теплом доме, выходи напилить и наколоть дров, сходи к колодцу по воду, если хозяйка занята, а вечером ложись спать спозаранку, лежи и мечтай о своем собственном рае. Например, если он вернется в Англию, то там будет лежать в банке круглая сумма на его имя. Он может купить бензозаправочную станцию где-нибудь неподалеку от Лондона и работать вместе с женой,— вернувшись, он должен жениться!

В начале мая за ним пришел Граф и приказал немедленно уходить в лес. Хозяева напекли хлеба, дали несколько килограммов кровяной и ливерной колбасы домашнего приготовления, Биль и Граф нагрузились и пошли.

Они перебрели два лога, две речки, но Граф все торопил и торопил, не давая разжечь костра, чтобы обсушиться. В конце пути он не вытерпел и сказал:

— Ты, я вижу, хочешь испытать участь Альвираса!

— А что с Альвирасом?

Граф глухо сказал:

— Арестован!

Биля ударило как током. Он даже расспрашивать не стал. Только ускорил шаг.

Но вот они вышли на ровное место, где-то тут и должен быть бункер. Их окликнули:

— Пароль!

— Латвия! — вполголоса ответил Граф.

— Идите!

Они прошли, так и не увидав, откуда их окликнули, только Граф покачал головой:

— Вот спрятались!

Еще полкилометра. Запахло дымком. Вот наконец и бункер. Здороваясь с ребятами, уселись у печи.

— Кто в секрете? — спросил Граф.

— Новенькие! — отозвался Мазайс.

— Хорошо стерегут! — похвалил Граф. Потом осмотрелся, сказал: — Давайте позавтракаем, поспим, а днем я сообщу, что делать дальше. Согласны?

Кто-то принес чай. Граф разделил колбасу. Поели. Улеглись не раздеваясь.

Граф и Биль проспали до полудня. Их не будили. Все разошлись по своим делам: кто-то ушел охотиться на уток, двое пилили дрова. Еще двое сменили караул и спрятались возле тропки, которую понемногу проторили к своему жилью.

Перед обедом Граф приказал собрать всех, кроме караула. Когда собрались около землянки, на вольном воздухе, Граф тихо сказал:

— Альвирас арестован...

Биль знал, что речь пойдет об Альвирасе. Он окинул взглядом людей: кто-то начал ругаться, другие свирепо кричали, что они пойдут в атаку на милицейский участок, третьи понуро смотрели в землю. Биль подумал: кто-то из них был вместе с Альвирасом? Потом вспомнил: Кох!

Кох сидел, опустив глаза, будто его занимала возня муравьев около гнилушки. Но вот он поднял свой взгляд на Графа, сказал:

— Дай мне объяснить!

Граф махнул рукой, разрешая. Кох заговорил низким голосом, будто проклинал Альвираса:

— Альвирасом овладела похоть, он полез к женщине. Она огрела Альвираса ухватом, выскочила в сени, схватила велосипед, сына посадила перед собой и поехала в селение. Тогда Альвирас понял, что будет с ним, когда вернется муж, схватил радиостанцию, шифры, яды, деньги и бросился искать меня. А я, как назло, ушел охотиться на уток.

Дальше Кох рассказал историю ареста Альвираса.

Он утверждал, что Альвирас видел, как Кох выскочил из машины. Значит, он может сослаться на то, что вышел из лесного отряда или же он беспаспортный бродяга... Он должен держаться этой версии...

Сейчас они находятся в таком месте, где бункер никому не известен. Альвирас, если бы даже его заставили указать лесной бункер, знает другой. Там сейчас сидит в засаде секрет, который обстреляет «синих», если они поведут туда Альвираса, и попытается его выручить. А может быть, Альвирас сумеет скрыться в лесу? А наше дело — сидеть пока по-тихому, тем более что еда есть, на две недели хватит...

Биль размышлял: здесь было трое его дружков по лондонской школе, он сам да четверо из старого отряда Графа. Вместе с Графом девять человек. Где уж тут делать нападение на милицейские участки! Их дело — сидеть и ждать. А чего ждать? Может быть, того, что обещал Силайс? Паспорта и человека, который умеет их подделывать?

Прямо говоря, разошлись с этого «информационного заседания» весьма грустные. Никто ни с кем не разговаривал, выслушивали только приказы Графа. Он приказал выдвинуть на полкилометра вперед секрет, сказал, что сам уйдет к вечеру на свидание с Будрисом, надеется вернуться к обеду завтра, если не к обеду, то к ужину...

Вечером провожали Графа. Этот двужильный человек сразу после того, как привел сюда Биля, уходил опять через лога, речки, в район Ужавского маяка, где Будрис назначил ему свидание. Проводили, вернулись в бункер. Кох вытащил радиоприемник, сказал Билю:

— Наладь эту бандуру! Может, послушаем передачи?

Долго слушали Би-би-си.

На следующий день к вечеру явился Граф. Он передал Билю большую радиограмму, сказал, чтобы Биль зашифровал ее, а когда начнет передавать, разбудил его. После этого лег на нары и заснул. Биль расположился с шифром и радиограммой. Она была длинной, требовала полного внимания. Ребята зажгли керосиновую лампу и старались не шуметь. Их тоже интересовала радиограмма. В ней Будрис настаивал на том, чтобы паспорта и человек, умеющий завершать их подделку на месте, были присланы этой весной. Промедление, писал Будрис, смерти подобно! Оно вызовет уход из отрядов партизан, живущих в лесу! Мы слишком долго питались надеждами, хотя уже на протяжении значительного времени связаны с Англией. Больше мы не можем ждать! Дальше затрагивались и другие вопросы, волновавшие Будриса.

Биль почти всю ночь шифровал, загоняя непослушные слова в алгебраические формулы. Его время наступало в три тридцать. Он разбудил Графа.

Граф поднялся так, словно и не спал. Вот эта способность командира лечь и сразу заснуть, подняться среди ночи или перед утром больше всего удивляла Биля. Сейчас Графу не понадобилось даже воды, чтобы спрыснуть лицо. Он тут же присел перед радиостанцией.

Значит, ему нужно было проследить, как примет Лондон радиотелеграмму Будриса. Перед началом передачи он спросил:

— Как вы там передаете знак «срочно расшифровать»? Вот такой знак и дай!

Англичане, получив обширное сообщение Будриса, просили Биля слушать их завтра в три сорок пять.

Граф холодно улыбнулся.

— Ага, зашевелились, проклятые! Пусть им будет так же жарко, как нам! А теперь давай спать, Биль! Мы свое дело сделали!

Весь следующий день Биль провел в ожидании. Не то чтобы ему очень уж хотелось убежать из Латвии в тот момент, когда скоростной катер Хельмута Клозе будет ожидать окончания десанта, но и такое желание тоже было, однако ж его больше занимала вторая сторона дела: как англичане перешлют паспорта и человека, который может их подделывать? С таким-то паспортом Биль будет сват министру и кум королю! Вот об этом и раздумывал Биль...

День тянулся медленно-медленно. Граф, человек железной выдержки, с утра отправился на разведку — осмотреть дальний бункер, стоящий ближе к морю. Если он уцелел от непогоды, то в том случае, когда англичане дадут положительный ответ, его придется ремонтировать, если же никакого доброго ответа не будет, тогда придется всем лесным бродягам перебираться в Терандское лесничество, где леса все же погуще.

Граф вернулся к вечеру. Еще с порога сказал:

— Ну, ребята, угадайте, кто занимал бункер после того, как мы ушли?

— Неужели новая банда? — спросил Мазайс.

— Ну, ты бы выбирал слова, Мазайс! — сухо остановил его Граф.

— Лесорубы! — ответил Кох.

— Пионеры! — сказал кто-то из стариков.

Граф выдержал паузу, потом сообщил:

— После нас там зазимовала семейка кабанов. Они вышибли дверь и влезли внутрь, удобно устроившись на оставленном нами внутри бункера валежнике.

— Нет, братцы, я в этот бункер на зиму не пойду! — заскулил Кох. — Эти проклятые свиньи обязательно вспорют мне живот. Я среди вас выгляжу по-настоящему упитанным. Конечно, если бы не Альвирас, я выглядел бы еще лучше.

— В доме повешенного о веревке не говорят! — буркнул Граф.

— Ну, а я бы, братцы, пошел в наш бункер осенью. Пристрелил бы кабанов, а потом всю зиму ел бы отличную колбасу! — разохотился Мазайс. — Что там ни говори, кабанье мясо — хороший продукт!

— Вот мы тебя и направим добывать это мясо! — пригрозил Граф. — Давно не ел его, — вздохнул он.

Кох спросил у Мазайса:

— А ты почему бросил Бертулиса?

— Он, бедняга, окончательно влюбился в племянницу лесника Генрика!

— Ты шутишь! Женился, что ли?

— Пока нет! Девка — огонь!

Биль вздохнул, вымолвил коротко:

— Вот идиот! А я ему еще паспорт привез. И деньги. Мог бы уйти совсем в другой город и вести там свою работу...

— Вот привезут всем по паспорту, ты, Биль, всех нас сфотографируешь, умный человек подумает, как сделать каждый паспорт по-настоящему, а потом разъедемся мы по разным местам и встречаться будем только по Ивановым дням! Потому что в Иванов день нас всю жизнь в лес тянуть будет. Может, назначим заранее место встречи? Давайте тот самый бункер, где обитали зимой кабаны?

— А ну, ребята, прекратить трепотню! Билю до работы надо еще поспать! — предупредил Граф. Все начали укладываться на нары. Летом чаще спали на улице, как ни надоедали комары. Но теперь было еще холодно.

— Дежурный по караулу, разбуди Биля в три ровно! — приказал Граф.

Дежурный кивнул. Граф проверил, как выведена антенна, заставил и Биля проверить рацию, потом улегся и мгновенно заснул.

А Биль опять не спал. Он думал о Бертулисе. Конечно, жениться можно только на девушке из «лесной» семьи. Таких тоже немало. Они понимают все, начиная от фальшивого паспорта, кончая внезапным арестом. Но сначала лучше всего поступить на работу. Хорошо бы шофером. Биль умеет водить машину любой марки. А уж потом влюбляться и жениться! Может быть, у Бертулиса очень чистый паспорт? И все-таки странно!

Потом Биль заснул, а в три часа его разбудил караульный. И началась наладка радиостанции и ожидание сеанса радиосвязи.

В три сорок пять в эфире заработал радиоцентр. После обычного выяснения, как слышат друг друга обе стороны, началась передача английской радиограммы. Биль записывал и записывал, пока не устала рука. Потом последовал небольшой перерыв, и мучение с цифрами продолжилось. Он понимал, что принимает новую радиограмму. После первой отбили знак, означающий «конец».

Его отпустили не скоро. «Если так пойдет дальше, — подумал Биль, — то мне придется защищаться, как Петерсону. А Петерсона ухлопали именно благодаря защите. Если окружат Биля, он поднимет руки...» Тут Биль догадался, что руки он не поднимет. Петерсон выходил на связь с одним помощником и все же стал отстреливаться. А тут его охраняет дюжина разбойников. Так что, дорогой Биль, тебе придется испытать на себе, что стоит пуля...

А рука его все время двигалась по бумаге. Он писал и писал. И вдруг понял: он принимает новое поручение Лидумсу:

«№ 8 с — 241. В городе, который в списке, находящемся у Лидумса, значится под номером двенадцать, имеется крупный завод под названием «Вагонный», который находится на восточной окраине города.

Завод производит железнодорожные вагоны. До войны он выпускал танки, и мы думаем, что производит их и сейчас. Очень возможно, что заводские цехи по производству танков находятся там же, где и цехи, в которых изготовляют вагоны, но возможно также, что танковые цехи находятся в другой части города... (Окончание следует!)»

«А может быть, следует продолжение? Такую радиограмму, на какую замахнулись англичане, в короткий текст не уложишь! Надо снова поднимать Графа...»

Граф поднялся, принялся за вторую радиограмму. И тут же воскликнул:

— Вот черт, опять Лидумса задевают!

Но дочитал молча, сказал, сердясь, Билю:

— Получишь завтра конец, доложи!

И улегся спать.

Но с этого дня, с приема последней радиограммы, сон Биля стал скверным. Каждую ночь его будил караульный, и Биль разворачивал рацию, стеная про себя: «Черт бы вас побрал, господа англичане!» Сначала он принимал бесконечную радиограмму англичан, касающуюся города номер 12. Он принимал ее в течение шести ночей помаленьку, а потом начал не спать по той причине, что англичане приступили к непосредственной подготовке операции. Тут уж Биль ложился только днем. Места, откуда приходилось вести передачи, менялись из ночи в ночь.

А пока что Биль принимал описание завода в городе, который именовался у англичан и Лидумса одновременно под номером 12. Вот что писали англичане:

«№ 8 с — 242. Мы желали бы получить ответы на следующие вопросы — разумеется, не следует заходить на завод и ничего ни у кого не спрашивать.

Как развешены колеса у танков, сколько их на каждой стороне, имеются ли отдельные маленькие ролики, если такие имеются, то в каком количестве. Необходима ширина гусениц...

И опять «Окончание следует».

«А может быть, это все еще только начало?» — думал Биль.

Следующей ночью англичане спрашивали:

«№ 8 с — 243. Нас интересует далее длина видимой части артиллерийского устройства танка, превосходит ли ствол орудия длину танка, выходит ли ствол за край передней оси танка и насколько далеко? Имеется ли на конце ствола дульный тормоз — муфта?

Какова длина корпуса танка, ширина, высота? Если вы увидите танк размещенным на железнодорожной платформе, то просим определить и описать, как он размещен, — был ли он погружен на одной или на двух соединенных вместе платформах?»

Биль бранился что есть силы: сколько радиограмм посвящено танкам? Зачем это нужно делать? Он был убежден, что, сколько ни узнавай о пехоте или о моточастях, воевать все равно придется при помощи водородных бомб, а какие уж тут разведки насчет пехоты! Но все-таки каждую ночь поднимался и записывал группы цифр.

«№ 8 с — 244. Думаем, что раздобыть количество выпускаемой танковой продукции будет тяжело и рискованно, но если у вас возникнет какая-либо идея получить эти данные, будем благодарны узнать от вас: из чего возникает эта идея и как ее можно осуществить?»

«№ 8 с — 245. Рекомендуем взять в дорогу тайнописные наброски для записи наблюдений и набросков эскизов тайнописью, и пусть это остается до вашего возвращения домой. Тайнописные записи до этого проявлять не следует. Перед отъездом в город № 12 проверьте, как будет протекать проявление взятой вами с собой тайнописи, сделав поверочные записи.

Просим ответить, все ли вы поняли и когда предполагаете выехать в город номер 12...»

«№ 8 с — 246. Для непредвиденных расходов, связанных с выполнением нашего задания, попытаемся через наших моряков переслать вам определенную сумму денег...»

Вот от денег Биль не отказался бы! В последний раз он передал Бертулису пять пакетов по десять тысяч рублей. А сам остался с меньшим количеством, да из этого еще пришлось вручить командованию в подарок десять тысяч рублей! Конечно, в этом была кое-какая соль: раз вручил, надо беспокоиться и обо мне! А то могло бы получиться так: денег не дал, можешь уходить куда глаза глядят!

В следующую ночь вернулся Граф, возивший Будрису кипу расшифрованных радиограмм. Граф растолкал Биля.

— Вставай! Слышишь, вставай!

Биль сел на нарах.

— Включай свою машину! Когда по расписанию радиосвязи у тебя очередной сеанс? Надо передать две радиограммы. Ты все еще спишь?

Первая радиограмма была описанием разведанного места, которое можно было использовать для высадки десанта с катера «Люрсен-С». Далее шло длинное объяснение, как будут работать радиомаяки Будриса на этом берегу.

После этой радиограммы шла другая:

«В город № 12 отправится Лидумс. Но у него нет денег. Юрка выходил на связь с вашим моряком, но встреча не состоялась не по вине Юрки. Лучше всего прислать деньги с десантом. Будрис».

Биль вспомнил с десяток английских радиограмм, поступивших зимой, о встрече представителя Будриса с моряком торгового судна, который должен передать крупную сумму денег. Тогда договаривались о встрече Юрки с этим моряком. Видно, моряк сдрейфил, и встреча с Юркой не состоялась... Зашифровывая, Биль спросил:

— А кто такой Лидумс?

Граф с усмешкой ответил:

— Ты же с ним приехал! В Англии его звали Казимир!

О боже мой! Конечно, Казимир! Он может проникнуть куда угодно! Нет, правильнее то, что я буду сидеть и передавать, а доставлять сведения будут другие. Я бы не смог раздобывать эти сведения. Пусть я буду радистом!

Продолжение следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

Рисунки В. ВЭТРА

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К БЕРЕГУ

Биль с Мазайсом вышли к месту предстоящей операции около десяти часов вечера... Перед этим они передали на борт катера «Люрсен-С» радиограмму, в которой говорилось, что погода благоприятная, что луна зайдет в половине первого, безлунная ночь продлится до четырех утра, затем рассвет. Все это относилось к шестнадцатому мая...

Они должны были обеспечивать радиообмен во время высадки. Мазайс еще днем обследовал приморскую полосу. На один из мысов он и привел Биля. Внизу — море, вверху — лес.

Оставил Биля, а сам отправился расставлять беаконы. Они должны были стоять в одну линию, все три беакона, чтобы катер «Люрсен-С» мог выйти на их сигнал. Люди заняли свои места на вершине мыска, чтобы в нужный миг помочь десантникам.

Биль развернул станцию. Скоро на ключе заработали С «Люрсена» спрашивали: «Что у вас...» Биль ответил: «Тихо...»

Вернулся Мазайс. Последнее дерево оказалось слишком высоким: еле взобрался на вершину и поставил беакон. Он не беспокоился. Высадка пройдет хорошо. Когда-то раньше англичане тревожили понапрасну, теперь этого не случается.

Пока они разговаривали, станция передала сигнал: «Вижу вас!»

Биль и Мазайс пытались разглядеть во мгле катер, но увидели только лодку, что ныряла в море,— какое море ни тихое, для лодки всегда волна!

И вот лодка прильнула к берегу и стала не видна. Там, должно быть, сейчас командует Граф, принимает людей, заставляет тащить на верхнюю полосу, под защиту леса, грузы, перебрасывает в лодку заранее подготовленные для англичан дезинформационные документы и книги и гонит, гонит шпионов все дальше в лес...

Но вот лодка снова в море, она уходит...

Мазайс приказал Билю свертывать станцию. Сняли беаконы и что есть силы пустились догонять отряд.

Биль попытался сказать: пойдем медленнее! Мазайс вдруг вскипел:

— А ты понимаешь, что вокруг пограничники? Давай! Давай! — Это он выговорил по-русски.

Вдруг Биль бросился на землю, то же сделал и Мазайс. Совсем рядом, так что отчетливо были слышны шаги, прошел пограничный наряд.

Затаившись, долго лежали. Когда наряд прошел, Биль вздохнул с облегчением. Но Мазайс хмуро сказал:

— Смотри иди осторожно, как рысь!

Они шли к своим как раз в тот миг, когда десантники и встречающие укладывали громоздкие вещи и оружие в тайник.

Новых было три человека. По тому, как вежливо и учтиво разговаривали двое с третьим, Биль понял: вот это и есть мастер по паспортам...

Пришли к первому бункеру, Граф приказал позавтракать и через полчаса следовать дальше.

Уже высоко стояло солнце, когда добрались до того бункера. Скинули обувь, сбро-

---

Продолжение. См. «Огонек» №№ 34—40.

сили куртки и пальто. Граф отдал приказ двоим выйти в секрет.

Биль, уставший от многих бессонных ночей, быстро заснул.

Проснулся он к обеду. Кох уже гремел тарелками.

Кох не ходил на встречу, Граф отправил его к пособникам, приказал вернуться утром и заняться обедом, да не простым, а именинным. Правда, еще вопрос: понравятся ли эти самые именины господам из Англии?

За обедом начали разговор с новенькими. Те не смущались, рассуждали просто: если так хорошо в лесу, то надо идти дальше — в города, в другие республики. Граф молчал, помалкивали и остальные. Пусть выговорятся приезжие.

Только мастер по паспортам оказался неразговорчивым. То ли устал, то ли был молчаливым отроду.

К концу обеда, когда уже подвыпили, кто-то спросил у мастера:

— А как будет с паспортами и советскими документами?

Мастер сказал только:

ются

— Когда руководители достанут вещи из тайника...

Позже, вечером, Биль подсмотрел, как мастер увлек Графа в сторону. Они разговаривали не меньше часа...

В пять пятнадцать утра Биль поднялся, отбил радиограмму: «В порядке! Прибыло три человека!» Граф встал, подошел к нему:

— Попроси связь на завтра. Есть радиограммы, но ты не успеешь сейчас зашифровать их.

Биль запросил время на завтра.

Ночью он зашифровал радиограмму Будриса. Будрис подтвердил, что готовит Лидумса к поездке в известный ему город № 12... Далее шла приписка Графа. Граф сообщал, что десантники поделились деньгами с Будрисом, Лидумс обеспечен для поездки...

Беспокойная жизнь Биля продолжалась: англичане вызывали его ежедневно, надо было менять места передач, уходить с утра на десять — пятнадцать километров, ждать ночи...

После высадки десанта в радиограмме англичане извинились перед Будрисом за несостоявшуюся встречу Юрки и неизвестного моряка:

«8 с — 247. Наш моряк не встретился с Юркой в Вентспилсе и был вынужден оставить деньги недалеко от Риги. От шоссе Есига — Взморье, за первым километровым столбом от Риги отходит влево дорога на Бабите. На левой стороне дороги, в двадцати метрах от шоссе, в кустах стоит деревянный столбик высотой в два метра с прикрепленной металлической надписью «53». В пятидесяти сантиметрах от столбика, в сторону шоссе, на глубине пятнадцати сантиметров закопан пакет в целлофановой упаковке, в котором находится пятьдесят тысяч рублей. Десантникам деньги следует возвратить...»

Вот эта радиограмма и взвинтила Биля. Если за шпионаж платят так хорошо, то, значит, можно им заниматься!

Передал ее Графу, спросил:

— А почему бы мне не поехать в этот город номер двенадцать?

— Сиди уж! — отмахнулся Граф.— Ты же сам понимаешь, что получать на банковский счет деньги куда приятнее, чем рисковать своей шкурой! Ты можешь сказать, удастся ли Лидумсу выпутаться?

— А ты знаешь, сколько нам платят?

— У нас был при Вилксе свой радист, ему начисляли каждую неделю по двадцать фунтов!

— А я получаю всего десять фунтов в неделю. Но если мне повезет, тогда я переквалифицируюсь в шпионы, буду получать по пятьдесят тысяч в валюте той страны, в которой буду находиться...

Слава Лидумса не давала ему спать. В конце концов он обратился с письмом-радиограммой на имя Силайса. Он просил дать ему задание. В ответ получил:

— Сиди смирно!

Через неделю Будрис передал радиограмму:

«Деньги получены. Лидумс выезжает в город № 12».

Так вот и получилось, что поехал-то все-таки Лидумс, а не Биль. А Билю так хотелось попасть в этот неизвестный город.

28

Мастера по паспортам звали Кристи. Седой, испуганный человек этот весьма интересовал Графа. В первый же день, когда они прогуливались около бункера вдвоем, Граф спросил:

— Вы уже свое отвоевали, зачем пожилому латышу ехать сюда?

— Проклятая профессия! — пожаловался Кристи.

— Подделывали бы векселя и другие ценные бумаги, глядишь, если бы схватили вас, получили бы за мошенничество пять лет, а то и три года, отсидели, вышли — и мошенничай снова!

— Вот меня и взяли прямо из тюрьмы...

— Из тюрьмы?

— Взяли меня осенью,— продолжал Кристи.— Суд был короткий, но срок оказался вдвое длиннее, чем следовало бы. Я еще призадумался: почему срок увеличен? А тут ко мне в камеру заявился некий господин Силайс и стал уговаривать, что в тюрьме я погибну, а в лесах Латвии есть моему искусству потребители!

«Так,— думал Граф,— осенью Силайс еще только обхаживал этого мастера. Хорош гусь, этот Силайс!»

— А что же дальше? Не держал он тебя всю зиму в камере?

— Лучше бы в камере! — пожаловался Кристи.— Я бы и там не умер! А то взял в шпионскую школу, учил прыгать с парашютом, а все мои дела — изготовлять паспорта и другие советские документы! И никуда ни на шаг без провожатого!

— Как же ты станешь делать документы? — спросил Граф.

— В багаже у нас лежат в чемодане двадцать паспортов и другие документы. Вся беда в том, что они все одной серии. С этими паспортами лучше жить в деревнях, где никто на паспорта особого внимания не обращает. И работать надо по самым тихим углам: на тракторе, в лесничестве. А еще лучше — выехать из Латвии и по истечении пяти лет поменять паспорт...

— Ты думаешь, что их там и поменяют? — сурово спросил Граф.

— Ну, я надеюсь...— промямлил Кристи.

Однако ж все беспаспортные «болотные черти» воспылали желанием приобрести новые «виды на жительство». И пришлось Графу с Мазайсом отправляться в длинный поход за багажом новых «туристов».

В делах операции «Янтарное море» осталась опись имущества, в которой указывается, что группа привезла с собой четыре новые рации с аккумуляторами, оружие, новые шифры, яды и двадцать новеньких паспортов и другие советские документы, да к каждому паспорту приложен пакет с деньгами — по сорок тысяч рублей,— на обзаведение, после того как окажутся на новом месте, каждому человеку.

На пятый день шпионы доставили в лагерь свое имущество. Кох с утра отправился к пособникам за угощением и водкой. Деньги у шпионов еще были, нужно было лишь сходить в магазин и купить, чего сами «лесные ребята» не делали...

На другой день после «загула» Кристи сказал Графу:

— Необходимо послать кого-нибудь за фотобумагой и химикалиями. У нас есть отличная бумага, но английская, а наше дело сложное: сделать все так, как оно здесь делается.

Кох поехал к Юрке, что сидел в Вентспилсе, прожил у него три дня и вернулся с фотоаппаратом, бумагой и химикалиями.

Снимали сначала лес, потом проявили снимки, спрятав свечу в красный фонарик. Позитивы получились отличные.

На следующий день Кристи с утра начал готовить фотографии. Для этой цели принесли какой-то уцелевший стул, завесили наружный угол бункера.

Когда фотографии подсохли, Кристи пригласил всех посмотреть его работу.

Еще один день Кристи снимал людей. Вечером, после проявления, он вышел с Графом «погулять».

— Можно было бы и начинать работу, есть у меня необходимые краски и чернила, но хотелось бы взглянуть на настоящий паспорт. Как он заполняется? Как ставятся печати? Если вы не принесете мне два или три паспорта, я могу наделать таких ошибок, что ребятам придется худо...

— Что ж, я подумаю. Надеюсь, что паспорта нужны не сейчас?

— Да уж если я взялся, то лучше бы все сделать вовремя!

— Ладно, завтра пошлю кого-нибудь за паспортами. Какие еще просьбы?

— Очень хотел бы, чтобы никто не подглядывал, как я работаю.

— Ну что ж, пусть будет по-вашему! А сейчас вернитесь в бункер, пошлите ко мне Мазайса и Коха. Они сходят за паспортами.

Инструктаж Мазайса и Коха был корот-

кий: сходить к пособникам, взять у них на время паспорта...

После возвращения Мазайса и Коха Граф вручил Кристи подлинные советские паспорта.

На третий день с утра Граф поднял людей и приказал Коху вести всех в Тераидское лесничество, там подготовить запасной бункер, поставить печь, проще всего глинобитную, с трубой, просушить землянку, через две недели им пора будет переселяться...

На следующий день все участники группы отбыли, оставив Кристи и Графа на базе.

Вот тут Граф подивился! Кристи занялся уборкой. Подмел пол, вымыл стол, постелил брезент, прибил его к крышке стола и только тогда словно бы предупреждающе посмотрел на Графа. И тот понял — пора уходить.

Он пошел готовить обед. Приготовив на двоих, Граф пригласил Кристи к столу. Тот вышел хмурый, сел, принялся есть. Поел и ушел обратно...

Граф сунул в карман пистолет, лежавший на столе, пошел по лесу. Вернулся около семи часов. Кристи вышел навстречу, сказал:

— Получилось! Все получилось! — Потом, немного помолчав, добавил: — Два бланка все же испортил. Может быть, удастся их исправить. Хотите посмотреть?

Граф вошел в бункер. Стол был придвинут к окну, на нем лежали грудой паспорта. Граф взглянул на Кристи, тот кивнул — берите! Взял и развернул паспорт.

Сначала он не поверил, взглянул на свет под углом, не смыта ли краска от печатных букв? Но паспорт был новеньким. С гербовыми печатями и штампом о прописке, и недоставало только фамилии...

Граф сказал не без восхищения:

— Здорово, Кристи! Очень здорово!

Никаких инструментов, ни печатей, ничего похожего на столе не было. Должно быть, Кристи убрал все до того, как вышел к Графу.

На следующий день Кристи вписывал в паспорта вымышленные фамилии.

— Ну что ж, подождем командира! — заметил Граф.— Будрис будет у нас в бункере дня через два. А к тому времени вернутся все наши люди из Тераидского лесничества... Вот они и станут самыми строгими судьями вашей работы, Кристи!

Кристи промолчал. Спрятал паспорта и другие документы в свой чемодан, сел ужинать. Попросил у Графа водки, выпили за его здоровье.

Через день в бункер вернулся весь отряд. Граф встретил их, проводил до бункера, а сам вернулся встречать Будриса...

Будрис снял с плеч тяжелый рюкзак, повесил на гвоздь охотничье ружье, поздоровался, пожал руки новеньким, поздравив их с прибытием в Латвию. Потом кивнул на рюкзак:

— В лес с пустыми руками не ходят!

Вышли на улицу и присели на дровах. Будрис стал расспрашивать о житье лесных людей. Граф ответил, что «синие» давненько не показывались в лесу. Биль подосадовал, англичане заставляют его и Мазайса шляться по лесу, но тут Будрис сказал, что их «шляния» позволяют остальным сидеть спокойно...

Затем заговорили о паспортах. Кристи вернулся в бункер и принес их. Сначала паспорта рассматривал Будрис, потом передавал из рук в руки. Кристи собрал документы и снова спрятал в свой чемодан. Кто-то из шпионов попросил:

— Проще всего раздать бы их сегодня!

Будрис усмехнулся и спросил:

— Как вы думаете, с оружием в руках, в лесной одежде, в бункере паспорт вам очень понадобится? Правильнее всего: все паспорта будут находиться у командира отряда или у его помощника. Выдавать их будут только в тот день, когда кто-нибудь поедет исполнять задание по разведке. Провал одного будет провалом для всех, так как паспорта одной серии...

— Мы считали, что паспорт даст нам возможность устроиться на работу,— пробормотал Биль. Да и остальные шпионы несколько поникли: видимо, мысль о паспорте была связана со свободой выхода из леса.

Будрис возвысил голос:

— Эти паспорта не дают вам права выхода в лесные хутора и поселки. Люди должны оставаться в лесу и соблюдать строжайшую дисциплину. Нарушение повлечет самые неприятные последствия для того, кто это допустит...

Позже Будрис и Граф прошлись по недавно протоптанной тропинке в глубь леса.

Остановились на поляне, где никто не мог их подслушать.

Говорил Будрис, Граф слушал.

— С нашей точки зрения, то, что мы заполучили «специалиста» по подготовке документов, уже само по себе так же важно, как поимка шпиона. Но на этот раз мы взяли еще и двух шпионов. Вот теперь мы имеем возможность проверить, как изготовляются бланки. Совершенно очевидно, наши чекисты уловят много особенностей, которыми эти паспорта будут отличаться от настоящих. Да и сам «специалист», как бы ни хотел он сделать поддельный документ, не может уловить отдельных, на его взгляд, казалось бы, несущественных деталей, которые находятся в подлиннике. Вот эти-то расхождения для нас крайне важны!

— Но когда все это кончится! — не выдержал Граф.— Поймите, пожалуйста, мы сидим в лесу уже четвертое лето, а на хуторах будем сидеть пятую зиму!

Будрис улыбнулся его горячности, потом тихо сказал:

— Вот теперь, после того, как мы окружили своим вниманием «специалиста по советским документам», ваша задача почти выполнена. Конечно, вас отпустят по домам не завтра, не послезавтра, но одним из главных результатов нашей операции будет то, что шпионы, почувствовав за спиной крылья — фальшивые документы, и англичане — их хозяева начнут использовать эти фальшивые документы. Так начинается завершающая операция. Англичане попытаются рассылать своих шпионов в восточные районы Союза. Мы будем «благословлять» их на работу, желать им «ни пуха ни пера».

Их хозяева теперь переходят от мысли о создании плацдарма в Латвии к тактике активного использования агентов для сбора разведывательной информации. В ряде случаев они попытаются получить данные об объектах особой государственной важности.

— Кроме того,— продолжал Будрис,— настало время показать англичанам, что они не имели и не имеют на территории СССР социальной базы для своей подрывной работы. А то, что они некоторое время «преуспевали» в заброске своей агентуры в Прибалтику,— это дело рук чекистов, которые своими действиями успешно осуществили захват этой агентуры меньшими силами... А сейчас уже пора приступать к «передислокации», если так можно выразиться, из режима «свободного» пребывания английских посланцев в лесах Латвии к «режимному» в лесах Сибири. А то, что у шпионов будут фиктивные документы, на некоторое время скроет от «Норда» всеобщий провал их разведки в Латвии. Вот пример: англичане дают одному из своих агентов разведывательное задание. Агент выезжает с документами, сфабрикованными не нами, а представителем английской секретной службы. Будрису ничего не известно о том, где провалился агент, так как в организации и проведении этой акции он не принимал участия, пусть англичане и отвечают: хорошо подготовленный шпион, английские инструкции, только что полученные из Лондона, фиктивные документы, изготовленные английскими специалистами,— вот три участника событий! И англичане будут вызывать другого агента, который «стоит на очереди к аресту», и дадут ему новое задание по другому объекту. А для нас это очень важно — знать, чем интересуется противник. Именно так, при активной помощи англичан, мы постепенно прекратим нашу оперативную игру, получая на последнем этапе все новую информацию о их планах и устремлениях.

— Ну, а что будет потом? — спросил Граф, которого весьма увлекла картина, нарисованная Будрисом.

Будрис улыбнулся:

— А потом органы КГБ, возможно, ознакомят кого-нибудь из советских писателей с частью материалов по этому делу, чтобы тот мог поведать о происках английской разведки... А пока пойдем-ка к столу. Думаю, что Кох и Мазайс устроили великолепный «командирский» обед. Вечером я уйду в Тукумс, а завтра вернусь. Устрой мне разговоры с каждым из новичков. Надо знать, к чему готовятся англичане в ближайшее время. Может быть, у новеньких уже есть свои инструкции?

— Я бы хотел, чтобы у них были свои инструкции,— засмеялся Граф.— Тогда, может быть, с них мы и начнем окончание нашей игры?

29

В конце июня Будрис сообщил Силайсу:

«№8—321. После длительного отсутствия Лидумс благополучно вернулся в Ригу. Очень сложное и тяжелое путешествие стоило ему огромного нервного напряжения. Но задание в основном выполнено. После нескольких дней отдыха Лидумс начнет готовить отчет, который мы думаем выслать вам частями в тайнописных посланиях...»

Через месяц в Лондон по частям стал поступать доклад Лидумса. Этот отчет был выполнен тайнописью и, кроме описательной части, содержал также и рисунки танков и платформ, на которые были погружены танки. Силайс был очень доволен.

А Лидумс был доволен тем, что ему не пришлось ездить в город № 12. Дезинформационный доклад подготовили специалисты в Москве. Лидумсу оставалось лишь переписать его и проиллюстрировать. Что он и сделал весьма детально.

Силайс прочитал доклад и как бы даже выпрямился от гордости. Как там ни говори, а ведь Лидумс — его детище! И направился в приемную полковника Скотта. Проходя мимо Норы, шепнул:

— Есть вести от Лидумса.

30

За четыре года англичане переправили в группу Будриса несколько десятков шпионов, большое количество раций с кварцами, шифрами, аккумуляторами, много оружия и большую сумму денег.

Но, сколько бы ни засылали англичане своих людей в эту «группу», они получали отдачи все меньше и меньше. И вот прошло четыре года, Маккибина давно уже заменил полковник Скотт, начальство все чаще спрашивало у полковника, почему засланные шпионы не дают информации, и полковник Скотт все чаще морщился при таких вопросах.

Между тем сколько бы вопросов ни задавали англичане Лидумсу или Будрису, они всегда получали ответ. Так, в английских головах родилось еще не подозрение, а намек на него: а вдруг в одном из звеньев группы Будриса есть несколько чекистов?

Главное подозрение возникало еще и по той причине, что как только англичане решали заслать кого-либо из Латвии в другой город, с паспортом, изготовленным их специалистом, такой шпион, как правило, отправлял сигнал о том, что он приступает на месте к выполнению задания, а затем вдруг исчезал, как будто проваливался сквозь землю. Это могло означать лишь то, что такого шпиона выпускали из Латвии, но едва он давал знать, что готов к выполнению задания на новом месте, его немедленно хватали на этом самом новом месте...

На пятом году англичане стали свертывать свои операции. Вот тогда-то и настало время для ареста всех шпионов, содержавшихся в группе Будриса.

В одну из весенних ночей их арестовали. Сопротивления шпионы не оказали. Пистолеты оказались бесполезными, так как патроны были заменены. Вся операция по ликвидации группы заняла несколько часов.

На следующий день все «лесные братья» — чекисты собрались у полковника Балодиса. Был среди них и Лидумс.

Люди, перезимовавшие на хуторах, давненько не видали друг друга.

Окончание следует.

Николай АСАНОВ,
Юрий СТУРИТИС

РОМАН

ЧАЙКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ К БЕРЕГУ

Рисунки В. ВЗТРА.

31

Однажды летом заключенного Петерсона вызвали в тюремную канцелярию.

Петерсон отбывал свой срок наказания во Владимирской тюрьме. После того, как во время радиопередачи на Англию его окружили чекисты, он подумал, что умирать ни к чему. Тем более, что прорваться сквозь кольцо чекистов было немыслимо.

Естественно, что Петерсон не узнал того, как храбро он «умер во славу королевы»... Радиограмму о его «гибели» составляли для «Норда» Будрис и Граф. А сам Петерсон в это время сидел в следственном изоляторе, сидел и придумывал, что он расскажет следователю и что не расскажет... Самый сильный его довод был такой: «Я передал в Англию около четырехсот радиограмм, значит, и в России можно заниматься шпионажем...» Но в конце концов, когда следователь начал цитировать его радиограммы и рассказывать о том, какую они содержали дезинформацию, Петерсон умолк. На суде он повторил без прежнего удовольствия фразу о том, что он «передал около четырехсот сообщений в Англию, но все они были дезинформацией».

...Он шел в сопровождении конвоира, заложив руки за спину, и раздумывал о том, зачем понадобился начальству. Свидание с женой было недавно. Тогда, во время суда, Петерсон назвал адвокату свой адрес и попросил узнать, жива ли его жена. Так они встретились снова через много лет.

И вот с той поры жена присылает ему посылки, а несколько раз в год приезжает на свидание.

Ну что ж, теперь он тихий и скромный заключенный, он работает, может быть, ему сократят срок, тогда он приедет к жене, прижмет ее к сердцу, скажет: «Прости!» А она уже давно простила его.

Однако что надо от него начальству сегодня, в неурочный день, когда ни свиданий, ни каких-либо других забот для заключенных нет? Но вот перед ним дверь канцелярии, конвоир открывает ее.

— С вами будет беседовать полковник Балодис! — говорят ему.

И Петерсон вдруг узнает в полковнике Балодисе Будриса.

— Гражданин полковник? — бормочет Петерсон. Ему кажется, что все происходит во сне. — А тогда, во время высадки, вы тоже были полковником? Полковником КГБ?

— Да, — отвечает полковник.

— И вы проверяли все радиограммы, которые я посылал в Лондон?

— Естественно! Очень часто я сам готовил их.

— Но ведь я послал более четырехсот.

— Ну, вам беспокоиться нечего! Вы всегда получали благодарности. Я думаю, ваше имя внесено в списки погибших во славу королевы Великобритании...

— Как?

— Тоже вполне естественно. Ваши друзья — Граф, Делиньш и другие — передали радиограмму в Лондон, что вы и ваш некий помощник были запеленгованы во время передачи в Лондон, и так как вы открыли огонь по нападавшим, то были убиты в перестрелке. Таким образом, ваша честь была спасена... А во время ареста вы ведь ни словом не обмолвились ни о Делиньше, ни о шпионах, с которыми прибыли в Латвию, вы говорили только о себе! Мы особенно, как вы помните, на следствии на этом не настаивали. Нам все было известно в деталях.

— Если бы я знал!

— Ну а если бы знали? Бросились бы на меня с пистолетом?

— Тогда, может быть. А сейчас мне стыдно за англичан.

— Не надо стыдиться за англичан. Они еще два года продолжали активно работать. Опустошили не одну разведывательную школу в Англии, отправляя к нам своих учеников.

Петерсон стоял, опустив голову, думал об этой игре, которая позволила чекистам так ловко, без единого выстрела захватить десятки хорошо подготовленных, фанатично веривших в идеалы буржуазной Латвии и «свободного мира» людей. Ему было стыдно и горько. Наконец он взглянул на полковника, спросил:

— Зачем я вам понадобился, гражданин полковник?

— У меня есть просьба к вам, Петерсон. Вы, вероятно, читали в газетах о том, как американцы заслали на нашу территорию самолет-шпион и как наши ракетчики сбили этот шпионский самолет возле Свердловска...

— Читал...

— Так вот, летчик этого самолета Пауэрс, приговоренный к десяти годам лишения свободы, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, обратился к администрации тюрьмы с просьбой, чтобы его посадили с кем-нибудь, кто знает английский язык. А так как вы знаете и английский и немецкий, я предлагаю вам разделить участь уже не с английским шпионом, а с американским, да к тому же несколько необычного класса — воздушным!

— Ну, если вы считаете, что Пауэрс после общения со мной и по освобождении из тюрьмы не переквалифицируется из летчика-шпиона в шпиона-атомщика, я готов принять его в свои тюремные апартаменты.

— Итак, Пауэрса доставят сюда послезавтра. Может быть, у вас есть ко мне просьбы?

— Нет. Впрочем, есть одна. Это не просьба, а вопрос. Скажите, с какого времени вы работаете в КГБ?

— В сороковом году я был освобожден народом из тюрьмы, и народ поставил меня на эту работу.

— А Лидумс? Разве его не судили?

— Нет. Этого не могло и быть. Так же, как не судили никого из отряда Лидумса. Эти люди — бывшие партизаны. Они сделали все: жили в лесу вместе со шпионами, на хуторах, оставили семьи, работу, и все это они делали для родины...

На следующий день Петерсон, закончив работу в тюремной мастерской, где заключенные делали мебель, возвращаясь в камеру, попросил у дежурного ведро и тряпку. Он вымыл камеру, протер стены, попросил, чтобы сменили белье, сходил в душ.

Утром он вышел на работу, думая: каков будет этот американский парень? Может быть, он уже напуган тюрьмой во время следствия и теперь за ним придется ухаживать да ухаживать, чтобы он, чем черт не шутит, не наложил на себя руки?

Петерсон вернулся в шесть вечера. Дверь загремела ключом, открылась. Там, вскочив на ноги при звуке открывающейся двери, стоял молодой парень. Пока Петерсона не было в камере, дежурный установил вторую кровать, на которой было разостлано одеяло, белье. Конвоир, окинув взглядом американца, ушел.

— Хелло, Петерсон?

— Хелло, Пауэрс?

— Как жаль, что не могу предложить стаканчик виски! — усмехнулся Пауэрс.

— И у меня все кончилось! — улыбнулся Петерсон.

Окончание. См. «Огонек» №№ 36—41.

— Ну что ж, придется вместе с вами, видимо, не один год провести в столь респектабельной гостинице! — И Пауэрс обвел рукой камеру. — Не смогли бы вы рассказать о ней? Насколько мне известно, вы обитаете тут не первый день?

— Да, пожалуйста. Кстати, вам еще не приходилось сидеть? Тюрьма как тюрьма, довольно старая, лет сто стоит на этом месте. Побудка, а по-военному — подъем, в шесть, зимой — в семь. Оправка, гимнастика, завтрак, выход на работу. Обед в двенадцать. Возвращение с работы в шесть часов.

— Что здесь делают?

— Модерновую мебель. Сидеть на ней нельзя, но ее все покупают. Вы, насколько мне известно, летчик. Здоровье у вас, видимо, отменное, так как вы летали на больших высотах. С ума здесь не сойдете...

Наступило время ужина, гремели двери, открывались и закрывались с железным грохотом, уголовник с каким-то навечно удивленным лицом просунул в окошечко над дверью две миски с кашей и алюминиевыми ложками, два ломтя хлеба, две кружки чая, оглядел «новенького», но так как Пауэрс и Петерсон молчали, замкнул окошечко и побрел дальше в сопровождении конвоира.

После ужина Петерсон спросил у Пауэрса:

— А как вы-то оказались в столь неуютном месте?

— Вы, наверно, читали, как это случилось! Я всегда считал, что с русскими шутки плохи. Но стремление немного побольше заработать — у меня ведь очень интересная жена! — затмило эту истину. Я стал летчиком-высотником для ведения воздушной разведки. В тот злополучный весенний день я пересек границу Советского Союза. Все шло хорошо. Стояла солнечная погода. Я полагал, что все закончится удачно, но русские подняли в небо самонаводящиеся ракеты, и одна из них сделала все, чтобы я попал в ваши «дружеские» объятия. Самолет камнем повалился к земле. Правда, самолет можно было превратить в груду осколков, спокойно падающих вниз: на борту самолета было устройство для взрыва. Но я прыгнул, совершив самый длинный прыжок чуть не в тридцать километров... — Лицо его стало вдруг злым, он продолжал все горячее: — А теперь некие подлецы говорят: почему я не взорвал самолет? А, в сущности, я даже счастлив, что не сделал этого, не взорвал это чудище. Кто знает, может быть, кнопка сработала бы немедленно и вместе с обломками самолета на землю полетели бы и мои обломки? А эти подлецы до сих пор твердят: «Пусть за это Френсис сгниет в советской тюрьме!» Да, я вам не представился. Меня зовут Френсис.

— А меня — Юхан. — И после паузы: — А у вас есть какая-либо возможность освободиться раньше?

— Отец сказал мне, — мои родители были допущены на суд, и отец был на свидании, как и мать, и теща, и жена, — так вот, отец сказал, что несколько лет назад в Америке был арестован крупный советский разведчик Абель. Отец тогда же сказал мне, что по возвращении домой он обратится в прессу и подымет кампанию за обмен меня на Абеля.

Он замолчал и стал укладываться спать. Петерсон тоже стал готовить свою кровать. На его замечание, что хозяева Френсиса будут предпринимать меры с тем, чтобы облегчить его участь, Пауэрс сказал:

— Русские больше будут предпринимать и, насколько мне известно, до моей еще трагедии предпринимали меры, чтобы освободить своего разведчика Абеля. Может быть, мне это поможет. Спокойной ночи!

— Да уж, теперь ночи будут спокойными! Ни полетов на самолетах-шпионах, ни моего шпионства за аэродромами и самолетами. Спи спокойно, король шпионов Петерсон! Спите спокойно, король шпионов Пауэрс...

Пауэрс промолчал. Петерсон разделся и нырнул под одеяло.

Несколько дней Пауэрс на работу не выходил. Петерсон возвращался вечерами, тогда они беседовали.

В один из таких вечеров Пауэрс поинтересовался у Петерсона причинами его пребывания в тюрьме. Он сказал, что в западной прессе об аресте в Советском Союзе человека с подобной фамилией ничего не встречал.

Петерсон пояснил, что он латыш, после войны волею судеб оказался в Западной Германии, где его завербовала английская разведка, а затем направила в Лондонскую разведывательную школу. Учеба продолжалась более года. После этого он в группе агентов-разведчиков английской секретной службы, как ни странно, уже после войны, на немецком торпедном катере был нелегально заброшен на территорию Латвии для проведения разведывательной и иной подрывной работы.

Рассказ затянулся. Пауэрс молча слушал его и только спросил Петерсона:

— И этот полковник был вашим начальником?

— Вот именно!

— Тогда я перестаю разговаривать о моем самолете! Подумать только, быть полковником госбезопасности и обманывать королеву Англии! Хэ! Молодец парень. Я его не знаю, но он начинает мне нравиться!

В течение нескольких недель Пауэрс занимался русским языком. Он с большими усилиями выслушивал лекции Петерсона и набирал небольшой словарь из обиходных слов. Но в конце концов бросил такое занятие. Произошло это после свидания с работником посольства. По-видимому, он сказал Пауэрсу, что изучать русский ни к чему.

К этому времени Петерсон получил из библиотеки журнал «Работница». По-русски Петерсон читал слабо и получал из библиотеки «Работницу», «Мурзилку», детские книжки. Вдруг внимание Пауэрса приковал рисунок — чертеж на последней странице журнала.

— Покажите мне, что это такое?

Петерсон прочитал и перевел несколько слов:

«Как ткутся ковры...»

— Ну, если это так просто, я обязательно сотку ковер, чтобы увезти его в Америку! — воскликнул Пауэрс. — Сегодня же напишу письмо в посольство, чтобы мне доставили шерсть разных цветов.

— А русские решат, что вы задумали убежать из тюрьмы и будете плести веревку! — поддразнил его Петерсон.

— Тогда надо попросить, чтобы нитки были в мягких мотках.

— Да ладно вам беспокоиться, просите хоть в круглых, хоть в мягких.

Через несколько дней из Москвы пришла посылка с шерстяными нитками.

В течение года Пауэрс соткал всего один маленький коврик. И в начале второго принялся за второй.

Все-таки, несмотря на совет сотрудника посольства не учиться русскому языку, Пауэрс мало-помалу привыкал к русскому.

Возвращаясь с работы, Пауэрс принимался читать. Тут он ловил себя на том, что советские книги читает для того, чтобы понять, чем отличается это новое общество от того, в каком сам Пауэрс жил со дня рождения...

В конце второго года заключения Пауэрс получил письмо из Америки. Письмо было вскрыто. Он вынул из конверта большой лист бумаги и вдруг присел на койку.

Петерсон тоже получил письмо от жены и теперь, перечитывая его, думал, что жена будет его ждать, хотя его срок кончится лишь через четыре года. Но теперь он уже знает, где будет жить, знает, что и там найдется работа, если не на мебельной фабрике, так на машине, если не на машине, так на тракторе. Радистом в море его, понятно, не выпустят, но работы хватит. Он с удивлением прочитывал бесконечные объявления о том, что требуются рабочие, инженеры, экономисты, бухгалтеры и счетоводы. Он читал и перечитывал письмо, как вдруг увидел, что Пауэрс выпустил свое письмо из рук и сидит с остолбенелым взглядом.

— Что с вами, Френсис?

— Жена ведет себя непристойно, и поговаривают, что она может меня оставить. Об этом пишет мой друг.

— О господи, до чего же жестоки женщины! Ведь она была на вашем процессе?

— Да, была, и не одна, а со своей матерью...

— Плюньте вы на нее! Может случиться и так, что большевики продержат вас в тюрьме все десять лет. Неужели вы думаете, что женщина будет хранить верность все это время?

— Ну, если стерва обратится ко мне за разводом, она его не получит. Пусть она побудет женой шпиона! Тогда-то уж возлюбленный бросит ее! А когда я вернусь в Штаты, я еще успею посмеяться над ней!

— Нет, Френсис, она этого не сделает. Ведь, как сообщалось в печати, она получает от военного ведомства за вас деньги.

— За ее змеиную красоту могут платить значительно больше, чем платит ей Пентагон.

Снова наступило лето, прошли два года пребывания Пауэрса в тюрьме. И однажды, вернувшись с работы, Петерсон услышал:

— Меня обменивают! Вы слышите? Меня обменивают!

Оказалось, что Пауэрса вызвали в полдень в канцелярию.

— Когда же вас обменяют? — спросил Петерсон.

— Ох, еще не скоро! Тут сколько хочешь формальностей! Но почему вас, Петерсон, не обменяли? Или англичанам все равно, кто работает на них?

— Бросьте вспоминать об англичанах! Да и, с их точки зрения, стоит ли на меня обменивать какого-либо русского? Ведь я принял советское подданство, как только мы присоединились в сороковом году к России. Значит, я советский по паспорту.

— Боже мой, но когда же, когда? — воскликнул американец. — Ведь я теперь не смогу ни спать, ни есть!

Поужинать он поужинал. Спать он лег даже быстрее Петерсона. А Петерсон невольно задумался над тем, как нелепо сложилась его жизнь.

Ему было двадцать два года, когда он, студент второго курса института, оказался на оккупированной территории. В оккупации он стал бравым «двинским соколом», двадцати пяти лет женился, но немцы забрали всех «двинских соколов» в латышский легион, и жена осталась в Риге. А потом от Шяуляя Петерсон отступал в сторону косы Пилау, а Рига осталась далеко-далеко...

Прошло пятнадцать лет, когда он написал своей жене первое письмо, написал из тюрьмы, и женщина откликнулась. Потом он попросил ее увидеться с ним, и она приехала. Он помнит, как однажды двери в его камеру приоткрылись и дежурный конвоир сказал:

— На свидание!

Ей исполнилось тридцать пять. Она была по-прежнему свежа, по-видимому, возраст не играл для нее роли. Сам он был измотан и изнурен. Но он сразу узнал ее, как будто они виделись только вчера. А она протянула к нему руки, узнавая и не узнавая.

Позже, когда они уже прощались, она сказала:

— Я буду ждать!

— Но пойми, мне еще сидеть и сидеть!

— Ты придешь домой. Наш дом будет там, где живу я.

И ни одного слова о том, о чем он сам боялся рассказывать. Ни одного слова. Единственно, о чем она спросила:

— Ты бежал с немцами?

— Да.

— Сколько ты еще просидишь?

Тогда ему оставалось отбывать наказание еще семь лет. Теперь оставалось четыре.

Прошло две недели — Пауэрса никуда не вызывали. Он думал: забыли!

Но однажды вызвали. Вернулся он только вечером. И от двери сказал Петерсону:

— Меня обменивают на Абеля!

Петерсон припомнил знаменитый процесс Абеля. Вся Америка взволновалась тогда: русские шпионы выкрали государственные секреты и тайны...

Опять шли дни за днями, а Пауэрс продолжал сидеть. Он снова взялся за свой ковер.

Однажды, как обычно, дежурный выкрикнул:

— На прогулку!

Вышли вместе. Прошли в сопровождении конвоира на внутренний дворик. Сделали несколько кругов, как вдруг раздалось:

— Пауэрса в канцелярию! Петерсон, переведите!

— Мне можно сопровождать Пауэрса?

— Да, можно!

Петерсон перевел Пауэрсу приказ. Конвоир провел их в канцелярию.

Переводчика долго не было. Петерсон переводил документы, на которых Пауэрс расписывался. Когда появился переводчик, конвоир принес из камеры личные вещи Пауэрса. Пауэрс переоделся в темный костюм, повязал на белоснежной рубашке галстук. Он был готов.

Он пожал Петерсону руку, потом поцеловался с ним, затем сказал переводчику:

— Передайте начальнику тюрьмы, что я дарю Петерсону свою библиотечку и костюм, в котором приехал сюда после суда...

Дни пошли за днями, и ничто не менялось в жизни Петерсона. Он прочитал в «Известиях» коротенькую благодарность семейства Абеля за возвращение отца и мужа и понял: «Передача арестованных состоялась!»

Как-то на работе к нему подошел конвоир и сказал:

— В канцелярию!

В канцелярии находился прокурор области, довольно часто навещавший тюрьму, и полковник Балодис. Балодис-то и сообщил ему:

— Поздравляю вас, Петерсон, с досрочным освобождением из тюрьмы!

Полковник Балодис прочитал ходатайство республиканского Комитета КГБ в Президиум Верховного Совета СССР, в котором говорилось о том, что осужденный Петерсон, нелегально заброшенный английской разведкой в Советский Союз, передавший более четырехсот радиограмм в Англию, на самом деле не принес существенного вреда Советскому Союзу, так как он передавал одну только дезинформацию, подготовленную чекистами, а находясь в заключении, проявил себя с положительной стороны, осуждает свое прошлое и намерен в случае освобождения из-под стражи честно работать... Прямо говоря, Петерсон больше ничего не слышал...

После оформления документов, после всего, что происходило будто бы во сне, Петерсон снова услышал голос полковника:

— Что же, Петерсон, билеты у меня. Поехали?

ЭПИЛОГ

Викторс Вэтра приехал по делам Союза художников в Москву.

Официальные дела были закончены в первой половине дня.

Он вышел из Союза художников на улицу и пошел по улицам летней Москвы.

Внезапно взгляд Вэтры упал на афишную круглую будку. «Посетите английскую выставку!» — было написано там. Ниже еще один плакат: «Неужели вы еще не были на английской выставке?». Вэтра улыбнулся вызывающе раскрашенному плакату.

Он остановил такси и поехал в Сокольники.

Огромный парк многолюден. В трех светлых зданиях из стекла и алюминия были размещены основные экспозиции английской выставки. Вэтра встал в очередь. Девушки-англичанки в национальных костюмах из Шотландии и Ирландии улыбнулись высокому господину в светлом спортивном костюме, подарили значок выставки. Вэтра прошел в залы.

Слева, при входе, размещалась выставка художников-абстракционистов. Здесь было пусто. Вэтра медленно прошел по залу.

Нет, эти художники мало интересовали его. Около часа он бродил из зала в зал, разглядывая, но не очень вникая в новинки техники.

Внезапно внимание Вэтры привлек взгляд одной из женщин-стендисток, экскурсоводов, которая очень уж внимательно всматривалась в него. Улыбнувшись, он сделал шаг к этой женщине, чтобы поинтересоваться, чем это он вызвал такое внимание. Но та быстро исчезла за стендом.

«Что это могло быть? — подумал Вэтра. — Что-то знакомое в этой женщине. Может быть, Нора? Но что делать ей, сотруднице «Норда», тут, в отделе готового платья, на английской национальной выставке?»

Вэтра медленно спустился на второй этаж, прошел в конец выставочного зала. Здесь англичане весьма изобретательно устроили для посетителей-малышей стенд детской игрушки.

К потолку на «невидимых» резиновых тросиках были прикреплены обезьяны, собачки, кошки, рыбы, крабы и, конечно, традиционные львы. Все животные были в натуральную величину.

Невидимое устройство на потолке приводило рыб и животных в движение. Они прыгали, кувыркались, плясали, вызывая смех не только у детей, но и у взрослых. Вэтра внезапно тоже вошел в игру, как будто ему было не пятьдесят, а всего лишь пять...

И тут вновь увидел высокую женщину с мальчишеской прической, в элегантном костюме, со значком гида выставки на отвороте лацкана.

Женщина как будто наблюдала за ним. Но едва он взглянул на нее, она повернулась и ушла...

Нет! Конечно, нет!.. Английская секретная служба не может направить Нору в качестве гида английской выставки в Советский Союз!

Вэтра вышел из детского павильона, достал проспект выставки и просмотрел его. Чем еще удивят его англичане?

И вдруг за спиной женский голос:

— Мистер Казимир?

Не было сомнения, вопрос обращен к нему. Как поступить, что ответить? Он сделал два шага вперед, резко повернулся и спросил:

— Простите, вы ко мне обращаетесь?

Перед ним стояла Нора.

— Вы уже уходите?

— Нет, я собираюсь посмотреть, как шотландцы пасут своих овец!

— Ну, Казимир, неужели вас интересует даже это? Когда вы были у нас, я могла бы дать вам более обширную информацию по этому вопросу.

— Увы... Пришлось изучать более серьезные проблемы! Если у вас есть время, то проводите меня сейчас к шотландским овцеводам.

Она кивнула.

Спустя час они сидели за столиком «выставочного» кафе.

Вэтра тихо сказал:

— Нора, если вы просто гид на выставке, если у вас нет других поручений отдела «Норд», я могу гарантировать вам интересное пребывание в Москве...

— Нет, дорогой Казимир, я просто гид. Но, с другой стороны, я должна проследить, могут ли наши гиды вести какую-то работу для «Норда». Как я понимаю, они ничего похожего не могут! — Она посмотрела в глаза Вэтре и с грустью сказала: — А вот что я могу сказать своим шефам? Я скажу им, что встретила в Москве только что вернувшегося из Сибири «викинга», которому, как неоднократно замечало мое начальство, я уделяла несколько больше внимания, нежели отводилось мне по роду выполняемой в отделе работы...

— Мне трудно судить, как вам лучше это сделать! — мягко сказал Вэтра.

— Ладно, как говорят русские!

Она подняла рюмку, выпила ее до половины, как будто смакуя коньяк, потом допила и протянула Вэтре. Тот молча налил снова. Она задала вопрос:

— Как вы, богатый когда-то человек, чьи корабли все еще плавают по морям, могли пойти на службу к большевикам?

— Я служу своей родине, Нора. Я начал работу разведчика в конце войны. А когда возникла мысль послать меня в Лондон, мне не надо было выдумывать легенду. Я действительно был судовладельцем, бывшим человеком, мне не надо было лишь говорить о том, что начал свою работу советского разведчика еще в годы войны, что мои друзья — Будрис, Граф, Кох и другие — офицеры советской контрразведки. Если вы помните, Нора, я никогда ничем не предал своих друзей, я всегда говорил: во имя моей родины! А родиной мы все называем Советскую Латвию!

— А ведь мы думали, что вы арестованы и пребываете где-то в Сибири...

— Как видите, нет. Я удостоен звания кавалера ордена Красного Знамени...

— Почему же я не вижу столь высокой награды на лацкане вашего пиджака? — язвительно спросила Нора.

— Ну, вы тоже не носите наград на лацкане вашего жакета. А нам до определенного времени по понятным причинам приходится быть «неудачными» художниками, водителями такси и просто «кохами», храня свои регалии где-то в ящике письменного стола...

— Если уж говорить начистоту, то в операции «Янтарное море» нас подвели те самые подонки, от которых наша разведка никак не очистится. Имею в виду Силайса, Ребане, Жакявичуса и их предводителя — «посла Латвии в Лондоне» Карла Зариньша...

Нора отпила глоток кофе, вытащила сигарету из пачки и прикурила от газовой зажигалки. Пламя вспыхнуло так сильно, что чуть не опалило ей ресницы. Сигарету она курила так, словно после длительной жажды пила воду. Вэтра попросил официантку принести мороженого, кофе и еще коньяку.

Он молча разлил коньяк по рюмкам, наблюдая за Норой. Нора сбила указательным пальцем пепел с сигареты, и Вэтра сразу почувствовал — настроение ее изменилось. Теперь перед ним снова была разведчица. Даже интонации переменились: стали холоднее. Она сказала:

— Знаете, Казимир, в нашей работе ошибаются в двух случаях. Первый из них — когда мы недооцениваем противника. Второе — когда мы переоцениваем его возможности! Мы недооценили возможности латышских чекистов. В этом главная причина провала... Но имейте в виду, мистер Казимир, — она подчеркнула слово «мистер», — наши схватки еще не кончились! Может быть, придет и мой черед улыбаться, глядя на вас!

Она выпила рюмку и поднялась. Вэтра встал, чтобы проводить ее. Но она остановила его рукой:

— Достаточно того, что я бросилась вдогонку за вами. Вам провожать меня ни к чему. Благодарю вас! Будьте счастливы!

На следующий день Вэтра позвонил на выставку. Его несколько раз отсылали из отдела в отдел, пока какой-то мрачный сотрудник, поинтересовавшись, кто говорит, и узнав, что интересуется коллега по службе мисс Норы, сообщил:

— Сегодня утром мисс Нора Бредфилд вылетела в Англию...

РАССЛЕДОВАТЬ — РАССЛЕДОВАВШИЙ ЧТО-ЛИБО. РАССЛЕДОВАТЬ — ИССЛЕДОВАТЬ, РАЗЫСКАТЬ, ОБСЛЕДОВАТЬ, РАЗУЗНАТЬ ХОРОШО, ОБСТОЯТЕЛЬНО, ВЕРНО... РАЗОБРАТЬ СЛЕДЫ ЗВЕРЯ, РАСПУТАТЬ ИХ И ВЫСЛЕДИТЬ ЕГО.

Толковый словарь
живого великорусского языка
Владимира Даля.

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ, III

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки В. КАРАСЕВА.

1. КРЫМ

Я давно заметил забавную особенность: в какую бы длинную очередь я ни встал, после меня уже никто не становится. Нельзя даже отойти, сказав следующему: «Предупредите, что я здесь стоял». Наверное, это случайность. Вот беда только, что с отпусками у меня всегда получается точно так же. Я подаю заявление последним, и тут начинается всякая чертовщина: кто-то из наших ребят еще не пришел, другой недавно ушел, а третий догуливает за прошлый год. Короче говоря, сейчас уходить нельзя. И пошла волынка — до ноября. Но на сей раз все получилось неправдоподобно просто. Написал рапорт и сразу получил резолюцию: «В приказ, с пятого сентября».

А четвертого утром меня разбудил телефонный звонок. Еще не совсем проснувшись, я мятым голосом отвечал: «Да, да, понял, да, буду, высылайте...» И только положив трубку, сообразил, что завтра должен уезжать в отпуск. Но радиограмма уже пришла...

ЛИСТ ДЕЛА 1.

РАДИОГРАММА

«4 сентября в 8 часов 05 минут жителями поселка Солнечный Гай на тридцать восьмом километре шоссе Ялта — Карадаг в придорожном кустарнике обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями головы.

До прибытия опергруппы организованы неотложные мероприятия и охрана места происшествия...»

ЛИСТ ДЕЛА 2.

Оперативная машина уже приехала, и шофер сигналил нашим обычным позывным: «Та-та, та-та-та». Я разозлился: чего он там, дурак, разгуделся! Подавать сигналы в городе вообще нельзя. И Наташа замечательно знает этот сигнал «та-та, та-та-та». Он значит — тревога, значит — отпуска не будет.

Я как-то глупо суетился то на кухне, то в столовой. Потом сказал неуверенно:

— Нат, может, это ненадолго, и я откручусь...

Она чиркнула зажигалкой, нервно затянулась и сказала твердо:

— А мне это совершенно безразлично. Нигде не сказано, что супруги обязательно должны ездить в отпуск вместе. Уверяю тебя, я и одна не умру от скуки.

— Нат, не заводись! Это же ведь работа...

Она обернулась и яростно посмотрела мне в глаза:

— Ах, рабо-ота?! Позволь заметить, мой дорогой, что, помимо высокой чести быть твоей супругой, я ведь тоже работаю! Понятно? И отлично знаю, что такое работа! А твои постоянные фокусы мне надоели! Все!

Ой, как мне не хотелось ругаться! И еще — ужасно обидно, что даже она не хочет этого понять. Я пожал плечами:

— Ладно. Почему-то в жизни у меня так получается, что я не могу оплатить всех долгов.

— Об этом надо думать перед тем, как женишься!

Наверное, все жены рано или поздно говорят такие вещи. Надо было бы промолчать, но я уже сам втянулся в ссору и желчно сказал:

— Хорошо, в следующий раз обязательно подумаю!

Наташа смотрела на меня сухими, злыми глазами, и я понял, что она сейчас заплачет. Я испугался, потому что не могу видеть, как она плачет. Она почти никогда не плачет. И, чтобы опередить ее, я сказал:

— Если я не смогу поехать, то позвоню — сдай мой билет.

Она сказала звенящим голосом:

— У нищих слуг нет. Не сможешь — поезжай сам в аэропорт и сдавай...

Шофер на улице снова загудел: «Та-та, та-та-та». Я отворил дверь и, обернувшись, сказал:

— Глупо. И грубо. Там ведь человека убили...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела.
4 сентября. пос. Солнечный Гай.

Я, следователь,

рассмотрев материалы обнаружения 4 сентября в районе поселка Солнечный Гай трупа неизвестного мужчины с признаками насильственной смерти и принимая во внимание необходимость производства по данному факту предварительного следствия,

постановил:

Возбудить уголовное дело об убийстве и приступить к расследованию.

Копию постановления направить прокурору области.

ЛИСТ ДЕЛА 3.

Тучи обложили солнце влажными компрессами, и свет был тихий, слепой, испуганный. Иногда дымящиеся солнечные столбы прорывались сквозь облака, но все равно не проходило ощущение, что это ненадолго, что сейчас начнется дождь и будет идти долго, долго и никто не знает, когда будет настоящее солнце.

Слабо шуршала под ногами высохшая трава, глухо звучали голоса людей вокруг, и меня охватила тоска. Я понял, что вся эта история — надолго. И есть что-то более глубокое, важное в том, что мы не можем с Наташей понять друг друга. Половина семейных людей проводят отпуска врозь. Из-за этого не разводятся.

Убитому было на вид лет тридцать. Он лежал ничком в зарослях кустарника, недалеко от дороги. Руки мучительно прижаты к груди. И в затылке три небольшие дырочки, расположенные почти правильным треугольником.

Эксперт Халецкий неодобрительно похмыкал:

— Три пули в затылок. Заголовок для американского боевика. Неинтеллигибельно!

Халецкий любит звучные слова, не затрудняя себя их смыслом. Мне кажется, что иногда он придумывает их сам. Оперативник Климов, уже немолодой, полный человек, сказал:

— Уж куда как! Парень-то, похоже, иностранец.

— Почему? — спросил я.

— Да на нем вся одежда заграничная. Вон даже на рубашке этикетка с импортными буквами.

— С импортными буквами, говорите? — переспросил Халецкий.— Ну-ну. Все-таки, несмотря на эти самые буквы, полагаю, что он не иностранец.

— Почему? — снова спросил я.

Халецкий пожал плечами.

— Думаю, и все. Лицо у него русское.

— А вы уверены, что обязательно отличите финна от чеха, а чеха от русского?

— Нет, не уверен. Поэтому я не утверждаю, а высказываю свое предположение гипотетически.

Рядом с убитым торчала из земли небольшая лопатка, вогнанная в дерн почти на половину штыка. Рядом с вывернутыми карманами брюк жалобно блестела в траве мелочь — пятиалтынный, гривенник, три двушки. Ограбление? Почему же не сняли с руки золотые часы?..

А Климов вдруг сказал грустно:

— Может быть, он хорошим парнем был...

ПРОТОКОЛ

осмотра места происшествия, 4 сентября, пос. Солнечный Гай

...В заднем кармане брюк убитого обнаружена пластмассовая расческа коричневого цвета со штампом и обрывок рецепта от 20 августа сего года с малоразборчивыми надписями и неясным оттиском круглой печати.

На расстоянии 120 сантиметров от обочины шоссе трава хранит контуры человеческого тела. На листьях и почве в этом участке обнаружены множественные брызги темного цвета, по-видимому, крови. Отсюда и далее, в направлении убитого, четкие следы волочения тела до места его нахождения: смятая в направлении волочения трава, на почве — борозды от носков обуви потерпевшего.

При тщательном осмотре этого участка в двух метрах справа от контуров тела, в траве, обнаружены три стреляные гильзы пистолетных патронов типа «ТТ». Здесь же находится обломок сигареты с фильтром, с надписью латинским шрифтом «Люкс». Прямо на обочине найден окурок аналогичной сигареты с четким следом прикуса.

Непосредственно на обочине шоссе, в 25 сантиметрах от асфальтового покрытия, обнаружен след автомобильного протектора длиной 70 сантиметров, шириной 16 сантиметров. В тридцати шести метрах от этого места по шоссе в сторону Судака, на той же обочине, обнаружены два следа автопротектора аналогичного вида длиной 62 и 20 сантиметров, шириной 16 сантиметров. В окружающем здесь обочину кустарнике найдены и изъяты еще три окурка сигарет с фильтром, имеющим характерный след прикуса. Следы протекторов сфотографированы, с них сделаны гипсовые слепки. Неподалеку от тела, а также вдоль обочины шоссе лежат многочисленные бухгалтерские документы, из которых усматривается, что они принадлежат тресту «Крымспецстрой».

Произведена фотосъемка тела: общего вида, лица в фас и профиль, раненых частей головы; труп дактилоскопирован и направлен на судебно-медицинскую экспертизу.

Обнаруженные в ходе осмотра предметы, имеющие значение вещественных доказательств, обозначены в схематическом плане, упакованы, опечатаны и изъяты.

Осмотр окончен в 16 часов 50 минут...

...К концу осмотра места происшествия пошел дождь. И все долгие, трудные дни и ночи потом шел дождь, дождь и не было просвета...

ЛИСТ ДЕЛА 4.

Надо узнать: кто такой убитый? Хорошее выражение есть для этого — «установление личности потерпевшего». Без этого дальше делать нечего.

Я приехал в райотдел милиции, где мне дали зашарпанный маленький кабинет с ржавой решеткой на окне и тусклой, без абажура, лампой. На стареньком столе, сильно порезанном перочинным ножом, кто-то написал фиолетовыми чернилами: «Косякин дурак». Я понял — пока что дуран я, а не Косякин. По делу не видно перспективы — неизвестно не только кто убил, но и кого убили. Очень может быть, что убитый был прекрасным парнем, а может быть, последней сволочью. Но, если честно говорить, меня это тогда совсем не интересовало. Мне надо было знать только его имя, отчество, фамилию, место жительства и работы. Иначе дело стопорилось намертво. Ничего не попишешь — профессия подавляет чувства.

Я постоял у окна, глядя, как солнце проваливается в дымные дождевые облака, и подумал: «Дело — табак. Я от своей работы помаленьку зверею...»

Климов деликатно кашлянул. Я обернулся к нему.

— Фотографии убитого, наверное, уже готовы?

Климов кивнул.

— Вам предстоит трудная работа. Надо обойти каждый дом в поселке...

СПРАВКА

Опросом местных жителей установлено, что обнаруженный на шоссе убитый мужчина ни в Солнечном Гае, ни в окрестных населенных пунктах не проживал и никому здесь не известен.

Оперуполномоченный Климов.

ЛИСТ ДЕЛА 5.

Мне часто приходит в голову, что запутанные дела похожи на книги без конца и без начала. Происходили какие-то важные, значительные события, кипели страсти, сталкивались характеры, мечтали и страдали люди, и кончилось все это драмой. Но у меня в руках всего несколько страниц, и в них написано, что убили человека. Почему? Кто? Когда? И, наконец, кого? Кто он сам-то — убитый?

Мне надо все дописать до конца. Но для этого я должен разыскать все странички начала. И начнут появляться фамилии, за которыми для меня никто не стоит, и люди, которых я увижу впервые, и события, о которых никто не должен был знать. Все это загадки. И чтобы дописать конец книги правильно, надо отгадать их точно. А ведь даже найденные страницы не имеют нумерации, хотя сложить их нужно по порядку. И главное, чтобы сюда не попали страницы из другой книги...

Я думал об этом, когда пришел Климов.

— На негативе проявляются первые лица,— сказал он значительно.

— Что же это за лица? — спросил я осторожно.

— Юрка Прокудин. Гультепа, хулиганье...

СЛЕДОВАТЕЛЮ
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Докладываю, что житель поселка Солнечный Гай Прокудин Юрий Иванович, по сообщению односельчан, продал вчера на Ялтинском рынке новые заграничные вещи: светлого цвета пиджак и коричневую спортивную куртку.

Прокудин характеризуется отрицательно: прогуливает работу, пьет, хулиганит. По непроверенным данным, может иметь оружие.

Полагал бы: Задержать Прокудина по подозрению в убийстве.

Оперуполномоченный КЛИМОВ.
4 сентября.

ЛИСТ ДЕЛА 6.

«Без умения строить версии, то есть способности воспроизводить точные картины уже минувших событий из осколков фактов,— нет следователя, поскольку следователь должен быть сподобен этому искусству от природы. Следователю нужна высокая требовательность в отборе материала, трезвая критичность в его оценке и свободное пространственное воображение». Это я записал много лет назад на лекции профессора криминалистики Адамовича. Тогда я относился к себе гораздо строже, чем сейчас, и, естественно, не сомневался, что я «сподобен от природы».

Но, видимо, как следователя меня сейчас все-таки нет. Нет у меня никаких версий. Как сказала бы моя жена, гиперфункция требовательности и полное отсутствие «свободного пространственного воображения».

Просто я запомнил, что убитый был в одной рубашке, без пиджака. И одет только в импортные вещи. И еще — неизвестный мне Юрий Иванович Прокудин продавал заграничный пиджак и куртку.

А потом подкинули анонимку. Подкинули буквально — в кабинет через окно, когда я вышел на несколько минут. На полу лежал грязный конверт без марки с надписью: «Следователю».

> «Вы не там ищите! Хочу вам помочь. Федька Асташов позавчера в павильёне в месте пил с парнем, у парня денег куча. Потом на шоссе оба пошли, Федька его и обчистил. Денежки с Нонкой в Коктебеле прогуляет? Фамилие свое не пишу, узнает — убьет Федька».

ЛИСТ ДЕЛА 7.

Шелестел в листьях дождь, остро пахло осенними цветами и перезрелыми дынями. Против моего окна, на скамейке под старой раскидистой акацией, растворяясь в дымных сиреневых сумерках, сидели две девушки и парень. Девушки взволнованно хихикали, а парень снисходительно говорил: «Чего попросите, то и сыграю!»

Я стоял у окна, положив подбородок на ржавую перекладину решетки, думал о Наташе, о себе, смотрел на ребят и остро завидовал им. Одна из девушек заметила меня и толкнула подругу в бок:

— Гляди, вон в окне арестант за решеткой!

Та засмеялась:

— Скажешь тоже! Это какой-то начальник из города. Сама видела, как он утром на черной «Волге» приехал.

Я отошел от окна, а они сразу забыли обо мне, потому что парень заиграл на гитаре и запел негромким, теплым голосом:

Стоит камень в степи,
Под него вода течет,
А на камне написано слово:
Кто налево пойдет — ничего не найдет,
Кто направо пойдет — никуда не придет,
А кто прямо пойдет — ни за грош пропадет...

Да-а, неплохая перспектива. Юрий Иванович Прокудин, который торгует на рынке заграничными пиджаками и которого Климов до сих пор не может разыскать. Федька Асташов, который «в павильёне в месте пил с парнем» и за которым уже поехал участковый. И бухгалтерские документы треста «Крымспецстрой», разбросанные на месте убийства. Кто же писал анонимку? Помочь хотел или сбить с толку? Или просто иляузник, анонимщик-профессионал? Ой, не люблю я анонимки, не люблю. Но, может быть, все-таки это след?

А гитара звенела за окном:

Перед камнем стоят
Без коней и без мечей
И решают: идти или не надо...

ВЕСЬМА СРОЧНО

СЛУЖЕБНАЯ ОРИЕНТИРОВКА

Всем городским и районным органам милиции области.

«...4 сентября в 8 час. 05 минут на тридцать восьмом километре шоссе Ялта — Карадаг обнаружен труп неизвестного мужчины с тремя огнестрельными ранениями головы.

Приметы убитого: возраст 28—30 лет, рост 181 сантиметр, телосложение среднее, волосы темно-русые, волнистые, густые. Одежда импортная: рубашка и брюки серого цвета, полуботинки черные, остроносые, золотые часы «Докса».

К месту происшествия потерпевший и убийца прибыли, по-видимому, на автомашине, судя по следам протекторов — «Волге». Убийство совершено из пистолета «ТТ».

Используя перечисленные данные и прилагаемую фотографию убитого, примите все меры к срочному установлению его личности. Организуйте поиск преступника, в частности активизируйте выявление лиц, имеющих огнестрельное оружие ..»

ЛИСТ ДЕЛА 8.

Асташева привели около девяти часов вечера. Это был первый допрос по делу. И когда я услышал шаги в коридоре — его и участкового,— я быстро перекрестил пальцы на правой руке, закрыл глаза и загадал: «Если у Асташева морда противная — то все кончится хо-

рошо, дело быстро раскрутим. А если...» Дверь заскрипела, я зыркнул на Асташева — морда у него была великолепная. И ужасно злая.

Я еще пытался обмануть себя — лицо, мол, грубое, дикое очень. Потом присмотрелся — чего там: хорошее, четкое, только очень рассерженное лицо.

Он вошел и вместо «здрасте» сказал:

— Чего пристаете? Я, начальник, завязал. Все. И навсегда...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Я, следователь, 4 сентября, в 21 час. 10 мин. допросил Асташева Федора Ивановича.

...Вопрос. Почему вы не были на работе третьего и четвертого сентября?

Ответ. Третьего — это мой выходной день, а потом у меня был отгул.

Вопрос. Как вы провели день второго сентября?

Ответ. До пяти я работал. Потом дома пообедал, переоделся и пошел на танцы в клуб. Часов в двенадцать вернулся домой и лег спать.

Вопрос. Выпивали ли вы в этот день?

Ответ. Да, немного.

Вопрос. Точнее: когда, где, сколько, с кем, на чей счет?

Ответ. Часов в семь вечера, в «Голубом Дунае». Выпили мы с приятелем из Симферополя бутылку водки и две кружки пива. Он и платил.

Вопрос. Кто он, ваш приятель?

Ответ. Рожков Константин, из геологической партии...

— ...Опишите его подробней,— сказал я Асташеву.

Видно было, как он весь сосредоточился, собрался. Говорил медленно, осторожно, будто сначала взвешивал слова на языке.

— Выше среднего роста. Серый костюм у него. Рубашка, рубашка... не обратил внимания. Туфли, по-моему, коричневые. А может быть, и черные. Я точно не помню.

— Деньги и часы у него были?

— Были деньги, рублей двести, а то и больше. Часы, по-моему, золотые.

Мы помолчали. Потом я спросил:

— Вы уже были судимы, Асташев?

Он зло посмотрел на меня и сказал:

— Был, ну и что?

— Нет, ничего. Я просто поинтересовался.

— А вы не поинтересовались, что я сейчас лучше всех в совхозе работаю?

— Еще поинтересуюсь. Скажите-ка, а где сейчас Рожков?

— Не знаю. Костя мне говорил, что поедет в Симферополь. Когда я утром уходил из дому, он еще спал.

— А вы очень спешили?

— Да, спешил.

— Позвольте узнать, куда? — быстро спросил я.

— В Коктебель,— так же быстро ответил Асташев.

— Что вы там делали?

Асташев сбросил темп разговора, подумал.

— Со знакомой встречался. А что, нельзя?

— Можно, даже нужно,— сказал я невозмутимо.— Имя, фамилия вашей знакомой?

— Это неважно.

Вот тут притормозил я. Посидели, помолчали, потом я спокойно сказал:

— Вы уж мне отвечайте на вопросы-то, гражданин Асташев. Разговор у нас серьезный. А Нонна вас не осудит за то, что говорили о ней.

Асташев этого никак не ожидал. Лицо у него стало растерянное, беззащитное:

— А откуда вы знаете?..

— Как видите, знаю.

— Хорошо. Конькова Нонна. Вечером мы ходили на танцы, а потом еще погуляли.

— Когда вы расстались?

— В общем... мы до утра гуляли. В семь она на работу побежала, а я пошел к морю, хотел поспать на пляже. Часа в три пришла Нонна, мы пообедали, позагорали, а потом она проводила меня до шоссе, и я уехал домой.

— У вас деньги есть?

— Где? — сказал он удивленно.

Я хмыкнул:

— Вам виднее, где могут быть ваши деньги.

— Ну, при себе у меня копеек тридцать...— неуверенно заявил Асташев.

— А остальные?

— Остальные я в Коктебеле истратил.

— Сколько же вы истратили?

— Рубля три примерно. Больше у меня не было.

— Вы в Коктебеле выпивали?

— Что вы! Я при Нонне в рот не беру, она этого не признает...

...Вопрос. Что вам известно про убийство на шоссе?

Ответ. Про этот случай я от людей слышал. Даже беспокоюсь: не Костю ли убили?

В. Почему вы так думаете?

О. Да я ничего не думаю, просто опасаюсь. Всякое бывает...

В. Вам предъявляется фотография убитого. Не Рожков ли это?

О. Нет. Я этого человека впервые вижу.

В. Есть ли у вас в поселке враги?

О. Враги?! По-моему, нет. Не должно быть: я вроде бы никого не обижал, а меня самого не очень-то тронешь.

Я сказал ему:

— Если вы, Асташев, действительно не имеете отношения к убийству на шоссе, почему вы так напряженно держитесь?

— Ха! У вас тут не цирк, небось, веселиться нечего...

ЛИСТ ДЕЛА 9.

Когда Асташев вышел из комнаты, участковый Городнянский, молодой, толстощекий, старательный, протянул мне исписанный лист. Я пробежал его глазами и всерьез разозлился:

— Что же вы, сержант, до сих пор молчали?

— Та вы же заняты разговором были!

— Неужели вы не соображаете, что это очень важно?

— Та допрос же!

— Ладно,— махнул я рукой.— Поезжайте за этим парнем...

СЛЕДОВАТЕЛЮ
РАПОРТ

По Вашему распоряжению произвел проверку. Установил, что за последние три дня в нашем районе было только одно происшествие:

Позавчера, 2 сентября, шофер Нигматуллин из треста «Крымспецстрой» ехал в Судак и на повороте у сорок третьего километра увидел в зеркало, как из кузова его машины, где он вез инструменты и бухгалтерию, спрыгнул человек. Шофер остановил машину и догнал его. Оказался — Дахно Михаил из Солнечного Гая, сказал, что в кузов залез просто так, доехать. Нигматуллин заметил, что пиджак у Дахно был вымазан в крови.

Дахно — тунеядец, собутыльник Прокудина Юрия. Мною дважды предупреждался, чтобы шел работать.

Участковый уполномоченный
старший сержант ГОРОДНЯНСКИЙ.

...Вот это уже на что-то похоже. До последнего момента я никак не мог составить хоть какую-нибудь, пускай рваную, цепочку: похожий на иностранца убитый парень, бухгалтерские документы треста «Крымспецстрой», пьяница Прокудин, продающий на рынке заграничные вещи. А теперь Дахно в перепачканном кровью пиджаке, приятель Прокудина.

Климов привел Прокудина в половине двенадцатого ночи.

ЛИСТ ДЕЛА 10.

У Прокудина вид был какой-то неуверенно-залихватский: эх-ма, давай, вали, где наша не пропадала! Плевать — совесть чиста, бояться нечего! И говорил он быстро-быстро и все время шарил глазами по стенам, смотрел в забрызганное дождем окно, и я никак не мог поймать его взгляд. Ну никак! И от этого я злился и старался говорить еще медленнее и спокойнее. И все время хотелось забросить в разрез между двумя нейтральными вопросами (как говорится — «не для протокола»): «Ну, вещички-то убитого парня загнал? А?»

Но идет допрос. Наводящие вопросы задавать нельзя. А этот — уж совсем провокационный. Да и не умею я давить на подследственных. Хотя это иногда, наверное, надо? Не умею и не люблю. И все. А он спокойно врет тебе в глаза...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Я, следователь,
4 сентября
допросил Прокудина Юрия Ивановича в качестве подозреваемого.

...Вопрос. Что вам известно об убийстве на шоссе, около поселка?

Ответ. Об убийстве? Ничего не известно, первый раз от вас слышу.

Вопрос. Но ведь об этом говорит весь поселок!

Ответ. Делать им нечего, вот и говорят. Да я ни с кем и не виделся. Только к дому подъехал, слез с велосипеда, а меня уже оперативник встречает. «Пойдем,— говорит,— к следователю, на допрос».

Вопрос. В каких отношениях вы находитесь с Михаилом Дахно и встречались ли в ним с позавчерашнего дня?

Ответ. Ни в каких. Знаю, что живет такой в поселке, а дел у меня с ним нету. Не встречался я с ним.

Вопрос. По официальным сведениям, вы часто встречаетесь с Дахно, вместе выпиваете. Почему вы скрываете это?

Ответ. По злобе на меня наговаривают. Ни с кем я не выпиваю. Я — сам по себе. Нечего мне скрывать, я весь на виду...

Я отложил ручку и снова постарался поймать его взгляд. Но Прокудин смотрел в угол, будто его больше всего интересовало, заест ли паук насмерть тонко звеневшую в паутине муху.

Монотонным голосом я спокойно сказал:

— Следствие располагает данными о том, что вчера вы были на Ялтинском рынке и продавали там кое-какие вещи. Расскажите об этом.

Не отрывая глаз от паука, Прокудин так же монотонно ответил:

— Я уже сказал, где я вчера был. А в Ялте я не был, и продавать мне там нечего было. Нет у меня ничего для продажи.

Я понимающе кивнул и с упорством трактора повторил:

— Напоминаю вам о том, что следствию надо показывать правду.

Он готовно согласился:

— Я и говорю, что был на полевом стане. Не торговал я на рынке. Так можете и записать.

Я записал. Помолчали немного, и мне стало казаться, что это звенит не муха, а тишина.

— Скажите, Прокудин, есть ли у вас оружие?

— Есть. Ружье-централка. Нож-секач, для рыбы. Все.

— А нарезное оружие? Пистолет, например?

Он усмехнулся и в первый раз быстро, прострелом взглянул на меня:

— Нет. Был когда-то немецкий, «Вальтер», что ли. Но я его давно выбросил. Мне лишних приключений не надо.

Я повернул на 180 градусов и поехал назад:

— Расскажите снова, где вы были и чем занимались со второго по четвертое сентября сего года?

— Второго, то есть позавчера, я весь день был на седьмом полевом стане — ладил столовую для рабочих. Там и ночевал. Это видел тракторист Тоценко Василий, и он может подтвердить. Утром третьего числа я на велосипеде уехал к девятому вагончику — это самый дальний наш стан — и чинил там стенки и крыльцо. Там же обедал и ночевал. Сегодня продолжал там работать и в поселок приехал часа полтора назад.

— Кто может подтвердить ваше пребывание в девятом вагончике?

— Сегодня там был наш бригадир Тришин, он принимал мою работу.

— А вчера?

— Вчера там никого не было, ведь стан — отдаленный, а работ никаких пока не ведется.

— Где же вы обедали вчера и сегодня?

— У меня с собой были помидоры и хлеб. А вода там есть...

ЛИСТ ДЕЛА 11.

Не спеша, лениво истекала ночь, как смола из перевернутой бочки, звенели на подоконнике дождевые капли, над головой висела подслеповатая, мутная лампа. Я смотрел в лицо Прокудину, а он уставился в пол и уже не хорохорился...

Когда перелистываешь обложку уголовного дела, возникает ощущение, будто без спросу отпрыл дверь в чужой дом. В дом, где поселилось горе. И много людей, которых это горе свело вместе. Одни люди это горе сотворили, другие претерпели, третьи его увидели. И хотя вся моя работа связана с человеческим горем, я никогда не встречал в уголовных делах таких уместных слов, как «добрый» или «злой» человек. Нет таких процессуальных фигур. Есть обвиняемые, потерпевшие, свидетели. И еще есть — подозреваемые.

Вот если сто раз повторить какое-нибудь слово, оно потеряет форму, смысл, расплавится, как воск в ладонях. А с этим словом — «подозреваемый» — беда. Я говорю или пишу его много раз, но почему-то от частого употребления оно не деформируется, не теряет жесткости и злобности. Когда я говорю кому-то: «Вы являетесь подозреваемым по делу...» — я боюсь, чтобы он не заметил, как я внутренне вздрагиваю.

Ну, с обвиняемым — понятно. А если подозреваемый подозревается напрасно? Тяжело, противно подозревать. Даже — если подонок...

Прокудин врет все. Или почти все. Он отрицает даже общеизвестные факты. С ним надо разобраться глубже.

«САНКЦИОНИРУЮ»
Прокурор Верхне-Крымского района,
Крымской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска.

Я, следователь,
рассмотрев материалы уголовного дела № 4212, нашел:

Житель поселка Солнечный Гай — ПРОКУДИН Ю. И.— 3 сентября продал на рынке новую одежду импортного производства, которой у него ранее не было,— пиджак и куртку.

Из протокола осмотра места происшествия усматривается, что у погибшего, одетого в новые заграничные вещи, отсутствует пиджак.

Указанное обстоятельство, с учетом крайне отрицательной характеристики личности ПРОКУДИНА, дает основания для подозрения его в причастности к убийству на шоссе. Принимая во внимание, что в квартире Прокудина могут находиться предметы, имеющие значение вещественных доказательств по делу,

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки В. КАРАСЕВА.

п о с т а н о в и л:
Произвести обыск в квартире гр-на ПРОКУДИНА Юрия Ивановича, проживающего по адресу: поселок Солнечный Гай, дом 41.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

...Если бы у Прокудина нашли какие-то вещи убитого, это могло бы пролить свет еще на многие обстоятельства...

ЛИСТ ДЕЛА 12.

Участковый Городнянский пошел к Прокудину домой — делать обыск.

За окном давно замолкла гитара, из дежурки приглушенно доносились голоса милиционеров, неразборчивые слова. Я сидел, откинувшись на стуле, прикрыв глаза, и пытался построить какую-то схему. Но все рассыпалось, сочилось между пальцами, как белый речной песок.

Прокудин ведет себя непонятно. И приятель его, Дахно, видимо, тот еще гусь. Но какая может быть связь между ними и убитым? Завтра Наташа улетит. В два часа дня. А может, погибший все-таки иностранец? Возможно, возможно. Но там была машина. Его машина? Или чья? Катал он их, что ли? Да нет, ерунда все это. А может быть, он остановился на обочине, а те подошли и ограбили, а потом убили? Вряд ли, чепуха. Хорошо бы позвонить сейчас Наташе. Спит уже. Говорить не захочет. Ладно, поеду завтра, провожу, постараюсь объяснить.

Отворилась дверь, и вошел Климов. Ему было неудобно уйти сейчас домой, и очень хотелось спать, а по набрякшему лицу с мешками под глазами было видно, что он чертовски устал, и вообще все это ему совсем ни к чему. Я искренне сочувствовал Климову — в этом тихом месте сроду не бывало преступлений тяжелее, чем пьяная потасовка двух подгулявших курортников.

Я хотел ему сказать, чтобы он шел домой, но Климов опередил меня:

— Совсем замаялись?

— Ничего, я привычный.

— А у нас давно такого не бывало. Отвыкли мы здесь от такого. А борцы наши по молодости и вовсе не слыхивали.

— Какие борцы? — не понял я.

— Да работнички наши. Они же все время борются: первую половину дня — с аппетитом, а вторую — со сном.— И довольный своей шуткой, Климов засмеялся, тяжело колыша животом. Потом, посерьезнев, грустно сказал: — Вот только с пьяницами плохо. Никак мы это родимое пятно не выведем. Я слыхал, правда, что в Москве указ против них готовят. Как там, у вас, ничего об этом не слышно?

По коридору затопали шаги, и в комнату ввалился Дахно, за ним был виден Городнянский.

Климов сказал:

— Вот он, полюбуйтесь на него, пьяница проклятущий, бездельник! Ты у меня, Дахно, отгулял свое! Все! Отпелись твои песенки! Вот разберутся с тобой сейчас — или в тюрьму отсюда пойдешь, или работать. Другой дороги у тебя нету!

Лицо у Дахно было острое, наглое и испуганное. Косясь на меня, он одним духом, на высокой ноте, заблажил:

— За все оскорбления за ваши, дорогой начальник синих шинелей, я на вас не жалуюсь в высшие органы только потому, что люблю вас больше папы родного, поскольку я с детства круглый сирота!

— Нахал ты и пьяница, а не сирота! — прикрикнул Климов.— Давно пора самому детей кормить на свои трудовые денежки, а не захребетничать!

В их перебранке было что-то домашнее, семейное, и я видел, что Климов искренне переживает из-за того, что Дахно бездельник и пьянчуга, что так и не сумел он заставить Дахно идти работать, а теперь Дахно может попасть в тюрьму, и что он не верит в его причастность к убийству на шоссе. Тогда я сказал отчетливо и негромко:

— Расскажите, Дахно, откуда на вашем пиджаке кровь.

Климов сердито сопел и от волнения все время расстегивал и опять застегивал пуговицы пиджака. Дахно торжественно поднял перевязанную грязным бинтом ладонь и сказал голосом трагическим, но нежным:

— Рука. Из руки пролита моя кровушка...

— Точнее?

Дахно воздел другую руку, на мгновение замер, а затем бросил их вниз, как дирижер в заключительном пассаже. Огромный, будто перевязанный, кадык прыгнул на худой грязной шее.

— Точнее некуда,— сказал он с искренней жалостью к себе.— На грузовике руку поранил. О грубый железный засов на борту. В момент перелезания через вышеуказанный борт в кузов. Во время движения вышеуказанного грузовика по шоссе. И брызнула кровушка на мой красивый спиджачок.

— Вышеуказанного перелезания...— повторил я.— А почему на ходу?

— Объясняю: не имею обыкновения отвлекать от работы водителей попутного автотранспорта.

— Как вы думаете, Дахно, зачем я вас об этом спрашиваю?

— А я об этом не думаю,— быстро ответил Дахно.— Не было такого указания.

— Тогда считайте, что указание есть. Думайте!

Дахно сделал вид, что он сосредоточенно думает, потом воскликнул:

— А-а!

— Ну?! — подался вперед Климов.

— Па-а-анятия не имею!

— Что ж ты врешь! Весь поселок об этом говорит! — взорвался Климов.

— Делать им нечего...— сокрушенно покачал головой Дахно.

— Это им-то нечего делать? — сквозь зубы сказал я.— Ну-ка, снимайте пиджак!

— Телесные наказания запрещены! — вскочил Дахно.

— И зря,— сказал я серьезно.— Мы ваш пиджак на экспертизу пошлем.

Дахно сделал вид, что до него только сейчас дошло, о чем речь:

— Понял. Это вы насчет убийства спрашиваете. Так мой пиджачок здесь ни при чем. Моя на нем кровушка. Я-то ведь покойничка и в глаза не видел.

— Мы это проверим,— заверил я его.

— Тогда я пойду пока,— полувопросительно сказал Дахно.

— Не стоит,— ответил я ласково.— Пока воздержитесь. В коридоре.

Дахно вышел, а через мгновение вновь открыл дверь:

— Я вспомнил...

ПРОТОКОЛ
допроса Михаила Дахно

Вопрос. Что Вам известно об убийстве на шоссе?

Ответ. Да, наверное, то же самое, что и Вам: убили парня, а за что да кто — неизвестно. Болтают, правда, что Асташева Федьки это работа...

Вопрос. Кто именно это говорит?

Ответ. Да в павильоне кто-то брякнул, будто Федька споил парня и ограбил его потом. Только навряд ли это.

Вопрос. Почему?

Ответ. Да ведь Асташев позавчера в павильоне рядом со мной выпивал со своим дружком из Симферополя. Когда ж ему было того парня спаивать? Нет, болтают просто. Может, зуб на Федьку кто имеет, вот и пустили слух. А в народе, известно, слух держится, как песок на вилах.

Вопрос. Расскажите подробно, где Вы были и что делали позавчера, второго сентября?

Ответ. У меня в дому живут курортники. Первого сентября они заплатили мне за жилье сорок рублей. Я пошел к павильону, встретил там Юрку Прокудина, и мы с ним распили бутылку и еще по две кружки пива. Потом еще дочку с мамой и сколько-то пива, я уже не помню...

Я удивился:

— Что значит дочку с мамой?

Дахно снисходительно пояснил:

— Бутылку, значит, с четвертинкой. Платил за выпивку я. Потом Прокудин ушел, а я выпивал еще с другими несколько раз. На другой день я спал до обеда, потом пришел в столовую, «сообразил» на троих. Опохмелился и решил поехать к бригадиру Тришину, на сорок третий километр,— он обещал меня на работу взять. А то участковый уже раза три грозился меня за тунеядство оформить. Хотя я всего три месяца не работаю. Там вот, вышел я на шоссе, гляжу, грузовик едет. Дай, думаю, чем пешком пять километров чапать, доеду. Прыгнул на задний борт, перевалился в кузов, да неудачно — левую руку в кровь о скобу разбил. Доехал до 43-го километра — там подъем крутой, с поворотом, машины медленно идут — выпрыгнул из машины. А шофер вдруг остановился и бегом — за мной. «Зачем,— говорит,— в машину лазил?» В общем, запихал он меня в кабину и в отделение отвез. Пока суд да дело, заснул я там, на лавке прямо. А наутро, третьего, значит, оштрафовали меня и выпустили. Вернулся я домой, выпил с горя бутылку и снова весь день спал.

— А вечер?

— Вечером я к Юрке Прокудину зашел. Он как раз с Ялты приехал. Большой человек — при деньгах был. Он чего-то, говорил, на базаре продал. Мы с ним, конечно, понемногу выпили и тихо-мирно разошлись по домам.

Я остановил Дахно:

— Вы это точно помните?

— Точно. Выпили-то красного, да и того по полбутылки...

Вопрос. А что Прокудин продал в Ялте?

Ответ. Не знаю. Он только сказал, что был на «барахолке», а чем торговал — не говорил.

Вопрос. Есть ли у Вас оружие?

Ответ. Нет. И не было никогда. Удочек штук пять да сачок — это держу, а оружие мне ни к чему. Я человек мирный...

Вот так-то. А Прокудин утверждает, что он ни с кем не выпивает и с Дахно почти не знаком.

ЛИСТ ДЕЛА 13.

Я велел отправить Дахно на судебно-медицинскую экспертизу. Необходимо было, во-первых, выяснить группу крови на его пиджаке и сравнить с группой крови убитого. Во-вторых, хотя бы приблизительно установить время, когда он порезал ладонь.

Конечно, не скажу, чтобы этот Дахно вызвал во мне бурю гражданского негодования. Не было бури в моей душе. Да и устал я уже и тому времени здорово. Но вот чувство досады он у меня вызвал, это точно.

Меня иногда упрекают в нетерпимости, но я считаю, что с такими барбосами возиться надо поменьше. И никто меня в этом не переубедит. Вот мы боремся с преступностью. Боремся организованно. Причем начинаем борьбу грамотно — с изучения причин, порождающих преступность. Даже институт такой специальный есть.

А вот этому Дахно наплевать и на институт и на всю нашу борьбу. Он сам, может быть, не совершил еще преступления. Но такие ребята — прекрасная среда для возникновения преступности. Причем смешная коллизия: воспитывать его вроде бы поздно — под тридцать мужику, а заставь его работать — он, видишь ли, сирота...

Продолжение. См. «Огонек» № 14.

— Ну-у, фрукт,— сказал я Климову.— Слушайте, а чего вы в самом деле с ним тут возитесь, он же форменный тунеядец?

— Оно конечно,— согласился Климов. Потом сказал осторожно: — Глупый он еще...

Я удивленно посмотрел на Климова. А он неуверенно продолжил:

— ...Двадцать пять лет мужику, а он с пацанами запруды на речке ставит...

— Ну и что?

— Безобидный он. И все же действительно сирота,— тихо сказал Климов.

— Да что вы такое говорите, Климов? — сказал я с искренним недоумением.

Климов как-то испуганно, торопливо стал объяснять:

— Нет, я ничего... Конечно, они, пьяницы,— это самое, родимые пятна... значит. Позор... Да-а... Выводить надо...— И, помолчав немного, совсем неожиданно и растерянно: — Родимые... То-то и оно, что родимые, ножом не срежешь...

— Что-то я вас не пойму, Климов.

— Мы с его отцом почти до Кенигсберга дошли... Я вот вернулся...

Потом приехал Городнянский. Он вошел со свертком в руках, а за ним в косой раме дверного проема маячило бледное, запавшее лицо Прокудина на фоне красных милицейских околышей...

ПРОТОКОЛ ОБЫСКА

пос. Солнечный Гай, 5 сентября. Обыск начат в 0 час. 15 мин., окончен в 2 час. 10 мин.

«Участковый уполномоченный Городнянский на основании постановления СЛЕДОВАТЕЛЯ от 4 сентября о производстве обыска у гр-на ПРОКУДИНА Ю. И., в присутствии приглашенных в качестве понятых НИКОЛАЕВА М. П. и ГРИВОВА В. С. произвел обыск в квартире ПРОКУДИНА.

При обыске обнаружено и изъято:

1. Импортного производства свитер новый, синтетический, белый, с ярко-красным прямоугольным рисунком, размер 52, фирмы «Текса де люкс».

2. Импортного производства брюки новые, дакроновые, светло-серого цвета, размер 52, в импортном целлофановом пакете.

Других вещей импортного производства, а также каких-либо предметов, имеющих значение для уголовного дела, НЕ ОБНАРУЖЕНО.

Жалоб и заявлений при обыске не поступило».

ЛИСТ ДЕЛА 14

Все, больше никаких дел сегодня не будет. Прокудин сказал, что разговаривать со мной не желает. Теперь надо ждать до завтра. То есть уже до сегодня, до утра. Если хоть один перемет я поставил правильно, то ответы на мои запросы как раз придут часов через десять.

Спать расхотелось. Я вышел на улицу и, запрокинув голову, подставил лицо под струйки дождя. Нет, дождь все-таки был еще летний. Теплым был этот ночной дождь, такие идут долго. И я поймал себя на мысли, что надеюсь: дождь задержит самолет и я смогу всерьез, по-хорошему поговорить с Наташей. Глупо. Глупо вообще что-то объяснять словами. Слова почти всегда мало стоят. Цену имеют только наши поступки.

Наташа завтра улетит, а я буду здесь. Буду шелушить зерна правды. Красота!

Я вернулся в кабинет, сел за стол и стал с самого начала читать накопившиеся за долгий сегодняшний день бумажки. Было три часа ночи. А потом я уснул, внезапно, как будто на меня накинули черный мешок. Я спал сидя, упершись локтями в стол, гордо закинув голову. Наташа стояла передо мной в белом халате, смеялась и показывала мне большой влажный букет роз:

— Этим цветам восемь лет, ты их подарил мне на свадьбу. А я их сохранила...

Я хотел спросить, как она смогла это сделать, но не мог и только улыбался. А она сказала:

— Когда ты спишь за столом, ты похож на статую командора... Командора... ора... ора... ора...

Я проснулся. Какая-то женщина кричала в коридоре:

— Командира вашего дайте! Пропустите меня к вашему начальнику!..

ПРОТОКОЛ
допроса Раисы Колесовой.

«...По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

Я родная сестра Юрия Прокудина. Сегодня, вернувшись с работы, я узнала, что у нас в доме был обыск, во время которого изъяли мои вещи, вернее, вещи моего мужа — Колесова Алексея Николаевича: свитер и брюки. Мне разъяснили, что Юрия подозревают в причастности к убийству на шоссе. Я считаю это невероятным, т. к. Юрий вообще неспособен на такое преступление. Кроме того, он вчера рано утром уехал по моей просьбе в Ялту, чтобы продать ненужные нам вещи моего мужа — замшевую куртку и пиджак. Обе эти вещи муж приобрел в заграничной командировке, но не пользовался ими, так как они оказались ему малы. Кстати, брюки, изъятые в нашем доме, составляли вместе с пиджаком целый костюм, но Алексей решил брюки оставить, поскольку они ему нравятся. Весь день Юрий пробыл в Ялте и вечером привез мне деньги. Отлучался он ненадолго и вскоре вернулся, ночевал дома.

Юрий не очень хорошо ведет себя: выпивает, недисциплинирован на работе, и нас, его родных, это огорчает, мы все делаем для того, чтобы он исправился. Но, несмотря на свои отрицательные качества, он в глубине души хороший парень и преступления совершить не мог. Поэтому я прошу отпустить его под мое поручительство, а также возвратить мои вещи, которые наверняка никакого отношения к делу не имеют.

Записано собственноручно
(КОЛЕСОВА).

Допрос произвел
СЛЕДОВАТЕЛЬ...»

Она мучительно мяла край платка большими руками с синими узлами вен и все время старалась заглянуть мне в глаза, а я смотрел в угол, как это делал недавно Прокудин. Потом мягко спросил:

— Раиса Ивановна, деньги, которые отдал Юрий, у вас с собой?

Она растерянно сказала:

— Нет,— подумала, помолчала.— Дома они.

— А сколько денег он вам отдал?

Колесова стала заливаться тяжелой, как свинцовый сурик, краской, долго молчала, невнятно проговорила:

— Двадцать три рубля.

— Это за пиджак и замшевую куртку?..

ЛИСТ ДЕЛА 15.

Наталья — человек удивительный. И самое удивительное в ней — что она никогда не врет. А ведь это очень, очень трудно — говорить всегда только правду. Огромное большинство безусловно честных людей достаточно часто вступает с правдой в напряженные отношения. И для этого вовсе не обязательно грубо лгать, потому что правда и так штука очень хрупкая. Можно промолчать, можно не сделать ударения или позабыть всего лишь одну деталь — и правды не станет.

Только много времени спустя я понял, как трудно жить человеку, если он всегда говорит правду — начальству и детям, друзьям и врагам. И меня больше не смешило, когда Наталья говорила мне строго, если я просил сказать каким-то докучливым людям по телефону, что меня нет дома:

— Не учись врать! — Это мне, уже не очень молодому человеку, вся жизнь которого проходит в узких коридорах лабиринта лжи.

И, может быть, не только своей работе, где я сталкиваюсь с людьми неожиданно, как с вынырнувшим из-за угла ночным прохожим, где я должен быстро знакомиться с ними, узнавать в них добро и зло и сразу принимать решения, я обязан сильно развитым чувством правды. Этим все-таки я обязан и Наташе.

Как всякое чувство, и это, шестое, благоприобретенное на службе, несовершенно. Часто оно дает пронзительный сигнал: «Ложь!» Но я не могу сообразить, зачем эта ложь, в чем она и где правда. Ведь мне нужна правда. Правда, и только правда! А я сижу лишь с одной стороны стола...

И все-таки именно работа убедила меня в том, что бывает ложь, которую нет смысла превращать в правду. Никому такая правда не принесет счастья, не даст удовлетворения. Тогда я говорю своему шестому чувству: «Тебя не спрашивали!»

Так я и сказал ему, когда слушал показания Колесовой. Потому что Прокудин врал, а Колесова не хотела говорить правды. Не давала она Прокудину никаких вещей для продажи. Он их попросту украл у сестры...

ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ,

усматривая существенные противоречия в показаниях граждан ПРОКУДИНА Ю. П. и КОЛЕСОВОЙ Р. И., произвел между ними ОЧНУЮ СТАВКУ.

«...Общий вопрос: — Каковы отношения между вами?

Прокудин: — Колесова — моя сестра, и она меня очень любит.

Колесова: — Я подтверждаю показания Прокудина.

Вопрос Колесовой: — Расскажите, пожалуйста, как провел день третьего сентября ваш брат, Прокудин Юрий?

Колесова: — Он поднялся в семь утра. Я накормила его завтраком, дала деньги на автобус, и он поехал в Ялту, чтобы продать вещи моего мужа — куртку и пиджак.

Вернулся он вечером, часов в шесть и отдал мне деньги. Из этих денег я ему дала десять рублей. Вскоре к нам зашел его приятель Миша Дахно, и они вместе ушли, однако ненадолго: минут через сорок Юрий вернулся, сказав мне мимоходом, что они с Мишей выпили бутылку вина. После ужина Юрий лег спать и до самого утра из дома не выходил.

Вопрос Прокудину: — Вы слышали показания Вашей сестры? Подтверждаете ли их?

Прокудин (после длительной паузы):

— Выслушав показания своей сестры, я должен признать, что на предыдущем допросе говорил неправду. Сегодня утром я, как и все жители нашего поселка, узнал о происшествии на шоссе. А вчера вечером Дахно рассказал мне, что его накануне в окровавленном пиджаке поймал шофер на сорок третьем километре. Так как люди говорили, что тот парень, на шоссе, ограблен, я и подумал, что в первую очередь могут заподозрить меня. Почему? Потому что, во-первых, у меня с милицией отношения плохие, я у них вообще на подозрении. Во-вторых, дружок мой, Мишка Дахно, был пойман в окровавленном пиджаке недалеко от того места, где нашли убитого. И — как на грех — я в тот же день мужские вещи в Ялте продаю. На месте милиции я бы первый сам себя посадил. Поэтому я и врал огулом, надеялся, что пронесет: мол, и в Ялте я не был, и Дахно не знаю, и я не я. Но поскольку сестра говорит правду, то и я не хочу больше обманывать следствие. При всем том заявляю категорически: к убийству я никакого отношения не имею, убитого никогда не знал и не видел, за что и кем он убит — мне неизвестно.

Вопрос следователя: — Имеете ли вопросы друг к другу?

Вопрос Колесовой к Прокудину: — Скажи, Юрий, вот здесь, перед следователем, когда ты станешь человеком, когда возьмешься за ум?

Следователь: — Вопрос отводится, так как не имеет отношения к расследуемому делу...»

...Уголовное дело — предмет серьезный. Следователь не вправе заниматься вопросами, не имеющими прямого отношения к делу. Эти вопросы отводятся. Но ведь из жизни их не отведешь, эти вопросы проклятые. Кто же, кто же их будет решать?..

ЛИСТ ДЕЛА 16.

Пытаться найти убийцу, не зная даже имени убитого, наивно. Ведь почти никогда не бывает, чтобы один человек подошел к другому и убил его просто так. Что-то важное, очень важное происходило до этого, и только потом один был убит. Но, чтобы узнать, что происходило, надо хотя бы выяснить, кого убили. Кто он такой, убитый? Надо, надо узнать. Иначе дело погибнет на корню.

А ведь прошло больше суток с момента убийства. Уходит время, которое, быть может, мне никогда не удастся вернуть.

Часов в девять привезли протокол допроса того парня, с которым, по сообщению анонимщика, «Федька Асташев позавчера в павильоне вместе пили...».

«...Я, Рожков К. П., второго сентября с. г. был выходной и около двенадцати часов дня приехал в Солнечный Гай — искупаться и навестить своего приятеля Федора Асташева. Асташева я знаю три года. Он работал у меня в геологоразведочной партии в Саянах. Парень он, несомненно, честный и очень добрый. То, что было у него в молодости, давно прошло и позабыто. Как я знаю, сейчас он работает отлично...»

Начальник отдела «Горгеотреста» Рожков полностью подтвердил показания Асташева.

«...Вечером Асташев мне сказал, что у него два отгула и завтра утром он собирается съездить к своей девушке в Коктебель. Имя этой девушки — Нонна. Когда утром третьего сентября я проснулся, Федора уже не было, и соседка сказала мне, что он часа полтора назад уехал в Коктебель. Было около девяти часов. Я выпил молока и отправился домой. О происшествии на шоссе я ничего не слышал и не знаю. Ни у меня, ни у Федора огнестрельного оружия нет. В павильоне и на танцах нас видело много народу, и я не сомневаюсь, что люди это подтвердят.

Записано собственноручно —

РОЖКОВ».

Теперь надо было узнать, когда Асташев вернулся из Коктебеля.

ЛИСТ ДЕЛА 17.

Самолет улетает через два с половиной часа. Я позвонил домой и сказал Наташе, что приеду ее проводить прямо в аэропорт.

— Зачем? — сухо спросила она.

— Натка, я хотел поговорить с тобой...

— Ну, и говори.

— Нет, это не телефонный разговор.

— Ха! У нас все разговоры телефонные! — и положила трубку.

Да, похоже, моя семейная жизнь дала приличную трещину. Я снова набрал номер. Наташа долго не снимала трубку, потом звонки ей, видимо, надоели, и она сказала сердито:

— Слушаю!

— Вот ты и слушай, а не бросай трубку, — сказал я притворно веселым голосом.

— Слушаю, — сказала она грустно.

— Натка, ты зря сердишься. Я ведь не бездельничаю и не развлекаюсь. Дело паршивое попалось, — и торопливо добавил: — Но я все-таки надеюсь управиться с ним побыстрее и догнать тебя в Гагре.

Наташа молчала.

— Я прилечу на самолете, ты будешь встречать меня, и мы с тобой будем потрясающе гулять и развлекаться.

Наташа молчала.

— Ну, что ты молчишь? — не выдержал я. — Скажи хоть одно человеческое слово!

— А что я тебе скажу? — спросила она тихо, и я услышал, даже не услышал, а почувствовал, что она плачет.

— Наточка, Натка, ну зачем ты так? Ведь ничего же не произошло. Ну, плюнь. Я же через несколько дней прилечу.

— Брось, — сказала она незло, как-то очень устало. — Тебе, наверное, легче, когда ты считаешь меня дурой. У жен-дур и капризы дурацкие, поэтому с ними считаться не обязательно.

— Не пойму я, Наташа, о чем ты? Разве это так серьезно?

— Это серьезно. Очень серьезно. А разговор у нас несерьезный.

— Почему? — спросил я глуповато.

— Не знаю. Ведь это от тебя зависит. А ты почему-то все время делаешь вид, будто разговор идет об этом сумасшедшем отпуске...

— А о чем же?

— О том, что мы, наверное, устали друг от друга.

— Прости, не понял? — переспросил я испуганно.

— Понимать нечего, — сказала она тихо и помолчала. И не сразу, словно собираясь с духом: — Я тебе давно уже хотела сказать. Нам надо разойтись.

У меня было такое ощущение, будто я с разбегу налетел на бетонную стену.

— Так, — сказал я растерянно.

— Поверь мне, так будет лучше, — сказала Наташа.

— Так, — кивнул я, стараясь понять ее слова. Сначала удивление, а потом пробуждающаяся боль хлынули на меня, как вода из размытой плотины. И я заорал в черную равнодушную решеточку микрофона: — Но почему, почему?

А телефонный диск десятью дырочками-зрачками смотрел на меня ехидно, и в ушах звенели слова: «У нас все разговоры — телефонные».

— Потому что людям, которые не любят друг друга, жить вместе глупо и пошло.

— Но я-то люблю тебя!

— Может быть. Но я устала, — сказала Наташа грустно. — И претензии у меня, может быть, глупые, но я бы хотела, чтоб ты хоть иногда приносил мне цветы. Но ты всегда возвращаешься поздно. Цветов уже не продают. А украсть из чужого сада ты не можешь: ты же правопорядочный человек...

— Это разве плохо?

— Нет, хорошо. Но с каждым годом ты становишься скучнее.

Я подумал и сказал:

— И в театре мы с тобой недавно были...

— Были, — горько засмеялась Наташа. — Ты честно отмучился три часа.

— Ну?

— Да, нет, ничего. Здесь уже ничего не изменишь.

— Подожди, Наташа, не горячись, — сказал я торопливо. — Я приеду в аэропорт, и мы еще поговорим.

— Как знаешь... — и положила трубку.

И сразу же из Коктебеля позвонил Климов. Он разговаривал с Нонной Коньковой — «А денежки с Нонкой в Коктебеле прогуляет?» Девушка полностью подтвердила алиби Асташева. Федор уехал из Коктебеля утром четвертого сентября. Похоже, что анонимщик пытался сбить меня со следа. Или просто сволочь. Асташев явно выходил из игры.

От всех этих дел и разговоров у меня дико заболела голова. Но я по натуре оптимист. Оптимист мрачного склада, по принципу «Сейчас хорошо, потому что потом будет хуже». И все-таки я верил, что сегодня мне удастся сделать все — сдвинуть наконец с места тяжелую машину следствия и успеть хотя бы замазать трещины в личной жизни.

Вот тут позвонил судебно-медицинский эксперт Халецкий и сказал, что есть важные сведения. Я работаю с ним давно и отлично знаю, что неважных сведений у него не бывает никогда. Поэтому я сказал:

— Ну и говорите!

Он похмыкал в трубку и сказал:

— Да, но это не телефонный разговор.

— У нас все разговоры телефонные, черт возьми, — сказал я раздраженно.

— Хорошо, — ответил он флегматично. — Слушайте...

«СРОЧНО!
СЛЕДОВАТЕЛЮ.

Направляю по Вашему запросу справку о результатах судебно-медицинского и биологического исследования.

1. Смерть неизвестного мужчины, обнаруженного утром 4 сентября с. г. на тридцать восьмом километре Ялтинского шоссе, наступила не более чем за восемь — десять часов до момента его судебно-медицинского исследования, т. е. не ранее 24-х часов третьего — 2-х часов четвертого сентября.

2. Порез на ладони левой руки гр-на ДАХНО М. С. возник 1—2 сентября в результате воздействия предмета с острым режущим краем.

3. Кровь человека, убитого на шоссе, относится к группе Oaб (1) ($O\alpha^1\beta^1$-1).

Кровь гр-на ДАХНО, равно как и кровь, обнаруженная на его пиджаке, относится к группе Aв (II) и не принадлежит убитому.

Полное экспертное заключение будет Вам направлено после его оформления.

Эксперт
кандидат медицинских наук
ХАЛЕЦКИЙ».

5 сентября.

Продолжение следует.

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 18.

Ах, каких только не было на рынке цветов! Гладиолусы, хризантемы, гортензии, а роз не было. Я дважды прошел вдоль цветочного ряда — роз не было. Можно, конечно, купить гладиолусов. Но это не то, мне нужны были розы. Наверное, поэтому их и не было. Ведь даже в очередь за мной никто не становится.

И тут передо мной вырос Мишка-Копыто. Мы не виделись много лет, с тех пор, как я сдал его конвою Бутырской тюрьмы. Но к каждому Новому году он присылал мне поздравительные открытки и благодарил за разговоры «душа в душу, глаз в глаз», писал, что «завязал» навсегда. Когда-то, несмотря на сильную хромоту, Мишка был выдающимся карманником. В блатном мире его уважительно называли «этот человек с гибкими пальцами». И мне здорово пришлось с ним повозиться...

— Товарищ начальник! — заорал Мишка и — доверительно, тихо: — Лопни мои глаза — вы здесь кого-то «пасете»!

— Поберегите глаза, Миша. Я ищу розы.

— У кого-то взяли «розы»? — деловито осведомился Мишка.

Я захохотал, сообразив, что Мишка меня неправильно понял: на «фене», блатном языке, «розы» означают драгоценные камни. Потом сказал:

— А я думал, Миша, что вы уже забыли «феню».

Мишка подошел вплотную, сильно приволакивая хромую ногу.

— Забывать ничего не надо. Кто легко забывает, тот быстро снова повторяет. Хорошая память еще никому не сделала плохо.

— Это вы правильно сказали, Миша. Но я ищу обычные, простые розы. Можно чайные.

— Идите себе к воротам и ждите.

Минут через десять Миша пришел с огромным букетом, завернутым в какую-то афишу. Я откинул край бумаги — и ахнул! Далеко было моему свадебному букету до этого. Я полез в карман за бумажником. Мишка крепко взял меня за руку и, глядя в глаза, сказал:

— Вы за свои подарки тоже берете деньги?

— Да, но... это... — смутился я.

Мишка, видимо, уловил мои сомнения:

— Можете спокойно дарить этот букет. Миша-Копыто чужого не берет. Без спроса, то есть...

...Девушка в голубой шинельке и платочке, повязанном поверх кокетливой пилотки, остановила меня у выхода на взлетное поле.

— Это бессмысленно. Уже отчалили трап...

Я еще спорил с ней, хотя тоже понимал, что это бессмысленно. И почему-то вспомнил, что двери в самолетах запираются герметически. Дождь ударил сильнее, и холодные струйки противно потекли за воротник. Да, в век технического прогресса дождь самолетам не помеха. И вовсе не помощник он двум бестолковым людям, которые любят друг друга и не могут никак договориться. На самолете и в дождь работают всякие там радары, автопилоты и разные другие диковины.

Я стоял под дождем, бездумно приглаживая мокрые волосы, и смотрел, как винты «ИЛа» скручивают из дождевых нитей сверкающие дрожащие диски. Потом как-то безразлично подумал: «Интересно, Наташа меня видит?» Вспыхнули факелы у выхлопных труб, моторы оглушительно завыли, и самолет поехал в другой конец поля, уменьшаясь и тая в дождевой пелене. Потом, уже еле видный, он остановился, развернулся, заревел еще громче и очень быстро побежал мне навстречу, и я был уверен, что около меня он затормозит. Но на середине полосы он легко подпрыгнул и, прошив низкую ветошь серых облаков, исчез из глаз. И я испугался, что больше никогда не увижу Наташку...

В зале аэропорта толкался и шумел народ, суетились носильщики. Я прижимал к себе свой необыкновенной красоты букет и тоскливо думал, что надо ехать в райотдел и снова допрашивать, посылать запросы, читать ответы. Расследовать.

Динамик загрохотал прямо над ухом: «Самолет ТУ-104, следующий рейсом 718 из Москвы, прибывает через десять минут...»

Молодой человек, слушавший сообщение с напряженным бессмысленным лицом, сорвался с места и побежал на перрон. Когда он пробегал мимо, я поймал его за руку:

— Простите, вы встречаете девушку?

— Нет, маму. А что?

— Подарите эти цветы вашей маме. Ей будет приятно.

— Спасибо,— сказал он растерянно.— Но откуда вы узнали?

— Ничего я не узнал,— сказал я грустно и вышел на улицу...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении криминалистической экспертизы.

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ,
рассмотрев материалы уголовного дела,

УСТАНОВИЛ:

При осмотре места происшествия обнаружен обрывок медицинского рецепта, на котором сохранился оттиск печати с неразличимым текстом. В кармане убитого находилась расческа, на которой имеется малоразборчивое фабричное клеймо.

Установлению личности убитого может способствовать текст оттиска печати на рецепте и выявление фабрики — изготовителя расчески.

Принимая во внимание, что по делу необходимо получить заключение специалистов,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить криминалистическую экспертизу, которой поручить:

а) Восстановить текст оттиска печати на рецепте;

б) Восстановить буквы или знаки, составляющие фабричное клеймо на расческе.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 19.

Если графически изобразить динамику расследования, то получится спираль, центр которой — само преступление. Следователь всегда старается охватить первым витком самые реальные версии и бросающиеся в глаза факты.

Только замкнув виток в кольцо и убедившись, что оно пустое, следователь расширяет орбиту поиска. Мое первое кольцо замкнулось пятого сентября, в три часа дня. Нарочный привез справку из «Крымспецстроя» — моя сеть была пустой, как карман накануне получки...

«В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.
СПРАВКА треста «КРЫМСПЕЦСТРОЙ»

На Ваш запрос сообщаем, что второго сентября с/г шофер Нигматуллин А. перевозил в Судак инструменты (лопаты, кельмы, слесарные) и архивные бухгалтерские документы, списанные в связи с истечением срока их хранения. В пути следования одна из пачек развязалась, и ветром сдуло почти половину документов. Никакой ценности для треста эти документы не представляют.

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР СУДАКСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
треста «КРЫМСПЕЦСТРОЙ»
ЯШИНА».

ЛИСТ ДЕЛА 20.

Оперативник Климов шумно вздохнул:

— Выходит, что ничего мы по делу и не раскопали?

— Так-таки уж и ничего,— слабо улыбнулся я.

— Да что там! — махнул рукой Климов.— Чует мое сердце: это дело — безнадежное. Мертвое. Никаких концов, никаких свидетелей. Трудно даже представить, что там у них, на шоссе, произошло.

Я поиграл карандашом, потом не спеша сказал:

— Ну, ну, Климов, при чем здесь ваше сердце? Давайте лучше проявим немного больше...— я запнулся, потому что не мог сразу припомнить,— «свободного пространственного воображения». Вот так!

— Чего-о? — обиделся Климов.

— Свободного пространственного воображения,— сказал я.— Вот возьмите протокол осмотра и план места происшествия. Теперь я буду рассказывать, что произошло на шоссе, а вы приготовьтесь возражать. Если найдется что возразить.

— Хорошо,— недоверчиво глядя на меня, сказал Климов.

— Третьего сентября, около полуночи, невдалеке от поселка Солнечный Гай остановилась машина. Это был легковой автомобиль, вероятнее всего, «Волга». Из нее вышли двое. Они вполне мирно, возможно, даже дружелюбно беседовали около минуты и оба курили. Потом, когда один отвернулся, второй три раза выстрелил ему в затылок. Убийца наверняка в этих местах человек чужой. Он высокого роста, очень сильный физически, один передний зуб у него вставной, возможно, золотой. Когда убитый упал, убийца еще несколько минут стоял неподвижно, прислушиваясь. Потом взял труп и оттащил его в кусты. Вернулся назад, достал из машины лопату и собрался труп закопать или хотя бы присыпать землей. В этот момент его кто-то спугнул. Он с размаху воткнул лопату в грунт, быстро сел в машину и уехал.

— Все? — спросил терпеливо Климов.

— Нет, не все. Вскоре он вернулся на место преступления.

Климов хотел перебить, но я предостерегающе поднял руку.

— Да-да, Климов, он вернулся. Он хотел закопать труп. Но из-за темноты и вполне понятного страха он перепутал место, где незадолго до этого убил свою жертву. И остановился в тридцати шести метрах дальше. Пробродил по кустам не меньше двадцати минут и, опасаясь, что скоро рассветет и его могут увидеть, уехал. На этот раз совсем.

Я достал из стола пачку сигарет, закурил одну и положил ее в пепельницу.

— Интересно, отнуда вы это все знаете? — ехидно сказал Климов.

— А я этого не знаю. Я свободно пространственно воображаю. На базе критически отобранных фактов.

— Тогда уж позвольте несколько вопросиков подкинуть?

— Конечно. Готов слушать.

— Почему мирно беседовали, а не скандалили?

— Скандалят обычно лицом к лицу, а убитый спокойно повернулся к убийце спиной.

— Почему вы думаете, что они стояли у машины около минуты?

— Вы не заметили разве, что я не курю?

— Заметил. И что?

— Вас не удивляет, что я закурил?

Климов пожал плечами:

— Мало ли! Может быть, от волнения?

Я покачал головой:

— Нет, не от волнения. Задавайте вопросы дальше, а когда догорит сигарета, вы получите ответы на все сразу.

— Хорошо. Почему вы думаете, что убийца — приезжий?

— Поселок от места убийства в полукилометре, и выстрелы там могли услышать. Если бы убийца знал, что рядом поселок, он поискал бы место поспокойнее. Но он этого не знал.

— Ну, а почему вы думаете, что убийца высокий и сильный мужчина?

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14, 15.

— Выстрелы сделаны в упор. Если бы стрелял невысокий человек, то, учитывая рост убитого — 181 сантиметр,— раневые каналы шли бы от затылочной кости под углом вверх к теменному своду. А они идут почти горизонтально. Так что я могу допустить, что убийца был даже выше своей жертвы сантиметров на пять — семь. Но если учесть, что он почти на весу оттащил труп в кусты — по земле волочились только ноги,— это человек сильный.

— А вермо,— удивленно сказал Климов.— Но вы сказали, что он еще раз вернулся?..

— Правильно.— Я достал из стола картонную коробочку и извлек из нее пять окурков разной длины. Потом взял из пепельницы окурок своей сигареты, сгоревшей до самого фильтра. Серебристо-серый столбик пепла отвалился и рассыпался.— Смотрите, Климов. Все это окурки сигарет «Люкс», которые выпускает в ФРГ дочернее предприятие корпорации «Филипп Моррис» и которые были у нас в продаже. Это сигареты сорта «кинг сайз», то есть «королевский размер». Длина каждой — восемь с половиной сантиметров. Фильтры из пробковой бумаги, виргинский табак, и набиты они в гильзы из бумаги, пропитанной селитрой. Поэтому, если закурить сигарету и больше не затягиваться, то она все равно сгорит до самого фильтра. Это продолжается девять минут. Я обратил внимание, что четыре сигареты из найденных на месте убийства сгорели до фильтра, а одна — меньше чем наполовину. Когда я присмотрелся к ней, то увидел, что она сломана и на фильтре нет характерного прикуса. Эта была последняя сигарета, которую закурил в своей жизни убитый. Но не докурил. Он выпустил ее из рук, только упав на землю. При этом сигарета переломилась, поэтому она не сгорела. А лежащий от нее в двух метрах окурок убийцы сгорел до фильтра, на котором еще держался трехсантиметровый столбик пепла.

Когда убийца вернулся, он в темноте немного проскочил это место и шарил по кустам, все время нервно куря. Мы нашли там три окурка. Даже если он прикуривал одну сигарету от другой, то он провел в этих кустах не меньше двадцати минут, а может быть, и все полчаса.

— Если он действительно возвращался, то непонятно, как он не наткнулся все-таки на труп — это же буквально рядом,— сказал Климов.

Я прищурился:

— В соседней комнате, я заметил, нет окон. Зайдите туда, бросьте свою фуражку на пол, оберитесь трижды вокруг себя и ищите ее. Посмотрим, когда вы вернетесь сюда. А лучше проведем этот эксперимент в другое время.

— Да-а,— задумчиво почесал затылок Климов.— Это все похоже на правду. А давно вы знаете об этом?

— Я уже вам сказал, Климов, что я ничего не знаю. Я только предполагаю. Причем эти предположения окончательно сформировались в разговоре с вами. Так что вы являетесь их соавтором. А сейчас мне нужны доказательства, что наши предположения верны. Это может определить ход расследования. Поэтому поезжайте в газету «Советский Крым», найдите там ответственного секретаря Владимира Петровича Шустова. Скажите ему, что этот пакет от меня.

...Приятно все-таки быть старшим — ответственность иногда стимулирует движение мысли...

ГАЗЕТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ.
«Сов. Крым», № 202 от 7.IX.

«УБИЙЦА БУДЕТ НАЙДЕН»

В ночь с третьего на четвертое сентября около поселка Солнечный Гай на шоссе Ялта — Карадаг остановилась легковая автомашина. Из нее вышли двое. Постояли на траве, покурили, потом один из них неожиданно выстрелил в затылок другому и уехал, бросив около тела своего спутника небольшую лопату. Убитый — молодой человек лет 28—30, выше среднего роста, среднего телосложения, с волнистыми темно-русыми волосами, в рубашке и брюках темно-серого цвета, в черных полуботинках.

Следствие активно разыскивает убийцу. Однако он пока не обнаружен, хотя нет никакого сомнения в том, что преступник будет найден и понесет заслуженное наказание.

Следствие обращается к населению с просьбой о помощи: любые, даже самые незначительные данные, так или иначе касающиеся убийства, интересуют следователя и могут оказаться полезными, равно как и соображения граждан относительно личности убитого и убийцы, а также мотивов убийства.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о происшествии на Ялтинском шоссе, обратитесь лично или по почте в управление милиции либо прокуратуру Крымской области. О своих наблюдениях и соображениях по этому вопросу можно также сообщить в любое отделение милиции, расположенное поблизости от вашего дома или места работы. Вас внимательно выслушают и будут вам благодарны за помощь.

ЛИСТ ДЕЛА 21.

6 сентября
Исх. № 239/255

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
криминалистической экспертизы
по делу № 4212

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупрежден —

ЭКСПЕРТ-КРИМИНАЛИСТ
ЛЕОНТЬЕВ Б. М.

(образование высшее, стаж работы в качестве эксперта-криминалиста одиннадцать лет).

Для исследования представлены: 1) обрывок рецепта с малоразборчивыми надписями и слабо видимым оттиском круглой печати; 2) расческа с плохо различимым клеймом.

Экспертизе дано задание: восстановить текст оттиска печати на рецепте и буквы либо знаки, составляющие фабричное клеймо на расческе.

I

Исследование печати произведено путем фотографирования оттиска инфракрасной люминесценцией.

Для исследования клейма метка его также подверглась фотографированию с двенадцатикратным увеличением.

II

В результате исследования восстановлена часть букв в оттиске печати и фабричное клеймо.

1) Текст оттиска печати (взамен букв, которые восстановить не удалось, проставлен знак «+»):
а) В центре: «++я рецеп++в»
б) По окружности: «+++лик +в+++и +++ая п+++кл»

2) Клеймо на расческе представляет собой углубление овальной формы, в котором выдавлены буквы «Т.П.К.».

Вещественные доказательства и фототаблицы прилагаются к настоящему заключению.

Эксперт-криминалист
ЛЕОНТЬЕВ.

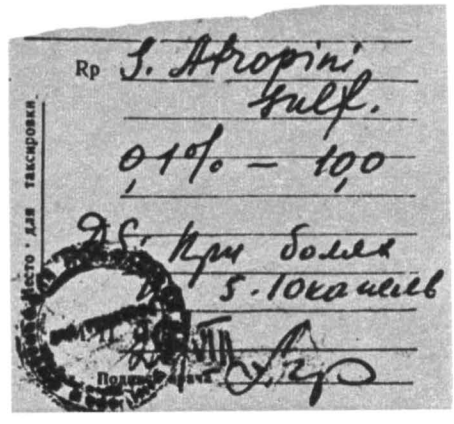
Я вышел на вторую спираль поисков, получив заключение криминалистической экспертизы. Вот тогда-то я и вспомнил, как однажды Генка Санаев, размотав невероятной сложности дело о фальшивомонетчиках, на радостях напился и провозгласил: «Сыщики! Любите и уважайте Шерлока Холмса! Этот старый дилетант кое-что умел!»

Мне довелось многое повидать, но разгадывать шарады с пляшущими человечками еще не приходилось...

ЛИСТ ДЕЛА 22.

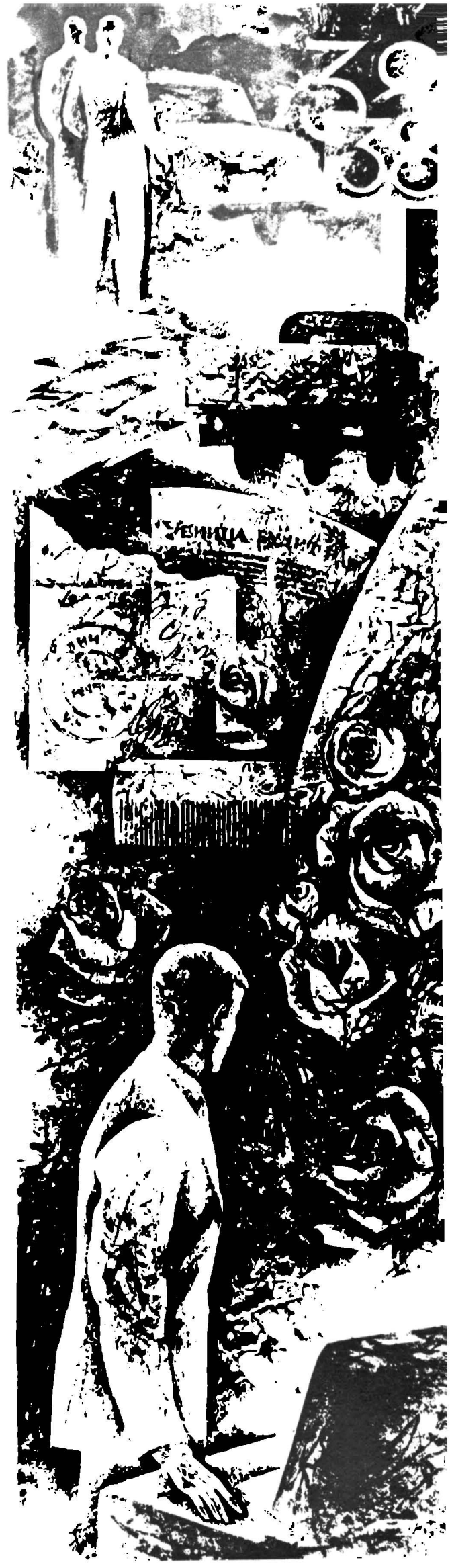
Послав в Москву, в Министерство торговли, запрос о клейме на расческе, я поставил на ней крест. Сейчас она почти ничего не могла мне дать. А вот экспертиза рецепта меня заинтересовала всерьез. Та часть, где проставлены штамп с названием поликлиники и фамилия пациента, была оторвана. Потом шла хорошо сохранившаяся фармацевтическая пропись латинскими буквами. Латынь вечна — это язык цезарей и фармацевтов.

Внизу — полустертая печать и неразборчивая подпись. Дата — 20 августа. Рецепт, по-видимому, недели две носили в кармане. Судя по сгибам, он был сложен втрое — так, что верх и низ оказались снаружи, а середина — внутри. Поэтому верх оторвался совсем, низ истерся, и хорошо сохранилась только середина с прописью.



Вещественное доказательство № 1

Итак, внизу — печать, подпись и дата. Подпись и дата без печати не имеют никакой ценности. Надо расшифровать печать во что бы то ни стало. В центре понятно — «для рецеп-



тов». А дальше в чистом виде шарада: «...лин ..а ...н...ая.п...кл .....» Какие тут могут быть слова? Обязательно характер учреждения: амбулатория, поликлиника, клиника, больница, медсанчасть, диспансер. В печати есть буквы «п» и «кл». Охотнее всего напрашивается «полилиника». А если «клиника»? И «п» относится к ее названию? А?

Теперь «лин». Это наверняка название. Но в Советском Союзе тысяч десять медицинских учреждений имеют свои печати. И не один десяток из них содержит в своем названии слог «лин». Да-а, это задачка скорее для вычислительной машины, чем для следствия.

ЛИСТ ДЕЛА 23.

У меня бы совсем испортилось настроение, не получи я в тот день доказательство, что не такой уж я дуб, как это можно было предположить сначала. Из областного управления мне переслали письмо шофера Парамонова.

В Крымское областное
Управление милиции

от шофера Феодосийской базы
механизации № 2 ПАРАМОНОВА
Сергея Ивановича.

В газете «Советский Крым» за 7 сентября я прочитал заметку «Убийца будет найден» и хочу сообщить, что я видел, хотя и не знаю, будет это вам полезно для следствия или нет. Но на всякий случай напишу.

Третьего сентября я возвращался из Ялты в Феодосию на своей служебной автомашине ГАЗ-51, дело было к ночи, часов после одиннадцати. Смотрю на масляный манометр, а он давления не показывает. Думаю, с маслом что-то плохо. Прижался я к обочине, встал. А как раз передо мной, метров за пятьдесят, тоже на обочине, «Волга» стоит. Я, конечно, никакого внимания на нее, мало ли машин? Открыл свой капот, гляжу: провод с масляного датчика соскочил. Я провод наладил, закрыл капот. Смотрю, а «Волги» уже нет: пока я с проводком ковырялся, она уже уехала. Но я ничего плохого не подумал, сел в кабину, завелся. Манометр — в норме. Я и поехал дальше. Было это немного недоезжая тридцать восьмого километра — я с дальним светом ехал, табличку хорошо было видно. Какой номер у этой «Волги», я не знаю, не обратил внимания. Цвета она наверняка светлого, я еще когда подъезжал, осветил ее фарами. Но точно цвет сказать не могу — ни к чему мне это было. Однако скорей всего — серый или голубой, так мне запомнилось. Водителя или пассажиров этой «Волги» я не видел, разговоров или шума какого-нибудь не слышал. Вот и все, что могу сообщить.

ПАРАМОНОВ Сергей.

ЛИСТ ДЕЛА 24.

Вы никогда не видели, как заряжают на свету фотопленку в кассету? Делается это так: надо взять пиджак, полы сложить кульком, через рукава просунуть вовнутрь руки, держа в правой пачетин с пленкой, а в левой — кассету, крышка которой зажата между мизинцем и безымянным пальцем. Потом катушку достают из пачетина, снимают сначала черную защитную бумагу, затем серебряную фольгу. После этого катушку вставляют в кассету таким образом, чтобы конец пленки попал в боковую прорезь кассеты. Потом правой рукой берешь из левой крышечку, закрываешь кассету и продергиваешь кончик пленки наружу.

И делается это на ощупь, в темноте. Все! Кассету можно доставать на свет, заряжать в аппарат и снимать в свое удовольствие.

Когда из Министерства торговли пришло официальное письмо насчет расчески, я почувствовал, что пленка продернута. Можно доставать на свет...

Министерство торговли
СССР
Ассортиментный отдел
«6» сентября 196* г.
Исх. № 321/ао

«срочно, авиапочтой

В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
На Ваш телеграфный запрос
от 5 сентября.

Ассортиментным отделом МТ СССР изучено изображение товарного знака «Т.П.К.», полученное по фототелеграфу.

Сообщаем, что фабрика — изготовитель расчески с указанным клеймом в наших документах не зарегистрирована. Это не исключает, однако, что фабрика может быть зарегистрирована в Министерстве торговли одной из республик, если она относится к числу предприятий местной промышленности.

Для сведения сообщаем неофициальное мнение одного из опытных товароведов отдела: интересующее Вас клеймо может принадлежать Тамбовскому либо Таллинскому промкомбинатам, имеющим в своем ассортименте щирпотреба подобные расчески».

ЛИСТ ДЕЛА 25.

Честно говоря, я даже не хотел думать, что могу ошибиться. Это было бы несправедливо. Ведь я и так почти никогда не рассчитываю на помощь счастливых случайностей. Хотя бы потому, что в них нет прочности, нет в них никакого запаса надежности. Я верю только в одно — в логику. Потому что вся моя работа — это борьба с э а г а д н о й, которая бывает порой разложена на плечи десятков людей и сотен событий. Поэтому победить загадку можно только логикой и доброй помощью людей. А сильнее логики может быть только другая, более сильная, более предусмотрительная логика. Но сильнее должна быть моя логика, потому что мне нужно было позарез узнать, кто этот парень, убитый на шоссе.

И мне не хотелось думать ни о чем другом. Хотя для профессионала такие завихрения непростительны. Но как только я прочитал слово «Таллин», я вспомнил, что это большой порт. В портах моряков обслуживают б а с с е й н о в ы е п о л и к л и н и к и. И эти б а с с е й н о в ы е здорово ложились в полустертую печать...

ф о т о т е л е г р а м м а

Отделу милиции Таллинского горисполкома.

Чрезвычайно срочно! СЛЕДСТВЕННАЯ!

Прошу проверить, не принадлежит ли Таллинскому промкомбинату клеймо, изображенное слева с увеличением в двенадцать раз. В положительном случае - выясняет ли промкомбинат мужские расчески с таким клеймом.

Т.П.К.

Сообщите также, есть ли в Таллине бассейновая поликлиника, кого она обслуживает и где она находится.

С Л Е Д О В А Т Е Л Ь.

...Климов проводил меня до машины. Я возвращался домой. Климов смущенно протянул мне старую авоську с яблоками:

— Вот... значит... яблочков... У литовцев таких не покушаешь...

— У эстонцев,— улыбнулся я.

Климов, помолчав, вдруг сказал:

— Вот мы и расстаемся...

Я взглянул на него и понял, что он огорчен этим. И мне вдруг стало стыдно. Мы были знакомы всего три дня. Целых три дня. И я даже не спросил его имени. Он добросовестно выполнял мои поручения, переживал вместе со мной, мы советовались, шутили, огорчались, и, если бы он не сказал: «Вот мы и расстаемся»,— я уехал бы, не узнав даже его имени. Какая глупость! Как бессовестно мы обкрадываем самих себя. И я подумал с болью, что Наташа за три дня узнала бы не только имя человека, который был все время рядом. Она знала бы о нем все. Как она знает обо мне. Видно, настоящей доброте научиться нельзя. И учиться опасно — есть риск стать лицемером.

Я отворил дверцу, сухо козырнул Климову и сказал:

— Мы еще увидимся.

Он кивнул, мы пожали друг другу руки, «Волга» плавно тронулась. И тогда я высунулся из окошка и крикнул:

— Мы еще уви-идим-ся, Климов!

Он, улыбаясь, стоял на дороге и махал мне вслед своей линялой, выгоревшей фуражкой. Дождь крупными блестящими каплями застревал в его волосах...

ЛИСТ ДЕЛА 26.

Я посидел в кресле, бездумно глазея в окно, потом пошел на кухню и стал варить пельмени. На столе, придавленная стаканом, лежала записка: «Еда — в холодильнике. Белье и рубашки — на второй полке в шкафу». И точка.

Последний раз я был дома утром того дня, когда все заварилось. И, видимо, не скоро попаду снова. Наташа как-то сказала: «Стоило мне так добиваться отдельной квартиры... Ведь твой идеал домашнего очага — это четырехместный номер в гостинице».

Она очень хотела быть счастливой со мной. Да вот не получилось. Или я допоздна на работе, или не прихожу совсем, а прихожу — сил хватает только добраться до постели.

Я вдруг понял, что последний скандал действительно был последним. Наталья больше жить со мной не будет. Ну и пускай! Мне это тоже надоело. Обидно только, что все так глупо получается. Да еще и стыдно, когда жена уходит. Всегда как-то неловко, если жена бросает мужа. «Идея женского равноправия еще не до конца проникла в наше сознание»,— сказал я и погрозил половинном своему отражению в зеркале. Потом стал вываливать пельмени в тарелку и больно обжег руку. На черта оно нужно в семье, это равноправие. И пельменей готовых с ним толком не поешь...

Зазвонил телефон. Какой-нибудь знакомый? Я снял трубку и сказал противным, гнусавым голосом:

— Аль!

Но это не был знакомый. Звонил дежурный — из Таллина пришла телефонограмма.

В СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Управления внутренних дел
Крымского облисполкома.
Ваш № 0472 с.

№ 38/сл.

ТЕЛЕФОНОГРАММА

Сообщаю, что Таллинский промкомбинат имеет товарное клеймо, переданное Вами по фототелеграфу. Фабрика подтверждает факт изготовления расчесок, подобных обнаруженной Вами.

Сообщаю также, что в Таллине имеется бассейновая поликлиника, обслуживающая работников морского пароходства. Адрес: улица Пикк, дом 3.

Зам. нач. отдела милиции
Таллинского горисполкома
подполковник милиции (Т. ЭНГЕ).

...Я достал из-под кровати чемоданчик и стал бросать в него рубашки, майки, носки...

Продолжение следует.

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 27.

ТАЛЛИН

Не люблю я на самолетах летать. Стыдно признаться: побаиваюсь. Я, конечно, знаю, что жертв в авиакатастрофах в шесть раз меньше, чем на железных дорогах, и в поезде тебе не принесет лимонада с конфетами стройненькая стюардесса. И все-таки в тот момент, когда самолет, напряженно содрогаясь, отрывается от надежной бетонной земли, у меня всегда появляется мыслишка: а вдруг сейчас клюнет носом? Чушь, конечно. Паровоз тоже может свалиться с рельсов. Но вот в поезде — спокойно. А здесь — нет. Единственное, что меня утешает,— это неестественно веселые, возбужденные или нарочито сосредоточенные лица соседей. Они наверняка думают о том же, но, естественно, не подают вида. И мне легче хотя бы оттого, что не один я такой трусишка.

И когда я спустился по трапу на поле Таллинского аэродрома, мне как-то сразу стало веселей.

Было три часа дня, шел дождь, и дул сильный, пахнущий рыбой ветер с моря. Я поехал в гостиницу «Тоом». Я люблю этот старый дом с полутемными лестницами и крошечными холлами, с деревянными панелями и резными филенками дверей. Здесь всегда как в коммунальном многоквартирном доме. По части вкуса я ретроград. Не люблю весь этот домашний модерн, смешные геометрические комнаты, по сантиметрам заставленные микроскопической мебелью. Мне всегда хочется в квартирах чего-нибудь старого, нелепого — часы с боем, рассохшийся буфет. А лучше всего фикус.

Магда, администратор в «Тооме»,— моя старая знакомая. Она радостно заулыбалась мне, светясь своими большими белыми зубами.

— Оставьте чемодан, приходите к вечеру — номер будет,— шепнула Магда.

Мне стало совестно перед терпеливой очередью, покорно взиравшей на типографски отпечатанный трафарет «Мест нет».

Но Магда — одна из немногих женщин, которым я нравлюсь. Было бы просто преступно не воспользоваться ее симпатиями. И, кроме того, у меня на сегодня намечено сделать несколько дел часов до двенадцати ночи.

Я вышел на улицу и отправился в бассейновую поликлинику пешком. Дождь накрывал серой вуалью кирпичные стены и башни, здесь уже чувствовалась настоящая осень.

В регистратуре поликлиники я показал сильно увеличенный фотоснимок подписи на рецепте, и мне сразу сказали:

— Это хирург Аар...

Хирург Тийт Аар, старый, элегантный, невыразимо чистый, подержал в руках мое удостоверение, иронически глянул на меня светлыми умными глазами из-под золотых дужек очков, сказал:

— К вашим услугам...

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—16.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Тийта ААРА

«...Осмотрев предъявленный мне обрывок рецепта, заявляю: он написан и выдан мною, подпись на нем моя. Поскольку рецепт выписан на лекарство, являющееся сильнодействующим средством, он должен быть зарегистрирован в специальном журнале. Из записей в этом журнале за 20 августа видно, что рецепты с аналогичной прописью были выданы мною трем больным: Пяртсу А. А., Корецкому Е. К. и Пименову А. В. Адреса этих больных можно получить в регистратуре...»

— ..Доктор, посмотрите, пожалуйста, не был ли этот молодой человек среди ваших больных?

Хирург взял фото, внимательно всмотрелся в него, покачал головой.

— Не помню. Быть может.— И, будто оправдываясь, добавил:— У меня ведь на приеме до пятнадцати человек бывает. Ежедневно...

ЛИСТ ДЕЛА 28.

Я не верю в случайные совпадения. И не зря. Обычно они играют против меня. Так было и сейчас. Из истории болезни я узнал, что Пименову — 27 лет, Корецкому — 29, Пяртсу — 32. И если убитый на шоссе парень — один из этих троих, то по возрасту они подходят все. Ну, что стоило бы случайности свести в тот день пациентов так, чтобы Пименову было девятнадцать лет, а Корецкому — пятьдесят шесть? Искать пришлось бы только Пяртса.

Но случай всегда играет в другой команде. Поэтому мне пришлось в этот вечер объехать всех их по домам, потом — по аптекам. А Корецкого вовсе на месте не было...

СПРАВКА

Больной, получивший интересующий следствие рецепт,— Корецкий Е. К.,— по данным регистратуры проживает не в Таллине, а в Ленинграде, и служит в Таллинском морском пароходстве.

Зам. начальника пароходства Линнамяги Ф. К. в разговоре по телефону № 47-45 сообщил, что Корецкий является штурманом рыболовецкого сейнера РС-4. Вчера, т. е. 11 сентября, в 19 час. 10 мин. сейнер РС-4 с полным составом команды вышел в море после ремонта двигателя.

12 сентября 196* г.
гор. Таллин.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 29.

Перед вечером в клочьях сизых дымных облаков мелькнуло багровое воспаленное солнце, но дождь не угомонился, и весь Таллин погрузился в фиолетовый мягкий сумрак. Я шел по Ратушной площади, слушая, как цокают на тяжелых, влажно мерцающих плитах подковки, заглядывал в теплые желтые окна, заштрихованные дождем, как на старых гравюрах, и пытался найти выход из положения.

Зашел в небольшое кафе. Всего несколько человек сидело за дубовыми столами на широких деревянных скамьях. Яростно гудел камин. Я сел поближе к огню, взял густого, ароматного кофе и стал прикидывать свои варианты.

Надо было сосредоточиться, собраться с мыслями. Я вдруг почувствовал себя муравьем, суматошно бегающим по столу. У детей есть такое развлечение: муравей уже почти добежал до края стола, сейчас нырнет вниз и — свобода! Но упрямая рука ставит перед ним спичечный коробок, который превращается в непреодолимую стену. И муравей покорно бежит в другую сторону. Но там снова препятствие, и так без конца. В детективах эта роль всегда отводится преступнику, обложенному со всех сторон сыщиками. Но убийца, которого искал я, мог покуда не волноваться. Пока что я сам бегал, как муравей, пытаясь установить хотя бы имя убитого...

Похоже, я снова зашел в тупик. Пименов и Пяртс преспокойно отдыхали дома, Корецкий вчера ушел в плавание. Рецепты, выданные Пименову и Пяртсу, лежали передо мной на столе. Оставалась последняя крошечная лазейка: Корецкий мог помнить, кому и зачем он отдал свой рецепт.

Я положил на стол блестящий новенький полтинник и вышел. Из первого автомата я позвонил в пароходство и продиктовал радиограмму...

Таллинское морское пароходство
РАДИОГРАММА
Таллина 7/12.7.19.15.
Сейнер РС-4. Первому штурману
КОРЕЦКОМУ

СВЯЗИ УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ СРОЧНО СООБЩИТЕ В АДРЕС ТАЛЛИНСКОГО ГОРОТДЕЛА МИЛИЦИИ КОМУ зпт ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫ ПЕРЕДАЛИ РЕЦЕПТ зпт ПОЛУЧЕННЫЙ ВАМИ ДВАДЦАТОГО АВГУСТА ВАССЕЙНОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ХИРУРГА ААР тчк

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 30.

Я проснулся рано и удивился, что из горотдела милиции еще не звонили. Радиограмма с сейнера должна была прийти давным-давно. Я набрал номер дежурного.

— Нет-нет, ничего не передавали. У меня записан ваш телефон — как только что-нибудь будет, сразу извещу.

Тогда я позвонил заместителю начальника пароходства. Он был очень вежлив, но мне показалось, будто он чего-то недоговаривает и старается поскорее от меня отделаться. А может быть, показалось. Связь, мол, ночью была плохая. Тогда я сказал железобетонным голосом:

— Попрошу вас ускорить это дело. Оно не терпит отлагательства. А если с сейнером плохая связь, можно запросить через базовое судно...

На улице по-прежнему шел холодный дождь. Делать мне было нечего. Я завалился на диван, взял забытую кем-то в номере книжку о Фламмарионе и стал читать. «Искать звезды — работа приятнее, чем искать убийц. А главное — почище»,— завистливо подумал я. И заснул. А в четверть двенадцатого меня разбудил звонок:

— Говорит дежурный горотдела милиции капитан Антсон. На ваше имя поступила телефонограмма.

— Читайте,— сказал я, и мне все еще казалось, что сон продолжается...

ТЕЛЕФОНОГРАММА
13.9. 11.00. Исх. № 76/в

Сообщаю, что первоначальные сведения о выходе сейнера РС-4 в рейс с полным составом команды по вине капитана судна оказались ошибочными.

Сегодня капитан РС-4 сообщил, что первый штурман Корецкий Е. К. находился в отпуске до восьмого сентября и по неизвестной причине из отпуска не возвратился, в связи с чем судно вышло в море без него. Местонахождение Корецкого в настоящее время неизвестно.

Подписал: Зам. нач. пароходства ЛИННАМЯГИ.
Передала: Секретарь А. ГАВАРС.
Принял: Дежурный АНТСОН.

ЛИСТ ДЕЛА 31.

— Включите сирену! — сказал я шоферу, и хриплый горловой визг располосовал дождливую туманную тишину. Машины впереди удивленно, неуклюже отворачивали в сторону, пропуская нас.

— Если можно, то еще быстрее,— сказал я.

Шофер кивнул. Зверь понесся на меня.

— Не правда ли, Томас, в этом городе неуместны подобные звуки? — сказал я ему.

Он еще раз глянул на меня из-под своих белесых ресниц, потом серьезно сказал:

— Это звуки беды. А беда везде неуместна.

— Значит, и мы, Томас, везде неуместны?— усмехнулся я.

— Не-ет,— Энге снял фуражку и пригладил соломенные волосы.— Ведь мы не беда. Просто мы ее встречаем первыми.

— Вторыми,— сказал я.— Первыми ее встречают те, к кому мы не поспели...

Машина с визгом затормозила около пароходства. Я бегом поднялся на второй этаж, прямо в приемную заместителя начальника.

Секретарша — вся любопытство — сказала:

— Заходите, вас ждут...

СПРАВКА

гор. Таллин.

Заместитель начальника Таллинского морского пароходства ЛИННАМЯГИ, а также вызванные им сотрудники пароходства ВАРАНОВ, ТАЛСЕПП, ГУРВИЧ и КОЛОКОЛЬНИКОВА, осмотрев предъявленную им фотографию мужчины, погибшего четвертого сентября на 38-м километре Ялтинского шоссе, категорически и безусловно опознали в убитом штурмана рыболовного сейнера РС-4 КОРЕЦКОГО Е. К.

ЛИСТ ДЕЛА 32.

— Как мне допросить капитана сейнера?

Линнамяги понимал, что они попали в неприятную историю. Он растерянно развел руками.

— Мы можем вызвать сейнер в Таллин. Но сейчас самая путина — план не выполнят. Да и люди ничего не заработают — и так месяц на ремонте простояли. Вот если бы...

— Что «если бы»?

— Вас не затруднит добраться до рыббазы на вертолете? А капитан Астафьев прибудет туда катером.

— Не затруднит.

Линнамяги обрадовался:

— Тогда мы это мигом организуем. А капитану я дам!..

— Подождите давать. Надо выяснить сначала, в чем там дело...

...Энге сочувственно похлопал меня по спине:

— Ничего, ничего, дружок. Облачность низкая — качать будет не слишком.

Энге не выговаривал шипящих, и слова у него получались совсем смешные: ницего, облацность, кацять будет не слиском. Я хотел сказать, что как раз самая сильная болтанка при низких облаках, но раздумал и пошел к вертолету. Какая разница? Энге же не подымет облака выше.

Я сел в кресло и подумал, что с меня достаточно. Таких приключений хватит для двухсерийного фильма. Но я ведь не герой и не писатель приключений. Если говорить честно, то я и стрелять из пистолета толком не умею. А после того, как один барбос умудрился прострелить мне правое легкое, врачи предписали мне «щадящий режим». Это же надо! Слово какое красивое — «щадящий»! Короче говоря, ко всем моим замечательным победам — чует мое сердце — я, вернувшись домой, смогу говорить знакомым: «От меня жена ушла!» И никто даже не скажет: «От всех жена ушла»,— потому что от нормальных мужей жены не уходят.

Я еще долго забавлял себя этими размышлениями, стараясь не думать о разговоре с капитаном. А потом мне стало по-настоящему плохо. Я сидел, вытянув ноги и запрокинув голову на спинку кресла, и смотрел в белый потолок. Как только я бросал взгляд в иллюминатор на кипящие внизу волны, к горлу подкатывала тошнота. И это было ужасно. Особенно, когда вертолет проваливался в воздушные ямы. Я закрыл глаза и стал считать до тысячи, потом до двух, до трех...

С трудом разжимая сведенные скулы, я спросил у пилота:

— Скоро?

Он не услышал за грохотом мотора, но, видимо, по выражению лица понял и ободряюще подмигнул:

— Скоро...

Плавбаза сверху казалась крошечной, как детский кораблик, свернутый из газеты. Только плавал он не в луже, а в настоящем море, свинцово-сером, с белыми барашками, от одного вида которых меня воротило с души. Я себе не представлял, как вертолет сядет на эту скорлупку. Поэтому я просто закрыл глаза и снова стал считать до тысячи.

Потом вертолет подпрыгнул, и сразу смолк двигатель, только кабина еще слабо дрожала — винт медленно крутился по инерции. Я выпрыгнул на палубу и удивился, как огромна была база. Но раскачивало ее сильно. А может быть, это у меня ноги подгибались. На шкафуте стояло несколько моряков в клеенчатых регланах. Я направился к ним.

Капитан Астафьев смотрел на меня красными, запавшими глазами. Радиограмму он получил двадцать часов назад.

— Если меня собираются освободить от должности, предупредите сразу. Мне надо сделать кое-какие распоряжения на судне...

Я вытер лицо платком и сказал извозчичьим голосом:

— Этот вопрос в мою компетенцию не входит...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА капитана АСТАФЬЕВА

...Вопрос: — Почему вы не сообщили в пароходство о том, что Корецкий не вернулся из отпуска и судно выходит в море без него?

Ответ: — Когда Корецкий не явился из отпуска, я очень забеспокоился. Ведь, если бы он даже не заболел, то и в этом случае мог бы меня известить телеграммой. Так как он этого не сделал, я предположил, что с ним что-то случилось. При этом я не исключал, что Женя по молодости попал в какую-нибудь историю, которая его и задержала. Я ждал его возвращения до самого отплытия судна, но он не явился, а сообщать об этом было уже поздно — я должен был это сделать заранее — да мне и не хотелось. Я все надеялся, что Корецкий перехватит нас где-нибудь в плавании. Я полностью осознаю свою вину и готов нести ответственность.

Вопрос: — Куда, зачем собирался Корецкий в отпуск?

Ответ: — В Ленинграде у Евгения подошла очередь на автомашину, о которой он давно мечтал. Он терпеливо копил деньги, отказывая себе во многом. Правда, у него все равно их не хватило, и я ему добавил необходимую сумму.

Вопрос: — Какую?

Ответ: — Тысячу шестьсот рублей. Кроме того, он, наверное, хотел повидаться и со своей девушкой, хотя я, к сожалению, о ней почти ничего не знаю. Женя не любил говорить на эту тему.

Вопрос: — Координаты этой девушки?

Ответ: — Я знаю только, что она студентка-географичка и ее зовут Тамара. Больше ничего...

...Я задал ему традиционный следственный вопрос:

— В каких отношениях вы находились с Корецким?

Астафьев сильно волновался и все время говорил каким-то казенным протокольным языком.

— Отношения между нами очень хорошие и выходят за рамки чисто служебных. Корецкий — хороший человек и специалист. За короткий срок службы на моем судне он вырос от рядового члена команды до должности первого моего помощника. Помимо четкого служебного взаимодействия, мы связаны личной дружбой.

Еще не зная толком Астафьева, я не мог сказать ему, что Женя Корецкий погиб. А капитан, видимо, и не помышлял об этом. Он был уверен, что Корецкий попал в какую-то скверную заваруху. И мне было очень важно узнать мнение о мертвом Корецком из уст человека, уверенного, что Женя жив. Люди крепко проверяются в таких ситуациях.

...Вопрос: — Прошу подробно охарактеризовать Корецкого. Нам следует знать мельчайшие детали личности Евгения, его образа жизни, круг его интересов, связей, друзей и врагов.

Ответ: — Да, я понимаю. Я постараюсь вспомнить все, что я знаю о Жене. Если я упущу что-нибудь, прошу поставить мне дополнительные вопросы. Прежде всего Женя — очень хороший парень, добрый и доверчивый человек. Он ведь прекрасный работник. Все время что-нибудь узнает, никогда не стесняется спрашивать: у меня ли, у боцмана, у простого матроса — все равно. За свой авторитет не боится — он вообще, по-моему, об этом не думает. Под любую тяжесть первый руки свои подставляет. Характер у него легкий, на жизнь он смотрит весело, быстро сходится с людьми. Врагов в команде у него нет, хотя, когда требуется, он службу спрашивает по всей строгости.

Вопрос: — С кем, кроме вас, особенно дружен Корецкий?

Ответ: — На этот вопрос я затрудняюсь ответить. Корецкий тепло и ровно относится к большинству членов команды. И они его любят...

Я спросил Астафьева, как получилось, что Корецкий получил отпуск в разгар навигации. Капитан сумрачно пояснил:

— В середине августа у нас вышел из строя двигатель. Ремонт планировали недели на три, не менее. Женя попросил дать ему отпуск. Он много трудился перед этим, а работ по его специальности фактически не предвиделось. Поэтому я дал ему отпуск с 21 августа по 10 сентября...

...Вопрос: — Ваши соображения о том, как мог Корецкий оказаться в Крыму?

Ответ: — Абсолютно не представляю себе. Корецкий, по-видимому, выехал туда неожиданно, иначе я бы знал, что он собирается в Крым. В лучшем случае об этом знает Тамара или кто-нибудь из тех, с кем он встречался в Ленинграде.

Вопрос: — А с кем он мог встречаться в Ленинграде?

Ответ: — Этого я не знаю. Но знакомые у него там, безусловно, были...

ЛЕНИНГРАД

ЛИСТ ДЕЛА 33.

Еще не открыв глаза, я с нежностью прислушался к стуку колес. Слава богу, что все это наконец окончилось! Не будет расчаивающейся под ногами палубы, проваливающегося вертолета и воспаленных, налитых болью глаз капитана Астафьева.

Глухо и часто пыхтел впереди тепловоз, под ногами дробно взыгрывали на стрелках колеса. Поезд подходил к Ленинграду. И все, что было еще только вчера, казалось мне далеким, почти забытым прошлым. Лишь ладонь хранила крепкое пожатие Энге, невозмутимо моктнувшего вчера ночью на осклизлом холодном перроне, и его ласково-детское:

— Ницего, сейцяс ты на цёрной полосе. Пройдет.

— На какой полосе? — переспросил я.

— На цёрной. Жизнь, как матрас,— вся полосами...

А потом экспресс помчал меня в Ленинград. На площади у Балтийского вокзала я сел в такси и сказал сонному шоферу:

— Петроградская сторона.

Я ехал на квартиру Жени Корецкого, в дом, оставшийся теперь навсегда без хозяина...

Дверь открыла старушка с забинтованной рукой. Она строго спросила:

— Кого надо?

Я вдвинул ногу в дверную щель и беззаботно сказал:

— К Жене Корецкому, по делу. А что с рукой-то?

— Да старая я, видать, совсем стала — руки трясутся. Намедни настрюлю с горячим молоком на себя вертанула. Дегтем бы намазать, да где его сейчас возьмешь-то в городе, деготь? Вот докторша прописала мазь какую-то, да толку с нее — как с козла молока.

— С докторши? — пошутил я.

— Да не-е, докторша у нас хорошая. Мазь не помогает. А чего это я тебя ране у Женьки никогда не видела? Друзья новые вы, что ль? У него каждый день новые приятели. Полгорода к нему таскается. И жрать все здоровы. Мне-то, соседке, это, конечно, без дела, но очень он уж легкий человек.

— Как это, легкий? Легкомысленный?

— Не-е! Ты что, милый! Женька — парень серьезный, самостоятельный, толк в нем человеческий на троих заложен. Только доверие у него и людям легкое, как у мальца мелкого. А люди-то, сам знаешь, разные бывают. Один — на, а двое — дай. Вот и денег у него всегда нет. «Тетя Катя, десятку бы до получки?» У меня-то пенсия — 52 рубли, а он жалованье получает хорошее. Но даю, потому как он гордый: у чужого — брюхо пускай подведет, а не попросит. Я-то ему все как мать. Двадцать лет знаю.

— А давно Жени нет дома?

— Да числа с тридцать первого, а то первого. Примчался из Таллина, купил машину в магазине, покрутился пару дней и умотил куда-то. Да вот записку мне на кухонном столе оставил...

ВЕЩЕСТВЕННОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО № 2

Тетя Катя! Мы поехали на Кавказ, обкатывать мою технику. Числа 12-го вернусь, не беспокойся. Уплати за квартиру, приеду — отдам. Целую.
Женька.

— Вот те на! — сказал я.— А что, он заранее не говорил, что на юг собирается?

— Не.— Старуха, видимо, истомленная одиночеством, беседовала со мной все охотнее. Она даже впустила меня в коридор.— Я чаю, он и ехать-то решил в одночасье, а то бы знала я. Сказал бы он мне об этом непременно, как есть сказал бы.

— Так вы не знаете и с кем он поехал?

— То-то и оно,— помала старуха плечами.— Отобьется парень от рук, боюсь. Даже не сказал, что едет в даль таную! Оттуда, от Кавказа, почитай и до Турции рукой подать? Ты как думаешь?

— Думаю, что так оно и есть,— кивнул я.

— Вот про то я и говорю! В таную даль укатил, а я от Зинки-дворничихи узнавать об этом должна.

— А Зинка-то откуда знает?

— А ей как не знать — убирает она утром участок, вот и видела, как он со двора подался...

ЛИСТ ДЕЛА 34.

Когда я учился на четвертом курсе университета, нас послали на производственную практику. Я, естественно, опоздал к распределению, и все хорошие места — в Следственном управлении, в МУРе, в УБХСС — были розданы. И послали меня практиковаться в группу розыска, ту, что ищет алиментщиков, пропавших родственников и так далее. Пришел я в полнейшем унынии к начальнику группы. Толстый такой, седоватый дядя с узкими глазками. Повертел он в руках мое направление, похмыкал, говорит:

— Следователем, наверное, собираешься стать?

— Собираюсь,— сказал я.

— А работать как будешь, следователь?

— Ну, как у вас тут, «собирать факты по крупицам»,— заявил я.

— Ну и дурак,— спокойно сказал он.— Много ты по крупицам насобираешь в нашей толчее! По молекулам собирать надо, атомам отдельным радоваться! Снидай свой пиджачок, иди сюда...

Это был мой первый настоящий учитель следственного поиска...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
дворника КУЗЬМИНОЙ З. В.

...В конце августа или начале сентября — даты точно не помню — я вышла убирать территорию. Времени было около шести утра. Через несколько минут во двор вышел Женя Корецкий и подошел к своей машине, которую держал во дворе, под своим окном. В руках у него был большой портфель. Он торопливо кинул его в машину, завел мотор и поехал. Проезжая мимо меня, поздоровался. Я еще спросила: «Далеко ль, мол, в такую рань собрался?» Он ответил: «Далеко, семь тысяч верст...» — махнул рукой и умчался.

Никого в машине его не было, и около дома его никто не ждал. В этот его приезд в Ленинград я его видела два раза, и оба раза он был один. Некоторых его знакомых я знаю в лицо, но как их зовут и где они проживают, мне неизвестно...

...Так. В шесть утра, с портфелем, один — и за «семь тысяч верст». Я должен радоваться и этим атомам. Сложатся ли они в молекулу и в какую?..

ЛИСТ ДЕЛА 35.

В помощь мне выделили оперуполномоченного ленинградского уголовного розыска Леонидова. Маленький, круглолицый, все время улыбающийся, Леонидов был заряжен гигантским оптимизмом. Коротко разъяснив ситуацию, я сказал ему:

— В деканате возьмете списки студентов всех курсов и прямо подряд прорабатывайте. Впрочем, первый курс можете не смотреть. Запомните: ее зовут Тамара. А больше ничего я и сам не знаю. Сколько вам понадобится времени?

— А кто его знает!— развел руками Леонидов.— Допустим, что всех Тамар я отберу за час. А ведь потом с ними со всеми поговорить надо. Но к вечеру, думаю, управлюсь.

Вот действительно задачка на сообразительность: сколько Тамар может оказаться на одном факультете университета? Имя ходовое. И еще: ведь многие называют себя иначе, чем в паспорте,— Асей, скажем, вместо Насти. А ведь Леонидов по документам смотреть будет. Но о таком варианте мне даже думать не хотелось...

Хорошо хоть, что первый курс можно отбросить. Ведь последний раз Тамару видели с Корецким летом. И уже тогда было известно, что она учится на географическом факультете...

Эх, забыл подсказать Леонидову: по адресам тех Тамар, которых он не застанет в университете, надо ездить не по очереди, а составить единый маршрут.

Тамара, которую мы искали, оказалась в списке шестой. А всего их было...

СЛЕДОВАТЕЛЮ
СПРАВКА

По Вашему заданию мною установлены четырнадцать студенток географического факультета Ленинградского университета по имени Тамара.

В результате бесед с ними выяснилось, что знакомой Корецкого является студентка IV курса РАТАНОВА Тамара Иосифовна.

Ратанова явится к Вам для допроса сегодня в 18 часов.

Оперуполномоченный Ленинградского уголовного розыска
(ЛЕОНИДОВ).

ЛИСТ ДЕЛА 36.

В кабинете напротив моего стола висели на стене электрические часы. Каждую минуту в них что-то негромко щелкало и стрелка прыгала на деление вперед. Вот еще тридцать раз тихо щелкнет и придет Тамара Ратанова. И мне надо будет рассказать, что ее любимого человека убили.

Я часто думаю о том, что же является настоящим профессионализмом. Как-то написали обо мне статью в газете. Пришел к нам домой корреспондент, хороший веселый парень, и мы с ним здорово и очень откровенно говорили целый вечер. Бутылку коньяка выпили. А через несколько дней появилась статья. Я прямо зубами скрипел от злости. И все не мог понять: то ли я неправильно говорил, то ли он неправильно понял. Получился я у него этаким горластым чахоточным стражем закона. «Сердце, пылающее ненавистью ко всякой нечисти, смысл и содержание жизни — в борьбе с преступностью». И было мне как-то не по себе. Не может сердце пылать по поводу всякой нечисти, поскольку нечисти много еще, и сердце, попылав, попылав, попросту перегорит. Вовсе не это составляет профессиональную черту людей Закона. Ведь всякий человек, даже если сердце у него и не пылает, бросится, например, защитить женщину от хулигана. Но это эпизод, мгновенный нервный толчок, почти эмоциональный порыв. А вот каждый день, каждую неделю, месяцы, годы идти вброд через поток человеческих страданий, боли, крови, обид, разбитых мечтаний и нечистот — вот это действительно трудно. Потому что надо сохранить при этом веру в человека.

Наташа часто упрекает меня в черствости. Я с ней не спорю, хотя и не согласен с этим. Неделю назад человек, толкнувший на моих глазах старика, вызывал у меня гораздо более сильные чувства, чем убийца Жени Корецкого. Потому что убийца был злом беспредметным, отвлеченным, для меня — практически бесплотным. И сейчас он где-то ходит в несметном человеческом сонмище, возможно, отделенный от меня сотнями километров, тысячами событий, миллионами людей. И вся эта цифирь называется загадкой. Но загадку нельзя ненавидеть, даже если она убивает людей. Ненавидеть можно конкретного человека. А этого человека нет. Пока нет. Из атомов, из слов, из случайных встреч я должен воссоздать этого человека, как бог сотворил Адама из праха. А для этого не нужно пылающее сердце. Просто надо помнить, что тебе люди поручили сказать «Аз воздам». А воздать ему я должен и за себя тоже. За то, что, осматривая тело Жени Корецкого, я больше думал о пригодных для розыска следах, чем о том, что убит молодой парень и для него не будет больше весны, травы, нежности, что кто-то далеко отсюда уже стал несчастен и еще не знает об этом. Меня убийца тоже обделил в жизни, потому что такие, как он, сделали меня профессионалом в познании человеческого горя.

Профессионализм многолик. Но в одном он всеобъемлющ: все, не имеющее отношения к работе, уходит на второй план.

Мое сердце не имеет права пылать. Оно должно стучать ровно и сильно. И долго. Чтобы я, покуда оно стучит, мог превращать фантомы в реальное зло и карать его. Потому что мое сердце — сердце профессионала — тоже ломает свой ритм и вбивает молотом кровь в виски, когда я говорю чуть слышно:

— Тамара, Женя Корецкий погиб...

Она кивнула, как будто давно уже знала об этом, и закусила до крови нижнюю губу.

Она смотрела мне прямо в переносицу, и я хотел влезть под стол, провалиться сквозь землю, испариться — только бы не чувствовать на себе этот слепой, обращенный внутрь взгляд. А еще мне хотелось подойти к ней, обнять ее за плечи, чтобы она уткнулась мне лицом в грудь, и сказать шепотом:

— Ну, поплачь, маленькая, поплачь. От слез становится легче. Поплачь, я буду рядом и буду ждать.

Но она не плакала. Сидела на стуле очень прямо, серая, холодная. Так мы и сидели молча. Долго-долго.

Потом она вдруг сказала растерянно, и я вздрогнул от неожиданности:

— А он мне говорил, что мы проживем сто лет и умрем в один день...

Она по-прежнему смотрела прямо на меня и видела, как в камере-обскуре, только то, что происходило внутри нее вчера, месяц назад, давно.

— Когда я осталась у него дома, то среди ночи проснулась. Женя не спал, он смотрел мне в лицо. Я погладила его по голове и спросила: «Это очень плохо, что я не плачу?» «А зачем тебе плакать, родная?» «Говорят, что в эту ночь девушка должна плакать». «А тебе хочется плакать?» «Мне хочется петь. Мы ведь проживем сто лет...»

Я встал и отошел к окну.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Тамары РАТАНОВОЙ

...Вопрос: — Когда Вы виделись с Корецким в последний раз?

Ответ: —. Мы не виделись с июня, и встречи не предвиделось до октября, разве что я приехала бы в Таллин. Но в двадцатых числах августа я получила телеграмму, в которой Женя сообщил о неожиданном отпуске. Он приехал 21 августа. Перед этим Женя получил из автомагазина открытку на «Волгу», за которой долго стоял в очереди. На другой день мы поехали в автомагазин и Женя выбрал машину голубого цвета. Потом в ГАИ ему выдали номер на машину. Какой номер, я не помню.

Через пару дней из Москвы приехал друг Жени, с которым они вместе служили в армии. Друга зовут Отари, фамилию его я не знаю. Он грузин, живет в Москве, работает где-то стоматологом. Видела я его всего два раза. Женя говорил, что он хороший товарищ и у него с ним связаны самые лучшие воспоминания. Останавливался Отари в гостинице «Астория».

Числа 25 августа мы втроем — Женя, Отари и я — были в ресторане при этой гостинице, отмечая приезд Отари и покупку машины. А еще через несколько дней — по-моему, это было 30 августа — Женя заехал ко мне домой поздно вечером (у меня нет телефона) и сказал, что уезжает с Отари на несколько дней в Грузию, чтобы обкатать машину. Я с ним поехать не могла, потому что у меня начинались занятия в университете. Больше я его не видела...

Продолжение следует.

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 37.

Я взглянул на электрические часы и удивился: с тех пор, как явилась Тамара, прошло уже три часа.

— Тамара, я понимаю, что вам сейчас очень тяжело, но вы должны мне помочь.

Она посмотрела на меня.

— Мне надо поехать с вами в ресторан «Астория» — может быть, вы вспомните официанту, которая вас обслуживала.

— Нас обслуживал официант — молодой парень.

— Вы сможете его вспомнить?

Тамара подумала, потом кивнула:

— Наверное, смогу...

...Ресторанный зал был переполнен. Оглушительно гремел джаз. Крохотный трубач так надувал щеки, что я боялся, как бы он не лопнул. Мы стояли у дверей, и Тамара сказала безжизненным голосом:

— Мы сидели вон в том углу...

Сейчас там шумно и весело гуляла большая компания.

Развевая фалды, иноходью бежал мимо метрдотель.

— Одну минуточку...— сказал я.

Он мгновенно выдал мне порцию казенной любезности:

— Дорогой мой, ничем не могу быть полезен: сегодня много гостей...

— Это я решу сам, можете ли вы быть мне полезным,— сказал я.— У вас есть официант — маленького роста, блондинчик? Молодой?

— Как же! Поленин Валерий. А что случилось?

— Ничего. Посадите нас к нему за отдельный стол.

Он посмотрел на меня внимательно, и лицо его озарилось догадкой.

— Ах, вы оттуда? — Он махнул большим пальцем куда-то себе за плечо.— Сейчас, сейчас накроем!

Поленин принес графинчик вина и кофе почти мгновенно. Когда он отошел, я спросил Тамару:

— Вы уверены, что это тот?

— Да.

Через некоторое время Поленин подошел к нашему столу снова:

— Что-нибудь желаете еще?

— Да. Присядьте.

— Простите, по служебной инструкции не полагается.

— Садитесь, мне надо поговорить с вами.

Он присел, лицо его выражало крайнее удивление. Спиной он загораживал от меня зал. Я протянул ему мое удостоверение.

— Понятно,— почесал он в затылке.

— Вы не помните эту девушку? — показал я глазами на Тамару.

— Да, помню, конечно. Я просто не подал виду, потому что у нас своя этика.

— Вы помните ее спутников?

— Да, естественно.

— Почему естественно?

— Ну, во-первых, они были в ресторане всего недели две назад, а, во-вторых, у меня профессиональная память на лица.

Я повернулся к Тамаре боком — так, чтобы она не видела,— и показал официанту фотографию убитого Корецкого. Он сильно побледнел и механически кивнул.

— Опишите внешность второго мужчины.

— Высокий, такого же роста, как он,— Поленин указал на фотографию,— и как тот, что был во второй раз, — по выговору кавказец, хотя сам светлый...

Я насторожился:

— В какой второй раз?

— Ну, через день-два после того, как они были с этой девушкой.

— Так, так...

— Да, они были втроем. Третий парень, такой же высокий, как они, только, видать, гораздо здоровее.

— Постарайтесь припомнить что-нибудь приметное в его внешности.

— Приметное? — задумался официант.— Кто его знает! Обычный человек вроде бы, только здоровенный больно. Да, вот глаза у него интересные — сам он черный, а глаза очень голубые.

— Вы это хорошо помните?

— Да, конечно. Он расплачивался со мной еще до того, как они собрались уходить. Когда я ушел за кофе, он догнал меня в буфете и попросил дать счет. Я быстро посчитал, и тут он вдруг взял меня очень крепко за руку повыше локтя и сказал не то шутя, не то всерьез: «Ну, математик, намного обжал?» При этом он смотрел на меня в упор, и я запомнил его глаза. Я хотел обидеться и ответить ему как следует, но он вдруг засмеялся и сказал: «Живи, нам такие люди тоже нужны»,— протянул мне полсотни и вернулся за стол.

— А какой был счет?

— На 43 рубля 60 копеек. Если нужно, я могу вам показать копию.— Поленин вынул из кармана толстый блокнот, быстро перелистал его и протянул его мне. Да, счет был именно на сорок три шестьдесят, и наверху стояла дата — тридцатое августа.

Я взял у Поленина счет и спросил:

— Вы не слышали случайно что-нибудь из их разговора?

Поленин развел руками:

— Да нет, мне как-то ни к чему было. Вот только в самом конце они заказали шампанское, и я открывал бутылку возле стола. Разлил по фужерам, и этот — третий — поднял тост:

«За счастливое плавание!..»

Вещественное доказательство № 3
Ресторан «АСТОРИЯ»

СЧЕТ	«30»	августа
Салат «Астория»	3	2—40
Осетрина залив.	3	2—70
Мясное ассорти	2	2—40
Лимон		0—60
Бифштекс	2	2—20
Шашлык	1	1—40
Коньяк арм. 3*	1	6—15
Киндзмараули	1	3—95
Коньяк груз. 4*	2	16—90
Кофе	3	0—45
Мороженое	3	0—90
Шампанское	1	3—55
		43—60.

...Да, их было, несомненно, трое — три салата, три осетрины, три горячих, три кофе, три мороженых.

Это для меня полная неожиданность. Почему-то я все время считал, что в автомобиле ехало только два человека. И вдруг выплыл третий. Это был настоящий удар по всем моим версиям. Если об одном хоть что-то известно — имя, служба в армии вместе с Корецким, то второй появился вообще как черт из коробочки. Хорошо, начнем с Отари. Я позвонил в гостиницу, попросил поднять списки проживающих и найти данные всех людей по имени Отар, которые проживали в гостинице в последнюю декаду августа. Паспортистка попросила номер моего телефона, чтобы позвонить позже: необходимо было посмотреть архив.

Через полчаса позвонила какая-то женщина и представилась густым басом:

— Старший администратор гостиницы «Астория» Каджан говорит!

— Слушаю.

— Вы просили навести справку...

— Да-да-да!

— Так вот. С двадцатого по тридцатое августа в гостинице лицо по имени Отар не проживало...

ЛИСТ ДЕЛА 38.

Меня охватила злость. Ощущение унизительного бессилия давило меня не потому, что преступники аккуратно зачищали за собой все следы. Было бы глупо ожидать, что они специально для меня раскидают свои визитные карточки с указанием часов приема. Бесило, что я никак не могу понять механизма, внутренней динамики, логики этого преступления. Завладеть чужой «Волгой»? Но для этого не надо убивать хозяина. В конечном счете проще угнать...

Оперативник Леонидов получил в госавтоинспекции справку, что 21 августа Корецкий зарегистрировал автомашину «Волга» голубого цвета, получив номерной знак «ЛЕВ-78-10».

Но Корецкий убит и больше никогда ничего не скажет. Преступники не оставили никаких концов. Почти не оставили. Зато «Волга» же не исчезла! Она же должна где-то ездить сейчас!

Я связался с Москвой и попросил объявить пропавший автомобиль во всесоюзный розыск...

Управление уголовного розыска Министерства внутренних дел
21 сентября.
№ 88.
ВСЕМ ГОРОДСКИМ И РАЙОННЫМ ОРГАНАМ МИЛИЦИИ.

В ночь с третьего на четвертое сентября сего года в районе поселка Солнечный Гай Крымской обл. неизвестным преступником убит КОРЕЦКИЙ Е. К.

С места преступления угнана принадлежавшая КОРЕЦКОМУ автомашина «Волга» голубого цвета, государственный номерной знак «ЛЕВ-78-10», кузов 1134834, шасси 3789612, двигатель 0187362.

Примите все необходимые меры к срочному розыску автомашины и установлению преступника.

ЛИСТ ДЕЛА 39.

Теперь, бесспорно, фигурой номер один стал Отар. И если он только не подался в бега, то разыщем мы его довольно скоро. Тамара говорит, что он служил вместе с Корецким в армии, что живет он в Москве и работает там стоматологом. А если он служил с Корецким в армии так же, как проживал в «Астории»? А? Нет, не может быть, ведь, по словам Тамары, об этом говорил сам Корецкий. Значит, единственный след ведет в Москву. В Ленинграде, похоже, мне больше делать нечего. Я сел за стол, написал два запроса, злорадно усмехнулся: «Ничего, возьмем в клещи!» МУР я просил срочно предпринять розыск проживающего в Москве и работающего стоматологом человека по имени ОТАР. «...Возраст 28—30 лет, высокого роста, широкоплечий, русоволосый, глаза карие, лицо белое, привлекательное...»

В Петроградский райвоенкомат гор. Ленинграда.

В связи с расследованием уголовного дела об убийстве Корецкого Евгения Константиновича, призывавшегося на действительную службу в Советской Армии вашим военкоматом, прошу оказать содействие в срочном установлении и розыске сослуживца Корецкого по армии, имя которого Отар (или Отари).

О результатах прошу сообщить в Московский уголовный розыск — Москва, К-6, Петровка, 38.

...В ту же ночь я выехал в Москву...

МОСКВА

ЛИСТ ДЕЛА 40.

На Комсомольской площади шел дождь, кипела людская толчея, и на стоянке такси вилась длинная очередь. Размахивая своим чемоданчиком, я прошел через площадь и направился по Домниковке к Садовому кольцу. Все равно еще рано. На углу Ананьевского переулка я зашел в маленький кафетерий. У прилавка стояло несколько человек, и пожилая, очень разговорчивая продавщица беседовала сразу со всеми. Очередь двигалась, и каждому вместе со стаканом кофе и дымящейся сардельной доставалась своя порция разговора.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—17.

Парень в спецовке, стоявший передо мной, узнал о босяке-зяте, который выпил за ужином пять бутылок пива, а мне она поведала об Анне Карениной — не очень порядочной, но все-таки хорошей женщине.

Я пил невкусный кофе, обжигался раскаленными кусками сардельки, и настроение у меня было хорошее. Я был уверен, что сегодня придут важные вести. Потом я вышел на Сретенку, на родной мой Рождественский бульвар, на Трубную площадь и по Колобовскому пришел на Петровку. Я шел и ни о чем, ни о чем не думал, размахивал чемоданом и улыбался дождю, листопаду и прохожим.

И когда я затопал по бесконечным МУРовским коридорам, то понял: я дома. И окончательно поверил, что новости будут. Пришли они в полдень...

В Московский уголовный розыск
Москва, К-6, Петровка, 38.

На Ваш запрос сообщаю, что одновременно с Е. К. Корецким, в одном подразделении с ним, проходил службу АБУЛАДЗЕ Отар Георгиевич, уроженец гор. Москвы. По окончании службы АБУЛАДЗЕ О. Г. уволен в запас и выбыл в город Москву.

Военком Петроградского района
гор. Ленинграда.

ЛИСТ ДЕЛА 41.

Я очень уважительно отношусь к справкам. Во-первых, они сообщают много полезных сведений, а во-вторых, из-за одной-единственной справки я схлопотал ровно через месяц после окончания университета пять суток гауптвахты.

Меня направили тогда следователем в отделение милиции, и жизнь моя была голубой, как целое поле незабудок. В одно из первых ночных дежурств я сидел, скучал и проклинал себя за то, что не захватил какую-нибудь книжку. Дежурство было удивительно спокойным — ни одного происшествия за всю ночь. Лишь одинокий пьяница со вкусом храпел на скамейке, дожидаясь машины из вытрезвителя.

Часов около двух ночи в дежурку вдруг вошел решительным шагом какой-то пожилой джентльмен в кавалерийской шинели и обмотках. Проходя мимо пьяницы, он похлопал его по плечу и строго сказал:

— Активизируйтесь, товарищ!

Перегнувшись через барьер, пришедший протянул мне руку:

— Здравствуйте! Меня зовут Михаил Петрович Черепанов.

— Здравствуйте, Михаил Петрович,— радушно сказал я.

— Я хотел бы обсудить с вами один вопрос. Дело в том, что я обладаю фантастической особенностью перемножать в уме любые многозначные цифры.

Я недоверчиво покосился на него.

— Извольте проверить. Назовите две трехзначные цифры.

— 387 и 284.

Он на мгновение мучительно зажмурился, кожа заходила у него на голове. Даже уши шевелились. Затем сказал:

— 109908. Проверьте на бумаге.

Я взял ручку и считал, наверное, минут пять. Получилось точно.

— Точно? — торжествующе спросил он.— А теперь назовите две четырехзначные.

И четырехзначные он перемножил поразительно быстро и точно.

— Убедились?

— Факт.

— Теперь скажите, может ли человек, обладающий такими способностями, быть сумасшедшим?

— Никогда! — искренне заверил я.

— Тогда не откажите в любезности выдать мне об этом справку.

Я расхохотался, взял ручку и написал на клочке бумаги: «Справка. Я, имярек, побеседовав с Михаилом Петровичем Черепановым, и мысли не допускаю, что он может быть сумасшедшим. К сему — с уважением»,— и расписался.

Михаил Петрович упорно откланялся и ушел, напомнив по дороге спящему пьянице:

— Сохраняйте достоинство!

Через два дня Михаила Петровича разыскали сотрудники психиатрической больницы имени Кащенко, откуда он бежал в ту злополучную ночь. Он доказывал им, что обладает дипломатическим иммунитетом, засвидетельствованным моей справкой. Об этом и сообщил главврач больницы начальнику райотдела.

— Так ведь это же ерунда, я ведь от своего имени, без должности, написал ему эту справку,— слабо оправдывался я.

— Когда ты на дежурстве, нет у тебя никакого своего имени. У тебя одно есть имя — следователь,— сказал начальник райотдела.— Иди, подумай об этом на гауптвахте...

СПРАВКА

Центральное адресное бюро сообщает, что гражданин АБУЛАДЗЕ Отар Георгиевич, 193* года рождения, уроженец гор. Москвы, проживает в Москве, по Трехпрудному переулку, дом № 11/13, кв. 89 (108-е отделение милиции), работает врачом-стоматологом в зубоврачебной поликлинике № 2 Киевского райздравотдела.

ЛИСТ ДЕЛА 42.

Поликлиника № 2 находится в районе Кутузовки. Я поехал туда на метро, чтобы успеть все не спеша обдумать. Вообще-то мне не нравится метро, потому что я всегда чувствую себя в переполненных вагонах подземки бесконечно одиноким.

Может быть, оттого, что за окнами коричневая мгла туннеля, рассеченного пунктиром редких фонарей, или ровный грохочущий гул поезда давит на уши, может быть, потому, что здесь нет времени и не бывает ни весны, ни утра, а только есть график движения, но именно в метро люди всегда погружены в себя до предела, и меня пугают их ничего не выражающие лица. И как оживают, словно просыпаются эти лица, когда поезд с веселым тарахтением вдруг вылетает на мост или наземный перегон. И люди улыбаются обычному солнечному свету и небу так, будто видят все это впервые.

Вот поэтому я люблю садиться в вагон на станции Калининская, куда поезда приходят не из безвременья, а с настоящей живой земли. Зимой на Калининской вагоны тяжело дышат и мелко дрожат, холодные, запотевшие, покрытые узорной изморозью. Летом они запыленные, ласково теплые, и по полу летает тополиный пух. А сейчас они были просто мокрые, и струйки катились по стеклам и резиновым прокладкам дверей.

Потом я разговаривал с медицинским регистратором Князевой, подсчитывал и прикидывал.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Евдокии КНЯЗЕВОЙ

...**Вопрос.** Скажите, кто из врачей отсутствовал на работе 30 августа?

Ответ. Осмотрев журнал учета выхода на работу, могу показать: 30 августа на работе не было доктора Кузнецовой, заместителя заведующего зубопротезным отделением; доктора Пилецкой, стоматолога; доктора Абуладзе, стоматолога; доктора Иванцова, рентгенолога.

Вопрос. По каким причинам они отсутствовали?

Ответ. Кузнецова и Иванцов были больны. Пилецкая с десятого мая в декретном отпуске. Абуладзе с четвертого августа по второе сентября был в очередном отпуске.

Вопрос. Когда Иванцов и Абуладзе приступили к работе?

Ответ. У Иванцова было тяжелое воспаление легких. Он до сих пор на больничном. Абуладзе приступил к работе третьего сентября.

Вопрос. Чем это подтверждается?

Ответ. Во-первых, я это подтверждаю. Во-вторых, журналом, который вам предъявлен. В-третьих, я могу показать карточки больных, в которых Абуладзе делал записи с третьего сентября. Вот, например, пять карточек с записями Абуладзе как за третье число, так и за последующие дни. Наконец, большинство сотрудников поликлиники видели Абуладзе и могут это засвидетельствовать...

ЛИСТ ДЕЛА 43.

Значит, когда Женя Корецкий уже подъезжал где-то к Солнечному Гаю, Отар Абуладзе вел прием пациентов. В Москве, за полторы тысячи километров от места убийства.

Я вошел в его кабинет, а он разговаривал с кем-то по телефону.

— Гаумарджос-гаумарджос, бичо! — кричал Абуладзе в трубку и весело хохотал. Прикрыв микрофон ладонью, он показал мне на кресло:

— Садись, дорогой, садись! Сейчас...

Но в зубоврачебном кресле мне делать было нечего. Зубы у меня здоровые. Он разговаривал по-грузински и все время смеялся, синкопируя гортанную речь постоянным возгласом: «Ара, ара!» Видимо, ему предлагали что-то очень смешное и совсем ненужное, а он все время отказывался.

А я смотрел внимательно в его ласковые, бархатные глаза и говорил себе растерянно-обрадованно: «Не он, не он, не он». И хотя вся моя постройка уже с грохотом рушилась, я почему-то не досадовал на это. Потом вдруг пришла на память, вроде совсем некстати, американская пословица: «Не меняйте ваших лошадей посреди реки».

Абуладзе положил трубку и сказал нараспев, как давным-давно кричали во дворах старьевщики:

— Зубы выдираем — починяем — заменяем! Садись, дорогой, смотреть будем!

Я покачал головой:

— Не надо. Я пришел не за этим. Мне нужно поговорить с вами, потому что убили Женю Корецкого.

Сказал — и испугался: кровь отливала от его лица так стремительно, будто я ударил его ножом в живот...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Отара АБУЛАДЗЕ

Вопрос. Расскажите, как вы провели отпуск.

Ответ. Третьего августа после работы я выехал в Лугу. Около трех недель я пробыл там в доме отдыха, а потом решил съездить в Ленинград, побродить по городу, сходить в музеи, навестить своего друга Женю Корецкого. Если бы удалось его застать,— он не всегда бывал в Ленинграде. Так я и сделал. В Ленинграде пробыл до 30 августа и вместе с Женей, которого я все-таки застал, и еще с одним товарищем на машине Жени приехал в Москву. Ребята уехали дальше, на юг, а я остался в Москве и через два дня пошел на работу.

Вопрос. Как протекала дальнейшая поездка ваших друзей?

Ответ. Я не знаю. Женя обещал написать мне по возвращении. Но я от него так ничего и не получил.

Вопрос. А как зовут вашего второго товарища?

Ответ. Алексей Сабуров. Он из Тбилиси.

Вопрос. Что представляет собой Алексей Сабуров?

Ответ. Он немного выше меня, брюнет со светлыми глазами, светло-серыми или голубыми — точно не помню. Лет ему тридцать—тридцать два. Видимо, очень сильный: уж на что Женя силен, а когда они мерились силой — кто кому положит руку на столе,— Алексей свободно уложил его на локоть. И это несмотря на то, что у него нет двух пальцев на правой руке.

Вопрос. Каких пальцев нет у Сабурова?

Ответ. Полностью мизинца и двух фаланг безымянного. На это сразу обращаешь внимание при рукопожатии.

Вопрос. Где останавливался Алексей в Ленинграде?

Ответ. У своей тетки, которая живет на улице Маяковского, дом 10, квартира 26. Я хорошо запомнил адрес, потому что сам записывал его накануне отъезда,— мы договорились утром заехать за ним. Мы подъехали в шесть утра, дважды просигналили, и Алексей несколько минут спустя вышел с чемоданчиком.

Вопрос. Почему вы не были прописаны в гостинице «Астория»?

Ответ. В гостинице, как всегда, не было свободных номеров. К счастью, прямо в вестибюле я встретил старого друга своего отца — Соломатина Сергея Евсеевича, который приехал в Ленинград по делам. Он мне сразу предложил разделить с ним его номер и расходы на него. А прописывать в номере второго человека администрация не желала: номер значится одноместным, хотя там, кроме кровати, был диван-кровать, на котором я и спал..

— Расскажите подробно о встрече с Корецким с первого до последнего момента,— попросил я Отара.

...— Я приехал в Ленинград числа двадцать четвертого и в тот же день, узнав, что Женя в Ленинграде, пришел к нему домой. У Евгения была большая радость — он только что получил новенькую «Волгу», о которой давно мечтал. Мы много времени проводили вместе, я познакомился с невестой Жени — Тамарой. Однажды Женя затащил меня на автомоторынок около клуба Капранова, который служит своеобразным клубом автомобилистов. Женя мечтал оснастить машину никелированными зеркальцами и желтыми фарами. На стоянке рядом с нами стояла «Волга» с тбилисским номером. Ее владелец, молодой общительный парень, разговорился с нами, рассказал между прочим, что хочет продать свою машину. Я удивился, зная, что автомобили можно продавать только через комиссионный магазин. Однако этот парень объяснил, что имеет официальное разрешение ГАИ на прямую продажу машины. Мы познакомились. Это и был Алексей Сабуров. Около полудня, когда Женя купил себе красивую желтую фару и мы уже собирались уезжать, нашелся покупатель на машину Алексея. Они договорились о цене и уехали оформлять передачу машины. Перед этим Алексей взял у Жени номер его телефона. Через несколько дней Жене позвонил Алексей, и они договорились встретиться. Это было тридцатого. Я поехал с Женей, и мы встретили Алексея на Большом проспекте, около кино. Алексей порадовал Женю сюрпризом: небрежно вытащил из кармана пиджака и бросил на переднее сиденье сверточек. К восторгу Жени, которое может понять только автомобилист, в свертке оказалось великолепное зеркало, новенькое, никелированное, с рефлектором и приспособлением для моментальной установки на дверь. О плате за зеркало Алексей и слышать не хотел, обиделся и сказал, что в Тбилиси с друзей денег не берут. Больше того, показав толстую пачку денег, он заявил, что намерен как следует отметить продажу машины и поэтому приглашает нас в ресторан. Мы с удовольствием приняли приглашение этого славного парня, при этом мы с Женей договорились принять участие в расчете за ужин в ресторане.

Мы пришли в «Асторию». Настроение у всех было прекрасное, и мы сами не заметили, как немножко перепили. В разгар ужина, когда все мы были уже навеселе, Алексей встал и провозгласил тост за знаменитое кавказское гостеприимство. Мы искренне поддержали этот тост. Тогда Алексей торжественно пригласил нас на несколько дней к себе в Тбилиси, обещая отличный праздник в нашу честь. При этом он, смеясь, сказал, что сэкономит на самолете, а мы взамен прекрасно обкатаем новую машину и совершим великолепное путешествие. Поскольку мы с Женей были в отпуске, мы без особых колебаний согласились. Только наутро я сообразил, что мой отпуск заканчивается через три дня и я никак не смогу участвовать в этой поездке. Короче, мы договорились выехать завтра в шесть утра.

Поскольку я объяснил ребятам, что не могу ехать с ними в Тбилиси, было решено отвезти меня в Москву и уже оттуда продолжать путь на Кавказ. Алексей все еще смеялся надо мной, называл «арбатским грузином» и говорил, что он сам в сто раз больше грузин, чем я. Часов в пять дня мы уже были в Москве. Я предложил переночевать у меня, но Алексей сказал, что это нецелесообразно: они еще сегодня доедут до Орла. Поскольку у Жени времени было тоже в обрез, он согласился с Алексеем, мы распрощались около моего дома, и они уехали. По дороге Алексей рассказал нам, что работает механиком в большом автохозяйстве. Нас привлекли его открытый, общительный характер, широта. Видно было, что он человек опытный, бывалый. Алексей не только артистически водил машину, но и блестяще в ней разбирался — буквально на ощупь, не глядя, он находил в ней малейший недостаток и тут же его устранял. Например, после того, как он отрегулировал карбюратор на машине Жени, она буквально удвоила свою мощность. Да и вообще Алексей — весьма обаятельный человек. Я понимаю, конечно, что он сейчас на подозрении у следствия, но это такой симпатичный парень, я просто не верю, что он может быть причастен к Женину гибели. Боюсь, не пал ли он жертвой тех же преступников, которые убили Женю...

Все запуталось окончательно. Надо, наверное, не суетиться сейчас, подумать, куда какие ведут пути. «Волга», проданная Сабуровым в Ленинграде. Так-так-так. Все равно непонятно...

— Скажите, Абуладзе, какой номер имела «Волгу» Алексея?

— Я не знаю. Помню только, что это был номер из Грузии — «ГФ» или «ГХ».

— А какого цвета была эта машина?

— Кофейного. Вернее, низ — белый, а верх — кофейный.

— Сообщил ли вам Алексей свой тбилисский адрес?

— Нет. Это было ни к чему, раз он сам ехал с нами.

— А откуда был покупатель «Волги» Сабурова?

— К сожалению, я не знаю и этого. Я лишь слышал краем уха, как он говорил, что у него есть срочные дела в облисполкоме. И еще — что ему ехать до дома на машине часа три-четыре. Да, вспомнил: они с Алексеем обсуждали вопрос, открыта ли областная госавтоинспекция, чтобы еще сегодня оформить передачу автомашины...

ЛИСТ ДЕЛА 44.

Ошибки в конечном итоге не только возможны, но и необходимы. В общем-то по большому счету вся история человечества — это цепь преодоленных ошибок. Но я не работаю в институте всеобщей истории. Я следователь, и каждая ошибка — это торпеда в борт моего перегруженного, черпающего бортами корабля. Но как увернуться от торпед, как проложить правильный курс? Ведь ошибки бывают самыми неожиданными. Вот как случилось с одним моим приятелем, молодым летчиком, впервые попавшим в Уэлен. Накрыл его там снеговой заряд, и целую неделю томился он в местной гостинице, дожидаясь летной погоды. Пока не высмотрел там хорошенькую девушку-чукчанку. Девушка была закутана в элегантные меха, чрезвычайно молчалива и все время важно курила трубку с длинным чубуком. Подкатился к ней летчик, сел рядом — и давай соловьем разливаться, рассказывать о своей гордой работе. Девушка только щурила от удовольствия глаза и снисходительно кивала головой. Потом выпили, закусили шоколадом. И заиграла в моем приятеле молодая кровь — полез к ней целоваться. Девушка спокойно встала, отпихнула полярного аса и невозмутимо сказала: «С ума сосёл? Я — не девка, я — охотник!»

Может быть, и я ухаживаю за охотником? Отпал Отар Абуладзе, появились серьезные сомнения в том, что к убийству причастен Сабуров.

...Но, так или иначе, Сабуров — единственный известный мне человек, который был с Корецким на участке маршрута Москва — Крым. Найти, срочно надо найти Сабурова! У меня есть несколько путей, ближайший — его тетка в Ленинграде, на улице Маяковского...

В ЛЕНИНГРАДСКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

22 сентября, № 35/с.

Прошу срочно установить жильцов квартиры 26 дома 10 по улице Маяковского.

Под благовидным предлогом необходимо проверить, какое отношение к ним имеет некий Алексей Сабуров.

Прошу также выяснить по дому, не проживал ли в указанной квартире в период с 25 по 30 августа высокий черноволосый мужчина лет 30—32 (приметы Сабурова), не держал ли этот мужчина во дворе дома или около него «Волгу» кофейно-белого цвета с грузинским номером («ГХ» либо «ГФ»).

Справка: Сабуров подозревается в причастности к убийству Корецкого Е. К. Имеются сведения, что по указанному адресу проживает тетка Сабурова.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 45.

В коридоре я встретил знакомого оперативника — Сашу Савельева. Его рыжие вихры, как всегда, стояли дыбом.

— Ты чего сгорбился?— закричал он мне издали.

Я пожал плечами:

— Дела...

— Ха! Удивил! А у кого их нет? Я вон сам весь в заботах. С утра до ночи ношусь...

— Нам с тобой легко носиться — мы же тощие. А тощие — они жилистые, живут долго.

— Это не скажи! Пока толстый похудеет, тощий протянет ноги!

— Да ну тебя! — Я махнул рукой и пошел.

— Постой, постой! — остановил меня Саша.— Ты что, с женой поругался?

— А что?— удивился я.

— Я ее неделю назад в Гаграх видел. Побеседовали о том, об этом, а про тебя она — ни мур-мур.

— Да нет, не ругались. Просто она у меня сознательная: знает, что я весь при исполнении служебных и говорить об этом с посторонними нельзя.

Сашка очумело посмотрел на меня. Я прищемил двумя пальцами его мясистый, картошкой нос, сказал:

— Пишите письма,— и пошел в аппаратную...

...Мне просто позарез нужен этот Сабуров. Он должен много знать, он был где-то близко-близко у финиша. Надо обязательно найти его. Пожалуй, скорее всего — через госавтоинспекцию. Там обязательно регистрируют все операции с машинами...

«Исх. № 71/с
22 сентября

ЧРЕЗВЫЧАЙНО СРОЧНО!
СЛЕДСТВЕННОЕ.

ЗАПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ

В два адреса:

1. Госавтоинспекции гор. Тбилиси.
2. Госавтоинспекции Ленинградской области.

Прошу срочно проверить по учетам госавтоинспекции факт продажи в гор. Ленинграде «Волги» комбинированной окраски (верх — кофейный, низ — белый) жителем города Тбилиси Алексеем Сабуровым (предположительно) в период с двадцать шестого по тридцатое августа сего года. По ориентировочным данным, машину приобрел житель Ленинградской области. В положительном случае сообщите установочные данные Сабурова.

СЛЕДОВАТЕЛЬ».

Продолжение следует.

Я, следователь...

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 46.

С утра дождь немного угомонился. Я шел не спеша по Страстному бульвару и смотрел, как все больше редеют кроны деревьев, все толще красно-желтый ковер на земле. В конце бульвара, на детской площадке, где с визгом бегали малыши, я присел на скамейку. Худенькая, прямо прозрачная девочка хотела отнять у толстого, лобастого мальчишки ведерко. Парень ухватился за дужку обеими руками, сопел, пускал носом пузыри, но ведро не давал. Поняв, что ведра ей не получить, девочка горько заплакала. К ней подбежала молодая женщина, обняла девчушку и сказала:

— Людочка, ну, почему ты плачешь? Ты же неправа! Это ведь его ведро. Правда?

— Я же не насовсем... Я просто хотела немножко тоже поносить ведро...

Женщина усмехнулась:

— Но ведь у тебя дома есть ведерко. А каждый ребенок должен носить свое ведро. Правда?

Потом помолчала и задумчиво сказала:

— Вообще каждый должен в жизни носить только свое ведро.

Я встал и пошел на Петровку. Ведь каждый должен носить свое ведро...

Исх. № 03/сл.
23 сентября.

МОСКВА, СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На ваш № 71/с от 22 сентября.
ЗАПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ

Сообщаю, что с 26 августа по настоящее время Ленинградской госавтоинспекцией официальных сделок по продаже автомашины «Волга» из Тбилиси в Ленинградскую область не оформлялось.

Старший инспектор госавтоинспекции Ленинградской области
майор милиции ПЕРЕГУДОВ

ЛИСТ ДЕЛА 47.

Теперь у меня без адресов уже две машины. Получалась неплохая задачка для школы дефективных: «Первый автомобиль выехал из пункта А в пункт Б. Второй поехал ему навстречу — из Б в А. Поскольку они никуда не прибыли, спрашивается: зачем они вообще поехали?»

Непонятно, непонятно. Как много непонятного! Когда я окончил университет, моя мать, считавшая, что лучше старых вещей не бывает (разве сейчас такое где-нибудь купишь?), перелицевала для меня отцовский бостоновый костюм. Я пришел в нем на работу, гордый до невозможности. Старый оперативник Панов хмуро сказал:

— Дай-ка посмотреть товарец...

Я зазлел от удовольствия, но Панову сказал небрежно, с достоинством:

— Да что там, пустяки...

Панов потер между пальцами материал, вывернул ногтем верхний кармашек на правой стороне пиджака, поцокал языком и завистливо сказал:

— Хорош костюмец. Послушай, а третьей стороны у него нет?

Я вспомнил об этом потому, что, читая сообщение из Тбилиси, понял: у моей версии может быть еще одна сторона...

Исх. № 16/сл.
23 сентября.

МОСКВА, СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

На ваш № 71/с от 22 сентября.
ЗАПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ.

Алексей Сабуров в числе владельцев личных автомашин не значится. В указанный вами период сделок по продаже автомашин из Тбилиси в Ленинград не зарегистрировано.

Для сведения сообщаю, что Тбилисской милицией разыскивается кофейная «Волга» № ГХ 34 52, похищенная 22 августа с/г с техталоном № ГХ 765354 на имя РАБАЕВА М. С.

...Нет, эта информация ничего не разъясняла в моей проблеме. Наоборот, не решив мою задачу, она добавила свою — задачу о кофейной «Волге» Рабаева. Хотя, как говорит один мой ученый друг, появление непредвиденных вопросов при исследовании проблемы прогрессивно. Даже несмотря на усложнение поиска.

ЛИСТ ДЕЛА 48.

Оставалась еще маленькая зацепка — адрес тетки Алексея Сабурова, у которой он жил в Ленинграде. Правда, рассчитывать на такую точку опоры рискованно.

А была ли тетка? Будь на свете такая тетка, многое сразу бы стало на свои места. Но если Корецкого действительно убил Алексей, то вряд ли он оставлял бы за собой такие маршрутные стрелы.

Я сидел в кабинете и раздумывал над всем этим, когда вошел Савельев и протянул бланк:

— Тебе телеграмма из Ленинграда.

Я читал сообщение, а Сашка сидел на стуле верхом и разглагольствовал:

— Старик, я вот слышал в передаче по радио, что если человек от злости краснеет, то он становится сильнее, а если бледнеет, то слабее. Как ты думаешь...

Я взглянул в маленькое зеркальце на стене. Белый я был. Белый с синевой, как прокисшее молоко.

ТЕЛЕГРАММА

Сообщаю, что по адресу: Ленинград, ул. Маяковского, десять, квартира двадцать шесть — проживают ДЕМИДОВ Павел Григорьевич семидесяти двух лет и его внучка Ира четырнадцати лет тчк

САБУРОВ родстве не состоит им неизвестен тчк

Человека названными приметами также «Волги» грузинским номером доме никто не видел тчк

Оперуполномоченный Ленуголовыска
ЛЕОНИДОВ

Продолжение. Начало см. «Огонек» №№ 14, 15, 16, 17, 18.

ЛИСТ ДЕЛА 49.

Вот и все. Замкнулось следующее кольцо поиска. Эх, мне бы своего Вергилия на этих дьявольских кругах! Тем более, что с таким экскурсоводом легче оправдываться у начальства. Ладно, спасибо хоть, что я, как тот пассажир, не еду вообще в другую сторону.

Человеку без интуиции работать следователем нельзя. Я, например, в это искренне верю. Потому что я по-своему толкую это слово. Интуиция — вовсе не внутренний голос, безотчетно диктующий нам поступки. Интуитивность — это способность мгновенно произвести в миниатюре анализ обстановки и принять решение. А хороша у человека или плоха интуиция — просто определяется его способностью быстро анализировать информацию. Следователь должен уметь мгновенно, буквально в одно касание, оценивать факты — как пилот сверхзвукового истребителя на ощупь управляет всеми бесчисленными кнопками, ручками и рычажками в своей кабине. Иначе достаточно будет один раз ошибиться, и дело свалится в необратимый штопор. Вот эта быстрота и точность оценки, по-моему, и есть интуиция. А разговоры насчет внутренних голосов и подсознательных настроений — сущие пустяки. Если нечего анализировать, то и никаких голосов внутренних не будет. Поэтому, когда эти голоса появляются во мне, я стараюсь извлечь их наружу и распотрошить, как студент лягушку.

Сейчас я уже как будто точно знаю, что Сабуров продал машину в Ленинграде, а ГАИ утверждает, что не было этого; знаю, что Сабуров останавливался у тетки в Ленинграде, а Леонидов телеграфирует, что тетки в природе не существует; знаю, что Сабуров — обаятельный парень, а Женя Корецкий убит!.. Внутренний голос начинает твердить мне, что без Сабурова здесь не обошлось.

Но, чтобы не вводить свою интуицию в искушение, я предпочитаю надежную информацию. Мне нужно знать точно: кто он такой, этот Сабуров?..

Исх. № 81/с
23 сентября.
В ТБИЛИССКИЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК

СПЕЦТЕЛЕГРАММА

Связи делом убийстве Корецкого срочно установите Тбилиси личность Алексея Сабурова зпт возможно работающего механиком автохозяйства тчк Приметы Сабурова рост 186—188 см брюнет зпт глаза светлые зпт серые или голубые с отчетливым темным зрачком зпт на правой кисти нет мизинца части безымянного пальца тчк

При обнаружении Сабурова немедленно сообщите его координаты зпт компрометирующие материалы зпт данные о продаже им автомашин тчк

Случае установления лица другой фамилией зпт но вышеуказанными приметами также информируйте нас тчк

СЛЕДОВАТЕЛЬ

ЛИСТ ДЕЛА 50.

Вечером, в начале восьмого, пришла спецтелеграмма из Тбилиси. Я прочитал ее и растерялся. У меня появилось такое ощущение, будто все вокруг меня стали говорить в десять раз быстрее обычного и слова, события слились в какой-то мелькающий, остро бормочущий, непонятный визг. Я пытался схватить их, затормозить их нелепый, ненормальный бег, чтобы рассмотреть, понять, как-то объяснить.

№ 29-сл
23 сентября.
18-05.
СПЕЦТЕЛЕГРАММА

Нами установлен САБУРОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ зпт 1927 года рождения зпт инженер зпт проживает Руставели пятнадцать квартира четыре тчк Автомобиля не имеет тчк Сообщенным приметам не соответствует тчк Материалы задержания Сабурова Риге зпт объяснения Сабурова зпт письмо Косова высылаю авиапочтой тчк

Замначотдела угрозыска
МАНЧАДЗЕ

Потом заглянул Сашка Савельев — уже в кепке, в плаще,— собрался домой. Я сказал ему:

— Садись, Саша, может быть, вместе чего-нибудь надумаем...

Видно, очень уж не хотелось ему торчать здесь еще неизвестно сколько. Но он браво тряхнул рыжим чубом:

— Давай. Может быть, надумаем. Мне эта работа непривычна, поэтому особенно приятна. Что-нибудь в стиле покойного В. Я. Кляцкина?

— Какого Кляцкина? — не понял я.

— Это сидел я как-то в одной веселой квартирке три дня. Да-а. В засаде, значит, сидел, и помирал эти три дня от тоски, потому что во всем доме смог найти одну-единственную книжку — сборник шахматных этюдов. Ну, я и стал ее прорабатывать, хотя в шахматы играть не умею. Сплошь цифры и латинские буквы — ничего не понятно. И во всей этой абракадабре вдруг нахожу такую фразу: «Этот совершенный по своему остроумию и изяществу этюд решен в стиле покойного В. Я. Кляцкина». И восклицательный знак после цифри. Вот тут меня охватила жутная зависть к покойному В. Я. Кляцкину, который умел из одних цифр и букв составлять «совершенные по своему остроумию и изяществу этюды»...

АВИА

№ 823/I
23 сентября.
МОСКВА, СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

В соответствии с нашим № 29/сл от 23 сентября направляю материалы в отношении САБУРОВА Алексея Степановича.

Приложение:
(на 3 листах).
1. Письмо 7-го отделения милиции гор. Риги.
2. Объяснение Сабурова.
3. Письмо Косова.

Зам. начальника отдела Тбилисского уголовного розыска подполковник милиции
МАНЧАДЗЕ

Пакет из Тбилиси — толстый, твердый, с пятью коричневыми сургучными печатями — я держал несколько мгновений в руках, не решаясь вскрыть. Там, за этими печатями, для меня еще была тайна, которая умрет сразу же, как только я сломаю эти хрупкие коричневые нашлепки. А может быть, тайна, и умерев, не снажет, почему Сабурова задержали в Риге? И почему не совпадают приметы? И кто такой Косов? И о чем он пишет Сабурову?

Нераспечатанное письмо всегда наполнено большими ожиданиями...

№ 2232/3
14 сентября.
В ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ТВИЛИССКОГО ГОРИСПОЛКОМА

Сообщаю, что инженер Сабуров Алексей Степанович, житель гор. Тбилиси (ул. Руставели, дом 15, кв. 4), находясь 13 сентября с/г в рижском ресторане «Перль» и будучи в нетрезвом состоянии, совместно с гражданином ИВАНОВЫМ П. К. учинил пьяный дебош: громко скандалил, выражался нецензурными словами, замахивался на Иванова бутылкой.

При доставлении в милицию Сабуров успокоился, заявил, что осознал свои неправильные действия, в связи с чем мы сочли возможным на первый раз ограничиться штрафом. Сообщаем об изложенном для принятия к Сабурову мер общественного воздействия по месту его работы.

Заместитель начальника 7-го отделения милиции гор. Риги капитан милиции
КАСЮЛАЙТИС

Так... А теперь объяснение Сабурова.

В МИЛИЦИЮ гор. ТБИЛИСИ
от гр-на САБУРОВА А. С.,
работающего инженером формовочного цеха Тбилисской фабрики пластмасс

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я вызван в милицию в связи с якобы учиненным мною тринадцатого сентября дебошем в Риге. Однако это явное недоразумение, потому что, во-первых, я тринадцатого сентября из Тбилиси никуда не выезжал и был у себя на работе; во-вторых, я вообще никогда в жизни в Риге не был. То, что я в этот день был на работе, может подтвердить весь коллектив фабрики, а то, что я никогда не был в Риге, знает любой мой знакомый.

Но у меня есть догадка, в чем дело. В июле этого года я то ли потерял, то ли у меня вытащили мой паспорт — я даже не знаю, как это было. Я заплатил штраф и получил новый паспорт. А со старым, наверное, разгуливает какой-то проходимец, который устраивает хулиганство под мою бирку. Поэтому прошу поскорее найти его и отобрать мой паспорт, пока он опять где-нибудь не напился, а меня опять будут таскать в милицию. Кстати, я получил какое-то непонятное письмо от неизвестного мне человека, который требует, чтобы я поскорее оформил его машину. Но я понятия об этом не имею, поэтому прилагаю письмо к своему объяснению: может, это проделки все того же ловкача? А ко мне прошу никаких мер общественного воздействия не применять, пока не разберетесь. К сему — САБУРОВ.

На дополнительный вопрос объясняю: конверт от этого письма я утерял.

САБУРОВ.
Объяснение отобрал
уч. уполномоченный ЗАВАЛОНОВ

Да-а, дела. ...А где же письмо? Ага, вот оно.

УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ!

Машина моя в полном порядке, и я ею доволен. Однако мне препятствует ее использовать то, что она до сих пор не оформлена. Ведь вы обещали прислать техпаспорт с оформлением не позже пятого сентября, сегодня уже пятнадцатое сентября, а от вас ничего нет. Я тем более тороплюсь, что собираюсь в отпуск. Поэтому прошу не медлить, а сразу же

оформить на меня машину и выслать мне бумаги. Очень прошу не задерживать, ведь мы же обо всем договорились!

15 сентября, КОСОВ

ЛИСТ ДЕЛА 51.

Мой школьный учитель Коростылев говорил: «Не употребляйте всуе слово «итак». Это — важное слово, ибо содержит в себе моральные обязательства: оно всегда должно свидетельствовать об окончании существенного жизненного, трудового или ораторского периода...»

Я не могу сказать «итак», ибо ничего существенного не узнал. Просто человек, который, по-видимому, убил Женю Корецкого, снова стал бесплотным, исчезнув, как дождевая капля в реке. Я уже было стал привыкать к нему, охотно называл его Сабуровым, представлял себе часто его внешность, чтобы он стал телесным, объемным, чтобы он превратился в реального врага. С которым можно бороться, которого можно ненавидеть. Ведь сейчас возникает странная коллизия: если он убил впервые и больше не намерен этим заниматься, то он может навсегда исчезнуть из поля зрения. Если он пойдет на новые преступления, то обязательно оставит следы, и мы скорее всего его поймаем и воздадим полной мерой. Но ценой этого возмездия станут еще несколько человеческих жизней. Умрут несколько безвинных людей, которые сейчас, наверное, весело смеются, о чем-то мечтают, кого-то любят. И не знают, что смерть пустыми глазами уже смотрит им в затылок.

Все, больше никакого Сабурова для меня нет. Есть бандит, который здорово «засветился» в Риге и которому написал письмо Косов в наивной надежде получить документы ворованной «Волги». Как я догадываюсь, все эти бумаги мне охотно и очень быстро спихнули из Тбилиси, потому что там сами не знали, что с ними делать. Сейчас у меня два пути: искать Косова или ехать в Ригу. Но Косов, даже если я его быстро разыщу, даст очень мало. Косов — этап пройденный и больше этого липового «Сабурова» и в глаза не увидит. Нет, надо ехать в Ригу. Там наверняка что-нибудь еще можно найти.

Я заполнил бланк телефонограммы и побежал на четвертый этаж. Перескакивая по серым бетонным ступенькам, я вспомнил одну из мрачных сентенций учителя Коростылева: «Не катайтесь на перилах, дети, берегите их, ибо это сооружение делает наше падение с лестницы проблематичным...» Эх, где бы достать перила для своей жизненной лестницы?..

В ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОВЛУГРОЗЫСК
ТЕЛЕФОНОГРАММА № 90/с

Из новых материалов следствия усматривается, что фамилия разыскиваемого нами покупателя кофейно-белой «Волги», весьма вероятно, КОСОВ.

При установлении этого лица ПРОШУ:

1. Подробно допросить его о всех обстоятельствах покупки «Волги».
2. При наличии у покупателя каких-либо документов на эту машину срочно подвергнуть их криминалистической экспертизе на предмет установления их подлинности.
3. Осмотреть купленную им машину и зафиксировать номера двигателя, кузова и шасси, а также государственный регистрационный номер.

Ответ шлите в адрес городского отдела милиции Риги.

СЛЕДОВАТЕЛЬ

...Значит, решено — еду в Ригу. Интересно, сколько же мне мотаться еще? Конца и края не видно. И почему-то вспомнил слова Сашки Савельева: «А про тебя жена — ни мур-мур»...

Я вышел на улицу, постоял, раздумывая, куда бы мне пойти в последний вечер.

Стоял, думал-думал, пока не понял, что идти мне некуда. У входа в Эрмитаж, несмотря на дождь, ждали своих девушек молодые люди с грустными осенними букетами. А самим им было весело, они так много ждали от сегодняшнего вечера! Где-то в парке играла негромко музыка, шаркали шинами по лужам такси. Неоновые огни отсвечивали в низких облаках, и облака от этих огней были красные, угрожающие.

Я дошел до почтового отделения, взял бланк телеграммы и написал: «Наташа, закончу дела, пошлю все к чертям. Без тебя мне очень худо. Хочу быть всегда с тобой. Все еще будет прекрасно. Напиши мне письмо в Ригу, горотдел милиции».

Девушка-телеграфистка просмотрела мельком бланк.

— Ругаться по телеграфу нельзя,— сказала она.

— А я и не ругаюсь.

— Вы написали «все к чертям».

— Разве? Это я про плохих людей.

— Я их не знаю, и все равно нельзя.

— Я их тоже не знаю,— поначал я головой.

Девушка взглянула на меня, как на сумасшедшего. Я взял из ее рук бланк и почти все вычеркнул. Осталось: «Наташа, без тебя мне очень худо. Напиши мне в Ригу».

— С вас 56 копеек.

— За любовные послания надо брать дороже. Как за «молнии»...

ЛИСТ ДЕЛА 52.

Я открыл глаза и снова прижмурил веки, подумав, что сон все еще продолжается. Потом приоткрыл один глаз. На нижней полке сидел поп. Ну да, самый обычный священник — в черной рясе, с красивыми длинными волосами и серебряным наперсным крестом.

Поп взглянул на меня и, увидев мой приоткрытый глаз, заулыбался.

— Крепкий сон — признак чистой совести и нормальной физиологии,— весело сказал он.— Когда я сел в Ржеве, вы уже сладко почивали.

Я пробурчал ехидно:

— А разве церковь признает физиологию?

Священник улыбался добродушно-снисходительно:

— Мой друг, у вас написано на лице, что сейчас вы спросите меня, почем опиум для народа и почему факты из Бытия не соответствуют фактам из Экклезиаста.

Это меня рассмешило, но все равно я настроился к нему враждебно. Потому что есть такая примета: если встретил попа — дороги не будет. А в плохие приметы я не то чтобы верю, но отношусь к ним с опаской. Тем более, что мне очень нужна была хорошая дорога. Обязательно.

Потом он сказал:

— К людям надо добро относиться, с верой, и они возвращают добро и веру сторицей.— И стал прихлебывать из стакана горячий чай.

Свесив сверху голову, я задиристо спросил:

— По-вашему выходит, что люди только у вас могут получить добро и веру. Так, что ли?

— Это — слишком вольное толкование моих слов. Безразлично, где человек может получить добро и веру — в храме господнем или в агитпункте. Важно, чтобы получил и с благостью употребил.

— Ну, эти сказки я слышал,— махнул я рукой.— Добро и вера не бакалейные товары, и где попало их не получишь.

— Между прочим, и бакалею где попало не получишь.

— Чего, чего?— Я решительно привстал на полке и ударился затылком о потолок.

Священник еле заметно ухмыльнулся и снова кивнул:

— Да-да. Рис в керосиновой лавке не получишь. А если получишь, то рис будет с запашком.

Потирая охотно набухавшую шишку, я торжественно воздел руку:

— Вот именно! Добро и вера с душком совсем никуда не годны!

Священник пожал плечами.

— Есть же общечеловеческие представления о добре. Потому что человек вообще добр. И сказано в писании: «Зло сердца человеческого от юности его».

Разговор был какой-то бессмысленный, без точных позиций. Да и понимаем мы с ним все по-разному. Мне стало досадно, что поп, как в теплой ванне, купается в струях своего альтруизма, а я, получается, какой-то бес злобный. И я сказал:

— Чтобы рассуждать о добре, надо узнать полную меру зла. Вы ведь грехи людские созерцаете и отпускаете. А мне за них карать приходится, если есть состав преступления. Потому что я считаю, если один другого ударил по левой щеке, то не надо подставлять правую, а надо дать хулигану два года. Поэтому вы добрый, а я злой. Вот и получается — у вас десять заповедей, а у меня — Уголовный кодекс.

— Хм, у вас же есть это, как его, моральный кодекс...

— Да, есть. У нас есть.— Я подчеркнул «у нас».— Но он адресован людям по-настоящему добрым или тем, которые еще могут стать добрыми. А есть среди людей такие, что их уже ничем не убедишь и никак не перевоспитаешь. Вот они-то, а не какой-то мифический диавол и есть враги человеческие. И уж, конечно, мы им пощады не даем.

— Как я понимаю, вы, молодой человек, юриспрудент?

Я кивнул, усмехнувшись про себя: «Сашку Савельева буду теперь называть только «юриспрудент». Поп грустно посмотрел на меня.

— Характер работы в известной мере ожесточил вас против людей...

— Опять двадцать пять! Да почему же против людей?!

— Потому что только всевышний может понять и простить любые человеческие прегрешения, ибо сам есть источник доброты!

— Врани! — заорал я, взбеленившись.— Человек! Человек — источник доброты! Поэтому для человека нетерпимо, когда доброту и веру топчут в грязь и кровь...

Поезд подходил к Риге.

Господи, неужели я действительно ожесточился против людей...

В помещении дежурной части седьмого отделения милиции было тихо, лишь в открытую форточку окна врывался частый монотонный шепот дождя, да из Ленинской комнаты доносилась фраза песни, которую кто-то разучивал на аккордеоне: «Пусть всегда будет солнце... Пусть всегда будет... Пусть всегда...»

Дежурный внимательно смотрел на меня, прижмурив один глаз, и я не мог понять, слушает он меня или аккордеон. Был он невозмутимо спокоен, толст, и казалось, будто китель не лопается на нем только потому, что дежурный никогда не двигается с места.

— Помните? — спросил я нетерпеливо.

— Помню,— кивнул дежурный и, наклонив голову, прислушался к аккордеону.— Снова наврал. Эх, артисты...

Аккордеонист наяривал изо всех сил: «Пусть всегда будет...» Дежурный с неожиданной легкостью поднялся, подошел к шкафу, присел около него на корточки и мгновенно, как фокусник, выдернул из пачки бумаг тощенькую желтую папочку.

— Она,— сказал он флегматично.— Здесь будете смотреть или...

Но я, облокотившись о барьер, уже раскрыл обложку...

ДЕЖУРНОМУ 7-го ОТДЕЛЕНИЯ
МИЛИЦИИ гор. РИГИ

Постового милиционера
сержанта милиции
СКРАБА Н. А.

РАПОРТ

Докладываю, что сегодня, 13 сентября, в 23 часа, я был вызван в ресторан «Перль», где граждане, оказавшиеся ИВАНОВЫМ П. К. и САБУРОВЫМ А. С., учинили скандал: громко кричали, сквернословили и затеяли драку.

Дебоширы доставлены мною в отделение милиции.

О чем и докладываю на ваше распоряжение.

Сержант милиции СКРАБ

ЛИСТ ДЕЛА 53.

Дебошир Иванов вошел в кабинет боком, сидел на крае стула, с ожесточением мял в руках свою кепку и вообще был очень мало похож на драчуна и скандалиста.

— Все водка проклятая,— сказал он огорченно.— На работе стыдуха жуткая, жена чуть из дома не выгнала...

— Но теперь-то, небось, зарок дали? — усмехнулся я.

Иванов прижал кепку к груди, как спортивный кубок.

— Да чтоб я теперь!..

— Вы в районном медпросвете попросите пару муляжей,— сказал я сочувственно.

— Каких муляжей? — удивился Иванов.

— Из папье-маше: печень здорового человека и печень алкоголика. Тоже очень помогает.

Он не понял — всерьез ли я говорю, и на всякий случай сказал:

— Обязательно.

— Вот и прекрасно. Расснажите теперь, что произошло тем вечером в ресторане.

Он снова начал маяться:

— Ох, прямо вспоминать неудобно...

— Неудобно зонтик в кармане раскрывать. И в пьяном виде в ресторанах драться. Давайте рассказывайте. И поподробнее...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Павла ИВАНОВА

...По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

13 сентября я пришел в ресторан «Перль». В середине вечера, когда я уже выпил бутылку коньяка и был основательно пьян, я решил потанцевать. С этой целью я подошел к одному из столиков, за которым сидели неизвестные мне мужчина и женщина. Я пригласил женщину танцевать, но она засмеялась и, как мне тогда показалось, сказала что-то обидное или оскорбительное. Тогда я сел за их столик и начал «выяснять отношения». Мужчина стал меня тыкать, оскорбляя нецензурными словами. Я разозлился и сказал, что я чемпион города по боксу. В ответ он прошипел: «Я тебя сейчас убью, сволочь...» Тогда я схватил стул и хотел им замахнуться, громко крича что-то при этом. Мужчина встал и взял в руку бутылку шампанского, намереваясь меня ударить. Но тут подбежали люди, схватили нас обоих за руки, а вскоре подоспела и милиция.

... — А вы что, действительно чемпион по боксу? — спросил я.

— Нет,— грустно поначал головой дебошир Иванов.— Сам даже не знаю, почему я это сказал...

Я посмотрел на него с каким-то сочувствием.

— А вы знаете, Иванов, что он вас действительно мог убить?

— Шутите? — побледнел Иванов.

— Нет, не шучу. Я серьезно говорю. Вы запомнили его внешность?

Иванов неопределенно развел руками:

— Высокий такой, черный, а глаза, по-моему, наоборот, светлые. Больше не помню ничего.

— Он вам говорил что-нибудь после прибытия милиции?

Иванов задумался:

— Не помню. Вроде ничего. Он только очень бледный был и все время шипел сквозь зубы: «Фраер, фраер проклятый, фраерюга».

ЛИСТ ДЕЛА 54.

Смешно, но дебошир Иванов стал своеобразным водоразделом в расследовании дела. Для меня он был первым человеком, столкнувшимся с убийцей уже после смерти Жени Корецкого. Ведь до этого момента я говорил только с людьми, видевшими «Сабурова», когда Корецкий был еще жив. Дебошир Иванов даже приблизительно не представлял себе, какой реальной опасности он подвергался...

Вот, значит, и всплыл. Произошло это почти две недели назад, и вряд ли бандит сидит и дожидается меня здесь. Но здесь его видели люди, много людей, и какие-то зацепки должны остаться. Надо ползти, как это делают альпинисты, используя малейшие уступы, выбоинки, трещины. Такую зацепку я нащупал, читая вновь протокол о скандале в «Перле». В нем

упомнилось об официантке Э. Э. Смилдзинь. Эта женщина заинтересовала меня всерьез.

Машина мчалась на взморье. Мокрый ветер бросал в лобовое стекло опавшие листья, серое, в белесых полосах море тусклo светило справа между деревьями. Потом машина юркнула в какую-то аллею и выскочила прямо на берег. Со скалы над морем нависал сияющей огромной линзой ресторан «Перль».

У стеклянных дверей толпился народ. Я обошел вокруг ресторана и нашел дверь с табличкой «Служебный вход». Я нырнул в нее, и в лицо ударило тягучим, как резина, запахом сырого мяса, жирного пара, подгоревшего масла. Над ухом заорали:

— Посторони-ись!

Я шарахнулся в сторону — мимо на большой тележке везли несколько говяжьих туш и длинных, острых, как торпеды, осетров. Мне пришел на память рисунок из «Занимательной арифметики» — человек-гора широко раскрыл рот-туннель, в котором исчезает железнодорожный состав с продуктами. Это, мол, к вопросу о том, сколько за свою жизнь поедает разного один средний человек. Хорошо хоть, что платить за все это надо не сразу!

Какая-то женщина в высоком белом колпаке преградила мне дорогу:

— Вы что здесь делаете, гражданин?

Не моргнув глазом, я соврал:

— Ищу директора. Я новый санитарный врач.

— Он в зале. Пройдите по коридору и там — направо.

Я шел по коридору и лениво раздумывал о том, что какая-то доля правды в моей лжи есть. С точки зрения социальной, я и впрямь санитарный врач. «Очищаем общество от отбросов». Чепуха! Насколько все сложнее переплетено в жизни...

Я все шел по этому нескончаемому коридору и мечтал только об одном: чтобы завтра утром было солнце, хрустящий ветер рвал белые облака и унес далеко дождь, осень и все мои проклятущие дела и чтобы желтые сосны гудели, как струны огромного контрабаса, и я не ходил бы по этим сумрачным кухням с запахом горелого маргарина, а лежал на белом песке, спал, читал романы и ни о чем не думал бы. Я очень устал думать...

Потом я сидел за столиком в дымном, прокуренном зале, смотрел на длинный плакат «Пьянству — бой!», ковырял вилкой чуть теплый «цеппелин», пил одесский коньяк и думал о предстоящем разговоре со Смилдзиня. Она прибежала, запыхавшись:

— Вы хотели поговорить со мной?

— Да,— сказал я и отодвинул тарелку...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Элги СМИЛДЗИНЯ

Вопрос. Что произошло вечером тринадцатого сентября в ресторане «Перль»?

Ответ. В этот день я работала в вечернюю смену. За мой столик сели мужчина и женщина. Через некоторое время я увидела, что к ним подошел какой-то мужчина, сильно пьяный, что-то сказал моим клиентам, а потом подсел к ним. Вскоре я поняла, что они ругаются, и пошла к столику. В этот момент подошедший вскочил и схватился за свой стул. Мой клиент тоже вскочил и взял со стола бутылку. Поднялся крик, и обоих мужчин схватили за руки подбежавшие с разных сторон люди. Кто-то вызвал милицию, и дебоширов забрали. Меня пригласили как свидетельницу. В седьмом отделении составили протокол, записали мое объяснение, и я ушла. Что было дальше, я не знаю...

...Красивая девушка эта Элга. Я и не знал раньше, что у латышек бывают такие черные волосы. А глаза огромные, серые, со смешинкой. Ее, видимо, сильно удивил мой визит: расспрашивать спустя две недели о какой-то пустяковой пьяной ссоре! Она ведь не знала, кто в действительности участвовал в скандале. Поэтому ничего особенного и не запомнила. Я сказал:

— Вы помните, как выглядит ваш клиент?

— Да, приблизительно. Он высокий, темный, по-моему, черноволосый. На какой-то руке — не помню — не хватает пальца или двух.

Я подумал и спросил на всякий случай:

— А где была в это время его спутница?

Элга удивилась:

— Как где? Она тоже пошла в милицию. Но ее там, по-моему, не допрашивали, разобрались без нее. Кстати, пока мы там сидели в коридоре, мы с ней разговорились.

— Там-там. И что она о себе сказала?

— Зовут ее Ванда, она выступает с эстрадными песнями в каком-то кафе или ресторане на взморье.

— А где она живет?

Элга пожала плечами:

— Мы об этом не говорили...

Я шел в гостиницу пешком и раздумывал, как бы мне откопать эту самую Ванду. Запрос давать бессмысленно. В Риге может быть тысяча Ванд, высоких, полных блондинок, до 30 лет. Певица? Но они не нанимаются через концертное объединение. В трест общественного питания? А если кафе не относится к городскому тресту? Остается только один путь. Я зашел в автомат и позвонил Элге...

Ветер с моря нес косой холодный дождь. Сонно кряхтели, встряхиваясь время от времени, два черных лебедя в городском пруду. Вот дурани, мокнут и мерзнут здесь, когда могли бы давно уже лететь на юг. Ведь у них нет на руках безнадежного уголовного дела. И не надо искать Ванду...

Продолжение следует.

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 55.

Я проснулся оттого, что было очень светло и очень холодно. Вскочил с кровати и подбежал к открытому окну. Еще не облетевшие деревья, крыши автомобилей, тротуары, подоконник были покрыты снегом, плотным, тяжелым, как мороженое. И я вдруг с тоской подумал о черных лебедях, которых видел вчера.

Я подошел к зеркалу, посмотрел на свои худые плечи, посиневшую от холода кожу в пупырышках, рваный багровый шрам поперек груди и плюнул от досады. До чего же глупо устроен мир! Ведь красивый человек с самого рождения имеет фору перед всеми остальными. А вот что делать нам, если, особенно по утрам, противно на себя в зеркало смотреть? Но все-таки я смотрел, наклоняя во все стороны голову. Спасибо, хоть не лысею и не седею. Я вспомнил, что в книжках у следователей почему-то «седеющие виски». Это такой же обязательный атрибут, как две руки, штаны и пистолет. Непременно седеющие виски, на худой конец совсем седые! Вот уж ерунда. Большинство следователей — люди довольно молодые. Самому старому из знакомых мне следователей, Павлу Каргину, сорок два года. И виски у него не «седеющие». Может быть, правда, потому, что он совсем лысый?

Я включил радио, взял из тумбочки электробритву и начал бриться. Диктор радостно вещал: «По сведениям синоптиков, столь раннего сентябрьского снегопада в Риге не наблюдалось последние восемьдесят два года...» Я меланхолически подумал: «Просто это я к вам не приезжал в сентябре уже восемьдесят два года...»

Да, этот проклятый снегопад здорово ломал мои планы. Испуганные холодом курортники хлынут сейчас на юг, и кафе, где поет эта самая Ванда, могут закрыть до весны. Тогда ищи-свищи! Много их, девушек с прекрасным именем Ванда. А мне нужна только одна — красивая, высокая блондинка, сопровождавшая убийцу. Я вожделел к ней сейчас гораздо больше, чем дебошир Иванов в тот злополучный для него вечер.

Я походил по комнате, потом взял справочник и уселся на подоконник. На улице суетливо носились машины, деловито топали прохожие, размешивал снег в жидкую коричневую грязь, и мне было очень жалко этого треклятого снега. Тем более что курортников грязь устраивает не больше, чем снег.

А в справочнике было написано: «Юрмала. По праву снискал этот курортный город славу жемчужины Прибалтики. В великолепных санаториях, прекрасных домах отдыха, комфортабельных гостиницах ежегодно отдыхают десятки тысяч трудящихся. На расстоянии в тридцать километров вытянулись...» Н-да. В этот момент, честно говоря, достижения соцстраха у меня не вызвали восторга. Я бы предпочел, чтобы Юрмала была поменьше. Или хотя бы чтоб Ванда пела в другом месте! Но правила игры не выбирают. Я позвонил Смилдзине:

— Элга, сегодня мы начнем наше турне. Вы готовы?

— Да. Но вот как на работе?

— Я уже договорился с директором ресторана. Право, мне совестно, что вы потеряете несколько в заработке, но нам очень важно найти эту девушку.

Элга сказала неуверенно:

— Хорошо... Я буду вас ждать в шесть часов около университета.

Я сказал торопливо:

— Кроме того, мы очень интересно проведем это время — будем ходить из кафе в кафе, танцевать, пить вино, есть миног и говорить всякие умные вещи. Прямо сладкая жизнь, как в картине Феллини.

Я почувствовал, что она улыбнулась.

— Хорошо... — И гудки отбоя забормотали, застучали в трубке апрельской капелью.

Я надел плащ и направился к двери, но меня остановил телефонный звонок:

— Дежурный горотдела милиции капитан Пельдт. На ваше имя из ленинградского уголовного розыска поступила записка по телефону.

— Прочтите, пожалуйста...

ЗАПИСКА ПО ТЕЛЕФОНУ

Ленинградским уголовным розыском установлен покупатель «Волги» кофейно-белого цвета из Тбилиси.

Это КОСОБ Виктор Михайлович, житель гор. Луги Ленинградской области. Номер «Волги» — ГФ 89-35. На машину Косов предъявил техталон № ГХ 765354 на имя Сабурова Алексея Степановича. Документ направлен на криминалистическую экспертизу. Заключение экспертизы и протокол допроса Косова вышлем авиапочтой.

Оперуполномоченный Ленугрозыска

ЛЕОНИДОВ.

ЛИСТ ДЕЛА 56.

Никогда еще я не был таким настоящим прожигателем жизни. Мы ездили с Элгой Смилдзиней от кафе к кафе, танцевали один-другой танец — чтобы она лучше присмотрелась к певице,— пили кофе, вино, ели угрей, миног и все время весело болтали. И я чувствовал себя настоящим прожигателем, потому что все это — как настоящему прожигателю — было мне утомительно, скучно и я хотел только, чтобы все это скорее закончилось. И боялся, что «веселье» надоест и Элге, и поэтому рассказывал ей бесчисленное множество смешных и грустных историй и оттого уставал еще больше. А во всем остальном это было невероятно «красиво», тем более что мы разъезжали на серой оперативной «Волге». Высший свет — шампанское, анчоусы!

Я рассказывал Элге забавную историю о том, как один вор сделал подкоп под магазин, влез туда, а узкий земляной лаз вдруг обвалился, и он, испугавшись до чертиков, стал звать на помощь сторожа: «Спасите, засыпался!» И думал все время об этом Косове, купившем ворованную «Волгу», и что-то у меня в мозгу не контачило, цепь не замыкалась, что-то не срабатывало.

Элга спросила:

— А вы женаты?

— Да,— сказал я хмуро и почему-то добавил: — Но жена хочет меня бросить.

— Шутите,— засмеялась Элга.— Вы очень забавный человек...

— В том-то и дело,— покачал я головой.— Клоун дома и злодей на службе.

— А вы давно женаты?

— Давно. Восемь лет.

— Ну, тогда все ваши ссоры — пустяки! — уверенно сказала Элга.

— Разве? — удивился я.

— Люди расходятся после первого года жизни и после семи лет. А кто уже перевалил, те живут. Это точно.

Я пожал плечами:

— Может быть, не знаю. А вы-то откуда это взяли?

— Знаю, и все. Так оно и есть...

Я посмотрел на нее и снова подумал, что она красивая девушка. Потом отвернулся и сказал:

— Вот наконец и певица появилась. Взгляните, не она ли это?

Элга посмотрела на эстраду и покачала головой:

— Нет.

Мы вышли на улицу. Снег уже весь растаял, только грязь хлюпала под ногами и моросил мелкий дождь. Сегодня надо было побывать еще в шести кафе. Рядом с нашей «Волгой» на стоянке стояла точно такого же цвета машина. Я еще присматривался к номеру, отыскивая нашу. И тут в мозгу ослепительно, как магний, полыхнуло: ведь номер «Волги», украденной у Рабаева,— ГХ 34-52. А Косов купил машину ГФ 89-35?..

ТЕЛЕГРАММА

Госавтоинспекция гор. Тбилиси

ПРОШУ ПРОВЕРИТЬ СУДЬБУ АВТОМАШИНЫ ГОРЗНАК ГФ 89-35 тчк РЕЗУЛЬТАТЫ СООБЩИТЕ РИЖСКУЮ ГОРМИЛИЦИЮ тчк

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 57.

И на следующий вечер мы ездили по всем кафе Юрмалы и искали Ванду. У меня был составлен длинный список этих кафе, и я по очереди вычеркивал из него те, где мы побывали.

Когда мы ехали в Дзинтари, Элга сказала:

— А вы не хотите написать своей жене письмо? Знаете, такое, чтобы за душу брало...

Я усмехнулся и покачал головой:

— Я так не умею. Чтобы за душу брало. Да и вообще словами ничего тут не скажешь.

— А вы считаете, что она неправа?

— Нет. Права.

— Значит, вы сами виноваты?

— Нет. В жизни, Элга, все сложнее.

— Ненавижу, когда говорят эти мерзкие взрослые слова: «все сложнее», «не поле перейти», «ты этого не поймешь»...

Я засмеялся:

— А что делать? Действительно, все гораздо сложнее. Я вам постараюсь объяснить это, хотя не уверен, что получится. Моя жена — врач-онколог. Как-то я прочитал ее научную статью и нашел там такие фразы: «выживаемость облученных больных», «полупериод жизни пациентов» — и всякую другую подобную петрушку. Жизнь и смерть в клинике — это в первую очередь работа. Научный поиск, победы, неудачи, методики лечения, диагностика — там все, чтобы через смерть утвердить жизнь. И приходят к ним тяжелобольные, зачастую обреченные люди, которые если не в клинике, то у себя дома все равно умрут. Поэтому там и смерть не такая бессмысленно жестокая, не такая трагичная и нелепая, как та смерть, с которой приходится встречаться мне. Моя работа никому жизни не даст. Я только обязан не допустить смерть.

Я замолчал. Щетки на стекле с тихим стуком разбрасывали брызги, лучи фар шарили по мокрому черному шоссе.

— Ну?..— сказала Элга.

— Вот Наташа и не понимает,— сказал я,— как из-за такой малости можно неделями не бывать дома, приезжать на рассвете и в отпуске бывать только порознь...

— Но ведь это же совсем не мало — сторожить смерть! — тихо сказала Элга.

Я посмотрел на нее и подмигнул:

— Элга, веселее! Своей выспренностью я вверг вас в возвышенно-трагический тон. Я не смерть, я живых стерегу от смерти. Вот какой я стерегущий.

Она долго смотрела в ночь перед собой, потом сказала:

— Бросьте фанфаронить! Вам сейчас совсем не весело, и совсем вы не такой гусар, каким хотите казаться! И вообще все это, наверное, очень трудно...

Я промолчал. Элга сказала:

— А ведь когда-нибудь всех преступников выведут, и вы останетесь без работы. Что будете делать?

— Вступлю в садовый кооператив, выращу сад и буду продавать на рынке яблоки.

Элга засмеялась:

— Но ведь это, наверное, не скоро будет.

— Почему же? Один друг сказал мне как-то: «Мир разумен и добр». А мы шли брать вооруженного бандита. Я часто думаю об этом и все больше убеждаюсь, что он прав, этот мой друг.

Элга упрямо покачала головой:

— Нет, не скоро еще...

— Ну, конечно, не завтра и не через год, но выведут. Вот, обратите внимание: сейчас почти не встретишь рябого человека. А ведь еще недавно засмеяли бы, скажи кто-нибудь, что рябых не будет. А вот нет! Нет оспы, и нет рябых. И преступников не будет...

Мы возвращались в Ригу около двух часов ночи. Не нашли мы Ванду, и завтра надо будет искать вновь. Элга уснула. Она спала, прижавшись ко мне и положив голову на мое плечо, и на поворотах я крутил руль осторожно, чтобы не разбудить ее. Около дома Элги, напротив университета, я затормозил, выключил мотор и долго сидел неподвижно, не решаясь ее будить. Потом она открыла глаза и удивленно сказала:

— А я уже дома! — И обернулась ко мне: — Завтра тоже поедем?

— Да. Обязательно.

— Вот и здорово! — сказала она радостно и вышла из машины.

Я завел мотор и ждал, пока она дойдет до парадного. Но на середине тротуара она остановилась, повернула назад и, обогнув капот автомобиля, подошла ко мне. Я опустил стекло, подумав, что она забыла что-то.

— Можно, я вас поцелую? — сказала Элга.

Я растерялся и сказал дурацким каменным голосом:

— Да, конечно, если это надо...

Она тихо засмеялась:

— Конечно, надо...— и поцеловала меня в лоб, в щеки, а потом в нос. И побежала к подъезду.— Спокойной ночи! — крикнула она уже у дверей.

— Спокойной ночи,— сказал я и подумал, что впервые меня целуют свидетели по расследуемому делу.

А утром пришла телеграмма из Тбилиси...

ТЕЛЕГРАММА

ВОЛГА ГФ 89-35 СООБЩЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПЕЛЕВИНА П. М. НАХОДИТСЯ НА КОНСЕРВАЦИИ тчк ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБНАРУЖЕНО ХИЩЕНИЕ С МАШИНЫ НОМЕРНОГО ЗНАКА тчк ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЭТОГО ЗНАКА ИНФОРМИРУЙТЕ НАС тчк

ЛИСТ ДЕЛА 58.

Теперь мне стало ясно, как убийца на «Волге», угнанной из Тбилиси, беспрепятственно проехал три тысячи километров до Ленинграда. Просто он на нее поставил номер, который украл с другой машины, стоящей на консервации, о чем ее хозяин узнал только вчера. И где-то успел перекрасить низ «Волги» в белый цвет. А пока он преспокойно ехал в кофейно-белой машине под номером ГФ 89-35, милиция искала кофейную «Волгу» номер ГХ 34-52.

Вот известные мне точки его маршрута: Тбилиси — Ленинград — Москва — Крым. Потом в моих сведениях провал, и Бандит появляется в Риге. И снова тьма. Чтобы ее рассеять, нужно найти Ванду. Во что бы то ни стало. Других выходов на него нет.

И мы снова поехали с Элгой на взморье. Снова эти осточертевшие мне прекрасные уютные кафе, каких ни в Москве, ни в Крыму не бывает. Снова дождь и мокрое, дымящееся холодным паром шоссе — от одного до следующего кафе. Элга весь вечер молчала и около Кемери часов в десять спросила:

— А вы любите свою жену?

Я не знал, как ответить, потому что был уверен: Наташу я люблю. Элга спросила:

— Это бестактный вопрос?

Я пожал плечами:

— Почему же? Люблю.

Она помолчала, потом твердо, как о чем-то нами давно оговоренном и решенном, сказала:

— Давайте заедем сейчас на почту и напишем ей письмо. Вместе.

— И подпишемся вместе? — усмехнулся я.

— Нет. Подпишете вы один. Да можно и вообще не подписывать. Просто письмо надо написать так, как никто бы ей, кроме вас, не написал.

— Так вы же предлагаете вместе писать?

Элга заметила, что я улыбаюсь, и строго сказала:

— Я буду караулить вас. Чтобы не передумали.

— Но я ведь так писать не умею. Я ведь больше по протоколам специалист.

— Этого уметь нельзя,— сказала Элга и сжала маленькие кулачки.— Кто умеет так писать, тот этого не сможет! Понимаете? Чувства иногда придумывают, но они тогда чахлые, неживые. Понимаете!

Я кивнул.

— Вы и о любви ничего не пишите. Не надо о любви вслух говорить. Вы напишите о чем-нибудь таком, чтобы она сразу вспомнила все... самое светлое...

Я вздохнул.

— Об этом и говорить-то трудно, а уж написать!..

Она грустно сказала:

— Беда в том, что мужчины мало знают о настоящей нежности.

— Чего-о?

— Я говорю, что женщинам очень нужна настоящая мужская нежность.

Ох, какой же я кретин! Вечно встреваю в разговоры, из которых сам не знаю, как выпутаться. Да и толку от них мало, от этих разговоров. Поэтому я уже приготовился отпустить какую-нибудь банальную шуточку, чтобы взорвать этот серьезный разговор изнутри. Но Элга сказала:

— Вы только не подумайте, что я за розовые слюни. Или когда мужики каждой встречной юбке — «сю-сю-сю, кисонька и лапочка». Слышите — не думайте!

— Не буду думать,— сказал я серьезно и подумал, что у женщин какое-то поразительное чутье: они точно знают, каким мужчинам когда можно начать приказывать. Мне обычно женщины начинают давать указания на второй день.

Элга вдруг неожиданно, легко и быстро провела ладонью по моему рукаву и сказала тихо:

— Не думайте обо мне плохо. Никогда. У меня трудная работа.

Я сказал противным сытым голосом:

— Еще бы! Целый день побегай с подносами!

Она нервно дернула головой:

— Да нет! Я не об этом! В ресторане ведь не только едят, но и пьют. А напившись, пытаются вольничать...

Я подумал, какое неуклюжее и плохое слово — «вольничать».

— Мне кажется, Элга, что с вами не очень-то много повольничаешь. Вмиг получишь по лапам.

Она сказала сквозь зубы:

— Случается. Но это противно...

— Послушайте, Элга, а почему вы не займетесь какой-нибудь другой работой?

— У меня мама и две младшие сестрички. А я зарабатываю почти сто пятьдесят рублей. Это же ведь не мало?

— Конечно, не мало,— сказал я неуверенно.

Она снова долго молчала, разглядывая мельькающие за окном фонари, потом сказала, не заботясь о связи с предыдущим:

— Поэтому я знаю, какой должна быть настоящая нежность...

— Какой?

— Как первый лед на ручье — прозрачной, хрупкой. Чтобы никто не смел лапами...

И я сильно испугался, что мог сказать тогда шуточку. Испугался так, будто уронил и поймал у самой земли любимую елочную игрушку.

Элга сказала:

— Если любишь человека, то хоть изредка испытываешь к нему такое щемящее чувство нежности, будто он маленький беспомощный ребенок. Твой собственный ребенок. И уже сильнее этой нежности не может быть ничего на свете.

— Да, не может,— сказал я и удивился, что мне это не приходило в голову раньше.

— Вот вспомните об этой минуте нежности и напишите жене, и она все поймет тогда.

...О чем я мог написать Наташе? Как мы слушали «Прощальную симфонию» Гайдна? Гасли свечи на пюпитрах, уходили, закончив партию, музыканты, и ласковость виолончелей утешала печаль скрипок, и тогда был слышен шум близкого прибоя, а я, закрыв глаза, сидел рядом с ней, и держал ее руку в своей, и мечтал, чтобы музыканты сошли с ума, вернулись на сцену, перевернули ноты и снова играли, играли до полуночи, до утра, чтобы никогда это не кончилось и не погасла последняя свеча... Или написать ей, как мы шли на рассвете по Сретенке и все было серебряно и сине: и луна, огромная, желтая, как пшеничный каравай, катилась к Самотеке, и тишина звенела далекими курантами? И я сказал осторожно:

— Наталья, а ты не хочешь выйти за меня замуж?

А она весело засмеялась:

— При одном условии: ты сделаешь что-нибудь такое, чего никто больше не сможет.

Я растерянно улыбнулся и грустно сказал:

— Я заурядный человек. Но, знаешь ли, в этом есть и свои прелести.

И тут меня осенила счастливая идея. Окрепшим голосом я возгласил:

— Впрочем, ради тебя я ненадолго готов переквалифицироваться в волшебника. Просто я зажгу воду.

Наталья расхохоталась. Я подошел к большой луже, покрытой густым слоем тополиного пуха, чиркнул спичкой, и весь этот белый летучий ковер вспыхнул. Несколько секунд пламя быстро и яростно лизало лужу. Наталья обняла меня и сказала:

— Придется стать женой заурядного волшебника...

...Я думал обо всем этом, и меня охватило отчаяние: разве можно об этом написать? Элга сказала:

— Вот почта. Давайте остановимся.

Я дал прогазовку и включил третью скорость. Элга сказала:

— Вы делаете ошибку...

И я неожиданно для себя самого закричал:

— Да вам-то что за дело до всего этого? И вообще мы сюда приехали искать Ванду! Да, да! Ванду!

Элга помолчала, потом сказала тихо:

— Простите. Я очень хотела...— и замолчала.

А через десять минут в Кемери, в кафе «Пяргале», Элга показала мне высокую красивую блондинку:

— Вот Ванда...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Ванды ЛИННАСТЕ.

...Вопрос. Знаете ли вы Алексея Сабурова?

Ответ. Да, я его знаю.

Вопрос. Где он сейчас?

Ответ. Мне это неизвестно.

Вопрос. Что вы можете о нем сказать?

Ответ. Я его довольно мало знаю. Он инженер, приехал в Ригу по делам из Тбилиси, где живет постоянно.

Вопрос. Как, когда, где вы познакомились с Сабуровым?

Ответ. В течение летнего сезона я выступаю с эстрадными песнями в кафе «Пяргале» в Кемери. Пару недель назад один из посетителей — это был Сабуров — поднес мне роскошный бу-

кет цветов, сказал, что он очарован моим талантом, и пригласил поужинать с ним. Алексей мне понравился, чувствовалось, что это сильный, мужественный и в то же время очень любезный человек. После моего выступления мы поехали в город, поужинали в ресторане, это был отличный вечер. Затем мы стали встречаться каждый день. Сабуров был предупредителен, старался доставить мне максимум удовольствий, был очень щедр, и я охотно проводила с ним время.

Вопрос. Видимо, Сабуров располагал деньгами?

Ответ. Да, и немалыми. Во всяком случае, он не останавливался ни перед какими тратами, вплоть до того, что, когда я выразила желание побывать в Таллине, Алексей нанял такси, и мы ездили на нем туда и обратно. Это, по-видимому, стоило очень дорого. Но Алексей сказал, что он много зарабатывает.

Вопрос. Где жил Сабуров?

Ответ. Алексей сказал, что очень трудно достать номер в гостинице. А у меня отдельная квартирка. Одним словом, мне неудобно было гнать его на улицу, и он остался у меня. И оставался до тех пор, пока вдруг, совершенно неожиданно для меня, исчез.

Вопрос. Как и когда это произошло?

Ответ. Это было в день моей зарплаты. Значит, восемнадцатого сентября. Алексей сказал, что у него какие-то дела в городе, и в Кемери не поехал. Я вернулась домой около полуночи — его еще не было. Позже, когда я стала беспокоиться, я обнаружила, что нет большого коричневого портфеля, в котором находились вещи Алексея. Ни утром, ни на следующий день Алексей не появился, и я поняла, что он меня бросил, уехал без предупреждения. Этот прохвост просто сбежал. Обыкновенный командировочный врун...

Вопрос. Что находилось в портфеле Сабурова?

Ответ. Пара белья, нейлоновая рубашка, несколько пар носков. А в основном всякие железки.

Вопрос. Какие? Постарайтесь поточнее это припомнить.

Ответ. Была какая-то толстая железная трубка, большой железный брусок, целая связка маленьких ключей, баночка с краской... Да, я помню, еще удивилась: в портфеле лежал автомобильный номер.

Вопрос. Какой?

Ответ. Этого я не помню. Кажется, там были буквы «Г» и «Х».

Вопрос. Что еще было в портфеле?

Ответ. Еще был какой-то непонятный прибор, похожий на револьвер, но с большим набалдашником наверху.

Вопрос. Вы могли бы нарисовать этот прибор?

Ответ. Я могу попробовать.

Вопрос. Пожалуйста, изобразите его прямо в протоколе.

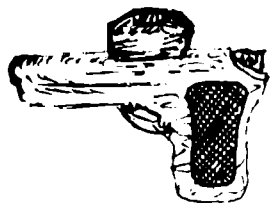


Рисунок прибора, который я видела в портфеле у Алексея Сабурова. Рисунок выполнен мною собственноручно.
(В. Линнасте.)

Вопрос. В связи с чем вы осматривали портфель Сабурова?

Ответ. Я его не осматривала. Но, поскольку Алексей жил у меня, я решила его носильные вещи переложить в платяной шкаф. Вот тогда я и видела остальные предметы.

Вопрос. Документы Сабурова вы видели?

Ответ. Я видела у него паспорт, но не рассматривала его.

Вопрос. Не заметили ли вы каких-нибудь особенностей в поведении Сабурова, чего-либо показавшегося вам необычным или странным?

Ответ. Может быть, мне это стало казаться в связи с настоящим допросом, но я припоминаю, что у Алексея была привычка вдруг очень резко, неожиданно оглядываться по сторонам. А когда он выпивал, то часто говорил всякие жаргонные словечки, мне непонятные. В остальном он был совершенно нормальным, обычным человеком.

Вопрос. Какие дела были у Сабурова в Риге, с кем он встречался?

Ответ. Делами его я не интересовалась, с кем он встречался, я не знаю.

Вопрос. Была ли у Сабурова какая-либо переписка?

Ответ. Я не видела, чтобы Алексей отправлял кому-либо или получал от кого-либо корреспонденцию.

Вопрос. Вел ли Сабуров с кем-нибудь переговоры по телефону, если да, то с кем и какие?

Ответ. Нет, Алексей ни с кем по телефону не разговаривал и вообще к аппарату не подходил. Впрочем, однажды незадолго до отъезда Алексей говорил по междугородному телефону с каким-то приятелем. Я обратила внимание только на то, что Алексей просил у своего собеседника грибов. Я вспомнила, что засмеялась тогда и переспросила его об этом. Сабуров тоже посмеялся и сказал, что очень любит грибы. Буквально на следующее утро я сбегала на рынок и накупила целую кучу грибов, которые сама приготовила и подала на обед. Алексей был очень доволен.

Вопрос. О каких грибах шла речь по телефону?

Ответ. Я уже точно не помню, какое-то русское название. Я-то купила ему белых грибов.

Вопрос. Я перечислю вам несколько названий грибов, а вы припомните, не было ли среди них тех, о которых говорил Сабуров: подберезовики, подосиновики, волнушки, лисички, маслята, сыроежки, боровики.

Ответ. Вспомнила. Безусловно, маслятки.

Вопрос. Маслята?

Ответ. Да, маслята.

Вопрос. В какое время говорил Сабуров, с каким городом и как он называл собеседника?

Ответ. Разговор состоялся часов в одиннадцать вечера, с каким городом, я не знаю. Собеседника он называл Петей.

Вопрос. О чем был разговор, кроме грибов?

Ответ. Так, о жизни, о здоровье, об охоте. Вообще-то я не очень прислушивалась, я в это время делала прическу.

Протокол мною прочитан, записано верно.

Линнасте.
Допрос произвел СЛЕДОВАТЕЛЬ.

Продолжение следует в № 22.

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ...

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—20.

ЛИСТ ДЕЛА 59.

Я долго смотрел на Линнасте — красивую, хорошо ухоженную, вкусно кормленную самку, и ненависть поднималась во мне желтой волной. За то, что, когда я носился, как чумной, из города в город, Бандит уютно устроился в ее квартирке-постели, за то, что Бандит был «внимательный и щедрый» человек, и ей нужно было именно это, и совсем не нужна настоящая нежность — прозрачная и хрупкая.

Ванда сидела напротив, положив ногу на ногу так, что мне были видны блестящие застежки на чулках. Я молчал, как человек, вошедший в холодную воду, и только глубоко вдыхал воздух, чтобы остановить барабанный бой сердца. Потом негромко сказал:

— А вы знаете, почему ваш друг из всех грибов предпочитает маслята?

Она кокетливо стрельнула глазами:

— Ах, у мужчин всегда такие неожиданные странности...

— Нет, у вашего друга это не странность. И ее вполне можно было ожидать. «Маслята» на блатном языке означают патроны для пистолета.

Ванда растерянно спросила:

— Да, но зачем они ему?

— Затем, что человек, которому вы грели постель эти дни, скрывался у вас от закона.

— То есть как? — манерно подняла брови Линнасте.

— А вот так! Он бандит и убийца. И вы оказали ему неплохую услугу.

— Да? Признаться, я иногда думала, что он растратчик. Но убийца — этого я не знала!

— Если бы вы это знали, я бы вас сейчас же арестовал. Идите. И впредь будьте разборчивее в своих увлечениях. Иначе при повторении подобного мы усмотрим в ваших действиях систему...

Она закрыла за собой дверь. Я походил по комнате. Злость и отчаяние душили меня. Бандит снова исчез. Оставалась только надежда на междугородный телефонный разговор. Мне хотелось сесть за стол и заплакать. Я швырнул в дверь, за которой исчезла Линнасте, стаканом, крикнув:

— Мразь! Гадина!..

В РИЖСКИЙ ТЕЛЕФОННЫЙ УЗЕЛ

«Прошу срочно проверить, установить и сообщить мне, с каким населенным пунктом и каким абонентом состоялся междугородный телефонный разговор с индивидуального телефона № 3-99-89 (абонент Линнасте В.) в период с «10» по «18» сентября, время вечернее.

Основание: уголовное дело № 4212.

СЛЕДОВАТЕЛЬ»

ЛИСТ ДЕЛА 60.

Я взял лист бумаги и стал вычерчивать схему. Бандит исчез восемнадцатого числа. Есть альтернатива — или он почему-то скрылся из Риги, или ему просто надоела Ванда, и он, бросив ее, по-прежнему находится здесь. Каждый из этих вариантов имеет свои «за» и «против». Но мне думается, что он скрылся из Риги вообще.

Счастливо выкрутившись из скандального происшествия в ресторане, он понял, что его легализация под именем Сабурова стала опасной. В любой момент мог прийти ответ из Тбилиси, который получил я,— Сабуров никогда в Риге не был. Тогда уже начали бы искать его самого, Бандита. А от Линнасте ему таймо убегать и не надо было — сказал, что командировка окончилась, и — с приветом! Нет, надо докопаться, куда и кому он звонил по междугородному телефону. Это наиболее вероятный маршрут.

Теперь его портфель. Судя по тому, как ограничен был гардероб Сабурова, несомненно, что лишних вещей, про запас, он в портфеле не возил. Там была какая-то труба, пистолет с набалдашником и номер с индексами «ГХ». Вероятнее всего, это был номер машины Рабаева. Но если он украл для маскировки номер с машины Полевина, то непонятно, почему он рабаевский номер не уничтожил, а возит с собой. Еще одно непонятное обстоятельство: «Волга», проданная Бандитом Косову, была комбинированной окраски — кофейная с белым. Украл он ее у Рабаева 22 августа, а продал 25 августа. От Тбилиси до Ленинграда три тысячи километров. Даже для хорошего шофера это трое суток езды. Поэтому непонятно, где и когда он мог перекрасить половину машины.

И, наконец, непонятно, как у него оказался техталон машины Рабаева, заполненный на имя Сабурова.

Утром из Ленинграда доставили заключение криминалистической экспертизы и протокол допроса Косова...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Я, эксперт-криминалист научно-технического отдела Управления внутренних дел Лекоблисполкома ГУСЕВА А. С., образование — высшее, стаж работы по специальности — семь лет, об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения предупреждена,— в соответствии с постановлением СЛЕДОВАТЕЛЯ провела экспертизу технического талона автомобиля за № ГХ 765354 на имя САБУРОВА Алексея Степановича.

I

Исследуемый документ — это типографский бланк талона технического паспорта, в котором от руки заполняется вид и цвет автотранспорта, фамилия и инициалы владельца, номера кузова, шасси, двигателя и государственный номерной знак.

В данном случае бланк заполнен чернилами синего цвета.

При воздействии на рукописный текст азотнокислым серебром в графах «фамилия, инициалы» и «государственный номерной знак» были выявлены ионы хлора и кальция.

II

Вывод. Первоначальный текст в указанных графах вытравлен при помощи хлорной извести и заменен новым.

Установить первоначальный текст не представилось возможным.

Эксперт-криминалист ГУСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 61.

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА Виктора КОСОВА

...**Вопрос.** Расскажите подробно о всех обстоятельствах покупки вами автомашины.

Ответ. Мы с сыном давно хотели приобрести подержанную автомашину и с этой целью всей семьей в течение нескольких лет копили деньги. 25 августа я приехал в Ленинград. На автомобильном рынке я познакомился с Сабуровым, который объяснил мне, что он имеет право на продажу машины помимо комиссионного магазина. Поскольку он не собирался продавать машину в этот приезд в Ленинград, то не снял ее с учета в тбилисском ГАИ. Мы договорились, что он передает мне машину и техталон к ней, а я задержу выдачу ему пятисот рублей. Он приезжает в Тбилиси, снимает машину с учета, ставит отметку об этом в техническом паспорте машины и высылает его мне, а я пересылаю ему оставшиеся пятьсот рублей, которые являются залогом за техпаспорт. Мы обменялись адресами, и Сабуров обещал не позже пятого сентября прислать мне техпаспорт. Однако он не спешил с этим, поэтому числа пятнадцатого я написал ему письмо с просьбой срочно выслать документ, без которого я не мог пользоваться машиной. До вызова в милицию машина стояла во дворе моего дома, я пока приводил ее в полный порядок, в частности устанавливал новый дверной замок, так как старый, по словам Сабурова, нестандартный замок, сломался, и он его выкинул.

Вопрос. Каковы приметы Сабурова?

Ответ. Брюнет высокого роста, со светло-голубыми глазами, лицо обыкновенное, на правой руке нет двух пальцев. При встрече я его безусловно опознаю.

Мною прочитано, все записано правильно.

(КОСОВ).

Допрос произвел оперуполномоченный

ЛЕОНИДОВ.

Когда я читал протокол допроса Косова, то невольно подумал: вот еще одна жертва Бандита. И еще какая!

Косов вместе с Рабаевым, по существу, уже вышли из этой кровавой истории. Но по гражданским законам краденая «Волга», за которую ничего не подозревавший рабочий-монтажник Косов уплатил столько трудно заработанных денег, будет возвращена Рабаеву. За Косовым сохраняется право вчинить Бандиту иск на эту сумму в рамках уголовного судопроизводства. И я знаю, что незнакомый мне Косов теперь тоже будет требовательно спрашивать меня: «Где Бандит? Кто он? Как его имя? Я требую, чтобы мне вернули мой честный трудовой достаток! Разве не знаете, как тяжело мне было заработать эти деньги!..»

ЛИСТ ДЕЛА 62.

Позвонила по телефону Элга. Поговорили о том, о сем.

— Вам эта Линнасте помогла? — спросила Элга.

— Так, кое в чем. Но пока что никакой ясности все равно нет.

Она помолчала, и я слышал в трубке ее дыхание.

— У вас много дел?

— Хватает. А что?

— Может быть, вы вечером придете к нам домой? Мама накормит вас вкусным обедом. Вы ведь по-человечески уже месяц, наверное, не ели.— И добавила быстро: — А меня не будет, я сегодня вечером работаю.

Я подумал, потом не спеша сказал:

— Элга, я сегодня допоздна буду сидеть у себя. Если хотите, позвоните после работы, я вас провожу домой, поболтаем...

— Хорошо.

Я положил на рычаг трубку, достал из стола свою схему и стал раздумывать. Мне все не давало покоя: когда Бандит успел перекрасить машину? И почему в ней не было замка? Может быть, вскрывая машину Рабаева, Бандит сломал замок и поэтому выбросил его потом? Может быть. Это все может быть. Но для того, чтобы перекрасить машину, нужно иметь помещение и время. Непонятно. А может быть, тут какая-то ошибка?..

ТЕЛЕГРАММА

Госавтоинспекции гор. Тбилиси
«ПОХИЩЕННАЯ РАБАЕВА ВОЛГА ТЕХТАЛОН ГХ 765354 ОБНАРУЖЕНА С ГОСНОМЕРНЫМ ЗНАКОМ ГХ 89 35 зпт ПОХИЩЕННЫМ У ПЕЛЕВИНА тчк СООБЩИТЕ зпт ПЕРЕКРАШИВАЛ ЛИ РАБАЕВ НИЗ МАШИНЫ БЕЛЫЙ ЦВЕТ зпт ВСТАВЛЯЛ ЛИ ОСОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ЗАМОК И КАК БЫЛ ПОХИЩЕН ЕГО ТЕХТАЛОН тчк СЛЕДОВАТЕЛЬ».

ЛИСТ ДЕЛА 63.

Элга сказала:

— Вы все усложняете. Самый короткий путь между двумя точками — прямая.

— Нет. Я это понял, когда отправил сегодня письмо. Ответа я не получу. Да ладно, не будем говорить об этом.

Мы шли по пустому ночному городу, шелестел дождь, ржавый листопад шарнал по тротуарам, и зеленые огоньки светофоров заманивали на далекие перекрестки.

Искристые капли серебрили черные волосы Элги, текли по ее щекам, и иногда мне казалось, что это слезы. Не знаю почему, но казалось.

Около подъезда она спросила:

— Вы сейчас в гостиницу?

— Нет, мне надо зайти еще в горотдел милиции. Там для меня должна быть телеграмма.

Элга пожала мне руку, и я ужасно захотел, чтобы она поцеловала меня, как тогда, в первый раз. Но она сказала только:

— Вы скоро уедете. Напишите мне тогда письмо. Хоть несколько слов.

— Обязательно.

— Прощайте,— сказала она.— Желаю вам счастья...

Я уже прошел несколько шагов, оглянулся и увидел, что она стоит в дверях. И тогда я крикнул:

— Элга, математики доказали — никаких прямых вообще нет!

Она засмеялась:

— А как же без прямых?

— Это просто совокупности незримых кривых...

ТЕЛЕГРАММА

РИГА ГОРМИЛИЦИЯ ВАШ 153с ИЗ ТБИЛИССКОГО ГАИ
БЛАГОДАРИМ ПОМОЩЬ РОЗЫСКЕ МАШИНЫ тчк РАБАЕВ ВОЛГУ НЕ ПЕРЕКРАШИВАЛ И ЗАМОК НЕ МЕНЯЛ тчк ТЕХТАЛОН ЛЕЖАЛ ПЕРЧАТОЧНОМ ЯЩИКЕ зпт БЫЛ ПОХИЩЕН ВМЕСТЕ МАШИНОЙ тчк.

ЛИСТ ДЕЛА 64.

Я проснулся поздно, но не было бодрости, легкости, желания работать. Очень хотелось повернуться на другой бок, накрыться с головой одеялом и спать, спать до вечера. А потом сесть в поезд, устроиться поудобнее на верхней полке и проспать до самого дома. И там, проснувшись, понять, что все эти дни были просто сном. И ничего, ничего не было. Что можно встать, пойти на службу, оформить отпуск и ехать на море, лежать на песке и слушать, как скрипят и густо поют сосны, а вечером ходить на набережную пить молодое кислое вино из пивных кружек, которые почему-то называются в Коктебеле бокалами.

Я вспомнил вечер, когда сидел в тусклом кабинетике солнечногайской милиции, а за окном парень пел под гитару:

— Кто направо пойдет — ничего не найдет,
Кто налево пойдет — никуда не придет,
А кто прямо пойдет — ни за грош пропадет...

Показалось мне это бесконечно далеким, будто все происходило не три недели назад, а в какой-то другой моей жизни. И вот сейчас я стою «без коня и без меча, и решаю: идти или не надо...».

Враки это. Нечего мне решать — мне идти пока просто некуда. Я повернулся на другой бок и решил спать дальше. Все равно идти пока некуда. Надо ждать ответа междугородной.

Я уже почти заснул, но какая-то мысль все барабанила в висок. Я сел на кровати, поджал под себя ноги и стал думать о том, что мне мешает спать. Решение проблемы было где-то рядом, оно кружилось в мозгу, подобно случайно забытому слову. Я представил себе, что формирование идей в мозгу похоже на движение электронов в атоме вещества. Если электрон перескакивает на новую орбиту, появляется вещество с новыми свойствами. Но для этого необходим импульс энергии, иначе электрон не перескочит и ничего нового не будет, не преобразуется идея. А пока все идеи обращаются по старым орбитам. Их держит невидимая плотная преграда. Нет импульса...

Так я и сидел на кровати. Долго сидел. Как йог — накрывшись одеялом, поджав под себя ноги, зажав лицо руками и медленно раскачиваясь — вперед-назад, вперед-назад. Пока не уснул.

И когда я проснулся, то понял, что есть еще одна дорога. Должна быть! Обязательно должна быть! И если она есть, то это не просто дорога, а целая автомагистраль. Когда сбежал Бандит от Линнасте? Кажется, восемнадцатого? Я судорожно одевался, не попадая ногами в брюки. Я выскочил из гостиницы и через десять минут был в горотделе милиции.

— Дайте мне срочно сводку о происшествиях по городу за восемнадцатое сентября...

ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ИСПОЛКОМА
РИЖСКОГО ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

СВОДКА
о происшествиях по городу
за 18 сентября.

...п. 2. РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ.

В 19 час. 50 мин. при инкассации продовольственного магазина № 17 Рижского горпищеторга (улица Суворова, дом 32) совершено вооруженное нападение на инкассатора с денежной сумкой. При выходе охранника и инкассатора из магазина преступник дважды выстрелил в них из пистолета, тяжело ранив обоих. После этого стал вырывать денежную сумку из рук инкассатора. В этот момент охраннику удалось достать оружие и открыть огонь по нападающему.

Преступник перебежал через улицу и скрылся в расположенном против магазина проходном дворе дома № 29. Данных о ранении преступника нет.

С места происшествия изъяты две стреляные гильзы пистолета «ТТ». Приметы нападавшего устанавливаются.

Поиск преступника ведет уголовный розыск горотдела милиции...

ЛИСТ ДЕЛА 65.

Инкассатор Валдис Баллоде — маленький, желтый, с остро торчащим вверх носом — был укрыт простыней до подбородка. На голове накручен огромный марлевый тюрбан, будто он собирался на маскарад и попал вдруг случайно в больницу. Он не мог повернуть голову в мою сторону и поэтому все время скашивал на меня огромный фиолетовый, затекший сгустком крови глаз. И от этого мне становилось жутко, потому что я все время боялся, что он сейчас умрет. Лопнувшие от жара, запекшиеся губы еле шевелились, и, чтобы расслышать его шепот, я все время наклонялся к нему, и передо мной страшно мерцал фиолетовый глаз.

— Ритуся только первый год в институт пошла, а Янис — в школе, в восьмом классе. Я ведь так мечтал их в люди вывести...

Потом он что-то шептал по-латышски. Я погладил простыню там, где была очерчена его рука, и сказал бодрым голосом:

— Ничего, ничего! Не волнуйтесь. Все страшное уже позади, вы скоро выздоровеете, и все будет по-прежнему.

Он приоткрыл веки и чуть слышно прошептал:

— Нет, не будет. Я и так был больной, с фронта два тяжелых ранения привез. А этот фашист проклятый...

Баллоде долго молчал, потом снова зашептал, но так, будто советовался сам с собой:

— Я же ведь не мог отдать эти деньги, они чужие. Так много денег, я бы за всю жизнь их не выплатил.

Он скосил на меня налитой кровью глаз.

— Я не знаю, как удержал сумку. Я ведь совсем слабый, и он уже выстрелил в меня. Этот бандит был такой сильный, и все дергал, и дергал из-под меня сумку, когда я упал. А я держал ее, и он бил меня по голове, пока я не потерял сознание. Он был ужасно сильный...

Большие мутные слезы текли у него по щекам. И я вдруг почувствовал, что если бы встретил сейчас Бандита, то просто застрелил бы его. Пусчай меня потом судят. Баллоде сказал — «фашист». Хуже фашиста, потому что эта гадина жрала все время наш хлеб!..

Я приехал в милицию и спросил, не пытались ли найти отпечатки пальцев на инкассаторской сумке. Пытались, но пригодных к идентификации не нашли.

Я смотрел на порванную, лопнувшую по швам брезентовую сумку, залитую черными пятнами засохшей крови, и думал о том, какая неожиданная сила отчаяния пробудилась в маленьком, тщедушном Баллоде, если Бандит не смог ее вырвать. К делу была приложена фотография изъятых из разорванной сумки и заактированных денег. Я смотрел на эти мятые пачки разноцветных бумажек и не мог понять, как можно за них убить человека. На них можно купить автомобиль, на них можно не ходить на работу, на них можно целый год жрать одну черную икру. Что еще? Пожалуй, все. Больше ничего не придумаешь. За них убили молодого веселого парня Женю Корецкого, за них лежит под простыней, похожей на саван, усохший, крошечный Валдис Баллоде и шепчет: «Когда я упал, он все бил меня по голове... Он был ужасно сильный...» А в соседней палате стоит пустая койка, на которой лежал умерший позавчера охранник Миронов.

И все из-за листочков плотной разноцветной бумаги, которые могут дать так немного. Ведь деньги сами по себе становятся силой лишь тогда, когда люди уславливаются, что именно вот эти, конкретные бумажки имеют силу. Я вспомнил, как несколько лет назад известный в Москве валютчик Коротов за минуту до обыска, когда уже позвонили в дверь, выбросил в мусоропровод большой сверток с долларами и фунтами. Мы сбились с ног, разыскивая этот сверток, потому что, по нашим расчетам, валюта у него должна была быть дома. А тем временем семилетний сын дворничихи добыл из мусорного бака этот сверток, раздал приятелям ассигнации, и они устроились играть на них в «пьяницу» и «акулину».

— А мы думали, что это древние деньги,— объяснили потом мальчишки.

То, что для нас старое, для них уже древнее...

Я приобщил к делу вещественные доказательства — инкассаторскую сумку и фотоснимок находившихся в ней денег.

Продолжение следует.

Я, следователь...

Аркадий ВАЙНЕР,
Георгий ВАЙНЕР

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

ЛИСТ ДЕЛА 66.

Патроны от пистолета «ТТ». Они все время удерживали мое внимание. И о них я думал, читая протокол допроса охранника Миронова. Я опоздал на два дня. Если бы я успел с ним поговорить, он наверняка рассказал бы мне много, много важного. Но он позавчера умер. Остался только протокол...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
охранника МИРОНОВА (Копия из уголовного дела № 781).

...По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

В мои обязанности входит обеспечивать безопасность инкассации. Мы оба — инкассатор и я — вооружены. Восемнадцатого сентября мы, как обычно, производили инкассацию денежной выручки нескольких магазинов. В магазин № 17, где выручка самая большая, мы с инкассатором Баллоде приехали перед самым закрытием, то есть около двадцати часов.

Выручка магазина была уже подготовлена, мы оформили инкассаторскую ведомость и, выйдя из магазина, направились к ожидавшей нас у подъезда автомашине. Баллоде с денежной сумкой шел впереди, а я — следом за ним. Прохожих было как раз мало, всего двое: слева от нас шла по тротуару какая-то женщина, а справа — молодой высокий мужчина. Внезапно, проходя мимо нас, мужчина поднял руку, и вслед за этим я услышал два выстрела. Баллоде сразу же упал вперед, лицом вниз, подмяв под себя сумку. Я почувствовал тупой удар в живот, ужасную боль и понял, что преступник выстрелил и в меня. Я упал на бок. Что было потом, я помню плохо, но все же я видел, как грабитель бросился к Баллоде, нагнулся и стал вытаскивать из-под него сумку, а Валдис ее не отпускал, и он бил его пистолетом по голове. Уже теряя сознание, я перевалился на другой бок, выдернул из кобуры пистолет и стал стрелять в преступника с левой руки, потому что правая совсем отнялась. Бандит повернулся ко мне, направил на меня пистолет, и я подумал: «Вот пришла моя смерть». Но его пистолет только щелкнул, а выстрела не было. Тогда я еще раз выстрелил в грабителя. Последнее, что я помню,— он выпрямился и бросился бежать через улицу. Потом я потерял сознание. Очнулся только вчера вечером, в больнице.

Приметы преступника я запомнил плохо, потому что видел его всего несколько секунд и был сильно испуган.

Вопрос. Подозреваете ли вы кого-нибудь в этом преступлении?

Ответ. Нет. Я совершенно не представляю, кто бы это мог быть.

Вопрос. Рассказывали ли вы кому-нибудь об особенностях своей работы, объектах инкассации, о суммах выручки?

Ответ. Никогда. Да и не интересно это никому. Кроме того, это прямо и категорически запрещено служебной инструкцией.

Протокол мне прочитан. Записано с моих слов правильно.

По просьбе гражданина Миронова, в связи с тяжелым состоянием его здоровья, за него расписалась медсестра 2-й городской больницы

ЗЕЛМА СИЛИНЯ.

Допрос произвел следователь
КРУМИНЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 67.

У Бандита, видимо, кончались деньги.

Сознавая безнадежность своего занятия, я все время пытался прикинуть, сколько у него денег было и сколько он потратил. Как только деньги кончатся, он кого-нибудь убьет. Теперь дорога каждая минута. Каждая минута может стать непоправимой. Среди людей бродит бешеный волк. Загнать его в капкан мне пока не удается.

Я вспомнил, как старый следователь Вадим Иванович Машкин однажды сильно удивил меня. Он протянул зажженную спичку Панову и Синицину, те прикурили, и Машкин задул огонь. Потом зажег новую спичку и прикурил сам. Я рассмеялся. Машкин покосился на меня и сказал:

— От одной спички третьему прикуривать не дают.

— Это почему еще? Спички дешевые?

— Дуралей. С фронта обычай. Пока двое прикуривают, можно успеть прицелиться. Вот третьего-то и убивают...

...На инкассаторов, конечно, напал Бандит. «Почерк» его. Способ нападения, приметы, вид оружия — пистолет «ТТ», исключительная дерзость — все говорит за то, что здесь побывал Бандит.

Ну, а вдруг я ошибаюсь? Вдруг я помчусь по

Продолжение. См. «Огонек» №№ 14—20, 22.

следу другого преступника, руководствуясь старыми представлениями о «своем» Бандите? Тогда я неизбежно окажусь в тупике. И нового не пойман и старого упущу.

Нет. Мне нужны непреложные доказательства того, что я не напал на чужой след. Надо сравнить патроны, найденные в Крыму и в Риге.

Надо спешить. Бандит прикурил уже дважды. Я обязан успеть прицелиться первым...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении баллистической экспертизы
Гор. Рига.

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ, рассмотрев материалы уголовного дела № 4212 по факту убийства Е. К. Корецкого и уголовного дела № 781 о разбойном нападении на инкассатора,

УСТАНОВИЛ:

В обоих случаях преступник применил, судя по стреляным гильзам, обнаруженным на местах преступлений, огнестрельное оружие типа пистолета «ТТ».

В связи с этим необходимо проверить, не совершены ли оба преступления при помощи одного и того же оружия.

Принимая во внимание, что по делу необходимо получить заключение специалистов,

ПОСТАНОВИЛ:

Назначить по настоящему делу баллистическую экспертизу, на разрешение которой поставить вопрос: «Из одного и того же, либо разного оружия стреляны пули и гильзы, обнаруженные на местах преступлений в Крыму и в Риге?»

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 68.

Следователь Круминь сказал:

— Не знаю, утверждать не могу, но, судя по тому, как ловко он воспользовался проходным двором, похоже, что работал местный...

Я почти не слушал его, стоя у окна, иссеченного дождевыми каплями, все время раздумывая об убийце. Я вспоминал распростертое на траве тело Жени Корецкого, красные глаза капитана Астафьева, окаменевшую Тамару Ратанову, маленького Баллоде с залитым кровью лицом и судорожно зажатой в руках инкассаторской сумкой. Я пытался представить себе ползущего по грязному тротуару Миронова, с пистолетом, пляшущим в левой руке... И никак не мог увидеть его лица и от этого не мог больше ни о чем думать. А лицо Миронова все никак не появлялось, рушилось, крошилось, будто я лепил его из застывающего гипса. От этого было так тяжело, что я негромко застонал.

— Что с вами? — спросил Круминь.

— Ничего. Сердце немного колет.

— Возьмите таблетку валидола, помогает.

— Спасибо, не надо. Уже прошло. У вас фотография Миронова есть?

— Есть. А зачем вам?

— Дайте-ка посмотреть...

Он протянул мне фотоснимок — курносое лицо на потрескавшейся тусклой бумаге. Таких на каждой улице тысяча. А теперь будет 999. Убили человека.

Круминь сказал:

— Вы допрос дворника лучше прочитайте...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Густава КРАСТЫНЬША

(Копия из уголовного дела № 781)

...Дом № 29 по улице Суворова, который я обслуживаю и в котором живу со своей семьей, имеет проходной двор, выходящий на улицу Раценис. Восемнадцатого сентября, примерно в половине восьмого вечера, после ужина, я вышел на улицу Суворова, прогулялся до угла и вернулся к своему дому уже по улице Раценис. У ворот я встретил знакомого — Черницкого Сигизмунда, который шел из бани. Мы остановились и несколько минут разговаривали. Я заметил, что около тротуара, рядом с нашим домом, стояла светлого цвета «Волга». В ней никого не было, но мотор работал. Я еще подумал, что, наверное, шофер отошел к киоску за сигаретами. Мы поговорили с Черницким и разошлись. Я вошел во двор и почти сразу же услышал два выстрела, а следом за ними — еще три или четыре. Они доносились с улицы Суворова. В ту же секунду во двор с улицы Суворова вбежал мужчина высокого роста в сером костюме. В руках у него был пистолет. Он пересек двор и, не обратив на меня внимания, выбежал на улицу Раценис. Через несколько секунд я услышал шум отъезжающей машины. Я побежал за ним на улицу и, выглянув из ворот, увидел удаляющуюся «Волгу». Ту самую, что стояла около нашего дома. Машина скрылась в направлении вокзала. Я вернулся во двор, куда уже подоспели работники милиции. От них я узнал, что бандит напал на инкассаторов. Я рассказал им все, что видел. Номер той машины я не запомнил. Цвет ее был светлый, а точнее сказать не могу, не приглядывался.

Записано с моих слов правильно
КРАСТЫНЬШ.

Допрос произвел следователь КРУМИНЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 69.

Бандит просил по телефону «маслят». Значит, патроны у него на исходе. Неизвестно только, что ответил ему иногородний абонент. Но самое непонятное: отнуда взялась «Волга»? Сначала я подумал о машине Корецкого, но потом отбросил эту мысль. Линнасте категорически утверждала, что никакой машины у ее замечательного кавалера не было. Нет, машина Жени осталась где-то между Крымом и Ригой.

И вдруг я вспомнил про автомобильный номер, который Бандит возил с собой в портфеле. Я набрал номер телефона уголовного розыска:

— Пришлите мне еще раз сводку о происшествиях по городу за 17 и 18 сентября...

ОТДЕЛ МИЛИЦИИ РИЖСКОГО
ГОРИСПОЛКОМА
Сводка
о происшествиях по городу
за 18 сентября

...п. 6. УГОН АВТОМАШИНЫ.

Между 14 и 18 часами от дома № 7 по Первомайской улице с места постоянной стоянки неизвестным лицом угнана автомашина «Волга», государственный номерной знак № ЛА-66-73, светло-серого цвета, принадлежащая гражданину Дулицкому Н. В., проживающему в квартире 21 по указанному адресу.

Розыск ведет городской отдел милиции...

ЛИСТ ДЕЛА 70.

Я чувствовал, как меня душит время. Его почти совсем не оставалось. Надо было успеть, надо опередить Бандита.

Я позвонил начальнику телефонной станции и устроил ему скандал. В научно-техническом отделе обещали до вечера закончить экспертизу патронов. Успеть, успеть! Как это писал Лист на партитуре: «Играть быстро. Еще быстрее. Как только можно быстро! И еще быстрее...»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

...В результате исследования экспертиза установила:

1. Три стреляные гильзы из коробки с надписью «Солнечный Гай» и две стреляные гильзы из коробки с надписью «Рига» однотипны и представляют собою гильзы от пистолетных патронов типа «ТТ».

Сказанное в равной мере относится и к пулям.

2. Совокупность особенностей следов, обнаруженных на тех и других боеприпасах, совпадающих между собой, дает основания для категорического вывода о том, что боеприпасы, изъятые с места происшествия в Солнечном Гае и в Риге, стреляны из одного и того же оружия, а именно пистолета «ТТ»...

ЛИСТ ДЕЛА 71.

Все совпадало. Больше сомнений нет — это дела Бандита. Но я очень удивился, когда узнал, что «Волгу», угнанную им перед нападением на инкассатора, нашли на следующий день. Бандит почему-то бросил ее в Олайне — в 25 километрах от Риги.

Я позвонил хозяину «Волги» Дулицкому и попросил срочно приехать ко мне.

— Но моя машина ведь уже найдена? — удивился Дулицкий.

— У меня есть к вам несколько важных вопросов. Приезжайте быстрее. И, пожалуйста, на вашей машине...

Дулицкий оказался чопорным сухопарым человеком в больших роговых очках. Он так много говорил слово «мое» с разными существительными, что я устал от него. Дулицкий умудрился вмонтировать это слово даже в шутку: «Я, видите ли, возражаю, когда в моей машине ездят без меня». Не знаю почему, но он произвел на меня впечатление человека, который носит в карманах две пачки сигарет — хорошие — для себя, а плохие — для «стрелков».

Он сказал:

— Я ведь обычно держу мою машину в моем гара́же...

Дулицкий все время говорил «в гара́же», «из гара́жа», «около гара́жа». И меня это почему-то злило...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
ДУЛИЦКОГО

«...Восемнадцатого сентября я, как всегда, был на работе, где пользуюсь служебной автомашиной. Моя «Волга», в связи с ремонтом моего гаража, стояла на улице рядом с моим домом. Мой рабочий день заканчивается в семнадцать тридцать, а в восемнадцать часов я уже был возле своего дома. Здесь я сразу обнаружил отсутствие моей машины. Последний раз я ее видел в четырнадцать часов, когда уезжал из дома после обеда. Значит, ее угнали между четырнадцатью и восемнадцатью часами, о чем я и заявил в милиции. Утром девятнадцатого сентября в Олайне, недалеко от железнодорожной станции, нашли «Волгу». Меня сразу же вызвали туда, и я увидел свою машину. Однако номер с нее был украден, а сама она, к моему изумлению, была сверху — вся крыша и боковые обводы — перекрашена в белый цвет. Причем сделано это было явно на скорую руку, небрежно и в один слой. Это все для меня совершенно непостижимо — зачем надо было перекрашивать мою машину и похищать с нее номер.

Подозрений против кого-либо я не имею. Я вообще не мог предположить, что кто-нибудь сможет угнать мой автомобиль: помимо электрической «секретки», он был снабжен великолепным нестандартным замком. Однако вор непонятным мне способом вырубил замок, а секрет в электрической схеме каким-то образом обошел.

Вопрос. Не обратили ли вы внимания на спидометр? Следствию важно знать, сколько наездил угонщик.

Ответ. Да, естественно, сразу же. Угонщик проехал всего около ста километров.

Протокол мною прочитан, дополнений и замечаний не имею

ДУЛИЦКИЙ.

Допрос произвел
СЛЕДОВАТЕЛЬ...»

ЛИСТ ДЕЛА 72.

Я вышел с Дулицким на улицу и внимательно осмотрел его машину. Белая краска была грубо намазана на верхнюю часть кузова, ноегде она уже лупилась, в отдельных местах смазалась или засохла потеками. Личинка замка была вырублена аккуратно, и размер отверстия в двери был больше диаметра личинки всего на миллиметр.

— У вас ничего не пропало из машины?

— Вроде бы ничего. Ах, да! Исчезла из багажника моя новая камера, которую я купил для запасного колеса.

По лицу Дулицкого было видно, что он хочет вернуться со мной в кабинет, чтобы я внес в протокол его заявление о пропаже камеры. А я долго ходил вокруг машины, пытаясь сообразить, где Бандит успел пуснай плохо, но все-таки покрасить машину.

— Вы говорите, что пропала камера?

— Да. Бесследно пропала моя новая камера.

Вот тут-то я наконец понял. Пропавшая камера, пистолет с набалдашником и банка с красной в портфеле Бандита, перекрашенная машина, как мостовые опоры, легли под рельсы моей догадки. Пистолет был, видимо, кустарно изготовленным, но очень эффективным пульверизатором. Шлангом с двумя штуцерами он соединял его с вентилем туго накачанной камеры, заливал краску в набалдашник — и краскопульт готов. Жидко разводя краску и покрывая ею автомобиль в один слой, Бандит за час-полтора успевал перекрасить машину.

Теперь все ясно. Он загонял краденый автомобиль в ближайший лес, ставил краденый номер, быстро красил низ или верх машины, чем разительно менял ее внешний вид. А дальше ехал уже совершенно спокойно. Точно так он поступил с машиной Дулицкого. Он, наверное, давно высмотрел, когда приезжают в магазин за выручкой, и поэтому сразу после обеда угнал «Волгу». До Олайне — двадцать пять километров, а он наездил около ста. Значит, угнав машину, он выехал за город, перекрасил ее и вернулся к вечеру в Ригу. Краска, судя по прилипшим песчинкам и пыли, даже не успела высохнуть. Но ему было наплевать: на этой машине Бандиту требовалось проехать всего один раз.

Проходной двор он тоже присмотрел заранее. Очень возможно, что его выбор поэтому и пал на магазин номер семнадцать. Он оставил машину на улице Раценис с работающим мотором и, когда вырвать сумку не удалось, пробежал через двор, сел в кабину и удрал в Олайне. Но если он просто хотел скрыться, то ведь ехать в Олайне глупо! Проще было бросить машину где-нибудь на соседней улице. Ведь просто глупо же было мчаться в Олайне!

— Не понял?..— строго спросил Дулицкий.

Я не заметил, как последние слова произнес вслух.

— Это я не вам,— сказал я, попрощался с Дулицким и пошел к себе.

В кабинете, на столе, уже лежала справка с междугородной...

В ГОРОТДЕЛ МИЛИЦИИ,
СЛЕДОВАТЕЛЮ

(На ваш запрос № 147с)

Рижская междугородная телефонная станция сообщает, что 17 сентября в 22 час. 30 мин. с индивидуального телефона номер 3-99-89 состоялся междугородный разговор в кредит по льготному тарифу с абонентом в городе Львове гр. БЕРЕЗКО (индивидуальный номер 37-54)

Зам. начальника Рижского
телефонного узла

ВЕРНИЕКС.

Окончание следует.

Я, следователь...

Аркадий ВАЙНЕР,

Георгий ВАЙНЕР

РОМАН В ДОКУМЕНТАХ

Рисунки В. КАРАСЕВА.

«Это пройдет, обязательно пройдет. Ведь и водолазов поднимают со дна не сразу».

И, может быть, именно поэтому, не желая доверять своему пошатнувшемуся чувству правды, я решил встретить львовского абонента Бандита — Петра Березко особенно подготовленным. Слишком ответственный разговор нам предстоял. Мне надо было хорошо познакомиться с ним — пока заочно. Во время допроса знакомиться с ним будет поздно...

РАПОРТ

Докладываю, что по сообщению Львовского телефонного узла абонентом № 37-54 является гр-н Березко Петр Моисеевич, проживающий по улице Костюшко, дом № 26, квартира 5.

В результате тщательной проверки личности Березко установлено:

Березко П. М., 1929 г. р., уроженец гор. Рахова, живет во Львове с 1948 года, женат, имеет двоих малолетних детей, работает начальником караула отдела военизированной охраны Львовского железнодорожного узла. По службе характеризуется очень хорошо. Имеет ряд наград за высокие показатели в работе и за смелые, инициативные действия при охране государственного имущества. По месту жительства пользуется авторитетом, как человек серьезный, положительный. Общителен, дружелюбен, живет открыто, скромно, в пределах средств получаемой зарплаты. В связях с подозрительными лицами не замечен. Каких-либо компрометирующих данных о нем не имеется.

По роду службы имеет свободный доступ к огнестрельному оружию и боеприпасам. В частности, в распоряжении Березко находятся патроны к револьверу «Наган», пистолету «ТТ», трехлинейной винтовке, малокалиберные патроны. Согласно учетным данным, ни излишков, ни недостач патронов, вверенных Березко, при ревизиях не обнаруживалось.

Лейтенант ГОЛОВОРОДЬКО.

ЛИСТ ДЕЛА 73.

Я сразу же позвонил в центральную билетную кассу:

— Скажите, на железнодорожной станции Олайне останавливаются поезда дальнего следования, идущие во Львов?

В трубке на мгновение раздался шорох и сухое потрескивание, затем девушка там, далеко, на другом конце провода, почему-то вздохнув, сказала:

— Да. По вторникам, четвергам и субботам в 21-15 останавливается поезд № 12, идущий во Львов.

Я заглянул в календарь: 18 сентября был четверг. Сегодня — суббота. Надо ехать в Олайне, а оттуда, по-видимому, во Львов. В Риге мне больше делать нечего. Здесь я опоздал. Надо успеть хотя бы во Львов.

Я отправил телеграмму начальству — попросил выслать деньги во Львов, у меня уже почти ничего не осталось. Следователя Круминя я попросил пересылать мою почту в Львовскую милицию.

— Может быть, придет письмо из Гагры. Не потеряйте, пожалуйста,— сказал я ему.

— Как можно! Если будет, сразу отправлю авиапочтой...

Я заехал в гостиницу, собрал вещи, заплатил по счету, поднялся в номер и присел на свой маленький чемоданчик — на дорогу. Мне нужна была удача. Вроде бы все.

Я встал, подошел к двери, но все-таки вернулся и быстро набрал номер.

— Элга? Здравствуйте, это я. Д-да. И до свидания. Я уезжаю во Львов. Пока ничего. Ну, ладно. Спасибо вам за все. Я буду вас очень долго помнить.— И, не дожидаясь ответа, аккуратно положил трубку на рычаг.

Я вышел из комнаты, бегом спустился по лестнице и сказал себе: «Это тоже этап жизни. И он пройден навсегда».

У подъезда гостиницы разбитная старушонка, лихо покрутив вертушку с лотерейными билетами, предложила:

— Купите билетик. Поставите 30 копеек, а выиграть можете «Волгу» за шесть тысяч...

— Я в азартные игры не играю.— Сел в машину и помчался в Олайне...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Ядвиги СТАСЮНЕНЕ

...По существу заданных мне вопросов могу показать следующее:

Я работаю старшим билетным кассиром станции Олайне по 12 часов в смену через день. В частности, я работала с 20 часов 18 сентября сего года до 8 часов утра 19 сентября. В 21 час 15 мин. по четным дням на нашей станции останавливается на две минуты пассажирский поезд № 12, следующий на Львов.

Осмотрев кассовую ведомость по продаже билетов на поезда дальнего следования, могу заявить, что 18 сентября на поезд № 12 были проданы 5 билетов до Львова: один — в мягкий вагон, один — в плацкартный и к нему три детских.

Теперь я вспомнила обстоятельства продажи этих билетов. Станция у нас маленькая, пассажиров дальнего следования бывает немного. Незадолго до прихода поезда к кассе подошел мужчина и спросил билет до Львова. Я уже взяла билетную книжку, но в этот момент к окошку кассы приблизилась женщина с тремя детьми и стала просить мужчину пропустить ее без очереди, так как она боится опоздать с детьми на поезд. Мужчина сердито сказал, что до прихода поезда еще 15 минут, она, мол, вполне успеет, а он и сам торопится. Мне пришлось оформить билет ему, а уж потом женщине с детьми. Вот он-то и взял билет в мягкий вагон, а женщина — в плацкартный.

Вопрос. Не помните ли вы, как выглядел этот мужчина, какие у него были вещи?

Ответ. Я запомнила, что он взял билет одной рукой, а когда протянул в окошечко другую руку за сдачей, то я увидела: у него нет двух пальцев. Каких-либо вещей у него я не видела...

Окончание. См. «Огонек» №№ 14—20, 22—23.

ЛЬВОВ

ЛИСТ ДЕЛА 74.

В эти последние дни во мне будто что-то умерло. Я носился по городу, разговаривал с разными людьми, распоряжался, получал от начальства указания, исполнял их, иногда нарушал, что-то организовывал, но все это происходило будто с кем-то другим, а я просто сопровождал этого другого человека. Я устал. Я устал даже ненавидеть Бандита, и он существовал для меня как изначальная данность: его надо взять — и точка.

Биология точно выяснила размеры допустимых для человека физических перегрузок. А кто посчитал допустимые для человека моральные перегрузки? И вообще сколько может выдержать следователь?..

Я утратил даже свое шестое чувство — чувство правды, и когда разговаривал с людьми, то, смотря им в глаза, меланхолично раздумывал: врет или нет? А чувство правды молчало. И еще — я с удивлением заметил, что меня не радует, если человек явно говорил правду. Может быть, потому, что за последние дни я видел слишком много хитростей и горя, правда казалась мне слишком примитивно придуманной легендой. И от этого я был противен самому себе и, закрыв глаза, подолгу бормотал:

ЛИСТ ДЕЛА 75.

Я сидел в маленькой комнате Березко за столом, накрытым вышитым рушником, и дожидался хозяина. Я складывал домиком рассыпанные спички, но пальцы дрожали, и домик каждый раз разваливался, и я с тупым упорством начинал складывать его вновь. Потом подумал: «Если успею сложить, то пойман. А если...»

За тонкой дощатой стенкой, у соседей, кто-то лениво переругивался. Мужской жирный голос вползал в щели, как замазка:

— Ляля, ты не стоишь тех денег, которых ты мне стоишь...

Ляля бранчливо отвечала:

— Помолчал бы! Сам хорош больно! Хоть бы букет цветов когда принес! Семьянин называется! От тебя, кроме одного лука, ничего не дождешься...

Мужчина удивился:

— А что? Зеленый лук — это, может быть, мои самые любимые цветы. Терпеть не могу закусывать тюльпанами...

Жена Березко сказала за спиной:

— А вон и Петро.

Я посмотрел в окно. Коренастый, невысокий мужчина в вохровской форме шел через дорогу к дому.

Я аккуратно взял две последние спички, поломил на домик одну, потом стал укладывать другую. Хлопнула дверь, и пальцы в последний момент дрогнули. Домик снова развалился...

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
Петра ВЕРЕЗКО

...Вопрос: — Вечером семнадцатого сентября вы говорили по телефону с Ригой. Расскажите об этом максимально подробно.

Ответ: — Примерно неделю назад, возможно, что это было семнадцатого сентября, мне позвонил из Риги знакомый — Прохоров Василий. Мы с ним давно не виделись, и он сказал, что собирается побывать во Львове, поохотиться. Разговор, в общем, был недолгий. А четыре дня назад он приехал ко мне, как и собирался. Мы с ним посидели, поговорили, жена собрала нам ужин. Часов в двенадцать Прохоров ушел, договорились, что мы с ним созвонимся.

Вопрос: — Полное имя Прохорова, отчество, год и место рождения, нынешнее место жительства и работы?

Ответ: — Василий Иванович. Год рождения — 1934. Родился он и живет в Киеве, там же он и работает — разъездным механиком Киевской дальнорейсовой автобазы. Все это мне известно с его слов. А точного адреса я не знаю, мы не переписывались, и в Киев я не собирался.

Вопрос: — Расскажите о вашем знакомстве с Прохоровым...

...Березко задумался. Он не выглядел ни испуганным, ни встревоженным, а только очень удивленным. И вообще он выглядел очень простым, очень честным человеком. Васильковой синевы глаза на красном, обветренном лице смотрели на меня доверчиво-недоуменно — «чего это о глупостях каких-то расспрашивают?». Но ведь именно ему звонил Бандит, именно у него просил «маслят»! Что их в принципе-то может связывать, таких разных, совсем непохожих?..

Березко кашлянул.

— Так вот. Было это года четыре назад, в осень. Женка моя была тяжелая тогда и жила у матери в деревне Голованевке, километрах в сорока от Львова. Ну, зная, что у нее скоро роды будут, я взял отпуск на три дня и приехал в Голованевку за нею. Только приехал, часу не прошло — начались у ней преждевременные схватки. А в это время голованевский зоотехник, «Москвич» у него собственный, собирается в город. Вот мы и поехали с ним. До Львова уже оставалось километров двадцать — мотор у машины испортился. Вот и сели мы куковать — на шоссе души живой не видно. Водитель наш, видать, только по коровам техник — никак таратайку свою починить не может. А жене уж совсем некуда стало. Тут-то, на наше счастье, и является Прохоров — на мотоциклетке под дождем чешет. Ну, естественное дело, голосую я ему, остановился. Упрашиваю его посмотреть машину. Нет, говорит, спешу я, давай, говорит, из ближнего села позвоню тебе на работу, чтобы машину прислали. Я ему объясняю, что работаю, мол, в охране и сроду у нас машин никогда не было. Черт с тобой, говорит Прохоров, посмотрю. Посмотрел. Лопнула, говорит, пружина молоточка. Потом задумался ненадолго, но глубоко так задумался, бормотнул, что долг, мол, платежом красен, а потом снял со своей мотоциклетки какую-то штуку, достал инструменты и за несколько минут починил нашу колымагу. А жена уже в крик заходится. Я ему пятерку протягиваю, а он смеется: не надо, мол, дружбой сочтемся, в гости к крестнику приду. Так вот и познакомились...

...Вопрос:— Просил ли он у вас что-нибудь во время разговора по телефону из Риги, а затем когда приехал во Львов?

Ответ: — Единственное, что Прохоров у меня спросил, это не могу ли я дать ему «маслят», так он называет патроны. Они ему были нужны для охоты, у него есть нарезное ружье. Я сказал, что подумаю. Когда Василий приехал ко мне, он вернулся к этому разговору. Правда, у меня дома было только шесть или семь патронов, я ему их и отдал.

Вопрос: — Каких патронов?

Ответ: — Автоматных.

Вопрос: — О чем вы разговаривали при последней встрече? Постарайтесь припомнить вопросы, которые задавал вам Прохоров.

Ответ: — Трудно ответить на этот вопрос, разговор у нас был обычный, приятельский, о том о сем, о жизни. Вспоминали разные интересные случаи. Потом зашел разговор об автомобилях, и Василий сказал, что хочет купить в львовском автомагазине «Волгу». В связи с этим он попросил, чтобы я сказал ему, когда на товарную станцию поступят машины для автомагазина, поскольку там у него есть блат и он сможет заблаговременно договориться о покупке машины без очереди. Я согласился. Вчера на станцию пришло тридцать пять «Волг», и вечером, когда Василий звонил, я ему сказал об этом.

Вопрос: — Где остановился Прохоров во Львове?

Ответ: — К себе я его пригласить не мог, так как у нас одна комната, но Василий сказал, что для него это не проблема, ему есть где устроиться. А я, честно говоря, впоследствии даже забыл его спросить об этом...

ЛИСТ ДЕЛА 76.

— Ваш приятель Прохоров — бандит и убийца. В Риге, где он в последний раз убил человека, у него кончились патроны. А вы, Березко, вооружили его снова...

Березко растерялся. Он разводил руками и судорожно открывал рот, будто хотел сказать: «Не может этого быть!» Но так ничего не сказал.

— Я обязан поставить в известность ваше начальство о том, что вы безответственно распоряжаетесь боеприпасами. Ваши автоматные патроны подходят для его пистолета. Все.

— Правильно, так мне, дураку, и надо...— сказал Березко и с размаху ударил себя кулаком по голове.— Так тебе, дураку, и надо.

Я сгреб спички на скатерти в кучу и сказал:

— Петр Моисеевич, я уверен, что вы сделали это без умысла.

Березко горько пожал плечами.

— Я попрошу вас сообщить нам, если Прохоров появится...

...Снова ушел от меня Бандит. И где он сейчас, неизвестно. Адрес его киевский, безусловно, липа. Но не проверить его я не имею права...

КИЕВ

ГОРОДСКОЙ УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК.

ТЕЛЕГРАММА

СРОЧНО ТЕЛЕГРАФИРУЙТЕ ФАКТ ПРОЖИВАНИЯ КИЕВЕ ПРОХОРОВА ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА зпт 1934 ГОДА РОЖДЕНИЯ зпт УРОЖЕНЦА КИЕВА зпт РАБОТАЮЩЕГО АВТОБАЗЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК тчк
ОТВЕТ НА ЛЬВОВСКУЮ ГОРМИЛИЦИЮ тчк

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 77.

Я был уверен, что никакого Прохорова в Киеве не окажется. То есть Прохоров окажется, и даже не один, но это будут люди, не имеющие никакого отношения к делу.

Я вспомнил слова попа, с которым мы ехали в Ригу: «В писании сказано, что змей был хитрее всех зверей полевых. И повелел ему за это господь ходить на чреве его». То есть, попросту говоря, ползать на пузе. Бандит тоже всю жизнь ползает на пузе за хитрость, за подлость, за жестокость свою. У него нет ничего, кроме краденых, награбленных денег. Даже имени нет, потому что если носишь много имен, значит, нет своего. Его имя можно установить только по дактилоскопической карте. Разве могла мать, нарекая его Сашей, Васей, Петей, подумать, что его имя люди будут узнавать по отпечаткам пальцев? Он сам вычеркнул себя из людей, стал просто номером в картотеке. Ничего у него нет. И не будет. Кроме пули...

ЛЬВОВ, ГОРМИЛИЦИЯ.

СЛЕДОВАТЕЛЮ.

ПРОХОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ зпт 1934 ГОДА РОЖДЕНИЯ зпт УРОЖЕНЕЦ КИЕВА зпт ПРОЖИВАЮЩИМ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КИЕВЕ НЕ ЗНАЧИТСЯ тчк НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АВТОБАЗЕ МЕЖДУГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК РАБОТАЕТ ДИСПЕТЧЕРОМ ПРОХОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ зпт 1898 ГОДА РОЖДЕНИЯ зпт УРОЖЕНЕЦ ХАБАРОВСКА зпт ПРОЖИВАЕТ УЛИЦА ПЕХОТНАЯ 6 зпт КВАРТИРА 1 тчк ЗАМНАЧ УГРОЗЫСКА

ПРИЛИПКО.

ЛИСТ ДЕЛА 78.

Впервые за все это время я знал, что Бандит рядом. Я разослал на него ориентировки со словесным портретом по всем близлежащим железнодорожным станциям, в аэропорт, автовокзал, всем участковым и оперуполномоченным уголовного розыска. Где-то в городе бродила смерть, ее надо было вовремя схватить, мне надо было прицелиться первым.

Этот Бандит наверняка травленый волк и попросту болтаться в городе не станет. Я даже допускал, что он и в самом-то городе не живет, а снимает где-либо поблизости в курортном местечке комнату. Хозяйки, чтобы не платить налог, иногда держат квартирантов без прописки.

Но что ему здесь надо? Я чувствовал, что он здесь не просто так, что он к чему-то готовился. А к чему, я так и не мог понять. Пока не пришло сообщение о судьбе машины Корецкого...

РИГА, ГОРМИЛИЦИЯ

СЛЕДОВАТЕЛЮ

Исх. № 611/СЛ.

ЗАПИСКА

Обнаружена «Волга» номер ЛЕВ 78-10, объявленная во всесоюзный розыск циркуляром за № 89. Обстоятельства дела:

В госавтоинспекцию гор. Тбилиси обратился гр-н Кохиани Леон Борисович с заявлением о том, что 6 сентября он купил у человека, назвавшегося Корецким, автомашину «Волга», госзнак ЛЕВ 78-10, комбинированного цвета (верх голубой, низ белый). При этом владелец машины передал покупателю вместе с «Волгой» техталон на нее, а технический паспорт обещал выслать по почте после снятия машины с учета в Ленинграде. Однако обещания своего он не выполнил, в связи с чем Кохиани и обратился в госавтоинспекцию.

Заявление Кохиани и техталон высылаем, автомашина принята на хранение до Вашего распоряжения.

ЛИСТ ДЕЛА 79.

Машина Корецкого, перекрашенная до половины, была продана Бандитом в Тбилиси. Последний кирпичик стал на место. Теперь понятно, где он был между Крымом и Ригой. Его маршрут, сверенный по датам, был очевиден: Тбилиси — Ленинград — Москва — Крым — Тбилиси — Рига — Львов. В каждом месте, где он побывал, Бандит убил, ограбил, обманул. Во Львове его надо остановить. Но для этого нужно угадать, что он собирается сделать. Вот она — война с Загадкой. Только сейчас это уже была не абстрактная академическая Загадка, а живой бешеный волк. Я столько думал о нем, столько раз слышал о нем и столько раз представлял его, что, встретив на улице, наверняка сразу же узнал бы.

Я позвонил дежурному по городу и попросил незамедлительно информировать меня о всех происшествиях.

В четверть девятого он сообщил, что угнали машину. Бандит пошел в атаку первым...

СВОДКА

о происшествиях по гор. Львову
за 29 сентября.

...п. 1. УГОН АВТОМАШИНЫ.

В период от 18 час. 30 мин. до 20 час. от кинотеатра «Прогресс» угнана автомашина «Волга» коричневого цвета, государственный номерной знак ЛВА-09-74, принадлежащая второй колонне городского автотреста. На месте угона обнаружена вырубленная из дверного замка личинка. Розыск ведет 3 отделение милиции...

ЛИСТ ДЕЛА 80.

Я уперся лицом в ладони, боясь шевелить головой, чтобы не выплеснуть, как из переполненной чашки, самую главную мысль.

Так. Бандит убил Корецкого, чтобы надолго получить машину, которую много времени никто не будет искать. Но не успел спрятать труп и понял, что на машине ездить рискованно. Продал ее Кохиани. Это раз.

Пошли дальше. Во всех машинах, угнанных в Тбилиси, Риге и Львове, одинаковым способом вырублены замки. Я вспомнил слова Линнасте о том, что Бандит возил в портфеле какую-то тяжелую трубу. Наверное, это и было приспособление для вырубания замков.

Следующее — машины Рабаева, Дулицкого и Корецкого были перекрашены с целью маскировки, и на первых двух заменены номера. Скорее всего, «Волга», которую угнали сегодня, будет ночью перекрашена и номер на ней заменен. У Бандита есть номер с машины Дулицкого. Расчет ясный: сейчас во Львове проходит чемпионат страны по стрельбе, и сюда приехало множество спортсменов на машинах с иногородними номерами. Украденная сегодня «Волга» завтра, с рижским номером, перекрашенная, будет неузнаваема.

Угон машины в Риге предшествовал нападению на инкассатора. Что он хочет сделать сейчас? Почему он расспрашивал Березко об автомагазине?

Догадка пришла неожиданно. Я хлопнул себя ладонью по лбу. Как же сразу не сообразил! Я стал лихорадочно обзванивать все телефоны. Дежурный по городу невозмутимо сказал:

— Да вы не волнуйтесь. Я сейчас позвоню директору автомагазина домой и сразу же перезвоню вам...

Я бегал по комнате в ожидании его звонка и думал о словах учителя Коростылева, казалось, забытых навсегда и сейчас вдруг отчетливо всплывших в памяти: «Не понимая — нельзя отрицать. Ведь немые тоже рассказывают друг другу анекдоты — мимикой и жестами. И весело смеются при этом вслух, хотя нам от такого зрелища грустно».

Дежурный позвонил минут через пять. Директор сказал ему, что сегодня в магазине было вывешено объявление: двадцати пяти очередникам предлагалось завтра внести деньги за «Волги».

Все стало на свои места. Ясно. Завтра Бандит пойдет брать инкассаторов у автомагазина. Инкассаторы понесут сумку, в которой будет больше 100 тысяч рублей. По-старому — больше миллиона.

Все стало на свои места. Для меня. Теперь я должен поставить все на свои места для Закона...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я, СЛЕДОВАТЕЛЬ,

рассмотрев материалы уголовного дела № 4212,

УСТАНОВИЛ:

1. 22 августа с/г неизвестный преступник похитил в гор. Тбилиси автомашину «Волга», принадлежащую гр. Рабаеву (номер ГХ 34-52), которую 25 августа продал в Ленинграде гр-ну Косову.

2. В ночь с 3-го на 4 сентября с/г в районе поселка Солнечный Гай, Крымской области, неизвестным преступником был убит гр-н Корецкий Е. К.

С места убийства преступник угнал автомашину Корецкого и 6 сентября продал эту машину жителю г. Тбилиси Кохиани.

3. 18 сентября с/г в гор. Риге неизвестный преступник угнал автомашину «Волга», принадлежащую гр-ну Дулицкому, и в тот же день, используя машину, совершил разбойное нападение на инкассатора, тяжело ранив его при этом и убив из пистолета охранника.

4. 29 сентября с/г в гор. Львове неизвестным преступником угнана автомашина «Волга» номер ЛВА 09-74, принадлежащая горавтотресту.

С учетом показаний свидетелей и других материалов следствия (сходство примет преступника, характер способов совершения преступлений, тождественность боеприпасов) имеются основания полагать, что вышеуказанные преступления совершены одним и тем же лицом.

В силу изложенного и руководствуясь Законом,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовные дела о всех перечисленных в настоящем Постановлении преступлениях СОЕДИНИТЬ с уголовным делом № 4212, возбужденным по факту убийства гр. КОРЕЦКОГО Е. К.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 81.

Совещание закончилось в четыре часа утра — отрабатывали план операции. Начальник уголовного розыска сказал мне:

— Я бы на вашем месте все-таки не рвался туда. Черт его знает, как там получится! А наши ребята его и сами возьмут.

Я усмехнулся:

— А я и не слишком рвусь. Но я его раньше всех узнаю.

— Ну, до завтра. Вернее, до сегодня...

Он довез меня на машине до гостиницы. Я поднялся в свой номер, не раздеваясь прилег на диван и мгновенно уснул. И почти сразу же приснился странный сон. А может быть, мне показалось, что сразу.

...Я сложил руки лодочкой, и в них плещется какая-то густая жидкость, протекая по каплям между пальцами. Рассматриваю эту жидкость и не могу понять, что это такое. И ужасно жалко мне видеть, как она стекает с рук, капает на пол и сразу исчезает. Только когда ее осталось совсем мало, я понял: в моих руках плещется Время. Когда вытечет последняя капля, я умру...

Я закричал, рванулся и понял, что это сон. Посмотрел на ладони — они были мокрые. Я провел ими по лицу и почувствовал, что щеки тоже мокрые. Впервые в жизни я плакал во сне.

...А телефонные провода и радиоволны милицейской связи несли дежурным спокойно-деловитые строчки циркуляра: «Всем... всем... всем...»

...ВСЕМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
ОПЕРАТИВНОЙ, НАРУЖНОЙ
И ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МИЛИЦИИ
ГОРОДА ЛЬВОВА

ЦИРКУЛЯР

По имеющимся данным, в городе Львове находится особо опасный преступник, готовящийся совершить новое тяжкое преступление.

С целью обеспечения оперативно-следственных мероприятий по задержанию преступника —

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять все меры к обнаружению разыскиваемого по приметам словесного портрета.

2. Преступник может быть на автомашине — «Волге» коричневого либо комбинированного (коричневый с белым) цвета;

— дверной замок вырублен;

— номер машины — «ЛА-96-73».

3. В случае обнаружения преступника иметь в виду, что он вооружен пистолетом «ТТ», которым, безусловно, воспользуется при задержании. Поэтому задержание должно быть внезапным и обеспечивающим безопасность сотрудников милиции и окружающих граждан.

Если преступник будет в машине, немедленно, по радио или телефону, сообщить о его местопребывании и направлении движения дежурному по городу.

4. Все авто- и мотопатрульные машины несут службу на улицах города. Радиосвязь — по утвержденной схеме...

ЛИСТ ДЕЛА 82.

В десяти метрах от дверей автомагазина — подворотня. Она выходит в длинный, идущий зигзагами двор. В глубине двора сараи, с которых можно перепрыгнуть на старый брандмауэр. С него есть переход на крышу соседнего дома. Через чердачное окно попадаешь на лестничную клетку, спускаешься вниз и выходишь на соседнюю улицу Коперника.

Около этого подъезда и остановилась в четверть седьмого двухцветная коричнево-белая «Волга» с рижским номером ЛА 96-73.

Я этого не видел, потому что с трех часов торчал в самом магазине, напряженно вглядываясь в каждого входящего. Здесь же праздными зеваками и фанатиками-автолюбителями ходили несколько оперативников уголовного розыска.

В половине седьмого ко мне подошел оперативник Кандауров, которого я запомнил еще на ночном совещании, еле шевельнул губами:

— Вот он... — и стрельнул в сторону глазами.

Я посмотрел туда. Бандит стоял у прилавка и спокойно рассматривал какие-то запчасти. Да, это был он. Конечно, он. Я бы узнал его из тысячи тысяч людей.

Я старался не смотреть на него, но не мог. Голову, как магнитом, разворачивало. Я стоял, сжав в карманах кулаки, и чувствовал противную мучительную слабость. По спине текли теплые, липкие струйки пота. Я понял, что сил у меня больше не осталось.

— Берите его на улице, здесь он может кого-нибудь ранить, — сказал я Кандаурову и вышел из магазина. Перешел через дорогу, сел в машину, на заднее сиденье в угол, и меня охватил такой колотун, что я придерживал челюсть рукой, чтобы не стучали зубы.

Начальник уголовного розыска спокойно, негромким голосом говорил в микрофон:

— Замкнуть оцепление. Шестому переместиться на пункт два. Закрыть улицу Коперника. Вызываю к себе патрульную машину 12, вызываю к себе... Блокируйте выход...

Потом обернулся ко мне, достал из заднего кармана брюк плоскую фляжку и отвинтил пробку:

— Глотните. Вы сильно устали...

Все произошло мгновенно. Бандит вышел на улицу, огляделся и в это время от стены отделились двое. Сзади подъехала серая «Волга», и я лишь увидел, как Бандит присел и сразу же упал в распахнутую дверь машины, куда следом прыгнул оперативник. Машина, с ревом набирая скорость, пролетела мимо нас, и через окно я видел белые глаза Бандита с черными точками посередине...

Испуганные прохожие опомнились и загомонили:

— В чем дело? Хулиганство! Милицию надо вызвать! Зачем так?

Кандауров поднял с тротуара блеснувший вороненый «ТТ», улыбнулся и сказал:

— Так надо...

И пошел через дорогу к нашей машине...

ПРОТОКОЛ ЗАДЕРЖАНИЯ

Город Львов, 30 сентября, 19 час. 12 минут.

Я, дежурный городского отдела милиции Кучер, задержал по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений (убийство, разбой и др.):

Фамилия

Имя

Отчество
Год рождения
Место рождения
Национальность
Судимость
Сообщить какие-либо данные о себе задержанный ОТКАЗАЛСЯ.
Место работы
Должность
Место жительства
Задержанный для установления его личности дактилоскопирован и водворен в камеру предварительного заключения.

Дежурный Львовского городского отдела милиции капитан милиции КУЧЕР.

ЛИСТ ДЕЛА 83.

— Ничего говорить не буду,— сказал Бандит.

— А я тебя ни о чем и не спрашиваю. Того, что я знаю о тебе, вполне достаточно. Смягчающие обстоятельства будешь искать сам...

Я сидел напротив и просто рассматривал его. Высокий, темноволосый, светлые, почти белые на свету глаза, с черными, длинными, как у кота, зрачками. Все-таки мне удалось материализовать фантом. Я прочитал книгу от начала до конца...

В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ОПЕРАТИВНО-СПРАВОЧНУЮ КАРТОТЕКУ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.

Направляя дактилоскопическую карту задержанного, отказавшегося дать сведения о себе, прошу проверить наличие у него дактилоскопической регистрации и в положительном случае сообщить демографические данные задержанного и наличие у него судимостей.

СЛЕДОВАТЕЛЬ.

ЛИСТ ДЕЛА 84.

— Бандита завтра этапируйте в Москву. Дальнейшее следствие будет вести Прокуратура Союза. А я поеду домой.

— Вас подвезти до гостиницы?

— Нет, спасибо, я лучше пройдусь перед сном...

Я вышел на улицу и увидел, что дождь кончился. Ветер совсем расшвырял облака. Над головой висели звезды, тяжелые, яркие, как неупавший град. А я уже совсем отвык от звезд. Шуршали под ногами подсохшие листья платанов, ветер подхватывал их и с треском гнал по мостовой. В костеле часы пробили три.

Я шел по длинной пустынной улице, полого спускавшейся вниз, и думал о том, что хорошо бы приехать сюда вновь. Не ловить Бандита, а просто гулять по этим тенистым улицам и возвращаться ночью в гостиницу не из тюрьмы, а из ресторана. Или из театра. Мне все равно. Только бы не из милиции и не из тюрьмы. И ходить по магазинам, чтобы покупать гуцульские безделицы, а не поджидать в них бандитов.

Я ведь совсем не герой, и приключения Джеймса Бонда не по мне. Наверное, беда в том, что у меня совсем нет честолюбия и следователем я стал случайно. Когда все мои приятели мечтали быть летчиками, пожарными и пограничниками, я мечтал стать дворником. Честное слово! Я мечтал стоять по утрам у дверей нашего дома в белом фартуке с красивой бляхой и первым, самым первым в этот день говорить всем жильцам: «Доброе утро!» Просто я хотел говорить всем людям «Доброе утро!». А получилось совсем наоборот. И когда я могу сказать людям: «Спокойной ночи!» — во мне тлеет глупая детская радость, что и я не зря живу на земле.

Завтра я уеду из этого города к себе домой, и, кто знает, попаду ли когда-нибудь сюда снова. Потом подумал, что, наверное, у меня уже и дома никакого нет. Не ответила Наташа. Не смог я ей сказать про настоящую нежность.

Я постоял около памятника Мицкевичу.

И тут вспомнил, что сегодня у меня день рождения. Да-да, день рождения — 1 октября! И я почему-то ужасно обрадовался, что у меня день рождения. Что сегодня мне исполнилось двадцать девять лет! Хорошо было бы выпить по этому поводу, да в три часа нигде не выпьешь. Прекрасно, что общепит так принципиально борется за мое здоровье и нравственность.

— Ура общепиту! — сказал я и пошел в гостиницу. А настроение у меня было великолепное.

Я бегом поднялся на второй этаж и вдруг увидел напротив своей двери фигуру. Инстинктивно бросив руку на карман, я спросил строго:

— Это кто тут ходит? — и сделал еще шаг.— Элга? Как вы сюда попали?

Она подошла ко мне вплотную и уткнулась лицом в грудь:

— Мне надо было хоть еще один раз вас увидеть...

Я обнял ее за плечи и почувствовал себя необычайно мужественным и сильным.

— А почему вы ждали в коридоре, а не в номере?

— Потому что посторонних людей в номер не пускают.

— Ну, уж это дудки! Я сам разберусь, кто мне посторонний...

И я понял, что жизнь замечательна, даже если за тобой никто не хочет стоять в очереди.